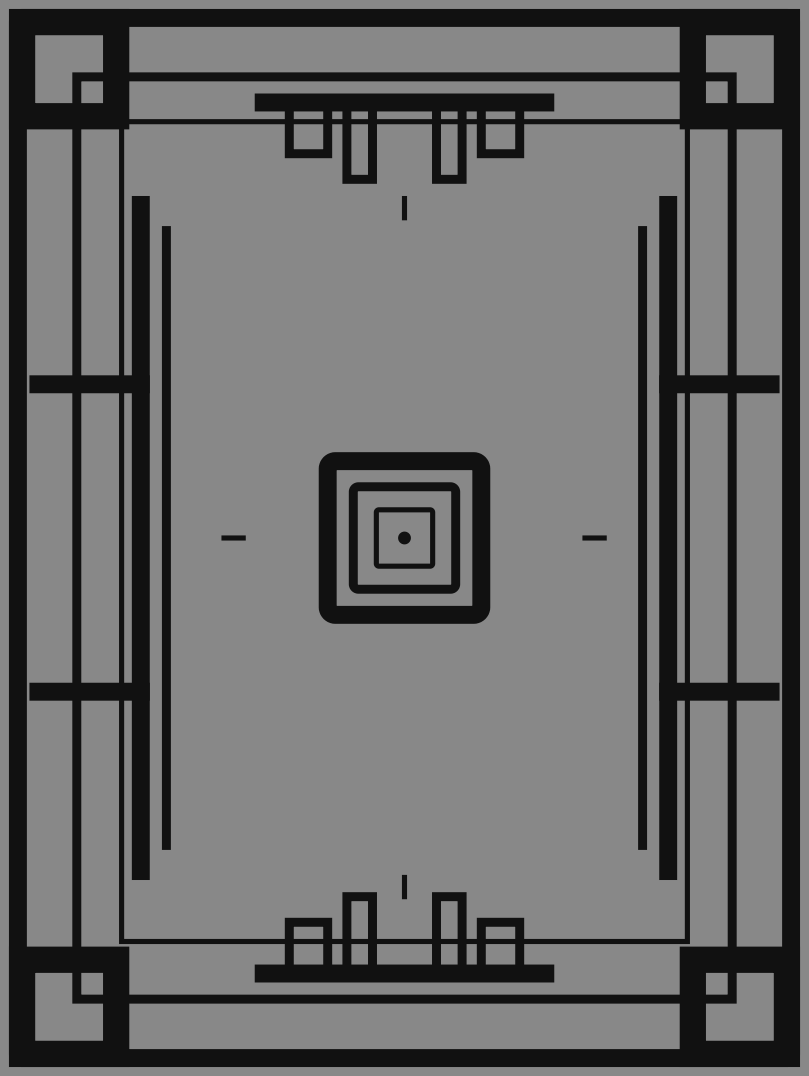

Архипелаг ГУЛаг

А.И. Солженицын

Архипелаг ГУЛаг
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Глава 1. АРЕСТ
- Глава 2. ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
- Глава 3. СЛЕДСТВИЕ
- Глава 4. ГОЛУБЫЕ КАНТЫ
- Глава 5. ПЕРВАЯ КАМЕРА–ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
- Глава 6. ТА ВЕСНА
- Глава 7. В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ
- Глава 8. ЗАКОН–РЕБЁНОК
- Глава 9. ЗАКОН МУЖАЕТ
- Глава 10. ЗАКОН СОЗРЕЛ
- Глава 11. К ВЫСШЕЙ МЕРЕ
- Глава 12. ТЮРЗАК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
- Глава 1. КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА
- Глава 2. ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА
- Глава 3. КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ
- Глава 4. С ОСТРОВА НА ОСТРОВ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТРЕБИТЕЛЬНО–ТРУДОВЫЕ
- Глава 1. ПЕРСТЫ АВРОРЫ
- Глава 2. АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ

Глава 3. АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ
Глава 4. АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ
Глава 5. НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ
Глава 6. ФАШИСТОВ ПРИВЕЗЛИ!
Глава 7. ТУЗЕМНЫЙ БЫТ
Глава 8. ЖЕНЩИНА В ЛАГЕРЕ
Глава 9. ПРИДУРКИ
Глава 10. ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ
Глава 11. БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ
Глава 12. СТУК–СТУК–СТУК...
Глава 13. СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ!
Глава 14. МЕНЯТЬ СУДЬБУ!
Глава 15. ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ
Глава 16. СОЦИАЛЬНО–БЛИЗКИЕ
Глава 17. МАЛОЛЕТКИ
Глава 18. МУЗЫ В ГУЛАГЕ
Глава 19. ЗЭКИ КАК НАЦИЯ
Глава 20. ПСОВАЯ СЛУЖБА
Глава 21. ПРИЛАГЕРНЫЙ МИР
Глава 22. МЫ СТРОИМ
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
Глава 1. ВОСХОЖДЕНИЕ
Глава 2. ИЛИ РАСТЛЕНИЕ?
Глава 3. ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КАТОРГА

Глава 1. ОБРЕЧЁННЫЕ
Глава 2. ВЕТЕРОК РЕВОЛЮЦИИ
Глава 3. ЦЕПИ, ЦЕПИ...
Глава 4. ПОЧЕМУ ТЕРПЕЛИ?
Глава 5. поэзия под плитой, ПРАВДА ПОД КАМНЕМ
Глава 6. УБЕЖДЁННЫЙ БЕГЛЕЦ
Глава 7. БЕЛЫЙ КОТЁНОК
Глава 8. ПОБЕГИ С МОРАЛЬЮ И ПОБЕГИ С ИНЖЕНЕРИЕЙ
Глава 9. СЫНКИ С АВТОМАТАМИ
Глава 10. КОГДА В ЗОНЕ ПЫЛАЕТ ЗЕМЛЯ
Глава 11. ЦЕПИ РВЁМ НА ОЩУПЬ
Глава 12. СОРОК ДНЕЙ КЕНГИРА
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ССЫЛКА
Глава 1. ССЫЛКА ПЕРВЫХ ЛЕТ СВОБОДЫ
Глава 2. МУЖИЧЬЯ ЧУМА
Глава 3. ССЫЛКА ГУСТЕЕТ
Глава 4. ССЫЛКА НАРОДОВ
Глава 5. КОНЧИВ СРОК
Глава 6. ССЫЛЬНОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ
Глава 7. ЗЭКИ НА ВОЛЕ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. СТАЛИНА НЕТ
Глава 1. КАК ЭТО ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО
Глава 2. ПРАВИТЕЛИ МЕНЯЮТСЯ, АРХИПЕЛАГ ОСТАЁТСЯ

Глава 3. ЗАКОН СЕГОДНЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ЕЩЁ ПОСЛЕ
И ЕЩЁ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Архипелаг ГУЛаг

ОТ РЕДАКТОРА

«Архипелаг ГУЛАГ», том первый — увидел свет 28 декабря 1973 года в парижском издательстве YMCA–PRESS. Книгу открывали слова автора (которые во всех последующих изданиях уже не воспроизводились):

«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми пере–вешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедлен но публиковать её.

Через полтора месяца после выхода первого тома А.И. Солженицын был арестован и выслан из СССР. В 1974 году издательство YMCA–PRESS выпустило второй том, в 1975 — третий.

Первое издание «Архипелага ГУЛАГа» на русском языке соответствовало последней на тот момент редакции 1968 года, дополненной существенными уточнениями, сделанными автором в 1969, 1972 и 1973 годах. Текст заканчивался двумя авторскими послесловиями (от февраля 1967 и мая 1968), объяснявшими историю и обстоятельства создания книги. И в предисловии, и в послесловиях автор благодарил свидетелей, вынесших свой опыт из недр Архипелага (227 человек), а также друзей и помощников, однако не приводил их имён, ввиду очевидной для них опасности: «Полный список тех, без кого б эта книга не написалась, не переделалась, не сохранилась, — ещё время не пришло доверить бумаге. Знают сами они. Кланяюсь им».

Как «Один день Ивана Денисовича» в начале шестидесятых на родине вызвал поток писем и личных рассказов, многие из которых вошли в ткань «Архипелага», так и сам «Архипелаг» поро дил много новых свидетельств; вместе с прежде недоступными печатными материалами они

побудили автора к некоторым добавлениям и доработке.

Новая редакция увидела свет в 1980 году, в составе Собрания сочинений А.И. Солженицына (Собр. соч.: В 20 т. Вермонт; Париж, YMCA–PRESS. Т. 5–7). Автор добавил третье послесловие («И ещё через десять лет», 1979) и подробное «Содержание глав». Издание было снабжено двумя небольшими словарями («тюремно–лагерных терминов» и «советских сокращений и выражений»).

Когда публикация «Архипелага ГУЛАГа» на родине стала возможна, она началась репринтным воспроизведением «вермонтского» издания (М.: Сов. пис.; Новый мир, 1989) — и все последующие десять изданий в России печатались по тому же тексту.

В настоящем издании впервые публикуется полный перечень свидетелей, давших материал для этой книги (число их выросло до 257). Также впервые в тексте раскрыты инициалы: заменены полными именами и фамилиями — всюду, где они были известны автору. Добавлено несколько позднейших примечаний. Упорядочены сноски и приведены к единообразию советские сокращения в названиях лагерей.

Впервые издание сопровождается Именным

указателем всех упомянутых в «Архипелаге» лиц — как исторических фигур, так и рядовых заключённых. Этот объёмный труд выполнен Н.Г. Ле–витской и В.А. Шумилиным при участии Н.Н. Сафонова. Дополнительный поиск сведений и редактирование Указателя взял на себя историк, старший научный сотрудник Российской Национальной Библиотеки А.Я. Разумов.

ПОСВЯЩАЮ

всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался.

Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как–то обнаружена подземная линза льда — замёрзший древний поток, и в нём — замёрзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая

друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона.

А Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, страну, он врезался в её города, навис над её улицами — и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что–то смутно, только побывавшие знали всё.

Но, будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории кое–что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому

глаз вон!» Однако доканчивает пословица: «А кто забудет — тому два!»

Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда–нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, — представятся неправдоподобным тритоном.

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому–нибудь когда–нибудь — достанется ли?.. У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, — может быть, сумею я донести что–нибудь из косточек и мяса? — ещё, впрочем, живого мяса, ещё, впрочем, живого тритона.

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы

инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имён, — а всё было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага, — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —

[перечень 227 имён][1].

Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым.

Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более — тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её.

Но не настала та пора, когда я посмею их на-

---

[1] Примечания: 1

Этот (ещё расширенный) перечень свидетелей впервые оглашаю теперь. (Примеч. 2005 г.)

звать[2].

Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных там (его лагерные мемуары так и называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всём будет рассказано.

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будут большой опасностью — так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться — от тех, от погибших.

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 мне постепенно стали известны «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой–Слиозберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем (так и будет же в конце концов).

Вопреки своим намерениям, в противоречии со

---

[2] Примечания: 2

Рассказал уже и о них, моих Невидимках («Бодался телёнок с дубом». М.: Согласие, 1996). (Примеч. 2005 г.)

своей волей дали бесценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов, и даже цифр, и сам воздух, которым дышали: чекист М.И. Лацис (Судрабс); Н.В. Крыленко — главный государственный обвинитель многих лет; его наследник А.Я. Вышинский со своими юристами–пособниками, из которых нельзя не выделить И.Л. Авербах.

Материал для этой книги также представили тридцать шесть советских писателей во главе с Максимом Горьким — авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившей рабский труд.

СВИДЕТЕЛИ АРХИПЕЛАГА,

чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги

Александрова Мария Борисовна
Алексеев Иван А.
Алексеев Иван Николаевич
Аничкова Наталья Мильевна
Бабич Александр Павлович
Бакст Михаил Абрамович
Баранов Александр Иванович
Баранович Марина Казимировна
Безродный Вячеслав
Белинков Аркадий Викторович

Бернштам Михаил Семёнович
Бернштейн Анс Фрицевич
Борисов Авенир Петрович
Братчиков Андрей Семёнович
Бреславская Анна
Бродовский М.И.
Бугаенко Наталья Ивановна
Бурковский Борис Васильевич
Бурнацев Михаил
Бутаков Авлим
Быков М.М.
Вайшнорас Юозас Томович
Васильев Владимир Александрович
Васильев Максим Васильевич
Ватрацков Л.В.
Вельяминов СВ.
Венделыптейн Юрий Германович
Венедиктова Галина Дмитриевна
Вербовский СБ.
Вестеровская Анастасия
Виноградов Борис Михайлович
Винокуров Н.М.
Витковский Дмитрий Петрович
Власов Василий Григорьевич
Войченко Михаил Афанасьевич
Волков Олег Васильевич

Гарасёва Анна Михайловна
Гарасёва Татьяна Михайловна
Гер Р.М.
Герценберг Перец Моисеевич
Гершуни Владимир Львович
Гинзбург Вениамин Лазаревич
Глебов Алексей Глебович
Говорко Николай Каллистратович
Голицын Всеволод Петрович
Гольдовская Виктория Юльевна
Голядкин Андрей Дмитриевич
Голядкина Елена Михайловна
Горшунов Владимир Сергеевич
Григорьев Григорий Иванович
Григорьева Анна Григорьевна
Гродзенский Яков Давыдович
Деева А.
Джигурда Анна Яковлевна
Диклер Франк
Добряк Иван Дмитриевич
Долган Александр Майкл
Дояренко Евгения Алексеевна
Елистратова Любовь Семёновна
Ермолов Юрий Константинович
Есенин–Вольпин Александр Сергеевич
Ефимова–Овсиенко

Жебеленко Николай Петрович
Жуков Виктор Иванович
Заболовский Ефим Яковлевич
Задорный Владилен
Зарин В.М.
Зведре Ольга Юрьевна
Зданюкевич Александр Климентьевич
Зобунков
Зубов Николай Иванович
Зубова Елена Александровна
Ивакин Василий Алексеевич
Иванов Вячеслав Всеволодович
Ивашёв–Мусатов Сергей Михайлович
Инчик Вера
Кавешан В.Я.
Каган Виктор Кусиэлевич
Кадацкая Мария Венедиктовна
Каденко
Калганов Александр Калинина М.И.
Каллистов Дмитрий Павлович Каминов Игорь Каминский Юрий Фёдорович Карбе Юрий Васильевич
Карпунич (Карпунич–Бравен) Иван Семёнович
Картель Илья Алексеевич
Касьянов Александр
Каупуж Анна Владиславовна

Кекушев Николай Львович
Киула Константин
Княгинин Вячеслав Ильич
Ковач Роза
Козак Ольга Петровна
Козаков Виктор Сергеевич
Козырев Николай Александрович
Колокольнев Иван Кузьмич
Колпаков Алексей Павлович
Колпаков С.
Комогор Леонид Александрович
Кононенко Марк Иванович
Кончиц Андрей Андреевич
Копелев Лев Зиновьевич
Корнеев Иван Алексеевич
Корнеева Вера Алексеевна
Кравченко Наталья Ивановна
Кузнецова К.И.
Ладыженская Ольга Александровна
Лазутина Раиса Александровна
Ларина Анна Михайловна
Левин Меер Овсеевич
Левитская Надежда Григорьевна
Лесовик Светлана Александровна
Лиленков И.
Липай И.Ф.

Липшиц Самуил Адольфович
Лихачёв Дмитрий Сергеевич
Лобанов
Лощилин Степан Васильевич Лукьянов В.В.
Лунин
Макеев Алексей Филиппович
Маковоз Григорий Самойлович
Малявко–Высоцкая Нина Константиновна
Маркелов Даниил Ильич
Мартынюк Павло Романович
Матвеева СП.
Межова Изабелла Адольфовна
Мейке Виктор Александрович
Мейке Ирина Емельяновна
Милючихин Валентин Егорович
Митрович Георгий Степанович
Нагель Ирина Анатольевна
Недов Леонид Иванович
Некрасов Николай Алексеевич
Никитин Вячеслав
Никитин Иван Иванович
Никитина Ксения Ивановна
Никляс Анна
Оленёв Александр Яковлевич
Олицкая Екатерина Львовна
Олухов Пётр Алексеевич

Орлова Елена Михайловна
Орловский Эрнст Семёнович
Острецова Александра Ивановна
Павлов Борис Александрович
Павлов Гелий Владимирович
Пашина Елена Анатольевна
Перегуд Нина Фёдоровна
Петров Александр Александрович
Петропавловский Алексей Николаевич
Пикалов Пётр
Пинхасик М.Г.
Писарев И.Г.
Пичугин В.
Пластар Валентин Петрович
Полев Геннадий Фёдорович
Политова Н.Н.
Польский Леонид Николаевич
Попков А.
Поспелов В.В.
Постоева Наталья Ивановна
Пося Пётр Никитич
Потапов Михаил Яковлевич
Потапов Сергей
Пронман Измаил Маркович
Прохоров–Пустовер
Прыткова Тамара Александровна

Птицын Пётр Николаевич
Пунич Иван Аристаулович
Пупышев Иван Алексеевич
Радонский
Раппопорт Арнольд Львович
Ретц Роланд Вильгельмович
Реут С.
Рожаш Янош
Романов Александр Дмитриевич
Рочев Степан Игнатьевич
Рубайло Александр Трофимович
Рудина Виктория Александровна
Рудинский (Петров) В.
Рудковский СМ.
Руднев
Рябинин Н.И.
Самшель Нина
Сачкова Екатерина Фёдоровна
Сговио Томас
Седова Светлана Борисовна
Семёнов Николай Андреевич
Семёнов Николай Яковлевич
Сергиенко Тамара Сергеевна
Синебрюхов Фёдор Александрович
Сипягина Людмила Алексеевна
Скачинский Александр Сергеевич

Скрипникова Анна Петровна
Смелов Павел Георгиевич
Снегирёв Владимир Николаевич
Соломин Илья Матвеевич
Сорокин Геннадий Александрович
Статников Анатолий Матусович
Степовой Александр Филиппович
Столярова Наталья Ивановна
Стотик Александр Михайлович
Страхович Елена Викторовна
Страхович Константин Иванович
Струтинская Елена
Сузи Арно
Сузи Арнольд Юханович
Сузи Хели
Сумберг Мария
Суровцева Надежда Витальевна
Сусалов Рафаил Израилевич
Сухомлина Татьяна Ивановна
Сучков Федот Федотович
Сущихин Сергей Фёдорович
Табатеров Илья Данилович
Тарашкевич Георгий Матвеевич
Тарновский В.П.
Твардовский Константин Трифонович
Терентьева Л.Я.

Тимофеев–Ресовский Николай Владимирович
Тихонов Павел Гаврилович
Токмаков Мстислав Владимирович
Трофимов Владимир
Тусэ Х.С.
Тхоржевский Сергей Сергеевич
Тэнно Георгий Павлович
Улановская Надежда Марковна
Улановский Алексей Петрович
Улащик Ольга Николаевна
Фадеев Ю.И.
Фаликс Татьяна Моисеевна
Филиппова Галина Петровна
Формаков Арсений Иванович
Фурфанский Т.Е.
Хлебунов Николай Николаевич
Хлодовский Всеволод Владимирович
Храбровицкий Александр Вениаминович
Цивилько Адольф Мечеславович
Чавдаров Д.Г.
Чавчавадзе Ольга Ивановна
Чеботарёв Сергей Андреевич
Четверухин Серафим Ильич
Чульпенёв Павел Васильевич
Шавирин Ф.В.
Шаламов Варлам Тихонович

Шаталов Василий Архипович
Швед Иван Васильевич
Шелгунов Александр Васильевич
Шефнер Виктор Викентьевич
Шиповальников Виктор Георгиевич
Щербаков Валерий Ф.
Эфроимсон Владимир Павлович
Юдина Мария Вениаминовна
Юнг Павел Густавович
Якубович Михаил Петрович

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.

Крыленко, речь на процессе Промпартии

Глава 1. АРЕСТ

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет.

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько

в ней живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: «Вы арестованы/»

Если уж вы арестованы—то разве ещё что–нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изощрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдавить что–нибудь иное, кроме как:

— Я?? За что?!? — вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест — это мгновенный разительный переброс, пере–кид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких–то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались— что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там–то и начинается — страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных,

хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки, не привыкшие к труду, но схватчивые, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы — арестованы!

И нич–ч–чего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего блеянья:

— Я–а?? За что??..

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это — резкий ночной звонок или грубый стук

в дверь. Это — бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напуганный прибитый понятой. (А зачем этот понятой? — думать не смеют жертвы, не помнят оперативники, но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука: ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых.)

Традиционный арест—это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой–то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят — для страху.)

Традиционный арест—это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание—и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком.

Юристы выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки[3]. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захватили «столько–то листов царских указов» — именно, указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь — и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: ишут, чего не клали.

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — как Нина Александров-

[3] Примечания: 3

Когда в 1937 громили институт доктора Казакова, то сосуды слизатами, изобретенными им, «комиссия» разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии лизаты считались ядами — и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства?)

на Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России — в пасть к ним, навсегда, без возврата.

А для оставшихся после ареста — долгий хвост развороченной опустошённой жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: «такой не числится», «такого нет!» Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода–год сам арестованный аукнется или выбросят:

«Без права переписки». А это уже значит — навсегда. «Без права переписки» — это почти наверняка: расстрелян.

Одним словом, «мы живём в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести и самые близкие люди, жена и мать… годами не знают, что сталось с ним». Правильно? нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о Бабушкине. Только выразим прямо: вёз Бабушкин транспорт оружия для восстания, с ним и расстреляли. Он знал, на что шёл. Не скажешь этого о кроликах, нас.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные пре-

имущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, недостегнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвёртую, даёт возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, — днём шагает молодое племя со знаменами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание

арестной операции гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюрь–моведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска;

по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

И ещё отдельно есть целая Наука Обыска (и мне удалось прочесть брошюру для юристов–заочников Алма–Аты). Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворошить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок,

вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить (вдруг человек подхватил что–либо из обысканного); и ещё раз потом прийти в то же место, но в новое время суток— и снова сделать обыск.

Нет–нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как–то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её… прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой–то молодой франт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: Органы не заплатят ему)—то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать

две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколона, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако он исполняется чисто и — вот удивительно! — сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки — от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников: он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон–вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь беззвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетённый исподлобными взглядами начальства, — вдруг

вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путёвку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался — значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он, ликуя, спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал! Ещё есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек: «Вы не узнаёте меня, Пётр Иваныч?» Пётр Иваныч в затруднении: «Как будто нет, хотя…» Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: «Ну, как же, как же, я вам напомню…» и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: «Вы простите, ваш супруг через одну минутку…» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку—навсегда или на десять лет!

А вокзал снует вокруг — и ничего не замечает… Граждане, любящие путешествовать! Не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.

Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от неё как–то и не отвязаться. Не думайте, что если вы — сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас

не могут арестовать среди бела дня на улице Горького близ Центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув грабастые руки: «Са–ша! — не таится, а просто кричит он. — Керюха! Сколько лет, сколько зим?!.. Ну, отойдём в сторонку, чтоб людям не мешать». А в сторонке–то, у края тротуара, как раз «победа» подъехала… (Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана.) Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе (так взят Жора Бледнов), не то что в Москве.

Надо воздать Органам заслуженное: в век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера, — аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском, — и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н.М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и еле живого,

в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор —все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостовереньице.

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь, кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в

сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору.)

Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные налитые 1945^16 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ, — уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч как убогая перекличка: стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест.

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ–НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьёй, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером, — даже тогда они почти не бежали (а в редких случаях кончали с собой). Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Это происходило ещё от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора—какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приёмную новочеркасского НКВД пришла женщина спросить: как быть с некормленым сосунком–ребёнком её арестованной соседки. «Посидите, — сказали ей, — выясним». Она посидела часа два — её взяли из приёмной и отвели в камеру: надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу, а эта уже была здесь! Наоборот, к латышу Андрею Павлу под Оршей пришло НКВД его арестовать; он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и прямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он — из Орши, он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому–либо подозрению. Ведь существует три вида розыска: всесоюзный, республиканский и областной, и почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным

обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, ещё до первого допроса, — никогда не ловились и не привлекались; а те, кто оставались дожидаться справедливости, — получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.

Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло оформить оставшихся вместо бежавшего.

Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и не возьмут? Может, обойдётся? А.И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37–м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого–то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в спискахЪ Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и

меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен—то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!» Других сажают повально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потёмки: «а может быть этот как раз… ?» А уж ты! — ты–то наверняка невиновен! Ты ещё рассматриваешь Органы как учреждение человечески логичное: разберутся — выпустят.

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих

передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофёром, оставшийся на улице, — угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, — остановилась бы проклятая машина!

Если бы… если бы… Мы просто заслужили всё дальнейшее.

И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков — и ни из–за какого в отдельности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса: «за что?!»), — а все–то вместе эти околичности неминуемо и складываются в арест.

Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного! — ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19–летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её

постели, в её комоде с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, — и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильней, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильней политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного—облегчение и даже… радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что–то не идут, всё что–то медлят — ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы ещё помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему беспартийными

его помощниками, изнемогал оттого, что всё руководство Кадыйского района арестовали (1937), а его всё не брали, всё не брали. Он мог принять удар только лбом — принял его и успокоился, и первые дни ареста чувствовал себя великолепно. — Священник отец Иеракс (Бочаров) в 1934 поехал в Алма–Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой, 8 лет перепрятывали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что когда его в 1943 всё–таки арестовали—он радостно пел Богу хвалу.

В этой главе мы всё говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придётся нам в книге ещё коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно политическим. Вера Рыбакова, студентка социал–демократка, на воле мечтала о Суздальском изоляторе: только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами (на воле их уже не оставалось) и там выработать своё мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму: ведь её

прошли лучшие люди России, а она ещё молода и ещё ничего для России не сделала. Но и воля уже изгоняла её из себя. Так обе они шли в тюрьму — с гордостью и радостью.

«Сопротивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас —неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, —ведут сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть сограждане наши ощетинились бы? может аресты не стали бы так легки!?

В 1927, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской пло-

щади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо!) Расторопные эти ребята сразу смутились. Они не могут работать при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. (И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать! А она пошла ночевать домой. И ночью отвезли её на Лубянку.)

Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершев–ца–дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2–го Белорусского фронта и теперь под предлогом кон-

воирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения—улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости десятки), —я чудом вырвался вдруг и вот уже четыре дня еду как вольный и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды — почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы—но, может быть, там не понимают по–русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука

не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского–радиального, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины— так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смирного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё

есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда–нибудь закричу я двумстам миллионам…

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу. Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофе кой Лубянской площади…

* * *

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, — и лишил

только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем–то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!

И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

— Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу — раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да! через этот глухой обруб между остававшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через

эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, — перешли немыслимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас… — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?

— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и готовясь дать на комбрига материал). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку

с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из–за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:

— Желаю вам — счастья — капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что этого не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти[4].

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать

---

[4] Примечания: 4

И вот удивительно: человеком всё–таки можно быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в союзе охотников.

о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершев–цы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно, а четверым—впритиску. Я как раз был четвёртым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз–другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы — и началось знакомство.

— А ты за что?

Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

— Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои — танкисты в чёрных мягких шлемах—не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца — род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое–где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках—память ранений и ожогов. Их дивизион, на беду, пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48–й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья–нибудь, а — начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все

мы хорошо знали: окажись девушки немки — их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки — их можно было бы во всяком случае гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам — забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно–полевая жена» начальника контрразведки — с трёх боевых офицеров какой–то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, — и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же подкинули пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой, и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

— Откуда, брат? Кто такой?

— С той стороны, — бойко ответил он. — Шпиён.

— Шутишь? — обомлели мы. (Чтобы шпион, и сам об этом говорил—так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

— Какие могут быть шутки в военное время! — рассудительно вздохнул паренёк. — А как из плена домой вернуться? — ну, научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, — вдруг новые впечатления ворвались к нам:

— На оправку! Руки назад! — звал через распахнувшуюся дверь старшина–лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122–миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой–то невежа–старшина смел командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё неста–явшим утоптанным снегом — и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача — найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

— Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

— Где это—у вас? — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

— В контрразведке СМЕРШ! — гордо и звончей чем требовалось отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное — из «смерть шпионам» — слово. Они находили его пугающим.)

— А у нас — медленно, — раздумчиво ответил

старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове ещё несостриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку.

— Где это—у вас? — громче чем нужно гавкнул старшина.

— В Красной армии, — очень спокойно ответил старший лейтенант с корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2. ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Когда теперь бранят произвол культа, то упираются всё снова и снова в настрявшие 1937–38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37–38–м.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: поток 37–38–го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, — одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации.

До него был поток 29–30–го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления

тяжелей.

И после был поток 44–46–го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы— побывавших (из–за нас же!) в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. (Это Сталин прижигал раны, чтоб они поскорей заструпились и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться.) Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток 37–го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером! — и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» — он только плечами пожмёт. А Ленинграду что тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый? А повторникам или прибалтам не тяжче был 4819–й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

Известно, что всякий орган без упражнения отмирает.

Итак, если мы знаем, что Органы (этим гадким словом они назвали себя сами), воспетые и приподнятые надо всем живущим, не отмирали ни единым щупальцем, но, напротив, наращивали их и крепли мускулатурой, — легко догадаться, что они упражнялись постоянно.

По трубам была пульсация—напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы—хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженями и опять половодьями, потоки сливались то большие, то меньшие, ещё со всех сторон текли ручейки, ручеёчки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки.

Приводимый дальше повременной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, — очень ещё не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуется много дополнений от людей знающих и оставшихся в живых.

* * *

В этом перечне труднее всего начать. И потому, что чем глубже в десятилетия, тем меньше осталось свидетелей, молва загасла и затемнилась, а летописей нет или под замком. И потому, что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения (Гражданская война) и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердие.

Но ещё и до всякой Гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришёлся по кадетам (при царе — крайняя зараза революции, при власти пролетариата— крайняя зараза реакции). В конце ноября 1917, в первый несостоявшийся срок созыва Учредительного Собрания, партия кадетов была объявлена вне закона и начались аресты их. Около того же времени проведены посадки «Союза защиты Учредительного Собрания» и системы «солдатских университетов».

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные

тюрьмы—крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК — арест стачечного комитета Всероссийского союза служащих. Один из первых циркуляров НКВД, декабрь 1917: «Ввиду саботажа чиновников… проявить максимум самодеятельности на местах, не отказываясь от конфискаций, принуждения и арестов» [5].

И хотя В.И. Ленин в конце 1917 для установления «строго революционного порядка» требовал «беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц»[6], то есть главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где–то там в третьем ряду, — однако он же ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7–10 января 1918) В.И. Ленин провозгласил об-

[5] Примечания: 5

Вестник Отдела местного управления Комиссариата внутренних дел: Журн. ВЦИК. М., 1917, № 1, с. 4.

[6] Примечания: 6

ВИ.Ленин. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5–е изд. М.: Гос. изд–во политич. лит., 1958–1965. Т. 35, с. 68..

щую единую цель «очистки земли российской от всяких вредных насекомых». И под насекомыми он понимал не только всех классово–чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами, тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) Аещё: «…в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне… нет… саботажников, называющих себя интеллигентами?» [7] Правда, формы очистки от насекомых

Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут жёлтые билеты», где расстреляют тунеядца; тут на выбор —тюрьма «или наказание на принудительных работах тягчайшего вида» [8]. Хотя, усматривая и подсказывая основные направления кары, Владимир Ильич предлагал нахождение лучших мер очистки сделать объектом соревнования «коммун и общин».

---

[7] Примечания: 7
Там же, с. 204

[8] Примечания: 8
Там же, с. 203

Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте: слишком неединообразно было российское население и встречались средь него обособленные, совсем ненужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные приходские советы, насекомые пели в церковных хорах. Насекомыми были все священники, а тем более —все монахи и монахини. Но и те толстовцы, которые, поступая на советскую службу или, скажем, на железную дорогу, не давали обязательной письменной присяги защищать советскую власть с оружием в руках, —также выявляли себя как насекомые (и мы ещё увидим случаи суда над ними). К слову пришлись железные дороги — так вот очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было выдёргивать, а кого и шлёпать. А телеграфисты, те почему–то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к Советам. Не скажешь доброго и о ВИКЖЕЛе, и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу.

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число — на несколько лет очистительной работы.

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Пётр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму?

И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да ещё в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: внесудебную расправу, и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК — Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения.

В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. Там и сям колоколили набаты, и православные бежали, кто и с палками. Естественно,

приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь над 1918–20 годами, затрудняемся мы: относить ли к тюремным потокам всех тех, кого расшлёпали, не доведя до тюремной камеры? И в какую графу всех тех, кого комбеды убирали за крылечком сельсовета или на дворовых задах? Успевали ли стать хоть ногою на землю Архипелага участники заговоров, раскрывавшихся гроздьями, каждая губерния свой (два рязанских, костромской, вышневолоцкий, велижский, несколько киевских, несколько московских, саратовский, черниговский, астраханский, селигерский, смоленский, бобруйский, тамбовский кавалерийский, чембарский, великолукский, мстиславльский и другие) или не успевали и потому не относятся к предмету нашего исследования? Минуя подавление знаменитых мятежей (Ярославский, Муромский, Рыбинский, Арзамасский), мы некоторые события знаем только по одному названию — например Колпинский расстрел в июне 1918 — что это? кого это?.. И куда записывать?

Немалая трудность и решить: сюда ли, в тюремные потоки, или в баланс Гражданской войны отнести десятки тысяч заложников, этих ни в

чём лично не обвинённых и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе? После 30.8.1918 НКВД дал указания на места «немедленно арестовать всех правых эсеров, а из буржуазии и офицерства взять значительное количество заложников» [9]. (Ну, как если бы, например, после покушения группы Александра Ульянова была бы арестована не она только, но и все студенты в России и значительное количество земцев.) Это так открыто и объяснялось (Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора». Постановлением Совета Обороны от 15.2.1919 — очевидно под

[9] Примечания: 9
Вестник НКВД: Журн. ВЦИК. М., 1918, №21–22, с. 1

председательством Ленина? — предложено ЧК и НКВД брать заложниками крестьян тех местностей, где расчистка снега с железнодорожных путей «производится не вполне удовлетворительно», —с тем, что, «если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны» [10]. Постановлением СНК конца 1920 разрешено брать заложниками и социал–демократов.

Но, даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников–социалистов. Все эти партии — эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину — и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал–предателей. Естественно же было приступить к их арестам! Вскоре за кадетами, за разгоном Учредительного Собрания, обезоружением Преображенского и других полков стали брать помалу, сперва потихоньку, и эсеров с меньшевиками. С 14 июня 1918, дня исключения их изо

[10] Примечания: 10
Декреты советской власти. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1968, с. 627.

всех советов, эти аресты пошли гуще и дружней. С 6 июля—туда же погнали и левых эсеров, коварнее и дольше притворявшихся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки (их много было уже летом 1918, а в марте 1921 они сотрясли Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП), чтобы одновременно с успокоением, уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих—ЧК неслышно бы выхватывало ночами меньшевиков и эсеров как истинных виновников этих волнений. Летом

1918, в апреле и октябре 1919 густо сажали анархистов. В 1919 была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК— и досидела в Бутырках до своего процесса в 1922. В том же 1919 видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами… Мы их сажаем в укромное местечко, в Бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончит-

ся борьба труда с капиталом» [11]. В июле 1918 беспартийный рабочий съезд весь арестован отрядом латышской охраны Кремля, и в Таганке едва не перестреляны все тотчас.

Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из–за границы (зачем? с каким заданием?), — и так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного (во Франции) русского корпуса.

В 19–м же году с широким замётом вокруг истинных и псевдозаговоров («Национальный Центр», Военный Заговор) в Москве, в Петрограде и в других городах расстреливали по спискам (то есть брали вольных сразу для расстрела) и просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околокадетскую. А что значит «околокадетская»? Не монархическая и не социалистическая, то есть: все научные круги, все университетские, все художественные, литературные да и вся инженерия. Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80% её, и

[11] Примечания: 11

М.И.Лацис (Я.Ф. Судрабс). Два года борьбы на внутреннем фронте: Популярный обзор двухгодичной деятельности чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. М.: Гос. изд–во, 1920, с. 61. — (Речи и беседы агитатора, №9.)

была «околокадетской». Сюда, по мнению Ленина, относился, например, Короленко — «жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками», «таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме» [12]. Об отдельных арестованных группах мы узнаём из протестов Горького. 15.9.1919 Ильич отвечает ему: «…для нас ясно, что и тут ошибки были» [13], но — «Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!» [14], и советует Горькому не «тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов» [15].

С января 1919 года расширена продразвёрстка и для сбора её составляются продотряды. Они встретили повсюдное сопротивление деревни — то упрямо–уклончивое, то бурное. Подавление этого противодействия тоже дало (не считая расстрелянных на месте) обильный поток арестованных в течение двух лет.

Мы сознательно обходим здесь всю ту большую

---

[12] Примечания: 12
В.И.Лвнин. Полн. собр. соч. Т. 51, с. 48.

[13] Примечания: 13
Там же, с. 47.

[14] Примечания: 14
Там же, с. 48.

[15] Примечания: 15
Там же, с. 49.

часть помола ЧК, Особотделов и Реввоентрибуналов, которая связана была с продвижением линии фронта, с занятием городов и областей. Та же директива НКВД от 30.8.1918 направляла усилия «к безусловному расстрелу всех замешанных в белогвардейской работе». Но иногда теряешься: как правильно разграничивать? Если с лета 1920 года, когда Гражданская война ещё не вся и не всюду кончена, но на Дону уже кончена, оттуда, из Ростова и Новочеркасска, во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки (и несколько барж потоплено в Белом море — как, впрочем, и в Каспийском) — то относить ли это всё ещё к Гражданской войне или к началу мирного строительства? Если в том же году в Новочеркасске расстреливают беременную офицерскую жену за укрытие мужа, то по какому разряду её списывать?

В мае 1920 года известно постановление ЦК «О подрывной деятельности в тылу». Из опыта мы знаем, что всякое такое постановление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов, есть внешний знак потока.

Особой трудностью (но и особым достоинством!) в организации этих всех потоков было до 1922 года отсутствие Уголовного кодекса,

какой–либо системы уголовных законов. Одно лишь революционное правосознание (но всегда безошибочно!) руководило изымателями и канализаторами: кого брать и что с ними делать.

В этом обзоре не будут прослеживаться потоки уголовников и бытовиков, и поэтому только напомним, что всеобщие бедствия и недостачи при перестройке администрации, учреждений и всех законов лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж (спекуляций). Хотя и не столь опасные существованию Республики, эти уголовные преступления тоже частично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров. А была спекуляция и совершенно политического характера, как указывал декрет Совнаркома за подписью Ленина от 22.7.1918: «…виновные в сбыте, скупке или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания, монополизированных Республикой (крестьянин хранит хлеб—для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел?? — А.С.) …лишение свободы на срок не менее 10 лет, соединенное с тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества».

С того лета черезсильно напрягшаяся дерев-

ня год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызывало крестьянские восстания, а стало быть подавление их и новые аресты. («Самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась», — Короленко, письмо Горькому от 10.8.1921.) В 1920 году мы знаем (не знаем…) процесс «Сибирского Крестьянского Союза». В конце 1920 происходит предварительный разгром тамбовского крестьянского восстания, руководимого Союзом Трудового Крестьянства (как и в Сибири). Тут судебного процесса не было…

Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 1921 года. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой, и три недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из неё—в восстании. Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, — семью ссылали [16].

Ещё ранее, в марте 1921, на острова Архипелага через Трубецкой бастион Петропавловской крепости отправлены были, за вычетом расстре-

[16] Примечания: 16

М. Тухачевский. Борьба с контрреволюционными восстаниями // Война и революция. М.: Война и техника, 1926. Кн. 8, с. 10, 11.

лянных, матросы восставшего Кронштадта.

Тот 1921 год начался с приказа ВЧК № 10 (от 8.1.1921): «в отношении буржуазии репрессии усилить»! Теперь, когда кончилась Гражданская война, не ослабить репрессии, но усилитъ\ Как это выглядело в Крыму, сохранил нам Волошин в некоторых стихах.

Летом 1921 был арестован Общественный Комитет Содействия Голодающим (Кускова, Прокопович, Кишкин и др.), пытавшийся остановить надвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которым можно было разрешить кормить голодных. Пощажённый председатель этого Комитета умирающий Короленко назвал разгром комитета — «худшим из политиканств, правительственным политиканством» (письмо Горькому от 14.9.1921). (И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 1921 года — «она вся пропитана тифом». Так подтверждает Скрипникова и другие, сидевшие тогда.)

В том 1921 году уже практиковались и аресты студентов (например, Тимирязевская Академия, группа Е. Доярен–ко) за «критику порядков» (не публичную, но в разговорах между собой). Таких случаев было ещё, видимо, немного, потому что

указанную группу допрашивали сами Менжинский и Ягода.

Но и не так мало. Чем же, как не арестами, могла кончиться неожиданная смелая забастовка студентов МВТУ весной 1921? С годов лютой столыпинской реакции в этом училище была традиция, что ректор его выбирался из своих же профессоров. Таков и был профессор Калинников (мы его ещё встретим на скамье подсудимых), революционная власть прислала вместо него какого–то серенького инженера. Это было в разгар экзаменационной сессии. Студенты отказались сдавать экзамены, собрались на бурлящую сходку во дворе, отвергли присланного ректора и потребовали сохранить статут самоуправления училища. А потом вся сходка отправилась пешком на Моховую для товарищеской встречи со студентами Университета. — Вот и загадка: что же делать власти? Загадка, да не для коммунистов. В царское время забурлила бы вся благородная печать, весь образованный мир: долой правительство, долой царя! А теперь — записали ораторов, дали сходке разойтись, прекратили экзаменационную сессию, а в летние каникулы по одному в разных местах взяли всех, кого надо. Другие так и не получили инженерного образования.

В том же 1921 расширились и унаправились аресты социалистических инопартийцев. Уже, собственно, поконали все политические партии России, кроме победившей. (О, не рой другому яму!) А чтобы распад партий был необратим — надо было ещё, чтобы распались и сами члены этих партий, тела этих членов.

Ни один гражданин российского государства, когда–либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал, как Майский или Вышинский, по доскам крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить (по степени своей опасности) до 1922, до 32–го или даже до 37–го года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос: состоял ли он… от… до… ? (Бывали вопросы и о его враждебной деятельности, но первый вопрос решал всё, как это ясно нам теперь через десятилетия.) Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов (счастливым образом централы все хорошо сохранились, и некоторые социалисты попадали даже в те самые камеры и к тем же

надзирателям, которых знали уже). Иным предлагали проехать в ссылку—о, ненадолго, годика на два–на три. А то ещё мягче: только получить минус (столько–то городов), выбрать самому себе местожительство, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикреплённо и ждать воли ГПУ.

Операция эта растянулась на многие годы, потому что главным условием её была тишина и незамечаемость. Важно было неукоснительно очищать Москву, Петроград, порты, промышленные центры, а потом просто уезды от всех иных видов социалистов. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь. Чей–то дальновидный ум это спланировал, чьи–то аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбывшую три года в одной кучке, и мягко перекладывали её в другую кучку. Тот, кто посидел в централе, — переводился в ссылку (и куда–нибудь подальше), кто отбыл «минус» — в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки — в ссылку, потом снова в централ (уже другой); терпение и терпение господствовало у раскладывающих

пасьянс. И без шума, без вопля постепенно затеривались инопартий–ные, роняли всякие связи с местами и людьми, где прежде знали их и их революционную деятельность, — и так незаметно и неуклонно подготовлялось уничтожение тех, кто когда–то бушевал на студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. (Короленко писал Горькому 29.6.1921: «История когда–нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим». О, если бы только так! — они бы все выжили.)

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан, ибо именно эсеры и анархисты, а не социал–демократы получали от царских судов самые суровые приговоры, именно они и составляли население старой каторги.

Очерёдность уничтожения была, однако, справедлива: в 20–е годы им предлагалось подписать письменные отречения от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались — и так естественно попадали в первую очередь уничтожения, другие давали такие отречения — и тем прибавляли себе несколько лет жизни. Но

неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливалась с плеч и их голова.

Иногда прочтёшь в газете статейку и дивишься ей до головотрясе–ния. «Известия» 24.5.1959: через год после прихода Гитлера к власти Максимилиан Хауке арестован за принадлежность к… не к какой–нибудь партии, а к коммунистической. Его уничтожили? Нет, осудили на два года. После этого, конечно, новый срок? Нет, выпустили на волю. Вот и понимай как знаешь! Он тихо жил потом, создавал подполье, в связи с чем и статья о его бесстрашии.

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» — сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве — распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде—митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к

живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой — протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе.

Попадали с ранних 20–х годов и группы теософов, мистиков, спиритов (группа графа Палена вела протоколы разговоров с духами), религиозные общества, философы бердяев–ского кружка. Мимоходом были разгромлены и пересажаны «восточные католики» (последователи Владимира Соловьёва), группа А.И. Абрикосовой. Как–то уж сами собой садились и просто католики — польские ксёндзы.

Однако коренное уничтожение религии в этой стране, все 20–е и 30–е годы бывшее одной из важных целей ГПУ–НКВД, могло быть достигнуто только массовыми посадками самих верующих православных. Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так

зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Арестовывали и судили церковные активы. Круги всё расширялись — и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали монашками.

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Ходкевич:

Молиться можешь ты свободно, Но… так, чтоб слышал Бог один.

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать её от… своих детей!! Религиозное воспитание детей стало в 20–е годы квалифицироваться как 58–10, то есть контрреволюционная агитация! Правда, на суде ещё давали возможность отречься от религии. Нечасто, но бывало так, что отец отрекался и оставался растить детей, а мать семейства шла на Соловки (все эти десятилетия женщины проявляли в вере большую стойкость). Всем религиозным давали десятку, высший тогда срок.

(Очищая крупные города для наступающего

чистого общества, в те же годы, особенно в 1927, вперемешку с «монашками» слали на Соловки и проституток. Любительницам грешной земной жизни, им давали лёгкую статью и по три года. Обстановка этапов, пересылок, самих Соловков не мешала им зарабатывать своим весёлым промыслом и у начальства, и у конвойных солдат и с тяжёлыми чемоданами через три года возвращаться в исходную точку. Религиозным же закрыто было когда–нибудь вернуться к детям и на родину.)

Уже в ранние 20–е годы появились и потоки чисто национальные — пока ещё небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам: мусаватистов из Азербайджана, дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов«басмачей», сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. В 1926 году было полностью пересажано сионистское общество «Гехалуц», не сумевшее подняться до всеувлекающего порыва интернационализма.

Среди многих последующих поколений утвердилось представленье о 20–х годах как о некоем разгуле ничем не стеснённой свободы. В этой книге мы ещё встретимся с людьми, кто воспринимал 20–е годы иначе. Беспартийное студенчество в

это время билось за «автономию высшей школы», за право сходок, за освобождение программы от изобилия политграмоты. Ответом были аресты. Они усилялись к праздникам (например, к 1 мая 1924). В 1925 ленинградские студенты (числом около сотни) все получили по три года политизолятора за чтение «Социалистического вестника» и штудирование Плеханова (сам Плеханов во времена своей юности за выступление против правительства у Казанского собора отделался много дешевле). В 25–м году уже начали сажать и самых первых (молоденьких) троцкистов. (Два наивных красноармейца, вспомнив русскую традицию, стали собирать средства на арестованных троцкистов — получили тоже политизолятор.)

Уж разумеется, не были обойдены ударом и эксплуататорские классы. Все 20–е годы продолжалось выматывание ещё уцелевших бывших офицеров: и белых (но не заслуживших расстрела в Гражданскую войну), и бело–красных, повоевавших там и здесь, и царско–красных, но которые не всё время служили в Красной армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами. Выматывали — потому что сроки им давали не сразу, а проходили они—тоже пасьянс! — бесконечные проверки, их ограничивали в работе,

в жительстве, задерживали, отпускали, снова задерживали, —лишь постепенно они уходили в лагеря, чтобы больше оттуда не вернуться.

Однако отправкой на Архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось: ведь оставались матери офицеров, жёны и дети. Пользуясь непогрешимым социальным анализом, легко было представить, что у них за настроение после ареста глав семей. Тем самым они просто вынуждали сажать и их! И льётся ещё этот поток.

В 20–е годы была амнистия казакам, участникам Гражданской войны. С Лемноса многие вернулись на Кубань и на Дон, получали землю. Позже все были посажены.

Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники. Они умело маскировались, они пользовались тем, что ни паспортной системы, ни единых трудовых книжек ещё не было в Республике, —и пролезали в советские учреждения. Тут помогали обмолвки, случайные узнавания, соседские доносы… то бишь боевые донесения. (Иногда — и чистый случай. Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех бывших губернских юридических работников. В 1925 случайно это

у него обнаружили — всех взяли — и всех расстреляли.)

Так лились потоки «за сокрытие соцпроисхождения», за «бывшее соцположение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали пличных дворян, то есть попросту — окончивших когда–то университет. А уж взят — пути назад нет, сделанного не воротишь. Часовой Революции не ошибается.

(Нет, всё–таки есть пути назад! —это тонкие, тощие про–тивопотоки — но иногда они пробиваются. И первый из них упомянем здесь. Среди дворянских и офицерских жён и дочерей не в редкость были женщины выдающихся личных качеств и привлекательной наружности. Некоторые из них сумели пробиться небольшим обратным потоком — встречным! Это были те, кто помнил, что жизнь даётся нам один только раз и ничего нет дороже нашей жизни. Они предложили себя ЧК–ГПУ как осведомительницы, как сотрудницы, как кто угодно—и те, кто понравились, были приняты. Это были плодотворнейшие из осведомителей! Они много помогли ГПУ, им очень верили «бывшие». Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую, виднейшую

послереволюционную стукачку (стукачом был и сын её на Соловках); Конкордию Николаевну Иоссе — женщину, видимо, блестящих качеств: мужа её, офицера, при ней расстреляли, самою сослали в Соловки, но она сумела выпроситься назад и вблизи Большой Лубянки вести салон, который любили посещать крупные деятели этого Дома. Вновь посажена она была только в 1937, со своими ягодинскими клиентами.)

Смешно сказать, но по нелепой традиции сохранялся от старой России Политический Красный Крест. Три отделения было: Московское (Е. Пешкова), Харьковское (Сандомирская) и Петроградское. Московское вело себя прилично—и до 1937 не было разогнано. Петроградское же (старый народник Шевцов, хромой Гартман, Кочаровский) держалось несносно, нагло, ввязывалось в политические дела, искало поддержки старых шлиссельбуржцев (Новорусский, одноделец Александра Ульянова) и помогало не только социалистам, но и ка–эрам — контрреволюционерам. В 1926 оно было закрыто и деятели его отправлены в ссылку.

Годы идут, и неосвежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год ещё

необрубленного НЭПа. А был он — напряжённый, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда в Варшаве, залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения.

Но вот незадача: Польша приносит извинения, единичный убийца Войкова [17] арестован там, — как же и над кем же выполнить призыв поэта:

Спайкой,
стройкой,
выдержкой
и расправой
Спущенной своре
шею сверни!

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут–то и начинается войковский набор. Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях сажают бывших, сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию. В самом деле — кого же сажать в городах? Не

[17] Примечания: 17

Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П.Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).

рабочий же класс! Но интеллигенцию «околокадетскую» и без того хорошо перетрясли ещё с 1919 года. Так не пришла ли пора потрясти интеллигенцию, которая изображает себя передовой? Перелистать студенчество. Тут и Маяковский опять под руку:

Думай
о комсомоле
дни и недели!
Ряды
свои
оглядывай зорче.
Все ли
комсомольцы
на самом деле
Или
только
комсомольца корчат?

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: социальная профилактика. Он введен, он принят, он сразу всем понятен. (Один из начальников Бело–морстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: «Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!») В самом

деле, ненадёжных попутчиков, всю эту интеллигентскую шать и гниль—когда же сажать, если не в канун войны за мировую революцию? Когда большая война начнётся—уже будет поздно.

И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. Повсюду кто–то должен быть взят. Лозунг: «Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнётся от ужаса!» К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём воронки, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и регистрировать. (Это — и в других городах. В Ростове–на–Дону в подвале Тридцать Третьего Дома в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле находится место сесть.)

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие–то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько–то копеек они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают всех, дают от трёх до десяти лет

(Анне Скрипниковой — пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) — расстреливают!

Или, в том же году, где–то в Париже собираются лицеисты–эмигранты отметить традиционный «пушкинский» лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это — затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются все лицеисты, ещё оставшиеся в СССР, а заодно — и «правоведы» (другое такое же привилегированное училище).

Только размерами СЛОНа — Соловецкого Лагеря Особого Назначения — ещё пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны.

Отведан новый вкус, и возник новый аппетит. Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету.

То есть мы никогда инженерам и не доверяли—этих лакеев и прислужников бывших капиталистических хозяев мы с первых же лет Революции взяли под здоровое рабочее недоверие и контроль. Однако в восстановительный

период мы всё же допускали их работать в нашей промышленности, всю силу классового удара направляя на интеллигенцию прочую. Но чем больше зрело наше хозяйственное руководство, ВСНХ и Госплан, и увеличивалось число планов, и планы эти сталкивались и вышибали друг друга — тем ясней становилась вредительская сущность старого инженерства, его неискренность, хитрость и продажность. Часовой Революции прищурился зорче — и куда только он направлял свой прищур, там сейчас же и обнаруживалось гнездо вредительства.

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. НКПС (железные дороги) — вредительство (вот и трудно на поезд попасть, вот и перебои в доставке). МОГЭС — вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность — вредительство (керосина не достанешь). Текстильная — вредительство (не во что одеться рабочему человеку). Угольная — колоссальное вредительство (вот почему мёрзнем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золото платинная, ирригация — всюду гнойные нарывы

вредительства! со всех сторон — враги с логарифмическими линейками! ГПУ запыхалось хватать и таскать вредителей. В столицах и в провинции работали коллегии ОГПУ и пролетарские суды, проворачивая эту тягучую нечисть, и об их новых мерзостных делишках каждый день, ахая, узнавали (а то и не узнавали) из газет трудящиеся. Узнавали о Пальчин–ском, фон Мекке, Величко [18], а сколько было безымянных. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительство и, едва начинали, —тут же и находили (с помощью ГПУ). Если какой инженер дореволюционного выпуска и не был ещё разоблачённым предателем, то наверняка можно было его в этом подозревать.

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по–разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет

[18] Примечания: 18

А.Ф. Величко, инженер–путеец. Окончил Археологический институт, Институт инженеров путей сообщения. Старший инспектор НКПС. Погиб в тюрьме. Ох как пригодился бы в 1941!

был: увеличить товарные составы, не бояться тяжелогруженых. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён (и расстрелян): он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же, малое время спустя, новый Наркомпути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжелогруженые составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина), — то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков—они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта.

Этих предельщиков бьют несколько лет, они — во всех отраслях, трясут своими расчётными формулами и не хотят понять, как мостам и станкам помогает энтузиазм персонала. (Это годы изворота всей народной психологии: высмеивается оглядчивая народная мудрость, что быстро хорошо не бывает, и выворачивается старинная пословица «тише едешь...».) Что только задерживает иногда арест старых инженеров — это неготовность смены. Николай Иванович Лады-

женский, главный инженер военных ижевских заводов, сперва арестовывается за «предельные теории», за «слепую веру в запас прочности», исходя из каковой, считал недостаточными суммы, подписанные Орджоникидзе для расширения заводов.

(А Орджоникидзе, рассказывают, разговаривал со старыми инженерами так: клал на письменный стол по пистолету справа и слева.) Но затем его переводят под домашний арест — и велят работать на прежнем месте (дело без него разваливается). Он налаживает. Но суммы как были недостаточны, так и остались — и вот теперь–то его снова в тюрьму «за неправильное использование сумм»: потому и не хватило их, что главный инженер плохо ими распоряжался! В один год Ладыженский умирает на лесоповале.

Так в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина–Михайловского и Замятина.

Само собой, что и в этот поток, как во всякий, прихватываются и другие люди, близкие и связанные с обречёнными, например и… не хотелось бы запятнать светлобронзовый лик Часового, но приходится… и несостоявшиеся осведомители.

Этот вовсе секретный, никак публично не проявленный поток мы просили бы читателя всё время удерживать в памяти — особенно для первого послереволюционного десятилетия: тогда люди ещё бывали горды, у многих ещё не было понятия, что нравственность — относительна, имеет лишь узкоклассовый смысл, —и люди смели отказываться от предлагаемой службы, и всех их карали без пощады. Как раз вот за кругом инженеров предложили следить молоденькой Магдалине Эджубовой, а она не только отказалась, но рассказала своему опекуну (за ним же надо было и следить): однако тот всё равно был вскоре взят и на следствии во всём признался. Беременную Эджубову «за разглашение оперативной тайны» арестовали и приговорили к расстрелу. (Впрочем, она отделалась 25–летней цепью нескольких сроков.) В те же годы (1927), хоть в совсем другом кругу — среди видных харьковских коммунистов, так же отказалась следить и доносить на членов украинского правительства Надежда Витальевна Суровцева—за то была схвачена в ГПУ и только через четверть столетия, еле живою, выбарахталась на Колыме. А кто не всплыл — о тех мы и не знаем.

(В 30–е годы этот поток непокорных сходит к ну-

лю: раз требуют осведомлять, значит, надо — куда ж денешься? «Плетью обуха не перешибёшь». «Не я — так другой». «Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, плохой». Впрочем, тут уже добровольцы прут в сексоты, не отобьёшься: и выгодно, и доблестно.)

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело — громкое по публичности, которую ему придают, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё пока не всех). Через два года, в сентябре 1930, с треском судятся организаторы голода (они! они! вот они!) — 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отрепетированный процесс Промпартии: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь — и вот перед глазами трудящихся, как монумент, освобождённый от покрывала, восстаёт грандиозное хитроумное сплетение всех отдельных доныне разоблачённых вредительств в единый дьявольский узел с Милюковым, Рябушинским, Детердингом и Пуанкаре.

Уже начиная вникать в нашу судебную практику, мы понимаем, что общевидные судебные процессы — это только наружные кротовые кучи,

а всё главное копанье идёт под поверхностью. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и разум отвергнуть следовательскую несуразицу, — те судятся неслышно, но лепятся и им — несознавшимся — те же десятки от коллегии ГПУ.

Потоки льются под землёю, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь.

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто своими телами ещё не грохнулись в канализационные люки, кого ещё не понесли трубы на Архипелаг, — те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и радоваться судебным расправам. (Это предусмотрительно! — пройдут десятилетия, история очнётся — но следователи, судьи и прокуроры не окажутся более виноваты, чем мы с вами, сограждане! Потому–то мы и убелены благопристойными сединами, что в своё время благопристойно голосовали за)

Если не считать ленинско–троцкого эксперимента при процессе эсеров в 1922 году, то Сталин

начал такие пробы с организаторов голода, — и ещё бы пробе не удаться, когда все оголодали на обильной Руси, когда все только и озираются: куда ж наш хлебушка запропастился? И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям подсудимым. А уже к Промпартии — это всеобщие митинги, это демонстрации (с прихватом и школьников), это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! Смерти! Смерти!»

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания — очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы сказать «нет!» — несравнимо с сегодняшнею лёгкостью! (А и сегодня не очень–то возражают.) На собрании ленинградского Политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался (он, видите, вообще противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки необратимый процесс) — и тут же посажен! Студент Дима Олицкий — воздержался, и тут же посажен! И все эти протесты заглохли при самом начале.

Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы, от пыла-

ющих комсомольцев и до партийных вождей и до легендарных командармов — весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики и провидцы, за семь лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рёв толпы, не догадываясь, что при пороге их время, что скоро и их имена поволокут в этом рёве — «нечистью» и «мразью».

А для инженеров как раз тут вскоре разгром и кончался. Летом 1931 года вымолвил Иосиф Виссарионович «Шесть условий» строительства, и угодно было Его Единодержавию пятым условием указать: от политики разгрома старой технической интеллигенции — к политике привлечения и заботы о ней.

И заботы о нейЛ И куда испарился наш справедливый гнев? И куда отмелись все наши грозные обвинения? Проходил тут как раз процесс вредителей в фарфоровой промышленности (и там нашкодили!) — и уже дружно все подсудимые поносили себя и во всём сознавались — и вдруг так же дружно воскликнули: невиновны!! И их освободили!

(Даже наметился в том году маленький антипоток: уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и

ДА. Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что граждански мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?)

Давно опрокинутых навзничь меньшевиков ещё покопы–тил в марте 1931 Сталин в публичном процессе «Союзного Бюро меньшевиков», Громан^Суханов–Якубович (Громан — скорее кадет, Якубович почти большевик, а Гиммер–Суха–нов — тот самый, теоретик Февраля, на квартире которого в Петрограде на набережной Карповки 10 октября 1917 собрался болыпевицкий ЦК и принял решение о вооружённом восстании). И вдруг — задумался.

Беломорцы так говорят о приливе — вода задумалась: это перед тем, как пойти на спад. Ну, негоже сравнивать мутную душу Сталина с водою Белого моря. Да может быть он нисколько и не задумался. Да и спада никакого не было. Но ещё одно чудо в том году произошло. Вслед за процессом Промышленной Партии готовился в 1931 году грандиозный процесс Трудовой Крестьянской Партии — якобы (никогда не!) существовавшей огромной подпольной организованной силы из сельской интеллигенции, из деятелей потребительской и сельскохозяйственной кооперации

и развитой верхушки крестьянства, готовившей свержение диктатуры пролетариата. На процессе Промпартии эту ТКП уже поминали как прихваченную, как хорошо известную. Следственный аппарат ГПУ работал безотказно: уже тысячи обвиняемых полностью сознались в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях. А всего было обещано «членов» — двести тысяч. «Во главе» партии значились экономист–аграрник Александр Васильевич Чаянов; будущий «премьер–министр» Н.Д. Кондратьев; Л.Н. Юровский; Макаров; Алексей Доярен–ко, профессор из Тимирязевки, — будущий «министр сельского хозяйства».

А может быть, и получше бы тех, кто эту должность потом сорок лет занимал. И вот человеческий жребий! Дояренко был принципиально всегда вне политики! Когда дочь его приводила в дом студентов, высказывающих как бы эсеровские мысли, — он их из дому выгонял.

И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал—почему, мы этого, может быть, никогда не узнаем. Захотел он душеньку отмаливать? — так рано. Пробило чувство юмора, что уж больно однообразно, оскомина? — так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора.

А вот что скорей: прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода вымирать, и не двести тысяч, так нечего и трудиться. И вот была отменена вся ТКП, всем «сознавшимся» предложили отказаться от сделанных признаний (можно себе вообразить их радость!) и вместо этого засудили внесудебным порядком, через коллегию ОГПУ, небольшую группу Кондратьева–Чаянова [19]. (А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП — была, и он–то, Вавилов, тайно её и возглавлял.)

Теснятся абзацы, теснятся года — и никак нам не выговорить всего по порядку, что было (а ГПУ отлично справлялось! а ГПУ ничего не упускало!). Но будем всё время помнить:

— что верующих сажают непрерывно, само собою. (Тут выплывают какие–то даты и пики. То «ночь борьбы с религией» в рождественский сочельник 1929 в Ленинграде, когда посадили много религиозной интеллигенции, и не до утра, не в виде рождественской сказки. То там же в феврале 1932 закрытие многих сразу церквей и

[19] Примечания: 19

Приговорённые в 1932 к 8 годам концлагеря, Кондратьев и Юровский отбывали срок в Суздальском политизоляторе. Больной Юровский выпущен в конце 1934. Оба расстреляны в 1938. Получивший 5 лет Чаянов в 1933 выслан в Алма–Ату, где в 1937 расстрелян. — Примеч. ред.

одновременно густые аресты духовенства. А ещё больше дат и мест — никем до нас не донесено);

— что не упускают громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так в 1929 посадили всех сплошь членов коммуны между Сочи и Хостой. Всё у них было по–коммунистически— и производство, и распределение, и всё так честно, как страна не достигнет и за сто лет, но, увы, слишком они были грамотны, начитанны в религиозной литературе, и не безбожие было их философией, а смесь баптизма, толстовства и йоговства. Стало быть, такая коммуна была преступна и не могла принести народу счастья. В 20–е же годы значительная группа толстовцев была сослана в предгорья Алтая, там они создали посёлки–коммуны совместно с баптистами. Когда началось строительство Кузнецкого комбината, они снабжали его продуктами. Затем начали арестовывать—сперва учителей (учили не по государственным программам), дети с криком бежали за машинами, затем—руководителей общин;

— что как–то же расчистили (и не всех воспитанием, а кого и свинцом) те тучи беспризорной молодёжи, какая в 20–е годы осаждала городские асфальтные котлы, а с 1930 года вся исчезла

вдруг;

— что не упускаются случаи недозволенного милосердия (за собиранье в цеху денег для жены заключённого рабочего — арест);

— что Большой Пасьянс социалистов перекладывается непрерывно, само собой;

— что с 1929 сажают не сосланных вовремя за границу историков (Платонов, Тарле, Любавский, Готье, Измайлов), выдающегося литературоведа М.М. Бахтина, молодого тогда Лихачёва;

— что текут и национальности то с одной окраины, то с другой.

Сажают якутов после восстания 1928 года. Сажают бурят–монголов после восстания 1929 года. (Расстреляно, как говорят, около 35 тысяч. Проверить нам не дано.) Сажают казахов после героического подавления их конницей Будённого в 1930–31 годах. Судят в начале 1930 Союз освобождения Украины (профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие), а, зная наши пропорции объявляемого и тайного, — сколько там ещё за их спинами? сколько там негласно?..

И подходит, медленно, но подходит, очередь садиться в тюрьму членам правящей партии! Пока (1927–29) это — «рабочая оппозиция» или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их

пока — сотни, скоро будут — тысячи. Но лиха беда начало. Как эти троцкисты спокойно смотрели на посадки инопартийных, так сейчас остальная партия одобрительно взирает на посадку троцкистов. Всем свой черёд. Дальше потечёт несуществующая «правая» оппозиция. Членик за членико́м прожевав с хвоста, доберётся пасть и до собственной головы.

С 1928 же года приходит пора рассчитываться с буржуазными последышами—нэпманами. Чаще всего им приносят всё возрастающие и уже непосильные налоги, с какого–то раза они отказываются платить, и тут их сажают за несостоятельность и конфискуют имущество. (Мелких кустарей—парикмахеров, портных, да тех, кто чинит примусы, только лишают патента.)

В развитии нэпманского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото, а Колымы ещё нет никакой. С конца 1929 начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового «золотого» потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чём не винит и готово не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. По-

этому забиты тюрьмы, изнемогают следователи, а пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение.

Кого сажают в «золотом» потоке? Всех, кто когда–то, 15 лет назад, имел «дело», торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по соображениям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очень часто золота и не оказывалось: держали имущество в движимости, в недвижимости, всё это сгинуло, отобрано в революцию, не осталось ничего. С большой надеждой сажаются, конечно, зубные техники, ювелиры, часовщики. О золоте в самых неожиданных руках можно узнать по доносу: стопроцентный «рабочий от станка» откуда–то взял и хранит шестьдесят николаевских золотых пятёрок; известный сибирский партизан Муравьёв приехал в Одессу и привёз с собой мешочек с золотом (награбил в Гражданскую войну); у петербургских татар–извозчиков ломовых у всех спрятано золото. Так это или не так — разобраться можно только в застенках. Уж ничем — ни пролетарской сущностью, ни революционными заслугами не может защититься тот, на кого пала тень золотого доноса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ в количествах, которые до сих пор не представлялись возмож-

ными, — но тем лучше, скорей отдадупй Доходит до конфузного, что женщины и мужчины сидят в одних камерах и друг при друге ходят на парашу — кому до этих мелочей, отдайте золото, гады! Следователи не пишут протоколов, потому что бумажка эта никому не нужна, и будет ли потом намотан срок или не будет, это мало кого интересует, важно одно: отдай золото, гад! Государству нужно золото, а тебе зачем? У следователей уже не хватает ни горла, ни сил на угрозы и пытки, но есть общий приём: кормить камеры одним солёным, а воды не давать. Кто золото сдаст—тот выпьет воды! Червонец за кружку чистой воды!

Люди гибнут за металл…

От потоков предшествующих, от потоков последующих этот отличается тем, что хоть не у половины, но у части этого потока своя судьба трепыхается в собственных руках. Если у тебя на самом деле золота нет—твоё положение безвыходно, тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти или пока уж действительно не поверят. Но если у тебя золото есть, то ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, не легче, это тяжелей, потому что ошибёшься и навсегда будешь виноват перед собой. Конеч-

но, тот, кто уже усвоил нравы сего учреждения, уступит и отдаст, это легче. Но и слишком легко отдавать нельзя: не поверят, что отдал сполна, будут ещё держать. Но и слишком поздно отдать нельзя: душеньку выпустишь или со зла влепят срок. Один из тех татар–извозчиков выдержал все пытки: золота нет! Тогда посадили и жену, и её мучили, татарин своё: золота нет! Посадили и дочь — не выдержал татарин, сдал сто тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок. — Самые аляповатые детективы и оперы о разбойниках серьёзно осуществились в объёме великого государства.

Введение паспортной системы на пороге 30–х годов тоже дало изрядное пополнение лагерям. Как Пётр I упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система: она выметала именно промежуточных насекомых, она настигала хитрую, бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да поперву и ошибались люди много с теми паспортами — и не прописанные, и не выписанные подгребались на Архипелаг, хоть на годок.

Так пузырились и хлестали потоки — но черезо всех перекатился и хлынул в 1929–30 годах

многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем (к тому ж забитая «золотым» потоком), но он миновал её, он сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток (этот океан!) выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно–судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ–ГУЛАГа, что города ничего б и не заметили! — если б не потрясший их трёхлетний странный голод—голод без засухи и без войны.

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбился бы в сторону: все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был первый такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять

же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями.)

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван был для отвода глаз. «Кулаком» называется по–русски прижимистый бесчестный сельский переторгов–щик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции–то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем, уже после 17–го года, по переносу значения «кулаками» стали называть (в официальной и агитационной литературе, отсюда вошло и в устный обиход) тех, кто вообще использует труд наёмных рабочих, хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить густо — на страже батраков стояли комбед и сельсовет, попробовал бы кто–нибудь обидеть батрака! Справедливый же наём труда допускается в нашей стране и сейчас.

Но раздувание хлёсткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян— крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убежде-

ниях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве крепость. Вспомним, очнёмся: лишь двенадцать лет прошло с великого Декрета о Земле — того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам, равно. Всего лишь девять лет, как мужики вернулись из Красной армии и накинулись на свою завоёванную землю. И вдруг — кулаки, бедняки. Откуда это? Иногда — от неравенства инвентаря, иногда — от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли всего — от трудолюбия и упорства? И вот теперь–то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, — лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу.

Такое массовое движение не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял неохоту идти в колхоз, несклонность к коллективной

жизни, которой они не видели в глаза и о которой подозревали (мы теперь знаем, как основательно), что это будет руководство бездельников, принудиловка и голодалов–ка. Нужно было освободиться и от тех крестьян (иногда совсем небогатых), кто за свою удаль, физическую силу, решимость, звонкость на сходках, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости — опасны для колхозного руководства. (Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Чаусовым в повести С. Залыгина.) И ещё в каждой деревне были такие, кто лично стал поперёк дороги здешним активистам. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними рассчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово — и оно родилось. В нём уже не было ничего «социального», экономического, но оно звучало великолепно: подкулачник. То есть я считаю, что ты — пособник врага. И хватит того! Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники! (Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего неясного.)

Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни, её энергию, её смекалку

и трудолюбие, её сопротивление и совесть. Их вывезли — и коллективизация была проведена.

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки:

— поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы–вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками (разумеется, по указаниям московского института, ныне полностью разоблачённого. Да это же и есть те самые не посаженные двести тысяч членов ТКП!). Одни агрономы не выполняют глубокоумных директив Лысенко (в таком потоке в 1931 отправлен в Казахстан «король» картофеля Лорх). Другие выполняют их слишком точно и тем обнажают их глупость. (В 1934 псковские агрономы посеяли лён по снегу—точно как велел Лысенко. Семена набухли, заплесневели и погибли. Обширные поля пропустовали год. Лысенко не мог сказать, что снег — кулак или что сам дурак. Он обвинил, что агрономы — кулаки и извратили его технологию. И потянулись агрономы в Сибирь.) А ещё почти во всех МТС обнаружено вредительство в ремонте тракторов (вот чем объяснялись неудачи первых колхозных лет!);

— поток «за потери урожая» (а «потери» сравнительно с произвольной цифрой, выставленной весною «комиссией по определению урожая»);

— «за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче» (райком обязался, а колхоз не выполнил — садись!);

— поток стригущих колоски. Ночная ручная стрижка колосков в поле! — совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая! Это был немалый поток, это были многие десятки тысяч крестьян, часто даже не взрослые мужики и бабы, а парни и девки, мальчишки и девчёнки, которых старшие посылали ночами стричь, потому что не надеялись получить из колхоза за свою дневную работу. За это горькое и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды!) суды отвешивали сполна: 10 лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии закон семь восьмых).

Этот «закон от седьмого–восьмого» дал ещё отдельный большой поток со строек первой и второй пятилетки, с транспорта, из торговли, с заводов. Крупными хищениями велено было заниматься НКВД. Этот поток следует иметь в виду

дальше как постоянно текущий, особенно обильный в военные годы — и так пятнадцать лет (до 1947, когда он будет расширен и осуровлен).

Но наконец–то мы можем и передохнуть! Наконец–то сейчас и прекратятся все массовые потоки! — товарищ Молотов сказал 17 мая 1933: «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Фу–у–уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи! Но что за лай собак? Ату! Ату!

Во–ка! Это начался Кировский поток из Ленинграда, где напряжённость признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено «ускоренное» (оно и раньше не поражало медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). Считается, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934–35. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст её. (Впрочем, поток этот был не только ленинградский, он достаточно отозвался по всей стране в форме привычной, хотя и бессвязной: в увольнении из аппарата всё ещё застрявших где–то там детей священников, бывших дворянок да имеющих родственников за границей.)

В таких захлёстывающих потоках всегда теря-

лись скромные неизменные ручейки, которые не заявляли о себе громко, но лились и лились:

— то шуцбундовцы, проигравшие классовые бои в Вене и приехавшие спасаться в отечество мирового пролетариата;

— то эсперантисты (эту вредную публику Сталин выжигал в те же годы, что и Гитлер);

— то недобитые осколки Вольного Философского Общества, нелегальные философские кружки;

— то учителя, несогласные с передовым бригадно–лабораторным методом обучения (в 1933 Наталья Ивановна Бугаенко посажена в Ростовское ГПУ, но на третьем месяце следствия узналось из правительственного постановления, что тот метод — порочен. И её освободили.);

— то сотрудники Политического Красного Креста, который стараниями Екатерины Пешковой всё ещё отстаивал своё существование;

— то горцы Северного Кавказа за восстание (1935); национальности текут и текут. (На Волгоканале национальные газеты выходят на четырёх языках— татарском, тюркском, узбекском и казахском. Так есть кому их читать!);

— и опять — верующие, теперь не желающие идти на работу по воскресеньям (вводили пятидневку, шестидневку); колхозники, саботи-

рующие в церковные праздники, как привыкли в индивидуальную эру;

— и всегда — отказавшиеся стать осведомителями НКВД. (Тут попадали и священники, хранившие тайну исповеди, — Органы быстро сообразили, как им полезно знать содержание исповедей, единственная польза от религии.);

— а сектантов берут всё шире;

— а Большой Пасьянс социалистов всё перекладывается.

И наконец, ещё ни разу не названный, но всё время текущий поток Десятого Пункта, он же КРА (Контрреволюционная Агитация), он же АСА (Антисоветская Агитация). Поток Десятого Пункта—пожалуй самый устойчивый из всех — не пресекался вообще никогда, а во времена других великих потоков, как 37–го, 45–го или 49–го годов, набухал особенно полноводно.

Уж этот–то безотказный поток подхватывал кого угодно и в любую назначенную минуту. Но для видных интеллигентов в 30–е годы иногда считали более изящным подстряпать какую–нибудь постыдную статейку (вроде мужеложества; или будто бы профессор Плетнёв, оставаясь с пациенткой наедине, кусал ей грудь. Пишет центральная газета — пойди опровергни!).

* * *

Парадоксально: всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих Органов дала силу всего–навсего одна статья из ста сорока восьми статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года. Но в похвалу этой статье можно найти ещё больше эпитетов, чем когда–то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для Матушки–Руси: великая, могучая, обильная, разветвлённая, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят Восьмая, исчерпывающая мир не так даже в формулировках своих пунктов, сколько в их диалектическом и широчайшем истолковании.

Кто из нас не изведал на себе её всеохватывающих объятий? Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны тяжёлой дланью Пятьдесят Восьмой статьи.

Сформулировать её так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко её истолковать.

58–я статья не составила в Кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она «политическая». Нет, вместе с

преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу «преступлений государственных». Так Уголовный кодекс открывается с того, что отказывается признать кого–либо на своей территории преступником политическим — а только уголовным.

58–я статья состояла из четырнадцати пунктов.

Из Первого пункта мы узнаём, что контрреволюционным признаётся всякое действие (по ст. 6–й УК — и бездействие), направленное… на ослабление власти…

При широком истолковании оказалось: отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и изнеможён, — есть ослабление власти. И влечёт за собой — расстрел. (Расстрелы отказчиков во время войны.)

С 1934 года, когда нам возвращён был термин Родина, были и сюда вставлены подпункты измены Родине — 1–а, 1–б, 1–в, 1–г. По этим пунктам действия, совершённые в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом (1–б) и лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц (1–а) — десятью годами.

Широко читая: когда нашим солдатам за сдачу в плен (ущерб военной мощи!) давалось всего

лишь 10 лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно сталинскому Кодексу они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы.

(Или вот ещё образец широкого чтения. Хорошо помню одну встречу в Бутырках летом 1946. Некий поляк родился вЛемберге, когда тот был в составе Австро–Венгерской империи. До Второй Мировой войны жил в своём родном городе в Польше, потом переехал в Австрию, там служил, там в 1945 и арестован нашими. Он получил десятку по статье 54–1–а украинского Кодекса, то есть за измену своей родине — Украине! — так как ведь город Лемберг стал к тому времени украинским Львовом! И бедняга не мог доказать на следствии, что уехал в Вену не с целью изменить Украине! Так он иссобачил–ся стать предателем.)

Ещё важным расширением пункта об измене было применение его «через статью 19–ю УК» — «через намерение». То есть никакой измены не было, но следователь усматривал намерение изменить — и этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Правда, статья 19–я предлагает карать не за намерение, а за подготовку, но при диалектическом чтении можно и намерение понять как подготов-

ку. А «приготовление наказуемо так же (то есть равным наказанием), как и само преступление» (УК). В общем,

мы не отличаем намерения от самого преступления и в этом превосходство советского законодательства перед буржуазным! [20]

Необъятную широту прочтения любой статьи ещё давала статья 16 УК — «по аналогии». Когда прямо ни к одной статье поступок не подходил, судья мог квалифицировать его «по аналогии».

Пункт Второй говорит о вооружённом восстании, захвате власти в центре и на местах и, в частности, для того, чтобы насильственно оторгнуть какую–либо часть Союза Республик. За это—вплоть до расстрела (как и в каждом следующем пункте.)

Расширительно (как нельзя было бы написать в статье, но как подсказывает революционное правосознание): сюда относится всякая попытка осуществить право любой республики на выход из Союза. Ведь «насильственно» — не сказано, по отношению к кому. Даже если всё население рес-

---

[20] Примечания: 20

От тюрем к воспитательным учреждениям / Сб. ст. под общ. ред. А.Я. Вышинского; Институт Уголовной и Исправительно–трудовой Политики при Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР. М.: Советское Законодательство, 1934, с. 36.

публики захотело бы отделиться, а власти этого бы не хотели, отделение уже будет насильственное. Итак, все эстонские, латышские, литовские, украинские и туркестанские националисты легко получали по этому пункту свои десять и двадцать пять.

Третий пункт — «способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны».

Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией, прибил ли он каблук немецкому военнослужащему, продал ли пучок редиски; или гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осуждён по этому пункту (из–за обилия оккупированных), но мог быть осуждён всякий.

Четвёртый пункт говорил о (фантастической) помощи, оказываемой международной буржуазии.

Казалось бы: кто может сюда относиться? Но, широко читая с помощью революционной совести, легко нашли разряд: все эмигранты, покинувшие страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого Кодекса, и настигнутые нашими войсками в Европе через четверть

столетия (1944–45), получали 58–4: десять лет или расстрел. Ибо что ж делали они за границей, как не способствовали мировой буржуазии? (На примере музыкального общества мы уже видели, что способствовать можно было и изнутри СССР.) Ей же способствовали все эсеры, все меньшевики (для них и статья задумана), а потом инженеры Госплана и ВСНХ.

Пятый пункт: склонение иностранного государства к объявлению войны СССР.

Упущенный случай: распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое и военное окружение в 1940–41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как не они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, несравнимые с поражениями царской России в 1904 или в 1915 году? поражения, каких Россия не знала с XIII века?

Шестой пункт — шпионаж,

был прочтён настолько широко, что если бы подсчитать всех осуждённых по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем–либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж — это было нечто

очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику, и учёному юристу, и газетчику, и общественному мнению [21].

Широта прочтения ещё была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за

ПШ — Подозрение в Шпионаже;

НШ — Недоказанный Шпионаж, и за него всю катушку! И даже за

СВПШ — Связи, Ведущие к Подозрению (!) в Шпионаже.

То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила платье у той же портнихи (конечно, сотрудницы НКВД), что и жена иностранного дипломата.

И эти 58–6, ПШ и СВПШ были прилипчивые пункты, они требовали строгого содержания, неусыпного наблюдения (ведь разведка может протянуть щупальцы к своему любимцу и в лагерь) и запрещали расконвоирование. Вообще всякие литерные статьи, то есть не статьи вовсе,

---

[21] Примечания: 21

А пожалуй, шпиономания не была только узколобым пристрастием Сталина. Она сразу пришлась удобной всем, вступающим в привилегии. Она стала естественным оправданием уже назревшей всеобщей секретности, запрета информации, закрытых дверей, системы пропусков, огороженных дач и тайных распределителей. Через броневую защиту шпиономании народ не мог проникнуть и посмотреть, как бюрократия сговаривается, бездельничает, ошибается, как она ест и как развлекается.

а вот эти пугающие сочетания больших букв (мы в этой главе ещё встретим другие) постоянно носили на себе налёт загадочности, всегда было непонятно, отростки ли они 58–й статьи или что–то самостоятельное и очень опасное. Заключённые с литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58–й.

Седьмой пункт: подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации.

В 30–е годы этот пункт сильно пошёл в ход и захватил массы под упрощённой и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, всё перечисленное в пункте Седьмом с каждым днём наглядно и явно подрывалось — и должны же были быть тому виновники?.. Столетиями народ строил, создавал, и всегда честно, даже на бар. Ни о каком вредительстве не слыхано было от самых Рюриков. И вот когда впервые достояние стало народным, — сотни тысяч лучших сынов народа необъяснимо кинулись вредить. (Вредительство в сельском хозяйстве пунктом не предусматривалось, но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое чутьё ввело и его.)

Восьмой пункт—террор (не тот террор, который «обосновать и узаконить» должен был советский Уголовный кодекс [22]).

Террор понимался очень и очень расширительно: не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под кареты губернаторов, но, например, набить морду своему личному врагу, если он был партийным, комсомольским или милицейским активистом, уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не приравнивалось к убийству рядового человека (как это было, впрочем, ещё в кодексе Хаммурапи в XVIII столетии до нашей эры). Если муж убил любовника жены и тот оказался беспартийным— это было счастье мужа, он получал 136–ю статью, был бытовик, социально–близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным— муж становился врагом народа с 58–8.

Ещё более важное расширение понятия достигалось применением Восьмого пункта через ту же статью 19–ю, то есть через подготовку в смысле намерения. Не только прямая угроза около пивной «ну, погоди!», обращенная к активисту,

---

[22] Примечания: 22
В.И.Ленин. Полн. собр. соч. Т. 45, с. 190

но и замечание запальчивой базарной бабы «ах, чтоб ему повылазило!» квалифицировалось как ТН — Террористические Намерения — и давало основание на применение всей строгости статьи. (Это звучит перебором, фарсом — но не мы сочиняли этот фарс, мы с этими людьми — сидели.)

Девятый пункт—разрушение или повреждение… взрывом или поджогом (и непременно с контрреволюционной целью), сокращённо именуемое как диверсия.

Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась (следователь лучше знал, что делалось в сознании преступника!), а всякая человеческая оплошность, ошибка, неудача в работе, в производстве — не прощались, рассматривались как диверсия.

Но никакой пункт 58–й статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как Десятый. Звучание его было: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти… а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». И оговаривал этот пункт в мирное время только нижний предел наказания (не ниже! не слишком мягко!), верхний же н е

ограничивался!

Таково было бесстрашие великой Державы перед словом подданного.

Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были:

— под «агитацией, содержащей призыв» могла пониматься дружеская (или даже супружеская) беседа с глазу на глаз или частное письмо; а «призывом» мог быть личный совет. (Мы заключаем «могла, мог быть» из того, что так оно и бывало)

— «подрывом и ослаблением» власти была всякая мысль, не совпадающая или не поднимающаяся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет всё то, что не усиляет! Ведь подрывает всё то, что не полностью совпадает!

И тот, кто сегодня поёт не с нами, — Тот
против
нас!
(Маяковский)

— под «изготовлением литературы» понималось всякое написание в единственном экземпляре письма, записи, интимного дневника.

Расширенный так счастливо —какую мысль, задуманную, произнесенную или записанную, не охватывал Десятый Пункт?

Пункт Одиннадцатый был особого рода: он не

имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию.

На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было двое, тайно обменивавшихся мыслями, — то есть зачатки организации, то есть организация! (Впрочем, второй из нас этого довеска не получил.)

Пункт Двенадцатый наиболее касался совести граждан: это был пункт о недонесении в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границ ыИ

Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал. Знал и не сказал — всё равно что сделал сам!

Пункт Тринадцатый, по видимости давно исчерпанный, был: служба в царской охранке. (Аналогичная более поздняя служба, напротив, считалась патриотической доблестью.)

Есть психологические основания подозревать И. Сталина в подсудности также и по этому пункту 58–й статьи. Далеко не все документы относительно этого рода службы пережили февраль 1917

и стали широко известны. Поспешный поджог полицейских архивов в первые дни Февральской революции похож на дружный порыв некоторых заинтересованных революционеров. В самом деле, зачем бы в момент победы сжигать архивы неприятеля, столь интересные?

Пункт Четырнадцатый карал «сознательное неисполнение определённых обязанностей или умышленно небрежное их исполнение» — карал, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось «саботаж» или «экономическая контрреволюция»,

а отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на своё революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся к колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней. К лагерникам, не вырабатывающим норму. И рикошетом стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей.

Такова была последняя из костяшек веера 58–й статьи — веера, покрывшего собой всё человеческое существование.

Сделав этот обзор великой Статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон — там и преступление.

* * *

Булатная сталь 58–й статьи, опробованная в 1927, сразу после отковки, омоченная во всех потоках следующего десятилетия, — с полным свистом и размахом была применена в атаке Закона на Народ в 1937–38 годах.

Надо сказать, что операция 1937 года не была стихийной, а планировалась, что в первой половине этого года во многих тюрьмах Союза произошло переоборудование — из камер выносились койки, строились сплошные нары, одноэтажные, двухэтажные. (Как не случайно и Большой Дом в Ленинграде был закончен к 1934 году, как раз к убийству Кирова.) Вспоминают старые арестанты, что будто бы и первый удар был массированным, чуть ли не в какую–то августовскую ночь по всей стране (но, зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю). А осенью, когда к двадцатилетию Октября ожидалась с верою всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил в Уголовный кодекс невиданные новые сроки —15, 20 и 25 лет.

Нет нужды повторять здесь о 37–м годе то, что уже широко написано и ещё будет многократно повторено: что был нанесен крушащий удар по верхам партии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ–НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облисполкома — Сталин подбирал себе более удобных.

Теперь, видя китайскую культурную революцию (тоже на 17–м году после окончательной победы), мы можем с большой вероятностью заподозрить тут историческую закономерность. И даже сам Сталин начинает казаться лишь слепой и поверхностной исторической силой.

Ольга Чавчавадзе рассказывает, как было в Тбилиси: в 38–м году арестовали председателя горисполкома, его заместителя, всех (одиннадцать) начальников отделов, их помощников, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. Назначили новых. Прошло два месяца. И вот опять сажают: председателя, заместителя, всех (одиннадцать) начальников отделов, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. На свободе остались: рядовые бухгалтеры, машинистки, уборщицы, курьеры…

В посадке же рядовых членов партии был,

видимо, секретный, нигде прямо в протоколах и приговорах не названный мотив: преимущественно арестовывать членов партии со стажем до 1924 года. Это особенно решительно проводилось в Ленинграде, потому что именно все те подписывали «платформу» Новой оппозиции. (А как бы они могли не подписывать? как бы могли «не доверять» своему Ленинградскому губкому?)

И вот как бывало, картинка тех лет. Идёт (в Московской области) районная партийная конференция. Её ведёт новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают (как и по ходу конференции все вскакивали при каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они всё ещё бурные и всё ещё переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренно обожает Сталина. Однако: кто же первый осмелится прекратить? Это мог бы сделать секретарь райкома, стоящий на трибуне и только что зачитавший это самое обращение.

Но он — недавний, он — вместо посаженного, он сам боится! Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаведисты, они–то следят, кто покинет первый!.. И аплодисменты в беззвестном маленьком зале, беззвестно для вождя продолжаются 6 минут! 7 минут! 8 минут!.. Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем! Ещё в глуби зала, в тесноте, можно хоть чуть сжульничать, бить реже, не так сильно, не так яростно, — но в президиуме, на виду?! Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует! — 9–ю минуту! 10–ю! Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие! Повальное! Озираясь друг на друга со слабой надеждой, но изображая на лицах восторг, руководители района будут аплодировать, пока не упадут, пока их не станут выносить на носилках! и даже тогда оставшиеся не дрогнут!.. И директор бумажной фабрики на 11–й минуте принимает деловой вид и опускается на своё место в президиуме. И — о, чудо! — куда делся всеобщий несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены!

Белка догадалась выскочить из колеса!..

Однако вот так–то и узнают независимых людей. Вот так–то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу десять лет. Но после подписания 206–й (заключительного следственного протокола) следователь напоминает ему:

— И никогда не бросайте аплодировать первый!

(А как же быть? А как же нам остановиться?..)

Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью.

Но сегодня создаётся новый миф. Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о 37–м годе — это непременно рассказ о трагедии коммунистов–руководителей. И вот уже нас уверили, и мы невольно поддаёмся, что 37–38–й тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов— и как будто больше никого. Но от миллионов, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц.

Из косвенных данных статистики не миновать вывода, а показанием свидетелей подтверждает-

ся: что не вымершие спецпосёлки «раскулаченных» были в 1937 году переведены на Архипелаг: либо переселены в лагеря, либо на месте оцеплены лагерной зоной. Так великий поток 1929 года влился в поток 1937, ещё миллионно увеличив его.

Состав захваченных в 1937–38 и отнесенных полумёртвыми на Архипелаг так пёстр, причудлив, что долго бы ломал голову, кто захотел бы научно выделить закономерности. (Тем более современникам они не были понятны.)

А истинный посадочный закон тех лет был — заданность цифры, разнарядки, развёрстки. Каждый город, район, каждая воинская часть получали контрольную цифру и должны были выполнить её в срок. Всё остальное — от сноровки оперативников.

Бывший чекист Александр Калганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма: «Шлите двести». А они только что выгребли и как будто «некого» брать. Ну, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея! Взятых милицией бытовиков—переквалифицировать в 58–ю! Сказано — сделано. Но контрольной цифры всё равно нет. Доносит милиция: что делать? на одной из городских площадей цыгане нахально разбили

табор. Идея! Окружили—и всех мужчин от семнадцати до шестидесяти загребли как Пятьдесят Восьмую! И — выполнили план!

А бывало и так: чекистам Осетии (рассказывает начальник милиции Заболовский) дана была развёрстка расстрелять по республике 500 человек, они просили добавить, им разрешили ещё 250.

Эти телеграммы, слегка зашифрованные, передавались обычной связью. В Темрюке телеграфистка в святой простоте передала на коммутатор НКВД: чтобы завтра отправили в Краснодар 240 ящиков мыла. Наутро она узнала о больших арестах и отправке — и догадалась! и сказала подруге, какая была телеграмма. Тут же её и посадили.

(Совсем ли случайно зашифровали человека как ящик мыла! Или — зная мыловарение?..)

Конечно, какие–то частные закономерности осмыслить можно. Садятся:

— наши за границей истинные шпионы. (Это часто — искреннейшие коминтерновцы или чекисты, много — привлекательных женщин. Их вызывают на родину, на границе арестовывают, затем дают очную ставку с их бывшим начальником из Коминтерна, например Мировым–Короной. Тот подтверждает, что сам работал

на какую–нибудь из разведок— и, значит, его подчинённые — автоматически, и тем вреднее, чем честнее.);

— ка–вэ–же–динцы. (Все поголовно советские служащие КВЖД оказываются сплошь, включая жён, детей и бабушек, японскими шпионами. Но надо признать, что их брали уже и несколькими годами раньше);

— корейцы с Дальнего Востока (ссылка в Казахстан), первый опыт взятия по крови;

— ленинградские эстонцы (все берутся по одной лишь фамилии как белоэстонские шпионы);

— все латышские стрелки и латыши–чекисты — да, латыши, акушеры Революции, составлявшие совсем недавно костяк и гордость ЧК! И даже те коммунисты буржуазной Латвии, которых выменяли в 1921, освободив их от ужасных латвийских сроков в два и в три года. (Закрываются в Ленинграде: латышское отделение института Герцена; дом культуры латышей; эстонский клуб; латышский техникум; латышская и эстонская газеты.)

Под общий шум заканчивается и перекладка Большого Пасьянса, гребут ещё недовзятых. Уже незачем скрываться, уже пора эту игру обрывать. Теперь социалистов забирают в тюрьму целыми ссылками (например, Уфа, Саратов), судят всех

вместе, гонят на бойни Архипелага — стадами.

В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают её и теперь. Достаточно студенческого доноса (сочетание этих слов давно не звучит странно), что их вузовский лектор цитирует всё больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует — и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он вообще не цитирует?.. Садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера (кроме сексотов). Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело тридцати преподавателей средних школ во главе с их завоблоно Перелем, одно из ужасных обвинений: устраивали в школах ёлки для того, чтобы жечь школы! [23] А по лбу инженеров (уже советского поколения, уже не «буржуазных») дубина опускается с равномерностью маятника. У маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из–за какого–то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58–7, 20 лет! Шесть геологов

[23] Примечания: 23

Из них пятеро замучены на следствии, умерли до суда. Двадцать четыре умерли в лагерях. Тридцатый— Иван Аристаулович Пунич, вернулся, реабилитирован. (Умри и он, мы пропустили бы здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы.) Многочисленные «свидетели» по их делу — сейчас в Свердловске и благо действуют: номенклатурные работники, персональные пенсионеры. Дарвиновский отбор.

(группа Котовича) «за намеренное сокрытие запасов олова в недрах (! —то есть за неоткрытие их!) на случай прихода немцев» (донос) — 58–7, по 10 лет.

Вдогонку главным потокам — ещё спецпоток: жёны, Че–эСы (члены семьи). Жёны крупных партийцев, а местами (Ленинград)—и всех, кто получил «10 лет без права переписки», кого уже нет. Чеэсам, как правило, всем по восьмёрке. (Всё же мягче, чем раскулаченным, и дети — на материке.)

Груды жертв! Холмы жертв! Фронтальное наступление НКВД на город: у СП. Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным «делам» арестовали мужа и трёх братьев (и трое из четверых никогда не вернутся);

— у техника–электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 58–7, 20 лет;

— пермский рабочий Новиков обвинён в подготовке взрыва Камского моста;

— Южакова (в Перми же) арестовали днём, за женой пришли ночью. Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, что все они собирались в их доме на меньшевиц–ко–эсеровские собрания (разумеется, их не было). За это её обещали выпустить к оставшимся трём детям. Она

подписала, погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть;

— Надежда Юденич арестована за свою фамилию. Правда, через 9 месяцев установили, что она не родственница генерала, и выпустили (ну, там ерунда: за это время мать умерла от волнений);

— в Старой Руссе смотрели кинофильм «Ленин в Октябре». Кто–то обратил внимание на фразу: «Это должен знать Пальчинский!» — а Пальчинский–то защищает Зимний дворец. Позвольте, а у нас медсестра работает — Пальчинская! Взять её! И взяли. И оказалось, действительно — жена, после расстрела мужа скрывшаяся в захолустье;

— братья Борушко (Павел, Иван и Степан) приехали в 1930 из Польши ещё мальчиками к своим родным. Теперь юношами они получают ПШ (подозрение в шпионаже), 10 лет;

— водительница краснодарского трамвая поздно ночью возвращалась из депо пешком и на окраине, на свою беду, прошла мимо застрявшего грузовика, близ которого суетились. Он оказался полон трупов—руки и ноги торчали из–под брезента. Её фамилию записали, на другой день арестовали. Спросил следователь: что она видела? Она призналась честно (дарвиновский отбор). Антисоветская агитация, 10 лет;

— водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. (Кто помнит их?! Часами, ежедневно, оглупляюще одинаковые! Вероятно, диктор Левитан хорошо их помнит: он их читал с раскатами, с большим чувством.) Сосед донёс (о, где теперь этот сосед?), СОЭ, социально–опасный элемент, 8 лет;

— полуграмотный печник любил в свободное время расписываться— это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА, антисоветская агитация, 10 лет.

Сталин и его приближённые любили свои портреты, испещряли ими газеты, распложали их в миллионных количествах. Мухи мало считались с их святостью, да и газеты жалко было не использовать — и сколько же несчастных получило на этом срок!

Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Как люди передают друг другу эпидемическую заразу, о том не зная, — рукопожатием, дыханием, передачей вещи, — так рукопожатием, дыханием, встречей на улице они передавали

друг другу заразу неминуемого ареста. Ибо если завтра тебе суждено признаться, что ты сколачивал подпольную группу для отравления городского водопровода, а сегодня я пожал тебе руку на улице — значит, я обречён тоже.

Семь лет перед тем город смотрел, как избивали деревню, и находил это естественным. Теперь деревня могла бы посмотреть, как избивают город, — но она была слишком темна для того, да и саму–то её добивали:

— землемер (!) Саунин получил 15 лет за… падёж скота (!) в районе и плохие урожаи (!) (а головка района вся расстреляна за то же);

— приехал на поле секретарь райкома подгонять с пахотой, и спросил его старый мужик, знает ли секретарь, что за семь лет колхозники не получили на трудодни ни грамма зерна, только соломы, и то немного. За вопрос этот получил старик АСА, 10 лет;

— а другая была судьба у мужика с шестью детьми. Из–за этих шести ртов он не жалел себя на колхозной работе, всё надеялся что–то выколотить. И впрямь, вышел ему — орден. Вручали на собрании, речи говорили. В ответном слове мужик расчувствовался и сказал: «Эх, мне бы вместо этого ордена — да пудик муки! Нельзя

ли так–то?» Волчьим смехом расхохоталось собрание, и со всеми шестью своими ртами пошёл новый орденоносец в ссылку.

Объединить ли всё теперь и объяснить, что сажали безвинных? Но мы упустили сказать, что само понятие вины отменено ещё пролетарской революцией, а в начале 30–х годов объявлено правым оппортунизмом! [24] Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях: вина и невиновность [25].

Обратный выпуск 1939 года — случай в истории Органов невероятный, пятно на их истории! Но, впрочем, тот антипоток был невелик, около одного–двух процентов взятых перед тем — ещё не осуждённых, ещё не отправленных далеко и не умерших. Невелик, а использован умело. Это была сдача копейки с рубля, это нужно было, чтобы всё свалить на грязного Ежова, укрепить вступающего Берию и чтобы ярче воссиял Вождь. Этой копейкой ловко вбили оставшийся рубль в землю. Ведь если «разобрались и выпустили»

---

[24] Примечания: 24

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 63.

[25] Примечания: 25

В 1946 понадобилось специальное постановление пленума Верховного Суда СССР (12.7.1946, № 8/5/у): «О возможности применения наказания лишь к лицам, совершившим определённое преступление» (!). Но и оно далее обходилось так же свободно.

(даже газеты бестрепетно писали об отдельных оклеветанных) — значит, остальные–то посаженные — наверняка мерзавцы! А вернувшиеся— молчали. Они дали подписку. Они онемели от страха. И мало кто мало что узнал из тайн Архипелага. Разделение было прежнее: воронки — ночью, демонстрации — днём.

Да впрочем, копейку эту быстро добрали назад — в тех же годах, по тем же пунктам необъятной Статьи. Ну кто заметил в 40–м году поток жён за неотказ от мужей? Ну кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа? А кто заметил 30 тысяч чехов, ушедших в 1939 из оккупированной Чехословакии в родную славянскую страну СССР? Нельзя было поручиться, что кто–нибудь из них не шпион. Их отправили всех в северные лагеря (и вот откуда во время войны выплывает «чехословацкий корпус»). Да позвольте, да не в 39–м ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в 40–м и Прибалтике, и молдаванам? Наши братья совсем–таки оказались не чищенные, и потекли оттуда потоки социальной профилактики—в северную ссылку, в среднеазиатскую— и это

были многие, многие сотни тысяч. (Интересно, что им клеили: западным украинцам — «сотрудничество с белой Польшей», буковинцам и бессарабам — с Белорумынией. А—евреям, перебежавшим из немецкой части Польши к нам? Да сотрудничество с Гестапо конечно! М. Пинхасик.) Брали слишком состоятельных, влиятельных, заодно и слишком самостоятельных, слишком умных, слишком заметных, всюду брали офицеров, в бывших польских областях — особенно густо поляков (тогда–то была навербована злополучная Катынь, тогда–то в северных лагерях заложили силос под будущую армию Сикорского–Андерса). Всюду брали — офицеров. И так население встряхивалось, смолкало, оставалось без возможных руководителей сопротивления. Так внушалось благоразумие, отсыхали прежние связи, прежние знакомства.

Финляндия оставила нам перешеек без населения, зато по Карелии и по Ленинграду в 40–м году прошло изъятие и переселение лиц с финской кровью. Мы этого ручейка не заметили: у нас кровь не финская.

В финскую же войну был первый опыт: судить наших сдавшихся пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории! — а

ведь вот поди ж ты, мы не заметили!

Отрепетировали — и как раз грянула война, а с нею — грандиозное отступление. Из западных республик, оставляемых врагу, надо было спешить в несколько дней выбрать ещё кого можно. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные и артиллерийские дивизионы, —но управились вывезти несколько тысяч семей неблагонадёжных литовцев (четыре тысячи из них отдали потом в Красноярском лагере на разграб уркам). С 23 июня спешили арестовывать в Латвии, в Эстонии. Но жгло, и отступать пришлось ещё быстрей. Забыли вывезти целые крепости, как Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключённых в камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих западных тюрем. В Тартуской тюрьме расстреляли 192 человека, трупы бросали в колодезь.

Это как вообразить? — ты ничего не знаешь, открывается дверь камеры, и в тебя стреляют. Ты предсмертно кричишь— и никто, кроме тюремных камней, не услышит и не расскажет. Говорят, впрочем, были и не дострелянные. Может быть, мы ещё прочтём об этом книгу?..

В 1941 немцы так быстро обошли и отрезали

Таганрог, что на станции в товарных вагонах остались заключённые, подготовленные к эвакуации. Что делать? Не освобождать же. И не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо.

В тылу первый же военный поток был—распространители слухов и сеятели паники, по специальному внекодекс–ному Указу, изданному в первые дни войны. Это было пробное кровопускание, чтобы поддержать общую подтянутость. Давали всем по 5 лет, но не считалось 58–й статьёй (и те немногие, кто пережил лагеря военных лет, были в 1945 амнистированы).

Мне едва не пришлось испытать этот Указ на себе: в Ростове–на–Дону я стал в очередь к хлебному магазину, милиционер вызвал меня и повёл для счёту. Начинать бы мне было сразу ГУЛАГ вместо войны, если б не счастливое заступничество.

Затем был поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу давали 10 лет.

Тут же был и поток немцев — немцев Поволжья, колонистов с Украины и Северного Кавказа, и всех вообще немцев, где–либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была

кровь, и даже герои Гражданской войны и старые члены партии, но немцы — шли в эту ссылку.

А о крови судили по фамилии, и инженер–конструктор Василий Окороков, находя неудобным так подписываться на проектах и переназвавшийся в 30–е годы, когда ещё было можно, в Роберта Штекке–ра— красиво! и графическую роспись разработал, — теперь ничего не успевал доказать и взят был как немец. «Какие задания получили от фашистской разведки?..»— Атот тамбовец Каверзнев, ещё в 1918 сменивший свою неблагозвучную фамилию на Кольбе, — когда он разделил судьбу Окорокова?..

По своей сути ссылка немцев была то же, что раскулачивание, только мягче, потому что больше вещей разрешали взять с собой и не слали в такие гиблые смертные места. Юридической же формы, как и у раскулачивания, у неё не было. Уголовный кодекс был сам по себе, а ссылка сотен тысяч— сама по себе. Это было личное распоряжение монарха. Кроме того, это был его первый национальный эксперимент подобного рода, это было ему интересно теоретически.

С конца лета 1941, а ещё больше осенью хлынул поток окруженцев. Это были защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев

назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет! — а боевыми разрозненными группами сколько–то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И вместо того чтобы братски обнять их на возврате (как сделала бы всякая армия мира), дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй, — их везли в подозрении, под сомнением, бесправными обезоруженными командами—на пункты проверки и сортировки, где офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже — те ли они, за кого себя выдают. А метод проверки был—перекрестные допросы, очные ставки, показания друг на друга. После проверки часть окруженцев восстанавливалась в своих прежних именах, званиях и доверии и шла на воинские формирования. Другая часть, пока меньшая, составила первый поток «изменников родины». Они получали 58–1–6, но сперва, до выработки стандарта, меньше 10 лет.

Так очищалась армия Действующая. Но ещё была огромная армия бездействующая, на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь

этой армии—была благородная задача Особых Отделов. У героев Халхин–Гола и Хасана при бездействии начинали развязываться языки, тем более что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтярёвские автоматы и полковые миномёты. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на западе отступаем. Через Сибирь и Урал им никак было не различить, что, отступая по 120 километров в день, мы просто повторяем кутузовский заманивающий манёвр. Облегчить это понимание мог только поток из Восточной армии на Архипелаг. И уста стянулись, и вера стала железной.

Само собою, в высоких сферах тоже лился поток виновников отступления (не Великий же Стратег был в нём повинен!). Это был небольшой, на полсотни человек, генеральский поток, сидевший в московских тюрьмах летом 1941, а затем расстрелянный. Среди генералов больше всего было авиационных — командующий воздушными силами Смуш–кевич, генерал Е.С. Птухин (он говорил: «Если б я знал — я бы сперва по Отцу Родному отбомбился, а потом бы сел!») и другие.

Победа под Москвой породила новый поток: виновных москвичей. Теперь при спокойном

рассмотрении оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице, уже тем самым подозреваются: либо в подрыве авторитета власти (58–10); либо в ожидании немцев (58–1–а через 19–ю, этот поток до самого 1945 кормил следователей Москвы и Ленинграда).

Разумеется, 58–10, АСА, никогда не прерывалась и всю войну довлела тылу и фронту. Её получали эвакуированные, если рассказывали об ужасах отступления (по газетам же ясно было, что отступление идёт планомерно). Её получали в тылу клеветавшие, что мал паёк. Её получали на фронте клеветавшие, что у немцев сильная техника. В 1942 её получали повсюду и те, кто клеветал, будто в блокированном Ленинграде люди умирали с голоду.

В том же году после неудач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (ещё больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге, — прокачан был ещё очень важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения, — тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа № 227 (июль 1942),

Родина не может простить своего позора. Этот

поток не достиг, однако, ГУЛАГа: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попал, а остаётся в частной истории канализации.

(Впрочем, и мы здесь пытаемся уследить лишь те потоки, которые шли в ГУЛАГ извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые лагерные судимости, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматриваются в этой главе.)

Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени: уже упомянутые чехи; поляки; отпускаемые из лагеря на фронт уголовники.

С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался, и с каждым годом до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главные его части были:

— гражданские, побывавшие под немцами или у немцев (им заворачивали десятку с буквой «а»: 58–1–а);

— военнослужащие, побывавшие в плену (им

заворачивали десятку с буквой «б»: 58–1–6).

Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё–таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйственно неразумно — обезлюживать столь обширные пространства. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент — виноватых, полувиноватых, четвертьвиноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними онучи.

А ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лагпунктов.

И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всём осведомлял комсомольцев, но с приходом наших

получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений.

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы о^'овским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные (кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей), были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя, — не каждый умел.

По этой–то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство наших военнопленных — особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.

Это не сразу так ясно обозначилось, и ещё в 1943 были какие–то отбившиеся ни на кого не похожие потоки вроде «африканцев», долго так и называвшиеся в воркутинских строёвках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке ив 1948 отправленные на студебеккерах через Египет–Ирак–Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой,

содрали с них воинские различия, освободили их от дарёных американских вещей (разумеется, в пользу сотрудников госбезопасности, а не государства) и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав ещё по неопытности ни срока, ни статьи. И эти «африканцы» жили на Воркуте в межеумочных условиях: их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было; им платили зарплату вольнонаёмных, но распоряжались ими как заключёнными. А особое распоряжение так и не шло. О них забыли…

Эта причина наглядно проступает и в том, что неуклонно, как военнопленных, судили и интернированных. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросило группу наших матросов. Всю потом войну она вольно жила в Швеции — так обеспеченно и с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал, а эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряжки. После войны Швеция нам их вернула. Измена Родине была несомненная — но как–то не клеилась. Им дали разъехаться и всем клепанули антисоветскую агитацию за прельстительные рассказы о свободе и сытости капиталистической

Швеции (группа Каденко).

С этой группой произошёл потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасаясь получить за неё второй срок. Но в Швеции прознали как–то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно по спецнарядам их всех стянули в ленинградские Кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их причёскам. Затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит «девять грамм» в затылок, — и вывели на прессконференцию перед приглашёнными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати (ведь она продаётся у нас в каждом киоске), — и вот списались и съехались в Ленинград (расходы на дорогу никого не смутили). Свежим лоснящимся видом своим они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамлённые журналисты поехали писать извинения.

Западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно — вторых сроков не дали никому.

Среди общего потока освобождённых из–под оккупации один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций:

в 1943 —калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы;

в 1944 —крымские татары. Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь Органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия — в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны — и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на Север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам.

Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, — и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны

катились туда же.

Само собою, последние годы войны шёл поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа.

В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и трёх недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. (И не зная подробностей можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на долгий срок.)

С конца 1944, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы, — по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов— стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дёргали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, — не трогали.) Главные

потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше — из Австрии и Германии; в других странах Восточной Европы русские почти не жили.

Отзывно и из Маньчжурии в 1945 полился поток эмигрантов. (Некоторых арестовывали не сразу: целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму.)

Весь 1945 и 1946 годы продвигался на Архипелаг большой поток истинных наконец противников власти (власовцев, казаков–красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере) — иногда убеждённых, иногда невольных.

Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны — гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946–47 коварно возвращённых

союзными властями в советские руки [26].

Какое–то число поляков, членов Армии Краевой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ.

Сколько–то было и румын и венгров.

С конца войны и потом непрерывно много лет шёл обильный поток украинских националистов («бандеровцев»).

На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как:

— «девушки за иностранцев» (1946–47)—то есть давшие иностранцам ухаживать за собой. Клеймили этих девушек статьями 7–35 (социально–опасные);

— испанские дети — те самые, которые выве-

---

[26] Примечания: 26

Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются, — тайна именно этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами — воистину, последняя тайна Второй Мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 [Sunday Oklahoman, 21 янв.) прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. «Прожив два года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были

застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют… Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков». Английские же власти поступили с ними «как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? [Примеч. 1973г.)

зены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй Мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7–35, социально–опасные, а особенно настойчивым — 58–6, шпионаж в пользу… Америки.

(Для справедливости не забудем и короткий, в 1947, антипоток… священников. Да, вот чудо! — первый раз за 30 лет освобождали священников! Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места — тех, названных, этапировали на свободу для укрепления восставляемой Церкви.)

* * *

Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, — а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки бытовиков и собственно уголовников. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь

получили бы освещение многие знаменитые Указы, теперь уже частью и забытые (хотя никогда законом не отменённые), поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении (разгул его — в 1922 году, но и все 20–е годы брали густо). То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. То указ о военном положении на железных дорогах (апрель 1943, отнюдь не начало войны, а поворот её к лучшему).

Указы эти появлялись всегда как важнейшее во всём законодательстве и без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось учёным юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно.

Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийства, ни самогоноварение, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случатся, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей, — нет! В преступлениях по всей стране замечалось удивительное

единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то —только убийцами, то — самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный Указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока Указу, чтобы поскорее исчезнуть! Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством.

Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего–то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им палочками. Если раньше для этого требовался суд и применение

«экономической контрреволюции», то теперь достаточно было колхозного постановления, подтверждённого райисполкомом; да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. (Обязательная норма трудодней

разная была для разных областей, самая льготная у кавказцев — 75 трудодней, но и их немало потекло на восемь лет в Красноярский край.)

Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон «от седьмого–восьмо–го», или «семь восьмых», закон, по которому обильно сажали— за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё–таки стыдно было писать «катушка ниток») — всё на десять лет.

Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно–исторической победы, выглядела слабовато. И опять, пренебрегая Кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, — 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их все Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ «четыре шестых».

Превосходство нового Указа, во–первых, в его

свежести: уже от самого появления Указа должны были вспыхнуть эти преступления и обеспечиться обильный поток новоосуждён–ных. Но ещё большее превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками — несколько двенадцатилетних пацанов, — они получали до двадцати лет лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до двадцати пяти (самый этот срок, четвертная, теперь заменял смертную казнь, за несколько дней перед тем гуманно отменённую [27]). Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление, — теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.

В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в

[27] Примечания: 27

А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранджой, чтобы сбросить её с оскалом через два с половиной года, в январе 1950.

послевоенные годы.

Эта новая линия Сталина — что теперь–то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, — тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.

1948^19 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией повторников.

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недо–битыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947^18, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю воли—в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая–то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса–Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью .

И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее — весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего–то один: «Это вы сидели?» — «Я». —«Получите ещё десять»)

Тут хватился Единодержец, что это мало — сажать уцелевших с 37–го года! И детей тех своих врагов заклятых — тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. (А может поужинал крепко да сон дурной приснился с этими детьми.) Перебрали, прикинули — сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских — не сплошь! И потянулся поток «детей–мстителей». (Попадали в таких детей 17–летняя Лена Косарева и 35–летняя Елена Раковская.)

После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.

И потянулись в 1948, 49–м и 50–м:

— мнимые шпионы (десять лет назад германо–японские, сейчас англо–американские);

— верующие (на этот раз больше сектанты);

— недобитые генетики и селекционеры, вавиловцы и менделисты;

— просто интеллигентные думающие люди (а особо строго— студенты), недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им:

ВАТ—восхваление американской техники,

ВАД — восхваление американской демократии,

ПЗ — преклонение перед Западом.

Сходные были с 37–м потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.

Ещё немалый поток пролился от нового Указа о разгласителях государственных тайн (а тайнами считались: районный урожай, любая эпидемическая статистика; чем занимается любой цех и фабричёнка; упоминание гражданского аэродрома; маршруты городского транспорта; фамилия заключённого, сидящего в лагере). По этому Указу давали 15 лет.

Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый сгоряча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятёрки лагерей и ссылок все западно–украинские сельские жители, как–либо к партизанам прикасавшиеся: кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донёс о них. С 50–го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён — им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорей доконать мужей.

Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949 оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обеспечения коллективизации. Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей и крестьян. (Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны.)

В 48–м году прошёл в ссылку ещё один национальный поток — приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед Отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот

поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные — в по–литизоляторы.

А около 1950 в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными — потекли на Архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией.

В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как космополиты]. Для того было затеяно и «дело врачей». Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.

Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог — похоже, что руками человеческими, — выйти из рёбер вон.

Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.

Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.

Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными

вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, — а воронки непрерывно шныряли по улицам, а ге–бисты стучали и звонили в двери.

И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.

Глава 3. СЛЕДСТВИЕ

Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом [28], опускать человека в ванну с кислотами [29], голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого лёгкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче,

---

[28] Примечания: 28
Доктору С, по свидетельству А.П. Колпакова

[29] Примечания: 29
Х.С. Тусэ.

что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины, — то в расцвете великого Двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолёты, появилось звуковое кино и радио, — было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей–зверей над беззащитными миллионами жертв.

И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный «культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшней ещё то, что и тридцать лет спустя нам говорят: не надо об этом! если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! если доискиваться до сути наших нравов, это затемняет материальный прогресс! Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах… нет, о каналах не надо… тогда о колымском золоте, нет, и о нём не надо… Да обо всём можно, но—умеючи, но прославляя…

Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве, кроме костров, не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки…

* * *

Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 1937 году, видят в создании придуманных вин и в пытках.

Но это неверно, неточно. В разные годы и десятилетия следствие по 58–й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека — согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так чтобы взмолился он о другом конце, — а другой–то конец вышвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обетованную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад.)

Чем больше миновало бесписьменных лет, тем

труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось ещё в ранние годы Органов, — чтоб ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность, а то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы Органам отмирать. Как видно из дела Косырева [30], положение ЧК пошатывалось даже в начале 1919. Читая газеты 1918 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в 10 человек, которые хотели (только хотели ещё!) втащить на крышу Воспитательного дома (посмотрите, какая там высота) пушки — и оттуда обстреливать Кремль. Их было 10 человек

(средь того, может быть, женщины и подростки), неизвестно сколько пушек — и откуда же пушки? калибра какого? и как поднимать их по лестнице на чердак? И как на наклонной крыше устанавливать? — да чтоб не откатывались при стрельбе!.. А между тем эта фантазия, предвосхищающая построения 1937 года, ведь читалась же! и верили!.. Таким же дутым было и «Гумилёве-

[30] Примечания: 30
Часть Первая, глава 8.

кое» дело 1921 года [31]. В том же году в Рязанском ЧК вздули ложное дело о «заговоре» местной интеллигенции (но протесты смельчаков ещё смогли достигнуть Москвы, и дело остановили). В том же 1921 был расстрелян весь Сапропелиевый комитет, входивший в Комиссию Содействия Природным Силам. Достаточно зная склад и настроение русских учёных кругов того времени и не загороженные от тех лет дымовой завесой фанатизма, мы, пожалуй, и без раскопок сообразим, какова тому делу цена.

13 ноября 1920 года Дзержинский в письме в ВЧК упоминает, что в ЧК «часто даётся ход клеветническим заявлениям».

Вот вспоминает о 1921 годе Е. Дояренко: лубянская приёмная арестантов, 40–50 топчанов, всю ночь ведут и ведут женщин. Никто не знает своей вины, общее ощущение: хватают ни за что. Во всей камере одна–единственная знает—эсерка. Первый вопрос Ягоды: «итак, за что вы сюда попали?» — то есть сам скажи, помоги накручивать! И абсолютно то же рассказывают о Рязанском ГПУ 1930 года! Сплошное ощущение, что все сидят ни за что. Настолько не в чем обвинять,

[31] Примечания: 31

А.А. Ахматова называла мне имя того чекиста, кто изобрёл это дело, — Яков Агранов.

что И.Д.Табатерова обвинили… в ложности его фамилии. (И хотя была она самая доподлинная, а врезали ему по ОСО 58–10, 3 года.) Не зная, к чему бы придраться, следователь спрашивал: «Кем работали?» — «Плановиком». — «Пишите объяснительную записку: Планирование на заводе и как оно осуществляется. Потом узнаете, за что арестовали». (Он в записке найдёт какой–нибудь конец.)

Да не приучили ли нас за столько десятилетий, что оттуда не возвращаются? Кроме короткого сознательного попятного движения 1939 года, лишь редчайшие одиночные рассказы можно услышать об освобождении человека в результате следствия. Да и то: либо этого человека вскоре посадили снова, либо выпускали для слежки. Так создалась

традиция, что у Органов нет брака в работе. А как же тогда с невинными?..

В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: дознание разнится от следствия тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию.

О святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или

даже анонимный донос [32] влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. Отпущенное же для следствия время шло не на распутывание преступления, а в девяноста пяти случаях на то, чтоб утомить, изнурить, обессилить подследственного, и хотелось бы ему хоть топором отрубить, только бы поскорее конец.

Уже в 1919 главный следовательский приём был: наган на стол.

Так шло не только политическое, так шло и «бытовое» следствие. На процессе Главтопа (1921) подсудимая Махров–ская пожаловалась, что её на следствии подпаивали кокаином. Обвинитель [33] парирует: «Если бы она заявила, что с ней грубо обращались, грозили расстрелом, всему этому с грехом пополам ещё можно было бы поверить». Наган пугающе лежит, иногда наставляется на тебя, и следователь не утомляет себя придумыванием, в чём ты виноват, но: «рассказывай, сам знаешь!» Так и в 1927 следователь

---

[32] Примечания: 32

Статья 93–я Уголовно–процессуального кодекса так и говорила: «анонимное заявление может служить поводом для возбуждения уголовного дела» (слову «уголовный» удивляться не надо, ведь все политические и считались уголовными).

[33] Примечания: 33

Н В. Крыленко. За пять лет. 1918–1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. М.; Пг.: Гос. изд–во, 1923, с. 401.

Хайкин требовал от Скрипниковой, так в 1929 требовали от Витковского. Ничто не изменилось и через четверть столетия. В 1952 всё той же Анне Скрипниковой, уже в её пятую посадку, начальник следственного отдела Орджоникидзевского МГБ Си–ваков говорит: «Тюремный врач даёт нам сводки, что у тебя давление 240/120. Этого мало, сволочь (ей шестой десяток лет), мы доведём тебя до трёхсот сорока, чтобы ты сдохла, гадина, без всяких синяков, без побоев, без переломов. Нам только спать тебе не давать!» И если Скрипникова после ночи допроса закрывала днём в камере глаза, врывался надзиратель и орал: «Открой глаза, а то стащу за ноги с койки, прикручу к стенке стоймя!»

И ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо (Рязанское ЧК, Стельмах). И на Лубянке в 1926 (свидетельство Берты Ган–даль) использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и ещё поджаривают. Кажется, поэт Клюев побывал в такой, сидела и Берта Гандаль. Участник Ярославского восстания 1918 Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру

раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидев это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол. Известны «жаркие» (и «солёные») приёмы «золотого» периода. А в Грузии в 1926 подследственным прижигали руки папиросами; в Ме–техской тюрьме сталкивали их в темноте в бассейн с нечистотами. Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало — значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. И раз дутые дела были всегда — то насилия и пытки тоже были всегда, это не принадлежность 1937 года, это длительный признак общего характера. Вот почему странно сейчас в воспоминаниях бывших зэков иногда прочесть, что «пытки были разрешены с весны 1938 года» [34]. Духовно–нравственных преград, которые могли бы удержать Органы от пыток, не было никогда. В первый послереволюционный год в «Еженедельнике ВЧК», «Красном мече» и

[34] Примечания: 34

Е. Гинзбург пишет, что разрешение на «физическое воздействие» было дано в апреле 38–го года. В. Шаламов считает: пытки разрешены с середины 38–го года. Старый арестант Митрович уверен, что был «приказ об упрощённом допросе и смене психических методов на физические». Иванов–Разумник выделяет «самое жестокое время допросов— середина 38–го года».

«Красном терроре» открыто дискутировалась применимость пыток с точки зрения марксизма. И, судя по последствиям, ответ был извлечён положительный, хотя и не всеобщий.

Вернее сказать о 1938 годе так: если до этого года для применения пыток требовалось какое–то оформление, разрешение для каждого следственного дела (пусть и получалось оно легко), — то в 1937–38 ввиду чрезвычайной ситуации (заданные миллионные поступления на Архипелаг требовалось в заданный сжатый срок прокрутить через аппарат индивидуального следствия, чего не знали массовые потоки «кулацкий» и национальные) насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность.

В 1939 такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку (впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницей и карцером не запрещались никогда). Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определённые категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий

диапазон пыток. Сюда попали националисты, особенно — украинцы и литовцы, и особенно в тех случаях, где была или мнилась подпольная цепочка и надо было её всю вымотать, все фамилии добыть из уже арестованных. Например, в группе Ромуальдаса Прано Ски–рюса было около пятидесяти литовцев. Они обвинялись в 1945 в том, что расклеивали антисоветские листовки. Из–за недостатка в то время тюрем в Литве их отправили в лагерь близ Вельска Архангельской области. Одних там пытали, другие не выдерживали двойного следственно–рабочего режима, но результат таков: все пятьдесят человек до единого признались. Прошло некоторое время, и из Литвы сообщили, что найдены настоящие виновники листовок, а эти все ни при чём! — В 1950 я встретил на Куйбышевской пересылке украинца из Днепропетровска, которого в поисках «связи» и лиц пытали многими способами, включая стоячий карцер с жёрдочкой, просовываемой для опоры (поспать) на 4 часа в сутки. После войны же истязали члена–корреспондента Академии Наук Левину.

И ещё было бы неверно приписывать 37–му году то «открытие», что личное признание обвиняемого важнее всяких доказательств и фактов.

Это уже в 20–х годах сложилось. А к 1937 лишь приспело блистательное учение Вышинского. Впрочем, оно было тогда низвещено только следователям и прокурорам для их моральной твёрдости, мы же, все прочие, узнали о нём ещё двадцатью годами позже—узнали, когда оно стало обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей как широко и давно всем известное.

Оказывается, в тот грознопамятный год в своём докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Январь–евич (так и хочется обмолвиться Ягуарьевич) Вышинский в духе гибчайшей диалектики (которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них да есть да, а нет есть нет) напомнил, что для человечества никогда не возможно установить абсолютную истину, а лишь относительную. И отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались две тысячи лет: что, стало быть, и истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы всё равно никогда не можем быть абсолютно уверены, что казним виновного, а лишь с некоторой степенью

приближения, в некоторых предположениях, в известном смысле. (Может быть, сам Вышинский не меньше своих слушателей нуждался тогда в этом диалектическом утешении. Крича с прокурорской трибуны «всех расстрелять как бешеных собак!», он–то, злой и умный, понимал, что подсудимые невиновны. С тем большей страстью, вероятно, он и такой кит марксистской диалектики, как Бухарин, предавались диалектическим украшениям вокруг судебной лжи: Бухарину слишком глупо и беспомощно было погибать совсем невиновному—он даже нуждался найти свою вину! — а Вышинскому приятнее было ощущать себя логистом, чем неприкрытым подлецом.)

Отсюда — самый деловой вывод: что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик (улики все относительны), несомненных свидетелей (они могут и разноречить). Доказательства же виновности относительные, приблизительные, следователь может найти и без улик и без свидетелей, не выходя из кабинета, «опираясь не только на свой ум, но и на своё партийное чутьё, свои нравственные силы» (то есть на преимущества выспавшегося, сытого и не–избиваемого человека) «и на свой характер»

(то есть волю к жестокости)!

Конечно, это оформление было куда изящнее, чем инструкция Лациса. Но суть та же.

И только в одном Вышинский не дотянул, отступил от диалектической логики: почему–то пулю он оставил абсолютной…

Так, развиваясь по спирали, выводы передовой юриспруденции вернулись к доантичным или средневековым взглядам. Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её подследственным [35].

Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В Двадцатом же веке, используя и развитую медицину и немалый тюремный опыт (кто–нибудь пресерьёзно защитил на этом диссертации), признали такое сгущение сильных средств излишним, при массовом применении — громоздким. И кроме того…

И кроме того, очевидно, ещё было одно обстоятельство: как всегда, Сталин не выговаривал

---

[35] Примечания: 35

Сравни 5–е дополнение к конституции США: «Никто не может быть обязан свидетельствовать против себя в уголовном процессе».

последнего слова, подчинённые сами должны были догадаться, а он оставлял себе шакалью лазейку отступить и написать «Головокружение от успехов». Планомерное истязание миллионов предпринималось всё–таки впервые в человеческой истории, и при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материале опыт мог пройти иначе, чем на малом. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельски–чистых ризах. (Но в циркулярах ЦК 1937 и 1939 годов указание о «физическом воздействии» было.)

Поэтому, надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял Трибуналу заданное число во всём сознавшихся кроликов. А просто говорилось (устно, но часто), что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели; что никто не спросит со следователя за смерть подследственного; что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия. Вероятно, устраивали товарищеский обмен опытом, «учились у передовых»; ну, и объявлялась «материальная

заинтересованность» — повышенная оплата за ночные часы, премиальные за сжатие сроков следствия; ну, и предупреждалось, что следователи, которые с заданием не справятся… А теперь если бы в каком–нибудь облНКВД произошёл бы провал, то и его начальник был бы чист перед

Сталиным: он не давал прямых указаний пытать! И вместе с тем обеспечил пытки!

Понимая, что старшие страхуются, часть рядовых следователей (не те, кто остервенело упиваются) тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы: выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, да даже и сплошную синь тела.

Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем — кроме бессонницы — сплошного единства приёмов в разных областных управлениях, у разных следователей одного управления. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов–на–Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали оригинальное: вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки: в 1937 там не было дезинфекций, тиф, трупы в людской тесноте лежали по пять дней, кто в камерах сходил с ума—тех в

коридоре добивали палками.

Общее было всё же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, лёгким (мы сейчас их увидим), и это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым.

Попробуем перечесть некоторые простейшие приёмы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле.

Начнём с методов психических. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, — это методы огромной и даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убеждён, так тоже не легко.

1. Начнём с самих ночей. Почему это ночью происходит всё главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет Органы выбрали ночь? Потому что ночью, вырванный изо сна (даже ещё не истязаемый бессонницей), арестант не может быть уравновешен и трезв по–дневному, он податливей.

2. Убеждение в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки–мышки? Посидев немного среди других подследственных, арестант ведь уже усвоил общее положение. И следователь

говорит ему лениво–дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь всё равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, дойдёшь, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь—увидишь воздух, свет… Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашаются и подписывают, если… Если речь идёт только о них самих! Но — редко так. И борьба неизбежна.

Другой вариант убеждения—для партийца. «Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить: можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия? или советская власть?» — «Нет конечно!» — спешит ответить директор льноцентра. — «Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя!» И он берёт!

3. Грубая брань. Нехитрый приём, но на людей воспитанных, изнеженных, тонкого устройства, может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них (Бутырки, 1944) следствие вела женщина. Сперва он в камере не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришёл удручённый и долго не соглашался повторить, как изощрённо она стала загибать, заложив колено за колено. (Жалею, что не могу

привести здесь одну её фразочку.)

4. Удар психологическим контрастом. Внезапные переходы: целый допрос или часть его быть крайне любезным, называть по имени–отчеству, обещать все блага. Потом вдруг размахнуться пресс–папье: «У, гадина! Девять грамм в затылок!»— и, вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти ещё иголками кончаются, надвигаться (против женщин приём этот очень хорош).

В виде варианта: меняются два следователя, один рвёт и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит — какого увидит? По контрасту хочется второму всё подписать и признать, даже чего не было.

5. Унижение предварительное. В знаменитых подвалах

Ростовского ГПУ («Тридцать третьего номера») под толстыми

стёклами уличного тротуара (бывшее складское помещение)

заключённых в ожидании допроса клали на несколько часов

ничком в общем коридоре на пол с запретом приподнимать

голову, издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся ма

гометане, пока выводной не трогал их за плечо и не вёл на

допрос. — А. О–ва не давала на Лубянке нужных показаний.

Её перевели в Лефортово. Там на приёме надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а её

в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели мужчины,

стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать её стати. — Опроси, наверно много ещё можно собрать примеров. А цель одна: создать подавленное состояние.6. Любой приём, приводящий подследственного в смятение. Вот как допрашивался Ф.И.В. из Красногорска Московской области (сообщил И.А. Пупышев). Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приёмов (стриптиз!), но всё время продолжала допрос как ни в чём не бывало, ходила по комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может быть, это была её личная потребность, а может быть, и хладнокровный расчёт: у подследственного мутится разум, и он подпишет! А грозить ей ничего

не грозило: есть пистолет, звонок.7. Запугивание. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием— разумеется лживым. 1924 год: «Не сознаётесь? Придётся вам проехаться в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем». 1944 год: «От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен — пойдёшь в лёгкое место, будешь запираться — двадцать пять лет в наручниках на подземных работах!» — Запугивание другой, худшею тюрьмой: «Будешь запираться, перешлём тебя в Лефортово (если ты на Лубянке), в Сухановку (если ты в Лефортово), там с тобой не так будут разговаривать». А ты уже привык: в этой тюрьме как будто режим и ничего, а что за пытки ждут тебя там! да переезд… Уступить?..

Запугивание великолепно действует на тех, кто ещё не арестован, а вызван в Большой Дом пока по повестке. Ему (ей) ещё много чего терять, он (она) всего боится — боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает Уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса подсовывается ей листок с подложной

выдержкой из Кодекса: «Я предупреждена, что за дачу ложных показаний… 5 (пять) лет заключения» (на самом деле — статья 95 — до двух лет)… за отказ от дачи показаний — 5 (пять) лет… (на самом деле статья 92 — до трёх месяцев, и то — исправительно–трудовых работ, а не заключения). Здесь уже вошёл и всё время будет входить ещё один следовательский метод:

8. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжёт

всё время, и к нему эти все статьи не относятся. Мы даже

потеряли мерку спросить: а что ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей — и это только изящный следовательский приём.

Запугивание с заманиванием и ложью—основной приём воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показаний, ему будет хуже… Вы его совсем погубите… (каково это слышать матери?). Только подписанием этой (подсунутой) бумаги

вы можете его спасти» (погубить) [36].

9. Игра на привязанности к близким — прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний, на привязанности к близким можно сломить бесстрашного человека (о, как это провидено: «враги человеку домашние его»!). Помните того татарина, который всё выдержал— и свои муки, и женины, а муки дочерний не выдержал?.. В 1930 следовательница Рималис угрожала так: «Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками!»

Угрожают посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением: твоя жена уже посажена, но дальнейшая её судьба зависит от твоей искренности. Вот её допрашивают в соседней комнате, слушай! И действительно, за стеной женский плач и визг (а ведь они все похожи друг на друга, да ещё через стену, да и ты–то взвинчен, ты же не в состоянии эксперта; иногда это просто проигрывают пластинку с голосом «типовой жены» — сопрано или контральто, чьё–то рацпредложение). Но вот уже без подделки

---

[36] Примечания: 36

По жестоким законам Российской империи близкие родственники могли вообще отказаться от показаний. И если дали показания на предварительном следствии, могли по своей воле исключить их, не допустить до суда. Само по себе знакомство или родство с преступником странным образом даже не считалось тогда уликою!..

тебе показывают через стеклянную дверь, как она идёт безмолвная, горестно опустив голову, — да! твоя жена! по коридорам госбезопасности! ты погубил её своим упрямством! она уже арестована! (А её просто вызвали по повестке для какой–то пустячной процедуры, в уговоренную минуту пустили по коридору, но велели: головы не подымайте, иначе отсюда не выйдете!) — А то дают читать тебе её письмо, точно её почерком: я отказываюсь от тебя! после того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен! (А так как и жёны такие, и письма такие в нашей стране отчего ж невозможны, то остаётся тебе сверяться только с душой: такова ли и твоя жена?)

От В.А. Корнеевой следователь Гольдман (1944) вымогал показания на других людей угрозами: «дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу». Убеждённая и твёрдая в вере Корнеева нисколько не боялась за себя, она готова была страдать. Но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру после ночи отвергнутых и изорванных протоколов Гольдман начинал писать какой–нибудь четвёртый вариант, где обвинялась только уже одна она, Корнеева подписывала с радостью и ощущением душевной

победы. Уж простого человеческого инстинкта — оправдаться и отбиться от ложных обвинений — мы себе не уберегаем, где там! Мы рады, когда удаётся всю вину принять на себя[37].

Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и тут нам не удастся чётко отделить методы психические от физических. Куда, например, отнести такую забаву:

10. Звуковой способ. Посадить подследственного метров

за шесть–за восемь и заставлять всё громко говорить и повто

рять. Уже измотанному человеку это нелегко.Или сделать два рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем следователем, подступя к арестанту вплотную, кричать ему в оба уха: «Сознавайся, гад!» Арестант оглушается, иногда теряет слух. Но это неэкономичный способ, просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться, вот и придумывают кто во что горазд.

---

[37] Примечания: 37

А теперь она говорит: «Через 11 лет во время реабилитации дали мне перечитать эти протоколы — и охватило меня ощущение душевной тошноты. Чем я могла тут гордиться?!.» — Я при реабилитации то же испытал, послушав выдержки из прежних своих протоколов. Не узнаю себя— как я мог это подписывать и ещё считать, что неплохо отделался и даже победил?

11. Щекотка. Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвивается, у него ощущение, будто сверлят в мозг.

12. Гасить папиросу о кожу подследственного (уже названо выше).

13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант, непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен (электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками!). Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора.

14. Такая придумка. Чеботарёва в ночь под 1 мая 1933

в Хабаровском ГПУ всю ночь, двенадцать часов, — не допра

шивали, нет: водили на допрос! Такой–то — руки назад! Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю. Выводной ушёл. Но следователь, не только не задав

ни единого вопроса, а иногда не дав Чеботарёву и присесть,

берёт телефонную трубку: заберите из 107–го! Его берут, приводят в камеру. Только он лёг на

нары, гремит замок: Чеботарёв! На допрос! Руки назад! А там: заберите из 107–го!Да вообще методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета.15. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, ещё в лёте его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, — на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! — может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться! Идут эти первые часы, когда всё в нём ещё горит от неостановленного душевного вихря. Одни падают духом — и вот тут–то делать им первый допрос! Другие озлобляются — тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность — и легче намотать им дело.

16. Когда не хватало боксов, делали ещё и так. Елену Струтинскую в Новочеркасском НКВД посадили на шесть суток в коридоре на табуретку — так, чтоб она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на шесть

суток! А вы попробуйте просидите шесть часов.

Опять–таки в виде варианта можно сажать заключённого на высокий стул, вроде лабораторного, так чтоб ноги его не доставали до пола, они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов восемь–десять.

А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул, но вот как: на самый кончик, на рёбрышко сиденья (ещё вперёд! ещё вперёд!), чтоб он только не сваливался, но чтоб ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего? Да, только и всего. Испытайте.

17. По местным условиям бокс может заменяться диви

зионной ямой, как это было в Гороховецких армейских лаге

рях во время Великой Отечественной войны. В такую яму,

глубиною три метра, диаметром метра два, арестованный

сталкивался, и там несколько суток, под открытым небом,

часом и под дождём, была для него и камера и уборная. А триста граммов хлеба и воду ему туда спускали на верёвочке. Во–образите себя в этом

положении, да ещё только что арестованного, когда в тебе всё клокочет.Общность ли инструкций всем Особым Отделам Красной армии или сходство их бивуачного положения привели к большой распространённости этого приёма. Так, в 36–й мотострелковой дивизии, участнице Халхин–Гола, стоявшей в 1941 в монгольской пустыне, свежеарестованному, ничего не объясняя, давали (начальник Особого Отдела Самулёв) в руки лопату и велели копать яму точных размеров могилы (уже пересечение с методом психологическим!). Когда арестованный углублялся больше чем по пояс, копку приостанавливали и велели ему садиться на дно: голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько таких ям охранял один часовой, и казалось вокруг всё пусто[38]. В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем непокрытых, а в ночном холоде неодетых, безо всяких пыток — зачем тратить усилия на пытки? Паёк давали такой: в сутки сто граммов хлеба и один стакан воды. Лейтенант Чульпенёв, богатырь, боксёр, двадцати

[38] Примечания: 38

Это, видимо, — монгольские мотивы. В журнале «Нива» (1914, Ібмарта, с. 218) есть зарисовка монгольской тюрьмы: каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием для головы или пищи. Между сундуками ходит надзиратель.

одного года, высидел так месяц. Через десять дней он кишел вшами. Через пятнадцать его первый раз вызвали на следствие.

18. Заставить подследственного стоять на коленях —

не в каком–то переносном смысле, а в прямом: на коленях

и чтоб не присаживался на пятки, а спину ровно держал.

В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так

стоять 12 часов, и 24, и 48. (Сам следователь может уходить

домой, спать, развлекаться, это разработанная система:

около человека на коленях ставится пост, сменяются часо

вые[39].) Кого хорошо так ставить? Уже надломленного, уже склоняющегося к сдаче. Хорошо ставить так женщин. — Иванов–Разумник сообщает о варианте этого метода: поставив молодого Лордкипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо! И что же? Не взятый ничем другим, Лордкипанидзе был этим сломлен. Значит, и на

[39] Примечания: 39

Ведь кто–то смолоду вот так и начинал — стоял часовым около человека на коленях. А теперь, наверно, в чинах, дети уже взрослые…

гордых хорошо действует…19. А то так просто заставить стоять. Можно, чтоб стоял только во время допросов, это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но чтоб стоял от допроса до допроса (выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не прислонялся к стене, а если заснёт и грохнется — пинать и поднимать). Иногда и суток выстойки довольно, чтобы человек обессилел и показал что угодно.

20. Во всех этих выстойках по 3–4–5 суток обычно не дают пить.

Всё более становится понятной комбинированность приёмов психологических и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются с —

21. Бессонницей, совсем не оцененною Средневековьем:

оно не знало об узости того диапазона, в котором человек со

храняет свою личность. Бессонница (да ещё соединённая

с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестно

стью— что твои пытки!?) мутит разум, подрывает волю, человек перестаёт быть своим «я». («Спать хочется» Чехова, но

там гораздо легче, там девочка может прилечь, испытать перерывы сознания, которые и за минуту спасительно освежают мозг.) Человек действует наполовину бессознательно или

вовсе бессознательно, так что за его показания на него уже

нельзя обижаться…А представьте себе в этом замутнённом состоянии ещё иностранца, не знающего по–русски, и дают ему что–то подписать. Баварец Юп Ашенбреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 1954 он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков.

Так и говорилось: «Вы не откровенны в своих показаниях, поэтому вам не разрешается спать!» Иногда для утончённости не ставили, а сажали на мягкий диван, особенно

располагающий ко сну (дежурный надзиратель сидел рядом на том же диване и пинал при каждом зажмуре). Вот как описывает пострадавший (ещё перед тем отсидевший сутки в клопяном боксе) свои ощущения после этой пытки: «Озноб от большой потери крови. Пересохли оболочки глаз, будто кто–то перед самыми глазами держит раскалённое железо. Язык распух от жажды и как ёж колет при малейшем шевелении. Глотатель-

ные спазмы режут горло».

Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра невиданная инспекция[40]. «Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий! Сотрудники тоже с вами вместе не спали» (да днём отсыпались). Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в Органах, из разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности и потому достигалась наиболее дешёвым способом, без выставления каких–то там постовых. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъёма до отбоя (в Су–хановке и ещё некоторых для этого койка убирается на день в стену, в других — просто нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки). А главные допросы — все ночью. И так автоматически: у кого идёт следствие, тот не имеет времени спать по крайней мере пять суток в неделю (в ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдыхать).

22. В развитие предыдущего — следователь-

[40] Примечания: 40

Впрочем, инспекция настолько была невозможна и настолько никогда её не было, что, когда к уже заключённому министру госбезопасности Абакумову она вошла в камеру в 1953, он расхохотался, сочтя за мистификацию.

ский конвейер. Ты не просто не спишь, но тебя трое–четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи.

23. Клопяной бокс, уже упомянутый. В тёмном дощаном шкафу разведено клопов сотни, может быть тысячи. Пиджак или гимнастёрку с сажаемого снимают, и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные клопы. Сперва он ожесточённо борется с ними, душит на себе, на стенах, задыхается от их вони, через несколько часов ослабевает и безропотно даёт себя пить.

24. Карцеры. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже её, оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и обычно холодом

(в Сухановке есть и горячие карцеры). Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе, батареи обогревают только коридор, и в этом «обогретом» коридоре дежурные надзиратели ходят в валенках и телогрейке. Арестанта же раздевают до белья, а иногда до одних кальсон, и он должен в неподвижности (тесно) пробыть в карцере сутки–трое–пяте–ро (горячая баланда только на третий день). В первые минуты ты думаешь: не выдержу и часа. Но каким–то чудом

человек высиживает свои пять суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь.

У карцеров бывают разновидности: сырость, вода. Уже после войны Машу Гоголь в Черновицкой тюрьме держали босую два часа по щиколотки в ледяной воде — признавайся! (Ей было восемнадцать лет, как ещё жалко свои ноги и сколько ещё с ними жить надо!)

25. Считать ли разновидностью карцера запирание стоя в нишу! Уже в 1933 в Хабаровском ГПУ так пытали С.А. Чеботарёва: заперли голым в бетонную нишу так, что он не мог подогнуть колен, ни расправить и переместить рук, ни повернуть головы. Это не всё! Стала капать на макушку холодная вода (как хрестоматийно!..) и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это всё только на двадцать четыре часа. Страшно это, не страшно, — но он потерял сознание, его открыли назавтра как бы мёртвым, он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя нашатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить — откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал негоден даже для допросов. (Мы смеем предположить, что эта ниша и капающее устройство были сделаны не для одного ж Чеботарёва. В 1949

мой днепропетровец сидел в похожем, правда без капанья. Между Хабаровском и Днепропетровском да за 16 лет допустим и другие точки?)

26. Голод уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ: признание из заключённого выголодить. Собственно, элемент голода, так же как и использование ночи, вошёл во всеобщую систему воздействия. Скудный тюремный паёк, в 1933 невоенном году — 300 грамм, в 1945 на Лубянке — 450, игра на разрешении и запрете передач или ларька — это применяется сплошь ко всем, это универсально. Но бывает применение голода обострённое: вот так, как продержали Чульпенёва месяц на ста граммах — и потом перед ним, приведенным из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанного наискосок (кажется, какое значение имеет, как срезанного? — но Чульпенёв и сегодня настаивает: уж очень заманчиво было срезано) — однако не накормил ни разу. И как же это всё старо, феодально, пещерно! Только та и новинка, что применено в социалистическом обществе. — О подобных приёмах рассказывают и другие, это часто. Но мы опять передадим случай с Чеботарёвым, потому что он комби-

нированный очень. Посадили его на 72 часа в следовательском кабинете и единственное, что разрешали, — вывод в уборную. В остальном не давали: ни есть, ни пить (рядом вода в графине), ни спать. В кабинете находились всё время три следователя. Они работали в три смены. Один постоянно (и молча, ничуть не тревожа подследственного) что–то писал, второй спал на диване, третий ходил по комнате и, как только Чеботарёв засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями. (Может, их самих за неуправность перевели на казарменное положение?) И вдруг принесли Чеботарёву обед: жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой и в хрустальном графине красное вино. Но, всю жизнь имея отвращение к алкоголю, Чеботарёв не стал пить вина, как ни заставлял его следователь (а слишком заставлять не мог, это уже портило игру). После обеда ему сказали: «А теперь подписывай, что ты показал при двух свидетелях^. —то есть что молча было сочинено при одном спавшем и одном бодрствующем следователе. С первой же страницы Чеботарёв увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и ото всех получил шпионское задание. И он стал перечёркивать страницы. Его избили

и выгнали. А взятый вместе с ним другой ка–вэ–жэ–динец Благинин, всё то же пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал — и был расстрелян. (Три дня голодному что такое единая рюмка! а тут графин.)

27. Битьё, не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колотушками, и мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например следовательским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комполка Карпуни–ча–Бравена били 21 день подряд. (Сейчас говорит: «и через 30 лет все кости болят и голова».) Вспоминая своё и по рассказам он насчитывает 52 приёма пыток. Или вот ещё как: зажимают руки в специальном устройстве — так, чтобы ладони подследственного лежали плашмя на столе, — и тогда бьют ребром линейки по суставам — можно взвопить! Выделять ли из битья особо — выбивание зубов? (Карпуничу выбили восемь.)

У секретаря Карельского обкома Г. Куприянова, посаженного в 1949, иные выбитые зубы были простые, они не в счёт, а иные — золотые. Так сперва давали квитанцию, что взяты на хранение. Потом спохватились и квитанцию отобрали.

Как всякий знает, удар кулаком в солнечное

сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефортовский полковник Сидоров уже после войны применял вольный удар галошей по свисающим мужским придаткам (футболисты, получившие мячом в пах, могут этот удар оценить). С этой болью нет сравнения, и обычно теряется сознание[41].

28. В Новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногтей. У многих новороссийских потом на пересылках видели слезшие ногти.

29. А смирительная рубашка!

30. А перелом позвоночника! (Всё то же Хабаровское ГПУ, 1933.)

31. А взнуздание («ласточка»)? Это—метод Суханове кий, но и Архангельская тюрьма знает его (следователь Ивков, 1940). Длинное суровое полотенце закладывается тебе через рот (взнуздание), а потом через спину привязывается концами к пяткам. Вот так, колесом на брюхе, с хрустящей спиной, без воды и еды полежи суток двое.

Надо ли перечислять дальше? Много ли ещё перечислять? Чего не изобретут праздные, сытые,

---

[41] Примечания: 41

В 1918 Московский Ревтрибунал судил бывшего надзирателя царской тюрьмы Бондаря. Как высший пример его жестокости стояло в обвинении, что он «в одном случае ударил политзаключённого с такой силой, что у того лопнула барабанная перепонка». [Н.В. Крыленко. За пять лет, с. 16.)

бесчувственные?..

Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее…

* * *

Но вот что. Ни этих пыток, ни даже самых «лёгких» приёмов не нужно, чтобы получить показания из большинства, чтобы в железные зубы взять ягнят, неподготовленных и рвущихся к своему тёплому очагу. Слишком неравно соотношение сил и положений.

О, в каком новом виде, изобилующем опасностями, — подлинными африканскими джунглями представляется нам из следовательского кабинета наша прошлая прожитая жизнь! А мы считали её такой простой!

Вы, А., и друг ваш Б., годами друг друга зная и вполне друг другу доверяя, при встречах смело говорили о политике малой и большой. И никого не было при этом. И никто не мог вас подслушать. И вы не донесли друг на друга, отнюдь.

Но вот вас, А., почему–то наметили, выхватили из стада за ушки и посадили. И почему–нибудь, ну, может быть, не без чьего–то доноса на вас, и не без вашего перепуга за близких, и не без маленькой бессонницы, и не без карцерочка,

вы решили на себя махнуть рукой, но уж других не выдавать ни за что! И в четырёх протоколах вы признали и подписали, что вы — заклятый враг советской власти, потому что рассказывали анекдоты о вожде, желали вторых кандидатов на выборах и заходили в кабину, чтобы вычеркнуть единственного, да не было чернил в чернильнице, а ещё на вашем приёмнике был 16–метровый диапазон и вы старались через глушение что–нибудь расслышать из западных передач. Вам десятка обеспечена, однако рёбра целы, воспаления лёгких пока нет, вы никого не продали и, кажется, умно выкрутились. Уже вы высказываете в камере, что наверно следствие ваше подходит к концу.

Но чу! Неторопливо любуясь своим почерком, следователь начинает заполнять протокол № 5. Вопрос: были ли вы дружны с Б.? —Да. —Откровенны с ним в политике? — Нет, нет, я ему не доверял. — Но вы часто встречались? — Не очень. — Ну, как же не очень? По показаниям соседей, он был у вас только за последний месяц — такого–то, такого–то и такого–то числа. Был? — Ну, может быть. — При этом замечено, что, как всегда, вы не выпивали, не шумели, разговаривали очень тихо, не слышно было в

коридор. (Ах, выпивайте, друзья! бейте бутылки! материтесь погромче! — это делает вас благонадёжными!) — Ну, так что ж такого? — И вы тоже у него были, вот вы по телефону сказали: мы тогда провели с тобой такой содержательный вечер. Потом вас видели на перекрестке — вы простояли с ним полчаса на холоде, и у вас были хмурые лица, недовольные выражения, вот вы, кстати, даже сфотографированы во время этой встречи. (Техника агентов, друзья мои, техника агентов.) Итак — о чём вы разговаривали при этих встречах?

О чём?!. Это сильный вопрос! Первая мысль — вы забыли, о чём вы разговаривали. Разве вы обязаны помнить? Хорошо, забыли первый разговор. И второй тоже? И третий тоже? И даже—содержательный вечер? И — на перекрестке. И разговоры с В.? И разговоры с Г.? Нет, думаете вы, «забыл»— это не выход, на этом не продержишься. И ваш сотрясённый арестом, защемлённый страхом, омутнённый бессонницей и голодом мозг ищет: как бы изловчиться по–правдоподобней и перехитрить следователя.

О чём?!. Хорошо, если вы разговаривали о хоккее (это во всех случаях самое спокойное, друзья!), о бабах, даже и о науке— тогда можно повторить

(наука — недалека от хоккея, только в наше время в науке всё засекречено и можно схватить по Указу о разглашении). А если на самом деле вы говорили о новых арестах в городе? о колхозах? (и, конечно, плохо, ибо кто ж о них говорит хорошо?). О снижении производственных расценок? Вот вы хмурились полчаса на перекрестке — о чём вы там говорили?

Может быть, Б. арестован (следователь уверяет вас, что — да, и уже дал на вас показания, и сейчас его ведут на очную ставку). Может быть, преспокойно сидит дома, но на допрос его выдернут и оттуда и сличат у него: о чём вы тогда хмурились на перекрестке?

Сейчас–то, поздним умом, вы поняли: жизнь такая, что всякий раз, расставаясь, вы должны были уговариваться и чётко запоминать: о чём бишь мы сегодня говорили? Тогда при любых допросах ваши показания сойдутся. Но вы не договорились. Вы всё–таки не представляли, какие это джунгли.

Сказать, что вы договаривались поехать на рыбалку? А Б. скажет, что ни о какой рыбалке речи не было, говорили о заочном обучении. Не облегчив следствия, вы только туже закрутите узел: о чём? о чём? о чём?

У вас мелькает мысль — удачная? или губительная? — надо рассказать как можно ближе к тому, что на самом деле было (разумеется, сглаживая всё острое и опуская всё опасное), —ведь говорят же, что надо лгать всегда поближе к правде. Авось, и Б. так же догадается, расскажет что–нибудь около этого, показания в чём–то совпадут, и от вас отвяжутся.

Через много лет вы поймёте, что это была совсем неразумная идея и что гораздо правильней играть неправдоподобного круглейшего дурака: не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышление — ни минуты. И сразу два следователя (они любят друг к другу в гости ходить) упёрлись в вас: о чём? о чём? о чём?

И вы даёте показание: о колхозах говорили (что не всё ещё налажено, но скоро наладится). О понижении расценок говорили… Что именно говорили? Радовались, что понижают? Но нормальные люди так не могут говорить, опять неправдоподобно. Значит, чтобы быть вполне правдоподобным: немножко жаловались, что немножко прижимают расценками.

А следователь пишет протокол сам, он переводит на свой язык: в эту нашу встречу мы клеветали на политику партии и правительства в области заработной платы.

И когда–нибудь Б. упрекнёт вас: эх, растяпа, а я сказал — мы о рыбалке договаривались…

Но вы хотели быть хитрее и умнее вашего следователя! У вас быстрые изощрённые мысли! Вы интеллигентны. И вы перемудрили…

В «Преступлении и наказании» Порфирий Петрович делает Раскольникову удивительно тонкое замечание, его мог изыскать только тот, кто сам через эти кошки–мышки прошёл: что, мол, с вами, интеллигентами, и версии своей мне строить не надо, — вы сами её построите и мне готовую принесёте. Да, это так! Интеллигентный человек не может отвечать с прелестной бессвязностью чеховского «злоумышленника». Он обязательно постарается всю историю, в которой его обвиняют, построить как угодно лживо, но — связно.

А следователь–мясник не связности этой ловит, а только две–три фразочки. Он–то знает, что почём. А мы — ни к чему не подготовлены!..

Нас просвещают и готовят с юности — к нашей специальности; к обязанностям гражданина; к воинской службе; к уходу за своим телом; к

приличному поведению; даже и к пониманию изящного (ну, это не очень). Но ни образование, ни воспитание, ни опыт ничуть не подводят нас к величайшему испытанию жизни: к аресту ни за что и к следствию ни о чём. Романы, пьесы, кинофильмы (самим бы их авторам испить чашу ГУЛАГа!) изображают нам тех, кто может встретиться в кабинете следователя, рыцарями истины и человеколюбия, отцами родными. — О чём только не читают нам лекций! и даже загоняют на них! — но никто не прочтёт лекции об истинном и расширительном смысле статей Уголовного кодекса, да и сами кодексы не выставлены в библиотеках, не продаются в киосках, не попадаются в руки беспечной юности.

Почти кажется сказкой, что где–то, за тремя морями, подследственный может воспользоваться помощью адвоката. Это значит в самую тяжёлую минуту борьбы иметь подле себя светлый ум, владеющий всеми законами!

Принцип нашего следствия ещё и в том, чтобы лишить подследственного даже знания законов.

Предъявляется обвинительное заключение… (кстати: Распишитесь на нём. — Я с ним не согласен. — Распишитесь. — Но я ни в чём не виноват!) …вы обвиняетесь по статьям 58–10 часть 2 и 58–11

Уголовного кодекса РСФСР. Распишитесь! — Но что гласят эти статьи? Дайте прочесть Кодекс! — У меня его нет. — Так достаньте у начальника отдела! — У него тоже нет. Расписывайтесь! — Но я прошу его показать! — Вам не положено его показывать, он пишется не для вас, а для нас. Да он вам и не нужен, я вам так объясню: эти статьи — как раз всё то, в чём вы виноваты. Да ведь вы сейчас распишетесь не в том, что вы согласны, а в том, что прочли, что обвинение предъявлено вам.

В какой–то из бумажёнок вдруг мелькает новое сочетание букв: УПК. Вы настораживаетесь: чем отличается УПК от УК? Если вы попали в минуту расположения следователя, он объяснит вам: Уголовно–процессуальный кодекс. Как? Значит, даже не один, а целых два полных Кодекса остаются вам неизвестными в то самое время, когда по их правилам над вами началась расправа?!

…С тех пор прошло десять лет, потом пятнадцать. Поросла густая трава на могиле моей юности. Отбыт был и срок, и даже бессрочная ссылка. И нигде — ни в «культурно–воспитательных» частях лагерей, ни в районных библиотеках, ни даже в средних городах, — нигде я в глаза не видал, в руках не держал, не мог купить, достать

и даже спросить Кодекса советского права! И сотни моих знакомых арестантов, прошедших следствие, суд, да ещё и не единожды, отбывших лагеря и ссылку, — никто из них тоже Кодекса не видел и в руках не держал! (Знающие атмосферу нашей подозрительности понимают, почему нельзя было спросить Кодекс в народном суде или в райисполкоме. Ваш интерес к Кодексу был бы явлением чрезвычайным: или вы готовитесь к преступлению, или заметаете следы!)

И только когда оба Кодекса уже кончали последние дни своего тридцатипятилетнего существования и должны были вот–вот замениться новыми, —только тогда я увидел их, двух братишек бесперeплётных, УК и УПК, на прилавке в московском метро (решили спустить их за ненадобностью).

И теперь я с умилением читаю. Например, УПК:

Статья 136. Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путём насилия или угроз. (Как в воду смотрели!)

Статья 111. Следователь обязан выяснить обстоятельства, также и оправдывающие обвиняемого, также и смягчающие его вину.

(«Но я устанавливал советскую власть в Октяб-

ре!.. Я расстреливал Колчака!.. Я раскулачивал!.. Я дал государству десять миллионов рублей экономии!.. Я дважды ранен в последнюю войну!.. Я трижды орденоносец!..»

«За это мы вас не судим! —оскаливается история зубами следователя. — Что вы сделали хорошего — это к делу не относится».)

Статья 139. Обвиняемый имеет право писать показания собственноручно, а в протокол, написанный следователем, требовать внесения поправок.

(Эх, если б это вовремя знать! Верней: если бы это было действительно так! Но как милости и всегда тщетно просим мы следователя не писать: «мои гнусные клеветнические измышления» вместо «мои ошибочные высказывания», «наш подпольный склад оружия» вместо «мой заржавленный финский нож».)

О, если бы подследственным преподавали бы сперва тюремную науку! Если бы сначала проводили следствие для репетиции, а уж потом настоящее… С повторниками 1948 года ведь не проводили же всей этой следственной игры — впустую было бы. Но у первичных опыта нет, знаний нет! И посоветоваться не с кем.

Одиночество подследственного! — вот ещё

условие успеха неправедного следствия! На одинокую стеснённую волю должен размозжающе навалиться весь аппарат. От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок: в камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах — нигде он не должен столкнуться с подобным себе, ни в чьей улыбке, ни в чьём взгляде не почерпнуть сочувствия, совета, поддержки. Органы делают всё, чтобы затмить для него будущее и исказить настоящее: представить арестованными его друзей и родных, найденными— вещественные доказательства. Преувеличить свои возможности расправы с ним и с его близкими, свои права на прощение (которых у Органов вовсе нет). Связать искренность «раскаяния» со смягчением приговора и лагерного режима (такой связи отроду не было). В короткую пору, пока арестант потрясён, измучен и невменяем, получить от него как можно больше непоправимых показаний, запутать как можно больше ни в чём не виноватых лиц (иные так падают духом, что даже просят не читать им вслух протоколов, нет сил, а лишь давать подписывать, лишь давать подписывать) — и только тогда из одиночки отпустить его в большую камеру, где он с поздним

отчаянием обнаружит и перечтёт свои ошибки.

Как не ошибиться в этом поединке? Кто бы не ошибся?

Мы сказали «в идеале должен быть одинок». Однако в тюремном переполнении 37–го года (да и 45–го тоже) этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследственного не мог быть соблюдён. Почти с первых же часов арестант оказывался в густонаселённой общей камере.

Но тут были свои достоинства, перекрывающие недочёт. Избыточность наполнения камеры не только заменяла сжатый одиночный бокс, она проявлялась как первоклассная пытка, особенно тем драгоценная, что длилась целыми сутками и неделями—и безо всяких усилий со стороны следователей: арестанты пытались арестантами же! Наталкивалось в камеру столько арестантов, чтобы не каждому достался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Так, в кишинёвских КПЗ (камерах предварительного заключения) в 1945 в одиночку вталкивали по 18 человек, в Луганске в 1937 — по 15[42], а Иванов–Разумник в 1938 в стандартной

[42] Примечания: 42

И следствие шло у них по 8–10 месяцев. «Небось Клим Ворошилов в такой одиночке один сидел», — говорили ребята (да ещё и сидел ли?).

бутырской камере на 25 человек сидел в составе ста сорока. Быт камер 1937–38 у него очень хорошо описан. Уборные так перегружены, что оправка только раз в сутки и иногда даже ночью, как и прогулка! Он же в Лубянском приёмном «собачнике» подсчитал, что целыми неделями их приходилось на один квадратный метр пола по три человека (прикиньте, разместитесь!)[43]. В собачнике не было окна или вентиляции, от тел и дыхания температура была 4СМ–5 градусов, все сидели в одних кальсонах (зимние вещи подложив под себя), голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они неделями, им не давали ни воздуха, ни воды (кроме баланды и чая утром).

В тот год в Бутырках свежеарестованные (уже обработанные баней и боксами) по несколько суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. Табатеров сидел в Бутырках семью годами раньше, в 1931, говорит: всё забито под нарами, лежали на асфальтном полу. Я сидел семью годами позже, в 1945, — то же самое. Но недавно от М.К. Бара-

[43] Примечания: 43

И во Владимирской «внутрянке» в 1948 в камере 3 г 3 метра постоянно стояли 30 человек! (С. Потапов). В Краснодарском ГПУ в 1937 — четыре человека на один квадратный метр пола.

нович я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте 1918 года: в октябре того года (второй месяц красного террора) было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру на 70 человек! Да когда ж тогда Бутырки стояли порожние?

Если при этом параша заменяла все виды оправки (или, наоборот, от оправки до оправки не было в камере параши, как в некоторых сибирских тюрьмах); если ели по четверо из одной миски—и друг у друга на коленях; если то и дело кого–то выдёргивали на допрос, а кого–то вталкивали избитого, бессонного и сломленного; если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз; а тому, кого месяцами не вызывали, уже любая смерть и любой лагерь казались легче их скорченного положения, — так, может быть, это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество? И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдёшь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь пыткам и избиениям не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди.

От самих пострадавших ты узнаешь, что дают солёную клизму в горло и потом на сутки в бокс мучиться от жажды (Карпунич). Или тёркой сти-

рают спину до крови и потом мочат скипидаром. Комбригу Рудольфу Пинцову досталось и то, и другое, и ещё иголки загоняли под ногти, и водой наливали до распирания — требовали, чтобы подписал протокол, что хотел на октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство[44]. А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВО КС (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей) — с перебитым позвоночником клонящегося набок, не могущего сдержать слёз, можно узнать, как бьёт (в 1948) сам Абакумов.

Да, да, сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушается этой чёрной работы (Суворов на передовой!), он не прочь иногда взять резиновую палку в руки. Тем более охотно бьёт его заместитель Рюмин. Он делает это на Сухановке в «генеральском» следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех, шёлковые портьеры на окнах и дверях, на полу большой персидский ковёр. Чтобы не попортить этой красоты, для избиваемого постилается сверх

[44] Примечания: 44

На самом же деле он вёл бригаду на параде, но почему–то же не двинул. Впрочем, это не засчитывается. Однако после своих универсальных пыток он получил… 10 лет по ОСО. Настолько сами жандармы не верили в свои достижения.

ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину не простой надзиратель, а полковник. «Так, — вежливо говорит Рюмин, поглаживая резиновую дубинку диаметром сантиметра в четыре, — испытание бессонницей вы выдержали с честью. — (Александр Долган хитростью сумел продержаться месяц без сна: он спал стоя.) —Теперь попробуем дубинку. У нас больше двух–трёх сеансов не выдерживают. Спустите брюки, ложитесь на дорожку». Полковник садится избиваемому на спину. Долган собирается считать удары. Он ещё не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдаётся не в место удара — раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли, ломает ногти о дорожку. Рюмин бьёт, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей — как раз работа для трёх больших погонных звёзд ассистировать всесильному Рюмину! (После сеанса избитый не может идти, его и не несут, а отволакивают по полу. Ягодица вскоре распухнет так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос, и, сидя на параше в своей одиночке, Долган хохочет. Ему предстоит ещё

и второй сеанс, и третий, лопнет кожа; Рюмин, остервенясь, примется бить его в живот, пробьёт брюшину, в виде огромной грыжи выкатятся кишки, арестанта увезут в Бутырскую больницу с перитонитом, и временно прервутся попытки заставить его сделать подлость.)

Вот как могут и тебя затязать! После этого просто лаской отеческой покажется, когда кишинёвский следователь Данилов бьёт священника отца Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косу. (Священников удобно так таскать; а мирских можно — за бороду, и проволакивать из угла в угол кабинета. А Рихарда Ахолу — финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении Кронштадтского восстания— поднимали щипцами то за один, то за другой большой его ус и держали по десять минут так, чтоб ноги не доставали пола.)

Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это: раздеть ниже пояса, положить на спину на полу, ноги развести, на них сядут подручные (славный сержантский состав), держа тебя за руки, а следователь — не гнушаются тем и женщины — становится между твоих разведенных ног и, носком своего ботинка (своей туфли) по-

степенно, умеренно и всё сильней, прищемляя к полу то, что делало тебя когда–то мужчиной, смотрит тебе в глаза и повторяет, повторяет свои вопросы или предложения предательства. Если он не нажмёт прежде времени чуть сильней, у тебя будет ещё пятнадцать секунд вскричать, что ты всё признаёшь, что ты готов посадить и тех двадцать человек, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любую святыню…

И суди тебя Бог, не люди…

— Выхода нет! Надо во всём признаваться! — шепчут подсаженные в камеру наседки.

— Простой расчёт: сохранить здоровье! — говорят трезвые люди.

— Зубы потом не вставят, — кивает тебе, у кого их уже

нет.

— Осудят всё равно, хоть признавайся, хоть не признавайся, — заключают постигшие суть.

— Тех, кто не подписывает, — расстреляют! — ещё кто–то пророчит в углу. — Чтоб отомстить. Чтобы концов не осталось: как следствие велось.

— А умрёшь в кабинете, объявят родственникам: лагерь без права переписки. И пусть ищут.

А если ты ортодокс, то к тебе подберётся другой ортодокс и, враждебно оглядываясь, чтоб не под-

слушали непосвящённые, станет горячо толкать тебе в ухо:

— Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка— боевая. Мы сами виноваты: мы были слишком мягкотелы и вот развелась эта гниль в стране. Идёт жестокая тайная война. Вот и здесь вокруг нас — враги, слышишь, как высказываются? Не обязана же партия отчитываться перед каждым из нас — зачем и почему. Раз требуют — значит, надо подписывать.

И ещё один ортодокс подбирается:

— Я подписал на тридцать пять человек, на всех знакомых. И вам советую: как можно больше фамилий, как можно больше увлекайте за собой! Тогда станет очевидным, что это нелепость, и всех выпустят.

А Органам именно это и нужно! Сознательность Ортодокса и цели НКВД естественно совпали. НКВД и нужен этот стрельчатый веер имён, это расширенное воспроизводство их. Это — и признак качества их работы, и колки для накидывания новых арканов. «Сообщников! Сообщников! Единомышленников!»— напорно вытряхивали изо всех. (Говорят, Р. Ралов назвал своим сообщником кардинала Ришелье, внесли его в протоколы — и до реабилитационного до-

проса 1956 года никто не удивился.)

Уж кстати об ортодоксах. Для такой чистки нужен был Сталин, да, но и партия же была нужна такая: большинство их, стоявших у власти, до самого момента собственной посадки безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков (уж не считая, как прежде того они все были палачами беспартийных). Может быть, 37–й год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит всё их мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя её твердыни, топча её святыни, — Россию, где им самим такая расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936–38 годов, то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но — к унизительно гадким подсудимым, омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости.

…И как же? как же устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному?..

Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана?

Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель — сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело моё с сегодняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны.

И перед таким арестантом — дрогнет следствие!

Только тот победит, кто от всего отрёкся!

Но как обратить своё тело в камень?

Ведь вот из бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили (1922) на ночной допрос к Дзержинскому, там и Каменев сидел (значит, тоже не чуждался идеологической борьбы посредством ЧК). Но

Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти, — и не только признали его бесполезным для суда, но — освободили. Проявил точку зрения человек!

Н. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937, старушку. Её допрашивали каждую ночь. Два года назад у неё в Москве проездом ночевал бежавший из ссылки бывший митрополит. —«Только не бывший, а настоящий! Верно, я удостоилась его принять». — «Так, хорошо. А к кому он дальше поехал из Москвы?» — «Знаю. Но не скажу!» (Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию.) Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушёнки, она же им: «Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить («цепочку потеряют»). А я — не боюсь ничего! Я хоть сейчас к Господу на ответ!»

Были, были такие в 37–м, кто с допроса не вернулся в камеру за узелком. Кто избрал смерть, но не подписал ни на кого.

Не сказать чтоб история русских революцио-

неров дала нам лучшие примеры твёрдости. Но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее хорошее следствие с пятьюдесятью двумя приёмами.

Шешковский не истязал Радищева. И Радищев, по обычаю того времени, прекрасно знал, что сыновья его всё так же будут служить гвардейскими офицерами и никто не перешибет их жизни. И родового поместья Радищева никто не конфискует. И всё же в своём коротком двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрекся от убеждений своих, от книги — и просил пощады.

Николай I не имел зверства арестовать декабристских жён, заставить их кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам — но он не имел на то и надобности. Следствие по декабристам было совершенно свободное, даже давали в каземат обдумывать предварительно вопросы. Никто из декабристов не вспоминал потом о недобросовестном толковании ответов. Не были преданы ответственности «знавшие о приготовлении мятежа, но не донесшие». Тем более ни тень не пала на родственников осуждённых (особый о том манифест). И уж конечно помилованы все солдаты,

вовлечённые в мятеж. Но даже Рылеев «отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая». Даже Пестель раскололся и назвал своих товарищей (ещё вольных), кому поручил закопать «Русскую правду», и самое место закопки. Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держалось бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении! Завалишин всё валил на Рылеева. Е.П. Оболенский и С.П.Трубецкой поспешили оговорить Грибоедова — чему и Николай I не поверил.

Бакунин в «Исповеди» униженно самооплёвывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни. Ничтожность духа? Или революционная хитрость?

Казалось бы — что за избранные по самоотверженности должны были быть люди, взявшиеся убить Александра II? Они ведь знали, на что шли! Но вот Гриневицкий разделил участь царя, а Рысаков остался жив и попал в руки следствия. И в тот же день он уже заваливал явочные квартиры и участников заговора, в страхе за свою молоденькую жизнь он спешил сообщить правительству больше сведений, чем то могло в нём предполагать! Он захлёбывался от раскаяния, он

предлагал «разоблачить все тайны анархистов».

В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. — Когда в Крестах в 1938 старого политкаторжанина Зеленского выпороли шомполами, как мальчишке сняв штаны, он расплакался в камере: «Царский следователь не смел мне даже «ты» сказать!» — Или вот, например, из одного современного исследования[45] мы узнаём, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи «О чём думают наши министры?», но не сумели через неё добраться до автора:

«На допросе жандармы, как и следовало ожидать (курсив здесь и далее мой. —АС), узнали от Ванеева (студента) немного. Он им сообщил всего–навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свёртке одним лицом, которое он не желает назвать. Следователю ничего не оставалось (как? а ледяной воды по щиколотки? а солёная клизма? а рю–минская палочка?..) как подвергнуть рукопись экспертизе».

---

[45] Примечания: 45

Р. Пересветов. Одна из шести: Из истории ленинских рукописей // Новый мир, 1962, № 4, с. 165–172.

Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам оттянул сколько–то годиков и легко мог бы перечислить, что ещё оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи «О чём думают наши министры?».

Как вспоминает СП. Мельгунов: «то была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключённым теперь остаётся вспоминать почти с радостным чувством»[46].

Тут — сдвиг представления, тут — совсем другая мерка. Как чумакам догоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолётов, так нельзя охватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошёл приёмную мясорубку ГУЛАГа.

В «Известиях» от 24.5.1959 читаем: Юлию Румянцеву берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтоб узнать, где бежавший из того же лагеря её муж. Она знает, но — отказывается ответить! Для читателя несведущего это образец героизма. Для читателя с горьким гулаговским прошлым это — образец следовательской неповоротливости: Юлия не умерла под пытками и не

---

[46] Примечания: 46

СЛ.Мельгунов. Воспоминания и дневники. Вып. 1. Париж, 1964, с. 139.

была доведена до сумасшествия, а просто через месяц живёхонькая отпущена!

* * *

Все эти мысли о том, что надо стать каменным, ещё были совершенно неизвестны мне тогда. Я не только не готов был перерезать тёплые связи с миром, но даже отнятие при аресте сотни трофейных фаберовских карандашей ещё долго меня жгло. Из тюремной протяжённости оглядываясь потом на своё следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться твёрже и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого–нибудь посадить. А близко было.

Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно

закодированного нами из Отца в Пахана. (Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследование о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом — на неосторожной переписке, и только это спасло жизнь Александру III 1 марта 1887 года.

Участник группы Андреюшкин послал в Харьков своему другу откровенное письмо: «Я твёрдо верю, что самый беспощадный террор

[унас] будет, и даже не в продолжительном будущем… Красный террор— мой конёк… Беспокоюсь за моего адресата (он уже не первое такое письмо писал! — А.С.) … если он т о в о, то и меня могут тоже т о в о, а это нежелательно, ибо поволоку за собой много народа очень дельного». И пять недель продолжался неторопливый сыск по этому письму — через Харьков, чтоб узнать, кто писал его в Петербурге. Фамилия Андреюшкина была установлена только 28 февраля — и 1 марта бомбометатели, уже с бомбами, были взяты на Невском перед самым назначенным покушением!

Высок, просторен, светел, с пребольшим окном

был кабинет моего следователя И.И. Езепова (страховое общество «Россия» строилось не для пыток) — и, используя его пятиметровую высоту, повешен был четырёхметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся: «Мы жизнь за него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти алтарным величием портрета казался жалким мой бормот о каком–то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти.

Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: уже год каждый из нас носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, — «Резолюцию № 1», составленную нами при одной из фронтовых встреч. «Резолюция» эта была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране,

затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки — как после победы мы будем вести «войну после войны». Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому ещё когда–нибудь писал я или кто когда–нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодёжной группы какого–нибудь старшего направителя. Своим сверстникам и сверстницам я дерзко

и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли — а друзья почему–то продолжали со мной переписываться! И даже в их встречных письмах тоже встречались какие–то

подозрительные выражения[47]. И теперь Езепов подобно Пор–фирию Петровичу требовал от меня всё это связно объяснить: если мы так выражались в подцензурных письмах, то что же мы могли говорить с глазу на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказываний приходилась только на переписку. И вот помутнённым мозгом я должен был сплести теперь что–то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями (встречи упоминались в письмах), чтоб они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики— и всё–таки не уголовный кодекс. И ещё чтоб эти объяснения как одно дыхание вышли из моего горла и убедили бы матёрого следователя в моей простоте, прибеднённости, открытости до конца. Чтобы — самое главное — мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привёз в своём заклятом чемодане — четыре

[47] Примечания: 47

Ещё одного школьного нашего друга, К. Симоняна, едва не подгребли тогда к нам. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе! Но вот через 22 года он мне пишет: «Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне… Объективно ты становишься знаменем фашиствующей реакции на Западе, например в ФРГ и США… Ленин, которого, я уверен, ты по–прежнему почитаешь и любишь, да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай над этим!» Я и думаю: ах, жаль, что тебя тогда не посадили, — сколько ты потерял!..

блокнота военных дневников, написанных бледным твёрдым карандашом, игольчато–мелкие, кое–где уже стирающиеся записи. Эти дневники были — моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти и все годы войны старался записывать всё, что видел (это б ещё полбеды), и всё, что слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан — о коллективизации, о голоде на Украине, о 37–м годе, и, по скрупулёзности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал. От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, осургуче–ны и мне же дано везти тот чемодан в Москву, — раскалённые клещи сжимали мне сердце. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина — и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан.

Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени—я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было,

прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию — пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы.

Под этой трубой мы гуляли — в бетонной коробке, на крыше Большой Лубянки, на уровне шестого этажа. Стены ещё и над шестым этажом возвышались на три человеческих роста. Ушами мы слышали Москву — перекличку автомобильных сирен. А видели — только эту трубу, часового на вышке на седьмом этаже да тот несчастливый клочок Божьего неба, которому досталось простираться над Лубянкой.

О, эта сажа! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Её так много было нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка жжёт свои архивы за тридевять лет. Мой погибший дневник был только минутной струйкой той сажи. И я вспоминал морозное солнечное утро в марте, когда я как–то

сидел у следователя. Он задавал свои обычные грубые вопросы; записывал, искажая мои слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, — чтоб хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа о мостовую, как в моём детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове–на–Дону (из «Тридцать третьего»). В протайках окна виднелись московские крыши, крыши — и над ними весёлые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописей, загру–дивший всю середину полупустого тридцатиметрового кабинета, только что вываленный, ещё не разобранный. В тетрадях, в папках, в самоделковых переплётах, скреплёнными и нескреплёнными пачками и просто отдельными листами — надмогильным курганом погребённого человеческого духа лежали рукописи, и курган этот конической своей высотой был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того беззвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на паркетный пол пыточного кабинета к ногам четырёхметрового

Сталина. Я сидел и гадал: чью незаурядную жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание и на сожжение потом?

О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов! — целая погибшая культура. О, сажа, сажа из лубянских труб!! Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было!..

* * *

Чтобы провести прямую, достаточно отметить всего лишь две точки.

В 1920 году, как вспоминает Оренбург, ЧК поставила перед ним вопрос так: «Докажите вы, что вы — не агент Врангеля».

А в 1950 один из видных полковников МГБ Фома Фомич Железов объявил заключённым так: «Мы ему (арестованному) и не будем трудиться доказывать его вину. Пусть он нам докажет, что не имел враждебных намерений».

И на эту людоедски–незамысловатую прямую укладываются в промежутке бессчётные воспоминания миллионов.

Какое ускорение и упрощение следствия, неизвестные предыдущему человечеству! Органы вообще освободили себя от труда искать дока-

зательства! Пойманный кролик, трясущийся и бледный, не имеющий права никому написать, никому позвонить по телефону, ничего принести с воли, лишённый сна, еды, бумаги, карандаша и даже пуговиц, посаженный на голую табуретку в углу кабинета, должен сам изыскать и разложить перед бездельником–следователем доказательства, что не имел враждебных намерений! И если он не изыскивал их (а откуда ж он мог их добыть?), то тем самым и приносил следствию приблизительные доказательства своей виновности!

Я знал случай, когда один старик, побывавший в немецком плену, всё же сумел, сидя на этой голой табуретке и разводя голыми пальцами, доказать своему монстру–следователю, что не изменил родине и даже не имел такого намерения! Скандальный случай! Что ж, его освободили? Как бы не так! — он всё рассказывал мне в Бутырках, не на Тверском бульваре. К основному следователю тогда присоединился второй, они провели со стариком тихий вечер воспоминаний, а затем вдвоём подписали свидетельские показания, что в этот вечер голодный засыпающий старик вёл среди них антисоветскую агитацию! Спроста было говорено, да не спроста слушано! Старика

передали третьему следователю. Тот снял с него неосновательное обвинение в измене родине, но аккуратно оформил ему ту же десятку за антисоветскую агитацию на следствии.

Перестав быть поисками истины, следствие стало для самих следователей в трудных случаях — отбыванием палаческой обязанности, в лёгких—простым проведением времени, основанием для получения зарплаты.

А лёгкие случаи были всегда — даже в пресловутом 1937 году. Например, Бородко обвинялся в том, что за 16 лет до этого ездил к своим родителям в Польшу и тогда не брал заграничного паспорта (а папаша с мамашей жили в десяти верстах от него, но дипломаты подписали ту Белоруссию отдать Польше, люди же в 1921 не привыкли и по–старому ещё ездили). Следствие заняло полчаса: Ездил? — Ездил. — Как? — Да на лошади. — Получи 10 лет КРД! (Контрреволюционная Деятельность.)

Но такая быстрота отдаёт стахановским движением, которое не нашло последователей среди голубых фуражек. По Процессуальному кодексу полагалось на всякое следствие два месяца, а при затруднениях в нём разрешалось просить у прокуроров продления несколько раз ещё по

месяцу (и прокуроры, конечно, не отказывали). Так глупо было бы переводить своё здоровье, не воспользоваться этими оттяжками и, по–заводскому говоря, вздувать свои собственные нормы. Потрудившись горлом и кулаком в первую ударную неделю всякого следствия, порасходовав свою волю и характер (по Вышинскому), следователи заинтересованы были дальше каждое дело растягивать, чтобы побольше было дел старых, спокойных, и поменьше новых. Просто неприлично считалось закончить политическое следствие в два месяца.

Государственная система сама себя наказывала за недоверчивость и негибкость. Отборным кадрам — и тем не доверяла: наверно, и их самих наставляла отмечаться при приходе на службу и при уходе, а уж заключённых, вызываемых на следствие, — обязательно, для контроля. Что оставалось делать следователям, чтоб обеспечить бухгалтерские начисления? Вызвать кого–нибудь из своих подследственных, посадить в угол, задать какой–нибудь пугающий вопрос — самим же забыть о нём, долго читать газету, писать конспект к политучёбе, частные письма, ходить в гости друг ко другу (вместо себя сажая полканами выводных). Мирно калякая на диване со своим

пришедшим другом, следователь иногда опоминался, грозно взглядывал на подследственного и говорил:

— Вот гад! Вот он, гад редкий! Ну ничего, девять грамм для него не жалко!

Мой следователь ещё широко использовал телефон. Так, он звонил себе домой и говорил жене, сверкая в мою сторону глазами, что сегодня всю ночь будет допрашивать, так чтобы не ждала его раньше утра (моё сердце падало: значит меня всю ночь!). Но тут же набирал номер своей любовницы и в мурлычащих тонах договаривался приехать сейчас на ночь к ней (ну, поспим! — отлегало от моего сердца).

Так беспорочную систему смягчали только пороки исполнителей.

Иные, более любознательные следователи любили использовать такие «пустые» допросы для расширения своего жизненного опыта: они расспрашивали подследственного о фронте (о тех самых немецких танках, под которые им было всё недосуг лечь); об обычаях европейских и заморских стран, где тот бывал; о тамошних магазинах и товарах; особенно же — о порядках в иностранных бардаках и о разных случаях с бабами.

По Процессуальному кодексу считается, что за

правильным ходом каждого следствия неусыпно наблюдает прокурор. Но никто в наше время в глаза не видел его до так называемого «допроса у прокурора», означавшего, что следствие подошло к самому концу. Свели на такой допрос и меня.

Подполковник Котов — спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, вообще никакой, сидел за столом и, зевая, в первый раз просматривал папку моего дела. Минут пятнадцать он ещё и при мне молча знакомился с ней (так как допрос этот был совершенно неизбежен и тоже регистрировался, то не имело смысла просматривать папку в другое, не регистрируемое время, да ещё сколько–то часов держать подробности дела в памяти). Я думаю, он ничего там связно и не видел. Потом поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям.

Он должен был бы спросить: какие у меня есть претензии к ходу следствия? не было ли попирания моей воли и нарушений законности? Но так давно уж не спрашивали прокуроры. А если бы и спросили? Весь этот тысячекомнатный дом министерства и пять тысяч его следственных корпусов, вагонов, пещер и землянок, разбросанных по всему Союзу, только и жили

нарушением законности, и не нам с ним было бы это повернуть. Да и все сколько–нибудь высокие прокуроры занимали свои посты с согласия той самой госбезопасности, которую… должны были контролировать.

Его вялость, и миролюбие, и усталость от этих бесконечных глупых дел как–то передались и мне. И я не поднял с ним вопросов истины. Я попросил только исправления одной нелепости: мы обвинялись по делу двое, но следовали нас порознь (меня в Москве, друга моего — на фронте), таким образом, я шёл по делу один, обвинялся же по 11–му пункту, то есть как группа. Я рассудительно попросил его снять этот добавок 11–го пункта.

Он ещё полистал дело минут пять, явно не нашёл там нашей организации, а всё равно вздохнул, развёл руками и сказал:

— Что ж? Один человек — человек, а два человека — люди.

И нажал кнопку, чтоб меня взяли.

Вскоре, поздним вечером позднего мая, в тот же прокурорский кабинет с фигурными бронзовыми часами на мраморной плите камина меня вызвал мой следователь на «двести шестую» — так, по статье УПК, называлась процедура просмотра

дела самим подследственным и его последней подписи. Нимало не сомневаясь, что подпись мою получит, следователь уже сидел и строчил обвинительное заключение.

Я распахнул крышку толстой папки и уже на крышке изнутри в типографском тексте прочёл потрясающую вещь: что в ходе следствия я, оказывается, имел право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия — и следователь обязан был эти мои жалобы хронологически подшивать в дело! В ходе следствия! Но не по окончании его…

Увы, о праве таком не знал ни один из тысяч арестантов, с которыми я позже сидел.

Я перелистывал дальше. Я видел фотокопии своих писем и совершенно извращённое истолкование их смысла неизвестными комментаторами (вроде капитана Либина). И видел гиперболизированную ложь, в которую капитан Езепов облёк мои осторожные показания.

— Я не согласен. Вы вели следствие неправильно, — не очень решительно сказал я.

— Ну что ж, давай всё сначала! — зловеще сжал он губы. — Закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим.

И даже как бы протянул руку отобрать у меня

том «дела». (Я его тут же пальцем придержал.)

Светило золотистое закатное солнце где–то за окнами пятого этажа Лубянки. Где–то был май. Окна кабинета, как все наружные окна министерства, были глухо притворены, даже не расклеены с зимы — чтобы парное дыхание и цветение не прорывались в потаённые эти комнаты. Бронзовые часы на камине, с которых ушёл последний луч, тихо отзвенели.

Сначала?.. Кажется, легче было умереть, чем начинать всё сначала. Впереди всё–таки обещалась какая–то жизнь. (Знал бы я — какая!..) И потом — это место, где полицаев содержат. И вообще не надо его сердить, от этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительное заключение…

И я подписал. Подписал вместе с 11–м пунктом (уж «Резолюция» на него тянула). Я не знал тогда его веса, мне говорили только, что срока он не добавляет. Из–за 11–го пункта я попал в каторжный лагерь. Из–за 11–го же пункта я после «освобождения» был безо всякого приговора сослан навечно.

И может—лучше. Без того и другого не написать бы мне этой книги…

Мой следователь ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, *лжи* и запугивания — ме-

тодов совершенно законных. Поэтому он не нуждался, как из перестраховки делают нашкодившие следователи, подсовывать мне при 206–й статье и подписку о неразглашении: что я, имярек, обязуюсь под страхом уголовного наказания (неизвестно какой статьи) никогда никому не рассказывать о методах ведения моего следствия.

В некоторых областных управлениях НКВД это мероприятие проводилось серийно: отпечатанная подписка о неразглашении подсовывалась арестанту вместе с приговором ОСО. (И ещё потом при освобождении из лагеря — подписку, что никому не будет рассказывать о лагерных порядках.)

И что же? Наша привычка к покорности, наша согнутая (или сломленная) спина не давали нам ни отказаться, ни возмутиться этим бандитским методом хоронить концы.

Мы утеряли меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается. С нас берут, берут, берут эти нескончаемые подписки о неразглашении все, кому не лень.

Мы уже не уверены: имеем ли мы право рассказывать о событиях своей собственной жизни?

Глава 4. ГОЛУБЫЕ КАНТЫ

Во всей этой протяжке между шестерёнок великого Ночного Заведения, где перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца, — мы слишком страдаем, углублены в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечивающим и пророческим посмотреть на бледных ночных катов, терзающих нас. Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза — а то какие бы мы были историки для наших мучителей! — сами–то себя они во плоти не опишут. Но увы: всякий бывший арестант подробно вспомнит о своём следствии, как давили на него и какую мразь выдавили, — а следователя часто он и фамилии не помнит, не то чтобы задуматься об этом человеке о самом. Так и я о любом сокамернике могу вспомнить интересней и больше, чем о капитане госбезопасности Езепове, против которого я немало высидел в кабинете вдвоём.

Одно остаётся у нас общее и верное воспоминание: гни–ловища — пространства, сплошь поражённого гнилью. Уже десятилетия спустя, безо всяких приступов злости или обиды, мы отстоявшимся сердцем сохраняем это уверенное

впечатление: низкие, злорадные, злочестивые и — может быть, запутавшиеся люди.

Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, семижды искавшими его смерти, как–то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной (дядю Большого Дома) и в одиночке 227 велел себя запереть, просидел больше часа — хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал.

Не отказать, что для монарха — движение нравственное, потребность и попытка взглянуть на дело духовно.

Но невозможно представить себе никого из наших следователей до Абакумова и Берии вплоть, чтоб они хоть и на час захотели влезть в арестантскую шкуру, посидеть и поразмыслить в одиночке.

Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культуры и взглядов — и они не таковы. Они по службе не имеют потребности мыслить логически— и они не таковы. Им по службе нужно только чёткое исполнение директив и бессердечность к страданиям—и вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, донага лишённый общечеловеческих представлений.

Кому–кому, но следователям–то было ясно видно, что дела—дуты! Они–то, исключая совещания, не могли же друг другу и себе серьёзно говорить, что разоблачают преступников? И всё–таки протоколы на наше сгноение писали за листом лист? Так это уж получается блатной принцип: «Умри ты сегодня, а я завтра!»

Они понимали, что дела — дуты, и всё же трудились за годом год. Как это?.. Либо заставляли себя не думать (а это уже разрушение человека), приняли просто: так надо! тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться не может.

Но, помнится, и нацисты аргументировали так же?

От сравнения Гестапо— МГБ уклониться никому не дано: слишком совпадают и годы и методы. Ещё естественнее сравнивали те, кто сам прошёл и Гестапо и МГБ, как Евгений Иванович Дивнич, эмигрант. Гестапо обвиняло его в коммунистической деятельности среди русских рабочих в Германии, МГБ— в связи с мировой буржуазией. Дивнич делал вывод не в пользу МГБ: истязали и там и здесь, но Гестапо всё же добивалось истины, и когда обвинение отпало— Дивнича выпустили. МГБ же не искало истины и не имело намерения кого–либо взятого выпускать из когтей.

Либо — Передовое Учение, гранитная идеология. Следователь в зловещем Оротукане (штрафной колымской командировке 1938 года), размягчась от лёгкого согласия М. Лурье, директора Криворожского комбината, подписать на себя второй лагерный срок, в освободившееся время сказал ему: «Ты думаешь, нам доставляет удовольствие применять воздействие'? — (Это по–ласковому — пытки.) — Но мы должны делать то, что от нас требует партия. Ты старый член партии— скажи, что б ты делал на нашем месте?» И кажется, Лурье с ним почти согласился (он, может, потому и подписал так легко, что уже сам так думал?). Ведь убедительно.

Но чаще того — цинизм. Голубые канты понимали ход мясорубки и любили его. Следователь Мироненко в Джидинских лагерях (1944) говорил обречённому Бабичу, даже гордясь рациональностью построения: «Следствие и суд—только юридическое оформление, они уже не могут изменить вашей участи, предначертанной заранее. Если вас нужно расстрелять, то будь вы абсолютно невинны—вас всё равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать (это, очевидно, относится к своим. — АС), то будь вы как угодно виноваты — вы будете обелены и оправданы». — Начальник

1–го следственного отдела Западно–Казахстанского облГБ Кушнарёв так и отлил Адольфу Цивилько: «Да не выпускать же тебя, если ты ленинградец!» (то есть со старым партийным стажем).

«Был бы человек—а дело создадим!» — это многие из них так шутили, это была их пословица. По–нашему — истязание, по их — хорошая работа. Жена следователя Николая Граби–щенко (Волгоканал) умилённо говорила соседям: «Коля — очень хороший работник. Один долго не сознавался—поручили его Коле. Коля с ним ночь поговорил — и тот сознался».

Отчего они все такою рьяной упряжкой включились в эту гонку не за истиной, а за цифрами обработанных и осуждённых? Потому что так им было всего удобнее, не выбиваться из общей струи. Потому что цифры эти были — их спокойная жизнь, их дополнительная оплата, награды, повышение в чинах, расширение и благосостояние самих Органов. При хороших цифрах можно было и побездельничать, и по–халтурить, и ночь погулять (как они и поступали). Низкие же цифры вели бы к разгону и разжалованию, к потере этой кормушки, — ибо Сталин не мог бы поверить, что в каком–то районе, городе или воинской части

вдруг не оказалось у него врагов.

Так не чувство милосердия, а чувство задетости и озлобления вспыхивало в них по отношению к тем злоупорным арестантам, которые не хотели складываться в цифры, которые не поддавались ни бессоннице, ни карцеру, ни голоду! Отказываясь сознаваться, они повреждали личное положение следователя! они как бы его самого хотели сшибить с ног! — и уж тут всякие меры были хороши! В борьбе как в борьбе! Шланг тебе в глотку, получай солёную воду!

По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишённые верхней сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и жадностью жили в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: инстинкт власти и инстинкт наживы. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказалась важнее денег.)

Власть — это яд, известно тысячелетия. Да не приобрёл бы никто и никогда материальной власти над другими! Но для человека с верою в нечто высшее надо всеми нами, и потому с сознанием своей ограниченности, власть ещё не смертельна. Для людей без верхней сферы власть — это труп-

ный яд. Им от этого заражения — нет спасенья.

Помните, что пишет о власти Толстой? Иван Ильич занял такое служебное положение, при котором имел возможность погубить всякого человека, которого хотел погубить! Все без исключения люди были у него в руках, любого самого важного можно было привести к нему в качестве обвиняемого. (Да ведь это про наших голубых! Тут и добавлять нечего!) Сознание этой власти («и возможность смягчать её», — оговаривает Толстой, но к нашим парням это уж никак не относится) составляло для него «главный интерес и привлекательность службы».

Что там привлекательность! — упоителъностъ\ Ведь это же упоение — ты ещё молод, ты, в скобках скажем, сопляк, совсем недавно горевали с тобой родители, не знали, куда тебя пристроить, такой дурак и учиться не хочешь, но прошёл ты три годика того училища — и как же ты взлетел! как изменилось твоё положение в жизни! как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот головы! Заседает учёный совет института—ты входишь, и все замечают, все вздрагивают даже; ты не лезешь на председательское место, там пусть ректор распинается, ты сядешь сбоку, но все понимают, что главный тут — ты, спецчасть.

Ты можешь пять минут посидеть и уйти, в этом твоё преимущество перед профессорами, тебя могут звать более важные дела, — но потом над их решением ты поведёшь бровями (или даже лучше губами) и скажешь ректору: «Нельзя. Есть соображения…» И всё! И не будет! — Или ты особист, смершевец, всего лейтенант, но старый дородный полковник, командир части, при твоём входе встаёт, он старается льстить тебе, угождать, он с начальником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это ничего, что у тебя две малых звёздочки, это даже забавно: ведь твои звёздочки имеют совсем другой вес, измеряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкновенных (и иногда, в спецпоручениях, вам разрешается нацепить например и майорские, это как псевдоним, как условность). Над всеми людьми этой воинской части, или этого завода, или этого района ты имеешь власть, идущую несравненно глубже, чем у командира, у директора, у секретаря райкома. Те распоряжаются их службой, заработками, добрым именем, а ты — их свободой. И никто не посмеет сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о тебе в газете — да не только плохо! и хорошо— не посмеют!! Тебя, как сокровенное божество, и упоминать даже нельзя!

Ты — есть, все чувствуют тебя! — но тебя как бы и нет! И поэтому — ты выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ты делаешь—никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит твоей проверке. Оттого перед простыми так называемыми гражданами (а для тебя — просто чурками) достойнее всего иметь загадочное глубокомысленное выражение. Ведь один ты знаешь спецсоображения, больше никто. И поэтому ты всегда прав.

В одном только никогда не забывайся: и ты был бы такой же чуркой, если б не посчастливилось тебе стать звё–нышком Органов — этого гибкого, цельного, живого существа, обитающего в государстве, как солитер в человеке, — и всё твоё теперь! всё для тебя! — но только будь верен Органам! За тебя всегда заступятся! И всякого обидчика тебе помогут проглотить! И всякую помеху упразднить с дороги! Но — будь верен Органам! Делай всё, что велят! Обдумают за тебя и твоё место: сегодня ты спецчасть, а завтра займёшь кресло следователя, а потом может быть поедешь краеведом на озеро Селигер (1931, Ильин), отчасти может быть чтобы подлечить нервы. А потом может быть из города, где ты уж слишком прославишься, ты поедешь в другой

конец страны уполномоченным по делам Церкви (лютый ярославский следователь Волкопялов — уполномоченный по делам Церкви в Молдавии). Или станешь ответственным секретарём Союза писателей (другой Ильин, Виктор Николаевич, бывший генерал–лейтенант госбезопасности). Ничему не удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только Органы, остальным просто дают поиграть: какой–нибудь там заслуженный деятель искусства или герой социалистических полей, а—дунь, и нет его. («Ты — кто?» — спросил генерал Серов в Берлине всемирно известного биолога Тимофеева–Ресовского. «А ты — кто?» — не растерялся Тимофеев–Ресовский со своей наследственной казацкой удалью. «Вы — учёный?» — поправился Серов.)

Работа следователя требует, конечно, труда: надо приходить днём, приходить ночью, высиживать часы и часы, — но не ломай себе голову над «доказательствами» (об этом пусть у подследственного голова болит), не задумывайся — виноват, не виноват, — делай так, как нужно Органам, и всё будет хорошо. От тебя самого уже будет зависеть провести следствие поприятнее, не очень утомиться, хорошо бы чем–нибудь по-

живиться, а то — хоть развлечься. Сидел–сидел, вдруг выдумал новое воздействие] — эврика! — звони по телефону друзьям, ходи по кабинетам, рассказывай — смеху–то сколько! давайте попробуем, ребята, на ком? Ведь скучно всё время одно и то же, скучны эти трясущиеся руки, умоляющие глаза, трусливая покорность — ну хоть посопротивлялся бы кто–нибудь! «Люблю сильных противников! Приятно переламывать им хребет!» (Сказал Г. Г–ву ленинградский следователь Шитов.)

А если такой сильный, что никак не сдаётся, все твои приёмы не дают результата? Ты взбешён? — и не сдерживай бешенства! Это огромное удовольствие, это полёт! — распустить своё бешенство, не знать ему преград! Вот в таком состоянии и плюют проклятому подследственному в раскрытый рот! и втискивают его лицом в полную плевательницу! (Случай с Васильевым у Иванова–Разумника.) Вот в таком состоянии и таскают священников за косы! и мочатся в лицо поставленному на колени! После бешенства чувствуешь себя настоящим мужчиной!

Или допрашиваешь «девушку за иностранца» (Эсфирь Р., 1947). Ну, поматюгаешь её, ну спросишь: «А что, у американца— ... гранёный, что

ли? Чего тебе, русских было мало?» И вдруг идея: она у этих иностранцев нахваталась кое–чего. Не упускай случай, это вроде заграничной командировки! И с пристрастием начинаешь её допрашивать: как? в каких положениях?., а ещё в каких?., подробно! каждую мелочь! (И себе пригодится, и ребятам расскажу!) Девка и в краске, и в слезах, мол, это к делу не относится — «нет, относится! говори!» И вот что такое твоя власть! — она всё тебе подробно рассказывает, хочешь нарисует, хочешь и телом покажет, у неё выхода нет, в твоих руках её карцер и её срок.

Заказал ты (следователь Похилько, Кемеровское ГБ) стенографистку записывать допрос — прислали хорошенькую, тут же и лезь ей за пазуху при подследственном пацане (школьник Миша Бакст) — его, как не человека, и стесняться нечего.

Да кого тебе вообще стесняться? Да если ты любишь баб (а кто их не любит?) — дурак будешь, не используешь своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху. Встретил где–нибудь девку, наметил — будет твоя, никуда не денется. Чужую жену любую отметил — твоя! — потому что мужа убрать ничего не составляет.

Давно у меня есть сюжет рассказа «Испорченная жена». Но, видно, не соберусь написать, вот он. В одной авиационной дальневосточной части перед Корейской войной некий подполковник, вернувшись из командировки, узнал, что жена его в больнице. Случилось так, что врачи не скрыли от него: её половая область повреждена от патологического обращения. Подполковник кинулся к жене и добился признания, что это — особист их части, старший лейтенант (впрочем, кажется, не без склонности с её стороны). В ярости подполковник побежал к особисту в кабинет, выхватил пистолет и угрожал убить. Но очень скоро старший лейтенант заставил его согнуться и выйти побитым и жалким: угрозил, что сгноит его в самом ужасном лагере, что тот будет молиться о смерти без мучений. Он приказал ему принять жену какая она есть (что–то было нарушено бесповоротно), жить с ней, не сметь разводиться и не сметь жаловаться— и это цена того, что он останется на воле! И подполковник всё выполнил. (Рассказано мне шофёром этого особиста.)

Подобных случаев должно быть немало: это— та область, где особенно заманчиво употребить власть. Один гебист заставил (1944) дочь армей-

ского генерала выйти за себя замуж угрозой, что иначе посадит отца. У девушки был жених, но, спасая отца, она вышла замуж за геби–ста. В коротком замужестве вела дневник, отдала его возлюбленному и кончила с собой.

Нет, это надо пережить — что значит быть голубою фуражкой! Любая вещь, какую увидел, — твоя! Любая квартира, какую высмотрел, — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо над тобой — твоё, голубое!!

А уж страсть нажиться — их всеобщая страсть. Как же не использовать такую власть и такую бесконтрольность для обогащения? Да это святым надо быть!..

Если бы дано нам было узнавать скрытую движущую силу отдельных арестов — мы бы с удивлением увидели, что, при общей закономерности сажать, частный выбор, кого сажать, личный жребий в трёх четвертях случаев зависел от людской корысти и мстительности, и половина тех случаев — от корыстных расчётов местного НКВД (и прокурора, конечно, не будем их отделять).

Как началось, например, 19–летнее путешествие Василия Григорьевича Власова на Архи-

пелаг? С того случая, что он, заведующий Райпо, устроил продажу мануфактуры для партактива (что —не для народа, никого не смутило), а жена прокурора не смогла купить: не оказалось её тут же, сам же прокурор Русов подойти к прилавку постеснялся, и Власов не догадался — «я, мол, вам оставлю» (да он по характеру никогда б и не сказал так). И ещё: привёл прокурор Русов в закрытую партстоловую приятеля, не имевшего прикрепления туда (то есть чином пониже), а заведующий столовой не разрешил подать приятелю обед. Прокурор потребовал от Власова наказать его, а Власов не наказал. И ещё, так же горько, оскорбил он райНКВД. И присоединён был к правой оппозиции!..

Соображения и действия голубых кантов бывают такие мелочные, что диву даёшься. Оперуполномоченный Сенчен–ко забрал у арестованного армейского офицера планшетку и полевую сумку и при нём же пользовался. У другого арестованного с помощью протокольной хитрости изъял заграничные перчатки. (При наступлении то их особенно травило, что не их трофеи—первые.) Контрразведчик 48–й армии, арестовавший меня, позарился на мой портсигар —да не портсигар даже, а какую–то немецкую служебную коробочку,

но заманчивого алого цвета. И из–за этого дерьма он провёл целый служебный манёвр: сперва не внёс её в протокол («это можете оставить себе»), потом велел меня снова обыскать, заведомо зная, что ничего больше в карманах нет («ах, вот что? отобрать!»), — и чтоб я не протестовал: «в карцер его!» (Какой царский жандарм смел бы так поступить с защитником отечества?) — Каждому следователю выписывалось какое–то количество папирос для поощрения сознающихся и стукачей. Были такие, что все эти папиросы гребли себе. —Даже на часах следствия — на ночных часах, за которые им платят повышенно, они жульничают: мы замечали на ночных протоколах растянутый срок «от» и «до». — Следователь Фёдоров (станция Решёты, п/я 235) при обыске на квартире у вольного Корзухина сам украл наручные часы. — Следователь Николай Фёдорович Кружков во время Ленинградской блокады заявил Елене Викторовне Страхович, жене своего подследственного К.И. Страховича: «Мне нужно ватное одеяло. Принесите мне!» Она ответила: «Та комната опечатана, где у меня тёплые вещи». Тогда он поехал к ней домой; не нарушая гебистской пломбы, отвинтил всю дверную ручку («вот так работает НКГБ!» — весело пояснял ей) и

оттуда стал брать у неё тёплые вещи, по пути ещё совал в карманы хрусталь (Е.В. в свою очередь тащила, что могла, своего же. «Довольно вам таскать!» — останавливал он, а сам тащил.)

В 1956 эта энергичная и неумолимая женщина (муж всё простил, даже смертный приговор, и отговаривал: не надо!) выступала против Кружкова свидетелем на суде. Поскольку у Кружкова случай был не первый и нарушались интересы Органов, он получил 25 лет. Уж там надолго ли?..

Подобным случаям нет конца, можно издать тысячу «Белых книг» (и начиная с 1918 года), только систематически расспросить бывших арестантов и их жён. Может быть, и есть и были голубые канты, никогда не воровавшие, ничего не присвоившие, — но я себе такого канта решительно не представляю! Я просто не понимаю: при его системе взглядов что может его удержать, если вещь ему понравилась? Ещё в начале 30–х годов, когда мы ходили в юнгштурмах и строили первую пятилетку, а они проводили вечера в салонах на дворянски–западный манер вроде квартиры Конкор–дии Иоссе, их дамы уже щеголяли в заграничных туалетах — откуда же это бралось?

Вот их фамилии — как будто по фамилиям их

на работу берут! Например в Кемеровском облГБ в начале 50–х годов: прокурор Трутнев, начальник следственного отдела майор Шкуркин, его заместитель подполковник Баландин, у них следователь Скорохватов. Ведь не придумаешь! Это сразу все вместе! (О Волкопялове и Грабищенке уж я не повторяю.) Совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их?

Опять же арестантская память: забыл Иван Корнеев фамилию того полковника ГБ, друга Конкордии Иоссе (их общей знакомой, оказалось), с которым вместе сидел во Владимирском изоляторе. Этот полковник — слитное воплощение инстинкта власти и инстинкта наживы. В начале 1945 года, в самое дорогое «трофейное» время, он напросился в ту часть

Органов, которые (во главе с самим Абакумовым) контролировали этот грабёж, то есть старались побольше оттяпать не государству, а себе (и очень преуспели). Наш герой отметал целыми вагонами, построил несколько дач (одну в Клину). После войны у него был такой размах, что, прибыв на новосибирский вокзал, он велел выгнать всех сидевших в ресторане, а для себя и своих собутыльников — согнать девок и баб, и голыми заставил их танцевать на столах. Но и это б

ему обошлось, да нарушен был у него другой важный закон, как и у Кружкова: он пошёл против своих. Тот обманывал Органы, а этот, пожалуй, ещё хуже: заключал пари на соблазнение жён не чьих–нибудь, а своих товарищей по опер–чекистской работе. И не простили! — посажен был в полит–изолятор со статьёй 58–й! Сидел злой на то, как смели его посадить, и не сомневался, что ещё передумают. (Может, и передумали.)

Эта судьба роковая — сесть самим, не так уж редка для голубых кантов, настоящей страховки от неё нет, но почему–то они плохо ощущают уроки прошлого. Опять–таки, наверно, из–за отсутствия верхнего разума, а нижний ум говорит: редко когда, редко кого, меня минует, да и свои не оставят.

Свои, действительно, стараются в беде не оставлять, есть условие у них немое: своим устраивать хоть содержание льготное (полковнику И.Я. Воробьёву в Марфинской спецтюрьме, всё тому же В.Н. Ильину на Лубянке — более 8 лет). Тем, кто садится поодиночке, за свои личные просчёты, благодаря этой кастовой предусмотрительности бывает обычно неплохо, и так оправдывается их повседневное в службе ощущение безнаказанности. Известно, впрочем, несколько случаев, когда

лагерные оперуполномоченные кинуты были отбывать срок в общие лагеря, даже встречались со своими бывшими подвластными зэками, и им приходилось худо (например, опер Муншин, люто ненавидевший Пятьдесят Восьмую и опиравшийся на блатарей, был этими же блатарями загнан под нары). Однако у нас нет средств узнать подробней об этих случаях, чтобы иметь возможность их объяснить.

Но всем рискуют те гебисты, кто попадают в поток (и у них свои потоки!..). Поток — это стихия, это даже сильнее самих Органов, и тут уж никто тебе не поможет, чтобы не быть и самому увлечённому в ту же пропасть.

Ещё в последнюю минуту, если у тебя хорошая информация и острое чекистское сознание, можно уйти из–под лавины, доказав, что ты к ней не относишься. Так, капитан Са–енко (не тот харьковский столяр–чекист 1918–19 года, знаменитый расстрелами, сверлением шашкой в теле, перебивкой голеней, плющением голов гирями и прижиганием[48], — но может быть родственник?) имел слабость жениться по любви на ка–вэ–жэ–динке Коханской. И вдруг ещё при

[48] Примечания: 48
Роман Гуль. Дзержинский. Париж, 1936, с. 88–90.

рождении волны он узнаёт: будут сажать ка–вэ–жэ–динцев. Он в это время был начальником оперчекотдела в Архангельском ГПУ. Ни минуты не теряя, что сделал он? — посадил любимую жену! — и даже не как ка–вэ–жэ–динку, состряпал на неё дело. И не только уцелел — в гору пошёл, стал начальником Томского НКВД. (Тоже сюжет, сколько их тут! — может придутся кому–нибудь.)

Потоки рождались по какому–то таинственному закону обновления Органов—периодическому малому жертвоприношению, чтоб оставшимся принять вид очищенных. Органы должны были сменяться быстрее, чем идёт нормальный рост и старение людских поколений: какие–то косяки гебистов должны были класть головы с неуклонностью, с которой осётр идёт погибать на речных камнях, чтобы замениться мальками. Этот закон был хорошо виден верхнему разуму, но сами голубые никак не хотели этот закон признать и предусмотреть. И короли Органов, и тузы Органов, и сами министры в звёздный назначенный час клали голову под свою же гильотину.

Один косяк увёл за собой Ягода. Вероятно, много тех славных имён, которыми мы ещё будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк, а фамилии их потом вычёркивались из

поэтических строчек.

Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов. Кое–кто из лучших рыцарей 37–го года погиб в той струе (но не надо преувеличивать, далеко–далеко не все лучшие). Самого Ежова под следствием били, выглядел он жалким. Осиротел при таких посадках и ГУЛАГ. Например, одновременно с Ежовым сели и начальник ФинУпра ГУЛАГа, и начальник СанУпра ГУЛАГа, и начальник ВОХРы[49] ГУЛАГа, и даже начальник ОперЧекОтдела ГУЛАГа — начальник всех лагерных кумовьёв!

И потом был косяк Берии.

А грузный самоуверенный Абакумов споткнулся раньше того, отдельно.

Историки Органов когда–нибудь (если архивы не сгорят) расскажут нам это шаг за шагом — ив цифрах, и в блеске имён.

А я здесь лишь немного — об истории Рюмина —Абакумова, ставшей мне известной случайно. (Не буду повторять того, что удалось сказать о них в другом месте[50].)

---

[49] Примечания: 49

ВОХР— Военизированная Охрана, прежде — Внутренняя Охрана Республики.

[50] Примечания: 50

«В круге первом», главы 16–18, 21. — Примеч. Ред.

Возвышенный Абакумовым и приближенный Абакумовым, Рюмин пришёл к нему в конце 1950 с сенсационным сообщением, что профессор–врач Этингер сознался в неправильном лечении (с целью умерщвления) Жданова и Щербакова. Абакумов отказался поверить, просто знал он эту кухню и решил, что Рюмин забирает слишком. (А Рюмин–то лучше чувствовал, чего хочет Сталин!) Для проверки устроили в тот же вечер перекрестный допрос Этингеру и вынесли из него разный вывод: Абакумов — что никакого «дела врачей» нет, Рюмин — что есть. Утром бы проверить ещё раз, но по чудесным особенностям Ночного Заведения Этингер той же ночью умер!'Тем же утром Рюмин, минуя Абакумова и без его ведома, позвонил в ЦК и попросил приёма у Сталина! (Яду–маю, не это был его самый решительный шаг. Решительный, после которого уже голова стояла на кону, был — накануне не согласиться с Абакумовым, а может быть, ночью убить Этин–гера. Но кто знает тайны этих Дворов! — а может быть, контакт со Сталиным был и ещё раньше?) Сталин принял Рюмина, дал ход делу врачей, а Абакумова арестовал. Дальше Рюмин вёл дело врачей как бы самостоятельно и вопреки даже Берии! (Есть признаки, что перед смертью Сталина Берия был

в угрожаемом положении — и может, через него–то Сталин и был убран.) Одним из первых шагов нового правительства был отказ от дела врачей. Тогда был арестован Рюмин (ещё при власти Берии), но Абакумов не освобождён! На Лубянке вводились новые порядки, и впервые за всё время её существования порог её переступил прокурор (Д.П.Терехов). Рюмин вёл себя суетливо, угодливо, «я не виноват, зря сижу», просился на допрос. По своей манере сосал леденец и на замечание Терехова выплюнул на ладонь: «Извините». Абакумов, как мы уже упомянули, расхохотался: «Мистификация!» Терехов показал своё удостоверение на проверку Внутренней тюрьмы МГБ. «Таких можно сделать пятьсот!» — отмахнулся Абакумов. Его как «патриота ведомства» больше всего оскорбляло даже не то, что он — сидит, а что покушаются ущемить Органы, которые ничему на свете не могут быть подчинены! В июле 1954 Рюмин был судим (в Москве) и расстрелян. А Абакумов продолжал сидеть! На допросе он говорил Терехову: «У тебя слишком красивые глаза, мне будет жаль тебя расстреливать! Уйди от моего

дела, уйди по–хорошему»[51]. Однажды Терехов вызвал его и дал прочесть газету с сообщением о разоблачении Берии. Это была тогда сенсация почти космическая. Абакумов же прочёл не дрогнув бровью, перевернул лист и стал читать о спорте! В другой раз, когда при допросе присутствовал крупный гебист, подчинённый Абакумова в недавнем прошлом, Абакумов его спросил: «Как вы могли допустить, что следствие по делу Берии вело не МГБ, а прокуратура?! — (Его гвоздило всё своё!) — И ты веришь, что меня, министра госбезопасности, будут судить?!» — «Да». — «Тогда надевай цилиндр, Органов больше нет!..» (Он, конечно, слишком мрачно смотрел на вещи, необразованный фельдъегерь.) Не суда боялся Абакумов, сидя на Лубянке, он боялся отравления (опять–таки, достойный сын Органов!). Он стал нацело отказываться от тюремной пищи и ел только яйца, которые покупал из ларька. (Здесь у него не хватало технического соображения, он думал, что яйца нельзя отравить.) Из богатейшей лубянской тюремной библиотеки он брал

[51] Примечания: 51

Вообще, Д.П. Терехов — человек незаурядной воли и смелости (суды над крупными сталинистами в шаткой обстановке требовали её), да и живого ума. Будь хрущёвские реформы последовательней, Терехов мог бы отличиться в них. Так не состаиваются у нас исторические деятели.

книги… только Сталина (посадившего его)! Ну, это скорей была демонстрация или расчёт, что сторонники Сталина не могут не взять верха. Просидеть ему пришлось два года. Почему его не выпускали? Вопрос не наивный. Если мерить по преступлениям против человечности, он был в крови выше головы, но не он же один! А те все остались благополучны. Тайна и тут: есть слух глухой, что в своё время он лично избивал Любу Сизых, невестку Хрущёва, жену его старшего сына, осуждённого при Сталине к штрафбату и погибшего там. Оттого–то, посаженный Сталиным, он был при Хрущёве судим (в Ленинграде) и 18 декабря 1954 года расстрелян[52]. А тосковал он зря: Органы ещё от того не погибли.

* * *

Но, как советует народная мудрость: говори на волка, говори и по волку.

Это волчье племя—откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови?

Чтобы белыми мантиями праведников не шиб-

---

[52] Примечания: 52

Ещё из его вельможных чудачеств: с начальником своей охраны Кузнецовым переодевался в штатское, шёл по Москве пешком и по прихоти делал подачки из чекистских оперативных сумм. Подаяние на облегчение души?

ко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я?

Это — страшный вопрос, если отвечать на него честно.

Я вспоминаю третий курс университета, осень 1938 года. Нас, мальчиков–комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз, и второй раз и, почти не спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты: дескать, довольно с вас физматов, химфаков, Родине нужней, чтобы шли вы в училища НКВД. (Ведь это всегда так, что не кому–то там нужно, а самой Родине, за неё же всё знает и говорит какой–нибудь чин.)

Годом раньше тот же райком вербовал нас в авиационные училища. И мы тоже отбивались (жалко было университет бросать), но не так стойко, как сейчас.

Через четверть столетия можно подумать: ну да, вы понимали, какие вокруг кипят аресты, как мучают в тюрьмах и в какую грязь вас втягивают. Нет!! Ведь воронки ходили ночью, а мы были—эти, дневные, со знаменами. Откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей — так для нас это было решительно всё равно. Посадили двух–трёх

профессоров, так мы ж с ними на танцы не ходили, а экзамены ещё легче будет сдавать. Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников Октября, и как ровесников нас ожидало самое светлое будущее.

Легко не очертишь то внутреннее, никакими доводами не обоснованное, что мешало нам согласиться идти в училище НКВД. Это совсем не вытекало из прослушанных лекций по истмату: из них ясно было, что борьба против внутреннего врага — горячий фронт, почётная задача. Это противоречило и нашей практической выгоде: провинциальный университет в то время ничего не мог нам обещать, кроме сельской школы в глухом краю да скудной зарплаты; училища НКВД сулили пайки и двойную–тройную зарплату. Ощущаемое нами не имело слов (а если б и имело, то, по опасению, не могло быть друг другу названо). Сопротивлялась какая–то вовсе не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать: «надо!», и голова твоя собственная тоже: «надо!», а грудь отталкивается: не хочу, воротит. Без меня как знаете, а я не участвую.

Это очень издали шло, пожалуй от Лермонтова. От тех десятилетий русской жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не

было службы хуже и гаже жандармской. Нет, ещё глубже. Сами того не зная, мы откупались медяками и гривнами от разменянных прадедовских золотых, от того времени, когда нравственность ещё не считалась относительной и добро и зло различались просто сердцем.

Всё же кое–кто из нас завербовался тогда. Думаю, что если б очень крепко нажали — сломили б нас и всех. И вот я хочу вообразить: если бы к войне я был бы уже с кубарями в голубых петлицах—что б из меня вышло? Можно, конечно, теперь себя обласкивать, что моё ретивое бы не стерпело, я бы там возражал, хлопнул дверью. Но, лёжа на тюремных нарах, стал я как–то переглядывать свой действительный офицерский путь — и ужаснулся.

Я попал в офицеры не прямо студентом, за интегралами зачуханным, но перед тем прошёл полгода угнетённой солдатской службы и как будто довольно через шкуру был пронят, что значит с подведенным животом всегда быть готовым к повиновению людям, тебя, может быть, и не достойным. А потом ещё полгода потерзали в училище. Так должен был я навсегда усвоить горечь солдатской службы, как шкура на мне мёрзла и обдиралась? Нет. Прикололи в

утешение две звёздочки на погон, потом третью, четвёртую, — всё забыл!

Но хотя бы сохранил я студенческое вольнолюбие? Так у нас его отроду не было. У нас было строелюбие, маршелюбие.

Хорошо помню, что именно с офицерского училища я испытал радость опрощения: быть военным человеком и не задумываться. Радость погружения в то, как все живут, как принято в нашей военной среде. Радость забыть какие–то душевные тонкости, взращённые с детства.

Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где бы тяпнуть лишний кусок, ревниво друг за другом следили— кто словчил. Больше всего боялись не доучиться до кубиков (слали недоучившихся под Сталинград). А учили нас — как молодых зверей: чтоб обозлить больше, чтоб нам потом отыграться на ком–то хотелось. Мы не высыпались — так после отбоя могли заставить в одиночку (под команду сержанта) строевой ходить, это в наказание. Или ночью поднимали весь взвод и строили вокруг одного нечищеного сапога: вот! он, подлец, будет сейчас чистить, и пока не до блеска — будете все стоять.

И в страстном ожидании кубарей мы отрабатывали тигриную офицерскую походку и

металлический голос команд.

И вот — навинчены были кубики! И через какой–нибудь месяц, формируя батарею в тылу, я уже заставил своего нерадивого солдатика Бербенёва шагать после отбоя под команду непокорного мне сержанта Метлина… (Я это — забыл, я искренне это всё забыл годами! Сейчас над листом бумаги вспоминаю…) И какой–то старый полковник из случившейся ревизии вызвал меня и стыдил. А я (это после университета!) оправдывался: нас в училище так учили. То есть, значит: какие могут быть общечеловеческие взгляды, раз мы в армии?

(А уж тем более в Органах?..)

Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье.

Я метал подчинённым бесспорные приказы, убеждённый, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть возвышала меня. Сидя, выслушивал я их, стоящих по «смирно». Обрывал, указывал. Отцов и дедов называл на «ты» (они меня на «вы», конечно). Посылал их под снарядами сращивать разорванные провода, чтобы только шла звуковая разведка и не попрекнуло начальство (Андреяшин так погиб). Ел своё

офицерское масло с печеньем, не раздумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет. Уж конечно был у нас на двоих денщик (а по–благородному — «ординарец»), которого я так и сяк озабочивал и понукал следить за моею персоной и готовить нам всю еду отдельно от солдатской. (А ведь у Лубянских следователей ординарцев нет, этого на них не скажем.) Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревёшки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно. Да ведь позвольте, да ведь и гауптвахта в моей батарее бывала, да! — в лесу какая? — тоже ямка, ну получше гороховецкой дивизионной, потому что крытая и идёт солдатский паёк, а сидел там Вьюшков за потерю лошади и Попков за дурное обращение с карабином. Да позвольте же! — ещё вспоминаю: сшили мне планшетку из немецкой кожи (не человеческой, нет, из шофёрского сиденья), а ремешка не было. Я тужил. Вдруг на каком–то партизанском комиссаре (из местного райкома) увидели такой как раз ремешок — и сняли: мы же армия, мы — старше! (Сенченко, оперативника, помните?) Ну, наконец, и портсигара своего алого трофейного я жадовал, то–то и запомнил, как отняли…

Вот что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой! И — куда те пионерские грёзы о будущем святом Равенстве!

И когда на КП комбрига смершевцы сорвали с меня эти проклятые погоны, и ремень сняли, и толкали идти садиться в их автомобиль, то и в своей перепрокинутой судьбе я ещё тем был очень уязвлён, как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату телефонистов — ведь рядовые не должны были видеть меня таким!

На другой день после ареста началась моя пешая Владимирка: из армейской контрразведки во фронтовую отправлялся этапом очередной улов. От Остероде до Бродниц гнали нас пешком.

Когда меня из карцера вывели строиться, арестантов уже стояло семеро, в три с половиной пары, спинами ко мне. Шестеро из них были в истёртых, всё видавших русских солдатских шинелях, в спины которых несмываемой белой краской было крупно въедено: «SU». Это значило «Sowjet Union», я уже знал эту метку, не раз встречал её на спинах наших русских военнопленных, печально–виновато бредших навстречу освободившей их армии. Их освободили, но не было взаимной радости в этом освобождении: соотечественники косились на них угрюмее, чем на

немцев, а в недалёком тылу вот что, значит, было с ними: их сажали в тюрьму.

Седьмой же арестант был гражданский немец в чёрной тройке, в чёрном пальто, в чёрной шляпе. Он был уже за пятьдесят, высок, холён, с белым лицом, взращённым на беленькой пище.

Меня поставили в четвёртую пару, и сержант–татарин, начальник конвоя, кивнул мне взять мой опечатанный, в стороне стоявший чемодан. В этом чемодане были мои офицерские вещи и всё письменное, взятое при мне, — для моего осуждения.

То есть как — чемодан? Он, сержант, хотел, чтобы я, офицер, взял и нёс чемодан? то есть громоздкую вещь, запрещённую новым внутренним уставом? а рядом с порожними руками шли бы шесть рядовых? И — представитель побеждённой нации?

Так сложно я всего не выразил сержанту, но сказал:

— Я — офицер. Пусть несёт немец.

Никто из арестантов не обернулся на мои слова: оборачиваться было воспрещено. Лишь сосед мой в паре, тоже SU, посмотрел на меня с удивлением (когда они покидали нашу армию, она ещё была не такая).

А сержант контрразведки не удивился. Хоть в глазах его я, конечно, не был офицер, но выучка его и моя совпадали. Он подозвал ни в чём не повинного немца и велел нести чемодан ему, благо тот и разговора нашего не понял.

Все мы, остальные, взяли руки за спину (при военнопленных не было ни мешочка, с пустыми руками они с родины ушли, с пустыми и возвращались), и колонна наша из четырёх пар в затылок тронулась. Разговаривать с конвоем нам не предстояло, разговаривать друг с другом было наотрез запрещено, в пути ли, на привалах или на ночёвках… Подследственные, мы должны были идти как бы с незримыми перегородками, как бы удавленные каждый своей одиночной камерой.

Стояли сменчивые ранневесенние дни. То распространялся реденький туман, и жидкая грязца унывно хлюпала под нашими сапогами даже на твёрдом шоссе. То небо расчищалось, и мягко–желтоватое, ещё неуверенное в своём даре солнце грело почти уже обтаявшие пригорки и прозрачным показывало нам мир, который надлежало покинуть. То налетал враждебный вихрь и рвал с чёрных туч как будто и не белый даже снег, холодно хлестал им в лицо, в спину, под ноги, промачивая шинели наши и портянки.

Шесть спин впереди, постоянных шесть спин. Было время разглядывать и разглядывать корявые безобразные клейма

SU и лоснящийся чёрный бархат на воротнике немца. Было время и передумать прошлую жизнь и осознать настоящую. А я — не мог. Уже перелобаненный дубиною — не осознавал.

Шесть спин. Ни одобрения, ни осуждения не было в их покачивании.

Немец вскоре устал. Он перекладывал чемодан из руки в руку, брался за сердце, делал знаки конвою, что нести не может. И тогда сосед его в паре, военнопленный, Бог знает что отведавший только что в немецком плену (а может быть, и милосердие тоже) — по своей воле взял чемодан и понёс.

И несли потом другие военнопленные, тоже безо всякого приказания конвоя. И снова немец.

Но не я.

И никто не говорил мне ни слова.

Как–то встретился нам долгий порожний обоз. Ездовые с интересом оглядывались, иные вскакивали на телегах во весь рост, пялились. И вскоре я понял, что оживление их и озлобленность относились ко мне — я резко отличался от остальных: шинель моя была нова, долга, облегающе сши-

та по фигуре, ещё не спороты были петлицы, в проступившем солнце горели дешёвым золотом несрезанные пуговицы. Отлично видно было, что я — офицер, свеженький, только что схваченный. Отчасти, может быть, само это низвержение приятно взбудоражило их (какой–то отблеск справедливости), но скорее в головах их, начинённых политбеседами, не могло уместиться, что вот так могут взять и их командира роты, а решили они дружно, что я — с той стороны.

— Попался, сволочь власовская?!. Расстрелять его, гада!! — разгорячённо кричали ездовые в тыловом гневе (самый сильный патриотизм всегда бывает в тылу) и ещё многое оснащали матерно.

Я представлялся им неким международным ловкачом, которого, однако, вот поймали, — и теперь наступление на фронте пойдёт ещё быстрей, и война кончится раньше.

Что я мог ответить им? Единое слово мне было запрещено, а надо каждому объяснить всю жизнь. Как оставалось мне дать им знать, что я — не диверсант? что я — друг им? что это из–за них я здесь? Я—улыбался… Глядя в их сторону, я улыбался им из этапной арестантской колонны! Но мои оскаленные зубы показались им худшей насмешкой, и ещё ожесточённей, ещё яростней

они выкрикивали мне оскорбления и грозили кулаками.

Я улыбался, гордясь, что арестован не за воровство, не за измену или дезертирство, а за то, что силой догадки проник в злодейские тайны Сталина. Я улыбался, что хочу и, может быть, ещё смогу чуть подправить российскую нашу жизнь.

А чемодан мой тем временем — несли…

И я даже не чувствовал за то укора! И если б сосед мой, ввалившееся лицо которого обросло уже двухнедельной мягкой порослью, а глаза были переполнены страданием и познанием, — упрекнул бы меня сейчас яснейшим русским языком за то, что я унизил честь арестанта, обратясь за помощью к конвою, что я возношу себя над другими, что я надменен, —я не понял бы его! Я просто не понял бы—о чём он говорит? Ведь я же — офицер!..

Если бы семерым из нас надо было бы умереть на дороге, а восьмого конвой мог бы спасти — что мешало мне тогда воскликнуть:

— Сержант! Спасите — меня. Ведь я — офицер!..

Вот что такое офицер, даже когда погоны его не голубые!

А если ещё голубые? Если внушено ему, что ещё

и среди офицеров он — соль? Что доверено ему больше других и знает он больше других, и за всё это он должен подследственному загонять голову между ногами и в таком виде пихать в трубу?

Отчего бы и не пихать?..

Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был — вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове — может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте?..

Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политическим обличением.

Если б это было так просто! — что где–то есть чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?..

В течении жизни одного сердца линия эта перемещается на нём, то теснимая радостным злом, то освобождая пространство рассветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях— совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не меняется, и ему мы приписываем всё.

Завещал нам Сократ: познай самого себя!

И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они.

А кликнул бы Малюта Скуратов нас— пожалуй, и мы б не сплошали!..

От добра до худа один шаток, говорит пословица.

Значит, и от худа до добра.

Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать: там (в НКГБ–МГБ) были и хорошие!

Их–то «хороших» мы знаем: это те, кто старым большевикам шептали «держись!» или даже подкладывали бутербродик, а остальных уж подряд пинали ногами. Ну, а выше партий — хороших по–человечески — не было ли там?

Вообще б их там быть не должно: таких туда брать избегали, при приёме разглядывали. Такие сами исхитрялись, как бы отбиться. Во время войны в Рязани один ленинградский лётчик после госпиталя умолял в тубдиспансере: «Найдите что–нибудь у меня! в Органы велят идти!» Изобрели ему рентгенологи туберкулёз-

ный инфильтрат — и сразу от него гебешники отказались.

Кто ж попадал по ошибке — или встраивался в эту среду, или выталкивался ею, выживался, даже попадал на рельсы сам. А всё–таки — не оставалось ли?..

В Кишиневе молодой лейтенант–гебист приходил к Ши–повальникову ещё за месяц до его ареста: уезжайте, уезжайте, вас хотят арестовать! (Сам ли? мать ли его послала спасти священника?) А после ареста досталось ему же и конвоировать отца Виктора. И горевал он: отчего ж вы не уехали?

Или вот. Был у меня командир взвода лейтенант Овсянников. Не было мне на фронте человека ближе. Полвойны мы ели с ним из одного котелка, и под обстрелом едали между двумя разрывами, чтобы суп не остывал. Это был парень крестьянский, с душой такой чистой и взглядом таким непредвзятым, что ни училище наше, ни офицерство его нисколько не испортили. Он и меня смягчал во многом. Всё своё офицерство он поворачивал только на одно: как бы своим солдатам (а среди них — много пожилых) сохранить жизнь и силы. От него первого я узнал, что есть сегодня деревня и что такое колхозы. (Он

говорил об этом без раздражения, без протеста, а просто — как лесная вода отражает деревья до веточки.) Когда меня посадили, он сотрясён был, писал мне боевую характеристику получше, носил комдиву на подпись. Демобилизовавшись, он ещё искал через родных — как бы мне помочь (а год был— 1947, мало чем отличался от 37–го!). Во многом из–за него я боялся на следствии, чтоб не стали читать мой военный дневник: там были его рассказы. Когда я реабилитировался в 1957, очень мне хотелось его найти. Я помнил его сельский адрес. Пишу раз, пишу два — ответа нет. Нашлась ниточка, что он окончил Ярославский пединститут, оттуда ответили: «направлен на работу в органы госбезопасности». Здорово! Но тем интересней. Пишу ему по городскому адресу — ответа нет. Прошло несколько лет, напечатан «Иван Денисович». Ну, теперь–то отзовётся! Нет! Ещё через три года прошу одного своего ярославского корреспондента сходить к нему и передать письмо в руки. В этот раз Овсянников отозвался: «После института предложили в органы, и мне представилось, что так же успешно будет и тут. — (Что —успешно'?..) — Не преуспевал на новом поприще, кое–что не нравилось, но работаю «без палки», если не ошибусь, то товарища не

подведу. — (Вот и оправдание—товарищество!)— Сейчас уже не задумываюсь о будущем».

Вот и всё… Последние сталинские годы он был уже следователем. Те годы, когда закатывали по четвертной всем подряд. И как же всё переверсталось там, в его сознании? Как затемнилось? Но, помня прежнего родникового самоотверженного парня, разве я могу поверить, что всё бесповоротно? что не осталось в нём живых ростков?..[53]

Когда следователь Гольдман дал Вере Корнеевой подписывать 206–ю статью, она смекнула свои права и стала подробно вникать в дело по всем семнадцати участникам их «религиозной группы». Он рассвирепел, но отказать не мог. Чтоб не томиться с ней, отвёл её тогда в большую канцелярию, где сидело сотрудников разных с полдюжины, а сам ушёл. Сперва Корнеева читала, потом как–то возник разговор, от скуки ли сотрудников, — и перешла Вера к настоящей религиозной проповеди вслух. (А надо знать её. Это—светящийся человек, с умом живым и речью свободной, хотя на воле была только слесарем,

[53] Примечания: 53

Встретились мы в 1994 в Ярославле, когда я уже смог вернуться на родину. Да прежний мой Витя, каким и знал я его на фронте. И через год поехали мы с ним на Орловщину— на места наших боёв в 1943. (Примеч. 1996 г.)

конюхом и домохозяйкой.) Слушали её затаясь, изредка углубляясь вопросами. Очень это было для них всех с неожиданной стороны. Набралась полная комната, и из других пришли. Пусть это были не следователи — машинистки, стенографистки, подшиватели папок — но ведь их среда, Органы же, 1946 года. Тут не восстановить её монолога, разное успела она сказать. И об изменниках родине: а почему их не было в Отечественную войну 1812 года, при крепостном–то праве? Уж тогда естественно было им быть! Но больше всего она говорила о вере и верующих. Раньше, говорила она, всё ставилось у вас на разнузданные страсти, «грабь награбленное», — и тогда верующие вам, естественно, мешали. Но сейчас, когда вы хотите строить и блаженствовать на этом свете, — зачем же вы преследуете лучших своих граждан? Это для вас же—самый дорогой материал: ведь над верующим не надо контроля, и верующий не украдёт и не отлынет от работы. А вы думаете построить справедливое общество на шкурниках и завистниках? У вас всё и разваливается. Зачем вы плюёте в души лучших людей? Дайте Церкви истинное отделение, не трогайте её, вы на этом не потеряете! Вы материалисты? Так положитесь на ход образования — что, мол,

оно развеет веру. А зачем арестовывать? — Тут вошёл Гольдман и грубо хотел оборвать. Но все закричали на него: «Да заткнись ты!.. Да замолчи!.. Говори, говори, женщина!» (А как назвать её? Гражданка? Товарищ? Это всё запрещено, запуталось в условностях. Женщина! Так, как Христос обращался, не ошибёшься.) И Вера продолжала при своём следователе!!

Так вот эти слушатели Корнеевой в гебистской канцелярии— почему так живо легло к ним слово ничтожной заключённой?

Тот же Д.П.Терехов до сих пор помнит своего первого приговорённого к смерти: «было жалко его». Ведь на чём–то сердечном держится эта память. (А с тех пор уже многих не помнит и счёта им не ведёт.)

С Тереховым — эпизод. Доказывая мне правоту судебной системы при Хрущёве, энергично рубил рукой по настольному стеклу — и о край стола рассек запястье. Позвонил, персонал в струнке, дежурный старший офицер принёс ему йод и перекись водорода. Продолжая беседу, он час беспомощно держал смоченную вату у рассечины: оказывается, кровь у него плохо свёртывается. Так ясно показал ему Бог ограниченность человека! — а он судил, низсылал смертные приговоры

на других…

Как ни ледян надзорсостав Большого Дома — а самое внутреннее ядрышко души, от ядрышка ещё ядрышко — должно в нём остаться? Рассказывает Наталья Постоева, что как–то вела её на допрос бесстрастная, немая, безглазая выводная — и вдруг где–то рядом с Большим Домом стали рваться бомбы, казалось — сейчас и на них. И выводная кинулась к своей заключённой и в ужасе обняла её, ища человеческого слития и сочувствия. Но отбомбились. И прежняя безглазость: «Возьмите руки назад! Пройдите!»

Конечно, эта заслуга невелика — стать человеком в предсмертном ужасе. Как и не доказательство доброты — любовь к своим детям («он хороший семьянин», часто оправдывают негодяев). Председателя Верховного Суда И.Т. Голякова хвалят: любил копаться в саду, любил книги, ходил в букинистические магазины, хорошо знал Толстого, Короленко, Чехова, — и что ж у них перенял? сколько тысяч загубил? Или, например, тот полковник, друг Иоссе, ещё и во Владимирском изоляторе хохотавший, как он старых евреев запирал в погреб со льдом, — во всех беспутствах своих боялся, чтоб только не узнала жена: она верила в него, считала благородным, и он этим

дорожил. Но смеем ли мы принять это чувство за плац–дармик добра на его сердце?

Почему так цепко уже второе столетие они дорожат цветом небес? При Лермонтове были — «и вы, мундиры голубые!», потом были голубые фуражки, голубые погоны, голубые петлицы, им велели быть не такими заметными, голубые поля всё прятались от народной благодарности, всё стягивались на их головах и плечах—и остались кантиками, ободочками узкими — а всё–таки голубыми!

Это — только ли маскарад?

Или всякая чернота должна хоть изредка причащаться неба?

Красиво бы думать так. Но когда узнаешь, в какой форме тянулся к святому, например, Ягода… Рассказывает очевидец (из окружения Горького, в то время близкого к Ягоде): в поместьи Ягоды под Москвой в предбаннике стояли иконы— специально для того, что Ягода со товарищи, раздевшись, стреляли в них из револьверов, а потом шли мыться…

Как это понять: злодей! Что это такое? Есть ли это на свете?

Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо сказке рисовать злодеев —

для детей, для простоты картины. А когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо–чёрных злодеев— и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс, — нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного восприятия. И главное: как нарисованы эти злодеи? Их злодеи отлично сознают себя злодеями и душу свою — чёрной. Так и рассуждают: не могу жить, если не делаю зла. Дай–ка я натравлю отца на брата! Дай–ка упьюсь страданиями жертвы! Яго отчётливо называет свои цели и побуждения — чёрными, рождёнными ненавистью.

Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать оправдание своим действиям.

У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго—ягнёнок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что не было у них идеологии.

Идеология! — это она даёт искомое оправдание злодейству и нужную долгую твёрдость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему

перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почёт. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели—возвеличением родины, колонизаторы—цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы и большевики — равенством, братством, счастьем будущих поколений.

Благодаря Идеологии досталось Двадцатому веку испытать злодейство миллионное. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать — и как же при этом осмелимся мы настаивать, что злодеев — не бывает? А кто ж эти миллионы уничтожал? А без злодеев — Архипелага бы не было.

Прошёл слух в 1918–20 годах, будто Петроградская ЧК и Одесская своих осуждённых не всех расстреливали, а некоторыми кормили (живьём) зверей городских зверинцев. Я не знаю, правда это или навет, и если были случаи, то сколько. Но я и не стал бы изыскивать доказательств: по обычаю голубых кантов я предложил бы им самим доказать нам, что это невозможно. А где же в условиях голода тех лет доставать пищу для зверинца? Отрывать у рабочего класса? Этим врагам всё равно умирать — отчего ж бы смертью своей им не поддержать зверохозяйство Республики и так способствовать нашему шагу в будущее?

Разве это—не целесообразно'?

Вот та черта, которую не переступить шекспировскому злодею, но злодей с идеологией переходит её — и глаза его остаются ясны.

Физика знает пороговые величины или явления. Это такие, которых вовсе нет, пока не перейден некий природе известный, природою зашифрованный порог. Сколько ни свети жёлтым светом на литий—он не отдаёт электронов, а вспыхнул слабый голубенький — и вырваны (переступлен порог фотоэффекта)! Охлаждай кислород за сто градусов, сжимай любым давлением—держится газ, не сдаётся! Но переступлено сто восемнадцать — и потёк, жидкость.

И видимо, злодейство есть тоже величина пороговая. Да, колеблется, мечется человек всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства—в его возможностях возврат, и сам он — ещё в объёме нашей надежды. Когда же густотою злых поступков или какой–то степенью их или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог — он ушёл из человечества. И может быть — без возврата.

* * *

Представление о справедливости в глазах людей исстари складывается из двух половин: добродетель торжествует, а порок наказан.

Посчастливилось нам дожить до такого времени, когда добродетель хоть и не торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель, битая, хилая, теперь допущена войти в своём рубище, сидеть в уголке, только не пикать.

Однако никто не смеет обмолвиться о пороке. Да, над добродетелью измывались, но порока при этом—не было. Да, сколько–то миллионов спущено под откос — а виновных в этом не было. И если кто только икнёт: «а как же те, кто…», — ему со всех сторон укоризненно, на первых порах дружелюбиво: «ну что–о вы, товарищи! ну зачем же старые раны тревожить?!» (Даже по «Ивану Денисовичу» голубые пенсионеры именно в том и возражали: зачем же раны бередить у тех, кто в лагере сидел! Мол, их надо поберечь!) А потом и дубинкой: «Цыц, недобитые! Нареабилитировали вас!»

И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено восемьдесят шесть тысяч преступных

нацистов — и мы захлёбываемся[54], мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем, мы и после работы останемся на митинг и проголосуем: мало! И 86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить!

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около тридцати человек.

То, что за Одером, за Рейном — это нас печёт. А то, что в Подмосковьи и под Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам и мы им дорогу уступаем, — это нас не печёт, не трогает, это — «старое ворошить».

А между тем, если 86 тысяч западно–германских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны четверть миллиона!

Но и за четверть столетия мы никого их не нашли, мы никого их не вызвали в суд, мы боимся разбередить их раны. И как символ их всех живёт на улице Грановского, 3 — самодовольный, тупой, до сих пор ни в чём не убедившийся Молотов, весь пропитанный нашей кровью, и благородно переходит тротуар сесть в длинный широкий автомобиль.

---

[54] Примечания: 54

А в Восточной— не слышно, значит перековались, ценят их на государственной службе.

Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России — не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир?

В немецких судебных процессах то там то сям бывает дивное явление: подсудимый берётся за голову, отказывается от защиты и ни о чём не просит больше суд. Он говорит, что череда его преступлений, вызванная и проведенная перед ним вновь, наполняет его отвращением и он не хочет больше жить.

Вот высшее достижение суда: когда порок настолько осуждён, что от него отшатывается и преступник.

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодёжи)—год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него.

А что делать нам?.. Когда–нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений — поколениями слюнтяев: сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости.

Что же делать, если великая традиция русского покаяния им непонятна и смешна? Что же делать, если животный страх перенести даже сотую долю того, что они причиняли другим, перевешивает в них всякую наклонность к справедливости? Если жадной охапкой они держатся за урожай благ, взращённый на крови погибших?

Разумеется, те, кто крутил ручку мясорубки, ну хотя бы в тридцать седьмом году, уже немолоды, им от пятидесяти до восьмидесяти лет, всю лучшую пору свою они прожили безбедно, сытно, в комфорте — и всякое равное возмездие опоздало, уже не может совершиться над ними.

Но пусть мы будем великодушны, мы не будем расстреливать их, мы не будем наливать их солёной водой, обсыпать клопами, взнуздывать в «ласточку», держать на бессонной выстойке по неделе, ни бить их сапогами, ни резиновыми дубинками, ни сжимать череп железным кольцом, ни втеснять их в камеру как багаж, чтоб лежали один на другом, — ничего из того, что делали они! Но перед страной нашей и перед нашими детьми мы обязаны всех разыскать и всех судить! Судить уже не столько их, сколько их преступления. Добиться, чтоб каждый из них хотя бы сказал громко:

— Да, я был палач и убийца.

И если б это было произнесено в нашей стране толь–к о четверть миллиона раз (по пропорции, чтоб не отстать от Западной Германии) — так, может быть, и хватило бы?

В Двадцатом веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсудное зверство и что такое «старое», которое «не надо ворошить»!

Мы должны осудить публично самую идею расправы одних людей над другими! Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — мы сеем его, и он ещё тысячекратно взойдёт в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость — мы тем самым из–под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого–то они «равнодушные» и растут, а не из–за «слабости воспитательной работы». Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не нака–зуется, но всегда приносит благополучие.

И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить!

Глава 5. ПЕРВАЯ КАМЕРА–ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Это как же понять — камера и вдруг любовь?.. Ах вот, наверно: в Ленинградскую блокаду тебя посадили в Большой Дом? Тогда понятно, ты потому ещё и жив, что тебя туда сунули. Это было лучшее место Ленинграда — и не только для следователей, которые и жили там, и имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток, в Ленинграде тогда не мылись, чёрной корой были закрыты лица, а в Большом Доме арестанту давали горячий душ каждый десятый день. Ну, правда, отапливали только коридоры для надзирателей, камеры не отапливали, но ведь в камере был и действующий водопровод, и уборная — где это ещё в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, сто двадцать пять. Да ведь ещё раз в день — суповый отвар на битых лошадях! и один раз кашица!

Позавидовала кошка собачьему житью! А— карцер? А— вышка?

Нет, не поэтому. Не поэтому…

Сесть, перебирать, зажмурив глаза: в скольких

камерах пересидел за свой срок. Даже трудно их счесть. И в каждой — люди, люди… В иной два человека, а в той—полтораста. Где просидел пять минут; где — долгое лето.

Но всегда изо всех на особом твоём счету — первая камера, в которой ты встретил себе подобных, с обречённою той же судьбой. Ты её будешь всю жизнь вспоминать с таким волнением, как разве ещё только — первую любовь. И люди эти, разделившие с тобой пол и воздух каменного кубика в дни, когда всю жизнь ты передумывал по–новому, — эти люди ещё когда–то вспомнятся тебе как твои семейные.

Да в те дни — они только и были твоей семьёй.

Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей твоей жизни до, во всей твоей жизни после. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до тебя и ещё сколько–то после (хотелось бы думать, что — меньше…) — но единственна и неповторима именно та камера, в которой ты проходил следствие.

Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая клопяная кутузка без окна, без вентиляции, без нар — грязный пол, коробка, называемая КПЗ, — при сельсовете, милиции,

при станции или в порту[55] (КПЗ и ДПЗ —их–то больше всего рассеяно по лику нашей земли, в них–то и масса). Одиночка Архангельской тюрьмы, где стёкла замазаны суриком, чтобы только багровым входил к вам изувеченный Божий свет и постоянная лампочка в пятнадцать ватт вечно горела бы с потолка. Или «одиночка» в городе Чойбалсане, где на шести квадратных метрах пола вы месяцами сидели четырнадцать человек впритиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских «психических» камер, вроде 111–й, окрашенная в чёрный цвет и тоже с круглосуточной двадцативаттной лампочкой, а остальное — как в каждой лефортовской: асфальтовый пол; кран отопления в коридоре, в руках надзирателя; а главное — многочасовой раздирающий рёв (от аэродинамической трубы соседнего ЦАГИ, но поверить нельзя, что — не нарочно), рёв, от которого миска с кружкой, вибрируя, съезжает со стола, рёв, при котором бесполезно разговаривать, но можно петь во весь голос, и надзиратель не слышит—а когда стихает рёв, наступает блаженство высшее, чем воля.

Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не

[55] Примечания: 55

КПЗ (ДПЗ) — камеры (дом) предварительного заключения. То есть не там, где отбывают срок, а где проходят следствие.

запах параши ты полюбил — а вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде; что–то между вашими душами колотившееся; их удивительные иногда слова; и родившиеся в тебе именно там такие освобождённые плавающие мысли, до которых недавно не мог бы ты ни допрыгнуть, ни вознестись.

Ещё до той первой камеры тебе что стоило пробиться! Тебя держали в яме, или в боксе, или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя человеческим взором никто не глянул — а только выклёвывали железными клювами из мозга твоего и из сердца, ты кричал, ты стонал— а они смеялись.

Ты неделю или месяц был одинёшенек среди врагов, и уже расставался с разумом и жизнью; и уже с батареи отопления падал так, чтобы голову размозжить о чугунный конус слива, — и вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям. И разум — вернулся к тебе. Вот что такое первая камера!

Ты этой камеры ждал, ты мечтал о ней почти как об освобождении — а тебя закатывали из щели да в нору, из Лефортова да в какую–нибудь чёртову легендарную Сухановку.

Сухановка — это та самая страшная тюрьма,

которая только есть у МГБ. Ею пугают нашего брата, её имя выговаривают следователи со зловещим шипением. (А кто там был—потом не допросишься: или бессвязный бред несут или нет их в живых.)

Сухановка — это бывшая Екатерининская пустынь, два корпуса — срочный и следственный из 68 келий. Везут туда воронками два часа, и мало кто знает, что тюрьма эта — в нескольких километрах от Горок Ленинских и от бывшего имения Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг.

Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером— опять же узким таким, что, если стоять ты не в силах, остаётся висеть на упёртых коленях, больше никак. В таком карцере держат и больше суток — чтобы дух твой смирился. Кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ, — а потому что носят из дома отдыха архитекторов, не держат для свиного пойла отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор — и картошечку поджаренную, и биточек, делят здесь на двенадцать человек. И оттого ты не только вечно голоден, как везде, но растравлен больнее.

Камеры–кельи там устроены все на двоих, но

подследственных держат чаще по одному. Камеры там — полтора метра на два[56]. В каменный пол вварены два круглых стулика, как пни, и на каждый пень, если надзиратель отопрёт в стене английский замок, отпадает из стены на семь ночных часов (то есть на часы следствия, днём его там не ведут вообще) полка и сваливается соломенный матрасик размером на ребёнка. Днём стулик освобождается, но сидеть на нём запрещено. Ещё на четырёх стоячих трубах лежит как доска гладильная — стол. Форточка всегда закрыта, лишь утром на десять минут надзиратель открывает её штырём. Стекло маленького окна заарматурено. Прогулок не бывает никогда, оправка—только в шесть утра, то есть когда ничьему желудку она ещё не нужна, вечером её нет.

---

[56] Примечания: 56

А точней: 156г209 см. Откуда это известно? Это торжество инженерного расчёта и сильной души, не сломленной Сухановкой, — это посчитал Александр Долган. Он не давал себе сойти с ума и пасть духом, для того старался больше считать. В Лефортове он считал шаги, переводил их на километры, по карте вспоминал, сколько километров от Москвы до границы, сколько потом через всю Европу, сколько через весь Атлантический океан. Он имел такой стимул: мысленно вернуться домой в Америку; и за год лефортовской одиночки спустился на дно Атлантики, как его взяли в Сухановку. Здесь, понимая, что мало кто об этой тюрьме расскажет (наш рассказ — весь от него), он изобретал, как ему вымерить камеру. На дне тюремной миски он прочёл дробь 10/22 и догадался, что «10» означает диаметр дна, а «22»— диаметр развала. Затем он из полотенца вытянул ниточку, сделал метр и так всё замерил. Потом он стал изобретать, как можно спать стоя, упершись коленом в стулик, и чтоб надзирателю казалось, что глаза

твои открыты. Изобрёл — и только поэтому не сошёл с ума. (Рюмин держал его месяц на бессоннице.)

На отсек в семь камер приходится два надзирателя, оттого глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо двух дверей к третьей. В том и цель беззвучной Сухановки: не оставить тебе ни минуты сна, ни минут, украденных для частной жизни, — ты всегда смотришься и всегда во власти.

Но если ты прошёл весь поединок с безумием, все искусы одиночества и устоял — ты заслужил свою первую камеру! И теперь ты в ней заживишься душой.

И если ты быстро сдался, во всём уступил и предал всех—тоже ты теперь созрел для своей первой камеры; хотя для тебя же лучше не дожить бы до этого счастливого мига, а умереть победителем в подвале, не подписав ни листа.

Сейчас ты увидишь впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые —других живых[57], кто тоже идёт твоим путём и кого ты можешь объединить с собою радостным словом мы,.

Да, это слово, которое ты, может быть, презирал на воле, когда им заменили твою личность («мы все, как один!., мы горячо негодуем!., мы требу-

---

[57] Примечания: 57

Если в Большом Доме в Ленинградскую блокаду — то может быть и людоедов: кто ел человечину, торговал человеческой печенью из прозекторской. Их почему–то держали в МГБ вместе с политическими.

ем!., мы клянёмся!..»), — теперь открывается тебе как сладостное: ты не один на свете! Есть ещё мудрые духовные существа—люди.

* * *

После четырёх суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтоб я в своём ослепительном электрическом боксе лёг по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь. Я всё слышал, но прежде, чем он скажет: «Встаньте! На допрос!», хотел ещё три сотых доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я сплю. Однако надзиратель сбился с заученного: «Встаньте! Соберите постель!»

Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казённый матрас. Надзиратель на цыпочках, всё время делая мне знаки, чтоб я не шумел, повёл меня могильно–бесшумным коридором четвёртого этажа Лубянки мимо стола корпусного, мимо зеркальных номерков камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тотчас.

Хотя после отбоя прошли каких–нибудь четверть часа, но у подследственных такое хрупкое

ненадёжное время сна и так мало его, что жители 67–й камеры к моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки поверх одеяла.

Разные притеснительные меры, в дополнение к старым тюремным, изобретались во внутренних тюрьмах ГПУ–НКВД–КГБ постепенно. Кто сидел тут в начале 20–х годов, не знали этой меры, да и свет на ночь тогда тушился, по–людски. Но свет стали держать с логическим обоснованием: чтобы видеть заключённых во всякую минуту ночи (а когда для осмотра зажигали, так было ещё хуже). Руки же велено было держать поверх одеяла якобы для того, чтобы заключённый не мог удавиться под одеялом и так уклониться от справедливого следствия. При опытной проверке оказалось, что человеку зимой всегда хочется руки спрятать, угреть— и потому мера окончательно утвердилась.

От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос.

И эти три испуганно поднятые головы, эти три небритых, мятых, бледных лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв матрас, и улыбался от счастья. И

они — улыбнулись. И какое ж это было забытое выражение! — а всего за неделю!

— С воли? — спросили меня. (Обычный первый вопрос новичку.)

— Не–ет, — ответил я. (Обычный первый ответ новичка.)

Они имели в виду, что я наверно арестован недавно и, значит, с воли. Я же после девяноста шести часов следствия никак не считал, что я с «воли», разве я ещё не испытанный арестант?.. И всё–таки я был с воли! И безбородый старичок с чёрными очень живыми бровями уже спрашивал меня о военных и политических новостях. Потрясающе! — хотя были последние числа февраля, но они ничего не знали ни о Ялтинской конференции, ни об окружении Восточной Пруссии, ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины января, ни даже о декабрьском плачевном отступлении союзников. По инструкции подследственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире — и вот они ничего не знали!

Я готов был полночи теперь им обо всём рассказывать — с гордостью, будто все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тут дежурный надзиратель внёс мою кровать, и

надо было бесшумно её расставить. Мне помогал парень моего возраста, тоже военный: его китель и пилотка лётчика висели на столбике кровати. Он ещё раньше старичка спросил меня — только не о войне, а о табаке. Но как ни был я растворён душой навстречу моим новым друзьям и как ни мало было произнесено слов за несколько минут — чем–то чужим повеяло на меня от этого ровесника и софронтовика, и для него я замкнулся сразу и навсегда.

(Я ещё не знал ни слова наседка, ни — что в каждой камере она должна быть, я вообще не успел ещё обдумать и сказать, что этот человек, Г. Крамаренко, не нравится мне, — а уже сработало во мне духовное реле, реле–узнава–тель, и навсегда закрыло меня для этого человека. Я не стал бы упоминать такого случая, будь он единственным. Но работу этого реле–узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, с восторгом и тревогой стал ощущать как постоянное природное свойство. Шли годы, я лежал на одних нарах, шёл в одном строю, работал в одних бригадах со многими сотнями людей, и всегда этот таинственный реле–узнаватель, в создании которого не было моей заслуги ни чёрточки, срабатывал прежде, чем я вспоминал о нём, срабатывал при виде челове-

ческого лица, глаз, при первых звуках голоса — и открывал меня этому человеку нараспашку, или только на щёлочку, или глухо закрывал. Это было всегда настолько безошибочно, что вся возня оперуполномоченных со снаряжением стукачей стала казаться мне козявочной: ведь у того, кто взялся быть предателем, это явно всегда на лице, и в голосе, у иных как будто ловко–притворчиво — а нечисто. И, напротив, узнаватель помогал мне отличать тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшее, глубины и тайны, за которые рубят головы. Так прошёл я восемь лет заключения, три года ссылки, ещё шесть лет подпольного писательства, ничуть не менее опасных, — и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам людей—и не оступился ни разу! Я не читал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но, люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даём ему развиться в нас.)

Кровать мы расставили — и тут бы мне рассказывать (конечно, шёпотом и лёжа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер), но третий наш сокамерник, лет средних, а уже с бе-

лыми иголочками сединок на стриженой голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью, украшающей северян:

— Завтра. Ночь для сна.

И это было самое разумное. Любого из нас в любую минуту могли выдернуть на допрос и держать там до шести утра, когда следователь пойдёт спать, а здесь уже спать за–претится.

Одна ночь непотревоженного сна была важнее всех судеб планеты.

И ещё одно, препятствующее, но не сразу уловимое, я ощутил с первых фраз своего рассказа, однако не дано мне было так рано его назвать: что наступила (с арестом каждого из нас) мировая переполюсовка, или оборот всех понятий на сто восемьдесят градусов, и то, что с таким упоением я начал рассказывать, — может быть для нас–то совсем не было радостным.

Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от двухсотваттной лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю воровски припрятали, и заснули.

А я лежал, переполненный праздником быть с людьми. Ведь час назад я не мог рассчитывать, что меня сведут с кем–нибудь. Я мог и жизнь кон-

чить с пулей в затылке (следователь всё время мне это обещал), так никого и не повидав. Надо мной по–прежнему висело следствие, но как оно сильно отступило! Завтра буду рассказывать я (не о своём деле, конечно), завтра будут рассказывать они — что за интересный будет завтра день, один из самых лучших в жизни! (Вот это сознание у меня очень раннее и очень ясное: что тюрьма для меня не пропасть, а важнейший излом жизни.)

Каждая мелочь в камере мне интересна, куда девался сон, и, когда глазок не смотрит, я украдкой изучаю. Вон, вверху одной стены, небольшое углубление в три кирпича, и висит на нём синяя бумажная шторка. Уже мне успели ответить: это окно, да! —в камере есть окно! —а шторка—противовоздушная маскировка. Завтра будет слабенький дневной свет, и среди дня на несколько минут погасят режущую лампу. Как это много! — днём жить при дневном свете!

Ещё в камере — стол. На нём, на самом видном месте, — чайник, шахматы, стопочка книг. (Я ещё не знал, почему — на самом видном. Оказывается, опять–таки по лубянскому распорядку: в кажеминутное заглядывание своё через глазок надзиратель должен убедиться, что нет злоупотреблений этими дарами администрации: что

чайником не долбят стену; что никто не глотает шахмат, рискуя рассчитаться и перестать быть гражданином СССР; и никто не управился подпалить книг в намерении сжечь тюрьму. А собственные очки арестантов признаны оружием настолько опасным, что даже и на столе нельзя лежать им ночью, администрация забирает их до утра.)

Какая же уютная жизнь! — шахматы, книги, пружинные кровати, добротные матрасы, чистое бельё. Да я за всю войну не помню, чтобы так спал. Натёртый паркетный пол. Почти четыре шага можно сделать в прогулке от окна до двери. Нет, таки эта центральная политическая тюрьма — чистый курорт.

И снаряды не падают… Я вспомнил то их высокое хлюпанье через голову, то нарастающий свист и кряхт разрыва. И как нежно посвистывают мины. И как всё сотрясается от четырёх кубышек скрипуна. Я вспомнил сырую слякоть под Вормдитом, откуда меня арестовали и где наши сейчас месят грязь и мокрый снег, чтоб не выпустить немцев из котла.

Чёрт с вами, не хотите, чтоб я воевал, — не надо.

* * *

Среди многих потерянных мерок мы потеряли ещё и такую: высокостойности тех людей, которые прежде нас го ворили и писали по–русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели. По русской литературе XIX века почти нельзя понять: на ком же Русь простояла десять столетий, кем же держалась? Впрочем, не ими ли она пережила и последние полвека? Ещё более — ими.

А то — и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно, чтобы крепко стоять на земле. Перед падением обществ бывает такая мудрая прослойка думающих — думающих, и только. И как над ними не гоготали! Как не передразнивали их! Не досталось им и клички другой как гниль. Эти люди были — цвет преждевременный, слишком тонкого аромата, вот и пустили их под косилку. В личной жизни они особенно были беспомощны: ни гнуться, ни притворяться, ни ладить, что ни слово — мнение, порыв, протест. Таких–то как раз косилка подби-

рает. Таких–то как раз соломорезка крошит[58].

Вот через эти самые камеры проходили они. Но стены камер — с тех пор тут и сдирались обои, и штукатурилось, и белилось, и красилось не раз, — стены камер не отдавали нам ничего из прошлого (они, наоборот, сами микрофонами настораживались нас послушать). О прежнем населении этих камер, о разговорах, которые тут велись, о мыслях, с которыми отсюда уходили на расстрел и на Соловки, — нигде ничего не записано, не сказано, — и тома такого, стоящего сорока вагонов нашей литературы, наверно уже и не будет.

А те, кто ещё живы, рассказывают нам пустяки всякие: что раньше тут были топчаны деревянные, а матрасы набиты соломой. Что прежде, чем намордники поставили на окна, стёкла уже были замазаны мелом до самого верха — ещё в 20–м году. А намордники— в 1923 точно уже были (а мы–то их дружно приписывали Берии). К перестукиваниям, говорят, тут в 20–е годы ещё относились свободно: ещё как–то жила эта нелепая традиция из царских тюрем, что если заключён-

[58] Примечания: 58

Я робею сказать, но перед семидесятыми годами века и те и другие как будто выступают вновь. Это удивительно. На это почти и нельзя было надеяться.

ному не перестукиваться, так что ему и делать? И вот ещё: все сплошь 20–е годы надзиратели здесь были — латыши (из стрелков латышских, и помимо) и еду раздавали рослые латышки.

Оно–то пустяки–пустяки, а над чем и задумаешься.

Мне самому в эту главную политическую тюрьму Союза очень было нужно, спасибо, что привезли: я о Бухарине много думал, мне хотелось это всё представить. Однако ощущение было, что мы идём уже в окосках, что хороши б мы были и в любой областной внутрянке[59]. А тут — чести много.

Но с теми, кого я тут застал, нельзя было соскучиться. Было кого послушать, было кого посравнить.

Того старичка с живыми бровями (да в шестьдесят три года он держался совсем не старичком) звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу лубянскую камеру — и как хранитель старых русских тюремных традиций, и как живая история русских революций. Тем, что береглось в его памяти, он как бы придавал масштаб всему происшедшему и происходящему. Такие люди

---

[59] Примечания: 59
Внутренняя тюрьма— то есть собственно ГБ.

не только в камере ценны, их в целом обществе очень недостаёт.

Фамилию Фастенко мы тут же, в камере, прочли в попавшейся нам книге о революции 1905 года. Фастенко был таким давнишним социал–демократом, что уже, кажется, и переставал им быть.

Свой первый тюремный срок он получил ещё молодым человеком, в 1904 году, но после Манифеста 17 октября 1905 был освобождён вчистую.

Кто из нас из школьной истории, из «Краткого курса» не узнал и не зазубрил, что этот «провокационно–подлый манифест» был издевательством над свободой, что царь распорядился: «мёртвым— свободу, живых— под арест»? Но эпиграмма эта лжива. Тем актом разрешались все политические партии, созывалась Дума, и амнистия давалась честная и предельно широкая, а именно: по ней освобождались ни много ни мало как все политические без изъятия, независимо от срока и вида наказания. Лишь уголовные оставались сидеть. Сталинская же амнистия 7 июля 1945 поступила как раз наоборот: всех политических оставила сидеть.

Интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, ни о каких «намордниках» на тюремных окнах ещё не имели

понятия, и из камер Белоцерков–ской тюрьмы, где Фастенко сидел, арестанты свободно обозревали тюремный двор, прибывающих и убывающих, и улицу, и перекрикивались из вольных с кем хотели. И вот уже днём 17 октября, узнав по телеграфу об амнистии, вольные объявили новость заключённым. Политические стали радостно бушевать, бить оконные стёкла, ломать двери и требовать от начальника тюрьмы немедленного освобождения. Кто–нибудь из них был тут же избит сапогами в рыло? посажен в карцер? какую–нибудь камеру лишили книг и ларька? Да нет же! Растерянный начальник тюрьмы бегал от камеры к камере и упрашивал: «Господа! Я умоляю вас! —будьте благоразумны! Я же не имею права освобождать вас на основании телеграфного сообщения. Я должен получить прямые указания от моего начальства из Киева. Я очень прошу вас: вам придётся переночевать». — И действительно, их варварски задержали на сутки!.. (После сталинской амнистии, как будет ещё рассказано, амнистированных передерживали по два–три месяца, понуждали всё так же вкалывать, и никому это не казалось незаконным.)

Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 1906 году Фастенко

получил 8 лет каторги, что значило: 4 года в кандалах и 4 года в ссылке. Первые четыре года он отбывал в Севастопольском централе, где, кстати, при нём был массовый побег арестантов, организованный с воли содружеством революционных партий: эсеров, анархистов и социал–демократов. Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на доброго всадника, и десятка два арестантов (не все, кому хотелось, а лишь утверждённые своими партиями к побегу и заранее, ещё в тюрьме — через надзирателей! — снабжённые пистолетами) бросились в пролом и, кроме одного, убежали. Анатолию же Фастенко РСДРП назначила не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу.

Зато в енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его (и потом—других уцелевших) рассказы с широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки — и всё больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко «бежал», то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он поехал во Владивосток, рассчитывая через какого–то знакомого сесть там на пароход. Это почему–то не удалось. Тогда,

всё так же без паспорта, он спокойно пересек в поезде всю Россию–матушку и поехал на Украину, где был большевиком–подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была неугрожающей и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхания погони, что проявил удивительную беззаботность: доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии! Как же быть? Пассажиров было человек сорок, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался: притворился спящим. Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и тут ещё не был уверен, что это — его. Наконец дракон императорского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо: «Господин Макаров! Господин Макаров! Пожалуйста, ваш паспорт!»

Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского, при партийной школе Лонжюмо выполнял какие–то хозяйственные обязанности. Одновременно учил французский язык, озирался — и вот его потянуло дальше, смотреть мир. Перед войной он переехал в Канаду, стал там

рабочим, побывал в Соединённых Штатах. Раздольный устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко: он заключил, что никакой пролетарской революции там никогда не будет, и даже вывел, что вряд ли она там и нужна.

А тут в России произошла — прежде, чем ждали её, — долгожданная революция, и все возвращались, и вот ещё одна революция. Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего порыва к этим революциям. Но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в перелётах.

Вскоре вослед Фастенко вернулся на родину и канадский знакомец его, бывший матрос–потёмкинец, бежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот потёмкинец продал дочиста свою ферму и скот и с деньгами и с новеньким трактором приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых коммун и отдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало и быстро его загубили. А самому потёмкинцу всё увиделось решительно не тем, как представлялось за двадцать лет. Распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться, и приказывали делать то, что рачительному фермеру была дикая бессмыслица. К тому ж он

и телом здесь подобрался, и одеждой износился, и мало что оставалось от канадских долларов, смененных на бумажные рубли. Он взмолился, чтоб отпустили его–то с семьёй, пересек границу не богаче, чем когда–то бежал с «Потёмкина», океан переехал, как и тогда, матросом (на билет недостало денег), а в Канаде начал жизнь снова батраком.

Тут многого в Фастенко я ещё не мог понять. Для меня в нём едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне прохладно. (Моё настроение было тогда такое: кто–то в камере назвал Фастенко по одному отчеству, без имени, то есть просто: «Ильич, сегодня парашу ты выносишь?» Я вскипел, обиделся, это показалось мне кощунством, и не только в таком сочетании слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичей, кроме единственного человека на земле!) От этого и Фастенко ещё не мог многого мне объяснить, как бы хотел.

Он говорил мне ясно по–русски: «Не сотвори себе кумира!» А я не понимал!

Видя мою восторженность, он настойчиво и не один раз повторял мне: «Вы — математик, вам грешно забывать Декарта: всё подвергай сомне-

нию! всё подвергай сомнению!» Как это — «всё»? Ну, не всё же! Мне казалось: я и так уж достаточно подверг сомнению, довольно!

Или говорил он: «Старых политкаторжан почти не осталось, я — из самых последних. Старых каторжан всех уничтожили, а общество наше разогнали ещё в тридцатые годы». — «А почему?» — «Чтоб мы не собирались, не обсуждали». И хотя эти простые слова, сказанные спокойным тоном, должны были возопить к небу, выбить стёкла, — я воспринимал их только как ещё одно злодеяние Сталина. Трудный факт, но — без корней.

Это совершенно определённо, что не всё, входящее в наши уши, вступает дальше в сознание. Слишком неподходящее к нашему настроению теряется — то ли в ушах, то ли после ушей, но теряется. И вот хотя я отчётливо помню многочисленные рассказы Фастенко, — его рассуждения осели в моей памяти смутно. Он называл мне разные книги, которые очень советовал когда–нибудь на воле достать и прочесть. Сам уже, по возрасту и здоровью не рассчитывая выйти живым, он находил удовольствие надеяться, что я когда–нибудь эти мысли охвачу. Записывать было невозможно, запоминать и без этого

хватило многое за тюремную жизнь, но имена, прилегавшие ближе к моим тогдашним вкусам, я запомнил: «Несвоевременные мысли» Горького (я очень тогда высоко ставил Горького: ведь он всех русских классиков превосходил тем, что был пролетарским) и «Год на родине» Плеханова.

Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его, в уважение к старым подпольным заслугам, усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост, — но он не хотел этого, взял скромную должность в издательстве «Правды», потом ещё скромней, потом перешёл в трест «Мосгороформление» и там работал совсем уж незаметно.

Я удивлялся: почему такой уклончивый путь? Он непонятно отвечал: «Старого пса к цепи не приучишь».

Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по–человечески просто хотел остаться целым. Он уже перешёл на тихую маленькую пенсию (не персональную вовсе, потому что это влекло бы за собой напоминание, что он был близок ко многим расстрелянным) — и так бы он, может, дотянул до 1953 года. Но, на беду, арестовали его соседа по квартире — вечно пьяного беспутного писателя Л. Соловьёва, который в пьяном виде где–то похвалялся пистолетом. Пистолет же

есть обязательный террор, а Фастенко с его давним социал–демократическим прошлым — уж вылитый террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор, а заодно, разумеется, службу во французской и канадской разведке, а значит и осведомителем царской охранки[60]. И в 1945 году за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьёзно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьёзные протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года.

А старушка–жена (детей у них не было) в разрешённый десятый день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи: кусочек чёрного хлеба граммов на триста (ведь он покупался на базаре и стоил сто рублей килограмм!) да дюжину варёных облупленных (а на обыске ещё и проколотых шилом) картофелин. И вид этих убогих—действительно святых! — передач разрывал сердце.

Столько заслужил человек за шестьдесят три

---

[60] Примечания: 60

Излюбленный мотив Сталина: каждому арестованному однопартийцу (и вообще бывшему революционеру) приписывать службу в царской охранке. От нестерпимой подозрительности? Или… по внутреннему чувству?., по аналогии?..

года честности и сомнений.

* * *

Четыре койки в нашей камере ещё оставляли посередине проходец со столом. Но через несколько дней после меня подбросили нам пятого и поставили койку поперёк.

Новичка ввели за час до подъёма, за тот самый сладко–мозговой часочек, и трое из нас не подняли голов, только Крамаренко соскочил, чтобы разжиться табачком (и может быть, материалом для следователя). Они стали разговаривать шёпотом, мы старались не слушать, но не отличить шёпота новичка было нельзя: такой громкий, тревожный, напряжённый и даже близкий к плачу, что можно было понять— нерядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел. Всё же, не поворачивая головы, я оттянул их, чтобы тише держались.

Когда же по подъёму мы дружно вскочили (залёжка грозила карцером), то увидели — генерала! То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинченных, ни даже петлиц — но дорогой китель, мягкая шинель, да вся фигура и лицо! — нет, это был несомненный

генерал, типовой генерал, и даже непременно полный генерал, а не какой–нибудь там генерал–майор. Невысок он был, плотен, в корпусе очень широк, в плечах, а в лице значительно толст, но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного добродушия, а — значимость, принадлежность к высшим. Завершалось его лицо — не сверху, правда, а снизу— бульдожьей челюстью, и здесь было средоточие его энергии, воли, властности, которые и позволили ему достичь таких чинов к середовым годам.

Стали знакомиться, и оказалось, что Леонид Вонифать–евич Зыков — ещё моложе, чем выглядит, ему в этом году только исполнится тридцать шесть («если не расстреляют»), а ещё удивительней: никакой он не генерал, даже не полковник и вообще не военный, а — инженер!

Инженер?! Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я хорошо помню инженеров двадцатых годов: этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта лёгкость и широта мысли, непринуждённость переключения из одной инженерной области в другую и вообще от техники — к обществу, к искусству. Затем — эту воспитанность, тонкость вкусов; хорошую речь, плавно согласованную и

без сорных словечек; у одного — немножко музицирование; у другого — немножко живопись; и всегда у всех — духовная печать на лице.

С начала тридцатых годов я утерял связь с этой средой. Потом — война. И вот передо мной стоял — инженер. Из тех, кто пришёл на смену уничтоженным.

В одном превосходстве ему нельзя было отказать: он был гораздо сильнее, нутрянее тех. Он сохранил крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не нужны. Освобождённый от тягомотины вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидая, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем те, и работал иначе.

Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле. Лёня Зыков был из растрёпанных тёмных крестьянских мальчишек, о гибели чьих талантов сокрушались и Белинский и Толстой. Ломоносовым он не был и сам бы в Академию не пришёл, но талантлив — а пахать бы землю и ему, если б не революция, и зажиточным бы был, потому что живой, толковый, может, вышел бы и в купчишки.

По советскому времени он пошёл в комсомол, и это его комсомольство, опережая другие та-

ланты, вырвало из без–звестности, из низости, из деревни, пронесло ракетой через рабфак и подняло в Промышленную Академию. Он попал туда в 1929 — ну как раз когда гнали стадами в ГУЛАГ тех инженеров. Надо было срочно выращивать своих — сознательных, преданных, стопроцентных, и не так даже делающих самое дело, как — воротил производства, собственно — советских бизнесменов. Такой был момент, что знаменитые командные высоты над ещё не созданной промышленностью— пустовали. И судьба его набора была — занять их.

Жизнь Зыкова стала — цепь успехов, гирляндой накручиваемая к вершине. Эти изнурительные годы — с 1929 по 1933, когда Гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, где колосится хлеб, но билетов им не давали, и уехать они не умели — и покорным зипунно–лапотным человеческим повалом умирали под заборами станций, — в это время Зыков не только не знал, что хлеб горожанам выдаётся по карточкам, но имел студенческую стипендию в девятьсот рублей (чернорабочий получал тогда шестьдесят). За деревню, отряхнутую прахом с

ног, у него не болело сердце: его новая жизнь вилась уже тут, среди победителей и руководителей.

Побыть рядовым десятником он не успел: ему сразу подчинялись инженеров десятки, а рабочих тысячи, он был главным инженером больших подмосковных строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь, эвакуировался со своим главком в Алма–Ату и здесь ворочал ещё большими стройками на реке Или, только работали у него теперь заключённые. Вид этих серых людишек очень мало его занимал тогда—не наводил на размышления, не приковывал приглядываться. Для той блистательной орбиты, по которой он несся, важны были только цифры выполнения ими плана, и Зыкову достаточно было наказать объект, лагпункт, прораба — а уж там они своими средствами добивались выполнения норм; по сколько часов там работали, на каком пайке—в эти частности он не вникал.

Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни Зыкова! Таково извечное и всеобщее свойство войны: чем больше собирает она горя на одном полюсе, тем больше радости высвобождается на другом. У Зыкова была не только челюсть бульдога, но быстрая сметчивая деловая хватка.

Он сразу умело вошёл в новый военный ритм народного хозяйства: всё для победы, рви и давай, а война всё спишет! Одну только уступку войне он сделал: отказался от костюмов и галстуков и, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, натянул генеральский китель — вот этот, в котором пришёл теперь к нам. Так было — модно, общо, не вызывало раздражения инвалидов или упрекающих взглядов женщин.

Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами; они шли к нему подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки, расходный бумажник пузырился у него как бочонок, червонцы шли у него за копейки, тысячи — за рубли, Зыков их не жалел, не копил, не считал. Счёт он вёл только женщинам, которых перепускал, и особо — которых откупоривал, этот счёт был его спортом. Он уверял нас в камере, что на двести девяносто какой–то прервал его арест, досадно не допустив до трёх сотен. Так как время было военное, женщины — одинокие, а у него кроме власти и денег — ещё рас путинская мужская сила, то, пожалуй, можно было ему поверить. Да он охотно готов был рассказывать эпизоды за эпизодами, только уши наши не были для того открыты. Хотя никакая

опасность ниоткуда не угрожала ему, но как с блюда хватают раков, грызут, сосут и за следующего, так он последние годы судорожно хватал этих женщин, мял и отшвыривал.

Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу по земле! (В минуты особого возбуждения он бегал по камере именно как кабан могучий, который и дуб ли не расшибет, разогнавшись?) Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можно всё согласовать, утрясти, замазать! Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зависти. Как теперь узнал он под следствием, ещё с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались ещё доносики и ещё показания агентов (ведь женщин надо водить в рестораны, а кто там тебя не видит!). И ещё был донос, что в 1941 он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев (он действительно задержался тогда, кажется, из–за какой–то бабы). Зыков зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации, — он думать забыл, что ещё есть 58–я статья. И всё–таки эта глыба долго могла б на него не обрушиться, но, зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело

его проснулось, дрогнуло и покатило с горы. (Ещё пример, что судебные Дела начинаются с корысти Голубых…)

Круг представлений Зыкова был такой: он считал, что существует американский язык; в камере за два месяца не прочёл ни одной книжки, даже ни одной страницы сплошь, а если абзац прочитывал, то только чтоб отвлечься от тяжёлых мыслей о следствии. По разговорам хорошо было понятно, что ещё меньше читал он на воле. Пушкина он знал как героя скабрезных анекдотов, а о Толстом только то, вероятно, что — депутат Верховного Совета.

Но зато–то — был он стопроцентный? но зато–то был он тот самый сознательный пролетарский, которых воспитывали на смену Пальчинскому и фон Мекку? Вот поразительно: нет! Как–то обсуждали мы с ним ход всей войны, и я сказал, что с первого дня ни на миг не сомневался в нашей победе над немцами. Он резко взглянул на меня, не поверил: «Да что ты? — и взялся за голову. —Ай, Саша–Саша, а я уверен был, что немцы победят! Это меня и погубило!» Вот как! — он был из «организаторов победы» — и каждый день верил в немцев и неотвратно ждал их! — не потому чтобы любил, а просто слишком трезво знал нашу

экономику (чего я, конечно, не знал — и верил).

Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, как Зыков, не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждёт его не больше как десятка, что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом и не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не утешало. Он слишком был потрясён крушением столь славной жизни: ведь именно ею, этой единственной на земле жизнью, ничьей больше, он интересовался все тридцать шесть своих лет! И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперши короткой толстой рукой, он с потерянными туманными глазами заводил тихо, распевчато:

Позабы–ыт позабро–оше–ен С молоды–ых ю–уных ле–ет, Я остался си–иро–ото–ою–у…

И никогда не мог дальше! — тут он взрывчато рыдал. Всю силищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стены, он обращал на жалость к себе.

И — к жене. Жена, давно нелюбимая, теперь каждый десятый день (чаще не разрешали) носила ему обильные богатые передачи — белейший хлеб, сливочное масло, красную икру, теляти-

ну, осетрину. Он давал нам по бутербродику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью (ликовавшей запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика), и снова лились его слёзы, вдвое. Он вслух вспоминал слёзы жены, целые годы слёз: то от любовных записок, найденных в брюках; то от дамских чьих–то трусов в кармане пальто, впопыхах засунутых в автомобиле и забытых. И когда так разнимала его истепляющая жалость к себе, спадала кольчуга злой энергии — был перед нами загубленный и явно же хороший человек. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, наш однокамерник с иголочками сединок, объяснил мне: «Жестокость обязательно подстилается сентиментальностью. Это — закон дополнения. Например у немцев такое сочетание даже национально».

А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек, хотя по возрасту он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на свободу. Обняв меня за плечи, он говорил:

Это что — стоять за правду! Ты за правду посидиХ

Или учил меня напевать свою песню, катор-

жане кую:

Если погибнуть придётся В тюрьмах и шахтах сырых, — Дело всегда отзовётся На поколеньях живых!

Верю! И пусть страницы эти помогут сбыться его вере!

* * *

Шестнадцатичасовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но так интересны, что мне, например, шестнадцать минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел. События мелки, но впервые в жизни научаешься рассматривать их под увеличительным стеклом.

Самые тяжёлые часы в дне — два первых: по грохоту ключа в замке (на Лубянке нет «кормушек»[61], и для слова «подъём» тоже надо отпереть дверь) мы вскакиваем без прометки, стелим постели и пусто и безнадёжно сидим на них ещё при электричестве. Это насильственное утреннее

[61] Примечания: 61

Большой прорез в двери камеры, отпадающий в столик. Через него разговаривают, выдают пищу и предлагают подписываться на тюремных бумагах.

бодрствование с шести часов, когда ещё так ленив ото сна мозг, и постылым кажется весь мир, и загубленной вся жизнь, и воздуха в камере ни глоточка, — особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но не пытайся схитрить! Если ты попробуешь всё–таки при–дремнуть, чуть ослонясь о стену или облокотясь о стол, будто над шахматами, или расслабясь над книгою, показно раскрытою на коленях, — раздастся предупредительный стук в дверь ключом или хуже: запертая на гремливый замок дверь внезапно бесшумно раскроется (так натренированы лубянские надзиратели), и быстрой бесшумной же тенью, как дух через стену, младший сержант пройдёт три шага по камере, заклюкает тебя в дремоте, и может быть, ты пойдёшь в карцер, а может быть, книги отымут у всей камеры или лишат прогулки — жестокое несправедливое наказание для всех, а есть и ещё в чёрных строках тюремного распорядка— читай его! он висит в каждой камере. Впрочем, если ты читаешь в очках, то ни книг, ни даже святого распорядка тебе не почитать в эти два изморных часа: ведь очки отняты на ночь и ещё опасно тебе их иметь в эти два часа. В эти два часа никто ничего в камеру не приносит, никто не приходит,

ни о чём не спрашивает, никого не вызывают — ещё сладко спят следователи, ещё прочухивается тюремное начальство — и только бодрствует вертухай[62], ежеминутно отклоняющий щиток глазка.

Но одна таки процедура в эти два часа совершается: утренняя оправка. Ещё при подъёме надзиратель сделал важное объявление: он назначил того, кому сегодня из вашей камеры доверено и поручено нести парашу. (В тюрьмах самобытных, серых заключённые имеют столько свободы слова и самоуправления, чтобы решить этот вопрос самим. Но в Главной политической тюрьме такое событие не может быть доверено стихии.) И вот скоро вы выстраиваетесь гуськом, руки назад, а впереди ответственный парашеносец несёт перед грудью восьмилитровый жестяной бачок под крышкой. Там, у цели, вас снова запирают, но перед тем вручают столько листиков величиною чуть больше спичечной коробки, сколько вас есть. (На Лубянке это неинтересно: листики белые. А есть такие завлекательные тюрьмы, где

[62] Примечания: 62

В моё время это слово уже сильно распространилось. Говорили, что это пошло от надзирателей–украинцев: «стой, та нэ вэртухайсь!» Но уместно вспомнить и английское «тюремщик» = turnkey — «верти ключ». Может быть, и у нас вертухай — тот, кто вертит ключ?

дают обрывки книжной печати — и что это за чтение! угадать — откуда, прочесть с двух сторон, усвоить содержание, оценить стиль — при обрезанных–то словах его и оценишь! — поменяться с товарищами. Где дадут обрезки из когда–то передовой энциклопедии «Гранат», а то и, страшно сказать, из классиков, да не художественных совсем… Посещение уборной становится актом познания.)

Но смеха мало. Это — та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать (хотя и здесь сказано с бессмертной лёгкостью: «Блажен, кто рано поутру…»). В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестанта на целый день—и капкан для духа его, вот что обидно. При тюремной неподвижности и скудости еды, после немощного забытья, вы никак ещё не способны рассчитаться с природой по подъёму. И вот вас быстро возвращают и запирают — до шести вечера (а в некоторых тюрьмах — и до следующего утра). Теперь вы будете волноваться от подхода дневного допросного времени, и от событий дня, и нагружаться пайкой, водой и баландой, но никто уже не выпустит вас в это славное помещение, лёгкий доступ в которое не способны оценить

вольняшки. Изнурительная пошлая потребность способна возникать у вас вскоре после утренней оправки и потом терзать вас целый день, пригнетать, лишать свободы разговора, чтения, мысли и даже поглощения тощей еды.

Обсуждают иногда в камерах: как родился лубянский да и вообще всякий тюремный распорядок — рассчитанное ли это зверство или само так получилось? Я думаю — что как. Подъём — это, конечно, по злостному расчёту, а другое многое сперва сложилось вполне механически (как и многие зверства нашей общей жизни), а потом сверху признано полезным и одобрено. Меняются смены в восемь утра и восемь вечера, так удобней всего выводить на оправку в конце смены (а среди дня поодиночке выпускать — лишние заботы и предосторожности, за это не платят). Так же и очки: зачем заботиться с подъёма? перед сдачей ночного дежурства и вернут.

Вот уже слышно, как их раздают, — двери раскрываются. Можно сообразить, носят ли очки в соседней камере. (А ваш одноделец не в очках? Ну, да перестукиваться мы не решаемся, очень с этим строго.) Вот принесли очки и нашим. Фастенко в них только читает, а Сузи носит постоянно. Вот он перестал щуриться, надел. В его роговых очках —

прямые линии надглазий, лицо становится сразу строго, проницательно, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Ещё перед революцией он учился в Петрограде на историко–филологическом и за двадцать лет независимой Эстонии сохранил чистейший неотличимый русский язык. Затем уже в Тарту он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет ещё английским и немецким, все эти годы он постоянно следил за лондонским «Экономистом», за сводными немецкими научными ВепсЫ'гми, изучал конституции и кодексы разных стран — и вот в нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии, и звали его kuldsuu (золотые уста).

В коридоре новое движение: дармоед в сером халате — здоровый парень, а не на фронте, принёс нам на подносе наши пять паек и десять кусочков сахара. Наседка наш суетится вокруг них. Хотя сейчас неизбежно будем всё разыгрывать— имеет значение и горбушка, и число довесков, и отлег–лость корки от мякиша, всё пусть решает судьба (где этого не было? Наша всенародная долголетняя несытость. И все дележи в армии проходили так же. И немцы, наслушавшись от

своих траншей, передразнивали: «Кому? — Политруку!»), — но наседка хоть подержит всё и оставит налёт хлебных и сахарных молекул на ладонях.

Эти четыреста пятьдесят граммов невзошедшего сырого хлеба, с болотной влажностью мякиша, наполовину из картофеля, — наш костыль и гвоздевое событие дня. Начинается жизнь! Начинается день, вот когда начинается! У каждого тьма проблем: правильно ли он распорядился с пайкой вчера? резать ли её ниточкой? или жадно ломать? или отщипывать потихоньку? ждать ли чая или навалиться теперь? оставлять ли на ужин или только на обед? и по сколько?

Но кроме этих убогих колебаний — какие ещё широкие диспуты (у нас и языки теперь посвободнели, с хлебом мы уже люди!) вызывает этот фунтовый кусок в руке, налитый больше водою, чем зерном. (Впрочем, Фастенко объясняет: такой же хлеб и трудящиеся Москвы сейчас едят.) Вообще в этом хлебе есть ли хлеб? И какие тут подмеси? (В каждой камере есть человек, понимающий в подмесях, ибо кто ж их не едал за эти десятилетия?) Начинаются рассуждения и воспоминания. А какой белый хлеб пекли ещё и в двадцатые годы! — караваи пружинистые,

ноздреватые, верхняя корка румяно–коричневая, промасленная, а нижняя с зольцой, с угольком от пода. Невозвратно ушедший хлеб! Родившиеся в тридцатом году вообще никогда не узнают, что такое хлеб\ Друзья, это уже запрещённая тема! Мы договаривались: о еде ни слова!

Снова движение в коридоре — чай разносят. Новый детина в сером халате с вёдрами. Мы выставляем ему свой чайник в коридор, и он из ведра без носика льёт — в чайник и мимо, на дорожку. А весь коридор наблещен, как в гостинице первого разряда.

Скоро привезут сюда из Берлина биолога Тимофеева–Ресовского, мы уже упоминали о нём. Ничто, кажется, так не оскорбит его на Лубянке, как это переплескивание на пол. Он увидит в этом разящий признак профессиональной незаинтересованности тюремщиков (как и всех нас) в делаемом деле. Он умножит 27 лет стояния Лубянки на 730 раз в году и на 111 камер — и ещё долго будет горячиться, что оказалось легче два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч раз перелить кипяток на пол и столько же раз прийти с тряпкой и протереть, чем сделать вёдра с носиками.

Вот и вся еда. А то, что варится, будет одно за

другим: в час дня и в четыре дня, и потом двадцать один час вспоминай. (Тоже не из зверства: кухне надо отвариться побыстрей и уйти.)

Девять часов. Утренняя поверка. Задолго слышны особенно громкие повороты ключей, особенно чёткие стуки дверей— и один из дежурных этажных лейтенантов, заступающий, подобранный почти по «смирно», делает два шага в камеру и строго смотрит на нас, вставших. (Мы и вспомнить не смеем, что политические могли бы не вставать.) Считать нас ему не труд, один охват глаза, но этот миг есть испытание наших прав — у нас ведь какие–то есть права, но мы их не знаем, не знаем, и он должен от нас их утаить. Вся сила Лубянской выучки в полной механичности: ни выражения, ни интонации, ни лишнего слова.

Мы какие знаем права: заявка на починку обуви; к врачу. Но вызовут к врачу — не обрадуешься, там тебя особенно поразит эта лубянская механичность. Во взгляде врача не только нет озабоченности, но даже простого внимания. Он не спросит: «На что вы жалуетесь?» — потому что тут слишком много слов, да и нельзя произнести эту фразу без интонации, он отрубит: «Жалобы?» Если ты слишком пространно начнёшь рассказывать о болезни, тебя оборвут. Ясно и так. Зуб?

Вырвать. Можно мышьяк. Лечить? У нас не лечат. (Это увеличило бы число визитов и создало обстановку как бы человечности.)

Тюремный врач — лучший помощник следователя и палача. Избиваемый очнётся на полу и слышит голос врача: «Можно ещё, пульс в норме». После пяти суток холодного карцера врач смотрит на окоченелое голое тело и говорит: «Можно ещё». Забили до смерти — он подписывает протокол: смерть от цирроза печени, инфаркта. Срочно зовут к умирающему в камеру — он не спешит. А кто ведёт себя иначе — того при нашей тюрьме не держат. Доктор Ф.П. Гааз у нас бы не приработался.

Но наш наседка осведомлён о правах лучше (по его словам, он под следствием уже одиннадцать месяцев; на допросы его берут только днём). Вот он выступает и просит записать его — к начальнику тюрьмы. Как, к начальнику всей Лубянки? Да. И его записывают. (И вечером после отбоя, когда уже следователи на местах, его вызовут, и он вернётся с махоркой. Топорно, конечно, но лучше пока не придумали. А переходить полностью на микрофоны тоже большой расход: нельзя же целыми днями все сто одиннадцать камер слушать. Кто это будет? Наседки—дешевле, и ещё долго

ими будут пользоваться. Но трудно Крамаренко с нами. Иногда он до пота вслушивается в разговор, а по лицу видно, что не понимает.)

А вот ещё одно право — свобода подачи заявлений (взамен свободы печати, собраний и голосований, которые мы утеряли, уйдя с воли)! Два раза в месяц утренний дежурный спрашивает: «Кто будет писать заявления?» И безотказно записывает всех желающих. Среди дня тебя вызовут в отдельный бокс и там запрут. Ты можешь писать кому угодно — Отцу Народов, в ЦК, в Верховный Совет, министру Берии, министру Абакумову, в Генеральную прокуратуру, в Главную военную, в Тюремное управление, в Следственный отдел, можешь жаловаться на арест, на следователя, на начальника тюрьмы! — во всех случаях заявление твоё не будет иметь никакого успеха, оно не будет никуда подшито, и самый старший, кто его прочтёт, — твой следователь, однако ты этого не докажешь. Но ещё раньше — он не прочтёт, потому что прочесть его не сможет вообще никто; на этом клочке 7г10 см, чуть больше, чем утром вручают для уборной, ты сумеешь пером, расщепленным или загнутым в крючок, из чернильницы с лохмотьями или залитой водой, только нацарапать «Заяв…» — и

буквы уже поплыли, поплыли по гадкой бумаге, и «ление» уже не поместится в строчку, а с другой стороны листка тоже всё проступило насквозь.

И может быть, ещё и ещё у вас есть права, но дежурный молчит. Да немного, пожалуй, вы потеряете, так о них и не узнав.

Поверка миновала—начинается день. Уже приходят там где–то следователи. Вертухай вызывает вас с большой таинственностью: он выговаривает первую букву только (и в таком виде: «кто на Сы?», «кто на Фэ?», а то ещё и «кто на Ам?»), вы же должны проявить сообразительность и предложить себя в жертву. Такой порядок заведен против надзирательских ошибок: выкликнет фамилию не в той камере, и так мы узнаем, кто ещё сидит. Но и отъединённые ото всей тюрьмы, мы не лишены междукамерных весточек: из–за того, что стараются запихнуть побольше, — тасуют, а каждый переходящий приносит в новую камеру весь нарощенный опыт старой. Так, сидя только на четвёртом этаже, знаем мы и о подвальных камерах, и о боксах первого этажа, и о темноте второго, где собраны женщины, и о двухъярусном устройстве пятого, и о последнем номере его — сто одиннадцать. Передо мной в нашей камере сидел детский писатель Бондарин, до того он

посидел на женском этаже с каким–то польским корреспондентом, а польский корреспондент ещё раньше сидел с фельдмаршалом Паулюсом — и вот все подробности о Пау–люсе мы тоже знаем.

Проходит полоса допросных вызовов — и для оставшихся в камере открывается долгий приятный день, украшенный возможностями и не слишком омрачённый обязанностями. Из обязанностей нам может выпасть два раза в месяц прожигание кроватей паяльной лампой (спички на Лубянке запрещены категорически, чтобы прикурить папиросу, мы должны терпеливо «голосовать» пальцем при открывании волчка, прося огонька у надзирателя, — паяльные же лампы нам доверяют спокойно). — Ещё может выпасть как будто и право, но сильно сбивается оно на обязанность: раз в неделю по одному вызывают в коридор и там туповатой машинкой стригут лицо. — Ещё может выпасть обязанность натирать паркет в камере (Зыков всегда избегает этой работы, она унижает его, как всякая). Мы выдыхаемся быстро из–за того, что голодны, а то ведь, пожалуй, эту обязанность можно отнести и к правам — такая это весёлая здоровая работа: босой ногой щётку вперёд — а корпус назад, и наоборот, вперёд–назад, вперёд–назад, и не тужи

ни о чём! Зеркальный паркет! Потёмкинская тюрьма!

К тому ж мы не теснимся уже в нашей прежней 67–й. В середине марта к нам добавили шестого, а ведь здесь не знают ни сплошных нар, ни обычая спать на полу—и вот нас перевели полным составом в красавицу 53–ю. (Очень советую: кто не был — побывать.) Это — не камера! Это — дворцовый покой, отведенный под спальню знатным путешественникам!

Страховое общество «Россия»[63] в этом крыле без оглядки на стоимость постройки вознесло высоту этажа в пять метров. (Ах, какие четырёхэтажные нары отгрохал бы здесь начальник фронтовой контрразведки — и сто человек разместил бы с гарантией!) А окно! — такое окно, что с подоконника надзиратель еле дотягивается до форточки, одна окончина такого окна достойна быть целым окном жилой комнаты. И только склёпанные стальные листы намордника, закрывающие четыре пятых этого окна, напоминают

[63] Примечания: 63

Достался этому обществу неравнодушный к крови кусочек московской земли: пересеча Фуркасовский, близ дома Ростопчина, растерзан был в 1812 неповинный Верещагин, а по ту сторону улицы Большой Лубянки жила (и убивала крепостных) душегубица Салтычиха. (По Москве: Прогулки по Москве и её худож. и просвет, учреждениям / Под ред. Н.А. Гейнике и др. М.: Сабашниковы, 1917, с. 231.)

нам, что мы не во дворце.

Всё же в ясные дни и поверх этого намордника, из колодца лубянского двора, от какого–то стекла шестого или седьмого этажа, к нам отражается теперь вторичный блеклый солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик — живое дорогое существо! Мы ласково следим за его переползанием по стене, каждый шаг его исполнен смысла, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас.

Итак, наши возможности: сходить на прогулку! читать книги! рассказывать друг другу о прошлом! слушать и учиться! спорить и воспитываться! И в награду ещё будет обед из двух блюд! Невероятно!

Прогулка плоха первым трём этажам Лубянки: их выпускают на нижний сырой дворик—дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов четвёртого и пятого этажей выводят на орлиную площадку — на крышу пятого. Бетонный пол, бетонные трёхростовые стены, рядом с нами надзиратель безоружный, и ещё на вышке часовой с автоматом, — но воздух настоящий и настоящее небо! «Руки назад! идти по два! не разговаривать! не останавливаться!» — но

забывают запретить запрокидывать голову! И ты, конечно, запрокидываешь. Здесь ты видишь не отражённым, не вторичным — само Солнце! само вечно живое Солнце! или его золотистую россыпь через весенние облака.

Весна и всем обещает счастье, а арестанту десятерицей. О, апрельское небо! Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют. Зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, Небо! Я ещё исправлю свои ошибки—не перед ними— перед тобою, Небо! Я здесь их понял — и я исправлю!

Как из ямы, с далёкого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества, — а отсюда так ясно их ничтожество.

Прогулка всего двадцать минут, но сколько ж забот вокруг неё, сколько надо успеть!

Во–первых, очень интересно, пока ведут туда и назад, понять расположение всей тюрьмы и где эти висячие дворики, чтобы когда–нибудь на воле идти по площади и знать. По пути мы много раз поворачиваем, я изобретаю такую систему: от самой камеры каждый поворот вправо считать плюс один, каждый влево — минус один. И как бы быстро нас ни крутили, — не спешить это

представить, а только успевать подсчитывать итог. И если ещё по дороге в каком–нибудь лестничном окошке ты увидишь спины лубянских наяд, прилегших к колончатой башенке над самой площадью, и при этом счёт запомнишь, то в камере ты потом всё сориентируешь и будешь знать, куда выходит ваше окно.

Потом на прогулке надо просто дышать — как можно сосредоточенней.

Но и там же, в одиночестве, под светлым небом, надо вообразить свою будущую светлую безгрешную и безошибочную жизнь.

Но и там же удобней всего поговорить на самые острые темы. Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это неважно, надо уметь, — зато именно здесь вас, вероятно, не слышит ни наседка, ни микрофон.

На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару — мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. Не в один день мы сходимся, мы сходимся медленно, но уже и много он успел мне рассказать. С ним я учусь новому для меня свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моём плане и, как будто, никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии

моей жизни. С детства я откуда–то знаю, что моя цель—это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; всё прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела судьба с Сузи, у него совсем была другая область дыхания, теперь он увлечённо рассказывает мне всё о своём, а своё у него — это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более — буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюблённые рассказы о двадцати свободных годах этого некрикливого трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; выслушиваю принципы эстонской конституции, извлечённые из лучшего европейского опыта, и как работал на них однопалатный парламент из ста человек; и неизвестно — зачем мне, но всё это начинает мне нравиться, всё это и в моём опыте начинает откладываться. (Сузи обо мне потом вспомнит так: странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось.) Я охотно вникаю в их роковую историю: между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле брошенная маленькая

эстонская наковаленка. Опускали на неё в черёд удары с востока и с запада — и не было видно этому чередованию конца, и ещё до сих пор нет. Вот известная (совсем неизвестная…) история, как мы хотели взять их наскоком в 1918, да они не дались. Как потом Юденич презирал в них чухну, а мы их честили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами. И ударили по Эстонии ещё и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок четвёртом, и одних сыновей брала советская армия, других немецкая, а третьи бежали в лес. И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться бы им из заклятого колеса, отделиться как–нибудь и жить самим по себе (ну, и предположительно будет у них премьер–министром, скажем, Тииф, а министром народного просвещения, скажем, Сузи). Но ни Черчиллю, ни Рузвельту до них дела не было, зато было дело до них у «Дяди Джо» (Иосифа). И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первые же ночи забрали с их таллинских квартир. Теперь их человек пятнадцать сидело на московской Лубянке в разных камерах по одному, и обвинялись они по 58–2 в преступном желании самоопределиться.

Возврат с прогулки в камеру это каждый раз —

маленький арест. Даже в нашей торжественной камере после прогулки воздух кажется спёртым. Ещё после прогулки хорошо бы закусить, но не думать, не думать об этом! Плохо, если кто–нибудь из получающих передачу нетактично раскладывает свою еду не вовремя, начинает есть. Ничего, оттачиваем самообладание! Плохо, если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду — прочь такую книгу! Гоголя — прочь! Чехова — тоже прочь! — слишком много еды! «Есть ему не хотелось, но он всё–таки съел (сукин сын!) порцию телятины и выпил пива». Читать духовное! Достоевского— вот кого читать арестантам! Но позвольте, это у него: «дети голодали, уже несколько дней они ничего не видели, кроме хлеба и колбасы-»'?

А библиотека Лубянки — её украшение. Правда, отвратительна библиотекарша — белокурая девица несколько лошадиного сложения, сделавшая всё, чтобы быть некрасивой: лицо её так набелено, что кажется неподвижной маской куклы, губы фиолетовые, а выдерганные брови — чёрные. (Вообще–то дело её, но нам бы приятнее было, если бы являлась фифочка, — а может, начальник Лубянки это всё и учёл?) Но вот диво: раз в десять дней придя забрать книги, она вы-

слушивает наши заказы! — выслушивает с той же бесчеловечной лубянской механичностью, нельзя понять — слышала она эти имена? эти названия? да даже сами наши слова слышит ли? Уходит. Мы переживаем несколько тревожно–радостных часов. За эти часы перелистываются и проверяются все сданные нами книги: ищется, не оставили ли мы проколов, или точек под буквами (есть такой способ тюремной переписки), или отметок ногтем на понравившихся местах. Мы волнуемся, хотя ни в чём таком не виновны: придут и скажут: обнаружены точки, и как всегда они правы, и как всегда доказательств не требуется, и мы лишены на три месяца книг, если ещё всю камеру не переведут на карцерное положение. Эти лучшие светлые тюремные месяцы, пока мы ещё не окунаемся в лагерную яму, — уж очень досадно быть без книг! Ну да мы не только же боимся, назвав заказ, — мы ещё трепещем, как в юности, послав любовную записку и ожидая ответа: придёт или не придёт? и какой будет?

Наконец книги приходят и определяют следующие десять дней: будем ли больше налегать на чтение или дрянь принесли и будем больше разговаривать. Книг приносят столько, сколько людей в камере — расчёт хлебореза, а не библио-

текаря: на одного—одну, на шестерых—шесть. Многолюдные камеры выигрывают.

Иногда девица на чудо выполняет наши заказы! Но и когда пренебрегает ими, всё равно получается интересно.

Потому что сама библиотека Большой Лубянки — уникум. Вероятно, свозили её из конфискованных частных библиотек; книголюбы, собиравшие их, уже отдали душу Богу. Но главное: десятилетиями повально цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой — и здесь, в самом логове, можно было читать Замятина, Пильняка, Пантелеймона Романова и любой том из полного Мережковского. (А иные шутили: нас считают погибшими, потому и дают читать запрещённое. Я–то думаю, лубянские библиотекари понятия не имели, что они нам дают, — лень и невежество.)

В эти предобеденные часы остро читается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать, и погнать от окна к двери, от двери к окну. И хочется показать кому–нибудь, что ты прочёл и что отсюда следует, и вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время!

Мы часто схватываемся с Юрием Евтуховичем.

* * *

В то мартовское утро, когда нас пятерых перевели в дворцовую 53–ю камеру, — к нам впустили шестого.

Он вошёл — тенью, кажется, — не стуча ботинками по полу. Он вошёл и, не уверенный, что устоит, спиной привалился к дверному косяку. В камере уже не горела лампочка, и утренний свет был мутен, однако новичок не смотрел в полные глаза, он щурился. И молчал.

Сукно его военного френча и брюк не позволяло отнести его ни к советской, ни к немецкой, ни к польской или английской армии. Склад лица был вытянутый, мало русский. Ну, да и худ же как! И при худобе очень высок.

Мы спросили его по–русски — он молчал. Сузи спросил по–немецки — он молчал. Фастенко спросил по–французски, по–английски — он молчал. Лишь постепенно на его измождённом, жёлтом, полумёртвом лице появилась улыбка — единственную такую я видел за всю мою жизнь!

— Лю–уди… — слабо выговорил он, как бы возвращаясь из обморока или как бы ночью минувшей прождав расстрела. И протянул слабую истончавшую руку. Она держала узелочек в тря-

пице. Наш наседка уже понял, что это, бросился, схватил узелок, развязал на столе — граммов двести там было лёгкого табаку, и уже сворачивал себе четырёхкратную папиросу.

Так после трёх недель подвального бокса у нас появился Юрий Николаевич Евтухович.

Со времён столкновения на КВЖД в 1929 распевали по стране песенку:

Стальною грудью врагов сметая, Стоит на страже Двадцать Седьмая!

Начальником артиллерии этой 27–й стрелковой дивизии, сформированной ещё в Гражданскую войну, был царский офицер Николай Евтухович (я вспомнил эту фамилию, я видел её среди авторов нашего артиллерийского учебника). В вагоне–теплушке с неразлучной женой пересекал он Волгу и Урал то на восток, то на запад. В этой теплушке провёл свои первые годы и сын Юрий, рождённый в 1917 году, ровесник революции.

С той далёкой поры отец его осел в Ленинграде, в Академии, жил благосытно и знатно, и сын кончил училище комсостава. В финскую войну, когда Юрий рвался воевать за Родину, друзья отца поднаправили сына на адъютанта в штаб армии. Юрию не пришлось ползать на финские ДОТы, ни

попадать в окружение в разведке, ни замерзать в снегу под пулями снайперов — но орден Красного Знамени, не какой–нибудь! — аккуратно прилёг к его гимнастёрке. Так он окончил финскую войну с сознанием её справедливости и своей пользы в ней.

Но в следующей войне ему не пришлось так гладко. Юрий прекрасно владел разговорным немецким, его переодели в форму пленного немецкого офицера и с его документами послали в разведку. Он выполнил задание, для возвращения переоделся в советскую форму (с убитого), но тут сам попал в плен к немцам. И отправлен в концентрационный лагерь под Вильнюсом.

В каждой жизни есть какое–то событие, решающее всего человека, — и судьбу его, и убеждения, и страсти. Два года в этом лагере перетряхнули Юрия. То, что был этот лагерь, нельзя было ни оплести словечками, ни оползти на силлогизмах— в этом лагере надо было умереть, а кто не умер — сделать вывод.

Выжить могли «орднеры» — внутренние лагерные полицаи, из своих. Разумеется, Юрий не стал орднером. Ещё выживали повара. Ещё мог выжить переводчик—таких искали. Но тут Юрий скрыл своё знание немецкого: он понимал, что пе-

реводчику придётся предавать своих. Ещё можно было оттянуть смерть копкой могил, но там были крепче его и проворней. Юрий заявил, что он — художник. Действительно, в его разнообразном домашнем воспитании были уроки живописи, Юра недурно писал маслом, и только желание следовать отцу, которым он гордился, помешало ему поступить в художественное училище.

Вместе с другим художником–стариком (жалею, что не помню его фамилии) им отвели отдельную кабину в бараке, и там Юрий писал комендантским немцам бесплатные карти–нишки — пир Нерона, хоровод эльфов, и за это ему приносили поесть. Та бурда, за которой военнопленные офицеры с шести утра занимали с котелками очередь, и орднеры били их палками, а повара черпаками, — та бурда не могла поддержать человеческую жизнь. Вечерами из окна их кабины Юрий видел теперь ту единственную картину, для которой дано ему было искусство кисти: вечерний туманец над приболотным лугом, луг обнесен колючей проволокой, и множество горит на нём костров, а вокруг костров — когда–то советские офицеры, а сейчас звероподобные существа, грызущие кости павших лошадей, выпекающие лепёшки из картофельной кожуры,

курящие навоз и все шевелящиеся от вшей. Ещё не все эти двуногие издохли. Ещё не все они утеряли членораздельную речь, и видно в багряных отсветах костра, как позднее понимание прорезает лица их, опускающиеся к неандертальцам.

Полынь во рту! Жизнь, которую Юрий сохраняет, уже не мила ему сама по себе. Он не из тех, кто легко соглашается забыть. Нет, ему достаётся выжить—и он должен сделать выводы.

Им уже известно, что дело — не в немцах, или не в одних немцах, что из пленных многих национальностей только советские так живут, так умирают, — никто хуже советских. Даже поляки, даже югославы содержатся гораздо сносней, а уж англичане, а норвежцы—они завалены посылками международного Красного Креста, посылками из дому, они просто не ходят получать немецкого пайка. Там, где лагеря рядом, союзники из доброты бросают нашим через проволоку подачки, и наши бросаются как свора собак на кость.

Русские вытягивают всю войну — и русским такой жребий. Почему так?

Оттуда, отсюда постепенно приходят объяснения: СССР не признаёт русской подписи под Гаагской конвенцией о пленных, значит, не берёт никаких обязательств по обращению с пленны-

ми и не претендует на защиту своих, попавших в плен[64]. СССР не признаёт международного Красного Креста. СССР не признаёт своих вчерашних солдат: нет ему расчёта поддерживать их в плену.

И холодеет сердце восторженного ровесника Октября. Там, в кабинке барака, они сшибаются и спорят с художником–стариком (до Юрия трудно доходит, Юрий сопротивляется, а старик вскрывает за слоем слой). Что это? — Сталин? Но не много ли списывать всё на Сталина, на его коротенькие ручки? Тот, кто делает вывод до половины, — не делает его вовсе. А—остальные? Там, около Сталина и ниже, и повсюду по Родине, — в общем те, которым Родина разрешила говорить от себя?

И как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже — бросила собакам? Разве она остаётся нам матерью? Если жена пошла по притонам — разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам, — разве это Родина?

Как обернулось всё для Юрия! Он восхищался отцом — и вот проклял его! Он впервые задумался, что ведь отец его, по сути, изменил присяге той

---

[64] Примечания: 64
Эту конвенцию мы признали только в 1955 году.

армии, в которой вырос, — изменил, чтоб устанавливать вот этот порядок, теперь предавший своих солдат. И почему же с этим предательским порядком связан присягою Юрий?

Когда весной 1943 в лагерь приехали вербовщики от первых русских «легионов» — кто–то шёл, чтобы спастись от голода, Евтухович пошёл с твёрдостью, с ясностью. Но в легионе он не задержался: кожу сняли — так не по шерсти тужить. Юрий перестал теперь скрывать хорошее знание немецкого, и вскоре некий шеф, немец из–под Касселя, получивший назначение создать шпионскую школу с ускоренным военным выпуском, взял Юрия к себе правой рукой. Так началось сползание, которого Юрий не предвидел, началась подмена. Юрий пылал освобождать родину, его засовывали готовить шпионов — у немцев планы свои. А где была грань?.. С какого момента нельзя было переступать? Юрий стал лейтенантом немецкой армии. В немецкой форме он ездил теперь по Германии, бывал в Берлине, посещал русских эмигрантов, читал недоступных прежде Бунина, Набокова, Алданова… Юрий ждал, что у всех у них, что у Бунина — каждая страница истекает живыми ранами России. Но что с ними? На что растратили они неоценимую свободу?

Опять о женском теле, о взрыве страсти, о закатах, о красоте дворянских головок, об анекдотах запылённых лет. Они писали так, будто никакой революции в России не бывало или слишком уж недоступно им её объяснить. Они оставляли русским юношам самим искать азимут жизни. Так метался Юрий, спешил видеть, спешил знать, а между тем по исконной русской манере всё чаще и всё глубже окунал своё смятение в спиртное.

Что такое была их шпионская школа? Совсем не настоящая, конечно. За шесть месяцев их могли научить только владеть парашютом, взрывным делом да рацией. В них и не очень–то верили. Их забрасывали для инфляции доверия. А для умирающих, безнадёжно брошенных русских военнопленных эти школки, по мнению Юрия, были хороший выход: ребята здесь отъедались, одевались в тёплое, новое, да ещё все карманы набивали им советскими деньгами. Ученики (как и учителя) делали вид, что так всё и будет: что в советском тылу они будут шпионить, подрывать назначенные объекты, связываться радиокодом, возвращаться назад. А они через эту школу просто улетали от смерти и плена, они хотели остаться жить, но не ценой того, чтобы стрелять в своих на фронте.

Конечно, наше следствие не принимало таких резонов. Какое право они имели хотеть жить, когда литерные семьи в советском тылу и без того хорошо жили? Никакого уклонения от взятия немецкого карабина за этими ребятами не признавали. За их шпионскую игру им клепали тягчайшую 58–6 да ещё диверсию через намерение. Это значило: держать, пока не околеют.

Их перепускали через фронт, а дальше их свободный выбор зависел от их нрава и сознания. Тринитротолуол и рацию они все бросали сразу. Разница была только: сдаваться ли властям тут же (как мой курносый «шпиён» в армейской контрразведке) или сперва покутить, погулять на даровые деньги. И только никто никогда не возвращался через фронт назад, опять к немцам.

Вдруг под новый, 1945 год один бойкий парень вернулся и доложил, что задание выполнил (пойди его проверь!). Это было необычайно. Шеф не сомневался, что он прислан от СМЕРШа, и решил его расстрелять (судьба добросовестного шпиона!). Но Юрий настоял, что, напротив, надо наградить его и поднять перед курсантами. А вернувшийся шпио–няга предложил Юрию распить литр и, багровый, наклонясь через стол, открыл: «Юрий Николаевич! Советское командование

обещает вам прощение, если вы сейчас перейдёте сами к нам».

Юрий задрожал. Уже ожесточившееся, уже ото всего отрешившееся сердце розняло теплом. Родина?.. Заклятая, несправедливая и такая же всё дорогая! Прощение?.. И можно вернуться к семье? И пройтись по Каменноостровскому? Ну что, в самом деле, мы же русские! Простите нас, мы вернёмся и какие ещё будем хорошие!.. Эти полтора года, с тех пор как он вышел из лагеря, не принесли Юрию счастья. Он не раскаивался, но не видел и будущего. Встречаясь за шнапсом с другими такими же бесприкаянными русскими, они ясно чувствовали: опоры — нет, всё равно жизнь не настоящая. Немцы крутят ими по–своему. Теперь, когда война уже явно проигрывалась немцами, у Юрия как раз появился выход: шеф любил его и открыл, что в Испании у него есть запасное имение, куда они при прогаре империи и умотаются вместе. Но вот сидел пьяный соотечественник через стол и, сам рискуя жизнью, заманивал: «Юрий Николаевич! Советское командование ценит ваш опыт и знания, их хотят у вас перенять— организацию немецкой разведки…»

Две недели разбирали Евтуховича колебания.

Но во время зависленского советского наступления, когда он школу свою отводил вглубь, он приказал свернуть на тихий польский фольварк, там выстроил школу и объявил: «Я перехожу на советскую сторону! Каждому — свободный выбор!» И эти горе–шпионы с молоком на губах, ещё час назад делавшие вид, что преданы германскому рейху, теперь восторженно закричали: «Ура–а! И мы–ы!» (Они кричали «ура» своим будущим каторжным работам…)

Тогда их шпионская школа в полном составе дотаилась до подхода советских танков, а потом и СМЕРШа. Больше Юрий не видел своих ребят. Его отделили, десять дней заставили описывать всю историю школы, программы, диверсионные задания, и он действительно думал, что «его опыт и знания…». Даже уже обсуждался вопрос о поездке домой, к родным.

И понял он только на Лубянке, что даже в Саламанке был бы ближе к своей Неве… Можно было ждать ему расстрела или никак не меньше двадцати.

Так неисправимо поддаётся человек дымку с родной стороны… Как зуб не перестаёт отзываться, пока не убьют его нерв, так и мы, наверно, не перестанем отзываться на родину, пока не

глотнём мышьяка. Лотофаги из «Одиссеи» знали для этого какой–то лотос…

Всего недели три пробыл Юрий в нашей камере. Все эти три недели мы с ним спорили. Я говорил, что революция наша была великолепна и справедлива, ужасно лишь её искажение в 1929. Он с сожалением смотрел на меня и пожимал нервные губы: прежде чем браться за революцию, надо было вывести в стране клопов! (Где–то тут они странно смыкались с Фастенко, придя из таких разных концов.) Я говорил, что долгое время только люди высоких намерений и вполне самоотверженные вели советскую страну. Он говорил—одного поля со Сталиным, с самого начала. (В том, что Сталин — бандит, мы с ним не расходились.) Я превозносил Горького: какой умник! какая верная точка зрения! какой великий художник! Он парировал: ничтожная скучнейшая личность! придумал сам себя, и придумал себе героев, и книги все выдуманные насквозь. Лев Толстой — вот царь нашей литературы!

Из–за этих ежедневных споров, запальчивых по нашей молодости, мы с ним не сумели сойтись ближе и разглядеть друг в друге больше, чем отрицали.

Его взяли из камеры, и с тех пор, сколько я ни

расспрашивал, никто не сидел с ним в Бутырках, никто не встречался на пересылках. Даже рядовые власовцы все ушли куда–то бесследно, вернее что в землю, а иные и сейчас не имеют документов выехать из северной глуши. Судьба же Юрия Евту–ховича и среди них была не рядовая[65].

Я употребляю здесь и дальше слово «власовец» в том неясном, но прочном смысле, как оно возникло и утвердилось в советском языке и никогда не поддалось точному определению, искать которое было для

лиц неофициальных— опасно, для официальных— нежелательно: «власовец» — вообще всякий советский, вооружённо принявший сторону противника в этой войне. Ещё понадобятся годы и книги, чтобы понятие это проанализировать, выделить разные категории, и тогда в остатке получены будут «власовцы» в собственном смысле — то есть прямые сторонники или подчинённые генерала Власова с тех пор, как он в немецком плену дал своё имя для антибольшевистского движения. Таких сторонников в иные месяцы войны насчитывались всего

[65] Примечания: 65

В 1974 («Русская мысль», 27 июня) один бывший зэк свидетельствовал, что Юрий получил 25 лет лагерей и отбывал их на Сахалине, на 505–й стройке.

лишь сотни, а собственно власовская армия с центральным подчинением и вообще, по сути, создаться не успела. Но в декабре 1942 немцы провели пропагандистский трюк: сообщили о состоявшемся (никогда не состоявшемся) «учредительном заседании» «Русского комитета» в Смоленске, то ли претендующего быть подобием русского правительства, то ли нет, сообщение хранило неуверенность, — и дали к тому имена: генерал–лейтенанта Власова и генерал–майора Малышкина. Немцы могли себе позволить такую затею: объявить, потом отменить, потом действовать и противно тому, — но листовки попорхали с самолётов, легли на наши фронтовые поля, легли в наши памяти— за комитетом «власовским» естественно пристроилось представление о движении, о вооружённых силах, и когда в немецкой армии против нас стали появляться вооружённые наши соотечественники — русские или национальные части, то к ним и прилегло единственно известное слово «власовцы», и наши политруки не препятствовали тому. Так условно, но прочно связалось всё движение с именем Власова.

И таких вооружённых наших соотечественников, поднявших оружие против своей родины, —

сколько же было? «Не менее 800 тысяч советских граждан входили в боевые организации, целью которых была борьба против советского государства», — свидетельствует один исследователь [Jurgen Thorwald. Wen sle verderben Wollen. Stuttgart, 1952). Около того оценивают и другие (например, Sven Sternberg. Wlassow: Verrater oder Patriot? Koln, 1968). Трудность определения точных цифр отчасти и в том, что происходила борьба разных течений в германской администрации и военном командовании, и нижним инстанциям, реалистичным в ходе войны, требовалось эту цифру преуменьшать, чтобы не пугать верхи ростом антибольшевицкой, однако не пронемецкой силы. Это всё — много раньше создания отдельной Русской Освободительной Армии в конце 1944 года.

* * *

Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали радостное звяканье в коридоре, потом вносили по–ресторанному на подносе каждому две алюминиевые тарелки (не миски): с черпаком супа и с черпаком водянистой безжирной кашицы.

В первых волнениях подследственному ничего

в глотку не идёт, кто несколько суток и хлеба не трогает, не знает, куда его деть. Но постепенно возвращается аппетит, потом постоянно–голодное состояние, доходящее до жадности. Потом, если удаётся себя умерить, желудок сжимается, приспособляется к скудному — здешней жалкой пищи становится даже как раз. Для этого нужно самовоспитание, отвыкнуть коситься, кто ест лишнее, запретить чревоопасные тюремные разговоры о еде и как можно больше подниматься в высокие сферы. На Лубянке это облегчается двумя часами разрешённого послеобеденного лежания — тоже диво курортное. Мы ложимся спиной к волчку, приставляем для вида раскрытые книги и дремлем. Спать–то, собственно, запрещено, и надзиратели видят долго не листаемую книгу, но в эти часы обычно не стучат. (Объяснение гуманности в том, что кому спать не положено, те в это время на дневном допросе. Для упрямцев, не подписывающих протоколы, даже сильней контраст: приходят, а тут конец мёртвого часа.)

А сон — это лучшее средство против голода и против кручины: и организм не горит, и мозг не перебирает заново и заново сделанных тобою ошибок.

Тут приносят и ужин—ещё по черпачку каши-

цы. Жизнь спешит разложить перед тобой все дары. Теперь пять–шесть часов до отбоя ты не возьмёшь в рот ничего, но это уже не страшно, вечерами легко привыкнуть, чтобы не хотелось есть, — это давно известно и военной медицине, и в запасных полках вечером тоже не кормят.

Тут подходит время вечерней оправки, которую ты скорее всего с содроганием ждал целый день. Каким облегчённым становится сразу весь мир! Как в нём сразу упростились все великие вопросы — ты почувствовал?

Невесомые лубянские вечера! (Впрочем, тогда только невесомые, если ты не ждёшь ночного допроса.) Невесомое тело, ровно настолько удовлетворённое кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнёта. Какие лёгкие свободные мысли! Мы как будто вознесены на Синайские высоты, и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин мечтал:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!

Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь…

Спорим мы, конечно, и по вечерам, отвлекаясь от шахматной партии с Сузи и от книг. Горячее всего сталкиваемся опять мы с Евтуховичем, по-

тому что вопросы все взрывные, например — об исходе войны. Вот, без слов и без выражения войдя в камеру, надзиратель опустил на окне синюю маскировочную штору. Теперь там, за шторой, вечерняя Москва начинает лупить салюты. Как не видим мы салютного неба, так не видим и карты Европы, но пытаемся вообразить её в подробностях и угадать, какие же взяты города. Юрия особенно изводят эти салюты. Призывая судьбу исправить наделанные им ошибки, он уверяет, что война отнюдь не кончается, что сейчас Красная армия и англо–американ–цы врежутся друг в друга, и только тогда начнётся настоящая война. Камера относится к такому предсказанию с жадным интересом. И чем же кончится? Юрий уверяет, что — лёгким разгромом Красной армии (и, значит, нашим освобождением? или расстрелом?). Тут упираюсь я, и мы особенно яростно спорим. Его доводы — что наша армия измотана, обескровлена, плохо снабжена и, главное, против союзников уже не будет воевать с такой твёрдостью. Я на примере знакомых мне частей отстаиваю, что армия не столько измотана, сколько набралась опыта, сейчас сильна и зла и в этом случае будет крошить союзников ещё чище, чем немцев. — Никогда! —кричит (но

полушёпотом) Юрий. —А Арденны? — кричу (полушёпотом) я. Вступает Фастенко и высмеивает нас, что оба мы не понимаем Запада, что сейчас и вовсе никому не заставить воевать против нас союзные войска.

Но всё–таки вечером не так уж хочется спорить, как слушать что–нибудь интересное и даже примиряющее и говорить всем согласно.

Один из таких любимейших тюремных разговоров—разговор о тюремных традициях, о том, как сидели раньше[66]. У нас есть Фастенко, и потому мы слушаем эти рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключённым была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались свиданий. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам? Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котёл. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая–нибудь бедная

[66] Примечания: 66

Впопыхах Февральской революции радикальный журналист Эр. Печерский («Раннее утро», 7 марта 1917) хвастался, как, сидя в московском Охранном отделении, он день за днём из камеры через глазок наблюдал всю жизнь отделения. Это он пугал нас ужасами Охранки, а значит: даже наружного щитка на глазке не было.

старушка — и та несла десяток крашеных яиц, и сердце её облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Её заменила сознательность. До чего ж круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком–нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключённых местной тюрьмы — блюстителями это будет воспринято почти как антисоветское восстание! Вот до чего озверели.

А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только — вкусная еда? Они создавали тёплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся.

Рассказывает нам Фастенко, что и в советское время существовал политический Красный Крест, —но уже тут мы не то что не верим ему, а как–то не можем представить. Он говорит, что Е.П. Пешкова, пользуясь своей личной неприкосновенностью, ездила за границу, собирала деньги там (у нас не очень дадут собрать) — а потом здесь покупались продукты для политических, не имеющих родственников. Всем политическим? И вот тут выясняется: нет, не каэрам, то есть не контрреволюционерам (то есть не Пятьдесят Восьмой статье), а только членам бывших соци-

алистических партий. А–а–а, так и скажите!.. Ну да впрочем, потом и сам Красный Крест, обойдя Пешкову, тоже пересажали в основном…

Ещё о чём приятно поговорить вечером, когда не ждёшь допроса, —об освобождении. Да, говорят, — бывают такие удивительные случаи, когда кого–то освобождают. Вот взяли от нас Зыкова «с вещами» — а вдруг на свободу? следствие ж не могло кончиться так быстро. (Через десять дней он возвращается: таскали в Лефортово. Там он начал, видимо, быстро подписывать, и его вернули к нам.) — Если только тебя освободят— слушай, у тебя ж пустяковое дело, ты сам говоришь, — так ты обещай: пойдёшь к моей жене и в знак этого пусть в передаче у меня будет, ну скажем, два яблока… — Яблок сейчас нигде нет. — Тогда три бублика. — Может случиться, в Москве и бубликов нет. — Ну, хорошо, тогда четыре картошины. (Так договорятся, а потом действительно, Н. берут с вещами, а М.

получает в передаче четыре картошины. Это поразительно, это изумительно! его освободили, а у него было гораздо серьёзней дело, чем у меня, — так и меня, может быть, скоро?.. А просто у жены М. пятая картошина развалилась в сумке, а Н. уже в трюме парохода едет на Колыму.)

Так мы разговоримся о всякой всячине, что–то смешное вспомним, — и весело и славно тебе среди интересных людей совсем не твоей жизни, совсем не твоего круга опыта, — а между тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка, и очки отобрали—и вот мигает трижды лампа. Это значит — через пять минут отбой!

Скорей, скорей, хватаемся за одеяла! Как на фронте не знаешь, не обрушится ли шквал снарядов, вот сейчас, через минуту, возле тебя, — так и здесь мы не знаем своей роковой допросной ночи. Мы ложимся, мы выставляем одну руку поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать!

В такой–то момент в один апрельский вечер, вскоре после того, как мы проводили Евтуховича, у нас загрохотал замок. Сердца сжались: кого? Сейчас прошипит надзиратель: «на Сэ!», «на Зэ!». Но надзиратель не шипел. Дверь затворилась. Мы подняли головы. У дверей стоял новичок: худощавый, молодой, в простеньком синем костюме и синей кепке. Вещей у него не было никаких. Он озирался растерянно.

— Какой номер камеры? — спросил он тревожно.

— Пятьдесят третий. Он вздрогнул.

— С воли? — спросили мы.

— Не–ет… — страдальчески мотнул он головой. —А когда арестован?

— Вчера утром.

Мы расхохотались. У него было простоватое, очень мягкое лицо, брови почти совсем белые. —А за что?

(Это — нечестный вопрос, на него нельзя ждать ответа.)

— Да не знаю… Так, пустяки…

Так все и отвечают, все сидят за пустяки. И особенно пустяком кажется дело самому подследственному.

— Ну, всё же?

— Я… воззвание написал. К русскому народу.

— Что–о??? (Таких «пустяков» мы ещё не встречали!)

— Расстреляют? — вытянулось его лицо. Он теребил козырёк так и не снятой кепки.

— Да нет, пожалуй, — успокоили мы. — Сейчас никого не расстреливают. Десятка как часы.

— Вы — рабочий? служащий? — спросил социал–демократ, верный классовому принципу.

— Рабочий.

Фастенко протянул руку и торжествующе воскликнул мне:

— Вот вам, А.И., настроение рабочего класса!

И отвернулся спать, полагая, что дальше уж идти некуда и слушать нечего. Но он ошибся.

— Как же так — воззвание ни с того ни с сего? От чьего ж имени?

— От своего собственного.

— Да кто ж вы такой? Новичок виновато улыбнулся:

— Император. Михаил.

Нас пробило, как искрой. Мы ещё приподнялись на кроватях, вгляделись. Нет, его застенчивое простонародное лицо нисколько не было похоже на лицо Михаила Романова. Да и возраст…

— Завтра, завтра, спать! — строго сказал Сузи.

Мы засыпали, предвкушая, что завтра два часа до утренней пайки не будут скучными.

Императору тоже внесли кровать, постель, и он тихо лёг близ параши.

* * *

В тысяча девятьсот шестнадцатом году в дом московского паровозного машиниста Белова вошёл незнакомый дородный старик с русой бородой, сказал набожной жене машиниста: «Пелагея! У тебя — годовалый сын. Береги его для Господа. Будет час — я приду опять». И ушёл.

Кто был тот старик — не знала Пелагея, но так внятно и грозно он сказал, что слова его подчинили материнское сердце. И пуще глаза берегла она этого ребёнка. Виктор рос тихим, послушливым, набожным, часто бывали ему видения ангелов и Богородицы. Потом реже. Старик больше не являлся. Обучился Виктор шофёрскому делу, в 1936 взяли его в армию, завезли в Биробиджан, и был он там в автороте. Совсем он не был развязен, но, может, этой–то нешофёрской тихостью и кротостью приворожил девушку из вольнонаёмных и закрыл путь своему командиру взвода, добивавшемуся той девушки. В это время на манёвры к ним приехал маршал Блюхер, и тут его личный шофёр тяжело заболел. Блюхер приказал командиру автороты прислать ему лучшего в роте шофёра, командир роты вызвал командира взвода, а уж тот сразу смекнул спихнуть маршалу своего соперника Белова. (В армии часто так: выдвигается не тот, кто достоин, а от кого надо избавиться.) К тому же Белов — непьющий, работящий, не подведёт.

Белов понравился Блюхеру и остался у него. Вскоре Блюхера правдоподобно вызвали в Москву (так отрывали маршала перед арестом от послушного ему Дальнего Востока), туда привёз он и

своего шофёра. Осиротев, попал Белов в кремлёвский гараж и стал возить то Михайлова (ЛКСМ), то Лозовского, ещё кого–то, и наконец Хрущёва. Тут насмотрелся Белов (и много рассказывал нам) на пиры, на нравы, на предосторожности. Как представитель рядового московского пролетариата он побывал тогда и на процессе Бухарина в Доме Союзов. Из своих хозяев только об одном Хрущёве он говорил тепло: только в его доме шофёра сажали за общий семейный стол, а не отдельно на кухне; только здесь в те годы сохранялась рабочая простота. Жизнерадостный Хрущёв тоже привязался к Виктору Алексеевичу и, уезжая в 1938 на Украину, очень звал его с собой. «Век бы не ушёл от Хрущёва», — говорил Виктор Алексеевич. Но что–то удержало его в Москве.

В 41–м году, около начала войны, у него вышел перебой, он не работал в правительственном гараже, и его, беззащитного, тотчас мобилизовал военкомат. Однако, по слабости здоровья, его послали не на фронт, а в рабочий батальон — сперва пешком в Инзу, а там траншеи копать и дороги строить. После беззаботной, сытой жизни последних лет — это вышло об землю рылом, больненько. Полным черпаком захватил он нужды и горя и увидел вокруг, что народ не только не

стал жить к войне лучше, но изнищал. Сам едва уцелев, по хворости освободясь, Белов вернулся в Москву и здесь опять было пристроился: возил Щербакова[67]. Потом возил наркомнефти Седина. Но Седин проворовался (на 35 миллионов всего), его тихо отстранили, а Белов почему–то опять лишился работы при вождях. И пошёл шофёром на автобазу, в свободные часы подкалымливая до Красной Пахры.

Но мысли его уже были о другом. В 1943 он был у матери, она стирала и вышла с вёдрами к колонке. Тут отворилась дверь и вошёл в дом незнакомый дородный старик с белой бородой. Он перекрестился на образ, строго посмотрел на Белова и сказал: «Здравствуй, Михаил! Благословляет тебя Бог!» «Я—Виктор», — ответил Белов. «А будешь — Михаил, император святой Руси!» — не унимался старик. Тут вошла мать и от страху так и осела, расплескав вёдра: тот самый это был старик, приходивший двадцать семь лет назад, поседевший, но всё он. «Спаси тебя Бог, Пелагея, сохранила сына», — сказал старик. И уединился с

[67] Примечания: 67

Рассказывал, как тучный Щербаков, приезжая в своё Информбюро, не любил видеть людей, и из комнат, через которые он должен был проходить, сотрудники все выметались. Кряхтя от жирности, он нагибался и отворачивал угол ковра. И горе было всему Информбюро, если там обнаруживалась пыль.

будущим императором, как патриарх полагая его на престол. Он поведал потрясённому молодому человеку, что в 1953 году сменится власть (вот почему 53–й номер камеры так его поразил!) и он будет всероссийским императором[68], а для этого в 1948 году надо начать собирать силы. Не научил старик дальше — как же силы собирать, и ушёл. А Виктор Алексеевич не управился спросить.

Потеряны были теперь покой и простота жизни! Может быть, другой бы отшатнулся от замысла непомерного, но как раз Виктор потёрся там, среди самых высших, повидал этих Михайловых, Щербаковых, Сединых, послушал от других шоферов и уяснил, что необыкновенности тут не надо совсем, а даже наоборот.

Новопомазанный царь, тихий, совестливый, чуткий, как Фёдор Иоаннович, последний из Рюриков, почувствовал на себе тяжко давящий обруч шапки Мономаха. Нищета и народное горе вокруг, за которые до сих пор он не отвечал, — теперь лежали на его плечах, и он виноват был, что они всё ещё длятся. Ему показалось странным — ждать до 1948 года, и осенью того же 43–го он написал свой первый манифест к русскому

---

[68] Примечания: 68

С той малой ошибкой, что спутал шофёра с ездоком, вещий старик почти ведь и не ошибся!

народу и прочёл четырём работникам гаража Наркомнефти…

…Мы окружили с утра Виктора Алексеевича, и он нам кротко всё это рассказывал. Мы всё ещё не распознали его детской доверчивости, затянуты были необычным повествованием и — вина на нас! —не успели остеречь против наседки. Да нам в голову не приходило, что из простодушно рассказываемого нам здесь ещё не всё известно следователю!.. По окончании рассказа Крамаренко стал проситься не то «к начальнику тюрьмы за табаком», не то к врачу, но в общем его вскоре вызвали. Там и заложил он этих четырёх нарком–нефтенских, о которых никто бы и не узнал никогда… (На другой день, придя с допроса, Белов удивлялся, откуда следователь узнал о них. Тут нас и стукнуло…) Наркомнеф–тенские прочли манифест, одобрили все — и никто не донёс на императора! Но сам он почувствовал, что — рано! рано! И сжёг манифест.

Прошёл год. Виктор Алексеевич работал механиком в гараже автобазы. Осенью 1944 он снова написал манифест и дал прочесть его десяти человекам — шоферам, слесарям. Все одобрили! И никто не выдал\ (Из десяти человек никто, по тем временам доносительства — редкое явление!

Фастенко не ошибся, заключив о «настроении рабочего класса».) Правда, император прибегал при этом к невинным уловкам: намекал, что у него есть сильная рука в правительстве; обещал своим сторонникам служебные командировки для сплочения монархических сил на местах.

Шли месяцы. Император доверился ещё двум девушкам в гараже. И уж тут осечки не было — девушки оказались на идейной высоте! Сразу защемило сердце Виктора Алексеевича, чувствуя беду. В воскресенье после Благовещенья он шёл по рынку, манифест неся при себе. Один старый рабочий из его единомышленников встретился ему и сказал: «Виктор! Сжёг бы ты пока ту бумагу, а?» И остро почувствовал Виктор: да, рано написал! надо сжечь! «Сейчас сожгу, верно». И пошёл домой жечь. Но приятных два молодых человека окликнули его тут же, на базаре: «Виктор Алексеевич! Подъедемте с нами!» И в легковой привезли его на Лубянку. Здесь так спешили и так волновались, что не обыскали по обычному ритуалу, и был момент — император едва не уничтожил свой манифест в уборной. Но решил, что хуже затягают: где да где? И тотчас на лифте подняли его к генералу и полковнику, и генерал своей рукой вырвал из оттопыренного кармана

манифест.

Однако довольно оказалось одного допроса, чтобы Большая Лубянка успокоилась: всё оказалось нестрашно. Десять арестов по гаражу автобазы. Четыре по гаражу Наркомнеф–ти. Следствие передали уже подполковнику, и тот похохатывал, разбирая воззвание:

— Вот вы тут пишете, ваше величество: «моему министру земледелия дам указание к первой же весне распустить колхозы», — но как разделить инвентарь? У вас тут не разработано… Потом пишете: «усилю жилищное строительство и расположу каждого по соседству с местом его работы… повышу зарплату рабочим…» А из каких шишей, ваше величество? Ведь денежки придётся на станочке печатать? Вы же займы отменяете!.. Потом вот: «Кремль снесу с лица земли». Но где вы расположите своё собственное правительство? Например, устроило бы вас здание Большой Лубянки? Не хотите ли походить осмотреть?..

Позубоскалить над императором всероссийским приходили и молодые следователи. Ничего, кроме смешного, они тут не заметили.

Не всегда могли удержаться от улыбки и мы в камере. «Так вы же нас в 53–м не забудете, наде-

юсь?» — говорил Зыков, подмигивая нам.

Все смеялись над ним…

Виктор Алексеевич, белобровый, простоватый, с намозоленными руками, получив варёную картошку от своей злополучной матери Пелагеи, угощал нас, не деля на твоё и моё: «Кушайте, кушайте, товарищи…»

Он застенчиво улыбался. Он отлично понимал, как это несовременно и смешно—быть императором всероссийским. Но что делать, если выбор Господа остановился на нём?!

Вскоре его забрали из нашей камеры[69].

* * *

Под первое мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась.

Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке, ещё пасхальная неделя не миновала, праздники перекрещивались.

Следователи все гуляли в Москве, на следствие никого не водили. В тишине слышно было, как кто–то против чего–то стал протестовать. Его

---

[69] Примечания: 69

Когда меня знакомили с Хрущёвым в 1962 году, у меня язык чесался сказать: «Никита Сергеевич! А у нас ведь с вами общий знакомый есть». Но я сказал ему другую, более нужную фразу, от бывших арестантов.

отвели из камеры в бокс (мы слухом чувствовали расположение всех дверей) и при открытой двери бокса долго били там. В нависшей тишине отчётливо слышен был каждый удар в мягкое и в захлебывающийся рот.

Второго мая Москва лупила тридцать залпов, это значило— европейская столица. Их две осталось невзятых — Прага и Берлин, гадать приходилось из двух.

Девятого мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1 мая и 7 ноября.

По этому мы только и догадались о конце войны.

Вечером отхлопали ещё один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили ещё салют — кажется, в сорок залпов, — это уж был конец концов.

Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки, и всех окон московских тюрем, смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо.

Борис Гаммеров — молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности (неизлечимое ранение лёгкого), уже посаженный

со студенческой компанией, сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом восьмистишьи, в самых обыденных строках: как уже легли на нарах, накрывшись шинелями; как проснулись от шума; приподняли головы, сощурились на намордник: а, салют; легли

И снова укрылись шинелями.

Теми самыми шинелями—в глине траншей, в пепле костров, в рвани от немецких осколков.

Не для нас была та Победа. Не для нас —та весна.

Глава 6. ТА ВЕСНА

В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна Бутырской тюрьмы доносились медные звуки оркестров откуда–то изнедалека — с Лесной улицы или с Новослободской. Это были всё марши, их начинали заново и заново.

А мы стояли у распахнутых, но непротягиваемых окон тюрьмы за мутно–зелёными намордниками из стеклоармату–ры и слушали. Маршировали то воинские части? или трудящиеся с удовольствием отдавали шагистике нерабочее время? — мы не знали, но слух уже пробрался и к нам, что готовятся к большому параду Победы, назначенному на Красной площади на июньское воскресенье — четвёртую годовщину начала войны.

Камням, которые легли в фундамент, кряхтеть и вдавливаться, не им увенчивать здание. Но даже почётно лежать в фундаменте отказано было тем, кто, бессмысленно покинутый, обречённым лбом и обречёнными рёбрами принял первые удары этой войны, отвратив победу чужую.

Что изменнику блаженства звуки?..

Та весна 45–го года в наших тюрьмах была по

преимуществу весна русских пленников. Они шли через тюрьмы Союза необозримыми плотными серыми косяками, как океанская сельдь. Первым углом такого косяка явился мне Юрий Евтухович. А теперь я весь, со всех сторон был охвачен их слитным, уверенным движением, будто знающим своё предначертание.

Не одни пленники проходили те камеры — лился поток всех, побывавших в Европе: и эмигранты Гражданской войны; и о^'овцы новой германской; и офицеры Красной армии, слишком резкие и далёкие в выводах, так что опасаться мог Сталин, чтоб они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали за сто двадцать лет до них. Но всё–таки больше всего было пленников. А среди пленников разных возрастов больше всего было моих ровесников, не моих даже, а ровесников Октября — тех, кто вместе с Октябрём родился, кто в 1937, ничем не смущаемый, валил на демонстрации двадцатой годовщины и чей возраст к началу войны как раз составил кадровую армию, размётанную в несколько недель.

Так та тюремная томительная весна под марши Победы стала расплатной весной моего поколения.

Это нам над люлькой пели: «Вся власть Советам!» Это мы загорелою детской ручёнкой тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!». Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там вступали в компартию. И мы же теперь оказались в чёрных за одно то, что всё–таки остались жить. (Уцелевшие букенвальдские узники за то и сажались в наши лагеря: как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Тут что–то нечисто!)

Ещё когда мы разрезали Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных—единственные при горе, когда радовались вокруг все, — и уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я ещё не разумел её причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам (зачем колоннам? почему они строились? ведь их никто не заставлял, военнопленные всех наций возвращались разбродом! А наши хотели прийти как можно более покорными…). Там на мне были капитанские погоны, и под погонами да и при дороге было не узнать: почему ж они так все невеселы? Но вот судьба завернула и меня вослед этим пленникам, я уже шёл с ними из армейской контрразведки во фронтовую, во фронтовой послушал их первые,

ещё неясные мне, рассказы, потом развернул мне это всё Юрий Евтухович, а теперь, под куполами кирпично–красного Бутырского замка, я ощутил, что эта история нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной, я забыл печалиться о сорванных погонах. Там, где были мои ровесники, там только случайно не был я. Я понял, что долг мой — подставить плечо к уголку их общей тяжести—и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с этими ребятами и я попал в плен на Соловьёве кой переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях; и, руки назад, нёс свою советскую гордость за проволоку концлагеря; и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы (кофейного эрзаца) и оставался трупом на земле, не доходя котла; в офлаге–68 (Сувал–ки) рыл руками и крышкою от котелка яму колоколоподобную (кверху уже), чтоб зиму не на открытом плацу зимовать; и озверевший пленный подползал ко мне остывающему грызть моё ещё не остывшее мясо под локтем; и с каждым новым днём обострённого голодного сознания, в тифозном бараке и у проволоки соседнего лагеря англичан,

—ясная мысль проникала в мой умирающий мозг: что Советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. «России гордые сыны», они нужны были ей, пока ложились под танки, пока ещё можно было поднять их в атаку. А взяться кормить их в плену? Лишние едоки. И лишние свидетели позорных поражений.

Иногда мы хотим солгать, а Язык нам не даёт. Этих людей объявили изменниками, но в языке примечательно ошиблись — и следователи, и прокуроры, и судьи. И сами осуждённые, и весь народ, и газеты повторили и закрепили эту ошибку, невольно выдавая правду: их хотели объявить изменниками РодинЕ, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе, как «изменники РодинЫ».

Ты сказал! Это были не изменники ей, а её изменники. Не они, несчастные, изменили Родине, но расчётливая Родина изменила им, и притом трижды.

Первый раз бездарно она предала их на поле сражения— когда правительство, излюбленное Родиной, сделало всё, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и

запретило армиям сопротивляться[70]. Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт.

Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену.

И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью («Родина простила! Родина зовёт!») и накинув удавку уже на границе[71].

Какая же многомиллионная подлость: предать своих воинов и объявить их же предателями?!

И как легко мы исключили их из своего счёта: изменил? —позор! — списать! Да списал их ещё до нас наш Отец: цвет московской интеллигенции он бросил в вяземскую мясорубку с берданками 1866 года, и то одна на пятерых. (Какой Лев Толстой развернёт нам это Бородино?) А тупым пе–реползом жирного короткого пальца Великий Стратег переправил через Керченский пролив в декабре 1941 —бессмысленно, для одного эффектного новогоднего сообщения — сто двадцать

---

[70] Примечания: 70

Умножатся честные книги о той войне — и никто не назовёт правительство Сталина иначе как правительством безумия и измены.

[71] Примечания: 71

Один из главных военных преступников, бывший начальник Разведывательного Управления РККА генерал–полковник Голиков, теперь руководил заманом и заглотом репатриированных.

тысяч наших ребят, — едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородиным, — и всех без боя отдал немцам.

И всё–таки почему–то не он — изменник, а — они.

И как легко мы поддаёмся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих преданных — изменниками! В одной из бутырских камер был в ту весну старик Лебедев, металлург, по званию профессор, по наружности — дюжий мастеровой прошлого или даже позапрошлого века, с демидовских заводов. Он был широкоплеч, широколоб, борода пугачёвская, а пятерни— только подхватывать ковшик на четыре пуда. В камере он носил серый линялый рабочий халат прямо поверх белья, был неопрятен, мог показаться подсобным тюремным рабочим, —пока не садился читать и привычная властная осанка мысли озаряла его лицо. Вокруг него собирались часто, о металлургии рассуждал он меньше, а литавровым басом разъяснял, что Сталин—такой же пёс, как Иван Грозный: «стреляй! души! не оглядывайся!», что Горький — слюнтяй и трепач, оправдатель палачей. Я восхищался этим Лебедевым: как будто весь русский народ воплотился передо мною в одно кряжистое туловище

с этой умной головой, с этими руками и ногами пахаря. Он столько уже обдумал! —я учился у него понимать мир! —а он вдруг, рубя ручищей, прогрохотал, что один–бэ — изменники родины, и им простить нельзя. А «один–бэ» и были набиты на нарах кругом. Ах, как было ребятам обидно! Старик с уверенностью вещал от имени земляной и трудовой Руси — и им трудно и стыдно было защищать себя ещё с этой новой стороны. Защищать их и спорить со стариком досталось мне и двум мальчикам по «десятому пункту». Но какова же степень помрачённости, достигаемая монотонной государственной ложью! Даже самые ёмкие из нас способны объять лишь ту часть правды, в которую ткнулись собственным рылом.

Об этом более общо пишет Витковский (по тридцатым годам): удивительно, что лжевредители, понимая, что сами они никакие не вредители, высказывали, что военных и священников трясут правильно. Военные, зная про себя, что они не служили иностранным разведкам и не разрушали Красной армии, охотно верили, что инженеры — вредители, а священники достойны уничтожения. Советский человек, сидя в тюрьме, рассуждал так: я–то лично невиновен, но с ними,

с врагами, годятся всякие методы. Урок следствия и урок камеры не просветляли таких людей, они и осуждённые всё сохраняли ослепление воли: веру во всеобщие заговоры, отравления, вредительства, шпионаж.

Сколько войн вела Россия (уж лучше бы поменьше…) — и много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война — и вдруг миллионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить?

Рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия, где так красноречиво описаны Марксом нищета и страдания рабочего класса, — и почему же у них в эту войну нашёлся единственный только изменник — коммерсант «лорд Гау–Гау»? А у нас — миллионы?

Да ведь страшно рот раззявить, а может быть, дело всё–таки— в государственном строе?..

Ещё давняя наша пословица оправдывала плен: «Полонён вскликнет, а убит — никогда». При царе Алексее Михайловиче за полонное терпение давали дворянство! Выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача

общества во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю Первую Мировую войну в России вёлся сбор средств на помощь нашим пленникам, и наши сестры милосердия допускались в Германию к нашим пленным, и каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну: посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла, они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен, — и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату.

Только воин единственной в мире Красной армии не сдаётся в плен\ — так написано было в уставе («Еван плен нихт», — кричали немцы из своих траншей) — да кто ж мог представить весь этот смысл?! Есть война, есть смерть, а плена нет! — вот открытие! Это значит: иди и умри, а мы останемся жить. Но если ты, и ноги потеряв, вернёшься из плена на костылях живым (ленинградец Иванов, командир пулемётного взвода в финской войне, потом сидел в Усть–Вымлаге) —

мы тебя будем судить.

Только наш солдат, отверженный родиной и самый ничтожный в глазах врагов и союзников, тянулся к свинячьей бурде, выдаваемой с задворков Третьего Рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой, хоть старались молодые души не верить: какая–то статья 58–1–6 и по ней в военное время нет наказания мягче, чем расстрел! За то, что не пожелал солдат умереть от немецкой пули, он должен после плена умереть от советской! Кому от чужих, а нам от своих.

(Впрочем, это наивно сказать: за то. Правительства всех времён — отнюдь не моралисты. Они никогда не сажали и не казнили людей за что–нибудь. Они сажали и казнили, чтобы не\ Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь…)

Итак, какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный—только один: лечь и дать себя растоптать. Каждая травинка хрупким стеблем пробивается, чтобы жить. А ты — ляг и растопчись. Хоть с опозданием — умри сейчас,

раз уж не мог умереть на поле боя, и тогда тебя судить не будут.

Спят бойцы. Своё сказали И уже навек правы.

Все же, все остальные пути, какие только может изобрести твой отчаявшийся мозг, — все ведут к столкновению с Законом.

Побег на родину—через лагерное оцепление, через полГермании, потом через Польшу или Балканы — приводил в СМЕРШ и на скамью подсудимых: как это так ты бежал, когда другие бежать не могут? Здесь дело нечисто! Говори, гадина, с каким заданием тебя прислали (Михаил Бурнацев, Павел Бондаренко и многие, многие).

В нашей критике установлено писать, что Шолохов в своём бессмертном рассказе «Судьба человека» высказал «горькую правду» об «этой стороне нашей жизни», «открыл» проблему. Мы вынуждены отозваться, что в этом вообще очень слабом рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы (автор видимо не знает последней войны), где стандартно–лубочно до анекдота описание немцев (и только жена героя удалась, но она— чистая христианка из Достоевского), — в этом рассказе о судьбе военнопленного истинная проблема плена скрыта или искажена:

1. Избран самый некриминальный случай плена — без памяти, чтобы сделать его «бесспорным», обойти всю остроту проблемы. (А если сдался в памяти, как было с большинством, — что и как тогда?)

2. Главная проблема плена представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, прокляла (об этом у Шолохова вообще ни слова), и именно это создаёт безвыходность, — а в том, что там среди нас выявляются предатели. (Но уж если это главное, то покопайся и объясни, откуда они через четверть столетия после революции, поддержанной всем народом?)

3. Сочинён фантастически–детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возникла обязательная, неуклонная процедура приёма пришедшего из плена: СМЕРШ — Проверочно–Фильтрационный лагерь. Соколова не только не сажают за колючку, как велит инструкция, но — анекдот! — он ещё получает от полковника месяц отпуска (то есть свободу выполнять «задание» фашистской разведки? Так загремит туда же и полковник!).

Побег к западным партизанам, к силам Сопротивления, только оттягивал твою полновесную расплату с Трибуналом, но он же делал тебя ещё

более опасным: живя вольно среди европейских людей, ты мог набраться очень вредного духа. А если ты не побоялся бежать и потом сражаться, — ты решительный человек, ты вдвойне опасен на родине.

Выжить в лагере за счёт своих соотечественников и товарищей? Стать внутрилагерным полицаем, комендантом, помощником немцев и смерти? Сталинский закон не карал за это строже, чем за участие в силах Сопротивления, — та же статья, тот же срок (и можно догадаться почему: такой человек менее опасен!). Но внутренний закон, заложенный в нас необъяснимо, запрещал этот путь всем, кроме мрази.

За вычетом этих четырёх углов, непосильных или неприемлемых, оставался пятый: ждать вербовщиков, ждать, куда позовут.

Иногда, на счастье, приезжали уполномоченные от сельских бецирков и набирали батраков к бауэрам; от фирм, отбирали себе инженеров и рабочих. По высшему сталинскому императиву ты и тут должен был отречься, что ты инженер, скрыть, что ты — квалифицированный рабочий. Конструктор или электрик, ты только тогда сохранил бы патриотическую чистоту, если бы остался в лагере копать землю, гнить и рыться в

помойках. Тогда за чистую измену родине ты с гордо поднятой головой мог бы рассчитывать получить десять лет и пять намордника. Теперь же за измену родине, отягчённую работой на врага, да ещё по специальности, ты с потупленной головой получал — десять лет и пять намордника!

Это была ювелирная тонкость бегемота, которой так отличался Сталин!

А то приезжали вербовщики совсем иного характера — русские, обычно из недавних красных политруков, белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики созывали в лагере митинг, бранили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части.

Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подмётки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня и каждого согласившегося тут же кормят кашею от пуза — хотя бы один раз! хотя бы в жизни ещё один только раз!

Но сверх дымящейся каши в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни — куда бы ни звал он! В батальоны Вла-

сова. В казачьи полки Краснова. В трудовые батальоны — бетонировать будущий Атлантический Вал. В норвежские фиорды. В ливийские пески. В «Ыivi» — Hilfswillige — добровольных помощников немецкого вермахта (12 hiwi было в каждой немецкой роте). Наконец ещё — в деревенских полицаев, гоняться и ловить партизан (от которых Родина тоже откажется от многих). Куда б ни звал он, куда угодно — только б тут не подыхать, как забытая скотина.

С человека, которого мы довели до того, что он грызёт летучих мышей, —мы сами сняли всякий его долг не то что перед родиной, но — перед человечеством!

И те наши ребята, кто из лагерей военнопленных вербовались в краткосрочных шпионов, ещё не делали крайних выводов из своей брошенности, ещё поступали чрезвычайно патриотически. Они видели в этом самый ненакладный способ вырваться из лагеря. Они почти поголовно так представляли, что едва только немцы перебросят их на советскую сторону — они тотчас объявятся властям, сдадут своё оборудование и инструкции, вместе с добродушным командованием посмеются над глупыми немцами, наденут красноармейскую форму и бодро вернутся в строй

вояк. Скажите, да по–человечески кто мог ожидать иного? как могло быть иначе? Это были ребята простосердечные, я многих их повидал— с незамысловатыми круглыми лицами, с подкупающим вятским или владимирским говорком. Они бодро шли в шпионы, имея четыре–пять классов сельской школы и никаких навыков обращаться с компасом и картой.

Так, кажется, единственно верно они представляли свой выход. Так, кажется, расходна и глупа была для немецкого командования вся эта затея. Ан нет! Гитлер играл в тон и в лад своему державному брату! Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами. Все китайцы, жившие на советском Дальнем Востоке, получили шпионский пункт 58–6, взяты были в северные лагеря и вымерли там. Та же участь постигла китайцев — участников Гражданской войны, если они заблаговременно не умотались. Несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь подо–зреваясь в том же. Все советские, когда–либо побывавшие за границей, когда–либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», когда–либо попавшие в один фотоснимок с иностранной физиономией или сами

сфотографировавшие городское здание (Золотые ворота во Владимире), — обвинялись в том же. Глазевшие слишком долго на железнодорожные пути, на шоссейный мост, на фабричную трубу—обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, все крупные и мелкие коминтерновцы сподряд, без индивидуальных различий — обвинялись прежде всего в шпионстве[72]. И латышские стрелки — самые надёжные штыки ранних лет революции, при их сплошных посадках в 1937 обвинялись в шпионстве же! Сталин как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины: он предпочитал сгноить девятьсот девяносто девять невинных, но не пропустить одного всамделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки?! И какое облегчение для палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они — добровольно завербованные шпионы! Какое разительное подтверждение прогнозов Мудрейшего из Мудрейших! Сыпьте,

[72] Примечания: 72

Иосиф Тито еле увернулся от этой участи. А Попов и Танев, сподвижники Димитрова по лейпцигскому процессу, оба схватили срок. Для самого Димитрова Сталин готовил другую участь.

сыпьте, недоумки! Статья и мзда для вас давно уже приготовлены!

Но уместно спросить: всё–таки были же и такие, которые ни на какую вербовку не пошли; и нигде по специальности у немцев не работали; и не были лагерными орднерами; и всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не высовывая; и всё–таки не умерли, хотя это почти невероятно! Например, делали зажигалки из металлических отбросов, как инженеры–электрики Николай Андреевич Семёнов и Фёдор Фёдорович Карпов, и тем подкармливались. Неужели им–то не простила Родина сдачи в плен?

Нет, не простила! И с Семёновым и с Карповым я познакомился в Бутырках, когда они уже получили свои законные… сколько? догадливый читатель уже знает: десять и пять намордника. А будучи блестящими инженерами, они отвергли немецкое предложение работать по специальности! А в 41–м году младший лейтенант Семёнов пошёл на фронт добровольно. А в 42–м году он ещё имел пустую кобуру вместо пистолета (следователь не понимал, почему он не застрелился из кобуры). А из плена он трижды бежал. А в 45–м, после освобождения из концлагеря, был посажен как штрафник на наш танк (танко-

вый десант) — и брал Берлин, и получил орден Красной Звезды — и уже после этого только был окончательно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей Немезиды.

Мало кто из военнопленных пересек советскую границу как вольный человек, а если в суете просочился, то взят был потом, хоть и в 1946^17 годах. Одних арестовывали в сгонных пунктах в Германии. Других будто и не арестовывали, но от границы везли в товарных вагонах под конвоем в один из многочисленных, по всей стране разбросанных Проверочно–Фильтрационных лагерей (ПФЛ). Эти лагеря ничем не отличались от Исправительно–трудовых кроме того, что помещённые в них ещё не имели срока и должны были получить его уже в лагере. Все эти ПФЛ были тоже при деле — при заводе, при шахте, при стройке, и бывшие военнопленные, видя возвращённую родину через ту же колючку, как видели и Германию, с первого же дня могли включиться в 10–часовой рабочий день. На досуге — вечерами и ночами — проверяемых допрашивали, для того было в ПФЛ многократное количество оперативников и следователей. Как и всегда, следствие начинало с положения, что ты заведомо виноват. Ты же, не выходя за проволоку, должен был доказать, что

не виноват. Для этого ты мог только ссылаться на свидетелей—других военнопленных, те же могли попасть совсем не в ваш ПФЛ, а за тридевять областей, и вот оперативники кемеровские слали запросы оперативникам Соликамским, а те допрашивали свидетелей и слали свои ответы и новые запросы, и тебя тоже допрашивали как свидетеля. Правда, на выяснение судьбы могло уйти и год, и два — но ведь Родина ничего на этом не теряла: ведь ты же каждый день добывал уголёк. И если кто–нибудь из свидетелей что–нибудь показал на тебя не так или уже не оказалось свидетелей в живых, — пеняй на себя, тут уж ты оформлялся как изменник родины, и выездная сессия Трибунала штемпелевала твою десятку. Если же, как ни выворачивай, сходилось, что вроде ты действительно немцам не служил, а главное — в глаза не успел повидать американцев и англичан (освобождение из плена не нами, а ими было обстоятельством сильно отягчающим), — тогда оперативники решали, какой степени изоляции ты достоин. Некоторым предписывали смену места жительства (это всегда нарушает связи человека с окружением, делает его более уязвимым). Другим благородно предлагали идти работать в Вохру, то есть военизированную

лагерную охрану: как будто оставаясь вольным, человек терял всякую личную свободу и уезжал в глушь. Третьим жали руки и, хотя за чистую сдачу в плен такой человек всё равно заслуживал расстрела, его гуманно отпускали домой. Но преждевременно такие люди радовались! Ещё опережая его самого, по тайным каналам спецчастей на его родину уже пошло его дело. Люди эти всё равно навек оставались не нашими, и при первой же массовой посадке, вроде 48–49–го годов, их сажали уже по пункту агитации или другому подходящему, сидел я и с такими.

«Эх, если б я знал!..» — вот была главная песенка тюремных камер той весны. Если б я знал, что так меня встретят! что так обманут! что такая судьба! — да неужели б я вернулся на Родину? Ни за что!! Прорвался бы в Швейцарию, во Францию! ушёл бы за море! за океан! за три океана.

Впрочем, когда пленники и знали, они поступали часто так же. Василий Александров попал в плен в Финляндию. Его разыскал там какой–то старый петербургский купец, уточнил имя–отчество и сказал: «Вашему батюшке остался я должен с 17–го года большую сумму, заплатить было не с руки. Так поневольтесь получить!» Старый долг— за находку! Александров после войны

был принят в круг русских эмигрантов, там же нашлась ему и невеста, которую он полюбил, не как–нибудь. А будущий тесть для его воспитания дал ему читать подшивку «Правды» — всю, как она есть, с 1918 по 1941 без сглаживаний и исправлений. Одновременно он ему рассказывал, ну примерно, историю потоков, как в главе 2–й. И всё же… Александров бросил и невесту, и достаток, вернулся в СССР и получил, как легко догадаться, десять и пять намордника. В 1953 году в Особом лагере он рад был зацепиться бригадиром…

Более рассудительные поправляли: ошибка раньше сделана! нечего было в 41–м году в передний ряд лезть. Знать бы знать, не ходить бы в рать. Надо было в тылу устраиваться с самого начала, спокойное дело, они теперь герои. А ещё, мол, вернее было дезертировать: и шкура наверняка цела, и десятки им не дают, а восемь лет, семь; и в лагере ни с какой должности не сгонят: дезертир ведь не враг, не изменник, не политический, он свой человек, бытовичок. Им возражали запальчиво: зато дезертирам эти все годы — отсидеть и сгнить, их не простят. А на нас — амнистия скоро будет, нас всех распустят. (Ещё главной–то дезертирской льготы тогда не знали!..)

Те же, кто попал по 10–му пункту, с домашней своей квартиры или из Красной армии, — те частенько даже завидовали: чёрт его знает! за те же деньги (за те же десять лет) сколько можно было интересного повидать, как эти ребята, где только не побывать! А мы так и околеем в лагере, ничего, кроме своей вонючей лестницы, не видав. (Впрочем, эти, по 58–10, едва скрывали ликующее предчувствие, что им–то амнистия будет в первую очередь!)

Не вздыхали «эх, если б я знал» (потому что знали, на что шли), и не ждали пощады, и не ждали амнистии — только власовцы.

* * *

Ещё задолго до нежданного нашего пересечения на тюремных нарах я знал о них и недоумевал о них.

Сперва это были много раз вымокшие и много раз высохшие листовки, затерявшиеся в высоких, третий год не кошенных травах прифронтовой орловской полосы. На листовках был снимок генерала Власова и изложена его биография. На неясном снимке лицо казалось сыто–удачливым, как у всех наших генералов новой формации. (На самом деле это не так, Власов был высок и худ,

а на подробных фотографиях можно разглядеть: скорее — мужик, который поучился и роговые очки надел.) Из биографии эта удачливость как будто подтверждалась: в годы всеобщих посадок уезжал военным советником к Чан Кай–ши. Но каким фразам той биографии на листовке вообще можно было верить?

Андрей Андреевич Власов родился в 1900 в семье крестьянина Нижегородской губернии. Попечением своего брата, сельского учителя, он окончил нижегородское духовное училище, а семинарию уже не кончал— захватывала революция. Весной 1919 призван в Красную армию, к концу года был уже командиром взвода на деникинском фронте, Гражданскую войну закончил командиром роты и остался в кадрах. В 1928— курсы «Выстрел», затем на штабной работе. С 1930 вступил в ВКП(б), что открыло ему дальнейшее продвижение по службе. В 1938, в звании комполка, послан военным советником в Китай. Не связанный с высшими военными и партийными кругами, Власов оказался в том сталинском «втором эшелоне», который был выдвинут на замену вырезанных командармов–комдивов–комбригов. С 1939 он стал командиром дивизии, в 1940 при первом присвоении «новых» (старых) воинских

званий— генерал–майором. Из дальнейшего можно заключить, что среди генеральской смены, где много было совсем тупых и неопытных, Власов оказался из самых способных. Его 99–я стрелковая дивизия, до того самая отсталая в Красной армии, теперь предлагалась в пример «Красною звездой», а в войну не была захвачена врасплох гитлеровским нападением, напротив: при общем нашем откате на восток пошла на запад, отбила Перемышль и 6 дней удерживала его. Быстро миновав должность командующего корпусом, Власов под Киевом в 1941 командовал уже 37–й армией. Из огромного киевского мешка он прорвался с большим отрядом. В ноябре получил от Сталина 20–ю армию, начал бои сразу за Химками, пошёл в контрнаступление до Ржева и стал одним из спасителей Москвы. (В сводке Информбюро за 12 декабря перечень генералов такой: Жуков, Лелюшенко, Кузнецов, Власов, Рокоссовский…) Со стремительностью тех месяцев он успел стать заместителем командующего Волховским фронтом (Мерецкова), а в марте, когда была отрезана опрометчиво наступающая на прорыв Ленинградской блокады 2–я Ударная армия, принял командование ею, в «мешке». Ещё держались последние зимние пути,

но Сталин запретил отход, напротив, гнал опасно углублённую армию наступать и дальше — по развезенной болотистой местности, без продовольствия, без вооружения, без помощи с воздуха. После двухмесячного голодания и вымаривания армии (солдаты оттуда рассказывали мне потом в бутырских камерах, что с околевших гниющих лошадей они строгали копыта, варили стружку и ели) началось 14 мая 1942 немецкое концентрическое наступление против окружённой армии (и в воздухе, разумеется, только немецкие самолёты). И лишь тогда, в насмешку, было получено сталинское разрешение возвратиться за Волхов. И ещё были эти безнадёжные попытки прорваться! — до начала июля.

Так (словно повторяя судьбу русской 2–й самсоновской армии, столь же безумно брошенной в котёл) погибла 2–я Ударная Власова.

Тут конечно была измена родине! Тут конечно было жестокое предательство! Но — сталинское. Измена— не обязательно проданность. Невежество и небрежность в подготовке войны, растерянность и трусость при её начале, бессмысленные жертвы армиями и корпусами, чтобы только выручить свой маршальский мундир, — какая есть горше измена для верховного

главнокомандующего?

В отличие от Самсонова, Власов не кончил с собой, ещё скитался по лесам и болотам, 12 июля в районе Сиверской сдался в плен. Вскоре он оказался в Виннице в особом лагере для высших пленных офицеров, который был сформирован графом Штауффенбергом — будущим заговорщиком против Гитлера. Это покровительство оппозиционных армейских кругов (многие из них потом всплыли и погибли в антигитлеровском заговоре) сопровождало жизнь Власова последующие 2 года. В первые же недели вместе с полковником Боярским, командиром 41–й гвардейской дивизии, они составили доклад: что большинство советского населения и армии приветствовало бы свержение советского правительства, если бы Германия признала новую Россию равноправной. (Быть может, на это быстрое решение наложился и личный опыт Власова: родители жены его были «раскулачены», та внешне отреклась от них, тайком помогала. Теперь и она с сыном приносились в жертву новым поведением генерала в плену — с какого–то дня они исчезают в пасти НКВД.)

Держа в руках эту листовку, трудно было вдруг поверить, что вот — выдающийся человек, или

вот он, верно отслуживши всю жизнь на советской службе, давно и глубоко болеет за Россию. А следующие листовки, сообщавшие о создании РОА — «Русской Освободительной Армии», не только были написаны дурным русским языком, но и с чужим духом, явно немецким, и даже незаинтересованно в предмете, зато с грубой хвастливостью по поводу сытой каши у них и весёлого настроения у солдат. Не верилось в эту армию, а если она действительно была — уж какое там весёлое настроение?.. Вот так–то соврать только немец и мог.

Никакой РОА в действительности и не было почти до самого конца войны. Все годы несколько сот тысяч добровольных подсобников [Hilfsivittige] рассеяны были по всем германским частям, на полных или частичных солдатских правах. Да существовали добровольческие про–тивосоветские формирования— из недавних советских граждан, но с немецкими офицерами. Первыми поддержали немцев — литовцы (круто ж насолили мы им за один год!). Затем из украинцев собралась добровольческая дивизия SS, из эстонцев — отряды SS. В Белоруссии — народная милиция против партизан (и дошла до 100 тысяч человек!). Туркестанский батальон. В Крыму —

татарский. (И всё это посеяно было самими же Советами, например в Крыму — тупым гонением на мечети, тогда как дальновидная завоевательница Екатерина отпускала государственные средства на постройку и расширение их. И гитлеровцы, придя, догадались тоже стать на защиту мечетей.) Когда немцы завоевали наш Юг, число добровольческих батальонов ещё увеличилось: грузинский, армянский, северо–кавказский и 16 калмыцких. (А советских партизан на Юге почти не возникло.) При отступлении с Дона ушёл с немцами казачий обоз тысяч на 15, из них половина способных носить оружие. Под Локтем (Брянская область) в 1941 ещё до прихода немцев местное население распустило колхозы, вооружилось против советских партизан и создало до 1943 года автономную область (во главе— инженер К.П. Воскобойников), с вооружённой бригадой в 20 тысяч человек (флаг с Георгием Победоносцем), которая называла себя РОНА — Русская освободительная народная армия. Однако подлинной всероссийской освободительной армии не создалось, хотя были фантазии и попытки к ней — от самих русских, рвавшихся к оружию освобождать свою страну, и от группы немецких военных с ограниченным влиянием, средним

положением по службе, но реальным видением, что с оголтелой гитлеровской колонизационной политикой выиграть войну против СССР нельзя. Среди тех военных было немало прибалтийских немцев, в том числе и старой русской службы, особенно живо чувствовавших русскую обстановку, как капитан Штрик–Штрикфельдт. Эта группа тщетно пыталась убедить гитлеровские верхи в необходимости германо–русского союза. В их фантазиях выдумывалось и название армии, и будущий её ожидаемый статут, и нарукавная нашивка (с андреевским полем), носимая на немецком мундире. В посёлке Осинторф под Оршей в 1942 с помощью нескольких русских эмигрантов (Иванов, Кро–миади, Игорь Сахаров, Григорий Ламздорф) была создана из советских военнопленных «пробная часть» — в советском обмундировании, с советским оружием, но со старыми погонами и национальной кокардой. Это формирование к концу 1942 состояло из 7 тысяч человек, четырёх батальонов, предполагаемых к развёртыванию в полки, и понимало само себя как начало РННА— Русской национальной народной армии. Добровольцев было больше, чем часть могла принять. Но — не было уверенности: из–за того, что не было доверия к немцам, и спра-

ведливо. В декабре 1942 часть была настигнута приказом о расформировании: по отдельным батальонам, в немецкое обмундирование и в состав немецких частей. В ту же ночь 300 человек ушли в партизаны.

Осенью 1942 Власов дал своё имя для объединения всех противо–болыпевицких формирований, и осенью же 1942 гитлеровская Ставка отклонила попытки средних армейских кругов добиться отказа Германии от планов восточной колонизации и заменить их созданием русских национальных сил. Едва решась на роковой выбор, едва сделав первый шаг на этом пути, — Власов уже оказался не нужен более чем для пропаганды, и так— до самого конца. Покровительствующие ему армейские круги, думая усилить свою затею ходом вещей, решились на ту прокламацию «Смоленского комитета» (разбросали её над советским фронтом 13 января 1943)— с обещанием всех демократических свобод, отмены колхозов и принудительного труда. (И в январе же 1943 запрещены были русские части старше батальона…) Вопреки запрету, прокламация распространилась и в областях, занятых немцами, вызвала большие волнения и ожидания. Партизаны разоблачали, что никакого Смоленского

комитета и никакой Русской Освободительной Армии вообще нет, немецкая ложь. Одна затея вынуждала теперь следующую— агитационные поездки Власова по занятым областям (снова— самочинные, без ведома и воли Ставки и Гитлера; нашему подтоталитарному сознанию трудно вообразить такое самовольство, у нас ни шаг не может быть ступлен важный без самого верховного разрешения, но у нас и система несравненно твёрже, чем нацистская, мы и устаивались уже тогда четверть века, а нацисты— только 10 лет). В самодельно сшитой, никакой армии не принадлежащей шинели — коричневой, с генеральскими красными отворотами и без знаков различия, Власов совершил первую такую поездку в марте 1943 (Смоленск–Могилёв–Бобруйск) и вторую в апреле (Рига–Печёры–Псков–Гдов–Луга). Поездки эти воодушевили русское население, они создавали прямую видимость, что независимое русское движение — рождается, что независимая Россия может воскреснуть. Выступал Власов в переполненных смоленском и псковском театрах, говорил о целях освободительного движения, притом открыто — что для России национал–социализм неприемлем, но и большевизм свергнуть без немцев невозможно. Так же открыто спрашивали и

его: правда ли, что немцы намереваются обратить Россию в колонию, а русский народ в рабочий скот? почему до сих пор никто не объявил, что будет с Россией после войны? почему немцы не разрешают русского самоуправления в занятых областях? почему добровольцы против Сталина состоят только под немецкой командой? Власов отвечал стеснённо, оптимистичнее, чем самому осталось надеяться к этому времени. Германская же Ставка отозвалась приказом фельдмаршала Кейтеля: «Ввиду неквалифицированных бесстыдных высказываний военнопленного русского генерала Власова во время поездки в Северную группу войск, происходившую без ведома фюрера и моего, перевести его немедленно в лагерь для военнопленных». Имя генерала разрешалось использовать только для пропагандистских целей, если же он выступит ещё раз лично — должен быть передан Гестапо и обезврежен.

Шли последние месяцы, когда всё ещё миллионы советских людей оставались вне власти Сталина, ещё могли взять оружие против своей болыпевицкой неволи и способны были устроить свою независимую жизнь, — но германское руководство не испытывало колебаний: именно 8 июня 1943 года, перед Курско–Орловской

битвой, Гитлер подтвердил, что русская независимая армия никогда не будет создана и русские нужны Германии только как рабочие. Гитлеру недоступно было, что единственная историческая возможность свергнуть коммунистический режим — движение самого населения, подъём измученного народа. Такой России и такой победы Гитлер боялся больше всякого поражения. И даже после Сталинграда и потеряв Кавказ, Гитлер не заметил ничего нового. В то время как Сталин присваивал себе роль высшего защитника Отечества, восстанавливал старые русские погоны, православную Церковь и распускал Коминтерн, Гитлер, посильно помогая ему, в сентябре 1943 распорядился разоружить все добровольческие части и отправлять их в угольные шахты, затем переменил: перевести добровольческие части— на Атлантический Вал, против союзников.

Таков был уже, по сути, конец всего замысла о независимой российской армии. Что же делал Власов? Отчасти он и не знал, как худо обстоят дела (не знал, что после своих поездок снова считается военнопленным и в угрожаемом положении), отчасти непоправимо стал на гибельный путь надежд и соглашений со Зверем, тогда как с апокалиптическими зверьми спасительна одна

неуступчивость от первой до последней минуты. Впрочем, была ли вообще такая минута у Освободительного Движения российских граждан? С самого начала оно обречено было гибели как ещё одна додаточная жертва на неостывший жертвенник 1917 года. Первая же военная зима 1941/42 года, уничтожившая несколько миллионов советских военнопленных, протянула костяную цепь этих жертв, начатую ещё летними ополчениями безоружных людей для спасения большевизма.

Здесь уместно сопоставить Власова с командующим 19–й армией генерал–майором Михаилом Лукиным, который ещё в 1941 соглашался на борьбу против сталинского режима, но требовал гарантий национальной независимости для безкоммунистической России, а не получив таких гарантий — не сделал шагу из лагеря военнопленных. Власов же поддался на надежды без гарантий, а на этом пути не раз склонялся к успокоительным аргументам своих советников. Он порывался— остановиться, отступиться, отказаться, но всегда находились аргументы: «разоружат все добровольческие части», «не будет выхода для военнопленных», «ухудшится положение остовцев», то есть русских рабочих в Германии. И в крючках этих аргументов Власов

в октябре 1943 подписал открытое письмо к добровольцам, переводимым на Западный фронт: о временности этой меры и необходимости подчиниться…

Так потерян был последний ускользающий смысл этого горького добровольчества: отправляли их пушечным мясом против союзников да против французского Сопротивления — против тех самых, к кому только и была искренняя симпатия у русских в Германии, испытавших на себе и немецкую жестокость и немецкое самопревозношение. Подрывалась тайная надежда на англо–американцев, лелеемая во власов–ском окружении: что уж если союзники поддерживают коммунистов, то неужели же не поддержат против Гитлера демократическую некоммунистическую Россию?.. Особенно при падении Третьего Рейха, когда отчётливо проступит советский напор расширить свой строй на Европу и на весь мир — неужели Запад будет продолжать поддерживать болыпевицкую диктатуру? Тут был разрыв русского и западного сознания, не прёодолённый и посегодня. Запад вёл войну только против Гитлера, для того считал хорошими все средства и всех союзников, особенно Советы. Более, чем не мог, — Запад и не хотел,

ему это сму–тительно и помешно было бы— допустить, что у народов СССР могут быть и свои задачи, не совпадающие с целями коммунистического правительства. Трагикомично, но среди добровольческих антиболыпевиц–ких батальонов, прибывших на Западный фронт, союзники распространяли воззвания: перебежчикам обещается немедленная отправка в Советский Союз!..

Власовское окружение в мечтах и надеждах рисовало себя «третьей силой», то есть помимо Сталина и Гитлера, но и Сталин, и Гитлер, и Запад вышибали из–под них такие подпорки: для Запада они были какой–то странной категорией нацистских пособников, ни в чём не замечательней.

Что русские против нас вправду есть и что они бьются круче всяких эсэсовцев, мы отведали вскоре. В июле 1943 под Орлом взвод русских в немецкой форме защищал, например, Собакинские выселки. Они бились с таким отчаянием, будто эти выселки построили сами. Одного загнали в погреб, к нему туда бросали ручные гранаты, он замолкал; но едва совались спуститься — он снова сек автоматом. Лишь когда ухнули туда противотанковую гранату, узнали: ещё в погребе

у него была яма, и в ней он перепрятывался от разрыва противопехотных гранат. Надо представить себе степень оглушённости, контузии и безнадёжности, в которой он продолжал сражаться.

Защищали они, например, и несбиваемый днепровский плацдарм южнее Турска, там две недели шли безуспешные бои за сотни метров, и бои свирепые и морозы такие же (декабрь 1943). В этом осточертении многодневного зимнего боя в маскхалатах, скрывавших шинель и шапку, были и мы и они, и под Малыми Козловичами, рассказывали мне, был такой случай. В перебежках между сосен запутались и легли рядом двое и, уже не понимая точно, стреляли в кого–то и куда–то. Автоматы у обоих — советские. Патронами делились, друг друга похваливали, матерились на замерзающую смазку автомата. Наконец совсем перестало подавать, решили они закурить, сбросили с голов белые капюшоны — и тут разглядели орла и звёздочку на шапках друг у друга. Вскочили! Автоматы не стреляют! Схватили и, мордуя ими как дубинками, стали друг за другом гоняться: уж тут не политика и не родина–мать, а простое пещерное недоверие: я его пожалею, а он меня убьёт.

В Восточной Пруссии в нескольких шагах от

меня провели по обочине тройку пленных власовцев, а по шоссе как раз грохотала Т–тридцать–четвёрка. Вдруг один из пленных вывернулся, прыгнул и ласточкой шлёпнулся под танк. Танк увильнул, но всё же раздавил его краем гусеницы. Раздавленный ещё извивался, красная пена шла на губы. И можно было его понять! Солдатскую смерть он предпочитал повешению в застенке.

Им не оставлено было выбора. Им нельзя было драться иначе. Им не оставлено было выхода биться как–нибудь побережливее к себе. Если один «чистый» плен уже признавался у нас непрощаемой изменой родине, то что ж о тех, кто взял оружие врага? Поведение этих людей с нашей пропагандной топорностью объяснялось: 1) предательством (биологическим? текущим в крови?) и 2) трусостью. Вот уж только не трусостью! Трус ищет, где есть поблажка, снисхождение. А во «власовские» отряды вермахта их могла привести только крайность, запредельное отчаяние, невозможность дальше тянуть под болыпевицким режимом да презрение к собственной сохранности. Ибо знали они: здесь не мелькнёт им ни полоски пощады! В нашем плену их расстреливали, едва только слышали первое разборчивое русское слово изо рта. (Одну

группу под Бобруйском, шедшую в плен, я успел остановить, предупредить — и чтоб они переоделись в крестьянское, разбежались по деревням приймаками.) В русском плену, так же как и в немецком, хуже всего приходилось русским.

Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским.

Я со стыдом вспоминаю, как при освоении (то есть раз–грабе) бобруйского котла я шёл по шоссе среди разбитых и поваленных немецких автомашин, рассыпанной трофейной роскоши, — и из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, потерянно бродили немецкие битюги и дымились костры из трофеев же, услышал вопль о помощи: «Господин капитан! Господин капитан!» Это чисто по–русски кричал мне о защите пеший в немецких брюках, выше пояса нагой, уже весь искровавленный — на лице, груди, плечах, спине, — а сержант–особист, сидя на лошади, погонял его перед собою кнутом и наседанием лошади. Он полосовал его по голому телу кнутом, не давая оборачиваться, не давая звать на помощь, гнал его и бил, вызывая из кожи новые красные ссадины.

Это была не пуническая, не греко–персидская война! Всякий имеющий власть, офицер любой

армии на земле должен был остановить бессудное истязание. Любой — да, а — нашей?.. При лютости и абсолютности нашего разделения человечества? (Если не с нами, не наш и т. д. — то достоин только презрения и уничтожения.) Так вот, я струсил защищать власовца перед особистом, я ничего не сказал и не сделал, я прошёл мимо, как бы не слыша, — чтоб эта признанная всеми чума не перекинулась на меня (а вдруг этот власовец какой–нибудь сверхзлодей?., а вдруг особист обо мне подумает?., а вдруг?..). Да проще того, кто знает обстановку тогда в армии — стал ли бы ещё этот особист слушать армейского капитана?

И со зверским лицом особист продолжал стегать и гнать беззащитного человека как скотину.

Эта картина навсегда передо мною осталась. Это ведь — почти символ Архипелага, его на обложку книги можно помещать.

И всё это они предчувствовали, предзнали — а нашивали–таки на левый рукав немецкого мундира щит с андреевским полем и буквами РОА.

Бригада Каминского из Локтя Брянского содержала 5 пехотных полков, артдивизион, танковый батальон. Она выставляла часть на фронт под Дмитровск–Орловский в июле 1943. Осенью один

полк её стойко защищал Севск— и в этой защите уничтожен целиком: советские войска добивали и раненых, а командира полка привязали к танку и протащили насмерть. Из своего Локотского района бригада отступала с семьями, с обозами, больше 50 тысяч человек. (Можно представить, как, дорвавшись, прочёсывало НКВД этот автономный антисоветский район!) За брянскими пределами горькое ждало их странствие, унизительное стояние под Лепелем, использование против партизан, потом отступление в Верхнюю Силезию, где Каминский получил приказ подавлять Варшавское восстание и не сумел не пойти, повёл 1700 человек несемейных, в советской форме с жёлтыми повязками. Так понимали немцы все эти трёхцветные кокарды, андреевское поле и Георгия Победоносца. Русский и немецкий языки были взаимно непереводимы, невыразимы, несоответственны.

Батальоны из расформированной осинторфовской части тоже судьбу имели идти против партизан или быть переброшенными на Западный фронт. Под Псковом (в Стремутке) стояла в 1943 «гвардейская бригада РОА» из нескольких сот человек, была в контакте с окрестным русским населением, но рост её был преграждён

немецким командованием.

Жалкие газетки добровольческих частей были обработаны немецким цензурным тесаком. И оставалось власовцам биться насмерть, а на досуге водка и водка. Обречённость — вот что было их существование все годы войны и чужбины, и никакого выхода никуда.

Гитлер и его окружение, уже отовсюду отступая, уже накануне гибели — всё так же не могли преодолеть своего стойкого недоверия к отдельным русским формированиям, решиться на тень независимой, не подчинённой им России. Лишь в треске последнего крушения, в сентябре 1944, Гиммлер дал согласие на создание РОА из целостных русских дивизий, даже со своей малой авиацией, а в ноябре 1944 был разрешён поздний спектакль: созыв Комитета Освобождения Народов России. Только с осени 1944 генерал Власов и получил первую как будто реальную возможность действовать— заведомо позднюю. Федералистский принцип тоже не привлёк многих: освобождённый немцами из тюрьмы (тоже в 1944) Бандера уклонился от союза с Власовым; сепаратистские национальные части видели во Власове русского империалиста и не хотели подпасть под его контроль; и за казаков отказывался

генерал Краснов, — и только за 10 дней до конца всей Германии — 28 апреля 1945! — Гиммлер дал согласие на подчинение Власову казачьего корпуса. В нацистском руководстве уже наступал хаос: одни начальники разрешали стягивать русские добровольческие части в РОА, другие препятствовали. Да и реально каждый такой сражавшийся отряд было трудно вырвать с передовой, как, впрочем, и остовцев, желавших в РОА, нелегко было вырвать с их тыловых работ. Да не спешили немцы освобождать и военнопленных для власовской армии, на освобождение— машина не прокручивала. Всё же к февралю 1945 года 1–я дивизия РОА (наполовину из локотян) была сформирована и начинала формироваться 2–я. Поздно уже было и предполагать, что этим дивизиям достанется действовать в союзе с Германией; и, давно таимая, теперь разгоралась во власовском руководстве надежда на конфликт Советов с союзниками. Это отмечалось и в докладе германского министерства пропаганды (февраль 1945): «Движение Власова не считает себя связанным на жизнь и смерть с Германией, в нём — сильные англофильские симпатии и мысли о перемене курса. Движение — не национал–социалистическое, и еврейский вопрос

вообще им не признаётся».

Двусмысленность положения отразилась и в Манифесте КОНР, объявленном в Праге (чтобы на славянской земле) 14 ноября 1944 года.

Не избежать было о «силах империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на эксплуатации других стран и народов» и которые «прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты демократии, культуры и цивилизации», — но не было ни одного прямого поклона национал–социализму, антисемитизму или Великогер–мании, лишь названы были «свободолюбивыми народами» все враги союзников, приветствовалась «помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины», и ждался «почётный мир с Германией», уж какой ни почётный, а наверно не хуже Брестского— да по ситуации был бы выше Брестского, а впрочем, так же подлежал бы изменению от мира всеевропейского. В Манифесте было много старания заявить себя демократами, федералистами (со свободой отделения наций), и осторожными ножками блукала ещё тогда совсем не созревшая, в себе не уверенная подсоветская общественная мысль: и «отживший царский строй», и экономи-

ческая и культурная отсталость старой России, и «народная революция 1917 года»… Только антибольшевизм был последовательный.

Всё это праздновалось в Праге по малой программе — с представителями «Богемского протектората», то есть германскими чиновниками третьей руки. Весь манифест и сопровождающие передачи слышал я тогда на фронте по радио — и впечатление ото всего было, что: спектакль — нековременный и обречённый. В Западном мире манифест этот нисколько не был замечен, никогда не добавил понимания ни на волосок— но имел большой успех среди остовцев: говорят, был поток заявлений в РОА (Свен Стеенберг пишет — 300 тысяч) — это в безнадёжные месяцы, когда Германия уже видимо рухалась и эти несчастные заброшенные советские люди могли рассчитывать против лавины закалённой Красной армии только на силу своего отвращения от большевизма.

Какие ж планы могли быть у формируемой армии? Казалось: пробиваться в Югославию, соединяться там с казаками, эмигрантским корпусом и Михайловичем, и отстаивать Югославию от коммунизма. Но прежде того: разве могло немецкое командование в свои тяжелейшие

месяцы дать у себя в тылу беспрепятственно формироваться отдельной русской армии? Нетерпеливо дёргали они на Восточный фронт — то противотанковый отряд (И. Сахарова–Ламздорфа) в Померанию, то всю 1–ю дивизию на Одер, — и что же Власов? Покорно отдавал, всеобщий закон однажды принятой линии уступок, хотя отдачею единственной пока дивизии обессмысливался весь план создания армии. Аргументы услужливо всегда найдутся: «Немцы нам не доверяют. Вот 1–я дивизия боевыми действиями убедит их — и тогда формирование РОА пойдёт быстрей». А шло оно — плохо, 2–я дивизия и запасная бригада, вместе 20 тысяч человек, остались до самого мая 1945 безоружной толпой — не только без артиллерии, но почти без пехотного оружия и даже худо обмундированы. 1–ю дивизию (16 тысяч) назначили для операции безнадёжной и смертной, — и только общий уже развал Германии позволил командиру дивизии Буняченко увести её самовольно с передовой и через сопротивление генералов пробиваться в Чехию. (По пути освобождали советских военнопленных, и те присоединялись — «чтобы русским быть вместе».) Пришли под Прагу в начале мая. Тут их позвали на помощь чехи, поднявшие в столице восстание

5 мая, дивизия Бунячен–ко 6 мая вступила в Прагу и в жарком бою 7 мая спасла восстание и город. Будто в насмешку, чтобы подтвердить дальновидность самых недальновидных немцев, первая же власовская дивизия своим первым и последним независимым действием нанесла удар — именно по немцам, выпустила всё ожесточение и горечь, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые три года. (Чехи встречали русских цветами, в те дни — понимали, но у всех ли потом осталось в памяти, какие русские спасали им город? У нас теперь считается, что Прагу освободили советские войска, — и верно, по желанию Сталина Черчилль в эти дни не спешил дать оружие пражанам, американцы задержались в движении, чтобы допустить взять Прагу советским, а Иозеф Смрковский, ведущий пражский коммунист в те дни, не прозревая дальнего будущего, поносил предателей–власовцов и жаждал освобождения только из советских рук.)

Все эти недели Власов не проявляет себя как полководец, но обретается в потерянности, безвыходной зажатости. Он не направляет 1–ю дивизию в Пражской операции, оставляет в неопределённости 2–ю и мелкие части, — и в убегающем

времени никто не находит сил для задуманного соединения с казаками. Власов последовательно отказывается только от единоличного бегства (ждал самолёт в Испанию) и, видимо в параличе воли, отдаётся концу. Единственная активность его все последние недели — посылка тайных делегаций и поиск контактов с ан–гло–американцами. И другие члены штаба (генералы Трухин, Меандров, Боярский) делают то же.

Только тем смыслом, чтобы теперь, при конце, пригодиться союзникам, и освещалось для власовцев их долгое висение в немецкой петле. Всё теплилась — нет, горела такая надежда: вот конец войны, вот и приходит время могучим англо–американцам потребовать от Сталина изменения внутренней политики — вот сближаются армии с Запада и Востока и над раздавленным Гитлером столкнутся! — так тут–то и выгодно Западу сохранить и использовать нас? Ведь понимают же они, что большевизм — враг всего человечества?

Нет, и близко не понимали! О, западная демократическая тупость: как? вы говорите, что вы — политическая оппозиция? да разве у вас есть оппозиция? а почему ж она никогда не заявляла о себе публично? Если вы недовольны Сталиным — возвращайтесь на родину и в пер-

вой же избирательной кампании переизберите его, вот это будет честный путь. А зачем же было брать в руки оружие, да ещё немецкое? Нет, теперь мы обязаны вас выдать, иначе неприлично, да испортим отношения с доблестным союзником.

Во Второй Мировой войне Запад отстаивал свою свободу и отстоял её для себя, а нас (и Восточную Европу) вогнял в рабство ещё на две глубины.

Последней попыткой Власова было заявление, что руководство РОА готово предстать перед международным судом, но выдача армий советским властям на верную смерть противоречит международному праву как выдача оппозиционного движения, — никто того писка и не услышал, да большинство американских военачальников даже с изумлением узнавало о существовании ещё каких–то русских, а не советских, естественно было передавать их по советской принадлежности.

РОА не просто капитулировала перед американцами, но молила принять капитуляцию и только дать гарантию невыдачи Советам. И средние американские офицеры, кто не охватывал большой политики, иногда по простоте и обещали. (Все обещанья эти были нарушены потом,

пленных обманули.) Но всю 1–ю дивизию (11 мая, под Пильзеном) да почти и всю 2–ю американцы встретили вооружённой стеной: отказались брать в плен, отказались впустить в свою зону: в Ялте Черчилль и Рузвельт подписали обязательную репатриацию всех советских граждан, особенно военнослужащих, а добровольность или насильственность репатриации не была при том помянута, ибо где ж ещё на земле, в какую ещё родину её сыны не желают возвращаться добровольно? Вся близорукость Запада сгустилась в ялтинских перьях.

Американцы не приняли капитулирующих, а советские танки проходили последние километры. Оставалось — или дать последний бой, или… Буняченко и Зверев (2–я дивизия) распорядились сходно: боя не было. (Это — тоже русский характер: а вдруг?., всё ж — свои… По тюремным рассказам много знаю таких случаев безоглядной или пьяной сдачи — своим.) 12 мая вооружённая полносоставная 1–я дивизия получила приказ в лесу: «Разойдись!» Одевались в штатское, спарывали отличия, сжигали документы, стрелялись. Ночью началась облава советских войск. Около 10 тысяч было убито и взято в плен, остальные прорвались в американскую зону, но и из них

большая часть была выдана советским войскам, как и из 2–й дивизии, авиации, отдельных отрядов. Для иных сидение в американских лагерях затянулось на многие месяцы (группа Меандрова). То ли это было американское пренебрежение, то ли намёк «разбегайтесь сами», но содержали и в голоде, как прежде немцы, и пинали и били прикладами — а охраняли слабо. И кое–кто бежал, но большая часть — осталась! Доверие к Америке? невозможность ожидать от американцев предательства? — остались ждать своей страшной судьбы, уже разлагаемые и советскими агитаторами, и самообвинениями и падением духа, — и группа за группою, генералы, офицеры, солдаты, в 45–м году и в 46–м, выданы на расправу в Советский Союз. (2 августа 1946 советские газеты опубликовали сообщение о приговоре Военной Коллегии Верховного Суда Власову и одиннадцати его ближайшим: казнь через повешение.)

В том же мае 1945 в Австрии такой же лояльный союзнический шаг (из обычной скромности у нас не оглашённый) совершила и Англия: она передала советскому командованию казачий корпус (40–45 тысяч человек), пробившийся из Югославии. Передача эта носила коварный характер в духе традиционной английской дипломатии.

Дело в том, что казаки были настроены биться насмерть или уезжать за океан, хоть в Парагвай, хоть в Индокитай, только не сдаваться живыми. Англичане же поставили казаков на усиленный армейский паёк, выдавали превосходное английское обмундирование, обещали службу в английской армии, уже устраивали смотры. Поэтому не вызвало подозрения, когда они предложили казакам сдать оружие под предлогом его унификации. 28 мая всех офицеров от эскадронных и выше (более 2000 человек) вызвали отдельно от солдат в город Юденбург якобы на совещание с фельдмаршалом Александером о судьбах армии. В пути офицеры были обмануты, поставлены под сильную охрану (англичане избивали их в кровь), затем автомобильная колонна постепенно была передана в охват советских танков, затем в Юденбурге въехала в полуокружие воронков, около которых уже стоял конвой со списками. И даже нечем было застрелиться, заколоться— всё оружие отобрано. Бросались с высокого виадука на камни и в реку. Среди выданных генералов большинство были — эмигранты, союзники этих самых англичан по Первой Мировой войне. В Гражданскую войну англичане не успели их отблагодарить, возвращали

долг теперь. В последующие дни так же обманно англичане передавали и рядовых— поездами, оплетенными колючей проволокой. (17 января 1947 советские газеты опубликовали сообщение о повешении казачьих генералов Петра Краснова, Шкуро и ещё нескольких.)

Тем временем пришёл из Италии 35–тысячный обоз «Казачий Стан» и остановился в долине Лиенца на Драве. Там были и боевые казаки, но много старых, малых и баб — и все не желали возвращаться на родные казачьи реки. Однако не дрогнули сердца англичан и не затмился их демократический разум. Английский комендант майор Девис, чьё имя уж верно войдёт теперь по крайней мере в русскую историю, когда нужно рассыпчато приветливый, когда нужно безжалостный, — после обманного изъятия офицеров открыто объявил о насильственной выдаче 1 июня. Ему ответили тысячеголосными криками: «не пойдём!» Над лагерем беженцев появились чёрные флаги, в походной церкви шли непрерывные богослужения: живые служили панихиду сами по себе!.. Пришли английские танки и солдаты. Через громкоговорители распорядились садиться в грузовики. Толпа пела панихиду, священники подняли кресты, молодые соста-

вили цепь вокруг стариков, женщин и детей. Англичане избивали прикладами и дубинками, выхватывали людей, бросали их и раненых тюками в грузовики. Под напором отступавших сломался помост для священников, затем и лагерный забор, масса кинулась по мосту через Драву, английские танки отрезали путь, иные казаки семьями бросались в реку на погибель, по окрестностям английская часть ловила и стреляла беглецов. (Кладбище убитых и растоптанных— сохраняется в Лиенце.)

В тех же днях так же коварно и беспощадно англичане выдали и югославским коммунистам тысячи врагов их режима (своих же союзников 1941 года!) — на бессудные расстрелы и уничтожение.

И в свободной Великобритании с её независимой прессой до сих пор никто за 25 лет не пожелал рассказать об этом предательстве, не поднял тревогу в обществе.

(В своих странах Рузвельт и Черчилль почитаются как эталоны государственной мудрости, и памятниками великому мужу со временем может покрыться Англия. Нам же, в русских тюремных обсуждениях, выступала разительно–очевидно систематическая близорукость и даже глупость

обоих. Как могли они, сползая от 41–го года к 45–му, не обеспечить никаких гарантий независимости Восточной Европы? Как могли они за смехотворную игрушку четырёхзонного Берлина, свою же будущую ахиллесову пяту, отдать обширные области Саксонии и Тюрингии? И какой военный и политический резон для них имела сдача на смерть в руки Сталина нескольких сот тысяч вооружённых советских граждан, решительно не хотевших сдаваться? Говорят, что тем они платили за непременное участие Сталина в японской войне. Уже имея в руках атомную бомбу, платили Сталину за то, чтоб он не отказался оккупировать Маньчжурию, укрепить в Китае Мао Цзе–дуна, а в половине Кореи — Ким Ир Сена!.. Разве не убожество политического расчёта? Когда потом вытесняли Миколайчика, кончались Бенеш и Масарик, был обложен блокадой Берлин, пылал и глох Будапешт, дымилась Корея, а консерваторы мазали пятки от Суэца — неужели и тогда самые памятливые из них не припомнили ну хотя бы эпизода с выдачей казаков?)

И даже это ещё было только начало. Весь 1946 и 1947 годы верные Сталину западные союзники продолжали и продолжали выдавать ему на расправу советских граждан против их воли — и

бывших военных, и чисто гражданских, лишь бы с рук скачать эту человеческую неразбериху. Выдавали из Австрии, Германии, Италии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, из американских зон. В английских зонах эти годы содержались и коніщагеря, пожалуй не уступающие гитлеровским. (Например, лагерь Вольфсберг в Австрии: женщинам велят, согнувшись, но не присев, срезать маленькими ножницами по одной травинке, каждые одиннадцать обвязывать двенадцатою в «сноп», и так многими часами[73]. Что это мыслимо при британской парламентской традиции, заставляет сильно задуматься над толщиною корки нашей цивилизации.) Многие русские много послевоенных лет жили на Западе с подложными документами под гнетущим страхом выдачи в СССР, опасаясь англо–американской администрации, как когда–то НКВД. А где не выдавали — там беспрепятственно сновали советские агенты во множестве и без помех, средь бела дня, выкрадывали живых людей, даже с улиц западных столиц.

Помимо создававшейся РОА немало русских

[73] Примечания: 73

Этот лагерь описан в книге Ариадны Делианич «Вольфсберг–373», она сама сидела там. (Книга напечатана в Сан–Франциско в типографии газеты «Русская жизнь», год издания не указан.)

подразделений к 1945 году продолжало закисать в глуби немецкой армии, под неотличимыми немецкими мундирами. Они кончали войну на разных участках и по–разному.

За несколько дней до моего ареста попал под власовские пули и я. Русские были и в окружённом нами восточно–прусском котле. В одну из ночей в конце января их часть пошла на прорыв на запад через наше расположение без артподготовки, молча. Сплошного фронта не было, они быстро углубились, взяли в клещи мою высунутую вперёд звукобатарею, так что я едва успел вытянуть её по последней оставшейся дороге. Но потом я вернулся за подбитой машиной и перед рассветом видел, как, накопясь в маскхалатах на снегу, они внезапно поднялись, бросились с «ура» на огневые позиции 152–миллиметрового дивизиона у Адлиг Швенкиттена и забросали двенадцать тяжёлых пушек гранатами, не дав сделать ни выстрела. Под их трассирующими пулями наша последняя кучка бежала три километра снежною целиной до моста через речушку Пасарге. Там их остановили.

Вскоре я был арестован, и вот перед парадом Победы мы теперь все вместе сидели на бутырских нарах, я докуривал после них и они после меня,

и вдвоём с кем–нибудь мы выносили жестяную шестиведерную парашу.

Многие «власовцы», как и «шпионы на час», были молодые люди, этак между 1915 и 1922 годами рождения, то самое «племя младое незнакомое», которое от имени Пушкина поспешил приветствовать суетливый Луначарский. Большинство их попало в военные формирования той же волной случайности, какою в соседнем лагере их товарищи попадали в шпионы — зависело от приехавшего вербовщика.

Вербовщики глумливо разъясняли им — глумливо, если б то не было истиной: «Сталин от вас отказался!», «Сталину на вас наплевать!»

Советский закон поставил их вне себя ещё прежде, чем они поставили себя вне советского закона.

И они — записывались... Одни — чтоб только вырваться из смертного лагеря. Другие — в расчёте перейти к партизанам (и переходили! и воевали потом за партизан! — но по сталинской мерке это нисколько не смягчало их приговора). Однако в ком–то же и заныл позорный Сорок Первый год, ошеломляющее поражение после многолетнего хвастовства; и кто–то же счёл первым виновником вот этих нечеловеческих

лагерей — Сталина. И вот они тоже потянулись заявить о себе, о своём грозном опыте: что они — тоже частицы России и хотят влиять на её будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок.

Слово «власовец» у нас звучит подобно слову «нечистоты», кажется, мы оскверняем рот одним только этим звучанием, и поэтому никто не дерзнёт вымолвить двух–трёх фраз с подлежащим «власовец».

Но так не пишется история. Сейчас, четверть века спустя, когда большинство их погибло в лагерях, а уцелевшие доживают на Крайнем Севере, я хотел страницами этими напомнить, что для мировой истории это явление довольно небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати подняли оружие на своё Отечество в союзе со злейшим его врагом. Что, может, задуматься надо: кто ж больше виноват — эта молодёжь или седое Отечество? Что биологическим предательством этого не объяснить, а должны быть причины общественные.

Потому что, как старая пословица говорит: от корма кони не рыщут.

Вот так представить: поле — и рыщут в нём неухоженные, оголодалые, обезумелые кони.

* * *

А ещё в ту весну много сидело в камерах — русских эмигрантов.

Это выглядело почти как во сне: возвращение канувшей истории. Давно были дописаны и запахнуты тома Гражданской войны, решены её дела, внесены в хронологию учебников её события. Деятели белого движения уже были не современники наши на земле, а призраки растаявшего прошлого. Русская эмиграция, рассеянная жесточе колен израилевых, в нашем советском представлении если и тянула ещё где свой век — то тапёрами в поганеньких ресторанах, лакеями, прачками, нищими, морфинистами, кокаинистами, домира–ющими трупами. До войны 1941 года ни по каким признакам из наших газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было представить (и наши сытые мастера не помогли нам узнать), что русское Зарубежье — это большой духовный мир, что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского (в ту пору у нас и

вовсе проклятого), что существует небывалый писатель Набоков–Сирин, что ещё жив Бунин и что–то же пишет эти двадцать лет, издаются художественные журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячеств, где звучит русская речь, и что эмигранты–мужчины не утеряли способности брать в жёны эмигранток–женщин, а те рожать им детей, значит наших ровесников.

Представление об эмигрантах было выработано в нашей стране настолько ложное, что советские люди никогда поверить бы не могли: были эмигранты, воевавшие в Испании не за Франко, а за республиканцев; а во Франции среди русской эмиграции в отчуждённом одиночестве оказались Мережковский и Гиппиус после того, что не отшатнулись от Гитлера. В виде анекдота и даже не в виде его: порывался Деникин идти воевать за Советский Союз против Гитлера, и Сталин одно время едва не намеревался вернуть его на родину (не как боевую силу конечно, а как символ национального объединения). Как и Западу целиком, так и русской эмиграции за 25 лет отрыва уже не хватало живого подсоветского опыта, чтобы трезво понимать события. Оттого и возникло в эмиграции смущение умов, вроде: «можно ли подавать власовцам руку?» (одни — потому что

«всегда за Россию», другие — потому что «всегда за демократию»). Между прежними эмигрантами и новыми подсоветскими возникло немало раздоров, непонимания — и во время войны, у немцев, и потом после войны, в союзнических лагерях. Правда, составился эмигрантский добровольный стрелковый корпус для отправки на Восточный фронт (15 тысяч человек) — да немцы послали его против Тито, и войны не было, нейтральное невмешательство. Во время оккупации Франции множество русских эмигрантов, старых и молодых, примкнули к движению Сопротивления, а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать заявления на родину. Какая б Россия ни была—но Россия! —вот был их лозунг, и так они доказали, что и раньше не лгали о любви к ней. (В тюрьмах 45^16 годов они были едва ли не счастливы, что эти решётки и эти надзиратели — свои, русские; они с удивлением смотрели, как советские мальчики чешут затылки: «И на чёрта мы вернулись? Что нам в Европе было тесно?»)

Но по той самой сталинской логике, по которой должен был сажаться в лагерь всякий советский человек, поживший за границей, — как же могли эту участь обминуть эмигранты? С Балкан, из

Центральной Европы, из Харбина их арестовывали тотчас по приходе советских войск, брали с квартир и на улицах, как своих. Брали пока только мужчин, и то пока не всех, а заявивших как–то о себе в политическом смысле. (Их семьи позже этапировали на места российских ссылок, а чьи и так оставили в Болгарии, в Чехословакии.) Из Франции их с почётом, с цветами принимали в советские граждане, с комфортом доставляли на родину, а загребали уже тут. Более затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими—туда руки не дотягивались в 45–м году. Но туда приехал уполномоченный от советского правительства и огласил Указ Президиума Верховного Совета: прощение всем эмигрантам! Ну, как не поверить? Не может же правительство лгать! (Был ли такой указ на самом деле, не был, — Органы он во всяком случае не связывал.) Шанхайцы выразили восторг. Предложено им было брать столько вещей и такие, какие хотят (они поехали и с автомобилями, это родине пригодится), селиться в Союзе там, где хотят; и работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. Уже судьба пароходов была разная: на некоторых почему–то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта Находки (одного из глав-

ных перевалочных пунктов ГУЛАГа). Почти всех грузили в эшелоны из товарных вагонов, как заключённых, только ещё не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких–то обжитых мест, до городов, и действительно на 2–3 года пускали пожить. Других сразу привозили эшелоном в лагерь, где–нибудь в Заволжьи разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48–49 годах ещё уцелевших дальневосточных реэмигрантов досаживали наподскрёб.

Девятилетним мальчиком я охотнее, чем Жюля Верна, читал синенькие книжечки В.В. Шульгина, мирно продававшиеся тогда в наших книжных киосках. Это был голос из мира настолько решительно канувшего, что с самой дивной фантазией нельзя было предположить: не пройдёт и двадцати лет, как шаги автора и мои шаги невидимым пунктиром пересекутся в беззвучных коридорах Большой Лубянки. Правда, с ним самим мы встретились не тогда, ещё на двадцать лет позже, но ко многим эмигрантам, старым и молодым, я имел время присмотреться весной 45–го года.

С ротмистром Борщом и полковником Мариюшкиным мне пришлось вместе побывать на

медосмотре, и жалкий вид их голых сморщенных тёмно–жёлтых уже не тел, а мощей так и остался перед моими глазами. Их арестовали в пяти минутах перед гробом, привезли в Москву за несколько тысяч километров и тут в 1945 году серьёзнейшим способом провели следствие об… их борьбе против советской власти в 1919 году!

Мы настолько уже привыкли к нагромождению следственно–судебных несправедливостей, что перестали различать их ступени. Этот ротмистр и этот полковник были кадровыми военными царской русской армии. Им было уже обоим лет за сорок, и в армии они уже отслужили лет по двадцать, когда телеграф принёс сообщение, что в Петрограде свергли императора. Двадцать лет они прослужили под царской присягой, теперь скрепя сердце (и, может быть, внутренне бормоча: «сгинь, рассыпься!») присягнули ещё Временному правительству. Больше никто им не предлагал никому присягать, потому что всякая армия развалилась. Им не понравились порядки, когда срывали погоны и офицеров убивали, и естественно, что они объединились с другими офицерами, чтобы против этих порядков сражаться. Естественно было Красной армии биться с ними и сталкивать их в море. Но в стране, где

есть хоть зачатки юридической мысли, — какие же основания судить их, да ещё через четверть века? (Всё это время они жили как частные лица: Мариюш–кин до самого ареста, Борщ, правда, оказался в казачьем обозе в Австрии, но именно не в вооружённой части, а в обозе среди стариков и баб.)

Однако в 1945 году в центре нашей юрисдикции их обвиняли: в действиях, направленных к свержению власти рабоче–крестьянских советов; в вооружённом вторжении на советскую территорию (то есть в том, что они не уехали немедленно из России, которая была из Петрограда объявлена советской); в оказании помощи международной буржуазии (которой они сном и духом не видели); в службе у контрреволюционных правительств (то есть у своих генералов, которым они всю жизнь подчинялись). И все эти пункты (1, 2, 4, 13) 58–й статьи принадлежали Уголовному кодексу, принятому… в 1926 году, то есть через 6–7 лет после окончания Гражданской войны! (Классический и бессовестный пример обратного действия закона!) Кроме того, статья 2 Кодекса указывала, что он распространяется лишь на граждан, задержанных на территории РСФСР. Но десница ГБ выдёргивала совсем не–граждан и изо всех

стран Европы и Азии![74] А уж о давности мы и не говорим: о давности гибко было предусмотрено, что к 58–й она не применяется. Давность применяется только к своим доморощенным палачам («Зачем старое ворошить?..»), уничтожавшим соотечественников многократно больше, чем вся Гражданская война.

Мариюшкин хоть ясно всё помнил, рассказывал подробности об эвакуации из Новороссийска. А Борщ впал как бы в детство и простодушно лепетал, как вот он Пасху праздновал на Лубянке: всю Вербную и всю Страстную ел только по полпайки, другую откладывая и постепенно подменяя чёрствые свежими. И так на разговление скопилось у него семь паек, и три дня Пасхи он пировал.

Что их сегодня обвиняли и судили — никак не доказывает их реальной виновности даже в прошлом, а лишь месть советского государства: за то, что они сопротивлялись коммунизму четверть столетия назад, хотя с тех пор тянули жизнь неустроенных бездомных изгнанников.

От этих беспомощных эмигрантских мумий от-

---

[74] Примечания: 74

Да этак ни один африканский президент не гарантирован, что через десять лет мы не издадим закона, по которому будем судить его за сегодняшнее.

личался полковник Константин Константинович Ясевич. Вот для него с концом Гражданской войны борьба против большевизма не кончилась. Уж чем он там мог бороться, где и как — мне он не рассказывал. Но ощущение, что он и посейчас в строю, — у него было, кажется, и в камере. Среди неразберихи понятий, расплывшихся и изломанных линий зрения, как было в головах большинства из нас, у него, очевидно, был чёткий, ясный взгляд на окружающее, а от отчётливой жизненной позиции—и в теле постоянная крепость, упругость, деятельность. Было ему не меньше шестидесяти, голова совершенно лыса, без волосочка, уж он пережил следствие (ждал приговора, как все мы), и помощи, конечно, ниоткуда никакой — а сохранил молодую, даже розоватую кожу, изо всей камеры один делал утреннюю зарядку и оплескивался под краном (мы же все берегли калории от тюремной пайки). Он не пропускал времени, когда между нарами освобождался проход, — и эти пять–шесть метров выхаживал, выхаживал чеканной походкой, с чеканным профилем, скрестив руки на груди и ясными молодыми глазами глядя мимо стен.

И именно потому, что мы все изумлялись происходящему с нами, а для него ничто из окру-

жающего не противоречило его ожиданиям, — он в камере был совершенно одинок.

Его поведение в тюрьме я соразмерил через год: снова я был в Бутырках и в одной из тех же 70–х камер встретил молодых однодельцев Ясевича уже с приговорами по десять и пятнадцать лет. На папиросной бумажке был отпечатан приговор всей их группе, почему–то у них на руках. Первый в списке был Ясевич, а приговор ему—расстрел. Так вот что он видел, предвидел сквозь стены непостаревшими глазами, выхаживая от стола к двери и обратно! Но безраскаянное сознание верности жизненного пути давало ему необыкновенную силу.

Среди эмигрантов оказался и мой ровесник Игорь Тронько. Мы с ним сдружились. Оба ослабелые, высохшие, жёлто–серая кожа на костях (почему, правда, мы так поддавались? я думаю, от душевной растерянности), оба худые, долговатые, колеблемые порывами летнего ветра в бутырских прогулочных дворах, мы ходили всё рядом осторожной поступью стариков и обсуждали параллели наших жизней. В один и тот же год мы родились с ним на юге России. Ещё сосали мы оба молоко, когда судьба полезла в свою затасканную сумку и вытянула мне короткую соломинку, а

ему долгую. И вот колобок его закатился за море, хотя «белогвардеец» его отец был такой: рядовой неимущий телеграфист.

Для меня было остро интересно через его жизнь представить всё моё поколение соотечественников, очутившихся там. Они росли при хорошем семейном надзоре, при очень скромных или даже скудных семейных достатках. Они были все прекрасно воспитаны и по возможности хорошо образованы. Они росли, не зная страха и подавления, хотя некоторый гнёт авторитета белых организаций был над ними, пока они не окрепли. Они выросли так, что пороки века, охватившие всю европейскую молодёжь (лёгкое отношение к жизни, бездумность, прожигание, высокая преступность), их не коснулись — это потому, что они росли как бы под сенью неизгладимого несчастья их семей. Во всех странах, где они росли, — только Россию они чли своей родиной. Духовное воспитание их шло на русской литературе, тем более любимой, что на ней и обрывалась их родина, что первичная физическая родина не стояла за ней. Современное печатное слово было доступно им гораздо шире и объёмнее, чем нам, но именно советские издания до них доходили мало, и этот изъян они чувствовали всего острее,

им казалось, что именно поэтому они не могут понять главного, самого высокого и прекрасного о Советской России, а то, что доходит до них, есть искажение, ложь, неполнота. Представления о нашей подлинной жизни у них были самые бледные, но тоска по родине такая, что если бы в 41–м году их кликнули — они бы все повалили в Красную армию, и слаще даже для того, чтобы умереть, чем выжить. В двадцать пять–двадцать семь лет эта молодёжь уже представила и твердо отстояла свою точку зрения. Так, группа Игоря была «непредрешенцы». Они декларировали, что, не разделив с родиной всей сложной тяжести прошедших десятилетий, никто не имеет права ничего решать о будущем России, ни даже что–либо предлагать, а только идти и силы свои отдать на то, что решит народ.

Много мы пролежали рядом на нарах. Я охватил, сколько мог, его мир, и эта встреча открыла мне (а потом другие встречи подтвердили) представление, что отток значительной части духовных сил, происшедший в Гражданскую войну, увёл от нас большую и важную ветвь русской культуры. И каждый, кто истинно любит её, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей — метрополии и зарубежья. Лишь тогда

она достигнет полноты, лишь тогда обнаружит способность к неущербному развитию.

Я мечтаю дожить до того дня.

* * *

Слаб человек, слаб. В конце концов и самые упрямые из нас хотели в ту весну прощения. Ходил такой анекдот: «Ваше последнее слово, обвиняемый!» — «Прошу послать меня куда угодно, лишь бы там была советская власть! И — солнце…»

Советской–то власти нам не грозило лишиться, грозило лишиться солнца… Никому не хотелось в крайнее Заполярье, на цынгу, на дистрофию. И особенно почему–то цвела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда–то там был, а особенно— кто там и не был, навевали сокамерникам певучие сны: что за страна Алтай! И сибирское раздолье, и мягкий климат. Пшеничные берега и медовые реки. Степь и горы. Стада овец, дичь, рыба. Многолюдные богатые деревни…

Арестантские мечты об Алтае — не продолжают ли старую крестьянскую мечту о нём же? На Алтае были так называемые земли Кабинета Его Величества, из–за этого он был долго закрытее для переселения, чем остальная Сибирь, — но

именно туда крестьяне более всего и стремились (и переселялись). Не оттуда ли такая устойчивая легенда?

Ах, спрятаться бы в эту тишину! Услышать чистое звонкое пение петуха в незамутнённом воздухе! Погладить добрую серьёзную морду лошади! И будьте вы прокляты, все великие проблемы, пусть колотится о вас кто–нибудь другой, поглупей. Отдохнуть там от следовательской матерщины и нудного разматывания всей твоей жизни, от грохота тюремных замков, от спёртой камерной духоты. Одна жизнь нам дана, одна маленькая, короткая! — а мы преступно суём её под чьи–то пулемёты или лезем с ней, непорочной, в грязную свалку политики. Там, на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой и тёмной избушке на краю деревни, подле леса. Не за хворостом и не за грибами—так бы просто вот пошёл в лес, обнял бы два ствола: милые мои! ничего мне не надо больше!..

И сама та весна призывала к милосердию: весна окончания такой огромной войны! Мы видели, что нас, арестантов, текут миллионы, что ещё большие миллионы встретят нас в лагерях. Не может же быть, чтобы стольких людей оставили в тюрьме после величайшей мировой победы!

Это просто для острастки нас сейчас держат, чтобы помнили лучше. Конечно будет великая амнистия, и всех нас распустят скоро. Кто–то клялся даже, что сам читал в газете, как Сталин, отвечая некоему американскому корреспонденту (а фамилия? — не помню…), сказал, что будет у нас после войны такая амнистия, какой не видел свет. А кому–то и следователь сам верно говорил, что будет скоро всеобщая амнистия. (Следствию были выгодны эти слухи, они ослабляли нашу волю: чёрт с ним, подпишем протоколы, всё равно не надолго.)

Но — на милость разум нужен.

Мы не слушали тех немногих трезвых из нас, кто каркал, что никогда за четверть столетия амнистии политическим не было — и никогда не будет. (Какой–нибудь камерный знаток из стукачей ещё выпрыгивал в ответ: «Да в 1927 году, к десятилетию Октября, все тюрьмы были пустые, на них белые флаги виселиі» Это потрясающее видение белых флагов на тюрьмах—почему

белых? — особенно поражало сердца[75].) Мы отмахивались от тех рассудительных из нас, кто разъяснял, что именно потому и сидим мы, миллионы, что кончилась война: на фронте мы более не нужны, в тылу опасны, а на далёких стройках без нас не ляжет ни один кирпич. (Нам не хватало самоотречения вникнуть если не в злобный, то хотя бы в простой хозяйственный расчёт Сталина: кто ж это теперь, демобилизовавшись, захотел бы бросить семью, дом и ехать на Колыму, на Воркуту, в Сибирь, где нет ещё ни дорог, ни домов? Это была уже почти задача Госплана: дать МВД контрольные цифры, сколько посадить.) Амнистии! великодушной и широкой амнистии ждали и жаждали мы! Вот, говорят, в Англии даже в годовщины коронаций, то есть каждый год, амнистируют!

Была амнистия многим политическим и в день трёхсотлетия Романовых. Так неужели же теперь,

---

[75] Примечания: 75

Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям» даёт (с. 396) такую цифру: в амнистию 1927 года было амнистировано 7,3% заключённых. Этому поверить можно. Жидковато для Десятилетия. Из политических освобождали женщин с детьми да тех, кому несколько месяцев осталось. В Верхнеуральском изоляторе, например, из двухсот содержавшихся освободили дюжину. Но на ходу раскаялись и в этой убогой амнистии и стали затирать её: кого задержали, кому вместо «чистого» освобождения дали «минус», то есть ограничения места жительства.

одержав победу масштаба века и даже больше, чем века, сталинское правительство будет так мелочно мстительно, будет памятливо на каждый оступ и оскольз каждого маленького своего подданного?..

Простая истина, но и её надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется ещё побед, после поражения хочется свободы — и обычно её добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно.

Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых, и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе[76].

Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не произо-

---

[76] Примечания: 76

Может быть только в XX веке, если верить рассказам, застоявшаяся их сытость привела к моральной изжоге.

шло на полстолетие раньше (французская же оккупация не была для России реальностью). А Крымская война принесла нам свободы.

В ту весну мы верили в амнистию — но вовсе не были в этом оригинальны. Поговорив со старыми арестантами, постепенно выясняешь: эта жажда милости и эта вера в милость никогда не покидает серых тюремных стен. Десятилетие за десятилетием разные потоки арестантов всегда ждали и всегда верили: то в амнистию, то в новый кодекс, то в общий пересмотр дел (и слухи всегда с умелой осторожностью поддерживались Органами). К сколько–нибудь кратной годовщине Октября, к ленинским годовщинам и к дням Победы, ко дню Красной армии или дню Парижской Коммуны, к каждой новой сессии ВЦИК, к закончанию каждой пятилетки, к каждому пленуму Верховного Суда — к чему только не приурочивало арестантское воображение это ожидаемое нисшествие ангела освобождения! И чем дичей были арестанты, чем го–меричнее, умоисступлённее широта арестантских потоков, — тем больше они рождали не трезвость, а веру в амнистию!

Все источники света можно в той или иной степени сравнивать с Солнцем. Солнце же не

сравнимо ни с чем. Так и все ожидания в мире можно сравнивать с ожиданием амнистии, но ожидание амнистии нельзя сравнить ни с чем.

Весной 1945 года каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего спрашивали: что он слышал об амнистии? А если двоих–троих брали из камеры с вещами, — камерные знатоки тотчас же сопоставляли их дела и умозаключали, что это — самые лёгкие, их, разумеется, взяли освобождать. Началось! В уборной и в бане, арестантских почтовых отделениях, — всюду наши активисты искали следов и записей об амнистии. И вдруг в знаменитом фиолетовом выходном вестибюле бутырской бани мы в начале июля прочли громадное пророчество мылом по фиолетовой поливанной плитке гораздо выше человеческой головы (становились, значит, друг другу на плечи, чтоб только дольше не стёрли):

«Ура!!! 17 июля амнистия!»[77]

Сколько ж у нас было ликования! («Ведь если б не знали точно — не написали бы!») Всё, что билось, пульсировало, переливалось в теле, — останавливалось от удара радости, что вот

---

[77] Примечания: 77

И ведь ошиблись–то, сукины дети, всего на палочку! Подробней о великой сталинской амнистии 7 июля 1945 года— см. Часть Третью, главу 6.

откроется дверь…

Но — на милость разум нужен…

В середине же июля одного старика из нашей камеры коридорный надзиратель послал мыть уборную и там с глазу на глаз (при свидетелях бы он не решился) спросил, сочувственно глядя на его седую голову: «По какой статье, отец?» — «По пятьдесят восьмой!» — обрадовался старик, по кому плакали дома три поколения. — «Не подпадаешь…» — вздохнул надзиратель. Ерунда! — решили в камере, — надзиратель просто неграмотный.

В той камере был молодой киевлянин Валентин (не помню фамилии) с большими, по–женски прекрасными глазами, очень напуганный следствием. Он был безусловно провидец, может быть в тогдашнем возбуждённом состоянии только. Не однажды он проходил утром по камере и показывал: сегодня тебя и тебя возьмут, я видел во сне. И их брали! Именно их! Впрочем, душа арестанта так склонна к мистике, что воспринимает провидение почти без удивления.

27–го июля Валентин подошёл ко мне: «Александр! Сегодня мы с тобой». И рассказал мне сон со всеми атрибутами тюремных снов: мостик через мутную речку, крест. Я стал собираться, и

не зря: после утреннего кипятка нас с ним вызвали. Камера провожала нас шумными добрыми пожеланиями, многие уверяли, что мы идём на волю (из сопоставления наших «лёгких дел» так получалось).

Ты можешь искренне не верить этому, не разрешать себе верить, ты можешь отбиваться насмешками, но пылающие клещи, горячее которых нет на земле, вдруг да обомнут, вдруг да обомнут твою душу: а если правда?..

Собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в баню (на каждом жизненном изломе арестант прежде всего должен пройти баню). Мы имели там время, часа полтора, предаться догадкам и размышлениям. Потом распаренных, принеженных — провели изумрудным садиком внутреннего бутырского двора, где оглушающе пели птицы (а скорее всего одни только воробьи), зелень же деревьев отвыкшему глазу казалась непереносимо яркой. Никогда мой глаз не воспринимал с такой силой зелени листьев, как в ту весну! И ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бутырский садик, переход по асфальтовым дорожкам которого никогда не занимал больше тридцати

секунд![78]

Привели в бутырский вокзал (место приёма и отправки арестантов; название очень меткое, к тому ж и главный вестибюль там похож на хороший вокзал), загнали в просторный большой бокс. В нём был полумрак и чистый свежий воздух: его единственное маленькое окошко располагалось высоко и без намордника. А выходило оно в тот же солнечный садик, и через открытую фрамугу нас оглушал птичий щебет, и в просвете фрамуги качалась ярко–зелёная веточка, обещавшая всем нам свободу и дом. (Вот! И в боксе таком хорошем ни разу не сидели! — не случайно!)

А все мы числились за ОСО![79] Итак выходило, что все сидели за безделку.

Три часа нас никто не трогал, никто не открывал двери. Мы ходили, ходили, ходили по боксу и, загонявшись, садились на плиточные скамьи. А веточка всё помахивала, всё помахивала за щелью, и осатанело перекликались воробьи.

---

[78] Примечания: 78

Ещё один подобный садик, только поменьше, но зато интимнее, я много лет спустя, уже экскурсантом, видел в Трубецком бастионе Петропавловки. Экскурсанты охали от мрачности коридоров и камер, я же подумал, что, имея такой прогулочный садик, узники Трубецкого бастиона не были потерянными людьми. Нас выводили гулять только в мёртвые каменные мешки.

[79] Примечания: 79

Особое Совещание при ГПУ–НКВД–МВД.

Вдруг загрохотала дверь, и одного из нас, тихого бухгалтера лет тридцати пяти, вызвали. Он вышел. Дверь заперлась. Мы ещё усиленнее забегали в нашем ящике, нас выжигало.

Опять грохот. Вызвали другого, а того впустили. Мы кинулись к нему. Но это был не он! Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы. Неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был контужен? Его хлопнули гладильной доской?

— Что? Что? — замирая спрашивали мы. (Если он ещё не с электрического стула, то смертный приговор ему во всяком случае объявлен.) Голосом, сообщающим о конце Вселенной, бухгалтер выдавил:

— Пять!! Лет!!!

И опять загрохотала дверь — так быстро возвращались, будто водили по лёгкой надобности в уборную. Этот вернулся, сияя. Очевидно, его освобождали.

— Ну? Ну? — столпились мы с вернувшейся надеждой. Он замахал рукой, давясь от смеха:

— Пятнадцать лет!

Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить.

Глава 7. В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

В соседнем боксе бутырского «вокзала» — известном шмональном боксе (там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял пяти–шести надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати зэков) теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. Терпеливая скука — вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрей.

Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. Справа и слева от чернильницы перед ним лежали две стопочки белых одинаковых бумажёнок в половину машинописного листа—того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях — доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашёл бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил её, прочёл равнодушной скороговоркой (я понял, что мне — восемь лет) и тотчас на обо-

роте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне сего числа.

Ни на пол–удара лишнего не стукнуло моё сердце — так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, перечувствовать этот момент — и никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной.

— Нет, я должен прочесть сам.

— Неужели я буду вас обманывать? — лениво возразил майор. — Ну, прочтите.

И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул её и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия:

Выписка

из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года[80] №…

Затем пунктиром всё это было подчёркнуто и пунктиром же вертикально разгорожено:

---

[80] Примечания: 80

Заседали в самый день амнистии, работа не терпит.

Слушали

Постановили

Об обвинении такого–то (имярек, год рождения, место рождения).

Копия верна.

Определить такому–то (имярек) за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации 8 (восемь) лет исправительно–трудовых лагерей.

Секретарь

И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора — не скажет ли он мне чего, не пояснит ли? Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул готовить следующего.

Чтоб хоть немного придать моменту значительность, я спросил его с трагизмом:

— Но ведь это ужасно! Восемь лет! За что?

И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво: ужасного не ощущал ни я, ни он.

— Вот тут, — ещё раз показал мне майор, где расписаться. Я расписался. Я просто не находил— что б ещё сделать?

— Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор несправедлив.

— В установленном порядке, — механически

подкивнул мне майор, кладя мою бумажёнку в левую стопку.

— Пройдите! — приказал мне надзиратель. И я прошёл.

(Я оказался не находчив. Георгий Тэнно, которому, правда, принесли бумажку на двадцать пять лет, ответил так: «Ведь это пожизненно! В былые годы, когда человека осуждали пожизненно, — били барабаны, созывали толпу. А тут как в ведомости за мыло — двадцать пять и откатывай!»

Арнольд Раппопорт взял ручку и вывел на обороте: «Категорически протестую против террористического незаконного приговора и требую немедленного освобождения». Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же — разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе: ведь это ж была копия.

А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять. Она засмеялась своим светящимся смехом и поспешила расписаться, чтоб не отняли. Офицер усомнился: «Да вы поняли, что я вам прочёл?» — «Да, да, большое спасибо! Пять лет исправительно–трудовых лагерей!»

Яношу Рожашу, венгру, его десятилетний срок

прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, долго потом ждал суда, ещё позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался.)

Я вернулся в бокс с улыбкой. Странно, с каждой минутой я становился всё веселей и облегчённей. Все возвращались с червонцами, и Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер (до сих пор он сидел невменяемый).

В брызгах солнца, в июльском ветерке всё так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживлённо болтали. Там и сям всё чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что всё гладко сошло; смеялись над потрясённым бухгалтером; смеялись над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер, заказывали условные передачи—четыре картошины! два бублика!

— Да амнистия будет! — утверждали некоторые. — Это так, для формы, пугают, чтоб крепче помнили. Сталин сказал одному американскому корреспонденту…

— А как корреспондента фамилия?

— Фамилию не знаю…

Тут нам велели взять вещи, построили по двое и опять повели через тот же дивный садик, на-

полненный летом. И куда же? Опять в баню!

Это привело нас уже к раскатистому хохоту — ну и головотяпы! Хохоча, мы разделись, повесили одёжки наши на те же крючки, и их закатили в ту же прожарку, куда уже закатывали сегодня утром. Хохоча, получили по пластинке гадкого мыла и прошли в просторную гулкую мыльню смывать девичьи гульбы. Тут мы оплескивались, лили, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если б это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма.

Вытираясь, Валентин говорил мне успокаивающе, уютно:

— Ну ничего, мы ещё молодые, ещё будем жить. Главное, не оступиться — теперь. В лагерь приедем — и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать — и молчать, молчать.

И так он верил в эту программу, так надеялся, невинное зёрнышко промеж сталинских жерновов! Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитое из головы.

Но я начинал ощущать в себе: если надо не

жить для того, чтобы жить, — то и зачем тогда?..

* * *

Нельзя сказать, чтоб ОСО придумали после революции. Ещё Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новикову пятнадцать лет, можно сказать — по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по–отечески нет–нет да и высылали неугодных им без суда. В 60–х годах XIX века прошла коренная судебная реформа. Как будто и у властителей, и у подданных стало вырабатываться что–то вроде юридического взгляда на общество. Тем не менее и в 70–х, и в 80–х годах Короленко прослеживает случаи административной расправы вместо судебного осуждения. Он и сам в 1876 году с ещё двумя студентами выслан без суда и следствия по распоряжению товарища министра государственных имуществ (типичный случай ОСО). Без суда же в другой раз он был сослан с братом в Глазов. Короленко называет нам Фёдора Богдана—ходока, дошедшего до самого царя и потом сосланного; Пьянкова, оправданного по суду, но сосланного по высочайшему повелению; ещё несколько человек.

Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная. И потом обезличка: кто же был

ОСО? То царь, то губернатор, то товарищ министра. И потом, простите, это не размах, если можно перечислять имена и случаи.

Размах начался с 20–х годов, когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие тройки. Вначале это с гордостью даже выпирали — Тройка ГПУ! Имён заседателей не только не скрывали — рекламировали! Кто на Соловках не знал знаменитой московской тройки — Глеб Бокий, Вуль и Васильев?! Да и верно, слово–то какое — тройкаХ Тут немножко и бубенчики под дугой, разгул масленицы, а впереплёт с тем и загадочность: почему — «тройка»? что это значит? Суд—тоже ведь не четвёрка! а тройка — не суд! А пущая загадочность в том, что — заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка: распишитесь. Тройка ещё страшней Ревтрибунала получилась. А затем она ещё обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате, и фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены тройки не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание и — навсегда, лишь приговоры нам — через машинисток. (И — с возвратом: такой документ нельзя на руках оставлять.)

Тройки эти (мы на всякий случай пишем во множественном числе, как о божестве не знаешь никогда, где оно существует) отвечали возникшей неотступной потребности: однажды арестованных на волю не выпускать (ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ: чтоб не было брака). И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, так вот через тройку пусть получит свои «минус тридцать два» (губернских города) или в ссылочку на два–три года, а уже смотришь—ушко и выстрижено, он уж навсегда помечен и теперь будет впредь «рецидивист».

(Да простит нас читатель: ведь мы опять сбились на этот правый оппортунизм — понятие «вины», виноват–не виноват. Ведь толковано ж нам, что дело не в личной вине, а в социальной опасности: можно и невиновного посадить, если социально–чуждый, можно и виноватого выпустить, если социально–близкий. Но простительно нам, без юридического образования, если сам Кодекс 1926 года, по которому, батюшке, мы двадцать пять лет жили, и тот критиковался за «недопустимый буржуазный подход», за «недостаточный классовый подход», за какое–то «буржуазное «отвешивание» наказания в меру

«тяжести содеянного»»[81].

Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого Органа. Все ли годы своего существования тройка ГПУ в своём заочном осуждении имела право давать также и расстрел (как известному князю–кадету Павлу Долгорукову в 1927, как Пальчинскому, фон Мекку и Величко в 1929). Применялись ли тройки только в случаях недостаточных доказательств, но явной социальной опасности личности? — или повольготнее того. И как затем в 1934 при печальном перена–зыве О ГПУ в НКВД стала тройка в белокаменной называться Особым Совещанием, а тройки в областях — спецколлегиями областных судов, то бишь из трёх своих постоянных членов без всяких народных заседателей и всегда закрыто. А с лета 1937 добавили в областях и автономных республиках ещё и другие тройки — из секретаря обкома, начальника областного НКВД и областного прокурора. (А над этими новыми тройками в Москве возвышалась просто Двойка из народного комиссара внутренних дел и генерального прокурора СССР — согласитесь, неудобно же было звать Иосифа Виссарионовича заседать третьим?) Но

[81] Примечания: 81
От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 38.

с конца 1938 года как–то незаметно растаяли и эти тройки и эта Двойка (да ведь и Николай Ежов сковырнулся) — но тем более утвердилось родимое наше ОСО, перенимая себе права заочного и бессудного взыскания — сперва до 10 лет, а затем и выше, а затем и до расстрела. И проблагоденствовало родимое ОСО до самого 1953 года, когда оступился и наш Берия, благодетель.

19 лет оно просуществовало, а спроси: кто ж из наших крупных гордых деятелей туда входил; как часто и как долго оно заседало; с чаем ли, без чая и что к чаю; и как само это обсуждение шло — разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем — потому что не знаем. Мы наслышаны только, что сущность ОСО оставалась триединой, и хотя сейчас недоступно назвать усердных его заседателей, а известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов: один — от ЦК, один — от МВД, один — от прокуратуры. Однако не будет чудом, если когда–нибудь мы узнаем, что не было никаких заседаний, а был штат опытных машинисток, составляющих выписки из несуществующих протоколов, и один управделами, руководивший машинистками. Вот машинистки — это точно были, за это ручаемся!

Нигде не упомянутое, ни в Конституции, ни в Кодексе, ОСО, однако, оказалось самой удобной котлетной машинкой— неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО — само по себе и легко крутилось без всех его двухсот пяти статей, не пользуясь ими и не упоминая их.

Как шутят в лагере: на нет и суда нет, а есть Особое Совещание.

Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком–то входном коде, но для этого оно само себе и выработало литерные статьи, очень облегчавшие оперирование (не надо голову ломать, подгонять к формулировкам Кодекса), а по числу своему доступные памяти ребёнка (часть из них мы уже упоминали):

— АСА — Антисоветская Агитация; —НПГГ — Нелегальный Переход Государственной Границы;

— КРД — Контрреволюционная Деятельность;

— КРТД — Контрреволюционная Троцкистская Деятельность (эта буквочка «т» очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере);

— ПШ — Подозрение в Шпионаже (шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в Трибунал);

— СВПШ — Связи, Ведущие (!) к Подозрению в Шпионаже;

— КРМ — Контрреволюционное Мышление;

— ВАС — Вынашивание Антисоветских настроений;

— СОЭ — Социально–Опасный Элемент;

— СВЭ — Социально–Вредный Элемент;

— ПД — Преступная Деятельность (её охотно давали

бывшим лагерникам, если ни к чему больше

придраться было нельзя);

и, наконец, очень ёмкая

— ЧС — Член Семьи (осуждённого по одной из предыдущих литер).

Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам, а, подобно статьям Кодекса и пунктам Указов, наступали внезапными эпидемиями.

И ещё оговоримся: ОСО вовсе не претендовало дать человеку приговор — оно не давало приговора! — оно накладывало административное взыскание, вот и всё. Естественно ж было ему иметь и юридическую свободу!

Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до двадцати пяти лет, до расстрела и включать в себя:

— лишение званий и наград;
— конфискацию всего имущества;
— закрытое тюремное заключение;
— лишение права переписки, —

и человек исчезал с лица земли ещё надёжнее, чем по примитивному судебному приговору.

Ещё важным преимуществом ОСО было то, что его постановления нельзя было обжаловать — некуда было жаловаться: не было никакой инстанции ни выше его, ни ниже его. Подчинялось оно только министру внутренних дел, Сталину и Сатане.

Большим достоинством ОСО была и быстрота: её лимитировала лишь техника машинописи.

Наконец, ОСО не только не нуждалось видеть обвиняемого в глаза (тем разгружая межтюремный транспорт), но даже не требовало и фотографии его. В период большой загрузки тюрем тут было ещё то удобство, что заключённый, окончив следствие, мог не занимать собою места на тюремном полу, не есть дарового хлеба, а сразу — быть направляем в лагерь и честно там трудиться. Прочесть же копию выписки он мог и гораздо позже.

В льготных случаях бывало так, что заключённых выгружали из вагонов на станции

назначения; тут же, близ полотна, ставили на колени (это — от побега, но получалось — для молитвы ОСО) и тотчас же прочитывали им приговоры. Бывало иначе: приходящие в Переборы в 1938 году этапы не знали ни своих статей, ни сроков, но встречавший их писарь уже знал и тут же находил в списке: СВЭ — 5 лет.

А другие и в лагере по многу месяцев работали, не зная приговоров. После этого (рассказывает И. Добряк) их торжественно построили—да не когда–нибудь, а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели, — и объявили приговоры тройки по Сталинской области: от десяти до двадцати лет каждому. А мой лагерный бригадир Синебрюхов в том же

1938 с целым эшелоном неосуждённых отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали. Вдруг зимою, в выходной день (замечаете, в какие дни–то? выгода ОСО в чём?) в трескучий мороз их выгнали во двор, построили, вышел приезжий лейтенант и представился, что прислан объявить им постановления ОСО. Но парень он оказался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце в морозных столбах и сказал так:

— А впрочем, ребята, чего вам тут мёрзнуть?

Знайте: всем вам дало ОСО по десять лет, это редко–редко кому по восемь. Понятно? Р–разой–дись!..

* * *

Но при такой откровенной машинности Особого Совещания — зачем ещё суды? Зачем конка, когда есть бесшумный современный трамвай, из которого не выпрыгнешь? Кормление судейских?

А просто неприлично государству совсем не иметь судов. В 1919 году VIII съезд партии записал в программе: стремиться, чтобы всё трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей. «Всё поголовно» привлечь не удалось, судейское дело тонкое, но и не без суда же вовсе!

Впрочем, наши политические суды—спецколлегии областных судов, военные трибуналы округов, ну и все Верховные— дружно тянутся за ОСО, они тоже не погрязли в гласном судопроизводстве и прениях сторон.

Первая и главная их черта — закрытость. Они прежде всего закрыты — для своего удобства.

И мы так уже привыкли к тому, что миллионы и миллионы людей осуждены в закрытых засе-

даниях, мы настолько сжились с этим, что иной замороченный сын, брат или племянник осуждённого ещё и фыркает тебе с убеждённостью: «А как же ты хотел? Значит, касается дело… Враги узнают! Нельзя…»

Так, боясь, что «враги узнают», и заколачиваем мы свою голову между собственных колен. Кто теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей, помнит, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника? Что Желябова и всех народовольцев судили гласно, совсем не боясь, «что турки узнают»? Что Веру Засулич, стрелявшую, если переводить на наши термины, в начальника столичного управления МВД (и ранившую его только что не смертельно, не так попала, а калибр пули был медвежий) — не только не уничтожили в застенках, не только не судили закрыто, но в открытом суде её оправдали присяжные заседатели (не тройка) — и она с уличным триумфом уехала в карете?

Этими сравнениями я не хочу сказать, что в России когда–то был совершенный суд. Вероятно, достойный суд есть самый поздний плод самого зрелого общества, либо уж надо иметь царя Соломона. Владимир Даль отмечает, что в дореформенной России «не было ни одной пословицы

в похвалу судам»! Это что–нибудь значит. Да и в похвалу земским начальникам тоже ни одной пословицы сложить не успели. Но судебная реформа 1864 года всё же ставила хоть городскую часть нашего общества на путь, ведущий к английским образцам.

Говоря всё это, я не забываю и высказанного Достоевским против наших судов присяжных («Дневник писателя»): о злоупотреблении адвокатским красноречием («Господа присяжные! да какая б это была женщина, если б она не зарезала соперницы?.. Господа присяжные! да кто б из вас не выбросил ребёнка из окна?..»), о том, что у присяжных минутный импульс может перевесить гражданскую ответственность[82]. Но Достоевский опасся не того, чего надо было опасаться! Он считал гласный суд уже достигнутым навсегда!.. (Да кто из его современников мог поверить в ОСО?..) В другом месте пишет и он: «лучше ошибиться в милосердии, чем в казни». О да, да!

Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящегося суда, но и шире — ставшей уже демократии (ставшей, но и успевшей

[82] Примечания: 82

Мы это видим порой на современном Западе и не можем восхититься. Именно этого опасался Достоевский, душою уйдя далеко вперёд от нашей тогдашней жизни.

утерять свои нравственные цели). Та же Англия даёт нам примеры, как для перевеса своей партии лидер оппозиции не стесняется приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле.

Злоупотребление красноречием — это худо. Но какое ж слово тогда применим для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где всё нужное в защиту обвиняемого выскажет прокурор. Это сколько ж нам веков ещё ждать? Наш общественный опыт пока неизмеримо обогатил нас такими адвокатами, которые обвиняют подсудимого («как честный советский человек, как истинный патриот, я не могу не испытывать отвращения при разборе этих злодеяний...»).

А как хорошо в закрытом заседании! Мантия не нужна, можно и рукава засучить. Как легко работать! — ни микрофонов, ни корреспондентов, ни публики. (Нет, отчего, публика бывает, но: следователи. Например, в Леноблсуд они приходили днём послушать, как ведут себя их питомцы, а ночью потом навещали в тюрьме тех, кого надо было усовестить[83].)

---

[83] Примечания: 83
Группа Ч–на.

Вторая главная черта наших политических судов—определённость в работе. То есть предрешённость приговоров.

Всё тот же сборник «От тюрем…» навязывает нам материал: что предрешённость приговоров—дело давнее, что и в 1924–29 годах приговоры судов регулировались едиными административно–экономическими соображениями. Что начиная с 1924 года из–за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправтрудработам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры (речь, конечно, о бытовиках). От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками (до 6 месяцев) и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 1929 Наркомюст СССР циркуляром № 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6.11.1929 (в канун двенадцатой годовщины Октября и вступая в строительство социализма) постановлением ЦИК и СНК было уже просто запрещено давать срок менее одного года!

Судья заранее знает — или по твоему делу конкретно, или в виде общей инструкции, — какой приговор желателен. (Да ведь и телефон обычно есть в судейской комнате!) Даже, по образцу ОСО,

бывают и приговоры все заранее отпечатаны на машинке, и только фамилии потом вносятся от руки. И если какой–нибудь Страхович вскричит в судебном заседании: «Да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было от роду десять лет!» — так председателю (Трибунал ЛВО, 1942) только гаркнуть: «Не клевещите на советскую разведку!» Уже всё давно решено: всей группе Игнатовского вкруговую — расстрел. И только примешался в группу какой–то Любов: из группы никто его не знает, и он никого не знает. Ну, так Любову — десять лет, ладно.

Предрешённость приговоров—насколько ж она облегчает тернистую жизнь судьи! Тут не столько даже облегчение ума — думать не надо, сколько облегчение моральное: ты не терзаешься, что вот ошибёшься в приговоре и осиротишь собственных своих детишек. И даже такого заядлого судью–убийцу, как Ульриха, — какой крупный расстрел не его ртом произнесен? — предрешённость располагает к добродушию. Вот в 1945 Военная Коллегия разбирает дело «эстонских сепаратистов». Председательствует низенький, плотненький добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключёнными (ведь это человечность и

есть! новая черта, где это видано?). Узнав, что Сузи — адвокат, он ему с улыбкой: «Вот и пригодилась вам ваша профессия!» Ну, что в самом деле им делить? зачем озлобляться? Суд идёт по приятному распорядку: прямо тут за судейским столом и курят, в приятное время — хороший обеденный перерыв. А к вечеру подошло — надо идти совещаться. Да кто ж совещается ночью? Заключённых оставили сидеть всю ночь за столами, а сами поехали по домам. Утром пришли свеженькие, выбритые, в девять утра: «Встать, суд идёт!» — и всем по червонцу.

Ну и наконец, третья черта наших судов — это диалектика (а раньше грубо называлось: «дышло, куда повернёшь, туда и вышло»). Кодекс не должен быть застывшим камнем на пути судьи. Статьям Кодекса уже десять, пятнадцать, двадцать лет быстротекущей жизни, и, как говорил Фауст:

Весь мир меняется, несётся всё вперёд, А я нарушить слова не посмею?

Все статьи обросли истолкованиями, указаниями, инструкциями. Если деяние обвиняемого не охватывается Кодексом, так можно осуждать ещё:

— по аналогии (какие возможности!);

— просто за происхождение (7–35, принадлежность к социально–опасной среде);

— за связь с опасными лицами[84] (вот где широта! какое лицо опасно и в чём связь — это лишь судье видно).

Только не надо придираться к чёткости издаваемых законов. Вот 13 января 1950 вышел Указ о возврате смертной казни (надо думать, из подвалов Берии она и не уходила). Написано: можно казнить подрывников–диверсантов. Что это значит? Не сказано. Иосиф Виссарионович любит так: недосказать, намекнуть. Здесь только ли о том, кто головой шашкой подрывает рельсы? Не написано. «Диверсант» мы знаем давно: кто выпустил недоброкачественную продукцию —тот и диверсант. А кто такой «подрывник»? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца—разве она не подорвала величия нашей родины?..

Да не судья судит — судья только зарплату получает, судит инструкция! Инструкция 37–го года: десять–двадцать–расстрел. Инструкция

---

[84] Примечания: 84

Этого мы не знали. Это нам газета «Известия» рассказала [П. Ромашкин. Некоторые вопросы уголовного законодательства // Известия, 27 июля 1957, с. 2).

43–го: двадцать каторги–повешение. Инструкция 45–го: всем вкруговую по десять плюс пять лишения прав (рабочая сила на три пятилетки)[85]. Инструкция 49–го: всем по двадцать пять вкруговую. (И так настоящий шпион — Шульц, Берлин, 1948 — мог получить 10 лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вашкау — 25. Потому что—волна, 1949 год.)

Машина штампует. Однажды арестованный лишён всех прав уже при обрезании пуговиц на пороге ГБ и не может избежать срока. И юридические работники так привыкли к этому, что оскандалились в 1958 году: напечатали в газетах проект новых «Основ уголовного производства СССР» и в нём забыли дать пункт о возможном содержании оправдательного приговора! Правительственная газета («Известия», 10 сентября 1958) мягко выговорила: Может создаться впечатление, что наши суды выносят только обвинительные приговоры».

А стать на сторону юристов: почему, собственно, суд должен иметь два исхода, если всеобщие выборы производятся из одного кандидата?

---

[85] Примечания: 85

Как Бабаев им крикнул, правда бытовик: «Да намордника мне хоть триста лет вешайте! И до смерти за вас руки не подыму, благодетели!» (Здесь «намордник»— лишение политических прав.)

Да оправдательный приговор — это же экономическая бессмыслица! Ведь это значит, что и осведомители, и оперативники, и следствие, и прокуратура, и внутренняя охрана тюрьмы, и конвой — все проработали вхолостую!

Вот одно простое и типичное трибунальское дело. В 1941 году в наших бездействующих войсках, стоявших в Монголии, оперчекистские отделы должны были проявить активность и бдительность. Военфельдшер Лозовский, имевший повод приревновать какую–то женщину к лейтенанту Павлу Чульпенёву, это сообразил. Он задал Чульпенёву, с глазу на глаз, три вопроса: 1. Как ты думаешь—почему мы отступаем перед немцами? (Чульпенёв: техники у него больше, да и отмобилизовался раньше. Лозовский: нет, это манёвр, мы его заманиваем.) 2. Ты веришь в помощь союзников? (Чульпенёв: верю, что помогут, но не бескорыстно. Лозовский: обманут, не помогут ничуть.) 3. Почему Северо–Западным фронтом послан командовать Ворошилов?

Чульпенёв ответил и забыл. А Лозовский написал донос. Чульпенёв вызван в политотдел дивизии и исключён из комсомола: за пораженческие настроения, за восхваление немецкой техники, за умаление стратегии нашего коман-

дования. Больше всего при этом ораторствует комсорг Калягин (он на Халхин–Голе при Чульпенёве проявил себя трусом, и теперь ему удобно навсегда убрать свидетеля).

Арест. Единственная очная ставка с Лозовским. Их прежний разговор и не обсуждается следователем. Вопрос только: знаете ли вы этого человека? — Да. — Свидетель, можете идти. (Следователь боится, что обвинение развалится.)[86]

Подавленный месячным сидением в яме, Чульпенёв предстаёт перед трибуналом 36–й мотодивизии. Присутствуют: комиссар дивизии Лебедев, начальник политотдела Слесарев. Свидетель Лозовский на суд даже не вызван. (Однако для оформления ложных показаний уже после суда возьмут подпись и с Лозовского, и с комиссара Серёгина.) Вопросы суда: был у вас разговор с Лозовским? о чём он вас спрашивал? как вы ответили? Чульпенёв простодушно докладывает, он всё ещё не видит своей вины. «Но ведь многие ж разговаривают!» — наивно восклицает он. Суд отзывчив: «Кто именно? Назовите». Но Чульпенёв не из их породы! Ему дают последнее слово. «Прошу суд ещё раз проверить мой патриотизм,

[86] Примечания: 86

Лозовский теперь кандидат медицинских наук, живёт в Москве, у него всё благополучно. Чульпенёв — водитель троллейбуса.

дать мне задание, связанное со смертью!» И, простосердечный богатырь: «мне — и тому, кто меня оклеветал, нам вместе!»

Э, нет, эти рыцарские замашки мы имеем задание в народе убивать. Лозовский должен выдавать порошки, Серёгин должен воспитывать бойцов[87]. И разве важно — умрёшь ты или не умрёшь? Важно, что мы стояли на страже. Вышли, покурили, вернулись: десять лет и три лишения прав.

Таких дел в каждой дивизии за войну было не десять (иначе дороговато было бы содержать трибунал). А сколько всего дивизий — пусть посчитает читатель.

…Удручающе похожи друг на друга заседания трибуналов. Удручающе безлики и бесчувственны судьи — резиновые перчатки. Приговоры — все с конвейера.

Все держат серьёзный вид, но все понимают, что это — балаган, и яснее всего это — конвойным ребятам, попроще. На Новосибирской пересылке в 1945 конвой принимает арестантов перекличкой по делам. «Такой–то!» — «58–1–а, двадцать пять лет». Начальник конвоя заинтересовался:

---

[87] Примечания: 87

Серёгин Виктор Андреевич сейчас в Москве, работает в комбинате бытового обслуживания при Моссовете. Живёт хорошо.

«За что дали?» — «Да ни за что». — «Врёшь. Ни за что — десять дают!»

Когда трибунал торопится, «совещание» занимает одну минуту — выйти и войти. Когда рабочий день трибунала по 16 часов подряд—в дверь совещательной комнаты видна белая скатерть, накрытый стол, вазы с фруктами. Если не очень спешат — приговор любят читать «с психологией»: «…приговорить к высшей мере наказания!..» Пауза. Судья смотрит осуждённому в глаза, это интересно: как он переживает? что он там сейчас чувствует? «…Но, учитывая чистосердечное раскаяние…»

Все стены трибунальской ожидальни исцарапаны гвоздями и карандашами: «получил расстрел», «получил четвертную», «получил десятку». Надписей не стирают: это назидательно. Бойся, клонись и не думай, что ты можешь что–нибудь изменить своим поведением. Хоть демосфенову речь произнеси в своё оправдание в пустом зале при кучке следователей (Ольга Слиозберг на ВерхСуде, 1938) — это нисколько тебе не поможет. Вот поднять с десятки на расстрел — это ты можешь; вот если крикнешь им: «Вы — фашисты! Я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии!» (Николай Семёнович

Доскаль — спецколлегии Азово–Черноморского края, председатель Хелик, Майкоп, 1937) — тогда мотанут новое дело, тогда погубят.

Чавдаров рассказывает случай, когда на суде обвиняемые вдруг отказались от всех своих ложных признаний на следствии. Что ж? Если и была заминка для перегляда, то только несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя зачем. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники–молотобойцы. Всех подсудимых, разведенных по боксам, снова хорошо избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв окончился. Судья заново всех опросил — и все теперь признали.

Выдающуюся ловкость проявил Александр Григорьевич Каретников, директор научно–исследовательского Текстильного института. Перед самым тем, как должно было открыться заседание Военной Коллегии Верховного Суда (а почему для гражданских, невоеннообязанных, — всё Трибунал да Военная Коллегия? этому мы уже и удивляться перестали, не спрашиваем), — он заявил через охрану, что хочет дать дополнительные показания. Это, конечно, заинтересовало. Его принял прокурор. Каретников обнажил ему свою гниющую ключицу, перебитую табуреткой следо-

вателя, и заявил: «Я всё подписал под пытками». Уж прокурор проклинал себя за жадность к «дополнительным» показаниям, но поздно. Каждый из них бестрепетен, лишь пока он — незамечаемая часть общей действующей машины. Но как только на нём сосредоточилась личная ответственность, луч света упёрся прямо в него — он бледнеет, он понимает, что и он — ничто, и он может поскользнуться на любой корке. Так Каретников поймал прокурора, и тот не решился притушить дело. Началось заседание Военной Коллегии, Каретников повторил всё и там… Вот когда Военная Коллегия ушла действительно совещаться! Но приговор она могла вынести только оправдательный и, значит, тут же освободить Каретникова. И поэтому… не вынесла никакогоV.

Как ни в чём не бывало взяли Каретникова опять в тюрьму, подлечили его, подержали три месяца. Пришёл новый следователь, очень вежливый, выписал новый ордер на арест (если б Коллегия не кривила, хоть эти три месяца Каретников мог бы погулять на воле!), задал снова вопросы первого следователя. Каретников, предчувствуя свободу, держался стойко и ни в чём не признавал себя виноватым. И что же?.. По ОСО он получил 8 лет.

Этот пример достаточно показывает возможности арестанта и возможности ОСО. А Державин так писал:

Пристрастный суд разбоя злее, Судьи враги, где спит закон: Пред вами гражданина шея Протянута без оборон.

Но редко у Военной Коллегии Верховного Суда случались такие неприятности, да и вообще редко она протирала свои мутные глаза, чтобы взглянуть на отдельного оловянного аре–стантика. А.Д. Романов, инженер–электрик, в 1937 был втащен наверх, на четвёртый этаж, бегом по лестнице двумя конвоирами под руки (лифт, вероятно, работал, но арестанты сыпали так часто, что тогда и сотрудникам бы не подняться). Разминуясь со встречным, уже осуждённым, вбежали в зал. Военная Коллегия так торопилась, что даже не сидели, а стояли все трое. С трудом отдышавшись (ведь обессилел от долгого следствия), Романов вымолвил свою фамилию, имя–отчество. Что–то бормотнули, переглянулись, и Ульрих — всё он же! — объявил: «Двадцать лет!» И прочь бегом поволокли Романова, бегом втащили следующего.

Случилось, как во сне: в феврале 1963 по той же самой лестнице (нарочно отказался от лифта, чтобы рассмотреть лестницу), но в вежливом

сопровождении полковника–парторга, пришлось подняться и мне. Ото всего Архипелага — мне единственному, судьба! И в зале с круглою колоннадой, где, говорят, заседает пленум Верховного Суда Союза, с огромным подковообразным столом и внутри него ещё с круглым и семью старинными стульями, меня слушали семьдесят сотрудников Военной Коллегии — вот той самой, которая судила когда–то Каретникова и Романова и других, и прочее, и так далее… И я сказал им: «Что за знаменательный день! Будучи осуждён сперва на лагерь, потом на вечную ссылку — я никогда в глаза не видел ни одного судьи. И вот теперь я вижу вас всех, собранных вместе!» (И они–то видели живого зэка, протёртыми глазами, — впервые.)

Но, оказывается, это были — не они! Да. Теперь говорили они, что —это были не они. Уверяли меня, что тех—уже нет. Некоторые ушли на почётную пенсию, кого–то сняли.

(Ульрих, выдающийся из палачей, был снят, оказывается, ещё при Сталине, в 1950 году за… бесхребетность!) Кое–кого (наперечёт нескольких) даже судили при Хрущёве, и те со скамьи подсудимых угрожали: «Сегодня ты нас судишь, а завтра мы тебя, смотри!» Но, как все начинания

Хрущёва, это движение, сперва очень энергичное, было им вскоре забыто, покинуто и не дошло до черты необратимого изменения, а значит, осталось в области прежней.

В несколько голосов ветераны юриспруденции теперь вспоминали, подбрасывая мне невольно материал для этой главы. (А если б они взялись вспомнить да опубликовать? Но годы идут, вот ещё пять прошло, а светлее не стало[88].) Вспомнили, как на судебных совещаниях с трибуны судьи гордились тем, что удалось не применять статью 51–ю УК о смягчающих обстоятельствах и таким образом удалось давать двадцать пять вместо десятки! Или как были униженно суды подчинены Органам. Некоему судье поступило на суд дело: гражданин, вернувшийся из Соединённых Штатов, клеветнически утверждал, что там хорошие автомобильные дороги. И больше ничего. И в деле — больше ничего! Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения «полноценного антисоветского материала» — то есть чтобы заключённого этого попытали и побили. Но эту благую цель судьи не учли, отвечено было с гневом: «Вы что, нашим

[88] Примечания: 88

А ещё десять прошло — и снова какая ж хмарь непроглядная! [Примеч. 1978 г)

Органам не доверяете?» — и судья был… сослан секретарём трибунала на Сахалин! (При Хрущёве было мягче: «провинившихся» судей посылали… ну, куда б вы думали?., адвокатами![89]) Так же склонялась перед Органами и прокуратура. Когда в 1942 году вопиюще разгласилось злоупотребление Рюмина в североморской контрразведке, прокуратура не посмела вмешаться своею властью, а лишь почтительно доложила Абакумову, что его мальчики шалят. Было отчего Абакумову считать Органы солью земли! (Тогда–то, вызвав Рюмина, он его и возвысил, на свою погибель.)

Просто времени не было, они бы мне рассказали и вдесятеро. Но задумаешься и над этим. Если и суд и прокуратура были только пешками министра госбезопасности — так может и отдельною главою их не надо описывать?

Они рассказывали мне наперебой, я оглядывался и удивлялся: да это люди! вполне люди! Вот они улыбаются! Вот они искренно изъясняют, как хотели только хорошего. Ну а если так повернётся ещё, что опять придётся им меня судить? — вот в этом зале (мне показывают главный зал).

---

[89] Примечания: 89

А Бойков. Право защищать // Известия, 9 июня 1964, с. 3. — Тут интересен взгляд на судебную защиту!.. А в 1918 судей, выносящих слишком мягкие приговоры, В.И. Ленин требовал исключать из партии

Так что ж, и осудят.

Кто ж у истока — курица или яйцо? люди или система?

Несколько веков была у нас пословица: не бойся закона— бойся судьи.

Но, мне кажется, Закон перешагнул уже через людей, люди отстали в жестокости. И пора эту пословицу вывернуть: не бойся судьи — бойся закона.

Абакумове кого конечно.

Вот они выходят на трибуну, обсуждая «Ивана Денисовича». Вот они обрадованно говорят, что книга эта облегчила их совесть (так и говорят…). Признают, что я дал картину ещё очень смягчённую, что каждый из них знает более тяжёлые лагеря. (Так — ведали?..) Из семидесяти человек, сидящих по подкове, несколько выступающих оказываются сведущими в литературе, даже читателями «Нового мира», они жаждут реформ, живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни…

Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба — что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?

А—обрушится, ведь не миновать.

Глава 8. ЗАКОН–РЕБЁНОК

Мы — всё забываем. Мы помним не быль, не историю — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением.

Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа—да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а — обидное. Оно отдаёт нас добычею лжецам.

Так, если не надо, чтоб мы помнили даже гласные судебные процессы, — то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу — и мы не помним. (Ямка в мозгу лишь от того, что каждый день по радио.) Не о молодёжи говорю, она конечно не знает, но — о современниках тех процессов. Попросите среднего человека перечислить, какие были громкие гласные суды, — вспомнит бухаринский, зиновьевский. Ещё, поднаморщась, — Промпартию. Всё, больше не было гласных процессов.

Что ж сказать тогда о негласных?.. Уже в 1918 сколько барабанило трибуналов! — когда не было ещё ни законов, ни кодексов и сверяться могли судьи только с нуждами рабоче–крестьянской

власти. Их подробная история ещё когда–нибудь кем–нибудь напишется ли?

Однако без малого обзора нам не обойтись. Какие–то обугленные развалины мы всё ж обязаны расщупать и в том утреннем розовом нежном тумане.

В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны, но и не пристывали к кобурам револьверы кары. Это позже придумали прятать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 1918 известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днём, во дворе, и так, что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон.

Был официальный термин тогда: внесудебная расправа. Не потому, что не было ещё судов, а потому, что была ЧК.

Этого птенца с твердеющим клювом отогревал своим дыханием Троцкий: «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть ханжой, чтобы этого не понимать». И Зиновьев ликовал, ещё не предвидя своего конца: «Буквы ГПУ, как и буквы ВЧК, самые популярные в мировом масштабе».

Внесудебная, потому что так эффективнее. Суды были, и судили, и казнили, но надо помнить, что

параллельно им и независимо от них шла сама собой внесудебная расправа. Как представить размеры её? М. Лацис в своём популярном обзоре деятельности ЧК даёт нам цифры[90] только за полтора года (1918 и половина 1919) и только по двадцати губерниям Центральной России («цифры, представленные здесь, далеко не полны», отчасти, может быть, и по чекистской скромности). Вот они: расстрелянных ЧК (то есть бессудно, помимо судов) — 8 389 человек (восемь тысяч триста восемьдесят девять), раскрыто контрреволюционных организаций — 412 (фантастическая цифра, зная всегдашнюю неспособность нашу к организации, да ещё общую разрозненность и упадок духа тех лет), всего арестовано — 87 ООО. (А эта цифра отдаёт преуменьшением.)

С чем можно было бы сопоставить для оценки? В 1907 группа общественных деятелей издала сборник статей «Против смертной казни» (под ред. Гернета), где приводится поимённый перечень всех приговорённых к казни с 1826 по 1906. Составители оговариваются, что этот список неполон (однако не ущербнее же данных Лациса, составленных в Гражданскую войну). Он

---

[90] Примечания: 90

МИ.Лацис. Два года борьбы на внутреннем фронте, с. 74–76.

насчитывает 1397 имён, отсюда должны быть исключены 233 человека, которым приговор был заменён, и 270 человек не разысканных (в основном— польских повстанцев, бежавших на Запад). Остаётся 894 человека. Эта цифра за 80 лет оказывается в 255 раз жиже чекистской! — а чекистская ещё дана меньше, чем по половине губерний (обильные расстрелы на Северном Кавказе, Нижней Волге сюда не вошли). Правда, составители сборника тут же приводят и другую, предположительную (и скорей всего натянутую в желаемом направлении) статистику, по которой приговорено к смерти (может быть, и не казнено, ведь было много помилований) за один лишь 1906 год— 1310 человек. Это — как раз разгар пресловутой столыпинской реакции (в ответ на разлив революционного террора), и о нём есть ещё цифра: 950 казней за 6 месяцев[91]. (Всего 6 месяцев они и действовали, столыпинские военно–полевые суды.) Жутко звучит, но для укрепившихся наших нервов не вытягивает и она: чекистскую–то цифирку на полгода пересчитав, всё равно получим втрое гуще — да это

[91] Примечания: 91

Н.И. Фалеев. Шесть месяцев военно–полевой юстиции // Былое: Журнал, посвященный истории освободительного движения. Пб., 1907, № 2 (14), с. 80

ещё по 20 губерниям, да это ещё — без судов, без трибуналов. А—суды?

А как же! В месяц после Октябрьской революции были созданы и суды—во–первых, народные суды, свободно избираемые рабочими и крестьянами, —но чтоб судьи обязательно имели «политический опыт в пролетарских организациях партии» и после «предварительной тщательной проверки соответствия кандидатов своему назначению» исполкомами райсоветов, кеми и отозваны могут быть в любое время. (Декрет о Суде № 1, 24 ноября 1917, ст. 12 и 13.) А коль скоро так — то и стали народных судей не выбирать всенародно, а просто назначать исполкомами Советов, — что одно и то же, поскольку Советы, как известно, и выражают интересы трудящихся масс.

Во–вторых, и даже опять во–первых, тем же декретом 24 ноября 1917 были учреждены рабочие и крестьянские Революционные Трибуналы, начиная от волостных и уездных. Эти задуманы были как орган пролетарской диктатуры, и как–то само так получилось, что Революционные Трибуналы мгновенно и возникли повсюду, а народные суды ещё потом многие месяцы не появлялись, особенно в глухих углах. Итак, Рево-

люционные Трибуналы взяли на себя все дела, включая уголовные.

Но успокоим, что не так была велика и разница между народными судами и трибуналами: когда позже, в 1919, появятся начала уголовного права РСФСР, там характеристика тех и других судов почти совпадёт: и для тех и для других нет никаких пределов применяемых наказаний, и те и другие должны иметь безусловно свободные руки: закон не устанавливает никаких карательных санкций, и за судами полная свобода в выборе репрессий, неограниченное право в применении их (если лишение свободы, то можно — на неопределённый срок, то есть до особого распоряжения). Народный суд, точно так же, как и Ревтрибунал, руководствуется лишь революционным правосознанием и революционной совестью. Приговоры как тех, так и других судов — окончательные и не подлежат никакому обжалованию ни в какой инстанции. Народные суды, как и Революционные Трибуналы, не связаны в своей деятельности никакими формальными условиями, единственным мерилом оценки является степень того вреда, который принесен действиями подсудимого интересам революционной борьбы, приговор определяется целесообразностью в интересах

обороны и трудового строительства. (Поначалу Ревтрибуналы имели даже заседателей, назначаемых местными советами, но затем обрели свою более чёткую форму постоянной тройки, но так, чтоб один член тройки выделялся местной коллегией губчека — и так осуществлялась бы на всех этажах живая спайка между Ревтрибуналами и ЧК.)

4 мая 1918 был декрет о создании Верховного Революционного Трибунала при ВЦИК — и тогда полагали, что это — завершение трибуналостроительства. Но, о, как ещё было до этого далеко!

Ещё оказалось необходимо создать, для поддержания деятельности железных дорог, единую для всей страны систему Революционных Железнодорожных Трибуналов.

Затем — единую систему Революционных Трибуналов войск Внутренней Охраны.

В 1918 году все эти системы уже действовали дружно, не давая на территории РСФСР никакого убежища преступлению и проступку против революционной борьбы масс, — однако зоркий глаз товарища Троцкого увидел несовершенство этой полноты — и 14 октября 1918 он подписал приказ о сформировании ещё новой системы Революционных Воен–Трибуналов.

Всецело занятый заботами Реввоенсовета Республики и спасением Республики от внешних врагов, этот наш вождь и вдохновитель не добавил более подробной разработки своего замысла — но зато исключительно удачно выбрал председателя центрального Революционного Военного Трибунала Республики — в лице товарища Данишевского, который не только блистательно создал и развил всю систему этих ещё новых трибуналов, но и написал теоретическое обоснование их в виде отдельной брошюры[92]. Один экземпляр брошюры чудом перехранился и попал в наши руки. Правда, на брошюре стоит гриф «секретно» — но за давностью лет, быть может, простится мне некоторая оттуда разгласка (вышесказанное о судах тоже взято оттуда).

Сразу после Октября, в духе его лозунгов и как уже заведено было в армии с Февраля, предполагалось, что в Красной армии будут действовать выборные полковые и дивизионные суды. Но демократической деятельностью их не успели насладиться — и вскоре от них вообще отказались. Всё равно повсюду самочинно возникали военно–полевые суды, тройки, а само собой дей-

[92] Примечания: 92

КХ.Данишевский. Революционные военные трибуналы. М.: Издание Реввоентрибунала Республики, 1920. (Под грифом: Секретно.)

ствовали (расстреливали) фронтовые органы ВЧК и само собой — органы контрразведки, предшественники Особых Отделов. В те жестокие для Республики месяцы, когда товарищ Троцкий сказал во ВЦИК: «Мы, сыны рабочего класса, заключили договор со смертью, а стало быть и с победой», — потребовалось заставить всех и каждого подтянуться и исполнить свой долг.

«Революционные Военные Трибуналы—это в первую очередь органы уничтожения, изоляции, обезвреженья и терроризирования врагов Рабоче–Крестьянского отечества и только во вторую очередь — это суды, устанавливающие степень виновности данного субъекта» (стр. 5). «Революционные Военные Трибуналы — ещё более чрезвычайные, чем революционные трибуналы, которые врезались в общую стройную систему единого народного суда» (стр. 6).

Неужели — «ещё более чрезвычайные»? Дух захватывает, сперва даже не верится: что же может быть чрезвычайнее Ревтрибунала? Заслуженный деятель их, куратор многих приговоров тех лет, поясняет нам:

«Рядом с органами судебными должны существовать органы, если хотите, судебной расправы» (стр. 8).

Теперь читатель различает? С одной стороны ЧК — это внесудебная расправа. С другой стороны — Ревтрибунал, очень упрощённый, весьма немилосердный, но всё–таки отчасти как бы — суд. А — между ними? догадываетесь? А между ними как раз и не хватает органа судебной расправы — вот это и есть Революционный Военный Трибунал!

«Революционные Военные Трибуналы с первого дня своего существования были боевыми органами революционной власти… Сразу был взят определённый тон и курс, не допускающий никаких колебаний… Нам пришлось умело воспользоваться накопленным ревтрибуналами опытом и его дальше развить» (стр. 13) — и это ещё до первой инструкции, изданной только в январе 1919. Также, для сближения с ЧК, был перехвачен и опыт, чтоб один член Реввоентрибунала назначался от Особого Отдела Фронта. Но у фронтов существование было ограниченное — а при их отмирании Реввоентрибу–налы не отмирали, а учреждались в областях и округах «для борьбы и непосредственной расправы во время восстаний» (стр. 19).

Судили Реввоентрибуналы за «трудовое дезертирство», которое «при данной обстановке

является таким же актом контрреволюции, как и вооружённое восстание против рабочих и крестьян» (стр. 21); — это кто ж такой многочисленный, восстать и против рабочих и против крестьян? Даже — за «грубое отношение к подчинённым, неаккуратное исполнение служебных обязанностей, нерадение по службе, незнание своих прав…» (стр. 23) и др. и др. Реввоентрибуналы — совсем не только для военных, но и для всех гражданских лиц, проживающих в районе фронта. Они есть — орган классовой борьбы трудового народа. Чтобы не возникали споры с Ревтрибуналами, действующими рядом, размежёвку установили такую: кто какое дело взял к производству, тот и судит— и ничьему пересмотру и обжалованию не подлежит. Приговоры регулировались в зависимости от военного положения: после победы на Юге с весны 1920 была директива по Реввоентрибуналам уменьшить расстрелы — и действительно, за первое полугодие их было только 1426 (без Ревтрибуналов! без Желдортрибуналов! без Трибуналов Вохры! без ЧК! без Особых Отделов! — вспомним и столыпинскую цифру 950, остановившую всю анархию убийств по всей России, вспомним и 894 человека за 80 лет России). А летом 1920 началась

польская война — и только за июль–август насуди–ли Реввоентрибуналы (без… без… без…)— 1976 расстрелов (стр. 43, по следующим месяцам не дано).

Имели Реввоентрибуналы право непосредственной немедленной расправы с дезертирами и с агитаторами против Гражданской войны (то есть пацифистами — стр. 37). Должны были различать убийство уголовное (не–расстрел) и убийство политическое (расстрел — стр. 38); воровство у частного лица («трибуналы должны быть чутки и мягки», ибо буржуазные богатства толкают людей на воровство) и воровство народного достояния («вся тяжесть революционной кары»). «Никакого Уложения о наказаниях составить невозможно и было бы неразумно», но «не обойтись без руководящих директив и инструкций» (стр. 39). «Очень часто Революционным Военным Трибуналам приходится действовать в обстановке, где трудно даже определить, действует ли Трибунал в качестве такового или же просто в качестве боевого отряда. Нередко… происходит параллельно работа в зале заседания Трибунала и на улице». Расстрел «не может считаться наказанием, это просто физическое уничтожение врага рабочего класса» и «может быть применён

в целях запугивания (террора) подобных преступников» (стр. 40). «Наказание не есть возмездие за «вину», не есть искупление вины…» Трибунал «выясняет личность преступника, поскольку… возможно уяснить её на основании образа его жизни и прошлого» (стр. 44).

В Реввоентрибуналах «отпадает самый смысл апелляционного права, установленного буржуазией… При Советском строе эта волокита никому не нужна» (стр. 46). «Устанавливать практику апелляции абсолютно недопустимо… право подавать кассационные жалобы отрицается» (стр. 49). «Приговор приходится привести в исполнение почти немедленно, чтобы эффект репрессии был как можно сильнее» (стр. 50), «необходимо у преступников отнять всякую надежду отменить или изменить приговор Революционного Военного Трибунала» (стр. 50). «Революционный Военный Трибунал — это необходимый и верный орган Диктатуры Пролетариата, долженствующий через неслыханное разорение, через океаны крови и слез провести рабочий класс… в мир свободного труда, счастья трудящихся и красоты» (стр. 59).

Можно бы ещё и ещё цитировать, но довольно! Дадим взгляду углубиться в то прошлое и пройтись по тогдашней пылающей карте

нашей страны, представить себе эти живые человеческие местности, не названные в трибунальской брошюре. Каждое взятие города в ходе Гражданской войны отмечалось не только ружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями Трибунала. И для того чтоб эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом или эсером. Лишь белых, мягких, немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ижевске или Боткинеке, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи недёшево обошлись и корявым рукам. В тех свитках — внесудебной расправы и расправы судебной, — если они когда–нибудь перед нами опадут, удивительнее всего будет число простых крестьян. Потому что нет числа крестьянским волнениям и восстаниям с 18–го по 21–й год, хоть не украсили они цветных листов «Истории Гражданской войны», никто не фотографировал и для кино не снимал эти возбуждённые толпы с кольями, вилами и топорами, идущие на пулемёты, а потом со связанными руками—десять за одного! — в шеренги построенные для расстрела. Сапожковское восстание так и помнят в одном

Сапожке, пителинское — в одном Пите лине. Из того же обзора Лациса за те же полтора года по 20 губерниям узнаём и число подавленных восстаний— 344[93]. (Крестьянские восстания ещё с 1918 года обозначили словом «кулацкие», ибо не могли же крестьяне восставать против рабоче–крестьянской власти! Но как объяснить, что всякий раз восставало не три избы в деревне, а вся деревня целиком? Почему масса бедняков своими такими же вилами и топорами не убивала восставших «кулаков», а вместе с ними шла на пулемёты? Лацис: «прочих крестьян [кулак] обещаниями, клеветой и угрозами заставлял принимать участие в этих восстаниях»[94]. Но — что ж обещательней, чем лозунги комбеда? что ж угрозней, чем пулемёты ЧОНа (Частей Особого Назначения)!

А сколько ещё затягивало в те жернова совсем случайных, ну совсем случайных людей, уничтожение которых составляет неизбежную половину сути всякой стреляющей революции?

Вот дело толстовца И. Е–ва, 1919, сообщённое мне в инициалах, — так и привожу.

---

[93] Примечания: 93
ММ.Лацис. Два года борьбы на внутреннем фронте, с. 75.

[94] Примечания: 94
Там же, с. 70.

При объявлении всеобщей обязательной мобилизации в Красную армию (через год после: «Долой войну! Штык в землю! По домам!») в одной только Рязанской губернии до сентября 1919 было «выловлено и отправлено на фронт 54 697 дезертиров»[95] (а сколько–то ещё на месте пристрелено для примера). Е–в же не дезертировал вовсе, а открыто отказывался от военной службы по религиозным соображениям. Он мобилизован насильно, но в казармах не берёт оружия, не ходит на занятия. Возмущённый комиссар части передаёт его в ЧК с запискою: «не признаёт советской власти». Допрос. За столом трое, перед каждым по нагану. «Видели мы таких героев, сейчас на колени упадёшь! Немедленно соглашайся воевать, иначе тут и застрелим!» Но Е–в твёрд: он не может воевать, он — приверженец свободного христианства. Передаётся его дело в рязанский городской Ревтрибунал.

Открытое заседание, в зале — человек сто. Любезный старенький адвокат. Учёный обвинитель (слово «прокурор» запрещено до 1922) Никольский, тоже старый юрист. Один из заседателей пытается выяснить у подсудимого его воззрения

---

[95] Примечания: 95
Там же, с. 74.

(«как же вы, представитель трудящегося народа, можете разделять взгляды аристократа графа Толстого?»), председатель Трибунала обрывает и не даёт выяснять. Ссора.

Заседатель — Вот вы не хотите убивать людей и отговариваете других. Но белые начали войну, а вы нам мешаете защищаться. Вот мы отправим вас к Колчаку, проповедуйте там своё непротивление!

Е–в— Куда отправите, туда и поеду.

Обвинитель—Трибунал должен заниматься не всяким уголовным деянием, а только контрреволюционным. По составу преступления требую передать это дело в народный суд.

Председатель — Ха! Деяние! Ишь ты какой законник! Мы руководствуемся не законами, а нашей революционной совестью!

Обвинитель — Я настаиваю, чтобы вы внесли моё требование в протокол.

Защитник—Я присоединяюсь к обвинителю. Дело должно слушаться в обычном суде.

Председатель — Вот старый дурак! Где его выискали?

Защитник—Сорок лет работаю адвокатом, а такое оскорбление слышу первый раз. Занесите в протокол.

Председатель (хохочет) — Занесём! Занесём!

Смех в зале. Суд удаляется на совещание. Из совещательной комнаты слышны крики раздора. Вышли с приговором: расстрелять!

В зале шум возмущения.

Обвинитель — Я протестую против приговора и буду жаловаться в комиссариат юстиции!

Защитник—Я присоединяюсь к обвинителю! Председатель — Очистить зал!!!

Повели конвоиры Е–ва в тюрьму и говорят: «Если бы, браток, все такие были, как ты, — добро! Никакой бы войны не было, ни белых, ни красных!» Пришли к себе в казарму, собрали красноармейское собрание. Оно осудило приговор. Написали протест в Москву.

Ожидая каждый день смерти и воочию наблюдая расстрелы из окна, Е–в просидел 37 дней. Пришла замена: 15 лет строгой изоляции.

Поучительный пример. Хотя революционная законность отчасти и победила, но сколько усилий это потребовало от председателя Трибунала! Сколько ещё расстроенное™, недисциплинированности, несознательности! Обвинение — заодно с защитой, конвоиры лезут не в своё дело слать резолюцию. Ох, нелегко становиться Диктатуре Пролетариата и новому суду! Разумеется, не все

заседания такие разболтанные, но и такое же не одно! Сколько ещё уйдёт лет, пока выявится, направится и утвердится нужная линия, пока защита станет заодно с прокурором и судом, и с ними же заодно подсудимый, и с ними же заодно все резолюции масс!

Проследить этот многолетний путь — благодарная задача историка. А нам — как двигаться в том розовом тумане? Кого опрашивать? Расстрелянные не расскажут, рассеянные не расскажут. Ни подсудимых, ни адвокатов, ни конвоиров, ни зрителей, хоть бы они и сохранились, нам искать не дадут.

И, очевидно, помочь нам может только обвинение.

Вот попал к нам от доброхотов неуничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче–крестьянского наркомвоена, Главковерха, потом — зачинателя Отдела Исключительных Судов Нарком–юста (готовился ему персональный пост Трибуна, но Ленин этот термин отменил[96]), славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблачённого лютого врага народа Н.В.

---

[96] Примечания: 96
ВМ Ленин. Поли. собр. соч. Т. 36, с. 210.

Крыленко[97]. И если всё–таки хотим мы провести наш краткий обзор гласных процессов, если затягивает нас искус глотнуть судебного воздуха первых послереволюционных лет — нам надо суметь прочесть эту книгу. Другого не дано. А недостающее всё, а провинциальное всё надо восполнить мысленно.

Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загробно–драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов, когда ещё никто не мог предвидеть, в каком неумолимом череду будет всё это проглатываться — и с этими ревтрибунальцами вместе.

Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы «было неудобно по ряду технических соображений (стр. 4), удобно же — только его обвинительные речи да приговоры Трибуналов, уже тогда вполне совпадавшие с требованиями обвинителя.

Мол, архивы Московского и Верховного Ревтрибуналов оказались (к 1923 году) «далеко не в таком порядке… По ряду дел стенограмма… ока-

---

[97] Примечания: 97

НВ. Крыленко. За пять лет. 1918–1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. М.; Пг.: Гос. изд–во, 1923.

залась настолько невразумительно записанной, что приходилось либо вымарывать целые страницы, либо восстанавливать текст по памяти» (!), а «ряд крупнейших процессов» (в том числе — по мятежу левых эсеров, по делу адмирала Щастного, по делу английского посла Локкарта) «прошёл вовсе без стенограммы» (стр. 4, 5).

Странно. Осуждение левых эсеров была не мелочь — после Февраля и Октября это был третий исходный узел нашей истории, переход к однопартийной системе в государстве. И расстреляли немало. А стенограмма не велась.

А «военный заговор» 1919 года «ликвидирован ВЧК в порядке внесудебной расправы» (стр. 7), так вот тем и «доказано его наличие» (стр. 44). (Там всего арестовано было больше 1000 человек[98] —так неужто на всех суды заводить?)

Вот и рассказывай ладком да порядком о судебных процессах тех лет…

Но важные принципы мы всё–таки узнаём. Например, сообщает нам верховный обвинитель, что ВЦИК имеет право вмешиваться в любое судебное дело. «ВЦИК милует и казнит по своему усмотрению неограниченно (стр. 13, курсив

---

[98] Примечания: 98

МИ.Лацис. Два года борьбы на внутреннем фронте, с. 46.

наш. — А.С.). Например, приговор к 6 месяцам заменял на 10 лет (и, как понимает читатель, для этого весь ВЦИК не собирался на пленум, а поправлял приговор, скажем, Свердлов в кабинете). Всё это, объясняет Крыленко, «выгодно отличает нашу систему от фальшивой теории разделения властей» (стр. 14), теории о независимости судебной власти. (Верно, говорил и Свердлов: «Это хорошо, что у нас законодательная и исполнительная власть не разделены, как на Западе, глухой стеной. Все проблемы можно быстро решать». Особенно по телефону.)

Ещё откровеннее и точнее в своих речах, прозвеневших на тех трибуналах, Крыленко формулирует общие задачи советского суда, когда суд был «одновременно и творцом права (разрядка Крыленко)… и орудием политики (стр. 3, разрядка моя. —А.С.).

Творцом права — потому что 4 года не было никаких кодексов: царские отбросили, своих не составили. «И пусть мне не говорят, что наш уголовный суд должен действовать, опираясь исключительно на существующие писанные нормы. Мы живём в процессе Революции…» (стр. 407). «Трибунал — это не тот суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и

хитросплетение… Мы творим новое право и новые этические нормы,» (стр. 22, курсив мой. —АС). «Сколько бы здесь ни говорили о вековечном законе права, справедливости и так далее — мы знаем… как дорого они нам обошлись» (стр. 505, курсив мой. — АС).

(Да если ваши сроки сравнивать с нашими, так, может, не так и дорого? Может, с вековечной справедливостью — поуютнее?..)

Потому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять—виновен подсудимый или невиновен: понятие виновности, это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь (стр. 318).

Итак, мы услышали от товарища Крыленки, что Революционный Трибунал — это не тот суд\ В другой раз мы услышим от него, что Трибунал — это вообще не суд: «Трибунал есть орган классовой борьбы рабочих, направленный против их врагов» и должен действовать «с точки зрения интересов Революции… имея в виду наиболее желательные для рабочих и крестьянских масс результаты» (стр. 73).

Люди не есть люди, а «определённые носители определённых идей». «Каковы бы ни были индивидуальные качества [подсудимого], к

нему может быть применим только один метод оценки: это—оценка с точки зрения классовой целесообразности» (стр. 79).

То есть ты можешь существовать, только если это целесообразно для рабочего класса. А «если эта целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на головы подсудимых, то никакие… убеждения словом не помогут»

(стр. 81), —ну, там доводы адвокатов и т. д. «В нашем революционном суде мы руководствуемся не статьями и не степенью смягчающих обстоятельств; в Трибунале мы должны исходить из соображений целесообразности» (стр. 524).

В те годы многие вот так: жили–жили, вдруг узнали, что существование их — нецелесообразно.

Следует понимать: не то ложится тяжестью на подсудимого, что он уже сделал, а то, что он сможет сделать, если его теперь же не расстреляют. «Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего» (стр. 82).

Ясны и всеобщи декларации товарища Крыленки. Уже во всём рельефе они надвигают на нас весь тот судебный период. Через весенние испарения вдруг прорезается осенняя прозрачность. И может быть — не надо дальше? не надо

перелистывать процесс за процессом? Вот эти декларации и будут непреклонно применены.

Только, зажмурившись, представить судебный залик, ещё не украшенный золотом. Истолюбивых трибунальцев в простеньких френчах, худощавых, с ещё не разъеденными ряжками. А на обвинительной власти (так любит называть себя Крыленко) пиджачок гражданский распахнут и в воротном вырезе виден уголок тельняшки.

По–русски верховный обвинитель изъясняется так: «мне интересен вопрос факта!»; «конкретизируйте момент тенденции!»; «мы оперируем в плоскости анализа объективной истины». Иногда, глядишь, блеснёт и латинской пословицей (правда, из процесса в процесс одна и та же пословица, через несколько лет появляется другая). Ну да ведь и то сказать — за всей революционной беготнёй два факультета кончил. Что к нему располагает — выражается о подсудимых от души: «профессиональные мерзавцы!» И нисколько не лицемерит. Вот не нравится ему улыбка подсудимой, он ей и выляпывает грозно, ещё до всякого приговора: «А вам, гражданка Иванова, с вашей усмешкой, мы найдём цену и найдём возможность сделать так, чтобы вы не смеялись больше

никогда^ (стр. 296, курсив мой. — АС).

Так что пустимся?..

Дело «Русских Ведомостей». Этот суд, из самых первых и ранних, — суд над словом. 24 марта 1918 года эта известная «профессорская» газета напечатала статью Савинкова

«С дороги». Охотнее схватили бы самого Савинкова, но дорога проклятая, где его искать? Так закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора П.В. Егорова, предложили ему объяснить: как посмел? ведь 4 месяца уже Новой Эры, пора привыкнуть!

Егоров наивно оправдывается, что статья — «видного политического деятеля, мнения которого имеют общий интерес, независимо от того, разделяются ли редакцией». Далее, он не увидел клеветы в утверждении Савинкова: «не забудем, что Ленин, Натансон и К^0 приехали в Россию через Берлин, то есть что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину», — потому что на самом деле так и было, воюющая кайзеровская Германия помогла товарищу Ленину вернуться.

Восклицает Крыленко, что он и не будет вести обвинения по клевете (почему же?..), газету судят за попытку воздействия на умы\ (А разве смеет

газета иметь такую цель?!)

Не ставится в обвинение газете и фраза Савинкова: «надо быть безумцем–преступником, чтобы серьёзно утверждать, что международный пролетариат нас поддержит», — потому что он ведь нас ещё поддержит…

За попытку же воздействия на умы приговор: газету, издаваемую с 1864 года, перенесшую все немыслимые реакции— Делянова, Победоносцева, Столыпина, Кассо и кого там ещё, — ныне закрыть навсегдаХ (За одну статью и — навсегда! Вот так надо держаться у власти.) А редактору Егорову… стыдно сказать, как в какой–то Греции… три месяца одиночки. (Не так стыдно, если подумать: ведь это только 18–й год! ведь если выживет старик — опять же посадят, и сколько раз ещё посадят!)

Как ни странно, но в те громовые годы так же ласково давались и брались взятки, как отвеку на Руси, как довеку в Союзе. И даже и особенно неслись даяния в судебные органы. И, робеем добавить, — в ЧК. Красно переплетенные с золотым тиснением тома истории молчат, но старые люди, очевидцы, вспоминают, что в отличие от сталинского времени судьба арестованных политических в первые годы революции сильно

зависела от взяток: их нестеснительно брали и по ним честно выпускали. И вот Крыленко, отобрав лишь дюжину дел за пятилетие, сообщает нам о двух таких процессах. Увы, и Московский и Верховный Трибуналы продирались к совершенству непрямым путём, грязли в неприличии.

Дело трёх следователей Московского Ревтрибунала

(апрель 1918). В марте 1918 был арестован Беридзе, спекулянт золотыми слитками. Жена его, как это было принято, стала искать путей выкупить мужа. Ей удалось найти цепочку знакомства к одному из следователей, тот привлёк ещё двоих, на тайной встрече они потребовали с неё 250 тысяч, после торговли скинули до 60 тысяч, из них половину вперёд, а действовать через адвоката Грина. Всё обошлось бы безвестно, как проходили гладко сотни сделок, и не попало бы дело в крыленковскую летопись и в нашу (и на заседание Совнаркома даже!), если бы жена не стала жаться с деньгами, не привезла бы Грину только 15 тысяч аванса вместо тридцати, а главное, по женской суетливости не перерешила бы за ночь, что адвокат несолиден, и утром не бросилась бы к новому — присяжному поверенному Якулову. Не сказано, кто именно, но видимо

Якулов и решил защемить следователей.

В этом процессе интересно, что все свидетели, начиная со злополучной жены, стараются давать показания в пользу подсудимых и смазывать обвинение (что невозможно на процессе политическом!). Крыленко объясняет так: это из обывательских соображений, они чувствуют себя чужими нашему Революционному Трибуналу. (Мы же осмелимся обывательски предположить: а не научились ли свидетели бояться за полгода диктатуры пролетариата? Ведь большая дерзость нужна — топить следователей Ревтрибунала. А — что потом с тобой?..)

Интересна и аргументация обвинителя. Ведь месяц назад подсудимые были его сподвижники, соратники, помощники, это были люди, безраздельно преданные интересам Революции, а один из них, Лейст, был даже «суровым обвинителем, способным метать громы и молнии на всякого, кто посягнёт на основы», — и что ж теперь о них говорить? откуда искать порочащее? (Ибо взятка сама по себе порочит недостаточно.) А понятно откуда: прошлое, анкета!

«Если присмотреться» к этому Лейсту, то «найдутся чрезвычайно любопытные сведения». Мы заинтригованы: это давний авантюрист? Нет,

но — сын профессора Московского университета! А профессор–то не простой, а такой, что за двадцать лет уцелел черезо все реакции из–за безразличия к политической деятельности! (Да ведь несмотря на реакцию, и у Крыленки тоже экстерном принимали…) Удивляться ли, что сын его — двурушник?

А Подгайский — тот сын судейского чиновника, безусловно черносотенца, иначе как бы отец двадцать лет служил в судебных органах? А сынишка тоже готовился к судебной деятельности. Но случилась революция — и шнырнул в Ревтрибунал. Ещё вчера это рисовалось благородно, но теперь это отвратительно!

Гнуснее же их обоих, конечно, — Гугель. Он был издателем — и что же предлагал рабочим и крестьянам в качестве умственной пищи? — он «питал широкие массы недоброкачественной литературой», не Марксом, а книгами буржуазных профессоров с мировыми именами (тех профессоров мы тоже вскоре встретим на скамье подсудимых).

Гневается и диву даётся Крыленко: что за людишки пролезли в Трибунал? (Недоумеваем и мы: из кого ж состоят рабоче–крестьянские Трибуналы? почему пролетариат поручил разить своих

врагов именно такой публике?)

А уж адвокат Грин, «свой человек» в следственной коллегии, который кого угодно может освободить, — это «типичный представитель той разновидности человеческой породы, которую Маркс назвал пиявками капиталистического строя» и куда входят жандармы, священники и… нотариусы (стр. 500), кроме всех ещё адвокатов, разумеется.

Кажется, не пожалел сил Крыленко, требуя беспощадного, жестокого приговора без внимания к «индивидуальным оттенкам вины», — но какая–то вязкость, какое–то оцепенение охватило вечно бодрый Трибунал, и еле промямлил он: следователям по шести месяцев тюрьмы, а с адвоката — денежный штраф. (Лишь пользуясь правом ВЦИК «казнить неограниченно», Крыленко добился там, в Метрополе, чтобы следователям врезали по 10 лет, а пьявке–адвокату — 5 с полной конфискацией. Крыленко прогремел бдительностью и чуть–чуть не получил своего Трибуна.)

Мы сознаём, что как среди революционных масс тогда, так и среди наших читателей сегодня этот несчастный процесс не мог не подорвать веры в святость Трибунала. И с тем большей робостью переходим к следующему процессу,

касательному к учреждению, ещё более возвышенному.

Дело Косырева (15 февраля 1919). Ф.М. Косырев и дружки его Либерт, Роттенберг и Соловьёв прежде служили в комиссии снабжения Восточного фронта (ещё против войск Учредительного Собрания, до Колчака). Установлено, что там они находили способы получать зараз от 70 тысяч до 1 миллиона рублей, разъезжали на рысаках, кутили с сестрами милосердия. Их комиссия приобрела себе дом, автомобиль, их артельщик кутил в «Яре». (Мы не привыкли представлять таким 1918 год, но так свидетельствует Ревтрибунал.)

Впрочем, не в этом состоит дело: никого из них за Восточный фронт не судили и даже всё простили. Но диво! — едва лишь была расформирована их комиссия по снабжению, как все четверо с добавлением ещё Назаренко, бывшего сибирского бродяги, дружка Косырева по уголовной каторге, были приглашены составить… контрольно–ревизионную коллегию ВЧК!

Вот что это была за Коллегия: она имела полномочия проверять закономерность действий всех остальных органов ВЧК, право истребования и просмотра любого дела в любой стадии производства и отмены решения всех осталь-

ных органов ВЧК, кроме только Президиума ВЧК!!! (стр. 507). Немаловато! — вторая власть в ВЧК после Президиума! — в следующем ряду за Дзержинским–Урицким–Петерсом–Лаци–сом–Менжинским–Ягодой!

Образ жизни сотоварищей при этом остался прежний, они нисколько не возгордились, не занеслись: с каким–то Максимычем, Лёнькой, Рафаильским и Мариупольским, «не имеющими никакого отношения к коммунистической организации», они на частных квартирах и в гостинице Савой устраивают «роскошную обстановку… там царят карты (в банке по тысяче рублей), выпивка и дамы». Косырев же обзаводится богатой обстановкой (70 тысяч), да не брезгует тащить из ВЧК столовые серебряные ложки, серебряные чашки (а в ВЧК они откуда?..), да даже и просто стаканы. «Вот куда, а не в идейную сторону… направляется его внимание, вот что берёт он для себя от революционного движения». (Отрекаясь теперь от полученных взяток, этот ведущий чекист не смарги–вает солгать, что у него… лежит 200 тысяч рублей наследства в Чикагском банке!.. Такую ситуацию он, видимо, реально представляет наряду с мировой революцией.)

Как же правильно использовать своё надче-

ловеческое право кого угодно арестовать и кого угодно освободить? Очевидно, надо намечать ту рыбку, у которой икра золотая, а такой в 1918 году было немало в сетях. (Ведь революцию делали слишком впопыхах, всего недоглядели, и сколько же драгоценных камней, ожерелий, браслетов, колец, серёг успели попрятать буржуазные дамочки.) А потом искать контакты с родственниками арестованных через кого–то подставного.

Такие фигуры тоже проходят перед нами на процессе. Вот 22–летняя Успенская, она окончила петербургскую гимназию, а на высшие курсы не попала. Тут — власть Советов, и весной 18–го года Успенская явилась в ВЧК предложить свои услуги в качестве осведомительницы. По наружности она подходила, её взяли.

Само стукачество (тогда — сексотство) Крыленко комментирует так, что для себя «мы в этом ничего зазорного не видим, мы это считаем своим долгом; …не самый факт работы позорит; раз человек признаёт, что эта работа необходима в интересах революции, — он должен идти» (стр. 512, курсив мой. — АС). Но, увы, Успенская, оказывается, не имеет политического кредо! — вот что ужасно. Она так и отвечает: «я согласилась,

чтобы мне платили определённые проценты» по раскрытым делам и ещё «пополам делиться» с кем–то, кого Трибунал обходит, велит не называть. Своими словами Крыленко так выражает: Успенская «не проходила по личному составу ВЧК и работала поштучно» (стр. 507). Ну да впрочем, по–человечески её понимая, объясняет нам обвинитель: она привыкла не считать денег, что такое ей несчастные 500 рублей зарплаты в ВСНХ, когда одно вымогательство (посодействовать купцу, чтоб сняли пломбы с его магазина) даёт ей 5 тысяч рублей, другое — с Мещерской–Гревс, жены арестованного, — 17 тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой, с помощью крупных чекистов она через несколько месяцев была уже коммунисткой и следователем.

Однако никак мы не доберёмся до сути дела. А.П. Мещерский, крупный заводчик, был арестован за неуступчивость в экономических переговорах с советским правительством (Ю. Лариным). Его жену Е.И., у которой подозревали драгоценности и деньги, чекисты стали шантажировать, приходили сами к ней домой, с каждым разом рисуя положение мужа всё более подрасстрельным и требуя всё больших сумм для выкупа. Мещерская–

Гревс в отчаяньи сама донесла о шантаже (через того самого присяжного поверенного Якуло–ва, который уже завалил следователей–взяточников и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского судо–и бессудо–производства). Председатель Трибунала тоже совершил классовую ошибку: вместо того чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и все уладить по–семейному, — распорядился дать Мещерской для взятки номерные ассигнации — и в её квартире посадить за занавеской стенографистку. И пришёл некий Годелюк, закадычный друг Косырева, чтобы договориться о цене выкупа (потребовал 600 тысяч рублей!). И застенографированы были все ссылки Годелюка на Косырева, на Соловьёва, на других комиссаров, все его рассказы, кто в ВЧК сколько тысяч берёт, и под стенограмму же получил Годелюк свой меченый аванс, а Мещерской выдал пропуска для прохода в ВЧК, уже выписанные контрольно–ревизионной коллегией, Либертом и Роттенбер–гом (там, в ЧК, торг должен был продолжаться). А на выходе — был накрыт! И в растерянности дал показания. (А Мещерская успела побывать и в контрольно–ревизионной коллегии, и уже затребовано туда для проверки дело её мужа.)

Но позвольте! Но ведь такое разоблачение пятнает небесные одежды ЧК! Да в уме ли этот председатель московского Ревтрибунала? Да своим ли делом он занимается?

А таков был, оказывается, момент — момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной Истории! Оказывается, первый год работы ЧК произвёл несколько отталкивающее впечатление даже на партию пролетариата, ещё к тому не привыкшую. Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден ВЧК, а уже, как не совсем внятно пишет Крыленко, возник «спор между судом и его функциями — и внесудебными функциями ЧК… спор, разделявший в то время партию и рабочие районы на два лагеря» (стр. 14). Потому–то дело Косырева и могло возникнуть (а до той поры всем сходило), и могло подняться даже до всегосу–дарственного уровня.

Надо было спасать ВЧК! Спасать ВЧК! Соловьёв просит Трибунал допустить его в Таганскую тюрьму к посаженному (увы, не на Лубянку) Го делю ку — побеседовать. Трибунал отказывает. Тогда Соловьёв проникает в камеру Годелюка и безо всякого Трибунала. И вот совпадение: как раз тут Годелюк тяжело заболевает, да. («Едва ли

можно говорить о наличии злой воли Соловьёва», — расшаркивается Крыленко.) И, чувствуя внезапное приближение смерти, Годелюк потря–сённо раскаивается, что мог оболгать ЧК, и просит дать бумагу и пишет письменное отречение: всё неправда, в чём он оболгал Косырева и других комиссаров ЧК, и что было застенографировано через занавеску — тоже всё неправда!

О, сколько сюжетов! О, где Шекспир? Сквозь стены прошёл Соловьёв, слабые камерные тени, Годелюк отрекается слабеющей рукой — а нам в театрах, а нам в кино только уличным пением «Вихрей враждебных» передают революционные годы…

«А кто пропуска ему выписал?» — настаивает Крыленко, пропуска для Мещерской не из воздуха взялись? Нет, обвинитель «не хочет говорить, что Соловьёв к этому делу причас–тен, потому что… нет достаточных данных», но предполагает он, что «оставшиеся на свободе граждане с рыльцем в пушку» могли послать Соловьёва в Таганку.

Тут бы в самый раз допросить Либерта и Роттенберга, и вызваны они! —но не явились! Вот так просто, не явились, уклонились. Так позвольте, Мещерскую же допросить! Представьте, и эта затруханная аристократка тоже имела смелость

не явиться в Ревтрибунал!

После захвата взятки Мещерский был выпущен на поруки Якулова — и с женою бежал в Финляндию. Зато уж Яку–лова к моменту суда над Косыревым с удовольствием посадили под стражу — может быть, за эти самые поруки, а то — как пьявистого змея. На суд его приводили свидетельствовать под конвоем, а скоро, надо думать, расстреляли. (И теперь мы удивляемся: как дошло до беззакония, почему никто не боролся?)

А Годелюк отрёкся — и умирает. А Косырев ничего не признаёт! И Соловьёв ни в чём не виноват! И допрашивать некого…

Зато какие свидетели по собственной доброй воле приехали в Трибунал! —заместитель председателя ВЧК товарищ Петере — и даже сам Феликс Эдмундович прибыл, встревоженный. Его продолговатое сожигающее лицо подвижника обращено к замершему Трибуналу, и он проникновенно свидетельствует в защиту ни в чём не виновного Косырева, в защиту его высоких моральных, революционных и деловых качеств. Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передаёт: «Соловьёв и Дзержинский расписывали прекрасные качества Косырева» (стр. 522). (Ах, неосторожный прапорщик! — через

20 лет припомнят тебе на Лубянке этот процесс!) Легко догадаться, что мог говорить Дзержинский: что Косырев—железный чекист, беспощадный к врагам; что он — хороший товарищ. Горячее сердце, холодная голова, чистые руки.

И из хлама клеветы восстаёт перед нами бронзовый рыцарь Косырев. К тому ж и биография его выявляет недюжинную волю. До революции он был судим несколько раз — и всё больше за убийство: за то, что (в Костроме) обманным образом с целью грабежа проник к старушке Смирновой и удушил её собственными руками. Потом — за покушение на убийство своего отца и за убийство сотоварища с целью воспользоваться его паспортом. В остальных случаях Косырев судился за мошенничество, а в общем много лет провёл на каторге (понятно его стремление к роскошной жизни!), и только царские амнистии его выручали.

Тут строгие справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя, указали ему, что все те предыдущие суды были помещичье–буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществом. Но что это? Зарвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры Ревтрибунала отколол в ответ такую идейно–

порочную тираду, что даже негармонично нам приводить её здесь, в стройном изложении трибунальских процессов:

«Если в старом царском суде было что–нибудь хорошее, чему мы могли доверять, так это только суд присяжных… К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием, и там наблюдался минимум судебных ошибок» (стр. 522).

Тем более обидно слышать подобное от товарища Кры–ленки, что за три месяца перед тем на процессе провокатора Романа Малиновского, бывшего любимцем Ленина несмотря на четыре уголовных судимости в прошлом, кооптированного в ЦК и посланного в Думу, Обвинительная Власть занимала классово–безупречную позицию:

«В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладёт раз навсегда несмываемое пятно… Мы знаем много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей

среды. Человек, который знает наши принципы, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революционеров…» (стр. 337, курсив мой. —АС).

Вот как умел партийно говорить товарищ Крыленко! А тут благодаря его порочному рассуждению затемнился образ рыцаря Косырева. И создалась на Трибунале такая обстановка, что товарищ Дзержинский вынужден был сказать: «У меня на секунду (ну, на секунду только! —АС) возникла мысль, не падает ли гражданин Косырев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг Чрезвычайной Комиссии?»

Спохватился Крыленко: «Я не хочу и никогда не хотел, чтобы настоящий процесс стал процессом не Косырева и Успенской, а процессом над ЧК. Этого я не только не могу хотеть, я должен всеми силами бороться против этого! …Во главе Чрезвычайной Комиссии были поставлены наиболее ответственные, наиболее честные и выдержанные товарищи, которые брали на себя тяжёлый долг разить, хотя бы с рис–кож совершить ошибку… За это Революция обязана сказать своё спасибо… Я подчёркиваю эту сторону для того, чтобы мне… никто не мог потом сказать: «он

оказался орудием политической измены» (стр. 509, 510, курсив мой. — А.С). (Скажут!..)

Вот по какому лезвию ходил Верховный Обвинитель! Но, видно, были у него какие–то контакты, ещё из подпольных времён (да от Ленина недалёк), откуда он узнавал, как повернётся завтра. Это заметно по нескольким процессам, и здесь тоже. Какие–то были веяния в начале 1919 года, что— хватит! пора обуздать ВЧК! Да был тот момент и «прекрасно выражен в статье Бухарина, когда он говорит, что на место законной революционности должна стать революционная законность».

Диалектика, куда ни ткни! И вырывается у Крыленки: «Ревтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям». [На смену??) Он, впрочем, «должен быть… не менее страшным в смысле осуществления системы устрашения, террора и угрозы, чем была Чрезвычайная Комиссия» (стр. 511).

Был а?.. Да он её уже похоронил?!. Позвольте, вы — на смену, а куда же чекистам? Грозные дни! Поспешишь и свидетелем в длинной до пят шинели.

Но, может быть, ложные у вас источники, товарищ Крыленко?

Да, затмилось небо над Лубянкой в те дни. И могла бы иначе пойти эта книга. Но так я предполагаю, что съездил железный Феликс к Владимиру Ильичу, потолковал, объяснил. И — разотмилось. Хотя через два дня, 17 февраля 1919, особым постановлением ВЦИК и была ЧК лишена её судебных прав (а внесудебные остались?), — «правда, ненадолго» (стр. 14)!

А наше однодневное разбирательство ещё тем осложнилось, что отвратительно вела себя негодница Успенская. Даже со скамьи подсудимых она «забросала грязью» ещё других видных чекистов, не затронутых процессом, и даже самого товарища Петерса! (Оказывается, она использовала его чистое имя в своих шантажных операциях; она уже запросто сиживала у Петерса в кабинете при его разговорах с другими разведчиками.) Теперь она намекает на какое–то тёмное дореволюционное прошлое товарища Петерса в Риге. Вот какая змея выросла из неё за 8 месяцев, несмотря на то что эти 8 месяцев она находилась среди чекистов! Что делать с такой? Тут Крыленко вполне сомкнулся с мнением чекистов: «пока не установится прочный строй, а до этого ещё далеко (?разве?)… в интересах защиты Революции… — нет и не может быть никакого другого приговора

для гражданки Успенской, кроме уничтожения её». Не расстрела, так и сказал: уничтожения! Да ведь девчёнка–то молоденькая, гражданин Крыленко! Ну, дайте ей десятку, ну — четвертную, к тому–то времени строй уже будет прочный? Увы: «Другого ответа нет и не может быть в интересах общества и Революции — и иначе нельзя ставить вопроса. Никакое изолирование в данном случае не принесёт плодов» (стр. 515)!

Вот насолила… Значит, знает много…

А Косыревым пришлось пожертвовать тоже. Расстреляли. Будут другие целей.

И неужели когда–нибудь мы будем читать старые Лубянские архивы? Нет, сожгут. Уже сожгли.

Как видит читатель, это был процесс малозначный, на нём можно было и не задерживаться. А вот

Дело «церковников» (11–16 января 1920) займет, по мнению Крыленки, «соответствующее место в анналах русской революции». Прямо–таки в анналах. То–то Косырева за один день свернули, а этих мыкали пять дней.

Вот основные подсудимые: А.Д. Самарин — известное в России лицо, бывший обер–прокурор Синода, старатель освобождения Церкви от царской власти, враг Распутина и вышиблен им с

поста (но обвинитель считает: что Самарин, что Распутин — какая разница?); Кузнецов, профессор церковного права Московского университета; московские протоиереи Успенский и Цветков. (О Цветкове сам же обвинитель: «крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство, филантроп».)

А вот их вина: они создали «Московский Совет Объединённых Приходов», а тот создал (из верующих сорока — восьмидесяти лет) добровольную охрану Патриарха (конечно, безоружную), учредив в его подворьи постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей: при опасности Патриарху от властей — собирать народ набатом и по телефону и всей толпой потом идти за Патриархом, куда его повезут, и просить (вот она, контрреволюция!) Совнарком отпустить Патриарха!

Какая древнерусская, святорусская затея! — по набату собраться и валить толпой с челобитьем!..

Удивляется обвинитель: а какая опасность грозит Патриарху? зачем придумано его защищать?

Ну, в самом деле: только того, что уже два года, как ЧК ведёт внесудебную расправу с неугодными; только того, что незадолго в Киеве четверо

красноармейцев убили митрополита; только того, что уже на Патриарха «дело закончено, остаётся переслать его в Ревтрибунал», и «только из бережного отношения к широким рабоче–крестьянским массам, ещё находящимся под влиянием клерикальной пропаганды, мы оставляем этих наших классовых врагов пока в покое» (стр. 67) — и какая же тревога православным о Патриархе? Все два года не молчал патриарх Тихон — слал послания народным комиссарам, и священству, и пастве; его послания (вот где первый Самиздат!), не взятые типографиями, печатались на машинках; обличал уничтожение невинных, разорение страны — и какое ж теперь беспокойство за жизнь Патриарха?

А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идёт опись и реквизиция церковного имущества (это уже — сверх закрытия монастырей, сверх отнятых земель и угодий, это уже о блюдах, о чашах и паникадилах речь) — Совет же приходов распространял и воззвание к мирянам: сопротивляться и реквизициям, бья в набат. (Да ведь естественно! Да ведь и от татар защищали храмы так же!)

И третья вина: наглая непрерывная подача заявлений в Совнарком о глумлениях местных ра-

ботников над Церковью, о грубых кощунствах и нарушениях закона о свободе совести. Заявления же эти, хоть и не удовлетворённые (показания Бонч–Бруевича, управделами СНК), приводили к дискредитации местных работников.

Обозрев теперь все вины подсудимых, что ж можно потребовать за эти ужасные преступления? Не подскажет ли и читателю революционная совесть? Да только расстрел! Как Крыленко и потребовал (для Самарина и Кузнецова).

Но пока возились с проклятой законностью да выслушивали слишком длинные речи слишком многочисленных буржуазных адвокатов (не приводимые нам по техническим соображениям), стало известно, что… отменена смертная казнь! Вот тебе раз! Не может быть, как так? Оказывается, Дзержинский распорядился по ВЧК (ЧК — и без расстрела?..). А на Трибуналы СНК распространил? Ещё нет. И воспрял Крыленко. И продолжал требовать расстрела, обосновывая так:

«Если бы даже полагать, что укрепляющееся положение Республики устраняет непосредственную опасность от таких лиц, всё же мне представляется несомненным, что в этот период созидательной работы… чистка… от старых деятелей–хамелеонов… является требованием

революционной необходимости… Постановлением ВЧК об отмене расстрелов… Советская власть гордится». Но: это «ещё не обязывает нас считать, что вопрос об отмене расстрелов разрешён раз навсегда… во все времена Советской власти» (стр. 80, 81).

Очень пророчески! Вернут расстрел, вернут, и весьма вскоре! Ведь ещё какую вереницу надо ухлопать! (Ещё и самого Крыленко, и многих классовых братьев его…)

Что ж, послушался Трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогнал под амнистию: в концентрационный лагерь до полной победы над жировым империализмом. (И сегодня б ещё им там сидеть…) А «лучшему, кого могло дать духовенство»— 15 лет с заменой на пятёрку.

Были и другие подсудимые, пристёгнутые к процессу, чтоб хоть немного иметь вещественного обвинения: монахи и учителя Звенигорода, обвинённые по звенигородскому делу лета 1918 года, но почему–то полтора года не суждён–ные (а может быть, уже разок и суждённые, а теперь ещё разок, поскольку целесообразно). В то лето в звенигородский монастырь явились совработни-

ки к игумену Ионе[99], велели («поворачивайтесь живей!») выдать хранимые мощи преподобного Саввы. Совработники при этом не только курили в храме (очевидно, и в алтаре) и уж конечно не снимали шапок, но тот, который взял в руки череп Саввы, стал в него плевать, подчёркивая мнимость святости. Были и другие кощунства. Это и привело к набату, народному мятежу и убийству кого–то из совработников. Остальные потом отперлись, что не кощунствовали и не плевали, и Крыленке достаточно их заявления.

Да кто же не помнит этих сцен? Первое впечатление всей моей жизни, мне было, наверно, года три–четыре: как в кисловодскую церковь входят остроголовые (чекисты в будёновках), прорезают обомлевшую, онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение, — в алтарь.

Так вот теперь судили и… этих совработников? Нет, — этих монахов.

Мы просим читателей сквозно иметь в виду: ещё с 1918 определился такой наш судебный

---

[99] Примечания: 99

Бывший гвардеец–кавалергард Фиргуф, который «потом вдруг духовно переродился, всё роздал нищим и ушёл в монастырь; — я, впрочем, не знаю, была ли в действительности эта раздача». Да ведь если допустить духовные перерождения, — что ж останется от классовой теории?

обычай, что каждый московский процесс (разумеется, кроме несправедливого процесса над ЧК) не есть отдельный суд над случайно стекшимися обстоятельствами, нет: это — сигнал судебной политики; это — витринный образец, по которому со склада отпускают для провинции; это — тип, это — перед разделом арифметического задачника одно образцовое решение, по которому ученики дальше сообразят сами.

Так, если сказано — «процесс церковников», то поймём во многомножественном числе. Да, впрочем, и сам Верховный Обвинитель охотно разъясняет нам: «почти по всем Трибуналам Республики прокатились» подобные процессы (стр. 61). Совсем недавно были они в Северо–Двинском, Тверском, Рязанском Трибуналах, в Саратове, Казани, Уфе, Соль–вычегодске, Царёвококшайске. Судилось духовенство, псаломщики и активные прихожане — представители неблагодарной «православной церкви, освобождённой Октябрьской революцией».

Читателю помнится тут противоречие: почему же многие эти процессы — ранее московского образца? Это — лишь недостаток нашего изложения. Судебное и внесудебное преследование освобождённой Церкви началось ещё в 1918 году

и, судя по звенигородскому делу, уже тогда достигло остроты. В октябре 1918 патриарх Тихон писал в послании Совнаркому, что нет свободы церковной проповеди, что «уже заплатили кровью мученичества многие смелые церковные проповедники… Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю». (Наркомы, конечно, послания не читали, а управделы вот уж хохотали: нашёл, чем корить, — посмертная воля! Да с… мы хотели на наших предков! — мы только на потомков работаем.) «Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём не повинных, а просто по огульному обвинению в какой–то расплывчатой и неопределённой контрреволюционности». Правда, с подходом Деникина и Колчака остановились, чтоб облегчить православным защиту революции. Но едва Гражданская война стала спадать — снова взялись за Церковь, и вот прокатилось по Трибуналам, и в 1920 ударили и по Троице–Сергие–вой лавре, добрались до мощей этого шовиниста Сергия Радонежского, перетряхнули их в московский музей.

Патриарх цитирует Ключевского: «Ворота лавры Преподобного затворятся и лампады по-

гаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравственный запас, завещанный нам нашими великими строителями земли Русской, как Преподобный Сергий». Не думал Ключевский, что эта растрата совершится почти при его жизни.

Патриарх просил приёма у Председателя Совета Народных Комиссаров, чтоб уговорить не трогать лавру и мощи, ведь отделена же Церковь от государства! Отвечено было, что Председатель товарищ

Ленин занят обсуждением важных дел и свидание не может состояться в ближайшие дни.

Ни — в позднейшие.

И был циркуляр Наркомюста (25 августа 1920) о ликвидации всяких вообще святых мощей, ибо именно они затрудняли нам светоносное движение к новому справедливому обществу.

Следуя дальше за выбором Крыленки, оглядим и рассмотренное в Верхтрибе (так мило сокращают они между собой, а для нас–то, букашек, как рявкнут: встать! Суд идёт!).

Дело «Тактического центра» (16–20 августа 1920) — 28 подсудимых и ещё сколько–то обвиняемых заочно по недоступности.

Голосом, ещё не охрипшим в начале страстной

речи, весь осветлённый классовым анализом, поведывает нам Верховный Обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов «существовал и продолжает существовать ещё один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма. …Этот слой — так называемой интеллигенции… В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции» и с судом революции над ней (стр. 34).

Специальная узость нашего исследования не даёт возможности охватить, как же именно задумывались представители революционного социализма над судьбой так называемой интеллигенции и что же именно они для неё надумали? Однако нас утешает, что материалы эти опубликованы, всем доступны и могут быть собраны с любой подробностью. Поэтому лишь для ясности общей обстановки в Республике напомним мнение Председателя Совета Народных Комиссаров тех лет, когда все эти трибунальские заседания происходят.

В письме Горькому 15 сентября 1919 (мы его уже цитировали) Владимир Ильич отвечает на хлопоты Горького по поводу арестов интелли-

генции и об основной массе тогдашней русской интеллигенции («околокадетской») пишет: «на деле это не мозг нации, а говно»[100]. В другой раз он говорит Горькому: «это её [интеллигенции] будет вина, если мы разобьём слишком много горшков… Если она ищет справедливости— почему она не идёт к нам?.. Мне от интеллигенции и попала пуля»[101] (то есть от Каплан).

Об интеллигенции он выражался: «гнило–либеральная»; «благочестивая»; «разгильдяйство, столь обычное у «образованных» людей»; считал, что она всегда не домысливает, что она «изменила рабочему делу». (Но именно рабочему делу — когда она присягала?)

Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней потом уверенно перехватили публицисты 20–х годов, и газеты 20–х годов, и быт, и наконец — сами интеллигенты, проклявшие своё вечное недомыслие, вечную двойственность, вечную беспозвоночность и безнадёжное отставание от эпохи.

И справедливо же! Вот рокочет под сводами

---

[100] Примечания: 100

ВИ.Ленин. Полн. собр. соч. Т. 51, с. 48.

[101] Примечания: 101

ВИ.Ленин и АМ. Горький: Письма, воспоминания, документы / Под ред. Б.А. Бялика и др. 2–е доп. изд. М.: Изд–во Акад. наук СССР, 1961, с. 263.

Верхтриба голос Обвинительной Власти и возвращает нас на скамью:

«Этот общественный слой… подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки». Переоценка, так часто говорилось тогда. И как же она прошла? А вот: «Русская интеллигенция, войдя в горнило Революции с лозунгами народовластия, вышла из него союзником чёрных… — (даже не белых!) — …генералов, наёмным и послушным агентом европейского империализма. Интеллигенция попрала свои знамёна и забросала их грязью» (Крыленко, стр. 54).

И только потому «нет нужды добивать отдельных её представителей», что «эта социальная группа отжила свой век».

На раскрыве XX столетия! Какая мощь предвидения! О, научные революционеры! [Добивать, однако, пришлось. Ещё все 20–е годы добивали и добивали.)

С неприязнью осматриваем мы 28 лиц союзников чёрных генералов, наёмников европейского империализма. Особенно шибает нам в нос жат Центр—тут и Тактический Центр, тут и Национальный Центр, тут и Правый Центр (а в память из процессов двух десятилетий лезут Центры, Центры и Центры, то инженерные, то мены-

певицкие, то троцкистско–зиновьев–ские, то правобухаринские, и все разгромлены, и все разгромлены, и только потому мы с вами ещё живы). Уж где Центр, там конечно рука империализма.

Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас Тактический Центр не был организацией, что у него не было: 1) устава; 2) программы; 3) членских взносов. А что же было? Вот что: они встречались^. (Мурашки по спине.) Встречаясь же, ознакамливались с точкой зрения друг друга! (Ледяной холод.)

Обвинения очень тяжёлые и поддержаны уликами: на 28 обвиняемых 2 (две) улики (стр. 38). Это — два письма отсутствующих на суде деятелей: Мякотина и Фёдорова. Отсутствующих, но до Октября состоявших в тех же разных Комитетах, что и присутствующие, и это даёт нам право отождествить отсутствующих и присутствующих. А письма вот о чём: о расхождениях с Деникиным по таким маленьким вопросам, как крестьянский (нам не говорят, но очевидно: советуют Деникину отдать землю крестьянам), еврейский, федеративно–национальный, административного управления (демократия, а не диктатура) и другие. И какой же вывод из улик? Очень простой: тем самым доказана переписка

и единство присутствующих с Деникиным! (Б–р–р… гав–гав!)

Но есть и прямые обвинения присутствующим: обмен информацией со своими знакомыми, проживавшими на окраинах (в Киеве, например), не подвластных центральной советской власти! То есть, допустим, раньше это была Россия, а потом в интересах мировой революции мы тот бок уступили Германии, а люди продолжают записочки посылать: как там, Иван Иваныч, живёте?., а мы вот как… И Н.М. Кишкин (член ЦК кадетов) даже со скамьи подсудимых нагло оправдывается: «человек не хочет быть слепым и стремится узнать всё, что делается всюду».

Узнать всё, что делается всюду'?'?. Не хочет быть слепым??. Так справедливо же квалифицирует их действия обвинитель как предательство! предательство по отношению к Советской Власти!

Но вот самые страшные их действия: в разгар Гражданской войны они… писали труды, составляли записки, проекты. Да, «знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования», они писали трудьй (И, как легко догадаться, нисколько при этом не опираясь на предшествующие труды Ленина, Троцкого и

Бухарина…) Профессор С.А. Котляревский — о федеративном устройстве России, В.И. Стемпковский—по аграрному вопросу (и, вероятно, без коллективизации…), В.С. Муралевич—о народном образовании в будущей России, профессор Карташёв — законопроект о вероисповеданиях. А (великий) биолог Н.К. Кольцов (ничего не видавший от родины, кроме гонений и казни) разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. (Сюда же угодил и Н.Д. Кондратьев, которого в 1931 окончательно засудят, процесс «Трудовой Крестьянской Партии».)

Обвинительное наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну, какую, какую кару вот этим генеральским подручным? Одна им кара— расстрел! Это не требование обвинителя—это уже приговор Трибунала! (Увы, смягчили потом: концентрационный лагерь до конца Гражданской войны.)

В том–то и вина подсудимых, что они не сидели по своим углам, досасывая четвертушку хлеба, «они столковывались и сговаривались между собой, каков должен быть государственный строй после падения советского».

На современном научном языке это называется: они изучали альтернативную возможность.

Грохочет голос обвинителя, но какая–то трещинка слышится нам, как будто он глазами шнырнул по кафедре, ищет ещё бумажку? цитатку? Мгновение! надо на цырлах подать! не эту ли, Николай Васильич, пожалуйста:

«для нас… понятие истязания заключается уже в самом факте содержания политических заключённых в тюрьме…»

Вот что! Политических держать в тюрьме — это истязание! И это говорит обвинитель! — какой широчайший взгляд! Восходит новая юстиция! Дальше:

«…Борьба с царским правительством была их [политических] второй натурой и не бороться с царизмом они не моглиЬ (стр. 17).

Как не могли не изучать альтернативных возможностей?.. Может быть, мыслить — это даже первая натура интеллигента?

Ах, не ту цитату подсунули по неловкости, не из того процесса. Вот конфуз!.. Но Николай Васильевич уже в своей руладе:

«И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили пальцем о палец — (оно как–то похоже, что так и было…), —всё равно: …в такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы Совет-

скую власть, являются контрреволюционным актом… Во время гражданской войны преступно не только всякое действие [против советской власти] …преступно само бездействие» (стр. 39).

Ну вот теперь всё понятно. Их приговорят к расстрелу — за бездействие. За чашку чая.

Например, петроградские интеллигенты решили в случае прихода Юденича «прежде всего озаботиться созывом демократической городской думы» (то есть чтоб отстоять её от генеральской диктатуры).

Крыленко —Мне хотелось бы им крикнуть: «Вы обязаны были думать прежде всего — как бы лечь костьми, но не допустить Юденича!!»

А они — не легли.

(Впрочем, и Николай Васильевич не лёг.)

А ещё такие есть подсудимые, кто был осведомлён] — и молчал. («Знаімге сказал» по–нашенскому.)

А вот уже не бездействие, вот уже активное преступное действие: через Л.Н.Хрущёву, члена политического Красного Креста (тут же и она, на скамье), другие подсудимые помогали бутырским заключённым деньгами (можно себе представить этот поток капиталов — на тюремный ларёк) и вещами (да ещё, гляди, шерстяными?).

Нет меры их злодеяниям! Да не будет же удержу и пролетарской каре!

Как при падающем киноаппарате, косой неразборчивой лентой проносятся перед нами двадцать восемь дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражений! — они напуганы? презрительны? горды?

Ведь их ответов нет! ведь их последних слов нет! — по техническим соображениям… Покрывая эту недостачу, обвинитель напевает нам: «Это было сплошное самобичевание и раскаяние в совершённых ошибках. Политическая невыдержанность и промежуточная природа интеллигенции… — (да–да, ещё вот это: промежуточная природа!)— …в этом факте всецело оправдала ту марксистскую оценку интеллигенции, которая всегда давалась ей большевиками» (стр. 8).

А кто эта женщина молодая промелькнула?

Это—дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко: что она делала на этих беседах? Ответила: «Ставила самовар!» — Три года концлагеря!

По зарубежному журналу «На чужой сто-

роне»[102] мы можем установить, что на самом деле было.

Ещё летом 1917 при Временном правительстве возник Совет общественных деятелей — помочь довести войну до победного конца и противодействовать социалистическим течениям, особенно эсерам. После октябрьского переворота многие видные члены уехали, другие остались, больше нельзя было созывать съездов, заниматься организованной деятельностью, но интеллигенты привыкли думать, оценивать события, обмениваться мыслями — и им трудно было сразу от этой привычки отстать. Близость к академическому миру позволяла им придавать своим встречам вид научных конференций. Обсуждать же было тогда многое что: Брест–Литовский мир, выход из войны ценой потери огромных территорий, новые отношения с бывшими союзниками и бывшими врагами, в то время как в Европе война продолжалась. Одни — во имя свободы и демократии, а также союзнического долга — считали, что надо продолжать помогать союзникам, а

[102] Примечания: 102

СП. Мельгунов. Суд истории над интеллигенцией // На чужой стороне: Историко–литературные сборники / Под. ред. СП. Мельгуно–ва. Берлин: Ватага; Прага: Пламя. Вып. 3, 1923.

СЛ. Котляревский. «Национальный центр» в Москве в 1918 // Там же. Вып. 8, 1924.

Брестский мир заключён людьми, не имевшими полномочий от страны. Некоторые надеялись, что как только Красная армия укрепится, так советская власть порвёт с немцами. Другие надеялись, напротив, на немцев, что они, став по договору хозяевами половины России, теперь устранят большевиков. (А немцы справедливо считали, что работать на кадетов значит работать на англичан, и всякое другое правительство, кроме советского, возобновит войну с Германией.)

На этих разногласиях летом 1918 из Совета общественных деятелей выделился Национальный Центр — а по сути просто кружок — резкосоюзнической ориентации, кадетский по составу, но как огня боявшийся возобновления партийной формы, решительно запрещённой большевиками. Ничего этот кружок не делал, кроме замаскированных собраний в институте профессора Кольцова. Иногда посылали своих членов на Кубань для осведомления — но те канывали там и как бы забывали о московских. (Впрочем, и союзники выказывали к Добровольческой армии самый слабый интерес.) Но более всего Национальный Центр сосредоточился на мирной выработке законопроектов для будущей России.

Одновременно с Национальным Центром и

левее его создался Союз Возрождения (в основном эсеровский — неудобно объединяться с кадетами, возобновлялись привычные партийные направления и представления) — для борьбы и против немцев и против большевиков. Но и эта борьба показалась им невозможной на болыпевицкой территории и сводилась к отсылке людей на юг. Однако и районы Добровольческой армии отталкивали их своею реакционностью.

Задыхаясь в вакууме военного коммунизма, весной 1919 все три — Совет общественных деятелей, Национальный Центр и Союз Возрождения, решили поддерживать систематическую координацию и для этого выделили по два человека. Образовавшаяся шестёрка иногда собиралась, в течение 1919, затем замерла, перестала существовать. Аресты же их начались только в 1920 году— и тогда–то, во время следствия, шестёрка была громко обозвана «Тактическим центром».

Аресты произошли по доносу одного из бледных участников Национального Центра— Н.Н. Виноградского, он продолжал быть и ус–пешливым «наседкой» в камере Особого Отдела, через которую пропускали многих участников, — а они, с наивностью тех ещё крылов–ских лет, открыто рассказывали в камере то, что хотели

утаить от следователя.

Известный русский историк СП. Мельгунов, также попавший в число подсудимых, и притом главных (член шестёрки), в эмиграции написал изнехотя воспоминания об этом процессе — может быть, и избежал бы писать, если б не опубликовалась как раз вот эта самая наша книга Крыленко с вот этой самой громовой речью. И Мельгунов с досадой на себя и однодельцев рисует нам такую известную для советского следствия картину: никаких улик у следствия не было, «ни одного документа в деле не оказалось. Весь обвинительный материал почерпнут был из показаний самих подсудимых… Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания… Казалось, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других… Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории».

В «Красной книге ВЧК» (т. II, М., 1922) многие показания подследственных приведены дословно, и они, увы, неприглядны.

Мельгунов без юмора ставит в упрёк следователю Якову Агранову (который их всех и скрутил) — обмин его и других подследствен-

ных, ловкое дураченье, о котором он считает, что «большего издевательства надо мною быть не могло», хуже, мол, всякого физического воздействия. И Мельгунов, столь проницательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадается: подтверждает участие в Союзе Возрождения тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще «стал давать более или менее связные показания» — как рассказ, без выделения следовательских вопросов. (Эти показания изумляли и подавляли однодельцев, которым их показывали в свою очередь: как будто он рассказывал всё своею неудержимой охотой.)

«Купил» их всех Агранов и на том, что поскольку это — «дело прошлое», все эти центры уже не заседают давно, — то и опасности подследственным никакой нет, ЧК выясняет всё лишь для исторического интереса. Многих обворожил Яков Саулович любезностью. Перед другими резко поставил равенство советской власти и России и, стало быть, преступность бороться против первой, если любишь вторую. И так получил от некоторых действительно униженные и угодливые показания. (В частности, статья

Котляревского, указанная в сноске, была исследованием арестанта по заданию Агранова.)

А на суде? Мелыунов: «Революционная традиция [интеллигенции] требовала известного героизма, а в душе не было нужного для такого героизма пафоса. Превратить суд в демонстрацию протеста — означало сознательное ухудшение не только своего положения, но и других».

…Вот так легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция, такая свободолюбивая, такая непримиримая, такая несгибаемая при царе — когда за неё и не брались.

Но того ярче и страшней другая удача Агранова — «та–ганцевское дело» 1921 года (хотя оно не к этой главе относится, потому что суда не было). Профессор Таганцев 45 дней следствия героически молчал. А потом убедил его Агранов подписать с ним соглашение:

«Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего… не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Всё это я делаю для облегчения участи участников нашего процесса.

Я, уполномоченный ВЧК Яков Саулович Агранов, при помощи гражданина Таганцева обязуюсь

быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд… Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания».

И по таганцевскому делу — ЧК расстреляло 87 человек.

Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябрёнок–Закон. Мы теперь совсем не помним этого.

Глава 9. ЗАКОН МУЖАЕТ

Наш обзор уже затянулся. А ведь мы ещё и не начинали. Ещё все главные, ещё все знаменитые процессы впереди. Но основные линии уже промечаются.

Посопутствуем нашему закону ещё и в пионерском возрасте.

Упомянем давно забытый и даже не политический

Процесс Главтопа (май 1921) — за то, что он касался инженеров, или спецов, как говорилось тогда.

Прошла жесточайшая из четырёх зим Гражданской войны, когда уж вовсе не осталось чем топить, и поезда не дотягивали до станций, и в столицах был холод и голод, и волна заводских забастовок (теперь вычеркнутых из истории). Знаменитый вопрос: кто виноват?

Ну, конечно, не Общее Руководство. Но даже и не Местное! — вот важно. Если «товарищи, часто пришедшие со стороны» (коммунисты–руководители), не имели правильного представления о деле, то для них «наметить правильный подход

к вопросу» должны были спецы![103] Так значит: «не руководители виноваты… —виноваты те, кто высчитывал, пересчитывал и составлял план» (как накормить и натопить нолями). Виноват не кто заставлял, а кто составлял. Плановость обернулась дутостью — спецы и виноваты. Что цифры не сошлись — «это вина спецов, а не Совета Труда и Обороны», даже «и не ответственных руководителей Главтопа». Нет ни угля, ни дров, ни нефти — это спецами «создано запутанное, хаотическое положение». И их же вина, что они не выстаивали против срочных телефонограмм Рыкова — и выдавали, и отпускали кому–то не по плану.

Во всём виноваты спецы! Но не беспощаден к ним пролетарский суд, приговоры мягки. Конечно, в пролетарских рёбрах сохраняется нутряная чуждость к этим проклятым спецам — однако без них не потянешь, всё в развале. И Трибунал их не травит, даже говорит Крыленко, что с 1920 года «о саботаже нет речи». Спецы виноваты, да, но они не по злости, а просто — путаники, не умеют лучше, не научились работать при капитализме или просто эгоисты и взяточники.

---

[103] Примечания: 103
НВ. Крыленко. За пять лет, с. 381.

Так в начале восстановительного периода намечен удивительный пунктир снисходительности к инженерам.

Богат был гласными судебными процессами 1922 год — первый мирный год, так богат, что вся эта наша глава почти и уйдёт на один этот год. (Удивятся: война прошла — и такое оживление судов? Но ведь и в 1945 и в 1948 Дракон оживился чрезвычайно. Нет ли тут самой простой закономерности?)

Хотя в декабре 1921 и постанавливал IX съезд Советов «сужать компетенцию ВЧК»[104] — и с тем замыслом ужималась она и переименовывалась в ГПУ, — но уже в октябре 1922 права ГПУ были снова расширены, а в декабре Дзержинский говорил корреспонденту «Правды» (17.12.1922): «теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам. ГПУ сжало свой аппарат, но оно укрепило его качественно».

В начале того года не упустим

Дело о самоубийстве инженера Ольденборгера (Верх–триб, февраль 1922)—никем уже не помни-

---

[104] Примечания: 104

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 1922: Отд. 1. № 4. Ст. 42: Резолюция о Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

мый, незначительный и совсем нехарактерный процесс. Потому нехарактерный, что объём его—одна–единственная человеческая жизнь, и она уже окончилась. А если б не окончилась, то именно тот инженер, да с ним человек десять, образуя центр, и сидели бы перед Верхтрибом, и тогда процесс был бы вполне характерный. А сейчас на скамье — видный партийный товарищ Седельников, да два рабкриновца, да два профсоюзника.

Но, как дальняя лопнувшая струна у Чехова, что–то щемящее есть в этом процессе раннего предшественника шах–тинцев и «Промпартии».

В.В. Ольденборгер тридцать лет проработал на московском водопроводе и стал его главным инженером, видимо, ещё с начала века. Прошёл Серебряный Век искусства, четыре Государственных Думы, три войны, три революции—а вся Москва пила воду Ольденборгера. Акмеисты и футуристы, реакционеры и революционеры, юнкера и красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ — пили чистую холодную воду Ольденборгера. Он не был женат, у него не было детей, во всей жизни его был—только этот один водопровод. В 1905 он не допустил на водопровод солдат охраны — «потому что солдатами могут быть по

неловкости поломаны трубы или машины». (А бастовать водопроводу никто не помешал тогда, в 1905 оставляли Москву и без воды — может быть, Ольденборгер и перекрыл?) На второй день Февральской революции он сказал своим рабочим, что революция кончилась, хватит, все по местам, вода должна идти. И в московских октябрьских боях была у него одна забота: сохранить водопровод. Его сотрудники забастовали в ответ на болыпевицкий переворот, пригласили его. Он ответил: «С технической стороны я, простите, не бастую. А в остальном... в остальном я, ну да...» Он принял для бастующих деньги от стачечной комиссии, выдал расписку, но сам побежал добывать муфту для испортившейся трубы.

И всё равно он враг! Он вот что сказал рабочему: «Советская власть не продержится и двух недель». Есть новая преднэповская установка, и Крыленко разрешает себе пооткровенничать с Верхтрибом: «Так думали тогда не только спецы, — так думали не раз и мы» (стр. 439, курсив мой. — АС).

И всё равно он враг! Как сказал нам товарищ Ленин: для наблюдения за буржуазными специалистами нуждаемся в сторожевом псе РКИ.

Двух таких сторожевых псов стали постоянно держать при Ольденборгере. (Один из них—плут–конторщик водопровода Макаров–Землянский, уволенный за «неблаговидные поступки», подался в РКИ, «потому что там лучше платят», поднялся в Центральный Наркомат, потому что «там оплата ещё лучше», — и оттуда приехал контролировать своего бывшего начальника, мстить обидчику от всего сердца.) Ну, и местком не дремал, конечно, — этот лучший защитник рабочих интересов. Ну, и коммунисты же возглавили водопровод. «Только рабочие должны стоять у нас во главе, только коммунисты должны обладать всей полнотой руководства, — правильность этой позиции подтвердилась и данным процессом» (стр. 433). Ну, и московская же партийная организация глаз не спускала с водопровода. (А за ней сзади — ещё ЧК.) «На здоровом чувстве классовой неприязни строили мы в своё время нашу армию; во имя её же ни одного ответственного поста мы не поручаем людям не нашего лагеря, не приставив к ним… комиссара» (стр. 434). Сразу стали все главного инженера поправлять, направлять, учить и без его ведома перемещать технический персонал («рассосали всё гнездо дельцов»).

И всё равно водопровода не спасли! Дело не луч-

ше стало идти, а хуже! — так умудрялась шайка инженеров исподтишка проводить злой умысел. Более того: переступив свою промежуточную интеллигентскую природу, из–за которой никогда в жизни он резко не выражался, Ольденборгер осмелился назвать действия нового начальника водопровода Зе–нюка («фигуры глубоко–симпатичной» Крыленке «по своей внутренней структуре») — самодурством!

Вот тогда–то стало ясно, что «инженер Ольденборгер сознательно предаёт интересы рабочих и является прямым и открытым противником диктатуры рабочего класса». Стали зазывать на водопровод проверочные комиссии — однако комиссии находили, что всё в порядке и вода идёт нормально. Рабкриновцы на этом не помирились, они сыпали и сыпали доклады в РКИ. Ольденборгер просто хотел «разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях», да не умел это сделать. Ну, в чём могли—мешали ему, мешали расточительному ремонту котлов или замене деревянных баков на бетонные. Вожди рабочих стали въявь говорить на собраниях водопровода, что их главный инженер — «душа организованного технического саботажа» и надо не верить ему и во всём сопротивляться.

И всё равно работа не исправилась, а пошла хуже!..

И что особенно ранило «потомственную пролетарскую психологию» рабкриновцев и профсоюзников — что большинство рабочих на водокачках, «заражённые мелко–буржуазной психологией», стояли на стороне Ольденборгера и не видели его саботажа. А тут ещё подоспели выборы в Моссовет, и от водопровода рабочие выдвинули кандидатуру Ольденборгера, которой партячейка, разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако она оказалась безнадёжной из–за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее комячейка послала в райком, во все инстанции и объявила на общем собрании свою резолюцию: «Ольденбор–гер — центр и душа саботажа, в Моссовете он будет нашим политическим врагом!» Рабочие ответили шумом и криками «неправда!», «врёте!». И тогда секретарь парткома товарищ Седельников прямо объявил в лицо тысячеголовому пролетариату: «С такими черносотенцами я и говорить не хочу!» — в другом месте, мол, поговорим.

Приняли такие партийные меры: исключили главного инженера из… коллегии по управлению

водопроводом, создали для него постоянную обстановку следствия, непрерывно вызывали его в многочисленные комиссии и подкомиссии, допрашивали и давали задания к срочному исполнению. Каждую его неявку заносили в протоколы «на случай будущего судебного процесса». Через Совет Труда и Обороны (председатель — товарищ Ленин) добились назначения на водопровод «Чрезвычайной Тройки» (Рабкрин, Совет Профсоюзов и тов. Куйбышев).

А вода уже четвёртый год всё шла по трубам, москвичи пили и ничего не замечали…

Тогда тов. Седельников написал статью в «Экономическую жизнь»: «ввиду волнующих общественное мнение слухов о катастрофическом состоянии водопровода» он сообщил много новых тревожных слухов и даже: что водопровод качает воду под землю и «сознательно подмывает фундамент всей Москвы» (заложенный ещё Иваном Калитой). Вызвали комиссию Моссовета. Она нашла: «состояние водопровода удовлетворительное, техническое руководство рационально». Ольден–боргер опроверг все обвинения. Тогда Седельников благодушно: «я ставил своей задачей сделать шум вокруг вопроса, а дело спецов разобраться в этом вопросе».

И что ж оставалось рабочим вождям? Какое последнее, но верное средство? Донос в ВЧК! Седельников так и сделал! Он «видит картину сознательного разрушения водопровода Ольденборгером», у него не вызывает сомнения «наличие на водопроводе, в сердце Красной Москвы, контрреволюционной организации». К тому ж и: катастрофическое состояние Рублёвской башни!

Но тут Ольденборгер допускает бестактную оплошность, беспозвоночный и промежуточный интеллигентский выпад: ему «зарезали» заказ на новые заграничные котлы (а старых в России сейчас починить невозможно) — и он кончает с собой. (Слишком много для одного, да ведь ещё и не тренированы.)

Дело не упущено, контрреволюционную организацию можно найти и без него, рабкриновцы берутся всю её выявить. Два месяца идут какие–то глухие манёвры. Но дух начинающегося НЭПа таков, что «надо дать урок и тем и другим». И вот—процесс Верховного Трибунала. Крыленко в меру суров. Крыленко в меру неумолим. Он понимает: «Русский рабочий, конечно, был прав, когда в каждом не своём видел скорее врага, чем друга», но: «при дальнейшем изменении нашей

практической и общей политики, может быть, нам придётся идти ещё на большие уступки, отступать и лавировать; быть может, партия окажется принуждённой избрать тактическую линию, против которой станет возражать примитивная логика честных самоотверженных борцов» (стр. 458).

Ну, правда, рабочих, свидетельствующих против товарища Седельникова и рабкриновцев, Трибунал «третировал с лёгкостью». И бестревожно отвечал подсудимый Седельников на угрозы обвинителя: «Товарищ Крыленко! Я знаю эти статьи; но ведь здесь не классовых врагов судят, а эти статьи относятся к врагам класса».

Однако и Крыленко сгущает бодро. Заведомо ложные доносы государственным учреждениям… при увеличивающих вину обстоятельствах (личная злоба, сведение личных счётов)… использование служебного положения… политическая безответственность… злоупотребление властью, авторитетом советских работников и членов РКП(б)… дезорганизация работы на водопроводе… ущерб Моссовету и Советской России, потому что мало таких специалистов… заменить невозможно… «Не будем уже говорить об индивидуальной личной утрате… В наше время, когда борьба

представляет главное содержание нашей жизни, мы как–то привыкли мало считаться с этими невозвратимыми утратами… (стр. 458) Верховный Революционный Трибунал должен сказать своё веское слово… Уголовная кара должна лечь со всей суровостью!.. Мы не шутки пришли играть здесь!..»

Батюшки, что ж им теперь? Неужели… ? Мой читатель привык и подсказывает: всех рас…

Совершенно верно. Всех рас–смешить: ввиду чистосердечного раскаяния подсудимых приговорить их к… общественному порицанию!

Две правды…

А Седельникова будто бы — к одному году тюрьмы. Разрешите не поверить.

О, барды Двадцатых годов, кто представляет их светлым бурлением радости! Даже краем коснувшись, даже только детством коснувшись—ведь их не забыть. Эти хари, эти мур–лы, травившие инженеров, — в двадцатые–то годы они и отъедались.

Но видим теперь, что и с 18–го…

* * *

В двух следующих процессах мы несколько отдохнём от нашего излюбленного верховного

обвинителя: он занят подготовкой к большому процессу эсеров. (Провинциальные процессы эсеров, вроде Саратовского, 1919, были и раньше.) Этот грандиозный процесс уже заранее вызвал волнение в Европе, и спохватился Наркомюст: ведь четыре года судим, а Уголовного кодекса нет, ни старого, ни нового. Наверно, и забота о Кодексе не вовсе миновала Крыленку: надо было заранее всё увязывать.

Предстоявшие же церковные процессы были внутренние, прогрессивную Европу не интересовали, и можно было провернуть их без кодекса.

Мы уже видели, что отделение Церкви от государства понималось государством так, что сами храмы и всё, что в них навешано, наставлено и нарисовано, отходит к государству, а Церкви остаётся лишь та церковь, что в рёбрах, согласно Священному Писанию. Ив 1918 году, когда политическая победа казалась уже одержанной, быстрее и легче, чем ожидалось, приступили к церковным конфискациям. Однако этот наскок вызвал слишком большое народное возмущение. В разгоравшуюся Гражданскую войну неразумно было создавать ещё внутренний фронт против верующих. Пришлось диалог коммунистов и христиан пока отложить.

В конце же Гражданской войны, как её естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжьи. Так как он не очень украшает венец победителей в этой войне, то о нём и буркают у нас не более как по две строки. А голод этот был — до людоедства, до поедания родителями собственных детей — такой голод, какого не знала Русь и в Смутное Время (ибо тогда, свидетельствуют летописцы, выстаивали по нескольку лет под снегом и льдом неразделанные хлебные зароды). Один фильм об этом голоде, может быть, переосветил бы всё, что мы видели, и всё, что мы знаем о Революции и Гражданской войне. Но нет ни фильмов, ни романов, ни статистических исследований — это стараются забыть, это не красит. К тому ж и причину всякого голода мы привыкли сталкивать на кулаков, — а среди всеобщей смерти кто ж были кулаки? В.Г. Короленко в «Письмах к Луначарскому»[105] (вопреки обещанию последнего, никогда у нас не изданных) объясняет нам повальное выголаживание и обнищание страны: это — от падения всякой производительности (трудовые руки заняты оружием) и от падения крестьянского доверия и

[105] Примечания: 105

Париж: Задруга, 1922 и Самиздат, 1967. (В СССР «Письма к Луначарскому» напечатаны впервые в «Новом мире», 1988, № 10. — Примеч. ред.)

надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Да когда–нибудь кто–нибудь подсчитает и те многомесячные многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру — из России, лишившейся языка протеста, и даже из областей будущего голода — в кайзеровскую Германию, довоёвывающую на Западе.

Прямая и короткая причинная цепочка: потому повол–жане ели своих детей, что большевики захватили силою власть и вызвали Гражданскую войну.

Но гениальность политика в том, чтоб извлечь успех и из народной беды. Это озарением приходит—ведь три шара ложатся в лузы одним ударом: пусть попы и накормят теперь Поволжье, ведь они—христиане, они—добренькие!

1) Откажут — и весь голод переложим на них, и церковь разгромим;

2) согласятся — выметем храмы;

3) и во всех случаях пополним валютный запас.

Да вероятно догадка была навеяна действиями самой Церкви. Как показывает патриарх Тихон, ещё в августе 1921, в начале голода, Церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи голодающим, начали сбор денег.

Но допустить прямую помощь от Церкви и голодающему в рот значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. Патриарх обращался за помощью и к Папе Римскому и к архиепископу Кентерберийско–му — но и тут оборвали его, разъяснив, что вести переговоры с иностранцами уполномочена только советская власть. Да и не из чего раздувать тревогу: писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама.

А на Поволжьи ели траву, подмётки и грызли дверные косяки. И наконец в декабре 1921 Помгол (государственный комитет помощи голодающим) предложил Церкви: пожертвовать для голодающих церковные ценности — не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился, Помгол составил инструкцию: все пожертвования— только добровольно! 19 февраля 1922 Патриарх выпустил послание: разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения.

И так всё опять могло распылиться в компромиссе, обволакивающем пролетарскую волю.

Мысль—удар молнии! Мысль—декрет! Декрет ВЦИК 26 февраля: изъять из храмов все ценно-

сти — для голодающих!

Патриарх написал Калинину — тот не ответил. Тогда 28 февраля Патриарх издал новое, роковое, послание: с точки зрения Церкви подобный акт — святотатство, и мы не можем одобрить изъятия.

Из полустолетнего далека легко теперь упрекнуть Патриарха. Может быть, руководители христианской Церкви не должны были отвлекаться мыслями: а нет ли у советской власти других ресурсов или кто довёл Волгу до голода; не должны были держаться за эти ценности, совсем не в них предстояло возникнуть (если предстояло) новой крепости веры. Но и надо представить себе положение этого несчастного Патриарха, избранного уже после Октября, короткие годы руководившего Церковью только теснимой, гонимой, расстреливаемой — и доверенной ему на сохранение.

И тут же в газетах началась беспроигрышная травля Патриарха и высших церковных чинов, удушающих Поволжье костлявой рукой голода! И чем твёрже упорствовал Патриарх, тем слабей становилось его положение. В марте началось движение и среди духовенства — уступить ценности, войти в согласие с властью. Опасения, которые здесь оставались, выразил Калинину

епископ Антонин Грановский, вошедший в ЦК Помгола: «верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на иные, узкие и чуждые их сердцам цели». (Зная общие принципы Передового Учения, опытный читатель согласится, что это — очень вероятно. Ведь нужды Коминтерна и освобождающегося Востока не менее остры, чем поволжские.)

Также и петроградский митрополит Вениамин пребывал в бессомненном порыве: «это — Богово, и мы всё отдадим сами». Но не надо изъятия, пусть это будет вольная жертва. Он тоже хотел контроля духовенства и верующих: сопровождать церковные ценности до того момента, как они превратятся в хлеб для голодающих. Он терзался, как при всём этом не преступить и осуждающей воли Патриарха.

В Петрограде как будто складывалось мирно. На заседании петроградского Помгола 5 марта 1922 создалась, по рассказу свидетеля, даже радушная обстановка. Вениамин огласил: «Православная Церковь готова всё отдать на помощь голодающим» и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится! Председатель Петропомгола Канатчиков заверил, что это вызовет благожелательное отношение

Советской власти к Церкви. (Как бы не так!) В тёплом порыве все встали. Митрополит сказал: «Самая главная тяжесть — рознь и вражда. Но будет время — сольются русские люди. Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божьей Матери, сладкими слезами оплачу их и отдам». Он благословил большевиков–членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. «Петроградская правда» от 8, 9 и 10 марта[106] подтверждает мирный и успешный исход переговоров, благожелательно пишет о митрополите. «В Смольном договорились, что церковные чаши, ризы в присутствии верующих будут перелиты в слитки».

И опять же вымазывается какой–то компромисс! Ядовитые пары христианства отравляют революционную волю. Такое единение и такая сдача ценностей не нужны голодающим Поволжья! Сменяется бесхребетный состав Петропомгола, газеты взлаивают на «дурных пастырей» и «князей церкви», и разъясняется церковным представителям: не надо никаких ваших жертв! и никаких с вами переговоров! всё принадлежит власти—и она возьмёт, что считает нужным.

---

[106] Примечания: 106

Статьи «Церковь и голод», «Как будут изъяты церковные ценности».

И началось в Петрограде, как и всюду, принудительное изъятие со столкновениями.

Теперь были законные основания начать церковные процессы[107].

Московский церковный процесс (26 апреля — 7 мая 1922), в Политехническом музее, Мосревтрибунал, председатель Бек, прокуроры Лунин и Лонгинов. 17 подсудимых, протоиереев и мирян, обвинённых в распространении патриаршего воззвания. Это обвинение — важней самой сдачи или несдачи ценностей. Протоиерей А.Н. Заозерский в своём храме ценности сдал, но в принципе отстаивает патриаршье воззвание, считая насильственное изъятие святотатством, — и стал центральной фигурой процесса — и будет сейчас расстрелян. (Что и доказывает: не голодающих важно накормить, а сломить в удобный час Церковь.)

5 мая вызван в Трибунал свидетелем — патриарх Тихон. Хотя публика в зале — уже подобранная, подсаженная (в этом 1922 год не сильно отличается от 1937 и 1968), но так ещё въелась

---

[107] Примечания: 107

Материалы взяты мною из «Очерков по истории русской церковной смуты» А. Левитина–Краснова и В. Шаврова. Ч. 1. Самиздат, 1962.

(См.: Акты Святейшего Патриарха Тихона… / Сост. М.Е. Губонин. М.: Православный Св. — Тихоновский богословский институт, 1994, с. 197–203. — Примеч. ред.)

закваска Руси и так ещё плёнкой закваска Советов, что при входе Патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих.

Патриарх берёт на себя всю вину за составление и рассылку воззвания. Председатель старается допытаться: да не может этого быть! да неужели своею рукой — и все строчки? да вы, наверно, только подписали, а кто писал? а кто советчики? И потом: зачем вы в воззвании упоминаете о травле, которую газеты ведут против вас? (Ведь травят вас, зачем же это слышать нам?..) Что вы хотели выразить?

Патриарх—Это надо спросить у тех, кто травлю поднимал, с какой целью это поднимается?

Председатель — Но ведь это ничего общего не имеет с религией!

Патриарх—Это исторический характер имеет.

Председатель — Вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры — «за спиною» был выпущен декрет?

Патриарх—Да.

Председатель—Таким образом, вы считаете, что Советская власть поступила неправильно?

Сокрушительный аргумент! Ещё миллионы раз нам его повторят в следовательских ночных

кабинетах! И мы никогда не будем сметь так просто ответить, как

Патриарх—Да.

Председатель — Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет?

Патриарх—Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия.

(Все бы так отвечали! Другая была б наша история!)

Идёт переспрос о канонике. Патриарх поясняет: если Церковь сама передаёт ценности — это не святотатство, а если отбирать помимо её воли — святотатство. В воззвании не сказано, чтобы вообще не сдавать, а только осуждается сдача против воли.

Изумлён председатель товарищ Бек—Что же для вас в конце концов более важно — церковные каноны или точка зрения советского правительства?

(Ожидаемый ответ—…советского правительства.)

— Хорошо, пусть святотатство по канонам, — восклицает обвинитель, — но с точки зрения милосердияV.

(Первый раз и за 50 лет последний вспоминают

на Трибунале это убогое милосердие…)

Проводится и филологический анализ. «Святотатство» от слова «свято–тать».

Обвинитель — Значит, мы, представители советской власти, — воры по святым вещам?

(Долгий шум в зале. Перерыв. Работа комендантских помощников.)

Обвинитель — Итак, вы представителей советской власти, ВЦИК называете ворами?

Патриарх—Я привожу только каноны.

Далее обсуждается термин «кощунство». При изъятии из церкви Василия Кесарийского иконная риза не входила в ящик, и тогда её топтали ногами. Но сам Патриарх там не был?

Обвинитель — Откуда вы знаете? Назовите фамилию того священника, который вам это рассказывал! (= мы его сейчас посадим!)

Патриарх не называет.

Значит — ложь!

Обвинитель наседает торжествующе — Нет, кто эту гнусную клевету распространил?

Председатель—Назовите фамилии тех, кто топтал ризу ногами! — (Они ведь при этом визитные карточки оставляли.)— Иначе Трибунал не может вам верить!

Патриарх не может назвать.

Председатель — Значит, вы заявляете голословно!

Ещё остаётся доказать, что Патриарх хотел свергнуть советскую власть. Вот как это доказывается: «агитация является попыткой подготовить настроение, чтобы в будущем подготовить и свержение».

Трибунал постановляет возбудить против Патриарха уголовное дело.

7 мая выносится приговор: из семнадцати подсудимых— одиннадцать к расстрелу. (Расстреляют пятерых.)

Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли играть.

Ещё через неделю Патриарх отстранён и арестован. (Но это ещё не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь и там будут содержать в строгом заточении, пока верующие привыкнут к его отсутствию. Помните, удивлялся не так давно Крыленко: а какая опасность грозит Патриарху?.. Верно, когда подкрадётся, не поможешь ни звоном, ни телефоном.)

Ещё через две недели арестовывают в Петрограде и митрополита Вениамина. Он не был высокий сановник Церкви, ни даже — назначенный, как все митрополиты. Весною 1917 — впервые со вре-

мён древнего Новгорода — избрали митрополита в Москве (Тихона) и в Петрограде (Вениамина). Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве, — их голосами и был избран Вениамин. Не понимая времени, задачею своей он видел свободу Церкви от политики, «ибо в прошлом она много от неё пострадала». Этого–то митрополита и вывели на

Петроградский церковный процесс (9 июня — 5 июля 1922). Обвиняемых (в сопротивлении сдаче церковных ценностей) было несколько десятков человек, в том числе — профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне. Председателю Трибунала Семёнову — 25 лет от роду (по слухам — булочник). Главный обвинитель— член коллегии Наркомюста П.А. Красиков — ровесник и красноярский, а потом эмигрантский приятель Ленина, чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать.

Ещё на Невском и на повороте с Невского что ни день густо стоял народ, а при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди Твоя!» (Само собою, тут же, на улице, как и в здании суда, арестовывали слишком ретивых верующих.) В зале большая

часть публики— красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. А обвинитель и Трибунал называли его врагом народа (словечко уже было, заметим).

От процесса к процессу сгущаясь, уже очень чувствовалось стеснённое положение адвокатов. Крыленко ничего нам не рассказал о том, но тут рассказывает очевидец. Главу защитников Бобрищева–Пушкина самого посадить загремел угрозами Трибунал — и так это было уже в нравах времени, и так это было реально, что Бобрищев–Пушкин поспешил передать адвокату Гуровичу золотые часы и бумажник… А свидетеля профессора Егорова Трибунал и постановил тут же заключить под стражу за высказывания в пользу митрополита. Но оказалось, что Егоров к этому готов: с ним — толстый портфель, а в нём — еда, бельё и даже одеяльце.

Читатель замечает, как суд постепенно приобретает знакомые нам формы.

Митрополит Вениамин обвиняется в том, что злонамеренно вступил в соглашение с… Советской властью и тем добился смягчения декрета об изъятии ценностей. Своё обращение к Помголу злонамеренно распространял в народе (Самиздат!). И действовал в согласии с мировой

буржуазией.

Священник Красницкий, один из главных живоцерковников и сотрудник ГПУ, свидетельствовал, что священники сговорились вызвать на почве голода восстание против советской власти.

Были выслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. (Ну как похоже!.. Ну всё больше и больше…)

Обвинитель Смирнов требовал «шестнадцать голов». Обвинитель Красиков воскликнул: «Вся православная церковь— контрреволюционная организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю Церковь.»

(Программа очень реальная, она вскоре почти удалась. И хорошая база для Диалога коммунистов и христиан.)

Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката (Я.С. Гуровича), защитника митрополита:

«Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения… Что скажет история? — (Ох, напугал! Да забудет и ничего не скажет!) — Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием, но петроградское духовенство — на скамье подсудимых, и чьи–то руки

подталкивают их к смерти. Основной принцип, подчёркиваемый вами, — польза советской власти. Но не забывайте, что на крови мучеников растёт Церковь. — (А у нас не вырастет!) — Больше нечего сказать, но и трудно расстаться со словом. Пока длятся прения — подсудимые живы. Кончатся прения — кончится жизнь…»

Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они прождали больше месяца, до конца процесса эсеров (как если б готовили их расстреливать вместе с эсерами). После того ВЦИК шестерых помиловал, а четверо (митрополит Вениамин; архимандрит Сергий, бывший член Государственной Думы; профессор права Ю.П. Новицкий и присяжный поверенный Ковшаров) расстреляны в ночь с 12 на 13 августа.

Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их двадцать два.

* * *

К процессу эсеров очень торопились с Уголовным кодексом: пора было уложить гранитные глыбы Закона! 12 мая, как договорились, открылась сессия ВЦИК, а с проектом Кодекса всё

ещё не успевали — он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей Кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не удовлетворило Ленина. 15 мая на полях проекта Ильич добавил ещё шесть статей, по которым также необходим расстрел (в том числе — по статье 69: пропаганда и агитация… в частности — призыв к пассивному противодействию правительству, к массовому невыполнению воинской или налоговой повинности[108]). И ещё один случай расстрела: за неразрешённое возвращение из–за границы (ну, как все социалисты то и дело шныряли прежде). И ещё одну кару, равную расстрелу: высылку за границу. (Предвидел Владимир Ильич то недалёкое время, когда отбою не будет от рвущихся к нам из Европы, но выехать от нас на Запад никого нельзя будет понудить добровольно.) Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции:

«Товарищ Курский! По–моему надо расширить применение расстрела… (с заменой высылкой за границу) ко всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и т. п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией»

---

[108] Примечания: 108

То есть как Выборгское воззвание, за что царское правительство врезало по три месяца тюрьмы.

(курсив и разрядка Ленина)[109].

Расширить применение расстрела! — чего тут не понять? (Много ли высылали за границу?) Террор — это средство убеждения[110], кажется, ясно!

А Курский всё же недопонял. Он вот чего, наверно, недотягивал: как эту формулировку составить, как эту самую связь запетлять. И на другой день он приезжал к председателю СНК за разъяснениями. Эта беседа нам неизвестна. Но вдогонку, 17 мая, Ленин послал из Горок второе письмо:

«Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса… Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически–узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как

---

[109] Примечания: 109
В.И.Лвнин. Полн. собр. соч. Т. 45, с. 189.

[110] Примечания: 110
Там же. Т. 39, с. 404, 405.

можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом

Ленин»[111].

Комментировать этот важный документ мы не берёмся. Над ним уместны тишина и размышление.

Документ тем особенно важен, что он — из последних земных распоряжений ещё не охваченного болезнью Ленина, важная часть его политического завещания. Через девять дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполно и ненадолго он оправится в осенние месяцы 1922 года. Быть может, и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре–кабинетике, угловом 2–го этажа, где уже стояло и ждало будущее смертное ложе вождя.

А дальше прикладывался тот самый черняк, два варианта дополнительного параграфа, из которого через несколько лет вырастет и 58–4, и вся наша матушка 58–я Статья. Читаешь и восхи-

---

[111] Примечания: 111
Там же. Т. 45, с. 190.

щаешься: вот оно что значит формулировать как можно шире\ вот оно что значит — применения более широкого. Читаешь и вспоминаешь, как широко хватала родимая…

«…Пропаганда или агитация, или участие в организации, или содействие (объективно содействующие или способные содействовать) …организациям или лицам, деятельность которых имеет характер…»

Да дайте мне сюда Блаженного Августина, я его сейчас же в эту статью вгоню!

Всё было, как надо, внесено, перепечатано, расстрел расширен — и сессия ВЦИК в 20–х числах мая приняла и постановила ввести Уголовный кодекс в действие с 1 июня 1922 года.

И теперь на законнейшем основании начался двухмесячный

Процесс эсеров (8 июня — 7 августа 1922). Верховный Трибунал. Обычный председатель товарищ Карклин (хорошая фамилия для судьи) был для этого ответственного процесса заменен оборотистым Георгием Пятаковым.

Если бы мы с читателем не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе не так называемая вина, а — целесообразность, может быть, мы бы не сразу распах-

нувшеюся душой приняли бы этот процесс. Но целесообразность срабатывает без осечки: в отличие от меньшевиков эсеры были сочтены ещё опасными, ещё нерассеянными, недобитыми — и для крепости новосозданной диктатуры (пролетариата) целесообразно было их добить.

А не зная этого принципа, можно ошибочно воспринять весь процесс как партийную месть.

Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяжную и всё тянущуюся историю государств. За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворней и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами Юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его — законен и отдан одам, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов — преступен, подлежит суду и законной казни.

Всего неделю назад принят Уголовный кодекс — но вот уже пятилетнюю прожитую послереволюционную историю трамбуют в него. И двадцать, и десять, и пять лет назад эсеры были — соседняя по свержению царизма революционная

партия, взявшая на себя (благодаря особенностям своей тактики террора) главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам.

А теперь вот первое обвинение против них: эсеры — инициаторы Гражданской войны! Да, это — они её начали! Они обвиняются, что в дни октябрьского переворота вооружённо воспротивились ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулемётным огнём матросов, — эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. (Другое дело — очень вяло пытались, тут же и колебались, тут же и отрекались. Но вина их от этого не меньше.) И даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе.

Разбитые оружейно, они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед Совнаркомом, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей двадцатилетней политической линии (а крах–то конечно был, хотя выяснился не враз), не попросили их помиловать, распустить, перестать считать партией.

(На тех же основаниях незаконны и все местные и окраинные правительства — Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Донское, Кубанское, Уральское или Закавказские, поскольку они объявляли себя правительствами уже после того, как объявил себя Совнарком.)

А вот и второе обвинение: они углубили пропасть Гражданской войны тем, что 5 и 6 января 1918 выступили как демонстранты и тем самым бунтовщики против законной власти Рабоче–Крестьянского правительства: они поддерживали своё незаконное (избранное всеобщим свободным равным тайным и прямым голосованием) Учредительное Собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то Собрание, и тех демонстрантов. Потому–то и началась Гражданская война, что не все жители единовременно и послушно подчинились законным декретам Совнаркома.

Обвинение третье: они не признали Брестского мира — того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища. Тем самым, устанавливает обвинительное заключение, налицо «все признаки государственной измены и преступных действий, направленных к вовлечению страны

в войну».

Государственная измена! — она тоже перевертушка, её как поставишь…

Отсюда же вытекает и тяжкое четвёртое обвинение: летом и осенью 1918 года, когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжёлой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами, — эсеры предательски готовились (даже не готовились, а больше обсуждали: а что, если бы…) взорвать путь перед одним таким поездом и оставить золото на родине — то есть они «готовились к преступному разрушению нашего народного достояния — железных дорог». (Тогда ещё не стыдились и не скрывали, что — да, вывозилось русское золото в будущую империю Гитлера, и не навенуло Крыленке с его двумя факультетами, историческим и юридическим, и из помощников никто не подшепнул, что если рельсы стальные — народное достояние, то, может быть, и золотые слитки?..)

Из четвёртого обвинения неумолимо вытягивается пятое: технические средства для такого

взрыва эсеры намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей (чтобы не отдавать золота Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты), — а это уже крайний предел предательства! (На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа эсеры были связаны, но не в тот огород перелетал камень, и покинули.)

Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого: эсеры в 1918 году были шпионами Антанты! Вчера революционеры— сегодня шпионы! — тогда это, наверно, звучало взрывно. С тех–то пор за много процессов набило оскомину до мордоворота.

Ну, и седьмое, десятое — это сотрудничество с Савинковым, или Филоненко, или кадетами, или «Союзом Возрождения», и даже белоподкладочниками или даже белогвардейцами.

Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором. (Вернули ему эту кличку, к процессу.) Кабинетным ли высиживанием или внезапным озарением за кафедрою он находит здесь ту сердечно–сострадательную, обвинительно–дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать всё увереннее и гуще, и которая в 37–м году даст ошеломляющий успех.

Нота эта — найти единство между судящими и судимыми, — и против всего остального мира. Мелодия эта играется на самой любимой струне подсудимого. С обвинительной кафедры эсерам говорят: ведь мы же с вами — революционеры! (Вы и мы — это мы!) И как же вы могли так пасть, чтоб объединиться с кадетами? (да наверно сердце ваше разрывается!) с офицерами? Учить белоподкладочников вашей разработанной блестящей технике конспирации?! (Это — особый характер октябрьского переворота: объявить войну всем партиям сразу и тут же запретить им объединяться между собой: «тебя не гребут — не подмахивай».)

У иных подсудимых и как не разняться сердцу: ну как они могли так низко пасть? Ведь это сочувствие прокурора в светлом зале — оно очень пробирает узника, привезенного из камеры.

И ещё такую логическую тропочку находит Крыленко (очень она пригодится Вышинскому против Каменева и Бухарина): входя с буржуазией в союзы, вы принимали от неё денежную помощь. Сперва вы брали на дело, ни в коем случае не для партийных целей — а где грань? Кто это разделит? Ведь дело — тоже партийная цель? Итак, вы докатились: вас, партию социалистов–

революционеров, содержит буржуазия?! Да где же ваша революционная гордость?

Набралась обвинений мера полная и с присыпочкой — и уж мог бы Трибунал уходить на совещание, отклёпывать каждому заслуженную казнь, — да вот ведь неурядица:

— всё, в чём здесь обвинена партия эсеров, — относится к 1917 и 1918 годам;

— в феврале 1919 совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против болыпевицкой власти (изнемогши ли от борьбы или проникнувшись социалистической совестью). И 27 февраля 1919 болыпевицкое правительство объявило эсерам амнистию за всё прошлое. Партия была легализована, вышла из подполья — а через 2 недели начались массовые аресты и всю головку тоже взяли (вот это — по–нашему!);

— с тех пор они не боролись на воле, и тем более не боролись, сидя в тюрьме (ЦК сидел в Бутырках и почему–то не бежал, как обычно при царе), — так они после амнистии ничего не совершили до нынешнего 1922 года.

Как же выйти из положения?

Мало того, что они не ведут борьбы, — они признали власть Советов! (То есть отреклись от своего бывшего Временного, да и от Учредительного

тоже.) И только просят произвести перевыборы этих советов со свободной агитацией партий. (И даже тут на процессе подсудимый Гендельман, член ЦК: «Дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод — и мы не будем нарушать законов». Дайте им, да ещё «всей гаммой»!)

Слышите? Вот оно где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло! Да нешто можно? Да ведь серьёзный момент. Да ведь окружены врагами. (И через двадцать, и через пятьдесят, и через сто лет так будет.) А вам — свободную агитацию партий, сукины дети?!

Люди политически трезвые, говорит Крыленко, могли в ответ только рассмеяться, только плечами пожать. Справедливо было решено: «немедленно всеми мерами государственной репрессии пресечь этим группам возможность агитировать против власти» (стр. 183). Вот и весь ЦК эсеров (кого ухватили) посадили в тюрьму!

Но —в чём их теперь обвинить? «Этот период не является в такой мере обследованным судебным следствием», — сетует наш прокурор.

Впрочем, одно–то обвинение было верное: в том же феврале 1919 эсеры вынесли резолюцию (но не проводили в жизнь — однако по новому

Уголовному кодексу это всё равно): тайно агитировать в Красной армии, чтобы красноармейцы отказывались участвовать в карательных экспедициях против крестьян.

Это было низкое коварное предательство революции! — отговаривать от карательных экспедиций.

Ещё можно было обвинить их во всём том, что говорила, писала и делала (больше говорила и писала) так называемая «Заграничная делегация ЦК» эсеров — те главные эсеры, которые унесли ноги в Европу.

Но этого всего было маловато. И вот что было удумано: «многие из сидящих здесь подсудимых не подлежали бы обвинению в данном процессе, если бы не обвинения их в организации террористических актов»!.. Когда, мол, издавалась амнистия 1919 года, «никому из деятелей советской юстиции не приходило в голову», что эсеры организовали ещё и террор против деятелей советского государства! (Ну кому, в самом деле, в голову могло прийти, чтобы: эсеры — и вдруг террор? Да приди в голову—пришлось бы заодно и амнистировать. Это просто счастье, что тогда — в голову не приходило. Лишь когда понадобилось—теперь пришло.) К это обвинение

не амнистировано (ведь амнистирована только борьба)— и вот Крыленко предъявляет его!

Прежде всего: что сказали вожди эсеров (а чего эти говоруны не высказали за жизнь!..) ещё в первые дни после октябрьского переворота? Нынешний лидер подсудимых, да и лидер партии, Абрам Гоц сказал тогда: «Если Смольные самодержцы посягнут и на Учредительное Собрание… партия с–р вспомнит о своей старой испытанной тактике».

От неукротимых эсеров — естественно этого и ждать. И правда, трудно поверить, чтоб они отказались от террора.

«В этой области исследования», — жалуется Крыленко, — из–за конспирации «свидетельских показаний… будет мало… Этим до чрезвычайности затруднена моя задача… В этой области приходится в некоторых моментах бродить в потёмках» (стр. 236, — а язычок–то!).

Задача Крыленки тем затруднена, что террор против Советской власти трижды обсуждался на ЦК эсеров в 1918 и был трижды отвергнут (несмотря и на разгон Учредительного). И теперь, спустя годы, надо доказать, что эсеры всё же вели террор.

Тогда они постановили: не раньше чем боль-

шевики перейдут к казням социалистов. А в 1920: если большевики посягнут на жизнь заложников–эсеров, то партия возьмётся за оружие. (А других заложников пусть хоть и добивают…)

Так вот: почему с оговорками? Почему не абсолютно отказались? «Почему не было высказываний абсолютно отрицательного характера?»

Что партия в общем не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Но натягиваются такие факты: в голове одного подсудимого был проект взорвать паровоз совнаркомовского поезда при переезде в Москву— значит, ЦК виноват в терроре. А исполнительница Иванова с одной пироксилиновой шашкой дежурила одну ночь близ станции — значит, покушение на поезд Троцкого и, значит, ЦК виноват в терроре. Или: член ЦК Донской предупредил Ф. Каплан, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так — мало! Почему не — категорически запретили? (Или: почему не донесли на неё в ЧК?) Всё же Каплан прилипает: была эсеркой.

Только то и нащипал Крыленко с мёртвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных томящихся боевиков. (Да и те бое-

вики мало что сделали. Семёнов направил руку Сергеева, убившего Володарского, — но ЦК остался чистеньким в стороне, даже публично отрёкся. Да потом этот же Семёнов и его подруга Коноплёва с подозрительной готовностью обогатили своими добровольными показаниями и ГПУ, и теперь Трибунал, и этих–то самых страшных боевиков держат на советском суде бесконвойно, между заседаниями они ходят спать домой.)

Об одном свидетеле Крыленко разъясняет так: «если бы человек хотел вообще выдумать, то вряд ли этот человек выдумал бы так, чтобы случайно попасть как раз в точку» (стр. 251). (Очень сильно! Это можно сказать обо всяком подделанном показании.) О Коноплёвой наоборот: достоверность её показания именно в том, что она не всё показывает то, что необходимо обвинению. (Но достаточно для расстрела подсудимых.) «Если мы поставим вопрос, что Коноплёва выдумывает всё это… то ясно: выдумывать так выдумывать» (он знает!) — а она вишь не до конца. А есть и так: «Могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена». Не исключена? — значит, была. Катай–валяй!

Потом — «подрывная группа». Долго о ней толкуют, вдруг: «распущена за бездеятельностью».

Так что и уши забиваете? Было несколько денежных экспроприации из советских учреждений (оборачиваться–то не на что эсерам, квартиры снимать, из города в город ездить). Но раньше это были изящные благородные эксы, как выражались все революционеры. А теперь, перед советским судом? — «грабёж и укрывательство краденого».

В материалах процесса освещается мутным жёлтым немигающим фонарём закона неуверенная, заколебленная, за–петлившаяся послереволюционная история этой пафосно–го–ворливой, а по сути, растерявшейся, беспомощной и даже бездеятельной партии, не устоявшей против большевиков. И каждое её решение или нерешение, и каждое её метание, порыв или отступление — теперь обращаются и вменяются ей только в вину, в вину, в вину.

И если в сентябре 1921, за 10 месяцев до процесса, уже сидя в Бутырках, арестованный ЦК писал на волю новоизбранному ЦК, что не на всякое свержение болыпе–вицкой диктатуры он согласен, а только — через сплочение трудящихся масс и агитационную работу (то есть, и сидя в тюрьме, не согласен он освободиться ни террором, ни заговором, ни вооружённым восстанием!), так и

это выворачивается им в первейшую вину: ага, значит, на свержение согласны.

Ну, а если всё–таки в свержении не виновны, в терроре почти не виновны, экспроприации почти нет, за всё остальное давно прощены? Наш любимый прокурор вытягивает заветный запасец: «В крайнем случае недонесение есть состав преступления, который по отношению ко всем без исключения подсудимым имеет место и должен считаться установленным» (стр. 305).

Партия эсеров уже в том виновна, что не донесла на себя\ Вот это без промаха! Это — открытие юридической мысли в новом Кодексе, это — мощёная дорога, по которой покатят и покатят в Сибирь благодарных потомков.

Да и просто, в сердцах выпаливает Крыленко: «ожесточённые вечные противники» — вот кто такие подсудимые! А тогда и без процесса ясно, что с ними надо делать.

Кодекс так ещё нов, что даже главные контрреволюционные статьи Крыленко не успел запомнить по номерам—но как он сечёт этими номерами! как глубокомысленно приводит и истолковывает их! — будто десятилетиями только на тех статьях и качается нож гильотины. И вот что особенно ново и важно: различения методов

и средств, которое проводил старый царский кодекс, у нас нет! Ни на квалификацию обвинения, ни на карательную санкцию они не влияют! Для нас намерение или действие — всё равно! Вот была вынесена резолюция — за неё и судим. А там «проводилась она или не проводилась — это никакого существенного значения не имеет» (стр. 185). Жене ли в постели шептал, что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал — всё едино! Наказание — одинаково!!!

Как у провидчивого художника из нескольких резких угольных черт вдруг восстаёт желанный портрет—так и нам всё больше выступает в набросках 1922 года — вся панорама 37–го, 45–го, 49–го.

Это — первый опыт процесса, публичного даже на виду у Европы, и первый опыт «негодования масс». И негодование масс особенно удалось.

А вот как дело было. Два социалистических Интернационала— 2–й и $2V_2$— й (Венское Объединение), если не восторженно, то вполне спокойно наблюдали четыре года, как большевики во славу социализма режут, жгут, топят, стреляют и давят свою страну, это всё понималось как грандиозный социальный эксперимент. Но весной 1922

объявила Москва, что 47 эсеров предаются суду Верховного Трибунала—и ведущие социалисты Европы забеспокоились и встревожились.

В начале апреля 1922 в Берлине собралось — для установления «единого фронта» против буржуазии — совещание трёх Интернационалов (от Коминтерна — Бухарин, Радек), и социалисты потребовали от большевиков отказаться от этого суда. «Единый фронт» очень был нужен в интересах мировой революции, и коминтерновская делегация самовольно дала обязательство: что процесс будет гласный; что представители всех интернационалов могут присутствовать, вести стенографические отчёты; что будут допущены защитники, желаемые подсудимыми; и, самое главное, опережая компетентность суда (для коммунистов дело плёвое, но социалисты тоже согласились): на этом процессе не будет вынесено смертных приговоров.

Ведущие социалисты радовались: они просто решили ехать сами защитниками подсудимых. А Ленин (он доживал свои последние недели перед первым параличом, но не знал того) сурово отозвался в «Правде»: «Мы заплатили слишком много». Как же можно было обещать, что не будет смертных приговоров, и разрешить допуск со-

циал–предателей на наш суд? По последующему мы увидим, что и Троцкий с ним был вполне согласен, да и Бухарин вскоре раскаялся. Газета германских коммунистов «Роте Фане» отозвалась, что большевики были бы идиотами, если бы сочли необходимым выполнять принятые обязательства: дело в том, что «единый фронт» в Германии провалился, так что зря и обещания все были даны. Но коммунисты уже тогда начали понимать безграничную силу своих исторических приёмов. Ближе к процессу, в мае, «Правда» написала: «Мы в точности выполним обязательство. Но вне судебного процесса эти господа должны быть поставлены в такие условия, которые обеспечили бы нашу страну от поджигательской тактики этих негодяев». И под такой аккомпанемент в конце мая знаменитые социалисты Вандервельде, Розенфельд и Теодор Либкнехт (брат убитого Карла) выехали в Москву.

Уже начиная от пограничной станции и на всех остановках вагон социалистов штурмовали гневные демонстрации трудящихся, требуя отчёта в их контрреволюционных намерениях, от Вандервельде же — почему он подписал грабительский Версальский договор? А то — вышибали в вагоне стёкла и обещали самим морду набить. Но наибо-

лее пышно их встретили на Виндавском вокзале в Москве: площадь была заполнена демонстрациями со знаменами, оркестрами, пением. На огромных плакатах: «Господин королевский министр Вандервельде! Когда вы предстанете перед судом Революционного Трибунала?» «Каин, Каин, где брат твой Карл?» При выходе иностранцев — кричали, свистели, мяукали, угрожали, а хор пел:

Едет, едет Вандервельде, Едет к нам всемирный хам. Конечно, рады мы гостям, Однако жаль, что нам, друзья, Его повесить здесь нельзя.

(И тут случилась неловкость: Розенфельд разглядел в толпе самого Бухарина, весело свистевшего, пальцы в рот.) В последующие дни по Москве на разукрашенных грузовиках разъезжали балаганы Петрушек, на эстраде близ памятника Пушкину шёл постоянный спектакль с изображением предательства эсеров и их защитников. А Троцкий и другие ораторы разъезжали по заводам и в зажигательных речах требовали смертной казни эсерам, после чего проводили голосование партийных и беспартийных рабочих. (Уже в то время знали много возможностей: несогласных уволить с завода при безработице, лишить рабочего распределителя —

это уж не говоря о ЧК.) Голосовали. Затем пустили по заводам петиции с требованием смертной казни, газеты заполнялись этими петициями и цифрами подписей. (Правда, несогласные ещё были, даже выступали — и кое–кого приходилось арестовывать.)

8 июня начался суд. Судили 32 человека, из них 22 подсудимых из Бутырок и 10 раскаявшихся, уже бесконвойных, которых защищал сам Бухарин и несколько коминтерновцев. (Веселятся в одной и той же трибунальской комедии и Бухарин и Пятаков, не чуя насмешки запасливой судьбы. Но оставляет судьба и время подумать — ещё по 15 лет жизни каждому, да и Крыленке.) Пятаков держался резко, мешал подсудимым высказываться. Обвинение поддерживали Луначарский, Покровский, Клара Цеткин. (Обвинительный акт подписала и жена Крыленки, которая вела следствие, — дружные семейные усилия.)

В зале было немало— 1200 человек, но из них только 22 родственника 22–х подсудимых, а остальные все — коммунисты, переодетые чекисты, подобранная публика. Часто из публики прерывали криками и подсудимых и защитников. Переводчики искажали для защитников смысл процесса, для процесса — слова защит-

ников, ходатайства их Трибунал отвергал с издёвкой, свидетели защиты не были допущены, стенограммы велись так, что нельзя было узнать собственных речей.

На первом же заседании Пятаков заявил, что суд заранее отказывается от беспристрастного рассмотрения дела и намерен руководствоваться исключительно соображениями об интересах советской власти.

Через неделю иностранные защитники имели бестактность подать суду жалобу, что как будто нарушается берлинское соглашение, — на что Трибунал гордо ответил, что он — суд и не может быть связан никаким соглашением.

Защитники–социалисты окончательно упали духом, их присутствие на этом суде только создавало иллюзию нормального судопроизводства, они отказались от защиты и только хотели теперь уехать к себе в Европу — но их не выпускали. Пришлось знатным гостям объявить голодовку. — лишь после этого им разрешили выехать, 19 июня. И жаль, потому что они лишились самого впечатляющего зрелища — 20 июня, в годовщину убийства Володарского.

Собрали заводские колонны (на каких заводах запирали ворота, чтобы прежде не разбежа-

лись, на каких отбирали контрольные карточки, где, напротив, кормили обедом), на знаменах и плакатах — «смерть подсудимым», воинские колонны само собою. И на Красной площади начался митинг. Выступал Пятаков, обещая суровое наказание, Крыленко, Каменев, Бухарин, Радек, весь цвет коммунистических ораторов. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а возвратившийся Пятаков велел подвести подсудимых к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Они стояли под градом оскорблений и издевательств, в Гоца угодила доска «смерть социалистам–революционерам». Всё это вместе заняло пять послерабочих часов, уже смеркалось (полубелая ночь в Москве), — и Пятаков объявил в зале, что делегация митинга просит впустить её. Крыленко дал разъяснение, что хотя законами это не предусмотрено, но по духу Советской власти вполне можно. И делегация ввалилась в зал, и здесь два часа произносила ругательные грозные речи, требовала смертной казни, а судьи слушали, жали руки, благодарили и обещали беспощадность. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания. (Гоц, внук богатого чаеторговца, тоже сочувственника революции,

такой успешливый террорист при царе, участник покушений и убийств — Дурново, Мина, Римана, Акимова, Шувалова, Рачковского, — вот уж, за всю свою боевую карьеру так не попадал!) Но кампания народного гнева тут и оборвалась, хотя суд продолжался еще полтора месяца. Через день и советские защитники с суда ушли (ждал и их арест и высылка).

Тут — узнаётся много знакомых будущих черт, но поведение подсудимых ещё далеко не сломлено, и ещё не понуждены они говорить против самих себя. Их ещё поддерживает и традиционное обманное представление левых партий, что они — защитники интересов трудящихся. После утерянных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость. Подсудимый Берг обвиняет большевиков в расстреле демонстрантов, защищавших Учредительное Собрание; подсудимый Либеров говорит: «я признаю себя виновным в том, что в 1918 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков» (стр. 103). И Евгения Ратнер о том же, и опять Берг: «Считаю себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче–крестьянской властью, но я надеюсь, что моё время ещё не ушло». (Ушло,

голубчик, ушло.) Есть тут и старая страсть к звучанию фразы — но есть же и твёрдость!

Аргументирует прокурор: обвиняемые опасны Советской России, ибо считают благом всё, что делали. «Быть может, некоторые из подсудимых находят своё утешение в том, что когда–нибудь летописец будет о них или об их поведении на суде отзываться с похвалой».

Подсудимый Гендельман зачёл декларацию: «Мы не признаём вашего суда!..» И, сам юрист, он выделился спорами с Крыленкой о подтасовке свидетельских показаний, об «особых методах обращения со свидетелями до процесса» — читай: о явности обработки их в ГПУ. (Это уже всё есть! — немного осталось дожать до идеала.) Оказывается: предварительное следствие велось под наблюдением прокурора (Крыленки же), и при этом сознательно сглаживались отдельные несогласованности в показаниях.

Ну что ж, ну есть шероховатости. Недоработки — есть. Но в конце концов «нам надлежит с совершенной ясностью и хладнокровностью сказать… занимает нас не вопрос о том, как суд истории будет оценивать творимое нами дело» (стр. 325).

А пока, выворачиваясь, Крыленко — долж-

но быть первый и последний раз в советской юриспруденции — вспоминает о дознании, о первичном дознании, ещё до следствия! И вот как это у него ловко выкладывается: то, что было без наблюдения прокурора и вы считали следствием, — то было дознание. А то, что вы считаете переследствием под оком прокурора, когда увязываются концы и заворачиваются болты, — так это и есть следствие! Хаотические «материалы органов дознания, не проверенные следствием, имеют гораздо меньшую судебную доказательную ценность, чем материалы следствия» (стр. 238), когда направляют его умело. Ловок, в ступе не утолчёшь.

По–деловому говоря, обидно Крыленке полгода к этому процессу готовиться, да два месяца на нём гавкаться, да часиков пятнадцать вытягивать свою обвинительную речь, тогда как все эти подсудимые «не раз и не два были в руках чрезвычайных органов в такие моменты, когда эти органы имели чрезвычайные полномочия; но благодаря тем или иным обстоятельствам им удалось уцелеть» (стр. 322), и вот теперь на Крыленке работа — тянуть их на законный расстрел.

Конечно, «приговор должен быть один — расстрел всех до одного»! Но, великодушно оговари-

вается Крыленко, поскольку дело всё–таки у мира на виду, — сказанное прокурором «не является указанием для суда», которое бы тот был «обязан непосредственно принять к сведению или исполнению» (стр. 319).

И хорош же тот суд, которому это надо объяснять!..

После призыва прокурора к расстрелу — подсудимым предложено было заявить о раскаянии и об отречении от партии. Все отклонили.

А Трибунал в своём приговоре проявил дерзость: он изрёк расстрел действительно не «всем до одного», а только двенадцати человекам. Остальным — тюрьмы, лагеря, да ещё на дополнительную сотню человек выделил дело производством.

И — помните, помните, читатель: на Верховный Трибунал «смотрят все остальные суды Республики, [он] даёт им руководящие указания» (стр. 407), приговор Верхтриба используется «в качестве указующей директивы» (стр. 409). Скольких ещё по провинции закатают — это уж вы смекайте сами.

А пожалуй, всего этого процесса стоит кассация Президиума ВЦИК. Сперва приговор Трибунала поступил на конференцию РКП(б). Там было

предложение заменить расстрел высылкой за границу. Но Троцкий, Сталин и Бухарин (такая тройка, и заодно!): дать 24 часа на отречение и тогда 5 лет ссылки, иначе немедленный расстрел. Прошло предложение Каменева, которое и стало решением ВЦИК: расстрельный приговор утвердить, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осуждённых будет зависеть от поведения эсеров, оставшихся на свободе (очевидно — и заграничных). Если будет продолжаться хотя бы подпольно–заговорщицкая работа, а тем более — вооружённая борьба эсеров, — эти 12 будут расстреляны.

Так их подвергли пытке смертью: любой день мог быть днём расстрела. Из доступных Бутырок скрыли в Лубянку, лишили свиданий, писем и передач — впрочем, и некоторых жён тут же арестовали и выслали из Москвы.

На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде, кроме дворов ЧК, уже не стреляли (в Ярославле — Пер–хурова, в Петрограде — митрополита Вениамина; и присно, и присно, и присно). Под лазурным небом синими водами плыли за границу наши первые дипломаты и журналисты. Центральный Исполнительный Комитет Рабочих и Крестьянских депутатов

оставлял за пазухой пожизненных заложников.

Члены правящей партии прочли тогда шестьдесят номеров «Правды» о процессе (они все читали газеты) — и все говорили— да, да, да. Никто не вымолвил — нет.

И чему они потом удивлялись в 37–м? На что жаловались?.. Разве не были заложены все основы бессудия—сперва внесудебной расправой ЧК, судебной расправой Реввоен–трибуналов, потом вот этими ранними процессами и этим юным Кодексом? Разве 1937 не был тоже целесообразен (сообразен целям Сталина, а может быть и Истории)?

Пророчески же сорвалось у Крыленки, что не прошлое они судят, а будущее.

Лихо косою только первый взмах сделать.

* * *

Около 20 августа 1924 перешёл советскую границу Борис Викторович Савинков. Он тут же был арестован и отвезен на Лубянку.

Об этом возвращении много плелось догадок. Но вот недавно и советский журнал «Нева» (1967, № 11) подтвердил объяснение, данное в 1933 Бурцевым («Былое», Париж, Новая серия — II, Б–ка «Иллюстрированной России», кн. 47): склонив к

предательству одних агентов Савинкова и одурачив других, ГПУ через них закинуло верный крючок: здесь, в России, томится большая подпольная организация, но нет достойного руководителя! Не придумать было крючка зацепистей! Да и не могла смятенная жизнь Савинкова тихо окончиться в Ницце.

Следствие состояло из одного допроса — только добровольные показания и оценка деятельности. 23 августа уже было вручено обвинительное заключение. (Скорость невероятная, но это произвело эффект. Кто–то верно рассчитал: вымучивать из Савинкова жалкие ложные показания—только бы разрушило картину достоверности.)

В обвинительном заключении, уже отработанною выворотной терминологией, в чём только Савинков не обвинялся: и «последовательный враг беднейшего крестьянства»; и «помогал российской буржуазии осуществлять империалистические стремления» (то есть в 1918 был за продолжение войны с Германией); и «сносился с представителями союзного командования» (это когда был управляющим военного министерства!); и «провокационно входил в солдатские комитеты» (то есть избирался солдатскими депутатами); и уж вовсе курам на смех — имел

«монархические симпатии». Но это всё старое. А были и новые, дежурные обвинения всех будущих процессов: деньги от империалистов; шпионаж для Польши (Японию пропустили!..) и — цианистым калием хотел перетравить Красную армию (но ни одного красноармейца не отравил).

26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих (впервые его встречаем), а обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савинков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. И кажется, очень сюда пришлась, смущала подсудимого эта мелодия: ведь мы же с вами —русские!.. вы и мы — это мы\ Вы любите Россию, несомненно, мы уважаем вашу любовь, —а разве не любим мы? Да разве мы сейчас и не есть крепость и слава России? А вы хотели против нас бороться? Покайтесь!..

Но чуднее всего был приговор: «применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка и, полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс», — заменить расстрел десятью годами лишения свободы.

Это — сенсационно было, это много тогда смутило умов: помягчение власти? перерождение?

Ульрих в «Правде» даже объяснялся и извинялся, почему Савинкова помиловали. Ну, да ведь за 7 лет какая ж и крепкая стала Советская власть! — неужели она боится какого–то Савинкова! (Вот на 20–м году послабеет, уж там не взыщите, будем сотнями тысяч стрелять.)

Так после первой загадки возвращения стал второю загадкою несмертный этот приговор. (Бурцев объясняет тем, что Савинкова отчасти обманули наличием каких–то оппозиционных комбинаций в ГПУ, готовых на союз с социалистами, и он сам ещё будет освобождён и привлечён к деятельности— и так он пошёл на сговор со следствием.) После суда Савинкову разрешили… послать открытые письма за границу, в том числе и Бурцеву, где он убеждал эмигрантов–революционеров, что власть большевиков зиждется на народной поддержке и недопустимо бороться против неё.

А в мае 1925 две загадки были покрыты третьего: Савинков в мрачном настроении выбросился из неограждённого окна во внутренний двор Лубянки, и гепеушники, ангелы–хранители, просто не управились подхватить и спасти его. Однако оправдательный документ на всякий случай (чтобы не было неприятностей по службе) Са-

винков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой, — и так верно, и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что вполне верили: никто не мог написать этого письма, кроме Савинкова, что он кончил с собою в сознании политического банкротства. (Так и Бурцев многопроходливый свёл всё происшедшее к ренегатству Савинкова, так и не усум–нясь ни в подлинности его писем, ни в самоубийстве. И у всякой проницательности есть свои пределы.)

И мы–то, мы, дурачьё, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролётами натянуты с тех пор, как бросился тут Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем: ведь опыт же тюремщиков международен! Ведь сетки такие в американских тюрьмах были уже в начале века— а как же советской технике отставать?

В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому–то из окружающих, что он был в числе тех четырёх, кто выбросили Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор! (И это не противоречит нынешнему повествованию в журнале «Нева»: этот низкий подоконник, почти как у двери балкон-

ной, — выбрали комнату! Только у советского писателя ангелы зазевались, а по Шрюбелю — кинулись дружно.)

Так вторая загадка— необычайно милостивого приговора— развязывается грубой третьей.

Слух этот глух, но меня достиг, а я передал его в 1967 М.П. Якубовичу, и тот с сохранившейся ещё молодой оживлённостью, с заблес–кивающими глазами воскликнул: «Верю! Сходится! А я–то Блюмкину не верил, думал, что хвастает». Разъяснилось: в конце 20–х годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савинкова, по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савинков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенное к нему в камеру лицо — он «развлекал» его вечерами. (Почуял ли Савинков, что это смерть к нему зачастила— вкрадчивая, дружественная смерть, в которой никак не угадаешь явления гибели?) Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савинкова, в круг его последних мыслей.

Спросят: а зачем — из окна? А не проще ли было отравить? Наверно, кому–нибудь останки показывали или предполагали показать.

Где, как не здесь, досказать и судьбу Блюмки-

на, в его чекистском всемогуществе когда–то бесстрашно осаженного Мандельштамом. Эренбург начал о Блюмкине — и вдруг застыдился и покинул. А рассказать есть что. После разгрома левых эсеров в 1918 убийца Мирба–ха не только не был наказан, не только не разделил участи всех левых эсеров, но был Дзержинским прибережён (как хотел он и Косырева приберечь), внешне обращен в большевизм. Его держали, видимо, для ответственных мокрых дел. Как–то, на рубеже 30–х годов, он ездил за границу для тайного убийства. Однако дух авантюризма или восхищение Троцким завели Блюмкина на Принцевы острова: спросить у законоучителя, не будет ли поручения в СССР? Троцкий дал пакет для Ра–дека. Блюмкин привёз, передал, и вся его поездка к Троцкому осталась бы в тайне, если бы сверкающий Радек уже тогда не был бы стукачом. Радек завалил Блюмкина, и тот поглощён был пастью чудовища, которое сам выкармливал из рук ещё первым кровавым молочком.

А все главные и знаменитые процессы — всё равно впереди…

Глава 10. ЗАКОН СОЗРЕЛ

Но где же эти толпы, в безумии лезущие на нашу пограничную колючую проволоку с Запада, а мы бы их расстреливали по статье 71 УК за самовольное возвращение в РСФСР? Вопреки научному предвидению не было этих толп, и втуне осталась статья, продиктованная Лениным. Единственный на всю Россию такой чудак нашёлся Савинков, но и к нему не извернулись применить ту статью. Зато противоположная кара—высылка за границу вместо расстрела, была испробована густо и незамедлительно.

Ещё в тех же днях, вгорячах, когда сочинялся Кодекс, Владимир Ильич, не оставляя блеснувшего замысла, написал 19 мая 1922:

«Тов. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим… Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам

Политбюро»[112].

Естественная в этом случае секретность вызвалась важностью и поучительностью меры. Прорезающе–ясная расстановка классовых сил в Советской России только и нарушалась этим студенистым бесконтурным пятном старой буржуазной интеллигенции, которая в идеологической области играла подлинную роль военных шпионов — и ничего нельзя было придумать лучше, как этот застойник мысли поскорей соскоблить и вышвырнуть за границу.

Сам товарищ Ленин уже слёг в своём недуге, но члены Политбюро, очевидно, одобрили, и товарищ Дзержинский провёл излавливание, и в конце 1922 около трёхсот виднейших русских гуманитариев были посажены на… баржу?., нет, на пароход, и отправлены на европейскую свалку. (Из имён утвердившихся и прославившихся там были философы И.О. Лосский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун, Б.П. Вышеславцев, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин; затем историки СП. Мельгунов, В.А. Мякотин, АА. Кизеветтер, И.И. Лапшин; литераторы и публицисты Ю.И. Айхенвальд, А.С. Изгоев, М.А. Осоргин, А.В. Пешехонов. Малыми

---

[112] Примечания: 112
ВИ.Ленин. Полн. собр. соч. Т. 54, с. 265, 266.

группами досылали ещё и в начале 1923, например секретаря Льва Толстого В.Ф. Булгакова. По худым знакомствам туда попадали и математики— Д.Ф. Селиванов.)

Однако излавливать постоянно и систематически — не вышло. От рёва ли эмиграции, что это ей «подарок», прояснилось, что и эта мера — не лучшая, что зря упускался хороший расстрельный материал, а на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами. И — покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к Духонину, либо на Архипелаг.

Утверждённый в 1926 (и вплоть до хрущёвского времени) улучшенный Уголовный кодекс скрутил все прежние верви политических статей в единый прочный бредень 58–й — и заведен был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно–техническую — тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве и трудно было её контролировать при помощи одного только Передового Учения. Прояснялось теперь, что ошибкой был судебный процесс в защиту Ольденборгера (а хороший там Центр сколачивался!) и — поспешным отпускатель–ное заявление Крыленки: «о саботаже инженеров уже не было речи в 1920–21

годах»[113]. Не саботаж, так хуже — вредительство (это слово открыто было, кажется, шахтинским рядовым следователем).

Едва было понято, что искать: вредительство, — и тут же, несмотря на небывалость этого понятия в истории человечества, его без труда стали обнаруживать во всех отраслях промышленности и на всех отдельных производствах. Однако в этих дробных находках не было цельности замысла, не было совершенства исполнения, а натура Сталина, да и вся ищущая часть нашей юстиции очевидно стремились к ним. Да наконец же созрел наш Закон и мог явить миру нечто действительно совершенное! — единый, крупный, хорошо согласованный процесс, на этот раз над инженерами. Так состоялось

Шахтинское дело (18 мая— 15 июля 1928). Спецприсутствие Верховного Суда СССР, председатель А.Я. Вышинский (ещё ректор 1–го МГУ), главный обвинитель Н.В. Крыленко (знаменательная встреча! как бы передача юридической

[113] Примечания: 113
Н.В. Крыленко. За пять лет, с. 437.

эстафеты)[114], 53 подсудимых, 56 свидетелей. Грандиозно!!!

Увы, в грандиозности была и слабость этого процесса: если на каждого подсудимого тянуть только по три нитки, то уже их 159, а у Крыленки лишь десять пальцев, и у Вышинского десять. Конечно, «подсудимые стремились раскрыть обществу свои тяжёлые преступления», но — не все, только — шестнадцать. А тринадцать «извивались». А двадцать четыре вообще себя виновными не признали[115]. Это вносило недопустимый разнобой, массы вообще не могли этого понять. Наряду с достоинствами (впрочем, достигнутыми уже в предыдущих процессах) — беспомощностью подсудимых и защитников, их неспособностью сместить или отклонить глыбу приговора, — недостатки нового процесса били в глаза, и кому–кому, а опытному Крыленке были непростительны.

На пороге бесклассового общества мы в силах

---

[114] Примечания: 114

А членами были старые революционеры Васильев–Южин и Антонов–Саратовский. Располагало само уже простецкое звучание их фамилий. Запоминаются. Вдруг в 1962 читаешь в «Известиях» некрологи о жертвах репрессий — и кто же подписал? Долгожитель Антонов–Саратовский! Может, и сам отведал? Но этих не вспоминает.

[115] Примечания: 115

Дело об экономической контрреволюции в Донбассе // Правда, 24 мая 1928, с. 3.

были наконец осуществить и бесконфликтный судебный процесс (отражающий внутреннюю бесконфликтность нашего строя), где к единой цели стремились бы дружно и суд, и прокурор, и защита, и подсудимые.

Да и масштабы Шахтинского дела — одна угольная промышленность и только Донбасс, были несоразмерны эпохе.

Очевидно тут же, в день окончания Шахтинского дела, Крыленко стал копать новую вместительную яму (в неё свалились даже два его сотоварища по Шахтинскому делу — общественные обвинители Осадчий и Шеин). Нечего и говорить, с какой охотой и умением ему помогал весь аппарат ОГПУ, уже переходящий в твёрдые руки Ягоды. Надо было создать и раскрыть инженерную организацию, объемлющую всю страну. Для этого нужно было несколько сильных вредительских фигур во главе. Такую безусловно сильную, нетерпимо–гордую фигуру кто ж в инженерии не знал? — Петра Акимовича Паль–чинского. Крупный горный инженер ещё в начале века, он в Мировую войну уже был товарищем председателя Военно–Промышленного Комитета, то есть руководил военными усилиями всей частной русской промышленности.

После Февраля он стал товарищем министра торговли и промышленности. За революционную деятельность он преследовался при царе; трижды сажался в тюрьму после Октября (1917, 1918, 1922), с 1920—профессор Горного института и консультант Госплана. (Подробно о нём — Часть Третья, глава 10.)

Этого Пальчинского и наметили как главного подсудимого для нового грандиозного процесса. Однако легкомысленный Крыленко, вступая в новую для себя страну инженерии, не только не знал сопромата, но даже о возможном сопротивлении душ совсем ещё не имел понятия, несмотря на десятилетнюю уже громкую прокурорскую деятельность. Выбор Крыленко оказался ошибочным. Пальчинский выдержал все средства, какие знало ОГПУ, — и не сдался, и умер, не подписав никакой чуши. С ним вместе прошли испытание и тоже, видимо, не сдались — Н.К. фон Мекк и А.Ф. Величко. В пытках ли они погибли или расстреляны — этого мы пока не знаем, но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять, — и так оставили пламенный отблик упрёка всем последующим знаменитым подсудимым.

Скрывая своё поражение, Ягода опубликовал 24 мая 1929 года краткое коммюнике ОГПУ о

расстреле их троих за крупное вредительство и осуждении ещё многих других непоименованных[116] .

А сколько времени зря потрачено! — почти целый год! А сколько допросных ночей! а сколько следовательских фантазий! — и всё впустую. Приходилось Крыленке начинать всё с начала, искать фигуру и блестящую, и сильную — и вместе с тем совсем слабую, совсем податливую. Но настолько плохо он понимал эту проклятую инженерскую породу, что ещё год ушёл у него на неудачные пробы. С лета 1929 возился он с Хренниковым, но и Хренников умер, не согласившись на низкую роль. Согнули старого Федотова, но он текстильщик, не выигрышная отрасль! И ещё пропал год! Страна ждала всеобъемлющего вредительского процесса, ждал товарищ Сталин, — а у Крыленки никак не вытанцовывалось. И только летом 1930 года кто–то нашёл, предложил: директор Теплотехнического института Рамзин! — арестовали, и в три месяца был подготовлен и сыгран великолепный спектакль, подлинное совершенство нашей юстиции и недостижимый образец для юстиции мировой —

---

[116] Примечания: 116

От Объединённого Государственного Политического Управления // Известия, 24 мая 1929, с. 1.

Процесс «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря, 1930), Спецприсутствие Верхсуда, тот же Вышинский, тот же Антонов–Саратовский, тот же любимец наш Крыленко.

Теперь уже не возникает «технических причин», мешающих предложить читателю полную стенограмму процесса — вот она[117], или не допустить иностранных корреспондентов.

Величие замысла: на скамье подсудимых вся промышленность страны, все её отрасли и плановые органы. (Только глаз устроителя видит щели, куда провалилась горная промышленность и железнодорожный транспорт.) Вместе с тем — скупость в использовании материала: обвиняемых только 8 человек (учтены ошибки Шахтинского дела).

Вы воскликнете: и восемь человек могут представить всю промышленность? Да нам даже много! Трое из восьми — только по текстилю, как важнейшей оборонной отрасли. Но тогда, наверно, толпы свидетелей? Семь человек, таких же вредителей, тоже арестованных. Но кипы уличающих документов? чертежи? проекты?

---

[117] Примечания: 117

Процесс «Промпартии» (25 ноября— 7 дек. 1930): Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщённые к делу / Верховный суд СССР. М.: Советское законодательство, 1931.

директивы? сводки? соображения? донесения? частные записки? Ни одного! То есть — ни одной бумажёнки\ Да как же это ГПУ ушами прохлопало? — стольких арестовало и ни одной бумажки не цапнуло? «Много было», но «всё уничтожено». Потому что: «где держать архив?» Выносятся на процесс лишь несколько открытых газетных статеек — эмигрантских и наших. Но как же вести обвинение?!. Да ведь — Николай Васильевич Крыленко. Да ведь не первый день. «Лучшей уликой при всех обстоятельствах является всё же сознание подсудимых»[118].

Но признание какое — не вынужденное, а душевное, когда раскаяние вырывает из груди целые монологи, и хочется говорить, говорить, обличать, бичевать! Старику Федотову предлагают сесть, хватит, — нет, он навязывается давать ещё объяснения и трактовки! Пять судебных заседаний кряду даже не приходится задавать вопросов: подсудимые говорят, говорят, объясняют, и ещё потом просят слова, чтобы дополнить упущенное. Они дедуктивно излагают всё необходимое для обвинения безо всяких вопросов. Рамзин после пространных объяснений

---

[118] Примечания: 118
Процесс «Промпартии», с. 453.

ещё даёт для ясности краткие резюме, как для сероватых студентов. Больше всего подсудимые боятся, чтоб что–нибудь осталось неразъяснённым, кто–нибудь не разоблачён, чья–нибудь фамилия не названа, чьё–нибудь вредительское намерение — не растолковано. И как честят сами себя! — «я — классовый враг», «я — подкуплен», «наша буржуазная идеология». Прокурор: «Это была ваша ошибка?» Чарновский: «И преступление!» Крыленке просто делать нечего, он пять заседаний пьет чай с печеньем или что там ему приносят.

Но как подсудимые выдерживают такой эмоциональный взрыв? Магнитофонной записи нет, а защитник Оцеп описывает: «Деловито текли слова обвиняемых, холодно и профессионально–спокойно». Вот те раз! — такая страсть к исповеди— и деловито? холодно? да больше того, видимо, свой рас–каянный и очень гладкий текст они так вяло вымямливают, что часто просит их Вышинский говорить громче, ясней, ничего не слышно.

Стройность процесса нисколько не нарушает и защита: она согласна со всеми возникающими предложениями прокурора; обвинительную речь прокурора называет исторической, свои

же доводы — узкими и произносимыми против сердца, ибо «советский защитник — прежде всего советский гражданин» и «вместе со всеми трудящимися переживает чувство возмущения» преступлениями подзащитных (Процесс «Пром–партии», стр. 488). В судебном следствии защита задаёт робкие скромные вопросы и тотчас же отшатывается от них, если прерывает Вышинский. Адвокаты и защищают–то лишь двух безобидных текстильщиков, и не спорят о составе преступления, ни — о квалификации действий, а только: нельзя ли подзащитному избежать расстрела? Полезнее ли, товарищи судьи, «его труп или его труд».

И каковы же зловонные преступления этих буржуазных инженеров? Вот они. Планировались уменьшенные темпы развития (например, годовой прирост продукции всего лишь 20–22%, когда трудящиеся готовы дать 40 и 50%). Замедлялись темпы добычи местных топлив. Недостаточно быстро развивали Кузбасс. Использовали теоретико–экономические споры (снабжать ли Донбасс электричеством ДнепроГЭСа? строить ли сверхмагистраль Москва–Донбасс?) для задержки решения важных проблем. (Пока инженеры спорят, а дело, мол, стоит.) Задерживали рассмот-

рение инженерных проектов (не утверждали мгновенно). В лекциях по сопромату проводили антисоветскую линию. Устанавливали устарелое оборудование. Омертвляли капиталы (вгоняли их в дорогостоящие и долгие постройки). Производили ненужные (!) ремонты. Дурно использовали металл (неполнота ассортимента железа). Создавали диспропорции между цехами, между сырьём и возможностью его обработать (и особенно это выявилось в текстильной отрасли, где построили на одну–две фабрики больше, чем собрали урожай хлопка). Затем делались прыжки от минималистских к максималистским планам. И началось явное вредительское ускоренное развитие всё той же злополучной текстильной промышленности. И самое главное: планировались (но ни разу нигде не были совершены) диверсии в энергетике. Таким образом, вредительство было не в виде поломок или порч, но — плановое и оперативное, и оно должно было привести ко всеобщему кризису и даже экономическому параличу в 1930 году! А не привело — только из–за встречных промфинпланов масс (удвоение цифр!).

— Те–те–те… — что–то заводит скептический читатель. Как? Вам этого мало? Но если на суде

мы каждый пункт

повторим и разжуём по пять, по восемь раз — то, может, получится уже немало?

— Те–те–те, — тянет своё читатель 60–х годов. — А не могло ли это всё происходить именно из–за встречных промфинпланов? Будет тебе диспропорция, если любое профсобрание, не спросясь Госплана, может как угодно перекорёжить все пропорции.

О, горек прокурорский хлеб! Ведь каждое слово решили публиковать! Значит, инженеры тоже будут читать. Назвался груздем — полезай в кузов! И бесстрашно бросается Крыленко рассуждать и допрашивать об инженерных подробностях! И развороты и вставные листы огромных газет наполняются петитом технических тонкостей. Расчёт, что одуреет любой читатель, не хватит ему ни вечеров, ни выходного, так не будет всего читать, а только заметит рефрены через каждые несколько абзацев: вредили! вредили! вредили!

А если всё–таки начнёт? Да каждую строку?

Он увидит тогда, через нудь самооговоров, составленных совсем неумно и неловко, что не за дело, не за свою работу взялась лубянская удавка. Что выпархивает из грубой петли сильнокрылая мысль XX века. Арестанты — вот они, взяты,

покорны, подавлены, а мысль — выпархивает! Даже напуганные усталые языки подсудимых успевают нам всё назвать и сказать.

Вот в какой обстановке они работали. Калинников: «У нас ведь создано техническое недоверие». Ларичев: «Хотели бы мы этого или не хотели, а мы эти 42 миллиона тонн нефти должны добыть (то есть сверху так приказано) …потому что всё равно 42 млн тонн нефти нельзя добыть ни при каких условиях» (Процесс «Промпартии», стр. 325).

Между такими двумя невозможностями и зажата была вся работа несчастного поколения наших инженеров. — Теплотехнический институт гордится главным своим исследованием— резко повышен коэффициент использования топлива; исходя из этого в перспективный план ставятся меньшие потребности в добыче топлива — значит, вредили, преуменьшая топливный баланс! — В транспортный план поставили переоборудование всех вагонов на автосцепку — значит, вредили, омертвляли капитал! (Ведь автосцепка внедрится и оправдает себя лишь в длительный срок, а нам дай завтра!) — Чтобы лучше использовать однопутные железные дороги, решили укрупнять паровозы и вагоны. Так это — модернизация? Нет, вредительство! —

ибо придётся тратить средства на укрепление верхней части мостов и пути! — Из глубокого экономического рассуждения, что в Америке дёшев капитал и дороги рабочие руки, у нас же — наоборот, и потому нельзя нам перенимать по–мартышечьи, вывел Федотов: ни к чему нам сейчас покупать дорогие американские конвейерные машины, на ближайшие 10 лет нам выгоднее подешевле купить менее совершенные английские и поставить к ним больше рабочих, а через 10 лет всё равно неизбежно менять, какие б ни были, тогда купим подороже. Так вредительство^. — под видом экономии он не хочет, чтоб в советской промышленности были передовые машины! — Стали строить новые фабрики из железобетона вместо более дешёвого бетона с объяснением, что за 100 лет они очень себя оправдают— так вредительство^, омертвление капиталов! поглощение дефицитной арматуры! (На зубы, что ли, её сохранять?)

Со скамьи подсудимых охотно уступает Федотов:

— Конечно, если каждая копейка на счету сегодня, тогда считайте вредительством. Англичане говорят: я не так богат, чтобы покупать дешёвые вещи…

Он пытается мягко разъяснить твердолобому прокурору:

— Всякого рода теоретические подходы дают нормы, которые в конце концов являются (сочтены будут!) вредительскими… (стр. 365).

Ну, как ещё ясней может сказать запуганный подсудимый?.. То, что для нас— теория, то для вас— вредительство! Ведь вам надо хватать сегодня, нисколько не думая о завтрашнем…

Старый Федотов пытается разъяснить, где гибнут сотни тысяч и миллионы рублей из–за дикой спешки пятилетки: хлопок не сортируется на местах, чтоб каждой фабрике слался тот сорт, который соответствует её назначению, а шлют безалаберно, вперемешку. Но не слушает прокурор! С упорством каменного тупицы он десять раз за процесс возвращается, и возвращается, и возвращается к более наглядному, из кубиков сложенному вопросу: почему стали строить «фабрики–дворцы» — с высокими этажами, широкими коридорами и слишком хорошей вентиляцией? Разве это не явное вредительство'? Ведь это— омертвление капитала, безвозвратное!! Разъясняют ему буржуазные вредители, что Наркомтруд хотел в стране пролетариата строить для рабочих просторно и с хорошим воздухом

(значит, в Наркомтруде вредители тоже, запишите!), врачи хотели высоту этажа девять метров, Федотов снизил до шести метров — так почему не до пяти?? вот вредительство^. (А снизил бы до четырёх с половиной — уже наглое вредительство: хотел бы создать свободным советским рабочим кошмарные условия капиталистической фабрики.) Толкуют Крыленке, что по общей стоимости всей фабрики с оборудованием тут речь идёт о трёх процентах суммы — нет, опять, опять, опять об этой высоте этажа! И: как смели ставить такие мощные вентиляторы? Их рассчитывали на самые жаркие дни лета… Зачем же на самые жаркие дни? В самые жаркие дни пусть рабочие немного и попарятся!

А между тем: «Диспропорции были прирождённые… Головотяпская организация выполнила это до «Инженерного центра» (стр. 204). «Никакие вредительские действия и не нужны… Достаточны надлежащие действия, и тогда всё придёт само собой» (стр. 202). Чарновский не может выразиться ясней! ведь это после многих месяцев Лубянки и со скамьи подсудимых. Достаточны надлежащие (то есть указанные настоящими головотяпами) действия — и немыслимый план сам же себя подточит. — Вот их вредительство:

«Мы имели возможность выпустить, скажем, 1000 тонн, а должны были— (то есть по дурацкому плану) — 3000, и мы не приняли мер к этому выпуску».

Для официальной, просмотренной и прочищенной, стенограммы тех лет — согласитесь, это немало.

Много раз доводит Крыленко своих артистов до усталых интонаций — от чуши, которую заставляют молоть и молоть, когда стыдно за драматурга, но приходится играть ради куска жизни.

Крыленко — Вы согласны?

Федотов — Я согласен… хотя в общем не думаю… (стр. 425).

Крыленко — Вы подтверждаете?

Федотов — Собственно говоря… в некоторых частях… как будто в общем… да (стр. 356).

У инженеров (ещё тех, на воле, ещё не посаженных, кому предстоит бодро работать после судебного поношения всего сословия) — у них выхода нет. Плохо — всё. Плохо да и плохо нет. Плохо вперёд и плохо назад. Торопились — вредительская спешка, не торопились — вредительский срыв темпов. Развивали отрасль осторожно— умышленная задержка, саботаж; подчинились

прыжкам прихоти — вредительская диспропорция. Ремонт, улучшение, капитальная подготовка — омертвление капиталов; работа до износа оборудования—диверсия! (Причём всё это следователи будут узнавать у них самих так: бессонница — карцер — а теперь сами приведите убедительные примеры, где вы могли вредить.)

— Дайте яркий пример! Дайте яркий пример вашего вредительства! — понукает нетерпеливый Крыленко.

(Дадут, дадут вам яркие примеры! Будет же кто–нибудь скоро писать и историю техники этих лет! Он даст вам все примеры и непримеры. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в четыре года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погибло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом. Ну, да если хунвейбины руководят алмазными инженерами—что из того может доброго выйти? Дилетанты–энтузиасты — они–то наворочали ещё больше тупых начальников.)

Да, подробнее — невыгодно. Чем подробнее, тем как–то меньше тянут злодеяния на расстрел.

Но погодите, ещё же не всё! Ещё самые главные преступления— впереди! Вот они, вот они,

доступны и понятны даже неграмотному!! Промпартия: 1) готовила интервенцию; 2) получала деньги от империалистов; 3) вела шпионаж; 4) распределяла портфели в будущем правительстве.

И всё! И все рты закрылись. И все возражатели потупились. И только слышен топот демонстраций и рёв за окном: «Смерти! Смерти! Смерти!»

А — подробнее нельзя?.. — А зачем вам подробней? Ну хорошо, пожалуйста, только будет ещё страшней. Всем руководил французский генеральный штаб. Ведь у Франции нет

ни своих забот, ни трудностей, ни борьбы партий, достаточно свистнуть — и дивизии шагают на интервенцию! Сперва наметили её на 1928 год. Но не договорились, не увязали. Ладно, перенесли на 1930. Опять не договорились. Ладно, на 1931. Собственно вот что: Франция сама воевать не будет, а только берёт себе (за общую организацию) часть Правобережной Украины. Англия — тем более воевать не будет, но для страху обещает выслать флот в Чёрное море и в Балтийское (за это ей — кавказскую нефть). Главные же воители вот кто: 100 тысяч эмигрантов (они давно разбежались, разъехались, но по свистку сразу соберутся). Потом — Польша (ей — половину

Украины). Румыния (известны её блистательные успехи в Первой Мировой войне, это страшный противник). Латвия! И Эстония! (Эти две малые страны охотно покинут заботы своих молодых государственных устройств и всей массой повалят на завоевание.) А страшнее того — направление главного удара. Как, уже известно? Да! Оно начнётся из Бессарабии и дальше, опираясь на правый берег Днепра — прямо на Москву![119] И в этот роковой момент на всех железных дорогах… будут взрывы?? — нет, будут созданы пробки! И на электростанциях Промпартия тоже выкрутит пробки, и весь Союз погрузится во тьму, и все машины остановятся, в том числе и текстильные! Разразятся диверсии. (Внимание, подсудимые. До закрытого заседания методов диверсии не называть! заводов не называть! географических пунктов не называть! фамилий не называть, ни иностранных, ни даже наших!) Присоедините сюда смертельный удар по текстилю, который к этому времени будет нанесен! Добавьте, что 2–3 текстильные фабрики вредительски строятся в Белоруссии, они послужат опорной базой для интервентов (стр. 356, — нисколько не шутят)!

[119] Примечания: 119

Эту стрелку — кто начертил Крыленке на папиросной пачке? Не тот ли, кто всю нашу оборону продумал к 1941 году?..

Уж имея текстильные фабрики, интервенты неумолимо рванут на Москву! Но самый коварный заговор вот: хотели (не успели) осушить кубанские плавни, полесские болота и болото около Ильмень–озера (точные места Вышинский запрещает называть, но один свидетель пробалтывает) — и тогда интервентам откроются кратчайшие пути, и они, не промоча ног и конских копыт, достигнут Москвы. (Татарам почему так было трудно?

Наполеон почему Москвы не нашёл? Да из–за полесских и ильменских болот. А осушат — и обнажили белокаменную!) Ещё, ещё добавьте, что под видом лесопильных заводов построены (мест не называть, тайна!) ангары, чтобы самолёты интервентов не стояли под дождём, а туда бы заруливали. А также построены (мест не называть!) помещения для интервентов! (Где квартировали бездомные оккупанты всех предыдущих войн?..) Все инструкции об этом подсудимые получали от загадочных иностранных господ К. и Р. (имён не называть ни в коем случае! да наконец и государств не называть!) (стр. 409). А в последнее время было даже приступлено к «подготовке изменнических действий отдельных частей Красной армии» (родов войск

не называть! частей не называть! фамилий не называть!). Этого, правда, ничего не сделали, но зато намеревались (тоже не сделали) в каком–то центральном армейском учреждении сколотить ячейку финансистов, бывших офицеров белой армии. (Ах, белой армии? Запишите, арестовать!) Ячейки антисоветски настроенных студентов… (Студентов? Запишите, арестовать.)

(Впрочем, гни–гни — не переломи. Как бы трудящиеся не приуныли, что теперь всё пропало, что советская власть всё прохлопала. Освещают и эту сторону: много намечалось, а сделано мало! Ни одна промышленность существенных потерь не понесла)

Но почему же всё–таки не состоялась интервенция? По разным сложным причинам. То Пуанкаре во Франции не выбрали, то наши эмигранты–промышленники считали, что их бывшие предприятия ещё недостаточно восстановлены большевиками — пусть большевики лучше поработают! Да и с Польшей–Румынией никак не могли договориться.

Хорошо, не было интервенции, но была же Промпартия! Вы слышите топот? Вы слышите ропот трудящихся масс: «Смерти! Смерти! Смерти!» Шагают «те, которым в случае войны придёт-

ся своей жизнью, лишениями и страданиями искупить работу этих лиц» (стр. 437, — из речи Крыленки).

(А ведь как в воду смотрел: именно—жизнями, лишениями и страданиями искупят в 1941 году эти доверчивые демонстранты— работу этих лиц\ Но куда ваш палец, прокурор? но куда показывает ваш палец?)

Так вот — почему «Промышленная партия»? Почему — партия, а не Инженерно–Технический Центр?? Мы привыкли— Центр!

Был и Центр, да. Но решили преобразоваться в Партию. Это солиднее. Так будет легче бороться за портфели в будущем правительстве. Это «мобилизует инженерно–технические массы для борьбы за власть». А с кем бороться? А—с другими партиями! Во–первых — с Трудовой Крестьянской партией, ведь у них же — 200 тысяч человек! Во–вторых — с мень–шевицкой партией! А Центр? Вот три партии вместе и должны были составить Объединённый Центр. Но ГПУ разгромило. И хорошо, что нас разгромили! (Подсудимые все рады.)

(Сталину лестно разгромить ещё три Партии! Много ли славы добавят три «центра»!)

А уж раз партия — то ЦК, да, свой ЦК! Правда,

никаких конференций, никаких выборов ни разу не было. Кто хотел, тот и вошёл, человек пять. Все друг другу уступали. И председательское место все друг другу уступали. Заседаний тоже не бывало — ни у ЦК (никто не помнит, но Рамзин хорошо помнит, он назовёт!), ни в отраслевых группах. Какое–то безлюдье даже… Чар но вс кий: «да формального образования Промпартии не было». А сколько же членов? Ларичев: «подсчёт членов труден, точный состав неизвестен». А как же вредили? как передавали директивы? Да так, кто с кем встретится в учреждении — передаст на словах. А дальше каждый вредит по сознательности. (Ну, Рамзин две тысячи членов уверенно называет. Где две, там посадят и пять. Всего же в СССР, по данным суда, — 30^10 тысяч инженеров. Значит, каждый седьмой сядет, шестерых напугают.) — А контакты с Трудовой Крестьянской? Да вот встретятся в Госплане или ВСНХ—и «планируют систематические акты против деревенских коммунистов»…

Где это мы уже видели? Ба, вот где: в «Аиде», Радамеса напутствуют в поход, гремит оркестр, стоят восемь воинов в шлемах и с пиками, а две тысячи нарисованы на заднем холсте.

Такова и Промпартия.

Но ничего, идёт, играется! (Сейчас даже поверить нельзя, как это грозно и серьёзно тогда выглядело, как душило нас.) И ещё вдалбливается от повторений, ещё каждый эпизод по несколько раз проходит. И от этого множатся ужасные видения. А ещё, чтоб не пресно, подсудимые вдруг на две копейки «забудут», «пытаются уклониться», — тут их сразу «стискивают перекрестными показаниями» и получается живо, как во МХАТе.

Но — пережал Крыленко. Задумал он ещё одной стороной выпластать Промпартию — показать социальную базу. А уж тут стихия классовая, анализ не подведёт, и отступил Крыленко от системы Станиславского, ролей не раздал, пустил на импровизацию: пусть, мол, каждый расскажет о своей жизни, и как он относился к революции, и как дошёл до вредительства.

И эта опрометчивая вставка, одна человеческая картина, вдруг испортила все пять актов.

Первое, что мы изумлённо узнаём: что эти киты буржуазной интеллигенции все восемь — из бедных семей. Сын крестьянина, сын многодетного конторщика, сын ремесленника, сын сельского учителя, сын коробейника… Все восьмеро учились на медные гроши, на своё образование зарабатывали себе сами, и с каких лет? —с 12, с 13,

с 14 лет! кто уроками, кто на паровозе. И вот что чудовищно: при царизме никто не загородил им пути образования! Они все нормально кончили реальные училища, затем высшие технические, стали крупными знаменитыми профессорами. (Как же так? А нам говорили… только дети помещиков и капиталистов… ? Календари же не могут врать?..)

А вот сейчас, в советское время, инженеры были очень затруднены: им почти невозможно дать своим детям высшее образование (ведь дети интеллигенции—это последний сорт, вспомним). Не спорит суд. И Крыленко не спорит. (Подсудимые сами спешат оговориться, что, конечно, на фоне общих побед — это неважно.)

Начинаем мы немного различать и подсудимых (до сих пор они очень сходно говорили). Возрастная черта, разделяющая их, — она же и черта порядочности. Кому под шестьдесят и больше — объяснения тех вызывают сочувствие. Но бойки и бесстыдны 43–летние Рамзин и Ларичев и 39–летний Очкин (это тот, который на Главтоп донёс в 1921), а все главные показания на Промпартию и интервенцию идут от них. Рамзин был таков (при ранних чрезмерных успехах), что вся инженерия ему руки не подавала—вынес! А

на суде намёки Крылен–ки он схватывает с четверти слова и подаёт чёткие формулировки. Все обвинения и строятся на памяти Рамзина. Такое у него самообладание и напор, что действительно мог бы (по заданию ГПУ, разумеется) вести в Париже полномочные переговоры об интервенции. — Успешлив был и Очкин: в 29 лет уже «имел безграничное доверие СТО и Совнаркома».

Не скажешь этого о 62–летнем профессоре Чарновском: анонимные студенты травили его в стенной газете; после 23 лет чтения лекций его вызвали на общее студенческое собрание «отчитаться о своей работе» (не пошёл).

А профессор Калинников в 1921 возглавил открытую борьбу против советской власти — именно: профессорскую забастовку! Вспомним их академическую автономию[120]. В 1921 профессора МВТУ переизбрали Калинникова ректором на новый срок, а наркомат не пожелал, назначил своего. Забастовали тогда и студенты (ещё ведь не было настоящих пролетарских студентов), и профессора, — и целый год был Калинников ректором вопреки воле советской власти. (Только в 1922 скрутили голову их автономии, уже после

---

[120] Примечания: 120
Часть Первая, глава 2.

многих арестов.)

Федотову — 66 лет, а его инженерный фабричный стаж на 11 лет старше всей РСДРП. Он переработал на всех прядильных и текстильных фабриках России (как ненавистны такие люди, как хочется от них скорее избавиться!). В 1905 он ушёл с директорского места у Морозова, бросил высокую зарплату — предпочёл пойти на «красных похоронах» за гробом рабочих, убитых казаками. Сейчас он болен, плохо видит, вечерами из дому выйти не мог, даже в театр.

И они — готовили интервенцию? экономическую разруху?

У Чарновского много лет подряд не было свободных вечеров, так он был занят преподаванием и разработкой новых наук (организация производства, научные начала рационализации). Инженеров–профессоров тех лет мне сохранила память детства, именно такими они и были: вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты, они к своей семье выходили только в одиннадцать вечера. Ведь тридцать тысяч на всю страну, на начало пятилетки — ведь на разрыв они!

И — готовили кризис? и — шпионили за подачки?

Одну честную фразу сказал Рамзин на суде: «Путь вредительства чужд внутренней конструкции инженерства».

Весь процесс Крыленко принуждает подсудимых пригибаться и извиняться, что они — «малограмотны», «безграмотны» в политике. Ведь политика — это гораздо трудней и выше, чем какое–нибудь металловедение или турбостроение!

Здесь тебе ни голова не поможет, ни образование. Нет, ответьте, с каким настроением вы встретили Октябрьскую революцию? — Со скепсисом. — То есть сразу враждебно? Почему? Почему? Почему?

Донимает их Крыленко своими теоретическими вопросами— и из простых человеческих обмолвок, не по ролям, приоткрывается нам ядро правды — что было на самом деле, из чего выдут весь пузырь.

Первое, что инженеры увидели в октябрьском перевороте, — развал. (И действительно, начался развал на много лет.) Ещё они увидели—лишение простейших свобод. (И эти свободы уже никогда не вернулись.) Как могли инженеры воспринять диктатуру рабочих — этих своих подсобников в промышленности, малоквалифицированных, не охватывающих ни физических,

ни экономических законов производства, — но вот занявших главные столы, чтобы руководить инженерами? Почему инженерам не считать более естественным такое построение общества, когда его возглавляют те, кто могут разумно направить его деятельность? (И, обходя лишь нравственное руководство обществом, — разве не к этому ведёт сегодня вся социальная кибернетика? Разве профессиональные политики — не чирьи на шее общества, мешающие ему свободно вращать головой и двигать руками?) И почему инженерам не иметь политических взглядов? Ведь политика—это даже не род науки, это — эмпирическая область, не описываемая никаким математическим аппаратом да ещё подверженная человеческому эгоизму и слепым страстям. (Даже на суде высказывает Чар но вс кий: «политика должна всё–таки до известной степени руководиться выводами техники».)

Дикий напор военного коммунизма мог только претить инженерам, в бессмыслице инженер участвовать не может — и вот до 1920 года большинство их бездействует, хотя и бедствует пещерно. Начался НЭП — инженеры охотно приступили к работе: НЭП они приняли за симптом, что власть образумилась. Но увы, условия не

прежние: инженерство не только рассматривается как социально–подозрительная прослойка, не имеющая даже права учить своих детей; инженерство не только оплачивается неизмеримо ниже своего вклада в производство; но спрашивая с него успех производства и дисциплину на нём—лишили его прав эту дисциплину поддерживать. Теперь любой рабочий может не только не выполнить распоряжения инженера, но — безнаказанно его оскорбить и даже ударить, — и как представитель правящего класса рабочий при этом всегда прав.

Крыленко возражает—Вы помните процесс Ольденборгера? (То есть как мы его, де, защищали.)

Федотов — Да. Чтоб обратить ваше внимание на положение инженера, нужно было потерять жизнь.

Крыленко (разочарованно) — Ну, так вопрос не стоял.

Федотов — Он умер, и не он один умер. Он умер добровольно, а многие были убиты. (Процесс «Промпартии», стр. 228.)

Крыленко молчит. Значит, правда. (Перелистайте ещё процесс Ольденборгера, вообразите ту травлю. И с концовкой: «многие были убиты».)

Итак, инженер во всём виноват, когда он ещё ни в чём не провинился! А ошибись он где–то действительно, ведь он человек, — так его растерзают, если коллеги не прикроют. Разве они оценят откровенность?.. Так иногда инженеры вынуждены и солгать перед партийным начальством?

Чтобы восстановить авторитет и престиж инженерства, ему действительно нужно объединиться и выручать друг друга — они все под угрозой. Но для такого объединения не нужна никакая конференция, никакие членские билеты. Как всякое взаимопонимание умных, чётко мыслящих людей, оно достигается немногими тихими, даже случайно сказанными словами, голосования совершенно не нужны. В резолюциях и в партийной палке нуждаются лишь ограниченные умы. (Вот этого никак не понять Сталину, ни следователям, ни всей их компании! — у них нет опыта таких человеческих взаимоотношений, они такого никогда не видели в партийной истории!) Да такое единство давно уже существует между русскими инженерами в большой неграмотной стране, оно уже проверено несколькими десятилетиями — но вот его заметила новая власть и встревожилась.

А тут наступает 1927 год. Куда испарилось благоразумие НЭПа! —да оказывается, весь НЭП был — циничный обман. Выдвигают взбалмошные нереальные проекты сверхиндустриального скачка, объявляются невозможные планы и задания. В этих условиях — что делать коллективному инженерному разуму — инженерной головке Госплана и ВСНХ?

Подчиниться безумию? Отойти в сторону? Им–то самим ничего, на бумаге можно написать любые цифры, — но «нашим товарищам, практическим работникам, будет не под силу выполнять эти задания». Значит, надо постараться умерить эти планы, разумно отрегулировать их, самые чрезмерные задания вовсе устранить. Иметь как бы свой инженерный Госплан для корректировки глупости руководителей — и самое смешное, что вижже интересах! и в интересах всей промышленности и народа, ибо всегда будут отводиться разорительные решения и подниматься с земли пролитые и просыпанные миллионы. Среди общего гама о количестве, о плане и переплане — отстаивать «качество—душу техники». И студентов воспитывать так.

Вот она, тонкая нежная ткань правды. Как было.

Но высказать это вслух в 1930 году? — уже расстрел!

А для ярости толпы — этого мало, не видно!

И поэтому молчаливый и спасительный для всей страны сговор инженерства надо перемалевать в грубое вредительство и интервенцию.

Так во вставной картине представилось нам бесплотное — и бесплодное! — видение истины. Расползлась режиссёрская работа, уже проговорился Федотов о бессонных ночах (!) в течение 8 месяцев его сидки; о каком–то важном работнике ГПУ, который пожал руку ему (?) недавно (так это был уговор? выполняйте свои роли — и ГПУ выполнит своё обещание?). Да вот уже и свидетели, хоть роли у них несравненно меньше, начинают сбиваться.

Крыленко — Вы принимали участие в этой группе? Свидетель Кирпотенко — Два–три раза, когда разрабатывались вопросы интервенции.

Как раз это и нужно!

Крыленко (поощрительно) — Дальше!

Кирпотенко (пауза) — Кроме этого, ничего не известно.

Крыленко побуждает, напоминает.

Кирпотенко (тупо) — Кроме интервенции, мне больше ничего не известно (стр. 354).

А на очной ставке с Куприяновым у него уже и факты не сходятся. Сердится Крыленко и кричит на бестолковых арестантов:

— Тогда надо сделать, чтобы ответы были одинаковы! (стр. 358).

Но вот в антракте, за кулисами, всё снова подтянуто к стандарту. Все подсудимые снова на ниточках, и каждый ожидает дёрга. И Крыленко дёргает сразу всех восьмерых: вот промышленники–эмигранты напечатали статью, что никаких переговоров с Рамзиным и Ларичевым не было и никакой «промпартии» они не знают, а показания подсудимых скорей всего вымучены пытками. Так что вы на это скажете?..

Боже! как возмущены подсудимые! Нарушая всякую очерёдность, они просят поскорее дать им высказаться! Куда делось то измученное спокойствие, с которым они несколько дней унижали себя и своих коллег! Из них просто вырывается клокочущее негодование на эмигрантов! Они рвутся сделать письменное заявление для газет — коллективное письменное заявление подсудимых в защиту методов ГПУ! (Ну, разве не украшение, разве не бриллиант?)

Рамзин — Что мы не подвергались пыткам и истязаниям — достаточное доказательство наше

присутствие здесь!

Так куда ж годятся те пытки, когда вывести на суд нельзя!

Федотов — Заключение в тюрьму принесло пользу не одному мне!.. Я даже лучше чувствую себя в тюрьме, чем на воле.

Очкин — И я, и я лучше!

Просто уж по благородству отказываются Крыленко и Вышинский от такой письменной коллективки. А—написали бы! а подписали бы!

Да может ещё у кого–нибудь подозрение таится? Так товарищ Крыленко уделяет им от блеска своей логики: «Если допустить хотя бы на одну секунду, что эти люди говорят неправду — то почему именно их арестовали и почему вдруг эти люди заговорили'?» (стр. 452).

Вот сила мысли! — и за тысячи лет не догадывались обвинители: сам факт ареста уже доказывает виновность! Если подсудимые невиновны—так зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали — значит, виноваты!

И действительно: почему б они заговорили?

«Вопрос о пытках мы отбросим в сторону!., но психологически поставим вопрос: почему сознаются? А я спрошу: а что им оставалось делать?» (стр. 454).

Ну, как верно! Как психологически! Кто сиживал в этом учреждении, вспомните: а что оставалось делать?..

(Иванов–Разумник пишет[121], что в 1938 он сидел с Крыленкой в одной камере, в Бутырках, и место Крыленки было под нарами. Я очень живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по–пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не приноровится и ползёт на карачках. Голову–то он подсунет, а выпяченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться, и его ещё не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во всё долгое описание этих процессов он меня как–то успокаивает.)

Да более того, развивает прокурор, если б это всё была правда (о пытках), —непонятно, что бы понудило всех единогласно, без всяких уклонений и споров так хором признаваться?.. Да где они могли совершить такой гигантский сговор? — ведь они не имели общения друг с другом

[121] Примечания: 121

Р.В. Иванов–Разумник. Тюрьмы и ссылки. Нью–Йорк: Изд–во им. Чехова, 1953.

во время следствия!?

(Через несколько страниц уцелевший свидетель расскажет нам, где…)

Теперь не я читателю, но пусть читатель мне разъяснит, в чём же пресловутая «загадка московских процессов 30–х годов» (сперва дивились «Промпартии», потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей)?

Ведь не две тысячи замешанных и не двести–триста вывели на суд, а только восемь человек. Хором из восьми не так уж немыслимо управлять. А выбрать Крыленко мог из тысячи, и два года выбирал. Не сломился Пальчинский — расстрелян (и посмертно объявлен «руководителем Промпартии», так его и поминают в показаниях, хоть от него ни словечка не осталось). Потом надеялись выбить нужное из Хренникова — не уступил им Хренников. Так сноска петитом один раз: «Хренников умер во время следствия». Дуракам пишите петитом, а мы–то знаем, мы двойными буквами напишем: ЗАМУЧЕН ВО ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ! (Посмертно и он объявлен руководителем «Промпартии». Но хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор — нет ни одного. Потому что не дал ни одногоі) И вдруг находка — Рамзин! Вот энергия,

вот хватка! И чтобы жить — на всё пойдёт! А что за талант! В конце лета его арестовали, вот перед самым процессом —а он не только вжился в роль, но как бы не он и всю пьесу составил, и охватил гору смежного материала, и всё подаёт с иголочки, любую фамилию, любой факт. А иногда ленивая витиеватость: «Деятельность Промпартии была настолько разветвлена, что даже при 11–дневном суде нет возможности вскрыть с полной подробностью» (то есть: ищите! ищите дальше!). «Я твёрдо уверен, что небольшая антисоветская прослойка ещё сохранилась в инженерных кругах» (кусь–кусь, хватайте ещё!). И до чего способен: знает, что загадка, и загадку надо художественно объяснить. И, как палка бесчувственный, вдруг находит в себе «черты русского преступления, для которого очищение — во всенародном покаянии».

Рамзин незаслуженно обойден русской памятью. Я думаю, он вполне выслужил стать нарицательным типом цинического и ослепительного предателя. Бенгальский огонь предательства! Не он был один такой за эту эпоху, но он — на виду.

Так, значит, вся трудность Крыленки и ГПУ была—только не ошибиться в выборе лиц. Но риск невелик: следственный брак всегда можно

отправить в могилу. А кто пройдёт и решето и сито—тех подлечи, подкорми и выводи на процесс!

И в чём тогда загадка? Как их обработать? А так: вы жить хотите? (Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков.) Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит? (Несомненно так. А кто ещё не понял— тому курс лубянского выматывания.) Но и нам ивам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишете, как специалисты, а мы, прокуроры, разучим и постараемся запомнить технические термины. (На суде Крыленко иногда сбивается, ось вагона вместо оси паровоза.) Выступать вам будет неприятно, позорно — надо перетерпеть! Ведь жить дороже! —А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете? — А за что мы вам будем мстить? Вы — прекрасные специалисты и ни в чём не провинились, мы вас ценим. Да посмотрите, уже сколько вредительских процессов, и всех, кто вёл себя прилично, мы оставили в живых. (Пощадить послушных подсудимых предыдущего процесса — важное условие успеха будущего процесса. Так цепочкой и передаётся эта надежда до самого Зиновьева–Каменева.) Но уж только выполните все наши условия до

последнего! Процесс должен сработать на пользу социалистическому обществу!

И подсудимые выполняют все условия…

Всю тонкость интеллектуальной инженерной оппозиции вот они подают как грязное вредительство, доступное пониманию последнего ликбезника. (Но ещё нет толчёного стекла, насыпанного в тарелки трудящихся! — до этого ещё и прокуратура не додумалась.)

Затем — мотив идейности. Они начали вредить? — из враждебной идейности, но теперь дружно сознаются? — опять–таки из идейности, покорённые (в тюрьме) пламенным доменным ликом 3–го года Пятилетки! В последних словах они хотя и просят себе жизни, но это — не главное для них. (Федотов: «Нам нет прощения! Обвинитель прав!») Для этих странных подсудимых сейчас, на пороге смерти, главное — убедить народ и весь мир в непогрешимости и дальновидности советского правительства. Рамзин особенно славословит «революционное сознание пролетарских масс и их вождей», которые «сумели найти неизмеримо более верные пути экономической политики», чем учёные, и гораздо правильней рассчитали темпы народного хозяйства. Теперь «я понял, что надо сделать бросок,

что надо сделать скачок[122], что надо штурмом взять…» (стр. 504) и т. д. Ларичев: «Советский Союз не победим отживающим капиталистическим миром». Калинников: «Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость… Интересы народа и интересы советской власти сливаются в одну целеустремлённость». Да, кстати, и в деревне «правильна генеральная линия партий, уничтожение кулачества». Обо всём у них есть время посудачить в ожидании казни… И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаявшихся интеллигентов: «По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться… Коллективная воля есть высшая форма» (стр. 510).

Так усилиями восьмерной упряжки достигнуты все цели процесса:

1. Все недостачи в стране, и голод, и холод, и безодёжье, и неразбериха, и явные глупости — всё списано на вредителей–инженеров.

2. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам.

3. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена.

---

[122] Примечания: 122

Вот как у нас говорилось в 1930, когда Мао ещё ходил в молодых.

И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса ещё раз отчётливо возглашает Рамзин:

«Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса Промпартии на тёмном и позорном прошлом всей интеллигенции… можно было поставить раз и навсегда крест» (стр. 49).

Туда ж и Ларичев: «Эта каста должна быть разрушена… Нет и не может быть лояльности среди инженерства!..» (стр. 508). И Очкин: интеллигенция «это есть какая–то слякоть, нет у неё, как сказал государственный обвинитель, хребта, есть безусловная бесхребетность… Насколько неизмеримо выше чутьё пролетариата» (стр. 509). (И всегда у пролетариата главное почему–то — чутьё… Всё через ноздри.)

И за что ж этих старателей расстреливать?.. Сперва объявлена казнь главным, но тут же сменено на десятки. (И поехал Рамзин устраивать теплотехническую шарашку.)

Так писалась десятилетиями история нашей интеллигенции — от анафемы 20–го года (помнит читатель: «не мозг нации, а говно», «союзник чёрных генералов», «наёмный агент империализма») до анафемы 30–го.

Удивляться ли, что слово «интеллигенция» утвердилось у нас как брань?

Вот как делаются гласные судебные процессы! Ищущая сталинская мысль наконец достигла своего идеала. (То–то позавидуют недотыки Гитлер и Геббельс, сунутся на позор со своим поджогом рейхстага…)

Стандарт достигнут — и теперь может держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон — как скажет Главный Режиссёр. Благоугодно же Главному назначить следующий спектакль уже через три месяца. Сжатые сроки репетиций, но ничего. Смотрите и слушайте! Только в нашем театре! Премьера —

Процесс Союзного Бюро Меньшевиков (1–9 марта 1931). Спецприсутствие Верховного Суда, председатель почему–то Шверник, а так все на местах—Антонов–Саратовский, Крыленко, помощник его Рогинский. Режиссура уверена в себе (да и материал не технический, а партийный, привычный)— и вывела на сцену 14 подсудимых.

И всё проходит не только гладко — одуряюще гладко.

Мне было тогда 12 лет, уже третий год я внимательно вычитывал всю политику из больших «Известий». От строки до строки я прочёл и стенограммы этих двух процессов. Уже в «Пром-

партии» отчётливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка, но там была хоть грандиозность декораций — всеобщая интервенция! паралич всей промышленности! распределение министерских портфелей! В процессе же меньшевиков все те же были вывешены декорации, но поблекшие, и актёры артикулировали вяло, и был спектакль скучен до зевоты, унылое бездарное повторение. (Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКП и несколько лет не было процессов?)

Было бы скучно опять толковать по стенограмме. Но я имею свежий рассказ одного из главных подсудимых на том процессе — Михаила Петровича Якубовича, а сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель–Самиздат, и уже люди читают, как это было[123].

В реабилитации ему отказано: ведь процесс их вошёл в золотые скрижали нашей истории, ведь ни камня вытаскивать нельзя— как бы не рухнуло! За М.П. Якубовичем остаётся судимость, но в утеху назначена персональная пенсия за

[123] Примечания: 123

Письмо М. Якубовича Генеральному Прокурору СССР, 1967. (Архив Самиздата, Мюнхен, № АС 150.)

революционную деятельность! Каких только уродств у нас не бывает.

Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30–х годов.

Как составилось несуществующее «Союзное Бюро»? У ГПУ было плановое задание: доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к схеме не подходило: настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие и не попали на процесс. (В.К. Иков, говорят, действительно состоял в нелегальном, тихо пребывавшем и ничего не делавшем московском бюро меньшевиков, — но на процессе об этом и не знали, Иков прошёл вторым планом, получил восьмёрку.) ГПУ имело такую схему: чтобы было два от ВСНХ, два от Наркомторга, два от Госбанка, один от Центросоюза, один от Госплана. (До чего уныло–неизобретательно!) Поэтому брали подходящих по должности. А меньшевики ли они на самом деле — это по слухам. Иные попались и вовсе не меньшевики, но приказано им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Не все осуждённые даже друг друга знали. Соскребали и

свидетелями где каких меньшевиков находили. (Все свидетели потом непременно получали свои сроки.)

Одним из них был Кузьма Антонович Гвоздев, горькой судьбы человек, — тот самый Гвоздев, председатель рабочей группы при Военно–Промышленном комитете, кого Февральская революция сперва освободила из Крестов, позже сделала министром труда. Гвоздев стал одним из шучешшов–долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919, но он сумел ускользнуть (а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер.

Услужливо и многословно выступал свидетелем опять Рамзин. Но надёжа ГПУ была на главного подсудимого Владимира Густавовича Громана (печально известного деятеля Государственной Думы) и на провокатора Петунина.

Теперь представим М. Якубовича. Он начал революцио–нерить так рано, что даже не кончил гимназии. В марте 1917 он был уже председателем смоленского совдепа. Под напором убеждения (а оно постоянно куда–то его тащило) он был

сильным, успешным оратором. На съезде Западного фронта он опрометчиво назвал врагами народа тех журналистов, которые призывают к продолжению войны — это в апреле 1917! едва не был снят штыками с трибуны, извинился, но тут же в речи нашёл такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал тех журналистов врагами народа, но уже под бурные аплодисменты — и избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав, с лёгкостью того времени был кооптирован в военную комиссию Петросовета, влиял на назначения армейских комиссаров[124], в конце концов сам поехал комиссаром армии на Юго–Западный фронт и в Бердичеве лично арестовал Деникина (после корниловского мятежа) и весьма жалел (ещё и на процессе), что Деникина тут же не расстреляли.

Ясноглазый, всегда очень искренний и всегда совершенно захваченный своей, реальной или нереальной, идеей, он в партии меньшевиков ходил в молодых, да и был таков. Это не мешало ему, однако, дерзостью и горячностью предлагать руководству свои проекты, вроде того чтобы: вес-

[124] Примечания: 124

Не путать с Генштаба полковником Якубовичем, который в то же время на тех же заседаниях представлял военное министерство.

ной 1917 сформировать с–д правительство или в 1919 — меньшевикам войти в Коминтерн (Дан и другие неизменно отвергали все его варианты). В июле 1917 он больно переживал и считал роковою ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов Временным правительством войск против большевиков, хотя и выступивших с оружием. Едва произошёл октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков и своим участием и воздействием улучшить создаваемый ими государственный строй. В конце концов он был проклят Мартовым, а к 1920 году и окончательно вышел из меньшевиков, убедясь, что бессилен повернуть их на стезю большевизма.

Я для того так подробно всё это называю, чтобы выяснело: Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 1920 он ещё был и смоленским губпродкомиссаром (среди них — единственный не большевик) и даже был по Наркомпроду отмечен как лучшийЛ (Уверяет, что обходился без карательных отрядов; не знаю; на суде упомянул, что выставлял заградительные.) В 20–е годы он редактировал «Торговую газету», занимал и другие заметные должности. Когда же

в 1930 таких вот именно «пролезших» меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ — его и арестовали.

Как и все, достался он мясникам–следователям, и применили они к нему всю гамму — и морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битьё по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, только была двухнедельная бессонница. (Якубович говорит: «Только бы заснуть! Уже ни совести, ни чести…») А тут ещё и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают «сознаваться», городить вздор. Да сам следователь (Алексей Алексеевич Наседкин): «Я знаю, знаю, что ничего этого не было! Но — требуют от нас!»

Однажды, вызванный к следователю, Якубович застаёт там замученного арестанта. Следователь усмехается: «Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня посвободнее, я пока уйду». Ушёл. Тейтельбаум действительно умоляет: «Товарищ Якубович! Прошу вас, примите меня в ваше Союзное Бюро меньшевиков! Меня обвиняют во «взятках с иностранных фирм»,

грозят расстрелом. Но лучше я умру контриком, чем уголовником!» (А скорей — обещали, что контрика и пощадят? Он не ошибся: получил детский срок, пятёрку.) До чего ж скудно было у ГПУ с меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев!.. (И ведь важная роль ждала Тейтельбаума: связь с заграничными меньшевиками и со Вторым Интернационалом! Но по уговору — пятёрка, честно.) С одобрения следователя Якубович принял Тейтельбаума в Союзное Бюро.

И других «зачислял», кто и не просился, например И.И. Рубина. Тот успешно отрёкся на очной ставке с Якубовичем. Потом его долго мотали, «доследовали» в Суздальском изоляторе. Там он встретился в одной камере с Якубовичем и Шером, показывавшими против него (а когда возвращался в камеру из карцера, они ухаживали за ним, делились продуктами). Рубин спросил Якубовича: «Как вы могли придумать, что я— член Союзного Бюро?» И Якубович ответил (ответ изумительный, тут целое столетие русской интеллигенции): «Весь народ страдает— и мы, интеллигенты, должны страдать».

Но был в следствии Якубовича и такой вдохновительный момент: его вызвал на допрос сам Крыленко. Оказывается, они прекрасно друг с

другом были знакомы, ибо в те же годы «военного коммунизма» (промеж первых процессов) в ту же Смоленскую губернию Крыленко приезжал укреплять прод–работу и даже спал в одной комнате с Якубовичем. И вот что сказал теперь Крыленко:

— Михаил Петрович, скажу вам прямо: я считаю вас коммунистом! — (Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича.)— Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс. — (Крыленке Сталин приказал, а Якубович затрепетал для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут.) — Прошу вас всячески помогать, идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения, в самую сложную минуту я попрошу председателя дать вам слово. !!!

И Якубович—обещал. С сознанием долга — обещал. Пожалуй, такого ответственного задания ещё не давала ему Советская власть за все годы службы.

За несколько дней до процесса в кабинете старшего следователя Дмитрия Матвеевича Дмитриева было созвано первое оргзаседание Союзного Бюро меньшевиков: чтоб согласовать и

каждый бы роль свою лучше понял. (Вот так и ЦК «промпартии» заседал! Вот где подсудимые «могли встретиться», чему дивился Крыленко.) Но так много наворочено было лжи, не вмещаемой в голову, что участники путали, за одну репетицию не усвоили, собирались и второй раз.

С каким же чувством выходил Якубович на процесс? За все принятые муки, за всю ложь, натолканную в грудь, — устроить на суде мировой скандал? Но ведь:

1) это будет удар в спину Советской власти! Это будет отрицанием всей жизненной цели, для которой Якубович живёт, всего того пути, которым он выдирался из ошибочного меньшевизма в правильный большевизм;

2) после такого скандала не дадут умереть, не расстреляют просто, а будут снова пытать, уже в месть, доведут до безумия, а тело и без того измучено пытками. Для такого ещё нового мучения — где найти нравственную опору? в чём почерпнуть мужество?

(Я по горячему звуку слов записал эти его аргументы — редчайший случай получить как бы «посмертное» объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это всё равно как если бы причину своей загадочной судебной покор-

ности объяснили нам Бухарин или Рыков: та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы — из–за того, что нет отдельной позиции.)

И на процессе Якубович не только покорно повторял всю серую жвачку лжи, выше которой не поднялась фантазия ни Сталина, ни его подмастерий, ни измученных подсудимых. Но и сыграл он свою вдохновенную роль, обещанную Крыле нке.

Так называемая Заграничная Делегация меньшевиков (по сути — вся верхушка их ЦК) напечатала в Vorwarts своё отмежевание от подсудимых. Они писали, что это — позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных к тому террором. Что подавляющее большинство подсудимых уже более десяти лет как ушли из партии и никогда в неё не возвращались. И что смехотворно большие суммы фигурируют на процессе — такие деньги, которыми и вся партия никогда не располагала.

И Крыленко, зачтя статью, просил Шверника дать подсудимым высказаться (то же дёрганье всеми нитками сразу, как и на «промпартии»). И

все — выступили. И все защищали методы ГПУ против меныпевицкого ЦК…

Но что вспоминает теперь Якубович об этом своём «ответе», как и о своей последней речи? Что он говорил отнюдь не только по обещанию, данному Крыленке, что он не просто поднялся, но его подхватил, как щепку, поток раздражения и красноречия. Раздражения — на кого? Узнавший и пытки, и вскрывавший вены, и обмиравший уже не раз, он теперь искренно негодовал — не на прокурора! не на ГПУ! — нет! на Заграничную Делегацию!!! Вот она, психологическая перепо–люсовка! В безопасности и комфорте (даже нищая эмиграция, конечно, комфорт по сравнению с Лубянкой) они там, бессовестные, самодовольные, —как могли не пожалеть этих за муки и страдания? как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи? (Сильный получился ответ, и устроители процесса торжествовали.)

Даже рассказывая в 1967 году, Якубович затрясся от гнева на Заграничную Делегацию, на их предательство, отречение, их измену социалистической революции, как он упрекал их ещё в 1917.

А стенограммы процесса при этом разговоре не было у нас. Позже я достал её и прочёл:

ведь он на том самом процессе громогласно нёс, что Заграничная Делегация по поручению Второго Интернационала давала им директивы вредить. — и на них же громогласно сердился. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно, они именно жалели несчастных жертв процесса, но указывали, что это давно не меньшевики, —так и правда. На что же так устойчиво разгневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы не отдать подсудимых их участи?

Мы любим сердиться на безответных, на тех, кто слабей. Это есть в человеке. И аргументы сами как–то ловко подскакивают, что мы правы.

Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович — фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него—расстрела.

И Якубович не только в тот день ощутил в подглазьях слезу благодарности, но и по сей день, протащась по многим лагерям и изоляторам, ещё и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал фанатиком (хотя и противоположной идеи) и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки! Якубович и сам в последнем слове согласился:

преступления, в которых я сознался (он большое значение придаёт этому удачному выражению «в которых я сознался» — понимающий должен же, мол, уразуметь: а не которые я совершил.), достойны высшей меры наказания — и я не прошу снисхождения! не прошу оставить мне жизнь! (Рядом на скамье переполошился Громан: «Вы с ума сошли! вы перед товарищами не имеете такого права!»)

Ну, разве не находка для прокуратуры?[125]

И разве ещё не объяснены процессы 1936–38 годов?

А не над этим разве процессом понял и поверил Сталин, что и главных своих врагов–болтунов он вполне загонит, вполне сорганизует вот в такой же спектакль?

* * *

Да пощадит меня снисходительный читатель!

---

[125] Примечания: 125

И эта роковая судьба — изневольно и искренно помогать нашим мучителям— отозвалась Якубовичу ещё раз, уже старику, в 1974: в инвалидный дом под Карагандой приехали к нему чекисты и получили беседу, статью и даже киносъёмку его выступления против «Архипелага». Но, связанные своими же путами, чекисты не пустили этого широко, потому что Якубович оставался фигурой нежелательной. Однако ещё и в 1978 они замешали его в ложь против меня. (Примеч. 1978 г.)

До сих пор бестрепетно выводило моё перо, не сжималось сердце, и мы скользили беззаботно, потому что все 15 лет находились под верной защитой то законной революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно: как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущёва, «примерно с 1934 года началось нарушение ленинских норм законности».

И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония? Как же нам проволочиться ещё по этому горькому плёсу?

Впрочем, по знатности имён подсудимых эти, следующие, суды были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. И ещё будут толковать. И нам лишь немного коснуться — их загадки.

Оговоримся, хотя некрупно: изданные стенографические отчёты неполностью совпадали со сказанным на процессах. Один писатель, имевший пропуск в числе подобранной публики, вёл беглые записи и потом убедился в этих несовпадениях. Все корреспонденты заметили и заминку с Кре–стинским, когда понадобился перерыв, чтобы вправить его в колею заданных показаний. (Я так себе представляю: перед про-

цессом составлялась аварийная ведомость: графа первая— фамилия подсудимого, графа вторая — какой приём применять в перерыве, если на суде отступит от текста, графа третья — фамилия чекиста, ответственного за приём. И если Крестинский вдруг сбился, то уже известно, кто к нему бежит и что делать.)

Но неточности стенограммы не меняют и не извиняют картины. С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь выходили унылыми покорными козлами и блеяли всё, что было приказано, и блевали на себя, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить.

Это не видано было в памятной истории. Это особенно поражало по контрасту после недавнего процесса Димитрова в Лейпциге: как лев рыкающий отвечал Димитров нацистским судьям, а тут его товарищи из той же самой несгибаемой когорты, перед которой трепетал весь мир, и самые крупные из них, кого называли «ленинской гвардией», — теперь выходили перед судом

облитые собственной мочой.

И хотя с тех пор многое как будто разъяснено (особенно удачно—Артуром Кёстлером)—загадка всё так же расхоже обращается.

Писали о тибетском зельи, лишающем воли, о применении гипноза. Всего этого при объяснении никак не стоит отвергать: если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним? Отчего же бы не ослабить и не затмить волю? А известно, что в 20–е годы крупные гипнотизёры покидали гастрольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30–е годы при НКВД существовала школа гипнотизёров. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным, не самим собою. (Она успела об этом рассказать прежде, чем сама была арестована.)

Но почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом?

Нет, без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись.

Недоумевают особенно потому, что ведь это всё — старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это — закалённые, про-

печённые, просмолённые и так далее борцы. Но здесь — простая ошибка. Это были не те старые революционеры, эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали сроки —но настоящего неумолимого следствия отроду не видели и те (потому что его в России вообще не было). А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные «застенки», никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провёл по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой червонец, как в наше время любой колхозник; правда, среди той десятки — три года каторжного централа, так и тоже не невидаль.

Вожди партии, кого вывели нам в процессах 36–38–го годов, имели в своём революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки, а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие–то шуточные; видимо, даже одного года подряд он нигде не отсидел, чуть–чуть побыл в

ссылке на Онеге[126]. Каменев, с его долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России, просидел 2 года в тюрьмах да полтора в ссылке. У нас шестнадцатилетним пацанам и то давали сразу 5 лет. Зиновьев, смешно сказать, не просидел и трёх месяцев! не имел ни одного приговора! По сравнению с рядовыми туземцами нашего Архипелага они — младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и И.Н. Смирнов арестовывались несколько раз, просидели лет по пять, но как–то легко проходили их тюрьмы, изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы, ни клещей несправедливого следствия. (Нет оснований предполагать, что попади в эти клещи Троцкий— он вёл бы себя не так униженно, жизненный костяк у него оказался бы крепче: не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь лёгкие тюрьмы, никаких серьёзных следствий да два года ссылки в Усть–Кут. Грозность Троцкого как председателя Реввоенсовета и создателя Реввоентрибуналов

[126] Примечания: 126

Все данные здесь— из 41–го тома «Энциклопедического Словаря Русского Библиографического Института Гранат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКП(б).

досталась ему дёшево и не выявляет истинной твёрдости: кто многих велел расстрелять — ещё как скисает перед собственной смертью! Эти две твёрдости друг с другом не связаны.) А Радек—провокатор (да не один же он на все три процесса!). А Ягода — отъявленный уголовник.

(Этот убийца–миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним Убийца не нашёл бы в своём сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно настойчиво попросил пощады прямо у него: «Я обращаюсь к Вам! Я д л я Вас построил два великих канала!..» И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю, в сумерках, зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки. — Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею? — в зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами — неосвещённая галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не

могу, чтоб он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении.)

А ведь всё наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаёмся загадкою: почему там столько наговорено на себя и на других? — мы принимаем это как понятное: человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, И.Н. Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми — и только из–за этого, по сути, наше недоумение.

Правда, режиссёрам спектакля здесь как будто трудней подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах: там выбирали из сорока бочек, а здесь труппа мала, главных исполнителей все знают, и публика желает, чтоб играли непременно они.

Но всё–таки был же отбор! Самые дальновидные и решительные из обречённых—те и в руки не дались, те покончили с собою до ареста (Скрыпник, Томский, Гамарник). А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно вить верёвки!.. Но и из них некоторые как–то же иначе вели себя на следствии, опомнились, упёрлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь

почему–то же не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Енукидзе, Чубаря, Косиора, да того же и Крыленку, хотя их имена вполне бы украсили те процессы.

Самых податливых и вывели! Отбор всё–таки был.

Отбор был из меньшего ряда, зато усатый Режиссёр хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни: видеть слабости людей на нижнем уровне бытия.

И того, кто представляется из дали времён самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей (и кому, очевидно, посвятил Кёстлер своё талантливое исследование) — Н.И. Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землёю, Сталин видел насквозь и долгою мёртвою хваткою держал и даже, как с мышонком, поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую (бездействующую), такую прекрасную на слух конституцию — там в подоблачном уровне он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу: подсунул ему конституцию,

которая заставит того смягчить диктатуру. А сам уже был — в пасти.

Бухарин не любил Каменева и Зиновьева, и ещё когда судили их в первый раз, после убийства Кирова, высказал близким: «А что? Это такой народ. Что–нибудь, может быть, и было…» (Классическая формула обывателя тех лет: «Что–нибудь, наверно, было… У нас зря не посадят». Это в 1935 году говорит первый теоретик партии!) Второй же процесс Каменева–Зиновьева, летом 1936, он провёл на Тянь–Шане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе — и прочёл уже приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет, лишь послал телеграмму Кобе: приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы… Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться.

Поздно! Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки?

Однако ещё долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии—и в своей кремлёвской квартире, в Потешном дворце Петра, полгода жил как

в тюрьме. (Впрочем, на дачу ездил осенью — и кремлёвские часовые как ни в чём не бывало приветствовали его.) К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он бесконечно писал письма: «Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!..», оставшиеся без единого ответа.

Он ещё искал сердечного контакта со Сталиным!

А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал… Коба уже много лет как сделал пробы на роли, и знал, что Бухар–чик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрёкся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников (малочисленных, впрочем), он стерпел их разгром[127]. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли, ещё как следует и не рождённого. А теперь, ещё главный редактор «Известий», ещё кандидат Политбюро, вот он так же снёс как законное расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шёпотом. Так это всё и были пробы на роль!

А ещё прежде, давно, когда Сталин грозил исключить его (их всех в разное время!) из партии, — Бухарин (они все!) отрекался от своих

---

[127] Примечания: 127
Одного Ефима Цейтлина отстоял, и то ненадолго.

взглядов, чтоб только остаться в партии! Так это и была проба на роли! Если так они ведут себя ещё на воле, ещё на вершинах почёта и власти — то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлёров, они безупречно подчинятся тексту драмы.

И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно: боязнь быть исключённым из Партии! лишиться Партии! остаться жить, но вне Партии! Вот на этой–то (их всех!) черте и великолепно играл дорогой Коба, с тех пор как сам стал Партией. У Бухарина (у них у всех!) не было своей отдельной точки зрения, у них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они ею стали, и тем лишил их всякой мощи. И все усилия их направились — удержаться в Партии. И при том же не повредить Партии!

Слишком много необходимостей, чтобы быть независимым!

Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль — и ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе Режиссёра с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль.

Даже посылка в Европу минувшей зимой за рукописями Маркса не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жизни ещё неотклонимее предуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами чёрных обвинений—долгий, бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление—оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. (А то — и не уйдёт, того тоже будет — год.)

Как–то Бухарина вызвал Каганович и в присутствии крупных чекистов устроил ему очную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о «параллельном Правом Центре» (то есть параллельном троцкистскому), о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провёл допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину: «Всё врёт, б… !»

Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!..» — с просьбой снять с него обвинения публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств».

Радек осенью звонил ему, желая встретиться.

Бухарин отгородился: мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень? Но их дачи известинские были рядом, и как–то вечером

Радек пришёл: «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чём не виноват. Впрочем, ты уцелеешь: ты же не был связан с троцкистами».

И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат — это было бы чудовищно! К троцкистам он действительно всегда относился худо: вот они поставили себя вне партии — и что вышло! А надо держаться вместе, делать ошибки — так вместе.

На ноябрьскую демонстрацию (своё прощание с Красной Площадью) они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг — к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло! — здесь? в такую минуту?.. Нет, берёт под козырёк: «Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь? Он просит вас занять своё место на мавзолее».

Так из жарка в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли бухаринскую Конституцию и нарекли её вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые

чекисты (ягодинцы, Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль). Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь (он недослышивал): «Скажите, а вы добровольно даёте все эти показания?» (Заметка! Получит пулю и Орджоникидзе.) «Совершенно добровольно», — пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского — воля, ещё в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить».

Тут гневно и проклинающе выступали Каганович (он так хотел верить невинности Бухарчика! — но не выходило…) и Молотов. А Сталин! — какое широкое сердце! какая память на доброе: «Всё–таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков, может быть, и виноват, но не Бухарин». (Это помимо его желания кто–то стягивал обвинения на Бухарина!)

Из ледка в жарок. Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя.

Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов: прежних юношей из Института Красной Профессуры, иРадека, и всех других — и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской чёрной измены. Ему на дом несли не как

обвиняемому, о нет! — как члену ЦК, лишь для осведомления…

Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22–летней жене, только этой весной родившей ему сына: «Читай ты, я не могу!» — а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома (и время давал ему Сталин!) — он не кончил с собой.

Разве он не вжился в назначенную роль?..

И ещё один гласный процесс прошёл — и ещё одну пачку расстреляли… А Бухарина щадили, а Бухарина не брали…

В начале февраля 1937 он решил объявить домашнюю голодовку: чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Объявил в письме Дорогому Кобе — и честно выдерживал. Тогда созван был Пленум ЦК с повесткой: 1. О преступлениях Правого Центра. 2. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке.

И заколебался Бухарин: а может быть, в самом деле он чем–то оскорбил Партию?.. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплёлся он на Пленум. —«Что это ты выдумал?»— душевно спросил Дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения? Хотят из партии исключить…» Сталин сморщился от несуразицы: «Да никто тебя из

партии не исключит!»

И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед Пленумом, тут же снял голодовку. (Дома: «Ну–ка отрежь мне колбасы! Коба сказал — меня не исключат».) Но в ходе Пленума Каганович и Молотов (вот ведь дерзкие! вот ведь со Сталиным не считаются!)[128] обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять.

И снова пал духом Бухарин, и в последние свои дни стал сочинять «письмо к будущему ЦК». Заученное наизусть и так сохранённое, оно недавно стало известно всему миру. Однако не сотрясло его. (Как и «будущее ЦК». А чего стоит адрес! — ЦК, выше нет морального авторитета.) Ибо что решил этот острый, блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Ещё один вопль восстановить его в партии (дорогим позором заплатил он за эту преданность!). И ещё одно заверение, что «полностью одобряет» всё происшедшее до 1937 года включительно. А значит — не только все предыдущие глумливые процессы, но и — все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации!

Так он расписался, что достоин нырнуть в них

---

[128] Примечания: 128

Каких мы богатейших показаний лишаемся, покоя благородную молотовскую старость!

же…

Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров — этот мускулистый человек, охотник и борец! (В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки! — наверно, и этого не мог ему Коба простить.)

И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны, — чем у него позиция сильней, чем была у Якубовича в 1931 году? В чём неподвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабей ещё, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин её боится.

И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме:

— Верно ли, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии? — Вообще — да. Фактически — да. — Но борьба против Партии не может не перерасти в войну против Партии? — По логике вещей — да. — Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли бы быть совершены любые мерзости против Партии (убийства, шпионства, распродажа Родины)? — Но позвольте, они не были совершены. —Но могли бы? — Ну, теоретически говоря… (ведь теоретики!..)— Но высшими–то интересами для

вас остаются интересы Партии? — Да, конечно, конечно! — Так вот осталось совсем небольшое расхождение: надо реализовать эвен–туальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи — признать за совершённое то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же? — Могло… — Так надо возможное признать действительным, только и всего. Небольшой философский переход. Договорились?.. Да, ещё! ну, не вам объяснять: если вы теперь на суде отступите и скажете что–нибудь иначе — вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите Партии. Ну и, разумеется, вы сами тогда не лёгкой умрёте смертью. А всё сойдёт хорошо — мы, конечно, оставим вас жить: тайно отправим на остров Монте–Кристо и там вы будете работать над экономикой социализма. — Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли? — Ну, что вы сравниваете — они и вы\ И потом, мы многих оставили, это только по газетам.

Так может, уж такой густой загадки и нет?

Всё та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: ведь мы, же с вами — коммунисты! И как же вы могли склониться — выступить против нас? Покайтесь! Ведь

вы и мы вместе — это мы\

Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет — такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 ещё не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятою головой:

— Нет, с вами мы не революционеры!.. Нет, с вами мы не русские!.. Нет, с вами мы не коммунисты!

А кажется, только бы крикнуть! — и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы — сразу шестидесятые!

* * *

Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами.

Вернее, был у него в 37–м году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах — чтобы чёрная душа оппозиции стала наглядна для масс. Но не нашлось хороших режиссёров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замыслова-

тые — и получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось — и было оставлено.

Об одном таком процессе уместно здесь рассказать — о Кадыйском деле, подробные отчёты которого уже начали было печататься в ивановской областной газете.

В конце 1934 в дальней глухомани Ивановской области на стыке с нынешними Костромской и Нижегородской, создан был новый район, и центром его стало старинное неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест, и сознакомились уже в Кадые. Они увидели глухой, печальный, нищий край, измождённый хлебозаготовками, тогда как требовал он, напротив, помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь райкома Фёдор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости, заврайзо Ставров — коренной мужик, из крестьян — «интен–сивников», то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20–х годах вели своё хозяйство на основах науки (за что и поощрялись тогда советской властью; ещё не решено было тогда, что всех этих интенсивников придётся выгребать). Из–за того, что

Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании (а может быть, и сам раскулачивал?). На новом месте попытались они что–то для крестьян сделать, но сверху скатывались директивы, и каждая — против их начинаний: как будто нарочно изобретали там, наверху, чтоб сделать мужикам горше и круче. И однажды кадыйцы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок — район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Надо вспомнить обстановку 30–х годов (да только ли 30–х?), чтоб оценить, какое это было святотатство против Плана и какой бунт против власти! Но по ухваткам того же времени меры не были приняты в лоб и сверху, а пущены на местную самодеятельность. Когда Смирнов был в отпуске, его заместитель Василий Фёдорович Романов, 2–й секретарь, провёл такую резолюцию на райкоме: «успехи района были бы ещё более блестящими (?), если бы не троцкист Ставров». Началось «персональное дело» Ставрова. (Интересна ухватка: разделить! Смирнова пока напугать, нейтрализовать, заставить отшатнуться, а до него потом доберёмся — это в малых масштабах именно сталинская тактика в ЦК.) На бурных партийных собраниях

выяснилось, однако, что Ставров столько же троцкист, сколько римский иезуит. Председатель райпо Василий Григорьевич Власов, человек со случайным клоч–ным образованием, но тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских, кооператор–самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запаляющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным, убеждал партийное собрание исключить из партии — Романова, секретаря райкома, за клевету! И дали Романову выговор! Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их уверенности в общей обстановке: «Хотя тут и доказали, что Ставров — не троцкист, но я уверен, что он троцкист. Партия разберётся, и в моём выговоре тоже». И Партия разобралась: почти немедленно районное НКВД арестовало Ставрова, через месяц — и предрайисполкома эстонца Универа, — и вместо него Романов стал предРИКом. Ставрова отвезли в областное НКВД, там он сознался: что он — троцкист; что он всю жизнь блокировался с эсерами;

что в своём районе состоит членом подпольной правой организации (букет — тоже достойный того времени, не хватает прямой связи с Антантой). Может быть, он и не сознался, но этого

никто никогда не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали и секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации; заврайфо Сабурова и ещё кого–то.

Интересно, как решалась судьба Власова. Нового пред–РИКа Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали (глава 4). Начальника райНКВД И.Н.Крылова он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство двух своих оборотистых толковых кооператоров с замутнённым соцпроисхождением. (Власов всегда брал на работу всяких «бывших» — они отлично владели делом и к тому же старались; пролетарские же выдвиженцы ничего не умели и ничего, главное, не хотели делать.) И всё–таки НКВД ещё готово было пойти с кооперацией на мировую! Заместитель райНКВД Сорокин сам пришёл в райпо и предложил Власову: дать для НКВД бесплатно («как–нибудь потом спишешь») на семьсот рублей мануфактуры (тряпичники! а для Власова это было две месячных зарплаты, он крохи не брал себе незаконной). «Не дадите — будете жалеть». Власов выгнал его:

«Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку!» На другой же день в райпо явился Крылов уже как представитель райкома партии (этот маскарад и все приёмчики — душа 37–го года!) и велел собрать партийное собрание с повесткой дня: «О вредительской деятельности Смирнова–Уни–вера в потребительской кооперации», докладчик — товарищ Власов. Тут что ни приём, то перл! Никто пока не обвиняет Власова! Но достаточно ему сказать два слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его, Власова, области, и НКВД прервёт: «А где же были вы? почему вы не пришли своевременно к нам?» В таком положении многие терялись и увязали. Но не Власов! Он сразу же ответил: «Я делать доклада не буду! Пусть докладчиком будет Крылов — ведь это он арестовал и ведёт дело Смирнова–Униве–ра!» Крылов отказался: «Я не в курсе». Власов: «А если даже вы не в курсе— так они арестованы без основания!» И собрание просто не состоялось. Но часто ли люди смели обороняться? (Обстановка 37–го года не будет полной, мы утеряем из виду ещё сильных людей и сильные решения, если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер райпо Т. и заместитель его Н.

и принесли ему десять тысяч рублей: «Василий Григорьевич! Бегите этой ночью! Только этой ночью, иначе вы пропали!» Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать.) Наутро в районной газете появилась резкая заметка о работе райпо (ведь наша печать была всегда рука об руку с НКВД), к вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчёт о работе (что ни шаг — то всесоюзный тип!).

Это был 1937 год, второй год Mikojan–prosperity в Москве и других крупных городах, и сейчас иногда встретишь у журналистов и писателей воспоминания, как уже тогда наступала сытость. Это вошло в историю и рискует там остаться. А между тем в ноябре 1936 года, через два года после отмены хлебных карточек, было издано по Ивановской области (и другим) тайное распоряжение о запрете мучной торговли. В те годы многие хозяйки в мелких посёлках, а особенно в деревнях, ещё пекли хлеб сами, пекарен не было. Запрет мучной торговли означал: хлеба не есть! В районном центре Кадые образовались непомерные, никогда не виданные хлебные очереди (впрочем, нанесли удар и по ним: в феврале 1937 запрещено было выпекать в райцентрах чёрный хлеб, а лишь дорогой белый). В Кадыйском же

районе не было других пекарен, кроме районной, из деревень теперь валили за чёрным сюда. И мука на складах райпо была — но двумя запретами перегорожены были все пути дать её людям!! Власов, однако, нашёлся и вопреки государственным хитрым установлениям накормил район в тот год: он отправился по колхозам и в восьми из них договорился, что те в пустующих «кулацких» избах создадут общественные пекарни (то есть попросту привезут дров и поставят баб к готовым русским печам, но — общественным, а не личным), райпо же обязуется снабжать их мукой. Вечная простота решения, когда оно уже найдено! Не строя пекарен (у него не было средств), Власов их построил за один день. Не ведя мучной торговли, он непрерывно отпускал муку со склада и требовал из области ещё. Не продавая в райцентре чёрного хлеба, он давал району чёрный хлеб. Да, буквы постановления он не нарушил, но он нарушил дух постановления— экономить муку, а народ — морить, и его было за что критиковать на райкоме.

После этой критики ещё одну ночь он пережил, а днём был арестован. Строгий маленький петушок (маленького роста, он всегда держался несколько заносчиво, закидывая голову), он

попытался не сдать партбилета (вчера на райкоме не было решения об его исключении!) и депутатскую карточку (он избран народом, и нет решения РИКа о лишении его депутатской неприкосновенности!). Но милиционеры не разумели таких формальностей, они накинулись и отняли силой. — Из райпо его вели в НКВД по улице Кадыя днём, и молодой товаровед его, комсомолец, из окна райкома увидел. Ещё не все тогда люди (особенно в деревнях по простоте) научились говорить не то, что думают. Товаровед воскликнул: «Вот сволочи! И моего хозяина взяли!» Тут же, не выходя из комнаты, его исключили и из райкома и из комсомола, и он покатился известной тропкой в яму.

Власов был поздно взят по сравнению со своими одно–дельцами, дело было почти завершено уже без него и теперь подстраивалось под открытый процесс. Его привезли в Ивановскую внутрянку, но, как на последнего, на него уже не было нажима с пристрастием, снято было два коротких допроса, не был допрошен ни единый свидетель, и папка следственного дела была наполнена сводками райпо и вырезками из районной газеты. Власов обвинялся: 1) в создании очередей за хлебом; 2) в недостаточном ассорти-

ментном минимуме товаров (как будто где–то эти товары были и кто–то предлагал их Кадыю); 3) в излишке завезенной соли (а это был обязательный «мобилизационный» запас — ведь по старинке в России на случай войны всегда боятся остаться без соли).

В конце сентября обвиняемых повезли на открытый процесс в Кадый. Это был путь неблизкий (вспомнишь дешевизну ОСО и закрытых судов!): от Иваново до Кинешмы — вагон–заком, от Кинешмы до Кадыя— 110 километров на автомобилях. Автомобилей было больше десятка — и, следуя необычной вереницей по пустынному старому тракту, они вызывали в деревнях изумление, страх и предчувствие войны. За безупречную и устрашающую организацию всего процесса отвечал Клюхин (начальник спецсекретного отдела облНКВД, по контрреволюционным организациям). Охрана была—сорок человек из резерва конной милиции, и каждый день с 24 по 27 сентября подсудимых вели по Кадыю с саблями наголо и выхваченными наганами из райНКВД в недостроенный клуб и назад — по селу, где они недавно были правительством. Окна в клубе уже были вставлены, сцена же — недостроена, не было электричества (вообще его не было в Кадые), и

вечерами суд заседал при керосиновых лампах. Публику привозили из колхозов по развёрстке. Валил и весь Кадый. Не только сидели на скамьях и на окнах, но густо стояли в проходах, так что человек до семисот умещалось всякий раз. Передние же скамьи были постоянно отводимы коммунистам, чтобы суд всегда имел благожелательную опору.

Составлено было спецприсутствие областного суда из зампреда облсуда Шубина, членов — Биге и Заозёрова. Выпускник Дерптского университета областной прокурор Кара–сик вёл обвинение (хотя обвиняемые все отказались от защиты, но казённый адвокат был им навязан для того, чтобы процесс не остался без прокурора). Обвинительное заключение, торжественное, грозное и длинное, сводилось к тому, что в Кадыйском районе орудовала подпольная правобуха–ринская группа, созданная из Иванова (сиречь — жди арестов и там) и ставившая целью посредством вредительства свергнуть советскую власть в селе Кадый (большего захолустья правые не могли найти для начала!).

Прокурор заявил ходатайство: хотя Ставров умер в тюрьме, но его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде (а

на ставровских–то показаниях все обвинения группы и построены!). Суд согласен: включить показания умершего, как если б он был жив (с тем, однако, преимуществом, что уже никто из подсудимых не сумеет его оспорить).

Но кадыйская темнота этих учёных тонкостей не уловила, она ждёт—что дальше. Зачитываются и заново протоколируются показания убитого на следствии. Начинается опрос подсудимых и — конфуз! — они все отказываются от своих признаний, сделанных на следствии!

Неизвестно, как поступили бы в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов, — а здесь решено без стыда продолжать! Судья упрекает: как же вы могли на следствии показывать иначе? Универ, ослабевший, едва слышимым голосом: «как коммунист, я не могу на открытом суде рассказывать о методах допроса в НКВД». (Вот и модель бухаринского процесса! вот это–то их и сковывает: они больше всего блюдут, чтобы народ не подумал худо о партии. Их судьи давно уже оставили эту заботу.)

В перерыве Клюхин обходит камеры подсудимых. Власову: «Слышал, как скурвились Смирнов и Универ, сволочи? Ты же должен признать себя виновным и рассказывать всю правду!» —

«Только правду! — охотно соглашается ещё не ослабевший Власов. —Только правду, что вы ничем не отличаетесь от германских фашистов!» Клюхин свирепеет: «Смотри, б..., кровью расплатишься!»[129] С этого времени в процессе Власов со вторых ролей переводится на первые — как идейный вдохновитель группы.

Толпе, забивающей проходы, яснеет вот когда. Суд бесстрашно ломится разговаривать о хлебных очередях, о том, что каждого тут и держит за живое (хотя, конечно, перед процессом хлеб продавали несчитанно, и сегодня очередей нет). Вопрос подсудимому Смирнову: «Знали вы о хлебных очередях в районе?» — «Да, конечно, они тянулись от магазина к самому зданию райкома». —«И что же вы предприняли?» Несмотря на истязания, Смирнов сохранил звучный голос и покойную уверенность в правоте. Этот ширококостый русый человек с простым лицом не торопится, и зал слышит каждое слово: «Так как все обращения в областные организации не помогали, я поручил Власову написать докладную товарищу Сталину». — «И почему же

[129] Примечания: 129

Скоро, скоро прольётся твоя собственная! — в ежовский косяк энкаведешников захвачен будет Клюхин и в лагере зарублен стукачом Губайдулиным.

вы её не написали?» (Они ещё не знают!.. Проворонили!) — «Мы написали, и я её отправил фельдсвязью прямо в ЦК, минуя область. Копия сохранилась в делах райкома».

Не дышит зал. Суд переполошен, и не надо бы дальше спрашивать, но кто–то всё же спрашивает:

— И что же?

Да этот вопрос у всех в зале на губах: «И что же?»

Смирнов не рыдает, не стонет над гибелью идеала (вот этого не хватает московским процессам!). Он отвечает звучно, спокойно:

— Ничего. Ответа не было.

В его усталом голосе: так я, собственно, и ожидал.

Ответа не было! От Отца и Учителя ответа не было! Открытый процесс уже достиг своей вершины! уже он показал массе чёрное нутро Людоеда! Уже суд мог бы и закрыться! Но нет, на это не хватает им такта и ума, и они ещё три дня будут толочься на подмоченном месте.

Прокурор разоряется: двурушничество! Вот, значит, вы как! — одной рукой вредили, а другой смели писать товарищу Сталину! И ещё ждали от него ответа?? Пусть ответит подсудимый Вла-

сов — как он додумался до такого кошмарного вредительства — прекратить продажу муки? прекратить выпечку ржаного хлеба в районном центре?

Петушка Власова и поднимать не надо, он сам торопится вскочить и пронзительно кричит на весь зал:

— Я согласен полностью ответить за это перед судом, если вы покинете трибуну обвинителя, прокурор Карасик, и сядете рядом со мной!

Ничего не понятно. Шум, крики. Призовите к порядку, что такое?..

Получив слово таким захватом, Власов теперь охотно разъясняет:

— На запрет продажи муки, на запрет выпечки хлеба пришли постановления президиума Облисполкома. Постоянным членом президиума является областной прокурор Карасик. Если это вредительство — почему же вы не наложили прокурорского запрета? Значит, вы — вредитель раньше меня?..

Прокурор задохнулся, удар верный и быстрый. Не находится и суд. Мямлит:

— Если надо будет (?) — будем судить и прокурора. А сегодня мы судим вас.

(Две правды — зависит от ранга!)

— Так я требую, чтоб его увели с прокурорской кафедры! — клюёт неугомонный Власов.

Перерыв…

Ну, какое воспитательное значение для массы имеет подобный процесс?

А они тянут своё. После допроса обвиняемых начинаются допросы свидетелей. Бухгалтер Н.

— Что вам известно о вредительской деятельности Власова?

— Ничего.

— Как это может быть?

— Я был в свидетельской комнате, я не слышал, что говорилось.

— Не надо слышать! Через ваши руки проходило много документов, вы не могли не знать.

— Документы все были в порядке.

— Но вот — пачка районных газет, даже тут сказано о вредительской деятельности Власова. А вы ничего не знаете?

— Так и допрашивайте тех, кто писал эти статьи! Заведующая хлебным магазином.

— Скажите, много ли у советской власти хлеба?

(А ну–ка! Что ответить?.. Кто решится сказать: я не считал?)

— Много…

— А почему ж у вас очереди?

— Не знаю…

— От кого это зависит?

— Не знаю…

— Ну, как вы не знаете? У вас кто был руководитель?

— Василий Григорьевич.

— Какой, к чертям, Василий Григорьевич! Подсудимый Власов! Значит, от него и зависело.

Свидетельница молчит.

Председатель диктует секретарю: «Ответ. Вследствие вредительской деятельности Власова создавались хлебные очереди, несмотря на огромные запасы хлеба у советской власти».

Подавляя собственные опасения, прокурор произнёс гневную длинную речь. Защитник в основном защищал себя, подчёркивая, что интересы родины ему так же дороги, как и любому честному гражданину.

В последнем слове Смирнов ни о чём не просил и ни в чём не раскаивался. Сколько можно восстановить теперь, это был человек твёрдый и слишком прямодушный, чтобы пронести голову целой через 37–й год.

Когда Сабуров попросил сохранить ему жизнь — «не для меня, но для моих маленьких

детей», Власов с досадой одёрнул его за пиджак: «Дурак ты!»

Сам Власов не упустил последнего случая высказать дерзость:

— Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих водевиль суда по написанным ролям. Вы — исполнители гнусной провокации НКВД. Всё равно вы приговорите меня к расстрелу, что б я вам ни сказал. Я только верю: наступит время — и вы станете на наше место!..[130]

С семи часов вечера и до часу ночи суд сочинял приговор, а в зале клуба горели керосиновые лампы, сидели под саблями подсудимые, и гудел народ, не расходясь.

Как долго писали приговор, так долго и читали его с нагромождением всех фантастических вредительских действий, связей и замыслов. Смирнова, Универа, Сабурова и Власова приговорили к расстрелу, двух к десяти годам, одного — к восьми. Кроме того, выводы суда вели к разоблачению в Ка–дые ещё и комсомольской вредительской организации (её и не замедлили посадить; товароведа молодого помните?), а в Иванове — центра подпольных организаций, в

---

[130] Примечания: 130

Говоря обобщённо, — в этом одном он ошибся.

свою очередь, конечно, подчинённого Москве (под Бухарина пошёл подкоп).

После торжественных слов «к расстрелу!» судья оставил паузу для аплодисментов—но в зале было такое мрачное напряжение, слышны были вздохи и плач людей чужих, крики и обмороки родственников, что даже с двух передних скамей, где сидели члены партии, аплодисментов не зазвучало, а это уже было совсем неприлично. «Ой, батюшки, что ж вы делаете?!» — кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена Универа. И в полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям:

— Ну что ж вы–то, сволочи, не хлопаете? Коммунисты!

Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер. Власов потянулся вырвать револьвер, подбежал милиционер и отбросил своего политрука, допустившего ошибку. Начальник конвоя скомандовал «к оружию!» — и тридцать карабинов милицейской охраны и пистолеты местных энкаведешников были направлены на подсудимых и на толпу (так и казалось, что она кинется отбивать осуждённых).

Зал был освещен всего лишь несколькими керосиновыми лампами, и полутьма увеличивала

общую путаницу и страх. Толпа, окончательно убеждённая если не судебным процессом, то направленными на неё теперь карабинами, в панике и давясь, полезла не только в двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стёкла. Едва не затоптанная, без сознания, осталась лежать под стульями до утра жена Универа.

Аплодисментов так и не было…

Пусть маленькое примечание будет посвящено восьмилетней девочке Зое Власовой. Она любила отца взахлёб. Больше она не смогла учиться в школе (её дразнили: «твой папа вредитель!», она вступала в драку: «мой папа хороший!»). Она прожила после суда всего один год (до того не болела), за этот год ни разу не засмеялась, ходила всегда с опущенной головой, и старухи предсказывали: «в землю глядит, умрёт скоро». Она умерла от воспаления мозговой оболочки, и при смерти всё кричала: «Где мой папа? Дайте мне папу!»

Когда мы подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на два, на три…

А приговорённых не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь ещё пуще надо было охранять, потому что им–то терять уже больше было нечего, а надлежало для расстрела препроводить их в областной центр.

С первой задачей — этапировать их по ночной улице в НКВД, справились так: каждого приговорённого сопровождало пятеро. Один нёс фонарь. Один шёл впереди с поднятым пистолетом. Двое держали смертника под руки и ещё пистолеты в своих свободных руках. Ещё один шёл сзади, на–целясь приговорённому в спину.

Остальная милиция была расставлена равномерно, чтобы предотвратить нападение толпы.

Теперь каждый разумный человек согласится, что, если бы возюкаться с открытыми судами, — НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи.

Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привились.

Глава 11. К ВЫСШЕЙ МЕРЕ

Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях, в воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды: говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить — и все 20 лет царствования никого не казнила. Притом вела Семилетнюю войну! — и обошлась. Для середины XVIII века, за полстолетия до якобинской рубиловки, пример удивительный. Правда, мы нашустрились всё прошлое своё высмеивать; ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаём. Так и Елизавету можно вполне очернить: заменяла она казнь — кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением «воръ» и вечною ссылкой в Сибирь. Но молвим и в защиту императрицы: а как же было ей круче повернуть, вопреки общественным представлениям? А может, и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле, да мы по гуманности ему не предлагаем? И

может, в ходе этой книги ещё склонится к тому читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей потяжеле елизаветинской казни?

По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II — классовый (и стало быть, более верный). Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, необоронённо. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических (Мирович, московский чумной бунт, Пугачёв) она признала казнь вполне уместной. А для уголовников — отчего ж бы и не считать отменённой?

При Павле отмена смертной казни была подтверждена. (Авойн было много, но полки — без трибуналов.) И во всё долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учинённых в походе (1812). (Тут же скажут нам: а шпицрутенами насмерть? Да слов нет, негласные убийства конечно были, так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием! Но всё–таки отдать Божью жизнь через голосование над тобою судейских — ещё полвека от Пугачёва до декабристов не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам.)

От пяти повешенных декабристов смертная

казнь за государственные преступления у нас не отменялась, она была подтверждена Уложениями 1845 и 1904 годов, пополнялась ещё и военно–уголовными и морскими уголовными законами, — но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами.

И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили (глава 8) подсчёты либеральных деятелей 1905–07 годов: за 80 лет 894 казни, то есть в среднем по 11 человек в год. Добавим более строгие цифры знатока русского уголовного права Н.С. Таганцева[131]. До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За тридцать лет с 1876 до 1905 (время народовольцев и террористических актов, не намерений, высказанных в коммунальной кухне; время массовых забастовок и крестьянских волнений; время, в которое создались и окрепли все партии будущей революции) было казнено 486 человек, то есть около 17 человек в год по стране. (Это — вместе с уголовными казнями!)[132] За годы первой революции и подавления

[131] Примечания: 131

Н.С. Таганцев. Смертная казнь. СПб.: Гос. тип., 1913. (Уже мы «таганцевское дело» видели, Часть Первая, глава 8.)

[132] Примечания: 132

В Шлиссельбурге с 1884 по 1906 казнено… 13 человек.

её число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слезы Толстого, негодование Короленко и многих и многих: с 1905 по 1908 было казнено около 2200 человек (сорок пять человек в месяц!). Но казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была эпидемия казней, как пишет Таганцев. (Тут же она и оборвалась.)

Странно читать, что когда в 1906 были введены военно–полевые суды, то из сложнейших проблем было: кому казнить? (Требовалось — в течение суток от приговора.) Расстреливали войска — производило неблагоприятное впечатление на войска. А палач–доброволец часто не находился. Докоммунистические головы не догадывались, что один палач и в затылок — может многих перестрелять.

Временное правительство при своём вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 оно возвратило её

для Действующей армии и фронтовых областей — за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабёж (чем те районы весьма тогда изобиловали). Это была — из самых непопулярных мер, погубивших Временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту

был: «долой смертную казнь, восстановленную Керенским!»

Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября возникла дискуссия: одним из первых декретов не отменить ли навечно смертную казнь? — и Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей, он–то знал, что без смертной казни нисколько не продвинуться в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям, и с 28 октября 1917 казнь была всё–таки отменена. Ничего хорошего от этой «добренькой» позиции выйти, конечно, не могло. (Да и как отменяли? В начале 1918 велел Троцкий судить Алексея Щастного, новопроизведенного адмирала, за то, что он отказался потопить Балтфлот. Председатель Верхтриба Кар–клин ломаным русским языком приговорил быстро: «расстрелять в 24 часа». В зале заволновались: отменена! Обвинитель Крыленко разъяснил: «Что вы волнуетесь? Отменена — смертная казнь. А Щастного мы не казним — расстреливаем». И расстреляли.)

Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 —нет, не «восстановлена», а—

установлена как новая эра казней. Если считать, что Лацис[133] не преуменьшает, а лишь только не имеет полных сведений, и что Ревтрибуналы выполнили по крайней мере такую же судейскую работу, как ЧК бессудную, мы найдём, что по двадцати центральным губерниям России за 16 месяцев (июнь 1918 — октябрь 1919) было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть более тысячи в месяц[134]. (Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского (Петербургского, 1905 год) совдепа Хруста–лёв–Носарь, и тот художник, кто создал для всей Гражданской войны эскиз былинного красноармейского костюма.)

А ещё же — Реввоентрибуналы с их тоже тысячными месячными цифрами. И Желдортрибуналы (см. глава 8, стр. 295).

Впрочем, даже может быть не этими произнесенными или не произнесенными как приговор одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенила и опьянила Россию наступившая в 1918 эра казней.

---

[133] Примечания: 133

Уже цитированный обзор «Два года борьбы…», с. 75.

[134] Примечания: 134

Уж пошло на сравнение, так ещё одно: за 80 вершинных лет инквизиции (1420–1498) по всей Испании было осуждено на сожжение 10 тысяч человек, то есть около 10 человек в месяц.

Ещё страшней нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей — на потопление барж, всякий раз с несосчитанными, непереписанными, даже и неперекликну–тыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников— в Финском заливе, в Белом, Каспийском и Чёрном морях, ещё и в Байкале. Это не входит в нашу узкосудебную историю, но это — история нравов, откуда — всё дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств, какими большевики сопровождали и закончили Гражданскую войну?

Мы пропустили бы характерный зубец, если б не сказали, что смертная казнь отменялась… в январе 1920 года, да! Иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча, когда ещё на Кубани был Деникин, в Крыму Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во–первых, тот декрет был весьма благоразумен: он не распространялся на Реввоентрибуналы, а только на ЧК и тыловые Трибуналы. Поэтому предназначенных к расстрелу можно было предварительно передвигать к расстрелу поближе. Так, например, для истории сохранилось распоряжение:

«Секретно. Циркулярно.

Председателям ч.к., в.ч.к. — по особым отделам.

Ввиду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, кои по числящимся разным преступлениям подлежат высшим мерам наказания, — отправлять в полосу военных действий, как место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется.

15 апреля 1920 года № 325/16.756

Управляющий особ. отд. ВЧК /подпись/

Ягода».

Во–вторых, декрет был подготовлен предварительной чисткой тюрем (широкими расстрелами заключённых, могущих потом попасть «под декрет». Сохранилось в архивах заявление бутырских заключённых от 5 мая 1920:

«У нас, в Бутырской тюрьме, уже после подписания декрета об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 человека. Это было кошмарно по своей подлости».

Но, в–третьих, что самое утешительное, действие декрета было краткосрочно — 4 месяца (пока снова в тюрьмах не накопилось). Декретом от 28 мая 1920 права расстрела были возвращены ВЧК.

Революция спешит всё переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и «смертная казнь» была переназвана—в высшую меру и не «наказания» даже, а социальной защиты. Основы уголовного законодательства 1924 объясняют нам, что установлена эта высшая мера временно, впредь до полной её отмены ЦИКом.

И в 1927 её действительно начали отменять: её оставили лишь для преступлений против государства и армии (58–я и воинские), ещё, правда, для бандитизма (но известно широкое политическое истолкование «бандитизма» в те годы да и сегодня: от «басмача» и до литовского лесного партизана всякий вооружённый националист, не согласный с центральной властью, есть «бандит», как же без этой статьи остаться? И лагерный повстанец и участник городского волнения—тоже «бандит»). По статьям же, защищающим частных лиц, по убийствам, грабежам и изнасилованиям, — к 10–летию Октября расстрел отменили.

А к 15–летию Октября добавлена была смертная казнь по закону от «седьмого–восьмого» — тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху.

Как всегда, особенно поначалу накинулись на

этот закон, в 1932–33, и особенно рьяно стреляли тогда. В это мирное время (ещё при Кирове...) в одних только ленинградских Крестах в декабре 1932 ожидало своей участи единовременно двести шестьдесят пять смертников[135] —а за целый год по одним Крестам и за тысячу завалило?

И что ж это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А например, сидело там шесть колхозников из–под Царского Села, которые вот в чём провинились: после колхозного (их же руками!) покоса они прошли и сделали по кочкам подкос для своих коров. Все эти шесть мужиков не были помилованы ВЦИКом, приговор приведён в исполнение!

Какая Салтычиха? какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог бы убить шесть мужиков за несчастные окоски?.. Да ударь он их только розгами по разу, — мы б уже знали и в школах проклинали его имя[136]. А сейчас — ухнуло в воду, и гладенько. И только надежду надо таить, что когда–нибудь подтвердят докумен-

---

[135] Примечания: 135

Свидетельство Б., разносившего по камерам смертников пищу.

[136] Примечания: 136

Только неизвестно в школах, что Салтычиха по приговору (классового) суда отсидела за свои зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. [АС.Пругавин. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством: К вопросу о веротерпимости. М.: Посредник, 1905, с. 39.)

тами рассказ моего живого свидетеля. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, — то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования! И ещё смеют нам визжать: «как вы смели его разоблачать?», «тревожить великую тень?», «Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению!» — Да. И — уголовному кодексу.

Впрочем, Ленин с Троцким — чем же лучше? Начинали— они.

Однако вернёмся к бесстрастию и беспристрастию. Конечно, ВЦИК непременно бы «полностью отменил» высшую меру, раз это было обещано, —да в том беда, что в 1936 Отец и Учитель «полностью отменил» сам ВЦИК. А уж Верховный Совет скорей звучал под Анну Иоанновну. Тут и «высшая мера» наказания стала, а не защиты, какой–то непонятной. Расстрелы 1937–38 года даже для сталинского уха не умещались уже в «защиту».

Об этих расстрелах — какой правовед, какой уголовный историк приведёт нам проверенную статистику? где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет. Их и не будет. Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры–слухи, которые посвежу, в 1939–40 годах,

бродили под бутырскими сводами и истекали от крупных и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго (они–то знали!). Говорили ежовцы, что в два эти года расстреляно по Союзу полмиллиона «политических» и 480 тысяч блатарей (59–3, их стреляли как «опору Ягоды»; этим и подрезан был «старый воровской благородный» мир).

Насколько эти цифры невероятны? Считая, что расстрелы велись не два года, а лишь полтора, мы должны ожидать (для 58–й статьи) в среднем в месяц 28 тысяч расстрелянных. Это по Союзу. Но сколько было мест расстрела? Очень скромно будет посчитать, что — полтораста. (Их было больше, конечно. В одном только Пскове под многими церквами в бывших кельях отшельников были устроены пыточные и расстрельные помещения НКВД. Ещё и в 1953 в эти церкви не пускали экскурсантов: «архивы»; там и паутины не выметали по десять лет, такие «архивы». Перед началом реставрационных работ оттуда кости вывозили грузовиками.) Тогда, значит, в одном месте, в один день уводили на расстрел по 6 человек. Разве это фантастично? Это преуменьшено даже! Из Краснодара свидетельствуют, что там в главном здании ГПУ на Пролетарской в

1937–38 каждую ночь расстреливали больше 200 человек! (По другим источникам, к 1 января 1939 расстреляно 1 миллион 700 тысяч человек.)

В годы советско–германской войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось (например, военизация железных дорог), то обогащалось по формам (с апреля 1943—указ о повешении).

Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и навечную отмену смертной казни, однако терпением и преданностью наш народ всё–таки выслужил её: в мае 1947 примерил Иосиф Виссарионович крахмальное жабо перед зеркалом, понравилось — и продиктовал президиуму Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время (с заменою на — 25 лет, четвертную).

Но народ наш неблагодарен, преступен и неспособен ценить великодушие. Поэтому покряхтели–покряхтели правители два с половиной года без смертной казни, и 12 января 1950 издан Указ противоположный: «ввиду поступивших заявлений от национальных республик (Украина?..), от профсоюзов (милые эти профсоюзы, всегда знают, что надо), крестьянских организаций (это среди сна продиктовано, все крестьянские организа-

ции растоптал Милостивец ещё в год Великого Перелома), а также от деятелей культуры» (вот это вполне правдоподобно) возвратили смертную казнь для уже накопившихся «изменников родины, шпионов и подрывников–диверсантов» .

И уж как начали возвращать нашу привычную, нашу головорубку, так и потянулось без усилия: 1954 — за умышленное убийство тоже; май 1961 —за хищение государственного имущества тоже, и подделку денег тоже, и террор в местах заключения (это кто стукачей убивает и пугает лагерную администрацию); июль 1961 —за нарушение правил о валютных операциях; февраль 1962 — за посягательство (замах рукой) на жизнь милиционеров и дружинников; и тогда же — за изнасилование; и тут же сразу — за взяточничество.

Но всё это — временно, впредь до полной отмены. И сегодня так записано.

И выходит, что дольше всего мы без казни держались при Елизавете Петровне.

* * *

В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно

уверены, что мы–то в смертную камеру никогда бы попасть не могли, что для этого нужна если не тяжкая вина, то во всяком случае выдающаяся жизнь. Нам ещё много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить: в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки, и — кому как повезёт — очень часто не помилование получали они, а вышку (так называют арестанты «высшую меру», они не терпят высоких слов и всё называют как–нибудь погрубей и покороче).

Агроном райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна! (а может быть, не угодил начальству анализом?) —1937 год.

Председатель кустарной артели (изготовлявшей ниточные катушки!) Мельников приговорён к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомобильной искры! — 1937 год. (Правда, его помиловали и дали десятку.)

В тех же Крестах в 1932 году ждали смерти: Фельдман — за то, что у него нашли валюту; Файтелевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев. Исконная коммерция, хлеб и забава еврея, тоже стали достойны казни!

Удивляться ли тогда, что смертную казнь полу-

чил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду — не милиционера, нет! — но милицейскую лошадь! (Правда, той же милиции назло он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом сельсоветский телефон от шнура и кричал: «громи чертей!»…)

Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что–то или чего–то не сделали, — она решается кручением большого колеса, ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадою Ленинград. Его высший руководитель товарищ Жданов что должен думать, если в делах Ленинградского ГБ в такие суровые месяцы не будет смертных казней? Что Органы бездействуют, не так ли? Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне? Почему же при Сталине в 1919 такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942 их нет? Заказано — сделано: открываются несколько разветвлённых заговоров! Вы спите в своей нетопленой ленинградской комнате, а когтистая чёрная рука уже снижается над вами. И от вас тут ничего не зависит. Намечается такой–то, член–корреспондент Игнатовский, —у него окна выходят на Неву, и он вынул белый

носовой платок высморкаться — сигнал! А ещё Игнатовский как инженер любит беседовать с моряками о технике. Засечено! Игнатовский взят. Пришла пора рассчитываться! —итак, назовите сорок членов вашей организации. Называет. Так если вы — капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики, а если вы профессор Технологического института—так вот вы и в списке, —и что же от вас зависело? А по такому списку — всем расстрел.

И всех расстреливают. И вот как остаётся в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик: какое–то ещё высшее начальство в госбезопасности недовольно, что список мал и расстреливается мало. И Страхо–вича намечают как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер: «Вы что ж? нарочно поскорее всё признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство? Кем вы там были?» Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг! Он предлагает считать его минпросом (хочется кончить всё поскорей!), но Альтшул–леру этого мало. Следствие идёт, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из

допросов Страховича охватывает гнев: он не то что хочет жить, но он устал умирать и, главное, до противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при каком–то большом чине стучит по столу: «Это вас всех расстреляют! Я не буду больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка эта помогает! — его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников.

Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает.

И вот столько расстреляно — сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаем. И всё–таки— это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если б когда–нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казнённых, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, — то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем.

В одном моём знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд: 5 марта, в день смерти Главного Убийцы, выставляются на столах фотографии

расстрелянных и умерших в лагере — десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность — полуцерковная, полумузейная. Траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются; уходят, не попрощавшись.

Вот так бы везде… Хоть какой–нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей.

Чтоб — не напрасно всё же!..

Как это всё происходит? Как люди ждут! Что они чувствуют? О чём думают? К каким приходят решениям? И как их берут! И что они ощущают в последние минуты? И как именно… это… их… это…?

Естественна больная жажда людей проникнуть за завесу (хоть никого из нас это, конечно, никогда не постигнет). Естественно и то, что пережившие рассказывают не о самом последнем — ведь их помиловали.

Дальше — знают палачи. Но палачи не будут говорить. (Тот крестовский знаменитый дядя Лёша, который крутил руки назад, надевал наручники, а если уводимый вскрикивал в ночном коридоре «прощайте, братцы!», то и комом рот затыкал, — зачем он будет вам рассказывать? Он и сейчас, наверно, ходит по Ленинграду, хорошо

одет. Если вы его встретите в пивной на островах или на футболе — спросите!)

Однако и палач не знает всего до конца. Под какой–нибудь сопроводительный машинный грохот неслышно освобождая пули из пистолета в затылки, он обречён тупо не понимать совершаемого. До конца–то и он не знает! До конца знают только убитые — и, значит, никто.

Ещё, правда, художник — неявно и неясно, но кое–что знает вплоть до самой пули, до самой верёвки.

Вот от помилованных и от художников мы и составили себе приблизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а ждут. Что успокаиваются только утром.

Нароков (Марченко) в романе «Мнимые величины»[137], сильно испорченном предварительным заданием—всё написать, как у Достоевского, и ещё даже более разодрать и умилить, чем Достоевский, — смертную камеру, однако, и саму сцену расстрела написал, по–моему, очень хорошо. Нельзя проверить, но как–то верится.

Догадки более ранних художников, например Леонида Андреева, сейчас уже поневоле отдают

---

[137] Примечания: 137

Николай Нароков. Мнимые величины: Роман в 2–х частях. Нью–Йорк: Изд–во им. Чехова, 1952.

крыловскими временами. Да и какой фантаст мог бы вообразить, например, смертные камеры 37–го года? Он плёл бы обязательно свой психологический шнурочек: как ждут? как прислушиваются?.. Кто ж бы мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников:

1. Смертники страдают от холода. Спать приходится на цементном полу, под окном это минус три градуса (Страхо–вич). Пока расстрел, тут замёрзнешь.

2. Смертники страдают от тесноты, и духоты. В одиночную камеру втиснуто семь (меньше и не бывает), десять, пятнадцать или двадцать восемь смертников (Страхович, Ленинград, 1942). И так сдавлены они недели и месяцы.

Так что там кошмар твоих семи повешенных! Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, а — как вот сейчас ноги вытянуть? как повернуться? как воздуха глотнуть?

В 1937 году, когда в ивановских тюрьмах — Внутренней, № 1, № 2 и КПЗ, сидело одновременно до 40 тысяч человек, хотя рассчитаны они были вряд ли на 3–4 тысячи, — в тюрьме № 2 смешали: следственных, осуждённых к лагерю, смертников, помилованных смертников и ещё воров — и все они несколько дней в большой камере стояли

вплотную в такой тесноте, что невозможно было поднять или опустить руку, а притиснутому к нарам могли сломать колено. Это было зимой, и, чтобы не задохнуться, — заключённые выдавили стёкла в окнах. (В этой камере ожидал своей смерти уже приговорённый к ней седой как лунь член РСДРП с 1898 Алалы–кин, покинувший партию большевиков в 1917 после апрельских тезисов.)

3. Смертники страдают от голода. Они ждут после смертного приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода: где бы поесть? Александр Бабич в 1941 в Красноярской тюрьме пробыл в смертной камере 75 суток! Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственно возможного конца своей нескладной жизни. Но он опух с голода, — и тут ему заменили расстрел десятью годами, и с этого он начал свои лагеря. —А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд?.. Всеволод Петрович Голицын, староста (!) смертной камеры, просидел в ней 140 суток (1938) — но рекорд ли это? Слава нашей науки академик Н.И. Вавилов прождал расстрела несколько месяцев, да как бы и не год; в состоянии смертника был эвакуирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окна,

и когда летом 1942, помилованный, был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на руках.

4. Смертники страдают без медицинской помощи. Ох–рименко за долгое сидение в смертной камере (1938) сильно заболел. Его не только не взяли в больницу, но и врач долго не шла. Когда же пришла, то не вошла в камеру, а через решётчатую дверь, не осматривая и ни о чём не спрашивая, протянула порошки. А у Страховича началась водянка ног, он объяснил это надзирателю —и прислали… зубного врача.

Когда же врач и вмешивается, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять сценка от Страховича: входит врач и, разговаривая с дежурным, тычет пальцем в смертников: «покойник!., покойник!., покойник!..» (Это он выделяет для дежурного дистрофиков, настаивая, что нельзя же так изводить людей, что пора же расстреливать!)

А отчего, в самом деле, так долго их держали? Не хватало палачей? Надо сопоставить с тем, что очень многим смертникам предлагали и даже просили их подписать просьбу о помиловании, а

когда они очень уж упирались, не хотели больше сделок, то подписывали от их имени. Ну а ход бумажек по изворотам машины и не мог быть быстрей, чем в месяцы.

Тут, наверно, вот что: стык двух разных ведомств. Ведомство следственно–судебное (как мы слышали от членов Военной Коллегии, это было — едино) гналось за раскрытием кошмарно–грозных дел и не могло не дать преступникам достойной кары — расстрелов. Но как только расстрелы были произнесены, записаны в актив следствия и суда — сами эти чучела, называемые осуждёнными, их уже не интересовали: на самом–то деле никакой крамолы не было, и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли приговорённые в живых или умрут. И так они доставались полностью на усмотрение тюремного ведомства. Тюремное же ведомство, примыкавшее к ГУЛАГу, уже смотрело на заключённых с хозяйственной точки зрения, их цифры были—не побольше расстрелять, а побольше рабочей силы послать на Архипелаг.

Так посмотрел начальник внутрянки Большого Дома Соколов и на Страховича, который в конце концов соскучился в камере смертников и стал просить бумагу и карандаш для научных занятий.

Сперва он писал тетрадку «О взаимодействии жидкости с твёрдым телом, движущимся в ней», «Расчёт баллист, рессор и амортизаторов», потом «Основы теории устойчивости», его уже отделили в отдельную «научную» камеру, кормили получше, тут стали поступать заказы с Ленинградского фронта, он разрабатывал им «объёмную стрельбу по самолётам» — и кончилось тем, что Жданов заменил ему смертную казнь 15–ю годами (но просто медленно шла почта с Большой Земли: вскоре пришла обычная помиловка из Москвы, и она была пощедрее ждановской: всего только десятка).

Все тюремные тетради у Страховича и сейчас целы. А «научная карьера» его за решёткой на этом только начиналась. Ему предстояло возглавить один из первых в СССР проектов турбо–реактивного двигателя.

А Наталию Постоеву, доцента–математика, в смертной камере решил эксплуатнуть для своих личных целей следователь Кружков (да–да, тот самый, ворюга): дело в том, что он был — студент–заочник! И вот он вызывал Постоеву из смертной камеры — и давал решать задачи по теории функций комплексного переменного в своих (а скорей всего даже и не своих) контрольных работах.

Так что понимала мировая литература в предсмертных страданиях?..

Наконец (рассказ Чавдарова) смертная камера может быть использована как элемент следствия, как приём воздействия. Двух несознающихся (Красноярск) внезапно вызвали на «суд», «приговорили» к смертной казни и перевели в камеру смертников. (Чавдаров обмолвился: «над ними была инсценировка суда». Но в положении, когда всякий суд—инсценировка, каким словом назвать ещё этот лже–суд? Сцена на сцене, спектакль, вставленный в спектакль.) Тут им дали глотнуть этого смертного быта сполна. Потом подсадили наседок, якобы тоже «смертников». И те вдруг стали раскаиваться, что были так упрямы на следствии, и просили надзирателя передать следователю, что готовы всё подписать. Им дали подписать заявления, а потом увели из камеры днём, значит — не на расстрел.

А те истинные смертники в этой камере, которые послужили материалом для следовательской игры, — они тоже что–нибудь чувствовали, когда вот люди «раскаивались» и их миловали? Ну да это режиссёрские издержки.

Говорят, Константина Рокоссовского, будущего маршала, в 1939 году дважды вывозили в лес

на мнимый ночной расстрел, наводили на него стволы, потом опускали и везли в тюрьму. Это тоже — высшая мера, применённая как следовательский приём. И ничего же, обошлось, жив–здоров, и не обижается.

А убить себя человек даёт почти всегда покорно. Отчего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтоб в их смертной камере кто–нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В ленинградских Крестах в 1932 году смертники отняли у надзирателей револьверы и стреляли. После этого была принята техника: разглядевши в глазок, кого им надобно брать, вваливались в камеру сразу пятеро невооружённых надзирателей и кидались хватать одного. Смертников в камере было восемь–де–сять, но ведь каждый из них послал апелляцию Калинину, каждый ждал себе прощения, и поэтому: «умри ты сегодня, а я завтра». Они расступались и безучастно смотрели, как обречённого крутили, как он кричал о помощи, а ему забивали в рот детский мячик. (Смотря на детский мячик — ну догадаешься разве обо всех его возможных применениях?.. Какой хороший пример для лектора по диалектическому методу!)

Надежда! Что больше ты — крепишь или рас-

слабляешь? Если бы в каждой камере смертники дружно душили приходящих палачей — не верней ли прекратились бы казни, чем по апелляциям во ВЦИК? Уже на ребре могилы — почему бы не сопротивляться?

Но разве и при аресте не так же было всё обречено? Однако все арестованные, на коленях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды.

* * *

Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его вели по тёмному Кадыю и четырьмя пистолетами трясли с четырёх сторон, мысль его была: как бы не застрелили сейчас, провокаторски, якобы при попытке к бегству. Значит, он ещё не поверил в свой приговор! Ещё надеялся жить…

Теперь его содержали в комнате милиции. Уложили на канцелярском столе, а два–три милиционера при керосиновой лампе непрерывно дежурили тут же. Они говорили между собой: «Четыре дня я слушал–слушал, так и не понял: за что их осудили?» — «А, не нашего ума дело!»

В этой комнате Власов прожил пять суток: ждали утверждения приговора, чтобы расстрелять в Кадые же: очень трудно было конвоировать

смертников дальше. Кто–то подал от него телеграмму о помиловании: «Виновным себя не признаю, прошу сохранить жизнь». Ответа не было. Все эти дни у Власова так тряслись руки, что он не мог нести ложки, а пил ртом из тарелки. Навещал поиздеваться Клюхин. (Векоре после Кадыйского дела ему предстоял перевод из Иванова в Москву. В тот год у этих багровых звёзд гулаговского неба были крутые восходы и заходы. Нависала пора отрясать и их в ту же яму, да они этого не ведали.)

Ни утверждения, ни помилования не приходило, и пришлось–таки четверых приговорённых везти в Кинешму. Повезли их в четырёх полуторках, в каждой один приговорённый с семью милиционерами.

В Кинешме — подземелье монастыря (монастырская архитектура, освобождённая от монашеской идеологии, сгожа–лась нам очень). Там подбавили ещё других смертников, повезли арестантским вагоном в Иваново.

На товарном дворе в Иванове отделили троих: Сабурова, Власова и из чужой группы, а остальных увели сразу — значит, на расстрел, чтоб не загружать тюрьму. Так Власов и простился со Смирновым.

Трёх оставшихся посадили в промозглой октябрьской сырости во дворе тюрьмы № 1 и держали часа четыре, пока уводили, приводили и обыскивали другие этапы. Ещё, собственно, не было доказательств, что их сегодня же не расстреляют. Эти четыре часа ещё надо просидеть на земле и передумать! Был момент, Сабуров понял так, что ведут на расстрел (а вели в камеру). Он не закричал, но так вцепился в руку соседа, что закричал от боли тот. Охрана потащила Сабурова волоком, подталкивая штыками.

В той тюрьме было четыре смертных камеры — в одном коридоре с детскими и больничными! Смертные камеры были о двух дверях: обычная деревянная с волчком и железная решётчатая, а каждая дверь о двух замках (ключи у надзирателя и корпусного порознь, чтоб не могли отпереть друг без друга). 43–я камера была через стену от следовательского кабинета, и по ночам, когда смертники ждут расстрела, ещё крики истязуемых драли им уши.

Власов попал в 61–ю камеру. Это была одиночка: длиною метров пять, а шириною чуть больше метра. Две железные кровати были намертво прикованы толстым железом к полу, на каждой кровати валетом лежало по два смертника. И

ещё четырнадцать лежало на цементном полу поперёк.

На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина! Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на три аршина земли — и то ещё Чехову казалось мало…

Власов спросил, сразу ли расстреливают. «Вот мы давно сидим, а всё ещё живы…»

И началось ожидание — такое, как оно известно: всю ночь все не спят, в полном упадке ждут вывода на смерть, слушают шорохи коридора (ещё из–за этого растянутого ожидания падает способность человека сопротивляться). Особенно тревожны те ночи, когда днём кому–нибудь было помилование: с воплями радости ушёл он, а в камере сгустился страх — ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому–то отказы, и ночью за кем–то придут…

Иногда ночью гремят замки, падают сердца — меня? не меня!! а вертухай открыл деревянную дверь за какой–нибудь чушью: «Уберите вещи с подоконника!» От этого отпирания, может быть, все четырнадцать стали на год ближе к своей будущей смерти; может быть, полсотни раз так отпереть — и уже не надо тратить пуль! — но как ему благодарны, что всё обошлось: «Сейчас

уберём, гражданин начальник!»

С утренней оправки, освобождённые от страха, они засыпали. Потом надзиратель вносил бачок с баландой и говорил: «Доброе утро!» По уставу полагалось, чтобы вторая, решётчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно, сами люди лучше и ленивее своих установлений и инструкций, — и надзиратель входил в утреннюю камеру без дежурного и совершенно по–человечески, нет, это дороже, чем просто по–человечески! — обращался: «Доброе утро!»

К кому же ещё на земле оно было добрее, чем к ним! Благодарные за теплоту этого голоса и теплоту этой жижи, они теперь засыпали до полудня. (Только–то утром они и ели! Уже проснувшись днём, многие есть не могли. Кто–то получал передачи — родственники могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре, — передачи эти становились в камере общими, но лежали и гнили в затхлой сырости.)

Днём ещё было в камере лёгкое оживление. Приходил начальник корпуса — или мрачный Тараканов, или расположенный Макаров, — предлагал бумаги на заявления, спрашивал, не хотят ли, у кого есть деньги, выписать покурить

из ларька. Эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человечными: делался вид, что они никакие и не смертники?

Осуждённые выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал кому–нибудь о потребительской кооперации, а это всегда приобретает у него комический оттенок. (Его рассказы о кооперации замечательны и достойны отдельного изложения.) Яков Петрович Колпаков, председатель Судо–годского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. (Весёлой же и лёгкой должна была ему вспоминаться весна 17–го года!.. А кого–то (офицеров) и тогда убивали.) Говорливость Власова его раздражала: «Как ты можешь?» — «А ты к раю готовишься? — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оканье. — Я только одно себе положил — скажу палачу: ты — один! не судьи, не прокуроры, — ты один виноват в моей смерти, с этим теперь и живи! Если б не было вас, палачей–добровольцев, не было б и смертных приговоров! И пусть убивает, гад!»

Колпаков был расстрелян. Расстрелян был

Константин Сергеевич Аркадьев, бывший заведующий Александровского (Владимирской области) райзо. Прощание с ним почему–то прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним шесть человек охраны, резко торопили, а он, мягкий, воспитанный, долго вертел и мял шапку в руках, оттягивая момент ухода — ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса почти совсем уже не было.

В первый миг, когда указывают жертву, остальным становится легче («не я!»), — но сейчас же после увода становится вряд ли легче, чем тому, кого повели. На весь следующий день обречены оставшиеся молчать и не есть.

Впрочем, Гераська, громивший сельсовет, много ел и много спал, по–крестьянски обжившись и здесь. Он как будто поверить не мог, что его расстреляют. (Его и не расстреляли: заменили десяткой.)

Некоторые на глазах сокамерников за три–четыре дня становились седыми.

Когда так затяжно ждут смерти — отрастают волосы, и камеру ведут стричь, ведут мыть. Тюремный быт прокачивает своё, не зная приговоров.

Кто–то терял связную речь и связное понимание — но всё равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошёл с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается.

Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 впервые после революции ввели пятнадцати–и двадцатипятилетние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов. Заменяли и на десятку. Даже и на пять заменяли, в стране чудес возможны и такие чудеса: вчера ночью был достоин казни, сегодня утром — детский срок, лёгкий преступник, в лагере имеешь шанс быть бесконвойным.

Сидел в их камере В.Н. Хоменко, шестидесятилетний кубанец, бывший есаул, «душа камеры», если у смертной камеры может быть душа: шутковал, улыбался в усы, не давал вида, что горько. — Ещё после японской войны он стал негоден к строю и усовершился по коневодству, служил в губернской земской управе, а к тридцатым годам был при ивановском областном земельном управлении «инспектором по фонду коня РККА», то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорён к расстрелу за то, что вредительски рекомендовал кастрировать жеребят до

трёх лет, чем «подрывал боеспособность Красной армии». — Хоменко подал кассационную жалобу. Через 55 дней вошёл корпусной и указал ему, что на жалобе он написал не ту инстанцию. Тут же, на стенке, карандашом корпусного, Хоменко перечеркнул одно учреждение, написал вместо него другое, как будто заявление было на пачку папирос. С этой корявой поправкой жалоба ходила ещё 60 дней, так что Хоменко ждал смерти уже четыре месяца. (А пождать год–другой, — так и все же мы её годами ждём, Косую! Разве весь мир наш — не камера смертников?..) И пришла ему — полная реабилитация. (За это время Ворошилов так и распорядился: кастрировать до трёх лет.) То — голову с плеч, то — пляши изба и печь!

Помилований приходило немало, многие всё больше надеялись. Но Власов, сопоставляя с другими своё дело и, главное, поведение на суде, находил, что у него наворочено тяжче. И кого–то же надо расстреливать? Уж половину–то смертников — наверно надо? И верил он, что его расстреляют. Хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственная его характеру, у него возвратно накоплялась, и он настроился дерзить до конца.

Подвернулся и случай. Обходя тюрьму, за-

чем–то (скорей всего — чтоб нервы пощекотать) велел открыть двери их камеры и стал на пороге Чангули — начальник следственного отдела Ивановского НКВД. Он заговорил о чём–то, спросил:

— А кто здесь по кадыйскому делу?

Он был в шёлковой сорочке с короткими рукавами, которые только–только появлялись тогда и ещё казались женскими. И сам он или эта его сорочка были обвеяны сладящи–ми духами, которые и потянуло в камеру.

Власов проворно вспрыгнул на кровать, крикнул пронзительно:

— Что это за колониальный офицер?! Пошёл вон, убийца!! — и сверху сильно, густо плюнул Чангули в лицо.

И — попал!

И тот — обтёрся и отступил. Потому что войти в эту камеру он имел право только с шестью охранниками, да и то неизвестно — имел ли.

Благоразумный кролик не должен так поступать. А что если именно у этого Чангули лежит сейчас твоё дело и именно от него зависит виза на помилование? И ведь недаром же спросил: «Кто здесь по кадыйскому делу?» Потому наверно и пришёл.

Но наступает предел, когда уже не хочется,

когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда кроличью голову освещает общее понимание, что все кролики предназначены только на мясо и на шкурки, и поэтому выигрыш возможен лишь в отсрочке, не в жизни. Когда хочется крикнуть: «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!»

За сорок один день ожидания расстрела именно это чувство озлобления всё больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании — а он отказывался.

Но на 42–й день его вызвали в бокс и огласили, что Президиум ЦИК СССР заменяет ему высшую меру наказания — двадцатью годами заключения в исправительно–трудовых лагерях с последующими пятью годами лишения прав.

Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашёлся сказать:

— Странно. Меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин — верит, если думает, что ещё и через двадцать лет понадобятся в нашей стране лагеря?..

Тогда это недостижимо казалось — через двадцать. Странно, они понадобились и через сорок.

Глава 12. ТЮРЗАК

Ах, доброе русское слово—острог—и крепкое–то какое! и сколочено как! В нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже мятель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где–то рядышком тут прилегает, — а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!

А если окинуть глазом весь русский острожный обычай, обиход, ну заведение это всё за последние, скажем, лет девяносто, — так так и видишь не рог уже, а — два рога: народовольцы начинали с кончика рога — там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью, — и постепенно всё это становилось покруглей, поокатистей, сползало сюда, к комлю, и стало уже как бы даже и не рог совсем — стало шёрстной открытой площадочкой (это начало XX века)— но потом (после 1917) быстро нащупались первые хреб–тинки второго комля — и по ним, через

раскоряченье, через «не имеете права!» стало это всё опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть — и к 38–му году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи: тюрзакі[138] И только как колокол сторожевой, ночной и дальний, — по одному удару в год: Тон–н–н!..[139]

Если параболу эту прослеживать по кому–нибудь из шлиссельбуржцев («Запечатленный труд» Веры Фигнер), то страшновато вначале: у арестанта — номер, и никто его по фамилии не зовёт; жандармы — как будто на Лубянке учены: от себя ни слова. Заикнёшься «мы…» — «Говорите только о себе!» Тишина гробовая. Камера в вечных полусумерках, стёкла мутные, пол асфальтовый. Форточка открывается на сорок минут в день. Кормят щами пустыми да кашей. Не дают научных книг из библиотеки. Два года не видишь ни человека. Только после трёх лет— пронумерованные листы бумаги.

А потом, исподволь, — набавляется простору, округляется: вот и белый хлеб, вот и чай с сахаром на руки; деньги есть — подкупай; и куренье

---

[138] Примечания: 138
ТЮРемное ЗАКлючение (официальный термин).

[139] Примечания: 139
ТОН — Тюрьма Особого Назначения.

не запрещается; стёкла вставили прозрачные, фрамуга открыта постоянно, стены перекрасили посветлей; смотришь, и книги по абонементу из санкт–петербургской библиотеки; между огородами — решётки, можно разговаривать и даже лекции друг другу читать. И уже арестантские руки на тюрьму наседают: ещё нам землицы, ещё! Вот два обширных тюремных двора разделали под насаждения. А цветов и овощей — уже 450 сортов! Вот уже — научные коллекции, столярка, кузница, деньги зарабатываем, книги покупаем, даже политические[140], а из–за границы журналы. И переписка с родными. Прогулка? — хоть и полный день.

И постепенно, вспоминает Фигнер, «уже не смотритель кричал, а мы на него кричали». А в 1902 он отказался отправить её жалобу, и за это она со смотрителя сорвала погоны. Последствие было такое: приехал военный следователь и всячески перед Фигнер извинялся за невежу–смотрителя!

Как же произошло это всё сползание и уширение? Кое–что объясняет Фигнер гуманностью

---

[140] Примечания: 140

П.А. Красиков (тот самый, который будет на смерть судить митрополита Вениамина) читает в Петропавловской крепости «Капитал» (да только год один, освобождают его).

отдельных комендантов, другое — тем, что «жандармы сжились с охраняемыми», привыкли. Немало тут истекло от стойкости арестантов, от достоинства и уменья себя вести. И всё ж я думаю: воздух времени, общая эта влажность и свежесть, обгоняющая грозовую тучу, этот ветерок свободы, уже протягивающий по обществу, — он решил! Без него бы можно было по понедельникам учить с жандармами Краткий Курс (но не умели тогда), да подтягивать, да подструнивать. И вместо «запечатленного труда» получила бы Вера Николаевна за срыв погонов — девять грамм в подвале.

Раскачка и расслабление царской тюремной системы не сами, конечно, сталась — а от того, что всё общество заодно с революционерами раскачивало и высмеивало её, как могло.

Царизм проиграл свою голову не в уличных перестрелках Февраля, а ещё за несколько десятилетий прежде: когда молодёжь из состоятельных семей стала считать побывку в тюрьме честью, а армейские (и даже гвардейские) офицеры пожать руку жандарму — бесчестьем. И чем больше расслаблялась тюремная система, тем чётче выступала победоносная «этика политических» и тем явственней члены революционных партий ощущали силу свою и своих собственных зако-

нов, а не государственных.

И на том пришёл в Россию Семнадцатый год, и на плечах его — Восемнадцатый. Почему мы сразу к 18–му: предмет нашего разбора не позволяет нам задерживаться на 17–м: с марта все политические тюрьмы (да и уголовные), срочные и следственные, и вся каторга опустели, и как этот год пережили тюремные и каторжные надзиратели — надо удивляться, а наверно, что огородиками перебились, картошкой. (С 1918 у них много легче пошло, а на Шпалерной так и в 1928 ещё дослуживали новому режиму, ничего.)

Уже с последнего месяца 1917 стало выясняться, что без тюрем никак нельзя, что иных и держать–то негде, кроме как за решёткой (см. главу 2) — ну, просто потому, что места им в новом обществе нет. Так площадку между рогами на ощупь перешли и стали нащупывать второй рог.

Разумеется, сразу было объявлено, что ужасы царских тюрем больше не повторятся: что не может быть никакого «донимающего исправления», никакого тюремного молчания, одиночек, разъединённых прогулок и разного там ровного шага гуськом, и даже камер запертых![141] — встре-

---

[141] Примечания: 141

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 207, 229, 234.

чайтесь, дорогие гости, разговаривайте сколько хотите, жалуйтесь друг другу на большевиков. А внимание новых тюремных властей было направлено на боевую службу внешней охраны и приём царского наследства по тюремному фонду (это как раз не та была государственная машина, которую следовало ломать и строить заново). К счастью, обнаружилось, что Гражданская война не причинила разрушений всем основным централам или острогам. Не миновать только было отказаться от этих загаженных старых слов. Теперь назвали их политизолято–рами, соединённым этим названием выказывая: признание членов бывших революционных партий политическими противниками и указывая не на карательный характер решёток, а необходимость лишь изолировать (и, очевидно, временно) этих старомодных революционеров от поступательного хода нового общества. Со всем тем и приняли своды старых централов (а Суздальский, кажется, и с Гражданской войны) — эсеров, анархистов и социал–демократов.

Все они вернулись сюда с сознанием своих арестантских прав и с давней проверенной традицией — как их отстаивать. Как законное (у царя отбитое и революцией подтверждённое)

принимали они специальный политпаёк (включая и полпачки папирос в день); покупки с рынка (творог, молоко); свободные прогулки по много часов в день; обращение надзора к ним на «вы» (а сами они перед тюремной администрацией не поднимались); объединение мужа и жены в одной камере; газеты, журналы, книги, письменные принадлежности и личные вещи до бритв и ножниц — в камере; трижды в месяц—отправку и получение писем; раз в месяц свидание; уж конечно ничем не загороженные окна (ещё тогда не было и понятия «намордник»); хождение из камеры в камеру беспрепятственное; прогулочные дворики с зеленью и сиренью; вольный выбор спутников по прогулке и переброс мешочка с почтой из одного прогулочного дворика на другой; и отправку беременных[142] за два месяца до родов из тюрьмы в ссылку.

Но это всё — только политрежим. Однако политические 20–х годов хорошо ещё помнили нечто и повыше: самоуправление политических и оттого ощущение себя в тюрьме частью целого, звеном общины. Самоуправление (свободное избрание старост, представляющих перед администраци-

[142] Примечания: 142
С 1918 эсерок не стеснялись брать в тюрьму и беременными.

ей все интересы всех заключённых) ослабляло давление тюрьмы на отдельного человека, принимая его всеми плечами зараз, и умножало каждый протест слитием всех голосов.

И всё это они взялись отстаивать! А тюремные власти всё это взялись отнять! И началась глухая борьба, где не рвались артиллерийские снаряды, лишь изредка гремели винтовочные выстрелы, а звон выбиваемых стёкол ведь не слышен далее полуверсты. Шла глухая борьба за остатки свободы, за остатки права иметь суждение, шла глухая борьба почти двадцать лет — но о ней не изданы фолианты с иллюстрациями. И все переливы её, списки побед и списки поражений — почти недоступны нам сейчас, потому что ведь и письменности нет на Архипелаге, и устность прерывается со смертью людей. И только случайные брызги этой борьбы долетают до нас иногда, освещенные лунным, не первым и не чётким, светом.

Да и мы с тех пор куда надмились! — мы же знаем танковые битвы, атомные взрывы — что это нам за борьба, если камеры заперли на замки, а заключённые, осуществляя своё право на связь, перестукиваются открыто, кричат из окна в окно, спускают ниточки с записками с этажа на этаж и настаивают, чтобы хоть старосты пар-

тийных фракций обходили камеры свободно? Что это нам за борьба, если начальник Лубянской тюрьмы входит в камеру, а анархистка Анна Га–расёва (1926) или эсерка Катя Олицкая (1931) отказываются встать при его входе? (И этот дикарь придумывает наказание: лишить её права… выходить на оправку из камеры.) Что за борьба, если две девушки, Шура и Вера (1925), протестуя против подавляющего личность лубянского приказа разговаривать только шёпотом — запевают громко в камере (всего лишь о сирени и весне) — и тогда начальник тюрьмы латыш Дукис отволакивает их за волосы по коридору в уборную? Или если (1924) в арестантском вагоне из Ленинграда студенты поют революционные песни, а конвой за это лишает их воды? Они кричат ему: «Царский конвой так бы не сделал!» — а конвой их бьёт? Или эсер Козлов на пересылке в Ке–ми громко обзывает охрану палачами — и за то проволочен волоком и бит?

Ведь мы привыкли под доблестью понимать доблесть только военную (ну, или ту, что в космос летает), ту, что позвякивает орденами. Мы забыли доблесть другую —гражданскую, — а её–то! её–то! её–то! только и нужно нашему обществу! только и нет у нас…

В 1923 году в Вятской тюрьме эсер Стружинский с товарищами (сколько их? как звали? против чего протестуя?) забаррикадировались в камере, облили матрасы керосином и самосожглись, вполне в традиции Шлиссельбурга, чтоб не идти глубже. Но сколько было шума тогда, как волновалось всё русское общество! а сейчас ни Вятка не знала, ни Москва, ни история. А между тем человеческое мясо так же потрескивало в огне!

В том состояла и первая соловецкая идея: что вот хорошее место, откуда полгода нет связи с внешним миром. Отсюда— не докричишься, здесь можешь хоть и сжигаться.

В 1923 заключённых социалистов перевезли сюда из Перто–минска (Онежский полуостров) — и разделили на три уединённых скита.

Вот скит Савватьевский—два корпуса бывшей гостиницы для богомольцев, часть озера входит в зону. Первые месяцы как будто всё в порядке: и политрежим, и некоторые родственники добираются на свидание, и трое старост от трёх партий только и ведут все переговоры с тюремным начальством. А зона скита — зона свободы, здесь внутри и говорить, и думать, и делать арестанты могут безвозбранно.

Но уже тогда, на заре Архипелага, ещё не

названные «парашами», ползут тяжёлые настойчивые слухи: политрежим ликвидируют… ликвидируют политрежим…

И действительно, дождавшись середины декабря, прекращения навигации и всякой связи с миром, зам. начальника Соловецкого лагеря Эйхманс[143] объявил: да, получена новая инструкция о режиме. Не всё, конечно, отнимают, о нет! — сократят переписку, там что–то ещё, а всего ощутимее сегодняшнее: с 20 декабря 1923 года запрещается круглосуточный выход из корпусов, а только в дневное время до 6 вечера.

Фракции решают протестовать, из эсеров и анархистов призываются добровольцы: в первый же запретный день выйти гулять именно с шести вечера. Но у начальника лагеря Ногтева так чешутся ладони на ружейное ложе, что ещё прежде назначенных шести вечера (а может быть, часы разошлись? по радио тогда проверки не было) конвоиры с винтовками входят в зону и открывают огонь по законно гуляющим. Три залпа. Шесть убитых, трое тяжело раненных.

На другой день приехал Эйхманс: это печальное недоразумение, Ногтев будет снят (переведен

---

[143] Примечания: 143
Как похоже на нацистского Эйхмана?..

и повышен). Похороны убитых. Хор поёт над соловецкой глушью:

Вы жертвою пали в борьбе роковой…

(Не последний ли раз ещё разрешена эта протяжная мелодия по свежепогибшим?) Взвалили большой валунный камень на их могилу и высекли на нём имена убитых[144].

Нельзя сказать, чтобы пресса скрыла это событие. В «Правде» была заметка петитом: заключённые напали на конвой, и шесть человек убито. Честная газета «Роте Фане» описала бунт на Соловках.

Среди эсеров Савватиевского скита был Юрий Подбельский. Он собрал медицинские документы о соловецком расстреле — для опубликования когда–нибудь. Но через год при обыске на Свердловской пересылке у него обнаружили в чемодане двойное дно и выгребли тайник. Так спотыкается русская История…

Но режим–то отстояли! И целый год никто не заговаривал об его изменении.

Целый 1924 год, да. А к концу его снова поползли упорные слухи, что в декабре опять собираются вводить новый режим. Дракон уже проголодался,

---

[144] Примечания: 144

В 1925 году камень перевернули и надписи схоронили. Кто там лазит туристами по Соловкам — поищите, посмотрите!

он хотел новых жертв.

И вот три скита социалистов — Савватьевский, Троицкий и Муксалмский, разбросанные даже по разным островам, — сумели конспиративно договориться, и в один и тот же день все партийные фракции всех трёх скитов подали заявления с ультиматумом Москве и администрации Соловков: или до конца навигации всех их отсюда вывезти, или оставить прежний режим. Срок ультиматума — две недели, иначе все скиты объявят голодовку.

Такое единство заставляло себя выслушать. Такого ультиматума мимо ушей не пропустишь. За день до срока ультиматума приехал Эйхманс в каждый скит и объявил: Москва отказала. И в назначенный день во всех трёх скитах (уже теряющих теперь и связь) началась голодовка (не сухая, воду пили). В Савватии голодало около двухсот человек. Больных освободили от голодовки сами. Врач из своих арестантов каждый день обходил голодающих. Коллективную голодовку всегда трудней держать, чем единоличную: ведь она равняется по самым слабым, а не по самым сильным. Имеет смысл голодать только с безотказной решимостью и так, чтоб каждый хорошо знал остальных лично и был в них уверен. При

разных партийных фракциях, при нескольких стах человек неизбежны разногласия, моральные терзания из–за других. После пятнадцати суток в Савватии пришлось провести тайное (носили урну по комнатам) голосование: держаться дальше или снимать голодовку?

А Москва и Эйхманс выжидали: ведь они были сыты, и о голодовке не захлёбывались столичные газеты, и не было студенческих митингов у Казанского собора. Глухая закрытость уже уверенно формировала нашу историю.

Скиты сняли голодовку. Они её не выиграли. Но, как оказалось, и не проиграли: режим на зиму остался прежним, только добавилась заготовка дров в лесу, но в этом была и логика. Весной же 1925 показалось наоборот — что голодовка выиграна: арестантов всех трёх голодавших скитов увезли с Соловков! На материк! Уже не будет полярной ночи и полугодового отрыва!

Но был очень суров (по тому времени) принимающий конвой и дорожный паёк. А скоро их коварно обманули: под предлогом, что старостам удобно жить в «штабном» вагоне вместе с общим хозяйством, их обезглавили: вагон со старостами оторвали в Вятке и погнали в Тобольский изолятор. Только тут стало ясно, что голодовка

прошлой осени проиграна: сильный и влиятельный старостат срезали для того, чтобы завинтить режим у остальных. Ягода и Катанян лично руководили водворением бывших соловчан в стоявшее уже давно, но до сих пор не заселенное тюремное здание Верхнеуральского изолятора, который таким образом был «открыт» ими весной 1925 года (при начальнике Дуппоре) — и которому предстояло стать изрядным пугалом на много десятилетий.

На новом месте у бывших соловчан сразу отняли свободное хождение: камеры взяли на замки. Старост всё–таки выбрать удалось, но они не имели права обхода камер. Запрещено было неограниченное перемещение денег, вещей и книг между камерами, как раньше. Они перекрикивались через окна — тогда часовой выстрелил с вышки в камеру. В ответ устроили обструкцию — били стёкла, портили тюремный инвентарь. (Да ведь в наших тюрьмах ещё и задумаешься— бить ли стёкла, ведь возьмут и на зиму не вставят, ничего дивного. Это при царе стекольщик прибегал мигом.) Борьба продолжалась, но уже с отчаянием и в условиях невыгодных.

Году в 1928 (по рассказу Петра Петровича Рубина) какая–то причина вызвала новую дружную

голодовку всего Верхнеуральского изолятора. Но теперь уже не было их прежней строго–торжественной обстановки, и дружеских ободрений, и своего врача. На какой–то день голодовки тюремщики стали врываться в камеры в превосходном числе — и попросту бить ослабевших людей палками и сапогами. Избили — и кончилась голодовка.

* * *

Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литературы прошлого. А голодовка — оружие чисто моральное, она предполагает, что у тюремщика не вся ещё совесть потеряна. Или что тюремщик боится общественного мнения. И только тогда голодовка сильна.

Царские тюремщики были ещё зелёные: если арестант у них голодал, они волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. Примеров множество, но не им посвящена эта работа. Смешно даже сказать, что Валентинову достаточно было поголодать 12 дней—и добился он тем не какой–нибудь режимной льготы, а полного освобождения из–под следствия (и уехал в Швейцарию к Ленину). Даже в Орловском каторжном централе голодовщики неизменно побеждали.

Они добились смягчения режима в 1912; а в 1913 — дальнейшего, в том числе общей прогулки всех политкаторжан — настолько, очевидно, не стеснённой надзором, что им удалось составить и переслать на волю своё обращение «К русскому народу» (это от каторжников централа!), которое и было опубликовано (да ведь глаза на лоб лезут! кто из нас сумасшедший?) в 1914 году в № 1 «Вестника каторги и ссылки»[145] (а сам «Вестник» чего стоит? не попробовать ли издавать и нам?). — В 1914 году всего лишь пятью сутками голодовки, правда без воды, Дзержинский и четыре его товарища добились всех своих многочисленных (бытовых) требований[146].

В те годы, кроме мучений голода, никаких других опасностей или трудностей голодовка не представляла для арестанта. Его не могли за голодовку избить, второй раз судить, увеличить срок, или расстрелять, или этапировать. (Всё это узналось позже.)

В революцию 1905 года и в годы после неё аре-

[145] Примечания: 145

М.Н. Гернет. История царской тюрьмы: В 5 т. Т. 5. Шлиссель–бургская каторжная тюрьма и Орловский каторжный централ. 1907–1917. 3–е изд. М.: Юридич. лит., 1963, глава 8.

[146] Примечания: 146

Там же.

станты почувствовали себя настолько хозяевами тюрьмы, что и голодовку–то уже не трудились объявлять, а либо уничтожали казённое имущество (обструкция), либо додумались объявлять забастовку, хотя для узников это, казалось бы, не имеет даже и смысла. Так, в городе Николаеве в 1906 году

197 арестантов местной тюрьмы объявили «забастовку», согласованную, конечно, с волей. На воле по поводу их забастовки выпустили листовки и стали собирать ежедневные митинги у тюрьмы. Эти митинги (а арестанты — само собою, из окон без намордников) понуждали администрацию принять требования «бастующих» арестантов. После этого одни с улицы, другие через решётки окон дружно пели революционные песни. Так продолжалось (беспрепятственно! ведь это был год послереволюционной реакции) восемь суток! На девятые же все требования арестантов были удовлетворены! Подобные события произошли тогда и в Одессе, и в Херсоне, и в Елисаветграде. Вот как легко давалась тогда победа.

Интересно бы сравнить попутно, как проходили голодовки при Временном правительстве, но у тех нескольких большевиков, которые от июля до Корнилова сидели (Каменев, Троцкий,

чуть дольше Раскольников), не нашлось повода голодать, то был вообще не режим.

В 20–х годах бодрая картина голодовок омрачается (то есть с чьей точки зрения как…). Этот широко известный и, кажется, так славно себя оправдавший способ борьбы перенимают, конечно, не только признанные «политическими», но и не признанные ими — «каэры» (Пятьдесят Восьмая) и всякая случайная публика. Однако что–то затупились эти стрелы, такие пробойные прежде, или их уже на вылете перехватывает железная рука. Правда, ещё принимаются письменные заявления о голодовке, и ничего подрывного в них пока не видят. Но вырабатываются неприятные новые правила: голодовщик должен быть изолирован в специальной одиночке (в Бутырках — в Пугачёвской башне); не только не должна знать о голодовке митингующая воля, не только соседние камеры, но даже и та камера, в которой голодовщик сидел до сего дня — это ведь тоже общественность, надо и от неё оторвать. Обосновывается мера тем, что администрация должна быть уверена, что голодовка проводится честно — что остальная камера не подкармливает голодовщика. (А как проверялось раньше? По «честному–благородному» слову?..)

Но всё ж в эти годы можно добиться голодовкой хоть личных требований.

С 30–х годов происходит новый поворот государственной мысли по отношению к голодовкам. Даже вот такие ослабленные, изолированные, полуудушенные голодовки — зачем, собственно, государству нужны? Не идеальнее ли представить, что арестанты вообще не имеют своей воли, ни своих решений, — за них думает и решает администрация! Пожалуй, только такие арестанты могут существовать в новом обществе. И вот с 30–х годов перестали принимать узаконенные заявления о голодовках. «Голодовка как способ борьбы больше не существуете — объявили Екатерине Олицкой в 1932 году и объявляли многим. Власть упразднила ваши голодовки! — и баста. Но Олицкая не послушалась и стала голодать. Ей дали поголодать в своей одиночке пятнадцать суток. Затем взяли в больницу, для соблазна ставили перед ней молоко с сухарями. Однако она удержалась и на девятнадцатый день победила: получила удлинённую прогулку, газеты и передачи от политического Красного Креста (вот как надо было покряхтеть, чтобы получить эти законные передачи!). А в общем победа — ничтожная, слишком дорого оплачена. Олицкая вспоминает

такие вздорные голодовки и у других: чтобы добиться выдачи посылки или смены товарищей по прогулке, голодали по 20 дней. Стоило ли того? Ведь в Тюрьме Нового Типа утраченных сил не восстановишь. Сектант Колосков так вот голодал — и на 25–е сутки умер. Можно ли вообще позволить себе голодать в Тюрьме Нового Типа? Ведь у новых тюремщиков в условиях закрытости и тайны появились вот какие могучие средства против голодовки:

1. Терпение администрации. (Его достаточно мы видели из предыдущих примеров.)

2. Обман. Это—тоже благодаря закрытости. Когда каждый шаг разносят газетные корреспонденты, не очень–то обманешь. А у нас — отчего ж и не обмануть? В 1933 году в Хабаровской тюрьме 17 суток голодал С.А. Чеботарёв, требуя сообщить семье, где он находится (приехали с КВЖД, и вдруг он «пропал», он беспокоился, что думает жена). На 17–е сутки к нему пришли заместитель начальника краевого ОГПУ Западный и хабаровский крайпрокурор (по чинам видно, что длительные голодовки были не так уж часты) и показали ему телеграфную квитанцию (вот, сообщили жене!) — тем уговорили принять бульон. А квитанция была ложная! (Почему всё–таки

высокие чины обеспокоились? Не за жизнь же Чеботарёва. Очевидно, в первой половине 30–х годов ещё была какая–то личная ответственность администратора за затянувшуюся голодовку.)

3. Насильственное искусственное питание. Этот приём взят, безусловно, из зверинца. И может существовать он — только при закрытости. К 1937 году искусственное питание было уже, очевидно, в большом ходу. Например, в групповой голодовке социалистов в Ярославском централе ко всем было применено на 15–й день искусственное питание.

В этом действии очень много от изнасилования — да это именно оно и есть: четверо больших мужиков набрасываются на слабое существо и должны лишить одного запрета — всего только один раз лишить, а дальше что с ним будет— неважно. От изнасилования здесь—и перелом воли: не по–твоему будет, а по–моему, лежи и подчиняйся. Рот разжимают пластинкой, щель между зубами расширяют, вводят кишку: «Глотайте!» А если не глотаешь—продвигают кишку дальше, и жидкий питательный раствор попадает прямо в пищевод. Ещё затем массируют живот, чтобы заключённый не прибег ко рвоте. Ощущение: моральной осквернённое™, сладости

во рту и ликующего всасывающего желудка, до наслаждения приятно.

Наука не застаивалась, и разработаны были также и другие способы кормления: клизмой через задний проход, каплями через нос.

4. Новый взгляд на голодовки: голодовки есть продолжение контрреволюционной деятельности в тюрьме и должны быть наказуемы новым сроком. Этот аспект обещал породить богатейшую новую ветвь в практике Тюрьмы Нового Типа, но остался больше в области угроз. И не чувство юмора, конечно, его остановило, а пожалуй, просто лень: зачем всё это, когда есть терпение? Терпение и ещё раз терпение сытого перед голодным.

Примерно со средины 1937 года пришла директива: администрация тюрьмы впредь совсем не отвечает за умерших от голодовки. Исчезла последняя личная ответственность тюремщиков! (Теперь бы уже к Чеботарёву крайпроку–рор не пришёл.) Больше того: чтоб и следователь не волновался, предложено: дни голодовки подследственного вычёркивать из следственного срока, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже — будто заключённый эти дни находился на воле! Пусть единственным ощутимым послед-

ствием голодовки будет истощение арестанта!

Это значило: хотите подыхать? Подыхайте!!

Арнольд Раппопорт имел несчастье объявить голодовку в Архангельской внутренней тюрьме как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжёлую и, казалось бы, тем более значительную — «сухую», тринадцать суток (сравните пять суток такой же голодовки Дзержинского, да в отдельной ли камере? — и полную победу). И за эти тринадцать суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал, а не пришёл ни врач, и никто из администрации хоть поинтересоваться: чего ж он требует своей голодовкой? Так и не спросили… Единственное внимание, которое ему оказал надзор — тщательно обыскали одиночку, вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек. — А хотел Раппопорт добиться прекращения следовательских издевательств. К голодовке своей он готовился научно: перед тем получив передачу, ел только сливочное масло и баранки, чёрный же хлеб перестал есть за неделю. Дого–лодался он до того, что сквозь его ладони просвечивало. Помнит: было очень лёгкое ощущение и ясность мысли. Добрая, улыбчивая надзирательница Маруся как–то вошла в

его одиночку и шепнула: «Снимите голодовку, не поможет, так и умрёте! Надо было на неделю раньше…» Он послушался, снял голодовку, так ничего и не добившись. Всё–таки дали ему горячего красного вина с булочкой, после этого надзиратели на руках отнесли его в общую камеру. Через несколько дней начались опять допросы. (Однако не совсем уж зря прошла голодовка: понял следователь, что у Раппопорта достаточная воля и готовность к смерти, и следствие помягчело. «А ты, оказывается, волк!» — сказал ему следователь. «Волк, — подтвердил Раппопорт, — и собакой для вас никогда не буду».)

Ещё потом одну голодовку объявил Раппопорт на Котласской пересылке, но она прошла скорее в комических тонах. Он объявил, что требует нового следствия, а на этап не идёт. На третий день к нему пришли: «Собирайся на этап!» — «Не имеете права! Я — голодающий». Тогда четыре молодца подняли его, отнесли и зашвырнули в баню. После бани так же на руках отнесли его на вахту. Нечего делать, встал Раппопорт и пошёл за этапной колонной — ведь сзади уже собаки и штыки.

Вот так Тюрьма Нового Типа победила буржуазные голодовки.

Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине, только разве самоубийство. Но самоубийство — борьба ли это? Не подчинение?

Эсерка Е. Олицкая считает, что голодовку как способ борьбы сильно уронили троцкисты и следовавшие за ними в тюрьмы коммунисты: они слишком легко её объявляли и слишком легко снимали. Даже, говорит она, И.Н. Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Говорят, до 1936 троцкисты даже принципиально отвергали всякую голодовку против советской власти и никогда не поддерживали голодающих эсеров и эсдеков.

Напротив, от эсеров и эсдеков всегда требовали себе поддержки. В карагандо–колымском этапе 1936 они называли «предателями и провокаторами» тех, кто отказывался подписать их телеграмму протеста Калинину — «против посылки авангарда революции (= их) на Колыму». (Рассказ Макотинского.)

Пусть оценит история, насколько упрёк этот верен или неверен. Однако и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты (к их голодовкам и забастовкам в лагерях мы ещё придём

в Части Третьей).

Лёгкость в объявлении и снятии голодовок вероятно вообще свойственна порывистым натурам, быстрым на проявление чувств. Но ведь такие натуры были и среди старых русских революционеров, были где–нибудь и в Италии, и во Франции, — но нигде ж, ни в России, ни в Италии, ни во Франции, не смогли так отповадить от голодовок, как в Советском Союзе, нас. Вероятно, телесных жертв и стойкости духа приложено было к голодовкам во второй четверти нашего века никак не меньше, чем в первой. Однако не было в стране общественного мнения! — и оттого укрепилась Тюрьма Нового Типа, и вместо легко достающихся побед постигали арестантов тяжело зарабатываемые поражения.

Проходили десятилетия—и время делало своё. Голодовка— первое и самое естественное право арестанта, уже и самим арестантам стала чужда и непонятна, охотников на неё находилось всё меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злостным нарушением.

Когда в 1960 Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку, всё–таки как–то зашёл в камеру прокурор (а может — общий обход делал) и спросил:

«Зачем вы себя мучаете?» Смелов ответил:

— Правда мне дороже жизни!

Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий же день Смелов был отвезен в ленинградскую спецбольницу (сумасшедший дом) для заключённых. Врач объявила ему:

— Вы подозреваетесь в шизофрении.

* * *

По виткам рога и уже в узкой части его возвысились бывшие централы, а теперь специзоляторы, к началу 37–го года. Выдавливалась уже последняя слабина, уже последние остатки воздуха и света. И голодовка проредевших и усталых социалистов в штрафном Ярославском изоляторе в начале 37–го года была из последних отчаянных попыток.

Они ещё требовали всего, как прежде, — и старостата, и свободного общения камер, они требовали, но вряд ли уже надеялись и сами. Пятнадцатидневным голоданием, хоть и законченным кормёжкой через кишку, они как будто отстояли какие–то части своего режима: часовую прогулку, областную газету, тетради для записи. Это они отстояли, но тут же отбирали у

них собственные вещи и швыряли им единую арестантскую форму специзолятора. И немного прошло ещё — отрезали полчаса прогулки. А потом отрезали ещё пятнадцать минут.

Это были всё одни и те же люди, протягиваемые сквозь череду тюрем и ссылок по правилам Большого Пасьянса. Кто из них десять, кто уже и пятнадцать лет не знал обычной человеческой жизни, а лишь худую тюремную еду да голодовки. Не все ещё умерли те, кто до революции привык побеждать тюремщиков. Однако тогда они шли в союзе со Временем и против слабнущего врага. А теперь против них в союзе были и Время, и крепнущий враг. Были среди них и молодые— те, кто осознали себя эсерами, эсдеками и анархистами уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше — и новопоступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах.

Вкруг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадёжней, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе: только бы двери тюремные распахнуть—и общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как обливают их бранью, даже помоями (ведь именно социалисты казались Ста-

лину самыми опасными для его социализма), — а народ молчал, и по чему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует узникам? А вот и газеты перестали браниться — настолько уже неопасными, незначащими, даже несуществующими считались русские социалисты. Уже на воле упоминали их только в прошлом и давнопрошедшем времени, молодёжь и думать не могла, что ещё живые где–то есть эсеры и живые меньшевики. И в череде чимкентской и чердынской ссылки, изоляторов Верхнеуральского и Владимирского — как было не дрогнуть в тёмной одиночке, уже с намордником, что, может быть, ошиблись и программа их, и вожди, ошибками были и тактика, и практика? И все действия свои начинали казаться сплошным бездействием. И жизнь, отданная на одни только страдания, — заблуждением роковым.

Сень одиночества распростёрлась над ними отчасти и оттого, что в самые первые послереволюционные годы, естественно приняв от ГПУ заслуженное звание политических, они так же естественно согласились с ГПУ, что все «направо» от них[147], начиная с кадетов, — не

[147] Примечания: 147

Не люблю я эти «лево» и «право»: они условны, перепрокидываются и не содержат сути.

политические, а контрреволюционеры, каэры, контры, навоз истории. И страдающие за Христову веру тоже получились каэры. И кто не знает ни «права», ни «лева» (а это в будущем — мы, мы все!) — тоже получатся каэры. Так отчасти вольно, отчасти невольно, обособляясь и чураясь, освятили они будущую Пятьдесят Восьмую, в ров которой и им предстояло ещё ввалиться.

Предметы и действия решительно меняют свой вид в зависимости от стороны наблюдения. В этой главе мы описываем тюремное стояние социалистов с их точки зрения — и вот оно освещено трагическим чистым лучом. Но те каэры, которых политы на Соловках обходили с пренебрежением, — те каэры вспоминают: «Политы? Какие–то они противные были: всех презирают, сторонятся своей кучкой, всё свои пайки и льготы требуют. И между собой ругаются непрестанно». — И как не почувствовать, что здесь — тоже правда? И эти бесплодные бесконечные диспуты, уже смешные. И это требование себе пайковых добавок перед толпою голодных и нищих? В советские годы почётное звание «политов» оказалось отравленным даром. И вдруг возникает ещё такой упрёк: а почему социалисты, так беззаботно бегавшие при царе, — так смякли в советской тюрьме? Где

их побеги? Вообще побегов было немало — но кто в них помнит социалиста?

А те арестанты, кто был ещё «левее» социалистов — троцкисты и коммунисты, — те в свой черёд чурались социалистов как таких же каэров — и смыкали ров одиночества в кольцевой.

Троцкисты и коммунисты, каждые ставя своё направление чище и выше остальных, презирали и даже ненавидели социалистов (и друг друга), сидящих за решётками того же здания, гуляющих в тех же тюремных дворах. Е. Олицкая вспоминает, что на пересылке в бухте Ванино в 37–м году, когда социалисты мужской и женской зон перекрикивались через забор, ища своих и сообщая новости, коммунистки Лиза Котик и Мария Крутикова были возмущены, что таким безответственным поведением социалисты могут и на всех навлечь наказания администрации. Они говорили так: «Все наши бедствия — от этих социалистических гадов. — (Глубокое объяснение и какое диалектическое!) — Передушить бы их!» — А те две девушки на Лубянке в 1925 лишь потому пели о сирени, что одна из них была эсерка, а вторая—оппозици–онерка, и не могло быть у них общей политической песни, и даже вообще

оппозиционерка не должна была соединяться с эсеркой в одном протесте.

И если в царской тюрьме партии часто объединялись для совместной тюремной борьбы (вспомним побег из Севастопольского централа), то в тюрьме советской каждое течение видело чистоту своего знамени в том, чтобы не объединяться с другими. Троцкисты боролись отдельно от социалистов и коммунистов, коммунисты вообще не боролись, ибо как же можно разрешить себе бороться против собственной власти и тюрьмы?

И оттого случилось так, что коммунисты в изоляторах, в срочных тюрьмах были притеснены ранее и жёстче других. Коммунистка Надежда Суровцева в 1928 в Ярославском централе на прогулку ходила в «гусиной» шеренге без права разговаривать, когда социалисты ещё шумели в своих компаниях. Уже не разрешалось ей ухаживать за цветами во дворике — цветы остались от прежних арестантов, боровшихся. И газет уже тогда лишили её. (Зато Секретно–Политический Отдел ГПУ разрешил ей иметь в камере полных Маркса–Энгельса, Ленина и Гегеля.) Свидание с матерью ей дали почти в темноте, и угнетённая мать умерла вскоре (что могла она подумать о

режиме, в котором содержат дочь?).

Многолетняя разница тюремного поведения прошла глубоко дальше и в разницу наград: в 37–38–м годах ведь социалисты тоже сидели и получали свои десятки. Но их, как правило, не понуждали к самооговору: ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточных для осуждения. А у коммуниста никогда нет особенных взглядов—и за что ж его судить, если не выдавить самооговора?

* * *

Хотя уже разбросался огромный Архипелаг — но никак не хирели и отсидочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ретивого продолжения. Всё то новое и бесценное, что давал Архипелаг для воспитания масс, ещё не была полнота. Полноту давало присоединение ТОНов и вообще срочных тюрем.

Не всякий, поглощаемый великою Машиной, должен был смешиваться с туземцами Архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные чекисты — никак не могли быть открыто показываемы в лагерях: их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и мо-

рально–политического [148] ущерба. Так же и социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой — но именно под видом их льгот и прав содержимы и удушены отдельно. Гораздо позже, в 50–е годы, как мы ещё узнаем, Тюрьмы Особого Назначения понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в «исправлении» воров, велит Сталин и разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И наконец, приходилось брать на дармовое государственное содержание ещё таких арестантов, кто, по слабости сразу в лагере умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока. Или ещё таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе — как слепой Копейкин, 70–летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце (Волжском). Песнопения его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением.

Соответственно задачам оберегался, обновлялся, укреплялся и усовершался старый острожный фонд, наследованный от династии Романовых, с добавлением ещё и монастырей. Некоторые

---

[148] Примечания: 148
Есть такое словечко!.. Небесно–болотный цвет.

централы, как Ярославский, настолько прочно и удобно были оборудованы (двери, обитые железом, в каждой камере постоянно привинчены стол, табуретка и койка), что потребовали только укрепления намордников на окнах да разгораживания прогулочных дворов до размеров камеры (к 1937 году спилены были в тюрьмах все деревья, перекопаны огороды и травяные площадки, залит асфальт). Другие, как Суздальский, требовали переоборудования из монастырского помещения, но ведь само заключение тела в монастыре и заключение его государственным законом в тюрьме преследуют физически–сходные задачи, и оттого здания всегда легко приспосабливаются. Так же был приспособлен под срочную тюрьму один из корпусов Сухановского монастыря — ну да ведь надо же было пополнить и утери фонда: выделение Петропавловской крепости и Шлиссельбурга под экскурсантов. Владимирский централ был расширен и достроен (большой новый корпус при Ежове), он много использовался и много вобрал за эти десятилетия. Уже упомянуто, что действовал Тобольский централ, а с 1925 открылся для постоянного и обильного использования Верхнеуральский. (Изоляторы живы, на нашу беду, и работают в минуту, когда пишутся

эти строки.) Из поэмы Твардовского «За далью —даль» можно заключить, что не пустовал при Сталине и Александровский централ. Меньше сведений у нас об Орловском: есть опасения, что он сильно пострадал в Отечественную войну. Но по соседству он всегда дополняется хорошо оборудованной отсидочной тюрьмой в Дмитровске (Орловском).

В 20–е годы в политизоляторах (ещё политзакрытками называют их арестанты) кормили очень прилично: обеды были всегда мясные, готовили из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931–1933 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время и цынга, и голодные головокружения не были в полит–закрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В 1947 во Владимирском ТОНе И. Корнеев постоянно ощущал голод: 450 граммов хлеба, два куска сахару, два горячих, но не сытных приварка — и только кипятка «от пуза» (опять же скажут, что не характерный год, что и на воле был тогда голод; зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму: посылки не ограничивались). — Свет в камерах был пайковый всегда — и в 30–е годы и в 40–е: намордники и армированное мутное стекло

создавали в камерах постоянные сумерки (темнота — важный фактор угнетения души). А поверх намордника ещё натягивалась часто сетка, зимой её заносило снегом, и закрывался последний доступ свету. Чтение становилось только порчей и ломотой глаз. Во Владимирском ТО Не этот недостаток света восполняли ночью: всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме (НА. Козырев) в 1938 году свет вечерний и ночной был — коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух; в 39–м году появился в лампочках половинный красный накал. — Воздух тоже нормировался, форточки— на замке, и отпирались только на время оправки, вспоминают и из Дмитровской тюрьмы и из Ярославской. (Е.Гинзбург: хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью, влажное постельное бельё, зеленели стены.) А во Владимире в 1948 стеснения в воздухе не было, постоянно открытая фрамуга. — Прогулка в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 минут до 45. Никакого уже шлиссель–бургского или соловецкого общения с землёй, всё растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу — «Смотреть только под ноги!» — вспоми-

нают и Козырев и Адамова (Казанская тюрьма). —Свидания с родственниками запрещены были в 1937 и не возобновлялись. — Письма по два раза в месяц отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы (но, Казань: прочтя, через сутки вернуть надзору), также и ларёк на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и м е–бель. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощупать в камере (Суздаль) простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. —Во Владимирском ТО Не И. Корнеев испытал два разных режима: и такой (1947–48), когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днём лежать и вертухай мало заглядывал в глазок. Итакой (1949–53), когда камера была под двумя замками (у вертухая и у дежурного), запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать (в Казанке —только шёпотом!), личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала; переписка — 2 раза в год и только в дни, внезапно назначаемые начальником тюрьмы (упустив день, уже писать не можешь), и только на листике вдвое меньше почтового; участились свирепые обыски налё-

тами с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере карцер. Карцеры были бич в Тюрьмах Особого Назначения. В карцер можно было попасть за кашель («закройте одеялом голову, тогда кашляйте!»); за ходьбу по камере (Козырев: это считалось «буйный»); за шум, производимый обувью (Казанка, женщинам были выданы мужские ботинки № 44). Впрочем, Гинзбург верно выводит, что карцер давали не за проступки, а по графику: все поочерёдно должны были там пересидеть и знать, что это. И в правилах был ещё такой пункт широкого профиля: «В случае проявления в карцере недисциплинированности начальник тюрьмы имеет право продлить срок пребывания в нём до двадцати суток». А что такое «недисциплинированность»?.. Вот как было с Козыревым (описание карцера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо). За хождение по камере ему объявлено пять суток карцера. Осень, помещение карцера— неотапливаемое, очень холодно. Раздевают до белья, разувают. Пол — земля, пыль

(бывает — мокрая грязь, в Казанке— вода). У Козырева была табуретка (у Гинзбург не было). Решил сразу, что погибнет, замёрзнет. Но постепенно стало выступать какое–то внутреннее таинственное тепло, и оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. Три раза в день давали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В трёхсотграммовую пайку хлеба как–то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого–то лабиринтного окошечка, Козырев вёл счёт времени. Вот кончились его пять суток — но его не выпускали. Обострённым ухом он услышал шёпот в коридоре — насчёт не то шестых суток, не то шести суток. В том и была провокация: ждали, чтоб он заявил, что пять суток кончились, пора освобождать, — и за недисциплинированность продлить ему карцер. Но он покорно и молча просидел ещё сутки — и тогда его освободили, как ни в чём не бывало. (Может быть, начальник тюрьмы так и испытывал всех по очереди на покорность? Карцер для тех, кто ещё не смирился.) — После карцера камера показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева от частых карцеров сошёл с ума, и больше года Козырев сидел вдвоём

с сумасшедшим. (Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева—одна она не меньше, чем насчитал Но во русский по двадцатидвухлетней летописи Шлиссельбурга.)

Не покажется ли теперь читателю, что мы постепен–ненько взобрались на вершину второго рога — и, пожалуй, он повыше первого? и, пожалуй, поострей?

Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимирский ТОН 50–х годов курортом. Так нашёл Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абезь, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда (1956) из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые десять дней (она стала писать… в ООН) и отличной библиотекой, включая иностранные языки: в камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку.

А ещё же не забудьте и гибкость нашего Закона: приговорили тысячи женщин («жён») к тюрзаку. Вдруг свистнули— всем сменить на лагеря (на Колыме золота недомыв)! И сменили. Без всякого суда.

Так есть ли ещё тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая?

И вот тут только — только здесь! — должна была начаться эта наша глава. Она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб святого, начинает испускать душа одиночного арестанта. Вырванный из жизненной суеты до того абсолютно, что даже счёт преходящих минут даёт интимное общение со Вселенной, — одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли (да впрочем асфальт!..). Как голова его сама запрокидывается к Вечному Небу (да впрочем запрещено!..). Сколько умильного внимания вызывает в нём прыгающая на подоконнике птичка (да впрочем намордник, сетка и форточка на замке…). И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданной ему бумаге (да впрочем только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию…).

Но что–то сбивают нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы, и уже не знаем мы: в Тюрьме Нового Типа, в Тюрьме Особого (а какого?) Назначения — очищается ли

душа человека? или гибнет окончательно?

Если каждое утро первое, что ты видишь, — глаза твоего обезумевшего однокамерника, — чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном: о мировом порядке — и Высшем духе его; о звёздах; об их внутреннем состоянии; и о том; что же такое есть Время и ход Времени.

И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он упёрся в забытые цифры. Дальше он строить не мог — ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И учёный взмолился: Господи! Я сделал всё, что мог. Но помоги мне! Помоги мне дальше.

В это время полагалась ему на 10 дней всего одна книга (он был уже в камере один). В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного, и они повторно приходили и приходили в камеру. Минуло полчаса после его молитвы—пришли сменить ему книгу и, как всегда не спрашивая,

швырнули — «Курс астрофизики»! Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке! Предчувствуя недолгость этой встречи, Николай Александрович накинулся и стал запоминать, запоминать всё, что надо было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло всего два дня, ещё восемь дней было на книгу— и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу. — «Да ведь вы по специальности астроном?» — «Да». — «Отобрать эту книгу!» — Но мистический приход её освободил пути для работы, продолженной в норильском лагере.

Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решётки.

Но что это?.. Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Мрачный корпусной с длинным списком: «Фамилия? Имя–отчество? Год рождения? Статья? Срок? Конец срока?.. Соберитесь с вещами. Быстро!»

Ну, братцы, этап! Этап!.. Куда–то едем! Господи, благослови! Соберём ли косточки?..

А вот что: живы будем — доскажем в другой раз. В Четвёртой Части. Если будем живы…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Колёса тоже не стоят,
Колёса… Вертятся, пляшут жернова.
Вертятся…
В. Мюллер

Глава 1. КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА

От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны тысячи островов заколдованного Архипелага. Они невидимы, но они — есть, и с острова на остров надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объём и вес.

Черезо что же возить их? На чём?

Есть для этого крупные порты — пересыльные тюрьмы, и порты помельче —лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли — вагон–заки. А на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые воронки. Вагон–заки ходят по расписанию. А при нужде отправляют из порта в порт по диагоналям Архипелага ещё целые караваны — эшелоны красных товарных телячьих вагонов.

Это всё налаженная система! Её создавали десятки лет— и не в спешке. Сытые, обмундированные, неторопливые люди создавали её. Кинешемскому конвою по нечётным числам в 17.00 принимать на Северном вокзале Москвы этапы из бу–тырского, пресненского и таганского

воронков. Ивановскому конвою по чётным числам к шести утра прибывать на вокзал, снимать и держать у себя пересадочных на Нерехту, Бежецк, Бологое.

Это всё — рядом с вами, впритирочку с вами, но — невидимо вам (а можно и глаза смежить). На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазых происходит далеко от пассажирского перрона, её видят только стрелочники да путевые обходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между двумя пакгаузами, куда воронок подают задом, ступеньки к ступенькам вагон–зака. Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда, он успевает только видеть ступеньки (иногда нижняя ему по пояс, и сил карабкаться нет), а конвоиры, обставшие узкий переходик от воронка к вагону, рычат, гудят: «Быстро! Быстро!.. Давай! Давай!..» — а то и помахивают штыками.

И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами, недосуг приглядываться: зачем это подцепили к поезду второй багажный вагон? Ничего на нём не написано, и очень похож он на багажный—тоже косые прутья решёток и темнота за ними. Только зачем–то едут в нём солдаты, защитники отечества, и на остановках

двое из них, посвистывая, ходят по обе стороны, косятся под вагон.

Поезд тронется — и сотня стиснутых арестантских судеб, измученных сердец, понесётся по тем же змеистым рельсам, за тем же дымом, мимо тех же полей, столбов и стогов, и даже на несколько секунд раньше вас — но за вашими стёклами в воздухе ещё меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев по воде. И в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте — с разрезаемой пачкой белья для постели, с разносимым в подстаканниках чаем — вы разве можете вжиться, какой тёмный сдавленный ужас пронёсся за три секунды до вас через этот же объём эвклидова пространства? Вы, недовольные, что в купе четверо и тесно, — вы разве смогли бы поверить, вы разве над этой строкою поверите, что в таком же купе перед вами только что пронеслось — четырнадцать человек? А если — двадцать пять? А если — тридцать?..

«Вагон–зак» — какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это — вагон для заключённых. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон «столыпинским» или просто «Столыпи-

ным».

По мере того как рельсовое передвижение внедрялось в наше отечество, меняли свою форму и арестантские этапы. Ещё до 90–х годов XIX века сибирские этапы шли пешком и на лошадях. Уже Ленин в 1896 году ехал в сибирскую ссылку в обыкновенном вагоне третьего класса (с вольными) и кричал на поездную бригаду, что невыносимо тесно. Всем известная картина Ярошенко «Всюду жизнь» показывает нам ещё очень наивное переоборудование пассажирского вагона четвёртого класса под арестантский груз: всё оставлено как есть, и арестанты едут как просто люди, только поставлены на окнах двусторонние решётки. Вагоны эти ещё долго бегали по русским дорогам, некоторые помнят, как их и в 1927 этапировали в таких именно, только разделив мужчин и женщин. С другой стороны, эсер Трушин уверял, что он и при царе уже этапировался в «Столыпине», только ездило их, опять–таки по крыловским временам, шесть человек в купе.

История вагона такова. Он действительно пошёл по рельсам впервые при Столыпине: он был сконструирован в 1908 году, но — для переселенцев в восточные области страны, когда

развилось сильное переселенческое движение и не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного, он имел подсобные помещения для утвари или птицы (нынешние «половинные» купе, карцеры) — но он, разумеется, не имел никаких решёток, ни внутри, ни на окнах. Решётки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что болыпевиц–кая. А называться досталось вагону — столыпинским... Министр, вызывавший на дуэль депутата за «столыпинский галстук», — этого посмертного оболгания уже не мог остановить.

И ведь не обвинишь гулаговское начальство, чтоб они пользовались термином «Столыпин» — нет, всегда «вагон–зак». Это мы, зэки, из чувства противоречия казённому названию, чтобы только называть по–своему и погрубей, обманно повлеклись за кличкой, подсунутой нам арестантами предыдущих поколений, как легко рассчитать — 20–х годов. Кто ж могли быть авторы клички? не «контрики», у них не могло возникнуть такой ассоциации: царский премьер–министр — и чекисты. Это, безусловно, могли быть только «революционеры», вдруг, для себя неожиданно завлечённые в чекистскую мя-

сорубку: или эсеры, или анархисты (если кличка возникла в ранних 20–х), или троцкисты (если в поздних 20–х). Когда–то змеиным укусом убив великого деятеля России, ещё и посмертным гадким укусом осквернили его память.

Но так как вагон этот был излюблен лишь в 20–е годы, а нашёл всеобщее и исключительное применение — с начала 30–х, когда всё в нашей жизни становилось единообразным (и, вероятно, тогда достроили много таких), то справедливо было бы называть его не «Столыпиным», а «Сталиным».

Вагон–зак — это обыкновенный купейный вагон, только из девяти купе пять, отведенные арестантам (и здесь, как всюду на Архипелаге, половина идёт на обслугу!), отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решёткой, обнажающей купе для просмотра. Решётка эта — косые перекрещенные прутья, как бывает в станционных садиках. Она идёт на всю высоту вагона, доверху, и оттого нет багажных чердачков из купе над коридором. Окна коридорной стороны — обычные, но в таких же косых решётках извне. А в арестантском купе окна нет—лишь маленький, тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок (вот, без окон, и кажется нам вагон

как бы багажным). Дверь в купе — раздвижная: железная рама, тоже обрешеченная.

Всё вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной решёткой, на полу и на полках, скрючились какие–то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных.

По расчётам вольных инженеров, в сталинском купе могут шестеро сидеть внизу, трое — лежать на средней полке (она соединена как сплошные нары, и оставлен только вырез у двери для лаза вверх и вниз) и двое —лежать на багажных полках вверху. Если теперь сверх этих одиннадцати затолкать в купе ещё одиннадцать (последних под закрываемую дверь надзиратели запихивают уже ногами) —то вот и будет вполне нормальная загрузка сталинского купе. По двое скорчатся, полусидя, на верхних багажных, пятеро лягут на соединённой средней (и это — самые счастливые, места эти берутся с бою, а если в купе есть блатари, то именно они лежат там), на низ же останется тринадцать человек: по пять сядут на полках, трое — в проходе меж их ног. Где–то там вперемешку с людьми, на людях и под людьми — их вещи. Так со сдавленными поджатыми ногами

и сидят сутки за сутками.

Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей! Осуждённый—это трудовой солдат социализма, зачем же его мучить, его надо использовать на строительстве. Но, согласитесь, и не к тёще же в гости он едет, не устраивать же его так, чтоб ему с воли завидовали. У нас с транспортом трудности: доедет, не подохнет.

С пятидесятых годов, когда расписания наладились, ехать так доставалось арестантам недолго — ну полтора, ну двое суток. В войну и после войны было хуже: от Петропавловска (казахстанского) до Караганды вагон–зак мог идти семь суток (и было двадцать пять человек в купе!), от Караганды до Свердловска — восемь суток (и в купе было по двадцать шесть). Даже от Куйбышева до Челябинска в августе 1945 Сузи ехал в сталинском вагоне несколько суток — и было их в купе тридцать пять человек, лежали просто другна друге, барахтались и боролись [149]. А осенью 1946 Н.В.Тимофеев–Ресовский ехал из Петропавловска в Москву в купе, где было тридцать шесть человек! Несколько суток он висел в купе между людьми, ногами не касаясь пола.

---

[149] Примечания: 149

Это к удовлетворению тех, кто удивляется и упрекает: почему не боролись?

Потом стали умирать — их вынимали из–под ног (правда, не сразу, на вторые сутки), — и так посвободнело. Всё путешествие до Москвы продолжалось у него три недели. (В Москве же, по законам страны чудес, Тимофеева–Ресовского вынесли на руках офицеры и повезли в легковом автомобиле: он ехал двигать науку!)

Предел ли — тридцать шесть? У нас нет свидетельств о тридцати семи, но, придерживаясь единственно–научного метода и воспитанные на борьбе с «пределыциками», мы должны ответить: нет и нет! Не предел! Может быть, где–нибудь и предел, да не у нас! Пока ещё в купе остаются хотя бы под полками, хотя бы между плечами, ногами и головами кубические дециметры невытесненного воздуха — купе готово к приёму дополнительных арестантов! Условно можно принять за предел число неразъятых трупов, умещаемых в полном объёме купе при спокойной укладке.

В.А. Корнеева ехала из Москвы в купе, где было тридцать женщин—и большинство из них дряхлые старушки, ссылаемые на поселение за веру (по приезде все эти женщины, кроме двух, сразу легли в больницу). У них не было смертей, потому что несколькие среди них были молодые,

развитые и хорошенькие девушки, сидевшие «за иностранцев». Эти девушки принялись стыдить конвой: «Как не стыдно вам так их везти? Ведь это же ваши матери!» Не столько, наверно, их нравственные аргументы, сколько привлекательная наружность девушек нашла в конвое отзыв — и несколько старушек пересадили… в карцер. А «карцер» в вагон–заке это не наказание, это блаженство. Из пяти арестантских купе только четыре используются как общие камеры, а пятое разделено на две половины — два узких полукупе с одной нижней и одной верхней полкой, как бывает у проводников. Карцеры эти служат для изоляции; ехать там втроём–вчетвером — удобство и простор.

Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой, все эти вагонные сутки в изнеможе и давке их кормят вместо приварка только селёдкой или сухою воблой (так было все годы, тридцатые и пятидесятые, зимой и летом, в Сибири и на Украине, и тут примеров даже приводить не надо). Не для того, чтобы мучить жаждой, а скажите сами — чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в вагоне им не положен (в одном из купе вагон–зака едет, правда, кухня, но она — только для конвоя), сухой крупы

им не дашь, сырой трески не дашь, мясных консервов — не разожрутся ли? Селёдка, лучше не придумаешь, да хлеба ломоть — чего ж ещё?

Ты бери, бери свои полселёдки, пока дают, и радуйся! Если ты умен — селёдку эту не ешь, перетерпи, в карман её спрячь, слопаешь на пересылке, где водица. Хуже, когда дают азовскую мокрую камсу, пересыпанную крупной солью, она в кармане не пролежит, бери её сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь — и ешь. Делят камсу на чьём–нибудь бушлате, а сухую воблу конвой высыпает в купе прямо на пол, и делят её на лавках, на коленях.

П.Ф. Якубович («В мире отверженных», М.; Л., 1964, т. 1) пишет о 90–х годах прошлого века, что в то страшное время в сибирских этапах давали кормовых 10 копеек в сутки на человека при цене на ковригу пшеничного хлеба— килограмма три? — 5 копеек, на кринку молока— литра два? — 3 копейки. «Арестанты благоденствуют», — пишет он. А вот в Иркутской губернии цены выше, фунт мяса стоит 10 копеек и «арестанты просто бедствуют». Фунт мяса в день на человека— это не полселёдки?..

Но уж если тебе рыбу дали — так и в хлебе не откажут, и сахарку ещё, может, подсыпят. Хуже,

когда конвой приходит и объявляет: сегодня кормить не будем, на вас не выдано. И так может быть, что вправду не выдано: в какой–то тюремной бухгалтерии не там цифру поставили. А может быть и так, что — выдано, но конвою самому не хватает пайки (они тоже ведь не больно сыты), и решили хлебушек закосить, а уж одну полуселёдку давать подозрительно.

И конечно, не для того, чтоб арестант мучился, ему не дают после селёдки ни кипятка (это уж никогда), ни даже сырой воды. Надо понять: штаты конвоя ограничены, одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях лазят под вагоном, по крыше: смотрят, не продырявлено ли где. Другие чистят оружие, да когда–то же надо с ними заняться и политучёбой, и боевым уставом. А третья смена спит, восемь часов им отдай как закон, война–то кончилась. Потом: носить воду вёдрами — далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать как ишак, для врагов народа? Порой для сортировки или перецепки загонят вагон–зак от станции на полсуток так (от глаз подальше), что и на свою–то красноармейскую кухню воды не наносишься. Ну, есть, правда, выход: для зэков из паровозного тендера черпануть — жёлтую, мутную, со сма-

зочными маслами, охотно пьют и такую, ничего, им в полутьме купе и не очень видно— окна своего нет, лампочки нет, свет из коридора. Потом ещё: воду эту раздавать больно долго — своих кружек у заключённых нет, у кого и были, так отняли, — значит, пои их из двух казённых, и, пока напьются, ты всё стой рядом, черпай, черпай да подавай. (Да ещё заведутся промеж себя: давайте сперва, мол, здоровые пить, а потом уже туберкулёзные, а потом уже сифилитики! Как будто в соседнем купе не сначала опять: сперва здоровые…)

Но и всё б это конвой перенёс, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь им сутки воды — и оправки не просят; один раз напоишь — один раз и на оправку; пожалеешь, два раза напоишь — два раза и на оправку. Прямой расчёт всё–таки — не поить.

И не потому оправки жалко, что уборной жалко, — а потому, что это ответственная и даже боевая операция: надолго надо занять ефрейтора и двух солдат. Выставляются два поста — один около двери уборной, другой в коридоре с противоположной стороны (чтоб туда не кинулись), а ефрейтору то и дело отодвигать и задвигать дверь

купе, сперва впуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает выпускать только по одному, чтоб не кинулись, не начали бунта. И получается, что этот выпущенный в уборную человек держит тридцать арестантов в своём купе и сто двадцать во всём вагоне, да наряд конвоя! Так «Давай! Давай!.. Скорей! Скорей!» — понукают его по пути ефрейтор и солдат, и он спешит, спотыкается, будто ворует это очко уборной у государства. В 1949 в «Сталине» Москва–Куйбышев одноногий немец Шульц, уже понимая русские понукания, прыгал на своей ноге в уборную и обратно, а конвой хохотал и требовал, чтобы тот прыгал быстрее. В одну оправку конвоир толкнул его в тамбуре перед уборной, Шульц упал. Конвоир, осердясь, стал его ещё бить — и, не умея подняться под его ударами, Шульц вползал в грязную уборную ползком. Конвоиры хохотали [150].

Чтоб за секунды, проводимые в уборной, арестант не совершил побега, а также для быстроты оборота, дверь в уборную не закрывается, и, наблюдая за процессом оправки, конвоир из тамбура поощряет: «Давай–давай!.. Ну хватит

---

[150] Примечания: 150

Это, кажется, названо «культ личности Сталина»?

тебе, хватит!» Иногда с самого начала команда: «Только по лёгкому!» — и тогда уж тебе из тамбура иначе не дадут. Ну, и рук, конечно, никогда не моют: воды не хватит в баке, и времени нет. Если только арестант коснётся соска умывальника, конвоир рыкает из тамбура: «А ну, не трожь, проходи!» (Если у кого в вещмешке есть мыло или полотенце, так из одного стыда не достанет: это по–фраерски очень.) Уборная загажена. Быстрей, быстрей! и, неся жидкую грязь на обуви, арестант втискивается в купе, по чьим–то рукам и плечам лезет наверх, и потом его грязные ботинки свисают с третьей полки ко второй и капают.

Когда оправляются женщины, устав караульной службы и здравый смысл требуют также не закрывать дверей уборной, но не всякий конвой на этом настоит, иные попустят: ладно, мол, закрывайте. (Ещё ж потом одной женщине эту уборную и мыть после всех, и опять около неё стой, чтоб не сбежала.)

И даже при таком быстром темпе уходит на оправку ста двадцати человек больше двух часов—больше четверти смены трёх конвоиров! И всё равно не угодишь! — и всё равно какой–нибудь старик–песочник через полчаса опять же плачется и просится на оправку; его, конечно,

не выпускают, он гадит прямо у себя в купе, и опять же забота ефрейтору: заставить его руками собрать и вынести.

Так вот: поменьше оправок! А значит — воды поменьше. И еды поменьше—и не будут жаловаться на поносы и воздух отравлять, ведь это что? — в вагоне дышать нельзя!

Поменьше воды! А селёдку положенную выдать! Недача воды — разумная мера, недача селёдки — служебное преступление.

Никто, никто не задался целью мучить нас! Действия конвоя вполне рассудительны! Но, как древние христиане, сидим мы в клетке, а на наши раненые языки сыпят соль.

Так же и совсем не имеют цели (иногда имеют) этапные конвоиры перемешивать в купе Пятьдесят Восьмую с блатарями и бытовиками, а просто: арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез — когда с ними разбираться? Одно из четырёх купе держат для женщин, в трёх остальных если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтоб удобнее выгружать.

И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его унизить? Просто день был такой — распинать, Голгофа — одна, времени мало. И к злодеям причтён.

* * *

Я боюсь даже и подумать, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении… Конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью… Будучи политическим, я ехал в каторгу со сравнительным комфортом — пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу, и пуд багажа шёл на подводе…

…Я опустил в этом абзаце кавычки, чтобы читатель мог лучше вникнуть. Без кавычек абзац диковато звучит, а?

Это пишет П.Ф. Якубович о конце 80–х годов прошлого века. Книга переиздана сейчас в поучение о том мрачном времени. Мы узнаём, что и на барже политические имели особую комнату и на палубе — особое отделение для прогулки. (То же — и в «Воскресении», и посторонний князь Нехлюдов может приходить к политическим на собеседования.) И лишь потому, что в списке против фамилии Якубовича было «пропущено магическое слово политический» (так он пишет)—на Усть–Каре он был «встречен инспектором каторги… как обыкновенный уголовный

арестант — грубо, вызывающе, дерзко». Впрочем, это счастливо разъяснилось.

Какое неправдоподобное время! — смешивать политических с уголовными казалось почти преступлением! Уголовников гнали на вокзалы позорным строем по мостовой, политические могли ехать в карете (большевик Ольминский, 1899). Политических из общего котла не кормили, выдавали кормовые деньги и несли им из кухмистерской. Большевик Ольминский не захотел принять даже больничного пайка —груб ему показался [151]. Бутырский корпусной просил извинения за надзирателя, что тот обратился к Ольминскому на «ты»: у нас, де, редко бывают политические, надзиратель не знал…

В Бутыркахредко бывают политические… Что за сон? А где ж они бывают? Лубянки–то и Лефортова тем более ещё не было!..

Радищева вывезли на этап в кандалах и по случаю холодной погоды набросили на него «гнусную нагольную шубу», взятую у сторожа. Однако Екатерина немедленно вослед распорядилась: кандалы снять и всё нужное для пути доставить. Но Анну Скрипникову в ноябре 1927

[151] Примечания: 151

За то всё, правда, шпанка (уголовная масса) называла профессиональных революционеров «паршивыми дворянишками» (П.Ф. Якубович).

отправили из Бутырок в этап на Соловки в соломенной шляпе и летнем платьи (как она была арестована летом, а с тех пор её комната стояла запечатанная, и никто не хотел разрешить ей взять оттуда свои же зимние вещи).

Отличать политических от уголовных—значит уважать их как равных соперников, значит признавать, что у людей могут быть взгляды. Так даже арестованный политический ощущает политическую свободу!

Но с тех пор, как все мы — «каэры», а социалисты не удержались на «политах», — с тех пор только смех заключённых и недоумение надзирателя мог ты вызвать протестом, чтоб тебя, политического, не смешивали с уголовными. «У нас — все уголовные», — искренно отвечали надзиратели.

Это смешение, эта первая разящая встреча происходит или в воронке, или в вагон–заке. До сих пор как ни угнетали, пытали и терзали тебя следствием — это всё исходило от голубых фуражек, ты не смешивал их с человечеством, ты видел в них только наглую службу. Но зато твои однокамерники, хотя б они были совсем другими по развитию и опыту, чем ты, хотя б ты спорил с ними, хотя б они на тебя и стучали, — все они

были из того же привычного, грешного и обиходливого человечества, среди которого ты провёл всю жизнь.

Вталкиваясь в сталинское купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решётки, с этой ты их не ждёшь. И вдруг ты поднимаешь голову к квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой — и видишь там три–четыре — нет, не лица! нет, не обезьяньих морды, у обезьян же морда гораздо добрей и задумчивей! нет, не образину — образина хоть чем–то должна быть похожа на образ! — ты видишь жестокие гадкие хари с выражением жадности и насмешки. Каждый смотрит на тебя как паук, нависший над мухой. Их паутина — эта решётка, и ты попался! Они кривят рты, будто собираются куснуть тебя избоку, они при разговоре шипят, наслаждаясь этим шипением больше, чем гласными и согласными звуками речи, — и сама речь их только окончаниями глаголов и существительных напоминает русскую, она — тарабарщина.

Эти странные гориллоиды скорее всего в майках — ведь в купе духота, их жилистые багровые шеи, их раздавшиеся шарами плечи, их татуиро-

ванные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится—крестик! да, алюминиевый крестик на верёвочке. Ты поражён и немного облегчён: среди них есть верующие, как трогательно; так ничего страшного не произойдёт. Но именно этот «верующий» вдруг загибает в крест и в веру (ругаются они отчасти по–русски) и суёт два пальца тычком, рогатинкой, прямо тебе в глаза — не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте «глаза выколю, падло!» — вся философия их и вера! Если уж глаз твой они способны раздавить, как слизняка, —так что на тебе и при тебе они пощадят? Болтается крестик, ты смотришь ещё не выдавленными глазами на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчёта: кто из вас уже сошёл с ума? кто ещё сходит?

В один миг трещат и ломаются все привычки людского общения, с которыми ты прожил жизнь. Во всей твоей прошлой жизни — особенно до ареста, но даже и после ареста, но даже отчасти и на следствии—ты говорил другим людям слова, и они отвечали тебе словами, и эти слова производили действие, можно было или убедить, или отклонить, или согласиться. Ты

помнишь разные людские отношения — просьбу, приказ, благодарность, — но то, что застигло тебя здесь, — вне этих слов и вне этих отношений. Посланником харь спускается вниз кто–то, чаще всего плюгавенький малолетка, чья развязность и наглость омерзительнее втройне, и этот бесёнок развязывает твой мешок и лезет в твои карманы— не обыскивая, а как в свои! С этой минуты ничто твоё — уже не твоё, и сам ты — только гуттаперчевая болванка, на которую напялены лишние вещи, но вещи можно снять. Ни этому маленькому злому хорьку, ни тем харям наверху нельзя ничего объяснить словами, ни отказать, ни запретить, ни выпроситься! Они — не люди, это объяснилось тебе в одну минуту. Можно только — бить! Не ожидая, не тратя времени на шевеление языка — бить! — или этого ребёнка, или тех крупных тварей наверху.

Но снизу вверх тех трёх — ты как ударишь? А ребёнка, хоть он гадкий хорёк, как будто тоже бить нельзя? можно только оттолкнуть мягенько?.. Но и оттолкнуть нельзя, потому что он тебе сейчас откусит нос или сверху тебе сейчас проломят голову (да у них и ножи есть, только они не станут их вытаскивать, об тебя пачкать).

Ты смотришь на соседей, на товарищей —

давайте же или сопротивляться, или заявим протест! — но все твои товарищи, твоя Пятьдесят Восьмая, ограбленные поодиночке ещё до твоего прихода, сидят покорно, сгорбленно и смотрят хорошо ещё если мимо тебя, а то и на тебя, так обычно смотрят, как будто это не насилие, не грабёж, а явление природы: трава растёт, дождик идёт.

А потому что — упущено время, господа, товарищи и братцы! Спохватываться — кто вы, надо было тогда, когда Стружинский сжигал себя в вятской камере и раньше ещё того, когда вас объявляли «каэрами».

Итак, ты даёшь снять с себя пальто, а в пиджаке твоём прощупана и с клоком вырвана зашитая двадцатка, мешок твой брошен наверх, проверен, и всё, что твоя сентиментальная жена собрала тебе после приговора в дальнюю дорогу, осталось там, наверху, а тебе в мешочке сброшена зубная щётка…

Хотя не каждый подчинялся так в 30–е и 40–е годы, но девяносто девять. (Немногие случаи рассказывали мне, когда трое спаянных, молодых и здоровых, устаивали против блатарей — но не общую справедливость защищая, не всех, грабимых рядом, а только себя, вооружённый

нейтралитет.) Как же это могло стать? Мужчины! офицеры! солдаты! фронтовики!

Чтобы смело биться, человеку надо к этому бою быть готовым, ожидать его, понимать его цель. Здесь же нарушены все условия: никогда не знав раньше блатной среды, человек не ждал этого боя, а главное — совершенно не понимает его необходимости, до сих пор представляя (неверно), что его враги — это голубые фуражки только. Ему ещё надо воспитываться, пока он поймёт, что татуированные груди — это задницы голубых фуражек, это то откровение, которое погоны не говорят вслух: «Умри ты сегодня, а я завтра!» Новичок–арестант хочет себя считать политическим, то есть: он — за народ, а против них — государство. А тут неожиданно сзади и сбоку нападает какая–то поворотливая нечисть, и все разделения смешиваются, и ясность разбита в осколки. (И нескоро арестант соберётся и разберётся, что нечисть, выходит, — с тюремщиками заодно.)

Чтобы смело биться, человеку надо ощущать защиту спины, поддержку с боков, землю под ногами. Все эти условия разрушены для Пятьдесят Восьмой. Пройдя мясорубку политического следствия, человек сокрушён телом: он голодал, не

спал, вымерзал в карцерах, валялся избитый. Но если бы только телом! — он сокрушён и душой. Ему втолковано и доказано, что и взгляды его, и жизненное поведение, и отношения с людьми — всё было неверно, потому что привело его к разгрому. В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни, и никакого понимания. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить — вот задача следствия по 58–й статье. Осуждённые должны понять, что наибольшая вина их на воле была — попытка как–нибудь сообщаться или объединяться друг с другом помимо парторга, профорга и администрации. В тюрьме это доходит до страха всяких тюремных коллективок: одну и ту же жалобу высказать в два голоса или на одной и той же бумаге подписаться двоим. Надолго теперь отбитые от всякого объединения, лжеполитические не готовы объединиться и против блатных. Так же не придет им в голову иметь для вагона или пересылки оружие — нож или кистень. Во–первых—зачем оно? против кого? Во–вторых, если его применишь ты, отягчённый зловещей 58–ю статьёю, — то по пересуду ты можешь получить и расстрел. В–третьих, ещё раньше, при обыске, тебя за нож накажут не так,

как блатаря: у него нож—это шалость, традиция, несознательность, у тебя — террор.

И наконец, большая часть посаженных по 58–й — это мирные люди (а часто и старые, и больные), всю жизнь обходившиеся словами, без кулаков — и не готовые к ним теперь, как и раньше.

А блатари не проходили такого следствия. Всё их следствие— два допроса, лёгкий суд, лёгкий срок, и даже этого лёгкого срока им не предстоит отбыть, их отпустят раньше: или амнистируют, или они убегут [152]. Никто не лишал блатаря его законных передач и во время следствия — обильных передач из доли товарищей по воровству, оставшихся на свободе. Он не худел, не слабел ни единого дня — и вот в пути подкармливается за счёт фраеров [153]. Воровские и бандитские статьи не только не угнетают блатного, но он гордится ими — ив этой гордости его поддерживают все начальники в голубых погонах или с голубыми окаёмками: «Ничего, хотя ты бандит и убийца,

[152] Примечания: 152

В.И. Иванов (ныне в Ухте) девять раз получал 162–ю (воровство), пять раз 82–ю (побег), всего 37 лет заключения— и «отбыл» их за пять–шесть лет.

[153] Примечания: 153

Фраер— это не вор, то есть не «Человек» (с большой буквы). Ну, попросту: фраера— это остальное, не воровское человечество.

но ты же не изменник родины, ты же наш человек, ты исправишься». По воровским статьям нет Одиннадцатого пункта — об организации. Организация не запрещена блатарям — отчего же? — пусть она содействует воспитанию чувств коллективизма, так нужных человеку нашего общества. И отбор оружия у них — это игра, за оружие их не наказывают — уважают их закон («им иначе нельзя»). И новое камерное убийство не удлинит срока убийцы, а только украсит его лаврами.

(Это всё уходит очень глубоко. У Маркса люмпен–пролетариат осуждался разве только за некоторую невыдержанность, непостоянство настроения. А Сталин всегда тяготел к блатарям — кто ж ему грабил банки? Ещё в 1901 году сотоварищами по партии и тюрьме он был обвинён в использовании уголовников против политических противников. С 20–х годов родился и услужливый термин: социально–близкие. В этой плоскости и Макаренко: этих можно исправить. По Макаренко, исток преступлений— только «контрреволюционное подполье». Нельзя исправить тех — инженеров, священников, обывателей, меньшевиков.)

Отчего ж не воровать, коли некому унять? Трое–

четверо дружных и наглых блатарей владеют несколькими десятками запуганных придавленных лжеполитических.

С одобрения начальства. На основе Передовой Теории.

Но если не кулачный отпор — то отчего жертвы не жалуются? Ведь каждый звук слышен в коридоре, и вот он, медленно прохаживается за решёткою, конвойный солдат.

Да, это вопрос. Каждый звук и жалобное хрипение слышны, а конвоир всё прохаживается — почему ж не вмешается он сам? В метре от него, в полутёмной пещере купе грабят человека — почему ж не заступится воин государственной охраны?

А вот по тому самому. Ему внушено тоже.

И — больше: после многолетнего благоприятствия конвой и сам склонился к ворам. Конвой и сам стал вор.

С середины 30–х годов и до середины 40–х, в это десятилетие величайшего разгула блатарей и нижайшего угнетения политических, — никто не припомнит случая, чтобы конвой прекратил грабёж политического в камере, в вагоне, в воронке. Но расскажут вам множество случаев, как конвой принял от воров награбленные вещи и взамен

принёс им водки, еды (послаще пайковой), курева. Эти примеры уже стали хрестоматийными.

У конвойного сержанта ведь тоже ничего нет: оружие, скатка, котелок, солдатский паёк. Жестоко было бы требовать от него, чтоб он конвоировал врага народа в дорогой шубе, или в хромовых сапогах или с кёшером (мешком) городских богатых вещей — и примирился бы с этим неравенством. Да ведь отнять эту роскошь — тоже форма классовой борьбы? А какие ещё тут есть нормы?

В 1945^16 годах, когда заключённые тянулись не откуда–нибудь, а из Европы и невиданные европейские вещи были надеты на них и лежали в их мешках, — не выдерживали и конвойные офицеры. Служебная судьба, оберегшая их от фронта, в конце войны оберегла их и от сбора трофеев— разве это было справедливо?

Так не случайно уже, не по спешке, не по нехватке места, а из собственной корысти — смешивал конвой блатных и политических в каждом купе своего вагон–зака. И блатари не подводили: вещи сдирались с бобров [154] и поступали в чемоданы конвоя.

---

[154] Примечания: 154

Бобры — богатые зэки с «барахлом» и бациллами, то есть с жирами.

Но как быть, если «бобры» в вагон загружены и поезд уже идёт, а воров—нет и нет, ну просто не подсаживают, сегодня их не этапирует ни одна станция? Несколько случаев известно и таких.

В 1947 году из Москвы во Владимир для отбывания сроков во Владимирском централе везли группу иностранцев, у них были богатые вещи, это показывало первое раскрытие чемодана. Тогда конвой сам начал в вагоне систематический отбор вещей. Чтобы ничего не пропустить, заключённых раздевали догола и сажали на пол вагона близ уборной, а тем временем просматривали и отбирали вещи. Но не учёл конвой, что везёт их не в лагерь, а в серьёзную тюрьму. По прибытии туда И.А. Корнеев подал письменную жалобу, всё описав. Нашли тот конвой, обыскали самих. Часть вещей ещё нашлась и вернули её, не возвращённое владельцам оплатили. Говорили, что конвою дали по 10 и 15 лет. Впрочем, это проверить нельзя, да и статья воровская, не должны засидеться.

Однако это случай исключительный, и, умерь свою жадность вовремя, начальник конвоя понял бы, что здесь лучше не связываться. А вот случай попроще, и тем подаёт он надежду, что не один такой был. В вагон–заке Москва–Новосибирск в

августе 1945 года (в нём этапировался А. Сузи) тоже не случилось воров. А путь предстоял долгий, поезда тянулись тогда. Не торопясь, начальник конвоя объявил в удобное время обыск — поодиночке, с вещами в коридоре. Вызываемых раздевали по тюремным правилам, но не в этом таился смысл обыска, потому что обысканные возвращались в свою же набитую камеру и любой нож и любое запретное можно было потом из рук в руки передавать. Истинный обыск был в пересмотре всех личных вещей — надетых и из мешков. Здесь, у мешков, не скучая весь долгий обыск, простоял с надменным неприступным видом начальник конвоя, офицер, и его помощник, сержант. Грешная жажда просилась наружу, но офицер замыкал её притворным безразличием. Это было положение старого блударя, который рассматривает девочек, но стесняется посторонних, да и самих девочек тоже, не знает, как подступиться. Как ему нужны были несколько воров! Но воров в этапе не было.

В этапе не было воров, но были такие, кого уже коснулось и заразило воровское дыхание тюрьмы. Ведь пример воров поучителен и вызывает подражание: он показывает, что есть лёгкий путь жить в тюрьме. В одном из купе ехали два

недавних офицера — Санин (моряк) и Мережков. Они были оба по 58–й, но уже перестраивались. Санин при поддержке Мережкова объявил себя старостой купе и попросился через конвоира на приём к начальнику конвоя (он разгадал эту надменность, её нужду в сводниках!). Небывалый случай, но Санина вызвали, и где–то там состоялась беседа. Следуя примеру Санина, попросился кто–то из другого купе. Был принят и тот.

А наутро хлеба выдали не 550 граммов, как был в то время этапный паёк, а — 250.

Пайки роздали, начался тихий ропот. Ропот, — но, боясь «коллективных действий», эти политические не выступали. Нашёлся только один, кто громко спросил у раздатчика:

— Гражданин начальник! А сколько эта пайка весит?

— Сколько положено! — ответили ему.

— Требую перевески, иначе не возьму! — громко заявил отчаянный.

Весь вагон затаился. Многие не начинали паек, ожидая, что перевесят и им. И тут–то пришёл во всей своей непорочности офицер. Все молчали, и тем тяжелее, тем неотвратимее придавили его слова:

— Кто тут выступил против советской власти?

Обмерли сердца. (Возразят, что это — общий приём, что

это и на воле любой начальник заявляет себя советской властью и пойди с ним поспорь. Но для пуганых, для только что осуждённых за антисоветскую деятельность — страшней.)

— Кто тут поднял мятеж из–за пайки? — настаивал офицер.

— Гражданин лейтенант, я хотел только… — уже оправдывался во всём виноватый бунтарь.

— Ах, это ты, сволочь? Это тебе не нравится советская власть?

(И зачем бунтовать? зачем спорить? Разве не легче съесть эту маленькую пайку, перетерпеть, промолчать?.. А вот теперь встрял…)

— …Падаль вонючая! Контра! Тебя самого повесить — а ты ещё пайку вешать?! Тебя, гада, советская власть поит–кормит— и ты ещё недоволен? Знаешь, что за это будет?..

Команда конвою: «Заберите его!» Гремит замок. «Выходи, руки назад!» Несчастного уводят.

— Ещё кто недоволен? Ещё кому перевесить?

(Как будто что–то можно доказать! Как будто где–то пожалуешься, что было двести пятьдесят, и тебе поверят, а лейтенанту не поверят, что было точно пятьсот пятьдесят.)

Битому псу только плеть покажи. Все остальные оказались довольны, и так утвердилась штрафная пайка на все дни долгого путешествия. И сахара тоже не стали давать — его брал конвой.

(Это было в лето двух великих Побед — над Германией и над Японией, побед, которые извеличат историю нашего Отечества, и внуки и правнуки будут их изучать.)

Проголодали день, проголодали два, несколько поумнели, и Санин сказал своему купе: «Вот что, ребята, так пропадём. Давайте, у кого есть хорошие вещи, — я выменяю, принесу вам пожрать». Он с большой уверенностью одни вещи брал, другие отклонял (не все соглашались и давать — так никто ж их и не вынуждал!). Потом попросился на выход вместе с Мережковым, странно — конвой их выпустил. Они ушли с вещами в сторону купе конвоя и вернулись с нарезанными буханками хлеба и с махоркой. Это были те самые буханки— из семи килограммов, недодаваемых на купе в день, только теперь они назначались не всем поровну, а лишь тем, кто дал вещи.

И это было вполне справедливо: ведь все же признали, что они довольны и уменьшенной пайкой. И справедливо было потому, что вещи

чего–то стоят, за них надо же платить. И в дальнем загляде тоже справедливо: ведь это слишком хорошие вещи для лагеря, они всё равно обречены там быть отняты или украдены.

А махорка была — конвоя. Солдаты делились с заключёнными своею кровной махрой — но и это было справедливо, потому что они тоже ели хлеб заключённых и пили их сахар, слишком хороший для врагов. И наконец, справедливо было то, что Санин и Мережков, не дав вещей, взяли себе больше, чем хозяева вещей, — потому что без них бы это всё и не устроилось.

И так сидели, сжатые в полутьме, и одни жевали краюхи хлеба, принадлежащие соседям, а те смотрели на них. Прикуривать же конвой не давал поодиночке, а в два часа раз—и весь вагон заволакивался дымом, как будто что горело. Те, кто сперва с вещичками жались, — теперь жалели, что не дали Санину, и просили взять у них, но Санин сказал: потом.

Эта операция не прошла бы так хорошо и так до конца, если б то не были затяжные поезда послевоенных лет, когда вагон–заки и перецепляли, и на станциях держали, — так зато без после войны и вещичек бы тех не было, за которыми гоняться. До Куйбышева ехали неделю — и всю неделю

от государства давали только двести пятьдесят граммов хлеба (впрочем, двойную блокадную норму), сушёную воблу и воду. Остальной хлеб нужно было выкупить за свои вещи. Скоро предложение превысило спрос, и конвой уже очень неохотно брал вещи, перебирал.

На Куйбышевскую пересылку их свозили, помыли, вернули в том же составе в тот же вагон. Конвой принял их новый, — но по эстафете ему было, очевидно, объяснено, как добывать вещи, — и тот же порядок покупки собственной пайки возобновился до Новосибирска. (Легко представить, что этот заразительный опыт в конвойных дивизионах переимчиво распространялся.)

Когда в Новосибирске их высадили на землю между путями и какой–то ещё новый офицер пришёл, спросил: «Есть жалобы на конвой?» — все растерялись, и никто ему не ответил.

Правильно рассчитал тот первый начальник конвоя.

* * *

Ещё отличаются пассажиры вагон–зака от пассажиров остального поезда тем, что не знают, куда идёт поезд и на какой станции им сходить:

ведь билетов у них нет и маршрутных табличек на вагонах они не читают. В Москве их иногда посадят в такой дали от перрона, что даже и москвичи не сообразят: какой же это из восьми вокзалов. Несколько часов в смраде и стиснутости сидят арестанты и ждут маневрового паровоза. Вот он придёт, отведёт вагон–зак к уже сформированному составу. Если лето, то донесутся станционные динамики: «Москва–Уфа отходит с третьего пути… С первой платформы продолжается посадка на Москва–Ташкент…» Значит, вокзал — Казанский, и знатоки географии Архипелага и путей его теперь объясняют товарищам: Воркута, Печора — отпадают, они — с Ярославского; отпадают кировские, горьковские лагеря.

Так попадают плевелы в жатву славы. Но — плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А ещё отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (40 км от Эльгена)! Да, Алексей Максимыч… «вашим, товарищ, сердцем и именем»… Если враг не сдаётся… Скажешь лихое словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе…

В Белоруссию, на Украину, на Кавказ — из Москвы и не возят никогда, там своих девать некуда.

Слушаем дальше. Уфимский отправили — наш не дрогнул. Ташкентский отошёл—стоим. «До отправления поезда Москва–Новосибирск… Просьба к провожающим… билеты отъезжающих»… Тронули. Наш! А что это доказывает? Пока ничего. И Среднее Поволжье наше, и наш Южный Урал. Наш Казахстан с джезказганскими медными рудниками. Наш и Тайшет со шпалопропи–точным заводом (где, говорят, креозот просачивается сквозь кожу, в кости, парами его насыщаются лёгкие — и это смерть). Вся Сибирь ещё наша до Совгавани. И наша — Колыма. И Норильск — тоже наш.

Если же зима — вагон задраен, динамиков не слышно. Если конвойная команда верна уставу — от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте. Так и тронемся, уснем в переплёте тел, в пристукивании колёс, не узнав—леса или степи увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре. Со средней полки через решётку, коридор, два стекла и ещё решётку видны всё–таки станционные пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стёкла не обмёрзли, иногда можно прочесть и название станции — какое–нибудь Авсютино или Ундол. Где такие станции?.. Никто не знает в купе. Иногда по

солнцу можно понять: на север вас везут или на восток. А то в каком–нибудь Туфано–ве втолкнут в ваше купе обшарпанного бытовичка, и он расскажет, что везут его в Данилов на суд, и боится он, не дали б ему годика два. Так вы узнаёте, что ехали ночью через Ярославль и, значит, первая пересылка на пути — Вологодская. И обязательно найдутся в купе знатоки, кто мрачно просмакует знаменитую присказку: «вОлОгОдский кОнвОй шутить не любит!»

Но и узнав направление — ничего вы ещё не узнали: пересылки и пересылки узелками впереди на вашей ниточке, с любой вас могут повернуть в сторону. Ни на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянет, — а думаешь, 501–я стройка слаще — железная дорога по тундре, по северу Сибири? Она стоит их всех.

Лет через пять после войны, когда арестантские потоки вошли всё–таки в русла (или в МВД расширили штаты?) — в министерстве разобрались в миллионных ворохах дел и стали сопровождать каждого осуждённого запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто для конвоя писался маршрут (а больше маршрута им знать не полезно, содержание дел может влиять развращающе). Вот тогда, если вы лежите

на средней полке, и сержант остановится как раз около вас, и вы умеете читать вверх ногами, — может быть, вы и словчите прочесть, что кого–то везут в Княж–Погост, а вас — в Каргопольлаг.

Ну, теперь ещё больше волнений! — что это за Каргопольлаг? Кто о нём слышал?.. Какие там общие?.. (Бывают общие работы смертные, а бывают и полегче.) Доходиловка, нет?

И как же, как же вы впопыхах отправки не дали знать своим родным, и они всё ещё мнят вас в Сталиногорском лагере под Тулой? Если вы очень нервны и очень находчивы, может быть, удастся вам решить и эту задачу: у кого–то найдётся сантиметровый кусочек карандашного грифеля, у кого–то мятая бумага. Остерегаясь, чтобы не заметил конвойный из коридора (а ногами к проходу ложиться нельзя, только головой), вы, скрючившись и отвернувшись, между толчками вагона пишете родным, что вас внезапно взяли со старого места и теперь везут, что с нового места, может, будет только одно письмо в год, пусть приготовятся. Сложенное треугольником письмо надо нести с собой в уборную наудачу: вдруг да сведут вас туда на подходе к станции или на отходе от неё, вдруг зазевается конвойный в тамбуре, — тогда нажимайте скорее педаль,

пусть откроется отверстие спуска нечистот, и, загородивши телом, бросайте письмо в это отверстие! Оно намокнет, испачкается, но может проскочить и упасть между рельсами. Или даже выскочит сухое, межколёсный ветер закружит его, оно взвихрится, попадёт под колёса или минует их и отлого спустится на откос полотна. Может быть, так и лежать ему тут до дождей, до снега, до гибели, может быть, рука человека поднимет его. И если этот человек окажется не идейный — то подправит адрес, буквы наведёт или вложит в другой конверт — и письмо, ещё смотри, дойдёт. Иногда такие письма доходят — доплатные, стёршиеся, размытые, измятые, но с чётким всплеском горя…

* * *

А ещё лучше — переставайте вы поскорее быть этим самым фраером — смешным новичком, добычей и жертвой. Девяносто пять из ста, что письмо ваше не дойдёт. Но и дойдя, не внесёт оно радости в дом. И что за дыхание — по часам и суткам, когда вступили вы в страну эпоса? Приход и уход разделяются здесь десятилетиями, четвертью века. Вы никогда не вернётесь в прежний мир! Чем скорее вы отвыкнете от своих

домашних и домашние отвыкнут от вас — тем лучше. Тем легче.

И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них! Не имейте чемодана, чтобы конвой не сломал его у входа в вагон (а когда в купе по двадцать пять человек — что б вы придумали на их месте другое?). И не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте: в вагон–заке, в воронке ли, на приёме в пересыльную тюрьму—всё равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя—будет унижение травить ваше сердце. Отнимут с боем — за своё же добро останетесь с кровоточащим ртом. Отвратительны вам эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих — но, имея собственность и трясясь за неё, не теряете ли вы редкую возможность наблюдать и понять? А вы думаете, флибустьеры, пираты, великие капитаны, расцвеченные Киплингом и Гумилёвым, — не эти ли самые они были блатные? Вот этого сорта и были… Прельстительные в романтических картинах— отчего же они отвратны вам здесь?

Поймите и их. Тюрьма для них — дом родной. Как ни приласкивает их власть, как ни смягчает им наказания, как ни амнистирует — внутренний

рок приводит их снова и снова сюда… Не им ли и первое слово в законодательстве Архипелага? Одно время у нас и на воле право собственности так успешно изгонялось (потом изгонщикам самим понравилось иметь) — почему ж должно оно терпеться в тюрьме? Ты зазевался, ты вовремя не съел своего сала, не поделился с друзьями сахаром и табаком — теперь блатные ворошат твой сидор, чтоб исправить твою моральную ошибку. Дав тебе на сменку жалкие отопки вместо твоих фасонных сапог, робу замазанную вместо твоего свитера, они ненадолго взяли эти вещи и себе: сапоги твои — повод пять раз проиграть их и выиграть в карты, а свитер завтра толкнут за литр водки и за круг колбасы. Через сутки и у них ничего не будет, как и у тебя. Это — второе начало термодинамики: уровни должны сглаживаться…

Не имейте! Ничего не имейте! —учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не вонмем мы, жадные, этой простой проповеди? Не поймём, что имуществом губим душу свою?

Ну разве селёдка пусть греется в твоём кармане до пересылки, чтобы здесь не клянчить тебе попить. А хлеб и сахар выдали на два дня сразу — съешь их в один приём. Тогда никто не украдёт их. И забот нет. И будь как птица небесная!

То имей, что можно всегда пронести с собой: знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда–нибудь и тронутся в рост.

Оглянись — вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори — больше услышишь. Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутёмном вагоне, потом опять расходятся навеки — а ты ухо приклони к их тихому жужжанию и к ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено жизни.

Каких только диковинных историй ты здесь не услышишь, чему не посмеёшься!

Вот этот французик подвижной около решётки — что он всё крутится? чему удивляется? чего до сих пор не понимает? Разъяснить ему! А между тем и расспросить: как попал? Нашёлся кто–то с французским языком, и мы узнаём: Макс Сантер, французский солдат. Вот такой же вострый и любопытный был он и на воле, в своей douce France. Говорили ему по–хорошему — не крутись, а он

всё околачивался около пересыльного пункта для русских репатриируемых. Тогда угостили его советские выпить, и с некоторого момента он ничего не помнит. Очнулся уже в самолёте, на полу. Увидел себя — в красноармейской гимнастёрке и брюках, а над собой сапоги конвоира. Теперь ему объявили 10 лет лагерей, но это же, конечно, злая шутка, это разъяснится?.. О да, разъяснится, голубчик, жди! (Ему предстоит ещё лагерная судимость, 25 лет, и из Озёрлага он освободится только в 1957.) Ну, да такими случаями в 1945–46 годах не удивишь.

То сюжет был франко–русский, а вот — русско–французский. Да нет, чисто русский, пожалуй, потому что таких колен кто ж, кроме русского, напетляет? Во всякие времена росли у нас люди, которые не вмещались, как Меншиков у Сурикова в берёзовскую избу. Вот Иван Коверченко — и поджар, проста среднего, а всё равно — не вмещается. А потому что детинка был кровь с молоком, да подбавил чёрт горилки. Он охотно рассказывает о себе, и со смехом. Такие рассказы — клад, их — слушать. Правда, долго не можешь угадать: за что ж его арестуют и почему он—политический. Но из «политического» не надо себе лакировать фестивального значка. Не

всё ль равно, какими граблями захватили?

Как все хорошо знают, к химической войне подкрадывались немцы, а не мы. Поэтому, при откате с Кубани, очень было неприятно, что из–за каких–то растяп в боепитании мы оставили на одном аэродроме штабели химических бомб — и немцы могли на этом разыграть международный скандал. Тогда–то старшему лейтенанту Коверченко, родом из Краснодара, дали двадцать человек парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтоб он все эти многовредные бомбы закопал в землю. (Уже догадались слушатели и зевают: дальше он попал в плен, теперь — изменник родины. А ни хрёнышка подобного!) Коверченко задание выполнил превосходно, со всей двадцаткой без потерь пересек фронт назад и представлен был к Герою Советского Союза.

Но ведь представление ходит месяц и два, — а если ты в этого Героя тоже не помещаешься? «Героя» дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки, — а у тебя если душа горит, выпить хоц–ца, а — нечего? Да если ты Герой всего Союза — что ж они, гады, скупятся тебе литр водки добавить? И Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде, ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на второй этаж к городскому

военкому чи коменданту: водки, мол, выпиши! (Он смекнул, что так будет попредстави–тельней, как бы больше подобать Герою, и отказать трудней.) За это и посадили? — Нет, что вы! За это был снижен с Героя до Красного Знамени.

Очень Коверченко нуждался выпить, а не всегда бывало, и приходилось кумекать. В Польше помешал он немцам взорвать один мост — и почувствовал этот мост как бы своим, и пока, до подхода нашей комендатуры, положил с поляков плату за проход и проезд по мосту: ведь без меня у вас его б уже не было, заразы! Сутки он эту плату собирал (на водку), надоело, да и не торчать же тут, — и предложил капитан Коверченко окружным полякам справедливое решение: мост этот у него купить. (За это и сел? — Не–ет.) Не много он и просил, но поляки жались, не собрались. Бросил пан капитан мост, чёрт с вами, ходите бесплатно.

В 1949 году он был в Полоцке начальником штаба парашютного полка. Очень не любил майора Коверченко политотдел дивизии за то, что на политвоспитание он клал. Раз попросил он характеристику для поступления в Академию, но когда дали — заглянул и швырнул им на стол: «С такой характеристикой мне не в Академию, а

к бандеровцам идти!» (За это?.. — За это вполне могли десятку сунуть, но обошлось.) Тут ещё примкнуло, что он одного солдата незаконно в отпуск уволил. И что сам в пьяном виде гнал грузовую машину и разбил. И дали ему десять… суток губы (гауптвахты). Впрочем, охраняли его свои же солдаты, они его любили беззаветно и отпускали с «губы» гулять в деревню. И так и быть, стерпел бы он эту «губу», но стал ему политотдел ещё грозить судом! Вот эта угроза потрясла и оскорбила Коверченко: значит, бомбы хоронить — Иван лети? а за поганую полуторку — в тюрьму? Ночью он вылез в окно, ушёл на Двину, там знал спрятанную моторку своего приятеля и угнал её.

Оказался он не пьянчужка с короткой памятью: теперь за всё, что политотдел ему причинял, он хотел мстить: и в Литве бросил лодку, пошёл к литовцам просить: «братцы, отведите к партизанам! примите, не пожалеете, мы им накрутим!» Но литовцы решили, что он подослан.

Был у Ивана зашит аккредитив. Он взял билет на Кубань, однако, подъезжая к Москве, уже сильно напился в ресторане. Поэтому, из вокзала выйдя, прищурился на Москву и велел таксёру: «Вези–ка меня в посольство!» — «В какое?» — «Да хрен с ним, в любое». И шофёр привёз. «Эт какое

ж?» — «Французское». — «Ладно».

Может быть, его мысль сбивалась и намерения к посольству у него сперва были одни, а теперь стали другие, но ловкость и сила его ничуть не охилели: он не напугал приворотного милиционера, тихонько обошёл в переулок и взмахнул на гладкий двухростовый забор. Во дворе посольства пошло легче: никто его не обнаружил и не задержал, он прошёл внутрь, миновал комнату, другую и увидел накрытый стол. Многое было на столе, но больше всего его поразили груши, соскучился он по ним, напихал теперь все карманы кителя и брюк. Тут вошли хозяева ужинать. «Эй вы, французы! — стал на них первый наседать и кричать Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние сто лет не совершила. —Вы почему ж революции не делаете? Вы что ж де Голля к власти тянете? А мы вас — кубанской пшеничкой снабжай? Не–вый–детИ» — «Кто вы? Откуда?» — изумились французы. Сразу беря верный тон, Коверченко нашёлся: «Майор МГБ». Французы встревожились: «Но всё равно вы не должны врываться. Вы — по какому делу?» — «Да я вас в рот … !!»— объявил им Коверченко уже напрямик, от души. И ещё немного перед ними помолодцевал, да заметил, что из соседней ком-

наты уже звонят о нём по телефону. И хватило у него трезвости начать отступление, но — груши стали у него выпадать из карманов! — и позорный смех преследовал его…

А впрочем, стало у него сил не только уйти из посольства целым, но и куда–то дальше. На другое утро проснулся он на Киевском вокзале (не в Западную ли Украину ехать собрался?)— и тут вскоре его взяли.

На следствии бил его сам Абакумов, рубцы на спине вздулись толщиною в руку. Министр бил его, разумеется, не за груши и не за справедливый упрёк французам, а добивался: кем и когда завербован. И срок ему вкатили двадцать пять.

Много таких рассказов, но, как и всякий вагон, арестантский затихает в ночи. Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки.

И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колёсный шум, ничуть не мешающий тишине. И тогда, если ещё и конвойный ушёл из коридора, можно из третьего мужского купе тихо поговорить с четвёртым женским.

Разговор с женщиной в тюрьме — он совсем особенный. В нём благородное что–то, даже если говоришь о статьях и сроках.

Один такой разговор шёл целую ночь, и вот при

каких обстоятельствах. Это было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажирок, была всего одна молодая девушка, дочь московского врача, посаженная по 58–10. А в мужских занялся шум: стал конвой сгонять всех зэков из трёх купе в два (уж по сколько там сгрудили — не спрашивай). И ввели какого–то преступника, совсем не похожего на арестанта. Он был прежде всего не острижен — и волнистые светло–жёлтые волосы, истые кудри, вызывающе лежали на его породистой большой голове. Он был молод, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с оттенком почтения (конвой сам оробел перед инструкцией, написанной на конверте его дела), — и девушка успела это всё рассмотреть. А он её не видел (и как же потом жалел!).

По шуму и сутолоке она поняла, что для него освобождено особое купе — рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захотелось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в вагон–заке невозможно, а услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой решёткой и тихо позвала его (а может быть, сперва напела тихо. За всё это конвой должен был бы её наказать, но конвой

угомонился, в коридоре не было никого). Незнакомец услышал и, наученный ею, сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же трёхсан–тиметровую доску, а говорили через решётку, тихо, в огиб этой доски. Они были так близки головами и губами, как будто целовались, а не могли не только коснуться друг друга, но даже посмотреть.

Эрик Арвид Андерсен понимал по–русски уже вполне сносно, говорил же со многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную историю (мы ещё услышим её на пересылке), она же ему — простенькую историю московской студентки, получившей 58–10. Но Арвид был захвачен, он расспрашивал её о советской молодёжи, о советской жизни — и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и из своего официального визита сюда.

Они проговорили всю ночь — и всё в эту ночь сошлось для Арвида: необычный арестантский вагон в чужой стране; и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв; и мелодичный голос, шёпот, дыхание девушки у его уха — у самого уха, а он не мог на неё даже взглянуть! (И женского голоса он уже

полтора года вообще не слышал.)

И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз… (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода.)

Ведь это всё Россия: и арестанты на рельсах, отказавшиеся от жалоб; и девушка за стеной сталинского купе; и ушедший спать конвой; груши, выпавшие из кармана, закопанные бомбы и конь, взведенный на второй этаж.

* * *

— Жандармы! жандармы! — обрадованно кричали арестанты. Они радовались, что дальше их будут сопровождать обходительные жандармы, а не конвой.

Опять я кавычки забыл поставить. Это рассказывает сам Короленко [155]. Мы, правда, голубым фуражкам не радовались. Но кому не обрадуешь-

---

[155] Примечания: 155

В.Т.Короленко. История моего современника // Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М.: ГИХЛ, 1955, с. 166.

ся, если в вагон–заке попадёшь под маятник.

Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо — сесть, а сойти — отчего же? — скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом. Если местная тюремная охрана или милиция не придут за ним или опоздают на две минуты, — тю–тю! — поезд тронулся, и теперь везут этого грешного арестанта — до следующей пересылки. И хорошо, если до пересылки — там тебя опять кормить начнут. А то — до конца вагонного маршрута, там в пустом вагоне продержат часиков восемнадцать да везут назад с новым набором, и опять, может быть, не выйдут за тобой — и опять в тупик, и опять сидеть, и всё это время ведь не кормят. Ведь на тебя выписали до первого взятия, бухгалтерия не виновата, что тюрьма проворонила, ты ведь числишься уже за Тулуном. И конвой своими хлебами тебя кормить не обязан. И качают тебя шесть раз (бывало!): Иркутск—Красноярск, Красноярск — Иркутск, Иркутск — Красноярск, так увидишь на перроне Тулуна картуз голубой — готов на шею броситься: спасибо, родненький, что выручил!

В вагон–заке и за двое суток так изморишься, задохнешься, изомлеешь, что перед большим городом сам не знаешь: то ли б ещё помучиться,

да скорей доехать, то ль отпустили б размяться маленько, на пересылку.

Но вот завозился конвой, забегал. Выходят в шинелях, стучат прикладами. Значит, выгружают весь вагон.

Сперва конвой станет кругом у вагонных ступенек, и, едва ты с них скатишься, свалишься, сорвёшься, —конвоиры дружно и оглушительно кричат тебе со всех сторон (так учены): «Садись! Садись! Садись!» Это очень действует, когда в несколько глоток и не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов, ты невольно корчишься, спешишь (а куда тебе спешить?), жмёшься к земле и садишься, догнав тех, кто слез раньше.

«Садись!» — очень ясная команда, но если ты арестант начинающий, ты её ещё не понимаешь. В Иванове на запасных путях я по команде этой с чемоданом в обнимку (если чемодан сработан не в лагере, а на воле, у него всегда рвётся ручка, и всегда в крутую минуту) перебежал, поставил его на землю долгой стороной и, не углядев, как сидели передние, сел на чемодан — не мог же я в офицерской шинели, ещё не такой уж грязной, ещё с необрезанными полами, сесть прямо на шпалы, на тёмный промазученный песок! Начальник конвоя — румяная ряжка, добротное

русское лицо, разбежался — я не успел понять, что он? к чему? — и хотел, видно, святым сапогом в окаянную спину, но что–то удержало — не пожалел своего наблещенного носка, стукнул в чемодан и проломил крышку. «Са–дись!» — пояснил он. И только тут меня озарило, что как башня я возвышаюсь среди окружающих зэков, — и, ещё не успев спросить: «А как же сидеть?» — я уже понял как и берегомой своей шинелью сел, как все люди, как сидят собаки у ворот, кошки у дверей.

(Этот чемодан у меня сохранился, я и теперь, когда попадётся, провожу пальцами по его рваной дыре. Она ведь не может зажить, как заживает на теле, на сердце. Вещи памятливее нас.)

И эта посадка — она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так что колени твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться трудно, а вскочить невозможно. И ещё сажают нас потеснее прижавшись, чтоб друг другу мы больше мешали. Захоти мы все сразу броситься на конвой—пока зашевелимся, нас перестреляют прежде.

Сажают ждать воронка (он возит партиями, всех ведь не уберёт) или пешего отгона. Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные, но иногда посадят неловко прямо на

перроне или на открытой площадке (в Куйбышеве так). Вот здесь — испытание для вольных: мы–то разглядываем их с полным правом, во все честные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью? — совесть не позволяет (ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят «за дело»). С сочувствием? с жалостью? — а ну–ка фамилию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане («читайте, завидуйте, я гражданин») опускают свои виновные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, —и, отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да ещё не боятся бывшие лагерники, бытовики конечно. Лагерники знают: «Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет» — и, смотришь, кинут пачку папирос, чтоб и им так кинули в их следующий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт наземь, пачка крутнёт по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами — на старуху, на доброту, на хлеб: «Эй, проходи, бабка!»

И хлеб святой, преломленный, остаётся лежать в пыли, пока нас не угонят.

Вообще, эти минуты — сидеть на земле на станции — из наших лучших минут. Помню, в Омске нас посадили так на шпалах, между двумя долгими товарными составами. В этот прогон никто не заходил (наверно, выслали в оба конца по солдату: «Нельзя сюда!» А советский человек и на воле воспитан подчиняться человеку в шинели). Смеркалось. Был август. Станционная масляная галька ещё не успела остыть от дневного солнца и грела нас в сидении. Вокзал был не виден нам, но где–то очень близко за поездами. Оттуда гремела радиола, весёлые пластинки, и слитно гудела толпа. И почему–то не казалось унизительно сидеть сплоченной грязной кучкой на земле в каком–то закутке; не издевательски было слушать танцы чужой молодёжи, которых нам уже никогда не танцевать; представлять, что кто–то кого–то на перроне сейчас встречает, провожает, и может быть, даже с цветами. Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, зажигались первые звёзды, красные и зелёные огни на путях, звучала музыка. Продолжается жизнь без нас — и даже уже не обидно.

Полюби такие минуты — и легче станет тюрьма. А то ведь разорвёт от злости.

Если до воронка перегонять зэков опасно, ря-

дом — дороги и люди, — то вот ещё хорошая команда из конвойного устава: «Взяц–ца под руки!» Ничего в ней нет унизительного— взяться под руки! Старикам и мальчишкам, девушкам и старухам, здоровым и калекам. Если одна твоя рука занята вещами — под эту руку тебя возьмут, а ты берись другою. Теперь вы сжались вдвое плотнее, чем в обычном строю, вы сразу отяжелели, вы все стали хромы, на перевесе от вещей, от неловкости с ними, вас всех качает неверно. Грязные, серые, нелепые существа, вы идёте как слепцы, с кажущейся нежностью друг ко другу — карикатура на человечество!

А воронка, может быть, и вовсе нет. А начальник конвоя, может быть, трус, он боится, что не доведёт, — и вот так, отяжелённые, болтаясь на ходу, стукаясь о вещи, — вы поплетётесь и по городу, до самой тюрьмы.

Есть и ещё команда — карикатура уже на гусей: «Взяться за пятки!» Это значит, у кого руки свободны, —каждой рукой взять себя за ногу около щиколотки. И теперь — «шагом марш!» (Ну–ка, читатель, отложите книгу, пройдите по комнате!.. И как? Скорость какая? Что видели вокруг себя? А как насчёт побега?) Со стороны представляете три–четыре десятка таких гусей?

(Киев, 1940.)

На улице не обязательно август, может быть — декабрь 1946, а вас гонят без воронка при сорока градусах мороза на Петропавловскую пересылку. Как легко догадаться, в последние часы перед городом конвой вагон–зака не трудился водить вас на оправку, чтоб не мараться. Ослабевшие от следствия, схваченные морозом, вы теперь почти не можете удержаться, особенно женщины. Ну так что ж! Это лошади надо остановиться и распереться, это собаке надо отойти и поднять ногу у забора. А вы, люди, можете и на ходу, кого нам стесняться в своём отечестве? На пересылке просохнет… Вера Корнеева нагнулась поправить ботинок, отстала на шаг — конвоир тотчас притравил её овчаркой, и овчарка через всю зимнюю одежду укусила её в ягодицу. Не отставай! А узбек упал — и его бьют прикладами и сапогами.

Не беда, это не будет сфотографировано для «Дейли экспресс». И начальника конвоя до его глубокой старости никто никогда не будет судить.

* * *

И воронки тоже пришли из истории. Тюремная карета, описанная Бальзаком, — чем не воронок?

Только медленней тащится и не набивают так густо.

Правда, в 20–е годы ещё гоняли арестантов пешими колоннами по городам, даже по Ленинграду, на перекрестках они останавливали движение. («Доворовались?» — корили их с тротуаров. Ещё ж никто не знал великого замысла канализации…)

Но, живой к техническим веяниям, Архипелаг не опоздал перенять чёрного ворона, а ласковей— воронка. На ещё булыжные мостовые наших улиц первые воронки вышли с первыми же грузовиками. Они были плохо подрессорены, в них сильно трясло — но и арестанты становились не хрустальные. Зато укупорка уже тогда, в 1927, была хороша: ни единой щёлки, ни электрической лампочки внутри, уже нельзя было ни дохнуть, ни глянуть. И уже тогда набивали коробки воронков стоя до отказу. Это не так чтобы было нарочито задумано, а — колёс не хватало.

Много лет они были серые стальные, откровенно тюремные. Но после войны в столицах спохватились — стали красить их снаружи в радостные тона и писать сверху: «Хлеб» (арестанты и были хлебом строительств), «Мясо» (верней бы написать — «Кости»), а то и «Пейте советское

шампанское!»

Внутри воронок может быть просто бронированным кузовом— пустым загоном. Может иметь скамейки вкруговую вдоль стен. Это — вовсе не удобство, это хуже: втолкают столько же людей, сколько помещается стоймя, но уже друг на друга, как багаж, как тюк на тюк. Могут воронки иметь в задке бокс — узкий стальной шкаф на одного. И могут целиком быть боксированы: по правому и левому борту одиночные шка–фики, они запираются, как камеры, а коридор для вертухая.

Такого сложного пчелиного устройства и вообразить нельзя, глядя на хохочущую девицу с бокалом: «Пейте советское шампанское!»

В воронок вас загоняют всё с теми же окриками конвоиров со всех сторон: «Давай! Давай! Быстрей!» — чтоб вам некогда было оглянуться и сообразить побег, вас загоняют совом да пиком, чтобы вы с мешком застряли в узкой дверце, чтоб стукнулись головой о притолоку. Защёлкивается с усилием стальная задняя дверь — и поехали!

Конечно, в воронке редко возят часами, а — двадцать–тридцать минут. Но и швыряет же, но и костоломка, но и бока же намнёт вам за эти полчаса, но голова ж пригнута, если вы рослый, — вспомнишь, пожалуй, уютный вагон–зак.

А ещё воронок — это новая перетасовка, новые встречи, из которых самые яркие, конечно, — с блатными. Может быть, вам не пришлось быть с ними в одном купе, может быть, и на пересылке вас не сведут в одну камеру, —но здесь вы отданы им.

Иногда так тесно, что даже и уркам несручно бывает ку–рочить. Ноги, руки ваши между тел соседей и мешков зажаты как в колодках. Только на ухабах, когда всех перетряхивает, отбивая печёнки, меняет вам и положение рук–ног.

Иногда — попросторнее, урки за полчаса управляются проверить содержимое всех мешков, отобрать себе бациллы и лучшее из барахла. От драки с ними скорее всего вас удержат трусливые и благоразумные соображения (и вы по крупицам уже начинаете терять свою бессмертную душу, всё полагая, что главные враги и главные дела где–то ещё впереди и надо для них поберечься). А может быть, вы размахнётесь разок — и вам между рёбрами всадят нож. (Следствия не будет, а если будет — блатным оно ничем не грозит: только притормозятся на пересылке, не поедут в дальний лагерь. Согласитесь, что в схватке социально–близкого с социально–чуждым не может государство стать за последнего.)

Отставной полковник Лунин, осоавиахимовский чин, рассказывал в бутырской камере в 1946, как при нём в московском воронке, в день 8 марта, за время переезда от городского суда до Таганки, урки в очередь изнасиловали девушку–невесту (при молчаливом бездействии всех остальных в воронке). Эта девушка утром того же дня, одевшись поприятнее, пришла на суд ещё как вольная (её судили за самовольный уход с работы—да и то гнусно подстроенный её начальником, в месть за отказ с ним жить). За полчаса до воронка девушку осудили на 5 лет по Указу, втолкнули в этот воронок, и вот теперь среди бела дня, на московских улицах («Пейте советское шампанское!») обратили в лагерную проститутку. И сказать ли, что учинили это блатные? А не тюремщики? А не тот её начальник?

Блатная нежность! — изнасилованную девушку они тут же и ограбили: сняли с неё парадные туфли, которыми она думала судей поразить, кофточку, перетолкнули конвою, те остановились, сходили водки купили, сюда передали, блатные ещё и выпили за счёт девочки.

Когда приехали в Таганскую тюрьму, девушка надрывалась и жаловалась. Офицер выслушал, зевнул и сказал:

— Государство не может предоставлять вам каждому отдельный транспорт. У нас таких возможностей нет.

Да, воронки — это «узкое место» Архипелага. Если в ва–гон–заках нет возможности отделить политических от уголовных, то в воронках нет возможности отделить мужчин от женщин. Как же уркам между двумя тюрьмами не пожить «полной жизнью»?

Ну а если б не урки — то спасибо воронкам за эти короткие встречи с женщинами! Где же в тюремной жизни их увидеть, услышать и прикоснуться к ним, как не здесь?

Как–то раз, в 1950, везли нас из Бутырок на вокзал очень просторно — человек четырнадцать в воронке со скамьями. Все сели, и вдруг последнюю втолкнули к нам женщину, одну. Она села у самой задней дверцы, сперва боязливо— с четырнадцатью мужчинами в тёмном ящике, ведь тут защиты никакой. Но с нескольких слов стало ясно, что все здесь свои, Пятьдесят Восьмая.

Она назвалась: Репина, жена полковника, села вслед за ним. И вдруг молчаливый военный, такой молодой, худенький, что быть бы ему лейтенантом, спросил: «Скажите, а вы не сидели с Антониной Ивановой?» — «Как? А вы — ей муж?

Олег?» — «Да». — «Подполковник Иванов?.. Из Академии Фрунзе??» — «Да!»

Что это было за «да»! — оно выходило из перехваченного горла, и страха узнать в нём было больше, чем радости. Он пересел к ней рядом. Через две маленькие решётки в двух задних дверях проходили расплывчатые сумеречные пятна летнего дня и на ходу воронка пробегали, пробегали по лицу женщины и подполковника. «Я сидела с ней под следствием четыре месяца в одной камере». — «Где она сейчас?» — «Всё это время она жила только вами! Все её страхи были не за себя, а за вас. Сперва — чтоб вас не арестовали. Потом — чтоб осудили вас помягче». — «Но что с ней сейчас?» — «Она винила себя в вашем аресте. Ей так было тяжело!» — «Где она сейчас?!» — «Только не пугайтесь. — Репина уже положила руки ему на грудь, как родному. — Она этого напряжения не выдержала. Её взяли от нас. У неё немножко… смешалось… Вы понимаете?..»

И крохотная эта бурька, охваченная стальными листами, проезжает так мирно в шестирядном движении машин, останавливаясь перед светофорами, показывая повороты.

С этим Олегом Ивановым я только–только что познакомился в Бутырках, и вот как. Согнали нас

в вокзальный бокс и приносили из камеры хранения вещи. Подозвали к двери разом его и меня. За раскрытою дверью в коридоре надзирательница в сером халате, разворашивая содержимое его чемодана, вытряхнула оттуда на пол золотой погон подполковника, уцелевший невесть как один, и сама не заметила его, наступила ногой на его большие звёзды.

Она попирала его ботинком, как для кинокадра.

Я показал ему: «Обратите внимание, товарищ подполковник!»

Иванов потемнел. У него ведь ещё было понятие — беспорочная служба.

И вот теперь — о жене.

Это всё ему надо было вместить в какой–нибудь один

час.

Глава 2. ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА

Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте жирные чёрные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, во всех перевальных пунктах, где кончаются рельсы и начинается река или поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? вся карта усижена заразными мухами? Вот это и получилась у вас величественная карта портов Архипелага.

Это, правда, не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин, где пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. И ещё не будет здесь — тёплого голубого моря (воды для купанья здесь — литр на человека, а чтоб удобней мыться — четыре литра на четверых в один таз, и сразу мойтесь!). Но всей прочей портовой романтики — грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычья и драк—тут с лихвой.

Редкий зэк не побывал на трёх–пяти пересылках, многие припомнят с десяток их, а сыны ГУЛАГа начтут без труда и полусотню. Только перепутываются они в памяти всем своим схожим: неграмотным конвоем; непутёвым выклика-

нием по делам; долгим ожиданием на припёке или под осеннею мо–розгою; ещё долыпим шмоном с раздеванием; нечистоплотной стрижкой; холодными скользкими банями; зловонными уборными; затхлыми коридорами; всегда тесными, душными, почти всегда тёмными и сырыми камерами; теплотой человеческого мяса с двух сторон от тебя на полу или на нарах; коньками изголовий, сбитыми из досок; сырым, почти жидким хлебом; баландой, сваренной как бы из силоса.

А у кого память чёткая и отливает воспоминания одно от другого особо, — тому теперь и по стране ездить не надо, вся география хорошо у него уложилась по пересылкам. Новосибирск? Знаю, был. Крепкие такие бараки, рубленные из толстых брёвен. Иркутск? Это где окна несколько раз кирпичами закладывали, видать, какие при царе были, и каждую кладку отдельно, и какие продушины остались. Вологда? Да, старинное здание с башнями. Уборные одна над другой, а деревянные перекрытия гнилые, и сверху так и течёт на нижних. Усмань? А как же. Вшивая вонючая тюряга, постройка старинная со сводами. И ведь так её набивают, что, когда на этап начнут выводить, — не поверишь, где они тут все

помещались, хвост на полгорода.

Такого знатока вы не обидьте, не скажите ему, что знаете, мол, город без пересыльной тюрьмы. Он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет прав. Сальск? Так там в КПЗ пересыльных держат, вместе со следственными. И в каждом райцентре — так, чем же не пересылка? В Соль–Илецке? Есть пересылка! В Рыбинске? А тюрьма № 2, бывший монастырь? Ох, покойная, дворы мощёные пустые, старые плиты во мху, в бане бадейки деревянные чистенькие. В Чите? Тюрьма № 1. В Наушках? Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, всё равно. В Торжке? А на горе, в монастыре тоже.

Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки! Ведь суды же работают везде! А в лагерь как их везти — по воздуху?

Конечно, пересылка пересылке не чета. Но какая лучше, какая хуже—доспориться невозможно. Соберутся три–четыре зэка, и каждый хвалит обязательно «свою».

— Да хоть Ивановская не уж такая знатная пересылка, а расспроси, кто там сидел зимой с 37–го на 38–й. Тюрьму не топили — и не только не мёрзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стёкла в окнах, чтоб не

задохнуться. В 21–й камере вместо положенных двадцати человек сидело триста двадцать три\ Под нарами стояла вода, и настелены были доски по воде, на этих досках и лежали. А из выбитых окон туда–то как раз морозом и тянуло. Вообще там, под нарами, была полярная ночь: ещё ж света никакого, всякий свет загородили кто на нарах лежал и кто между нар стоял. По проходу к параше пройти было нельзя, лазали по краям нар. Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрёт—его сунут под нары и держат там, аж пока смердит. И на него получают норму. И это бы всё еще терпеть можно, но вертухов как скипидаром подмазали — и из камеры в камеру так и гоняли, так и гоняли. Только умостишься — «Падъ–ём! Переходи в другую камеру!» И опять место хватай. А почему там вышла такая перегрузка—три месяца в баню не водили, развели вшей, от вшей — язвы на ногах и тиф. А из–за тифа наложили карантин, и этапов четыре месяца не отправляли.

— Так это, ребята, не в Ивановской дело, а дело в году. В 37–38–м, конечно, не то что зэки, но —камни пересыльные стонали. Иркутская тоже—никакая не особенная пересылка, а в 38–м врачи не осмеливались и в камеру заглянуть,

только по коридору идут, а вертухай кричит в дверь: «Которы без сознания — выходи.»

— В 37–м, ребята, всё это тянулось через Сибирь на Колыму и упиралось в Охотское море да во Владивосток. На Колыму пароходы справлялись только тридцать тысяч в месяц отвозить — а из Москвы гнали и гнали, не считаясь. Ну, собралось сто тысяч, понял?

— А кто считал?

— Кому надо, те считали.

— Если владивостокская Транзитка, то в феврале 37–го там было не больше сорока тысяч.

— Да по несколько месяцев там вязли. Клопы по нарам шли — как саранча! Воды — полкружки в день: нету её, возить некому! Целая зона была корейцев — все от дизентерии вымерли, все! Из нашей зоны каждое утро по сто человек выносили. Строили морг — так запрягались зэки в телеги и так камень везли. Сегодня ты везёшь, завтра тебя туда же. А осенью навалился сыпнячок тоже. Это и у нас так: мёртвых не отдаём, пока не завоняет, — пайку на него получаем. Лекарств — никаких. На зону лезем — дай лекарства! — а с вышек пальба. Потом собрали тифозных в отдельный барак. Не всех туда носить успевали, но и оттуда мало кто выходил. Нары

там — двухэтажные, так со вторых нар он же в температуре не может на оправку слезть — на–а нижних льёт! Тысячи полторы там лежало. А санитарами — блатари, у мёртвых зубы золотые рвали. Да они и у живых не стеснялись…

— Да что всё ваш Тридцать Седьмой да тридцать седьмой? А Сорок Девятого в бухте Ванино, в 5–й зоне, — не хотели? Тридцать пять тысяч! И — несколько месяцев! — опять же на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака в барак, из зоны в зону зачем–то перегоняли. Как у фашистов: свистки! крики! — «выходи без последнего.» И всё бегом! Только бегом! За хлебом сотню гонят — бегом! за баландой — бегом! Посуды не было никакой! Баланду во что хочешь бери — в полу, в ладони! Воду цистернами привозили, а разливать не во что, так струёй поливают, кто рот подставит —твоя. Стали драться у цистерны — с вышки огонь! Ну точно как у фашистов. Приехал генерал–майор Деревянко, начальник УСВИТЛа [156], вышел к нему перед толпой военный лётчик, разорвал на себе гимнастёрку: «У меня семь боевых орденов! Кто дал право стрелять по зоне?» Деревянко говорит: «Стреляли

[156] Примечания: 156

УСВИТЛ— Управление Северо–Восточных (то есть колымских) ИсправТрудЛагерей.

и будем стрелять, пока вы себя вести не научитесь» [157].

— Нет, ребята, это всё—не пересылки. Пересылка — Кировская! Возьмём не такой особенный год, возьмём 47–й, — а на Кировской впихивали людей в камеру два вертуха сапогами, и только так могли дверь закрыть. На трёхэтажных нарах в сентябре (а Вятка — не на Чёрном море) все сидели голые от жары — потому сидели, что лежать места не было: один ряд сидел в головах, один в ногах. И в проходе на полу — в два ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. Только блатные на своих законных местах, вторые нары у окна, лежали привольно. Клопов было столько, что кусали днём, пикировали прямо с потолка. И вот так по неделе терпнешь и по месяцу.

Хочется и мне вмешаться, рассказать о Красной Пресне в августе 45–го, в лето Победы, да стесняюсь: у нас всё же на ночь ноги как–то вытягивали, и клопы были умеренные, а всю ночь при ярких лампах нас, от жары голых и потных, мухи кусали—да ведь это не в счёт, и хвастаться

---

[157] Примечания: 157

Эй, «Трибунал Военных Преступлений» Бертрана Рассела! Что же вы, что ж вы матерьяльчик не берёте?! Аль вам не подходит?

стыдно. Обливались мы потом от каждого движения, после еды просто лило. В камере, немного больше средней жилой комнаты, помещалось сто человек, сжаты были, ступить на пол ногой тоже нельзя. А два маленьких окошка были загорожены намордниками из железных листов, это на южную сторону, они не только не давали движения воздуху, но от солнца накалялись и в камеру пышели жаром.

Эту пересылку со славным революционным именем знают москвичи мало, экскурсий туда нет, да какие экскурсии, когда она работает. А близко бы посмотреть, никуда не ездить! — от Новохорошевского шоссе по окружной железке рукой подать.

Как пересылки все бестолковые, так и разговор о пересылках бестолковый, так и эта глава, наверно, получится: не знаешь, за что скорей хвататься, о какой рассказывать, о чём наперёд. И чем больше сбивается людей на пересылке, тем ещё бестолковее. Невыносимо человеку, невыгодно и ГУ–ЛАГу, — а вот оседают люди по месяцам. И становится пересылка чистой фабрикой: хлебные пайки несут навалом в строительных носилках, в каких кирпичи носят. И баланду парующую несут в шестиведерных деревянных бочках, прохватив

проушины ломом.

Напряжённей и откровенней многих была Котласская пересылка. Напряжённее потому, что она открывала пути на весь европейский русский Северо–Восток, откровеннее потому, что это было уже глубоко в Архипелаге, и не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на клетки, и клетки все заперты. Хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 1930 (надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать), однако и в 1938 далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых… брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморозки люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали коченеть неподвижно, их всё время считали, бодрили проверками (бывало там 20 тысяч человек единовременно) или внезапными ночными обысками. — Позже в этих клетках разбивали палатки, в иных возводили срубы — высотой в два этажа, но, чтоб разумно удешевить строительство, — междуэтажного перекрытия не клали, а сразу громоздили шестиэтажные нары с вертикальными стремянками по бортам, которыми доходяги и должны были карабкаться,

как матросы (устройство, более приличествующее кораблю, чем порту). — В зиму 1944/45 года, когда все были под крышей, помещалось только семь с половиной тысяч, из них умирало в день — пятьдесят человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда. (Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше процента в день, и при таком обороте человек может протянуть до пяти месяцев. Да, но ведь и главная–то косиловка — лагерная работа, тоже ведь ещё не начиналась. Эта убыль в две трети процента в день составляет чистую усушку, и не на всяком складе овощей её допустят.)

Чем глубже туда, в Архипелаг, тем разительнее сменяются бетонные порты на свайные пристани.

Карабас, лагерную пересылку под Карагандою, имя которой стало нарицательным, за несколько лет прошло полмиллиона человек (Юрий Карбе был там в 1942 году зарегистрирован уже в 433–й тысяче). Пересылка состояла из глинобитных низких бараков с земляным полом. Каждодневное развлечение было в том, что всех выгоняли с вещами наружу, и художники белили пол и даже рисовали на нём коврики, а вечером зэки ложились и боками своими стирали и побелку

и коврики.

Карабас изо всех пересылок достойнее других был стать музеем, но, увы, уже не существует: на его месте — завод железобетонных изделий.

Княж–Погостский пересыльный пункт (63° северной широты) составился из шалашей, утверждённых на болоте! Каркас из жердей охватывался рваной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же (худо очищенных от сучьев), в проходе — жердевой настил. Через настил днём хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким качким жёрдочкам, и люди, неуклюжие от слабости, там и сям сваливались в воду и мокредь. В 38–м году в Княж–Погосте кормили всегда одним и тем же: затирухой из крупяной сечки и рыбных костей. Это было удобно, потому что мисок, кружек и ложек не было у пересыльного пункта, а у самих арестантов тем более. Их подгоняли десятками к котлу и клали затируху черпаками в фуражки, в шапки, в полу одежды.

А в пересыльном пункте Вогвоздино (в нескольких километрах от Усть–Выми), где сидело одновременно 5 тысяч человек (кто знал Вогвоздино

до этой строчки? сколько таких безызвестных пересылок? умножьте–ка их на 5 тысяч!) — в Вогвоздино варили жидко, но мисок тоже не было, однако извернулись (чего не осилит наша смекалка!)—баланду выдавали в банных тазах на десять человек сразу, предоставляя им хлебать вперегонки. (Впрочем, и в Котласе так бывало.)

Правда, в Вогвоздино дольше года никто не сидел. (По году — бывало, если доходяга и все лагеря от него отказываются.)

Фантазия литераторов убога перед туземной бытностью Архипелага. Когда желают написать о тюрьме самое укоризненное, самое очернительское — то упрекают всегда парашей. Параша! — это стало в литературе символом тюрьмы, символом унижения, зловония. О, легкомыслы! Да разве параша — зло для арестанта? Это милосерднейшая затея тюремщиков. Весь–то ужас начинается с того мига, когда параши в камере нет.

В 37–м году в некоторых сибирских тюрьмах не было параш, их не хватало! Их не было подготовлено заранее столько, сибирская промышленность не поспела за широтой тюремного захвата. Для новосозданных камер не оказалось парашных бачков на складах. В камерах же ста-

рых параши были, но—древние, маленькие, и теперь пришлось их благоразумно вынести, потому что для нового пополнения они стали ничто. Так, если Минусинская тюрьма была издавна выстроена на 500 человек (Владимир Ильич не побывал в ней, он ехал вольно), а теперь в неё поместили 10 тысяч, — то, значит, и каждая параша должна была увеличиться в 20 раз! Но она не увеличилась…

Наши русские перья пишут вкрупне, у нас пережито уймища, а не описано и не названо почти ничего, но для западных авторов с их рассматриванием в лупу клеточки бытия, со взбалтыванием аптечного пузырька в снопе проектора — ведь это эпопея, это ещё десять томов «Поисков утраченного времени»: рассказать о смятении человеческого духа, когда в камере двадцатикратное переполнение, а параши нет, а на оправку водят в сутки раз! Конечно, тут много фактуры, им неизвестной: они не найдут выхода мочиться в брезентовый капюшон и совсем уж не поймут совета соседа мочиться в сапог! — а между тем это совет многоопытной мудрости и никак не означает порчи сапога и не низводит сапог до ведра. Это значит: сапог надо снять, опрокинуть, теперь завернуть голенище наружу — и

вот образуется кругожелобчатая, такая желанная ёмкость! Но зато сколькими психологическими извивами западные авторы обогатили бы свою литературу (без всякого риска банально повторить прославленных мастеров), если бы только знали распорядок той же Минусинской тюрьмы: для получения пищи выдана одна миска на четверых, а питьевой воды наливают кружку на человека в день (кружки есть). И вот один из четверых управился использовать общую миску для облегчения внутреннего давления, но перед обедом отказывается отдать свой запас воды на мытьё этой миски. Что за конфликт! Какое столкновение четырёх характеров! какие нюансы! (И я не шучу. Вот так–то и обнажается дно человека. Только русскому перу недосуг это описывать, и русскому глазу читать это некогда. Я не шучу, потому что только врачи скажут, как месяцы в такой камере на всю жизнь губят здоровье человека, хотя б его даже не расстреляли при Ежове и реабилитировали при Хрущёве.)

Ну вот, а мы–то мечтали отдохнуть и размяться в порту! Несколько суток зажатые и скрюченные в купе вагон–зака — как мы мечтали о пересылке! Что здесь мы потянемся, распрямимся. Что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку. Что

здесь мы вволю попьём и водицы и кипяточку. Что здесь не заставят нас выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами. Что здесь нас накормят горячим приварком. И наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, перестанем чесаться. И в воронке нам бока околачивало, швыряло от борта к борту, и кричали на нас: «Взяц–ца под руки!», «Взяц–ца за пятки!» — а мы подбодрялись: ничего–ничего, скоро на пересылку! вот уж там–то…

А здесь если что по нашим грёзам и сбудется, так всё равно чем–нибудь обгажено.

Что ждёт нас в бане? Этого никогда не узнаешь. Вдруг начинают стричь наголо женщин (Красная Пресня, 1950, ноябрь). Или нас, череду голых мужчин, пускают под стрижку одним парикмахершам. В вологодской парной дородная тётя Мотя кричит: «Становись, мужики!» — и всю шеренгу обдаёт из трубы паром. А Иркутская пересылка спорит: природе больше соответствует, чтобы вся обслуга в бане была мужская, и женщинам между ногами промазывал бы санитарным квачом — мужик. Или на Новосибирской пересылке зимой в холодной мыльной из кранов идёт одна холодная вода; арестанты решаются требовать начальство; приходит капитан, под-

ставляет, не брезгуя, руку под кран: «А я говорю, что вода — горячая, понятно?» Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды; что в прожарке сгорают вещи, что после бани заставляют бежать босиком и голому по снегу за вещами (контрразведка 2–го Белорусского фронта в Бродницах, 1945, сам бегал).

С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые всё–таки нет–нет да держатся же какого–то писаного закона. Тут владеют вами—придурки пересылки. Тот хмурый банщик, который придёт за вашим этапом: «Ну, пошли мыться, господа фашисты!»; и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет; и тот выбритый, но с чубиком воспитатель, который газеткой скрученной себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки; и ещё другие неизвестные вам пересылочные придурки, которые рентгеновскими глазищами так и простегают ваши чемоданы, — до чего ж они друг на друга похожи! и где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? — не таких чистеньких, не таких приумытых, но таких же скотин мордатых с безжалостным оскалом?

Ба–а–а! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утёсовские урки! Это же опять Женька–Жоголь, Серёга–Зверь и Димка–Кишке ня, только они уже не за решёткой, умылись, оделись в доверенных лиц государства и с понтом [158] наблюдают за дисциплиной — уже нашей. Если с воображением всматриваться в эти морды, то можно даже представить, что они — русского нашего корня, когда–то были деревенские ребята, и отцы их звались Климы, Прохоры, Гурии, и у них даже устройство на нас похожее: две ноздри, два радужных ободочка в глазах, розовый язык, чтобы заглатывать пищу и выговаривать некоторые русские звуки, только складываемые в совсем новые слова.

Всякий начальник пересылки догадывается до этого: за все штатные работы зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тюремным начальством. А из социально–близких — только свистни, сколько угодно охотников исполнять эту работу за то одно, что они на пересылке зачалятся, не поедут в шахты, в рудники, в тайгу. Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, воспитатели, банщики,

---

[158] Примечания: 158

С понтом — с очень важным (но ложным) видом.

парикмахеры, кладовщики, повара, посудомои, прачки, портные по починке белья — это вечно–пересыльные, они получают тюремный паёк и числятся в камерах, остальной приварок и прижарок они и без начальства выловят из общего котла или из сидоров пересылаемых зэков. Все эти пересылочные придурки основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним ещё недощупанными, и они дурят нас всласть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзирателей, а перед обыском предлагают сдавать деньги на хранение, и серьёзно пишут какой–то список — и только мы и видели этот список вместе с денежками! — «Мы деньги сдавали!» — «Кому?» — удивляется пришедший офицер. — «Да вот тут был какой–то!» — «Кто ж именно?» Придурки не видели… — «Зачем же вы ему сдавали?» — «Мы думали…» — «Индюк думал! Меньше думать надо!» Всё. — Они предлагают нам оставить вещи в предбаннике: «Да никто у вас не возьмёт! кому они нужны!» Мы оставляем, да ведь в баню же и не пронесёшь. Вернулись: джемперов нет, рукавиц меховых нет. «А какой джемпер был?» — «Серенький…» — «Ну, значит мыться пошёл!» — Они и честно берут у нас вещи: за то, чтоб чемодан взять в каптёрку

на хранение; за то, чтоб нас тиснуть в камеру без блатных; за то, чтоб скорей отправить на этап; за то, чтоб дольше не отправлять. Они только не грабят нас прямо.

«Так это же не блатные! — разъясняют нам знатоки среди нас. — Это — суки, которые служить пошли. Это — враги честных воров. А честные воры — те в камерах сидят». Но до нашего кроличьего понимания это как–то туго доходит. Ухватки те же, татуировка та же. Может они и враги тех, да ведь и нам не друзья, вот что…

А тем временем посадили нас во дворе под самые окна камер. На окнах намордники, не заглянешь, но оттуда хрипло–доброжелательно нам советуют: «Мужички! Тут порядок такой: отбирают на шмоне всё сыпучее — чай, табак. У кого есть—пуляйте сюда, нам в окно, мы потом отдадим». Что мы знаем? Мы же фраера и кролики. Может, и правда, отбирают чай и табак. Мы же читали в великой литературе о всеобщей арестантской солидарности, узник не может обманывать узника! Обращаются симпатично — «мужички!». И мы пуляем им кисеты с табаком. Чистопородные воры ловят—и хохочут над нами: «Эх, фашисты–дурачки!»

Вот какими лозунгами, хотя и не висящими на

стенах, встречает нас пересылка: «Правды здесь не ищи!» «Всё, что имеешь, — придётся отдать!» Всё придётся отдать! — это повторяют тебе и надзиратели, и конвоиры, и блатари. Ты придавлен своим неподымаемым сроком, ты думаешь, как тебе отдышаться, а все вокруг думают, как тебя ограбить. Всё складывается так, чтоб угнести политического, и без того подавленного и покинутого. «Всё придётся отдать...» — безнадёжно качает головой надзиратель на Горьковской пересылке, и Анс Бернштейн с облегчением отдаёт ему комсоставскую шинель—не просто так, а за две луковицы. Что же жаловаться на блатных, если всех надзирателей на Красной Пресне тывидишь в хромовых сапогах, которых им никто не выдавал? Это всё курочили в камерах блатные, а потом толкали надзирателям. Что же жаловаться на блатных, если «воспитатель» КВЧ [159] — блатной и пишет характеристики на политических (КемПерПункт)? В Ростовской ли пересылке искать управу на блатных, если это их извечный родной курень?

Говорят, в 1942 на Горьковской пересылке арестанты–офицеры (Гаврилов, воентехник

[159] Примечания: 159

КВЧ — Культурно–Воспитательная Часть, отдел лагерной администрации.

Щебетин и др.) всё–таки поднялись, били воров и заставили их присмиреть. Но это всегда воспринимается как легенда: в одной ли камере присмиреть? надолго ли присмиреть? а куда ж смотрели голубые фуражки, что чуждые бьют близких? Когда же рассказывают, что на Котласской пересылке в 40–м году уголовники в очереди у ларька вырывали деньги из рук политических и те стали бить их так, что остановить не удавалось, и тогда на защиту блатных вошла в зону охрана с пулемётами, — в этом уже не усомнишься, это — как отлитое!

Неразумные родные! — они мечутся там на воле, деньги занимают (потому что таких денег дома нет) и шлют тебе какие–то вещи, шлют продукты — последняя лепта вдовы, но — дар отравленный, потому что из голодного, зато свободного он делает тебя беспокойным и трусливым, он лишает тебя того начинающегося просветления, той застывающей твёрдости, которые одни только и нужны перед спуском в пропасть. О, мудрая притча о верблюде и игольном ушке! В небесное царство освобождённого духа не дают тебе пройти эти вещи. И у других, с кем привёз тебя воронок, ты видишь те же мешки. «Куток сволочей», — уже в воронке ворчали

на нас блатные, но их было двое, а нас полсотни, и они пока не трогали. А теперь нас вторые сутки держат на пресненском вокзале, на грязном полу, с поджатыми от тесноты ногами, однако никто из нас не наблюдает жизни, а все пекутся, как чемоданы сдать на хранение. Хотя сдать на хранение считается нашим правом, но уступают нарядчики только потому, что тюрьма — московская и мы ещё не все потеряли московский вид.

Какое облегчение! — вещи сданы (значит, мы отдадим их не на этой пересылке, дальше). Только узелки со злосчастными продуктами ещё болтаются в наших руках. Нас, бобров, собралось слишком много вместе. Нас начинают растасовывать по камерам. С тем самым Валентином, с которым мы в один день расписались по ОСО и который с умилением предлагал начать в лагере новую жизнь, — нас вталкивают в какую–то камеру. Она ещё не набита: свободен проход и под нарами просторно. По классическому положению вторые нары занимают блатные: старшие — у самых окон, младшие— подальше. На нижних — нейтральная серая масса. На нас никто не нападает. Не оглядясь, не рассчитав, неопытные, мы лезем по асфальтовому полу под нары — нам будет там даже уютно. Нары низкие,

и крупным мужчинам лезть надо по–пластунски, припадая к полу. Подлезли. Вот тут и будем тихо лежать и тихо беседовать. Но нет! В низкой полутьме, с молчным шорохом, на четвереньках, как крупные крысы, на нас со всех сторон крадутся малолетки — это совсем ещё мальчишки, даже есть по двенадцати годков, но Кодекс принимает и таких, они уже прошли по воровскому процессу и здесь теперь продолжают учёбу у воров. Их напустили на нас! Они молча лезут на нас со всех сторон и в дюжину рук тянут и рвут у нас и из–под нас всё наше добро. И всё это совершенно молча, только зло сопя! Мы — в западне: нам не подняться, не пошевельнуться. Не прошло минуты, как они вырвали мешочек с салом, сахаром и хлебом — и уже их нет, а мы нелепо лежим. Мы без боя отдали пропитание и теперь можем хоть и остаться лежать, но это уже совсем невозможно. Смешно елозя ногами, мы поднимаемся задами из–под нар.

Трус ли я? Мне казалось, что нет. Я совался в прямую бомбёжку в открытой степи. Решался ехать по просёлку, заведомо заминированному противотанковыми минами. Я оставался вполне хладнокровен, выводя батарею из окружения и ещё раз туда возвращаясь за подкалеченным

«газиком». Почему же сейчас я не схвачу одну из этих человеко–крыс и не терзану её розовой мордой о чёрный асфальт? Он мал? — ну, лезь на старших. Нет… На фронте укрепляет нас какое–то дополнительное сознание (может быть, совсем и ложное): нашего армейского единства? моей уместности? долга? А здесь ничего не задано, устава нет, и всё открывать на ощупь.

Встав на ноги, я оборачиваюсь к их старшему, к пахану. На вторых нарах у самого окна все отнятые продукты лежат перед ним: крысы–малолетки ни крохи не положили себе в рот, у них дисциплина. Та передняя сторона головы, которая у двуногих обычно называется лицом, у этого пахана вылеплена природой с отвращением и нелюбовью, а может быть от хищной жизни стала такая — с кривой отвислостью, низким лбом, первобытным шрамом и современными стальными коронками на передних зубах. Глазками ровно того размера, чтобы видеть всегда знакомые предметы и не удивляться красотам мира, он смотрит на меня как кабан на оленя, зная, что с ног сшибить может меня всегда.

Он ждёт. И что же я? Прыгаю наверх, чтобы достать эту харю хоть раз кулаком и шлёпнуться вниз в проход? Увы, нет.

Подлец ли я? Мне до сих пор казалось, что нет. Но вот мне обидно: ограбленному, униженному, опять брюхом ползти под нары. И я возмущённо говорю пахану, что, отняв продукты, он мог бы нам хоть дать место на нарах. (Ну, для горожанина, для офицера — разве не естественная жалоба?)

И что ж? Пахан согласен. Ведь я этим и отдаю сало; и признаю его высшую власть; и обнаруживаю сходство воззрений с ним—он бы тоже согнал слабейших. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нар у окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места. Мы ещё некоторое время переживаем свои потери (на моё галифе блатные не зарятся, это не их форма, но один из воров уже щупает шерстяные брюки на Валентине, ему нравятся). И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шёпот соседей: как могли мы просить защиты у блатарей, а двух своих загнать вместо себя под нары? И только тут прокалывает меня сознание моей подлости и заливает краска (и ещё много лет буду краснеть, вспоминая). Серые арестанты на нижних нарах— это же братья мои, 58–1–6, это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу? И вот уже сталкиваю под нары? Правда, и они не

заступились за нас против блатарей — но почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьёмся? Достаточно жестоких боёв ещё в плену разуверили их в благородстве. Всё же они мне зла не сделали, а я им сделал.

Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми… Чтобы стать людьми…

* * *

Но даже новичку, которого пересылка лущит и облупливает, —она нужна, нужна! Она даёт ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание. Надо постепенно.

Потом пересылка даёт ему видимость связи с домом. Отсюда он пишет первое законное своё письмо: иногда—что он не расстрелян, иногда — о направлении этапа, всегда это первые необычные слова домой от человека, перепаханного следствием. Там, дома, его ещё помнят прежним, но он никогда уже не станет им — и вдруг это молнией прорвётся в какой–то корявой строке. Корявой, потому что хоть письма с пересылок и разрешены и висит во дворе почтовый ящик,

но ни бумаги, ни карандашей достать нельзя, тем более нечем их чинить. Впрочем, находится разглаженная махорочная обёртка или обёртка от сахарной пачки, и у кого–то в камере всё же есть карандаш — и вот такими неразборными каракулями пишутся строки, от которых потом пролягут лад или разлад семей.

Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут ещё застигнуть мужа на пересылке — хотя свиданья им никогда не дадут и только можно успеть обременить его вещами. Одна такая женщина дала, по–моему, сюжет для памятника всем женам — и указала даже место.

Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в низине (из которой, однако, видны Жигулёвские ворота Волги), а сразу над ней, обмыкая её с востока, шёл высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне — нам не было видно снизу. На нём редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. И вот как–то летним и пасмурным днём на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах у нас гуляло в это время три многолюдные камеры — и среди этих

густых трёх сотен обезличенных муравьев она хотела в пропасти увидеть своего! Надеялась ли она, что подскажет сердце? Ей, наверно, не дали свидания — и она взобралась на эту кручу. Её со дворов все заметили, и все на неё смотрели. У нас, в котловинке, не было ветра, а там наверху был изрядный. Он откидывал, трепал её длинное платье, жакет и волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней.

Я думаю, что статуя такой женщины, именно там, на холме над пересылкой и лицом к Жигулёвским воротам, какона и стояла, могла бы хоть немного что–то объяснить нашим внукам [160].

Долго её почему–то не прогоняли — наверно, лень была охране подниматься. Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать — и согнал.

---

[160] Примечания: 160

Ведь когда–нибудь же и в памятниках отобразится такая потайная, такая почти уже затерянная история нашего Архипелага! Мне, например, всегда рисуется ещё один: где–то на Колыме, на высоте — огромнейший Сталин, такого размера, каким он сам бы мечтал себя видеть, — с многометровыми усами, с оскалом лагерного коменданта, одной рукой натягивает вожжи, другою размахнулся кнутом стегать по упряжке — упряжке из сотен людей, запряжённых по пятеро и тянущих лямки. На краю Чукотки около Берингова пролива это тоже бы очень выглядело. (Уже это было написано, когда я прочёл «Барельеф на скале» Алдан–Семёнова, даже в подцензурной лагерной повести там сходное есть. Рассказывают, что на жигулёвской горе Могутова, над Волгой, в километре от лагеря, тоже был масляными красками на скале нарисован для пароходов огромный Сталин.)

Ещё пересылка даёт арестанту — обзор, широту зрения. Как говорится, хоть есть нечего, да жить весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров (в лагере так не говорят, там повсюду боятся наступить на щупальце опера)— ты просвежаешься, просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой–нибудь чудак в камере такое тебе откроет, чего б никогда не прочёл.

Вдруг запускают в камеру диво какое–то: высокого молодого военного с римским профилем, с неостриженными вьющимися светло–жёлтыми волосами, в английском мундире — как будто прямо с Нормандского побережья, офицер армии вторжения. Он так гордо входит, словно ожидает, что все перед ним встанут. А оказывается, он просто не ждал, что сейчас войдёт к друзьям: он сидит уже два года, но ещё не побывал ни в одной камере и сюда–то, до самой пересылки, таинственно везен в отдельном купе — а вот негаданно, оплошно или с умыслом, выпущен в нашу общую конюшню. Он обходит камеру, видит в немецком мундире офицера вермахта, зацепляется с ним по–немецки, и вот уже они

яростно спорят, готовые, кажется, применить оружие, если бы было. После войны прошло пять лет, да и тверженo нам, что на Западе война велась только для вида, и нам странно смотреть на их взаимную ярость: сколько этот немец средь нас лежал, мы, русаки, с ним не сталкивались.

Никто б и не поверил рассказу Эрика Арвида Андерсена, если б не его пощажённая стрижкой голова — чудо на весь ГУЛАГ; да если б не чуждая эта осанка; да не свободный разговор на английском и немецком. По его словам, он был сын шведского даже не миллионера, а миллиардера (ну, допустим, добавлял), по матери же — племянник английского генерала Робертсона, командующего английской оккупационной зоной Германии. Шведский подданный, он в войну служил добровольцем в английской армии и высаживался, верно, в Нормандии, после войны стал кадровым шведским военным. Однако социальные запросы тоже не покидали его, жажда социализма была в нём сильнее привязанности к капиталам отца. С глубоким сочувствием следил он за советским социализмом и даже наглядно убедился в его процветании, когда приезжал в Москву в составе шведской военной делегации, и здесь им устраивали банкеты, и возили на дачи, и

там совсем не был им затруднён контакт с простыми советскими гражданами — с хорошенькими артистками, которые ни на какую работу не торопились и охотно проводили с ними время, даже с глазу на глаз. И, окончательно убеждённый в торжестве нашего строя, Эрик по возвращении на Запад выступил в печати, защищая и прославляя советский социализм. И вот этим он перебрал и погубил себя. Как раз в те годы, 47^18–й, изо всех щелей натягивали передовых западных молодых людей, готовых публично отречься от Запада (и ещё, казалось, набрать их десятка бы два, и Запад дрогнет и развалится). По газетной статье Эрик был сочтён подходящим в этом ряду. А служа в то время в Западном Берлине, жену же оставив в Швеции, Эрик по простительной мужской слабости посещал холостую немочку в Восточном Берлине. Тут–то ночью его и повязали (да не про то ли и пословица — «пошёл к куме, да засел в тюрьме»? давно это, наверно, так, и не он первый). Его привезли в Москву, где Громыко, когда–то обедавший в доме у отца его в Стокгольме и знакомый с сыном, теперь, на правах ответного гостеприимства, предложил молодому человеку публично проклясть и весь капитализм, и своего отца, и за это было сыну

обещано у нас тотчас же — полное капиталистическое обеспечение до конца дней. Но хотя Эрик материально ничего не терял, он, к удивлению Громыки, возмутился и наговорил оскорбительных слов. Не поверив его твёрдости, его заперли на подмосковной даче, кормили, как принца в сказке (иногда «ужасно репрессировали»: переставали принимать заказы на завтрашнее меню и вместо желаемого цыплёнка приносили вдруг антрекот), обставили произведениями Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина и год ждали, что он перекуётся. К удивлению, и этого не произошло. Тогда подсадили к нему бывшего генерал–лейтенанта, уже два года отбывшего в Норильске. Вероятно, расчёт был, что генерал–лейтенант преклонит голову Эрика перед лагерными ужасами. Но он выполнил это задание плохо или не хотел выполнять. Месяцев за десять совместной сидки он только научил Эрика ломаному русскому языку и поддержал возникшее в нём отвращение к голубым фуражкам. Летом 1950 вызвали Эрика ещё раз к Вышинскому, он отказался ещё раз (совершенно не по правилам попирая бытие сознанием!). Тогда сам Абакумов прочёл Эрику постановление: 20 лет тюремного заключения (за что?). Они уже сами не рады были, что

связались с этим недорослем, но нельзя ж было и отпускать его на Запад. И вот тут–то повезли его в отдельном купе, тут он слушал через стенку рассказ московской девушки, а утром видел в окно гнилосоломенную рязанскую Русь.

Эти два года очень утвердили его в верности Западу. Он верил в Запад слепо, он не хотел признавать его слабостей, он считал несокрушимыми западные армии, непогрешимыми его политиков. Он не верил нашему рассказу, что за время его заключения Сталин решился на блокаду Берлина иона сошла ему вполне благополучно. Молочная шея Эрика и кремовые щёки рдели от негодования, когда мы высмеивали Черчилля и Рузвельта. Так же был уверен он, что Запад не потерпит его, Эрика, заключения; что вот сейчас по сведениям с Куйбышевской пересылки разведка узнает, что Эрик не утонул в Шпрее, а сидит в Союзе, — и его выкупят или выменяют. (Этой верой в особенность своей судьбы среди других арестантских судеб он напоминал наших благонамеренных ортодоксов.) Несмотря на жаркие схватки, он звал Панина и меня к себе в Стокгольм при случае («нас каждый знает, —с усталой улыбкой говорил он, —отец мой почти содержит двор шведского короля»). А пока сыну

миллиардеранечем было вытираться, и я подарил ему лишнее драненькое полотенце. Скоро взяли его на этап [161].

А переброска всё идёт! — вводят, выводят, по одному и пачками, гонят куда–то этапы. С виду такое деловое, такое планоосмысленное движение—даже поверить нельзя, сколько в нём чепухи.

В 1949 году создаются Особые лагеря — и вот чьим–то верховным решением массы женщин гонят из лагерей европейского Севера и Заволжья — через Свердловскую пересылку — в Сибирь, в Тайшет, в Озёрлаг. Но уже в 50–м году Кто–то нашёл удобным стягивать женщин не в Озёрлаге, а в Дуб–равлаге — в Темниках, в Мордовии. И вот эти самые женщины, испытывая все

[161] Примечания: 161

С тех пор спрашивал я случайно знакомых шведов или едущих в Швецию: как найти такую семью? слышали ли о таком пропавшем человеке? В ответ мне только улыбались: Андерсен в Швеции — всё равно что Иванов в России, а миллиардера такого нет. И только сейчас, через 22 года, перечитывая эту книгу, я вдруг просветился: да ведь настоящие имя–фамилию ему конечно запретили называть! его конечно же предупредил Абакумов, что в этом случае уничтожит его! И пошёл он по пересылкам как шведский Иванов. И только незапрещёнными побочными деталями своей биографии оставлял в памяти случайных встречных след о своей погубленной жизни. Вернее, спасти её он ещё надеялся — по–человечески, как миллионы кроликов этой книги: пока пересидит, а там возмущённый Запад освободит его. Он не понимал крепости Востока. И не понимал, что такого свидетеля, проявившего такую твёрдость, не виданную для рыхлого Запада, — не освободят никогда. А ведь жив, может быть, ещё и сегодня. (Примеч. 1972 г)

удобства гулаговских путешествий, тянутся через эту же самую Свердловскую пересылку — на запад. В 51–м году создаются новые Особлаги в Кемеровской области (Камышлаг) — вот где, оказывается, нужен женский труд! И злополучных женщин мордуют теперь в Кемеровские лагеря через ту же заклятую Свердловскую пересылку. Приходят времена высвобождения — но не для всех же! И тех женщин, кто остался тянуть срок среди всеобщего хрущёвского полег–чания, — качают опять из Сибири через Свердловскую пересылку— в Мордовию: стянуть их вместе будет верней.

Ну да хозяйство у нас внутреннее, островишки все свои, и расстояния для русского человека не такие уж протяжные.

Бывало так и с отдельными зэками, беднягами. Шенд–рик — весёлый крупный парень с незамысловатым лицом, как говорится, честно трудился в одном из куйбышевских лагерей и не чуял над собой беды. Но она стряслась. Пришлов лагерь срочное распоряжение — и не чьё–нибудь, а самого министра внутренних дел (откуда министр мог узнать о существовании Шендрика?)! — немедленно доставить этого Шендрика в Москву, в тюрьму № 18. Его схватили, потащили на Куйбы-

шевскую пересылку, оттуда, не задерживаясь, — в Москву, да не в какую–то тюрьму № 18, а со всеми вместе на широко известную Красную Пресню. (Сам–то Шендрик ни про какую № 18 и знать не знал, ему ж не объявляли.) Но беда его не дремала: двух суток не прошло — его дёрнули опять на этап и теперь повезли на Печору. Всё скудней и угрюмей становилась природа за окном. Парень струсил: он знал, что распоряжение министра, и вот так шибко волокут на север, значит, министр имеет на Шендрика грозные материалы. Ко всем изматываниям пути ещё украли у Шендрика в дороге трёхдневную пайку хлеба, и на Печору он приехал пошатываясь. Печора встретила его неприютно: голодного, неустроенного, в мокрый снег погнали на работу. За два дня он ещё и рубахи просушить ни разу не успел, и матраса ещё не набил еловыми ветками, — как велели сдать всё казённое, и опять загребли и повезли ещё дальше — на Воркуту. По всему было видно, что министр решил сгноить Шендрика, ну правда не его одного, целый этап. На Воркуте не трогали Шендрика целый месяц. Он ходил на общие, от переездов ещё не оправился, но начинал смиряться со своей заполярной судьбой. Как вдруг его вызвали днём из шахты, запыхавшись погнали

в лагерь сдавать всё казённое и через час везли на юг. Это уж пахло как бы не личной расправой! Привезли в Москву, в тюрьму № 18. Держали в камере месяц. Потом какой–то подполковник вызвал, спросил: «Да где ж вы пропадаете? Вы правда техник–машиностроитель?» Шендрик признался. И тогда взяли его… на Райские острова! (Да, и такие есть в Архипелаге!)

Это мелькание людей, эти судьбы и эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают: лежи и не рыпайся! Кормят здесь гарантийкой [162], так и горба ж не натрудишь. И когда не тесно, так и поспать вволю. Растянись и лежи от баланды до баланды. Неуедно, да улёжно. Только тот, кто отведал лагерных общих, понимает, что пересылка — это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А ещё выгода: когда днём спишь — срок быстрей идёт. Убить бы день, а ночи не увидим.

Правда, помня, что человека создал труд и только труд исправляет преступника, а иногда имея подсобные работы, а иногда подряжаясь укрепить финансы со стороны, хозяева пересыльных тюрем гоняют трудиться и эту свою леглую

---

[162] Примечания: 162
Пайка, гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы.

пересыльную рабочую силу.

Всё на той же Котласской пересылке перед войной работа эта была ничуть не легче лагерной. За зимний день шесть–семь ослабевших арестантов, запряжённых лямками в тракторные (!) сани, должны были протянуть их двенадцать километров по Двине до устья Вычегды. Они погрязали в снегу и падали, и сани застревали. Кажется, нельзя было придумать работу изморчивей! Но это была ещё не работа, а разминка. Там, в устье Вычегды, надо было нагрузить на сани десять кубометров дров — и в том же составе, и в той же упряжке (Репина нет, а для новых художников это уже не сюжет, грубое воспроизведение натуры) притащить сани на родную пересылку! Так что твой и лагерь! — ещё до лагеря кончишься. (Бригадир этих работ был Колупаев, а лошадками— инженер–электрик Дмитриев, интендантский подполковник Беляев, известный уже нам Василий Власов, да всех теперь не соберёшь.)

Арзамасская пересылка во время войны кормила своих арестантов свекольной ботвой, зато работу ставила на основу постоянную. При ней были швейные мастерские, сапож–но–валяльный цех (в горячей воде с кислотами катать

шерстяные заготовки).

С Красной Пресни лета 1945 года из душно–застойных камер мы ходили на работу добровольно: за право целый день дышать воздухом; за право беспрепятственно неторопливо посидеть в тихой тесовой уборной (вот ведь какое средство поощрения упускается часто!), нагретой августовским солнцем (это были дни Потсдама и Хиросимы), с мирным жужжанием одинокой пчелы; наконец, за право получить вечером лишних сто граммов хлеба. Водили нас к пристани Москва–реки, где разгружался лес. Мы должны были раскатывать брёвна из одних штабелей, переносить и накатывать в другие. Мы гораздо больше тратили сил, чем получали возмещения. И всё же с удовольствием ходили туда.

Мне часто достаётся краснеть за воспоминания молодых лет (а там и были молодые мои годы). Но что омрачит, то научит. Оказалось, что от офицерских погонов, всего–то два годика вздрагивавших, колыхавшихся на моих плечах, натряслось золотой ядовитой пыли мне в пустоту между рёбрами. На той речной пристани — тоже лагерьке, тоже зона с вышками об мыкала его — мы были пришлые, временные работяги, и ни разговору, ни слуху не было, что нас могут

в этом лагерьке оставить отбывать срок. Но когда нас там построили первый раз и нарядчик пошёл вдоль строя выбрать глазами временных бригадиров — моё ничтожное сердце рвалось из–под шерстяной гимнастёрки: меня! меня! меня назначь!

Меня не назначили. Да зачем я этого и хотел? Только бы наделал ещё позорных ошибок.

О, как трудно отставать от власти!.. Это надо понимать.

* * *

Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа — в том смысле, что, куда ни ехать, её нельзя было обминуть, как и Москву. Как в Союзе из Ташкента в Сочи и из Чернигова в Минск всего удобней приходилось через Москву, так и арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. Это–то время я там и застал. Пресня изнемогала от переполнения. Строили дополнительный корпус. Только сквозные телячьи эшелоны осуждённых контрразведками миновали Москву по окружной дороге, как раз рядышком с Пресней, может быть салютуя ей гудками.

Но, приезжая пересаживаться в Москву, мы всё–таки имеем билет и чаем рано или поздно

ехать своим направлением. На Пресне же в конце войны и после неё не только прибывшие, но и самые высокостоящие, ни даже главы ГУЛАГа не могли предсказать, кто куда теперь поедет. Тюремные порядки тогда ещё не откристаллизовались, как в пятидесятые годы, никаких маршрутов и назначений никому не было вписано, разве только служебные пометки: «строгая охрана!», «использовать только на общих работах!». Пачки тюремных дел, надорванных папок, кое–где перепоясанные разлохмаченным шпагатом или его бумажным эрзацем, вносились конвойными сержантами в деревянное отдельное здание канцелярии тюрьмы и швырялись на стеллажи, на столы, под столы, под стулья и просто в проходе на полу (как их первообразы лежали в камерах), развязывались, рассыпались и перепутывались. Одна, вторая, третья комната загромождались этими перемешанными делами. Секретарши из тюремной канцелярии — раскормленные ленивые вольные женщины в пёстрых платьях — потели от зноя, обмахивались и флиртовали с тюремными и конвойными офицерами. Никто из них не хотел и сил не имел ковыряться в этом хаосе. А эшелоны надо было отправлять! — несколько раз в неделю по крас-

ному эшелону. И каждый день сотню людей на автомашинах— в близкие лагеря. Дело каждого зэка надо было отправлять с ним вместе. Кто б этой морокой занимался? кто б сортировал дела и подбирал этапы?

Это доверено было нескольким нарядчикам — уж там сукам или полуцветным [163], из пересылочных придурков. Они вольно расхаживали по коридорам тюрьмы, шли в здание канцелярии, от них зависело — прихватить ли твою папку в плохой этап или долго гнуть спину, искать и сунуть в хороший. (Что есть целые лагеря гиблые — в этом новички не ошибались, но что есть какие–то хорошие — было заблуждение. «Хорошими» могут быть не лагеря, но только иные жребии в этих лагерях, а это устраивается уже на месте.) Что вся будущность арестантов зависела от другого такого же арестанта, с которым, может быть, надо улучить поговорить (хотя бы через банщика), которому надо, может быть, сунуть лапу (хотя бы через каптёра), — было хуже, чем если бы судьбы раскручивались слепым кубиком. Эта невидимая упускаемая возможность—за кожаную куртку поехать в Нальчик вместо Норильска, за кило-

[163] Примечания: 163

Полуцветной — примыкающий к воровскому миру по духу, старающийся перенимать, но ещё не вошедший в воровской закон.

грамм сала в Серебряный Бор вместо Тайшета (а может, лишиться и кожаной куртки и сала зря) — только язвила и суетила усталые души. Может быть, кто–то так и успевал, может быть, кто–то так и устраивался — но блаженнее были те, у кого нечего было давать или кто оберёг себя от этого смятения.

Покорность судьбе, полное устранение своей воли от формирования своей жизни, признание того, что нельзя предугадать лучшего и худшего, но легко сделать шаг, за который будешь себя упрекать, — всё это освобождает арестанта от какой–то доли оков, делает спокойней и даже возвышенней.

Так арестанты лежали вповалку в камерах, а судьбы их — не ворошимыми грудами в комнатах тюремной канцелярии, нарядчики же брали папки с того угла, где легче было подступиться. И приходилось одним зэкам по два и по три месяца доходить на этой проклятой Пресне, другим же — проскакивать её со скоростью метеоров. От этой скученности, поспешности и беспорядков с делами происходила иногда на Пресне (как и на других пересылках) смена сроков. Пятьдесят Восьмой это не грозило, потому что сроки их, выражаясь по Горькому, были Сроки с большой

буквы, задуманы были великими, а когда и к концу вроде подходили — так не подходили вовсе. Но крупным ворам, убийцам был смысл смениться с каким–нибудь простачком–бытовичком. И сами они или их подручные подкладывались к такому и с участием расспрашивали, а он, не ведая, что краткосрочник не должен на пересылке ничего о себе открывать, рассказывал простодушно, что зовут его, допустим, Василий Парфёныч Ев–рашкин, года он с 1913, жил в Семидубье и родился там. А срок — один год, по 109–й, халатность. Потом этот Евраш–кин спал, а может и не спал, но такой в камере стоял гул, а у кормушки отпахнувшейся такая теснота, что нельзя было пробиться к ней и услышать, как за нею в коридоре быстро бормочут список фамилий на этап. Какие–то фамилии перекрикивали потом от дверей в камеру, но Еврашкина не выкрикнули, потому что едва эту фамилию назвали в коридоре, урка угодливо (они умеют, когда надо) сунул туда свою ряж–ку и быстро тихо ответил: «Василий Парфёныч, 1913 года, село Семидубье, 109–я, один год» — и побежал за вещами. Подлинный Еврашкин зевнул, лёг на нары и терпеливо ждал вызова на завтра, и через неделю, и через месяц, а потом осмелился беспокоить корпусного: почему ж его не берут

на этап? (А какого–то Звягу каждый день по всем камерам выкликают.) И когда ещё через месяц или полгода удосужатся всех прочесать перекличкой по делам, то останется одно дело Звяги, рецидивиста, двойное убийство и грабёж магазина, 10 лет, — и один робкий арестантик, который выдаёт себя за Еврашкина, на фотокарточке ничего не разберёшь, а есть он Звяга и запрятать его надо в штрафной Ивдельлаг — а иначе надо признаваться, что пересылка ошиблась. (А того Еврашкина, которого послали на этап, сейчас и не узнаешь — куда, списков не осталось. Да он с годичным сроком попал на сельхозкомандировку, расконвоирован, имел зачёты три дня за один или сбежал — и уже давно дома или, верней, сидит в тюрьме по новому сроку.) — Попадались чудаки и такие, которые свои малые сроки продавали за один–два килограмма сала. Рассчитывали, что потом всё равно разберутся и личность их удостоверят. Отчасти и верно [164].

В годы, когда арестантские дела не имели конечных назначений, пересылки превратились в невольничьи рынки. Желанные гости на пересылках стали покупатели, слово это всё чаще

---

[164] Примечания: 164

Впрочем, как пишет П.Ф. Якубович о «сухарниках», продажа сроков бывала и в прошлом веке, это — старый тюремный трюк.

слышалось в коридорах и камерах безо всякой усмешки. Как везде в промышленности неусидно стало ждать, что пришлют по развёрстке из центра, а надобно засылать своих толкачей и дёргателей, так и в ГУЛАГе: туземцы на островах вымирали; хоть и не стоили ни рубля, а в счёт шли, и надо было самим озаботиться их привозить, чтобы не падал план. Покупатели должны были быть люди смет–чивые, глазастые, хорошо смотреть, что берут, и не давать насовать им в числе голов — доходяг и инвалидов. Это были худые покупатели, кто этап отбирал себе по папкам, а купцы добросовестные требовали прогонять перед ними товар живьём и гольём. Так и говорилось без улыбки — товар. «Ну, какой товар привезли?» — спросил покупатель на бутырском вокзале, увидев и рассматривая по статям семнадцатилетнюю Иру Калину.

Человеческая природа если и меняется, то не намного быстрей, чем геологический облик Земли. И то чувство любопытства, смакования и примеривания, которое ощущали двадцать пять веков назад работорговцы на рынке рабынь, конечно, владело и гулаговскими чиновниками в Усманской тюрьме в 1947 году, когда они, десятка два мужчин в форме МВД, уселись за несколько

столов, покрытых простынями (это для важности, иначе всё–таки неудобно), а заключённые женщины все раздевались в соседнем боксе и обнажёнными и босыми должны были проходить перед ними, поворачиваться, останавливаться, отвечать на вопросы. «Руки опусти!» — указывали тем, кто принимал защитные положения античных статуй (офицеры ведь серьёзно выбирали наложниц для себя и своего окружения).

Так в разных проявлениях тяжёлая тень завтрашней лагерной битвы заслоняет новичку–арестанту невинные духовные радости пересыльной тюрьмы.

На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру спецнарядника, и он лёг рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном Управлении была выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он техник–строитель и лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецнарядник едет в общих вагон–заках, сидит в общих камерах пересылок, но душа его не трепещет: он защищен накладной, его не погонят валить лес.

Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, отсидевшего уже большую часть своего срока. (Я не знал ещё,

что такое же точно выражение со временем прорежется на всех наших лицах, потому что жестокое и решительное выражение есть национальный признак островитян ГУЛАГа. Особи с мягким, уступчивым выражением быстро умирают на островах.) С усмешкой, как смотрят на двухнедельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье.

Что ждёт нас в лагере? Жалея нас, он поучал:

— С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя! Оглядывайтесь: не подбирается ли кто укусить вас. Восемь лет назад вот таким же наивным я приехал в Каргопольлаг. Нас выгрузили из эшелона, и конвой приготовился вести нас: десять километров до лагеря, рыхлый глубокий снег. Подъезжают трое саней. Какой–то здоровый дядя, которому конвой не препятствует, объявляет: «Братцы, кладите вещи, подвезём!» Мы вспоминаем: в литературе читали, что вещи арестантов возят на подводах. Думаем: совсем не так бесчеловечно в лагере, заботятся. Сложили вещи. Сани уехали. Всё. Больше мы их никогда не видели. Даже тары пустой.

— Но как это может быть? Что ж, там нет закона?

— Не задавайте дурацких вопросов. Закон есть. Закон — тайга. А правды —никогда в ГУЛАГе не было и не будет. Этот каргопольский случай — просто символ ГУЛАГа. Потом ещё привыкайте: в лагере никто ничего не делает даром, никто ничего — от доброй души. За всё нужно платить. Если вам предлагают что–нибудь бескорыстно — знайте, что это подвох, провокация. Самое же главное: избегайте общих работ! Избегайте их с первого же дня! В первый день попадёте на общие — и пропали, уже навсегда.

— Общих работ?..

— Общие работы — это главные основные работы, которые ведутся в данном лагере. На них работает восемьдесят процентов заключённых. И все они подыхают. Все. И привозят новых взамен — опять на общие. Там вы положите последние силы. И всегда будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмерены. И в самых плохих бараках. И лечить вас не будут. Живут же в лагере только те, кто не на общих. Старайтесь любой ценой — не попасть на общие! С первого дня.

Любой ценой!

Любой ценой?..

На Красной Пресне я усвоил и принял эти —

совсем не преувеличенные — советы жестокого спецнарядника, упустив только спросить: а где же мера цены? Где же край её?

Глава 3. КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ

Маетно ехать в вагон–заке, непереносимо в воронке, замучивает скоро и пересылка — да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными вагонами.

Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. Государству тоже выгодно отправлять осуждённых в лагерь прямым маршрутом, не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Это давно понято в ГУЛАГе и отлично освоено: караваны краснух (красных телячьих вагонов), караваны барж, а уж где ни рельсов, ни воды — там пешие караваны (эксплуатировать лошадей и верблюдов заключённым не дают).

Красные эшелоны всегда выгодны, когда где–то быстро работают суды или где–то пересылка переполнена, — и вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. Так отправляли миллионы крестьян в 1929–31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В тридцатых годах так заселялась Колыма: каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до порта Ванино столица нашей Родины Москва. И каждый областной

город тоже слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли Республику Немцев Поволжья в Казахстан, и с тех пор все остальные нации—так же. В 1945 такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей—из Германии, из Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ, кто сам подъезжал туда. В 1949 так собирали Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря.

Вагон–заки ходят по пошлому железнодорожному расписанию, красные эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон–зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подымется из моря, степного или таёжного, новый остров Архипелага.

Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключённых— сперва он должен быть подготовлен. Но не в том смысле подготовлен, как, может быть, подумал читатель: что его надо подмести и очистить от угля или извести, которые перевозились там перед людьми, — это делается не всегда. И не в том смысле подготовлен, что если зима, то его надо проконопатить

и поставить печку. (Когда построен был участок железной дороги от Княж–Погоста до Ропчи, ещё не включённый в общую железнодорожную сеть, по нему тотчас же начали возить заключённых— в вагонах, в которых не было ни печек, ни нар. Зэки лежали зимой на промёрзлом снежном полу и ещё не получали при этом горячего питания, потому что поезд успевал пройти участок всегда меньше чем за сутки. Кто может в мыслях перележать там, пережить эти 18–20 часов — да переживёт!) А подготовка вот какая: должны быть проверены на целость и крепость полы, стены и потолки вагонов; должны быть надёжно обрешечены их маленькие оконца, должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место особо укреплено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями; должны быть распределены по эшелону равномерно и с нужною частотой вагонные площадки (на них стоят посты конвоя с пулемётами), а если площадок мало, они должны быть достроены; должны быть оборудованы всходы на крыши; должны быть продуманы места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электропитание; должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки; должен быть подцеплен штабной классный

вагон, а если нет его — хорошо оборудованы и утеплены теплушки для начальника караула, для оперуполномоченного и для конвоя; должны быть устроены кухни—для конвоя и для заключённых. Лишь после этого можно идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать: «спецоборудование» или там «скоропортящийся». (В «Седьмом вагоне» Евгения Гинзбург описала очень ярко этап красными вагонами и во многом освобождает нас сейчас от подробностей.)

Подготовка эшелона закончена — теперь предстоит сложная боевая операция посадки арестантов в вагоны. Тут две важные обязательные цели: скрыть посадку от народа и терроризировать заключённых.

Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около тысячи человек (по крайней мере двадцать пять вагонов), это не маленькая группка из вагон–зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, знают, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от их вида вместе. В Орле в 38–м году не скроешь, что в городе нет дома, из которого не было бы арестованных, да и крестьянские подводы с плачущими бабами запружают площадь перед орловской тюрьмой,

как на стрелецкой казни у Сурикова. (Ах, кто б это нам ещё нарисовал когда–нибудь! И не надейся: не модно, не модно…) Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки эшелон (в Орле в тот год набирался). И молодёжь не должна этого видеть: молодёжь — наше будущее. И поэтому только ночью — еженощно, каждой ночью, и так несколько месяцев — из тюрьмы на вокзал гонят пешую чёрную колонну этапа (воронки заняты на новых арестах). Правда, женщины опоминаются, женщины как–то узнают — вот они со всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных путях, они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона кричат: такого–то здесь нет?., такого–то и такого–то нет?.. И бегут к следующему, а к этому подбегают новые: такого–то нет? И вдруг отклик из запечатанного вагона: «Я! я здесь!» Или: «Ищите! он в другом вагоне!» Или: «Женщины! слушайте! моя жена тут рядом, около вокзала, сбегайте скажите ей!»

Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой–то ночи эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок.

И в Москве, со старой ли Сретенской пересылки (теперь уж её и арестанты не помнят), с Красной ли Пресни, посадка в красные эшелоны — только ночью, это закон.

Однако, не нуждаясь в излишнем блеске дневного светила, конвой использует ночные солнца — прожекторы. Они удобны тем, что их можно собрать на нужное место — туда, где арестанты испуганной кучкой сидят на земле в ожидании команды: «Следующая пятёрка — встать! К вагону — бегом!» (Только — бегом! Чтоб он не осматривался, не обдумывался, чтоб он бежал, как настигаемый собаками, и только боялся бы упасть.) И на эту неровную дорожку, где они бегут; и на трап, где они карабкаются. Враждебные призрачные снопы прожекторов не только освещают: они—важная театральная часть арестантского перепуга, вместе с резкими криками, угрозами, ударами прикладов по отстающим; вместе с командой «садись на землю!». (А иногда, как и в том же Орле на привокзальной площади: «стать на колени!» — и, как новые богомольцы, тысяча валится на колени); вместе с этой совсем не нужной, но для перепуга очень важной перебежкой к вагону; вместе с яростным лаем собак; вместе с наставленными стволами (винтовок

или автоматов, смотря по десятилетию). Главное, должна быть смята, сокрушена воля арестанта, чтоб у них и мысли не завязалось о побеге, чтоб они ещё долго не сообразили своего нового преимущества: из каменной тюрьмы они перешли в тонкодощатый вагон.

Но чтобы так чётко посадить ночью тысячу человек в вагоны, надо тюрьме начать выдёргивать их из камер и обрабатывать к этапу с утра накануне, а конвою весь день долго и строго принимать их в тюрьме и принятых держать часами долгими уже не в камерах, а на дворе, на земле, чтобы не смешались с тюремными. Так ночная посадка для арестантов есть только облегчительное окончание целого дня измора.

Кроме обычных перекличек, проверок, стрижки, прожарки и бани основная часть подготовки к этапу это —генеральный шмон (обыск). Обыск производится не тюрьмой, а принимающим конвоем. Конвою предстоит в согласии с инструкцией о красных этапах и собственными оперативно–боевыми соображениями провести этот обыск так, чтобы не оставить заключённым ничего способствующего побегу: отобрать всё колющее–режущее; отобрать всевозможные порошки (зубной, сахарный, соль, табак, чай),

чтобы не был ими ослеплен конвой; отобрать всякие верёвки, шпагат, ремни поясные и другие, потому что все они могут быть использованы при побеге (а значит — и ремешки! и вот отрезают ремешки, которыми пристёгнут протез одноногого, — и калека берёт свою ногу через плечо и скачет, поддерживаемый соседями). Остальные же вещи — ценные, а также чемоданы, должны по инструкции быть взяты в особый вагон–камеру хранения, а в конце этапа возвращены владельцу.

Но слаба, не натяжна власть московской инструкции над вологодским или куйбышевским конвоем, но телесна власть конвоя над арестантами. И тем решается третья цель посадочной операции: по справедливости отобрать хорошие вещи у врагов народа в пользу его сынов. «Сесть на землю!», «стать на колени!», «раздеться догола!» — в этих уставных конвойных командах заключена коренная власть, с которою не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность, он неможет гордо выпрямиться и разговаривать с одетым, как с равным. Начинается обыск (Куйбышев, лето 1949). Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду, а вокруг — множество настороженных вооружённых солдат.

Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах, — настроение, когда человек перестаёт уже заботиться о своих вещах. Конвой всё делает нарочито–резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача—напугать и подавить. Чемоданы вытряхиваются (вещи на землю) и сваливаются в отдельную гору. Портсигары, бумажники и другие жалкие арестантские «ценности» все отбираются и, безымянные, бросаются в тут же стоящую бочку. (И именно то, что это — не сейф, не сундук, не ящик, а бочка, — почему–то особенно угнетает голых, и кажется бесполезным протестовать.) Голому впору только поспевать собирать с земли свои обысканные тряпки и совать их в узелок или связывать в одеяло. Валенки? Можешь сдать, кидай вот сюда, распишись в ведомости! (не тебе дают расписку, а ты расписываешься, что бросил в кучу!) И когда уходит с тюремного двора последний грузовик с арестантами, уже в сумерках, арестанты видят, как конвоиры бросились расхватывать лучшие кожаные чемоданы из груды и выбирать лучшие портсигары из бочки. А потом полезли за добычей надзиратели, а за ними и пересылочная придурня.

Вот чего вам стоило за сутки добраться до телячьего вагона! Ну, теперь–то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но какое тут облегчение, какая теплушка?! Снова зажат арестант в клещах между холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем.

Если в вагоне есть блатные (а их не отделяют, конечно, и в красных эшелонах), они занимают свои традиционные лучшие места на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся — где ж их места зимой? Да вокруг печурки же конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Как вспоминает бывший вор Минаев [165], в лютый мороз на их «теплушку» на всю дорогу от Воронежа до Котласа (это несколько суток) в 1949 году выдали три ведра угля! Тут уж блатные не только заняли места вокруг печки, не только отняли у фраеров все тёплые вещи, надев их на себя, не побрезговали и портянки вытрясти из их ботинок и намотали на свои воровские ноги. Подохни ты сегодня, а я завтра! — Чуть хуже с едой — весь паёк вагона принимают извне блатные и берут себе лучшее или по потребности. Лощилин вспоминает трёхсуточный этап Москва–Переборы в 1937 году.

---

[165] Примечания: 165
Его письмо ко мне (Литературная газета, 29 ноября 1962).

Из–за каких–нибудь трёх суток не варили горячего в составе, давали сухим пайком. Воры брали себе всю карамель, а хлеб и селёдку разрешали делить; значит, были не голодны. Когда паёк горячий, а воры на подсосе, они же делят и баланду (трёхнедельный этап Кишинёв–Печора, 1945). При всём том не брезгуют блатные в дороге и простой грабиловкой: увидели у эстонца зубы золотые — положили его и выбили зубы кочергой.

Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание: на глухих станциях (опять–таки где не видит народ) эшелоны останавливают и разносят по вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком выперло. Или (как в том же кишинёвском эшелоне) наливают баланду в те самые вёдра, которыми выдают и уголь. И помыть нечем! — потому что и вода питьевая в эшелоне меряна, ещё нехватней с ней, чем с балaндою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля. Или, принеся баланду и кашу на вагон, мисок дают с недостатком, не сорок, а двадцать пять, и тут же командуют: «Быстрей, быстрей! Нам другие вагоны кормить, не ваш один!» Как теперь есть? Как делить? Всё разложить справедливо по мискам нельзя, значит, надо дать на глазок да

поменьше, чтоб не передать. (Первые кричат: «Да ты мешай, мешай!» — последние молчат: пусть будет на дне погуще.) Первые едят, последние ждут — скорей бы, и голодны, и баланда остывает в бачке, и снаружи уже подгоняют: «Ну, кончили? скоро?» Теперь наложить вторым — и не больше, и не меньше, и не гуще, и не жиже, чем первым. Теперь правильно угадать добавку и разлить её хоть на двоих в одну миску. Всё это время сорок человек не столько едят, сколько смотрят на раздел и мучаются.

Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят— но и спать же не дадут. Днём конвоиры хорошо видят весь поезд и минувший путь, что никто не выбросился вбок и не лёг на рельсы, ночью же их терзает бдительность. Деревянными молотками с длинными ручками (общегулагов–ский стандарт) они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску вагона: не управились ли её уже выпилить? А на некоторых остановках распахивается дверь вагона. Свет фонарей или даже луч прожектора: «Проверка!» Это значит: вспрыгивай на ноги и будь готов, куда покажут— в левую или в правую сторону всем перебегать. Вскочили внутрь конвоиры с молотками (а другие с автоматами

ощерились полукругом извне) и показали: налево! Значит, левые на местах, правые быстро перебегай туда же, как блошки, друг через друга, куда попало. Кто не проворен, кто зазевался—тех молотками по бокам, по спине, бодрости поддать! Вот конвойные сапоги уже топчут ваше нищенское ложе, расшвыривают ваши шмотки, светят и простукивают молотками — нет ли где пропила. Нет. Тогда конвойные становятся посредине и начинают со счётом пропускать вас слева направо: «Первый!.. Второй!.. Третий!..» Довольно было бы просто считать, просто взмахивать пальцем, но так бы страху не было, а наглядней, безошибочней, бодрей и быстрей — отстукивать этот счёт всё тем же молотком по вашим бокам, плечам, головам, куда придётся. Пересчитали, сорок. Теперь ещё расшвырять, осветить и простучать левую сторону. Всё, ушли, вагон заперт. До следующей остановки можете спать. (Нельзя сказать, чтобы беспокойство конвоя было совсем пустым — из красных вагонов бегут, умеючи. Вот простукивают доску — а её уже перепиливать начали. Или вдруг утром при раздаче баланды видит конвой: среди небритых лиц несколько бритых. И с автоматами окружают вагон: «Сдать ножи!» А это мелкое пижонство блатных и при-

блатнённых: им «надоело» быть небритыми, и вот теперь приходится сдать мойку — бритву.)

От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон отличается тем, что севший в него ещё не знает — вылезет ли. Когда в Соликамске разгружали эшелон из ленинградских тюрем (1942) — вся насыпь была уложена трупами, лишь немногие доехали живыми. Зимами 1944/45 и 1945/46 годов в посёлок Железнодорожный (Княж–Погост), как и во все главные узлы Севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобождённых территорий — то прибалтийский, то польский, то немецкий, то наши из Европы — шли без печек и приходили, везя при себе вагон или два трупов. Но это значит, в пути аккуратно отбирались трупы из живых вагонов в мертвецкие. Так было не всегда. На станции Сухобезводная (Унжлаг) сколько раз, дверь вагона раскрыв по прибытии, только и узнавали, кто жив тут, кто мёртв: не вылез, значит и мёртв.

Страшно и смертно ехать зимой, потому что конвою за заботами о бдительности не под силу уже таскать уголь для двадцати пяти печек. Но и в жару ехать не так–то сладко: из четырёх малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета; а воду носить для тысячи человек и вовсе

конвою не надорваться же, если не управлялись напоить и один ва–гон–зак. Лучшие месяцы этапов поэтому считаются у арестантов— апрель и сентябрь. Но и самого хорошего сезона не хватит, если идёт эшелон три месяца (Ленинград–Владивосток, 1935). А если надолго так он и рассчитан, то продумано в нём и политическое воспитание бойцов конвоя, и духовное призрение заключённых душ: при таком эшелоне в отдельном вагоне едет кум — оперуполномоченный. Он заранее готовился к этапу ещё в тюрьме, и люди по вагонам рассованы не как–нибудь, а по спискам с его визой. Это он утверждает старосту каждого вагона и в каждый вагон обучил и посадил стукача. На долгих остановках он находит повод вызывать из вагона одного и другого, выспрашивает, о чём там в вагоне говорят. Уж такому оперу стыдно окончить путь без готовых результатов — и вот в пути он закручивает кому–нибудь следствие, смотришь — к месту назначения арестанту намотан и новый срок.

Нет уж, будь и он проклят с его прямизной и беспереса–дочностью, этот красный телячий этап! Побывавший в нём — не забудет. Скорей бы уж в лагерь, что ли! Скорей бы уж приехать.

Человек — это надежда и нетерпение. Как

будто в лагере будет опер снисходительнее или стукачи не так бессовестны— да наоборот! Как будто, когда приедем, — не с теми же угрозами и собаками нас будут сошвыривать на землю: «Садись!» Как будто если в вагон забивает снег, то на земле его слой не толще. Как будто если нас сейчас выгрузят, то уж мы и доехали до самого места, а нас не повезут теперь по узкоколейке на открытых платформах. (А как на открытых платформах везти? как конвоировать? — задача для конвоя. Вот как: велят нам скрючиться, повалом лечь и накроют общим большим брезентом, как матросов в «Потёмкине» для расстрела. И за брезент ещё спасибо! Оленёву с товарищами досталось на севере в октябре на открытых платформах просидеть целый день: их погрузили уже, а паровоз не слали. Сперва пошёл дождь, он перешёл в мороз, и лохмотья замерзали на зэках.) Поездочек на ходу будет кидать, борта платформы станут трещать и ломиться, и кого–то от болтанки сбросит под колёса. А вот загадка: от Дудинки ехать узкоколейкой 100 километров в полярный мороз и на открытых платформах—так где усядутся блатные? Ответ: в середине каждой платформы, чтобы скотинка грела их со всех сторон и чтобы самим под рельсы не свалиться.

Верно. Ещё вопрос: а что увидят зэки в конечной точке этой узкоколейки (1939)? Будут ли там здания? Нет, ни одного. Землянки? Да, но уже заполненные, не для них. Значит, сразу они будут копать себе землянки? Нет, потому что как же копать их в полярную зиму? Вместо этого они пойдут добывать металл. —А жить? — Что жить?.. Ах жить… Жить — в палатках.

Но не всякий же раз ещё и на узкоколейке?.. Нет конечно. Вот приезд на самое место: станция Ерцево, февраль 1938. Вагоны вскрыли ночью. Вдоль поезда разожжены костры, и при них происходит выгрузка на снег, счёт, построение, опять счёт. Мороз — минус тридцать два градуса. Этап — донбасский, арестованы были все ещё летом, поэтому в полуботинках, туфлях, сандалиях. Пытаются греться у костров — их отгоняют: не для того костры, для света. С первой же минуты немеют пальцы. Снег набился в лёгкую обувь и даже не тает. Никакой пощады, команда: «Становись! разберись!., шаг вправо… шаг влево… без предупреждения… Марш!» Взвыли на цепях собаки от своей любимой команды, от этого волнующего мига. Пошли конвоиры в полушубках — и обречённые в летнем платьи пошли по глубокоснежной и совершенно не проторенной

дороге — куда–то в тёмную тайгу. Впереди — ни огонька. Полыхает полярное сияние — наше первое и наверно последнее… Ели трещат от мороза. Разутые люди мерят и торят снег коченеющими ступнями, голенями.

Или вот приезд на Печору в январе 1945. («Наши войска овладели Варшавой!.. Наши войска отрезали Восточную Пруссию!») Пустое снежное поле. Вышвырнутых из вагонов посадили в снегу по шесть человек в ряд и долго считали, ошибались и пересчитывали. Подняли, погнали шесть километров по снежной целине. Этап тоже с юга (Молдавия), все — в кожаной обуви. Овчарок допустили идти близко сзади, они толкали зэков последнего ряда лапами в спину, дышали собачьим дыханием в затылки (в ряду этом шли двасвященника — старый седовласый о. Фёдор Флоря и поддерживавший его молодой о. Виктор Шиповальников). Каково применение овчарок? Нет, каково самообладание овчарок — ведь укусить как хочется!

Наконец дошли. Приёмная лагерная баня: раздеваться в одном домике, перебегать через двор голыми, мыться в другом. Но теперь это уже всё можно перенести: отмучились от главного. Теперь–то — приехали! Стемнело. И вдруг узна-

ётся: в лагере нет мест, к приёму этапа лагерь не готов. И после бани этапников снова строят, считают, окружают собаками — и опять, волоча свои вещи, всё те же шесть километров, только уже во тьме, они месят снег к своему эшелону назад. А вагонные двери все эти часы были отодвинуты, теплушки выстыли, в них не осталось даже прежнего жалкого тепла, да к концу пути и уголь весь сожжён, и взять его сейчас негде. Так они перекоченели ночь, утром дали им пожевать сухой тарани (а кто хочет пить — жуй снег) — и повели опять по той же дороге.

И это ещё случай — счастливый! — ведь лагерь–то есть, сегодня не примет, так примет завтра. А вообще, по свойству красных эшелонов приходить в пустоту, конец этапа нередко становится днём открытия нового лагеря, так что под полярным сиянием их могут и просто остановить в тайге и прибить на ели дощечку: «Первый ОЛП» (Отдельный Лагерный Пункт). Там они и неделю будут воблу жевать и замешивать муку со снегом.

А если лагерь образовался хоть две недели назад — это уже комфорт, уже варят горячее, и хоть нет мисок, но первое и второе вместе кладут на шесть человек в банные тазы, шестёрка

становится кружком (столов и стульев тоже нет), двое держат левыми руками банный таз за ручки, а правыми в очередь едят. Повторение? Вогвоздино? Нет, это Переборы, 1937 год, рассказ Лощилина. Повторяюсь не я, повторяется ГУЛАГ.

…А дальше дадут новичкам бригадиров из старых лагерников, которые быстро их научат жить, поворачиваться и обманывать. И с первого же утра они пойдут на работу, потому что часы Эпохи стучат и не ждут. У нас не царский каторжный Акатуй с тремя днями отдыха прибывшим [166].

* * *

Постепенно расцветает хозяйство Архипелага, протягиваются новые железнодорожные ветки, и уже во многие такие места везут на поездах, куда совсем недавно только водою плыли. Но живы ещё туземцы, кто расскажут, как плыли по реке Ижме ну в настоящих древнерусских ладьях, по сто человек в ладье, сами же и гребли. Как по рекам Печоре и Усе добирались к родному лагерю — шнягами. И на Воркуту–то гнали зэков на баржах: до Адзьвавом на крупных, а там был

[166] Примечания: 166

П.Ф.Якубович. В мире отверженных: Записки бывшего каторжника: В 2 т. М.; Л.: Худож. лит., 1964.

перевалочный пункт Воркутлага, и оттуда уже — на мелководной барже десять дней, вся баржа шевелится от вшей, и конвой разрешает по одному вылезать наверх и стряхивать паразитов в воду. Лодочные этапы тоже были не сплошные, а перебивались то перегрузками, то переволоками, то пешими перегонами.

И были там пересылки свои — жердевые, палаточные — Усть–Уса, Помоздино, Щелья–Юр. Там свои были щелевые порядки. И свои конвойные правила, и, конечно, свои особые команды, и особые хитрости конвоя, и особые тяготы зэкам. Но уж, видно, той экзотики нам не описать, так не будем и браться.

Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в баржах — в раскулачивание. Эти реки текли на Север прямо, а баржи были брюхаты, вместительны — и только так можно было управиться сбросить всю эту серую массу из живой России на Север неживой. В корытную ёмкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом, и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, иногда покрывали большим брезентом — то ли чтоб не видеть, то ли чтоб лучше

охранить, не от дождей же. Сама перевозка в такой барже уже была не этапом, а смертью в рассрочку. К тому ж их почти и не кормили, а выбросив в тундру—уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой.

Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 году, а даже очень оживились: текли ими освобождённые западные украинцы и западные белорусы. Арестанты в трюме стояли вплотную — и это не одни сутки. Мочились в стеклянные банки, передавали из рук в руки и выливали в иллюминатор, а что пристигало серьёзнее—то шло в штаны.

Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на десятилетия. В Красноярске на берегу построены были в 30–х годах навесы, и под этими навесами в холодные сибирские вёсны дрогли по суткам и по двое арестанты, ждущие перевозки [167]. Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм — трёхэтажный, тёмный. Только через колодец проёма, где трап, проходит рассеянный свет. Конвой живёт в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из трюма и следят за водою,

[167] Примечания: 167

В.И. Ленин в 1897 году садился на «Святого Николая» в пассажирском порту как вольный.

не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие бы стоны и вопли о помощи оттуда ни раздавались. И никогда не выводят арестантов наверх на прогулку. В этапах 37–38–го, 44–4–5–го (а смекнём, что и в промежутке) вниз, в трюм, не подавалось и никакой врачебной помощи. Арестанты на «этажах» лежат вповалку в две длины: один ряд головами к бортам, другой к ногам первого ряда. К парашам на этажах проход только по людям. Параши не всегда разрешают вынести вовремя (бочку с нечистотами по крутым трапам наверх — это надо представить!), они переполняются, жижа течёт по полу яруса и стекает на нижние ярусы. А люди лежат. Кормят, разнося по ярусам баланду в бочках, подсобники — из заключённых же, и там, в вечной тьме (сегодня, может быть, есть электричество), при свете «летучих мышей» раздают. Такой этап до Дудинки иногда продолжался месяц. (Сейчас, конечно, могут управиться за неделю.) Из–за мелей и других водных задержек поездка, бывало, растягивалась, взятых продуктов не хватало, тогда несколько суток не кормили совсем (и уж конечно «за старое» никто потом не отдавал).

Усвойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить: при этом блатные занимают

верхний ярус и ближе к проёму — к воздуху, к свету. Они имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются, и если этап проходит трудно, то без стеснения отметают святой костыль (отбирают пайку у серой скотинки). Долгую дорогу воры коротают в карточной игре: карты для этого они делают сами, а игральные ставки собирают себе шмонами фраеров, повально обыскивая всех, лежащих в том или ином секторе баржи. Отобранные вещи какое–то время проигрываются и перепроигрываются между ворами, потом сплавляются наверх, конвою. Да, читатель всё угадал: конвой на крючке у блатных, ворованные вещи берёт себе или продаёт на пристанях, блатным же взамен приносят поесть.

А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 1950 году в подобной и подобно устроенной барже, только покрупнее — морской, в этапе из Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из Пятьдесят Восьмой оказали сопротивление блатным {сукам], которых было человек около восьмидесяти (и, как всегда, не без ножей). Эти суки обыскали весь этап ещё на владивостокской пересылке «Три–десять», они обыскивают очень тщательно, никак не хуже тюремщиков, все потайки знают,

но ведь ни при каком шмоне никогда не находится всё. Зная это, они уже в трюме обманом объявили: «У кого есть деньги — можно купить махорки». И Миша Грачёв вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. Сука Володька–Татарин крикнул ему: «Ты что ж, падло, налогов не платишь?» И подскочил отнять. Но армейский старшина Павел (а фамилия не сохранилась) оттолкнул его. Володька–Татарин сделал рогатку в глаза, Павел сбил его с ног. Подскочило сук сразу человек 20–30, — а вокруг Грачёва и Павла встали Володя Шпаков, бывший армейский капитан; Серёжа Потапов; Володя Реунов, Володя Третюхин, тоже бывшие армейские старшины; и Вася Кравцов. И что ж? Дело обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и подлинная трусость блатных (всегда прикрытая их наигранным напором и развязностью), или помешала им близость часового (это было под самым люком), а они ехали и берегли себя для более важной общественной задачи — они ехали перехватить у честных воров Александровскую пересылку (ту самую, которую описал нам Чехов) и Сахалинскую стройку (не затем перехватить, разумеется, чтобы строить), — но они отступили, ограничась угрозой: «На земле —мусор из вас

будет!» (Бой так и не состоялся, и «мусора» из ребят не сделали. На Александровской пересылке сук ждала неприятность: она уже была захвачена «честными».)

В пароходах, идущих на Колыму, устраивается всё похоже, как и в баржах, только всё покрупнее. Ещё и сейчас, как ни странно, сохранились в живых кое–кто из арестантов, этапированных туда с известной миссией «Красина» весной 1938 в нескольких старых пароходах–галошах — «Джурма»,

«Кулу», «Невострой», «Днепрострой», которым «Красин» пробивал весенние льды. Тоже оборудованы были в холодных грязных трюмах три яруса, но ещё на каждом ярусе —двухэтажные нары из жердей. Не всюду было темно: кое–где коптилки и фонари. Отсеками поочерёдно выпускали и гулять на палубу. В каждом пароходе везли по три–четыре тысячи человек. Весь рейс занял больше недели, за это время заплесневел хлеб, взятый во Владивостоке, и этапную норму снизили с 600 граммов до 400. Кормили рыбой, а питьевой воды… Ну да, да, нечего злорадствовать, с водой были временные трудности. По сравнению с речными этапами здесь ещё были штормы, морская болезнь, обессиленные измож-

дённые люди блевали и не в силах были из этой блевотины встать, все полы были покрыты её тошнотворным слоем.

По пути был некий политический эпизод. Суда должны были пройти пролив Лаперуза—близ самых японских островов. И вот исчезли пулемёты с судовых вышек, конвоиры переоделись в штатское, трюмы задраили, выход на палубу запретили. А по судовым документам ещё из Владивостока было предусмотрительно записано, что везут, упаси боже, не заключённых, а завербованных на Колыму. Множество японских судёнышек и лодок юлили около кораблей, не подозревая. (А с «Джурмой» в другой раз, в 1939, такой был случай: блатные из трюма добрались до каптёрки, разграбили её, а потом подожгли. И как раз это было около Японии. Повалил из «Джурмы» дым, японцы предложили помощь, —но капитан отказался и даже не открыл люков! Отойдя от японцев подале, трупы задохнувшихся от дыма потом выбрасывали за борт, а обгоревшие полуиспорченные продукты сдали в лагеря для пайка заключённых.)

С тех пор идут десятилетия, но сколько случаев на мировых морях, где, кажется, не зэков уже возят, а советские граждане терпят бедствие, —

однако из той же закрытости, выдаваемой за национальную гордость, отказываются от помощи! Пусть нас акулы лопают, только б не вашу руку принять! Закрытость и есть наш рак.

Перед Магаданом караван застрял во льду, не помог и «Красин» (было слишком рано для навигации, но спешили доставить рабочую силу). Второго мая выгрузили заключённых на лёд, не дойдя берега. Приезжим открылся маловесёлый вид тогдашнего Магадана: мёртвые сопки, ни деревьев, ни кустарника, ни птиц, только несколько деревянных домиков да двухэтажное здание Дальстроя. Всё же играя в исправление, то есть делая вид, что привезли не кости для умощения золотоносной Колымы, а временно изолированных советских граждан, которые ещё вернутся к творческой жизни, — их встретили дальстроевским оркестром. Оркестр играл марши и вальсы, а измученные полуживые люди плелись по льду серой вереницей, волокли свои московские вещи (этот сплошь политический огромный этап почти ещё не встречал блатных) и несли на своих плечах других полуживых — ревматиков или безногих (безногим тоже был срок).

Но вот я замечаю, что сейчас начну повторяться, что скучно будет писать и скучно будет

читать, потому что читатель уже знает всё наперёд: теперь их повезут грузовиками на сотни километров и ещё потом будут пешком гнать десятки. И там они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках.

Да, так. А пока, в первые дни, их расположат тут, в Магадане, тоже в заполярных палатках, тут их будут комиссовать, то есть осматривать голыми и по состоянию зада определять их готовность к труду (и все они окажутся годными). И ещё, конечно, их поведут в баню и в предбаннике велят им оставить их кожаные пальто, романовские полушубки, шерстяные джемперы, костюмы тонкого сукна, бурки, сапоги, валенки (ведь это приехали не тёмные мужики, а партийная верхушка—редакторы газет, директора трестов и заводов, сотрудники обкомов, профессора политэкономии, уж они все в начале тридцатых годов знали толк в вещах). «А кто будет охранять?» — усумнятся новички. «Да кому нужны ваши вещи? — оскорбится обслуга. — Заходите, мойтесь спокойно». И они зайдут. А выход будет в другие двери, и там они получат чёрные хлопчатобумажные брюки и гимнастёрки, лагерные

телогрейки без карманов, ботинки из свиной кожи. (О, это не мелочь! Это расставание со своей прежней жизнью — и со званиями, и должностями, и гонором.) «А где наши вещи?!» — взвопят они. «Ваши вещи — дома остались! — рявкнет на них какой–то начальник. — В лагере не будет ничего вашего. У нас в лагере—коммунизм! Марш, направляющий!»

Но если «коммунизм» — что ж тут им было возразить? Ему ж они и отдали жизни…

* * *

А ещё есть этапы — на подводах и просто пешие. Помните, в «Воскресении» — гнали в солнечный день от тюрьмы и до вокзала. В Минусинске же, в 194…, после того как целый год не выводили даже на прогулку, люди отучились ходить, дышать, смотреть на свет, — вывели, построили и погнали двадцать пять километров до Абакана. С десяток человек дорогой умерло. Великого романа, ни даже главы его, об этом написано не будет: на погосте живучи, всех не оплачешь.

Пеший этап — это дедушка железнодорожного, дедушка вагон–зака и дедушка «краснух». В наше время он всё меньше применяется, только там, где ещё невозможен механический транс-

порт. Так из блокадного Ленинграда на каком–то ладожском участке доставляли осуждённых до краснух (женщин вели вместе с пленными немцами, а наших мужчин отделяли от женщин штыками, чтоб не отняли у них хлеба. Падающих тут же разували и кидали на грузовик — живого ли, мёртвого). Так в 30–е годы отправляли с Котласской пересылки каждый день этап в сто человек до Усть–Выми (около 300 километров), а иногда и до Чибью (более пятисот). Однажды в 1938 гнали так и женский этап. В этих этапах проходили в день 25 километров. Конвой шёл с одной–двумя собаками, отстающих подгонял прикладами. Правда, вещи заключённых, котёл и продукты везли сзади на подводах, и этим этап напоминал классические этапы прошлого века. Были и этапные избы—разорённые дома раскулаченных с выбитыми окнами, сорванными дверьми. Бухгалтерия Котласской пересылки выдавала этапу продуктов на теоретически–расчётное время, если всё в пути будет гладко, и никогда ни на день лишний (общий принцип всякой нашей бухгалтерии). При задержках же в пути — продукты растягивали, кармливали болтушкой из ржаной муки без соли, а то и вовсе ничем. Здесь было некоторое отступление от

классики.

В 1940 этап, где шёл А. Я. Оленёв, после барж погнали пешком по тайге (от Княж–Погоста на Чибью) — и вовсе не кормя. Пили болотную воду, быстро несла их дизентерия. Падали без сил — собаки рвали одежду упавших. В Ижме ловили рыбу брюками и поедали живой. (И с какой–то поляны им объявили: тут будете строить железную дорогу Котлас— Воркута!)

И в других местах нашего европейского Севера пешие этапы гонялись до тех пор, пока по тем же маршрутам, по насыпям, теми же первичными арестантами проложенным, не побежали весёлые красные вагоны, везя вторичных арестантов.

У пеших этапов есть своя техника, её разрабатывают там, где приходится перегонять почасту и помногу. Когда таёжной тропой ведут этап от Княж–Погоста до Весляны и вдруг какой–то заключённый упал и дальше идти не может — что делать с ним? Разумно подумайте — что? Не останавливать же весь этап. И на каждого упавшего и отставшего не оставлять же по стрелку—стрелков мало, заключённых много. Значит?.. Стрелок остаётся с ним ненадолго, потом нагоняет поспешно, уже один.

Долгое время держались постоянные пешие этапы из Карабаса в Спасск. Всего там 35–40 километров, но прогнать надо в один день, и человек тысячу зараз, и среди них много ослабевших. Здесь ожидается, что будут многие падать и отставать с той предсмертной нехотью и безразличием, что хоть стреляй в них, а идти они не могут. Смерти они уже не боятся, —но палки? но неутомимой палки, всё снова бьющей их по чём попало? — палки они побоятся и пойдут! Это проверено, это — так. И вот колонна этапа охватывается не только обычной цепью автоматчиков, идущих от неё в пятидесяти метрах, но ещё и внутренней цепью солдат невооружённых, но с палками. Отстающих бьют (как, впрочем, предсказывал и товарищ Сталин), бьют и бьют—а они иссилива–ются, но идут! —и многие из них чудом доходят! Они не знают, что это — палочная проверка и что тех, кто уже и под палками всё равно лёг и не идёт, —тех забирают идущие сзади телеги. Опыт организации! (Могут спросить: а почему бы не сразу всех на телеги?.. А где их взять, и с лошадьми? У нас ведь трактора. Да и почём ныне овёс?..) Эти этапы густо шли в 1948–50 годах.

А в 20–е годы пеший этап был один из основ-

ных. Я был мальчишкой, но помню их хорошо, по улицам Ростова–на–Дону их гнали не стесняясь. Кстати, знаменитая команда «…открывает огонь без предупреждения!» тогда звучала иначе, опять–таки из–за другой техники: ведь конвой часто бывал только с шашками. Командовали так: «Шаг в сторону — конвой, стреляй, руби!» Это сильно звучит — «стреляй, руби!» Так и представляешь, как тебе сейчас разрубят голову сзади.

Да даже и в 1936 в феврале по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами в самотканых зипунах, в лаптях и онучах — «Русь уходящая»… И вдруг наперерез—три автомобиля с председателем ВЦИКа Калининым. Этап остановили. Калинин проехал, не заинтересовался.

Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колёс? Это идут вагон–заки. Это идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода — это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронков. Всё время кого–то ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры пересылок. А этот вой? — жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых.

Мы пересмотрели все способы доставки — и

нашли, что все они — хуже. Мы оглядели пересылки — но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше, — ложная надежда.

В лагере будет — хуже.

Глава 4. С ОСТРОВА НА ОСТРОВ

А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров Архипелага. Это называется — спецконвой. Это — самый нестеснённый вид перевозки, он почти не отличается от вольной езды. Переезжать так достаётся немногим. Мне же в моей арестантской жизни припало три раза.

Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со спецнарядом, который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядник чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути (тем более разительные). Например, едет латыш Анс Бернштейн по спецнаряду с Севера на Нижнюю Волгу, на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут «шаг вправо, шаг влево...» — и вдруг ссаживают на маленькой станции Занзе–ватка, и встречает его там одинокий спокойный надзиратель безо всякого ружья. Он зевает: «Ладно, ночевать у меня будешь, а до завтрева пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь». И Анс — гуляет! Да вы понимаете

ли, что значит — гулять человеку, у которого срок десять лет, который уже с жизнью прощался сколько раз, у которого сегодня утром ещё был ва–гон–зак, а завтра будет лагерь, — сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масла и дынь, собираются уходить. Он идёт вбок три, четыре и пять шагов, и никто не кричит ему «стой!», он неверящими пальцами трогает листики акаций и почти плачет.

А спецконвой — весь такое диво, от начала до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, догола не раздеваться, на землю задом не садиться и даже обыска никакого не будет. Конвой приступает к тебе дружески и даже называет на «вы». Вообще–то, предупреждает он, при попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако поедемте просто, держитесь легко, не давайте понять, что вы — заключённый. (Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности и интересы государства полностью совпадают.)

Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами (от хватки инструмента они у меня перестали разгибаться)

жался на разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвёл меня от развода и со внезапным уважением сказал: «Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел…»

Я обомлел. Ушёл развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили: «навешивать будут новый срок», другие говорили: «на освобождение». Но все сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой–то тип и давал заполнять учётные карточки ГУЛАГа (после войны эту работу начали по ближайшим лагерям, но кончили вряд ли). Важнейшая графа там была «специальность». И чтоб цену себе набить, писали зэки самые золотые гулаговские специальности: «парикмахер», «портной», «кладовщик», «пекарь». А я прищурился и написал: «ядерный физик». Ядерным физиком я отроду не был, только до войны слушал что–то в университете, названия атомных частиц и параметров знал — и решился так написать. Был год 1946, атомная бомба была нужна позарез. Но я сам той карточке значения не придал, забыл.

Это—глухая, совершенно недостоверная, никем не подтверждённая легенда, которую нет–нет да

и услышишь в лагерях: что где–то в этом же Архипелаге есть крохотные Райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был — молчит, не высказывается. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах, ниже как сметаной и яйцами там не кормят; там чистенько, говорят, всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная.

И вот на те–то Райские острова (в арестантском просторечии— шарашки) я на полсрока и попал. Им–то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю (уж есть о них роман). Вот с тех–то островов с одного на другой, со второго на третий меня и перевозили спецконвоем: двое надзирателей да я.

Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем.

Ты окунаешься в гущу воли, толкаешься в станционном зале. Успеваешь проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском «диване» и слушаешь странные и

ничтожные разговоры: о том, что какой–то муж бьёт жену или бросил её; а свекровь почему–то не уживается с невесткой; а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног; а кто–то кому–то мешает по службе; а кого–то зовут в хорошее место, но он не решается на переезд: как это с места сниматься, легко ли? Ты всё это слушаешь — и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове: тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной! мера всех слабостей и страстей! — а этим грешникам никак не дано её увидеть. Истинно жив, подлинно жив только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими.

И — незаполнимая бездна между вами! Ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя, ни потрясти их за плечи: ведь ты — дух, ты — призрак, а они — материальные тела.

Как же внушить им — прозрением? видением? во сне? — братья! люди! Зачем дана вам жизнь?! В глухую полночь распахиваются двери смертных камер — и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селёдки горькими языками сухие губы, они грезят о счастьи распрямлённых ног, об успокоении после оправ-

ки. На Колыме только летом на метр отмерзает земля — и лишь тогда в неё закапывают кости умерших за зиму. А у вас — под голубым небом, под горячим солнцем есть право распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя — какое ж электричество в коридоре? при чём тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки её—хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным—за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды, и не томитесь по счастью, всё равно ведь: и горького не довеку, и сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам ещё завидовать? зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердца — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре: ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь

в их памяти!..

Но конвоиры поглаживают в карманах чёрные ручки пистолетов. И мы сидим втроём рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья.

Я тру лоб, я закрываю глаза, открываю — опять этот сон: никем не конвоируемое скопище людей. Я твердо помню, что ещё сегодня ночевал в камере и завтра буду в камере опять. А тут какие–то контролёры со щипчиками: «Ваш билет!» — «Вон, у товарища».

Вагоны полны (ну, по–вольному «полны» — под скамейками никто не лежит, и на полу в проходах не сидят)... Мне сказано— держаться просто, я и держусь куда проще: увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоирам в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюблёнными глазами за мной следят. В Переборах освобождается место через столик против меня, но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке, меховой шапке, с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан этот я узнал: лагерного изготовления, made in Архипелаг.

«фу–у–уф», — отдувается парень. Света мало, но вижу: он раскраснелся весь, посадка была с дракой. И достаёт флягу: «Пивка выпьешь, товарищ?»

Я знаю, что мой конвоир изнемогает в соседнем купе: не должен же я пить алкогольного, нельзя! Но — держаться надо просто. И я говорю небрежно: «Да налей, пожалуй». (Пиво?? Пиво!! За три года я его не выпил ни глоточка! Завтра в камере буду хвастать: пиво пил!) Парень наливает, я с содроганием пью. Уже темно. Электричества в вагоне нет, послевоенная разруха. В старом фонаре в дверной перегородке горит один свечной огарок, на четыре купе сразу: на два вперёд и два назад. Мы с парнем приятельски разговариваем, почти не видя друг друга. Как ни перегибается мой конвоир — ничего ему не слышно за стуком вагона. У меня в кармане — открытка домой. Сейчас объясню моему простецкому собеседнику, кто я, и попрошу опустить в ящик. Судя по чемодану, он и сам сидел. Но он опережает меня: «Знаешь, еле отпуск выпросил. Два года не пускали, такая служба собачья». — «Какая же?» — «Да ты не знаешь. Я — асмодей, голубые погоны, никогда не видал?» Тьфу, пропасть, как же я сразу не догадался: Переборы — центр Волголага, а чемодан он изнудил из зэков, бесплатно ему сделали. Как же проткало это нашу жизнь: на два купе два асмодея уже мало! — третий сел. А может, и четвёртый где притаился? А может,

они в каждом купе?.. А может, ещё кто из наших едет спецконвоем?..

Мой парень все скулит, жалуется на судьбу. Тогда я возражаю ему загадочно: «А кого ты охраняешь, кто по десять лет ни за хрен получил — тем легче?» Он сразу оседает и замолкает до утра: в полутьме он и прежде неясно видел, что я в каком–то полувоенном — шинель, гимнастёрка. Он думал — просто вояка, а теперь шут его знает: может, я — оперативник? беглецов ловлю? зачем я в этом вагоне? а он лагеря при мне ругал…

Огарок в фонаре заплывает, но всё ещё горит. На третьей багажной полке какой–то юноша приятным голосом рассказывает о войне — настоящей, о какой в книгах не пишут, был сапёром, рассказывает случаи, верные с правдой. И так приятно, что вот незагражденная правда всё же льётся в чьи–то уши.

Мог бы рассказать и я… Я бы даже хотел рассказать!.. Нет, пожалуй, уже не хочу. Четыре года моей войны как корова слизнула. Уже не верю, что это было, и вспоминать не хочу. Два года здесь, два года Архипелага, затмили для меня фронтовые дороги, всё затмили. Клин вышибается клином.

И вот, проведя лишь несколько часов среди вольных, я чувствую: уста мои немы, мне нечего делать среди них, мне — связанно здесь. Хочу — свободной речи! хочу — на родину! хочу — к себе на Архипелаг!

Утром я забываю открытку на верхней вагонной полке: ведь будет кондукторша протирать вагон, снесёт её в ящик, если человек…

Мы выходим на площадь с Ярославского вокзала. Надзиратели мои опять попались новички, Москвы не знают. Поедем трамваем «Б», решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки — свалка, время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоновожатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы важно стоим весь путь и билетов не берём. Старика не пускают: не инвалид, через заднюю влезешь!

Мы подъезжаем к Новослободской, сходим — и первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне, хотя четвёртый раз уже меня в неё привозят, и без труда я могу начертить её внутренний план. У, какая суровая высокая стена на два квартала! Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары, как

домой иду через сводчатую башенку вахты, улыбаюсь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери—и ничто мне, что сейчас поставят — вот уже поставили — лицом к стене и спрашивают: «фамилия? имя–отчество?., год рождения?..»

Фамилия!.. Я—Межзвёздный Скиталец! Тело моё спеленали, но душа — не подвластна им.

Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и бани — я введен буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине (все камеры такие), с двумя большими окнами, одним длинным столом–шкафом — и встречу неизвестных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть.

А на мисках будет выбито (чтоб на этап не увезли): «Бу–Тюр». Санаторий БуТюр, как мы смеялись тут прошлый раз. Санаторий, мало известный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск, там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить два–три

килограмма. В санатории же БуТюр, совсем под боком, любой бы из них похудел на полпуда в неделю безо всяких упражнений.

Это — проверено. Это — не имело исключений.

* * *

Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, — та, что мир тесен, просто очень уж тесен. Правда, Архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на всё то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в Архипелаге — добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше двенадцати миллионов (одни уходили в землю, Машина приволакивала новых). И не больше половины из них было политических. Шесть миллионов? — что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Немудрено же, что попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись — и обязательно найдёшь с однокамерниками общих знакомых. (Да что там, если Долган, в одних одиночках год пересидев, попадает после Сухановки, после рюминских избиений и больницы, в лубянскую камеру, называет себя — и шустрый Ф. сразу ему навстречу: «А–а, так

я вас знаю!» — «Откуда? — дичится Долган. — Вы ошибаетесь». — «Ничуть. Ведь это вы тот самый американец Александр Долган, о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАСС опровергало. Я был на воле и читал».)

Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького (не новичка — тот входит подавленно, смущённо, а — уже сидело го зэка). И сам люблю входить в новую камеру (впрочем, Бог помилуй, больше бы и не входил) — беззаботная улыбка, широкий жест: «Здорово, братцы! — Бросил свой мешочек на нары. — Ну, какие новости за последний год в Бу–тырках?»

Начинаем знакомиться. Какой–то парень, Суворов, 58–я статья. На первый взгляд ничем не примечателен, но лови, лови: на Красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин…

— Позвольте, не полярный лётчик?

— Да–да, его имени…

— …остров в Таймырском заливе. А сам он сидит по 58–10. Так скажите, значит, пустили его в Дудинку? —Откуда вы знаете? Да.

Прекрасно. Ещё одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда, может быть, и не встре-

чу, но деятельная память всё отложила, что я знаю о нём: Махоткин получил червонец, а остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира (это же — не гулаговский остров). Его взяли на авиационную шарашку в Болшево, он там томился, лётчик среди инженеров, летать же не дадут. Ту шарашку делили пополам, Махоткин попал в таганрогскую половину, и кажется, все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальний Север.

Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это — ни за чем, но я всё запомнил. А через десять дней я окажусь в одном бутырской банном боксе (есть такие премиленькие боксы в Бутырках с кранами и шайкой, чтобы большой бани не занимать) ещё с неким Р. Этого Р. я тоже не знаю, но, оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на рыбинскую шарашку. Ещё три дня — и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф: внимание, память и встречи.

А этот симпатичный мужчина в роговых очках? Гуляет по камере и приятным баритоном

напевает Шуберта:

И юность вновь гнетёт меня, И долог путь к могиле…

— Царапкин, Сергей Романович.

— Позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог? Невозвращенец? Из Берлина?

— Откуда вы знаете?

— Ну как же, мир тесен! В сорок шестом году с Николаем Владимировичем Тимофеевым–Ресовским…

…Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?.. Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки по загадочному «распоряжению министра внутренних дел». Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что одиннадцать часов шли приёмные процедуры, и только в три часа ночи, заморенного боксами, меня впустили в 75–ю камеру. Освещенная из–под двух куполов двумя яркими электрическими лампами, камера спала вповалку, мечась от духоты: жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подёргивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света. Остро пахла параша—разложение ускорялось в такой жаре. В

камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, человек 80. Лежали сплошь на нарах слева и справа и на дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из–под нар торчали ноги, а традиционный бутырский стол–шкаф был сдвинут к параше. Вот тут–то и был ещё кусочек свободного пола, и я лёг. Вставшие к параше так до утра и переступали через меня.

По команде «подъём!», выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать — новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречается два потока: обычный поток свежеосуждённых, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь специалистов — физиков, химиков, математиков, инженеров–конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие–то благополучные научно–исследовательские институты. (Тут я успокоился, что министр не будет мне доматывать срока.) Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть–чуть закруглённым под ястреба:

— Профессор Тимофеев–Ресовский, президент

научно–технического общества 75–й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое–нибудь научное сообщение? Какое именно?

Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). Пальцы мои ещё не разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи принесенная с воли книга — официальный отчёт военного министерства США о первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере её ещё не видел? Пустой вопрос, конечно нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться на ту самую атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе.

После пайки собралось у левого окна научно–техническое общество человек из десяти, я сделал своё сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого не мог до–понять, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа.

Пустая папиросная пачка была моей доской, в руке — незаконный обломок грифеля. Николай Владимирович всё это у меня отбирал, и чертил, и перебивал своим так уверенно, будто он был физик из лос–аламосской группы.

Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но для облучения мух–дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности. Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том (а может быть и зная), имел смелость написать для канадского журнала: «русская биология не отвечает за Лысенко, русская биология — это Тимофеев–Ресовский» (во время разгрома биологии в 1948 Жебраку это припомнили). Шрёдингер в брошюре «Что такое жизнь» нашёл место дважды процитировать Тимофеева–Ресовского, уже давно сидевшего.

А он вот был перед нами и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он обладал той широтой, которую учёные следующих поколений даже и не хотят иметь (или изменились возможности охвата?). Хотя сейчас он так был измотан голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегки. По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же — боковой потомок Степана Разина,

и эта казацкая могута очень в нём чувствовалась— в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.

А история была та, что в 1922 году немецкий учёный Фогт, создавший в Москве институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных окончивших студентов. Так Тимофеев–Ресовский и друг его Царапкин были посланы в командировку, не ограниченную временем. Хоть они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели собственно в науке, и когда в 1937 (!) году им велели вернуться на родину, это оказалось для них инерционно–невозможным: они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников. И, пожалуй, ещё не могли потому, что на родине теперь надо было бы публично облить дерьмом всю свою пятнадцатилетнюю работу в Германии, и только это дало бы им право существовать (да и дало ли бы?). Так они стали невозвращенцами, оставаясь, однако, патриотами.

В 1945 советские войска вошли в Бух (северо–восточное предместье Берлина), Тимофеев–Ресовский встретил их радостно и целеньким

институтом: всё решалось как нельзя лучше, теперь не надо расставаться с институтом! Приехали представители, походили, сказали: «У–гм, пакуйте всё в ящики, повезём в Москву». — «Это невозможно! —отпрянул Тимофеев. — Всё погибнет! Установки налаживались годами!» — «Гм–м–м...» — удивилось начальство. И вскоре Тимофеева и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивные, они думали, что без них институт не будет работать. Хоть и не работай, но да восторжествует генеральная линия! На Большой Лубянке арестованным легко доказали, что они изменники родины (-е?), дали по десять лет, и теперь президент научно–технического общества 75–й камеры бодрился, что он нигде не допустил ошибки.

В бутырских камерах дуги, держащие нары, очень низкие: даже тюремной администрации не приходило в голову, что под ними будут спать арестанты. Поэтому сперва бросаешь соседу шинель, чтоб он там её разостлал, затем ничком ложишься на полу в проходе и подползаешь. По проходу ходят, пол под нарами подметается разве что в месяц раз, руки помоешь ты только на вечерней оправке, да и то без мыла, — нельзя сказать, чтоб тело своё ты ощущал как сосуд Божий.

Но я был счастлив! Там, на асфальтовом полу под нарами, в собачьем заползе, куда с нар сыпались нам в глаза пыль и крошки, я был абсолютно, безо всяких оговорок счастлив. Правильно высказал Эпикур: и отсутствие разнообразия может ощущаться как удовольствие после предшествующих разнообразных неудовольствий. После лагеря, казавшегося уже нескончаемым, после десятичасового рабочего дня, после холода, дождей, с наболевшей спиной — о, какое счастье целыми днями лежать, спать и всё–таки получать 650 граммов хлеба и два приварка в день — из комбикорма, из дельфиньего мяса. Одно слово — санаторий БуТюр.

Спать! — это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать! Во время сна ты не расходуешь сил и не терзаешь сердца — а срок идёт, а срок идёт! Когда трещит и брызжет факелом наша жизнь, мы проклинаем необходимость восемь часов бездарно спать. Когда же мы обездолены, обезнадёжены — благословение тебе, сон четырнадцатичасовой!

Но в той камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год вперёд, за это время подвинулся под нарами до окна и снова вернулся к параше, уже на нары, и на нарах дошёл до арки.

Я уже мало спал—хлебал напиток жизни и наслаждался. Утром научно–техническое общество, потом шахматы, книги (их, путёвых, три–четыре на восемьдесят человек, за ними очередь), двадцать минут прогулки — мажорный аккорд! мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает идти под проливным дождём. А главное — люди, люди, люди! Николай Андреевич Семёнов, один из создателей ДнепроГЭСа. Его друг по плену инженер Фёдор Фёдорович Карпов. Язвительный находчивый Виктор Каган, физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, дремучий, как лесное озеро. Эн–те–эсовец из Европы Евгений Иванович Дивнич. Он и православный проповедник, но не остаётся в рамках богословия, он поносит марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьёз, — и я выступаю на защиту, ведь я марксист. Ещё год назад как уверенно я б его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался! Но этот первый арестантский год наслоился во мне — когда это произошло? я не заметил — столькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу говорить: их нет! это буржуазная ложь! Теперь я должен признавать: да, они есть.

И тут сразу же слабеет цепь моих доводов, и меня бьют почти шутя.

И опять идут пленники, пленники, пленники—поток из Европы не прекращается второй год. И опять русские эмигранты— из Европы и из Маньчжурии. С эмигрантами ищут знакомых так: из какой вы страны? а такого–то знаете? Конечно знает. (Тут я узнаю о расстреле полковника Ясевича.)

И старый немец — тот дородный немец, теперь исхудалый и больной, которого в Восточной Пруссии я когда–то (двести лет назад?) заставлял нести мой чемодан. О, как тесен мир!.. Надо ж было нам увидеться! Старик улыбается мне. Он тоже узнал и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему 10 лет, но жить осталось меньше гораздо… И ещё другой немец—долговязый, молодой, но, оттого ли что по–русски ни слова не знает, — безотзывный. Его и за немца не сразу признаешь: немецкое с него содрали блатные, дали на сменку вылинявшую советскую гимнастёрку. Он — знаменитый немецкий ас. Первая его кампания была — война Боливии с Парагваем, вторая — испанская, третья — польская, четвёртая — над Англией, пятая — Кипр, шестая — Советский Союз. Поскольку он—ас, не мог же он не расстре-

ливать с воздуха женщин и детей! — военный преступник, 10 лет и 5 намордника. —И конечно, есть на камеру один благомысл (вроде прокурора Кретова): «Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение пойдёте!» — «И ты же, собака, на удобрение!»— кричат ему. «Нет, моё дело пересмотрят, я осуждённевинно!» Камера воет, бурлит. Седовласый учитель русского языка встаёт на нарах, босой, и как новоявленный Христос простирает руки: «Дети мои, помиримся!.. Дети мои!» Воют и ему: «В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети!» Только — сыновья ГУЛАГа…

После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев–Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто–то читал лекцию о Корбюзье, кто–то — о нравах пчёл, кто–то —о Гоголе. Тут и курили во все лёгкие! Дым заполнял камеру, колебался, как туман, в окно не было тяги из–

за намордника. Выходил к столу Костя Киула, мой сверстник, круглолицый, голубоглазый, даже нескладисто смешной, и читал свои стихи, сложенные в тюрьме. Его голос переламывался от волнения. Стихи были: «Первая передача», «Жене», «Сыну». Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же, ты не думаешь о том, отступил ли автор от силлабо–тонической системы и кончаются ли строки ассонансами или полными рифмами. Эти стихи — кровь твоего сердца, слезы твоей жены. В камере плакали [168].

С той камеры потянулся и я писать стихи о тюрьме. А там я читал вслух Есенина, почти запрещённого до войны. Молодой Бубнов — из пленников, а прежде, кажется, недоучившийся студент, смотрел на чтецов молитвенно, по лицу разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря, а в лагерь, и скорее всего — по чистоте и прямоте своего характера — чтобы там умереть, такие там не живут. И эти вечера в 75–й камере были для него и для других — в затормозившемся смертном сползании внезапный образ того прекрасного мира, который есть и — будет,

[168] Примечания: 168
Не откликается, гинул Костя Киула. Боюсь, что нет его в живых.

но в котором ни годика, ни молодого годика не давала им пожить лихая судьба.

Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам: «Ат–бой!» Нет, и до войны, учась в двух ВУЗах сразу, ещё зарабатывая репетиторством и порываясь писать, — кажется,и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких загруженных дней, как в 75–й камере в то лето…

… — Позвольте, — говорю я Царапкину, — но с тех пор от некоего Деуля, мальчика, в шестнадцать лет получившего пятёрку (только не школьную) за «антисоветскую агитацию»…

— Как, и вы его знаете?.. Он ехал с нами в одном этапе в Караганду…

— …я слышал, что вы устроились лаборантом по медицинским анализам, а Николай Владимирович был всё время на общих…

— И он очень ослабел. Его полумёртвого везли из вагона в Бутырки. Теперь он лежит в больнице, и от Четвёртого Спецотдела [169] ему выдают сливочное масло, даже вино, но встанет ли он на ноги — сказать трудно.

— Четвёртый Спецотдел вас вызывал?

— Да. Спросили, не считаем ли мы всё–таки

---

[169] Примечания: 169

Четвёртый Спецотдел МВД занимался разработкой научных проблем силами заключённых.

возможным после шести месяцев Караганды заняться налаживанием нашего института на земле отечества.

— И вы бурно согласились?

— Ещё бы! Ведь теперь мы поняли свои ошибки. К тому же всё оборудование, сорванное с мест и заключённое в ящики, приехало и без нас.

— Какая преданность науке со стороны МВД! Очень прошу вас, ещё немножко Шуберта!

И Царапкин напевает, грустно глядя в окна (в его очках так и отражаются тёмные намордники и светлые верхушки окон):

Vom Abendrot zum Morgenlicht War mancher Kopf zum Greise. Wer glaubt es? meiner ward es nicht Auf dieser ganzen Reise [170].

* * *

Мечта Толстого сбылась: арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем.

---

[170] Примечания: 170

Принятый перевод (С.С. Заяицкого):
Иной лишь ночь одну страдал, А поседел к рассвету. Как странно, я седым не стал, Всю жизнь бродя по свету.

В Бутырской церкви помещается таким образом лишних две тысячи человек — а за год пройдет и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две недели.

Попадая в Бутырки в четвёртый или в пятый раз, уверенно спеша двором, обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо (так лошадь без кнута и вожжей спешит домой, где ждёт её овёс), — я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь, переходящую в осьмерик. Она стоит особо посреди квадратного двора. Её намордники совсем уже не техничны, не стеклоарматурны, как в основной тюрьме, — это посеревший подгнивающий тёс, указывающий на второсте–пенность здания. Там как бы внутрибутырская пересылка для свежеосуждённых.

А когда–то, в 45–м году, я переживал как большой и важный шаг: после приговора ОСО нас ввели в церковь (самое время, не худо бы и помолиться!), взвели на второй этаж (там нагорожен был и третий) и из осьмигранного вестибюля растолкали по разным камерам. Меня впустили в юго–восточную.

Это была просторная квадратная камера, в которой держали в то время двести человек. Спали,

как всюду, на нарах (они одноэтажные там), под нарами и просто в проходах, на плитчатом полу. Не только намордники на окнах были второстепенные, но и всё содержалось здесь как бы не для сынов, а для пасынков Бутырок: в эту копошащуюся массу не давали ни книг, ни шахмат и шашек, а алюминиевые миски и щерблёные битые деревянные ложки забирали тоже от еды до еды, опасаясь, как бы их не увезли впопыхах этапов. Даже кружек и тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланды и из них же лакали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому падало счастье–несчастье получить передачу от родных (а в эти последние дни перед далёким этапом родные на скудеющие средства старались обязательно что–то передать). Родственники сами не имели тюремного образования, и в приёмной тюрьмы никакого доброго совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовой посуды, единственной дозволенной арестанту, но — стеклянную или железную. Через кормушку камеры все эти мёды, варенья, сгущённое молоко безжалостно выливались и выскребались из банок в то, что есть у арестантов, а в церковной камере у него ничего нет, значит, просто в ладони, в рот,

в носовой платок, в полу одежды — по ГУЛАГу вполне нормально, но для центра Москвы? И при всём том — «скорей, скорей!» — торопил надзиратель, как будто к поезду опаздывал (а торопил потому, что и сам ещё рассчитывал облизать отбираемые банки). В церковных камерах всё было временное, лишённое и той иллюзии постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на Красной Пресне не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь льгота — ходить самим трижды в день за баландою (здесь не было в день ни каши, но баланда — трижды, и это милосердно, потому что чаще, горячей и тяжелей в желудке). Льготу эту дали потому, что в церкви не было лифтов, как в остальной тюрьме, и надзиратели не хотели надрываться. Носить надо было тяжёлые большие баки издалека, через двор, и потом взносить по крутой лестнице, это было очень трудно, сил мало, а ходили охотно — только бы выйти лишний раз в зелёный двор и услышать пение птиц.

В церковных камерах был свой воздух: он уже чуть колыхался от предсквозняков будущих пересылок, от предвет–ра полярных лагерей. В

церковных камерах шёл обряд привыкания — к тому, что приговор свершился и нисколько не в шутку; к тому, что как ни жестока твоя новая пора жизни, но мозг должен переработаться и принять её. Это трудно давалось.

И не было здесь постоянства состава, который есть в следственных камерах, отчего те становятся как бы подобием семьи. Денно и нощно здесь вводили и выводили единицами и десятками, от этого всё время передвигались по полу и по нарам, и редко с каким соседом приходилось лежать дольше двух суток. Встретив интересного человека, надо было расспрашивать его не откладывая, иначе упустишь на всю жизнь.

Так я упустил автослесаря Медведева. Начав с ним разговаривать, я вспомнил, что фамилию его называл император Михаил. Да, он был его одноделец, один из первых читавших «Воззвание к русскому народу» и не донесших о том. Медведеву дали непростительно, позорно мало — всего лишь три года! — это по 58–й статье, по которой и пять лет считалось сроком детским. Видно, всё–таки императора сочли сумасшедшим, а остальных помиловали по классовым соображениям. Но едва я собрался узнать, как это всё понимает Медведев, — а его взяли «с вещами».

По некоторым обстоятельствам можно было сообразить, что взяли его на освобождение. Этим подтверждались те первые слухи о сталинской амнистии, которые в то лето доходили до нас, об амнистии никому, об амнистии, после которой даже под нарами не становилось просторнее.

Взяли на этап моего соседа—старого шуцбундовца (всем этим шуцбундовцам, задыхавшимся в консервативной Австрии, здесь, на родине мирового пролетариата, в 1937 году вжарили по десятке, и на островах Архипелага они нашли свой конец). И ко мне придвинулся смуглый человечек со смоляными волосами, с женственными глазами — тёмными вишнями, однако с укрупнённым расширенным носом, портившим всё лицо до карикатуры. С ним рядом мы пролежали сутки молча, на вторые у него был повод спросить: «За кого вы меня принимаете?» Говорил он по–русски свободно, правильно, но с акцентом. Я заколебался: было в нём кавказское как будто. Он улыбнулся: «Я легко выдавал себя за грузина. Меня звали Яша. Все смеялись надо мной. Я собирал профсоюзные взносы». Я оглядел его. Действительно комичная фигура: коротышка, лицо непропорциональное, беззлобная улыбка. И вдруг он напрягся, черты его стали отточенными,

глаза стянулись и как взмахом чёрной сабли полоса–нули меня:

— А я — разведчик румынского генерального штаба, лу–котенант Владимиреску!

И рассказал историю своей «работы» у нас в тылах, во время войны. Так ли, нет, но выглядело ярко.

Во всей этой длинной арестантской летописи больше не встретится подлинного шпиона. За одиннадцать лет тюрем, лагерей и ссылки единственная такая встреча у меня и была, а у других и одной–то не было. Многотиражные же наши комиксы дурачат молодёжь, что только таких людей и ловят Органы.

Достаточно было оглядеться в той церковной камере, чтобы понять, что саму–то молодёжь они в первую очередь и ловят. Война кончалась, можно было дать себе роскошь арестовывать всех, кого наметили: их не придётся уже брать в солдаты. Говорили, что с 1944 на 1945 год через Малую (областную) Лубянку прошла «демократическая партия». Она состояла, по молве, из полусотни мальчиков, имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту — ученик 10–го класса московской школы, был её «генеральный секретарь». — Мелькали и студенты в

московских тюрьмах в последний год войны, я встречал их там и здесь. Кажется, и я не был стар, но они — моложе…

Как же незаметно это подкралось! Пока мы — я, мой од–ноделец, мои сверстники — воевали четыре года на фронте, —а здесь росло ещё одно поколение! Давно ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми молодыми и самыми умными в стране и на земле?! — и вдруг по плитам тюремных камер подходят к нам бледные надменные юноши, и мы поражённо узнаём, что самые молодые и умные уже не мы — а они! Но я не был обижен этим, уже тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, всё знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не жалеют. В мурашках — шевеление тюремного ореола вокруг самовлюблённых и умных мордочек.

За месяц перед тем в другой бутырской камере, полубольничной, я ещё только вступил в проход, ещё места себе не увидел, —как навстречу мне вышел с предощущением разговора–спора, даже с мольбой о нём — бледно–жёлтый юноша с еврейской нежностью лица, закутанный, несмотря на лето, в трёпаную простреленную солдатскую

шинель: его знобило. Его звали Борис Гаммеров. Он стал меня расспрашивать, разговор покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я, не помню почему, упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, напечатанной в наших газетах, и оценил как само собой ясное:

— Ну, это, конечно, ханжество.

И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы насторожились, он как будто приподнялся и спросил:

— По–че–му? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может искренно верить в Бога?

Только всего и было сказано! Уж там каков Рузвельт, но — с какой стороны нападение? Услышать такие слова от рождённого в 1923 году?.. Я мог ему ответить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное: живёт в нас отдельно от убеждений какое–то чистое чувство, и оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение своё проговорил, а это в меня со стороны вложено. И — я не сумел ему возразить. Я только спросил:

— А вы верите в Бога?

— Конечно, — спокойно ответил он.

Конечно? Конечно… Да, комсомольская молодость уже облетает, облетает везде. И НКГБ среди первых заметило это.

Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал сержантом–противотанкистом на сорокапятках «прощай, Родина!», но и получил ранение в лёгкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулёзный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, — и так сплелись в нём две пряжи: одна — от солдатчины, другая — от совсем не глупой и совсем не мёртвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок размышляющих и рассуждающих о будущем (хотя это им не было никем поручено) — и вот оттуда намётанный глаз Органов отличил троих и выхватил. Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в 37–м году, и сын рвался на тот же путь. На следствии он с выражением прочёл следователю несколько своих стихотворений. (Я очень жалею, что ни одного из них не запомнил, и не могу теперь сыскать, я бы привёл здесь.)

На какие–то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами: ещё в одной бутырской камере я повидал Вячеслава Добровольского. Потом в Бутырской церкви нагнал меня и Георгий

Ингал, старший изо всех них. Несмотря на молодость, он уже был кандидат Союза писателей. У него было очень бойкое перо, он писал в контрастных изломах, перед ним при политическом смирении открылись бы эффектные и пустые литературные пути. У него уже был близок к концу роман о Дебюсси. Но первые успехи не выхолостили его, на похоронах своего учителя Юрия Тынянова он вышел с речью, что того затравили, — и так обеспечил себе 8 лет срока.

Тут нагнал нас и Гаммеров, и в ожидании Красной Пресни мне пришлось столкнуться с их объединённой точкой зрения. Это столкновение было трудным для меня. Я в то время был очень прилежен в том миропонимании, которое не способно ни признать новый факт, ни оценить новое мнение прежде, чем найдёт для него ярлык из готового запаса: то ли это—мятущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли — воинствующий нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтоб Ингал и Гаммеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого — и с какой стороны! Толстой отвергал Церковь? Но он не учитывал её мистической и организующей роли! Он отвергал библейское учение? Но для новейшей науки в Библии нет

противоречий, ни даже в первых строках её о создании мира. Он отвергал государство? Но без него будет хаос! Он проповедовал слияние умственного и физического труда в одном человеке? Но это — бессмысленная нивелировка способностей! И наконец, как мы видим по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим!

И в предтюремные, и в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер — и уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям— это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шёл стопой в указанную ленинскую стопу, и по советам Троцкого.

Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их ещё не было. Особенно же много они читали Пастернака, которого превозносили. Я когда–то читал «Сестра моя жизнь» и не полюбил, счёл далёким от простых человеческих путей. Но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде, и эта меня проняла, так подходила к нам:

Я тридцать лет вынашивал Любовь к родному

краю И снисхожденья вашего Не жду…

И не желаю. Гаммеров и Ингал так светло и были настроены: не надо нам вашего снисхождения! Мы не тяготимся посадкой, а гордимся ею! (Хотя кто ж способен истинно не тяготиться? Молодая жена Ингала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гаммерова же за революционными поисками ещё не было близкой.) Не здесь ли, в тюремных камерах, и обретается великая истина? Тесна камера, но не ещё ли теснее воля? Не народ ли наш, измученный и обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе?

Не встать со всею родиной Мне было б тяжелее И о дороге пройденной Теперь не сожалею.

Молодёжь, сидящая в тюремных камерах с политической статьёй, — это никогда не средняя молодёжь страны, а всегда намного ушедшая. В те годы всей толще молодёжи ещё только предстояло — «разложиться», разочароваться, оравнодушеть, полюбить сладкую жизнь, — а потом еще, может быть, может быть, из этой уютной седловинки начать горький подъём на новую вершину—лет через двадцать? Но молоденькие арестанты 45–го года со статьёй 58–10 всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним шагом — и бодро несли свои головы — вверх

под топор.

В Бутырской церкви уже осуждённые, отрубленные и отрешённые, московские студенты сочинили песню и пели её перед сумерками неокрепшими своими голосами:

…Трижды на день ходим за баландою, Коротаем в песнях вечера И иглой тюремной контрабандного Шьём себе в дорогу сидора.

О себе теперь мы не заботимся: Подписали — только б поскорей! И ко–гда? сюда е–щё во–ро–тимся?.. Из сибирских дальних лагерей?..

Боже мой, так неужели мы всё прозевали? Пока месили мы глину плацдармов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов — а тут ещё одна молодёжь выросла и тронулась! Да не туда ли она тронулась?.. Не туда ли, куда мы не могли б и осмелиться? — не так были воспитаны.

Наше поколение вернётся, сдав оружие и звеня орденами, рассказывая гордо боевые случаи, — а младшие братья только скривятся: эх вы, недотёпы!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТРЕБИТЕЛЬНО–ТРУДОВЫЕ

Только ети можут нас понимать, хто кушал разом с нами с одной чашки.

Из письма гуцулки, бывшей зэчки

То, что должно найти место в этой части, — неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях— в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря— на истребление.

Оттого: все, кто глубже черпанул, полнее изведал, — те в могиле уже, не расскажут. Главного об этих лагерях уже никто никогда не расскажет.

И непосилен для одинокого пера весь объём этой истории и этой истины. Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни. Но к счастью, ещё несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в «Колымских рассказах» Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния.

Да вкус–то моря можно отведать и от одного хлебка.

Глава 1. ПЕРСТЫ АВРОРЫ

Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага.

Когда наши соотечественники услышали по Би–Би–Си, что М. Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас (да и на Западе) были поражены: неужели так рано? неужели уже в 1921?

Конечно же нет! Конечно Михайлов ошибся. В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные (они даже оканчивались уже). Гораздо вернее будет сказать, что Архипелаг родился под выстрелы «Авроры».

А как же могло быть иначе? Рассудим.

Разве Маркс и Ленин не учили, что старую буржуазную машину принуждения надо сломать, а взамен неё тотчас же создать новую? А в машину принуждения входят: армия (мы же не удивляемся, что в начале 1918 создана Красная армия); полиция (ещё раньше армии обновлена и милиция); суд (с 24 ноября 1917); и—тюрьма. По-

чему бы, устанавливая диктатуру пролетариата, должны были умедлить с новым видом тюрьмы?

То есть вообще медлить с тюрьмой, старой ли, новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции Ленин требовал «самых решительных драконовских мер поднятия дисциплины»[171]. А возможны ли драконовские меры — без тюрьмы?

Что нового способно здесь внести пролетарское государство? Ильич нащупывал новые пути. В декабре 1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой: «конфискацию всего имущества… заключение в тюрьму, отправку на фронт и принудительные работы всем ослушникам настоящего закона»[172]. Стало быть, мы можем отметить, что ведущая идея Архипелага— принудительные работы, была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц.

Да над будущей карательной системой не мог не задумываться Владимир Ильич, ещё мирно сидя с другом Зиновьевым среди пахучих разливских сенокосов, под жужжание шмелей. Ещё

---

[171] Примечания: 171

В.И.Ленин. Полн. собр. соч.: В 55т. 5–е изд. М.: Гос. изд–во по–литич. лит., 1958–1965. Т. 36, с. 217.

[172] Примечания: 172

В. И.Ленин. Полн. собр. соч. Т. 35, с. 176.

тогда он подсчитал и успокоил нас, что «подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наёмных рабов дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови… обойдётся человечеству гораздо дешевле», чем предыдущее подавление большинства меньшинством[173].

И во сколько же обошлось нам это «сравнительно лёгкое» внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчётам эмигрировавшего профессора статистики И.А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости, — оно обошлось нам в… 66,7 миллионов человек (без этого дефицита— 55 миллионов).

Шестьдесят шесть миллионов! Пятьдесят пять!

Свой или чужой — кто не онемеет?

Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. (Уже сейчас появилось несколько исследований с исполь-

---

[173] Примечания: 173
Там же. Т. 33, с. 90.

зованием утаённой и раздёрганной советской статистики, — но страшные тьмы погубленных наплывают те же.)

Тут бы интересны ещё такие цифры. Каковы штаты были в центральном аппарате страшного III отделения, протянутого ременною полосой черезо всю великую русскую литературу? При создании— 16 человек, в расцвете деятельности — 45. Для захолустнейшего ГубЧК— просто смешная цифра. Или: как много политзаключённых застала в царской Тюрьме Народов Февральская революция? (Надо помнить, что в «политзаключённые» в прежней России зачислялись также экспроприаторы, налётчики, политические убийцы.) Где–то все эти цифры есть. Вероятно, в одних Крестах таких заключённых было более полусотни, да в Шлиссельбурге 63 человека, да несколько сотен вернулись из сибирской ссылки и каторги (из Александровского централа было освобождено около двухсот), да ещё ведь и в каждой губернской тюрьме сколько их томилось! А интересно — сколько? Вот цифра для Тамбова, взятая из тамошних горячих газет. Февральская революция, распахнувши дверь Тамбовской тюрьмы, нашла там политзаключённых… 7 (семь) человек. В Иркутской

гораздо больше — 20. (Излишне напоминать, что от февраля до июля 1917 за политику не сажали, а после июля сидели тоже единицы, и крайне привольно.)

Однако вот беда: первое советское правительство было коалиционным, часть наркоматов пришлось–таки отдать левым эсерам, и в том числе, по несчастью, попал в их руки Наркомат Юстиции. Руководствуясь гнилыми мелкобуржуазными представлениями о свободе, этот НКЮ привёл наказательную систему едва ли не к развалу, приговоры оказались слишком мягкими, и почти не использовали передовой принцип при–нудработ. В феврале 1918 председатель СНК товарищ Ленин потребовал увеличить число мест заключения и усилить уголовные репрессии[174] , а в мае, уже переходя к конкретному руководству, он указал[175] , что за взятку надо давать не ниже 10 лет тюрьмы и сверх того 10 лет принудительных работ, то есть всего 20. Такая шкала могла первое время казаться пессимистической, неужели через 20 лет ещё понадобятся принудра–боты? Но мы знаем, что принудработы

---

[174] Примечания: 174
Там же. Т. 54, с. 391.

[175] Примечания: 175
Там же. Т. 50, с. 70.

оказались очень жизненной мерой и даже через 50 лет они весьма популярны.

Тюремный персонал ещё много месяцев после Октября оставался всюду царский, только назначили комиссаров тюрем. Обнаглевшие тюремщики создали свой профсоюз («союз тюремных служащих») и установили в тюремной администрации— выборное начало! Не отставали и заключённые: у них тоже было внутреннее самоуправление. (Циркуляр НКЮ от 24.4.1918: заключённых, где только возможно, привлекать к самоконтролю и самонаблюдению.) Такая арестантская вольница («анархическая распущенность»), естественно, не соответствовала задачам диктатуры передового класса и плохо способствовала очистке земли русской от вредных насекомых. (Да чего уж, если не были закрыты тюремные церкви! — и наши, советские, арестанты по воскресеньям охотно туда ходили, хоть бы и для разминки.)

Конечно, и царские тюремщики не вовсе были потеряны для пролетариата, как–никак— это была специальность, для ближайших целей революции важная. А поэтому предстояло «отбирать тех лиц из тюремной администрации, которые не совсем заскорузли и отупели в нравах

царской тюрьмы (а что значит «не совсем»? а как это узнаешь? забыли «Боже, царя храни»?) и могут быть использованы для работы по новым заданиям»[176]. (Например, чётко отвечают «так точно», «никак нет»? или быстро поворачивают ключ в замке?) Конечно, и сами тюремные здания, камеры, решётки и замки хотя по виду и оставались прежними, но это только для поверхностного глаза, на самом же деле они получили новое классовое содержание, высокий революционный смысл.

И всё же навык судов до середины 1918 года по инерции приговаривать всё «к тюрьме» да «к тюрьме» замедлял слом старой государственной машины в её тюремной части.

В середине 1918, а именно 6 июля, произошло событие, значение которого не всеми понимается, событие, поверхностно известное как «подавление мятежа левых эсеров». А между тем это был переворот, вряд ли уступающий 25 октября. 25 октября была провозглашена власть Советов Депутатов, оттого и названная советской властью. Но первые месяцы эта новая власть ещё сильно замутнялась представительством в ней также и

[176] Примечания: 176

Советская юстиция: Краткий сборник статей к Съезду Советов / Под ред. и с предисл. Д.И. Курского. М.: Гос. изд–во, 1919, с. 20.

других партий, кроме большевиков. Хотя коалиционное правительство создано было только из большевиков и левых эсеров, однако в составе Всероссийских съездов (II, III, IV) и избранных на них ВЦИКов ещё попадались и представители других социалистических партий— эсеров, социал–демократов, анархистов, народных социалистов. От этого ВЦИКи носили нездоровый характер «социалистических парламентов». Но в течение первых месяцев 1918 года рядом решительных мер (поддержанных левыми эсерами) представители других социалистических партий либо исключались из ВЦИКа (его же решением, своеобразная парламентская процедура), либо не допускались быть в него избранными. Последней инородной партией, ещё составлявшей третью долю парламента (V Съезда Советов), были левые эсеры. Пришло наконец время освободиться и от них. 6 июля 1918 года они были поголовно все исключены из ВЦИКа и СНК. Тем самым власть Советов Депутатов (по традиции называемая советской) перестала противостоять воле партии большевиков и приняла формы Демократии Нового Типа.

Только с этого исторического дня и могла по–настоящему начаться перестройка старой

тюремной машины и создание Архипелага[177].

А направление этой желаемой перестройки было понятно давно. Ведь ещё Маркс в «Критике Готской программы» указал, что единственное средство исправления заключённых— производительный труд. Разумеется, как объяснил гораздо позже Вышинский, «не тот труд, который высушивает ум и сердце человека», но «чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев»[178]. Почему наш заключённый не должен точить лясы в камере или книжечки почитывать, а должен трудиться? Да потому что в Республике Советов не может быть места вынужденной праздности, этому «принудительному паразитизму», который мог быть при паразитическом же царском строе, например в Шлиссельбурге. Такое арестантское безделье просто противоречило бы основам трудового

---

[177] Примечания: 177

На суконно–пламенном языке Вышинского: «…единственный в мире имеющий подлинное всемирно–историческое значение процесс создания на развалинах старой, дворянско–полицейской и буржуазной системы тюрем, этих «мёртвых домов», построенных эксплоататорами для трудящихся, — новых учреждений… с новым социальным содержанием». (От тюрем к воспитательным учреждениям / Сб. ст. под общ. ред. А.Я. Вышинского; Институт Уголовной и Испрaвительно–трудовой Политики при Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР. М.: Советское Законодательство, 1934, с. 5.

[178] Примечания: 178

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 10.

строя Советской Республики, зафиксированным в Конституции 10.7.1918: не трудящийся да и не ест. Стало быть, если б заключённые не были привлечены к работе, они по новой Конституции должны были быть лишены пайки.

Центральный Карательный Отдел НКЮ, созданный в мае 1918 (и возглавленный уже большевиками, левые эсеры после Брестского мира вышли из правительства), тотчас погнал тогдашних зэков на работу («начал организовывать производительный труд»). Но законодательно это было объявлено уже после июльского переворота, именно 23 июля 1918 года— во «Временной инструкции о лишении свободы» (она просуществовала всю Гражданскую войну до ноября 1920): «Лишённые свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду».

Можно сказать, что от этой вот Инструкции 23 июля 1918 (через девять месяцев после Октябрьской революции) и пошли лагеря, и родился Архипелаг. (Кто упрекнёт, что роды были преждевременны?)

Необходимость принудительного труда заключённых (и без того, впрочем, всем уже ясная) была ещё пояснена на VII Всероссийском Съезде Советов: «труд—наилучший способ парализовать

развращающее влияние… бесконечных разговоров заключённых между собой, в которых более опытные просвещают новичков»[179].

Тут вскоре подоспели и коммунистические субботники, и тот же НКЮ призвал: «необходимо приучить [заключённых] к труду коммунистическому, коллективному»[180]. То есть уже и дух коммунистических субботников перенести в принудительные лагеря!

Так эта поспешная эпоха нагородила сразу много задач, разбираться в которых досталось десятилетиям.

Основы «исправтрудполитики» были на VIII съезде РКП(б) (март 1919) включены в новую партийную программу. Полное же организационное оформление лагерной сети по Советской России строго совпало с первыми коммунистическими субботниками (12 апреля— 17 мая 1919 года): постановления ВЦИК о лагерях принудительных

---

[179] Примечания: 179

Отчёт Народного Комиссариата Юстиции VII Всероссийскому Съезду Советов. [М.]: Типогр. при Московской Таганской Тюрьме, [б/г], с. 9.

[180] Примечания: 180

Материалы Народного Комиссариата Юстиции. Вып. 3. М.: Нар. ком. юст, 1918, с. 137.

работ состоялись 15 апреля 1919 и 17 мая 1919[181]. По ним лагеря принудработ создавались (усилиями ГубЧК) непременно в каждом губернском городе (по удобству— в черте города, или в монастыре, или в близкой усадьбе) и в некоторых уездах (пока— не во всех). Лагеря должны были содержать каждый не менее трёхсот человек (дабы трудом заключённых окупались и охрана, и администрация) и находиться в ведении Губернских Карательных Отделов.

Однако лагеря принудработ всё же не были первыми лагерями в РСФСР. Читатель уже несколько раз прочёл в три–бунальских приговорах (Часть Первая, глава 8) — «концлагерь» и счёл, быть может, что мы оговорились? что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию? Нет.

В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош[182] и Пензенскому

---

[181] Примечания: 181

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 24 апреля 1919, № 12. Ст. 124: О лагерях принудительных работ; 3 июня 1919, № 20. Ст. 235: Об организации лагерей принудительных работ.

[182] Примечания: 182

Этой забытой теперь женщине была вручена тогда (по линии ЦК и ЧК) судьба всей Пензенской губернии.

губисполкому (они не умели справиться с крестьянским восстанием) написал: «сомнительных (не «виновных», но сомнительных. —АС) запереть в концентрационный лагерь вне города»[183]. А кроме того: «…провести беспощадный массовый террор…» (это ещё не было декрета о терроре).

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Декрет СНК о Красном Терроре, подписанный Петровским, Курским и В. Бонч–Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах в нём, в частности, говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях[184].

Так вот где — в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома — был найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин — «концентрационные лагеря», — один из главных терминов Двадцатого века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда — в августе и сентябре 1918 года. Само–то слово уже употреблялось в Первую Мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностран-

---

[183] Примечания: 183
В.И.Ленин. Поли. собр. соч. Т. 50, с. 143, 144.

[184] Примечания: 184
Собрание узаконений… 1918: Отд. 1. № 65. Ст. 710: О Красном терроре.

цам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен: концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосуждённых, спопутно было найти и нужное слово — концентрационные!

Впрочем, глава Реввоентрибуналов так и пишет: «Заключение в концентрационные лагеря получает характер изоляции военнопленных»[185]. То есть откровенно: по праву захвата, все черты военных действий — только против своего народа.

И если лагеря принудительных работ НКЮ вошли в класс «общих мест заключения», то концлагеря никак не были «общим местом», но содержались в прямом ведении ЧК для особо–враждебных элементов и для заложников. В концлагеря в дальнейшем попадали, правда, и через трибунал; но, само собою, лились не осуж-

[185] Примечания: 185

К.Х.Данишевский. Революционные Военные Трибуналы. М.: Издание Реввоентрибунала Республики, 1920, с. 40. (Под грифом: Секретно.)

дённые, а лишь по признаку враждебности[186]. За побег из концлагеря срок увеличивался (тоже без суда) в десятьраз\ (Это ведь звучало тогда: «десять за одного!», «сто за одного!».) Стало быть, если кто имел пять лет, бежал и пойман, то срок его автоматически удлинялся до 1968 года. За второй же побег из концлагеря полагался расстрел (и конечно, применялся аккуратно).

На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием— только в 1920 году.

Глубоко сидели лагерные корешки, только потеряли мы их места и следы. О большей части первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам ещё неумерших тех первых концлагерников можно выхватить что–то и спасти.

Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях: крепкие замкнутые стены, добротные здания и — пустуют (ведь монахи — не люди, их всё равно вышвыривать). Так, в Москве концлагеря были в Андрониковой монастыре, Новоспасском, Ивановском. В петроградской «Красной газете» от 6 сентября 1918 читаем, что первый концентрационный

---

[186] Примечания: 186
От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 27, 28.

лагерь «будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре… В первое время предположено отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5 тысяч человек» (курсив мой. —А.С.).

В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском монастыре (Казанском). Вот что о нём рассказывают. Сидели там купцы, священники, «военнопленные» (так называли взятых офицеров, не служивших в Красной армии). Но и— неопределённая публика (толстовец И. Е–в, о чьём суде мы уже знаем, попал сюда же). При лагере были мастерские — ткацкая, портновская, сапожная и (в 1921 так и называлось уже) — «общие работы», ремонт и строительство в городе. Выводили под конвоем, но мастеров–одиночек, по роду работы, выпускали бесконвойно, и этих жители подкармливали в домах. Население Рязани очень сочувственно относилось к лишенникам («лишённые свободы», а не «заключённые» официально назывались они), проходящей колонне подавали милостыню (сухари, варёную свёклу, картофель) — конвой не мешал принимать подаяния, и лишенники делили всё полученное поровну. (Что ни шаг — не наши обычаи, не наша идеология.) Особенно удачливые лишенники

устраивались по специальности в учреждения (Е–в — на железную дорогу) — и тогда получали пропуск для хождения по городу (а ночевать в лагере).

Кормили в концлагере так (1921): полфунта хлеба (плюс ещё полфунта выполняющим норму), утром и вечером — кипяток, среди дня — черпак баланды (в нём — несколько десятков зёрен и картофельные очистки).

Украшалась лагерная жизнь, с одной стороны, доносами провокаторов (и арестами по доносам), с другой— драматическим и хоровым кружком. Давали концерты для рязанцев в зале бывшего Благородного собрания, духовой оркестр лишенников играл в городском саду. Лишенники всё больше знакомились и сближались с жителями, это оказывалось уже нетерпимо, — и тут–то стали «военнопленных» высылать в Северные Лагеря Особого Назначения.

Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. Оттого–то и понадобились особые северные лагеря. (Концентрационные упразднены после 1922.)

Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в её переливы.

По окончании Гражданской войны созданные Троцким две трудармии из–за ропота задержанных солдат пришлось распустить — и тем роль лагерей принудительного труда в структуре РСФСР естественно усилилась. К концу 1920 в РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях[187]. Если верить официальной (хотя и засекреченной) статистике, там содержалось в это время 25 336 человек и, кроме того, ещё 24 400 «военнопленных гражданской войны»[188]. Обе цифры, особенно последняя, кажутся сильно преуменьшенными. Однако, если учесть, что сюда не входят заключённые в системе ЧК, где разгрузками тюрем, потоплениями барж и другими видами массовых уничтожений счёт много раз начинался с ноля и снова с ноля, — может быть, эти цифры и верны. В дальнейшем они наверстались.

Ранние лагеря принудительных работ представляются нам сейчас какой–то неосязаемостью. Люди, которые в них сидели, как будто ничего никому не рассказали — свидетельств нет. Художественная литература, мемуары, говоря о

[187] Примечания: 187

Центральный Государственный Архив Октябрьской Революции (ЦГАОР), фонд 393, опись 13, дело 1в, лист 111.

[188] Примечания: 188

Там же, л. 112.

военном коммунизме, упоминают расстрелы и тюрьмы, но ничего не пишут о лагерях. Нигде даже между строчками, нигде за текстом они не подразумеваются. Где были эти лагеря? Как назывались?.. Как выглядели?..

Инструкция от 23 июля 1918 имела тот решительный (всеми юристами отмечаемый) недостаток, что в ней ничего не было сказано о классовой дифференциации заключённых, то есть что одних заключённых надо содержать лучше, а других хуже. Но в ней был расписан порядок труда— и только поэтому мы можем кое–что себе представить. Рабочий день был установлен— 8 часов. Сгоряча, по новинке, решено было за всякий труд заключённых, кроме хозработ по лагерю, платить… (чудовищно, перо не может вывести) … 100% по расценкам соответствующих профсоюзов. (По Конституции заставляли работать, но и платить собирались по Конституции, ничего не скажешь.) Правда, из заработка вычиталась стоимость содержания лагеря и охраны. Для «добросовестных» была льгота: жить на частной квартире, а в лагерь являться лишь на работу. За «особое трудолюбие» обещалось досрочное освобождение. А в общем, подробных указаний о режиме не было, в каждом лагере было по–сво-

ему. «В период строительства новой власти и принимая во внимание сильное переполнение мест заключения (курсив наш. —А.С), нельзя было думать о режиме, когда всё внимание было направлено на разгрузку тюрем»[189]. Прочтёшь такое — как вавилонскую клинопись. Сколько сразу вопросов: что делалось в тех бедных тюрьмах? «Наши тюремные порядки безобразны… Самое краткосрочное заключение превращается в мучение»[190]. И от каких же социальных причин такое переполнение? И понимать ли «разгрузку» как расстрелы или как рассылку по лагерям? И что значит — нельзя было думать о режиме? — значит Наркомюст не имел времени охранить заключённого от произвола местного начальника лагеря, только так можно понять? Инструкции о режиме не было, и в годы революционного правосознания каждый самодур мог делать с заключённым что хотел??

Из скромной статистики (всё из того же сборника «От тюрем…») узнаём: работы в лагерях были в основном чёрные. В 1919 только 2,5% за-

---

[189] Примечания: 189

Материалы Народного Комиссариата Юстиции. Вып. 7. М.: Нар. ком. юст, 1920.

[190] Примечания: 190

К.Х. Данишевский. Революционные Военные Трибуналы, с. 39.

ключённых работали в кустарных мастерских, в 1920— 10%. Известно также, что в конце 1918 Центральный Карательный Отдел (а названьице–то! по коже пробирает) хлопотал о создании земледельческих колоний. Известно, что в Москве было создано из заключённых несколько «ударных» бригад по ремонту водопровода, отопления и канализации в национализированных зданиях Москвы. (И эти, очевидно бесконвойные, арестанты бродили с гаечными ключами, паяльниками и трубами по Москве, по коридорам учреждений, по квартирам тогдашних больших людей, вызванные по телефону их жёнами для ремонта, — а вот же не попали ни в одни мемуары, ни в одну пьесу, ни в один фильм.) А если таких специалистов в заключении не оказывалось? Можно предположить, что их подсаживали.

Дальнейшие сведения о тюремно–лагерной системе, какой она была в 1922 году, нам даёт счастливо сохранившийся отчёт X Съезду Советов начальника всех мест заключения РСФСР товарища Е. Ширвиндта[191]. В этом году впервые были объединены все места заключения Наркомюста и НКВД (кроме специальных мест заключения

[191] Примечания: 191

Пенитенциарное дело в 1922 году / РСФСР. Главное управление местами заключения. М., 1923.

ГПУ) — в единый ГУМЗАК (Главное Управление Мест Заключения) и переданы под крыло товарища Дзержинского. (Имея под другим крылом места заключения ГПУ, он с ненасытностью хотел возглавлять и эти все.) ГУМЗАК объединил 330 мест заключения с общим числом лишённых свободы— 80–81 тысяча, — подросло сравнительно с 1920 годом, «в нынешнем году констатируется постоянный рост населения мест заключения». Но из этой же брошюры узнаём (стр. 40), что вместе с ГПУ никогда не было заключённых меньше 150 тысяч, а порой доходило до 195 тысяч. «Население мест заключения становится всё более устойчивым» (стр. 10), «процент числящихся за ревтрибуналами не только не падает, но проявляет определённую тенденцию к росту» (стр. 13). А в местах недавних народных волнений— в центрально–чернозёмных губерниях, в Сибири, на Дону и Северном Кавказе, число подследственных составляет 41–43% от всех заключённых, что свидетельствует о хорошей перспективе роста лагерей.

В систему ГУМЗАКа в 1922 году входят: исправительно–трудовые дома (сиречь— срочные тюрьмы), дома предварительного заключения (сиречь— следственные), пересыльные, каран-

тинные, изоляционные тюрьмы (Орловская «не в состоянии вместить всех трудноисправимых», и возобновлены Кресты, так славно распахнутые в феврале 1917), сельскохозяйственные колонии (с корчёвкой кустарников и пней, вручную), трудовые дома для несовершеннолетних и— концентрационные лагеря. Развитое же пенитенциарное дело! В тюрьмах «на каждые 5 мест приходится с лишком 6 человек, причём имеется много таких домов, где на одно место приходится 3 и более человек» (стр. 8).

Узнаём о зданиях (тюремных и лагерных): пришли в такой упадок, что не удовлетворяют даже основным санитарным требованиям, «в такую негодность, что… целые корпуса и даже целые исправдома пришлось закрыть» (стр. 17). О питании. «В 1921 места заключения были в тяжёлом положении: на заключённых не было достаточного количества пайков». С 1922 из–за перехода на местные бюджеты «материальное положение мест заключения надо считать почти катастрофическим» (стр. 2), местные губисполкомы даже отказывают в полной выдаче пайка заключённым. В начале года на 150–195 тысяч заключённых Госплан отпустил 100 тысяч пайков, нормы питания сокращались, некоторые

продукты не выдавались совсем (три четверти заключённых получали менее 1500 калорий), ас 1 декабря 1922 все места заключения, кроме 15, имеющих общегосударственное значение, вовсе сняты с пайкового довольствия. «Заключённые голодают» (стр. 41).

Государство хотело, хотело иметь Архипелаг, только нечем было его кормить!

Расценки за работы— уже сниженные. «Снабжение вещевым довольствием было крайне неудовлетворительно… Надо ожидать, что оно примет катастрофический характер» (стр. 42). «Недостаток топлива испытывается почти повсеместно». Смертность за октябрь 1922 составила по ГУМЗАКу не менее 1%. Это значит, за зиму предстояло потерять больше 6% — а то и 10%?

Не могло это не отразиться и на охране. «Большинство надзора буквально бежит со службы, а некоторые спекулируют и входят в сделки с заключёнными» (стр. 43) — и сколькие же их ещё обворовывают! «Сильный рост должностных преступлений среди сотрудников, толкаемых на то голодом». Многие перешли на лучше оплачиваемую работу. «Имеются исправдома, где остались только начальник и один надзиратель» (можно представить, какой негодящий) — и «приходится

к обязанностям надзора привлечь самих заключённых из числа образцовых».

И какую же надо было иметь Дзержинскую силу духа и веру в коммунистическое наказательное дело, чтоб этот вымирающий Архипелаг не распустить по домам, но вытягивать в светлое будущее!

И что ж? К октябрю 1923, уже в начале безоблачных годов НЭПа (и довольно далеко ещё до культа личности] содержалось: в 355 лагерях— 68 297 лишённых свободы, в 207 исправдомах— 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах— 16 765, в 35 сельхозколониях— 2 328 и ещё 1 041 несовершеннолетних и больных[192].

И это всё — без лагерей ГПУ! Радостный рост! Нытики посрамлены. Партия опять оказалась права: заключённые не только не умерли, но наросло их чуть не в два раза, а мест заключения— и больше, чем в два, не рухнули.

Есть и другая выразительная статистика: переуплотнение лагерей (число заключённых росло быстрее, чем организация лагерей). На 100 штатных мест приходилось в 1924— 112 заключённых,

[192] Примечания: 192
ЦГАОР, ф. 393, оп. 39, д. 48, л. 13, 14.

в 1925— 120, в 1926— 132, в 1927— 177[193]. Кто сам сидел, хорошо понимает, каков лагерный быт (место на нарах, миски в столовой или телогрейки), если на 1 место приходится 1,77 заключённых.

Развитием лагерной системы развернулась смелая «борьба с тюремным фетишизмом» всех стран мира и в том числе прежней России, где ничего не могли придумать, кроме тюрем и тюрем. («Царское правительство, превратившее в одну огромную тюрьму всю страну, с каким–то утончённым садизмом развивало свою тюремную систему»[194].)

Хотя до 1924 и на Архипелаге всё ещё недостаточно «простых трудколоний». В эти годы перевешивают «закрытые места» заключения, да не уменьшатся они и после. (В докладе 1924 года Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения — изоляторов для не–трудящихся и для особо–опасных из числа трудящихся (каким, очевидно, и окажется потом сам Крыленко). Эта его формулировка так и вошла в

[193] Примечания: 193

ААГерцензон. Борьба с преступностью в РСФСР. По материалам обследования ЧК РКИ СССР / Под ред. и с предисл. В.А. Радус–Зеньковича. М.: Юридич. изд–во НКЮ РСФСР, 1928, с. 103.

[194] Примечания: 194

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 431.

Исправительно–трудовой кодекс 1924 года.)

А на пороге «реконструктивного периода» (значит— с 1927 года) «роль лагерей… (что бы вы думали? теперь–то, после всех побед?) …возрастает— против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей, кулачества, контрреволюционной агитации»[195].

Итак, Архипелаг не уйдёт в морскую пучину! Архипелаг будет жить!

Как при сотворении всякого Архипелага происходят где–то невидимые передвижки важных опорных слоев прежде, чем станет перед нами картина мира, — так и тут происходили важнейшие перемещения и переназвания, почти недоступные нашему уму. Вначале первозданная неразбериха, местами заключения руководят три ведомства: ВЧК (т. Дзержинский), НКВД (т. Петровский) и НКЮ (т. Курский); в НКВД—то ГУМЗАК (Главное Управление Мест Заключения, сразу после Октября 1917), то ГУПР (Главное Управление Принудительных Работ), то снова ГУМЗАК; в НКЮ — Тюремное Управление (декабрь 1917), затем Центральный Карательный Отдел (май 1918)

---

[195] Примечания: 195

ИЛ.Авербах. От преступления к труду / Под ред. А.Я. Вышинского; Академия Наук СССР. Институт советского строительства и права. [М.]: Советское законодательство, 1936.

с сетью губернских карательных отделов и даже съездами их (сентябрь 1920), затем облагозвученный в Центральный Ис–правительно–Трудовой Отдел (1921). Разумеется, такое рассредоточение не служило к пользе карательно–исправительного дела, и Дзержинский добивался единства управления. Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК: с 16 марта 1919 Дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел. А в 1922, как уже сказано, он добился передачи к себе в НКВД и всех мест заключения из НКЮ (25.6.1922).

Параллельно тому шла перестройка и лагерной охраны. Сперва это были войска ВОХР (Внутренней Охраны Республики), затем ВНУС (Внутренней Службы), в 1919 они соединились с корпусом ВЧК[196], и председателем их Военного Совета стал Дзержинский же. (И тем не менее, тем не менее до 1924 поступали жалобы на многочисленность побегов, на низкое состояние дисциплины работников[197].) Лишь в июне 1924 декретом ВЦИК–СНК в корпусе Конвойной

[196] Примечания: 196

Власть советов: Журнал ВЦИК. М.: Всерос. центр, исполком, 1919, № 11, с. 6, 7.

[197] Примечания: 197

ЦГАОР, ф. 393, оп. 47, д. 89, л. 11.

Стражи введена военная дисциплина и укомплектование через Наркомвоенмор[198].

Ещё тому параллельно создаётся в 1922 Центральное Бюро Дактилоскопической регистрации и Центральный Питомник служебных и розыскных собак.

А за это время ГУМЗАК СССР переназывается в ГУИТУ СССР (Главное Управление Исправительно–Трудовых Учреждений), а затем и в ГУИТЛ ОГПУ (Главное Управление Исправительно–Трудовых Лагерей), и Начальник его одновременно становится Начальником Конвойных войск СССР.

И сколько ж это волнений! И сколько ж это лестниц, кабинетов, часовых, пропусков, печатей, вывесок!

А из ГУИТЛа, сына ГУМЗАКа, и получился–то наш ГУЛАГ.

---

[198] Примечания: 198
Там же, оп. 53, д. 141, л. 1, 3, 4.

Глава 2. АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ

На Белом море, где ночи полгода белые, Большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлёвских стен, ржаво–красных от прижившихся лишайников, — и серо–белые соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлём и клекочат.

«В этой светлости как бы нет греха… Эта природа как бы ещё не доразвилась до греха» — так ощутил Соловецкие острова Пришвин[199].

Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда.

---

[199] Примечания: 199

И только сами монахи показались ему для Соловков грешными. Был 1908 год, и по тогдашним либеральным понятиям невозможно было вымолвить о духовенстве одобрительно. А нам, прошедшим Архипелаг, те монахи, пожалуй, и ангелами покажутся. Имея возможность есть «от пуза», они в Голгофско–Распятском скиту даже рыбу, постную пищу разрешали себе лишь по великим праздникам. Имея возможность привольно спать, они бодрствовали ночами и (в том же скиту) круглосуточно, круглогодно, кругловременно читали псалтырь с поминовением всех православных христиан, живых и умерших. Как предчувствовали, что будет там дальше.

Приходили ледники и уходили, гранитные валуны на–теснялись вкруг озёр; озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра и покрывалось ледяною шугой, а где схватывалось; полыхали полярные сияния в полнеба; и снова светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени— кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали — а здесь всё не было хищных зверей и не было человека.

Иногда тут высаживались новгородцы и зачли острова в Обонежскую пятину. Живали тут и карелы. Через полета лет после Куликовской битвы и за полтысячи лет до ГПУ пересекли перламутровое море в лодчёнке монахи Савватий и Зосима и этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошёл Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, церковь Вознесения Господня на Секирной горе, и ещё два десятка церквей, и ещё два десятка часовен, скит Голгофский, скит Троицкий, скит Савватиев–ский, скит Муксалмский, и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многий— сперва самих монахов,

потом и монастырских крестьян. Соединились десятками каналов озёра. В деревянных трубах пошла озёрная вода в монастырь. А самое удивительное — легла (XIX век) дамба на Муксалму из неподымных валунов, как–то уложенных по отмелям. На Большой и Малой Муксалме стали пастись тучные стада, монахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи[200]. Огороды растили плотную белую сладкую капусту (кочерыжки — «соловецкие яблоки»). Все овощи были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы. А то вызревали и бахчи. Развились рыбные промыслы— морская ловля и рыбоводство в отгороженных от моря «митрополичьих садках». С веками и с десятилетиями свои появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни, своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплётная, своя кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный

[200] Примечания: 200

Специалисты истории техники говорят, что Филипп Колычев (возвысивший голос против Грозного) внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду.

фасонный кирпич, и морские судёнышки для себя — всё делали сами.

Однако никакое народное развитие ещё никогда не шло, не идёт — и будет ли когда–либо идти? — без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной.

Мысль военная. Нельзя же каким–то безрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров— на границе Великой Империи, и, стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и, стало быть, надо строить крепость со стенами восьмиметровой толщины, и воздвигнуть восемь башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор (фото 1). (И пришлось–таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854, и выстоять, а против никоновцев в 1667 предал Кремль царскому боярину монах Феоктист, открыв тайный ход.)

Мысль тюремная. Как же это славно— на отдельном острове да стоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников, и охрану с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. (Сколько вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских монастырей.)

И думал ли о том Савватий, высаживаясь на святом острове?..

Сажались сюда еретики церковные, сажались и еретики политические. Не доброй волей удалился сюда на покой Авра–амий Палицын (и умер тут). Тут сидел дядя Пушкина П. Ганнибал— за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой Запорожского войска Калнышевский и после долгого срока освободился, будучи старше ста лет.

Но тех всех, однако, почти можно по именам перечесть[201].

На древнюю историю соловецкой монастырской тюрьмы уже в советское, уже в лагерное время Соловков наброшена была накидка модного мифа, которая, однако, обманула создателей справочников и исторических описаний, — и теперь мы в нескольких книгах можем прочесть, что соловецкая тюрьма была пыточной; что тут были и крюки для дыбы, и плети, и каление огнём. Но всё это — принадлежности доелиза-

[201] Примечания: 201

Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718. В 80–х годах XIX века командующий войсками С. — Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашёл воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат с Соловков. С 1903 соловецкая тюрьма прекратила своё существование. {АС.Пруга–вин. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством: К вопросу о веротерпимости. М.: Посредник, 1906, с. 78, 81.)

ветин–ских следственных тюрем или западной инквизиции, никак не свойственные русским монастырским темницам вообще, а примысленные сюда исследователем недобросовестным да и несведущим.

Старые соловчане хорошо помнят его — это был шпынь Иванов, по лагерному прозвищу «антирелигиозная бацилла». Прежде он состоял служкой при архиепископе Новгородском, арестован за продажу церковных ценностей шведам. На Соловки попал году в 1925 и заметался, как уйти от общих работ и от гибели. Он специализировался по антирелигиозной пропаганде среди заключённых, конечно стал и сотрудником ИСЧ (Информационно–Следственная Часть, так откровенно и называлась). Но больше того: руководителей лагеря он взволновал предположениями, что здесь зарыты монахами многие клады, — и так создали под его началом Раскопочную Комиссию. Много месяцев эта комиссия копала — увы, монахи обманули психологические расчёты антирелигиозной бациллы: никаких кладов они на Соловках не зарыли. Тогда Иванов, чтобы с почётом выйти из положения, принялся истолковывать подземные хозяйственные, складские и оборонные помещения — как тюремные и

пыточные. Деталей пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий, но уж крюк (для подвески туш) конечно свидетельствовал, что здесь была дыба. О XIX веке труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось, — и так было заключено, что «с прошлого века режим соловецкой тюрьмы значительно смягчился». «Открытия» антирелигиозной бациллы очень приходились в цвет времени, несколько утешили разочарованное начальство, были помещены в лагерном журнале «Соловецкие острова», потом отдельно отпечатаны в соловецкой типографии — и так с успехом задымили историческую истину. (Затея тем более уместная, что Соловецкий процветающий монастырь был в большой славе и уважении по всей Руси ко времени революции.)

Но когда власть перешла в руки трудящихся, — что ж стало делать с этими злостными тунеядцами монахами? Послали туда комиссаров, социально–проверенных руководителей, монастырь объявили совхозом и велели монахам меньше молиться, а больше трудиться на пользу рабочих и крестьян. Монахи трудились, и та поразительная по вкусу селёдка, которую они ловили благодаря особому знанию мест и времени,

где забрасывать сети, отсылалась в Москву на кремлёвский стол.

Однако обилие ценностей, сосредоточенных в монастыре, особенно в ризнице, смущало кого–то из прибывших руководителей и направителей: вместо того чтобы перейти в трудовые (их) руки, ценности лежали мёртвым религиозным грузом. И тогда, в некотором противоречии с Уголовным кодексом, но в верном соответствии с общим духом экспроприации нетрудового имущества, монастырь был подожжён (25 мая 1923 года) — повреждены были постройки, исчезло много ценностей из ризницы, а главное— сгорели все книги учёта, и нельзя было определить, как много и что именно пропало[202].

Не проводя даже никакого следствия, что подскажет нам революционное правосознание (нюх)? — кто может быть виноват в поджоге монастырского добра, если не чёрная монашеская свора? Так выбросить её на материк, а на Соловецких островах сосредоточить Северные Лагеря Особого Назначения! Восьмидесятилетние и даже столетние монахи умоляли с колен оставить

[202] Примечания: 202

И на этот пожар тоже ссылался «антирелигиозная бацилла», объясняя, почему так трудно теперь вещественно найти прежние каменные мешки и пыточные приспособления.

их умереть на «святой земле», но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых: артели рыбаков[203] да специалистов по скоту на Муксалме; да отца Мефодия, засольщика капусты; да отца Самсона, литейщика; да других подобных полезных отцов. (Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом — Сельдяными воротами (фото 2). Их назвали трудовой коммуной, но в снисхождение к их полной одурманенности оставили им для молитв Онуфриевскую церковь на кладбище.)

Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами: свято место пусто не бывает. Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные столпы, не звучали больше литургии и всенощные, не бормотался круглосуточный псалтырь, порушились иконостасы (в Преображенском соборе оставили) — зато отважные чекисты в сверхдолгополых, до самых пят, шинелях, с особо отличительными соловецкими чёрными обшлагами и петлицами и чёрными околышами фуражек без звёзд, приехали в июне 1923 года созидать образцово–строгий лагерь,

[203] Примечания: 203

Их убрали с Соловков лишь около 1930— и с тех пор прекратились уловы: никто больше не мог той селёдки в море найти, как будто она совсем исчезла.

гордость рабоче–крестьянской Республики.

Концентрационные лагеря, хотя и классовые, к тому времени были признаны недостаточно строгими. Уже в 1921 году были основаны, в ведении ЧК, Северные Лагеря Особого Назначения— СЛОН. Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска[204]. Однако эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, неперспективными для сгущения больших масс заключённых. И взоры начальства естественно были переведены по соседству на Соловецкие острова—с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, в двадцати–сорока километрах от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удалённо для беглецов, и полгода без связи с материком—крепче орешек, чем Сахалин.

Что значит Особое Назначение, ещё не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но первому начальнику Соловецкого лагеря Ногтеву, разумеется, объяснили на Лубянке устно. А

---

[204] Примечания: 204

Соловецкие острова — ежемесячный журнал — орган управления Соловецкими лагерями особого назначения ОГПУ. о. Соловки: УСЛОН. 1930. №2–3. с. 55. из доклада в Кеми начальника УСЛОНа товарища Ногтева. — Когда теперь экскурсантам показывают в устьи Двины так называемый «лагерь правительства Чайковского», надо знать, что это и есть один из первых чекистских «северных лагерей особого назначения».

он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам.

* * *

Сейчас–то бывших зэков да даже и просто людей 60–х годов рассказом о Соловках, может быть, и не удивишь. Но пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком Серебряного Века нашей культуры, как назвали 1910–е годы, там воспитанным, ну пусть потрясённым Гражданской войной, — но всё–таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению, — и вот тогда да вступит он в ворота Соловков — в Кемперпункт[205]. Это — пересылка в Кеми, унылый, без деревца, без кустика, Попов остров, соединённый дамбой с материком. Первое, что вступивший видит в этом голом, грязном загоне— карантинную роту (заключённых тогда сводили в «роты», ещё не была открыта «бригада»), одетую… вмешки! — в обыкновенные мешки: ноги выходят вниз как из–под юбки, а для головы и рук делаются дырки (ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка!). Этого–то мешка

[205] Примечания: 205
По–фински это место называется Вегеракша, то есть «жилище ведьм».

новичок избежит, пока у него есть своя одежда, но, ещё и мешков как следует не рассмотрев, он увидит легендарного ротмистра Курилку.

Курилко (или Белозёров ему на замен) выходит к этапной колонне тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими чёрными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне— как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую подмость и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью: «Э–э–эй! Внима–ни–е! Здесь республика не со–вец–ка–я, а соловец–ка–я! Усвойте! — нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю! — и не ступит! Знайте! — вы присланы сюда не для исправления! Горбатого не исправишь! Порядочек будет у нас такой: скажу «встать» — встанешь, скажу «лечь» — ляжешь! Письма писать домой так: жив, здоров, всем доволен! точка!..»

Онемев от изумления, слушают именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, муллы да тёмные средне–азиаты— чего не слыхано и не видано, не читано никогда. АКурилко, не прогремевший в Гражданской войне, но сейчас, вот этим историческим приёмом вписывая своё имя в летопись всей России, ещё взводится, ещё

взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота, и ещё новые складываются и оттачиваются у него сами[206].

И, любуясь собой и заливаясь (а внутри, может быть, со злорадством: вы, штафирки, где прятались, пока мы воевали с большевиками? вы думали в щёлке отсидеться? так вытащены сюда! теперь получайте за свой говенный нейтралитет!), — Курилко начинает учение:

— Здравствуй, первая карантинная рота!.. — (Должны отрывисто крикнуть: «Здра!»)— Плохо, ещё раз! Здравствуй, первая карантинная рота!.. Плохо!.. Вы должны крикнуть «здра!» — чтоб на Соловках, за проливом было слышно! Двести человек крикнут — стены падать должны!! Снова! Здравствуй, первая карантинная рота!

---

[206] Примечания: 206

История Курилки вызывает интерес. Возможно, когда–нибудь будут пытаться установить его личность. В революционные годы посильно было и принятие чужого чина и чужой фамилии. Но вот два следа, данные мне читателями, на всякий случай. Полковник Курилко командовал ещё до 1914 года 16–м Сибирским стрелковым полком; к концу войны был контуженный генерал с золотым оружием, Георгием и многими орденами. Сын его Игорь ещё кадетом 1–го Московского кадетского корпуса летом 1914 и 1915 ездил на фронт, воевал, награждён георгиевской медалью, затем крестом; весной 1916 кончил ускоренный курс Александровского училища, прапорщик. Другой след: полковник Курилко был одним из возглавителей белогвардейской подпольной организации в Москве летом 1919. Она провалилась, были массовые расстрелы (до 7 ООО человек?), но Иван Алексеев (отец моего корреспондента) и брат профессора И. Ильина, известные только Курилке, не были им выданы и не были тронуты.

Проследя, чтобы все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилко начинает следующее учение— бег карантинной роты вокруг столба:

— Ножки выше!.. Ножки выше!

Это и самому нелегко, он и сам уже — как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разостланным по земле, он последним хрипом получасового учения, исповедью сути соловецкой обещает:

— Сопли у мертвецов сосать заставлю!

И это — только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших. А в чёрно–деревянном гниющем смрадном бараке приказано будет им «спать на рёбрышке» — да это хорошо, это кого отделённые за взятку всунут— на нары. А остальные будут ночь стоять между нарами (а виновного ещё поставят между парашею и стеной, чтобы перед ним все оправлялись).

И это — благословенные допереломные докультовые до–искажённые до–нарушенные Тысяча Девятьсот Двадцать Третий, Тысяча Девятьсот Двадцать Пятый… (Ас 1927 то дополнение, что на нарах уже будут урки лежать и в стоящих интеллигентов постреливать вшами с себя.)

В ожидании парохода «Глеб Бокий»[207] они ещё поработают на Кемской пересылке, и кого–то заставят бегать вокруг столба с постоянным криком: «Я филон, работать не хочу и другим мешаю!»; а инженера, упавшего с парашей и разлившего на себя, не пустят в барак, а оставят обледеневать в нечистотах. Потом крикнет конвой: «В партии отстающих нет! Конвой стреляет без предупреждения! Шагом марш!» И потом, клацая затворами: «На нервах играете?»— и зимой погонят по льду пешком, волоча за собой лодки, — переплывать через полыньи. А при подвижной воде погрузят в трюм парохода и столько втиснут, что до Соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидав белоснежного монастыря в бурых стенах.

В первые же соловецкие часы быть может испытает на себе новичок и соловецкую приёмную банную шутку: он разделся, первый банщик макает швабру в бочку зелёного мыла и шваброй мажет новичка; второй пинком сталкивает его куда–то вниз по наклонной доске или по лест-

---

[207] Примечания: 207

Названного в честь председателя московской Тройки ОГПУ, молодого недоучки:

Он был студент, и был горняк, Зачёты же не шли никак.

(Из «дружеской эпиграммы» в журнале «Соловецкие острова», 1929, № 1. Цензура глупая была и не понимала: что пропускает.)

нице; там, внизу, его, ошеломлённого, третий окатывает из ведра, и тут же четвёртый выталкивает в одевалку, куда его «барахло» уже сброшено сверху как попало. (В этой шутке предвиден весь ГУЛАГ! и темп его, и цена человека.)

Так глотает новичок соловецкого духа! — духа, ещё не известного в стране, но творимого на Соловках будущего духа Архипелага.

И здесь тоже новичок видит людей в мешках; и в обычной «вольной» одежде, у кого новой, у кого потрёпанной; и в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала (это — привилегия, это признак высокого положения, так одевается лагерный адмсостав), с шапками — «соловчанками» из такого же сукна; и вдруг идёт среди арестантов человек… во фраке! — и не удивляет никого, никто не оборачивается и не смеётся. (Ведь каждый донашивает своё. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь», так он и мыкает свой срок во фраке.)

«Мечтой многих заключённых» называет журнал «Соловецкие острова» (1930 год, № 1) по-

лучение одежды стандартного типа[208]. Только детколонию полностью одевают. А например женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову— схватили сватью в летнем платьи, так и ходи заполярную зиму. От этого многие заключённые сидят в ротных помещениях даже в одном белье, и на работу их не выгоняют.

Столь дорога казённая одежда, что никому на Соловках не кажется дивной или дикой такая сцена: среди зимы арестант раздевается и разувается близ Кремля, аккуратно сдаёт обмундирование и бежит голый двести метров до другой кучки людей, где его одевают. Это значит: его передают от кремлёвского управления управлению филимоновской железнодорожной ветки[209], — но если передать его в одежде, приёмщики могут не вернуть её или обменить, обмануть.

А вот и другая зимняя сцена— те же нравы, хотя

---

[208] Примечания: 208

Все ценности с годами перепрокидываются— и то, что считается привилегией в лагере Особого Назначения 20–х годов— носить казённую одежду, то станет докукой в Особом лагере 40–х годов: там у нас привилегией будет не носить казённой, а хоть что–нибудь своё, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, тут и волны эпохи: одно десятилетие видит в идеале, как бы пристать к Общему, другое — как бы от него отстать.

[209] Примечания: 209

Перетащили сюда рельсы с дороги Старая Русса—Новгород.

иная причина. Лазарет санчасти признан антисанитарным, приказано срочно шпарить и мыть его кипятком. Но куда же больных? Все кремлёвские помещения переполнены, плотность населения Соловецкого архипелага больше, чем в Бельгии (а какая ж в соловецком Кремле?). Так всех больных выносят на одеялах на снег и кладут на три часа. Вымыли — затаскивают.

Мы же не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного Века? Он ничего ещё не знает ни о Второй Мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит: отделённые в шинельных бушлатах с отменной выправкой приветствуют друг друга и ротных отданием воинской чести — и они же выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами (и даже глагол уже всем понятный: дрыновать). Он видит: сани и телегу тянут не лошади, а люди (по нескольку в одной) — и тоже есть слово вридло (временно исполняющий должность лошади).

А от других соловчан он узнаёт и пострашней, чем видят его глаза. Произносят ему гибельное слово — Секирка. Это значит— Секирная гора (фото 3). В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены до стены укреплены жерди толщиною в руку и ве-

лят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. (На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение.) Высота жерди такова, что ногами до земли не достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант— как бы удержаться. Если же свалится — надзиратели подскакивают и бьют его. Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, монахи соорудили); привязывают человека по длине его к балану (бревну) для тяжести — и вдольно сталкивают (ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже).

Ну, да за жёрдочками не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом — «на пеньки», это значит— голого под комаров. Но тогда за наказанным надо следить; а если голого да к дереву привязывают—то комары справятся сами. А если голого зимой— так облить водой на морозе. Ещё— целые роты в снег кладут за провинность. Ещё— в приозёрную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот ещё способ: запрягают лошадь в пустые оглобли, к оглоблям

привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит её по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся.

Новичок раздавлен духом, ещё и не начав соловецкой жизни, своих бесконечных трёх лет срока. Но поспешил бы современный читатель, если б вытянул палец: вот открытая система уничтожения, лагерь смерти! Э, нет, мы не так просты! В этой первой экспериментальной зоне, как и потом в других, как и в самой объемлющей изо всех— в СССР, мы не открыто действуем— а наслоенно, смешанно — и потому так успешно и потому так долго.

Вдруг въезжает через кремлёвские ворота какой–то лихой человек верхом на козле, держится со значением, и никто не смеётся над ним. Это кто же? почему на козле? Дегтярёв, он в прошлом объездчик (не путать с вольным Дегтярёвым, начальником войск Соловецкого архипелага), потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так дали ему козла. Аза что ему честь? А он— заведующий Дендрологическим Питомником. Они выращивают экзотические деревья. Здесь, на Соловках.

Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантастика. Зачем же экзотические

деревья на Соловках, где простое разумное овощное хозяйство монахов — и то уже загубили, и овощи при конце? А затем экзотические деревья при Полярном Круге, что и Соловки, как вся Советская Республика, преображают мир и строят новую жизнь. Но откуда семена, средства? Вот именно: на семена для дендрологического питомника деньги есть, нет лишь денег на питание рабочим лесоповала (питание идёт ещё не по нормам— по средствам).

А вот— археологические раскопки? Да, у нас работает Раскопочная Комиссия. Нам важно знать своё прошлое.

Перед Управлением лагеря — клумба, и на ней выложен симпатичный слон, а на попоне его «У»— значит У–СЛОН — (Управление Соловецких Лагерей Особого Назначения). И тот же ребус — на соловецких бонах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад! Так всё очень мило здесь, Курилко–шутник нас только пугал?

Денежное обращение лагерей ГПУ имело устойчивое продолжение на многие годы. Особые денежные знаки помогали лучшей изоляции этих лагерей. По прибытии в лагерь даже все чины администрации и охраны, тем более заклю-

чённые, должны были сдать все имеющиеся у них советские деньги и получали взамен книжечки «расчётных квитанций» (на плотной бумаге, с водяным знаком) в достоинствах по 2, 5, 20, 50 копеек, 1, 3 и 5 рублей, выпуски разных годов отличались подписями разных членов Коллегии ОГПУ— Г. Бокия, Л. Когана или М. Бермана. За укрытие в лагере государственных денег полагался расстрел. (Одна из целей такой строгости была— затруднить побег.) На территории всех лагерей ГПУ для всех расчётов применялись эти квитанции. При освобождении (если оно наступало…) владелец снова обменивал их на государственные деньги. После 1932 года, при резком росте лагерной системы, все эти квитанции были изъяты. (Сообщил М.М. Быков.)

И вот свой журнал— тоже «Слон» (с 1924, первые номера на машинке, с № 9 — печатается в монастырской типографии), с 1925 — «Соловецкие острова», 200 экз., и даже с приложением— газетой «Новые Соловки» (разорвём с проклятым монашеским прошлым!). С 1926—подписка по всей стране и большой тираж, большой успех! Ведь в 20–е годы Соловков не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто играли, Соловками открыто гордились (имели смелость

гордиться!), они поминались в советских песнях, над ними смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классы исчезали (куда?), и Соловкам тоже был скоро конец.

И над журналом — верхоглядная какая–то цензура: заключённые (Глубоковский) пишут юмористические стишки о Тройке ГПУ — и проходит! И потом их поют с эстрады соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Глебу Бокию:

Обещали подарков нам куль

Во кий, Фельдман, Васильев и Вуль… —

и начальству нравится! (Да ведь лестно! Ты курса не кончил — а тебя в историю лепят.) И припев:

Всех, кто наградил нас Соловками, — Просим: приезжайте сюда сами! Посидите здесь годочков три иль пять — Будете с восторгом вспоминать! —

хохочут! нравится! (Кто ж разгадает, что здесь— пророчество?..)

К 1927 журнал оборвался: режим поворачивал, не до этих шуток. Но ещё потом, в 1929, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932.

А обнаглевший Шипчинский вывешивает ло-

зунг над входными воротами:

«Соловки — рабочим и крестьянам!»

(И тоже ведь пророчество! — но это не нравится, разгадали и сняли.)

На артистах драматической труппы — костюмы, сшитые из церковных риз. «Рельсы гудят». Фокстротирующие изломанные пары на сцене (гибнущий Запад) — и победная красная кузница, нарисованная на заднике (Мы).

Фантастический мир! Нет, шутил негодник Курилко!..

А ещё же есть Соловецкое Общество Краеведения, оно выпускает свои отчёты–исследования. О неповторенной архитектуре XVI века и о соловецкой фауне здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, будто это досужие чудаки–учёные притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору, под комаров или к оглоблям лошади. Да в тон с добродушными краеведами и сами звери и птицы соловецкие ещё не вымерли, не перестреляны, не изгнаны, даже не напуганы — ещё и в 28–м году зайцы доверчивым выводком выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов

на Анзер.

Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняют новичку: зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ: «Патроны беречь! Ни одного выстрела иначе как по заключённому!»

Итак, все страхи были шуткой. Но — «Разойдись! Разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлёвском дворе, густом, как Невский, — трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов (передний не дрыном, но стеком разгоняет толпу заключённых), быстро под руки волокут опавшего, с обмякшими ногами и руками человека в одном белье — страшно увидеть его стекающее как жидкость лицо! — волокут под колокольню (фото 4, 5), вон туда под арку, в ту низенькую дверь, она— в основании колокольни. В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют — там дальше крутые ступеньки вниз, он свалится, и даже можно семь–восемь человек набить, а потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин (матерей и жён ушедших в Константинополь; верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от неё детей) — помыть

ступени[210].

Что ж, нельзя было ночью, тихо? А зачем же тихо? — тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток зараз.

Расстреливали и иначе — прямо на Онуфриевском кладбище, за женбараком (бывшим странноприимным домом для богомолок) — и та дорога мимо женбарака так и называлась расстрелъной. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье (это не для пытки! это чтоб не пропала обувь и обмундирование) с руками, связанными проволокою за спиной[211], — а осуждённый гордо, прямо держится и одними губами, без помощи рук, курит последнюю в жизни папиросу. (По этой ма-

---

[210] Примечания: 210

А сейчас на камнях, где вот так волокли, в этом месте двора, укромном от соловецкого ветра, жизнерадостные туристы, приехавшие повидать пресловутый остров, часами кикают в волейбол. Они не знают. Ну а если б знали? Да так же бы и кикали.

Впрочем, экскурсоводов, заикавшихся, что здесь был не только монастырь, но лагерь, — выгнали. И туристов стараются не пускать за пределы Большого Соловецкого острова: чтобы не видели ни Секирки, ни даже Троицкого скита (и сегодня много сохранилось тюремных решёток, в дверях— следы кормушек), ни Савватиевского. (В нём сохранился, например, подвальный карцер, где и в знойный день продрогаешь в минуту)

[211] Примечания: 211

Соловецкий приём, повторенный на катынских трупах. Кто–то вспомнил — традицию? или свой личный опыт?

нере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов. Тут мальчишка 18–летний, сын историка В.А. Потто, на вопрос нарядчика о профессии пожимает плечами: «Пулемётчик». По юности лет и в жаре Гражданской войны он не успел приобрести другой.)

Фантастический мир! Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки.

Очень малое число чекистов (да и то, может быть, полуштрафных), всего 20–40 человек приехали сюда, чтобы держать в повиновении тысячи, многие тысячи. Сперва ждали меньше, но Москва слала, слала, слала. За первые полгода, к декабрю 1923, уже собралось больше 2000 заключённых. А в 1928 в одной только 13–й роте (роте общих работ) крайний в строю при расчёте отвечал: «376–й! Строй по десяти!» — значит, 3760 человек, и такая ж крупная была 12–я рота, а ещё больше «17–я рота»— общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки— Савватиево, Филимоново, Муксалма, Троицкая, «Зайчики» (Заяцкие острова). К 1928 было тысяч около шестидесяти. И сколько среди них «пулемётчиков»,

многолетних природных вояк? Ас 1926уже валили и матёрые уголовники всех сортов. И как же удержать их, чтоб они не восстали?

Только ужасом! Только Секиркой! жёрдочками! комарами! проволочкой по пням! дневными расстрелами! Москва гонит этапы, не считаясь с местными силами, — но Москва ж и не ограничивает своих чекистов никакими фальшивыми правилами: всё, что сделано для порядка, — то сделано, и ни один прокурор действительно никогда не ступит на соловецкую землю.

А второе — накидка газовая со стеклярусом, эра равенства — и Новые Соловки! Самоохрана заключённых! Самонаблюдение! Самоконтроль! Ротные, взводные, отделённые — все из своей среды. И самодеятельность, и саморазвлечение!

А под ужасом и под стеклярусом — какие люди? кто? Исконные аристократы. Кадровые военные. Философы. Учёные. Художники. Артисты. Лицеисты.

Вот немногие соловчане, сохранённые памятью уцелевших: Ши–ринская–Шихматова, Шереметева, Шаховская, Фицтум, И.С. Дельвиг, Грабовский, Асатиани–Эристов, Гошерон–де–Лафосс, Сивере, Г.М. Осор–гин, Клодт, Н.Н. Бахрушин, Аксаков, Комаровский, Д.А. Воейков, Вадболь-

ский, Вонлярлярский, В. Левашов, О.В. Волков, В. Лозина–Лозинский, Д. Гудович, Таубе, В.С. Муромцев. Бывший кадетский лидер Некрасов. Финансист проф. Озеров. Юрист проф. А.В. Бородин. Психолог проф. А.П. Сухов. Философы проф. А.А. Мейер, проф. С.А. Аскольдов, Ю.Н. Данзас, теософ Мёбес. Историки Н.П. Анциферов, М.Д. Присёлков, Г.О. Гордон, А.И. Заозерский, П.Г. Васенко. Литературоведы Д. С. Лихачёв, Цейтлин, лингвист И.Е. Аничков, востоковед Н. В. Пигулевская. Орнитолог Г. Поляков. Художники Враз, П.Ф. Смотрицкий. Актёры И.Д. Калугин (Александринка), Б. Глубоковский. В.Ю. Короленко (племянник). В 30–е годы, уже при конце Соловков, здесь побывал и о. Павел Флоренский.

По воспитанию, по традициям— слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы выть, чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона— всё с улыбкой, даже идя на расстрел. Будто вся эта полярная ревущая морем тюрьма— небольшое недоразумение на пикнике. Шутить. Высмеивать тюремщиков.

Вот и слон на деньгах и на клумбе. Вот и козёл вместо коня. И если уж 7–я рота артистическая, то ротный у нее — Кунст. Если Берри–Ягода — то начальник ягодосушилки. Вот и шутки над про-

стофилями, цензорами журнала. Вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Осоргин: «Comment vous portez–vous [как поживаете) на этом острову?» — «Алагёр ком а лагёр».

Вот эти шуточки, эта подчёркнутая независимость — аристократического духа — они–то больше всего и раздражают полузверячих соловецких тюремщиков. Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь— Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошёл на пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру Воронежскому отвёз мантию и Святые Дары. По доносу посажен в карцер и приговорён к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его молодая (он и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трёх дней, и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться глазам! Лишь

один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. — «Что с тобой?» — «Ничего», — прояснился он тут же. Она могла ещё остаться— он упросил её уехать. Черта времени: убедил её взять тёплые вещи, он на следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу.

Но ведь кто–то же и подарил им эти три дня. Эти три осоргинских дня, как и другие случаи, показывают, насколько соловецкий режим ещё не стянулся панцырем системы. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти ещё добродушным непониманием: к чему это всё идёт? какие соловецкие черты становятся зародышами великого Архипелага, а каким суждено на первом взроете и засохнуть? Всё–таки не было ещё у соловчан общего твёрдого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима и топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. (А ведь было–то так!..) Тут сбивало ещё, что сроки у всех были больно коротки: редко десять

лет, и пять не так часто, а то всё три да три. Ещё не понималась эта кошачья игра закона: придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание — к чему всё идёт? — не могло остаться совсем без влияния и на охранников из заключённых, и может быть слегка и на тюремщиков.

Как ни чётки были строки всюду выставленного, объявленного, не скрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага, — но этого уничтожения каждого конкретного двуногого человека, имеющего волосы, глаза, рот, шею, плечи, — всё–таки нельзя было себе представить. Можно было поверить, что уничтожаются классы, но люди из этих классов вроде должны были бы остаться?.. Перед глазами русских людей, выросших в других, великодушных и расплывчатых понятиях, как перед плохо подобранными очками, строки жестокого учения никак не прочитывались в точности. Недавно, кажется, прошли месяцы и годы открыто объявленного террора — а всё–таки нельзя было поверить!

Сюда, на первые острова Архипелага, передалась и неустойчивость тех пёстрых лет, середины 20–х годов, когда и по всей стране ещё плохо по-

нималось: всё ли уже запрещено? или, напротив, только теперь–то и начнёт разрешаться? Ещё так верила Русь в восторженные фразы! — и только немногие сумрачные головы уже разочли и знали, когда и как это будет всё перешиблено.

Повреждены пожаром купола— а кладка вечная… Земля, возделанная на краю света, — и вот разоряемая. Изменчивый цвет беспокойного моря. Тихие озёра. Доверчивые животные. Беспощадные люди. И к Бискайскому заливу улетают на зиму альбатросы со всеми тайнами первого острова Архипелага. Но не расскажут на беспечных пляжах, но никому в Европе не расскажут.

Фантастический мир… И одна из главных недолговечных фантазий: управляют лагерной жизнью отчасти— белогвардейцы! Так что Курилко был — не случаен.

Это вот как. Во всём Кремле— единственный вольный чекист: дежурный по лагерю. Караулы у ворот (вышек нет), наблюдательные засады по островам и поимка беглецов — у охраны. В охрану кроме вольных набираются бытовые убийцы, фальшивомонетчики, другие уголовники (но не воры). Но кому заниматься всей внутренней организацией, кому вести Адмчасть, кто будут ротные и отделённые? Не священники же, не сектанты,

не нэпманы, не учёные да и не студенты (студентов не так мало здесь, а студенческая фуражка на голове соловчанина— это вызов, дерзость, заметка и заявка на расстрел). Это лучше всего смогли бы бывшие военные. А какие ж тут военные, если не белые офицеры? Так, без сговора и вряд ли по стройному замыслу, складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев.

Где же принципиальность тех и других? Удивительно? Поразительно? — только тому удивительно, кто привык к анализу классово–социальному и не умеет иначе. Но тому аналисту всё на свете удивительно, ибо никогда не вливаются мир и человек в его заранее подставленные желобочки.

А соловецкие тюремщики и чёрта возьмут на службу, раз не дают им красных штатов. Положено: заключённым самоконтролироваться (самоугнетаться). И кому ж тут лучше поручить?

А вечным офицерам, «военным косточкам»— ну как не взять организацию хоть и лагерной жизни (лагерного угнетения) в свои руки? Ну как подчиниться и смотреть, что кто–то возьмётся неумеючи и шалопутно? Что погоны делают с человеческим сердцем — мы уже в этой книге толковали. (Вот погодите, придёт время и

красных командиров сажать — и как повалят в самоохрану, как за этой вертухайской винтовкой потянутся, лишь бы доверили!.. Я писал уже: а кликни Ма–люта Скуратов нас?..) Ну, и такое должно было быть у белогвардейцев: а–а, всё равно пропали, и всё пропало, так и море по колено! И ещё такое: «чем хуже, тем лучше», поможем вам обуютить такие зверские Соловки, каких в нашей России сроду не бывало, — пусть о вас слава дурная идёт. И такое: наши все согласились, а я что — поп, чтобы на склад бухгалтером?

И всё же главная соловецкая фантазия ещё не в том была, а: заняв Адмчасть Соловков, белогвардейцы стали— бороться с чекистами! Ваш–де лагерь — снаружи, а наш — внутри. И кому где работать и кого куда отправить— это Адмчасти дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам.

Как бы не так! — именно внутри–то и должен быть лагерь весь прослоен стукачами Информационно–Следственной Части! Это была первая и грозная сила в лагере — ИСЧ. (И оперуполномоченные тоже были — из заключённых, вот венец самонаблюдения) И с ней–то взялась бороться белогвардейская АЧ! Все другие части— Культурно–Воспитательная, Санитарная, которые столько будут значить в дальнейших лагерях,

тут были хилы и жалки. Прозябала и Экономчасть во главе с Н. Френкелем — заведовала «торговлей» с внешним миром и несуществующей «промышленностью»; ещё не про–метились пути её восхода. Две силы боролись— ИСЧ и АЧ. Это с Кемперпункта начиналось: к отделённому подошёл новоприбывший поэт Ал. Ярославский и зашептал ему на ухо. Отделённый, отчеканивая слова по–военному, рявкнул: «Был тайным — станешь явными

У Информационно–Следственной Части — Секирка, карцеры, доносы, личные дела заключённых, от них зависели и досрочные освобождения, и расстрелы, у них— цензура писем и посылок. УАдмчасти— назначения на работу, перемещения по острову и этапы.

Адмчасть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили, они убегали, прятались в помещении ИСЧ, их настигали и там, взламывали комнаты ИСЧ, выволакивали и тащили на этап[212].

(Их отправляли на Кондостров, на лесозаготовки. Фантастичность продолжалась и там: разоблачённые и потерянные выпускали на

[212] Примечания: 212

Интересно, как на заре Архипелага с того самого начинают, к чему вернёмся и мы в поздних Особых лагерях: с удара по стукачам.

Кондострове стенгазету «Стукач» и с печальным юмором «разоблачали» друг друга дальше — уже в «задрочен–ности».)

Тогда ИСЧ заводила дела на старателей Адмчасти, увеличивала им срок, отправляла на Секирку. Но осложнялась её деятельность тем, что обнаруженный сексот по истолкованию тех лет (ст. 121 УК: «разглашение… должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению», — и независимо от того, по его ли намерению это разглашение произошло и насколько он «должностное») считался преступником, — и не могла уже ИСЧ защищать и выручать провалившихся стукачей. Попался— сам и виноват. Кондостров был почти узаконен.

Вершиной «военных действий» между ИСЧ и АЧ был случай в 1927, когда белогвардейцы ворвались в ИСЧ, взломали несгораемый шкаф, оттуда изъяли и огласили полные списки стукачей — отныне потерянных сотрудников! Затем с каждым годом Адмчасть слабела: бывших офицеров становилось всё меньше, а всё больше уголовников ставилось туда (например, «чубаровцы» — по нашумевшему ленинградскому процессу насиль-

ников). И постепенно была одолена[213].

Да с 30–х годов начиналась и новая лагерная эра, когда и Соловки уже стали не Соловки, а рядовой «исправительно–трудовой лагерь». Всходила чёрная звезда идеолога этой эры Нафталия Френкеля, и стала высшим законом Архипелага его формула:

«От заключённого нам надо взять всё в первые три месяца — а потом он нам не нужен!»

* * *

Да где ж те Савватий с Зосимой и Германом? Да кто ж это придумал — жить под Полярным Кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут?

О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро — за год, за два— привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок! Как же это удалось? Грабили и вывозили? Или доконали всё на месте? И, тысячи имея незанятых рук, — ничего не уметь

---

[213] Примечания: 213

Ещё до 1972 года на чердаке Савватиевского скита долежала рукопись— дневник зэка 20–х годов (видимо, полита— потому что описывалось там, как кормят политов). На одной из первых страниц упоминалось покушение молодого белогвардейца на чекистского генерала. Дальше никто не прочёл: рукопись забрало КГБ.

добыть из земли.

Только вольным— молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия. А заключённым— гнилая треска, солёная или сушёная; худая баланда с перловой или пшённой крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. И вот — цынга, и даже «канцелярские роты» в нарывах, а уж общие… С дальних командировок возвращаются «этапы на карачках» (так и ползут от пристани на четырёх ногах).

Из денежных (из дому) переводов можно использовать в месяц 9 рублей — есть ларёк в часовне Германа. А посылка— в месяц одна, её вскрывает ИСЧ, и если не дашь им взятки, объявят, что многое из присланного тебе не положено, например крупа. В Никольской церкви и в Успенском соборе растут нары — до четырёхэтажных. Не просторней живёт 13–я рота у Преображенского собора (фото 6) в примыкающем корпусе. Вот у этого входа (фото 7) представьте стиснутую толпу: три с половиной тысячи валят к себе, возвращаясь с работы. В кубовую за кипятком— очереди по часу. По субботам вечерние проверки затягиваются глубоко в ночь (как прежние богослужения…). За санитарией, конечно, очень следят: насильственно стригут волосы и

обривают бороды (также и всем священникам сряду). Ещё— обрезают полы у длинной одежды (особенно у ряс), ибо в них–то главная зараза. (У чекистов— шинели до земли.) Правда, зимою никак не выбраться в баню с ротных нар тем больным и старым, кто сидит в белье и в мешках, вши их одолевают. (Мёртвых прячут под нары, чтобы получить на них лишнюю пайку, — хотя это и невыгодно живым: с холодеющего трупа вши переползают на тёплых, оставшихся.) В Кремле есть плохая санчасть с плохой больницей, а в глуби Соловков— никакой медицины.

Исключение только — Голгофско–Распятский скит на Анзере, штрафная командировка, где лечат… убийством. Там, в Голгофской церкви, лежат и умирают от бескормицы, от же–стокостей — и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих и чтоб облегчить свою задачу, тамошний голгофский врач даёт безнадёжным стрихнин, зимой бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, прислоня к стене, — так они меньше занимают места. Авы–неся наружу— сталкивают вниз с Голгофской горы.

Необычно название горы и скита, оно не встре-

чается нигде больше. По преданию (рукопись XVIII века, Государственная Публичная библиотека, Соловецкий патерик) 18 июня 1712 иеромонаху Иову под этою горой во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь «в небесной славе» и сказала: «Сия гора отселе будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и Распятский скит. И убедится она страданиями неисчислимыми». Так назвали и построили так, но более двухсот лет предсказание казалось холостым, не предвиделось ему оправдаться. После Соловецкого лагеря этого уже не скажешь.

В 1975, кто был, рассказывают: храм разрушен (ещё в 60–е годы стоял), но стены сохранились, и кое–где видны росписи.

Как–то вспыхнула в Кеми эпидемия тифа (1928), и 60% вымерло там, но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров, здесь в нетопленом «театральном» зале валялись сотни тифозных одновременно. И сотни ушли на кладбище. (Чтоб не спутать учёт, писали нарядчики фамилию каждому на руке — и выздоравливающие менялись сроками с мертвецами–крат–косрочниками, переписывали на свою руку.) А в 1929, когда многими тысячами пригнали «басмачей», то есть средне–азиатов, не принимающих советской

власти, — они привезли с собой такую эпидемию, что чёрные бляшки образовывались на теле и неизбежно человек умирал. То не могла быть чума или оспа, как предполагали соловчане, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике, — а назвали болезнь «азиатским тифом». Лечить её не умели, искореняли же так: если в камере один заболевал, то всех запирали, не выпускали и лишь пишу им туда подавали— пока не вымирали все.

Какой бы научный интерес был нам установить, что Архипелаг ещё не понял себя в Соловках, что дитя ещё не угадывало своего норова! И потом бы проследить, как постепенно этот норов проявлялся. Увы, не так! Хотя не у кого было учиться, хотя не с кого брать пример, и такой наследственности не было, — но Архипелаг быстро узнал и проявил свой будущий характер.

Так многое из будущего опыта уже было найдено на Соловках! Уже был термин «вытащить с общих работ». Все спали на нарах, а кто–то уже и на топчанах; целые роты в храме, а кто— по двадцать человек в комнате, а кто–то и по четыре, по пять. Уже кто–то знал своё право: оглядеть новый женский этап и выбрать себе женщину (на тысячи мужчин их было сотни полторы–две,

потом больше). Уже была и борьба за тёплые места ухватками подобострастия и предательства. Уже снимали контриков с канцелярских должностей — и опять возвращали, потому что уголовники только путали. Уже сгущался лагерный воздух от постоянных зловещих слухов. Уже становилось высшим правилом поведения: никому не доверяй! (Это вытесняло и вымораживало прекраснодушие Серебряного Века.)

Тоже и вольные стали входить в сладость лагерной обстановки, раскушивать её. Вольные семьи получали право на даровых кухарок от лагеря, всегда могли затребовать в дом дровокола, прачку, портниху, парикмахера. Эйхманс выстроил себе приполярную виллу. Широко размахнулся и Потёмкин — бывший драгунский вахмистр, потом коммунист, чекист и вот начальник Кемперпункта. В Кеми он открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки — в шёлковых платьях. Приезжие товарищи из Главного Управления Лагерей, из карточной Москвы, могли здесь роскошно пировать в начале 30–х годов, к столу подавала им княгиня Шаховская, а счёт подавался условный, копеек на тридцать, остальное за счёт лагеря.

Да соловецкий Кремль — это ж ещё и не все

Соловки, это ещё самое льготное место. Подлинные Соловки— даже не по скитам (где после увезенных социалистов учредились рабочие командировки), а— на лесоразработках, на дальних промыслах. Но именно о тех дальних глухих местах сейчас труднее всего что–нибудь узнать, потому что именно те–то люди и не сохранились. Известно, что уже тогда осенью не давали просушиваться; зимой по глубоким снегам не одевали, не обували; а долгота рабочего дня определялась уроком — кончался день рабочий тогда, когда выполнен урок, а если не выполнен, то и не было возврата под крышу. И тогда уже «открывали» новые командировки тем, что по несколько сот человек посылали в никак не подготовленные необитаемые места.

Но, кажется, первые годы Соловков и рабочий гон, и заданье надрывных уроков вспыхивали порывами, в переходящей злости, они ещё не стали стискивающей системой, на них ещё не оперлась экономика страны, не утвердились пятилетки. Первые годы у СЛОНа, видимо, не было твёрдого внешнего хозяйственного плана, да и не очень учитывалось, как много человеко–дней уходит на работы по самому лагерю. Потому с такой лёгкостью вдруг могли сменить осмысленные

хозяйственные работы на наказания: переливать воду из проруби в прорубь, перетаскивать брёвна с одного места на другое и назад. В этом была жестокость, да, но и патриархальность. Когда же рабочий гон становится продуманной системой, тогда обливание водой на морозе и выставление на пеньки под комаров оказывается уже избыточным, лишней тратой палаческих сил.

Есть такая официальная цифра: до 1929 года по РСФСР было «охвачено» трудом лишь от 34 до 41% всех заключённых[214] (да иначе и не могло быть при безработице в стране). Правда, это только «внешний» труд, сюда не входит хозяйственный труд по обслуживанию самого лагеря. Но для оставшихся 60–65% заключённых не хватит и хозяйственного. Соотношение это не могло не проявиться также и на Соловках. Определённо, что все 20–е годы там было немало заключённых, не получивших никакой постоянной работы (отчасти из–за раздетости) или занявших весьма условную должность.

Тот первый год той первой пятилетки, тряхнувший всю страну, тряхнул и Соловки. Повторно назначенный начальник УСЛОНа Ногтев (тот

[214] Примечания: 214
От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 115.

самый, который расстреливал социалистов в Савватиевском скиту) под «шёпот удивления в изумлённом зале» докладывал вольняшкам города Кеми такие цифры: «не считая собственных лесоразработок УСЛОНа, растущих совершенно исключительными темпами», УСЛОН только по «внешним» заказам ЖелЛеса и КарелЛеса заготовлял: в 1926— на 63 тыс. рублей, в 1929— на 2 млн 355 тыс. (в 37 раз!), в 1930 ещё втрое. Дорожное строительство по Карело–Мурманскому краю в 1926 выполнено на 105 тыс. рублей, в 1930 — на 6 млн — в 57 раз больше![215]

Так оканчивались прежние глухие Соловки, где не знали, как извести заключённых. Труд–чародей приходил на помощь!

Через Кемперпункт Соловки создались, через Кемпер–пункт же они, пройдя созревание, стали с конца 20–х годов распространяться назад, на материк. И самое тяжёлое, что могло выпасть теперь заключённому, были эти материковые командировки. Раньше Соловки имели на материке только Сороку да Сумский посад—прибрежные монастырские владения. Теперь раздувшийся СЛОН забыл монастырские границы.

---

[215] Примечания: 215
Соловецкие острова, 1930, № 2–3, с. 56, 57.

От Кеми на запад по болотам заключённые стали прокладывать грунтовый Кемь–Ухтинский тракт, «считавшийся когда–то почти неосуществимым»[216]. Летом тонули, зимой коченели. Этого тракта соловчане боялись панически, и долго рокотала над кремлёвским двором угроза: «Что?? На Ухту захотел?»

Второй подобный тракт повели Парандовский (от Мед–вежьегорска). На этой прокладке чекист Гашидзе приказывал закладывать в скалу взрывчатку, на скалу посылал каэров и в бинокль смотрел, как они взрываются.

Рассказывают, что в декабре 1928 на Красной Горке (Карелия) заключённых в наказание (не выполнен урок) оставили ночевать в лесу— и 150 человек замёрзли насмерть. Это — обычный соловецкий приём, тут не усумнишься.

Труднее поверить другому рассказу: что на Кемь–Ухтин–ском тракте близ местечка Кут в феврале 1929 роту заключённых около ста человек за невыполнение нормы загнали на костёр — и они сгорели!

Об этом мне рассказал всего один только человек, близко бывший: профессор Дмитрий

---

[216] Примечания: 216
Там же, с. 57.

Павлович Каллистов, старый со–ловчанин, умерший недавно. Да, пересекающихся показаний я об этом не собрал (как, может, и никто уже не соберёт— и о многом не соберут, даже и по одному показанию). Но те, кто морозят людей и взрывают людей, — почему не могут их сжечь? Потому что здесь труднее техника?

Предпочитающие верить не людям живым, а типографским буквам пусть прочтут о прокладке дороги тем же УСЛОНом, такими же зэками в том же году, только на Кольском полуострове:

«С большими трудностями провели грунтовую дорогу по долине реки Белой, по берегу озера Вудъярв до горы Кукис–вумчорр (Апатиты) на протяжении 27 километров, устилая болота… — чем, вы думаете,устилая^ так и просится само на язык, правда? но не на бумагу… — …брёвнами и песчаными насыпями, выравнивая капризные рельефы осыпающихся склонов каменистых гор». Затем УСЛОН построил там и железную дорогу — «11 километров за один зимний месяц… — (а почему за месяц? а почему до лета нельзя было отложить?) — …Задание казалось невыполнимым. 300000 кубов земляных работ— (за Полярным Кругом! зимой! — то разве земля? то хуже всякого гранита!) — должны были быть выполнены

исключительно ручной силой— киркой, ломом и лопатой. — (А рукавицы хоть были?..) — Многочисленные мосты задерживали развитие работ. Круглые сутки в три смены, прорезая полярную ночь светом керосиново–калильных фонарей, прорубая просеки в ельниках, выкорчёвывая пни, в мятели, заносящие дорогу снегом выше человеческого роста...»[217]

Перечитайте. Теперь зажмурьтесь. Теперь представьте: вы, беспомощный горожанин, воздыхатель по Чехову, — в этот ад ледяной! вы, туркмен в тюбетейке, — в эту ночную мятель! И корчуйте пни!

Это было в лучшие светлые Двадцатые годы, ещё до всякого «культа личности», когда белая, жёлтая, чёрная и коричневая расы Земли смотрели на нашу страну как на светоч свободы[218]. Это было в те годы, когда с эстрад напевали забавные песенки о Соловках.

Так незаметно — рабочими заданиями — распался прежний замысел замкнутого на островах лагеря Особого Назначения. Архипелаг, родив-

---

[217] Примечания: 217

Г. Фридман. Сказочная быль // Соловецкие острова, 1930, № 4, с. 43, 44.

[218] Примечания: 218

О, Бертран Рассел! О, Хьюлет Джонсон! О, где была ваша пламенеющая совесть тогда?

шийся и созревший на Соловках, начал своё злокачественное движение по стране.

Возникала проблема: расстелить перед ним территорию этой страны — и не дать её завоевать, не дать увлечь, усвоить, уподобить себе. Каждый островок и каждую релку Архипелага окружить враждебностью советского волнобоя. Дано было мирам переслоиться— не дано смешаться!

И этот ногтевский доклад под «шёпот удивления» — он ведь для резолюции выговаривался, для резолюции трудящихся Кеми (а там— в газетки! а там по посёлкам развешивать):

«Усиливающаяся классовая борьба внутри СССР… и возросшая как никогда опасность войны[219]… требует от органов ОГПУ и УСЛОН ещё большей сплочённости с трудящимися, бдительности. Путём организации общественного мнения… повести борьбу с… якшанием вольных с заключёнными, укрывательством беглецов, покупкой краденых и казённых вещей от заключённых… и со всевозможными злостными слухами, распространяемыми про УСЛОН классовыми врагами».

И какие ж это «злостные слухи»? Что в лагере —

---

[219] Примечания: 219
Всегда у нас как никогда, слабее не бывает.

люди сидят и ни за что. И как их там добивают.

Ещё потом пункт: «…долг каждого своевременно ставить в известность…»[220]

Мерзкие вольняшки! Они дружат с зэками, они укрывают беглецов. Это — страшная опасность. Если этого не пресечь — не будет никакого Архипелага. И страна пропала. И революция пропала.

И распускаются против «злостных» слухов — честные прогрессивные слухи: что в лагерях— убийцы и насильники, что каждый беглец — опасный бандит! Запирайтесь, бойтесь, спасайте своих детей! Ловите, доносите, помогите работе ОГПУ! А кто не помог— о том ставьте в известность^.

Теперь, с расползанием Архипелага, побеги множились: обречённость лесных и дорожных командировок — и всё же цельный материк под ногами беглеца, всё–таки надежда. Однако бегляцкая мысль будоражила соловчан и тогда, когда СЛОН ещё был замкнутым островом. Легковерные ждали конца своего трёхлетнего срока, провидчивые уже понимали, что ни через три, ни через двадцать три года не видать им свободы. И значит, свобода— только в побеге.

---

[220] Примечания: 220
Соловецкие острова, 1930, № 2–3, с. 60.

Но как убежать с Соловков? Полгода море подо льдом — да не цельным, местами промоины, и крутят мятели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной и большую часть лета— белые ночи, далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью, наступает удобное время. Не в Кремле конечно, а на командировках, кто имел и передвижение и время, где–нибудь в лесу близ берега строили лодку или плот и отваливали ночью (а то и просто на бревне верхом) — наугад, больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнавалось на острове — и радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шёпотом спрашивали: ещё не поймали? ещё не нашли?.. Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто–то, может быть, достиг карельского берега — так тот скрывался глуше мёртвого.

А знаменитый побег в Англию произошёл из Кеми. Этот смельчак (его фамилия нам не известна, вот кругозор!) знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовоза в Кеми— и он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку, задержали

пароход почти на неделю, несколько раз обыскивали его — а беглеца не нашли. (Оказывается: при всяком обыске, идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах.) Платилась огромная неустойка за задержку парохода— и решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход.

А ещё по морю бежала группа Бессонова, пять человек (Мальсагов, Мальбродский, Сазонов, Приблудин).

И стали в Англии выходить книги, даже, кажется, не по одному изданию. (Юр.Дм. Бессонов. «Мои 26 тюрем и моё бегство с Соловков».)[221]

Эта книга изумила Европу. И конечно, автора–беглеца упрекнули в преувеличениях, да просто должны были друзья Нового Общества совсем не поверить этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному: как описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте Фане» (надеемся, что её корреспондент и сам потом побывал на Архипелаге) и тем альбомам о Соловках, которые распространяли советские полпредства в Европе: отличная бумага, достоверные снимки уютных

[221] Примечания: 221
И их вы тоже не читали, сэр Бертран Рассел?..

келий. (Надежда Суровцева, наша коммунистка в Австрии, получила такой альбом от венского полпредства и с возмущением опровергала ходящую в Европе клевету. К этому времени сестра её будущего мужа уже отсидела на Соловках, а самой ей предстояло через два года гулять «гуськом» в Ярославском изоляторе.)

Клевета–то клеветой, но досадный получился прорыв! И комиссия ВЦИК под председательством «совести партии» товарища Сольца (фото 8) поехала узнать, что там делается, на этих Соловках (они же ничего не знали!..). Но впрочем, проехала та комиссия только по Мурманской железной дороге, да и там ничего особого не управила. А на остров сочтено было благом послать — нет, просить поехать! — как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его–то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки!

Опережающий слух донёсся до Соловков — заколотились арестантские сердца, засуетились охранники. Надо знать заключённых, чтобы представить их ожидание! В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник! первый русский писатель! вот он

им пропишет! вот он им покажет! вот, батюшка, защитит! Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию.

Волновалось и начальство: как могло, прятало уродство и лощило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше; из санчасти списали многих больных и навели чистоту. И натыкали «бульвар» из ёлок без корней (несколько дней они должны были не засохнуть)— к детколонии, открытой три месяца назад, гордости УСЛОНа, где все одеты, и нет социально–чуждых детей, и где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме.

Недоглядели только в Кеми: на Поповом острове грузили «Глеба Бокия» заключённые в белье и в мешках— и вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители! Вот вам достойная задача: голый остров, ни кустика, ни укрытия — ив трёхстах шагах показалась свита Горького, — ваше решение?! Куда девать этот срам, этих мужчин в мешках? Вся поездка Гуманиста потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Ну, конечно, он постарается их не заметить, — но помогите же! Утопить их в мо-

ре? — будут барахтаться… Закопать в землю? — не успеем… Нет, только достойный сын Архипелага может найти выход! Командует нарядчик: «Брось работу! Сдвинься! Ещё плотней! Сесть на землю! Так сидеть!» — и накинули поверху брезентом. — «Кто пошевелится — убью!» И бывший грузчик взошёл по трапу, и ещё с парохода смотрел на пейзаж, ещё час до отплытия — не заметил…

Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошёл на пристань в Бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (чёрная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги), — живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой.

В окружении комсостава ГПУ Горький прошёл быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах врачей и сестёр, он и смотреть не стал, ушёл. Дальше чекисты УСЛОНа бесстрашно повезли его на Секирку. И что ж? — в карцерах не оказалось людского переполнения и, главное, — жёрдочек никаких! На скамьях сидели воры (уже их много было на Соловках) и все… читали газеты! Никто из них не смел встать и пожаловаться,

но придумали они: держать газеты вверх ногами. И Горький подошёл к одному и молча обернул газету как надо. Заметил! Догадался! Так не покинет! Защитит![222]

Поехали в детколонию. Как культурно! — каждый на отдельном топчане, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14–летний мальчишка сказал: «Слушай, Горький! Всё, что ты видишь, — это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?» Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. (Ах, мальчишка, зачем ты портишь только–только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковьи…) И велено было выйти всем, — и детям, и даже сопровождающим гепеушникам, — и мальчик полтора часа всё рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать

[222] Примечания: 222

Гепеуіпница, спутница Горького, тоже упражняясь пером, записала так: «Знакомимся с жизнью Соловецкого лагеря. Я иду в музей… Все едем на «Секир–гору». Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Вода в озере холодного тёмно–синего цвета, вокруг озера— лес, он кажется заколдованным, меняется освещение, вспыхивают верхушки сосен, и зеркальное озеро становится огненным. Тишина и удивительно красиво. На обратном пути проезжаем торфоразработки. Вечером слушали концерт. Угощали нас местной соловецкой селёдочкой, она небольшая, но поразительно нежная и вкусная, тает во рту». (М. Горький исын: Письма. Воспоминания. М.: Наука, 1971, с. 276. (Архив А.М.Горького. Т. 13.))

обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак: «О комариках сказал?» — «Сказал!» — «О жёрдочках сказал?» — «Сказал!» — «О вридлах сказал?» — «Сказал!» — «А как с лестницы спихивают?.. А про мешки?.. А ночёвки в снегу?..» Всё–всё–всё сказал правдолюбец мальчишка!!!

Но даже имени его мы не знаем.

22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в «Книге отзывов», специально сшитой для этого случая:

«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется да и стыдно (!) было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры»[223].

23–го Горький отплыл. Едва отошёл его пароход— мальчика расстреляли. (Сердцевед! знаток людей! — как мог он не забрать мальчика с собою?!)

Так утверждается в новом поколении вера в справедливость.

---

[223] Примечания: 223

Соловецкие острова, 1929, № 1, с. 3. (В собрании сочинений Горького этой записи нет.)

Толкуют, что там, наверху, глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал УСЛОНу. Но как же так, Алексей Максимович?.. Но перед буржуазной Европой! Но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный!.. А режим? — мы сменим, мы сменим режим.

И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола–Буревестника, что зря Соловками пугают, что живут здесь заключённые замечательно и исправляются замечательно.

И, в гроб сходя, благословил
Архипелаг…

Жалкое поведение Горького после возвращения из Италии и до смерти я приписывал его заблуждениям и неуму. Но недавно опубликованная переписка 20–х годов даёт толчок объяснить это ниже того: корыстью. Оказавшись в Сорренто, Горький с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем — и денег (был же у него целый двор обслуги). Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз и принять все условия. Тут стал он добровольным пленником Ягоды. И Сталин убивал его зря, из перестраховки: он воспел бы и 37–й год.

А насчёт режима— это уж как обещано. Ре-

жим исправили— в 11–й карцерной роте теперь неделями стояли вплотную. На Соловки поехала комиссия, уже не Сольца, а следственно–карательная. Она разобралась и поняла (с помощью местной ИСЧ), что все жестокости соловецкого режима— от белогвардейцев (Адмчасть), и вообще аристократов, и отчасти от студентов (ну, тех самых, которые ещё с прошлого века поджигали Санкт–Петербург). Тут ещё неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова (бывшего министра Дальне–Восточной Республики) с Шипчинским — побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть, — и стали хватать, и хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами.

И в ночь на 29 октября 1929 года, всех разогнав и заперев по помещениям, — Святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь. (И каждую партию сопровождала отчаянным воем где–то привязанная собака Блэк, подозревая, что именно в этой ведут её хозяина Грабовского. По вою собаки считали в ротах партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следу-

ющий день был застрелен и Блэк, и все собаки за Блэка.)

Расстреливали те три морфиниста–хлыща, начальник Охраны Дегтярёв и... начальник Кулыурно–Воспитательной Части Успенский. (Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию что называется типическую, то есть не самую распространённую, но сгущающую суть эпохи. Он родился сыном священника — и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрёшь, никак себе не изменишь отца. Нет, можно, придумал Успенский: он убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти! Здоровое чувство, это уже почти и не убийство! Ему дали лёгкий срок — и сразу пошёл он в лагере по культурно–воспитательной линии, и быстро освободился, и вот уже мы застаём его вольным начальником КВЧ Соловков. А на этот расстрел— сам ли он напросился или предложили ему подтвердить свою классовую позицию — неизвестно. К концу той ночи видели его, как он над раковиной, поднимая ноги, поочерёдно мыл голенища, залитые кровью (фото 18, крайний справа— может быть он, может быть

однофамилец).

Стреляли они пьяные, неточно— и утром большая присыпанная яма ещё шевелилась.

Весь октябрь и ещё ноябрь привозили на расстрел дополнительные партии с материка. (В какой–то из приёмов был расстрелян и Курилко.)

Всё это кладбище некоторое время спустя было сровнено заключёнными под музыку оркестра[224].

После тех расстрелов сменился начальник СЛОНа: вместо Эйхманса и Ногтева— Зарин, и считается, что установилась эра новой соловецкой законности.

Впрочем, вот какова она была. Летом 1930 привезли на Соловки несколько десятков «истинно–православных», их называли «сектантами»: в местных осколках, под разными названиями, в стране существовали многие православные общины, усвоившие тихоновское воззвание 1918 года— анафему советской власти, и потом уже,

---

[224] Примечания: 224

Эта площадка — в 300 метрах на юг от Святых ворот (их вели вдоль стены Кремля до конца, а потом дальше, не сворачивая), образовалась большая, 80 χ 80 метров, свободная от леса, удобная для постройки. Летом 1975 там начали рыть котлован для жилых домов — и экскаватор выгребал одни кости. Туристы (а среди них— понимающие бывшие зэки) разбирали черепа. Уже и фундамент подняли — а вокруг него во множестве лежали рёбра, ключицы, челюсти, лопатки, тазовые кости, берцовые, фаланги пальцев и позвонки.

несмотря на поворот в центре, не сошедшие с этого отрицания. Эти привезенные («имяславцы») отрекались ото всего, что идёт от антихриста: не получали никаких советских документов, ни в чём не расписывались этой власти и не брали в руки её денег. Во главе этой пригнанной теперь группы состоял седобородый старик восьмидесяти лет, слепой и с долгим посохом. Каждому просвещённому человеку было ясно, что этим фанатикам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дела с бумажками, — и лучше всего поэтому им бы умереть. И их послали на Малый Заяцкий остров — самый малый в Соловецком архипелаге— песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов–рыбаков. И выразили расположение дать им двухмесячный паёк— но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательно каждый. Разумеется, они отреклись все. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипникова, уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвёртый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва сжалиться,

потом— послать и её с «сектантами» на Заяцкие острова счетоводом, обязуясь выдавать им пишу на день и вести всю отчётность. Кажется, это никак не противоречило лагерной системе! — а отказали. «Но кормят же сумасшедших, не требуя от них расписок!»— кричала Анна. Зарин только рассмеялся. А нарядчица ответила: «Может быть, это установка Москвы— мы же не знаем…» (И это конечно было указание из Москвы! — кто ж бы иначе взял ответственность? Хорошо было задумано безбожниками, как этим верующим умереть, но нельзя было осуществить такого плана в густоте среднерусской полосы, вот их и привезли сюда.) И их отправили без пищи. Через два месяца (ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца) приплыли на Малый Заяцкий и нашли только трупы расклёванные. Все на месте, никто не бежал.

И кто теперь будет искать виновных? — в 60–х годах нашего великого века?

Впрочем, и Зарин был скоро снят— за либерализм. (И кажется —10 лет получил.)

* * *

С конца 20–х годов менялся облик Соловецкого лагеря. Из немой западни для обречённых каэров он всё больше превращался в новый тогда, а теперь старый для нас вид общебытового «исправительно–трудового» лагеря. Быстро увеличивалось в стране число «особо–опасных из числа трудящихся» — и гнали на Соловки бытовиков и шпану. Ступали на соловецкую землю воры матёрые и воры начинающие. Большим потоком полились туда воровки и проститутки (встречаясь на Кемперпункте, кричали первые вторым: «Хоть воруем, да собой не торгуем!» И отвечали вторые бойко: «Торгуем своим, а не краденым!»). Дело в том, что объявлена была по стране (не в газетах, конечно) борьба с проституцией, и вот хватали их по всем крупным городам, и всем по стандарту лепили три года, и многих гнали на Соловки. По теории было ясно, что честный труд быстро их исправит. Однако, почему–то упорно держась за свою социально–унизительную профессию, они уже по пути напрашивались мыть полы в казармах конвоя и уводили за собой красноармейцев, подрывая устав конвойной службы. Так же легко они сдруживались и с

надзирателями — и не бесплатно конечно. Ещё лучше они устраивались на Соловках, где такой был голод по женщинам. Им отводились лучшие комнаты общежития, каждый день приносил им обновки и подарки, «монашки» и другие каэрки подрабатывали от них, вышивая им нижние сорочки, — и, богатые как никогда прежде, с чемоданами, полными шёлка, они по окончании срока ехали в Союз начинать честную жизнь.

А воры затеяли карточные игры. А воровки сочли выгодным рожать на Соловках детей: яслей там не было, и через ребёнка можно было на весь свой короткий срок освободиться от работы. (До них каэрки избегали этого пути.)

12 марта 1929 на Соловки поступила и первая партия несовершеннолетних, дальше их слали и слали (все моложе 16 лет). Сперва их располагали в детколонии близ Кремля с теми самыми показными топчанами и матрасами. Они прятали казённое обмундирование и кричали, что не в чем на работу идти. Затем и их рассылали по лесам, оттуда они разбегались, путали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали.

С поступлением социально–здорового контингента приободрилась Кулыурно–Воспитательная Часть. Зазывали ликвидировать неграмотность

(но воры и так хорошо отличали черви от треф), повесили лозунг: «Заключённый— активный участник социалистического строительства!», и даже термин придумали — перековка (именно здесь придумали).

Это был уже сентябрь 1930 года— обращение ЦК ко всем трудящимся о развёртывании соревнования и ударничества— и как же заключённые могли остаться вне? (Если уж повсюду запрягались вольные, то не заключённых ли следовало в корень заложить?)

Дальше сведения наши идут не от живых людей, а из книги учёной юристки Иды Авербах[225], и потому предлагаем читателю делить их на шестнадцать, на двести пятьдесят шесть, а порой брать и с обратным знаком.

Осенью 1930 года создан был соловецкий штаб соревнования и ударничества. Отъявленные рецидивисты, убийцы и налётчики вдруг «выступили в роли бережливых хозяйственников, умелых технoруков, способных культурных работников»

(Г. Андреев вспоминает: били по зубам — «да-

[225] Примечания: 225

И.Л.Авербах. От преступления к труду / Под ред. А.Я. Вышинского; Академия Наук СССР. Институт советского строительства и права. [М.]: Советское Законодательство, 1936.

вай кубики, контра!»). Воры и бандиты, едва прочтя обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать в лагере коммуну. По уставу записали: членом может быть происходящий из бедняцко–середняцкой и рабочей среды (а надо сказать, все блатные записывались Учётно–Распределительной Частью как «бывшие рабочие» — почти сбывался лозунг Шипчинского «Соловки— рабочим и крестьянам!»)— и ни в коем случае не Пятьдесят Восьмая. (И ещё предложили коммунары: все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечении всех разом освободить! Но, несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сочли его политически незрелым.) Лозунги Соловецкой коммуны были: «Отдадим долг рабочему классу!» и, ещё лучше: Ют нас — всё, нам — ничего! (Этот лозунг, уже вполне зрелый, достоин был, пожалуй, и всесоюзного распространения.) Придумано было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны: запрещать им выходить на работу! (Нельзя наказать вора суровее!!)

Впрочем, соловецкое начальство, не столь горячась, как культвоспитработники, не шибко положилось на воровской энтузиазм, а «применило

ленинский принцип: ударная работа— ударное снабжение!». Это значит: коммунаров переселили в отдельные общежития, мягче постелили, теплей одели и стали отдельно и лучше питать (за счёт остальных, разумеется). Это очень понравилось коммунарам, и они оговорили, чтоб никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать.

Очень понравилась такая коммуна и не–коммунарам — и все несли заявления в коммуну. Но решено было в коммуну их не принимать, а создавать 2–й, 3–й, 4–й «трудколлективы», уже без таких льгот. И ни в один коллектив не принималась Пятьдесят Восьмая, хотя самые развязные из шпаны через газету поучали её: пора, мол, пора понять, что лагерь есть трудовая школа!

И повезли самолётами доклады в ГУЛАГ: соловецкие чудеса! бурный перелом настроения блатных! вся горячность преступного мира вылилась в ударничество, в соревнование, в выполнение промфинплана! Там удивлялись и распространяли опыт.

Так и стали жить Соловки: часть лагеря в трудколлекти–вах, и процент выполнения у них не просто вырос, а— вдвое!

(КВЧ это объясняло влиянием коллектива, мы–то понимаем, что — обычная лагерная тух-

та[226].)

Другая часть лагеря — «неорганизованная» (да ненакормленная, да неодетая, да на тяжких работах)— и, понятно, с нормами не справлялась.

В феврале 1931 года конференция соловецких ударных бригад постановила: «широкой волной соцсоревнования ответить на новую клевету капиталистов о принудительном труде в СССР». В марте было ударных бригад уже 136. А в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо «классово–чуждый элемент проникал для разложения коллективов». (Вот загадка: Пятьдесят Восьмую с порога не принимали, кто ж им разлагал? Надо так понять: раскрылась тухта. Ели–пили, веселились, подсчитали— прослезились, и кого–то надо гнать, чтоб остальные шевелились.)

А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов: из материнской соловецкой опухоли слали Пятьдесят Восьмую в далёкие гиблые места открывать новые лагеря.

Рассказывают, что одна (ещё одна ли?) перегру-

---

[226] Примечания: 226

Меня корят, что надо писать туфта, как правильно по–воровски, атуХта есть крестьянское переиначивание, как Хвёдор. Но это мне и мило: туХта как–то сроднено с русским языком, а туфта совсем чужое, принесли воры, а обучили весь русский народ. Так пусть и будет туХта.

женная баржа с заключёнными потонула (ещё случайно ли?).

А с Анзера некоторых заключённых вывозили по одному, секретно. Удивлялась охрана: что это за зэки такие тайные?[227]

Откройте, читатель, карту русского Севера. Морской путь с Соловков в Сибирь пролегал мимо Новой Земли. Раз в год (июнь—июль) идут туда караваны судов во главе с ледоколом, везут новых зэков и провиант лагерям на год. На Новой Земле тоже были лагеря многие годы, и самые страшные—потому что сюда попадали «без права переписки». Отсюда не вернулся никогда ни единый зэк. Что эти несчастные там добывали–строили, как жили, как умирали — этого ещё и сегодня мы не знаем.

Но когда–нибудь дождёмся же свидетельства!

---

[227] Примечания: 227

На Соловках и в 1975 ещё жили: бывший лагерный охранник Ершихин; его жена, бывший заседатель тройки в Кеми; бывшие надзиратели Беличкин, Третьяков, Шимонаев. А надзирательский сын Чеботарёв стал председатель исполкома острова. (Примеч. 1979 г.)

Глава 3. АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ

Да не сам по себе развивался Архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица— не было и погони за рабочими руками заключённых, и аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметанье с дороги. Но когда задумано было огромной мешалкой перемешать все сто пятьдесят тогдашних миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации и вместо него погнали сверх–сверх–сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивание, и обширные общественные работы первой пятилетки, — в канун Года Великого Перешиба изменился и взгляд на Архипелаг, и всё в Архипелаге.

26 марта 1928 года Совнарком (значит— ещё под председательством Рыкова) рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения. О карательной политике было признано, что она недостаточна. Постановлено было[228]: к классовым врагам и классово–чуждым элементам применять суровые

---

[228] Примечания: 228
ЦГАОР, ф. 393, оп. 78, д. 65, л. 369–372.

меры репрессии, устрожить лагерный режим. Кроме того: поставить принудработы так, чтоб заключённые не зарабатывали ничего, а государству они были бы хозяйственно выгодны. И: «считать в дальнейшем необходимым расширение ёмкости трудовых колоний». То есть попросту предложено было готовить побольше лагерей перед запланированными обильными посадками. (Эту же хозяйственную необходимость предвидел и Троцкий, только он опять предлагал свою трудар–мию с обязательной мобилизацией. Хрен редьки не слаще. Но из духа ли противоречия своему вечному оппоненту или чтоб решительней отрубить у людей жалобы и надежды на возврат, Сталин определил прокрутить трудармейцев через тюремную машину.) Упразднялась безработица в стране — появился экономический смысл расширения лагерей.

Если в 1923 на Соловках было заключено не более 3 тысяч человек, то к 1930 — уже около 50 тысяч, да ещё 30 тысяч в Кеми. С 1928 года соловецкий рак стал расползаться — сперва по Карелии — на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Также охотно СЛОН стал «продавать» инженеров: они бесконвойно ехали работать в любое северное место, а зарплата их перечис-

лялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Лодейного Поля до Тайболы к 1929 году уже появились лагерные пункты СЛОНа. Затем движение пошло на вологодскую линию — и такое оживлённое, что понадобилось на станции Званка открыть диспетчерский пункт СЛОНа. К 1930 в Лодейном Поле окреп и стал на свои ноги Свирлаг, в Котласе образовался Котлаг. С 1931 года с центром в Медвежьегорске родился БелБалтлаг[229], которому предстояло в ближайшие два года прославить Архипелаг во веки веков и на пять материков.

А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой— финская граница, — но ничто не мешало устроить лагерь под Красной Вишерой (1929), а главное — беспрепятственны были пути на восток по русскому Северу. Очень рано потянулась дорога Сорока—Котлас («Сорока— построим до срока!»— дразнили соловчане С.Алымова, который, однако, дела своего держался и вышел в люди, в поэты–песенники). Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали СевДвинлаг. Переползя её, они бесстрашно двинулись

[229] Примечания: 229

Это— официальная дата, а фактически с 1930, но организационный период скрыли для краткости сроков, красы и истории. И тут тухта…

к Уралу. В 1931 году там основано было Северо–Уральское отделение СЛОНа, которое вскоре дало самостоятельные Соликамлаг и СевУраллаг. Березниковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в своё время очень восславленное. Летом 1929 из Соловков на реку Чибью была послана экспедиция бесконвойных заключённых под главенством геолога М.В.Рущинского— разведать нефть, открытую там ещё в 80–х годах XIX века. Экспедиция была успешна — и на Ухте образовался лагерь, Ухтлаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо–востоку, захватил Печору — и преобразовался в УхтПечлаг. Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутинское отделения — всё основы будущих великих самостоятельных лагерей.

И тут ещё многое пропущено.

Освоение столь обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги: от Котласа через Княж–Погост и Ропчу на Воркуту. Это вызвало потребность ещё в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных: СевЖелДорлаге — на участке от Котласа до реки Печоры, и Печорлаге (не путать с промышленным УхтПечлагом) — на участке от реки Печоры до

Воркуты. (Правда, дорога эта строилась долго. Её вымьский участок от Княж–Погоста до Ропчи был готов в 1938, вся же она— лишь в конце 1942.)

Так из тундренных и таёжных пучин подымались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу, в боевом строю, создавалась и новая организация Архипелага: Лагерные Управления, лагерные отделения, лагерные пункты (ОЛПы— отдельные лагерные пункты, КОЛПы— комендантские, ГОЛ–Пы — головные), лагерные участки (они же — «командировки» и «подкомандировки»). А в Управлениях— Отделы, а в отделениях— Части: I — Производственная, II — Учётно–Распредели–тельная (УРЧ), III — Опер–Чекистская.

(А в диссертациях в это время писалось: «вырисовываются впереди контуры воспитательных учреждений для отдельных недисциплинированных членов бесклассового общества» (сборник «От тюрем…», стр. 429). В самом деле, кончаются классы — кончаются и преступники? Но как–то дух захватывает, что вот завтра— бесклассовое, — и никто не будет сидеть?.. всё же отдельные недисциплинированные посидят… Бесклассовое общество тоже не без тюряги.)

Так вся северная часть Архипелага рожде-

на была Соловками. Но не ими же одними! По великому зову советской власти исправительно–трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и НТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин. И охлупы уродливых лагерных вышек стали вернейшей чертой нашего пейзажа и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна художников, ни в кадры фильмов.

Как повелось ещё с Гражданской войны, усиленно мобилизовались для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции. Борисоглебский монастырь в Торжке пошёл под пересыльный пункт (и сейчас он там), Валдайский (через озеро против будущей дачи Жданова) — под колонию малолетних, Нилова Пустынь на селигерском острове Столбном — под лагерь, Саровская Пустынь— под гнездо Потьминских лагерей, и несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге Верхней, Средней, Нижней, на Среднем и Южном

Урале, в Закавказьи, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь сельскохозяйственных исправтрудколоний по РСФСР была— 253 тысячи гектаров, по УССР— 56 тысяч[230]. Кладя в среднем на одну колонию по тысяче гектаров, мы узнаём, что одних только «сельхозов», то есть самых второстепенных и льготных лагерей, уже было (без окраин страны) — более трёхсот!

Распределение заключённых по лагерям ближним и дальним легко решилось постановлением ЦИК и СНК от 6.11.1929. (И всё годовщины попадаются...) Упразднялась прежняя «строгая изоляция» (мешавшая созидательному труду), устанавливалось, что в общие (ближние) места заключения посылаются осуждённые на сроки менее трёх лет, а от трёх до десяти — в отдалённые местности[231]. Так как Пятьдесят Восьмая никогда не получала менее трёх лет, то вся и хлынула она на Север и в Сибирь— освоить и

[230] Примечания: 230

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 136, 137.

[231] Примечания: 231

Собрание законов и распоряжений Рабоче–Крестьянского Правительства СССР, издаваемое Управлением делами СНК СССР. 1929: Отд. 1. № 72.

погибнуть.

А мы в это время — шагали под барабаны!..

* * *

На Архипелаге живёт упорная легенда, что «лагеря придумал Френкель».

Мне кажется, эта непатриотичная и даже оскорбительная для власти выдумка достаточно опровергнута предыдущими главами. Хотя и скудными средствами, но, надеюсь, нам удалось показать рождение лагерей для подавления и для труда ещё в 1918 году. Безо всякого Френкеля додумались, что заключённые не должны терять времени в нравственных размышлениях (целью советской исправительно–трудовой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании), а должны трудиться, и при этом нормы им надо назначить покрепче, почти непосильные. До всякого Френкеля уже говорили «исправление через труд» (а понимали ещё с Эйхманса как «истребление через труд»).

Да даже и современного диалектического мышления не нужно было, чтобы додуматься до использования заключённых на тяжелых работах в малонаселённой местности. Ещё в 1890 году в

Министерстве путей сообщения возникла мысль привлечь ссыльно–каторжных Приамурского края к прокладке рельсового пути. Каторжан просто заставили, а ссыльно–по–селенцам и административно–ссыльным было разрешено работать на прокладке дороги и за это получить скидку трети или половины срока (впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу). С 1896 по 1900 год на кругбайкаль–ском участке работало больше полутора тысяч каторжан и две с половиной тысячи ссыльно–поселенцев.

Но вообще–то на русской каторге XIX века шло развитие обратное: труд становился всё менее обязательным, замирал. Даже Карийская каторга к 90–м годам обратилась в места высидочного заключения, работ больше не производилось. К тому же времени помягчели и рабочие требования на Акатуе (П.Якубович). Так что привлечение каторжных к кругбайкальской дороге было скорее нуждою временной. Не наблюдаем ли мы опять «два рога» или параболу, как и со срочными тюрьмами (Часть Первая, глава 9): ветвь смягчения и ветвь ожесточения?

Что же до мысли, что осмысленный (и уж конечно не изнурительный) труд помогает преступнику исправиться, то она известна была,

когда ещё и Маркс не родился, и в российском тюремном управлении тоже практиковалась ещё в прошлом веке. П.Курлов, одно время начальник тюремного управления, свидетельствует: в 1907 году арестантские работы широко организованы; их изделия отличаются дешевизной, занимают производительно время арестантов и снабжают их при выходе из тюрьмы денежными средствами и ремесленными познаниями.

И всё–таки Френкель действительно стал нервом Архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых История уже с голодом ждёт и зазывает. Лагеря как будто и были до Френкеля, но не приняли они ещё той окончательной и единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда, когда он крайне нужен. Френкель явился на Архипелаг к началу метастазов.

Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родился в Константинополе. Окончил коммерческий институт и занялся лесоторговлей. В Мариуполе он основал фирму и скоро стал миллионером, «лесным королём Чёрного моря». У него были свои пароходы, и он даже издавал в Мариуполе свою газету «Копейку», с задачей— порочить и травить конкурентов. Во время Первой

Мировой войны Френкель вёл какие–то спекуляции с оружием через Галлиполи. В 1916 году учуял грозу в России, ещё до Февральской революции перевёл свои капиталы в Турцию, и следом за ними в 1917 сам уехал в Константинополь.

И дальше он мог вести всю ту же сладко–тревожную жизнь коммерсанта, и не знал бы горького горя, и не превратился бы в легенду. Но какая–то роковая сила влекла его к красной державе. (Впрочем, с самого февраля 1917 кидались на возврат в Россию многие совсем не революционные эмигранты, и охотливо и зловеще помогли всем стадиям революции.) Не проверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки (разве что по идейным соображениям, а то трудно вообразить — зачем это ему нужно). Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР и здесь по тайному поручению ГПУ создаёт, как бы от себя, чёрную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли (предшественник «золотой кампании» ГПУ и Торгсина). Дельцы и маклеры хорошо его помнят по прежнему времени, доверяют— и золото стекается в ГПУ. Скупка кончается и, в благодарность, ГПУ его сажает. На всякого мудреца довольно простоты.

Однако неутомимый и необидчивый Френкель ещё на Лубянке или по дороге на Соловки что–то заявляет наверх. Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в 1927 году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря, приставляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником Экономической Части (привилегия вольного) и высказывает свой знаменитый тезис об использовании заключённого в первые три месяца, а дальше ни он, ни его труп не нужны. С 1928 он уже в Кеми. Там он создаёт выгодное подсобное предприятие. За десятилетия накопленные монахами и втуне лежащие на монастырских складах кожи он перевозит в Кемь, стягивает туда заключённых скорняков и сапожников и поставляет модельную обувь и кожгалантерею в фирменный магазин на Кузнецком мосту (им ведает и кассовую выручку забирает ГПУ, но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно— да и когда их самих вскоре потянут на Архипелаг, они об этом не вспомнят, не разберутся).

Как–то, году в 1929, за Френкелем прилетает из

Москвы самолёт и увозит на свидание к Сталину. Лучший Друг заключённых (и Лучший Друг чекистов) с интересом беседует с Френкелем три часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна, её просто не было, но ясно, что Френкель разворачивает перед Отцом Народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключённых. Многое из географии Архипелага, послушным пером описываемое нами теперь вослед, он набрасывает смелыми мазками на карту Союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель и, очевидно, именно в этот раз предлагает всеохватывающую систему лагерного учёта по группам А–Б–В–Г, не дающего лазейки ни лагерному начальнику, ни тем более арестанту: всякий не обслуживающий лагерь (Б), не признанный больным (В) и не покаранный карцером (Г) должен каждый день своего срока тянуть упряжку (А). Мировая история каторги ещё не знала такой универсальности! Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестантов и набрасывает единую для всего Архипелага систему перераспределения скудного продукта— хлебную шкалу и шкалу приварка, впрочем, позаимствованную им у

эскимосов: держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. Ещё предлагает он зачёты и досрочное освобождение как награду за хорошую работу. Вероятно, здесь же устанавливается и первое опытное поле — великий Беломорстрой, куда предприимчивый валютчик вскоре будет назначен — не начальником строительства и не начальником лагеря, но на специально для него придуманную должность «начальника работ» — главного надсмотрщика на поле трудовой битвы.

Да вот и он сам (фото 9). Его наполненность злой античеловеческой волей видна на лице. Но в той книге о Беломоре, желая прославить Френкеля, один из советских писателей напишет о нём так: «С тростью в руке он появлялся на трассе то там, то тут, молча проходил к работам и останавливался, опершись о трость, заложив ногу за ногу, и так стоял часами… Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика… Человек большого властолюбия и гордости, он считает, что главное для начальника— это власть, абсолютная, незыблемая и безраздельная. Если для власти нужно, чтобы тебя боялись, — пусть боятся». И даже находит поворот восхититься «безжалостным сарказмом и сухостью, когда ни

одно человеческое чувство, казалось, не было доступно этому начальнику»[232].

Последняя фраза нам кажется ключевой — и к характеру, и к биографии Френкеля.

К началу Беломорстроя он освобождён, за Беломорканал получает орден Ленина и назначается начальником строительства БАМлага («Байкало–Амурская магистраль» — это название из будущего, а в 30–е годы БАМлаг достраивает вторые пути Сибирской магистрали там, где их ещё нет.) На этом далеко не окончена карьера Нафталия Френкеля, но уместнее досказать её в следующей главе.

* * *

Вся долгая история Архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры киносъёмок, ни на пейзажи художников.

Но не так с Беломорканалом и с Волгоканалом.

---

[232] Примечания: 232

Беломорско–Балтийский Канал имени Сталина: История строительства / Под ред. М.Горького, Л.Л.Авербаха, С.Г.Фирина. [М.]: История Фабрик и Заводов, 1934, с. 213, 216.

По каждому из них в нашем распоряжении есть книга, и по крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским свидетельством.

В старательных исследованиях прежде, чем использовать какой–либо источник, полагается его охарактеризовать. Сделаем это.

Вот перед нами лежит этот том форматом почти с церковное Евангелие и с выдавленным на картонной обложке барельефом Полубожества. Книга «Беломорско–Балтийский Канал имени Сталина» издана ГИЗом в 1934 году и посвящена авторами XVII съезду партии, очевидно к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской «Истории фабрик и заводов». Её редакторы: Максим Горький, Л.Л.Авербах и С.Г. Фирин. Последнее имя мало известно в литературных кругах, объясним же. Семён Фирин, несмотря на свою молодость, — заместитель начальника ГУЛАГа (фото 10). Томимый авторским честолюбием, он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру. Леопольд Леонидович Авербах (брат уже встреченной нами Иды Леонидовны)— напротив, славней его не было в советской литературе, ответственный редактор журнала «На литературном посту», главный, кто бил писателей дубиной,

и он же племянник Свердлова[233].

История книги такова: 17 августа 1933 года состоялась прогулка ста двадцати писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключённый прораб канала Д.П. Вит–ковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключённых с территории шлюза (а кстати, там были больше уже эксплуатационники, чем строители), в присутствии канальского начальства спрашивали заключённого: любит ли он свой канал, свою работу, считает ли он, что здесь исправился, и достаточно ли заботится их руководство о быте заключённых? Вопросов было много, но в этом духе все, и все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя каким–то образом сумели увернуться от участия в горьковском коллективном труде (но может быть, писали свои

[233] Примечания: 233

Чудесная семья Свердловых как–то осталась в тени революционной истории— благодаря ранней смерти Якова, успевшего, однако, хорошо приложиться к нашим казням, не минуя и царскую семью. Вот— эти милые племянники, ещё же был сын Андрей, незаурядный следователь–палач (а ещё, по любительству, притворялся арестованным и садился в камеры наседкой). Ау жены Свердлова Клавдии Новгород–цевой хранился дома алмазно–бриллиантовый партийный фонд, награбленный большевиками в революцию: банда Политбюро приготовила этот запас на случай провала власти, если придётся поспешно покидать государственные здания.

восторженные стихи и очерки), остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряжённым трудом осени 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд.

Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через два–три года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали её в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за неё срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание — и тем отягчительнее чувствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге[234]. Справедливо будет сохранить для истории литературы и имена авторов. Ну хотя бы вот эти: Максим Горький. — Виктор Шкловский. — Всеволод Иванов. — Вера Инбер. — Валентин Катаев. — Михаил Зощенко. — Лапин и Хацревин. — Л. Никулин. — Корнелий Зелинский. — Бруно Ясенский (глава: «Добить

[234] Примечания: 234
Из неё же и фото 8–21.

классового врага»). — Е. Габрилович. — А.Тихонов. — Алексей Толстой. — К. Финн.

Необходимость этой книги для заключённых, строивших канал, Горький объяснил так: «у каналоармейцев[235] не хватает запаса слов» для выражения сложных чувств перековки — у писателей же такой запас слов есть, и вот они помогут. Необходимость же её для писателей он объяснил так: «Многие литераторы после ознакомления с каналом… получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу… Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет её вперёд и поставит её на уровень наших великих дел» (курсив мой. — АС. Этот уровень мы и посегодня ощущаем в советской литературе). Ну, а необходимость книги для миллионов читателей (многие из них и сами скоро должны притечь на Архипелаг) понятна сама собою.

Какова же точка зрения авторского коллектива на предмет? Прежде всего: уверенность в правоте всех приговоров и в виновности всех пригнанных на канал. Даже слово «уверенность» слишком слабое: этот вопрос недопустим для авторов ни к обсуждению, ни к постановке. Это для них так

---

[235] Примечания: 235

Так решено было их называть для поднятия духа (или в честь несостоявшейся трудармии?).

же ясно, как ночь темнее дня. Они, пользуясь своим запасом слов и образов, внедряют в нас все человеконенавистнические легенды 30–х годов. Слово «вредитель» они трактуют как основу инженерского существа. И агрономы, выступавшие против раннего сева (может быть — в снег и в грязь?), и ирригаторы, обводнявшие Среднюю Азию, — все для них безоговорочно вредители. Во всех главах книги эти писатели говорят о сословии инженеров только снисходительно, как о породе порочной и низкой. На странице 125 книга обвиняет значительную часть русского дореволюционного инженерства — в плутоватости.

Это — уже не индивидуальное обвинение, никак. (Понять ли, что инженеры вредили уже и царизму?) И это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня (что делают в цирке некоторые лошади).

Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет как историческую несомненность: что в заводских столовых травят работниц мышьяком; что если скисает надоенное в совхозе молоко, то это — не глупая нерасторопность, но — расчёт врага: заставить страну пухнуть с голоду (так и пишут). Обобщённо и безлико они пишут о том

зловещем собирательном кулаке, который «поступил на завод и подбрасывает болт в станок». Что ж, они— ведуны человеческого сердца, им это легче вообразить: человек каким–то чудом уклонился от ссылки в тундру, бежал в город, ещё большим чудом поступил на завод, уже умирая от голода, и теперь вместо того, чтобы кормить семью, он подбрасывает болт в станок!

Напротив, авторы не могут и не хотят сдержать своего восхищения руководителями канальных работ, работодателями, которых, несмотря на 30–е годы, они упорно называют чекистами, вынуждая к этому термину и нас. Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и в высшем человеческом смысле, как существами удивительными. Показателен хотя бы эпизод с Яковом Рапопортом (фото 11). Этот недоучившийся студент Дерптского университета, эвакуированного в Воронеж, и ставший на новой родине заместителем председателя губернского ЧК, а затем заместителем начальника строительства Беломорстроя, — по словам авторов, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки, и задал инженеру уничтожающий вопрос: а вы помните, чему равняется косинус сорока пяти градусов? И инженер был раздавлен

и устыжён эрудицией Рапопорта и сейчас же исправил свои вредительские указания, и гон тачек пошёл на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только художественно сдабривают своё изложение, но и поднимают нас на научную высоту.

И чем выше пост занимает работодатель, тем с большим преклонением он описывается авторами. Безудержные похвалы выстилаются начальнику ГУЛАГа Матвею Берману (фото 12)[236]. Много восторженных похвал достаётся Лазарю Когану, бывшему анархисту, в 1918 перешедшему на сторону победивших большевиков, доказавшему свою верность на посту начальника Особого Отдела 9–й армии, потом заместителя начальника войск ОГПУ, одному из организаторов ГУЛАГа, а теперь начальнику строительства Беломорканала (фото 13). Но тем более авторы могут лишь присоединиться к словам товарища Когана о железном наркоме: «Товарищ Ягода— наш главный, наш повседневный руководитель». (Это пуще всего и погубило книгу! Славословия Генриху Ягоде и его портрет (фото 14) были вырваны даже из сохранившегося для нас экземпляра,

[236] Примечания: 236

М. Берман— М. Борман, опять только буква одна разницы… Эйхманс — Эйхман…

и долго пришлось нам искать этот портрет.)

Уж тем более этот тон внедрялся в лагерные брошюры. Вот например: «На шлюз № 3 пришли почётные гости (их портреты висели в каждом бараке) — товарищ Каганович, Ягода и Берман. Люди заработали быстрее. Там наверху улыбнулись— и улыбка передалась сотням людей в котловане»[237]. И в казённые песни:

Сам Ягода ведёт нас и учит, Зорок глаз его, крепка рука.

Общий восторг перед лагерным строем жизни влечёт авторов к такому панегирику: «В какой бы уголок Союза ни забросила вас судьба, пусть это будет глушь и темнота, — отпечаток порядка… чёткости и сознательности… несёт на себе любая организация ОГПУ». А какая ж в российской глуши организация ГПУ? — да только лагерь. Лагерь как светоч прогресса — вот уровень нашего исторического источника.

Тут высказался и сам главный редактор. Выступая на последнем слёте беломорстроевцев

---

[237] Примечания: 237

Ю. Куземко. 3–й шлюз. Издание Культурно–воспитательного отдела Дмитлага НКВД СССР, 1935. (Библиотека «Перековки». Не подлежит распространению за пределы лагеря.) — Из–за редкости издания можно порекомендовать другое сочетание вождей: «Каганович, Ягода и Хрущёв инспектируют лагеря на Беломорканале» [D.D. Runes. Despotism: A pictorial history of tyranny New–York, 1963, p. 262).

25.8.1933 в городе Дмитрове (они уже переехали на Волгоканал), Горький сказал: «Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей». (Это значит— ещё раньше Соловков, раньше того расстрелянного мальчишки; как в Союз вернулся — так и присматривается.) И, уже еле сдерживая слёзы, обратился к присутствующим чекистам: «Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали…» Отмечают авторы: тут чекисты только улыбнулись. (Они знали, что сделали…) О чрезмерной скромности чекистов пишет Горький и в самой книге. (Эта их нелюбовь к гласности, действительно, трогательная черта.)

Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале, то есть не следуют трусливому рецепту полуправды, но прямо пишут (стр. 190), что никто не умирает на строительстве! (Вероятно, вот они как считают: сто тысяч начинало канал, сто тысяч и кончило. Значит, все живы. Они упускают только этапы, заглотанные строительством в две лютых зимы. Но это уже на уровне косинуса плутоватого инженерства.)

Авторы не видят ничего более вдохновляющего, чем этот лагерный труд. В подневольном

труде они усматривают одну из высших форм пламенного сознательного творчества. Вот теоретическая основа исправления: «Преступники— от прежних гнусных условий, а страна наша красива, мощна и великодушна, её надо украшать». По их мнению, все эти пригнанные на канал никогда бы не нашли своего пути в жизни, если бы работодатели не велели им соединить Белого моря с Балтийским. Потому что ведь «человеческое сырьё обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево», — что за язык! глубина какая! кто это сказал? — это Горький говорит в книге, оспаривая «словесную мишуру гуманизма». А Зощенко, глубоко вникнув, пишет: «Перековка— это не желание выслужиться и освободиться (такие подозрения всё–таки были? — АС), а на самом деле перестройка сознания и гордость строителя». О, человековед! Катал ли ты канальную тачку да на штрафном пайке?..

Этой достойной книгой, составившей славу советской литературы, мы и будем руководствоваться в наших суждениях о канале.

Как случилось, что для первой великой стройки Архипелага избран был именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца

строительства, мы сумеем уверенно ответить, что — нет. Раскалял ли его благородный дух соревнования с Петром Первым, протащившим волоками по этой трассе свой флот, или с императором Павлом, при котором был высказан первый проект этого канала? Вряд ли Мудрый о том и знал. Сталину нужна была где–нибудь великая стройка заключёнными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней (избыток людей от раскулачивания), с надёжностью душегубки, но дешевле её, — одновременно оставив великий памятник его царствования типа пирамиды. На излюбленном рабовладельческом Востоке, у которого Сталин больше всего в жизни почерпнул, любили строить великие каналы. И я почти вижу, как, с любовью рассматривая карту русско–европейского Севера, где была собрана тогда большая часть лагерей, Властитель провёл в центре этого края линию от моря до моря кончиком трубочного черенка.

Объявляя же стройку, её надо было объявить только срочной. Потому что ничего не срочного в те годы в нашей стране не делалось. Если б она была не срочной — никто бы не поверил в её жизненную важность, — а даже заключённые, умирая под опрокинутой тачкой, должны были

верить в эту важность. Если б она была не срочной — то они б не умирали и не расчищали бы площадки для нового общества.

«Канал должен быть построен в короткий срок и стоить дёшевоі — таково указание товарища Сталина!» (А кто жил тогда— тот помнит, что значит— Указание Товарища Сталина!) Двадцать месяцев! — вот сколько отпустил Великий Вождь своим преступникам и на канал, и на исправление: с сентября 1931 по апрель 1933. Даже двух полных лет он дать им не мог—так торопился. Панамский канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий длиной в 160 км— 10 лет, Беломорско–Балтийский в 227 км — меньше 2 лет, не хотите? Скального грунта вынуть два с половиной миллиона кубометров, всего земляных работ— 21 миллион кубометров. Да загроможденность местности валунами. Да болота. Семь шлюзов «Повенчанской лестницы», двенадцать шлюзов на спуске к Белому морю. 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб, 33 канала. Бетонных работ— 390 тысяч кубометров, ряжевых— 921 тысяча[238]. И — «это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен ОГПУ, и ни

[238] Примечания: 238

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР. (Москва, Кремль, 2 августа 1933.) // Беломорско–Балтийский Канал, с. 401.

копейки валюты!»

Вот теперь всё более и более нам яснеет замысел: значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что — ни копейки валюты. Пусть единовременно работает у вас сто тысяч заключённых — какой капитал ещё ценней? И в двадцать месяцев отдайте канал! ни дня отсрочки.

Вот тут и рассвирепеешь на инженеров–вредителей. Инженеры говорят: будем делать бетонные сооружения. Отвечают чекисты: некогда. Инженеры говорят: нужно много железа. Чекисты: замените деревом! Инженеры говорят: нужны тракторы, краны, строительные машины! Чекисты: ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте всё руками!

Книга называет это: «дерзкая чекистская формулировка технического задания»[239]. То есть рапопортовский косинус… (Кстати, в разных тиражах «Беломора» этот косинус — разный.)

Так торопимся, что для северного этого проекта привозим ташкентцев, гидротехников и ирригаторов Средней Азии (как раз удачно их посадили). Из них создаётся на Фуркасовском переулке (позади Большой Лубянки) Особое (опять

---

[239] Примечания: 239
Беломорско–Балтийский Канал, с. 82.

«особое», любимое слово!) конструкторское бюро[240]. (Впрочем, чекист Иванченко спрашивает инженера Журина: «А зачем проектировать, когда есть проект Волго–Дона? По нему и стройте».)

Так торопимся, что они начинают делать проект ещё прежде изысканий на местности! Само собой, мчим в Карелию изыскательные партии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро, ни тем более в Карелию (бдительность). Поэтому идёт облёт телеграммами: а какая там отметка? а какой там грунт?

Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую трассу, а там ещё нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана— что же надо делать? Нет бараков — зато есть ранняя северная осень. Нет инструментов — зато идёт первый месяц из двадцати. (Плюс несколько тухтяных месяцев оргпериода, нигде не записанных.)

Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек, кнопок (!) и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках, это похоже на Граждан-

---

[240] Примечания: 240

Таким образом— одна из самых ранних шарашек, Райских островов. Тут же называют и ещё подобную: ОКБ на Ижорском заводе, где сконструировали первый знаменитый блюминг.

скую войну! — упиваются наши авторы.

Весёлым тоном записных забавников они рассказывают нам: женщины приехали в шёлковых платьях, а тут получают тачки! И «кто только не встречается друг с другом в Тунгуде: былые студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам!» Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках (или ещё раньше потоплены и стоят на дне Белого, Каспийского морей), а вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки, за эту информацию спасибо авторам. Почти давясь от смеха, рассказывают они нам: везут из красноводских лагерей, из Сталинабада, из Самарканда туркменов и таджиков в бухарских халатах, чалмах — а тут карельские морозы! то–то неожиданность для басмачей! Тут норма — два кубометра гранитной скалы разбить и вывезти на сто метров тачкой! А сыпят снега и всё заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег. Ну, вот так примерно (фото 15).

Но пусть говорят авторы: по мокрым доскам тачка вихляла, опрокидывалась, «человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях» (стр. 112, 113); даже не скальным, а просто мёрзлым грунтом «тачка нагружается час». Или более

общая картинка: «В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. По двое, по трое, они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не шевелился. Тогда звали четвертого, пятого…» Но тут на помощь приходит техника нашего славного века: «валуны из котлована вытягивают сетью» — а сеть тянется канатом, а канат — «барабаном, крутимым лошадью»! Или вот другой приём — деревянные журавли для подъёма камней (фото 16). Или вот ещё— из первых механизмов Беломор–строя — пять веков назад, пятнадцать назад (фото 17)?

И это вам — вредители? Да это гениальные инженеры! — из Двадцатого века их бросили в пещерный — и, смотрите, они справились!

Основной транспорт Беломорстроя? — грабарки, узнаём мы из книги. А ещё есть беломорские форды] Это вот что такое: тяжёлые деревянные площадки, положенные на четыре круглых деревянных обрубка (катка) — две лошади тащат такой «форд» и отвозят камни. А тачку возят вдвоём— на подъёмах её подхватывает крючник. А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка: обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бри-

гады тянут — расшатывают деревья! Всё может наша смекалка! — а почему? А потому что канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина! — написано в газетах и повторяют по радио каждый день.

Представить такое поле боя и на нём «в длинных серо–пепельных шинелях или кожаных куртках» — чекисты. Их всего 37 человек на сто тысяч заключённых, но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами. Вот (фото 18)

остановились они, показал товарищ Френкель рукой, чмокнул губами товарищ Фирин, ничего не сказал товарищ Успенский (отцеубийца? соловецкий палач?) — и судьбы тысяч людей решены на сегодняшнюю морозную ночь или на весь этот полярный месяц.

В том–то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. «Это не темпы ущербного европейско–американского капитализма. Это — социалистические темпы!» — гордятся авторы (стр. 356). (В 60–е годы мы знаем, что это называется Большой Скачок.) Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничество. Кранов нет? Будут свои! — и делаются «деррики» — кра-

ны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами. «Своя индустрия на канале!» — ликуют наши авторы. И тачечные колёса тоже отливают из самодельной вагранки.

Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колёс! Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ!

Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку Двадцатого века, материковый канал, построенный «от тачки и кайла», — несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника— на сорок веков назад!

В том–то душегубка и состояла. На газовые камеры у нас газа не было.

Побудьте–ка инженером в этих условиях! Все дамбы — земляные, водоспуски— деревянные. Земля то и дело даёт течь. Чем же уплотнить её? — гоняют по дамбе лошадей с катками! (Только ещё лошадей вместе с заключёнными не жалеет Сталин и страна— а потому что это кулацкое животное, и тоже должно вымереть.) Очень трудно обезопасить от течи и сопряжения земли с деревом. Надо заменить железо деревом! — и

инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет! — чем крепить стены шлюзов? Вспоминают древнерусские ряжи — деревянные срубы высотою в 15 метров, изнутри засыпаемые грунтом. Пользуйтесь техникой пещерного века, но ответственность по веку Двадцатому: прорвёт где–нибудь — отдай голову.

Пишет железный нарком Ягода главному инженеру Хру–сталёву: «По имеющимся донесениям (то есть от стукачей и от Когана–Френкеля–Фирина) необходимой энергии и заинтересованности в работе вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить — намерены ли вы немедленно (язычок–то)… взяться по–настоящему за работу… и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, которые саботируют и срывают…» Что отвечать главному? Жить–то хочется… «Я сознаю свою преступную мягкость… Я каюсь в собственной расхлябанности…»

А тем временем в уши неугомонно: «Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина!» «Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика, радио, не спящее ни днём, ни ночью (вообразите!), эти бесчисленные чёрные рты, чёрные маски без глаз (образно)

кричат неустанно: что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия». То же— думай и ты! То же— думай и ты! «Природу научим— свободу получим!» Да здравствует соцсоревнование и ударничество! Соревнования между бригадами! Соревнования между фалангами (250–300 человек)! Соревнования между трудколлективами! Соревнования между шлюзами! Наконец и вохровцы вступают с зэками в соревнование (стр. 153)!?.

Но главная опора, конечно, — на социально–близких, то есть на воров! (Эти понятия уже слились на канале.) Растроганный Горький кричит им с трибуны: «Да любой капиталист грабит больше, чем все вы, вместе взятые!» (стр. 392). Урки ревут, польщённые. «И крупные слёзы брызнули из глаз бывшего карманника». Ставка на то, чтобы использовать для строительства «романтизм правонарушителей». А им ещё бы не лестно! Говорит вор из президиума слёта: «По два дня хлеба не получали, но это нам не страшно. (Они ведь всегда кого–нибудь раскурочат.) Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми. (Чем не могут похвастаться инженеры.) Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берём». (Чем же берут? и кто берёт?..)

Это — классовая теория: опереться в лагере на своих против чужих. О Беломоре не написано, как кормятся бригадиры, а о Березниках рассказывает свидетель (И.Д.Табатеров): отдельная кухня бригадиров (сплошь — блатарей) и паёк — лучше военного. Чтоб кулаки их были крепки и знали, за что сжиматься…

На 2–м лагпункте— воровство, вырывание из рук посуды, карточек на баланду, но блатных за это не исключают из ударников: это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу доставляют на производство холодной. Из сушилок воруют вещи— ничего, берёмі Повенец — «штрафной городок, хаос и неразбериха». Хлеба в Повенце не пекут, возят из Кеми (посмотрите на карту). На участке Шижня норма питания не выдаётся, в бараках холодно, обовшивели, хворают — ничего, берём! Канал строится по инициативе… Всюду КВБ— культ–воспит–боеточки! (Хулиган, едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем.) Создать атмосферу постоянной боевой тревоги! Вдруг объявляется — штурмовая ночь — удар по бюрократии! Как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культвоспитатели и штурмуют. Вдруг— прорыв (не воды, процентов)

на отделении Тунгуда! Штурм! Решено: удвоить нормы выработки! Вот как! (стр. 302). Вдруг какая–то бригада выполняет дневное задание ни с того ни с сего — на 852%! Пойми, кто может! То объявляется всеобщий день рекордов! Удар по темпосрывателямі Вот какой–то бригаде раздача «премиальных пирожков» (фото 19). Но что ж лица такие заморенные? Вожделенный момент— а радости нет…

Как будто всё идёт хорошо. Летом 1932 Ягода объехал трассу и остался доволен, кормилец. Но в декабре телеграмма его: нормы не выполняются, прекратить бездельное шатание тысяч людей (в это веришь! это — видишь!). Трудколлективы тянутся на работу с выцветшими знамёнами. Обнаружено: по сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатуры! — а канал так и не кончен! Нерадивые работяги засыпают ряжи вместо камней и земли— льдом! А весной это потает и вода прорвёт! Новые лозунги воспитателей: «Туфта[241] — опаснейшее орудие контрреволюции» (а тухтят блатные больше всех: уж лёд засыпать в ряжи — узнаю, это их затея!). Ещё лозунг: «Туф–тач—классовый враг!» — и поручается ворам

[241] Примечания: 241
Подчиняюсь «ф» лишь потому, что цитирую.

идти разоблачать тухту, контролировать сдачу каэровских бригад! (Лучший способ приписать выработку каэров—себе.) «Туфта— есть попытка сорвать всю исправительно–трудовую политику ГПУ» — вот что такое ужасная эта тухта! «Туфта — это хищение социалистической собственности!» В феврале 1933 отбирают свободу у досрочно освобождённых инженеров—за обнаруженную тухту.

Такой был подъём, такой энтузиазм — и откуда эта тухта? зачем её придумали заключённые?.. Очевидно, это— ставка на реставрацию капитализма. Здесь не без чёрной руки бело–эмиграции.

В начале 1933— новый приказ Ягоды: все управления переименовать в штабы боевых участков] 50% аппарата — бросить на строительство! (А лопат хватит?..) Работать — в три смены (ночь–то почти полярная)! Кормить— прямо на трассе (остывшим)! За тухту — судить!

В январе — Штурм водораздела! Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место! Не всем хватило палаток, спят на снегу—ничего, берём! Канал строится по инициативе…

Из Москвы — приказ № 1: «до конца строительства объявить сплошной штурмЛ После рабочего

дня гонят на трассу машинисток, канцеляристок, прачек.

В феврале—запрет свиданий по всему БелБалтлагу—то ли угроза сыпного тифа, то ли нажим на зэков.

В апреле — непрерывный штурм сорокавосьмичасовой — ура–а!! — тридцать тысяч человек не спит!

И к 1 мая 1933 нарком Ягода докладывает любимому Учителю, что канал— готов в назначенный срок.

В июле 1933 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография — они сидят в плетёных креслах на палубе, «шутят, смеются, курят». (А между тем Киров уже обречён, но — не знает.)

В августе проехали сто двадцать писателей.

Обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных («спецпереселенцев»), Берман сам выбирал места для их посёлков.

Большая часть «каналоармейцев» поехала

строить следующий канал— Москва—Волга[242].

* * *

Отвлечёмся от Коллективного зубоскального тома. Как ни мрачны казались Соловки, но соловчанам, этапированным кончать свой срок (а то и жизнь) на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены, только тут открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. Вместо соловецкой тишины — неумолкающий мат и дикий шум раздоров вперемешку с воспитательной агитацией. Даже в бараках Медвежьегорского лагпункта при Управлении Бел–Балтлага спали на вагонках (уже изобретенных) не по четыре, а по восемь человек: на каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий — продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. И переведенные из Березников, где тоже по 12 часов работали, находили, что здесь— тяжелей. Дни рекордов. Ночи штурмов. «От нас всё— нам

[242] Примечания: 242

На августовском слёте каналоармейцев Л. Коган провозгласил: «Недалёк тот слёт, который будет последним в системе лагерей… Недалёк тот год, месяц и день, когда вообще будут не нужны исправительно–трудовые лагеря». Вероятно расстрелянный, он так и не узнал, как жестоко ошибся. А впрочем, может быть, он, и говоря, сам не верил?

ничего»... В густоте, в неразберихе при взрывах скал — много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа— мы уже прочли. Какая еда— а какая ж может быть еда в 1931–33 годах? (Скрипни–кова рассказывает, что даже в медвежьегорской столовой для вольнонаёмных подавалась мутная жижа с головками камсы и отдельными зёрнами пшена[243].) Одежда— своя, донашиваемая. И только одно обращение, одна погонка, одна присказка: «Давай!.. Давай!.. Давай!..»

Говорят, что в первую зиму, с 1931 на 1932, 100 тысяч и вымерло — столько, сколько постоянно было на канале. Отчего ж не поверить? Скорей даже эта цифра преуменьшенная: в сходных условиях в лагерях военных лет смертность один процент в день была заурядна, известна всем. Так что на Бело–море 100 тысяч могло вымереть за три месяца с небольшим. А тут была и другая зима, да и между ними же. Без натяжки можно предположить, что и 300 тысяч вымерло.

Это освежение состава за счёт вымирания,

[243] Примечания: 243

Впрочем, она же вспоминает, что беженцы с Украины приезжали в Медвежьегорск устроиться работать кем–нибудь близ лагеря и так спастись от голода. Их звали зэки, и из зоны выносили своим поесть! Очень правдоподобно. Только с Украины–то вырваться умели не все.

постоянную замену умерших новыми живыми зэками надо иметь в виду, чтобы не удивиться: к началу 1933 года общее единовременное число заключённых в лагерях ещё могло не превзойти миллиона. Секретная «Инструкция», подписанная Сталиным и Молотовым 8 мая 1933, даёт цифру 800 тысяч[244].

Д.П. Витковский, соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и этою самою тухтою, то есть приписыванием несуществующих объёмов работ, спасший жизнь многим, рисует («Полжизни», самиздат[245]) такую вечернюю картину:

«После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто–то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замёрз. Кто–то застыл с головой, вобранной в колени. Там замёрзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это — крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт

[244] Примечания: 244

Инструкция всем партийно–советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры (8 мая 1933). (Архив Смоленского обкома ВКП/б/.) // Социалистический вестник: Орган заграничной делегации РСДРП. Нью–Йорк, 1955, № 4 (681), с. 52.

[245] Примечания: 245

Впервые опубликовано в журнале «Знамя»: 1991, №6. — Примеч.ред.

никто не попал со своим батькой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить, они по–деревенски отдают все силы, быстро слабеют— и вот замерзают, обнявшись по двое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком.

А летом от неприбранных вовремя трупов— уже кости, они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там».

Тут ещё то, что руководители стройки превзошли жестокость самого Хозяина. Хоть и сказал Сталин «ни копейки валюты», однако советских рублей 400 миллионов разрешил. Они же, стараясь выслужиться, потратили меньше четверти— 95 млн 300 тыс. рублей[246].

Многотиражка Беломорстроя захлёбывалась, что многие каналоармейцы, «эстетически увлечённые» великой задачей, — в свободное время (и разумеется, без оплаты хлебом) выкладывают стены канала камнями— исключительно для

[246] Примечания: 246

А.Пруссак. Из истории Беломорканала // Вопросы истории, 1945, № 2, с. 143.

красоты.

Так впору было бы им выложить на откосах канала пять фамилий — главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, пятерых наёмных убийц, записав за каждым тысяч по сорок жизней: Матвей Берман. — Семён Фирин. — Лазарь Коган. — Нафталий Френкель. — Яков Рапопорт.

Да приписать сюда, пожалуй, начальника ВОХРы Бел–Балтлага— Бродского. Да куратора канала от ВЦИКа— Сольца.

Да всех 37 чекистов, которые были на канале. Да 36 писателей, восславивших Беломор[247]. Ещё Погодина не забыть.

Чтобы проезжающие пароходные экскурсанты читали и — думали.

Да вот беда — экскурсантов–то нет! Как нет?

Вот так. И пароходов нет. По расписанию ничто там не ходит.

Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, про-

---

[247] Примечания: 247

И Алексей Н.Толстой среди них, проехавши трассою канала (надо же было за положение своё платить), — «с азартом и вдохновением рассказывал о виденном, рисуя заманчивые, почти фантастические и в то же время реальные… перспективы развития края, вкладывая в свой рассказ весь жар творческого увлечения и писательского воображения. Он буквально захлебываясь говорил о труде строителей канала, о передовой технике (курсив мой. — АС.)…». [В.М. Богданов–Березовский. Встречи. М.: Искусство, 1967, с. 58.)

ехать по великому Беломору (фото 20), посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми ста двадцатью. Так нельзя: не на чем. Надо проситься на грузовое судно. А там документы проверяют. А у меня уж фамилия наклёванная, сразу будет подозрение: зачем еду? Итак, чтобы книга была целей, — лучше не ехать.

Но всё–таки немножко я туда подобрался. Сперва— Мед–вежьегорск. До сих пор ещё— много барачных зданий, от тех времён. И — величественная гостиница с 5–этажной стеклянной башней. Ведь — ворота канала! Ведь здесь будут кишеть гости отечественные и иностранные… Попустовала–попусто–вала, отдали под интернат.

Дорога к Повенцу. Хилый лес, камни на каждом шагу, валуны.

От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, трусь поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое–где хорошо видно. Стенки шлюзов — прежние, из тех самых ряжей, узнаю их по изображениям. А масловские ромбические ворота сменили на металлические и разводят уже не от руки.

Но что так тихо? Безлюдье, никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде

обслуга. Там, где 30 тысяч человек не спали ночью, — теперь и днём все спят.

Не гудят пароходы. Не разводятся ворота. Погожий июньский день, — отчего бы?..

Так прошёл я пять шлюзов «Повенчанской лестницы» и после пятого сел на берегу. Изображённый на всех папиросных пачках, так позарез необходимый нашей стране — почему ж ты молчишь, Великий Канал?

Некто в гражданском ко мне подошёл, глаза проверяющие. Я простодушно: у кого бы рыбки купить? да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? — Да что ты, удивляется он, разве можно? Да американцы так сразу и попрут. До войны ещё было, а после войны— нет. — Ну и пусть едут. — Да разве можно им показывать?! — А почему вообще не идут никто? — Идут. Но мало. Видишь, мелкий он, пять метров. Хотели реконструировать, но, наверно, будут рядом другой строить, сразу хороший.

Эх, начальничек, это мы давно знаем: в 1934 году, только успели все ордена раздать, — уже был проект реконструкции. И пункт первый был: углубить канал. А второй: параллельно нынешним шлюзам построить глубоководную

нитку океанских. Скоро ношено — слепо рожено. Из–за того–то срока, из–за тех–то норм и наврали глубину, и снизили пропускную способность: какими–то тухтяными кубометрами надо ж было работяг кормить. (Вскоре эту тухту навязали на инженеров: дали им новые десятки.) А 80 километров Мурманской железной дороги перенесли, освобождая трассу. Хорошо хоть тачечных колёс не потратили. И — куда что возить? Ну, вот вырубили ближний лес — теперь откуда возить? Архангельский — в Ленинград? Так его и в Архангельске купят, издавна там иностранцы и покупают. Да полгода канал подо льдом, если не больше. Какая была в нём необходимость? Ах да, военная. Перебрасывать флот.

— Такой мелкий, — жалуется начальник охраны, — даже подводные лодки своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают.

А как насчёт крейсеров?.. О, тиран–отшельник! Ночной безумец! В каком бреду ты это всё выдумал?!

И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо — в двадцать месяцев? Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле стояли— а крестьянские ребята

сколько б тебе наработали! Сколько б раз ты ещё в атаку их поднял — за родину, за Сталина!

— Дорого обошёлся, — говорю я охраннику.

— Зато быстро построили! — уверенно отвечает он. На твоих бы косточках!..

Я вспоминаю гордую фотографию беломорского тома: старорусский крест, взятый опорой электрическим проводам (фото 21).

На ваших бы косточках…

В тот день провёл я около канала восемь часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке и одна, того же типа, от Сороки к Повенцу. Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что эта— не возвращалась. Потому что нагружены они были совершенно одинаково: одинаковыми сосновыми брёвнами, уже лежалыми, годными лишь на дрова.

А вычитая, получим ноль.

И четверть миллиона в уме.

* * *

А за Беломорско–Балтийский шёл канал Москва—Волга, сразу все туда поехали и работяги, и начальником лагеря Фи–рин, и начальником строительства Коган. (Ордена Ленина за Беломор

застали их обоих уже там.)

Но этот канал хоть оказался нужен. А все традиции Бело–мора он славно продолжил и развил, и здесь мы ещё лучше поймём, чем отличался Архипелаг периода бурных метастазов от застойного соловецкого. Вот когда было вспомнить и пожалеть о молчаливых жестоких Соловках. Теперь не только требовали работы, не только бить слабеющим кайлом неподатливые камни. Нет, забирая жизнь, ещё прежде того влезали в грудь и обыскивали душу.

Вот что было самое тяжёлое на каналах: от каждого требовали ещё чирикать. Уже в фитилях, надо было изображать общественную жизнь. Коснеющим от голода языком надо было выступать с речами, требуя перевыполнения планов! И выявления вредителей! И наказания враждебной пропаганды, кулацких слухов (все лагерные слухи были «кулацкие»). И озираться, как бы змеи недоверия не оплели тебя самого на новый срок.

Беря сейчас бесстыдные эти книги, где так гладко и восторженно представлена жизнь обречённых, — почти уже поверить нельзя, что это всерьёз писалось и всерьёз же читалось.

(Да осмотрительный Главлит уничтожил тиражи, так что и тут нам достался экземпляр из

последних.)

Теперь нашим Вергилием будет прилежная ученица Вышинского Ида Авербах[248].

Даже ввинчивая простой шуруп, надо вначале проявить старание: не отклонить ось, не вышагнуть шуруп в сторону. Ауж когда малость войдёт — можно и вторую руку освободить, только вкручивай да посвистывай.

Читаем у Вышинского: именно благодаря воспитательной задаче наш ИТЛ принципиально противоположен буржуазной тюрьме, где царит голое насилие[249]. «В противоположность буржуазным государствам у нас насилие в борьбе с преступностью играет второстепенную роль, а центр тяжести перенесен на организационно–материальные, культурно–просветительные и политико–воспитательные мероприятия»[250]. (Надо мозги наморщить, чтобы не проронить: вместо палки — шкала пайки плюс агитация.) И вот уже: «…успехи социализма оказывают своё волшебное (так и вылеплено: волшебное!) влия-

---

[248] Примечания: 248
И.Л.Авербах. От преступления к труду. [М.], 1936.

[249] Примечания: 249
Предисловие Вышинского к сборнику «От тюрем…», с. 9.

[250] Примечания: 250
Предисловие Вышинского к книге И.Л.Авербах, с. VIII.

ние и на… борьбу с преступностью»[251].

Вслед за своим учителем поясняет и Авербах: задача советской исправтрудполитики — «превращение наиболее скверного людского материала («сырьё» — то помните? «насекомых» помните? — АС.) в полноценных активных сознательных строителей социализма».

Только вот— коэффициентик… Четверть миллиона скверного материала легло, двенадцать с половиной тысяч активных сознательных освобождено досрочно (Беломор)…

Да ведь это, оказывается, ещё VIII съезд партии, в 1919 году, когда пылала Гражданская война, ещё ждали Деникина под Орёл, ещё впереди были Кронштадт и Тамбовское восстание, — VIII съезд определил: заменить систему наказаний (то есть вообще никого не наказывать?) — системой воспитания!

«Принудительного» — теперь добавляет Авербах. И риторически (уже припася нам разящий ответ) спрашивает: но как же?

Как можно переделать сознание в пользу социализма, если оно уже на воле сложилось ему враждебно, а лагерное принуждение ощущается

---

[251] Примечания: 251
Там же.

как насилие и может только усилить вражду?

И мы с читателем в тупике: ведь верно?..

Не тут–то было, сейчас она нас ослепит: да производительным осмысленным трудом с высокой целью] — вот чем будет переделано всякое враждебное или неустойчивое сознание. А для этого, оказывается, нужна: «концентрация работ на гигантских объектах, поражающих воображение своей грандиозностью»! (Ах, вот оно, зачем Беломор–то, а мы лопухи ничего не поняли…) Этим достигается «наглядность, эффективность и пафос строительства». Причём обязательно «работа от ноля до завершения» и «каждый лагерник» (ещё сегодня не умерший) «чувствует политический резонанс своего личного труда, заинтересованность всей страны в его работе».

А вы замечаете, как шуруп уже плавно пошёл? Может и косовато, но мы теряем способность ему сопротивляться? Отец по карте трубочкой провёл, а об оправдании его ли забота? Всегда найдётся Авербах: «Андрей Януарьевич, у меня вот такая мысль, как вы думаете, я в книге проведу?»

Но это — только цветочки. Надо, чтобы заключённый, ещё не выйдя из лагеря, уже «воспитался к высшим социалистическим формам труда».

А что нужно для этого?.. Застопорился шуруп.

Ах, бестолочь! Да соревнование и ударничество]] Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? «Не просто работа, а работа героическая!» (Приказ ОГПУ № 190.)

Соревнование за переходящее красное знамя центрального штаба! районного штаба! отделенческого штаба! (фото 22). Соревнование между лагпунктами, сооружениями, бригадами! «Вместе с переходящим красным знаменем присуждается и духовой оркестр! — он целыми днями играет победителям во время работы и во время вкусной еды» (фото 23). Вкусной еды на снимке не видно, но вы видите также и прожектор. Это — для ночных работ, Волгоканал строится круглосуточно[252]. В каждой бригаде заключённых— тройка по соревнованию. Учёт — и резолюции! Резолюции — и учёт! Итоги штурма перемычки за первую пятидневку! за вторую пятидневку! Общелагерная газета «Перековка». Её лозунг: «Потопим своё прошлое на дне канала!» Её призыв: «Работать без выходных!» Общий вос-

---

[252] Примечания: 252

Оркестр использовался и в других лагерях: поставят на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключённые без смены и без отдыха выгружают из баржи лес. И.Д.Табатеров был оркестрантом на Бе–ломоре и вспоминает: оркестр вызывал озлобление у работающих (ведь оркестранты освобождались от общих работ, имели отдельную койку, военную форму). Им кричали: «Филоны! Дармоеды! Идите сюда вкалывать!»

торг общее согласие! Передовой ударник сказал: «Конечно! Какие могут быть выходные дни? У Волги–то выходных нет, вот–вот разольётся». А как с выходными у Миссисипи?.. — Хватайте его, это кулацкий агент! Пункт обязательств: «сбереженье здоровья каждым членом коллектива». О, человечность! Нет, это вот для чего — «чтобы сократить число невыходов на работу». «Не болеть — и не брать освобождений!» Красные доски. Чёрные доски. Доски показателей: дней до сдачи; что сделано вчера, что сегодня. Книги почёта. В каждом бараке — почётные грамоты, «окна перековки», графики, диаграммы (это сколько лоботрясов бегает и пишет). Каждый заключённый должен быть в курсе производственных планов! И каждый заключённый должен быть в курсе всей политической жизни страны! Поэтому на разводе (за счёт утреннего времени, конечно) — производственная пятиминутка, после возврата в лагерь (когда ноги не держат) — политическая пятиминутка. В часы обеда не давать расползаться по щелям, не давать спать— политические читки! Если на воле — Шесть Условий товарища Сталина, — то и каждый лагерник

должен зубрить их наизусть![253] Если на воле — постановление Совнаркома об увольнении за прогул, то здесь разъяснительная работа: всякий сегодняшний отказчик и симулянт после своего освобождения будет заклеймён презрением масс Советского Союза. Такой порядок: для получения звания ударника (и значит, добавочной еды) — мало одних производственных достижений! Ещё надо: а) читать газеты, 6)любить свой канал, в) уметь рассказывать о его значении.

И — чудо! О, чудо! О, преображение и вознесение! — «ударник перестаёт ощущать дисциплину и труд как нечто навязанное извне, а— как внутреннюю необходимость»! (Ну верно, ну конечно, ведь свобода же — не свобода, а осознанная решётка.) Новые социалистические формы поощрения! — выдача значков ударника. И что бы вы думали, что бы вы думали? «Значок ударника расценивается работягами выше, чем пайкаЪ Да, выше, чем пайка! И целые бригады «самовольно выходят на работу за два часа до развода» (ах, какой произвол! и что же делать конвою?) «и ещё

---

[253] Примечания: 253

Надо заметить, что интеллигенты, пролезшие на руководящие должности канала, умно использовали эти шесть условий: «Всемерно использовать специалистов»? — значит, вытягивайте инженеров с общих. «Не допускать текучести рабочей силы»? — значит, запретите этапы!

остаются там после окончания рабочего дня»! Гроза? — работают и в грозу! (Ведь конвой не отпустит.) Вот она, ударная работа!

О, пылание! О, спички! Думали, что вы будете гореть — десятилетия…

А техника, мы о ней говорили на Беломоре: на подъёме прицепляется к тачке спереди крючковой— а как её вскатишь наверх (фото 24)? Иван Немцов вдруг решил делать работу за пятерых! Сказано–сделано: набросал за смену… 55 кубометров земли![254] (Посчитаем: это 5 кубометров в час, кубометр в 12 минут— даже самого лёгкого грунта, попробуйте!) Обстановка такая: насосов нет, колодцы не готовы — побороть воду своими руками! А женщины? Поднимали в одиночку камни по 4 пуда![255] Переворачивались тачки, камни летели в головы и в ноги. Ничего, берёмі То — «по пояс в воде», то — «непрерывные 62 часа работы», то — «три дня 500 человек долбили обледеневшую землю»— и оказалось бесполезно. Ничего, берём!

---

[254] Примечания: 254

Ю. Куземко. 3–й шлюз.

[255] Примечания: 255

Брошюра «Каналоармейка». Издание Культурно–воспитательного отдела Дмитлага НКВД СССР, 1935. (Библиотека «Перековки». Не подлежит распространению за пределы лагеря).

Мы лопатой нашей боевою Откопали счастье под Москвою!

Та «особая весёлая напряжённость», которую принесли с ББК. «Шли на штурм с буйными весёлыми песнями»…

В любую погоду Шагайте к разводу!

А вот и сами ударницы (фото 25), они приехали на слёт. Сбоку, у поезда, — начальник конвоя, слева ещё там один конвоир. Что–то не слишком воодушевлённые счастливые лица, хотя эти женщины не должны думать ни о детях, ни о доме, только о канале, который они так полюбили. Довольно холодно, кто в валенках, кто в сапогах, домашних конечно, а вторая слева в первом ряду— воровка в ворованных туфлях— где же пофорсить, как не на слёте? Вот и другой такой слёт (фото 26). На плакате: «Москву с Волгой мы трудом сольём. Сделаем досрочно, дёшево и прочно!» А как это всё увязать— пусть у инженеров головы болят. Легко видно, что тени улыбок для аппарата, а в общем здорово устали эти женщины, выступать они не будут, а ждут от слёта только сытного обеда один раз. Всё больше простые

крестьянские лица[256]. А в проходе встрял самоохранник, Иуда, очень уж хочется ему попасть на карточку. — А вот (фото 27) и ударная бригада, вполне технически оснащённая, неправда, что мы всё на своём пару тянем!

Тут ещё была небольшая бедёнка — «по окончании Бело–мора появилось в разных газетах слишком много ликующих статей, парализовавших устрашающее действие лагерей… В освещении Беломора так перегнули, что приезжающие на канал Москва—Волга ожидали молочных рек в кисельных берегах и предъявили невероятные требования к администрации» (уж не требовали ли они себе чистого белья?). Так что ври–ври, да не завирайся. «Над нами и сегодня реет знамя Беломора», — пишет газета «Перековка». Умеренно. И хватит.

Впрочем, и на Беломоре и на Волгоканале поняли: «лагерное соревнование и ударничество должно быть связано со всей системой льгот», чтобы льготы «стимулировали ударничество». «Главная основа соревнования — материальная

[256] Примечания: 256

Все эти фото — из книги Авербах. Она предупреждает: в ней нет фото кулаков и вредителей (то есть лучших крестьянских и интеллигентских лиц) — мол, «ещё не пришло время» для них. Увы, уже и не придёт. Мёртвых не вернёшь.

заинтересованность» (!? — нас, кажется, швырнуло? мы повернули на сто восемьдесят градусов? Провокация! Крепче за поручни!). И построено так: от производственных показателей зависят: и питание! и жильё! и одежда! и бельё и частота бань! (кто плохо работает — пусть и ходит в лохмотьях и вшах!) и досрочка! и отдых! и свидания! Например, выдача значка ударника—чисто социалистическая форма поощрения. Но пусть значок даёт право на внеочередное долгое свидание! — и вот он уже стал дороже пайки…

«Если на воле по советской конституции применяется принцип кто не работает, тот не ест, то почему надо лагерников ставить в привилегированное положение?» (Труднейшее в устроении лагерей: они не должны стать местами привилегий!) Шкала Дмитлага (от г. Дмитрова): штрафной котёл— мутная вода, штрафной паёк— триста граммов. Сто процентов дают право на восьмисотку и право докупить сто граммов в ларьке. И тогда «подчинение дисциплине начинается с эгоистических мотивов (заинтересованность в улучшении пайка) — и поднимается до социалистической заинтересованности в красном знамени»!

Но главное — зачёты! зачёты! (Засчитыванье

одного проработанного дня более чем за один день срока.) Штабы соревнования дают заключённому характеристику. Для зачётов нужно не только перевыполнение, но и общественная работа! А тому, кто был в прошлом нетрудовым элементом, — понижать зачёты, давать мизерные. «Он может только замаскироваться, а не исправиться! Ему нужно дольше побыть в лагере, дать себя проверить». (Например, катит тачку в гору— а может быть, это он не работает, а только маскируется?)

И что же делают досрочно освобождённые?.. Как что? Они самозакрепляются! Они слишком полюбили канал, чтоб отсюда уехать! «Они так увлекаются, что, освобождаясь, добровольно остаются на канале на землекопных работах до конца стройки»![257] (Добровольно катать тачки в гору. И можно автору верить? Конечно. Ведь в паспорте штамп: «был в лагерях ОГПУ». И больше нигде работы не найдёшь.)

Но что это?.. Испортилась машинка соловьиных трелей — и в перерыве мы слышим усталое дыхание правды: «даже и воровской мир охвачен соревнованием только на 60%» (уж если и

---

[257] Примечания: 257
ИЛ. Авербах. От преступления к труду с. 164.

воры не соревнуются!..); «лагерники часто истолковывают льготы и награды как неправильно применённые»; «характеристики пишутся шаблонно»; «по характеристикам сплошь и рядом (!) дневальный проходил как ударник–землекоп и получал ударный зачёт, а действительный ударник оказывался без зачёта»[258]; «у многих (!) — чувство безнадёжности»[259].

А трели — опять полились, да с металлом! Самое главное поощрение забыли? — «жестокое и беспощадное проведение дисциплинарных взысканий»! Приказ ОГПУ от 28.11.1933 (это — к зиме, чтоб стоя не качались)! «Всех неисправимых лентяев и симулянтов отправить в отдалённые северные лагеря с полным лишением прав на льготы. Злостных отказчиков и подстрекателей

---

[258] Примечания: 258

У нас всё перепрокидывается, и даже награды порой оборачивались нелепо. Кузнецу Парамонову в одном из архангельских лагерей за отличную работу сбросили два года с десятки. Из–за этого конец его восьмёрки пришёлся на военные годы, и, как Пятьдесят Восьмая, он не был освобождён, а оставлен «до особого (опять особого) распоряжения». Только кончилась война— одно дельцы Парамонова свои десятки кончили— и освободились. А он трубил ещё с год. Прокурор ознакомился с его жалобой и ничего поделать не мог: «особое распоряжение» по всему Архипелагу ещё оставалось в силе.

[259] Примечания: 259

Ну да 5–е Совещание работников юстиции в 1931 не зря осудило эту лавочку: «Широкое и ничем не оправдываемое применение условно–досрочного освобождения и зачётов рабочих дней… приводит к нереальности судебных приговоров, подрыву уголовной репрессии — и

к искривлению классовой линии».

предавать суду лагерных коллегий. За малейшую попытку срыва железной дисциплины — лишать всех уже полученных льгот и преимуществ». (Например, за попытку погреться у костра…)

И всё–таки самое главное звено мы опять уронили, бестолковщина! Всё сказали, а главного не сказали. Слушайте, слушайте! «Коллективность есть принцип и метод советской исправительно–трудовой политики». Ведь нужны же «приводные ремни от администрации к массе»! «Только опираясь на коллективы, многочисленная администрация лагерей может переделывать сознание заключённых». «От низших форм — коллективной ответственности, до высших форм: дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» (Браним мы часто свой язык, что–де он с веками блекнет. А вдуматься— нет! Он— благороднеет. Раньше как говорили, по–извозчичьи, — возжи? А теперь — приводные ремни! Раньше — круговая порука, так и пахнет конюшней. А теперь— коллективная ответственность.)

«Бригада есть основная форма перевоспитания» (приказ по Дмитлагу, 1933). «Это значит— доверие к коллективу, невозможное при капитализме!» (Но вполне возможное при феодализме: провинился один в деревне, всех раздевай и секи. А

всё–таки благородно: доверие к коллективу.) «Это — значит — самодеятельность лагерников в деле перевоспитания». «Это— психологическое обогащение личности от коллектива»! (Нет, слова–то какие! Ведь этим психологическим обогащением Авербах нас навзрыд повалила! Ведь что значит учёный человек.) «Коллектив повышает чувство человеческого достоинства каждого заключённого и тем препятствует проведению системы морального подавления»!

И ведь скажи пожалуйста, тридцатью годами позже Иды Авербах пришлось и мне два слова вымолвить о бригаде, ну просто как там дела идут, — а на Западе люди совсем иначе, совсем искажённо поняли: «Бригада — основной вклад коммунизма в науку о наказаниях (что как раз верно, это и Авербах говорит)... Это—коллективный организм, живущий, работающий, едящий, спящий и страдающий вместе в безжалостно–вынужденном симбиозе»[260].

О, без бригады ещё пережить лагерь можно! Без бригады ты— личность, ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть умереть гордо — в бригаде и умереть тебе дадут

---

[260] Примечания: 260

Ernst Pawel. The Triumph of Survival // The Nation, 2 February 1963, p. 101.

только подло, только на брюхе. От начальника, от десятника, от надзирателя, от конвоира— ото всех ты можешь спрятаться и улучить минутку отдыха, там потянуть послабже, здесь поднять полегче. Но от приводных ремней — от товарищей по бригаде — ни укрыва, ни спасенья, ни пощады тебе нет. Ты не можешь не хотеть работать, ты не можешь предпочесть работе голодную смерть в сознании, что ты— политический. Нет уж, раз вышел за зону, записан на выходе — всё сделанное сегодня бригадой будет делиться уже не на 25, а на 26, и весь бригадный процент из–за тебя упадёт со 123 на 119, с рекордного котла на простой, все потеряют бабку пшённую и по сто граммов хлеба. Так уследят за тобой товарищи лучше всяких надзирателей! И бригадирский кулак тебя покарает доходчивей целого наркомата внутренних дел!

Вот это и есть — самодеятельность в перевоспитании. Это и есть психологическое обогащение личности от коллектива.

Теперь–то нам ясно как стёклышко, но на Волгоканале сами устроители ещё верить не смели, какой они крепкий ошейник нашли. И у них рядовая всеобщая бригада была на задворках, а только трудовой коллектив понимался как высшая честь

и поощрение. Даже в мае 1934 ещё половина зэков Дмитлага были «неорганизованные», их… не принимали в трудколлективы! Их брали в «трудартели», и то не всех: кроме священников, сектантов и вообще верующих (если откажется от религии — ведь цель того стоит! — принимали с месячным испытательным сроком). Пятьдесят Восьмую в трудколлективы стали нехотя принимать, но и то у кого срок меньше пяти лет. У Коллектива был председатель, совет, а демократия— совершенно необузданная: собрания коллектива проводились только по разрешению КВЧ и только в присутствии ротного (да, ведь и роты ещё!) воспитателя. Разумеется, коллективы подкармливали по сравнению со сбродом: лучшим коллективам отводили огороды внутри зоны (не отдельно людям, а по–колхозному — для добавки в общий котёл). Коллектив распадался на секции, и всякий свободный часок они занимались то проверкой быта, то разбором краж и промотов казённого имущества, то выпуском стенгазет, то разбором дисциплинарных нарушений. На собрании коллективов часами с важностью разбирался вопрос: как перековать лентяя Вовку? симулянта Гришку? Коллектив и сам имел право исключать своих членов и просить

лишить их зачётов, но круче того администрация распускала целые коллективы, «продолжающие преступные традиции» (то есть не захваченные коллективной жизнью). Однако самым увлекательным бывали периодические чистки коллективов — от лентяев, от недостойных, от шептунов (изображающих трудколлективы как взаимно–шпионские организации) и от пробравшейся агентуры классового врага. Например, обнаруживалось, что кто–то, уже в лагере, скрывает своё кулацкое происхождение (за которое, собственно, в лагерь и попал) — и вот теперь его клеймили и вычищали — не из лагеря вычищали, а из трудколлектива. (Художники–реалисты! О, напишите эту картину: «Чистка в трудколлективе»! Эти бритые головы, эти измотанные лица с настороженными выражениями, эти тряпки на телах— и этих озлобленных ораторов! Вот отсюда хорош будет типаж (фото 28). А кому трудно представить, так и на воле было подобное. И в Китае тоже.) И слушайте: «Предварительно до каждого лагерника доводились задачи и цели чистки. Потом перед лицом общественности каждый член

коллектива держал отчёт»[261].

А ещё — выявление лжеударников] А выборы культсове–тов! А— выговоры тем, кто плохо ликвидирует свою неграмотность! А сами занятия по ликбезу: «мы–не–ра–бы!! ра–бы–не–мы!» А песни?

Это царство болот и низин Станет родиной нашей счастливой;

или, так и рвётся из груди:

И даже самою прекрасной песнею Мы не расскажем, нет, не воспоём, Страны, которой нет нигде чудеснее, Страны, в которой мы с тобой живём[262].

Вот это всё и значит по–лагерному— чирикать.

О! так доймут что ещё заплачешь по ротмистру Курилке, по простой короткой расстрельной дороге, по откровенному соловецкому бесправию.

Боже! На дне какого канала утопить нам это прошлое??!

---

[261] Примечания: 261

Все неоговоренные цитаты в этой главе — по книге Авербах. Но иногда я соединял её разные фразы вместе, иногда опускал нестерпимое многословие — ведь ей на диссертацию надо было тянуть, а у нас места нет. Однако смысла я не исказил нигде.

[262] Примечания: 262

Песенные сборники Дмитлага, 1935. А музыка называлась— ка–нало-армейская, и в конкурсной комиссии состояли вольные композиторы— Шостакович, Кабалевский, Шехтер…

Глава 4. АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ

А часы истории — били.

В 1933 году на январском пленуме ЦК и ЦКК, уже в уме развёрстывая практические цифры, сколько же двуногих в этой стране надо ещё и ещё пустить в расход, Великий Вождь объявил, что так обещанное Лениным и так чаемое гуманистами «отмирание государства придёт не через ослабление государственной власти, а через её максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов..» (курсив мой. —АС). Атак как те доживают свои дни, «апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против Советской власти», — а уж под отсталый слой подойдёт и любой человек не умирающего класса, — то вот и: «мы хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв»[263]. (Как именно «без особых жертв», Кормилец не пояснил.)

Это было так неожиданно гениально, что не всякому умишке дано было объять, но Вышинский состоял на своём подручном месте и сразу

---

[263] Примечания: 263

ИВ.Сталин. Сочинения: [В 13т.]. М., 1949–1955. Т. 13, с. 211, 212.

же подхватил: «и следовательно, максимальное укрепление… исправительно–трудовых учреждений»![264]

Вступление в социализм через максимальное укрепление тюрьмы! — это не юмористический журнал сострил, это сказал генеральный прокурор Советского Союза! Так что «ежовые рукавицы» готовились и без Ежова.

Ведь вторая пятилетка, кто помнит (да ведь никто у нас ничего не помнит! память — самое слабое место русских, особенно— память на злое), вторая пятилетка среди своих блистательных (по сей день не выполненных) задач имела и такую: «искоренение пережитков капитализма в сознании людей». Значит, и закончить это искоренение надо было в 1938 году. Рассудите сами, чем же было их так быстро искоренять?

«Советские места лишения свободы на пороге второй пятилетки ни в какой мере не только не теряют, но даже усиливают своё значение». (Года не прошло от предсказания Когана, что лагерей вообще скоро не будет. Но он же не знал январского пленума.) «В эпоху вступления в социализм роль исправительно–трудовых учре-

---

[264] Примечания: 264

От тюрем к воспитательным учреждениям. Предисловие, с. 7.

ждений как орудия пролетарской диктатуры, как органа репрессии, как средства принуждения и воспитания (принуждение уже на первом месте) должна ещё больше возрасти и усилиться»[265]. (А иначе комсоставу НКВД при социализме что ж — пропади?)

Кто упрекнёт нашу Передовую Теорию, что она отставала от практики? Всё это чёрным по белому печаталось, да мы читать ещё не умели. 1937 год был публично предсказан и обоснован.

Но что же истинно произошло с Архипелагом в 1937 году? В согласии с Вышинским, Архипелаг очень «укрепился»: резко умножилось его население. Но вопреки распространённому представлению это произошло далеко не только за счёт арестованных в 1937 году с воли: обращались в зэков «спецпереселенцы». Это был отжёв коллективизации и раскулачивания, те, кто смогли выжить и в тайге и в тундре, разорённые, без крова, без обзавода, без инструмента. По крепости крестьянской породы — ещё и этих невымерших оставались миллионы. И вот «спецпосёлки» высланных теперь перестали такими быть— но не за счёт того, чтоб их распустили в прежние места

[265] Примечания: 265

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 449. Один из авторов— Апетер, новый начальник ГУЛАГа.

или на волю, нет, их целиком включали в ГУЛАГ. Такие посёлки обносились колючей проволокой, если её ещё не было, и стали лагпунктами (весь Норильский комбинат возник таким образом), со временем иные этапировались в другие лагеря уже как зэки (дети — в детдома). И вот это многомиллионное добавление — снова крестьянское! — и было главным приливом на Архипелаг в 1937. Хотя в самой деревне в тот год не было таких массовых посадок, как в городе (впрочем, тоже заметали заметно), — всё в целом население Архипелага стало обильно крестьянским, как помнят свидетели.

Так гигантски возрос Архипелаг — но режим его мог ли ещё ужесточиться? Оказывается, мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики. Трудколлективы? Запретить! Ещё чего выдумали — самоуправление в лагере! Лучше бригады всё равно ничего не придумаешь. Какие ещё там по–литбеседы? Отставить. Заключённых присылают работать — а понимать им необязательно. На Ухте объявили «ликвидацию последней вагонки»? Политическая ошибка! — а что, на пружинные койки будем их класть? Втиснуть им вагонок, да вдвое! Зачёты? Зачёты — в первую очередь отменить! — что ж, судам вхоло-

стую работать? А кому уже зачёты начислены? Считать недействительными. В каких–то лагерях ещё свидание дают? Запретить повсеместно. В какой–то тюрьме труп священника выдали на волю для похорон? Да вы с ума сошли, вы даёте повод для антисоветских демонстраций. За это — наказать примерно! Разъяснить: трупы умерших принадлежат ГУЛАГу, а могилы — совсекретны. Профтехкурсы для заключённых? Распустить! Надо было на воле учиться. Что ВЦИК, какое решение ВЦИК? за подписью Калинина?.. У нас НКВД. На волю выйдут— пусть учат сами. Графики, диаграммы? Содрать со стен, стены побелить. Можно и не белить. Это что за ведомость? Зарплата заключённым? Циркуляр ГУМЗАКа от 25.11.1926, двадцать пять процентов от ставки рабочего соответствующей квалификации в госпромышленности? Молчать! Разорвать! Самих зарплаты лишим! Заключённому, да ещё платить! Спасибо пусть скажет, что не расстреляли. Исправительно–трудовой кодекс 1933 года? Забыть навсегда, изъять из всех лагерных сейфов! «Всякое нарушение общесоюзных кодексов о труде… только по согласованию в ВЦСПС»? Да неужели же нам идти в ВЦСПС? Что такое ВЦСПС? — тьфу, и нету! Статья 75–я — «при более тяжёлой работе увеличивается

паёк»? Кру–гом! При более лёгкой — уменьшается. Вот так, и фонды целы.

Исправительно–трудовой кодекс с его сотнями статей как акула проглотила, и не только потом двадцать пять лет никто его не видел, но даже и названия такого не подозревали.

Тряхнули Архипелаг— и убедились, что, ещё начиная с Соловков и тем более во времена каналов, вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь эту слабину выбирали.

Прежде всего никуда не годилась охрана, это не лагеря были вовсе: на вышках часовые только по ночам; на вахте одинокий невооружённый вахтёр, которого можно уговорить и пройти на время; фонари на зоне допускались керосиновые; несколько десятков заключённых сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение (при политически надёжных электриках). Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли наконец вполне современный, известный нам вид.

Здесь не перечислить, во скольких бытовых

мелочах был зажат и острожен лагерный режим. И сколько было обнаружено дырок, через которые воля ещё могла наблюдать за Архипелагом. Все эти связи теперь были прерваны, дырки заткнуты, изгнаны ещё какие–то там последние «наблюдательные комиссии».

Не найдётся в книге другого места объяснить, что это такое. Пусть же будет длинное примечание для любознательных.

Лицемерное буржуазное общество придумало, что оно должно наблюдать за состоянием мест заключения и ходом исправления арестантов. В царской России существовали «общества попечительства о тюрьмах» — «для улучшения физического и нравственного состояния арестантов», были благотворительные тюремные комитеты и общества тюремного патроната. В американских же тюрьмах наблюдательные комиссии из представителей общественности в 20–е и 30–е годы уже имели широкие права: даже досрочного освобождения (не ходатайства о нём, а самого освобождения, без суда). Впрочем, наши диалектические законники метко возражают: «не надо забывать, из каких классов составляются комиссии — они принимают решения в соответствии со своими классовыми интересами».

Другое дело — у нас. Первой же «Временной инструкцией» от 23.7.1918, создавшей первые лагеря, предусматривалось создание Распределительных комиссий при губернских Карательных Отделах. Распределяли же они — всех осуждённых по семи видам лишения свободы, учреждённых в ранней РСФСР. Работа эта (как бы заменяющая суды) была столь важна, что Наркомюст в отчёте 1920 года назвал деятельность распредкомиссий «нервом карательного дела». Состав их был очень демократичный, например в 1922 году это была Тройка: начальник губернского управления НКВД, член президиума губернского суда и начальник мест лишения свободы в данной губернии. Позже к ним присоединили по человечку от ГубРКИ и Губпрофсовета. Но уже к 1929 году ими были страшно недовольны: они применяли досрочное освобождение и льготы классово–чуждым элементам. «Это была правооппорту–нистическая практика руководства НКВД». За то распредкомиссий были в том же году Великого Перелома упразднены, а место их заняли Наблюдательные Комиссии, председателями которых назначались судьи, членами же — начальник лагеря, прокурор и представитель общественности— от работников надзорсостава, от милиции, от райисполкома

и от комсомола. Как метко возражают наши юристы, не надо забывать, из каких классов… Ах, простите, это я уже выписывал… Поручено было наблюдкомам: от НКВД— решать вопросы зачётов и досрочек, от ВЦИК (то бишь от парламента) попутно следить за промфинпланом.

Вот эти–то наблюдкомиссии и были в начале второй пятилетки разогнаны. Откровенно говоря, никто из заключённых от этой потери не охнул.

Кстати уж и о классах, если заговорили. Один из авторов всё того же Сборника— Шестакова, по материалам 20–х и начала 30–х годов делает «странный вывод о сходстве социального состава в буржуазных тюрьмах и у нас»: к её собственному изумлению, оказалось, что и тут и там сидят… трудящиеся. Ну конечно тут есть какое–нибудь диалектическое объяснение, но она его не нашла. Добавим от себя, что это «странное сходство» было лишь несколько нарушено 37–38–м годами, когда кроме огромного крестьянского добавления в лагеря хлынули люди высоких государственных положений. Но очень вскоре соотношение выровнялось. Все многомиллионные потоки войны и послевоенные— были только потоки трудящихся.

Попутно и лагерные «фаланги», хотя в них,

кажется, уже отсвечивал социализм, были в 1937 для отлики от Франко переименованы в «колонны». Лагерная оперчасть, которая до сих пор считалась с задачами общей работы и плана, теперь приобрела самодовлеющее руководящее значение в ущерб любой производственной работе, любому штату специалистов. Не разогнали, правда, лагерное КВЧ, но отчасти и потому, что через них удобно собирать доносы и вызывать стукачей.

И железный занавес опустился вокруг Архипелага. Никто, кроме офицеров и сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту. Установился тот гармоничный порядок, который и сами зэки скоро привыкнут считать единственно мыслимым, каким и будем мы его описывать в этой части книги — уже без кумачовых тряпок и больше трудовым, чем «исправительным».

И тогда–то оскалились волчьи зубы! И тогда–то зинули бездны Архипелага!

— В консервные банки обую, а на работу пойдёшь!

— Шпал не хватит — вас положу!

Вот тогда–то, провезя по Сибири товарные эшелоны с пулемётом на каждой третьей кры-

ше, Пятьдесят Восьмую загоняли в котлованы, чтобы надёжнее содержать. Тогда–то, ещё до первого выстрела Второй Мировой войны, ещё когда вся Европа танцевала фокстроты, — в Мариинскомраспреде (внутрила–герной пересылке Мариинских лагерей) не успевали бить вшей и сметали их с одежды полыневыми метёлками. Вспыхнул тиф — и за короткое время 15 ООО (пятнадцать тысяч) умерших сбросили в ров — скрюченными, голыми, для экономии срезав с них даже домашние кальсоны. (О тифе на Владивостокской транзитке мы уже поминали.)

И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался: с поощрением шпаны, блатных. Блатным ещё последовательней отдавали все «командные высоты» в лагере. Блатных ещё последовательней натравливали на Пятьдесят Восьмую, допускали беспрепятственно грабить её, бить и душить. Урки стали как бы внутрилагерной полицией, лагерными штурмовиками. (В годы войны во многих лагерях полностью отменили надзорсостав, доверив его работу комендатуре — «ссученным ворам», сукам— и суки действовали ещё лучше надзора: ведь им–то никакое битьё не воспрещалось.)

Говорят, что в феврале–марте 1938 года была

спущена по НКВД секретная инструкция: уменьшить количество заключённых! (не путём их роспуска, конечно). Яне вижу здесь невозможного: это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал.

Тогда–то легли вповалку гнить пеллагрические. Тогда–то начальники конвоев стали проверять точность пулемётной пристрелки по спотыкающимся зэкам. Тогда–то, что ни утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту, в штабеля.

На Колыме, этом Полюсе холода и жестокости в Архипелаге, тот же перелом прошёл с резкостью, достойной Полюса.

По воспоминаниям Ивана Семёновича Карпунича–Браве–на (бывшего комполка 40–й дивизии, недавно умершего с неоконченными и разрозненными записями), на Колыме установился жесточайший режим питания, работы и наказаний. Заключённые голодали так, что на ключе Заросшем съели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял и весь шевелился от мух и червей. На прииске Утином зэки съели полбочки солидола, привезенного для смазки тачек. На Мылге питались ягелем, как олени. — При заносе перевалов выдавали на дальних приисках

по сто граммов хлеба в день, никогда не восполняя за прошлое. — Многочисленных доходяг, не могущих идти, на работу тащили санями другие доходяги, ещё не столь оплывшие. Отстающих били палками и догрызали собаками. На работе при 45 градусах мороза запрещали разводить огонь и греться (блатарям— разрешалось). Сам Карпунич испытал и «холодное ручное бурение» двухметровым стальным буром и отвозку «торфов» (грунта со щебёнкой и валунами) при 50 градусах ниже нуля на санях, в которые впрягались четверо (сани были из сырого леса и короб на них— из сырого горбыля); пятым шёл при них толкач–урка, «отвечающий за выполнение плана», и бил их дрыном. — Не выполняющих норм (а что значит — не выполняющих? ведь выработка Пятьдесят Восьмой всегда воровски переписывалась блатным) начальник лагпункта Зельдин наказывал так: зимой в забое раздевать донага, обливать холодной водой и так пусть бежит в лагерь; летом — опять же раздевать донага, руки назад привязывать к общей жерди и выставлять прикованных под тучу комаров (охранник стоял под накомарником). Наконец, и просто били прикладами и бросали в изолятор.

На Мылге (подОЛПе Эльгена) при начальнике

Гаврике для не выполняющих нормы женщин эти наказания были мягче: просто неотапливаемая палатка зимой (но можно выбежать и бегать вокруг), а на сенокосе при комарах— незащищённый прутяной шалаш (воспоминания Слиозберг).

Возразят, что здесь ничего нового и нет никакого развития: что это примитивный возврат от крикливо–воспитательных Каналов к откровенным Соловкам. Ба! А может— это гегелевская триада: Соловки–Беломор–Колыма? Тезис–антитезис–синтез? Отрицание отрицания, но обогащенное?

Например, вот кареты смерти как будто не было на Соловках? Это — по воспоминаниям Карпунича на ключе Марис–ном (66–й км Среднеканской трассы). Целую декаду терпел начальник невыполнение нормы. Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паёк и ещё выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы — для тех была карета: поставленный на тракторные сани сруб 5x3x1,8 метра из сырых брусьев, скреплённых строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых провинившихся, отупевших и уже безразличных, выводили из

штрафного изолятора, набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на 3–4 километра от лагеря, в распадок. Некоторые изнутри кричали, но трактор отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок и трупы выбрасывали. Вьюги их заметут.

А летом на подкомандировках изолятор бывал — яма в мёрзлом грунте (в такой яме якуты хорошо сохраняют свежими рыбу и мясо). Её накрывали брёвнами, а если откапывали неглубоко, то посаженный не мог выпрямиться в рост, а стоял и затекал, согнувшись. (Сидеть, разумеется, было невозможно.)

На ОЛПе Экспедиционном Южного управления невыполнение норм наказывалось ещё проще: начальник ОЛПа лейтенант Григорьев шёл на прииск с пистолетом — и там каждый день пристреливал двух–трёх невыполняющих (воспоминания Томаса Сговио).

Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником УСВИТлага (Управления Северо–Восточных лагерей) был назначен Гаранин, а начальником Дальстроя вместо комдива латышских стрелков Э. Берзиня — Павлов. (Кстати, совсем ненужная чехарда из–за сталинской подозрительности. Отчего не

мог бы послужить новым требованиям и старый чекист Берзинь со товарищи? Прекрасно бы расстреливал.)

Тут отменили (для Пятьдесят Восьмой) последние выходные (их полагалось три в месяц, но давали неаккуратно, а зимой, когда плохо с нормами, и вовсе не давали), летний рабочий день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы и «актировать» день разрешили только с 55 градусов. По произволу отдельных начальников выводили и при 60. (Многие колымчане и вообще никакого термометра на своём ОЛПе не вспоминают.) На прииске Горном отказчиков привязывали верёвками к саням (опять плагиат с Соловков) и так волокли в забой. Ещё приняли на Колыме, что конвой не просто сторожит заключённых, но отвечает за выполнение ими плана и должен не дремать, а вечно их подгонять.

Ещё и цынга, без начальства, валила людей.

Но и этого всего казалось мало, ещё недостаточно режим–но, ещё недостаточно уменьшалось количество заключённых. И начались «гаранинские расстрелы», прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми

могильниками: и Оротукан, и ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча, но больше других знамениты этим прииск Золотистый (начальник лагпункта Петров, оперуполномоченные Зеленков и Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник райотдела НКВД Буров) и Серпантинка. На Золотистом выводили днём бригады из забоя — и тут же расстреливали кряду. (Это не взамен ночных расстрелов, те— сами собой.) Начальник Юглага Николай Андреевич Аланов, приезжая туда, любил выбирать на разводе какую–нибудь бригаду, в чём–нибудь виновную, приказывал отвести её в сторонку — ив напуганных, скученных людей сам стрелял из пистолета, сопровождая радостными криками. Трупы не хоронили, они в мае разлагались— и тогда уцелевших доходяг звали закапывать их— за усиленный паёк, даже и со спиртом. На Серпантинке расстреливали каждый день 30–50 человек под навесом близ изолятора. Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку. Трактористы, грузчики и закопщики трупов жили в отдельном бараке. После расстрела самого Гаранина расстреляли и всех их. Была там и другая техника: подводили к глубокому шурфу с завязанными глазами и стреляли

в ухо или в затылок. (Никто не рассказывает о каком–либо сопротивлении.) Серпантинку закрыли, и тот изолятор сравняли с землёй, и всё приметное, связанное с расстрелами, и засыпали те шурфы[266]. На тех же приисках, где расстрелы открыто не велись, — зачитывались или вывешивались афишки с крупными буквами фамилий и мелкими мотивировками: «за контрреволюционную агитацию», «за оскорбление конвоя», «за невыполнение нормы».

Расстрелы останавливались временами потому, что план по золоту проваливался, а по замёрзшему Охотскому морю не могли подбросить новой партии заключённых. (М.И.Кононен–ко ожидал так на Серпантинке расстрела больше полугода и остался жив.)

Кроме того, проступило ожесточение в набавке новых сроков. Гаврик на Мылге оформлял это картинно: впереди на лошадях ехали с факелами (приполярная ночь), а сзади на верёвках волокли по земле за новым делом в райНКВД (30 километров). На других лагпунктах совсем буднично: УРЧи подбирали по карточкам, кому уже

[266] Примечания: 266

В 1954 году на Серпантинной открыли промышленные запасы золота (раньше не знали его там). И пришлось добывать между человеческими костями: золото дороже.

подходят концы нерасчётливо коротких сроков, вызывали сразу пачками по 80–100 человек и дописывали каждому новую десятку (рассказ Р. В. Ретца).

Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и «повезло»: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжили Евгения Гинзбург, О.Слиозберг, Н.Суровцева, Н.Гранкина и другие— и все написали мемуары[267]. Я только разрешу себе привести здесь несколько строк В. Шаламова о гаранинских расстрелах:

«Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50–градусный мороз музыканты из бытовиков играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму… Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, и какой–нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа рукавицей, чтобы

[267] Примечания: 267

Отчего получилось такое сгущение, а не–колымских мемуаров почти нет? Потому ли, что на Колыму действительно стянули цвет арестантского мира? Или, как ни странно, в «ближних» лагерях дружнее вымирали?

разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного».

Так Архипелаг закончил Вторую пятилетку и, стало быть, вошёл в социализм.

* * *

Начало войны сотрясло островное начальство: ход войны был поначалу таков, что, пожалуй, мог привести и к крушению всего Архипелага, а как бы и не к ответу работодателей перед рабочими. Сколько можно судить по впечатлениям зэков из разных лагерей, такой уклон событий породил два разных поведения у хозяев. Одни, поблагоразумней или по–трусоватей, умягчили свой режим, разговаривать стали почти ласково, особенно в недели военных поражений. Улучшить питание или содержание они конечно не могли. Другие, поупрямей и позлобней, наоборот, стали содержать Пятьдесят Восьмую ещё круче и грознее, как бы суля им смерть прежде всякого освобождения. В большинстве лагерей заключённым даже не объявили о начале войны 22 июня — наше необоримое пристрастие к скрытности и *лжи*! — лишь в понедельник 23–го зэки узнавали от расконвоированных и от вольных. Где и было радио (Усть–Вымь, многие места

Колымы) — упразднили его на всё время наших военных неудач. В том же УстьВым–лаге вдруг запретили писать письма домой (а получать можно) — и родные решили, что их тут расстреляли. В некоторых лагерях (нутром предчувствуя направление будущей политики) Пятьдесят Восьмую стали отделять от бытовиков в особые строго охраняемые зоны, ставили на вышках пулемёты и даже так говорили перед строем: «Вы здесь— заложники! — (Ах, шипуча зарядка Гражданской войны! Как трудно эти слова забываются, как легко вспоминаются!) — Если Сталинград падёт— всех вас перестреляем!» С этим настроением и выспрашивали туземцы о сводках: стоит Сталинград или уже свалили. — На Колыме в такие спецзоны стягивали немцев, поляков и приметных из Пятьдесят Восьмой. Но поляков тут же (август 1941) стали вообще освобождать[268].

Всюду на Архипелаге (вскрыв пакеты мобилизационных предписаний) с первых дней войны прекратили освобождение Пятьдесят Восьмой. Даже были случаи возврата с дороги уже освобож-

[268] Примечания: 268

С Золотистого освободились 186 поляков (из двух тысяч ста, привезенных за год до того). Они попали в армию Сикорского, на Запад — и там, как видно, порассказали об этом Золотистом. В июне 1942 его закрыли совсем.

дённых. В Ухте 23 июня группа освободившихся уже была за зоной, ждали поезда— как конвой загнал назад и ещё ругал: «через вас война началась!» Карпунич получил бумажку об освобождении 23 июня утром, но ещё не успел уйти за вахту, как у него обманом выманили: «А покажите–ка!» Он показал — и остался в лагере ещё на 5 лет. Это считалось — до особого распоряжения. (Уже война кончилась, а во многих лагерях запрещали даже ходить в УРЧ и спрашивать — когда же освободят. Дело в том, что после войны на Архипелаге некоторое время людей не хватало, и многие местные управления, даже когда Москва разрешила отпускать, — издавали свои собственные «особые распоряжения», чтобы удержать рабочую силу. Именно так была задержана в Карлаге Е.М.Орлова— и из–за того не поспела к умирающей матери.)

С начала войны (по тем же, вероятно, мобпредписани–ям) уменьшились нормы питания в лагерях. Всё ухудшались с каждым годом и сами продукты: овощи заменялись кормовою репой, крупы — викой и отрубями. (Колыма снабжалась из Америки, и там, напротив, появился белый хлеб кое–где.) Но на важных производствах от ослабления арестантов падение выработки было

так велико (в 5 и в 10 раз), что сочли выгодным вернуть довоенные нормы питания. Многие лагерные производства получили оборонные заказы — и оборотистые директора таких заводиков иногда умудрялись подкармливать зэков добавочно, с подсобных хозяйств. Где платили зарплату, то по рыночным ценам войны это было (30 рублей) — меньше одного килограмма картофеля в месяц.

Если лагерника военного времени спросить, какова его высшая, конечная и совершенно недостижимая цель, он ответил бы: «Один раз наесться вволю черняшки— и можно умереть». Здесь хоронили в войну никак не меньше, чем на фронте, только не воспето поэтами. Л.А. Комогор в «слабосильной команде» всю зиму 1941/42 года был на этой лёгкой работе: упаковывал в гробовые обрешётки из четырёх досок по двое голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. (Очевидно, лагерь был близкий, поэтому надо было упаковывать.)

Прошли первые месяцы войны—и страна приспособилась к военному ладу жизни; кто надо — ушёл на фронт, кто надо — тянулся в тылу, кто надо — руководил и утирался после выпивки. Так и в лагерях. Оказалось, что напрасны были

страхи, что всё — устойчиво, что как заведена эта пружина, так и дальше давит без отказу. Кто поначалу заискивал перед зэками — теперь лютел, и не было ему меры и остановки. Оказалось, что формы лагерной жизни однажды определены правильно и будут такими довеку.

Семь лагерных эпох будут спорить перед вами, какая из них была хуже для человека, — склоните ухо к военной. Говорят и так: кто в войну не сидел— тот и лагеря не отведал.

Вот зимою, с 41–го на 42–й, лагпункт Вятлага: только в бараках ИТР и мехмастерских теплится какая–то жизнь, остальные — замерзающее кладбище (а занят Вятлаг заготовкою именно дров — для Пермской железной дороги).

Вот что такое лагеря военных лет: больше работы — меньше еды — меньше топлива—хуже одежда — свирепей закон — строже кара— но и это ещё не всё. Внешний протест и всегда был отнят у зэков — война отнимала ещё и внутренний. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и поучал: «А на фронте как умирают?.. А на воле как работают? А в Ленинграде сколько хлеба получали?..» И даже внутренне нечего им было возразить. Да, на фронте умирали, лёжа и в снегу. Да, на воле тянулись из

жил и голодали. (И вольный трудфронт, куда из деревень забирали незамужних девок, где были лесоповал, семисотка, а на приварок— посудные ополоски, стоил любого лагеря.) Да, в Ленинградскую блокаду давали ещё меньше лагерного карцерского пайка. Во время войны вся раковая опухоль Архипелага оказалась (или выдавала себя) как бы важным, нужным органом русского тела— она как бы тоже работала на войну! от неё тоже зависела победа! — и всё это ложным оправдывающим светом падало на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем, — и, умирая её гниющей клеточкой, ты даже лишён был предсмертного удовольствия её проклясть.

Для Пятьдесят Восьмой лагеря военного времени были особенно тяжелы накручиванием вторых сроков, это висело хуже всякого топора. Оперуполномоченные, спасая самих себя от фронта, открывали в усторонних захолустьях, на лесных подкомандировках заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооружённых восстаний и массовых побегов. Такие тузы ГУЛАГа, как Яков Моисеевич Мороз, начальник УхтПечла–га, особенно поощряли в своих лагерях следственно–судебную деятельность. (Не от-

того ли, что сам был прежде следователем? Но на допросе убил арестанта, получил бытовую десятку, административную лагерную работу, затем амнистирован.) В УхтПечлаге как из мешка сыпались приговоры на расстрел и на 20 лет: «за подстрекательство к побегу», «за саботаж». — А сколько было тех, для кого не требовалось и суда, чьи судьбы руководимы звёздными предначертаниями: не угодил Си–корский Сталину— в одну ночь схватили на Эльгене тридцать полек, увезли и расстреляли.

Были многие зэки— это не придумано, это правда, — кто с первых дней войны подавали заявления: просили взять их на фронт. Они отведали самого густо–вонючего лагерного за–черпа — и теперь просились отправить их на фронт защищать эту лагерную систему и умереть за неё в штрафной роте! («А останусь жив — вернусь отсиживать срок»…) Ортодоксы теперь уверяют, что это они просились. Были и они (и уцелевшие от расстрелов троцкисты), но не очень–то: они большей частью на каких–то тихих местах в лагере пристроились (не без содействия коммунистов–начальников), здесь можно было размышлять, рассуждать, вспоминать и ждать, а ведь в штрафной роте дольше трёх дней головы

не сносить. Этот порыв был не в идейности, нет, а в сердечности, — вот это и был русский характер: лучше умереть в чистом поле, чем в гнилом закуте! Развернуться, на короткое время стать «как все», не угнетённым граждански. Уйти от здешней застойной обречённости, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого–то ещё проще, но отнюдь не позорно: там пока ещё умереть, а сейчас обмундируют, накормят, напоят, повезут, можно в окошко смотреть из вагона, можно с девками перебрасываться на станциях. И ещё тут было добродушное прощение: вы с нами плохо, а мы — вот как!

Однако государству не было экономического и организационного смысла делать эти лишние перемещения, кого–то из лагеря на фронт, а кого–то вместо него в лагерь. Определён был каждому свой круг жизни и смерти; при первом разборе попавший к козлищам, как козлище должен был и околеть.

Иногда брали на фронт бытовиков с небольшими сроками, но их— не в штрафную роту, а в обычную действующую армию. Совсем не часто, но были случаи, когда брали и Пятьдесят Восьмую. Но вот Горшунова Владимира Сергеевича взяли в 43–м из лагеря на фронт, а к концу войны

возвратили в лагерь же с надбавкой срока. Уж они меченые были, и оперуполномоченному в воинской части проще было мотать на них, чем на свеженьких.

Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На лесоповале это не очень шло, а вот: «Дадим уголь сверх плана— это свет для Ленинграда!», «Поддержим гвардейцев минами!» — это забирало, рассказывают очевидцы. Арсений Формаков, человек почтенный и темперамента уравновешенного, рассказывает, что лагерь их был увлечён работой для фронта; он собирался это и описать. Обижались зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну («Джидинец»)[269].

А награды — общеизвестны, их объявили вскоре после войны: дезертирам, жуликам, ворам— амнистия, Пятьдесят Восьмую — в Особые лагеря.

И чем ближе к концу войны, тем жесточе и жесточе становился режим для Пятьдесят Вось-

---

[269] Примечания: 269

Это требует многоразрезного объяснения, как и вся советско–германская война. Ведь идут десятилетия. Мы не успеваем разобраться и самих себя понять в одном слое, как новым пеплом ложится следующий. Ни в одном десятилетии не было свободы и чистоты информации— и от удара до удара люди не успевали разобраться ни в себе, ни в других, ни в событиях.

мой. Далеко ли забираться — в Джидинские и Колымские лагеря? Под самой Москвой, почти в её черте, в Ховрине, был захудалый заводик Хозяйственного управления НКВД и при нём режимный лагерь, где командовал Мамулов — всевластный потому, что родной брат его был начальником секретариата у Берии. Этот Мамулов кого угодно забирал с Краснопресненской пересылки, а режим устанавливал в своём лагерьке такой, какой ему нравился. Например, свидания с родственниками (в подмосковных лагерях повсюду широко разрешённые) он давал через две сетки, как в тюрьме. И в общежитиях у него был такой же тюремный порядок: много ярких лампочек, не выключаемых на ночь, постоянное наблюдение за тем, как спят, чтобы в холодные ночи не накрывались телогрейками (таких будили), в карцере у него был чистый цементный пол и больше ничего — тоже как в порядочной тюрьме. Но ни одно наказание, назначенное им, не приносило ему удовлетворения, если сверх того и перед этим он не выбивал крови из носа виновного. Ещё были приняты в его лагере ночные набеги надзора (мужчин) в женский барак на 450 человек. Вбегали внезапно с диким гиканьем, с командой: «Вста–ать рядом с

постелями!» Полуодетые женщины вскакивали, и надзиратели обыскивали их самих и их постели с мелочной тщательностью, необходимой для поиска иголки или любовной записки. За каждую находку давался карцер. Начальник отдела главного механика Шклиник в ночную смену ходил по цехам, согнувшись гориллой, и чуть замечал, кто начинает дремать, вздрогнет головой, прикроет глаза, — с размаху метал в него железной болванкой, клещами, обрезком железа.

Таков был режим, завоёванный лагерниками Ховрина их работой для фронта: они всю войну выпускали мины. К этой работе заводик приспособил и наладил заключённый инженер (увы, его фамилии не могут вспомнить, но она не пропадёт, конечно), он создал и конструкторское бюро. Сидел он по 58–й и принадлежал к той отвратительной для Мамулова породе людей, которая не поступается своими мнениями и убеждениями. И этого негодяя приходилось терпеть! Но у нас нет незаменимых! И когда производство уже достаточно завертелось, к этому инженеру как–то днём при конторских (да нарочно при них! — пусть все знают, пусть рассказывают! — вот мы и рассказываем) ворвались Мамулов с двумя подручными, таскали за бороду, бросали

на пол, били сапогами в кровь — и отправили в Бутырки получать второй срок за политические высказывания.

Этот милый лагерёк находился в пятнадцати минутах электричкою от Ленинградского вокзала. Сторона не дальняя, да печальная.

(Зэки–новички, попав в подмосковные лагеря, цеплялись за них, если имели родственников в Москве, да и без этого: всё–таки казалось, что ты не срываешься в ту дальнюю невозвратную бездну, всё–таки здесь ты на краю цивилизации. Но это был самообман. Тут и кормили обычно хуже — с расчётом, что большинство получает передачи, тут не давали даже белья. А главное, вечные мутящие параши о дальних этапах клубились в этих лагерях, жизнь была шаткая, как на острие шила, невозможно было даже за сутки поручиться, что проживёшь их на одном месте.)

* * *

В таких формах каменели острова Архипелага, но не надо думать, что, каменея, они переставали источать из себя метастазы.

В 1939 году, перед финской войной, гулаговская alma mater Соловки, ставшие слишком близкими к Западу, были переброшены Северным морским

путём, кто не на Новую Землю, те— в устье Енисея, и там влились в создаваемый Норильлаг, скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что, даже умирая, они дали ещё один последний метастаз — и какой!

К предвоенным годам относится завоевание Архипелагом безлюдных пустынь Казахстана. Разрастается осьминогом гнездо карагандинских лагерей, выбрасываются плодотворные метастазы в Джезказган с его отравленной медной водой, в Моин–ты, в Балхаш. Рассыпаются лагеря и по северу Казахстана.

Пухнут новообразования в Новосибирской области (Ма–риинские лагеря), в Красноярском крае (Канские, Краслаг), в Хакасии, в Бурят–Монголии, в Узбекистане, даже в Горной Шории.

Не останавливается в росте излюбленный Архипелагом русский Север (УстьВымлаг, Ныроблаг, Усольлаг) и Урал (Ив–дельлаг).

В этом перечислении много пропусков. Достаточно написать «Усольлаг», чтобы вспомнить, что в иркутском Усолье тоже был лагерь.

Да просто не было такой области, Челябинской или Куйбышевской, которая не плодила бы своих лагерей.

Метод преобразования крестьянских посёлков

в лагеря был применён и после высылки немцев Поволжья: целые сёла, как они есть, заключались в зону— и это были сельхозлагу–частки (Каменские сельхозлагеря между Камышином и Энгельсом).

Мы просим у читателя извинения за многие недостачи этой главы: через целую эпоху Архипелага мы перебрасываем лишь хлипкий мостик — просто потому, что не сошлось к нам материалов больше. Запросов по радио мы оглашать не могли.

Здесь опять на небосклоне Архипелага выписывает замысловатую петлю багровая звезда Нафталия Френкеля.

1937 год, разя своих, не миновал и его головы: начальник БАМлага, генерал НКВД, он снова в благодарность посажен на уже известную ему Лубянку. Но не устаёт Френкель жаждать верной службы, не устаёт и Мудрый Учитель изыскивать эту службу. Началась позорная и неудачливая война с Финляндией, Сталин видит, что он не готов, что нет путей подвоза к армии, заброшенной в карельские снега, — и он вспоминает изобретательного Френкеля и требует его к себе: надо сейчас, лютой зимой, безо всякой подготовки, не имея ни планов, ни складов, ни автомобиль-

ных дорог, построить в Карелии три железных дороги — одну рокадную и две подводящих, и построить за три месяца, потому что стыдно такой великой державе так долго возиться с моськой Финляндией. Это — чистый эпизод из сказки: злой король заказывает злому волшебнику нечто совершенно неисполнимое и невообразимое. И спрашивает вождь социализма: «Можно?» И радостный коммерсант и валютчик отвечает: «Да!»

Но уж он ставит и свои условия:

1) выделить его целиком из ГУЛАГа, основать новую зэковекую империю, новый автономный архипелаг ГУЛЖДС (гулжедээс) — Главное Управление Лагерей Железнодорожного Строительства, и во главе этого архипелага— Френкель;

2) все ресурсы страны, которые он выберет, — к его услугам (это вам не Беломор!);

3) ГУЛЖДС на время авральной работы выпадает также и из системы социализма с его донимающим учётом. Френкель не отчитывается ни в чём. Он не разбивает палаток, не основывает лагпунктов. У него нет никаких пайков, «столов», «котлов». (Это он–то, первый и предложивший столы и котлы! Только гений отменяет законы гения!) Он сваливает грудами в снег лучшую еду, полушубки и валенки, каждый зэк надевает

что хочет и ест сколько хочет. Только махорка и спирт будут в руках его помощников, и только их надо заработать!

Великий Стратег согласен. И ГУЛЖДС— создан! Архипелаг расколот? Нет, Архипелаг только усилился, умножился, он ещё быстрее будет усваивать страну.

С карельскими дорогами Френкель всё–таки не успел: Сталин поспешил свернуть войну вничью. Но ГУЛЖДС крепнет и растёт. Он получает новые и новые заказы (уже и с обычным учётом и порядками): рокадную дорогу вдоль персидской границы, потом дорогу вдоль Волги от Сызрани на Сталинград, потом «Мёртвую дорогу» с Салехарда на Игарку и собственно БАМ: от Тайшета на Братск и дальше.

Больше того, идея Френкеля оплодотворяет и само развитие ГУЛАГа: признаётся необходимым и ГУЛАГ построить по отраслевым управлениям. Подобно тому как Совнарком состоит из наркоматов, ГУЛАГ для своей империи создаёт свои министерства: ГлавЛеслаг, ГлавПромстрой, ГУЛГМП (Главное Управление Лагерей Горно–Металлургической Промышленности).

А тут война. И все эти гулаговские министерства эвакуируются в разные города. Сам ГУЛАГ

попадает в Уфу, ГУЛЖДС— в Вятку. Связь между провинциальными городами уже не так надёжна, как радиальная из Москвы, и на всю первую половину войны ГУЛАГ как бы распадается: он уже не управляет всем Архипелагом, а каждая окружная территория Архипелага достаётся в подчинение тому Управлению, которое сюда эвакуировано. Так Френкелю достаётся управлять из Кирова всем русским Северо–Востоком (потому что, кроме Архипелага, там почти ничего и нет). Но ошибутся те, кто увидит в этой картине распад Римской Империи — она соберётся после войны ещё более могущественная.

Френкель помнит старую дружбу: он вызывает и назначает на крупный пост в ГУЛЖДС — Бухальцева, редактора своей жёлтой «Копейки» в дореволюционном Мариуполе, собратья которого или расстреляны, или рассеяны по земле.

Френкель был выдающихся способностей не только в коммерции и организации. Охватив зрительно ряды цифр, он их суммировал в уме. Он любил хвастаться, что помнит в лицо 40 тысяч заключённых и о каждом из них— фамилию, имя, отчество, статью и срок (в его лагерях был порядок докладывать о себе эти данные при подходе высоких начальников). Он всегда обходился

без главного инженера. Глянув на поднесенный ему план железнодорожной станции, он спешил заметить там ошибку, — и тогда комкал этот план, бросал его в лицо подчинённому и говорил: «Вы должны понять, что вы — осёл, а не проектировщик!» Голос у него был гнусавый, обычно спокойный. Рост— низенький. Носил Френкель железнодорожную генеральскую папаху, синюю сверху, красную с изнанки, и всегда, в разные годы, френч военного образца— однозначная заявка быть государственным деятелем и не быть интеллигентом. Жил он, как Троцкий, всегда в поезде, разъезжавшем по разбросанным строительным боям, — и вызванные из туземного неустройства на совещание к нему в вагон поражались венским стульям, мягкой мебели— и тем более робели перед упрёками и приказами своего шефа. Сам же он никогда не зашёл ни в один барак, не понюхал этого смрада— он спрашивал и требовал только работу. Он особенно любил звонить на объекты по ночам, поддерживая легенду о себе, что никогда не спит. (Впрочем, в сталинский век и многие вельможи так привыкли.)

Больше его уже не сажали. Он стал заместителем Кагановича по капитальному железнодорожному строительству и умер в Москве в 50–е

годы в звании генерал–лейтенанта, в старости, в почёте и в покое.

Мне представляется, что он ненавидел эту страну.

Глава 5. НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ

Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Алексеевск (в честь Цесаревича). Революция переименовала его в город Свободный. Амурских казаков, населявших город, рассеяли — и город опустел. Кем–то надо было его заселить. Заселили: заключёнными и чекистами, охраняющими их. Весь город Свободный стал лагерем (БАМлаг).

Так символы рождаются жизнью сами.

Лагеря не просто «тёмная сторона» нашей послереволюционной жизни. Их размах сделал их не стороной, не боком — а едва ли не печенью событий. Редко в чём другом наше пятидесятилетие проявило себя так последовательно, так до конца.

Как всякая точка образуется от пересечения по крайней мере двух линий, всякое событие — по крайней мере от двух не–обходимостей, — так и к системе лагерей, с одной стороны, вела нас экономическая потребность, но одна она могла бы привести и к трудармии, да пересекалась со счастливо сложившимся теоретическим оправданием лагерей.

И они сошлись как срослись: шип— в гнездо, выступ — в углубину. И так родился Архипелаг.

Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно: государству, задумавшему окрепнуть в короткий срок (тут три четверти дела в сроке, как и на Беломоре!) и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила:

а) предельно дешёвая, а лучше— бесплатная;

б) неприхотливая, готовая к перегону с места на место

в любой день, свободная от семьи, не требующая ни устроенно

го жилья, ни школ, ни больниц, а на какое–то время — ни кухни, ни бани.Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей.

Теоретическое же оправдание не могло бы так уверенно сложиться в спешке этих лет, не начнись оно ещё в прошлом веке. Энгельс доследовал, что не с зарождения нравственной идеи начался человек и не с мышления — а со случайного и бессмысленного труда: обезьяна взяла в руки камень — и оттуда всё пошло. Маркс же, касаясь более близкого времени («Критика Готской программы»), с той же уверенностью назвал единственным средством исправления

преступников (правда, уголовных; он, кажется, не зачислял в преступников политических, как его ученики) — опять–таки не одиночные размышления, не нравственное самоуглубление, не раскаяние, не тоску (это всё надстройки) — а производительный труд. Сам он отроду не брал в руки кирки, довеку не катал и тачки, уголька не добывал, лесу не валил, не знаем, как колол дрова, — но вот написал это на бумаге, и она не сопротивилась.

И для последователей теперь легко сложилось: что заставить заключённого ежедневно трудиться (иногда по 14 часов, как на колымских забоях) — гуманно и ведёт к его исправлению. Напротив, ограничить его заключение тюремной камерой, двориком и огородом, дать ему возможность эти годы читать книги, писать, думать и спорить— означает обращение «как со скотом» (из той же «Критики»).

Правда, в послеоктябрьское горячее время было не до этих тонкостей, и ещё гуманнее казалось просто расстреливать. Тех же, кого не расстреливали, а сажали в самые ранние лагеря, — сажали туда не для исправления, а для обезвреживания, для чистой изоляции.

Дело в том, что были и в то время умы, занятые

карательной теорией, например Пётр Стучка, и в «Руководящих Началах по уголовному праву РСФСР» 1919 года подвергнуто было новому определению само понятие наказания. Наказание, очень свежо утверждалось там, не есть ни возмездие (рабоче–крестьянское государство не мстит преступнику), ни искупление вины (никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность), а есть оборонительная мера по охране общественного строя— мера социальной защиты.

Раз «мера социальной защиты» — тогда понятно, на войне как на войне, надо или расстреливать («высшая мера социальной защиты»), или держать в тюрьме. Но при этом как–то тускнела идея исправления, к которой в том же 1919 году призывал VIII съезд партии. И главное, непонятно стало: от чего же исправляться, если нет вины? От классовой причинности исправиться же нельзя!?

Тем временем кончилась Гражданская война, учредились в 1922 году первые советские кодексы, прошёл в 1923 «съезд работников пенитенциарного труда», составились в 1924 новые «Основные начала уголовного законодательства» — под новый Уголовный кодекс 1926 года (который и

полозил–то по нашей шее тридцать пять лет)— а новонайденные понятия, что нет «вины» и нет «наказания», а есть «социальная опасность» и «социальная защита», — сохранились.

Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложника, как «лицо, находящееся под сомнением» (телеграмма Ленина Евгении Бош), даже целые народы ссылать по соображениям их опасности (примеры известны), — но надо быть жонглёром первого класса, чтобы при всём этом ещё строить и содержать в начищенном состоянии теорию «исправления».

Однако были жонглёры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас много можем привести цитат.

Вышинский: «Вся советская уголовная политика строится на диалектическом (!) сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитания… Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются «донять» преступника причинением ему моральных и физических страданий»[270] (ведь они же хотят его «исправить»). В отличие же от

[270] Примечания: 270

Предисловие Вышинского к книге И.Л.Авербах «От преступления к труду», с. V, VI.

буржуазного наказания, у нас, мол, страдания заключённых— не цель, а средство. (Так и там вроде тоже— не цель, а средство.) Цель же у нас, оказывается, действительное исправление, чтобы из лагерей выходили сознательные труженики.

Усвоено? Хоть и принуждая, но мы всё–таки исправляем (и тоже, оказывается, через страдания)— только неизвестно от чего.

Но тут же, на соседней странице:

«При помощи революционного насилия исправительно–трудовые лагеря локализуют и обезвреживают преступные элементы старого общества»[271] (и всё — старого общества! и в 1952 году— всё будет «старого общества». Вали волку на холку!).

Так уж об исправлении — ни слова? Локализуем и обезвреживаем?

И в том же (1936) году:

«Двуединая задача подавления плюс воспитания кого можно».

Кого можно. Выясняется: исправление–то не для всех.

И уж у мелких авторов так и порхает готовой откуда–то цитаткой: «исправление исправимых»,

---

[271] Примечания: 271
Там же, с. VII.

«исправление исправимых».

А неисправимых? В братскую яму? На луну (Колыма)? Под шмидтиху (Норильск)?

Даже Исправительно–трудовой кодекс 1924 года с высоты 1934 юристы Вышинского упрекают в «ложном представлении о всеобщем исправлении». Потому что Кодекс этот ничего не пишет об истреблении.

Никто не обещал, что будут исправлять Пятьдесят Восьмую.

Вот и назвал я эту Часть—Истребителъно–труцрвые. Как чувствовали мы шкурой нашей.

А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, так подымайте из могилы Стучку, волоките Вышинского — и пусть разбираются. Яне виноват.

Это сейчас вот, за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников, да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина начальника, а каким–то легендарным кодексом труда заключённых — это не для нас одних был слух тёмный, параша, но и майор, начальник ОЛПа, ни за что б не поверил. Слу-

жебным закрытым тиражом изданные, никем в руках не держанные, ещё ли сохранились они в гулаговских сейфах или все сожжены как вредительские — никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в культурно–воспитательных уголках, ни цифирки не оглашено с деревянных помостов — сколько там часов рабочий день? сколько выходных в месяц? есть ли оплата труда? полагается ли что за увечья? — да и свои ж бы ребята на смех бы подняли, если вопрос задашь.

Кто эти гуманные письмена знал и читал, так это наши дипломаты. Они–то, небось, на конференциях этой книжечкой потрясывали. Так ещё бы! Я вот сейчас только цитатки добыл— и то слёзы текут:

— в «Руководящих Началах» 1919: раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов мучительства;

— в 1920: запретить называть заключённых на «ты». (А, простите, неудобно выразиться, а… «в рот» — можно?);

— Исправтрудкодекс 1924 года, статья 49 — «режим должен быть лишён признаков мучительства, отнюдь не допуская: наручников, карцера (!), строго–одиночного заключения, лишения пищи, свиданий через решётку».

Ну, и хватит. А более поздних указаний нет: для дипломатов и этого довольно, ГУЛАГу и того не нужно.

Ещё в Уголовном кодексе 1926 года была статья 9–я, случайно я её знал и вызубрил:

«Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставят себе задачи возмездия и кары».

Вот где голубизна! Любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью — и все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по двадцать лет, к пенсии готовились— никогда никакой Девятой статьи не слышали, да, впрочем, и кодекса в руках не держали.

О, «умная дальновидная человечная администрация сверху донизу»! — как написал в «Лайфе» верховный судья штата Нью–Йорк Лейбовиц, посетивший ГУЛАГ. «Отбывая свой срок наказания, заключённый сохраняет чувство собственного достоинства», — вот как понял он и увидел.

О, счастлив штат Нью–Йорк, имея такого проницательного осла в качестве судьи!

Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковы-

ми ручками! — от тех корреспондентов, которые ещё в Кеми задавали зэкам вопросы при лагерном начальстве! — сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена.

«Собственного достоинства»! Того, кто осуждён без суда? Кого на станциях сажают задницей в грязь? Кто по свисту плётки гражданина надзирателя скребёт пальцами землю, политую мочой, и относит— чтобы не получить карцера? Тех образованных женщин, которые как великой чести удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина начальника лагпункта? И по первому пьяному жесту его становились в доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих?

…Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона— тёмная, у костра— я один, могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона—льготная, такая льготная, что я как будто на воле, — это Райский остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не нагля–дывает за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку — всё–таки холодновато от резкого ветра.

А о н а — который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно:

— Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду…

Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается.

Это— вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким фонарём, понуренно стоит наказанная девушка, ветер дёргает её серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в лёгкой косынке. Днём, когда они копали у нас траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала— охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус, спохватились— её уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами:

«Чтоб её поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами— шырк! шырк! — голову остригли перед строем!» (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе.) А эта девушка вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал — и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас — одиннадцатый ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь, вахтёр высунулся и крикнул: «Стой смирно, б..., хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет:

— Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..

Но даже в лагерь ей никто не скажет: святая! войди!..

Её потому так долго не пускают, что завтра— воскресенье, для работы она не нужна.

Беловолосая такая, простодушная необразованная девчён–ка. За какую–нибудь катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестрёнка! Тебя хотят на всю жизнь проучить.

Огонь, огонь!.. Воевали— в костры смотрели, какая будет Победа... Ветер выносит из костра недогоревшую огненную лузгу.

Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт

о том весь свет.

Это происходит в конце 1947 года, под тридцатую годовщину Октября, в стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем восьмисотлетие своих жестокостей. В двух километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И километра не будет до останкинского Дома творчества крепостных.

* * *

Крепостных!.. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл существования крепостного права и Архипелага один и тот же: это общественные устройства для принудительного и безжалостного использования дарового труда миллионов рабов. Шесть дней в неделю, а часто и семь, туземцы Архипелага выходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибытка. Им не оставляли ни пятого, ни седьмого дня работать на себя, потому что содержание выдавали «месячиною» — лагерным пайком. Так же точно были они разделены на барщинных (группа «А») и дворовых (группа «Б»), обслуживающих непосредственно помещика (начальника

лагпункта) и поместье (зону). Хворыми (группа «В») признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи (с нар). Так же существовали и наказания для провинившихся (группа «Г»), только тут была та разница, что помещик, действуя в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней плетьми на конюшне, карцера у него не было, начальник же лагпункта по государственной инструкции помещает виновного в ШИЗО (штрафной изолятор) или БУР (барак усиленного режима). Как и помещик, начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, парикмахеры или шуты (мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось), любую рабыню определить себе в экономки, в наложницы или в прислугу. Как и помещик, он вволю мог дурить, показывать свой нрав. (Начальник Химкинского лагеря майор Волков увидел, как заключённая девушка сушила на солнце распущенные после мытья долгие льняные волосы, почему–то рассердился и коротко бросил: «Остричь!» И её тотчас остригли. 1945.) Менялся ли помещик или начальник лагеря, все рабы покорно ждали нового, гадали о его привычках и заранее отдавались в его власть. Не в силах предвидеть волю хозяина, крепостной мало

задумывался о завтрашнем дне — и заключённый тоже. Крепостной не мог жениться без воли барина— и уж тем более заключённый только при снисхождении начальника мог обзавестись лагерной женой. Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своём рождении, так не выбирал её и заключённый, он тоже попадал на Архипелаг чистым роком.

Это сходство давно подметил русский язык: «людей накормили?», «людей послали на работу?», «сколько у тебя людей?», «пришли–ка мне человека!». Людей, люди— о ком это? Так говорили о крепостных. Так говорят о заключённых[272]. Так невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях — «сколько у тебя людей?» — никто и не поймёт.

Но, возразят нам, всё–таки с крепостными не так уж много и сходства. Различий больше.

Согласимся: различий— больше. Но вот удивительно: все различия — к выгоде крепостного права! все различия — к невыгоде Архипелага ГУЛАГа!

Крепостные не работали дольше чем от зари до зари. Зэки — в темноте начинают, в темноте и

---

[272] Примечания: 272

И конечно — о колхозниках и чернорабочих, но того сравнения мы сейчас не продолжим.

кончают (да ещё не всегда и кончают). У крепостных воскресенье было свято, да все двунадесятые, да храмовые, да из святок сколько–то (ряженые же ходили!). Заключённый перед каждым воскресеньем трусится: дадут или не дадут? А праздников он вовсе не знает (как Волга— выходных…): эти 1 мая и 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, чем того праздника (а некоторых зэков из года в год именно в эти дни сажают в карцер). У крепостных Рождество и Пасха были подлинными праздниками; а личного обыска то после работы, то утром, то ночью («встать рядом с постелями!») — они и вообще не знали! Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими и, на ночь ложась— на печи, на полатях, на лавке, — знали: вот это место моё, давеча тут спал и дальше буду. Заключённый не знает, в каком бараке будет завтра (и даже, идя с работы, не уверен, что и сегодня там будет спать). Нет у него «своих» нар, «своей» вагонки. Куда перегонят.

У крепостного барщинного бывали лошадь своя, соха своя, топор, коса, веретено, коробы, посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен[273],

[273] Примечания: 273

ЛИ.Герцен. К старому товарищу. Письмо второе // Собр. соч.: В 30 т. Т. 20. Кн. 2. М.: Изд–во АН СССР, 1960, с. 585.

всегда были кой–какие тряпки, которые они оставляли по наследству своим близким — и которые почти никогда не отбирались помещиком. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью, на инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности — только вши. Крепостной нет–нет да вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только ложкой из баланды. У крепостного бывала то коровушка Бурёнушка, то коза, куры. Зэк молоком и губ никогда не мажет, а яиц куриных и глазами не видит десятилетиями, пожалуй и не узнает, увидя.

Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. «На Руси никто с голоду не умирывал», — говорит пословица. А пословицу сбрёху не составят. Крепостные были рабы, но

были сыты[274]. Архипелаг же десятилетиями жил в пригнёте жестокого голода, между зэками шла грызня за селёдочный хвост из мусорного ящика. Уж на Рождество–то и Пасху самый худой крепостной мужичишка разговлялся салом. Но самый первый работник в лагере может сало получить только из посылки.

Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от семьи были всеми признанным оглашаемым варварством, над ним негодовала публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи (уж вряд ли) крепостных были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучён с семьёй с первого дня ареста и в половине случаев — навсегда. Если же сын арестован с отцом (как мы слышали от Витковского) или жена вместе с мужем, — то пуще всего блюли не допустить их встречу на одном лагпункте; если

---

[274] Примечания: 274

По всем столетиям есть такие свидетельства. В XVII пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший хлеб, рыбу, мясо. Даже в Смутное время «давные житницы не истощены, и поля скирд стояху гумны же пренаполнены одоней, и копен, и зародов до че–тырёх–на десять лет» (Авраамий Палицын). В XVIII веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: «нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». В XIX веке о крепостной деревне Пушкин написал:

Везде следы довольства и труда.

случайно встретились они — разъединить как можно быстрей. Также и всякого зэка и зэчку, сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, — спешили наказать карцером, разорвать и разослать. И даже самые сентиментальные пишущие дамы — Шагинян или Тэсс — ни беззвучной слёзки о том не проронялиа в платочек. (Ну, да ведь они не знали. Или думали— так нужно!)

И самый перегон крепостных с места на место не проводился в угаре торопливости: им давали уложить свой скарб, собрать свою движимость и переехать спокойно за пятнадцать или сорок вёрст. Но как шквал настигает зэка этап: двадцать, десять минут лишь на то, чтоб отдать имущество лагерю, и уже опрокинута вся жизнь его вверх дном, и он едет куда–то на край света, может быть — навеки. На жизнь одного крепостного редко выпадало больше одного переезда, а чаще сидели на местах. Туземца же Архипелага, не знавшего этапов, невозможно указать. А многие переезжали по пять, по семь, по одиннадцать раз.

Крепостным удавалось вырываться на оброк, они уходили далеко с глаз проклятого барина, торговали, богатели, жили под вид вольных. Но

даже бесконвойные зэки живут в той же зоне и с утра тянутся на то же производство, куда гонят и колонну остальных.

Дворовые были большей частью развращённые паразиты («дворня — хамово отродье»), жили за счёт барщинных, но хоть сами не управляли ими. Вдвое тошнее зэку от того, что развращённые придурки ещё им же управляют и помыкают.

Да вообще всё положение крепостных облегчалось тем, что помещик вынужденно их щадил: они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. Лагерный начальник не щадит заключённых: он их не покупал, детям в наследство не передаёт, а умрут одни — пришлют других.

Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепостными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. С кем ещё приблизительно можно сравнивать положение туземцев Архипелага— это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерчински–ми. Или— с аракчеевскими поселенцами. (А иные возражают мне: и то жирно, в аракчеевских поселениях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное рабство будет сравнением верным.)

И лишь одно, лишь одно преимущество за-

ключённых над крепостными приходит на ум: заключённый попадает на Архипелаг, даже если малолеткой в 12–15 лет — а всё–таки не со дня рождения! А всё–таки сколько–то лет до посадки отхватывает он и воли. Что же до выгоды определённого судебного срока перед пожизненной крестьянской крепостью, — то здесь много оговорок: если срок не «четвертная»; если статья не 58–я; если не будет «до особого распоряжения»; если не намотают второго лагерного срока; если после срока не пошлют автоматически в ссылку; если не вернут с воли тотчас же назад на Архипелаг как повторника. Оговорок такой частокол, что ведь, вспомним, иногда ж и крепостного барин на волю отпускал по причуде…

Вот почему когда «император Михаил» сообщил нам на Лубянке ходящую среди московских рабочих анекдотическую расшифровку ВКП(б) — Второе Крепостное Право (большевиков), — это не показалось нам смешным, а— вещим.

* * *

Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так подхватывали «великий почин»

субботников. Но он оказался не началом новой эры, а судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Из губернских тамбовских материалов 1921 года видно, например, что уже тогда многие члены партии пытались уклоняться от субботников — и введена была отметка о явке на субботник в партийной учётной карточке. Ещё на десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних пионеров. Но потом и у нас пресеклось.

Что же тогда? Где ж искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но это в нос шибало недавним капитализмом, и нужен был долгий период, другое поколение, чтоб запах перестал раздражать и его можно было бы мирно принять как «социалистический принцип материальной заинтересованности».

Копнули глубже в сундуке истории и вытащили то, что Маркс называл «внеэкономическим принуждением». В лагере и в колхозе эта находка выставилась неприкрытыми клыками.

Потом подвернулся Френкель и, как чёрт сыпет зелье в кипящий котёл, подсыпал котловку.

Известно было заклинание, сколько раз его повторяли: «В новом общественном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую

опиралось крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм».

Так вот Архипелаг сумел чудесно совместить и то и другое.

И всего–то приёмов для этого понадобилось: 1. Котловка; 2. Бригада; 3. Два начальства. (Но последнее не обязательно: на Воркуте, например, всегда было одно начальство, а дела шли.)

Так вот на этих трёх китах стоит Архипелаг. А если считать их «приводными ремнями» — от них крутится.

О котловке уже сказано. Это— такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний паёк заключённого, который в паразитических обществах выдаётся арестанту бездействующему, наш зэк ещё бы поколотился и погорбил. Чтобы свою законную пайку он добрал добавочными кусочками по сто граммов и считался бы при этом ударником. Проценты выработки сверх ста давали право и на дополнительные (у тебя же перед тем отнятые) ложки каши. Беспощадное знание человеческой природы! Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не умеет соразмерить

вещь и цену за неё. Как солдат на чужой войне дешёвым стаканом водки поднимается в атаку и в ней отдаёт жизнь, так и зэк за эти нищенские подачки, скользнув с бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли.

Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на неё клюют. Как крепостные когда–то усвоили: «хоть хвойку глодать, да не пенья ломать», так и зэки поняли: в лагере не маленькая пайка губит, а большая. Ленивые! тупые! бесчувственные полуживотные! они не хотят этого дополнительного! они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешенного на картошке, вике и воде! они уже и досрочки не хотят! они и на доску почёта не хотят! они не хотят подняться до интересов стройки и страны, не хотят выполнять пятилеток, хотя пятилетки в интересах трудящихся! Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства, они рады в тёмной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать.

Не часто же можно устроить такие массовые работы, как гравийный карьер под Ярославлем: видимые простому глазу надзора, сотни заключённых там скучены на небольшом пространстве,

и едва лишь кто перестаёт двигаться — сразу он заметен. Это — идеальные условия: никто не смеет замедлиться, спину разогнуть, пот обтереть, пока на холме не упадёт флаг— условный знак перекура. А как же быть в других случаях?

Было думано. И придумана была— бригада. Да и как бы нам не додуматься? У нас и народники в социализм идти хотели — через общину, и марксисты— через «коллектив». Как и поныне наши газеты пишут? — «Главное для человека — это труд, и обязательно труд в коллективе»!

Так в лагере ничего, кроме труда, и нет, и только в коллективе. Значит, ИТЛ— и есть высшая цель человечества? главное–то — достигнуто?

Как бригада служит психологическому обогащению своих членов, понуканию, слежке и повышению чувства достоинства— мы уже имели повод объяснить (глава 3). Соответственно целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры (по–лагерному — «бугры»). Прогоняя заключённых через палку и пайку, бригадир должен справиться с бригадой в отсутствие начальства, надзора и конвоя. Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир всё оставался тот же. В Кемерлаге такой

был бригадир Переломов — языком он не пользовался, только дрыном. Список этих фамилий занял бы много у нас страниц, но я его не готовил. Интересно, что чаще всего такие бригадиры получаются из блатных, то бишь люмпен–пролетариев.

Однако к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного общества— как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал— и не одну. Правда, это не были бригады общих работ— там, где кто–то должен умереть, иначе не выжить остальным. Это были обычно бригады специальные: электриков, слесарей–токарей, плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее (по 10–12 человек), тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки[275].

Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий: в меру жестокий; хорошо знающий все нравственные (безнравственные) законы ГУЛАГа; проницательный и справедливый в бригаде; со своей отработанной хваткой против начальства— кто хриплым лаем,

---

[275] Примечания: 275

Проявилось это и в больших разнорабочих бригадах, но только в каторжных лагерях и при особых условиях. Об этом — в Части Пятой.

кто исподтишка; страшноватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лишнюю стограммовку, ватные брюки, пару ботинок. Но и со связями среди придурков влиятельных, откуда узнаёт все лагерные новости и предстоящие перемены, это всё нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающий работы и участки выгодные и невыгодные (и на невыгодные умеющий спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть). С острым взглядом на тухту — где её легче в эту пятидневку вырвать: в нормах или в объёмах. И неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже заносит брызжущую ручку «резать» наряды. И лапу умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в бригаде стукач (и если не очень умный и вредный — пусть и будет, а то худшего подставят). А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким бригадиром сурово сживается и выживает сурово. Нежностей нет, но никто и не падает. Работал я у таких бригадиров — у Синебрюхова, у Павла Баранюка. Если этот список подбирать — и на него страниц пошло бы много. И по многим рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные

разумные бригадиры — из «кулацких» сыновей.

А что же делать? Если бригаду неотклонимо навязывают как форму существования — то что же делать? Приспособиться как–то надо? От работы гибнем, но и не погибнуть можем только через работу. (Конечно, философия спорная. Верней бы ответить: не учи меня гибнуть, как ты хочешь, дай мне погибнуть, как я хочу. Да ведь всё равно не дадут, вот что…)

Неважный выбор бывает и бригадиру: не выполнит лесо–повальная бригада дневного задания в 55 «кубиков» — ив карцер идёт бригадир. Ане хочешь в карцер— загоняй в смерть бригадников. Кто кого смога, тот того и в рога.

А два начальства удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый и правый захват, оба. Два начальства— это молот и наковальня, и куют они из зэка то, что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор. Хотя содержание отдельного зонного (лагерного) начальства и сильно увеличивает расходы государства, хотя по тупости, капризности и бдительности оно часто затрудняет, усложняет рабочий процесс, а всё–таки ставят его, и значит, тут не промах. Два начальства— это два терзателя вместо одного, да посменно, и поставлены они в положение

соревнования: кто из арестанта больше выжмет и меньше ему даст.

В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, транспорт, и только малости нет— рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь (или по сменам). Те десять или двенадцать часов, на которые зэки попадают в руки производственного начальства, нет надобности их воспитывать или исправлять, и даже если в течение рабочего дня они издохнут— это не может огорчить ни то, ни другое начальство: мертвецы легче списываются, чем сожжённые доски или раскраденная олифа. Производственному начальству важно принудить заключённых за день сделать побольше, а в наряды записать им поменьше, ибо надо же как–то покрыть губительные расходы и недостачи производства: ведь воруют и тресты, и СМУ (строительно–монтажные управления), и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки, да и то не для себя (им уносить некуда), а для своего лагерного начальства и конвоя. А ещё больше гибнет от беспечного и непредусмотрительного хозяйствования, и ещё от того, что зэки ничего не берегут тоже, — и покрыть все эти недо-

стачи один путь: не доплатить за рабочую силу.

В руках лагерного начальства—только рабсила (язык знает, как сокращать!). Но это — решающее. Лагерные начальники так и говорят: мы можем на них (производственников) нажимать, они нигде не найдут других рабочих. (В тайге и пустыне — где ж их найдёшь?) И потому они стараются вырвать за свою рабсилу побольше денег, которые и сдают в казну, а часть идёт на содержание самого лагерного руководства за то, что оно зэков охраняет (от свободы), поит, кормит, одевает и морально допекает.

Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве, здесь сталкиваются лбами два плана: план производства иметь по зарплате самые низкие расходы и план МВД приносить с производства в лагерь самые большие заработки. Стороннему наблюдателю странно: зачем приводить в столкновение собственные планы? О, тут большой смысл! Столкновение–то планов и сплющивает человечка. Это — принцип, выходящий за колючую проволоку Архипелага.

А что ещё важно: что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно плотнее сплющить, они примы-

кают друг к другу очень тесно. Хотя начальник лагеря — отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, что в увечье виноват сам заключённый, а не производство; не будет очень уж настаивать, что заключённым нужна спецодежда или в каком–то цеху вентиляции нет (нет так нет, что ж поделаешь, временные трудности, а как в Ленинградскую блокаду?..). Никогда не откажет лагерное начальство производственному посадить в карцер бригадира за грубость или рабочего, утерявшего лопату, или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих посёлках не оба ли эти начальства и составляют высшее общество — таёжно–индустриальных помещиков? Не их ли жёны друг ко другу ходят в гости?

И если всё–таки тухту в нарядах непрерывно дуют, если записывается копка и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле; ремонт отопления или станка, не выходившего из строя; смена столбов целёхоньких, которые ещё десять лет перестоят, — то делается это даже не по наущению лагерного начальства, спокойного, что деньги в лагерь так или иначе притекут, — а самими заключёнными (бригадирами, нормировщиками, десятниками), потому что таковы все государ-

ственные нормы: они рассчитаны не для земной реальной жизни, а для какого–то лунного идеала. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый— выполнить эти нормы не может! Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетённого арестанта? Государственное нормирование описывает производство таким, каким оно не может быть на земле, — и этим напоминает социалистический реализм в беллетристике. Но если непроданные книги потом просто изрубливаются, — закрывать промышленную тухту сложней. Однако не невозможно.

В постоянной круговертной спешке директор и прораб проглядывают, не успевают обнаружить тухту. А десятники из вольных неграмотны, или пьяны, или добросердечны к зэкам (с расчётом, что и бригадир их выручит в тяжёлую минуту). А там — «процентовка съедена», хлеб из брюха не вытащишь. Бухгалтерские же ревизии и учёт известны своей неповоротливостью, они открывают тухту с опозданием в месяцы или годы, когда и деньги за эту работу давно упорхнули, и остаётся только или под суд отдать кого–нибудь из вольных, или замять и списать.

Трёх китов подвело под Архипелаг Руководство: котловку, бригаду и два начальства. А четвёртого

и главного кита— тухту — подвели туземцы и сама жизнь.

Нужны для тухты напористые предприимчивые бригадиры, но ещё нужней, ещё важней — производственные начальники из заключённых. Десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов, их было немало, потому что в тех дальних местах не настачишься вольных. Одни зэки на этих местах забывались, жесточели хуже вольных, топтали своего брата–арестанта и по трупам шли к собственной досрочке. Другие, напротив, сохраняли отчётливое сознание своей родины — Архипелага, и вносили разумную умеренность в управление производством, разумную долю тухты в отчётность. Это был риск для них: не риск получить новый срок, потому что сроки и так были нахомучены добрые и статья крепка, — но риск потерять своё место, разгневать начальство, попасть в худой этап — и так незаметно погибнуть. Тем славней их стойкость и ум, что они помогали выжить и своим братьям.

Таков был, например, Василий Григорьевич Власов, уже знакомый нам по Кадыйскому процессу. Весь долгий срок свой (он просидел девятнадцать лет без перерыва) он сберёг ту же упрямую убеждённость, с которой вёл себя на

суде, с которой высмеял Калинина и его помиловку. Он все эти годы, когда и от голода сох, и тянул лямку общих работ, ощущал себя не козлом отпущения, а истым политическим и даже «революционером», как говорил в задушевных беседах. И когда благодаря своей природной острой хозяйственной хватке, заменявшей ему неоконченное экономическое образование, он занимал посты производственных придурков, — Власов не просто видел в этом оттяжку своей гибели, но и возможность всю телегу подправить так, чтобы ребятам тянуть было легче.

В 40–е годы на одной из устьвымских лесных командировок (УстьВымлаг отличался от общей схемы тем, что имел одно начальство: сам лагерь вёл лесоповал, учитывал и отвечал за план перед МинЛесом) Власов совмещал должности нормировщика и плановика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг–поваліщиков, приписывал их бригадам лишние кубометры. Одна зима была особенно суровой, от силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125%, и на повышенных пайках перестояли зиму, и работы ни на день не остановились. Однако вывозка «поваленного» (на бумаге) леса сильно отставала, до начальника лагеря дошли недоб-

рые слухи. В марте он послал в лес комиссию из десятников— и те обнаружили недостачу восьми тысяч кубометров леса! Разъярённый начальник вызвал Власова. Тот выслушал и сказал: «Дай им, начальник, всем по пять суток, они неряхи. Они поленились по лесу походить, там снег глубокий. Составь новую комиссию, я — председатель». Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и «нашёл» весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае схватился опять: леса–то вывозят мало, уже сверху спрашивают. Он призвал Власова. Власов, маленький, но всегда с петушиным задором (фото 29), теперь и отпираться не стал: леса нет. «Так как же ты мог составить фальшивый акт, трам–тара–рам?!» — «А что ж, лучше было бы вам самому в тюрьму садиться? Ведь восемь тысяч кубов — это для вольного червонец, ну для чекиста— пять». Поматюгался начальник, но теперь уже поздно Власова наказывать: им держится. «Что же делать?» — «А вот пусть совсем дороги развезёт». Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принёс Власов начальнику подписывать и отправил дальше в Управление техническую подробно обоснованную записку. Там докладывалось, что из–за весьма успешного

повала леса минувшей зимой восемь тысяч кубометров не поспели вывезти по санному пути. По болотистому же лесу вывезти их невозможно. Дальше приводился расчёт стоимости лежневой дороги, если её строить, и доказывалось, что вывозка этих восьми тысяч будет сейчас стоить дороже их самих. А через год, пролежав лето и осень в болоте, они будут уже некондиционные, заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии, — и списало восемь тысяч кубов.

Так стволы эти были свалены, съедены, списаны — и снова гордо стояли, зеленея хвоей. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мёртвые кубометры: несколько сот лишних буханок чёрного, слипшегося, водою налитого хлеба. Сохранённая тысяча стволов да сотня жизней в прибыль не шла— этого добра на Архипелаге никогда не считали.

Наверное, не один Власов догадывался так мухлевать, потому что с 1947 года на всех лесоповалах ввели новый порядок: комплексные звенья и комплексные бригады. Теперь лесорубы объединялись с возчиками в одно звено, и бригаде засчитывал ся не поваленный лес, а— вывезен-

ный на катище, к берегу сплавной реки, к месту весеннего сплава.

И что же? Теперь тухта лопнула? Нисколько! Даже расцвела! — она расширилась вынужденно, и расширился круг рабочих, которые от неё кормились. Кому из читателей не скучно, давайте вникнем.

1. От катища по реке не могут сплавлять заключённые (кто ж их будет вдоль реки конвоировать? бдительность). Поэтому на катище от лагерного сдатчика (от всех бригад) принимает лес представитель сплавной конторы, состоящей из вольных. Ну вот он–то и проявит строгость? Ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит, сколько надо для лесопо–вальных бригад, и приёмщик сплавконторы на всё согласен.

2. А вот почему. Своих–то, вольных, рабочих сплавконторе тоже надо кормить, нормы тоже непосильны. Весь этот несуществующий приписанный лес сплавконтора записывает также и себе как сплавленный.

3. При генеральной запони, где собирается сплавленный со всех повальных участков лес, располагается биржа— то есть выкатка из воды на берег. Этим опять занимаются заключённые, тот же Усть–Вымлаг (52 острова УстьВымлага раз-

бросаны по территории 250х250 километров, вот какой у нас Архипелаг!). Сдатчик сплавконторы спокоен: лагерный приёмщик теперь принимает от него обратно всю тухту: во–вторых, чтобы не подвести своего лагеря, который этот лес сдал на катище, а во–первых, чтобы этой же тухтой накормить и своих заключённых, работающих на выкатке (у них–то тоже нормы фантастические, им тоже горбушка нужна)! Тут уже приёмщику надо попотеть для общества: он должен не просто лес принять в объёме, но и реальный и тухтяной расписать по диаметрам брёвен и длинам. Вот кто кормилец–то! (Власов и тут побывал.)

4. За биржею — лесозавод, он обрабатывает брёвна в пилопро–дукцию. Рабочие— опять зэки. Бригады кормятся от объёма обработанного ими круглого леса, и «лишний» тухтяной лес как нельзя кстати поднимает процент их выработки.

5. Дальше склад готовой продукции, и по государственным нормам он должен иметь 65% объёма от принятого лесозаводом круглого леса. Так и 65% от тухты невидимо поступает на склад (и мифическая пило–продукция тоже расписывается по сортам: горбыль, деловой; толщина досок, обрезные, необрезные…). Штабелюющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой.

Но что же дальше? Тухта упёрлась в склад. Склад охраняется Вохрой, бесконтрольных «потерь» быть не может. Кто и как теперь ответит за тухту?

Тут на помощь великому принципу тухты приходит другой великий принцип Архипелага: принцип резины, то есть всевозможных оттяжек. Так и числится тухта, так и переписывается из года в год. При инвентаризациях в этой дикой архипелаж–ной глуши — все ведь свои, все понимают. Каждую досочку ради одного счёта тоже руками не перебросишь. К счастью, сколько–то тухты каждый год «гибнет» от хранения, её списывают. Ну снимут одного–другого завскладом, перебросят работать нормировщиком. Так зато сколько же народу покормилось!

Стараются вот ещё: грузя доски в вагоны для потребителей (а приёмщика нет, вагоны потом будут разбрасывать по разнарядкам) — грузить и тухту, то есть приписывать избыток (при этом кормятся и погрузочные бригады, отметим!). Железная дорога ставит пломбу, ей дела нет. Через сколько–то времени где–нибудь в Армавире или в Кривом Роге вскроют вагон и оприходуют фактическое получение. Если недогруз будет умеренный, то все эти разности объёмов соберутся

в какую–то графу и объяснять их будет уже Госплан. Если недогруз будет хамский — получатель пошлёт УстьВымлагу рекламацию, — но рекламации эти движутся в миллионах других бумажек, где–то подшиваются, а со временем гаснут, — они не могут противостоять людскому напору жить. (А послать вагон леса назад никакой Армавир не решится: хватай, что дают, — на юге леса нет.)

Отметим, что и государство, МинЛес, серьёзно использует в своих народно–хозяйственных сводках эти тухтяные цифры поваленного и обработанного леса. Министерству они тоже приходятся кстати[276].

Но, пожалуй, самое удивительное здесь вот что: казалось бы, из–за тухты на каждом этапе передвижки леса его должно не хватать. Однако приёмщик биржи за летний сезон успевает столько приписать тухты на выкатке, что к осени у сплавконторы образуются в запонях реальные избытки леса! — до них руки не дошли, норму набрали и без них. На зиму же их так оставить нельзя, чтоб не пришлось весной звать самолёт на бомбёжку. И поэтому этот «лишний», уже никому не нужный лес поздней осенью спускают

[276] Примечания: 276

Так и тухта, как многие из проблем Архипелага, не помещается в нём, а имеет значение общегосударственное.

в Белое море\

Чудо? диво? Но это не в одном месте так. Вот и в Унжлаге на лесоскладах всегда оставался «лишний» лес, так и не попавший в вагоны, и уже не числился он нигде!.. И после полного закрытия очередного склада на него ещё много лет потом ездили с соседних ОЛПов за бесхозными сухими дровами и жгли в печах окорённую рудстойку, на которую столько страданий положено было при заготовке.

Чтоб этих избытков у вольных сплавщиков не образовывалось, — с лагпункта Талага Архангельской области посылали команды расконвоированных уголовников, — и они отбивали тайком у них плоты, перехватывали: то есть воровали в пользу лагеря добытый лагерем же лес, но пока он находится у вольных. И ежегодно планировалось изготовление мебели из… ворованной древесины.

И всё это — затея как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не — ограбить государство.

Нельзя государству быть таким слишком лютым — и толкать подданных на обман.

Так и принято говорить у заключённых: без тухты и аммонала не построили б Канала.

Вот на всём том и стоит Архипелаг.

Глава 6. ФАШИСТОВ ПРИВЕЗЛИ!

— Фашистов привезли! Фашистов привезли! — возбуждённо кричали, бегая по лагерю, молодые зэки— парни и девки, когда два наших грузовика, каждый груженный тридцатью фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря Новый Иерусалим.

Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни— один час переезда сюда с Красной Пресни—то, что называется ближний этап. Хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были — весь воздух, вся скорость, все краски. О, забытая яркость мира! — трамваи — красные, троллейбусы— голубые, толпа— в белом и пёстром, — да видят ли они сами, давясь при посадке, эти краски? А ещё почему–то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками, какой–то неожиданный праздник— 14 августа, совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. (В этот день объявлено о капитуляции Японии, конце семидневной войны.) На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного сена и предвечерняя свежесть лугов обвевали наши стриженые головы.

Этот луговой ветер — кто может вбирать жаднее арестантов? Неподдельная зелень слепила глаза, привыкшие к серому, к серому. Мы с Гаммеровым и Ингалом вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось—мы едем на весёлую дачу. Концом такого обворожительного пути не могло быть ничто мрачное.

И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем затекшие ноги и спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам, она даже премиленькая: она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой, и во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная, звенигородская земля. И мы — как будто часть этого весёлого окружения, мы видим эту землю так же, как те, кто приезжает сюда отдыхать и наслаждаться, даже видим её объёмней (наши глаза привыкли к плоским стенам, плоским нарам, неглубоким камерам), даже видим сочней: поблекшая к августу зелень нас слепит, а может быть, так сочно потому, что солнце при закате.

— Так вы — фашисты? Вы все — фашисты? — с надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И, утвердившись, что — да, фашисты, — тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интерес-

ны им.

(Мы уже знаем, что «фашисты»— это кличка для Пятьдесят Восьмой, введенная зоркими блатными и очень одобренная начальством: когда–то хорошо звали «каэрами», потом это завяло, а нужно меткое клеймо.)

После быстрой езды в свежем воздухе нам здесь как будто теплее и оттого ещё уютнее. Мы ещё оглядываемся на маленькую зону с её двухэтажным каменным мужским корпусом, деревянным с мезонином — женским, и совсем деревенскими сараюшками–развалюшками подсобных служб; потом на длинные чёрные тени от деревьев и зданий, которые уже ложатся везде по полям; на высокую трубу кирпичного завода, на уже зажигающиеся окна двух его корпусов.

— А что? Здесь неплохо… как будто… — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя.

Один паренёк с тем остронастороженным недоброжелательным выражением, которое мы уже начинаем замечать не у него одного, задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фашистов. Чёрная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб, руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню.

— Н–неплохо! — встряхнуло ему грудь. Кривя губы, он ещё раз презрительно осмотрел нас и отпечатал: —Со–са–ловка!.. За–гнётесь!

И, сплюнув нам под ноги, ушёл. Невыносимо ему было ещё дальше слушать таких дураков. Наши сердца упали.

Первая ночь в лагере!.. Вы уже несётесь, несётесь по скользкому гладкому вниз, вниз, — и где–то есть ещё спасительный выступ, за который надо уцепиться, но вы не знаете, где он. В вас ожило всё, что было худшего в вашем воспитании: всё недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытой несправедливостью сильных. Это худшее ещё взбудоражено, ещё перемучено в вас опережающими слухами о лагерях: только не попадите на «общие»! волчий лагерный мир! здесь загрызают живьём! здесь затаптывают споткнувшегося! только не попадите на общие! Но как не попасть?

Куда бросаться? Что–то надо датъ\ Кому–то надо дать! Но что именно? Но кому? Но как это делается?

Часу не прошло — один из наших этапников уже приходит сдержанно сияющий: он назначен инженером–строителем по зоне. И ещё один: ему

разрешено открыть парикмахерскую для вольных на заводе. И ещё один: встретил знакомого, будет работать в плановом отделе. Твоё сердце щемит: это всё— за твой счёт! Они выживут в канцеляриях и парикмахерских. А ты—погибнешь. Погибнешь.

Зона. Двести шагов от проволоки до проволоки, и то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять звенигородские перехолмки, а здесь— голодная столовая, каменный погреб ШИЗО, худой навесик над плитой «индивидуальной варки», сарайчик бани, серая будка запущенной уборной с прогнившими досками, — и никуда не денешься, всё. Может быть, в твоей жизни этот островок— последний кусок земли, который тебе ещё суждено топтать ногами.

В комнатах наставлены голые вагонки. Вагонка— это изобретенье Архипелага, приспособление для спанья туземцев и нигде в мире не встречается больше: это четыре деревянных щита в два этажа на двух крестовидных опорах— в голове и ногах. Когда один спящий шевелится — трое остальных качаются.

Матрасов в этом лагере не выдают, мешков для набивки — тоже. Слово «бельё» неведомо туземцам новоиерусалимского острова: здесь

не бывает постельного, не выдают и не стирают нательного, разве что на себе привезёшь и озаботишься. И слова «подушка» не знает завхоз этого лагеря, подушки бывают только свои и только у баб и у блатных. Вечером, ложась на голый щит, можешь разуться, но учти— ботинки твои сопрут. Лучше спи в обуви. И одежёнки не раскидывай: сопрут и её. Уходя утром на работу, ты ничего не должен оставить в бараке: чем побрезгуют воры, то отберут надзиратели: не положено! Утром вы уходите на работу, как снимаются кочевники со стоянки, даже чище: вы не оставляете ни золы костров, ни обглоданных костей животных, комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй её днём другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. Они голы, засалены, отлощены боками.

Но и на работу ты ничего не унесёшь с собой. Свой скарб утром собери, стань в очередь в каптёрку личных вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернёшься с работы— стань в очередь в каптёрку и возьми, что по предвидению твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись, второй раз до каптёрки не добьёшься.

И так — десять лет. Держи голову бодро!

Утренняя смена возвращается в лагерь в тре-

тьем часу дня. Она моется, обедает, стоит в очереди в каптёрку— и тут звонят на проверку. Всех, кто в лагере, выстраивают шеренгами, и неграмотный надзиратель с фанерной дощечкой ходит, мусоля во рту карандаш, умственно морща лоб, и всё шепчет, шепчет. Несколько раз он пересчитывает строй, несколько раз обойдёт все помещения, оставляя строй стоять. То он ошибётся в арифметике, то собьётся, сколько больных, сколько сидит в ШИЗО «без вывода». Тянется эта бессмысленная трата времени хорошо— час, а то и полтора. И особенно беспомощно и униженно чувствуют себя те, кто дорожит временем, — это не очень развитая в нашем народе и совсем не развитая среди зэков потребность, кто хочет даже в лагере что–то успеть сделать. «В строю» читать нельзя. Мои мальчики, Гаммеров и Ингал, стоят с закрытыми глазами, они сочиняют или стихи, или прозу, или письма— но и так не дадут стоять в шеренге, потому что ты как бы спишь и тем оскорбляешь проверку, а ещё уши твои не закрыты, и матерщина, и глупые шутки, и унылые разговоры— всё лезет туда. (Идёт 1945 год. Уже расщеплен атом, скоро сформулируется кибернетика— а тут бледнолобые интеллектуалы стоят и ждут — «нэ вертухайсь!» — пока тупой красноро-

жий идол лениво сшепчет свой баланс.) Проверка кончена, теперь в половине шестого можно было бы лечь спать (ибо коротка была прошлая ночь, но ещё короче может оказаться будущая)— однако через час ужин, кромсается время.

Администрация лагеря так ленива и так бездарна, что не хватает у неё желания и находчивости разделить рабочих трёх разных смен по разным комнатам. В восьмом часу, после ужина, можно было бы первой смене успокоиться, но не берёт угомон сытых и неусталых, и блатные на своих перинах только тут и начинают играть в карты, горланить и откалывать театрализованные номера. Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадучись, в обход комнаты прыгает с вагонки на вагонку по верхним щитам и по работягам и рычит: «Так Наполеон шёл в Москву за табаком!» Разжившись табаку, он возвращается той же дорогой, наступая и переступая: «Так Наполеон убегал в Париж!» Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разинув рты. С девяти вечера качает вагонки, топает, собирается, относит вещи в каптёрку ночная смена. Их выводят к десяти, поспать бы теперь! — но в одиннадцатом часу возвращается дневная смена.

Теперь тяжело топает она, качает вагонки, моется, идёт за вещами в каптёрку, ужинает. Может быть, только с половины двенадцатого изнеможенный лагерь спит.

Но четверть пятого звон певучего металла разносится над нашим маленьким лагерем и над сонной колхозной округой, где старики хорошо ещё помнят перезвоны истринских колоколов. Может быть, и наш лагерный сереброголосый колокол — из монастыря и ещё там привык по первым петухам поднимать иноков на молитву и труд.

«Подъём, первая смена!» — кричит надзиратель в каждой комнате. Голова, хмельная от недосыпу, ещё не размежен–ные глаза— какое тебе умывание! а одеваться не надо, ты так и спал. Значит, сразу в столовую. Ты входишь туда, ещё шатаясь от сна. Каждый толкается и уверенно знает, чего он хочет, одни спешат за пайкой, другие за баландой. Только ты бродишь как лунатик, при тусклых лампах и в пару баланды не видя, где получить тебе то и другое. Наконец получил— пятьсот пятьдесят пиршественных граммов хлеба и глиняную миску с чем–то горячим чёрным. Это— чёрные щи, щи из крапивы. Чёрные тряпки вываренных листьев лежат в

черноватой пустой воде. Ни рыбы, ни мяса, ни жира. Ни даже соли: крапива, вываривaясь, поедает всю брошенную соль, так её потому и совсем не кладут: если табак— лагерное золото, то соль— лагерное серебро, повара приберегают её. Выворачивающее зелье— крапивная непосоленная баланда! — ты и голоден, а всё никак не вольёшь её в себя.

Подними глаза. Не к небу, под потолок. Уже глаза привыкли к тусклым лампам и разбирают теперь вдоль стены длинный лозунг излюбленно–красными буквами на обойной бумаге:

«Кто не работает — тот не ест!»

И дрожь ударяет в грудь. О, мудрецы из Кулыурно–Воспи–тательной Части! Как вы были довольны, изыскав этот великий евангельский и коммунистический лозунг — для лагерной столовой. Но в Евангелии от Матфея сказано: «Трудящийся достоин пропитания». Но во Второзаконии сказано: «Не заграждай рта волу молотящему».

А у вас — восклицательный знак! Спасибо вам от молотящего вола! Теперь я буду знать, что мою потончавшую шею вы сжимаете вовсе не от нехватки, что вы душите меня не просто из жадности — а из светлого принципа грядущего

общества! Только не вижу я в лагере, чтоб ели работающие. И не вижу я в лагере, чтоб неработающие— голодали.

Светает. Бледнеет предутреннее августовское небо. Только самые яркие звёзды ещё видны на нём. На юго–востоке, над заводом, куда нас поведут сейчас, — Процион и Сириус — альфы Малого и Большого Пса. Всё покинуло нас, даже небо заодно с тюремщиками: псы на небе, как и на земле, на сворках у конвоиров. Собаки лают в бешенстве, подпрыгивают, хотят досягнуть до нас. Славно они натренированы на человеческое мясо.

Первый день в лагере! И врагу не желаю я этого дня! Мозги пластами смещаются от невместимости всего жестокого. Как будет? как будет со мной? — точит и точит голову, а работу дают новичкам самую бессмысленную, чтоб только занять их, пока разберутся. Бесконечный день. Носишь носилки или откатываешь тачки, и с каждой тачкой только на пять, на десять минут убавляется день, и голова для того одного и свободна, чтоб размышлять: как будет? как будет?

Мы видим бессмысленность перекатки этого мусора, стараемся болтать между тачками. Кажется, мы изнемогли уже от этих первых тачек,

мы уже силы отдали им — а как же катать их восемь лет? Мы стараемся говорить о чём–нибудь, в чём почувствовать свою силу и личность. Ингал рассказывает о похоронах Тынянова, чьим учеником он себя считает, — и мы за–спариваем об исторических романах: смеет ли вообще кто–нибудь их писать. Ведь исторический роман— это роман о том, чего автор никогда не видел. Нагруженный отдалённостью и зрелостью своего века, автор может сколько угодно убеждать себя, что он хорошо осознал, но ведь вжиться ему всё равно не дано, и значит, исторический роман есть прежде всего фантастический?

Тут начинают вызывать новый этап по несколько человек в контору для назначения, и все мы бросаем тачки. Ингал сумел со вчерашнего дня с кем–то познакомиться— и вот он, литератор, послан в заводскую бухгалтерию, хотя до смешного путается в цифрах, а на счётах отроду не считал. Гаммеров даже для спасения жизни не способен идти просить и зацепляться. Его назначают чернорабочим. Он приходит, ложится на траву и этот последний часок, пока ему ещё не надо быть чернорабочим, рассказывает мне о затравленном поэте Павле Васильеве, о котором я слыхом не слышал. Когда эти мальчики успели

столько прочесть и узнать?

Я кусаю стебелёк и колеблюсь— на что мне косить: — на математику или на офицерство? Так гордо устраниться, как Борис, я не могу. Когда–то внушали мне и другие идеалы, но с тридцатых годов жёсткая жизнь обтирала нас только в этом направлении: добиваться и пробиваться.

Само получилось так, что, переступая порог кабинета директора завода, я сбросил под широким офицерским поясом морщь гимнастёрки от живота по бокам (я и нарядился–то в этот день нарочно, ничто мне, что тачку катать). Стоячий ворот был строго застёгнут.

— Офицер? — сразу сметил директор.

— Так точно!

— Опыт работы с людьми?[277]

— Имею.

— Чем командовали?

— Артиллерийским дивизионом. — (Соврал на ходу, батареи мне показалось мало.)

Он смотрел на меня и с доверием и с сомнением.

— А здесь — справитесь? Здесь трудно.

— Думаю, что справлюсь! — (Ведь я ещё и сам

---

[277] Примечания: 277
Опять «с людьми», замечаете?

не понимаю, в какой лезу хомут. Главное ж — добиваться и пробиваться!)

Он прищурился и подумал. (Он соображал, насколько я готов переработаться во пса и крепка ли моя челюсть.)

— Хорошо. Будете сменным мастером глиняного карьера.

И ещё одного бывшего офицера, Николая Акимова, назначили мастером карьера. Мы вышли с ним из конторы сроднённые, радостные. Мы не могли бы тогда понять, даже скажи нам, что избрали стандартное для армейцев холопское начало срока. По неинтеллигентному непритязательному лицу Акимова видно было, что он открытый парень и хороший солдат.

— Чего это директор пугает? С двадцатью человеками да не справиться? Не минировано, не бомбят— чего ж тут не справиться?

Мы хотели возродить в себе фронтовую былую уверенность. Щенки, мы не понимали, насколько Архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной.

В армии командовать может дурак и ничтожество, и даже с тем большим успехом, чем выше занимаемый им пост. Если командиру взвода нужна и сообразительность, и неутомимость, и

отвага, и чтенье солдатского сердца, — то иному маршалу достаточно брюзжать, браниться и уметь подписать свою фамилию. Всё остальное сделают за него, и план операции ему поднесёт оперативный отдел штаба, какой–нибудь головастый офицер с неизвестной фамилией. Солдаты выполняют приказы не потому, что убеждаются в их правильности (часто совсем наоборот), а потому, что приказы передаются сверху вниз по иерархии, это есть приказы машины, и кто не выполнит, тому оттяпают голову.

Но на Архипелаге для зэка, назначенного командовать другими зэками, совсем не так. Вся золотопогонная иерархия отнюдь не высится за твоей спиной и отнюдь не поддерживает твоего приказа: она предаст тебя и вышвырнет, как только ты не сумеешь осуществить этих приказов своей силой, собственным уменьем. А уменье здесь такое: или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом, или такое глубинное знание Архипелага, что приказ и для каждого заключённого выглядит как его единственное спасение.

Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе тёплую кровь— лишь тогда ты сможешь командовать зэками.

Как раз в эти дни из ШИЗО на карьер, как на самую тяжёлую работу, стали выводить штрафную бригаду — группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагпункта (они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтоб он их отправил назад на Пресню: Новый Иерусалим признали они местом гиблым, где не подкормишься). Ко мне в смену их привели под конец её. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои толстые короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди и блаженно загорали после сырого подвала ШИЗО. Я подошёл к ним в своём военном одеянии и чётко, корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся и отошёл ни с чем. В армии я бы начал с команды «встать!» — но здесь ясно было, что если кто и встанет— то только сунуть мне нож между рёбрами. Пока я ломал голову, что мне делать (ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу), — окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование Архипелага.

Меня сменил Акимов. Блатные продолжали

загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно (может быть даже: «встать!»), третий раз пригрозил начальником — они погнались за ним, в распадах карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу, на этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок и сама жизнь. (Директор, наверно, и назначил нас как чучела для битья против этих блатных.)

Моя же короткая карьера на карьере продлилась несколькими днями дольше акимовской, только принесла она мне не удовлетворение, как я ждал, а постоянное душевное угнетение. В шесть утра я входил в рабочую зону подавленный больше, чем если бы шёл копать глину сам, я совершенно потерянный плёлся к карьеру, ненавидя и его, и роль свою в нём.

От завода мокрого прессования к карьеру шёл вагонеточный путь. Там, где кончалась ровная площадка и рельсовый путь спускался в разработку, — стояла лебёдка на помосте. Эта моторная лебёдка была— из немногих чудес механизации на всём заводе. Весь путь по карьеру до лебёдки и потом от лебёдки до завода толкать вагонетки с глиной должны были работяги. Только на подъёме из карьера их втаскивала лебёдка. Ка-

рьер занимал дальний угол заводской зоны, он был взрытая развалами поверхность, развалы ветвились как овраги, между ними оставались нетронутые горки. Глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощ. Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком вширь, но никто не знал, как надо, и никто не составлял плана разработки, а всем руководил бригадир утренней смены Баринов — молодой нагловатый москвич, бытовик, со смазливым обличьем. Баринов разрабатывал карьер просто где удобнее, вкапывался там, где, меньше поработав, можно больше было нагрузить глины. Слишком вглубь он не шёл, чтоб не слишком круто выкатывать вагонетки. Баринов, собственно, и командовал теми восемнадцатью–двадцатью человеками, которые только и работали в мою смену на карьере. Он и был единственный настоящий хозяин смены: знал ребят, кормил их, то есть добивался им больших паек, и каждый день сам мудро решал, сколько выкатить вагонеток, чтоб не слишком было мало и не слишком много. И Баринов нравился мне, и окажись мы с ним где–нибудь в тюрьме рядом на нарах— мы бы с ним весело ладили. Да мы и сейчас бы ладили— но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот

назначил меня директор на должность промежуточной гавкалки, а я — ничего не понимаю. Но офицерское воспитание не дозволяло мне так. И я пытался держаться с ним строго и добиваться повиновения, хотя не только я и не только он, но и вся бригада видела, что я — такой же пришлёпка, как инструктор из райкома при посевной. Баринова же сердило, что над ним поставили попку, и он не раз остроумно разыгрывал меня перед бригадой. Обо всём, что я считал нужным делать, он тотчас же доказывал мне, что нельзя. Напротив, громко крича «мастер! мастер!» — то и дело звал меня в разные концы карьера и просил указаний: как снимать старый и прокладывать новый рельсовый путь; как закрепить на оси соскочившее колесо; или будто бы лебёдка отказала, не тянет, и что делать теперь; или куда нести точить затупившиеся лопаты. Перед его насмешками день ото дня слабея в своём командном порыве, я уже доволен бывал, если он с утра велел ребятам копать (это бывало не всегда) и не тревожил меня досадными вопросами.

Тогда я тихо отходил и прятался от своих подчинённых и от своих начальников за высокие кучи отваленного грунта, садился на землю и замирал. В оцепенении был мой дух от несколь-

ких первых лагерных дней. О, это не тюрьма! Тюрьмы— крылья. Тюрьмы— коробы мыслей. Голодать и спорить в тюрьме— весело и легко. А вот попробуй здесь — десять лет голодать, работать и молчать, — вот это попробуй! Железная гусеница уже втягивала меня на пережёв. Беспомощный, я не знал — как, а хотелось откатиться в сторонку. Отдышаться. Очнуться. Поднять голову и увидеть: вон, за колючей проволокой, через ложок— высотка. На ней маленькая деревня — домов десять. Всходящее солнце озаряет её мирными лучами. Так рядом с нами — и совсем же не лагерь! (Впрочем, тоже лагерь, но об этом забываешь.) Движения там подолгу не бывает, потом пройдёт баба с ведром, пробежит маленький ребятёнок через лебеду на улице. Запоёт петух, промычит корова— всё отчётливо слышно нам на карьере. Тявкнет дворняжка— что за милый голос! — это не конвойный пёс![278]

И от каждого тамошнего звука и от самой неподвижности деревни струится мне в душу заветный покой. И я твёрдо знаю — сказали бы мне сейчас: вот тебе свобода! Но до самой смерти

---

[278] Примечания: 278

Когда обсуждаются конвенции о всеобщем разоружении, меня всегда волнует: ведь в перечнях запрещаемого оружия никто не указывает охранных овчарок. А людям от них больше нежитья, чем от ракет.

живи в этой деревне! Откажись от городов и от мира всего, от твоих залётных желаний, от твоих убеждений, от истины — ото всего откажись и живи в этой деревне (но не колхозником!), каждое утро смотри на солнышко и слушай петухов. Согласен? — О, не только согласен, но, Господи, пошли мне такую жизнь! Я чувствую, что лагеря мне не выдержать.

С другой стороны завода, не видимой мне сейчас, гремит по ржевской дороге пассажирский поезд. В карьере кричат: «Придурочный!» Каждый поезд здесь известен, по ним отсчитывают время. «Придурочный» — это без четверти девять, а в девять отдельно, вне смен, доведут на завод из лагеря придурков — конторских и начальников. Самый любимый из поездов— в половине второго, «Кормилец», после него мы вскоре идём на съём и на обед.

Вместе с придурками, а иногда, если сердце занывает о работе, то и раньше, спецконвоем, выводят на работу и мою на–чальницу–зэчку Ольгу Петровну Матронину. Я вздыхаю, выхожу из укрытия и иду вдоль рельсового пути на завод мокрого прессования — докладываться.

Весь кирпичный завод это — два завода, мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает

только мокрое прессование, и начальница мокрого прессования— Матронина, инженер–силикатчик. Какой она инженер — не знаю, но суетлива и упряма. Она— из тех непоколебимо–благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах (их и вообще — немного), но на чьей горней высоте не удержался. По литерной статье ЧС, как член семьи расстрелянного, она получила 8 лет через ОСО и вот теперь досиживает последние месяцы. Правда, всю войну политических не выпускали, и её тоже задержат до пресловутого Особого распоряжения. Но и это не наводит никакой тени на её состояние: она служит партии, неважно— на воле или в лагере. Она— из болыпевицкого заповедника. Она повязывается в лагере красной и только красной косынкой, хотя ей уже за сорок (таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчёнка и ни одна вольная комсомолка). Никакой обиды за расстрел мужа и за собственные отсиженные восемь лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по её мнению, отдельные ягодинцы или ежовцы, а при товарище Берии сажают только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом же знакомстве сказала: «Те, кто меня посадил, теперь могут

убедиться в моей ортодоксальности!» Недавно она написала письмо Калинину и цитирует всем, кто хочет или вынужден её слушать: «Долгий срок заключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть, за советскую промышленность».

Впрочем, когда Акимов пришёл и доложил ей, что блатные его не слушают, она не пошла сама объяснять этим социально–близким вредность их поведения для промышленности, но одёрнула его: «Так надо заставить! Для того вы и назначены!» Акимова прибили— она не стала дальше бороться, а написала в лагерь: «Этот контингент больше к нам не выводить». — Спокойно смотрит она и на то, как у неё на заводе девчёнки восемь часов работают автоматами: все восемь часов без перерыва однообразные движения у конвейера. Она говорит: «Ничего не поделаешь, для механизации есть более важные участки». Вчера, в субботу, разнёсся слух, что сегодня опять не дадут нам воскресенья (так и не дали). Девчёнки–автоматы окружили её стайкой и с горечью: «Ольга Петровна! Неужели опять воскресенья не дадут? Ведь третье подряд! Ведь война кончилась!» В красной косынке, она негодующе вскинула сухой тёмный профиль не женщины и не мужчины:

«Девочки, ка–кое нам может быть воскресенье?! В Москве стройка стоит без кирпичей!!» (То есть она не знала, конечно, той именно стройки, куда повезут наши кирпичи, — но умственным взором она видела ту обобщённую великую стройку, а девчёнкам хотелось низменно постираться.)

Я нужен был Матрониной для того, чтобы удвоить число вагонеток за смену. Она не проводила расчёта сил работяг, годности вагонеток, поглотительной способности завода, а только требовала— удвоить! (И как, кроме кулака, мог бы удвоить вагонетки сторонний не разбирающийся человек?) Я не удвоил, и вообще ни на одну вагонетку выработка при мне не изменилась— и Матронина, не щадя, ругала меня при Барино–ве и при рабочих, в бабьей голове своей не умещая того, что знает последний сержант: что даже ефрейтора нельзя ругать при рядовом. И вот однажды, признав своё полное поражение на карьере и, значит, неспособность руководить, я прихожу к Матрониной и сколь могу мягко прошу:

— Ольга Петровна! Я— хороший математик, быстро считаю. Я слышал, вам на заводе нужен счетовод. Возьмите меня!

— Счетовод?! — возмущается она, ещё темнеет её жёсткое лицо, и кончики красной косынки

перемётываются на её затылок. — Счетоводом я любую девчёнку посажу, а нам нужны командиры производства! Сколько вагонеток за смену недодали? Отправляйтесь! — И как новая Афина Паллада она шлёт меня вытянутой дланью на карьер.

А ещё через день упраздняется самая должность мастера карьера, я разжалован, но не просто, а мстительно. Матрони–на зовёт Баринова и велит:

— Поставь его с ломом и глаз не спускай! Чтобы шесть вагонеток за смену нагрузил! Чтобы вкалывалі

И тут же, в своём офицерском одеянии, которым я так горжусь, я иду копать глину. Баринову весело, он предвидел моё падение.

Если бы я лучше понимал скрытую настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участи догадаться ещё вчера. В иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко — для ИТР (инженерно–технических работников), откуда кормились инженеры, бухгалтеры… и сапожники. После своего назначения мастером карьера, я, усваивая лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питание оттуда. Поварихи мялись, говорили, что меня

ещё нет в списке ИТР, но всякий раз кормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я — в списке. Как я после обдумал — я был для кухни фигурой ещё неясной: едва приехав, сразу вознёсся; держался гордо, ходил в военном. Такой человек, свободное дело, станет ещё через неделю старшим нарядчиком, или старшим бухгалтером зоны, или врачом (в лагере всё возможно!) — и тогда они будут в моих руках. И хотя на самом деле завод ещё только испытывал меня и ни в какой список не включал — кухня кормила меня на всякий случай. Но за сутки до моего падения, когда ещё и завод не знал, лагерная кухня уже всё знала и хлопнула мне дверцей в морду: я оказался дешёвый фраер. В этом маленьком эпизоде — воздух лагерного мира.

Это столь частое человеческое желание выделиться одеждой на самом деле раскрывает нас, особенно под зоркими лагерными взглядами. Нам кажется, что мы одеваемся, а на самом деле мы обнажаемся, мы показываем, чего мы стоим. Я не понимал, что моя военная форма стоит матронинской красной косынки. И недреманный глаз из укрытия всё это высмотрел. И прислал за мной как–то дневального. Лейтенант вызывает, вот сюда, в отдельную комнату.

Молодой лейтенант разговаривал очень приятно. В уютной чистой комнате были только он и я. Светило предзакатное солнышко, ветер отдувал занавеску. Он усадил меня. Он почему–то предложил мне написать автобиографию — и не мог сделать предложения приятнее. После протоколов следствия, где я себя оплёвывал как антисоветского клеветника, после унижения воронков и пересылок, после конвоя и тюремного надзора, после блатных и придурков, отказавшихся видеть во мне бывшего капитана нашей славной Красной армии, вот я сидел за столом и никем не понукаемый, под доброжелательным взглядом симпатичного лейтенанта писал в меру густыми чернилами по отличной гладкой бумаге, которой в лагере нет, что я был капитан, что я командовал батареей, что у меня были какие–то ордена. И от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, моё «я». (Да, мой гносеологический субъект «я»! А ведь я всё–таки был из универсантов, из гражданских, в армии человек случайный. Представим же, как неискоренимо это в кадровике — требовать к себе уважения.) И лейтенант, прочтя автобиографию, совершенно был доволен: «Так вы — советский человек, правда?» Ну правда же, ну конечно же,

отчего же нет? Как приятно воспрять из грязи и праха— и снова стать советским человеком— половина свободы.

Лейтенант попросил зайти к нему через пять дней. За эти пять дней, однако, мне пришлось расстаться с моей военной формой, потому что дурно в ней копать глину. Гимнастёрку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной каптёрке получил латаное линялое тряпьё, выстиранное будто после года лёжки в мусорном ящике. Это — важный шаг, хотя я ещё не сознаю его значения: душа у меня ещё не зэковская, но вот шкура становится зэковской. Бритый наголо, терзаемый голодом и теснимый врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд: неискренний, недоверчивый, всё замечающий.

В таком–то виде и иду я через пять дней к оперуполномоченному, всё ещё не понимая, к чему он прицелился. Но уполномоченного не оказывается на месте. Он вообще перестаёт приезжать. (Он уже знает, а мы не знаем: ещё через неделю нас всех расформируют, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев.) Так я избегаю увидеть лейтенанта.

Мы обсуждали с Гаммеровым и с Ингалом — зачем это я писал автобиографию, и не догадались,

дети, что это уже первый коготь хищника, запущенный в наше гнездо. А между тем такая ясная картинка: в новом этапе приехало трое молодых людей, и всё время они о чём–то между собой рассуждают, спорят, а один из них— чёрный, круглый, хмурый, с маленькими усиками, тот, что устроился в бухгалтерии, ночами не спит и на нарах у себя что–то пишет, пишет и прячет. Конечно, можно наслать и вырвать, что он там прячет, но чтоб не спугивать — проще узнать обо всём у того из них, кто ходит в галифе. Он, очевидно, армейский и советский человек и поможет духовному надзору.

Жора Ингал, не устающий днём на работе, действительно положил первые полночи не спать — и так отстоять непленён–ность творческого духа. У себя на верхнем щите вагонки, свободном от матраса, подушки и одеял, он сидит в телогрейке (в комнатах не тепло, ночи осенние), в ботинках, ноги вытянув по щиту, спиной прислонясь к стене и, посасывая карандаш, сурово смотрит на свой лист. (Не придумать худшего поведения для лагеря! — но ни он, ни мы ещё не понимаем, как

это видно и как за этим следят[279].)

Ночами он пишет, а на день прячет — новеллу о Кампе–сино, испанском республиканце, с которым он сидел в камере и чьей крестьянской основательностью восхищён. А судьба Кампесино простая: проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз, здесь со временем посажен в тюрьму[280].

Ингал не тёпел, первым толчком сердце ещё не раскрывается ему навстречу (написал и подумал: а разве был тёпел я?). Но твёрдость его — образец достойный. Писать в лагере! — до этого и я когда–нибудь возвышусь, если не погибну. А пока я измучен своим суетным рыском, придавлен первыми днями гли–нокопа. Погожим сентябрьским вечером мы с Борисом находим время лишь

---

[279] Примечания: 279

По рассказу Аркадия Белинкова, Ингал потом в другом лагере так же всё писал, отгородясь у себя на нарах, — зэки просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, что он пишет (может— доносы?). Но, увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны, — он отказался! И его — избили. (По другому рассказу— убили.)

[280] Примечания: 280

Эль Кампесино — значит: крестьянин, это прозвище. Звали его Валентин Гонсалес. Своей новеллы Ингал по–настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Кампесино. Тот переживёт своего описателя. Я слышал, что он вывел группу зэков из лагеря в Туркмении и перевёл горами в Иран. И даже, кажется, он тоже издал книгу о советских лагерях.

посидеть немного на куче шлака у предзонника.

Со стороны Москвы за шестьдесят километров небо цветно полыхает в салютах— это «праздник победы над Японией». Но унылым тусклым светом горят фонари нашей лагерной зоны. Красноватый враждебный свет из окон завода. И вереницей таинственной, как годы и месяцы нашего срока, уходят вдаль фонари на столбах обширной заводской зоны.

Обняв колени, худенький кашляющий Гаммеров повторяет:

Я тридцать лет вынашивал Любовь к родному краю И снисхожденья вашего Не жду…

И не желаю.

* * *

«Фашистов привезли! Фашистов привезли!»— так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах Архипелага. Наш приезд — «фашистов» — открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали ещё 7 июля, с тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчёт в бухгалтерии — но сперва месяц, а где второй, где и третий амнистированные зэки томились в опостылевшей черте

колючки — их некем было заменить.

Их некем было заменить]— а мы–то, слепорожденные, ещё смели всю весну и всё лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию! Что Сталин нас пожалеет/… Что он «учтёт Победу»!.. Что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую особую для политических… (Рассказывали даже подробность: эта амнистия уже готова, лежит на столе у Сталина, осталось только подписать, но он — в отпуску. Неисправимый народ ждал подлинной амнистии, неисправимый народ верил!..) Но если нас помиловать — кто спустится в шахты? кто выйдет с пилами в лес? кто отожжёт кирпичи и положит их на стены? Коммунисты сумели создать такую систему, что прояви она великодушие — и мор, глад, запустение, разорение тотчас объяли бы всю страну.

«Фашистов привезли!» Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной всеми, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская, — теперь, спрыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую

землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они— самое горькое лихое колено.

Вот какова оказалась та великая сталинская амнистия, какой «ещё не видел мир». Где, в самом деле, видел мир амнистию, которая не касалась бы политических?!

Она освобождала Пятьдесят Восьмую до трёх лет, которых почти никому и не давали; вряд ли и полупроценту осуждённых по ней. Но и в этом полупроценте случаев непримиримый дух амнистии пересиливал её смягчительную букву. Я знал одного парня— кажется, Матюшина (он был художником в лагерьке на Калужской заставе), который получил 58–1–6 за плен что–то очень рано, чуть ли не в конце 1941 года, когда ещё не решено было, как это расценивать, сколько давать. Матюшину дали за плен всего 3 года— небывалый случай. По концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до Особого Распоряжения. Но вот разразилась амнистия. Матюшин стал просить (где уж там требовать) освобождения. Почти 5 месяцев, до декабря 1945, перепуганные чиновники Учётно–Распределительной Части отказывали ему. Наконец отпустили к себе в Курскую область. Был слух (а иному и поверить нельзя), что вскоре его загребли и добавили до

червонца. Нельзя же пользоваться рассеянностью первого суда!

Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоёмах, вступал в многоженство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил (да такие и не сидели), торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы (это я просто перелистал статьи Кодекса, попавшие под амнистию, это не фигура красноречия).

А потом от народа хотят нравственности!..

Половину срока сбрасывали: растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам (за государственный карман Сталин всё–таки обижался).

Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное всепрощение дезертиров военного времени! Все, кто, струсив, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами

прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях (всегда у матери! жёнам своим дезертиры, как правило, не доверяли), годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сгорбленного заросшего зверя, — все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, — объявлялись теперь равноправными незапятнанными несудимыми советскими гражданами. (Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы: не красен бег, да здоров.)

Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и поплатился за него пленом, — тем не могло быть прощения, так понимал Верховный Главнокомандующий.

Отзывалось ли Сталину в дезертирах что–то своё родное? Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое рекрутство зимою 1917 года? Или он рассудил, что его управлению трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь, кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем неразумно амнистировать дезертиров: он сам показывал своему народу, как вернее и проще всего спасать свою шкуру в будущую

войну[281].

В другой книге я рассказал историю доктора Зубова и его жены: за укрытие старухою–матерью в их доме приблудного дезертира, потом на них донесшего, супруги Зубовы получили оба по десятке по 58–й статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертира, сколько в бескорыстии этого укрытия: он не был их родственником, и значит, здесь имел место антисоветский умысел! По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и трёх лет, он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Не то досталось Зубовым. По полных десять они отбыли в лагерях (из них по четыре — в Особых), ещё по четыре— без всякого приговора— в ссылке; освобождены были лишь тем, что вообще распущена была самая ссылка, но судимость не была снята с них тогда, ни через шестнадцать, ни даже через девятнадцать лет после события, она не пустила их вернуться в свой дом под Москву, мешала им тихо дожить жизнь!

В 1958 Главная Военная Прокуратура СССР ответила им: ваша вина доказана и к пересмотру

---

[281] Примечания: 281

А пожалуй, тут была и историческая справедливость: отдавался старый долг фронтовому дезертирству без которого большевики и к власти бы не пришли.

нет оснований. Лишь в 1962, через 20 лет, прекращено было их дело по 58–10 (антисоветский умысел) и 58–11 («организация» из мужа и жены). По статье же 193–17–7–г (соучастие дезертирству) определена была им мера 5 лет и применена (! — через двадцать лет!) сталинская амнистия. Так и написано было двум разбитым старикам в 1962 году: «с 7 июля 1945 года вы считаетесь освобождёнными со снятием судимости»!

Вот чего боится и чего не боится злопамятный мстительный нерассудливый Закон.

После амнистии стали мазать, мазать кисти КВЧ и издевательскими лозунгами украсили внутренние арки и стены лагерей: «На широчайшую амнистию— ответим родной партии и правительству удвоением производительности труда!»

Амнистированы–то были уголовники и бытовики, они уходили, а уж отвечать удвоением должны были политические… Чувство юмора— не просветляло начальства.

С нашим, «фашистским», приездом тотчас начались в Новом Иерусалиме ежедневные освобождения. Ещё вчера ты видел этих женщин в зоне безобразными, отрёпанными, сквернословящими— и вот они преобразились, помылись,

пригладили волосы и в невесть откуда взявшихся платьях в горошину и в полоску, с жакетами через руку скромно идут на станцию. Разве в поезде догадаешься, как она волнисто умеет запетлять матом?

А вот выходят за ворота блатные и полуцвет (подражающие). Эти не оставили своих развязных манер и там: они ломаются, приплясывают, машут оставшимся и кричат, а из окон кричат их друзья. Охрана не мешает—уркам всё можно. Один уркач не без выдумки ставит стоймя свой чемодан, легко на него становится и, заломя шапку, откидывая полы пиджачка, где–то сдрюченного на пересылке или выигранного в карты, играет на мандолине прощальную серенаду лагерю, поёт какую–то блатную чушь. Хохот.

Освобождённые ещё долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю — и переплёты проволоки не закрывают открытого обзора нам. Сегодня эти воры будут гулять по московским бульварам, может быть в первую же неделю они сделают скачок (обчистят квартиру), разденут на ночной улице твою жену, сестру или дочь.

А вы пока, фашисты (и Матронина— тоже фашист], — удвойте производительность труда!

* * *

Из–за амнистии везде не хватало рабочих рук, шли перестановки. На короткое время меня из карьера «бросили» в цех. Тут я насмотрелся на механизацию Матрониной. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчёнка— поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Её место, её должность в цеху никак не называлась, а назвать можно было — «верхняя расставлялка». Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами (только что замешенные из глины, они очень тяжелы), стояли две девушки— нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, и то не на большой угол. Но верхней расставлялке — стоящей на постаменте царице цеха — надо было непрерывно: наклоняться; брать у ног своих поставленный подавалкой мокрый кирпич; не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч; не меняя положения ног, разворачиваться станом на прямой угол (иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приёмная вагонетка нагружалась); и расставлять кирпичи на пяти деревянных полках, по двенадцати на каждой.

Движения её не знали перерыва, остановки, изменения, они делались в быстром гимнастическом темпе — и так всю 8–часовую смену, если только не портился пресс. Ей всё подкладывали и подкладывали— половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, её же никто не менял за восемь часов. От пяти минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем должно было всё закружиться. Девушка же в первой половине смены ещё и улыбалась (переговариваться из–за грохота пресса было нельзя), может быть ей нравилось, что она выставлена на пьедестал как королева красоты и все видят её босые голые крепкие ноги из–под подобранной юбки и балетную гибкость талии.

За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку: триста граммов лишнего хлеба (всего в день — 850) и на ужин кроме общих чёрных щей — «три стахановских»: три жалких порции жидкой манной каши на воде — так мало её клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски.

«Мы работаем за деньги, а вы за хлеб, это не секрет», — сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс.

А приёмные вагонетки откатывали мы с одноруким алтайцем Луниным. Это были как бы высокие башенки— шаткие, потому что от десяти полок по двенадцать кирпичей центр тяжести их высоко поднимался. Гибкую, дрожащую, как этажерку, перегруженную книгами, — такую вагонетку надо было тянуть железной ручкой по прямым рельсам; взвести на подставную тележку (шабибюнку); застопорить на ней; теперь по другой прямой тянуть эту тележку вдоль сушильных камер. Остановившись против нужной, надо было вагонетку свезти с тележки и ещё по новому направлению толкать вагонетку перед собой в камеру. Каждая камера была длинный узкий коридор, по стенам которого тянулось десять пазов и десять планок. Надо было быстро без перекоса прогнать вагонетку вглубь, там отжать рычаг, посадить все десять полок с кирпичами на десять планок, а десять пар железных лап освободить и тотчас же выкатываться с пустой вагонеткой. Вся эта придумка была, кажется, немецкая, прошлого века (у вагонетки была немецкая фамилия), да по–немецки полагалось, чтобы не только рельсы держали вагонетку, но и пол, настланный над ямами, держал бы откатчика, — у нас же доски были прогнившие, надломанные, и я оступался

и проваливался. Ещё, наверно, полагалась и вентиляция в камерах, но её не было, и пока я там возился с неукладками (у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые кирпичи шлёпались мне на голову) — я наглатывался угарного запаха, он саднил дыхательное горло.

Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов— они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гаммерова, так мы стали работать вместе. Норма была известная: за смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебёдки шесть вагонеток (шесть кубометров) глины. На двоих полагалось двенадцать. В сухую погоду мы вдвоём успевали пять. Но начинался мелкий осенний дождичек–бусенец. Сутки, и двое, и трое, без ветра, он шёл не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. «На трассе дождя не бывает!» — знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что–то не дают и телогреек, и под этим нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам

лагерь не даёт, и мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги.

Первый день мы ещё шутим:

— Ты не находишь, Борис, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он всё мечтал работать на кирпичном заводе. Помнишь? — так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горячее из двух блюд.

Но мы откатываем пару вагонеток, и, сердито стуча лопатой о железный бок следующей вагонетки (глина плохо отваливается), я говорю уже с раздражением:

— Скажи, а какого чёрта трём сестрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом? С них по понедельникам не требовали конспектов Священного Писания? Им классного руководства не навязывали бесплатно? Не гоняли их по кварталам всеобуч проводить?

И ещё через вагонетку:

— Какая–то у них у всех пустейшая болтовня: трудиться! трудиться! трудиться! Да трудитесь, чёрт бы вас побрал, кто вам не даёт? Такая будет счастливая жизнь! такая! такая!! — какая? С

овчарками бы вас проводить в эту счастливую жизнь, знали бы!..

Борис слабее меня, он едва ворочает лопатой, отяжелевшей от прилипшей глины, он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки. Всё же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьёва. Обогнал он меня и тут— сколько уже читал Соловьёва, а я ни строчки из–за своих бесселевых функций.

И что вспоминает— он говорит мне, а я пытаюсь запомнить, но вряд ли, не та голова сейчас.

Нет, как же всё–таки сберечь жизнь и притом добраться до истины? И почему надо свалиться на лагерное дно, чтобы понять своё убожество?

Говорит:

— Владимир Соловьёв учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, — не будет.

Это верно…

Нагружаем, сколько можем. Штрафной паёк — так и штрафной, пёс вас задери! Скрадываем день и плетёмся в лагерь. Но ничто радостное не ждёт нас там: трижды в день всё тот же чёрный несолёный навар из крапивных листьев, да однажды— черпачок кашицы, треть литра. А хлеба уже срезали, и дают утром 450, а днём и вечером ни крошки. И ещё под дождём нас строят на про-

верку. И опять мы спим на голых нарах во всём мокром, вымазанные в глине, и зябнем, потому что в бараках не топят.

И на следующий день всё сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нём увязаем. Сколько ни возьми на лопату и как ни колоти о борт вагонетки — глина от неё не отстаёт. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из–под ног и забрасывать её в вагонетку.

Боря кашляет, у него в лёгких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и жёлт, обострились мертвецки его нос, уши, кости лица. Я присматриваюсь и уже не знаю: зимовать ли ему в лагере.

Ещё силимся мы отвлечься и победить наше положение — мыслью. Но уже ни философия, ни литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает:

— Нет, разговаривать — много сил уходит. Давай молчать и с пользой думать. Например, стихи писать. Буме.

Я вздрагиваю — он может сейчас писать стихи?

Сень смерти, но и сень какого же упорного таланта над его жёлтым лобиком![282]

Так мы молчим и руками накладываем глину. Всё дождь… Но нас не только не снимают с карьера, а приходит Матронина, огненно меча взоры (тёмной накидкой закрыта её красная голова), с обрыва руками показывает бригадиру в разные концы карьера. До нас доходит: сегодня не снимут бригаду в конце смены в два часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед и ужин.

В Москве стройка стоит без кирпичей…

Но Матронина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло–рыжие лужи всюду на глине и в вагонетке у нас. Изры–жели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели. Руки окоченели от холодной глины, уже и ими мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шинелей.

Со стороны — два рыжеватых камня на поле.

---

[282] Примечания: 282

Зимой того года Борис Гаммеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулёза. Я чту в нём поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил и нигде подобрать теперь не могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник.

Где–то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на своём просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины. Выворачиваются, как по–новому исказить окружающий, недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью в микрофоны радиорепортёров, прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняют, что они хотели сказать в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они обо всём на свете, но особенно — о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда–нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имён на наши буквы, на все наши буквы…

Барабанит дождь по затылкам, озноб ползёт по мокрой спине.

Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всём карьере, и на всём поле за зоной никого. В серой завесе — заветная деревенька, и петухи все спрятались в

сухое место.

Мы берём лопаты, чтоб их не стащили, — они записаны за нами, и, волоча их как тачки тяжёлые за собой, идём в обход матронинского завода— под навес, где вокруг гофманских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозит, холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль под кирпичный свод, сидим.

Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копаются в ней, оживлённо ищут что–то. Когда находят— пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся и едят по такому серо–чёрному куску.

— Что это вы едите, ребята?

— Это — морская глина. Врач — не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуёшь — и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля много…

…Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матронина велит оставить нас и на ночь. Но — гаснет всюду электричество, зона остаётся без освещения, и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в жилую зону. Всё черно. Мы идём, не видя, где жидко, где твёрдо, всё меся подряд, оступаясь и дёргая друг друга.

И в жилой зоне темно — только адским красноватым огнём горит из–под плиты «индивидуальной варки». Ив столовой— две керосиновые лампы около раздачи, ни лозунга не перечесть, ни увидеть в миске двойной порции крапивной баланды, хлещешь её губами на ощупь.

И завтра так будет, и каждый день: шесть вагонеток рыжей глины— три черпака чёрной баланды. Кажется, мы елабели и в тюрьме, но здесь — гораздо быстрей. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться.

А в бараках— и вовсе тьма. Мы лежим во всём мокром на всём голом, и кажется: ничего не снимать будет теплей, как компресс.

Раскрытые глаза — к чёрному потолку, к чёрному небу.

Господи, Господи! Под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь. А теперь прошу Тебя — пошли мне смерть…

Глава 7. ТУЗЕМНЫЙ БЫТ

Рассказать о внешней однообразной туземной жизни Архипелага— кажется, легче и доступней всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения (приезда в первый лагерь) и до смерти (смерти). И сразу обо всех–обо всех островах и островках.

Никто этого не обнимет, конечно, а целые тома читать, пожалуй, будет скучно.

А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы; из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком, — работа эта общая, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю.

Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать («машина ОСО, две ручки, одно колесо»). Носилки таскать. Кирпичи разгружать голыми руками (покров кожи быстро снимается с пальцев). Таскать кирпичи на себе «козой» (заспинными носилками). Ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить

шесть кубиков да отвезти на бутару. Да просто землю грызть (кремнистый грунт, да зимой; на дороге Тайшет— Абакан при 40° мороза— киркой и лопатой взять 4 кубометра). Уголёк рубить под землёю. Там же и рудишки— свинцовую, медную. Ещё можно— медную руду молоть (сладкий привкус во рту, из носа течёт водичка). Можно креозотом пропитывать шпалы (и всё тело своё). Тоннели можно рубить для дорог. Пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота. Можно плавить руды. Можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать (а ходить по пол голени в воде). Можно конюхом, возчиком быть (да из лошадиной торбы себе в котелок овёс перекладывать, а она–то казённая, травяной мешок, выдюжит небось, однако и подохни). Да вообще на селъхозах можно править всю крестьянскую работу (и лучше этой работы нет: что–нибудь из земли да выдернешь).

Но всем отец— наш русский лес со стволами истинно золотыми (из них золотцо добывается). Но старше всех работ Архипелага— лесоповал. Он всех зовёт, он всех поместит, и даже не закрыт для инвалидов (безруких звеном по три человека посылают утаптывать полуметровый снег). Снег— по грудь. Ты — лесоруб. Сперва ты

собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки (ещё их надо тискать в снегу и топором до них добираться). Всё в том же рыхлом снегу волоча, все ветки ты снесёшь в кучи и в кучах сожжёшь (а они дымят, не горят). Теперь лесину распилишь на размеры и сштабелюешь. И норма тебе на брата в день— пять кубометров, а на двоих— десять. (В Буреполо–ме— семь кубов, но толстые кряжи надо было ещё колоть на плахи.) Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят.

В годы войны (при военном питании) звали лагерники три недели лесоповала— сухим расстрелом.

Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь! Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и берёзовые своды! Ты ещё потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива.

Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались Урочным

Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это можно теперь поверить?!). Рабочий день устанавливался зимой 7 часов (!), летом— 12,5. На Акатуйской лютой каторге (П.Ф. Якубович, 1890–е годы) рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбою вместе— 8 часов, с октября 7, а зимой— только 6. (Это ещё до всякой борьбы за всеобщий восьмичасовой день!) Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, впритруску, и начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны! — ну, куда ж дальше? У нас в лагере так и говорят: «хоть белые воротнички пришивай» — когда уж совсем легко, совсем делать нечего. А у них— и куртки белые! После работы каторжники «Мёртвого дома» подолгу гуляли по двору острога — стало быть, не примаривались. Впрочем, «Записки из Мёртвого дома» цензура не хотела пропустить, опасаясь, что лёгкость изображённой Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский писал специально для цензуры новые страницы с указанием,

что «всё–таки жизнь на каторге тяжка»[283]! У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись. — А над «Записками Марии Волконской» Шала–мов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить три пуда руды на человека (сорок восемь килограмм! — за один раз можно поднять!), Шаламову же на Колыме— восемьсот пудов. Ещё Шаламов пишет, что иногда доходил у них летний рабочий день до 16 часов! Не знаю как с шестнадцатью, а тринадцать–то часов хватили многие — и на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах, — и это чистых часов, кроме ходьбы пять километров в лес да пять назад. Впрочем, спорить ли о долготе дня? — ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня, и когда бригада не выполняла нормы, то менялся вовремя только конвой, а работяги оставались в лесу до полуночи, при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с

[283] Примечания: 283

Письмо И.А.Груздева А.М.Горькому. Ленинград, октябрь 1930 // Переписка А.М. Горького с И.А. Груздевым. М.: Наука, 1966, с. 257. (Архив А.М. Горького. Т. 11.)

завтраком да снова в лес[284].

Рассказать об этом некому: они умерли все.

И ещё так поднимали норму, доказывая её выполнимость: при морозе ниже 50° дни актировались, то есть писалось, что заключённые не выходили на работу, — но их выгоняли, и что удавалось выжать из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. (А замёрзших в этот день услужливая санчасть списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках, — конвой пристреливал, чтоб не убежали, пока за ними вернутся.)

И как же за всё это их кормили? Наливалась в котёл вода, ссыпалась в него хорошо если нечищеная мелкая картошка, а то — капуста чёрная, свекольная ботва, всякий мусор. Ещё — вика, отруби, их не жаль. (А где мало самой воды, как на лагпункте Самарка под Карагандою, там баланда варилась только по миске в день, да ещё отмеря-

---

[284] Примечания: 284

Те, кто увеличивает промышленные нормы, могут ещё обманывать себя, что таковы успехи технологии производства. Но те, кто увеличивает физические нормы, — это палачи из палачей! — они же не могут серьёзно верить, что при социализме стал человек вдвое выше ростом и вдвое толще мускулами. Вот кого — судить! Вот кого послать на эти нормы.

ли две кружки солоноватой мутной воды.) Всё же стоющее всегда и непременно разворовывается для начальства (см. глава 9), для придурков и для блатных— повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько–то выписывается со склада и жиров, и мясных «субпродуктов» (то есть не подлинно продуктов), и рыбы, и гороха, и круп — но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже, в глухих местах, начальство отбирало соль для своих солений. (В 1940 на железной дороге Котлас—Воркута и хлеб и баланду давали несолёными.) Чем хуже продукт, тем больше попадает его зэкам. Мясо лошадей, измученных и павших на работе, — попадало, и хоть разжевать его нельзя было— это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк: «В своё время я много протолкнул в себя дельфиньего мяса, моржового, тюленьего, морского кота и другой морской животной дряни. (Прерву: китовое мясо мы и в Москве ели, на Калужской заставе.) Животный кал меня не страшил. А иван–чай, лишайник, ромашка— были лучшими блюдами». (Это уж он, очевидно, добирал к пайку.)

Накормить по нормам ГУЛАГа человека, тринадцать или даже десять часов работающего на морозе, — нельзя. И совсем это невозможно после

того, как закладка обворована. Тут–то и запускается в кипящий котёл сатанинская мешалка Френкеля: накормить одних работяг за счёт других. «Котлы» разделяются: при выполнении (в каждом лагере это высчитывают по–своему) скажем, меньше 30% нормы— котёл карцерный: 300 граммов хлеба и миска баланды в день; с 30% до 80% — штрафной: 400 граммов хлеба и две миски баланды; с 81% до 100%— производственный: 500–600 граммов хлеба и три миски баланды; дальше идут котлы ударные, причём разные: 700–900 хлеба и дополнительная каша, две каши, «прем–блюдо» («премиальное») — какой–нибудь тёмный горьковатый ржаной пирожок с горохом.

И за всю эту водянистую пишу, не могущую покрыть расходов тела, — сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками, и говорят так: лучше кашки не доложъ, да на работу не тревожь! Если выпадет такое счастье— остаться на нарах «по раздетости», получишь гарантированные 600. Если одели тебя по сезону (это— знаменитое выражение) и вывели на трассу — хоть издолбись кувалдой в зубило, больше трёхсотки на мёрзлом

грунте не получишь.

Но не в воле зэка остаться на нарах… Ещё бегут на развод, чтоб не остаться последним. (В иную пору в иных лагерях последнего — расстреливали.)

Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это — типичные цифры: по Краслагу времён войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное самая высокая в ГУЛАГе (потому что тем углем отапливалась героическая Москва), была: за 80% под землёю и за 100% наверху— кило триста.

А до революции? В ужаснейшем убийственном Акатуе в нерабочий день («на нарах») давали два с половиною фунта хлеба (кило!) и 32 золотника мяса— 133 грамма! В рабочий день — три фунта хлеба и 48 золотников (200 граммов) мяса— да не выше ли нашего фронтового армейского пайка? У них баланду и кашу целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям, размазню же из гречневой (! — ГУЛАГ никогда не видал её) каши П.Якубович нашёл «невыразимо отвратительной на вкус». — Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них («в зоне») ходили гуси (!!)— и арестанты не

сворачивали им голов[285]. Хлеб на столах стоял у них вольный, на Рождество же отпустили им по фунту говядины, а масла для каши— вволю. — На Сахалине рудничные и «дорожные» арестанты в месяцы наибольшей работы получали в день: хлеба — 4 фунта (кило шестьсот!), мяса— 400 граммов, крупы— 250! И добросовестный Чехов исследует: действительно ли достаточны эти нормы или, при плохом качестве выпечки и варки, их недостаёт? Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался.

Какая же фантазия в начале века могла представить, что «через тридцать–сорок лет» не на Сахалине одном, а по всему Архипелагу будут рады ещё более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями чёрт–те чего хлебу — и семьсот граммов его будут завидным «ударным» пайком?!

Нет, больше! — что по всей Руси колхозники ещё и этой арестантской пайке позавидуют! — «у нас и её ведь нет!..»

Даже на нерчинских царских рудниках платили «старательские» — дополнительную плату

---

[285] Примечания: 285

По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов: «и что ещё за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?.. И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что всё, варимое в лагере, легко съедается жидким, через бортик?»

за всё, сделанное сверх казённого урока (всегда умеренного). В наших лагерях большую часть лет Архипелага не платили за труд ничего или столько, сколько надо на мыло и зубной порошок. Лишь в тех редких лагерях и в те короткие полосы, когда почему–то вводили хозрасчёт (и от одной восьмой до одной четвёртой части истинного заработка зачислялось заключённому), — зэки могли подкупать хлеб, мясо и сахар — и вдруг, о удивление! — на столе в столовой осталась корочка, и пять минут никто за ней руку не протянул.

Как же одеты и как обуты наши туземцы?

Все архипелаги — как архипелаги: плещется вокруг синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несёт расхода на одежду туземцев — ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый Архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем: вечно покрыт он снегом, вечно дуют вьюги над ним. И всю эту десяти–пятнадцатимиллионную прорву арестантов надо ещё и одеть и обуть.

К счастью, родясь за пределами Архипелага, они сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чём есть— верней, в чём оставят их социально–близкие, — только в знак Архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану: у

шинелей косо обрезать полы, у будёновок срезать шишаки, сделав продув на макушке. Увы, вольная одежда— не вечная, а обутка— в неделю издирается о пеньки и кочки Архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплачиваться им за это нечем.

Это когда–нибудь ещё увидит русская сцена! русский экран! — сами бушлаты одного цвета, рукава к ним— другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. Или бушлат–огокь (лохмотья, как языки пламени). Или заплата на брюках— из обшивки чьей–то посылки, и ещё долго можно читать уголок адреса, написанный чернильным карандашом[286].

А на ногах— испытанные русские лапти, только онучей хороших к ним нет. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. (У горя и догадки…) Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку — то вот и знаменитое «ЧТЗ» (Челябинский тракторный завод). Или «бурки», сшитые из кусков разорванных старых телогреек, а подошвы у них— слой вой-

---

[286] Примечания: 286
На Акатуе арестантам давали шубы.

лока и слой резины[287]. Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник ОЛПа отвечает им с гулаговским остроумием:

— У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется, правда ноги красные. А вы все в чунях.

Ко всему тому выйдут на экран бронзово–серые лагерные лица. Слезящиеся глаза, покраснелые веки. Белые истрескан–ные губы, обмётанные сыпью. Пегая небритая щетина. По зиме — летняя кепка с пришитыми наушниками.

Узнаю вас! — это вы, жители моего Архипелага!

Но сколько б ни был часов рабочий день — когда–то приходят же работяги и в барак.

Барак? А где и землянка, кое–как врытая в землю. А на Севере чаще — палатка, правда обсыпанная землёй, кой–как обложенная тёсом. Нередко вместо электричества— керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. (В Усть–Выми два года не видели керосина и даже в штабном бараке освещались маслом с продсклада.) Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш погубленный мир.

---

[287] Примечания: 287

Ни Достоевский, ни Чехов, ни П.Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах. Да уж обуты, иначе б написали.

Нары в два этажа, нары в три этажа, признак роскоши — вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воруют настолько подчистую (а потом проматывают через вольных), что уже и казённого ничего не выдают, и своего в бараках ничего не держат: носят на работу и котелки и кружки (даже вещмешки за спиной — и так землю копают), надевают на шею одеяла, у кого есть (кадр!), либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрое рабочее (и сушилка есть) — так раздетый ведь замёрзнешь на голом. Так и сушат на себе. Ночью примерзает к стене палатки— шапка, у женщин— волосы. Даже лапти прячут под головы, чтоб не украли их с ног (Буреполом, годы войны). — Посреди барака— бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если раскалена—тогда парной портяночный дух застилает весь барак, — а то не горят в ней сырые дрова. — Иные бараки так заражены насекомыми, что не помогают четырёхдневные серные окуривания, и если летом уходят зэки спать в зоне на земле— клопы ползут за ними и настигают их там. А вшей с белья зэки вываривают в своих обеденных котелках.

Всё это стало возможно только в социалистическом государстве XX века, и сравнить с тюремными летописцами прошлого века здесь не удаётся ничего: они не писали о таком.

Ко всему этому ещё пририсовать, как из хлеборезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охраною самых здоровых бригадников с дрынами— иначе вырвут, собьют, расхватают. Пририсовать, как посылки выбивают из рук на самом выходе из посылочного отделения. Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня (что говорить о войне, если в «совхозе Ухта» уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 1937 по 1945). Наложить на это всё — вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен: то слухи об этапе, то сам этап (каторга Достоевского не знала этапов, и по десять и по двадцать лет люди отбывали в одном остроге, это совсем другая жизнь); то какую–то тёмную и внезапную тасовку «контингентов»; то переброски «в интересах производства»; то комиссовки; то инвентаризация имущества; то внезапные ночные обыски с раздеванием и переключиванием всего скудного барахла; ещё отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября (Рождество и Пасха

каторги прошлого века не знали подобного). И три раза в месяц губительные, разорительные бани. (Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь: есть обстоятельный рассказ–исследование у Шаламова, есть рассказ у Домбровского.)

И ещё потом — твою постоянную цепкую (для интеллигента— мучительную) неотдельность, не состояние личностью, а членом бригады, и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде.

И вспомнить ещё, что всё сказанное относится к лагерю стационарному, стоящему не первый год. А ведь когда–то и кому–то (кому, как не нашему несчастному брату) эти лагеря надо начинать: приходить в морозный заснеженный лес, обтягиваться проволокой по деревьям, а кто доживёт до первых бараков— бараки те будут для охраны. В ноябре 1941 близ станции Решёты открывался 1–й ОЛП Краслага (за 10 лет их стало семнадцать). Пригнали 250 вояк, изъятых из армии для её морального укрепления. Валили лес, строили срубы, но крыши крыть было нечем, и так под небом жили с чугунными печками. Хлеб привозили мороженый, его разрубливали топором, выдавали пригоршнями — колотый, крошеный,

мятый. Другая еда была— круто солёная горбуша. Во рту пылало, и пылание заедали снегом.

(Поминая героев Отечественной войны, не забудьте этих…)

Вот это и есть — быт моего Архипелага.

* * *

Философы, психологи, медики и писатели могли бы в наших лагерях как нигде наблюдать подробно и множественно особый процесс сужения интеллектуального и духовного кругозора человека, снижения человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было не до наблюдений: они сами угожали в ту же струю, смывающую личность в кал и прах.

Уцелевшие в лагерях партийные ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения: как низко чувствуют и думают герои «Одного дня Ивана Денисовича»! Где ж их страдательные размышления о ходе истории? (Впрочем, есть там и они.) Всё пайка да баланда, а ведь есть гораздо более тяжкие муки, чем голод!

Ах — есть? Ах — гораздо более тяжкие муки (муки ортодоксальной мысли)? Не знали ж вы голода, при санчастях да каптёрках, господа бла-

гомыслящие ортодоксы!

Столетиями открыто, что Голод— правит миром. (И на Голоде, на том, что голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся Передовая Теория, кстати. И всё не так: восстают лишь чуть приголоженные, а истинно голодным не до восстания.) Голод правит каждым голодающим человеком, если только тот не решил сам сознательно умереть. Голод, понуждающий честного человека тянуться украсть («брюхо вытрясло— совесть вынесло»). Голод, заставляющий самого бескорыстного человека с завистью смотреть на чужую миску, со страданием оценивать, сколько тянет пайка соседа. Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чём подумать, ни о чём заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны— о еде, и бессонница— о еде. И скоро — одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться: человек превращается в прямоточную трубу, и всё выходит из него в том самом виде, в каком заглотано.

Как ничто, в чём держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и Архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отде-

ляя на дно свой главный отброс— доходяг. И всё, что построено Архипелагом, — выжато из мускулов доходяг (перед тем как им стать доходягами).

И ещё это должен увидеть русский экран: как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. (А любознательные операторы могут ещё продолжить съёмку и показать, как в 1947 в Долинке привезенные с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже проверенную доходягами помойку.) Экран покажет, как под одеялами стационара лежат ещё сочленённые кости и почти без движения умирают— и их выносят. Вообще— как просто умирает человек: говорил — и замолк, шёл по дороге— и упал. «Бырк— и готов». Как (лагпункты Унжа, Нукша) мордатый социально–близкий нарядчик за ноги сдёргивает с нар на развод, а тот уже мёртв, головою об пол. «Подох, падло!» И ещё его весело пинает ногой. (На тех лагпунктах во время войны не было ни лекпома, ни даже санитара, оттого не было и больных, а кто притворялся больным —

выводили под руки товарищи в лес и ещё несли с собой доску и верёвку, чтобы недомерших легче волочить назад. На работе сажали больного близ костра, и все — заключённые и конвоиры — заинтересованы были, чтоб скорее он умер.)

Чего не схватит экран, то опишет нам медленная внимательная проза, она различит эти оттенки смертного пути, называемые то цынгой, то пеллагрой, то — безбелковым отёком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе— это цынга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить дёсны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, от человека завоняет трупом, сведёт ноги от толстых шишек, в стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне. — Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос — это пеллагра. Как–то надо остановить понос — там принимают мел по три ложки в день, здесь говорят, что если достать и наесться селёдки — пища начнёт держаться. Но где же достать селёдки? Человек слабеет, слабеет, и тем быстрей, чем он крупнее ростом. Он уже так слаб, что не может подняться на вторые нары, что не может перешагнуть через лежащее бревно: надо ногу поднять двумя руками или на

четвереньках переползти. Поносом выносит из человека и силы, и всякий интерес — к другим людям, к жизни, к самому себе. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за санями. Его уже не пугает смерть, им овладевает податливое розовое состояние. Он перешёл все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого. Иногда всё тело умирающего от голода покрывают сине–чёрные горошины с гнойными головками меньше булавочной— по лицу, рукам, ногам, туловищу, даже мошёнке. К ним не прикоснуться, так больно. Нарывчики созревают, лопаются, из них выдавливается густой червеобразный жгутик гноя. Человек сгнивает заживо.

Если по лицу соседа твоего на нарах с недоумением расползлись головные чёрные вши — это верный признак смерти.

Фи, какой натурализм. Зачем ещё об этом рассказывать?

И вообще, говорят теперь нам те, кто сами не страдали, кто казнил, или умывал руки, или делал невинный вид: зачем это все вспоминать? Зачем бередить старые раны? [Их раны!!)

На это ответил ещё Лев Толстой Бирюкову («Разговоры с Толстым»): «Как зачем поминать? Если у

меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое теперешнее насилие откроется».

Эти страницы о доходягах я хочу закончить рассказом Н.К. Говорко об инженере Льве Николаевиче (ведь наверняка в честь Толстого!) Е. — доходяге–теоретике, нашедшем форму существования доходяги наиболее удобной формой сохранения своей жизни.

Вот занятие инженера Е. в глуховатом углу зоны в жаркое воскресенье: человекоподобное существо сидит в лощинке над ямой, в которой собралась коричневая торфяная вода. Вокруг ямы разложены селёдочные головы, рыбьи кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и ещё что–то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костёр, над ним висит солдатский дочерна закопчённый котелок с варевом. Кажется, готово! Деревянной ложкой доходяга начинает черпать тёмную бурду из котелка и поочерёдно заедает её то картофельным очисткой, то хрящём,

то селёдочной головой. Он очень долго, очень намеренно внимательно жуёт (общая беда доходяг— глотают поспешно, не жуя). Его нос едва виден среди тёмно–серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щёки. Нос и лоб — буро–воскового цвета, местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают.

Заметив подход постороннего, доходяга быстро собирает всё разложенное, чего не успел съесть, прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается как ёж. Теперь его можно бить, толкать— он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка.

Н.К. Говорко дружелюбно разговаривает с ним— ёж немного раскрывается. Он видит, что ни бить, ни отнимать котелка не будут. Беседа дальше. Они оба инженеры (Н. Г. — геолог, Е. — химик), и вот Е. раскрывает перед Г. свою веру. Оперируя незабытыми цифрами химических составов, он доказывает, что всё нужное питание можно получить и из отбросов, надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия, чтоб это питание оттуда взять.

Несмотря на жару Е. одет в несколько одёжек, притом грязных. (И на это обоснование: Е. экспериментально установил, что в очень грязной

одежде вши и блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну исподнюю одёжку поэтому он даже выбрал из обтирочного материала, использованного в мастерской.)

Вот его вид: шлем–будёновка с чёрным огарком вместо шишака; подпалины и по всему шлему. К засаленным слоновьим ушам шлема прилипло где сено, где пакля. Из верхней одёжки на спине и на боках языками болтаются вырванные куски. Заплаты, заплаты. Слой смолы на одном боку. Вата подкладки бахромой вывисает по подолу изнутри. Оба внешних рукава разорваны до локтей, и когда доходяга поднимает руки— он как бы взмахивает крыльями летучей мыши. А на ногах его — лодкоподобные чуни, склеенные из красных автопокрышек.

Зачем же так жарко он одет? Во–первых, лето короткое, а зима долга, надо всё это сберечь на зиму, где ж, как не на себе? Во–вторых, и главное, он тем создаёт мягкость, воздушные подушки— не чувствует боли ударов. Его бьют и ногами и палками, а синяков нет. Это — одна его защита. Надо только всегда успеть увидеть, кто хочет ударить, успеть упасть, колени подтянуть к животу и тем его прикрыть, голову пригнуть к груди и обнять толсто–ватными руками. И тогда его могут бить

только по мягкому. А чтоб не били долго — надо быстро доставить бьющему чувство победы, для этого Е. научился с первого же удара неистово кричать, как поросёнок, хотя ему совсем не больно. (В лагере ведь очень любят бить слабых, и не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы почувствовать себя ещё не совсем слабым. Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокости?)

И Е. кажется вполне посильным и разумным избранный образ жизни— к тому же не требующим запятнания совести. Он никому не делает зла.

Он надеется выжить срок.

Интервью доходяги окончено.

Старый колымчанин Томас Сговио (итальянец из Баф–фало) утверждает: «Доходягами скорее становились интеллигенты; все доходяги, которых я знал, были из интеллигенции. Я никогда не видел, чтобы доходягой стал простой русский крестьянин».

Может быть, это и верное наблюдение: крестьянину не открыт никакой путь, кроме труда, трудом он и спасается, трудом и погибает. А интеллигент иногда не имеет другой защиты, как стать доходягой и даже вот так виртуозно разработать теорию, как Е.

* * *

В нашем славном отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль (одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены). И эту книгу я пишу из одного сознания долга— потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть её напечатанной где–либо; мало надеюсь, что прочтут её те, кто унёс свои кости с Архипелага; совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда ещё можно будет что–то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни: дракон вылез на минуту, шершавым красным язычищем слизнул мой роман, ещё несколько старых вещей — и ушёл пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только ещё не отмерены все сроки. И с душой разорённой я силюсь кончить это исследование, чтоб хоть оно–то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны

писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию, — я искал, как уйти от шпиков в укрывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера, для окончания вот этой книги.

Это я отвлёкся, а сказать хотел, что у нас лучшие книги остаются неизвестны современникам, и очень может быть, что кого–то я зря повторяю, что, зная чей–то тайный труд, мог бы сократить свой. Но за семь лет хилой блеклой свободы кое–что всё–таки всплыло, одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал шестьдесят лагерных рассказов Шаламова и его исследование о блатных.

Я хочу здесь заявить, что, кроме нескольких частных пунктов, между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении Архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт.

Это, однако, не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек— лагерная санчасть. О каждом лагерном

установлении говорит Шаламов с ненавистью и жёлчью (и прав!) — и только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создаёт, легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что всё в лагере против лагерника, а вот врач — один может ему помочь.

Но может помочь ещё не значит: помогает. Может помочь, если захочет, и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и нарядчик, и каптёр, и повар, и дневальный— да много ли помогают?

Может быть, до 1932 года, пока лагерная санитария ещё подчинялась Наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932 они были переданы полностью в ГУЛАГ— и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так не говоря о добрых случаях у добрых врачей — кто держал бы эту санчасть на Архипелаге, если б она не служила общей цели?

Когда комендант и бригадир избивают доходягу за отказ от работы — так, что он зализывает раны, как пёс, двое суток без памяти лежит в карцере (Бабич), два месяца потом не может сползти с нар, — не санчасть ли (1–й ОЛП Джидинских лагерей) отказывается составить акт, что было избиение, а потом отказывается и лечить?

А кто, как не санчасть, подписывает каждое постановление на посадку в карцер? (Впрочем, не упустим, что не так уж начальство в этой врачебной подписи нуждается. В лагере близ Индигирки был вольнонаёмным «лепилой» (фельдшером, — а не случайно лагерное словцо!) С.А. Чеботарёв. Он не подписал ни одного постановления начальника ОЛПа на посадку, так как считал, что в такой карцер и собак сажать нельзя, не то что людей: печь обогревала только надзирателя в коридоре. Ничего, посадки шли и без его подписи.)

Когда по вине прораба или мастера из–за отсутствия ограждения или защиты погибает на производстве зэк, — кто, как не лекпом и санчасть, подписывают акт, что он умер от разрыва сердца? (И значит, пусть остаётся всё по–старому и завтра погибают другие. А иначе ведь и лекпома завтра в забой. А там и врача.)

Когда происходит квартальная комиссовка — эта комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией на ТФТ, СФТ, ЛФТ и ИФТ (тяжёлый–средний–лёгкий–индивидуальный физический труд), — много ли возражают добрые врачи злому начальнику санчасти, который сам только тем и держится, что поставляет колонны тяжёлого труда?

Или, может быть, санчасть была милосердна хоть к тем, кто не пожалел доли своего тела, чтобы спасти остальное? Все знают закон, это не на одном каком–нибудь лагпункте: самору–бам, членовредителям имостырщикам медицинская помощь вовсе не оказывается] Приказ — администрации, а кто это не оказывает помощи? Врачи… Рванул себе капсулем четыре пальца, пришёл в больничку— бинта не дадут: иди, подыхай, пёс! Ещё на Волгоканале во время энтузиазма всеобщего соревнования вдруг почему–то (?) стало слишком много мостырок. Это нашло мгновенное объяснение: вылазка классового врага. Так их—лечить?.. (Конечно, здесь зависит от хитрости мостыр–щика: можно сделать мостырку так, что это не докажешь. Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку— и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенок и идёт на мороз. Но не всё разочтёшь: возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает мостырка невольная: цынготные незаживающие язвы Бабича признали за сифилис, проверить анализом крови было негде, он с радостью солгал, что и сам болел сифилисом, и все родственники. Перешёл в венерическую зону и тем отсрочил смерть.)

Или санчасть освобождала когда–нибудь всех, кто в этот день был действительно болен? Не выгоняла каждый день сколько–то совсем больных людей за зону? Героя и комика народа зэков Петра Кишкина врач Сулейманов не клал в больницу потому, что понос его не удовлетворял норме: чтоб каждые полчаса и обязательно с кровью. Тогда при этапировании колонны на рабочий объект Кишкин сел, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача: остановил проезжую машину и отправил Кишкина в больницу. — Возразят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы «В» — больных стационарных и больных ходячих[288]. Так объяснение есть в каждом случае, но в каждом случае остаётся и жестокость, которую никак не перевесить соображением, что «зато кому–то другому» в это время сделали хорошо.

Да добавить сюда ужасные лагерные больнички

---

[288] Примечания: 288

Врачи обходили это, как могли. В Сымском ОЛПе устраивали полустационар: доходяги лежали на своих бушлатах, ходили чистить снег, но питались из больничного котла. Вольный начальник санотдела А.М. Статников обходил группу «В» так: он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял ОЛПы–больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда: «поднять физпрофиль з/к з/к», — да поднимать–то не давали средств. Вся сложность этих увёрток честных врачей как раз и убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс.

вроде стационара 2–го лагпункта Кривощёкова: маленькая приёмная, уборная и комната стационара. Уборная зловонна и наполняет больничный воздух, но разве дело в уборной? Тут в каждой койке лежит по два поносника и на полу между койками тоже. Ослабевшие оправляются прямо в кроватях. Ни белья, ни медикаментов (1948–49 годы). Заведует стационаром студент 3–го курса мединститута (сидит по 58–й), он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных, — сильные жирные ребята: они объедают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверно, кум. У студента не хватает сил их изгнать и защитить паёк больных. Ау врача — у всякого хватало?..[289]

Или, может быть, в каком–нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание? Ну хотя бы чтоб не видеть по вечерам этих «бригад куриной слепоты», так и возвращающихся с работы цепочкою слепых, друг за друга держась? Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтоб иметь

[289] Примечания: 289

Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была даже общая с конвоем. Неразвитость!

крепких работяг. Ане санчасть вовсе.

Врачей никто во всём этом и не винит (хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общие страх идти), но не надо же и легенды о спасительной санчасти. Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита.

Продолжая свою мысль, говорит Шаламов, что только на одну санчасть и может рассчитывать в лагере арестант, а вот на труд своих рук он полагаться не может, не смеет: это — могила. «В лагере губит не маленькая пайка, а большая».

Пословица верна: большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую. Тогда ему дают временную инвалидность: 400 граммов хлеба и самый последний котёл. За зиму большая часть их умирает (ну, например 725 из 800). Остальные переходят на «лёгкий физический» и умирают уже на нём.

Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фельдшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождения липового ему на один день не дадут? Если у него недостаток грамоты и избыток совести, чтоб устроиться придурком в зоне? Остаётся ли у него другой путь, чем положиться на свои руки? Отды-

хательный Пункт (ОП)? Мостыр–ка? Актировка?..

Пусть он сам расскажет о них, он ведь и их обдумывал, время было.

«ОП — это вроде дома отдыха лагерного. Десятки годов зэки горбят, отпусков не знают, так вот им— ОП, на две недели. Там кормят много лучше, и за зону не гонят, а в зоне часа три–четыре в день легонечко: щебёнку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек полтысячи— ОП открывают на пятнадцать. Да оно, если б честно разложить, так за год с небольшим и все б через ОП обернулись. Но как ни в чём в лагере правды нет, так с ОП особенно нет. Открывают ОП исподвоху, как собака тяпнет, уже и список на три смены готовый, и закроют так же вихрем, полугода оно не простоит. И прутся туда— бухгалтера, парикмахера, сапожники, портные, — вся аристократия, а работяг подлинных добавят несколько для прикраски — мол, лучшие производственники. И ещё тебе портной Беремблюм в нос тычет: я, мол, шубу вольному сшил, за неё в лагерную кассу тысячу рублей плочено, а ты, дурак, целый месяц баланы катаешь, за тебя и ста рублей в лагерь не попадёт, так кто производственник? кому ОП дать? И ходишь ты, душой истекаешь: как бы в ОП попасть, ну легонечко передышаться,

глядь— а его уж и закрыли, с концами. И самая обида, что хоть бы где в тюремном деле помечали, что был ты в ОП в таком–то году, ведь сколько бухгалтеров сидит. Не, не помечают. Потому что им невыгодно. На следующий год откроют ОП — и опять Беремблюм в первую смену, тебя опять мимо. За десять лет прокатят боками через десять лагерей, в десятом будешь проситься, хоть разик бы за целый срок в ОП просунуться, посмотреть, ладно ли там стены крашены, не был–де ни разу, а как докажешь?..

Нет уж, лучше с ОП не расстраиваться.

Другое дело — мостырка, покалечиться так, чтоб и живу остаться, и инвалидом. Как говорится, минута терпения — год кантовки. Ногу сломать, да потом чтоб срослась неверно. Воду солёную пить — опухнуть. Или чай курить — это против сердца. А табачный настой пить— против лёгких хорошо. Только с мерою надо делать, чтоб не перемостырить да через инвалидность в могилку не скакнуть. А кто меру знает?..

Инвалиду во многом хорошо: и в кубовой можно устроиться, и в лаптеплётку. Но главное, чего люди умные через ин–валидство достигают, — это актировки. Только актировка тем более волнами, хуже, чем ОП. Собирают комиссию,

смотрят инвалидов и на самых плохих пишут акт: числа такого–то по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшему отбыванию срока, ходатайствуем освободить.

Ходатайствуем только! Ещё пока этот акт по начальству вверх подымется да вниз скатится — тебя уж и в живых не застанет, частенько так бывало. Начальство–то ведь хитрозадое, оно тех и актирует, кому подыхать через месяц[290]. Да ещё тех, кто заплатит хорошо. Вон у Каликман одноделыпа— полмиллиона хопнув, сто тысяч заплатила—и на воле. Не то что мы, дураки.

Это по бараку книга такая ходила, студенты её в своём уголке вслух читали. Так там парень один добыл миллион и не знал, что с тем миллионом при советской власти делать— буд–то–де купить на него ничего нельзя и с голоду помрёшь с им, с миллионом. Смеялись и мы: уж брешите кому–нибудь другому, а мы этих миллионщиков за ворота не одного провожали. Только может здоровья Божьего на миллион не купишь, а сво-

---

[290] Примечания: 290

У бывшего зэка Олега Волкова в самиздатском рассказе «Деды»: «актированные» старики выгнаны из лагеря, но им некуда уходить, и они располагаются тут же поблизости, умереть — без отнятой пайки и крова.

(Рассказ впоследствии вошёл в книгу О. Волкова «Погружение во тьму» (Париж: Atheneum, 1987, гл. 8). — Примеч.ред.)

боду покупают, и власть покупают, и людей с потрохами. С миллионами их уже ой–ой–ой на воле завелось, только что на крышу не лезут, руками не махают.

А Пятьдесят Восьмой актировка закрыта. Сколько лагеря стоят — раза три по месяцу, говорят, была актировка Десятому Пункту, да тут же и захлопывалась. И денег от них никто не возьмёт, от врагов народа, — ведь это свою голову класть взамен. Да у них и денег не бывает, у политиканов».

— У кого это, Иван Денисыч, у них?

— Ну, у нас…

* * *

Но одно досрочное освобождение никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение это — смерть.

И это есть самая основная, неуклонная и никем не нормируемая продукция Архипелага.

С осени 1938 по февраль 1939 на одном из усть-вымских лагпунктов из 550 человек умерло 385. Некоторые бригады (Огурцова) целиком умирали, и с бригадирами. Осенью 1941 Печорлаг (железнодорожный) имел списочный состав — 50 тысяч, весной 1942 —10 тысяч. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа, — ку-

да же ушли сорок тысяч? Написал в разрядку «тысяч» — а зачем? Узнал эти цифры случайно от зэка, имевшего к ним в то время доступ, — но по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральной усадьбе Буреполомского лагеря в бараках доходяг в феврале 1943 из пятидесяти человек умирало за ночь двенадцать, никогда— меньше четырёх. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидкой магаре и четырёхстах граммах хлеба.

Мертвецов, ссохшихся от пеллагры (без задниц, женщин— без грудей), сгнивших от цынги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие — вертикальный разрез от шеи до лобка, перебой на ноге, раздвиг черепного шва. Чаще же не анатом, а конвоир проверял— действительно ли зэк умер или притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях.

Когда–то хоронили в белье, потом — в самом плохом, третьего срока, серо–грязном. Потом бы-

ло единое распоряжение: не тратиться на бельё (его ещё можно было использовать на живых), хоронить голыми.

Считалось когда–то на Руси: мёртвый без гроба не обойдётся. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских, и акатуйских каторжан — в гробах же. Но на Архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию: работайте хорошо — и вас тоже похоронят в деревянном гробу!

Вывозили на санях или подводе — по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под шесть трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечёвками, чтоб они не болтались. После этого наваливали, как брёвна, а потом покрывали рогожей. Если был аммонал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братские, по грунту: большие на многих или мелкие на четверых. (Весной из мелких ямок начинает на лагерь повонивать, посылают доходяг углублять.)

Зато никто не обвинит нас в газовых камерах.

Бельё, обувь, отрепья с умерших— всё идёт в дело, ещё живым. А вот— лагерные дела остаются, совсем ни к чему, и много их. Когда негде держать становится — их сжигают. Вот (лагпункт Явас Дубравлага, 1959) подъехал к лагерной кочегарке три раза самосвал и ссунул вороха дел. Лишние зэки были отогнаны, а кочегары при надзирателях всё сожгли.

Где было больше досуга— например в Кенгире — там над холмиками ставились столбики и представитель УРЧа, не кто–нибудь, сам важно надписывал на них инвентарные номера похороненных. Впрочем, в Кенгире же кто–то занялся и вредительством: приезжавшим матерям и жёнам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали. Тогда начальник Степлага полковник товарищ Чечев велел бульдозерами свалить и столбики, сравнять и холмики, раз ценить не умеют.

Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, читательница.

На этом кончается путь туземца и кончается его быт. Впрочем, Павел Быков говорил:

— Пока после смерти двадцать четыре часа не прошло, — ещё не думай, что кончено.

* * *

— Ну, Иван Денисович, о чём ещё мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?

«Ху–у–у! Ещё и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели. Как из строя за окурком нагнётся, а конвой подстреливал…[291] Как инвалиды на кухне картошку сырую глотали: сварят— так уже не разживёшься… Как чай в лагере заместо денег идёт. Как чифирят — пятьдесят грамм на стакан— и в голове виденья. Только чифирят больше урки— они чай у вольных за ворованные деньги покупают…

Вообще— как зэк живёт?.. Ему если из песка верёвки не вить, то никак и не прожить. Зэку и во сне надо обдумывать, как на следующий день вывернуться. Если чем разжился, какую лазейку надыбал, — молчи! Молчи, а то соседи узнают — затопчут. В лагере так: на всех всё равно не хватит, смотри, чтоб тебе хватило.

Так бы так, а вот скажи— всё же, по людскому обычаю, и в лагере бывает дружба. Не только там старая — однодель–цы, по воле товарищи,

[291] Примечания: 291

При Достоевском можно было из строя выйти за милостынею. В строю разговаривали и пели.

а— здешняя. Сошлись душами и уже друг другу открыты. Напарники. Что есть— вместе, чего нет— пополам. Пайка кровная, правда, порознь, а добыток весь — в одном котелке варится, из одного черпается[292].

Бывает напарничество короткое, а бывает долгое… Бывает— на совести построено, а бывает— и на обмане. Меж такими напарниками любит змеёй заползать кум. Над котелком–то общим, шёпотом, — обо всём и говорится.

Признают зэки старые, и пленники бывшие рассказывают: тот–то и продаст тебя, кто из одного котелка с тобой ел. Тоже правда отчасти…

А самое хорошее дело — не напарника иметь, а напарницу. Жену лагерную, зэчку. Как говорится — подженишься. Молодому хорошо то, что где–нибудь ты её … в заначке, на душе и полегчает. А и старому, слабому— всё равно хорошо. Ты чего–нибудь добудешь, заработаешь, она тебе постирает, в барак принесёт, под подушку положит сорочку, никто и не засмеётся— в законе. Она и сварит, на койке сядете рядом, едите. Даже старому оно особенно–то к душе льнёт, это супружество лагерное, еле тёпленькое, с горчинкой.

---

[292] Примечания: 292

Почему–то на каторге Достоевского «среди арестантов не наблюдалось дружества», никто не ел вдвоём.

Смотришь на неё через пар котелка— по её лицу морщины пошли; да и по твоему. Оба вы в серой лагерной рвани, телогрейки ваши ржавчиной вымазаны, глиной, известью, алебастром, автолом. Никогда ты её раньше не знал, и на родине её ногой не ступал, и говорит она не так, как нашенские. И у ней на воле дети растут, и у тебя растут. У ней муж остался — по бабам ходит, и твоя осталась, не растеряется: восемь лет, десять лет, а жить всем хоц–ца. А эта твоя лагерная волочит с тобой ту же цепь и не жалуется.

Живём — не люди, умрём — не родители…

Кой к кому и родные жёны приезжали на свидание. В разных лагерях при разных начальниках давали с ними посидеть двадцать минут на вахте. Ато и на ночь, на две в отдельной хибарке. Если у тебя сто пятьдесят процентов. Да ведь свидания эти— растрава, не больше. Для чего её руками коснуться и говорить с ней о чём, если ещё не жить с ней годы и годы? Двоилось у мужиков. С лагерной женой понятней: вот крупы ещё кружка у нас осталась; на той неделе, говорят, жжёный сахар дадут. Уж конечно не белый, змеи… К слесарю Родичеву приехала жена, а его как раз накануне шалашовка, лаская, в шею укусила. Выругался Родичев, что жена приехала, пошёл в санчасть

синяк бинтами обматывать: мол, скажу— простудился.

А какие в лагере бабы? Есть блатные, есть развязные, есть политические, а больше–то всё смирные, по Указу. По Указу их всё толкают за расхищение государственного. Кем в войну и после войны все фабрики забиты? Бабами да девками. А семью кто кормит? Они же. А— на что её кормить? Нужда закона не знает. Вот и тянут: сметану в карманы кладут, булочки меж ног проносят, чулками вокруг пояса обёртываются, а верней: на фабрику пойдут на босу ногу, а там новые чулки вымажут, наденут, а дома постирают и на рынок. Кто что вырабатывает, то и несёт. Катушку ниток меж грудями закладывают. Вахтёры все куплены, им тоже жить надо, они лишь кое–как обхлопывают. А наскочит охрана, проверка, — за эту катушку дерьмовую— десять лет! Как за измену родине, ровно. И тысячи их с катушками попались.

Берёт каждый, как ему работа позволяет. Хорошо было Гуркиной Настьке — она в багажных вагонах работала. Так правильно рассудила: свой советский человек прилипчивый, стерва, из–за полотенца к морде полезет. Потому она советских чемоданов не трогала, а чистила только

иностранные. Иностранец, говорит, и проверить вовремя не догадается, и, когда спохватится, — жалобы писать не станет, а только плюнет: жулики русские! — и уедет к себе домой.

Шитарев, старик–бухгалтер, Настю корил: «Да КЭ.К 5КѲ тебе не стыдно, мяса ты кусок! Как же ты о чести России не позаботилась?» Послала она его: «В рот тебе, чтоб не качался! Что ж ты–то о Победе не заботился? Господ офицеров кобелировать распустил!» (А он, Шитарев, был в войну бухгалтером госпиталя, офицеры ему при выписке лапу давали, и он в справках накидывал срок лечения, чтоб они перед фронтом домой съездили. Дело серьёзное. Дали Шитареву расстрел, лишь потом на десятку сменили.)

Конечно, и несчастные всякие садились. Одна получила пятёрку за мошенничество: что муж у ней умер в середине месяца, а она до конца месяца хлебных карточек его не сдала, пользовалась с двумя детьми. Донесли на неё соседи из зависти. Четыре года отсидела, один по амнистии сбросили.

А и так было: разнесло бомбою дом, убило жену, детей, а муж остался. Все карточки сгорели, но муж был вне ума и 13 дней до конца месяца жил без хлеба, карточки себе не просил. Заподозрили,

что, значит, все карточки у него целые. Три года дали. Полтора отсидел».

— Подожди–подожди, Иван Денисыч, это— другой раз. Так, значит, говоришь, — напарница? Подженится?.. Волочит с тобой ту же цепь— и не жалуется?..

Глава 8. ЖЕНЩИНА В ЛАГЕРЕ

Да как же не думать было о них ещё на следствии? — ведь в соседних где–то камерах! в этой самой тюрьме, при этом самом режиме, невыносимое это следствие — им–то, слабым, как перенести?!

В коридорах беззвучно, не различишь их походки и шелеста платьев. Но вот бутырский надзиратель завозится с замком, оставит мужскую камеру полминуты перестоять в верхнем светлом коридоре вдоль окон — и вниз из–под намордника коридорного окна, в зелёном садике на уголке асфальта вдруг видим мы так же стоящих в колонне по двое, так же ожидающих, пока отопрут им дверь, — щиколотки и туфельки женщин! — только щиколотки и туфельки, да на высоких каблуках! — и это как вагнеровский удар оркестра в «Тристане и Изольде»! — мы ничего не можем углядеть выше, и уже надзиратель загоняет нас в камеру, мы бредём освещенные и омрачённые, мы пририсовали всё остальное, мы вообразили их небесными и умирающими от упадка духа. Как они? Как они!..

Но, кажется, им не тяжелее, а может быть и

легче. Из женских воспоминаний о следствии я пока не нашёл ничего, откуда бы заключить, что они больше нас бывали обескуражены или упали духом ниже. Врач–гинеколог Н.И. Зубов, сам отсидевший 10 лет и в лагерях постоянно лечивший и наблюдавший женщин, говорит, правда, что статистически женщина быстрее и ярче мужчины реагирует на арест и главный его результат— потерю семьи. Она душевно ранена, и это чаще всего сказывается на пресечении уязвимых женских функций.

А меня в женских воспоминаниях о следствии поражает именно: о каких «пустяках» с точки зрения арестантской (но отнюдь не женской) они могли там думать. Надя Суровцева, красивая и ещё молодая, надела впопыхах на допрос разные чулки, и вот в кабинете следователя её смущает, что допрашивающий поглядывает на её ноги. Да казалось бы и чёрт с ним, хрен ему на рыло, не в театр же она с ним пришла, к тому ж она едва ль не доктор (по–западному) философии и горячий политик, — а вот поди ж ты! Александра Острецова, сидевшая на Большой Лубянке в 1943, рассказывала мне потом в лагере, что они там часто шутили: то прятались под стол, и испуганный надзиратель входил искать недостающую;

то раскрашивались свёклой и так отправлялись на прогулку; то, уже вызванная на допрос, она увлечённо обсуждала с сокамерницами: идти ли сегодня одетой попроще или надеть вечернее платье? Правда, Острецова была тогда избалованная шалунья да и сидела–то с ней молоденькая Мира Уборевич.

Потом во дворе Красной Пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом свежеосуждённых, как и мы, женщин, и я с удивлением ясно увидел, что все они не так худы, не так истощены и бледны, как мы. Равная для всех тюремная пайка и тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не сдают так быстро от голода.

Но и для всех нас, а для женщины особенно, тюрьма— это только цветочки. Ягодки— лагерь. Именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись, переродясь, приспособиться.

В лагере, напротив, женщине всё тяжелее, чем нам. Начиная с лагерной нечистоты. (Предвидя это, Н.И.Постоева оттачивала в камере алюминиевую ложку, думаете — зарезаться? нет, косы обрезать. И обрезала.) Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не находит чистоты и в лагере. В среднем лагере в женской

рабочей бригаде и, значит, в общем бараке, ей почти никогда не возможно ощутить себя по–настоящему чистой, достать тёплой воды (иногда и никакой не достать: на 1–м Кривощёковском лагпункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только мёрзлая вода, и растопить негде). Никаким законным путём она не может достать ни марли, ни тряпки. Где уж там стирать!..

Баня? Ба! С бани и начинается первый приезд в лагерь, — если не считать выгрузки на снег из телячьего вагона и перехода с вещами на горбу среди конвоя и собак. В лагерной–то бане и разглядывают раздетых женщин как товар. Будет ли вода в бане или нет, но осмотр на вшивость, бритьё подмышек и лобков дают не последним аристократам зоны — парикмахерам— возможность рассмотреть новых баб. Тотчас же их будут рассматривать и остальные придурки — это традиция ещё соловецкая, только там, на заре Архипелага, была нетуземная стеснительность — и их рассматривали одетыми, во время подсобных работ. Но Архипелаг окаменел, и процедура стала наглей. Федот Сучков и его жена (таков был рок их соединиться) теперь со смехом вспоминают как придурки мужчины стали по двум сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин

пускали по этому коридору голыми, да не сразу всех, а по одной. Потом между придурками решалось, кто кого берёт. (По статистике 20–х годов, у нас сидела в заключении одна женщина на шесть–семь мужчин[293]. После Указов 30–х и 40–х годов соотношение это немного выравнялось, но не настолько, чтобы женщин не ценить, особенно привлекательных.) В иных лагерях процедура сохранялась вежливой: женщин доводят до их барака— и тут–то входят сытые, в новых телогрейках (нерваная и неизмазанная одежда в лагере уже сразу выглядит бешеным франтовством), уверенные и наглые придурки. Они не спеша прохаживаются между вагонками, выбирают. Подсаживаются, разговаривают. Приглашают сходить к ним в гости. А они живут не в общем барачном помещении, а в «кабинках» по несколько человек. У них там и электроплитка, и сковородка. Да у них жареная картошка! — мечта человечества! На первый раз просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы лагерной жизни. Нетерпеливые тут же после картошки требуют и уплаты, более сдержанные идут проводить и объясняют будущее.

---

[293] Примечания: 293

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 358.

Устраивайся, устраивайся, милая, в зоне, пока предлагают по–джентльменски. И чистота, и стирка, и приличная одежда, и неутомительная работа— всё твоё.

И в этом смысле считается, что женщине в лагере — «легче». Легче ей сохранить саму жизнь. Стой «половой ненавистью», с какой иные доходяги смотрят на женщин, не опустившихся до помойки, естественно рассудить, что женщине в лагере легче, раз она насыщается меньшей пайкой и раз есть у неё путь избежать голода и остаться в живых. Для исступлённо голодного весь мир заслонён крылами голода, и больше несть ничего в мире.

И правда, есть женщины, кто по натуре вообще и на воле легче сходится с мужчинами, без большого перебора. Таким, конечно, в лагере всегда открыты лёгкие пути. Личные особенности не раскладываются просто по статьям Уголовного кодекса, — однако вряд ли ошибёмся, сказав, что большинство Пятьдесят Восьмой составляют женщины не такие. Иным с начала и до конца этот шаг непереносимее смерти. Другие ёжатся, колеблются, смущены (да удерживает и стыд перед подругами), а когда решатся, когда смирятся— смотришь, поздно, они уже не идут в

лагерный спрос.

Потому что предлагают— не каждой.

Так ещё в первые сутки многие уступают. Слишком жестоко прочерчивается— и надежды ведь никакой. И этот выбор вместе с мужниными жёнами, с матерями семейств делают и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными.

А— нет? Что ж, смотри. Надевай штаны и бушлат. И бесформенным, толстым снаружи и хилым внутри существом бреди в лес. Ещё сама приползёшь, ещё кланяться будешь.

Если ты приехала в лагерь физически сохранённой и сде–лалаумный шаг в первые же дни, — ты надолго устроена в санчасть, в кухню, в бухгалтерию, в швейную или прачечную, и годы потекут безбедно, вполне похоже на волю. Случится этап— ты и на новое место приедешь вполне в расцвете, ты и там уже знаешь, как поступать с первых же дней. Один из самых удачных ходов — стать прислугой начальства. Когда среди нового этапа пришла в лагерь дородная холёная И.Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского командира, начальник УРЧа тотчас её высмотрел и дал почётное назначение мыть

полы в кабинете начальника. Так она мягко начала свой срок, вполне понимая, что это — удача.

Что с того, что кого–то на воле ты там любила и кому–то хотела быть верна! Какая корысть в верности мертвячки? «Выйдешь на волю — кому ты будешь нужна?» — вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь, стареешь, безрадостно и пусто пройдут последние женские годы. Не разумнее ли что–то спешить взять и от этой дикой жизни?

Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. «Здесь все так живут».

Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели.

Те, кто не уступили сразу, — или одумаются, или их заставят всё же уступить. Самой упорной, но если собой хороша, — сойдётся, сойдётся на клин — сдавайся!

Была у нас в лагерьке на Калужской заставе (в Москве) гордая девка М., лейтенант–снайпер, как царевна из сказки — губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы вороновым крылом[294].

И наметил купить её старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был и вообще от-

---

[294] Примечания: 294

Я представил её (в пьесе «Республика Труда») под именем Грани Зыбиной, но там придал ей лучшую судьбу чем у неё была.

вратителен на взгляд, а ей, при её упругой красоте, при её мужественной недавней жизни, — особенно. Он был корягой гнилой, она— стройным тополем. Но он обложил её так тесно, что ей не оставалось дохнуть. Он не только обрёк её общим работам (все придурки действовали слаженно и помогали ему в облаве), придиркам надзора (а на крючке у него был и надзорсостав) — но и грозил неминуемым худым далёким этапом. И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как М. прошла тенью от женского барака и с опущенной головой постучала в каптёрку алчного Бершаде–ра. После этого она хорошо была устроена в зоне.

М.Н., уже средних лет, на воле чертёжница, мать двоих детей, потерявшая мужа в тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале — и всё упорствовала, и была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы тащилась в хвосте колонны, и конвой подгонял её прикладами. Как–то осталась на день в зоне. Присыпался повар: приходи в кабинку, от пуза накормлю. Она пошла. Он поставил перед ней большую сковороду жареной картошки со свининой. Она всю съела. Но после расплаты её вырвало, — и так

пропала картошка. Ругался повар: «Подумаешь, принцесса!» А с тех пор постепенно привыкла. Как–то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама выбирала себе мужика на ночь.

А кто прождёт дольше — то самой ещё придётся плестись в общий мужской барак, уже не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно повторять: «Полкило… полкило…» И если избавитель пойдёт за нею с пайкой, то завесить свою вагонку с трёх сторон простынями и в этом шатре, шалаше (отсюда и «шалашовка») заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет надзиратель.

Вагонка, обвешанная от соседок тряпьём, — классическая лагерная картина. Но есть и гораздо проще. Это опять–таки Кривощёковский 1–й лагпункт, 1947–1949. (Нам известен такой, а сколько их?) На лагпункте— блатные, бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки— всё перемешано. Женский барак всего один — но на пятьсот человек. Он — неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен, в нём тяжёлый запах, вагонки— без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить — но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но

валили малолетки, мальчики по 12–13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья или времени — но вагонки не завешивались, и конечно никогда не тушился свет. Всё совершалось с природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины — и больше ничто. Привлекательность была проклятьем, у такой непрерывно сидели гости на койке, её постоянно окружали, её просили и ей угрожали побоями и ножом, — и не в том уже была её надежда, чтоб устоять, но — сдаться–то умело, но выбрать такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит её от остальных, от следующих, от этой жадной череды, и от этих обезумевших малолеток, растравленных всем, что они тут видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? и только ли малолетки растравлены? — а женщины, которые рядом изо дня в день всё это видят, но их самих не спрашивают мужчины, — ведь эти женщины тоже взрываются наконец в неуправляемом чувстве — и бросаются бить удачливых соседок.

И ещё по Кривощёковскому лагпункту быстро

разбегаются венерические болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет, и всё туда же, через тот же порог тянутся властители и просители. И только осмотрительные, вроде баяниста К., имеющего связи в санчасти, всякий раз для себя и для друзей сверяются с тайным списком венерических, чтобы не ошибиться.

А женщина на Колыме? Ведь там она и вовсе редкость, там она и вовсе нарасхват и наразрыв. Там не попадайся женщина на трассе — хоть конвоиру, хоть вольному, хоть заключённому. На Колыме родилось выражение трамвай для группового изнасилования. Е.Олицкая рассказывает, как шофёр проиграл в карты их— целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген, — и, свернув с дороги, завёз на ночь расконвоированным стройрабочим.

А— работа? Ещё в смешанной бригаде какая–то есть женщине потачка, какая–то работа полегче. Но если вся бригада женская, — тут уж пощады не будет, тут давай кубикиі А бывают сплошь женские целые лагпункты, уж тут женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот «29–я точка» Кар–лага— сколько ж в этой точке женщин? Ни много ни мало — шесть

тысяч![295] Кем же работать там женщине? Елена Орлова работает грузчиком — она таскает мешки по 80 и даже по 100 килограммов! — правда, наваливать на плечи ей помогают, да и в молодости она была гимнасткой. (Все свои 10 лет проработала грузчиком и Елена Прокофьевна Чеботарёва.)

На женских лагпунктах устанавливается не–женски жестокий общий нрав: вечный мат, вечный бой и озорство, иначе не проживёшь. (Но, замечает бесконвойный инженер Про–хоров–Пустовер, взятые с такой женской колонны в прислугу или на приличную работу женщины тут же оказываются тихими и трудолюбивыми. Он наблюдал такие колонны на БАМе, вторых сибирских путях, в 30–е годы. Вот картинка: в жаркий день триста женщин просили конвой разрешить им искупаться в обводнённом овраге. Конвой не разрешил. Тогда женщины с единодушием все разделись донага и легли загорать — возле самой магистрали, на виду у проходящих поездов. Пока шли поезда местные, советские, то была не беда,

[295] Примечания: 295

Это— к вопросу о численности зэков на Архипелаге. Кто знал эту «29–ю точку»? Последняя ли она в Карлаге? И по сколько людей на остальных точках? Умножай, кто досужен! А кто знает какой–нибудь 5–й строй-участок Рыбинского гидроузла? А между тем там больше ста бараков, и при самом льготном наполнении, по полтысячи на барак, — тут тоже тысячёнок шесть найдётся, Лощилин же вспоминает— было больше десяти тысяч.

но ожидался международный экспресс, и в нём иностранцы. Женщины не поддавались командам одеться. Тогда вызвали пожарную машину и спугнули их брандспойтом.)

Вот женская работа в Кривощёкове. На кирпичном заводе, окончив разрабатывать участок карьера, обрушивают туда перекрытие (его перед разработкой стелят по поверхности земли). Теперь надо поднять метров на 10–12 тяжёлые сырые брёвна из большой ямы. Как это сделать? Читатель скажет: механизировать. Конечно. Женская бригада набрасывает два каната (их серединами) на два конца бревна и двумя рядами бурлаков (равняясь, чтобы не вывалить бревно и не начинать сначала) вытягивают одну сторону каждого каната и так — бревно. А потом они вдвадцатером берут одно такое бревно на плечи и под командный мат отъявленной своей бригадирши несут бревни–ще на новое место и сваливают там. Вы скажете — трактор? Да помилуйте, откуда трактор, если это 1948 год? Вы скажете — кран? А вы забыли Вышинского — «труд–чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев»? Если кран — так как же с чародеем? Если кран — эти женщины так и погрязнут в ничтожестве.

Тело истощается на такую работу, и всё, что в женщине есть женское, постоянное или в месяц раз, перестаёт быть. Если она дотянет до ближней комиссовки, то разденется перед врачами уже совсем не та, на которую облизывались придурки в банном коридоре: она стала безвозрастна; плечи её выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками; избыточные складки кожи морщатся на плоских ягодицах, над коленями так мало плоти, что образовался просвет, куда овечья голова пройдёт и даже футбольный мяч; голос погрубел, охрип, а на лицо уже находит загар пеллагры. (А за несколько месяцев лесоповала, говорит гинеколог, опущение и выпадение более важного органа.)

Труд–чародей!..

Ничто не равно в жизни вообще, а в лагере тем более. И на производстве выпадало не всем одинаково безнадёжно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и вижу девятнадцатилетнюю Напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю деревенскую щеку. В лагерьке на Калужской заставе она была крановщицей на башенном кране. Как обезьяна лазила к себе на кран, иногда без надобности и на стрелу, оттуда всему строительству кричала «хо–го–о–о!», из кабины перекрикивалась с вольным

прорабом, с десятниками, телефона у неё не было. Всё ей было как будто забавно, весело, лагерь не в лагерь, хоть в комсомол вступай. С каким–то нелагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда было выписано 140%, самая высокая в лагере пайка, и никакой враг ей не был страшен (ну, кроме кума) — её прораб не дал бы в обиду. Одного только не знаю: как ей удалось в лагере обучиться на крановщицу? — бескорыстно ли её сюда приняли? Впрочем, она сидела по безобидной бытовой статье. Силы так и пыше–ли из неё, а завоёванное положение позволяло ей любить не по нужде, а по влечению сердца.

Так же описывает своё состояние и Сачкова, посаженная в 19 лет. Она попала в сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. «С песней я бегала от жатки к жатке, училась вязать снопы». Если нет другой молодости, кроме лагерной, — значит, надо веселиться здесь, а где же? Потом её привезли в тундру под Норильск, так и он ей «показался каким–то сказочным городом, приснившимся в детстве». Отбыв срок, она осталась там вольнонаёмной. «Помню, я шла в пургу, и у меня появилось какое–то задорное настроение, я шла, размахивая руками, борясь с пургой, пела «легко на сердце от песни весёлой»,

глядела на переливающиеся занавеси Северного сияния, бросалась на снег и смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск: что не меня пять лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары и конвой. Хотелось любить! Хотелось что–нибудь сделать для людей, чтобы больше не было зла на земле».

Ну, да это многим хотелось.

Освободить нас ото зла Сачковой всё–таки не удалось: лагеря стоят. Но самой ей повезло: ведь не пяти лет, а пяти недель довольно, чтоб уничтожить и женщину и человека.

Вот эти два случая у меня только и стоят против тысяч безрадостных или бессовестных.

А конечно, где ж, как не в лагере, пережить тебе первую любовь, если посадили тебя (по политической статье!) пятнадцати лет, восьмиклассницей, как Нину Перегуд? Как не полюбить джазиста–красавца Василия Козьмина, которым ещё недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он казался тебе недоступен? И Нина пишет стих «Ветка белой сирени», а он кладёт на музыку и поёт ей через зону (их уже разделили, он снова недоступен).

Девочки из кривощёковского барака тоже носили цветочки, вколотые в волоса, — признак,

что — в лагерном браке, но может быть — ив любви?

Законодательство внешнее (вне ГУЛАГа) как будто способствовало лагерной любви. Всесоюзный Указ от 8.7.1944 об укреплении брачных уз сопровождался негласным Постановлением СНК и инструкцией НКЮ от 27.11.1944, где говорилось, что суд обязан по первому желанию вольного советского человека беспрекословно расторгать его с половиной, оказавшейся в заключении (или в сумасшедшем доме), и поощрить даже тем, что освободить от платы сумм при выдаче разводного свидетельства. (И никто при этом законодательно не обязывался сообщать той, другой, половине о произошедшем разводе!) Тем самым гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключённых мужей и жён, а заключённые — забывать поглуше о супружестве. Уже не только глупо и несоциа–листично, но становилось противозаконно женщине тосковать по отлучённому мужу, если он остался на воле. (У Зои Якушевой, севшей за мужа как ЧС, получилось так: года через три мужа освободили как важного специалиста, и он не поставил непременным условием освобождение жены. Все свои восемь она и оттянула за него…)

Забывать о супружестве, да, но инструкции внутри ГУ–ЛАГа осуждали и любовный разгул как диверсию против производственного плана. Ведь, разбредясь по производству, эти бессовестные женщины, забывшие свой долг перед государством и Архипелагом, готовы были лечь на спину где угодно — на сырой земле, на дровяной щепе, на щебёнке, на шлаке, на железных стружках— а план срывался! а пятилетка топталась на месте! а премии гулаговским начальникам не шли! Кроме того, некоторые из зэчек таили гнусный замысел забеременеть, и под эту беременность, пользуясь гуманностью наших законов, урвать несколько месяцев из своего срока, иногда короткого пятилетнего или трёхлетнего, и эти месяцы не работать. Потому инструкции ГУЛАГа требовали: уличённых в сожительстве немедленно разлучать и менее ценного из них отсылать этапом. (Это, конечно, ничуть не напоминало Салтычих, отсылавших девок в дальние деревни.)

Досадчива была вся эта подбушлатная лирика и надзору. Ночами, когда гражданин надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должен был ходить с фонарём и ловить этих голоногих баб в койках мужского барака и мужиков в бараках женских. Не говоря уже о возможных собствен-

ных вожделениях (ведь и гражданин надзиратель тоже не каменный), он должен был ещё трудиться отводить виновную в карцер или целую ночь увещевать её, объясняя, чем её поведение дурно, а потом и писать докладные (что при отсутствии высшего образования даже мучительно).

Ограбленные во всём, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь, — в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и может быть интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом, голодом, за–бытостью и зверством, — к чему ж ещё могли повернуться лагерницы, если не к любви? Благословением Божьим возникала любовь почти уже не плотская, потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и мужчина не всегда в силе, да и лагерный надзор изо всякой заначки (уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь женщины, ещё глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от бесплотности она становилась острее, чем на воле! Уже пожилые женщины ночами не спали от случайной улыбки, от мимолётного внимания. И так резко выделялся свет любви на грязно–мрачном лагерном существовании!

«Заговор счастья» видела Н. Столярова на ли-

це своей подруги, московской артистки, и её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, что никто никогда не любил её так— ни муж–кинорежиссёр, ни все бывшие поклонники. И только из–за этого не уходила с сеновозки, с общих работ.

Да ещё этот риск— почти военный, почти смертельный: за одно раскрытое свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, где так глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен жертвами, — ведь героическая любовь! (Аня Лехтонен в Ортау разлюбила своего возлюбленного за те двадцать минут, что стрелок вёл их в карцер, а тот униженно умолял отпустить.) Кто–то шёл содержанками придурков без любви — чтобы спастись, а кто–то шёл на общие и гиб — за любовь.

И совсем немолодые женщины оказывались тоже в этом замешаны, даже ставя надзирателей в тупик: на воле на такую женщину никак не подумал бы! А женщины эти не страсти уже искали, а насытить свою потребность о ком–то позаботиться, кого–то согреть, от себя урезать, а его подкормить, обстирать его и обштопать. Их общая миска, из которой они питались, была

их священным обручальным кольцом. «Мне не спать с ним надо, а в звериной нашей жизни, как в бараке целый день за пайки и за тряпки ругаемся, про себя думаешь: сегодня ему рубашку починить, да картошку сварим», — объясняла одна доктору Зубову. Но мужик–то временами хочет и большего, приходится уступать, а надзор как раз и ловит… Так в Унжлаге больничную прачку тётю Полю, рано овдовевшую, потом всю жизнь одинокую, прислуживавшую в церкви, нашли ночью с мужчиной уже в конце её лагерного срока. «Как же это, тётя Поля? — ахали врачи. — А мы–то на тебя надеялись! А теперь тебя на общие пошлют». — «Да уж виновата, — сокрушённо кивала старушка. — По–евангельски блудница, а по–лагерному …».

Но и в наказании уличённых любовников, как и во всём строе ГУЛАГа, не было беспристрастия. Если один из любовников был придурок, близкий начальству или очень нужный по работе, то на связь его могли и годами смотреть сквозь пальцы. (Когда на ОЛП женской больницы Унжлага приезжал бесконвойный электромонтёр, в услугах которого были заинтересованы все вольняшки, — главврач, вольная, вызывала сестру–хозяйку, зэчку, и распоряжалась: «Создайте

условия Мусе

Бутенко» — медсестре, из–за которой монтёр и приезжал.) Если же это были зэки незначительные или опальные, они наказывались быстро и жестоко.

В Монголии, в Гулжедээсовском лагере (наши зэки строили там дорогу в 1947–50 годах), двух расконвоированных девушек, пойманных на том, что бегали к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к лошади и, сидя верхом, прогнал их по степи[296]. Такого и Салтычихи не делали. Но делали Соловки.

Всегда преследуемые, уличаемые и рассылаемые, туземные пары как будто не могли быть прочны. А между тем известны случаи, что и разлучённые они поддерживали переписку, а после освобождения соединялись. Известен такой случай: один врач, Б.Я.Ш., доцент провинциального мединститута, влаге–ре потерял счёт своим связям, — не пропущена была ни одна медсестра, и сверх того. Но вот в этом ряду попалась З., и ряд остановился. З. не прервала беременности, родила. Б.Ш. вскоре освободился и, не имея огра-

---

[296] Примечания: 296

Кто отыщет теперь его фамилию? И его самого? Да скажи ему— он поразится: он–то в чём виноват? Ему сказали так! А пусть не ходят к мужикам, сучки!..

ничений, мог ехать в свой город. Но он остался вольнонаёмным при лагере, чтобы быть близко к З. и к ребёнку. Потерявшая терпение его жена приехала за ним сама сюда. Тогда он спрятался от неё в зону (где жена не могла его достичь), жил там с З., а жене всячески передавал, что он развёлся с ней, чтоб она уезжала.

Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов. Архипелаг настолько вывороченная земля, что на ней мужчину и женщину разъединяет то, что должно крепче всего их соединить: рождение ребёнка. За месяц до родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная больница с родильным отделением и где резвые голосёнки кричат, что не хотят быть зэками за грехи родителей. После родов мать отправляют на особый ближний лагпункт мамок.

Тут надо прерваться. Тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в этом слове! «Мы — не настоящие!..» Язык зэков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижительных суффиксов: не мать, а мамка; не больница, а больничка; не свидание, а свиданка; не помилование, а помиловка; не вольный, а вольняшка; не жениться, а подженииться — та же насмешка, хоть и не в суффиксе. И даже четвертная (двадцатипятилет-

ний срок) снижается до четвертака, то есть от двадцати пяти рублей до двадцати пяти копеек.

Этим настойчивым уклоном языка зэки показывают и что на Архипелаге всё не настоящее, всё поддельное, всё последнего сорта. И что сами они не дорожат тем, чем дорожат обычные люди, они отдают себе отчёт и в поддельности лечения, которое им дают, и в поддельности просьб о помиловании, которые они вынужденно и без веры пишут. И снижением до двадцати пяти копеек зэк хочет показать своё превосходство даже над почти пожизненным сроком!

Так вот на своём лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребёнок в это время находится уже не в больнице, а в «детгородке» или «доме малютки», как это в разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают свиданий с ними — или в виде исключения «при образцовой работе и дисциплине» (ну да смысл в том, что не держать же матерей из–за этого под боком, их надо отправлять работать туда, куда требует производство). Но и на старый лагпункт, к своему лагерному «мужу», женщина тоже уже не вернётся чаще всего. И отец вообще не увидит своего ребёнка,

пока он в лагере. Дети же в детгородке после отъёма от груди ещё содержатся с год, иногда дольше (их питают по нормам вольных детей, и поэтому лагерный медперсонал и хозобслуга кормится вокруг них). Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию, умирают. Детей выживших отправляют через год в общий детдом. Так сын туземки и туземца пока уходит с Архипелага, не без надежды вернуться сюда малолеткой.

Кто следил за этим, говорят, что не часто мать после освобождения берёт своего ребёнка из детдома (блатнячки — никогда), — так проклятыми многие из этих детей, захватившие первым вздохом маленьких лёгких заразного воздуха Архипелага. Другие — берут или даже ещё раньше присылают за ним каких–то тёмных (вероятно, религиозных) бабушек. В ущерб казённому воспитанию и невозвратно потеряв деньги на родильный дом, на отпуск матери и на дом малютки, ГУЛАГ отпускает этих детей.

Все те годы, предвоенные и военные, когда беременность разлучала лагерных супругов, нарушала этот трудно найденный, усильно скрываемый, отовсюду угрожаемый и без того неустойчивый союз, — женщины старались не

иметь детей. И опять–таки Архипелаг не был похож на волю: в годы, когда на воле аборты были запрещены, преследовались судом, очень не легко давались женщинам, — здесь лагерное начальство снисходительно смотрело на аборты, то и дело совершаемые в больнице: ведь так было лучше для лагеря.

И без того иной женщине трудные, ещё запутаннее для лагерницы эти исходы: рожать или не рожать? и что потом с ребёнком? Если допустила изменчивая лагерная судьба забеременеть от любимого, то как же можно решиться на аборт? А родить? — это верная разлука сейчас, а он по твоему отъезду не сойдётся ли на том же лагпункте с другой? И какой ещё будет ребёнок? (Из–за дистрофии родителей он часто неполноценен.) И когда ты перестанешь кормить, и тебя отошлют (а ещё много лет сидеть), — то доглядят ли его, не погубят? И можно ли взять ребёнка в свою семью (для некоторых исключено)? А если не брать — то всю жизнь потом мучиться (для некоторых— нисколько).

Шли уверенно на материнство те, кто рассчитывали после освобождения соединиться с отцом своего ребёнка. И расчёты эти иногда оправдывались. Отбухав свои сроки, родители соединялись

в настоящую семью. Шли на материнство и те, кто само это материнство рвались испытать— в лагере, раз нет другой жизни. (Харбинка Ляля рожала второго ребёнка только для того, чтобы вернуться в детгородок и посмотреть на своего первого! И ещё потом третьего рожала, чтобы вернуться посмотреть на первых двух. Отбыв пятёрку, она сумела всех трёх сохранить и с ними освободилась.) Сами безвозвратно униженные, лагерные женщины через материнство утверждались в своём достоинстве, они на короткое время как бы равнялись вольным женщинам. Или: «Пусть я заключённая, но ребёнок мой вольный!» — и ревниво требовали для ребёнка содержания и ухода как для подлинно вольного. Третьи, обычно из прожжённых лагерниц и из приблатнённых, смотрели на материнство как на год кантовки, иногда — как путь к досрочке. Своего ребёнка они и своим не считали, не хотели его и видеть, не узнавали даже — жив ли он.

Матери из захидниц (западных украинок) непременно, а из русских неинтеллигентных иногда — норовили крестить своих детей (это уже послевоенные годы). Крестик либо присылался искусно запрятанным в посылке (надзор бы не пропустил такой контрреволюции), либо

заказывался за хлеб лагерному умельцу. Доставали и ленточку для креста, шили и парадную распашонку, чепчик. Экономился сахар из пайки, пёкся из чего–то крохотный пирог — и приглашались ближайшие подружки. Всегда находилась женщина, которая прочитывала молитву, ребёнка окунали в тёплую воду, крестили, и сияющая мать приглашала к столу.

Иногда для мамок с грудными детьми (только, конечно, не для Пятьдесят Восьмой) выходили частные амнистии или просто распоряжения о досрочном освобождении. Чаще всего под эти распоряжения попадали мелкие уголовницы и приблатнён–ные, которые на эти–то льготы отчасти и рассчитывали. И как только такие мамки получали в ближайшем райцентре паспорт и железнодорожный билет, — своего ребёнка, уже не ставшего нужным, они частенько оставляли на вокзальной скамье, на первом крыльце. (Да надо и представить, что не всех ждало жильё, сочувственная встреча в милиции, прописка, работа, а на следующее утро уже ведь не ожидалось готовой лагерной пайки. Без ребёнка было легче начинать жить.)

В 1954 году на ташкентском вокзале мне пришлось провести ночь недалеко от группы зэков,

ехавших из лагеря и освобождённых по каким–то частным распоряжениям. Их было десятка три, они занимали целый угол зала, вели себя шумно, с полублатной развязностью, как истые дети ГУЛАГа, знающие, почём жизнь, и презирающие здесь всех вольных. Мужчины играли в карты, а мамки о чем–то голосисто спорили— и вдруг одна мамка крикнула истошней других, вскочила, размахнула своего ребёнка за ноги и слышно стукнула его головой о каменный пол. Весь вольный зал ахнул, застонал: мать! как может мать?

...Они не понимали же, что была то не мать, а.мамка.

* * *

Всё сказанное до сих пор относится к совместным лагерям, смешанным по полу, — к таким, какими они были от первых лет революции и до конца Второй Мировой войны. В те годы был в РСФСР только один, кажется, Новинский домзак (бывшая московская женская тюрьма), где содержались женщины без мужчин. Опыт этот не получил распространения и сам не длился слишком долго.

Но благополучно восстав из–под развалин войны, которую он едва не загубил, Учитель и

Зиждитель задумался о благе своих подданных. Его мысли освободились для упорядочения их жизни, и много он изобрёл тогда полезного, много нравственного, а среди этого — разделение пола мужеского и пола женского, сперва в школах и лагерях (а там дальше, может, хотел добраться и до всей воли).

И в 1946 году на Архипелаге началось, а в 1948 закончилось великое полное отделение женщин от мужчин. Рассылали их по разным островам, а на едином острове тянули между мужской и женской зонами испытанного дружка — колючую проволочку[297].

Но как и другие многие научно предсказанные и научно продуманные действия, эта мера имела последствия неожиданные и даже противоположные.

С отделением женщин резко ухудшилось их общее положение в производстве. Раньше многие женщины работали прачками, санитарками, поварихами, кубовщицами, каптёрщи–цами, счетоводами на смешанных лагпунктах, теперь все эти места они должны были освободить, в

[297] Примечания: 297

Уже многие начинания Корифея не признаны столь совершенными и даже отменены— а разделение полов на Архипелаге закостенело и по сей день. Ибо здесь основание — глубоко нравственное.

женских же лагпунктах таких мест было гораздо меньше. И женщин погнали на общие, погнали в цельноженских бригадах, где им особенно тяжело. Вырваться с общих хотя бы на время стало спасением жизни. И женщины стали гоняться за беременностью, стали ловить её от любой мимолётной встречи, любого касания. Беременность не грозила теперь разлукой с супругом, как раньше, — все разлуки уже были ниспосланы одним Мудрым Указом.

И вот число детей, поступающих в дом малютки (Унжлаг, 1948), за год возросло вдвоеi — 300 вместо 150, хотя заключённых женщин за это время не прибавилось.

«Как же девочку назовёшь?» — «Олимпиадой. Я на олимпиаде самодеятельности забеременела». Ещё по инерции оставались эти формы культработы — олимпиады, приезды мужской культбригады на женский лагпункт, совместные слёты ударников. Ещё сохранились и общие больницы—тоже дом свиданий теперь. Говорят, в Соликамском лагере в 1946 разделительная проволока была на однорядных столбах, редкими нитями (и конечно, не имела огневого охранения). Так ненасытные туземцы сбивались к этой проволоке с двух сторон, женщины становились

так, как моют полы, и мужчины овладевали ими, не переступая запретной черты.

Ведь чего–то же стоит и бессмертный Эрос! Не один же разумный расчёт избавиться от общих. Чувствовали зэки, что кладётся черта надолго, и будет она каменеть, как всё в ГУЛАГе.

Если до разделения было дружеское сожительство, лагерный брак и даже любовь, — то теперь стал откровенный блуд.

Разумеется, не дремало и начальство и на ходу исправляло своё научное предвидение. К однорядной колючей проволоке пристраивали предзонники с двух сторон. Затем, признав преграды недостаточными, заменяли их забором двухметровой высоты — и тоже с предзонниками.

В Кенгире не помогла и такая стена: женихи перепрыгивали. Тогда по воскресеньям (нельзя же на это тратить производственное время; да и естественно, что устройством своего быта люди занимаются в выходные дни) стали назначать с обеих сторон стены воскресники — и заставили докладывать стену до четырёхметровой высоты. И вот усмешка: на эти воскресники действительно шли с радостью! — перед прощанием хоть познакомиться с кем–то по ту сторону стены,

поговорить, условиться о переписке!

Потом в Кенгире достроили разделительную стену до пяти метров, и уже сверх пяти метров потянули колючую проволоку. Потом ещё пустили провод высокого напряжения (до чего же силён амур проклятый!). Наконец поставили и охранные вышки по краям. У этой кенгирской стены была особая судьба в истории всего Архипелага (см. Часть Пятая, глава 12). Но и в других Особлагерях (Спасск) строили подобное.

Надо представить себе эту разумную методичность работодателей, которые считают вполне естественным разделение проволокой рабов и рабынь, но изумились бы, если б им предложили сделать то же со своей семьёй.

Стены росли— и Эрос метался. Не находя других сфер, он уходил или слишком высоко — в платоническую переписку, или слишком низко — в однополую любовь.

Записки перешвыривались через зону, оставлялись на заводе в уговорных местах. На пакетиках писались и адреса условные: так, чтобы надзиратель, перехватив, не мог бы понять — от кого кому. (За переписку теперь полагалась лагерная тюрьма.)

Галя Бенедиктова вспоминает, что иногда и

знакомились–то заочно; переписывались, друг друга не увидав; и расставались, не увидав. (Кто вёл такую переписку знает и её отчаянную сладость, и безнадёжность, и слепоту.) В том же Кенгире литовки выходили замуж через стену за земляков, никогда прежде их не знав: ксёндз (в таком же бушлате, конечно, из заключённых) свидетельствовал письменно, что такая–то и такой–то навеки соединены перед небом. В этом соединении с незнакомым узником за стеной — а для католичек соединение было необратимо и священно — мне слышится хор ангелов. Это — как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века расчёта и подпрыгивающего джаза.

Кенгирские браки имели тоже исход необычный. Небеса прислушались к молитвам и вмешались (Часть Пятая, глава 12).

Сами женщины (и врачи, лечившие их в разделённых зонах) подтверждают, что они переносили разделение хуже мужчин. Они были особенно возбудимы и нервны. Быстро развивалась лесбийская любовь. Нежные и юные ходили пожелтевшие, с подглазными тёмными кругами. Женщины более грубого устройства становились «мужьями». Как надзор ни разгонял такие пары,

они оказывались снова вместе на койке. Отсылали с лагпункта теперь кого–то из этих «супругов». Вспыхивали бурные драмы с самобросанием на колючую проволоку под выстрелы часовых.

В карагандинском отделении Степлага, где собраны были женщины только из Пятьдесят Восьмой, они многие, рассказывает Н.В., ожидали вызова к оперу с замиранием — не с замиранием страха или ненависти к подлому политическому допросу, а с замиранием перед этим мужчиной, который запрёт её одну в комнате с собою на замок.

Отделённые женские лагеря несли всю ту же тяжесть общих работ. Правда, в 1951 женский лесоповал был формально запрещён (вряд ли потому, что началась вторая половина XX века). Но, например, в Унжлаге мужские лагпункты никак не выполняли плана. И тогда придумано было, как подстегнуть их, — как заставить туземцев своим трудом оплатить то, что бесплатно отпущено всему живому на земле. Женщин стали тоже выгонять на лесоповал и в одно общее конвойное оцепление с мужчинами, только лыжня разделяла их. Всё заготовленное здесь должно было потом записываться как выработка мужского лагпункта, но норма требовалась и от мужчин и

от женщин. Любе Березиной, «мастеру леса», так и говорил начальник с двумя просветами в погонах: «Выполнишь норму своими бабами— будет Беленький с тобой в кабинке!»

Но теперь и мужики–работяги, кто покрепче, а особенно производственные придурки, имевшие деньги, совали их конвоирам (у тех тоже зарплата не разгуляешься) и часа на полтора (до смены купленного постового) прорывались в женское оцепление.

В заснеженном морозном лесу за эти полтора часа предстояло: выбрать, познакомиться (если до тех пор не переписывался), найти место и совершить.

Но зачем это всё вспоминать? Зачем бередить раны тех, кто жил в это время в Москве и на даче, писал в газетах, выступал с трибун, ездил на курорты и за границу?

Зачем вспоминать об этом, если и сегодня всё так? Ведь писать можно только о том, что «не повторится»…

Глава 9. ПРИДУРКИ

Одно из первых туземных понятий, которое узнаёт приехавший в лагерь новичок, это — придурок. Так грубо назвали туземцы тех, кто сумел не разделить общей обречённой участи: или же ушёл с общих, или не попал на них.

Придурков немало на Архипелаге. Ограниченные в жилой зоне строгим процентом по учётной группе «Б», а на производстве штатным расписанием, они, однако, всегда перехлёстывают за этот процент: отчасти из–за слишком большого напора желающих спастись, отчасти из–за бездарности лагерного начальства, не умеющего вести хозяйство и управление малым числом рук.

По статистике НКЮ 1933 года, обслуживанием мест лишения свободы, включая хозработы, вместе, правда, с самоокара–уливанием, занимались тогда 22% от общего числа туземцев. Если мы эту цифру и снизим до 17–18% (без самоохраны), то всё–таки будет одна шестая часть. Уже видно, что в этой главе речь пойдёт об очень значительном лагерном явлении. Но придурков много больше, чем одна шестая: ведь здесь подсчитаны только

зонные придурки, а ещё есть производственные, и потом ведь состав придурков текуч, и за свою лагерную жизнь через положение придурка пройдёт, очевидно, больше. А самое главное: среди выживших, среди освободившихся придурки составляют очень вескую долю, среди выживших долгосрочников из Пятьдесят Восьмой — мне кажется — девять десятых.

Почти каждый зэк–долгосрочник, которого вы поздравляете с тем, что он выжил, — и есть придурок. Или был им большую часть срока.

Потому что лагеря— истребительные, этого не надо забывать.

Всякая житейская классификация не имеет резких границ, а переходы все постепенны. Так и тут: края размыты. Вообще каждый, не выходящий из жилой зоны на рабочий день, может считаться зонным придурком. Рабочему хоздвора уже живётся значительно легче, чем работяге общему: ему не становиться на развод, значит, можно позже подниматься и завтракать; у него нет проходки под конвоем до рабочего объекта и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы, к тому ж и кончается его рабочий день раньше, его работы или в тепле, или обогревалка ему всегда доступна. Затем его

работа— обычно не бригадная, а— отдельная работа мастера, значит, понуканий ему не слышать от товарищей, а только от начальства. Атак как он частенько делает что–либо по личному заказу этого начальства, то вместо понуканий ему даже достаются подачки, поблажки, разрешение в первую очередь обуться–одеться. Имеет он и хорошую возможность подработать по заказам от других зэков. Чтобы было понятнее: хоздвор— это как бы рабочая часть дворни. Если среди неё слесарь, столяр, печник — ещё не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более портной— это уже придурки высокого класса. «Портной» звучит и значит в лагере примерно то же, что на воле — «доцент». (Наоборот, истинный «доцент» звучит издевательски, лучше не делать себя посмешищем и не называться. Лагерная шкала значений специальностей совершенно обрат–на вольной шкале.)

Прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков— тоже придурки, но низшего класса. Им приходится работать руками и иногда немало. Все они, впрочем, сыты.

Истые зонные придурки — это: повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, фельдшеры, парикма-

херы, «воспитатели» КВЧ, заведующий баней, заведующий пекарней, заведующие каптёрками, заведующий посылочной, старшие бараков, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, писаря штабного барака, инженеры зоны и хоздвора. Эти все не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъёма тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и, значит, власть над людьми. Иногда они борются группа против группы, ведут интриги, свергают друг друга и возносят, ссорятся из–за «баб», но чаще живут в совместной круговой обороне против черни, ублаготворённою верхушкой, которой нечего делить, ибо всё единожды разделено, и каждый на кругах своих. И тем сильней в лагере эта клика зонных придурков, чем больше полагается на неё начальник, сам устраняясь от забот.

Все судьбы прибывающих и отправляемых на этап, все судьбы простых работяг решаются этими придурками.

По обычной кастовой отграниченности человеческого рода придуркам очень скоро становится неудобным спать с простыми работягами в одном бараке, на общей вагонке, и вообще даже на вагонке, а не на кровати, есть за одним столом,

раздеваться в одной бане, надевать то бельё, в котором потел и которое изорвал работяга. И вот придурки уединяются в небольших комнатах по 2, 4, 8 человек, там едят нечто избранное, добавляют нечто незаконное, там обсуждают все лагерные назначения и дела, судьбы людей и бригад, не рискуя нарваться на оскорбление от работяги или бригадира. Они отдельно проводят досуг (у них есть досуг), им по отдельному кругу меняют бельё («индивидуальное»). По тому же кастовому неразумию они стараются и в одежде отличиться от лагерной массы, но возможности эти малы. Если в данном лагере преобладают чёрные телогрейки или куртки, — они стараются получить из каптёрки синие, если же преобладают синие, — то надевают чёрные. Ещё — расклёшивают в портняжной вставленными треугольниками узкие лагерные брюки.

Придурки производственные — это инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики, и ещё бухгалтеры, секретарши, машинистки. От зонных придурков они отличаются тем, что строятся на развод, идут в конвоируемой колонне (иногда, впрочем, бесконвойны). Но положение их на производстве— льготное, не требует от них физических

испытаний, не изнуряет их. Напротив, от них от многих зависит труд, питание, жизнь работяг. Хоть и менее связанные с жилой зоной, они стараются и там отстоять своё положение и получить значительную часть тех же льгот, что и придурки зонные, хотя сравняться с ними им не удаётся никогда.

Нет точных границ и здесь. Сюда входят и конструкторы, технологи, геодезисты, мотористы, дежурные по механизмам. Это уже — не «командиры производства», они не разделяют губительной власти, и на них не лежит ответственность за гибель людей (в той мере, в какой эту гибель не вызывает избранная или обслуживаемая ими технология производства). Это просто— интеллигентные или даже полуобразованные работяги. Как и всякий зэк на работе, они темнят, обманывают начальство, стараются растянуть на неделю то, что можно сделать за полдня. Обычно в лагере они живут почти как работяги, часто состоят и в рабочих бригадах, лишь в производственной зоне у них тепло и покойно, и там–то в рабочих кабинетах и кабинках, оставшись без вольных, они отодвигают казённую работу и толкуют о житье–бытье, о сроках, о прошлом и будущем, больше же всего — о слухах,

что Пятьдесят Восьмую (а они чаще всего набраны из Пятьдесят Восьмой) скоро будут снимать на общие.

К этому тоже есть глубокое единственно научное обоснование: ведь социально–чуждых почти невозможно исправить, так закоренели они в своей классовой испорченности. Большинство из них может исправить только могила. Если же какое–то меньшинство всё–таки поддаётся исправлению — то только, конечно, трудом, и трудом физическим, тяжёлым (заменяющим собой машины), тем трудом, который унизил бы лагерного офицера или надзирателя, но который тем не менее создал когда–то человека из обезьяны (а в лагере необъяснимо превращает его в обезьяну вновь). Так вот почему— не из мести совсем, а только в слабой надежде на исправление Пятьдесят Восьмой — и указано в гулаговских инструкциях строго (и указание это постоянно возобновляется), что лица, осуждённые по 58–й, не могут занимать никаких привилегированных постов ни в жилой зоне, ни на производстве. (Занимать посты, связанные с материальными ценностями, могут только те, кто на воле уже отличился в хищениях.) И так бы оно и было — неужели ж лагерные начальники

любят Пятьдесят Восьмую! — но знают они: по всем другим статьям вместе нет и пятой доли таких специалистов, как по 58–й. Врачи и инженеры— почти сплошь Пятьдесят Восьмая, а и просто–то честных людей и работников лучше Пятьдесят Восьмой нет и среди вольных. И вот, в скрываемой оппозиции к Единственно–Научной Теории, работодатели начинают исподволь расставлять Пятьдесят Восьмую на придурочьи места (впрочем, самые злачные всегда остаются у бытовиков, с кем легче и начальству столковаться, а слишком большая честность даже мешала бы). Они расставляют их, но при каждом обновлении инструкции (а инструкции всё обновляются), перед приездом каждой проверочной комиссии (а они всё приезжают) — Пятьдесят Восьмую без колебания и без сожаления, одним взмахом белой руки начальника гонят на общие. Месяцами кропотливо–состроенное промежуточное благополучие разлетается вдребезги в один день. Но не так сам этот выгон губителен, как истачивают, измождают придуроч–ных политических— вечные слухи о его приближении. Слухи эти отравляют всё существование придурка. Только бытовики могут наслаждаться придурочьим положением безмятежно. (Впрочем, минует комиссия, а рабо-

та потихоньку разваливается, и инженеров опять полегоньку вытаскивают на придурочьи места, чтобы погнать при следующей комиссии.)

А ещё есть не просто Пятьдесят Восьмая, но клеймённая на тюремном деле особым проклятием из Москвы: «использовать только на общих работах». Многие колымчане в 1938 имели такое клеймо. Устроиться прачкой или сушильщиком валенок была для них мечта недосягаемая.

Как это написано в «Коммунистическом Манифесте»? — «Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почётными и на которые смотрели с благоговейным трепетом» (довольно похоже). «Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наёмных работников». Да ведь хоть—платных! да ведь хоть оставила «по специальности» работать! А если на общие? на лесоповал? и— бесплатно! и— бесхлебно!.. Правда, врачей снимали на общие редко: они лечили ведь и семьи начальников. Ауж «юристов, священников, поэтов и людей науки» сгнаивали только на общих, в придурках им делать было нечего.

Особое положение в лагере занимают бригадиры. Они по–лагерному не считаются придурками,

но и работягами их не назовёшь. И поэтому тоже относятся к ним рассуждения этой главы.

* * *

Как в бою, в лагерной жизни бывает некогда рассуждать: подворачивается должность придурка — и её хватаешь.

Но прошли годы и десятилетия, мы выжили, наши сотоварищи погибли. Изумлённым вольняшкам и равнодушным наследникам мы начинаем понемногу приоткрывать наш тамошний мир, почти не имеющий в себе ничего человеческого, — и при свете человеческой совести должны его оценить.

И один из главных моральных вопросов здесь — о придурках.

Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря (как только солдат пехоты может взвесить всю гирю войны, — но почему–то мемуары пишет не он). Этот выбор героя и некоторые резкие высказывания в повести озадачили и оскорбили иных бывших придурков, — а выжили, как я уже сказал, на девять десятых именно придурки. Тут появились и «записки придурка» (Дьяков — «Записки

о пережитом»), самодовольно утверждавшие изворотливость по самоустраиванию, хитрость выжить во что бы то ни стало. (Именно такая книга и должна была появиться ещё раньше моей.)

В те короткие месяцы, когда казалось возможным порассуждать, вспыхнула некоторая дискуссия о придурках, некоторая общая постановка вопроса о моральности положения придурка в лагере. Но никакой информации у нас не дают просветиться насквозь, никакой дискуссии — обойти действительно все грани предмета. Всё это непременно подавляется в самом начале, чтоб луч не упал на нагое тело правды, всё это сваливается в одну бесформенную многолетнюю груду и изнывает там десятилетиями, пока к болванкам ржавым из этого хлама будет потерян и всякий интерес, и пути разбора. Так и дискуссию о придурках притушили в самом начале, и она ушла из журнальных статей в частные письма.

А различение между придурком и работягой в лагере (впрочем, не более резкое, чем та разность, которая существовала в действительности) должно было быть сделано, и очень хорошо, что сделано при зарождении лагерной темы. Но в

подцензурной статье В.Лакшина[298] получился некоторый перехлёст в выражениях о лагерном труде (как бы в прославление этого самого, заменившего машины и сотворившего нас из обезьяны), и на общее верное направление статьи, а заодно отчасти и на мою повесть, был встречный всплеск негодования — и бывших придурков, и их никогда не сидевших интеллигентных друзей: так что же, прославляется рабский труд («сцена кладки» в «Иване Денисовиче»)?! Так что же — «добывай хлеб свой в поте лица», то есть то и делай, что хочет гулаговское начальство? К мы именно тем и гордимся, что уклонились от труда, не влачили его.

Отвечая сейчас на эти возражения, вздыхаю, что не скоро их прочтут.

По–моему, неблагородно со стороны интеллигента гордиться, что он, видите ли, не унизился до рабского физического труда, так как сумел пойти на канцелярскую работу. В этом положении русские интеллигенты прошлого века разрешали бы себе гордиться только тогда, если бы они при этом освободили от рабского труда и младшего брата. Ведь этого выхода — устроиться на канцелярскую

---

[298] Примечания: 298

В.Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги // Новый мир, 1964, №1.

работу — у Ивана Денисовича не было! Как же нам быть с «младшим братом»? Младшему–то, значит, брату разрешается влачить рабский труд? (Ну да отчего же! Ведь в колхозе мы ему давно разрешаем. Мы его сами туда и устроили.) А если разрешается, так может быть разрешим ему хоть когда–нибудь, хоть на час–другой, перед съёмом, когда кладка хорошо пошла, — найти в этом труде и интерес? Мы–то ведь и в лагере находим некоторую приятность в скольжении пера по бумаге, в прокладке рейсфедерной чёрной линии по ватману. Как же Ивану Денисовичу выжить десять лет, денно и нощно только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться должен!

А как быть с такой почти невероятной историей: Павел Чульпенёв, семь лет подряд работавший на лесоповале (да ещё на штрафном лагпункте), — как бы мог прожить и проработать, если б не нашёл в том повале смысла и интереса? На ногах удержался он так: начальник ОЛПа, заинтересованный в своих немногих постоянных работниках (ещё удивительный начальник), во–первых, кормил их баландой «от пуза», во–вторых, никому, кроме рекордистов, не разрешал работать ночью на кухне. Это была премия! — по-

сле полного дня лесоповала Чульпенёв шёл мыть и заливать котлы, топить печи, чистить картошку—до двух часов ночи, потом наедался и шёл поспать три часа, не снимая бушлата. Один раз, тоже в виде премии, работал месяц в хлеборезке. Ещё месячишко отдохнул самору–бом (рекордиста, его никто не заподозрил). Вот и всё. (Конечно, тут и ещё не без объяснений. В звене у них годок работала возчицей воровка–майданщица, она жила сразу с двумя придурками: приёмщиком леса и завскладом. Оттого всегда в их звене было перевыполнение и, главное, их конь Герчик ел овса вволю и крепко тянул, — а то ведь и лошадь получала овса… от выработки звена! Надоело говорить «бедные люди!», сказать хоть «бедные лошади!») Но всё равно — семь лет на лесоповале без перерыва— это почти миф! Так как семь лет работать, если не уноравливаться, не смекать, если не вникнуть в интерес самой работы? Уж только б, говорит Чульпенёв, кормили, а работал бы и работал. Русская натура… Овладел он приёмом «сплошного повала»: первый хлыст валится так, чтоб опирался, не был в провисе, легко раскряжёвывался. И все хлысты потом кладутся один на один, скрещиваясь— так, чтоб сучья попадали в один–два костра, без стаскивания. Он

умел затягиватъ падающий ствол точно в нужном направлении. И когда от литовцев услышал о канадских лесорубах, на спор ставящих в землю кол и потом падением стволов вгоняющих его в землю, — загорелся: «А ну, и мы попробуем!» Вышло.

Так вот, оказывается: такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким–то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал), и в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой. Так Ивану–то Денисовичу можно разрешить не всегда тяготиться своим неизбежным трудом, не всегда его ненавидеть?

Ну, тут, я думаю, нам уступят. Уступят, но с обязательным условием, чтоб никаких отсюда не вышло укоризн для придурков, которые и минуты не добывали хлеба в поте лица.

В поте–то не в поте, но веления гулаговского начальства исполняли старательно (а то — на общие!) и изощрённо, с применением специальных

знаний. Ведь все значительные приду–рочьи места суть звенья управления лагерем и лагерным производством. Это как раз те особо откованные «квалифицированные» звенья цепи, без которых (откажись поголовно все зэки от придурочьих мест) развалилась бы вся цепь эксплуатации, вся лагерная система! Потому что такого количества высоких специалистов, да ещё согласных жить в собачьих условиях годами, воля никогда не могла бы поставить.

Так почему ж не отказались? Цепь Кащееву — почему ж не развалили?

Посты придурков — ключевые посты эксплуатации. Нормировщики! — а намного ли безгрешней их помощники–счетоводы? Прорабы! А уж так ли чисты технологи? Какой при–дурочный пост не связан с угождением высшим и с участием в общей системе принуждения? Разве непременно работать воспитателем КВЧ или дневальным кума, чтобы прямо помогать дьяволу? А если Н. работает машинисткой— только и всего, машинисткой, но выполняет заказы административной части лагеря — это ничего не стоит? Подумаем. А размножать приказы? — отнюдь не к процветанию зэков. А у опера своей машинистки нет. Вот ему надо печатать обвинительные

заключения, обработку доносных материалов — на тех вольных и зэков, кого посадят завтра. Так ведь он даст ей — и она печатает и молчит, угрожаемого не предупредит. Да чего там — да низшему придурку слесарю хоздвора, — не придётся выполнять заказ на наручники? укреплять решётку БУРа? Или останемся среди письменности? — плановик? Плановик безгрешный не способствует плановой эксплуатации?

Я не понимаю — чем весь этот интеллигентный рабский труд чище и благороднее рабского физического?

Так не потом Ивана Денисовича надо возмутиться прежде, а спокойным поскрипыванием пера в лагерной конторе.

Или вот сам я полсрока проработал на шарашке, на одном из этих Райских островов. Мы были там отторгнуты от остального Архипелага, мы не видели его рабского существования, — но не такие же разве придурки? Разве в широчайшем смысле, своей научной работой, мы не укрепляли то же министерство БД и общую систему подав-

ления?[299]

Всё, что плохого делается на Архипелаге или на всей земле, — не через самих ли нас и делается? А мы на Ивана Денисовича напали— зачем он кирпичи кладёт. Наших там больше.

В лагере высказывают чаще противоположные обиды и упрёки: что придурки сидят на шее у работяг, объедают их, выживают за их счёт. Это особенно выдвигают против придурков зонных, и часто не без основания. А кто ж недовешивает Ивану Денисовичу хлеб? Намочив водой, крадёт его сахар? Кто не даёт жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котёл?

Особенным образом подбираются те зонные придурки, от кого зависит питание и одежда. Чтобы добыть те посты, нужны пробойность, хитрость, подмазывание; чтоб удержаться на них— бессердечие, глухость к совести (и чаще всего ещё быть стукачом). Конечно, всякое обобщение страдает натяжками, и я из собственной памяти берусь назвать противоположные

---

[299] Примечания: 299

Да и эта проблема выходит за Архипелаг; её объём — всё наше общество. Весь образованный наш слой— и техники, и гуманитарии, все эти десятилетия разве не были такими же звеньями Кащеевой цепи, такими же обобщёнными придурками? Среди уцелевших и процветших, даже самых честных— укажут ли нам таких учёных, или композиторов, или историков культуры, кто положил себя на устроение общей жизни, пренебрегая собственной?

примеры бескорыстных и честных зонных придурков — да не очень долго они на тех местах удержались. О массе же зонных благополучных придурков можно уверенно сказать, что они сгущают в себе в среднем больше испорченных душ и дурных намерений, чем их содержится в среднем же туземном населении. Не случайно именно сюда назначаются начальством все бывшие свои люди, то есть посаженные гебисты и эмведешни–ки. Если уж посажен начальник МВД Шахтинского округа, то он не будет валить лес, а выплывет нарядчиком на комендантском ОЛПе Усольлага. Если уж посажен эмведешник Борис Гу–ганава («как снял я один раз крест с церкви, так с тех пор мне в жизни счастья не было»), — он будет на станции Решёты заведующим лагерной кухней. Но к этой группе легко примыкает и совсем, казалось бы, другая масть. Русский следователь в Краснодоне, который при немцах вёл дело молодогвардейцев[300], был почётным уважаемым нарядчиком в одном из отделений Озёрлага. Саша Сидоренко, в прошлом разведчик, попавший сразу к немцам, а у нем-

[300] Примечания: 300

Истинное содержание этого дела, кажется, очень не совпадало даже с первым фадеевским вариантом, но не будем основываться на одних лагерных слухах.

цев сразу же ставший работать на них, теперь в Кенгире был завкаптёркой и очень любил на немцах отыгрываться за свою судьбу. Усталые от дня работы, едва они после проверки засыпали, он приходил к ним под пьянцой и поднимал истошным криком: «Немцы! Achtung! Я— ваш бог! Пойте мне!» (Полусонные испуганные немцы, приподнявшись на нарах, начинали ему петь «Лили Марлен».) — А что за люди должны быть те бухгалтеры, которые отпустили Лощилина[301] на волю поздней осенью в одной рубашке? Тот сапожник в Бу–реполоме, который без зазрения взял у голодного Анса Берн–штейна новые армейские сапоги за пайку хлеба?

Когда они на своём крылечке дружно покуривают, толкуя о лагерных делах, трудно представить, кто только среди них не сошёлся!

Правда, кое–что в своё оправдание (объяснение) могут высказать и они. Вот И.Ф. Липай пишет страстное письмо:

«Паёк заключённого обкрадывали самым нахальным и безжалостным образом везде, всюду и со всех сторон. Воровство придурков лично для себя— это мелкое воровство. А те придурки, кото-

[301] Примечания: 301

Об его удивительной (или слишком обычной) судьбе — Часть Четвёртая, глава 4.

рые решались на более крупное воровство, были к этому вынуждены. Работники Управления — и вольнонаёмные и заключённые, особенно в военное время, выжимали лапу с работников отделений, а работники отделений — с работников лагпунктов, а последние— с каптёрок и кухонь за счёт пайка зэков. Самые страшные акулы были не придурки, а вольнонаёмные начальники (Курагин, Пойсуйшапка, Игнат–ченко из СевДвинлага), они не воровали, а «брали» из каптёрок, и не килограммами, а мешками и бочками. И опять же не только для себя, они должны были делиться. А заключённые придурки всё это как–то должны были оформлять и покрывать. А кто этого делать не хотел — их не только выгоняли с занимаемой должности, а отправляли на штрафной и режимный лагпункт. И таким образом состав придурков по воле начальства просеивался и комплектовался из трусов, боявшихся физических работ, проходимцев и жуликов. И если судили, то опять–таки каптёров и бухгалтеров, а начальники оставались в стороне: они ведь расписок не оставляли. Показания каптёров на начальников следователи считали провокацией». Картина довольно вертикальная…

Одна хорошо мне известная, предельно честная

женщина Наталья Мильевна Аничкова попала как–то волею судеб заведовать лагерной пекарней. При самом начале она установила, что тут принято из выпекаемого хлеба (пайкового хлеба заключённых) сколько–то ежедневно (и без всяких, конечно, документов) отправлять за зону, за что пекаря получали из вольного ларька немного варенья и масла. Она запретила этот порядок, не выпустила хлеба за зону — и тут же хлеб стал выходить недопеченный, с закалом, потом опоздала выпечка (это от пекарей), потом со склада стали задерживать муку, начальник ОЛПа (он–то больше всех получал!) отказывался дать лошадь на отвозку–привозку. Сколько–то дней Аничкова боролась, потом сдалась — и сразу восстановилась плавная работа.

Если зонный придурок сумел не прикоснуться к этому всеобщему воровству, то всё равно почти невозможно ему удержаться от пользования своим преимущественным положением для получения других благ — ОП вне очереди, больничного питания, лучшей одежды, белья, лучших мест в бараке. Яне знаю, не представляю, где тот святой придурок, который так–таки ничегошеньки–ничего не ухватил для себя изо всех этих рассыпанных благ? Да его б соседние

придурки забоялись, они б его выжили! Каждый хоть косвенно, хоть опосредствованно, хоть даже почти не ведая— но пользовался, а значит, в чём–то и жил за счёт работяг.

Трудно, трудно зонному придурку иметь неомрачённую совесть.

А ещё ведь вопрос — и о средствах, какими он своего места добился. Тут редко бывает неоспоримость специальности, как у врача (или как у многих производственных придурков). Бесспорный путь — инвалидность. Но нередко покровительство кума. Конечно, бывают пути как будто нейтральные: устраиваются люди по старому тюремному знакомству; или по групповой коллективной выручке (чаще национальной, некоторые малые нации удачливы в этом и обычно плотнятся на придурочьих местах; так же и коммунисты негласно выручают друг друга).

А ещё вопрос: когда возвысился — как вёл себя относительно прочих, относительно серой скотинки? Сколько здесь бывает надменности, сколько грубости, сколько забывчивости, что все мы — туземцы и преходяща наша сила.

И наконец вопрос самый высокий: если ничем ты не был дурён для арестантской братии — то был ли хоть чем–нибудь полезен? своё положе-

ние направил ли ты хоть раз, чтоб отстоять общее благо — или только одно своё всегда?

К придуркам производственным никак не справедливо было бы относить упрёки «объедают», «сидят на шее»: не оплачен труд работяг, да, но не потому, что придурков кормит, труд придурков тоже не оплачен — всё идёт в ту же прорву. А остальные нравственные сомнения остаются: и почти неизбежность пользоваться бытовыми поблажками; и не всегда чистые пути устройства; и заносчивость. И всё тот же вопрос на вершине: что ты сделал для общего блага? хоть что–нибудь? хоть когда–нибудь?

А ведь были, были, кто может, подобно Василию Власову, вспомнить о своих проделках в пользу всеобщего блага. Да таких светлоголовых умников, обходивших лагерный произвол, помогавших устроить общую жизнь так, чтоб не всем умереть, чтоб обмануть и трест, и лагерь, таких героев Архипелага, понимавших свою должность не как кормление своей персоны, а как тяготу и долг перед арестантской скотинкой, — таких и «придурками» не извернётся язык назвать. И больше всего таких было среди инженеров. И — слава им!

А остальным славы нет. На пьедестал возво-

дить— нечего. И превозноситься нечем перед Иваном Денисовичем, что избежал низкой рабской работы и не клал кирпичей в поте лица. И даже бы не стоило строить доказательств, что нас, умствен–ников, когда мы на общих работах, постигает двойной расход энергии: на саму работу и ещё на психическое сгорание, на размышления–переживания, которых нельзя остановить; и по–тому–де это справедливо: нам избегать общих работ, а вкалывают пусть натуры грубые. (Ещё неизвестно: двойной ли у нас расход энергии.)

Да, чтоб отказаться от всякого «устройства» в лагере и дать силам тяжести произвольно потянуть тебя на дно, — нужна очень устоявшаяся душа, очень просветлённое сознание, большая часть отбытого срока да ещё, наверно, и посылки из дому— а то ведь прямое самоубийство.

Как говорит благодарно–виновно старый лагерник Дмитрий Сергеевич Лихачёв: если я сегодня жив— значит, вместо меня кого–то расстреляли в ту ночь по списку; если я сегодня жив — значит, кто–то вместо меня задохнулся в нижнем трюме; если я сегодня жив — значит, мне достались те лишние двести граммов хлеба, которых не хватило умершему.

Это всё написано — не к попрёку. В этой книге

уже принято и будет продолжено до конца: всех страдавших, всех зажатых, всех, поставленных перед жестоким выбором, лучше оправдать, чем обвинить. Вернее будет — оправдать.

Но, прощая себе этот выбор между гибелью и спасением, — не бросай же, забывчивый, камнем в того, кому выбирать досталось ещё лише. Такие тоже в этой книге уже встречались. И ещё встретятся.

* * *

Архипелаг— это мир без дипломов, мир, где аттестуются саморассказом. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать?

В лагере выгодно быть фельдшером, парикмахером, баянистом, — я не смею перечислять выше. Не пропадёшь, если ты жестянщик, стекольщик, автомеханик. Но горе тебе, если ты генетик или не дай Бог философ, если ты языковед или искусствовед — ты погиб! Ты дашь дубаря на общих работах через две недели.

Не раз мечтал я объявить себя фельдшером. Сколько литераторов, сколько филологов спаслось на Архипелаге этой стезёй! Но каждый раз я

не решался — не из–за внешнего даже экзамена (зная медицину в пределах грамотного человека да ещё по верхам латынь, как–нибудь бы я раскинул чернуху), а страшно было представить, как уколы делать, не умея. Если б оставались в медицине только порошки, микстуры, компрессы да банки, — я бы решился.

После опыта Нового Иерусалима усвоив, что быть командиром производства— занятие гнусное, я при перегоне меня в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву, — с порога же, прямо на вахте, соврал, что я нормировщик (слово это я в лагере услышал впервые; сном и духом ещё не знал, что такое нормирование, но надеялся, что по математической части).

Почему пришлось врать именно на вахте и на пороге — потому что начальник участка младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун, несмотря на ночной час пришёл опросить новый этап прямо на вахту: ему к утру же надо было решить, кого куда, такой был деловой. Исподлобным взглядом оценил он моё галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо моё с прямодышащей готовностью тянуть службу, спросил о нормировании (мне казалось — я ловко ответил, потом–то понял,

что разоблачил меня Невежин с двух слов) — и уже с утра я за зону не вышел — значит, одержал победу. Прошло два дня, и назначил он меня… не нормировщиком, нет, хватай выше! — «заведующим производством», то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров! Попал я из хомута да в ярмо. Прежде меня тут не было и должности такой. До чего ж верным псом я, значит, выглядел. А ещё б какого из меня Невежин вылепил!

Но опять моя карьера сорвалась, Бог берёг: на той же неделе Невежина сняли за воровство стройматериалов. Это был очень сильный человек, со взглядом почти гипнотическим, и даже не нуждался он голоса повышать, строй слушал его замерев. И по возрасту (за пятьдесят), и по лагерному опыту, и по жестокости быть бы ему давно в генералах НКВД, да, говорили, он и был уже подполковником, однако не мог одолеть страсти воровать. Под суд его никогда не отдавали как своего, а только снимали на время с должности и каждый раз снижали звание. Но вот и на младшем лейтенанте он не удержался. — Заменивший его лейтенант Миронов не имел воспитательного терпения, а сам я и в голову взять не мог, что из меня хотят молота дробящего. Во всём Миронов оказался мной недоволен и даже энергичные мои

докладные отталкивал с досадой:

— Ты и писать толком не умеешь, стиль у тебя корявый. — И протягивал мне докладную десятника Павлова. — Вот пишет человек:

«При анализации отдельных фактов понижения выполнения плана является:

1) недостаточное количество стройматериалов;

2) за неполным снабжением инструментом бригад;

3) о недостаточной организации работ со стороны техперсонала;

4) а также не соблюдается техника безопасности».

Ценность стиля была та, что во всём оказывалось виновато производственное начальство и ни в чём — лагерное.

Впрочем, изустно этот Павлов, бывший танкист (в шлеме и ходил), объяснялся так же:

— Если вы понимаете о любви, то докажите мне, что такое любовь. — (Он рассуждал о предмете знакомом: его дружно хвалили женщины, побывавшие с ним в близости, в лагере это не очень скрывается.)

На вторую неделю меня с позором изгнали на общие, а вместо меня назначили того же Васю

Павлова. Так как я с ним за место не боролся, снятию своему не сопротивлялся, то и он послал меня не землекопом, а в бригаду маляров.

Вся эта короткая история моего главенства закрепилась, однако, для меня бытовой выгодой: как завпроизводством я помещён был в особую комнату придурков, одну из двух привилегированных комнат в лагере. А Павлов уже жил в другой такой комнате, и когда я был разжалован, то не оказалось достойного претендента на мою койку, и я на несколько месяцев остался там жить.

Тогда я ценил только бытовые преимущества этой комнаты: вместо вагонок— обыкновенные кровати, тумбочка— одна на двоих, а не на бригаду; днём дверь запиралась, и можно было оставлять вещи; наконец, была полулегальная электрическая плитка, и не надо было ходить толпиться к большой общей плите во дворе. Раб своего угнетённого испуганного тела, я тогда ценил только это.

Но сейчас, когда меня захватно потянуло написать о моих соседях по той комнате, я понял, в чём была главная удача: никогда больше в жизни ни по влечению сердца, ни по лабиринту общественных разгородок я не приближался и не мог бы

приблизиться к таким людям, как авиационный генерал Беляев и эмведист Зиновьев, не генерал, так около.

Теперь я знаю, что писателю нельзя поддаваться чувствам гнева, отвращения, презрения. Ты кому–то запальчиво возражал? Так ты не дослушал и потерял систему его взглядов. Ты избегал кого–то из отвращения, — и от тебя ускользнул совершенно не известный тебе характер— именно такой, который тебе понадобится. Но я с опозданием спохватился, что время и внимание всегда отдавал людям, которые восхищали меня, были приятны, вызывали сочувствие, — и вот вижу общество, как Луну, всегда с одной стороны.

Но как Луна, чуть покачиваясь, показывает нам и часть обратной стороны («либрация») — так эта комната уродов приоткрыла мне неведомых людей.

Генерал–майора авиации Александра Ивановича Беляева (все в лагере так и звали его «генерал») всякому новоприбывшему нельзя было не заметить в первый же день на первом же разводе. Изо всей чёрно–серой вшивой лагерной колонны он выделялся не только ростом и стройностью, но отменным кожаным пальто, вероятно иностранным, какого и на московских улицах не

встретишь (такие люди в автомобилях ездят), и ещё больше особенной осанкой неприсутствия. Даже в лагерной колонне и не шевелясь, он умел показывать, что никакого отношения не имеет к этой копошащейся вокруг лагерной мрази, что и умирать будет— не поймёт, как он среди неё очутился. Вытянутый, он смотрел над толпой, как бы принимая совсем другой, не видимый нам парад. Когда же начинался развод и вахтёр дощечкой отхлопывал по спинам крайних зэков в выходящих пятёрках, Беляев (в своей бригаде производственных придурков) старался не попасть крайним. Если же попадал, то, проходя мимо вахты, брезгливо вздрагивал и изгибался, всей спиной показывая, что презирает вахтёра. И тот не смел коснуться его.

Ещё будучи завпроизводством, то есть важным начальником, я познакомился с генералом так: в конторе строительства, где он работал помощником нормировщика, я заметил, что он курит, и подошёл прикурить. Я вежливо попросил разрешения и уже наклонился к его столу. Чётким жестом Беляев отвёл свою папиросу от моей, как бы опасаясь, чтоб я её не заразил, достал роскошную никелированную зажигалку и положил её передо мной. Ему легче было дать мне пачкать

и портить его зажигалку, чем унизиться в прислуживании — держать для меня свою папиросу! Я был смущён. Итак перед каждым нахалом, просящим прикурить, он всегда клал дорогую зажигалку, тем начисто его раздавливая и отбивая охоту обратиться другой раз. Если же у него улучали попросить в тот момент когда он сам прикуривал от зажигалки, спешили сунуться папиросой туда же, — он спокойно гасил зажигалку, закрывал крышечкой и в таком виде клал перед просителем. Так ясней понималась вся величина его жертвы. И все вольные десятники и заключённые бригадиры, толпившиеся в конторе, если не у кого было больше прикурить, то легче шли прикуривать во двор, чем у него.

Поместясь теперь в одной с ним комнате, ещё и койкой бок о бок, я мог узнать, что брезгливость, презрительность и раздражение — главные чувства, владеющие им в его положении заключённого. Он не только не ходил никогда в лагерную столовую («я даже не знаю, где в неё дверь!»), но и не велел соседу нашему Прохорову ничего себе приносить из лагерного варева — только хлебную пайку. Однако был ли ещё хоть один зэк на Архипелаге, который бы так издевался над бедной пайкой? Беляев осторожно брал

её, как грязную жабу— ведь её трогали руками, носили на деревянных подносах, — и обрезал ножом со всех шести сторон! — и корки, и мякиш. Эти шесть обрезанных пластов он никогда не отдавал просившим — Прохорову или старику–дневальному, — но выбрасывал сам в помойное ведро. Однажды я осмелился спросить, почему он не отдаёт их Прохорову. Он гордо вскинул голову с очень коротким ёжиком белых волос (носил их настолько короткими, чтоб это была как будто и причёска, как будто и лагерная стрижка): «Мой однокамерник на Лубянке как–то попросил меня: разрешите после вас доесть суп. Меня всего просто передёрнуло! Я— болезненно воспринимаю человеческое унижение!» Он не давал голодным людям хлеба, чтобы не унижать их!

Всё это высокомерие генерал потому мог так легко сохранять, что около самой нашей вахты была остановка троллейбуса № 4. Каждый день в час пополудни, когда мы возвращались из рабочей зоны в жилую на обеденный перерыв, — с троллейбуса у внешней вахты сходила жена генерала: она привозила в термосах горячий обед, час назад приготовленный на домашней кухне генерала. В будние дни им не давали встречаться, термосы передавал вертухай. Но по воскресеньям

они сидели полчаса на вахте. Рассказывали, что жена всегда уходила в слезах: Александр Иваныч вымещал на ней всё, что накапливалось в его гордой страдающей душе за неделю.

Беляев делал правильное наблюдение: «В лагере нельзя хранить вещи или продукты просто в ящике и просто под замком. Надо, чтоб этот ящик был железный, да ещё привинчен к полу». Но из этого сразу следовал вывод: «В лагере из ста человек— восемьдесят подлецов!» (он не говорил «девяносто пять», чтоб не потерять собеседников). «Если я на свободе встречу кого–нибудь из здешних и он ко мне бросится, я скажу: вы сума сошли! я вас вижу первый раз».

«Как я страдаю от общежития! — говорил он (это от шести–то человек). — Если б я мог кушать один, запершись на ключ!» Намекал ли он, чтоб мы выходили при его еде? Именно кушать ему хотелось в одиночестве! — потому ли, что он сегодня ел несравнимое с другими, или просто уже от устоявшейся привычки своего круга прятать изобилие от голодных?

Напротив, разговаривать с нами он любил, и вряд ли ему действительно было бы хорошо в отдельной комнате. Но разговаривать он любил односторонне— громко, уверенно, только

о себе: «Мне вообще предлагали другой лагерь, с более удобными условиями…» (Допускаю, что им и предлагают выбор.) «У меня этого никогда не бывает…» «Знаете, я…» «Когда я был в Англо–Египетском Судане…» — но дальше ничего интересного, какая–нибудь чушь, лишь бы оправдать это звонкое вступление: «Когда я был в Англо–Египетском Судане…»

Он действительно побывал и повидал. Он был моложе пятидесяти, ещё вполне крепок. Только одно странно: генерал–майор авиации, не рассказал он ни об одном боевом вылете, ни об одном даже полёте. Зато, по его словам, он был начальником нашей закупочной авиационной миссии в Соединённых Штатах во время войны. Америка, видимо, поразила его. Сумел он там много и накупить. Беляев не снижался объяснять нам, за что именно его посадили, но, очевидно, в связи с этой американской поездкой или рассказами о ней. «Оцеп[302] предлагал мне путь полного признания. — (То есть адвокат повторял следователя.)— Я сказал: пусть лучше двойной срок, но я ни в чём не виноват!» Можно поверить, что перед властью он таки не был виноват ни в

[302] Примечания: 302
Известный советский адвокат.

чём: ему дали не двойной, а половинный срок — 5 лет, даже шестнадцатилетним болтунам давали больше.

Смотря на него и слушая, я думал: это сейчас! — после того как грубые пальцы сорвали с него погоны (воображаю, как он извивался), после шмонов, после боксов, после воронков, после «руки взять назад!» — он не дозволяет возразить себе в мелочи, не то что в крупном (крупного он и обсуждать с нами не будет, мы недостойны, кроме Зиновьева). Но ни разу я не заметил, чтобы какая–нибудь мысль, не им высказанная, была бы им усвоена. Он просто не способен воспринять никакого довода. Он всё знает до наших доводов! Что ж был он раньше, глава закупочной миссии, вестник Советов на Западе? Лощёный белолицый непробиваемый сфинкс, символ «Новой России», как понимали на Западе. А что если прийти к нему с каким–нибудь прошением? с прошением просунуть голову в его кабинет? Ведь как гаркнет! ведь прищемит! Многое было бы понятно, если бы происходил он из потомственной военной семьи, — но нет. Эти Гималаи самоуверенности усвоены советским генералом первого поколения. Ведь в Гражданскую войну в Красной армии он, наверно, был паренёк в лапоточках, он ещё

подписываться не умел. Откуда ж это так быстро?.. Всегда в избранной среде — даже в поезде, даже на курорте, всегда между своими, за железными воротами, по пропускам.

А те, другие? Скорее ведь похожи на него, чем непохожи. И что будет, если истина «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» заденет их особняки, чины и заграничные командировки? Да ведь за чертёж треугольника будут отру–бливать голову! Треугольные фронтоны с домов будут сшибать! Издадут декрет измерять углы только в радианах!

А в другой раз думаю: а из меня? А почему бы из меня за двадцать лет не сделали такого генерала? Вполне бы.

И ещё я присматриваюсь: Александр Иваныч совсем не дурной человек. Читая Гоголя, он добросердечно смеётся. Он и нас рассмешит, если в хорошем настроении. У него усмешка умная. Если б я захотел взрастить в себе ненависть к нему— вот когда лежим мы рядом на койках, — я б не мог. Нет, не закрыто ему стать вполне хорошим человеком. Но — перестрадав. Перестрадав.

Павел Николаевич Зиновьев тоже не ходил в лагерную столовую и тоже хотел наладить, чтоб ему привозили обед в термосе. Отстать от

Беляева, оказаться ниже — был ему нож острый. Но обстоятельства сильней: у Беляева не было конфискации имущества, у Зиновьева же частичная была. Деньги, сбережения— это у него всё, видимо, отгребли, а осталась только богатая хорошая квартира. Зато ж и рассказывал он нам об этой квартире! — часто, подолгу, смакуя каждую подробность ванной, понимая, какое и у нас наслаждение должен вызвать его рассказ. У него даже был афоризм: с сорока лет человек столького стоит какова у него квартира! (Всё это он рассказывал в отсутствие Беляева, потому что тот и слушать бы не стал, тот бы сам взялся рассказывать, только не о квартире, ибо считал себя интеллектуалом, а хотя бы о Судане снова.) Но, как говорил Павел Николаевич, жена больна, а дочь вынуждена работать — возить термос некому. Впрочем, и передачи по воскресеньям ему привозили очень скромные. С гордостью оскудевшего дворянина вынужден был он нести своё положение. В столовую он всё–таки не ходил, презирая тамошнюю грязь и окружение чавкающей черни, но и баланду и кашу велел Прохорову носить сюда, в комнату, и здесь на плитке разогревал. Охотно бы обрезал он и пайку с шести сторон, но другого хлеба у него не было, и он ограничивался

тем, что терпеливо держал пайку над плиткой, по всем её шести граням прожаривая микробов, занесенных руками хлебореза и Прохорова. Он не ходил в столовую и даже иногда мог отказаться от баланды, но вот шляхетской гордости удержаться от мягкого попрошайничества здесь, в комнате, ему не хватало: «Нельзя ли маленький кусочек попробовать? Давно я этого не ел…»

Он вообще был преувеличенно мягок и вежлив, пока ничто его не царапало. Его вежливость была особенно заметна рядом с ненужными резкостями Беляева. Замкнутый внутренне, замкнутый внешне, с неторопливым прожёвыванием, с осторожностью в поступках, — он был подлинный человек в футляре по Чехову, настолько верно, что остального можно и не описывать, всё как у Чехова, только не школьный учитель, а генерал МВД. Невозможно было на мгновение занять электроплитку в те минуты, которые рассчитал для себя Павел Николаевич: под его змеиным взглядом вы сейчас же сдёргивали свой котелок, а если б нет—он тут же б и выговорил. На долгие воскресные дневные проверки во дворе я пытался выходить с книгой (подальше держась от литературы, всегда— с физикой), прятался за спинами и читал. О, какие мучения доставляло

Павлу Николаевичу такое нарушение дисциплины! — ведь я читал в строю, в священном строю! ведь я этим подчёркивал свой вызов, бравировал разнузданностью. Он не осаживал меня прямо, но так взглядывал на меня, так мучительно кривился, так стонал и бурчал, да и другим придуркам так моё чтение было тошно, что пришлось мне отказаться от книги и по часу простаивать как дураку (а в комнате — там уж не почитаешь, там надо слушать рассказы). Как–то на развод опоздала одна из девиц–бухгалтерш стройконторы и тем задержала на пять минут вывод придурочьей бригады в рабочую зону — ну, вместо того, чтобы вывести бригаду в голове развода, вывели в конце. Дело было обычное, ни нарядчик, ни надзиратель даже не обратили внимания, но Зиновьев, в своей особенной сизоватой шинели мягкого сукна, в своём строго надетом защитном картузе, давно без звёздочки, в очках, встретил опоздавшую гневным шипением: «Ка–ко–го чёрта вы опаздываете?! Из–за вас стоим!!» (Он не мог уже больше молчать! Он извёлся за эти пять минут! Он заболел!) Девица круто повернулась и с сияющими от наслаждения глазами отповедала ему: «Подхалим! Ничтожество! Чичиков! (Почему Чичиков? Наверно, спутала с Беликовым…) За-

ткни свою лоханку!..» — и ещё, и ещё, дальше уже на грани матерщины. Она управлялась только своим бойким остреньким язычком, она руки не подняла— но, казалось, невидимо хлещет его по щекам, потому что пятнами, пятнами красно вспыхивала его матовая девичья кожа, и уши налились до багрового цвета и дёргались губы, он нахохлился, но ни слова больше не вымолвил, не пытался поднять руку в защиту. В тот день он жаловался мне: «Что поделать с неисправимой прямотой моего характера! Моё несчастье, что я и здесь не отвык от дисциплины. Я вынужден делать замечания, это дисциплинирует окружающих».

Он всегда нервничал на утреннем разводе — он скорее хотел прорваться на работу. Едва бригаду придурков пропускали в рабочую зону — он очень показно обгонял всех неспешащих, идущих вразвалку, и почти бежал в контору. Хотел ли он, чтоб это видело начальство? Не очень важно. Чтоб видели зэки, до какой степени он занят на работе? Отчасти — да. А главное и самое искреннее было — скорей отделиться от толпы, уйти из лагерной зоны, закрыться в тихой комнатке планового отдела и там… — там вовсе не делать той работы, что Василий Власов, не смышлять, как

выручить рабочие бригады, а— целыми часами бездельничать, курить, мечтать ещё об одной амнистии и воображать себе другой стол, другой кабинет, со звонками вызова, с несколькими телефонами, с подобострастными секретаршами, с подтянутыми посетителями.

Мало мы знали о нём! Он не любил говорить о своем прошлом в МВД— ни о чинах, ни о должностях, ни о сути работы— обычная «стеснительность» бывших эмведешников. А шинель на нём была как раз такая сизая, как описывают авторы «Беломорканала», и не приходило ему в голову даже в лагере выпороть голубые канты из кителя и брюк. Года за два его сидки ему, видимо, ещё не пришлось столкнуться с настоящим лагерным хайлом, почуять бездну Архипелага. Наш–то лагерь ему, конечно, дали по выбору: его квартира была от лагеря всего в нескольких троллейбусных остановках, где–то на Калужской площади. И, не осознав донышка, как же враждебен он своему нынешнему окружению, он в комнате иногда проговаривался: то высказывал близкое знание Круглова (тогда ещё — не министра), то Френкеля, то— Завенягина, всё крупных гулагов–ских чинов. Как–то упомянул, что в войну руководил постройкой большого

участка железной дороги Сызрань—Саратов, это значит во френкелевском ГУЛЖДСе. Что могло значить — руководил? Инженер он был никакой. Значит, начальник лагерного управления? И вот с такой высоты больновато грохнулся до уровня почти простого арестанта. У него была 109–я статья, для МВД это значило— взял не по чину. Дали 7 лет как своему (значит, хапанул на все двадцать). По сталинской амнистии ему уже сбросили половину оставшегося, предстояло ещё два года с небольшим. Но он страдал — страдал, как от полной десятки.

Единственное окно нашей комнаты выходило на Нескучный сад. Совсем невдали от окна и чуть пониже колыхались вершины деревьев. Всё сменялось тут: метели, таяние, первая зелень. Когда Павел Николаевич ничем в комнате не был раздражён и умеренно грустен, он становился у окна и, глядя на парк, напевал негромко, приятно:

О засни, моё сердце, глубоко!

Не буди, не пробудишь, что было…

Вот поди ж ты! — вполне приятный человек в гостиной. А сколько арестантских братских ям он оставил вдоль своего полотна!..

Уголок Нескучного, обращенный к нашей зоне, отгораживался пригорками от гуляющих и был

укромен— был бы, если не считать, что из наших окон смотрели мы, бритоголовые. На 1 мая какой–то лейтенант завёл сюда, в укрытие, свою девушку в цветном платьи. Так они скрылись от парка, а нас не стеснялись, как взгляда кошки или собаки. Пластал офицер свою подружку по траве, да и она была не из застенчивых.

Не зови, что умчалось далёко, Не люби, что ты прежде любило.

Вообще, наша комнатка была как смоделирована. Эмве–дешник и генерал полностью нами управляли. Только с их разрешения мы могли пользоваться электроплиткой (она была народная), когда они её не занимали. Только они решали вопрос: проветривать комнату или не проветривать, где ставить обувь, куда вешать штаны, когда замолкать, когда спать, когда просыпаться. В нескольких шагах по коридору была дверь в большую общую комнату, там бушевала республика, там «в рот» и «в нос» слали все авторитеты, — здесь же были привилегии, и, держась за них, мы тоже должны были всячески соблюдать законность. Слетев в ничтожные маляры, я был бессловесен: я стал пролетарий, и в любую минуту меня можно было выбросить в общую. Крестьянин Прохоров, хоть и считался

«бригадиром» производственных придурков, но назначен был на эту должность именно как прислужник— носить хлеб, носить котелки, объясняться с надзирателями и дневальными, словом, делать всю грязную работу (это был тот самый мужик, который кормил двух генералов). Итак, мы вынужденно подчинялись диктаторам. Но где же была и на что смотрела великая русская интеллигенция?

Доктору Правдину (я ведь и фамилию не выдумываю!), невропатологу, врачу лагучастка, было семьдесят лет. Это значит, революция застала его уже на пятом десятке, сложившимся в лучшие годы русской мысли, в духе совестливости, честности и народолюбия. Как он выглядел! Огромная маститая голова с серебряной качающейся сединой, которой не дерзала касаться лагерная машинка (льгота от начальника санчасти). Портрет украсил бы обложку лучшего в мире медицинского журнала. Никакой стране не зазорно было бы иметь такого министра здравоохранения! Крупный, знающий себе цену нос внушал полное доверие к его диагнозу. Почтенно–солидны были все его движения. Так объёмен был доктор, что на одинарной металлической кровати почти не помещался, вывисал из неё.

Не знаю, каков он был невропатолог. Вполне мог быть и хорошим, но лишь в рыхлую обходительную эпоху и обязательно не в государственной больнице, а у себя дома, за медного дощечкой на дубовой двери под мелодичное позванивание пристенных стоячих часов, никуда не торопящийся и ничему, кроме совести своей, не подчинённый. Однако с тех пор его крепко пугнули — перепугали на всю жизнь. Не знаю, сидел ли он когда–нибудь прежде, таскали ли его на расстрел в Гражданскую (дивного ничего тут нет), но его и без револьвера напугали достаточно. Довольно было ему поработать в амбулаториях, где требовалось пропускать по девять больных в час, где время было только — стукнуть раз молоточком по колену; посидеть членом ВТЭК (Врачебно–Трудовой Экспертной Комиссии), да членом курортной комиссии, да членом военкоматской, и всюду подписывать, подписывать, подписывать бумажки и знать, что каждая подпись — это твоя голова, что кого–то из врачей уже посадили, кому–то угрожали, а ты всё подписывай бюллетени, заключения, экспертизы, освидетельствования, истории болезни, и каждая подпись потрясение гамлетовское: освободить или не освободить? годен или не го-

ден? болен или здоров? Больные умоляют в одну сторону, начальство жмёт в другую, перестра–щенный доктор терялся, сомневался, трепетал и раскаивался.

Но то всё было на воле, это любезные пустячки! А вот арестованный как враг народа, до смертного инфаркта напуганный следователем (воображаю, скольких человек, целый мединститут, он мог бы за собой потащить при таком страхе), — что был он теперь? Простой очередной приезд вольного начсанча–сти ОЛПа, какого–то старого пьян-чужки без врачебного образования, приводил Правдина в такое волнение и замешательство, что он не способен был прочесть на больничных карточках русского текста. Его сомнения теперь удесятерились, в лагере он пуще терялся и не знал: с температурою 37,7 — можно ли освободить от одного дня работы? а вдруг будут ругать? — и приходил советоваться к нам в комнату. Он мог жить в равновесном покойном состоянии не более суток — суток после похвалы начальника лагеря или хотя бы от младшего надзирателя. За этой похвалой он 24 часа как бы чувствовал себя в безопасности, но со следующего утра неумолимая тревога опять вкрадывалась в него. — Однажды отправляли из лагеря очень спешный этап, так

торопились, что устроить баню было некогда (ещё счастье, что не погнали голых в ледяную). Старший надзиратель пришёл к Правдину и велел написать справку, что этапируемые прошли санобработку. Как всегда, Правдин подчинился начальству, — но что же с ним было потом! Придя в комнату, он опустился на кровать как подрезанный, он держался за сердце, стонал и не слушал наших успокоений. Мы заснули. Он курил папиросу за папиросой, бегал в уборную, наконец за полночь оделся и с безумным видом пошёл к дежурному надзирателю по прозвищу Коротышка— питекантропу неграмотному, но со звёздочкой на фуражке! — советоваться: что с ним будет теперь? за это преступление дадут или не дадут ему второй срок по 58–й? Иль только вышлют из московского лагеря в дальний? (Семья у него была в Москве, ему носили богатые передачи, он очень держался за наш лагерёк.)

Затруханный и запуганный, Правдин потерял волю во всём, даже в санитарной профилактике. Он и спросить уже не умел ни с поваров, ни с дневальных, ни со своей санчасти. В столовой было грязно, миски на кухне мылись плохо, в самой санчасти одеяла неизвестно когда вытряхивались — всё это он знал, но настоять на чистоте

не мог. Только один пункт помешательства разделял он со всем лагерным начальством (да эту забаву знают многие лагеря) — ежедневное мытьё полов в жилых комнатах. Это выполнялось неуклонно. Воздух и постели не просыхали из–за вечно мокрых гниющих полов. — Правди–на не уважал последний доходяга в лагере. На тюремном пути его не грабил и не обманывал только тот, кто не хотел. Лишь потому, что комната наша на ночь запиралась, целы были его вещи, разбросанные вокруг кровати, и не обчищена самая беспорядочная в лагере тумбочка, из которой всё вываливалось и падало.

Правдин был посажен на 8 лет по статьям 58–10 и 11, то есть как политик, агитатор и организатор, — но наивность недоразвитого ребёнка я обнаружил в его голове. Даже на третьем году заключения он всё ещё не дозрел до тех мыслей, которые на следствии за собою признал. Он верил, что все мы посажены временно, в виде шутки, что готовится великолепная щедрая амнистия, чтоб мы больше ценили свободу и вечно были благодарны Органам за урок. Он верил в процветание колхозов, в гнусное коварство плана Маршалла для закабаления Европы и в интриги союзников, рвущихся к третьей мировой войне.

Помню, однажды он пришёл просветлённый, сияющий тихим добрым счастьем, как приходят верующие люди после хорошей всенощной. На его крупном добром открытом лице всегда большие с отвисшими нижними веками глаза светились неземной кротостью. Оказывается, только что происходило совещание зонных придурков. Начальник лагпункта сперва орал на них, стучал кулаком и вдруг стих и сказал, что доверяет им как своим верным помощникам. И Правдин умилённо открыл нам: «Просто энтузиазм к работе появился после этих слов!» (Отдать справедливость генералу, тот презрительно скривил губы.)

Не лгала фамилия доктора: он был правдолюбив, он любил правду. Любил, но не был достоин её!

В нашей малой модели он смешон. Но если теперь от малой модели перейти к большой, так застынешь от ужаса. Какая доля нашей духовной России стала такой? — от единого только страха…

Правдин вырос в культурном кругу, вся жизнь его занята была умственной работой, он окружён был умственно развитыми людьми, — но был ли он интеллигент, то есть человек с индивидуаль-

ным интеллектом?

С годами мне пришлось задуматься над этим словом — интеллигенция. Мы все очень любим относить себя к ней — а ведь не все относимся. В Советском Союзе это слово приобрело совершенно извращённый смысл. К интеллигенции стали относить всех, кто не работает (и боится работать) руками. Сюда попали все партийные, государственные, военные и профсоюзные бюрократы. Все бухгалтеры и счетоводы — механические рабы Дебета. Все канцелярские служащие. С тем большей лёгкостью причисляют сюда всех учителей (и тех, кто не более как говорящий учебник и не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на воспитание). Всех врачей (и тех, кто только способен петлять пером по истории болезни). И уж безо всякого колебания относят сюда всех, кто только ходит около редакций, издательств, кинофабрик, филармоний, не говоря уже о тех, кто публикуется, снимает фильмы или водит смычком.

А между тем ни по одному из этих признаков человек не может быть зачислен в интеллигенцию. Если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется профессиональной принадлеж-

ностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже ещё не обязательно выращивают интеллигента. Интеллигент — это тот, чьи интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент это тот, чья мысль неподражательна.

В нашей комнате уродов первыми интеллигентами считались Беляев и Зиновьев, а вот что касается десятника Орачев–ского и кладовщика–инструментальщика мужлана Прохорова, то они оскорбляли чувства этих высоких людей, и пока я был премьер–министром, генерал и эмведист успели обратиться ко мне, убеждая выбросить из нашей комнаты обоих этих мужиков— за их нечистоплотность, за их манеру ложиться в сапогах на кровать, да и вообще за неинтеллигентность (генералы вздумали избавиться от кормящего мужика!). Но мне понравились они оба— я сам в душе мужик, — ив комнате создалось равновесие. (А вскоре и обо мне генералы, наверно, кому–нибудь говорили, чтобы — выбросить.)

У Орачевского действительно грубоватая была наружность, ничего «интеллигентного». Из музыки он понимал одни украинские песни, слыхом

не слыхал о старой итальянской живописи, ни о новой французской. Любил ли книги, сказать нельзя, потому что в лагере у нас их не было. В отвлечённые споры, возникавшие в комнате, он не вмешивался. Лучшие монологи Беляева об Англо–Египетском Судане и Зиновьева о своей квартире он как бы и не слышал. Свободное время он отдавал тому, что мрачно молча подолгу думал, ноги уставив на перильца кровати, задниками сапог на самые перильца, а подошвами на генералов (не из вызова вовсе, но: подгото–вясь к разводу, или в обеденный перерыв, или вечером, если ещё ожидается выходить, — разве может человек отказаться от удовольствия полежать? а сапоги снимать хлопотно, они на две портянки плотно натянуты). Туповато пропускал Орачевский и все самотерзания доктора. И вдруг, промолчав час или два, мог, совсем некстати тому, что происходит в комнате, трагически изречь: «Да! Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем Пятьдесят Восьмой выбраться на волю». Наоборот, в практические споры — о свойствах бытовых вещей, о правильности бытового поведения, он мог со всем хохлацким упрямством ввязаться и доказывать запальчиво, что валенки портятся от сушки на печи и что их полезнее и приятнее

носить всю зиму не суша. Так что, конечно, какой уж там он был интеллигент!

Но изо всех нас он один был искренне предан строительству, один мог с интересом о нём говорить во внерабочее время. Узнав, что зэки умудрились сломать уже полностью поставленные межкомнатные перегородки и пустить их на дрова, — он охватил грубую голову грубыми руками и качался как от боли. Не мог он постичь туземного варварства! — может быть оттого, что сидел только год. — Пришёл кто–то и рассказал: уронили бетонную плиту с восьмого этажа. Все заахали: «Никого не убила??» А Орачевский: «Вы не видели, как она разбилась— по каким направлениям трещины?» (Плиты отливали по его чертежам, и ему надо было понять, хорошо ли ставил он арматуру.) — В декабрьскую стужу собрались в контору бригадиры и десятники греться, рассказывали разные лагерные сплетни. Вошёл Орачевский, снял варежку и торжественно, осторожно высвободил оттуда на стол замершую, но живую оранжево–чёрную красавицу бабочку: «Вот вам бабочка, пережившая 19–градусный мороз! Сидела на балке перекрытия».

Все сошлись вокруг бабочки и замолчали. Тем

счастливцам из нас, кто выживет, вряд ли кончить срок подвижней этой бабочки.

Самому Орачевскому дали только 5 лет. Его посадили за «лицепреступление» (точно по Оруэллу) — за улыбкуі Он был преподавателем сапёрного училища. В учительской, показывая другому преподавателю что–то в «Правде», он улыбнулся. Того, другого, вскоре убили, и о чём улыбнулся Орачевский, так никто и не узнал. Но улыбку видели, и сам факт улыбки над центральным органом партии святотатственен! Затем Орачевскому предложили сделать политический доклад. Он ответил, что приказу подчинится, но доклад сделает без настроения. Это уж переполнило чашу!

Кто ж из двоих— Правдин или Орачевский— был поближе к интеллигенту?

Не миновать теперь сказать и о Прохорове. Это был дородный мужик, тяжелоступный, тяжёлого взгляда, приязни мало было в его лице, а улыбался он подумавши. Таких на Архипелаге зовут «волк серый». Не было в нём движения чем–то поступиться, добро кому–нибудь сделать. Но что мне сразу понравилось: Зиновьеву котелки, а Беляеву хлеб приносил он без угодливости, ложной улыбочки или хотя бы пустого слова, приносил

как–то величественно, сурово, показывая, что служба службой, но и он не мальчик. Чтоб накормить своё большое рабочее тело, надо было ему много еды. За генеральскую баланду и кашу терпел он своё униженное положение, знал, что тут его презирают, круто не отвечал, но и на цырлах не бегал[303]. Он всех нас, он всех нас как голеньких тут понимал, да не приходило время высказать. Мне в Прохорове ощутилось, что он на камне строен, на таких плечах многое в народе держится. Никому он не спешит улыбнуться, хмуро смотрит, но и в пятку никогда не укусит.

Сидел он не по 58–й, но бытие понимал досконально. Он был немало лет председателем сельсовета под Наро–Фоминском, там тоже надо было уметь прокрутиться, и жестокость проявить, и перед начальством устоять. Рассказывал он о своём председательстве так:

— Патриотом быть— значит идти всегда впереди. Ясно, на всякие неприятности первым и наскочишь. Делаешь в сельсовете доклад, и хоть разговор в деревне больше материально сводится, но подкинет тебе какая–нибудь борода: а что такое пер–ма–нент–ная революция? Шут её

---

[303] Примечания: 303
Выражение объяснено в главе 19 Части Третьей.

знает, какая такая, знаю, бабы в городе перманент носят, а не ответишь — скажут: вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это, говорю, такая революция, которая вьётся, льётся, в руки не даётся, — поезжай вон в город у баб кудряшки посмотри или на баранах. Когда с Макдональдом наши рассобачились, я в докладе власти поправил: «А вы б, говорю, товарищи, чужим кобелям меньше на хвост наступали».

С годами во всю показуху нашей жизни он проник и сам в ней участвовал. Вызывал председателя колхоза и говорил: «Одноё доярку ты к сельхозвыставке на золотую медаль подготовь— так, чтобы дневной удой литров на шестьдесят!» И во всём колхозе сообща готовили такую доярку, сыпали её коровам в ясли белковые корма и даже сахар. И вся деревня и весь колхоз знали, чего стоит та сельхозвыставка. Но сверху чудят, себя дурят — значит, так хотят.

Когда к Наро–Фоминску подходил фронт, поручили Прохорову эвакуировать скот сельсовета. Но была эта мера, если разобраться, не против немцев, а против мужиков: это они оставались на голой земле без скота и без тракторов. Крестьяне скота отдавать не хотели, дрались (ждали, что колхозы, может, распадутся, и скот тогда им

достанется)— едва Прохорова не убили.

Закатился фронт за их деревню — и замер на всю зиму. Артиллерист ещё с 1914, Прохоров без скота, с горя, примкнул к советской батарее и подносил снаряды, пока его не прогнали. С весны 1942 воротилась советская власть в их район, и стал Прохоров опять председателем сельсовета. Теперь вернулась ему полная сила рассчитаться со своими недругами и стать собакой пуще прежнего. И был бы благополучен по сей день. Но странно — он не стал. Сердце дрогнуло в нём.

Местность их была разорена, и председателю давали хлебные талоны: чуть подкармливать из пекарни погорелых и самых голодных. Прохоров же стал жалеть народ, перерасходовал талоны против инструкции и получил закон «семь восьмых», 10 лет. Макдональда ему простили за малограмотность, человеческого сожаления не простили.

В комнате Прохоров любил так же молча часами лежать, как и Орачевский, с сапогами на перильцах кровати, смотря в облупленный потолок. Высказывался он, только когда генералов не было. Мне удивительно нравились некоторые его рассуждения и выражения:

«Какую линию трудней провести — прямую

или кривую? Для прямой приборы нужны, а кривую и пьяный ногой прочертит. Так и линия жизни».

«Деньги— они двухэтажные теперь». — (Как это метко! Прохоров к тому сказал, что у колхоза продукты забирают по одной цене, а продают людям совсем по другой. Но он видел и шире, «двухэтажность» денег во многом раскрывается, она идёт черезо всю жизнь, государство платит нам деньги по первому этажу, а расплачиваться мы везде должны по второму, для того и самим надо откуда–то по второму получать, иначе прогоришь быстро.)

«Человек не дьявол, а житья не даст», — ещё была его пословица.

И многое в таком духе, я очень жалею, что не сохранил.

Я назвал эту комнату— комнатой уродов, но ни Прохорова, ни Орачевского отнести к уродам не могу. Однако из шести большинство уродов было, потому что сам–то я был кто ж как не урод? В моей голове, хотя уже расклоченные и разорванные, а всё ещё плавали обрывки путаных верований, лживых надежд, мнимых убеждений. И, разменивая уже второй год срока, я всё ещё не понимал перста судьбы, на что он показывал мне,

швырнутому на Архипелаг. Я всё ещё поддавался первой поверхностной развращающей мысли, внушённой спецнарядчиком на Пресне: «только не попасть на общие! выжить!» Внутреннее развитие к общим работам не давалось мне легко.

Как–то ночью к вахте лагеря подошла легковая машина, вошёл надзиратель в нашу комнату и тряхнул генерала Беляева за плечо, велел собираться «с вещами». Ошалевшего от торопливой побудки генерала увели. Из Бутырок он ещё сумел переслать нам записку: «Не падайте духом! (То есть, очевидно, от его отъезда.) Если буду жив — напишу». (Он не написал, но мы стороной узнали. Видимо, в московском лагере сочли его опасным. Попал он в Потьму. Там уже не было термосов с домашним супом, и, думается, пайку он уже не обрезал с шести сторон. А ещё через полгода дошли слухи, что он очень опустился в Потьме, разносил баланду, чтобы похлебать. Не знаю, верно ли; как в лагере говорится, за что купил, за то и продаю.)

Так вот, не теряя времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика вместо генерала, так и не научась малярному делу. Но и нормированию я не учился, а только умножал и делил в своё удовольствие. Во время новой

работы у меня бывал и повод пойти бродить по строительству и время посидеть на перекрытии восьмого этажа нашего здания, то есть как бы на крыше. Оттуда обширно открывалась арестантскому взору — Москва.

С одной стороны были Воробьёвы горы, ещё чистые. Только–только намечался, ещё не было его, будущий Ленинский проспект. В нетронутой первозданности видна была Канатчи–кова дача. По другую сторону— купола Ново девичьего, туша Академии Фрунзе, а далеко впереди за кипящими улицами, в сиреневой дымке — Кремль, где осталось только подписать уже готовую амнистию для нас.

Обречённым, искусительно показывался нам этот мир, в богатстве и славе его почти попираемый нашими ногами, а— навсегда недоступный.

Но как по–новичковски ни рвался я «на волю» — город этот не вызывал у меня зависти и желания спорхнуть на его улицы. Всё зло, державшее нас, было сплетено здесь. Кичливый город, никогда ещё так, как после этой войны, не оправдывал он пословицы: Москва слезам не верит!

А сейчас я нет–нет да и пользуюсь этой редкой для бывшего зэка возможностью: побывать в своём лагере! Каждый раз волнуюсь. Для измерения

масштабов жизни так это полезно — окунуться в безвыходное прошлое, почувствовать себя снова тем. Где была столовая, сцена и КВЧ— теперь магазин «Спартак». Вот здесь, у сохранённой троллейбусной остановки, была внешняя вахта. Вон на третьем этаже окно нашей комнаты уродов. Вот линейка развода. Вот тут ходил башенный кран Напольной. Тут М. юркнула к Бершадеру. По асфальтовому двору идут, гуляют, разговаривают о мелочах — они не знают, что ходят по трупам, по нашим воспоминаниям. Им не представить, что этот дворик мог быть не частью Москвы в двадцати минутах езды от центра, а остро–вочком дикого Архипелага, ближе связанного с Норильском и Колымой, чем с Москвой. Но и я уже не могу подняться на крышу, где ходили мы с полным правом, не могу зайти в те квартиры, где я шпаклевал двери и настилал полы. Я беру руки назад, как прежде, и расхаживаю по зоне, представляя, что выхода мне нет, только отсюда досюда, и куда завтра пошлют— я не знаю. И те же деревья Нескучного, теперь уже не отгороженные зоной, свидетельствуют мне, что помнят всё, и меня помнят, что так оно и было.

Я хожу так, арестантским прямым тупиком, с поворотами на концах, — и постепенно все

сложности сегодняшней жизни начинают оплавляться, как восковые.

Не могу удержаться, хулиганю: поднимаюсь по лестнице и на белом подоконнике, полмарша не дойдя до кабинета начальника лагеря, пишу чёрным: «121–й лагучасток».

Пройдут— прочтут, может— задумаются.

* * *

Хотя мы были и придурки, но— производственные, и не наша была комната главная, а над нами такая же, где жили придурки зонные и откуда триумвират бухгалтера Соломонова, кладовщика Бершадера и нарядчика Бурштейна правил нашим лагерем. Там–то и решена была перестановка: Павлова от должности заведующего производством тоже уволить и заменить на Кукоса. И вот однажды этот новый премьер–министр въехал в нашу комнату (а Правдина перед тем, как он ни выслуживался, шуранули на этап). Недолго после того терпели и меня: выгнали из нормировочной и из этой комнаты (в лагере, падая в общественном положении, напротив, поднимаешься на вагонке), но пока я ещё был здесь, у меня было время понаблюдать Кукоса, неплохо дополнившего нашу маленькую модель

ещё одной важной послереволюционной разновидностью интеллигента.

Александр Фёдорович Кукос, тридцатипятилетний расчётливый хваткий делец (что называется «блестящий организатор»), по специальности инженер–строитель (но как–то мало он эту специальность выказывал, только логарифмической линейкой водил), имел 10 лет по закону от 7 августа, сидел уже года три, в лагерях совершенно освоился и чувствовал себя здесь так же нестеснённо, как и на воле. Общие работы как будто совершенно не грозили ему. Тем менее был он склонен жалеть бездарную массу, обречённую именно этим общим. Он был из тех заключённых, действия которых страшнее для зэков, чем действия заядлых хозяев Архипелага: схватив за горло, он уже не выпускал, не ленился. Он добивался уменьшения пайков (усугубления котловки), лишения свиданий, этапирования — только бы выжать из заключённых побольше. Начальство лагерное и производственное равно восхищалось им.

Но вот что интересно: все эти приёмы ему явно были свойственны ещё до лагеря. Это он на воле так научился руководить, и оказалось, что лагерю его метод руководства как раз под стать.

Познавать нам помогает сходство. Я быстро заметил, что Кукос очень напоминает мне кого–то. Кого же? Да Леонида Зыкова, моего лубянского однокамерника. И главное, совсем не наружностью, нет, тот был кабановатый, этот стройный, высокий, джентльменистый. Но, сопоставленные, они позволяли прозреть сквозь них целое течение — ту первую волну собственной новой инженерии, которой с нетерпением ждали, чтобы поскорее старых «спецов» спихнуть с места, а со многими и расправиться. И они пришли, первые выпускники советских ВТУЗов! Как инженеры они и равняться не смели с инженерами прежней формации— ни по широте технического развития, ни по артистическому чутью и тяготению к делу. (Даже перед медведем Орачевский, тут же изгнанным из комнаты, блистающий Кукос сразу выявлялся болтуном.) Как претендующие на общую культуру они были комичны. (Кукос говорил: «Моё любимое произведение — «Три цвета времени» Стендаля (! — путал с книгой о Стендале). Неуверенно беря интеграл x^2dx, он во все тяжкие бросался спорить со мной по любому вопросу высшей математики. Он запомнил пять–десять школьных фраз на немецком языке и кстати и некстати их применял. Вовсе не знал

английского, но упрямо спорил о правильном английском произношении, однажды слышанном им в ресторане. Была у него ещё тетрадь с афоризмами, он часто её подчитывал и подзубривал, чтобы при случае блеснуть.)

Но за всё то от них, никогда не видавших капиталистического прошлого, никак не заражённых его язвами, ожидалась республиканская чистота, наша советская принципиальность. Прямо со студенческой скамьи многие из них получали ответственные посты, очень высокую зарплату, во время войны Родина освобождала их от фронта и не требовала ничего, кроме работы по специальности. И за то они были патриоты, хотя в партию вступали вяло. Чего не знали они— не знали страха классовых обвинений, поэтому не боялись в своих решениях оступиться, при случае защищали их и горлом. По той же причине не робели они и перед рабочими массами, напротив, имели к ним общую жестокую волевую хватку.

Но— и всё. И по возможности старались, чтобы восемью часами ограничивался их рабочий день. А дальше начиналась чаша жизни: артистки, «Метрополь», «Савой». Тут рассказы Ку–коса и Зыкова были до удивительности похожи. Вот рассказывает Кукос (не без привиранья, но в ос-

новном правда, сразу веришь) об одном рядовом воскресеньи лета 1943 года, рассказывает и весь светится, переживая заново:

— С вечера субботы закатываемся в ресторан «Прага». Ужин! Вы понимаете, что такое для женщины ужин? Женщине аб–солютно неважно, какой будет завтрак, обед и дневная работа. Ей важно: платье, туфли и ужин! В «Праге» затемнение, но можно подняться на крышу. Балюстрада. Ароматный летний воздух. Уснувший затемнённый Арбат. Рядом — женщина в шёлковом (это слово он всегда подчёркивает) платьи! Кутили всю ночь, и теперь пьём только шампанское! Из–за шпиля НКО выплывает малиновое солнце. Лучи, стёкла, крыши! Оплачиваем счёт Персональная машина у входа! — вызвали по телефону. В открытые окна ветер рвёт и освежает. А на даче — сосновый лес! Вы понимаете, что такое утренний сосновый лес? Несколько часов сна за закрытыми ставнями. Около десяти просыпаемся— ломится солнце сквозь жалюзи. По комнате— милый беспорядок женской одежды. Лёгкий (вы понимаете, что такое лёгкий?) завтрак с красным вином на веранде. Потом приезжают друзья— речка, загорать, купаться. Вечером на машинах по домам. Если же воскресенье рабочее,

то после завтрака часов в одиннадцать едешь поруководить.

И нам когда–нибудь, когда–нибудь можно будет друг друга понять?..

Он сидит у меня на кровати и рассказывает, размахивая кистями рук для большей точности пленительных подробностей, вертя головой от жгучей сладости воспоминаний. Вспоминаю и я одно за другим эти страшные воскресенья лета 1943 года.

4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской Дуге. А при малиновом солнце мы уже читали падающие листовки: «Сдавайтесь! Вы испытали уже не раз сокрушительную силу германских наступлений!»

11 июля. На рассвете тысячи свистов разрезали воздух над нами — это начиналось наше наступление на Орёл.

— «Лёгкий завтрак»? Конечно понимаю. Это — ещё в темноте, в траншее, одна банка американской тушёнки на восьмерых и — ура! за Родину! за Сталина!

Глава 10. ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ

Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может; где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, — в этом мире что же и где же были политические — носители чести и света всех тюремных населений истории?

А мы уже проследили, как «политических» отъединили, удушили и извели.

Ну, а взамен их?

А — что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие ж «политические», если установилась всеобщая справедливость? В царских тюрьмах мы когда–то льготы политических использовали, и тем более ясно поняли, что их надо кончать. Просто— отменили политических. Нет и не будет!

А те, кого сажают, ну, это каэры, враги революции. С годами увяло слово «революция», хорошо, пусть будут враги народа, ещё лучше звучит. (Если бы счесть по обзору наших Потоков всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трёхкратное количество членов семей — изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впер-

вые в истории народ стал враг самому себе, зато приобрёл лучшего друга— тайную полицию.)

Известен лагерный анекдот, что осуждённая баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья обзывали её «конный милиционер» (а это было «контрреволюционер»!). Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот за быль.

Портной, откладывая иголку, вколол её, чтоб не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58–я, 10 лет (террор).

Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58–я, 10 лет.

Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) — и нашла, у кого. КРА, контрреволюционная агитация, 10 лет.

Заведующий сельским клубом пошёл со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжёлый, большой. Надо бы на носилки поставить, да нести вдвоём, но заведующему клубом положение не дозволяет: «Ну, донесёшь как–нибудь потихоньку». И ушёл впе-

рёд. Старик–сторож долго не мог приладиться. Под бок возьмёт— не обхватит. Перед собой нести — спину ломит, назад кидает. Догадался всё же: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понёс по деревне. Ну, уж тут никто оспаривать не будет, случай чистый. 58–8, террор, 10 лет.

Матрос продал англичанину зажигалку — «катюшу» (фитиль в трубке да кресало) как сувенир— за фунт стерлингов. Подрыв авторитета Родины, 58–я, 10 лет.

Пастух в сердцах выругал корову за непослушание «колхозной б…»— 58–я, срок.

Эллочка Свирская спела на вечере самодеятельности частушку, чуть затрагиваюьиую, — да это мятеж просто! 58–я, 10 лет.

Глухонемой плотник — и тот получает срок за контрреволюционную агитацию! Каким же образом? Он стелет в клубе полы. Из большого зала всё вынесли, нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто–то зашёл, увидел. 58–я, 10 лет.

Перед войною в Волголаге сколько было их! — деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели

статью 58–10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик. (Рассказ Лощилина.)

После же войны сидел я в лагере с ветлужцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимою собрал их политрук обсуждать с ними передовицу «Правды» (16 января 1942 года: «Расколошматим немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!») Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал: «Это правильно! Надо гнать его, сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок, хоть и мы часом в ботинках. А весной–то хуже будет с его техникой…» И политрук хлопал, как будто всё правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет — «восхваление немецкой техники», 58–я. (Образование Максимова было— один класс сельской школы. Сын его, комсомолец, приезжал в лагерь из армии, велел: «матке не описывай, что арестован, мол— в армии до сих пор, не пускают». Жена отвечает по адресу «почтовый ящик»: «да уж твои года все вышли, что ж тебя не пущают?» Конвойный смотрит на Максимова, всегда небритого, пришибленного да ещё глуховатого, и советует: «Напиши: дескать, в комсостав перешёл, потому задерживают». Кто–то на стройке рассердился на Максимова за его глуховатость и

непонятливость, выругался: «испортили на тебя 58–ю статью!»)

Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой–то плакат. Двум старшим дали срок по 58–й. (По Указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12–летнего возраста!) Мотали и родителям, что подучили, подослали.

16–летний школьник–чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стенгазеты. 58–я, 5 лет.

А в бухгалтерии совхоза висел лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей. (Сталин)». И кто–то красным карандашом приписал «у»— мол, СталинУ жить стало веселей. Виновника не искали — посадили всю бухгалтерию.

Уж конечно карается 58–й сбор денег в цеху на помощь жене арестованного рабочего. (Да как ещё осмелились, спросить!)

Гесель Бернштейн и его жена Бессчастная получили 58–10, 5 лет за… домашний спиритический сеанс. Следователь добивался: сознайся, кто ещё крутил? (А в лагере прошёл слух, что Гесель сидит «за гадания», — и придурки несли ему хлеб и табак: погадай и мне!)

Вздорно? дико? бессмысленно? Ничуть не бессмысленно, вот это и есть «террор как средство убеждения». Есть пословица: бей сороку да ворону— добьёшься и до белого лебедя! Бей подряд— в конце концов угодишь и в того, в кого надо. Первый смысл массового террора в том и состоит: подвернутся и погибнут такие сильные и затаённые, кого поодиночке не выловить никак.

И каких только не сочинялось глупейших обвинений, чтоб обосновать посадку случайного или намеченного лица!

Григорий Ефимович Генералов (из Смоленской области) обвинён: «пьянствовал потому, что ненавидел Советскую власть» (а он пьянствовал потому, что с женой жил плохо), — 8 лет.

Ирина Тучинская (невеста сына Софроницкого) арестована, когда шла из церкви (намечено было всю семью их посадить), и обвинена, что в церкви «молилась о смерти Сталина» (кто мог слышать ту молитву?!), — террор! 25 лет.

Александр Бабич обвинён, что «в 1916 году действовал против советской власти (!!) в составе турецкой армии» (а на самом деле был русским добровольцем на турецком фронте). Так как попутно он был ещё обвинён в намерении передать немцам в 1941 году ледокол «Садко» (на борт кото-

рого был взят пассажиром), — то и приговор был: расстрел! (Заменили на червонец, в лагере умер.)

Сергей Степанович Фёдоров, инженер–артиллерист, обвинён во «вредительском торможении проектов молодых инженеров»: ведь эти комсомольские активисты не имеют досуга дорабатывать свои чертежи. (Тем не менее этого отъявленного вредителя возили из Крестов… на военные заводы консультантом.)

Член–корреспондент Академии Наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 и обвинён, что завербован немецкой разведкой во время работы своей у Цейса в 1908 году! — притом с таким странным заданием: в ближайшую войну (которая интересует это поколение разведки) не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в Первую Мировую войну, потом советской власти, налаживает единственный в стране оптико–механический завод (ГОМЗ), избирается в Академию Наук, — а вот с начала Второй войны пойман, обезврежен, расстрелян!

Впрочем, большей частью фантастические обвинения не требовались. Существовал простенький стандартный набор обвинений, из которых следователю достаточно было, как марки на конверт, наклеить одно–два:

— дискредитация Вождя;

— отрицательное отношение к колхозному строительству;

— отрицательное отношение к государственным займам (а какой нормальный относился к ним положительно!);

— отрицательное отношение к Сталинской конституции;

— отрицательное отношение к (очередному) мероприятию партии;

— симпатия к Троцкому;

— симпатия к Соединённым Штатам;

— и так далее, и так далее.

Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следователю нужна была только очередная жертва, чтобы не терять времени. Такие жертвы набирались по развёрстке оперуполномоченными районов, воинских частей, транспортных отделений, учебных заведений. Чтоб не ломать головы и оперуполномоченным, очень кстати тут приходились доносы.

В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, икс–лучами: достаточно было только направить невидимый лучик на врага— и он падал. Отказу не было никогда. Я

для этих случаев не запоминал фамилий, но смею утверждать, что много слышал в тюрьме рассказов, как доносом пользовались в любовной борьбе: мужчина убирал нежелаемого супруга, жена убирала любовницу, или любовница жену, или любовница мстила любовнику за то, что не могла оторвать его от жены.

Из марок больше всего шёл у следователей в ход десятый пункт — контрреволюционная (переименованная в антисоветскую) агитация. Если потомки когда–нибудь почитают следственные и судебные дела сталинского времени, они диву дадутся, что за неутомимые ловкачи были эти антисоветские агитаторы. Они агитировали иглой и рваной фуражкой, вымытыми полами (см. ниже) или нестираным бельём, улыбкой или её отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом, беззвучными мыслями в черепной коробке, записями в интимный дневник, любовными записочками, надписями в уборных. Они агитировали на шоссе, на просёлочной дороге, на пожаре, на базаре, на кухне, за чайным домашним столом и в постели на ухо. И только непобедимая формация социализма могла устоять перед таким натиском агитации!

На Архипелаге любят шутить, что не все статьи

Уголовного кодекса доступны. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату — но никак не может устроиться кассиром. Чтоб убить, надо достать хотя бы нож, чтоб незаконно хранить оружие — надо его прежде приобрести, чтоб заниматься скотоложеством — надо иметь домашних животных. Даже и сама 58–я статья не так–то доступна: как ты изменишь родине по пункту «1–6», если не служишь в армии? как ты свяжешься по пункту «4» с мировой буржуазией, если живёшь в Ханты–Мансийске? как подорвёшь государственную промышленность и транспорт по пункту «7», если работаешь парикмахером? если нет у тебя хоть поганенького медицинского автоклавчика, чтоб он взорвался (инженер–химик Чудаков, 1948 год, «диверсия»)?

Но 10–й пункт 58–й статьи— общедоступен. Он доступен глубоким старухам и двенадцатилетним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и калекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым, имеющим собственные автомобили и просящим подаяние. Заработать 10–й пункт можно зимой с таким же успехом, как и летом, в

будний день, как и в воскресенье, рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения.

Сравниться с 10–м пунктом по общедоступности мог только 12–й—недонесение или «знал—не сказал». Все те же, как выше сказано, могли получить этот пункт и во всех тех же условиях, но облегчение состояло в том, что для этого не надо было даже рта раскрывать, ни браться за перо. В бездействии–то пункт и настигал! А срок давался тот же: 10 лет и 5 намордника.

Конечно, после войны 1–й пункт 58–й статьи — «измена родине» — тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военнопленные, не только все оккупированные имели на него право, но даже те, кто мешкали с эвакуацией из угрожаемых районов и тем выявляли своё намерение изменить родине. (Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда три места в самолёте: жене, больной свояченице и себе. Ему дали два, без свояченицы. Он отправил жену и свояченицу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58–1–а через 19–ю, 10 лет.)

По сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлужцем уже покажутся вполне законно осуждёнными:

— Эстонец Энсельд, приехавший в Ленинград из независимой ещё Эстонии. У него отобрали письмо по–русски. Кому? от кого? «Я— честный человек и не могу сказать». (Письмо было от В.Чернова к его родственникам.) Ах, сволочь, честный человек? Ну, езжай на Соловки!.. Так он же хоть письмо имел.

— Гиричевский. Отец двух фронтовых офицеров, он попал во время войны по трудмобилизации на торфоразработки и там порицал жидкий голый суп (так порицал–таки! рот–то всё же раскрывал!). Вполне заслуженно он получил за это 58–10, 10 лет. (Он умер, выбирая картофельную кожуру из лагерной помойки. В грязном кармане его нашли фотографию сына, грудь в орденах.)

— Нестеровский, учитель английского языка. У себя дома, за чайным столом рассказал жене и её лучшей подруге (так рассказал же! действительно!), как нищ и голоден приволжский тыл, откуда он только что вернулся. Лучшая подруга заложила обоих супругов: ему 10–й пункт, ей— 12–й, обоим по 10 лет. (Аквартира? Не знаю, может

быть — подруге?)

— Рябинин Н.И. В 1941, при нашем отступлении, прямо вслух заявил: надо было меньше песню петь — «нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь— спуску не дадим». Да подлеца такого расстрелять мало, а ему дали всего 10 лет!

— Реунов и Третюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею жалила, почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают (будто их собачье дело!..). Получили по десятке.

— Фаина Ефимовна Эпштейн, поражённая преступностью Троцкого, спросила на партсобрании: «А зачем его выпустили из СССР?» (Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович может быть локти кусал!) За этот нелепый вопрос она заслуженно получила (и отсидела) один за другим три срока. (Хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чём её вина.)

А Груша–пролетарка просто поражает тяжестью преступлений. Двадцать три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у неё икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы (да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами)

и, что особенно отметило следствие по доносу соседок, — вымыла полы! (А немцы так и не пришли.) К тому ж около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула её в вазочку на комоде. И всё–таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груше только: 8 лет лагеря да 3 года лишения прав. А муж её тем временем погиб на фронте. А дочь училась в техникуме, но кадры всё допекали: «где твоя мать?» — и девочка отравилась. (Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать — плакала и уходила.)

А что давать Геннадию Сорокину, студенту 3–го курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале (1946) написал собственных две статьи? Малую катушку, 10 лет.

А чтение Есенина? Ведь всё мы забываем. Ведь скоро объявят нам: «так не было, Есенин всегда был почитаемым народным поэтом». Но Есенин был— контрреволюционный поэт, его стихи— запрещённая литература. М.Я.Потапову в рязанском ГБ выставили такое обвинение: «как ты смел восхищаться (перед войной) Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, что самый лучший и талантливый — Маяковский? вот твоё антисоветское нутро и сказалось».

И уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский лётчик, второй пилот «Дугласа». У него не только нашли полное собрание Есенина; он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока мы туда не пришли, — но он на диспуте в лётной части вступил в публичный спор с Эренбургом по поводу Германии. (По тогдашней позиции Эренбурга можно догадаться, что лётчик предлагал быть с немцами помягче.) На диспуте— и вдруг публичный спор! Трибунал, 10 лет и 5 намордника.

В мемуарах Эренбурга не найдёшь следа таких пустяшных событий. Да он мог и не знать, что спорщика посадили. Он только ответил ему в тот момент достаточно по–партийному потом забыл. Пишет Эрен–бург, что сам он «уцелел по лотерее». Эх, лотерейка–то была с номерами проверенными. Если вокруг брали друзей, так надо ж было вовремя переставать им звонить. Если дышло поворачивалось, так надо было и вертеться. Ненависть к немцам Эренбург уж настолько калил обезумело, что его Сталин одёрнул. Ощущая к концу жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемуарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой.

И.Ф.Липай в своём районе создал колхоз на

год раньше, чем это было приказано начальством, — и совершенно добровольный колхоз! Так неужели же уполномоченный ГПУ Овсянников мог эту враждебную вылазку перетерпеть? Не надо мне твоего хорошего, делай моё плохое! Колхоз объявлен был кулацким, а самого Липая, подкулачника, потащили по кочкам…

Ф.В. Шавирин, рабочий, на партсобрании сказал вслух о «завещании Ленина». Ну, уж страшней этого и быть ничего не может, это уж — заклятый враг! Какие зубы на следствии сохранились, на Колыме в первый год потерял.

Вот какие ужасные встречались преступники по 58–й статье. А ведь ещё бывали злоехидные, с подпольным вывертом. Например, Перец Герценберг, житель Риги. Вдруг переезжает в Литовскую Социалистическую Республику и там записывает себя польского происхождения. Асам— латышский еврей. Ведь здесь что особенно возмутительно: желание обмануть своё родное государство. Это значит, он рассчитал, что мы его в Польшу отпустим, а оттуда он в Израиль улизнёт. Нет уж, голубчик, не хотел в Риге — езжай в ГУЛАГ. Измена родине через намерение, 10 лет.

А какие бывают скрытные! В 1937 среди рабочих завода «Большевик» (Ленинград) обна-

ружены бывшие ученики ФЗУ, которые в 1929 присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. (Нашлась регистрация присутствующих, приложенная к протоколу.) И 8 лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. По какому–то же делу умудрились посадить трёх братьев Старостиных, футболистов, двух братьев Знаменских, бегунов, — не спасла и спортивная знаменитость.

Сказал Маркс: «Государство калечит самого себя, когда оно делает из гражданина преступника»[304]. И очень трогательно объяснил, как государство должно видеть в любом нарушителе ещё и человека с горячей кровью, и солдата, защищающего отечество, и члена общины, и отца семейства, «существование которого священно», и самое главное — гражданина. Но нашим юристам читать Маркса некогда, а он, если хочет, пусть наши инструкции почитает.

Воскликнут, что весь этот перечень — чудовищен? несообразен? Что поверить даже нельзя? Что Европа не поверит?

Европа, конечно, не поверит. Пока сама не посидит — не поверит. Она в наши глянцевые

[304] Примечания: 304

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения: [В 29 т.] М.; Л.: Гос. изд–во, 1928–1946. Т. 1, с. 233.

журналы поверила, а больше ей в голову не вобрать.

Да и мы лет пятьдесят назад— ни за что б не поверили. Да и сто лет назад бы не поверили.

* * *

В прежней России политические и обыватели были — два противоположных полюса в населении. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и образов мышления.

В СССР обывателей стали грести как «политических».

И оттого политические сравнялись с обывателями.

Половина Архипелага была Пятьдесят Восьмая. Аполитических— не было… (Если б столько было да настоящих политических — так на какой скамье уже бы давно та власть сидела!)

В эту Пятьдесят Восьмую угожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая.

Например, молодой американец, женившийся на советской и арестованный в первую же ночь, проведенную вне американского посольства (Морис Гершман). Или бывший сибирский партизан Муравьёв, известный своими расправами над

белыми (мстил за брата), — с 1930 не вылезал из ГПУ (началось из–за золота), потерял здоровье, зубы, разум и даже фамилию (стал— Фокс). Или проворовавшийся советский интендант, бежавший от уголовной кары в западную зону Австрии, но там— вот насмешка! — не нашедший себе применения. Тупой бюрократ, он хотел и там высокого положения, но как его добиться в обществе, где соревнуются таланты? Решил вернуться на родину. Здесь получил 25 по совокупности— за хищение и подозрение в шпионаже. И рад был: здесь дышится привычней!

Примеры такие бессчётны. Зачислить в Пятьдесят Восьмую был простейший из способов похерить человека, убрать быстро и навсегда.

А ещё туда же шли и просто семьи, особенно жёны, Че–эСы. Сейчас привыкли, что в ЧС забирали жён крупных партийцев, но этот обычай установился поране, так чистили и дворянские семьи, и заметные интеллигентские, и лиц духовных. (И даже в 50–х годах: историк Х–цев за принципиальные ошибки, допущенные в книге, получил 25 лет. Но надо ж дать и жене? Десятку. Но зачем же оставлять мать–старуху в 75 лет и 16–летнюю дочь? — за недонесение и им. И всех четверых разослали в разные лагеря без права

переписки между собой.)

Чем больше мирных, тихих, далёких от политики и даже неграмотных людей, чем больше людей, до ареста занятых только своим бытом, втягивалось в круговорот незаслуженной кары и смерти, — тем серей и робче становилась Пятьдесят Восьмая, теряла всякий и последний политический смысл и превращалась в потерянное стадо потерянных людей.

Но мало сказать, из кого была Пятьдесят Восьмая, — ещё важней, как её содержали в лагере.

Эта публика с первых лет революции была обложена вкруговую: режимом и формулировками юристов.

Возьмём ли мы приказ ВЧК № 10 от 8.1.1921, мы узнаем, что только рабочего и крестьянина нельзя арестовать без основательных данных, — а интеллигента, стало быть, можно, ну например по антипатии. Послушаем ли мы Крыленку на V съезде работников юстиции в 1924, мы узнаем, что «относительно осуждённых из классово–враждебных элементов… исправление бессильно и бесцельно». В начале 30–х годов нам ещё раз напомнят, что сокращение сроков классово–чуждым элементам есть правооппортунистическая практика. И так же «оппортунистична установка,

что в тюрьме все равны, что классовая борьба как бы прекращается с момента вынесения приговора, после чего классовый враг начинает исправляться»[305].

Если это всё вместе собрать, то вот: брать вас можно ни за что, исправлять вас бесцельно, в лагере определим вам положение униженное и доймём вас там классовой борьбой.

Но как же это понять — в лагере да ещё классовая борьба? Ведь действительно, вроде — все арестанты равны. Нет, не спешите, это представление буржуазное! Для того–то и отобрали у политической Статьи право содержаться отдельно от уголовников, чтоб теперь этих уголовников да ей же на шею! (Это те изобретали люди, кто в царских тюрьмах поняли силу возможного политического объединения, политического протеста и опасность её для режима.)

Да вот Ида Авербах тут как тут, она же нам и разъяснит. «Работа по политическому воспитанию и перевоспитанию начинается с классового расслоения заключённых», «опереться на наиболее социально–близкие пролетариату слои»[306]

---

[305] Примечания: 305
От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 384.

[306] Примечания: 306
И. Л. Авербах. От преступления к труду, с. 35.

(а какие ж это— близкие? да «бывшие рабочие», то есть воры, вот их–то и натравить на Пятьдесят Восьмую!)… «перевоспитание невозможно без разжигания политических страстей».

Так что когда жизнь нашу полностью отдавали во власть воров, — то не был произвол ленивых начальников на глухих лагучастках, то была высокая Теория!

«Классово–дифференцированный подход к режиму… непрерывное административное воздействие на классово–враждебные элементы» — да влача свой бесконечный срок, в изорванной телогрейке и с головой потупленной — вы хоть можете себе это вообразить? — непрерывное административное воздействие на вас?!

Всё в той же замечательной книге мы читаем даже перечень приёмов, как создать Пятьдесят Восьмой невыносимые условия в лагере. Тут не только сокращать ей свидания, передачи, переписку, право жалобы, право передвижения внутри (!) лагеря. Тут и создавать из классово–чуждых отдельные бригады, ставить их в более трудные условия (от себя поясню: обманывать их при замере выполненных работ), а когда они не выполнят норму — объявить это вылазкой классового врага. (Вот и колымские расстрелы

целыми бригадами.) Тут и частные творческие советы: кулаков и подкулачников (то есть лучших сидящих в лагере крестьян, во сне видящих крестьянскую работу) — не посылать на сельхозработы! Тут и: высококвалифицированному классово–враждебному элементу (то есть инженерам) не доверять никакой ответственной работы «без предварительной проверки». (Но кто в лагере настолько квалифицирован, чтобы проверить инженеров? очевидно, воровская лёгкая кавалерия от КВЧ, нечто вроде хунвейбинов.) Этот совет трудновыполним на каналах: ведь шлюзы сами не проектируются, трасса сама не ложится, тогда Авербах просто умоляет: пусть хоть шесть месяцев после прибытия в лагерь специалисты проводят на общих! (А для смерти больше не нужно.) Мол, тогда, живя не в интеллигентском привилегированном бараке, «он испытывает воздействие коллектива», «контрреволюционеры видят, что массы против них и презирают их».

И как удобно, владея классовой идеологией, выворачивать всё происходящее. Кто–то устраивает «бывших» и интеллигентов на придурочьи посты? — значит, тем самым он «посылает на самую тяжёлую работу лагерников из среды

трудящихся». Если в каптёрке работает бывший офицер и обмундирования не хватает — значит, он «сознательно отказывает». Если кто–то сказал рекордистам: «остальные за вами не угонятся» — значит, он классовый враг! Если вор напился, или бежал, или украл, — разъясняют ему, что это не он виноват, что это классовый враг его напоил, или подучил бежать, или подучил украсть (интеллигент подучил вора украсть! — это совершенно серьёзно пишется в 1936 году). А если сам «чуждый элемент даёт хорошие производственные показатели», — это он «делает в целях маскировки»!

Круг замкнут. Работай или не работай, люби нас или не люби — мы тебя ненавидим и воровскими руками уничтожим!

И вздыхает Пётр Николаевич Птицын (посидевший по 58–й): «А ведь настоящие преступники не способны к подлинному труду. Именно неповинный человек отдаёт себя полностью, до последнего вздоха. Вот драма: враг народа— друг народа».

Но — не угодна жертва твоя.

«Неповинный человек»! — вот главное ощущение того эрзаца политических, который нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалое событие в

мировой истории тюрем: когда миллионы арестантов сознают, что они— правы, все правы и никто не виновен. (С Достоевским сидел на каторге один невинный!)

Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку не по закономерности убеждений, а швырком судьбы, отнюдь не укреплялись сознанием своей правоты— оно, может быть, гуще угнетало их нелепостью положения. Больше держась за свой прежний быт, чем за какие–либо убеждения, они отнюдь не проявляли готовности к жертве, ни единства, ни боевого духа. Они ещё в тюрьмах целыми камерами доставались на расправу двум–трём сопливым блатным. Они в лагерях уже вовсе были подорваны, они готовы были только гнуться под палкой нарядчика и блатного, под кулаком бригадира, они оставались способны только усвоить лагерную философию (разъединённость, каждый за себя и взаимный обман) и лагерный язык.

Попав в общий лагерь в 1938, с удивлением смотрела Е. Олицкая глазами социалистки, знавшей Соловки и изоляторы, на эту Пятьдесят Восьмую. Когда–то, на её памяти, политические всем делились, а сейчас каждый жил и жевал за себя и даже «политические» торговали вещами

и пайками!..

Политическая шпана — вот как назвала их (нас) Анна Скрипникова. Ей самой ещё в 1925 достался этот урок: она пожаловалась следователю, что её однокамерниц начальник Лубянки таскает за волосы. Следователь рассмеялся и спросил: «А вас тоже таскает?» — «Нет, но моих товарищей!» И тогда он внушительно воскликнул: «Ах, как страшно, что вы протестуете! Оставьте эти русские интеллигентские никчемные замашки! Они устарели. Заботьтесь только о себе! — иначе вам плохо придётся».

А это ж и есть блатной принцип: тебя не гребут — не подмахивай! Лубянский следователь 1925 года уже имел философию блатного!

Так на вопрос, дикий уху образованной публики: «может ли политический украсть?» — мы встречно удивимся: «а почему бы нет?».

«А может ли он донести?» — «А чем он хуже других?»

И когда по поводу «Ивана Денисовича» мне наивно возражают: как это у вас политические выражаются блатными словами? — я отвечаю: а если на Архипелаге другого языка нет?

Разве политическая шпана может противопоставить уголовной шпане свой язык?

Им же и втолковывают что они — уголовные, самые тяжкие из уголовных, а не уголовных у нас и в тюрьму не сажают!

Перешибли хребет Пятьдесят Восьмой — и политических нет. Влитых в свинское пойло Архипелага, их гнали умереть на работе и кричали им в уши лагерную ложь, что каждый каждому враг!

Ещё говорит пословица: возьмёт голод— появится голос. Но у нас, но у наших туземцев — не появлялся. Даже от голода.

А ведь как мало, как мало им надо было, чтобы спастись! Только: не дорожить жизнью, уже всё равно потерянной, и — сплотиться.

Это удавалось иногда цельным иностранным группам, например японцам. В 1947 году на Ревучий, штрафной лагпункт Красноярских лагерей, привезли около сорока японских офицеров, так называемых «военных преступников» (хотя в чём они провинились перед нами — придумать нельзя). Стояли сильные морозы. Лесоповальная работа, непосильная даже для русских. Отрицаловка[307] быстро раздела кое–кого из них, несколько раз упёрла у них весь лоток с хлебом.

---

[307] Примечания: 307

Отрицаловка: отрицаю всё, что требует начальство, — режим и работу. Обычно это — сильное ядро блатных.

Японцы в недоумении ожидали вмешательства начальства, но начальство, конечно, и внимания не обращало. Тогда их бригадир полковник Кондо с двумя офицерами, старшими по званию, вошёл вечером в кабинет начальника лагпункта и предупредил (русским языком они прекрасно владели), что если произвол с ними не прекратится, то завтра на заре двое офицеров, изъявивших желание, сделают харакири. И это — только начало. Начальник лагпункта (дубина Егоров, бывший комиссар полка) сразу смекнул, что на этом можно погореть. Двое суток японскую бригаду не выводили на работу, нормально кормили, потом увезли со штрафного.

Как же мало нужно для борьбы и победы — только жизнью не дорожить? жизнью–то, всё равно уже пропащей.

Но, постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу Пятьдесят Восьмую никогда не оставляли одну, — чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг — кто мы. А те светлые головы, горячие уста и твёрдые сердца, кто мог бы стать тюремными и лагерными вожаками, — тех давно по спецпометкам на делах— отделили, заткнули кляпами рты, спрятали в специзоляторах, расстреляли в подвалах.

* * *

Однако по важной особенности жизни, замеченной ещё в учении Дао, мы должны ожидать, что когда не стало политических— тогда–то они и появились.

Я рискну теперь высказать, что в советское время истинно–политические не только были, но:

1) их было больше, чем в царское время, и

2) они проявили стойкость и мужество большие, чем прежние революционеры.

Это покажется в противоречии с предыдущим, но— нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду — с мгновенными отголосками в обществе и прессе. Мы уже видели (Часть Первая, глава 12), что в Советской России социалистам пришлось несравнимо трудней.

Да не одни ж социалисты были теперь политические. Только сплеснутые ушатами в пятнадцатимиллионный уголовный океан, они невидимы и неслышимы были нам. Они были — немы. Немее всех остальных. Рыбы — их образ.

Рыбы, символ древних христиан. И христиане же— их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни

составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Это ли не политические? Нет уж, их шпаной не назовёшь.

И женщин среди них— особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера—тогда–то и есть подлинно верующие. За просвещённым зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках— мы проглядели, что у грешной православной Церкви выросли всё–таки дочери, достойные первых веков христианства, — сестры тех, кого бросали на арены ко львам.

Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтёт эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все— дрогнули, отреклись или перетаились.

Так это ли — не больше? Разве когда–нибудь царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч.

Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко выплывет нам рассказ об одном или другом.

Архиерей Преображенский (лицо Толстого, седая борода). Тюрьма–ссылка–лагерь, тюрьма–ссылка–лагерь (Большой Пасьянс). После такого многолетнего изнурения в 1943 вызван на Лубянку (по дороге блатные сняли с него камилавку). Предложено ему— войти в Синод. После стольких лет, кажется, можно бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы? Нет, он отказывается: это — не чистый Синод, не чистая Церковь. И — снова в лагерь.

А Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий (1877—1961), епископ Лука и автор знаменитой «Гнойной хирургии»? Его жизнеописание, конечно, будет составлено, и не нам здесь писать о нём. Этот человек избывал талантами. До революции он уже прошёл по конкурсу в Академию Художеств, но оставил её, чтобы лучше служить человечеству— врачом. В госпиталях Первой Мировой войны он выдвинулся как искусный хирург–глазник, после революции вёл ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развёртывалась перед ним, какой и шли наши современные

преуспевшие знаменитости, — но Войно–Ясенецкий ощутил, что служение его недостаточно, и принял сан священника. В операционной он повесил икону и читал студентам лекции в рясе с наперсным крестом (1921). Ещё патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20–е годы Войно–Ясенецкий сослан был в Туруханский край, хлопотами многих возвращён, но уже заняты были и его врачебная кафедра, и его епархия. Он частно практиковал (с дощечкою «епископ Лука»), валили валом больные (и кожаные куртки тайком), а избытки средств раздавал бедным.

Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку (1930, Архангельск) он послан был не по 58–й статье, а — «за подстрекательство к убийству» (вздорная история, будто он влиял на жену и тёщу покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии шприцевавшего трупы растворами, останавливающими разложение, а газеты шумели о «триумфе советской науки» и рукотворном «воскрешении»). Этот административный приём заставляет нас ещё менее формально уразуметь, кто же такие истинно политические. Если не борьба с режимом, то нравственное или жизненное противостояние

ему — вот главный признак. Априлепка «статьи» не говорит ни о чём. (Многие сыновья раскулаченных получали воровские статьи, но выявляли себя в лагерях истинно политическими.)

В архангельской ссылке Войно–Ясенецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и Киров уговаривал его снять сан, после чего тут же предоставлял ему институт. Но упорный епископ не согласился даже на печатание своей книги без указания в скобках сана. Так без института и без книги он окончил ссылку в 1933, воротился в Ташкент, там получил третью ссылку в Красноярский край. С начала войны он работал в сибирских госпиталях, применил свой метод лечения гнойных ран — и это привело его к Сталинской премии. Он согласился получать её только в полном епископском облачении! (На вопросы о его биографии студентам мединститутов отвечают сегодня: «о нём нет никакой литературы».)

А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны? И какой звездой блещет среди них Пётр Акимович Паль–чинский (1875–1929)! Это был инженер–учёный с широтой интересов поразительной. Выпускник

(1900) Горного института, выдающийся горняк, он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы по общим вопросам экономического развития, о колебаниях промышленных цен, об экспорте угля, об оборудовании и работе торговых портов Европы, экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности в Германии, о концентрации в германской и английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах— и сверх того работы по собственно горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений (и ещё не все работы известны нам сейчас). Как Войно–Ясенецкий в медицине, так горя бы не знал и Пальчинский в своём инженерном деле; но как тот не мог не содействовать вере, так этот не мог не вмешаться в политику. Ещё студентом Горного института Пальчинский числился у жандармов «вожаком движения», в 1900 председательствовал на студенческой сходке. Уже инженером в 1905 в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по «делу об Иркутской республике» осуждён на каторжные работы. Он бежал, уехал в Евро-

пу. Годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям, изучил европейскую технику и экономику, но не упускал из виду и программу народных изданий «для проведения анархистских идей в массах». В 1913, амнистированный и возвращаясь в Россию, он писал Кропоткину: «В виде программы своей деятельности в России я поставил… всюду, где был бы в состоянии, принять участие в развитии производительных сил страны вообще и в развитии общественной самодеятельности в самом широком смысле этого слова»[308]. В первый же объезд крупных русских центров ему наперебой предлагали баллотироваться в управляющие делами совета съезда горнопромышленников, предоставляли «блестящие директорские места в Донбассе», консультантские посты при банках, чтение лекций в Горном институте, пост директора Горного департамента. Мало было в России работников с такой энергией и такими широкими знаниями.

И какая же судьба ждала его дальше? Уже упоминалось (Часть Первая, глава 10), что он стал в войну товарищем председателя Военно–Про-

---

[308] Примечания: 308
Письмо от 20 февраля 1913. (ЦГАОР, ф.1129, оп. 2, ед. хр.1936.)

мышленного комитета, а после Февральской революции — товарищем министра торговли и промышленности. Как самый, очевидно, энергичный из членов безвольного Временного правительства, Пальчинский побыл даже генерал–губернатором Петрограда, в октябрьские дни — начальником обороны Зимнего дворца. Немедленно же он был посажен в Петропавловку, просидел там 4 месяца, правда, отпущен. В июне 1918 снова арестован без предъявления какого–либо обвинения. 6 сентября 1918 включён в список 122 видных заложников («если… будет убит ещё хоть один из советских работников, нижеперечисленные заложники будут расстреляны», ПетроЧК, председатель Г.Бокий, секретарь А. Иоселевич[309]). Однако не был расстрелян, а в конце 1918 даже и освобождён из–за неуместного вмешательства швейцарского социал–демократа Карла Моора (изумлённого, каких людей мы гноим в тюрьме). С 1920 он— профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове, после скорой его смерти создаёт комитет по (неудавшемуся) увековечению его памяти — и вскоре же, за это или не за это, снова посажен.

---

[309] Примечания: 309

Петроградская правда, 6 сентября1918, №193.

В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Пальчинского из этого третьего советского заключения — письмо в Московский Ревтрибунал от 16 января 1922:

«Ввиду того, что постоянный консультант Госплана инженер П.А. Пальчинский 18 января с. г. в три часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, президиум Госплана просит Ревтрибунал освободить тов. Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения.

Пред. Госплана Кржижановский»[310].

Просит (и довольно бесправно). И только потому, что южная металлургия — «особо важное значение в настоящий момент» … и только — «для исполнения поручения», а там — хоть пропади, хоть забирайте в камеру назад.

Нет, Пальчинскому дали ещё поработать над восстановлением горной добычи в СССР. После героической тюремной стойкости его расстреляли без суда только в 1929 году.

Надо совсем не любить свою страну, надо быть

---

[310] Примечания: 310
ЦГАОР, ф. 3348, ед. хр.167, л. 32.

ей чужаком, чтобы расстреливать гордость нации, — её сгущённые знания, энергию и талант!

Да не то же ли самое и через 12 лет с Николаем Ивановичем Вавиловым? Разве Вавилов — не подлинный политический (по горькой нужде)? За 11 месяцев следствия он перенёс 400 допросов. И на суде (9 июля 1941) не признал обвинений!

А безо всякой славы мировой — гидротехник профессор Родионов (о нём рассказывает Витковский). Попав в заключение, он отказался работать по специальности— хотя это самый лёгкий был для него путь. И тачал сапоги. Разве это — не подлинный политический? Он был мирный гидротехник, он не готовился к борьбе, но если против тюремщиков он упёрся в своих убеждениях— разве он не истый политический? Какая ему ещё партийная книжка?

Как внезапно звезда ярчеет в сотни раз — и потухает, так человек, не расположенный быть политическим, может дать короткую сильную вспышку в тюрьме и за неё погибнуть. Обычно мы не узнаём этих случаев. Иногда о них расскажет свидетель. Иногда лежит блеклая бумажка и по ней можно строить только предположения:

Яков Ефимович Почтарь, рожд. 1887, беспартийный, врач. С начала войны— на 45–й авиабазе

Черноморского флота. Первый приговор военного трибунала Севастопольской базы (17 ноября 1941)— 5 лет ИТЛ. Кажется, очень благополучно. Но что это? 22 ноября— второй приговор: расстрел. И 27 ноября расстрелян. Что произошло в роковые пять дней между 17–м и 22–м? Вспыхнул ли он, как звезда? Или просто судьи спохватились, что мало? (По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе… ?)

А троцкисты? Чистокровные политические, этого у них не отнять.

(Мне кричат! мне колокольчиком звонят: станьте на место! Говорите о единственных политических! — о несокрушимых коммунистах, кто и в лагере продолжал свято верить… — хорошо, отведём им следующую отдельную главу.)

Историки когда–нибудь исследуют: с какого момента у нас потекла струйка политической молодёжи? Мне кажется, с 43–44 года (я не имею в виду молодёжи социалистов и троцкистов). Почти школьники (вспомним «демократическую партию» 1944 года) вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же их ещё назвать?

Только мы и о них ничего не знаем и не узна-

ем.

А если 22–летний Аркадий Белинков садится в тюрьму за свой первый роман «Черновик чувств» (1943), ненапечатанный конечно, а потом в лагере пишет ещё (но на грани умирания доверяет стукачу Кермайеру и получает новый срок), — неужели мы откажем ему в звании политического?

В 1950 году студенты ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и всё, придорожный столбик.

А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество несравненно большие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Прежде за большие действия присуждались лёгкие наказания, и революционеры не должны были быть уж так смелы: в случае провала они рисковали только собой (не семьёй!), и даже не головой, а— небольшим сроком.

Что значило до революции расклеить листовки? Забава, всё равно что голубей гонять, не получишь и трёх месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Владимира Гершуни готовят листовки: «наше правительство скомпрометi-

ровало себя», — на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя.

И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе! В городе Ленинске–Кузнецке — единственная мужская школа. С 9–го класса пятеро мальчиков (Миша Бакст, их комсорг; Толя Тарантин, тоже комсомольский активист; Вельвелт Рейхтнал, Николай Конев и Юрий Аниконов) теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, ни новыми танцами, они оглядываются на дикость и пьянство в своём городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаясь как–то связать, сопоставить. Перейдя в 10–й класс, перед выборами в местные советы (1950 год), они печатными буквами выводят свою первую (и последнюю) простоватую листовку:

«Слушай, рабочий! Разве мы живём сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем — а получаем жалкие гроши, да и те зажимают… Почитай и подумай о своей жизни…»

Они сами тоже только думают — и поэтому ни к чему не призывают. (В плане у них был — цикл таких листовок и сделать гектограф самим.)

Клеили так: шли ночью по городу гурьбой,

один налеплял четыре комка хлебного мякиша, другой — на них листовку.

Ранней весной к ним в класс пришёл новый какой–то педагог и предложил… заполнить анкеты печатным почерком[311]. Умолял директор не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывают на собственном выпускном вечере. «Кто руководил вами, сознайтесь!» (Не могли поверить гебисты, что у мальчиков открылась простая совесть — ведь случай невероятный, ведь жизнь дана один раз, зачем же задумываться?) Карцеры, ночные допросы, стояния. Закрытое (уж конечно) заседание облсуда. (Судья— Пушкин, вскоре осуждённый за взятки.) Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев (!). Всем — по 10 и по 8 лет, и всех, семнадцатилетних, — в Особлаги.

Нет, не врёт переиначенная пословица: смелого ищи в тюрьме, глупого — в политруках!

Я пишу за Россию безъязыкую и потому мало скажу о троцкистах: они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уж наверно приготовили подробные мемуары и опишут свою

[311] Примечания: 311

Продал ребят Фёдор Полотнянщиков, позже парторг Полысаев–ской шахты. Страна должна знать своих стукачей

драматическую эпопею полней и точней, чем смог бы я.

Но кое–что для общей картины.

Они вели регулярную подпольную борьбу в конце 20–х годов с использованием всего опыта прежних революционеров, только ГПУ, стоявшее против них, не было таким лопоухим, как царская Охранка. Не знаю, готовились ли они к той тотальной гибели, которую определил им Сталин, или ещё думали, что кончится шутками и примирением. Во всяком случае, они были мужественные люди. (Опасаюсь, впрочем, что, придя ко власти, они принесли бы нам безумие не лучшее, чем Сталин.) Заметим, что и в 30–х годах, когда уже подходило им под шею, они считали для себя всякий контакт с социалистами — изменой и позором и поэтому в изоляторах держались отчуждённо, даже не передавали через себя тюремную почту социалистов (ведь они считали себя ленинцами.) Жена И.Н.Смирнова (уже после его расстрела) избегала общаться с социалистами, «чтобы не видел надзор» (то есть как бы— глаза компартии)!

Такое впечатление (но не настаиваю), что в их политической «борьбе» в лагерных условиях была излишняя суетливость, отчего появился

оттенок трагического комизма. В телячьих эшелонах от Москвы до Колымы они договаривали «о нелегальных связях, паролях» — а их рассовали по разным лагпунктам и разным бригадам.

Вот бригаду КРТД, честно заслужившую производственный паёк, внезапно переводят на штрафной. Что делать? «Хорошо законспирированная комячейка» обсуждает. Забастовать? Но это значило бы клюнуть на провокацию. Нас хотят вызвать на провокацию, а мы— мы гордо выйдем на работу и без пайка! Выйдем, а работать будем по–штрафному. (Это — 37–й год, и в бригаде — не только «чистые» троцкисты, но и зачисленные как троцкисты «чистые» ортодоксы, эти подали заявления в ЦК на имя товарища Сталина, в НКВД на имя товарища Ежова, в ЦИК на имя товарища Калинина, в Генеральную прокуратуру, и им крайне нежелательно теперь ссориться с лагерным начальством, от которого будут зависеть сопровождающие характеристики.)

На прииске Утиный они готовятся к XX годовщине Октября. Подбирают чёрные тряпки или древесным углем красят белые. Утром 7 ноября они намерены на всех палатках вывесить чёрные траурные флаги, а на разводе петь «Интернаци-

онал», крепко взявшись за руки и не впуская в свои ряды конвойных и надзирателей. Допеть, несмотря ни на что! После этого ни за что не выходить из зоны на работу! Выкрикивать лозунги: «Долой фашизм!», «Да здравствует ленинизм!», «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!».

В этом замысле смешан какой–то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной…

Впрочем, на них или из них же кто–то стучит, их всех накануне, 6 ноября, увозят на прииск Юбилейный и там изолируют на праздники. Из закрытых палаток (откуда им запрещено выходить) они поют «Интернационал», а работяги Юбилейного тем временем выходят на работу. (Да и среди поющих раскол: тут есть и несправедливо посаженные коммунисты, они отходят в сторону, «Интернационала» не поют, показывая молчанием свою правоверность.)

«Если нас держат за решёткой, значит, мы ещё чего–нибудь стоим», — утешался Александр Боярчиков. Ложное утешение. А кого не держали?..

Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка–забастовка по всей воркутской линии лагерей. (Перед тем

ещё где–то на Колыме, кажется, 100–дневная: они требовали вместо лагерей вольного поселения и выиграли — им обещали, они сняли голодовку, их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили.) Сведения о воркутской голодовке у меня противоречивые. Примерно вот так.

Началась 27 октября 1936 года и продолжалась 132 дня (их искусственно питали, но они не снимали голодовки). Было несколько смертей от голода. Их требования были:

— отъединение политических от уголовных[312];

— восьмичасовой рабочий день;

— восстановить политпаёк (то есть добавочное питание по сравнению с остальными, уж это — только для себя), питание независимо от выработки;

— уничтожение Особого Совещания, аннулирование его приговоров.

Их кормили через кишку, а потом распустили по лагерям слух, что не стало сахара и масла, «потому что скормили троцкистам», — приём, достойный голубых фуражек! В марте 1937 пришла

[312] Примечания: 312

Включали ли они в этих политических остальную Пятьдесят Восьмую, кроме себя? Вероятно, нет: не могли же они каэров признать за братьев, если даже социалистов отвергли?

телеграмма из Москвы: требования голодающих полностью приняты! Голодовка закончилась. Беспомощные лагерники, как они могли добиться исполнения? А их обманули — не выполнили ни одного. (Западному человеку ни поверить, ни понять нельзя, чтобы так можно было сделать. Ау коммунистов— так.) Напротив, всех участников голодовки стали пропускать через оперчекотделы и предъявляли обвинение в продолжении контрреволюционной деятельности.

Великий сыч в Кремле уже обдумывал свою расправу над ними.

Чуть позже на Воркуте на 8–й шахте была ещё крупная голодовка (а может— это часть предыдущей). Здесь участвовало 170 человек, некоторые из них известны поименно: староста голодовки Михаил Шапиро, бывший рабочий Харьковского ВЭФ; Дмитрий Куриневский из киевского обкома комсомола; Иванов — бывший командир эскадры сторожевых кораблей в Балтфлоте; Орлов; Каменецкий; Михаил Андреевич; Полевой–Генкин; В.В.Вираб, редактор тбилисской «Зари Востока»; Сократ Геворкьян, секретарь ЦК Армении; Григорий Злотник, профессор истории; его жена.

Ядро головки сложилось из 60 человек, в 1927–28 сидевших вместе в Верхнеуральском изо-

ляторе. Большой неожиданностью — приятной для голодающих и неприятной для начальства— было присоединение к голодовке ещё и двадцати урок во главе с паханом по кличке Москва (в том лагере он известен был своей ночной выходкой: забрался в кабинет начальника лагеря и оправился на его столе. Нашему бы брату— расстрел, ему— только укоризна: наверно, классовый враг подучил?). Эти–то двадцать блатных только и огорчали начальство, а «го–лодовочному активу» социально–чуждых начальник оперче–кистского отдела Воркутлага Узков говорил, издеваясь:

— Думаете, Европа про вашу голодовку узнает? Чихали мы на Европу!

И был прав. Но социально–близких бандитов нельзя было ни бить, ни дать им умереть. Впрочем, после половины голодовки добрались до их люмпен–пролетарского сознания, они откололись, и пахан Москва по лагерному радио объяснил, что его попутали троцкисты.

После этого судьба оставшихся была— расстрел. Они сами своей голодовкой подали заявку и список.

Нет, политические истинные— были. И много. И — жертвенны.

Но почему так ничтожны результаты их проти-

востояния? Почему даже лёгких пузырей они не оставили на поверхности?

Разберём и это. Позже.

Глава 11. БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ

Но я слышу возмущённый гул голосов. Терпение товарищей иссякло! Мою книгу захлопывают, отшвыривают, заплёвывают:

— В конце концов это наглость! это клевета! Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких–то попах, о технократах, о каких–то школьниках–сопляках… А подлинные политические— это мыі Мы, непоколебимые! Мы, ортодоксальные, кристальные (Оруэлл назвал их благомыслами). Мы, оставшиеся и в лагерях до конца преданными единственно–верному…

Да уж судя по нашей печати — одни только вы вообще и сидели. Одни только вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте.

Согласится ли читатель с таким критерием: политзаключённые— это те, кто знают, за что сидят, и тверды в своих убеждениях?

Если согласится, так вот и ответ: наши непоколебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно–верному и т. д., — тверды в своих убеждениях, но не знают, за что сидяті И потому не могут считаться политзаключёнными.

Если мой критерий нехорош, возьмём крите-

рий Анны Скрипниковой, за пять своих сроков она имела время его обдумать. Вот он: «Политический заключённый это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет — тот политическая шпана».

По–моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и «монашки», и архиерей Преображенский, и инженер Пальчинский, а вот ортодоксы — не подходят. Потому что: где ж те убеждения, от которых их понуждают отречься?

Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и клубному сторожу, попадают в разряд беспомощных, непонимающих жертв. Но — с гонором.

Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе?

Обо всех ли, кто, вопреки своей посадке, издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, — вопреки всему этому сохранил коммунистическое сознание?

Нет, не обо всех. Среди них были люди, для ко-

торых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но:

— они не руководствовались ею для «партийного» отношения к своим товарищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те посажены «правильно» (а я, мол, — неправильно);

— не спешили заявить гражданину начальнику (и оперуполномоченному) «я— коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере;

— сейчас, говоря о прошлом, не видят главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать.

Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке. Как будто это— индивидуальное свойство, ан нет: такие люди обычно не занимали больших постов на воле, и в лагере — простые работяги.

Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель: «Вы помните нашу молодость (я — с 1912), когда верхом блаженства для нас был зелёный из грубого полотна костюм «юнгштурма» с ремнём и портупеей, когда мы плевали на деньги,

на всё личное, и готовы были пойти на любое дело, лишь бы позвали (Курсив на всякий случай мой. — АС). В комсомоле я с тринадцати лет. И вот, когда мне было всего двадцать четыре, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58–й статьи». (Мы ещё узнаем, как он ведёт себя на воле, это достойный человек.)

Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом (не год один, как бывают пастухами иные депутаты), после рабфака и института стал инженером–путейцем (и не на партработу сразу, как опять же бывает), хорошим инженером (на шарашке он вёл сложные газодинамические расчёты турбины реактивного двигателя). Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа. В панические (16–го и 17–го) октябрьские дни 1941 года, добиваясь указаний, он звонил — телефоны молчали, он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи! Все руководители бежали. Но мы—коммунисты, будем обороняться сами!» И оборонялись. Но вот за это «все бежали» — те, кто бежали, его, не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет (за «анти-

советскую агитацию»). Он был тихий труженик, самоотверженный друг и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял.

Или вот геолог Николай Каллистратович Говорко, который, будучи воркутским доходягой, сочинил «Оду Сталину» (и сейчас сохранилась), но не для опубликования, не для того чтобы через неё получить льготы, а потому что лилась из души. И прятал эту оду на шахте (хотя зачем было прятать?).

Иногда такие люди сохраняют убеждённость до конца. Иногда (как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей приехавший создавать коммуну под Каховкой, посаженный в 1937) после реабилитации не принимают партбилета. Некоторые срываются ещё раньше, как опять же венгр Сабо, командир сибирского партизанского отряда в Гражданскую войну. Тот ещё в 1937 в тюрьме заявил: «был бы на свободе— собрал бы сейчас своих партизан, поднял бы Сибирь, пошёл на Москву и разогнал бы всю сволочь».

Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. (Да кто сорвался, как эти два венгра, — тех сами ортодоксы отсюда отчислят.)

Не будем рассматривать здесь и анекдоти-

ческих персонажей — кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы наседка «хорошо» донёс о нём следователю; как Подварков–сын, на воле расклеивавший листовки, а в Спасском лагере громко споривший со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу.

Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убеждённость сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере всем и каждому, и в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое.

По странному отбору это уже будут совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение, и в лагере им больней всего было бы согласиться быть уничтоженным, они яростней всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут— и все попавшие за решётку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители. И все теоретики, начётчики и громогласные (писатели Г. Серебрякова, Б.Дьяков, Алдан–Семёнов отнесутся сюда же, никуда больше).

Поймём их, не будем зубоскалить. Им было

больно падать. «Лес рубят— щепки летят»— была их оправдательная бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки.

Прохоров–Пустовер описывает сцену на Манзовке (особый пункт БАМлага) в начале 1938. На удивление всем туземцам, привезли какой–то небывалый «особый контингент» и с большой секретностью его отделяли от прочих. Такого поступления ещё никто никогда не видел: приехавшие были в кожаных пальто, меховых «москвичках», в бостоновых и шевиотовых костюмах, модельных ботинках и полуботинках (к 20–летию Октября эта отборная публика уже нашла вкус в одежде, недоступной рабочему люду). От дурной распорядительности или в издёвку им не выдали рабочей одежды, а так и погнали в шевиоте и хроме рыть траншеи в жидкой глине по колено. На стыке тачечного хода один зэк опрокинул тачку с цементом, и цемент вывалился. Подбежал бригадир–урка, материл и в спину толкал виновного: «Руками подбирай, растяпа!» Тот вскричал истерически: «Как вы смеете издеваться? Я бывший прокурор республики!» И крупные слёзы катились по его лицу. «Да на … мне, что ты — прокурор республики, стерва! Мордой тебя в этот цемент, вот и будешь прокурор! Теперь

ты — враг народа и обязан вкалывать!» (Впрочем, прораб заступился за прокурора.)

Расскажите нам такую сценку с прокурором царского времени в концлагере 1918 года— никто не шевельнётся его пожалеть: признано единодушно, что то были не люди (они и сроки требовали своим подсудимым год, три, пять). А своего, советского, пролетарского прокурора, хоть и в бостоновом костюме, — как не пожалеть. (Он и требовал — червонец да вышку.)

Сказать, что им было больно, — это почти ничего не сказать. Им— невместимо было испытать такой удар, такое крушение— и от своих, от родной партии, и по видимости— ни за что. Ведь перед партией они ни в чём не были виноваты, перед партией— ни в чём.

Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос: «за что тебя посадили?» Единственное такое щепетильное арестантское поколение! — мы–то, в 1945, язык вываля, как анекдот, первому встречному и на всю камеру рассказывали о своих посадках.

Это вот какие были люди. У Ольги Слиозберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать её самою. Четыре часа шёл обыск — и

эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно–щёточной промышленности, где она была секретарём за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила её, чем оставляемые навсегда дети! Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «да проститесь вы с детьми!»

Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную тюрьму в 1938 пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напиши — виновата ты или нет?.. Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата— я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подслеповатой лампочкой: как же дочери жить без комсомола? как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я виновата… Вступай в комсомол».

Ещё бы не тяжко! да непереносимо человеческому сердцу: попав под родной топор— оправдывать его разумность.

Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме.

Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть «совращение малых сих», что мать совратила дочь и повредила её душу.

Это вот какие были люди: Е.Т. давала искренние показания на мужа — лишь бы помочь партии!

О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость!

Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами! Но сбылось по мечте Марии Даниелян: «если когда–нибудь выйду отсюда— буду жить, как будто ничего не произошло».

Верность? А по–нашему: хоть кол на голове теши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай

Адамович Виленчик, просидевший 17 лет: «Мы верили партии— и мы не ошиблись^ Верность — или кол теши?

Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтоб

удержаться в сознании правоты— иначе ведь и до сумасшествия недалеко.

Как можно было бы им всем посочувствовать! Но так хорошо все видят они, в чём пострадали, — не видят, в чём виноваты.

Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37–го года», и так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы–пик сажали не их одних, а всё те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодёжь, инженеры и техники, агрономы, и экономисты, и просто верующие.

«Набор 37–го года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал «легенду 37–го года», легенду из двух пунктов:

1) если когда при советской власти сажали, то только в 37–м, и только о 37–м надо говорить и возмущаться;

2) сажали в 37–м — только их.

Так и пишут: страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры: секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей облисполкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных

прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов…

В начале нашей книги мы уже дали объём потоков, лившихся на Архипелаг два десятилетия до 37–го года. Как долго это тянулось! И сколько это было миллионов! Но ни ухом ни рылом не вёл будущий набор 37–го года, они находили всё это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем, а П.П. Постышев (эмиссар Сталина при Украинском ЦК), не ведая, что и сам обречён на то же, выражался так:

в 1931 на совещании работников юстиции: «…сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага и деклассированных выходцев»

(эти выходцы деклассированные чего стоят! кого нельзя загнать под «деклассированного выходца»?);

в 1932: «Понятно, что… проведя их через горнило раскулачивания… мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился…»;

и ещё как–то: «Ни в коем случае не притуплять остриё карательной политики!»

А остриё–то какое острое, Павел Петрович! А горнило–то какое горячее!

Р. М. Гер объясняет так: «Пока аресты касались людей, мне не знакомых или малоизвестных, у меня и моих знакомых не возникало сомнения в обоснованности (!) этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то…»

Одним словом, они оставались спокойны, пока сажали общество. «Вскипел их разум возмущённый», когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которое казалось твёрдо установленным, и потому так весело было жить.

Конечно ошеломишься! Конечно диковато было это воспринять! В камерах спрашивали вгоряче:

— Товарищи! Не знаете? — чей переворот? Кто захватил власть в городе?

И долго ещё потом, убедясь в бесповоротности, вздыхали и стонали: «Был бы жив Ильич— никогда б этого не было!»

(А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? — см. Часть Первая, главы 8, 9.)

Но всё же — государственные люди! просвещённые марксисты! теоретические умы! — как же они справились с этим испытанием? как же они переработали и осмыслили заранее не разжё-

ванное, в газетах не разъяснённое историческое событие? (А исторические события и всегда налетают внезапно.)

Годами грубо натасканные по поддельному следу, вот какие давали они объяснения, поражающие глубиной:

1) это— очень ловкая работа иностранных разведок;

2) это — вредительство огромного масштаба! в НКВД засели вредители! (смешанный вариант: в НКВД засели немецкие разведчики);

3) это—затея местных энкаведистов;

И во всех трёх случаях: мы сами виноваты в потере бдительности! Сталин ничего не знает! Сталин не знает об этих арестах!! Вот он узнает— он всех их разгромит, а нас освободит!!

в рядах партии действительно страшная измена (а почему??), и во всей стране кишат враги, и большинство здесь посажены правильно, это уже не коммунисты, это контрюги, и надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, ещё и ты. (К этому варианту примыкал и Механошин, бывший член Реввоенсовета. То есть выпусти его, дай волю— скольких бы он сажал!);

эти репрессии — историческая необходимость развития нашего общества. (Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например профессор из Плехановского института народного хозяйства. Объяснение–то верное, и можно было бы восхититься, как он это правильно и быстро понял, — да закономерности–то самой никто из них не объяснил, а только в дуделку из постоянного набора: «историческая необходимость развития»; на что угодно так непонятно говори— и всегда будешь прав.)

И во всех пяти вариантах никто, конечно, не обвинял Сталина — он оставался незатменным солнцем!

На фоне этих изумительных объяснений психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим персонажам Нароков (Марченко) в «Мнимых величинах»: что все эти посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать всё, что от тебя требуют, и кто будет подписывать всё и не озлится— тот будет потом сильно возвышен.

И если вдруг кто–нибудь из старых партийцев, например Александр Иванович Якшевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин— никакая не правая рука Ленина, а— со-

бака, и пока он не подохнет— добра не будет, — на такого ортодоксы бросались с кулаками, на такого спешили донести своему следователю!

Вообразить себе нельзя благомысла, который на минуту бы ёкнул в мечте о смерти Сталина.

Вот на каком уровне пытливой мысли застал 1937 год благонамеренных ортодоксов! И как же оставалось им настраиваться перед судом? Очевидно, как Парсонс в «1984» у Ору–элла: «Разве партия может арестовать невиновного? Я на суде скажу им: спасибо, что вы спасли меня, пока ещё можно было спасти!»

И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений! Вот оно.

Чем больше посадят— тем скорее вверху поймут ошибку] А поэтому— стараться как можно больше называть фамилий] Как можно больше давать фантастических показаний на невиновных! всю партию не арестуют!

(А Сталину всю и не нужно было, ему только головку и дол–гостажников.)

Как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал давать

ложные на себя показания[313], — так им первым же, безусловно, принадлежит и это карусельное открытие: называть побольше фамилий! Такого ещё русские революционеры не слышали!

Проявлялась ли в этой теории куцость их предвидения? убогость мышления? Мне сердцем чуется, что — нет, что здесь был у них— испуг. А теория эта—лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они (уже давно незаконно) революционерами, а глянув в себя, содрогнулись: оказалось, что они не могут выстоять. Эта «теория» освобождала их от необходимости бороться со следователем.

Хотя б то было понять им, что эту чистку партии Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой.

Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать, эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных! — так придумал игривец–тигр. И

[313] Примечания: 313

Ну, может быть, «Союзное бюро меньшевиков» опередило их, но они по убеждениям были почти большевиками.

пока шли пустоделовые пленумы, совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось: поступил материал, компрометирующий такого–то; и предлагалось поставить согласие (или несогласие!..) на исключение его из ЦК. (И ещё кто–нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживает бумагу.) И все — ставили визу. Так Центральный Комитет ВКП(б) расстрелял сам себя. (Да Сталин ещё раньше угадал и проверил их слабость: раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории— она уже в капкане, ей уже не воспрять.) Ккто было «спецприсутствие», судившее Тухачевского–Якира? Блюхер! Шапошников! Алкснис!

И уж тем более забыли они (да не читали никогда) такую давнь, как послание патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров 26 октября 1918 года. Взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твёрдый патриарх: «взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лука, 11:51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Матфей, 26:52)». Но тогда это казалось смешно, невозможно! Где было им тогда представить, что История всё–таки знает иногда возмездие, какую–то сладострастную позднюю

справедливость, но странные выбирает для неё формы и неожиданных исполнителей.

И если на молодого Тухачевского, когда он победно возвращался с подавления разорённых тамбовских крестьян, не нашлось на вокзале ещё одной Маруси Спиридоновой, чтоб уложить его пулею в лоб, — это сделал недоучившийся грузинский семинарист через 16 лет.

И если проклятья женщин и детей, расстрелянных крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин, не могли прорезать грудь Бела Куна, — это сделал его товарищ по III Интернационалу.

И Петерса, Лациса, Берзина, Агранова, Прокофьева, Ба–лицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Уборевича, Бубнова, Алафузо, Алксниса, Аронштама, Геккера, Гиттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутякова, Примакова, Путну, Ю.Сабли–на, Фельдмана, Р. Эйдемана; и Уншлихта, Енукидзе, Невского, Нахамкиса, Ломова, Кактыня, Косиора, Рудзутака, Гикало, Го–лодеда, Белобородова, Пятакова и Зиновьева — всех их покарал маленький рыжий мясник, а нам пришлось бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за пятнадцать и двадцать лет перед тем.

Бороться? Бороться из них не пробовал никто. Если скажут, что трудно было бороться в ежовских камерах, — то почему не открыли борьбы хоть на день раньше своего ареста? Неужели не видно было, куда течёт? Значит, вся молитва была: пронеси мимо! Почему малодушно кончил с собой Орджоникидзе? (А если убит — то почему дождался?) Почему не боролась верная подруга Ленина Крупская? Почему ни разу не выступила она с публичным разоблачением, как старый рабочий в ростовских Ленмастерских (в 1932–33)? Неужели уж так боялась за свою старушечью жизнь? Члены первого Иваново–Вознесенского Совдепа 1905 года—Алалыкин, Спиридонов, — почему они теперь подписывали позорные обвинения на себя? А председатель того Совдепа Шубин более того подписал, что никакого Совдепа в 1905 году в Иваново–Вознесенске и не было? Как же можно так наплевать на всю свою жизнь?

Сами благомыслы, вспоминая теперь 37–й год, стонут о несправедливости, об ужасах— никто не упомянет о возможностях борьбы, которые физически были у них— и не использованы никем. Да уж они и никогда не объяснят. И время тех аргументов ушло.

Всей твёрдости посаженных правоверных хватало лишь для разрушения традиций политических заключённых. Они чуждались инакомыслящих однокамерников, таились от них, шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или эсеры, — «не давать им материала против партии!»

Евгения Гольцман в Казанской тюрьме (1938) противилась перестукиванию между камерами: как коммунистка она не согласна нарушать советские законы! Когда же приносили газету— настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы читали её не поверхностно, а подробно!

Мемуары Е. Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «не смейте потешаться над надзирателем! Он представляет здесь советскую власть!» (А? Всё перевернулось! Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме!) Или комсомолка Катя Широкова спрашивает у Гинзбург в шмональном помещении: вон та немецкая коммунистка спрятала золото в волосы, но тюрьма–то наша, советская, — так не надо ли донести надзирательнице?!

А Екатерина Олицкая, ехавшая на Колыму в

том же самом 7–м вагоне, где и Гинзбург (этот вагон почти сплошь состоял из одних коммунисток), дополняет её сочные воспоминания двумя разительными подробностями.

У кого были деньги, дали на покупку зелёного лука, а получить тот лук в вагон пришлось Олицкой. С её старореволюционными традициями ей и в голову не пришло ничего другого, как делить на 40 человек. Но тотчас же её одёрнули: «Делить на тех, кто деньги давал!» «Мы не можем кормить нищих!» «У нас у самих мало!» Олицкая обомлела даже: это были политические?.. Это были коммунистки набора 37–го года!

И второй эпизод. В свердловской пересылочной бане этих женщин прогнали голыми сквозь строй надзирателей. Ничего, утешились. Уже на следующих перегонах они пели в своём вагоне:

Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек!

Вот с таким комплексом миропонимания, вот с таким уровнем сознания вступают благомыслящие на свой долгий лагерный путь. Ничего не поняв с самого начала ни в аресте, ни в следствии, ни в общих событиях, они по упорству, по преданности (или по безвыходности?) будут теперь всю дорогу считать себя светоносными, будут

объявлять только себя знающими суть вещей.

Однажды приняв решение ничего окружающего не замечать и не истолковывать, тем более постараются они не замечать и самого страшного для себя: как на них, на прибывающий набор 37–го года, ещё очень отличный в одежде, в манерах и в разговоре, смотрят лагерники, смотрят бытовики, да и Пятьдесят Восьмая (кто выжил из «раскулаченных» — как раз кончал первые десятки). Вот они, кто носили с важным видом портфели! Вот они, кто ездили на персональных машинах! Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей! Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах! — а нас по закону «семь восьмых» отправляли на 10 лет в лагеря за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят: «Там, на воле, вы — нас, здесь будем — each (Но это не осуществится. Ортодоксы все скоро хорошо устроятся.)

Приводит Е. Гинзбург совсем противоположную сцену. Спрашивает её тюремная медсестра: «Правда ли, что вы пошли за бедный народ, сидите за колхозников?» Вопрос невероятный. Может, тюремная сестра за решётками ничего не видит, так и спросила такую глупость. Но колхозники

и простые лагерники имеют глаза, они сразу же узнавали этих людей, как раз и совершавших чудовищный сгон «коллективизации».

И в чём же состоит высокая истина благонамеренных? А в том, что они не хотят отказаться ни от одной прежней оценки и не хотят почерпнуть ни одной новой. Пусть жизнь хлещет через них, и переваливается через них, и даже колёсами переезжает через них— а они её не пускают в свою голову! а они не признают её, как будто она не идёт! Это нехотение что–либо изменить в своём мозгу, эта простая неспособность критически обмысливать опыт жизни — их гордость! На их мировоззрении не должна отразиться тюрьма! не должен отразиться лагерь! На чём стояли — на том и будем стоять! Мы — марксисты! Мы — материалисты! Как же можем мы измениться от того, что случайно попали в тюрьму? (Как же можем мы измениться сознанием, если бытие меняется, если оно показывается новыми сторонами? Ни за что! Провались оно пропадом, бытие, но нашего сознания оно не определит! Ведь мы же материалисты!..)

Вот степень их проницания в случившееся с ними. В.М. Зарин: «Я всегда повторял в лагере: из–за дураков (то есть посадивших его) с совет-

ской властью ссориться не собираюсь!»

Вот их неизбежная мораль: я посажен зря и значит я — хороший, а все вокруг— враги и сидят за дело.

Вот куда их энергия: по шесть и по двенадцать раз в году они шлют жалобы, заявления и просьбы. О чём там они пишут? Что они там скребут? Конечно клянутся в преданности Великому и Гениальному (а без этого не освободят). Конечно отрекаются от тех, кто уже расстрелян по их делу. Конечно умоляют простить их и разрешить им вернуться туда, наверх. И завтра они с радостью примут любое партийное поручение — вот хотя бы управлять этим лагерем. (А что на все жалобы шли таким же густым косяком отказы — так это потому, что до Сталина они не доходили! Он бы понял! Он бы простил, милостивец!)

Хороши ж «политические», если они просят власть—о прощении!.. Вот уровень их сознания— генерал Горбатов со своими мемуарами. «Суд? Что с него взять? Ему так кто–то приказал…» О, какая сила анализа! И какая же ангельски–болыпе–вицкая кротость! Спрашивают Горбатова блатные: «Почему ж вы сюда попали?» (Кстати, не могут они спрашивать на «вы».) Горбатов: «Оклеветали нехорошие люди». Нет, анализ–то, анализ

каков! А ведёт себя генерал не как Шухов, но как Фетю–ков: идёт убирать канцелярию в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. «Сметая со столов крошки и корочки, а иногда и кусочки хлеба, я в какой–то степени стал лучше утолять свой голод». Ну, хорошо, утоляй. Но Шухову ставят в тяжкую вину, что он думает о каше и нет у него социального сознания, а генералу Горбатову всё можно, потому что оп мыслит… о нехороших людях! (Впрочем, Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране посмелей генерала.)

А вот В.П.Голицын, сын уездного врача, инженер–дорожник. 140 (сто сорок!) суток он просидел в смертной камере (было время подумать!). Потом 15 лет потом вечная ссылка. «В мозгах ничего не изменилось. Тот же беспартийный большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и правительство, а злая воля каких–то людей (анализ!), которые приходят и уходят (что–то никак не уйдут…), а всё остальное (!) остаётся… И ещё помогли выстоять простые советские люди, которых в 1937–38 очень много было и в НКВД (то есть в аппарате), и в тюрьмах, и в лагерях. Не «кумы», а настоящие дзержинцы». (Совершенно непонятно: эти дзержинцы, которых было так много, — что ж они смотрели на беззакония

каких–то людей? А сами к беззакониям не притрагивались? И при этом уцелели? Чудеса…)

Или Борис Дьяков: смерть Сталина пережил с острой болью (да он ли один? все ортодоксы). Ему казалось: умерла вся надежда на освобождение!..[314]

Но мне кричат: нечестно! Нечестно! Вы ведите спор с настоящими теоретиками! Из Института Красной Профессуры!

Пожалуйста. Я ли не спорил! А чем же я занимался в тюрьмах? и в этапах? и на пересылках? Сперва я спорил вместе с ними и за них. Но что–то наши аргументики показались мне жидкими. Потом я помалкивал и послушивал. Потом я спорил против них. Да сам Захаров, учитель Маленкова (очень он гордился, что — учитель Маленкова), и тот снисходил до диалога со мной.

И вот что — ото всех этих споров остался у меня в голове как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе — один слившийся человек. Из разу в раз он повторит в том же месте — тот же довод и теми же словами. И так же будет непробиваем — непробиваем, вот их главное качество! Не изобретено ещё бронебойных снарядов против

---

[314] Примечания: 314

Б. Дьяков. Повесть о пережитом // Октябрь, 1964, № 7.

чугуннолобых! Спорить с ними— изнуришься, если заранее не принять, что спор этот— просто игра, забава весёлая.

С другом моим Паниным лежим мы так на средней полке вагон–зака, хорошо устроились, селёдку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой–то станции в наше купе суют—учёного марксиста! это даже по клиновидной бородке, по очкам его видно. Не скрывает: бывший профессор Коммунистический Академии. Свесились мы в квадратную прорезь— с первых же его слов поняли: непробиваемый. А сидим в тюрьме давно, и сидеть ещё много, ценим весёлую шутку— надо слезть позабавиться! Довольно просторно в купе, с кем–то поменялись, стиснулись.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вам не тесно?

— Да нет, ничего.

— Давно сидите?

— Порядочно.

— Осталось меньше?

— Да почти столько же.

— А смотрите — деревни какие нищие: солома, избы косые.

— Наследие царского режима.

— Ну да и советских лет уже тридцать.

— Исторически ничтожный срок.

— Беда, что колхозники голодают.

— А вы заглядывали во все чугунки?

— Но спросите любого колхозника в нашем купе.

— Все посаженные в тюрьму— озлоблены и необъективны.

— Но я сам видел колхозы…

— Значит, нехарактерные.

(Клинобородый и вовсе в них не бывал, так и проще.)

— Но спросите вы старых людей: при царе они были сыты, одеты, и праздников сколько!

— Не буду и спрашивать. Субъективное свойство человеческой памяти: хвалить всё прошедшее. Которая корова пала, та два удоя давала. — Он и пословицей иногда. — А праздники наш народ не любит, он любит трудиться.

— А почему во многих городах с хлебом плохо?

— Когда?

— Да и перед самой войной…

— Неправда! Перед войной как раз всё наладилось.

— Слушайте, по всем волжским городам тогда

стояли тысячные очереди…

— Какой–нибудь местный незавоз. А скорей всего вам изменяет память.

— Да и сейчас не хватает!

— Бабьи сплетни. У нас 7–8 миллиардов пудов зерна[315].

— А зерно — перепревшее.

— Напротив, успехи селекции.

— Но во многих магазинах прилавки пустые.

— Неповоротливость на местах.

— Да и цены высоки. Рабочий во многом себе отказывает.

— Наши цены научно обоснованы, как нигде.

— Значит, зарплата низка.

— И зарплата научно обоснована.

— Значит, так обоснована, что рабочий большую часть времени работает на государство бесплатно.

— Вы не разбираетесь в политэкономии. Кто вы по специальности?

— Инженер.

— А я именно экономист. Не спорьте. У нас прибавочная стоимость невозможна даже.

— Но почему раньше отец семейства мог кор-

---

[315] Примечания: 315

Ведь ещё не скоро обнародует Хрущёв, что в 1952 году собрали хлеба меньше, чем в 1913.

мить семью один, а теперь должны работать двое–трое?

— Потому что раньше была безработица, жена не могла устроиться. И семья голодала. Кроме того, работа жены важна для её равенства.

— Какого ж к чёрту равенства? А на ком все домашние заботы?

— Должен муж помогать.

— А вот вы — помогали жене?

— Я не женат.

— Значит, раньше каждый работал днём, а теперь оба ещё должны работать и вечером. У женщины не остаётся времени на главное: на воспитание детей.

— Совершенно достаточно. Главное их воспитание— это детский сад, школа, комсомол.

— Ну, и как они воспитывают? Растут хулиганы, воришки. Девчёнки — распущенные.

— Ничего подобного. Наша молодёжь высокоидейна.

— Это— по газетам. Но наши газеты лгут!

— Они гораздо честнее буржуазных. Почитали бы вы буржуазные.

— Дайте почитать!

— Это совершенно излишне.

— И всё–таки наши газеты лгут!

— Они открыто связаны с пролетариатом.

— В результате такого воспитания растёт преступность.

— Наоборот, падает. Дайте статистику!

Это — их любимый козырь: дайте им статистику! — в стране, где засекречено даже количество овечьих хвостов. Но — дождутся они: ещё дадим мы им и статистику.

— А почему ещё растёт преступность: законы наши сами рождают преступления. Они свирепы и нелепы.

— Наоборот, прекрасные законы. Лучшие в истории человечества.

— Особенно 58–я статья.

— Без неё наше молодое государство не устояло бы.

— Но оно уже не такое молодое.

— Исторически очень молодое.

— Но оглянитесь, сколько людей сидит!

— Они получили по заслугам.

— А вы?

— Меня посадили ошибочно. Разберутся — выпустят. (Эту лазейку они все себе оставляют.)

— Ошибочно? Каковы ж тогда ваши законы?

— Законы прекрасны, печальны отступления от них.

— Везде— блат, взятки, коррупция.

— Надо усилить коммунистическое воспитание.

И так далее. Он невозмутим. Он говорит языком, не требующим напряжения ума. Спорить с ним— идти по пустыне.

О таких людях говорят: все кузни исходил, а некован воротился.

А сложись его личная судьба иначе — мы не узнали бы, какой это сухой малозаметный человечек. С уважением читали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркомах или смел бы представлять за границей всю Россию.

Спорить с ним бесполезно. Гораздо интересней сыграть с ним… нет, не в шахматы, «в товарищей». Есть такая игра. Это очень просто. Пару раз ему поддакните. Скажите ему что–нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно. Ведь он привык, что все вокруг— враги, он устал огрызаться и совсем не любит рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по–человечески откроется вам, что вот видел на вокзале: люди проходят, разговаривают, смеются, жизнь идёт. Партия руководит, текут великие события, кто–то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами

сидим, нас горсть, надо — писать, писать просьбы о пересмотре, о помиловании…

Или расскажет что–нибудь интересное: в Комакадемии наметили они съесть одного товарища, чувствовали, что он какой–то не настоящий, не наш, но никак не удавалось: в статьях его не было ошибок и биография чистая. И вдруг, разбирая архивы — о находка! — наткнулись на старую брошюрку этого товарища, которую держал в руках сам Ильич и на полях оставил своим почерком пометку: «как экономист— говно». «Ну, вы сами понимаете, — доверительно улыбается наш собеседник, — что после этого нам ничего не стоило расправиться с путаником и самозванцем. Выгнали и лишили учёного звания».

Вагоны стучат. Уже все спят, кто лёжа, кто сидя. Иногда по коридору пройдёт конвойный солдат, зевая.

Пропадает никем не записанный ещё один эпизод из ленинской биографии…

* * *

Для полноты представления о благонамеренных исследуем их поведение во всех основных разрезах лагерной жизни.

А) Отношение к лагерному режиму и к борьбе

заключённых за свои права. Поскольку лагерный режим установлен нами, советской же властью, — надо его соблюдать не только с готовностью, но и со всей сознательностью. Надо соблюдать самый дух режима ещё прежде, чем это будет потребовано или указано надзором.

Всё у той же Е. Гинзбург изумительные наблюдения: женщины оправдывают стрижку (под машинку) своей головы (раз требует режим)! Из закрытой тюрьмы их шлют умирать на Колыму. У них готово своё объяснение: значит, нам доверяют, что мы там будем работать по совести!

О какой же, к чёрту, «борьбе» может идти речь? Борьбе — против кого? Против своихі Борьбе — во имя чего? Во имя личного освобождения? Так надо не бороться, а просить в законном порядке. Во имя свержения советской власти? Типун вам на язык!

Среди тех лагерников, кто хотел бороться, но не мог; кто мог, но не хотел; кто и мог и хотел (и боролся! дойдёт черёд, поговорим и о них!), — ортодоксы представляют четвёртую группу: кто не хотел — да и не мог, если бы захотел. Вся предыдущая жизнь уготовила их только к искусственной, условной среде. Их «борьба» на воле была принятием и передачей одобренных свыше резолюций

и распоряжений с помощью телефона и электрического звонка. В лагерных условиях, где борьба потребует скорее всего рукопашной, и безоружным идти на автоматы, и ползти по–пластунски под обстрелом, они были Сидоры Поликарповичи и Укропы Помидоровичи, никому не страшные и ни к чему не годные.

И уж тем более эти принципиальные борцы за общечеловеческое счастье никогда не были помехой для разбоя блатных: они не возражали против засилия блатных на кухнях и в придурках (читайте хотя бы генерала Горбатова, там есть) — ведь это по их теории социально–близкие блатные получили в лагере такую власть. Они не мешали грабить при себе слабых и сами тоже не сопротивлялись грабежу.

И всё это было логично, концы сходились с концами, и никто не оспаривал. Но вот подошла пора писать историю, раздались первые придушенные голоса о лагерной жизни, благомыслящие оглянулись, и стало им обидно: как же так? они, такие передовые, такие сознательные, — и не боролись! И даже не знали, что был культ лично-

сти Сталина![316] И не предполагали, что дорогой Лаврентий Павлович — заклятый враг народа!

И спешно понадобилось пустить какую–то мутную версию, что они— боролись. Упрекали моего Ивана Денисовича все журнальные шавки, кому только не лень: почему не боролся, сукин сын? «Московская правда» (8.12.1962) даже укоряла Ивана Денисовича, что коммунисты устраивали в лагерях подпольные собрания, а он на них не ходил, уму–разуму не учился у мыслящих.

Но что за бред? — какие подпольные собрания? И зачем? — чтобы показывать кукиш в кармане? И кому показывать кукиш, если от младшего надзирателя и до самого Сталина— сплошная советская власть? И когда, и какими же методами они боролись?

Этого никто назвать не может.

К мыслили они о чём? — если единственно разрешали себе повторять: всё действительное разумно? О чём они мыслили, если вся их молитва была: не бей меня, царская плеть?

Б) Взаимоотношения с лагерным начальством.

---

[316] Примечания: 316

В 1957 году завкадрами Рязанского облоно спросила меня: «А за что вы были в 45–м году арестованы?» — «За высказывание против культа личности», — ответил я. «Как это может быть? — изумилась она. — Разве тогда был культ личности?» (Она искренне так поняла, что культ личности объявили в 1956, откуда ж он в 1945?)

Какое ж может быть отношение у благомыслящих к лагерному начальству, кроме самого почтительного и приязненного? Ведь лагерные начальники — все члены партии и выполняют партийную директиву, не их вина, что «я» (= единственный невиновный) прислан сюда с приговором. Ортодоксы прекрасно сознают, что, окажись они вдруг на месте лагерных начальников, — и они всё делали бы точно так же.

Тодорский, о котором прошумела теперь вся наша пресса как о лагерном герое (журналист из семинаристов, замеченный Лениным и почему–то ставший к 30–м годам начальником Во–енно–Воздушной (?) академии), по тексту Дьякова, даже с начальником снабжения, мимо которого работяга пройдет и глаз не повернёт, — разговаривает так:

— Чем могу служить, гражданин начальник?

Начальнику же санчасти Тодорский составляет конспект по «Краткому курсу». Если Тодорский хоть в чём–нибудь мыслит не так, как в «Кратком курсе», — то где ж его принципиальность, как он может составлять конспект точно по Стали-

ну?[317] Значит, он мыслит так точно.

Но мало любить начальство! — надо, чтоб и начальство тебя любило. Надо же объяснить начальству, что мы— такие же, вашего теста, уж вы нас пригрейте как–нибудь. Оттого герои Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан–Семёнова при каждом случае, надо не надо, удобно не удобно, при приёме этапа, при проверке по формулярам, заявляют себя коммунистами. Это и есть заявка на тёплое местечко.

Шелест придумывает даже такую сцену. На Котласской пересылке идёт перекличка по формулярам. «Партийность?» — спросил начальник. (Для каких дураков это пишется? Где в тюремных формулярах графа партийности?) «Член ВКП(б)», — отвечает Шелест на подставной вопрос.

И надо отдать справедливость начальникам, как дзержинцам, так и берианцам: они слышат. И — устраивают. Да не было ли письменной или хотя бы устной директивы: коммунистов устраивать поприличнее? Ибо даже в периоды самых

---

[317] Примечания: 317

Возразят нам: принципиальность–то принципиальность, но иногда нужно быть и гибким. Был же период, когда Ульбрихт и Димитров инструктировали свои компартии о мире с нацистами и даже поддержке их. Ну, тут нам крыть нечем, диалектика!

резких гонений на Пятьдесят Восьмую, когда её снимали с должностей придурков, бывшие крупные коммунисты почему–то удерживались. (Например, в Краслаге. Бывший член военсовета СКВО Аралов держался бригадиром огородников, бывший комбриг Иванчик— бригадиром коттеджей, бывший секретарь МК Дедков— тоже на синекуре.) Но и безо всякой директивы простая солидарность и простой расчёт — «сегодня ты, а завтра я» — должны были понуждать эмведешников заботиться о правоверных.

И получалось, что ортодоксы были у начальства на ближнем счету, составляли в лагере устойчивую привилегированную прослойку. (На рядовых тихих коммунистов, кто не ходил к начальству твердить о своей вере, это не распространялось.)

Алдан–Семёнов в простоте так прямо и пишет: коммунисты–начальники стараются перевести коммунистов–заключённых на более лёгкую работу. Не скрывает и Дьяков: новичок Ром объявил начальнику больницы, что он— старый большевик. И сразу же его оставляют дневальным санчасти — очень завидная должность! Распоряжается и начальник лагеря не страгивать Тодорского с санитаров.

Но самый замечательный случай рассказывает

Г. Шелест в «Колымских записях»[318]: приехал новый крупный эмведешник и в заключённом Заборском узнаёт своего бывшего комкора по Гражданской войне. Прослезились. Ну, полцарства проси! И За–борский: соглашается «особо питаться с кухни и брать хлеба сколько надо» (то есть объедать работяг, ибо новых норм питания ему никто не выпишет) и просит дать ему только шеститомник Ленина, чтобы читать его вечерами при коптилке! Так всё и устраивается: днём он питается ворованным пайком, вечером читает Ленина. Так откровенно и с удовольствием прославляется подлость.

Ещё у Шелеста какое–то мифическое «подпольное политбюро» бригады (многовато для бригады?) в неурочное время раздобывает и буханку хлеба из хлеборезки, и миску овсяной каши. Значит— везде свои придурки? И значит— подворовываем, благомыслящие?

Всё тот же Шелест даёт нам окончательный вывод:

«Одни выживали силой духа (вот эти ортодоксы, воруя кашу и хлеб. — АС), другие— лишней миской овсяной каши» (это — Иван Денисо-

---

[318] Примечания: 318
Георгий Шелест. Колымские записи // Знамя, 1964, № 9.

вич)[319].

Ну, ин пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Только скажите: а камушки? камушки кто на стену клал, а? Твердолобые, вы ли?

В) Отношение к труду. В общем виде ортодоксы преданы труду (заместитель Эйхе и в тифозном бреду только тогда успокаивался, когда сестра уверяла его, что — да, телеграммы о хлебозаготовках уже посланы). В общем виде они одобряют и лагерный труд: он нужен для построения коммунизма, и без него было бы незаслуженно всей ораве арестантов выдавать баланду. Поэтому они считают вполне разумным, что отказчиков следует бить, сажать в БУР, а в военное время и расстреливать. Вполне моральным считается у них и быть нарядчиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем (тут они расходятся с «честными ворами» и сходятся с «суками»).

Вот, например, была бригадиром лесоповальной бригады Елена Никитина, бывший секретарь киевского комитета комсомола. Рассказывают о ней: обворовывала выработку своей же бригады (Пятьдесят Восьмой), меняла с блатными. Отку-

---

[319] Примечания: 319
Забайкальский рабочий, Чита, 27 августа 1964.

палась у неё от работы Люся Джапаридзе (дочь бакинского комиссара) посылочным шоколадом. Зато анархистку Татьяну Гарасёву бригадирша трое суток не выпускала из лесу—до отморожения.

Вот Прохоров–Пустовер, тоже большевик, хоть и беспартийный, разоблачает зэков, что они нарочно не выполняют нормы (и докладывает об этом по начальству, тех наказывают). На упрёки зэков, что надо же понимать— их труд рабский, Пустовер отвечает: «Странная философия! в капиталистических странах рабочие борются против рабского труда, но мыто, хоть и рабы, работаем на социалистическое государство, не для частных лиц. Эти чиновники лишь временно (?) стоят у власти, одно движение народа— и они слетят, а государство народа останется».

Это — дебри, сознание ортодокса. С ним невозможно столковаться живому человеку.

И единственное только исключение благомыслящие оговаривают для себя: их самих было бы неправильно использовать в общем лагерном труде, так как тогда им трудно было бы сохраниться для будущего плодотворного руководства советским народом, да и сами лагерные годы им трудно было бы мыслить, то есть, собираясь гуж-

ками, повторять по круговой очереди, что правы товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Берия и вся остальная партия.

А поэтому всеми силами под покровительством лагерных начальников и с тайной помощью друг друга они стараются устроиться придурками— на те места, которые не требуют знаний (специальности у них ни у кого нет) и которые поспокойней, подальше от главной лагерной рукопашной. Так и уцепляются они: Захаров (учитель Маленкова) — за каптёрку личных вещей; упомянутый выше Заборский (сам Шелест?) — за стол вещдовольствия; пресловутый Тодорский— при санчасти; Ко–нокотин— фельдшером (хотя никакой он не фельдшер); Серебрякова— медсестрой (хоть никакая она не медсестра). Придурком был и Алдан–Семёнов.

Лагерная биография Дьякова— самого горластого из благонамеренных— представлена его собственным пером и достойна удивления. За пять лет своего срока он умудрился выйти за зону один раз— и то на полдня, за эти полдня он проработал полчаса, рубил сучья, и то надзиратель сказал ему: ты умаялся, отдохни. Полчаса за пять лет! — это не каждому удаётся! Какое–то время он косил на грыжу, потом на свищ от грыжи— но,

слушайте, не пять же лет! Чтобы получать такие золотые места, как медстатистик, библиотекарь КВЧ и каптёр личных вещей, и держаться на этом весь срок, — мало кому–то заплатить салом, вероятно, и душу надо снести куму, — пусть оценят старые лагерники. Да Дьяков ещё не просто придурок, а придурок воинственный: в первом варианте своей повести[320], пока его публично не пристыдили[321], он с изяществом обосновывал, почему умный человек должен избежать грубой народной участи («шахматная комбинация», «рокировка», то есть вместо себя подставить под бой другого). И этот человек берётся теперь стать главным истолкователем лагерной жизни!

Г. Серебрякова свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжёлые свидетельницы против неё. Я не имел возможности этого проверить.

Но не сами только авторы–коммунисты, а и все остальные благонамеренные, описанные этим хором авторов, все показаны вне труда — или в больнице, или в придурках, где и ведут они свои

---

[320] Примечания: 320

Б. Дьяков. Пережитое // Звезда, 1963, № 3.

[321] Примечания: 321

В.Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги // Новый мир, 1964, №1, с. 244, 245.

мракобесные (и несколько осовремененные) разговоры. Здесь писатели не лгут: у них просто не хватило фантазии изобразить этих твердолобых за трудом, полезным обществу. (Как изобразишь, если сам никогда не работал?)

Г) Отношение к побегам. Сами твердолобые в побег никогда не ходят: ведь это был бы акт борьбы с режимом, дезорганизация МВД, а значит, и подрыв советской власти. Кроме того, у ортодокса всегда странствуют в высших инстанциях две–три просьбы о помиловании, а побег мог бы быть истолкован там наверху как нетерпение, как даже недоверие к высшим инстанциям.

Да и не нуждались благомыслящие в «свободе вообще» — в людской, птичьей свободе. Всякая истина конкретна— и свобода им была нужна только из рук государства, законная, с печатью, с возвратом их доарестного положения и преимуществ, — а без этого зачем и свобода?

Ну а уж если сами они в побег не шли — тем более они осуждали и все чужие побеги как чистый подрыв системы МВД и хозяйственного строительства.

А если побеги так вредны, то, вероятно, гражданским долгом благонамеренного коммуниста является, когда он узнал, — донести товарищу

оперуполномоченному? Логично?

А ведь среди них были и когдатошние подпольщики, и смелые люди Гражданской войны. Но их догма обратила их— в политическую шпану…

Д) Отношение к остальной Пятьдесят Восьмой. С товарищами по беде они никогда себя не смешивали, это было бы непартийно. Иногда тайно между собой, а иногда и совсем в открытую (тут риска им нет) они противопоставляли себя этой грязной Пятьдесят Восьмой, они старались от неё очиститься отделением. Именно эту простоватую массу они возглавляли на воле — и там не давали ей вымолвить свободного слова. Здесь же, оказавшись с ней в одних камерах и на равных, они, наоборот, подавлены ею не были и сколько угодно кричали на неё: «Так вас и надо, мерзавцы! Все вы на воле притворялись! Все вы враги, и правильно вас посадили! Всё закономерно! Всё идёт к великой победе!» (Только меня неправильно посадили.)

И беспрепятственность своих тюремных монологов (администрация всегда за ортодоксов, контры и возразить не смеют, будет второй срок) они серьёзно приписывали силе всепобеждающего учения. (Ну, да в лагере бывало и иное соотношение сил. Некоему прокурору,

сидевшему в Унжлаге, пришлось не один год притворяться юродивым. Только тем и спасся от расправы: сидели с ним «крестники» его.)

С откровенным презрением, с заповеданной классовой ненавистью озирались ортодоксы на всю Пятьдесят Восьмую, кроме себя. Дьяков: «Я в ужасе подумал, с кем мы здесь?» Конокотин не хочет делать укол больному власовцу (хотя обязан как фельдшер!), но жертвенно отдаёт свою кровь больному конвоиру. (Как и вольный врач их Баринов: «прежде всего я — чекист, а потом врач». Вот это — медицина!) Вот теперь и понятно, зачем в больнице «нужны честные люди» (Дьяков): чтобы знать, кому уколы делать, а кому нет.

И ненависть эту они превращали в действие (а как же можно и зачем классовую ненависть таить в себе?). У Шелеста Самуил Гендаль, профессор (вероятно, коммунистического права), при нежелании кавказцев выйти на работу сразу даёт затравку: подозревать муллу в саботаже.

Е) Отношение к стукачеству. Как в Рим ведут все дороги, так и предыдущие пункты все подвели нас к тому, что твердокаменным нельзя не сотрудничать с лучшими и душевнейшими из лагерных начальников — с оперуполномоченны-

ми. В их положении — это самый верный способ помочь НКВД, государству и партии.

Это, кроме того, и выгодно, это — лучшая спайка с начальством. Услуги куму не остаются без награды. Только при защите кума можно годами оставаться на хороших придуро–чьих местах в зоне.

В одной книжке о лагере из того же ортодоксного потока[322] любимый автором наиположительнейший коммунист Кратов руководствуется в лагере такой системой взглядов: 1) выжить любой ценой, ко всему приспосабливаясь; 2) пусть в стукачи идут порядочные люди — это лучше, чем пойдут негодяи.

Да если б ортодокс заупрямился и не пожелал служить куму — трудно ему той двери избежать. Всех правоверных, громко выражающих свою веру, оперуполномоченный не упустит ласково вызвать и отечески спросить: «Вы— советский человек?» И благонамеренный не может ответить «нет». Значит, «да».

А если «да», так давайте сотрудничать, това-

---

[322] Примечания: 322

Виктор Вяткин. Человек рождается дважды: В 2 кн. Магадан: Кн. изд–во, 1963–1964.

рищ. Мешать вам не может ничто[323].

Только теперь, извращая всю историю лагерей, стыдно признаваться, что сотрудничали. Не всегда попадались открыто, как Лиза Котик, обронившая письменный донос. Но вот проболтаются, что оперуполномоченный Соковиков дружески отправлял письма Дьякова, минуя лагерную цензуру, лишь не скажут: а за что отправлял? дружба такая — откуда? Придумают, что оперуполномоченный Яковлев не советовал Тодорскому открыто называться коммунистом, и не растолкуют: а почему он об этом заботился?

Но это — до времени. Уже при дверях та славная пора, когда можно будет встряхнуться и громко признаться:

— Да! Мы— стучали и гордимся этим![324]

А впрочем — зачем вся эта глава? весь этот длинный обзор и анализ благонамеренных? Вместо этого напишем аршинными буквами:

ЯНОШ КАДАР. ВЛАДИСЛАВ ГОМУЛКА. ГУСТАВ ГУСАК.

---

[323] Примечания: 323

Иванов–Разумник вспоминает: в их бутырской камере разоблачили троих стукачей — и все трое оказались коммунисты.

[324] Примечания: 324

Я написал это в начале 1966 года, а к концу его прочёл в «Октябре» № 9 реплику К.Буковского («Ответ на лестнице»). Так и есть— уже открыто гордятся.

Они прошли и несправедливый арест, и пыточное следствие, и по сколько–то лет отсидели.

Весь мир видит, много ли они усвоили. Весь мир узнал им цену.

Глава 12. СТУК–СТУК–СТУК…

ЧК–ГБ (вот так, пожалуй, и звучно, и удобно, и кратко называть это учреждение, вместе с тем не упуская его движения во времени) было бы бесчувственным чурбаном, не способным досматривать свой народ, если б не было у него постоянного взгляда и постоянного наслуха. В наши технические годы за глаза отчасти работают фотоаппараты и фотоэлементы, зауши — микрофоны, магнитофоны, лазерные подслуши–ватели. Но всю ту эпоху, которую охватывает эта книга, почти единственными глазами и почти единственными ушами ЧКГБ были стукачи.

В первые годы ЧК они названы были по–деловому: секретные сотрудники (в отличие от штатных, открытых). В манере тех лет это сократилось— сексоты, и так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово (не предполагая, что оно так распространится, — не уберегли) — не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нём сплелось, — нечто более даже постыдное, чем содомский грех. А ещё с годами оно налилось

желтовато–бурой кровью предательства— и не стало в русском языке слова гаже.

Но применялось это слово только на воле. На Архипелаге были свои слова: в тюрьме — «наседка», в лагере — «стукач». Однако как многие слова Архипелага вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и «стукач» со временем стало понятием общим. В этом отразилось единство и общность самого явления стукачества.

Не имея опыта и недостаточно над этим размышляв, трудно оценить, насколько мы пронизаны и охвачены стука–чеством. Как, не имея в руках транзистора, мы не ощущаем в поле, в лесу и на озере, что постоянно струится сквозь нас множество радиоволн.

Трудно приучить себя к этому постоянному вопросу: а кто у нас стучит? У нас в квартире, у нас во дворе, у нас в часовой мастерской, у нас в школе, у нас в редакции, у нас в цеху, у нас в конструкторском бюро и даже у нас в милиции. Трудно приучить и противно приучаться — а для безопасности надо бы. Невозможно стукачей изгнать, уволить— навербуют новых. Но надо их знать: иногда— чтоб остеречься при них; иногда— чтобы при них развести чернуху, выдать себя не за то, что ты есть; иногда— чтоб открыто

поссориться со стукачом и тем обесценить его показания против тебя.

О густоте сети сексотов мы скажем в особой главе о воле. Эту густоту многие ощущают, но не силятся представить каждого сексота в лицо— в его простое человеческое лицо, и оттого сеть кажется загадочней и страшней, чем она на самом деле есть. А между тем сексотка — та самая милая Анна Фёдоровна, которая по соседству зашла попросить у вас дрожжей и побежала сообщить в условный пункт (может быть в ларёк, может быть в аптеку), что у вас сидит непрописанный приезжий. Это тот самый свойский парень Иван Никифорович, с которым вы выпили по 200 грамм, и он донёс, как вы матерились, что в магазинах ничего не купишь, а начальству отпускают по блату. Вы не знаете сексотов в лицо и потом удивлены, откуда известно вездесущим Органам, что при массовом пении «Песни о Сталине» вы только рот раскрывали, а голоса не тратили? или о том, что вы не были веселы на демонстрации 7 ноября? Да где ж они, эти пронизывающие жгучие глаза сексота? А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой. Им совсем необязательно светиться угрюмым злодейством. Не ждите, что это обязательно негодяй

с отталкивающей наружностью. Это— обычный человек, как ты и я, с мерой добрых чувств, мерой злобы и зависти и со всеми слабостями, делающими нас уязвимыми для пауков. Если бы набор сексотов был совершенно добровольный, на энтузиазме — их не набралось бы много (разве в 20–е годы). Но набор идёт опутыванием и захватом, и слабости отдают человека этой позорной службе. И даже те, кто искренне хотят сбросить с себя липкую паутину, эту вторую кожу — не могут, не могут.

Вербовка— в самом воздухе нашей страны. В том, что государственное выше личного. В том, что Павлик Морозов — герой. В том, что донос не есть донос, а помощь тому, на кого доносим. Вербовка кружевно сплетается с идеологией: ведь и Органы хотят, ведь и вербуемый должен хотеть только одного: успешного движения нашей страны к социализму.

Техническая сторона вербовки — выше похвал. Увы, наши детективные комиксы не описывают этих приёмов. Вербовщики работают в агитпунктах перед выборами. Вербовщики работают на кафедре марксизма–ленинизма. Вас вызывают — «там какая–то комиссия, зайдите». Вербовщики работают в армейской части, едва отведенной с

переднего края: приезжает смер–шевец и по очереди дёргает половину вашей роты; с кем–то из солдат он разговаривает просто о погоде и каше, а кому–то даёт задание следить друг за другом и за командирами. — Сидит в конурке мастер и чинит кожгалантерею. Входит симпатичный мужчина: «Вот эту пряжку вы не могли бы мне починить?» И тихо: «Сейчас вы закроете мастерскую, выйдете на улицу, там стоит машина 37–48, прямо открывайте дверцу и садитесь, она отвезёт вас, куда надо». (А там дальше известно: «Вы советский человек? так вы должны нам помочь».) Такая мастерская — чудесный пункт сбора донесений граждан. А для личной встречи с оперуполномоченным — квартира Сидоровых, 2–й этаж, три звонка, от шести до восьми вечера.

Поэзия вербовки сексотов ещё ждёт своего художника. Есть жизнь видимая— и есть невидимая. Везде натянуты паучьи нити, и мы при движениях не замечаем, как они нас опет–ливают.

Набор инструментов для вербовки— как набор отмычек: № 1, № 2, № 3. № 1: «вы — советский человек?»; № 2: пообещать то, чего вербуемый много лет бесплодно добивается в законном порядке; № 3: надавить на слабое место, пригрозить

тем, чего вербуемый больше всего боится; № 4…

Да ведь чуть–чуть только бывает надо и придавить. Вызывается такой А.Г., известно, что по характеру он— размазня. И сразу ему: «Напишите список антисоветски настроенных людей из ваших знакомых». Он растерян, мнётся: «Я не уверен…» Не вскочил, не ударил кулаком: «Да как вы смеете?!» (Да кто там вскочит у нас? Что фантазировать?..)— «Ах, вы не уверены? Тогда пишите список, за кого вы ручаетесь, что они вполне советские люди. Но — ручаетесь, учтите! Если хоть одного аттестуете ложно, сядете сразу сами! Что ж вы не пишете?» «Я… не могу ручаться». — «Ах, не можете? Значит, вы знаете, что они — антисоветские. Вот и пишите, про кого знаете!» И потеет, и ёрзает, и мучается честный хороший кролик А. Г. с душою слишком мягкой, лепленной ещё до революции. Он искренне принял этот напор, врезавшийся в него: или писать, что советские, или писать, что антисоветские. Он не видит третьего выхода.

Камень — не человек, а и тот рушат.

На воле отмычек больше, потому что и жизнь разнообразнее. В лагере— самые простые, жизнь упрощена, обнажена, и резьба винтов и диаметр головки известны. № 1, конечно, остаётся:

«вы— советский человек?» Очень применимо к благонамеренным, отвёртка никогда не соскальзывает, головка сразу подалась и пошла. № 2 тоже отлично работает: обещание взять с общих работ, устроить в зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Всё это — жизнь, каждая эта ступенька — сохранение жизни. (В годы войны стук особенно измельчал: предметы дорожали, а люди дешевели. Закладывали даже за пачку махорки.) А № 3 работает ещё лучше: снимем с придурков! пошлём на общие! переведём на штрафной лагпункт! Каждая эта ступенька— ступенька к смерти. И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, если его сталкивают в пропасть.

Это не значит, что в лагере не бывает уж никогда нужна более тонкая работа. Иногда приходится–таки исхитриться. Майору Шикину надо было собрать обвинение против заключённого Герценберга, еврея. Он имел основание думать, что обвинительный материал может дать Антон, немец из пленных, семнадцатилетний неопытный мальчик. Шикин вызвал Антона и стал возбуждать в нём нацистские посевы: как гнусна еврейская нация и как она погубила Германию. Антон раскалился и предал Герценберга.

(И почему бы в переменчивых обстоятельствах коммунист–чекист Шикин не стал бы исполнительным следователем Гестапо?)

Или вот Александр Филиппович Степовой. До посадки он был солдат войск МВД, посажен — по 58–й. Он совсем не ортодокс, он вообще простой парень, он в лагере начал стыдиться своей прошлой службы и тщательно скрывал её, понимая, что это опасно, если узнается. Так как его вербовать? Вот этим и вербовать: разгласим, что ты — «чекист». И собственным знаменем они подотрутся, чтоб только завербовать. (Уверяет, что всё же устоял.)

Не будет другого повода рассказать историю его посадки. Мобилизован был хлопчик в армию, а послали служить в войска МВД. Сперва— на борьбу с бандеровцами. Получив (от стукачей же) сведения, когда те придут из леса в церковь на обедню, окружали церковь и брали на выходе (по фотографиям). То— охраняли (в гражданском) народных депутатов в Литве, когда те ездили на избирательные собрания. («Один такой смелый был, всегда от охраны отказывался!») То— мост охраняли в Горьковской области. У них и у самих был бунт, когда плохо стали кормить, — и их послали в наказание на турецкую границу. Но

Степовой уже к этому времени сел. Он— рисовал много, и даже на обложках тетрадей по политучёбе. Нарисовал как–то свинью, и под руку ему кто–то сказал: «А Сталина можешь?» Могу. Тут же и Сталина нарисовал. И сдал тетрадь для проверки. Уже довольно было для посадки, но на стрельбах он в присутствии генерала выбил 7 из 7 на 400 метров и получил отпуск домой. Вернувшись в часть, рассказал: деревьев нет, все фруктовые сами спилили из–за «зверевского» налога. Трибунал Горьковского военного округа. Ещё и там кричал: «Ах вы подлецы! Если я враг народа — чего ж вы перед народом не судите, прячетесь?» Потом — Буреполом и Красная Глинка (тяжёлый режимный лагерь с тоннельными работами, одна Пятьдесят Восьмая).

Иной, как говорится, и не плотник, да стучать охотник — этот берётся без затруднения. На другого приходится удочку забрасывать по несколько раз: сглатывает наживу. Кто будет извиваться, что трудно ему собрать точную информацию, тому объясняют: «Давайте какая есть, мы будем проверять». — «Но если я совсем не уверен?» — «Так что ж — вы истинный враг?» Да наконец, и честно ему объяснить: «Нам нужно пять процентов правды, остальное пусть будет

ваша фантазия». (Джидин–ские оперы.)

Но иногда выбивается из сил и кум[325], не берётся добыча ни с третьего, ни с пятого раза. Это— редко, но бывает. Тогда остаётся куму затянуть запасную петельку: подписку о неразглашении. Нигде— ни в Конституции, ни в Кодексе— не сказано, что такие подписки вообще существуют, что мы обязаны их давать, но — мы ко всему привыкли. Как же можно ещё и тут отказаться? Уж это мы непременно все даём. (А между тем, если бы мы их не давали, если бы, выйдя за порог, мы тут же бы всем и каждому разглашали свою беседу с кумом, — вот и развеялась бы бесовская сила Третьего Отдела, на нашей трусости и держится их секретность и сами они!) И ставится в лагерном деле освобождающая счастливая пометка: те вербовать»! Это — проба «96» или по крайней мере «84», но мы не скоро о ней узнаем, если вообще доживём. Мы догадаемся по тому, что схлынет с нас эта нечисть и никогда больше не будет к нам липнуть.

Однако чаще всего вербовка удаётся. Просто

---

[325] Примечания: 325

Слово «кум», по Далю, означает: «состоящий в духовном родстве, восприемник по крещению». Стало быть, перенос на лагерного опера— очень меток, вполне в духе языка. Только с усмешкой, обычной для зэков.

и грубо давят давят так, что ни отмолиться, ни отлаяться.

И вскоре завербованный приносит донос.

И по доносу чаще всего затягивают на чьей–то шее удавку второго срока.

И получается лагерное стукачество сильнейшей формой лагерной борьбы: «подохни ты сегодня, а я завтра!»

На воле все полвека или сорок лет стукачество было совершенно безопасным занятием: никакой ответной угрозы от общества, или разоблачения, ни кары быть не могло.

В лагерях несколько иначе. Читатель помнит, как стукачей разоблачала и ссылала на Кондостров соловецкая Адмчасть. Потом десятилетиями стукачам было как будто вольготно и рас–цветно. Но редкими временами и местами сплачивалась группка волевых и энергичных зэков и в скрытой форме продолжала соловецкую традицию. Иногда прибивали (убивали) стукача под видом самосуда разъярённой толпы над пойманным вором (самосуд по лагерным понятиям почти законный). Иногда (1–й ОЛП Вятлага во время войны) производственные придурки административно списывали со своего объекта самых вредных стукачей «по деловым соображениям».

Тут оперу трудно было помочь. Другие стукачи понимали и стихали.

Много было в лагерях надежды на приходящих фронтовиков — вот кто за стукачей возьмётся! Увы, военные пополнения разочаровывали лагерных борцов: вне своей армии эти вояки, миномётчики и разведчики, совсем скисали, не годились никуда.

Нужны были ещё качания колокольного била, ещё откладки временного метра, пока откроется на Архипелаге мор на стукачей.

* * *

В этой главе мне не хватает материала. Что–то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе.

Лишь поздним лагерным опытом, наторевший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере всё лез на какие–то должности и тотчас же падал с них. И очень держался за эту шкуру— гимнастёрку галифе, шинель, уж так старался не менять её на защитную лагерную чернедь! В новых условиях я делал ошибку новобранца: я выделялся на местности.

И снайперский глаз первого же кума, новоиерусалимского, сразу меня заметил. А на Калужской заставе, как только я из маляров выбился в помощники нормировщика, опять я вытащил эту форму — ах как хочется быть мужественным и красивым! К тому ж я жил в комнате уродов, там генералы и не так одевались.

Забыл я и думать, как и зачем писал в Новом Иерусалиме автобиографию. Полулёжа на своей кровати как–то вечером, почитывал я учебник физики, Зиновьев что–то жарил и рассказывал, Орачевский и Прохоров лежали, выставив сапоги на перильца кровати, — и вошёл старший надзиратель Сенин (это, очевидно, была ненастоящая его фамилия, он и не русский был, а псевдоним для лагеря). Он как будто не заметил ни этой плитки, ни этих выставленных сапог— сел на чью–то кровать и принял участие в общем разговоре.

Лицом и манерами мне он не нравился, этот Сенин, слишком играл мягкими глазами, но уж какой был окультуренный! какой воспитанный! уж как отличался он среди наших надзирателей — хамов, недотёп и неграмотных. Сенин был ни много ни мало — студент! — студент 4–го курса, вот только не помню какого факультета. Он, видно, очень стыдился эмведистской формы, бо-

ялся, чтобы сокурсники не увидели его в голубых погонах в городе, и потому, приезжая на дежурство, надевал форму на вахте, а уезжая— снимал. (Вот современный герой для романистов. Вообразить по царским временам, чтобы прогрессивный студент подрабатывал в тюрьме надзирателем!) Впрочем, культурный–культурный, а послать старика побегушками или назначить работяге трое суток карцера ему ничего не стоило.

Но у нас в комнате он любил вести интеллигентный разговор: показать, что понимает наши тонкие души и чтоб мы оценили тонкость его души. Так и сейчас — он свежо рассказал нам что–то о городской жизни, что–то о новом фильме и вдруг незаметно для всех сделал мне явное движение — выйти в коридор.

Я вышел, недоумевая. Через сколько–то вежливых фраз, чтоб не было заметно, Сенин тоже поднялся и нагнал меня. И велел тотчас же идти в кабинет оперуполномоченного — туда вела глухая лестница, где никого нельзя было встретить. Там и сидел сыч.

Я его ещё и в глаза не видел. Я пошёл с замиранием сердца. Я— чего боюсь? Я боюсь, чего каждый лагерник боится: чтоб не стали мне мотать второго срока. Ещё года не прошло от

моего следствия, ещё болит во мне всё от одного вида следователя за письменным столом. Вдруг опять переворох прежнего дела: ещё какие–нибудь странички из дневника, ещё какие–нибудь письма…

Тук–тук–тук.

— Войдите.

Открываю дверь. Маленькая, уютно обставленная комната, как будто она не в ГУЛАГе совсем. Нашлось место и для маленького дивана (может быть, сюда он таскает наших женщин), и для радиоприёмника «Филипс» на этажерке. В нём светится цветной глазочек и негромко льётся мягкая какая–то, очень приятная мелодия. Я от такой чистоты звука и от такой музыки совсем отвык, я размягчаюсь с первой минуты: где–то идёт жизнь! Боже мой, мы уже привыкли считать нашу жизнь — за жизнь, а она где–то там идёт, где–то там…

— Садитесь.

На столе — лампа под успокаивающим абажуром. За столом в кресле — опер, как и Сенин—такой же интеллигентный, чернявый, малопроницаемого вида. Мой стул — тоже полумягкий. Как всё приятно, если он не начнёт меня ни в чём обвинять, не начнёт опять вытаскивать

старые погремушки.

Но нет, его голос совсем не враждебен. Он спрашивает вообще о жизни, о самочувствии, как я привыкаю к лагерю, удобно ли мне в комнате придурков. Нет, так не вступают в следствие. (Да где я слышал эту мелодию прелестную?..)

А теперь вполне естественный вопрос, да из любознательности даже:

— Ну, и как после всего происшедшего с вами, всего пережитого, — остаётесь вы советским человеком? Или нет?

А? Что ответишь? Вы, потомки, вам этого не понять: что вот сейчас ответишь? Я слышу, я слышу, нормальные свободные люди, вы кричите мне из 1990 года: «Да пошли его на ...! (Или, может, потомки уже не будут так выражаться? Я думаю — будут.) Посадили, зарезали — и ещё ему советский человек!»

В самом деле, после всех тюрем, всех встреч, когда на меня хлынула информация со всего света, — ну какой же я могу остаться советский? Где, когда выстаивало что–нибудь советское против полноты информации?

И если б я столько был уже перевоспитан тюрьмой, сколько образован ею, я, конечно, должен был бы сразу отрезать: «Нет! И шли бы вы на ... !

Надоело мне на вас мозги тратить. Дайте отдохнуть после работы!»

Но ведь мы же выросли в послушании, ребята! Ведь если «кто против?., кто воздержался?..» — рука никак не поднимается, никак. Даже осуждённому, как это можно выговорить языком: я— не советский… ?

— В постановлении ОСО сказано, что — антисоветский, — осторожно уклоняюсь я.

— ОСО–о, — отмахивается он безо всякого почтения. — Но сами–то вы что чувствуете? Вы — остаётесь советским? Или переменились, озлобились?

Негромко, так чисто льётся эта мелодия, и не пристаёт к ней наш тягучий, липкий, ничтожный разговор. Боже, как чиста и как прекрасна может быть человеческая жизнь, но из–за эгоизма властвующих нам никогда не дают её достичь. Мо–нюшко? — не Монюшко, Дворжак? — не Дворжак… Отвязался бы ты, пёс, дал бы хоть послушать.

— Почему я мог бы озлобиться? — удивляюсь я. (Почему, в самом деле? «Озлобиться» никак нельзя, это уже пахнет новым следствием.)

— Так значит— советский? — строго, но и с поощрением допытывается опер.

Только не отвечать резко. Только не открывать себя сегодняшнего. Вот скажи сейчас, что— антисоветский, и заведёт лагерное дело, будет паять второй срок, свободно.

— В душе, внутренне — как вы сами себя считаете? Страшно–то как: зима, вьюги, да ехать в Заполярье. А тут

я устроен, спать сухо, тепло, и бельё даже. В Москве ко мне жена приходит на свидания, носит передачи… Куда ехать! зачем ехать, если можно остаться?.. Ну что позорного — сказать «советский»? Система— социалистическая.

— Я–то себя… д–да… советский…

— Ах, советский! Ну вот это другой разговор, — радуется опер. — Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. Значит, мы с вами имеем одну идеологию, у нас общие цели — (только комнаты разные) — и мы с вами должны действовать заодно. Вы поможете нам, мы— вам…

Я чувствую, что я уже пополз… Тут ещё музыка эта… А он набрасывает и набрасывает аккуратные петельки: я должен помочь им быть в курсе дела. Я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров. Я должен буду о них сообщить…

Вот этого я никогда не сделаю. Это холодно я

знаю внутри: советский, не советский, но чтоб о политическом разговоре я вам сообщил— не дождётесь! Однако— осторожность, осторожность, надо как–то мягенько заметать следы.

— Это я… не сумею, — отвечаю я почти с сожалением.

— Почему же? — суровеет мой коллега по идеологии.

— Да потому что… это не в моём характере… — (Как бы тебе помягче сказать, сволочь?)— Потому что… я не прислушиваюсь… не запоминаю…

Он замечает, что что–то у меня с музыкой, — и выщёлкивает её. Тишина. Гаснет тёплый цветной глазок доброго мира. В кабинете — сыч и я. Шутки в сторону.

Хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов — и фиксируется ничья. Но нет! На всё ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку и опять высовываюсь из–за неё. Вкуса у него нет, времени— сколько угодно. Я сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком. Конечно, каждый из ста раз есть какой–то оттенок: другое слово, другая интонация.

И проходит час, и проходит ещё час. В нашей

камере уже спят, а ему куда торопиться, это ж его работа и есть. Как отвязаться? Какие они вязкие. Уж он намекнул и об этапе, и об общих работах, уже он выражал подозрение, что я заклятый враг, и переходил опять к надежде, что я — заклятый друг.

Уступить — не могу. И на этап мне не хочется ехать зимой. С тоской я думаю: чем это всё кончится?

Вдруг он поворачивает разговор к блатным. Он слышал от надзирателя Сенина, что я резко высказываюсь о блатных, что у меня были с ними столкновения. Я оживляюсь: это— перемена ходов. Да, я их ненавижу. (Но знаю, что вы их любите!)

И чтоб меня окончательно растрогать, он рисует такую картину: в Москве у меня жена. Без мужа она вынуждена ходить по улицам одна, иногда и ночью. На улицах часто раздевают. Вот эти самые блатные, которые бегут из лагерей. (Нет, которых вы амнистируете!) Так неужели я откажусь сообщить оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно?

Что ж, блатные— враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши… Там

уж хороши, не хороши, а главное — сейчас выход хороший. Это как будто и —

— Можно. Это— можно.

Ты сказал! Ты сказал, а бесу только и нужно одно словечко! И уже чистый бланк порхает передо мной на стол:

«Обязательство

Я, имярек, даю обязательство сообщать оперуполномоченному лагучастка о…»

— …готовящихся побегах заключённых…

— Но мы говорили только о блатных!

— А кто же бегает кроме блатных?.. Да как я в официальной бумаге напишу «блатных»? Это же жаргон. Понятно и так.

— Но так меняется весь смысл!

— Нет, я таки вижу: вы — не наш человек, и с вами надо разговаривать совсем иначе. И — не здесь.

О, какие страшные слова — «не здесь», когда вьюга за окном, когда ты придурок и живёшь в симпатичной комнате уродов! Где же это «не здесь»? В Лефортове? И как это — «совсем иначе»? Да в конце концов, ни одного побега в лагере при мне не было, такая ж вероятность, как падение метеорита. А если и будут побеги — какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А значит,

я не узнаю. А значит, мне нечего будет и докладывать. В конце концов, это совсем неплохой выход… Только…

— Неужели нельзя обойтись без этой бумажки?

— Таков порядок.

Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпись о продаже души. О продаже души для спасения тела. Окончено? Можно идти?

О нет. Ещё будет «о неразглашении». Но ещё раньше, на этой же бумажке:

— Вам предстоит выбрать псевдоним. Псевдоним?.. Ах, кличкуі Да–да–да, ведь осведомители

должны иметь кличку! Боже мой, как я быстро скатился. Он таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан.

И вся фантазия покидает мою опустевшую голову. Я всегда могу находить фамилии для десятка героев. Сейчас я не могу придумать никакой клички. Прислушиваясь ли за окном, он милосердно подсказывает мне:

— Ну, например, Ветров.

И я вывожу в конце обязательства — «Ветров». Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами.

Ведь я же хотел умереть с людьми! Я же готов

был умереть с людьми! Как получилось, что я остался жить во псах?..

А уполномоченный прячет моё обязательство в сейф — это его выработка за вечернюю смену, и любезно поясняет мне: сюда, в кабинет, приходить не надо, это навлечёт подозрение. А надзиратель Сенин — доверенное лицо, и все сообщения (доносы!) передавать незаметно через него.

Так ловят птичек. Начиная с коготка.

В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался — за хвост не удержишься. Начавший скользить — должен скользить и срываться дальше.

Но что–то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал: ну, ну? Я разводил руками: ничего не слышал. Блатным я чужд и не могу с ними сблизиться. А тут, как назло, — не бегали, не бегали, и вдруг бежал воришка из нашего лагерька. Тогда— о другом! о бригаде! о комнате! — настаивал Сенин. — О другом я не обещал! — твердел я (да и к весне уже шло). Всё–таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное — о побегах.

А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу

больше мне не пришлось подписаться «Ветров». Но и сегодня я поёживаюсь, встречая эту фамилию.

О, как же трудно, как трудно становиться человеком! Даже если прошёл ты фронт, и бомбили тебя, и на минах ты рвался, — это ещё только начало мужества. Это ещё— не всё…

Прошло много лет. Были шарашки, были Особые лагеря. Держался я независимо, всё наглей, никогда больше оперчасть не баловала меня расположением, и я привык жить с весёлым дыханием, что на деле моём поставлена проба: «не вербовать!».

Послали меня в ссылку. Прожил я там почти три года. Уже началось рассасывание и ссылки, уже освободили несколько национальностей. Уже на отметку в комендатуру мы, оставшиеся, ходили с шуточками. Уже и XX съезд прошёл. Уже всё казалось навеки конченным. Я строил весёлые планы отъезда в Россию, как только получу освобождение. И вдруг на выходе из школьного двора меня приветливо окликнул по имени–отчеству какой–то хорошо одетый (в гражданском) казах и поспешил поздороваться за руку.

— Пойдёмте побеседуем! — ласково кивнул он в сторону комендатуры.

— Да мне обедать надо, — отмахнулся я.

— А позже вечером будете свободны?

— И вечером тоже нет. — (Свободными вечерами я роман писал.)

— Ну, а когда завтра?

Вот прицепился. Пришлось назначить на завтра. Я думал, он будет говорить что–нибудь о пересмотре моего дела. (К тому времени я сплошал: написал наверх о снятии ссылки на основании «аденауэровской амнистии», а значит, стал в положение просителя. Этого не могло пропустить ГБ!) Но оперуполномоченный из области торжественно занял кабинет начальника райМВД, дверь запер и явно располагался на многочасовой разговор, усложнённый ещё тем, что он по–русски не хорошо говорил. Всё же к концу первого часа я понял, что не пересмотром моего дела он хочет заниматься, а привлечь меня к сту–качеству. (Очевидно, с освобождением части ссыльных кадры стукачей поредели.)

Мне стало смешно и досадно; досадно, потому что каждым получасом я очень дорожил; а смешно потому, что в марте 1956 года разговор такой резал неуместностью, как неуклюжее поперечное движение ножом по тарелке. Я попробовал в лёгкой форме объяснить несвоевременность—

ничего подобного, он, как серьёзный бульдог, старался не разжать хватку. Всякое послабление всегда доходит в провинцию с опозданием на три, на пять, на десять лет, только острожение— мгновенно. Он ещё совсем не понимал, что такое будет 1956 год! Тогда я напомнил ему, что и МГБ–то упразднено, но он с живостью и радостью доказывал, что КГБ— то же самое, и штаты те же, и задачи те же.

У меня к этому году развилась уже какая–то кавалерийская лёгкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда они заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся — их быть не могло в тот славный год. И очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью.

Но я подумал: а мои рукописи? Целыми днями они лежат в моей хатке, защищенные слабым замочком да ещё маленькой хитростью внутри. А ночами я их достаю и пишу. Разозлю КГБ— будут искать мне отместку, что–нибудь компрометирующее, и вдруг найдут рукописи?

Нет, надо кончить миром.

О, страна! О, заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне свободный человек не может позволить себе поссориться с

жандармами!.. Не может в глаза им вызвездить всё, что думает!

— Я тяжело болен, вот что. Болезнь не разрешает мне приглядываться, присматриваться. Хватит с меня забот. Давайте на этом кончим.

Конечно, жалкая отговорка, жалкая, потому что само право вербовать я за ними признаю, а нужно высмеять и опрокинуть именно его.

А он ещё не соглашался, нахалюга! Он ещё полчаса доказывал, что и тяжело больной тоже должен сотрудничать!.. Но, видя окончательную мою непреклонность, сообразил:

— А справка есть у вас лишняя?

— Какая?

— Ну, что вы так больны.

— Справка— есть.

— Тогда принесите справку.

Ему ведь выработка нужна, выработка за рабочий день. Оправдание, что кандидатура была намечена правильно, да не знали, что человек так болен серьёзно. Справка нужна была ему не просто прочесть, а— подшить и тем прекратить затею.

Отдал я ему справку, и на том рассчитались.

Это были самые свободные месяцы нашей страны за полстолетия!

А у кого справки не было?

* * *

Умелость опера состоит в том, чтобы сразу взять нужную отмычку. В одном из сибирских лагерей прибалтийца У, хорошо знающего русский язык (потому на него и выбор пал), зовут «к начальнику», а в кабинете начальника сидит какой–то неизвестный горбоносый капитан с гипнотизирующим взглядом кобры. «Закрывайте плотно дверь!» — очень серьёзно предупреждает он, будто вот–вот ворвутся враги, а сам из–под мохнатых бровей не спускает с У. пылающих глаз — и уже всё в У. опускается, его уже что–то жжёт, что–то душит. Прежде чем вызвать У, капитан собрал, конечно, о нём все сведения и ещё заочно представил, что № 1, № 2, № 3, № 4— все отпадают, что здесь подойдёт только самая последняя и самая сильная, но ещё несколько минут он жгуче смотрит в незамутнённые незащищённые глаза У, проверяя своими кобряными, а заодно лишая его воли, уже невидимо возвышая над ним то, что сейчас обрушится.

Опер тратит время только на маленькое вступление, но говорит не тоном отвлечённой политграмоты, а— напряжённо, как о том, что сейчас

или завтра взорвётся и на их лагпункте: «Вам известно, что мир разделился на два лагеря, один из них будет побит, и мы твёрдо знаем какой. Вы знаете— какой?.. Так вот, если вы хотите остаться жить, вы должны отколоться от гиблого капиталистического берега и пристать к новому берегу. Знаете, у Лациса «К новому берегу»?» — И ещё несколько таких фраз, а сам не спускает горячего угрожающего взора и, окончательно выяснив для себя номер отмычки, с тревожной значительностью спрашивает: «А как ваша семья?» И всех семейных запросто называет по именам! Он помнит, по сколько лет детям! Значит, он уже занимался семьёй, это очень серьёзно! «Вы понимаете, конечно, — гипнотизирует он, — что вы с семьёй— одно целое. Если ошибётесь вы и погибнете— сейчас же погибнет и ваша семья. Семей изменников (усиляет он голосом) мы не оставляем жить в здоровой советской среде. Итак: делайте выбор между двумя мирами! между жизнью и смертью! Я предлагаю вам взять обязательство помогать оперчекистскому отделу! В случае вашего отказа ваша семья полностью и немедленно будет посажена в лагеря! В наших руках— полная власть (и он прав), и мы не привыкли отступать от своих решений (и опять же

прав)! Раз мы выбрали вас, вы— будете с нами работать!»

Всё это внезапно грохнуло на голову У, он не приготовлен, он никак и думать не мог, он считал, что стучат негодяи, но что предложат— ему? Удар— прямой, без ложных движений, без проволочки времени, и капитан ждёт ответа: вот взорвётся и всё взорвёт! И думает У: а что невозможно для них? Когда щадили они чьи–нибудь семьи? Не стеснялись же «раскулачивать» семьями до малых детей, и с гордостью писали в газетах. Видел У. и работу Органов в 1940–41 в Прибалтике, ходил на тюремные дворы смотреть навал расстрелянных при отступлении. И в 1944 году слушал прибалтийские передачи из Ленинграда. Как взгляд капитана сейчас, передачи были полны угроз и дышали местью. В них обещалось расправиться со всеми, решительно со всеми, кто помогал врагу[326]. Так что заставит их проявить милосердие теперь? Просить— бесполезно. Надо выбирать. (Только вот чего ещё не понимает У., поддавшись и сам легенде об Органах: что нет

[326] Примечания: 326

Но педагог, но заводской рабочий, но трамвайный кондуктор, но каждый, кто питает себя работою, — ведь все ж они помогают! Не помогает оккупантам только спекулянт на базаре и партизан в лесу! Крайний тон этих неосмысленных ленинградских передач толкнул несколько сот тысяч человек к бегству в Скандинавию в 1944.

в этой машине такого великолепного взаимодействия и взаимоотзывчивости, чтобы сегодня он отказался стать стукачом на сибирском лагпункте, а через неделю его семью потянули бы в Сибирь. И ещё одного не понимает он. Как плохо ни думает он об Органах, но они ещё хуже: скоро ударит час, и все эти семьи, все эти сотни тысяч семей тронут в общую ссылку на погибель, не сверяясь, как ведут себя в лагере отцы.)

Страх за одного себя его б не поколебнул. Но представил У. свою жену и свою дочь в лагерных условиях— в этих бараках, где даже занавесками не завешивается блуд и где нет никакой защиты для женщины моложе шестидесяти лет. И он — дрогнул. Отмычка выбрана правильно. Никакая б не взяла, а эта— взяла.

Ну, ещё он тянет: я должен обдумать. — Хорошо, три дня обдумывайте, но не советуйтесь ни с единым человеком. За разглашение вы будете расстреляны! (У. идёт и советуется с земляком— с тем самым, на которого ему предложат написать и первый донос, с ним вместе они и отредактируют. Признаёт и тот, что нельзя рисковать семьёю.)

При втором посещении капитана У. даёт дьявольскую расписку, получает задание и связь:

сюда больше не ходить, все дела через расконвоированного придурка Фрола Ряби–нина.

Это — важная составная часть работы лагерного опера: вот эти резиденты, рассыпанные по лагерю. Фрол Рябинин — громче всех на народе, весельчак, Фрол Рябинин— популярная личность, у Фрола Рябинина какая–то блатная работёнка, отдельная кабина и всегда свободные деньги. С помощью опера простиг он глубины и течения лагерной жизни и легко в них витает. Вот эти резиденты и есть те канаты, на которых держится вся сеть.

Фрол Рябинин наставляет У., что передавать донесения надо в тёмном закоулке («в нашем деле — самое главное конспирация»). Он зовёт его и к себе в кабинку: «Капитан вашим донесением недоволен. Надо так писать, чтобы на человека получался материал. Вот я сейчас вас поучу».

И это мурло поучает потускневшего, сникшего, интеллигентного У, как надо писать на людей гадости. Но понурый вид У. толкает Рябинина к собственному умозаключению: надо этого хлюпика подбодрить, надо огонька ему влить! И он говорит уже по–дружески: «Слушайте, вам трудно жить. Иногда хочется подкупить чего–нибудь к пайке. Капитан хочет вам помочь. Вот, возь-

мите!»— И, достав из бумажника пятидесятку (это ж капитанская! значит, как свободны они от бухгалтерской отчётности, может, во всей стране они одни!), суёт её У.

И от вида этой бледно–зеленоватой жабы, соваемой в руки, вдруг спадают с У. все чары капитана–кобры, весь гипноз, вся скованность, вся боязнь даже за семью: всё происшедшее, весь смысл его овеществляется в этой гадкой бумажке с зеленоватою лимфой, в обыкновенных иудиных сребрениках. И, уже не рассуждая о том, что будет с семьёй, естественным движением оттолкнуться от мрази, У. отталкивает пятидесятку, а непонимающий Рябинин опять суёт, — У. отбрасывает её совсем на пол — и встаёт уже облегчённый, уже свободный и от нравоучений Рябинина и от подписи, данной капитану, свободный от этих бумажных условностей перед великим долгом человека! Он уходит без спроса. Он идёт по зоне, и несут его лёгкие ноги: «Свободен! Свободен!»

Ну, не совсем–то. При тупом опере тянули бы дальше ещё. Но капитан–кобра понял, что глупый Рябинин сорвал резьбу, не тою отмычкой взял. И больше в этом лагере шупальцы не тянули У., Рябинин проходил не здороваясь. Успокоился У. и радовался. Тут стали отправлять в Особлаги, и он

попал в Степлаг. Тем более он думал, что с этим этапом обрывается всё.

Но нет! Пометка, видимо, осталась. Однажды на новом месте У. вызвали к полковнику. «Говорят, вы согласились с нами работать, но не заслуживаете доверия. Может быть, вам плохо объяснили?»

Однако этот полковник совсем уже не вызывал у У. страха. К тому ж за это время семью У, как и семьи многих прибалтов, выселили в Сибирь. Сомнения не было: надо отлипнуть от них. Но какой найти предлог?

Полковник передал У. лейтенанту, чтобы тот ещё обрабатывал, и тот скакал, угрожал и обещал, а У. тем временем подыскивал: как сильней всего и решительней всего отказаться?

Просвещённый и безрелигиозный человек, У. нашёл, однако, что он оборонится от них, только заслонясь Христом. Не очень это было принципиально, но безошибочно. Он солгал: «Я должен вам сказать откровенно. Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне совершенно невозможно!»

И — всё! И многочасовая болтовня лейтенанта вся пресеклась! Он понял, что номер— пуст. «Да нужны вы нам, как пятая нога собаке! — вскри-

чал он досадливо. — Пишите письменный отказ! (Опять письменный.) Так и пишите, про боженьку объясняйте!»

Видно, каждого стукача они должны закрыть отдельной бумажкой, как и открывают. Ссылка на Христа вполне устраивала и лейтенанта: никто из оперчеков не упрекнёт его, что можно было ещё какие–то усилия предпринять.

А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как бесы от крестного знамения, от колокола к заутрене?

Вот почему наш режим никогда не сойдётся с христианством! И зря французские коммунисты обещают.

Глава 13. СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ!

Можно ли отсечь голову, если раз её уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили её? Можно!

Это всё изобретено в наших лагерях. Это всё выдумано на Архипелаге. И пусть не говорят, что только бригада— вклад коммунизма в мировую науку о наказаниях. А второй лагерный срок— это не вклад? Потоки, прихлёстывающие на Архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но ещё раз перекачиваются по трубам вторых следствий.

О, благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать! Где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать. Где осуждённого уже не вызывают в суд. Где приговорённого уже нельзя больше приговорить!

А у нас это всё — можно. Распластанного, безвозвратно погибшего, отчаявшегося человека ещё как удобно глушить обухом топора! Этика на-

ших тюремщиков — бей лежачего! Этика наших оперуполномоченных— подмощайся трупами!

Можно считать, что лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на Соловках, но там просто загоняли под колокольню и шлёпали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять второй лагерный срок.

Да как же было без вторых (третьих, четвёртых) сроков утаить в лоне Архипелага и уничтожить там всех, намеченных к тому?

Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец, — это форма жизни Архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько времени и простирается над головами осуждённых эта чёрная угроза: получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего — в 1937–38 и в годы войны. (В 1948–49 тяжесть вторых сроков была перенесена на волю: упустили, прохлопали, кого надо было пересудить ещё в лагере, — и теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и назвали повторниками, своих внутрилагерных даже не называли.)

И это ещё милосердие— машинное милосердие, когда второй лагерный срок в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без

лагерного суда, а просто вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении нового срока. (За отказ расписаться— простой карцер, как за курение в неположенном месте. Ещё и объясняли по–человечески: «Мы ж не даём вам, что вы в чём–нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении».) На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче: 8 лет и 5 лет по ОСО. И тщета была отбиваться: как будто в тёмной бесконечности Архипелага чем–то отличались восемь от восемнадцати, десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не когтили и не рвали сегодня.

Можно так понять теперь: эпидемия лагерных осуждений 1938 года была директива сверху. Это там, наверху, спохватились, что до сих пор помалу давали, что надо догрузить (а кого и расстрелять)— и так перепугать оставшихся.

Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонёк, черты народной инициативы. Сверху было, вероятно, указано, что во время войны в каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы — своё спасение

от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезная, остроумная и спасительная. Лагерные чекисты тоже затыкали пулемётные амбразуры— только чужими телами.

Пусть историк представит себе дыхание тех лет: фронт отходит, немцы вкруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа. В тылу всё меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Всё для фронта! Нет цены, которую правительство не заплатит, чтоб остановить Гитлера. И только лагерные офицеры (ну да и братья их по ГБ) — откормленные, белотелые, бездельные— все на своих тыловых местах (вот, например, этот лагерный куманёк, фото 30, — ведь как ему необходимо было остаться в живых!), — и чем глубже в Сибирь и на Север, тем спокойнее. Но трезво надо понять: благополучие шаткое. До первого окрика: а почистить–ка этих румяных, лагерных, расторопных! Строевого опыта нет? — так есть идейность. Хорошо если — в милицию, в заградотряды, а ну как: свести в офицерские батальоны! бросить под Сталинград! Летом 1942 так сворачивают целые офицерские училища и бросают неаттестованными на фронт. Всех молодых и здо-

ровых конвойных уже выскребли из охраны— и ничего, лагеря не рассыпались. Так и без оперов не рассыпятся! (Уже ходят слухи.)

Бронь — это жизнь! Бронь — это счастье! Как сохранить свою бронь? Простая естественная мысль—надо доказать свою нужность! Надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся, это — котёл кипящей смолы! — и тогда погиб наш славный фронт! Именно здесь, на тундренных и таёжных лагпунктах, белогрудые оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера! Это — их вклад в Победу! Не щадя себя, они ведут и ведут следствия, они вскрывают новые и новые заговоры.

До сих пор только несчастные изнурённые лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь. Теперь в эту борьбу бессовестно вступили и полновластные оперчеки–сты. «Подохни ты сегодня, а я завтра!» Погибни лучше ты и отсрочь мою гибель, грязное животное.

Вот оформляют в Усть–Выми «повстанческую группу»: восемнадцать человек! хотели, конечно, обезоружить Вохру, у неё добыть оружие (полдюжины старых винтовок)! — а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла: хотели поднять весь Север! идти на Воркуту! на Москву!

соединиться с Маннергеймом! И летят, летят телеграммы и докладные: обезврежен крупный заговор! в лагере неспокойно! нужно ещё усилить оперативную прослойку!

И что это? В каждом лагере открываются заговоры! заговоры! заговоры! И всё крупней! И всё замашистей! Эти коварные доходяги! — они притворялись, что их уже ветром шатает, — но своими исхудалыми пеллагрическими руками они тайно тянулись к пулемётам! О, спасибо тебе, оперчекистская часть! О спаситель Родины — III Отдел!

И сидит в таком III Отделе банда (Цжидинские лагеря в Бурят–Монголии): начальник оперчекотдела Соколов, следователь Мироненко, оперуполномоченные Калашников, Сосиков, Осин–цев, — а мы–то отстали! у всех заговоры, а мы отстаём! У нас, конечно, есть крупный заговор, но какой? Ну, конечно, «разоружить охрану», ну, наверно, — «уйти за границу», ведь граница близко, а Гитлер далеко. С кого же начать?

И как сытая свора собак рвёт больного худого линючего кролика, так набрасывается эта голубая свора на несчастного Бабича, когда–то полярника, когда–то героя, а теперь доходягу, покрытого язвами. Это он при загаре войны чуть

не передал ледокол «Садко» немцам — так уж все нити заговора в его руках конечно! Это он своим умирающим цынготным телом должен спасти их откормленные.

Если ты — плохой советский гражданин, мы всё равно заставим тебя выполнить нашу волю, будешь в ноги кланяться! Не помнишь? — Напомним! Не пишется? — Поможем! Обдумывать? — в карцер и на трёхсотку!

А другой оперативник так: «Очень жаль. Вы, конечно, потом поймёте, что разумно было выполнить наши требования. Но поймёте слишком поздно, когда вас, как карандаш, можно будет сломать между пальцев». (Откуда у них эта образность? Придумывают сами или в учебнике оперчекистского дела есть такой набор, какой–то неизвестный поэт им сочинил?)

А вот допрос у Мироненко. Едва только Бабича вводят— запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к дымящемуся мясному борщу и котлетам. И, будто не видя этого борща и котлет, и даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково приводить десятки доводов, облегчающих совесть, оправдывающих, почему можно и надо дать ложные показания. Он дружески напоминает:

— Когда вас первый раз арестовали, с воли, и вы пытались доказать свою правоту — ведь не удалось? Ведь не удалось же! Потому что судьба ваша была предрешена ещё до ареста. Так и сейчас. Так и сейчас. Ну–ну, съешьте обед. Съешьте, пока не остыл. Если не будете глупы — мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены… А иначе…

И дрогнул Бабич! Голод жизни оказался сильней жажды правды. И начал писать всё под диктовку. И оклеветал двадцать четыре человека, из которых и знал–то только четверых! Всё время следствия его кормили, но недокармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод.

Читая его предсмертную запись о жизни — вздрагиваешь: с какого высока и до какого низка может упасть мужественный человек! Можем все мы упасть…

И 24 человека, не знавшие ни о чём, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Бабич был послан до суда ассенизатором в совхоз, потом свидетельствовал на суде, потом получил новую десятку с погашением прежней, но, не докончив второго срока, в лагере умер.

А банда из Джидинского III Отдела… Ну да кто–

нибудь доследует же об этой банде? Кто–нибудь! Современники! Потомки!..

А— ты?.. Ты думал, что в лагере можно наконец отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться: вот срок большой дали! вот кормят плохо! вот работаю много! Или, думал ты, можно здесь повторить, за что ты получил срок? Если ты хоть что–нибудь из этого вслух сказал — ты погиб! ты обречён на новую десятку. (Правда, с начала второй лагерной десятки ход первой прекращается, так что отсидеть тебе выпадет не двадцать, а каких–нибудь тринадцать, пятнадцать… Дольше, чем ты сумеешь выжить.)

Но ты уверен, что ты молчал как рыба? И вот тебя всё равно взяли? Опять–таки верно! — тебя не могли не взять, как бы ты себя ни вёл. Ведь берут не за что, а берут потому что. Это тот же принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из III Отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных в лагере людей. И этот список потом продиктует Бабичу…

В лагере ведь ещё трудней упрятаться, здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение: быть нолём! Полным нолём. С самого начала нолём.

А уж потом пришить тебе обвинение совсем не

трудно. Когда «заговоры» кончились (стали немцы отступать) — с 1943 года пошло множество дел по «агитации» (кумовьям–то на фронт всё равно ещё не хотелось!). В Буреполомском лагере, например, сложился такой набор:

— враждебная деятельность против политики ВКП(б) и Советского правительства (а какая враждебная — пойди пойми);

— высказывал пораженческие измышления;

— в клеветнической форме высказывался о материальном положении трудящихся Советского Союза (правду скажешь— вот и клевета);

— выражал пожелание (!) восстановления капиталистического строя;

— выражал обиду на Советское правительство (это особенно нагло! ещё тебе ли, сволочь, обижаться? десятку получил и молчал бы).

70–летнего бывшего царского дипломата обвинили в такой агитации:

— что в СССР плохо живёт рабочий класс;

— что Горький — плохой писатель.

Сказать, что это уж хватили через край, — никак нельзя, за Горького и всегда срок давали, так он себя поставил. А вот Скворцов в Локчимлаге (близ Усть–Выми) отхватил 15 лет, и среди обвинений было:

— противопоставлял пролетарского поэта Маяковского некоему буржуазному поэту.

Так было в обвинительном заключении, для осуждения этого довольно. А по протоколам допросов можно установить и «некоего». Оказывается— Пушкин! Вот за Пушкина срок получить— это, правда, редкость.

Так после всего Мартинсон, действительно сказавший в жестяном цеху, что «СССР— одна большая зона», должен Богу молиться, что десяткой отделался.

Или отказчики, получившие десятку вместо расстрела.

Так это понравится — давать вторые сроки, такой это смысл внесёт в жизнь оперчекотдела, что когда кончится война и уже нельзя будет поверить ни в заговоры, ни даже в пораженческие настроения, — станут сроки лепить по бытовым статьям. В 1947 в сельхозлаге Долинка каждое воскресенье шли в зоне показательные суды. Судили за то, что, копая картошку, пекли её в кострах; судили за то, что ели с поля сырую морковь и репу (что сказали бы барские крепостные, посидев на одном таком суде?!); и за всё это лепили по 5 и 8 лет по только что изданному великому Указу «четыре шестых». Один бывший «кулак» уже

кончал десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка— не себя! — он накормил свёклой— и получил 8 лет. Конечно, «социально–близкий» не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями и отбирается народ — кому жить, кому умереть.

Но не самими цифрами лет, не пустой фантастической длительностью лет страшны были эти вторые сроки — а как получить этот второй срок? как проползти за ним по железной трубе со льдом и снегом?

Казалось бы — что уж там лагернику арест? Арестованному когда–то из домашней тёплой постели— что бы ему арест из неуютного барака с голыми нарами? А ещё сколько! В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают— но вот пришёл надзиратель, дёрнул за ногу ночью: «Собирайся!» Ах, как не хочется!.. Люди–люди, я вас любил...

Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма и в чём будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно холодны. Если недостаточно холодны — держат в камерах в одном белье. В знаменитой воркутинской Тридцатке (перенято арестантами от чекистов, они называли её

так по её телефону «30») — дощатом бараке за Полярным Кругом, при сорока градусах мороза топили угольной пылью — банная шайка на сутки, не потому, конечно, что на Воркуте не хватало угля. Ещё издевались: не давали спичек, а на растопку— одну щепочку, как карандаш. (Кстати, пойманных беглецов держали в этой Тридцатке совсем голыми; через две недели, кто выжил, — давали летнее обмундирование, но не телогрейку. И ни матрасов, ни одеял. Читатель! Для пробы — переспите так одну ночь! В бараке было примерно плюс пять.)

Так сидят заключённые несколько месяцев следствия! Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче. Кормят их? — как положит III Отдел: где 350, где 300, а в Тридцатке— 200 граммов хлеба, липкого, как глина, немногим крупнее кусок, чем спичечная коробка, и в день один раз жидкая баланда.

Но не сразу ты согреешься, если и всё подписал, признался, сдался, согласился ещё десять лет провести на родном Архипелаге. Из Тридцатки переводят до суда в воркутинскую «следственную палатку», не менее знаменитую. Это— самая обыкновенная палатка, да ещё рваная. Пол у неё

не настлан, пол — земля полярная. Внутри 7х12 метров и посредине — железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой, около печки нары всегда заняты блатарями. Политические плебеи— по краям и на земле. Лежишь и видишь над собою звёзды. Так взмолишься: о, скорей бы меня осудили! скорей бы приговорили! Суда этого ждёшь как избавления. (Скажут: не может человек так жить за Полярным Кругом, если не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас — может! Наш советский человек, наш туземец Архипелага— может! Арнольд Раппопорт просидел так много месяцев — всё не ехала из Нарьян–Мара выездная сессия облсуда.)

А вот на выбор ещё одна следственная тюрьма — лагпункт Оротукан на Колыме, это 506–й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно–парусиновый посёлок, то есть палатки с дырами, но всё ж обложенные тёсом. Приехавший новый этап, пачка новых обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: каждая палатка в городке с трёх сторон, кроме дверной, обставлена штабелями окоченевших трупов! (Это — не для устрашения. Просто выхода нет: люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота.) А дальше измор ожидания. В

палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик — со всей Колымы согнали слишком много кроликов, следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса. В палатках— скученность, не вытянуться. Лежат на нарах и на полу, лежат многими неделями. (Это разве скученность? — ответит Серпантинка. — У нас ожидают расстрела, правда, всего по несколько дней, но эти дни стоят в сарае, так сплочены, что когда их поят — то есть поверх голов бросают из дверей кусочки льда, так нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами.) Бань нет, прогулок тоже. Зуд по телу. Все с остервенением чешутся, все иьиут в ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах— но ищут не раздеваясь, холодно. Крупные белые полнотелые вши напоминают упитанных поросят–сосунков. Когда их давишь— брызги долетают до лица, ногти— в сукровице.

Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» — «Есть». — «Кто хочет пайку заработать — тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто не спрашивает фамилий умерших: пайки выдаются по счёту.

А пайка— трёхсотка. И одна миска баланды в день. Ещё выдают горбушу, забракованную санитарным надзором. Она очень солона. После неё хочется пить, но кипятка не бывает никогда, вообще никогда. Стоят бочки с ледяною водой. Надо выпить много кружек, чтоб утолить жажду. Г.С. Митрович уговаривает друзей: «Откажитесь от горбуши— одно спасение! Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды!» Но не могут люди отказаться от куска даровой рыбы — и едят, и снова пьют. И дрожат от внутреннего холода. Сам Митрович её не ест— зато теперь рассказывает нам об Оротукане.

Как было скученно в бараке — и вот редеет, редеет. Через сколько–то недель остатки барака выгоняют на внешнюю перекличку. На непривычном дневном свете они видят друг друга: бледные, обросшие, с бисерами гнид на лице, с синими жёсткими губами, ввалившимися глазами. Идёт перекличка по формулярам. Отвечают еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях— избежавшие следствия.

Все, пережившие оротуканское следствие, говорят, что предпочитают газовую камеру…

Следствие? Оно идёт так, как задумал следователь. С кем идёт не так — те уже не расскажут. Как говорил оперчек Комаров: «Мне нужна только твоя правая рука— протокол подписать...» Ну, пытки, конечно, домашние, примитивные — защемляют руку дверью, в таком роде всё (попробуйте, читатель).

Суд? Какая–нибудь лагколлегия — подчинённый облсуду постоянный суд при лагере, как нарсуд в районе. Законность торжествует! Выступают и свидетели, купленные III Отделом за миску баланды.

В Буреполоме частенько свидетелями на своих бригадников бывали бригадиры. Их заставлял следователь— чуваш Крутиков. «А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю!» У латыша Бернштейна— бригадир Николай Ронжин (из Горького); выходит и подтверждает: «Да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, а подольские не годятся». Ну и довольно! Для выездной сессии Горьковского облсуда (председатель — Бухонин, да две местные комсомолки Жукова и Коркина)— разве не довольно? 10 лет!

Ещё был в Буреполоме такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин (местный, тоншаев-

ский)— так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит— пожмите его честную руку!

Ну и наконец— ещё один этап, на другой лагпункт, чтобы ты не вздумал рассчитываться со свидетелями. Это этап небольшой — каких-нибудь четыре часа на открытой платформе узкоколейки.

А теперь— в больничку. Если же нога ногу минует— завтра с утра тачки катать.

Да здравствует чекистская бдительность, спасшая нас от военного поражения, а оперчекистов — от фронта!

* * *

Во время войны в лагерях расстреливали мало (если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали: там перестреливали сотни и сотни в покидаемых тюрьмах). А— всё больше клепали новые сроки: не уничтожение этих людей нужно было оперчекистам, а только раскрытие преступлений. Осуждённые же могли трудиться, могли умереть— это уж вопрос производственный.

Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было — расстреливать! Расстреливали посильно

во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму (расстрелы «гаранинские») и на Воркуту (расстрелы «кашкетинские»).

Кашкетинские расстрелы связаны с продирающим кожу названием «Старый Кирпичный завод». Так называлась станция узкоколейки в двадцати километрах южнее Воркуты.

После «победы» троцкистской голодовки в марте 1937 года, и обмана её, прислана была из Москвы «комиссия Григоровича» для следствия над бастовавшими. Южнее Ухты, невдалеке от железнодорожного моста через реку Ропча, в тайге поставлен был тын из брёвен и создан новый изолятор — Ухтарка. Там вели следствие над троцкистами южной части магистрали. А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. Здесь он протягивал троцкистов через «следственную палатку» (применял порку плетьми!) и, не очень даже настаивая, чтобы они признали себя виновными, составлял свои «кашкетинские списки».

Зимой 1937/38 года из разных мест сосредоточения — из палаток в устье Сыр–Яги, с Кочмеса, из Сивой Маски, из Ухтар–ки — троцкистов да ещё и децистов («демократических централистов») стали стягивать на Старый Кирпичный завод

(иных— и безо всякого следствия). Несколько самых видных взяли в Москву в связи с процессами. Остальных к апрелю 1938 набралось на Старом Кирпичном 1053 человека. В тундре, в стороне от узкоколейки, стоял старый длинный сарай. В нём и стали поселять забастовщиков, а потом, с пополнениями, поставили рядом ещё две старые рваные ничем не обложенные палатки на 250 человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться по Оротукану. Посреди такой палатки 20х6 метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускалось на неё в сутки — ведро, да еще бросали в неё вшей, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри. На нарах не хватало мест, и в очередь то лежали, то ходили. Давали хлеба в день трёхсотку и один раз миску баланды. Иногда, не каждый день, по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочками лёд как паёк. Уж разумеется, никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цынготные пятна.

Но что было здесь особенно тяжело — к троцкистам подбросили лагерных штурмовиков — блатных, среди них и убийц, приговорённых к смерти. Их проинструктировали, что вот эту политическую сволочь надо давить, и за это им, блатным,

будет смягчение. За такое приятное и вполне в их духе поручение блатные взялись с охотой. Их назначили старостами (сохранилась кличка одного — «Мороз») и подстаростами, они ходили с палками, били этих бывших коммунистов и глумились, как могли: заставляли возить себя верхом, брали чьи–нибудь вещи, испражнялись в них и спаливали в печи. В одной из палаток политические бросились на блатных, хотели убить, те подняли крик, и конвой извне открыл огонь в палатку, защищая социально–близких.

Этим глумлением блатных были особенно сломлены единство и воля недавних забастовщиков.

На Старом Кирпичном заводе, в холодных и рваных убежищах, в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей — двух десятилетий, и многих из содержимых здесь.

Всё же, по человеческому свойству надеяться, заключённые Старого Кирпичного ждали, что их направят на какой–то новый объект. Уже несколько месяцев они мучились здесь, и было невыносимо. И действительно, рано утром 22 апреля (нет полной уверенности в дате, а то ведь— день рождения Ленина) начали собирать

этап— 200 человек. Вызываемые получали свои мешки, клали их на розвальни. Конвой повёл колонну на восток, в тундру, где близко не было совсем никакого жилья, а вдалеке был Салехард. Блатные позади ехали на санях с вещами. Одну только странность заметили остающиеся: один, другой мешок упал с саней, и никто их не подобрал.

Колонна шла бодро: ждала их какая–то новая жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали. И конвой стал отставать— ни впереди, ни сбоку уже не шёл, а только сзади. Что ж, слабость конвоя — это тоже добрый признак.

Светило солнце.

И вдруг по чёрной идущей колонне невидимо откуда, из ослепительной снежной пелены, открыт был частый пулемётный огонь. Арестанты падали, другие ещё стояли, и никто ничего не понимал.

Смерть пришла в солнечно–снежных ризах, безгрешная, милосердная.

Это была фантазия на тему будущей войны. Из временных снежных укреплений поднялись убийцы в полярных балахонах (говорят, что большинство из них были грузины), бежали к дороге

и добивали кольтами живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подъехавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же умерших, к неудовольствию блатных, были сожжены.

23 и 24 апреля там же и так же расстреляли ещё 760 человек.

А девяносто трёх вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи–провокаторы.

Называют Ройтмана, Истнюка, Алиева. Из блатных—Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощажён, но трудно представить другую причину.

Называли и Моделя. Теперь мне прислали коллективное сообщение, исправляя о Моисее Иосифовиче Моделе, что он не был пощажён на Старом Кирпичном, но изъят ещё из штрафного этапа туда. Каким же образом? Эпизод, очень характерный для ортодоксов: один из присланных энкаведешников оказался старый сотрудник М. Моделя по Следственной Комиссии при Военно–Революционном Комитете Петроградского Совдепа (то есть вместе расправлялись в дни Октября). Увидев Моделя в списках, тот соратник тайно изъял его дело и так спас.

Приведенные сведения о кашкетинских расстрелах я собрал от двух зэков, с которыми сидел. Один из них был там, и пощажён. Другой — очень любознательный и тогда же горевший писать историю— сумел по тёплым следам осмотреть те места и расспросить, кого можно.

Но с дальних командировок этапы смертников опоздали, они продолжали поступать по 5–10 человек. Отряд убийц принимал их на станции Кирпичный завод, вёл к старой бане — будке, изнутри в три–четыре слоя обитой одеялами. Там велели смертникам на снегу раздеваться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так за полтора месяца было уничтожено около двухсот человек. Трупы убитых сжигали в тундре.

Сожжены были и сарай Старого Кирпичного и Ухтарка. (А «баню» поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308–й пикет узкоколейки и сбросили там. Там её и изучал мой приятель. Она вся была в крови изнутри, стены изрешечены.)

Ещё об одном случае расстрела троцкистов, там же и тогда же, рассказывает Франк Диклер (еврей из Бразилии, в Нью–Йорке увлёкся советской пропагандой, в 1937 на греческом судне радистом

приплыл в Ленинград, сбежал на берег, чтоб участвовать в социализме, — сразу под срок). Весной 1938 он работал тормозщиком на воркутинской узкоколейке Рудник— Уса. Однажды из оперчекистского отдела им приказали: движение остановить, уголь не грузить, приготовить четыре платформы и две теплушки для этапа на Усу. Привели под большим конвоем с собаками человек 250, из них человек 50 бандитов–рецидивистов, остальные троцкисты, 8 женщин. У большинства одежда хорошая— меховые шапки, меховые воротники, чемоданы. Среди них Диклер увидел своего знакомого Андрей–чина— выходца из Югославии, но крупного американского коммуниста, соратника Фостера и Браудера: раньше Диклер слышал его речи в Мэдисон Сквер Гарден, а на днях встретился в зоне, узнал об успехе их забастовки — они стали получать сухой паёк, выходные, и бригады и бараки у них отдельные. Теперь их посадили на голые платформы, а было снежно, морозно, — и повезли. На крутом спуске Диклер держал ручку тормоза и посматривал на платформы. Андрейчин увидел его и, глядя в сторону, стал кричать во всё горло, как бы не ему:

— Frank! Just listen, don't say a word! This is the end. We're going to be murdered in cold blood! Frank!

Listen! If you ever get out, tell the world who they are: a bunch of cutthroats! assassins! bandits![327]

И— повторно кричал те же слова. Диклер дрожал. Рядом с ним на площадке стоял старый коми–вохровец, курил козью ножку. Когда Андрейчин замолчал — этапники на платформах заговорили хором, стало слышно женский плач, очевидно, многие поняли по–английски. Начальник этапа свистком остановил поезд, дали несколько выстрелов в воздух. Все стихли. Начальник кричал: «Что бунтуете? Вы хотели жить отдельно? Ну и будете отдельно. Пайка и работа— будет!»

Поехали дальше. Остановились на станции Змейка. Этап свели с платформ, а поезд вернули на Рудник. Вся поездная обслуга знала станцию Змейка: там никогда не было никакого лагпункта, никакого жилья.

Два дня по узкоколейке движения не было. Потом возчики рассказали: этап повели к ущелью, а против него были спрятаны пулемётчики и стали

[327] Примечания: 327

— Франк! Слушай— и не отвечай. Это— конец. Нас везут на убой! Франк! Слушай! Если ты когда–нибудь выйдешь, — расскажи миру кто они такие: свора головорезов! убийцы! бандиты!

стрелять залпами[328].

Ещё, впрочем, и на том не кончились расстрелы троцкистов. Ещё каких–то недострелянных постепенно собрали человек тридцать и расстреляли недалеко от Тридцатки. Но это уже делали другие. А тот первый отряд убийц, тех оперчекистов, и конвоиров, и блатных тех, участвовавших в кашкетинских расстрелах, — тоже вскоре расстреляли как свидетелей.

Сам Кашкетин был в 1938 году награждён орденом Ленина «за особые заслуги перед партией и правительством». А ещё через год расстрелян в Лефортове.

И не сказать, чтоб в истории это было первый раз.

А. Б–в рассказывает, как велись казни на Адаке (лагпункт на Печоре). Ночами оппозиционеров брали «с вещами» на этап, за зону. Аза зоной стоял домик оперчасти. Обречённых поодиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вохров–цы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад верёвками. Потом выводили во двор, где наготове стояли запряжённые подводы.

---

[328] Примечания: 328

Диклер освободился и даже в Бразилию вернулся, но не обнаружил во всём мире, кто бы хотел его слушать. Через 40 лет передал этот рассказ мне.

Связанных валили по 5–7 человек на подводу и отвозили на «Горку» — лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же живых закапывали. Не из зверства, нет. А: выяснено, что обращаться с живыми— перетаскивать, поднимать— гораздо легче, чем с мёртвыми.

Эта работа велась на Адаке много ночей.

Вот так и было достигнуто морально–политическое единство нашей партии.

Глава 14. МЕНЯТЬ СУДЬБУ!

Отстоять себя в этом диком мире— невозможно. Бастовать— самоубийственно. Голодать— бесполезно. А умереть — всегда успеем.

Что ж остаётся арестанту? Вырваться! Пойти-менятъ судьбу] (Ещё — «зелёным прокурором» называют зэки побег. Это — единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры, он много дел оставляет в прежнем положении, и даже ещё более тяжёлом, но иногда освобождает и вчистую. Он есть— зелёный лес, он есть— кусты и трава–мурава.)

Чехов говорит, что если арестант— не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо (или скажем так: который может уйти в себя), то не хотеть бежать он не может и не должен]

Не должен не хотеть! — вот императив вольной души. Правда, туземцы Архипелага далеко не таковы, они смирней намного. Но и среди них всегда есть те, кто обдумывает побег или вот–вот пойдёт. Постоянные там и сям побеги, пусть неудавшиеся, — верное доказательство, что ещё не утеряна энергия зэков.

Зона хорошо охранена: крепок забор, и надёжен предзон–ник, и расставлены правильно вышки — каждое место просматривается и простреливается. Но вдруг безысходно тошно тебе становится, что вот именно здесь, на этом клочке огороженной земли, тебе и суждено умереть. Да почему же счастья не попытать? — не рвануться сменить судьбу? Особенно в начале срока, на первом году, бывает силён и даже необдуман этот порыв. На том первом году, когда вообще решается вся будущность и весь облик арестанта. А позже этот порыв как–то ослабевает, уже нет уверенности, что там тебе быть нужнее, слабеют нити, связывающие с внешним миром, изжига–нье души переходит в тление, и втягивается человек в лагерную упряжку.

Побегов было, видимо, немало все годы лагерей. Вот случайные данные: за один лишь март 1930 из мест заключения

РСФСР бежало 1328 человек[329]. (И как же это в нашем обществе неслышно, беззвучно!)

С огромным разворотом Архипелага после 1937 года и особенно в годы войны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт, — всё трудней

---

[329] Примечания: 329
ЦГАОР, ф. 393, оп. 84, д. 4, л. 68.

становилось с конвоем, и даже злая выдумка с самоохраной не всегда выручала распорядителей. Одновременно с тем зарились получить от лагерей как можно больше хозяйственной пользы, выработки, труда— и это заставляло, особенно на лесоповале, расширяться, выбрасывать в глушь командировки, подкомандировки — а охрана их становилась всё призрачней, всё условней.

На некоторых подкомандировках УстьВымского лагеря уже в 1939 вместо зоны был только прясельный заборец или плетень и— никакого освещения ночью! — то есть ночью попросту никто не задерживал заключённых. При выводе в лес на работу даже на штрафном лагпункте этого лагеря приходился один стрелок на бригаду заключённых. Разумеется, он никак уследить не мог. И там за лето 1939 бежало 70 человек (один бежал даже дважды в день: до обеда и после обеда), однако 60 из них вернулись. Об остальных вестей не было.

Но то — глушь. А в самой Москве при мне произошли три очень лёгких побега: с лагучастка на Калужской заставе днём пролез в забор строительной зоны молодой вор (и, по их бахвальству, через день прислал в лагерь открытку: что едет в Сочи и просит передать привет начальнику

лагеря); из лагерька Марфино близ Ботанического сада — девушка, я уж об этом писал; и оттуда же ускочил на автобус и уехал в центр молодой бытовик, правда, его оставили вовсе без конвоя: насворенное на нас, МГБ отнеслось к потере бытовика беспечно.

Наверно, в ГУЛАГе посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого–то процента зэ–ка зэ–ка, чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островков.

К тому ж они положились и ещё на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих местах.

Крепчайшая из этих цепей — общая поникло сть, совершенная отданность своему рабскому положению. И Пятьдесят Восьмая, и бытовики почти сплошь были семейные трудолюбивые люди, способные проявлять доблести только в законном порядке, по приказу и с одобрения начальства. Даже и посаженные на пять и на десять лет, они не представляли, как можно бы теперь одиночно (уж Боже упаси коллективно!..) восстать за свою свободу, видя против себя государство [своё государство), НКВД, милицию, охрану, собак; как можно, даже счастливо уйдя,

жить потом — по ложному паспорту, с ложным именем, если на каждом перекрестке проверяют документы, если из каждой подворотни за прохожим следят подозревающие глаза. И настроение общее такое было в ИТЛ: что вы там с винтовками торчите, уставились? Хоть разойдитесь совсем, мы никуда не пойдём: мы же— не преступники, зачем нам бежать? Да мы через год и так на волю выйдем (амнистия…)! К. Страхович рассказывает, что их эшелон в 1942 при этапировании в Углич попадал под бомбёжки. Конвой разбегался, а зэки никуда не бежали, ждали своего конвоя. Много расскажут случаев таких, как с бухгалтером Ортаусского отделения Кар–лага: послали его с отчётом за 40 километров, с ним— одного конвоира. А назад пришлось ему везти в телеге не только пьяного вдрызг конвоира, но и особенно беречь его винтовку, чтоб не судили того дурака за потерю.

Другая цепь была— доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там всё же сытей, чем в лагере, но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок, и из–за него же нельзя было собрать запаса пищи в путь.

Ещё была цепь — угроза нового срока. Полити-

ческим за побег давали новую десятку по 58–й же статье (постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58–14, контрреволюционный саботаж). Ворам, правда, давали 82–ю статью (чистый побег) и всего два года, но за воровство и грабёж до 1947 года они тоже не получали больше двух лет, так что величины сравнимые. К тому ж в лагере у них был «дом родной», в лагере они не голодали, не работали— прямой расчёт им был не бежать, а отсиживать срок, тем более что всегда могли выйти льготы или амнистия. Побег для воров — лишь игра сытого здорового тела да взрыв нетерпеливой жадности: гульнуть, ограбить, выпить, изнасиловать, покрасоваться. По–серьёзному бежали из них только бандиты и убийцы с тяжёлыми сроками.

(Воры очень любят врать о своих никогда не совершённых побегах или совершённые изукрашивать лихо. Расскажут вам, как Индия (барак блатных) получила переходной вымпел за лучшую подготовку к зиме — за добротную земляную обсыпку барака, а это, мол, они делали подкоп и землю открыто выкладывали перед начальством. Не верьте! — и целая «Индия» не побежит и копать они много не захотят, им надо как–нибудь полегче да попроворней, и начальство

не такое уж глупое, чтоб не посмотреть, откуда они землю берут. — Вор Корзинкин, с десятью судимостями, доверенный у начальника комендант, действительно уходил, хорошо одетый, и за помпрокурора действительно себя выдавал, но он добавит, как ночевал в одной избе с уполномоченным по ловле беглецов (такие есть) и как ночью украл у него форму, оружие, даже собаку— и дальше выдавал себя за оперуполномоченного. Вот это уже всё врёт. Блатные в своих фантазиях и рассказах всегда должны быть героичнее, чем они есть.)

Ещё держала зэков— не зона, а бесконвойность. Те, кого менее всего охраняли, кто имел эту малую поблажку — пройти на работу и с работы без штыка за спиной, иногда завернуть в вольный посёлок, очень дорожили своим преимуществом. А после побега оно отнималось.

Глухой преградой к побегам была и география Архипелага: эти необозримые пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма хотя и не остров, а горше острова: оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут только от отчаяния. Когда–то, правда, якуты хорошо относились к заключённым и брались: «Девять солнц — я тебя в Хабаровск отвезу». И

отвозили на оленях. Но потом блатари в побегах стали грабить якутов, и якуты переменились к беглецам, выдавали их.

Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков (это к тому же было и политическим воспитанием). И народности, населявшие места вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца— это праздник, обогащение, это как добрая охота или как найти небольшой самородок. Тунгусам, комякам, казахам платили мукой, чаем, а где ближе к жилой густоте, заволжским жителям около Бу–реполомского и Унженского лагерей, платили за каждого пойманного по два пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селёдки. В военные годы селёдку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали беглецов селёдками. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого незнакомого человека ребятишки дружно бежали: «Мама! Селёдка идёт!»

А как— геологи? Эти пионеры северного безлюдья, эти мужественные бородатые сапогатые герои, джек–лондоновские сердца? На наших советских геологов беглецу худая надежда, лучше к

их костру не подходить. Ленинградский инженер Абросимов, арестованный в потоке «Промпартии» и получивший десятку, бежал из лагеря Нивагрэс в 1933. Двадцать один день он пробродил в тайге и вот уж как радовался встрече с геологами! А они его вывели в населённый пункт и сдали председателю рабочкома. (Поймёшь и геологов: они ведь тоже не в одиночку, они друг от друга боятся доноса. А ещё если беглец— и в самом деле уголовник, убийца? — и их же ночью зарежет?)

Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с гниющим прострелом около лагерной столовой — чтобы заключённые больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. (Собаки, смотря по команде, умеют душить человека, умеют кусать, а умеют только рвать одежду, раздевая догола.) И ещё можно написать в Кулыурно–Воспитательной Части вывеску: «Я бежал, но меня поймали собаки», эту вывеску надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю.

А если бить—то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтоб на всю

жизнь в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность (Г. Сорокин, Ивдельлаг). Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулёза он оттуда не вышел. (Ныроблаг, Баранов, побег 1944 года. После побоев конвоя кашлял кровью, через три года отняли левое лёгкое[330].)

Собственно, избить и убить беглеца— это главная на Архипелаге форма борьбы с побегами[331]. И даже если долго нет побегов— их надо иногда выдумывать. На прииске Дебин (Колыма) в 1951 разрешили как–то группе зэков пособирать ягод. Трое заблудились — и нет их. Начальник лагеря старший лейтенант Пётр Ломага послал истязателей. Те напустили собак на трёх спящих, потом застрелили их, потом прикладами раскололи головы, обратили их в месиво, так что свешивались наружу мозги, — ив таком виде на телеге доставили в лагерь. Здесь заменили лошадь четырьмя арестантами, и те тянули телегу мимо строя. «Вот

---

[330] Примечания: 330

И теперь он наивно добивается (для пенсии), чтоб его заболевание признали профессиональным. Уж куда, кажется, профессиональнее и для арестанта, и для конвоя! — а не признают…

[331] Примечания: 331

И всё главней становится она в новейшее, уже хрущёвское время. См. «Мои показания» Анатолия Марченко. Самиздат, 1968.

(В России книга впервые опубликована в 1991 году в изд–ве «Московский рабочий». — Примеч. ред.)

так будет с каждым!»— объявил Ломага.

И кто найдёт в себе отчаяние передо всем этим не дрогнуть? — и пойти! — и дойти! — а дойти–то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места, — кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберёг? Только блатных на воле ждёт уговоренная малина, а у нас, Пятьдесят Восьмой, квартира называется явкой, это почти подпольная организация.

Вот как много заслонов и ям против побега.

Но отчаявшееся сердце иногда и не взвешивает. Оно видит: течёт река, по реке плывёт бревно — и прыжок! поплывём! Вячеслав Безродный с лагпункта Ольчан, едва выписанный из больницы, ещё совсем слабый, на двух скреплённых брёвнах бежал по реке Индигирке — в Ледовитый океан! Куда? На что надеялся? Уж не то что пойман, а — подобран он был в открытом море и зимним путём опять возвращён в Ольчан, в ту же больницу.

Не обо всяком, кто не вернулся в лагерь сам и кого не привели полуживым, не привезли мёртвым, можно сказать, что он ушёл. Он, может быть, только сменил подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге.

Пока беглецы не столько бегут, сколько бредут, и сами же возвращаются — лагерные оперуполномоченные даже получают от них пользу: они без напряжения мотают им вторые сроки. А если побегов что–то долго нет, то устраивают провокации: какому–нибудь стукачу поручают сколотить группу «на побег» — и всех сажают.

Но человек, пошедший на побег серьёзно, очень скоро становится и страшен. Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу, и она потом неделями на десятки километров горела. — В 1949 году на лугу близ Веслянского совхоза задержали беглеца с человеческим мясом в рюкзаке: он убил попавшегося ему на пути бесконвойного художника с пятилетним сроком и обрезал с него мясо, а варить был недосуг.

Весной 1947 на Колыме, близ Эльгена, вели колонну зэков два конвоира. И вдруг один зэк, ни с кем не сговариваясь, умело напал на конвоиров, в одиночку, обезоружил и застрелил обоих. (Имя его неизвестно, а оказался он— недавний фронтовой офицер. Редкий и яркий пример фронтовика, не утерявшего мужество в лагере!) Смельчак объявил колонне, что она свободна! Но заключённых объял ужас: никто за ним не пошёл, а все сели тут же и ждали нового конвоя. Фронтовик стыдил

их— тщетно. Тогда он взял оружие (32 патрона, «тридцать один— им!») и ушёл один. Ещё убил и ранил нескольких поимщиков, а тридцать вторым патроном кончил с собой. Пожалуй, развалился бы Архипелаг, если бы все фронтовики так себя вели.

В 1945 на ОЛПе «Победа» (Индигирского управления) несколько власовцев так же напали на охрану, отобрали винтовки, ушли — но не знаю, как далеко.

В Краслаге бывший вояка, герой Халхин–Гола, пошёл с топором на конвоира, оглушил его обухом, взял у него винтовку, тридцать патронов. Вдогонку ему были спущены собаки, двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а, излютев, мстя за себя и за собак, искололи мёртвого штыками и в таком виде бросили неделю лежать близ вахты.

В 1951 в том же Краслаге около десяти болыпесрочников конвоировались четырьмя стрелками охраны. Внезапно зэки напали на конвой, отняли автоматы, переоделись в их форму (но стрелков пощадили! — угнетённые чаще великодушны, чем угнетатели) и четверо, с понтом конвоируя, повели своих товарищей к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес.

Мнимый конвой поравнялся с паровозом, ссадил паровозную бригаду и (кто–то из бегущих был машинист) — полным ходом повёл состав к станции Решёты, к главной сибирской магистрали. Но им предстояло проехать около семидесяти километров. За это время о них уже дали знать (начиная с пощажённых стрелков), несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от Решёт перед ними успели заминировать путь и расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли.

Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были удивительно удачные, но эти счастливые рассказы мы редко слышим: оторвавшиеся не дают интервью, они переменили фамилии, прячутся. Кузиков–Скачинский, удачно бежавший в 1942, лишь потому сейчас об этом рассказывает, что в 1959 был разоблачён — через 17 лет!

Открылось это так: попался по другому делу его сопобежник. По пальцам установили его подлинную личность. Так выяснилось, что беглецы не погибли, как предполагалось. Стали искать и Кузикова. Для этого на его родине осторожно выспрашивали, выслеживали родных— и по

цепочке родственников добрались до него. И на всё это не жалели сил и времени через 17 лет!

И об успешном побеге Зинаиды Яковлевны Поваляевой мы потому узнали, что в конце–то концов она провалилась. Она получила срок за то, что оставалась при немцах учительницей в своей школе. Но не тотчас по приходу советских войск её арестовали, и до ареста она ещё вышла замуж за лётчика. Тут её посадили и послали на 8–ю шахту Воркуты. Через кухонных китайцев она связалась с волей и с мужем. Он служил в гражданской авиации и устроил себе рейс на Воркуту. В условленный день Зина вышла в баню в рабочую зону, там сбросила лагерное платье, распустила из–под косынки закрученные с ночи волосы. В рабочей зоне ждал её муж. У речного перевоза дежурили оперативники, но не обратили внимания на завитую девушку под руку с лётчиком. Улетели на самолёте. Год пробыла Зина под чужим документом. Но не выдержала, захотела повидаться с матерью — а за той следили. На новом следствии сумела сплести, что бежала в угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось.

Янис Л–с в 1946 дошёл пешком из Пермского лагеря до Латвии, причём явно коверкая русский

язык и почти не умея объясниться. Самый уход его из лагеря был прост: с разбегу он толкнул ветхий забор и переступил через него. Но потом в болотистом лесу (а на ногах— лапти) долго питался одними ягодами. Как–то из деревни он увёл в лес корову, зарезал. Отъедался говядиной, из шкуры коровьей сшил себе чуни. В другом месте украл у крестьянина кожушок (беглец, к которому враждебны жители, невольно становится и врагом жителей). В людных местах Л–с выдавал себя за мобилизованного латыша, потерявшего документы. И хотя в тот год ещё не отменена была всеобщая проверка пропусков, он сумел в незнакомом ему Ленинграде, не вымолвив словечка, дойти до Варшавского вокзала, ещё четыре километра отшагать по путям и там сесть на поезд. (Но одно–то Л–с твёрдо знал: что хоть в Латвии его безбоязненно укроют. Это и придавало смысл его побегу.)

Такой побег, как у Л–са, требует крестьянской ходки, хватки и сметки. А способен ли бежать горожанин, да ещё старик, на 5 лет посаженный за пересказ анекдота? Оказывается, способен, если более верная смерть — остаться в своём лагере, бытовом доходном лагерьке между Москвою и Горьким, делавшем с 1941 снаряды. Вот ведь 5

лет — «детский срок», но и пяти месяцев не выдержит анекдотчик, если гонять его на работу и не кормить. Это побег— толчком отчаяния, коротким толчком, на который через полминуты уже не было бы ни рассудка, ни сил. — В лагерь пригнали очередной эшелон и загрузили его снарядами. Вот идёт вдоль поезда сержант конвоя, а на несколько вагонов от него отстал железнодорожник: сержант, отодвигая дверь каждой краснухи, уверяется, что там никого нет, задвигает дверь, а железнодорожник ставит пломбу. И наш злополучный оголодавший доходной анекдотчик (всё было точно так, но его фамилия не сохранилась) за спиной прошедшего сержанта и перед проходящим железнодорожником бросается в вагон— ему нелегко вскарабкаться, нелегко беззвучно двинуть дверью, это нерасчётливо, это верный провал, он уже жалеет, закрывшись, с перебивами сердца: сейчас вернётся сержант и будет бить сапогами, сейчас железнодорожник крикнет, вот кто–то уже касается двери— а это ставят пломбу!.. (Я так думаю от себя: а вдруг— добрый железнодорожник? и видел, и — не видел?..) Эшелон уходит за зону. Эшелон идёт на фронт. Беглец не готовился, у него ни кусочка хлеба, он за трое суток наверняка умрёт в этом

движущемся добровольном карцере, до фронта он не доедет, да и не нужен фронт ему. Что делать? Как же спастись теперь? Он видит, что снарядные ящики обтянуты железной лентой. Голыми беззащитными руками он рвёт эту ленту и пилит ею пол вагона на месте, свободном от ящиков. Это невозможно для старика? А умереть возможно? А откроют, поймают — возможно? Ещё приделаны к ящикам верёвочные петли для переноски. Он отрезает их и из них же сплетает подобные петли, но длинные, и привязывает их так, чтоб они свисали под вагон в прорезанный лаз. Как он истощён! как не слушаются его израненные руки! как дорого ему обходится рассказанный анекдотик! Он не ждёт станции, а осторожно спускается в лаз на ходу и ложится обеими ногами в одну петлю (к хвосту поезда), плечами в другую. Поезд идёт, и беглец висит, покачиваясь. Скорость уменьшилась, вот он решается и сбрасывает ноги, ноги волочатся — и стягивают его всего. Номер смертный, цирковой— но ведь телеграммою могут поезд нагнать и обыскать вагоны, ведь в зоне его хватились. Не изогнуться, не подброситься! — он прилегает к шпалам. Он закрыл глаза, готовый к смерти. Учащённый хлопающий стук последних вагонов — и вдруг милая

тишина. Беглец открыл глаза, перевалился: только красный огонёк уходящего поезда! Свобода!

Но ещё не спасение. Свобода–то свобода, но ни документов, ни денег, лагерные лохмотья на нём, и он обречён. Распухший и оборванный, кое–как он добрался до станции, тут смешался с пришедшим ленинградским эшелоном: эвакуированных полумертвецов водили за руки и на станции кормили горячим. Но и это б ещё его не спасло — а нашёл он в эшелоне своего умирающего друга и взял его документы, а всё прошлое его он знал. Их всех отправили под Саратов, и несколько лет, до послевоенных, он прожил там на птицеферме. Потом его разняла тоска по дочери, и он отправился искать её. Он искал её в Нальчике, в Армавире, а нашёл в Ужгороде. За это время она вышла замуж за пограничника. Она считала отца благополучно мёртвым и вот теперь со страхом и омерзением выслушала его рассказ. Уже вполне благочестивая в гражданственности, она всё–таки сохранила и позорные пережитки родственности и не донесла на отца, а только прогнала его с порога. — Больше никого не осталось близких у старика, он жил бессмысленно, кочуя из города в город. Он стал наркоманом, в Баку накурился как–то анаши, был подобран

«скорой помощью» и в окуре назвал свою верную фамилию, а очнувшись — ту, под которой жил. Больница была наша, советская, она не могла лечить, не установив личности, вызван был товарищ из Госбезопасности— и в 1952 году, через десять лет после побега, старик получил 25 лет. (Это и дало ему счастливую возможность рассказать о себе в камерах и вот теперь попасть в историю.)

Иногда последующая жизнь удачливого беглеца бывает драматичнее самого побега. Так было, пожалуй, у Сергея Андреевича Чеботарёва, уже не раз названного в этой книге. С 1914 он был служащий КВЖД, с февраля 1917— член партии большевиков. В 1929 во время КВЖДинского конфликта он сидел в китайской тюрьме, с 1931 с женой Еленой Прокофьевной и сыновьями Геннадием и Виктором вернулись на родину. Здесь всё шло по–отечественному: через несколько дней сам он был арестован, жена сошла с ума, сыновей отдали в разные детдома и против воли присвоили им чужие отчества и фамилии, хотя они хорошо помнили свои и отбивались. Чеботарёву дальневосточная тройка ОГПУ дала сперва по неопытности всего три года, но вскоре он снова был взят, пытан и переосуждён на 10

лет без права переписки (ибо о чём же ему теперь писать?) и даже с содержанием под усиленной стражей в революционные праздничные дни. Это устрожение приговора неожиданно помогло ему. С 1934 года он был в Карлаге, строил дорогу на Моинты, там на майские праздники 1936 года заключили его в штрафной изолятор и к ним же на равных правах бросили вольного Чупина Автонома Васильевича. Пьян ли он был или трезв, но Чеботарёв сумел у него утянуть просроченное на шесть месяцев трёхмесячное удостоверение, выданное сельсоветом. Это удостоверение как будто обязывало Чеботарёва бежать! Уже 8 мая он ушёл с Моинтинского лагпункта, весь в вольной одежде, ни тряпки лагерной на себе не имея, и с двумя поллитровыми бутылками в карманах, как носят пьяницы, только была то не водка, а вода. Сперва тянулась солончаковая степь. Два раза он попадался в руки казахам, ехавшим на строительство железной дороги, но, немного зная казахский язык, «играл на их религиозном чувстве, и они меня отпускали»[332]. На западном краю Балхаша его задержал оперпост Кар–лага.

[332] Примечания: 332

Всё–таки и атеисту религия не без пользы. У казахов же, я думаю, ещё горяча была память о будённовском подавлении 1930 года, потому они и миловали. В 1950 году так не будет.

Взяв документ, спросили по памяти все сведения о себе и о родственниках, мнимый Чупин отвечал точно. Тут опять случай (а без случаев, наверно, и ловят)— вошёл в землянку старший опергруппы, и Чупин опередил его: «Хо! Николай, здорово, узнаёшь?» (Счёт на доли секунды, на морщинки лица, состязание зрительных памятей: я–то узнал, но пропал, если узнаешь ты!)— «Нет, не узнаю». — «Ну как же! В поезде вместе ехали! Фамилия твоя— Найдёнов, ты рассказывал, как в Свердловске на вокзале с Олей встретился — в одно купе попали и оттуда поженились». Всё верно, Найдёнов сражён; закурили и отпускают беглеца. (О, голубые! Недаром вас учат молчать! Не должны вы болеть человеческим чувством открытости. Рассказано–то было не в вагоне, а на командировке Дре–вопитомник Карлага всего год назад, рассказано заключённым, просто так вот сдуру, и не запомнишь их всех по морде, кто тебя слушал. Айв вагоне, наверно, рассказывать любил, да не в одном, история–то поездная! — на это и была дерзкая ставка Чеботарёва!) Ликуя, шёл Чупин дальше, большаком на станцию Чу, мимо озера к югу. Он больше шёл ночами, от каждых автомобильных фар шарахаясь в камыши, дни перелёживал в них (там— джунгли камы-

шёвые). Оперативников становилось пореже, в те места тогда ещё не закинул свои метастазы Архипелаг[333]. Был с ним хлеб и сахар, он тянул их, а пять суток шёл совсем без воды. Километров через двести дошёл он до станции и уехал.

И начались годы вольной— нет, затравленной жизни, потому что не рисковал он хорошо устраиваться и задерживаться на одном месте. В том же самом году, через несколько месяцев, он во Фрунзе в городском саду встретил своего — лагерного кума!.. Но бегло это было, веселье, музыка, девушки, и кум не успел узнать. Пришлось бросать найденную работу (старший бухгалтер догадался и допытался о срочных причинах— но сам оказался старым соловчанином), гнать куда–то дальше. Сперва Чеботарёв не рисковал искать семью, потом придумал—как. Он написал в Уфу двоюродной сестре: где Лена с детьми? догадайся, кто тебе пишет, ей пока не сообщай. И обратный адрес — какая–то станция Зирабулак, какой–то Чупин. Сестра ответила: дети потеряны, жена в Новосибирске. Тогда Чеботарёв послал её съездить в Новосибирск и только с глазу на глаз рассказать, что муж объявился и хочет прислать

[333] Примечания: 333

Но вскоре была туда корейская ссылка, потом и немецкая, потом и всех наций. Через 17 лет в то место попал и я.

ей денег. Сестра съездила; теперь пишет сама жена: была в психиатрической больнице, сейчас паспорт утерян, три месяца при–нудработ, и до востребования денег получить не могу. Подождать бы эти месяцы? — но выскакивает сердце: надо поехать! И даёт муж безумную телеграмму: встречай! поезд №, вагон №… Беззащитно наше сердце против чувств, но, слава Богу, не загорожено и от предчувствий. В пути так разбирают его эти предчувствия, что за две станции до Новосибирска он слезает и доезжает попутной машиной. Вещи сдав в камеру хранения, отчаянно идёт по адресу жены. Стучит! Дверь подаётся, в доме никого (первое совпадение, враждебное: квартирохозяин сутки дежурил предупредить его о засаде — но в эти минуты вышел по воду). Идёт дальше. Нет и жены. На кровати лежит укрытый шинелью чекист и сильно храпит (совпадение второе, благоприятное). Чеботарёв убегает. Тут окликает его хозяин— его знакомый по КВЖД, ещё уцелевший. Оказывается, зять его — оперативник, сам принёс домой телеграмму и тряс ею перед глазами жены Чеботарёва: вот твой мерзавец, сам к нам едет в руки! Ходили к поезду— не встретили, второй оперативник пока ушёл, этот лёг отдохнуть. Всё же вызвал Чеботарёв жену,

на машине проехали несколько станций, там сели на поезд в Узбекистан. В Ленинабаде снова зарегистрировались! — то есть, не разводясь с Чеботарёвым, она теперь вышла замуж за Чупина. Но вместе жить не решились. Во все концы слали от её имени заявления о розыске детей— бесполезно. И вот такая розная и загнанная жизнь была у них до войны. — В 1941 Чупин был мобилизован, был радистом в 61–й кавдивизии. Имел неосторожность при других бойцах назвать папиросы и спички по–китайски, в шутку. Ну, в какой нормальной стране это вызовет подозрение — что человек знает какие–то иностранные слова? У нас вызвало, и стукачи— вот они. И политрук Соколов, опер 219–го кавполка, уже через час допрашивал его: «Откуда вы знаете китайский язык?» Чупин: только эти два слова. «Вы не служили на КВЖД?» (Служить за границей — это сразу как тяжёлый грех!) Подсылал к нему опер и стукачей, не выведали. Так для своего спокойствия всё же посадили его по 58–10:

— не верил в сводки Информбюро;

— говорил, что у немцев техники больше (как будто глазами не видели все).

Не в лоб, так в голову… Трибунал. Расстрел! И так уже осточертела Чеботарёву жизнь в отече-

стве, что не подавал он просьбы о помиловании. А рабочие руки были государству нужны, вот 10 и 5 намордника. Снова в «доме родном»… Отсидел (при зачётах) девять лет.

И вот ещё случай. Однажды в лагере другой зэк, Н.Ф–в, отозвал его на дальний угол верхних нар и там тихо спросил: «Тебя как зовут?» — «Автоном Васильич». — «А какой ты области урожак?» — «Тюменской». — «А района?.. А сельсовета?..» Всё точно отвечал Чеботарёв–Чупин и услышал: «Всё ты врёшь. Я с Автономом Чупиным на одном паровозе пять лет работал, я его знаю как себя. Это не ты у него, часом, документы спёр в 36–м году в мае?» Вот ещё какой подводный якорь может пропороть живот беглецу! Какому романисту поверили бы, придумай он такую встречу! К этому времени Чеботарёв опять хотел жить и крепко пожал руку доброму человеку, когда тот сказал: «Не бось, к куму я не пойду, не сука!»

И так отбыл Чеботарёв второй срок как Чупин. Но на беду, последний лагерь его был — особо засекреченный, из той группы строек атомных— Москва–10, Тура–38, Свердловск–39, Че–лябинск–40. Они работали на разделении ураново–радиевых руд, стройка шла по планам Курчатова, начальник стройки генерал–лей-

тенант Ткаченко подчинялся только Сталину и Берии. От каждого зэка обновляли ежеквартально подпись «о неразглашении». Но это всё б ещё не беда, а беда то, что освободившихся не отпускали домой. «Освобождённых», отправили их большую группу в сентябре 1950 года— на Колыму! Только там освободили от конвоя и объявили особо–опасным спецконтингентом] — за то опасным, что они помогли атомную бомбу сделать! (Ну, как угнаться это всё описать? ведь это главы и главы нужны.) Таких разбросали по Колыме десятки тысяч! (Листайте Конституцию, листайте Кодексы, — что там написано про спецконтингент'?'?)

Зато хоть жену он теперь мог вызвать. Она приехала к нему на прииск Мальдьяк. И отсюда опять они запрашивали о сыновьях— и ответы были: «нет», «не числятся».

Свалился Сталин с копыт— и уехали старики с Колымы на Кавказ— греть кости. Теплело в воздухе, хоть и медленно. И в 1959 сын их Виктор, киевский слесарь, решился скинуть с себя ненавистную фамилию и объявиться сыном врага народа Чеботарёва! И через год нашли его родители! Теперь забота встала у отца— вернуться самому в Чеботарёвых [трижды реабилитирован-

ный, он уже за побег не отвечал). Объявился и он, оттиски пальцев послали в Москву для сличения. Лишь тогда успокоился старик, когда всем троим выписали паспорта на Чеботарёвых, и невестка стала Чеботарёва. Только ещё через несколько лет он пишет мне, что уже раскаиваются, что нашли Виктора: честит отца преступником, виновником своих злоключений, на справки о реабилитации машет: «филькина грамота!» А старший сын Геннадий так и пропал.

Из рассказанных случаев видно, что и побег удавшийся ещё совсем не даёт свободы, а жизнь постоянно угнетённую и угрожаемую. Кое–кем из беглецов это хорошо понималось — теми, кто в лагерях успел от отчизны отпасть политически; и теми, кто живёт по неосмысленному безграмотному принципу: просто жить! И не вовсе редки среди беглецов были такие (на провал готовившие ответ: «Мы бежали в ЦК просить разобраться!»), которые цель имели уйти на Запад и только такой побег считали завершённым.

Об этих побегах всего трудней рассказать. Те, кто не дошли, — в сырой земле. Те, кто пойманы снова, — расстреляны или немы. Те, кто ушли, — может быть, объявились на Западе, а может быть, из–за кого–то оставшихся тут— снова молчат.

Ходили слухи, что на Чукотке захватили зэки самолёт и всемером улетели на Аляску. Но, думаю: только пробовали захватить, да сорвалось.

Все эти случаи ещё долго будут томиться в закрыве, и стареть, и ненужными делаться, как эта рукопись, как всё правдивое, что пишется в нашей стране.

Вот один такой случай, и опять не удержала людская память имени геройского беглеца. Он был из Одессы, по гражданской специальности— инженер–механик, в армии— капитан.

Он кончил войну в Австрии и служил в оккупационных войсках в Вене. В 1948 по доносу был арестован, получил 58–ю и, как тогда уже завели, 25 лет. Отправлен был в Сибирь, на лагпункт в трехстах километрах от Тайшета, то есть далеко от главной сибирской магистрали. Очень скоро стал доходить на лесоповале. Но сохранялась ещё у него воля бороться за жизнь и память о Вене. И оттуда— оттудсй — он сумел убежать в Вену! Невероятно!

Их лесоповальный участок ограничивала просека, просматриваемая с малых вышек. В избранный день он имел на работе с собой пайку хлеба. Повалил поперёк просеки пушистую ель и под ветками её пополз к макушке. На всю

просеку её недоставало, но, продолжая ползти, он счастливо ушёл. С собой он унёс и топор. Это было летом. Он пробирался тайгой по бурелому, идти было очень трудно, зато никого не встречал целый месяц. Завязав рукава и ворот рубашки, он ловил рыбу, ел её сырой. Собирал кедровые орехи, грибы и ягоды. Полумёртвым, он всё же долез до сибирской магистрали и счастливо уснул в стогу сена. Очнулся от голосов: вилами брали сено и уже обнаружили его. Он был измотан, не готов ни убегать, ни бороться. И сказал: «Что ж, берите, выдавайте, я беглец». То были железнодорожный обходчик и его жена. Обходчик сказал: «Да мы ж русские люди. Только сиди, не показывайся». Ушли. Но беглец не поверил им: они ведь— советские, они должны донести. И пополз к лесу. С краю леса он следил и увидел, как обходчик вернулся, принёс одежду и еду. — С вечера беглец пошёл вдоль линии и на лесном полустанке сел на товарняк, к утру соскочил— и на день ушёл в лес. Ночь за ночью он так продвигался, а когда стал покрепче, то и на каждой остановке сходил — перепрятывался в зелени или шёл вперёд, обгоняя поезд, а там прыгал на ходу. Так десятки раз он рисковал потерять руку, ногу, голову. (Это всё он расхлёбывал несколько

лёгких скольжений пера доносчика…) Но как–то перед Уралом он изменил своему правилу и на платформе с брёвнами заснул. Его ударили ногой и светили фонарём в лицо: «Документы!» — «Сейчас». Приподнялся и ударом сбил охранника с высоты, сам же спрыгнул в другую сторону — и попал на голову другому охраннику! — сбил с ног и того и успел уйти под соседние эшелоны. Сел за станцией, на ходу. — Свердловск он решил обходить со стороны, в окрестностях его грабанул торговую палатку, взял там одежды, надел на себя три костюма, набрал еды. На какой–то станции продал один костюм и купил билет Челябинск–Орск–Средняя Азия.

Нет, он знал, куда едет— в Вену! — но надо было обшерстить–ся и чтобы перестали его искать. Туркмен, предколхоза, встретил его на базаре и без документов взял к себе в колхоз. И руки оправдали звание механика, он чинил колхозу все машины. Через несколько месяцев он рассчитался и поехал в Красноводск, приграничной линией. На перегоне после Маров шёл патруль, проверяя документы. Тогда наш механик вышел на площадку, открыл дверь, повис на окне уборной (через забеленное стекло изнутри его видеть не могли), и только самый носок одной

ноги остался для упора и для возврата на ступеньке. В раме двери в углу один носок ботинка патруль не заметил и прошёл в следующий вагон. Так миновал страшный момент. Благополучно переехав Каспий, беглец сел на поезд Баку—Шепетовка, а оттуда подался в Карпаты. Через горную границу глухим крутым лесистым местом он переходил очень осмотрительно — и всё–таки пограничники перехватили его! Сколько надо было жертвовать, страдать, изобретать и силиться от самого сибирского лагпункта, от этой поваленной первой ёлочки — и при самом конце в один миг всё рухнуло!.. И как там, в стогу у Тайшета, покинули его силы, он не мог больше ни сопротивляться, ни лгать и с последней яростью только крикнул: «Берите, палачи! Берите, ваша сила!» — «Кто такой?» — «Беглец! Из лагеря! Берите!» Но пограничники вели себя как–то странно: они завязали ему глаза, привели в землянку, там развязали, снова допрашивали — и вдруг выяснилось: свои! бандеровцы! (Фи! фи! — морщатся образованные читатели и машут на меня руками: «Ну и персонаж вы выбрали, если бандеровцы ему— своиі Хорошенький фрукт!» Разведу руками и я: какой есть. Какой бежал. Каким его лагерь сделал. Они ведь, лагерники, я

вам скажу, они живут по свинскому принципу: «бытие определяет сознание», а не по газетам. Для лагерника те и свои, с кем он вместе мучился в лагере. Те для него и чужие, кто спускает на него ищеек. Честно говоря — и я сам так.) Обнялись! У бандеровцев ещё были тогда ходы через границу, и они его мягко перевели.

И вот он снова был в Вене! — но уже в американском секторе. И, подчиняясь всё тому же завлекающему материалистическому принципу, никак не забывая свой кровавый смертный лагерь, он уже не искал работы инженера–механика, а пошёл к американским властям душу отвести. И стал работать кем–то у них.

Но! — человеческое свойство: минует опасность— расслабляется и наша настороженность. Он надумал отправить деньги родителям в Одессу, для этого надо было обменять доллары на советские деньги. Какой–то еврей–коммерсант пригласил его менять к себе на квартиру в советскую зону Вены. Туда и сюда непрерывно сновали люди, мало различая зоны. А ему было никак нельзя переходить! Он перешёл — и на квартире менялы был взят!

Вполне русская история о том, как сверхчеловеческие усилия нанизываются, нанизываются— и

срываются одним широким распахом руки.

Приговорённый к расстрелу, в камере берлинской советской тюрьмы он всё это рассказал другому офицеру и инженеру— Аникину. Этот Аникин к тому времени уже побывал и в немецком плену, и умирал в Бухенвальде, и освобождён был американцами, и вывезен в советскую зону Германии, оставлен там временно для демонтирования заводов, и бежал в ФРГ, под Мюнхеном строил гидроэлектростанцию, и оттуда выкраден советской разведкой (ослепили фарами, втолкнули в автомобиль) — и для чего всё это? Чтобы выслушать рассказ одесского механика и сохранить его нам? Чтобы затем два раза бесплодно бежать в Экибастузе (о нём ещё будет в Части Пятой)? И потом на штрафном известковом заводе быть убитым?

Вот предначертания! вот изломы судьбы! И как же нам разглядеть смысл отдельной человеческой жизни?..

Мы почти не рассказали о групповых побегах, а и таких было много. Из Усть–Сысольска был массовый побег (через восстание) в 1943. Ушли по тундре, ели морошку с черникой. Их проследили с аэропланов и с них же расстреляли. Говорят, в 1956 целый лагерёк бежал, под Мончегорском.

История всех побегов с Архипелага была бы перечнем не–впрочёт и невперелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберёг бы читателя и себя, стал бы опускать их сотнями.

Глава 15. ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ

Среди многих радостных отказов, которые нёс нам с собой новый мир, — отказа от эксплуатации, отказа от колоний, отказа от обязательной воинской повинности, отказа от тайной дипломатии, от тайных назначений и перемещений, отказа от тайной полиции, отказа от «закона божьего» и ещё многих других феерических отказов, — не было, правда, отказа от тюрем (стен не рушили, а вносили в них «новое классовое содержание»), но был безусловный отказ от карцеров— этого безжалостного мучительства, которое могло родиться только в извращенных злобой умах буржуазных тюремщиков. ИТК–1924 (Исправительно–трудовой кодекс 1924 года) допускал, правда, изоляцию особо провинившихся заключённых в отдельную камеру, но предупреждал: эта отдельная камера ничем не должна напоминать карцера— она должна быть сухой, светлой и снабжённой принадлежностями для спанья.

А сейчас не только тюремщикам, но и самим арестантам было бы дико, что карцера почему–то нет, что карцер запрещён.

ИТК–1933, который «действовал» (бездействовал) до начала 60–х годов, оказался ещё гуманнее: он запрещал даже изоляцию в отдельную камеру!

Но это не потому, что времена стали покладистей, а потому, что к этой поре были опытным путём уже освоены другие градации внутрилагерных наказаний, когда тошно не от одиночества, а от «коллектива», да ещё наказанные должны и горбить:

РУРы — Роты Усиленного Режима, заменённые потом на БУРы — Бараки Усиленного Режима, штрафные бригады, и

ЗУРы — Зоны Усиленного Режима, штрафные командировки.

А уж там позже, как–то незаметно, пристроились к ним и — не карцеры, нет! а —

ШИЗО — Штрафные Изоляторы.

Да ведь если заключённого не пугать, если над ним уже нет никакой дальше кары — как же заставить его подчиняться режиму?

А беглецов пойманных— куда ж тогда сажать?

За что даётся ШИЗО? Да за что хочешь: не угодил начальнику, не так поздоровался, не вовремя встал, не вовремя лёг, опоздал на проверку, не по той дорожке прошёл, не так был одет, не там

курил, лишние вещи держал в бараке— вот тебе сутки, трое, пятеро. Не выполнил нормы, с бабой застали — вот тебе пять, семь и десять. А для отказчиков есть и пятнадцать суток. И хоть по закону (по какому?) больше пятнадцати никак нельзя (да ведь по НТК и этого нельзя!), а растягивается эта гармошка и до году. В 1932 в Дмитлаге (это Авербах пишет, это — чёрным по белому!) замостырку давали год ШИЗО! Если вспомнить ещё, что мостырку и не лечили, то, значит, раненого больного человека помещали гнить в карцер — на год!

Что требуется от ШИЗО? Он должен быть: а) холодным; б) сырым; в) тёмным; г) голодным. Для этого не топят (Липай: даже когда снаружи 30 градусов мороза), не вставляют стёкол на зиму, дают стенам отсыреть (или карцерный подвал ставят в мокром грунте). Окошки ничтожные или никаких (чаще). Кормят сталинской пайкой— 300 граммов в день, а «горячее», то есть пустую баланду, дают лишь на третий, шестой и девятый дни твоего заключения туда. Но на Воркуте–Вом давали хлеба только двести, а вместо горячего на третий день — кусок сырой рыбы. Вот в этом промежутке надо и вообразить все карцеры.

Наивное представление таково, что карцер

должен быть обязательно вроде камеры— с крышей, дверью и замком. Ничего подобного. На Куранах–Сала карцер в мороз 50 градусов был разомшённый сруб. (Вольный врач Андреев: «Я как врач заявляю, что в таком карцерелю;>/шо сидеть!») Перескочим весь Архипелаг: на той же Воркуте–Вом в 1937 карцер для отказчиков был — сруб без крыши, и ещё была простая яма. В такой яме (спасаясь от дождя, натягивали какую–нибудь тряпку) Арнольд Раппопорт жил, как Диоген в бочке. С кормёжкой издевались так: надзиратель выходил из вахтенной избушки с пайками хлеба и звал тех, кто сидел в срубе: «Идите, получайте!» Но едва они высовывались из сруба, как часовой с вышки прикладывал винтовку: «Стой, стрелять буду!» Надзиратель удивлялся: «Что, и хлеба не хотите? Ну, уйду». — А в яму просто швыряли сверху хлеб и рыбу, в размокшую от дождей глину.

В Мариинском лагере (как и во многих других, разумеется) на стенах карцера был снег — ив такой–то карцер не пускали в лагерной одежёнке, а раздевали до белья. Через каждые полчаса надзиратель открывал кормушку и советовал Ивану Васильевичу Шведу: «Эй, не выдержишь, погибнешь! Иди лучше на лесоповал!» И верно,

решил Швед, здесь скорей накроешься. Пошёл в лес. Всего за 12 с половиной лет в лагерях Швед отсидел 148 суток карцера. За что только он не наказывался! За отказ идти дневальным в «Индию» (барак шпаны) получил 6 месяцев штрафного лагеря. За отказ перейти с сытой сель–хозкомандировки на лесоповал — судим вторично как за экономическую контрреволюцию, 58–14, и получил новые 10 лет. Это блатной, не желая идти на штрафной лагпункт, может ударить начальника конвоя, выбить наган из рук — и его не отправят. У мирного политического выхода нет— ему таки загонят голову между ног. На Колыме в 1938 для блатных и карцеры были утеплённые, не то что для Пятьдесят Восьмой.

БУР — это содержание подольше. Туда заключают на месяц, три месяца, полгода, год, а часто— бессрочно, просто потому, что арестант считается опасным. Один раз попавши в чёрный список, ты потом уже закатываешься в БУР на всякий случай: на каждые первомайские и ноябрьские праздники, при каждом побеге или чрезвычайном происшествии в лагере.

БУР — это может быть и самый обычный барак, отдельно огороженный колючей проволокой, с выводом сидящих в нём на самую тяжёлую и

неприятную в этом лагере работу. А может быть— каменная тюрьма в лагере, со всеми тюремными порядками: избиениями в надзирательской вызванных поодиночке (чтоб следов не оставалось, хорошо бить валенком, внутрь которого заложен кирпич); с засовами, замками и глазками на каждой двери; с бетонным полом камер и ещё с отдельным карцером для сидящих в БУРе.

Именно таков был экибастузский БУР (впрочем, и первого типа там был). Посаженных содержали там в камерах без нар (спали на полу на бушлатах и телогрейках). Намордник из листового железа закрывал маленькое подпотолочное оконце целиком. В нём пробиты были дырочки гвоздём, но зимой заваливало снегом и эти дырочки, и в камере становилось совсем темно. Днём не горела электрическая лампочка, так что день был темнее ночи. Никакого проветривания не бывало никогда. Полгода (в 1950 году) не было и ни одной прогулки. Так что тянул наш БУР на свирепую тюрьму, неизвестно, что тут оставалось от лагеря. Вся оправка— в камере, без вывода в уборную. Вынос большой параши был счастьем дневальных по камере: глотнуть воздуха. А уж баня— общий праздник. В камере было набито тесно, только что лежать, а уж размяться негде.

Итак — полгода. Баланда— вода, хлеба— шестьсот, табака— ни крупинки. Если кому–нибудь приходила из дома посылка, а он сидел в БУРе, то скоропортящееся «списывали» актом (брал себе надзор или по дешёвке продавали придуркам), остальное сдавалось в каптёрку на многомесячное хранение. (Когда такую режимку выводили потом на работу, они уже для того шевелились, чтобы не быть снова запертыми.)

В этой духоте и неподвижности арестанты изводились, и приблатнённые— нервные, напористые— чаще других. (Попавшие в Экибастуз блатари тоже считались за Пятьдесят Восьмую, и им не было поблажек.) Самое популярное среди арестантов БУРа было — глотать алюминиевые столовые ложки, когда их давали к обеду. Каждого проглотившего брали на рентген и, убедившись, что не врёт, что действительно ложка в нём, — клали в больницу и вскрывали желудок. Лёшка Кар–ноухий глотал трижды, у него и от желудка ничего не осталось. Колька Салопаев закосил на чокнутого: повесился ночью, но ребята по уговору «увидели», сорвали петлю— и взят он был в больничку. Ещё кто–то: заразил нитку во рту (протянул между зубов), вдел в иголку и пропустил под кожу ноги. Заражение! больница! — там

уж гангрена, не гангрена, лишь бы вырваться.

Но удобство получить от штрафников ещё и работу заставляло хозяев выделять их в отдельные штрафные зоны (ЗУРы). В ЗУ Ре прежде всего — худшее питание, месяцами может не быть второго, уменьшенная пайка. Даже в бане зимой — выбитое окно, парикмахеры в ватных брюках и телогрейках стригут голых заключённых. Может не быть столовой, но и в бараках баланду не раздают, а, получив её около кухни, надо нести по морозу в барак и там есть холодную. Мрут массами, стационар забит умирающими.

Одно только перечисление штрафных зон когда–нибудь составило бы историческое исследование, тем более что нелегко его будет установить, всё сотрётся.

Для штрафных зон назначали работы такие. Дальний сенокос за 35 километров от зоны, где живут в протекающих сенных шалашах и косят по болотам, ногами всегда в воде. (При добродушных стрелках собирают ягоды, бдительные стреляют и убивают, но ягоды всё равно собирают: есть–то хочется.) Заготовка силосной массы по тем же болотистым местам, в тучах мошкары, без всяких защитных средств. (Лицо и шея изъедены, покрыты струпьями, веки глаз распухли,

человек почти слепнет.) — Заготовка торфа в пойме реки Вычегды: зимою, долбя тяжёлым молотом, вскрыть слои промёрзшего ила, снять их, из–под них брать талый торф, потом на санках на себе тащить километр в гору (лошадей лагерь берёг). — Просто земляные работы («земляной» ОЛП под Воркутой). Ну и излюбленная штрафная работа — известковый карьер и обжиг извести. И каменные карьеры. Перечислить всего нельзя. Всё, что есть из тяжёлых работ ещё потяжелей, из невыносимых— ещё невыносимей, вот это и есть штрафная работа. В каждом лагере своя.

А посылать в штрафные зоны излюблено было: верующих, упрямых и блатных (да, блатных, здесь срывалась великая воспитательная система на невыдержанности местных воспитателей). Целыми бараками содержали там «монашек», отказывающихся работать на дьявола. (На штрафной «под–конвойке» совхоза Печорского их держали в карцере по колено в воде. Осенью 1941 дали 58–14 и всех расстреляли.) Послали священника отца Виктора Шиповальникова «за религиозную агитацию» (под Пасху для пяти санитарок отслужил всенощную). Посылали дерзких инженеров и других обнаглевших интеллигентов. Посылали пойманных беглецов. И, сокрушаясь сердцем,

посылали социально–близких, которые никак не хотели слиться с пролетарской идеологией. (За сложную умственную работу классификации не упрекнём начальство в невольной иногда путанице: вот с Карабаса выслали две телеги — религиозных женщин на детгородок ухаживать за лагерными детьми, а блатнячек и сифилитичек— на Конспай, штрафной участок Долинки. Но перепутали, кому на какую телегу класть вещи, и поехали блатные сифилитички ухаживать за детьми, а «монашки» на штрафной. Уж потом спохватились, да так и оставили.)

И часто посылали в штрафные зоны за отказ стать стукачом. Большинство их умерло там, на штрафных, и уж они о себе не расскажут. Тем менее расскажут о них убийцы–оперативники. Так послали и почвоведа Григория Ивановича Григорьева, а он выжил. Так послан был и редактор эстонского сельскохозяйственного журнала Эльмар Нугис.

Бывали тут и истории дамские. О них нельзя судить достаточно обстоятельно и строго, потому что всегда остаётся неизвестный нам интимный элемент. Однако вот история Ирины Нагель в её изложении. В совхозе Ухта она работала машинисткой адмчасти, то есть очень

благоустроенным придурком. Представительная, плотная, большие косы свои она заплетала вокруг головы и, отчасти для удобства, ходила в шароварах и курточке вроде лыжной. Кто знает лагерь, понимает, что это была за приманка. Оперативник младший лейтенант Сидоренко выразил желание узнать её тесней. Нагель ответила ему: «Да пусть меня лучше последний урка поцелует! Как вам не стыдно, у вас ребёнок плачет за стеной!» Отброшенный её толчком, опер вдруг изменил выражение и сказал: «Да неужели вы думаете — вы мне нравитесь? Я просто хотел вас проверить. Так вот, вы будете с нами сотрудничать». Она отказалась и была послана на штрафной лагпункт

Вот впечатления Нагель от первого вечера: в женском бараке— блатнячки и «монашки»[334]. Пятеро девушек ходят, обёрнутые в простыни: играя в карты накануне, блатняки проиграли с них всё, велели снять и отдать. Вдруг входит с гитарой банда блатных— в кальсонах и в фетровых шляпах. Они поют свою воровскую как бы серенаду. Вдруг вбегают другие блатные, рассерженные. Они хватают одну свою девку, бросают её на пол,

[334] Примечания: 334

Кто ещё в мировой истории уравнивал их?.. Кем надо быть, чтоб их смешать?

бьют скамейкой и топчут. Она кричит, потом уже и кричать не может. Все сидят, не только не вмешиваясь, но будто даже и не замечают. Позже приходит фельдшер: «Кто тебя бил?» — «С нар упала», — отвечает избитая. — В этот же вечер проиграли в карты и саму Нагель, но выручил её сука Васька Кривой: он донёс начальнику, и тот забрал Нагель ночевать на вахту.

Штрафные командировки (как Парма Ныроблага, в самой глуши тайги) считались часто и для стрелков и для надзора тоже штрафными, туда тоже слали провинившихся, а ещё чаще заменяли их самоохранниками.

Если нет закона и правды в лагерях, то уж на штрафных и тем более не ищи. Блатные куролесят там как хотят, открыто ходят с ножами (Воркутинский «земляной» ОЛП, 1946), надзиратели прячутся от них за зоной, и это ещё когда Пятьдесят Восьмая составляет большинство.

На штрафлаге Джантуй близ Печоры блатные из озорства сожгли два барака, отменили варку пищи, разогнали поваров, прирезали двух офицеров. Остальные офицеры даже под угрозой снятия погонов отказались идти в зону.

В таких случаях начальство спасается рознью: комендантом Джантуя назначили суку, срочно

привезенного со своими помощниками ещё откуда–то. Они в первый же вечер закололи трёх воров, и стало немного успокаиваться.

Вор вором губится, давно предвидела пословица. Согласно Передовому Учению расплодив этих социально–близких выше всякой меры, так что уже задыхались сами, отцы Архипелага не нашли другого выхода, как разделить их и стравить на поножовщину. (Война блатных и сук, сотрясшая Архипелаг в послевоенные годы.)

Конечно, при всей видимой вольнице блатным на штрафном тоже несладко, этим разгулом они и пытаются как–то вырваться. Как всем паразитам, им выгоднее жить среди тех, кого можно сосать. Иногда блатные даже пальцы себе рубили, чтоб только не идти на штрафной, например на знаменитый воркутинский известковый завод. (Некоторым рецидивистам в послевоенные годы уже в приговоре суда писалось: «с содержанием на воркутинском известковом заводе». Болты заворачивались сверху.)

Там все ходили с ножами. Суки и блатные каждый день резали друг друга. Повар (сука) наливал по произволу: кому густо, кому жидко, кому просто черпаком по лбу. Нарядчик ходил с арматурным прутом и одним его свистящим

взмахом убивал на месте. Суки держали при себе мальчиков для педерастии. Было три барака: барак сук, барак воров, барак фраеров, человек по сто в каждом. Фраера— работали: внизу близ лагеря добывалась известь, потом её носилками поднимали на скалу, там ссыпали в конусы, оставляя внутри дымоходы; обжигали; в дыму, саже и известковой пыли раскладывали горящую известь.

В Джидинских лагерях известен штрафной участок Ба–нгол.

На штрафной ОЛП Краслага Ревучий ещё до всяких штрафных прислали «рабочее ядро» — ни в чём не провинившихся крепких работяг сотни полторы. (Штрафной–то штрафной, а план с начальства требуют. И вот простые работяги осуждены на штрафной!) Дальше присылали блатных и болыпесрочников по 58–й — тяжеляков. Этих тяжеляков урки уже побаивались, потому что имели они по 25 лет и в послевоенной обстановке, убив блатного, не утяжеляли своего срока, это уж не считалось (как на Каналах) вылазкой классового врага.

Рабочий день на Ревучем был как будто и 11 часов, но на самом деле с ходьбой до леса (5–6 км) и назад получалось 15 часов. Подъём был в

4.30 утра, в зону возвращались в восьмом часу вечера. Быстро доходили, и, значит, появлялись отказчики. После общего развода выстраивали в клубе отказчиков, нарядчик шёл и отбирал, кого в довод. Таких отказчиков в верёвочных лаптях («обут по сезону», 60° мороза), в худых бушлатах выталкивали за зону — а там на них напускали пяток овчарок: «Взять!» Псы рвали, когтили и валяли отказчиков. Тогда псов отзывали, подъезжал китаец на бычке, запряжённом в ассенизационный возок, отказчиков грузили туда, отвозили и выворачивали тележный ящик с насыпи в лощину. А там, внизу, был бригадир Лёша Слобода, который палкой бил этих отказчиков, пока они не подымутся и не начнут на него работать. Их выработку он записывал своей бригаде, а им полагалось по 300 граммов — карцерный паёк. (Кто эту всю ступенчатую систему придумал — это ж просто маленький Сталин!)

Галина Иосифовна Серебрякова! Отчего вы об этом не напишете? Отчего ваши герои в лагере ничего не делают, не горбят, а только разговаривают о Ленине и Сталине?

Простому работяге из Пятьдесят Восьмой выжить на таком штрафном лагпункте почти невозможно.

На штрафной подкомандировке СевЖелДорлага (начальник— полковник Ключкин) в 1946–47 годах было людоедство: резали людей на мясо, варили и ели.

Это было как раз сразу после всемирно–исторической победы нашего народа.

Ау, полковник Ключкин! Где ты выстроил себе пенсионный особняк?

Глава 16. СОЦИАЛЬНО–БЛИЗКИЕ

Присоединись и моё слабое перо к воспеванию этого племени! Их воспевали как пиратов, как флибустьеров, как бродяг, как беглых каторжников. Их воспевали как благородных разбойников— от Робина Руда и до опереточных, уверяли, что у них чуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными. О возвышенные сподвижники Карла Моора! О мятежный романтик Челкаш! О Беня Крик, одесские босяки и их одесские трубадуры!

Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? Франсуа Вийона корить не станем, но ни Гюго, ни Бальзак не миновали этой стези, и Пушкин–то в цыганах похваливал блатное начало. (А как там у Байрона?) Но никогда не воспевали их так широко, так дружно, так последовательно, как в советской литературе. (На то были высокие Теоретические Основания, не одни только Горький с Макаренкой.)

Гнусаво завыл Леонид Утёсов с эстрады — и завыла ему навстречу восторженная публика. И не каким другим, а именно приблатнённым языком заговорили балтийские и черномор-

ские братишки у Вишневского и Погодина. Именно в приблатнённом языке отливалось выразительнее всего их остроумие. Кто только не захлебнулся от святого волнения, описывая нам блатных, — их живую разнузданную отрицательность в начале, их диалектичную перековку в конце, — тут и Маяковский (за ним и Шостакович— балет «Барышня и хулиган»), и Леонов, и Сельвинский, и Инбер, и не перечтёшь. Культ блатных оказался заразительным в эпоху когда литература иссыхала без положительного героя. Даже такой далёкий от официальной линии писатель, как Виктор Некрасов, не нашёл для воплощения русского геройства лучшего образца, чем блатного, старшину Чумака («В окопах Сталинграда»). Даже Татьяна Есенина поддалась тому же гипнозу и изобразила нам «невинную» фигуру Веньки Бубнового Валета. Может быть только Тендряков, с его умением взглядывать на мир непредвзято, впервые выразил нам блатного без восхищённого глотания слюны («Тройка, семёрка, туз»), показал его душевную мерзость. Алдан–Семёнов как будто и сам в лагере сидел, но изобретает («Барельеф на скале») абсолютную чушь: что вор

Сашка Александров под влиянием коммуниста

Петракова, которого будто бы все бандиты уважали за то, что он знал Ленина и громил Колчака (совершенно легендарная мотивировка времён Авербахов), собирает бригаду из доходяг и не живёт за их счёт (как только и былоХ как хорошо знает Алдан–Семёнов!), а— заботится об их прокормлении! и для этого выигрывает в карты у вольняшек! Как будто на чифирь ему не нужны эти выигрыши! Какой для 60–х годов занафталиненный вздорный анекдот.

Как–то в 1946 году летним вечером в лагерьке на Калужской заставе блатной лёг животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой. Песни его легко переходили через вахту, через колючую проволоку, их слышно было на тротуаре Большой Калужской, на троллейбусной остановке и в ближней части Нескучного сада. В песнях этих воспевалась «лёгкая жизнь», убийства, кражи, налёты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтёров не помешал ему — но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему. Я сидел в зоне и думал: а что, если бы сейчас на третий этаж поднялся я да из того же

окна с той же силой голоса пропел что–нибудь о судьбе военнопленного, вроде «Где ты, где ты?», слышанное мной во фронтовой контрразведке, или сочинил бы что–нибудь о судьбе униженного растоптанного фронтовика, — что бы тут поднялось! Как бы забегали! Да тут бы в суете пожарную лестницу на меня надвинули, не стали бы ждать, пока кругом обегут. Рот бы мне заткнули, руки связали, намотали бы новый срок! А блатной поёт, вольные москвичи слушают— и как будто так и надо…

Всё это сложилось не сразу, а исторически, как любят у нас говорить. В старой России существовал (а на Западе и существует) неверный взгляд на воров как на неисправимых, как на постоянных преступников («костяк преступности»). Оттого на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. Оттого администрация, как свидетельствует П.Якубович, ломала их вольности и верховенство в арестантском мире, запрещала им занимать артельные должности, доходные места, решительно становилась на сторону прочих каторжан. «Тысячи их поглотил Сахалин и не выпустил». В старой России к рецидивистам–уголовникам была одна формула: «Согните им голову под железное ярмо закона!» (Урусов). Так

к 1917 году воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах.

Но оковы пали, воссияла свобода. Сразу после Февральской революции — кто заодно с политическими, в суматохе, кто быстро вослед, по льготным амнистиям Керенского, — уголовники привольно хлынули на свободу и перемешались со свободными гражданами. В миллионном дезертирстве 1917 года, потом за Гражданскую войну все человеческие страсти очень распустились, а воровские первее всех, и уж никак не хотели головы гнуться под ярмо, да им объявили, что и не надо. Находили очень полезным и забавным, что они — враги частной собственности, а значит, сила революционная, надо только ввести её в русло пролетариата, да это и затруднений не составит. Тут подросла им и небывалая многолюдная смена из сирот Гражданской войны— беспризорники, шпана. Они грелись у асфальтовых котлов НЭПа и в виде первых уроков обрезали дамские сумочки с руки, рвали крючьями чемоданы из вагонных окон. Социально рассуждая: ведь во всём виновата среда? Так перевоспитаем этих здоровых люмпенов и включим в строй сознательной жизни! Тут были и первые коммуны, и колонии, и «Путёвка в жизнь». (Только не заметили: бес-

призорники— это ещё не были воры в законе, и исправление беспризорников ни о чём не говорило: они ещё не все испортиться–то успели.)

Теперь же, когда прошло больше сорока лет, можно оглянуться и усумниться: кто ж кого перевоспитал: чекисты ли — урок? или урки — чекистов? Урка, принявший чекистскую веру, — это уже сука, урки его режут. Чекист же, усвоивший психологию урки, — это напористый следователь 30–40–х годов или волевой лагерный начальник, они в чести, они продвигаются по службе.

А психология урки очень проста, очень доступна к усвоению:

1. Хочу жить и наслаждаться, на остальных на… !

2. Прав тот, кто сильней.

3. Тебя не [дол]бут— не подмахивай! (То есть пока бьют не

тебя, не заступайся за тех, кого бьют. Жди своей очереди.)

Бить покорных врагов поодиночке! — что–то очень знакомый закон. Так делал Сталин. Так делал Гитлер.

Сколько нам в уши насюсюкал Шейнин о «своеобразном кодексе» блатных, об их «честном» слове. Почитаешь— и Дон–Кихоты, и патриоты!

А встретишься с этим мурлом в камере или в воронке…

Эй, довольно лгать, продажные перья! Вы, наблюдавшие блатарей через перила парохода да через стол следователя!

Вы, никогда не встречавшиеся с блатными в вашей беззащитности!

Урки — не Робины Руды! Когда нужно воровать у доходяг— они воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «умри ты сегодня, а я завтра!»

Но, может, правда они патриоты? Почему они не воруют у государства? Почему они не грабят особых дач? Почему не останавливают длинных чёрных автомобилей? Потому что ожидают там встретить победителя Колчака? Нет, потому что автомобили и дачи хорошо защищены. А магазины и склады находятся под сенью закона. Потому что реалист Сталин давно понял, что всё это жужжанье одно— перевоспитание урок. И перекинул их энергию, натравил на граждан собственной страны.

Вот каковы были законы тридцать лет (до 1947): должностная, государственная, казённая кража? ящик со склада? три картофелины из колхоза? 10

лет! (А с 47–го и 20!) Вольная кража? Обчистили квартиру, на грузовике увезли всё, что семья нажила за жизнь? Если при этом не было убийства, то до одного года, иногда— 6 месяцев…

От поблажки воры и плодятся.

Своими законами сталинская власть ясно сказала уркам: воруй не у меня! воруй у частных лиц! Ведь частная собственность— отрыжка прошлого. (А персональная собственность — надежда будущего…)

И урки— поняли. В своих рассказах и песнях такие бесстрашные— пошли они брать там, где трудно, опасно, сносят головы? Нет. Трусливо и алчно попёрли туда, куда их понорав–ливали, — раздевать одиноких прохожих, воровать из неограж–дённых квартир.

Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы! Кто не помнит этой вечно висящей над гражданином угрозы: не иди в темноте! не возвращайся поздно! не носи часов! не имей при себе денег! не оставляй квартиру без людей! Замки! Ставни! Собаки! (Не обчищенные вовремя фельетонисты теперь высмеивают дворовых верных собак…)

В последовательной борьбе против отдельности человека социалистическое государство

сперва отняло у него одного друга— лошадь, взамен обещая трактор. (Как будто лошадь— это только тяга плуга, не живой твой друг в беде и в радости, не член твоей семьи, не часть твоей души.) Вскоре же и неотступно стали преследовать второго друга— собаку. Их брали на учёт, свозили на живодёрню, а чаще особыми командами от местных советов застреливали каждую встречную. И на то были не санитарные и не скупостные экономические соображения, основание глубже: ведь собака не слушает радио, не читает газет, это как бы неконтролируемый государственный гражданин, и физически сильный, но сила идёт не для государства, а для зашиты хозяина как личности, независимо от того, какое состоится о нём постановление в местном совете и с каким ордером к нему придут ночью. В Болгарии в 1960 было не шутя предложено гражданам вместо собак выкармливать… свиней! Свинья не имеет принципов, она растит своё мясо для каждого, у кого есть нож.

Впрочем, гонение против собак никогда не распространялось на государственно–полезных оперативных и охранных овчарок.

Сколько обокраденных граждан знает, что милиция даже не стала искать преступников, даже

дела не стали заводить, чтобы не портить себе отчётности: потеть ли его ловить, если ему дадут шесть месяцев, а по зачётам сбросят три? Да и пойманных бандитов ещё будут ли судить? Ведь прокуроры «снижают преступность» (этого требуют от них на каждом совещании) тем странным способом, что просто заминают дела, особенно если по делу предвидится много обвиняемых.

Наконец, обязательно будет сокращение сроков и конечно именно для уголовников. Эй, поберегись, свидетель на суде! — они скоро все вернутся, и нож в бок тому, кто свидетельствовал!

Оттого, если видишь, что залезают в окно, вырезают карман, вспарывают чемодан твоего соседа, — зажмурься! иди мимо! ты ничего не видел!

Так воспитали нас и воры, и — законы!

В сентябре 1955 «Литературная газета» (смело судящая о многом, только не о литературе) проливала крокодиловы слёзы в большой статье: ночью на московской улице под окнами двух семей с шумом убивали и убили человека. Выяснилось позже, что обе семьи (наши! советские!) были разбужены, поглядывали в окна, но не вышли на помощь: жёны не пустили мужей. И какой–то их однодомец (может быть и он был тогда разбужен?

но об этом не пишется), член партии с 1916 года, полковник в отставке (и, видимо, томясь от безделья), взял на себя обязанность общественного обвинителя. Он ходит по редакциям и судам и требует привлечь эти две семьи за соучастие в убийстве! Гремит и журналист: это не подпадает под кодекс, но это — позор! позор!

Да, позор, но для кого? Как всегда в нашей предвзятой прессе, в статье этой написано всё, кроме главного. Кроме того, что:

1) «Ворошиловская» амнистия 27 марта 1953 года в поисках популярности у народа затопила всю страну волной убийц, бандитов и воров, которых с трудом переловили после войны. (Вора миловать— доброго погубить.)

2) Существует в Уголовном кодексе (УК–1926) нелепейшая

статья 139–я «о пределе необходимой обороны» — и ты имеешь

право обнажать нож не раньше, чем преступник занесёт над

тобой свой нож, и пырнуть его не раньше, чем он тебя пырнёт.

В противном случае будут судить тебя\ (А статьи о том, что са

мый большой преступник — это нападающий

на слабого, в нашем законодательстве нет!..) Эта боязнь превзойти меру необходимой обороны доводит до полного расслабления национального характера. Красноармейца Александра Захарова у клуба

стал бить хулиган. Захаров вынул складной перочинный нож

и убил хулигана. Получил за это — 10 лет как за чистое убийство. «А что я должен был делать?» — удивлялся он. Прокурор

Арцишевский ответил ему: «Надо было убежать!»Так кто выращивает хулиганов?!

3) Государство по Уголовному кодексу запрещает гражда

нам иметь огнестрельное либо холодное оружие — но и не берёт их защиты на себя! Государство отдаёт своих граждан во

власть бандитов — и через прессу смеет призывать к «общественному сопротивлению» этим бандитам! Сопротивлению —

чем? Зонтиками? Скалками? — Сперва развели бандитов, по–том начали собирать против них народные дружины, которые,

действуя вне законодательства, иногда и сами превращаются

в тех же. А ведь как можно было просто с самого

начала: «Согните им голову под ярмо закона!» Так Единственно–Верное

Учение поперёк дороги.Что было бы, если б эти жёны отпустили мужей, а мужья выбежали бы с палками? Либо бандиты убили бы их, это скорей. Либо они убили бы бандитов — и сели бы в тюрьму за превышение необходимой обороны. Полковник в отставке на утреннем выводе своей собаки мог бы в обоих случаях посмаковать событие.

А подлинная самодеятельность, такая, как во французском фильме «Набережная утренней зари», где рабочие без ведома властей сами вылавливают воров и сами их наказывают, — такая самодеятельность не была бы у нас обрублена как самовольство? Такой ход мысли и фильм такой — разве у нас возможны?

Но и это не всё! Есть ещё одна важная черта нашей общественной жизни, помогающая ворам и бандитам процветать, — боязнь гласности. Наши газеты заполнены никому не интересными сообщениями о производственных победах, но отчётов о судебных процессах, сообщений о преступлениях в них почти не найдёшь. (Ведь по Передовой Теории преступность порождается только наличием классов, классов же у нас нет,

значит, и преступлений нет, и потому нельзя писать о них в печати! не давать же материал американским газетам, что мы от них в преступности не отстали.) Если на Западе совершается убийство — портретами преступника облеплены стены домов, они смотрят со стоек баров, из окон трамваев, преступник чувствует себя загнанной крысой. Совершается наглое убийство у нас — пресса безмолвствует, портретов нет, убийца отъезжает за сто километров в другую область и живёт там спокойно. И министру внутренних дел не придётся оправдываться в парламенте, почему преступник не найден: ведь о деле никто не знает, кроме жителей того городка. Найдут — хорошо, не найдут— тоже ладно. Убийца— не нарушитель государственной границы, не такой уж он опасный (для государства), чтоб объявлять всесоюзный розыск.

С преступностью— как с малярией: рапортовали однажды, что нет её больше, — и больше лечить от неё нельзя, и диагноза такого ставить нельзя.

Конечно, «закрыть дело» хочется и милиции и суду, но это ведёт к формальности, которая ещё больше на руку истинным убийцам и бандитам: в нераскрытом преступлении обвиняют

кого–нибудь, первого попавшегося, а особенно охотно — довешивают несколько преступлений тому за кем уже есть одно. — Стоит вспомнить дело Петра Кизилова («Известия», 11 декабря 1959 и апреля 1960)— дважды без всяких улик приговорённого к расстрелу (!) за не совершённое им убийство, или дело Алексеенцева («Известия», 30 января 1960), сходно. Если бы письмо адвоката Попова (по делу Кизилова) пришло не в «Известия», а в «Тайме», это кончилось бы сменой королевского суда или правительственным кризисом. Ау нас через четыре месяца собрался обком (почему— обком? разве суд ему подвластен?) и, учитывая «молодость, неопытность» следователя (зачем же таким людям доверяют человеческие судьбы?), «участие в Отечественной войне» (что–то нам его не учитывали в своё время!), — кому записали выговор в учётную карточку а кому погрозили пальцем. Главному же палачу Яковенко за применение пытки (это уже после XX съезда!) ещё через полгода дали будто бы три года, но поскольку он— свой человек, действовал по инструкции, выполнял приказ, — неужели же его заставят отбывать срок на самом деле? За что такая жестокость?.. А вот за адвоката Попова придётся приняться, чтобы выжить его из Белгорода:

пусть знает блатной и всесоюзный принцип: тебя не [дол]бут— не подмахивай!

Так всякий, вступившийся за справедливость, — трижды, осьмижды раскается, что вступился. Так наказательная система оборачивается для блатных поощрительной, и они десятилетиями разрастались буйной плесенью на воле, в тюрьме и в лагере.

* * *

И всегда на всё есть освящающая высокая теория. Отнюдь не сами легковесные литераторы определили, что блатные — наши союзники по построению коммунизма. Это изложено в учебниках по советской исправительно–трудовой политике (были такие, издавались), в диссертациях и научных статьях по лагереведению, а деловее всего — в инструкциях, на которых и были воспитаны лагерные чины. Это всё вытекает из Единственно–Верного учения, объясняющего всю переливчатую жизнь человечества— классовой борьбою, и ею одною.

Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут быть приравнены к элементам капиталистическим (то есть инженерам, студентам, агрономам и монашкам): вторые

устойчиво враждебны диктатуре пролетариата, первые — лишь (!) политически неустойчивы. (Профессиональный убийца лишь политически неустойчив!) Люмпен — не собственник, и поэтому не может он сойтись с классово–враждебными элементами, а охотнее сойдётся с пролетариатом (ждите!). Поэтому–то по официальной терминологии ГУЛАГа и названы они «социально–близкими». (С кем породнишься…) Поэтому инструкции повторяли и повторяли: оказывать доверие уголовникам–рецидивистам! Поэтому через КВЧ положено было настоятельно разъяснять уркачам единство их классовых интересов со всеми трудящимися, воспитывать в них «презрительно–враждебное отношение к кулакам и контрреволюционерам» (помните, у Иды Авербах: это он подучил тебя украсть! ты сам бы не украл!) и «делать ставку на эти настроения» (помните: разжигать классовую борьбу в лагерях?).

Завязавший[335] вор Г. Минаев в письме ко мне в «Литературной газете» (29 ноября 1962): «Я даже гордился, что хоть и вор, но не изменник и предатель. При каждом удобном случае нам,

[335] Примечания: 335

Завязать (воровское) — с согласия воровского мира порвать с ним, уйти во фраерскую жизнь.

ворам, старались дать понять, что мы для Родины всё–таки ещё не потерянные, хоть и блудные, но всё–таки сыновья. А вот «фашистам» нет места на земле».

И ещё так рассуждалось в теории: надо изучать и использовать лучшие свойства блатных. Они любят романтику? — так «окружить приказы лагерного начальства ореолом романтики». Они стремятся к героизму? — дать им героизм работы! (Если возьмут…) Они азартны? — дать им азарт соревнования! (Знающим и лагерь и блатных просто трудно поверить, что это всё писали не слабоумные.) Они самолюбивы? они любят быть заметными? — удовлетворить же их самолюбие похвалами, отличиями! выдвигать их на руководящую работу! — а особенно паханов, чтобы использовать для лагеря их уже сложившийся авторитет среди блатных (так и написано в авербаховской монографии: авторитет паханов!).

Когда же стройная эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что: самым заядлым матёрым блатня–кам передавалась безотчётная власть на островах Архипелага, на лагучастках и лагпунктах, — власть над населением своей страны, над крестьянами, мещанами и интеллигенцией, власть, которой они не имели никогда в

истории, никогда ни в одном государстве, о которой на воле они и помыслить не могли, — а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой же бандит откажется от такой власти? центровые воры, верховые уркачи полностью владели лагучастками, они жили в отдельных «кабинках» или палатках со своими временными жёнами. (Или по произволу перебирая гладких баб из числа всех своих подданных, интеллигентные женщины из Пятьдесят Восьмой и молоденькие студентки разнообразили их меню. Чавдаров был свидетелем в Норильлаге, как шпа–ниха предлагала своему блатному муженьку: «Колхозничкой шестнадцатилетней хочешь угощу?» То была крестьянская девочка, попавшая на Север на 10 лет за один килограмм зерна. Девочка вздумала упираться, шпаниха сломила её быстро: «Зарежу! Я— что, хуже тебя? Я ж под него ложусь!») У них были шестёрки— лакеи из работяг, выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и доброго жира, который отпускался на общий котёл. Уркачи рангом поменьше состояли нарядчиками, помпобытами, комендантами, утром они становились по двое с дрынами у выхода из двухсотместной палатки и командовали: «Вы–ходи без последнего!» Шпана помельче

использовалась для битья отказчиков — то есть тех, кто не имел сил тащиться на работу. (Начальник полуострова Таймыр подъезжал к разводу на легковой и любовался, как урки бьют Пятьдесят Восьмую.) Наконец, урки, умевшие чирикатъ, мыли шею и назначались… воспитателями. Они речи произносили, поучали Пятьдесят Восьмую, как надо жить для труда, сами жили на ворованном и получали досрочки. На Беломорканале такая морда— социально–близкий воспитатель, ничего не понимая в строительном деле, мог отменять строительные распоряжения социально–чуждого прораба.

И это была не только теория, перешедшая в практику, но и гармония повседневности. Так было лучше для блатных. Так было спокойнее для начальства: не натруживать рук (о битьё) и глотки, не вникать в подробности и даже в зону не являться. И для самого угнетения так было гораздо лучше: блатные осуществляли его более нагло, более зверски и совершенно не боясь никакой ответственности перед законом.

Но и там, где воров не ставили властью, им всё по той же классовой теории поблажали довольно. Если блатари выходили за зону — это была наибольшая жертва, о которой можно было их

просить. На производстве они могли сколько угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки (о победах, о побегах, о геройстве) и греться летом на солнышке, а зимою у костра. Их костров конвой никогда не трогал, костры Пятьдесят Восьмой разбрасывал и затаптывал. Ккубики (леса, земли, угля) потом приписывались им от Пятьдесят же Восьмой. И ещё даже возят блатных на слёты ударников и вообще слёты рецидивистов (Дмитлаг, Беломорканал).

Привычку жить за счёт чужого кубажа вор сохраняет и после освобождения, хотя на первый взгляд это и противоречит его врастанию в социализм. В 1951 на Оймяконе (Усть–Нера) освободился вор Крохалёв и поступил забойщиком на ту же шахту. Он и молотка в руки не брал, горный же мастер начислял ему рекордную выработку за счёт заключённых. Крохалёв получал в месяц 8–9 тысяч, на тысячу приносил заключённым пожрать, те были и этому очень рады и молчали. Бригадир заключённый Милючихин попробовал в 1953 этот порядок сломать. Вольные воры его порезали, его же обвинили в грабеже, он был судим и обновил свои 20 лет.

Это примечание да не будет понято в поправку марксистского положения, что люмпен— не

собственник. Конечно не собственник! На свои 8 тысяч Крохалёв же не строил особняка: он их проигрывал в карты, пропивал и тратил на баб.

Одна блатнячка, Береговая, попала в славные летописи Волгоканала. Она была бичом в каждом домзаке, куда её сажали, хулиганила в каждом отделении милиции. Если когда по капризу и работала, то всё сделанное уничтожала. С ожерельем судимостей её прислали в июле 1933 в Дмитлаг. Дальше идёт глава легенд: она пошла в «Индию» и с удивлением (только вот это удивление и достоверно) не услышала там мата и не увидела картёжной игры. Ей будто бы объяснили, что блатные тут увлекаются трудом. И она «сразу же» пошла на земляные работы и даже стала «хорошо» работать (читай: записывали ей чужие кубики). Дальше идёт глава истины: в октябре (когда стало холодно) пошла к врачу и без болезни попросила (с ножом в рукаве?) несколько дней отгулять. Врач охотно (! — у него ж всегда много вакансий для больных) согласился. А нарядчицей была старая подружка Береговой— Полякова, и уже от себя добавила ей две недели пофилонить, ставя ей ложные выходы (то есть кубики на неё вычитывались опять–таки с работяг). И вот тут–то, заглядевшись на завидную жизнь нарядчицы,

Береговая тоже захотела ссучиться. В тот день, когда Полякова разбудила её идти на развод, Береговая заявила, что не пойдёт копать землю, пока не разоблачит махинации Поляковой с выходами, выработкой и пайками (чувство благодарности её не очень тяготило). Добилась вызова к оперу (блатные не боятся оперов, второй срок им не грозит, а попробовала бы вот так не выйти каэрка!) — и сразу стала бригадиром отстающей мужской бригады (видимо, взялась зубы дробить этим доходягам), потом — нарядчицей вместо Поляковой, потом — воспитательницей женского барака (матерщинница, картёжница и воровка!), затем и — начальником строительного отряда (то есть распоряжалась уже и инженерами). И на всех красных досках Дмитлага красовалась эта зубастая сука в кожанке и с полевой сумкой (сдрюченных с кого–то). Её руки умеют бить мужчин, глаза у неё ведьмины. Её–то и прославляет Ида Леонидовна.

Так легки пути блатных в лагере, один шумок, одно предательство, дальше бей и топчи.

Мне возразят, что только суки идут занимать должности, а «честные воры» хранят воровской закон. А я сколько ни смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее

другого. Воры выламывали у эстонцев золотые зубы кочергой. Воры (в Краслаге, 1941 год) топили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осуждённых на смерть. Воры шутя убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только затеять новое следствие и суд, пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжёлого лагеря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть–разуть кого–то на морозе? Что говорить об отнятых пайках?

Нет уж, ни от каменя плода, ни от вора добра.

Теоретики ГУЛАГа возмущались: «кулаки» (в лагере) даже не считают воров настоящими людьми (и тем, мол, выдают свою звериную сущность).

А как же принять их за людей, если они сердце твоё вынимают и сосут? Вся их «романтическая вольница» есть вольница вурдалаков.

Люди образованного круга, но кто сам не встречался с блатными на узкой тропке, возражают против такой беспощадной оценки воровского мира: не тайная ли любовь к собственности движет теми, кого воры так раздражают? Я настаиваю на своём выражении: вурдалаки, сосущие твоё сердце. Они оскверняют всё кряду, что для нас— естественный круг человечности. — Но

неужели это так безнадёжно? Ведь не прирождённые же это свойства воров! А где — добрые стороны их души? — Не знаю. Вероятно, убиты, угнетены воровским законом, по которому мы, все остальные, — не люди. Мы уже писали выше о пороге злодейства. Очевидно, пропитавшись воровским законом, блатной необратимо переходит некий нравственный порог. Ещё возражают: да ведь вы видели только ворячью мелкоту. Главные–то подлинные воры, головка воровского мира, все расстреляны в 37–м году. Действительно, воров 20–х годов я не видел. Но не хватает у меня воображения представить их нравственными личностями.

* * *

Но довольно! Скажем и слово в защиту блатных. У них–то есть «своеобразный кодекс» и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они совершенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за ними так ухаживала диктатура пролетариата — не уважали они её ни минуты.

Это племя, пришедшее на землю — жить! А так

как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни, и какое им дело — для чего эта тюрьма задумана и как страдают другие тут рядом. Они— непокорны, и вот пользуются плодами этой непокорности, — и почему им заботиться о тех, кто гнёт голову и умирает рабом? Им нужно есть — и они отнимают всё, что видят съедобное и вкусное. Им нужно пить — и они за водку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно мягко спать — и при их мужественном виде считается у них вполне почётным возить с собой подушку и ватное одеяло или перину (тем более что там хорошо прячется нож). Они любят лучи благодатного солнца, и если не могут выехать на черноморский курорт, то загорают на крышах строительств, на каменных карьерах, у входа в шахту (под землю пусть спускаются кто дурней). У них великолепно откормленные мускулы, собираемые в шары. Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку, и так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность: на грудях, на животах, на спинах друг у друга они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе; балдоху (солнце) с лучами во

все стороны; женщин и мужчин в слиянии; и отдельные органы их наслаждений; и вдруг около сердца—Ленина, или Сталина, или даже обоих (но это стоит ровно столько, сколько и крестик на шее у блатного). Иногда посмеются забавному кочегару, закидывающему уголь в самую задницу, или обезьяне, предавшейся онанизму. И прочтут друг на друге хотя и знакомые, но дорогие в своём повторении надписи: «Всех дешёвок в рот ... !»(Звучит победно, как «Я царь Ассаргадон!») Или на животе у блатной девчёнки: «Умру за горячую ... !» И даже скромную некрупную мораль на руке, всадившей уже десяток ножей под рёбра: «Помни слова матери!» Или: «Я помню ласки, я помню мать». (У блатных— культ матери, но формальный, без выполнения её заветов. Среди них популярно есенинское «Письмо матери» и вослед весь Есенин, что попроще. Некоторые стихи его, это «Письмо», «Вечер чёрные брови насопил», они поют.) — Для укрупнения чувств в их скоробегущей жизни они любят наркотики. Доступней всех наркотиков — анаша (из конопли), она же «плантчик», заворачиваемая в закурку. С благодарностью они и об этом поют:

Ах, плантчик, ты плантчик, ты божия травка,

Отрада для всех ширмачей[336].

Да, не признают они на земле института собственности и этим действительно чужды буржуа и тем коммунистам, которые имеют дачи и автомобили. Всё, что блатные встречают на жизненном пути, они берут как своё (если это не слишком опасно). Даже когда у них всего вдоволь, они тянутся взять чужое, потому что приедчив вору некраденый кусок. Отобранное из одёжки они носят, пока не надоест, пока внове, а вскоре проигрывают в карты. Карточная игра ночами напролёт приносит им самые сильные ощущения, и тут они далеко превзошли русских дворян прошлых веков. Они могут играть на глаз (и у проигравшего тут же вырывают глаз), играть под себя, то есть проигрывать себя для неестественного употребления. Проигравшись, объявляют на барже или в бараке шмон, ещё находят что–нибудь у фраеров, и игра продолжается.

Затем, блатные не любят трудиться, но почему они должны любить труд, если кормятся, поятся и одеваются без него? Конечно, это мешает им сблизиться с рабочим классом (но так ли уж любит трудиться и рабочий класс? не из–за горьких

---

[336] Примечания: 336
Ширмач— карманник.

ли денег он напрягается, не имея других путей заработать?). Блатные не только не могут «увлечься азартом труда», но труд им отвратителен, и они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельхозкомандировку и вынужденные выйти за зону сгребать вику с овсом на сено, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в кучу, подожгут и у этого костра греются. (Социально–чуждый десятник! — принимай решение…)

Тщетно пытались заставить их воевать за Родину, у них родина— вся земля. Мобилизованные урки ехали в воинских эшелонах и напевали, раскачиваясь: «Наше дело правое! — Наше дело левое! — Почему все драпают? — ды–да почему?» Потом воровали что–нибудь, арестовывались и родным этапом возвращались в тыловую тюрьму. Даже когда уцелевшие троцкисты подавали заявления из лагерей на фронт, урки не подавали. Но когда действующая армия стала переваливать в Европу и запахло трофеями, — они надели воинское обмундирование и поехали грабить вослед за армией (они называли это шутя «Пятый Украинский фронт»).

Но! — ив этом они гораздо принципиальнее Пятьдесят Восьмой! — никакой Женька–Жоголь

или Васька–Кишкеня с завёрнутыми голенищами, однощёкою гримасою уважительно выговаривающий священное слово «вор», — никогда не поможет укреплять тюрьму: врывать столбы, натягивать колючку, вскапывать предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. В этом — честь блатаря. Тюрьма создана против его свободы— и он не может работать на тюрьму! (Впрочем, он не рискует за этот отказ получить 58–ю, а бедному врагу народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж. По безнаказанности блатные и смелы, а кого медведь драл, тот и пня боится.)

Впрочем, в иных местах, в иное время достаётся от рассердившегося начальства и некоторым блатным. Вот рассказ американского итальянца Томаса Сговио. (Родился в 1916 в Буффало, успел побывать в американском комсомоле. В 1933 его отец за коммунистическую деятельность был выслан из США, уехал в СССР, семья последовала за ним. Там жили как политэмигранты на содержании МОПРа, многие тысячи было таких в СССР, в ожидании, что понадобятся для захвата своих стран. Но с 1937 Сталин начал мести их подчистую. Посадили Сговио–отца, в 1938 арестовали и Томаса в Охотном ряду— получил СОЭ, социаль-

но–опасный элемент, 5 лет, — и быстро, в августе того же года, уже был на Колыме.) Чуть побыл на ОЛПе «Разведчик», был доходной, по–русски плохо говоря, плохо понимая, — и не понял, за что в столовой его избил молодой сильный блатарь. Кровоточа носом, лёжа на полу, Сговио увидел, что блатарь вытащил из–за голенища сапога длинный нож — ещё слово сказать и заколет. Остался лежать на полу, потом долго плакал от горя и бессилия. Тот блатной работал на блатной же и работёнке— водовозом. Но через несколько месяцев в разгар зимы его сняли с водовоза и велели идти на общие работы. Он отказался (обычное поведение блатного). Его посадили в изолятор. На разводе поволокли к вахте перед всеми, требовали стать в строй бригады. Блатарь плюнул в лицо начальнику ОЛПа и кричал на надзор, на охрану: «Суки! Лягавые! Фашисты!» Охрана раздела его (был сильный мороз), оставили в одних кальсонах, привязали к саням — и так протащили через ворота. А он всё барахтался, поносил начальника и охрану. Поволокли дальше — замёрз. (Но вот Сговио: «Что он меня чуть не зарезал— это ничто. Он для меня герой, и я люблю его— за то, что он ругал начальство»).

Увидеть блатаря с газетой— совершенно невоз-

можно, блатными твёрдо установлено, что политика— щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг блатные тоже не читают, очень редко. Но они любят литературу устную, и тот рассказчик, который после отбоя им бесконечно тискает романы, всегда будет сыт от их добычи и в почёте, как все сказочники и певцы у примитивных народов. Романы эти— фантастическое и довольно однообразное смешение дешёвой бульварщины из великосветской (обязательно великосветской) жизни, где мелькают титулы виконтов, графов, маркизов, — с собственными блатными легендами, самовозвеличением, блатным жаргоном и блатными представлениями о роскошной жизни, которой герой всегда в конце добивается: графиня ложится в его «койку», курит он только «Казбек», имеет «луковицу» (часы), а его «прохоря» (ботинки) начищены до блеска.

Николай Погодин получал командировку на Беломорканал и, вероятно, проел там немало казны, — а ничего в блатных не разглядел, ничего не понял, обо всём солгал. Так как в нашей литературе 40 лет ничего о лагерях не было, кроме его пьесы (и фильма потом), то приходится тут на неё отозваться.

Убогость инженеров–каэров, смотрящих в рот

своим воспитателям и так учащихся жить, даже не требует отзыва. Но — о его аристократах, о блатных. Погодин умудрился не заметить в них даже той простой черты, что они отнимают по праву сильного, а не тайно воруют из кармана. Он их всех поголовно изобразил мелкими карманными ворами и до надоедания, больше дюжины раз, обыгрывает это в пьесе, и у него урки воруют даже друг у друга (совершенный вздор: воруют только у фраеров, и всё сдаётся пахану). Так же не понял Погодин (или не захотел понять) подлинных стимулов лагерной работы — голода, битья, бригадной круговой поруки. Ухватился же за одно: за «социальную близость» блатных (это подсказали ему в Управлении канала в Медвежке, а то ещё раньше в Москве, Максим Горький) — и бросился он показывать «перековку» блатных. И получился пасквиль на блатных, от которого даже мне хочется их защитить.

Они гораздо умней, чем их изображает Погодин (и Шейнин), и на дешёвую «перековку» их не купишь, просто потому, что мировоззрение их ближе к жизни, чем у тюремщиков, цельнее и не содержит никаких элементов идеализма— а все заклинания, чтоб голодные люди трудились и умирали в труде, есть чистый идеализм. И если

в разговоре с гражданином начальником, или корреспондентом из Москвы, или на дурацком митинге у них слеза на глазах и голос дрожит, — то это рассчитанная актёрская игра, чтобы получить льготу или скидку срока, — а внутри урка смеётся в этот момент! Урки прекрасно понимают забавную шутку (а приехавшие столичные писатели— не понимают). — Это невозможно, чтобы сука Митя вошёл безоружный и без надзирателя в камеру РУРа, — а местный пахан Костя уполз бы от него под нары! Костя, конечно, приготовил нож, а если его нет— то бросится Митю душить, и один из них будет мёртв. Вот тут наоборот— не шутка, а Погодин лепит пошлую шутку. — Ужасающая фальшь с «перевоспитанием», и переход двух воров в стрелки (это бытовики могут сделать, но не блатные). И невозможное для трезвых циничных урок соревнование между бригадами (разве только для смеха над вольняшками). И самая раздирающе–фальшивая нота: блатные просят дать им правила создания коммуны!

Их коммуна, а точней — их мир, есть отдельный мир в нашем мире, и суровые законы, которые столетиями там существуют для крепости того мира, никак не зависят от нашего

«фраерского» законодательства и даже от съез-

дов Партии. У них свои законы старшинства, по которым их паханы не избираются вовсе, но, входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной. У блатных свои суды («правилки»), основанные на кодексе воровской «чести» и традиции. Приговоры судов беспощадны и проводятся неотклонимо, даже если осуждённый недоступен и совсем в другой зоне. (Виды казни необычны: могут по очереди все прыгать с верхних нар на лежащего на полу и так разбить ему грудную клетку.)

И что значит само их слово «фраерский»? Фраерский значит— общечеловеческий, такой, как у всех нормальных людей. Именно этот общечеловеческий мир, наш мир, с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному антиобщественному кублу.

Нет, не «перевоспитание» стало ломать хребет блатному миру («перевоспитание» только помо-

гало им поскорей вернуться к новым грабежам), а когда в 50–х годах, махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел совать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для них новые тюрьмы [крышки — назвали их воры).

В этих крытках, или закрытках, воры быстро никли, хирели и доходили. Потому что паразит не может жить в одиночестве. Он должен жить на ком–нибудь, обвиваясь.

Глава 17. МАЛОЛЕТКИ

Много оскалов у Архипелага, много харь. Ни с какой стороны, подъезжая к нему, не залюбуешься. Но может быть, мерзее всего он с той пасти, с которой заглатывает малолеток.

Малолетки — это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, снующие, ворующие и греющиеся у котлов, без которых представить себе нельзя городскую жизнь 20–х годов. В колонии несовершеннолетних преступников (при Наркомпросе такая была уже в 1920; интересно бы узнать, как с несовершеннолетними преступниками обстояло до революции), в труддома для несовершеннолетних (существовали с 1921 по 1930, имели решётки, запоры и надзор, так что в истрёпанной буржуазной терминологии их можно было бы назвать и тюрьмами), а ещё в «трудкоммуны О ГПУ» с 1924 года— беспризорников брали с улиц, не от семей. Их осиротила Гражданская война, голод её, неустройство, расстрелы родителей, гибель их на фронтах, и тогда юстиция действительно пыталась вернуть этих детей в общую жизнь, оторвав от воровского уличного обучения. В трудкоммунах начато было

обучение фабрично–заводское, по условиям тех безработных лет это было льготное устройство, и многие парни учились охотно. С 1930 в системе Наркомюста были созданы школы ФЗУ особого типа— для несовершеннолетних, отбывающих срок. Юные преступники должны были работать от четырёх до шести часов в день, получать за это зарплату по всесоюзному КЗОТу, а остальное время дня учиться и веселиться. Может быть, на этом пути дело бы и наладилось.

А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 Уголовного кодекса 1926 года, разрешавшей за кражу, насилие, увечья и убийства судить детей с 12–летнего возраста (58–я статья при этом тоже подразумевалась), но судить умеренно, не «на всю катушку», как взрослых. Это уже была первая лазейка на Архипелаг для будущих малолеток — но ещё не ворота.

Не пропустим такой интересной цифры: в 1927 заключённых в возрасте от 16 (а уж более молодых и не считают) до

24 лет было 48% от всех заключённых[337]. Это так можно понять, что почти половину всего Архипелага в 1927 году составляла молодёжь, ко-

---

[337] Примечания: 337

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 333.

торую Октябрьская революция застала в возрасте от 6 до 14 лет. Эти–то мальчики и девочки через десять лет победившей революции оказались в тюрьме, да ещё составив половину её населения! Это плохо согласуется с борьбой против пережитков буржуазного сознания, доставшихся нам от старого общества, но цифры есть цифры. Они показывают, что Архипелаг никогда не был беден юностью.

Но насколько быть ему юным— решилось в 1935 году. В том году на податливой глине Истории ещё раз вмял и отпечатал свой палец Великий Злодей. Среди таких своих деяний, как разгром Ленинграда и разгром собственной партии, он не упустил вспомнить о детях— о детях, которых он так любил, Лучшим Другом которых был и потому с ними фотографировался. Не видя, как иначе обуздать этих злокозненных озорников, этих кухаркиных детей, всё гуще роящихся в стране, всё наглей нарушающих социалистическую законность, испомыс–лил он за благо: этих детей с двенадцатилетнего возраста (уже и его любимая дочь подходила к тому рубежу, и он осязаемо мог видеть этот возраст) судить на всю катушку Кодекса! То есть «с применением всех мер наказания», пояснил Указ ЦИК и СНК от

7.4.1935. (То есть и расстрела тоже.)

Неграмотные, мы мало вникали тогда в Указы. Мы всё больше смотрели на портреты Сталина с черноволосой девочкой на руках… Тем меньше читали их сами двенадцатилетние ребятишки. АУказы шли своей чередой. 10.12.1940— судить с 12–летнего возраста также и за «подкладывание на рельсы разных предметов» (ну, тренировка молодых диверсантов). Указ 31.5.1941 — за все остальные виды преступлений, не вошедшие в статью 12, — судить с 14 лет!

А тут небольшая помеха: началась Отечественная война. Но Закон есть Закон! И 7 июля 1941 года— через четыре дня после панической речи Сталина, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву, — состоялся ещё один Указ Президиума Верховного Совета, трудно сказать, чем для нас сейчас более интересный: бестрепетным ли своим академизмом, показывающим, какие важные вопросы решала власть в те пылающие дни, или самим содержанием.

Дело в том, что прокурор СССР (Вышинский?) пожаловался Верховному Совету на Верховный Суд (а значит, и Милостивец с этим делом знакомился): что неправильно применяется судами Указ 1935–го года: детишек–то судят только тогда,

когда они совершили преступление умышленно. Но ведь это же недопустимая мягкотелость! И вот в огне войны разъясняет Президиум: такое истолкование не соответствует тексту закона, оно вводит не предусмотренные законом ограничения!.. И в согласии с прокурором поясняется Верхсуду: судить детей с применением всех мер наказания (то есть «на всю катушку») также и в тех случаях, когда они совершат преступления не умышленно, а по неосторожности]

Вот это так! Может быть, и во всей мировой истории никто ещё не приблизился к такому коренному решению детского вопроса! С 12 лет, за неосторожность— и вплоть до расстрела!

В марте 1972 вся Англия была потрясена, что в Турции английский 14–летний подросток за торговлю крупными партиями наркотиков приговорён к 6 годам— да как же это можно??! А где же были сердца и глаза ваших левых лидеров (да и ваших юристов), когда читали сталинские законы о малолетках?

«Детей?! Зачем же вы уничтожали детей!» — ужасался на подсудимых, изумлялся в своей невинности член Нюрнбергского трибунала советский судья Никитченко, случайно совсем не знавший советских внутренних законов (забыл,

как сам судил). С тем более честным и умным видом рядом с ним сидели английский, французский и американский судьи.

Вот только когда были закрыты все норы для жадных мышей! Вот только когда были обережены колхозные колоски! Теперь–то должна была пополняться и пополняться житница, расцветать жизнь, а порочные от рождения дети становиться на долгую стезю исправления.

И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей своих! — они незатруднённо ставили визы на арест. И не дрогнул никто из партийных судей! — они со светлыми очами приговаривали детишек к трём, пяти, восьми и десяти годам общих лагерей!

И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет!

И за карман картошки— один карман картошки в детских брючках! — тоже 8!

Огурцы не так ценились. За десяток огурцов с колхозного огорода Саша Блохин получил 5 лет.

А голодная 14–летняя девочка Лида в Чингирлауском райцентре Кустанайской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку зерна, просыпавшегося с грузовика (и всё равно обречённого пропасть). Так её осудили

только на 3 года по тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала социалистическую собственность не прямо с поля и не из амбара. А может, то ещё смягчило судей, что в этом (1948) году было–таки разъяснение Верхсуда: за хищения с характером детского озорства (мелкая кража яблок в саду) — не судить. По аналогии суд и вывел, что можно чуток помягче. (А мы выведем для себя, что с 1935 по 1948 за яблоки— судили.)

И очень многих судили за побег из школ ФЗО. Правда, только 6 месяцев за это давали. В лагере их называли в шутку «смертниками». Но шутка не шутка, а вот из дальневосточного лагеря картинка со «смертниками»: им поручен вывоз дерьма из уборной. Телега с двумя огромными колёсами, на ней огромная бочка, полная зловонной жижи. «Смертники» впрягаются по много в оглобли и с боков и сзади толкают (на них хлюпает при качаниях бочки), а краснорожие суки в шевиотовых костюмах хохочут и палкой погоняют ребятишек. — На корабельном же этапе на Сахалин из Владивостока (1949) суки использовали этих ребятишек под угрозой ножа. — Так что и шести месяцев бывает иногда довольно.

И вот когда двенадцатилетние переступали пороги тюремных взрослых камер, уравненные

со взрослыми как полноправные граждане, уравненные в дичайших сроках, почти равных их всей несознательной жизни, уравненные в хлебной пайке, в миске баланды, в месте на нарах, вот тогда старый термин коммунистического перевоспитания «несовершеннолетние» как–то обесценился, оплыл в контурах, стал неясен— и сам ГУЛАГ родил звонкое нахальное слово: малолеткаі И с гордым и горьким выражением сами о себе стали повторять его эти горькие граждане — ещё не граждане страны, но уже граждане Архипелага.

Так рано и так странно началось их совершеннолетие — с переступа через тюремный порог.

На двенадцати–и четырнадцатилетние головки обрушился уклад, которого не выдерживали устоявшиеся мужественные люди. Но молодые по законам молодой жизни не должны были этим укладом расплющиться, а— врасти и приспособиться. Как в раннем возрасте без затруднения усваиваются новые языки, новые обычаи — так малолетки с ходу переняли и язык

Архипелага, — а это язык блатных, и философию Архипелага, — а чья ж это философия?

Они взяли для себя из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь ядовитый гниющий

сок — и так привычно, будто жидкость эту, эту, а не молоко, сосали они еще младенцами.

Они так быстро врастали в лагерную жизнь — не за недели даже, а за дни! — будто и не удивились ей, будто эта жизнь и не была им вовсе нова, а была естественным продолжением вчерашней вольной жизни.

Они и на воле росли не в охлопочках, не в бархате: не дети властных и обеспеченных родителей стригли колосья, набивали карманы картошкой, опаздывали к заводской проходной и бежали из ФЗО. Малолетки — это дети трудящихся. Они и на воле хорошо понимали, что жизнь строится на несправедливости. Но не всё там было обнажено до последней крайности, иное в благопристойных одеждах, иное смягчено добрым словом матери. На Архипелаге же малолетки увидели мир, каким представляется он глазам четвероногих: только сила есть правота! только хищник имеет право жить! Так видим мы Архипелаг и во взрослом возрасте, но мы способны противопоставить ему наш опыт, наши размышления, наши идеалы и прочтённое нами до того дня. Дети же воспринимают Архипелаг с божественной восприимчивостью детства. И в несколько дней дети становятся тут зверьми! — да зверьми худ-

шими, не имеющими этических представлений (глядя в покойные огромные глаза лошади или лаская прижатые уши виноватой собаки, как откажешь им в этике?). Малолетка усваивает: если есть зубы слабей твоих— вырывай из них кусок, он— твой!

Есть два основных вида содержания малолеток на Архипелаге: отдельными детскими колониями (главным образом, младших малолеток, кому ещё не исполнилось пятнадцати лет) и (старших малолеток) — на смешанных лагпунктах, чаще с инвалидами и женщинами.

Оба эти способа равно достигают развития животной злобности. И ни один из них не освобождает малолеток от воспитания в духе воровских правил.

Вот Юра Ермолов. Он рассказывает, что ещё в 12 лет (в 1942 году) видел вокруг себя много мошенничества, воровства, спекуляции, и сам для себя так рассудил жизнь: не крадёт и не обманывает только тот, кто боится. А я— не хочу ничего бояться! И значит, буду красть и обманывать и жить хорошо. Впрочем, на время его жизнь пошла всё–таки иначе. Его увлекло школьное воспитание в духе светлых примеров. Однако, раскусив Любимого Отца (лауреаты и министры говорят, что это

было непосильно), он в 14 лет написал листовку: «Долой Сталина! Да здравствует Ленин!» Тут–то его и схватили, били, дали 58–10 и посадили с малолетками–урками. И Юра Ермолов быстро усвоил воровской закон. Спираль его существования стремительно наворачивала витки— и уже в 14 лет он выполнил свое «отрицание отрицания»: вернулся к пониманию воровства как высшего и лучшего в бытии.

И что ж увидел он в детской колонии? «Ещё больше несправедливостей, чем на воле. Начальство и надзиратели живут за счёт государства, прикрываясь воспитательной системой. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. Малолеток бьют сапогами, держат в страхе, чтобы были молчаливыми и послушными». (Тут надо пояснить, что паёк младших малолеток — это не обычный лагерный паёк. Осудив малолеток на долгие годы, правительство не перестало быть гуманным, оно не забыло, что эти самые дети — будущие хозяева коммунизма. Поэтому им добавлено в паёк и молоко, и сливочное масло, и настоящее мясо. Как же воспитателям удержаться от соблазна запустить черпак в котёл малолеток? И как заставить малолеток молчать, если не сапогами? Может быть, из выросших

этих малолеток кто–нибудь расскажет нам ещё историю помрачнее «Оливера Твиста»?)

Самый простой ответ на одолевающие несправедливости — твори несправедливости и сам! Это — самый легкий вывод, и он теперь надолго (а то и навсегда) станет жизненным правилом малолеток.

Но вот интересно! — вступая в борьбу жестокого мира, малолетки не борются друг против друга. Друг во друге — не видят они врагов! Они вступают в эту борьбу—коллективом, дружиной! Ростки социализма? внушение воспитателей? — ах, не бормочите, лепетуны! Это снисходит на них закон воровского мира. Ведь воры— дружны, ведь у воров— дисциплина и паханы. А малолетки— это воровские пионеры, они усваивают заветы старших.

О, конечно, их усиленно воспитывают! Приезжают воспитатели— три звёздочки, четыре звёздочки, — читают им лекции о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, о фашистских зверствах, о солнечной сталинской заботе о детях, о том, каков должен быть советский человек. Но Великое Учение об обществе, построенное на одной экономике, никогда не знавшее психологии, не знает

и того простого психологического закона, что всякое повторение пять и шесть раз — уже вызывает недоверие, а свыше того — отвращение. Малолеткам отвратительно то, что когда–то втолковывали им учителя, а сейчас ворующие с кухни воспитатели. (И даже патриотическая речь офицера из воинской части: «Ребята! Вам доверяется пороть парашюты. Это драгоценный шёлк, имущество Родины, старайтесь его беречь!» — не имеет успеха. Гонясь за перевыполнением и дополнительными кашами, малолетки изрезают весь шёлк в негодные клочья. — Кривощёково.) И изо всех этих семян только семена ненависти— вражда к Пятьдесят Восьмой, превосходство над врагами народа—усваиваются ими.

Это понадобится им дальше, в общих лагерях. А пока среди них нет врагов народа. Юра Ермолов — такой же свой малолетка, он давно сменил глупый политический закон на мудрый воровской. Никто не может не перевариться в этой каше! Никакой мальчик не может остаться особой личностью — он будет растоптан, разорван, разъят, если сейчас же не заявит себя воровским пионером. И все принимают эту неизбежную присягу… (Читатель! Подставьте туда— своих детей…)

В детских колониях— кто враг малолеток? Надзиратели и воспитатели. С ними и борьба!

Малолетки отлично знают свою силу. Первая их сила — сплочённость, вторая — безнаказанность. Это извне они втолкнуты сюда по взрослому закону, здесь же, на Архипелаге, их охраняет священное табу. «Молоко, начальничек! Отдай молоко!» — вопят они и барабанят в двери камеры, ломают нары, бьют стёкла— всё, что было бы названо у взрослых вооружённым восстанием или экономическим саботажем. А малолеткам— ничто не грозит! Им сейчас принесут молоко!

Вот ведут под строгим конвоем колонну малолеток по городу, кажется — даже стыдно так серьёзно охранять малышей. Ане тут–то было! Они сговорились— свист!! — и, кто хочет, бегут в разные стороны! Что делать конвою? Стрелять? В кого именно? Да можно ли в детей?.. На том и кончились их тюремные сроки! Сразу лет сто пятьдесят убежало от государства. Не нравится быть смешным? — не арестовывай детей!

Будущий романист (тот, кто детство провёл среди малолеток) опишет нам множество затей малолеток, как они озоровали в колониях, мстили и гадили воспитателям. При кажущейся строгости их сроков и внутреннего режима у

малолеток из безнаказанности развивается большая дерзость.

Вот один из их хвалебных рассказов о себе. Зная обычный образ действий малолеток, я вполне ему верю. К медицинской сестре в колонии прибегают взволнованные испуганные ребятишки, зовут её к тяжело заболевшему товарищу. Забыв о предосторожности, она быстро отправляется с ними в их большую — человек на сорок — камеру. И тут начинается муравьиная работа! — одни баррикадируют дверь и держат оборону, другие десятком рук срывают с сестры всё надетое, валят её, те садятся ей на руки, те на ноги, и теперь, кто во что горазд, насилуют её, целуют, кусают. И стрелять в них не положено, и никто её не отобьёт, пока сами не отпустят, поруганную и плачущую.

Интерес к женскому телу развивается у мальчиков вообще рано, а в камерах малолеток он ещё сильно раскаляется красочными рассказами и похвальбою. И они не упускают случая разрядиться. Вот эпизод. Среди бела дня на виду у всех сидят в Кривощёковской зоне (1–й лагпункт) четверо малолеток и разговаривают с малолеткой же Любой из переплётного цеха. Она в чём–то резко им возражает. Тогда мальчики вскакивают

и высоко вздёргивают её за ноги. Она оказывается в беспомощном положении: руками опираясь о землю, и юбка спадает ей на голову. Мальчики держат её так и свободными руками ласкают. Потом опускают негрубо. Она ударяет их? убегает от них? Нет, садится по–прежнему и продолжает спорить.

Это уже— малолетки лет по шестнадцати, это— зона взрослая, смешанная. (Это— в ней тот самый барак на 500 женщин, где все соединения происходят без завешиваний и куда малолетки с важностью ходят как мужчины.)

В детских колониях малолетки трудятся четыре часа, а четыре должны учиться (впрочем, вся эта учёба—тухта). С переводом во взрослый лагерь они получают 10–часовой рабочий день, только уменьшенные трудовые нормы, а нормы питания — те же, что у взрослых. Их переводят сюда лет шестнадцати, но недоедание и неправильное развитие в лагере и до лагеря придаёт им в этом возрасте вид маленьких щуплых детей, отстаёт их рост, и ум их, и их интересы. По роду работы их содержат здесь иногда отдельными бригадами, иногда смешивая в общую бригаду со стариками–инвалидами. Здесь и спрашивают с них «облегчённый физический», а попросту

детский туземный труд.

После детской колонии обстановка сильно изменилась. Уже нет детского пайка, на который зарился надзор, — и поэтому надзор перестаёт быть главным врагом. Появились какие–то старики, на которых можно испробовать свою силу. Появились женщины, на которых можно проверить свою взрослость. Появились и настоящие живые воры, мордатые лагерные штурмовики, которые охотно руководят и мировоззрением малолеток, и их тренировками в воровстве. Учиться у них— заманчиво, не учиться — невозможно.

Для вольного читателя слово «воры», может быть, звучит укоризненно? Тогда он ничего не понял. Это слово произносится в блатном мире, как в дворянской среде «рыцарь», и даже ещё уважительнее, не в полный голос, как слово священное. Стать достойным вором когда–нибудь— это мечта малолетки, это — стихийный напор их дружины. Да и самому самостоятельному среди них —

юноше, обдумывающему житьё,
не найти жребия верней.

Как–то на Ивановской пересылке ночевал я в камере малолеток. Рядом со мной на нарах оказался худенький мальчик старше пятнадцати, кажется Слава. Мне показалось, что весь обряд

малолеток он выполняет как–то изневольно, будто вырас–тя из него, или устало. Я подумал: вот этот мальчик не погиб и умнее, он от них скоро отстанет. Мы разговорились. Мальчик был из Киева, кто–то из родителей у него умер, кто–то бросил его. Слава начал воровать ещё перед войной, лет девяти, воровал и «когда наши пришли», и после войны, и с задумчивой невесёлой улыбкой, такой ранней для пятнадцати лет, объяснил мне, что и в дальнейшем собирается жить только воровством. «Вы знаете, — очень разумно обосновывал он, — рабочей профессией, кроме хлеба и воды, ничего не заработаешь. А у меня детство было плохое, я хочу хорошо пожить». — «А что ты делал при немцах?» — спросил я, восполняя два обойденных им года— два года оккупации Киева. Он покачал головой: «При немцах я работал. Что вы, разве при немцах можно было воровать? Они за это на месте расстреливали».

И во взрослых лагерях малолетки сохраняют главную черту своего поведения — дружность нападения и дружность отпора. Это делает их сильными и освобождает от ограничений. В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, и уж вовсе никакого представления о добре и зле. Для

них то всё хорошо, чего они хотят, и то всё плохо, что им мешает. Наглую нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это — самая выгодная в лагере форма поведения. Притворство и хитрость отлично служат им там, где не может взять сила. Малолетка может прикинуться иконописным отроком, он растрогает вас до слёз, пока его товарищи будут сзади потрошить ваш мешок. Всей своей злопамятной дружиной они кого хочешь доймут местью — и, чтоб не связываться с этой ордой, никто не помогает жертве. Цель достигнута— соперники разъединены, и малолетки бросаются сворою на одного. И они непобедимы! Их налетает так много сразу, что не успеешь их заметить, различить, запомнить. Не хватает рук и ног отбиться от них.

Вот по рассказу А.Ю.Сузи несколько картинок со 2–го (штрафного) Кривощёковского лагпункта Новосиблага. Жизнь в громадных (на 500 человек) полутёмных землянках, вкопанных в землю на полтора метра. Начальство не вмешивается в жизнь зоны (уже ни лозунгов, ни лекций). Засилие блатарей и малолеток. На работу почти не выводят. Соответствующее и питание. Зато избыток времени.

Вот несут из хлеборезки под конвоем своих

бригадников хлебный ящик. Перед самым ящиком малолетки затевают мнимую драку, толкают друг друга и опрокидывают ящик. Бригадники бросаются поднимать пайки с земли. Из двадцати они успевают подхватить только четырнадцать. «Дравшихся» малолеток уже и помина нет.

Столовая на этом лагпункте — досчатая пристройка, не годная сибирской зимой, там не едят. Баланду и пайку надо донести по морозу от кухни до своей землянки — метров 150. Для стариков–инвалидов это— опасная тяжёлая операция. Пайка всунута глубоко за пазуху, мёрзнущие руки вцепились в котелок. Но внезапно, с бесовской быстротой, налетают со стороны двое–трое малолеток. Они сбивают старика с ног, в шесть рук его обшаривают и уносятся вихрем. Пайка отобрана, баланда пролилась, валяется пустой котелок, старик силится подняться на колени. (А другие зэки видят и спешат обойти опасное место, спешат свою–то пайку донести до землянки.) Чем слабей жертва— тем беспощаднее малолетки. Вот у совсем слабого старика отнимают пайку в открытую, рвут из пальцев. Старик плачет, умоляет отдать. «Я с голоду умру!» — «А тебе и всё равно скоро подыхать, какая разница!» — Вот наладились малолетки нападать на инвалидов

в пустом холодном помещении перед кухней, где вечно снует народ. Шайка валит жертву на землю, садится на руки, на ноги, на голову, обшаривают все карманы, берут махорку, деньги и исчезают.

Крупный крепкий латыш Мартинсон имеет неосторожность появиться в зоне в кожаных коричневых шнуровых высоких сапогах английского лётчика, зашнурованных через крючки на высоту всей голени. Он даже на ночь не снимает их с ног. И он уверен в своей силе. Но вот его подстерегают чуть прилегшим на помост в столовой, на него мгновенно налетает шайка и так же мгновенно улетает — и сапог нет! Все шнурки перерезаны и сапоги сдёрнуты. Искать? Куда там! Сейчас же через надзирателя (!) сапоги отправляют за зону и там продают за высокую цену. (Чего только не сплавляют малолетки за зону. Всякий раз, когда, пожалев их юность, лагерное начальство даёт им чуть получше обувку, или одёжку, или какие–нибудь жалкие лепёшки матрасов, отобранные от Пятьдесят Восьмой, — в несколько дней это всё загоняется за махорку вольным, а малолетки снова ходят в продранном и спят на голых нарах.)

Довольно неосторожному вольняшке зайти в

зону с собакой и на миг отвернуться — шкуру своей собаки к вечеру он может купить за зоной: собака вмиг отманена, зарезана, ободрана и испечена.

Краше нет воровства и разбоя! — они и кормят, они и веселы. Но и простая разминка, бескорыстная забава и беготня нужны молодому телу. Если уж дали им молотки сколачивать снарядные ящики, — они машут ими непрестанно и с удовольствием (даже девочки) вколачивают гвозди во что попало, в столы, в стены, во пни. Они постоянно борются друг с другом— и не для того только, чтоб опрокинуть хлебный ящик, они и действительно борются и бегают друг за другом по нарам и проходам. Нужды нет, что они бегут по ногам, по вещам, что–то опрокинули, что–то испачкали, кого–то разбудили, кого–то сшибли, — они играют!

Так играют и всякие дети, но на обычных детей есть всё же родители (в нашу эпоху— не более чем «всё же»), есть какая–то управа, их можно остановить, пронять, наказать, отправить в другое место, — в лагере это всё невозможно. Пронять малолеток словами — просто нельзя, человеческая речь вырабатывалась не для них, их уши не впускают ничего не нужного им. Раздражённые

старики начинают одёргивать их руками — малолетки забрасывают стариков тяжёлыми предметами. В чём не находят малолетки забавы! — схватить у инвалида гимнастёрку и играть в перекидашки — заставить его бегать, как ровесника. Он обиделся, ушёл? — так он её и не увидит! продали за зону и прокурили. (Теперь к нему же и подойдут невинно: «Папаша, дай закурить! Да ладно, не сердись. Чего ж ты ушёл, не ловил?»)

Взрослым людям, отцам и дедам, эти буйные забавы малолеток в лагерной тесноте, может быть, надсаднее и оскорбительнее, чем их разбой и голодная жадность. Это оказывается одним из самых чувствительных унижений: пожилому человеку быть приравненным к пацану, да если бы на равных! — нет, отданным на произвол пацанов.

Малолетки безумышленны, они вовсе не думают оскорбить, они не притворяются: они действительно никого за людей не считают, кроме себя и старших воров! Они так ухватили мир! — и теперь держатся за это. Вот при съёме с работы они вбиваются в колонну взрослых зэков, измученных, еле стоящих, погрузившихся в какое–то оцепенение или в воспоминания. Малолетки расталкивают колонну не потому,

что им надо стать первыми, — это ничего не даёт, а просто так, для забавы. Они шумно разговаривают, постоянно всуе поминают Пушкина («Пушкин взял», «Пушкин съел»), матерятся в Бога, в Христа и в Богородицу, выкрикивают любую брань о половых извращениях, никак не стесняясь пожилых женщин, стоящих тут, а тем более молодых. За короткое лагерное время они достигли высочайшей свободы от общества. — Во время долгих проверок в зоне малолетки гоняются друг за другом, торпедируя толпу, валя одних людей на других («Что, мужик, на дороге стал?»), или бегают друг за другом вокруг человека, как вокруг дерева, тем удобнее дерева, что ещё можно им заслоняться, дёргать, шатать, рвать в разные стороны.

Это и в весёлую–то минуту оскорбительно, но когда переломлена вся жизнь, человек заброшен в далёкую лагерную яму, чтобы погибнуть, уже голодная смерть распространяется в нём, мрак стоит в его глазах, — нельзя подняться выше себя и посочувствовать юнцам, что так беззатейливы их игры в таком унылом месте. Нет, пожилых измученных людей охватывает злоба, они кричат им: «Чтоб вас чума взяла, змеёныши!» «Пад–люки! Бешеные собаки!» «Чтоб вы подохли!» «Своими

бы руками их задушил!» «Хуже фашистов зверьё!» «Вот напустили нам на погибель!» (И столько вложено в эти крики инвалидов, что если бы слова убивали — они бы убили.) Да! Так и кажется, что их напустили нарочно — потому что и долго думая, лагерные распорядители не изобрели бы бича тяжелей. (Как в удачной шахматной партии все комбинации вдруг начинают вязаться сами, а мнится, что— задолго гениально придуманы, так и многое удалось в нашей Системе на лучшее изнурение чело–веков.) Так и кажется, что по христианской мифологии вот такими должны быть чертенята, никакими другими!

Тем более что их главная забава и их символ — их постоянный символ, приветственный и угрозный знак — это рогатка: расставленные указательный и средний пальцы руки, как бы подвижные бодающие рожки. Но они не бодающие, они— выкалывающие, потому что тянутся всегда к глазам. Это заимствовано у взрослых воров и означает серьёзную угрозу: «Глаза выдавлю, падло!» А у малолеток это любимая игра: внезапно перед глазами старика, невесть откуда, змеиною головой вырастает рогатка, и пальцы уверенно идут к глазам, сейчас надавят! Старик откидывается, его ещё чуть подталкивают в грудь, а другой

малолетка сзади уже приник к земле вплотную к ногам— и старик грохается навзничь, головою обземь, под весёлый хохот малолеток. И никогда они его не поднимут. Да невдомёк им, что они сделали что–нибудь худое! — это только весело. Ни отвар, ни присыпка этих чертей не берёт! И, с трудом поднимая больное тело, старик со злобой шепчет: «Пулемёт бы был — из пулемёта бы по ним не жалко!»

Старик Ц. ненавидел их устойчиво. Он говорил: «Всё равно они погибшие, это для людей чума растёт. Надо их потихоньку уничтожать!» И разработал способ: поймав украдкой малолетку, валить его на землю и давить ему коленями грудь, пока услы–шится треск рёбер — но не до конца, на этом отпустить. Такой малолетка, говорил Ц., уже не жилец, но ни один врач не поймёт, в чём дело. И Ц. отправил так несколько малолеток на тот свет, пока самого его смертно не избили.

Ненависть порождает ненависть. Чёрная вода ненависти с лёгкостью разливается по горизонтали. Это легче, чем извернуться по жерлу вверх— к тем, кто и старого и малого обрёк на рабью участь.

Так готовились маленькие упрямые звери совместным действием сталинского законода-

тельства, гулаговского воспитания и воровской закваски. Нельзя было изобрести лучшего способа оскотинения ребёнка! Нельзя было плотней и быстрей вогнать все лагерные пороки в неокрепшую узкую грудь!

Даже когда ничего не стоило смягчить душу ребёнка, лагерные хозяева этого не допускали: ведь это не было задачей их воспитания. С Кривощёковского 1–го лагпункта на 2–й мальчик просился к своему отцу, сидевшему там. Не разрешили (ведь инструкция требует разъединять)! Пришлось мальчишке спрятаться в бочке, так переехать на 2–й лагпункт и тайно пожить при отце. А его с суматохой считали в побеге и палкой с гвоздевыми поперечинами пробалтывали ямы уборных— не потоплен ли там.

И лихо только начать. Это в 15 лет Володе Снегирёву было садиться как–то непривычно. А потом за шесть сроков он перебрал почти столетие (было дважды по 25), сотни дней провёл в БУРах и карцерах (усвоил молодыми лёгкими туберкулёз), 7 лет— под всесоюзным розыском. Потом–то он был уже на верной воровской дорожке. (Сейчас— без лёгкого и пяти рёбер, инвалид второй группы.)— Витя Коптяев с 12–летнего возраста сидит непрерывно. Осуждён четырна-

дцать раз, из них 9 раз — за побеги. «На свободе в законном порядке я ещё не был». — Юра Ермолов после освобождения устроился работать, но его уволили: важнее было принять демобилизованного солдата. Пришлось «идти на гастроли». И на новый срок.

Сталинские бессмертные законы о малолетках просуществовали 20 лет (до Указа от 24.4.1954, чуть послабившего: освободившего тех малолеток, кто отбыл больше одной трети, — да ведь это из первого срока! а если их четырнадцать?). Двадцать жатв они собрали. Двадцать возрастов они свихнули в преступление и разврат.

Кто смеет наводить тень на память нашего Великого Корифея?

* * *

Есть такие проворные дети, которые успевают схватить 58–ю очень рано. Например, Гелий Павлов получил её в 12 лет (с 1943 по 1949 сидел в колонии в Заковске). По 58–й вообще никакого возрастного минимума не существовало! Даже в популярных юридических лекциях—Таллин, 1945 год, — говорили так. Доктор Усма знал 6–летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58–й статье — уж это, очевидно, рекорд!

Иногда посадка ребёнка для приличия откладывалась, но всё равно настигала отмеченного. Вера Инчик, дочь уборщицы, вместе с двумя другими девочками, всем по 14 лет, — узнала (Ейск, 1932), как при раскулачивании покидают малых детей — умирать. Решили девочки («как раньше революционеры») протестовать. На листках из школьных тетрадей они написали своим почерком и расклеили по базару, ожидая немедленного всеобщего возмущения. Дочь врача посадили, кажется, тотчас. А дочери уборщицы лишь пометили где–то. Подошёл 1937 год— и арестовали её «за шпионаж в пользу Польши».

Где, как не в этой главе, помянуть и тех детей, кто осиротел от ареста своих родителей?

Ещё счастливы были дети женщин из религиозной общины под Хостой. Когда в 1929 матерей отправили на Соловки, то детей по мягкости оставили при домах и хозяйствах. Дети сами обихаживали сады, огороды, доили коз, прилежно учились в школе, а родителям на Соловки посылали отметки и заверения, что готовы пострадать за Бога, как и матери их. (Разумеется, Партия скоро дала им эту возможность.)

По инструкции «разъединять» сосланных детей и родителей — сколько этих малолеток было

ещё в 20–е годы (вспомним 48 процентов)? И кто нам расскажет их судьбу?..

Вот — Галя Бенедиктова. Отец её был петроградский типограф, анархист, мать— белошвейка из Польши. Галя хорошо помнит свой шестой день рождения (1933), его весело отпраздновали. На другое утро она проснулась— ни отца, ни матери, в книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули: женщины и дети едут в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили семьёй, но не дожили трёх лет сроку: арестовали снова мать, а отца расстреляли, мать через месяц умерла в тюрьме. Галю забрали в детдом в монастыре под Тобольском. Обычай был там такой, что девочки жили в постоянном страхе насилия. Потом перевелась она в городской детдом. Директор внушал ей: «Вы дети врагов народа, а вас ещё кормят и одевают!» (Нет, до чего гуманная эта диктатура пролетариата!) Стала Галя как волчонок. В 11 лет она была уже на своём первом политическом допросе. — С тех пор она имела червонец, отбыла, впрочем, не полностью. К сорока годам одинокая живёт в Заполярьи и пишет: «Моя жизнь кончилась с арестом отца. Я его так люблю до сих пор, что боюсь даже думать об этом. Это был другой мир, и душа моя больна

любовью к нему…»

Вспоминает и Светлана Седова: «Никогда мне не забыть тот день, когда все наши вещи вынесли на улицу, а меня посадили на них, и лил сильный дождь. С шести лет я была «дочерью изменника родины» — страшней этого ничего в жизни быть не может».

Брали их в приёмники НКВД, в спецдама. Большинству меняли фамилии, особенно у кого громкая. (Юра Бухарин только в 1956 году узнал свою истинную фамилию. А Чеботарёв, кажется, и негромкая?) Вырастали дети вполне очищенными от родительской скверны. Роза Ковач, уроженка Филадельфии, малышкой привезенная сюда отцом–коммунистом, после приёмника НКВД попала в войну в американскую зону Германии — каких только судеб не накручивается! — и что ж? Вернулась на советскую родину получить и свои 25 лет.

Даже поверхностный взгляд замечает эту особенность: детям — тоже сидеть, в свой черёд отправляться и им на обетованный Архипелаг, иногда и одновременно с родителями. Вот восьмиклассница— Нина Перегуд. В ноябре 1941 пришли арестовывать её отца. Обыск. Вдруг Нина вспомнила, что в печи лежит скомканная,

но не сожжённая её частушка. Так бы и лежать ей там, но Нина по суетливости решила тут же её изорвать. Она полезла в топку, дремлющий милиционер схватил её. И ужасающая крамола, написанная школьным почерком, предстала глазам чекистов:

В небе звёзды засияли, Свет ложится на траву, Мы Смоленск уж проиграли, Проиграем и Москву.

И выражала она пожелание:

Чтобы школу разбомбили, Нам учиться стало лень.

Разумеется, эти взрослые мужчины, спасающие родину в глубоком тамбовском тылу, эти рыцари с горячим сердцем и чистыми руками должны были пресечь такую смертельную опасность[338]. Нина была арестована. Изъяты были для следствия её дневники с 6–го класса и контрреволюционная фотография: снимок Варваринской уничтоженной церкви. «О чём говорил отец?» — добивались рыцари с горячим сердцем. Нина только ревела. Присудили ей 5 лет и 3 года поражения в правах (хотя поразиться в них она

[338] Примечания: 338

Когда–нибудь, когда–нибудь неужели не вытащим мы одного такого крота, утверждавшего арест восьмиклассницы за стишок? Посмотреть— какой лоб у него? какие уши?

ещё не могла: не было у неё ещё прав).

В лагере её, конечно, разлучили с отцом. Ветка белой сирени терзала её: а подруги сдают экзамены! Нина страдала так, как по замыслу и должна страдать преступница, исправляясь: что сделала Зоя Космодемьянская, моя ровесница, и какая гадкая я! Оперы жали на эту педаль: «Но ты ещё можешь к ней подтянуться! Помоги нам!»

О, растлители юных душ! Как благополучно вы окончите вашу жизнь! Вам нигде не придётся, краснея и коснея, встать и признаться, какими же вы помоями заливали души!

А Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. Это вот как было. Её отца, мать, дедушку с бабушкой и старших братьев–подростков — всех рассеяли по дальним лагерям за веру в Бога. А Зое было всего десять лет. Взяли её в детский дом (Ивановская область). Там она объявила, что никогда не снимет с шеи креста, который мать надела ей при расставании. И завязала ниточку узлом туже, чтобы не сняли во время сна. Борьба шла долго, Зоя озлоблялась: вы можете меня задушить, с мёртвой снимете! Тогда, как не поддающуюся воспитанию, её отослали в детдом для дефективныхі Здесь уже были подонки, стиль малолеток худший, чем описан в этой главе. Борьба

за крест продолжалась. Зоя устояла: она и здесь не научилась ни воровать, ни сквернословить. «У такой святой женщины, как моя мать, дочь не может быть уголовницей. Лучше буду политической, как вся семья».

И она— стала политической! Чем больше воспитатели и радио славили Сталина, тем верней угадала она в нём виновника всех несчастий. И, не поддавшаяся уголовникам, она теперь увлекла за собою их! Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские и неприличные надписи. (Малолетки любят спорт! — важно только правильно их направить.) Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ. А надписи всё появляются, и ребята хохочут. Наконец в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевёрнутой и в пустоте её— кал.

Террористический акт! Приехали гебисты. Начались по всем их правилам допросы и угрозы: «Выдайте банду террористов, иначе всех расстреляем за террор!» (А ничего дивного, подумаешь, полторы сотни детей расстрелять. Если б Сам узнал— он бы и сам распорядился.)

Неизвестно, устояли бы малолетки или дрогнули, но Зоя Лещева объявила:

— Это сделала всё я одна! А на что другое годится голова папаши?

И её судили. И присудили к высшей мере, безо всякого смеха. Но, из–за недопустимой гуманности закона о возвращённой смертной казни (1950), расстрелять 14–летнюю вроде не полагалось. И потому дали ей десятку (удивительно, что не двадцать пять). До восемнадцати лет она была в обычных лагерях, с восемнадцати — в Особых. За прямоту и язык был у неё и второй лагерный срок и, кажется, третий.

Освободились уже и родители Зои, и братья, а Зоя всё сидела.

Да здравствует наша веротерпимость! Да здравствуют дети, хозяева коммунизма! Отзовись та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих!

Глава 18. МУЗЫ В ГУЛАГЕ

Принято говорить, что всё возможно в ГУЛАГе. Самая чернейшая низость, и любой оборот предательства, дико–неожиданная встреча, и любовь на склоне пропасти — всё возможно. Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, что кто–то перевоспитался казёнными средствами через КВЧ, — уверенно отвечайте: брехня!

Перевоспитываются в ГУЛАГе все, перевоспитываются под влиянием друг друга и обстоятельств, перевоспитываются в разных направлениях— но ни один ещё малолетка, а тем более взрослый не перевоспитался от средств КВЧ.

Однако чтобы лагеря наши не были похожи на «притоны разврата, общины разбоя, рассадники рецидивистов и проводники безнравственности» (это— о царских тюрьмах), — они были снабжены такой приставкой — Кулыурно–Воспитатель–ная Часть.

Потому что, как сказал когдатошний глава ГУЛАГа И. Апе–тер: «Тюремному строительству капиталистических стран пролетариат СССР противопоставляет своё культурное (а не лагерное! —АС) строительство. ...Те учреждения, в

которых пролетарское государство осуществляет лишение свободы… можно называть тюрьмами или иным словом — дело не в терминологии. Это те места, где жизнь не убивается, а даёт новые ростки…»[339]

Не знаю, как кончил Апетер. С большой вероятностью думаю, что вскоре и свернули ему голову в этих самых местах, где жизнь пускает новые ростки. Но дело не в терминологии. А понял читатель, что в лагерях наших было главное? Культурное строительство.

И на всякий спрос орган был создан, размножен, щупальцы его дотягивались до каждого острова. В 20–е годы они назывались ПВЧ (Политико–Воспитательные Части), с 30–х годов

КВЧ. Они должны были, в частности, заменить прежних тюремных попов и тюремные богослужения.

Строились они так. Начальник КВЧ был из вольных и с правами помощника начальника лагеря. Он подбирал себе воспитателей (по норме один воспитатель на 250 опекаемых) — обязательно из «близких пролетариату слоев», стало быть, интеллигенты (мелкая буржуазия)

---

[339] Примечания: 339

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 429, 432.

конечно не подходили (да и приличнее было им махать киркою), а набирали в воспитатели воров с двумя–тремя судимостями, ну ещё городских мошенников, растратчиков и растлителей. Вот такой молодой парень, чисто себя содержащий, получивший пяток лет за изнасилование при смягчающих обстоятельствах, сворачивал газетку в трубочку, шёл в барак Пятьдесят Восьмой и проводил с ним беседу: «Роль труда в процессе исправления». Воспитателям особенно хорошо видно эту роль со стороны, потому что сами они «от производственного процесса освобождаются». Из таких же социально–близких создавался актив КВЧ — но активисты от работы не освобождались (они могли только надеяться со временем сшибить кого–нибудь из воспитателей и занять их место; это создавало общую дружелюбную обстановку при КВЧ). Воспитатель с утра должен проводить заключённых на работу, после этого проверить кухню (то есть его хорошо покормят), ну и можно пока идти досыпать к себе в кабинку. Паханов цеплять и трогать ему не надо, ибо, во–первых, это опасно, во–вторых, наступит момент, когда «преступная спайка превратится в производственную» и тогда паханы поведут ударные бригады на штурм. А пока пусть отсыпаются и

они после ночной картёжной игры. Но в своей деятельности воспитатель постоянно руководствуется общим положением: что культвоспитработа в лагерях— это не культпросветработа с «несчастненькими», а культурно–производственная работа с остриём (без острия мы никак не можем), направленным против… ну, читатель уже догадался: против Пятьдесят Восьмой. Увы, КВЧ «сама не имеет прав ареста» (да, вот такое ограничение культурных возможностей), «но может просить администрацию» (та не откажет). К тому же воспитатель «систематически представляет отчёты о настроении заключённых». (Имеющий ухо да слышит! Здесь культурно–воспитательная часть деликатно переходит в опер–чекистскую, но в инструкциях это не пишется.)

Однако мы видим, что, увлечённые цитированием, мы грамматически сбились на настоящее время. Мы должны огорчить читателя, что речь идёт о конце 20–х— начале 30–х годов, о лучших расцветных годах КВЧ, когда в стране достраивалось бесклассовое общество и ещё не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с момента, когда оно достроилось. В те славные годы КВЧ обрастала ещё многими важными приставками: культсоветами лишённых свободы;

культпросветко–миссиями; санбыткомиссиями; штабами ударных бригад; контрольными постами о выполнении промфинплана… Ну, да как говорил товарищ Сольц (куратор Беломорканала и председатель комиссии ВЦИК по частным амнистиям): «заключённый и в тюрьме должен жить тем, чем живёт страна». (Злейший враг народа Сольц справедливо покаран пролетарским судом… простите… борец за великое дело товарищ Сольц оклеветан и погиб в годы культа… простите… при наличии незначительного явления культа…[340])

И как были многоцветны, как разнообразны формы работы! — как сама жизнь. Организация соревнования. Организация ударничества. Борьба за промфинплан. Борьба за трудовую дисциплину. Штурм по ликвидации прорывов. Культпоходы. Добровольные сборы средств на самолёты. Подписка на займы. Субботники на усиление обороноспособности страны. Разоблачение лжеударников. Беседы с отказчиками. Ликвидация неграмотности (только шли неохотно). Профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся (очень пёрли урки учиться

[340] Примечания: 340
Репрессирован не был. Умер своей смертью в 1945. —Прим. ред.

на шоферов: свобода!). Да просто увлекательные беседы о неприкосновенности социалистической собственности. Да просто читки газет. Вечера вопросов и ответов. А красные уголки в каждом бараке! Диаграммы выполнения. Цифры заданий! А плакаты какие! Какие лозунги!

В то счастливое время над мрачными просторами и безднами Архипелага реяли Музы—и первая, высшая среди муз — Полигимния, муза гимнов (и лозунгов).

«Отличной бригаде — хвала и почёт! Ударно работай — получишь зачёт!»

Или:

«Трудись честно, дома ждёт тебя семья!»

(Ведь это психологично как! Ведь здесь что? Первое: если забыл о семье — растревожить, напомнить. Второе: если сильно тревожится — успокоить: семья есть, не арестована. А третье: семье ты просто так не нужен, а нужен только через честный лагерный труд.) Наконец:

«Включимся в ударный поход имени 17–й годовщины Октября!»

Ну, кто устоит?

А— драмработа с политически заострённой тематикой (немного от музы Талии)? Например: обслуживание Красного Календаря! Живая

газета! Инсценированные агитсуды! Ораторий на тему сентябрьского пленума ЦК 1930 года! Музыкальный скетч «Марш статей Уголовного кодекса» (58–я — хромая баба–яга)! Как это всё украшало жизнь заключённых, как помогало им тянуться к свету!

А затейники КВЧ! Потом ещё — атеистическая работа! Хоровые и музыкальные кружки (под сенью музы Эвтерпы). Потом эти — агитбригады (фото 31):

Торопятся враскачку Ударники за тачками!

Ведь какая смелая самокритика! — и ударников не побоялись затронуть! Да достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт:

Слушай, Волга–река!

Если рядом с зэ–ка Днём и ночью на стройке чекисты, —

Это значит — рука

У рабочих крепка, Значит, в ОГПУ— коммунисты! —

и сразу же все штрафники и особенно рецидивисты бросают карты и просто рвутся на работу!

Бывало и такое мероприятие: группа лучших ударников посещает РУР или ШИЗО и приводит с собой агитбригаду. Сперва ударники всячески

укоряют отказчиков, объясняют им выгоды выполнения норм (питание будет лучше). Потом агитбригада поёт:

Всюду бой запылал, И Мосволгоканал Побеждает снега и морозы!

И совсем откровенно:

Чтобы лучше нам жить, Чтобы есть, чтобы пить — Надо лучше нам землю рыть!

И всех желающих приглашают не просто выходить в зону, но — сразу переходить в ударный барак (из штрафного), где их тут же и кормят! Какой успех искусства! (Агитбригады, кроме центральной, сами от работы не освобождаются. Получают лишнюю кашу в день выступления.)

А более тонкие формы работы? Например, «при содействии самих заключённых проводится борьба с уравниловкой в зарплате». Ведь только вдуматься, какой здесь смысл глубокий. Это значит, на бригадном собрании встаёт заключённый и говорит: не давать такому–то полной пайки, он плохо работал, лучше 200 грамм передайте мне!

Или — товарищеские суды? (В первые годы после революции они назывались «морально–товарищескими» и разбирали азартные игры, драки, кражи — но разве это дело для суда? И слово «мораль» шибало в нос буржуазностью, его

отменили.) С реконструктивного периода (с 1928 года) суды стали разбирать прогулы, симуляцию, плохое отношение к инвентарю, брак продукции, порчу материала. И если не втирались в состав судов классово–чуждые арестанты (а были только — убийцы, ссученные блатари, растратчики и взяточники), то суды в своих приговорах ходатайствовали перед начальником о лишении свиданий, передач, зачётов, условно–досрочного освобождения, об этапировании неисправимых. Какие это разумные, справедливые меры и как особенно полезно, что инициатива применять их исходит от самих же заключённых! (Конечно, не без трудностей. Начали судить бывшего кулака, а он говорит: «У вас суд— товарищеский, я же для вас— кулак, а не товарищ. Так что не имеете вы права меня судить». Растерялись. Запрашивали политвоспитательный сектор ГУИТЛа, и оттуда ответили: судить! непременно судить, не церемониться!)

Что является основой основ всей культурно–воспитательной работы в лагере? «Не предоставлять лагерника после работы самому себе — чтобы не было рецидивов его прежних преступных наклонностей» (ну, например, чтобы Пятьдесят Восьмая не задумывалась о политике). Важно,

«чтобы заключённый никогда не выходил из–под воспитательного воздействия».

Здесь очень помогают передовые современные технические средства, именно: громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они никогда не должны умолкать! Они постоянно и систематически от подъёма и до отбоя должны разъяснять заключённым, как приблизить час свободы; сообщать ежечасно о ходе работ; о передовых и отстающих бригадах; о тех, кто мешает. Можно рекомендовать ещё такую оригинальную форму: беседа по радио с отдельными отказчиками и недобросовестными .

Ну и печать конечно, печать! — самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране — свобода печати: наличие печати в заключении! Да! А в какой стране это ещё возможно?

Газеты, во–первых, стенные, рукописные и, во–вторых, многотиражные. Утех и других— бесстрашные лагкоры, бичующие недостатки (заключённых), и эта самокритика поощряется Руководством. Насколько само Руководство придаёт значение вольной лагерной печати, говорит хотя бы приказ № 434 по Дмитлагу: «огромное большинство заметок остаётся без отклика». —

Газеты помещают и фото ударников. Газеты указывают. Газеты вскрывают. Газеты освещают и вылазки классового врага— чтобы крепче по ним ударили. (Газета— лучший сотрудник оперчекотдела.) И вообще газеты отражают лагерную жизнь, как она течёт, и являются неоценимым свидетельством для потомков.

Вот, например, газета архангельского домзака в 1931 году рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключённые: «плевательницы, пепельницы, клеёнка на столах, громкоговорящие радиоустановки, портреты вождей и ярко говорящие о генеральной линии партии лозунги на стенах— вот заслуженные плоды, которыми пользуются лишённые свободы!»

Да, дорогие плоды! И как же это отразилось на жизни лишённых свободы? Та же газета через полгода: «Все дружно, энергично принялись за работы… Выполнение промфинплана поднялось… Питание уменьшилось и ухудшилось».

Ну, это ничего. Это как раз ничего! Последнее— поправимо[341].

И куда, куда это кануло всё?.. О, как недолговечно на Земле всё прекрасное и совершенное! Такая

---

[341] Примечания: 341

Материал этой главы до сих пор — из сборника «От тюрем…» и из книги Авербах.

напряжённая бодрая оптимистическая система воспитания карусельного типа, вытекавшая из самых основ Передового Учения, обещавшая, что в несколько лет не останется ни одного преступника в нашей стране (30 ноября 1934 года особенно так казалось), — и куда же? Насунулся внезапно ледниковый период (конечно, очень нужный, совершенно необходимый!) — и облетели лепестки нежных начинаний. И куда сдуло ударничество и соцсоревнование? И лагерные газеты? Штурмы, сборы, подписки и субботники? Культсоветы и товарищеские суды? Ликбез и профтехкурсы? Да что там, когда громкоговорители и портреты вождей велели из зон убрать. (Да уж и плевательниц не расставляли.) Как сразу поблекла жизнь заключённых! Как сразу на десятилетия она была отброшена назад, лишившись важнейших революционно–тюремных завоеваний! (Но мы нисколько не возражаем: мероприятия партии были своевременные и очень нужные.)

Уже не стала цениться художественно–поэтическая форма лозунгов, и лозунги–то пошли самые простые: выполним! перевыполним! Конечно, эстетического воспитания, порхания муз никто прямо не запрещал, но очень сузились

его возможности. Вот, например, одна из воркутинских зон. Кончилась девятимесячная зима, наступило трёхмесячное, ненастоящее, какое–то жалкое лето. У начальника КВЧ болит сердце, что зона выглядит гадко, грязно. В таких условиях преступник не может по–настоящему задуматься о совершенстве нашего строя, из которого он сам себя исключил. И КВЧ объявляет несколько воскресников. В свободное время заключённые с большим удовольствием делают «клумбы»— не из чего–нибудь растущего, ничего тут не растёт, а просто на мёртвых холмиках вместо цветов искусно выкладывают мхи, лишайники, битое стекло, гальку, шлак и кирпичную щебёнку. Потом вокруг этих «клумб» ставят заборчики из штукатурной дранки. Хотя получилось не так хорошо, как в парке имени Горького, — но КВЧ и тем довольно. Вы скажете, что через два месяца польют дожди и всё смоет. Ну что ж, смоет. Ну что ж, на будущий год сделаем сначала.

Или во что превратились политбеседы? Вот на 5–й ОЛП Унжлага приезжает из Сухобезводного — лектор (это уже 1952). После работы загоняют заключённых на лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но политически вполне правильно читает нужную своевременную лек-

цию: «О борьбе греческих патриотов». Зэки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга, никакого интереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается лекция, встаёт Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая, и спрашивает: «Гражданин начальник! А скажить— а кому бы нам написать?..» И вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет.

Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ, так это: на заявлении заключённого начальнику сделать пометку о выполнении нормы и о его поведении, разнести по комнатам письма, выданные цензурой; подшивать газеты и прятать их от заключённых, чтоб не раскурили; раза три в год давать концерты самодеятельности; доставать художникам краски и холст, чтоб они зону оформляли и писали картины для квартир начальства. Ну, немножко помогать оперуполномоченному, но это неофициально.

После этого всего неудивительно, что и работниками КВЧ становятся не инициативные пламенные руководители, а так больше — при-

дурковатые, пришибленные.

Да! Вот ещё важная работа, вот: содержать ящики! Иногда их отпирать, очищать и снова запирать— небольшие буровато–окрашенные ящички, повешенные на видном месте зоны. А на ящиках надписи: «Верховному Совету СССР», «Совету министров СССР», «Министру Внутренних Дел», «Генеральному Прокурору».

Пиши, пожалуйста! — у нас свобода слова. А уж мы тут разберёмся, что куда кому. Есть тут особые товарищи, кто это читает.

* * *

Что ж бросают в эти ящики? помиловки?

Не только. Иногда и доносы (от начинающих)— уж там КВЧ разберётся, что их не в Москву, а в соседний кабинет. А ещё что? Вот неопытный читатель не догадается! Ещё — изобретения! Величайшие изобретения, которые должны перевернуть всю технику современности и уж во всяком случае своего автора освободить из лагеря.

Среди обычных нормальных людей изобретателей (как и поэтов)— гораздо больше, чем мы догадываемся. А в лагере их— сугубо. Надо же освобождаться! Изобретательство есть форма

побега, не грозящая пулею и побоями.

На разводе и на съёме, с носилками и с киркой, эти служители музы Урании (никакой другой ближе не подберёшь) морщат лоб и усиленно изобретают что–нибудь такое, что поразило бы правительство и разожгло его жажду.

Вот Лебедев из Ховринского лагеря, радист. Теперь, когда пришёл ему ответ–отказ, скрывать больше нечего, и он признаётся мне, что обнаружил эффект отклонения стрелки компаса под влиянием запаха чеснока. Отсюда он увидел путь модулировать высокочастотные колебания запахом и таким образом передавать запах на большие расстояния. Однако правительственные круги не усмотрели в этом проекте военной выгоды и не заинтересовались. Значит, не выгорело. Или оставайся горбить или придумывай что–нибудь лучшее.

А иного, правда, очень редко, — вдруг берут куда–то! Сам он не объяснит, не скажет, чтоб не испортить дела, и никто в лагере не догадывается: почему именно его, куда поволокли? Один исчезнет навсегда, другого, спустя время, привезут назад. (И тоже не расскажет теперь, чтоб не смеялись. Или напустит глубокого туману. Это в характере зэков: рассказами набивать себе

цену.)

Но мне, побывавшему на Райских островах, довелось посмотреть и второй конец провода: куда это приходит и как там читают. Тут я разрешу себе немного позабавить терпеливого читателя этой невесёлой книги.

Некий Трушляков, в прошлом советский лейтенант, контуженный в Севастополе, взятый там в плен, протащенный потом через Освенцим и от этого всего как бы немного тронутый, — сумел из лагеря предложить что–то такое интригующее, что его привезли в научно–исследовательский институт для заключённых (то есть на шарашку). Тут оказался он настоящим фонтаном изобретений, и едва начальство отвергало одно — он сейчас же выдвигал следующее. И хотя ни одного из этих изобретений он не доводил до расчёта, он был так вдохновенен, многозначителен, так мало говорил и так выразительно смотрел, что не только не смели заподозрить его в надувательстве, но друг мой, очень серьёзный инженер, настаивал, что Трушляков по глубине своих идей— Ньютон XX столетия. За всеми идеями его я, правда, не уследил, но вот поручено было ему разработать и изготовить поглотитель радара, им же и предложенный. Он потребовал помощи

по высшей математике, в качестве математика к нему прикомандировали меня. Трушляков изложил задачу так:

чтобы не отражать волн радара, самолёт или танк должен иметь покрытие из некоего многослойного материала (что это за материал, Трушляков мне не сообщил: он ещё сам не выбрал, либо это был главный авторский секрет). Электромагнитная волна должна потерять всю свою энергию при многократных преломлениях и отражениях вперёд и назад на границах этих слоев. Теперь, не зная свойств материала, но пользуясь законами геометрической оптики и любыми другими доступными мне средствами, я должен был доказать, что так всё оно и будет, как предсказывал Трушляков, — и ещё выбрать оптимальное количество слоев.

Разумеется, я ничего не мог поделать. Ничего не сделал и Трушляков. Наш творческий союз распался.

Вскоре мне как библиотекарю (в начале шарашки я был и библиотекарь) Трушляков принёс заказ на межбиблиотечный (из Ленинки) абонемент. Без указаний авторов и изданий там было:

«Что–нибудь из техники межпланетных путешествий».

Так как на дворе был только 1947 год, то почти ничего, кроме Жюля Верна, Ленинская библиотека ему предложить не могла. (О Циолковском тогда думали мало.) После неудачной попытки подготовить полёт на Луну Трушляков был сброшен в бездну— в лагеря.

А письма из лагерей всё шли и шли. Я был присоединён (на этот раз в качестве переводчика) к группе инженеров, разбиравших вороха пришедших из лагерей заявок на изобретения и на патенты. Переводчик нужен был потому, что многие документы в 1946–47 годах приходили на немецком.

Но это не были заявки! И не добровольные то были сочинения. Читать их было больно и стыдно. Это были вымученные, вытеребленные, выдавленные из немецких военнопленных странички. Ведь было ясно, что не век удастся держать этих немцев в плену: пусть через три, через пять лет после войны, но их придётся отпустить пасЪ derHeimat. Так следовало за эти годы вымотать из них всё, чем они могли быть полезны нашей стране. Хоть в этом бледном отображении получить патенты, увезенные в западные зоны Германии.

Я легко воображал, как это делалось. Ничего

не подозревающим исполнительным немцам велено сообщить: специальность, где работал, кем работал. Затем не иначе как оперче–кистская часть вызывала всех инженеров и техников по одному в кабинет. Сперва с уважительным вниманием (это льстило немцам) их расспрашивали о роде и характере их довоенной работы в Германии (и они уже начинали думать, не предстоит ли им вместо лагеря льготная работа). Потом с них брали письменную подписку о неразглашении (а уж что verboten, того немцы не нарушат). И наконец им выдвигалось жёсткое требование изложить письменно все интересные особенности их производства и важные технические новинки, применённые там. С опозданием понимали немцы, в какую ловушку попались, когда похвастались своим прежним положением! Они не могли теперь не написать ничего — их грозили за это никогда не отпустить на родину (и по тем годам это выглядело очень вероятно).

Угрызенные, подавленные, едва водя пером, немцы писали… Лишь то спасало их и избавляло от выдачи подлинных тайн, что невежественные оперчекисты не могли вникнуть в суть показаний, а оценивали их по числу страниц. Мы же, разбираясь, почти никогда не могли выловить

ничего существенного: показания были либо противоречивы, либо с напуском учёного тумана и пропуском самого важного, либо пре–серьёзно толковали о таких «новинках», которые и дедам нашим были хорошо известны.

Но те заявки, что были на русском языке, — каким же холопством они разили иногда! Можно опять–таки вообразить, как там, в лагере, в подаренное жалкое воскресенье авторы этих заявок, тщательно отгородясь от соседей, наверно лгали, что пишут помиловку. Могло ли хватить их ума предвидеть, что не ленивое сытое Руководство будет читать их каллиграфию, посланную на высочайшее имя, а такие же простые зэки.

И мы разворачиваем на шестнадцати больших страницах (это в КВЧ он бумагу выпрашивал) разработаннейшее предложение: 1) «Об использовании инфракрасных лучей по охране зон заключённых»; 2) «Об использовании фотоэлементов для подсчёта выходящих сквозь лагерную вахту». И чертежи приводит, сукин сын, и технические пояснения. А преамбула такая:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Хотя я за свои преступления осуждён по 58–й статье на долгий тюремный срок, но я и здесь остаюсь преданным своей родной советской

власти и хочу помочь в надёжной охране лютых врагов народа, окружающих меня. Если я буду вызван из лагеря и получу необходимые средства, я берусь наладить эту систему».

Вот так «политический»! Трактат обходит наши руки при восклицаниях и лагерном мате (тут все свои). Один из нас садится писать рецензию: проект технически малограмотен… проект не учитывает… не предусматривает (а он как раз очень предусматривает и совсем не плох)… не рентабелен… не надёжен… может привести не к усилению, а к ослаблению лагерной охраны…

Что тебе снится сегодня, Иуда, на далёком лагпункте? Дышло тебе в глотку, окочурься там, гад!

А вот пакет из Воркуты. Автор сетует, что у американцев есть атомная бомба, а у нашей Родины — до сих пор нет. Он пишет, что на Воркуте часто размышляет об этом, что из–за колючей проволоки ему хочется помочь партии и правительству. А поэтому он озаглавливает свой проект

РАЯ — Распад Атомного Ядра.

Но этот проект (знакомая картина) не завершён им из–за отсутствия в воркутинском лагере технической литературы (будто там есть художественная!). И этот дикарь просит пока выслать

ему всего лишь инструкцию по радиоактивному распаду, после чего он берётся быстро закончить свой проект РАЯ.

Мы покатываемся за своими столами и почти одновременно приходим к одному и тому же стишку:

Из этого РАЯ Не выйдет ни ... !

А между тем в лагерях изнурялись и гибли действительно крупные учёные, но не спешило Руководство нашего родного Министерства разглядеть их там и найти для них более достойное применение.

Александру Леонидовичу Чижевскому за весь его лагерный срок ни разу не нашлось место на шарашке. Чижевский и до лагеря был в СССР очень не в чести за то, что связывал земные революции, как и биологические процессы, с солнечной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы — неожиданны, не укладывались в удобный распорядок наук, и непонятно было, как использовать их для военных и индустриальных целей. После его смерти мы читаем теперь хвалебные статьи ему: установил возрастание инфарктов миокарда (в 16 раз) от магнитных бурь, давал прогнозы эпидемий гриппа, искал способы раннего обнаружения

рака по кривой РОЭ (реакция оседания эритроцитов), выдвинул гипотезу о Z–излучении Солнца.

Отец советского космоплавания Королёв был, правда, взят на шарашку, но как авиационник. Начальство шарашки не разрешило ему заниматься ракетами, и он занимался ими по ночам.

(Не знаем, взяли бы на шарашку Л.Ландау или спустили бы на дальние острова, — со сломанным ребром он уже признал себя немецким шпионом, но спасло его заступничество П.Капицы.)

Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум — Константин Иванович Страхович после этапа из ленинградской тюрьмы был в угличском лагере подсобным рабочим в бане. С искренне–детским смехом, который он удивительно пронёс через свою десятку, он теперь рассказывает об этом так. После нескольких месяцев камеры смертников ещё перенёс он в лагере дистрофический понос. После этого поставили его стражем при входе в мыльню, когда мылись женские бригады (против мужиков ставили покрепче, там бы он не выдюжил). Задача его была: не пускать женщин в мыльню иначе как голых и с пустыми руками, чтобы сдавали всё в прожарку, и паче и паче— лифчики и трусы, в которых санчасть

видела главную угрозу вшивости, а женщины старались именно их не сдать и пронести через баню. А вид у Стра–ховича такой: борода—лорда Кельвина, лоб — утёс, чело двойной высоты, и лбом не назовёшь. Женщины его и просили, и поносили, и сердились, и смеялись, и звали на кучу веников в угол— ничто его не брало, и он был беспощаден. Тогда они дружно и зло прозвали его Импотентом. И вдруг этого Импотента увезли куда–то, ни много ни мало — руководить первым в стране проектом турбореактивного двигателя.

А кому дали погибнуть на общих— о тех мы не знаем…

А кого арестовали и уничтожили в разгар научного открытия (как Николая Михайловича Орлова, ещё в 1936 разработавшего метод долгого хранения пищевых продуктов), — тех тоже откуда нам узнать? Ведь открытие закрывали вслед за арестом автора.

* * *

В смрадной бескислородной атмосфере лагеря то брызнет и вспыхнет, то еле светится коптящий огонёк КВЧ. Но и на такой огонёк стягиваются из разных бараков, из разных бригад— люди. Одни с прямым делом вырвать из книжки или

газеты на курево, достать бумаги на помиловку или написать здешними чернилами (в бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком: ведь чернилами фальшивые печати ставятся!). А кто — распустить цветной хвост: вот я культурный! А кто — потереться и потрепаться меж новых людей, не надоевших своих бригадников. А кто — послушать да куму стукнуть. Но ещё и такие, кто сами не знают, зачем необъяснимо тянет их сюда, уставших, на короткие вечерние полчаса, вместо того чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу.

Эти посещения КВЧ незаметными, не наглядными путями вносят в душу толику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь, и в этом–то есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком–то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых оголодавших затрёпанных людей. Здесь говорят и о какой–то неописуемо блаженной, подвижно–свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как–то не попасть в тюрьму. И— об искусстве рассуждают здесь, да иногда как

ворожебно!

Как будто среди разгула нечистой силы кто–то обвёл по земле слабосветящийся мреющий круг — и он вот–вот погаснет, но пока не погас— тебе чудится, что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса.

Да ещё ведь здесь кто–то на гитаре перебирает. Кто–то напевает вполголоса— совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожит в тебе: жизнь— есть! она—есть! И, счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому–то что–то выразить.

Однако говори, да остерегись. Слушай, да ущипни себя. Вот Лёва Г–ман. Он и изобретатель (недоучившийся студент автодорожного, собирался сильно повысить к.п.д. двигателя, да бумаги отобрали при обыске). Он и артист, вместе с ним мы «Предложение» ставим чеховское. Он и философ, красивенько так умеет: «Я не желаю заботиться о будущих поколениях, пусть они сами ковыряются в земле. За жизнь я вот так держусь!» — показывает он, впиваясь ногтями в дерево стола. «Верить в высокие идеи? — это говорить по телефону с оторванным проводом. История— бессвязная цепь фактов. Отдайте мне мой хвост! Амёба — совершеннее человека: у неё более простые функции». Его заслушаешь-

ся: подробно объяснит, почему ненавидит Льва Толстого, почему упивается Эренбургом и Александром Грином. Он и покладистый парень, не чуждается в лагере тяжёлой работы: долбит шлямбуром стены, правда, в такой бригаде, где 140% обеспечены. Отец у него посажен и умер в 37–м, но сам он бытовик, сел за подделку хлебных карточек, однако стыдится мошеннической статьи и жмётся к Пятьдесят

Восьмой. Жмётся–жмётся, но вот начинаются лагерные суды, и такой симпатичный, такой интересный, «так державшийся за жизнь» Лёва Г–ман выступает свидетелем обвинения[342]. Хорошо, коли ты ему не слишком много говорил.

Если в лагере есть чудаки (а они всегда есть), то уж никак их путь не минует КВЧ, заглянут они сюда обязательно.

Вот профессор Аристид Иванович Доватур — чем не чудак? Петербуржец, румыно–французского происхождения, классический филолог, отроду и довеку холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря, как кота от мясного, и посадили в лагерь. В душе его всё ещё— недоистолкованные тексты, ив лагере он— как во сне.

---

[342] Примечания: 342

А все, кто слишком «держатся за жизнь», никогда особенно не держатся за дух.

Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи, устроили на завидную должность медстатистика, а ещё раза два в месяц не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров поручают Доватуру читать им лекции! Это в лагере–то — по латыни! Аристид Иванович становится к маленькой досочке — и сияет, как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладострастно стучит. Он так тихо, так хорошо устроен— но гремит беда и над его головой: начальник лагеря усмотрел в нём редкость — честного человека. И назначает… завпеком (заведующим пекарней)! Самая заманчивая из лагерных должностей! Завхлебом — зав–жизнью! Телами и душами лагерников изостлан путь к этой должности, но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес — Доватур же раздавлен ею. Неделю он ходит как приговорённый к смерти, ещё не приняв пекарни. Он умоляет начальника пощадить его и оставить жить, иметь нестеснённый дух и латинские спряжения! И приходит помилование: на зав–пека назначен очередной жулик.

А вот этот чудак— всегда в КВЧ после работы,

где ж ему быть ещё. У него большая голова, крупные черты, удобные для грима, хорошо видные издалека. Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это— Камилл Леопольдович Гонтуар. Впервые революционные годы он приехал из Бельгии в Петроград создавать Новый Театр, театр будущего. Кто ж тогда мог предвидеть и как пойдет это будущее, и как будут сажать режиссёров? Обе Мировые войны Гонтуар провоевал против немцев: Первую — на Западе, Вторую — на Востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине… Какой?.. Когда?..

Но уж конечно самые заметные люди при КВЧ — художники. Они тут хозяева. Если есть отдельная комната— это для них. Если кого освободят от общих напостоянку—то только их. Изо всех служителей муз одни они создают настоящие ценности— те, что можно руками пощупать, в квартире повесить, за деньги продать. Картину пишут они, конечно, не из головы—да это с них и не спрашивают, разве может выйти хорошая картина из головы Пятьдесят Восьмой? А просто пишут большие копии с открыток— кто по клеточкам, а кто и без клеточек справляется.

И лучшего эстетического товара в таёжной и тундреной глуши не найдёшь, только пиши, а уж куда повесить— знаем. Даже если не понравится сразу. Придёт помкомвзвод Вохры Выпирайло, посмотрит на копию Деуля «Нерон–победитель»:

— Эт чего? Жених едет? А что он смурной какой?.. — и возьмёт всё равно. Малюют художники и ковры с красавицами, плавающими в гондолах, с лебедями, закатами и замками— всё это очень хорошо потребляется товарищами офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коврики и для себя, и надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще, художникам жить в лагере можно.

Скульпторам — хуже. Скульптура для кадров МВД— не такая красивая, не привычная, чтобы поставить, да и место занимает мебели, а толкнёшь— разобьётся. Редко работают в лагере скульпторы, и уж обычно по совместительству с живописью, как Недов. И то зайдёт майор Бакаев, увидит статуэтку матери:

— Ты что это плачущую мать сделал? В нашей стране матери не плачут! — и тянется разбить фигуру.

Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным поняти-

ям ещё и небитый фрей, взял в Бескудниковский подмосковный лагерь из дому собственный рояль (неслыханное событие на Архипелаге)! Взял как бы для укрепления культмассовой работы, а на самом деле — чтобы самому сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене, и после отбоя он там играл при свече (электричество выключали). Однажды он так играл, записывал свою новую сонату и вздрогнул от голоса сзади:

— Кан–да–лами ваша музыка пахнет!

Клемпнер вскочил. От стены, где стоял, подкравшись, теперь двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый чекист, — и за ним росла его гигантская чёрная тень. Теперь–то понял майор, зачем этот обманщик выписал рояль. Он подошёл, взял нотную запись и молча, мрачно стал жечь на свече.

— Что вы делаете? — не мог не вскрикнуть молодой композитор.

— Туда вашу музыку! — ещё более определённо назначил через стиснутые зубы майор.

Пепел отпал от листа и мягко опустился на клавиши.

Старый чекист не ошибся: эта соната действи-

тельно писалась о лагерях[343].

Если объявится в лагере поэт, — разрешается ему под карикатурами на заключённых делать подписи и сочинять частушки — тоже про нарушителей дисциплины.

Другой темы ни у поэта, ни у композитора быть не может. И для начальства своего они не могут сработать ничего ощутимого, полезного, в руки взять.

А прозаиков и вовсе в лагере не бывает, потому что не должно их быть никогда.

Когда русская проза ушла в лагеря, —

догадался советский поэт. Ушла— да назад не пришла. Ушла— да не выплыла…

Обо всём объёме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, — нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожжённых перед этапом, о готовых отрывках и о больших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мёрзлый общий могильник. Ещё стихи читаются губами к уху, ещё

---

[343] Примечания: 343

Вскоре нашли повод мотать Володе новое лагерное дело и послали его на следствие в Бутырки. В свой лагерь он больше не вернулся, и рояля ему назад, разумеется, не выдали. Да и выжил ли он сам? — не знаю, что–то нет его.

запоминаются и передаются они или память о них— но прозу не рассказывают прежде времени, ей выжить трудней, она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратности Архипелага. Кто может в лагере решиться писать? Вот А. Белинков написал — и досталось куму, а ему— срок рикошетом. Вот М.И. Калинина, никакая не писательница, всё же в записную книжку записывала применательное из лагерной жизни: «авось кому–нибудь пригодится». Но— попало к оперу. А её— в карцер (и дёшево ещё отделалась). Вот Владимир Сергеевич Горшунов, будучи бесконвойным, там, за зоной где–то, писал четыре месяца лагерную летопись— но в опасную минуту зарыл в землю, а сам оттуда был угнан навсегда, — так и осталась в земле. И в зоне нельзя, и за зоной нельзя, где же можно? В голове только! но так пишутся стихи, не проза.

Сколько погибло нас, питомцев Клио и Каллиопы, нельзя никакой экстраполяцией рассчитать по нескольким уцелевшим нам— потому что не было вероятности выжить и нам. (Перебирая, например, свою лагерную жизнь, я уверенно вижу, что должен был на Архипелаге умереть — либо уж так приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное обстоя-

тельство — математика. Как это использовать при подсчётах?)

Всё то, что называется нашей прозой с 30–х годов, — есть только пена от ушедшего в землю озера. Это — пена, а не проза, потому что она освободила себя ото всего, что было главное в тех десятилетиях. Лучшие из писателей подавили в себе лучшее и отвернулись от правды — и только так уцелели сами и книги их. Те же, кто не мог отказаться от глубины, особенности и прямизны, — неминуемо должны были сложить голову в эти десятилетия — чаще всего через лагерь, иные через безрассудную смелость на фронте.

Так ушли в землю прозаики–философы. Прозаики–историки. Прозаики–лирики. Прозаики–импрессионисты. Прозаики–юмористы.

А между тем именно Архипелаг давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть — и для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем смысле открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь.

Я осмелюсь пояснить эту мысль в самом общем виде. Сколько ни стоит мир, до сих пор всегда были два несливаемых слоя общества: верхний

и нижний, правящий и подчинённый. Это деление грубо, как все деления, но если к верхним относить не только высших по власти, деньгам и знатности, но также и по образованности, полученной семейными ли, своими ли усилиями, одним словом, всех, кто не нуждался работать руками, — то деление будет почти сквозным.

И тогда мы можем ожидать существования четырёх сфер мировой литературы (и искусства вообще, и мысли вообще). Сфера первая: когда верхние изображают (описывают, обдумывают) верхних же, то есть себя, своих. Сфера вторая: когда верхние изображают, обдумывают нижних, «младшего брата». Сфера третья: когда нижние изображают верхних. Сфера четвёртая: нижние — нижних, себя.

У верхних всегда был досуг, избыток или скромный достаток, образование, воспитание. Желающие из них всегда могли овладеть художественной техникой и дисциплиной мысли. Но есть важный закон жизни: довольство убивает в человеке духовные поиски. Оттого сфера первая заключала в себе много сытых извращений искусства, много болезненных и самолюбивых «школ» — пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали писатели, глубоко несчастные лично

или с непомерным напором духовного поиска от природы, — создавалась великая литература.

Сфера четвёртая— это весь мировой фольклор. Здесь был дробен досуг— дифференциалами доставался он отдельным личностям. И дифференциалами были безымянные вклады— непреднамеренно, в удачную минуту прозрением сложившийся образ, оборот слов. Но самих творцов было бесчисленно много, и это были почти всегда утеснённые, неудовлетворённые люди. Всё созданное проходило потом стотысячную отборку, промывку и шлифовку от уст к устам и от года к году. И так получили мы золотое отложение фольклора. Он не бывает пуст, бездушен— потому что среди авторов его не было не знакомых со страданием. Относящаяся же к сфере четвёртой письменность («пролетарская», «крестьянская») — вся зародышевая, неопытна, неудачна, потому что единичного умения здесь всегда не хватало.

Теми же пороками неопытности страдала и письменность сферы третьей («снизу вверх»), но пуще того— она была отравлена завистью и ненавистью — чувствами бесплодными, не творящими искусства. Она делала ту же ошибку, что и постоянная ошибка революционеров:

приписывать пороки высшего класса— ему, а не человечеству, не представлять, как успешно они сами потом эти пороки наследуют. Или же, напротив, была испорчена холопским преклонением.

Морально самой плодотворной обещала быть сфера вторая («сверху вниз»). Она создавалась людьми, чья доброта, порывы к истине, чувство справедливости оказывались сильней их дремлющего благополучия и одновременно чьё художество было зрело и высоко. Но вот был порок этой сферы: неспособность понять доподлинно. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали — но именно потому они не могли точно понять. Они всегда смотрели со стороны и сверху, они никак не были в шкуре нижних, и кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй.

Видно, уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощения этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В Архипелаге же ГУЛАГе этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу.

Миллионы русских интеллигентов бросили сюда не на экскурсию: на увечья, на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое

множество людей развитых, зрелых, богатых культурой оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтёра. Так впервые в мировой истории (в таких масштабах) слились опыт верхнего и нижнего слоев общества! Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних: жалость. Жалость двигала благородными со–болезнователями прошлого (и всеми просветителями) — и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят этой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом доосновное рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех.

Только у интеллигентных зэков Архипелага эти угрызения наконец отпали: они полностью делили злую долю народа! Только сам став крепостным, русский образованный человек мог теперь (да если поднимался над собственным горем) писать крепостного мужика изнутри.

Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а оперчеки–

сты— в глаза…

Опыт верхнего и нижнего слоев слились — но носители слившегося опыта умерли…

Так невиданная философия и литература ещё при рождении погреблись под чугунной коркой Архипелага.

* * *

А гуще всего среди посетителей КВЧ — участников художественной самодеятельности. Это отправление — руководить самодеятельностью— осталось и за одряхлевшим КВЧ, как было за молодым[344]. На отдельных островах возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами, но не закономерными, как морские, а судорожно, по причинам, которые знало начальство, а зэки нет, может быть, начальнику КВЧ раз в полгода что–то надо было в отчёте поставить, может быть, ждали кого–нибудь сверху.

На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ (которого и в зоне–то обычно не видно,

[344] Примечания: 344

Всеобщая забота о художественной самодеятельности в нашей стране, на что уходят не такие уж малые средства, имеет, конечно, умысел, но какой? Сразу не скажешь. То ли— оставшаяся инерция от однажды провозглашённого в 20–е годы. То ли как спорт, обязательное средство отвлечения народной энергии и интереса. То ли верит кто–то, что эти песенки и скетчи содействуют нужной обработке чувств?

вместо него всё крутит заключённый воспитатель) вызывает аккордеониста и говорит ему:

— Вот что. Обеспечь хор![345] И чтоб через месяц выступать.

— Так я ж нот не знаю, гражданин начальник!

— А на черта тебе ноты? Ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть подпевают.

И объявляется набор, иногда вместе с драмкружком. Где ж им заниматься? Комната КВЧ для этого мала, надо попросторней, а уж клубного зала, конечно, нет. Обычен для этого удел лагерных столовых— постоянно провонявшихся паром баланды, запахом гнилых овощей и варёной трески. В одной стороне столовой— кухня, а в другой— или постоянная сцена или временный помост. Здесь–то после ужина и собираются хор и драмкружок. (Обстановка— как на рисунке А.Д. Голядкина (фото 32). Только художник изобразил не свою местную самодеятельность, а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних доходяг — и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у

[345] Примечания: 345

В первостепенном воспитательном значении именно хора политическое начальство и в армии и на воле убеждено суеверно. Остальная самодеятельность хоть захирей, но чтобы был хор! — поющий коллектив. Песни легко проверить, все наши. А что поёшь — в то и веришь.

крепостных артисток.)

Чем же заманить в самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне может быть есть три–четыре настоящих любителя пения, — но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Назначенный хормейстером А. Сузи удивлялся, как непомерно растёт его хор, так что ни одной песни он не может разучить до конца, — валят всё новые и новые участники, голосов никаких, никогда не пели, но все просятся, и как было бы жестоко им отказать, не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству! Однако на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. (А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя передвигаться по зоне — на репетицию и с репетиции, и вот в эти–то два часа они своё добирали.)

Не хитро было и такому случиться: перед самым концертом единственного в хоре баса отправляли на этап (этап шёл не по тому ведомству, что концерт), а хормейстера (того же Сузи) отзывал начальник КВЧ и говорил:

— Что вы потрудились — мы это ценим, но на концерт мы вас выпускать не можем, потому что Пятьдесят Восьмая не имеет права руководить

хором. Так подготовьте себе заместителя: руками махать— это ж не голос, найдёте.

А для кого–то хор и драмкружок были не просто местом встречи, но опять–таки подделкой под жизнь, или не подделкой, а напоминанием, что жизнь всё–таки бывает, вообще — бывает… Вот приносится со склада грубая бурая бумага от мешка с крупой — и раздаётся для переписки ролей. Заветная театральная процедура! А само распределение ролей! А соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться! Кто что наденет! Как загримируется! Как будет интересно выглядеть! В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платьи и с румянцем на щеках.

Очень интересно обо всём этом мечтать, но, Боже мой, — пьесы! Что там за пьесы! Эти специальные сборники, помеченные грифом «только внутри ГУЛАГа»! Почему же — только? Не кроме воли ещё и в ГУЛАГе, а— только в ГУЛАГе?.. Это значит: уж такая наболтка, такое свиное пойло, что и на воле его не хлебают, так лей сюда. Это уж самые глупые и бездарные из авторов пристроили свои самые мерзкие и вздорные пьесы! А кто бы захотел поставить чеховский водевиль или другое что–нибудь — так ведь ещё эту пьесу

где найти? Её и у вольных во всём посёлке нет, а в лагерной библиотеке есть Горький, да и то страницы на курево вырваны.

Вот в Кривощёковском лагере собирает драмкружок Н. Да–виденков, литератор. Достаёт он откуда–то пьеску необычайную: патриотическую, о пребывании Наполеона в Москве (дауж наверно на уровне ростопчинских афишек). Распределили роли, с энтузиазмом кинулись репетировать — кажется, что бы могло помешать? Главную роль играет Зина, бывшая учительница, арестованная после того, как оставалась на оккупированной территории. Играет хорошо, режиссёр доволен. Вдруг на одной из репетиций— скандал: остальные женщины восстают против того, чтобы Зина играла главную роль. Сам по себе случай традиционный, и режиссёр может с ним справиться. Но вот что кричат женщины: «Роль патриотическая, а она на оккупированной территории с немцами … ! Уходи, гадюка! Уходи, б… немецкая, пока тебя не растоптали!» Эти женщины — социально–близкие, а может быть, и из Пятьдесят Восьмой, да только пункт не изменнический. Сами ли они придумали, подучила ли их оперчасть? Но режиссёр, при своей статье, не может защитить артистку… И Зина уходит в

рыданьях.

Читатель сочувствует режиссёру? Читатель думает, что вот кружок попал в безвыходное положение, и кого ж теперь ставить на роль героини, и когда ж её учить? Но нет безвыходных положений для оперчекистской части. Они запутают— они ж и распутают! Через два дня и самого Давиденкова уводят в наручниках: за попытку передать за зону что–то письменное (опять летопись?), будет новое следствие и суд.

Это — лагерное воспоминание о нём. С другой стороны, случайно выяснилось: Л.К.Чуковская знала Колю Давиденкова по тюремным ленинградским очередям 1939 года, когда он по концу ежовщины был оправдан обыкновенным судом, а его одноделец Л. Гумилёв продолжал сидеть. В институте молодого человека не восстановили, взяли в армию. В 1941 под Минском он попал в плен.

О жизни его в годы войны Л. Чуковская имела сведения неверные, а на Западе меня поправили люди, знавшие тут его. Кто уходил из лагеря военнопленных, и все сгорали тут, в месяц, год, а Давиденков и вдвое: был капитаном РОА, сражался, успел жениться (Вера Ушакова, осталась с сыном на Западе) и книги писал, видимо, не

одну — и о ленинградских застенках 1938, и «Предатель», военного времени повесть под псевдонимом Анин. Но в конце войны попал в советские лапы. Может быть, не всё о нём было известно — приговорили к расстрелу но заменили на 25 лет. Очевидно, по второму лагерному делу он получил расстрел, уже не заменённый (уже возвращённый нам Указом января 1950).

В мае 1950 Давиденков сумел послать своё последнее письмо из лагерной тюрьмы. Вот несколько фраз оттуда: «Невозможно описывать невероятную мою жизнь за эти годы… Цель у меня другая: за 10 лет кое–что у меня сделано; проза, конечно, вся погибла, а стихи остались. Почти никому я их ещё не читал — некому. Вспомнил наши вечера у Пяти Углов и… представил себе, что стихи должны попасть… в Ваши умные иумелые руки… Прочтите и, если можно, сохраните. О будущем, так же, как о прошедшем, — ни слова, всё кончено». И стихи у Л. К. целы. Как я узнаю (сам так лепил) эту мелкость— три десятка стихов на двойном тетрадном листе — в малом объёме надо столько вместить! Надо представить это отчаяние у конца жизни; ожидание смерти в лагерной тюрьме! И «левой» почте он доверяет свой последний безнадёжный крик.

Не надо чистого белья,
Не открывайте дверь!
Должно быть, в самом деле я
Заклятый дикий зверь!
Не знаю, как мне с вами быть
И как вас величать:
По–птичьи петь, по–волчьи выть,
Реветь или рычать… ?

Итак, никого назначать на главную роль не нужно. Наполеон не будет ещё раз посрамлён, русский патриотизм— ещё раз восславлен. Пьесы вообще не будет. Не будет и хора. И концерта не будет. Итак, самодеятельность пошла в отлив. Вечерние сборы в столовой и любовные встречи прекращаются. До следующего прилива.

Так судорогами она и живёт.

А иногда уже всё отрепетировано, и все участники уцелели, и никто перед концертом не арестован, но начальник КВЧ майор Потапов (СевЖелДорлаг), комяк, берёт программу и видит: «Сомнение» Глинки.

— Что–что? Сомнение? Никаких сомнений! Нет–нет, и не просите! — и вычёркивает своей рукой.

А я надумал прочесть мой любимый монолог Чацкого — «А судьи кто?» Я с детства привык его

читать и оценивал чисто декламационно, я не замечал, что он — о сегодняшнем дне, у меня и мысли такой не было. Но не дошло до того, чтобы писать в программе «А судьи кто?», и вычеркнули бы, — пришёл на репетицию начальник КВЧ и подскочил уже на строчке:

К свободной жизни их вражда непримирима. Когда же я прочёл:

Где, укажите нам, отечества отцы… Не эти ли, грабительством богаты?.. —

он и ногами затопал и показывал, чтоб я сию минуту со сцены убирался.

Я в юности едва не стал актёром, только слабость горла помешала. Теперь же, в лагере, то и дело выступал в концертах, тянулся освежиться в этом коротком неверном забвении, увидеть близко женские лица, возбуждённые спектаклем. А когда услышал, что существуют в ГУЛАГе особые театральные труппы из зэков, освобождённых от общих работ, — подлинные крепостные театры! — возмечтал я попасть в такую труппу и тем спастись и вздохнуть легче.

Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛК, и в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был — ховринский крепостной театр полковника МВД

Ма–мулова. Мамулов следил ревниво, чтоб никто из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через Красную Пресню. Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика: у меня лучше театр, чем у соседа! В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг к другу в гости, хвастаться. На одном таком спектакле Михаил Грин–вальд забыл, в какой тональности аккомпанировать певице. Мамулов тут же отпустил ему 10 суток холодного карцера, где Гринвальд заболел.

Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, в Магадане, на всех крупных гулаговских островах. Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими, они давали в городском здании спектакли для вольных. В первых рядах надменно садились с жёнами самые крупные местные эмведешники и смотрели на своих рабов с любопытством и презрением. А конвоиры сидели с автоматами за кулисами и в ложах. После концерта артистов, отслушавших аплодисменты, везли в лагерь, а провинившихся— в карцер. Иногда и

аплодисментами не давали насладиться. В магаданском театре Никишов, начальник Дальстроя, обрывал Вадима Козина, широко известного тогда певца: «Ладно, Козин, нечего раскланиваться, уходи!» (Козин пытался повеситься, его вынули из петли.)

В послевоенные годы через Архипелаг прошли артисты с известными именами: кроме Козина— артистки кино То–карская, Окуневская, Зоя Фёдорова. Много шума было на Архипелаге от посадки Руслановой, шли противоречивые слухи, на каких она сидела пересылках, в какой лагерь отправлена. Уверяли, что на Колыме она отказалась петь и работала в прачечной. Не знаю.

Кумир Ленинграда тенор Печковский в начале войны попал под оккупацию на своей даче под Лугой, затем при немцах давал концерты в Прибалтике. (Его жену, пианистку, тотчас же арестовали в Ленинграде, она погибла в Рыбинском лагере.) После войны Печковский получил десятку за измену и отправлен в ПечЖелДорлаг. Там начальник содержал его как знаменитость: в отдельном домике с двумя приставленными дневальными, в паёк ему входили сливочное масло, сырые яйца и горячий портвейн. В гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к

жене начальника режима. Там он пел, но однажды, говорят, взбунтовался: «Я пою для народа, а не для чекистов» — и так попал в Особый Минлаг. (После срока ему уже не пришлось подняться к прежним концертам в Ленинграде.)

Известный пианист Всеволод Топилин не был пощажён при сгоне московского народного ополчения и брошен с берданкой 1866 года в вяземский мешок[346]. Но в плену его пожалел поклонник музыки немецкий майор, комендант лагеря, — он помог ему оформиться остовцем и так начать концертировать. За это, разумеется, Топилин получил у нас стандартную десятку. (После лагеря он тоже не поднялся.)

Ансамбль Московского УИТЛК, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, а жил на Матросской Тишине, вдруг переведен был на время к нам, на Калужскую заставу. Какая удача! Вот теперь–то я с ними познакомлюсь, вот теперь–то я к ним пробьюсь!

О, странное ощущение! Смотреть в лагерной

---

[346] Примечания: 346

Весь этот перепуг с ополчением— какая же осатанелая паника! Бросать городских интеллигентов с берданками прошлого века против современных танков! Двадцать лет дмились, что «готовы», что сильны, — но в животном ужасе перед наступающими немцами заслонялись телами учёных и артистов, чтоб только уцелело лишние дни своё руководящее ничтожество.

столовой постановку профессиональных актёров–зэков! Смех, улыбки, пение, белые платьица, чёрные сюртуки… Но— какие сроки у них? Но по каким статьям они сидят? Героиня — воровка? или — по «общедоступной»? Герой — дача взятки? или «семь восьмых»? У обычного актёра перевоплощение только одно — в роль. Здесь двойная игра, двойное перевоплощение: сперва изобразить из себя свободного артиста, а потом — изобразить роль. И этот груз тюрьмы, это сознание, что ты — крепостной, что завтра же гражданин начальник за плохую игру или за связь с другой крепостной актрисой может послать тебя в карцер, на лесоповал или услать за десять тысяч вёрст на Колыму, — каким дополнительным жерновом должно оно лечь к тому грузу, который актёр–зэк разделяет с вольными, — к разрушительному, с напряжением лёгких и горла проталкиванию через себя драматизованной советской пустоты, механической пропаганды неживых идей?

Героиня ансамбля Нина В. оказалась по 58–10, пять лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого — её и моего учителя на искусствоведческом отделении МИФЛИ. Она была недоучившаяся студентка, молода совсем. Злоупотребляя права-

ми артистки, портила себя косметикой и теми гадкими накладными ватными плечами, которыми тогда на воле все женщины себя портили, женщин же туземных миновала эта участь, и плечи их развивались только от носилок.

В ансамбле у Нины был, как у всякой примы, свой возлюбленный (танцор Большого театра), но был ещё и духовный отец в театральном искусстве— Освальд Глазунов (Глазнек), один из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были (может, и хотели быть) захвачены немцами на даче под Истрой. Три года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по десятке за измену большой Родине. Теперь оба были в ансамбле.

Изольда Викентьевна Глазнек уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели её в каком–то необычном для нашего времени танце, назвал бы я его импрессионистическим, да боюсь не угодить знатокам. Танцевала она в посеребренном тёмном закрытом костюме на полуосвещённой сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев — показ женского тела, и на этом почти всё. А её танец был какое–то духовное мистическое на-

поминание, чем–то перекликался с убеждённой верой И.В. в переселение душ.

А через несколько дней внезапно, по–воровски, как всегда готовятся этапы на Архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность.

Это у помещиков–крепостников была жестокость, варварство: разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Ну зато ж и досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто разумная мера: старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную единицу.

В день этапа жены Освальд пришёл к нам в комнату (уродов) с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приёмной дочери, как будто только одна она ещё его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустя голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать всю жизнь: создавал зачем–то два театра, из–за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он теперь прожить иначе…

Я скульптурно запомнил их: как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из–под руки, не шевелясь, смотрела на него сострадающе и

старалась не плакать.

Ну да что говорить, — старуха не оправдывала своей пайки…

Сколько я ни бился — попасть в тот ансамбль мне не удалось. Вскоре они уехали с Калужской, и я потерял их из виду. Годом позже в Бутырках дошёл до меня слух, что ехали они на грузовике на очередной концерт и попали под поезд. Не знаю, был ли там Глазнек. В отношении же себя я ещё раз убедился, что неисповедимы пути Господни. Что никогда мы сами не знаем, чего хотим. И сколько уже раз в жизни я страстно добивался ненужного мне и отчаивался от неудач, которые были удачами.

Остался я в скромненькой самодеятельности на Калужской с Анечкой Бреславской, Шурочкой Острецовой и Лёвой Г–маном. Пока нас не разогнали и не разослали, мы что–то там ставили. Своё участие в этой самодеятельности я вспоминаю сейчас как духовную неокреплость, как унижение. Ничтожный лейтенант Миронов мог в воскресенье вечером, не найдя других развлечений в Москве, приехать в лагерь навеселе и приказать: «Хочу через десять минут концерт!» Артистов поднимали с постели, отрывали от лагерной плиты, кто там сладострастно что–то

варил в котелке, — и вскоре на ярко освещенной сцене перед пустым залом, где только сидел надменный глупый лейтенант да тройка надзирателей, мы пели, плясали и изображали.

Глава 19. ЗЭКИ КАК НАЦИЯ

(Этнографический очерк Фан Фаныча)

В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие.

При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с Передовым Учением.

Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего Архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал.

В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что зэки Архипелага составляют класс общества. Ведь эта многочисленная (многомиллионная) группа людей имеет единое (общее для всех них) отношение к производству (именно: подчинённое, закреплённое и без всяких прав этим производством руководить). Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда (именно: никакого отношения, получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования). Кроме того, вся работа их— не мелочь, а одна из главных составных

частей всей государственной экономики[347].

По нашему честолюбию этого уже мало.

Гораздо сенсационнее было бы доказать, что эти опустившиеся существа (в прошлом — безусловно люди) являются совсем иным биологическим типом по сравнению с Homo sapiens. (Может быть как раз — недостающим для теории эволюции промежуточным звеном.) Однако эти выводы у нас ещё не все готовы. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков (уж не используем затрёпанного по метафорам волка) и оказалось бы, что телесно он выдюживает (кто сразу ножки съёжит, с того и спроса нет), — так вот мог ли бы он, ведя новую жизнь, всё же остаться среди барсуков— человеком? Думаем, что нет, так и стал бы барсуком: и шерсть бы выросла, и заострилась морда, и уже не надо было бы ему вареного–жареного, а вполне бы он лопал сырое.

---

[347] Примечания: 347

Этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они — либо порознь томящиеся одиночки и вовсе не работают, либо — немногочисленные гнёзда каторги, труд которых почти не отзывается на экономике своей страны.

Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться, или немедленно умереть, — что мнёт и жуёт характер его куда решительней, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир.

Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе такую ограниченную задачу: доказать, что зэки составляют особую отдельную нацию.

Почему в обычной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально перемешанно с другими классами, встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривают, и обмениваются идеями через голос и через печать. Зэки живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах, их жизнь проходит в общении только друг с другом (вольных работодателей большинство их даже не видит, а когда видит, то ничего, кроме приказаний и ругательств, не слышит). Ещё углубляется их отобщённость тем, что у большинства нет ясных возможностей покинуть

это состояние прежде смерти, то есть выбиться в другие, более высокие классы общества.

Кто из нас ещё в средней школе не изучал широко известного единственно–научного определения нации, данного товарищем Сталиным: нация — это исторически сложившаяся (но не расовая, не племенная) общность людей, имеющих общую территорию; общий язык; общность экономической жизни; общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы Архипелага вполне удовлетворяют! — и даже ещё гораздо больше! (Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово–племенная общность крови совсем не обязательна.)

Наши туземцы занимают вполне определённую общую территорию (хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы этому не удивляемся), где другие народы не живут. Экономический уклад их однообразен до поразительности: он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах (котловка и указание бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства). Если

включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах (но нигде больше!), что переброшенные с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте («питаться на научной основе, воровать как сумеешь»). Они едят пищу, которой никто больше на земле не ест, носят одежду, которой никто больше не носит, и даже распорядок дня у них— един по всем островам и обязателен для каждого зэка. (Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единые распорядок дня, пищу и одежду?)

Что понимается в научном определении нации под общностью культуры — там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от зэков по той причине, что у них нет письменности. (Но ведь это — почти у всех островных туземных народов, у большинства— по недостатку именно культуры, у зэков— по избытку цензуры.) Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке— общность психологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чём можно только мечтать другим народам и что не оговорено в научном

определении нации. Именно ясно выраженный народный характер сразу замечает исследователь у зэков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их ещё один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с языком и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином матерщина (от латинского mater). Это — та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства[348]. Постоянное психологическое состояние зэков получает наилучшую разрядку и находит себе наиболее адекватное выражение именно в этой высокоорганизованной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план. Но и в нём мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавии.

Язык туземцев Архипелага без особого изучения так же непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. (Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как:

---

[348] Примечания: 348

Экономность этого способа общения заставляет задуматься, нет ли тут зачатков Языка Будущего?

— сблочивай лепёнь!
— я ещё клыкаю;
— дать набой (о чём);
— лепить от фонаря;
— петушок к петушку, раковые шейки в сторону!?)

Всё сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на Архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека.

Предвидим такое возражение. Нам скажут: но народ ли это, если он пополняется не обычным способом деторождения? (Кстати, в единственно–научном определении нации это условие не оговорено!) Ответим: да, он пополняется техническим способом посадки (а своих собственных детёнышей по странной прихоти отдаёт соседним народам). Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе — и мы же не перестаём от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом?

Но если даже возникает какое–то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его прекращают, сомненья быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд

их мрачен, скуп и жесток.

Два слова о самом термине зэки. До 1934 года официальный термин был лишённые свободы. Сокращалось это «л/с», и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как «элэ–сов»— свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заключённые» (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть и даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы, чем тюрьмы). Сокращённо стали писать: для единственного числа «з/к» (зэ–ка), для множественного — «з/к з/к» (зэ–ка зэ–ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казённо рождённое слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитём мёртвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышлёных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по–разному к себе переиначивать: в одних местах говорили «Захар Кузьмич», или (Норильск) «заполярные комсомольцы», в других (Карелия) больше «зак» (это верней всего этимологически), в иных (Ин-

та)— «зык». Мне приходилось слышать «зэк»[349]. Во всех этих случаях оживлённое слово начинало склоняться по падежам и числам. (А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре «зэ–ка». Остаётся пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо.) Пишем же мы это слово через «э», а не через «е» потому, что иначе нельзя обеспечить твёрдого произношения звука «з».

* * *

Климат Архипелага — всегда полярный, даже если островок затесался и в южные моря. Климат Архипелага— двенадцать месяцев зима, остальное лето. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы.

Одеты зэки даже и летом в мягкую серую броню телогреек. Одно это вместе со сплошною стрижкою голов у мужчин придаёт им единство внешнего вида: осуровленность, безличность. Но, даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью выражений их лиц — всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко пере-

[349] Примечания: 349

Старый соловчанин Д.С.Лихачёв уверяет, что он в 1931 слышал, как конвоир спросил туземца: «Ты кто? — зэк?»

ходящих в решительность и даже жестокость. Выражения их лиц таковы, как если б они были отлиты из этого смугло–медного (зэки относятся, очевидно, к индейской расе), шершавого, почти уже и не телесного материала, для того чтобы постоянно идти против встречного ветра, на каждом шагу ещё ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развёрнуты, груди готовы принять сопротивление, но как только зэк остаётся в бездействии, в одиночестве и в размышлениях— шея его перестаёт выдерживать тяжесть головы, плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирождённую. Самое естественное положение, которое принимают его освободившиеся руки, это — соединиться в кистях за спиною, если он идёт, либо уж вовсе повиснуть, если он сидит. Сутулость и придавленность будут в нём и когда он подойдёт к вам — вольному человеку, а потому и возможному начальству. Он будет стараться не смотреть вам в глаза, а в землю, но если вынужден будет посмотреть, — вас поразит его тупой бестолковый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения (впрочем, не доверяйтесь: он его не выполнит). Если вы

велите ему снять шапку (или он сам догадается), — его обритый череп неприятно поразит вас антропологически— шишками, впадинами и асимметричностью явно дегенеративного типа.

В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно–тупо либо с подобострастием, если ему о чём–нибудь нужно вас просить. Но если бы вам удалось как–нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру — как бы толкающую звуками, злона–смешливую, требовательную и никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остаётся наедине с туземкою (кстати, островными законами это строжайше воспрещено), то представить себе нельзя, чтоб он от этой манеры освободился. Вероятно, и ей он высказывается так же толкающе–повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде: «простите», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо

идёт к цели, как сам он прёт против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своему собеседнику в морду, бьёт словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто.

С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горячим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольно наглядно стряхнули раз, он продолжает сыпать. Вы говорите ему:

— Послушайте, товарищ, вы бы с курением всё–таки поосторожнее, а?..

Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам:

— А вы не застрахованы?

И пока вы ищете, что же ответить (ведь не найдёшься), он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень всё похоже на туземную манеру.

Помимо прямых многослойных ругательств, зэки имеют, по–видимому, также и набор готовых выражений, онемляю–щих всякое разумное

постороннее вмешательство и указание. Такие выражения, как:

— Не подначивайте, я не вашего бога!

или:

— Тебя не [гребут] — не подмахивай! — (Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого, ругательного, слова, от которого и второй глагол во фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл.)

Подобные отбривающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они особенно вольно используют для метафор эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследование ещё и этими примерами. Мы осмелимся привести только ещё одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости зэков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно–исследовательский институт (некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы), но по каким–то личным соображениям новое льготное место его не устраивало, а хотел он вернуться на свой прежний остров. Когда его вызвали перед лицо весьма авторитетной комиссии с крупными

звёздами на погонах и там ему объявили:

— Вот вы — инженер–радист, и мы хотим вас использовать… —

он не дал им договорить «по специальности». Он резко дёрнулся:

— Использовать!' Так что — стать раком?

И взялся за пряжку брюк, и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия онемела, и никаких переговоров, ни уговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен.

Любопытно отметить, что сами туземцы Архипелага отлично сознают, что вызывают большой интерес со стороны антропологии и этнографии, и даже этим они бахвалятся, это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространена и часто рассказывается легенда–анекдот о том, что некий профессор–этнограф, очевидно наш предшественник, всю жизнь изучал породу зэков и написал в двух томах пухлое сочинение, где пришёл к тому окончательному выводу, что арестант — ленив, обжорлив и хитёр (здесь и рассказчик и слушатели довольно смеются, как бы любуясь собою со стороны). Но что якобы вскоре после этого посадили и самого профессора (очень неприятный

конец, но без вины у нас не сажают, значит, что–то было). И вот, потолкавшись на пересылках и дойдя на общих, профессор понял свою ошибку, он понял, что на самом деле арестант — звонкий, тонкий и прозрачный. (Характеристика— весьма меткая и опять–таки в чём–то лестная. Все снова смеются.)

Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре выработан и передаётся новичкам весь кодекс правильного зэческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс, запёчатлённый, осуществлённый в нравственной структуре туземца, и даёт то, что мы называем национальным типом зэка. Печать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне Архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а лишь потом — русского, или татарина, или поляка.

В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертою оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации зэков.

* * *

Отношение к казённой ρ а б о т е. У зэков абсолютно неверное представление, что работа призвана высосать из них всю жизнь, значит, их главное спасение: работая, не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам: всей работы не переделаешь (никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрей и присяду отдохнуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). Работа дураков любит.

Но КЭ.К 5КΘ быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя! — сгноят в карцерах, сморят голодом. Выходить на работу— неизбежно, но там–то, в рабочий день, надо не вкалывать, а «ковыряться», не мантулитъ, а кантоваться, филонить (то есть не работать всё равно). Туземец ни от одного приказания не отказывается открыто, наотрез— это бы его погубило. Но он— тянет резину. «Тянуть резину»— одно из главнейших понятий и выражений Архипелага, это — главное спасительное достижение зэков (впоследствии оно широко перенято и работягами воли). Зэк выслушивает всё, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И— уходит выполнять. Но — не выполняет! Даже

чаще всего — и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремлённых неутомимых командиров производства. Естественно, возникает желание — кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бессмысленное животное в лохмотьях, — ведь ему же русским языком было сказано!.. Что за беспонятливость? (Но в том–то и дело, что русский советский язык плохо понимается туземцами, ряду наших современных представлений— например «рабочая честь», «сознательная дисциплина» — на их убогом языке даже нет эквивалента.) Однако едва наскочит начальник вторично — зэк покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает, он идёт дальше по своим неотложным многочисленным руководящим делам — а зэк за его спиной сейчас же садится и бросает работу (если нет над ним бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает ему сегодня же, а также если нет приманки в виде зачётов). Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию, но она такова.

Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? ведь работа сама не

сделается, а начальник подойдёт ещё раз — будет хуже? А вот на что он рассчитывает: сегодня третий раз начальник скорей всего и не подойдёт. А до завтра ещё дожить надо. Ещё сегодня вечером зэка могут услать на этап, или перевести в другую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер — а отработанное им тогда достанется другому? А завтра этого же зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам же начальник отменит, что делать этого не надо или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка где сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю калорию там, где её может быть удастся не потратить. (Понятие о калориях— у туземцев есть и очень популярно.) Между собою зэки так откровенно и говорят: кто везёт, того и погоняют (а кто, мол, не тянет, на того и рукой машут). В общем, работает зэк лишь бы день до вечера.

Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило «кто везёт, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской пословицей.

Находим мы у Даля[350] также и другое чисто зэковское выражение: «живёт как бы день к вечеру». Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей: теория заимствования? теория странствующих сюжетов? мифологическая школа? Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие:

— Дела не делай, от дела не бегай (поразительно! но ведь это же и есть принцип лагернойрезиныЦ.

— Дай Бог всё уметь, да не всё делать.

— Господской работы не переделаешь.

— Ретивая лошадка недолго живёт.

— Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. (Очень похоже на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат.)

Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революций и социализма екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, несмотря на полное несходство своего

[350] Примечания: 350

Пословицы русского народа: Сборник В.Даля. М.: Худож. лит., 1957, с. 257.

социального положения, — пожимают друг другу чёрные корявые руки?.. Этого не может быть!

Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению.

Из отношения к работе вытекает у зэка и отношение к начальству. По видимости он очень послушен ему; например, одна из «заповедей» зэков: не залупайся! — то есть никогда не спорь с начальством. По видимости он очень боится его, гнёт спину, когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчёт: избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает своё начальство— и лагерное и производственное, но прикровенно, не выказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же вполголоса смеются между собой: было бы сказано, а забыть успеем! Зэки внутренне считают, что они превосходят своё начальство— и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает, но тут зэки в своём самодовольстве упускают, что зато администрация островов имеет постоянное преимущество перед туземцами в мировоззре-

нии. Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление зэков, что начальство — это как хочу, так и кручу, или «закон здесь — я!».

Однако это даёт нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нём нечто высшее, отчего бывали во множестве Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренно обожал своего начальника.

А вот и важное национальное отличие зэков от наших с вами, читатель, соотечественников: зэки не тянутся за похвалой, за почётными грамотами и красными досками (если они не связаны прямо с дополнительными пирожками). Всё то, что на воле называется трудовой славой, для зэков по их тупости — лишь пустой деревянный звон. Тем ещё более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать.

Вообще, у зэков вся шкала ценностей — перепрокинутая, но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так: за кро-

хотное зеркальце они отдают жирную свинью, за дешёвые бусы— корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, — ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего — у зэков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки нацело лишены патриотического чувства, они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни:

Будь проклята ты, Колыма! Придумали ж гады планету!..

Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии побегами.

Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая пайка — это кусок чёрного хлеба с подмесями, дурной выпечки, который мы с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и тяжелей. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются зэки на свою утреннюю пайку и доедают её почти до рук, — трудно отогнать от себя это неэстетическое воспоминание. На втором месте у них идёт махорка или самосад, причём меновые соотношения дико произвольные, не

считающиеся с количеством общественно полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой (денежной системы на островах нет). На третьем месте идёт баланда (островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев). Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригады зэков за баландою: эти бритые головы, шапки–нашлёпки, лохмотья связаны верёвочками, лица злые, кривые (откуда у них на баланде эти жилы и силы?), — и двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей— туп–туп, туп–туп, отдай пайку, начальничек! Посторонись, кто не нашей веры! В эту минуту на двадцати пяти лицах у самой уже добычи приоткрывается вам явственно национальный характер зэка.

Мы замечаем, что, рассуждая о народе зэков, почти как–то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имён. Но это— не порок нашего метода, это отражение того стадного строя жизни, который ведёт этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потом-

ства (они уверены, что их народ будет пополнен другим путём). На Архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни — то ли наследие первобытного общества, то ли — уже заря будущего. Вероятно — будущего.

Следующая у зэков ценность — сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им неведома бессонница, они не применяют снотворных, спят все ночи напролёт, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагружаются; умеют заснуть на разводе, расставив ноги; и даже идя под конвоем в строю на работу— тоже умеют заснуть, но не все: некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне быстрей идёт срок. И ещё: ночь для сна, а день для отдыха[351].

Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за «законной» (как они говорят) баландой. Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа зэков — жизненного

[351] Примечания: 351

Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа: «Ходя наемся, стоя высплюсь»; «Где щель, там и постель».

напора (и это не идёт в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того–то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора). Напор этот— и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью — едой, тёплой печкой, сушилкой, укрытием от дождя, и зэк не стесняется в этой толкучке садануть соседа плечом в бок; идут ли два зэка поднять бревно — оба они направляются к хлыстовому концу, так чтобы комлевой достался напарнику. И напор в более общем смысле — напор для занятия более выгодного жизненного положения. В жестоких островных условиях (столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую struggle for life) от успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь— и в этом пробитии дороги себе за счёт других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: совесть? в личном деле осталась. При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом Архипелага: лучше ссучиться, чем мучиться.

Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, изворот-

ливостью в труднейших обстоятельствах[352]. Это качество зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам: для того чтобы сохранить от гибели своё жалкое ублюдочное добро — какой–нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку–работницу. Однако в борьбе за важное место в островной иерархии — изворотливость должна быть более высокая, тонкая, рассчитанная темниловка. Чтобы не отяжелять исследование — вот один пример. Некий зэк сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерским удаются, другие нет, но крепость его положения зависит даже не от удачного хода дел, а от того понта, с которым он держится. Вот приходят к нему офицеры МВД и видят на его письменном столе какие–то глиняные конусы. — «А это — что у тебя?» — «Конусы Зегера». — «Азачем?» — «Определять температуру в печах». — «А–а–а», — с уважением протянет начальник и подумает: ну и хорошего ж я инженера поставил. А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что они из глины

[352] Примечания: 352
У русских: «Передом кланяется, боком глядит, задом щупает».

не только не стандартной, а— неизвестно какой. Примелькива–ются конусы — и у начальника мастерских новая игрушка на столе — оптический прибор без единой линзы (где ж на Архипелаге линзы брать?). И опять все удивляются.

И постоянно должна быть голова зэка занята вот такими ложными боковыми ходами.

Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен проявлять гибкость поведения — от грубого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем необязательному. (Так, почему–то все зэки свято верны обязательствам по тайным взяткам и исключительно терпеливы и добросовестны в выполнении частных заказов. Рассматривая какую–нибудь чудесную островную выделку с резьбой и инкрустацией, подобные которым мы видим только в музее Останкино, бывает, нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть сразу и рухнет.)

Эта же гибкость поведения отражается и известным правилом зэков: дают — бери, бьют — беги.

Важнейшим условием успеха в жизненной

борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки гнутся, как травка — от ветра и сапога[353]. (Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян.) Скрытность — едва ли не самая характерная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых «стукачей»[354]. Скрывать ему надо удачи свои, чтоб их не перебили. Скрывать надо планы, расчёты, надежды — готовится ли он к большому «побегу» или надумал, где собрать стружку для матраса. В зэковской жизни всегда так, что открыться — значит потерять… Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так (даю в русском переводе): «откроешься, где спать тепло, где десятник не найдёт, — и все туда налезут, и десятник нанюхает. Откроешь-

[353] Примечания: 353

Сравни у русских: «Лучше гнуться, чем переломиться».

[354] Примечания: 354

Малозначительное островное явление, касаться которого в нашем очерке мы считаем излишним.

ся, что письмо послал через вольного[355], и все этому вольному письма понесут и накроют его с теми письмами. И если обещал тебе каптёр сорочку рваную сменить — молчи, пока не сменишь, а когда сменишь — опять же молчи: и его не подводи, и тебе ещё пригодится[356]». С годами зэк настолько привыкает всё скрывать, что даже усилия над собой ему для этого не надо делать: у него отмирает естественное человеческое желание поделиться переживаемым. (Может быть, следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей? Ведь от него тоже всячески скрывают информацию, касающуюся его судьбы.)

Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости: он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нём особенно сильное подозрение. Закон–тайга, вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. (На островах Архипелага и действительно большие массивы тайги.)

---

[355] Примечания: 355

На островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ею не пользоваться.

[356] Примечания: 356

Сравни у русских: «Нашёл—молчи, потерял—молчи». Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит нас несколько в тупик.

Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти племенные качества— жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его называют «сыном ГУЛАГа». Это у них— как бы звание почётного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни.

Сын ГУЛАГа считает себя непроницаемым, но что, напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на два метра под ними вглубь. Может быть, это и так, но тут–то и выявляется, что даже у самых проницательных зэков— обрывистый кругозор, недальний взгляд вперёд. Очень трезво судя о поступках, близких к нему, и очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой зэк, да даже и сын ГУЛАГа, не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явлений общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко: даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, ещё осторожнее— к дням уже начавшейся недели, и никогда не услышишь от зэка фразы: «на будущую весну я…» Потому что все знают, что ещё перезимовать надо, да и в любой

день судьба может перебросить его с острова на остров. Воистину: день мой — век мой!

Сыны ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых заповедей зэков. На разных островах этих заповедей насчитывают разное количество, не совпадают в точности их формулировки, и было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эти ничего общего не имеют с христианством. (Зэки — не только атеистический народ, но для них вообще нет ничего святого, и всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унизить. Это отражается и в их языке.) Но, как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на Архипелаге не пропадёшь.

Есть такие заповеди, как: не стучи (как это понять? очевидно, чтоб не было лишнего шума); не лижи мисок, то есть после других, что считается у них быстрой и крутой гибелью. Не шакалъ.

Интересна заповедь: не суй носа в чужой котелок. Мы бы сказали, что это — высокое достижение туземной мысли: ведь это принцип негативной свободы, это как бы обёрнутый ту home is ту castle, и даже выше него, ибо говорит о котелке не своём, а чужом (но свой— подразумевается). Зная туземные условия, мы должны

здесь понять «котелок» широко: не только как закопчённую погнутую посудину и даже не как конкретное непривлекательное варево, содержащееся в нём, но и как все способы добывания еды, все приёмы в борьбе за существование, и даже ещё шире: как душу зэка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь, — вот что значит этот завет. Твёрдый жестокий сын ГУЛАГа этим заветом обязуется не применять своей силы и напора из пустого любопытства. (Но одновременно и освобождает себя от каких–либо моральных обязательств: хоть ты рядом и околей— мне всё равно. Жестокий закон, и всё же гораздо человечнее закона «блатных»— островных каннибалов: «подохни ты сегодня, а я завтра». Каннибал–блатной отнюдь не равнодушен к соседу: он ускорит его смерть, чтоб отодвинуть свою, а иногда для потехи или из любопытства понаблюдать за ней.)

Наконец, существует сводная заповедь: не верь, не бойся, не проси! В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью, отливается общий национальный характер зэка.

Как можно управлять (на воле) народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью?.. Страшно подумать.

Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения зэков, а их психологической сути.

Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа и потом всё более и более наблюдаем: душевная уравновешенность, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на своё место во вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином и французом, зэк совсем не гордится своей национальной принадлежностью, напротив: он понимает её как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже такой примечательный миф: будто где–то существуют «ворота Архипелага» (сравни в античности столпы Геркулеса), так вот на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись: «Не падай духом!», а на обратной стороне для выходящего: «Не слишком радуйся!» И главное, добавляют зэки: надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом: приходящий не грусти, уходящий не радуйся. Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды зэка на жизнь Архипелага и на жизнь обмыка-

ющего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости зэка. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, он хмурит брови на своём грубом обветренном лице и говорит: глубже шахты не опустят. Или успокаивают друг друга: бывает хуже! — и действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение—могло быть и хуже! — явно поддерживает и приободряет их.

Зэк всегда настроен на худшее, он так и живёт, что постоянно ждёт ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим.

Отклонения от равновесного состояния очень малы у зэка— как в сторону светлую, так и в сторону тёмную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости.

Это удачно выразил Тарас Шевченко (немного побывавший на островах ещё в доисторическую эпоху): «У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости. Зато есть моральное спокойствие до рыбьего хладнокровия. Ужели постоянные несча-

стья могут так переработать человека?» (Письмо к Репниной.)

Именно. Именно могут. Устойчивое равнодушное состояние является для зэка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на Архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он и умирает. Достигнув же— остаётся жить. Одним словом: не околеешь — так натореешь.

У зэка притуплены все чувства, огрублены нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже — ко всей своей жизни, — он не испытывает душевного сочувствия и к горю окружающих. Чей–то крик боли или женские слёзы почти не заставляют его повернуть голову — так притуплены реакции. Часто зэки проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями— но не судите их за это сурово, это они не по злу: у них просто атрофировалось сочувствие, и остаётся для них заметной лишь смешная сторона события.

Самое распространённое среди них мировоззрение — фатализм. Это — их всеобщая глубокая

черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим зэку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь — это полагаться на судьбу. Будущее — это кот в мешке, и, не понимая его толком и не представляя, что случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего–то добиваться или слишком упорно от чего–то отказываться, — переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт. Может, это будет к лучшему, может, к худшему, но во всяком случае ты освобождаешься от самоупрёков: пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. И так ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность.

При такой тёмной судьбе сильны у зэков многочисленные суеверия. Одно из них тесно примыкает к фатализму: если будешь слишком заботиться о своём устройстве или даже уюте—

обязательно погоришь на этап[357].

Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что Архипелаг существовал вечно и раньше на нём было ещё хуже.

Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь тот, что зэки воспринимают своё устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых убогих условиях— как победу жизнелюбия. Достаточно череде несчастий хоть несколько разредеть, ударам судьбы несколько ослабнуть — и зэк уже выражает удовлетворение жизнью и гордится своим поведением в ней. Может быть, читатель больше поверит в эту пародоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе «В ссылке» перевозчик Семён Толковый выражает это чувство так:

«Я… довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. — (Курсив наш. —АС) — Ничего мне

---

[357] Примечания: 357

Пожары в буквальном смысле не волнуют зэков, они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, уверенные, что их всегда заменят. Погореть у них применяется только в смысле личной судьбы.

не надо, и никого не боюсь, итак себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет».

Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от зэков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А.П. Чехов?). И дай Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится?

До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим.

Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого, казалось бы, атеистического народа (совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «не судите, да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит) — тем лихорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так различить: на том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, — он ни во что не верит. Но лишённый зрения абстрактного, лишённый исторического расчёта, он с дикарскою наивностью отдаётся вере в любой дальний слух, в туземные чудеса.

Давний пример туземного легковерия — это

надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на Архипелаге: это вера в так называемую Амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это— не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это — нечто сходное со Вторым Пришествием у христианских народов, это наступление такого ослепительного сияния, при котором мгновенно растопятся льды Архипелага, и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на тёплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в Царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтверждённая ни единым реальным чудом, однако очень живуча и упорна. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеворотом, так и зэки мистически ожидают (всегда безуспешно) первых чисел ноября и мая. Подует ли на Архипелаг южный ветер, тотчас шепчут с уха на ухо: «наверно, будет Амнистия! уже начинается!» Установятся ли жестокие северные ветры— зэки согревают дыханием окоченевшие пальцы, трут уши, отаптываются и подбодряют друг друга: «Значит, будет Амнистия.

А иначе замёрзнем все на ...! (Тут— непереводимое выражение.) Очевидно — теперь будет».

Вред всякой религии давно доказан — и тут тоже мы его видим. Эти верования в Амнистию очень расслабляют туземцев, они приводят их в несвойственное состояние мечтательности, и бывают такие эпидемические периоды, когда из рук зэков буквально вываливается необходимая срочная казённая работа, — практически такое же действие, как и от противоположных мрачных слухов об «этапах». Для повседневного же строительства всего выгоднее, чтобы туземцы не испытывали никаких отклонений чувств.

И ещё есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всему строю их жизни, — это тайная жажда справедливости.

Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове совсем, впрочем, не нашего Архипелага: «Каторжник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость, и если её нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие».

Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они пора-

жают нас своей верностью.

Начиная с попадания зэков на Архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке совершают одни несправедливости — и, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет! Каждая несправедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их ранить и ранить, так же, как и в первый день. (А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех.) И в фольклоре своём они создают легенды уже даже не о справедливости, а— утрируя чувство это — о неоправданном великодушии. (Так, в частности, и был создан и десятилетия держался на Архипелаге миф о великодушии относительно Ф.Каплан— будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах, и находились даже многие свидетели, кто был с нею на этапах или получал от неё книги из бутырской библиотеки[358]. Спрашивается, зачем понадо-

[358] Примечания: 358

Недавно комендант Кремля товарищ Мальков официально эти слухи опроверг и рассказал, как он расстрелял Каплан тогда же. Да и Демьян Бедный присутствовал при этом расстреле. Да отсутствие её свидетельницей на процессе эсеров в 1922 могло бы убедить зэков! — так они того процесса вообще не помнят.

бился туземцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия, в которое им хочется верить. Они тогда могут мысленно обратить его к себе.)

Ещё известны случаи, когда зэк полюбил на Архипелаге труд (А.С. Братчиков: «горжусь тем, что сделали мои руки») или по крайней мере не разлюбил его (зэки немецкого происхождения), но эти случаи столь исключительны, что мы не станем их выдвигать как общенародную, даже и причудливую черту.

Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности — другая туземная черта: любовь рассказывать о прошлом. У всех остальных народов это — стариковская привычка, а люди среднего возраста как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом (особенно — женщины, особенно — заполняющие анкеты, да и вообще все). Зэки же в этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. (В другом отношении — имея воспитателей, напротив, содержатся как нация сплошных детей.) Слова из них не выдавишь по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов (где котелок нагреть, у кого махорку выменять), но о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку всё: и

как жил до Архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. (Часами они слушают, кто как «попал», и им эти однообразные истории не прискучивают нисколько. И чем случайнее, поверхностней, короче встреча двух зэков, — одну ночь рядом полежали на так называемой «пересылке», — тем развёрнутей и подробней они спешат друг другу всё рассказать о себе.)

Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал в себе историю своего попадания в «Мёртвый дом» — и говорить об этом было у них совсем не принято. Нам это понятно: потому что в «Мёртвый дом» попадали за преступление, и вспоминать о нём каторжникам было тяжело.

На Архипелаг же зэк попадает необъяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств, — но в девяти случаях из десяти он не чувствует за собой никакого «преступления», — и поэтому нет на Архипелаге рассказов более интересных и вызывающих более живое сочувствие аудитории, чем — «как попал».

Обильные рассказы зэков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют ещё и другую цель и другой смысл. Насколько неустойчиво настоящее и будущее зэка— на-

столько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у зэка, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас (ибо нельзя быть ниже, чем зэк; даже пьяного бродягу вне Архипелага называют «товарищем»). Поэтому в воспоминаниях самолюбие зэка берёт назад те высоты, с которых его свергла жизнь[359]. Воспоминания ещё обязательно приукрашиваются, в них вставляются выдуманные (но весьма правдоподобно) эпизоды — и зэк–рассказчик, да и слушатели чувствуют живительный возврат веры в себя.

Есть и другая форма укрепления этой веры в себя — многочисленные фольклорные рассказы о ловкости и удачливости народа зэков. Это — довольно грубые рассказы, напоминающие солдатские легенды николаевских времён (когда солдата брали на двадцать пять лет). Вам расскажут и как один зэк пошёл к начальнику дрова колоть для кухни—началь–никова дочка сама прибежала к нему в сарай. И как хитрый дневальный сделал лаз под барак и подставлял там котелок под слив, проделанный в полу по-

[359] Примечания: 359

А ведь самолюбие и у старого глухого жестянщика, и у мальчишки–подсобника маляра ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссёра, это надо иметь в виду.

сылочной комнаты. В посылках извне иногда приходит водка, но на Архипелаге — сухой закон, и её по акту должны тут же выливать на землю (впрочем, никогда не выливали), — так вот дневальный собирал в котелок и всегда пьян был.

Вообще зэки ценят и любят юмор — и это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор— их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на Архипелаге была бы совершенно невозможна. Они и ругань–то ценят именно по юмору: которая смешней, вот та их особенно и убеждает. Хоть небольшой толикою юмора, но сдабривается всякий их ответ на вопрос, всякое их суждение об окружающем. Спросишь зэка, сколько он уже пробыл на Архипелаге, — он не скажет вам «пять лет», а:

— Да пять январей просидел.

(Своё пребывание на Архипелаге они почему–то называют сидением, хотя сидеть–то им приходится меньше всего.)

— Трудно? — спросишь. Ответит, зубоскаля:

— Трудно только первые десять лет.

Посочувствуешь, что жить ему приходится в

таком тяжёлом климате, ответит:

— Климат плохой, но общество хорошее.

Или вот говорят о ком–то, уехавшем с Архипелага:

— Дали три, отсидел пять, выпустили досрочно.

А когда стали приезжать на Архипелаг с путёвками на четверть столетия:

— Теперь двадцать пять лет жизни обеспечено! Вообще же об Архипелаге они судят так:

— Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет. (Здесь— неправомерное обобщение: мы–то с вами, читатель, вовсе не собираемся там быть, правда?)

Где бы когда бы ни услышали туземцы чью–либо просьбу чего–нибудь добавить (хоть кипятку в кружку), — все хором тотчас же кричат:

— Прокурор добавитi

Вообще к прокурорам у зэков непонятное ожесточение, оно часто прорывается. Вот, например, по Архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение:

— Прокурор — топор.

Кроме точной рифмы мы не видим тут никакого смысла. Мы с огорчением должны отметить здесь один из случаев разрыва ассоциативных и

причинных связей, которые снижают мышление зэков ниже среднего общечеловеческого уровня. Об этом чуть дальше.

Вот ещё образцы их милых беззлобных шуток:

— Спит–спит, а отдохнуть некогда.

— Воды не пьёшь — от чего сила будет?

О ненавистной работе к концу рабочего дня (когда уже томятся и ждут съёма) обязательно шутят:

— Эх, только работа пошла, да день мал!

Утром же вместо того, чтобы приняться за эту работу, ходят от места к месту и говорят:

— Скорей бы вечер, да завтра (!) на работу!

А вот где видим мы перерывы в их логическом мышлении. Известное выражение туземцев:

— Мы этого лесу не сажали и валить его не будем.

Но если так рассуждать — леспромхозы тоже лесу не сажали, однако сводят его весьма успешно. Так что здесь— типичная детскость туземного мышления, своеобразный дадаизм.

Или вот ещё (со времени Беломорканала):

— Пусть медведь работает!

Ну как, серьёзно говоря, можно представить себе медведя, прокладывающего великий канал? Вопрос о медвежьей работе был достаточно

освещен ещё в трудах И.А. Крылова. Если была бы малейшая возможность запрячь медведей в целенаправленную работу, — не сомневайтесь, что это было бы сделано в социалистическом государстве, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лагпункты.

Правда, у туземцев есть ещё параллельное высказывание о медведях— очень несправедливое, но въевшееся:

— Начальник — медведь.

Мы даже не можем понять — какая ассоциация могла породить такое выражение? Мы не хотели бы думать о туземцах так дурно, чтобы эти два выражения сопоставить и отсюда что–то заключить.

Переходя к вопросу о языке зэков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае содержатся ещё специфические трудности.

Одна из них— агломератное соединение языка с руганью, на которое мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто (потому что нельзя

делить живое!)[360], но и помещать всё как есть на научные страницы мешает нам забота о нашей молодёжи.

Другая трудность — необходимость разграничить собственно язык народа зэков от языка племени каннибалов (иначе называемых «блатными» или «урками»), рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин особого исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика (вроде: ксива— документ, марочка— носовой платок, угол — чемодан, луковица— часы, прохоря— сапоги). Но трудность в том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком зэков и образно его обогащают:

свистеть; темнить; раскидывать чернуху; кантоваться; лукаться; филонить; мантулить; цвет; полуцвет; духовой; кондей; шмон; костыль; фитиль; шестёрка; сосаловка; от–рицаловка; с

---

[360] Примечания: 360

Только недавно некая Сталевская из села Долгодеревенского Челябинской области нашла путь: «Почему заключённые не боролись за чистоту языка? Почему организованно не обратились к воспитателю за помощью?» Эта замечательная идея нам просто в голову не пришла, когда мы были на Архипелаге, мы б её зэкам подсказали.

понтом; гумозница; шалашовка; бациллы; хилять под блатного; заблатниться; и другие, и другие.

Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепонятности. Венцом их является окрик — на цырлах! Его можно перевести на русский язык только сложно–описательно. Бежать или подавать что–нибудь на цырлах значит: и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием— и всё это одновременно.

Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает! — особенно потому, что в жизни часто встречается подобное действие.

Но это попечение — уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на Архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте, — то есть не только в смысле отдела кадров, но: не отстал ли он от современного русского языка и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на Архипелаге и которых так до сих пор не хватало русскому языку: «с ходу», «всю дорогу», «по новой», «рас-

курочить», «заначить», «фраер», «дурак, и уши холодные», «она с парнями шьётся» и ещё многие, многие!

Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну, и прежде всего в язык молодёжи. Это подаёт надежду, что в будущем процесс пойдёт ещё решительней и все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а может быть, даже и составят его украшение.

Но тем трудней становится задача исследователя: разделить теперь язык русский и язык зэческий!

И наконец, добросовестность мешает нам обойти и четвёртую трудность: первичное, какое–то доисторическое влияние самого русского языка на язык зэков и даже на язык каннибалов (сейчас такого влияния уже не наблюдается). Чем иначе можно объяснить, что мы находим у Даля такие аналоги специфически островных выражений:

жить законом (костромское) — в смысле жить с женой (на Архипелаге: жить с ней в законе);

выначитъ (офенское) — выудить из кармана (на островах сменили приставку — заначить, и означает: далее спрятать);

подходить — значит: беднеть, истощаться

(сравни — доходить);

или пословица у Даля:

«щи — добрые люди» — и целая цепь островных выражений: мороз–человек (если не крепкий), костёр–человек ит. д.

И «мышей не ловит» — мы тоже находим у Даля. А «сука» означало «шпиона» уже при П.Ф.Якубовиче.

А ещё превосходное выражение туземцев упираться рогами (обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве, настаивании на своём), сбить рога, сшибить рога — восстанавливают для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» (кичливость, высокомерие, надменность) вопреки пришлому, переводному с французского «наставить рога» (как измена жены), которое в простом народе совершенно не привилось, да и интеллигенцией уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью.

Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования.

В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались: они полагали, что эти расспросы

ведутся для кума (душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы). Убедясь, что это не так, к тому ж из разу в раз угощаемые махоркою (дорогих сортов они не курят), они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах Укроп Помидорович, в других— Фан Фаныч. Надо сказать, что на Архипелаге отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы.

Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине XX века совершенно новая никому не известная нация этническим объёмом во много миллионов человек.

Глава 20. ПСОВАЯ СЛУЖБА

Не в нарочитое хлёсткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий выбрали: служба их— та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за работой отдельной собаки, вырабатывают у неё хорошую злобность. Несли содержание одного щенка в год обходится народу в 11 тысяч дохрущёвских рублей (овчарок кормят питательней, чем заключённых)[361], то содержание каждого офицера— не паче ли?

А ещё на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как вообще их называть? «Начальство, начальники»— слишком общо, относится и к воле, ко всей жизни страны, да и затёрто уж очень. «Хозяева» — тоже. «Лагерные распорядители»? — обходное выражение, показывающее нашу немощь. Называть их прямо

[361] Примечания: 361

Всё о собаках— из повести И.М. Меттера «Мурат» (Новый мир, 1960, №6).

«псы», как в лагере говорят? — как будто грубо, ругательно. Вполне в духе языка было бы слово лагерщики: оно так же отличается от «лагерника», как «тюремщик» от «тюремника», и выражает точный единственный смысл: те, кто лагерями заведуют и управляют. Так испросив у строгих читателей прощения за новое слово (оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка), мы его от времени ко времени будем употреблять.

Так вот о ком эта глава: о лагерщиках (и тюремщиках сюда же). Можно бы с генералов начать, и славно бы это было — но нет у нас материала. Невозможно было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко. А когда видели, то ударяло нам в глаза сияние золота, и не могли мы разглядеть ничего.

Так, ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальниках ГУЛАГа— этих царях Архипелага. А уж попадётся фото

Бермана или словечко Апетера— мы их тут же подхватываем. Знаем вот «гаранинские расстрелы» — а о самом Гаранине не знаем. Только знаем, что было ненасытно ему одни подписи ставить; он, по лагерю идя, и сам из маузера стрелять не брезговал, чья морда ему не выхо-

дила. Пишем вот о Кашкетине — а в глаза того Кашкетина не видели (и слава Богу). О Френкеле подсобрался материальчик, а об Аврааме Павловиче Завеняги–не — нет. Его, покойника, с ежовско–бериевской компанией не захоронили, о нём смакуют газетчики: «легендарный строитель Норильска»! Да уж не сам ли он и камни клал? Легендарный вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу очень о нём хорошо отзывался эмведешник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили.

Вот об Антонове, начальнике Енисейского лагеря, спасибо, написал нам инженер Побожий[362]. Эту картинку мы всем советовали бы прочесть: разгрузку лихтеров на реке Таз. В глуби тундры, куда дорога ещё не пришла (да и придёт ли?), египетские муравьи тянут паровозы на снег, а наверху на горке стоит Антонов, обозревает и срок даёт на разгрузку. Он по воздуху прилетел, по воздуху сейчас улетит, свита пляшет перед ним, куда твой Наполеон, а личный повар тут же на раскладном столике, среди полярной мерзлоты, подаёт ему свежие помидоры и огурчики.

---

[362] Примечания: 362

А Побожий. Мёртвая дорога: Из записок инженера–изыскателя // Новый мир, 1964, № 8.

И ни с кем, сукин сын, не делится, всё суёт себе в утробу.

В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже. Потолкуем маленько об офицерах, там перейдём к сержантам, скользнём по стрелковой охране— да и того будет с нас. Кто заметил больше — пусть больше напишет. В том наша ограниченность: когда сидишь в тюрьме или лагере — характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны. Страдаешь ты сам, страдают вокруг тебя несправедливо посаженные, и по сравнению с этим снопом страданий, на который не хватает твоих разведенных рук, — что тебе эти тупые люди на должности псов? их мелкие интересы? их ничтожные склонности? их служебные успехи и неуспехи?

А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало.

Уж не спрашивая о даровании— может ли пойти в тюрем–но–лагерный надзор человек, способный хоть к какой–нибудь полезной деятельности? — зададим вопрос: вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Ка-

кую систему морального отбора устраивает им жизнь? Первый отбор — при зачислении в войска МВД, в училища МВД или на курсы. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая–то совестливая оглядка, различение злого и доброго, — будет инстинктивно, всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор: во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твёрдости (жестокости и бессердечия) — расхлябанность (доброту). И потом многолетний третий отбор: все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла! — ведь это не каждому даётся и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что–то натягивается, лопается— и дальше уже так жить нельзя! И с большим опозданием, но люди всё равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны — но только бы уйти, уйти, уйти!

А остальные, значит, втянулись? А остальные,

значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной. И уж конечно полезной. И даже почётной. А кому–то и втягиваться было не надо: они с самого начала такие.

Благодаря этому отбору можно заключить, что процент бессердечных и жестоких среди лагерщиков значительно выше, чем в произвольной группе населения. И чем дольше, чем непрерывнее и отметнее человек служит в Органах, тем с большей вероятностью он — злодей.

Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского: «Кто из вас очерствел, чьё сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключение — уходите из этого учреждения!» Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьёзно? — если при этом защищался Косырев (Часть Первая, глава 8)? И кто этому внял? Ни «террор как средство убеждения», ни аресты по признаку «сомнительности», ни расстрелы заложников, ни ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера— не дают нам как–то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. И если кто за эти годы уходил из Органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться, — кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был

чёрств — тот–то и остался. (Да может, в другие разы Дзержинский подавал совет совсем другой, да у нас цитатки нет.)

Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. Старый чекист! — кто не слышал этих слов, произносимых протяжно, в знак особого уважения. Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки, говорят: «А начальник там ста–арый чекист!» (Ну, например, как тот майор, который сжёг кандальную сонату Клемпнера.) Сами чекисты и пустили это словечко, а мы повторяем его бездумно. «Старый чекист» — ведь это по меньшей мере значит: и при Ягоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии, всем угодил.

Но не разрешим себе растечься и говорить о «чекистах вообще». О чекистах в собственном смысле, о чекистах оперативно–следственного направления глава уже была. А лагерщики любят только звать себя чекистами, только тянутся к тому званию или с тех должностей пришли сюда— на отдых, потому что здесь не треплются их нервы и не расшатывается здоровье. Их здешняя работа не требует ни того развития, ни того активного злого давления, что там. В ЧКГБ

надо быть острым и попасть обязательно в глаз, в МВД достаточно быть тупым и не промахнуться по черепу.

С огорчением, но не возьмёмся мы объяснять, почему лозунг «орабочения и окоммунизирования состава лагерных работников»[363], успешно проведенный в жизнь, не создал на Архипелаге этого трепетного человеколюбия по Дзержинскому. С самых ранних революционных лет на курсах при Центральном Карательном Отделе и губкаротделах готовился для тюрем и для лагерей младший адмстройсостав (то есть внутренний надзор) «без отрыва от производства» (то есть уже служа в тюрьмах и лагерях). К 1925 только 6% осталось царского над–зорсостава. А уж средний лагерный комсостав и прежде того был полностью советский. Они продолжали учиться: сперва на факультетах права Наркомпроса (да, Наркомпроса! и не бесправия, а— права!), с 1931 это стали исправтрудотделения институтов Права НКЮ в Москве, Ленинграде, Казани, Саратове и Иркутске. Выпускалось оттуда 70% рабочих и 70% коммунистов! С 1928 постановлением Совнаркома и никогда не возражающего ЦИКа ещё были

[363] Примечания: 363

А было их в РСФСР уже 1.10.1923—12 тысяч, а 1.1.1925—15тысяч. (ЦГАОР, ф. 393, оп. 39, д. 48, л. 4,13; оп. 53, д. 141, л. 4.)

расширены и режимные полномочия этих орабоченных и окоммунизированных начальников мест заключения[364], — а вот поди ж ты, человеколюбия почему–то не получилось! Пострадало от них миллионов людей куда больше, чем от фашистов, — да ведь не пленных, не покорённых, а— своих соотечественников, на родной земле. Кто это нам объяснит?

Сходство жизненных путей и сходство положений — рождает ли сходство характеров? Вообще — нет. Для людей, значительных духом и разумом, — нет, у них свои решения, свои особенности, и очень бывают неожиданные. Но у лагерщи–ков, прошедших строгий отрицательный отбор— нравственный и умственный, — у них сходство характеров разительное, и, вероятно, без труда мы сумеем проследить их основные всеобщие черты.

Спесь. Он живёт на отдельном острове, слабо связан с далёкой внешней властью, и на этом острове он— безусловно первый: ему униженно подчинены все зэки, да и вольные тоже. У него здесь — самая большая звезда на погонах. Власть его не имеет границ и не знает ошибок: всякий

---

[364] Примечания: 364

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 421.

жалобщик всегда оказывается неправ (подавлен). У него — лучший на острове дом. Лучшее средство передвижения. Приближённые к нему следующие лагерщики тоже весьма возвышены. Атак как вся предыдущая жизнь не заложила в них ни искры критической способности — то им и невозможно понять себя иначе как особую расу— прирождённых властителей. Из того, что никто не в силах сопротивляться, они выводят, что крайне мудро властвуют, что это — их талант («организационный»). Каждый день и каждый обиходный случай даёт им зримо видеть своё превосходство: перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают. И если он (БАМлаг, Дукельский) выходит к воротам посмотреть, как, замыкаемая овчарками, идёт колонна грязного сброда его рабочих, то сам плантатор— в белоснежном летнем костюме. И если они (Унжлаг) надумали поехать верхом осмотреть работы на картофельном поле, где ворочаются женщины в чёрных одеждах, увязая в грязи по пузо, и пытаются копать картошку (впрочем, вывезти её не успеют и весной перекопают на удобрение), — то в начищенных своих сапогах и в шерстяных безупречных мундирах они проезжают, элегантные

всадники, мимо утопающих рабынь как подлинные олимпийцы.

Из самодовольства всегда обязательно следует тупость. Заживо обожествлённый всё знает доконечно, ему не надо читать, учиться, и никто не может сообщить ему ничего, достойного размышления. Среди сахалинских чиновников Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших местность и быт, писавших географические и этнографические исследования — но даже для смеха нельзя представить себе на всём Архипелаге одного такого лагерщика! И если Кудлатый (начальник одной из устьвымских командировок) решил, что выполнение государственных норм на 100% ещё не есть никакие сто процентов, а должно быть выполнено его (взятое из головы) сменное задание, иначе всех сажает на штрафной паёк, — переубедить его невозможно. Выполнив 100%, все получают штрафной паёк. В кабинете Кудлатого — стопы ленинских томов. Он вызывает В.Г. Власова и поучает: «Вот тут Ленин пишет, как надо относиться к паразитам». (Под паразитами он понимает заключённых, выполнивших только 100%, а под пролетариатом — себя. Это у них в голове укладывается рядом: вот моё поместье, и

я пролетарий.)

Да старые крепостники были образованны не в пример: они ж многие в Петербургах учились, а иные и в Геттингенах. Из них, смотришь, Аксаковы выходили, Радищевы, Тургеневы. Но из наших эмведешников никто не вышел и не выйдет. А главное — крепостники или сами управляли своими имениями, или хоть чуть–чуть в хозяйстве своём разбирались. Но чванные офицеры МВД, осыпанные всеми видами государственных благ, никак не могут взять на себя ещё и труд хозяйственного руководства. Они ленивы для этого и тупы. И они обволакивают своё безделье туманом строгости и секретности. И так получается, что государство (отнюдь не всегда управлявшееся с самого верха, история это поймёт: очень часто именно средняя прослойка своей инерцией покоя определяла государственное не–развитие) вынуждено рядом со всей их золотопо–гонной иерархией воздвигать ещё такую же вторую из трестов и комбинатов. (Но это никого не удивляло: что в стране у нас не дублируется, начиная с самой власти советов?)

Самовластие. Самодурство. В этом лагерщики вполне сравнялись с худшими из крепостников XVIII и XIX веков. Бесчисленны примеры бес-

смысленных распоряжений, единственная цель которых— показать власть. Чем дальше в Сибирь и на Север— тем больше, но вот и в Химках, под самой Москвой (теперь уже— в Москве), майор Волков замечает 1 мая, что зэки не веселы. Приказывает: «Всем веселиться немедленно! Кого увижу скучным — в кондей!» А чтоб развеселить инженеров— шлёт к ним блатных девок с третьим сроком, петь похабные частушки. Скажут, что это— не самодурство, а политическое мероприятие, хорошо. В тот же лагерь привезли новый этап. Один новичок, Ивановский, представляется как танцор Большого театра. «Что? Артист? — свирепеет Волков. — В кондей на двадцать суток! Пойди сам и доложи начальнику ШИЗО!» Спустя время позвонил: «Сидит артист?» — «Сидит». — Сам пришёл?» — «Сам». — «Ну выпустить его! Назначаю его пом–коменданта». (Этот же Волков, мы уже писали, велел остричь наголо женщину за то, что волосы красивые.)

Не угодил начальнику ОЛПа хирург Фустер, испанец. «Послать его на каменный карьер!» Послали. Но вскоре заболел сам начальник, и нужна операция. Есть другие хирурги, можно поехать и в центральную больницу, нет, он верит только Фустеру! Вернуть Фустера с карьера! Будешь де-

лать мне операцию! (Но умер на столе.)

А у одного начальника вот находка: з/к инженер–геолог Козак, оказывается, имеет драматический тенор, до революции учился в Петербурге у итальянца Репетто. И начальник лагеря открывает голос также и у себя. 1941–42 годы, где–то идёт война, но начальник хорошо защищен бронью и берёт уроки пения у своего крепостного. А тот чахнет, доходит, посылает запросы о своей жене, и жена его О.П. Козак из ссылки ищет мужа через ГУЛАГ. Розыски сходятся в руках начальника, и он может связать мужа и жену, однако не делает этого. Почему? Он «успокаивает» Козака, что жена его… сослана, но живёт сытно (педагог, она работает в Заготзерно уборщицей, потом в колхозе). И— продолжает брать уроки пения. Когда в 1943 году Козак уже совсем при смерти, начальник милует его, помогает сактировать и отпускает умереть к жене. (Так ещё не злой начальник?)

Всем лагерным начальникам свойственно ощущение вотчины. Они понимают свой лагерь не как часть какой–то государственной системы, а как вотчину, безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. Отсюда— и всё самовольство над жизнями, над личностями, отсюда и хвастовство друг перед другом.

Начальник одного кенгирского лагпункта: «А у меня профессор в бане работает!» Но начальник другого лагпункта, капитан Стадников, режет под корень: «А у меня — академик дневальным, параши носит!»

Жадность, стяжательство. Это черта среди лагер–щиков — самая универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур — но обогатиться за счёт бесплатного труда зэков и за счёт государственного имущества старается каждый, будь он главный в этом месте начальник или подсобный. Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бескорыстного лагерщика, и никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал такого.

В их жажде как можно больше урвать никакие многочисленные законные выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата (с двойными и тройными надбавками «за полярность», «за отдалённость», «за опасность»). Ни — премирование (предусмотренное для руководящих сотрудников лагеря 79–й статьёй Исправительно–трудового кодекса 1933 года— того самого Кодекса, который не мешал установить для заключённых 12–часовой рабочий день, и без воскресений). Ни— исключительно выгодный

расчёт стажа. (На Севере, где расположена половина Архипелага, год работы засчитывается за два, а всего–то для «военных» до пенсии надо 20 лет. Таким образом, окончив училище 22–х лет, офицер МВД может выйти на полную пенсию и ехать жить в Сочи в 32 года!)

Нет! Но каждый обильный или скудный канал, по которому могут притекать бесплатные услуги, или продукты, или предметы, — всегда используется каждым лагерщиком взагрёб и взахлёб. Ещё на Соловках начальники стали присваивать себе из заключённых— кухарок, прачек, конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался (и сверху никогда не запрещался) этот выгодный обычай, и лагерщики брали себе также скотниц, огородников или преподавателей к детям. И в годы самого пронзительного звона о равенстве и социализме, например в 1933, в БАМлаге любой вольнонаёмный за небольшую плату в кассу лагеря мог получить личную прислугу из заключённых. В Княж–Погосте тётя Маня Уткина обслуживала корову начальника лагерями и была за то награждена— стаканом молока в день. И по нравам ГУЛАГа это было щедро. (А ещё верней по нравам ГУЛАГа, чтоб корова была не начальникова, а — «для улучшения питания больных»,

но молоко бы шло начальнику.)

Не стаканами, а вёдрами и мешками, кто только мог съесть или выпить за счёт пайка заключённых— обязательно это делал! Перечтите, читатель, письмо Липая из главы 9, этот вопль наверно бывшего каптёра. Ведь не из голода, не по нужде, не по бедности эти Курагин, Пойсуйшапка и Игнатчен–ко тянули мешки и бочки из каптёрки, а просто: отчего же не поживиться за счёт безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов? А тем более во время войны, когда все вокруг хапают? Да не живи так, над тобой другие смеяться будут! (Уже не выделяю особым свойством их предательство по отношению к придуркам, попавшимся на недостаче.) Вспоминают и ко–лымчане: кто только мог потянуть из общего котла заключённых— начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, вольнонаёмные служащие, дежурные надзиратели—обязательно тянули. А вахтёры — чай сладкий таскали на вахту. Хоть ложечку сахара, да за счёт заключённого слопать! От умирающего отнять— ведь слаже…

А что же было, когда им доставались в руки «американские подарки» (сбор жителей Штатов для советского народа)! На Усть–Нере в 1943, по рассказу Т. Сговио, начальник лагеря полковник

Нагорный, политотдела— Голоулин, Индигирско–го управления Быков и геологического управления Раковский вместе с жёнами сами открывали все ящики подарков, отбирали себе и дрались. Остальное, не взятое ими самими, они потом раздавали как премии на собрании вольных. Ещё и до 1948 года дневальные начальства продавали на чёрном рынке остатки американских подарков.

Начальников КВЧ лучше не вспоминать — смех один. Всё тащат, да мелочно как–то (крупней им не разрешено). Вызовет начальник КВЧ каптёра и даёт ему свёрток — рваные ватные брюки, завёрнутые в «Правду», — на, мол, а мне новые принеси. Ас Калужской заставы начальник КВЧ в 1945–46 годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зэками на строительстве. (И потом ещё по Москве ехал в автобусе— шинель и вязанка дровишек, тоже жизнь несладкая…)

Лагерным хозяевам мало, что сами они и семьи их обуваются и одеваются у лагерных мастеров (даже костюм «голубь мира» к костюмированному балу для толстухи жены начальника ОЛПа шьётся на хоздворе). Им мало, что там изготовляют им мебель и любую хозяйственную снасть. Им

мало, что там же льют им и дробь (для браконьерской охоты в соседнем заповеднике). Им мало, что свиньи их кормятся с лагерной кухни. Мало! от старых крепостников тем и отличаются они, что власть их— не пожизненна и не наследственна. И оттого крепостники не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в хозяйстве что–нибудь украсть.

Я скудно привожу примеры, только чтоб не загромождать изложения. Из нашего лагеря на Калужской заставе мрачный горбун Невежин никогда не уходил с пустыми руками, так и шёл в долгой офицерской шинели и нёс или ведёрко с олифой, или стёкла, или замазку, в общем в количествах, тысячекратно превышающих нужды одной семьи. А пузатый капитан, начальник 15–го ОЛПа с Котельнической набережной, каждую неделю приезжал в лагерь на легковой машине за олифой и замазкой (в послевоенной Москве это было золото). И всё это предварительно воровали для них из производственной зоны и переносили в лагерную — те самые зэки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей! Но мы–то, под–советские, давно исправились, и у себя на родине освоились, и нам это только

смешно. А вот каково было военнопленным немцам в ростовском лагере! — начальник посылал их ночами воровать для себя стройматериалы: он и другие начальники строили себе дома. Что могли понять в этом смирные немцы, если они знали, что тот же начальник за кражу котелка картошки посылал их под трибунал и там лепили им 10 лет и 25? Немцы придумали: приходили к переводчице Т.С. Сергиенко и подавали ей оправдательный документ: заявление, что такого–то числа идут воровать вынужденно. (А строили они железнодорожные сооружения, и из–за постоянной кражи цемента те клались почти на песке.)

Зайдите сейчас в Экибастузе в дом начальника шахтоуправления Д.М. Матвеева (это он из–за свёртывания ГУЛАГа в шахтоуправлении, а то был начальник Экибастузского лагеря с 1952 года). Дом его набит картинами, резьбой и другими вещами, сделанными бесплатными руками туземцев.

Похоть. Это не у каждого, конечно, это с физиологией связано, но положение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор гаремным наклонностям. Начальник Буреполомского лагпункта Гринберг всякую новоприбывшую пригожую молодую

женщину тотчас же требовал к себе. (И что она могла выбрать ещё, кроме смерти?) В Кочемасе начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках (как мы видели и в Ховрино). Он самолично сдёргивал с женщин одеяла, якобы ища спрятанных мужчин. При красавице–жене он одновременно имел трёх любовниц из зэчек. (Однажды, застрелив одну из них по ревности, застрелился и сам.) Филимонов, начальник КВО всего Дмитлага, был снят «за бытовое разложение» и послан исправляться (в той же должности) на БАМлаг. Здесь продолжал широко пьянствовать и блудить и свою наложницу бытовичку сделал… начальницей КВЧ. (Сын его сошёлся с бандитами и вскоре сам сел за бандитизм.)

Злость, жестокость. Не было узды ни реальной, ни нравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости.

Как дикая плантаторша, носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина–зверь (13–й лесоповаль–ный женский ОЛП Унжлага). Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в БУР. Капитан Мед-

ведев (3–й лагпункт УстьВымла–га) по несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в женбарак, чтобы следом посадить. Он любил иметь всегда полный изолятор. Если камеры изоляторов не были набиты, он ощущал неполноту жизни. По вечерам он любил выстроить зэков и читать им внушения вроде: «Ваша карта бита! Возврата на волю вам не будет никогда, и не надейтесь!» В том же УстьВымлаге начальник лагпункта Мина–ков (бывший замнач Краснодарской тюрьмы, отсидевший два года за превышение власти в ней и уже вернувшийся в партию) самолично сдёргивал отказчиков за ноги с нар; среди тех попались блатари, стали сопротивляться, размахивать досками; тогда он велел во всём бараке выставить рамы (25° мороза) и через проломы плескать внутрь воду вёдрами.

Они все знали (и туземцы знали): здесь телеграфные провода кончились! Развилась у плантаторов и злоба с вывертом, то что называется садизм. Перед начальником спецотдела Буреполома Шульманом построен новый этап. Он знает, что этот этап весь идёт сейчас на общие работы. Всё же он не отказывает себе в удовольствии спросить: «Инженеры есть? Поднимите руки!» Поднимается с десяток над лицами, засве-

тившимися надеждой. «Ах вот как! А может, и академики есть? Сейчас принесут карандашиЪ И подносят… ломы. Начальник

Вильнюсской колонии лейтенант Карев видит среди новичков младшего лейтенанта Вельского (тот ещё в сапогах, в обтрёпанной офицерской форме). Ещё недавно этот человек был таким же советским офицером, как и Карев, такой же погон носил с одним просветом. Что ж, пробуждается в Кареве сочувствие при виде этой обтрёпанной формы? Удерживается ли по крайней мере безразличие? Нет — желание унизить выборочно! И он распоряжается поставить его (вот именно не меняя форму на лагерную) возить навоз на огороды. В баню той же колонии приезжали ответработники Литовской УИТЛК, ложились на полки и мыть себя заставляли не просто заключённых, а обязательно Пятьдесят Восьмую.

Да присмотритесь к их лицам, они ведь ходят и сегодня среди нас, вместе с нами могут оказаться в поезде (не ниже, конечно, купейного), в самолёте. У них венок в петлице, неизвестно что венчающий венок, а погоны уже не стали, правда, голубые (стесняются), но кантик голубенький или даже красный, или малиновый. На их лицах— задубеневшая отложившаяся жесто-

кость и всегда мрачно–недовольное выражение. Казалось бы, всё хорошо в их жизни, а вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они ещё что–то лучшее упускают? То ли уж за все злодейства метит Бог шельму непременно? — В вологодских, архангельских, уральских поездах в купейных вагонах— повышенный процент этих военных. За окном мелькают облезлые лагерные вышки. «Ваше хозяйство?» — спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворённо, даже гордо: «Наше». — «Туда и едете?» — «Да». — «И жена работает тоже?» — «Девяносто получает. Да я две с половиной сотни (майор). Двое детей. Не разгонишься». Вот этот, например, даже с городскими манерами, очень приятный собеседник для поезда. Замелькали колхозные поля, он объясняет: «В сельском хозяйстве значительно лучше пошли дела. Они теперь сеют, что хотят». (Социализм! А когда из пещеры первый раз вылезли засевать лесной пожог— не «что хотели» сеяли?..)

В 1962 году ехал я через Сибирь в поезде первый раз вольным. И надо же! — в купе оказался молодой эмведешник, только что выпущенный из Тавдинского училища и ехавший в распоряжение Иркутского УИТЛа. Я притворился сочувственным дурачком, и он рассказывал

мне, как стажировку проходили в современных лагерях, и какие эти заключённые нахальные, бесчувственные и безнадёжные. На его лице ещё не установилась эта постоянная жестокость, но показал он мне торжественный снимок 3–го выпуска Тавды, где были не только мальчики, но и давние лагерщики, добиравшие образование (по дрессировке, сыску, лагереведению и марксизму–ленинизму) больше для пенсии уже, чем для службы, — и я хоть и видел виды, однако ахнул. Чернота души выбивается в лица! Как же умело отбирают их из человечества!

В лагере военнопленных Ахтме (Эстония) был такой случай: русская медсестра вступила в близость с военнопленным немцем, это обнаружили. Её не просто изгнали из своей благородной среды — о нет! Для этой женщины, носившей советские офицерские погоны, сколотили близ вахты за зоной тесовую будку (трудов не пожалели) с кошачьим окошком. В этой будке продержали женщину неделю, и каждый вольный, приходящий «на работу» и уходящий с неё, — бросал в будку камнями, кричал «б… немецкая!» и плевал.

Вот так они и отбираются.

Поможем сохранить для истории фамилии

колымских ла–герщиков–палачей, не знавших (конец 30–х годов) границ своей власти и изобретательной жестокости: Павлов, Вишневецкий, Гагкаев, Жуков, Комаров, М.А. Кудряшёв, Логовиненко, Меринов, Никишов, Резников, Титов, Василий «Дуровой». Упомянем и Светличного, знаменитого истязателя из Норильска, много жизней числят зэки за ним.

Уж кто–нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев (разжалованный из прибалтийского минвнудела в начальники Степлага); Тарасюк (начальник Усольлага); Короти–цын и Дидоренко из Каргопольлага; о свирепом Барабанове (начальник Печорлага с конца войны); о Смирнове (начальник режима ПечЖелДорлага); майоре Чепиге (начальник режима Воркутлага). Только перечень этих знаменитых имён занял бы десятки страниц. Моему одинокому перу за ними за всеми не угнаться. Да и власть по–прежнему у них. Не отвели мне ещё конторы собирать эти материалы и через всесоюзное радио не предлагают обратиться со сбором.

А я ещё о Мамулове, и хватит. Это всё тот же ховринский Мамулов, чей брат был начальником секретариата Берии. Когда наши освободили пол–Германии, многие крупные эмведеш–ники туда

ринулись, и Мамулов тоже. Оттуда погнал он эшелоны с запломбированными вагонами — на свою станцию Ховри–но. Вагоны вгонялись в лагерную зону, чтоб не видели вольные железнодорожники (как бы «ценное оборудование» для завода), — ауж свои зэки разгружали, их не стеснялись. Тут навалом набросано было всё, что наспех берут ошалевшие грабители: вырванные из потолка люстры, мебель музейная и бытовая, сервизы, кое–как увёрнутые в комканые скатерти, и кухонная утварь, платья бальные и домашние, бельё женское и мужское, цветные фраки, цилиндры и даже трости. Здесь это бережно теперь сортировалось, и что цело — везлось по квартирам, раздавалось знакомым. Привёз Мамулов из Германии и целый парк трофейных автомашин, даже 12–летнему сыну (как раз возраст малолетки!) подарил «опель–кадета». На долгие месяцы портновская и сапожная лагерные мастерские были завалены перешивкой привезенного ворованного. Да у Мамулова не одна ж была квартира в Москве и не одна женщина, которую надо было обеспечить. Но любимая его квартира была загородная, при лагере. Сюда приезжал иногда и сам Лаврентий Павлович. Привозили из Москвы всамделишный хор цыган и даже допускали на

эти оргии двух зэков — гитариста Фетисова и плясуна Малини–на (из ансамбля песни и пляски Красной армии), предупредив их: если где слово расскажете — сгною! Мамулов вот был какой: с рыбалки возвращались, тащили лодку через огород какого–то деда, и потоптали. Дед как бы забурчал. Чем же наградить его? А избил его своими кулаками так, что тот в землю только хрипел. За моё же жито и меня же бито…[365]

Но я чувствую, что рассказ мой становится однообразным. Я, кажется, повторяюсь? Или мы об этом уже где–то читали, читали, читали?..

Мне возражают! Мне возражают! Да, были отдельные факты… Но главным образом при Берии… Но почему вы не даёте светлых примеров? Но опишите же и хороших! Но покажите нам наших отцов родных…

Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает. А я — не видел. Я общим рассуждением уже вывел, что лагерный начальник не может быть хорошим, — он должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Ну допустите на минуту: вот

---

[365] Примечания: 365

При падении Берии в 1953 году погорел и Мамулов, но не надолго, потому что всё–таки принадлежал он к правящим кадрам. Он выплыл и стал одним из начальников в Мосстрое. Потом ещё раз завалился на «левой» загонке квартир. Потом снова приподнялся. Да ведь уже и на пенсию хорошую пора

лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на человеческий, — так дадут ему? разрешат? допустят? Как это самовар на мороз вынести да он бы там нагревался?

Вот так я согласен принять: «хорошие» это те, кто никак не вырвется, кто ещё не ушёл, но уйдёт. Например, у директора московской обувной фабрики М. Герасимова отняли партбилет, а из партии не исключили (и такая форма была). А пока его — куда? Послали лагерщиком (Усть–Вымь). Так вот, говорят, он очень тяготился должностью, с заключёнными был мягок. Через 5 месяцев вырвался и уехал. Можно поверить: эти 5 месяцев он был хорошим. Вот, мол, в Ортау был (1944) начальник лагпункта Смешко, от него дурного не видели, — так и он рвался уйти. ВУСВИТЛе начальник отдела (1946) бывший лётчик Морозов хорошо относился к заключённым — так зато к нему начальство дурно. Или вот капитан Сиверкин, говорят, в Ны–роблаге был хорошим. Так что? Послали его в Парму, на штрафную командировку. И два у него были занятия — пил горькую да слушал западное радио, оно в их местности слабо глушилось (1952). Вот и сосед мой по вагону, выпускник Тавды, тоже ещё с добрыми порывами: в коридоре оказался безбилетный

парень, сутки на ногах. Говорит: «Потеснимся, дадим место? Пусть поспит». Но дозвольте ему годик послужить начальником — и он иначе сделает, он пойдёт к проводнице: «Выведите безбилетника!» Разве неправда?

Ну, честно скажу, знал я одного очень хорошего эмведеш–ника, правда, не лагерщика, а тюремщика — подполковника Цуканова. Одно короткое время он был начальником марфинской Спецтюрьмы. Не я один, но все тамошние зэки признают: зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изогнуть инструкцию в пользу зэков — обязательно гнул. В чём только мог послабить— непременно послаблял. Но что ж? Перевели нашу Спецтюрьму в разряд более строгих— и он был убран. Он был немолод, служил в МВД долго. Не знаю— как. Загадка.

Да вот ещё Арнольд Раппопорт уверяет меня, что инженер–полковник Мальцев Михаил Митрофанович, армейский сапёр, с 1943 по 1947 начальник Воркутлага (и строительства, и самого лагеря), — был, мол, хороший. В присутствии чекистов подавал руку заключённым инженерам и называл их по имени–отчеству. Профессиональных чекистов не терпел, пренебрегал начальником Политотдела полковником

Кухтиковым. Когда ему присвоили звание гебистское — генерального комиссара третьего ранга, он не принял (может ли так быть?): я инженер. И добился своего: стал обычным генералом. За годы его правления, уверяет Раппопорт, не было создано на Воркуте ни одного лагерного дела (а ведь это годы — военные, самое время для «дел»), жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество лагерных оперов. Это очень важное свидетельство, если только А. Раппопорт не поддаётся невольным преувеличениям из–за своего привилегированного инженерного положения в то время. Мне как–то плохо верится: почему тогда не сшибли этого Мальцева? ведь он должен был всем мешать! Понадеемся, что когда–нибудь кто–нибудь установит здесь истину. (Командуя сапёрной дивизией под Сталинградом, Мальцев мог вызвать командира полка перед строй и собственноручно его застрелить. На Воркуту он и попал как опальный, да не за это, за другое что–то.)

В этом и других подобных случаях память и личные наслоения иногда искажают воспоминания. Когда говорят о хороших, хочется спросить: хорошие — к кому? ко всем ли?

И бывшие фронтовики — совсем не лучшая

замена исконным эмведешникам. Чульпенёв свидетельствует, что становилось не лучше, а хуже, когда старый лагерный пёс сменялся (в конце войны) подраненным фронтовиком вроде комиссара полка Егорова. Совсем ничего не понимая в лагерной жизни, они делали беспечные поверхностные распоряжения и уходили за зону пьянствовать с бабами, отдавая лагерь во власть мерзавцев из придурков.

Однако те, кто особенно кричат о «хороших чекистах» в лагерях, а это — благонамеренные ортодоксы, — имеют в виду «хороших» не в том смысле, в котором понимаем мы: не тех, кто пытался бы создать общую человечную обстановку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛАГа. Нет, «хорошими» считают они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые инструкции, загрызал и травил всю толпу заключённых, но поблажал бывшим коммунистам. (Какая у благонамеренных широта взгляда! Всегда они — наследники общечеловеческой культуры.)

Такие «хорошие», конечно, были, и немало. Да вот и Кудлатый с томами Ленина — чем не такой? О таком рассказывает Дьяков, вот благородство: начальник лагеря во время московской

командировки посетил семью сидящего у него ортодокса, а вернулся — и приступил к исполнению всех псовых обязанностей. И генерал Горбатов «хорошего» колымского припоминает: «Нас привыкли считать какими–то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщать радостное известие заключённому». А чем этот «хороший» колымский пёс озабочен— чтоб Горбатов не рассказал «наверху» о произволе в его лагере.

Из–за того и вся приятная беседа. К концу же: «Будьте осторожны в разговорах». (И Горбатов опять ничего не понял…)

Вот и Левкович пишет в «Известиях» (6.9.1964), как называется, страстную, а по–нашему— заданную статью: что знала–де она в лагерях несколько добрых, умных, строгих, печальных, усталых и т. д. чекистов, и такой комендант Капустин в Джамбуле пытался сосланных жён коммунистов устраивать на работу— и из–за этого был вынужден застрелиться. Тут уж полный бред, мели, Емеля… Комендант и обязан устраивать ссыльных на работу, даже насильственным путём. И если он действительно застрелился— так или проворовался, или с бабами запутался.

Да, вот же ещё «хороший»! — наш экибастуз-

ский подполковник Матвеев. При Сталине острые зубы казал и лязгал, а умер Папаша, Берия слетел — и стал Матвеев первым либералом, отец туземцев! Ну, и до следующего ветра. (Но натихую поучал бригадира Александрова и в этот год: «Кто вас не слушает— бейте в морду, вам ничего не будет, обещаю!»)

Нет, до ветру нам таких «хороших»! Такие все «хорошие» дёшево стоят. По нам, тогда они хороши, когда сами в лагерь садятся.

И— садились иные. Только суд был над ними — не за то.

* * *

Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это — гулаговские унтеры. Та самая их и задача—тащить и не пущать. На той же гулаговской лестнице они стоят, только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои руки приложить приходится чаще. Они, впрочем, на это не скупятся, и если нужно искровянить кого в штрафном изоляторе или в надзирательской комнате, то втроём смело бьют одного, хоть до полёгу. Год от года они на своей службе грубеют, и не заметишь на них ни облачка сожаления к мокнущим, мёрзнущим, голодным, усталым и

умирающим арестантам. Заключённые перед ними— так же бесправны и беззащитны, как и перед большим начальством, так же можно на них давить— и чувствовать себя высоким человеком. И выместить злость, проявить жестокость — в этом преграда им не поставлена. А когда бьёшь безнаказанно — то, начав, покинуть не хочется. Произвол растравляет, и самого себя таким уж грозным чувствуешь, что и себя боишься. Своих офицеров надзиратели охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера— но нет на них того золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключённых им не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, дёрнуть зэка к себе домой на полдня— дров поколоть, полы помыть— это можно, но не очень размашисто! За счёт работающих— нельзя, значит, за счёт отдыхающих. (Табатеров— Березники, 1930 — только прилёг после ночной двенадцатичасовой смены, надзиратель его разбудил и послал к себе домой работать. А попробуй не пойди…) Вотчины нет у надзирателей, лагерь им всё–таки — не вотчина, а— служба, оттого нет ни той спеси, ни того размаха в самовластии. Стоит перед ними преграда и в воровстве. Здесь — несправедливость: у на-

чальства и без того денег много — так им и брать можно много, а у надзора куда меньше — и брать разрешено меньше. Уже из каптёрки мешком тебе не дадут— разве сумочкой малой. Как сейчас вижу крупнолицего льноволосого сержанта Киселёва: зашёл в бухгалтерию (1945) и командует: «не выписывать ни грамма жиров на кухню зэка! только вольным!» (жиров не хватало). Всего–то и преимуществ— жиров по норме… Сшить что–нибудь себе в лагерной мастерской— надо разрешение начальника, да в очередь. Ну, вот на производстве можно заставить зэка что–нибудь по мелочи сделать— запаять, подварить, выковать, выточить. А крупней табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жён их особенно, и оттого много бывает горечи против начальства, оттого жизнь ещё кажется сильно несправедливой, и появляются в груди надзирательской струны не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в надзирателе, тюремном и лагерном, встретить человека бывает можно, каждый заключённый

встречал на своём пути не одного. В офицере же— почти невозможно.

Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального положения и человечности.

Настоящие надзиратели— это те, кто служит в лагерях по 15 и по 25 лет. Кто, однажды поселясь в далёких этих проклятых местах, — уж оттуда и не вылезает. Устав и распорядок они однажды утвердят в голове — и ничего во всю жизнь им больше ни читать, ни знать не надо, только слушай радио, московскую первую программу. Вот их–то корпус и составляет для нас — тупо–невыразительное, непреклонное, недоступное никакой мысли лицо ГУЛАГа.

Только в годы войны состав надзора исказился и замутился. Военные власти впопыхах пренебрегли безупречностью службы надзора и кого–то выхватили на фронт а взамен стали попадать сюда солдаты войсковых частей после госпиталя — но этих ещё отбирали потупей и пожесточе. А то попадали старики: сразу из дому по мобилизации и сюда. И вот среди этих–то, седоусых, очень были добродушные непредвзятые люди — разговаривали ласково, обыскивали кое–как, ничего не отнимали и ещё шутили. Никогда

от них не бывало жалобы и рапорта на карцер. Но после войны они вскоре демобилизовались, и больше таких не стало.

Необычны были для надзорсостава и такие (тоже надзиратели военного времени), как студент «Сенин», я о нём уже писал, и ещё один еврей–надзиратель в нашем лагере на Калужской — пожилой, совершенно гражданского вида, очень спокойный, не придирчивый, никому от него не было зла. Он так нестрого держался, что раз я осмелился у него спросить: «Скажите, кто вы по гражданской специальности?» Он не обиделся, посмотрел на меня спокойными глазами и тихо ответил: «Коммерсант». До нашего лагеря во время войны он служил в подольском, где, как говорил, каждый день войны умирало от истощения 13–14 человек (вот уже 20 тысяч смертей). В «войсках» НКВД он, видимо, перебывал войну, а теперь, после войны, нужно было ему проявить умение и не застрять здесь навечно.

А вот старшина Ткач, гроза и помначрежима Экибастуз–ского лагеря, пришёлся к надзорсоставу как влитый, будто от пелёнок он только тут и служил, будто и родился вместе с ГУЛАГом. Это было— всегда застывшее зловещее лицо под чёрным чубом. Страшно было оказаться просто

рядом с ним или встретиться с ним на лагерной дорожке: он не проходил мимо, чтоб не причинить человеку зла— вернуть его, заставить работать, отнять, напугать, наказать, арестовать. Даже после вечерней проверки, когда бараки запирались на замок, но в летнее время зарешеченные окна были открыты, Ткач неслышно подкрадывался к окнам, подслушивал, потом заглядывал, — вся комната шарахалась— а он за подоконником, как чёрная ночная птица, через решётку объявлял наказания: за то, что не спят, за то, что разговаривают, за то, что пользуются запрещённым.

И вдруг — исчез Ткач навсегда. И пронёсся по лагерю слух (проверить точно мы его не могли, но такие упорные слухи обычно верны), что он разоблачён как фашистский палач с оккупированной территории, арестован и получил четвертную. Это было в 1952 году.

Как случилось, однако, что фашистский палач (никак не долее чем трёхлетний) семь лет после войны был на лучшем счету в МВД?

* * *

«Конвой открывает огонь без предупреждения!» В этом заклинании— весь особый статут

конвоя, его власти над нами по ту сторону закона.

Говоря «конвой», мы употребляем бытовое слово Архипелага: ещё говорили (в ИТЛ даже чаще) — Вохра или просто «охра». По–учёному же они назывались Военизированная Стрелковая Охрана МВД, и «конвой» был только одной из возможных служб Вохры, наряду со службой «в карауле», «на зоне», «на оцеплении» и «в дивизионе».

Служба конвоя, когда и войны нет, — как фронтовая. Конвою не страшны никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придётся. Всякий стрелявший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту.

Вот два убийства на лагпункте Ортау (а на число лагпунктов умножайте). Стрелок вёл подконвойную группу, бесконвойный подошёл к своей девушке, идущей в группе, пошёл рядом. «Отойди!» — «А тебе жалко?» Выстрел. Убит. Комедия суда, стрелок оправдан: оскорблён при исполнении служебных обязанностей.

К другому стрелку, на вахте, подбежал зэк с обходным листком (завтра ему освобождаться), попросил: «Пусти, я в прачечную (за зону) сбегаю, мигом!» — «Нельзя». — «Так завтра же я буду

вольный, дурак!» Застрелил. И даже не судили.

А в пылу работы как легко заключённому не заметить этих затёсов на деревьях, которые и есть воображаемый пунктир, лесное оцепление вместо колючей проволоки. Вот Соловьёв (бывший армейский лейтенант) повалил ель и, пятясь, очищает её от сучьев. Он видит только своё поваленное дерево. А конвоир, «тоншаевский волк», прищурился и ждёт, он не окликнет зэка — «поберегись!». Он ждёт— и вот Соловьёв, не замечая, переступил зону, продолжая пятиться вдоль ствола. Выстрел! Разрывная пуля, и разворочено лёгкое. Соловьёв убит, а «тоншаевскому волку»— 100 рублей премия. («Тоншаевские волки» — это близ Буреполома местные жители Тоншаевского района, которые все поступали в Вохру—во время войны, чтоб от дома ближе и на фронт не идти.)

Эта беспрекословность отношений между конвоем и заключёнными, постоянное право охраны употребить пулю вместо слова— не может остаться без влияния на характер вохровских офицеров и самих вохровцев. Жизнь заключённых отдаётся в их власть хотя не на полные сутки, но зато уже сполна и доглубо–ка. Туземцы для них— никак не люди, это какие–то движущиеся ленивые чучела, которых довёл их рок считать, да побыстрее про-

гнать на работу и с работы, да на работе держать погуще.

Но ещё больше сгущался произвол в офицерах Вохры. У этих молоденьких лейтенантиков создавалось злобно–своевольное ощущение власти над бытием. Одни— только громогласные (старший лейтенант Чёрный в Ныроблаге), другие — наслаждаясь жестокостью и даже перенося её на своих солдат (лейтенант Самутин, там же), третьи не зная уже ни в чём запрета своему всесилию. Командир Вохры Невский (Усть–Вымь, 3–й лагпункт) обнаружил пропажу своей собачки — не служебной овчарки, а любимой собачки. Он пошёл искать её, разумеется, в зону и как раз застал пятерых туземцев, разделывавших труп. Он вынул пистолет и одного убил на месте. (Никаких административных последствий этот случай не имел, кроме наказания штрафным изолятором остальных четверых.)

В 1938 в Приуралье на реке Вишере с ураганною быстротою налетел лесной пожар — от леса да на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их— и все сгорели. Так—спокойнее. А если б выпущенные да разбежались — судили бы охрану.

Лишь в одном ограничивала вохровская служба клокочущую энергию своих офицеров: взвод был основной единицей, и всё всесилие кончалось взводом, а погоны — двумя малыми звёздочками. Продвижение в дивизионе лишь удаляло от реальной взводной власти, было тупиковым.

Оттого самые властолюбивые и сильные из вохровцев старались перескочить во внутреннюю службу МВД и продвигаться уже там. Некоторые известные гулаговские биографии именно таковы. Уже упомянутый Антонов, вершитель заполярной «Мёртвой дороги», вышел из командиров Вохры и образование имел — всего четырёхклассное.

Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве, да и военкоматы имели на то тайное указание. Много тайной работы ведут военкоматы, мы к ним относимся добродушно. Почему, например, так решительно отказались от идеи территориальных войск 20–х годов (проект Фрунзе), и даже, наоборот, с исключительным упорством усылают новобранцев служить в армии как можно дальше от своей местности (азербайджанцев — в Эстонию, латышей — на Кавказ)? Потому что войска должны быть чужды

местному населению желательно и по расе (как проверено в Новочеркасске в 1962 году). Так и в подборе конвойных войск не без умысла было достигнуто повышенное число татар и других нацменов: их меньшая просвещённость, их худшая осведомлённость были ценностью для государства, крепостью его.

Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались лишь одновременно с Особлагами — с конца 40–х и начала 50–х годов. Стали брать туда только 19–летних мальчиков и сразу подвергать их густому идеологическому облучению. (Об этом конвое мы ещё будем говорить отдельно.)

А до того времени как–то руки не доходили в ГУЛАГе. Да просто весь наш, хотя и социалистический, народ ещё не до–развился, не поднялся до того стойкого жестокого уровня, чтобы поставлять достойную лагерную охрану. Состав Вохры бывал пёстр и переставал быть той стеной ужаса, как замыслен. Особенно размягчился он в годы советско–германской войны: лучших тренированных («хорошей злобности») молодых ребят приходилось передавать на фронт, а в Вохру тянулись хилые запасники, по здоровью не годные к действующей армии, а по злобности совсем не

подготовленные к ГУЛАГу (не в советские годы воспитывались). В самые беспощадные голодные военные лагерные годы это расслабление Вохры (где оно было, не везде–то было) — хоть отчасти облегчало жизнь заключённых.

Нина Самшель вспоминает о своём отце, который вот так в пожилом возрасте в 1942 году был призван в армию, а направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. «Дома отец горько рассказывал о жизни в лагере и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному (вот тоже ещё военное время — на всю бригаду один стрелок, разве не облегчение?), то я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключёнными. Отца заключённые очень уважали: он никогда им не грубил и отпускал их по просьбам, например в магазин, и они у него никогда не убегали. Они мне говорили: «Вот если бы все конвойные были такие, как твой папа». Он знал, что много людей сидит невинных, и всегда возмущался, но только дома— во взводе сказать так было нельзя, за это судили». По окончании войны он сразу демобилизовался.

Но и по Самшелю нельзя верстать Вохру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба

его: уже в 1947 он был по 58–й посажен и сам! В 1950 в присмертном состоянии сактирован и через 5 месяцев дома умер.

После войны эта разболтанная охрана ещё оставалась год–два, и как–то повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок»: «Вот когда срок кончу». Они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был разжалован, судим и тут же амнистирован, — и стрелки завидовали ему: вот додумался! молодец!

Наталья Столярова вспоминает стрелка, который задержал её в начале побега — и скрыл её попытку, она не была наказана. Ещё один застрелился от любви к зэчке, отправленной на этап. До введения подлинных строгостей на женских лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь.

Молодые пополнения послевоенных лет тоже не сразу стали такими, как хотел ГУЛАГ. Когда в ныроблагской стрелковой охране бунтовал Владилен Задорный (о нём ещё будет), то

сверстники–сослуживцы относились к его сопротивлению очень сочувственно.

Особую полосу в истории лагерной охраны составляет самоохрана. Ещё ведь в первые послереволюционные годы было провозглашено, что самоокарауливание есть обязанность советских заключённых. Не без успеха это было применено на Соловках, очень широко на Беломорканале и на Волгоканале: всякий социально–близкий, не желавший катать тачку, мог взять винтовку против своих товарищей.

Не будем утверждать, что это был специальный дьявольский расчет на моральное разложение народа. Как всегда в нашей полувековой советской истории, высокая коммунистическая теория и ползучая моральная низость естественно переплетались, легко обращаясь друг в друга. Но из рассказов старых зэков известно, что самоохранники были жестоки к своим братьям, тянулись выслужиться, удержаться в собачьей должности, иногда и сводили старые счёты выстрелом наповал.

Нет, скажите: чему дурному нельзя научить народ? людей? человечество?

Да это и в юридической литературе отмечено: «во многих случаях лишённые свободы выпол-

няют свои обязанности по охране колонии и поддержанию порядка лучше, чем штатные надзиратели»[366].

Эта цитата— из 30–х годов, а Задорный подтверждает и о конце 40–х: самоохранники были озлоблены к своим товарищам, ловили формальный повод и застреливали. Причём в Парме, штрафной командировке Ныроблага, сидела только Пятьдесят Восьмая, и самоохрана была из Пятьдесят Восьмой! Политические…

Рассказывает Владилен о таком самоохраннике — Кузьме, бывшем шофёре, молодом парне лет двадцати с небольшим. В 1949 он получил десятку по 58–10. Как жить? Другого пути не нашёл. В 1952 Владилен уже застал его самоохранником. Положение мучило его, он говорил, что не выдержит этой ноши— винтовки; идя в конвой, часто не заряжал её. Ночами плакал, называя себя шкурой продажной, и даже хотел застрелиться. У него был высокий лоб, нервное лицо. Он любил стихи и уходил с Владиленом читать их в тайгу. А потом опять за винтовку…

И такого знал он самоохранника, как Александр Лунин, уже пожилой, седые волосы венчиком

---

[366] Примечания: 366

От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 141.

около лба, располагающая добрая улыбка. На войне он был пехотный лейтенант, потом— председатель колхоза. Он получил десятку (по бытовой) за то, что не уступил райкому, чего тот требовал, а раздал самовольно колхозникам. Значит, каков человек! — ближние были ему дороже себя. А вот в Ныроблаге стал самоохранником, даже у начальника лагпункта Промежуточная заработал скидку срока.

Границы человека! Сколько ни удивляйся им, не постигнешь…

Глава 21. ПРИЛАГЕРНЫЙ МИР

Как кусок тухлого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и окружён ещё молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров Архипелага создаёт и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона, более охватная, чем сам Архипелаг, — зона посредническая, передаточная между малой зоной каждого отдельного острова и Большой Зоной всей страны.

Всё, что рождается самого заразного в Архипелаге — в людских отношениях, нравах, взглядах и языке, по всеобщему в мире закону проникания через растительные и животные перегородки— просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится и по всей стране. Именно здесь, в передаточной зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и культуры — достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные выражения звенят в коридорах нового здания МГУ или столичная независимая женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни, — не удивляйтесь: это достигло сюда через передаточную зону, через прила–герный мир.

Пока власть пыталась (а может быть, и не пыталась) перевоспитать заключённых через лозунги, культурно–воспитательную часть, почтовую цензуру и оперуполномоченных, — заключённые быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив Архипелаг, легко перекинулось дальше и захватило всесоюзный идеологический рынок, пустующий без идеологии более сильной. Лагерная хватка, жестокость людских отношений, броня бесчувствия на сердце, враждебность всякой добросовестной работе— всё это без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось на всей воле.

Так Архипелаг мстит Союзу за своё создание.

Так никакая жестокость не проходит нам даром.

Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле.

* * *

Перечислять эти места, местечки и посёлки — почти то же, что повторять географию Архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по себе — близ неё должен быть посёлок вольных. Иногда этот посёлок при каком–нибудь

временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет— и вместе с лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, подъездную дорогу— и останется навсегда. А иногда из этих посёлков вырастают знаменитые города— такие, как Магадан, Норильск, Дудинка, Игарка, Темир–Тау, Балхаш, Джезказган, Ангрен, Тайшет, Братск, Совгавань. Посёлки эти гноятся не только на диких отшибах, но и в самом туловище России — у донецких и тульских шахт, близ торфоразработок, близ сельскохозяйственных лагерей. Иногда заражены и относятся к прилагерному миру целые районы, как Тоншаевский. А когда лагерь впрыснут в тело большого города, даже самой Москвы, — прилагерный мир тоже существует, но не особым посёлком, а теми отдельными людьми, которые ежевечерне растекаются от него троллейбусами и автобусами и ежеутренне стягиваются к нему опять (передача заразы вовне в этом случае идёт ускоренно).

Ещё есть такие городки, как Кизел (на пермской горнозаводской ветке); они начали жить до всякого Архипелага, но затем оказались в окружении множества лагерей — и так превратились в одну из провинциальных столиц Архипелага. Такой город весь дышит лагерным окружением,

офицеры–лагер–щики и группы солдат охраны ходят и ездят по нему густо, как оккупанты; лагерное управление — главное учреждение города; телефонная сеть— не городская, а лагерная; маршруты автобусов все ведут из центра города в лагеря; все жители кормятся от лагерей.

Из таких провинциальных столиц Архипелага крупнейшая — Караганда. Она создана и наполнена ссыльными и бывшими заключёнными, так что старому зэку по улице и пройти нельзя, чтобы то и дело не встречать знакомых. В ней— несколько лагерных управлений. И как песок морской рассыпано вокруг неё лагпунктов.

Кто же живёт в прилагерном мире? 1) Коренные местные жители (их может и не быть). 2) Вохра— военизированная охрана. 3) Лагерные офицеры и их семьи. 4) Надзиратели с семьями (надзиратели, в отличие от охраны, всегда жи

вут по–домашнему, даже когда числятся на военной службе). 5) Бывшие зэки (освободившиеся из этого или соседнего лагеря)[367]. 6) Разные ущемлённые — полурепрессированные, с «нечи-

[367] Примечания: 367

Прошла сталинская эпоха, веяло разными тёплыми и холодными ветрами, — а многие бывшие зэки так и не уехали из прилагерного мира, из своих медвежьих мест, и правильно сделали. Там они хоть полулюди, в центральных частях Союза не были бы и ими. Они останутся там до смерти, приживутся и дети как коренные.

стыми» паспортами. (Они, как бывшие зэки, живут здесь не по доброй воле, а по заклятью: им если и не указана прямо эта точка, как ссыльным, то во всяком ином месте им будет хуже с работой и жильём, а может быть, и совсем жить не дадут.) 7) Производственное начальство. Это — люди высокопоставленные, всего несколько человек на большой посёлок. (Иногда их тоже может не быть.) 8) Собственно вольняшки, всё наброд да приволока— разные приблудные, пропащие и приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих далёких гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии, и получать вчетверо большую зарплату: за полярность, за удалённость, за неудобства, да ещё приписывая себе труд заключённых. К тому ж многие стягиваются сюда по вербовке, по договорам и ещё получают подъёмные. Для тех кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир — Клондайк. Сюда тянутся с поддельными дипломами, сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Выгодно ехать сюда тем, кому нужна бесплатно чужая голова (полуграмотному геологу геологи–зэки и проведут полевые наблюдения, и обработают их, и выводы сделают, а он потом хоть диссертацию защищай в метропо-

лии). Сюда забрасывает неудачников и просто горьких пьяниц. Сюда приезжают после крушения семей или скрываясь от алиментов. Ещё бывают здесь молодые выпускники техникумов, кому не удалось при распределении благополучно славировать. Но с первого дня приезда сюда они начинают рваться назад в цивилизованный мир, и кому не удаётся это за год, то уж за два обязательно. А есть среди вольняшек и совсем другой разряд: уже пожилых, уже десятки лет живущих в прилагерном мире и так придышавшихся к нему, что другого мира, слаще, — им не надо. Закрывается их лагерь, или перестаёт начальство платить им, сколько они требуют, — они уезжают, но непременно в другую такую же прилагерную зону, иначе они жить не могут. Таков был Василий Аксентьич Фролов, великий пьяница, жулик и «знатный мастер литья», о котором здесь много можно было бы рассказать, да уж он у меня описан в пьесе. Не имея никакого диплома, а мастерство своё последнее пропив, он меньше 5 ООО в месяц дохрущёвскими деньгами не получал.

В самом общем смысле слово вольняшка значит— всякий вольный, то есть ещё не посаженный или уже освобождённый гражданин

Советского Союза, стало быть и всякий гражданин прилагерного мира. Но чаще это слово употребляется на Архипелаге в узком смысле: вольняшка— это тот вольный, кто работает в одной производственной зоне с заключёнными. Поэтому приходящие туда работать из групп (1), (5) и (6)— тоже вольняшки.

Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, зав–складами, нормировщиками. Ещё берут их на те должности, где использование заключённых сильно бы затруднило конвоирование: шофёрами, возчиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скреперистами, линейными электриками, ночными кочегарами.

Эти вольняшки второго разряда, простые работяги, как и зэки, тотчас и запросто сдруживались с нами и делали всё, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законом: охотно бросали письма зэков в «вольные» почтовые ящики посёлка; носильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольной толкучке, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего–нибудь пожрать, вместе с зэками разворовывали также и производство; вносили или ввозили в производственную зону водку. (При строгом осмотре на

вахте — пузырьки с засмоленными горлышками спускали в бензобаки автомашин. Если вахтёры находили и там, — то всё же никакого рапорта начальству не следовало: комсомольцы–охранники вместо того предпочитали трофейную водку выпить сами.)

А там, где можно было работу заключённых записать на вольных (не брезговали и на самих себя записывать десятники и мастера), — это делалось непременно: ведь работа, записанная на заключённого, — пропащая, за неё денег не заплатят, а дадут пайку хлеба. Так в некарточные времена был смысл закрыть наряд зэку лишь кое–как, чтоб неприятностей не было, а работу переписать на вольного. Получив за неё деньги, вольняшка и сам ел–пил, и зэков своих подкармливал.

Большая выгода работать в прилагерном мире видна была и на вольняшках московских лагерей. У нас на Калужской заставе в 1946 было двое вольных каменщиков, один штукатур, один маляр. Они числились на нашей стройке, работать же почти не работали, потому что не могло им строительство выписать больших денег: надбавок здесь не было, и объёмы были все меряные: оштукатурка одного квадратного метра стоила 32 копейки, и никак невозможно оценить метр

по полтиннику или записать метров в три раза больше, чем есть их в комнате. Но, во–первых, наши вольняшки потаскивали со строительства цемент, краски, олифу и стекло, а во–вторых, хорошо отдыхали свой 8–часовой рабочий день, вечером же и по воскресеньям бросались на главную работу— левую, частную, и тут–то добирали своё. За такой же квадратный метр стены тот же штукатур брал с частного человека уже не 32 копейки, а червонец, и в вечер зарабатывал двести рублей.

Говорил ведь Прохоров: «деньги— они двухэтажные теперь». Какой западный человек может понять «двухэтажные деньги»? Токарь в войну получал за вычетами 800 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 140 рублей. Значит, он за месяц не дорабатывал к карточному пайку и хлеба— то есть он не мог на всю семью принести двести граммов в день! А между тем— жил… С открытой наглостью платили рабочим нереальную зарплату и предоставляли изыскивать «второй этаж». И тот, кто платил нашему штукатуру бешеные деньги за вечер, тоже в чём–то и где–то добирал свой «второй этаж». Так торжествовала социалистическая система, да только на бумаге. Прежняя— живучая, гибкая— не умирала ни от

проклятий, ни от прокурорских преследований.

Так, в общем, отношения зэков с вольняшками нельзя назвать враждебными, а скорее дружественными. К тому ж эти потерянные, полупьяные, разорённые люди живей прислушивались к чужому горю, были способны внять беде посаженного и несправедливости его посадки. На что по должности закрывали глаза офицеры, надзор и охрана, на то открыты были глаза непредвзятого человека.

Сложней были отношения зэков с десятниками и мастерами цехов. Как «командиры производства» они поставлены были давить заключённых и погонять. Но с них спрашивали и ход самого производства, а его не всегда можно было вести в прямой вражде с зэками: не всё достигается палкой и голодом, что–то надо и по доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключённых. Сами–то десятники бывали мало того что пьяницы, что расслаблены и отравлены постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали своего производства или знали дурно и оттого ещё сильней зависели от бригадиров.

И как же интересно тут сплетались иногда русские судьбы! Вот пришёл перед праздником напьянё плотницкий десятник

Фёдор Иванович Муравлёв и бригадиру маляров Синебрюхову, отличному мастеру серьёзному, стойкому парню, сидящему уже десятый год, открывается:

— Что? сидишь, кулацкий сынок? Твой отец всё землю пахал да коров набирал — думал в царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер? И тебя посадил? Не–ет, мой отец был поумней: он сызмалетства всё дочиста пропивал, изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего, — и сразу бригадир. И я за ним водку пью, горя не знаю.

И получалось, что он прав: Синебрюхову после срока в ссылку ехать, а Муравлёв — председатель месткома строительства.

Правда, от этого председателя месткома и десятника прораб Буслов не знал как и избавиться (избавиться невозможно: нанимает их отдел кадров, а не прораб, отдел же кадров по симпатии подбирает частенько бездельников или дураков). За все материалы и фонд заработной платы прораб отвечает своим карманом, а Муравлёв то по неграмотности, а то и по простодушию (он совсем

не вредный парень, да бригадиры ж ему за то ещё и подносят) транжирит этот самый фонд, подписывает непродуманные наряды (заполняют их бригадиры сами), принимает дурно сделанную работу, а потом надо ломать и делать заново. И Буслов рад был бы такого десятника заменить на инженера–зэка, работающего с киркой, но из бдительности не велит отдел кадров.

— Ну, вот говори: какой длины балки у тебя сейчас есть на строительстве, а?

Муравлёв вздыхал тяжело:

— Я пока стесняюсь вам точно сказать…

И чем пьяней был Муравлёв, тем дерзее разговаривал он с прорабом. Тогда прораб надумывал взять его в письменную осаду. Не щадя своего времени, он начинал писать ему все приказания письменно (копии подшивая в папку). Приказания эти, разумеется, не выполнялись, и росло грозное дело. Но не терялся и председатель месткома. Он раздобывал половину измятого тетрадного листика и за полчаса выводил мучительно и коряво:

«довожу довашего сведенье о Том что все механизмы которые имеются для плотниских работ в не исправном виде тоесть в Плохом состоянии и исключительно не работают».

Прораб — это уже иная степень производственного начальства, это для заключённых— постоянный пригнёт и постоянный враг. Прораб уже не входит с бригадирами ни в дружеские отношения, ни в сделки. Он режет их наряды, разоблачает их тухту (сколько ума хватает) и всегда может наказать бригадира и любого заключённого через лагерное начальство:

«Начальнику лагпункта лейтенанту товарищу…

Прошу вас самым строгим образом наказать (желательно — в карцер, но с выводом на работу) бригадира бетонщиков з/к Зозулю и десятника з/к Ора–чевского за отливку плит толще указанного размера, в чём выразился перерасход бетона.

Одновременно сообщаю вам, что сего числа при обращении ко мне по поводу записи объёма работ в наряды з/к бригадир Алексеев нанёс десятнику товарищу Тумаркину оскорбление, назвав его ослом. Такое поведение з/к Алексеева, подрывающего авторитет вольнонаёмного руководства, считаю крайне нежелательным и даже опасным и прошу принять самые решительные меры вплоть до отсылки на этап.

Старший прораб Буслов».

Этого Тумаркина в подходящую минуту Буслов

и сам называл ослом, но заключённый бригадир по цене своей достоин был этапа.

Такие записочки посылал Буслов лагерному начальству что ни день. В лагерных наказаниях он видел высший производственный стимул. Буслов был из тех производственных начальников, которые вжились в систему ГУЛАГа и приноровились, как тут надо действовать. Он так и говорил на совещаниях: «Я имею длительный опыт работы с зэ–ка зэ–ка и не боюсь их угроз прибить, понимаете ли, кирпичом». Но, жалел он, гу–лаговские поколения становились не те. Люди, попавшие в лагерь после войны и после Европы, приходили какие–то непочтительные. «А вот работать в 37–м году, понимаете ли, было просто приятно. Например, при входе вольнонаёмного зэ–ка зэ–ка обязательно вставали». Буслов знал и как обмануть заключённых, и как послать на опасные места, он никогда не щадил ни сил их, ни желудка, ни тем более самолюбия. Длинноносый, длинноногий, в жёлтых американских полуботинках, полученных через ЮНРРА для нуждающихся советских граждан, он вечно носился по этажам строительства, зная, что иначе во всех его углах и закоулках ленивые грязные существа зэ–ка зэ–ка будут сидеть, лежать, греть-

ся, искать вшей и даже совокупляться, несмотря на разгар короткого десятичасового рабочего дня, а бригадиры будут толпиться в нормировочной и писать в нарядах тухту.

И изо всех десятников на одного только он полагался отчасти — на Фёдора Васильевича Горшкова. Это был щуплый старичок с растопыренными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу, и смежную, а главное необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был искренне заинтересован в исходе строительства: не карманно, как Буслов (вычтут или премируют? выругают или похвалят?), а внутренне, как если б строил всё огромное здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду стройки. Но был в нём и крупный недостаток: не прилажен он был к Архипелагу, не привык держать заключённых в страхе. Он тоже любил ходить по строительству и доглядывать своими глазами сам, однако он не носился, как Буслов, не настигал, кто там обманывает, а любил посидеть с плотниками на балках, с каменщиками на кладке, со штукатурами у растворного ящика и потолковать. Иногда угощал заключённых конфетами— это диковинно было нам. От одной работы он никак не мог

отстать и в старости — от резки стекла. Всегда у него в кармане был свой алмаз, и если только при нём резали стекло, он тотчас начинал гудеть, что режут не как надо, отталкивал стекольщиков и резал сам. Уехал Буслов на месяц в Сочи — Фёдор Васильевич его заменял, но наотрез отказался сесть в его кабинет, оставался в общей комнате десятников.

Всю зиму ходил Горшков в старорусской короткой поддёвке. Воротник её оплешивел, а материал верха держался замечательно. Разговорились об этой поддёвке, что носит её Горшков уже тридцать второй год не снимая, а до этого ещё сколько–то лет его отец надевал по праздникам, — и так выяснилось, что отец его Василий Горшков был казённый десятник. Вот тогда и понятно стало, отчего Фёдор Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску: с малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казёнными, а сейчас так не называются — казёнными–то они стали именно теперь, а раньше это были— артисты.

Фёдор Васильевич и сейчас похваливал старый порядок:

— Что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше придёт

подрядчик к рабочим в субботу: «Ну, ребята, до бани или после?» Мол, «после, после, дядя!» «Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой–то трактир». Ребята из бани валят гурьбой, а уж он их в трактире ждёт с водкой, закуской, самоваром… Попробуй–ка в понедельник поработать плохо.

Для нас теперь всё названо и всё известно: это была потогонная система, бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе.

А пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хлеборезки, — разве стоила больше?..

* * *

И вот все эти восемь разрядов вольных жителей варятся и толкутся на тесном пространстве прилагерного пятачка: от лагеря до леса, от лагеря до болота, от лагеря до рудника. Восемь разных категорий, разных рангов и классов— и всем им надо поместиться в этом засмраженном тесном посёлке, все они друг другу «товарищи» и в одну школу посылают детей.

Товарищи они такие, что, как святые в облаках, плавают надо всеми остальными два–три здеш-

них магната (в Экибасту–зе — Хишук и Карашук, директор и главный инженер треста, нарочно не выдумаешь). А ниже, строго разделяясь, строго соблюдая перегородки, следуют начальник лагеря, командир конвойного дивизиона, другие чины треста, и офицеры лагеря, и офицеры дивизиона, и где–то директор ОРСа, и где–то директор школы (но не учителя). Чем выше, тем ревнивее соблюдаются эти перегородки, тем больше значения имеет, какая баба к какой может пойти полузгать семячки (они не княгини, они не графини, так тем оглядчивей они следят, чтобы не уронить своего положения). О, обречённость жить в этом узком мире вдали от других чистопоставленных семей, но живущих в удобных просторных городах. Здесь все вас знают, и вы не можете просто пойти в кино, чтобы себя не уронить, и уж, конечно, не пойдёте в магазин (тем более что лучшее и свежее вам принесут домой). Даже и поросёнка своего держать как будто неприлично: ведь унизительно жене такого–то кормить его из собственных рук. (Вот почему нужна прислуга из лагеря.) И в нескольких палатах поселковой больницы как трудно отделиться от драни и дряни и лежать среди приличных соседей. И детей своих милых приходится посылать за одну парту с кем?

Но ниже эти разгородки быстро теряют свою резкость и значение, уже нет придирчивых охотников следить за ними.

Ниже — разряды неизбежно смешиваются, встречаются, покупают–продают, бегут занять очередь, ссорятся из–за профсоюзных ёлочных подарков, беспорядочною перемежкою сидят в кино — и настоящие советские люди, и совсем недостойные этого звания.

Духовные центры таких посёлков — главная Чайная в каком–нибудь догнивающем бараке, близ которой выстраиваются грузовики и откуда воющие песни, рыгающие и заплетающие ногами пьяные разбредаются по всему посёлку; и среди таких же луж и месива грязи второй духовный центр— Клуб, заплёванный семячками, затоптанный сапогами, с засиженной мухами стенгазетой прошлого года, постоянно бубнящим динамиком над дверью, с матерщиной на танцах и поножовщиной после киносеанса. Стиль здешних мест — «не ходи поздно», и, идя с девушкой на танцы, самое верное дело — положить в перчатку подкову. (Ну да и девушки тут такие, что от иной— семеро парней разбегутся.)

Этот клуб — надсада офицерскому сердцу. Естественно, что офицерам ходить на танцы в

такой сарай и среди такой публики— совершенно невозможно. Сюда ходят, получив увольнительную, солдаты охраны. Но беда в том, что молодые бездетные офицерские жёны тоже тянутся сюда, и без мужей. И получается так, что они танцуют с солдатами! — рядовые солдаты обнимают спины офицерских жён, а как же завтра на службе ждать от них беспрекословного подчинения? Ведь это выходит— на равную ногу, и никакая армия так не устоит! Не в силах унять своих жён, чтоб не ходили на танцы, офицеры добиваются запрещения ходить туда солдатам (уж пусть обнимают жён какие–нибудь грязные вольняшки). Но так вносится трещина в стройное политвоспитание солдат: что мы все — счастливые и равноправные граждане советского государства, а враги–де наши — за проволокой.

Много таких сложных напряжений глубится в прилагер–ном мире, много противоречий между его восемью разрядами. Перемешанные в повседневной жизни с репрессированными и полурепрессированными, честные советские граждане не упустят попрекнуть их и поставить на место, особенно если пойдёт о комнате в новом бараке. А надзиратели, как носящие форму МВД, претендуют быть выше простых вольных. А ещё

обязательно есть женщины, попрекаемые всеми за то, что без них пропали бы одинокие мужики. А ещё есть женщины, замыслившие иметь мужика постоянного. Такие ходят к лагерной вахте, когда знают, что будет освобождение, и хватают за рукава незнакомых: «Иди ко мне! У меня угол есть, согрею. Костюм тебе куплю! Ну, куда поедешь? Ведь опять посадят!»

А ещё есть над посёлком оперативное наблюдение, есть свой кум и свои стукачи, и мотают жилы: кто это принимает письма от зэков, и кто это продавал лагерное обмундирование за углом барака.

И уж конечно меньше, чем где бы то ни было в Союзе, есть у жителей прилагерного мира ощущение Закона и барачной комнаты своей — как Крепости. У одних паспорт помаранный, у других его вовсе нет, третьи сами сидели в лагере, четвёртые— члены семьи, и так все эти независимые расконвоированные граждане ещё послушнее, чем заключённые, окрику человека с винтовкой, ещё безропотнее против человека с револьвером. Видя их, они не вскидывают гордой головы — «не имеете права!», а сжимаются и гнутся — как бы прошмыгнуть.

И это ощущение бесконтрольной власти штыка

и мундира так уверенно реет над просторами Архипелага со всем его прилагерным миром, так передаётся каждому, вступающему в этот край, что вольная женщина (П–чина) с девочкой, летящая красноярской трассой на свидание к мужу в лагерь, по первому требованию сотрудников МВД в самолёте даёт обшарить, обыскать себя и раздеть догола девочку. (С тех пор девочка постоянно плакала при виде Голубых.)

Но если кто–нибудь скажет теперь, что нет печальнее этих прилагерных окрестностей и что прилагерный мир — клоака, мы ответим: кому как.

Вот якут Колодезников за отгон чужого оленя в тайгу получил в 1932 три года и, по правилам глубокомысленных перемещений, с родной Колымы был послан отбывать под Ленинград. Отбыл, и в самом Ленинграде был, и привёз семье ярких тканей, и всё ж много лет потом жаловался землякам и зэкам, присланным из Ленинграда:

— Ох, скучно там у вас! Ох, плохо!..

Глава 22. МЫ СТРОИМ

После всего сказанного о лагерях так и рвётся вопрос: да полно! Да выгоден ли был государству труд заключённых? А если не выгоден — так стоило ли весь Архипелаг затевать?

В самих лагерях среди зэков обе точки зрения на это были, и любили мы об этом спорить.

Конечно, если верить вождям, — спорить тут не о чем. Товарищ Молотов, когда–то второй человек государства, изъявил VI съезду Советов СССР по поводу использования труда заключённых: «Мы делали это раньше, делаем теперь и будем делать впредь. Это выгодно для общества. Это полезно для преступников».

Не для государства это выгодно, заметьте! — для самого общества. А для преступников — полезно. И будем делать впредь! И о чём же спорить?

Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались строительства, а потом уже — набор преступников для них, подтверждает, что правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика шла впереди правосудия.

Но очевидно, что заданный вопрос требует

уточнения и расчленения:

— оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле?

— оправдывают ли они себя экономически?

— самоокупаются ли они (при кажущемся сходстве второго и третьего вопроса здесь есть различие)?

На первый вопрос ответить нетрудно: для сталинских целей лагеря были прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы, — для испугу. Стало быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно–выгодны огромному социальному слою — несчётному числу лагерных офицеров, они давали им «военную службу» в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, квартиры, положение в обществе.

Также пригревались тут и тьмы надзирателей, и лбов–охранников, дремавших на лагерных вышках (в то время как тринадцатилетних мальчишек сгоняли в ремесленные училища). Все эти паразиты всеми силами поддерживали Архипелаг — гнез–дилище крепостной эксплуатации. Всеобщей амнистии боялись они, как моровой язвы.

Но мы уже поняли, что в лагеря набирались далеко не только инакомыслящие, далеко не

только те, кто выбивался со стадной дороги, намеченной Сталиным. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора— он соразмерялся (может быть, только в сталинской голове) с экономическими замыслами. Да не лагерями ли (и ссылкой) вышли из кризисной безработицы 20–х годов? С 1930 года не рытьё каналов изобреталось для дремлющих лагерей, но срочно соскребались лагеря для задуманных каналов. Не число реальных «преступников» (или даже «сомнительных лиц») определило деятельность судов, но — заявки хозяйственных управлений. При начале Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков, и выяснилось, что три года— слишком короткий, нерентабельный срок для Пятьдесят Восьмой, что надо засуживать их на две пятилетки сразу.

В чём лагеря оказались экономически выгодными — было предсказано ещё Томасом Мором, прадедушкой социализма, в его «Утопии». Для работ унизительных и особо тяжёлых, которых никто не захочет делать при социализме, — вот для чего пришёлся труд зэков. Для работ в отдалённых диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом и лопатой— в расцвете

Двадцатого века. Для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет ещё экономических средств.

На великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Всё создавалось, как в лагере говорят, «пердячим паром».

На ещё более великом Волгоканале (в 7 раз большем по объёму работ, чем Беломор, и сравнимом с Панамским и Суэцким) было прорыто 128 километров длины глубиною более 5 метров с шириной вверху 85 метров и всё почти— киркой, лопатой и тачкой[368]. Будущее дно Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не видавши в глаза электропил, а уж сучья и хворост жгли полные инвалиды.

Кто бы это, если не заключённые, работали б на лесоповале по 10 часов, ещё идя в предутренней темноте 7 километров до леса и столько же вечером назад, при тридцатиградусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября (Волголаг, 1937)?

Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытою

[368] Примечания: 368

Когда катаетесь на катере по каналу— помяните всякий раз лежащих там на дне.

породою? Лес, поваленный в километре от реки Коин (притока Выми), по глубокому снегу на финских подсанках тянули бы по двое, впрягшись в хомуты (петля хомута для мягкости обшивалась лоскутьями ветхой одежды, хомут надевался через одно плечо)?

Правда, уверяет нас полномочный коммунистический журналист Ю.Жуков[369], что подобно тому и комсомольцы строили Комсомольск–на–Амуре (1932): валили без топоров, не имея кузни, не получая хлеба и вымирая от цынги. И восхищается: ах, как мы героически строили! А не подобней ли было бы возмутиться: кто это, не любя своего народа, послал их так строить? Да что ж возмущаться? Мы–то знаем, какие «комсомольцы» строили Комсомольск. Теперь пишут, что те «комсомольцы» и Магадан основали.

А кого можно было в джезказганские рудники на 12–часовой рабочий день спускать на сухое бурение? — туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы, масок нет, и через 4 месяца с необратимым силикозом отправляют человека умирать. Кого можно было в не укреплённые от завалов, в не защищенные от затопления шахты

[369] Примечания: 369

Ю. Жуков. Песок и самородки // Литературная газета, 5, 12, 14, 21 ноября 1963.

спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в XX веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности?

И как же это лагеря были экономически невыгодны?..

Прочтите, прочтите в «Мёртвой дороге» Побожия эту картину высадки и выгрузки с лихтеров на реке Таз, эту полярную Илиаду сталинской эпохи: как в дикой тундре, где не ступала человеческая нога, муравьи–заключённые под муравьиным конвоем тащат на себе тысячи привезенных брёвен, и строят причалы, и кладут рельсы, и катят в эту тундру паровозы и вагоны, которым никогда не суждено уйти отсюда своим ходом. Зэки спят по 5 часов в сутки на голой земле, окружённой табличками «зона»[370].

И он же описывает дальше, как заключённые прокладывают по тундре телефонную линию: они живут в шалашах из веток и мха, комары разъедают их незащищённые тела, от болотной жижи не просыхает их одежда, уж тем более обувь. Трасса их разведана кое–как, проложена не лучшим способом (и обречена на переделку), для столбов нет леса вблизи, и они на два–три

[370] Примечания: 370

А Побожий. Мёртвая дорога: Из записок инженера–изыскателя // Новый мир, 1964, № 8, с. 152–154.

дня (!) уходят в сторону, чтобы оттуда притащить на себе столбы.

Не случилось другого Побожия рассказать, как перед войной строили другую железную дорогу, Котлас—Воркута, где под каждою шпалой по две головы осталось. Да что железную! — как прежде той железной клали рядом простую лежневку через непроходимый лес— тощие руки, тупые топоры да штыки–бездельники.

И кто ж бы это без заключённых делал? И как же это вдруг лагеря — да невыгодны?

Лагеря были неповторимо выгодны покорностью рабского труда и его дешевизной— нет, даже не дешевизной, а— бесплатностью, потому что за покупку античного раба всё же платили деньги, за покупку же лагерника— никто не платил.

Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные помещики: «з/к з/к сыграли большую роль в работе тыла, в победе».

Но на мраморе над костями никто никогда не надпишет забытые их имена.

Как незаменимы были лагеря, это выяснилось в хрущёвские годы во время хлопотливых и шумных комсомольских призывов на целину и на стройки Сибири.

Другое же дело — самоокупаемость. Слюнки на

это текли у государства давно. Ещё «Положение о местах заключения» 1921 года хлопотало: «содержание мест заключения должно по возможности окупаться трудом заключённых». С 1922 года некоторые местные исполкомы, вопреки своей рабоче–крестьянской природе, проявили «тенденции аполитического делячества», а именно: не только добивались самоокупаемости мест заключения, но ещё старались выжать из них прибыль в местный бюджет, осуществить хозрасчёт с превышением. Требовал самоокупаемости мест заключения также и Исправительно–трудовой кодекс 1924 года. В 1928 на 1–м всесоюзном совещании пенитенциарных деятелей настаивали упорно, что обязателен «возврат государству всей сетью предприятий мест заключения затрат государства на места заключения».

Очень, очень хотелось лагерьки иметь — и чтобы бесплатно! С 1929 года все исправтрудучреждения страны включены в народно–хозяйственный план. Ас 1 января 1931 декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость!

И что же? Сразу успех, разумеется! В 1932 юристы торжествуют: «расходы на исправительно–трудовые учреждения сокращаются (этому

поверить можно), а условия содержания лишённых свободы с каждым годом улучшаются» (?)[371].

Стали б мы удивляться, стали б мы добиваться — откуда ж это? как? если б на шкуре своей не знали, как то содержание улучшалось дальше…

Да оно, если рассудить, так и нетрудно совсем. Что нужно? Уравнять расходы на лагеря с доходами от них? Расходы, как мы читаем, сокращаются. Аувеличить доходы ещё проще: надо прижать заключённых! Если в соловецкий период Архипелага на принудительный труд делалась официальная 40%-ная скидка (считалось почему–то, что труд из–под палки не так производителен), то уже с Беломора, введя «шкалу желудка», открыли учёные ГУЛАГа, что наоборот: принудительный–то голодный труд самый производительный в мире и есть! Украинское управление лагерей, когда велели им перейти с 1931 года на самоокупаемость, так прямо и решило: по сравнению с предыдущими годами увеличить производительность труда в наступающем ни много ни мало— на 242% (двести сорок два процента!), — то есть сразу в три с половиной

[371] Примечания: 371
От тюрем к воспитательным учреждениям, с. 437.

раза увеличить, и безо всякой механизации![372] (Да ведь как научно разочли: двести сорок да ещё два процента. Одного только не знали товарищи: что называется это Большой Скачок под тремя красными знамёнами)

И ведь как знал ГУЛАГ, куда ветер дует! Тут подсыпались как раз и бессмертно–исторические Шесть Условий Товарища Сталина, — а средь них–то — хозрасчёт, — а у нас уже есть! а у нас уже есть! А ещё там: использование специалистов. А это нам проще всего: взять инженеров с общих работ, поставить производственными придурками. (Начало 30–х годов было для технической интеллигенции на Архипелаге самым льготным временем: она почти не влачила общих работ, даже новичков устраивали сразу по специальности. До того, в 20–е годы, инженеры и техники втуне погибали на общих потому, что не было им разворота и применения. После того, с 37–го и по 50–е, забыт был хозрасчёт и все исторические Шесть Условий, а исторически–главной стала тогда Бдительность— и просачивание инженеров поодиночке в придурки сменилось волнами изгнания их всех на общие.) Да и дешевле ведь

---

[372] Примечания: 372
ИЛ. Авербах. От преступления к труду, с. 23.

иметь инженера заключённого, а не вольного: ему ж зарплаты платить не надо. Опять выгода, опять хозрасчёт! Опять–таки прав товарищ Сталин!

Так что издалека эту линию тянули, верно её вели: сделать Архипелаг бесплатным.

Но как ни лезли, как ни рвались, как ногти все о скалы ни изломали, как ведомости выполнений по двадцать раз ни исправляли и до дыр тёрли — а не было самоокупаемости на Архипелаге — и никогда её не будет. И никогда тут расходов с доходами не уравнять, и приходится нашему молодому рабоче–крестьянскому государству (а потом и пожилому общенародному) волочить на себе этот грязно–кровавый мешок.

И вот причины. Первая и главная — несознательность заключённых, нерадивость этих тупых рабов. Не только не дождёшься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят они, как развалить обувь— и не идти на работу; как испортить лебёдку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро — чтоб только повод был посидеть–покурить. Всё, что лагерники делают для родного государства, — откровенная и высшая

халтура: сделанные ими кирпичи можно ломать руками, краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрываются. Везде— недосмотры и ошибки. То и дело надо уже прибитую крышку отдирать, уже заваленную траншею откапывать, уже выложенные стены долбить ломом и шлямбуром. — В 50–е годы привезли в Степлаг новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из брёвен, как бы избушка. Зима была, холодно, так влезли проклятые зэки в этот сруб между брёвнами и турбиной и развели костёр погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей — и турбину выбросили. Стоила она три миллиона семьсот тысяч. Вот тебе и хозрасчёт.

А при зэках— и это вторая причина— вольным тоже как бы ничего не надо, будто строят не своё, а на чужого дядю, ещё и воруют крепко, очень крепко воруют. (Строили жилой дом, иразокрали вольняшки несколько ванн— а их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя, он торжественно показывает приёмочной комиссии 1–ю лестничную клетку, да в каждую ванную не преминет зайти, каждую ванну покажет. Потом ведёт комиссию во 2–ю клетку, в 3–ю, и не торопясь, и всё в ванные

заходит, — а проворные обученные зэки под руководством опытного сантехнического десятника тем временем выламывают ванны из квартир 1–й клетки, чердаком на цыпочках волокут их в 4–ю и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. И кто прохлопал — пусть потом рассчитывается… Это бы в кинокомедии показать, так не пропустят: нет у нас в жизни ничего смешного, всё смешное на Западе.)

Третья причина— несамостоятельность заключённых, их неспособность жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с вышками, без Планово–Производственной, Учётно–Распределительной, Оперативно–Чекистской и Кулыурно–Воспитательной Части, без высших лагерных управлений вплоть до самого ГУЛАГа; без цензуры, без ШИЗО, без БУРа, без придурков, без каптёрок и складов; неспособность передвигаться без конвоя и без собак. И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику (а у надсмотрщика — семья). Да и хорошо, что так, а то на что б эти надсмотрщики жили?

И ещё умники–инженера высказывают четвёртую причину: что, мол, необходимость за каждым

шагом ставить зону, усилять конвой, выделять дополнительный— стесняет, мол, им, инженерам, технический манёвр, вот как, например, при высадке на реке Таз, и оттого, дескать, всё не вовремя делается и дороже обходится. Но это уже— объективная причина, это— отговорка. Вызвать их на партбюро, пропесочить хорошо — и причина отпадёт. Пусть голову ломают, выход находят.

А ещё сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные недосмотры самого Руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Например, как ни планируй земляные работы— редко они в лето приходятся, а всегда почему–то на осень да на зиму, на грязь да на мороз.

Или вот на ключе Заросшем прииска Штурмового (Колыма) в марте 1938 поставили 500 человек бить шурфы 8–10 метров в вечной мерзлоте. Сделали (половина зэков подохла). Надо бы взрывать, так раздумались: низко содержание металла. Покинули. В мае затекли шурфы, пропала работа. А через два года опять же в марте, в колымский мороз, хватились: да шурфовать же! да то самое место! да срочно! да людей не жалеть!

Так это ж расходы лишние…

Или на реке Сухоне около посёлка Опоки— навозили, насыпали заключённые плотину. А паводок тут же её и сбил. Всё, пропало.

Или вот талажскому лесоповалу Архангельского управления запланировали выпускать мебель, но упустили запланировать им поставки древесины, из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять! Пришлось Талаге специальные бригады расконвоированных бытовиков держать на вылов–ке из реки аварийной древесины — то есть отставшей от основного сплава. Не хватало. Тогда стали наскоками целые плоты себе отбивать у сплавщиков и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого–то другого в плане, теперь их не хватит. А ребятам–молодцам Талага выписывать нарядов не может: ведь воровство. Вот такой хозрасчёт…

Или как–то в Усть–Вымлаге (1943) хотели перевыполнить план молевого (отдельными брёвнами) сплава, нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и не могущих, и собралось в генеральной запони слишком много древесины — 200 000 кубометров. Выловить её до зимы не успели, она вмёрзла в лёд. А ниже запони — железнодорожный мост. Если весной лес не распадётся

на брёвна, а пойдёт целиком — сшибёт мост, лёгкое дело, начальника— под суд. И пришлось: выписывать динамит вагонами; опускать его зимой на дно; рвать замёрзшую сплотку и потом побыстрей выкатывать эти брёвна на берег — и сжигать (весной они уже не будут годны для пиломатериалов). Этой работой занят был целый лагпункт, двести человек, им за работу в ледяной воде выписывали сало, — но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что всё это было лишнее. И сожжённый лес — тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость.

А весь ПечЖелДорлаг строил дорогу на Воркуту — извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. Это — за какой счёт? А железная дорога Лальск (на реке Лузе) — Пинюг (и даже до Сыктывкара думали её тянуть)?

В 1938 какие крупные лагеря там согнали, 45 километров той дороги построили— бросили… Так всё и пропало.

Ну да эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой Руководитель от них не застрахован.

А вся эта дорога Салехард—Игарка? Насыпали сотни километров дамб через болота, к смерти

Сталина оставалось 300 километров до соединения двух концов. И — тоже бросили (фото 33). Так ведь это ошибка— страшно сказать чья. Ведь— Самого…

До того иногда доведут этим хозрасчётом, что начальник лагеря не знает, куда от него деваться, как концы сводить. Инвалидному лагерю Кача под Красноярском (полторы тысячи инвалидов) после войны тоже велели быть всем на хозрасчёте: делать мебель. Так лес эти инвалиды валили лучковыми пилами (не лесоповальный лагерь— и не положена им механизация), до лагеря везли лес на коровах (транспорт им тоже не положен, а молочная ферма есть). Себестоимость дивана оказывалась 800 рублей, а продажная цена— 600… Так уж само лагерное начальство заинтересовано было как можно больше инвалидов перевести в 1–ю группу или признать больными и не вывести за зону: тогда сразу с убыточного хозрасчёта они переводились на надёжный госбюджет.

От всех этих причин не только не самоокупается Архипелаг, но приходится стране ещё дорого доплачивать за удовольствие его иметь.

А ещё усложняется хозяйственная жизнь Архипелага тем, что этот великий общегосударственный социалистический хозрасчёт нужен

целому государству, нужен ГУЛАГу, — но начальнику отдельного лагеря на него наплевать: ну поругают немного, ну от премии отщипнут (а дадут всё же). Главный же доход и простор, главное удобство и удовольствие для всякого начальника отдельного лагеря — иметь самостоятельное натуральное хозяйство, иметь своё уютное маленькое поместье, вотчину. Как в Красной армии, так и среди офицеров МВД не в шутку вовсе, а серьёзно развилось и укрепилось обстоятельное, уважительное, гордое и приятное слово — хозяин. Как сверху над страной стоял один Хозяин, так и командир каждого отдельного подразделения должен быть обязательно — Хозяин.

Но при той жестокой гребёнке групп А–Б–В–Г, которую запустил навсегда в гриву ГУЛАГа беспощадный Френкель, хозяину надо было извернуться, чтобы хитро протащить через эту гребёнку такое количество рабочих, без которых никак не могло построиться своё вотчинное хозяйство. Там, где по штатам ГУЛАГа полагался один портной, надо было устроить целую портняжную мастерскую, где один сапожник— сапожную мастерскую, а сколько ещё других полезнейших мастеров хотелось бы иметь у себя под рукой! Отчего, например, не завести парни-

ки и иметь парниковую зелень к офицерскому столу? Иногда даже, у разумного начальника, — завести и большое подсобное огородное хозяйство, чтобы подкармливать овощами даже и заключённых, — они отработают, это просто выгодно самому хозяину, но откуда взять людей?

А выход был — поднагрузить всё тех же заключённых работяг, да немножко обмануть ГУЛАГ, да немножко — производство. Для больших внутризонных работ, какой–нибудь постройки — можно было заставить всех заключённых проработать в воскресенье или вечерком после рабочего (10–часового) дня. Для постоянной же работы раздували цифры выхода бригад: рабочие, оставшиеся в зоне, считались вышедшими со своей бригадой на производство — и оттуда бригадир должен был принести на них процент, то есть часть выработки, отобранной у остальных бригадников (и без того не выполняющих нормы). Работяги больше работали, меньше ели— но укреплялось поместное хозяйство, и разнообразнее и приятнее жилось товарищам офицерам.

А в некоторых лагерях у начальника был большой хозяйственный замах, да ещё находил он инженера с фантазией — и в лагерной зоне вырастал могучий хоздвор, уже проводимый и по

бумагам, уже с открытыми штатами и берущийся выполнять промышленные задания. Но в плановое снабжение материалами и инструментами он втиснуться не мог, поэтому, не имея ничего, должен был делать всё.

Расскажем об одном хоздворе— Кенгирского лагеря. О портняжной, скорняжной, переплётной, столярной и других подобных мастерских тут даже упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хоздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую и даже— как раз в середине XX века— кустарно изготовил свои сверлильный и точильный станки! Токарного, правда, сами сделать не смогли, но тут употреблён был лагерный ленд–лиз: станок среди бела дня украли с производственного объекта. Устроено это было так: подогнали лагерный грузовик, дождались, когда начальник цеха ушёл, — целой бригадой кинулись на станок, пересобачили его на грузовик, а тот легко прошёл через вахту, потому что с охраной было договорено, охранный дивизион — такие же МВД, — и с ходу завезли станок в лагерь, а уж туда никто из вольняшек доступа не имеет. И всё! Какой спрос с тупых безответственных туземцев? Начальник цеха рвёт и мечет— куда делся станок? — а они ничего не знают: разве был

станок? мы не видели. — Самые важные инструменты доставлялись в лагерь так же, но легче— в кармане и под полой.

Как–то взялся хоздвор отливать для обогатительной фабрики Кенгира крышки канализационных люков. Получились. Но не стало чугуна—откуда ж лагерю настачиться в конце концов? Тогда с неё же, с этой обогатительной фабрики, поручили заключённым воровать первоклассные английские чугунные кронштейны (оставшиеся ещё от дореволюционной концессии), в лагере их переплавляли и отвозили обогатительной фабрике люками, за что лагерю переводили деньги.

Теперь читатель понимает, как такой деятельный хоздвор укреплял самоокупаемость да и всю экономику страны.

И чего только не брался делать этот хоздвор! — не за всё бы взялся и Крупп. Брались делать большие глиняные трубы для канализации. Ветряк. Соломорезки. Замки. Водяные насосы. Ремонтировать мясорубки. Сшивать трансмиссионные ремни. Чинить автоклавы для больницы. Точить свёрла для трепанации черепа. Да ведь чего не возьмётся делать безвыходность! Проголодаешься—догадаешься. Ведь если сказать: не

сумеем, не сможем, — завтра погонят за зону. А в хоздворе намного вольготней: ни развода, ни ходьбы под конвоем, да и работать помедленней, да и себе что–то сделаешь. Больница за заказ расплачивается «освобождением» на два денька, кухня — «добавком», кто–то махоркой, а начальство ещё и казённого хлебца подбросит.

И смешно, и занятно. Инженерам вечная головоломка: из чего? как? Кусок подходящего железа, найденный где–нибудь на свалке, часто менял всю задуманную конструкцию. — Ветряк сделали, а вот пружины, которая поворачивала бы его по ветру, не нашли. Пришлось просто привязать две верёвки и наказать двум зэкам: как ветер изменится, так бежать и за верёвки поворачивать ветряк. — Делали и свои кирпичи: женщина резала струной подающуюся глиняную полосу по длине будущих кирпичей, а дальше они шли на транспортёр, который ей же, этой женщине, и следовало приводить в движение. Но чем? ведь руки её заняты. О, бессмертная изобретательность хитрых зэков! Придумали такие две оглобельки, которые плотно прилегали к тазу работницы, и пока она руками отрезала кирпичи, — сильным и частым вилянием таза одновременно двигала и ленту конвейера! Увы,

фотографии такой показать читателю мы не сможем.

А кенгирский помещик уверился окончательно: нет на земле ничего такого, чего не мог бы сделать его хоздвор. И, однажды вызвав главного инженера, приказал: приступить к срочному изготовлению стекла оконного и графинов! Как же его делают? Ребята не знали. Заглянули в завалявшийся том энциклопедического словаря. Общие слова, рецепта нет. Всё же соду заказали, нашли где–то и кварцевый песок, привезли. А главное: дружкам заказывали носить битое стекло с объектов, строивших «новый город», — там много его били. Всё это заложили в печь, плавили, мешали, протягивали — и получились листы оконного стекла! — да только с одной стороны толщина сантиметр, а к другой сходится до двух миллиметров. Через такое стекло узнать своего хорошего приятеля — никак невозможно. А срок подходит— показывать продукцию начальнику. Как живёт зэк? Одним днём: сегодня бы пережить, а уж завтра— как–нибудь. Украли с объекта готовых нарезанных стёкол, принесли на хоздвор и показали начальнику лагеря. Остался доволен: «Молодцы! Как настоящее! Теперь приступайте к массовому производству!» — «Больше не

сможем, гражданин начальник». — «Да почему ж?» — «Видите, в оконное стекло обязательно молибден идёт У нас было немножко, а вот кончился». — «И нигде достать нельзя?» — «Да где ж его достанешь?» — «Жаль. А графины без этого молибдена пойдут?» — «Графины, пожалуй, пойдут». — «Ну, валите». — Но и графины выдувались все скособоченные и почему–то неожиданно сами разваливались. Взял надзиратель такой графин получить молоко — и остался с одним горлышком в руках, молоко пролилось. «Ах, мерзавцы! — ругался он. — Вредители! Фашисты! Всех вас перестрелять!»

Когда в Москве на улице Огарёва для расчистки под новые здания ломали старые, простоявшие более века, то балки из междуэтажных перекрытий не только не выбрасывались, не только не шли на дрова— но на столярные изделия! Это было звенящее чистое дерево. Такова была у наших прадедов просушка.

Мы же всё спешим, нам всё некогда. Неужели ещё ждать, пока балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балки новейшими антисептиками — и всё равно балки загнивали, в них появлялись грибки, да так проворно, что ещё до сдачи здания приходилось взламывать полы и

на ходу менять эти балки.

Поэтому через сто лет всё, что строили мы, зэки, да и вся страна, наверняка не будет так звенеть, как те старые балки с улицы Огарёва.

В день, когда СССР, трубно гремя, запустил в небо первый искусственный спутник, — против моего окна в Рязани две пары вольных женщин, одетых в грязные зэковские бушлаты и ватные брюки, носили раствор на 4–й этаж носилками.

— Верно, верно, это так, — возразят мне. — Но что вы скажете? — а всё–таки она вертится!

Вот этого у неё не отнять, чёрт возьми! — она вертится!

* * *

Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных заключёнными хотя бы с первой сталинской пятилетки и до хрущёвских времён. Но я, конечно, не в состоянии его написать. Я могу только начать его, чтобы желающие вставляли и продолжали.

— Беломорканал (1932), Волгоканал (1936), Волгодон
(1952);

— ж–д Котлас—Воркута, ветка на Салехард;

— ж–д Рикасиха—Молотовск[373];

— ж–д Салехард—Игарка (брошена);

— ж–д Лальск—Пинюг (брошена);

— ж–д Караганда—Моинты—Балхаш (1936);

— ж–д по правому берегу Волги у Камышина;

— ж–д рокадные вдоль финской и персидской границ;

— ж–д вторые пути Сибирской магистрали (1933–35 годы,

около 4000 км);

— ж–д Тайшет—Лена (начало БАМа);

— ж–д Комсомольск—Совгавань;

— ж–д на Сахалине от ст. Победино на соединение с японской сетью;

— ж–д к Улан–Батору[374] и шоссейные дороги в Монголии;

— автотрасса Москва—Минск (1937–38);

— автотрасса Ногаево—Атка—Нера;

— постройка Куйбышевской ГЭС;

— постройка Нижнетуломской ГЭС (близ Мурманска);

---

[373] Примечания: 373

Лагеря по реке Кудьме, на острове Ягры, в посёлке Рикасиха.

[374] Примечания: 374

При постройке этой дороги расконвоированным заключённым велели говорить монголам, что они— комсомольцы и добровольцы. Выслушав, монголы отвечали: заберите вашу дорогу отдайте наших баранов!

— постройка Усть–Каменогорской ГЭС;

— постройка Балхашского медеплавильного комбината

(1934–35);

— постройка Соликамского бумкомбината;

— постройка Березниковского химкомбината;

— постройка Магнитогорского комбината (частично);

— постройка Кузнецкого комбината (частично);

— постройка заводов, мартенов;

— постройка Московского государственного университета

им. М.В.Ломоносова (1950–53, частично);

— строительство города Комсомольска–на–Амуре;

— строительство города Совгавани;

— строительство города Магадана;

— весь Дальстрой;

— строительство города Норильска;

— строительство города Дудинки;

— строительство города Воркуты;

— строительство города Молотовска (Северодвинска,

с 1935);

— строительство города Дубны;

— строительство порта Находки;

— нефтепровод Сахалин—материк;

— постройка почти всех объектов атомной промышленности;

— добыча радиоактивных элементов (уран и радий — под

Челябинском, Свердловском, Турой);

— работа на разделительных и обогатительных заводах

(1945–48);

— добыча радия в Ухте; нефтеобработка на Ухте, получение тяжёлой воды;

— угледобыча в бассейнах Печорском, Кузнецком, месторождениях Карагандинском, Сучанском и др.

— рудодобыча в Джезказгане, Южной Сибири, БурятМон–голии, Шории, Хакасии, на Кольском полуострове;

— золотодобыча на Колыме, Чукотке, в Якутии, на острове Вайгач, в Майкаине (Баян–Аульского района Павлодарской области);

— добыча апатитов на Кольском полуострове (с 1930);

— добыча плавикового шпата в Амдерме (с 1936);

— добыча редких металлов (месторождение

«Сталинское»,

Акмолинской области, до 50–х годов);

— лесозаготовки для экспорта и внутренних нужд страны. Весь европейский русский Север и Сибирь. Бесчисленных лесоповальных лагпунктов мы перечислить не в силах, это половина Архипелага. Убедимся с первых же наименований: лагеря по реке Коин; по реке Уфтюге Двинской; по реке Нем, притоке Вычегды (высланные немцы); на Вычегде близ Рябова; на Северной Двине близ Черевкова; на Малой Северной Двине близ Аристова…

Да возможно ли составить такой список?.. На каких картах или в чьей памяти сохранились эти тысячи временных лесных лагучастков, разбитых на год, на два, на три, пока не вырубили ближнего лесу, а потом снятых начисто? Да почему только лесозаготовки? А полный список всех островков Архипелага, когда–либо бывших над поверхностью, — знаменитых устойчивых по десяткам лет лагерей и кочующих точек вдоль строительства трасс, и могучих отсидочных централов, и лагерных палаточно–жердевых пересылок? И разве взялся бы кто–нибудь нанести на такую карту ещё и КПЗ? ещё и тюрьмы каждого города (а их там по несколько)? Ещё и сельхоз-

колонии с их покосными и животноводческими подкомандировками? Ещё и мелкие промколонии, как семячки засыпавшие города? А Москву да Ленинград пришлось бы отдельно крупно вычерчивать. (Не забыть лагучасток в полукилометре от Кремля — начало строительства Дворца Советов.) Да в 20–е годы Архипелаг был один, а в 50–е— совсем другой, совсем на других местах. Как представить движение во времени? Сколько надо карт? А Ныроблаг, или Усть–Вымлаг, или Соликамские или Потьмин–ские лагеря должны быть целой областью заштрихованной — но кто из нас и те границы обошёл?

Надеемся мы всё же увидеть и такую карту[375].

— Погрузка леса на пароходы в Карелии (до 1930. После

призывов английской печати не принимать леса, груженного заключёнными, — зэков спешно сняли с этих работ и убрали в глубь Карелии);

— поставки фронту во время войны (мины, снаряды, упаковка к ним, шитьё обмундирования);

— строительство совхозов Сибири и Казахста-

---

[375] Примечания: 375

В наиболее общем виде Карту ГУЛАГа сегодня можно видеть на компакт–диске «Жертвы политического террора в СССР» (выполнена под руководством историка С.П.Сигачёва, (3–е изд., перераб. и доп. М., 2004)) и в Интернете. —Примеч. ред.

на…

И даже упуская все 20–е годы и производство домзаков, исправдомов, исправтруддомов — чем занимались, что изготовляли четверть столетия (1929–1953) сотни промколоний, без которых нет приличного города в стране?

А что вырастили сотни и сотни сельхозколоний?

Легче перечислить, чем заключённые никогда не занимались: изготовлением колбасы и кондитерских изделий.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся.

Первое послание к Коринфянам,
15:51

Глава 1. ВОСХОЖДЕНИЕ

А годы идут…

Не частоговоркой, как шутят в лагере, — «зима–лето, зима–лето», а— протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна, и только лето короткое. На Архипелаге — короткое лето.

Даже один год— у–у–у, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать. Уж триста тридцать–то раз в году ты потолчёшься на разводе и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядрёный неподвижный мороз. Уж триста тридцать–то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. И триста тридцать вечеров пожмёшься мокрый, озябший на съёме, ожидая, пока конвой соберётся с дальних вышек. Да проходка туда. Да проходка назад. Да склонясь над семьюстами тридцатью мисками баланды, над семьюстами тридцатью кашами. Да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая. Ни радио, ни книги не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу.

И это— только один год. А их— десять. Их— двадцать пять…

А ещё когда в больничку сляжешь дистрофи-

ком, — вот там тоже хорошее время — подумать.

Думай. Выводи что–то и из беды.

Всё это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключённых. Они издали в массе похожи на копошащихся вшей, но ведь они— венец творения, а? Ведь когда–то и в них вдохнута была слабенькая искра Божья. Так что теперь стало с ней?

Считалось веками: для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся.

Но угрызений совести не знает Архипелаг ГУЛАГ! Из ста туземцев — пятеро блатных, их преступления для них не укор, а доблесть, они мечтают впредь совершать их ещё ловчей и нахальней. Раскаиваться им — не в чем. Ещё пятеро— брали крупно, но не у людей: в наше время крупно взять можно только у государства, которое само–то мотает народные деньги без жалости и без разумения, — так в чём такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись — и остался бы на свободе? А ещё у восьмидесяти пяти туземцев — и вовсе никакого преступления не было. В чём раскаиваться? В том, что думал то, что думал? (Впрочем, так задолбят

и задурят иного, что раскаивается — какой он испорченный… Вспомним отчаяние Нины Перегуд, что она недостойна Зои Космодемьянской.) Или в безвыходном положении сдался в плен? В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть от голода? (Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещённое, что иные терзаются: лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб.) В том, что, бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей? Или с завода вынес для того же?

Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть как горное озеро светит из твоих глаз. (И глаза твои, очищенные страданием, безошибочно видят всякую муть в других глазах, например — безошибочно различают стукачей. Этого видения глазами правды за нами не знает ЧКГБ— это наше «секретное оружие» против неё, в этом плошает перед нами ГБ.)

В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского, от каторжников П.Якубовича. Там— сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у боль-

шинства— безусловное сознание личной вины, у нас— сознание какой–то многомиллионной напасти.

А от напасти — не пропасти. Надо её пережить.

Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но ещё больше он вспомнит побегов. Побегов–то было наверняка больше, чем самоубийств. (Ревнители социалистического реализма могут меня похвалить: провожу оптимистическую линию.) И членоповреждений было гораздо больше, чем самоубийств, — но это тоже действие жизнелюбивое, простой расчёт: пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически, на тысячу населения, меньше, чем на воле. Проверить этого я не могу конечно.

Ну вот вспоминает Скрипникова, как в 1931 в Медвежье–горске в женской уборной повесился мужчина лет тридцати — и повесился–то в день освобождения! — так, может, из отвращения к тогдашней воле? (За два года перед тем его бросила жена, но он тогда не повесился.)— Ну вот в клубе центральной усадьбы Буреполома повесился

конструктор Воронов. — Коммунист и партработник Арамович, пересидчик, повесился в 1947 на чердаке мехзавода в Княж–Погосте. — В Краслаге в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное — всей жизнью своей не подготовленные к советской жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили. — В 1949 в следственной камере во Владимире–Волынском молодой парень, сотрясённый следствием, уже было повесился, да однокамерник Павло Бара–нюк его вынул. — На Калужской заставе бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадучись стал подниматься по лестнице — она вела в ещё недостроенные пустые этажи. Медсестра–зэчка хватилась его и бросилась вдогонку. Она настигла его в открытом балконном проёме 6–го этажа. Она вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту— и промелькнул белой молнией на виду у оживлённой Большой Калужской улицы в солнечный летний день. — Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз неодетая, простудиться. — Англичанин Келли во Владимирском ТОНе виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзирателе на

пороге. (Оружие его было — кусочек эмали, отколупнутый от умывальника. Келли припрятал его в ботинке, ботинок стоял у кровати. Келли спустил с кровати одеяло, прикрыл им ботинок, достал эмаль и под одеялом перерезал вену на руке.)

Повторяю, ещё многие могут рассказать подобные случаи — а всё–таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевес самоубийств падает на иностранцев, на западников: для них переход на Архипелаг— это удар оглушительнее, чем для нас; вот они и кончают. И ещё — на благонамеренных (но не на твердо–челюстных). Можно понять, ведь у них в голове всё должно смешаться и гудеть, не переставая. Как устоишь? (Зоя Залесская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая «делу коммунизма» путём службы в советской разведке, на следствии трижды кончала с собой: вешалась— вынули, резала вены — помешали, скакнула на подоконник 7–го этажа— дремавший следователь успел схватить её за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять.)

А вообще: как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что само-

убийцы— совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил верёвку из бинтов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зелёные круги, в ушах звенело — и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась верёвка— и он испытал радость, что остался жив.

Я не спорю, для самоубийства может быть и в самом крайнем отчаянии ещё нужно приложить волю. Долгое время я не взялся бы совсем об этом судить. Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже не задумаюсь о самоубийстве. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло всё дело моей жизни, особенно если я останусь жить. И я ясно помню это отталкивание от жизни, приливы этого ощущения, что умереть — легче, чем жить. По–моему, в таком состоянии больше воли требует остаться жить, чем умереть. Но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по–разному. Поэтому и существуют издавна два мнения.

Очень эффектно вообразить, что вдруг бы все невинно оскорблённые миллионы стали бы повально кончать самоубийством, досаждая правительству двояко: и доказательством своей

правоты, и лишением даровой рабочей силы. И вдруг бы правительство размягчилось? И стало бы жалеть своих подданных?.. Едва ли. Сталина бы это не остановило, он занял бы с воли ещё миллионов двадцать.

Но не было этого! Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные уж кажется до крайней крайности, — а самоубийств почему–то не было. Обречённые на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд— не кончали с собой!

И, раздумавшись, я нашёл такое доказательство более сильным. Самоубийца— всегда банкрот, это всегда— человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения её. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей всё же не кончали с собой — значит, жило в них какое–то непобедимое чувство. Какая–то сильная мысль.

Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания — подобного татарскому игу.

* * *

Но если не в чем раскаиваться — о чём, о чём всё время думает арестант? «Сума да тюрьма—

дадут ума». Дадут. Только — куда его направят?

Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо — были чёрные клубящиеся тучи и чёрные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо Судного дня, потому что арестован был не кто–нибудь, а Я — средоточие этого мира.

Наше последнее тюремное небо было бездонно–высокое, бездонно–ясное, даже к белому от голубого.

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с головы— да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших доносчиков? Как не видели наших врагов? (И ненависть к ним! и как им отомстить?) И какая неосторожность! слепость! сколько ошибок! Как исправить? Скорей исправлять! Надо написать… надо сказать… надо передать…

Но— ничего не надо. И ничто не спасёт. В положенный срок мы подписываем 206–ю статью, в положенный— выслушиваем очный приговор трибунала или заочный— ОСО.

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили! (Даже если плохо.) Но сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!..

Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только — о, как по–новому, как умно я буду жить! День будущего освобождения? — он лучится как восходящее солнце!

И вывод: дожить до него! дожить! любой ценой!

Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой».

А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: выжить любой ценойі

И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнёт перед его багровой вспышкой, — для того своё несчастье заслонило и всё общее, и весь мир.

Это — великий развилок лагерной жизни. Отсюда—вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоту, другая низеть. Пойдёшь направо — жизнь потеряешь, пойдёшь налево — потеряешь совесть.

Самоприказ «дожить!»— естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напря–женье всех сил нашего тела! Приказ всем клеточкам: дожить! Могучий заряд введен в грудную клетку, и электрическим облаком окружено сердце, чтоб не остановиться. Заполярного гладью в мятель за пять километров

в баню ведут тридцать истощённых, но жилистых зэков. Банька— не стоит тёплого слова, в ней моются по шесть человек в пять смен, дверь открывается прямо на мороз, и четыре смены выстаивают там до или после мытья— потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаления лёгких, но насморка нет ни у кого. (И десять лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он свободен, он — дома. В тепле и холе он сгорает в месяц. Не стало приказа — дожить…)

Но просто «дожить» ещё не значит—любой ценой. «Любая цена» — это значит: ценой другого.

Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ — не большая часть сворачивает направо. Увы— не большая. Но, к счастью, — и не одиночки. Их много, людей— кто так избрал. Но они о себе не кричат, к ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался и перед ними выбор, а они знали да знали своё.

Вот Арнольд Сузи, лет около пятидесяти попавший в лагерь. Он никогда не был верующим, но всегда был исконно добропорядочным, никакой другой жизни он не вёл — и в лагере он не начинает другой. Он — «западный», он, значит,

вдвойне неприспособленный, всё время попадает впросак, в тяжёлое положение, он и на общих работает, он и в штрафной зоне сидит— и выживает, выживает точно таким, каким пришёл в лагерь. Я знал его вначале, знал — после, и могу засвидетельствовать. Правда, три серьёзных облегчающих обстоятельства сопутствуют ему в лагерной жизни: он признан инвалидом, он получает несколько лет посылки и благодаря музыкальным способностям немного подкармливается художественной самодеятельностью. Но эти три обстоятельства могут только объяснить, почему он остался в живых. Не было бы их— он бы умер, но он бы не переменился. (А те, кто умерли, — может быть, потому и умерли, что не переменились?)

А Тарашкевич, совсем простой бесхитростный человек, вспоминает: «Много было заключённых, которые за пайку и за глоток махорочного дыма готовы были пресмыкаться. Я доходил, но был душою чист: на белое всегда говорил белое».

Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры— таких, как Сильвио Пеллико: отсидев 8 лет, он превратился из яростного

карбонария в смиренного католика[376]. У нас всегда вспоминают Достоевского. А Писарев? Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ибсен писал: «От недостатка кислорода и совесть чахнет»[377]. Э, нет! Совсем не так просто! Наоборот даже как раз! Вот генерал Горбатов— с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо — стали в памяти подыматься разные случаи: то как он заподозрил невиновного в шпионстве; то как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка[378]. (Ну когда б это ещё вспомнил! Небось после реабилитации уже не очень вспоминал?) Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно, это поднялось уже на уровень теории тюрьмове–дения. Вот, например, в дореволюци-

[376] Примечания: 376

Сильвио Пеллико. Мои темницы: Воспоминания Сильвио Пеллико да Салуццо. СПб., 1886.

[377] Примечания: 377

Генрик Ибсен. Враг народа. Комедия в 5 д. // Полн. собр. соч.: [В4т.]. СПб.: Т–во А.Ф.Маркс, 1909. Т. 3, с. 214.

[378] Примечания: 378

Генерал армии А.В.Горбатов. Годы и войны // Новый мир, 1964, № 4, с. 109.

онном «Тюремном вестнике» пишет Лучинский: «Тьма делает человека более чувствительным к свету; невольная бездеятельность возбуждает в нём жажду жизни, движения, работы; тишина заставляет глубоко вдуматься в своё «я», в окружающие условия, в своё прошлое, настоящее и подумать о будущем».

Отмечу противоположное мнение Льва Тихомирова. Он пишет («Красный Архив», № 41/42, с. 138): народовольцам «негде было проверить свои взгляды. Это самая ужасная сторона тюрьмы, что знаю по себе. Четыре года тюрьмы были для меня совершенно потерянным временем для развития. А следующие четыре года свободы дали мне тысячи различных драгоценнейших наблюдений себя, людей и законов жизни». Думаю: может быть это потому что сидели— однородные? Или очень нетерпеливые, всё ждали скорой свободы? Тогда это мешало сосредоточиться и расти.

Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали к узникам только естественное стороннее сочувствие; однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказания! Об этом стоит задуматься.

И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит».

Но Пеллико и Лучинский писали о тюрьме. Но Достоевский требовал наказаний — тюремных. Но неволя учит — какая?

Лагерь ли?..

Тут задумаешься.

Конечно, по сравнению с тюрьмой наш лагерь ядовит и вреден.

Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали Архипелаг. Но всё–таки: неужели же в лагере безнадёжно устоять?

И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой?

На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов: они изморены голодом, холодом, непосильной работой— и даже сна лишены, спать им негде, бараки–землянки ещё не построены. Идут они воровать? стучать? хнычут о загубленной жизни? Нет. Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки: Тимофеев–Ресовский собирает из них «семинар», и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет, — они читают друг другу последние лекции. Отец Савелий — «о непостыдной смерти», священник из академистов — патри-

стику, униат — что–то из догматики и каноники, энергетик— о принципах энергетики будущего, экономист— как не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев–Ресовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они недосчитываются участников: те уже в морге…

Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно, — вот это интеллигент!

Позвольте, вы — любите жизнь? Вы, вы! вот которые восклицают, и напевают, и приплясывают: «Люблю тебя, жизнь! Ах, люблю тебя, жизнь!» Любите? Так вот— любите! Лагерную— тоже любите! Она— тоже жизнь.

Там, где нет борьбы с судьбой, Там воскреснешь ты душой… ?

Ни черта вы не поняли. Там–то ты и размякнешь.

У дороги нашей, выбранной, — виражи и виражи. В гору? Или в небо? Пойдёмте, поспотыкаемся.

День освобождения? Что он нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие — и места, когда–то родные, покажутся нам чужее чужих.

Мысль о свободе с какого–то времени становит-

ся даже насильственной мыслью. Надуманной. Чужой.

День «освобождения»! Как будто в этой стране есть свобода. Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой.

Сыпятся камни из–под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого.

Мы подымаемся.

* * *

Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Потому, главное, что нет собраний. Десять лет ты свободен от всяких собраний! — это ли не горный воздух? Откровенно претендуя на твой труд и твоё тело до изнеможения и даже до смерти, лагерщики отнюдь не посягают на строй твоих мыслей. Они не пытаются ввинчивать твои мозги и закреплять их на месте. (Кроме несчастного периода Беломора и Волгоканала.) И это создаёт ощущение свободы гораздо большее, чем свобода ног бегать по плоскости.

Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает с тебя членских взносов в добровольные общества. Нет профсоюза, такого же твоего «защитника», как казённый адвокат в трибунале. Не бывает и производственных

совещаний. Тебя не могут избрать ни на какую должность, не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное — не заставят тебя быть агитатором. Ни— слушать агитацию. Ни — кричать по дёргу нитки: «требуем!., не позволим!» Ни — тянуться на участок свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуют социалистических обязательств. Ни — критики своих ошибок. Ни статей в стенгазету. Ни — интервью областному корреспонденту.

Свободная голова — это ли не преимущество жизни на Архипелаге?

И ещё одна свобода: тебя не могут лишить семьи и имущества— ты уже лишён их. Чего нет— того и Бог не возьмёт. Это — основательная свобода.

Хорошо в заключении думать. Самый ничтожный повод даёт тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки, один раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм оказывается — дешевейшая «спортивная» комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивают зрителям мораль:

«Важен результат, а результат не в вашу пользу».

Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь

при выходе на освещенный солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь её на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И ещё сколько угодно времени обдумываешь — когда б ты мог ею так заняться? И медленная ясность спускается в твою голову.

Это — не шутка. Это — заразная мысль. Она давно уже привилась нашему отечеству а её — ещё и ещё подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого–нибудь Тухачевского, Ягоду или Зиновьева— изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и мно–гоусто удивляется: «чего ему не хватало?!» Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобиль, и самолёт, и известность— чего ему не хватало?!! Миллионам наших замотанных соотечественников невмести–мо представить, чтобы человеком (я не говорю об этих именно троих) могло двигать что–нибудь, кроме корысти.

Настолько все впитали и усвоили: «важен результат».

Откуда это к нам пришло? Отступя лет триста назад, — разве в Руси старообрядческой могло такое быть?

Это пришло к нам с Петра, от славы наших знамён и так называемой «чести нашей родины». Мы придавливали наших соседей, расширялись, — ив отечестве утверждалось: важен результат.

Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и всё прочней утверждалось в когда–то богомольном прямодушном народе: важен результат.

А потом — от всех видов социалистов, и больше всего — от новейшего непогрешимого нетерпеливого Учения, которое всё только из этого и состоит: важен результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты!

И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душою наших полей, лесов и рек, — наплевать! важен результат!!

Но это — ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимании жизни — и с высоты этой так ясно видно: не результат важен! не результат — а дух! Не что сделано — а как. Не

что достигнуто — а какой ценой.

Вот и для нас, арестантов, — если важен результат, то верна и истина: выжить любой ценой. Значит: стать стукачом, предавать товарищей — за это устроиться тепло, а может быть, и досрочку получить. В свете Непогрешимого Учения тут, очевидно, нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу, а важен — результат.

Никто не спорит: приятно овладеть результатом. Но не ценой потери человеческого образа.

Если важен результат — надо все силы и мысли потратить на то, чтоб уйти от общих. Надо гнуться, угождать, подличать — но удержаться придурком. И тем — уцелеть.

Если важна суть — то пора примириться с общими. С лохмотьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть— умереть. Но пока жив— с гордостью потягиваться ломящею спиной. Вот когда— перестав бояться угроз и не гонясь за наградами — стал ты самым опасным типом, на совиный взгляд хозяев. Ибо— чем тебя взять?

Тебе начинает даже нравиться нести носилки с мусором (да, но не с камнем!) и разговаривать с напарником о том, как кино влияет на лите-

ратуру. Тебе начинает нравиться присесть на опустевшее растворное корытце и закурить около своей кирпичной кладки. И ты просто горд, если десятник, проходя мимо, прищурится на твою вязку, посмотрит в створ со стеной и скажет:

— Это ты клал? Ровненько.

Ни на что тебе не нужна эта стена, и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа, но, жалкий оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнёшься.

Дочь анархиста Галя Бенедиктова работала в санчасти медсестрой, но, видя, что это— не лечение, а только личное устройство, — из упрямства ушла на общие, взяла кувалду, лопату. И говорит, что духовно это её спасло.

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.

(Так–то оно так, но— если и сухаря нет?..)

* * *

И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и пошёл, куда идут спокойные и простые, — удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении, самом для тебя неожиданном.

Казалось бы: здесь должны вырастать в человеке злобные чувства, смятенье зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность[379]. А ты и сам не замечаешь, как, в неощутимом течении времени, неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных.

Ты был резко–нетерпелив когда–то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой, ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди, — и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам — терпение.

Ты подымаешься…

Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь все–понимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя — можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять.

Камни шуршат из–под ног. Мы подымаемся…

---

[379] Примечания: 379

Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович в одном рассказе описывает таким общество ссыльных. Большевик Ольминский пишет: «Горечь и злость— эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе». Он срывал зло на тех, кто приходил к нему на свидания. Пишет, что потерял и всякий вкус к работе. Но ведь русские революционеры не получали и не отбывали (в массе своей) настоящих (больших) сроков.

Бронированная выдержка облегает с годами сердце твоё и всю твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами, твой язык утратил эластичную способность лёгкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя.

Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо — что радость, а что горе.

Правило жизни твоё теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв.

Душа твоя, сухая прежде, от страдания сочает. Хотя бы не ближних, по–христиански, но близких ты теперь научаешься любить.

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколь–кие из нас признают: именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу!

И ещё тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их— тиранил…

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни всё, что ты делал плохого и постыдного, и думай— нельзя ли исправить теперь?

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не

в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

…После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Яне могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред— и я благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я — никого больше нет в палате.

Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным человеком, какой–то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убеждённости новообращённого, горячности его слов.

Мы мало знаем друг друга, не он — мой хирург, и не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нём и не знаю о нём. Однако настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живёт безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.

Это значит— он боится, чтоб его не зарезали. У

нас в лагере недавно пошла такая мода— резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счётов. И поэтому— самозаточение Корнфельда в больнице ещё нисколько не доказывает, что он — стукач.

Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:

— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар.

Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да жёлтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю.

Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я.

А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого

переступа по коридору: это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъёма, когда уже отперты бараки, но никто ещё не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.

Так случилось, что вещие слова Корнфельда— были его последние слова на земле. И, обращенные ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнёшься, передёрнув плечами.

Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.

Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою, — расстрелянные, сожжённые— это некие сверхзлодеи. (А между тем — невинных–то и казнят ретивее всего.) И что бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает судьба их? почему они благоденствуют?

(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования— не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а— в развитии души.

С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие — обещает.)

Но что–то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё: и тюрьма, и довеском— злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара? Но — чья?

Ну придумайте — чья?

В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго, и всё один (из–за ареста моего хирурга операции остановились), бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Верней всего теперь и привести их— как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа.

Да когда ж я так допуста, дочиста Всё развеял из зёрен благих? Ведь провёл же и я отрочество В

светлом пении храмов Твоих!

Рассверкалась премудрость книжная, Мой надменный пронзая мозг, Тайны мира явились— постижными, Жребий жизни— податлив, как воск.

Кровь бурлила — и каждый выполоск Иноцветно сверкал впереди, — И, без грохота, тихо рассыпалось Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быти и небыти, Упадав и держась на краю, Я смотрю в благодарственном трепете На прожитую жизнь мою.

Не рассудком моим, не желанием Освещен её каждый излом — Смысла Высшего ровным сиянием, Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь, возвращённою мерою Надчерпнувши воды живой, — Бог Вселенной! я снова верую! И с отрекшимся был Ты со мной…

Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти

ту самую дорогу, которую всегда и хотел.

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как—добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им

носителей зла (а не разбирая впопыхах— и носителей добра), — само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму злую идею, очень мало— заражённых ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку человечество не взорвёт и не удушит себя — может быть, это направление и восторжествует?..

Да если оно не восторжествует— то вся история человечества будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек.

«Познай самого себя». Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных неоднолетних кругов таких размышлений говорят ли мне о бессердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей—я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объятой огнём, и говорю:

— А разве мы — были лучше?..

Досадуют ли при мне на рыхлость Запада, его политическую недальновидность, разрозненность и растерянность — я напоминаю:

— А разве мы, не пройдя Архипелага, — были твёрже? сильнее мыслями?

Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:

— Благословение тебе, тюрьма!

Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого–то мгновенья этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была действительно нужна ему, как ливень засухе.

Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я— достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:

— Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!

(А из могил мне отвечают: — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)

Глава 2. ИЛИ РАСТЛЕНИЕ?

Но меня останавливают: вы не о том совсем! Вы опять сбились на тюрьму! А надо говорить— о лагере.

Да я, кажется, и о лагере говорил. Ну хорошо, умолкну. Дам место встречным мыслям. Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу.

Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже всё написано) возразит Шаламов:

«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы».

«Все человеческие чувства—любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов… У нас не было гордости, самолюбия, а ревность и страсть казались марсианскими понятиями… Осталась только злоба— самое долговечное человеческое чувство».

«Мы поняли, что правда и ложь— родные сестры».

«Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде.

Если дружба между людьми возникает— значит, условия недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили— значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями».

Только на одно различение здесь согласится Шаламов: восхождение, углубление, развитие людей возможно в тюрьме. А

«…лагерь— отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключённый обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям… Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми».

Ещё считает Шаламов признаком угнетения и растления человека в лагере то, что он «долгие годы живёт чужой волей, чужим умом». Но, во–первых, то же самое можно сказать и о многих вольных (не считая простора для деятельности в мелочах, которая есть и у заключённых); во–вторых же, вынужденно–фаталистический характер, вырабатываемый в туземце Архипелага его незнанием судьбы и неспособностью влиять на неё, скорее облагораживает его, освобождает от суетных метаний.

С различением таким согласна и Е. Гинзбург: «тюрьма возвышала людей, лагерь растлевал».

Да и как же тут возразить?

В тюрьме (в одиночке, да и не в одиночке) человек поставлен в противостояние со своим горем. Это горе— гора, но он должен вместить его в себя, освоиться с ним и переработать его в себе, а себя в нём. Это — высшая моральная работа, это всех и всегда возвышало[380]. Поединок с годами и стенами— моральная работа и путь к возвышению (коли ты его одолеешь). Если годы эти ты разделяешь с товарищем, то не надо тебе умереть для его жизни, и ему не надо умереть, чтобы ты выжил. Есть путь у вас вступить не в борьбу, а в поддержку и обогащение.

А в лагере этого пути, кажется, у вас и нет. Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку— хватай! сбивай соседей и рви у них! Хлеба выдано столько, чтоб на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне— свали её. Хлеб заложен в шахте— полезай да добудь. Думать ли тебе о своём горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова

[380] Примечания: 380

И как интереснеют люди в тюрьме! Знаю людей уныло скучных с тех пор, как их выпустили на волю, — но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними.

занята суетными расчётами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра— уже не стоящими ничего. Ты ненавидишь труд— он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих— твоих соперников по жизни и смерти[381]. Ты исходишь от напряжённой зависти и тревоги, что где–то сейчас за спиною делят тот хлеб, что мог достаться тебе, где–то за стеною вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску.

Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюёт душу, даже и самую защищенную от неё. Зависть распространяется и на сроки, и на самую свободу. Вот в 45–м году мы, Пятьдесят Восьмая, провожаем за ворота бытовиков (по сталинской амнистии). Что мы испытываем к ним? Радость за них, что идут домой? Нет, зависть, ибо несправедливо их освобождать, а нас держать. Вот В. Власов, получивший двадцатку, первые 10 лет сидит спокойно— ибо кто же не сидит 10 лет? Но в 1947–48 многие начинают освобождаться— и он завидует, нервничает, изводится: как же он–то получил 20? как обидно эту вторую десятку сидеть. (Не спросил я его, но предполагаю: а стали те возвращаться в лагерь повторника-

[381] Примечания: 381

П. Якубович: «Почти каждый каторжанин не любит каждого». А ведь там не было соперничества на выживание.

ми, ведь он должен был — успокоиться?) А вот в 1955–56 годах массово освобождается Пятьдесят Восьмая, а бытовики остаются в лагере. Что они испытывают? Ощущение справедливости, что многострадальная Статья после сорока лет непрерывных гонений наконец помилована? Нет, повсеместную зависть (я много писем таких получил в 1963 году): освободили «врагов, которые не нам, уголовникам, чета», а мы — сидим? за что?..

Ещё ты постоянно сжат страхом: утерять и тот жалкий уровень, на котором ты держишься, утерять твою ещё не самую тяжёлую работу, загреметь на этап, попасть в зону усиленного режима. А ещё тебя бьют, если ты слабее всех, или ты бьёшь того, кто слабее тебя. Это ли не растление? «Душевным лишаем» называет старый лагерник А. Рубайло это быстрое за–паршивленье человека под внешним давлением.

В этих злобных чувствах и напряжённых мелочных расчётах— когда же и на чём тебе возвышаться?

Чехов ещё и до наших ИТЛ разглядел и назвал растление на Сахалине. Он пишет верно: пороки арестантов— от их подневольности, порабощения, страха и постоянного голода. Пороки эти:

лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, воровство. Опыт показал каторжному, что в борьбе за существование обман — самое надёжное средство.

Не десятерицею ли всё это и у нас?.. Так впору не возражать, не защищать мнимое какое–то лагерное «возвышение», а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джезказганским Яшкой–нарядчиком: «чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать». Рассказать, как недавние солдаты–фронтовики (Крас–лаг, 1942 год), лишь чуть заглотнув блатного воздуха, потянулись и сами жучковать — литовцев прихватывать, и на их продуктах и вещах поправляться самим, а вы хоть пропадите, зелёные! Как начинали хилять за вора некоторые власовцы, убедясь, что только так в лагере и проживёшь. О том доценте литературы, который стал блатным паханом. Удивиться, как заразлива эта лагерная идеология — на примере Чульпенёва. Чульпенёв выдержал семь лет общего лесоповала, стал знаменитым лесорубом, но попал в больницу со сломанной ногой, а после неё предложили ему поработать нарядчиком.

Никакой в этом не было ему необходимости, два с половиной оставшихся года он уже уверенно мог дотянуть лесорубом, начальство с ним носилось — но как уклониться от соблазна? ведь по лагерной философии «дают— бери!». И Чульпенёв идёт в нарядчики — всего–то на шесть месяцев, самых беспокойных, тёмных, тревожных в своём сроке. (И вот срок миновал давно, и о соснах он рассказывает с простодушной улыбкой, — но камень на сердце лежит, как умер от его довода двухметровый латыш, капитан дальнего плавания, — да он ли один?..)

До какого «душевного лишая» можно довести лагерников сознательным науськиванием друг на друга! В Унжлаге в 1950 уже тронутая в рассудке Моисеевайте (но по–прежнему водимая конвоем на работу), не замечая оцепления, пошла «к маме». Её схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что «за побег» весь лагерь лишается ближайшего воскресенья (обычный приём). Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил: «Из–за тебя, сволочи, выходного не будет!» Моисеевайте блаженно улыбалась.

А сколько растления вносит то демократическое и прогрессивное «самоокарауливание», а

по–нашему— самоохрана, ещё в 1918 году провозглашённое? Ведь это— одно из главных русл лагерного растления: позвать арестанта в самоохрану. Ты— пал, ты— наказан, ты— вырван из жизни, — но хочешь быть не на самом низу? Хочешь ещё над кем–то выситься с винтовкой? над братом своим? На! держи! А побежит— стреляй! Мы тебя даже товарищем будем звать, мы тебе — красноармейский паёк.

И — гордится. И — холопски сжимает ложе. И стреляет. И— строже ещё, чем чисто–вольные охранники. (Как угадать: у властей — тут действительно куруслепая вера в «социальную самодеятельность»? Или ледяной презрительный расчёт на самые низкие человеческие чувства?)

Да ведь не только самоохрана: и самонадзор, и самоугнетение — вплоть до начальников ОЛПов все были из зэков в 30–е годы. И заведующий транспортом. И заведующий производством. (А как же иначе, если 37 чекистов на 100 тысяч зэков Беломорканала?) Да оперуполномоченные — и те были из зэков!! Дальше в «самодеятельности» уже и идти некуда: сами над собой следствие вели! Сами против себя стукачей заводили!

Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они— всем

известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это — общее направление, это — закономерность.

Зачем о каждом доме повторять: а в мороз его выхолаживает. Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло.

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой–то сук вы уцепились? В какой–то камень вы упнулись— и дальше не поползли? Может, злоба всё–таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию?

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг — какой–то молчали-

вый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемёта падают среди них— и следующие заступают, и опять идут. Твёрдость, не виданная в XX веке! И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая–нибудь тётя Дуся Чмиль — круглолицая спокойная совсем неграмотная старушка. Окликает конвой:

— Чмиль! Статьи!

Она мягко незлобливо отвечает:

— Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. — (У неё — букет из пунктов 58–й.)

— Срок!

Вздыхает тётя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом: срок? Да разве людям дано знать сроки?..

— Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит— потоль и сидеть буду.

— Дура ты дура! — смеётся конвой. — Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь, ещё, может, и больше.

Но проходит два с половиной года её срока, никуда она не пишет— и вдруг бумажка: освободить!

Как не позавидовать этим людям? Разве обста-

новка к ним благоприятнее? Едва ли! Известно, что «монашек» только и держали с проститутками и блатными на штрафных ОЛПах. А между тем кто из верующих— растлился? Умирали— да, но— не растлились?

А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили нерастленными?

И многие ещё, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо, — но рядом ещё хуже, ещё тяжелей.

А все, кто под угрозой штрафной зоны и нового срока— отказались стать стукачами?

Как вообще объяснить Григория Ивановича Григорьева, почвоведа? Учёный, добровольно пошёл в 1941 году в народное ополчение, дальше известно— плен под Вязьмою. Весь плен немецкий провёл в лагере. Дальше известно — посажен у нас. Десятка. Я познакомился с ним зимою на общих работах в Эки–бастузе. Прямота так и светилась из его крупных спокойных глаз, какая–то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться — и в лагере не согнулся, хотя из десяти лет только два работал по специальности и почти весь срок не получал по-

сылок. Со всех сторон в него внедряли лагерную философию, лагерное тление, но он не способился усвоить. В кемеровских лагерях (Антибесс) его напорно вербовал опер. Григорьев ответил вполне откровенно: «Мне противно с вами разговаривать. Найдётся у вас много охотников и без меня». — «На карачках приползёшь, сволочь!» — «Да лучше на первом суку повешусь». И послан был на штрафной. Вынес там полгода. — Да что, он делал ошибки ещё более непростительные: попав на сельхозкомандировку, он отказался от предложенного (как почвоведу) бригадирства! — с усердием же полол и косил. Да ещё глупей: в Экибастузе на каменном карьере он отказался быть учётчиком — лишь по той причине, что пришлось бы для работяг приписывать тухту, за которую потом, очнувшись, будет расплачиваться (да ещё будет ли?) вечно пьяный вольный десятник. И пошёл ломать камень! Чудовищная неестественная его честность была такова, что, ходя с бригадой овощехранилища на переработку картошки, — он не воровал её там, хотя все воровали. Будучи устроен в привилегированной бригаде мехмастерских у приборов насосной станции, — покинул это место лишь потому, что отказался стирать носки вольному холостому

прорабу Трейвишу. (Уговаривали бригадники: да не всё ли равно тебе, какую работу делать? Нет, оказывается, не всё равно.) Сколько раз избирал он худший и тяжёлый жребий, только бы не искривиться душой, — и не искривился ничуть, я этому свидетель. Больше того: по удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело (теперь в такое влияние совсем не верят, не понимают) — организм уже немолодого (близ 50 лет) Григория Ивановича в лагере укреплялся: у него совсем исчез прежний суставной ревматизм, а после перенесенного тифа он стал особенно здоров: зимой ходил в бумажных мешках, проделывая в них дырки для головы и рук, — и не простужался!

Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. (Случай — вовсе не теоретический, за советское пятидесятилетие таких–то и выросли — миллионы.)

Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле

растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда.

Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисеевайте к столбу для глумления, — он не больше растлен, чем плевавшие лагерники?

И уж заодно: а все ли из бригад в неё плевали? Может, из бригады — лишь по два человека? Да наверное так.

Татьяна Фаликс пишет: «Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него».

Если человек в лагере круто подлеет, так, может быть: он не подлеет, а открывается в нём его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды?

М.А. Войченко считает так: «В лагере бытие не определяло сознание, наоборот, от сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело: сделаться тебе животным или остаться человеком».

Крутое, решительное заявление… Но не он один так думает. Художник Ивашёв–Мусатов с горячностью доказывает то же.

Да, лагерное растление было массовым. Но не только потому, что ужасны были лагеря, а потому

ещё, что мы, советские люди, ступали на почву Архипелага духовно безоружными — давно готовыми к растлению, ещё на воле тронутые им, и уши развешивали слушать от старых лагерников, «как надо в лагере жить».

А как надо жить (и как умереть), мы обязаны знать и без всякого лагеря.

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще–то между людьми возникает, и даже в крайней беде, — да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий?

Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиозберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное погибнуть с нею сама—и спасла? Уж эта ли беда — не крайняя?

Если уж растление так неизбежно, то откуда берётся Василий Мефодьевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на Воркуте, только–только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнёздышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков, им дают новые сроки. Психоз посадок! Среди вольняшек — паника! Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован

Я.Д. Гродзенский, друг Яковенко по воркутинскому же лагерю, он доходит на следствии, передач носить некому. И Яковенко — бесстрашно носит передачи! Хотите, псы, — гребите и меня!

Отчего же этот не растлился?

А все уцелевшие не припомнят ли того, другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту?

Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им удавалось смять.

Как в природе нигде никогда не идёт процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идёт растление без восхождения. Они — рядом.

В следующей части я ещё надеюсь показать, как в других лагерях— в Особых, создалось с какого–то времени иное поле: процесс растления был сильно затруднён, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур.

* * *

Да, ну а— исправление? А с исправлением–то как же? («Исправление» — это понятие общественно–государственное и не совпадает с

восхождением.) Все судебные системы мира мечтают о том, чтобы преступники не просто отбывали срок, но исправлялись бы, то есть чтобы другой раз не увидеть их на скамье подсудимых, особенно по той же статье.

Впрочем, Пятьдесят Восьмую никогда и не стремились «исправить», то есть второй раз не посадить. Мы уже приводили откровенные высказывания тюрьмоведов об этом. Пятьдесят Восьмую хотели истребить через труд. Ато, что мы выживали, — это уже была наша самодеятельность.

Достоевский восклицает: «Кого когда исправила каторга?»

Идеал исправления был и в русском пореформенном законодательстве (весь чеховский «Сахалин» исходит из этого идеала). Но успешно ли осуществлялся?

П.Якубович над этим много думал и пишет: террористический режим каторги «исправляет» лишь неразвращённых, — но они и без этого второй раз не совершат преступления. А испорченного этот режим только развращает, заставляет быть хитрым, лицемерным, по возможности не оставлять улик.

Что ж сказать о наших ИТЛ?! Теоретики тюрь-

моведения (Gefangniskunde) всегда считали, что заключение не должно доводить до совершенного отчаяния, должно оставлять надежду и выход. Читатель уже видел, что наши ИТЛ доводили только и именно до совершенного отчаяния.

Чехов верно сказал: «Углубление в себя — вот что действительно нужно для исправления». Но именно углубления в себя больше всего боялись устроители наших лагерей. Общие бараки, бригады, трудовые коллективы именно и призваны были рассеять, растерзать это опасное самоуглубление.

Какое ж в наших лагерях исправление! — только порча: усвоение блатной воровской морали, усвоение жестоких лагерных нравов как общего закона жизни («криминогенные места» на языке тюрьмоведов, школа преступности).

И.Г.Писарев, кончающий долгий срок, пишет (1963 год): «Становится тяжело особенно потому, что выйдешь отсюда неизлечимым нервным уродом, с непоправимо разрушенным здоровьем от недоедания и повсечасного подстрекательства. Здесь люди портятся окончательно. Если этот человек до суда называл и лошадь на «вы», то теперь на нём и пробу негде ставить. Если на человека семь лет говорить «свинья» — он и захрюкает…

Только первый год карает преступника, а остальные ожесточают, он прилаживается к условиям, и всё. Своей продолжительностью и жестокостью закон карает больше семью, чем преступника».

Вот другое письмо: «Больно и страшно, ничего не видя и ничего не сделав в жизни, уйти из неё, и никому нет дела до тебя, кроме, наверно, матери, которая не устаёт ждать всю жизнь».

А вот поразмышлявший немало Александр Кузьмич К. (пишет в 1963 году):

«Заменили мне расстрел 20–ю годами каторги, но, честное слово, не считаю это благодеянием… Я испытал на своих коже и костях те «ошибки», которые теперь так принято именовать, — они ничуть не легче Майданека и Освенцима. Как отличить грязь от истины? Убийцу от воспитателя? закон от беззакония? палача от патриота? — если он идёт вверх, из лейтенанта стал подполковником? Как мне, выходя после 18 лет сидки, разобраться во всём хитросплетении? Завидую вам, людям образованным, с умом гибким, кому не приходится долго ломать голову, как поступить или приспособиться, чего, впрочем, и не хочется».

Замечательно сказано: «и не хочется»! Но тогда— исправлен ли он в государственном смысле?

Никак нет. Для государства он погублен.

Того «исправления», которого хотело бы (?) государство, оно вообще никогда не достигает в лагерях. «Выпускники» лагеря научаются только лицемерию — как притвориться исправившимися, и научаются цинизму— к призывам государства, к законам государства, к обещаниям его.

А если человеку и исправляться не от чего? Если он и вообще не преступник? Если он посажен за то, что Богу молился, или выражал независимое мнение, или попал в плен, или за отца, или просто по развёрстке, — так что дадут ему лагеря?

Сахалинский тюремный инспектор сказал Чехову: «Если в конце концов из ста каторжных выходит 15–20 порядочных, то этим мы обязаны не столько исправительным мерам, которые употребляем, сколько нашим русским судам, присылающим на каторгу так много хорошего, надёжного элемента».

Что ж, вот это и будет суждение об Архипелаге, если цифру безвинно поступающих поднять, скажем, до 80–ти, — но и не забыть, что в наших лагерях поднялся также и коэффициент порчи.

Если же говорить не о мясорубке для неугодных миллионов, не о помойной яме, куда швыряют

без жалости к своему народу, — а о серьёзной исправительной системе, — то тут возникает сложнейший из вопросов: как можно по единому уголовному кодексу давать однообразные уподобленные наказания? Ведь внешне равные наказания для разных людей, более нравственных и более испорченных, более тонких и более грубых, образованных и необразованных, суть наказания совершенно неравные (см.: Достоевский, «Записки из Мёртвого дома», во многих местах).

Английская мысль это поняла, и у них говорят сейчас (не знаю, насколько делают), что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и личности каждого преступника.

Например, общая потеря внешней свободы для человека с богатым внутренним миром менее тяжела, чем для человека малоразвитого, более живущего телесно. Этот второй «более нуждается во внешних впечатлениях, инстинкты сильнее тянут его на волю» (П.Якубович). Первому легче и одиночное заключение, особенно с книгами. (Ах, как некоторые из нас жаждали такого заключения вместо лагерного! При тесноте телу— какие открывает оно просторы уму и душе! Николай Морозов ничем особенным не выдавался ни до

посадки, ни — самое удивительное— после неё. А тюремное углубление дало ему возможность додуматься до планетарного строения атома, до разнозаряжен–ных ядра и электронов — за десять лет до Резерфорда! Но н а м не только не предлагали карандаша, бумаги и книг, а — отбирали последние.) Второй, может быть, и года не вынесет одиночки, просто истает, сморится. Ему— кто–нибудь, только бы товарищи. А первому неприятное общение хуже одиночества. Зато лагерь (где хоть немного кормят) второму гораздо легче, чем первому. И— барак на 400 человек, где все кричат, несут вздор, играют в карты и в домино, гогочут и храпят, и черезо всё это ещё долдонит постоянное радио, рассчитанное на недоумков. (Лагеря, в которых я сидел, были наказаны отсутствием радио! — вот спасение–то!)

Таким образом, именно система ИТЛ с обязательным непомерным физическим трудом и обязательным участием в унизительно–гудящем многолюдьи была более действенным способом уничтожения интеллигенции, чем тюрьма. Именно интеллигенцию система эта смаривала быстро и до конца.

Глава 3. ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ

Но и когда уже будет написано, прочтено и понято всё главное об Архипелаге ГУЛАГе, — ещё поймут ли: а что была наша воля? Что была та страна, которая десятками лет таскала в себе Архипелаг?

Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне есть, спать, я всегда знал о ней (хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь). Но не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы, страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла всё тело.

Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами Архипелага. И избудет ли их когда–нибудь — Бог весть.

Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили (недалёкую, впрочем, и от сегодняшней)? И если мерзость эту не полновесно показывать, выходит сразу ложь. Оттого и считаю я, что в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что

безо всей правды— не литература. Сегодня эту мерзость показывают в меру моды — обмолвкой, вставленной фразой, довеском, оттенком, — и опять получается ложь.

Это — не задача нашей книги, но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись соседством Архипелага или составляли единый с ним стиль.

Постоянный страх. Как уже видел читатель, ни 35–м, ни 37–м, ни 49–м годами не исчерпаешь перечня наборов на Архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтоб не умирали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали. Иногда это подступало близко к человеку, иногда было где–то подальше, иногда человек себя обманывал, что ему ничего не грозит, иногда он сам выходил в палачи, и так угроза ослабевала, — но любой взрослый житель этой страны от колхозника до члена Политбюро всегда знал, чтонеосторожное слово или движение — и он безвозвратно летит в бездну.

Как на Архипелаге под каждым придурком — пропасть (и гибель) общих работ, так и в стране под каждым жителем — пропасть (и гибель) Архипелага. По видимости страна много больше своего Архипелага—но вся она, и все её жители

как бы призрачно висят над его распяленным зевом.

Страх— не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные: чистка, проверка, заполнение анкеты — по распорядку или внеочередное, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка[382]. Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими сроками заполнения их. Составив однажды ложную повесть своей жизни, люди старались потом не запутаться в ней. Но опасность могла грянуть неожиданно: сын кадыйского Власова Игорь постоянно писал, что отец его умер. Так он поступил уже в военное училище. Вдруг его вызвали: в три дня представить справку, что отец твой умер. Вот и представь!

Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого права. В ноябре 1938 года Наташа Аничкова узнала, что любимый человек её (незарегистри-

---

[382] Примечания: 382

Ещё такие малоизвестные формы, как: исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаёмным. Так в 1938 был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие числились крайне неблагонадёжными. Во время войны Ончула взяли в трудовой батальон, где он и умер.

рованный муж) посажен в Орле. Она поехала туда. Огромная площадь перед тюрьмой была запружена телегами, на них— бабы в лаптях, шушунах и с передачами, которые от них не принимали. Аничкова сунулась в окошко в страшной тюремной стене. — Кто вы такая? — строго спросили её. Выслушали. — Так вот, товарищ москвичка; даю вам один совет: уезжайте сегодня, потому что ночью за вами придупй — Иностранцу здесь всё непонятно: почему вместо делового ответа на вопрос чекист дал непрошеный совет? какое право он имел от свободной гражданки требовать немедленного выезда? и кто это придёт и зачем? — Но какой советский гражданин солжёт, что ему непонятно или что случай неправдоподобный? После такого совета опасёшься остаться в чужом городе.

Верно замечает Н.Я.Мандельштам: наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что многозначные слова «взяли», «посадили»,

«сидит», «выпустили», даже без текста, у нас каждый понимает только в одном смысле!

Ощущения беззаботности наши граждане не знали никогда.

Прикреплённость. Если б можно было легко менять своё место жительства, уезжать оттуда,

где тебе стало опасно, — и так отряхнуться от страха, освежиться! — люди вели бы себя смелей, могли б и рисковать. Но долгие десятилетия мы были скованы тем порядком, что никакой работающий не мог самовольно оставить работу. И ещё — пропиской все были привязаны по местам. И ещё — жильём, которого не продашь, не сменишь, не наймёшь. И оттого было смелостью безумной — протестовать там, где живёшь, или там, где работаешь.

Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие, гостеприимство (ещё не убитые и в 20–х годах). Эти чувства— естественная защита всякой семьи и каждого человека, особенно потому, что никто никуда не может уволиться, уехать, и каждая мелочь годами на прогля–де и на прослухе. Скрытность советского человека нисколько не избыточна, она необходима, хотя иностранцу может порой показаться сверхчеловеческой. Бывший царский офицер К.У. только потому уцелел, никогда не был посажен, что, женясь, не сказал жене о своём прошлом. Был арестован брат его, Н.У., — так жена арестованного, пользуясь тем, что они с Н.У. в момент ареста жили в разных городах, скрыла его арест от своего отца и сест-

ры — чтоб они не проговорились. Она предпочла сказать им, и всем (и потом долго играть), что муж её бросил! Это — тайны одной семьи, рассказанные теперь, через 30 лет. А какая городская семья не имела их?

В 1949 году у соученицы студента В.И. арестовали отца. В таких случаях все отшатывались, и это считалось естественно, а В.И. не усторонился, открыто выразил девушке сочувствие, искал, чем помочь. Перепуганная таким необычайным поведением, девушка отвергла помощь и участие В.И., она соврала ему, что не верит в правдивость своего арестованного отца, наверно, он всю жизнь скрывал свое преступление от семьи. (Только в хрущёвское время разговорились: девушка решила тогда, что В.И. — либо стукач, либо член антисоветской организации, ловящей недовольных.)

Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто–нибудь смело открыто высказываться — все отшатывались: «Провокация!» Так обречён был на одиночество и отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест.

Всеобщее незнание. Таясь друг от друга и друг другу не веря, мы сами помогали внедриться сре-

ди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего — и миллионных посадок, и их массовых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, не вопя, не стеня и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и казённым ораторам. Каждый день нам подсовывали что–нибудь разжигающее, вроде железнодорожного крушения (вредительского) где–нибудь за 5 тысяч километров. А что надо было нам обязательно, что на нашей лестничной клетке сегодня случилось, — нам неоткуда было узнать.

Как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окружающей жизни? Только сам захваченный капканом, с опозданием узнаёшь.

Стукачество, развитое умонепостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах, и в безвинных комнатах казённых зданий, и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Вербовали даже заведомо ненужных, не подходящих им людей, кто наверняка не согласится, — например, верующую жену умершего в лагере баптистского пресвитера Ни-

китина. Всё же её по несколько часов держали на допросе на ногах, то арестовывали, то переводили на заводе на худшую работу. — Одна из целей такой обильной вербовки была, очевидно: сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомительных труб. Чтобы в каждой компании, в каждой рабочей комнате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опасались, что он есть.

Я выскажу поверхностное оценочное предположение: из четырёх–пяти городских жителей одному непременно хоть один раз за его жизнь да предложили стать стукачом. А то — и гуще. В новейшее время я делал проверки и среди арестантских компаний, и среди извечных вольняшек: кого, когда и как вербовали. И так оказывалось, что из нескольких человек за столом всем в своё время предлагали!

Н.Я. Мандельштам правильно заключает: кроме цели ослабить связь между людьми тут была и другая — поддавшиеся на вербовку, стыдясь общественного разоблачения, будут заинтересованы в незыблемости режима.

Скрытность пустила холодные щупальцы по всему народу — она проникла между сослуживцами, между старыми друзьями, между студентами,

между солдатами, между соседями, между подрастающими детьми — и даже в приёмной НКВД между жёнами, принесшими передачи.

Предательство как форма существования. При многолетнем постоянном страхе за себя и свою семью человек становится данником страха, подчинённым его. И оказывается наименее опасной формой существования — постоянное предательство.

Самое мягкое, зато и самое распространённое предательство— это ничего прямо худого не делать, но: не заметить гибнущего рядом, не помочь ему, отвернуться, сжаться. Вот арестовали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь, ты делаешь вид, что и не заметил (ты никак не можешь потерять свою сегодняшнюю работу!). Вот на общем собрании объявляется, что исчезнувший вчера— заклятый враг народа. И ты, вместе с ним двадцать лет сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием (а то и осуждающей речью) должен показать, как ты чужд его преступлений (ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву! какое ты имеешь право не думать о них?). Но остались у арестованного — жена, мать, дети,

может быть, помочь хоть им? Нет–нет, опасно: ведь это — жена врага, и мать врага, и дети врага (а твоим–то надо получить ещё долгое образование)!

Когда арестовали инженера Пальчинского, жена его Нина писала вдове Кропоткина: «Осталась я совсем без средств, никто ничем не помог, все чураются, боятся... Ятеперь увидала, что такое друзья. Исключений очень мало»[383].

Укрыватель — тот же враг! Пособник — тот же враг. Поддерживающий дружбу — тоже враг. И телефон заклятой семьи замолкает. Почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не подают, ни кивают. Тем более в гости не зовут. И не ссужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне.

А Сталину только это и нужно! А он смеётся в усы, гута–линщик!

Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошёл в лакейские президенты Академии Наук. (Усатый шутник в издёвку придумал, проверял человеческое сердце.) А.Н.Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но деньги давать семье

---

[383] Примечания: 383

Письмо от 6 августа1929 (Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В.И.Ленина, ф. 410, карт. 5, ед. хр. 24.)

своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урождённой Сабашнико–вой, посещать семью её посаженного брата СМ. Сабашникова. А легендарный Димитров, этот лев рыкающий лейпцигского процесса, отступился и не спас, предал своих друзей Попова иТанева, когда им, освобождённым по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет «за покушение на товарища Димитрова» (в Краслаге они отбывали).

Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает В.Я. Кавешан из Калуги: «После ареста отца от нас все бежали, как от прокажённых; мне пришлось школу бросить — затравили ребята — (растут предатели! растут палачи!), — а мать уволили с работы. Приходилось побираться».

Одну семью арестованного москвича в 1937 — мать с ребятишками, милиционеры повезли на вокзал — ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка (лет восьми) исчез. Милиционеры искрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина, и так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся до-

мой — квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы — и не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили! И он сдался в детдом… Современники! Соотечественники! Узнаёте ли вы свою харю?

И всё это — только легчайшая ступень предательства — отстранение. А сколько ещё заманчивых ступеней— и какое множество людей опускалось по ним? Те, кто уволили мать Кавешан с работы, — не отстранились? внесли свою лепту? Те, послушные звонку оперативника, кто послали Никитину на чёрную работу, чтоб скорее стала стукачкой? Да те редакторы, которые бросались вычёркивать имя вчера арестованного писателя?

Маршал Блюхер — вот символ той эпохи: сидел совой в президиуме суда и судил Тухачевского (впрочем, и тот сделал бы так же). Расстреляли Тухачевского— снесли голову и Блюхеру. Или прославленные профессора медицины Виноградов и Шерешевский. Мы помним, как пали они жертвой злодейского оговора в 1952 году, — но не менее же злодейский оговор на собратьев своих Плетнёва и Левина они подписали в 1936. (Венценосец тренировался в сюжете и на душах…)

Люди жили в поле предательства— и лучшие доводы шли на оправдание его. В 1937 году одна супружеская пара ждала ареста— из–за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так: не дожидаясь этого ареста, муж донёс на жену! Её арестовали, а он «очистился» в глазах НКВД и остался на свободе. — Всё в том же достославном году старый политкаторжанин Адольф Добровольский, уходя в тюрьму, произнёс своей единственной любимой дочери Изабелле: «Мы отдали жизнь за советскую власть — и пусть никто не воспользуется твоей обидой. Поступай в комсомол!» По суду Добровольскому не запретили переписку, но комсомол потребовал, чтобы дочь не вела её, — ив духе отцовского напутствия дочь отреклась от отца.

Сколько было тогда этих отречениiі — то публичных, то печатных: «Я, имярек, с такого–то числа отрекаюсь от отца и матери как от врагов советского народа». Этим покупалась жизнь.

Тем, кто не жил в то время (или сейчас не живёт в Китае), почти невозможно понять и простить. В средних человеческих обществах человек проживает свои 60 лет, никогда не попадая в клещи такого выбора, и сам он уверен в своей добропорядочности, и те, кто держат речь на его могиле.

Человек уходит из жизни, так и не узнав, в какой колодец зла можно сорваться.

Массовая парша душ охватывает общество не мгновенно. Ещё все 20–е годы и начало 30–х многие люди у нас сохраняли душу и представления общества прежнего: помочь в беде, заступиться за бедствующих. Ещё и в 1933 году Николай Вавилов и Мейстер открыто хлопотали за всех посаженных ВИР'овцев. Есть какой–то минимально необходимый срок растления, раньше которого не справляется с народом великий Аппарат. Срок определяется и возрастом ещё не состарившихся упрямцев. Для России оказалось нужным 20 лет. Когда Прибалтику в 1949 году постигли массовые посадки, — для их растления прошло всего около 5–6 лет, мало, и там семьи, пострадавшие от власти, встречали со всех сторон поддержку. (Впрочем, была и дополнительная причина, укреплявшая сопротивление прибалтов: социальные гонения выглядели как национальное угнетение, а в этом случае люди всегда твёрже стоят на своём.)

Оценивая 1937 год для Архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь, для воли, — этой коррозийной короной предательства мы должны его увенчать: можно признать, что именно этот

год сломил душу нашей воли и залил её массовым растлением.

Но даже это не было концом нашего общества! (Как мы видим теперь, конец вообще никогда не наступил — живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времён, до 1956, а теперь уж тем более не умрёт.) Сопротивление не выказалось въявь, оно не окрасило эпохи всеобщего падения, но невидимыми тёплыми жилками билось, билось, билось, билось.

В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжигались дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осуждённых (как Флоренского) или заведомо упречных (как философа Фёдорова)! А какой подпольной антисоветской жгучей крамолой должна была казаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». Её сохранил Исидор Гликин. В блокадном Ленинграде, чувствуя приближение смерти, он побрёл через весь город отнести её к сестре и так спасти.

Каждый поступок противодействия власти

требовал мужества, не соразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа, — однако сколько же детей таких взяли, спасли (сами–то дети пусть расскажут). И тайная помощь семьям — была. И кто–то же подменял жену арестованного в безнадёжной трёхсуточной очереди, чтоб она погрелась и поспала. И кто–то же, с колотящимся сердцем, шёл предупредить, что на квартире— засада и туда возвращаться нельзя. И кто–то давал беглянке приют, хоть сам в эту ночь не спал.

Уже поминали мы тех, кто осмеливался не голосовать за казнь Промпартии. А кто–то же ушёл на Архипелаг и за защиту своих неприметных сослуживцев. Сын в отца: сын того Ро–жанского, Иван, пострадал и сам за защиту своего сослуживца Копелева. На партсобрании ленинградского Детгиза поднялся М.М.Майслер и стал защищать «вредителей в детской литературе» — тотчас же он был и исключён, и арестован. Ведь знал, на что шёл! А в военной цензуре (Рязань, 1941) девушка–цен–зорша порвала криминальное письмо неизвестного ей фронтовика, — но заметили, как она рвала в корзину, сложили из кусочков — и посадили её самоё. Пожертвовала

собой для неизвестного дальнего человека! (И я–то узнал — лишь потому, что в Рязани. А сколько таких неузнанных случаев?..)[384]

Теперь приудобились выражаться (Эренбург), что посадка была— лотерея. Лотерея–то лотерея, да кой–какие номерки и помеченные. Заводили общий бредень, сажали по цифровым заданиям, да, — но уж каждого публично возражавшего тяпали в ту же минуту! И получался душевный отбор, а не лотерея! Смельчаки попадали под топор, отправлялись на Архипелаг — и не замучалась картина однообразно–покорной оставшейся воли. Все, кто чище и лучше, не могли состоять в этом обществе, а без них оно всё более дряннело. Эти тихие уходы— их и совсем не приметишь. А они— умирание народной души.

Растление. В обстановке многолетнего страха и предательства уцелевшие люди уцелевают только внешне, телесно. А что внутри — то истлевает.

Вот и соглашались миллионы стать стукачами. Ведь если пересидело на Архипелаге за 35 лет

---

[384] Примечания: 384

Есть у нас свидетельство о доблестном массовом случае стойкости, но ему бы требовалось второе подтверждение: BI930 на Соловки прибыли своим строем (не приняв конвоя) несколько сот курсантов какого–то из украинских училищ— за то, что отказались давить крестьянские волнения.

(до 1953), считая с умершими, миллионов сорок (это скромный подсчет, это — лишь трёх–или четырёхкратное население ГУЛАГа, а ведь в войну запросто вымирало по проценту в день), то хотя бы по каждому третьему, пусть пятому делу есть же чей–то донос, и кто–то свидетельствовал. Они все и сегодня среди нас, эти чернильные убийцы. Одни сажали ближних из страха — и это ещё первая ступень, другие из корысти, а третьи— самые молодые тогда, а сейчас на пороге пенсии, — предавали вдохновенно, предавали идейно, иногда даже открыто: ведь считалось классовой доблестью разоблачить врага. Все эти люди — среди нас, и чаще всего благоденствуют, и мы ещё восхищаемся, что это — «наши простые советские люди».

Рак души развивается скрыто и поражает именно ту её часть, где ждёшь благодарности. Фёдор Перегуд вспоил и вскормил Мишу Иванова: ему негде было работать— он устроил его на тамбовском вагоноремонтном заводе и обучил делу; ему жить было негде— он поселил его у себя как родного. И Михаил Дмитриевич Иванов подаёт заявление в НКВД, что Фёдор Перегуд за домашним столом хвалил немецкую технику. (Надо знать Фёдора Перегуда— он был механик, моторист,

радиет, электрик, часовой мастер, оптик, литейщик, модельщик, краснодеревщик, до двадцати специальностей. В лагере он открыл мастерскую точной механики; потеряв ногу, сделал сам себе протез.) Пришли брать Перегуда— прихватили в тюрьму и 14–летнюю дочь, — и всё это на счету М.Д. Иванова! На суд он пришёл чёрный: значит, гниющая душа проступает иногда на лице. Но скоро бросил завод, стал открыто служить в ГБ. Потом за бездарностью был спущен в пожарную охрану.

В растленном обществе неблагодарность— будничное, расхожее чувство, ему и не удивляются почти. После ареста селекционера В.С.Маркина агроном А.А.Соловьёв уверенно своровал выведенный тем сорт пшеницы «таёжная–49»[385]. Когда разгромлен был институт буддийской культуры (все видные сотрудники арестованы), а руководитель его, академик Щербат–ской, умер, — ученик Щербатского Кальянов пришёл ко вдове и убедил отдать ему книги и рукописи умершего — «иначе будет плохо: институт буддийской культуры оказался шпионским центром». Завладев работами, он часть из них

[385] Примечания: 385

А когда через 20 лет Маркина реабилитировали, Соловьёв не захотел уступить ему даже половины гонорара.

(а также и работу Вострикова) издал под своей фамилией и тем прославился.

Есть многие научные репутации в Москве и в Ленинграде, вот так же построенные на крови и костях. Неблагодарность учеников, пересекшая пегою полосою нашу науку и технику в 30–40–е годы, имела понятное объяснение: наука переходила от подлинных учёных и инженеров к скороспелым жадным выдвиженцам.

Сейчас не уследить, не перечислить все эти присвоенные работы, украденные изобретения. А— квартиры, перенятые у арестованных? А— разворованные вещи? Да во время войны эта дикая черта не проявилась ли почти как всеобщая: если кто–нибудь в глубоком горе, или разбомблён, сожжён, или эвакуируется, — уцелевшие соседи, простые советские люди, стараются в эти–то минуты и поживиться за его счёт?

Разнообразны виды растления, и не нам в этой главе их охватить. Совокупная жизнь общества состояла в том, что выдвигались предатели, торжествовали бездарности, а всё лучшее и честное шло крошевом из–под ножа. Кто укажет мне с 30–х годов по 50–е один случай на страну, чтобы благородный человек поверг, разгромил, изгнал низменного склочника? Я утверждаю, что такой

случай невозможен, как невозможно ни одному водопаду в виде исключения падать вверх. Благородный человек ведь не обратится в ГБ, а у подлеца оно всегда под рукой. И ГБ тоже не остановится ни перед кем, если уж не остановилось перед Николаем Вавиловым. Так отчего же бы водопад упал вверх?

Это лёгкое торжество низменных людей над благородными кипело чёрной вонючей мутью в столичной тесноте, — но и под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях— излюбленной картинке 30–х годов, где впору бы ясноглазым гигантам Джека Лондона курить трубку мира, — зловонило оно и там. На полярной станции острова Домашнего (Северная Земля) было всего три человека: беспартийный начальник станции Александр Павлович Бабич, почётный старый полярник; чернорабочий Ерёмин — он же и единственный партиец, он же и парторг (!) станции; комсомолец (он же и комсорг!) метеоролог Горяченко, честолюбиво добивавшийся спихнуть начальника и занять его место. Горяченко роется в личных вещах начальника, ворует документы, угрожает. По Джеку Лондону полагалось бы двоим мужчинам просто сунуть этого негодяя под лёд. Но нет— посылается в Главсевморпуть

телеграмма Папанину о необходимости сменить работника. Парторг Ерёмин подписывает эту телеграмму, но тут же кается комсомольцу и вместе с ним шлёт Папанину партийно–комсомольскую телеграмму обратного содержания. Решение Папанина: коллектив разложился, снять на берег. За ними приходит ледокол «Садко». На борту «Садко» комсомолец не теряет времени и даёт материалы судовому комиссару— и тут же Бабича арестовывают (главное обвинение: хотел… передать немцам ледокол «Садко», — вот этот самый, на котором они сейчас все плывут…). На берегу его уже сразу сгружают в КПЗ. (Вообразим на минуту, что судовой комиссар — честный разумный человек, что он вызывает Бабича, выслушивает и другую сторону. Но это значило бы открыть тайну доноса возможному врагу! — и через Папанина Горяченко посадил бы судового комиссара. Система работает безотказно.)

Конечно, в отдельных людях, воспитанных с детства не в пионеротряде и не в комсомольской ячейке, душа уцелевает. Вдруг на сибирской станции здоровяга–солдат, увидев эшелон арестантов, бросается купить несколько пачек папирос и уговаривает конвоиров — передать арестантам (в других местах этой книги мы ещё описываем

подобные случаи). Но этот солдат— наверное, не при службе, отпускник какой–нибудь, и нетрядом комсорга его части. В своей части он бы не решился, ему бы не поздоровилось. Да может быть и тут комендантский надзор его ещё притянет.

Ложь как форма существования. Поддавшись ли страху или тронутые корыстью, завистью, люди, однако, не могут так же быстро поглупеть. У них замутнена душа, но ещё довольно ясен ум. Они не могут поверить, что вся гениальность мира внезапно сосредоточилась в одной голове с придавленным низким лбом. Они не могут поверить в тех оглуплённых, дурашливых самих себя, как слышат себя по радио, видят в кино, читают в газетах. Резать правду в ответ их ничто не вынуждает, но никто не разрешит им молчать! Они должны говорить — а что же, как не ложь? Они должны бешено аплодировать — а искренности с них и не спрашивают.

И если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину:

«Повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемой верным ленинцем — Сталинским Наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заведения, как

и всю нашу страну, от остатков троцкистско–бухаринской и прочей контрреволюционной мрази»[386], —

мы же не примем всё совещание в тысячу человек за идиотов, а только — за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту.

Постоянная ложь становится единственной безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем–то слышано, каждое выражение лица— кем–то наблюдаемо. Поэтому каждое слово если не обязано быть прямою ложью, то обязано не противоречить общей лжи. Существует набор фраз, набор кличек, набор готовых лживых форм, и не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги— научной, публицистической, критической или так называемой «художественной» — без употребления этих главных наборов. В самом наинаучнейшем тексте где–то надо поддержать чей–то ложный авторитет или приоритет и кого–то обругать за истину: без этой лжи не выйдет в свет и академический труд. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешёвых

[386] Примечания: 386

Первое Всесоюзное совещание работников высшей школы СССР— товарищу Сталину // Правда, 20 мая 1938, с. 2.

собраниях в перерыв, где надо голосовать против собственного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает (новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованиям на какую–нибудь танковую колонну, обязанности работать в воскресенье или послать детей на помощь колхозникам), и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут (какие–нибудь неосязаемые, невидимые насилия в Вест–Индии или в Парагвае).

Тэнно со стыдом вспоминал в тюрьме, как за две недели до ареста он читал морякам лекцию: «Сталинская конституция — самая демократическая в мире» (разумеется — ни одного слова искренне).

Нет человека, напечатавшего хоть страницу — и не солгавшего. Нет человека, взошедшего на трибуну— и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону — и не солгавшего.

Но если б хоть на этом конец! Ведь и далее: всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи— иногда напроломной, иногда оглядчивой, иногда снисходительно–подтверждающей. И если с глазу на глаз твой собеседник–дурак сказал тебе, что

мы отступаем до Волги, чтоб заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, — надо согласиться! надо обязательно согласиться! А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на Архипелаг (вспомним посадку Чульпенё–ва, Часть Первая, глава 7).

Но и это ещё не всё: растут твои дети. Если они уже подросли достаточно, вы с женой не должны говорить при них открыто то, что вы думаете: ведь их воспитывают быть Павликами Морозовыми, они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ваши ещё малы, то надо решить, как верней их воспитывать: сразу ли выдавать им ложь за правду (чтоб им было легче жить) и тогда вечно лгать ещё и перед ними; или же говорить им правду— с опасностью, что они оступятся, прорвутся, и значит, тут же втолковывать им, что правда — убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой.

Выбор такой, что, пожалуй, и детей иметь не захочешь.

Ложь как длительная основа жизни. В провинциальный институт преподавать литературу приезжает из столицы молодая умная, всё понимающая женщина А.К. — но не запятнанаеё

анкета и новенький кандидатский диплом. На своём главном курсе она видит единственную партийную студентку — и решает что именно та здесь будет стукачка. (Кто–то на курсе обязательно должен стучать, в этом А.К. уверена.) И она решает играть с этой партийной студенткой в милость и близость. (Кстати, по тактике Архипелага, здесь — чистый просчёт, надо, напротив, влепить ей две двойки, тогда всякий её донос — личные счёты.) Они и встречаются вне института, и обмениваются карточками (студентка носит фото А.К. в обложке партбилета); в каникулярное время нежно переписываются. И каждую лекцию читает А.К., приноравливаясь к возможным оценкам своей партийной студентки. — Проходит 4 года этого унизительного притворства, студентка кончила, теперь её поведение безразлично для А.К., и при первом же её визите А.К. откровенно плохо её принимает. Рассерженная студентка требует размена карточек и писем и восклицает (самое уныло–смешное, что она, вероятно, и стукачкой не была): «Если кончу аспирантуру— никогда так не буду держаться за жалкий институт, как вы! На что были похожи ваши лекции! — шарманка!»

Да! Обедняя, выцвечивая, обстригая всё под восприятие стукачки, А.К. погубила лекции, которые

способна была читать с блеском.

Как остроумно сказал один поэт, не культ личности у нас был, а культ двуличности.

Конечно, и здесь надо различать ступени: вынужденной, оборонительной *лжи*— и *лжи* самозабвенной, страстной, какой больше всего отличались писатели, той *лжи*, в умилении которой написала Шагинян в 1937 году (!), что вот эпоха социализма преобразила даже и следствие: по рассказам следователей, теперь подследственные охотно с ними сотрудничают, рассказывая о себе и о других всё необходимое.

Как далеко увела нас ложь от нормального общества, даже не сориентируешься: в её сплошном сероватом тумане не видно ни одного столба. Вдруг разбираешь из примечаний, что «Вмире отверженных» П.Якубовича была напечатана (пусть под псевдонимом) в то самое время, когда автор кончал каторгу и ехал в ссылку[387]. Ну, примерьте же, примерьте к нам! Вот проскочил чудом мой запоздавший и робкий рассказ об Иване Денисовиче, и твёрдо опустили шлагбаумы, плотно задвинули створки и болты, и— не о современности даже, но о том, что было тридцать

---

[387] Примечания: 387

И в то самое время, когда каторга эта существовала! Именно о каторге нынешней книга, а не «это не повторится»!

и пятьдесят лет назад, — писать запрещено. И прочтём ли мы это при жизни? Мы так и умереть должны оболганными и завравшимися.

Да впрочем, если бы и предлагали узнать правду— ещё захотела ли бы воля её узнать! Ю.Г. Оксман вернулся из лагерей вскоре после войны и не был снова посажен, жил в Москве. Не покинули его друзья и знакомые, помогали. Но только не хотели слышать его воспоминаний о лагере. Ибо, зная то, — как же жить?..

После войны очень популярна была песня: «Не слышно шуму городского». Ни одного самого среднего певца после неё не отпускали без неистовых аплодисментов. Не сразу догадалось Управление Мыслей и Чувств, и ну передавать её по радио, и ну разрешать со сцены: ведь русская, народная! А потом догадались— и затёрли. Слова–то песни были об обречённом узнике, о разорванном союзе сердец. Потребность покаяться гнездилась всё–таки, шевелилась, и изолгавшиеся люди хоть этой старой песне могли похлопать от души.

Жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удержаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки тонущих, — как же сохранишь доброту? Уже измазавшись в кровушке, — ведь потом только жесточеешь. Да

жестокость («классовая жестокость») и воспевали, и воспитывали, и уж теряешь, верно, где эта черта между дурным и хорошим. Ну, а когда ещё и высмеяна доброта, высмеяна жалость, высмеяно милосердие, — кровью напоенных на цепи не удержишь!

Моя безымянная корреспондентка (с Арбата, 15) спрашивает «о корнях жестокости», присущей «некоторым советским людям». Почему чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем большую жестокость они проявляют? И приводит пример— совсем вроде бы и не главный, но мы его повторим.

Зима 1943/44, челябинский вокзал, навес около камеры хранения. Минус 25°. Под навесом — цементный пол, на нём — утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения— женщина в ватнике, с этой стороны окна — упитанный милиционер в дублёном полушубке. Они ушли в игровой ухаживающий разговор. А на полу лежат два человека— в хлопчатобумажных одежёнках и тряпках цвета земли, и даже ветхими назвать эти тряпки— слишком их украсить. Это молодые ребята— изможденные, опухшие, с болячками на губах. Один, видно в жару, прилёг голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая

подошла к ним узнать, оказалось: один из них кончил срок в лагере, другой сактирован, но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой. А возвращаться в лагерь у них нет сил— истощены поносом. Тогда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба. Тут милиционер оторвался от весёлого разговора и угрозно сказал ей: «Что, тётка, родственников признала? Уходи–ка лучше отсюда, умрут и без тебя». И она подумала— а ведь возьмёт ни с того ни с сего и меня посадит. (И верно, отчего бы нет?) И — ушла.

Как здесь всё типично для нашего общества— и то, что она подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и безжалостная женщина в ватнике, и та кассирша, которая отказала им в билетах, и та медсестра, которая не примет их в городскую больницу, и тот вольнонаёмный дурак, который оформлял им документы в лагере.

Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключённого, как при Достоевском и Чехове, «несчастненьким», а пожалуй, только — «падло». В 1938 магаданские школьники бросали камнями в проводимую колонну заключённых женщин (вспоминает Суровцева).

Знала ли наша страна раньше или знает другая

какая–нибудь теперь столько отвратительных и раздирающих квартирных и семейных историй? Каждый читатель расскажет их довольно, упомянем одну–две.

В коммунальной ростовской квартире на Доломановском жила Вера Красуцкая, у которой в 1938 был арестован и погиб муж. Её соседка Анна Стольберг знала об этом — и восемнадцать лет! — с 1938 по 1956— наслаждалась властью, пытала угрозами: на кухне или подловив проход по коридору, она шипела Красуцкой: «Пока хочу— живи, а захочу— карета за тобой приедет». И только в 1956 году Красуцкая решилась написать жалобу прокурору. Стольберг смолкла. Но жили и дальше в одной квартире.

После ареста Николая Яковлевича Семёнова в 1950 году в городе Любиме его жена, тут же, зимой, выгнала из дому жившую вместе с ними его мать Марию Ильиничну Семёнову: «Убирайся, старая ведьма! Сын твой— враг народа!» (Через шесть лет, когда муж вернётся из лагеря, она с подросшей дочерью Надей выгонит и мужа ночью в кальсонах на улицу. Надя будет стараться потому, что ей нужно освободить место для своего мужа. И, бросая брюки в лицо отцу, она будет кричать:

«Убирайся вон, старый гад!»[388]) Мать уехала в Ярославль к бездетной дочери Анне. Скоро мать надоела этой дочери и зятю. И зять, Василий Фёдорович Метёлкин, пожарник, в свободные от дежурства дни брал лицо тёщи в ладони, стискивал, чтобы она не могла отвернуться, и с наслаждением плевал ей в лицо, сколько хватало слюны, стараясь попадать в глаза и в рот. Когда был злей, обнажал член, тыкал старухе в лицо и требовал: «На, пососи и умирай!» Жена объясняет вернувшемуся брату: «Ну что ж, когда Вася выпимши… Что с пьяного спрашивать?» Затем, чтобы получить новую квартиру, стали относиться к старухе сносно («нужна ванная, негде мыть престарелую мать! не гонять же её в баню!»). Получив «под неё» квартиру, набили комнаты сервантами и шифоньерами, а мать загнали в щель шириною 35 сантиметров между шкафом и стеной — чтоб лежала там и не высовывалась. Н.Я., живя у сына, рискнул, не спросясь, перевезти туда и мать. Вошёл внук. Бабка опустилась перед ним на колени: «Вовочка! Ты не прогонишь меня?» Скривился внук: «Ладно, живи, пока не

[388] Примечания: 388

Точно такую же историю рассказывает и В.И.Жуков из Коврова: его выгоняли жена («убирайся, а то опять в тюрьму посажу!») и падчерица («убирайся, тюремщик!»).

женюсь». Уместно добавить и о внучке: Надя (Надежда Николаевна Топникова) за это время закончила истфилфак Ярославского пединститута, вступила в партию и стала редактором районной газеты в городе Нея Костромской области. Она и поэтесса, ив 1961 ещё в городе Любиме обосновала своё поведение в стихах:

Уж если драться, так драться. Отец?!.. И его — в шею! Мораль?! Вот придумали люди! Знать не хочу я об этом! В жизни шагать я буду Только с холодным расчётом!

Но стала от неё парторганизация требовать «нормализовать» отношения с отцом, и она внезапно стала ему писать. Обрадованный отец ответил всепрощающим письмом, которое она тотчас же показала в парторганизации. Там поставили галочку. С тех пор только поздравляет его с великими майскими и ноябрьскими праздниками.

В этой трагедии— семь человек. Вот и капелька нашей воли.

В семьях повоспитаннее не выгоняют пострадавшего родственника в кальсонах на улицу, но стыдятся его, тяготятся его жёлчным «искажённым» мировоззрением.

И можно перечислять дальше. Можно назвать

ещё — Рабскую психологию. Тот же несчастный Бабич в заявлении прокурору: «я понимаю, что военное время налагало на органы власти более серьёзные обязанности, чем разбор судебных дел отдельных лиц». И ещё другое можно.

Но признаем уже и тут: если у Сталина это всё не само получилось, а он это для нас разработал по пунктам — он таки был гений!

* * *

И вот в этом зловонном сыром мире, где процветали только палачи и самые отъявленные из предателей; где оставшиеся честные — спивались, ни на что другое не найдя воли; где тела молодёжи бронзовели, а души подгнивали; где каждую ночь шарила серо–зелёная рука и кого–то за шиворот тащила в ящик, — в этом мире бродили ослепшие и потерянные миллионы женщин, от которых мужа, сына или отца оторвали на Архипелаг. Они были напуганней всех, они боялись зеркальных табличек, кабинетных дверей, телефонных звонков, дверных стуков, они боялись почтальона, молочницы и водопроводчика. И каждый, кому они мешали, выгонял их из квартиры, с работы, из города.

Иногда они доверчиво уповали, что «без пра-

ва переписки» так надо и понимать, а пройдёт десять лет— и он напишет[389]. Они стояли в притюремных очередях. Они ехали куда–то за сто километров, откуда, говорят, принимают продуктовые посылки. Иногда они сами умирали прежде смерти своего арестанта. Иногда по возвращённой посылке — «адресат умер в лазарете» — узнавали дату смерти. Иногда, как Ольга Чавчавадзе, добирались до Сибири, везя на могилу мужа щепотку роднойземли, — да только никто уже не мог указать, под которым же он холмиком, с троими ещё. Иногда, как Зельма Жигур, писали разносные письма какому–нибудь Ворошилову, забыв, что совесть Ворошилова умерла задолго до него самого[390].

А у этих женщин подрастали дети, и для каждого наступало то крайнее время, когда непременно надо вернуться отцу, пока не поздно, а он не шёл.

Треугольник из тетрадной бумаги косой разграфки. Чередуются синий и красный ка-

---

[389] Примечания: 389

Иногда лагеря без права переписки действительно существовали: не только атомные заводы 1945–49 годов, но, например, Новая Земля; или 29–й пункт Карлага с 1938 года не имел полтора года переписки.

[390] Примечания: 390

Он и своего–то ближайшего адъютанта Лангового не имел смелости оградить от ареста и пыток.

рандаш, — наверно, детская рука откладывала карандаш, отдыхала и брала потом новой стороной. Угловатые неопытные буквы с передышками иногда и внутри слов:

«Здастуй Папочка я забыл как надо писать скоро в Школу пойду через зиму 1 скорей приходи а то нам плохо нету у нас Папы мама говорит то ты в командировке то больной что ж ты смотриш убеги из больницы вон Олешка из больницы в одной рубашке прибежал мама сошьёт тебе новые штаны я тебе свой пояс отдам меня всё равно ребята боятся только Олешеньку я не бю никогда он тоже правду говорит он тоже бедный а ещё я както болел лежал в пруду [бреду] хотел с мамой вместе умирать а она не захотела ну и я не захотел ой руки уморили хватит писать целую тебя шкаф раз

Игорёк 6 с половиночкой лет

Я уже на конвертах писать научился мама пока с работы придёт а я уже письмо в ящик».

Манолис Глезос «в яркой и страстной речи рассказал московским писателям о своих товарищах, томящихся в тюрьмах Греции.

— Я понимаю, что заставил своим рассказом сжаться ваши сердца. Но я сделал это умышленно. Я хочу, чтобы ваши сердца болели за тех, кто

томится в заключении… Возвысьте ваш голос за освобождение греческих патриотов!»[391]

И эти тёртые лисы, конечно, — возвысили! Ведь в Греции томились десятка два арестантов! Может быть, сам Манолис

не понимал бесстыдства своего призыва, а может, в Греции пословицы такой нет:

Зачем в люди по печаль, коли дома навзрыд?

В разных местах нашей страны мы встречаем такое изваяние: гипсовый охранник с собакой, устремлённый вперёд, кого–то перехватить. В Ташкенте стоит такое хоть перед училищем НКВД, а в Рязани — как символ города: единственный монумент, если подъезжать со стороны Михайлова.

И мы не вздрогнем от отвращения, мы привыкли, как к естественным, к этим фигурам, травящим собак на людей.

На нас.

Глава 4. НЕСКОЛЬКО СУДЕБ

Судьбы всех арестантов, кого я упоминаю в этой книге, я распылил, подчиняя плану книги— контурам Архипелага. Я отошёл от жизнеописаний: это было бы слишком однообразно, так пишут

---

[391] Примечания: 391
Литературная газета, 27 августа 1963, с.1.

и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя.

Но именно поэтому я считаю себя теперь вправе привести несколько арестантских судеб целиком.

Анна Петровна Скрипникова

Единственная дочь майкопского простого рабочего, девочка родилась в 1896 году. Как мы уже знаем из истории партии, при проклятом царском режиме ей закрыты были все пути образования, и обречена она была на полуголодную жизнь рабыни. И это всё действительно с ней случилось, но уже после революции. Пока же она была принята в майкопскую гимназию.

Аня росла и вообще крупной девочкой и крупноголовой. Подруга по гимназии рисовала её из одних кругов: голова — шар (круг со всех сторон), круглый лоб, круглые как бы всегда недоуменные глаза. Мочки ушей вросли и закруглились в щёки. И плечи круглые. И фигура— шар.

Аня слишком рано стала задумываться. Уже в 3–м классе она просила у учительницы разрешения получить в гимназической библиотеке Добролюбова и Достоевского. Учительница возмутилась: «Рано тебе!» — «Ну, не хотите, так я в городской получу.» Тринадцати лет она «эмансипировалась

от Бога», перестала верить. В пятнадцать лет она усиленно читала отцов Церкви — исключительно для яростного опровержения батюшки на уроках, к общему удовольствию соучениц. Впрочем, стойкость старообрядцев она взяла для себя в высший образец. Она усвоила: лучше умереть, чем дать сломать свой духовный стержень.

Золотую медаль, заслуженную ею, никто не помешал ей получить[392]. В 1917 (самое время для учёбы!) она поехала в Москву и поступила на высшие женские курсы Чаплыгина по отделению философии и психологии. Как золотой медалистке ей до октябрьского переворота выплачивали стипендию Государственной Думы. Отделение это готовило преподавателей логики и психологии для гимназий. Весь 1918 год, подрабатывая уроками, занималась она психоанализом. Она как будто оставалась атеисткой, но и ощущала всей душой, как это

… неподвижно на огненных розах Живой алтарь мирозданья курится.

Она успела поклониться поэтической философии Джордано Бруно и Тютчева и даже одно время считать себя восточной католичкой. Она

---

[392] Примечания: 392

А если бы девочка в наше время так спорила по основам марксизма?

меняла свои веры жадно, может, чаще, чем наряды (нарядов не было, да она за ними так и не следила). Ещё она считала себя социалисткой и неизбежными — кровь восстаний и гражданской войны. Но не могла примириться с террором. Демократия, но не зверства! «Пусть будут руки в крови, но не в грязи!»

В конце 1918 ей пришлось оставить курсы (да и остались ли сами курсы?) и с трудом пробираться к родителям, где сытей. Она приехала в Майкоп. Тут уже создался «институт народного образования», для взрослых и для молодых. Анна стала не меньше как исполняющей должность профессора по логике, философии и психологии. Она имела успех у студентов.

Тем временем белые доживали в Майкопе последние дни. 45–летний генерал убеждал её бежать с ним. «Генерал, прекратите ваш парад. Бегите, пока вас не арестовали». В те дни на преподавательской вечеринке, среди своих, гимназический историк предложил тост: «За великую Красную армию!» Анна оттолкнула тост: «Ни за что!» Зная её левые взгляды, друзья вытаращились. «А потому что… несмотря на вечные звёзды… расстрелов будет всё больше и больше», — предсказала она.

У неё было ощущение, что все лучшие погибают в этой войне, а остаются жить приспособленцы. Она уже предчувствовала, что к ней близится подвиг, но ещё не знала— какой.

Через несколько дней в Майкоп вошли красные. И ещё через несколько собран был вечер городской интеллигенции. На сцену вышел начальник Особого отдела 5–й армии Лосев и стал в разгромном тоне (недалеко от мата) поносить «гнилую интеллигенцию»: «Что? Между двумя стульями сидите? Ждали, пока я вас приглашу? А почему сами не пришли?» Всё более расходясь, он выхватил из кобуры револьвер и, потрясая им, уже кричал так: «И вся культура ваша гнилая! Мы всю её разрушим и построим новую! И вас, кто будет мешать, — уберём!» И после этого предложил: «Кто выступит?»

Зал молчал гробово. Не было ни одного аплодисмента, и ни одна рука не поднялась. (Зал молчал — испуганно, но испуг ещё не был отрепетирован, и не знали люди, что аплодировать— обязательно.)

Лосев, наверно, и не рассчитывал, что решится кто–то выступить, но встала Анна: «Я!» — «Ты? Ну, полезай, полезай». И она пошла через зал и поднялась на сцену. Крупная, круглолицая и да-

же румяная 25–летняя женщина, щедрой русской природы (хлеба она получала осьмушку фунта, но у отца был хороший огород). Русые толстые косы её были до колен, но как зауряд–профессор она не могла так ходить и накручивала из них ещё вторую голову. И звонко она ответила:

— Мы выслушали вашу невежественную речь. Вы звали нас сюда, но не было объявлено, что — на погребение великой русской культуры. Мы ждали увидеть культуртрегера, а увидели погребальщика. Уж лучше бы вы просто крыли нас матом, чем то, что говорили сегодня! Должны мы так понимать, что вы говорите от имени советской власти?

— Да, — ещё гордо подтвердил уже растерявшийся Лосев.

— Так если советская власть будет иметь представителями таких бандитов, как вы, — она распадётся!

Анна кончила, и зал гулко зааплодировал (все вместе ещё тогда не боялись). И вечер на этом кончился. Лосев ничего не нашёлся больше. К Анне подходили, в гуще толпы жали руку и шептали: «Вы погибли, вас сейчас арестуют. Но спасибо–спасибо! Мы вами гордимся, но вы— погибли! Что вы наделали?»

Дома её уже ждали чекисты. «Товарищ учительница! Как ты бедно живёшь— стол, два стула и кровать, обыскивать нечего. Мы ещё таких не арестовывали. И отец— рабочий. И как же при такой бедности ты могла стать на сторону буржуазии?» ЧК ещё не успели наладить, и привели Анну в комнаты при канцелярии Особого отдела, где уже заключён был белогвардейский полковник барон Бильдерлинг (Анна была свидетелем его допросов и конца и потом сказала жене: «Он умер честно, гордитесь!»).

Её повели на допрос в комнату, где Лосев и жил, и работал. При её входе он сидел на разобранной кровати, в галифе и расстёгнутой нижней рубахе и чесал грудь. Анна сейчас же потребовала от конвойного: «Ведите меня назад!» Лосев огрызнулся: «Хорошо, сейчас помоюсь, лайковые перчатки надену, в которых революцию делают!»

Неделю она ждала смертного приговора в экстазе. Скрип–никова теперь вспоминает даже, что это была самая светлая неделя её жизни. Если эти слова точно понять — можно вполне поверить. Это тот экстаз, который в награду нисходит на душу, когда ты отбросил все надежды на невозможное спасение и убеждённо отдался подвигу. (Любовь к жизни разрушает этот экстаз.)

Она ещё не знала, что интеллигенция города принесла петицию о её помиловании. (В конце 20–х это б уже не помогло, в начале 30–х на это бы никто и не решился.) Лосев на допросах стал идти на мировую:

— Сколько городов брал — такой сумасшедшей не встречал. Город на осадном положении, вся власть в моих руках, а ты меня— гробовщиком русской культуры! — Ну ладно, мы оба погорячились… Возьми назад «бандита» и «хулигана».

— Нет. Я и теперь о вас так думаю.

— С утра до вечера ко мне лезут, за тебя просят. Во имя медового месяца советской власти придётся тебя выпустить…

Её выпустили. Не потому, что сочли выступление безвредным, а потому что она—дочь рабочего. Дочери врача этого бы не простили[393].

Так Скрипникова начала свой путь по тюрьмам.

В 1922 году она была посажена в Краснодарскую ЧК и просидела там 8 месяцев — «за знакомство с подозреваемой личностью». В той тюрьме был повальный тиф, скученность. Хлеба давали осьмушку (50 граммов!), да ещё из подмесей. При

---

[393] Примечания: 393

Сам же Лосев в 1920 году за бандитизм и насилия был расстрелян в Крыму.

ней умер от голода ребёнок на руках соседки, — и Анна поклялась при таком социализме никогда не иметь ребёнка, никогда не впасть в соблазн материнства.

Эту клятву она сдержала. Она прожила жизнь без семьи, и рок её — её неуступчивость — имел случай ещё не раз вернуть её в тюрьму.

Начиналась как будто мирная жизнь. В 1923 Скрипникова поехала поступать в институт психологии при МГУ. Отвечая на анкету, она написала: «не марксистка». Принимавшие её посоветовали доброжелательно: «Вы сумасшедшая? Кто же так пишет? Объявите, что марксистка, а там думайте что угодно». «Но я не хочу обманывать советскую власть. Я Маркса просто не читала…» — «Так тем более!» — «Нет. Вот когда я изучу марксизм и если я его приму…» А пока поступила преподавать в школу для дефективных.

В 1925 муж её близкой подруги, эсер, скрылся от ареста. Чтобы вынудить его вернуться, ГПУ взяло заложниками (в разгаре НЭПа— заложники!) жену и её подругу, то есть Анну. Всё та же круглолицая, крупная, с косами до колен, она вошла в лубянскую камеру. (Тут–то и внушал ей следователь: «Устарели эти русские интеллигентские замашки!.. Заботьтесь только о себе»!) В этот раз

она сидела с месяц.

В 1927 году, за участие в музыкальном обществе учителей и рабочих, обречённом на разгром как возможное гнездо свободомыслия, Анна была арестована уже в четвёртый раз! Получила 5 лет и отбыла их на Соловках и Беломоре.

С 1932 года её долго не трогали, да и жила она, видимо, поосторожней. С 1948 её, однако, стали увольнять с работ. В 1950 Институт Психологии вернул ей уже принятую диссертацию («Психологическая концепция Добролюбова») на том основании, что в 1927 она имела судимость по 58–й статье. В это трудное её время (она четвёртый год оставалась безработной) руку помощи протянуло ей… ГБ! Приехавший во Владикавказ уполномоченный центрального МГБ Лисов (да это же Лосев! он жив? и как мало изменилось в буквах! лишь не так открыто выставляет голову, как лось, а шмыгает по–лисьи) предложил ей сотрудничать и за то — устройство на работу, защиту диссертации. Она гордо отказалась. Тогда очень проворно состряпали ей обвинение, что за 11 лет до этого (!), в 1941, она говорила:

— что мы плохо подготовлены к войне (а разве хорошо?);

— что немецкие войска стоят на нашей грани-

це, а мы им гоним хлеб (а разве нет?).

Теперь она получила 10 лет (её пятый срок) и попала в Особлаги — сперва Дубравлаг в Мордовии, потом Сиблаг, станция Суслово Кемеровской области.

Ощущая непробиваемую эту стену перед собой, надумала она писать жалобы не куда–нибудь, а… в ООН!! При жизни

Сталина она отправила таких три. Это был не просто приём, — нет. Она действительно облегчала вечно клокочущую свою душу, беседуя мысленно с ООН. Она действительно за десятилетия людоедства не видела другого света в мире. В этих жалобах она бичевала зверский произвол в СССР и просила ООН ходатайствовать перед советским правительством: или о переследовании её дела, или о расстреле, так как жить дальше при таком терроре она не может. Конверты она адресовала «лично» кому–нибудь из членов правительства, а внутри лежала просьба переслать в ООН.

В Дубравлаге её вызвало сборище разгневанного начальства:

— Как вы смеете писать в ООН?

Скрипникова стояла, как всегда, прямая, крупная, величественная:

— Ни в УК, ни в УПК, ни по Конституции это не запрещается. А вот вам не следовало бы вскрывать конвертов, адресованных члену правительства лично!

В 1956 году в их лагере работала «разгрузочная» комиссия Верховного Совета. Единственным заданием этой комиссии было — как можно больше зэков как можно быстрей выпустить на волю. Была какая–то скромная процедура, при которой надо было зэку сказать несколько виноватых слов, простоять минутку с опущенной головой. Но нет, не такова была Анна Скрипникова! Лично её освобождение было ничто перед общей справедливостью! Как она могла принять прощение, если была невиновна? И она заявила комиссии:

— Вы особенно не радуйтесь. Все проводники сталинского террора рано или поздно, но обязательно будут отвечать перед народом. Я не знаю, кем были при Сталине вот вы лично, гражданин полковник, но если вы были проводником его террора, то тоже сядете на скамью подсудимых.

Члены комиссии захлебнулись от ярости, закричали, что в их лице она оскорбляет Верховный Совет, что даром это ей не пройдёт и будет она сидеть от звонка до звонка.

И действительно, за её несбыточную веру в

справедливость пришлось ей отсидеть лишних 3 года.

Из Камышлага она продолжала иногда писать в ООН (всего за 7 лет до 1959 года она написала 80 заявлений во все места). В 1958 за эти письма её направили на год во Владимирскую политзакрытку. А там был закон— каждые 10 дней принималось заявление в любую инстанцию. За полгода она отправила оттуда 18 заявлений в разные места, в том числе 12 —в ООН.

И добилась–таки! — не расстрела, а преследствия! — по делам 1927 и 1952 годов. Следователю она сказала: «А что ж? Заявления в ООН — единственный способ пробить брешь в каменной стене советской бюрократии и заставить хоть что–нибудь услышать оглохшую Фемиду».

Следователь вскакивал, бил себя в грудь:

— Все проводники «сталинского террора», как вы почему–то (!) называете культ личности, будут отвечать перед народом? А за что вот мне отвечать? Какую другую политику я мог проводить в то время? Да я Сталину безусловно верил и ничего не знал.

Но Скрипникова добивала его:

— Нет–нет, так не выйдет! За каждое преступление надо нести ответственность! А кто же будет

отвечать за миллионы невинных погибших? За цвет нации и цвет партии? Мёртвый Сталин? Расстрелянный Берия? А вы будете делать политическую карьеру?

(А у самой кровяное давление подходило к смертельному пределу, она закрывала глаза, и всё огненно кружилось.)

И ещё б её задержали, но в 1959 году это было уже курьёзно.

В последующие годы (она жива и сегодня) её жизнь заполнена хлопотами об оставшихся в заключении, ссылках и судимостях знакомых по лагерям последних лет. Некоторых она освободила, других реабилитировала. Защищает и одногоро–жан. Городские власти побаиваются её пера и жалоб в Москву, уступают кой в чём.

Если бы все были вчетверть такие непримиримые, как Анна Скрипникова, — другая была б история России.

Степан Васильевич Лощилин

Родился в 1908 году в Поволжьи, сын рабочего на бумажной фабрике. В 1921, во время голода, осиротел. Рос парень не бойким, всё же лет семнадцати был уже в комсомоле, а в восемнадцать поступил в школу крестьянской молодёжи, кончил её двадцати одного года. В это время посы-

лали их на хлебозаготовки, а в 1930 он в родном своём селе раскулачивал. Строить колхоз в селе, однако, не остался, а «взял справку» в сельсовете и с нею поехал в Москву. С трудом ему удалось устроиться чернорабочим на стройку (время безработицы, а в

Москву особенно уже тогда полезли). Через год призвали его в армию, там был он принят в кандидаты, а затем и в члены партии. В конце 1932 уже демобилизован и вернулся в Москву. Однако не хотелось ему быть чернорабочим, хотелось квалификации, и просил он райком партии дать ему путёвку учеником на завод. Но, видно, был он коммунист недотёпистый, потому что даже в этом ему отказали, а предложили путёвку в милицию.

А вот тут — отказался он. Поверни он иначе — этой биографии писать бы нам не пришлось. Но он — отказался.

Молодому человеку, ему перед девушками стыдно было работать чернорабочим, не иметь специальности. Но негде было её получить! И на завод «Калибр» он поступил опять чернорабочим. Здесь на партийном собрании он простодушно выступил в защиту рабочего, очевидно, уже заранее партийным бюро намеченного к чистке. Того

рабочего вычистили, как и наметили, а Лощилина стали теснить. В общежитии у него украли партвзносы, которые он собирал, а из зарплаты покрыть он их не мог. Тогда его исключили из партии и грозили отдать под суд (разве утрата партвзносов подлежит уголовному кодексу?). Уже пойдя душою под уклон, Лощилин однажды не вышел и на работу. Его уволили за прогул. С такой справкой он долго не мог никуда поступить. Тягал его следователь, потом оставил. Ждал суда— суда нет. Вдруг пришло заочное решение: 6 месяцев принудработ с вычетом 25%, отбывать через городское Бюро исправтрудработ (БИТР).

В сентябре 1937 года Лощилин днём направился в буфет Киевского вокзала. (Что знаем мы о своей жизни? Переголодай он лишних 15 минут, пойди в буфет в другом месте?..) Быть может, у него был какой–нибудь потерянный или ищущий вид? Этого он не знает. Навстречу ему шла молодая женщина в форме НКВД. (Тебе ли, женщина, этим заниматься?) Она спросила: «Что вам нужно? Куда вы идёте?» — «В буфет». Показала на дверь: «Зайдите сюда!» Лощилин, разумеется, подчинился. (Сказали бы так англичанину!) Это было помещение Особого отдела. За столом сидел сотрудник. Женщина сказала: «Задержан при об-

ходе вокзала». И ушла, никогда больше в жизни Лощилин её не видел. (И мы никогда ничего о ней не узнаем…) Сотрудник, не предлагая сесть, начал задавать вопросы. Все документы у него отобрал и отправил в комнату для задержанных. Там уже было двое мужчин и, как говорит Лощилин, «уже без разрешения (!) я сел с ними рядом на свободный стул». Все трое долго молчали. Пришли милиционеры и повели их в КПЗ. Милиционер велел отдать ему деньги, потому что, мол, в камере «всё равно отнимут» (какая однонаправленность у милиции и у блатных). Лощилин соврал, что нет у него денег. Стали обыскивать и деньги отобрали навсегда. А махорку вернули. С двумя пачками махорки и вошёл он в первую свою камеру, и положил махорку на стол. Курить, конечно, не было ни у кого.

Один–единственный раз водили его из КПЗ к следователю. Тот спросил, не занимается ли Лощилин воровством. (И какое же это было спасение! Надо было сказать — да, занимаюсь, но ещё не попадался. И его бы самое большое выслали из Москвы.) Но Лощилин гордо ответил: «Я живу своим трудом». И больше ни в чём его следователь не обвинил, и следствие на этом кончилось, и не было никакого суда!

Десять дней он просидел в КПЗ, потом ночью всех их перевезли в МУР (Московский уголовный розыск), на Петровку. Здесь уже было тесно, душно, не пройти. Здесь царили блатные, они отнимали вещи, проигрывали их. Здесь впервые Лощилин был поражён «их странной смелостью, их подчёркиванием какого–то непонятного превосходства». — В одну из ночей стали возить в пересыльную тюрьму на Сретенке (вот где была до Красной Пресни). Тут было ещё тесней— сидели на полу и на нарах по очереди. Полураздетых (блатными) милиция теперь одевала — в лапти и в старое милицейское же обмундирование .

Среди тех, кто ехал с Лощилиным, и других было много таких, кому не предъявляли никакого обвинительного заключения, не вызывали в суд, — но везли вместе с осуждёнными. Их привезли в Переборы, там заполняли ведомость на прибывших, и только тут Лощилин узнал свою статью: СВЭ — Социально–Вредный Элемент, срок — 4 года. (Он недоумевает и по сей день: ведь и отец мой рабочий, и сам я рабочий— почему же СВЭ? другое бы дело — торговал…)

Волголаг. Лесоповал— 10–часовой рабочий день, и никаких выходных, кроме 7 ноября и 1 мая (это за три года до войны). Однажды Лощили-

ну перебило ногу, операция, 4 месяца в больнице, 3 — на костылях. Потом опять лесоповал. И так он отбыл все четыре года. Началась война, — но всё–таки он не считался Пятьдесят Восьмой статьёй, и осенью 1941 его освободили по концу срока. Перед самым освобождением у Лощи–лина украли бушлат, записанный в его арматурную карточку.

Уж как молил он придурков сактировать этот проклятый бушлат — нет! не сжалились! Из «фонда освобождения» вычли за бушлат да в двукратном размере, — а по казённым ценам это ватно–рваное сокровище дорого! — и холодной осенью выпустили за ворота в одной хлопчатобумажной лагерной рубашке и почти без денег, хлеба и селёдки на дорогу. Вахтёры обыскали его при выходе и пожелали счастливого пути.

Так ограблен был он в день освобождения, как и в день ареста…

При оформлении справки у начальника УРЧ Лощилин прочёл вверх ногами, что ж у него написано в деле. А написано было: «Задержан при обходе вокзала…»

Приехал в город Сурск, в свои места. По болезни райвоенкомат освободил его от воинской повинности. И это оказалось— плохо. Осенью 1942 года по приказу НКО № 336 военкомат же мобилизо-

вал всех мужчин призывного возраста, годных к физическому труду. Лощилин попал в рабочий отряд КЭЧ (квартирно–эксплуатационной части) Ульяновского гарнизона. Что это был за отряд и как относились к нему — можно представить, если там было много молодёжи из Западной Украины, которую управились перед войной мобилизовать, но на фронт не посылали из–за ненадёжности. Так Лощилин попал в одну из разновидностей Архипелага, военизированный бесконвойный лагерь, рассчитанный на такое же уничтожение с отдачей последних сил.

10–часовой рабочий день. В казарме — двухэтажные нары, никаких постельных принадлежностей (ушли на работу — казарма необитаема). Работали и ходили во всём своём, в чём взяты из дому, и бельё— только своё, без бани и без смены. Платили им пониженную зарплату, из которой вычитали за хлеб (600 грамм), за питание (плохое, двухразовое из первого и второго), и даже, выдав чувашские лапти, — за лапти.

Из числа отрядников один был — комендант, другой — начальник отряда, но они не имели никаких прав. Всем заправлял М.Желтов, начальник ремстройконторы. Это был князь, который делал что хотел. По его распоряжению некото-

рым отрядникам по суткам и по двое не давали хлеба и обеда. («Где такой закон? — удивлялся Лощилин. — Ив лагерях так не было».) А между тем в отряд поступали после ранения и ослабевшие фронтовики. При отряде была женщина–врач. Она имела право выписывать больничные листы, но Желтов запретил ей, и, боясь его, она плакала, не скрывая слёз от отрядников. (Вот она— воля\ Вот она, наша Воля!) Обовшивели, а нары оклопянели.

Но ведь это не лагерь! — можно было жаловаться! И жаловались. Писали в областную газету, в обком. Ответа ниоткуда не было. Отозвался только горздравотдел: сделали хорошую дезинфекцию, настоящую баню и в счёт зарплаты (!) выдали всем по паре белья и постельные принадлежности.

Зимой с 1944 на 45 год, к началу третьего года пребывания в отряде, собственная обувь Лощилина износилась вовсе, и он не вышел на работу. По Указу тут же судили его за прогул— три месяца исправтрудработ всё в том же отряде, с вычетом 25%.

Весенней сыростью не мог Лощилин ходить уже и в лаптях— и снова не вышел на работу. Снова его судили (если считать со всеми заочны-

ми — четвёртый раз в жизни), в красном уголке казармы, и приговор был: три месяца лишения свободы.

Но… не посадили. Потому что невыгодно было государству брать Лощилина на содержание. Потому что никакое лишение свободы уже не могло быть хуже этого рабочего отряда!

Это было в марте 1945 года. И всё бы обошлось, если бы перед тем Лощилин не написал в КЭЧ гарнизона жалобу, что Желтов обещал выдать всем ботинки б/у, но не выдаёт. (А почему написал он один: «коллективки» были строго запрещены, за коллективку, как противоречащую духу социализма, могли дать и 58–ю.)

И вызвали Лощилина в отдел кадров: «Сдайте спецодежду!» И единственное, что безмолвный этот трудяга получил за три года— рабочий фартук, — Лощилин снял и тихо положил на пол. Тут же стоял и вызванный КЭЧем участковый милиционер. Он отвёл Лощилина в милицию, а вечером— в тюрьму, но дежурный по тюрьме что–то нашёл неладное в бумагах — и принять отказался.

И милиционер повёл Лощилина назад в участок. А путь был — мимо казармы их отряда. И сказал милиционер: «Да иди, отдыхай, всё равно

никуда не денешься. Жди меня на днях как–нибудь».

Кончался апрель 1945 года. Легендарные дивизии уже подходили к Эльбе и обкладывали Берлин. Каждый день салютовала страна, заливая небо красным, зелёным и золотым. 24 апреля Лощилина посадили в Ульяновскую областную тюрьму. Её камера была так же переполнена, как и в 1937. Пятьсот граммов хлеба, суп — из кормового турнепса, а если из картошки, то — мелкой, нечищеной и плохо вымытой. 9 мая он провёл в камере (несколько дней они не знали о конце войны). Как Лощилин встречал войну за решёткой— так её и проводил.

После дня Победы отправили указников (то есть прогул, опоздание, иногда— мелкое хищение на производстве) в колонию. Там были земляные работы, стройка, разгрузка барж. Кормили плохо, лагпункт был новый, в нём не было не то что врача, но даже и медсестры. Лощилин простыл, получил воспаление седалищного нерва, — всё равно гнали работать. Он доходил, опухли ноги, был постоянный озноб, — всё равно гнали.

7 июля 1945 года разразилась знаменитая сталинская амнистия. Но освобождения по ней Лощилин не дождался: 24 июля окончился его

трёхмесячный срок — и вот тут его выпустили.

«Всё равно, — говорит Лощилин, — в душе я большевик. Когда умру— считайте меня коммунистом.» Не то шутит, не то нет.

* * *

Сейчас у меня нет материалов, чтобы эту главу окончить так, как хотелось бы, — показать разительное пересечение судеб русских и законов Архипелага. И нет надежды, что выдастся у меня неторопливое и безопасное время провести ещё одну редакцию этой книги и тогда дописать здесь недостающие судьбы.

Я думаю, здесь очень уместно бы стал очерк жизни, тю–ремно–лагерных преследований и гибели отца Павла Флоренского — может быть, одного из самых замечательных людей, проглоченных Архипелагом навсегда. Сведущие люди говорят о нём, что это был для XX века редкий учёный— профессионально владевший множеством областей знаний. По образованию математик, он в юности испытал глубокое религиозное потрясение, стал священником. Книга его молодости «Столп и Утверждение Истины» только сейчас получает достойную оценку. У него много сочинений математических (топологические

теоремы, много спустя доказанные на Западе), искусствоведческих (о русских иконах, о храмовом действе), философско–религиозных. (Архив его в основном сохранён, ещё не опубликован, доступа к нему я не имел.) После революции он был профессором энергетического института. В 1927 высказалидеи, предвосхитившие Винера. В 1932 в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» напечатал статью о машинах для решения задач, по духу близкую кибернетике. Вскоре затем арестован. Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно: сибирская ссылка (в ссылке писал работы и публиковал под чужим именем в трудах Сибирской экспедиции Академии Наук), Соловки (кажется, создал там бригаду по добыванию йода из водорослей), после их ликвидации— Крайний Север и Колыма. И там занимался флорой и минералами (это — сверх работы киркой). Не известно ни место, ни время его гибели в лагере. (Есть слух, что он умер в 1938 на Колыме на прииске «Пятилетка». Есть и такой, что до Колымы он не

доплыл, потонул на одном из кораблей[394].)

Непременно собирался я привести здесь и жизнь Валентина И.Комова из Ефремовского уезда, с которым в 1950–52 годах сидел вместе в Экибастузе, но недостаточно я о нём помню, надо бы поподробнее. В 1929 году 17–летним парнем он убил председателя своего сельсовета, бежал. Просуществовать и скрываться после этого не мог иначе как вор. Несколько раз садился в тюрьму, и всё как вор. В 1941 году освобождён. Немцы увезли его в Германию, думаете — сотрудничал с ними? Нет, дважды бежал, за то попал в Бухенвальд. Оттуда освобождён союзниками. Остался на Западе? Нет— под собственной фамилией («Родина простила. Родина зовёт!») вернулся в село, женился, работал в колхозе. В 1946 посажен по 58–й статье за дело 1929 года. Освободился в 1955. Если эту биографию развернуть подробно, она многое объяснила бы нам в русских судьбах этих десятилетий. К тому же Комов был типичным лагерным бригадиром — «сыном ГУЛАГа». (Даже в каторжном лагере не побоялся начальнику на

---

[394] Примечания: 394

Уточнилось за последние годы, что о. Павел Флоренский был вывезен с одним из соловецких этапов и расстрелян 8 декабря 1937 по приговору Особой тройки (см. Ленинградский мартиролог, 1937–1938, т. 4, СПб., 1999). Как будто бы этап везли на расстрел в Ленинград, но точное место гибели и погребения по сию пору не известны. —Примеч. ред.

общей поверке: «Почему у нас в лагере — фашистские порядки?»)

Наконец, подошло бы для этой главы жизнеописание какого–нибудь незаурядного (по личным качествам, по твёрдости взглядов) социалиста; показать его многолетние мытарства по передвижкам Большого Пасьянса.

А может быть, и очень бы сюда легла биография какого–нибудь заядлого эмведиста — Гаранина, или Завенягина, или малоизвестного кого–то.

Но всего этого мне, очевидно, уже не суждено сделать. Обрывая эту книгу в начале 1968 года, не рассчитываю я больше, что достанется мне возвратиться к теме Архипелага.

Да уж и довольно, мы с ней — двадцать лет.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КАТОРГА

Сделаем из Сибири каторжной, кандальной— Сибирь советскую, социалистическую!

Сталин

Глава 1. ОБРЕЧЁННЫЕ

Революция бывает торопливо–великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова каторга. А это — хорошее, тяжёлое слово, это не какой–нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой: вот уж где, наверное, палачи! (Это — трусливое и спасительное свойство человека: представлять себя ещё не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах номера — ну, значит, отъявленные! На нас–то с вами не навесят же!.. Подождите, навесят!)

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», «генерал», «директор», «верховный». И через двадцать шесть лет после того, как Февральская революция отменила каторгу, — Сталин сно-

ва её ввёл. Это было в апреле 1943 года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), — Указ о введении каторги и виселицы. (Виселица— тоже хорошее древнее установление, это не какой–нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречённые пополнения — сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из–под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.

Самый первый такой был, очевидно, — на 17–й шахте Воркуты (вскоре — ив Норильске, и в Джезказгане). Цель почти не скрывалась: каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но, в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени, — чтоб обречённым мучиться дольше и перед смертью ещё поработать.

Их поселили в «палатках» семь метров на два-

дцать, обычных на севере. Обшитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100— если на сплошных нарах. Каторжан селили — по двести.

Но это не было уплотнение! — это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день без выходных — поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли автоматами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью — и никто не спрашивал с солдат за погибших. Изможенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской— так потерянно, с трудом таким они брели.

Полно протяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (Наручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток — один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использовались двенадцать часов их отдыха. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас

вводили в никогда не проветриваемую палатку, без окон, — и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам ещё менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 1943–44 годов: соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме.

Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской (Сахалин) тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную (парашами там даже не пользовались), но и весь день — в город! Так что подлинный смысл слова «каторга» — чтоб гребцы были к вёслам прикованы — понимал только Сталин.

На 12 часов их «отдыха» ещё приходилась утренняя и вечерняя проверка каторжан — проверка не просто счётом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поимённая перекличка, при которой каждый из ста каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и

место рождения, статьи, срок, кем осуждён и конец срока; а остальные девяносто девять должны были дважды в сутки всё это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и две раздачи пищи: через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому— разносить бачки с пищей. Вся обслуга была— из блатных, и чем наглее, чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан, — тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева, — здесь, как всегда за счёт Пятьдесят Восьмой, совпадали интересы НКВД и блатарей.

Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили ещё и голодом, — то по ведомостям им полагались жалкие, а тут ещё трижды разворованные добавки «горняцких» и«премблюд». И всё это долгой процедурой совершалось через кормушку— с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть, — отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день (простые зэки не возились с талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир).

Так от двенадцати часов «досуга» едва–едва оставались четыре покойных часа для сна.

Ещё, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права получать посылок, ни писем (в их гудящей задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле не остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда и этого барака).

От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро.

Первый воркутинский алфавит (28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи) — 28 тысяч первых воркутинских каторжан — все ушли под землю за один год.

Удивимся, что — не за месяц[395].

В Норильске на 25–й кобальтовый завод подавали в зону за рудою состав — и каторжане ложились под поезд, чтобы кончить это всё скорей. Две дюжины человек с отчаяния убежали в тундру. Их обнаружили с самолётов, расстреляли, потом убитых сложили у развода.

---

[395] Примечания: 395

При Чехове на всём каторжном Сахалине оказалось каторжан — сколько бы вы думали? — 5905 человек, хватило бы и шести букв. Почти такой же был наш Экибастуз, а Спасск–то больше куда. Только слово страшное — «Сахалин», а на самом деле — одно лаготделение! Лишь в Степлаге было двенадцать таких. Да таких, как Степлаг, — десять лагерей. Считайте, сколько Сахалинов.

На воркутинской шахте № 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже, и даже… — перевыполняли план!..[396]

Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: остановитесь! О ком вы смеете нам говорить? Да! Их содержали на истребление— и правильно! Ведь это — предателей, полицаев, бургомистров! Так им и надо! Уж вы не жалеете ли их?? (Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит Органам.) А женщины там— это же немецкие подстилки] — кричат мне женские голоса. (Я не преувеличил? — ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками?)

Легче всего мне бы отвечать так, как это принято теперь, «разоблачая культ». Рассказать о нескольких исключительных посадках на каторгу. (Например, о трёх комсомолках–добровольках, которые на лёгких бомбардировщиках испугались сбросить бомбы нацель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно и доложили, что выполнили задание. Но потом одну

---

[396] Примечания: 396

На Сахалине для женщин не было вообще каторжных работ (Чехов).

из них замучила комсомольская совесть — и она рассказала комсоргу своей авиационной части, тоже девушке, та, разумеется, — в Особый Отдел, и трём девушкам вкатали по 20 лет каторги.) Воскликнуть: вот каких честных советских людей подвергал каре сталинский произвол! И дальше уже негодовать не на произвол собственно, а на роковые ошибки по отношению к комсомольцам и коммунистам, теперь счастливым образом исправленные.

Однако недостойно будет не взять вопрос во всю его глубину.

Сперва о женщинах— как известно, теперь раскрепощённых. Не от двойной работы, правда, — но от церковного брака, от гнёта социального презрения и от Кабаних. Но что это? — не худшую ли Кабаниху мы уготовили им, если свободное владение своим телом и личностью вменяем им в антипатриотизм и в уголовное преступление? Да не вся ли мировая (досталинская) литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и дипломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку: без Указа Президиума Верховного Совета не сходись. Твоё тело есть прежде всего достояние Отечества.

Прежде всего — кто они были по возрасту когда

сходились с противником не в бою, а в постелях? Уж наверное не старше тридцати лет, а то и двадцати пяти. Значит — от первых детских впечатлений они воспитаны после Октября, в советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды своих рук? Одним девушкам запало, как мы пятнадцать лет не уставали кричать, что нет никакой родины, что отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучила пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвёртые же были просто голодны — да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать. А пятые, может быть, не видели другого способа спасти себя или своих родственников, не расстаться сними.

В городе Стародубе Брянской области, где я был по горячим следам отступившего противника, мне рассказывали, что долгое время стоял там мадьярский гарнизон — для охраны города от партизан. Потом пришёл приказ его

перебросить, — и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и, прощаясь с оккупантами, так рыдали, как (добавлял один насмешливый сапожник) «своих мужей не провожали на войну».

Трибунал приехал в Стародуб днями позже. Уж наверно не оставил доносов без внимания. Уж кого–то из стародубских плакальщиц послал на воркутинскую шахту №2.

Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или— нас, всех нас, соотечественники и современники? Каковы ж были мы, что от нас наши женщины потянулись к оккупантам? Не одна ли это из бесчисленных плат, которые мы платим, платим и ещё долго будем платить за наш коммунистический путь, поспешно принятый, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперёд?

Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порицанию (но прежде выслушав и их), может быть, следовало колко высмеять, — но посылать за это на каторгу? в полярную душегубку??

Да это Сталин послал! Берия!

Нет, извините! Те, кто послал, и содержал, и добивал, — сейчас в общественных советах

пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все? Мы услышим «немецкие подстилки» — и понимающе киваем головами. То, что мы и сейчас считаем всех этих женщин виновными, — куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в своё время.

— Хорошо, но мужчины–то попали задело?! Это— предатели родины и предатели социальные.

Можно бы и здесь увильнуть. Можно бы напомнить (это будет правда), что главные преступники, конечно, не сидели на месте в ожидании наших трибуналов и виселиц. Они спешили на Запад, как могли, и многие ушли. Карающее же наше следствие добирало до заданных цифр за счёт ягнят (тут доносы соседей помогли очень): у того почему–то на квартире стояли немцы — за что полюбили его? а этот на своих дровнях возил немцам сено — прямое сотрудничество с врагом[397].

Так можно бы смельчить, опять свалить на культ: были перегибы, теперь они исправлены. Всё нормально.

Но начали, так пойдём.

---

[397] Примечания: 397

Для справедливости не забудем: с 1946 года таких иногда пересуживали и 20 лет КТР (каторжных работ) заменяли на 10 лет ИТЛ.

А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками— кого на год, кого на два, кого натри. Оттого что глупы были интенданты, плохи генералы, — что делать теперь учителям? — учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам— не тем, кому уже пятнадцать, кто может зарабатывать или идти в партизаны, — а малым ребятишкам? Им — учиться или баранами пожить года два–три в искупление ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши мёрзнут, да?..

Такой вопрос почему–то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что, легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств, народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления.

Но у кого–то (конечно у них!) мозги повёрнуты на сто восемьдесят градусов. Потому что у нас учителя школ получали подмётные письма от партизан: «не сметь преподавать! за это расплатитесь!» И работа на железных дорогах тоже

стала— сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление— предательство неслыханное.

Все знают, что ребёнок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху Гениальный Стратег всех времён и народов, — траве пока расти или иссохнуть? детей пока учить или не учить?

Конечно, за это придётся заплатить. Из школы придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придётся уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней (и ещё в какую–нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской) произнести речь во славу новой замечательной жизни — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она тоже была дурна.

То есть прежде–то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше — из–за того что было время вранью устояться и просочиться в программы в дотошной разработке методистов и инспекторов. На каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая ли строение червей или сложноподчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже если сам ты веришь в Него); надо было не упустить воспеть нашу без-

граничную свободу (даже если ты не выспался, ожидая ночного стука); читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие (когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, а на детскую карточку в городах давали триста граммов).

И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого.

Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но — в другую сторону, в другую сторону! — вот в чём дело! И потому глас отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!

Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями— они учили ваших детей.

Но соотечественники (особенно пенсионеры МВД и КГБ, этакие лбы, ушедшие на пенсию в сорок пять лет) подступают ко мне с кулаками: я кого защищаю? бургомистров? старост? полицаев? переводчиков? всякую сволочь и накипь?

Что же, спустимся, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей как на палочки. Всё равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах.

Заиграли, запели «Пусть ярость благородная…»— и как же не зашевелиться волосам? Наш природный— запретный, осмеянный, стреляный и проклятый— патриотизм вдруг был разрешён, поощрён, даже прославлен святым, — и как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благодарно–взволнованными сердцами и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам — перед подходом палачей закордонных? А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружней и неистовей проклинать изменников— таких явно худших, чем мы, злопамятных людей?

Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А— предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из неё? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётничестве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу.

Но вот наступила самая справедливая вой-

на при самом справедливом строе — и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей.

Откуда они? Почему?

Может быть, это снова прорвалась непогасшая Гражданская война? Недобитые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора— и выбрали так[398].

Эти же десятки и сотни тысяч—полицаи и каратели, старосты и переводчики — все вышли из граждан советских. И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября.

Что же их заставило?.. Кто это такие?

А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных Потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия

---

[398] Примечания: 398

Они не хлебнули с нами Тридцатых годов, и издали, из Европы, им легко было восхититься «великим патриотическим подвигом русского народа» и проморгнуть двенадцатилетний внутренний геноцид.

перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле — к самой земле, кстати, обещанной великим Декретом и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну. (Другое дело — дачные майораты офицеров Советской армии да обзаборенные подмосковные поместья: это— нам, это можно.) Да ещё кого–то хватали «за стрижку колосков». Да кого–то лишили права жить там, где хочешь. Или права заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом (мы все ремёсла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто).

Обо всех таких у нас говорят (а сугубо — агитаторы, а трегубо — напостовцы–октябристы) с презрительной пожимкой губ: «обиженные советской властью», «бывшие репрессированные», «кулацкие сынки», «затаившие чёрную злобу к советской власти».

Один скажет— а другой кивает головой. Как будто что–то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порок, главная язва: обиженные… затаившие…

И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие–то, в конце концов, — определяет сознание или не определяет?

Или только тогда определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло?

Ещё так у нас умеют говорить с лёгкой тенью на челе: «да, были допущены некоторые ошибки». И всегда— эта невинно–блудливая безличная форма— допущены, только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать: коммунистическая партия допустила! бессменные и безответственные советские руководители допустили! А кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного Сталина валить? — надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил — так вы–то где были, руководящие миллионы?

Впрочем, и ошибки эти в наших глазах разошлись как–то быстро в туманное, неясное, бесконтурное пятно и не числятся уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. Ачто 15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно постране без права помнить и называть своих родителей, — так это вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные вначале этой книги, — так тоже вроде не ошибка. Ачто

нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван да «за Русь Святую» остановили немца на Волге, — так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина.

За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения — со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где ещё дымились выстрелы от расстрелов Пятьдесят Восьмой.

Пока была наша сила — мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость, — мы тотчас же потребовали от них забыть всё причинённое им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря — и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать Родину не щадя живота. (Но не мы должны были перемениться! И никто не обнадёживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как–

нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать.)

При таком положении чему удивляться верней — тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей? Или ещё слишком мало? (А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например над доносчиками советского времени, — как расстрел дьякона Набережно–Никольской церкви в Киеве, да не единицы случаев таких.)

А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы — и стали церкви открывать. (Наши после немцев закрыть сразу постеснялись.) В Ростове–на–Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако они должны были проклинать за это немцев, да?

В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича Малявко–Высоцкого, он умер в следственной камере, жена несколько месяцев тряслась, ожидая и своего ареста, — и только с приходом немцев спокойно легла спать: «Теперь–то по крайней мере высплюсь!» Нет, она должна была молить о возвращении своих палачей.

В мае 1943, при немцах, в Виннице в саду на Подлесной улице (который в начале 1938 горсовет обнёс высоким забором и объявил «запретной зоной Наркомата Обороны») случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы— и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размерами 3х4 метра. В каждой могиле находили сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные «валетами». Руки у всех были связаны верёвками, расстреляны были все— из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документам опознавали тех, кто был в 1938 осуждён «на 10 лет без права переписки». Вот одна из сцен раскопки: винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих (фото 1). Дальше — больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища—у больницы Пирогова, и открыли ещё 42 могилы. Затем — Парк культуры и отдыха имени Горького, — и под аттракционами, «комнатой смеха», игровыми и танцевальными площадками открыли ещё 14 массовых могил. Всего в 95 могилах— 9439 трупов. Это — только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А— в

остальных городах сколько утаено? И население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в советские партизаны?

Может быть, справедливо допустить наконец, что если нам с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, — так больно и тем, кого топчем мы? Может быть, справедливо наконец допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или — нет, не имеют права? Они должны умирать с благодарностью?

Мы приписываем этим полицаям и бургомистрам какую–то исконную, чуть ли не врождённую злобу— а злобу–то посеяли мы в них сами, это же наши «отходы производства». Как это Крыленко произносил? — «в наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы»[399]. Вашей системы, товарищи! Надо своё Учение помнить!

А ещё не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шёл на нас с мечом и держал против нас речи, были и совершенно бескорыстные и лично не задетые, у которых имущества никакого не отнимали (у них не было ничего)

---

[399] Примечания: 399

Н.В.Крыленко. За пять лет 1918–1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. М.; Пг.: Гос. изд–во, 1923, с. 337.

и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всей нашей системы, от презрения к отдельной судьбе; от преследования убеждений; от песенки этой глумливой:

где так вольно дышит человек;

от поклонов этих богомольных Вождю; от дёрганья этого карандаша— дай скорее на заём подписаться! от аплодисментов, переходящих в овацию. Можем мы допустить, что этим–то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха? (Обвиняли на следствии отца Фёдора Флорю — как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях. Он ответил: «А что я мог говорить о вас иначе? Что знал — то и говорил. Что было — то и говорил». А по–советскому: лги, душою криви и сам погибай — да только чтобы власти на выгоду! Но это ведь, кажется, уже не материализм, а?)

Случилось так, что в сентябре 1941 года, перед тем как мне уйти в армию, в посёлке Морозовске, на следующий год взятом немцами, мы с женой, молодые начинающие учителя, снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами — бездетной четой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет ше-

стидесяти, был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне всё чудится на нём пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Ещё тише и мягче была его жена— блекленькая, со льняными прилегшими волосиками, на 25 лет моложе мужа, но по поведению совсем уже немолодая. Они были нам милы, вероятно, и мы им, особенно по различию с жадной хозяйской семьёй.

Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие тёплые лунные вечера, ещё не разорванные гулом самолётов и взрывами бомб, но для нас тревога немецкого наступления наползала, как невидимые, но душные тучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые и новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар посёлка слухами, страхами, какими–то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они называли сданные города, о которых ещё долго потом молчало Информбюро, боявшееся правды для народа. (О таких городах Броневицкий говорил не «сдали», а «взяли».)

Мы сидели на ступеньках и разговаривали.

Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь, но сказать о ней, по сути, не могли ничего умней, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицкими: всё, что думали, мы говорили и не замечали разноты восприятия.

А они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телячьей молодёжи. Мы только что прожили Тридцатые годы — и как будто не жили в них. Они спрашивали нас, чем запомнились нам 37–38–й? Чем же! — академической библиотекой, экзаменами, весёлыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью конечно, возраст любви. А профессоров наших не сажали в то время? Да, верно, двух–трёх посадили, кажется. Их заменили доценты. А студентов— не сажали? Мы вспомнили: да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же?.. Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого н–н–не… тронули?.. Да нет…

Это страшно, и я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшней, что я как раз не был из спортивно–танцевальной молодёжи, ни— из маньяков, упёртых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро — с десятилетнего возраста, я сопляком уже

не верил Крыленке и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов, — но ничто не наталкивало меня продолжить, связать те крохотные московские процессы (они казались грандиозными) — с качением огромного давящего колеса по стране (число его жертв было как–то незаметно). Я детство провёл в очередях— захлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: «временные трудности». В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали — но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах.

А в газетах так выглядело всё безоблачно–бодро.

А молодому так хочется принять, что всё хорошо.

Теперь я понимаю, как Броневицкий было опасно что–нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку, и лагерь не один — но со вспых-

нувшей страстью рассказал только о раннем Джезказгане— о воде, отравленной медью; об отравленном воздухе; об убийствах; о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово Джез–каз–ган подирало по коже тёркой, как безжалостные те истории. (И что же? Хоть чуть повернул этот Джез–каз–ган наше восприятие мира? Нет конечно. Ведь это не рядом. Ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче — забыть.)

Туда, в Джезказган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала ещё девушкой его нынешняя жена. Там, в сени колючей проволоки, они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой–то жалкой стройконторе, она— бухгалтером.

Потом я ушёл в армию, моя жена уехала из Морозовска. Городок попал под оккупацию. Потом был освобождён. И как–то жена написала мне на фронт: «Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром! Какая гадость!» И я тоже поразился и подумал: «Какая мерзость!»

Но прошли ещё годы. Где–то на тюремных тёмных нарах, перебирая в памяти, я вспомнил

Броневицкого. И уже не нашёл в себе мальчишеской лёгкости осудить его. Его не по праву лишали работы, потом давали работу недостойную, его заточали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, — а он? Он должен был верить, что всё это — прогрессивно и что его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизни его близких, и защемлённая жизнь всего народа не имеют никакого значения.

За брошенным нам клочком тумана «культа личности» и за слоями времени, в которых мы менялись (а от слоя к слою преломление и отклонение луча), мы теперь видим и себя и 30–е годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во всё, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а только — партии; комсомола; городской учащейся молодёжи; заменителя интеллигенции (поставленного вместо уничтоженных и рассеянных); да отчасти— городского мещанства (рабочего класса)[400],' у кого не выключались репродукторы трансляции от утреннего боя Спасской башни

[400] Примечания: 400

Именно с 30–х годов рабочий класс стал главным косяком нашего мещанства, весь включился в него. Как, впрочем, и большая часть советской интеллигенции.

до полуночного Интернационала, для кого голос Левитана стал голосом их совести. («Отчасти» — потому что производственные Указы «двадцать минут опоздания» да закрепление на заводах тоже не вербовали себе защитников.) Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком случае из нескольких миллионов, кто с отвращением выдёргивал вилку радиотрансляции, как только смел; на каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе; и день голосования был для этих миллионов днём страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни (кто точно помнил первоначальный смысл слова) советской, а— захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера.

Человечество почти лишено познания безэмоционального, бесчувственного. В том, что человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не всё сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь, — но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны— целиком как

отвратность, и газетные полосы— целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке (да и радиоприёмников ничтожно мало), что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их Броневиц–кие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И всё, что писалось о загранице, и о бесповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко (а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии — ведь это ослабляло союзную английскую империю), — тоже оказалось ложью. Ненавистническая осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиций Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого–то древнего тевтонского зверства (не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилыгали и русские газеты в Первую Мировую войну) Броневицкий должен был отличить и выделить как правду

и в германском нацизме (обруганном почти в тех же — то есть предельных— выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы) узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого, и Архипелаг, и русский город, и русскую деревню? И всякий газетный поворот о гитлеровцах— то дружеские встречи наших добрых часовых в гадкой Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо–французских банкиров, и дословные речи Гитлера нацелую страницу «Правды»; то потом в единое утро (второе утро войны) взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, — только подтверждали вертлявость газетной *лжи* и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он–то знал истинно. И если б теперь, для убеждения, перед ним каждый день клали информационный листок Би–Би–Си, то самое большее, в чём ещё можно было его убедить: что Гитлер — вторая опасность для России, но никак, при Сталине, не первая. Однако Би–Би–Си не клало листка; а Информбюро и в день своего рождения имело

столько же кредита, сколько ТАСС; а слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук (не из Германии, не из–под оккупации, оттуда ещё ни одного живого свидетеля); а из первых рук был только Джезказганский лагерь, да 37–й год, да голод 32–го, да раскулачивание, да разгром церквей. И с приближением немецкой армии Броневицкий (и десятки тысяч других таких же одиночек) испытывали, что подходит их час, — тот единственный неповторимый час, на который уже двадцать лет не было надежды и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнимо с медлительными историческими передвига–ми, — тот час, когда он (они) может заявить своё несогласие с происшедшим, с проделанным, просвистанным, протоптанным по стране, и каким–то ещё совсем неизвестным, неясным путём послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой–то русской общественности. Да, Броневицкий всё запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родною та власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. Ион задыхаясь смотрел на таких телят, как я, как мы,

не в силах нас переуверить. Он ждал кого–нибудь, кого–нибудь, только на смену сталинской власти! (Известная психологическая переполюсовка: любое другое, лишь бы не тошнотворное своё! Разве можно вообразить на свете кого–нибудь хуже наших? Кстати, область была донекая, — а там половина населения вот также ждала немцев.) И так, всю жизнь прожив существом неполитическим, Броневицкий на седьмом десятке решил сделать политический шаг.

Он согласился возглавить морозовскую городскую управу…

А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался: что для пришедших Россия ещё ничтожней и омерзительней, чем для ушедших. Что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, а подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему, хорошо ли, дурно ли, а крутиться. Освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, — вдруг узнал он слитою с советской: непостижимым образом она от хранившего её трезвого меньшинства, как в решето, ушла к оболваненному большинству, —

забыто было, как за неё расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа.

Должно быть, жутко и безысходно стало ему (им). Ущелье сдвинулось, и выход остался: либо в смерть, либо в каторжный приговор.

Конечно, не все там были Броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось и вороньё, любящее власть и кровь. Но эти— куда не слетаются! Такие и к НКВД прекрасно подошли. Таков и Мамулов, и дудинский Антонов, и какой–нибудь Пойсуйшапка — разве можно себе представить палачей мерзее? Да княжествуют десятилетиями и изводят народу во сто крат. А вот мы видели надзирателя Ткача (Часть Третья, глава 20), — так тот и туда и сюда поспел.

Сказав огороде, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня— вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина (да и мировой революции туда же). Она была просто нормальна рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали; как жила она, ела и одевалась

до колхозов и как при колхозах: как со двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви. О тот год ещё не гундосило радио по избам, и газеты читал не в каждой деревне один грамотей, и все эти Чжан Цзо–лины, Макдональ–ды или Гитлеры были русской деревне — чужими, равными и ненужными болвашками.

В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: «Братья и сестры!..», — один мужик ответил чёрной бумажной глотке:

— А–а–а, б…дь, а вот не хотел? — и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают.

И зароготали мужики.

Если бы по всем сёлам да всех очевидцев опросить, — десять тысяч мы таких бы случаев узнали, ещё и похлеще.

Вот таково было настроение русской деревни в начале войны — и, значит, тех запасных, кто пил последние поллитра на полустанке и в пыли плясал с родными. А к тому же навалилось ещё

невиданное на русской памяти поражение, и огромные деревенские пространства до обеих столиц и до Волги и многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из–под колхозной власти, и — довольно же лгать и подмазывать историю! — оказалось, что республики хотят только независимости! деревня — только свободы от колхозов! рабочие — свободы от крепостных Указов! И если бы пришельцы не были так безнадёжно тупы и чванны, не сохраняли бы для Великогермании удобную казённую колхозную администрацию, не замыслили бы такую гнусь, как обратить Россию в колонию, — то не воротилась бы национальная идея туда, где вечно душили её, и вряд ли пришлось бы нам праздновать двадцатипятилетие российского коммунизма. (И ещё о партизанах кому–то когда–то придётся рассказать, как совсем не добрым выбором шли туда оккупированные мужики. Как поначалу они вооружались против партизан, чтоб не отдавать им хлеба и скота.)

Кто помнит великий исход населения с Северного Кавказа в январе 1943 — и кто ему даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно сельское, уходило бы массами с разбитым врагом, с чужеземцами, — только бы не

остаться у победивших своих, — обозы, обозы, обозы, в лютую январскую стужу с ветрами!

Вот здесь и лежат общественные корни тех добровольческих сотен тысяч, которые даже при гитлеровском уродстве отчаялись и надели мундир врага. Тут приходит нам пора снова объясниться о власовцах.

В Первой Части этой книги читатель ещё не был приготовлен принять правду всю (да всею не владею я, напишутся специальные исследования, для меня эта тема побочная). Там, в начале, пока читатель с нами вместе не прошёл всего лагерного пути, ему выставлена была только насторожка, приглашенье подумать. Сейчас, после всех этапов, пересылок, лесоповалов и лагерных помоек, быть может читатель станет посогласнее. В Первой Части я говорил о тех власовцах, какие взяли оружие от отчаяния, от пленного голода, от безвыходности. (Впрочем, и там задуматься: ведь немцы начали использовать русских военнопленных только для нестроевой и тыловой помощи своим войскам и, кажется, это был лучший выход для тех, кто только спасался, — зачем же оружие брали и шли лоб–на–лоб против Красной армии?)

А теперь, отодвигать дальше некуда, надо ж и

о тех сказать, кто ещё до 1941 ни о чём другом не мечтал, как только взять оружие и бить этих красных комиссаров, чекистов и коллективизаторщиков? Помните, у Ленина: «Угнетённый класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами»[401]. Так вот, на гордость нашу, показала советско–германская война, что не такие–то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально–исторических исследованиях: не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину–батюшке. (Да не рабами и с этой стороны распрямлялись в красноармейской шинелке — эту сложную форму краткой свободы невозможно было предсказать социологически.)

Эти люди, пережившие на своей шкуре 24 года коммунистического счастья, уже в 1941 знали то, чего не знал ещё никто в мире: что на всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво–изворотливого, чем болыпевицкий, самоназвавшийся «советским». Что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности

[401] Примечания: 401

В.И.Ленин. Полн. собр. соч.: В 55т. 5–е изд. М.: Гос. изд–во поли–тич. лит., 1958–1965. Т. 30, с. 153.

замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому времени затмивший Западу все глаза. И вот — пришла пора, оружие давалось этим людям в руки, — и неужели они должны были смирить себя, дать большевизму пережить свой смертельный час, снова укрепиться в жестоком угнетении — и только тогда начинать с ним борьбу (и посегодня не начатую почти нигде в мире)? Нет, естественно было повторить приём самого большевизма: как он сам вгрызся в тело России, ослабленное Первой Мировой войной, так и бить его в подобный же момент во Второй!

Да уже в советско–финской войне 1939 года проявилось наше нежелание воевать. Это настроение пытался использовать Б.Г. Бажанов, бывший близкий помощник Сталина: обратить пленных красноармейцев под командой русских эмигрантов–офицеров против советского фронта— не для сражения, но для убеждения. Опыт оборвался внезапной капитуляцией Финляндии.

Когда началась советско–германская война— через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после великого украинского мора (шесть миллионов мёртвых, и даже не замечены

соседнею Европой), через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после кандальных законов о производстве, и всё это — при 15–миллионных лагерях в стране и при ясной памяти ещё всего пожилого населения о дореволюционной жизни, — естественным движением народа было— вздохнуть и освободиться, естественным чувством— отвращение к своей власти. И не «застиг врасплох», и не «численное превосходство авиации и танков» (кстати, всеми численными превосходствами обладала РККА) так легко замыкало катастрофические котлы — по 300 тысяч (Белосток, Смоленск) и по 650 тысяч вооружённых мужчин (Брянск, Киев), разваливало целые фронты и гнало в такой стремительный и глубокий откат армий, какого не знала Россия за все 1000 лет, да наверно и ни одна страна ни в одной войне, — а мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные, как от виснущего трупа. (Райкомы, горкомы сдувало впять минут, и захлебнулся Сталин.) В 1941 году это сотрясение могло пройти доконечно. К декабрю 41–го 60 миллионов советского населения из 150 уже были вне власти Сталина! Не зря колотился сталинский приказ (0019, 16.7.1941): «На всех (!) фронтах имеются многочисленные

(!) элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие». (В Белосток–ском котле, начало июля 1941, из 340 тысяч пленных было 20 тысяч перебежчиков!) Положение казалось Сталину настолько отчаянным, что в октябре 1941 он телеграфно предлагал Черчиллю высадить на советскую территорию 25–30 английских дивизий. Какой коммунист глубже падал духом?

Вот настроение того времени: 22 августа 1941 командир 436–го стрелкового полка майор Кононов открыто объявил своему полку, что переходит к немцам, чтобы влиться в Освободительную армию для свержения Сталина, — и пригласил с собою желающих. Он не только не встретил сопротивления, но весь полк пошёл за ним! Уже через три недели Кононов создал на той стороне добровольческий казачий полк (он сам был донским казаком). Когда он прибыл в лагерь военнопленных под Могилёвом для вербовки желающих, то из 5 ООО тамошних пленных— 4000 тут же выразило желание идти к нему, да он их взять не мог. — В лагере под Тильзитом в том же году половина советских военнопленных— 12 тысяч человек — подписали заявление, что пришла пора превратить войну в гражданскую.

Мы не забыли и всенародное движение Локтя Брянского: создание автономного русского самоуправления ещё до прихода немцев и независимо от них, устойчивая процветающая область из 8 районов, более миллиона жителей. Требования ло–котян были совершенно отчётливы: русское национальное правительство, русское самоуправление во всех занятых областях, декларация о независимости России в границах 1938 года и создание освободительной армии под русским командованием.

С хлебом–солью встречали немцев и донские станицы. Уж они–то не забыли, как их вырезали коммунисты: всех мужчин с 16 до 65 лет.

В августе 1941 под Лугой ленинградский студент–медик Мартыновский создал партизанский отряд, главным образом из советских студентов: освобождаться от коммунизма. В сентябре 1941 подПорховом такой же противокоммунистический отряд из ленинградских (василеостровских) студентов и солдат, попавших в окружение, сформировал лейтенант Рутченко, недавний ленинградский аспирант. Но немцы потащили этот отряд обслуживать свои воинские части.

Населению СССР до 1941 естественно рисовалось: приход иностранной армии — значит

свержение коммунистического режима, никакого другого смысла для нас не могло быть в таком приходе. Ждали политической программы, освобождающей от большевизма.

Разве от нас — через глушь советской пропаганды, через толщу гитлеровской армии — легко было поверить, что западные союзники вошли в эту войну не за свободу вообще, а только за свою западно–европейскую свободу, только против национал–социализма, получше использовать советские армии, а на том и кончить? Разве не естественней было нам верить, что наши союзники верны самому принципу свободы— и не покинут нас под тиранией худшей?.. Правда, именно эти союзники, за которых мы умирали и в Первую Мировую войну, уже и тогда покинули нашу армию в разгроме, спеша обернуться к своему благополучию. Но опыт слишком жесток, чтоб усвоиться сердцем.

Справедливо научившись не верить советской пропаганде ни в чём, мы естественно не верили, что за басни рассказывались о желании нацистов сделать Россию — колонией, а нас — немецкими рабами, такой глупости нельзя было предположить в головах XX века, невозможно было поверить, не испытав реально на себе. Ещё ив

1942 году русское формирование в Осинторфе привлекало больше добровольцев, чем могла принять развёртываемая часть, на Смоленщине и Белоруссии для самоохраны сельских жителей от партизан, руководимых Москвой, создалась добровольная стотысячная «народная милиция» (в испуге запрещённая немцами). Даже и весной 1943 года ещё повсеместное воодушевление встречало Власова в двух его пропагандистских поездках, смоленской и псковской. Ещё и тогда население ждало: когда же будет наше независимое правительство и наша независимая армия? Есть у меня свидетельство из Пожеревицкого района Псковской области, как крестьянское население радушно относилось к тамошней власовской части: та часть не грабила, не дебоширила, имела старую русскую форму, помогала в уборке урожая, воспринималась как русская неколхозная власть. В неё приходили записываться добровольцы из гражданского населения (как записывались и в Локте к Воскобойникову), — надо же задуматься: по какой нужде? ведь не из лагеря военнопленных! — да немцы запрещали власовцам принимать пополнения (пусть-де записываются в полицаи). Ещё в марте 1943 в лагере военнопленных под Харьковом

читали листовки о власовском движении (тогда мнимом) — и 730 офицеров подписали обращение о вступлении в русскую освободительную армию, — это с опытом двух полных лет войны, многие — герои Сталинградской битвы, среди них командиры дивизий, комиссары полков! — притом лагерь был сытый, не голодное отчаяние влекло их на подписи. (Но характерно для немецкой тупости: из 730 подписавших 722 так никогда до конца войны не были освобождены из лагеря и не привлечены к действию.) Ив 1943 году— те обозы за отступающей немецкой армией, десятки тысяч беженцев из советских областей вереницами, — только б не остаться под коммунизмом.

Возьму на себя сказать: да ничего бы не стоил наш народ, был бы народом безнадёжных холопов, если б в эту войну упустил хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться да матюгнуться на Отца родного. У немцев был генеральский заговор — а у нас? Наши генеральские верхи были (и остались посегодня) ничтожны, растлены партийной идеологией и корыстью и не сохранили в себе национального духа, как это бывает в других странах. И только низы солдатско–мужицко–казацкие замахнулись и ударили. Это

были сплошь— низы, там исчезающе мало было участие бывшего дворянства из эмиграции, или бывших богатых слоев, или интеллигенции. И если бы дан был этому движению свободный размах, как он потёк с первых недель войны, — то это стало бы некой новой Пугачёвщиной: по широте и уровню захваченных слоев, по поддержке населения, по казачьему участию, по духу— рассчитаться с вельможными злодеями, по стихийности напора при слабости руководства. Во всяком случае, движение это было куда более народным, простонародным, чем всё интеллигентское «освободительное движение» с конца XIX века и до февраля 1917, с его мнимо–народными целями и с его февральско–октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться, а погибнуть позорно с клеймом: измена священной нашей Родине!

Потеряли мы вкус к социальным объяснениям событий, это у нас— переверташка, когда как выгодно. А дружеский сталинский пакт с Риббентропом и Гитлером? Ахорохоренье молотовское и ворошиловское перед войною? И потом — оглушительная бездарность, неготовность, неумение (и трусливое бегство правительства из Москвы), и по полмиллиона войск, оставляемых в кот-

лах, — это не измена Родине? Не с большими последствиями? Почему же этих изменников мы так бережём в квартирах на улице Грановского?

О–о, долга! долга! долга та скамья, на которой расселись бы все палачи и все предатели нашего народа, если б сажать их от самых… и до самых…

На неудобное у нас не отвечают. Умалчивают. Вместо этого вот что нам вскричат:

— Но принцип] Но самый принцип! Но имеет ли право русский человек для достижения своих политических целей, пусть кажущихся ему правильными, опереться на локоть немецкого империализма?!.. Да ещё в момент беспощадной с ним войны?

Вот, правда, ключевой вопрос: для целей, кажущихся тебе благородными, можно ли воспользоваться поддержкой воюющего с Россией немецкого империализма?

Все единодушно воскликнут сегодня: нет! нет! нет!

Но откуда же тогда — немецкий экстерриториальный вагон от Швейцарии до Швеции и с заездом (как мы теперь узнали) в Берлин? Вся печать от меньшевиков до кадетов тоже кричала: нет! нет! — а большевики разъяснили, что это можно, что даже смешно в этом укорять. Да

и не один там был вагон. А летом 1918 сколько вагонов большевики погнали из России— то с продуктами, то с золотом, — и всё Вильгельму в пасть! Превратить войну в гражданскую — это Ленин предложил прежде власовцев.

— Но цели\ но цели какие были?! А— какие? А— где они, те цели?..

— Да ведь то был— Вильгельм! кайзер, кайзерчик! То же — не Гитлер! И в России рази ж было правительство? временное…

Впрочем, по военной запальчивости мы и о кайзере когда–то не писали иного, как «лютый» да «кровожадный», о кайзеровских солдатах незапасливо кричали, что они младенцам головы колют о камни. Но пусть— кайзер. Однако и Временное же: ЧК не имело, в затылки не стреляло, в лагеря не сажало, в колхозы не загоняло. Временное— тоже не сталинское.

Пропорционально.

* * *

Не то чтоб у кого–то дрогнуло сердце, что умирают каторжные алфавиты, а просто кончалась война, острастка такая уже не была потребна, новых полицаев образоваться не могло, рабочая сила была нужна, а в каторге вымирали зря. И

уже к 1945 году бараки каторжан перестали быть тюремными камерами, двери отперлись надень, параши вынесли в уборную, в санчасть каторжане получили право ходить своими ногами, а в столовую гоняли их рысью — для бодрости. И сняли блатных, объедавших каторжан, и из самих каторжан назначили обслугу. Потом и письма стали им разрешать, дважды в год.

В годы 1946–47 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться: политически неразборчивое инженерное начальство, гонясь за производственным планом, стало (во всяком случае, на Воркуте) хороших специалистов–каторжан переводить на обычные лагпункты, где уж ничего не оставалось каторжанину от каторги, кроме его номера, а чернорабочую скотинку с ИТЛовских лагпунктов для пополнения совать на каторжные.

И так засмыкали бы неразумные хозяйственники великую сталинскую идею воскрешения каторги, — если бы в 1948 году не подоспела у Сталина новая идея вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально–близких блатных и бытовиков от социально–безнадёжной Пятьдесят Восьмой.

Всё это было частью ещё более великого за-

мысла Укрепления Тыла (из названия видно, что Сталин готовился к близкой войне). Созданы были Особые лагеря[402] с особым уставом — малость помягче ранней каторги, но жёстче обычных лагерей.

Для отличия придумали таким лагерям давать названия не по местности, а фантастическо–поэтические. Развёрнуты были: Горлаг (Горный лагерь) в Норильске, Берлаг (Береговой лагерь) на Колыме, Минлаг (Минеральный) на Инте, Речлаг на Печоре, Дубравлаг вПотьме, Озёрлаг в Тайшете, Степлаг, Песчанлаг и Луглаг в Казахстане, Камышлаг в Кемеровской области.

По ИТЛовским лагерям поползли мрачные слухи, что Пятьдесят Восьмую будут посылать в Особые лагеря уничтожения. (Ни исполнителям, ни жертвам не вступало, конечно, в голову, что для этого может понадобиться какой–нибудь там особый новый приговор.)

Закипела работа вУРЧах[403] и оперчекистских отделах. Писались таинственные списки и возились куда–то на согласование. Затем подгонялись долгие красные эшелоны, подходили

---

[402] Примечания: 402
Сравни 1921 год— лагеря Особого Назначения.

[403] Примечания: 403
Учётно–Распределительная Часть.

роты бодрого конвоя краснопогонников с автоматами, собаками и молотками — и враги народа, выкликнутые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков на далёкий этап.

Но вызывали Пятьдесят Восьмую не всю. Лишь потом, сообразя по знакомым, арестанты поняли, кого оставляли с бытовиками на островах ИТЛ— оставили чистую 58–10, то есть простую антисоветскую агитацию, значит— одиночную, ни к кому не обращенную, ни с кем не связанную, самозабвенную. (И хотя почти невозможно было представить себе таких агитаторов, но миллионы их были зарегистрированы и оставлены на старых ГУЛАГовских островах.) Если же агитаторы были вдвоём или втроём, если они имели хоть какую–нибудь наклонность к выслушиванию друг друга, к перекличке или к хору, — они имели довесок 58–11 «группового пункта» и как дрожжи антисоветских организаций ехали теперь в Особые лагеря. Само собой, ехали туда изменники Родины (58–1–а и–б), буржуазные националисты и сепаратисты (58–2), агенты мировой буржуазии (58–4), шпионы (58–6), диверсанты (58–7), террористы (58–8), вредители (58–9) и экономические саботажники (58–14). Сюда же удобно

помещались те военнопленные немцы (Минлаг) и японцы (Озёрлаг), которых намеревались держать и после 1948 года.

Зато в лагерях ИТЛ оставались недоносители (58–12) и пособники врага (58–3). Наоборот, каторжане, посаженные именно за пособничество врагу, ехали теперь в Особые лагеря вместе со всеми.

Разделение было ещё глубозначительнее, чем мы его описали. По каким–то ещё непонятным признакам оставались в ИТЛ то двадцатипятилетницы–изменницы (Унжлаг), то кое–где цельные лагпункты из одной Пятьдесят Восьмой, включая власовцев и полицаев — не Особлаги, без номеров, но с жестоким режимом (например, Красная Глинка на волжской Самарской луке; лагерь Туим в Ширинском районе Хакасии; Южно–сахалинский). Лагеря эти оказались суровы, и не легче было в них жить, чем в Особлагах.

А чтобы однажды произведенный Великий Раздел Архипелага не вернулся опять к смешению, установлено было с 1949 года, что каждый новообработанный с воли туземец получает кроме приговора ещё и постановление (облГБ и прокуратуры) в тюремном деле: в каких лагерях этого козлика постоянно содержать.

Так, подобно зерну, умирающему, чтобы дать растение, зерно сталинской каторги проросло в Особлаги.

Красные эшелоны по диагоналям Родины и Архипелага повезли новый контингент.

А на Инте догадались и просто перегнали это стадо из одних ворот в другие.

Чехов жаловался, что нет у нас «юридического определения — что такое каторга и для чего она нужна».

Так то ж ещё было в просвещённом XIX веке! А в середине XX пещерного мы и не нуждались понимать и определять. Решил Батька, что будет так, — вот и всё определение.

И мы понимающе киваем головами.

Глава 2. ВЕТЕРОК РЕВОЛЮЦИИ

Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленный его непроглядной длительностью и пришибленный первым знакомством с миром Архипелага, что исподволь душа моя разогнётся; что с годами, сам для себя незаметно подымаясь на невидимую вершину Архипелага, как на гавайскую Мауна–Лоа, я оттуда взгляну совсем спокойно на дали Архипелага, и даже неверное море потянет меня своим переблескиванием.

Середину срока я провёл на золотом островке, где арестантов кормили, поили, содержали в тепле ичисте. В обмен за всё это требовалось немного: двенадцать часов сидеть за письменным столом и угождать начальству.

А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага. Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядчика с Красной Пресни — «не попасть на общие любой ценой». Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке.

Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть. Дороже

тамошнего сливочного масла и сахара мне стало — распрямиться.

И нас, нескольких, «распрямили» — на этап в Особый лагерь.

Везли нас туда долго — три месяца (на лошадях в XIX веке можно было быстрей). Везли нас так долго, что эта дорога стала как бы периодом жизни, кажется, за эту дорогу я даже характером изменился и взглядами.

Путь наш выдался какой–то бодрый, весёлый, многозначительный. В лица толкался нам свежий крепчающий ветерок— каторги и свободы. Со всех сторон подбывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами! за нами! за нами! — а не за нашими судьями и тюремщиками.

Знакомые Бутырки встретили нас раздирающим женским криком из окна, наверное, одиночки: «Спасите! Помогите!

Убивают! Убивают!» И вопль захлебнулся в надзирательских ладонях.

На бутырском «вокзале» нас перемешали с новичками 1949 года посадки. У них у всех были смешные сроки: не обычные десятки, ^четвертные. Когда на многочисленных перекличках они должны были отвечать о конце своего срока, то звучало издевательством: «октября тысяча де-

вятьсот семьдесят четвёртого!», «февраля тысяча девятьсот семьдесят пятого!»

Отсидеть столько — казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать — резать проволоку.

Самые эти двадцатипятилетние сроки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам всё, что могла. Теперь слово было за арестантами — слово свободное, уже нестеснённое, неугрожаемое, — то самое слово, которого всю жизнь не было у нас и которое так необходимо для прояснения и сплочения.

Уж мы сидели в арестантском вагоне, когда из станционного репродуктора на Казанском вокзале услышали о начале корейской войны. В первый же день до полудня пройдя сквозь прочную линию обороны южнокорейцев на 10 километров, северокорейцы уверяли, что на них напали. Последний придурковатый фронтовик мог разобраться, что напал именно тот, кто продвинулся в первый день.

Эта корейская война тоже возбудила нас. Мятежные, мы просили бури! Ведь без бури, ведь без бури, ведь без бури мы были обречены на медленное умирание!..

За Рязанью красный солнечный восход с такой силой бил через оконные слепыши «вагон–зака»,

что молодой конвоир в коридоре против нашей решётки щурился от солнца. Конвой был как конвой: в купе натолкал нас по полтора десятка, кормил селёдкой, но, правда, приносил и воды и выпустил на оправку вечером и утром, и не о чем нам было бы с ним спорить, если б этот паренёк не бросил неосторожно, да даже и без злости совсем, что мы— враги народа.

И тут поднялось! Из купе нашего и соседнего стали ему лепить:

— Мы — враги народа, а почему в колхозе жрать нечего?

— Ты–то вон сам деревенский, полипу видно, небось на сверхсрочную останешься, псом цепным, землю пахать не вернёшься?

— Если мы— враги, что ж вы воронки перекрашиваете? И возили б открыто!

— Эй, сынок! У меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я — враг, да?

Ничто подобное уже давно–давно не летало через наши решётки! Кричали мы всё вещи самые простые, слишком зримые, чтоб их опровергнуть.

К растерявшемуся пареньку подошёл сержант–сверхсрочник, но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилий, а пробовал помочь

своему солдату отбиться. И в этом тоже нам чудились признаки нового времени — хотя какое уж там «новое» время в 1950 году! — нет, признаки тех новых отношений в тюремном мире, которые создавались новыми сроками и новыми политическими лагерями.

Спор наш стал принимать вид истинного состязания аргументов. Мальчики оглядывали нас и уже не решались называть врагами народа никого из этого купе и никого из соседнего. Они пытались выдвигать против нас что–то из газет, из политграмоты, — но не разумом, а слухом почувствовали, что фразы звучат фальшиво.

— Смотри, ребята! Смотри в окно! — подали им от нас. — Вон вы до чего Россию довели!

А за окнами тянулась такая гнилосоломая, покосившаяся, ободранная, нищая страна (рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят), что, если бы Батый увидел её такой загаженной, — он бы её и завоёвывать не стал.

На тихой станции Торбеево по перрону прошёл старик в лаптях. Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенною рамой и через решётку окна и через внутреннюю решётку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным

взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам её стекали редкие слёзы. Так стояла корявая и так смотрела, будто сын её лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко–широко открыв и не мигая глазёнками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла чёрные персты и истово, неторопливо перекрестила нас.

А на другой станции какая–то девка в горошковом платьи, очень нестеснённая и непугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие. «Отойди», — зарычал на неё конвойный, ходивший по платформе. «А что ты мне сделаешь? Я и сама такая! На вот пачку папирос, передай ребятам!» — и достала пачку из сумочки. (Мы–то уж догадались: девка эта отсидевшая. Сколько из них, бродящих как вольные, уже прошли обучение в Архипелаге!) «Отойди! Посажу!» — выскочил из вагона помначкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. «Шёл бы ты на…, му…к!» Подбодрила нас: «… на них кладите,

ребята!» И удалилась с достоинством.

Вот так мы и ехали, и не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали— и всё больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать, кончать это заведение.

На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных (у них и скуление какое–то противно–визгливое): «Помогите! Выручайте! Фашисты бьют! Фашисты!»

Вот где невидаль! — «фашисты» бьют блатных? Раньше всегда было наоборот.

Но скоро камеры пересортировывают и мы узнаём: ещё пока дива нет. Ещё только первая ласточка— Павел Баранюк, грудь как жернов, руки— коряги, всегда готовые и к рукопожатию и к удару, сам чёрный, нос орлиный, скорее похож на грузина, чем на украинца. Он—фронтовой офицер, на зенитном пулемёте выдержал поединок стремя «мессерами»; представлялся к Герою, отклонён Особым Отделом; посылался в штрафную, вернулся с орденом; сейчас—десятка, по новой поре — «детский срок».

Блатных он успел уже раскусить зато время,

что ехал из Новоград–волынской тюрьмы, и уже дрался с ними. А тут в соседней камере сидел на верхних нарах и мирно играл в шахматы. Вся камера была— Пятьдесят Восьмая, но администрация подкинула двоих блатарей. Небрежно куря «Беломор» и идя очистить себе законное место на нарах у окна, Фиксатый пошутил: «Ну, так и знал, опять к бандитам посадили!» Наивный Велиев, ещё не видавший как следует блатарей, захотел его подбодрить: «Да нет, Пятьдесят Восьмая. А ты?» — «А я— растратчик, учёный человек!» Согнав двоих, блатари бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И Пятьдесят Восьмая — нет! — она ещё не была нова, она не сопротивлялась.

Шестьдесят мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят. Есть завораживающее какое–то действие в этой наглости блатных, не допускающих встретить сопротивления. (Да и расчёт, что начальство всегда за них.) Баранюк продолжал как будто переставлять фигуры, но уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил,

схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Так и стал поочерёдно бить этой крышкой, пока она разлетелась, — а крестовина там была из бруска–сороковки. Блатные перешли к жалости, но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор, смешную сторону они не упускали: «Что ты делаешь? Крестом бьёшь!» «Ты ж здоровый, что ты человека обижаешь?» Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить, и тогда–то один из блатарей кинулся кричать в окно: «Помогите! Фашисты бьют!»

Блатари этого так не забыли, несколько раз потом угрожали Баранюку: Ют тебя трупом пахнет! Вместе едем!» Но не нападали больше.

И с суками тоже было вскоре столкновение у нашей камеры. Мы были на прогулке, совмещённой с оправкой, надзирательница послала суку выгонять наших из уборной, тот гнал, но его высокомерие (по отношению к «политическим», как же!) возмутило молоденького, нервного, только что осуждённого Володю Гершуни, тот стал суку одёргивать, сука свалил паренька ударом. Прежде бы так и проглотила это Пятьдесят Восьмая, сейчас же Максим–азербайджанец (убивший своего предколхо–за) бросил в суку камень, а

Баранюк двинул его по челюсти, тот полосанул Баранюка ножом (помощники надзора ходят с ножами, это у нас неудивительно) и бежал под защиту надзора, Баранюк гнался за ним. Тут всех нас быстро загнали в камеру, и пришли тюремные офицеры— выяснить, кто зачинщик, и пугать новыми сроками за бандитизм (о суках родных у эм–ведешников всегда сердце болит). Баранюк кровью налился и выдвинулся сам: «Я этих сволочей бил и буду бить, пока жив!» Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопасней держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти ещё мальчик, взятый из десятого класса, — не однофамилец, а дальний племянник того Гершуни, начальника боевой группы эсеров. «Мы — не контрреволюционеры! — по–петушиному закричал он куму. — Это уже прошло. Сейчас мы опять ре–во–лю–цио–неры! только против советской власти!»

Ай, до чего ж весело! Вот дожили! И тюремный кум лишь морщится и супится, всё глотает. В карцер никого не берут, офицеры–тюремщики бесславно уходят.

Оказывается, можно так жить в тюрьме? — драться? огрызаться? громко говорить то, что

думаешь? Сколько же мы лет терпели нелепо! Добро того бить, кто плачет. Мы плакали — вот нас и били.

Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут наконец одни политические, очищенные от бытовой слизи, — может быть, там и начнётся такая жизнь? Володя Гершуни, черноглазый, с матово–бледным заострённым лицом, говорит с надеждой: «Вот приедем в лагерь, разберёмся, с кем идти». Смешной мальчик. Он серьёзно предполагает, что застанет там сейчас оживлённый многооттеночный партийный разброд, дискуссии, программы, подпольные встречи? «С кем идти»! Как будто нам оставили этот выбор. Как будто за нас не решили составители республиканских развёрсток на арест и составители этапов.

В нашей длинной–предлинной камере — бывшей конюшне, где вместо двух рядов ясель установились две полосы двухэтажных нар, в проходе столбишки из кривоватых стволов подпирают старенькую крышу, чтоб не рухнула, а окошки подлинной стене тоже типично конюшенные, чтоб только сена не заложить мимо ясель (и ещё эти окошки загорожены намордниками), — в нашей камере человек сто двадцать, и кого только

не наберётся. Больше половины — прибалтийцы, люди необразованные, простые мужики: в Прибалтике идёт вторая чистка, сажают и ссылают всех, кто не хочет добровольно идти в колхозы или есть подозрение, что не захочет. Затем немало западных украинцев — ОУНовцев[404] и тех, кто дал им раз переночевать и кто накормил их раз. Затем из Российской Федеративной— меньше новичков, больше повторников. Ну и, конечно, сколько–то иностранцев.

Всех нас везут в одни и те же лагеря (узнаём у нарядчика— в Степной лагерь). Я всматриваюсь в тех, с кем свела судьба, и стараюсь вдуматься в них.

Особенно прилегают к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных правах, мне так стыдно перед ними, будто посадил их я. Неиспорченные, работящие, верные слову, недерзкие — за что и они втянуты в перемол под те же проклятые лопасти? Никого не трогали, жили тихо, устроенно и нравственнее нас — и вот виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море.

«Стыдно быть русским!» — воскликнул Герцен,

---

[404] Примечания: 404
Организация Украинских Националистов.

когда мы душили Польшу. Вдвое стыдней быть советским перед этими незабиячливыми беззащитными народами.

К латышам у меня отношение сложнее. Тут — рок какой–то. Ведь они это сами сеяли.

А украинцы? Мы давно не говорим — «украинские националисты», мы говорим только «бандеровцы», и это слово стало у нас настолько ругательным, что никто и не думает разбираться в сути. (Ещё говорим — «бандиты», по тому усвоенному нами правилу, что все в мире, кто убивает за нас, — «партизаны», а все, кто убивает нас, — «бандиты», начиная с тамбовских крестьян 1921 года.)

А суть та, что хотя когда–то, в Киевский период, мы составляли единый народ, но с тех пор его разорвало, и веками шли врозь и вкось наши жизни, привычки, языки. Так называемое «воссоединение» было очень трудной, хотя может быть и искренней чьей–то попыткой вернуться к прежнему братству. Но плохо потратили мы три века с тех пор. Не было в России таких деятелей, кто б задумался, как свести дородна украинцев и русских, как сгладить рубец между ними. (А если б не было рубца, так не стали бы весной 1917 года образовываться украинские комитеты и

Рада потом. Впрочем, в Февральскую революцию они только федерации требовали, никто и не думал отъединяться, этот жестокий раскол лёг от коммунистических лет.)

Большевики до прихода к власти приняли вопрос без затруднений. В «Правде» 7 июня 1917 Ленин писал, что большевики считают Украину «захватом русских царей и капиталистов». Он написал это, когда уже существовала Центральная Рада. А 2 ноября 1917 была принята «Декларация прав народов России», — ведь не в шутку же? ведь не в обман заявили, что имеют право народы России на самоопределение вплоть до отделения? Полугодом позже советское правительство просило кайзеровскую Германию посодействовать Советской России в заключении мира и определении точных границ с Украиной, — и 14 июня 1918 Ленин подписал такой мир с гетманом Скоропадским. Тем самым он показал, что вполне примирился с отделением Украины от России — даже если Украина будет при этом монархической!

Но странно. Едва только пали немцы перед Антантой (что не могло иметь влияния на принципы нашего отношения к Украине!), за ними пал и гетман, а болыпевицких силёнок оказалось

побольше, чему Петлюры, — большевики сейчас же перешли признанную ими границу и навязали единокровным братьям свою власть. Правда, ещё 15–20 лет потом усиленно и даже с нажимом играли на украинской лове и внушали братьям, что они совершенно независимы и могут от нас отделиться когда угодно. Но как только они захотели это сделать в конце войны, их объявили «бандеровцами», стали ловить, пытать, казнить и отправлять в лагеря. (А «бандеровцы», как и «петлюровцы», это всё те же украинцы, которые не хотят чужой власти. Узнав, что Гитлер не несёт им обещанной свободы, они и против Гитлера воевали всю войну, но мы об этом молчим, это также невыгодно нам, как Варшавское восстание 1944 года.)

Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить, и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? Даже Михаил Булгаков (в «Белой гвардии») поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чём–то (довольно того, что это ощущают они, меньшие), — очень горько! но раз уж это так? раз упущено время, и больше всего упущено в 30–е и 40–е годы, обострено–то больше всего не

при царе, а при коммунистах! — почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей? черкасских фруктов?

Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших.

Топнуть ногой и крикнуть «моё!» — самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: «кто хочет жить— живите!» Как ни удивительно, но не сбылись предсказания Передового Учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему–то расцвёл. И подходит время нам, нравится или не нравится, — платить по всем векселям о самоопределении, о независимости, — самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, — но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят.

С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось

за века— значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим — федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить— безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем.

Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением[405].

* * *

Мы почему–то долго живём в этой длинно–конюшенной камере, и нас всё никак не отправят в наш Степлаг. Да мы и не торопимся: нам весело здесь, а там будет— только хуже.

Без новостей нас не оставляют— каждый день приносят какую–то газетёнку половинного размера, мне достаётся читать её всей камере вслух, и я

---

[405] Примечания: 405

Из–за того, что в разных областях Украины— разное соотношение тех, кто считает себя украинцем, и кто — русским, и кто — никем не считает, — тут будет много сложностей. Может быть, по каждой области понадобится свой плебисцит и потом льготное и бережное отношение ко всем, желающим переехать. Не вся Украина в её сегодняшних формальных советских границах есть действительно Украина. Какие–то левобережные области безусловно тяготеют к России. А уж Крым приписал к Украине Хрущёв и вовсе с дубу. А Карпатская (Червонная) Русь? Проверим и на ней: требуя справедливости к себе, как справедливы будут украинцы к карпатским русским?

читаю её с выражением, там есть что выразить.

В эти дни как раз исполняются десятилетия освобождения Эстонии, Латвии и Литвы. Кое–кто понимает по–русски, переводит остальным (я делаю паузы), и те воют, просто воют со всех нар, нижних и верхних, услышав, какая в их странах впервые в истории установилась свобода и процветание. За каждым из этих прибалтов (а их во всей пересылке добрая треть) остался разорённый дом, и хорошо если ещё семья, а то и семья другим этапом едет в ту же Сибирь.

Но больше всего, конечно, волновали пересылку сообщения из Кореи. Сталинский блицкриг там сорвался. Уже скликались добровольцы ООН. Мы воспринимали Корею как Испанию Третьей Мировой войны. (Да, наверно, как репетицию Сталин её и задумал.) Эти солдаты ООН особенно нас воодушевляли: что за знамя! — кого оно не объединит? Прообраз будущего всечеловечества!

Так тошно нам было, что мы не могли подняться выше своей тошноты. Мы не могли так мечтать, так согласиться: пусть мы погибнем, лишь были бы целы все те, кто сейчас из благополучия равнодушно смотрит на нашу гибель. Нет, мы жаждали бури!

Удивятся: что за циничное, что за отчаянное

состояние умов? И вы могли не думать о военных бедствиях огромной воли? — Но воля–то нисколько не думала о нас! — Так вы что ж: могли хотеть мировой войны? — А давая всем этим людям в 1950 году сроки до середины 70–х, — что же им оставили хотеть, кроме мировой войны?

Мне самому сейчас дико вспоминать эти наши тогдашние губительные ложные надежды. Всеобщее ядерное уничтожение ни для кого не выход. Да и без ядерного: всякая военная обстановка лишь служит оправданием для внутренней тирании, усиляет её. Но искажена будет моя история, если я не скажу правды— что чувствовали мы в то лето.

Как поколение Ромена Роллана было в молодости угнетено постоянным ожиданием войны, так наше арестантское поколение угнетено было её отсутствием, — и только это будет полной правдой о духе Особых политических лагерей. Вот как нас загнали. Мировая война могла принести нам либо ускоренную смерть (стрельба с вышек, отрава через хлеб и бациллами, как делали немцы), либо всё же свободу. В обоих случаях— избавление гораздо более близкое, чем конец срока в 1975 году.

На это и был расчёт Пети Пикалова. Петя Пи-

калов был в нашей камере последний живой человек из Европы. Сразу после войны все камеры забиты были этими русаками, возвращавшимися из Европы. Но кто тогда приехал—давно в лагерях или уже в земле, остальные зареклись, не едут, — а этот откуда? Он добровольно вернулся на родину в ноябре 1949 года, когда уже нормальные люди не возвращались.

Война застигла его под Харьковом учеником ремесленного училища, куда он был мобилизован насильно. Также насильно немцы повезли их, подростков, в Германию. Там он и пробыл «остовцем» до конца войны, там же сформировалась и его психология: надо стараться жить легко, а не работать, как заставляют с малолетства. На Западе, пользуясь европейской доверчивостью и пограничной нестеснённостью, Пикалов угонял французские автомобили в Италию, итальянские — во Францию и продавал со скидкой. Во Франции его, однако, выследили и арестовали. Тогда он написал в советское посольство, что желает вернуться в дорогое ему отечество. Пи–калов рассуждал так: французскую тюрьму придётся отбыть до последнего дня, а могут дать лет десять. В Советском же Союзе за измену родине дадут двадцать пять, — но уже падают

первые капли Третьей Мировой войны; Союз, дескать, не простоит и трёх лет, выгоднее сесть в советскую тюрьму. Друзья из посольства явились немедленно и прижали Петю Пикалова к сердцу. Французские власти охотно уступили вора[406]. Человек тридцать собралось в посольстве таких и близких к таким. Их с комфортом доставили на пароходе в Мурманск, распустили по городу погулять и в течение суток поодиночке всех переловили.

Теперь в камере Петя заменял нам западные газеты (он подробно читал процесс Кравченко), театр (на щеках и губах он ловко исполнял западную музыку) и кино (рассказывал и передавал в жестах западные фильмы).

До чего на Куйбышевской пересылке было вольно! Камеры порой встречались на общем дворе. С перегоняемыми по двору этапами можно было переговариваться под намордники. Идя в уборную, можно было подойти и к открытым (с решётками, но без намордников) окнам семейного барака, где сидели женщины со многими

---

[406] Примечания: 406

Говорят, французская статистика показала, будто между Первой и Второй Мировыми войнами самая низкая преступность среди национальных групп была у русских эмигрантов. Напротив, после Второй Мировой войны самая высокая, из национальных групп, преступность оказалась— у советских граждан, попавших во Францию.

детьми (это всё из той же Прибалтики и Западной Украины слали в ссылку). А между двумя камерами–конюшнями была скважина, называлась «телефон», там с утра до вечера лежало по охотнику с двух сторон и переговаривались о новостях.

Все эти вольности нас пуще раззадоривали, мы прочней ощущали под ногами землю, а под ногами наших охранников, казалось, она начинала припекать. И, гуляя во дворе, мы запрокидывали головы к белесо–знойному июльскому небу. Мы бы не удивились и нисколько не испугались, если бы клин чужеземных бомбардировщиков выполз бы на небо. Жизнь была нам уже не в жизнь.

Встречно ехавшие с пересылки Карабас привозили слухи, что там уже вывешивают листовки: «Довольно терпеть!» Мы накаляли друг друга таким настроением — и жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу наголову!» И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор и, как мы ощущали, наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии,

когда нечего терять.

Если этого не открыть — не будет полноты об Архипелаге 50–х годов.

Омский острог, знавший Достоевского, — не какая–нибудь сколоченная из тёса наспех ГУЛАГовская пересылка. Это — екатерининская грозная тюрьма, особенно её подвалы. Не придумаешь лучших декораций для фильма, чем камера здешнего подвала. Квадратное окошечко — это вершина наклонного колодца, там наверху выходящего на поверхность земли. По трёхметровой глубине этого проёма видно, что тут за стены. И потолка–то в камере нет, а глыбой нависают сходящиеся своды. И мокра одна стена: насачивается вода из почвы, подтекает на пол. Утром и вечером здесь темно, ярким днём — полутьма. Крыс нет, но чудится, что ими пахнет. И хотя своды свисают так низко, что до них местами достаёшь рукой, — умудрились тюремщики и сюда встроить двухэтажные нары, нижний настил едва над полом, у щиколотки.

Этот острог должен был бы, кажется, подавить те смутные бунтарские предчувствия, которые росли в нас на распущенной Куйбышевской пересылке. Но нет! Вечером при лампочке ватт на пятнадцать, слабенькой, как свеча, лысый

остролицый старик Дроздов, ктитор одесского кафедрального собора, становится у глуби оконного колодца и слабым голосом, но с чувством кончающейся жизни поёт старую революционную песню:

Как дело измены, как совесть тирана, Осенняя ночка черна. Чернее той ночи встаёт из тумана Видением грозным — тюрьма!

Он поёт только для нас, но тут хоть и громко кричи — не услышат. При пении бегает острый кадык под сухой бронзой его шейной кожи. Он поёт и вздрагивает, он вспоминает и пропускает через себя несколько десятилетий русской жизни— и дрожь его передаётся нам:

Хоть тихо внутри, но тюрьма— не кладбище, И ты, часовой, не плошай!

В такой тюрьме да такую песню![407] Всё— в лад. Всё в лад тому, что ждёт наше арестантское поколение.

Потом мы раскладываемся спать в этой жёлтой полутьме, холоде и сырости. Ну а кто ж бы нам тиснул роман?

И раздаётся голос — Ивана Алексеевича Спас-

---

[407] Примечания: 407

Очень не хватало Шостаковичу перед Одиннадцатой симфонией послушать эту песню здесьХ Либо вовсе б он её не тронул, либо выразил бы её современный, а не умерший смысл.

ского, какой–то сводный голос всех героев Достоевского. Этот голос срывается, задыхается, никогда не покоен, кажется, в любую минуту может перейти в плач, крик боли. Самый примитивненький роман Брешко–Брешковского, вроде «Красной мадонны», звучит как эпос о Роланде в изложении этого голоса, проникнутого верой, страданием и ненавистью. И уж там правда это или чистый вымысел, но в память нашу врезается как эпос — Виктор Воронин, его пеший бросок на полтораста километров к Толедо и снятие осады с крепости Альказар.

Да не последний из романов составила бы и жизнь самого Спасского. Юношей он был участником Ледяного похода. Воевал всю Гражданскую войну. Эмигрировал в Италию. Окончил русскую балетную школу за границей, кажется у Карсавиной, а у какой–то из русских графинь учился изящному столярному мастерству (потом в лагере удивил нас, сделавши себе миниатюрный инструмент и вырабатывая начальству такую тонкую лёгкую мебель, с плавными кривыми линиями, что они только рты разевали; правда уж, столик делал месяц). С балетом гастролировал по Европе. Был оператором итальянской кинохроники во время испанской войны. Майором итальянской

армии под чуть изменённым именем Джиованни Паски командовал батальоном— и летом 1942 года опять пришёл на тот же Дон. Тут батальон его вскоре попал в окружение, хотя в общем советские ещё отступали. Спасский думал бы биться насмерть, но итальянские мальчики, составлявшие батальон, стали плакать — они хотели жить! Майор Паски поколебался и вывесил белый флаг. Сам–то с собой он кончить мог, но теперь раззадоривало хоть немного посмотреть советских. Он прошёл бы обычный плен и через четыре года был бы в Италии, однако русская душа его не выдержала, он разговорился с офицерами, взявшими его. Роковая ошибка! Если ты, по несчастью, русский, — скрывай это как дурную болезнь, иначе тебе несдобровать! Сперва его держали год на Лубянке. Потом три года — в интернациональном лагере в Харькове (испанцы, итальянцы, японцы, — был и такой). И когда уже он отсидел четыре года, — не засчитав этих четырёх, ему отвесили ещё двадцать пять. Где уж теперь двадцать пять! — в каторжном лагере он был обречён кончить невдолге.

Омская тюрьма, а потом Павлодарская принимали нас потому, что в городах этих— важное упущение! — до сих пор не было специализи-

рованных пересылок. В Павлодаре даже — о, позор! — не оказалось и воронка, и нас от вокзала до тюрьмы, много кварталов, гнали колонной, не стесняясь населения, — как это было до революции и в первое десятилетие после неё. В кварталах, проходимых нами, ещё не было ни мостовых, ни водопровода, одноэтажные домики утопали в сером песке. Собственно город начинался с двухэтажной белокаменной тюрьмы.

Но по XX веку тюрьма эта внушала не ужас, а чувство покоя, не страх, а смех. Просторный мирный двор, кое–где поросший жалкой травкой и как–то нестрашно разделённый заборчиком на прогулочные коробки. Окна камер второго этажа перекрещены редкой решёткой, не закрыты намордниками— становись на подоконник и изучай местность. Прямо внизу, под ногами, между стеной тюрьмы и внешней стеной–оградой, изредка, чем–нибудь потревоженный, пробежит, проволакивая цепь свою, огромный пёс и гулко гавкнет раза два. Но он тоже совсем не тюремный, не страшный, не дрессированная против людей овчарка, а жёлто–белый, лохматый, вроде дворняги (есть в Казахстане такая порода собак) и, кажется, уже стар изрядно. Он похож на тех добродушных стариков, лагерных надзирателей,

которых переводили сюда из армии и которые, не скрывая, тяготились собачьей охранной службой.

Дальше за стеной сразу видна улица, и ларёк с пивом, и все, кто там ходят, стоят— или принесли в тюрьму передачу, или ждут возврата тары. А ещё дальше — кварталы, кварталы таких одноэтажных домиков, и изгиб Иртыша и даже заир–тышские дали.

Какая–то живая девушка, которой только что вернули с вахты пустую корзину из–под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наши приветственные помахивания, но виду не подала. Пристойным шагом, чинно зашла за пивной ларёк, чтоб её не просматривали с вахты, а там вдруг порывисто вся изменилась, корзину опустила, машет, машет нам обеими вскинутыми руками, улыбается! Потом быстрыми петлями пальца показывает: «пишите, пишите записки!», и — дугой полёта: «бросайте, бросайте мне!», и— в сторону города: «отнесу, передам!». И распахнула обе руки: «что ещё вам? чем помочь? друзья!»

Это было так искренне, так прямодушно, так непохоже на нашу замордованную волю, на наших замороченных граждан! — да в чём же дело??? Время такое настало? Или это в Казахстане

так? здесь ведь половина— ссыльных…

Милая бесстрашная девушка! Как быстро ты прошла, как верно усвоила притюремную науку! Какое счастье (да не слёзы ли в уголке глаза?), что ещё есть вы, такие!.. Прими наш поклон, безымянная! Ах, весь наш народ был бы такой! — ни черта б его не сажали! заели бы проклятые зубья!

У нас, конечно, были в телогрейках обломки грифеля. И обрывки бумаги. И штукатурки можно было отколупнуть кусок, ниточкой записку привязать и добросить вполне. Но решительно не о чем было нам просить её в Павлодаре! И мы только кланялись ей и помахивали приветственно.

Нас везли в пустыню. Даже непритязательный деревенский Павлодар скоро припомнится нам как сверкающая столица.

Теперь нас принял конвой Степного лагеря (но, к счастью, не Джезказганского лаготделения; всю дорогу мы заклинали судьбу, чтобы не попасть на медные рудники). За нами пригнали грузовики с надстроенными бортами и с решётками в передней части кузова, которыми автоматчики защищены от нас, как от зверей. Нас тесно усадили на пол кузова со скрюченными ногами, лицами назад по ходу, и в таком положении качали и ломали на ухабах восемь часов.

Автоматчики сидели на крыше кабины и дула автоматов всю дорогу держали направленными нам в спины.

В кабинах грузовиков ехали лейтенанты, сержанты, а в нашей кабине — жена одного офицера с девчушкою лет шести. На остановках девочка выпрыгивала, бежала по луговым травам, собирала цветы, звонко кричала маме. Её ничуть не смущали ни автоматы, ни собаки, ни безобразные головы арестантов, торчащие над бортами кузовов, наш страшный мир не омрачал ей луга и цветов, даже из любопытства она на нас не посмотрела ни разу… Я вспомнил тогда сына старшины Загорской спецтюрьмы. Его любимая игра была: заставить двух соседских мальчишек взять руки за спину (иногда связывал им руки) и идти по дороге, а он с палкой шёл рядом и конвоировал их.

Как отцы живут, так дети играют…

Мы пересекли Иртыш. Мы долго ехали заливными лугами, потом ровнейшей степью. Дыхание Иртыша, свежесть степного ветра, запах полыни охватывали нас в минуты остановок, когда улегались вихри светло–серой пыли, поднимаемой колёсами. Густо опудренные этой пылью, мы смотрели назад (поворачивать голову было нель-

зя), молчали (разговаривать было нельзя) — и думали о лагере, куда мы едем, с каким–то сложным нерусским названием. Мы читали его на своих «делах» с верхней полки арестантского вагона вверх ногами — Экибастуз, но никто не мог вообразить, где он есть на карте, и только подполковник Олег Иванов помнил, что это угледобыча. Представлялось даже, что это где–то недалеко от границ Китая (и некоторые радовались тому, не успев привыкнуть, что Китай еще гораздо хуже, чем мы). Кавторанг Бурковский (новичок и 25–летник, он ещё диковато на всех смотрел, ведь он коммунист и посажен по ошибке, а вокруг— враги народа; меня он признавал лишь зато, что я— бывший советский офицер и в плену не был) напомнил мне забытое из университетского курса: перед днём осеннего равноденствия протянем по земле полуденную линию, а 23 сентября вычтем высоту кульминации солнца из девяноста— вот и наша географическая широта. Всё–таки утешение, хотя долготы не узнать.

Нас везли и везли. Стемнело. По крупнозвёздному чёрному небу теперь ясно было, что везли нас на юго–юго–запад.

В свете фар задних автомобилей плясали клочки пыльного облака, взбитого всюду над дорогой,

но видимого только в фарах. Возникало странное марево: весь мир был чёрен, весь мир качался, и только эти частицы пыли светились, кружились и рисовали недобрые картины будущего.

На какой край света? В какую дыру везли нас, где суждено нам делать нашу революцию?

Подвёрнутые ноги так затекли, будто были уже и не наши. Лишь под полночь приехали мы к лагерю, обнесенному высокой колючкой, освещенному в чёрной степи и близ чёрного спящего посёлка ярким электричеством вахты и вокруг зоны.

Ещё раз перекликнув по делам — «... марта тысяча девятьсот семьдесят пятого!», — на оставшиеся эти четверть столетия нас ввели сквозь двойные высоченные ворота.

Лагерь спал, но ярко светились все окна всех бараков, будто там брызжела жизнь. Ночной свет — значит, режим тюремный. Двери бараков были заперты извне тяжёлыми висячими замками. На прямоугольниках освещенных окон чернели решётки.

Вышедший помпобыт был облеплен лоскутами номеров.

Ты читал в газетах, что в лагерях у фашистов на людях бывают номера?

Глава 3. ЦЕПИ, ЦЕПИ…

Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены. Ветерок перемен дул только на сквозняках— на пересылках. Сюда же, за высокие заборы Особлагов, он не задувал. И хотя лагеря состояли из одних только политических— никакие мятежные листовки не висели на столбах.

Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решётки для барачных окон. Слава им, пока не названным! Это были люди. Их посадили в БУР. Отковали решётки для Минлага — в Котласе. И никто не поддержал кузнецов.

Особлаги начинались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями ИТЛ.

Пригнанным с полярного Севера этапам не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новорудное они спрыгивали из красных вагонов — на красноватую же землю. Это была та джезказганская медь, добыванья которой ничьи лёгкие не выдерживали больше четырёх месяцев. Тут же, на первых провинившихся, радостные надзиратели продемонстрировали своё

новое оружие: наручники, не применявшиеся в ИТЛ, — блестяще никелированные наручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции (на каком–то заводе делали их рабочие с седеющими усами, образцовые пролетарии нашей литературы, — ведь не сами же Сталин и Берия делали их?). Эти наручники были тем замечательны, что их можно было забивать на большую тугость: была в них металлическая пластинка с зубчиками, и надетые уже наручники забивали на коленях конвоира так, чтобы больше зубчиков вошло в замок и было бы больней. Тем самым наручники из предохранителя, сковывающего действия, превращались в орудие пытки: они сдавливали кисти с острой постоянной болью и часами так держали, да всё за спиной, на вывернутых руках. Ещё особо был разработан приём зажима наручников по четырём пальцам, это причиняло острую боль в суставах пальцев.

В Берлаге наручниками пользовались истово: за всякую мелочь, за неснятые шапки перед надзирателем. Надевали наручники (руки назад) и ставили около вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали: «Гражданин начальник, больше не буду! Снимите наручники!»

(Там были славные порядки, в Берлаге, — не только в столовую шли по команде, но по команде входили за стол, по команде садились, по команде опускали ложки в баланду, по команде вставали и выходили.)

Легко было кому–то пером черкнуть: «Создать Особлаги. Доложить проект режима к такому–то числу». А ведь каким–то труженикам–тюрьмоведам (и душеведам, и знатокам лагерной жизни) надо было по пунктам продумать: что ещё можно завинтить подосаднее? чем ещё можно нагрузить понадрывнее? в чём ещё можно утяжелить и без того не льготную жизнь туземца–зэка? Переходя из ИТЛ в Особлаги, эти животные должны были сразу почувствовать строгость и тяжесть, — но ведь прежде кому–то надо по пунктам изобрести.

Ну, естественно, усилили меры охраны. Во всех Особлагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки колючки и ещё спирали Бруно рассыпаны в предзонни–ке. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках и поворотах заранее ставились пулемёты и залегали пулемётчики.

В каждом лагпункте была каменная тюрь-

ма— БУР[408]. С сажаемых в БУР обязательно снимались телогрейки: мучение холодом было важной особенностью БУРа. Но и каждый барак был тюрьмой, потому что окна все зарешечены, на ночь вносились параши и запирались двери. И ещё в каждой зоне были один–два штрафных барака, имевших усиленную охрану, свою особую маленькую зонку в зоне; они запирались тотчас после прихода арестантов с работы — по образцу ранней каторги. (Вот это и были собственно БУРы, но у нас назывались режимками.)

Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с номерами: заменить фамилию заключённо го, «я» заключённого, личность заключённого— номером, так что один от другого отличается уже не всей человеческой особенностью, а только плюс–минус единичкой в однообразном ряду. И эта мера может стать гнетущей, — но если её очень последовательно, до конца провести. Так и пытались. Всякий новопоступающий, «сыграв на рояле» в спецчасти лагеря (то есть оставив отпечатки пальцев, как это делалось в тюрьмах, а в ИТЛ не делалось), надевал нашею верёвочку с дощечкой. На дощечке

[408] Примечания: 408

Я и дальше буду звать её БУР, как говорили у нас, по привычке ИТЛ, хотя здесь это не совсем верно, — это была именно лагерная тюрьма.

набирался его номер, вроде Щ–262 (в Озёрлаге было теперь и «Ы», ведь короток алфавит!), и в таком виде его фотографировал фотограф спецчасти. (Эти все фотографии ещё где–нибудь хранятся. Мы ещё их увидим!)

Дощечку снимали с шеи арестанта (ведь не собака же он), а взамен давали четыре (в иных лагерях—три) белых тряпочки размером сантиметров 8 на 15. Эти тряпочки он должен был пришить себе в места, установленные не во всех лагерях одинаково, но обычно — на спине, на груди, надо лбом на шапку, ещё на ноге или на руке (фото 2)[409]. В ватной одежде на этих установленных местах заранее производилась порча— в лагерных мастерских отдельные портные отряжались на порчу новых вещей: фабричная ткань вырезалась квадратиком, обнажая исподнюю вату. Это делалось для того, чтобы зэк не мог при побеге отпороть номера и выдать себя за вольняшку. В других лагерях ещё проще: номер вытравлялся хлоркой на одежде.

Велено было надзирателям окликать заклю-

---

[409] Примечания: 409

Эта фотография сделана уже в ссылке, но и телогрейка, и номера— живые, лагерные, и приёмы— именно те. Весь Экибастуз я проходил с номером Щ–232, в последние же месяцы приказали мне сменить на Щ–262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас.

чённых только по номерам, а фамилий не знать и не помнить. И довольно жутко было бы, если б они выдержали, — да они не выдержали (русский человек — не немец) и уже на первом году стали сбиваться и кого–то звать по фамилиям, а потом всё больше. Для облегчения надзирателям прибивалась на вагонке соответственно каждому спальному месту — фанерная бирка и на ней — номер (и фамилия) спящего тут. Так, и не видя номеров на спящем, надзиратель всегда мог его окликнуть, а в отсутствие его знать, на чьей койке нарушение. Надзирателям открывалась и такая полезная деятельность: или тихо отпереть замок и тихо войти в барак перед подъёмом и записать номера вставших прежде времени, или же ворваться в барачную секцию точно по подъёму и записывать тех, кто ещё не встал. В обоих случаях можно было сразу назначать карцеры, но больше полагалось в Особлагах требовать объяснительных записок, — и это при запрете иметь чернила и ручки и при никакой снабжении бумагой. Система объяснительных записок, — тягучая, нудная, противная— была неплохим изобретением, тем более что у лагерного режима хватало для этого оплачиваемых лоботрясов и времени для разбора. Не просто

тебя сразу наказывали, а требовали письменно объяснить: почему твоя койка плохо застелена; как ты допустил, что покосилась на гвозде бирка с твоим номером; почему запачкался номер на твоей телогрейке и почему ты своевременно не привёл его в порядок; почему ты оказался с папиросой в секции; почему не снял шапку перед надзирателем[410]. Глубокомыслие этих вопросов делало письменный ответ на них для грамотных ещё даже мучительней, чем для неграмотных. Но отказ писать записку приводил к устрожению наказания. Записка писалась, чистотою и чёткостью уважительно к Работникам Режима, относилась барачному надзирателю, затем рассматривалась ПомНачРежима или НачРежима, и писалось на ней письменное же определение наказания.

Так же и в бригадных ведомостях полагалось писать номера прежде фамилий — вместо фамилий? но боязно было отказаться от фамилий! как–никак, фамилия — это верный хвост, своей фамилией человек ущемлён навек, а номер — это дуновение, фу— и нет. Вот если б номера на са-

[410] Примечания: 410

Дорошевич удивился на Сахалине, что арестанты снимают шапку перед начальником тюрьмы. А мы обязаны были снимать при встрече каждого рядового надзирателя.

мом человеке выжигать или выкалывать! — но до этого дойти не успели. А могли бы, шутя могли бы, не много и оставалось.

И тем ещё рассыпался гнёт номеров, что не в одиночках же мы сидели, не одних надзирателей слышали, — а друг друга. Друг друга же арестанты не только никогда по номерам не называли, а даже не замечали их (хотя, кажется, какие заметить эти кричащие белые тряпки на чёрном? когда много вместе нас собиралось, на развод, на проверку, обилие номеров пестрило, как логарифмическая таблица, — но только свежему взгляду), — настолько не замечали, что о самых близких друзьях и бригадниках никогда не знали, какой у них номер, свой только и помнили. (Среди придурков встречались пижоны, которые очень следили за аккуратной и даже кокетливой пришивкой своих номеров, с подвёрнутыми краями, мелкими стежками, покрасивее. Извечное холуйство! Мы с друзьями, наоборот, старались, чтобы номера выглядели на нас как можно более безобразно.)

Режим Особлагов был рассчитан на полную глухость: на то, что отсюда никто никому не пожалуется, никто никогда не освободится, никто никуда не вырвется. (Ни Освенцим, ни Катынь не

научили хозяев нисколько.) Поэтому ранние Особлаги — это Особлаги с палками. Чаще не сами надзиратели носили их (у надзирателей были наручники), а доверенные из зэков— коменданты и бригадиры, но бить могли всласть и с полного одобрения начальства. В Джезказгане перед разводом становились у двери барака нарядчики с дубинками и по–старому кричали: «Выходи без последнего!!» (Читатель давно уже понял, почему последний если и оказывался, то тут же его как бы уже и не было.)[411] Поэтому же начальство мало огорчалось, если, скажем, зимний этап из Карабаса в Спасск— 200 человек— замёрз по дороге, уцелевшие забили все палаты и проходы санчасти, гнили заживо с отвратительной вонью, и доктор Колесников ампутировал десятки рук, ног и носов[412]. Глухость была такая надёжная, что знаменитый начальник режима капитан Воробьёв и его подручные сперва «наказали»

[411] Примечания: 411

В Спасске в 1949 что–то, однако, хрустнуло. Бригадиров созвали к «штабу» и велели сложить дубинки. Предложено было впредь обходиться без них.

[412] Примечания: 412

Этот доктор Колесников был из числа «экспертов», незадолго до того подписавших лживые выводы Катынской комиссии (то есть что не мы убивали там польских офицеров). За это и посажен он был сюда справедливым Провидением. А за что властью? Чтоб не проболтался. Мавр дальше стал не нужен.

заключённую венгерскую балерину карцером, затем наручниками, а в наручниках изнасиловали её.

Режим замыслен был неторопливо проникающий в мелочи. Вот, например, запрещалось иметь чьи–либо фотографии, не только свои (побег!), но и близких. Их отбирали и уничтожали. Староста женского барака в Спасске, пожилая женщина, учительница, поставила на столике портретик Чайковского, надзиратель изъял и дал ей трое суток карцера. «Да ведь это портрет Чайковского!» — «Не знаю кого, но не положено женщинам в лагере иметь мужские портреты». — В Кенгире разрешено было получать крупу в посылках (отчего ж не получать?), но так же неукоснительно запрещено было её варить, и, если зэк пристраивался где–нибудь на двух кирпичах, надзиратель опрокидывал котелок ногой, а виновного заставлял тушить огонь руками. (Правда, потом построили сарайчик для варки, но через два месяца печь разрушили и расположили там офицерских свиней и лошадь опера Беляева.)

Однако, вводя разные режимные новинки, хозяева не забывали и лучшего опыта ИТЛ. В Озёрлаге капитан Мишин, начальник лагпункта, привязывал отказчиков к саням и так волок их

на работу.

А в общем режим получился настолько удовлетворителен, что прежние исходные каторжане содержались теперь в Особ–лагах на общих равных основаниях, в общих зонах, и только отличались другими буквами на номерных нашлёпках. (Ну разве что при нехватке бараков, как в Спасске, назначали им для жилья сараи и конюшни.)

Так Особлаги, не названные официально каторгой, стали её правопреемником и наследником, слились с нею.

Но чтобы режим хорошо усваивался арестантами, — надо обосновать его ещё и правильной работой и правильной едой.

Работа для Особлагов выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. Как верно заметил Чехов: «В обществе и отчасти в литературе установился взгляд, что настоящая самая тяжкая и самая позорная каторга может быть только в рудниках. Если бы в «Русских женщинах» Некрасова герой… ловил бы для тюрьмы рыбу или рубил лес, — многие читатели остались бы неудовлетворёнными». (Только о лесоповале, Антон Павлович, за что уж так пренебрежительно? Лесоповал— ничего, подходит.) Первые отделе-

ния Степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди (1–е и 2–е отделения — Рудник, 3–е— Кенгир, 4–е — Джезказган). Бурение было сухое, пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулёз[413]. Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый Спасск (под Карагандою) — «всесоюзную инвалидку» Особлагов.

О Спасске можно бы сказать и особо.

В Спасск присылали инвалидов — конченых инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но, удивительно! — переступив целебную зону Спасска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для полковника Чечева, начальника всего Степлага, Спасское лагерное отделение было из самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолёте, дав себе почистить сапоги на вахте, этот недобрый коренастый человек шёл по зоне и присматривался, кто ещё у него не работает. Он любил говорить: «Инвалид у меня во всём Спасске один — без двух ног. Но и он на лёгкой работе — посыльным работает». Одноногие все использовались на сидячей работе: бой камня на

[413] Примечания: 413

По закону 1886 года работы, вредно действующие на здоровье, не разрешались даже по выбору самих арестантов.

щебёнку, сортировка щепы. Ни костыли, ни даже однорукость не были препятствием к работе в Спасске. Это Чечев придумал — четырёх одноруких (двух с правой рукою и двух с левой) ставить на носилки. Это у Чечева придумали — вручную крутить станки мехмастерских, когда не было электроэнергии. Это Чечеву нравилось — иметь «своего профессора», и биофизику Чижевскому он разрешил устроить в Спасске «лабораторию» (с голыми столами). Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску против силикоза для джезказганских работяг, — Чечев не пустил её в производство. Работают без масок, и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость контингента.

В конце 1948 года в Спасске было около 15 тысяч зэков обоего пола. Это была огромная зона, столбы её то поднимались на холмы, то опускались в лощины, и угловые вышки не видели друг друга. Постепенно шла работа саморазгораживания: зэки строили внутренние стены и отделяли зоны женскую, рабочую, чисто инвалидную (так было стеснительнее для внутрилагерных связей и удобнее для хозяев). Шесть тысяч человек ходило работать на дамбу за 12 километров. Так как они были всё–таки инвалиды, то шли туда более двух

часов и более двух часов назад. К этому следует прибавить 11–часовой рабочий день. (Редко кто выдерживал на той работе два месяца.) Следующая крупная работа была— каменоломни, они находились в самых зонах (на острове — свои ископаемые!), и в женской, и в мужской. В мужской зоне карьер был на горе. Там после отбоя взрывали камень аммоналом, а днём инвалиды молотками разбивали глыбы. В женской зоне аммонала не применяли, а женщины рылись до пластов вручную кирками, а потом дробили камень большими молотками. Молотки у них, конечно, соскакивали с рукояток, или рукоятки ломались, а для насадки надо было отправлять в другую зону. Тем не менее с каждой женщины требовали норму— 0,9 кубометра в день, атак как выполнить её они не могли, то и получали долго штрафной паёк— 400 граммов, пока мужчины не научили их перед сдачей перетаскивать камень из старых штабелей в новые. Напомним, что вся эта работа производилась не только инвалидами и не только без единого механизма, но в суровые степные зимы (до 30–35° мороза с ветром) ещё и ълетней одежде, потому что неработающим (то есть инвалидам) не полагается на зиму выдавать тёплую одежду. Эстонка П–р вспоминает, как

она в такой мороз, почти неодетая, орудовала над камнем с огромным молотком. — Польза этой работы для Отечества особенно выясняется, если мы доскажем, что камень женского карьера почему–то оказался негоден для строительства и в некий день некий начальник распорядился, чтобы женщины весь добытый ими за год камень теперь засыпали бы назад в карьер, покрыли землёю и развели бы парк (до парка, конечно, не дошло). — В мужской зоне камень был хорош, доставка же его на место строительства совершалась так: после проверки весь строй (сразу тысяч около восьми, кто ещё в этот день был жив) гнали в гору, а назад допускали только с камнями. В выходной день такая инвалидная прогулка совершалась дважды — утром и вечером.

Затем шли такие работы: укрепление зоны; строительство посёлка для лагерщиков и конвоиров (жилые дома, клуб, баня, школа); работа на полях и огородах.

Урожай с тех огородов тоже шёл на вольных, а зэкам доставалась лишь свекловичная ботва: её привозили возами на машинах, сваливали в кучи близ кухни, там она мокла, гнила, и оттуда кухонные рабочие вилами таскали её в котлы. (Это несколько напоминает кормление домашнего

скота?) Из этой ботвы варилась постоянная баланда, к ней добавлялся один черпачок кашицы в день. Вот огородная спасская сценка: человек полтораста зэков, сговорясь, ринулись разом на один такой огород, легли и грызут с гряд овощи. Охрана сбежалась, бьёт их палками, а они лежат и грызут.

Хлеба давали неработающим инвалидам 550, работающим— 650.

Ещё не знал Спасск медикаментов (на такую ораву где взять! да и всё равно им подыхать) и постельных принадлежностей. В некоторых бараках вагонки сдвигались и на сдвоенных щитах ложились уже не по двое, а по четверо впритиску.

Да, и ещё же была работа: каждый день 110–120 человек выходило на рытьё могил. Два «студебеккера» возили трупы в обрешётках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 умирало по 60–70 человек в день, а зимой по сотне (считали эстонцы, работавшие при морге).

(В других Особлагах не было такой смертности и кормили лучше, но и работы же покрепче, ведь не инвалиды, — это читатель уравновесит уже сам.)

Всё это было в 1949 (тысяча девятьсот сорок девятом) году— на тридцать втором году Октябрьской революции, через четыре года после того, как кончилась война и её суровые необходимости, через три года после того, как закончился Нюрнбергский процесс и всё человечество узнало об ужасах фашистских лагерей и вздохнуло с облегчением: «это не повторится!»…[414]

Ко всему этому режиму ещё добавить, что с переездом в Особлаг почти прекращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой, с детьми, для которых ты превращался в миф. (Два письма в год, — но не отправлялись и эти, куда вложил ты лучшее и главное, собранное за месяцы. Кто смеет проверить цензорш, сотрудниц МГБ? Они часто облегчали себе работу— сжигали часть писем, чтобы не проверять. Ачто твоё письмо не дошло, — всегда можно свалить на почту. В Спасске позвали как–то арестантов отремонтировать печь в цензуре, — те нашли там

[414] Примечания: 414

Я предвижу волнение читателя и спешу его заверить, все эти Чечев, и Мишин, и Воробьёв, и надзиратель Новгородов живут хорошо. Чечев— в Караганде, генерал в отставке. Никто из них не был судим и не будет. А за что их судить? Ведь они просто выполняли приказ. Нельзя же их сравнивать с нацистами, которые просто выполняли приказ. А если они делали что сверх приказа— так ведь от чистоты идеологии, с полной искренностью, просто по неведению, что Берия, «верный соратник великого Сталина», — также и агент международного империализма.

сотни неотправленных, но ещё и не сожжённых писем, — забыли цензоры поджечь. Вот обстановка Особлага: печники ещё боялись об этом рассказывать друзьям! — гебисты могли с ними быстро расправиться... Эти цензорши МГБ, для своего удобства сжигавшие душу узников, — были ли они гуманнее тех эсэсовок, собиравших кожу и волосы убитых?) А уж о свиданиях с родственниками в Особлагах и не заикались — адрес лагеря был зашифрован и не допускалось приехать никому.

Если ещё добавить, что хемингуэевский вопрос иметь или не иметь почти не стоял в Особлагах, он со дня создания их был уверенно разрешён в пользу не иметь. Не иметь денег и не получать зарплаты (в ИТЛ ещё можно было заработать какие–то гроши, здесь— ни копейки). Не иметь смены обуви или одежды, ничего для поддевания, утепления или сухости. Бельё (и что то было за бельё! — вряд ли хемингуэевские бедняки согласились бы его натянуть) менялось два раза в месяц, одежда и обувь — два раза в год, кристальная ясность. (Не в первые дни лагеря, но позже наладили «вечную» камеру хранения— до дня «освобождения»; считалось важным проступком не сдать туда какой–либо собственной

носильной вещи: это была подготовка к побегу, карцер, следствие.) Не иметь никаких продуктов в тумбочке (а утром стоять в очереди в продуктовую каптёрку, чтобы сдать их, вечером — чтобы получить, — тем самым удачно занимались ещё оставшиеся свободными для ума утренние и вечерние получасы). Не иметь ничего рукописного, не иметь чернил, химических и цветных карандашей, не иметь чистой бумаги свыше одной ученической тетради. Не иметь, в конце концов, и книг. (В Спасске отбирали собственные книги при приёме арестанта в лагерь. У нас сперва разрешалось иметь одну–две, но однажды вышел мудрый указ: зарегистрировать все собственные книги в КВЧ, поставить на титульном листе «Степлаг. Лагпункт №...». Все книги без штампа будут впредь отбираться как незаконные, книги же со штампом будут считаться библиотечными и уже не принадлежат владельцу.)

Если ещё напомнить, что в Особлагах настойчивее и чаще, чем в ИТЛ, производились обыски (ежедневный тщательный выходной и входной (фото 2); планомерные обыски бараков с поднятием полов, выламыванием печных колосников, выламыванием досок у крылечек; затем ещё тюремного типа повальные личные обыски с

раздеванием, перещупыванием, отпарыванием подкладок, подмёток). Что со временем стали выпалывать в зоне всю траву дочиста («чтобы не прятали в траве оружия»). Что в выходные дни занимались хозяйственными работами в зоне.

Всё это вспомнив, пожалуй, не удивишься, что ношение номеров было далеко не самым чувствительным или язвительным способом унизить достоинство арестанта. Когда Иван Денисович говорит, что «они не весят, номера», это вовсе не утеря чувства достоинства (как упрекали гордые критики, сами номеров не носившие, да ведь и не голодавшие), — это просто здравый смысл. Досада, причиняемая нам номерами, была не психологическая, не моральная (как рассчитывали хозяева ГУЛАГа) — а практическая досада, что под страхом карцера надо было тратить досуг на пришивку отпоровшегося края, подновлять цифры у художников, а изодравшиеся при работе тряпки — целиком менять, изыскивать где–то новые лоскуты.

Для кого номера были действительно самой дьявольской из здешних затей — это для истовых верующих. Такие были в женском лаготделении близ станции Суслово (Сиблаг), — женщин, сидевших за религию, там вообще была треть. Ведь

прямо же всё предсказано Апокалипсисом:

13:16 — …положено будет начертание на правую руку их или на чело их.

И эти женщины отказывались носить номера — печать сатаны! Не соглашались они и давать свою подпись (сатане же) за казённое обмундирование. Администрация лагеря (начальник Управления — генерал Григорьев, начальник ОЛПа майор Богуш) проявила достойную твёрдость: она велела раздеть этих женщин до сорочек, снять с них обувь (надзирательницы–комсомолки всё сделали), — чтобы зима помогла принудить бессмысленных фанатичек принять казённое обмундирование и нашить номера. Но и в мороз женщины ходили по зоне босиком и в сорочках, а не соглашались отдать душу сатане!

И перед этим духом (конечно, реакционным, мы–то люди просвещённые, мы бы не стали так возражать против номеров) — администрация сдалась, вернула женщинам их носильные вещи, — и они надели их без номеров! (Елена Ивановна Усова так и проходила все 10 лет в своём, одежда и бельё истлели уже, сползали с плеч, — но не могла бухгалтерия выдать ей ничего казённого без расписки.)

Ещё досаждали нам номера тем, что, круп-

ные, они легко прочитывались издали конвоем. Конвой всегда нас видел только на расстоянии, возможном для автоматной изготовки и выстрела, никого из нас по фамилиям, разумеется, не знал и, одинаково одетых, не различал бы, если б не наши номера. Теперь же конвоиры примечали, кто в колонне разговаривал, или путал пятёрки, или рук не держал назад, или поднял что–нибудь с земли, — и достаточно было рапорта начкара в лагерь, чтобы виновника ждал карцер.

Конвой был ещё одной силой, сжимающей воробышка нашей жизни в жмых. Эти «красно-погонники», регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой тёмной, не–рассуждающей, о нас не знающей, никогда не принимающей объяснений. От нас к ним ничто не могло перелететь, от них к нам — окрики, лай собак, лязг затворов и пули. И всегда были правы они, а не мы.

В Экибастузе на подсыпке железнодорожного полотна, где зоны нет, а есть оцепление, один зэк в дозволенной черте ступил несколько шагов, чтобы взять свой хлеб из брошенной куртки, — а конвоир вскинулся и убил его. И он был, конечно, прав. И получить мог только благодарность. И конечно, не раскаивается по сей день. А мы

ничем не выразили возмущения. И разумеется, не писали никуда (да никто б нашей жалобы и не пропустил).

19 января 1951 года наша колонна в пятьсот человек подошла к объекту АРМу (авторемонтные мастерские). С одной стороны была зона, и тут уже не стояли солдаты. Вот–вот должны были впускать нас в ворота. Вдруг заключённый Малой (а на самом деле — рослый широкоплечий парень) ни с того ни с сего отделился от строя и как–то задумчиво пошёл на начальника конвоя. Впечатление было, что он не в себе, что он сам не понимает, что делает. Он не поднял руки, он не сделал ни одного угрожающего жеста, он просто задумчиво пошёл. Начальник конвоя, франтоватый гаденький офицер, — перепугался и стал задом наперёд бежать от Малого, что–то визгливо крича и никак не умея вынуть пистолета. Против Малого быстро выдвинулся сержант–автоматчик и за несколько шагов дал ему очередь в грудь и живот, тоже медленно отходя. И Малой, прежде чем упасть, ещё шага два продолжал своё медленное движение, а из спины его по следу невидимых пуль вырвались видимые клочки ваты из телогрейки. Но хотя Малой упал, а мы, вся остальная колонна, не шевельнулись, начальник

конвоя так был перепуган, что выкрикнул солдатам боевую команду, и со всех сторон захлопали автоматы, полосуя чуть выше наших голов, застучал пулемёт, развёрнутый заранее на позиции, и во много голосов, состязаясь в истеричности, нам кричали: «Ложись! Ложись! Ложись!» И пули пошли ниже, ниже, в проволоку зоны. Мы, полтысячи, не бросились на стрелков, не смяли их, а все повалились ничком и так, уткнувшись лицами в снег, в позорном, беспомощном положении, в это крещенское утро дольше четверти часа лежали как овцы, — всех нас они шутя могли бы перестрелять и не несли бы ответа: ведь попытка к бунту!

Такие мы были подавленные жалкие рабы на первом и на втором году Особых лагерей — и о периоде этом довольно сказано в «Иване Денисовиче».

Как же это сложилось? Почему многие тысячи этой скотинки, Пятьдесят Восьмой, — но ведь политических же, чёрт возьми? но ведь теперь–то — отделённых, выделенных, собранных вместе, — теперь–то, кажется, политических? — вели себя так ничтожно? так покорно?

Эти лагеря и не могли начаться иначе. И угнетённые, и угнетатели пришли из ИТЛовских

лагерей, и десятилетия рабской и господской традиции стояли и за теми и за другими. Образ жизни и образ мыслей переносился вместе с живыми людьми, они притепляли и поддерживали его друг в друге, потому что ехали по несколько сот человек с одного лаготделения. На новое место они привозили с собой всеобщую внушённую уверенность, что в лагерном мире человек человеку— крыса и людоед, и не бывает иначе. Они привозили в себе интерес к одной лишь своей судьбе и полное равнодушие к судьбе общей. Они ехали, готовые к беспощадной борьбе за захват бригадирства, за тёплые придурочьи места на кухне, в хлеборезке, в каптёрках, в бухгалтерии и при КВЧ.

Но когда на новое место едет одиночка, он в своих расчётах устроиться там может полагаться только на свою удачу и на свою бессовестность. Когда же долгим этапом, две–три–четыре недели везут в одном вагоне, моют в одних пересылках, ведут в одном строю уже довольно сталкивавшихся лбами, уже хорошо оценивших друг в друге и бригадирский кулак, и умение подползать к начальству, и умение кусать из–за угла, и умение тянуть «налево», отворачивая от работяг, — когда вместе этапируют уже спевшееся

кубло придурков, — естественно им не предаваться свободолюбивым мечтам, а дружно перенести эстафету рабства, сговориться, как они будут захватывать ключевые посты в новом лагере, оттесняя придурков из других лагерей. А работяги тёмные, вполне смирившиеся со своей корявой тёмной судьбой, сговариваются, каким на новом месте составить бригаду получше да подпасть под сносного бригадира.

И все эти люди бесповоротно забыли не только то, что каждый из них— человек, и несёт в себе Божий огонь, и способен на высшую участь, но забыли даже, что спину можно бы и разогнуть, что простая свобода есть такое же право человека, как воздух, что все они— так называемые политические, и вот теперь остаются промеж себя.

Правда, толика блатных всё–таки среди них была: отчаявшись удержать своих любимцев от частых побегов (82–я статья УК давала за побег только до двух лет, а у воров бывали уже десятки и сотни наплюсованных, отчего ж не бежать, коли некому унять?), власти решились клепать им за побег 58–14, то есть экономический саботаж.

Таких блатных ехало в Особые лагеря в общем очень мало, в каждом этапе— горстка, но, по их кодексу, вполне достаточно, чтобы ве-

сти себя дерзко, нагло, ходить в комендантах с палками (как те два азербайджанца в Спасске, зарубленные потом) и помогать придуркам утверждать на новых островах Архипелага всё то же чёрно–говённое знамя рабских подлых истребительно–трудовых лагерей.

Экибастузский лагерь был создан за год до нашего приезда— в 1949 году, и всё тут так и сложилось по подобию прежнего, как оно было принесено в умах лагерников и начальства. Были комендант, помкоменданта и старшие бараков, кто кулаками, кто доносами изнимавшие своих подданных. Был отдельный барак придурков, где на вагонках и за чаем дружески решались судьбы целых объектов и бригад. Были (благодаря особому устройству финских бараков) отдельные «кабины» в каждом бараке, которые занимались, почину, одним или двумя привилегированными зэками. И нарядчики били в шею, и бригадиры — по морде, а надзиратели — плётками. И подобрались наглые мордастые повара. И всеми каптёрками завладели свободолюбивые кавказцы. А прорабские должности захватила группка проходимцев, которые считались все инженерами. А стукачи исправно и безнаказанно носили свои доносы в оперчасть. И, год назад

начатый с палаток, лагерь имел уже и каменную тюрьму, — однако, ещё не достроенную и потому сильно переполненную: очереди в карцер с уже выписанным постановлением приходилось ожидать по месяцу и по два— беззаконие, да и только: очередь в карцер! (Мне был присуждён карцер, так я и не дождался очереди.)

Правда, за этот год уже поблекли блатные (точнее, суки, поскольку не пренебрегали лагерными постами). Уже как–то почувствовалось, что нет им настоящего размаха, — нет блатной молодёжи, пополнения, не скачет никто нацырлах. Что–то у них не срабатывало. Комендант Магеран, когда начальник режима представлял его строившемуся лагерю, ещё пытался смотреть с мрачной бодростью; но уже неуверенность владела им, и скоро бесславно сошла его звезда.

На наш этап, как и на всякий новый, был сделан натиск уже в первой приёмной бане. Банщики, парикмахеры и нарядчики были напряжены и дружно налетали на каждого, кто пытался сделать хотя бы робкое возражение против рваного белья, или холодной воды, или порядка прожарки. Они только и ждали таких возражений и налетали сразу несколько, как псы, нарочито, кричали повышенно громко: «Здесь вам не

Куйбышевская пересылка!» — и совали к носу откормленные кулаки. (Это психологически очень верно. Голый человек десятикратно беззащитен против одетых. И если новый этап припугнуть в первой бане, он будет уже и в лагерной жизни ущемлён.)

Тот самый школьник Володя Гершуни, который предполагал в лагере, осмотревшись, понять, «с кем идти», был в первый же день поставлен укреплять лагерь — копать яму под столб освещения. Он был слаб, не одолел нормы. Помпобыт Батурин, из сук, тоже притихающий, но ещё не притихший, обозвал его «пиратом» и ударил в лицо. Гершуни бросил лом и вовсе ушёл от ямки. Он пошёл в комендатуру и объявил: «Сажайте, на работу больше не пойду, пока ваши пираты дерутся» (его этот «пират» особенно обидел с непривычки). Посадить его не отказались, он отсидел в два приёма 18 суток карцера (делается это так: сперва выписывается 5 или 10 суток, а потом по окончании срока не освобождают, ждут, чтобы заключённый начал протестовать и ругаться, — и тут–то «законно» втирают ему второй карцерный срок). После карцера ему, за буйство, выписали ещё два месяца БУРа, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горячее,

пайку по выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает всё глубже, Гершуни пытался спастись теперь через санчасть, он ещё не знал цену её начальнице мадам Дубинской. Он предполагал, что предъявит своё плоскостопие и его освободят от далёких хождений на известковый. Но его и в санчасть отказались вести, экибастуз–ский БУР не нуждался в амбулаторном приёме. Чтобы всё–таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо протестовать, по разводу остался на нарах в одних кальсонах. Надзиратели «Полундра» (психованный бывший морячок) и Коненцов стащили его за ноги с нар и так, в кальсонах, поволокли на развод. Они волокли, а он руками хватался за лежащие там камни, подготовленные к кладке, — чтоб удержаться за них. Уж Гершуни согласен был на известковый и только кричал «дайте брюки надеть!» — но его волокли. На вахте, задерживая весь четырёхтысячный развод, этот слабый мальчик кричал: «Гестаповцы! Фашисты!» — и отбивался, не давая надеть наручников. Всё же Полундра и Коненцов согнули ему голову до земли, и надели наручники, и теперь толкали идти. Их и начальника режима лейтенанта Мачеховского не смущало, смущало почему–то самого Гершуни: как это

он через весь посёлок пойдёт в кальсонах? И он отказался идти. Рядом стоял курносый собаковод–конвоир. Запомнилось Володе, как он тихо ему буркнул: «Ну что бушуешь, становись в колонну. Посидишь у костра, неужто работать будешь?» И крепко держал свою собаку, которая из рук его рвалась, чтобы достичь володиного горла, она же видела, что этот пацан сопротивляется голубым погонам! Володю сняли с развода, повели назад, в БУР. Руки в наручниках за спиной стягивало ему всё больнее, а надзиратель–казах держал за горло и тыкал коленом подвздох. Потом бросили его на пол, кто–то сказал профессионально–деловито: «Так его бейте, чтоб у…лея!» И его стали бить сапогами, попадая и по виску, пока он не потерял сознания. Через день вызвали к оперуполномоченному и стали мотать ему дело о намерении террора: ведь когда волокли его, он хватался за камни! Зачем?

На другом разводе так же сопротивлялся идти Твердохлеб, он и голодовку объявил: на сатану работать не будет! Презирая его голодовку и его забастовку, тащили и его силком, только из простого барака, и Твердохлеб мог дотянуться и бить стёкла. Разбиваемые стёкла резко звенели на всю линейку, мрачно аккомпанируя счёту

нарядчиков и надзирателей.

Аккомпанируя тягучему однообразному тону наших дней, недель, месяцев, лет.

И никакого просвета не предвиделось. Не задумано было просвета в плане МВД, когда эти лагеря создавались.

Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, сбились в одну бригаду и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих— того же Павла Баранюка. Получилась из нас бригада смирная, работящая (западных украинцев, недавно от земли, ещё не коллективизированной, не подгонять надо было, а впору, пожалуй, удерживать). Дней несколько мы считались чернорабочими, но скоро объявились у нас каменщики–мастера, а другие взялись получиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с жилого объекта— с постройки домов для вольных, оставило в зоне. Показали бригадиру кучу камней у БУРа— тех самых, за которые цеплялся Гершуни, пообещали, что камни с карьера будут подвозить непрерывно. И объяснили, что тот БУР, который стоит, это только половина БУРа, а нужно теперь пристроить такую же вторую половину, и это

сделает наша бригада.

Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя.

Стояла долгая сухая осень — за весь сентябрь и за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен— он дул тонко, щемяще и особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов БУРа, — ни посёлок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша ещё проволочная зона не закрывали от нас беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадёжности этой степи, по которой только первый рядок едва ошкуренных телефонных столбов пошёл на северо–восток к Павлодару. Иногда ветер вдруг брался крутой, за час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки и ещё бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, которые мёл по степи. Да уж не обойтись, проще повторить стихотворение, которое я сложил в те дни на кладке БУРа.

КАМЕНЩИК

Вот— я каменщик. Как у поэта сложено,
Я из камня дикого кладу тюрьму.

Но вокруг—не город: Зона. Огорожено.
В чистом небе коршун реет настороженно.
Ветер по степи… И нет в степи прохожего,
Чтоб спросить меня: кладу— кому?
Стерегут колючкой, псами, пулемётами, —
Мало! Им ещё в тюрьме нужна тюрьма…
Мастерок в руке. Размеренно работаю,
И влечёт работа по себе сама.
Был майор. Стена не так развязана.
Первых посадить нас обещал.
Только ль это! Слово вольно сказано,
На тюремном деле — галочка проказою,
Что–нибудь в доносе на меня показано,
С кем–нибудь фигурной скобкой сообща.
Вперекличь дробят и тешут молотки проворные.

За стеной стена растёт, за стенами стена… Шутим, закурив у ящика растворного. Ждём на ужин хлеба, каш добавка вздорного. А с лесов, меж камня — камер ямы чёрные, Чьих–то близких мук немая глубина… И всего–то нить у них— одна автомобильная, Да с гуденьем проводов недавние столбы. Боже мой! Какие мы бессильные! Боже мой! Какие мы рабы!

Рабы! Не потому даже, что, боясь угроз майора Максимен–ко, клали камни вперехлёст и

цементу честно, чтобы нельзя было легко эту стену разрушить будущим узникам. А потому что, действительно, хотя мы не выполняли иста процентов нормы, — бригаде, клавшей тюрьму, выписывались дополнительные, и мы не швыряли их майору в лицо, а съедали. А товарищ наш Володя Гершуни сидел в уже отстроенном крыле БУРа. А Иван Спасский, без всяких проступков, за какую–то неведомую галочку, уже сидел в режимке. И из нас ещё многим предстояло посидеть в этом самом БУРе, в этих самых камерах, которые мы так аккуратно, надёжно выкладывали. И в самое время работы, когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздались выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря, близ нас, подъехал воронок (самый настоящий, городской, он состоял в штате конвойной части, только на боках не было расписано для сусликов «Пейте советское шампанское!»). Из воронка вытолкнули четверых— избитых, окровавленных; двое спотыкались, одного тянули; только первый, Иван Воробьёв, шёл гордо и зло.

Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмостями — и завели в готовое крыло БУРа.

А мы — клали камни…

Побег! Что за отчаянная смелость! — не имея гражданской одежды, не имея еды, с пустыми руками — пройти зону под выстрелами — и бежать — в открытую безводную бесконечную голую степь! Это даже не замысел— это вызов, это гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны самые сильные и смелые из нас.

А мы… кладём камни.

И обсуждаем. Это — уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался, но тот был глуповатый. Василий Брюхин (прозванный «Блюхер»), инженер Мутьянов и ещё один бывший польский офицер выкопали в мехмастерских под комнатой, где работали, яму в один кубометр, с запасом еды засели туда и перекрылись. Они наивно рассчитывали, что вечером, как обычно, с рабочей зоны снимут охрану, они вылезут и пойдут. Но ведь на съёме недосчитались троих, а проволока вокруг вся цела, — и оставили охрану на несколько суток. За это время наверху ходили люди и приводили собаку, — и скрывшиеся подносили ватку с бензином к щели, отбивая собаке нюх. Трое суток они сидели не разговаривая, не шевелясь, с руками и ногами переплетенными, скорченными, потому что в одном кубометре

трое, — наконец не выдержали и вышли.

Приходят в зону бригады и рассказывают, как бежала группа Воробьёва: рвала зону грузовиком.

Ещё неделя. Мы кладём камни. Уже очень ясное вырисовывается второе крыло БУРа— вот будут уютные карцерочки, вот одиночки, вот тамбурочки, уже нагородили мы в малом объёме множество камня, а его всё везут и везут с карьера: камень даровой, руки даровые там и здесь, только цемент государственный.

Проходит неделя, достаточное время четырём тысячам экибастузцев помыслить, что побег— безумие, что он не даёт ничего. И — в такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи— побег!!! Да это эпидемия какая–то: снова мчится конвойный воронок — и привозит двоих (третий убит на месте). Этих двоих— Баталова и совсем какого–то маленького, молодого, — окровавленных, проводят мимо нас, под нашими подмостями, в готовое крыло, чтобы там бить их ещё, и раздетыми бросить на каменный пол и не давать им ни есть, ни пить. Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих, искромсанных и гордых? Неужели подленькую радость, что это не меня поймали, не меня избили, не меня обрекли?

«Скорей, скорей кончать надо левое крыло!» — кричит нам пузатый майор Максименко.

Мы— кладём. Нам будет вечером дополнительная каша.

Носит раствор кавторанг Бурковский. Всё, что строится, — всё на пользу Родине.

Вечером рассказывают: и Батанов тоже бежал на рывок, на машине. Подстрелили машину.

Но теперь–то поняли вы, рабы, что бежать — это самоубийство, бежать никому не удастся дальше одного километра, что доля ваша — работать и умереть?!

Дней пять не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал — но будто небо всё металлическое и в него грохают огромным ломом— такая новость: побег!! опять побег!!! И на этот раз удачный!

Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка— и всё сошлось у вертухаев. Только утром 18–го что–то начинает не получаться у них— и вот отменяется развод и устраивают всеобщую проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам, — ведь считать только деньги у кассы умеют

псы. Всё время результат у них разный! До сих пор не знают, сколько же бежало? кто именно? когда? куда? на чём?

Уже к вечеру и понедельник, а нас не кормят обедом (поваров с кухни тоже пригнали на линейку, считать), — но мы ничуть не в обиде, мы рады–то как! Всякий удачный побег— это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы все — именинники! Мы ходим гордо. Мы–то умнее вас, господа псы! Мы–то вот убежали! (И, глядя в глаза начальству, мы все затаённо думаем: хоть бы не поймали! хоть бы не поймали!)

К тому ж — и на работу не вывели, и понедельник прошёл для нас как второй выходной. (Хорошо, что ребята дёрнули не в субботу: учли, что нельзя нам воскресенья портить!)

Но — кто ж они? кто ж они?

В понедельник вечером разносится: это — Георгий Тэнно с Колькой Жданком.

Мы кладём тюрьму выше. Мы уже сделали надверные перемычки, мы уже замкнули сверху маленькие оконца, мы уже оставляем гнёзда для стропил.

Три дня с побега. Семь. Десять. Пятнадцать.

Нет известий!

Бежали!!

Глава 4. ПОЧЕМУ ТЕРПЕЛИ?

Среди моих читателей есть такой образованный Историк–Марксист. Долистав в своём мягком креслице до этого места, как мы БУР строили, он снимает очки и похлопывает по странице чем–то плоскеньким, вроде линеечки, и покивывает:

— Вот–вот. Этому я поверю. А то ещё ветерок какой–то революции, черти собачьи. Никакой революции у вас быть не могло, потому что для этого нужна историческая закономерность. А вас вот отобрали несколько тысяч так называемых «политических» — и что же? Лишённые человеческого вида, достоинства, семьи, свободы, одежды, еды, — что же вы? Отчего ж вы не восстали?

— Мы— пайку вырабатывали. Вот— тюрьму строили.

— Это — хорошо. Строить вы и должны были. Это— на пользу народу. Это — единственно–верное решение. Но не называйте же себя революционерами, голубчики! Для революции надо быть связанным с единственно–передовым классом…

— Но ведь мы теперь и были все — рабочие?..

— Эт–то никакой роли не играет. Это — объек-

тивная придирка. Что такое за–ко–но–мер–ность, вы представляете?

Да как будто представляю. Честное слово, представляю. Я представляю, что если многомиллионные лагеря стоят сорок лет, — так вот это и есть историческая закономерность. Здесь слишком много миллионов и слишком много лет, чтобы это можно было объяснить капризом Сталина, хитростью Берии, доверчивостью и наивностью руководящей партии, непрерывно освещенной светом Передового Учения. Но этой закономерностью я уж не буду корить моего оппонента. Он мило улыбнётся мне и скажет, что мы в данном случае не об этом говорим, я в сторону ухожу.

А он видит, что я смешался, плохо представляю себе закономерность, и поясняет:

— Революционеры вот взяли и смели царизм метлой. Очень просто. А попробовал бы царь Николка вот так сажать своих революционеров! А попробовал бы он навесить на них номера! А попробовал бы…

— Верно. Он— не пробовал. Он не пробовал, и только потому уцелели те, кто попробовал после него.

— Да и не мог он пробовать! Не мог! Пожалуй,

тоже верно: не только не хотел— не мог.

По принятой кадетской (уж не говорю — социалистической) интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирания татар. Тирания московских князей. Пять столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства. (Ни— Земских Соборов, ни — сельского міра, ни вольного казачества или северного крестьянства.) Иван ли Грозный, Алексей Тишайший, Пётр Крутой или Екатерина Бархатная, или даже Александр Второй, — вплоть до Великой Февральской революции все цари знали, дескать, одно: давить. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. Строй гнул подданных, бунты и восстания раздавливались неизменно.

Но! но! Давили, да со скидкой! Раздавливались— дане в нашем высокотехническом смысле. Например, солдаты, стоявшие в декабристском каре, — все до единого были прощены через четыре дня. (Сравни: в Берлине 1953, Будапеште 1956, Новочеркасске 1962 расстрелы наших солдат — не восставших, но отказавшихся стрелять в безоружную толпу.) А из мятежных декабристских офицеров казнено только пятеро, — можно вообразить такое в советское время? У нас бы —

хоть один в живых остался?

И ни Пушкину, ни Лермонтову за дерзкую литературу не давали сроков, Толстого за открытый подрыв государства не тронули пальцем. «Где бы ты был 14 декабря в Петербурге?» — спросил Пушкина Николай I. Пушкин ответил искренне: «На Сенатской». И был за это… отпущен домой. А между тем мы, испытавшие машинно–судебную систему на своей шкуре, да и наши друзья–прокуроры, прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина: статья 58, пункт 2, вооружённое восстание, в самом мягком случае через статью 19 (намерение), — и если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. И Пушкины получали в зубы свои сроки, ехали в лагеря и умирали. (А Гумилёву и до лагеря ехать не пришлось, разочлись чекистской пулей.)

Крымская война— изо всех войн счастливейшая для России — принесла не только освобождение крестьян и александровские реформы — одновременно с ними родилось в России мощное общественное мнение.

Ещё по внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды. Но что это? — заседали–заседали, а Вера

Засулич, тяжело ранившая начальника столичной полиции (!), — оправдана??.. (Та лёгкость, с которой освободили Засулич, докатилась до лёгкости, с какой построили ленинградский Большой Дом— на этом самом месте…) И Вера Засулич не сама покупала револьвер для стрельбы в Трепова, ей купили, потом меняли на больший калибр, дали медвежий, — и суд даже не задал вопроса: а кто же купил? где этот человек? Такой соучастник по русским законам не считался преступником. (По советским его бы тотчас закатали под вышку.)

Семь раз покушались на самого Александра II (Каракозов[415]; Соловьёв; близ Александровска; под Курском; взрыв Халтурина; мина Тетерки; Гриневицкий). Александр II ходил (кстати, без охраны) по Петербургу с испуганными глазами, «как у зверя, которого травят» (свидетельство Льва Толстого, он встретил царя на частной лестнице[416]). И что же? — разорил и сослал он

[415] Примечания: 415

Кстати, у Каракозова был брат. Брат того, кто стрелял в царя! — прикиньте на нашу мерку. Наказан он был так: «поведено ему впредь именоваться Владимировым». И никаких стеснений он не испытывал ни в имуществе, ни в жительстве.

[416] Примечания: 416

Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. [М.]: ГИХЛ, 1955, с. 180.

пол–Петербурга, как было после Кирова? Что вы, это и в голову не могло прийти. Применил профилактический массовый террор? Сплошной террор, как в 1918 году? Взял заложников? Такого и понятия не было. Посадил сомнительных? Да как это можно?!.. Тысячи казнил? Казнили— пять человек. Не осудили за это время и трёхсот. (А если бы одно такое покушение было на Сталина, — во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось?)

В 1891 году, пишет большевик Ольминский, он был во всех Крестах— единственный политический. Переехав в Москву, опять же был единственный и в Таганке. Только в Бутырках перед этапом собралось их несколько человек!.. (И через четверть века Февральская революция открыла в одесском тюремном замке — семерых политических, в Могилёве— троих.)

С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни поводьев, ни гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост.

Он не имел мужества для действия. У него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они уже не давили, а

только слегка придавливали и отпускали. Они всё озирались и прислушивались — а что скажет общественное мнение?

Николай II воспретил осведомительную агентуру в войсковых частях, считая её оскорблением армии. (И оттого никто из властей не знал, какая в армии ведётся пропаганда.) А к революционерам потому и подсылали тощих осведомителей и питались только их скудными сведениями, что правительство считало себя связанным законностью и не могло (как в советское время) просто взять и арестовать сплошь всех подозреваемых, не заботясь о конкретных обвинениях.

Вот знаменитый Милюков, тот самый вождь кадетов, ещё и 30 лет советской власти всё гордившийся, как он дал «штормовой сигнал к революции» (1 ноября 1916) — «глупость или измена?». Его проступок 1900 года совсем небольшой: профессор, он в речи на студенческой сходке (профессор— на сходке!) развил мысль (среди слушателей— студент Савинков), что динамика революционного движения, раз власти ей не уступают, неизбежно приведёт к террору. Но это же не подстрекательство, правда? И не намерения, ведущие… ? Это обычная слабость радикальных либералов к террору (пока он направлен не

против них). Итак, Милюков посажен вДПЗ на Шпалерную. (Ещё взят у него на квартире проект новой конституции.) В тюрьму сразу передано ему много цветов, сладостей, снеди от сочувствующих. И конечно, ему доступны любые книги из Публичной библиотеки. Короткое следствие — и как раз во время него, как раз студент убивает министра просвещения (прошло 2 месяца от той сходки), — но это нисколько не принимается в отягчение судьбы Милюкова. Ждать приговора он будет на свободе, только не в Петербурге. Но где же жить? Дана другом конце станции Удельной, это считается уже не Петербург. Бывал в Петербурге чуть не каждый день—то в Литературном Фонде, то в редакции «Русского богатства». В ожидании приговора получил разрешение съездить и… в Англию. Наконец приговор:

6 месяцев в Крестах. (И тут никогда не оставался без нарциссов и книг из Публичной библиотеки.) Но просидел только 3 месяца: по ходатайству Ключевского («нужен для науки») царь освободил его. (И этого царя Милюков назовёт потом «старым деспотом» и облыжно обвинит в измене России.) И вскоре опять отпущен в Европу и в Америку — создавать там общественное мнение против русского правительства.

Один из мрачных духов Февральской революции Гим–мер–Суханов был «выслан» из Петербурга весной 1914— так, что под собственным именем продолжал служить в министерстве земледелия (не говоря о том, что часто ночевал у себя дома).

Как в 1907 году был убит начальник Главного тюремного управления Максимовский? Управление находилось в одном доме с частными жилыми квартирами и почти не охранялось. Вечером в неслужебные часы Максимовский доверчиво принял попросившуюся к нему на приём женщину — она его и убила.

Когда директор Департамента полиции Лопухин выдал революционерам тайну Азефа, — то в Уголовном кодексе даже не нашлось статьи, по какой его судить, режим даже не был защищен от разглашения государственных тайн. (Всё же решились осудить по какой–то сходной статье, — и золотые голоса адвокатов долго потом поносили этот суд как «позор царского режима». По мнению либералов, судить вообще было не за что.)

Власть только раздражала и раззаряла противников, именно своей трусливой половинчатостью.

Герои того времени настолько уже не ожидали

от тюремного режима ничего серьёзного, что Богров, не поколебавшийся убить Столыпина, мозг и славу России, воскликнул громко «мне больно!», когда ему надели наручники.

Насколько при этом был слаб тюремный режим, можно судить по плану побега киевского анархиста Юстина Жука в 1907 (побег не состоялся лишь из–за доноса, очевидно Бо–грова): во время перерыва суда (политического!) Жук (террорист) выйдет в дворовую уборную, куда (и даже вблизь) конвой за ним, разумеется (!), не пойдёт. А там его будет ждать узелок с гражданской одеждой и машинка для снятия кандалов (это во дворе суда было возможно!).

Власти преследовали революционеров ровно настолько, чтобы сознакомить их в тюрьмах, закалить, создать ореол вокруг их голов. Мы–то теперь, имея подлинную линейку для измерения масштабов, можем смело утверждать, что царское правительство не преследовало, а бережно лелеяло революционеров, себе на погибель. Нерешительность, слабость царского правительства ясно видны всякому, кто испытал на себе судебную систему, воистину безотказную.

Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной

брат казнён за покушение на Александра III[417]. Как и брат Каракозова— брат цареубийцы. И что ж? В том же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский университет, да ещё — на юридическое отделение. Это — неудивительно?

Правда, в том же учебном году Владимира Ульянова исключают из университета. Но исключают — за организацию противоправительственной студенческой сходки. Значит, младший брат цареубийцы подбивает студентов к неповиновению? Что бы он получил у нас? Да безусловно расстрел (а остальным по двадцать пять и по десять)! А его — исключают из университета. Какая жестокость! Да ещё и ссылают… на Сахалин?[418] Нет, в семейное поместье Кокушкино, куда он

---

[417] Примечания: 417

При этом, кстати, в ходе судебного следствия установлено, что Анна Ульянова получила из Вильны шифрованную телеграмму: «сестра опасно больна», и значило это: «везут оружие». Анна не удивилась, хотя никакой сестры у неё в Вильне не было, а почему–то передала эту телеграмму Александру. Ясно, что она— соучастница, у нас ей была бы обеспечена десятка. Но Анна— даже не привлечена к ответственности! По тому же делу установлено, что другая Анна (Сердюкова), екатерино–дарская учительница, прямо знала о готовящемся покушении на царя и молчала. Что б ей у нас? Расстрел. А ей дали? два года…

[418] Примечания: 418

Кстати, на Сахалине политические — были. Но как получилось, что не побывал там ни один сколько–нибудь заметный большевик (да и меньшевик)?

на лето всё равно едет. Он хочет работать, — ему дают возможность… валить лес в тайге? Нет, заниматься юридической практикой в Самаре, при этом участвовать в нелегальных кружках (и бороться против общественной помощи голодающим 1891 года). После этого — сдать экстерном за Петербургский университет. (А как же с анкетами? Куда же смотрит спецчасть?)

И вот через несколько лет этот самый молодой революционер арестован на том, что создал в столице «Союз борьбы за освобождение» — не меньше! неоднократно держал к рабочим «возмутительные» речи, писал листовки. Его пытали, морили? Нет, ему создали режим, содействующий умственной работе. В петербургской следственной тюрьме, где он просидел год и куда передавали ему десятки нужных книг, он написал большую часть «Развития капитализма в России», а кроме того, пересылал — легально, через прокуратуру! — «Экономические этюды» в марксистский журнал «Новое слово». В тюрьме он получал платный обед по заказанной диете, молоко, минеральную воду из аптеки, три раза в неделю домашние передачи. (Как и Троцкий в Петропавловке мог переносить на бумагу первый проект теории перманентной революции.)

Но потом–то его расстреляли по приговору Тройки? Нет, даже тюрьмы не дали, сослали. В Якутию, на всю жизнь?? Нет, в благодатный Минусинский край, и на три года. Его везут туда в наручниках, в вагон–заке? О нет! Он едет как вольный, он три дня беспрепятственно ходит ещё по Петербургу, потом и по Москве, ему же надо оставить конспиративные инструкции, установить связи, провести совещание остающихся революционеров. Ему разрешено и в ссылку ехать за собственный счёт, это значит: вместе с вольными пассажирами, — ни одного этапа, ни одной пересыльной тюрьмы по пути в Сибирь (ни на обратной, конечно, дороге) Ленин не изведал никогда. Потом в Красноярске ему ещё надо поработать в библиотеке два месяца, чтобы закончить «Развитие капитализма», и книга эта, написанная ссыльным, появляется в печати безо всякого затруднения со стороны цензуры (ну–ка, возьмите на нашу мерку)! Но на какие же средства он живёт в далёком селе, ведь он не найдёт себе работы? А он попросил казённое содержание, ему платят выше потребностей (хотя и мать его достаточно состоятельна и шлёт ему всё заказанное). Нельзя было создать условий лучших, чем Ленину в его единственной ссылке.

При исключительной дешевизне здоровая пища, изобилие мяса (баран на неделю), молока, овощей, неограниченное удовольствие охоты (недоволен своей собакой, ему всерьёз собираются прислать собаку из Петербурга, кусают на охоте комары — заказывает лайковые перчатки), излечился от желудочных и других болезней своей юности, быстро располнел. Никаких обязанностей, службы, повинностей, да даже жена и тёща его не напрягались: за 2 рубля с полтиной в месяц 15–летняя крестьянская девочка выполняла в их семье всю чёрную работу. Ленин не нуждался ни в каком литературном заработке, отказывался от петербургских предложений взять платную литературную работу— печатал и писал только то, что могло ему создать литературное имя.

Он отбыл ссылку (мог бы и «убежать» без затруднения, из осмотрительности не стал). Ему автоматически продлили? сделали вечную? Зачем же, это было бы противозаконно. Ему разрешено жить во Пскове, только ехать в столицу нельзя. Но он едет в Ригу, Смоленск. За ним не следят. Тогда со своим другом (Мартовым) он везёт корзину нелегальной литературы в столицу— и везёт прямо через Царское Село, где особенно сильный контроль (это они с Мартовым перемуд-

рили). В Петербурге его берут. Правда, корзины при нём уже нет, есть непроявленное химическое письмо Плеханову, где весь план создания «Искры», — но такими хлопотами жандармы себя не утруждают; три недели арестованный— в камере, а письмо — в их руках, и остаётся непроявленным.

И как же кончается вся эта самовольная отлучка из Пскова? Двадцатью годами каторги, как у нас? Нет, этими тремя неделями ареста. После чего его и вовсе уже отпускают— поездить по России, подготовить центры распространения «Искры», потом — и за границу, налаживать само издание («полиция не видит препятствий» выдать ему заграничный паспорт)!

Да что там. Он и из эмиграции пришлёт в Россию в энциклопедию («Гранат») статью о Марксе! — и здесь она будет напечатана[419]. Да и не она одна.

Наконец, он ведёт подрывную работу из австрийского местечка близ самой русской границы, — и не посылают же секретных молодцов — выкрасть его и привезти живьём. А ничего бы не стоило.

---

[419] Примечания: 419

Ну, представьте: БСЭ печатает эмигрантскую статью о Бердяеве!

Вот так можно проследить слабость и нерешительность царских преследований на любом крупном социал–демократе (а на Сталине бы — особенно, но там вкрадываются дополнительные подозрения). Вот у Каменева при обыске в Москве в 1904 отобрана «компрометирующая переписка». На допросе он отказывается от объяснений. И всё. И высылается… по месту жительства родителей.

Правда, эсеров преследовали значительно круче. Но как — круче? Разве мал был криминал у Гершуни (арестованного в 1903)? у Савинкова (в 1906)? Они руководили убийствами крупнейших лиц империи. Но — не казнили их. Тем более Марию Спиридонову, в упор ухлопавшую всего лишь статского советника (да ещё поднялся всеевропейский защитный шум), — казнить не решились, послали на каторгу[420]. А ну бы в 1921 у нас подавителя тамбовского (же!) крестьянского восстания застрелила семнадцатилетняя

[420] Примечания: 420

Освободила её от каторги Февральская революция. Зато с 1918 года М. Спиридонова арестовывалась Чекою несколько раз. Она шла по многолетнему Большому Пасьянсу социалистов, побывала в самаркандской, ташкентской, уфимской ссылках. Дальше след её теряется в каком–то из политизоляторов, где–то расстреляна (по слухам— в Орле). На Западе опубликована книга о Спиридоновой, там есть фотографии: все эти неистовые революционеры в скромной советской бедности в самаркандской ссылке, — да что ж они теперь не бегут?..

гимназистка, — сколько бы тысяч гимназистов и интеллигентов тут же было бы без суда расстреляно в волне «ответного» красного террора?

За мятеж на базе военного флота (Свеаборг) с гибелью нескольких сот невинных солдат — 8 расстрелянных при восьмистах осуждённых на сроки. (Из них–то несколько освободила Февральская революция из легендарного каторжного Зерентуя — где к моменту революции обнаружилось всего 22 политических каторжанина.)

А как наказывали студентов (за большую демонстрацию в Петербурге в 1901 году), вспоминает Иванов–Разумник: в петербургской тюрьме — как студенческий пикник: хохот, хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру. Иванов–Разумник даже имел наглость проситься у начальника тюрьмы сходить на спектакль гастролирующего Художественного театра — билет пропадал! А потом ему присудили «ссылку» — по его выбору в Симферополь, и он с рюкзаком бродил по всему Крыму.

Ариадна Тыркова о том же времени пишет: «Мы были подследственные, и режим был нестрогий». Жандармские офицеры предлагали им обеды из лучшего ресторана Донона. По свидетельству неутомимо–допытчивого Бурцева,

«петербургские тюрьмы были много человечнее европейских».

Леонида Андреева за написание призыва к московским рабочим поднять вооружённое (!) восстание для свержения (!) самодержавия… держали в камере целых 15 суток! (Ему и самому казалось, что— мало, ион добавлял: три недели.) Вот записи из его дневника тех дней[421]:

«Одиночка! Ничего, не так скверно. Устраиваю постель, придвигаю табурет, лампу, кладу папиросы, грушу… Читаю, ем грушу— совсем как дома… И весело. Именно весело». — «Милостивый государь! А, милостивый государь!» — зовёт его в кормушку надзиратель. Много книг. Записки из соседних камер.

В общем, Андреев признал, что в смысле помещения и питания жизнь в камере была у него лучше, чем та, которую он вёл студентом.

В это время Горький в Трубецком бастионе написал «Дети солнца».

После спада революции 1905–07 годов многие её активисты, какие–нибудь Дьячков–Тарасов и Анна Рак, не дожидались ареста, а просто уезжали за границу — и вот–то героями возвращались

---

[421] Примечания: 421
По книге В.Л.Андреева «Детство» (М.: Советский писатель, 1966).

после Февраля, вершить новую жизнь. Многие сотни таких.

Болыпевицкая верхушка издала о себе довольно бесстыдную саморекламу подвидом 41–го тома энциклопедии «Гранат» — «Деятели СССР и Октябрьской Революции. — Автобиографии и биографии». Какую из них ни читай, поразишься, сравнимо с нашими мерками, насколько безнаказанно сходила им их революционная работа. И в частности, насколько благоприятные были условия их тюремных заключений. Вот Красин: «Сидение в Таганке всегда вспоминал с большим удовольствием. После первых же допросов жандармы оставили его в покое (да почему же? — А/С), ион посвятил весь свой невольный досуг самой упорной работе: изучил немецкий язык и прочёл в оригинале почти все сочинения Шиллера и Гёте, познакомился с Шопенгауэром и Кантом, проштудировал логику Мил–ля, психологию Вундта…» и т. д. Для ссылки Красин избирает Иркутск, то есть столицу Сибири, самый культурный город её.

Радек в Варшавской тюрьме, 1906: «…сел на полгода, провёл [их] великолепно, изучая русский язык, читая Ленина, Плеханова, Маркса… в тюрьме написал первую статью… и был ужасно

горд, когда получил [в тюрьме] номер журнала Каутского со своей статьёй».

Или наоборот, Семашко: «Заключение [Москва, 1895] было необычайно тяжёлым»: после трёхмесячного сидения в тюрьме выслан на три года… в свой родной город Елец!

Славу «ужасной русской Бастилии» и создавали на Западе такие размякшие в тюрьме, какПарвус, своими напыщенно–сентиментальными приукрашенными воспоминаниями — в месть царизму.

Всю ту же линию можно проследить и на лицах мелких, на тысячах отдельных биографий.

Вот у меня под рукой энциклопедия, правда некстати — литературная, да ещё старая (1932 год), «с ошибками». Пока этих «ошибок» ещё не вытравили, беру наудачу букву «К».

Карпенко–Карый. Будучи секретарём городской полиции (!) в Елисаветграде, снабжал революционеров паспортами. (Про себя переводим на наш язык: работник паспортного отдела снабжал паспортами подпольную организацию.) За это он… повешен? Нет, сослан на… 5 (пять) лет… на свой собственный хутор! То есть на дачу. Стал писателем.

Кириллов В.Т. Участвовал в революционном

движении черноморских моряков. Расстрелян? Вечная каторга? Нет, три года ссылки вУсть–Сысольск. Стал писателем.

Касаткин И.М. Сидя в тюрьме, писал рассказы, а газеты печатали их. (У нас и отсидевшего–то не печатают.)

Карпову Евтихию после двух (!) ссылок доверили руководить императорским Александрийским театром и театром Суворина. (У нас бы его, во–первых, в столице не прописали, во–вторых, спецчасть не приняла бы даже суфлёром.)

Кржижановский в самый «разгул столыпинской реакции» вернулся из ссылки и (оставаясь членом подпольного ЦК) беспрепятственно приступил к инженерной деятельности. (У нас бы счастлив был, устроившись слесарем МТС.)

Хотя Крыленко в «Литературную энциклопедию» не попал, но на букву «К» справедливо вспомнить и его. За всё своё революционное кипение он трижды «счастливо избежал ареста»[422], а шесть раз арестованный, отсидел всего 14 месяцев. В 1907 году (опять–таки год реакции) обвинялся: в агитации в войсках и участии в

[422] Примечания: 422

Здесь и дальше — по его автобиографии в «Энциклопедическом Словаре Русского Библиографического Института Гранат». 7–е изд. Т. 41, ч. 1. М., [б/г], с. 237–245.

военной организации — и военно–окружным судом оправдан! В 1915 «за уклонение от военной службы» (а он — офицер, и идёт война!) этот будущий главковерх (и убийца другого главковерха) наказан тем, что… послан во фронтовую (нисколько не штрафную) часть! (Так царское правительство предполагало и победить немцев, и одновременно пригасить революцию…) И вот в тени его неподрезанных прокурорских крыл пятнадцать лет тянулись приговорённые в стольких процессах получать свою пулю в затылок.

И в ту же самую «столыпинскую реакцию» кутаисский губернатор В.А. Старосельский, который прямо снабжал революционеров паспортами и оружием, выдавал им планы полиции и правительственных войск, — отделался как бы не двумя неделями заключения[423].

Переведи на наш язык, у кого воображения хватает!

В эту самую полосу «реакции» легально выходит болыпе–вицкий философский и общественно–политический журнал «Мысль». А «реакционные» «Вехи» открыто пишут: «застаревшее самовластье», «зло деспотизма и рабства», — ни-

[423] Примечания: 423

«Товарищ губернатор» / Публ. И. Брайнин, Ф. Лимонов // Новый мир, 1966, № 2, с. 217–236.

чего, катайте, это у нас можно!

Строгости были тогда невыносимые. Ретушёр ялтинской фотографии В.К.Яновский нарисовал расстрел очаковских матросов и выставил у себя в витрине (ну как, например, сейчас бы на Кузнецком мосту выставить эпизоды новочеркасского подавления). Что же сделал ялтинский градоначальник? Из–за близости Ливадии он поступил особенно жестоко: во–первых, он кричал на Яновского! Во–вторых, он уничтожил… не фотографическую мастерскую Яновского, нет, и не рисунок расстрела, а — копию этого рисунка. (Скажут — ловок Яновский. Отметим — но и градоначальник не велел же бить при себе витрину.) В–третьих, на Яновского было наложено тягчайшее наказание: продолжая жить в Ялте, не появляться на улице… при проезде императорской фамилии.

Бурцев в эмигрантском журнале поносил даже интимную жизнь царя. Воротясь на родину (1914, патриотический подъём) — расстрелян? Неполный год тюрьмы со льготами в получении книг и письменных занятиях.

Абрам же Гоц во время той войны был ссыльным в Иркутске и… вёл газету циммервальдского направления, то есть против войны.

Топору невозбранно давали рубить. А топор своего до–рубится.

Когда же Шляпников, лидер «рабочей оппозиции», исконный металлист, был в 1929 сослан в свою первую ссылку (в Астрахань), то «без права общения с рабочими» и даже без права занять рабочую должность, как хотел.

Меньшевик Зурабов, учинивший скандал во 2–й Государственной Думе (поносил русскую армию), не был даже изгнан с заседания. Зато его сын не вылезал из советских лагерей с 1927 года. Вот и масштаб двух времён.

Когда был, как говорится, «репрессирован» Тухачевский, то не только разгромили и посадили всю его семью (уж не упоминаю, что дочь исключили из института), но арестовали двух его братьев с жёнами, четырёх его сестёр с мужьями, а всех племянников и племянниц разогнали по детдомам и сменили им фамилии наТомашевичей, Ростовых и т. д. Жена его расстреляна в казахстанском лагере, мать просила подаяние на астраханских улицах и умерла[424]. И то же можно

[424] Примечания: 424

Этот пример я привожу из–за родственников, невиновных родственников. Сам Тухачевский входит у нас теперь в новый культ, который я не собираюсь поддерживать. Он пожал то, что посеял, руководя подавлением Кронштадта и Тамбовского крестьянского восстания.

повторить о родственниках сотен других именитых казнённых. Вот что значит преследовать.

Главной особенностью преследований (не–преследований) в царское время было, пожалуй, именно: что никак не страдали родственники революционера. Наталья Седова (жена Троцкого) в 1907 беспрепятственно возвращается в Россию, когда Троцкий был — осуждённый преступник. Любой член семьи Ульяновых (которые в разное время тоже почти все арестовывались) в любой момент свободно получает разрешение выезжать за границу. Когда Ленин считался «разыскиваемый преступник» за призывы к вооружённому восстанию, — сестра его Анна легально и регулярно переводила ему деньги в Париж на его счёт в «Лионском кредите». И мать Ленина, и мать Крупской пожизненно получали высокие государственные пенсии за гражданско–генеральское или офицерское положение своих покойных мужей, — и дико было представить, чтоб стали их утеснять.

В таких–то условиях у Толстого и сложилось убеждение, будто не нужна политическая свобода, а нужно одно моральное усовершенствование.

Конечно, не нужна свобода тому, у кого она

уже есть. Это и мы согласимся: в конце–то концов дело не в политической свободе, да! Не в пустой свободе цель развития человечества. И даже не в удачном политическом устройстве общества, да! Дело, конечно, в нравственных основаниях общества! — но это в конце, а в начале? А— на первом шаге? Ясная Поляна в то время была открытым клубом мысли. А оцепили б её в блокаду, как квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя, а прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу — запросил бы тогда и Толстой политической свободы.

В самое страшное время «столыпинского террора» либеральная «Русь» на первой странице без помех печатала крупно: «Пять казней!.. Двадцать казней в Херсоне!» Толстой рыдал, говорил, что жить невозможно, что ничего нельзя представить себе ужаснее[425].

Вот уже упомянутый список «Былого»: 950 казней за 6 месяцев[426].

---

[425] Примечания: 425

Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. [М.]: ГИХЛ, 1955, с. 232, 233.

[426] Примечания: 426

Н.И. Фалиев. Шесть месяцев военно–полевой юстиции // Былое: Журнал, посвященный истории освободительного движения. Пб., 1907, № 2 (14), с. 80.

Берём этот номер «Былого». Обращаем внимание, что издан он был (февраль 1907) в самую полосу восьмимесячной (19 августа 1906— 19 апреля 1907) столыпинской «военной юстиции» — и составлен по печатным данным русских же телеграфных агентств. Ну как если бы в Москве в 1937 газеты бы печатали списки расстрелянных, и вышел бы сводный бюллетень, — а НКВД вегетариански бы помаргивало.

Во–вторых, этот восьмимесячный период «военной юстиции», ни до, ни после того в России не повторившийся, не мог быть продолжен потому, что «безвластная», «покорная» Государственная Дума не утвердила бы такой юстиции (даже на обсуждение Думы Столыпин вынести не решился).

В–третьих, обоснованием этой «военной юстиции» было: что в минувшие полгода произошли «бесчисленные убийства полицейских чинов по политическим побуждениям», многие нападения на должностных лиц[427], разлив по всей стране политически–уголовных и просто уголовных грабежей, убийств, террора, вплоть до взрыва на Аптекарском острове, где борцы за свободу убили и тяжело ранили за один раз 60 человек. А «если

[427] Примечания: 427
Тот же очерк «Былого», с. 45, не отрицает этих фактов.

государство не даёт отпора террористическим актам, то теряется смысл государственности». И вот столыпинское правительство в нетерпении и обиде на суд присяжных с его неторопливыми околичностями, с его сильной и неограниченной адвокатурой (это не наш облсуд или окружной трибунал, покорный телефонному звонку) — шагает к обузданию революционеров (и прямо — бандитов, стреляющих в окна пассажирских поездов, убивающих обывателей ради трёшницы–пятёрки) через малословные полевые суды. (Впрочем, ограничения такие: полевой суд может быть открыт лишь в месте, состоящем на положении военном или чрезвычайной охраны; собирается только по свежим, не позже суток, следам преступления и при очевидности преступного деяния.)

Если современники были так оглушены и возмущены, — значит, для России это было необычно!

В ситуации 1906–07 годов видно нам, что вину за полосу «столыпинского террора» должны принять революционеры–террористы.

Через сто лет после зарождения русского революционного террора мы уже без колебания можем сказать, что эта террористическая мысль,

эти действия были жестокой ошибкой революционеров, были бедой России и ничего не принесли ей, кроме путаницы, горя и запредельных жертв.

Перелистаем на несколько страниц тот же самый номер «Былого». Вот одна из первоначальных прокламаций 1862 года, откуда всё и пошло:

«Чего хотим мы? блага, счастья России; достижение новой жизни, жизни лучшей, без жертв невозможно потому, что у нас нет времени медлить — нам нужна быстрая и скорая реформа!»[428]

Какой ложный путь! Радетелям, им — медлить было некогда, они поэтому дали разрешение приблизить жертвами всеобщее благоденствие! Им — медлить было некогда, и вот мы, их правнуки, через 115 лет, не на той же самой точке (освобождение крестьян), но назад гораздо.

Признаем, что террористы были опережающими партнёрами столыпинских полевых судов.

Несравнимость столыпинского и сталинского времени для нас остаётся та, что при нас расправа была односторонней: рубили голову всего лишь

---

[428] Примечания: 428
Былое, 1907. № 2 (14), с. 82.

за вздох груди и даже меньше чем вздох[429].

«Ничего нет ужаснее», — воскликнул Толстой? А между тем это так легко представить—ужаснее. Ужасней, это когда казни не от поры до поры в каком–то всем известном городе, но всюду и каждый день, и не по двадцать, а по двести, в газетах же об этом ничего не пишут ни крупно, ни мелко, а пишут, что «жить стало лучше, жить стало веселей».

Разбили рыло, говорят— так и было.

Нет, не было так! Совсем не так, хотя русское государство уже тогда считалось самым угнетательским в Европе.

Двадцатые и тридцатые годы нашего века углубили человеческое представление о возможных степенях сжатия. Тот земной прах, та твердь земная, которая казалась нашим предкам уже предельно сжатой, теперь объяснены физиками как дырявое решето. Дробинка, лежащая посреди пустой стометровки, — вот модель атома. Открыли чудовищную «ядерную упаковку»: согнать эти дробинки–ядра вместе, со всех пустых стометро-

[429] Примечания: 429

Смело заявляю, что и по карательным бессудным экспедициям (подавление крестьян в 1918–19, Тамбов до 1921, Западная Сибирь до 1922, Кубань и Казахстан— 1930) наше время несравнимо превзошло размах и технику царских караний.

вок. Напёрсток такой упаковки весит столько, сколько наш земной паровоз. Но и эта упаковка ещё слишком похожа на пух: из–за протонов нельзя спрессовать ядра как следует. А вот если спрессовать одни нейтроны, то почтовая марка из такой «нейтронной упаковки» будет весить 5 миллионов тонн.

Вот так, совсем даже не опираясь на успехи физики, сжимали и нас!

Устами Сталина раз навсегда призвали страну отрешиться от благодушия! А «благодушием» Даль называет «доброту души, любовное свойство её, милосердие, расположение к общему благу». Вот отчего нас призвали отречься большевики, и мы отреклись поспешно, — от расположения к общему благу! Нам довольно стало нашей собственной кормушки.

Русское общественное мнение к началу века составляло воздух свободы. Царизм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, — гораздо раньше. Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городового хотя бы с долей симпатии— есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми,

не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор.

А у нас сейчас палачи, ставшие безработными, дай по спецназначению, — руководят… художественной литературой и культурой. Они велят воспевать их— как легендарных героев. И это называется у нас почему–то — патриотизмом.

Общественное мнение. Я не знаю, как определяют его социологи, но мне ясно, что оно может составиться только из взаимно влияющих индивидуальных мнений, выражаемых свободно и совершенно независимо от мнения правительственного, или партийного, или от голоса прессы.

И пока не будет в стране независимого общественного мнения — нет никакой гарантии, что всё многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнётся любой ночью, каждой ночью— вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днём.

Передовое Учение, как мы видели, не оберегло нас от этого мора.

Но я вижу, что мой оппонент кривится, моргает мне, качает: во–первых, враги услышат! во–вторых—зачем так расширительно? Ведь вопрос стоял гораздо уже: не — почему нас сажали? и

не — почему терпели это беззаконие остающиеся на воле? Они, как известно, «ни о чём не догадывались, просто верили партии» (расхожее место после XX съезда), что раз целые народы ссылают в 24 часа, — значит, виноваты народы. Вопрос моего оппонента в другом: почему уже в лагере, где мы могли бы и догадаться, почему мы там голодали, гнулись, терпели и не боролись? Им, не ходившим под конвоем, имевшим свободу рук и ног, простительно было и не бороться, — не могли ж они жертвовать семьями, положением, зарплатой, гонорарами. Зато теперь они печатают критические рассуждения и упрекают нас, почему мы, когда нам нечего было терять, держались за пайку и не боролись?

Впрочем, к этому ответу веду и я. Потому мы терпели в лагерях, что не было общественного мнения на воле.

Ибо какие вообще мыслимы способы сопротивления арестанта— режиму, которому его подвергли? Очевидно, вот они:

1. Протест.
2. Голодовка.
3. Побег.
4. Мятеж.

Так вот, как любил выражаться Покойник,

«каждому ясно» (а не ясно — можно втолковать), что первые два способа имеют силу (и тюремщики боятся их) только из–за общественного мнения! Без этого смеются они нам в лицо на наши протесты и голодовки.

Это очень эффектно: перед тюремным начальством разорвать на себе рубаху, как Дзержинский, и тем добиться своих требований. Но это только при общественном мнении. А без него — кляп тебе в рот, и ещё за казённую рубаху будешь платить.

Вспомним хотя бы знаменитый случай на Карийской каторге в конце прошлого века. Политическим объявили, что отныне они подлежат телесным наказаниям. Надежду Сигиду (она дала пощёчину коменданту… чтобы вынудить его уйти в отставку!) должны сечь первой. Она принимает яд и умирает, чтоб только не подвергнуться розгам. Вслед за ней отравляются ещё три женщины — и умирают! В мужском бараке вызываются покончить с собой 14 добровольцев,

но не всем удаётся[430]. В результате телесные наказания начисто навсегда отменены! Расчёт политических был: устрашить тюремное начальство. Ведь известие о карийской трагедии дойдёт до России, до всего мира.

Но если мы примерим этот случай к себе, мы прольём только слёзы презрения. Дать пощёчину вольному коменданту? Да ещё когда оскорбили не тебя? И что такого страшного, если немножко всыпят в задницу? Так зато останешься жить. А зачем ещё подруги принимают яд? А зачем ещё 14 мужчин? Ведь жизнь даётся нам один только раз! И важен — результат! Кормят, поят— зачем расставаться с жизнью? А может, амнистию дадут, может, зачёты введут?

Вот с какой арестантской высоты скатились мы. Вот как мы пали.

Но и как же поднялись наши тюремщики! Нет, это не карийские лопухи! Нет, они бы не просили над собой арестантского следствия! Если б даже

---

[430] Примечания: 430

Кстати, немаловажные подробности дают Е.Н.Ковальская и Г.Ф. Осмоловский (Карийская трагедия (1889): Воспоминания и материалы. Пб.: Гос. изд–во, 1920. — (Историко–революционная б–ка)). Сигида ударила и оплевала офицера совершенно ни за что, по «нервно–клинической обстановке» у каторжан. После этого жандармский офицер (Масюков) просил политкаторжанина (Осмоловского) произвести над ним следствие. Начальник каторги (Бобровский) умер в раскаянии перед каторжанами. (Эх, таких бы совестливых тюремщиков — нам!)

мы сейчас воспряли и возвысились — и 4 женщины и 14 мужиков, — мы все были бы расстреляны прежде, чем достали бы яд. (Да и откуда может быть яд в советской тюрьме?) А кто поспел бы отравиться — только облегчил бы задачу начальства. А остальным как раз бы вкатили розог за недонесение. И уж конечно слух о происшествии не растёкся бы даже за зону.

Вот в чём дело, вот в чём их сила: слух бы не растёкся! А если б и растёкся, то недалеко, глухой, газетами не подтверждённый, стукачами нанюхиваемый, — всё равно что и никакого. Общественного возмущения— не возникло бы. А чего ж тогда и бояться? А зачем тогда к нашим протестам прислушиваться? Хотите травиться — травитесь.

Обречённость же наших голодовок достаточно была показана в Части Первой.

А побеги? История сохранила нам рассказы о нескольких серьёзных побегах из царских тюрем. Все эти побеги, заметим, руководились и осуществлялись с воли — другими революционерами, однопартийцами бегущих, и ещё по мелочам с помощью многих сочувствующих. Как при самом побеге, так и при дальнейшем схороне и переправе бежавших участвовало много лиц.

(«Ага! — поймал меня Историк–Марксист. — Потому что население было за революционеров, и будущее — за них!» — «А может быть, — возражу я скромно, — ещё и потому, что это была весёлая неподсудная игра? — махнуть платочком из окна, дать беглецу переночевать в вашей спальне, загримировать его? За это ведь не судили. Сбежал из ссылки Пётр Лавров, — так вологодский губернатор (Хоминский) его гражданской жене выдал свидетельство на отъезд— догонять любимого… Даже вон за изготовление паспортов ссылали на собственный хутор. Люди не боялись— вы из опыта знаете, что это такое? Кстати, как получилось, что вы не сидели?» — «А это, знаете, была лотерея.. .»[431])

Впрочем, есть свидетельства и другого рода. Все вынуждены были читать в школе «Мать» Горького, и, может быть, кто–нибудь запомнил рассказ о порядках в нижегородской тюрьме: у надзирателей заржавели пистолеты, они забивают ими гвозди в стенку, никаких трудностей нет приставить к тюремной стене лестницу непокойно уйти на волю. А вот что пишет крупный полицейский чиновник Ратаев: «Ссылка существовала только

---

[431] Примечания: 431
Объяснение И. Эренбурга.

на бумаге. Тюрьмы не существовало вовсе. При тогдашнем тюремном режиме революционер, попавший в тюрьму, беспрепятственно продолжал свою прежнюю деятельность… Киевский революционный комитет, сидевший в полном составе в киевской тюрьме, руководил в городе забастовкой и выпускал воззвания»[432].

Мне недоступно сейчас собрать данные, как охранялись главнейшие места царской каторги, — но о таких отчаянных побегах, с шансами один против ста тысяч, какие бывали с каторги нашей, я оттуда не наслышан. Очевидно, не было надобности каторжанам рисковать: им не грозила преждевременная смерть от истощения на тяжёлой работе, им не грозило незаслуженное наращение срока; вторую половину срока они

---

[432] Примечания: 432

Письмо Л.А.Ратаева Н.П.Зуеву // Былое, 1917, № 2 (24), с. 194, 195. Там дальше и обо всей обстановке в России, на воле: «Секретной агентуры и вольнонаёмного сыска не существовало нигде (кроме столиц. — АС), наблюдение же в крайнем случае осуществлялось переодетыми жандармскими унтер–офицерами, которые, одеваясь в штатское платье, иногда забывали снимать шпоры… При таких условиях стоило революционеру перенести свою деятельность вне столиц, дабы… (его действия) остались для департамента полиции непроницаемой тайной. Таким образом создавались самые настоящие революционные гнёзда и рассадники пропагандистов и агитаторов…»

Наши читатели легко смекнут, насколько это отличалось от советского времени. Егор Сазонов, переодетый извозчиком, с бомбой под фартуком пролётки, целый день простоял у подъезда Департамента полиции (!!), ожидая убить министра Плеве, — и никто на него внимания не

обратил, никто не спросил! Каляев, ещё неумелый, напряжённый, день простоял у дома Плеве на Фонтанке, уверенный, что его арестуют, — а не тронули!.. О, крыловские времена!.. Так революцию делать нетрудно.

должны были отбывать в ссылке, и откладывали побег на то время.

Со ссылки же царской не бежал, кажется, только ленивый. Очевидно, редки были отметки в полиции, слаб надзор, никаких оперпостов по дороге; не было и ежедневной почти полицейской привязанности к месту работы; были деньги (или их могли прислать), места ссылки не были очень удалены от больших рек и дорог; опять–таки ничто не грозило тем, кто помогал беглецу, да и самому беглецу не грозил ни застрел при поимке, ни избиение, ни двадцать лет каторжных работ, как у нас. Пойманного обычно водворяли на прежнее место с прежним сроком. Только и всего. Игра беспроигрышная. Отъезд Фастенко за границу (Часть Первая, глава 5) типичен для этих предприятий. Но ещё, может быть, типичнее — побег изТуруханского края анархиста А.П.Улановского. Вовремя побега ему достаточно было в Киеве зайти в студенческую читальню и спросить «Что такое прогресс» Михайловского — как студенты его накормили, дали ночлег и денег на билет. А за границу он бежал так: просто пошёл по трапу иностранного парохода—ведь там патруль МВД не стоял! — и пригрелся у кочегарки. Но ещё чудней: во время войны 1914 он

добровольно вернулся в Россию — ивТуруханскую ссылку! Иностранный шпион? Расстрелять? Говори, гадина, кто тебя завербовал? Нет. Приговор мирового судьи: за трёхлетнее заграничное отсутствие из ссылки — или 3 рубля штрафу или 1 день ареста! Три рубля были большие деньги, и Улановский предпочёл один день ареста.

Гельфанд–Парвус, автор разрушительного «Финансового манифеста» (декабрь 1905), фактический направитель Петербургского Совета Рабочих Депутатов в 1905… был четвертован? Нет, приговорён к 3 (трём) годам ссылки в Туруханский край — и мог убежать уже из Красноярска (арестованных отпустили в город «запастись продуктами», Лев Дейч и не вернулся, но Парвус замешкался). Он проехал до Енисейска, только там подпоил единственного конвоира и ушёл. Пришлось ему лишне возвращаться по Енисею, переодевшись в мужичью одежду, он страдал от мужицкого окружения, грязи и блох. Затем он жил в Петербурге же, затем уехал за границу.

Наши же побеги, начиная с соловецких, в утлой лодочке через море или в трюме с брёвнами, и кончая жертвенными, безумными, безнадёжными рывками из позднесталинских лагерей (им посвящаются дальше несколько глав), — наши

побеги были затеями великанов, но великанов обречённых. Столько смелости, столько выдумки, столько воли никогда не тратилось на побеги дореволюционных лет— но те побеги легко удавались, а наши почти никогда.

— Потому что ваши побеги были по своей классовой сущности реакционны.

Неужели реакционен порыв человека перестать быть рабом и животным?..

Потому не удавались, что успех побега на поздних стадиях зависит оттого, как настроено население. Анаше население боялось помогать или даже продавало беглецов — корыстно или идейно.

И вот— общественное мненье!..

Что же касается арестантских мятежей, этак натри, на пять, на восемь тысяч человек, — история наших революций не знала их вовсе.

А мы — знали.

Но по тому же заклятью самые большие усилия и жертвы приводили у нас к самым ничтожным результатам.

Потому что общество не было готово. Потому что без общественного мнения мятеж даже в огромном лагере — не имеет никакого пути развития.

Так что на вопрос: «Почему терпели?»— пора ответить: а мы — не терпели! Вы прочтёте, что мы совсем не терпели. В Особлагах мы подняли знамя политических и стали

ими!

Глава 5. поэзия под плитой, ПРАВДА ПОД КАМНЕМ

В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ но неумел. Приехав в Экибастуз нашестом году заключения, я, напротив, задался сразу очистить ум от разных лагерных предположений, связей и комбинаций, которые не дают ему заняться ничем более глубоким. И я поэтому не влачил временного существования чернорабочего, как поневоле делают образованные люди, всё ожидающие удачи и ухода в придурки, — но здесь, на каторге, решил получить ручную специальность. В бригаде Баранюка нам (с Олегом Ивановым) такая специальность подвернулась— каменщиком. А при повороте судьбы я ещё побывал и литейщиком.

Сперва были робость и колебания: верно ли? выдержу ли? Неприспособленным головным существам, нам ведь и на равной работе трудней, чем однобригадникам. Но именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, — это общее, твёрдое, кремнистое дно, — начались самые важные годы

моей жизни, придавшие окончательные черты характеру. Теперь как бы уже ни изменялась вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там.

А очищенная отмути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на объект, где–нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив[433].

Но как же писать в Особом лагере? Короленко рассказывает, что он писал и в тюрьме, однако — что там были за порядки! Писал карандашом (а почему не отобрали, переламывая рубчики одежды?), пронесенным в курчавых волосах (да почему ж не стригли наголо?), писал в шуме (сказать спасибо, что было где присесть и ноги вытянуть). Да ещё настолько было льготно, что

---

[433] Примечания: 433

Ведь какой меркой мерить! Пишут вот о Василии Курочкине, что 9 лет его жизни, после закрытия журнала «Искра», были для него «годами подлинной агонии»: он остался без своего органа печатиХ А мы, о своём органе печати и мечтать не смеющие, — до дикости не понимаем: комната у него была, тишина, стол, чернила, бумага, и шмонов не было, и написанного никто не отбирал, — почему, собственно, агония?

рукописи эти он мог сохранить и на волю переслать (вот это больше всего непонятно нашему современнику!).

У нас так не попишешь, даже и в лагерях. (Даже заготовки фамилий для будущего романа были очень опасны: списки организации? Я записывал лишь корневую основу их в виде существительного или превращая в прилагательное.) Память— это единственная заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы. Поначалу я мало верил в возможности памяти и потому решил писать стихами. Это было, конечно, насилие над жанром. Позже я обнаружил, что и проза неплохо утолакивается в тайные глубины того, что мы носим в голове. Освобождённая от тяжести суетливых ненужных знаний, память арестанта поражает ёмкостью и может всё расширяться. Мы мало верим в нашу память!

Но прежде чем что–то запомнить, хочется записать и отделать на бумаге. Карандаш и чистую бумагу в лагере иметь можно, но нельзя иметь на-

писанного (если это — не поэма о Сталине)[434]. И если ты не придуряешься в санчасти и не прихлебатель КВЧ, ты утром и вечером должен пройти обыск на вахте. Я решил писать маленькими кусочками по 12–20 строк, отделав — заучивать и сжигать. Я твёрдо положил не доверять простому разрыву бумаги.

В тюрьмах же всё слагание и шлифовку стиха приходилось делать в уме. Затем я наламывал обломков спичек, на портсигаре выстраивал их в два ряда—десять единиц и десять десятков, и, внутренне произнося стихи, с каждой строкой перемещал одну спичку в сторону. Переместив десять единиц, я перемещал один десяток. (Но даже и эту работу приходилось делать с оглядкой: и такое невинное передвигание, если б оно сопровождалось шепчущими губами или особым выражением

лица, навлекло бы подозрение стукачей. Я старался передвигать как бы в полной рассеянности.) Каждую пятидесятую и сотую строку я запоминал особо — как контрольные. Раз в месяц

---

[434] Примечания: 434

Случай такого «творчества» описывает Дьяков: Дмитриевский и Четвериков излагают начальству сюжет задуманного романа и получают одобрение. Опер следит, чтоб их не посылали на общие. Потом их тайком выводят из зоны («чтоб бандеровцы не растерзали»), там они продолжают. Тоже — поэзия под плитой. Да где ж этот роман?

я повторял всё написанное. Если при этом на пятидесятое или сотое место выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал ускользнувших беглянок.

На Куйбышевской пересылке я увидел, как католики (литовцы) занялись изготовлением самодельных тюремных чёток. Они делали их из размоченного, а потом промешанного хлеба, окрашивали (в чёрный цвет— жжёной резиной, в белый — зубным порошком, в красный— красным стрептоцидом), нанизывали во влажном виде на ссученные и промыленные нитки и давали досохнуть на окне. Я присоединился к ним и сказал, что тоже хочу молиться по чёткам, но в моей особой вере надо иметь бусинок вкруговую сто штук (уж позже понял я, что довольно — двадцатки, и удобней даже, и сам сделал из пробки), каждая десятая должна быть не шариком, а кубиком, и ещё должны на ощупь отличаться пятидесятая и сотая. Литовцы поразились моей религиозной ревности (у самых богомольных было не более чем по сорок бусинок), но с душевным расположением помогли составить такие чётки, сделав сотое зерно в виде тёмно–красного сердечка. С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда, я отмеривал и перещупывал

чётки в широкой зимней рукавице — на разводе, на перегоне, во всех ожиданиях, это можно было делать стоя, и мороз не мешал. И через обыски я проносил их так же в ватной рукавице, где они не прощупывались. Раз несколько находили их надзиратели, но догадывались, что это для молитвы, и отдавали. До конца срока (когда набралось у меня уже 12 тысяч строк), а затем ещё и в ссылке помогало мне это ожерелье писать и помнить.

Но и это ещё не всё так просто. Чем больше становится написанного, тем больше дней в каждом месяце съедают повторения. А особенно эти повторения вредны тем, что написанное примелькивается, перестаёшь замечать в нём сильное и слабое. Первый вариант, и без того утверждённый тобою в спешке, чтобы скорее сжечь текст, — остаётся единственным. Нельзя разрешить себе роскоши на несколько месяцев его отложить, забыть, а затем взглянуть свежими критическими глазами. Поэтому нельзя написать по–настоящему хорошо.

А с клочками несожжёнными медлить было нельзя. Три раза я крупно сними попадался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу, а заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно

ото всех, слишком близко к зонному ограждению (чтобы было тише), и писал, маскируя свой клочок в книжице. Старший надзиратель Татарин подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу.

— А ну! — потребовал он бумажку. Я встал, холодея, и подал бумажку. Там стояло:

Всё наше нам восполнится,
Вернётся нам в отдар.
Пять суток пеших, помнится,
Из Остероде в Бродницы
Нас гнал [конвой] к [азахов] и т [атар].

Если бы «конвой» и «татар» были написаны полностью, поволок бы меня Татарин к оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были немы:

Нас гнал — — — — — к — — — — — и т — — — — — — .

У каждого свой ход мысли. Я–то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план ограждения и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал, морща лоб. «Нас гнал» уже на что–то ему намекало. Но что особенно заставило его мозг работать, это — «пять суток». Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты: пять суток— ведь это было стандартное лагерное сочетание, так отдавалось распоряжение о

карцере.

— Кому пять суток? О ком это? — хмуро добивался он. Еле–еле я убедил его (названьями Остероде и Бродницы),

что это я вспоминаю чьё–то фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу.

— А зачем тебе вспоминать? Не положено вспоминать! — угрюмо предупредил он. — Ещё раз тут ляжешь— смотри–и!..

Сейчас об этом рассказываешь, — как будто незначительный случай. Но тогда для ничтожного раба, для меня это было огромное событие: я лишался лежать в стороне от шума и, попадись ещё раз тому же Татарину с другим стишком, — на меня вполне могли бы завести следственное дело и усилить слежку.

И бросить писать я уже не мог!..

В другой раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк шестьдесят из пьесы («Пир победителей»), и листика этого не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прочёркнуты места многих слов. Надзиратель, простодушный широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу:

— Письмо? — спросил он.

(Письмо, которое носилось на объект, пахло

только карцером. Но странное оказалось бы «письмо», если бы его передали оперу!)

— Это — к самодеятельности, — обнаглел я. — Пьеску вспоминаю. Вот постановка будет— приходите.

Посмотрел–посмотрел парень на ту бумажку, на меня, сказал:

— Здоровый, аду–урак!

И порвал мой листик надвое, начетверо, навосьмеро. Я испугался, что он бросит наземь, — ведь обрывки были ещё крупны, здесь, перед вахтой, они могли попасться и более бдительному начальнику, вон и сам начальник режима Мачеховский в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но, видно, приказ у них был— не сорить перед вахтой, чтобы самим же не убирать, и порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошёл сквозь ворота и поспешил бросить их в печку.

А в третий раз у меня ещё не сожжён был изрядный кусок поэмы, но, работая на постройке БУРа, я не мог удержаться и написал ещё «Каменщика». За зону мы тогда не выходили, и, значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Уже был «Каменщику» день третий, я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его

в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к окраине зоны, и думать забыл, что это— недалеко оттого места, где недавно ушёл под проволоку Тэнно. А надзиратель, видимо, таился в засаде, он сразу взял меня за шиворот и в темноте повёл в БУР. Пользуясь темнотой, я в кармане осторожно скомкал своего «Каменщика» и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги.

А что у меня лежит ещё кусок поэмы — я совсем забыл. В БУРе меня обыскали и нашли, на счастье почти не криминальный, фронтовой кусок (из «Прусских ночей»).

Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочёл.

— Что это?

— Твардовский! — твёрдо ответил я. — Василий Тёркин.

(Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским!)

— Твардо–овский! — с уважением кивнул сержант. — А тебе зачем?

— Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда.

Отобрали у меня оружие — половину бритвен-

ного лезвия, а поэму отдали, и отпустили бы, и я бы ещё сбегал найти «Каменщика». Но за это время проверка уже прошла, и нельзя было ходить по зоне, — надзиратель сам отвёл меня в барак и запер там.

Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести теперь комочек моего «Каменщика»? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения оставался явным. И по тексту ясно было, что автор— в бригаде, кладущей БУР. А уж среди западных украинцев найти меня было нетрудно.

И так всё моё многолетнее писанье— уже сделанное, а пуще задуманное, — всё металось где–то по зоне или по степи беспомощным бумажным комочком. А я — молился. Когда нам плохо— мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо.

Утром по подъёму, впять часов, захлебываясь от ветра, я пошёл на то место. Даже мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было и искать! Оттого места ветер дул в сторону штабного барака, потом режимки (где тоже часто снуют надзиратели и много переплетенной проволоки), потом за зону — на улицу посёлка. Час до рассвета я бродил нагнувшись, всё зря. И уже

исчаялся. А когда рассвело — комочек забелел мне в трёх шагах от того места, где я его бросил! — ветром покатило его вбок и застромило между лежащими досками.

Я до сих пор считаю это чудом.

Так я писал. Зимой— в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне ещё не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока явы–шлёпывал прошлые носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал её вкус, не слышал окружающих— всё лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонне по степи, — а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актёра.

Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под неё, в буран переходили по сугробу, — а для меня проволоки как не было, я всё время был в своём долгом далёком побеге, но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы.

Я понимал, что не единственный я такой, что я

прикасаюсь к большой Тайне, эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных островах Архипелага, чтобы в какие–то будущие годы, может быть уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу.

В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовавшем, я прочёл первый сборничек стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом:

Я знаю сам, что это — не игра,
Что это — смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради.

Он тоже писал в лагере! — ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в темноту:

Ведь только длинный ряд могил —
Моё воспоминанье,
Куда и я бы лёг нагим,
Когда б не обещанье
Допеть, доплакать до конца
Во что бы то ни стало,
Как будто в жизни мертвеца
Бывало и начало…

Сколько было нас таких на Архипелаге? Я уверен: гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить, так

и погибло в памяти. А кто–то записал и спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал места. Кто–то отдал хранить, но в небрежные или, напротив, слишком осторожные руки.

И даже на островке Экибастуза — разве было нам узнать друг друга? приободрить? поддержать? Ведь мы по–волчьи прятались ото всех и, значит, друг от друга тоже. Но даже и при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких.

Неожиданно познакомился я, через баптистов, с духовным поэтом — Анатолием Васильевичем Силиным. Он был тогда лет за сорок. Лицо его не казалось ничуть примечательным.

Все его состриженные и сбритые волосы прорастали рыженькими, и брови были рыжеваты. Повседневно он был со всеми уступчив, мягок, но сдержан. Лишь когда мы основательно разговорились и по нерабочим воскресеньям стали часами гулять по зоне, и он читал мне свои очень длинные духовные поэмы (он писал их тут же, в лагере, как и я), я в который раз поразился, как обманчиво бывают скрыты в рядовом облике— нерядовые души.

Бывший беспризорник, воспитанник детдома, атеист, он в немецком плену добрался до религиозных книг и захвачен был ими. С тех пор он стал

не только верующим человеком, но — философом и богословом! А так как именно «с тех пор» он и сидел непрерывно в тюрьме или в лагере, то весь этот богословский путь ему пришлось пройти в одиночку, ещё раз открывая для себя уже и без него открытое, может быть блуждая, — ведь ни книг, ни советчиков не было у него «с тех пор». Сейчас он работал чернорабочим и землекопом, силился выполнить невыполнимую норму, возвращался с подгибающимися коленями и трясущимися руками — но и днём и вечером в голове его кружились ямбы его поэм, все четырёхстопные с вольным порядком рифмовки, слагаемые от начала до конца в голове. Я думаю, тысяч до двадцати он уже знал к тому времени строк. Он тоже относился к ним служебно: способ запомнить и способ передать другим.

Его мировосприятие очень украшалось и отеплялось его ощущением Дворца Природы. Он восклицал, наклоняясь над редкою травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне:

— Как прекрасна земная трава! Но даже её отдал Творец в подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть мы!

— А как же: «Не любите мира и того, что в мире»? (Сектанты часто повторяли это.)

Он улыбался извинительно. Он умел этой улыбкой примирять:

— Да даже в плотской земной любви проявляется наше высшее стремление к Единению!

Теодицею, то есть оправдание, почему зло должно быть в мире, он формулировал так:

Дух Совершенства оттого Несовершенство допускает —

Страданье душ, что без него Блаженства цену не познают.

Суров закон, но только им Для малых смертных достижим Великий вечный мир.

Страдания Христа в человеческой плоти он дерзновенно объяснял не только необходимостью искупить людские грехи, но и желанием Бога перечувствовать земные страдания. Силин смело утверждал:

— Об этих страданиях Бог знал всегда, но никогда раньше не чувствовал их!

Равно и об Антихристе, который

В душе свободной человека Стремленье к свету извратил И ограничил светом века,

Силин находил свежие человеческие слова:

Блаженство, данное ему, Великий ангел отвергал, Когда, как люди, не страдал. Без скорби даже у него Любовь не знала совершенства.

Сам мыслящий так свободно, Силин находил в своём широком сердце приют для всех оттенков христианства:

… Суть их та, Что и в учении Христа Своеобразен всякий гений.

По поводу запальчивого недоумения материалистов о том, как мог дух породить материю, Силин только улыбался:

— Они не хотят задуматься над тем — а как могла грубая материя породить Дух? В таком порядке — разве это не чудо? Да это было бы чудо ещё большее!

Мой мозг был переполнен собственными стихами, — и лишь крохи удалось мне сохранить от слышанных поэм Силина— в опасении, что сам он, может быть, не сохранит и ничего. В одной из поэм его излюбленный герой с античным греческим именем (забыл я его) произносил воображаемую речь на ассамблее Организации Объединённых Наций — духовную программу для целого человечества. В четырёх навешанных номерах, истощённый обречённый раб, — этот поэт имел в груди больше сказать живущим, чем целое стадо утвердившихся в журналах, издательствах, на радио (что в Союзе, что на Западе) — и никому, кроме себя, не нужных.

До войны Анатолий Васильевич окончил пединститут по литературному факультету. Сейчас оставалось ему, как и мне, лет около трёх до «освобождения» в ссылку. Его единственной специальностью было— преподавание литературы в школе. Представлялось маловероятным, чтобы допустили нас, бывших арестантов, до школы. Ну а если?

— Не стану же я внушать детям ложь! Я скажу детям правду о Боге, о жизни Духа.

— Но вас уволят после первого же урока! Силин опустил голову, ответил тихо:

— Пусть.

И видно было, что он не дрогнет. Не станет он кривить душой для того, чтобы держаться за классный журнал, а не за кирку.

С жалостью и восхищением смотрел я на этого рыженького невзрачного человека, не знавшего родителей, не знавшего наставников, которому вся жизнь досталась также трудно, как лопатой ворочать экибастузский каменистый грунт.

С баптистами Силин ел из одного котелка, делил хлеб и приварок. Конечно, он нуждался в благодарных слушателях, с кем–то вместе должен был читать, толковать Евангелие и таить саму книжечку. Но собственно–православных он то ли

не искал (подозревая, что они могут отвергнуть его за ереси), то ли не находил: в нашем лагере кроме западных украинцев их было мало или не выделялись они последовательностью поведения. Баптисты 5КѲ КЭ.К будто уважали Силина, прислушивались к нему, причисляли даже к своей общине, однако им тоже не нравилось в нём всё еретическое, они надеялись постепенно сделать его своим. Силин блек, когда разговаривал со мной в их присутствии, распускался он без них. Трудно было ему обрубить себя по их вере, казалось— слишком суженной или обеднённой, хотя вера у них— очень твёрдая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу.

Именно потому и искореняют их так решительно. В 1948–50 годах только за принадлежность к баптистской общине многие сотни их получали по 25 лет заключения и отправлялись в Особлаги (ведь община — это организация!)[435].

[435] Примечания: 435

Преследование их в хрущёвские времена лишь в сроках послабело, но не в сути (см. Часть Седьмую).

* * *

В лагере — не как на воле. На воле каждый старается неосторожно подчеркнуть и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении, наоборот, все обезличены— одинаковой стрижкой, одинаковой небритостью, одинаковыми шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, загаром, грязью, тяжёлой работой. Чтобы сквозь обезличенную приниженную наружность различить свет души— надо приобрести навык.

Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому. Происходит безотчётное сознакомление и собирание подобных.

Быстрее и лучше всего узнать человека, если узнаёшь хоть осколочек его биографии. Вот работают рядом землекопы. Пошёл густой мягкий снег. Потому ли, что скоро перерыв, — бригада вся ушла в землянку. А один— остался стоять. На краю траншеи он оперся о заступ и стоит совсем неподвижно, как будто ему так удобно, как статуя. И, как статуе, снег засыпает ему голову, плечи, руки. Безразлично ему это? или даже приятно? Он смотрит сквозь эту кишь снежинок — на зону, на белую степь. У него широкая кость, широкие

плечи, широкое лицо, обросшее светлой жёсткой щетиной. Он всегда основательный, медленный, очень спокойный. Стоять он остался — смотреть на мир и думать. Здесь его нет.

Я незнаком с ним, но его друг Редькин рассказывал мне о нём. Этот человек— толстовец. Он вырос в отсталом представлении, что нельзя убивать (даже во имя Передового Учения) и потому нельзя брать в руки оружия. В 1941 его мобилизовали. Он кинул оружие и близ Кушки, куда был прислан, перешёл афганскую границу. Никаких немцев тут не было и не ожидалось, и спокойно бы он прослужил всю войну, ни разу не выстрелив по живому, — но даже за спиной таскать это железо было противно его убеждениям. Он рассчитывал, что афганцы уважат его право не убивать людей и пропустят в веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шкурой, как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковало беглеца в колодки. И именно так, в сжимающих ноги колодках, без движения, продержало его три года в тюрьме, ожидая, чья возьмёт. Верх взяли Советы — и афганцы услужливо вернули им дезертира. Отсюда только и пошёл считаться его нынешний срок.

И вот он стоит неподвижно под снегом, как часть этой природы. Разве родило его на свет— государство? Почему же государство присвоило себе решать—как этому человеку жить?

Иметь своим соотечественником Льва Толстого мы не возражаем, это — марка. И почтовую можно выпустить. И иностранцев можно свозить в Ясную Поляну. И мы охотно обсосём, как он был против царизма и как он был предан анафеме (у диктора даже дрогнет голос). Но если кто–нибудь, землячки, принял Толстого всерьёз, если вырос у нас живой толстовец, — эй, поберегись! — не попадайся под наши гусеницы!

.. .Иногда на стройке побежишь попросить у заключённого десятника складной метр — замерить надо, сколько выложили. Метром этим он очень дорожит, а тебя в лицо не знает — тут много бригад, но почему–то сразу безоружно протянет тебе свою драгоценность (в лагерном понимании это просто глупость). А когда ты ему этот метр ещё и вернёшь, — он же тебя будет очень благодарить. Как может быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него. Ах, он, оказывается, поляк, зовут его Юрий Венгерский. Ты ещё о нём услышишь.

...Иногда идёшь в колонне, и надо бы чётки в

рукавице перебирать или думать над следующими строфами, — но уж очень занятный окажется с тобой в пятёрке сосед — новое лицо, бригаду новую послали на ваш объект. Пожилой интеллигентный симпатичный еврей с выражением умно–насмешливым. Его фамилия Масамед, он кончил университет… какой, какой? Бухарестский, по кафедре биопсихологии. Такие есть у него между прочим специальности — физиономист, графолог. А сверх того он — йог и готов хоть завтра начать с тобой курс хатха–йоги. (Да ведь беда: слишком малые сроки дают нам в этом университете. Задыхаюсь! нет времени всё охватить!)

Потом я ещё присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соотечественники предлагали ему устроиться в контору, он не пошёл: ему важно показать, что и еврей может отлично работать на общих. И в пятьдесят лет он бесстрашно бьёт киркой. Но, правда, как истый йог, владеет своим телом: при десяти градусах Цельсия он раздевается и просит товарищей облить его из брандспойта. Он ест не как все мы—поскорее затолкнуть эту кашу в рот, а— отвернувшись, сосредоточенно, медленно, маленькими глоточ-

ками, специальной крохотной ложечкой[436].

…Так бывает на переходе не раз, что сведёшь интересное новое знакомство. Но вообще–то в колонне не всегда развернёшься: кричит конвой, шипят соседи («из–за вас — и нас…!»), на работу мы идём вялые, ас работы слишком торопимся, тут ещё ветер откуда–нибудь в рыло. И вдруг… — ну, уж это случай совсем «нетипичный», как говорят соцреалисты. Незаурядный какой–то случай.

В крайнем ряду идёт маленький человечек с густой чёрной бородой (в последний раз арестован с нею и на фотокарточке снят таким, потому и в лагере ему не сбрили). Шагает он бодро, с сознанием достоинства, и несёт под мышкой перевязанный рулон ватмана. Это— его рацпредложение или изобретение, новинка какая–то, которой он гордится. Он начертил её на производстве, носил кому–то показывать в лагерь, теперь опять несёт на работу. И вдруг злой ветер вырывает рулон из–под его руки и катит от колонны прочь. Естественным движением Арнольд Раппопорт (читатель его уже знает) делает за рулоном первый шаг, второй, третий — но рулон

---

[436] Примечания: 436

А впрочем— скоро умрёт как простой смертный от простого разрыва сердца.

катится дальше, между двумя конвоирами, уже за оцепление! — тут бы Раппопорту и остановиться, ведь «шаг вправо, шаг влево… без предупреждения!», но он — вот он — ватман! — Раппопорт скачет за ним, согнутый, с протянутыми вперёд руками, — злой рок уносит его техническую идею! — Арнольд вытянул руки, пальцы как грабли — варвар! не тронь мои чертежи! Колонна увидела, замялась и сама собою стала. Автоматы вскинуты, затворы щёлкнули!.. Пока всё типично, но вот тут начинается нетипичное: не нашлось дурака! никто не стреляет! варвары поняли, что это — не побег! Даже в замороченные их мозги вошёл понятным этот образ: автор гонится за убегающим творением. Пробежав ещё шагов пятнадцать за черту конвоя, Раппопорт ловит рулон, распрямляется и очень довольный возвращается в строй. Возвращается — с того света…

Хотя Раппопорт отхватил гораздо больше средней лагерной нормы (после детского срока и после десятки была ссылка, а теперь опять десятка), он жив, подвижен, блещет глазами, а глаза его, хоть и всегда весёлые, но созданы для страдания, очень выразительные глаза. Он гордится, что годы тюрьмы ничуть его не состарили, не сломили. Впрочем, как инженер, он всё время работает

каким–нибудь производственным придурком и ему можно бодриться. Он оживлённо относится к своей работе, но ещё сверх того вынашивает творения для души.

Это— тот раскидистый характер, который всё бы хотел охватить. Когда–то он подумывал написать вот такую книгу, как у меня сейчас, — всё о лагерях, но так и не собрался. Над другим его творением мы, его друзья, смеёмся: Арнольд уже не первый год терпеливо составляет универсальный технический справочник, который охватит все разветвления современной техники и естествознания (и виды радиоламп, передний вес слона) и который должен быть… карманным. Наученный этим смехом, ещё один свой любимый труд Раппопорт мне показывает втайне. В клеёнчатой чёрной тетрадке— трактат «О любви», — новый, потому что стендалевский его совершенно не удовлетворяет. Это ещё пока незавершённые и несвязанные друг с другом заметки. Но для человека, полжизни проведшего в лагерях, как это целомудренно. Вот немножко оттуда[437]:

— Обладать нелюбимой — несчастный удел нищих телом и духом. А мужчины хвастают этим

[437] Примечания: 437

С тех пор прошло много лет, Раппопорт свой трактат забросил, и я пользуюсь его разрешением.

как «победой».

— Обладание, не подготовленное органическим развитием чувства, приносит не радость, а стыд, отвращение. Мужчины нашего века, всю энергию отдающие заработкам, службе, власти, утеряли ген высшей любви. Напротив, для безошибочного женского инстинкта обладание — только первая ступень настоящей близости. Только после него женщина признаёт мужчину за родного и начинает говорить ему «ты». Даже случайно отдавшаяся женщина испытывает прилив благодарной нежности.

— Ревность— это оскорблённое самолюбие. Настоящая любовь, лишившись ответа, не ревнует, а умирает, окостеневает.

— Наряду с наукой, искусством и религией, любовь— это тоже способ познания мира.

Совмещая в себе такие противоположные интересы, знает Арнольд Львович и разных людей. Он знакомит меня с человеком, мимо которого я прошёл бы, не заметив: на первый взгляд просто доходяга обречённый, дистрофик, ключицы над распахнутой лагерной курточкой выпирают, как у мертвеца. При его долговязости худоба особенно поражает. Он смугл и от природы, и ещё опалилась его бритая голова под казахстанским

солнцем. Он ещё таскается за зону, ещё держится за носилки, чтобы не упасть. Это— грек, и опять поэт! ещё один! Книга стихов его на новогреческом издана в Афинах. Но поскольку он узник не афинский, а советский (и подданный советский), газеты наши не проливают о нём слез.

Он средних лет, а вот уже у смерти. Я жалко и неумело пытаюсь отвеять от него эти мысли. Он мудро усмехается и не лучшим русским языком объясняет мне, что в смерти страшна не сама смерть вовсе, а только моральная подготовка к ней. Ему уже было и страшно, и горько, и жалко, и он уже отплакал, и вот уже вполне пережил свою неизбежную смерть, и вполне готов. И осталось только домереть его телу.

Сколько же среди людей поэтов! — так много, что поверить нельзя. (Меня это иногда даже в тупик ставит.) Этот грек ждёт смерти, а вот эти два молодых ждут только конца срока и будущей литературной известности. Они поэты— открытые, они не таятся. Общее у них то, что они оба какие–то светленькие, чистые. Оба— недоучившиеся студенты. Коля Боровиков— поклонник Писарева (и, значит, враг Пушкина), работает фельдшером санчасти. Тверичанин Юрочка Киреев — поклонник Блока и сам пишущий под Блока — ходит

за зону и работает в конторе мехмастерских. Его друзья (а какие друзья, — на двадцать лет старше и отцы семейств) смеются над ним, что в ИТЛовском лагере на Севере какая–то всем доступная румынка предлагала ему себя, а он не понял и писал ей сонеты. Когда смотришь на его чистую мордочку— очень веришь этому. Проклятье юношеской девственности, которую теперь надо тащить через лагеря.

.. .К одним людям присматриваешься ты, другие — к тебе. В большом бестолковом бараке, где живут, снуют и лежат четыреста человек, я после ужина и во время нудных вечерних проверок читаю второй том далевского словаря — единственную книгу, которую довёз до Экибастуза, а здесь вынужден был обезобразить штампом: «Степлаг. КВЧ». Я никогда его не листаю, потому что за хвостик вечера едва прочитываю полстраницы. Так и сижу или бреду по проверке, уткнувшись водно место книги. Я уже привык, что все новые спрашивают, что это за толстая книга, и удивляются, на чёрта я её читаю. «Самое безопасное чтение, — отшучиваюсь я. — Новой

статьи не схватишь».

А что не опасно читать в Особлаге? Александр Стотик, экономист в Джезказганском отделении,

тайком по вечерам читал адаптированного «Овода». Всё же был на него донос. На обыск пришёл сам начальник отделения и свора офицеров: «Американцев ждёшь?» Заставили его читать по–английски вслух. «Сколько лет сроку осталось?» — «Два года». — «Будет двадцать!» Да ещё и стихи нашли: «Любовью интересуешься?.. Создайте ему такие условия, чтобы у него не только английский, но и русский из головы вылетел!» (Рабы–придурки ещё шипели на Стотика: «И нас подводишь! Ещё и нас разгонят!»)

Но много интересных знакомств происходит и вокруг этой книги. Вот подходит ко мне маленький человек, похожий на петушка— с задорным носом, острым насмешливым взглядом, и говорит, певуче окая:

— Разрешите пОинтересОваться, чтО этО у вас за книга?

Слово за слово, а потом воскресенье за воскресеньем, месяц за месяцем, в этом человеке распахивается передо мной микромир, где густо собрана история моей страны за полстолетия. Сам Василий Григорьевич Власов (тот самый, из Кадыйского процесса, уже 14 лет оттянувший из своей двадцатки) считает себя экономистом и политическим деятелем и понятия не имеет, что

он — художник слова, только устного. Расскажет ли он о сенокосе, о купеческой лавке (мальчишкой работал), о красноармейской части, старой усадьбе, палаче из Губдезертира или ненасытной бабе из пригорода— и всё это вылепленное стало передо мной и усвоено так прочно, как будто пережито мной самим. Записать хочется тут же— дане запишешь! Вспомнить бы слово в слово через десять лет, да не вспомнишь!..

Замечаю, что на меня и мою книгу часто поглядывает искоса, но заговаривать не решается худощавый долгоносый вытянутый молодой человек, какой–то не по–лагерному воспитанный, даже робкий. Знакомимся и с ним. Он говорит тихим застенчивым голосом, русские слова подыскивает с трудом и делает уморительные ошибки, тут же искупляемые улыбкой. Выясняется, что он— венгр, зовут его Янош Ро–жаш. Показываю я ему словарь Даля, и он кивает высохшим от лагерного изнурения лицом: «Да–да, нужно внимание отвлекать на посторонних вещей, не думать об одной еде». Ему только двадцать пять лет, но нет молодого румянца на его щеках; сухая тонкая кожа, провяленная на ветрах, натянута как будто прямо на продолговатые узкие кости черепа. У него болят суставы, огненный ревматизм, полу-

ченный на северном лесоповале.

Здесь, в лагере, есть два–три его соотечественника, но они повседневно упёрты водно: как прожить? как наесться? АЯнош съедает безропотно, что ему выписал бригадир, и, полуголодный, не разрешает себе ничего другого искать. Он всматривается, вслушивается, он хочет понять. Что же понять?., нас он хочет понять, нас, русских!

— Моя личная судьба совсем осерел, когда я узнал тут людей. Я вкрайне удивлён. Вот они любили свой народ — и за то им каторга. Но я думаю — это военная неразбериха, да? — (Это он спрашивает в 1951 году! Если до сих пор военная, так уж не от Первой ли Мировой?..)

В 1944, когда наши схватили его в Венгрии, ему было 18 лет (и не в армии он был). «Я ещё тогда не успел принести людям ни добро, ни зло, — улыбается он. — От меня ещё не был людям польза, не был вред». Следствие шло у Яноша так: следователь ни слова не понимал по–венгерски, а Янош — по–русски. Иногда приходили очень плохие переводчики, из гуцулов. Янош подписал 16 страниц протоколов, так и не поняв, о чём там. И так же, когда ему незнакомый офицер что–то прочитал с бумажки, он долго ещё не понимал,

что это был— приговор ОСО[438]. И послали его на Север, на лесоповал, где он дошёл и попал в больницу.

До сих пор Россия поворачивалась к нему одной только стороной— той, на которую садятся, а теперь повернулась другой. В лагерной больничке Сымского ОЛПа под Соликамском была медсестра Дуся, сорока пяти лет. Она была бы–товичка, пропускница, с 5–летним сроком. Свою работу она видела не в том, чтобы для себя урвать да срок отбыть (как это очень у нас и принято, да с розовым взглядом своим Янош не знал), — а в том, чтоб вот этих, умирающих и никому уже не нужных, выхаживать. Но тем, что давала лагерная больница, спасти их было нельзя. И сестра Дуся свою утреннюю пайку 300 граммов меняла на деревне на пол–литра молока и этим молоком выпоила Яноша (а до него— ещё кого–то) к жизни[439]. За эту тётю Дусю полюбил Янош и страну нашу

[438] Примечания: 438

Когда же после смерти Сталина Янош был реабилитирован, то, говорят, щекотало его любопытство попросить копию приговора на венгерском, чтоб узнать, за что ж он 9 лет сидел? Но побоялся: «Ещё подумают— а зачем это мне? а мне и действительно это уже не очень нужно…» Он понял наш дух: а зачем бы, в самом деле, ему теперь знать?..

[439] Примечания: 439

Пусть разъяснят мне: это поведение в какую укладывается идеологию? (Сравните коммунистическую санчасть у Дьякова: «Что, зубки заболели, бендеровская твоя харя?»)

и всех нас. И стал усердно учить в лагере язык своих надзирателей и конвоиров — великий могучий русский язык. Он 9 лет просидел в наших лагерях, Россию только и видел, что из тюремных вагонов, на маленьких открытках–репродукциях дав лагере. И — полюбил.

Янош был из тех, кого всё меньше растёт в нашем веке: кто в детстве не знал другой страсти, как только читать. С этой наклонностью он остался и взрослым — и даже в лагере. И в северных лагерях, а теперь в Особом экибастузском, он не пропускал случая доставать и читать новые книги. Ко времени нашего знакомства он уже знал и любил Пушкина, Некрасова, Гоголя, я ему толковал Грибоедова, но больше всех, едва ли не ближе Петёфи и Араня, он полюбил Лермонтова, которого впервые прочёл в плену, недавно. (От иностранцев я слышал не раз, что Лермонтов им дороже всех русских поэтов.) Особенно слился Янош со Мцыри — таким же пленным, таким же молодым и таким же обречённым. Он много оттуда взял наизусть, и, годами бредя с руками за спиной в иноземной колонне по чужой земле, он на языке чужбины бормотал для себя:

И смутно понял я тогда, Что мне на родину следа Не проложить уж никогда.

Приветливый, ласковый, с беззащитными бледно–голубыми глазами — таков был Янош Рожаш в нашем бессердечном лагере. Он присаживался ко мне на вагонку — легко, на самый край, будто мой мешок с опилками мог ещё быть больше испачкан или при давлении изменить форму, — и говорил задушевно–тихо:

— Кому бы высказать тайных моих мечт?.. И никогда ни на что не жаловался[440].

Среди лагерников движешься, как среди расставленных мин, лучами интуиции делаешь с каждого снимок, чтобы не взорваться. И даже при этой всеобщей осторожности — сколько поэтичных людей открылось мне в бритой головной коробке, под чёрной курточкой зэка!

А сколько — удержались, чтобы не открыться?

---

[440] Примечания: 440

Всех венгров отпустили домой после смерти Сталина, и Янош избежал судьбы Мцыри, к которой вполне уже был готов.

Прошло двенадцать лет, среди них— и 1956. Янош— бухгалтер в маленьком городочке Надьканижа, где никто не знает русского и не читает русских книг. И что же пишет он мне теперь?

«Уже после всех событий я искренне твержу, что не отдал бы назад прошлое моё. Узнал я сурово то, что другим недоступно… При освобождении я обещал оставшимся товарищам, что русского народа никогда не забуду, и не за выносивших страдания, а за доброе сердце… Зачем в газетах с участием слежу за новостями бывшей моей «родины»?.. Произведение русских классиков — полный полк в моей библиотеке и на русском сорок один томов, а на украинском четыре (Шевченко)… Другие читают от русских, как от англичан, от немцев, а я читаю русских по–другому. Для меня Толстой ближе Томаса Манна, а Лермонтов

куда ближе Гёте.

Ты не угадаешь, как я тоскую безгласно о многом. Иногда меня спрашивают: что ты за чудак? Что ты там хорошего видал, почему тебя тянет к русским?.. Как объяснить, что вся молодость моя прошла там, а жизнь это вечное прощание от убегавших дней… Как же отвернуться мальчишком обиженной — ведь девять лет моя судьба совпадала с вашими. Как объяснить, почему вздрогнет сердце, когда услышу по радио русскую народную песню? Пропою сам вполголоса: «Вот мчится тройка удалая…» — и так больно становится, что дальше петь нет сил. А дети просят научить их по–русски. Подождите дети, разве кому собираю я русских книг?..»

А скольких, тысячекратно! — я вообще не встретил?

А скольких удушил ты за эти десятилетия, проклятый Левиафан?!?

* * *

Был в Экибастузе и официальный, хотя и очень опасный, центр культурного общения — КВЧ, где ставили чёрные штампы на книги и подновляли наши номера.

Важной и очень колоритной фигурой нашего КВЧ был художник, а в прошлом архидьякон и чуть ли не личный секретарь патриарха— Владимир Рудчук. Где–то есть в лагерных правилах такой неистреблённый пункт: лиц духовного звания не остригать. Конечно, пункт этот нигде не оглашается, и тех священников, которые о нём не знают, — тех стригут. Но Рудчук свои права знал, и у него остались волнистые русые волосы, несколько длиннее обычных мужских. Он их холил, как и вообще свою наружность. Он был привлекателен, высок, строен, с приятным басом, вполне можно было представить его в торжественной службе в огромном соборе. Ктитор Дроздов, приехавший со мной, сразу же опознал архидьякона: служил он в одесском ка-

федральном.

Но и выглядел и жил он здесь как человек не нашего зэче–ского мира. Он принадлежал к тем сомнительным деятелям, кто примешался или кого примешали к православию, едва с него снялась опала; они изрядно помогли опорочить Церковь. И история попадания в тюрьму у Рудчука была какая–то тёмная, зачем–то показывал он свою (почему–то не отнятую) фотокарточку — на улице Нью–Йорка с зарубежным митрополитом Анастасией. В лагере он жил в отдельной «кабинке». Вернувшись с развода, где брезгливо писал номера на наших шапках, телогрейках и штанах, он лениво проводил день, иногда пописывал грубоватые копии с пошленьких картин. У него невозбранно лежал толстый том репродукций Третьяковки, из–за которых я к нему и попал: хотелось посмотреть, может быть последний раз в жизни. Он в лагере получал «Вестник московской патриархии» и иногда с важностью рассуждал о великомучениках или деталях литургии, но всё деланно, неискренне. Ещё была у него гитара, и только это искренне у него получалось— сам себе аккомпанируя, он приятно пел:

Бродяга Байкал переехал… —

ещё покачиванием передавая, как он объят

скорбным ореолом каторжника.

Чем лучше человек в лагере живёт, тем тоньше он страдает. ..

Я был осторожен тогда в двадцать третьей степени, больше к Рудчуку не пошёл, сам о себе ничего ему не рассказывал, и так миновал его острого глаза как безвредный ничтожный червяк. А глаз Рудчука был глаз наблюдающий.

Да вообще, кому из старых арестантов непонятно, что КВЧ всегда пронизано стукачами и меньше всего бы, кажется, пригодно для встреч и общений? Ну, в ИТЛовских общих в КВЧ тянуло потому, что там встречались мужчины с женщинами. А в каторжном зачем в него ходить?

Но оказалось, что и каторжное стукаческое КВЧ может быть использовано для свободы! Тому научили меня Георгий Тэнно, Пётр Кишкин и Женя Никишин.

В КВЧ мы и познакомились с Тэнно, я очень хорошо запомнил эту короткую единственную встречу, потому что запомнился сам Тэнно. Это был стройный, высокий, спортивного склада мужчина. Почему–то ещё не содрали с него тогда морского кителя и брюк (ещё донашивали у нас свою одежду последний месячишко). И хотя вместо погонов капитана второго ранга на нём

были там и сям номера СХ–520, ему и сейчас было только шагнуть с суши на корабль, вылитый флотский офицер. При движениях открывались выше кистей его руки, покрытые рыжеватой шёрсткой, и на одной было татуировано вокруг якоря: «Liberty!» — а на другой: «Do or die»[441]. Ещё никак не мог Тэнно ни закрыть, ни исказить своих глаз, чтобы спрятать гордость и зоркость. И ещё не мог он спрятать улыбки, которая освещала его большие губы. (Я ещё не знал тогда: улыбка эта значила— план побега уже составлен!)

Вот он лагерь — минированное поле! Мы с Тэнно оба были здесь и не здесь: я— на дорогах Восточной Пруссии, он— в своём будущем очередном побеге, мы несли в себе потенциалы тайных замыслов, но ни искорка не должна была проскочить между нашими руками при пожатии, между нашими глазами при поверхностных словах. Так мы сказали незначащее, я уткнулся в газету, а он стал толковать о самодеятельности сТумаренко, каторжанином, пятнадцатилетником и всё же заведующим КВЧ, довольно сложным, многослойным человеком, которого подозревали в стукачестве, но может быть и зря,

[441] Примечания: 441
Свобода! — Совершить или умереть.

по его поведению можно было построить и более замысловатую психологическую версию.

Да смешно сказать! — при каторжном КВЧ ещё был и кружок художественной самодеятельности, вернее, только что создавался. Кружок этот настолько не имел ИТЛовских льгот, такой ноль поблажек, что лишь неисправимые восторженцы могли туда ходить заниматься. И таким оказался Тэнно, хотя по виду можно было о нём лучше думать. Более того, с первого же дня приезда к нам в Экибастуз он сидел в режим–ке — и вот оттуда напросился в КВЧ! Начальство истолковало это как признак начавшегося исправления и разрешило ему ходить…

А Петя Кишкин совсем не был деятель КВЧ, но самый знаменитый в лагере человек. Весь Экибастузский лагерь знал его. Горд был тот объект, на который он ходит, — там не соскучишься. Кишкин был как бы юродивый, но совсем не юродивый; он притворялся дурачком, но говорилось у нас: «Кишкин умнее всех!» Дурачок он был ровно столько, сколько младший Иванушка из сказки. Кишкин был явление наше русское, исконное: сильным и злым говорить громогласно правду, народу показывать, какой он есть, и всё это в дураковатой безопасной форме.

Одно из любимых его амплуа было — надеть какой–то клоунский жилет и собирать грязные миски со столов. Уже это было демонстрацией: самый популярный в лагере человек собирает миски, чтобы не подохнуть с голоду. А второе, для чего это ещё было ему нужно, — собирая миски, пританцовывая, гримасничая, всё время в центре внимания, он тёрся между работягами и сеял мятежные мысли.

То неожиданно дёрнет со стола миску с ещё нетронутой кашей, когда работяга только ест баланду. Работяга вздрогнет, схватится за миску, а Кишкин разойдётся в улыбке (у него было лунообразное лицо, но с жёсткостью):

— Пока у вас каши не тронь, вы ни о чём не схватитесь. И поплыл с горой мисок, пританцовывая.

Уж сегодня не только в этой бригаде будут ребята передавать очередную шутку Кишкина.

Другой раз он наклонится к столу, и все обернутся к нему от мисок. Вращая глазами, как игрушечный кот, с совершенно дурацким видом Кишкин спросит:

— Ребята! Если отец — дурак, а мать — проститутка, так дети будут сытые или голодные?

И, не дожидаясь ответа, слишком явного, тычет пальцем в стол с рыбьими костями:

— Семь–восемь миллиардов пудов в год разделите на двести миллионов!

И убежал. А мысль–то какая простая! — отчего ж мы не делили до сих пор? Давно уже отрапортовано, что СССР собирает восемь миллиардов пудов зерна в год, значит, печёного хлеба вдень даже на младенца— два килограмма. А мы, мужики здоровые, целый день долбим землю, — и где ж они?

Кишкин разнообразит формы. Иногда эту же мысль начинает с другого конца — «с лекции о припёке». Такое время, когда перед лагерной или рабочей вахтой стоит колонна и можно разговаривать, он использует для речей. Один из его постоянных лозунгов: «Развивайте лица!» «Иду я по зоне, ребята, и смотрю: у всех такие неразвитые лица. Только о перловой бабке думают, больше ни о чём».

То неожиданно, без связи и объяснений, крикнет при толпе зэков: «Дарданел! Дичь!» Будто непонятно. Но крикнет один раз, другой— и все вдруг ясно начинают понимать, кто этот Дарданел, и уже кажется так забавно итак метко, что и усы сталинские на этом лице проступают: Дарданел!

Пытаясь, со своей стороны, высмеять Кишкина,

начальник громко спрашивает его близ вахты: «Что это ты, Кишкин, лысый такой? Наверно, всё трухаешь?» Не задерживаясь мига, Кишкин отвечает при всей толпе: «Что ж, Владимир Ильич тоже трухал, да?»

То ходит Кишкин по столовой и объявляет, что сегодня после сбора мисок будет учить доходяг чарльстону.

Вдруг невидаль— привезли кино! И вечером в той же столовой, без экрана, прямо на белой стене его показывают. Народу набралось — невместимо, сидят и на лавках, и на столах, и между лавками, и друг на друге. Но не успели показать часть — останавливают. Пустой белый сноп света упирается в стену, и мы видим: пришло несколько надзирателей, выбирают себе место поудобнее. Наметили лавку и приказывают всем заключённым, сидящим там, освободить. Те решаются не встать — ведь несколько лет не видели, уж так посмотреть хочется! Голоса надзирателей грозней, кто–то говорит: «А ну, перепиши их номера!» Всё кончено, придётся уступать. И вдруг навесь тёмный зал— кошачье–резкий, насмешливый, всем знакомый голос Кишкина:

— Ну правильно, ребята, надзирателям же негде больше кино посмотреть, уйдём!

Общий взрыв смеха. О смех, о силища! Вся власть — за надзирателями, но они, не переписав номеров, отступают с позором.

— Где Кишкин? — кричат они.

Но и Кишкин больше голоса не подаёт, нет Кишкина!

Надзиратели уходят, кино продолжается.

На другой день Кишкина вызывают к начальнику режима. Ну, дадут суток пять. Нет, вернулся, улыбается. Написал такую объяснительную записку: «Во время спора надзирателей с заключёнными из–за мест в кино я призвал заключённых уступить, как положено, и уйти». За что ж его сажать?

Эту бессмысленную страсть заключённых к зрелищам, когда они способны забыть себя, своё горе, своё унижение — закусочек киноленты или спектакля, где всё издевательски будет подаваться как благополучное, Кишкин тоже умело высмеивает. Перед таким концертом или кино собирается всегда стадо желающих попасть. Но вот дверь долго не открывают, ждут старшего надзирателя, который будет по спискам запускать лучшие бригады, — ждут и уже полчаса рабски стоят сплошняком, сжав друг другу рёбра. Кишкин позади толпы сбрасывает ботинки, с

помощью соседа вскакивает на плечи задних— и босиком ловко быстро бежит по плечам, по плечам, по плечам всей толпы— до самой заветной двери! Стучит в неё, всем коротким своим телом Паташона извиваясь, показывая, как его печёт туда попасть! — и так же быстро по плечам, по плечам бежит назад и соскакивает. Толпа сперва смеётся. Но пронимает её тут же стыд: действительно, стоим как бараны. Тоже добра! Не видели!

И расходятся. Когда приходит надзиратель со списком — впускать почти некого, не ломится никто, хоть ходи и загоняй палкой.

Другой раз в просторной столовой начинается–таки концерт. Уже все сидят. Кишкин вовсе не бойкотирует концерта. Он тут же, в своём зелёном жилете, приносит и уносит стулья, помогает раздвигать занавес. Всякое его появление вызывает аплодисменты и одобрение зала. Внезапно пробежит по авансцене, будто за ним гонятся, и, предупредительно тряся рукой, прокричит: «Дарданел! Дичь!» Хохот. Но вот что–то замешкались: занавес открыт, сцена пуста и никого нет. Кишкин сейчас же вылетает на сцену. Ему смеются, но тут же смолкают: вид у него не только не комический, а обезумевший, глаза выкачены,

смотреть на него страшно. Он декламирует, дрожа, озираясь мутно:

Як гляну— шо мэні сдается? — Жандармы бьють — и кровь там льется, И трупов сгрудилось богацько, И сын убитый— там, дэ батько!

Это он—украинцам, которых в зале половина! Недавно привезенным из кипящих партизанских областей — это им как солью на свежую рану! Они взвыли! Уже к Кишкину на сцену кинулся надзиратель. Но трагическое лицо Кишкина вдруг растворилось в клоунскую улыбку. Уже по–русски, он крикнул:

— Это я когда в четвёртом классе был, мы про Девятое Января стихотворение учили!

И убежал со сцены, ковыляя смешно.

А Женя Никишин был простой приятный компанейский парень с открытым веснущатым лицом. (Таких ребят много было прежде в деревне, до её разгрома. Сейчас там преобладают выражения недоброжелательные.) У Жени был небольшой голос, он охотно пел для друзей в секции барака и со сцены тоже.

И вот однажды было объявлено:

— «Жёнушка–жена»! Музыка Мокроусова, слова Исаковского. Исполняет Женя Никишин в сопровождении гитары.

От гитары потекла простая печальная мелодия. А Женя перед большим залом запел интимно, выказывая ещё недо–очерствлённую, недовыхоложенную нашу теплоту:

Жёнушка–жена, Только ты одна, Только ты одна в душе моей!

Только ты одна! Померк длинный бездарный лозунг над сценой о производственном плане. В сизоватой мгле зала пригасли годы лагеря— долгие прожитые, долгие оставшиеся. Только ты одна! Не мнимая вина перед властью, не счёты с нею. И не волчьи наши заботы… Только ты одна!..

Милая моя, Где бы ни был я, — Всех ты мне дороже и родней.

Песня была о нескончаемой разлуке. О безвестности. О потерянности. Как это подходило! Но ничего прямо о тюрьме. И всё это можно было отнести и к долгой войне.

И мне, подпольному поэту, отказало чутьё: я не понял тогда, что со сцены звучат стихи ещё одного подпольного поэта (да сколько ж их?!), но более гибкого, чем я, более приспособленного к гласности.

А что ж с него? — ноты требовать в лагере, проверять Исаковского и Мокроусова? Сказал,

наверно, что помнит на память.

Я видел: Тумаренко стоял за сценой — и улыбался со сдержанным торжеством.

В сизой мгле сидели и стояли человек тысячи две. Они были неподвижны и неслышны, как бы их не было. Отвердевшие, жестокие, каменные, — схвачены были за сердце. Слёзы, оказывается, ещё пробивались, ещё знали путь.

Жёнушка–жена! Только ты одна! Только ты одна в душе моей!.

Глава 6. УБЕЖДЁННЫЙ БЕГЛЕЦ

Когда Георгий Павлович Тэнно рассказывает теперь о прошлых побегах, своих, и товарищей, и о которых только знает понаслышке, то о самых непримиримых и настойчивых— об Иване Воробьёве, Михаиле Хайдарове, Григории Кудле, Хафи–зе Хафизове — он с похвалой говорит: «Это был убеждённый беглец!»

Убеждённый беглец! — это тот, кто ни минуты не сомневается, что человеку жить за решеткой нельзя! — ни даже самым обеспеченным придурком, ни в бухгалтерии, ни в КВЧ, ни в хлеборезке! Тот, кто, попав в заключение, всё дневное время думает о побеге, и ночью во сне видит побег. Тот, кто подписался быть непримиримым, и все свои действия подчиняет только одному— побегу! Кто ни единого дня не сидит в лагере просто так: всякий день он или готовится к побегу, или как раз в побеге, или пойман, избит и в наказание сидит в лагерной тюрьме.

Убеждённый беглец! — это тот, кто знает, на что идёт. Кто видел и трупы застреленных беглецов, для показа разложенные у развода. Кто видел и привезенных живыми—синекожего,

кашляющего кровью, которого водят по баракам и заставляют кричать: «Заключённые! Смотрите, что со мной! Это же будет и с вами!» Кто знает, что чаще всего труп беглеца слишком тяжёл, чтобы его доставлять в лагерь. А поэтому приносят в вещмешке только голову или (по уставу так верней) — ещё правую руку, отрубленную по локоть, чтобы спецчасть могла проверить отпечаток пальцев и списать человека.

Убеждённый беглец! — это тот, против которого и вмуровывают решётки в окна; против которого и обносят зону десятками нитей колючей проволоки, воздвигают вышки, заборы, заплоты, расставляют секреты, засады, кормят серых собак багровым мясом.

Убеждённый беглец— это ещё и тот, кто отклоняет расслабляющие упрёки лагерных обывателей: из–за беглецов другим будет хуже! режим усилят! по десять раз на проверку! баланда жидкая! Кто отгоняет от себя шёпот других заключённых не только о смирении («и в лагере можно жить, особенно с посылками»), но даже о протестах, о голодовках, ибо это не борьба, а самообман. Изо всех средств борьбы он видит один, он верит одному, он служит одному — побегу!

Он — просто не может иначе! Он так создан. Как

птица не вольна отказаться от сезонного перелёта, так убеждённый беглец не может не бежать.

В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тэнно спрашивали мирные лагерники: «И что тебе не сидится? Что ты бегаешь? Что ты можешь найти на воле, особенно на теперешней?» — «Как — что? — удивлялся Тэнно. — Свободу! Сутки побыть в тайге не в кандалах— вот и свобода!»

Таких, как он, как Воробьёв, ГУЛАГ и Органы не знали в своё среднее время — время кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое советское время, а потом уж только после войны.

Вот таков Тэнно. Во всяком новом лагере (а его этапировали частенько) он был вначале подавлен, грустен, — пока не созревал у него план побега. Когда же план появлялся, — Тэнно весь просветлялся и улыбка торжествовала на его губах.

И когда, вспоминает он, начался всеобщий пересмотр дел и реабилитации, он упал духом: он ощутил, что надежда на реабилитацию подрывает его волю к побегу.

* * *

Сложная жизнь его не помещается в эту книгу. Но жилка беглеца у него от рождения. Ребёнком он из брянского интерната бежал «в Америку», то есть на лодке по Десне; из пятигорского детдома зимой — в нижнем белье перелез через железные ворота— и к бабушке. И вот что самобытно: в его жизни переплетаются мореходная линия и цирковая. Он кончил мореходное училище, ходил матросом на ледоколе, боцманом на тральщике, штурманом в торговом флоте. Кончил военный институт иностранных языков, войну провёл в Северном флоте, офицером связи на английских конвойных судах ходил в Исландию и в Англию (фото 3). Но и он же с детства занимался акробатикой, выступал в цирках при НЭПе и позже в промежутках между плаваниями; был тренером по штанге; выступал с номерами «мнемотехники», «запоминанием» множества чисел и слов, «угадыванием» мыслей на расстоянии. А цирк и портовая жизнь привели его и к небольшому касанию с блатным миром: что–то от их языка, авантюризма, хватки, отчаянности. Сидя потом с блатарями в многочисленных ре–жимках— он ещё и ещё черпает что–то от них. Это тоже всё

пригодится для убеждённого беглеца.

Весь опыт человека складывается в человеке — так получаемся мы.

В 1948 году его внезапно демобилизовали. Это был уже сигнал с того света (знает языки, плавал на английском судне, к тому же эстонец, правда петербургский), — но ведь нас питают надежды на лучшее. В рождественский канун того же года в Риге, где Рождество ещё так чувствуется, так празднично, — его арестовали и привели в подвал на улице Амату, рядом с консерваторией. Входя в первую свою камеру, он не удержался и зачем–то объяснил равнодушному молчуну–надзирателю: «Вот на это самое время у нас с женой были билеты на «Графа Монте–Кристо». Он боролся за свободу, не смирюсь и я».

Но рано ещё было бороться. Ведь нами всегда владеют предположения об ошибке. Тюрьма? — за что? — не может быть! Разберутся! Перед этапом в Москву его ещё даже нарочно успокоили (это делается для безопасности перевозки), начальник контрразведки полковник Морщинин даже приехал проводить на вокзал, пожал руку: «поезжайте спокойно!». Со спецконвоем их получилось четверо, и они ехали в отдельном купе мягкого вагона. Майор и старший лейте-

нант, обсудив, как они весело проведут в Москве Новый год (может быть, для таких командировок и придумывается спецконвой?), залегли на верхние полки и как будто спали. На другой нижней лежал старшина. Он шевелился всякий раз, когда арестованный открывал глаза. Лампочка горела верхняя синяя. Под головой у Тэнно лежала первая и последняя торопливая передача жены — локон её волос и плитка шоколада. Он лежал и думал. Вагон приятно стучал. Любым смыслом и любым предсказанием вольны мы наполнить этот стук. Тэнно он наполнял надеждой: «разберутся». И поэтому серьёзно бежать не собирался. Только примеривался, как бы это можно было сделать. (Он потом ещё вспомнит не раз эту ночь и только будет покрякивать с досады. Никогда уже не будет так легко убежать, никогда больше воля не будет так близка!)

Дважды за ночь Тэнно выходил в уборную по пустому ночному коридору, старшина шёл с ним. Пистолет у него висел на длинной подвеси, как всегда у моряков. Вместе с арестованным он втиснулся в саму уборную. Владея приёмами дзюдо и борьбы, ничего не стоило прихватить его здесь, отнять пистолет, приказать молчать непокойно уйти на остановке.

Во второй раз старшина побоялся войти в тесноту, остался за дверью. Но дверь была закрыта, пробыть можно было сколько угодно времени. Можно было разбить стекло, выпрыгнуть на полотно. Ночь! Поезд не шёл быстро — 48–й год, делал частые остановки. Правда, зима, Тэнно без пальто, и с собой только пять рублей, но у него не отобраны ещё часы.

Роскошь спецконвоя закончилась в Москве на вокзале. Дождались, когда из вагона вышли все пассажиры, и в вагон вошёл старшина с голубыми погонами, из воронка: «Где он?»

Тюремный приём, бессонница, боксы, боксы. Наивное требование скорее вызвать к следователю. Надзиратель зевнул: «Ещё успеешь, надоест».

Вот и следователь. «Ну, рассказывай о своей преступной деятельности». — «Я ни в чём не виноват!» — «Только папа Пий ни в чём не виноват».

В камере— вдвоём с наседкой. Так и подгораживается: а что было на самом деле? Несколько допросов — и всё понятно: разбираться не будут, на волю не выпустят. И значит— бежать!

Всемирная слава Лефортовской тюрьмы не удручает Тэнно. Может быть, это — как новичок

на фронте, который, ничего не испытав, ничего и не боится? План побега подсказывает следователь— Анатолий Левшин. Он подсказывает его тем, что становится злобен, ненавистлив.

Разные мерки у людей, у народов. Сколько миллионов переносило битьё в этих стенах, даже не называя это пытками. Но для Тэнно сознание, что его могут безнаказанно бить, — невыносимо. Это— надругательство, и лучше тогда нежить. И когда Левшин после словесных угроз в первый раз подступает, замахивается, — Тэнно вскакивает и отвечает с яростной дрожью: «Смотри, мне всё равно не жить! А вот глаз один или два я тебе сейчас вытаьиуі Это я смогу!»

И следователь отступает. Такая мена своего хорошего глаза за гиблую жизнь арестанта не подходит ему. Теперь он изматывает Тэнно карцерами, чтоб обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, — жена Тэнно и, если он не признается, — её будут мучить ещё больше.

Он опять не рассчитал, на кого напал. Как удара кулаком, так и допроса жены Тэнно вынести не мог. Всё ясней становилось арестанту, что этого следователя придётся убить. Это соединилось и с планом побега! — майор Левшин носил тоже

морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтёра следственного корпуса Тэнно вполне мог сойти заЛевшина. Правда, у него было лицо полное, лощёное, аТэн–но выхудал. (Арестанту нелегко себя увидеть в зеркало. Даже если с допроса попросишься в уборную, там зеркало завешено чёрной занавеской. Лишь при удаче одно движение, отклонил занавеску— о, как измучен и бледен! Как жалко самого себя!)

Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Тэнно исследует его оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень в месте крепления с ножкой койки — проржавлен, ржавчина выела часть толщины, заклёпка держится плохо. Длина стержня— сантиметров семьдесят. Как его выломать?

Сперва надо… отработать в себе мерный счёт секунд. Потом подсчитать по каждому надзирателю, каков промежуток между двумя его заглядываниями в глазок. Промежуток — от сорока пяти секунд до шестидесяти пяти.

В один такой промежуток — усилие, и стержень хрустнул с проржавленного конца. Второй — целый, ломать его трудней. Надо встать на него двумя ногами, — но он загремит о пол. Значит, в промежутке успеть: на цементный пол подло-

жить подушку, стать, сломить, подушку наместо, и стержень — пока хотя бы в свою кровать. И всё время считать секунды.

Сломано. Сделано!

Но это не выход: войдут, найдут, погибнешь в карцерах. Двадцать суток карцера— потеря сил не только для побега, но даже от следователя не отобьёшься. А вот что: надпороть ногтями матрас. Оттуда вынуть немного ваты. Ватой обернуть концы стержня и вставить его на прежнее место. Считать секунды. Есть, поставлен!

Но и это— ненадолго. Раз в 10 дней— баня, аза время бани— обыск в камере. Поломку могут обнаружить. Значит, действовать быстрей. Как вынести стержень на допрос?.. При выпуске из тюремного корпуса не обыскивают. Прохлопывают лишь по возвращению с допроса, и то — бока и грудь, где карманы. Ищут лезвия, боятся самоубийств.

На Тэнно под морским кителем — традиционная тельняшка, она греет тело и дух. «Дальше в море— меньше горя!»

Попросил у надзирателя иголку (в определённое время её дают), якобы— пришить пуговицы, сделанные из хлеба. Расстегнул китель, расстегнул брюки, вытащил край тельняшки и на ней

внизу изнутри зашил рубец, — получился как карманчик (для нижнего края стержня). Ещё загодя оторвал кусочек тесёмки от кальсон. Теперь, делая вид, что пришивает пуговицу к кителю, пришил эту тесёмку с изнанки тельняшки на груди— это будет петля, направляющая для прута.

Теперь тельняшка оборачивается задом наперёд, и день заднем начинаются тренировки. Прут устанавливается на спину, под тельняшку: продевается через верхнюю петлю и упирается в нижний карманчик. Верхний конец прута оказывается на уровне шеи, подворотником кителя. Тренировка втом, чтобы от заглядывания до заглядывания: забросить руку к затылку — взять прут за конец, туловище отогнуть назад— выпрямиться с наклоном вперёд, как тетива лука, одновременно вытягивая прут, — и резким махом ударить по голове следователя. И снова всё наместо! Заглядывание. Арестант перелистывает книгу.

Движение получалось всё быстрей и быстрей, прут уже свистел в воздухе. Если удар и не будет насмерть, — следователь свалится без сознания. Если и жену посадили, — никого вас не жаль!

Ещё заготовляются два ватных валика — всё из того же матраса. Их можно заложить в рот за

зубы и создать полноту лица.

Ещё, конечно, надо быть побритым к этому дню, — а обдирают тупыми бритвами раз в неделю. Значит, день не безразличен.

А как сделать румянец на лице? Чуть натереть щёки кровью. Его кровью.

Беглец не может смотреть и слушать «просто так», как другие люди. Он должен смотреть и слушать со своей особой бегляцкой целью. И никакой мелочи не пропускать, не дав ей истолкования. Ведут ли его на допрос, на прогулку, в уборную, — его ноги считают шаги, его ноги считают ступеньки (не всё это понадобится, но — считают); его туловище отмечает повороты; глаза его опущенной по команде головы рассматривают пол— из чего он, цел ли, они ворочаются по крайним доступным окружностям — и разглядывают все двери, двойные, одинарные, какие на них ручки, какие на них замки, в какую сторону открываются; голова оценивает назначение каждой двери; уши слушают и сопоставляют: вот этот звук уже доносился ко мне в камеру а означает он вот что, оказывается.

Знаменитый лефортовский корпус буквою «К» — пролёт на все этажи, металлические галереи, регулировщик с флажками. Переход в

следственный корпус. Допрашивают попеременно в разных кабинетах—тем лучше! — изучить расположение всех коридоров и дверей следственного корпуса. Как попадают сюда следователи снаружи? Вот мимо этой двери с квадратным окошечком. Главная проверка их документов, конечно, не здесь, а на внешней вахте, но здесь тоже они как–то отмечаются или наблюдаются. Вот спускается один и кому–то наверх говорит: «Так я поехал в министерство!» Отлично, эта фраза подойдёт беглецу.

Как они дальше идут потом на вахту, — это надо будет догадаться, без колебания пойти правильно. Но наверно ж протоптана в снегу дорожка. Или асфальт должен быть темней и грязней. А как они проходят вахту? Показывают своё удостоверение? Или при входе оставили его у вахтёра, а теперь называют фамилию и забирают? Или всех знают в лицо, и называть фамилию будет ошибка, надо только руку протянуть?

На многое можно ответить, если не вникаешь во вздорные вопросы следователя, а хорошо наблюдаешь за ним. Чтобы починить карандаш, он достаёт бритвенное лезвие из какого–то своего удостоверения в нагрудном кармане. Сразу вопросы:

— это — не пропуск. А пропуск — на вахте?

— книжечка очень похожа на автомобильные права вождения. Так он приезжает на автомобиле? Тогда с ним и ключ? Ставит он машину перед воротами тюрьмы? Надо будет здесь, не выходя из кабинета, прочесть номер на техническом талоне, чтобы не путать там.

Раздевалки у них нет. Морское пальто и шапку он вешает здесь, в кабинете. Тем лучше.

Не забыть, не упустить ни одного важного дела, и всё уложить в 4–5 минут. Когда он уже будет лежать, поверженный, —

1) сбросить свой китель, надеть его, более новый, с погонами;

2) снять с него ботиночные шнурки и зашнуровать свои падающие ботинки, — вот на это много времени уйдёт;

3) его бритвенное лезвие заложить в специально приготовленное место в каблуке (если поймают и бросят в первую камеру, — тут перерезать себе вены);

4) просмотреть все документы, взять нужное;

5) запомнить номер автомашины, найти автомобильный ключ;

6) в его толстый портфель сунуть своё же следственное дело, взять с собой;

7) снять с него часы;

8) покрыть щёки кровяным румянцем;

9) его тело отволочить за письменный стол или за портье

ру, чтобы вошедшие подумали, что он ушёл, и не бросились бы

в погоню;10) скатать вату в валики, подложить под щёки;

11) надеть его пальто и шапку;

12) оборвать провода у выключателя. Если кто–нибудь

вскоре войдёт— темно, щёлкнет выключателем— наверно,

перегорела лампочка, потому следователь и ушёл в другой ка

бинет. Но даже если ввернут лампочку— не сразу разберутся,

в чём дело.Вот так получилось двенадцать дел, а тринадцатое будет сам побег… Всё это надо делать на ночном допросе. Хуже, если окажется, что книжечка— не автомобильные права. Тогда он приезжает и уезжает следовательским автобусом (их возят специально, ведь среди ночи!), другим следователям будет странно, что Левшин, не дождавшись 4–5 утра, пошёл среди ночи пешком.

Да вот ещё: проходя мимо квадратного окошеч-

ка, поднести клипу платок, будто сморкаешься; и одновременно отвести глаза на часы; и для успокоения постового крикнуть наверх. «Перов! — (это его друг) — Я поехал в министерство! Поговорим завтра!»

Конечно, шансов очень мало, пока видно 3–5 из сотни. Почти безнадёжна, совсем неизвестна внешняя вахта. Но не умирать здесь рабом! но не ослабнуть, чтобы били ногами! Уж бритва–то будет в каблуке!

И на один ночной допрос, сразу после бритья, Тэнно пришёл с железным прутом за спиной. Следователь вёл допрос, бранился, угрожал, а Тэнно смотрел на него и удивлялся: как не чувствует он, что часы его сочтены?

Было одиннадцать часов вечера, Тэнно рассчитывал посидеть часов до двух ночи. В это время следователи иногда уже начинают уходить, устроив себе «короткую ночь».

Тут подловить момент: или чтобы следователь поднёс листы протокола на подпись, как он делает это всегда, и вдруг притвориться, что дурно, рассыпать листы на пол, побудить его наклониться на минутку и… А то безо всякого протокола— встать, покачиваясь, и сказать, что дурно, просить воды. Тот принесёт эмалирован-

ную кружку (стакан он держит для себя), отпить и уронить, в это время правую руку поднять к затылку, это будет естественно, будто кружится голова. Следователь обязательно наклонится посмотреть на упавшую кружку и…

Колотилось сердце. Был канун праздника. Или канун казни.

Но вышло всё иначе. Около двенадцати ночи быстро вошёл другой следователь и стал шептать Левшину на ухо. Никогда так не было. Левшин заторопился, надавил кнопку, вызывая надзирателя прийти за арестованным.

И всё кончилось… Тэнно вернулся в камеру, поставил прут на место.

А другой раз следователь вызвал его заросшим (не имело смысла брать и прута).

А там — допрос дневной. И пошёл как–то странно: следователь не рычал, обескуражил предсказанием, что дадут 5–7 лет, нечего горевать. И как–то злости уже не было рассечь ему голову. Злость не оказалась у Тэнно устойчивой.

Взлёт настроения миновал. Представилось, что шансов слишком мало, так не играют.

Настроение беглеца ещё капризней, может быть, чем у артиста.

И вся долгая подготовка пропала зря…

Но беглец и к этому должен быть готов. Он уже сотню раз взмахнул прутом по воздуху, он сотню следователей уже убил. Он десять раз пережил весь свой побег в мелочах, — в кабинете, мимо квадратного окошечка, до вахты, за вахту! — он измучился от этого побега, а вот, оказывается, он его и не начинал.

Вскоре ему сменили следователя, перевели на Лубянку. Здесь Тэнно не готовил побега (ход следствия показался ему более обнадёживающим, и не было решимости на побег), но он неотступно наблюдал и составлял тренировочный план.

Побег с Лубянки? Да возможно ли это вообще?.. А если вдуматься, он, может быть, легче, чем из Лефортова. Скоро начинаешь разбираться в этих длинных–длинных коридорах, по которым тебя водят на допрос. Иногда в коридоре попадаются стрелки: «к парадному №2», «к парадному №3». (Жалеешь, что так был беспечен на воле, — не обошёл Лубянку заранее снаружи, не посмотрел, где какое парадное.) Здесь именно это и легче, что не территория тюрьмы, а министерство, где множество следователей и других чиновников, которых постовые не могут знать в лицо. И значит, вход и выход только по пропускам, а пропуск у следователя в кармане. А если следователя не

знают в лицо, то не так уж важно на него и в точности походить, лишь бы приблизительно. Новый следователь — не в морской форме, а в защитной. Значит, пришлось бы переодеться в его мундир. Не будет прута— была бы решимость. В кабинете следователя много разных предметов, например мраморное пресс–папье. Да его необязательно и убивать, — на десять минут оглушить, и ты уже ушёл!

Но мутные надежды на какую–то милость и разум лишают волю Тэнно ясности. Только в Бутырках разрешается тяжесть: с клочка ОСОвской бумажки ему объявляют 25 лет лагерей. Он подписывает— и чувствует, как ему полегчало, взыграла улыбка, как легко несут его ноги в камеру 25–летников. Этот приговор освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обещанных нищенских пяти–семи лет: двадцать пять, такую вашу мать??? — так нечего от вас ждать, значит— бежим!!

Или — смерть. Но разве смерть хуже, чем четверть столетия рабства? Да одну стрижку наголо после суда — простая стрижка, кому она досаждала? — Тэнно переживает как оскорбление, как плевок в лицо.

Теперь искать союзников. И изучать истории

других побегов. Тэнно в этом мире новичок. Неужели же никто никогда не бежал?

Сколько раз мы все проходили за надзирателем эти железные переборки, рассекающие бутырские коридоры, — многие ли из нас заметили то, что Тэнно видит сразу: что в дверях— запоры двойные, надзиратель же отпирает только один, и переборка подаётся. А второй запор, значит, пока бездействует: это три стержня, которые могут высунуться из стены и войти в железную дверь.

В камере кто чего, а Тэнно ищет— рассказов о побегах и участников их. Находится даже такой, кто был в заварушке с этими тремя стержнями — Мануэль Гарсиа. Это случилось несколькими месяцами раньше. Заключённые одной камеры вышли на оправку, схватили надзирателя (против устава, он был один, ведь годами же ничего не случается, они привыкли к покорности), раздели его, связали, оставили в уборной, один арестант надел его форму. Ребята взяли ключи, побежали открывать все камеры коридора (а в этом же коридоре были и смертники, тем это было очень кстати!). Начался вой, восторги, призывы идти освобождать другие коридоры и взять в руки всю тюрьму. Забыли осторожность! Вместо того чтобы тихо приготовиться по камерам к выбегу, а

по коридору дать ходить только одетому в надзирателя, — вывалили массой в коридор и шумели. На шум посмотрел в глазок переборки (они там в обе стороны устроены) надзиратель из соседнего коридора — и нажал кнопку тревоги. По этой тревоге с центрального поста перекрываются все вторые замки переборок, и нет к ним ключей в надзирательских связках. Мятежный коридор был отъединён. Вызвали множество охраны; став шпалерами, пропускали всех мятежников по одному и избивали; нашли зачинщиков и их увели. А им уже было по четвертаку■. Повторили срок? Расстреляли?

Этап в лагерь. Известная арестантам «сторожка» на Казанском вокзале— отступя, конечно, от людных мест. Сюда привозят воронками, здесь загружают вагон–заки, перед тем как цеплять их к поездам. Напряжённые конвоиры с обеих сторон рядками. Рвущиеся к горлу собаки. Команда: «Конвой— к бою!» — и смертный лязг затворов. Тут не шутят. Так, с собаками, ведут и по путям. Побежать? Собака догонит.

Но у беглеца убеждённого, всегда перебрасываемого за побеги из лагеря в лагерь, из тюрьмы в тюрьму, ещё много будет этих вокзалов и конвоирования по путям. Будут водить и без собак.

Притвориться хромым, больным, еле волочиться, еле вытягивать за собой сидор и бушлат, конвой будет спокойнее. И если много будет составов на путях, — то между ними как можно путлять! Итак: бросить вещи, наклониться и рвануть под вагоны! Но когда ты уже наклонишься, ты увидишь там, за составом, сапоги шагающего запасного конвоира… Всё предусмотрено. И остаётся тебе делать вид, что ты падал от слабости и потому обронил вещи. — Вот если б счастье такое — быстро шёл бы рядом проходной поезд! Перед самым паровозом перебежать — никакой конвоир не побежит! ты рискуешь из–за свободы, а он? — и пока поезд промчится, тебя нет! Но для этого нужно двойное счастье: вовремя поезд и вынести ноги из–под колёс.

С Куйбышевской пересылки везут открытыми грузовиками на вокзал— собирают большой «красный» этап. На пересылке, от местного воришки, «уважающего беглецов», Тэнно получает два местных адреса, куда можно прийти за первой поддержкой. С двумя охотниками бежать он делится этими адресами и договаривается: всем троим стараться сесть в задний ряд, и, когда машина снизит скорость на повороте (а бока Тэнно не зря уже ехали сюда с вокзала в тёмном

воронке, они отметили этот поворот, хотя глазами он его не узнаёт), — разом прыгать всем троим! — вправо, влево и назад! — мимо конвоиров, даже свалив их! Будут стрелять, но всех трёх не застрелят. Да ещё будут ли? — ведь на улицах народ. Погонятся? — нет, нельзя бросить остальных в машине. Значит, будут кричать, стрелять в воздух. Задержать может вот кто: народ, наш советский народ, прохожие. Напугать их, будто нож в руке! (Ножа нет.)

Трое маневрируют на шмоне и выжидают так, чтоб не сесть в машину раньше сумерок, чтобы сесть в последнюю машину. Приходит и последняя, но… не трёхтонка с низкими бортами, как все предыдущие, а «студебеккер» с высокими. Даже Тэнно, севши, — макушкой ниже борта. «Студебеккер» идёт быстро. Поворот! Тэнно оглянулся на со ратников— на лицах страх. Нет, они не прыгнут. Нет, это не убеждённые беглецы. (Но стал ли уже убеждённым ты сам?..)

В темноте, с фонарями, под смешанный лай, рёв, ругань и лязганье— посадка в телячьи вагоны. Тут Тэнно изменяет себе — он не успевает оглядеть снаружи своего вагона (а убеждённый беглец должен видеть всё вовремя, ничего не разрешается ему пропустить!).

На остановках тревожно простукивают вагоны молотками. Они простукивают каждую доску. Значит, боятся они — чего? Распиливания доски. Значит— надо пилить!

Нашёлся (у воров) и маленький кусок отточенной ножёвки. Решили резать торцевую доску под нижними нарами. А когда поезд будет замедляться, — вывалиться в пролом, падать на рельсы, пролежать, пока поезд пройдёт. Правда, знатоки говорят, что в конце телячьего арестантского поезда бывает драга— металлический скребок, его зубья идут низко над шпалами, они захватывают тело беглеца, волочат его по шпалам, и беглец умирает так.

Всю ночь, залезая по очереди под нары, держа тряпкой эту пилочку, в несколько сантиметров, режут доску стены. Трудно. Всё же сделан первый прорез. Доска начинает немного ходить. Отклонив её, они уже утром видят за вагоном белые нестроганые доски. Откуда белые? Вот что: значит, к их вагону пристроена дополнительная конвойная площадка. Тут, над прорезом, стоит часовой. Доску выпиливать нельзя.

Побеги узников, как и всякая человеческая деятельность, имеют свою историю, имеют свою теорию. Неплохо знать их, прежде чем браться

самому.

История — это побеги уже бывшие. Об их технологии опер–чекистская часть не издаёт популярных брошюр, она копит опыт для себя. Историю ты можешь узнать от других беглецов, пойманных. Очень дорог их опыт— кровяной, страдательный, едва не стоивший жизни. Но подробно, шаг за шагом, расспрашивать о побегах одного беглеца, и третьего, и пятого— это не невинная шутка, это очень опасно. Это ненамного безопаснее, чем спрашивать: кто знает, через кого вступить в подпольную организацию? Ваши долгие рассказы могут слушать и стукачи. А главное — сами рассказчики, когда истязали их после побега и выбор был — смерть или жизнь, — могли дрогнуть, завербоваться, и теперь уже быть приманкой, а не единомышленниками. Одна из главных задач кумовьёв — определить заранее, кто симпатизирует побегам, кто интересуется ими, — и, опережая затаённого беглеца, сделать пометку в его формуляре, и уже он в режимной бригаде, и бежать ему много трудней.

Но от тюрьмы к тюрьме, от лагеря к лагерю Тэнно жарко расспрашивает беглецов. Он совершает побеги, его ловят, а в лагерных тюрьмах он и сидит как раз с беглецами, там–то их и расспра-

шивать. (Не без ошибок. Степан, героический беглец, продаёт его кенгирскому оперу Беляеву, и тот повторяет Тэнно все его расспросы.)

А теория побегов — она очень простая: как сумеешь. Убежал— значит, знаешь теорию. Пойман— значит, ещё не овладел. А букварные начала такие: бежать можно с объектов и бежать можно из жилой зоны. С объектов легче: их много, и не так устоялась там охрана, и у беглеца бывает там инструмент. Бежать можно одному— это трудней, но никто не продаст. Бежать можно нескольким, это легче, новее зависит, на подбор вы друг ко другу или нет. Ещё есть положение в теории: надо географию так знать, чтобы карта горела перед глазами. А в лагере карты не увидишь. (Кстати, воры совсем не знают географии, севером считают ту пересылку, где было прошлый раз холодно.) Есть ещё положение: надо знать народ, среди которого ляжет побег. И такое есть методическое указание: ты должен постоянно готовить побег по плану, но в любую минуту быть готовым и бежать совсем иначе— по случаю.

Вот, например, что такое— по случаю. Как–то в Кенгире всю тюрьму вывели из тюрьмы — делать саман. Внезапно налетел пыльный буран, какой бывает в Казахстане: всё темнеет, солнце скры-

вается, горстями пыли и мелкого камня больно бьёт в лицо, так что нельзя держать открытыми глаз. Никто не был готов бежать так внезапно, а Николай Крыков подбежал к зоне, бросил на проволоку телогрейку, перелез, весь исцарапавшись, за зону и скрылся. Буря прошла. По телогрейке на проволоке поняли, что — убежал. Послали погоню на лошадях: на поводках у всадников собаки. Но холодная буря начисто смела все следы. Крыков пересидел погоню в куче мусора. Однако на другой день надо ж было идти! И машины, разосланные по степи, поймали его.

Первый лагерь Тэнно был— Новорудное, близ Джезказгана. Вот— то главное место, где обрекают тебя погибнуть. Именно отсюда ты должен и бежать! Вокруг— пустыня, где в солончаках и барханах, где — скреплённая дёрном или верблюжьей колючкой. Местами кочуют по этой степи казахи со стадами, местами нет никого. Рек нет, набрести на колодец почти невозможно. Лучшее время для побегов — апрель и май, кое–где ещё держатся озерки от таяния. Но это отлично знают и охранники. В это время устрожается обыск выходящих на работу и не дают с собой вынести ни лишнего куска, ни лишней тряпицы.

Той осенью, 1949 года, три беглеца— Слободя-

нюк, Бази–ченко и Кожин — рискнули рвануть на юг: они думали пойти там вдоль реки Сары–Су и на Кзыл–Орду. Но река пересохла вся. Их поймали при смерти от жажды.

На опыте их Тэнно решил, что осенью не побежит. Он аккуратно ходит в КВЧ — ведь он не беглец, не бунтарь, он из тех рассудительных заключённых, которые надеются исправиться к концу своего двадцатипятилетнего срока. Он помогает, чем может, он обещает самодеятельность, акробатику, мнемотехнику, а пока, перелистав всё, что в КВЧ есть, находит плохонькую карту Казахстана, не обережённую кумом. Так. Есть старая караванная дорога на Джусалы, триста пятьдесят километров, по ней может попасться и колодец. И на север к Ишиму четыреста, здесь возможны луга. А к озеру Балхаш — пятьсот километров чистой пустыни Бет–Пак–Дала. Но в этом направлении вряд ли погонятся.

Таковы расстояния. Таков выбор…

Что только не протеснится через голову пытливого беглеца! Иногда заезжает в лагерь ассенизационная машина — цистерна с кишкой. Горловина кишки— широка, Тэнно вполне мог бы в неё влезть, внутри цистерны — стоять согнувшись, и после этого пусть бы шофёр набирал

жидких нечистот, только не до самого верху. Будешь весь в нечистотах, по пути может захлебнуть, затопить, задушить, — но это не кажется Тэнно таким гадким, как рабски отбывать свой срок. Он проверяет себя: готов ли? Готов. А шофёр? Это пропускник–краткосроч–ник, бытовик. Тэнно курит с ним, присматривается. Нет, это не тот человек. Он не рискнёт своим пропуском, чтобы помочь другому. У него психология исправительно–трудовых: помогает другому —дурак.

За эту зиму Тэнно составляет и план и подбирает себе четырёх товарищей. Но пока согласно теории идёт терпеливая подготовка по плану, его один раз нечаянно выводят на только что открытый объект— каменный карьер. Карьер — в холмистой местности, из лагеря не виден. Там ещё нет ни вышек, ни зоны: забиты колья, несколько рядков проволоки. Водном месте в проволоке— перерыв, это «ворота». Шесть конвоиров стоят снаружи зонки, ничем не приподнятые над землёй.

А дальше за ними — апрельская степь в ещё свежей зелёной траве, и горят тюльпаны, тюльпаны! Не может сердце беглеца вынести этих тюльпанов и апрельского воздуха! Может быть, это и есть Случай?.. Пока ты не на подозрении, по-

ка ты ещё не в режимке — теперь–то и бежать!

За это время Тэнно уже многих узнал в лагере и сейчас быстро сбивает звено из четверых: Миша Хайдаров (был в советской морской пехоте в Северной Корее, от военного трибунала бежал через 38–ю параллель; не желая портить хороших прочных отношений в Корее, американцы выдали его назад, четвертная); Яздик, шофёр–поляк из армии Андерса (свою биографию выразительно излагает по двум своим непарным сапогам: «сапоги — один от Гитлера, один — от Сталина»); и ещё железнодорожник из Куйбышева Сергей.

Тут пришёл грузовик с настоящими столбами для будущей зоны и мотками колючей проволоки — как раз к началу обеденного перерыва. Звено Тэнно, любя каторжный труд, а особенно любя укреплять зону, взялось добровольно разгружать машину и в перерыв. Залезли в кузов. Но так как время всё–таки было обеденное — шевелились еле–еле и соображали. Шофёр отошёл в сторонку. Все заключённые лежали кто где, грелись на солнышке.

Бежим или нет? С собой— ничего: ни ножа, ни снаряжения, ни пищи, ни плана. Впрочем, если на машине, то по мелкой карте Тэнно знает: гнать на Джезды и потом на Улутау. Загорелись ребята:

случай! Случай!

Отсюда к «воротам», на часового, получается под уклон. И вскоре же дорога сворачивает за холм. Если ехать быстро — уже не застрелят. И не оставят же часовые своих постов!

Разгрузили— перерыв ещё не кончился. Править— Яз–дику. Он соскочил, полазил около машины, трое тем временем лениво легли на дно кузова, скрылись, может не все часовые и видели, куда они делись. Яздик привёл шофёра: не задержали разгрузкой — так дай закурить. Закурили. Ну, заводи! Сел шофёр в кабину, но мотор, как назло, почему–то не заводится. (Трое в кузове плана Яздика не знают и думают— сорвалось.) Яздик взялся ручку крутить. Всё равно не заводится. Яздик уже устал, предлагает шофёру поменяться. Теперь Яздик в кабине. И сразу мотор заревел! и машина покатилась уклоном на воротного часового! (Потом Яздик рассказывал: он для шофёра перекрывал краник подачи бензина, а для себя успел открыть.) Шофёр не спешил сесть, он думал, что Яздик остановит. Но машина со скоростью прошла «ворота».

Два раза «стой»! Машина идёт. Пальба часовых— сперва в воздух, очень уж похоже на ошибку. Может и в машину, беглецы не знают, они

лежат. Поворот. За холмом, ушли от стрельбы! Трое в кузове ещё не поднимают голов. Тряско, быстро. И вдруг — остановка, и Яздик кричит в отчаянии: не угадал он дороги! — упёрлись в ворота шахты, где своя зона, свои вышки.

Выстрелы. Бежит конвой. Беглецы вываливаются на землю, ничком, и закрывают головы руками. Конвой же бьёт ногами и именно старается в голову, в ухо, в висок и сверху в хребет.

Общечеловеческое спасительное правило — «лежачего не бьют» — не действует на сталинской каторге! У нас лежачего именно бьют. А в стоячего стреляют.

Но на допросе выясняется, что никакого побега не было] Да! Ребята дружно говорят, что дремали в машине, машина покатилась, тут— выстрелы, выпрыгивать поздно, могут застрелить. А Яздик? Неопытен, не мог справиться с машиной. Но не в степь же рулил, а к соседней шахте.

Так обошлось побоями.

Ещё много побегов предстоит Мише Хайдарову. Даже в самое мягкое хрущёвское время, когда беглецы затаятся, ожидая легального освобождения, он со своими безнадёжными (для прощения) дружками попытается бежать со всесоюзного штрафняка Андзёба–307: пособники бросят под

вышки самодельные гранаты, чтобы отвлечь внимание, пока беглецы с топорами будут рубить проволоку запретки. Но автоматным огнём их задержат.

А побег по плану готовится само собой. Делается компас: пластмассовая баночка, на неё наносятся румбы. Кусок намагниченной спицы сажается на деревянный поплавок. Теперь наливают воды. Вот и компас. Питьевую воду удобно будет налить в автомобильную камеру и в побеге нести её, как шинельную скатку. Все эти вещи (и продукты, и одежду) постепенно носят на ДОК (Деревообделочный комбинат), с которого собираются бежать, и там прячут в яме близ пило–резки. Один вольный шофёр продаёт им камеру. Наполненная водой, лежит уже и она в яме. Иногда ночью приходит эшелон, для этого оставляют грузчиков на ночь в рабочей зоне. Вот тут–то и надо бежать. Кто–то из вольняшек за принесенную ему из зоны казённую простыню (наши цены!) перерезал уже две нижние нити колючки против пилорезки, и вот–вот подходила ночь разгрузки брёвен! Однако нашёлся заключённый, казах, который выследил их яму–заначку и донёс.

Арест, избиения, допросы. Для Тэнно— слишком много «совпадений», похожих на побеги.

Когда их отправляют вкен–гирскую тюрьму и Тэнно стоит лицом к стене, руки назад, мимо проходит начальник КВЧ, капитан, останавливается против Тэнно и восклицает:

— Эх ты! Эх, ты–ы! А ещё — самодеятельностью занимался!

Больше всего его поражает, что беглецом оказался разносчик лагерной культуры. Ему в день концерта выдавали лишнюю порцию каши— а он бежал! Что ж ещё человеку надо?..

9 мая 1950 года, в пятилетие Победы, фронтовой моряк Тэнно вошёл в камеру знаменитой кенгирской тюрьмы. В почти тёмной камере с малым окошком наверху — нет воздуха, но множество клопов, все стены покрыты кровью раздавленных. В это лето разражается зной в 40–50 градусов, все лежат голые. Попрохладнее под нарами, но ночью с криком оттуда выскакивают двое: на них сели фаланги.

В кенгирской тюрьме— избранное общество, свезенное из разных лагерей. Во всех камерах— беглецы с опытом, редкий подбор орлов. Наконец попал Тэнно к убеждённым беглецам!

Сидит здесь и Иван Воробьёв, капитан, Герой Советского Союза. Во время войны он был партизаном во Псковской области. Это — реши-

тельный человек неугнетаемого нрава. У него уже есть неудачные побеги и ещё будут впереди. На беду, он не может принять тюремной окраски— приблатнённости, помогающей беглецу. Он сохранил фронтовую прямоту, у него — начальник штаба, они чертят план местности и открыто совещаются на нарах. Он не может перестроиться к лагерной скрытости и хитрости, и его всегда продают стукачи.

Бродил в головах план: схватить надзирателя при выдаче вечерней пищи, если будет он один. Его ключами отворить все камеры. Ринуться к выходу из тюрьмы, овладеть им. Затем, открыв тюремную дверь, лавиной броситься к лагерной вахте. Взять вахтёров на прихват и вырваться за зону в начале тёмного времени.

Стали выводить их на стройку жилого квартала — возник план уползти по канализационным трубам.

Но планы не дошли до осуществления. Тем же летом всё это избранное общество заковали в наручники и повезли почему–то в Спасск. Там их поместили в отдельно охраняемый барак. На четвёртую же ночь убеждённые беглецы вынули решётку окна, вышли в хоздвор, беззвучно убили там собаку и через крышу должны были перехо-

дить в огромную общую зону. Но железная крыша стала мяться под ногами, и в ночной тишине это было как грохот. У надзора поднялась тревога. Однако когда пришли к ним в барак, — все мирно спали, и решётка стояла на месте. Надзирателям просто померещилось.

Не суждено, не суждено пребывать им долго на месте! Убеждённых беглецов, как летучих голландцев, гонит дальше беспокойный их жребий. И если они не убежали, то везут их. Теперь эту всю пробивную компанию перебрасывают в наручниках в экибастузскую тюрьму. Тут присоединяют к ним и своих неудавшихся беглецов — Брюхина и Мутьянова.

Как виновных, как режимных, их выводят на известковый завод. Негашёную известь они разгружают с машин на ветру, и известь гасится у них в глазах, во рту, в дыхательном горле. При разгрузке печей их голые потные тела осыпаются пылью гашеной извести. Ежедневная эта отрава, измысленная им в исправление, только вынуждает их поспешить с побегом.

План напрашивается сам: известь привозят на автомашинах— на автомашине и вырваться. Рвать зону, она ещё проволочная здесь. Брать машину, пополней заправленную бензином.

Классный шофёр среди беглецов— Коля Жданок, напарник Тэнно по неудавшемуся побегу от пилорезки. Договорено: он и поведёт машину. Договорено, но Воробьёв слишком решителен, он— слишком действие, чтобы довериться чьей–то чужой руке. И когда машину прихватывают (к шофёру в кабину с двух сторон влезают беглецы с ножами, и бледному шофёру остаётся сидеть посредине и невольно участвовать в побеге), — место водителя занимает Воробьёв.

Считанные минуты! Надо всем прыгать в кузов и вырываться. Тэнно просит: «Иван, уступи!» Но не может Иван Воробьёв уступить! Не веря его уменью, Тэнно и Жданок остаются. Беглецов теперь только трое: Воробьёв, Салопаев и Мартиросов. Вдруг откуда ни возьмись подбегает Редькин, этот математик, интеллигент, чудак, он совсем не беглец, он в режимку попал за что–то другое. Но сейчас он был близко, заметил, понял и, в руке с куском почему–то мыла, не хлеба, вскакивает в кузов:

— На свободу? И я с вами!

(Как в автобус вскакивая: «На Разгуляй идёт?»)

Разворачиваясь, малым ходом, машина пошла так, чтобы первые нити проволоки прорвать бампером, постепенно, следующие придутся

на мотор, на кабину. В предзоннике она проходит между столбами, но в главной линии зоны приходится валить столбы, потому что они расставлены в шахматном порядке. И машина на первой скорости валит столб!

Конвой на вышках оторопел: за несколько дней перед тем был случай на другом объекте, что пьяный шофёр сломал столб в запретке. Может, пьян и этот?.. Конвоиры думают так пятнадцать секунд. Но за это время повален столб, машина взяла вторую скорость и, не проколов баллонов, вышла по колючке. Теперь— стрелять! А стрелять некуда: предохраняя конвоиров от казахстанских ветров, их вышки забраны досками с наружных сторон. Они стрелять могут только в зону и вдоль. Машина уже невидима им и погнала по степи, поднимая пыль. Вышки бессильно стреляют в воздух.

Дороги все свободны, степь ровна, через пять минут машина Воробьёва была бы на горизонте! — но абсолютно случайно тут же едет воронок конвойного дивизиона— на автобазу, для ремонта. Он быстро сажает охрану— и гонится за Воробьёвым. И побег окончен… через двадцать минут. Избитые беглецы и с ними математик Редькин, ощущая всем раскровавленным ртом

эту тёплую солоноватую влагу свободы, идут, шатаясь, в лагерную тюрьму.

В ноябре 1951 Иван Воробьёв ещё раз бежит с рабочего объекта на самосвале, 6 человек. Через несколько дней их ловят. Понаслышке в 1953 году Воробьёв был одним из центровых бунтарей Норильского восстания, потом заточён в Александровский централ.

Вероятно, жизнь этого замечательного человека, начиная с его предвоенной молодости и партизанства, многое бы объяснила нам в эпохе.

Однако по всему лагерю слух: прорвали— прекрасно! задержали— случайно! И ещё через десяток дней Батанов, бывший курсант–авиационник, с двумя друзьями повторяет манёвр: на другом объекте они прорывают проволочную зону и гонят! Но гонят— не по той дороге, впопыхах ошиблись и попадают под выстрел с вышки известкового завода. Пробит баллон, машина остановилась. Автоматчики окружили: «Выходи!» Надо выходить? или надо ждать, пока вытащат за загривок? Один из трёх, Пасечник, выполнил команду, вышел из машины— и тут же был прошит озлобленными очередями.

За какой–нибудь месяц уже три побега в Экибастузе — а Тэнно не бежит! Он изнывает. Ревнивое

подражание истачивает его. Со стороны виднее все ошибки и всегда кажется, что ты сделал бы лучше. Например, если бы за рулём был Жданок, а не Воробьёв, думает Тэнно, — можно было бы уйти и от воронка. Машина Воробьёва только–только ещё была остановлена, а Тэнно со Жданком уже сели обсуждать, как же надо бежать им.

Жданок— чернявый, маленький, очень подвижный, при–блатнённый. Ему 26 лет, он белорус, оттуда вывезен в Германию, у немцев работал шофёром. Срок у него — тоже четвертак. Когда он загорается, он так энергичен, он исходит весь в работе, в порыве, в драке, в беге. Ему, конечно, не хватает выдержки, но выдержка есть у Тэнно.

Всё подсказывает им: с известкового же завода и бежать. Если не на машине, то машину захватить за зоной. Но прежде чем замыслу этому помешает конвой или опер, — бригадир штрафников Лёшка Цыган (Наврузов), сука, щуплый, но наводящий ужас на всех, убивший в своей лагерной жизни десятки людей (легко убивал из–за посылки, даже из–за пачки папирос), отзывает Тэнно и предупреждает:

— Я сам беглец и люблю беглецов. Смотри,

моё тело прошито пулями, это побег в тайге. Я знаю, ты тоже хотел бежать с Воробьёвым. Но не беги из рабочей зоны: тут я отвечаю, меня опять посадят.

То есть беглецов любит, но себя — больше. Лёшка Цыган доволен своей ссученной жизнью и не даст её нарушить. Вот «любовь к свободе» у блатного.

А может, правда, экибастузские побеги становятся однообразны? Все бегут из рабочих зон, никто из жилой. Отважиться? Жилая зона ещё тоже пока проволочная, ещё тоже пока забора нет.

Как–то на известковом испортили электропроводку на растворомешалке. Вызван вольный электромонтёр. Тэнно помогает ему чинить, Жданок тем временем ворует из кармана кусачки. Монтёр спохватывается: нет кусачек! Заявить охране? Нельзя, самого осудят за халатность. Просит блатных: верните! Блатные говорят, что не брали.

Там же, на известковом, беглецы готовят себе два ножа: зубилами вырубают их из лопат, в кузне заостряют, закаляют, в глиняных формах отливают им ручки из олова. У Тэнно — «турецкий», он не только пригодится в деле, но кривым блестящим видом устрашает, а это ещё важней.

Ведь не убивать они собираются, а пугать.

И кусачки, и ножи пронесли в жилую зону под кальсонами у щиколоток, засунули под фундамент барака.

Главный ключ к побегу опять должно быть КВЧ. Пока готовится и переносится оружие, Тэнно своим чередом заявляет, что вместе со Жданком он хочет участвовать в концерте самодеятельности. В Экибастузе ещё ни одного не было, это будет первый, и с нетерпением подгоняется начальством: нужна галочка в списке мероприятий, отвлекающих от крамолы, да и самим забавно посмотреть, как после одиннадцатичасового каторжного труда заключённые будут ломаться на сцене. И вот разрешается Тэнно и Жданку уходить из режимного барака после его запирания, когда вся зона ещё два часа живёт и движется. Они бродят по ещё незнакомой им экибастузской зоне, замечают, как и когда меняется на вышках конвой; где наиболее удобные подползы к зоне. В самом КВЧ Тэнно внимательно читает павлодарскую областную газетку, он старается запоминать названия районов, совхозов, колхозов, фамилии председателей, секретарей и всяческих ударников. Дальше он заявляет, что играться будет скетч и для этого надо им получить свои гражданские

костюмы из каптёрки и чей–нибудь портфель. (Портфель в побеге— это необычно! Это придаёт начальственный вид!) Разрешение получено. Морской китель ещё на Тэнно, теперь он берёт и свой исландский костюм, воспоминание о морском конвое. Жданок берёт из чемодана дружка серый бельгийский, настолько элегантный, что даже странно смотреть на него в лагере. У одного латыша хранится в вещах портфель. Берётся и он. И — кепки настоящие вместо лагерных картузиков.

Но так много репетиций требует скетч, что не хватает времени и до общего отбоя. Поэтому одну ночь и ещё как–то другую Тэнно и Жданок вовсе не возвращаются в режимный барак, ночуют втом бараке, где КВЧ, приучают надзирателей режимки. (Ведь надо выиграть в побеге хотя бы одну ночь.)

Когда самый удобный момент побега? Вечерняя проверка. Когда стоит очередь у бараков, все надзиратели заняты впуском, дай зэки смотрят на дверь, как бы спать скорее, никто не следит за остальною частью зоны. День уменьшается, — и подгадать надо такой, чтобы проверка пришлась уже после заката, в посерение, но ещё до расстановки собак вокруг зоны. Надо подловить эти

единственные пять–десять минут, потому что выползать при собаках невозможно.

Выбрали воскресенье 17 сентября. Удобно, воскресенье будет нерабочее, набраться к вечеру сил, неторопливо сделать последние приготовления.

Последняя ночь перед побегом! Много ли ты уснёшь? Мысли, мысли… Да буду ли жив я через сутки?.. Может быть и нет. Ну а в лагере? — растянутая смерть доходяги у помойки?.. Нет, не разрешать себе даже свыкаться с мыслью, что ты— невольник.

Вопрос так стоит: к смерти ты готов? Готов. Значит, и к побегу.

Солнечный воскресный день. Ради скетча обоих на весь день выпустили из режимки. Вдруг в КВЧ — письмо Тэнно от матери. Да, именно в этот день. Сколько этих роковых совпадений могут вспомнить арестанты?.. Грустное письмо, но, может быть, закаляющее: жена ещё в тюрьме, ещё до сих пор не доехала до лагеря. А жена брата требует от брата прекратить связь с изменником родины.

С едой очень плохо у беглецов: в режимке сидят они на подсосе, собирание хлеба создало бы подозрение. Но у них расчёт на быстрое продвижение, в посёлке захватить машину. Однако от мамы в

этот же день и посылка— материнское благословение на побег. Глюкоза в таблетках, макароны, овсяные хлопья — это с собой в портфель. Сигареты — это выменять на махорку. А одну пачку отнести в санчасть фельдшеру.

И Жданок уже вписан в список освобождённых на сегодня. Это вот зачем. Тэнно идёт в КВЧ: заболел мой Жданок, сегодня вечером репетиция не состоится, не придём. А в режимке надзирателю и Лёшке Цыгану: сегодня вечером мы на репетиции, в барак не придём. Итак, не будут ждать ни там, ни здесь.

Ещё достать надо «катюшу» — кресало с фитилём в трубке, это в побеге лучше спичек. Ещё надо в последний раз навестить Хафиза в его бараке. Опытный беглец татарин Хафиз должен был идти в побег вместе с ними. Но потом рассудил, что он стар и на такой побег будет обузой. Сейчас он— единственный в лагере человек, кто знает об их побеге. Он сидит, подвернув ноги, на своей вагонке. Шепчет: «Дай Бог вам счастья. Я буду за вас молиться». Он шепчет ещё по–татарски и водит руками по лицу.

А ещё есть у Тэнно в Экибастузе старый лубянский однокамерник Иван Коверченко. Он не знает о побеге, но хороший товарищ. Он приду-

рок, живёт в отдельной кабине; у него беглецы и собирают все свои вещи для скетча. С ним естественно сегодня сварить и крупу, пришедшую в скудной маминой посылке. Заваривается и чифир. Они сидят за маленьким пиршеством, двое гостей млея от предстоящего, хозяин— просто от хорошего воскресенья, — и вдруг в окно видят, как от вахты несут через зону к моргу плохо отёсанный гроб.

Это — для Пасечника, застреленного на днях.

— Да, — вздыхает Коверченко, — побег бесполезен… (Если б он знал!..)

Коверченко по наитию поднимается, берёт в руки их тутой портфель, ходит важно по кабинке и заявляет с суровостью:

— Следствию всё известно! Вы собираетесь в побег! Это он шутит. Это он решил сыграть следователя… Хороша шуточка.

(А может быть, это он тонко намекает: я догадываюсь, братцы. Но — не советую.)

Когда Коверченко уходит, беглецы поддевают костюмы под то, что на них. И номера все свои отпарывают и наживляют еле–еле, чтобы сорвать одним движением. Кепки без номеров — в портфель.

Воскресенье кончается. Золотистое солнце за-

ходит. Рослый медлительный Тэнно и маленький подвижный Жданок набрасывают ещё телогрейки на плечи, берут портфель (уже в лагере привыкли к этому их чудацкому виду) и идут на свою стартовую площадку — между бараками, на траву, недалеко от зоны, прямо против вышки. От двух других вышек их заслоняют бараки. Только вот этот один часовой перед ними. Они расстилают телогрейки, ложатся на них и играют в шахматы, чтобы часовой привык.

Сереет. Сигнал проверки. Зэки стягиваются к баракам. Уже сумерки, и часовой с вышки не должен бы различать, что двое остались лежать на траве. У него подходит смена к концу, он не так уж внимателен. При старом часовом всегда уйти легче.

Проволоку намечено резать не на участке где–то, а прямо у самой вышки, вплотную. Наверняка часовой больше смотрит за зоной вдаль, чем под ноги себе.

Их головы — у самой травы, к тому же — сумерки, они не видят своего лаза, по которому сейчас поползут. Но он хорошо присмотрен заранее: сразу за зоной вырыта яма для столба, в неё можно будет на минуту спрятаться; ещё там дальше — бугорки шлака; и проходит дорога из конвойного

городка в посёлок.

План такой: сейчас же в посёлке брать машину. Остановить, сказать шофёру: заработать хочешь? Нам нужно из старого Экибастуза подкинуть сюда два ящика водки. Какой шоферюга не захочет выпить?! Поторговаться: пол–литра тебе? Литр? Ладно, гони, только никому! А потом по дороге, сидя с ним в кабине, прихватить его, вывезти в степь, там оставить связанного. Самим рвануть за ночь до Иртыша, там бросить машину, Иртыш переплыть на лодке— и двинуться на Омск.

Ещё немного стемнело. На вышках зажгли прожекторы, они светят вдоль зоны, беглецы же лежат пока в теневом секторе. Самое время! Скоро будет смена и приведут–поставят на ночь собак.

В бараках уже зажигаются лампочки, видно, как зэки входят с проверки. Хорошо в бараке? Тепло, уютно… А сейчас вот прошьют тебя из автомата и обидно, что — лёжа, распростёртого.

Как бы под вышкой не кашлянуть, не перхнуть. Ну, стерегите, псы сторожевые! Ваше дело — держать, наше дело — бежать!

А дальше пусть Тэнно сам рассказывает.

Глава 7. БЕЛЫЙ КОТЁНОК

(Рассказ Георгия Тзнно)

Я — старше Коли, мне идти первому. Нож в ножнах у пояса, кусачки в руках. «Когда перережу предзонник — догоняй!»

Ползу по–пластунски. Хочется вдавиться в землю. Посмотреть на часового или нет? Посмотреть — это увидеть угрозу или даже притянуть взглядом его взгляд. Так тянет посмотреть! Нет, не буду.

Ближе к вышке. Ближе к смерти. Жду очереди в себя. Вот сейчас застрекочет… А может, он отлично видит меня, стоит и издевается, хочет дать мне ещё поколотиться?..

Вот и предзонник. Повернулся, лёг вдоль него. Режу первую нить. Освобождённая от натяга, вдруг клацнула перерезанная проволока. Сейчас очередь?.. Нет. Может, мне одному только и слышно этот звук. Носильный какой. Режу вторую нить. Режу третью. Перебрасываю ногу, другую. Зацепились брюки за усики перерезанной упавшей нити. Отцепился.

Переползаю метры вспаханной земли. Сзади —

шорох. Это — Коля, но зачем так громко? А, это портфель у него чертит по земле.

Вот и колючие откосики основной зоны. Они наперекрест. Перерезал их несколько. Теперь лежит спираль Бруно. Перерезал её дважды, очистил дорогу. Режу нити главной полосы. Мы, наверно, почти не дышим. Не стреляет. Дом вспоминает? Или ему сегодня на танцы?

Переложил тело за внешнюю зону. А там ещё спираль Бруно. В ней запутался. Режу. Не забыть и не запутаться: тут ещё должны быть внешние наклонные полосы. Вот они. Режу.

Теперь ползу к яме. Яма не обманула, здесь она. Опускаюсь я. Опускается Коля. Отдышались. Скорее дальше! — вот–вот смена, вот–вот собаки.

Выдаёмся из ямы, ползём к холмикам шлака. Не решаемся оглядываться и теперь. Коля рвётся скорей! поднимается на четвереньки. Осаживаю.

По–пластунски одолели первый холмик шлака. Кладу кусачки под камень.

Вот и дорога. Близ неё— встаём. Не стреляют.

Пошли вразвалочку, не торопясь, — теперь настал момент изобразить бесконвойных, их барак близко. Срываем номера с груди, с колена— и вдруг из темноты навстречу двое. Идут из гарнизона в посёлок. Это солдаты. А на спинах у

нас — ещё номера!! Громко говорю:

— Ваня! А может, сообразим на пол–литра?

Медленно идём, ещё не по самой дороге, а к ней. Медленно идём, чтобы они прошли раньше, но— прямо на солдат, и лиц не прячем. В двух метрах от нас проходят. Чтоб не поворачиваться к ним спинами, мы даже почти останавливаемся. Они идут, толкуют своё — и мы со спин друг у друга срываем номера!

Не замечены?!.. Свободны?! Теперь в посёлок за машиной. Но — что это?? Над лагерем взвивается ракета! другая! третья!..

Нас обнаружили! Сейчас погоня! Бежать!!

И мы не решаемся больше рассматривать, раздумывать, соображать— весь наш великолепный план уже сломан. Мы бросаемся в степь — просто дальше от лагеря! Мы задыхаемся, падаем на неровностях, вскакиваем — а там взлетают и взлетают ракеты! По прошлым побегам мы представляем: сейчас выпустят погоню на лошадях с собаками на сворках— во все стороны по степи. И всю нашу драгоценную махорку мы сыпем на следы и делаем крупные прыжки.

Случайность! Случайность, как тот встречный воронок! Случайность, которую невозможно предвидеть! На каждом шагу подстерегают нас

в жизни случайности благоприятные и враждебные. Но только в побеге, но только на хребте риска мы познаём всю их полную увесистость. Совершенно случайно через три–пять минут после выпол–за Тэнно и Жданка погасает свет зоны — и только поэтому с вышек швыряют ракетами, которых в тот год ещё много было в Экибастузе. Если бы беглецы ползли на пять минут позже — насторожившиеся конвоиры могли бы заметить их и расстрелять. Если бы беглецы смогли под освещенным ярким небом умерить себя, спокойно рассмотреть зону и увидеть, что погасли фонари и прожекторы зоны, они спокойно отправились бы за автомашиной, и весь их побег сложился бы совсем иначе. — Но в их положении— только что подлезли, и вдруг ракеты над зоной— и усомниться было нельзя, что это— за ними, по их головы. Короткий перебой в осветительной сети — и весь их побег оказался перевёрнут и распластан.

Теперь надо посёлок обойти большим кругом по степи. Это берёт много времени и труда. Коля начинает сомневаться, правильно ли я веду. Обидно.

Но вот и насыпь железной дороги на Павлодар. Обрадовались. С насыпи Экибастуз поражает рас-

сыпанными огнями и кажется таким большим, каким мы никогда его не видели.

Подобрали палочку. Держась за неё, пошли так: один по одному рельсу, другой по другому. Пройдёт поезд, и собаки по рельсам не возьмут следа.

Метров триста так прошли, потом прыжками— и в степь.

И вот когда стало дышать нам легко, совсем по–новому! Захотелось петь, кричать! Мы обнялись. Мы на самом деле свободны! И какое уважение к себе, что мы решились на побег, осуществили его и обманули псарню.

И хотя все испытания воли только начинаются, а ощущение такое, что главное уже совершено.

Небо— чистое. Тёмное и полное звёзд, каким из лагеря оно никогда не видно из–за фонарей. По Полярной мы пошли на северо–северо–восток. А потом подадимся правей — и будем у Иртыша. Надо постараться за первую ночь уйти как можно дальше. Этим в квадрат раз расширяется круговая зона, которую погоня должна будет держать под контролем. Вспоминая весёлые бодрые песенки на разных языках, мы быстро идём, километров по восемь в час. Но оттого, что много месяцев мы сидели в тюрьме, наши ноги, оказывается, разучились ходить, и вот устают. (Мы предви-

дели это, но ведь мы думали ехать на машине.) Мы начинаем ложиться, составив ноги кверху шалашиком. И опять идём. И ещё ложимся.

Странно долго не угасает зарево Экибастуза за спинами. Несколько часов мы идём, а зарево всё стоит на небе.

Но кончается ночь, восток бледнеет. Днём по гладкой открытой степи нам не только идти нельзя, нам даже спрятаться здесь нелегко: ни кустов, ни порядочной высокой травы, а искать нас будут и с самолёта, это известно.

И вот мы ножами выкапываем ямку (земля твёрдая, с камнями, копать трудно) — шириною в полметра, глубиною сантиметров в тридцать, ложимся туда валетом, обкладываемся сухим колючим жёлтым караганником. Теперь бы заснуть, набраться сил! А заснуть невозможно. Это дневное бессильное лежание больше чем полсуток куда тяжелее ночной ходьбы. Всё думается, всё думается… Припекает жаркое сентябрьское солнце, а ведь пить нечего, и ничего не будет. Мы нарушили закон казахстанских побегов: надо бежать весной, а не осенью… Но ведь мы думали— на машине… Мы изнываем от пяти утра — и до восьми вечера. Затекло тело — но нельзя нам менять положение: приподнимемся, разворо-

чаем караган–ник — может всадник увидеть издали. В двух костюмах каждый мы пропадаем от жары. Терпи.

И только вот когда темнота— время беглецов.

Поднялись. А стоять трудно, ноги болят. Пошли медленно, стараясь размяться. Мало и сил: завесь день погрызли сухих макарон, глотнули таблеток глюкозы. Пить хочется.

Даже в ночной темноте сегодня надо быть готовым к засаде: ведь, конечно, всюду сообщили по радио, во все стороны выслали автомашины, а в омскую сторону больше всего. Интересно: как и когда нашли наши телогрейки на земле и шахматы? По номерам сразу разберутся, что это — мы, и переклички по картотеке устраивать не надо.

А было так: утром работяги нашли холодные телогрейки, явно ночевавшие. Содрали номера мтяпнули их себе: телогрейка— это вещь! Надзиратели так и не видали их. И прорезанные нити колючки увидели только к вечеру понедельника. И по картотеке целый день дознавались— кто бежал. Беглецы ещё и утром могли открыто идти и ехать! Вот что значит— недосмотрелись, почему ракеты.

Когда же в лагере постепенно выяснилась картина побега воскресным вечером, то вспомнили,

что свет гас, и восклицали: «Ну, хитрецы! Ну ловкачи! Как же умудрились свет выключить?» И все долго будут считать, что потухший свет им помог.

Идём не больше четырёх километров в час. Ноги ноют. Часто ложимся отдыхать. Пить, пить! За ночь прошли не больше километров двадцати. И опять надо искать, где спрятаться, и ложиться на дневную муку.

Показались будто строения. Стали к ним подползать осторожно. А это, неожиданно в степи, валуны. Нет ли в их выемках воды? Нет… Под одним валуном щель. Толи шакалы прорыли. Протиснуться в неё было трудно. А вдруг обвалится? — раздавит в лепёшку, да ещё не умрёшь сразу. Уже холодновато. До утра не заснули. И днём не заснули. Взяли ножи, стали точить о камень: они затупились, когда копали яму на прошлой стоянке.

Среди дня— близкий стук колёс. Плохо, мы— около дороги. Совсем рядом снами проехал казах. Бормотал что–то. Выскочить нагнать его, может, у него вода? Но как брать его, не осмотрев местности: может быть, мы видны людям?

По этой самой дороге как бы не пошла и погоня. Осторожно вылезли, осмотрелись снизу. Метрах

в ста какое–то сломанное строение. Переползли туда. Никого. Колодец!! Нет, забросан мусором. В углу труха от соломы. Полежим здесь? Легли. Сон не идёт. Э–э, блохи кусают! Блохи!! Да какие крупные, да сколько их! Светло–серый бельгийский колин пиджак стал чёрен от блох. Трясёмся, чистимся. Поползли назад, в шакалью щель. Время уходит, силы уходят, а не движемся.

В сумерки поднимаемся. Очень слабы. Мучит жажда. Решаем взять ещё правей, чтоб раньше выйти к Иртышу. Ясная ночь, небо чёрно–звёздное. Из созвездий Пегаса и Персея сочетается мне очертание быка, наклонившего голову и напористо идущего вперёд, подбодряя нас. Идём и мы.

Вдруг — перед нами взлетают ракеты! Уже они впереди! Мы замираем. Мы видим насыпь. Железная дорога. Ракет больше нет, но вдоль рельс засвечивает прожектор, луч покачивается в обе стороны. Это идёт дрезина, просматривая степь. Вот заметят сейчас — и всё… Дурацкая беспомощность: лежать в луче и ждать, что тебя заметят.

Прошла, не заметили. Вскакиваем. Бежать не можем, но побыстрей подаёмся от насыпи в сторону. А небо быстро заволакивает тучами, и мы, с нашим бросанием вправо и влево, потеряли точное направление. Теперь идём почти наугад. И

километров делаем мало, и может они — ненужный зигзаг.

Пустая ночь!.. Опять светает. Опять рвём караганник. Яму копать — а моего кривого турецкого ножа нет. Я потерял его, когда лежал или когда резко бросился от насыпи. Беда! Как можно беглецу без ножа? Вырыли ямку колиным.

Одно только хорошо: у меня было предсказание, что я погибну тридцати восьми лет. Моряку трудно не быть суеверным. Но наступившее утро двадцатого сентября — мой день рожденья. Мне исполняется сегодня тридцать девять. Предсказание больше меня не касается. Я буду жить!

И опять лежим мы в ямке— без движения, без воды… Если б могли заснуть! — не спим. Если б дождь пошёл! — растянуло. Плохо. Кончаются третьи сутки побега—у нас ещё не было ни капли воды, мы глотаем в день по пять таблеток глюкозы. И продвинулись мы мало— может быть, на треть пути до Иртыша. А друзья там в лагере радуются за нас, что у зелёного прокурора мы получили свободу…

Сумерки. Звёзды. Курс норд–ост. Бредём. Вдруг слышим крик вдали: «Ва–ва–ва–ва!» Что это? По рассказу опытного беглеца Кудлы — так казахи отгоняют волков от овец.

Овцу! Овцу бы нам! — и мы спасены. В вольных условиях никогда бы не подумали пить кровь. А здесь— только дай.

Крадёмся. Ползём. Строения. Колодца невидим. В дом заходить— опасно, встреча с людьми— это след. Крадёмся к саманной кошаре. Да, это казашка кричала, отгоняя волков. Переваливаемся в кошару, где стена пониже, нож у меня в зубах. Ползком — охота на овцу. Вот слышу — дышит рядом. Но— шарахаются от нас, шарахаются! Мы опять заползаем с разных сторон. Как бы за ногу схватить? Бегут! (Позже, будет время, объяснят мне, в чём была ошибка. Мы ползём — и овцы принимают нас за зверей. Надо было подходить во весь рост, по–хозяйски, и овцы легко бы дались.)

Казашка чует что–то неладное, подошла, всматривается в темноту. Огня при ней нет, но подняла комья земли, стала бросать ими, попала в Колю. Идёт прямо на меня, вот сейчас наступит! Увидела или почувствовала, заверещала: «Шайтан! Шайтан!» — и от нас, а мы от неё, через стенку, и залегли. Мужские голоса. Спокойные. Наверно, говорят: почудилось бабе.

Поражение. Что ж, бредём дальше.

Силуэт лошади. Красавица! Нужна бы. Подхо-

дим. Стоит. Потрепали её по шее, накинули на неё ремень. Жданка я подсадил, а сам не могу вскарабкаться, так ослаб. Руками цепляюсь, животом наваливаюсь, а ноги взбросить не могу. Она вертится. Вот вырвалась, понесла Жданка, свалила. Хорошо хоть ремень остался у него в руке, не оставили следа, вали всё на шайтана.

Из сил выбились с этой лошадью. Ещё трудней идти. А тут земля пошла распаханная, борозды. Увязаем, волочим ноги. Но отчасти это и хорошо: где пахота— там люди, где люди — там вода.

Идём, бредём, тащимся. Опять силуэты. Опять залегли и ползём. Стоги сена! Здорово, луга? Иртыш близко? (Ещё ой как далеко…) Из сил последних забрались наверх, закопались.

Вот когда заснули мы на целый день! Вместе с бессонной ночью перед побегом это мы потеряли уже пять ночей без сна.

Мы просыпаемся в конце дня, слышим трактор. Осторожно разбираем сено, высовываем головы чуть–чуть. Подъехали два трактора. Избёнка. Уже вечереет.

Идея! — в трактор залита охлаждающая вода! Трактористы лягут спать — и мы её выпьем.

Стемнело. Исполнилось четверо суток побега. Ползём к тракторам.

Хорошо хоть собаки нет. Тихо добрались до слива, глотнули, — нет, с керосином вода. Отплёвываемся, не можем пить.

Всё тут у них есть — и вода, и еда. Сейчас постучаться, попросить Христом–Богом: «Братцы! Люди! Помогите! Мы — узники, мы из тюрьмы бежали!» Как это было в девятнадцатом веке — к таёжным тропкам выносили горшки с кашей, одежён–ку, медные деньги.

Хлебом кормили крестьянки меня, Парни снабжали махоркой.

Чёрта лысого! Время не то. Продадут. Или от души продадут, или себя спасая. Потому что за соучастие можно и им влепить по четвертаку. В прошлом веке не догадывались давать захлеб и за воду политическую статью.

И мы тащимся дальше. Тащимся всю ночь. Мы ждём Иртыша, мы ловим признаки реки. Но нет их. Мы гоним и гоним себя, не щадя. К утру попадается опять стог. Ещё трудней, чем вчера, мы на него взлезаем. Засыпаем. И то хорошо.

Просыпаемся к вечеру. Сколько же может вынести человек? Вот уже пять суток побега. Недалеко видим юрту, близ неё— навес. Тихо туда крадёмся. Там насыпана магара. Набиваем ею портфель, пытаемся жевать, но нельзя прогло-

тить — так высох рот. Вдруг увидели около юрты огромный самовар, ведра на два. Подползли к нему. Открыли кран — пустой, проклятый. Когда наклонили— сделали глотка по два.

И снова побрели. Брели и падали. Лежишь — дышится легче. Подняться со спины уже не можем. Чтобы подняться, надо сперва перекатиться на живот. Потом встать на четвереньки. Потом, качаясь, на ноги. И уже одышка. Так похудели, что, кажется, живот прирос к позвоночнику. Под утро переходим зараз метров на двести, не больше. И ложимся.

Утром и стог уже не попался. Какая–то нора в холме, выкопанная зверем. Пролежали в ней день, а заснуть не могли; в этот день похолодало, и от земли холодно. Или кровь уже не греет? Пытаемся жевать макароны.

И вдруг я вижу: цепь идёт! Краснопогонники! Нас окружают! Жданок меня дёргает: да тебе кажется, это — табун лошадей.

Да, померещилось. Опять лежим. День — бесконечный. Вдруг пришёл шакал — к себе в нору. Мы положили ему макарон и отползли, чтоб заманить его, припороть и съесть. Но он не взял. Ушёл.

В одну сторону от нас — уклон, и по нему

ниже — солончаки от пересохшего озера, а на другом берегу — юрта, дымок тянется.

Шесть суток прошло. Мы — уже на пределе: прибреди–лись вот краснопогонники, язык во рту не ворочается, мочимся редко и с кровью. Нет! Этой ночью пищу и воду добыть любой ценой! Пойдём туда, в юрту. А если откажут— брать силой. Я вспомнил: у старого беглеца Григория Кудлы был такой клич: махмадэра! (Это значит: уговоры окончены, бери!) Так с Колей и договорились: скажу «махмадэра!».

В темноте тихо подкрались к юрте. Есть колодец! Но нет ведра. Невдалеке коновязь, оседланная лошадь стоит. Заглянули в щель двери. Там, при коптилке, казах и казашка, дети. Стучим. Вошли. Говорю: «Салам!» Ау самого перед глазами круги, как бы не упасть. Внутри — круглый низкий стол (ещё ниже нашего модерна) для бешбармака. По кругу юрты— лавочки, покрытые кошмой. Большой кованый сундук.

Казах пробурчал что–то в ответ, смотрит исподлобья, не рад. Я для важности (да и силы надо сохранить) сел, положил портфель на стол. «Я— начальник геолого–разведочной партии, а это мой шофёр. Машина в степи осталась, с людьми, километров пять–семь отсюда: протекает

радиатор, ушла вода. И сами уж мы третьи сутки не евши, голодные. Пить–есть нам дай, аксакал. И— что посоветуешь делать?»

Но казах щурится, пить–есть не предлагает. Спрашивает: «А как памилйй начальник?»

Всё у меня было приготовлено, но голова гудит, забыл. Отвечаю: «Иванов. — (Глупо конечно.)— Ну, так продай продуктов, аксакал!» — «Нет. К соседу иди». — «Далеко?» — «Два километра».

Я сижу с осанкой, а Коля тем временем не выдержал, взял со стола лепёшку и пытается жевать, но, видно, трудно у него идёт. И вдруг казах берёт кнут — короткая ручка, а длинная кожаная плеть — и замахивается на Жданка. Я подымаюсь: «Эх вы, люди! Вот ваше гостеприимство!» А казах ручкой кнута тычет Жданка в спину, гонит из юрты. Я командую: «Махмадэра!» Нож достаю и казаху: «В угол! Ложись!» Казах бросился за полог. Я за ним: может, там у него ружьё, сейчас выстрелит?

А он шлёпнулся на постель, кричит: «Всё бери! Ничего не скажу!» Ах ты, сука! Зачем мне твоё «всё»? Почему ты мне раньше не дал то немного, что я просил.

Коле: «Шмон!» Сам стою с ножом у двери. Казашка визжит, дети заплакали. «Скажи

жене — никого не тронем. Нам надо — есть. Мясо — бар?» — «Йок!» — Руками разводит. А Коля шурует по юрте и уже тащит из клетушки вяленого барана. «Что ж ты врал?!» Тащит Коля и таз, а в нём— баурсаки— куски теста, проваренные в жиру. Тут я разобрался: на столе в пиалах стоит кумыс! Выпили с Колей. С каждым глотком просто жизнь возвращается! Что за напиток! Голова закружилась, но от опьянения как–то легко, силы прибавляются. Коля во вкус вошёл. Деньги мне протягивает. Оказалось двадцать восемь рублей. В заначке где–нибудь у него не столько. Барана валим в мешок, в другой сыпем баурсаки, лепёшки, конфеты какие–то, подушечки грязные. Тащит Коля ещё и миску с бараньими выжарками. Нож! — вот он–то нам нужен. Ничего стараемся не забыть: ложки деревянные, соль. Мешок я уношу. Возвращаюсь, беру ведро с водой. Беру одеяло, запасную уздечку, кнут. (Ворчит, не понравилось: ему же нас догонять.)

«Так вот, — говорю казаху, — учись, запоминай: надо к гостям добрее быть! Мы б тебе за ведро воды да за десяток ба–урсаков в ноги поклонились. Мы хороших людей не обижаем. Последние тебе указания: лежи, не шевелись! Мы тут не одни».

Оставляю Колю снаружи у дверей, сам тащу

остальную добычу к лошади. Как будто надо спешить, но я спокойно соображаю. Лошадь повёл к колодцу, напоил. Ей ведь тоже работка: целую ночь идти перегруженной. Сам у колодца напился. И Коля напился. Тут подошли гуси. Коля слабость имеет к птице. Говорит: «Прихватим гусей? скрутим головы?» — «Шуму будет много. Не трать времени». Спустил я стремена, подтянул подпругу. Сзади седла Жданок положил одеяло и на него сел с колодезного сруба. В руки взял ведро с водой. Перекинули через лошадь два связанных мешка. Я— в седло. И по звёздам поехали на восток, чтобы сбить погоню.

Лошадь недовольна, что седоков— двое и чужие, старается извернуться к дому назад, шеей крутит. Ну, совладали. Пошла ходко. В стороне огоньки. Объехали их. Коля мне напевает на ухо:

Хорошо в степи скакать, вольным воздухом дышать, Только был бы конь хороший у ковбоя!

«Я, — говорит, — у него ещё паспорт видел». — «Чего ж не взял? Паспорт всегда пригодится. Хоть корочку издали показать».

По дороге, не слезая, очень часто пили воду, закусывали. Совсем другой дух! Теперь бы за ночь отскакать подальше!

Вдруг услышали крики птиц. Озеро. Объез-

жать — далеко, жалко время терять. Коля слез и повёл лошадь топкой перемычкой. Прошли. Но кинулись—нет одеяла. Соскользнуло… Дали след…

Это очень плохо. От казаха во все стороны — много путей, но по найденному одеялу, если эту точку добавить к юрте казаха— выявится наш путь. Возвращаться, искать? Времени нет. Да всё равно поймут, что идём на север.

Устроили привал. Лошадь держу за повод. Ели–пили, ели–пили без конца. Воды осталось — на дне ведра, сами удивляемся.

Курс — норд. Рысью лошадь не тянет, но быстрым шагом, километров по восемь–десять в час. Если за шесть ночей мы километров полтораста дёрнули — за эту ночь ещё семьдесят. Если бы зигзагов не делали — уже были б у Иртыша.

Рассвет. А укрытия нет. Поехали ещё. Уже и опасно ехать. Тут увидели глубокую впадину, вроде ямы. Спустились туда с лошадью, ещё попили и поели. Вдруг— затарахтел близко мотоцикл. Это плохо, значит—дорога. Надо укрыться надёжней. Вылезли, осмотрелись. Не так далеко — мёртвый брошенный аул. Направились туда. В трёх стенах разрушенного дома сгрузились. Спутал лошади передние ноги, пустил пастись.

Но сна в этот день не было: казахом и одеялом дали след.

Вечер. Семь суток. Лошадь пасётся вдали. Пошли за ней — отпрыгивает, вырывается; схватил Коля за гриву— потащила, упал. Распутала передние ноги— и теперь её уже не взять. Три часа ловили— измучились, загоняли её в развалины, накидывали петлю из ремней, так и не далась. Рубы кусали от жалости, а пришлось бросить. Остались нам уздечка да кнут.

Поели, выпили последнюю воду. Взвалили на себя мешки с пищей, пустое ведро. Пошли. Сегодня силы есть.

Следующее утро застало нас так, что пришлось спрятаться в кустах и недалеко от дороги. Место неважное, могут заметить. Протарахтела телега. Не спали ещё и этот день.

С концом восьмых суток пошли опять. Шли сколько–то— и вдруг под ногами мягкая земля: здесь было пахано. Идём дальше— фары автомобилей по дорогам. Осторожно!

В облаках— молодая луна. Опять вымерший разрушенный казахский аул[442]. А дальше—

---

[442] Примечания: 442

Таких немало по Казахстану от 1930–33 годов. Сперва Будённый прошёл тут со своей конницей (до сих пор во всём Казахстане — ни одного колхоза его имени, ни одного портрета), потом— голод.

огоньки села, и доносится оттуда к нам

Распрягайте, хлопцы, коней!..

Мешки положили в развалинах, а с ведром и с портфелем пошли к селу. Ножи в карманах. Вот и первый дом — поросёнок хрюкает. Попался бы ты нам в степи! Навстречу едет парень на велосипеде. «Слушай, браток, у нас тут машина, зерно везём, где б нам воды, радиатор залить?» Парень слез, повёл нас, показал. На околице — чан, наверно, скот из него пьёт. Зачерпнули ведро, несём, не пьём. Разошлись с парнем, тогда сели—и пить, пить. Полведра сразу выпили (сегодня особенно пить хотелось, потому что сыты).

Как будто тянет прохладой. И под ногами — трава настоящая. Должна быть река! Нужно реку искать. Идём, ищем. Трава выше, кусты. Ива! — а она всегда около воды. Камыш! И вода!!.. Наверно, затон Иртыша. Ну, теперь плескаться, мыться! Двухметровый камыш! Утки выпархивают из–под ног. Приволье! Здесь мы не пропадём!

И вот когда, за восемь суток первый раз, желудок обнаружил, что он работает. После восьми суток бездействия — какие же это мучения! Вот такие, наверно, и роды…

А потом опять к заброшенному аулу. Развели там костёр между стен, варили вяленую барани-

ну. Надо бы тратить ночь на движение, но хочется есть и есть, ненасытимо. До того наелись, что двигаться трудно. И, довольные, пошли искать Иртыш. Чего не было восемь суток, то случилось теперь на развилке — спор. Я говорю — направо, Жданок — налево. Я чувствую точно, что направо, а он не хочет слушаться. Вот ещё какая опасность ждёт беглецов — размолвка. В побеге обязательно за кем–нибудь должно быть решающее слово. Иначе беда. Чтоб настоять на своём, я пошёл направо. Прошёл метров сто, шагов сзади неслышно. Душа болит. Ведь расставаться нельзя. Присел у стога, смотрю назад… Идёт Коля! Обнял его. Пошли рядом, как ни в чём не бывало.

Больше кустов, больше прохлады. Подошли к обрыву. Внизу плещет, журчит и влажно дышит на нас Иртыш… Радость переполняет!

Мы находим стог сена, забираемся в него. Ну, псы, где вы нас ищете? Ау! И крепко заснули.

И… — проснулись от выстрела! И — собачий лай рядом!..

Как? И всё? И вот уже — конец свободе?..

Прижались, не дышим. Мимо прошёл человек. С собакой. Охотник… Ещё крепче заснули — на целый день. И так проводили наши девятые сутки.

С темнотой пошли вдоль реки. След мы дали

трое суток назад. Теперь псарня ищет нас только около Иртыша. Им понятно, что мы тянемся к воде. Идти вдоль берега— вполне можем наскочить на засаду. И неудобно так идти — надо обходить изгибы, затоны, камыши. Нужна лодка!

Огонёк, домик на берегу. Плеск вёсел, потом тишина. Затаились и долго ждём. Огонь там погасили. Тихо спускаемся. Вот и лодка. И пара вёсел. Добро! (А ведь мог хозяин и прихватить их с собой.) «Дальше в море— меньше горя!» Родная стихия. Сперва тихо, без плесков. На середину вышли — налёг на вёсла.

Мы идём вниз по Иртышу, а навстречу нам из–за поворота— освещенный пароход. Сколько огней! Все окна светятся, весь пароход звучит танцевальной музыкой. Счастливые свободные пассажиры, не понимая своего счастья и даже не ощущая своей свободы, ходят по палубе, сидят в ресторане. А как уютно у них в каютах!..

Так мы спускаемся километров больше двадцати. Продукты у нас на исходе. Пока ещё ночь, благоразумно пополнить. Услышали петухов, пристаём к берегу и подымаемся туда тихо. Домик. Собаки нет. Хлев. Корова с телёнком. Куры. Жданок любит птиц, но я говорю: берём телёнка. Отвязываем его. Жданок ведёт к лодке, а я в самом

подлинном смысле заметаю следы: иначе псарне будет явно, что мы плывём по реке.

До берега телёнок шёл спокойно, а в лодку идти не захотел, упирался. Еле–еле мы его вдвоём ввели, уложили. Жданок сел на него, придавил собою, я погрёб, — оторвёмся, там заколем. Но это была ошибка— везти его живым. Телёнок стал подниматься, сбросил Жданка и уже передними ногами вы–брыкнул в воду.

Аврал! Жданок держит телёнка за зад, я держу Жданка, мы все переклонились в одну сторону, и вода заливает через борт. Только не хватает нам утонуть в Иртыше. Всё же втащили телёнка! Но лодка сильно осела в воду, откачивать надо. Но ещё прежде надо забить телёнка! Беру нож и хочу разрезать ему сухожилье на загривке, где–то тут есть место. Но места не нахожу или нож тупой, не берёт. Телёнок дрожит, вырывается, волнуется, — и я волнуюсь. Стараюсь перерезать ему горло — опять не выходит. Мычит, брыкается, вот выпрыгнет из лодки или потопит нас. Ему надо жить! — но и нам надо жить!!

Режу — и не могу зарезать. Он качает, толкает лодку, дурак бессмысленный, и вот потопит нас сейчас! И зато, что он такой дурной и упрямый, меня охватывает к нему красная ненависть, как к

самому большому врагу, и я начинаю со злостью, беспорядочно тыкать, колоть его ножом![443] Его кровь бьёт, льётся на нас. Телёнок громко мычит, отчаянно выбрыкивает. Жданок зажимает ему морду, лодка качается, а я всё колю его и колю. А ведь раньше я мышонка жалел, букашку! А сейчас не до жалости: или он, или мы!

Наконец замер. Стали скорей отливать воду— черпаком и банками, в четыре руки. И— грести.

Течением потянуло нас в протоку. Впереди— остров. Вот на нём бы и спрятаться, скоро утро. Загнали лодку в камыши хорошенько. Вытащили на берег телёнка и всё наше добро, лодку ещё и сверху забросали камышом. Нелегко было телёнка за ноги на крутой обрыв. А там— трава по пояс и лес. Сказочно! Мы— несколько лет уже в пустыне. Мы забыли, какой бывает лес, трава, река…

Рассветает. И кажется: у телёнка— как бы обиженная морда. Но благодаря ему, братку, мы можем пожить теперь на острове. Точим нож об обломок напильника от «катюши». Никогда не приходилось раньше свежевать, но учусь. По брюху разрезал, подпорол шкуру, вынул внут-

---

[443] Примечания: 443
Не так ли наши угнетатели, нас губя, нас же и ненавидят?

ренности. В глубине леса развели костёр и стали варить телятину с овсяными хлопьями. Целое ведро.

Пир! Главное— спокойно на душе. Оттого спокойно, что — на острове. Остров отделяет нас от злых людей. Среди людей есть и добрые, но что–то они не очень часто встречаются беглецам, а всё—злые.

Солнечный жаркий день. Нам не надо корчиться в шакальей норе. Трава— густая, сочная. Кто каждый день её топчет, не знает ей цену, как это — кинуться в неё грудью, уткнуться лицом.

Бродим по острову. Он густо зарос кустами шиповника, и ягоды уже поспели. Едим их без конца. И опять едим суп. И опять варим телятину. Кашу варим с почками.

Настроение лёгкое. Вспоминаем наш трудный путь и немало находим, над чем посмеяться. И как там скетч наш ждут. Как ругаются, как перед Управлением отчитываются. Представляем в лицах. Хохочем!..

На толстом стволе, срезав кору, выжигаем раскалённой проволокой: «Здесь на пути к свободе в октябре 1950 спасались люди, невинно осуждённые на пожизненную каторгу». Пусть остаётся след. В такой глуши он не поможет погоне, а ко-

гда–нибудь люди прочтут.

Мы решаем никуда не спешить. Всё, для чего мы бежали, у нас есть: свобода! (Когда мы доберёмся до Омска или до Москвы, вряд ли она будет полней.) Ещё тёплые солнечные дни, чистый воздух, зелень, досуг. И мяса вдоволь. Только хлеба нет, очень не хватает.

И так мы живём на острове почти неделю: от десятых суток и начинаем шестнадцатые. В самой гуще мы строим сухой шалаш. Ночами холодно и в нём, правда, но мы досыпаем днями. Все эти дни нам светит солнышко. Мы много пьём, стараемся по–верблюжьи напиться про запас. Мы безмятежно сидим и через ветки подолгу смотрим на жизнь — там, на берегу. Там ездят машины. Там косят траву— второй покос. К нам никто не заглядывает.

Вдруг днём, когда мы дремлем в траве на последнем солнышке, слышим на острове стук топора. Приподнимаемся и видим: недалеко человек рубит сучья и постепенно движется к нам.

За полмесяца я оброс, страшная рыжая щетина, бриться нечем, типичный беглец. А у Жданка ничего не растёт, он как пацан. Поэтому я притворяюсь спящим, а его посылаю идти, не дожидаясь, просить закурить, сказать, что мы— туристы из

Омска, узнать, откуда он. А если что— я наготове.

Коля пошёл, потолковал. Закурили. Оказался — казах, из соседнего колхоза. После видим: пошёл по берегу, сел в лодку и, не взяв нарубленных сучьев, погрёб.

Что это значит? Спешит сообщить о нас? (А может, наоборот, испугался? — донесём на него, и за порубку леса тоже ведь срок. Такая жизнь, что все боятся всех.) «Как ты сказал о нас?» — «Мы — альпинисты». И смех, и грех— всегда Жданок что–нибудь напутает. «Я ж тебе сказал — туристы! Какие ж альпинисты в ровной степи?»

Нет, не оставаться нам тут! Конец блаженству. Перетащили всё в лодку и отвалили. Хоть и день, а надо скорей уходить. Коля лёг на дно лодки, его не видно, со стороны— один человек. Я гребу, держусь середины Иртыша.

Одна проблема— купить хлеба. Вторая— мы выходим в людные места, и непременно мне надо побриться. В Омске рассчитываем продать один из костюмов, сесть на несколько станций дальше и уехать поездом.

Перед вечером подплываем к домику бакенщика, поднимаемся. Там— женщина, одна. Испугалась, заметалась: «Сейчас позову мужа!» И пошла куда–то. Я— за ней, слежу. Вдруг от

домика Жданок беспокойно кричит: «Жора!» (Чёрт бы тебя задрал, язык у тебя никудышный. Договорились же, что я — Виктор Александрович.) Возвращаюсь. Два человека, один из них— с охотничьим ружьём. «Кто такие?» — «Туристы, из Омска. Продуктов хотим купить. — И чтоб рассеять подозрения: — Да зайдёмте в дом, что вы так плохо принимаете?» И действительно, они расслабляются: «У нас нет ничего. Может, в совхозе. Два километра ниже».

Идём в лодку и спускаемся ещё двадцать. Вечер лунный. Поднимаемся по обрыву. Домик. Свет не горит. Стучим. Выходит казах. И этот первый человек продаёт нам — полбуханки хлеба, четверть мешка картошки. Покупаем и иголку с ниткой (это, наверно, неосторожно). И бритву спрашиваем, но он не бреется, у него не растёт. Всё–таки первый добрый человек. Мы входим во вкус и спрашиваем, нельзя ли рыбки. Поднялась жена, несёт нам две рыбки и говорит: «Беш деньга». — Это уж— выше ожидания, отдаёт без денег! Ну, действительно добрые люди! Сую рыб в мешок, тащит рыб своих назад. «Беш деньга, пять рублей», — объясняет хозяин. Ах вот оно что! Нет, не берём, дорого.

Мы плывём остаток ночи. Следующий семна-

дцатый день побега прячем лодку в кустах, сами спим в сене. И так же — восемнадцатые и девятнадцатые сутки, стараясь не встречаться с людьми. Всё есть у нас: вода, огонь, мясо, картошка, соль, ведро. На обрывистом правом берегу — лиственные леса, на левом — луга, много сена. Днём разводим в кустах костёр, варим похлёбку, спим.

Но скоро будет Омск, и неизбежен выход в люди, а значит, нужна бритва. Полная беспомощность: без бритвы и без ножниц ничего не придумаешь, как избавиться от волос. Хоть выщипывай по волосочку.

В лунную ночь мы увидели высокий курган над Иртышом. Подумали — сторожевой? ермаковских времён! Взлезли посмотреть. И при луне увидели таинственный мёртвый город из саманных домов. Тоже, наверно, от начала тридцатых… Что горит— жгли, саман— рушили, кого привязывали к хвостам лошадей. Сюда туристы не ездят…

Дождя не было ни разу за все эти две недели. Но стали очень уже холодные ночи. Для скорости грёб больше я, а Жданок сидел на корме и мёрз. И вот двадцатой ночью он стал просить зажечь костёр и согреться кипятком. Я сажал его за вёсла, но он трясся в ознобе и просил только костра.

В этом костре ему не мог отказать товарищ по побегу — Коля должен был понять и отказаться сам. Но у Жданка это было, что он не мог бороться со своим желанием: как когда–то схватил лепёшку со стола или как соблазняла его домашняя птица.

Он дрожал и просил костра. Но ведь вдоль Иртыша нас должны повсюду настороженно ждать. Это удивительно, что мы до сих пор ни разу не пересеклись с конвоем. Что лунными ночами на середине Иртыша они нас не заметили и не остановили.

Тут мы увидели на высоком берегу огонёк. Коля стал просить вместо костра зайти и погреться. Это было ещё опаснее. Нельзя было соглашаться. Столько перетерпеть, столько пройти — и для чего же? Но отказать я ему не мог, может, заболел. Асам он не отказывался.

При коптилке спали на полу казах и казашка. Вскочили, испугались. Я объясняю: «Заболел вот у меня человек, дайте обогреться. Мы— командировочные, от Заготзерна. Нас на лодке перевезли стой стороны». Говорит казах: «Ложитесь». Лёг Коля на какую–то кошму, прилёг и я для виду. Это — первый наш кров за весь побег, но жжёт меня от него. Я не только уснуть—я лежать не мо-

гу. Такое состояние, будто мы сами себя предали, сами залезли в западню.

Старик вышел в одном нижнем (иначе б я за ним пошёл) и долго не идёт. Слышу— за пологом шепчутся по–казахски. Это молодые. Спрашиваю: «Вы— кто? Бакенщики?» — «Нет, мы— животноводческий совхоз имени Абая, первый в республике». Ну и местечко выбрали, хуже быть не может! Где совхоз — там власть и милиция. Да ещё первый в республике! Значит, стараются…

Жму руку Коле: «Я к лодке, догоняй. С портфелем». Вслух говорю: «Продукты–то мы зря на берегу оставили». Выхожу в сени. Толкаю наружную дверь — заперта. Так, ясно. Возвращаюсь, по тревоге дёрнул Колю и опять к двери. Дверь обивали плотники плохие, внизу доска одна короче, туда просовываю руку и долго тянусь… — вот оно, колышком снаружи подперто. Столкнул его.

Выхожу. Скорей к берегу. Лодка на месте. В полной луне стою и жду. Но Коли не видно. Ах ты горе! Значит, нет воли у него встать. Согревается лишнюю минуту. Или схватили. Надо идти выручать.

Поднимаюсь опять на обрыв. Ко мне от дома идут четверо, среди них—Жданок. Плотно идут (или держат его?). Кричит: «Жора! (Опять «Жо-

ра»!) Иди сюда! Документы требуют!» А портфеля, как я ему велел, в руках нет.

Подхожу. Новый с казахским акцентом спрашивает: «Ваши документы!» Держусь как можно спокойнее: «А вы кто такой?» — «Я— комендант». — «Ну что ж, — говорю поощрительно, — пойдёмте. Документы всегда проверить можно. Там, в доме, и свету больше». Пошли в дом.

Я поднимаю медленно портфель с пола, подхожу к коптилке, примеряюсь, как лучше отбиться и выскочить, асам заговариваю: «Документы всегда, пожалуйста. Документы проверять— надо, у кого следует. Бдительность не мешает. У нас в Заготзерне тоже случай был…» Уже за замок держусь— портфель расстегнуть. Сгрудились вокруг меня. Ка–ак двину коменданта плечом влево, он— на старика, оба упали. Молодому— справа прямой в челюсть. Визг, крики! Я — «Махмадэра!» — и с портфелем прыгаю в одну дверь, в другую. Тут Коля из сеней мне кричит: «Жора! Держат!» Он уцепился за косяк двери, а его тянут внутрь. Рванул его за руку, не могу вытянуть. Тогда упёрся ногой в косяк — и так рванул, что Коля через меня перелетел, асам я упал. На меня тут же двое навалились. Не понимаю, как я из–под них выскочил. Портфель наш драгоценный там остал-

ся. Побежал прямо к обрыву, и прыжками! Сзади по–русски: «Топором его! Топором!» Наверно, пугают, иначе бы—по–казахски. Чувствую, что уже дотягиваются до меня руками. Спотыкаюсь, вот упаду! Коля уже у лодки. Кричу: «Сталкивай»! Прыгай сам!» Он сталкивает, а я вбегаю по колени в воду, уже потом прыгаю в лодку. Казахи в воду не решаются, бегают по берегу: «гыр–гыр–гыр!» Кричу им: «Что? Взяли, гады?»

Хорошо, что не было у них ружья. Я погнал лодку по течению. Они горланят, бегут по берегу, но дорогу им преградил заливец. Я снял свои две пары брюк — флотские и костюмные, отжимаю, зуб на зуб не попадает. «Ну что, Коля, обогрелись?» Молчит…

Ясно, что с Иртышом теперь надо прощаться. На рассвете надо на берег и тянуть до Омска на попутных машинах. Да уж недалеко.

В портфеле осталась «катюша» и соль. А где бритву добыть, уж не говорю обсушиться? Вот у берега—лодка, домик. Видно, бакенщик. Сходим на берег, стучим. Света не зажигают. Густой мужской голос: «Кто?» — «Пустите погреться! Чуть не утонули, лодка опрокинулась». Долго возятся, потом открывают дверь. В сенях в полусвете стоит сбок двери дюжий старик, русский, обеими рука-

ми поднял на нас топор. На первого опустит, не остановить! «Да не бойтесь, — уговариваю. — Мы из Омска. В командировке были, в совхозе Абая. Хотели на лодке до нижнего района доплыть, да выше вас там перекат и сети стоят, мы сплоховали, перевернулись». Ещё смотрит подозрительно, не опуская топора. Где я его видел, на какой картине? Какой–то былинный старик— грива седая, голова седая. Наконец отозвался: «Это что ж, значит, вЖелезянку?» Вот добро, узнали и где находимся. «Ну да, вЖелезянку. Да главное— портфель утонул, а там денег 150 рублей. Мясо купили в совхозе, теперь уж и не до мяса. Может, купите у нас?» Жданок пошёл за мясом. Старик допустил меня в горницу, там керосиновая лампа, на стене — охотничье ружьё. «Теперь документы у вас проверим». Стараюсь говорить бодрей: «Документы у нас всегда при себе, хорошо, что в верхнем кармане, не замокли. Я— Столяров Виктор Александрович, уполномоченный областного управления животноводства». Теперь нужно скорей инициативу перехватить. «А вы кто?» — «Бакенщик». — «А имя–отчество?» Тут Коля пришёл, и старик больше о документах не заговаривал. Сказал, что на мясо у него денег нет, а чайком попоить может.

Просидели у него с часок. Он согрел нам чаю на щепках, дал хлеба и даже отрезал сала. Говорили об иртышском фарватере, за сколько лодку купили, где продавать. Он больше сам говорил. Смотрел сочувствующим умным старым взглядом, и казалось мне, что он всё понимает, настоящий человек. Хотелось мне даже ему открыться. Но нам бы это не помогло: бритвы у него явно не было, он обрастал, как всё в лесу растёт. А ему безопасней было не знать, иначе — «знал–не сказал».

Мы ему оставили нашей телятины, он нам дал спичек, пошёл провожать и растолковал, где какой стороны держаться. Мы отвалили и быстро погребли, чтоб как можно дальше уйти за последнюю ночь. Хватали нас на правом берегу, так мы теперь больше жались к левому. Луна — над нашим берегом, но небо чистое— и видим, как вдоль правого, обрывистого и лесного, тоже по течению спускается лодка, только мы быстрей.

Не оперли группа?.. Идём параллельным курсом. Я решился действовать нагло, нажал на вёсла, сблизился. «Земляк! Куда путь держишь?» — «В Омск». — «А откуда?» — «Из Павлодара». — «Что так далеко?» — «Совсем, на жительство».

Для опера его окающий голос слишком просто-

ват, отвечает охотно, видно, даже рад встрече. Жена у него спит в лодке, а он за вёслами ночь коротает. Вглядываюсь— не лодка, а арба, скарбу полно, завалено всё узлами.

Быстро соображаю. В последнюю ночь, в последние часы на реке — и такая встреча! Если переезжает с концами, значит, у них тут и продукты, и деньги, и паспорта, и одежда, и даже бритва. И никто их нигде не хватится. Он один, нас двое, жена не в счёт. Я пройду по его паспорту, Коля переоденется, сойдёт за бабу: маленький, лицо голое, фигуру вылепим. У них, конечно, найдётся и чемодан—для нашего дорожного вида. И любой шофёр сегодня же утром подбросит нас до Омска.

Когда не грабили на русских реках? Судьба лихая, какой выход? После того как мы дали след на реке, — единственный шанс и последний. Жаль работягу лишать добра— но кто нас жалел? Или кто пожалеет?

Всё это— мгновенно, и у меня и у Жданка в голове. И я только тихо спрашиваю: «Угм–м?» Ион тихо: «Махмадэра».

Я всё больше сближаюсь и теперь уже тесню их лодку к крутому берегу, к тёмному лесу, спешу не допустить до поворота реки— там, может быть, лес кончится. Меняю голос на начальственный

и командую:

— Внимание! Мы — опергруппа министерства внутренних дел. Причаливайте к берегу. Проверка документов!

Гребец бросил вёсла: то ли растерялся, то ли даже обрадовался — не разбойники, опергруппа.

— Пожалуйста, — окает, — можете здесь, на воде проверить.

— Сказано к берегу — значит, к берегу! И быстро. Подошли. Стали почти борт к борту. Мы выпрыгнули, он

с трудом лезет через тюки, видим — хромает. Жена проснулась: «Ещё далеко?» Подаёт парень паспорт. «А военный билет?» — «Я инвалид, по ранению, с учёта снят. Вот тут справочка…» Вижу— наносу их лодки сверкнуло металлом — топор. Даю Коле знак — изъять. Коля рванулся слишком резко и схватил топор. Баба завыла, почувствовала. Я строго: «Это что за крик? Прекратить. Мы беглецов ищем. Преступников. А топор тоже оружие». Немного успокоилась. Даю команду Коле:

— Лейтенант! Сходите на пост. Там должен быть капитан Воробьёв.

(И звание и фамилия сами пришли на ум, а вот почему: дружок наш — капитан Воробьёв, беглец,

остался сидеть в эки–бастузском БУРе.)

Коля понял: посмотреть наверху, нет ли кого, можно ли действовать. И побежал наверх. Я пока допрашиваю и присматриваюсь. Задержанный угодливо присвечивает мне своими спичками. Я прочитываю паспорта и справки. Подходит и возраст— инвалиду нет сорока. Работал бакенщиком. Теперь продали дом, корову. (Все деньги, конечно, с собой.) Едут счастья искать. Мало им было дня, поехали ночью.

Случай исключительный, случай редкий, именно потому, что их нигде не хватятся. Но что мы хотим? Нужны нам их жизни? Нет, я не убивал людей и не хочу. Следователя или опера, когда они истязают меня, — да, но не может подняться рука на простых работяг. Взять их деньги? Только очень немного. Ну, как немного? На два билета до Москвы. И на питание. Да ещё кое–что из барахла. Это их не разорит. А если не взять их документов и лодки не взять— и договориться, чтоб не заявляли? Трудно поверить? Да и как же нам без документов?

А если возьмём у них документы — им ничего не останется, как заявить. А чтоб они не заявили— надо их тут связать. Так связать, чтоб у нас было суток двое–трое в запасе.

Но тогда попросту значит… ?

Вернулся Коля, дал знак, что наверху порядок. Он ждёт от меня «махмадэра»! Что делать?

Рабский каторжный Экибастуз встаёт перед глазами. И туда— возвращаться?.. Неужели же не имеем права… ?

И вдруг — вдруг что–то очень лёгкое коснулось моих ног. Я посмотрел: что–то маленькое, белое. Наклонился, вижу: это белый котёнок. Он выпрыгнул из лодки, хвостик у него задран стебельком, он мурлычет и трётся о мои ноги. Он не знает моих мыслей.

И от этого котячьего прикосновения я почувствовал, что воля моя надломилась. Натянутая двадцать суток от самого подлаза под проволоку— как будто лопнула. Я почувствовал: что бы Коля мне сейчас ни сказал, я не могу не только жизнь у них отнять, но даже их трудовых кровных денег.

Сохраняя суровость:

— Ну, ждите здесь, сейчас разберёмся!

Мы поднимаемся вверх на обрыв, у меня в руках их документы. Я говорю Коле, что думаю. Он молчит. Не согласен, но молчит.

Вот так устроено: они могут отнять свободу у каждого, и у них нет колебаний совести. Если же

нашу природную свободу мы хотим забрать назад, — за это требуют от нас нашу жизнь и жизни всех, кого мы встретим по пути.

Они всё смеют, а мы— нет. И вот почему они сильнее нас. Не договорясь, идём вниз. У лодки хромой. «Где жена?» — «Испугалась, в лес убежала».

— Получите ваши документы. Можете следовать дальше. Благодарит. Кричит в лес:

— Ма–арья! Иди обратно! Люди — добрые. Едем.

Мы отталкиваемся. Я быстро гребу. Хромой работяга спохватывается и вслед мне кричит:

— Товарищ начальник! А вот вчера мы двоих видели — точно бандиты. Знали б, задержали их, подлецов!

— Ну что, пожалел? — спрашивает Коля. Молчу.

* * *

С этой ночи — с захода ли погреться или с белого котёнка — сломился весь наш побег. Что–то мы потеряли — уверенность? хваткость? способность соображать? дружность решений? Тут, перед самым Омском, мы стали делать ошибки и клонить врозь. А таким беглецам уже не бежать

далеко.

К утру бросили лодку. День проспали в стогу, но тревожно. Стемнело. Хочется есть. Надо бы мясо варить, так ведро потеряли при отступлении. Я решил жарить. Нашлось тракторное седло — вот это будет сковородка. А картошку— печь.

Рядом стоял высокий сенный шалаш — от косарей. В том затмении, которое сегодня меня постигло, я почему–то решил, что хорошо развести костёр внутри шалаша: ниоткуда не будет видно. Коля не хочет никакого ужина: «Пойдём дальше!» Размолвка, не ладится.

Я развёл–таки огонь в шалаше, но подложил лишнего. И вспыхнул весь шалаш, я еле успел выползти. А огонь перескочил на стог, вспыхнул стог — тот самый, в котором мы день провели. Вдруг стало мне жалко этого сена—душистого, доброго к нам. Я стал разбрасывать его, кататься по земле, стараясь потушить, чтоб огонь дальше не шёл. Коля сидит в стороне, надулся, не помогает.

Какой же я дал след! Какое зарево! — на много километров. А ещё это — диверсия. За побег нам дадут тот же четвертак, какой мы уже имеем. Аза «диверсию» с колхозным сеном— могут и вышку при желании.

А главное — от каждой ошибки нарастает возможность новых ошибок, теряешь уверенность, оценку обстановки.

Шалаш сгорел, но картошка испеклась. Зола вместо соли. Поели.

Ночью шли. Обходили большое село. Нашли лопату. Подобрали на всякий случай. Взяли ближе к Иртышу. И упёрлись в затон. Опять обходить? Обидно. Поискали— нашли лодку без вёсел. Ничего, лопата вместо весла. Переплыли затон. Там я привязал лопату ремнём за спиной, чтоб ручка вверх торчала, как дуло от ружья. В темноте— будто охотники.

Вскоре встретились с кем–то. В сторону. Он: «Петро!» — «Обознался, не Петро!»

Шли всю ночь. Спали опять в стогу. Проснулись от пароходного гудка. Высунулись: не так далеко пристань. На машинах везут туда арбузы. Близко Омск, близко Омск. Пора бриться и денег доставать.

Коля меня точит: «Теперь пропадём. Зачем было и в побег идти, если их жалеть? Наша судьба решалась, а ты пожалел. Теперь пропадём».

Он прав. Сейчас это кажется таким бессмысленным: нет бритвы, нет денег, а было у нас и то и другое в руках— мы не взяли. Надо было столько

лет рваться в побег, столько хитрости проявлять, лезть под проволокой и ждать заряда в спину, шесть дней не пить воды, две недели пересекать пустыню — и не взять того, что было в руках! Как войти в Омск небритому? На что поедем из Омска дальше?..

Лежим день в стогу сена. Спать не можем конечно. Часов в пять вечера Жданок говорит: «Пойдём сейчас, осмотримся при свете». Я: «Ни за что!» Он: «Да скоро уже как месяц пройдёт! Ты — перестраховщик! Вот вылезу, пойду один». Угрожаю: «Смотри, и на тебя нож!» Но конечно, я ж его не пырну.

Стих, лежит. Вдруг вывалился из стога и пошёл. Что делать? Так и расстаться? Спрыгнул и я, пошёл за ним. Идём прямо при свете, по дороге вдоль Иртыша. Сели за стог, обсуждаем: если кто теперь встретится, его уже нельзя отпускать до темноты, чтоб не заложил. Коля неосторожно выбежал— пуста ли дорога? — и тут его заметил парень. Пришлось его звать: «Подходи, дружок, закурим с горя!» — «Какое ж у вас горе?» — «Да вот поехали с шурином в отпуск на лодке, я сам из Омска, а он с павлодарского судоремонтного, слесарь, — так ночью лодка снялась и ушла, осталось вот, что на берегу было. А ты кто?» — «Я бакен-

щик». — «Нигде нашей лодки не видел? Может в камышах?» — «Нет». — «А где твой пост?» — «Да вон», — показывает на домик. — «Ну зайдём к тебе, мы мясца сварим. Да побреемся».

Идём. Так, оказывается, тот домик— ещё другого бакенщика, соседа, а нашего метров триста дальше. Опять не один. Только вошли в дом — и сосед едет к нам на велосипеде с охотничьим ружьём. Косится намою щетину, расспрашивает о жизни в Омске. Меня, каторжанина, расспрашивать о жизни на воле! Что–то плету наугад, в основном — что с жильём плохо, с продуктами плохо, с промтоварами плохо, в этом, пожалуй, не ошибёшься. Он кривится, возражает, оказывается— партийный. Коля варит суп, надо нам наесться впрок, может до Омска уже не придётся.

Томительное время до темноты. Ни того ни другого нельзя отпускать. А если третий придёт? Но вот оба собираются ехать ставить огни. Предлагаем свою помощь. Партийный отказывается: «Я всего два огня поставлю и в село мне надо, к семье хворост повезу. Да я ещё сюда заеду». Даю Коле знак— глаз не спускать с партийного, чуть что — в кусты. Показываю место встречи. Сам еду с нашим. С лодки оглядываю расположение

местности, расспрашиваю, докуда сколько километров. Возвращаемся с соседом одновременно. Это успокаивает: заложить нас тот ещё не успел. Вскоре он действительно подъехал к нам на своём возу с хворостом. Но дальше не едет, сел колин суп пробовать. Не уходит. Ну что делать? Прихватывать двоих? Одного в погреб, другого к койке?.. У обоих документы, у того велосипед с ружьём? Вот жизнь беглеца — тебе мало простого гостеприимства, ты должен ещё отнимать силой…

Вдруг— скрип уключин. Смотрю в окно — в лодке трое, это уже пятеро на двоих. Мой хозяин выходит, тут же возвращается за бидонами. Говорит: «Старшина керосин привёз. Странно, что сам приехал, сегодня ж воскресенье».

Воскресенье! Мы забыли считать на дни недели, для нас они различались не тем. В воскресенье вечером мы и бежали. Значит, ровно три недели побега! Что там в лагере?.. Псарня уже отчаялась нас схватить. За три недели, если бы мы рванули на машине, мы б уже давно могли устроиться где–нибудь в Карелии, в Белоруссии, паспорт иметь, работать. А при удаче— и ещё западней… И как же обидно сдаться теперь, после трёх недель!

«Ну что, Коля, нарубались, — теперь поправиться надо с чувством?» Выходим в кусты и оттуда

следим: наш хозяин берёт керосин у пришедшей лодки, туда же подошёл и партийный сосед. О чём–то говорят, но нам не слышно.

Уехали. Колю скорей отправляю домой, чтоб не дать бакенщикам наедине о нас говорить. Сам тихо иду к лодке хозяина. Чтоб не греметь цепью — тужусь и вытаскиваю самый кол. Рассчитываю время: если старшина бакенщиков поехал о нас докладывать, ему семь километров до села, значит, минут сорок. Если в селе краснопогонники, им собраться сюда и на машине— ещё минут пятнадцать.

Иду в дом. Сосед всё не уходит, разговорами занимает. Очень странно. Значит, брать придётся их двоих сразу. «Ну что, Коля, пойдём перед сном помоемся?» (договориться надо). Только вышли — ив тишине слышим топот сапог. Нагибаемся и на светловатом небе (луна ещё не взошла) видим, как мимо кустов цепью бегут люди, окружают домик.

Шепчу Коле: «К лодке!» Бегу к реке, с обрыва скатываюсь, падаю и вот уже у лодки. Счёт жизни — на секунды, — а Коли нет! Ну куда, куда делся? И бросить его не могу.

Наконец вдоль берега прямо на меня бежит в темноте. «Коля, ты?» Пламя! Выстрел в упор!

Я каскадным прыжком (руки вперёд) прыгаю в лодку. С обрыва — автоматные очереди. Кричат: «Кончили одного». Наклоняются: «Ранен?» Стону. Вытаскивают, ведут. Хромаю (если покалечен — меньше будут бить). В темноте незаметно выбрасываю в траву два ножа.

Наверху краснопогонники спрашивают фамилию. «Столяров». (Может, ещё как–нибудь выкручусь. Так не хочется называть свою фамилию, ведь это — конец воли.) Бьют по лицу: «Фамилия!» — «Столяров». Затаскивают в избу, раздевают до пояса, руки стягивают проводом назад, он врезается. Упирают штыки в живот. Из–под одного сбегает струйка крови. Милиционер, старший лейтенант Саботажников, который меня взял, тычет наганом в лицо, вижу взведенный курок. «Фамилия!» Ну, бесполезно сопротивляться. Называю. «Где второй?» Трясёт наганом, штыки врезаются глубже: «Где второй?» Радуюсь за Колю и твержу: «Были вместе, убит наверно».

Пришёл опер с голубой окантовочкой, казах. Толкнул меня связанного на кровать и полулежачего стал равномерно бить по лицу— правой рукой, левой, правой, левой, как плывёт. От каждого удара голова ударяется в стену. «Где оружие?» — «Какое оружие?» — «У вас было ружьё,

ночью вас видели». Это— тот ночной охотник, тоже продал… «Да лопата была, а не ружьё!» Не верит, бьёт. Вдруг легко стало— это я потерял сознание. Когда вернулось: «Ну смотри, если кого из наших ранят — тебя на месте прикончим!»

(Они как чувствовали — у Коли действительно оказалось ружьё! Выяснилось потом: когда я сказал Коле: «К лодке!» — он побежал в другую сторону, в кусты. Объяснял, что не понял… Да нет, он весь день порывался отделиться, вот и отделился. И велосипед он запомнил. По выстрелам он бросился подальше от реки и пополз назад, откуда мы сюда пришли. Уже как следует стемнело, и, пока вся свора толпилась вокруг меня, он встал во весь рост и побежал. Бежал и плакал — думал, что меня убили. Так добежал он до того второго домика, соседа. Выбил ногой окно, стал искать ружьё. Нашёл его ощупью на стене, и сумку с патронами. Зарядил. Мысль, говорит, была такая: «Отомстить? Пойти по ним пострелять за Жору?» Но раздумал. Нашёл велосипед, нашёл топор. Изнутри разрубил дверь, наложил в сумку соли (самое важное показалось или соображать некогда) — и поехал спервa просёлком, потом через село, прямо мимо солдат. Им и невдомёк.)

А меня связанного положили в телегу, двое сол-

дат сели на меня сверху и повезли так в совхоз, километра за два. Тут телефон, по которому лесник (он был в лодке со старшиной бакенщиков) вызвал по телефону краснопогонников, — потому так быстро и прибыли они, что по телефону, я–то не рассчитал.

С этим лесником здесь произошла сценка, о которой рассказывать как будто неприятно, а для пойманного характерная: мне нужно было оправиться по–лёгкому а ведь кто–то должен помогать мне при этом, очень интимно помогать, потому что мои руки скручены назад. Чтоб автоматчикам не унижаться, — леснику и велели выйти со мной. В темноте отошли немного от автоматчиков, ион, ассистируя, попросил у меня прощения за предательство. «Должность у меня такая. Яне мог иначе».

Я не ответил. Кто это рассудит? Предавали нас и с должностями и без должностей. Все предавали нас по пути, кроме того седогривого древнего старика.

В избе при большой дороге я сижу до пояса раздетый, связанный. Очень хочу пить, не дают. Краснопогонники смотрят зверьми, каждый улучает прикладом толкнуть. Но здесь уже не убьют так просто: убить могут, когда их мало,

когда свидетелей нет. (Можно понять, как они злы. Сколько дней они без отдыха ходили цепями по воде в камышах и ели консервы одни, без горячего.)

В избе вся семья. Малые ребятишки смотрят на меня с любопытством, но подойти боятся, даже дрожат. Милицейский лейтенант сидит, пьёт с хозяином водку, довольный удачей и предстоящей наградой. — «Ты знаешь, кто это? — хвастает он хозяину — Это полковник, известный американский шпион, крупный бандит. Он бежал в американское посольство. Они людей по дороге убивали и ели».

Он, может быть, верит и сам. Такие слухи МВД распространило о нас, чтобы легче ловить, чтобы все доносили. Им мало преимущества власти, оружия, скорости движения — им ещё в помощь нужна клевета.

(А в это время по дороге мимо нашей избы как ни в чём не бывало едет Коля на велосипеде с ружьём через плечо. Он видит ярко освещенную избу, на крыльце — солдат курящих, шумных, против окна— меня голого. И крутит педали на Омск. А там, где меня взяли, вокруг кустов всю ночь ещё будут лежать солдаты и утром прочёсывать кусты. Ещё никто не знает, что у соседнего

бакенщика пропали велосипед и ружьё, он, наверно, тоже закатился выпивать и бахвалиться.)

Насладившись своей удачей, небывалой по местным масштабам, милицейский лейтенант даёт указание доставить меня в село. Опять меня бросают в телегу, везут в КПЗ — где их нет! при каждом сельсовете. Два автоматчика дежурят в коридоре, два подокном! — американский шпионский полковник! Руки развязали, но велят на полу лежать посередине, ни к одной стенке не подбираться. Так, голым туловищем на полу, провожу октябрьскую ночь.

Утром приходит капитан, сверлит меня глазами. Бросает мне китель (остальное моё уже пропили). Негромко и оглядываясь на дверь задаёт странный вопрос:

— Ты откуда меня знаешь?

— Я вас не знаю.

— Но откуда ты знал, что поисками руководит капитан Воробьёв? Ты знаешь, подлец, в какое положение ты меня поставил?

Он — Воробьёв! И— капитан! Там, ночью, когда мы выдавали себя за опергруппу, я назвал капитана Воробьёва, пощажённый мной работяга всё тщательно донёс. И теперь у капитана неприятности. Если начальник погони связан с беглецом,

чему ж удивляться, что три недели поймать не могут!..

Ещё приходит свора офицеров, кричат на меня, спрашивают и о Воробьёве. Говорю, что — случайность.

Опять связали руки проволокой, вынули шнурки из ботинок и днём повели по селу. В оцеплении — человек двадцать автоматчиков. Высыпало всё село, бабы головами качают, ребятишки следом бегут, кричат:

— Бандит! Расстреливать повели!

Мне режет руки проволокой, на каждом шагу спадают ботинки, но я поднял голову и гордо открыто смотрю на народ, пусть видят, что я честный человек.

Это вели меня — для демонстрации, на память этим бабам и детворе (ещё двадцать лет там будут легенды рассказывать). В конце села меня толкают в простой голый кузов грузовика с защепистыми старыми досками. Пять автоматчиков садятся у кабины, чтоб не спускать с меня глаз.

И вот все километры, которым мы так радовались, все километры, отдалявшие нас от лагеря, мне предстоит теперь отмотать назад. А дорогой автомобильной кружной их набралось полтысячи. На руки мне надевают наручники, они

затянуты до предела. Руки — сзади, и лица мне защищать нечем. Я лежу не как человек, а как чурка. Да так они нас и называют.

И дорога испортилась— дождь, дождь, машину бросает на ухабах. От каждого толчка меня головой, лицом елозит по дну кузова, царапает, вгоняет занозы. А руки не то чтоб на помощь лицу, но их самих особенно режет при толчках, будто отпиливает наручниками кисти. Я пытаюсь на коленях подползти к борту и сесть, опершись на него спиной. Напрасно! — держаться нечем, и при первом же сильном толчке меня швыряет по кузову, и я ползу как попало. Так иногда подбросит и ударит досками, будто внутренности отскакивают. На спине невозможно: отрывает кисти. Я валюсь на бок — плохо. Я перекатываюсь на живот— плохо. Я стараюсь изогнуть шею итак поднять голову, охранить её от ударов. Но шея устаёт, голова опадает и бьётся лицом о доски.

И пять конвоиров безучастно смотрят на мои мучения.

Эта поездка войдёт в их душевное воспитание.

Лейтенант Яковлев, едущий в кабине, на остановках заглядывает в кузов и скалится: «Ну, не убежал?» Я прошу дать мне оправиться, он гогочет: «Ну и оправляйся в штаны, мы не мешаем!» Я

прошу снять наручники, он смеётся: «Не попался ты тому парню, под которым зону подлез. Уже б тебя в живых не было».

Накануне я радовался, что меня избили, но как–то ещё «не по заслугам». Но зачем портить кулаки, если всё сделает кузов грузовика? Небольного неизодранного места не осталось на всём моём теле. Пилит руки. Голова раскалывается отболи. Лицо разбито, иззанозено всё о доски, кожа содрана[444].

Мы едем полный день и почти всю ночь.

Когда я перестал бороться с кузовом и совсем уже бесчувственно бился головой о доски, один конвоир не выдержал — подложил мне мешок под голову, незаметно ослабил наручники и, наклонясь, шёпотом сказал: «Ничего, скоро приедем, потерпи». (Откуда это сказалось в парне? Кем он был воспитан? Наверняка можно сказать, что не Максимом Горьким и не политруком своей роты.)

Экибастуз. Оцепление. «Выходи!» Не могу встать. (Да если бы встал, так тут бы меня ещё пропустили на радостях.) Открыли борт, сволокли на землю. Собрались и надзиратели— посмот-

[444] Примечания: 444

К тому ж у Тэнно — гемофилия. На все риски побегов он шёл, а одна царапина могла стоить ему жизни.

реть, понасмехаться. «Ухты, агрессора — крикнул кто–то.

Протащили через вахту и в тюрьму. Сунули не в одиночку, а сразу в камеру, — чтобы любители добывать свободу посмотрели на меня.

В камере меня бережно подняли на руки и положили на верхние нары. Только поесть у них до утренней пайки ничего не было.

А Коля в ту ночь ехал дальше на Омск. От каждой машины, завидев фары, отбегал с велосипедом в степь и там ложился. Потом в каком–то одиноком дворе забрался в курятник и насытил свою бегляцкую мечту — трём курам свернул головы, сложил их в мешок. А как остальные раскудахтались— поспешил дальше.

Та неуверенность, которая зашатала нас после наших больших ошибок, теперь, после моей поимки, ещё больше овладела Колей. Неустойчивый, чувствительный, он бежал уже дальше в отчаянии, плохо соображая, что надо делать. Он не мог осознать самого простого: что пропажа ружья и велосипеда конечно уже обнаружена, и они уже не маскируют его, а с утра надо бросить их как слишком явные; и что в Омск ему надо подойти не с этой стороны и не по шоссе, а далеко обогнув город, пустырями и задами. Ружьё и

велосипед надо бы быстро продать, вот и деньги. Он же просидел полдня в кустах близ Иртыша, но опять не выдержал до ночи и поехал тропинками вдоль реки. Очень может быть, что по местному радио уже объявили его приметы, в Сибири с этим не так стесняются, как в Европейской части.

Подъехал к какому–то домику, вошёл. Там была старуха и лет тридцати дочь. И ещё там было радио. По удивительному совпадению голос пел:

Бежал бродяга с Сахалина Звериной узкою тропой…

Коля смяк, закапали слезы. «Что у тебя за горе?»— спросили женщины. От их участия Коля совсем откровенно заплакал. Они приступили утешать. Он объяснил: «Одинок. Всеми брошен». — «Так женись, — то ли шутя, то ли серьёзно сказала старуха. — Моя тоже холостая». Коля ещё смягчился, стал поглядывать на невесту. Та обернула по–деловому: «Деньги на водку есть?» Выгреб Коля последние рублики, не собралось. «Ну, добавлю». Ушла. «Да, — вспомнил Коля, — я ж куропаток настрелял. Вари, тёща, обед праздничный». Бабка взяла: «Так это ж куры!» — «Ну, значит, в темноте не разобрал, когда стрелял». — «А отчего шеи свёрнутые?»…

Попросил Коля закурить, — старуха за махорку

просит с жениха денег. Снял Коля кепку, старуха переполошилась: «Да ты не арестант ли, стриженая голова? Уходи, пока цел. А то придёт дочка— сдадим тебя!»

И вертится у Коли всё время: почему мы на Иртыше пожалели вольных, а у вольных к нам жалости нет? Снял со стены куртку–москвичку (на дворе похолодало, а он водном костюме), надел— как раз по плечам. Бабка кричит: «Сдам в милицию!» А Коле в окно видно, дочка идёт, и кто–то с ней на велосипеде. Уже заложила!

Значит — «махмадэра!». Схватил ружье и бабке: «В угол! ложись!» Стал к стене, пропустил тех двоих в дверь и командует: «Ложись!» И мужчине: «А ты подари–ка мне сапоги на свадьбу! Снимай по одному!» Под наставленным ружьём тот снял сапоги, Коля их надел, сбросив лагерные опорки, и пригрозил, что, если кто выйдет за ним, — подстрелит.

И поехал на велосипеде. Но мужчина погнался за ним на своём. Коля спрыгнул, ружьё к плечу: «Стой! Брось велосипед! Отойди!» Отогнал, подошёл, спицы ему поломал, шину пропорол ножом, а сам поехал.

Вскоре выехал на шоссе. Впереди Омск. Так прямо и поехал. Вот и остановка автобуса. На

огородах бабы картошку роют. Сзади привязался мотоцикл, в нём трое работяг в телогрейках. Ехал–ехал, вдруг на Колю налетел и сшиб его коляской. Выскочили из мотоцикла, навалились на Жданка и по голове его пистолетом.

Бабы с огорода завопили: «За что вы его? Что он вам сделал?!»

Действительно — что он им сделал?..

Но недоступно объяснять народу, кто кому что сделал и будет ещё делать. Под телогрейками у всех трёх оказалась военная форма (опергруппа сутки за сутками дежурила при въезде в город). Иотвечено было бабам: «Это — убийца». Проще всего. И бабы, веря Закону, пошли копать свою картошку.

А опергруппа первым долгом спросила у нищего беглеца, есть ли у него деньги. Коля честно сказал, что— нет. Стали искать, и в одном из карманов его обновки–москвички нашли 50 рублей. Их отобрав, подъехали к столовой, проели и пропили. Впрочем, накормили и Колю.

Так мы зачалились в тюрьму надолго, суд был только в июле следующего года. Девять месяцев мы припухали в лагерной тюрьме, время от времени нас тягали на следствие. Его вели начальник режима Мачеховский и оперупол-

номоченный лейтенант Вайнштейн. Следствие добивалось: кто помогал нам из заключённых? кто из вольных «по уговору с нами» выключил свет в момент побега? (Уж мы им не объясняли, что план был другой, а потушка света нам только помешала.) Где была у нас явка в Омске? Через какую границу мы собирались бежать дальше? (Они допустить не могли, чтобы люди хотели остаться на родине.) «Мы бежали в Москву, в ЦК, рассказать о преступных арестах, вот и всё!» Не верят.

Ничего «интересного» не добившись, клеили нам обычный беглецкий букет: 58–14 (контрреволюционный саботаж); 59–3 (бандитизм); указ «четыре шестых», статья «один–два» (кража, совершённая воровской шайкой); тот же указ, статья «два–два» (разбой, соединённый с насилием, опасным для жизни); статья 182 (изготовление и ношение холодного оружия).

Но вся эта устрашающая цепь статей не грозила нам кандалами тяжелей, чем мы уже имели. Судебная кара, давно захлестнувшая за всякий разумный предел, обещала нам по этим статьям те же двадцать пять лет, которые могли дать баптисту за его молитву и которые мы имели безо всякого побега. Так что просто теперь на

перекличках мы должны будем говорить «конец срока» не 1973, а 1975. Как будто в 1951 году мы могли ощутить эту разницу!

Только один был грозный поворот в следствии — когда пообещали судить нас как экономических подрывников. Это невинное слово было опаснее избитых «саботажник, бандит, разбойник, вор». Этим словом допускали смертную казнь, введенную за год перед тем.

Подрывники же мы были потому, что подорвали экономику народного государства. Как разъяснили нам следователи, потрачено было на поимку 102 тысячи рублей; несколько дней стояли иные рабочие объекты (заключённых не выводили, потому что их конвой был снят на погоню); 23 автомашины с солдатами днём и ночью ездили по степям и за три недели истратили годовой лимит бензина; опергруппы были высланы во все ближайшие города и посёлки; был объявлен всесоюзный розыск и по стране разослано 400 моих фотографий и 400 колиных.

Мы перечёт этот весь выслушали с гордостью…

Итак, сроку нам дали по двадцать пять. Когда читатель возьмёт эту книгу в руки, — ещё, наверно, те наши сроки не кончатся…

Пока читатель эту книгу в руки возьмёт, а Георгий Павлович Тэнно— атлет и даже теоретик атлетизма— умер 22 октября 1967 года от внезапно налетевшего рака. Его постельной жизни едва хватило, чтобы прочесть эти главы и уже немеющими пальцами выправить их. Не так представлял он и обещал друзьям свою смерть! Как когда–то при плане побега, так зажигался он от мысли умереть в бою. Он говорил, что, умирая, непременно уведёт за собой десяток убийц, и первого среди них— Вячика Карзубого (Молотова), и ещё непременно — Хвата (следователя по делу Вавилова). Это— не убить, это— казнить, раз государственный закон охраняет убийц. «После первых твоих выстрелов жизнь твоя уже окуплена, — говорит Тэнно, — и ты радостно даёшь сверх плана». Но настигла болезнь внезапно, не дав поискать оружия и мгновенно отобрав силы. (Да и — мог ли он убить? Не так ли бы, как с белым котёнком?) Уже больной, разносил Тэнно мои письма Съезду писателей по разным ящикам Москвы. Он пожелал похорониться в Эстонии. Пастор тоже был старый узник— и гитлеровских, и сталинских лагерей.

А Молотов остался безопасно перелистывать старые газеты и писать свои мемуары палача. А

Хват— спокойно тратить пенсию в 41–м доме по улице Горького.

А ещё после побега Тэнно — на год разогнали (за злополучный скетч) художественную самодеятельность КВЧ.

Потому что культура— это хорошо. Но должна служить культура угнетению, а не свободе.

Глава 8. ПОБЕГИ С МОРАЛЬЮ И ПОБЕГИ С ИНЖЕНЕРИЕЙ

На побеги из ИТЛ, если они не были куда–нибудь в Вену или через Берингов пролив, вершители ГУЛАГа и инструкции ГУЛАГа смотрели, видимо, примирённо. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве, — подобно падежу скота, утоплению древесины, кирпичному половняку вместо целого.

Не так было в Особлагах. Выполняя особую волю Отца Народов, лагеря эти оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооружением на уровне современной мотопехоты (те самые контингенты, которые не должны разоружаться при самом всеобщем разоружении). Здесь уже не содержали социально–близких, от побега которых нет большого убытка. Здесь уже не осталось отговорок, что стрелков мало или вооружение устарело. При самом основании Особлагов было заложено в их инструкциях, что побегов из этих лагерей вообще быть не может, ибо всякий побег здешнего арестанта— всё равно что переход гос-

границы крупным шпионом, это политическое пятно на администрации лагеря и на командовании конвойными войсками.

Но именно с этого момента Пятьдесят Восьмая стала получать сплошь уже не десятки, а четвертные, то есть потолок Уголовного кодекса. Так бессмысленное равномерное ужесточение в самом себе несло и свою слабость: как убийцы ничем не удерживались от новых убийств (всякий раз их десятка лишь чуть обновлялась), так теперь и политические не удерживались больше Уголовным кодексом от побега.

И людей–то погнали в эти лагеря не тех— рассуждавших, как в свете Единственно–Верной Теории оправдать произвол лагерного начальства, а крепких здоровых ребят, проползавших всю войну, у которых пальцы ещё не разогнулись как следует после гранат. Георгий Тэнно, Иван Воробьёв, Василий Брюхин, их товарищи и многие подобные им в других лагерях оказались и безоружные достойны мотопехотной техники нового регулярного конвоя.

И хотя побегов в Особлагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ (да Особлаги стояли и меньше лет), но эти побеги были жёстче, тяжче, необратимей, безнадёжней— и потому славней.

Рассказы о них помогают нам разобраться, — уж так ли народ наш был терпелив эти годы, уж так ли покорен. Вот несколько.

Один был на год раньше побега Тэнно и послужил ему образцом. В сентябре 1949 из 1–го отделения Степлага (Рудник, Джезказган) бежали два каторжанина — Григорий Кудла, кряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец (но когда подпекало, нрав был запорожский, боялись его и блатные), и Иван Душечкин, тихий белорус, лет тридцати пяти. На шахте, где они работали, они нашли в старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решёткой. Эту решётку они в свои ночные смены расшатывали, а тем временем сносили в шурф сухари, ножи, грелку, украденную из санчасти. В ночь побега, спустясь в шахту, они порознь заявили бригадиру, что нездоровится, не могут работать и полежат. Ночью под землёй надзирателей нет, бригадир — вся власть, но гнуть он должен помягче, потому что и его могут найти с проломленной головой. Беглецы налили воду в грелку, взяли свои запасы и ушли в шурф. Выломали решётку и поползли. Выход оказался близко от вышек, но за зоной. Ушли незамеченными.

Из Джезказгана они взяли по пустыне на севе-

ро–запад. Днём лежали, шли по ночам. Вода нигде не попалась им, и через неделю Душечкин уже не хотел вставать, Кудла поднял его надеждой, что впереди холмы, за ними может быть вода. Дотащились, но там во впадинах оказалась грязь, а не вода. И Душечкин сказал: «Я всё равно не пойду. Ты — запори меня, а кровь мою выпей».

Моралисты! Какое решение правильно? У Кудлы тоже круги перед глазами. Ведь Душечкин умрёт, — зачем погибать и Кудле?.. А если вскоре он найдет воду, — какой потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина?.. Кудла решил: ещё пойду вперёд, если до утра вернусь без воды, — освобожу его от мук, не погибать двоим. Кудла поплёлся к сопке, увидел расщелину и, как в самых невероятных романах, — воду в ней! Кудла скатился ивприпадку пил, пил! (Только уж утром рассмотрел в ней головастиков и водоросли.) С полной грелкой он вернулся кДушечкину: «Я тебе воду принес, воду!» Душечкин не верил, пил — и не верил (за эти часы ему уже виделось, что он пил её…). Дотащились до той расселины и остались там пить.

После питья подступил голод. Но в следующую ночь они перевалили через какой–то хребет и спустились в обетованную долину: река, трава,

кусты, лошади, жизнь. С темнотой Кудла подкрался к лошадям и одну из них убил. Они пили её кровь прямо из ран. (Сторонникимира\ Вы в тот год шумно заседали в Вене или Стокгольме, а коктейли пили через соломинки. Вам не приходило в голову, что соотечественники стихослагателя Тихонова и журналиста Эренбурга высасывают трупы лошадей? Они не объяснили вам, что по–советски так понимается мир?)

Мясо лошади они пекли на кострах, ели долго и шли. Амангельды наТургае обошли вокруг, но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у них документы, угрожали сдать в милицию.

Дальше они часто встречали ручейки и озёра. Ещё Кудла поймал и зарезал барана. Уже месяц они были в побеге! Кончался октябрь, становилось холодно. В первом леске они нашли землянку и зажили в ней: не решались уходить из богатого края. В этой остановке их, в том, что родные места не звали их, не обещали жизни более спокойной, — была обречённость, ненаправленность их побега.

Ночами они делали набеги на соседнее село, то стащили там котёл, то, сломав замок на чулане, — муку, соль, топор, посуду. (Беглец, как и

партизан, среди общей мирной жизни неизбежно скоро становится вором…) А ещё раз они увели из села корову и забили её в лесу. Но тут выпал снег, и, чтобы не оставлять следов, они должны были сидеть в землянке невылазно. Едва только Кудла вышел за хворостом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. «Это вы — воры? Вы корову украли?» Около землянки нашлись и следы крови. Их повели в село, посадили под замок. Народ кричал: убить их тут же без жалости! Но следователь из района приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам: «Молодцы! Вы не воров поймали, а крупных политических бандитов!»

И — всё обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин коровы— оказалось, что это чечен, — принёс арестованным хлеба, баранины и ещё даже денег, собранных чеченами. «Эх, — говорил он, — да ты бы пришёл, сказал, кто ты, — я б тебе сам всё дал!..» (В этом можно не сомневаться, это по–чеченски.) И Кудла заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствия.

Арестованных отвезли в Кустанай, там в железнодорожном КПЗ не только отобрали (для себя) всю чеченскую передачу, но вообще не кормилиі (И Корнейчук не рассказал вам об этом на Кон-

грессе Мира?) Перед отправкой на кустанайском перроне их поставили на колени, руки были закованы назад в наручниках. Так и держали, на виду у всех.

Если б это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благополучного города, — мимо этого коленопреклонённого скованного седого старика, как будто с картины Репина, все бы шли не замечая и не оборачиваясь, — и сотрудники литературных издательств, и передовые кинорежиссёры, и лекторы гуманизма, и армейские офицеры, уж не говорю о профсоюзных и партийных работниках. И все рядовые, ничем не выдающиеся, никаких постов не занимающие граждане тоже старались бы пройти не замечая, чтобы конвой не спросил и не записал их фамилии, — потому что у тебя ведь московская прописка, в Москве магазины хорошие, рисковать нельзя… (И ещё можно понять 1949 год— но разве в 1956 было бы иначе? Или разве наши молодые и развитые остановились бы вступиться перед конвоем за седого старика в наручниках и на коленях?)

Но кустанайцам мало что было терять, все там были или заклятые, или подпорченные, или ссыльные. Они стали стягиваться около

арестованных, бросать им махорку, папиросы, хлеб. Кисти Кудлы были закованы за спиной, ион нагнулся откусить хлеба с земли, — но конвоир ногой выбил хлеб из его рта. Кудла перекатился, снова подполз откусить—конвоир отбил хлеб дальше! (Вы, передовые кинорежиссёры, может быть, вы запомните кадр с этим стариком?) Народ стал подступать и шуметь: «Отпустите их! Отпустите!» Пришёл наряд милиции. Наряд был сильней, чем народ, и разогнал его.

Подошёл поезд, беглецов погрузили для кенгирской тюрьмы.

Казахстанские побеги однообразны, как сама та степь. Но в этом однообразии, может быть, легче понимается главное?

Тоже с шахты, тоже из Джезказгана, нов 1951 году, старым шурфом трое вышли на поверхность ночью и три ночи шли. Уже достаточно проняла их жажда, и, увидев несколько казахских юрт, двое предложили зайти напиться к казахам, а третий, Степан, отказался и наблюдал с холма. Он видел, как товарищи его в юрту вошли, а оттуда уже бежали, преследуемые многими казахами, и взяты тут же. Степан, щуплый, невысокий, ушёл лощинами и продолжал побег в одиночестве, ничего с собой не имея, кроме ножа. Он старал-

ся идти на северо–запад, но всегда отклонялся, минуя людей, предпочитая зверей. Он вырезал себе палку, охотился на сусликов и тушканчиков: метал в них издали, когда они на задних лапках свистят у норок, — итак убивал. Кровь их старался высасывать, а самих жарил на костре из сухого караганника.

Но костёр его и выдал. Раз увидел Степан, что к нему скачет всадник в большом рыжем малахае, он едва успел прикрыть свой шашлык караганником, чтобы казах не понял, какого разбора тут еда. Казах подъехал, спросил, кто такой и откуда. Степан объяснил, что работал на марганцевом руднике в Джездах (там работали и вольные), а идёт в совхоз, где жена его, километров полтораста отсюда. Казах спросил, как называется тот совхоз. Степан выбрал самое вероятное: «имени Сталина».

Сын степей! И скакал бы ты своей дорогой! Чем помешал тебе этот бедняга? Нет! Казах грозно сказал: «Твой на тур–ма сидел! Идём со мной!» Степан выругался и пошёл своей дорогой. Казах ехал рядом, приказывал идти за ним. Потом отскакивал, махал, звал своих. Но степь была пустынна. Сын степей! Ну и покинул бы ты его — ты видишь, с голой палкой он идёт по степи на

сотни вёрст, без еды, ведь он и так погибнет. Или тебе нужен килограмм чаю?

За эту неделю, живя наравне со зверьми, Степан уже привык к шорохам и свистам пустыни. И вдруг он учуял в воздухе новый свист и не сообразил, а нутром животного ощутил опасность — отпрыгнул в сторону. Это спасло его! — оказалось, казах забросил аркан, но Степан увернулся из кольца.

Охота на двуногого! Человек или килограмм чая! Казах с ругательством выбрал назад аркан, Степан пошёл дальше, соображая и стараясь теперь не упускать казаха из виду. Тот подъехал ближе, приготовил аркан ненова метнул. И только метнул— Степан рванулся к нему и ударом палки по голове сбил с лошади. (Сил–то у него было чуть, но тут шло на смерть.) «Получай калым, бабай!» — не давая взнику, стал его бить Степан со всей злостью, как животное рвёт клыками другое. Но, увидя кровь, остановился. Взял у казаха и аркан, и кнут и взобрался на лошадь. А на лошади была ещё котомка с продуктами.

Побег его длился ещё долго— ещё недели две, но строго везде избегал Степан главных врагов— людей, соотечественников. Уже он расстался и с лошадью и переплывал какую–то реку (а плавать

он не умел — и делал плот из тростника, чего тоже, конечно, неумел), и охотился, йот какого–то крупного зверя, вроде медведя, уходил в темноте. И однажды так был измучен жаждой, голодом, усталостью, желанием горячего, что решился зайти в одинокую юрту и попросить чего–нибудь. Перед юртой был дворик с саманным забором, и слишком поздно, уже подходя к забору, Степан увидел там двух оседланных лошадей и выходящего ему навстречу молодого казаха в гимнастёрке, с орденами, в галифе. Бежать было упущено, Степан понял, что погиб. А казах этот выходил до ветру. Он был сильно пьян и обрадовался Степану, как бы не замечая его изодранного, уже не человеческого вида. «Заходи, заходи, гость будешь!» В юрте сидел старик–отец и ещё такой же молодой казах с орденами — их было два брата, бывших фронтовика, сейчас каких–то крупных людей в Алма–Ате, приехавших почтить отца (из колхоза они взяли две лошади и на них прискакали в юрту). Эти ребята отпробовали войну и потому были людьми, а ещё они были очень пьяны, и пьяное благодушие распирало их (то самое благодушие, которое брался искоренить, да так до конца и не искоренил Великий Сталин). И для них радость была, что к пиру прибавился ещё

один человек, хоть и простой рабочий с рудника, идущий в Орск, где жена вот–вот должна рожать. Они не спрашивали у него документов, а поили, кормили и уложили спать. Вот и такое бывает… (Всегда ли пьянство враг человека? А когда открывает в нём лучшее?)

Степан проснулся прежде хозяев; опасаясь всё же ловушки, вышел. Нет, обе лошади стояли как стояли, и на одной из них он мог бы сейчас ускакать. Но и он не мог обидеть хороших людей — и ушёл пешком.

Ещё несколько дней он шёл, уже стали встречаться автомашины. От них он всякий раз успевал убежать в сторону. И вот дошёл до железной дороги и, пройдя вдоль неё, той же ночью подошёл к станции Орск. Оставалось — сесть на поезд! Он победил! Он совершил чудо — с самодельным ножом и палкой пересек обширную пустыню в одиночку— и вот был у цели.

Но при свете фонарей он увидел, что по станционным путям расхаживают солдаты. Тогда он пошёл пешком вдоль железной дороги по просёлочной. Он не стал прятаться и утром: ведь он был уже в России, на родине! Навстречу пылила машина, и первый раз Степан не побежал от неё. Из этой первой родной машины выпрыгнул

родной милиционер: «Кто такой? Покажи документы». Степан объяснил— тракторист, ищет работу. Тут случился и председатель колхоза: «Оставь его, мне трактористы во нужны! У кого в деревне документы!»

День ездили, торговались, выпивали и закусывали, но перед сумерками Степан не выдержал и побежал к лесу, до которого было метров двести. Милиционер же спроворился — выстрел! второй! Пришлось остановиться. Связали.

Вероятно, след его был потерян и считали погибшим, а солдаты в Орске поджидали совсем не его, потому что милиционер был к тому, чтоб отпустить, а в районном МВД перед ним поначалу очень рассыпались — давали чай с бутербродами, курить «Казбек», допрашивал его сам начальник (чёрт их знает, этих шпионов, завтра в Москву повезут, ещё пожалуется) и только на «вы». «Где же ваш радиопередатчик? Вы какой разведкой сюда заброшены?» — «Разведкой?» — удивлялся Степан. — Я в геологоразведке не работал, я больше на шахтах».

Но побег этот кончился хуже, чем бутербродами, и хуже даже, чем поимкой тела. По возвращении в лагерь его били долго и беспощадно. И, всем измученный и надломленный, Степан

упал ниже прежнего своего состояния: он дал подписку кенгирскому оперу Беляеву помогать выявлять беглецов. Он стал как утка–манок. Весь этот побег он в кенгирской тюрьме подробно рассказывал одному, другому сокамернику, ожидая отзыва. И если отзыв был, проявлялся порыв повторить, — Степан докладывал куму.

Те черты жестокости, которые проступают в каждом трудном побеге, густо набухли в бестолковом и кровавом побеге — тоже из Джезказгана, тоже летом 1951 года.

Шесть беглецов, начиная ночной побег из шахты, убили седьмого, которого они считали стукачом. Затем через шурф они поднялись в степь. Эти шестеро заключённых были люди очень разной масти, так что сразу же не захотели вместе и идти. Это было бы правильно, если бы был умный план.

Но один из них пошёл сразу в посёлок вольных, тут же, около лагеря, и постучался в окно своей знакомки. Он не прятаться думал у неё, не пережидать под полом или на чердаке (это было бы очень умно), а провести с ней короткое сладкое время (мы сразу узнаём контуры блатного). Он прогужевал–ся у неё ночь и день, а на следующий вечер надел костюм её бывшего мужа

и пошёл вместе с ней в клуб, в кино. Лагерные надзиратели, бывшие там, опознали его и тут же покрутили.

Двое других, грузины, легкомысленно и самоуверенно пошли на станцию и поездом поехали в Караганду. Но от Джезказгана, кроме пастушьих троп и троп беглецов, нет никаких других путей ко внешнему миру, как именно на Караганду и именно поездом. И вдоль дороги этой — лагеря, а на каждой станции— оперпосты. Так, не доехав до Караганды, оба тоже были покручены.

Трое остальных пошли на юго–запад — самой трудной дорогой. Здесь нет людей, но нет и воды. Пожилой украинец Прокопенко, бывший фронтовик, имевший карту, убедил их избрать этот путь и сказал, что воду он им найдёт. Товарищи его были — приблатнённый крымский татарин и плюгавый ссученный вор. Они прошли без воды и еды четверо суток. Не вынося дальше, татарин и вор сказали Прокопенко: «Решили мы тебя кончать». Он не понял: «Как это, братцы? Хотите разойтись?» — «Нет, кончать тебя. Всем не дойти». Прокопенко стал их умолять. Он распорол кепку, вынул оттуда фотографию жены с детьми, надеясь их растрогать. «Братцы! Братцы! Вместе же за свободой пошли! Я вас выведу! Скоро

должен быть колодец! Обязательно будет вода! Потерпите! Пощадите!»

Но они закололи его, надеясь напиться кровью. Перерезали ему вены, — а кровь не пошла, свернулась тут же!..

Тоже кадр. Двое в степи над третьим. Кровь не пошла…

Поглядывая друг на друга волками, потому что теперь кто–то должен был лечь из них, они пошли дальше — туда, куда показывал им «батя», ичерез два часа нашли там колодец!..

А на другой день их заметили с самолёта и взяли.

На допросе они это показали, стало известно в лагере — и там решено было запороть их обоих за Прокопенко. Но их держали в отдельной камере и судить увезли в другое место.

Хоть верь, что зависит от звёзд, под какими начался побег. Какой бывает тщательный далёкий расчёт— но вот в роковую минуту погасает свет на зоне, и срывается взять грузовик. А другой побег начат порывом, но обстоятельства складываются как подогнанные.

Летом 1948 года всё в том же Джезказганском 1–м отделении (тогда это ещё не был Особлаг) как–то утром отряжен был самосвал — нагру-

зиться на дальнем песчаном карьере и песок этот отвезти растворному узлу. Песчаный карьер не был объект— то есть он не охранялся, и пришлось в самосвале везти и грузчиков — троих болыпесрочников с десяткой и четвертными. Конвой был — ефрейтор и два солдата, шофёр— бесконвойный бытовик. Случай! Но Случай надо и уметь поймать так же мгновенно, как он приходит. Они должны были решиться — и договориться, — и всё на глазах и на слуху конвоиров, стоявших рядом, когда они грузили песок. Биографии у всех троих были одинаковы, как тогда у миллионов: сперва фронт, потом немецкие лагеря, побеги из них, ловля, штрафные концлагеря, освобождение в конце войны и в благодарность за всё — тюрьма от своих. И почему ж теперь не бежать по своей стране, если не боялись по Германии? Нагрузили. Ефрейтор сел в кабину. Два солдата–автоматчика сели в переднюю часть кузова, спинами к кабине и автоматы уставя на зэков, сидевших на песке в задней части кузова. Едва выехали с карьера, зэки по знаку одновременно бросили в глаза конвоирам песок и бросились сами на них. Автоматы отняли и через окно кабины прикладом оглушили ефрейтора. Машина стала, шофёр был еле жив от страха. Ему сказали: «Не бойсь, не тронем, ты

же не пёс! Разгружайся!» Заработал мотор — и песок, драгоценный, дороже золотого, тот, который принёс им свободу, — ссыпался на землю.

И здесь, как почти во всех побегах, — пусть история этого не забудет! — рабы оказались великодушнее охраны: они не убили их, не избили, они велели им только раздеться, разуться и босиком в нижнем белье отпустили. «А ты, шофёр, с кем?» — «Да с вами, с кем же», — решился и шофёр.

Чтоб запутать босых охранников (цена милосердия!), они поехали сперва на запад (степь ровна, езжай куда хочешь), там один переоделся в ефрейтора, двое в солдат, и погнали на север. Все с оружием, шофёр с пропуском, подозрения нет! Всё же, пересекая телефонные линии, — рвали их, чтобы нарушить связь. (Подтягивали книзу, поближе, верёвкой с камнем на конце, захлёстом, — а потом крюком рвали.) На это уходило время, но выигрыш больше. Гнали полным ходом полный день, пока счётчик накрутил километров триста, а бензин упал к нолю. Стали присматриваться ко встречным машинам. «Победа». Остановили её. «Простите, товарищ, но служба такая, разрешите проверить ваши документы». Оказалось— тузы! районное партийное началь-

ство, едет не то проверять, не то вдохновлять свои колхозы, не то просто так, на бешбармак. «А ну, выходи! Раздевайся!» Тузы умоляют не расстреливать. Отвели их в степь в белье, связали, взяли документы, деньги, костюмы, покатили на «Победе». (А солдаты, раздетые утром, лишь к вечеру дошли до ближайшей шахты, оттуда им с вышки: «Не подходи!» — «Да мы свои!» — «Какое свои, в одном исподнем!»)

У «Победы» бак оказался не полон. Проехали километров двести— всё, и канистра вся. Уже темнело. Увидели пасшихся лошадей и удачно схватили их без уздечек, сели охлябью, погнали. Но — шофёр упал с лошади и повредил ногу. Предлагали ему сесть на лошадь вторым. Он отказался: «Не бойтесь, ребята, вас не заложуі» Дали ему денег, шофёрские права с «Победы» и поскакали. Видел их этот шофёр последний, а с тех пор — никто! И в лагерь свой их никогда не привозили. Так и четвертные, и червонец без сдачи оставили ребята в сейфе спецчасти. Зелёный прокурор любит смелых!

И шофёр действительно их не заложил. Он устроился в колхозе около Петропавловска и спокойно жил четыре года. Но загубила его любовь к искусству. Он хорошо играл на баяне, выступал

у себя в клубе, потом поехал на районный смотр самодеятельности, потом на областной. Сам он и забывать уже стал прежнюю жизнь, — но из публики его признал кто–то из джезказганского надзора, — и тут же за кулисами он был взят, — и теперь приварили ему 25 лет по 58–й статье. Вернули в Джезказган.

* * *

Особую группу побегов составляют те, где начинается не с рывка и отчаяния, а с технического расчёта и золотых рук.

В Кенгире был задуман знаменитый побег в железнодорожном вагоне. На один из объектов постоянно подавали под разгрузку товарняк с цементом, с асбестом. В зоне его разгружали, ион уходил пустым. И пятеро зэков готовили побег такой: сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пульмановского вагона да ещё складную на шарнирах, как ширму, — так что, когда тащили её к вагону, она виделась не более как широкая сходня, удобная под тачки. План был: пока разгружается вагон, хозяева ему— зэки; втащить заготовки в вагон, там развернуть; защёлками скрепить в твёрдую стенку; всем пятерым стать спинами к стене и верёвочными

тягами поднять и поставить стенку. Весь вагон в асбестовой пыли — и она в том же. Разницы глубины в пульмане не увидишь на глазок. Но есть сложность в расчёте времени, надо освободить весь товарняк к отъезду, пока з/к ещё на объекте, и заранее нельзя сесть, надо убедиться, что сейчас увезут. Вот тогда в последнюю минуту бросились с ножами и продуктами, — и вдруг один из беглецов попал ногой в стрелку и сломал ногу. Это задержало их— и они не успели до конвойной проверки состава кончить свой монтаж. Так они были открыты. По этому побегу был процесс[445].

Туже идею, но в одиночном побеге применил лётчик–курсант Батанов. На экибастузском ДОКе (Деревообделочном комбинате) изготовлялись дверные коробки и отвозились на строительные объекты. Но на ДОКе работа шла круглосуточно, и конвой с вышек не уходил никогда. А на стройучастках конвой был только днём. С помощью друзей Батанов был зашит досками в раме, погружен на машину и разгружен на стройучастке. На ДОКе запутали счёт между сменами, и в тот вечер его не хватились, — а на стройучастке он

[445] Примечания: 445

Мой сопалатник в ташкентском раковом корпусе, конвоир–узбек, рассказывал мне об этом побеге, напротив, как об удачно совершённом, им нехотя восхищаясь.

освободился из коробки, вылез и пошёл. Однако той же ночью был схвачен по дороге к Павлодару. (Этот его побег был годом позже того побега на машине, когда им пробили баллон.)

В Экибастузе от побегов, состоявшихся и сорвавшихся при начале; и от других событий, которыми уже припекала земля зоны; и по оперативным глубокомысленным отметкам; и от отказчиков, и от других всяких непокорных— пухла и пухла Бригада Усиленного Режима. Её не вмещали уже два каменных крыла тюрьмы и не вмещала режимка (барак № 2 близ штабного). Завели ещё одну режимку (барак №8), особо для бандеровцев.

От каждого нового побега и от каждого бунтарского события режим во всех трёх режимках всё устрожался. (К истории блатного мира заметим: суки в экибастузском БУРе брюзжали: «Сволочи! Пора кончать с побегами. Из–за ваших побегов режимом задушат… За такие дела в бытовом лагере морду бьют». То есть говорили то, что требовалось начальству.)

Летом 1951 года режимка–барак–8 задумала бежать целиком. Она была от зоны метрах в тридцати и решила вести подкоп. Но всё это было слишком на языках, обсуждалось хлопцами

почти открыто среди своих, — они считали, что бандеровец не может быть стукачом, а стукачи были. И прокопали они всего несколько погонных метров, как были проданы.

Вожди режимки–барака–2 были очень раздосадованы всей этой шумливой затеей— не потому, что боялись репрессий, как суки, а потому, что сами были в таких же тридцати метрах от зоны и сами ещё раньше барака–8 задумали и начали подкоп высокого класса. Теперь они боялись, что если одинаковая мысль пришла обеим режимкам, то это может понять и проверить псарня. Но больше напуганные побегами на автомашинах, хозяева Экибастуза положили свою главную цель в том, чтобы все объекты и жилую зону обрыть канавами глубиною в метр — и туда бы завалилась на выходе любая автомашина. Как в Средние века, стены стало мало, ещё нужен был ров. Канавокопатель чисто и исправно выкапывал теперь один такой ров за другим, вокруг всех зон.

Режимка–барак–2 была малой зоной, обтянутой колючей проволокой внутри большой экибастузской зоны. Её калитка была постоянно на замке. Кроме времени, проводимого на известковом заводе, режимке разрешалось ходить по своему маленькому дворику возле барака только

двадцать минут. Всё остальное время режимные были заперты в своём бараке, общую зону проходили только на развод и обратно. В общую столовую они никогда не допускались, повара приносили им в бачках.

Рассматривая свой известковый завод как возможность побыть на солнышке и подышать, режимка никогда не рвалась лопатить вредоносную известь. А когда в конце августа 1951 года там случилось и убийство (блатной Асланов ломом убил Аникина — беглеца, перешедшего проволоку по намётанному сугробу в пургу, но через сутки пойманного, за то и в режимке; о нём же — Часть Третья, глава 14), трест вообще отказался от таких «рабочих», — и весь сентябрь режимку никуда не выводили, она жила, по сути, на чисто тюремном режиме.

Там было много «убеждённых беглецов», и летом стала сколачиваться, орешек к орешку, надёжная группа на побег из двенадцати человек (Магомет Гаджиев, вождь экибастузских мусульман; Василий Кустарников; Василий Брюхин; Валентин Рыжков; Мутьянов; офицер–поляк, любитель подкопов; и другие). Все там были равны, но Степан Коновалов, кубанский казак, был всё же главным. Они замкнулись клятвой: кто прого-

ворится хоть душе — тому хана, должен кончить с собой или заколют другие.

К этому времени экибастузская зона уже обнеслась четырёхметровым сплошным забором–заплотом. Вдоль него шёл четырёхметровый вспаханный предзонник, да за забором отмежёвана была пятнадцатиметровая полоса запретки, кончавшаяся метровой траншеей. Всю эту полосу обороны решено было проходить подкопом, но таким надёжным, чтобы он ни за что не был обнаружен раньше.

Первое же обследование показало, что низок фундамент, подпольное пространство всего барака так невелико, что некуда будет складывать выкопанную землю. Кажется— непреодолимо. Значит, не бежать?.. И кто–то предложил: зато чердак просторный, поднимать грунт на чердак! Это казалось немыслимым. Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проверяемое жилое пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, каждый час — и ещё не просыпать щепотки, не оставить же следа!

Но когда придумали, как это сделать, — ликовали, и побег был решён окончательно. Решение пришло вместе с выбором секции, то есть ком-

наты. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной зоне по ошибке, другого такого во всём лагере не было: тут были маленькие комнаты, в которых не семь вагонок втискивалось, как везде, а три, то есть на двенадцать человек. Такую секцию, где уже жило несколько из их дюжины, они и облюбовали. Разными приёмами, добровольно меняясь и вытесняя смехом и шутками тех, кто мешал («ты— храпишь, а ты — … много»), перетолкнули чужих в другие секции, а своих стянули.

Чем больше отделяли режимку от зоны, чем больше режимных наказывали и давили, — тем больше становилось их нравственное значение в лагере. Заказ режимки был для лагеря — первый закон, и теперь что нужно было техническое — заказывали, где–то на объектах делалось, с риском проносилось через лагерный шмон, а со вторым риском передавалось в режимку— в баланде, при хлебе или при лекарствах.

Раньше всего были заказаны и получены — ножи, точильные камни. Потом — гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами аккуратно перепилили шпунты трёх половых досок, сняли один плинтус, прижимающий их, вынули гвозди у торцов этих досок

близ стены и гвозди, пришивающие их к лаге на середине комнаты. Освободившиеся три доски сшили в один щит снизу поперечной планкой, а главный гвоздь в эту планку вбит был сверху вниз. Его широкая шляпка обмазывалась замазкой цвета пола и припудривалась пылью. Щит входил в пол очень плотно, ухватить его было нечем и ни разу его не поддевали через щели топором. Поднимался щит так: снимался плинтус, накидывалась проволока на малый зазор вокруг широкой гвоздевой шляпки — и за неё тянули. При каждой смене землекопов заново снимали и ставили плинтус. Каждый день «мыли пол» — мочили доски водой, чтоб они разбухали и не имели просветов, щелей. Эта задача входа была одной из главных задач. Вообще подкопная секция всегда содержалась особенно чисто, в образцовом порядке. Никто не лежал в ботинках на вагонке, никто не курил, предметы небыли разбросаны, в тумбочке не было крошек. Всякий проверяющий меньше всего задерживался здесь. «Культурно!» И шёл дальше.

Вторая была задача подъёмника, с земли на чердак. В подкопной секции, как и в каждой, была печь. Между нею и стеной оставалось тесное пространство, куда еле втискивался человек.

Догадка была в том, что это пространство надо заделать— передать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций разобрали дочиста, без остатков, одну вагонку. Этими досками забрали проём, тут же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли служба режима помнить, в какой из двадцати комнатёнок барака печь сливается со стеной, а в какой немного отступает? Да и прохлопала исчезновение одной вагонки. Только мокрую штукатурку в первые день–два мог бы надзор заметить, но для этого надо было обойти печь и переклониться за вагонку — а ведь секция–то образцовая! Но если бы и попались, это ещё не был бы провал подкопа — это была только работа для украшения секции: постоянно пылящийся проём безобразил её.

Лишь когда штукатурка и побелка высохли, — прорезаны были ножами пол и потолок закрытого теперь проёма, там поставлена была стремянка, сколоченная всё из той же раскуроченной вагонки, — и так низкий подпол соединился с хоромами чердака. Это была шахта, закрытая от взглядов надзора, — и первая шахта за много лет, в которой этим молодым сильным мужчинам хотелось работать до жара!

Возможна ли в лагере работа, которая сливается с мечтой, которая затягивает всю твою душу, отнимает сон? Да, только эта одна — работа на побег!

Следующая задача была— копать. Копать ножами и их точить, это ясно, но здесь много ещё других задач. Тут и маркшейдерский расчёт (инженер Мутьянов) — углубиться до безопасности, но не более чем надо; вести линию кратчайшим путём; определить наилучшее сечение тоннеля; всегда знать, где находишься, и верно назначить место выхода. Тут и организация смен: копать как можно больше часов в сутки, но не слишком часто сменяясь, и всегда безукоризненно, полным составом встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда, и умывание — нельзя же вымазанному в глине подниматься наверх! Тут и освещение — как же вести тоннель 60 метров в темноте? Потянули проводку в подпол и в тоннель (ещё сумей её подключить незаметно!). Тут и сигнализация: как вызвать землекопов из далёкого глухого тоннеля, если в барак внезапно идут? Или как они сами могут безопасно дать знать, что им немедленно надо выйти?

Но в строгости режима была и его слабость. Надзиратели не могли подкрасться и попасть

в барак незаметно, — они должны были всегда одной и той же дорогой идти между колючих оплетений к калитке, отпирать замок на ней, потом идти к бараку и отпирать замок на нём, громыхать болтом, — всё это легко было наблюдать из окна, правда не из подкопной секции, а из пустующей «кабинки» у входа, — и только приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой давались светом: два раза мигнёт— внимание, готовься к выходу; замигает часто— атас! тревога! выскакивай живо!

Спускаясь в подпол, раздевались догола, всё снятое клали под подушки, под матрас. После люка пролезали узкую щель, за которой и не предположить было расширенной камеры, где постоянно горела лампочка и лежали рабочие куртки и брюки. Четверо же других, грязных и голых (смена), вылезали наверх и тщательно мылись (глина шариками затвердевала на волосах тела, её нужно было размачивать или срывать вместе с волосами).

Все эти работы уже велись, когда раскрыт был беспечный подкоп режимки–барака–8. Легко понять не просто досаду, но оскорбление творцов за свой замысел. Однако обошлось благополучно.

В начале сентября, после почти годичного

сидения в тюрьме, были переведены (возвращены) в эту же режимку Тэнно и Жданок. Едва отдышавшись тут, Тэнно стал проявлять беспокойство — надо же было готовить побег! Но никто в режимке, самые убеждённые и отчаянные беглецы не отзывались на его укоры, что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть! (У подкопников было три смены по четыре человека, и никто тринадцатый им не был нужен.) Тогда Тэнно прямо предложил им подкоп! — но они отвечали, что уже думали, но фундамент слишком низкий. (Это, конечно, было бессердечно: смотреть в пытливое лицо проверенного беглеца и вяло качать головами, всё равно что умной тренированной собаке запрещать вынюхивать дичь.) Однако Тэнно слишком хорошо знал этих ребят, чтобы поверить в их повальное равнодушие. Все они не могли так дружно испортиться!

И он со Жданком установил за ними ревнивое и знающее суть наблюдение— такое, на которое надзиратели не были способны. Он заметил, что часто ходят ребята курить всё в одну и ту же «кабинку» у входа и всегда по одному, нет чтобы компанией (наблюдатель). Что днём дверь их секции бывает на крючке, постучишь— открыва-

ют не сразу, и всегда несколько человек крепко спят, будто ночи им мало. То Васька Брюхин выходит из парашной мокрый. «Что с тобой?» — «Да помыться решил».

Роют, явно роют! Но где? Почему молчат?.. Тэнно шёл к одному, другому и прикупал их: «Неосторожно, ребята, роете, неосторожно! Хорошо— замечаю я, а если бы стукач?»

Наконец они устроили толковище и решили принять Тэнно с достойной четвёркой. Ему они предложили обследовать комнату и найти следы. Тэнно облазил и обнюхал каждую половицу и стенки — и не нашёл! — к своему восхищению и восхищению всех ребят. Дрожа от радости, полез он под пол работать на себя]

Подпольная смена распределялась так: один лёжа долбил землю в забое; другой, скорчась за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые небольшие парусиновые мешки; третий ползком же таскал мешки (лямками через плечи) по тоннелю назад, затем подпольем к шахте и по одному цеплял эти мешки за крюк, спущенный с чердака. Четвёртый был на чердаке. Он сбрасывал порожняк, поднимал мешки наверх, разносил их, тихо ступая, по всему чердаку и рассыпал невысоким слоем, в конце же смены

этот грунт забрасывал шлаком, которого на чердаке было очень много. Потом внутри смены менялись, но не всегда, потому что не каждый мог хорошо и быстро выполнять самые тяжёлые, просто изнурительные работы: копку и оттаску.

Оттаскивали сперва по два, потом по четыре мешка сразу, для этого закосили у поваров деревянный поднос и тянули его лямкой, а на подносе мешки. Лямка шла по шее сзади, а потом пропускалась подмышками. Стиралась шея, ломило плечи, сбивались колени, после одного рейса человек был в мыле, после целой смены можно было врезать дубаря.

Копать приходилось в очень неудобном положении. Была лопата с короткой ручкой, которую точили каждый день. Ею надо было прорезать вертикальные щели на глубину штыка, потом полулёжа, опираясь спиной на вырытую землю, отваливать куски земли и бросать их через себя. Грунт был то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая тоннель. За восемь–десять часов смены проходили не больше двух метров в длину, а то и меньше метра.

Самое тяжёлое было— нехватка воздуха в тоннеле: кружилась голова, теряли сознание,

тошнило. Пришлось решать ещё и задачу вентиляции. Вентиляционные отверстия можно было просверлить только вверх— в самую опасную, постоянно просматриваемую полосу— близ зоны. Но без них дышать было не под силу. Заказали «пропеллерную» стальную пластинку, к ней поперёк приделали палку, получилось вроде коловорота— и так вывели первое узкое отверстие на белый свет. Появилась тяга, дышать стало легче. (Когда подкоп шёл уже за забором, вне лагеря, сделали второе.)

Постоянно делились опытом — как лучше какую работу делать. Подсчитывали, сколько прошли.

Лаз или тоннель нырял под ленточный фундамент, затем уклонялся от прямой только из–за камней или неточного забоя. Он имел ширину полуметровую, высоту девяносто сантиметров и полукруглый свод. Его потолок, по расчётам, был от земной поверхности метр тридцать–метр сорок. Боковины тоннеля укреплялись досками, вдоль него, по мере продвижения, наращивался шнур и вешались новые и новые электрические лампочки.

Смотреть вдоль— это было метро, лагерное метро!..

Уже прошёл тоннель на десятки метров, уже копали за зоной. Над головой бывал ясно слышен топот проходящего развода караула, слышен лай и повизгивание собак.

И вдруг… и вдруг однажды после утренней проверки, когда дневная смена ещё не опустилась и (по строгому закону беглецов) ничего порочащего не было снаружи, — увидели свору надзирателей, идущих к бараку во главе с маленьким резким лейтенантом Мачеховским, начальником режима. Сердца беглецов опустились: заметили? Продали? Или проверяют наугад?

Раздалась команда:

— Собирай личные вещи! Вы–ходи из барака все до одного!

Команда выполнена. Все заключённые выгнаны и на прогулочном дворике сидят на своих сидорах. Изнутри барака слышен плоский грохот— сбрасывают доски вагонок. Мачеховский кричит: «Тащи сюда инструмент!» И надзиратели волокут внутрь ломики и топоры. Слышен натужный скрип отдираемых досок.

Вот и судьба беглецов! — столько ума, труда, надежд, оживления— и всё не только зря, но опять карцеры, побои, допросы, новые сроки…

Однако! — ни Мачеховский, никто из надзи-

рателей не выбегают ожесточённо–радостно, потрясая руками. Идут вспотевшие, отряхиваясь от грязи и пыли, отдуваясь, недовольные, что ишачили впустую. «Пад–ходи по одному!» — разочарованная команда. Начинается шмон личных вещей. Заключённые возвращаются в барак. Что за погром! — в нескольких местах (там, где доски были плохо прибиты или явные щели) вскрыт пол. В секциях всё разбросано, и даже вагонки перевёрнуты со зла. Только в культурной секции не нарушено ничего!

Непосвящённых в побег разбирает:

— И что им не сидится, собакам?! Что они ищут? Беглецы же теперь понимают, как это мудро, что у них

под полом нет насыпанных куч грунта: их сейчас могли бы заметить в проломы. А на чердак и не лазили — с чердака ведь можно только лететь на крыльях. Впрочем, и на чердаке всё забросано аккуратно шлаком.

Не допёрла псарня, не допёрла! Ах, радость! Если трудиться упорно, следить за собой строго, — не может не быть плодов. Теперь–то докопаем! Осталось шесть–восемь метров до обводной траншеи. (Последние метры надо рыть особенно точно, чтоб выйти на дно траншеи— не ниже,

не выше.)

А что будет дальше? Коновалов, Мутьянов, Гаджиев и Тэнно к этому времени уже разработали план, принятый всеми шестнадцатью. Побег вечером, около десяти часов, когда проведут по всему лагерю вечернюю проверку, надзор разойдётся по домам или уйдёт в штабной барак, а караул на вышках сменится, разводы караулов пройдут.

В подземный ход одному за другим спуститься всем. Последний наблюдает из «кабинки» за зоной; потом с предпоследним они вынимаемую часть плинтуса прибивают наглухо к доскам люка, так что когда они за собой опустят люк, — станет на место и плинтус. С широкою шляпкою гвоздь втягивается до отказа вниз и ещё приготовляются сысподу пола задвижки, которыми люк будет намертво закреплён, даже если его рвать кверху.

И ещё: перед побегом снять решётку с одного из коридорных окон. Обнаружив на утренней проверке недостачу шестнадцати человек, надзиратели не сразу решат, что это подкоп и побег, а кинутся искать по зоне, подумают: режим–ники пошли сводить счёты со стукачами. Будут искать ещё в другом лагпункте — не полезли ли через

стену туда. Чистая работа! — подкопа не найти, под окном — нет следов, шестнадцать человек — ангелами взяты на небо!

Выползать в обводную траншею, затем по дну траншеи отползать по одному дальше от вышки (выход тоннеля слишком близок к ней); по одному же выходить на дорогу; между четвёрками делать перерывы, чтобы не вызывать подозрений и иметь время осмотреться. (Самый последний опять применяет предосторожность: он закрывает ход лаза снаружи заранее заготовленной деревянной горловиной, измазанной глиной, приминает её к лазу своим телом, забрасывает землёй, — чтоб и из траншеи нельзя было утром обнаружить следов подкопа!)

По посёлку идти группами с громкими беззаботными шутками. При попытке задержать— дружный отпор, вплоть до ножей.

Общий сборный пункт — около железнодорожного переезда, который проходят многие машины. Переезд взгорблен над дорогой, все ложатся вблизи на землю, и их не видно. Переезд этот плох (ходили через него на работу, видели), доски уложены кое–как, грузовики с углем и порожние тут переваливаются медленно. Двое должны поднять руки, остановить машину сразу

за переездом, подойти к кабине с двух сторон. Просить подвезти. Ночью шофёр скорее всего один. Тут же вынуть ножи, взять шофёра на прихват, посадить его в середину, Валька Рыжков садится за руль, все прыгают в кузов и — ходу к Павлодару! Сто тридцать–сто сорок километров наверняка можно отскочить за несколько часов. Не доезжая парома, свернуть вверх по течению (когда везли сюда, глаза охватили кое–что), там в кустах шофёра связать, положить, машину бросить, через Иртыш переплыть на лодке, разбиться на группы и — кто куда! Как раз идут заготовки зерна, на всех дорогах полно машин.

Должны были кончить работы 6 октября. За два дня, 4 октября, взяли на этап двух участников: Тэнно и Володьку Кривошеина, вора. Они хотели делать мостырку, чтобы остаться любой ценой, но опер обещал повезти в наручниках, хоть при смерти. Решили, что лишнее упорство вызовет подозрение. Жертвуя для друзей, подчинились.

Так Тэнно не воспользовался своей настойчивостью влиться в подкоп. Не он стал тринадцатым— но введенный им, покровительствуемый, слишком расхлябанный дёрганый Жданок. Степан Коновалов и его друзья в худую для себя минуту уступили и открылись Тэнно.

Копать кончили, вышли правильно, Мутьянов не ошибся. Но пошёл снег, отложили, пока подсохнет.

9 октября вечером сделали всё совершенно точно, как было задумано. Благополучно вышла первая четвёрка— Коновалов, Рыжков, Мутьянов и тот поляк, его постоянный соучастник по инженерным побегам.

А потом выполз в траншею злополучный маленький Коля Жданок. Не по его вине, конечно, послышались невдалеке сверху шаги. Но ему бы выдержать, улежать, перетаиться, а когда пройдут— ползти дальше. А он от излишней шустрости высунул голову. Ему захотелось посмотреть — а кто это идёт?

Быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает. Но эта глупая вошка погубила редкую по слаженности и по силе замысла группу беглецов — четырнадцать жизней долгих, сложных, пересекшихся на этом побеге. В каждой из жизней побег этот имел важное, особенное значение, осмысляющее прошлое и будущее, от каждого зависели ещё где–то люди, женщины, дети, и ещё нерождённые дети, — а вошка подняла голову — и всё полетело в тартарары.

А шёл, оказывается, помначкар, увидел вошку—

крикнул, выстрелил. И охранники — недостойные этого замысла, и не разгадавшие его, — стали великими героями. И мой читатель, Историк–Марксист, похлопывая линеечкой по книге, цедит мне снисходительно:

— Да–а–а… Отчего ж вы не бежали?.. Отчего ж вы не восстали?..

И все беглецы, уже выползшие в лаз, отогнувшие решётку, уже прибившие плинтус клюку, — поползли теперь назад—назад— назад!

Кто дочерпался и знает дно этого досадливого отчаяния? этого презрения к своим усилиям?

Они вернулись, выключили свет в тоннеле, вправили коридорную решётку в гнёзда.

Очень скоро вся режимка была переполнена офицерами лагеря, офицерами дивизиона, конвоирами, надзирателями. Началась проверка по формулярам и перегон всех— в каменную тюрьму.

А подкопа из секции — не нашли! (Сколько бы же они искали, если бы всё удалось, как задумано?!) Около того места, где просыпался Жданок, нашли дыру, полузаваленную. Но и придя тоннелем под барак, нельзя было понять, откуда же спускались люди и куда они дели землю.

Только вот в «культурной» секции не хватило

четырёх человек, и восьмерых оставшихся теперь нещадно пропускали — легчайший способ для тупоумных добиться истины.

А зачем теперь было скрывать?..

В этот тоннель устраивались потом экскурсии всего гарнизона и надзора. Майор Максименко, пузатый начальник Экибастузского лагеря, потом хвастался в Управлении перед другими начальниками лаготделений:

— Вот у меня был подкоп— да! Метро! Но мы… наша бдительность…

А всего–то вошка…

Поднятая тревога не дала и ушедшей четвёрке дойти до железнодорожного переезда. План рухнул. Они перелезли через забор пустой рабочей зоны с другой стороны дороги, перешли зону, ещё раз перелезли — и двинули в степь. Они не решились остаться в посёлке ловить машину, потому что посёлок уже был переполнен патрулями.

Как год назад Тэнно, они сразу потеряли скорость и вероятие уйти.

Они пошли на юго–восток, к Семипалатинску. Ни продуктов не было у них на пеший путь, ни сил — ведь последние дни они выбивались, кончая подкоп.

На пятый день побега они зашли в юрту и

попросили у казахов поесть. Как уже можно догадаться, те отказали и в просящих поесть стреляли из охотничьего ружья. (И в традиции ли это степного народа пастухов? А если не в традиции — то традиция откуда?..)

Степан Коновалов пошёл с ножом на ружьё, ранил казаха, отнял ружьё и продукты. Пошли дальше. Но казахи выслеживали их на конях, обнаружили уже близ Иртыша, вызвали опергруппу.

Дальше они были окружены, избиты в кровь и мясо, дальше уже всё, всё известно…

Если мне могут теперь указать побеги русских революционеров XIX или XX века с такими трудностями, с таким отсутствием поддержки извне, с таким враждебным отношением среды, с такой беззаконной карой пойманных— пусть назовут!

И после этого пусть говорят, что мы — не боролись.

Глава 9. СЫНКИ С АВТОМАТАМИ

Охраняли в долгих шинелях с чёрными обшлагами. Охраняли красноармейцы. Охраняли самоохранники. Охраняли запасники–старики. Наконец пришли молодые ядрёные мальчики, рождённые в первую пятилетку, не видавшие войны, взяли новенькие автоматы — и пошли нас охранять.

Каждый день два раза по часу мы бредём, соединённые молчаливой смертной связью: любой из них волен убить любого из нас. Каждое утро мы— по дороге, они— по задороге, вяло бредём, куда не нужно ни им, ни нам. Каждый вечер бодро спешим: мы— в свой загон, они— в свой. Итак как дома настоящего у нас нет, — загоны эти служат нам домами.

Мы идём и совсем не смотрим на их полушубки, на их автоматы, — зачем они нам? Они идут и всё время смотрят на чёрные наши ряды. Им по уставу надо всё время смотреть на нас, им так приказано, в этом их служба. Они должны пресечь выстрелом наше каждое движение и шаг.

Какими кажемся мы им, в наших чёрных бушлатах, в наших серых шапках сталинского меха,

в наших уродливых, третьего срока, четырежды подшитых валенках, — и все обляпанные латками номеров, какие могут же поступить с подлинными людьми?

Удивляться ли, что вид наш вызывает гадливость? — ведь он так и рассчитан, наш вид. Вольные жители посёлка, особенно школьники и учительницы, со страхом косятся с тротуарных тропинок на наши колонны, ведомые по широкой улице. Передают: они очень боятся, что мы, исчадия фашизма, вдруг бросимся врассыпную, сомнём конвой— и ринемся грабить, насиловать, жечь, убивать. Ведь, наверно, такие только желания доступны столь звероподобным существам. И вот от этих зверей охраняет жителей посёлка — конвой. Благородный конвой. В клубе, построенном нами, вполне может чувствовать себя рыцарем сержант конвоя, предлагая учительнице потанцевать.

Эти сынки всё время смотрят на нас— и из оцепления, и с вышек, но ничего им не дано знать о нас, а только право дано: стрелять без предупреждения.

О, если бы по вечерам они приходили к нам, в наши бараки, садились бы на наши вагонки и слушали: за что вот этот сел старик, за что вот

этот папаша. Опустели бы эти вышки, и не стреляли бы эти автоматы.

Но вся хитрость и сила системы в том, что смертная наша связь основана на неведении. Их сочувствие к нам карается как измена родине, их желание с нами поговорить — как нарушение священной присяги. И зачем говорить с нами, когда придёт политрук в час, назначенный по графику, и проведёт с ними беседу — о политическом и моральном лице охраняемых врагов народа. Он подробно и с повторениями разъяснит, насколько эти чучела вредны и тяготят государство. (Тем заманчивее проверить их как живую мишень.) Он принесёт под мышкой какие–то папки и скажет, что в спецчасти лагеря ему дали на один вечер дела. Он прочтёт оттуда машинописные бумажки о злодеяниях, за которые мало всех печей Освенцима, — и припишет их тому электрику, который чинил свет на столбе, или тому столяру, у которого рядовые товарищи такие–то неосторожно хотели заказать тумбочку.

Политрук не собьётся, не оговорится. Он никогда не расскажет мальчикам, что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за любовь к справедливости. И ещё — ни

за что вообще.

Вся сила системы в том, что нельзя человеку просто говорить с человеком, а только через офицера и политрука.

Вся сила этих мальчиков — в их незнании.

Вся сила лагерей — в этих мальчиках. Краснопогонниках. Убийцах с вышек и ловцах беглецов.

Вот одна такая политбеседа по воспоминаниям тогдашнего конвоира (Ныроблаг): «Лейтенант Самутин — узкоплечий, долговязый, голова приплюснутая с висков. Напоминает змею. Белый, почти безбровый. Знаем, что прежде он самолично расстреливал. Сейчас на политзанятиях читает монотонно: «Враги народа, которых вы охраняете, — это те же фашисты, нечисть. Мы осуществляем силу и карающий меч Родины и должны быть твёрдыми. Никаких сантиментов, никакой жалости»».

И вот так–то формируются мальчики, которые упавшего беглеца стараются бить ногой непременно в голову. Те, кто у седого старика в наручниках выбивают ногою хлеб изо рта.

Те, кто равнодушно смотрят, как бьётся закованный беглец о занозистые доски кузова, — ему лицо кровянит, ему голову разбивает, они смотрят равнодушно. Ведь они— карающий меч

Родины.

Уже после смерти Сталина, уже вечно–ссыльный, я лежал в обычной «вольной» ташкентской клинике. Вдруг слышу: молодой узбек, больной, рассказывает соседям о своей службе в армии. Их часть охраняла палачей и зверей. Узбек признался, что конвоиры тоже были не вполне сыты и их зло брало, что заключённые, как шахтёры, получают пайку (это за 120%, конечно), немного лишь меньшую их честной солдатской. И ещё их злило, что им, конвоирам, приходится на вышках мёрзнуть зимой (правда, в тулупах до пят), а враги народа, войдя в рабочую зону, будто на весь день рассыпаются по обогревалкам (он и с вышки мог бы видеть, что это не так) и там целый день спят (он серьёзно представлял, что государство благодетельствует своих врагов).

Интересный вышел случай! — посмотреть на Особлаг глазами конвоира. Я стал спрашивать, что ж это были за гады и разговаривал ли с ними мой узбек лично. И вот тут он мне рассказал, что всё это узнал от политруков, что даже дела им зачитывали на политбеседах. И эта неразборчивая его злоба, что заключённые целый день спят, тоже, конечно, утвердилась в нём не без того, чтобы офицеры кивали согласительно.

О вы, соблазнившие малых сих!.. Лучше бы вам и не родиться!..

Рассказал узбек и о том, что рядовой солдат МВД получает 230 рублей в месяц (в 12 раз больше, чем армейский! откуда такая щедрость? может быть, служба его в 12 раз трудней?), а в Заполярьи даже и 400 рублей — это на срочной службе и на всём готовом.

И ещё рассказывал случаи разные. Например, товарищ его шёл в оцеплении и померещилось ему, что из колонны кто–то хочет выбежать. Он нажал спуск и одной очередью убил пятерых заключённых. Так как потом все конвоиры показали, что колонна шла спокойно, то солдат понёс строгое наказание: за пять смертей дали ему пятнадцать суток ареста (на тёплой гауптвахте, конечно).

А уж этих–то случаев кто не знает, кто не расскажет из туземцев Архипелага!.. Сколько мы знали их в ИТЛ: на работах, где зоны нет, а есть невидимая черта оцепления, — раздаётся выстрел, и заключённый падает мёртв: он переступил черту, говорят. Может быть, вовсе не переступил, — ведь линия невидимая, а никто второй не подойдёт сейчас её проверить, чтобы не лечь рядом. И комиссия тоже не придёт прове-

рять, где лежат ноги убитого. А может быть, он и переступил, — ведь это конвоир может следить за невидимой чертой, а заключённый работает. Тот–то зэк и получает эту пулю, кто увлечённей и честней работает. На станции Новочунка (Озёрлаг) на сенокосе — видит в двух–трёх шагах ещё сенцо, а сердце хозяйское, дай подгребу в копёнку, — пуля! И солдату— месяц отпуска.

А ещё бывает, что именно этот охранник именно на этого заключённого зол (не выполнил тот заказа, просьбы), — и тогда выстрел есть месть. Иногда с коварством: конвоир же и велит заключённому что–то взять и принести из–за черты. И когда тот доверчиво идёт, — стреляет. Можно папиросу ему туда бросить— на, закури! Заключённый пойдёт и за папиросой, он такой, презренное существо.

Зачем стреляют? — это не всегда поймёшь. Вот в Кенги–ре, в устроенной зоне, днём, где никаким побегом не пахнет, девушка Лида, западная украинка, управилась между работой постирать чулки и повесила их сушить на откосах предзонника. Приложился с вышки — и убил её наповал. (Смутно рассказывали, что потом и сам хотел с собой кончить.)

Зачем! Человек с ружьём! Бесконтрольная

власть одного человека — убить или не убить другого.

А тут ещё — выгодно! Начальство всегда на твоей стороне. За убийство никогда не накажут. Напротив, похвалят, наградят, и чем раньше ты его угрохал, ещё на половине первого шага, — тем выше твоя бдительность, тем выше награда! Месячный оклад. Месячный отпуск. (Да станьте же в положение Командования: если дивизион не имеет на счету случаев проявленной бдительности, — то что это за дивизион? что у него за командиры? или такие зэки смирные, что надо сократить охрану? Однажды созданная охранная система требует смертей)

И между стрелками охраны возникает даже дух соревнования: ты убил и на премию купил сливочного масла. Так и я убью и тоже куплю сливочного масла. Надо к себе домой съездить, девку свою полапать? — подстрели одно это серое существо и езжай на месяц.

Все эти случаи хорошо мы знали в ИТЛ. Но в Особлагах появились вот такие новинки: стрелять прямо в строй, как товарищ этого узбека. Как в Озёрлаге на вахте 8 сентября 1952 года. Или с вышек по зоне.

Значит — так их готовили. Это — работа по-

литруков.

В мае 1953 года в Кенгире эти сынки с автоматами дали внезапную и ничем не вызванную очередь по колонне, уже пришедшей к лагерю и ожидающей входного обыска. Было 16 раненых — но если бы просто раненых! Стреляли разрывными пулями, давно запрещёнными всеми конвенциями капиталистов и социалистов. Пули выходили из тел воронками — разворачивали внутренности, челюсти, дробили конечности.

Почему именно разрывными пулями вооружён конвой Особлагов? Кто это утвердил? Мы никогда этого не узнаем…

Однако как обиделся мир охраны, прочтя в моей повести, что заключённые зовут их «попками», и вот теперь это повторено для всего света. Нет, заключённые должны были их любить и звать ангелами–хранителями!

А один из этих сынков, правда из лучших, не обиделся, но хочет отстоять истину, — Владилен Задорный, 1933 года, служивший в ВСО (Военизированной стрелковой охране) МВД в Ныроблаге от своих восемнадцати до своих двадцати лет. Он написал мне несколько писем:

«Мальчишки не сами же шли туда — их призывал военкомат. Военкомат передавал их МВД.

Мальчишек учили стрелять и стоять на посту. Мальчишки мёрзли и плакали по ночам, — на кой им чёрт нужны были Ныроблаги со всем их содержимым! Ребят не нужно винить — они были солдатами, они несли службу Родине и, хотя в этой нелепой и страшной службе не всё было понятно (а что — было понятно?.. Или всё или ничего. —А.С.), — но они приняли присягу, их служба не была лёгкой».

Искренне, задумаешься. Огородили этих мальцов кольями — присяга! служба Родине! вы — солдаты!

Но и — слаба ж была в них, значит, общечеловеческая закладка, да никакой просто, — если не устояла она против присяги и политбесед. Не изо всех поколений и не всех народов можно вылепить таких мальчиков.

Не главный ли это вопрос XX века: допустимо ли исполнять приказы, передоверив совесть свою — другим? Можно ли не иметь своих представлений о дурном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний начальников? Присяга! Эти торжественные заклинания, произносимые с дрожью в голосе и по смыслу направленные для защиты народа от злодеев, — ведь вот как легко направить их на

службу злодеям и против народа!

Вспомним, что собирался Василий Власов сказать своему палачу ещё в 1937: ты один! — ты один виноват, что убивают людей! На тебе одном моя смерть, и с этим живи! Не было бы палачей— не было бы казней.

Не было бы конвойных войск — не было бы и лагерей.

Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновности. Конечно, всем ясно, что их офицеры виноваты больше; их оперуполномоченные— ещё больше; писавшие инструкции и приказы — ещё больше; а дававшие указания их писать— больше всех[446].

Но стреляли, но охраняли, но автоматы держали наперевес всё–таки не те, а — мальчики! Но лежащих били сапогами по голове — всё–таки мальчики!..

Ещё пишет Владилен:

«Нам внедряли в головы, нас заставляли зубрить УСО–43 сс — устав стрелковой охраны 43

---

[446] Примечания: 446

Это не значит, что их будут судить. Важно проверить, довольны ли они пенсиями и дачами.

года совершенно секретный[447], жестокий и грозный устав. Да присяга. Да наблюдение оперов и замполитов. Наушничество, доносы. На самих стрелков заводимые дела… Разделённые частоколом и колючей проволокой, люди в бушлатах и люди в шинелях были равно заключёнными — одни на двадцать пять лет, другие натри года».

Это— выражено сильно, что стрелки тоже как бы посажены, только не военным трибуналом, а военным комиссариатом. Норавно–то, равно–то нет! — потому что люди в шинелях отлично секли автоматами по людям в бушлатах, и даже по толпам, как мы увидим скоро.

Разъясняет ещё Владилен:

«Ребята были разные. Были ограниченные служаки, слепо ненавидевшие зэ–ка. Кстати, очень ревностными были новобранцы из национальных меньшинств — башкиры, буряты, якуты. Потом были равнодушные — этих больше всего. Несли службу тихо и безропотно. Больше всего любили отрывной календарь и час, когда при-

[447] Примечания: 447

Кстати, вполне ли мы замечаем это зловещее присвистывание «эс–эс» в нашей жизни— то в одном сокращении, то в другом, начиная с Ка–Пэ–эС–эС и, значит, ка–иэ–эсэсовцев? Вот, оказывается, ещё и устав был «эс–эс» (как и всё слишком секретное тоже «эс–эс»), — понимали, значит, его подлость составители,— понимали и составляли — да в какое время: едва отбили немцев от Сталинграда! Ещё один плод народной победы.

возят почту. И наконец, были хорошие хлопцы, сочувствующие зэ–ка как людям, попавшим в беду. И большинство нас понимало, что служба наша в народе непопулярна. Когда ездили в отпуск — формы не носили».

А лучше всего свою мысль Владилен защитит собственной историей. Хотя уж таких–то, как он, и вовсе были единицы.

Его пропустили в конвойные войска по недосмотру ленивой спецчасти. Его отчим, старый профсоюзный работник Войнино, был арестован в 1937, мать за это исключена из партии. Отец же, комбриг ВЧК, член партии с 17–го года, поспешил отречься и от бывшей жены, и заодно от сына (он сохранил так партбилет, но ромб НКВД всё–таки потерял)[448]. Мать смывала свою запятнанность донорской кровью во время войны. (Ничего, кровь её брали и партийные, и беспартийные.) Мальчик «синие фуражки ненавидел с детства, а тут самому надели на голову… Слишком ярко врезалась в младенческую память страшная ночь, когда люди в отцовской форме бесцеремонно рылись в моей детской кровати».

---

[448] Примечания: 448

Хотя мы ко всему давно привыкли, но иногда и удивишься: арестован второй муж покинутой жены— и поэтому надо отречься от четырёхлетнего сына? И это — для комбрига ВЧК?

«Я не был хорошим конвойным: вступал в беседы с зэками, исполнял их поручения. Оставлял винтовку у костра, ходил купить им в ларьке или бросить письма. Думаю, что на ОЛПах Промежуточная, Мысакорт, Парма ещё вспоминали стрелка Володю. Бригадир зэ–ка как–то сказал мне: «Смотри на людей, слушай их горе, тогда поймёшь…» А я и так в каждом из политических видел деда, дядю, тётю… Командиров своих я просто ненавидел. Роптал, возмущался, говорил стрелкам — «вот настоящие враги народа!» За это, за прямое неподчинение («саботаж»), за связь с зэ–ка меня отдали под следствие… Долговязый Самутин… хлестал меня по щекам, бил пресс–папье по пальцам— зато, что я не подписывал признания о письмах зэ–ка. Быть бы этой глисте в жмуриках, у меня второй разряд по боксу,

я крестился двухпудовой гирей, — но два надзирател повисли на руках… Однако следствию было не до меня: такое шатание–топтание пошло в 53–м году по МВД. Срока мне не дали, дали волчий билет— статья 47–Г: «уволен из органов МВД за крайнюю недисциплинированность и грубые нарушения устава МВД». И с гауптвахты дивизиона— избитого, измороженного, выбросили ехать домой… Освободившийся бригадир Арсен

ухаживал за мной в дороге».

А вообразим, что захотел бы проявить снисходительность к заключённым офицер конвоя. Ведь он мог бы сделать это только при солдатах и через солдат. А значит, при общей озлобленности, ему было бы и невозможно это, дай «неловко». Дай кто–нибудь на него бы тотчас донёс.

Система!

Глава 10. КОГДА В ЗОНЕ ПЫЛАЕТ ЗЕМЛЯ

Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они всё–таки были.

Как всё нежелательное в нашей истории, то есть три четверти истинно происходившего, и мятежи эти так аккуратно вырезаны, швом обшиты и зализаны, участники их уничтожены, дальние свидетели перепуганы, донесения подавителей сожжены или скрыты за двадцатью стенками сейфов, — что восстания эти уже сейчас обратились в миф, когда прошло от одних пятнадцать лет, от других только десять. (Удивляться ли, что говорят: ни Христа не было, ни Будды, ни Магомета. Там — тысячелетия…)

Когда это не будет уже никого из живущих волновать, историки допущены будут к остаткам бумаг, археологи копнут где–то лопатой, что–то сожгут в лаборатории, — и прояснятся даты, места, контуры этих восстаний и фамилии главарей.

Тут будут и самые ранние вспышки, вроде ретю-

нинской — в январе 1942 года на командировке Ош–Курье близ Усть–Усы. Говорят, Ретюнин был вольнонаёмный, чуть ли не начальник этой командировки. Он кликнул клич Пятьдесят Восьмой и социально–вредным (7–35), собрал пару сотен добровольцев, они разоружили конвой из бытовиков–самоохранников и с лошадьми ушли в леса, партизанить. Их перебили постепенно. Ещё весной 1945 сажали по «ретюнинскому делу» совсем и непричастных.

Может быть, в то время узнаем мы—нет, уже не мы — о легендарном восстании 1948 года на 501–й стройке— на строительстве железной дороги Сивая Маска—Салехард. Легендарно оно потому, что все в лагерях о нём шепчут и никто толком не знает. Легендарно потому, что вспыхнуло не в Особых лагерях, где к этому сложилось настроение и почва, — а в ИТЛовских, где люди разъединены стукачами, раздавлены блатными, где оплёвано даже право их быть политическими и где даже в голову не могло поместиться, что возможен мятеж заключённых.

По слухам, всё сделали бывшие (недавние!) военные. Это иначе и быть не могло. Без них Пятьдесят Восьмая была обескровленное обезверенное стадо. Но эти ребята (почти никто не старше трид-

цати), офицеры и солдаты нашей боевой армии; и они же, но в виде бывших военнопленных; и ещё из тех военнопленных— побывавшие у Власова, или Краснова, или в национальных отрядах; там воевавшие друг против друга, а здесь соединённые общим гнётом; эта молодёжь, прошедшая все фронты Мировой войны, отлично владеющая современным стрелковым боем, маскировкой и снятием дозоров, — эта молодёжь, где не была разбросана по одному, сохранила ещё к 1948 году всю инерцию войны и веру в себя, в её груди не вмещалось: почему такие ребята, целые батальоны, должны покорно умирать? Даже побег был для них жалкой полумерой, почти дезертирством одиночек, вместо того чтобы совместно принять бой.

Всё задумано было и началось в какой–то бригаде. Говорят, что во главе был бывший полковник Воронин (или Воронов), одноглазый. Ещё называют старшего лейтенанта бронетанковых войск Сакуренко. Бригада убила своих конвоиров (конвоиры в то время, как раз наоборот, не были настоящими солдатами, а—запасники, резервисты). Затем пошли освободили другую бригаду, третью. Напали на посёлок охраны и на свой лагерь извне—сняли часовых с вышек и раскрыли

зону. (Тут сразу произошёл обязательный раскол: ворота были раскрыты, но большею частью зэки не шли в них. Тут были краткосрочники, которым не было расчёта бунтовать. Здесь были и десятилетники, и даже пятна–дцатилетники по указам «семь восьмых» и «четыре шестых», но им не было расчёта получать 58–ю статью. Тут была и Пятьдесят Восьмая, но такая, что предпочитала верноподданно умереть на коленях, только бы не стоя. А те, кто вываливали через ворота, совсем не обязательно шли помогать восставшим: охотно бежали за зону и блатные, чтобы грабить вольные посёлки.)

Вооружившись теперь за счёт охраны (похороненной потом на кладбище вКочмесе), повстанцы пошли и взяли соседний лагпункт Соединёнными силами решили идти на город Воркуту! — до него оставалось 60 километров. Но не тут–то было! Парашютисты высадились десантом и отгородили от них Воркуту. А расстреливали и разгоняли восставших штурмовики на бреющем полёте.

Потом судили, ещё расстреливали, давали сроки по 25 и по 10. (Заодно «освежали» сроки и многим тем, кто не ходил на операцию, а оставался в зоне.)

Военная безнадёжность их восстания очевидна. Но кто скажет что надёжнее было медленно доходить и умирать?

Вскоре затем создались Особлаги, большую часть Пятьдесят Восьмой отгребли. И что же?

В 1949 году в Берлаге, в лаготделении Нижний Атурях, началось примерно также: разоружили конвоиров; взяли 6–8 автоматов; напали извне на лагерь, сбили охрану, перерезали телефоны; открыли лагерь. Теперь–то уж в лагере были только люди с номерами, заклеймённые, обречённые, не имеющие надежды.

И что же?

Зэки в ворота не пошли…

Те, кто всё начал и терять им было уже нечего, превратили мятеж в побег: направились группкой в сторону Мылги. На Эльгене–Тоскане им преградили дорогу войска и танкетки (операцией командовал генерал Семёнов).

Все они были убиты[449].

Спрашивает загадка: что быстрей всего на свете? И отвечает: мысль!

Так и не так. Она и медленна бывает, мысль, ох как медленна! Затруднённо и поздно человек,

---

[449] Примечания: 449

Я не настаиваю, что изложил эти восстания точно. Я буду благодарен всякому, кто меня исправит.

люди, общество осознают то, что произошло с ними. Истинное положение своё.

Сгоняя Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря, Сталин почти забавлялся своей силой. И без того они содержались у него как нельзя надёжней, а он сам себя вздумал перехитрить— ещё лучше сделать. Он думал— так будет страшней. А вышло наоборот.

Вся система подавления, разработанная при нём, была основана на.разъединении недовольных; на том, чтоб они не взглянули друг другу в глаза, не сосчитались — сколько их; на том, чтобы внушить всем, и самим недовольным, что никаких недовольных нет, что есть только отдельные злобствующие обречённые одиночки с пустотой в душе.

Но в Особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами. И сосчитались. И разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие представления о жизни, чему тюремщиков; чем у их предателей; чем у теоретиков, объясняющих, почему им надо гнить в лагере.

Сперва такая новизна Особлага почти никому не была заметна. Внешне тянулось так, будто это продолжение ИТЛ. Только быстро скисли блатные, столпы лагерного режима и начальства. Но

как будто жестокость надзирателей и увеличенная площадь БУРа восполняли эту потерю.

Однако вот что: скисли блатные— в лагере не стало воровства. В тумбочке оказалось можно оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову, можно бросить их на пол— и утром они будут там. Можно кисет с табаком оставить на ночь в тумбочке, не тереть его ночь в кармане под боком.

Кажется, это мелочи? Нет, огромно! Не стало воровства — и люди без подозрения и с симпатией посмотрели на своих соседей. Слушайте, ребята, а может, мы и правда того… политические'?..

А если политические—так можно немного повольней и говорить, между двумя вагонками и у бригадного костра. Ну, оглянуться, конечно, кто тут рядом. Дав конце концов чёрт с ним, пусть наматывают, четвертная уже есть, куда ещё мотать?

Начинает отмирать и вся прежняя лагерная психология: «умри ты сегодня, а я завтра»; всё равно никогда справедливости не добьёшься; так было, так будет… А почему— не добьёшься?.. А почему — «будет»?..

Начинаются в бригаде тихие разговоры не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах, что и на

воле не услышишь, — и всё вольней! и всё вольней! и всё вольней! — и бригадир вдруг теряет ощущение всезначимости своего кулака. У одних бригадиров кулак совсем перестаёт подниматься, у других— реже, легче. Бригадир и сам, не возвышаясь, присаживается послушать, потолковать. И бригадники начинают смотреть на него как на товарища: тоже ведь наш.

Бригадиры приходят в ППЧ, в бухгалтерию, и по десяткам мелких вопросов — кому срезать, не срезать пайку, кого куда отчислить, — придурки тоже воспринимают от них этот новый воздух, это облачко серьёзности, ответственности, нового какого–то смысла.

И придуркам, пока ещё далеко не всем, это передаётся. Они ехали сюда с таким жадным желанием захватить посты и вот захватили их, и отчего бы им не жить так же хорошо, как в ИТЛ: запираться в кабинке, жарить картошку с салом, жить между собой, отделясь от работяг? Нет! Оказывается, не это главное.

Как, а что же главное?.. Становится неприличным хвастать кровопийством, как было в ИТЛ, хвастать тем, что живёшь за счёт других. И придурки находят себе друзей среди работяг и, расстелив на земле свои новенькие телогрейки

рядом с их чумазыми, охотно пролёживают с ними воскресенья в беседах.

И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ: придурки— работяги, бытовики— Пятьдесят Восьмая, а сложней и интересней гораздо: землячества, религиозные группы, люди бывалые, люди учёные.

Начальство ещё нескоро–нескоро что–то поймёт и заметит. А нарядчики уже не носят дрынов и даже не рычат, как раньше. Они дружески обращаются к бригадирам: на развод, мол, пора, Комов. (Не то чтоб душу нарядчиков проняло, а — что–то беспокоящее в воздухе новое.)

Но всё это — медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены. Эти перемены медленнее сезонных. Они затрагивают не всех бригадиров, не всех придурков— лишь тех, у кого под спудом и пеплом сохранились остатки совести и братства. А кому нравится остаться сволочью, — вполне успешно остаётся ею. Настоящего сдвига сознания— сдвига трясением, сдвига героического — ещё нет. И по–прежнему лагерь пребывает лагерем, и мы угнетены и беспомощны, и разве то остаётся нам, что лезть вон туда под проволоку и бежать в степь, а нас бы поливали автоматами и травили собаками.

Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль–ступень: а как сделать, чтоб немы от них бежали, а они бы побежали от нас?

Довольно только задать этот вопрос, скольким–то людям додуматься и задать, скольким–то выслушать — и окончилась в лагере эпоха побегов. И началась — эпоха мятежей.

Но начать её— как? С чего её начинать? Мы же скованы, мы же оплетены щупальцами, мы лишены свободы движения, — с чего начинать?

Далеко непросто в жизни— самое простое. Кажется, и в ИТЛ додумывались некоторые, что стукачей надо убивать. Даже и там подстраивали иногда: скатится со штабеля бревно и в полую воду собьёт стукача. Так нетрудно бы и здесь догадаться— с каких именно щупалец надо начинать рубить. Как будто все это понимали. И никто не понимал.

Вдруг— самоубийство. В режимке–бараке–2 нашли повесившегося одного. (Все стадии процесса я начинаю излагать по Экибастузу. Но вот что: в других Особлагах все стадии были те же!) Большого горя начальству нет, сняли с петли, отвезли на свалку.

А по бригаде слушок: это ведь — стукач был. Не сам он повесился. Его — повесили. Назидание.

Много в лагере подлецов, но всех сытее, грубее, наглее — заведующий столовой Тимофей С... (не скрываю фамилию, а не помню). Его гвардия — мордатые сытые повара, ещё прикармливает он челядь палачей–дневальных. Он сам и эта челядь бьют зэков кулаками и палками. И между прочим как–то, совсем несправедливо, ударил он маленького чернявого «пацана». Да он и замечать не привык, кого он бьёт. А пацан этот, по–особлагов–ски, по–нынешнему, — уже не просто пацан, а— мусульманин. А мусульман в лагере довольно. Это не блатные какие–нибудь. Перед закатом можно видеть, как в западной части зоны (в ИТЛ бы смеялись, у нас — нет) они молятся, вскидывая руки или лбом прижимаясь к земле. У них есть старшие, в новом воздухе какой–то есть и совет. И вот их решение: мстить!

Рано утром в воскресенье пострадавший и с ним взрослый ингуш проскальзывают в барак придурков, когда те все ещё нежатся в постелях, входят в комнату, где С..., и в два ножа быстро режут шестипудового.

Но как это всё ещё незрело! — они не пытаются скрыть своих лиц и не пытаются убежать. Прямо от трупа, с окровавленными ножами, спокойные от исполненного долга, они идут в надзиратель-

скую и сдаются. Их будут судить.

Это всё — поиски на ощупь. Это всё ещё, может быть, могло случиться и в ИТЛ. Но гражданская мысль работает дальше: не это ли и есть главное звено, через которое надо рвать цепь?

«Убей стукача!»— вот оно, звено. Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей — вот оно!

Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок и тускло–посверкивающими неновыми корешками укоризненно мерцают, как звёзды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявши меч, нож, винтовку, — мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. И не будет конца…

Не будет конца… Здесь, за столом, в тепле ивчисте, я с этим вполне согласен.

Но надо получить двадцать пять лет ни за что, надеть на себя четыре номера, руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать в работе, быть таскаемым в БУР по доносам, безвозвратно затаптываться в землю, — чтобы оттуда, из ямы этой, все речи великих гуманистов показались бы болтовнёю сытых вольняшек.

Не будет конца!.. — да начало ли будет? Просвет ли будет в нашей жизни или нет?

Заключил же подгнётный народ: благостью лихость не изоймёшь.

Стукачи— тоже люди?.. Надзиратели ходят по баракам и объявляют для нашего устрашения приказ по всему Песчаному лагерю: на каком–то из женских лагпунктов две девушки (по годам рождения видно, как молоды) вели антисоветские разговоры. Трибунал в составе…

Этих девушек, шептавшихся на вагонке, уже имевших по десять лет хомута, — какая заложила стерва, тоже ведь захомутанная?! Какие же стукачи — люди?!

Сомнений не было. А удары первые были всё же нелегки.

Не знаю, где как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном Спасске!), а у нас это началось с приезда дубовского этапа— в основном западных украинцев, ОУНовцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да они и стронули воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа.

Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они вДубовке огляделись, ужаснулись этой спячке и рабству — и потяну-

лись к ножу.

В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием. Но лагерные хозяева, самоуверенные, ослеплённые (тридцать лет они не встречали никакого сопротивления, отвыкли от него), — не позаботились даже держать привезенных мятежников отдельно от нас. Их распустили по лагерю, по бригадам. Это был приём ИТЛ: там распыление глушило протест. Но в нашей, уже очищающейся, среде распыление только помогло быстрее охватить всю толщу огнём.

Новички выходили с бригадами на работу, но не притрагивались к ней или для вида только, а лежали на солнышке (лето как раз) и тихо беседовали. Со стороны в такой момент они очень походили на блатных в законе, тем более что были такие же молодые, упитанные, широкоплечие.

Да закон и прояснялся, но новый удивительный закон: «умри в эту ночь, у кого нечистая совесть!»

Теперь убийства зачередили чаще, чем побеги в их лучшую пору. Они совершались уверенно и анонимно: никто не шёл сдаваться с окровавленным ножом; и себя и нож приберегали для

другого дела. В излюбленное время — в пять часов утра, когда бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а заключённые ещё почти все спали, — мстители в масках тихо входили в намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке и неотклонимо убивали уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя. Проверив, что он мёртв, уходили деловито.

Они были в масках, и номеров их не было видно — спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам, — они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьёв теперь не сдавались, а твердили: нет, нет, не знаю, не видел. И это не была уже просто древняя истина, усвоенная всеми угнетёнными: «незнайка на печи сидит, а знайку на верёвочке ведут», — это было спасение самого себя! Потому что назвавший был бы убит в следующие пять часов утра и благоволение оперуполномоченного ему ничуть бы не помогло.

И вот убийства (хотя их не произошло пока и десятка) стали нормой, стали обычным явлением. Заключённые шли умываться, получали утренние пайки, спрашивали: сегодня кого–нибудь

убили? В этом жутком спорте ушам заключённых слышался подземный гонг справедливости.

Это делалось совершенно подпольно. Кто–то (признанный за авторитет) где–то кому–то только называл: вот этого\ Не его была забота, кто будет убивать, какого числа, где возьмут ножи. А боевики, чья это была забота, не знали судьи, чей приговор им надо было выполнить.

И надо признать — при документальной неподтверждённое™ стукачей, — что неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллегии и ОСО.

Рубиловка, как называли её у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день, стала почти публичной. Одного маленького конопатого «старшего барака», бывшего крупного ростовского энкаведешника, известную гниду, убили в воскресенье днём в «парашной» комнате. Нравы так ожесточились, что туда повалили толпой — смотреть труп в крови.

Затем в погоне за предателем, продавшим подкоп под зону из режимки–барака–8 (спохватившееся начальство согнало туда главных дубовцев, но рубиловка уже отлично шла и без

них), мстители побежали с ножами средь бела дня по зоне, а стукач от них— в штабной барак, за ним и они, он — в кабинет начальника лаготделения жирного майора Максименко, — и они туда же. В это время лагерный парикмахер брил майора в его кресле. Майор был по лагерному уставу безоружен, так как в зону не полагается им носить оружия. Увидев убийц с ножами, перепуганный майор вскочил из–под бритвы и взмолился, так поняв, что будут сейчас его резать. С облегчением он заметил, что режут у него на глазах стукача. (На майора никто и не покушался. Установка начавшегося движения была: резать только стукачей, а надзирателей и начальников не трогать.) Всё же майор выскочил в окно, недобритый, в белой накидке, и побежал к вахте, отчаянно крича: «Вышка, стреляй! Вышка, стреляй!» Но вышка не стреляла…

Был случай, когда стукача не дорезали, он вырвался и израненный убежал в больницу. Там его оперировали, перевязали. Но если уж перепугался ножей майор, — разве могла спасти стукача больница? Через два–три дня его дорезали на больничной койке…

На пять тысяч человек убито было с дюжину, — но с каждым ударом ножа отваливались

и отваливались щупальцы, облепившие, оплетшие нас. Удивительный повеял воздух! Внешне мы как будто по–прежнему были арестанты и в лагерной зоне, на самом деле мы стали свободны— свободны, потому что впервые завею нашу жизнь, сколько мы её помнили, мы стали открыто, вслух говорить всё, что думаем! Кто этого перехода не испытал — тот и представить не может!

А стукачи — не стучали…

До тех пор оперчасть кого угодно могла оставить днём в зоне, часами беседовать с ним — получать ли доносы? давать ли новые задания? выпытывать ли имена незаурядных заключённых, ещё ничего не сделавших, но сделать могущих? но подозреваемых как центры будущего сопротивления?

И вечером приходила бригада и задавала бригаднику вопрос: «Что это тебя вызывали?» И всегда, говоря ли правду или нагло маскируясь под неё, бригадник отвечал: «Да фотографии показывали…»

Действительно, в послевоенные годы многим заключённым показывали для опознания фотографии лиц, которых он мог бы встретить во время войны. Но не могли, было незачем пока-

зывать всем. А ссылались на них все — и свои, и предатели. Подозрение поселялось между нами и заставляло замкнуться каждого.

Теперь же воздух очищался от подозрений! Теперь если оперчекисты и велели кому–нибудь отстать от развода, — он не оставался] Невероятно! Небывало за все годы существования ЧК–ГПУ–МВД! — вызванный к ним не плёлся с перебиванием сердца, не семенил с угодливой мордочкой, — но гордо (ведь на него смотрели бригадники) отказывался идти! Невидимые весы качались в воздухе над разводом. На одной их чашке громоздились все знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и третьи сроки. Но всё это было — не мгновенно, это была перемалывающая кости мельница, не могущая зажрать сразу всех и пропустить в один день. И после неё люди всё–таки оставались быть— все, кто здесь, ведь прошли же её.

А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож — но этот нож был предназначен для тебя, уступивший! Он назначался только тебе в грудь, и не когда–нибудь, а завтра на рассвете, и все силы ЧКГБ не могли тебя от него спасти. Он

не был и длинен, но как раз такой, чтоб хорошо войти тебе под рёбра. У него и ручки–то не было настоящей, — какая–нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножёвки, — но как раз хорошее трение, чтоб не выскользнул нож из руки.

И эта живительная угроза перевешивала! Она давала всем слабым силы оторвать от себя пиявок и пройти мимо, вслед бригаде. (Она давала им и хорошее оправдание потом: мы бы остались, гражданин начальник! но мы боялись ножа… вам–то он не грозит, вы и представить себе не можете…)

Мало того. Не только перестали ходить на вызовы оперуполномоченных и других лагерных хозяев — но остерегались теперь какой–нибудь конверт, какой–нибудь исписанный листик опустить в почтовый ящик, висящий в зоне, или в ящики для жалоб в высокие инстанции. Перед тем как бросить письмо или заявление, просили кого–нибудь: «На, прочти, проверь, что не донос. Пойдём вместе и бросим».

И теперь–то — ослепло и оглохло начальство! По видимости и пузатый майор, и его заместитель капитан Прокофьев, тоже пузатый, и все надзиратели— свободно ходили по зоне, где

им ничто не угрожало, двигались между нами, смотрели на нас — а не видели ничего! Потому что ничего не может без доносчика увидеть и услышать человек, одетый в форму: перед его подходом замолчат, отвернутся, спрячут, уйдут… Где–то рядом томились от желания продать товарищей верные осведомители — но ни один из них не подавал даже тайного знака.

Отказал работать тот самый осведомительный аппарат, на котором только и зиждилась десятилетиями слава всемогущих всезнающих Органов.

Как будто те же бригады ходили на те же объекты (впрочем, теперь мы сговаривались и конвою сопротивляться, не давать поправлять пятёрки, пересчитывать нас на марше, — и удавалось! не стало среди нас стукачей— и автоматчики тоже послабели). Работали, чтобы закрыть благополучно наряды. Возвращались и разрешали надзирателям обыскивать себя, как и прежде (а ножи— никогда не находились!). Но на самом деле уже не бригады, искусственно сбитые администрацией, а совсем другие людские объединения связывали людей, и раньше всего— нации. Зародились и укрепились недоступные стукачам национальные центры:

украинский, объединённый мусульманский, эстонский, литовский. Никто их не выбирал, но так справедливо по старшинству, по мудрости, по страданиям они сложились, что авторитет их для своей нации не оспаривался. Появился и объединяющий консультативный орган — так сказать, «Совет национальностей».

Тут время оговориться. Не всё было так чисто и гладко, как выглядит, когда прорисовываешь главное течение. Были соперничающие группы — «умеренных» и «крайних». Вкрались, конечно, и личные расположения и неприязни, и игра самолюбий у рвущихся в «вожди». Молодые бычки — «боевики» далеки были от широкого политического сознания, некоторые склонны были за свою «работу» требовать повышенного питания, для этого они могли и прямо угрозить повару больничной кухни, то есть потребовать, чтоб их подкормили за счёт пайка больных, а при отказе повара— и убить его безо всякого нравственного судьи: ведь навык уже есть, маски и ножи в руках. Одним словом, тут же в здоровом ядре начинала виться и червоточина— неизменная, не новая, всеисто–рическая принадлежность всех революционных движений!

А один раз просто была ошибка: хитрый стукач

уговорил добродушного работягу поменяться койками — и работягу зарезали поутру.

Но несмотря на эти отклонения, общее направление было очень чётко выдержано, не запутаешься. Общественный эффект получился тот, который требовался.

Бригады оставались те же и столько же, но вот что странно: в лагере не стало хватать бригадиров]— невиданное для ГУЛАГа явление. Сперва их утечка была естественна: один лёг в больницу, другой ушёл на хоздвор, тому срок подошёл освобождаться. Но всегда в резерве у нарядчиков была жадная толпа искателей: за кусок сала, за свитер получить бригадирское место. Теперь же не только не было искателей, но были такие бригадиры, которые каждый день переминались в ППЧ, прося снимать их поскорей.

Такое начиналось время, что старые бригадирские методы — вгонять работягу в деревянный бушлат — отпали безнадёжно, а новые изобрести было дано не всем. И скоро до того уже стало с бригадирами плохо, что нарядчик приходил в бригадную секцию покурить, поболтать и просто просил: «Ребята, ну нельзя ж без бригадира, безобразие! Ну выберите вы себе кого–нибудь, мы сразу его проведём».

Это тогда особенно началось, когда бригадиры стали бежать в БУР— прятаться в каменную тюрьму! Не только они, ной— прорабы–кровопийцы, вроде Адаскина; стукачи, накануне раскрытия или, как чувствовали, очередные в списке, вдруг дрогнули — и побежалиі Ещё вчера они храбрились среди людей, ещё вчера они вели себя и говорили так, как если б одобряли происходящее (а теперь попробуй поговори среди зэков иначе!), ещё прошлую ночь они ночевали в общем бараке (уж там спали или напряжённо лежали, готовые отбиваться, и клялись себе, что это последняя такая ночь), — а сегодня исчезли! И даётся дневальному распоряжение: вещи такого–то отнести в БУР.

Это была новая и жутковато–весёлая пора в жизни Особ–лага! Так–таки не мы побежали! — они побежали, очищая от себя нас! Небывалое, невозможное на земле время: человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать! Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимое живое возмездие заносит над тобой нож на рассвете. Это можно придумать только в сказке: земля зоны под ногами честных мягка и тепла, под ногами предателей — колется и пылает! Этого можно пожелать зазонному про-

странству— нашей воле, никогда такого времени не видавшей, да, может быть, и не увидящей.

Мрачный каменный БУР, уже давно расширенный, достроенный, с малыми окошками, с намордниками, сырой, холодный и тёмный, обнесенный крепким заплотом из досок–сороковок внахлёст, — БУР, так любовно приготовленный лагерными хозяевами для отказчиков, для беглецов, для упрямцев, для протестантов, для смелых людей, — вдруг стал принимать на пенсионный отдых стукачей, кровопийц и держиморд!

Нельзя отказать в остроумии тому, кто первый догадался прибежать к чекистам и за свою верную долгую службу попросить укрытия от народного гнева в каменном мешке. Чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтобы не из тюрьмы бежали, а в тюрьму, чтоб добровольно соглашались не дышать больше чистым воздухом, не видеть больше солнечного света, — кажется, и история нам не оставила такого.

Начальники и оперы пожалели первых, пригрели: свои всё–таки. Отвели для них лучшую камеру БУРа (лагерные остряки назвали её камерой хранения), дали туда матрасы, крепче велели топить, назначили им часовую прогулку.

Но за первыми остряками потянулись и другие,

менее остроумные, но так же жадно хотящие жить. (Некоторые хотели и в бегстве сохранить лицо: кто знает, может ещё придётся вернуться и жить среди зэков? Архидьякон Рудчук бежал в БУР с инсценировкой: после отбоя пришли в барак надзиратели, разыграли сцену жестокого шмона с вытряхиванием матраса, «арестовали» Рудчука и увели. Впрочем, скоро лагерь с достоверностью узнал, что и гордый архидьякон, любитель кисти и гитары, сидит в той же тесной «камере хранения»). Вот уж их перевалило за десять, за пятнадцать, за двадцать! («Бригада Мачеховского» стали её ещё звать — по фамилии начальника режима.) Уже надо заводить вторую камеру, сокращая продуктивные площади БУРа.

Однако стукачи нужны и полезны, лишь пока они толкутся в массе и пока они не раскрыты. А раскрытый стукач не стоит ничего, он уже не может больше служить в этом лагере. И приходится содержать его на даровом питании в БУРе, и он не работает на производстве, себя не оправдывает. Нет, даже благотворительности МВД должны же быть пределы!

И поток молящих о спасении — прекратили. Кто опоздал — должен был остаться в овечьей шкуре и ждать ножа.

Доносчик— как перевозчик: нужен на час, а там не знай
нас.

Забота начальства была о контрмерах, о том, как остановить грозное лагерное движение и сломить его. Первое, к чему они привыкли и за что схватились, было— писать приказы.

Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что движение наше— политическое. В грозных приказах (надзиратели ходили по баракам и читали их) всё начинавшееся объявлялось бандитизмом. Так было проще, понятней, роднее, что ли. Давно ли бандитов присылали к нам под маркой «политических»? И вот теперь политические— впервые политические! — стали «бандитами». Неуверенно объявлялось, что бандиты эти будут обнаружены (пока что ещё ни один) и (ещё неувереннее) расстреляны. Ещё в приказах взывалось к арестантской массе — осуждать бандитов и бороться с ними!..

Заключённые выслушивали и расходились посмеиваясь. В том, что офицеры режима побоялись назвать политическое — политическим (хотя в приписывании «политики» тридцать лет уже состояло всякое следствие), мы ощутили их слабость.

Это и была слабость! Назвать движение бандитизмом была их уловка: с лагерной администрации таким образом снималась ответственность — как допустила она в лагере политическое движение? Эта выгода и эта необходимость распространялись и выше: на областные и лагерные управления МВД, на ГУЛАГ, на само министерство. Система, постоянно боящаяся информации, любит обманывать сама себя. Если бы убивали надзорсостав и офицеров режима, тогда трудно было бы им уклониться от статьи 58–8, террора, но тогда они получили бы и лёгкую возможность давать расстрел. Сейчас же у них появилась заманчивая возможность подкрасить происходящее в Особлагерях под сучью войну, сотрясавшую в это самое время ИТЛ и руководством же ГУЛАГа затеянную.

«Сучья война» достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось бы поискать ещё много материала. Отошлём читателя к исследованию Варлама Шаламова «Очерки преступного мира», хотя и там неполно.

Вкратце. «Сучья война» разгорелась примерно с 1949 года (не считая отдельных постоянных случаев резни между ворами и суками). В 1951, 1952 годах она бушевала. Воровской мир раз-

дробился намного–численные масти: кроме собственно воров и сук ещё — беспредельники («беспредельные воры»); «махновцы»; упоровцы; пивоваровцы; «красная шапочка»; «фули нам!», «ломом подпоясанные», — и это ещё не всё.

К тому времени руководство ГУЛАГа, уже разочаровавшись в безошибочных теориях о перевоспитании блатных, решило, видимо, освободиться от этого груза, играя на разделении, поддерживая то одну то другую из группировок и её ножами сокрушая другие. Резня происходила открыто, массово.

Затем блатные убийцы приспособились: или убивать не своими руками, или, убив самим, заставить другого взять на себя вину. Так молодые бытовики или бывшие солдаты и офицеры под угрозой убийства их самих брали на себя чужое убийство, получали 25 лет по бандитской 59–3 и до сих пор сидят. А воры–вожди группировок вышли чистенькие по «ворошиловской» амнистии 1953 года (но не будем отчаиваться: с тех пор не раз уже и снова сели).

Когда в наших газетах возобновилась сентиментальная мода на рассказы о «перековке», прорвалась на газетные столбцы и информация— конечно, самая лживая и мутная— о резне

в лагерях, причём нарочно были спутаны (от взгляда истории) и «сучья война», и «рубиловка» Особлагов, и резня вообще неизвестно какая. Лагерная тема интересует весь народ, статьи такие прочитываются с жадностью, но понять из них ничего нельзя (для того и пишется). Вот журналист Галич напечатал в июле 1959 года в «Известиях» какую–то подозрительную «документальную» повесть о некоем Косых, который будто бы из лагеря растрогал Верховный Совет письмом в 80 страниц на пишущей машинке (1. Откуда машинка? оперуполномоченного? 2. Да кто ж бы это стал читать 80 страниц, там после одной уже душатся зевотой). Этот Косых имел 25 лет, второй срок по лагерному делу. По какому делу, за что, — в этом пункте Галич— отличительный признак нашего журналиста— сразу потерял ясность и внятность речи. Нельзя понять, совершил ли Косых «сучье» убийство или политическое убийство стукача. Но то и характерно, что в историческом огляде всё теперь свалено в одну кучу и названо бандитизмом. Вот как научно объясняется это центральной газетой: «Приспешники Берии (вали на серого, серый всё вывезет) орудовали тогда (а до? а сейчас?) в лагерях. Суровость закона подменялась

беззаконными действиями лиц (как? вопреки единой инструкции? да кто б это осмелился?), которые должны были проводить его в жизнь. Они всячески разжигали вражду (курсив мой. Вот это— правда. —А.С.) между разными группами зэ–ка зэ–ка. (Пользование стукачами тоже подходит под эту формулировку…) Дикая, безжалостно, искусственно подогреваемая вражда».

Остановить лагерные убийства 25–летними сроками, какие у убийц были и без того, оказалось, конечно, невозможно. Ивотв 1961 году издан был указ о расстреле за лагерное убийство— в том числе и за убийство стукача, разумеется. Этого хрущёвского указа не хватало сталинским Особлагам.

Так они обеляли себя. Но и права расстреливать лагерных убийц — лишались, а значит— лишались эффективных контрмер. И не могли противодействовать растущему движению.

Приказы не помогли. Не стала арестантская масса вместо своих хозяев осуждать и бороться. И следующая мера была: перевести на штрафной режим весь лагерь! Это значило: всё буднее свободное время, кроме того, что мы были на работе, и все воскресенья насквозь мы должны были теперь сидеть под замком, как в тюрьме,

пользоваться парашей и даже пишу получать в бараках. Баланду и кашу в больших бочках стали разносить по баракам, а столовая пустовала.

Тяжёлый это был режим, но не простоял он долго. На производстве мы стали работать совсем лениво, и завопил угольный трест. А главное, четверная нагрузка пришлась на надзирателей, которым непрерывно из конца в конец лагеря доставалось теперь гонять с ключами — то запускать и выпускать дневальных с парашами, то вести кормление, то конвоировать группы в санчасть, из санчасти.

Цель начальства была: чтобы мы тяготились, возмутились против убийств и выдали убийц. Но мы все настроились пострадать, потянуть, — того стоило! Ещё цель их была: чтоб не оставался барак открытым, чтобы не могли прийти убийцы из другого барака, а в одном бараке найти будто легче. Но вот опять произошло убийство — и опять никого не нашли, так же все «не видели» и «не знали». И на производстве кому–то голову проломили — от этого уже никак не убережёшься запертыми бараками.

Штрафной режим отменили. Вместо этого затеяли строить «великую китайскую стену». Это была стена в два самана толщиной и метра

четыре высотой, которую повели посреди зоны, поперёк её, подготовляя разделить лагерь на две части, но пока оставив пролом. (Затея — общая для всех Особлагов. Такое разгораживание больших зон на малые происходило во многих других лагерях.) Так как работу эту трест оплачивать не мог — для посёлка она была бессмысленна, то вся тяжесть — и изготовление саманов, и перекладка их при сушке, и подноска к стене, и сама кладка— легла на нас же, на наши воскресенья и на вечернее (летнее, светлое) время после нашего прихода с работы. Очень досадна нам была та стена, понятно, что начальство готовит какую–то подлость, а строить— приходилось. Освободились–то мы ещё очень мало — головы да рты, но по плечи мы увязали по–прежнему в болоте рабства.

Все эти меры — угрожающие приказы, штрафной режим, стена— были грубые, вполне в духе тюремного мышления. Но что это? Нежданно–негаданно вызывают одну, другую, третью бригаду в комнату фотографа и фотографируют, да вежливо, нес номером–ошейником на груди, нес определённым поворотом головы, а садись, как тебе удобнее, смотри, как тебе нравится. И из «неосторожной» фразы начальника КВЧ узнают

работяги, что «снимают на документы».

На какие документы? Какие могут быть у заключённого документы?.. Волнение ползёт среди легковерных: а может, пропуска готовят для расконвойки? А может…? А может…

А вот надзиратель вернулся из отпуска и громко рассказывает другому (но при заключённых), что по пути видел целые эшелоны освобождающихся — с лозунгами, с зелёными ветками, домой едут.

Господи, как сердце бьётся! Да ведь давно пора! Да ведь с этого и надо было после войны начинать! Неужели началось?

Говорят, кто–то письмо получил из дому: соседи его уже освободились, уже дома!

Вдруг одну из фотографированных бригад вызывают на комиссию. Заходи по одному. За красной скатертью под портретом Сталина сидят наши лагерные, но не только: ещё каких–то два незнакомых, один казах, один русский, никогда в нашем лагере не бывали. Держатся деловито, но с веселинкой, заполняют анкету: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, а дальше вместо привычных статьи, срока, конца срока— семейное положение подробно, жена, родители, если дети, то какого возраста, где все

живут, вместе или отдельно. И всё это записывается!.. (То один, то другой из комиссии напомнит писцу: и это запиши, и это.)

Странные, больные и приятные вопросы! Самому зачерствелому становится от них тепло и даже хочется плакать. Годы и годы он слышит только отрывистые гавкающие: статья? срок? кем осуждён? — и вдруг сидят совсем не злые, серьёзные, человечные офицеры и неторопливо, с сочувствием, да, с сочувствием, спрашивают его о том, что так далеко хранимо, коснуться его боязно самому, иногда соседу на нарах расскажешь слова два, а то и не будешь... И эти офицеры (ты забыл или сейчас прощаешь, что вот этот старший лейтенант в прошлый раз под октябрьскую у тебя же отнял и порвал фотографию семьи...), — эти офицеры, услышав, что жена твоя вышла за другого, а отец уже очень плох, не надеется сынка увидеть, — только причмокивают печально, друг на друга смотрят, головами качают.

Да неплохие они, они тоже люди, просто служба собачья... И, всё записав, последний вопрос задают каждому такой:

— Ну а где бы ты хотел жить?.. Там вот, где родители, или где ты раньше жил?..

— Как? — вылупляет зэк глаза — Я... в седьмом

бараке…

— Да это мы знаем! — смеются офицеры. — Мы спрашиваем: где бы ты хотел жить. Если тебя вот, допустим, отпускать, — так документы на какую местность выписывать?

И закруживается весь мир перед глазами арестанта, осколки солнца, радужные лучики… Он головой понимает, что это — сон, сказка, что этого быть не может, что срок — двадцать пять или десять, что ничего не изменилось, он весь вымазан глиной и завтра туда пойдёт, — но несколько офицеров, два майора, сидят, не торопясь, и сочувственно настаивают:

— Так куда же, куда? Называй.

И с колотящимся сердцем, в волнах тепла и благодарности, как покрасневший мальчик называет имя девушки, он выдаёт тайну груди своей, — где бы хотел он мирно дожить остаток дней, если бы не был заклятым каторжанином с четырьмя номерами.

И они— записывают! И просят вызвать следующего. А первый полоумным выскакивает в коридор к ребятам и говорит, что было.

По одному заходят бригадники и отвечают на вопросы дружественных офицеров. И это из полусотни один, кто усмехнётся:

— Всё тут в Сибири хорошо, да климат жаркий. Нельзя ли за Полярный круг?

Или:

— Запишите так: в лагере родился, в лагере умру, лучше места не знаю.

Поговорили они так с двумя–тремя бригадами (а в лагере их двести). Поволновался лагерь дней несколько, было о чём поспорить, — хотя уже и половина нас вряд ли поверила—прошли, прошли те времена вер! Но больше комиссия не заседала. Фотографировать–то им было недорого — щёлкали на пустые кассеты. А вот сидеть целой компанией итак задушевно выспрашивать негодяев — не хватило терпения. Ну а не хватило, так ничего из бесстыдной затеи не вышло.

(Но признаем всё же — какой успех! В 1949 году создаются — конечно, навечно — лагеря со свирепым режимом. И уже в 1951 хозяева вынуждены играть задушевный этот спектакль. Какое ещё признание успеха? Почему в ИТЛ никогда им так играть не приходилось?)

И опять блистали ножи.

И решили хозяева— брать. Без стукачей они не знали точно, кого им надо, но всё же некоторые подозрения и соображения были (да может, тайком кто–то наладил донесения).

Вот пришли два надзирателя в барак, после работы, буднично, и сказали: «Собирайся, пошли».

А зэк оглянулся на ребят и сказал:

— Не пойду.

И в самом деле! — в этом обычном простом взятии, или аресте, которому мы никогда не сопротивляемся, который мы привыкли принимать как ход судьбы, в нём ведь и такая есть возможность: не пойду! Освобождённые головы наши теперь это понимали!

— Как не пойдёшь? — приступили надзиратели.

— Так и не пойду! — твёрдо отвечал зэк. — Мне и здесь неплохо.

— А куда он должен идти?.. А почему он должен идти? Мы его не отдадим!. Не отдадим!.. Уходите! — закричали со всех сторон.

Надзиратели повертелись–повертелись и ушли.

В другом бараке попробовали — то же.

И поняли волки, что мы уже не прежние овцы. Что хватать им теперь надо обманом, или на вахте, или одного целым нарядом. А из толпы— не возьмёшь.

И мы, освобождённые от скверны, избавленные от присмотра и подслушивания, обернулись

и увидели во все глаза, что: тысячи нас! что мы — политические] что мы уже можем сопротивляться]

Как верно же было избрано то звено, за которое надо тянуть цепь, чтоб её развалить, — стукачи! наушники и предатели! Наш же брат и мешал нам жить. Как на древних жертвенниках, их кровь пролилась, чтоб освободить нас от тяготеющего проклятия.

Революция нарастала. Её ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам ураганом в лёгкие!

Глава 11. ЦЕПИ РВЁМ НА ОЩУПЬ

Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а провалилась и стала рвом, — мы стояли на двух откосах и примерялись: что же дальше?

Это образ, разумеется, что мы «стояли». Мы— ходили ежедневно на работу с обновлёнными нашими бригадирами (или негласно выбранными, уговоренными послужить общему делу, или теми же прежними, но неузнаваемо отзывчивыми, дружелюбными, заботливыми), мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и приносили с производства неплохие наряды — и, кажется, хозяева лагеря могли быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны: они совсем разучились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. Майор Максименко по утрам–то развод просыпал, а вот вечером любил встретить колонны у вахты и, пока топтались тут, — пошутить что–нибудь. Он смотрел на нас с сытым радушием, как хохол–хуторянин где–нибудь в Таврии мог осматривать приходящие из

степи свои бесчисленные стада. Нам даже кино стали показывать по иным воскресеньям. И только по–прежнему донимали постройкой «великой китайской стены».

И всё–таки напряжённо думали мы и они: что же дальше? Не могло так оставаться: недостаточно это было с нас и недостаточно с них. Кто–то должен был нанести удар.

Но — чего мы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, всё, что хотели, всё, что накипело (испытать свободу слова даже только в этой зоне, даже так не рано в жизни— было сладко!). Но могли ли мы надеяться распространить эту свободу за зону или пойти туда с ней? Нет конечно. Какие же другие политические требования мы могли выставить? Их и придумать было нельзя. Не говоря, что бесцельно и безнадёжно, — придумать было нельзя! Мы не могли требовать в своём лагере — ни чтобы вообще изменилась страна, ни чтоб она отказалась от лагерей: нас бомбами с самолётов бы закидали.

Естественно было бы нам потребовать, чтобы пересмотрели наши дела, чтобы сбросили нам несправедливые, ни за что данные сроки. Нои это выглядело безнадёжно. В том общем густевшем над страною смраде террора большинство наших

дел и наших приговоров казались судьям вполне справедливыми— да, кажется, уже и нас они в этом убедили! И потом, пересмотр дел— невещественен как–то, неосязаем толпой, на пересмотре нас легче всего было бы обмануть: обещать, тянуть, приезжать преследовать, это можно длить годами. И если бы даже кого–нибудь вдруг объявили освободившимся и увезли, — откуда могли бы мы узнать, что не на расстрел, что не в другую тюрьму, что не за новым сроком?

Да спектакль Комиссии разве уже не показал, как это можно всё изобразить? Нас и без пересмотра собираются домой распускать…

На чём сходились все, и сомнений тут быть не могло, — устранить самое унизительное: чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши; чтобы сняли с нас номера; чтобы труд наш не был вовсе бесплатен; чтобы разрешили писать 12 писем в год. (Но всё это, всё это, и даже 24 письма в год уже было у нас в ИТЛ — а разве там можно было жить?)

А добиваться ли нам 8–часового рабочего дня — даже не было у нас единогласия… Так мы отвыкли от свободы, что уже вроде и не тянулись к ней…

Обдумывались и пути: как выступить? что сделать? Ясно было, что голыми руками мы ничего

не сможем против современной армии и потому путь наш — не вооружённое восстание, а забастовка. Вовремя неё можно, например, самим с себя сорвать и номера.

Но всё ещё кровь текла в нас— рабская, рабья. Всеобщее снятие с самих себя собачьих номеров казалось таким смелым, таким дерзким, бесповоротным шагом, как, скажем, выйти бы с пулемётами на улицу. А слово «забастовка» так страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке: если начать забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные права бастовать. На голодовку мы вроде имеем всё–таки какое–то право — а на забастовку? Поколение за поколением у нас выросло с тем, что вопиюще опасное и, конечно, контрреволюционное слово «забастовка» стоит у нас в одном ряду с «Антанта, Деникин, кулацкий саботаж, Гитлер».

Так, идя добровольно на совсем не нужную голодовку, мы заранее шли на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. (К счастью, после нас ни один, кажется, лагерь не повторил этой экибастузской ошибки.)

Мы продумывали и детали такой возможной забастовки–голодовки. Применённый к нам

недавно общелагерный штрафной режим научил нас, что в ответ, конечно, нас запрут в бараках. Как же мы будем сноситься между собой? как обмениваться решениями о дальнейшем ходе забастовки? Кому–то надо было продумать и согласовать между бараками сигналы и из какого окна в какое окно они будут видны и поданы.

Обо всём этом говорилось то там, то сям, в одной группке и в другой, представлялось это неизбежным и желательным — и вместе с тем, по непривычке, каким–то невозможным. Нельзя себе было вообразить тот день, когда вдруг мы соберёмся, сговоримся, решимся и…

Но охранники наши, открыто организованные в военную лестницу, более привыкшие действовать и менее рискующие потерять в действиях, чем от бездействия, — охранники нанесли удары раньше нас.

А там покатилось оно само.

Тихенько и уютно встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бригадах, бараках, секциях и углах— новый 1952 год. А в воскресенье 6 января, в православный сочельник, когда западные украинцы готовились славно попраздновать, кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, — утром после проверки нас

заперли и больше не открывали.

Никто не ждал! Подготовлено было тайно, лукаво! В окна мы увидели, что из соседнего барака какую–то сотню зэков со всеми вещами гонят на вахту.

Этап?..

Вот и к нам. Надзиратели. Офицеры с карточками. И по карточкам выкликают… Выходи со всеми вещами… и с матрасами, как есть, набитыми!

Вот оно что! Пересортировка! Поставлена охрана в проломе «китайской стены». Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят— с мешками и матрасами, как погорельцев каких–то, вокруг лагеря и через другую вахту — в другую зону. А из той зоны гонят навстречу.

Все умы перебирают: кого взяли? кого оставили? как понять смысл перетасовки? И довольно быстро замысел хозяев проясняется: в одной половине (2–й лагпункт) остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет 1–й лагпункт, — тысячи три всех остальных наций— русские, эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей Европы и Азии. Одним словом — «единая

и неделимая». (Любопытно. Мысль МВД, которая должна была бы освещаться учением социалистическим и вненациональным, идёт по той же, по старой тропинке: разделять нации.)

Разломаны старые бригады, выкликаются новые, они пойдут на новые объекты, они жить будут в новых бараках— чехарда! Тут разбора не на одно воскресенье, а на целую неделю. Порваны многие связи, перемешаны люди, и забастовка, так уж кажется назревшая, теперь сорвана… Ловко!

В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо этого— БУР. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей отделить от БУРа подальше. А— зачем так?

Скоро мы узнаём, зачем так. По лагерю идёт достоверный слух (от работяг, носящих в БУР баланду), что стукачи в своей «камере хранения» обнаглели: к ним подсаживают подозреваемых (взяли двух–трёх там–здесь), и стукачи пытают их в своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии: кто режет?? Вот когда замысел прояснился весь: пытают! Пытает не сама псарня (вероятно, нет санкции, можно нажить неприятность), а поручили стукачам: ищите сами своих убийц! Рвения им не впрыс-

кивать. И так хлеб свой оправдают, дармоеды. А бандеровцев для того и удалили от БУРа, чтоб не полезли на БУР. На нас больше надежды: мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А бунтари— там. А между лагпунктами стена в четыре метра высотой.

Но сколько глубоких историков, сколько умных книг — а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед.

Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют— не берёт. А искорка одинокая из трубы пролетит на высоте — и вся деревня дотла.

Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а вечером пришли с работы — и вдруг в бараке рядом с БУРом стали разнимать свои вагонки, хватать продольные брусья и крестовины и в полутьме (местечко там полутёмное с одной стороны у БУРа) бежать и долбать этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает.

Удары были — как хорошая бригада плотников работает, доски первые подались, тогда стали их

отгибать— и скрежет двенадцатисантиметровых гвоздей раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотникам работать, но всё–таки звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом: одни бригады шли на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть, кто в каптёрку, кто за посылкой.

Но всё ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к БУРу, к той подтемнённой стенке, где кипело, — обожглись и— назад, к штабному бараку. Кто–то с палкой бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто–то начал камнями или палкой бить стёкла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались штабные стёкла!

А вся–то затея была ребят— не восстание поднимать, и даже не брать БУР, это нелегко (фото 4 — вот дверь экиба–стузского БУРа, высаженная и сфотографированная многими годами позже), а затея была: через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь— мол, знай наших, не очень–то! Дюжина человек и ворвалась в проломанную дыру БУРовского забора. Стали метаться — которая камера, правильно ли угадали окно, да сбивать намордник, подсаживаться,

ведро передавать, — но с вышек застрочили по зоне пулемёты, и поджечь так и не подожгли.

Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мачеховский (за ним тоже с ножом погнались, он по сарайной крыше хоздвора бежал к угловой вышке и кричал: «Вышка, не стреляй! Свои!»— и полез через предзонник)[450] дали знать в дивизион. А дивизион (где доведаться нам теперь о фамилиях командиров?!) распорядился по телефону угловым вышкам открыть пулемётный огонь — по трём тысячам безоружных людей, ничего не знающих о случившемся. (Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту стрельбу, совершенно недоумевая, мы услышали там.)

По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22, а по старому— 9 января, день, который ещё до того года отмечался в календаре торжественно–траурным как кровавое воскресенье. А у нас вышел— кровавый вторник, и куда просторней для палачей, чем в Петербурге: не площадь, а степь, и свидетелей нет, ни журналистов, ни иностранцев.

В темноте наугад стали садить из пулемётов по

---

[450] Примечания: 450

Его всё–таки зарубили, но уже не мы, а блатные, сменившие нас в Экибастузе в 1954 году. Резок он был, но и смел, этого не отнимешь.

зоне. Стреляли, правда, недолго, большая часть пуль, может, прошла и поверху, но достаточно пришлось их и вниз — а на человека много ли нужно? Пули пробивали лёгкие стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных, — но раны свои им надо было теперь скрывать, в санчасть не идти, чтоб заживало как на собаках: по ранам их могли признать за участников мятежа, — ведь кого–то ж надо выдернуть из одноликой массы! В 9–м бараке убит был на своей койке мирный старик, кончавший десятилетний срок: через месяц он должен был освобождаться; его взрослые сыновья служили в той самой армии, которая с вышек лупила по нам.

Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам (ещё надо было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа). И другие многие тоже так поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи, наоборот, наружу высыпали, возбуждённые, и тыкались по зоне, ища понять— что это, отчего.

Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато зиял разбитыми стёклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне бродили любо-

знательные и ищущие истины.

И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта— и автоматчики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них очередями. Так они расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъярённые надзиратели— с железными трубами, с дубинками, с чем попало.

Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону. Потом автоматчики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили притаившихся, раненых или ещё целых, и немилосердно били их.

Это выяснилось всё позже, а вначале мы только слышали густую стрельбу в зоне, но в полутьме не видели и не понимали ничего.

У входа в наш барак образовалась губительная толкучка: зэки стремились поскорей втолкнуться, и от этого никто не мог войти (не то чтоб досочки барачных стен спасали от выстрелов, а— внутри человек уже переставал быть мятежником). Там у крыльца был и я. Хорошо помню своё состояние: тошнотное безразличие к судьбе, мгновенное безразличие к спасению–неспасению. Будьте вы прокляты, что вы к нам привязались? Почему мы до смерти виноваты

перед вами, что родились на этой несчастной земле и должны вечно сидеть в ваших тюрьмах? Вся тошнота этой каторги заняла грудь спокойствием и отвращением. Даже постоянная моя боязнь за носимые во мне поэму и пьесу, нигде ещё не записанные, не присутствовала во мне. И на виду той смерти, что уже заворачивала к нам в шинелях по зоне, нисколько я не теснился в дверь. Вот это и было — главное каторжное настроение, до которого нас довели.

Дверь освободилась, мы прошли последние. И тут же, усиленные помещением, грохнули выстрелы. Три пули пустили нам в дверь вдогонку, и они рядышком легли в косяк. А четвёртая взбросилась и оставила в дверном стекле круглую маленькую дырочку в нимбе мельчайших трещин.

В бараки за нами преследователи не врывались. Они заперли нас. Они ловили и били тех, кто не успел забежать в барак. Раненых и избитых было десятка два, одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была— тюрьма и следствие за участие в мятеже.

Но всё это узналось потом. Ночью бараки были заперты, наследующее утро, 23 января, не

дали встретиться разным баракам в столовой и разобраться. И некоторые обманутые бараки, в которых никто явно не пострадал, ничего не зная об убитых, вышли на работу. В том числе и наш.

Мы вышли, но никого не выводили из лагерных ворот после нас: пуста была линейка, никакого развода. Обманули нас!

Гадко было на работе в этот день в наших мехмастерских. От станка к станку ходили ребята, сидели и обсуждали — как, что вчера произошло; и до каких же пор мы будем вот так всё ишачить и терпеть. А разве можно не терпеть? — возражали давние лагерники, согнувшиеся навек. — А разве кого–нибудь когда–нибудь не сломили? (Это была философия набора 37–го года.)

Когда мы пришли с работы в темноте, зона лагпункта опять была пуста. Но гонцы сбегали под окна других бараков. Оказалось: Девятый, в котором было двое убитых и трое раненых, и соседние с ним на работу уже сегодня не выходили. Хозяева толковали им про нас и надеялись, что завтра они тоже выйдут. Но ясно теперь сложилось— сутра не выходить и нам.

Об этом было брошено и несколько записок через стену к украинцам, чтобы поддержали.

Забастовка–голодовка, не подготовленная, не

конченная даже замыслом как следует, теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации.

В других потом лагерях, где овладевали продскладом, а на работу не шли, получалось, конечно, умней. У нас — хоть и не умно, но внушительно: три тысячи человек сразу оттолкнули и хлеб, и работу.

Утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку. Ни одна бригада не пошла в столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не понимали: второй, третий, четвёртый раз они бойко заходили в бараки звать нас, потом грозно — нас выгонять, потом мягко — нас приглашать: только пока в столовую захлебом, а о разводе и речи не было.

Но никто не шёл. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь нам, бригадирам (я в этот горячий год стал бригадиром), доставалось что–то отвечать, потому что говорили надзиратели всё нам. Мы тоже лежали и бормотали от изголовий:

— Ничего не выйдет, начальник…

И это тихое единое неповиновение власти — никому никогда ничего не прощавшей власти, упорное неподчинение, растянутое во времени, казалось страшнее, чем бегать и орать под

пулями.

Наконец уговаривание прекратилось и бараки заперли.

В наступившие дни из бараков выходили только дневальные: выносили параши, вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разрешено было обществом не голодать. И только врачам и санитарам — работать. Кухня сварила раз— вылила, ещё сварила— ещё вылила, и перестала варить. Придурки в первый день, кажется, показались начальству, объяснили, что никак им нельзя, — и ушли.

И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лёг ров между надсмотрщиками— и рабами.

Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребённых трупов, лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону.

Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже ис-

пытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне представлялась озёрами насыщения.

Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: «умри ты сегодня, а я завтра!» И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем ещё и завтра так жить.

В комнатах бараков установилось какое–то торжественно–любовное отношение друг к другу. Всякий остаток еды, который был у кого–нибудь, особенно у посылочников, сносился теперь в общее место, на разостланную тряпочку, и потом по общему решению секции одна пища делилась, другая откладывалась на завтра. (В каптёрке личных продуктов у посылочников могло быть ещё изрядно еды, но, во–первых, в каптёрку, через зону, не было ходу, а во–вторых, и не всякий был бы рад принести сюда свои остатки: ведь он рассчитывал подправиться после голодовки. Вот почему голодовка была испытанием неравным, как и всякая тюрьма вообще, и настоящую доблесть выказали те, у кого не было ничего в запасе

и никаких надежд подправиться потом.) И если была крупа, то её варили в топке печи и раздавали ложками. Чтоб огонь был ярее, — отламывали доски от вагонок. Жалеть ли казённое ложе, если собственная жизнь может не протянуться на завтра!

Что будут делать хозяева— никто не мог предсказать. Ожидали, что хоть и снова начнётся с вышек автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоёвывали у них— и горечью безнадёжности веяло от нашей забастовки.

Но в безнадёжности этой было что–то удовлетворяющее. Вот мы сделали бесполезный, отчаянный шаг, он не кончится добром— и хорошо. Голодало наше брюхо, щемили сердца — но напитывалась какая–то другая высшая потребность. В голодные долгие эти дни, вечера, ночи три тысячи человек размышляли про себя о своих трёх тысячах сроках, о своих трёх тысячах семьях или бессемейности, о том, что с каждым было, что будет, и хотя в таком обилии грудных клеток по–разному должно было клониться чувство, было и прямое сожаление у кого–то, и отчаяние, — а всё–таки большая часть склонялась: так и надо! назло! плохо — и хорошо, что плохо!

Это тоже закон неизученный — закон общего взлёта массового чувства, вопреки всякому разуму. Этот взлёт я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в эту заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока. А между тем я ни о чём не жалел. Кобелю вас под хвост, давайте хоть и второй срок!..

На другой день мы увидели в окна, как группа офицеров направляется от барака к бараку. Наряд надзирателей отпер дверь, прошёл по коридорам и, заглядывая в комнаты, вызывал (по–новому, мягко, не как прежде на быдло): «Бригадиры! На выход!»

У нас началось обсуждение. Решали не бригадиры, а бригады. Ходили из секции в секцию, советовались. У нас было двоякое положение: стукачи были искоренены из нашей среды, но иные ещё подозревались, даже наверняка были, — как скользкий, смело держащийся Михаил Генералов, бригадир авторемонтников. Дай просто знание жизни подсказывало, что многие сегодняшние забастовщики, голодающие во имя свободы, завтра будут раскалываться во имя покойного рабства. Поэтому те, кто направляли

забастовку (такие были, конечно), не выявлялись, не выступали из подполья. Они не брали власти открыто, бригадиры же от своей открыто отреклись. Оттого казалось, что мы бастуем как бы по течению, никем не руководимые.

Наконец незримо где–то выработалось решение. Мы, бригадиры, человек шесть–семь, вышли в сени к терпеливо ожидавшему нас начальству (это были сени того самого барака–2, недавней режимки, откуда шёл подкоп–метро и самый их лаз начинался в нескольких метрах от нынешней нашей встречи). Мы прислонились к стенам, опустили глаза и замерли как каменные. Мы опустили глаза потому, что смотреть на хозяев взглядом подхалимным не хотел уже никто, а мятежным — было бы неразумно. Мы стояли, как заядлые хулиганы, вызванные на педсовет, — в расхлябанных позах, руки в карманах, головы набок и в сторону— невоспитуемые, непробиваемые, безнадёжные.

Зато из обоих коридоров к сеням подперла толпа зэков и, прячась за передних, задние кричали всё, что хотели: наши требования и наши ответы.

Офицеры же с голубыми каймами погонов (среди знакомых— и новые, доселе не виданные

нами) формально видели одних бригадиров и говорили им. Они обращались сдержанно. Они уже не стращали нас, но и не сходили ещё к равному тону. Они говорили, что в наших якобы интересах— прекратить забастовку и голодовку. В этом случае будет нам выдана не только сегодняшняя пайка, но и— небывалое в ГУЛАГе! — вчерашнего дня. (Как привыкли они, что голодных всегда можно купить!) Ничего не говорилось ни о наказаниях, ни о наших требованиях, как будто их не существовало.

Надзиратели стояли по бокам, держа правые руки в карманах.

Из коридора кричали:

— Судить виновников расстрела!

— Снять замки с бараков!

— Снять номера!

В других бараках требовали ещё: пересмотра ОСОвских дел открытыми судами.

А мы стояли, как хулиганы перед директором, — скоро ли он отвяжется.

Хозяева ушли, и барак был снова заперт.

Хотя голод уже притомил многих, головы были неясные, тяжёлые, — но в бараке ни голоса не раздалось, что надо было уступить. Никто не сожалел вслух.

Гадали— как высоко дойдёт известие о нашем мятеже. В Министерстве внутренних дел, конечно, уже знали или сегодня узнают, — но Ус? Ведь этот мясник не остановится расстрелять и всех нас, пять тысяч.

К вечеру слышали мы гудение самолёта где–то поблизости, хотя стояла нелётная облачная погода. Догадывались, что прилетел кто–нибудь ещё повыше.

Бывалый зэк, сын ГУЛАГа, Николай Хлебунов, близкий к нашим бригадам, а сейчас, после девятнадцати отсиженных лет устроенный где–то на кухне, ходил в этот день по зоне и успел и не побоялся принести и бросить нам в окно мешочек с полпудом пшена. Его разделили между семью бригадами и потом варили ночью, чтобы не наскочил надзор.

Хлебунов передал тяжёлую весть: за «китайской стеной» 2–й лагпункт, украинский, не поддержал нас. И вчера, и сегодня украинцы выходили на работу как ни в чём не бывало. Сомнений не было, что они получили наши записки, и слышат двухдневную нашу тишину, и с башенного крана строительства видят двухдневное наше безлюдье после ночной стрельбы, не встречают в поле наших колонн. И тем не

менее — они нас не поддержали… (Как мы узнали потом, молодые парни, их вожаки, ещё не искушённые в настоящей политике, рассудили, что у Украины— судьба своя, от москалей отдельная. Так ретиво начав, они теперь отступались от нас.) Нас было, значит, не пять тысяч, а только три.

И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями.

Но когда чекисты, ещё более многочисленные, на третье утро снова вызвали бригадиров в сени и мы опять пошли и стали, неохотливые, непроницаемые, воротя морды, — решение общее было: не уступать! Уже у нас появилась инерция борьбы.

И хозяева только придали нам силы. Новоприехавший чин сказал так:

— Управление Песчаного лагеря просит заключённых принять пиьиу. Управление примет все жалобы. Оно разберёт и устранит причины конфликта между администрацией и заключёнными.

Не изменили нам уши? Нас просят принять пиьцуЧ — а о работе даже ни слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гонялись за надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем — а конфликт между! — между

равными сторонами — администрацией и заключёнными!

Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться — и как же наши душевладельцы изменили тон! Никогда за всю жизнь, не только арестантами, но вольными, но членами профсоюза, не слышали мы от хозяев таких елейных речей!

Однако мы молча стали расходиться — ведь решить–то никто не мог здесь. И пообещать решить — тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв голов, не обернувшись, хотя начальник ОЛПа по фамилиям окликал нас.

То был наш ответ.

И барак заперся.

Снаружи он казался хозяевам таким же немым и неуступчивым. Но внутри по секциям началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн! Мягкость тона тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса— уступить. Чего большего мы могли достигнуть, в самом деле?..

Мы устали! Мы хотели есть! Тот таинственный закон, который спаял наши чувства и нёс их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать.

Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые молчали всю жизнь— и промолчали бы её до смерти. Их слушали, конечно, и недобитые стукачи. Эти призывы позвончавшего, на несколько минут обретённого голоса (в нашей комнате— Дмитрий Панин), должны были окупиться потом новым сроком, петлёй на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в первый раз делали то, для чего созданы.

Уступить сейчас? — значит, сдаться на честное слово. Честное слово чьё? — тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря, — когда ж они выполнили хоть одно своё слово?!

Поднялась давно осаждённая муть страданий, обид, издевательств. В первый раз мы стали на верную дорогу — и уже уступить? В первый раз мы почувствовали себя людьми — и скорее сдаться? Весёлый злой вихорок обдувал нас и поз–набливал: продолжать! продолжать! Ещё не так они с нами заговорят! Уступят! (Но когда и в чём можно будет им поверить? Это оставалось неясным всё равно. Вот судьба угнетённых: нам неизбежно — поверить и уступить…)

И кажется, опять ударили крылья орла— ор-

ла нашего слитого двухсотенного чувства! Он поплыл!

А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пустяках. Довольно дела нам осталось — думать.

Давно кончились в бараке последние крошки. Уже никто ничего не варил, не делил. В общем молчании и неподвижности слышались только голоса молодых наблюдателей, прильнувших к окнам: они рассказывали нам обо всех передвижениях по зоне. Мы любовались этой двадцатилетней молодёжью, её голодным светлым подъёмом, её решимостью умереть на пороге ещё не начинавшейся жизни — но не сдаться! Мы завидовали, что в наши головы истина пришла с опозданием, а позвонки спинные уже костенеют на пригорбленной дужке.

Я думаю, что могу уже теперь назвать Янека Барановского, Володю Трофимова.

И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе показалось закатное солнце, — наблюдатели крикнули с горячей досадой:

— Девятый барак!.. Девятый сдался!.. Девятый идёт в столовую!

Мы вскочили все. Из комнат другой стороны

прибежали к нам. Через решётки, с нижних и верхних нар вагонок, на четвереньках и через плечи друг друга, мы смотрели, замерев, на это печальное шествие.

Двести пятьдесят жалких фигурок— чёрных и без того, ещё более чёрных против заходящего солнца — тянулись наискосок по зоне длинной покорной, униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверной бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли, — и не хотели за ними. Некоторых, самых ослабевших, вели под руку или за руку, и при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих слепцов. А ещё у многих в руках были котелки или кружки — и эта жалкая лагерная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильный, чтобы проглотить его сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за подаянием, — была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогательной.

Я почувствовал, что плачу. Покосился, стирая слёзы, и у товарищей увидел их же.

Слово 9–го барака было решающим. Это у них уже четвёртые сутки, с вечера вторника, лежали убитые.

Они шли в столовую, и тем самым получалось, что за пайку и кашу они решили простить убийц.

Девятый барак был голодный барак. Там были сплошь разнорабочие бригады, редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть, они сдались, чтоб не было ещё новых трупов?..

Мы расходились от окон молча.

И тут я понял, что значит польская гордость — ив чём же были их самозабвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был прорабом, — никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, вежлив, мягок.

А сейчас— исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом крикнул:

— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду! Взобрался наверх вагонки, отвернулся к стене и— не

встал! Он не получал посылок, он был одинок, всегда не сыт—

и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него — бестелесной Свободы!

Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался?

Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу — навёрстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли. («Пир победителей», — пошутил Панин, уже знавший мою пьесу.) Да ласковые хозяева ещё раз обещали, что все законные просьбы (однако: кто знал и определял, что законно?..) будут удовлетворены.

А между тем роковая мелочь: некий Володька Пономарёв, сука, все дни забастовки бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза, — бежал на вахту. Это значит— он бежал предать и за зоной миновать ножа.

В этом побеге Пономарёва для меня отлилась вся суть блатного мира. Их мнимое благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно друга. Но, попав в круговорот революции, они непременно сподличают. Они не могут понять никаких принципов, только силу.

Можно было догадаться, что готовят аресты

зачинщиков. Но объявляли, что, напротив, — приехали комиссии из Караганды, из Алма–Аты, из Москвы и будут разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на линейке, сели чины какие–то в белых полушубках и валенках и предложили подходить с жалобами. Многие шли, говорили. Записывалось.

А во вторник после отбоя собрали бригадиров — «для предъявления жалоб». На самом деле это совещание было ещё одной подлостью, формой следствия: знали, как накипело у арестантов, и давали высказаться, чтобы потом арестовывать верней.

Это был мой последний бригадирский день: у меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда, по–лагерному, это будет «удобно». В январе и особенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас — удобно, и росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание.

Его собрали в предбаннике— просторной комнате. Вдоль парикмахерских мест поставили длинный стол президиума, за него сели один полковник МВД, несколько подполковников,

остальные помельче, а наше лагерное начальство и совсем терялось во втором ряду, за их спинами. Там же, за спинами, сидели записывающие — они всё собрание вели поспешные записи, а из первого ряда им ещё повторяли фамилии выступающих.

Выделялся один подполковник из Спецотдела или из Органов — очень быстрый, умный, хваткий злодей с высокой узкой головой, и этой хваткостью мысли и узостью лица как бы совсем не принадлежавший к тупой чиновной своре.

Бригадиры выступали нехотя, их почти вытягивали из густых рядов — подняться. Едва начинали они что–то говорить своё, их сбивали, приглашали объяснить: за что режут людей? и какие были цели у забастовки? И если злополучный бригадир пытался как–то ответить на эти вопросы — за что режут и какие требования, на него тут же набрасывались сворой: а откуда вам это известно? значит, вы связаны с бандитами? тогда назовите их!!

Так благородно и на вполне равных началах выясняли они «законность» наших требований…

Прерывать выступавших особенно старался высокоголо–вый злодей–подполковник, очень хорошо у него был подвешен язык и имел он

перед нами преимущество безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все выступления, и уже начал складываться такой тон, что во всём обвиняли нас, а мы оправдывались.

Во мне подступало, толкало переломить это. Я взял слово, назвал фамилию (её как эхо повторили для записывающего). Я поднимался со скамьи, зная, что из собравшихся тут вряд ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы грамматически законченную фразу. Одного только я вовсе не представлял — о чём я могу им говорить? Всё то, что написано вот на этих страницах, что было нами пережито и передумано все годы каторги и все дни голодовки, — сказать им было всё равно что орангутангам. Они числились ещё русскими и ещё как–то умели понимать русские фразы попроще, вроде «разрешите войти!», «разрешите обратиться!». Но когда сидели они вот так, за длинным столом, рядом, выявляя нам свои однообразно–без–мыслые белые упитанные благополучные физиономии, — так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип, и последняя словесная связь между нами порывается безнадёжно, и остаётся — пулевая.

Только долгоголовый ещё не ушёл в орангутан-

ги, он отлично слышал и понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании состязание молниеносных реплик:

— А где вы работаете?

(Спрашивается, не всё ли равно, где я работаю?)

— На мехмастерских! — швыряю я через плечо и ещё быстрей гоню основную фразу.

— Там, где делают ножи? — бьёт он меня спрямака.

— Нет, — рублю я с косого удара, — там, где ремонтируются шагающие экскаваторы]— (Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль.)

И гоню дальше, дальше, чтобы приучить их прежде всего молчать и слушать.

Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх:

— Вас делегировали сюда бандиты?

— Нет, пригласили вы\ — торжествующе секу я его сплеча и продолжаю, продолжаю речь.

Ещё раза два он выпрыгивает и полностью смолкает, отражённый. Я победил.

Победил — но для чего? Один год! Один год остался мне и давит. И язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы

сказать сейчас бессмертную речь— но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы её всё равно — но если бы меня транслировали по всему миру! Нет, слишком мала аудитория.

И я не говорю им, что лагеря наши— фашистского образца, а в чём–то и поизощрённей. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск, — и вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утерявших облик советских воинов, помогающих растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же убийц. Затем я рисую надзорсостав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих зэков разворовывать для них строительство (так это и есть, только начинается это с офицеров, сидящих здесь). И какое развоспитывающее действие это производит на заключённых, желающих исправиться.

Мне самому не нравится моя речь, вся выгода её только в выигрыше темпа.

В завоёванной тишине поднимается бригадир Т. и медленно, почти косноязычно, от сильного волнения или отроду так, он говорит:

— Я соглашался раньше… когда другие заключённые говорили. .. что живём мы — как

собаки…

Полкан из президиума насторожился. Т. мнёт шапку в руке, стриженый каторжник, некрасивый, с лицом ожесточённым, искривлённым, так трудно найти ему правильные слова…

— … Но теперь я вижу, что был не прав. Полкан проясняется.

— Живём мы — гораздо хуже собак! — с силой и быстротой заворачивает Т., и все сидящие бригадиры напрягаются. — У собаки один номер на ошейнике, а у нас четыре. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают! Собаку с вышки не стреляют! Собакам не лепят по двадцать пятъ\

Теперь его можно хоть и перебивать — он главное высказал.

Встаёт Черногоров, представляется как бывший Герой Советского Союза, встаёт ещё бригадир, говорят смело, горячо. В президиуме настойчиво и подчёркнуто повторяют их фамилии.

Может быть, это всё на погибель нашу, ребята… А может быть, только от этих ударов головой и развалится проклятая стена.

Совещание кончается вничью.

Несколько дней тихо. Комиссии больше не видно, и всё так мирно идёт на лагпункте, как будто

ничего и не было.

Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я— первый, кого туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко, который должен меня оперировать, зовёт меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надёжный будет у меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает. Лицо его темно от общего нашего страдания.

О, как одно и то же, но в разных жизнях воспринимается нами в разном масштабе! Вот эта самая опухоль, по–видимому раковая, — какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слёзы близких. А здесь, когда головы так легко отлетают от туловищ, этаже самая опухоль— только повод полежать, я о ней и думаю мало.

Я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива— им не на чем лежать, всё ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель — железной трубою (память, память! — фамилии сейчас не вспомню). Кто–то уже умер от ран.

А новости обгоняют одна другую: на «российском» лагпункте началась расправа. Арестовали

сорок человек. Опасаясь нового мятежа, сделали это так: до последнего дня всё было по–прежнему добродушно, надо было думать, что хозяева разбираются, кто там из них виноват. Только в намеченный день, когда бригады уже проходили ворота, они замечали, что их принимает удвоенный и утроенный конвой. Задумано было взять жертвы так, чтобы ни друг другу мы не помогли, ни стены бараков или строительства— нам. Выведя из лагеря, разведя колонны по степи, но никого ещё не доведя до цели, начальники конвоя подавали команду: «Стой! Оружие— к бою! Патроны — дослать! Заключённые — садись! Считаю до трёх, открываю огонь— садись! Все— садись!»

И снова, как в прошлогоднее крещение, рабы, беспомощные и обманутые, скованы на снегу. И тогда офицер разворачивал бумагу и читал фамилии и номера тех, кому надо было встать и выйти за оцепление из бессильного стада. И уже отдельным конвоем эту группку в несколько мятежников уводили назад или подкатывал за ними воронок. А стадо, освобождённое от ферментов брожения, поднимали и гнали работать.

Так воспитатели наши объяснили нам, можно ли им когда–нибудь в чём–нибудь верить.

Выдёргивали в тюрьму и среди опустевшей на день зоны лагпункта. И через ту четырёхметровую стену, через которую забастовка перевалиться не смогла, аресты перепорхнули легко и стали клевать в украинском лагпункте. Как раз накануне назначенной мне операции арестовали и хирурга Янченко, тоже увели в тюрьму.

Аресты или взятия на этап — это трудно было различить — продолжались теперь уже без первичных предосторожностей. Отправляли куда–то маленькие этапы человек по двадцать–по тридцать. И вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек в семьсот. Этап особого режима: этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники. Возмездие судьбы! Украинцы, оберегавшие себя от помощи москалям, шли на этот этап гуще, чем мы.

Правда, перед самым их отъездом они салютовали нашей разбитой забастовке. Новый Деревообделочный комбинат, сам весь тоже зачем–то из дерева (в Казахстане, где леса нет, а камня много!), — по невыясненным причинам (знаю точно, был поджог) загорелся сразу из нескольких мест— и в два часа сгорело три миллиона рублей. Тем, кого везли расстреливать, это было как похороны викинга — древний скандинавский обычай

вместе с героем сжигать и его ладью.

Я лежу в послеоперационной. В палате я один: такая заваруха, что никого не кладут, замерла больница. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, — избушка морга, и в ней уже который день лежит убитый доктор Корнфельд, хоронить которого некому и некогда. (Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей палатой и, чтобы упростить счёт, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату: «и здесь два». И записывает в дощечку.)

В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на моё этапирование с незажившими швами. Я— чувствовал и ждал, как придут— откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли.

Павел Баранюк, тоже вызванный на этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за зоной— всё, как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что–то утопляемое под ногами, и, если когда–нибудь увидимся, — это будет совсем другая страна. А

на всякий случай — прощай, друг! Прощайте, друзья!

* * *

Потянулся томительный тупой год — последний мой год вЭкибастузе и последний сталинский год на Архипелаге. Лишь немногих, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули в зону. А многих–многих, кого мы за эти годы узнали и полюбили, увезли: кого — на новое следствие и суд; кого в изоляцию по нестираемой галочке на деле (хотя бы арестант давно стал ангелом); кого в джезказганские рудники; и даже был такой этап «психически неполноценных» — запекли туда Кишкина–шутника и устроили врачи молодого Володю Гершуни.

Взамен уехавших выползали из «камеры хранения» по одному стукачи: сперва боязливо, оглядываясь, потом наглей и наглей. Вернулся в зону «сука продажная» Володька Пономарёв и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных крох, собранных обездоленными семьями, старый чекист Максименко поручил отъявленному вору.

Оперуполномоченные опять вызывали к себе в кабинеты сколько хотели и кого хотели. Душная

была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, спешили нагнуться и спрятать их. Яне вернулся больше на должность бригадира (уже и бригадиров опять хватало), а стал подсобником в литейке. Работать приходилось в тот год много, и вот почему. Как единственную уступку после разгрома всех наших просьб и надежд Управление лагеря дало нам хозрасчёт, то есть такую систему, при которой труд, совершённый нами, не просто канывал в ненасытное хайло ГУЛАГа, но оценивался, и 45% его считалось нашим заработком (остальное шло государству). Из этого «заработка» 70% забирал лагерь на содержание конвоя, собак, колючки, БУРа, оперуполномоченных, офицеров режимных, цензорных и воспитательных, — всего, без чего мы не могли бы жить, — зато оставшиеся 30–10% всё же записывали на лицевой счёт заключённого, и хоть не все эти деньги, но часть их (если ты ни в чём не провинился, не опоздал, не был груб, не разочаровал начальства) можно было по ежемесячным заявлениям переводить в новую лагерную валюту— боны, и эти боны тратить. И так была построена система, что чем больше ты лил пота и отдавал крови, тем ближе ты подходил к 30%, а если ты горбил недостаточно, то весь труд твой уходил на лагерь,

а тебе доставался шиш.

И большинство— о, это большинство нашей истории, особенно когда его подготавливают изъятиями! — большинство было заглатывающе радо такой уступке хозяев и теперь укладывало своё здоровье на работе, лишь бы купить в ларьке сгущённого молока, маргарина, поганых конфет или в «коммерческой» столовой взять себе второй ужин. А так как расчёт труда вёлся по бригадам, то и всякий, кто не хотел укладывать своё здоровье за маргарин, — должен был класть его, чтобы товарищи заработали.

Гораздо чаще прежнего стали возить в зону и кинофильмы. Как всегда в лагерях, в деревнях, в глухих посёлках, презирая зрителей, не объявляли названия загодя— свинье ведь тоже не объявляется заранее, что будет вылито в её корыто.

Всё равно заключённые— дане те ли самые, которые зимой так героически держали голодовку?! — теперь толпились, захватывали места за час до того, как ещё занавесят окна, нимало не беспокоясь, стоит ли этого фильм.

Хлеба и зрелищ. Так старо, что и повторять неудобно…

Нельзя было упрекнуть людей, что после столь-

ких лет голода они хотят насытиться. Но пока мы насыщались здесь, — тех товарищей наших, кто изобрёл бороться, или кто в январские дни кричал в бараках «не сдадимся!», или даже вовсе ни в чём не замешанных, — где–то сейчас судили, одних расстреливали, других увозили на новый срок в закрытые изоляторы, третьих изводили новым и новым следствием, вталкивали для внушения в камеры, испестрённые крестами приговорённых к смерти, и какой–нибудь змей–майор, заходя в их камеру, улыбался обещающе: «А, Панин! Помню–помню. Вы проходите по нашему делу, проходите! Мы вас оформим!»

Прекрасное слово — оформитьі Оформить можно на тот свет, и оформить можно на сутки карцера, и выдачу поношенных штанов тоже можно — оформить. Но дверь захлопнулась, змей ушёл, улыбаясь загадочно, а ты гадай, ты месяц не спи, ты месяц бейся головой о камни — как именно собираются тебя оформить?..

Об этом только рассказывать легко.

Вдруг собрали в Экибастузе этапик ещё человек на двадцать. Странный какой–то этап. Собирали их неспешно, без строгостей, без изоляции— почти так, как собирают на освобождение. Но никому из них не подошёл ещё конец срока. И не

было среди них ни одного заклятого зэка, которого хозяева изводят карцерами и режимками, нет, это были всё хорошие заключённые, на хорошем у начальства счету: всё тот же скользкий самоуверенный бригадир авторемонта Михаил Михайлович Генералов, и бригадир станочников хитро–простоватый Белоусов, и инженер–технолог Гультяев, и очень положительный, степенный, с фигурой государственного деятеля московский конструктор Леонид Райков; и милейший «свой в доску» токарь Женька Милюков с блинно–смазливым лицом; и ещё один токарь грузин Кокки Кочерава, большой правдолюб, очень горячий к справедливости перед толпою.

Куда ж их? По составу ясно, что не на штрафной. «Да вас в хорошее место! Да вас расконвоируют!» — говорили им. Но ни у одного ни на минуту не проблеснула радость. Они уныло качали головами, нехотя собирали вещи, почти готовые оставить их здесь, что ли. У них был побитый, паршивый вид. Неужели так полюбили они беспокойный Экибастуз? Они и прощались какими–то неживыми губами, неправдоподобными интонациями. Увезли.

Но не дали времени их забыть. Через три недели слух: их опять привезли! Назад? Да. Всех? Да…

Только они сидят в штабном бараке и по своим баракам расходиться не хотят.

Лишь этой чёрточки не хватало, чтобы завершить экиба–стузскую трёхтысячную забастовку, — забастовки предателей!.. То–то так не хотелось им ехать! В кабинетах следователей, закладывая наших друзей и подписывая иудины протоколы, они надеялись, что келейной тишиной всё и кончится. Ведь это десятилетиями у нас: политический донос считается документом неоспоримым и лицо сексота не открывается никогда. Но что–то было в нашей забастовке — необходимость ли оправдаться перед своими высшими? — что заставило хозяев устроить где–то в Караганде большой юридический процесс. И вот этих взяли в один день — и, посмотрев друг другу в беспокойные глаза, они узнали о себе и о других, что едут свидетелями на суд. Да ничто б им суд, а знали они гулагов–ское послевоенное установление: заключённый, вызванный по временным надобностям, должен быть возвращён в прежний лагерь. Да им обещали, что в виде исключения оставят их в Караганде. Да какой–то наряд и был выписан, но не так, неправильно, — и Караганда отказалась.

И вот они три недели ездили. Их гоняли из

вагон–заков в пересылки, из пересылок в вагон–заки, им кричали: «садись на землю!», их обыскивали, отнимали вещи, гоняли в баню, кормили селёдкой и не давали воды, — всё, как изматывают обычных, не благонастроенных зэков. Потом под конвоем их водили на суд, они ещё раз посмотрели в лица тем, на кого донесли, там они забили гвозди в их гробы, навесили замки на их одиночные камеры, домотали им километры лет до новых катушек — и опять черезо все пересылки привезены и, разоблачённые, выброшены в прежний лагерь.

Они больше не нужны. Доносчик — как перевозчик…

И кажется, — разве лагерь не замирён? Разве не увезена отсюда почти тысяча человек? Разве мешает им теперь кто–нибудь ходить в кабинет кума?.. А они — нейдут из штаба. Они забастовали—и не хотят в зону! Один Кочерава решается нагло сыграть прежнего правдолюбца, он идёт в бригаду и говорит:

— Нэ знаем, зачем возили! Возили–возили, назад привезли…

Но на одну только ночь и на один только рассвет хватает его дерзости. На следующий день он убегает в комнату штаба, к своим.

Э–э, значит, не впустую прошло то, что прошло, и не зря легли и сели наши товарищи. Воздух лагеря уже не может быть возвращён в прежнее гнетущее состояние. Подлость реставрирована, но очень непрочно. О политике в бараках разговаривают свободно. И ни один нарядчик и ни один бригадир не осмелится пнуть ногой или замахнуться на зэка. Ведь теперь все узнали, как легко делаются ножи и как легко вонзаются под ребрину.

Наш островок сотрясся — и отпал от Архипелага…

Но это чувствовали в Экибастузе, едва ли— в Караганде. А в Москве наверняка не чувствовали. Начался развал системы Особлагов— водном, другом, третьем месте, — Отец же и Учитель об этом понятия не имел, ему, конечно, не доложили (да не умел он ни от чего отказываться, и от каторги бы не отказался, пока под ним стул бы не загорелся). Напротив, для новой ли войны, он намечал в 1953 году большую новую волну арестов, а для того в 1952 расширял систему Особлагов. И так постановлено было Экибастузский лагерь из лаготделе–ния то Степлага, то Песчанлага обратить в головное отделение нового крупного прииртышского Особого лагеря (пока условно на-

званного Дальлагом). И вот сверх уже имевшихся многочисленных рабовладельцев приехало в Экибастуз целое новое Управление дармоедов, которых мы тоже должны были всех окупить своим трудом.

Обещали не заставить себя ждать и новые заключённые.

* * *

А зараза свободы тем временем передавалась — куда ж было деть её с Архипелага? Как когда–то дубовские привезли её нам, так теперь наши повезли её дальше. В ту весну во всех уборных казахстанских пересылок было написано, выскребле–но, выдолблено: «Привет борцам Экибастуза!»

И первое изъятие «центровых мятежников», человек около сорока, и из большого февральского этапа 250 самых «отъявленных» были довезены до Кенгира (посёлок Кенгир, а станция Джезказган) — 3–го лаготделения Степлага, где было и Управление Степлага, и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных штрафных экибастузцев разделили между 1–ми 2–м отделениями Степлага (Рудник).

Для устрашения восьми тысяч кенгирских

зэков объявлено было, что привезены бандиты. От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках. Так закованною легендой вошло наше движение в рабский ещё Кенгир, чтоб разбудить и его. Как в Экибастузе год назад, здесь ещё господствовали кулак и донос.

До апреля продержав четверть тысячи наших в тюрьме, начальник Кенгирского лаготделения подполковник Фёдоров решил, что достаточно они устрашены, и распорядился выводить на работу. По централизованному снабжению было у них 125 пар новеньких никелированных наручников последнего коммунистического образца — а сковывая двоих по одной руке, как раз на 250 человек (этим, наверное, и определилась принятая Кенгиром порция).

Одна рука свободна — это можно жить! В колонне было уже немало ребят с опытом лагерных тюрем, тут и тёртые беглецы (тут и Тэнно, присоединённый к этапу), знакомые со всеми особенностями наручников, и они разъяснили соседям по колонне, что при одной свободной руке ни черта не стоит эти наручники снять — иголкой и даже без иголки.

Когда подошли к рабочей зоне, надзиратели стали снимать наручники сразу в разных местах

колонны, чтоб неумед–ля начать рабочий день. Тут–то и стали умельцы проворно снимать наручники с себя и с других и прятать под полу: «А у нас уже другой надзиратель снял!» Надзору и в голову не пришло посчитать наручники, прежде чем запустить колонну, а при входе на рабочий объект её не обыскивают никогда.

Так в первое же утро наши ребята унесли 23 пары наручников из 125 пар! Здесь, в рабочей зоне, их стали разбивать камнями и молотками, но скоро догадались острей: стали заворачивать их в промасленную бумагу, чтоб сохранились лучше, и вмуровывали в стены и фундаменты домов, которые клали в тот день (20–й жилой квартал, против Дворца Культуры Кенгира), сопровождая их идеологически несдержанными записками: «Потомки! Эти дома строили советские рабы. Вот такие наручники они носили».

Надзор клял, ругал бандитов, а на обратную дорогу всё же поднёс ржавых, старых. Но как ни стерёгся он — у входа в жилую зону ребята стащили ещё шесть. В два следующих выхода на работу— ещё по несколько. А каждая пара их стоила 93 рубля.

И — отказались кенгирские хозяева водить ребят в наручниках.

В борьбе обретёшь ты право своё!

К маю стали экибастузцев постепенно переводить из тюрьмы в общую зону.

Теперь надо было обучать кенгирцев уму–разуму. Для начала учинили такой показ: придурка, по праву сунувшегося в ларёк без очереди, придушили не до смерти. Довольно было для слуха: что–то новое будет! не такие приехали, как мы. (Нельзя сказать, чтоб до того в джезказганском лагерном гнезде совсем не трогали стукачей, но это не стало направлением. В 1951 в тюрьме Рудника как–то вырвали ключи у надзирателя, открыли нужную камеру и зарезали там Казлаускаса.)

Теперь создались и в Кенгире подпольные Центры — украинский и «всероссийский». Приготовлены были ножи, маски для рубиловки — и вся сказка началась сначала.

«Повесился» на решётке в камере Войнилович. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лифшиц, член реввоенсовета в Гражданскую войну на фронте против Дутова. (Лифшиц был благополучным библиотекарем КВЧ на лаготделении Рудник, но слава его шла впереди, и в Кенгире он был зарезан в первый же день по прибытии.) Венгр–комендант зарублен был около бани топорами. И, открывая дорожку в

«камеру хранения», побежал туда первым Сауер, бывший министр советской Эстонии.

Но и лагерные хозяева уже знали, что делать. Стены между четырьмя лагпунктами здесь были давно. А теперь придумали окружить своей стеной каждый барак — и восемь тысяч человек в свободное время начали над этим работать. И разгородили каждый барак на четыре несообщающиеся секции. И все маленькие зонки и каждая секция брались под замки. (Всё–таки в идеале надо было бы разделить весь мир на одиночки!)

Старшина, начальник кенгирской тюрьмы, был профессиональный боксёр. Он упражнялся на заключённых, как на грушах. Ещё у него в тюрьме изобрели бить молотом через фанеру, чтобы не оставлять следов. [Практические работники МВД, они знали, что без побоев и убийств перевоспитание невозможно; и любой практический прокурор был с ними согласен. Но ведь мог наехать и теоретик! — вот из–за этого маловероятного приезда теоретика приходилось подкладывать фанеру.) Один западный украинец, измученный пытками и боясь выдать друзей, повесился. Другие вели себя хуже. И прогорели оба Центра.

К тому же среди «боевиков» нашлись жадные

проходимцы, желавшие неуспеха движению, а добра себе. Они требовали, чтобы им дополнительно носили с кухни и ещё выделяли «от посылок». Это тоже помогло очернить и пресечь движение.

Среди тех, кто идёт путём насилия, вероятно, это неизбежно. Думаю, что налётчики Камо, сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми. И чтобы руководивший ими Коба остался без денег на вино? Когда в военный коммунизм по всей Советской России запрещено было употребление вина, держал же он себе в Кремле винный погреб, мало стесняясь.

Как будто пресекли. Но присмирели от первой репетиции и стукачи. Всё же кенгирская обстановка очистилась.

Семя было брошено. Однако произрасти ему предстояло не сразу и— иначе.

* * *

Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не куёт, особенно если она сопротивляется передовому развитию, но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже повизгивать не смели. Теперь

говорят: никто ничего не понимал— ни хвост не понимал, ни авангард не понимал, а самая старая гвардия только понимала, но избрала отравиться в углу, застрелиться в дому, на пенсии тихо дожить, только бы не крикнуть нам с трибуны.

И тот освободительный жребий достался самим нам, малюткам. Вот в Экибастузе, пять тысяч плечей подведя под эти своды и поднапрягшись, — трещинку мы всё–таки вызвали. Пусть маленькую, пусть издали не заметную, пусть сами больше надорвались, — ас трещинок разваливаются пещеры.

Были волнения и кроме нас, кроме Особлагов, но всё кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто швабрами, что даже скудный перечень лагерных волнений мне сейчас невозможно установить. Вот узнал случайно, что в 1951, в сахалинском ИТЛовеком лагере Вахрушево, была пятидневная голодовка пятисот человек с большим возбуждением и арестными изъятиями — после того как трое беглецов были исколоты штыками у вахты. Известно сильное волнение в Озёрлаге после убийства в строю у вахты 8 сентября 1952 года.

Видно, в начале 50–х годов подошла к кризису сталинская лагерная система, и особенно в

Особлагах. Ещё при жизни Всемогущего стали туземцы рвать свои цепи.

Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг — не по законам экономики или общества — остановилась медленная старая грязная кровь в жилах низкорослой рябой личности.

И хотя по Передовой Теории ничто и нисколько от этого не должно было измениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вахтами, и не смели надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на балалайках, доведавшись (их за зону в тот день не выпустили), что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой, — а что–то неведомое в подземельи стало сотрясаться, сдвигаться.

Правда, концемартовская амнистия 1953 года, прозванная в лагерях «ворошиловской», своим духом вполне верна покойнику: холить воров и душить политических. Ища популярности у шпаны, она их, как крыс, распустила на всю страну, предлагая жителям пострадать, решётки ставить себе на вольные окна, а милиции — заново вылавливать всех, прежде выловленных. Пятьдесят же Восьмую она освободила в привычной пропорции: на 2–м лагпункте Кенгира из трёх тысяч человек освободилось… трое.

Такая амнистия могла убедить каторгу только в одном: смерть Сталина ничего не меняет. Пощады им как не было, так и не будет. И если они хотят жить на земле, то надо бороться!

И в 1953 году лагерные волнения продолжались в разных местах— заварушки помельче, вроде 12–го лагпункта Карлага; и крупное восстание в Горлаге (Норильск), о котором сейчас была бы отдельная глава, если бы хоть какой–нибудь был у нас материал. Но никакого.

Однако не впустую прошла смерть тирана. Неведомо отчего что–то скрытое где–то сдвигалось, сдвигалось— и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем ещё одна личность — с самой верхушки лестницы да в самое навозное болото.

И все теперь — и авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы Архипелага поняли: наступила новая пора.

Здесь, на Архипелаге, падение Берии было особенно громовым: ведь он был высший Патрон и Наместник Архипелага!

Офицеры МВД были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио и нельзя было заткнуть этого ужаса назад в репродуктор, а надо было посягнуть снять портреты

этого милого ласкового Покровителя со стен Управления Степлага, полковник Чечев сказал дрожащими губами: «Всё кончено». (Но он ошибся. Он думал— на следующий день будут судить их всех[451].) В офицерах и надзирателях проявилась неуверенность, даже растерянность, остро замечаемая арестантами. Начальник режима 3–го кенгирского лагпункта, от которого зэки взгляда доброго никогда не видели, вдруг пришёл на работу к режимной бригаде, сел и стал угощать режимников папиросами. (Ему надо было рассмотреть, что за искры пробегают в этой мутной стихии и какой опасности от них ждать.)— «Ну, что? — насмешливо спросили его. — Ваш главный–то начальник — враг народа?» — «Да, получилось», — сокрушился режимный офицер. — «Да ведь правая рука Сталина! — скалились режимники. — Выходит— и Сталин проглядел?» — «Да–а–а… — дружески калякал офицер. — Ну что ж, ребята, может освобождать будут, подождите…»

Берия пал, а пятно берианцев он оставил в наследство своим верным Органам. Если до сих пор

---

[451] Примечания: 451

Как приметил Ключевский, на следующий день после освобождения дворян (Указ о Вольностях 18 февраля 1762) освободили и крестьян (19 февраля 1861) — да только через 99 лет!

ни один заключённый, ни один вольный не смел без риска смерти даже помыслом усомниться в кристальности любого офицера МВД, то теперь достаточно было налепить гаду «берианца» — и он уже был беззащитен!

В Речлаге (Воркута) в июне 1953 совпало: большое возбуждение от смещения Берии и приход из Караганды и Тайшета эшелонов мятежников (большей частью западных украинцев). К этому времени ещё была Воркута рабски забита, и приехавшие зэки изумили местных своей непримиримостью и смелостью.

И весь тот путь, который долгими месяцами проходили мы, здесь был пройден в месяц. 22 июля забастовали цемза–вод, строительство ТЭЦ–2, шахты 7–я, 29–я и 6–я. Объекты видели друг друга— как прекращаются работы, останавливаются колёса шахтных копров. Уже не повторяли экибастуз–ской ошибки— не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон, однако— отдай пайку, начальничек! — каждый день подвозили к зонам продукты и вталкивали в ворота. (Я думаю, из–за падения Берии они стали такие исполнительные, а то бы вымаривали.) В бастующих зонах создались забастовочные комитеты, установился «революционный порядок», столовая сразу пере-

стала воровать, и на том же пайке пища заметно улучшилась. На 7–й шахте вывесили красный флаг, на 29–й, в сторону близкой железной дороги… портреты членов Политбюро. А что было им вывешивать?.. А что требовать?.. Требовали снять номера, решётки и замки— но сами не снимали, сами не срывали. Требовали свободной переписки с домом, свиданий, пересмотра дел.

Уговаривали бастующих только первый день. Потом неделю никто не приходил, но на вышках установили пулемёты и оцепили бастующие зоны сторожевым охранением. Надо думать, сновали чины в Москву и из Москвы назад, нелегко было в новой обстановке понять, что правильно. Через неделю зоны стали обходить генерал Масленников, начальник Речлага генерал Деревянко, генеральный прокурор Руденко в сопровождении множества офицеров (до сорока). К этой блестящей свите всех собирали на лагерный плац. Заключённые сидели на земле, генералы стояли и ругали их за саботаж, за «безобразия». Тут же оговаривались, что «некоторые требования имеют основания» («номера можете снять», о решётках «дана команда»). Но— немедленно приступить к работе: «стране нужен уголь!». На 7–й шахте кто–то крикнул сзади: «а нам нужна—

свобода, пошёл ты на ... !»— и стали заключённые подниматься с земли и расходиться, оставив генералитет[452].

Тут же срывали номера, начали выламывать и решётки. Однако уже возник раскол, и дух упал: может, хватит? большего не добьёмся. Ночной развод уже частично вышел, утренний полностью. Завертелись колёса копров, и, глядя друг на друга, объекты возобновляли работу.

А 29–я шахта— за горой, иона не видела остальных. Ей объявили, что все уже приступили к работе, — 29–я не поверила и не пошла. Конечно, не составляло труда взять от неё делегатов, свозить на другие шахты. Но это было бы унизительное цацканье с заключёнными, да и жаждали генералы пролить кровь: без крови не победа, без крови не будет этим скотам науки.

1 августа 11 грузовиков с солдатами проехали к 29–й шахте. Заключённых вызвали на плац, к воротам. С другой стороны ворот сгустились солдаты. «Выходите на работу — или примем жестокие меры!»

Без пояснений— какие. Смотрите на автоматы.

---

[452] Примечания: 452

По другим рассказам, где–то так и вывесили: «Нам — свободу, Родине — угля!» Ведь «нам свободу!» — это уже крамола, скорей добавляют извинительно «родине — угля».

Молчание. Движение людских молекул в толпе. Зачем же погибать? Особенно— краткосрочникам… У кого остался год–два, те толкаются вперёд. Но решительнее их пробиваются другие — и в первом ряду, схватясь руками, сплетают оцепление против штрейкбрехеров. Толпа в нерешительности. Офицер пытается разорвать цепь, его ударяют железным прутом. Генерал Дере–вянко отходит в сторону и даёт команду «огонь!». По толпе.

Три залпа, между ними— пулемётные очереди. Убито 66 человек. (Кто ж убитые? — передние: самые бесстрашные, да прежде всех дрогнувшие. Это— закон широкого применения, он и в пословицах.) Остальные бегут. Охрана с палками и прутьями бросается вслед, бьёт зэков и выгоняет из зоны.

Три дня (1–3 августа) — аресты по всем бастовавшим лагпунктам. Но что с ними делать? Притупели Органы от потери кормильца, не разворачиваются на следствие. Опять в эшелоны, опять везти куда–то, развозить заразу дальше. Архипелаг становится тесен.

Для оставшихся— штрафной режим.

На крышах бараков 29–й шахты появилось много латок из драни— это залатаны дыры от

солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты, не хотевшие стать убийцами.

Но довольно и тех, что били в мишень.

Близ терриконика 29–й шахты кто–то в хрущёвские времена поставил у братской могилы крест— с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили. И кто–то ставил вновь.

Не знаю, стоит ли сейчас. Наверно, нет.

Глава 12. СОРОК ДНЕЙ КЕНГИРА

Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёжило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.

И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой (но без авиационной птички), до сей поры самые почётные, самые несомненные во всех Вооружённых Силах, — вдруг понесли на себе как бы печать порока, и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними) — но не в глазах ли и правительства?

В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату («за звёздочки»), то есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные конечно. Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся не нужны?

Именно из–за того, что пал Берия, охранное

министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?

Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было принимать меры. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.

Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шёл случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным[453].

Застрелили ту девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить напредзонника.

Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по–русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру— с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.

Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключённому собрать и застрелил его.

---

[453] Примечания: 453

Очевидно, такое же ускорение событиям придало лагерное руководство и в других местах, например в Норильске.

Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с Обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)

Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3–й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.

Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто зэков позовут на суд и они проверят!..). Вышли на работу.

Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — евангелиста, как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была— обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. (Всё это время близ зоны Деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляе-

ва — «Боро–давки», названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить всё это убийство.)

Всё в зоне заволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам — он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?..)

Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идёт не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулемётчики, готовые к стрельбе (уже кенгирцам известно было, что — слишком готовые. ..). Пулемётчики дежурили и на крышах конвойного городка.

Это было опять всё на том же 3–м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищённости, обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.

Вечером после ужина сделано было так. В сек-

ции вдруг выключался свет, и от входной двери кто–то невидимый говорил: «Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком.

Брошена была записка через стену и во 2–й лагпункт. Опыт уже был, и обдумано раньше не раз, сумели объявить и там. На 2–м лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетников, и у многих сроки шли к концу— однако они присоединились.

Утром мужские лагпункты— 3–й и 2–й— на работу не вышли.

Такая повадка— бастовать, а от казённой пайки и хлёбова не отказываться — всё больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше — их хозяевами. Придумали: надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки и, вдвоём берясь за одного зэка, — выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по зоне,

только не на развод.

Два дня так они выстояли.

Простая мысль — наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам, уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно, полковник из Караганды с большой свитой: «Долго думаете волынку тянуть?»[454] И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: «Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!» И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: «И я пойду!» — «Иди!» — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был — протест и против чего тут можно было протестовать.

В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и невышедшие на работу

---

[454] Примечания: 454

Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке берлинских волнений в июне 1953 года. Если простые люди где–нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется «справедливый гнев народа», если простые люди у нас добиваются чёрного хлеба — это «волынка».

будут получать штрафной паёк. 2–й лагпункт утром вышел на работу. 3–й не вышел ещё и в третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами: мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались, нагнувшись, между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек: «Ну, подвинься, подвинься, ты же видишь, я подполковник!» И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу, а тех, кто и тут ещё слишком упирался, — в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских тюрем очень стеснял командование — туда помещалось лишь около полутысячи человек.)

Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? и опасно было ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было

оказаться подручным Берии. Но недостаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным[455]. К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка, и не–сокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу.

Применены были и все проверенные ранее способы. В марте–апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!) Человек семьдесят (среди них и Тэнно) были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой: «все меры исправления исчерпаны, разлагающе влияет на заключённых, содержанию в лагере не подлежит». Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того чтобы хозрасчёт, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключённым свободу и справедливость, — в ларьки, до того времени скудные,

[455] Примечания: 455

Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушёл в отпуск, затем след его мы теряем — и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. — Не знаем, как скоро ушёл из Озёрлага его начальник полковник Евстигнеев. «Замечательный руководитель… скромный товарищ», он стал заместителем начальника Братской ГЭС. (У Евтушенко его прошлое не отражено.)

навезли широкий набор продуктов. И даже— о, невозможность! — выдали заключённым аванс, чтобы эти продукты брать. (ГУЛАГ верил туземцу в долг! — это небывало.)

Так второй раз нараставшее здесь, вКенгире, не дойдя до назреву, рассасывалось.

Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой— за блатными. (Ну в самом деле: зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально–близкие'?)

Перед первомайскими праздниками в 3–й мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себя понять, — хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков (в том числе много малолеток). «Прибывает здоровый контингент! — злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. — Теперь вы не шелохнётесь». А к привезенным ворам воззвали: «Вы у нас наведёте порядок!»

И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно порядок начинать: чтоб воровали, чтоб жили за счёт других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дру-

жески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже канючили в развязной своей манере: «Покажи нам баб, начальничек!»

Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3–й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замирённый лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага ГУЛАГа!

* * *

Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54–му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан.

И если это так — что же мешало нам добиться воровского «уважения»— раньше? Все двадцатые, все тридцатые, все сороковые годы мы, Укропы Помидоровичи и Фан Фанычи, так озабоченные своей собственной общемировой ценностью, и содержимым своего сидора, и своими ещё не от-

нятыми ботинками или брюками, — мы держали себя перед ворами как персонажи юмористические: когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своём уголке; а когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей, мы услужливо отдавали этим образинам всё, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не тем, и сердца приготовлены не к этому! Мы никак не ждали ещё этого жестокого низкого врага. Мы терзались извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, вкрасне, на виду у целого мира и только спасая сразу всё человечество. А может быть, на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть, с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между рёбрами и слечь в сыром углу, на парашной слизи, в презренной потасовке с этими крысо–людьми, которым назагрызание бросили нас Голубые. И тогда–то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь и воспрянули бы раньше, выше и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря? В самом

деле, за что было ворам нас уважать?..

Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались с начальством, — пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы, сели поговорить о жизни и сказали им так: «Мы — представители. Какая в Особых лагерях идёт рубиловка— вы слышали, а не слышали — расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас— шестьсот человек, нас— две тысячи шестьсот.

Вы — думайте и выбирайте. Если будете нас давить — мы вас перережем».

Вот этот–то шаг и был мудр и нужен был давно! — повернуться против блатных всем остриём! увидеть в них— главных врагов!

Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей Пятьдесят Восьмой один к четырём идти им не стоит. Покровители — всё–таки за зоной, да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда–нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, — был весёлой небывалой авантюрой, да ещё, кажется, открывал и дорожку— через забор в женскую зону.

И ответили воры: «Нет, мы умнее стали. Мы будем с мужиками вместе!»

Эта конференция не записана в историю, и имена участников её не сохранились в протоколах. А жаль. Ребята были умные.

Ещё в первых же карантинных бараках здоровый контингент отметил своё новоселье тем, что из тумбочек ива–гонок развёл костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же своё с запиранием бараков они выразили, забивая щепками скважины замков.

Две недели воры вели себя как на курорте: выходили на работу, загорали, не работали. О штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло, но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписывать ворам было не из каких сумм. Однако появились у воров боны, они приходили в ларёк и покупали. Обнадёжилось начальство, что здоровый элемент начинает–таки воровать. Но, плохо осведомлённое, оно ошиблось: среди политических прошёл сбор на выручку воров (это тоже было, наверно, частью конвенции, иначе ворам неинтересно), оттуда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нём догадаться!

Вероятно, новизна и необычность игры очень

занимала блатных, особенно малолеток: вдруг относиться к «фашистам» вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки.

Париж прошлого века называл своих блатных (а у него, видимо, их хватало), сведенных в гвардию, — мобили. Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной косной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было вкалывать на казённой работе — но что–то же надо было делать! Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из 3–го лагпункта во 2–й, сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор.

Когда режимные офицеры, или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки–малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком

на затылок — небывалое для ГУЛАГа обращение! — но и обстановка сложилась невиданная. Воры и раньше всегда считали своих гулаговских отцов — дураками, они тем больше презирали их всегда, чем те индюшачее верили в успехи перековки, они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с тачкою в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы блатных как раз против хозяев.

Так, имея низкий административный рассудок и лишённые высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кенгирский взрыв: сперва бессмысленными застрелами, потом — вливом воровского горючего в этот накалённый воздух.

События шли неотвратимо. Нельзя было политическим не предложить ворам войны или союза. Нельзя было ворам отказываться от союза. А установленному союзу нельзя было коснеть — он бы распался и открылась бы внутренняя война.

Надо было начинать, что–нибудь, но начинать! А так как начинателей, если они из Пятьдесят Восьмой, подвешивают потом в верёвочных петлях, а если они воры — только журят на по-

литбеседах, то воры и предложили: мы — начнём, а вы — поддержите!

Заметим, что всё Кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперёк длины, нарезаны были внутренние зоны: сперва 1–го лагпункта (женского), потом хоздвора (о его индустриальной мощи мы говорили), потом 2–го лагпункта, потом 3–го, а потом — тюремного, где стояли две тюрьмы — старая и новая — и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей посёлка.

Естественной первой целью было — взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днём в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши своих бараков и усеяли стену между 3–м и 2–м лагпунктами. Потом по команде паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во 2–й лагпункт, там выстроились в колонну итак строем пошли по линейке. А линейка вела по оси 2–го лагпункта — к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась.

Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое–то время, за которое надзор успел

сорганизоваться и получить инструкции. И вот преинтересно! — надзиратели стали бегать по баракам Пятьдесят Восьмой и к ним, тридцать пять лет давимым, как мразь, взывать: «Ребята! Смотрите! Воры идут ломать женскую зону! Они идут насиловать ваших жён и дочерей! Выходите на помощь! Отобьём их!» Но уговор был уговор, и кто рванулся, о нём не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдержат условий конвенции, — надзор не нашёл себе помощников из Пятьдесят Восьмой.

Уж как там защищал бы надзор от своих любимцев женскую зону — неизвестно, но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил Бородавка–Беляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Не применяя дрынов, воры стали отступать к своему 3–му лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями исаманами, прикрывая отступление.

Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Всё ещё видя в этом лишь резвую

шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед, а вечером с темнотою близ столовой 2–го лагпункта стали, как в летнем кинотеатре, показывать фильм «Римский–Корсаков».

Но отважный композитор не успел ещё уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу, как зазвенели от камней фонари на зоне: мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по 2–му лагпункту, и заливчатые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. (Были с ними и молодые из Пятьдесят Восьмой.)

При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, всё тот же опер капитан Беляев ворвался в хоздвор извне, через его вахту, со взводом автоматчиков и — впервые в истории ГУЛАГа! — открыл огонь по социально–близким}. Были убитые и несколько десятков раненых. А ещё — бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А ещё сзади, по разделению карательного труда, принятому уже в Экибастузе, ив Норильске, и на Воркуте, бежали надзиратели

с железными ломами и этими ломами до смерти добивали раненых. (В ту ночь в больнице 2–го лагпункта засветилась операционная и заключённый хирург испанец Фустер оперировал.)

Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулемётчики там расставились. А 2–й лагпункт (мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические) соорудил против хоздвора баррикаду. 2–й и 3–й лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД.

Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают баб. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытчики, а—товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом — и вооружённые. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали и в тюрьму (в жензоне была предусмотрительно своя тюрьма), а в иных мужчин стреляли.

Испытывая недостаток карательного состава, командование ввело в женскую зону «чернопо-

гонников» — солдат строительного батальона, стоявшего в Кенгире. Однако солдаты стройбата не стали выполнять несолдатского дела! — и пришлось их увести.

А между тем именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. Прочли ли они где–нибудь такое или придумали, но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и двух–трёх своих верзил, переодетых в заключённых. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать. Вот от какого произвола защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь!

В утренние часы понедельника напряжённость сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В хоздворе лежали неубранные трупы. Пулемётчики лежали за пулемётами, направленными на те же всё ворота. В освобождённых мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что–то должно было сдвинуться, положение было неустойчиво слишком. Зэки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку. Несколько исху-

далых сняли рубахи, поднялись на баррикаде и, показывая пулемётчикам свои костлявые груди и рёбра, кричали: «Ну, стреляйте, что же! Бейте по отцам! Добивайте!»

И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопо–гонники покинули хоздвор.

Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные чёрные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров.

(Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана, он только что прилетел из Алма–Аты. Унесенные трупы отвезли в степь и закопали, чтоб устранить экспертизу, если её потом потребуют.)

Покатилось «Ура–а–а!.. Ура–а–а...»— и хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили. Там освободили женскую тюрьму— и всё соединилось! Всё было свободно внутри главной зоны! — только 4–й тюремный лагпункт оставался тюрьмой.

На всех вышках стало по четыре краснопогонника! — было кому в уши вбирать оскорбления.

Против вышек собирались и кричали им (а женщины, конечно, больше всех): «Вы — хуже фашистов!.. Кровопийцы!.. Убийцы!..»

Обнаружился, конечно, в лагере священник, и не один, и в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран.

Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек, всё время и давеча и только что бывших разобщёнными рабами — и вот соединившихся и освободившихся, не по–настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих счетверённых конвоиров?! Эки–бастузское голодное лежание в запертых бараках— и то ощущалось прикосновением к свободе. Атут— революция! Столько подавленное — и вот прорвавшееся братство людей! И мы любим блатных! И блатные любят нас! (Да куда денешься, кровью скрепили. Да ведь они от своего закона отошли!) И ещё больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сестры наши по судьбе.

В столовой прокламации: «Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска первый!» На кусках газет (другой бумаги нет) чёрными или цветными буквами самые горячие уже вывели

в спешке свои лозунги: «Хлопцы, бейте чекистов!», «Смерть стукачам, чекистским холуям!». В одном–другом–третьем месте лагеря, только успевай, — митинги, ораторы! И каждый предлагает своё! Думай— тебе думать разрешено, — за кого ты? Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд Беляева! — это понятно. Под суд убийц! — это понятно. А дальше?.. Не запирать бараков, снять номера! — а дальше?..

А дальше— самое страшное: для чего это начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы, одной свободы! — но кто ж нам её даст? Те суды, которые нас осудили, — в Москве. И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами ещё разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой… нас всех в этой степи закопают.

А тогда— чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню?..

Часы свободы! Пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, всё равно не жаль! — этот день стоил того!

А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна, они не смотрят зверьми, они без автоматов, да ведь и то сказать— они

же не подручные кровавого Берии. Мы узнаём, что из Москвы прилетели генералы — гулаговский Бочков и прокурорский Вавилов. (Они служили и при Берии, но зачем бередить старое?) Они считают, что наши требования вполне справедливы. (Мы сами ахаем: справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет–нет, вполне справедливы.) «Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности». — «А за что женщин избили?» — «Женщин избили? — поражается делегация. — Быть этого не может». Аня Михайлевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана: «Разберёмся, разберёмся». — «Звери!»— кричит генералу Люба Бершадская. Ещё кричат: «Не запирать бараков!» — «Не будем запирать». — «Снять номера!» — «Обязательно снимем», — уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели (и не увидим). — «Проломы между зонами— пусть остаются! — наглеем мы. — Мы должны общаться!» — «Хорошо, общайтесь, — согласен генерал. — Пусть проломы остаются». Так, братцы, чего нам ещё надо? Мы же победили!! Один день побушевали, порадовались, покипели — и победили! И хотя среди нас качают головами и говорят— обман, обман! — мы верим. Мы верим нашему в общем неплохому начальству. Мы

верим потому, что так нам легче всего выйти из положения…

А что остаётся угнетённым, если не верить? Быть обманутыми— и снова верить. И снова быть обманутыми— и снова верить.

И во вторник 18 мая все кенгирские лагпункты вышли на работу, примирясь со своими мертвецами.

И ещё в это утро всё могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьёзно признать правоту заключённых! Не могли же они серьёзно наказывать военнослужащих МВД! Их низкий рассудок извлёк один только урок: недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать огневые зоны!

И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями: офицеры и надзиратели надевали фартуки: кто знал, как взяться, — брал в руки мастерок; солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки; инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены

часовые с командой: открывать огонь!

А когда вечером колонны заключённых, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции, нужно было выиграть этот первый вечер — вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, — а там как–нибудь привыкнется и втянется в колею.

Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, — перекликались ими третья и вторая зоны, как на большом хулиганском гуляньи

(эти свисты были ещё один удачный вклад блатных в общее дело). И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплоховал (старший лейтенант интендантской службы Медвежонок), задержался по своим делам и взят был до утра в плен.

Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам — вышки открывали пулемётный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили ракетами. Вот тут 3–му лагпункту приго-

дился хозофицер: с одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к стене (с их стороны предзонника не сделали), и он вопил из темноты своим: «Не стреляйте, здесь я, Медвежонок! Здесь я, не стреляйте!»— ас вышек его матюгали: а ты врагам не попадайся. В конце концов зэки пожалели его и отпустили, с расстройством.

Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнём нельзя было ни проломить стену, ни лезть через неё, — значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски.

В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулемётным огнём прошли подкопами и проломами все стены ненова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла насмарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западнёй (в другие дни их сделали шириной метров в двадцать).

В эту же ночь пробили стену и в 4–й лагпункт, тюремный. Надзорсостав, охранявший тюрьмы,

бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания: бывший полковник Красной армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком в Германии и кто–то у него сбежал в Западную — за это и получил он срок; а в лагерной тюрьме он сидел «за очернение лагерной действительности» в письмах, отосланных через вольняшек); бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков (он побывал в плену, как некоторые говорят— и власовцем).

В «новой» тюрьме сидели жители посёлка Кенгира, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране — всеобщая революция, и с ликованием приняли неожиданную свободу. Но, быстро узнав, что революция — слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания — лишь за едою ходили в столовую мятежных зэков.

Мятежных зэков! — которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж, и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они

не знали, и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж.

Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут, это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. Стать на колени? Но они все годы стояли так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными? — но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от тех, чьи суды работают машинно: если четвертаки, так уж всем вкруговую, без пропуска.

Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть и не надолго! Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им — жить! Привычно ожесточённые лица смягчились до добрых улыбок[456]. Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощрёнными тайными путями и никогда не видели друг друга, — теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксёндзы через стену, теперь увидели своих

---

[456] Примечания: 456
Это отметил недоброжелатель Макеев.

законных по церкви мужей — их брак спустился от Господа на землю! Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своём языке об этой странной азиатской революции. Всё продовольствие лагеря оказалось в руках заключённых. Никто не гнал на развод и на одиннадцатичасовой рабочий день.

Над бессонным взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону.

Многие надевали свою вольную одежду, взятую из каптёрки. Кое–кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. (Скоро будут и расшитые рубашки, на азиатах— цветные халаты и тюрбаны, серо–чёрный лагерь расцветёт.)

Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы Комиссии — комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления (так скромно, так боязливо она себя назвала).

Её избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным

правительством Кенгирского лагеря.

* * *

Если б это всё свершилось на два года раньше, то из одного только страха, чтоб не узнал Сам, степлаговские хозяева не стали бы медлить, а с вышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все восемь тысяч или четыре — ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые.

Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже постреляно было немало и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. И так создалась заминка, а значит — время для мятежников начать свою независимую новую жизнь.

В первые же часы предстояло определиться политической линии мятежа, а значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов: «Хлопцы, бейте чекистов»?

Едва выйдя из тюрьмы— и тут же силою обстоятельств, военной ли хваткой, советами ли

друзей или внутренним позывом направляясь к руководству, Капитон Иванович Кузнецов сразу, видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затёртых в Кенгире ортодоксов: «Пресечь эту стряпню (листовки), пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями!» (Эти выражения я цитирую по записям другого члена Комиссии А.Ф. Макеева об узком разговоре в вещкаптёрке Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову: «Да за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки».)

В первые же часы, ещё ночные, обходя все бараки идо хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и ещё позже не раз, полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизней настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая:

— Антисоветчина— была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги— нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше—в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, как

подобает советским гражданам!

И уже громче потом: «Мы недопустим такого поведения отдельных провокаторов!» (Да впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались. Не очень–то в речи его и вникали.)

Это подобно тому, как если бы поезд вёз вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него, — вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт:

«Да здравствует Советская Конституция!»

«Да здравствует Президиум ЦК!»

«Да здравствует советская власть!»

«Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!»

«Долой убийц–бериевцев!»

«Жёны офицеров Степлага! Вам не стыдно быть жёнами убийц?»

Хотя большинству кенгирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далёкие и близкие, произошли под болотным солнцем этой конституции и утверждены этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать — да

здравствует эта конституция и это Политбюро. И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твёрдость под ногами и стали успокаиваться: движение их— не безнадёжно.

А над столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему посёлку флаг. Он висел потом долго: белое поле, чёрная кайма, в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил:

«Терпим бедствие. На борту— женщины и дети».

В Комиссию было избрано человек двенадцать во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы:

— агитации и пропаганды (руководил им литовец Кнопмус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания);

— быта и хозяйства;

— питания;

— внутренней безопасности (Глеб Слученков);

— военный и

— технический, пожалуй самый удивительный в этом лагерном правительстве.

Бывшему майору Макееву были поручены контакты с начальством. В составе Комиссии был

и один из воровских паханов, он тоже чем–то ведал. Были и женщины (очевидно: Шах–новская, экономист, партийная, уже седая; Супрун, пожилая учительница из Прикарпатья; Люба Бершадская).

Вошли ли в эту Комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. Центры, а особенно украинский (во всём лагере русских было не больше четверти), очевидно, остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941 воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседания молчаливым наблюдателем от того штаба.

Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта, но Военный отдел вынес свой командный пункт (полевой штаб) в баню 2–го лагпункта. Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживлёнными: надо было всё придумать и наладить.

Прежде всего надо было укрепиться. (Макеев, ожидавший неизбежного войскового подавления, был против создания какой–либо обороны. На ней настояли Слученков и Кнопмус.) Много самана образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самана

сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне (и входов извне), которые остались во власти охранников и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из неё наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упустили кое–где выставить и дощечки: «Осторожно! Минировано!»

А это была одна из первых затей Технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе Техотдел завёл секретные помещения, на входе в которые нарисованы были череп, скрещенные кости и написано: «Напряжение 100 000 вольт». Туда допускались лишь несколько работающих там человек. Так даже заключённые не стали знать, чем занимается Техотдел. Очень скоро распространён был слух, что изготовляет он секретное оружие по химической части. Так как и зэкам и хозяевам было хорошо известно, какие умники–инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они всё могут, и даже изобрести такое оружие, какого ещё не придумали в Москве. А уж сделать какие–то мины несчастные, используя реактивы, бывшие

на хоздворе, — отчего же нет? Итак дощечки «минировано» воспринимались серьёзно.

И ещё придумано было оружие: ящики с толчёным стеклом у входа в каждый барак (засыпать глаза автоматчикам).

Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки — отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчинённые Военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кенгире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых и было в женском лагпункте большинство.

Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решётки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, ещё работали станки в хоздворе, из прутьев этих решёток сделали множество пик, заостряя и обтачивая их концы. Вообще, кузня и станочники эти первые

дни непрерывно делали оружие: ножи, алебарды–секиры и сабли, особенно излюбленные блатными (к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи). У иных появлялись в руках кистени.

Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону в отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим (было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин), шли, ощетиненные кончиками пик.

Это всё было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было овеяно суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба! — эту первую возможность защищать свою волю. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, — мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо.

Если кто в эти дни и вёл расчёты низменного сладострастия, то — хозяева в голубых погонах

там, за зоной. Их расчёт был, что, предоставленные на неделю сами себе, заключённые захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям посёлка, что заключённые взбунтовались для разврата. (Конечно, чего другого могло недоставать арестантам в их обеспеченной судьбе?)[457]

Главный же расчёт начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся — и пойдёт резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД! — и это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя, как люди, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречно — и политические, и сами женщины относились к ним подчёркнуто дружелюбно, с доверием. А что скры–тей того — не относится к нам. Может быть, ворам всё время помнились и кровавые их жертвы в первое воскресенье.

Если кенгирскому мятежу можно приписать в чём–то силу, то сила была— в единстве.

Не посягали воры и на продовольственный

---

[457] Примечания: 457

После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин. И, обнаружив многих с девственностью, изумлялись: как? чего ж ты смотрела? столько дней вместе!..
Они судили о событиях на своём уровне.

склад, что, для знающих, удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, Комиссия, посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Верноподданная боязнь переесть казённый харч и потом отвечать за растрату! Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам! Наоборот — почти смешной изворот: всё лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с хоздвора, а как же! — и по их просьбе Комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта Болтуш–кина (невредного, бывшего фронтовика), ион регулярно отгружал продукты начальству, например сухие фрукты, из расчёта норм для вольных— и зэки отпускали.

Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежней норме, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воровала сама, и не являлся посланец от блатных с указанием носить для людей. И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы — еды стало заметно больше!

И если блатные продавали вещи (то есть награбленные прежде в другом месте), то не являлись тут же, по своему обыкновению, отбирать их на-

зад. «Теперь не такое время», — говорили они…

Даже ларьки от местного ОРСа продолжали торговать в зонах. Вольной инкассаторше штаб обещал безопасность. Она без надзирателей допускалась в зону и здесь в сопровождении двух девушек обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку— боны. (Но боны, конечно, скоро кончились, дай новых товаров хозяева в зону не пропускали.)

В руках у хозяев оставалось ещё три вида снабжения зоны: электричество, вода, медикаменты. Воздухом распоряжались, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за сорок дней ни порошка, ни капли йода. Электричество отрезали дня через два–три. Водопровод— оставили.

Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке забрасывать с силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной, — итак несколько дней воровали ток, пока щупальцы не были обнаружены и отрезаны. За это время Техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него и стал на хоздворе (в укрытом месте от прозора с вышек и от низко летающих самолётов У–2) монтировать гидроэлектростанцию, работающую от… водопроводного крана. Мотор, бывший на хоз-

дворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и… радиопередатчик! А в бараках светили лучины… Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.

В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева (ну, не слишком–то свободно по самой зоне, остерегались). Правда, нашёлся и Кузнецов: на первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал: «Головные уборы — снять!» Обнажили головы зэки — и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание Комиссии («нельзя ж со всеми сразу разговаривать»), он потребовал, чтоб депутаты на переговорах сперва рассказали о своём следственном деле (и Кузнецов стал длинно и, может быть, охотно излагать своё); чтобы зэки при выступлениях непременно вставали. Когда кто–то сказал: «Заключённые требуют…», Бочков с чувствительностью возразил: «Заключённые могут только просить, а не требовать!» И установилась эта форма — «заключённые просят».

На просьбы заключённых Бочков ответил лекцией о строительстве социализма, небыва-

лом подъёме народного хозяйства, об успехах китайской революции. Самодовольное косое ввинчивание шурупа в мозг, отчего мы всегда слабеем и немеем… Он пришёл в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия охраной было правильным (скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было, это ложь бандитов, и избиений тоже не было). Он просто изумился, что смеют просить его нарушить «инструкцию о раздельном содержании зэ–ка зэ–ка». (Они так говорят о своих инструкциях, будто это довечные и домировые законы.)

Вскоре прилетели на «дугласах» ещё новые и более важные генералы: Долгих (будто бы в то время — начальник ГУЛАГа) и Егоров (замминистра МВД СССР). Было назначено собрание в столовой, куда собралось до двух тысяч заключённых. И Кузнецов скомандовал: «Внимание! Встать! Смирно!» — и с почётом пригласил генералов в президиум, а сам по субординации стоял сбоку. (Иначе вёл себя Слученков. Когда из генералов кто–то обронил о врагах здесь, Слученков звонко им ответил: «А кто из вас не оказался враг? Ягода — враг, Ежов — враг, Абакумов— враг, Берия— враг. Откуда мы знаем, что Круглов лучше?»)

Макеев, судя по его записям, составил проект соглашения, по которому начальство обещало бы никого не этапировать и не репрессировать, начать расследование, а зэки зато соглашались немедленно приступить к работе. Однако когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект зэки честили их «лысыми комсомольцами», «уполномоченными по заготовкам» и «чекистскими холуями». Особенно враждебно встретили их на женском лагпункте, и особенно неприемлемо было для зэков согласиться теперь на разделение мужских и женской зон. (Рассерженный Макеев отвечал своим возражателям: «А ты подержался за сисю у Па–раси и думаешь, что кончилась советская власть? Советская власть на своём настоит, всё равно!»)

Дни текли. Не спуская с зоны глаз — солдатских с вышек, надзирательских оттуда же (надзиратели, как знающие зэков в лицо, должны были опознавать и запоминать, кто что делает) и даже глаз лётчиков (может быть, с фотосъёмкой), — генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается и повода нет вести войска на выручку.

Лагерь— стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой, сносить обыск, когда какая–нибудь украинская дивчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников гарантировал им личную безопасность!..

Генералов проводили там, где можно (конечно, не по секретной зоне хоздвора), и давали им разговаривать с зэками и собирали для них большие собрания по лагпунктам. Блеща погонами, хозяева и тут рассаживались в президиумах — как раньше, как ни в чём не бывало.

Арестанты выпускали ораторов. Но как трудно было говорить! — не только потому, что каждый писал себе этой речью будущий приговор, но и потому, что слишком разошлись знания и представления об истине у серых и у Голубых, и почти ничем уже нельзя было пронять и просветить эти дородные благополучные туши, эти лоснящиеся дынные головы. Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий, коммунист и

участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на хоздворе, из ворованного с Обогатительной фабрики свинца заставляют делать себе дробь для браконьерства; если огороды им копают заключённые; если для начальника лагпункта, когда он моется в бане, расстилают ковры и играет оркестр.

Чтоб меньше было такого бестолкового крику, эти собеседования принимали и вид прямых переговоров по высокому дипломатическому образцу: в июне как–то поставили в женской зоне долгий столовский стол и по одну сторону на скамье расселись золотопогонники, а позади них стали допущенные для охраны автоматчики. По другую сторону стола сели члены Комиссии, и тоже была охрана— очень серьёзно стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подтал–пливались зэки — слушать толковище, и подкрикивали. (И стол не был без угощений! — из теплиц хоздвора принесли свежие огурцы, с кухни— квас. Золотопогонники грызли огурцы не стесняясь…)

И ещё было как–то полускрытое совещание лагерной Комиссии с пятью генералами МВД в домике у вахты 3–го лагпункта.

Требования–просьбы восставших были сфор-

мулированы ещё в первые два дня и теперь повторялись многократно:

— наказать убийцу евангелиста;

— наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе;

— наказать тех, кто избивал женщин;

— вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы;

— не надевать больше номеров, не ставить на бараки решёток, не запирать бараков;

— не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами;

— восьмичасовой рабочий день, как у вольных;

— увеличение оплаты за труд (уж не шла речь о равенстве с вольными);

— свободная переписка с родственниками и иногда свидания;

— пересмотр дел.

И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило Конституции (а многие были только — просьба о возврате в старое положение), — но невозможно было хозяевам принять ни мельчайшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины

и фуражки давно отучились признавать свою ошибку или вину. И отвратна, и неузнаваема была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст чёрного народа.

Но всё–таки затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот (для правдоподобия) трудно будет оставить открытой женскую зону, это не положено (как будто в ИТЛ двадцать лет было иначе), но можно будет обдумать, какие–нибудь устроить дни встреч. А вот начать в зоне работу следственной комиссии (по обстоятельствам расстрелов) генералы внезапно согласились. (Но Слученков разгадал и настоял, чтоб этого не было: под видом показаний будут стукачи дуть на всё, что происходит в зоне.) Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать, только надо подождать. Но что совершенно безотложно — надо выходить на работу! на работу! на работу!

А уж это зэки знали: разделить на колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков.

«Нет, — отвечали они через стол и с трибуны. — Нет! — кричали из толпы. — Управление Степлага вело себя провокационно! Мы не верим руководству Степлага! Мы не верим МВД!»

— Даже МВД не верите? — поражался заместитель министра, вытирая лоб от крамолы. — Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?

Загадка.

— Члена Президиума ЦК! Члена Президиума ЦК! Тогда поверим! — кричали зэки.

— Смотрите! — угрожали генералы — Будет хуже!

Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо.

— Если войдёте в зону с оружием, — предупреждал он, — не забывайте, что здесь половина людей— бравших Берлин. Овладеют и вашим оружием!

Капитон Кузнецов! Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял своё судебное дело? давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы освобождение (кажется, с реабилитацией)? Только ли профессионально–военной была его гордость, что в таком порядке

он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? (Я это отклоняю.) Или, зная командные свои способности, — для того, чтобы умерить его, ввести в берега (и взаимные расправы предотвратить, сдерживая Слученкова) и укрощенной волною положить под сапоги начальству? (Так думаю.) Во встречах, переговорах и через второстепенных лиц он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров ловкача Маркосяна с поручением от Комиссии. Воспользовался ли такими случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой.

Два телохранителя — два огромных украинских хлопца— всё время сопровождали Кузнецова, с ножами на боку.

Для защиты? Для расплаты?

(Макеев утверждает, что в дни восстания была у Кузнецова и временная жена — тоже бандеровка.)

Глебу Слученкову было лет тридцать. Это значит, в немецкий плен он попал лет девятнадцати. Сейчас, как и Кузнецов, он ходил в прежней своей военной форме, сохранённой в каптёрке,

выявляя и подчёркивая военную косточку. Он чуть прихрамывал, но это искупалось большой подвижностью.

На переговорах он вёл себя чётко, резко. Придумало начальство вызывать из зоны «бывших малолеток» (посаженных до 18 лет, — сейчас уже было кому и 20–21 год) — для освобождения. Это, пожалуй, не был и обман, около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слученков ответил: «А вы спросили бывших малолеток — хотят ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей?» (И перед Комиссией настаивал: «Малолетки— наша гвардия, мы их не можем отдать!» В том и для генералов был частный смысл освобождения этих юношей в мятежные дни Кенгира; уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоной?) Законопослушный Макеев начал всё же сбор бывших малолеток на «суд освобождения» и свидетельствует: из четырёхсот девяти, подлежавших освобождению, удалось ему собрать на выход лишь тринадцать человек. Учитывая расположение Макеева к начальству и враждебность к восстанию, этому свидетельству можно изумиться: 400 молодых людей в самом расцветном возрасте, и даже в

массе своей не политических, отказались не только от свободы! — но от спасения! — остались в гиблом мятеже…

А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: «Присылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш кенгирский гарнизон разнесём! Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдём в Караганду! А там — наш брат!»[458]

Можно верить и другим свидетельствам о нём. «Кто побежит— будем бить в грудь!»— и в воздухе финкой взмахнул. Объявлял в бараке: «Кто не выйдет на оборону— тот получит ножа!» Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения…

Новорождённое лагерное правительство, как и извечно всякое, неумело существовать без службы безопасности, и Слученков эту службу возглавил (занял в женском лагпункте кабинет опера). Так как победы над внешними силами быть не могло, то понимал Слученков, что его пост означал для него неминуемую казнь. Входе

[458] Примечания: 458

Может быть, эти угрозы и повлияли на начальство, когда выбиралось орудие подавления.

мятежа он рассказывал в лагере, что получил от хозяев тайное предложение, — спровоцировать в лагере национальную резню (очень на неё золотопогонники рассчитывали, и удивительно, что она не случилась! добрый прообраз к нашему будущему) — и тем дать благовидный предлог для вступления войск в лагерь. За это хозяева обещали Слученкову жизнь. Он отверг предложение. (А кому и что предлагали ещё? Те не рассказывали.) Больше того, когда по лагерю пущен был слух, что ожидается еврейский погром, Слученков предупредил, что переносчиков будет публично сечь. Слух угас.

Ждало Слученкова неизбежное столкновение с благонамеренными. Оно и произошло. Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не сговариваясь, единодушно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права. Не приписывая это непременно низменным соображениям (немало ортодоксов были связаны службой у кума), вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху— как проявление диктатуры пролетариата. Такие же действия, к тому ж порывом, разрозненные, но

снизу, — были для них бандитизм, да к тому ж ещё в «бандеровской» форме (среди благонамеренных никогда не бывало ни одного, допускавшего право Украины на отделение, потому что это был бы уже буржуазный национализм). Отказ каторжан от рабской работы, возмущение решётками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов.

Так и в Кенгире всё гнездо благонамеренных (Генкин, Ап–фельцвейг, Талалаевский, очевидно Акоев, больше фамилий у нас нет; потом ещё один симулянт, который годами лежал в больнице, притворяясь, что у него «циркулирует нога», — такой интеллигентный способ борьбы они допускали; а в самой Комиссии явно — Макеев, очевидно и Бершадская) — все они с самого начала упрекали, что «не надо было начинать»; и когда проходы заделали— не надо было подкапываться; что всё затеяла бандеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. (Да ведь и те убитые шестнадцать были — не с их лагпункта, а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть.) В записках Макеева выбрюзжано всё их сектантское раздражение. Всё кругом — дурно, все — дурны, и опасности со всех сторон: от начальства — новый срок, от бандеровцев — нож в спину. «Хотят всех

железяками запугать и заставить гибнуть». Кенгирский мятеж Макеев зло называет «кровавой игрой», «фальшивым козырем», «художественной самодеятельностью» бандеровцев, а то чаще — «свадьбой». Расчёты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и оттяжке расплаты. (А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая.)

Это очень верно отражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению свободы 50–х годов. Но Макеев был весьма осторожен, ходил даже в руководителях мятежа, — а Талалаевский эти упрёки рассыпал вслух— и слученковская служба безопасности за агитацию, враждебную восставшим, посадила его в камеру кенгирской тюрьмы.

Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою. Извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам (сношение с хозяевами) человека четыре, и ни один из них не был расстрелян (а наоборот, получил лучшее алиби перед Руководством).

Вообще же тюрьму, особенно мрачную старую, построенную в 30–е годы, широко показывали: её одиночки без окон, с маленьким люком наверху;

топчаны без ножек, то есть попросту деревянные щиты внизу, на цементном полу, где ещё холодней и сырей, чем во всей холодной камере; рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая глиняная миска.

Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих — кому не привелось посидеть и, может быть, не придётся. Туда водили и приходящих генералов (они не были очень поражены). Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей посёлка— ведь на объектах они всё равно сейчас без заключённых не работают. И даже такую экскурсию генералы прислали — разумеется, не из простых работяг, а персонал подобранный, который не нашёл, чем возмутиться.

Встречно и начальство предложило свозить экскурсию из заключённых на Рудник (1–е и 2–е лаготделения Степлага), где, по лагерным слухам, тоже вспыхнул мятеж (кстати, слова этого мятеж, или ещё хуже восстание, избегали по своим соображениям и рабы и рабовладельцы, заменяя стыдливо–смягчающим словом сабантуи]. Выборные поехали и убедились, что там–таки действительно всё по–старому, выходят на работу.

Много надежд связывалось с распространением

таких забастовок! Теперь вернувшиеся выборные привезли с собой уныние.

(А свозили–то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен, от вольных слышали были и небылицы о кенгирском мятеже. В том же июне так сошлось, что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой–то пацан полусумасшедший был ранен н&запретке. И на Руднике тоже началась забастовка, сбили ворота между лагпунктами, вывалили на линейку. На вышках появились пулемёты. Вывесил кто–то плакат с антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть!». Но его сняли, заменили плакатом с законными требованиями и обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только требования будут удовлетворены. Приехали грузовики вывозить муку со склада— не дали. Что–то около недели забастовка продлилась, но нет у нас никаких точных сведений о ней, это всё — из третьих уст и, вероятно, — преувеличено.)

Вообще, были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее радио не умолкало: через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращения к заключённым с информацией, дезинформацией и одной–двумя заезженными, надоевшими, все

нервы источившими пластинками.

Ходит по полю девчёнка, Та, в чьи косы я влюблён.

(Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь — проигрывание пластинок, надо было восстать. Коленопреклонённым даже этой дряни не играли.) Эти же пластинки работали в духе века и как глушилка — для глушения передач, идущих из лагеря и рассчитанных на конвойные войска.

По внешнему радио то чернили всё движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить (в самом лагере зэки смеялись, но ведь громкоговорители доставалось слышать и вольным жителям посёлка; да ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли и подняться — недостижимой высотой для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости). То старались рассказать какую–нибудь гадость о членах Комиссии (даже об одном пахане: будто, этапируясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и триста зэ–ка. Упор был на то, что именно бедных зэ–ка, да чуть ли всё не Пятьдесят Восьмую, он потопил, а не конвой; и непонятно, как при этом спасся сам). То терзали Кузнецова, что

ему пришло освобождение, но теперь отменено. И опять шли призывы: работать! работать! почему Родина должна вас содержать? не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству! (Это должно было пронзить сердца, обречённые на вечную каторгу.) Простаивают целые эшелоны с углем, некому разгружать! (Пусть постоят! — смеялись зэки, — скорей уступите! Но даже и им не приходила мысль, чтоб золотопогонники сами разгрузили, раз уж так сердце болит.)

Однако не остался в долгу и Технический отдел. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громко говорения, конечно более слабого по мощности. А питались усилители от засекреченной гидростанции. (Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик да не стали бы о своём восстании передавать за границу. Такие слухи в лагере тоже кто–то пускал.)

Появились в лагере свои дикторы (известна Слава Яри–мовская). Передавались последние известия, радиогазета (кроме того, была и ежедневная стенная, с карикатурами). «Крокодиловы слёзы» называлась передача, где высмеивалось,

как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры.

Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире, — для вольных жителей посёлка, часто тоже ссыльных. А именно их, уже не по радио, а там где–то, недоступно для зэков, власти посёлка заморочивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки (такой вариант имел успех у жительниц[459]); что здесь истязают невинных и живьём сжигают в топках (и непонятно только, почему Руководство не вмешивается!..).

Как было крикнуть им через стены, на километр, и на два, и на три: «Братья! Мы хотим только справедливости! Нас убивали невинно, нас держали хуже собак! Вот наши требования...»?

Мысль Технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папирос-

---

[459] Примечания: 459

Когда уже всё было кончено и повели женскую колонну по посёлку на работу, собрались замужние русские бабы вдоль дороги и кричали им: «Проститутки! Шлюхи! Захотелось ... ?», и ещё более выразительно. На другой день повторилось то же, но зэчки вышли из зоны с камнями и теперь засыпали оскорбительниц в ответ. Конвой смеялся.

ной бумаги (на хоздворе чего только не было, мы писали о нём[460], много лет он заменял джезказганским офицерам и столичное ателье, и все виды мастерских ширпотреба) склеен был по примеру братьев Монгольфье огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток тёплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы (арестанты уж если радуются, то как дети), это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но увы! — ветер был быстрей, чем оно набирало высоту, и при перелёте через забор жаровня зацепилась за проволоку, лишённый горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками.

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая посёлку крупные надписи:

«Спасите женщин и стариков от избиения!»

«Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!»

Охрана стала расстреливать эти шары.

Тут пришли в Техотдел зэки–чечены и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих

---

[460] Примечания: 460
Часть Третья, глава 22.

змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над посёлком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели, если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. (Листовки кончались просьбою к каждому нашедшему кенгирцу — доставить её в ЦК.)

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашёл скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать.

Война воздушных змеев во второй половине XX века! — и всё против слова правды…

(Может быть, читателю будет удобно для привязки кен–гирских событий по времени вспомнить, что происходило в дни кенгирского мятежа на воле? Женевская конференция заседала об Индокитае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой фран-

цуз писатель Сартр приехал в Москву, для того чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось 300–летие воссоединения Украины и России[461]. 31 мая был важный парад на Красной площади. УССР и РСФСР награждены орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шёл съезд профсоюзов (но о Кенгире там ничего не говорили). 10–го выпущен заём. 20–го был день воздушного флота и красивый парад в Тушине. Ещё эти месяцы 1954 года отмечены были сильным наступлением на литературном, как говорится, фронте: Сурков, Кочетов и Ермилов выступали с очень твёрдыми одёргивающими статьями. Кочетов спросил даже: какие это времена? И никто не ответил ему: времена лагерных восстаний! Много неправильных пьес и книг ругали в это время. А в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединённые Штаты.)

В посёлке были ссыльные чечены, но вряд ли тех змеев клеили они. Чеченов не упрекнёшь, чтоб они когда–нибудь служили угнетению. Смысл кенгирского мятежа они поняли пре-

[461] Примечания: 461
Кенгирские украинцы объявили тот день траурным.

красно и однажды подвезли к зоне автомашину печёного хлеба. Разумеется, войска отогнали их.

(Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество — и расположение чеченов тотчас было завоёвано! Когда кажется нам, что нас мало уважают, — надо проверить, так ли мы живём.)

Тем временем готовил Техотдел и пресловутое «секретное» оружие. Это вот что такое было: алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция (все ящики со спичками укрыли за дверью «100000 вольт»). Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части.

Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как–то, по прошествии недель двух от начала, в одну из тёмных, ничем не освещенных ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз не беглецы и не бунтари долбили её — разрушали стену сами войска конвоя! В лагере

был переполох, метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли.

К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. (Поту сторону проломов, чтоб зэки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулемётами[462]. Это, конечно, была подготовка к наступлению через проломы, и в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб восставших решил: разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укреплённую саманными навалами против проломов — для защиты от пулемётов.

Так всё переменилось! — конвой разрушал зону, а лагерники её восстанавливали, и воры с чистой совестью делали то же, не нарушая своего закона.

Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов; назначить каждому взводу тот пролом, куда он строго

---

[462] Примечания: 462

Говорят, опыт проломов был норильский: там тоже сделали их, чтобы через них выманивать дрогнувших, через них натравливать урок и через них же ввести войска под предлогом наведения порядка.

должен бежать ночью по сигналу тревоги и занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же заливчатые свисты были условлены как сигналы тревоги.

Зэки не в шутку готовились выходить с пиками против пулемётов. Кто и не был готов — по дичась, привыкал.

Лихо до дна, а там дорога одна.

И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона Управления Степлага, на котором толпились чины, крытые погонами строевыми широкими и прокурорскими узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках, — в пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили. Они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы подан был сигнал тревоги и прибежали бы к пролому назначенные взводы, и, потрясая пиками и держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду, — и тогда с балкона (исключая автоматчиков из поля съёмки) зажужжали кинокамеры и защёлкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры и политработники, и кто там ещё был, все члены партии, конечно, — смеялись дикому зрелищу этих воодушевлённых первобытных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над

своими голодными обманутыми согражданами, и им было очень смешно[463].

А ещё к проломам подкрадывались надзиратели и вполне как на диких животных или на снежного человека пытались набросить верёвочные петли с крючьями и затащить к себе языка.

Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио: опомнитесь! переходите за зону в проломы! в этих местах— не стреляем! перешедших— не будем судить за бунт!

По лагерному радио отозвалась Комиссия так: кто хочет спасаться — валите хоть через главную вахту, не задерживаем никого.

Так и сделал… член самой Комиссии бывший майор Макеев, подойдя к главной вахте как бы по делам. [Как бы— не потому, что его бы задержали или было чем выстрелить в спину, — а почти невозможно быть предателем на глазах улюлюкающих товарищей![464] Три недели он

---

[463] Примечания: 463

Эти фотографии ведь где–то сейчас подклеены в карательных отчётах. И может быть, недостанет у кого–то расторопности уничтожить их перед лицом будущего…

[464] Примечания: 464

Ещё и спустя десяток лет это так стыдно, что в своих мемуарах, вероятно и затеянных для оправдания, он пишет, будто случайно выглянул за вахту, а там — на него накинулись и руки связали…

притворялся — и только теперь мог дать выход своей жажде поражения и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Макеев, не хочет. Теперь, отрабатывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дальше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи: «Кто–то решил, что свободы можно добиться с помощью сабель и пик… Хотят подставить под пули тех, кто не берёт железок… Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слученков рассматривает это как их слабость. Комиссия— ширма для бандитского разгула… Ведите переговоры, достойные политических заключённых, а не (!!) готовьтесь к бессмысленной обороне».

Долго зияли проломы — дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины.

Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось! И терзались, и эту возможность обдумывали втайне, может быть, тысячи. А бывших малолеток вызывали и на

самом законном основании. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по–новому души, и слишком низкие законы, по которым «жизнь даётся однажды», и бытие определяет сознание, и шкура гнёт человека в трусость, — не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам:

— Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите!

И операция, так хорошо задуманная, что заключённые разбегутся через проломы как крысы и останутся самые упорные, которых и раздавить, — операция эта провалилась потому, что изобрели её шкуры.

И в стенной газете восставших рядом с рисунком — женщина показывает ребёнку под стеклянным колпаком наручники: «вот в таких держали твоего отца»— появилась карикатура: «Последний перебежчик» (чёрный кот, убегающий в пролом).

Но карикатуры всегда смеются, людям же в

зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвёртая, пятая неделя… То, что по законам ГУЛАГа не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго — половину мая и потом почти весь июнь. Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встреч и затей, — потом верили слухам, что поднялся Рудник, — может, за ним поднимутся Чурбай–Нура, Спасск, весь Степлаг! там, смотришь, Караганда! там весь Архипелаг извергнется и рассыпется на четыреста дорог — но Рудник, заложив руки за спину и голову опустив, всё так же ходил на одиннадцать часов заражаться силикозом, и не было ему дела ни до Кенгира, ни даже до себя.

Никто не поддержал остров Кенгир. Уже невозможно было и рвануть в пустыню: прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи ещё двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка: приедет барин (ждали Маленкова) и рассудит. Приедет, добрый, и ахнет, и всплеснёт руками: да как они жили тут? да как вы их тут держали? судить убийц! расстрелять Чечева и Беляева! разжаловать остальных… Но слишком точкою была, и слишком розовой.

Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денёчки и сдаваться на расправу Степлагу МВД.

И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто–то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто–то тихо смекал, что он ни в чём не замешан и если осторожненько дальше — то и не будет. А кто–то был молодожён (и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛАГа были тут священники всех религий). Для этих молодожёнов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, — каждое утро было для них даром неба.

А верующие — молились и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, как всегда, были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. Иеговисты дали волю своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах.

Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали. (Заставили их мыть посуду.) Ходил по лагерю

какой–то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, неодетые в тёплое, сидели на холодной земле, дрожали и вытягивали к небу руки. Да и к кому ж ещё…

А кто–то знал, что замешан уже необратимо и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. (Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце.)

Но когда эти все люди собирались на собрания, чтобы решить, сдаваться им или держаться, — они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих. Или боялись насмешки больше, чем будущей смерти.

— Товарищи! — уверенно говорил статный Кузнецов, будто знал он много тайн и все тайны были за арестантов. — У нас есть средства огневой защиты, и пятьдесят процентов от наших потерь будут и у противника!

И так ещё он говорил:

— Даже гибель наша не будет бесплодной!

(В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура.)

И когда голосовали— держаться ли? — большинство голосовало за.

Тогда Слученков многозначительно угрожал:

— Смотрите же! С теми, кто остаётся в наших рядах и захочет сдаться, мы разделаемся за пять минут до сдачи!

Однажды внешнее радио объявило «приказ по ГУЛАГу»: за отказ от работы, за саботаж, за… за… за… Кенгирское лаг–отделение Степлага расформировать и всех отправить в Магадан. (ГУЛАГу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того посланы в Магадан, — за что те?) Последний срок выхода на работу…

Но прошёл и этот последний срок, и всё оставалось так же.

Всё оставалось так же, и вся фантастичность, вся снови–денность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек только ещё более разила от аккуратной жизни лагеря: пища три раза в день; баня в срок;

прачечная; смена белья; парикмахерская; швейная и сапожная мастерские. Даже примирительные суды для спорящих. И даже…

освобождение на волю!

Да. Внешнее радио иногда вызывало освобождающихся: это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошёл (или якобы подошёл?..) конец срока. Может быть, таким образом Управление и брало «языков» — без надзирательской верёвки с крючками? Комиссия проверить не могла и отпускала всех.

Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка? Им не приходилось. Разрабатывали план подавления? Можно было быстрей. (Правда, потом–то узнали, что за это время из–под Куйбышева выписали полк «особого назначения», то бишь карательный. Ведь это не всякий и умеет.) Согласовывали подавление наверху^ И как высоко? Нам не узнать, какого числа и какая инстанция приняла это постановление.

Несколько раз вдруг раскрывались внешние ворота хоздвора— для того ли, чтобы проверить готовность защитников? Дежурный пикет объявлял тревогу, и взводы высыпали навстречу. Но в зону не шёл никто.

Вся разведка защитников лагеря была—до-

зорные на крышах бараков. И только то, что доступно было увидеть с крыш через забор, было основанием для предвидения.

В середине июня в посёлке появилось много тракторов. Они работали или что–нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна. На всякий случай стали рыть против проломов ещё ямы (впрочем, У–2 все их сфотографировал или зарисовал).

Этот недобрый какой–то рёв добавил мраку.

И вдруг — посрамлены были скептики! посрамлены были отчаявшиеся! посрамлены были все, говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило: требования лагерников приняты! В Кенгир едет член Президиума ЦК!

Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо! Значит, можно добиться! Значит, есть справедливость в нашей стране! Что–то уступят нам, в чём–то уступим мы. В конце концов, и в номерах можно походить, и решётки на окнах нам не мешают, мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не требуют же, чтобы мы до этого вышли на работу!

Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегчённо опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели.

И даже противные трактора, поработав с вечера 24 июня, замолкли.

Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверно, завтра он и приедет, может, уже приехал…[465] Эти короткие июньские ночи, когда не успеваешь выспаться, когда на рассвете спится так крепко. Как тринадцать лет назад.

На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах, ракеты взвились и с вышек— и наблюдатели на крышах бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы! Самолёты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т–34, занявшие исходные позиции под маскировочный рёв тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. (Один из них всё–таки попал в яму.) За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими

[465] Примечания: 465

А может быть, и правда приехал? Может быть, ом–то и распорядился?..

бежали штурмовики с автоматами в касках. (И автоматчики, и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были спецвойска, а всё же давить безоружных спящих легче в пьяном виде.) С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков и оттуда при дневном свете ракет (а одну вышку зэки подожгли своими угольниками, она горела) подавали команды: «Берите такой–то барак!.. Кузнецов находится там–то!..» Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили[466].

Издалека, со строительных конструкций, на подавление смотрели вольные.

Проснулся лагерь— весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой или просто ища быстрой смерти.

Бился 3–й лагпункт — тот, который и начал (он был из двадцатипятилетников, с большим

---

[466] Примечания: 466

Они только спрятались от истории. Кто были эти расторопные полководцы? Почему не салютовала страна их славной кенгирской победе? С трудом мы разыскиваем теперь имена не главных там, но и не последних: начальник оперчекистского отдела Степлага полковник Рязанов; начальник политотдела Степлага Олюшкин... Помогите! Продолжите!

перевесом бандеровцев). Они… швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверно, и серными угольниками в танки… О толчёном стекле никто и не вспомнил. Какой–то барак два раза с «ура» ходил в контратаку…

Танки давили всех попадавшихся по дороге (киевлянку Аллу Пресман гусеницей переехали по животу). Танки наезжали на крылечки бараков, давили там (эстонок Ингрид Киви и Мах–лапу)[467]. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались под дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн: как во сне, отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошёл танк; женщины вскакивали, метались; за танком шёл грузовик, и полуодетых женщин туда бросали.

Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок— боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, — кололи и женщин! Опер Беляев в это утро

[467] Примечания: 467

В одном из танков сидела пьяная Нагибина, лагерный врач. Не для оказания помощи, а— посмотреть, интересно.

своей рукой застрелил десятка два человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых бандитов. Раненная в лёгкое, скончалась член Комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там[468].

Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обземь (приём блатных).

Потом стрельба утихла. Кричали: «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И действительно, только били прикладами.

По мере захвата очередной группы пленных её вели в степь через проломы, через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи ничком, с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими ходили лётчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек.

(За этой заботой никому не был досуг развернуть «Правду» того дня. А она была тематическая — день нашей Родины: успехи металлургов,

---

[468] Примечания: 468

Эй, «Трибунал Военных Преступлений» Жана Поля Сартра! Эй, философы! Матерьял–то какой! Отчего не заседаете?

шире механизированные уборочные работы. Историку легко будет обозреть нашу Родину, какой она была в тот день.)

Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны хоздвора: откуда брался ток и какое было «секретное оружие».

Победители–генералы спустились с вышек и пошли позавтракать. Никого из них не зная, я берусь утверждать, что аппетит их в то июньское утро был безупречен и они выпили. Шумок от выпитого нисколько не нарушал идеологической стройности в их голове. А что было в груди— то навинчено было снаружи.

Убитых и раненых было: по рассказам— около шестисот, по материалам производственно–плановой части Кенгирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, — более семисот[469]. Ранеными забили лагерную больницу и стали возить в городскую. (Вольным объяснили, что войска стреляли только холостыми патронами, а убивали друг друга заключённые сами.)

Рыть могилы заманчиво было заставить остав-

[469] Примечания: 469

9 января 1905 года было убитых около 100 человек. В 1912 году в знаменитых расстрелах на Ленских приисках, потрясших всю Россию, было убитых 270 человек, раненых — 250.

шихся в живых, но для большего неразглашения это сделали войска: человек триста закопали в углу зоны, остальных где–то в степи.

Весь день 25 июня заключённые лежали ничком в степи под солнцем (все эти дни — нещадно знойные), а в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что— жив, давали пайку и тут же разделяли людей по спискам.

Члены Комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму, переставшую служить экскурсионным целям. Больше тысячи человек— отобраны для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму. (Как всегда, списки эти были составлены полуслепо: и попали туда многие ни в чём не замешанные.)

Да внесёт картина усмирения — спокойствие в души тех, кого коробили последние главы. Чур нас, чур! — собираться в «камеры хранения» никому не придётся, и возмездия карателям не будет никогда.

26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проёмы.

27 июня вывели на работу. Вот когда дождались

железнодорожные эшелоны рабочих рук.

Танки, давившие Кенгир, поехали самоходом на Рудник и там поелозили перед глазами зэков. Для умозаключения…

Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется закрытый, и даже о нём–то мы толком ничего не знаем… Говорят, что Кузнецов держался уверенно, доказывал, что он безупречно себя вёл и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам не известны. Вероятно, Слученкова, Михаила Келлера и Кнопмуса расстреляли. То есть расстреляли бы обязательно, но, может быть, 1955 год смягчил?

А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь. Не преминули создать из недавних мятежников ударные бригады. Расцвёл хозрасчёт. Работали ларьки, показывалась кинофильмовая дрянь. Надзиратели и офицеры снова потянулись в хоздвор — делать что–нибудь для дома: спиннинг, шкатулку, починить замок на дамской сумочке. Мятежные сапожники и портные (литовцы и западные украинцы) шили им лёгкие обхватные сапоги и обшивали их жён. И так же велели зэкам на обогатиловке сдирать с кабеля свинцовый слой и носить в лагерь для перелива на дробь — охотиться товарищам офицерам на

сайгаков.

Тут общее смятение Архипелага докатилось до Кенгира: не ставили снова решёток на окна и бараков не запирали. Ввели условно–досрочное «двух–третное» освобождение и даже невиданную «актировку» Пятьдесят Восьмой — отпускали полумёртвых на волю.

На могилах бывает особенно густая зелёная травка.

А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали — и тогда тамошние жители из неуехавших ссыльных разведали всё–таки, где похоронили тех, — и приносили степные тюльпаны.

Мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит — его зовут иначе…

(Бёрнс)

Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долгорукому, вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа — и так он получился как бы памятник Кенгиру.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ССЫЛКА

И кости по родине плачут.
Русская пословица

Глава
1. ССЫЛКА ПЕРВЫХ ЛЕТ СВОБОДЫ

Наверно, придумало человечество ссылку раньше, чем тюрьму. Изгнание из племени ведь уже было ссылкой. Соображено было рано, как трудно человеку существовать, оторванному от привычного окружения и места. Всё не то, всё не так и не ладится, всё временное, ненастоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная мерзлота.

И в Российской империи со ссылкой тоже не запоздниились: она законно утверждена при Алексее Михайловиче Соборным Уложением 1648 года. Но и ранее того, в конце XVI века, ссылали безо всякого Собора: опальных каргополь–цев; затем угличан, свидетелей убийства царевича Димитрия. Просторы разрешали — Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году полторы тысячи ссыльных. А Пётр ссылал многими сотнями. Мы уже говорили, что Елизавета заменяла смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. Но тут сделали подмену, и под ссылкою стали понимать не только вольное поселение, а и— каторгу, принудительные работы, это уже не ссылка.

Александровский устав о ссыльных 1822 года эту подмену закрепил. Поэтому, очевидно, в цифрах ссылки XIX века надо считать включённой и каторгу. В начале XIX века ссылалось, что ни год, от 2 до 6 тысяч человек. С 1820 года стали ссылать ещё и бродяг (по–нашему, тунеядцев), и так уже вытягивали в иной год до 10 тысяч. В 1863 излюбили и приспособили к ссылке отчуждённый от материка пустынный остров Сахалин, возможности ещё расширились. Всего за XIX век было сослано полмиллиона, в конце века числилось ссыльных единовременно 300 тысяч[470].

Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных тюрем, не в практике.

К концу века ссыльное установление многообразилось. Появлялись и более лёгкие виды: «высылка за две губернии», даже «высылка за границу» (это не считалось такой безжалостной

[470] Примечания: 470

Все эти данные взяты из известной книги «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» П.П. Семёнова–Тян–Шанского (Т. 16. Западная Сибирь. СПб., 1907, с. 170, 171). Не только сам знаменитый географ, но и его братья были настойчивыми самоотверженными либеральными деятелями, они много способствовали прояснению идеи свободы в нашей стране. В революцию вся семья их разгромлена, один брат расстрелян в их уютном имении на реке Ранове, само оно сожжено, вырублен большой сад, аллеи лип и тополей.

карой, как после Октября)[471]. Внедрялась и административная ссылка, удобно дополняющая ссылку судебную. Однако: ссыльные сроки выражались ясными точными цифрами, и даже пожизненная ссылка не была подлинно пожизненной. Чехов пишет в «Сахалине», что после 10 отбытых лет ссылки (а если «вёл себя совершенно одобрительно» — критерий неопределённый, но применяли его, по свидетельству Чехова, широко, то и после шести) наказанный переводился в крестьянское состояние и мог возвратиться куда угодно, кроме своего родного места.

Подразумеваемой, всем тогда естественной, а нам теперь удивительной особенностью ссылки последнего царского столетия была её индивидуальность: по суду ли, административно ли, но ссылку определяли отдельно каждому, никогда — по групповой принадлежности.

От десятилетия к десятилетию менялись условия ссылки, степень тяжести её, — и разные поколения ссыльных оставили нам разные свидетельства. Тяжелы были этапы в пересыльных партиях, однако и от П.Ф.Якубовича и от Льва Толстого мы узнаём, что политических этапиро-

[471] Примечания: 471

П.Ф.Якубович. В мире отверженных: Записки бывшего каторжника: В 2 т. М.; Л.: Худож. лит., 1964.

вали весьма сносно. Ф. Кон добавляет, что при политических этапная конвойная команда даже и с уголовниками хорошо обращалась, отчего уголовники очень ценили политических. Многие десятилетия сибирское население встречало ссыльных враждебно: им выделялись худшие участки земли, им доставалась худшая и плохо оплачиваемая работа, за них крестьяне не выдавали дочерей. Непристроенные, худо одетые, клеймёные и голодные, они собирались в шайки, грабили — и тем пуще ожесточали жителей. Однако это всё не относилось к политическим, чья струя заметна стала с 70–х годов. Тот же Ф.Кон пишет, что якуты встречали политических приязненно, с надеждой, как своих

врачей, учителей и законосоветчиков в защите от власти. У политических в ссылке были во всяком случае такие условия, что выдвинулось из них много учёных (чья наука только и пошла со ссылки)— краеведов, этнографов, языковедов[472], естественников, а также публицистов и беллетристов. Чехов на Сахалине не видел политических

[472] Примечания: 472
В.Г.Тан–Богораз, В.И.Иохельсон, Л.Я.Штернберг.

и не описал их нам[473]. Но например, Ф.Кон, сосланный в Иркутск, стал работать в редакции прогрессивной газеты «Восточное обозрение», где сотрудничали народники, народовольцы и марксисты (Красин). Это был не рядовой сибирский город, а столица генерал–губернаторства, куда по Уставу о ссыльных не надлежало вовсе допускать политических, — они же служили там в банках, в коммерческих предприятиях, преподавали, перетирались на журфиксах с местной интеллигенцией. А в омском «Степном крае» ссыльные протаскивали такие статьи, которых цензура нигде в России не пропустила бы. Даже златоустовскую стачку ссыльный Омск снабжал своей газетой. Ещё стал через ссыльных радикальным городом и Красноярск. А в Минусинске вокруг мартьяновского музея собралась столь уважаемая и не знающая административных помех группа ссыльных деятелей, что не только беспрепятственно создавала всероссийскую сеть пе–рехоронок–приютов для беглецов (впрочем,

[473] Примечания: 473

По юридической своей простоте, а верней, в духе своего времени, Чехов не запасся для Сахалина никакой командировкой, никакой служебной бумагой. Тем не менее он был допущен к придуманной им переписи ссыльно–каторжных и даже к тюремным документам! (Примерьте это к нам. Поезжайте проверить гнездо лагерей без направления от НКВД!) Только с политическими встретиться ему не дали.

о лёгкости тогдашних побегов мы уже писали), но даже направляла деятельность официального минусинского «виттевского» комитета[474]. И если о сахалинском режиме для уголовных Чехов восклицает, что он сведен «самым пошлым образом к крепостному праву», — этого не скажешь о русской ссылке для политических с давнего времени и до последнего. К началу XX века административная ссылка для политических стала в России уже не наказанием, а формальным, пустым, «обветшалым приёмом, доказавшим свою негодность» (Гучков). Столыпин с 1906 принимал меры к полному упразднению её.

А что такое была ссылка Радищева? В посёлке Усть–Илимский Острог он купил двухэтажный деревянный дом (кстати— за 10 рублей) и жил со своими младшими детьми и свояченицей, заменившей жену. Работать никто и не думал его заставлять, он вёл жизнь по своему усмотрению и имел свободу передвижения по всему Илимскому округу. Что была ссылка Пушкина в Михайловское, — теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была ссылка и многих других писателей и

[474] Примечания: 474

Феликс Кон. За пятьдесят лет // Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. На поселении. М.: Изд–во Всесоюзн. об–ва политкаторжан и ссыльно–поселенцев, 1933.

деятелей: Тургенева— в Спасское–Лутовиново, Аксакова— в Варварино (по его выбору). С декабристом Трубецким ещё в камере нерчинской тюрьмы жила жена (родился сын), когда ж через несколько лет он был переведен в иркутскую ссылку, там у них был огромный особняк, свой выезд, лакеи, французские гувернёры для детей (юридическая тогдашняя мысль ещё не созрела до понятий «враг народа» и «конфискация всего имущества»). А сосланный в Новгород Герцен по своему губернскому положению принимал рапорты полицмейстера.

Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых людей. Её испытали и в XX веке многие революционеры и фрондёры, особенно — большевики: их не опасались. Сталин, уже имея за спиной 4 побега, был на 5–й раз сослан… в саму Вологду. Вадим Подбельский за резкие антиправительственные статьи был сослан… из Тамбова в Саратов. Какая жестокость! Уж разумеется никто не гнал его там на изневольную работу[475].

Но даже и такая ссылка, по нашим теперь пред-

[475] Примечания: 475

Этот революционер, чьим именем перезваны Почтовые улицы многих русских городов, настолько, видимо, не имел навыков труда, что на первом же субботнике получил мозоль и от мозоли… умер.

ставлениям льготная, ссылка без угрозы голодной смерти, воспринималась ссылаемым подчас тяжело. Многие революционеры вспоминают, как болезнен пришёлся им перевод из тюрьмы с её обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом для университетов и партийных перебранок — в ссылку, где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крове. А когда изыскивать их не надо, то, объясняют они (Ф. Кон), ещё хуже: «ужасы безделья… Самое страшное то, что люди обречены на бездействие», — и вот некоторые уходят в науки, кто — в наживу, в коммерцию, а кто — спивается от отчаяния.

Но — отчего безделье? Ведь местные жители не жалуются на него, они едва управляются спину разогнуть к вечеру. Так точней сказать— от перемены почвы, отсбива привычного образа жизни, от обрыва корней, от потери живых связей.

Всего два года ссылки понадобилось журналисту Николаю Надеждину, чтобы потерять вкус свободолюбия и переделаться в честного слугу престола. Буйный, разгульный Меншиков, сосланный в 1727 году в Берёзов, построил там церковь, толковал с местными жителями о суете мира, отпустил бороду, ходил в простом халате и в два года умер. Казалось бы — чем изнуритель-

на, чем уж так невыносима была Радищеву его вольготная ссылка? — но когда потом в России стала угрожать ему повторная ссылка, он из страха перед нею покончил с собой. А Пушкин из села Михайловского, из этого рая земного, где б, кажется, довёл только Бог жить и жить, в октябре 1824 года писал Жуковскому. «Спаси меня (т. е. от ссылки. — АС.) хоть крепостью, хоть Соловецким монастырём!» И это не фраза была, потому что и губернатору писал он, прося о замене ссылки на крепость.

Нам, узнавшим, что такое Соловки, это вдиво теперь: в каком порыве, в каком отчаянии и неведении мог поэт швырять Михайловское и просить Соловецкие острова?..

Вот это и есть та мрачная сила ссылки — чистого перемещения и водворения со связанными ногами, о которой догадались ещё древние властители, которую изведал ещё Овидий.

Пустота. Потерянность. Жизнь, нисколько не похожая на жизнь…

* * *

В перечне орудий угнетения, которые должна была навсегда разместить светлая революция, на каком–нибудь четвёртом месте числилась, ко-

нечно, и ссылка.

Но едва лишь первые шаги ступила революция своими кривеющими ножками, ещё не возмужав, она поняла: нельзя без ссылки! Может быть, год какой не было в России ссылки, ну до трёх. И тут же вскоре начались, как это теперь называется, депортации— вывоз нежелательных. Вот подлинные слова народного героя, потом и маршала, о 1921 годе в Тамбовской губернии: «Было решено организовать широкую высылку бандитских (читай — «партизанских». — А.С.) семей. Были организованы обширные концлагеря, куда предварительно эти семьи заключались» (разрядка моя. —АС)[476].

Только удобство расстреливать на месте, вместо того чтобы куда–то везти, и в дороге охранять и кормить, потом расселять и опять охранять, — только это одно удобство задержало введение регулярной ссылки до конца военного коммунизма. Но уже 16 октября 1922 при НКВД была создана постоянная Комиссия по Высылке «социально–опасных лиц, деятелей антисоветских партий», то есть всех, кроме болыпевицкой, и

[476] Примечания: 476

М. Тухачевский. Борьба с контрреволюционными восстаниями. // Война и революция. М., 1926. Кн. 8, с. 10.

расхожий срок был — 3 года[477]. Таким образом, уже в самые ранние 20–е годы институция ссылки действовала привычно и размеренно.

Правда, уголовная ссылка не возобновилась: ведь были уже изобретены исправтрудлагеря, они и поглотили. Но зато политическая ссылка стала удобнее, чем когда–либо: в отсутствие оппозиционных газет высылка становилась безгласной, а для тех, кто рядом, кто близко знал ссылаемых, после расстрелов военного коммунизма трёхлетняя незлобная непоспешная ссылка казалась лирической воспитательной мерой.

Однако из этой вкрадчивой санитарной высылки не возвращались в родные места, если же успевали вернуться, то вскоре их брали вновь. Затянутые начинали свои круги по Архипелагу, и последняя обломанная дуга спускалась непременно в яму.

По благодушию людскому не скоро прояснился замысел власти: просто ещё не окрепла власть, чтобы всех неугодных сразу искоренить. И вот обречённых вырывали пока не из жизни, а из

[477] Примечания: 477

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 1922: Отд. 1. № 65. Ст. 844: О дополнении к постановлениям о Государственном Политическом Управлении и административной высылке.

памяти людской.

Тем легче восстанавливалась ссылка, что не залегли ещё, не запали дороги прежних этапов, и сами места сибирские, архангельские и вологодские не изменились ничуть, не удивлялись нисколько. (Впрочем, государственная мысль на том не замрёт, чей–то палец ещё полазит по карте шестой части суши, и обширный Казахстан, едва примкнув к Союзу Республик, хорошо приляжет к ссылке своими просторами, да и в самой Сибири сколько мест откроется поглуше.)

Но осталась в ссыльной традиции и кое–какая помеха, именно: иждивенческое настроение ссыльных, что государство обязано их кормить. Царское правительство не смело заставлять ссыльных увеличивать национальный продукт. И профессиональные революционеры считали для себя унизительным работать. В Якутии имел право ссыльно–поселенец на 15 десятин земли (в 65 раз больше, чем колхозник теперь). Не то чтоб революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю якуты и платили революционерам «отступного», арендную плату, расплачивались продуктами, лошадьми. Так, приехав с голыми руками, революционер сразу оказывался кредитором

якутов (Ф. Кон). И ещё, кроме того, платило царское государство своему политическому врагу в ссылке: 12 рублей в месяц кормёжных и 22 рубля в год одёжных. Лепешинский пишет[478], что и Ленин в шушенской ссылке получал (не отказывался) 12 рублей в месяц, асам Лепешинский— 16 рублей, ибо был не просто ссыльный, но ссыльный чиновник. Ф.Кон уверяет нас теперь, что этих денег было крайне мало. Однако известно, что сибирские цены были в 2–3 раза ниже российских, и потому казённое содержание ссыльного было даже избыточным. Например, В.И.Ленину оно дало возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования. Мартов же пишет, что он за 5 рублей в месяц получал от хозяина квартиру с полным столом, а остальные деньги тратил на книги и откладывал на побег. Анархист А.П.Улановский говорит, что только в ссылке (в Туруханском крае, где он был вместе со Сталиным) у него впервые в жизни появились свободные деньги, он высылал их вольной девице, с которой познакомился где–то по дороге, и впервые мог купить и попробовать, что такое

[478] Примечания: 478

П.Н.Лепешинский. На повороте (От конца 80–х годов к 1905 г.): Попутные впечатления участника революционной борьбы. Пб.: Гос. изд–во, 1922.

какао. У них там оленье мясо и стерлядь были нипочём, хороший крепкий дом стоил 12 рублей (месячное содержание!). Никто из политических не знал недостачи, денежное содержание получали все административно–ссыльные. И одеты были все хорошо (они и приезжали такими).

Правда, пожизненные ссыльно–поселенцы, по–нашему сказать «бытовики», денежного содержания не получали, но безвозмездно шли им от казны шубы, вся одежда и обувь. На Сахалине же, установил Чехов, все поселенцы два–три года, а женщины и весь срок, получали бесплатное казённое содержание натурою, втом числе мяса на день 40 золотников (значит 200 г), а хлеба печёного — 3 фунта (то есть «кило двести», как стахановцы наших воркутинских шахт за 150% нормы. Правда, считает Чехов, что хлеб этот— недопечен и из дурной муки, — ну да ведь и в лагерях же не лучше!). Ежегодно выдавалось им по полушубку, армяку и по несколько пар обуви. Ещё такой был приём: платила ссыльным царская казна умышленно высокие цены за их изделия, чтобы поддержать их продукцию. (Чехов пришёл к убеждению, что не Сахалин, колония, выгоден для России, но Россия кормит эту колонию.)

Ну разумеется, на таких нездоровых условиях не могла основаться наша советская политическая ссылка. В 1928 2–й Всероссийский съезд административных работников признал существующую систему высылки неудовлетворительной и ходатайствовал об «организации ссылки в форме колоний в отдалённых изолированных местностях, а также о введении системы неопределённых приговоров (то есть бессрочных)[479]. С 1929 стали разрабатывать ссылку в сочетании с принудительными работами[480].

«Кто не работает—тот не ест» — вот принцип социализма. И только на этом социалистическом принципе могла строиться советская ссылка. Но именно социалисты привыкли в ссылке получать питание бесплатно! Не сразу посмев сломить эту традицию, стала и советская казна платить своим политическим ссыльным— только, конечно, не всем, уж конечно не каэрам, а— политом, среди них тоже делая ступенчатые различия: например, в Чимкенте в 1927 году эсерам и эсдекам по 6 рублей в месяц, а троцкистам — по 30 (всё–таки — свои, большевики). Только рубли эти были уже не

[479] Примечания: 479
ЦГАОР, ф. 4042, оп. 38, д. 8, л. 34, 35.

[480] Примечания: 480
ЦГАОР, ф. 393, оп. 84, д. 4, л. 97.

царские, за самую маленькую комнатушку надо было платить в месяц 10 рублей, а на 20 копеек вдень пропитаться очень скудно. Дальше— твёрже. К 1933 году «политам» платили пособие 6 р. 25 к. в месяц. А в том году, сам помню отлично, килограмм ржаного сырого «коммерческого» хлеба (сверх карточного) стоил 3 рубля. Итак, не оставалось социалистам учить языки и писать теоретические труды, оставалось социалистам горбить. С того же, кто шёл на работу, ГПУ тотчас снимало и последнее ничтожное пособие.

Однако и при желании работать — сам тот заработок получить ссыльным было нелегко. Ведь конец 20–х годов известен у нас большой безработицей, получение работы было привилегией людей с незапятнанной анкетой и членов профсоюза, а ссыльные не могли конкурировать, выставляя своё образование или опыт. Над ссыльными ещё тяготела и комендатура, без согласия которой ни одно учреждение и не посмело бы ссыльного принять. (Да даже и бывший ссыльный имел слабую надежду на хорошую работу: мешало тавро в паспорте.)

В 1934 году, в Казани, вспоминает П.С–ва, группа отчаявшихся образованных ссыльных нанялась мостить мостовые. В комендатуре их корили:

зачем эта демонстрация? Но не помогли найти другую работу, и Григорий Б. отмерил оперу: «А вы какого–нибудь процессика не готовите? А то б мы нанялись платными свидетелями».

Приходилось крошечки со стола да сметать в рот.

Вот как упала русская политическая ссылка! Не оставалось времени спорить и протесты писать против «Credo». И горя такого не знали: как им справиться с бессмысленным бездельем… Забота стала— как с голоду не помереть. И не опуститься стать стукачом.

В первые советские годы в стране, освобождённой наконец от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар надувной. Оказалось, что мнимой была та сила, которой побаивалась прежняя власть в политических ссыльных. Что создавало и поддерживало эту силу лишь общественное мнение страны. Но едва общественное мнение заменено было мнением организованным — и низверглись ссыльные с их протестами и правами под произвол тупых зачуханных гепеушников и бессердечных тайных инструкций (к первым таким инструкциям успел приложить руку и ум министр внутренних дел Дзержинский). Хрип-

лый выкрик один, хоть словечко о себе туда, на волю, крикнуть стало теперь невозможно. Если сосланный рабочий посылал письмо на прежний свой завод, то рабочий, огласивший его там (Ленинград, Василий Кириллович Егоршин), тут же ссылался сам. Не только денежное пособие, средства к жизни, но и всякие вообще права потеряли ссыльные: их дальнейшее задержание, арест, этапирование были ещё доступнее для ГПУ, чем пока эти люди считались вольными, — теперь уже не стесняемы ничем, как бы над гуттаперчевыми куклами, а не людьми[481]. Ничего не стоило итак их сотрясти, как было в Чимкенте: объявили внезапно о ликвидации здешней ссылки в одни сутки. За сутки надо было: сдать служебные дела, разорить своё жилище, освободиться от утвари, собраться— и ехать указанным маршрутом. Не намного мягче арестантского этапа! Не намного увереннее ссыльное завтра…

Но не только безмолвность общества и давление ГПУ — а что были сами эти ссыльные? эти мнимые члены партий без партий? Мы не имеем

[481] Примечания: 481

Те западные социалисты, как Даниэль Мейер, которые только в 1967 ощутили «постыдным быть социалистами вместе с СССР», могли бы, пожалуй, прийти к этому убеждению лет и на 40–45 пораньше. Ведь советские коммунисты уже тогда под корень уничтожали советских социалистов, но: за чужой щекою зуб не болит.

в виду кадетов — всех кадетов внутри страны уже извели, — но что значило к 1927 или к 1930 году считаться эсером или меньшевиком? Нигде в стране никакой группы действующих лиц, соответственных этому названию, не было. В начале 20–х годов всем социалистам предлагали отрекаться от своих партийных убеждений, и во множестве они соглашались и отваливались, лишь небольшое меньшинство заявляло верность этим убеждениям. (Хотя для нас, в историческом огляде, эти убеждения уже мало понятны, поскольку все социалистические партии практически лишь помогли утвердиться большевикам.) Давно, с самой революции, за десять громокипящих лет, не пересматривались программы этих партий, и даже если б эти партии внезапно воскресли, — неизвестно было, как им понимать события и что предлагать. Вся печать давно поминала их только в прошлом времени — и уцелевшие члены партий жили в семьях, работали по специальности и думать забывали о своих партиях. Но — нестираемы скрижальные списки ГПУ. И по внезапному ночному сигналу этих рассеянных кроликов выдёргивали и через тюрьмы этапировали — например в Бухару.

Так приехал И.В.Столяров в 1930 и встретил там

собранных со всех концов страны стареющих эсеров и эсдеков. Вырванным из своей обычной жизни, только и оставалось им теперь, что начать спорить, да оценивать политический момент, да предлагать решения, да гадать, как пошло бы историческое развитие, если бы… если бы…

Так сколачивали из них — но уже не партии, а — мишень для потопления.

Более многочисленные были в ссылке грузинские эсдеки и армянские дашнаки, в больших количествах сосланные в дальние места после захвата их республик коммунистами. Вспоминают, что живой и боевой партией в 20–е годы были сионисты–социалисты с их энергичной юношеской организацией «Гашемер» и легальной организацией «Гехалуц», создававшей земледельческие еврейские коммуны в Крыму. В 1926 посадили всё их ЦК, а в 1927 мальчишек и девчёнок до 15–16 лет взяли из Крыма в ссылку. Давали им Туркуль и другие строгие места. Это была действительно партия — спаянная, настойчивая, уверенная в правоте. Но добивались они не общей цели, а своей частной: жить как нация, жить своею Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в

других потерпеть узкого национализма![482]

Уже в самих местах ссылки социалисты находили друг друга, и возникали, оживлялись фракции их, возникали кассы взаимопомощи (но все строго фракционные — только свои своим). Из мест, где было легко с работой, например из Чимкента, посылали помощь своим «северным» безработным однопартий–цам и тем, кто сидел в изоляторах. Оживлялась идея борьбы за «статус политических» (всё советское время социалисты так и не поняли, как это неприлично — отстаивать права не всему народу зэков, а только себе и своим). Ещё было у них местами соединённое приготовление пищи, уход за детьми и естественные при этом сборища, взаимопосещения. Ещё дружно праздновали они в ссылке 1 мая (демонстративно не отмечая 7 ноября).

Ссыльные очень были ослаблены недружественными отношениями между партиями,

---

[482] Примечания: 482

Казалось бы, такой природный и благородный порыв сионистов— воссоздать землю своих предков, утвердить веру своих предков и стянуться туда из двухтысячелетнего рассеяния, должен был бы вызвать дружную поддержку и помощь хотя бы европейских народов. Правда, Крым вместо Палестины никак не был той чистой сионистской идеей, и не насмешкою ли Сталина было предложение этому средиземноморскому народу избрать себе второю Палестиною притаёжный Биробиджан? Великий мастер вытаивать подолгу свои мысли — он этим ласковым приглашением, может быть, делал первую примерку той ссылки, которую им наметит на 1953 год?

которые сложились в советские годы и особенно обострились со средины 20–х годов, когда в ссылке появились многочисленные троцкисты, никого, кроме себя, не признающие за политических.

Ещё и в ссылке оставалась у политое возможность отрекаться и через то освобождаться — но уже здесь, на глазах фракций, такие случаи были редки. Да к 1936 году многие эсдеки и эсеры всё равно были от ссылки освобождены (не значит, что имена их забыты), — тем жёстче заморгает коршуний глаз оперсектора над оставшимися. А в 1937 всех их пересадили в тюрьмы.

Ну да не одни же социалисты содержались в ссылке 20–х и 30–х годов — и главным образом (что ни год, то верней) совсем не социалисты. Лились и просто беспартийные интеллигенты — те духовно независимые люди, которые мешали новому режиму установиться. И— бывшие, недоуничтожен–ные в Гражданскую войну. И даже — мальчики «за фокстрот»[483]. И спириты. И оккультисты. И духовенство — сперва ещё с правом служения в ссылке. И просто верующие, просто христиане, или крестьяне, как переиначили русские много веков назад. И крестьяне как

---

[483] Примечания: 483

1926 год, Сибирь. Свидетельство Д.П.Витковского.

таковые.

И все они попадали под око того же оперсектора, все разъединялись и костенели. С годами они всё более станут чуждаться друг друга, чтоб НКВД не заподозрило у них «организации» и не стало бы брать по новой. (А именно эта участь и ждёт их многих.) Так в черте государственной ссылки они углубятся во вторую добровольную ссылку— в одиночество. (А Сталину именно это и надо.)

Ослаблены были ссыльные и отчуждённостью от них местного населения: местных преследовали за какую–либо близость к ссыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодёжь исключали из комсомола.

Обессиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к побегам. У ссыльных царского времени побеги были весёлым спортом: пять побегов Сталина, шесть побегов Ногина, — грозила им за то не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ со средины 20–х годов наложило на ссыльных партийную круговую поруку: все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не хватало воздуха, и уже так был прижимист гнёт, что социалисты, недавно гордые и неукротимые,

приняли эту поруку! Они теперь сами, своим партийным решением запрещали себе бежать]

Да и куда бежать? К к о м у бежать?..

Тёртые ловкачи теоретических обоснований быстро пристроили: бежать — не время, нужно ждать. И вообще бороться не время, тоже нужно ждать. В начале 30–х годов Н.Я. Мандельштам отмечает у чердынских ссыльных социалистов полный отказ от сопротивления. Даже — ощущение неизбежной гибели. И единственную практическую надежду: когда будут новый срок добавлять, то хоть бы без нового ареста, дали бы расписаться тут же, на месте— и тогда хоть не разорится скромно–налаженный быт. И единственную моральную задачу: сохранить перед гибелью человеческое достоинство.

Нам, после каторжных лагерей, где мы из раздавленных единиц внезапно стали соединяться, — грустно поминать этот процесс всеобщего расчленения. Но в наши десятилетия идёт общественная жизнь к расширению и полноте (вдох), а тогда она шла к угнетению и сжатию (выдох).

Так негоже нашей эпохе судить эпоху ту.

А ещё у ссылки были многие градации, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки обмена удостоверений личности (неко-

торым — ежемесячно, и это с изнурительными процедурами). Дорожа не попасть в категорию худшую, должен был каждый блюсти правила.

До начала 30–х годов сохранялась и самая смягчённая форма: не ссылка, а минус. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город за минусом скольких–то. Но, однажды выбрав, к месту этому он прикреплялся на тот же трёхлетний срок. Минусник не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы; если ж он умудрялся получить её, — на администрацию давили: уволить.

Минус был булавкой: им прикалывалось вредное насекомое и так ждало покорно, пока придёт ему черёд арестоваться по–настоящему.

А ещё же была вера в этот передовой строй, который не может, не будет нуждаться в ссылке! Вера в амнистию, особенно к блистательной 10–й годовщине Октября!..

И амнистия пришла, амнистия — ударила. Четверть срока (из трёх лет— 9 месяцев) стали сбрасывать ссыльным, и то не всем. Но так как раскладывался Большой Пасьянс, и за тремя годами ссылки дальше шли три года политизолятора

и потом снова три года ссылки, — это ускорение на 9 месяцев нисколько не украшало жизни.

А там приходила пора и следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов к концу трёхлетней тобольской ссылки (1937) был взят по категоричному точному обвинению: «распространение слухов о займах (какие же могут быть слухи о займах, наступающих кажегод с неизбежностью майского расцвета?..) и недовольство советской властью» (ведь ссыльный должен быть доволен своей участью). И что ж дали за такие гнусные преступления? Расстрел в 72 часа и не подлежит обжалованию! (Его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги.)

Такова была ссылка первых лет завоёванной свободы, и таков путь полного освобождения от неё.

Ссылка была— предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели — вызова туда. (Были умные люди — из бывших, да и простых крестьян, ещё в 20–е годы понявшие всё предлежание. И, окончив первую трёхлетнюю ссылку, они на всякий случай там же, например в Архангельске, оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок.)

Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка, да и туруханская с какао.

Вот чем была у нас догружена овидиева тоска.

Глава 2. МУЖИЧЬЯ ЧУМА

Тут пойдёт о малом, в этой главе. О пятнадцати миллионах душ. О пятнадцати миллионах жизней.

Конечно, не образованных. Не умевших играть на скрипке. Не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой.

Во всей Первой Мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без вести меньше двух миллионов. Во всей Второй — двадцать миллионов (это — по Хрущёву, а по Сталину — только семь. Недоглядел Иосиф капиталу?). Так сколько же од! Сколько обелисков, вечных огней! романов и поэм! — да четверть века вся советская литература этой кровушкой только и напоена.

А о той молчаливой предательской Чуме, сглодавшей нам 15 миллионов мужиков, — и это по самому малому расчёту и только кончая 1932 го-

дом![484] — дане подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, — о той Чуме нет книг. А о 6 миллионах выморенных вослед искусственным болыпевиц–ким голодом — о том молчит и родина наша, и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине в деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощицы у станций нельзя было вступить — дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. «Безбелковый отёк» записывали тем, кто добирался умереть на пороге больницы. На Кубани было едва ли не жутче. И в Белоруссии во многих местах собирали мертвецов приезжие команды, своим — уже некому было хоронить.

И трубы не будят нас встрепенуться. И на перекрёстках просёлочных дорог, где визжали обозы обречённых, не брошено даже камешков трёх. И лучшие наши гуманисты, так отзывчивые к сегодняшним несправедливостям, в те годы только кивали одобрительно: всё правильно! так им и надо!

---

[484] Примечания: 484

Эта цифра преуменьшена, если судить по речи Сталина на 1–м съезде колхозников–ударников (Сочинения. Т. 13. М., 1951, с. 246). Он назвал: на каждые 100 дворов — 4–5 кулацких, 8–10 зажиточных. Объединяя, получим процент дворов на уничтожение от 12 до 15. А в 1929 крестьянских дворов было около 26 миллионов, а крестьянская семья того времени в среднем больше 5 человек, а зажиточная — и больше 6.

И так это глухо было сделано, итак начисто соскребено, и так всякий шёпот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам: «не надо, братцы, уж вороха у меня этих рассказов, не убираются», а по ссылке мужичьей нисколько не несут. А кто бы и где бы рассказал нам?..

Да знаю я, что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека. А я и главу одну собрать обстоятельно не умею.

И всё ж начинаю. Я ставлю её как знак, как мету, как эти камешки первые, — чтоб только место обозначить, где будет когда–нибудь же восставлен новый Храм Христа Спасителя.

С чего это всё началось? С догмы ли, что крестьянство есть «мелкая буржуазия»? (А кто у них— не мелкая буржуазия? По их замечательно чёткой схеме, кроме фабричных рабочих, да и то исключая квалифицированных, и кроме тузов–предпринимателей, все остальные, весь собственно народ, и крестьяне, и служащие, и артисты, и лётчики, и профессора, и студенты, и врачи— как раз и есть «мелкая буржуазия».) Или с разбойного верховного расчёта: одних ограбить, а других запугать?

Из последних писем Короленко Горькому в 1921 году, перед тем как первый умер, а второй

эмигрировал, мы узнаём, что этот бандитский наскок на крестьянство уже тогда начался и осуществлялся почти в той форме, что ив 1930 году. (С годами всё больше открывается об этом материалов.)

Но ещё не по силе была дерзость— и отсягнули, отступили.

Однако замысел в голове оставался, и все 20–е годы открыто козыряли, кололи, попрекали: кулак! кулак! кулак! Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с «кулаком» на одной земле нельзя.

Истребительная крестьянская Чума подготовлялась, сколько можно судить, ещё с ноября 1928 года, когда по докладу северо–кавказского секретаря крайкома Андреева ЦК ВКП(б) запретил принимать в колхозы состоятельных мужиков («кулаков»), — вот они уже и отделялись для уничтожения. Это решение было подтверждено в июле 1929— и уже готовы были душегубные списки, и начались конфискации и выселение. А в начале 1930 года совершаемое (уже отрепетированное и налаженное) возглашено публично — в постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января об ускорении коллективизации (партия имеет «полное основание перейти в своей практической работе

от политики ограничения эксплоататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса»).

Не задержались вослед ЦК и послушно–согласные ЦИК и СНК— 1 февраля 1930 развернули волю партии законодательно. Предоставлялось крайоблисполкомам «применять все необходимые меры в борьбе с кулачеством вплоть до (а иначе и не было) полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краёв».

Лишь на последнем слове застыдился Мясник. Из каких пределов — назвал. Но не назвал — в какие. Кто веками хлопает, могли так понять, что — за тридцать вёрст, по соседству…

А подкулачника в Передовой Теории, кажись, и не было. Но по захвату косилки ясно стало, что без него не обойтись. Цену этого слова мы разобрали уже. Коль объявлен «сбор тары» и пошли пионеры по избам собирать от мужиков мешки в пользу нищего государства, а ты не сдал, пожалел свой кров–ненький (их ведь в магазине не купишь) — вот и подкулачник. Вот и на ссылку.

И прекрасно пошли гулять эти клички по Руси Советской, чьи ноздри ещё не остыли от кровавых воспарений Гражданской войны! Пущены были

слова, и хотя ничего не объясняли — были понятны, очень упрощали, не надо было задумываться нисколько. Восстановлен был дикий (да, по–моему, и нерусский; где в русской истории такой?) закон Гражданской войны: десять за одного! сто за одного! За одного в оборону убитого активиста (и чаще всего — бездельника, болтуна; все кряду вспоминают: ведали раскулачиванием воры да пьяницы) искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышлёных крестьян, тех, кто и несли в себе остойчивость русской нации.

Как? как! — кричат нам. К мироеды? Прижимщики соседей? На тебе ссуду, а ты мне шкурой вернёшь?

Верно, в малой доле попали туда и мироеды (да все ли?). Только спросим и мы: мироеды — по крови ли? от сути ли своей доконной? Или по свойству всякого богатства (и всякой власти) портить человека? О, если б так проста была «очистка» человечества или сословия! Но когда железным частым гребнем так очистили крестьянство от бессердечных мироедов, пятнадцати миллионов на это не пожалели, — откуда же в сегодняшней колхозной деревне эти злые, пузатые, краснорожие, возглавляющие её (и райком)? Эти безжалостные притеснители одиноких старух и

всех беззащитных? Как хищный корень пропустили при «раскулачивании»? Батюшки, дане из активистов ли они?..

Тот, кто вырос на грабеже банков, не мог рассудить о крестьянстве ни как брат, ни как хозяин. Он только свистнуть мог Соловьем–разбойником — и поволокли в тайгу и тундру миллионы трудяг, хлеборобов с мозолистыми руками, именно тех, кто власть советскую устанавливал, чтоб только получить землю, а получив— быстро укреплялся на ней («земля принадлежит тем, кто на ней трудится»).

Уж о каких мироедах звонить языком в деревянные щёки, если кубанские станицы, например Урупинскую, выселили всю под метлу, от старика до младенца (и заселили демобилизованными)? Вот где ясен «классовый принцип», да? (Напомним, что именно Кубань почти не поддерживала белых в Гражданскую войну и первая разваливала деникинский тыл, искала соглашения с красными. И вдруг — «кубанский саботаж»?) А знаменитое на Архипелаге село Долинка, центр архипелаж–ного сельского хозяйства, — откуда взялось? В 1929 году все его жители (немцы) были «раскулачены» и высланы. Кто там кого эксплуатировал— непонятно.

Ещё хорошо понятен принцип «раскулачивания» на детской доле. Вот Шурка Дмитриев из деревни Маслено (Сели–щенские казармы у Волхова). В 1925 году, по смерти своего отца Фёдора, он остался тринадцати лет, единственный сын, остальные девчёнки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся. И девчёнки и мать подчинились ему. Теперь как занятой и взрослый раскланивался он со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца, и были у него к 1929 году закрома полны зерна. Вот и кулак! Всю семью и угнали!..

Адамова–Слиозберг трогательно рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 1936 году в тюрьму за самовольный уход — пешком две тысячи километров! спортивные медали за это надо давать — из уральской ссылки в родное село Светловидово под Тарусой. Малолетней школьницей она была сослана с родителями в 1929 году, навсегда лишена учёбы. Учительница ласково звала её «Мотя–Эдисончик»: девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума, она какую–то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. Через семь лет потянуло её хоть глянуть на брёвна той недостижимой школы — и получила за то «Эди-

сончик» тюрьму и лагерь.

Дайте–ка детскую судьбу такую из XIX века!

Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник — а кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Вот мельник Прокоп Иванович Лактюнькин из рязанских (пителинских) Пеньков. Едва он был «раскулачен», как без него через меру зажали жернова— и спалили мельницу. После войны, прощённый, воротился он в родное село и не мог успокоиться, что нет мельницы. Лактюнькин испросил разрешение, сам отлил жернова и на том же (обязательно на том же!) месте поставил мельницу — отнюдь не для своей выгоды, а для колхоза, ещё же верней— для полноты и украшения местности.

А вот и деревенский кузнец, сейчас посмотрим, какой кулак. Даже, как любят отделы кадров, начнём с отца. Отец его, Гордей Васильевич, 25 лет служил в Варшавской крепости и выслужил, как говорится, только то серебро, что пуговка олов–ца: солдат–двадцатипятилетник лишался земельного надела. Женясь при крепости на солдатской дочке, приехал он после службы на родину жены в деревню Барсуки Красненского уезда. Тут подпоила его деревня, и половиной

накопленных им денег заплатил он за всю деревню недоимки податей. А на другую половину взял в аренду мельницу у помещика, но быстро на этой аренде потерял и остальные деньги. И долгую старость пробыл пастухом да сторожем. И было у него 6 дочерей, всех выдал за бедняков, и единственный сын Трифон (а фамилия их— Твардовские). Мальчик отдан был услуживать в галантерейный магазин, но оттуда сбежал в Барсуки и нанялся к кузнецам Молчановым — год бесплатным батраком, четыре года учеником, через четыре года стал мастером и в деревне Загорье поставил избу, женился. Детей родилось у них семеро (средь них— поэт Александр), вряд ли разбогатеешь от кузни. Помогал отцу старший сын Константин. От света и до света они ковали и варили — и вырабатывали пять отличных насталенных топоров, но кузнецы из Рославля с прессами и наёмными рабочими сбивали им цену. Кузница их так и была до 1929 года деревянная, конь — один, иногда корова с тёлкой, иногда— ни коровы, ни тёлки, да 8 яблонь, вот такие мироеды.

Крестьянский Поземельный банк продавал в рассрочку заложенные имения. Взял Трифон Твардовский 11 десятин пустоши, всю заросшую

кустами, и вот ту пустошь корчевали своим горбом до самого года Чумы — 5 десятин освоили, а остальные так и покинули в кустах. Наметили их раскулачить — во всей деревне 15 дворов, а кого–то же надо! — приписали небывалый доход от кузницы, непосильно обложили, не уплачено в срок— так собирайся в отъезд, кулачьё проклятое!

Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых или двухэтажный в ряду одноэтажных— вот тот и кулак, собирайся, сволочь, в шестьдесят минут! Не должно быть в русской деревне домов кирпичных, не должно двухэтажных! Назад, в пещеру! Топись по–чёрному! Это наш великий преобразующий замысел, такого ещё в истории не было.

Но главный секрет— ещё не в том. Иногда, кто и лучше жил, — если быстро вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявленья не подавал, — высылался.

Очень важно, это самое важное! Ни в каком не «раскулачивании» было дело, а в насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, обещанную революцией, — и на эту же землю их же посадить крепостными.

И вот по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные вооружённые активисты, штыками искалывали землю во дворах, молотками выстукивали стены в избах— иногда разваливали стену— и оттуда сыпалась пшеница. Уже для напуга больше вспарывали ножами и подушки. Хозяйская малая девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила себе пшенички, — «воровка!» — закричала на неё активистка и сапогом выбила, рассыпала пшеницу из девочкиного подола. И не дала собирать по зёрнышку.

Это была вторая гражданская война — теперь против крестьян. Это был Великий Перелом, да, только не говорят — чего перелом?

Русского хребта.

* * *

Нет, согрешили мы на литературу соцреализма— описано у них раскулачивание, описано — и очень гладко, и с большой симпатией, как охота на лязгающих волков.

Только не описано, как в длинном порядке деревни — и все заколочены окна. Как идёшь по деревне — и на крылечке видишь мёртвую женщину с мёртвым ребёнком на коленях. Или сидящего под забором старика, он просит у тебя

хлеба — а когда ты идёшь назад, он уже завалился мёртвый.

И такой картины у них не прочтём: председатель сельсовета с понятой учительницей входит в избу, где лежат на полатях старик и старуха (старик тот прежде чайную держал, ну как не мироед? — никто ведь не хочет с дороги горячего чаю), и трясёт наганом: «слезай, тамбовский волк!» Старуха завыла, и председатель для пущей острастки выпалил в потолок (это очень гулко в избе получается). В дороге те старики оба умерли.

Уж тем более не прочтём о таком приёме раскулачивания: всех казаков (донская станица) скликали «на собрание» — а там окружили с пулемётами, всех забрали и угнали. А уж баб потом выселять ничего не стоило.

Нам опишут и даже в кино покажут целые амбары или ямы зерна, укрытые мироедами. Нам только не покажут то малое нажитое, то родное исвоекожное— скотинку, двор да кухонную утварь, которую всю покинуть велено плачущей бабе. (Кто из семьи уцелеет, и извернётся схлопотать, и Москва «восстановит» семью как середняцкую, — уж не найдут они, вернувшись, своего среднего хозяйства: всё растащено акти-

вистами и бабами их.)

Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускают семью на казённую телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже печёного хлеба, — и спас их сосед, Кузьма многодетный, тоже не богач, — принёс на дорогу.

Кто успевал — от той Чумы бежал в город. Иногда и с лошадью — но некому было в такую пору лошадь продать: как чума стала и та крестьянская лошадь, верный признак кулака. И на конном базаре хозяин привязывал её к коновязи, трепал по храпу последний раз — и уходил, пока не заметили.

Принято считать, что Чума та была в 1929–30. Но трупный дух её долго ещё носился над деревней. Когда на Кубани в 1932 намолоченный хлеб весь до зерна тут же из–под молотилки увозили государству, а колхозников кормили, лишь пока уборка и молотьба, отмолотились — и горячая кормёжка кончилась, и ни зёрнышка на трудодень, — как было одёргивать воющих баб? А кто ещё тут недокулачен? А кого — сослать? (В каком состоянии оставалась раннеколхозная деревня, освобождённая от кулаков, можно судить по свидетельству Скрип–никовой: в 1930 при ней

некоторые крестьянки из Соловков посылали посылки с чёрными сухарями в родную деревню!)

Вот история Тимофея Павловича Овчинникова, 1886 года рождения, из деревни Кишкино Михневской волости (невдали от Горок Ленинских, близ того же шоссе). Воевал германскую, воевал Гражданскую. Отвоевался, вернулся на декретную землю, женился. Умный, грамотный, бывалый, золотые руки. Разумел и по ветеринарному делу самоучкою, был доброхот на всю округу. Неустанно трудясь, построил хороший дом, разбил сад, вырастил доброго коня из малого жеребёнка. Но смутил его НЭП, угораздило Тимофея Павловича ещё и в это поверить, как поверил в землю, — завёл на паях с другим мужиком маленькую кустарную мастерскую по выделке дешёвых колбас. (Теперь–то, сорок лет без колбасы деревню продержав, почесать бы в затылке: и что было в той колбасной плохого?) Трудились в колбасной сами, никого не нанимая, да и колбасы–то продавали через кооперацию. И поработали всего два года, с 1925 по 1927, тут стали душить их налогами, исходя из мнимых крупных заработков (выдумывали их фининспекторы по службе, но ещё надували в уши финотделу деревенские завистники–лентяи, сами ни к чему не

способные, только стать активистами). И пайщики закрыли колбасную. В 1929 Тимофей вступил в колхоз одним из первых, свёл туда свою добрую лошадь, и корову, и отдал весь инвентарь. Во всю мочь работая на колхозном поле, ещё выращивал двух племенных бычков для колхоза. Колхоз разваливался, и многие шли и бежали из него — но у Тимофея было уже пятеро детей, не стронешься. По злой памяти финотдела он всё считался зажиточным (ещё и за ветеринарную помощь народу), уже и на колхозника несли и несли на него непомерные налоги. Платить было нечем, потянули из дому тряпки; трёх последних овечек 11–летний сын спроворился разик тихо угнать от описи, другой раз забрали и их. Когда ещё раз описывать имущество пришли, ничего уже не было у бедной семьи, и бесстыдные финотделыцики описали фикусы в кадках. Тимофей не выдержал — и у них на глазах эти фикусы изрубил топором. Это что ж он, значит, сделал: 1) уничтожил имущество, принадлежащее уже государству, а не ему; 2) агитировал топором против советской власти; 3) дискредитировал колхозный строй.

А как раз колхозный строй в деревне Кишкино трещал, никто уже работать не хотел, не верил,

ушла половина, и когото надо было примерно наказать. Заядлый нэпман Тимофей Овчинников, пробравшийся в колхоз для его развала, теперь и был раскулачен по решению председателя сельсовета Шо–колова. Шёл 1932 год, массовая ссылка кончилась, и жену с шестью детьми (один грудной) не сослали, лишь выбросили на улицу, отняв дом. На свои уже деньги они через год добирались к отцу в Архангельск. Все в роду Овчинниковых жили до 80 лет, а Тимофей от такой жизни загнулся в 53[485].

Даже и в 1935 году, на Пасху, ходит по ободранной деревне пьяное колхозное начальство — и с единоличников требует денег наводку. Ане дашь — «раскулачим! сошлём!» И сошлют! Ты же — единоличник. В том–то и Великий Перелом.

А саму дорогу, сам путь этот крестный, крестьянский, — уж этот соцреалисты и вовсе не

---

[485] Примечания: 485

Не относится к нашей теме, но к пониманью эпохи. Со временем и в Архангельске устроился Тимофей работать в закрытую колбасную — тоже из двух мастеров, но с заведующим над ними. Собственная его была закрыта как вредная для трудящихся, эта была закрытой, чтоб не знали о ней трудящиеся. Они выделывали дорогие сорта колбас для личного снабжения правителей этого северного края. Не раз и Тимофея посылали относить изделия в одноэтажный за высоким забором особняк начальника ГПУ Северного края Рудольфа Аустрина (угол улиц Либкнехта и Чумбарова–Лучинского) и его заместителя товарища Шийрона.

описывают. Погрузили, отправили — и сказке конец, и три звёздочки после эпизода.

А грузили их: хорошо, если по тёплому времени в телеги, а то — на сани, в лютый мороз и с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через село Коченево (Новосибирской области) в феврале 1931, когда морозы перемежались буранами, — шли, и шли, и шли окружённые конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи появляясь и в снежную степь уходя. И в избы войти обогреться — дозволялось им только с разрешения конвоя, на короткие минуты, чтоб не держать обоза. (Эти конвойные войск ГПУ — ведь живы же! ведь пенсионеры! ведь помнят поди! А может — и не помнят…) Все тянулись они в нарымские болота— и в ненасытимых этих болотах остались все. Но ещё раньше, в жестоком пути, околевали дети.

В том и был замысел, чтобы семя мужицкое погибло вместе со взрослыми. С тех пор как Ирода не стало — это только Передовое Учение могло нам разъяснить: как уничтожать до младенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повезло: прославили его душегубки, а вот до наших нет никому интереса.

Знали мужики, что их ждёт. И если счастье

выпадало, слали их эшелонами через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на остановках спускали через окошечки: живите по людям! побирайтесь! — только б с нами не умирать.

(В Архангельске в голодные 1932–33 годы нищим детям спецпереселенцев не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров на одежду, как другим нуждающимся.)

В том эшелоне с Дона, где баб везли отдельно от казаков, взятых на «собрании», одна баба в пути родила. А давали им стакан воды в день и не всякий день по 300 граммов хлеба. Фельдшера? — не спрашивай. Не стало у матери молока, и умер в пути ребёнок. Где ж хоронить? Два конвоира сели в их вагон на один пролёт, на ходу отрыли дверь— и выбросили трупик.

(Этот эшелон пригнали на великую магнитогорскую стройку. И мужей туда же привезли, копайте землянки! Начиная с Магнитогорска, наши барды уже позаботились, отразили.)

Семью Твардовских везли на подводах только до Ельни, и, к счастью, уже был апрель. Там грузили их в товарные вагоны, и вагоны запирали на замок, а вёдер для оправки или дырок в полу— не было. И, рискуя наказанием или даже сроком

за попытку побега, Константин Трифонович на ходу поезда, когда шумней, кухонным ножом прорезал дырку в полу. Кормёжка была такая: раз в три дня на узловых станциях приносили в вёдрах суп. Правда, везли их (до станции Ляля, Северный Урал) всего дней десять. А там — ещё зима, встречали эшелон на сотнях саней и по речному льду— в лес. Стоял барак для сплавщиков на 20 человек, привезли больше полтысячи, к вечеру. Ходил по снегу комендант пермяк Сорокин, комсомолец, и показывал колышки вбивать: вот тут будет улица, вот тут дома. Так основан был посёлок Парча.

В эту жестокость трудно верится: чтобы зимним вечером в тайге сказали: вот здесь! Да разве люди так могут? А ведь везут— днём, вот и привозят к вечеру. Сотни–сотни тысяч именно так завозили и покидали, со стариками, женщинами и детьми. А на Кольском полуострове (Апатиты) всю полярную тёмную зиму жили в простых палатках под снегом. Впрочем, настолько ли уж милосердней, если приволжских немцев эшелонами привозят летом (1931 года— 31–го, не 41–го, не ошибитесь!) в безводные места карагандинской степи — и там велят копать и строиться, а воду выдают рационом? Дай там же наступит

зима тоже. (К весне 1932 дети и старики вымерли— дизентерия, дистрофия.) В самой Караганде, как и в Магнитогорске, строили долгие низкие землянки–общежития, похожие на склады для овощей. На Беломорканале селили приехавших в опустевших лагерных бараках. А на Волгоканал — да за Химки сразу, их привозили ещё до лагеря, тотчас после конца гидрографической разведки, сбрасывали на землю и велели землю кайлить и тачки катать (в газетах писали: «на канал привезены машины»). Хлеба не было; свои землянки рыть — в свободное время. (Там теперь катера и пароходы прогулочные возят москвичей. Кости— на дне, кости— в земле, кости— в бетоне.)

При подходе Чумы, в 1929, в Архангельске закрыли все церкви: их и вообще–то назначено было закрывать, а тут подкатила всамделишная нужда размещать «раскулаченных». Большие потоки ссылаемых мужиков текли через Архангельск, и на время стал весь город как одна большая пересылка. В церквах настроили многоэтажных нар, только топить было нечем. На станции разгружались и разгружались телячьи эшелоны, и под лай собак шли угрюмые лапотники на свои церковные нары. (Мальчику Вите

Шиповальникову запомнилось, как один мужик шёл под упряжной дугой на шее: впопыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее. А кто–то нёс граммофон с трубою. Кинооператоры, вам работа!..) В церкви Введения восьмиэтажные нары, не скреплённые со стенами, рухнули ночью, и много было подавлено семей. На крики стянулись к церкви войска.

Так они жили чумной зимою. Не мылись. Гноились тела. Развился сыпняк. Мёрли. Но архангелогородцам был строгий приказ: спецпереселенцам (так назывались сосланные мужики) не помогать!! Бродили умирающие хлеборобы по городу, но нельзя было ни единого в дом принять, накормить или за ворота вынести чаю: зато хватала местных жителей милиция и отбирала паспорта. Идёт–бредёт голодный по улице, споткнулся, упал— и мёртв. Но и таких нельзя было подбирать (ещё ходили агенты и следили, кто выказал добросердечие). В это самое время пригородных огородников и животноводов тоже высылали целыми деревнями под гребло (опять: кто ж там кого эксплуатировал?), и жители Архангельска сами тряслись, чтоб не сослали и их. Даже остановиться, наклониться над трупом боялись. (Один лежал близко от ГПУ, не подбирали.)

Хоронили их в порядке организованном, коммунальная служба. Без гробов, конечно, в общих ямах, рядом со старинным городским кладбищем по Вологодской улице — уже в открытом поле. И памятных знаков не ставили.

И всё это было для хлеботелов — только пересылка. Ещё был большой их лагерь за селом Талаги, и некоторых брали на лесопогрузочные работы. Но исхитрился кто–то написать на бревне письмо за границу (вот так и обучай крестьян грамоте!) — и сняли их с той работы. Их путь лежал дальше — на Онегу, на Пинегу и вверх по Двине.

Мы шутили в лагере: «дальше солнца не сошлют». Однако тех мужиков слали дальше, где ещё долго не будет того крова, под которым засветить лучину.

От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отличалась тем, что их ссылали ни в какой населённый пункт, ни в какое обжитое место, — а к зверям, в дичь, в первобытное состояние. Нет, хуже: ив первобытном состоянии наши предки выбирали посёлки хотя бы близ воды. Сколько живёт человечество — ещё никто не строился иначе. Но для спецпосёлков чекисты выбирали места (а сами мужики не имели права выбирать) на каменистых косогорах

(над рекой Пинегой на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды и ничего не вырастет на земле.) В трёх–четырёх километрах бывала удобная пойма — но нет, по инструкциям не положено близ неё селить! Оказывались сенокосы в десятках километров от посёлка, и сено привозили на лодках… Иногда прямо запрещали сеять хлеб. (Направление хозяйства тоже определяли чекисты.) Нам, горожанам, ещё одно непонятно — что значит исконная жизнь со скотиной, без скотины не бывает жизни у крестьянина, — и вот на много лет обречены они не слышать ни ржанья, ни мычанья, ни блеяния; ни седлать, ни доить, ни кормить.

На реке же Чулым в Сибири спецпосёлок кубанских казаков обтянули колючей проволокой и поставили вышки, как в лагере. (Мы уже писали: это во многих местах так переводили ссыльные посёлки в лагери.)

Кажется, всё было сделано, чтобы ненавистные эти трудяги вымирали поскорей, освободили бы нашу страну и от себя, йот хлеба. И действительно, много таких спецпосёлков вымерло полностью. И теперь на их местах какие–нибудь случайные перехожие люди постепенно дожигают бараки, а ногами отшвыривают черепа.

Никакой Чингиз–хан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши Органы, ведомые Партией.

Вот— Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей (значит, 50–65 тысяч человек, по тогдашним семьям) прошли через Томск, и дальше погнали их зимою пеших: сперва вниз по Томи, потом по Оби, потом вверх по Васюгану — всё ещё зимником. (Жителей попутных сёл выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей.) В верховьях Васюгана и Тары их покинули нарелках (твёрдых возвышенностях средь болот). Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда. Развезло, и дорог ко внешнему миру не стало, только две гати: одна— на Тобольск, одна— к Оби. На обеих гатях стали пулемётные заставы и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили — тут их расстреливали. Опозднясь, по вскрытии рек, из томского Интегралсоюза (промыслово–потребительской кооперации) послали им баржи с мукой и солью, но и те не смогли подняться по Васюгану. (Вёл этот груз уполномоченный Интегралсоюза Станиславов, от него и известно.)

Вымерли— все.

Говорят, было всё–таки расследование по этому

делу и даже будто одного человека расстреляли. Сам я не очень этому верю. Но если итак— приемлемая пропорция! знакомая пропорция Гражданской войны: за одного нашего — тысячу ваших! За 60 тысяч ваших— одного нашего.

А без этого не построишь Нового Общества.

* * *

И всё–таки— сосланные жили! По их условиям поверить в это нельзя, а— жили.

В посёлке Парча день начинали палками десятники, коми–зыряне. Всю жизнь эти мужики начинали день сами, теперь их палками гнали на лесозаготовку и лесосплав. Месяцами не давая обсушиваться, уменьшая мучную норму, с них требовали выработку, а потом, вечерами, можно было и строиться. Вся одежда износилась на них, и мешки надевали как юбки и перешивали на штаны.

Да если б сплошь они помирали, так не было бы многих сегодняшних городов, хоть и той Игарки. Игарку–то с 1929 года строил и построил — кто? Неужто СевПолярЛесТрест?

А не раскулаченные ли мужики? При пятидесяти градусах жили в палатках— но уже в 1930 дали первый лесной экспорт.

В своих спецпосёлках жили раскулаченные, как зэки в режимных лагпунктах. Хоть и не было круговой зоны, но обычно пребывал в посёлке один стрелок, и был он хозяин всех запретов и разрешений и право имел единолично безоговорочно застреливать всякого непокорного.

А порода крепкая была, кому–то удавалось из тех посёлков бежать. Галина Осиповна Рябоконь из–под Купянска— вывела из такого посёлка в Вологодской области кучку мужиков (шла впереди, песни пела, якобы ягоды собирали). Приехала в Харьков к двоюродной сестре, прислуге. Хозяева той посоветовали крупному начальству: хотите хорошую няньку? Те оформили ей документы, взяли, очень были довольны, и она жила припеваючи. Но в 1937 арестовали и ту семью, а Галина не удержалась и в хромовых сапожках и в шерстяном платке поехала в свою деревню пофорсить. Её, конечно, арестовали, сослали во второй раз. Но она сбежала и второй раз!

Гражданский разряд, в который входили спецпосёлки, их кровная близость к Архипелагу легко проясняется законом сообщающихся сосудов: когда на Воркуте ощущался недостаток рабочей силы, то перебрасывали (не пересуживали! не переименовывали!) спецпереселенцев из их по-

сёлков — в лагерные зоны. И преспокойненько жили они в зонах, ходили работать в зоны же, ели лагерную баланду, только платили за неё (и за охрану, и за барак) из своей зарплаты. И никто ничему не удивлялся.

И из посёлка в посёлок, разрываемые с семьёю, пересылались спецмужики, как зэки с лагпункта на лагпункт.

В странных иногда шатаниях нашего законодательства, 3 июля 1931 года ЦИК СССР издал постановление, разрешавшее восстанавливать раскулаченных в правах через 5 лет, «если они занимались (это в режимном посёлке!) общественно–полезным трудом и проявили лояльность по отношению к советской власти» (ну, помогали стрелку, коменданту или оперу). Однако написано это было вздорно, под минутным веянием. Да и кончались те 5 лет как раз в годы, когда стал Архипелаг каменеть.

Шли всё годы такие, что нельзя было ослабить режима: то после убийства Кирова; то 37–й — 38–й; то с 39–го началась война в Европе; то с 41–го у нас. Так надёжней было другое: с 37–го стали многих всё тех же злосчастных «кулаков» и сыновей их дёргать из спецпосёлков, клепать им 58–ю и совать в лагеря.

Правда, вовремя войны, когда уж не хватало на фронте буйной русской силушки, прибегли и к кулакам: должна ж была их русская совесть выше стоять, чем кулацкая! Там и здесь предлагали им из режимных спецпосёлков и из лагерей идти на фронт, защищать святое отечество.

И — шли…

Однако — не всегда. Николаю Хлебунову, сыну «кулацкому», чью биографию в ранней части я использовал для Тюрина в «Иване Денисовиче», а в поздней выложить тогда не решился, — было в лагере предложено то, в чём отказывали троцкистам и коммунистам, как они ни рвались: идти защищать отечество. Хлебунов нисколько не колебался, он сразу вылепил лагерному УРЧу: «Ваше отечество— вы и защищайте, говно–еды! А у пролетариата нет отечества!!

Как будто точно было по Марксу, и действительно всякий лагерник ещё бедней, ниже и бесправней пролетария, — а вот лагколлегия ничего этого не усвоила и приговорила Хлебунова к расстрелу. Недели две посидел он под вышкой и о помиловании не подавал, так был на них зол. Но сами принесли ему замену на вторую десятку.

Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру или тайгу, выпускали— и забывали

там: ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? Не оставляли им и стрелка— по глухости и дальности. И от мудрого руководства наконец отпущенное— без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, это трудолюбивое упорное племя, с немногими, может быть, топорами и лопатами, начинало безнадёжную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в Каменный век. И наперекор экономическим законам социализма посёлки эти вдруг не только выживали, но крепли и богатели!

В таком посёлке, где–то на Оби, и не рядом, значит, с судоходством, а на боковом оттоке, вырос Буров, мальчиком туда попав. Он рассказывает, что как–то уже перед войной шёл мимо катер, заметил их и пристал. А в катере оказалось районное начальство. Допросило — откуда, кто такие, с какого времени. Изумилось начальство их богатству и доброденствию, какого не знали в своём колхозном краю. Уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками НКВД и опять, как в год Чумы, велели им в час всё нажитое покинуть, весь тёплый посёлок — и наголё, с узелками, отправили дальше в тундру.

Не довольно ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть «кулаков», и суть «раскулачивания»?

Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться!!

Староверы! — вечно гонимые, вечные ссыльные, — вот кто на три столетия раньше разгадал заклятую суть Начальства! В 1950 году летел самолёт над просторами Подкаменной Тунгуски. А после войны лётная школа сильно усовершилась, и доглядел старательный лётчик, чего 20 лет до него не видели: обиталище какое–то неизвестное в тайге. Засёк. Доложил. Глухо было, далеко, но для МВД невозможного нет, и через полгода добрались туда. Оказалось, это — яруевские старообрядцы. Когда началась великая желанная Чума, то бишь коллективизация, они от этого добра ушли глубоко в тайгу, всей деревней. И жили, не высовываясь, лишь старосту одного отпускали в Яруево за солью, рыболовной и охотничьей металлической снастью да железками к инструменту, остальное делали сами всё, а вместо денег, должно быть, снаряжался староста шкурками. Управясь с делами, он, как следимый преступник, изни–кал с базара оглядчиво. И так выиграли яруевские староверы двадцать лет жизни! — двадцать лет свободной человеческой жизни между зверей вместо двадцати лет колхозного уныния. Все они были в домотканой

одежде, в самодельных бродняхи выделялись могутностью.

Так вот этих гнусных дезертиров с колхозного фронта всех теперь арестовали и влепили им статью… ну как бы вы думали какую?.. Связь с мировой буржуазией? Вредительство? Нет, 58–10, антисоветскую агитацию (!?!?) и 58–11, организацию. (Многие из них попали потом в джезказганскую группу Степла–га, откуда и известно.)

А в 1946 году ещё других староверов, из какого–то забытого глухого монастыря выбитых штурмом нашими доблестными войсками (уже с миномётами, уже с опытом Отечественной войны), сплавляли на плотах по Енисею. Неукротимые пленники— те же при Сталине великом, что и при Петре великом! — прыгали с плотов в енисейскую воду, и автоматчики наши достреливали их там.

Воины Советской армии! — неустанно крепите боевую подготовку!

Нет, не перемёрла обречённая порода! И в ссылке опять–таки рождались у них дети — и так же наследственно прикреплялись к тому же спецпосёлку. («Сын за отца не отвечает», помните?) Выходила сторонняя девушка замуж за спецпе-

реселенца — и включалась в то же крепостное сословие, лишалась гражданских прав. Женился ли мужчина на такой — и становился ссыльным сам. Приезжала ли дочь к отцу— вписывали и её в спецпереселенцы, исправляли ошибку, что не попала раньше. Этими всеми добавками пополнялась убыль пересаженных в лагеря.

Очень на виду были спецпереселенцы в Караганде и вокруг. Много их там было. Как предки их к уральским и алтайским заводам, так они — к шахтам карагандинским были прикреплены навечно. Мог не стесняться шахтовладелец, сколько их заставлять работать и сколько им платить. Говорят, сильно завидовали они заключённым сельскохозяйственных лагпунктов.

До 50–х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев паспортов. Лишь с войны стали применять к игарским полярный коэффициент зарплаты.

Но вот— пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобождённые из–под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, — кто ж они и что ж они внутренне и внешне? Ба! — да кондиционные наши граждане! Да точно такие же, как параллельно воспитаны рабочими посёлками, профсоюзными собраниями и службой в

Советской армии. Они так же вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино (не старообрядцы, конечно). Так же согласно кивают каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту так же гневно клеймят Южно–Африканскую Республику или собирают свои гроши на пользу Кубе.

Так потупимся же перед Великим Мясником, склоним головы и ссутулим плечи перед его интеллектуальной загадкой: значит, прав оказался он, сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес и проворачивая его год от году?

Прав— морально: на него нет обид! При нём, говорит народ, было «лучше, чем при Хруще»: ведь в шуточный день 1 апреля, что ни год, дешевели папиросы на копейку и галантерея на гривенник. До смерти звенели ему похвалы да гимны, и ещё сегодня не позволено нам его обличать: не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазинный стоялец и вагонный сиделец поспешит задержать хулу на ваших губах.

Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам.

И тем более прав — государственно: этой кровью спаял он послушные колхозы. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до по-

следнего праха и духовно выродится народ. Зато будут ракеты летать в космос, и раболепствовать будет перед нашей державой передовой просвещённый Запад.

Глава 3. ССЫЛКА ГУСТЕЕТ

С такой лютостью, в такие дикие места итак откровенно на вымирание, как ссылали мужиков, — ни до, ни после никого больше не ссылали. Однако по другой мере и своим порядком наша ссылка густела год от году: ссылали больше, селили гуще и становились круче ссыльные порядки.

Можно предложить такую грубую периодизацию. В 20–е годы ссылка была как бы предварительным перевалочным состоянием перед лагерем: мало у кого кончалось ссылкою, почти всех перегребали потом в лагерь.

С конца 30–х годов, оттого ли, что ссылка очень омного–людела, — она приобрела вполне самостоятельное значение вполне удовлетворительного вида ограничения и изоляции. И в годы военные и послевоенные всё больше укреплялся её объём и положение наряду с лагерями: она не требовала затрат на постройку бараков и зон, на охрану, но ёмко охватывала большие контингенты, особенно женско–детские. (На всех крупных пересылках отведены были постоянные камеры для ссылаемых женщин с детьми, и они никогда

не пустовали[486].) Ссылка обеспечивала в короткий срок надёжную и безвозвратную очистку любого важного района метрополии. И так ссылка укрепилась, что с 1948 года приобрела ещё новое государственное значение свалки — того резервуара, куда сваливаются отходы Архипелага, чтобы никогда уже не выбраться в метрополию. С весны 1948 спущена была в лагеря такая инструкция: Пятьдесят Восьмую по окончании срока за малыми исключениями освобождать в ссылку. То есть не распускать её легкомысленно по стране, ей не принадлежащей, а каждую особь под конвоем доставлять от лагерной вахты до ссыльной комендатуры, от закола до закола. А так как ссылка охватывала строго оговоренные районы, то все они вместе составили какую–то ещё отдельную (хоть и переслойку) страну между СССР и Архипелагом— не чистилище, а скорее грязнилище, из которого можно переходить на Архипелаг, но не в метрополию.

1944–45 годы принесли ссылке особенно густое пополнение с оккупированно–освобождённых

[486] Примечания: 486

Их мужчины, если и ссылались, с ними не ехали: была инструкция рассылать членов осуждаемых семей в разные места. Так, если кишинёвского адвоката И.Х. Горника за сионизм сослали в Красноярский край, то семью его — в Салехард.

территорий, 1947–49 — из западных республик. И всеми потоками вместе, даже без ссылки мужицкой, была много раз, и много раз, и много раз превзойдена та цифра в полмиллиона ссыльных, какую сложила за весь XIX век царская Россия, тюрьма народов.

За какие же преступления гражданин нашей страны в 30–40–е годы подлежал ссылке или высылке? (Из какого–то административного наслаждения это различие все годы если не соблюдалось, то упоминалось. Гонимому за веру М.И.Бродовскому, удивлявшемуся, как это его сослали без суда, подполковник Иванов разъяснил благородно: «Потому не было суда, что это не ссылка, а высылка. Мы не считаем вас судимым, вот даже не лишаем вас избирательных прав». То есть самого важного элемента гражданской свободы!..)

Наиболее частые преступления указать легко:

1) принадлежность к преступной национальности (об

этом— следующая глава);

2) уже отбытый тобою лагерный срок;

3) проживание в преступной среде (крамольный Ленин

град; район партизанского движения вроде

Западной Украины

или Прибалтики).А затем — многие из тех потоков, перечисленных в самом начале книги, отструивались кроме лагерей и на ссылку, постоянно выбрасывали какую–то часть и в ссылку. Кого же? В общем виде, чаще всего— семьи тех, кто осуждался к лагерю. Но далеко не всегда тянули семьи, и далеко не только семьи лились в ссылку. Как объяснение потоков жидкости требует больших гидродинамических знаний, либо уж отчаяться и только наблюдать бессмысленно ревущую крутящую стихию, так и здесь: нам недоступно изучить и описать все те дифференциальные толчки, которые в разные годы разных людей вдруг направляли не в лагерь, а в ссылку. Мы только наблюдаем, как пёстро смешивались тут переселенцы из Маньчжурии, какие–то иностранногодцанные одиночки (которым и в ссылке не разрешал советский закон сочетаться браком ни с кем из окружающих ссыльных, а всё же советских); какие–то кавказцы и среднеазиаты, которым за плен не дали по 10 лет лагерей, а всего по 6 лет высылки; и даже такие бывшие пленные, сибиряки, которые возвращаемы были в свой родной район и жили там как вольные, без отметок в комендатуре, однако же не имели

права выехать из района.

Нам не проследить разных типов и случаев ссылки, потому что лишь случайными рассказами или письмами направляются наши знания. Не напиши письма А.М. Ар–в, и не было бы читателю вот такого рассказа. В 1943 году в вятское село пришло известие, что их колхозника Кожурина, рядового пехоты, не то послали в штрафную, не то сразу расстреляли. И тотчас к жене его с шестью детьми (старшей— 10 лет, младшему— 6 месяцев, а ещё с нею жили две сестры, две старых девы под пятьдесят лет) явились исполнители (вы это слово уже понимаете, читатель, это смягчение для слова палач). И, не дав семье ничего продать (изба, корова, овцы, сено, дрова— всё покинуто на растаск), бросили их девятерых с вещичками малыми в сани — и крепким морозом повезли за 60 километров в город Вятку–Киров. Как они не помёрзли в дороге — только знает Бог. Полтора месяца их держали на Кировской пересылке и потом сослали на гончарный заводик под Ухту. Там сестры–девы пошли по помойкам, сошли сума обе, и обе умерли. Мать же с детьми осталась в живых лишь помощью (безыдейной, непатриотической, пожалуй, даже антисоветской помощью) окружающих местных. Подросшие сыновья все

потом служили в армии и, как говорится, были «отличниками боевой и политической подготовки». В 1960 мать вернулась в родное село — и ни брёвнышка, ни печного кирпича не нашла на месте своей избы.

Такой сюжетик — разве плохо вплетается в ожерелье Великой Отечественной Победы? Не берут, нетипичен.

А в какое ожерелье вплести, а к какому разряду ссылки отнести ссылку калек Отечественной войны'? Почти ничего не знаем мы о ней (да и мало кто знает). А освежите в памяти: сколько этих калек, и не старых ещё, шевелилось на наших базарах около чайных и в электричках в конце войны? И как–то быстро и незаметно они проредились. Это тоже был поток, тоже кампания. Их сослали на некий северный остров — за то сослали, что во славу отечества они дали обезобразить себя на войне, и для того сослали, чтобы представить здоровой нацию, так победно себя проявившую во всех видах атлетики и играх с мячом. Там, на неведомом острове, этих неудачливых героев войны содержат, естественно, без права переписки с большой землёй (редкие письма прорываются, оттуда известно) и, естественно же, напайке скудном, ибо трудом своим они не

могут оправдать изобильного.

Кажется, и сейчас они там доживают.

Великое грязнилище, страна ссылки, между СССР и Архипелагом, включила в себя и большие города, и малые, и посёлки, и вовсе глушь. Старались ссыльные проситься в города, верно считалось, что там нашему брату всё–таки легче, особенно с работой. И как–то больше похоже на обычную жизнь людей.

Едва ли не главной столицею ссыльной стороны, во всяком случае из её жемчужин, была Караганда. Я повидал её перед концом всеобщей ссылки, в 1955 году (ссыльного, меня на короткое время отпускала туда комендатура: я там жениться собирался, на ссыльной же). У въезда в этот голодный тогда город, близ клопяного барака–вокзала, куда не подходили близко трамваи (чтоб не провалиться в накопанные под землёю штреки), стоял при трамвайном круге вполне символический кирпичный дом, стена которого была подперта деревянными искосинами, дабы не рухнула. В центре Нового города насечено было камнем по каменной стене: «Уголь — это хлеб» (для промышленности). И правда, чёрный печёный хлеб каждый день продавался здесь в магазинах — ив этом была льгот–ность город-

ской ссылки. И работа чёрная и не только чёрная всегда была здесь. А в остальном продуктовые магазины были очень пустоваты. А базарные прилавки — неприступны, с умо–непостижимыми ценами. Если не три четверти города, то две трети жило тогда без паспортов и отмечалось в комендатурах; на улице меня то и дело окликали и узнавали бывшие зэки, особенно экибастузские. И что ж была тут за ссыльная жизнь? На работе униженное положение и приниженная зарплата, ибо не всякий после катастрофы ареста–тюрьмы–лагеря найдёт чем доказать образование, а стажа тем более нет. Или так просто вот, как неграм, не платят вровень с белыми, и всё, можешь не наниматься. И очень худо с квартирами, жили ссыльные в неотгороженных коридорных углах, в тёмных чуланах, в сарайчиках— и за всё это лихо платили, всё это было от частника. Уже немолодые женщины, изжёванные лагерем, с металлическими зубами, мечтали иметь хоть одну крепдешиновую «выходную» блузку, одни «выходные» туфли.

А ещё в Караганде велики расстояния, многим долго ехать от квартиры до работы. Трамвай от центра до рабочей окраины скрежетал битый час. В трамвае напротив меня сидела замучен-

ная молодая женщина в грязной юбке, в рваных босоножках. Она держала ребёнка в очень грязных пелёнках, всё время засыпала, ребёнок из ослабленных рук сползал по коленям на край и почти падал, тут ей кричали: «упустишь!». Она успевала его подхватить, но через несколько минут засыпала опять. Она работала на водокачке в ночной смене, а день проездила по городу, искала обуви— и не нашла нигде.

Вот такая была карагандинская ссылка.

Насколько знаю, гораздо легче было в городе Джамбуле: благодатная южная полоса Казахстана, очень дешевы продукты. Но чем мельче город, тем труднее с работой.

Вот— городок Енисейск. В 1948 везли туда Г.С.Митрови–ча с Красноярской пересылки, и бодро отвечал им конвойный лейтенант: «Работа? Бу–удет». — «А жильё?» — «Бу–удет». Но, сдав их комендатуре, конвой ушёл себе налегке. А приехавшим пришлось спать — под перевёрнутыми лодками на берегу, под базарными навесами. Хлеба купить они не могли: продавался хлеб только по домовым спискам, а новоприбывшие нигде не прописаны, чтобы где–то жить — надо деньги за квартиру платить. Митрович, уже инвалид, просил работу по специальности, он

зоотехник. Смекнул комендант–эмведешник и позвонил в райзо: «Слушай, дашь бутылку— дам тебе зоотехника».

Это была та ссылка, где угроза: «за саботаж дадим 58–14, посадим в лагерь назад!» — не пугала никого. О том же Енисейске есть свидетельство 1952 года. Вдень отметки отчаявшиеся ссыльные стали требовать от коменданта именно арестовать их и отправить обратно в лагерь. Взрослые мужчины, они не могли добыть себе тут хлеба! Комендант разогнал их: «МВД вам не биржа труда!»[487]

А вот ещё глуше— Тасеево Красноярского края, 250 километров от Канска. Туда ссылались немцы, чечены, ингуши и бывшие зэки. Это место — не новое, не придуманное, поблизости там — деревня Хандалы, где когда–то перековывали кандалы. Но новое там — целый город из землянок, с полом тоже земляным. В 1949 году привезли туда группу повторников, к вечеру, сгрузили в школу. Поздно ночью собралась комиссия, принимать рабочую силу: начальник райМВД, от леспромхо-

[487] Примечания: 487

Ведь ему необязательно, а арестантам невозможно знать законы страны Советов, ну хотя бы Уголовный кодекс, его пункт 35–й: «ссыльные должны быть наделены землёй или им должна быть предоставлена оплачиваемая работа».

за, председатели колхозов. И потянулись перед комиссией— больные, старые, измотанные лагерной десяткой, и всё больше женщины, — вот кого мудрое государство изъяло из опасных городов и кинуло в суровый район осваивать тайгу. От такой «рабочей силы» все стали отказываться, МВД заставило их брать. Самых же забракованных доходяг насовали сользаводу, представитель которого опоздал, не присутствовал. Сользавод— на реке Усолке в селе Троицком (тоже место давнессыльное, ещё при Алексее Михайловиче загоняли сюда старообрядцев). В середине XX века техника там была такая: гоняли лошадей по кругу и этим накачивали соль на противни, а потом выпаривали её (дрова с лесоповала, на это и кинули старух). Крупный известный кораблестроитель угодил в эту партию, его поставили ближе к специальности: упаковывать соль в ящики.

Попал в Тасеево 60–летний коломенский рабочий Князев. Работать он уже не мог, нищенствовал. Иногда подбирали его люди ночевать, иногда спал он на улице. В инвалидном доме для него места не было, в больнице его долго не задерживали. Как–то зимой он забрался на крыльцо райкома партии, партии рабочих, и там замёрз.

При переезде из лагеря в таёжную ссылку (а

переезд такой: мороз 20°, в открытых кузовах автомашин, худо одетые, как освободились, в кирзовых ботинках последнего срока, конвоиры же в полушубках и валенках) зэки даже не могли очнуться: в чем состояло их освобождение? В лагере были топленые бараки— а здесь землянка лесорубов, с прошлой зимы не топленная. Там рычали бензопилы— зарычат и здесь. И только этой пилой и там и здесь можно было заработать пайку сырого хлеба.

Поэтому новоссыльные ошибались, и, когда (1953 год) приезжал (Кузеево, Сухобузимского района, Енисей) заместитель директора леспромхоза Лейбович, красивый, чистый, они смотрели на его кожаное пальто, на откормленное белое лицо и, кланяясь, говорили по ошибке:

— Здравствуйте, гражданин начальник! А тот укоризненно качал головой:

— Нет–нет, какой же может быть «гражданин»! Я для вас теперь товарищ, вы уже не заключённые.

Собирали ссыльных в той единственной землянке, и мрачно освещенный керосиновой коптилкой–мигалкой замдир внушал им, как гвозди вколачивал в гроб:

— Не думайте, что это — жизнь временная.

Вам действительно придётся жить здесь вечно. А поэтому поскорей принимайтесь за работу! Есть семья — зовите, нет— женитесь тут друг на друге не откладывая. Стройтесь. Рожайте детей. На дом и на корову получите ссуду. За работу, за работу, товарищи! Страна ждёт нашего леса!

И уезжал товарищ в легковой.

И это тоже было льготно, что разрешали жениться. В убогих колымских посёлках, например под Ягодным, вспоминает Ретц, и женщины были, невыпущенные на материк, а МВД запрещало жениться: ведь семейным придётся давать жильё.

Но и это было послабление, что не разрешали жениться. А в Северном Казахстане в 1950–52 годах иные комендатуры, напротив, чтобы ссыльного связать, ставили новоприбывшему условие: в две недели женись или сошлём в глубинку, в пустыню.

Любопытно, что во многих ссыльных местах запросто, не в шутку, пользовались лагерным термином «общие работы». Потому что таковы и были они, как в лагере: те неизбежные надрывные работы, губящие жизнь и не дающие пропитания. И если как вольным полагалось теперь ссыльным работать меньше часов, то двумя часами пути туда (в шахту или в лес) да двумя

назад подтягивался рабочий день к лагерной норме.

Старый рабочий Березовский, в 20–е годы профсоюзный вождь, с 1938 оттянувший 10 лет ссылки, а в 1949 получивший 10 лет лагерей, при мне умилённо целовал лагерную пайку и говорил радостно, что в лагере он не пропадёт, здесь ему хлеб полагается. В ссылке же и с деньгами в лавку придёшь, видишь буханку на полке, но нахально в лицо тебе говорят: хлеба нет! — и тут же взвешивают хлеб местному. То же и с топливом.

Недалеко от того выражался и старый питерский рабочий Цивилько (всё люди не нежные). Он говорил (1951), что после ссылки чувствует себя в Особом каторжном лагере человеком: отработал 12 часов— и иди в зону. А в ссылке любое вольное ничтожество могло поручить ему (он работал бухгалтером) бесплатную сверхурочную работу— и вечером, и в выходной, и любую работу сделать лично для того вольного, — и ссыльный не смеет отказаться, чтоб не выгнали его завтра со службы.

Несладка была жизнь ссыльного, ставшего и ссыльным «придурком». Перевезенный в Кок–Терек Джамбульской области Митрович (тут его жизнь так началась: отвели ему с товарищем

ослиный сарай — без окон и полный навоза; отгребли они навоз от стенки, постлали полынь, легли) получил должность зоотехника райсельхозотдела. Он пытался честно служить — и сразу же стал противен вольному партийному начальству. Из колхозного стада мелкое районное начальство забирало себе коров–первотёлок, заменяя их тёлками, — и требовали от Митровича записывать двухлеток как четырёхлеток. Начав пристальный учёт, обнаружил Митрович целые стада, пасомые и обслуживаемые колхозами, но не принадлежащие им. Оказывается, эти стада лично принадлежали первому секретарю райкома, председателю райисполкома, начальнику финотдела и начальнику милиции. (Так ловко вошёл Казахстан в социализм.) «Ты их не записывай!»— велели ему. А он записал. С диковинной в зэке–ссыльном жаждой советской законности он ещё осмелился протестовать, что председатель исполкома забрал себе из колхоза серую смушку, — и был уволен (и это — только начало их войны).

Но и районный центр — ещё совсем не худое место для ссылки. Настоящие тяготы ссылки начинались там, где нет даже вида свободного посёлка, даже края цивилизации.

Тот же А. Цивилько рассказывает о колхозе «Жана Турмыс» («Новая жизнь») в Западно–Казахстанской области, где он был с 1937 года. Ещё до приезда ссыльных политотдел МТС насторожил и воспитал местных: везут троцкистов, контрреволюционеров. Напуганные жители даже соли не одалживали новоприбывшим, боясь обвинения в связи с врагами народа! В войну ссыльные не имели хлебных карточек. В колхозной кузнице выработал рассказчик за 8 месяцев — пуд проса… Полученное зерно сами растирали жерновами из распиленного казахского памятника–терменя. И шли в НКВД: или сажайте в тюрьму, или дайте перевестись в районный центр! (Спросят: местные? Да вот так… Привыкли… Ну и овечка какая–нибудь, коза, корова, юрта, посуда — всё помогает.)

В колхозе ссыльным повсюду так — ни казённого обмундирования, ни лагерной пайки. Это самое страшное место для ссылки— колхоз. Это как бы учебная проверка: где ж тяжелей — в лагере или в колхозе?

Вот продают новичков, средь них С.А.Липшица, на Красноярской пересылке. Покупатели требуют плотников, пересылка отвечает: возьмите ещё юриста и инженера–электрика (Липшиц),

тогда и плотника дадим. Ещё дают в нагрузку пожилых больных женщин. Потом при мягком 25–градусном морозе открытыми грузовиками их везут в глубинную–глубинную деревню, всего о трёх десятках дворов. Что же делать юристу и что электрику (тока никакого)? Получать пока аванс: мешок картошки, лук и муку (и это хороший аванс!). А деньги будут в следующем году, если заработаете. Работа пока такая— добывать коноплю, заваленную снегом. Для начала нет даже мешка под матрас, соломой набить. Первый же порыв: отпустите из колхоза! Нет, нельзя: за каждую голову заплатил колхоз Тюремному Управлению по 120 рублей (1952 год).

О, как бы снова вернуться в лагерь!..

Но прошибётся читатель, если решит, что ссыльным намного лучше в совхозе, чем в колхозе. Вот совхоз в Сухобу–зимском районе, село Миндерла. Стоят бараки, правда, — без зоны, как бы лагерь бесконвойных. Хотя и совхоз, но денег здесь не знают, их нет в обращении. Только пишутся цифир–ки: 9 рублей (сталинских) вдень человеку. И ещё пишется: сколько съедено тем человеком каши, сколько вычитается за телогрейку, за жильё. Всё вычитается, вычитается, и вот диво: выходит к расчёту, что ничего ссыль-

ный не заработал, а ещё совхозу должен. В этом совхозе, вспоминает А. Стотик, двое от безвыходности повесились.

(Сам этот Стотик, фантазёр, нисколько не усвоил свой злосчастный опыт изучения английского языка в Степлаге[488]. Оглядевшись в такой ссылке, он придумал осуществить конституционное право гражданина СССР на… образование! И подал заявление с просьбой отпустить его в Красноярск учиться! На этом наглом заявлении, которого, может быть, не знавала вся страна ссылки, директор совхоза (бывший секретарь райкома) вывел резолюцию не просто отрицательную, но декларативную: «Никто и никогда не разрешит Стотику учиться». — Однако подвернулся случай: Красноярская пересылка набирала по районам плотников из ссыльных. Стотик, никакой не плотник, вызвался, поехал, в Красноярске жил в общежитии среди пьяниц и воров и там стал готовиться к конкурсным экзаменам в Медицинский институт. Он прошёл их с высоким баллом. До мандатной комиссии никто в его документах не разобрался. На мандатной: «Был на фронте… Потом вернулся…»— и пере-

[488] Примечания: 488
Часть Пятая, глава 5.

сохло горло. «А дальше?» — «А потом… меня… посадили…» — выговорил Стотик, — и огрознела комиссия. «Но я отбыл срок! Я вышел! У меня высокий балл!» — настаивал Стотик. Тщетно. А был уже — год падения Берии!)

И чем глубже — тем хуже, чем глуше — тем бесправнее. А.Ф.Макеев в упомянутых записках о Кенгире приводит рассказ «тургайского раба» Александра Владимировича Полякова о его ссылке между двумя лагерями в Тургайскую пустыню, на далёкий отгон. Вся власть была там — председатель колхоза, казах, и даже от отеческой комендатуры никто никогда не заглядывал. Жилище Полякова стало — в одном сарайчике с овцами, на соломенной подстилке; обязанности— быть рабом четырёх жен председателя, управляться с каждой по хозяйству и до выноса ночных горшков за каждой. И что ж было Полякову делать? Выехать с отгона, чтобы пожаловаться? Не только не на чем, но это бы значило — побег и 20 лет каторги. Никого же русского на том отгоне не было. И прошло несколько месяцев, прежде чем приехал русский фининспектор. Он изумился рассказу Полякова и взялся передать его письменную жалобу в район. За ту жалобу как за гнусную клевету на советскую

власть Поляков получил новый лагерный срок и в 50–е годы счастливо отбывал его в Кенгире. Ему казалось, что он почти освободился…

И мы ещё не уверены, был ли «тургайский раб» самым обездоленным изо всех ссыльных.

Сказать, что ссылка имеет перед лагерем преимущество устойчивости жизни, как бы домашности (худо ли, хорошо ли, вот живёшь здесь— и будешь жить, и никаких этапов), — тоже без оговорок нельзя. Этап не этап, но необъяснимая неумолимая комендантская переброска, внезапное закрытие пункта ссылки или целого района всегда может разразиться; вспоминают такие случаи в разные годы в разных местах. Особенно в военное время — бдительность! — всем сосланным в Тайпак–ский район собраться за 12 часов! — и айда в Джембетинский! И весь жалкий быт и жалкий скарбик, атакой нужный, и кров протекающий, а уже и подчиненный, — всё бросай! всё кидай! шагом марш, босота лихая! Не помрёшь— наживёшь!..

Вообще, при кажущейся распущенности жизни (не ходят строем, а все в разные стороны, не строятся на развод, не снимают шапок, не запираются на ночь наружными замками), ссылка имеет свой режим. Где мягче, где суровее, но ощутителен он

был везде до 1953 года, когда начались всеобщие смягчения.

Например, во многих местах ссыльные не имели права подавать в советские учреждения никаких жалоб по гражданским вопросам — иначе как через комендатуру, и только та решала, стоит ли этой жалобе давать ход или пригасить на месте.

По любому вызову комендантского офицера ссыльный должен был покинуть любую работу, любое занятие — и явиться. Знающие советскую жизнь поймут, мог ли ссыльный не выполнить какой–нибудь личной (корыстной) просьбы комендантского офицера.

Комендантские офицеры в своём положении и правах вряд ли уж так уступали лагерным. Напротив, у них было меньше беспокойств: ни зоны, ни караулов, ни ловли беглецов, ни вывода на работу, ни кормления и одевания этой толпы. Достаточно было дважды в месяц проводить отметки и иногда на провинившихся заводить бумаги в согласии с Законом. Это были властительные, ленивые, разъевшиеся (младший лейтенант комендатуры получал 2000 рублей в месяц), а потому в большинстве своём злые существа.

Побегов в их подлинном смысле мало известно из советской ссылки: невелик был тот выигрыш в гражданской свободе, который достался бы удачливому беглецу: ведь почти на тех же правах жили тут вокруг него, в ссылке, местные вольные. Это не царские были времена, когда побег из ссылки легко переходил в эмиграцию. А кара за побег была ощутительна. Судило за побег ОСО. До 1937 оно давало свою максимальную цифру— 5 лет лагерей, после 37–го— 10. А после войны, публично нигде не напечатанный, всем стал известен и неуклонно применялся новый закон: за побег из места ссылки— двадцать лет каторги! Несоразмерно жестоко.

Комендатура на местах вводила собственные истолкования, что считать и что не считать побегом, где именно та запретная черта, которую ссыльный не смеет переступить, и может ли он отлучиться по дрова или по грибы. Например, в Хакасии, в рудничном посёлке Орджоникидзевский, было такое установление: отлучка наверх (в горы) — всего лишь нарушение режима и 5 лет лагерей; отлучка вниз (к железной дороге) — побег и 20 лет каторги. И до того внедрилась там непростительная эта мягкость, что когда группа ссыльных армян, доведенная до отчаяния само-

управством рудничного начальства, пошла на него жаловаться в райцентр, — а разрешения комендатуры на такую отлучку, естественно, не имела, — то получили они все за этот побег лишь по 6 лет.

Вот такие отлучки по недоразумению чаще всего и квалифицировались как побеги. Да простодушные решения старых людей, не могущих взять в толк и усвоить нашу людоедскую систему.

Одна гречанка, уже древней 80 лет, была в конце войны сослана из Симферополя на Урал. Когда война кончилась и в Симферополь вернулся сын, она, естественно, поехала к нему и тайно жила у него. В 1949, уже 87 лет от роду, она была схвачена, осуждена на 20 лет каторжных работ (87 + 20 = ?) и этапирована в Озёрлаг. — Другую старую тоже гречанку знали в Джамбульской области. Когда с Кубани ссылали греков, её взяли вместе с двумя взрослыми дочерьми, третья же дочь, замужем за русским, осталась на Кубани. Пожила–пожила старуха в ссылке и решила к той дочери поехать умирать. «Побег», каторга, 20 лет! — В Кок–Тереке был у нас физиолог Алексей Иванович Богословский. К нему применили «аденауэровскую» амнистию 1955 года, но не

полностью: оставили за ним ссылку, а её быть не должно. Стал он слать жалобы и заявления, но всё это— долго, а тем временем в Перми слепла у него мать, которая не видела его уже 14 лет, от войны и плена, и мечтала последними глазами увидеть. И, рискуя каторгой, Богословский решился за неделю съездить к ней и назад. Он придумал себе командировку на животноводческие отгоны в пустыню, сам же сел на поезд в Новосибирск. В районе не заметили его отлучки, но в Новосибирске бдительный таксист донёс на него оперативникам, те подошли проверить документы, их не было, пришлось открыться. Вернули его в нашу же кок–терек–скую глинобитную тюрьму, начали следствие, — вдруг пришло разъяснение, что он не подлежит ссылке. Едва выпущенный, он уехал к матери. Но опоздал.

Мы сильно обеднили бы картину советской ссылки, если бы не напомнили, что в каждом ссыльном районе бдил неусыпный оперчекотдел, тягал ссыльных на собеседования, вёл вербовку, собирал доносы и использовал их для намота новых сроков. Ведь приходила же когда–то пора ссыльной человеческой единице сменить однообразную ссыльную неподвижность на добрую лагерную скученность. Вторая протяжка — новое

следствие и новый срок — была естественным окончанием ссылки для многих.

Надо было Петру Виксне в 1922 дезертировать из реакционной буржуазной латвийской армии, бежать в свободный Советский Союз, тут в 1934 за переписку с оставшейся латышской роднёй (родня в Латвии не пострадала нисколько) быть сосланным в Казахстан, не упасть духом, неутомимым ссыльным машинистом депо Аягуза выйти в стахановцы, чтобы 3 декабря 1937 повесили в депо плакат: «Берите пример ст. Виксне!», а 4 декабря товарища Виксне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было суждено.

Вторые посадки в ссылке, как и в лагерях, шли постоянно, чтоб доказать наверх неусыпность оперчекистов. Как и везде, применялись усиленные методы, помогающие арестанту быстрей понять свой рок и верней ему подчиниться (Цивилько в Уральске в 1937 году— 32 суток карцера и выбили 6 зубов). Но наступали и особые периоды, как в 1948 году, когда по всей ссылке закидывался густой бредень и вылавливали для лагеря или всех дочиста, как на Воркуте («Воркута становится производственным центром, товарищ Сталин дал указание очистить её»), или всех мужчин,

как в иных местах.

Но и для тех, кто на вторую протяжку не попадал, туманен был этот «конец ссылки». Так, на Колыме, где и «освобождение» из лагеря всё состояло лишь в переходе от лагерной вахты до спецкомендатуры, — конца ссылки, собственно, не бывало, потому что не было выезда с Колымы. А кому и удалось оттуда вырваться «на материк» в краткие периоды разрешения, ещё не раз, наверно, похулили свою судьбу: все они получили на материке вторые лагерные сроки.

Тень оперчекотдела постоянно затмевала и без того не беззаботное небо ссылки. Под оком оперативника, на стукаческом простуке, постоянно в надрывной работе, в выколачивании хлеба для детишек— ссыльные жили трусливо и замкнуто, очень разъединённо. Не было тюремно–лагерных долгих бесед, не было исповедей о пережитом.

Поэтому трудно собирать рассказы о ссыльной жизни.

И фотографий почти не оставила наша ссылка: если были фотографы, то снимали только на документы — для кадров и спецчастей. Группе ссыльных— да вместе сфотографироваться, это— что? это как? Это — сразу донос в ГБ: вот, мол, наша подпольная антисоветская организация. По

снимку всех и возьмут.

А то однажды скромно снялись (и даже появилось в западном издании[489]): сжатые, в советском отрепьи, поблекшие, приунылые, а когда–то неукротимые, — знаменитые Мария Спиридонова, Измаилович, Майоров, Каховская, — да где же их прежняя неукротимость? Да почему ж они не мчатся конспиративно в столицу? не стреляют в угнетателей народа? не бросают бомб?..

Не оставила наша ссылка фотографий— тех, знаете, групповых и довольно весёлых: третий слева Ульянов, справа второй Кржижановский. Все сыты, все одеты чисто, не знают труда и нужды, если бородка, то холена, если шапка— то доброго меха.

Очень тогда были, дети, мрачные времена…

[489] Примечания: 489

I. Steinberg. Spiridonova, Revolutionary Terrorist. London: Methuen & Co. Ltd., 1935.

Глава 4. ССЫЛКА НАРОДОВ

Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала ни от XIX, ни от XVIII, ни от XVII века массовой насильственной пересылки народа. Были колониальные покорения — на океанских островах, в Африке, в Азии, в Туркестане, победители приобретали власть над коренным населением, но как–то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это население с его исконной землёю, с его прадедовскими домами. Может быть, только вывоз негров для американских плантаций даёт нам некоторое подобие и предшествие, но там не было зрелой государственной системы: там лишь были отдельные христиане–работорговцы, в чьей груди взревела огнём внезапно обнажившаяся выгода, и они ринулись каждый для себя вылавливать, обманывать и покупать негров по одиночке и по десяткам.

Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества — XX веку, и нужно было на основе Единственно–Верного Учения высочайше развиться Национальному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент

на поголовное искоренение народов путём их высылки в сорок восемь, в двадцать четыре и даже в полтора часа.

Конечно, это не так сразу прояснилось нему Самому. Один раз он неосторожно высказался даже: «Не бывало и не может быть случая, чтобы кто–либо мог стать в СССР объектом преследования из–за его национального происхождения»[490]. В 20–е годы все эти национальные языки поощрялись, Крыму так и долдонили, что он—татарский, татарский, и даже был арабский алфавит, и надписи все по–татарски.

А оказалось — ошибка…

Даже пропрессовав великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять Великий Рулевой, как это удобно перенесётся на нации. Но всё же опыт державного брата Гитлера по выкорчёвыванию евреев и цыган уже был поздний, уже после начала Второй Мировой войны, а Сталин–батюшка задумался над этой проблемою раньше.

Кроме только Мужичьей Чумы и до самой высылки народов наша советская ссылка, хотя и ворочала кое–какими сотнями тысяч, но не шла в сравнение с лагерями, не была столь славна и

---

[490] Примечания: 490

И. В. Сталин. Сочинения: [В 13т.] М., 1949–1955. Т. 13, с. 258.

обильна, чтобы прокороздился в ней ход Истории. Были ссыльно–поселенцы (по суду), были административно–ссыльные (без суда), но и те и другие — всё счётные единицы, со своими фамилиями, годами рождения, статьями обвинения, фотокарточками анфас и в профиль, и только мудротерпеливые, нисколько не брезгливые Органы умели из песчинок свить верёвку, из этих развaленных семей — монолиты ссыльных районов.

Но насколько же возвысилось и ускорилось дело ссылания, когда погнали на высылку спецпереселенцеві Два первых термина были от царя, этот— советский кровный. Разве не с этой приставочки спец начинаются наши излюбленные сокровеннейшие слова (спецотдел, спецзадание, спецсвязь, спецпаёк, спецсанаторий)? В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами «раскулаченных» — и это куда верней, гибче получилось, без повода обжаловать, потому что «раскулачивали» не одних кулаков, а уж «спецпереселенец»— не выкусишь.

И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям.

Не сразу далось и Ему открытие. Первый опыт был весьма осторожен: в 1937 году сколько–то

десятков тысяч подозрительных этих корейцев — какое доверие этим черномазым косоглазым перед Халхин–Голом, перед лицом японского империализма? — были тихо и быстро, от трясущихся стариков до блеющих младенцев, с долею нищенского скарба переброшены с Дальнего Востока в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домах без окон (где же стёкол набраться!). И так тихо, что никто, кроме смежных казахов, о том переселении не узнал, и ни один сущий язык в стране о том не пролепетал, и ни один заграничный корреспондент не пикнул. (Вот для чего вся печать должна быть в руках пролетариата.)

Понравилось. Запомнилось. Ив 1940 году тот же способ применили в окрестностях колыбельного града Ленинграда. Но не ночью и не под перевешенными штыками брали ссылаемых, а называлось это — «торжественные проводы» в Карело–Финскую (только что завоёванную) республику. В зените дня, под трепетанье красных флагов и под медь оркестров, отправляли осваивать новые родные земли приленинградских финнов и эстонцев. Отвезя же их несколько поглуше (о судьбе партии в 600 человек рассказывает В.А. Мейке), отобрали у всех паспорта,

оцепили конвоем и повезли дальше телячьим красным эшелоном, потом баржей. С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать «на укрепление колхозов». И торжественно провоженные и вполне свободные граждане — подчинились. И только 26 бунтарей, среди них рассказчик, ехать отказались, больше того — не сдали паспортов! «Будут жертвы/» — предупредил их приехавший представитель советской власти — Совнаркома Карело–Финской ССР. «Из пулемётов будете стрелять?» — крикнули ему. Вот неразумцы, зачем же из пулемётов? Ведь сидели они в оцеплении, кучкой, и тут единственного ствола было бы достаточно (и никто б об этих двадцати шести финнах поэм не сложил). Но странная мягкотелость, нерасторопность или нераспорядительность помешала этой благорассудной мере. Пытались их разделить, вызывали к оперу по одному— все 26 вместе ходили по вызову. И упорная бессмысленная их отвага взяла верх! — паспорта им оставили и оцепление сняли. Так они удержались пасть до колхозников или до ссыльных. Но случай— исключительный, а масса–то паспорта сдала.

Всё это были пробы. Лишь в июле 1941 года пришла пора испытать метод в развороте: надо

было автономную и, конечно, изменническую республику Немцев Поволжья (с её столицами Энгельс и Марксштадт) выскребнуть и вышвырнуть в несколько суток куда–нибудь подальше на восток. Здесь первый раз был применён в чистоте динамичный метод ссылки целых народов, и насколько же легче, и насколько же плодотворней оказалось пользоваться единым ключом — пунктом о национальности — вместо всех этих следственных дел и именных постановлений на каждого. И кого прихватывали из немцев в других частях России (а подбирали их всех), то не надо было местному НКВД высшего образования, чтоб разобраться: враг или не враг? Раз фамилия немецкая — значит, хватай.

Система была опробована, отлажена и отныне будет с неумолимостью цапать всякую указанную назначенную обречённую предательскую нацию, и каждый раз всё проворнее: чеченов, ингушей, карачаевцев; балкар; калмыков; курдов; крымских татар; наконец, кавказских греков. Система тем особенно динамичная, что объявляется народу решение Отца Народов не в форме болтливого судебного процесса, а в форме боевой операции современной мотопехоты: вооружённые дивизии входят ночью в расположение обречённого наро-

да и занимают ключевые позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулемётов и автоматов вокруг каждого селения. И даётся 12 часов (но это слишком много, простаивают колёса мотопехоты, и в Крыму уже — только 2 и даже полтора часа), чтобы каждый взял то, что способен унести в руках. И тут же сажается каждый, как арестант, ноги поджав, в кузов грузовика (старухи, матери с грудными — садись, команда была!) — и грузовики под охраной идут на станцию железной дороги. А там телячьи эшелоны до места. А там, может быть, ещё (по реке Унже крымские татары, как раз для них эти северные болота) сами, как бурлаки, потянут бечевою плоты против течения на 150–200 километров в дикий лес (выше Кологрива), а на плотах будут лежать недвижные седобородые старики.

Наверно, с воздуха, с высоких гор это выглядело величественно: зажужжал моторами единовременно весь Крымский (только что освобождённый, апрель 1944) полуостров, и сотни змей–автоколонн поползли, поползли по его прямым и кручеными дорогам. Как раз доцветали деревья. Татарки тащили из теплиц на огороды рассаду сладкого лука. Начиналась посадка табака. (И на том кончилась. И на много лет потом

исчез табак из Крыма.) Автоколонны не подходили к самым селениям, они были на узлах дорог, аулы же оцеплялись спецотрядами. Было велено давать на сборы полтора часа, но инструктора сокращали и до 40 минут— чтобы справиться пободрей, не опоздать к пункту сбора, и чтобы в самом ауле богаче было разбросано для остающейся от спецотряда зондеркоманды. Заядлые аулы, вроде Озенбаша близ Бюик–озера, приходилось начисто сжигать. Автоколонны везли татар на станции, а уж там, в эшелонах, ждали ещё и сутками, стонали, пели жалостные песни прощания[491].

Стройная однообразность! — вот преимущество ссылать сразу нациями. Никаких частных случаев! Никаких исключений, личных протестов! Все едут покорно, потому что: и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола: едут и те, кто во чреве, — и они уже сосланы тем же Указом. Едут и те, кто ещё не зачат: ибо суждено им быть зачатыми под дланью того же Указа, и от самого дня рождения, вопреки устаревшей надоевшей

[491] Примечания: 491

В 60–х годах XIX века помещики и администрация Таврической губернии ходатайствовали о полном выселении крымских татар в Турцию; Александр II отказал. В 1943 о том же ходатайствовал гауляйтер Крыма; Гитлер отказал.

статье 35–й УК («ссылка не может применяться к лицам моложе 16 лет»), едва только высунув голову на свет, — они уже будут спецпереселенцы, уже будут сосланы навечно. А совершеннолетие их, 16–летний возраст, только тем будет ознаменован, что они начнут ходить отмечаться в комендатуру.

И то, что осталось за спиною, — распахнутые, ещё не остывшие дома, и разворошенное имущество, весь быт, налаженный в десять и в двадцать поколений, — тоже единообразно достаётся оперативникам карающих органов, а что — государству, а что — соседям из более счастливых наций, и никто не напишет жалобы о корове, о мебели, о посуде.

И тем последним ещё довышено и дотянуто единообразие, что не щадит секретный Указ ни даже членов коммунистической партии из рядов этих негодных наций. Значит, и партбилетов проверять не надо, ещё одно облегчение. А коммунистов в новой ссылке обязать тянуть в два

плеча— и всем кругом будет хорошо[492].

Трещину в единообразии давали только смешанные браки (недаром наше социалистическое государство всегда против них). При ссылке немцев и потом греков таких супругов не высылали. Но очень это вносило большую путаницу и оставляло в местах, как будто очищенных, очаги заразы. (Как те старые гречанки, которые возвращались к детям умирать.)

Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики, так что с успехом её можно было теперь называть Казэтсстан. Но не обделены были и Средняя Азия, и Сибирь (множество калмыков вымерло на Енисее), Северный Урал и Север Европейской части.

Считать или не считать ссылкою народов высылку прибалтийцев? Формальным условиям она не удовлетворяет: ссылали не всех подчистую,

---

[492] Примечания: 492

Конечно, всех изворотов не предусмотреть и Мудрому Кормчему. В 1929 изгоняли из Крыма татарских князей и высоких особ. Это делали мягче, чем с русскими дворянами: их не арестовывали, они сами уезжали в Среднюю Азию. Здесь среди родственного мусульманского населения они постепенно прижились, благоустроились. И вот через 15 лет туда же привезли под гребёнку всех трудящихся татар! Старые знакомые встретились. Только трудящиеся были изменниками и ссыльными, а бывшие князья занимали прочные посты в советском аппарате, многие— в партии.

народы как будто остались на месте (слишком близко к Европе, а то ведь как хотелось!). Как будто остались, но прорежены по первому разряду.

Их чистить начали рано: ещё в 1940 году, сразу, как только вошли туда наши войска, и ещё прежде, чем обрадованные народы единодушно проголосовали за вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров. Надо представить себе, чем было для этих молодых государств их первое (и последнее) поколение собственных офицеров: это была сама серьёзность, ответственность и энергия нации. Ещё гимназистами в снегах под Нарвой они учились, как неокрепшей своей грудью отстоять неокрепшую родину. Теперь этот сгущённый опыт и энергию срезали одним взмахом косы, это было важнейшим приготовлением к плебисциту. Да это испытанный был рецепт: разве не то же делалось когда–то и в коренном Союзе? Тихо и поспешно уничтожить тех, кто может возглавить сопротивление, ещё тех, кто может возбуждать мыслями, речами, книгами, — и как будто народ весь на месте, а уже и нет народа. Мёртвый зуб снаружи первое время вполне похож на живой.

Но в 1940 году для Прибалтики это не ссылка была, это были лагеря, а для кого–то — расстрелы

в каменных тюремных дворах. Ив 1941, отступая, хватали, сколько могли, людей состоятельных, значительных, заметных, увозили, угоняли их с собой как дорогие трофеи, а потом сбрасывали, как навоз, на коченелую землю Архипелага (брали непременно ночами, 100 кг багажа на всю семью, и глав семей уже при посадке отделяли для тюрьмы и уничтожения). Всю войну затем (по ленинградскому радио) угрожали Прибалтике беспощадностью и местью. В 1944, вернувшись, угрозы исполнили, сажали обильно и густо. Но и это ещё не была массовая народная ссылка.

Главная ссылка прибалтийцев разразилась в 1948 году (непокорные литовцы), в 1949 (все три нации) ив 1951 (ещё раз литовцы). В эти же совпадающие годы скребли и Западную Украину, и последняя высылка произошла там тоже в 1951 году.

Кого–то готовился Генералиссимус ссылать в 1953 году? Евреев ли? Кроме них кого? Этого замысла мы никогда не узнаем. Я подозреваю, например, что была у Сталина неутолённая жажда сослать всю Финляндию куда–нибудь в при–китайские пустыни, — но не удалось это ему ни в 1940, ни в 1947 (попытка переворота Лейно). Приискал бы он местечко за Уралом хоть и сербам,

хоть и пелопоннесским грекам.

Если бы этот Четвёртый Столп Передового Учения продержался б ещё лет десять, — не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое Противопереселение народов.

Сколько сослано было наций, столько и эпосов напишут когда–нибудь — о разлуке с родной землёй и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать всё прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать.

Но чтобы признал читатель, что та же это страна ссылки, уже наведанная ему, то же грязнилище при том же Архипелаге, — проследим немного за высылкою прибалтов.

Высылка прибалтов происходила не только не насилием над верховной народной волей, но исключительно в выполнение её. В каждой из трёх республик состоялось свободное постановление своего Совета Министров (в Эстонии — 25 ноября 1948 года) о высылке определённых разрядов своих соотечественников в чужую дальнюю Сибирь — и притом навечно, чтоб на родную землю они никогда более не вернулись. (Здесь отчётливо видна и независимость прибалтийских правительств, и та крайность раздражения, до которого их довели негодные никчемные соотече-

ственники.) Разряды эти были вот какие: а) семьи уже осуждённых (мало было, что отцы доходят в лагерях, надо было всё семя их вытравить); б) зажиточные крестьяне (это очень ускоряло уже назревшую в Прибалтике коллективизацию) и все члены их семей (рижских студентов брали в ту же ночь, когда и их родителей с хутора); в) люди заметные и важные сами по себе, но как–то проскочившие гребешки 1940, 41–го и 44–го годов; г) просто враждебно настроенные, не успевшие бежать в Скандинавию или лично неприятные местным активистам семьи.

Постановление это, чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой Родины и не доставить радости западным врагам, не было опубликовано в газетах, не было оглашено в республиках, да и самим ссылаемым не объявлялось при высылке, а лишь по прибытии на место, в сибирских комендатурах.

Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времён корейских и даже крымско–татарских, ценный опыт настолько был обобщён и усвоен, что счёт не шёл уже ни на сутки, ни на часы, а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно двадцати–тридцати минут от первого ночного стука

в дверь до переступа последнего хозяйкиного каблука через родной порог — в ночную тьму и на грузовик. За эти минуты разбуженная семья успевала одеться, усвоить, что она ссылается навечно, подписать бумажку об отказе от всяких имущественных претензий, собрать своих старух и детей, собрать узелки и по команде выйти. (Никакого беспорядка с оставшимся имуществом не было. После ухода конвоя приходили представители финотдела и составляли конфискационный список, по которому имущество потом продавалось в пользу государства через комиссионные магазины. Мы не имеем основания их упрекнуть, что при этом они совали что–то себе за пазуху или грузили «по левой». Это не очень было и нужно, достаточно было ещё одну квитанцию выписать из комиссионного, и любой представитель народной власти мог везти приобретенную за бесценок вещь к себе домой вполне законно.)

Что можно было за эти 20–30 минут сообразить? Как определить и выбрать самое нужное? Лейтенант, ссылавший одну семью (бабушку 75 лет, мать 50–ти, дочь 18–ти и сына 20–ти), посоветовал: «Швейную машину обязательно возьмите!» Пойди догадайся! Этой швейной машиной только

и кормилась потом семья[493].

Впрочем, эта быстрота высылки иногда шла на пользу и обречённым. Вихрь! — пронёсся и нет его. От самого лучшего веника остаются же промётаны. Кто из семьи умел продержаться суток трое, в ту ночь дома не ночевал, — приходил теперь в финотдел, просил распечатать квартиру, и что ж? — распечатывали. Чёрт с тобой, живи до следующего Указа.

В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить 8 лошадей или 32 солдата или 40 заключённых, ссылаемых таллинцев везли по 50 и больше. По спеху вагонов не оборудовали, и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша— старое ведро, тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала вещи. Двуногих млекопитающих, с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины — разное суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды, умер ребёнок. (А ведь всё это мы уже читали недавно, правда? Две главы назад, 20 лет назад, — а всё то же…) Долго стояли на

---

[493] Примечания: 493

Эти конвоиры — как и что понимали в своих действиях? Марию Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой — и там увидел её и осклабился вполне радостно и душевно: «Тётя! Вы — меня помните?..»

станции Юлемисте, а снаружи бегали и стучали в вагоны, спрашивали имена, тщетно пытались передать кому–то продукты и вещи. Но тех отгоняли. А запертые голодали. А неодетых ждала Сибирь.

В пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях— супы. Путь у всех эшелонов был дальний: в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. Четырнадцать суток ехали до Ачинска.

Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которую приносит не вера, а ненависть: «Скоро им конец! В этом году будет война, и осенью обратно поедем».

Никому благополучному ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть и не простить этого тогдашнего настроения за решётками. Я писал уже, что и мы так верили, и мы так жаждали в те годы— в 49–м, в 50–м. В те годы всхлестнулась неправедность этого строя, этих двадцатипятилетних сроков, этих повторных возвратов на Архипелаг— до некоей высшей взрывной точки, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой. (Да скажем общо: если режим безнравственен, — свободен

подданный от всяких обязательств перед ним.) Какую же искалеченную жизнь надо устроить, чтобы тысячи тысяч в камерах, в воронках и в вагонах взмолились об истребительной атомной войне как о единственном выходе?!..

А не плакал— никто. Ненависть сушит слёзы.

Ещё вот о чём думали в дороге эстонцы: как встретит их сибирский народ? В 40–м году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. (Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями…)

Сейчас, в 49–м, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сестры удивлялись, как эти женщины худы и обтрёпаны, и тряпки чистой нет у них для ребёнка. Приехавших разослали по обезлюдевшим колхозам, — и там, от начальства таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты: кто по пол–литра молочка, кто лепёшек свекольных или из очень дурной муки.

И вот теперь— эстонки плакали.

Но ещё был, разумеется, комсомольский актив. Эти так и приняли к сердцу, что вот приехало

фашистское отребье («вас всех потопить!» — восклицали они), и ещё работать не хотят, неблагодарные, для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства. Эти комсомольцы стали надзирателями над ссыльными, над их работою. И ещё были предупреждены: по первому выстрелу организовывать облаву.

На станции Ачинск произошла весёлая путаница: начальство Бирилюсского района купило у конвоя 10 вагонов ссыльных, полтысячи человек, для своих колхозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на 150 километров к северу от Ачинска. А назначены они были (но не знали, конечно, об этом) Саралинскому рудоуправлению в Хакасию. Те ждали свой контингент, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над сёлами вой от мычавших коров, коровы как дикие кидались на полусгнившую солому. Итак, совсем не по злобности и не по зажиму ссыльных выдал колхоз новоприбывшим по одному килограмму муки на человека в неделю — это был вполне достойный аванс, почти равный всему будущему заработку! Ахнули эстонцы после своей Эстонии… (Правда,

в посёлке Полевой близ них стояли большие амбары, полные зерна: оно накоплялось там год за годом из–за того, что не управлялись вывозить. Но тот хлеб был уже государственный, он уже за колхозом не числился. Мёр народ кругом, но хлеба из тех амбаров ему не выдавали: он был государственный. Председатель колхоза Пашков как–то выдал самовольно по пять килограммов на каждого ещё живого колхозника — и за то получил лагерный срок. Хлеб тот был государственный, а дела— колхозные, и не в этой книге их обсуждать.)

На этом Чулыме месяца три колотились эстонцы, с изумлением осваивая новый закон: или воруй, или умирай! И уж думали, что навечно, — как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район Хакасии (это хозяева нашли свой контингент). Хакасцев самих там было неприметно, а каждый посёлок — ссыльный, а в каждом посёлке — комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикоз. (Да обширные пространства были не столько Хакасия или Красноярский край, сколько трест Хакзолото или Енисейстрой, и принадлежали они не райсоветам и не райкомам партии, а генералам войск МВД, секретари же райкомов гнулись перед рай-

комендантами.)

Но ещё не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в «старательские артели». Старатели! — это так заманчиво звучит, слово поблескивает лёгкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют исказить любое земное понятие. В «артели» эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно; просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть. Артели подчинялись «старательскому сектору» рудоуправления, которое знало только— спустить план, и никаких других обязанностей. «Свобода» артелей была не от государства, а от государственного законодательства: им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье (как уже полным зэкам), мог быть объявлен «стахановский месячник» безо всяких воскресений. А государственное оставалось: за невыход на работу — суд. Раз в два месяца к ним приезжал

нарсуд и многих осуждал к 25% принудработ, причин всегда хватало. Зарабатывали эти «старатели» в месяц 3–4 «золотых» рубля (150–200 сталинских, четверть прожиточного минимума).

На некоторых рудниках под Копьёвым ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами: в самом деле, зачем им общесоюзные деньги, если передвигаться они всё равно не могут, а в рудничной лавке им продадут (завалящее) и за боны?

В этой книге уже развёрнуто было подробное сравнение заключённых с крепостными крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииски и заводы. Их приписное население в XVIII и XIX веке совершало нарочно преступления, чтобы только попасть на каторгу и вести более лёгкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века «рабочие не имели права отказаться от работы даже в воскресенье», платили штрафы (сравни принудработы), и ещё там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и обвесом. «Эти лавочки, а не плохо поставленная золотодобыча были главным источником

доходов» золотопромышленников (Семёнов–Тян–Шанский, «Россия», т. 16), или, читай, — треста.

В 1952 году маленькая хрупкая Хели Сузи не пошла в сильный мороз на работу потому, что у неё не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил её на 3 месяца на лесоповал — без валенок же. Она же в месяцы перед родами просила дать ей легче работу, не брёвна подтаскивать, ей ответили: не хочешь— увольняйся. А тёмная врачиха на месяц ошиблась в сроках её беременности и отпустила в декретный за два–три дня до родов. Там, в тайге МВД, много не поспоришь.

Но и это всё ещё не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь (и не вздорно): вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим: а если колхоз и лагерь — да соединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенца в колхозе. От колхоза то, что пайки нет, — только в посевную дают семисотку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком, земляного цвета (должно быть, в амбарах полы подметали). От лагеря то, что сажают в КПЗ: пожалуется бригадир на своего ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в

комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого заработки — концов не сведёшь: за первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по двадцать граммов зерна (птичка Божья при дороге напрыгает больше) и по 15 сталинских копеек (хрущёвских— полторы). За заработок целого года она купила себе… алюминиевый таз.

Так на что ж они жили?! А— на посылки из Прибалтики. Ведь народ их сослали — не весь.

А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам?..

Пройдите по могилам, спросите.

Всё тем же ли решением родного прибалтийского Совета Министров или уж сибирской принципиальностью применялось к прибалтийским спецпереселенцам до 1953 года, пока Отца не стало, спецуказание: никаких работ, кроме тяжелых! только кайло, лопата и пила! «Вы здесь должны научиться быть людьми!» И если производство ставило кого выше, комендатура вмешивалась и сама снимала на общие. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовую землю при доме отдыха рудоуправления, — чтоб не оскорбить Стахановцев, отдыхающих там. Даже с поста телятницы комендант согнал М.

Сумберг: «Вас не на дачу прислали, идите сено метать!» Еле–еле отбил её председатель. (Она спасла ему телят от бруцеллёза. Она полюбила сибирскую скотину, находя её добрее эстонской, и не привыкшие к ласке коровы лизали ей руки.)

Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу — и спецпереселенцы бесплатно и безнаградно работают 36 часов подряд (река Чулым). За эти полтора суток — два перерыва на еду по 20 минут и один раз отдых 3 часа. «Не будете — сошлём дальше на север!» Упал старик под мешком — комсомольцы–надсмотрщики пинают его ногами.

Отметка— еженедельно. До комендатуры— несколько километров? старухе — 80 лет? Берите лошадь и привозите! — При каждой отметке каждому напоминается: побег— 20 лет каторжных работ.

Рядом — комната оперуполномоченного. И туда вызывают. Там поманят лучшей работой. И угрозят выслать дочь единственную — за Полярный круг, от семьи отдельно.

А — чего они не могут? На каком чуре когда их рука останавливалась совестью?..

Вот задания: следить за такими–то. Собирать материалы для посадки такого–то.

При входе в избу любого комендантского сержанта все спецпереселенцы, даже пожилые женщины, должны встать и не садиться без разрешения.

Да не понял ли нас читатель так, что спецпереселенцы были лишены гражданских прав?

О нет, нет! Все гражданские права за ними полностью сохранялись. У них не отбирались паспорта. Они не были лишены участия во всеобщем, равном, тайном и прямом голосовании. Этот миг высокий, светлый — из нескольких кандидатов вычеркнуть всех, кроме своего избранника, — за ними был свято сохранён. И подписываться на заём им тоже не было запрещено (вспомним мучения коммуниста Дьякова в лагере, лишённого этой возможности). Когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по 50 рублей, с эстонцев выжимали по 400: «Вы — богатые. Кто не подпишется — не будем посылок передавать. Сошлём ещё дальше на север».

И — сошлют, а почему бы нет?..

О, как томительно! Опять и опять одно и то же. Да ведь, кажется, эту часть мы начали с чего–то нового: не лагерь, но ссылка. Да ведь, кажется, эту главу мы начали с чего–то свежего: не административные ссыльные, но спецпереселенцы.

А пришло всё к тому ж.

И надо ли, и сколько надо теперь ещё, и ещё, и ещё рассказывать о других, об иных, об инаких ссыльных районах? Не о тех местах? Не о тех годах? Нациях не тех.

А кехже?..

* * *

Впереслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности.

Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее они отрубили свою прошлую жизнь (да и что за родина у них была на Волге или на Маныче?) Как когда–то в щедроносные екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдались новой ссыльной земле как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а— навсегда. Сосланные в 41–м году наголё, но рачительные и неутомимые, они не упали духом, а принялись и здесь так же методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: немец что верба, куда ни ткни,

тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах не могли начальники нахвалиться немцами — лучших работников у них не было. К 50–м годам у немцев были — среди остальных ссыльных, а часто и местных— самые прочные, просторные и чистые дома; самые крупные свиньи; самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но — среди распущенности прилагерного мира— по чистоте и строгости нравов.

Горячо схватились за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскученнее, чем немцы, но по огородам и по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарчиках лучший творог, и масло, и овощи были у греков.

В Казахстане ещё больше преуспели корейцы — но они были и сосланы раньше, а к 50–м годам уже порядочно раскрепощены: уже не отмечались, свободно ездили из области в область и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов (и те и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодёжь не перешла на европейский лад). Но, очень способные к учению, они быстро заполнили учебные заведения Казахстана (уже в годы

войны им не мешали в этом) и стали главным клином образованного слоя республики.

Другие нации, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях, в своей жизни. Однако в общем подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти.

Калмыки— не стояли, вымирали тоскливо. (Впрочем, я их не наблюдал.)

Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности, — не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это — чечены.

Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей джезказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание.

Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зэками по духу. После того как их однажды предательски сдёрнули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли— низкие, тёмные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было всё их ссыльное хозяйство — на один этот день, этот месяц, этот год, безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, пили, молодые ещё и одевались. Проходили годы — и так же ничего

у них не было, как и в начале. Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству — но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз. И сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шофёрами: ухаживать за мотором— не унизительно, в постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти, в шофёрских возможностях — своей страсти воровской. Впрочем, эту последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли в мирный честный дремавший Казахстан понятие: «украли», «обчистили». Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силою. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей.

И вот диво — все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже тридцать лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы.

Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собралось объяснение. В кок–терекской школе учился при мне в 9–м классе юноша–чечен Абдул Худаев. Он не вызывал тёплых чувств да и не старался их вызвать, как бы опасался унизиться до того, чтобы быть приятным, а всегда подчёркнуто сух, очень горд да и жесток. Но нельзя было не оценить его ясный отчётливый ум. В математике, в физике он никогда не останавливался на том уровне, что его товарищи, а всегда шёл вглубь и задавал вопросы, идущие от неутомимого поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так называемой общественностью, то есть сперва пионерской организацией, потом комсомольской, учкомами, стенгазетами, воспитанием, беседами, — той духовной платой за обучение, которую так нехотя платили чечены.

Жил Абдул со старухой–матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело, ещё существовал только старший брат Абдула, давно изблатнённый, не первый раз уже в лагере за воровство и убийство, но всякий раз ускоренно выходя оттуда то по амнистии, то по зачётам. Как–то однажды явился он в Кок–Терек, два дня пил без просыпу, повздорил с каким–то местным

чеченом, схватил нож и бросился за ним. Дорогу ему загородила посторонняя старая чеченка: она разбросила руки, чтоб он остановился. Если бы он следовал чеченскому закону, он должен был бросить нож и прекратить преследование. Но он был уже не столько чечен, сколько вор, — взмахнул ножом и зарезал неповинную старуху. Тут вступило ему в пьяную голову, что ждёт его по чеченскому закону. Он бросился в МВД, открылся в убийстве, и его охотно посадили в тюрьму.

Он–то спрятался, но остался его младший брат Абдул, его мать и ещё один старый чечен из их рода, дядька Абдулу. Весть об убийстве облетела мгновенно чеченский край Кок–Терека — и все трое оставшихся из рода Худаевых собрались в свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались, как в крепости. Чечены из рода убитой женщины теперь должны были кому–то из рода Худаевых отомстить. Пока не прольётся кровь Худаевых за их кровь— они не были достойны звания людей.

И началась осада дома Худаевых. Абдул не ходил в школу — весь Кок–Терек и вся школа знали почему. Старшекласснику нашей школы, комсомольцу, отличнику, каждую минуту грозила смерть от ножа— вот, может быть, сейчас,

когда по звонку рассаживаются за парты, или сейчас, когда преподаватель литературы толкует о социалистическом гуманизме. Все знали, все помнили об этом, на переменах только об этом разговаривали— и все потупили глаза. Ни партийная, ни комсомольская организация школы, ни завучи, ни директор, ни районо — никто не пошёл спасать Худаева, никто даже не приблизился к его осаждённому дому в гудевшем, как улей, чеченском краю. Да если б только они! — но перед дыханием кровной мести так же трусливо замерли до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райисполком, и МВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон — и сразу оказалось, что никакой советской власти в Кок–Тереке нет. Не очень–то простиралась её длань и из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолёт с войсками и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами.

Так выяснилось для чеченов и для всех нас — что есть сила на земле и что мираж.

И только чеченские старики проявили разум! Они пошли в МВД раз — и просили отдать им

старшего Худаева для расправы. МВД с опаской отказало. Они пришли в МВД второй раз — и просили устроить гласный суд и при них расстрелять Худаева. Тогда, обещали они, кровная месть с Худаевых снимается. Нельзя было придумать более рассудительного компромисса. Но как это — гласный суд? но как это — заведомо обещанная и публичная казнь? Ведь он же — не политический, он— вор, он— социально–близкий. Можно попирать права Пятьдесят Восьмой, но — не многократного убийцы. Запросили область— пришёл отказ. «Тогда через час убьют младшего Худаева!» — объясняли старики. Чины МВД пожимали плечами: это не могло их касаться. Преступление, ещё не совершённое, не могло ими рассматриваться.

И всё–таки какое–то веяние XX века коснулось… не МВД, нет, — зачерствелых старых чеченских сердец! Они всё–таки не велели мстителям — мстить! Они послали телеграмму в Алма–Ату. Оттуда спешно приехали ещё какие–то старики, самые уважаемые во всём народе. Собрали совет старейших. Старшего Худаева прокляли и приговорили к смерти, где б на земле он ни встретился чеченскому ножу. Остальных Худаевых вызвали и сказали: «Ходите. Вас нетронут».

И Абдул взял книжки и пошёл в школу. И с лицемерными улыбками встретили его там парторг и комсорг. И на ближайших беседах и уроках ему опять напевали о коммунистическом сознании, не вспоминая досадного инцидента. Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Ещё раз понял он, что есть главная сила на земле: кровная месть.

Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна: она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести — но каким страхом веет на всё окружающее! Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу? И тем более какой нечечен решится связаться с чеченом — сказать, что он — вор? или что он груб? или что он лезет без очереди? Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок. И даже если ты схватишь нож (но его нет при тебе, цивилизованный), ты не ответишь ударом на удар: ведь падёт под ножом вся твоя семья! Чечены идут по казах-

ской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами, — и «хозяева страны», и нехозяева— все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха— и тем укрепляет маленькую горскую нацию.

«Бей своих, чтоб чужие боялись!» Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча.

А что предложило им социалистическое государство?

Глава 5. КОНЧИВ СРОК

За восемь лет тюрем и лагерей не слышал я слова доброго о ссылке ни от кого, побывавшего в ней. Но ещё с самых первых следственных и пересыльных тюрем, потому что слишком давят человека шесть каменных сближенных плоскостей камеры, засвечивается тихая арестантская мечта о ссылке, она дрожит, переливается маревом, и вздыхают на тёмных нарах тощие арестантские груди:

— Ах, ссылка! Если бы дали ссылку!

Я не только не минул этой общей участи, но во мне мечта о ссылке укрепилась особенно. На иерусалимском глиняном карьере я слушал петухов из соседней деревни — и мечтал о ссылке. И с крыши Калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал: подальше от неё, подальше бы в ссылку! И даже послал я наивное прошение в Верховный Совет: заменить мне 8 лет лагерей на пожизненную ссылку, пусть самую далёкую и глухую. Слон в ответ и не чихнул. (Я не соображал ещё, что пожизненная ссылка никуда от меня не уйдёт, только будет она не вместо лагеря, а после него.)

В 1952 году из трёхтысячного «российского» лагпункта Экибастуза «освободили» десяток человек. Это очень странно выглядело тогда: Пятьдесят Восьмую — и выводили за ворота! Три года перед тем стоял Экибастуз — и ни одного человека не освобождали, дай срок никому не кончался. А это, значит, кончились первые военные десятки у тех немногих, кто дожил.

С нетерпением ждали мы от них писем. Несколько пришло, прямых или косвенных. И узнали мы, что почти всех отвезли из лагеря в ссылку, хотя по приговору никакой ссылки у них не было. Но никого это не удивило! И тюремщикам нашим, и нам было ясно, что дело не в юстиции, не в сроке, не в бумажном оформлении, — дело в том, что нас, однажды названных врагами, власть, по праву сильного, будет теперь топтать, давить и душить до самой нашей смерти. И только этот порядок казался и власти, и нам единственно нормальным, так привыкли мы, с этим сжились.

В последние сталинские годы вызывала тревогу не судьба ссыльных, а мнимо освобождённых, тех, кого по видимости оставляли заворотами без конвоя, тех, кого по видимости покидало охранительное серое крыло МВД. Ссылка же,

которую власть по недоумию считала дополнительным наказанием, была продолжением привычного безответственного существования, той фаталистической основы, на которой так крепок арестант. Ссылка избавляла нас от необходимости самим избирать место жительства — и, значит, от тяжёлых сомнений и ошибок. Только то место и было верное, куда ссылали нас. Только в этом единственном месте изо всего Союза не могли попрекнуть нас — зачем приехали. Только здесь мы имели безусловное конечное право на три квадратных аршина земли. А ещё кто выходил из лагеря одиноким, как я, не ожидаемым нигде и никем, — только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу.

Торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопятся. Если б какого–нибудь несчастного демократического грека или социалистического турка задержали бы в тюрьме на один день сверх положенного, — да об этом бы захлёбывалась мировая пресса. А уж я рад был, что после конца срока меня передержали в лагере всего несколько дней и после этого… освободили? нет, после этого взяли на этап. И ещё месяц везли за счёт уже моего времени.

Всё же и под конвоем выходя из лагеря, ста-

рались мы выполнить последние тюремные суеверия: ни за что не обернуться на свою последнюю тюрьму (иначе в неё вернешься), правильно распорядиться своею тюремной ложкой. (Но как правильно? одни говорили: взять с собой, чтоб за ней не возвращаться; другие: швырнуть тюрьме, чтоб тюрьма за тобой не гналась. Моя ложка была мной самим отлита в литейке, я её забрал.)

И замелькали опять Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылки. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволенное, загоняли в тесные набитые камеры, в воронки, в арестантские вагоны, мешали с блатными, и так же рычали на нас конвойные псы, и так же кричали автоматчики: «Не оглядывайсь!!»

Но на Омской пересылке добродушный надзиратель, перекликая по делам, спросил нас, пятерых экибастузских: «Какой бог за вас молился?» — «А что? а куда?» — сразу навострились мы, поняв, что место, значит, хорошее. — «Да на юг», — дивился надзиратель.

И действительно, от Новосибирска завернули нас на юг. В тепло едем! Там — рис, там виноград и яблоки. Что это? Неужели ж товарищ Берия не мог нам в Советском Союзе хуже места найти?

Неужели такая ссылка бывает? (Про себя я уже внутренне примерял: напишу о ссылке цикл стихов и назову: «Стихи о Прекрасной Ссылке».)

На станции Джамбул нас высаживали из вагон–зака всё с теми же строгостями, вели к грузовику в живом коридоре конвойных и так же на пол сажали в кузове, как будто, пересидевши срок, мы могли потянуться на побег. Было глубоко ночью, ущербная луна, и только она слабо освещала темную аллею, по которой нас везли, но это была именно аллея— и из пирамидальных тополей! Вот так ссылка! Да мы не в Крыму ли? Конец февраля, у нас на Иртыше сейчас лють — а здесь весенний ласковый ветерок.

Привезли в тюрьму — и тюрьма приняла нас без приёмного шмона и без бани. Мягчели проклятые стены! Так с мешками и чемоданами затащились в камеру. Утром корпусной отпер дверь и вздохнул: «Выходи со всеми вещами».

Разжимались чёртовы когти…

Весеннее алое утро охватило нас во дворе. Заря теплила кирпичные тюремные стены. Посреди двора ждал нас грузовик, и в кузове уже сидели двое зэков, присоединяемых к нам. Надо бы дышать, оглядываться, проникаться неповторимостью момента — но никак нельзя было

упускать нового знакомства! Один из новеньких— сухонький седой старик со слезящимися светлыми глазами — сидел на своих подмятых вещичках так выпрямленно, торжественно, как царь перед приёмом послов. Можно было подумать, что он или глух, или иностранец и не надеется найти с нами общий язык. Едва влезши в кузов, я решился с ним заговорить — и совсем не дребезжащим голосом на чистом русском языке он представился:

— Владимир Александрович Васильев.

И — проскочила между нами душевная искра! Чует сердце друга и недруга. Это — друг. В тюрьме спеши узнавать людей! — не знаешь, не разлучат ли через минуту. Да, бишь, мы уже не в тюрьме, новее равно… И, пересиливая шум мотора, я интервьюирую его, не замечая, как грузовик сошёл с тюремного асфальта на уличный булыжник, забывая, что надо не оглянуться на последнюю тюрьму (сколько ж их будет, последних?), непосмотря даже на короткий кусочек воли, который мы проезжаем, — и вот уже снова в широком внутреннем дворе областного МВД, откуда выход в город нам опять–таки запрещён.

Владимиру Александровичу в первую минуту можно было дать девяносто лет — так сочетались

эти вневременные глаза, острое лицо и хохолок седины. А было ему— семьдесят три. Он оказался одним из давнейших русских инженеров, из крупнейших гидротехников и гидрографов. В «Союзе Русских Инженеров» (а что это такое? я слышу первый раз; а это — сильное общественное создание технической мысли, да все такие у нас погибли) Васильев был видным деятелем, и ещё сейчас с твёрдым удовольствием вспоминает: «Мы отказывались притвориться, что можно вырастить финики на сухих палках».

За то и были разогнаны конечно.

Весь этот край, Семиречье, куда мы приехали сейчас, он исходил пешком и изъездил на лошади ещё полвека назад. Он ещё до Первой Мировой войны рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, Нарынского каскада и пробития туннеля сквозь Чу–Илийские горы и ещё до Первой войны стал сам их осуществлять. Шесть «электрических экскаваторов» (все шесть пережили революцию и в 30–е годы представлялись на Чирчикстрое как советская новинка) были выписаны им ещё в 1912 году и уже работали здесь. А теперь, отсидев 15 лет за «вредительство», три последних— в Верхнеуральском изоляторе, он выпросил себе как милость: отбывать ссылку и умереть именно

здесь, в Семиречьи, где он всё начинал. (Но и этой милости ему бы ни за что не оказали, если б не помнил его Берия по 20–м годам, когда инженер Васильев делил воды трёх закавказских республик.)

Так вот почему такой углублённый и сфинксоподобный сидел он сегодня на своём мешочке в кузове: у него не только был первый день свободы, но и возврат в страну своей юности, в страну вдохновения. Нет, не так уж коротка человеческая жизнь, если вдоль неё оставишь обелиски.

Совсем недавно дочь В. А. остановилась на Арбате около витрины с газетой «Труд». Залихватский корреспондент, не жалея хорошо оплачиваемых слов, бойко рассказывал о своей поездке по Чуйской долине, обводнённой и вызванной к жизни созидателями–большевиками, о Нарынском каскаде, о мудрой гидротехнике, о счастливых колхозниках. И вдруг— кто ему о том нашептал? — закончил: «но мало кто знает, что все эти преобразования есть исполнение мечты талантливого русского инженера Васильева, не нашедшего сочувствия в старой бюрократической России[494]. Как жаль, что молодой энтузиаст

[494] Примечания: 494

Ко времени октябрьского переворота Васильев практически возглавил департамент земельных улучшений.

не дожил до торжества своих благородных идей!» Дорогие газетные строки замутнились, слились, дочь сорвала газету с витрины и понесла под свисток милиционера.

Молодой энтузиаст сидел в это время в сырой камере Верхнеуральского изолятора. Ревматизм или какое–то костное недомогание перегнуло старика в позвоночнике, и он не мог разгибаться. Спасибо, сидел он в камере не один, с ним — некий швед, и вылечил ему спину спортивным массажем.

Шведы не так часто сидят в советских тюрьмах. С одним шведом, вспоминаю, сидел и я. Его звали Эрик…

— … Арвид Андерсен? — с живостью переспрашивает В. А. (он очень живо и говорит и движется).

Ну надо же! Так это Арвид его и вылечил массажем! Ну до чего ж, ну до чего ж я тесен! — напоминает нам Архипелаг в напутствие. Вот, значит, куда везли Арвида три года назад— в Уральский изолятор. И что–то не очень вступились за голубчика Атлантический пакт и

папа–миллиардер[495].

А тем временем нас по одному начинают вызывать в областную комендатуру — это тут же, во дворе облМВД, это — такой полковник, майор и многие лейтенанты, которые заведуют всеми ссыльными Джамбульской области. К полковнику, впрочем, нам ходу нет, майор лишь просматривает наши лица, как газетные заголовки, а оформляют нас лейтенанты, красиво пишущие перьями.

Лагерный опыт отчётливо бьёт меня под бок: смотри! в эти короткие минуты решается вся твоя будущая судьба! Не теряй времени! Требуй, настаивай, протестуй! Напрягись, извернись, изобрети что–нибудь, почему ты обязательно должен остаться в областном городе или получить самый

---

[495] Примечания: 495

Павел Веселов (Стокгольм), много занимавшийся другими захватами шведских граждан советскими властями, проанализировав рассказы Э.А. Андерсена о себе и отсутствие какого–либо миллиардера Андерсена в Швеции, высказывает предположение: что и по внешнему виду и по форме названной им фамилии Э.А. скорее норвежец, но по каким–то причинам предпочёл выдавать себя за шведа. Норвежцы, бежав из страны после 1940, и в английской армии служили несравнимо чаще, чем, может быть, одиночные шведы. Э.А. мог иметь английскую родственную связь с какими–то Робертсонами, но родство с генералом Робертсоном придумать, чтобы поднять себе цену перед МГБ. Вероятно, и в Москву он приезжал в составе английской или норвежской делегации, а не шведской (такая, кажется, и не ездила), но был там третьестепенным лицом. Может быть, МГБ предлагало ему стать своим разведчиком, и за этот отказ он получил 20 лет. Отец Эрика мог быть дельцом, но не такого масштаба. Однако Эрик преувеличивал, и

даже знакомство своего отца с Громыкой (отчего гебисты и показали его Громыке), — чтобы заинтересовать МГБ выкупом и таким образом дать знать о себе на Запад. (Примеч. 1975 г.)

близкий и удобный район. (И причина эта есть, только я не знаю о ней: второй год растут во мне раковые метастазы после лагерной незаконченной операции.)

Не–ет, я уже не тот… Я не тот уже, каким начинал срок. Какая–то высшая малоподвижность снизошла на меня, и мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. Мне отвратительно придумывать сейчас убогий жалкий предлог. Никто из людей ничего не знает наперёд. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его — в наидурном. Да даже узнать, расспросить, какие районы области хорошие, какие плохие, — я не успел, я занят был судьбой старого инженера.

На его деле какая–то охранительная резолюция стоит, потому что ему разрешают выйти пешком своими ногами в город, дойти до облводстроя и спросить себе там работы. А всем остальным нам одно назначение: Кок–Терекский район. Это — кусок пустыни на севере области, начало безжизненной Бет–Пак–Дала, занимающей весь центр Казахстана. Вот тебе и виноград!..

Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк, отпечатанный на корявой рыжей

бумаге, ставят число, под–кладывают нам — распишитесь.

Где это я уже встречал подобное? Ах, это когда мне объявляли постановление ОСО. Тогда тоже вся задача была— взять ручку и расписаться. Только тогда бумага была московская, гладкая. Перо и чернила, впрочем, такие же дрянные.

Итак, что же мне «объявлено сего числа»? Что я, имярек, ссылаюсь навечно в такой–то район под гласный надзор районного МГБ и в случае самовольного отъезда за пределы района буду судим по Указу Президиума Верхсовета, предусматривающему наказание 20 (двадцать) лет каторжных работ. Ну что ж, всё законно. Ничто не удивляет нас.

Годами позже я достану Уголовный кодекс РСФСР и с удовольствием прочту там в статье 35–й: что ссылка назначается на срок от трёх до десяти лет, в качестве же дополнительной к заключению может быть только до пяти лет. (Это — гордость советских юристов: что, начиная ещё с Уголовного кодекса 1922 года, в советском праве нет бессрочных правопоражений и вообще бессрочных репрессий, кроме самой жуткой из них — бессрочного изгнания из пределов СССР. И в этом «важное принципиальное отличие

советского права от буржуазного», сборник «От тюрем…».) Так–то так, но, экономя труд МВД, пожалуй, вечную–то выписывать проще: не надо следить за концами сроков да морочиться обновлять их.

И ещё в статье 35–й, что ссылка даётся только особым определением суда. Ну, хотя бы ОСО? Но даже и не ОСО, а дежурный лейтенант выписывал нам вечную ссылку.

Мы охотно подписываем. В моей голове настойчиво закручивается эпиграмма, немного длинноватая, правда:

Чтоб сразу, как молот кузнечный
Обрушить по хрупкой судьбе, —
Бумажку: я сослан навечно
Под гласный надзор МГБ.
Я выкружил подпись беспечно.
Есть Альпы. Базальты. Есть — Млечный,
Есть звёзды — не те, безупречно
Сверкающие на тебе.
Мне лестно быть вечным, конечно!
Но — вечно ли МГБ?

Приходит Владимир Александрович из города, я читаю ему эпиграмму, и мы смеёмся — смеёмся, как дети, как арестанты, как безгрешные люди. У В.А. очень светлый смех— напоминает смех К.И.

Страховича. И сходство между ними глубокое: это люди — слишком ушедшие в интеллект, и страдания тела никак не могут разрушить их душевное равновесие.

А между тем и сейчас у него мало весёлого. Сослали его, конечно, не сюда, ошиблись, как полагается. Только из Фрунзе могли назначить его в Чуйскую долину, в места его бывших работ. А здесь водстрой занимается арыками. Самодовольный полуграмотный казах, начальник водстроя, удостоил создателя

Чуйской системы ирригации постоять у порога кабинета, позвонил в обком и согласился принять младшим гидротехником, как девчёнку после училища. А во Фрунзе— нельзя: другая республика.

Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушенных возможностей.

Но всё же потирает руки седенький: знают его учёные, может быть, перетащат. Расписывается и он, что сослан навечно, а если отлучится— будет отбывать каторгу до 93 лет. Я подношу ему вещи до ворот— до черты, которую запрещено мне переступать. Сейчас он пойдёт снимать у добрых людей угол комнаты и грозится выписать старуху из Москвы. Дети?.. Дети не приедут.

Говорят, нельзя бросать московские квартиры. А ещё родственники? Брат есть. Но у брата глубоко несчастная судьба: он историк, не понял октябрьской революции, покинул родину и теперь, бедняга, преподаёт историю Византии в Колумбийском университете. Мы ещё раз смеёмся, жалеем брата и обнимаемся на прощание. Вот промелькнул ещё один замечательный человек и ушёл навсегда.

А нас, остальных, почему–то держат ещё сутки и сутки в маленькой каморке, где на дурном щелястом полу мы спим вплотную, еле вытягивая ноги в длину. Это напоминает мне тот карцер, с которого я начал свой срок восемь лет назад. Освобождённых, нас на ночь запирают на замок, предлагая, если мы хотим, взять внутрь парашу. От тюрьмы только то отличие, что эти дни нас уже не кормят бесплатно, мы даём свои деньги, и на них с базара приносят чего–нибудь.

На третьи сутки приходит самый настоящий конвой с карабинами, нам дают расписаться, что мы получили деньги на дорогу и на еду, дорожные деньги тотчас у нас отбирает конвой (якобы— покупать билеты, на самом деле, напугав проводников, провезут нас бесплатно, деньги возьмут себе, это уж их заработок), строят нас

колонной по двое с вещами и ведут к вокзалу опять между рядами тополей. Поют птицы, гудит весна, — а ведь только 2 марта! Мы в ватном, жарко, но рады, что на юге. Кому–кому, а невольному человеку круче всего достаётся от морозов.

Целый день везут нас медленным поездом навстречу тому, как мы сюда приехали, потом, от станции Чу, километров десять гонят пешком. Наши мешки и чемоданы заставляют нас славно взопреть, мы клонимся, спотыкаемся, но волочим: каждая тряпочка, вынесенная через лагерную вахту, ещё пригодится нашему нищему телу. А на мне — две телогрейки (одну замотал по инвентаризации) и сверх того — многострадальная фронтовая шинель, истёртая и по фронтовой земле, и по лагерной, — как же теперь её, рыжую, замусоленную, бросить?

День кончается — мы не доехали. Значит, опять ночевать в тюрьме, в Новотроицком. Уж как давно мы свободны, — а всё тюрьма и тюрьма. Камера, голый пол, глазок, оправка, руки назад, кипяток — и только пайки не дают: ведь мы уже свободные.

Наутро подгоняют грузовик, приходит за нами тот же конвой, переночевавший без казармы. Ещё 60 километров в глубь степи. Застреваем

в мокрых низинках, соскакиваем с грузовика (прежде, зэками, не могли) и толкаем, толкаем его из грязи, чтобы скорей миновало дорожное разнообразие, чтобы скорей приехать в вечную ссылку. А конвой стоит полукругом и охраняет нас.

Мелькают километры степи. Сколько глазу хватает, справа и слева — жёсткая серая несъедобная трава и редко–редко — казахский убогий аул с кущицей деревьев. Наконец впереди, за степной округлостью, показываются вершинки немногих тополей (Кок–Терек — «зелёный тополь»).

Приехали! Грузовик несётся между чеченскими и казахскими саманными мазанками, вздувает облако пыли, привлекает на себя стаю негодующих собак. Сторонятся милые ишаки в маленьких бричках, из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, но глаза наши видят только женщин, этих необыкновенных забытых женщин, вон чернявенькая с порога следит за нашей машиной, приложив ладонь козырьком; вон сразу трое идут в пёстрых красных платьях. Все — нерусские. «Ничего, есть ещё для нас невесты!» — бодро кричит мне на ухо сорокалетний капитан дальнего плавания В.И.Василенко, который вЭкибастузе гладко про-

жил заведующим прачечной, а теперь ехал на волю расправлять крылья, искать себе корабля.

Миновав раймаг, чайную, амбулаторию, почту, райисполком, райком под шифером, дом культуры под камышом, — грузовик наш останавливается около дома МВД–МГБ. Все в пыли, мы спрыгиваем, входим в его палисадник и, мало стесняясь центральной улицы, моемся тут до пояса.

Через улицу, прямо против МГБ, стоит одноэтажное, но высокое удивительное здание, четыре дорические колонны всерьёз несут на себе поддельный портик, у подошвы колонн — две ступени, облицованные под гладкий камень, а над всем этим — потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться: это — школа! десятилетка. Но не бейся, молчи, несносное: это здание тебя не касается.

Пересекая центральную улицу, туда, в заветные школьные ворота, идёт девушка с завитыми локонами, чистенькая, подобранная в талии жакета, как осочка. Она идёт — и касается ли земли? Она — учительница}. Она так молода, что не могла ещё кончить института. Значит — семилетка и целый педагогический техникум. Как я завидую ей! Какая бездна между нею и мной, чер-

норабочим. Мы — разных сословий, и я никогда не осмелился бы провести её под руку.

А между тем новоприбывшими, по очереди выдёргивая их к себе в молчаливый кабинет, стал заниматься… кто же бы? Да конечно кум, оперуполномоченный! И в ссылке он есть, и тут он — главное лицо.

Первая встреча очень важна: ведь нам с ним играть в кошки–мышки не месяц, а вечно. Сейчас я переступлю его порог, и мы будем приглядываться друг ко другу исподтишка. Очень молодой казах, он скрывается за замкнутостью и вежливостью, я— за простоватостью. Мы оба понимаем, что наши незначащие фразы, вроде — «вот вам лист бумаги», «а какой ручкой я могу писать?», — это уже поединок. Но для меня важно показать, что я даже не догадываюсь об этом. Я просто, видимо, всегда такой, нараспашку, без хитростей. Ну же, бронзовый леший, помечай у себя в мозгу, этот— особого наблюдения не требует, приехал мирно жить, заключение пошло ему на пользу.

Что я должен заполнить? Анкету конечно. И автобиографию. Этим откроется новая папка, вот приготовленная на столе. Потом сюда будут подшиваться доносы на меня, характеристики от должностных лиц. И как только в контурах

соскребётся новое дело и будет из центра сигнал сажать — меня посадят (вот здесь, на заднем дворе, саманная тюрьма) и вмажут новую десятку.

Я подаю начинательные бумаги, опер прочитывает их и накалывает в скоросшиватель.

— А не скажете, где здесь районо? — вдруг спрашиваю я беззаботно вежливо.

А он вежливо объясняет. Он не вскидывает удивлённо бровей. Отсюда я делаю вывод, что могу идти наниматься, МГБ не возражает. (Конечно, как старый арестант, я не продешевился, не спросил его прямо: аможноли мне работать в системе народного образования?)

— Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя? Он пожимает плечами:

— Вообще сегодня, пока к вам тут при… — желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно.

И вот я иду! Все ли понимают это великое свободное слово? Я с а м иду! Ни с боков, ни сзади не нависают автоматы. Я оборачиваюсь: никого! Захочу, пойду правой стороною, мимо школьного забора, где в луже копается большая свинья. Захочу, пойду левой стороною, где бродят и роются куры перед самым районо.

Двести метров я прохожу до районо — а спина

моя, вечно согнутая, уже чуть–чуть распрямилась, а манеры уже чуть–чуть развязнее. За эти двести метров я перешёл в следующее гражданское сословие.

Я вхожу в старой шерстяной гимнастёрке фронтовых времён, в старых–престарых диагоналевых брюках. А ботинки— лагерные, свинокожие, и еле упрятаны в них торчащие уши портянок.

Сидят два толстых казаха— два инспектора районо, согласно надписям.

— Я хотел бы поступить на работу, в школу, — говорю я с растущей убеждённостью и даже как бы лёгкостью, будто спрашиваю, где у них тут графин с водой.

Они настораживаются. Всё–таки в аул, среди пустыни, не каждые полчаса приходит наниматься новый преподаватель. И хотя Кок–Терекский район обширнее Бельгии, всех лиц с семиклассным образованием здесь знают в лицо.

— А что вы кончили? — довольно чисто по–русски спрашивают меня.

— Физмат университета.

Они даже вздрагивают. Переглядываются. Быстро тараторят по–казахски.

— А… откуда вы приехали?

Как будто неясно, я должен всё им назвать.

Какой же дурак приедет сюда наниматься, да ещё в марте месяце?

— Час назад я приехал сюда в ссылку.

Они принимают многознающий вид и один за другим исчезают в кабинете зава. Они ушли — и теперь я вижу на себе взгляд машинистки лет под пятьдесят, русской. Миг— как искра, и мы— земляки: с Архипелага иона! Откуда, зачто, с какого года? Надежда Николаевна Грекова из казачьей новочеркасской семьи, арестована в 1937, простая машинистка и всем арсеналом Органов вмята, что состояла в какой–то фантастической террористической организации. Десять лет, а теперь— повторница, и— вечная ссылка.

Понижая голос и оглядываясь на притворенную дверь заведующего, она толково информирует меня: две десятилетки, несколько семилеток, район задыхается без математиков, нет ни одного с высшим образованием, а какие такие бывают физики — тут и не видели никогда. Звонок из кабинета. Несмотря на полноту, машинистка вскакивает, бодро бежит — вся служба, и на возврате громко официально вызывает меня.

Красная скатерть на столе. На диване — оба толстых инспектора, очень удобно утонули. В большом кресле под портретом Сталина — за-

ведующий, маленькая гибкая привлекательная казашка с манерами кошки и змеи. Сталин недобро усмехается мне с портрета.

Меня сажают у двери, вдали, как подследственного. Заводят никчемный тягостный разговор, потому особенно долгий, что, пару фраз сказав со мною по–русски, они потом десять минут переговариваются по–казахски, а я сижу как дурак. Меня расспрашивают подробно, где и когда я преподавал, выражают сомнение, не забыл ли я своего предмета или методики. Затем после всяких заминок и вздохов, что нет мест, что математиками и физиками переполнены школы района и даже полставки трудно выкроить, что воспитание молодого человека нашей эпохи — ответственная задача, — они подводят к главному: за что я сидел? в чём именно моё преступление? Кошка–змея заранее жмурит лукавые глаза, будто багровый свет моего преступления уже ударяет в её партийное лицо. Я смотрю поверх неё в зловещее лицо сатаны, искалечившего всю мою жизнь. Что я могу перед его портретом рассказать о наших с ним отношениях?

Я пугаю этих просветителей, есть такой арестантский приём: о чём они меня спрашивают— это государственная тайна, рассказывать я не

имею права. А короче, я хочу знать, принимают они меня на работу или нет.

И опять, и опять они переговариваются по–казахски. Кто такой смелый, что на собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть: они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету в двух экземплярах. Знакомое дело! Бумага всё терпит. Не час ли назад я это уже заполнял? И, заполнив ещё раз, возвращаюсь в МГБ.

С интересом обхожу я их двор, их самодельную внутреннюю тюрьму, смотрю, как, подражая взрослым, и они безо всякой надобности пробили в глинобитном заборе окошко для приёма передач, хотя забор так низок, что и без окошка можно передать корзину. Но без окошка — что ж будет за МГБ? Я брожу по их двору и нахожу, что мне здесь гораздо легче дышится, чем в затхлом районо: оттуда загадочным кажется МГБ и инспектора леденеют. А тут—родное министерство. Вот три лба коменданта (два офицера среди них), они откровенно поставлены за нами наблюдать, и мы— их хлеб. Никакой загадки.

Комендантыоказываются покладистыми и разрешают нам провести ночь не в запертой комнате, а во дворе, на сене.

Ночь под открытым небом! Мы забыли, что это значит!.. Всегда замки, всегда решётки, всегда стены и потолок. Куда там спать! Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. Отпряженная телега, колодец, водопойное корыто, стожок сена, чёрные тени лошадей под навесом— всё это так мирно, даже старинно, без жестокой печати Органов. Третье марта— а ничуть не похолодало к ночи, тот же почти летний воздух, что днём. Над разбросанным Кок–Тереком ревут ишаки, подолгу, страстно, вновь и вновь, сообщая ишачкам о своей любви, об избытке приливших сил, — и вероятно ответы ишачек тоже в этом рёве. Я плохо различаю голоса, вот низкие могучие рёвы— может, верблюжьи. Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну: я буду здесь дышать! Я буду здесь передвигаться!

Не может быть, чтобы я не пробил этого бумажного занавеса анкет! В эту трубную ночь я чувствую превосходство над трусливыми чиновниками. Преподавать! — снова почувствовать себя человеком! Стремительно войти в класс и огненно обежать ребячьи лица. Палец, протянутый к чертежу, — и все не дышат! Разгадка дополнительного построения — и все вздыхают

освобождённо.

Не могу спать! Хожу, хожу, хожу под луной. Поют ишаки! Поют верблюды! И всё поёт во мне: свободен! свободен!

Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В двух шагах от нас стоят лошади у своих яслей и всю ночь мирно жуют сено. И кажется, ничего роднее этого звука нельзя было во всей вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи.

Жуйте, беззлобные! Жуйте, лошадки!..

На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я нахожу себе домик–курятник — с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться вроет «Мне б избёнку пониже...»— когда–то в тюрьме писал я мечтательно о ссылке. Но всё–таки мало приятно, что головы нельзя поднять. Зато — отдельный домик! Пол— земляной, на него — лагерную телогрейку, вот и постель! Но тут же ссыльный инженер, преподаватель Бауманского института Александр Климентьевич Зданюкевич, одолжает мне пару досчатых ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы

у меня ещё нет (ничего нет, каждую нужную вещь придётся выбрать и купить, как будто ты на земле впервые), — но я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал души казённый свет, а теперь я блаженствую в темноте. И темнота может стать элементом свободы! В темноте и тишине (могло бы радио доноситься из площадного динамика, но третий день оно в Кок–Тереке бездействует) я просто так лежу на ящиках— и наслаждаюсь.

Чего мне ещё хотеть?

Однако утро превосходит все возможные желания! Моя хозяйка, новгородская ссыльная бабушка Чадова, шёпотом, не осмеливаясь вслух, говорит мне:

— Поди–ка там радио послушай. Что–то мне сказали, повторить боюсь.

Действительно, заговорило. Я иду на центральную площадь. Толпа человек в двести, очень много для Кок–Терека, сбилась под пасмурным небом вокруг столба, под громкоговорителем. Среди толпы — много казахов, притом старых. С лысых голов они сняли пышные рыжие шапки из ондатры и держат в руках. Они очень скорбны. Молодые— равнодушнее. У двух–трёх трактористов фуражки не сняты. Не сниму, конечно, и я.

Я ещё не разобрал слов диктора (его голос надрывается от драматической игры) — но уже осеняет меня понимание.

Миг, который мы с друзьями призывали ещё во студентах! Миг, о котором молятся все зэки ГУЛАГа (кроме ортодоксов)!

Умер, азиатский диктатор! Скорёжился, злодей! О, какое открытое ликование сейчас там у нас, в Особлаге![496] А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки, и рыдают навзрыд: «Как же мы теперь будем?..» Родимого потеряли… Крикнуть бы им сейчас через площадь: «Так и будете! Отцов ваших не расстреляют! Женихов не посадят! И сами не будете ЧС!»

Хочется вопить перед репродуктором, даже отплясать дикарский танец! Но увы, медлительны реки истории. И лицо моё, ко всему тренированное, принимает гримасу горестного внимания. Пока—притворяться, по–прежнему притворяться.

И всё же великолепно ознаменовано начало моей ссылки!

Минует десяток дней — ив борьбе за портфе-

---

[496] Примечания: 496

В Камышлаге зашёл кум (морда пришибеевская) в барак и объявил строго: «Партия с гордостью сообщает о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина».

ли и в опаске друг перед другом семибоярщина упраздняет вовсе МГБ! Так правильно я усомнился: вечно ли МГБ?[497]

И что ж на земле тогда вечно, кроме несправедливости, неравенства и рабства?..

[497] Примечания: 497
Правда, через полгода вернут нам КГБ, штаты прежние.

Глава 6. ССЫЛЬНОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ

1.	Гвозди велосипедные	— 1/2 КИЛО
2.	Батинка	— 5
3.	Поддувальник	— 2
4.	Стаханы	— 10
5.	Финал ученический	— 1
6.	Глопус	— 1
7.	Спичка	— 50 пачек
8.	Лампа летючий Мыш	— 2
9.	Зубная пасть	— 8 штук
10.	Пряник	— 34 кило
11.	Водка	— 156 поллитровок

Это была ведомость инвентаризации и переоценки всех наличных товаров универсального магазина в ауле Айдарлы. Инспекторы и товароведы кок–терекского райпо составили эту ведомость, а я теперь прокручивал на арифмометре и снижал цену, на какой товар на 7,5 процентов, на другой— на полтора. Цены катастрофически снижались, и можно было ожидать, что к новому учебному году и финал, и глопус будут проданы, гвозди найдут себе места в велосипедах, и только большой завал пряника, вероятно ещё довоенного, клонился к разряду неликвидов. А водка, хоть и подорожай, дольше 1 мая не задержится.

Снижение цен, которое, по сталинскому заводу, прошло под 1 апреля и от которого трудящиеся выиграли сколько–то миллионов рублей (вся выгода была заранее подсчитана и опубликована), — больно ударило по мне.

Уже месяц, проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные «хозрасчётные» заработки литейщика — на воле поддерживался лагерными деньгами! — и всё ходил в районо узнавать: когда ж возьмут меня? Но змееватая заведующая перестала меня принимать, два толстых инспектора всё менее находили времени что–то мне буркнуть, а к исходу месяца была мне показана

резолюция облоно, что школы Кок–Терек–ского района полностью укомплектованы математиками и нет никакой возможности найти мне работу.

Тем временем я писал, однако, пьесу (о контрразведке 1945 года), не проходя ежедневного утреннего и вечернего обыска и не нуждаясь так часто уничтожать написанное, как прежде. Ничем другим я занят не был, и после лагеря мне понравилось так. Один раз в день я ходил в «Чайную» и там на два рубля съедал горячей похлёбки— той самой, которую тут же отпускали в ведре и для арестантов местной тюрьмы. Ахлеб–черняшку продавали в магазине свободно. А картошки я уже купил, и даже— ломоть свиного сала. Сам, на ишаке, привёз я саксаула из зарослей, мог и плиту топить. Счастье моё было очень недалеко от полного, и я так задумывал: не берут на работу— не надо, пока деньги тянутся— буду пьесу писать, в кои веки такая свобода!

Вдруг на улице один из комендантов поманил меня пальцем. Он повёл меня в райпо, в кабинет председателя, как бомба толстого казаха, и сказал со значением:

— Математик.

И что за чудо? Никто не спросил меня, за что

я сидел, и не дал заполнять автобиографии и анкеты — тотчас же его секретарша, ссыльная гречанка–девчёнка, кинематографически красивая, отстукала одним пальцем на машинке приказ о назначении меня плановиком–экономистом с окладом 450 рублей в месяц. В тот же день и с такой же лёгкостью, без всяких анкетных изучений, были зачислены в райпо ещё двое непристроенных ссыльных: капитан дальнего плавания Василенко и ещё неизвестный мне, очень затаённый Григорий Самойлович Маковоз. Василенко уже носился с проектом углублять реку Чу (её в летние месяцы переходила вброд корова) и налаживать катерами сообщение, просил комендатуру пустить его исследовать русло. Его однокурсник по мореходному училищу, по парусному бригу «Товарищ», капитан Ман в эти дни снаряжал «Обь» в Антарктиду — а Василенко гнали кладовщиком в райпо.

Но не плановиком, не кладовщиком, не счетоводом — все трое мы были брошены на аврал: на переоценку товаров. В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что ни год, охватывалось агонией, и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было: все товары учесть (и обнаружить воров–продавцов, но не для отдачи их под суд),

переоценить — и с утра уже торговать по новым ценам, очень выгодным для трудящихся. А огромная пустыня нашего района имела железнодорожных путей и шоссе— ноль километров, и в глубинных магазинах эти очень выгодные для трудящихся цены никак не удавалось осуществить раньше 1 мая: сквозной месяц все магазины вообще не торговали, пока в райпо подсчитывались и утверждались ведомости, пока их доставляли на верблюдах. Но в самом–то райцентре хоть предмайскую ж торговлю надо было не срывать!

К нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек пятнадцать — штатных и привлечённых. Простыни ведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах, и слышалось только щёлканье счётов, на которых опытные бухгалтеры и умножали и делили, да деловое переругивание. Тут же посадили работать и нас. Умножать и делить на бумажке мне сразу надоело, я запросил арифмометр. В райпо не было ни одного, да никто не умел на нём и работать, но кто–то вспомнил, что видел в шкафу районного статуправления какую–то машинку с цифрами, только и там никто на ней не работал. Позвонили, сходили, принесли. Я стал трещать и быстро усеивать

колонки, ведущие бухгалтеры— враждебно на меня коситься: не конкурент ли?

Я же крутил и думал про себя: как быстро зэк наглеет, или, выражаясь литературным языком, как быстро растут человеческие потребности. Я недоволен, что меня оторвали от пьесы, слагаемой в тёмной конуре; я недоволен, что меня не взяли в школу; недоволен, что меня насильно заставили… что же? ковырять мёрзлую землю? месить ногами саманы в ледяной воде? — нет, меня насильно посадили за чистый стол крутить ручку арифмометра и вписывать цифры в столбец. Да если бы в начале моей лагерной отсидки мне предложили бы эту блаженную работу выполнять весь срок по 12 часов в день бесплатно, — я бы ликовал! Но вот мне платят за эту работу 450 рублей, я теперь буду и литр молока брать ежедень, а я нос ворочу — не маловато ли?

Так неделю увязало райпо в переоценке (тут надо было верно определять для каждого товара его группу по общему понижению и ещё группу по удорожанию для деревни), — и всё ни один магазин не мог начать торговать. Тогда жирный председатель, сам первейший бездельник, собрал всех нас в свой торжественный кабинет и сказал:

— Так вот что. Последний вывод медицина, что человек совсем не нужен спать восемь часов. Абсолютно достаточно — четыре часа! Поэтому приказываю: начало работы — семь утра, конец— два часа ночи, перерыв на обед час и на ужин час.

И кажется, никто из нас в этой оглушающей тираде ничего смешного не нашёл, а только жуткое. Все съёжились, молчали и лишь осмелились обсудить, с какого часа лучше ужинный перерыв.

Да, вот она, та судьба ссыльных, о которой меня предупреждали, из таких приказов она и состоит. Все сидящие здесь— ссыльные, они дрожат за место; уволенные, они долго не найдут себе в Кок–Тереке другого. И в конце концов, это же — не лично для директора, это — для страны, это — надо. И последний вывод медицины им кажется довольно сносным.

Ах, сейчас бы встать и высмеять этого самодовольного кабана! Раз бы единый отвести душу! Но это была бы чистая «антисоветская агитация» — призыв к срыву важнейшего мероприятия. Так всю жизнь переходишь из состояния в состояние — ученик, студент, гражданин, солдат, заключённый, ссыльный, — и всегда есть веская сила у начальства, а ты должен гнуться и

молчать.

Скажи он — до десяти вечера, я бы сидел. Но предлагал он нам — сухой расстрел, мне предлагал: здесь, на воле — и перестать писать! Нет уж, будь ты проклят, и снижение цен вместе с тобой. Лагерь подсказывал мне выход: не говорить против, а молча против делать. Со всеми вместе я покорно выслушал приказ, а в пять вечера встал из–за стола— и ушёл. И вернулся только в девять утра. Коллеги мои уже все сидели, считали или делали вид, что считают. Как на дикого, смотрели на меня. Маковоз, скрытно одобряя мой поступок, но сам так не решаясь, тайно сообщил мне, что вчера вечером над моим пустым столом председатель кричал, что загонит меня в пустыню за сто километров.

Признаюсь, я струхнул, конечно, МВД всё могло сделать. И загнало бы! И за сто километров, только б и видел я тот районный центр! Но я был счастливчик: я попал на Архипелаг после конца войны, то есть самый смертный период миновав; и теперь в ссылку я приехал после смерти Сталина. За месяц что–то и сюда уже доползло, до нашей комендатуры.

Незаметно начиналась новая пора — самое мягкое трёхлетие в истории Архипелага.

Председатель не вызвал меня и сам не пришёл. Проработав день свежим среди засыпающих и врущих, я решился снова в пять вечера уйти. Какой–нибудь конец, только скорее.

Который раз в жизни я замечал, что жертвовать можно многим, но не стержневым. Этой пьесой, выношенной ещё в каторжных строях Особлага, я не пожертвовал — и победил. Неделю все работали ночами — и привыкли, что стол мой пуст. И председатель, встречая меня в коридоре, отводил глаза.

Но не пришлось мне наладить сельской кооперации в Казахстане. В райпо внезапно пришёл молодой завуч школы, казах. До меня он был единственный универсант в Кок–Тереке и очень этим гордился. Однако моё появление не вызвало у него зависти. Хотел ли он укрепить школу перед её первым выпуском или поперчить змеистой заврайоно, но предложил мне: «Несите быстро ваш диплом!» Я сбегал, как мальчик, и принёс. Он положил в карман и уехал в Джамбул на профсоюзную конференцию. Через три дня опять зашёл и положил передо мной выписку из приказа облоно. За той же самой бесстыдной подписью, которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы, я теперь в апреле

назначался и математиком и физиком — в оба выпускных класса да за три недели до выпускных экзаменов! (Он рисковал, завуч. Не так политически, как, боялся он: не забыл ли я всю математику за годы лагеря. Когда наступил день письменного экзамена по геометрии с тригонометрией, он не дал мне вскрывать конверт при учениках, а в кабинет директора завёл всех преподавателей и стоял за моим плечом, пока я решал. Совпадение ответа привело его, дай остальных математиков, в праздничное состояние. Как легко тут было прослыть Декартом! Я ещё не знал, что каждый год во время экзаменов 7–х классов то и дело звонят из аулов в район: не получается задача, неправильное условие! Эти преподаватели и сами–то кончили лишь по семь классов…)

Говорить ли о моём счастьи — войти в класс и взять мел? Это и было днём моего освобождения, возврата гражданства. Остального, из чего состояла ссылка, я уже больше не замечал.

Когда я был в Экибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступный, я озирался на беготню ребятишек в её дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изныл я от беспросветных тюремных лет, от

лагерных общихі Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось: вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок. (В той тяге был, конечно, дар учителя, но, наверно, и доля оголодавшей самоценности — контраст после стольких лет рабского унижения и способностей, не нужных никому.)

Но, уставленный в жизнь Архипелага и государства, упустил я самое простое: что за годы войны и послевоенные школа наша — умерла, её больше нет, а остался только корпус надутый, звон пустой. Умерла школа и в столице и в станице. Когда духовная смерть, как газ ядовитый, расползается по стране, — кому ж задохнуться из первых, как не детям, как не школе?

Однако я об этом узнал лишь годами позже, воротясь из страны ссылки в русскую метрополию. А в Кок–Тереке я об этом даже не догадался: мертво было всё направление мракобесия, но ещё живы были, ещё не задохнулись ссыльные дети.

Это были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетённого положения. На педсоветах и других бала–больных совещаниях о

них и им говорилось, что они — дети советские, растут для коммунизма и только временно ограничены вправе передвижения, только и всего. Но они–то, каждый, ощущали свой ошейник— и с самого детства, сколько помнили себя. Весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир (по иллюстрированным журналам, по кино) был недоступен для них, и даже мальчикам не предстояло туда попасть (таких в армию не брали). Очень слабая, очень редкая была надежда — получить от комендатуры разрешение ехать в город, там быть допущенным до экзамена, да ещё быть принятым в институт, да ещё благополучно его окончить. Итак, всё, что они могли узнать о вечном объёмном мире, — только здесь они могли получить, эта школа долгие годы была для них— первое и последнее образование. К тому ж, по скудости жизни в пустыне, свободны они были от тех рассеяний и развлечений, которые так портят городскую молодёжь XX века от Нью–Йорка до Алма–Аты. Там, в метрополии, дети уже развыкли учиться, потеряли вкус, учились — как повинность отбывали, чтобы числиться где–то, пока выйдет возраст. А нашим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственно важное в жизни, это было всё.

Учась жадно, они как бы поднимались над своим вторым сортом и сравнивались с детьми сорта первого. Только водной настоящей учёбе насыщалось их самолюбие.

(Нет, ещё: в выборных школьных должностях; в комсомоле; ас 18 лет— в голосовании, во всеобщих выборах. Так хотелось им, бедняжкам, хоть иллюзии равноправия. Многие с гордостью поступали в комсомол, искренне делали политические сообщения на пятиминутках. Одной молоденькой немочке, Виктории Нусс, поступившей в двухлетний учительский институт, я пытался внушить мысль, что положением ссыльного надо не тяготиться, а гордиться. Куда там! Она посмотрела на меня как на безумного. Ну да были и такие, кто в комсомол не спешил, — так их тянули силой: разрешено, а ты не поступаешь — это почему? И в Кок–Тереке некоторые девочки, немки, тайные баптистки, вынуждены были вступать, чтоб семью их не загнали дальше в пустыню. О вы, соблазнители малых сих! — лучше б вам жернов на шею…)

Это всё я говорил о «русских» классах кок–терекской школы (собственно русских там почти не было, а— немцы, греки, корейцы, немного курдов и чеченов, да украинцев из переселенческих

семей начала века, да казахов из семей «ответработников»— они детей своих учили по–русски). Большинство же казахских детей составляли классы «казахские». Это были воистину ещё дикари, в большинстве (кто не испорчен чиновностью семей) — очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном, до того как успевали его исказить лживым или чванным преподаванием. А почти всё преподавание на казахском языке было расширенным воспроизводством невежества: сперва кое–как тянули на дипломы первое поколение, недоученные разъезжались с большой важностью преподавать подрастающим, а девушкам–казашкам ставили «удовлетворительно», выпускали из школ и педагогических институтов при самом дремучем и полном незнании. И когда этим первобытным детям вдруг засверкивало настоящее учение, они впитывали его не только ушами и глазами, но ртом.

При таком ребячьем восприятии я в Кок–Тереке захлебнулся преподаванием, и три года (а может быть, много бы ещё лет) был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтоб исправить и восполнить недоданное им раньше, я назначал им вечерние дополнительные заня-

тия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, — и они являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино.

Мне дали и классное руководство, да ещё в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось.

Однако всё светлое было ограничено классными дверьми и звонком. В учительской же, в директорской и в районо размазывалась не только обычная всегосударственная тягомотина, но ещё и пригорченная ссыльностью страны. Среди преподавателей были идо меня немцы и административно–ссыльные. Положение всех нас было угнетённое: не упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости и всегда можем этой милости лишиться. Ссыльные учителя пуще других (тоже, впрочем, зависимых) трепетали разгневать высоких районных начальников недостаточно высокою оценкой их детей. Трепетали они и разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью — и завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству невежества. Но, кроме того, на ссыльных учителях (и на молодых казахских) лежали повинности и поборы: в каждую зарплату с них

удерживали по четвертной, неизвестно в чью пользу; вдруг директор (Берденов) мог объявить, что у его малолетней дочери— день рождения, и преподаватели должны были собирать по 50 рублей на подарок; ещё кроме вызывали то одного, то другого в кабинет директора или заврайоно и требовали дать «взаймы» рублей 300–500. (Ну да впрочем, это были общие черты тамошнего стиля, дай всего строя. С учеников–казахов тоже вынуждали к выпускному вечеру по барану или полбарана — и тогда обеспечивался им аттестат, хоть и при полном незнании; выпускной вечер превращался в большую пьянку районного партактива.) Ещё всё районное начальство где–нибудь училось заочно, а все письменные контрольные работы за них понуждались выполнять учителя нашей школы. (Это передавалось по–байски, через завучей, и рабы–учителя даже не удостаивались увидеть своих заочников.)

Не знаю, моя ли твёрдость, основанная на «незаменимости», которая выяснилась сразу, или уже мягчеющая эпоха, да обе они, помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их, не считаясь с секретарями райкома. Не платил я и поборов и «взаймы»

начальству не давал (змеистая заврайоно имела наглость просить) — довольно того, что каждый май обдирало нас на месячный заработок скудеющее государство (это преимущество вольных, подписку на заём, отнятое в лагере, нам ссылка возвращала). Но на том моя принципиальность и кончалась.

Рядом со мною преподаватель биологии и химии Георгий Степанович Митрович, отбывший на Колыме десятку по КРТД, уже пожилой больной серб, неуёмно боролся за местную справедливость в Кок–Тереке. Уволенный из райзо, но принятый в школу, он перенёс свои усилия сюда. Да в Кок–Тереке на каждом шагу было беззаконие, осложнённое невежеством, дикарским самодовольством и благодушной связью родов. Беззаконие это было вязко, глухо, непробиваемо, — но Митрович самоотверженно и бескорыстно бился с ним (правда, с Лениным на устах), разоблачал на педсоветах, на районных учительских совещаниях, проваливал на экзаменах незнающих чиновных экстерников и выпускников «за барана», писал жалобы в область, в Алма–Ату и телеграммы на имя Хрущёва (в его защиту собиралось по 70 родительских подписей, а сдавали такую телеграмму в другом

районе, у нас бы её не выпустили). Он требовал проверок, инспекторов, приезжали и обращались против него же, он снова писал, его разбирали на специальных педсоветах, обвиняли и в антисоветской пропаганде детям (волосок до ареста!), и, так же серьёзно, — в грубом обращении с козами, глодающими пионерские посадки, его исключали, восстанавливали, он добивался компенсации за вынужденный прогул, его переводили в другую школу, он не ехал, снова исключали, — он славно бился! И если б ещё к нему присоединился я, — здорово бы мы их потрепали.

Однако я — нисколько ему не помогал. Я хранил молчание. Уклонялся от решающих голосований (чтоб не быть и против него), ускользал куда–нибудь на кружок, на консультацию. Этим самым партийным экстерникам я не мешал получать тройки: сами власть— пусть обманывают свою же власть. Я таил свою задачу: я писал и писал. Я берёг себя для другой борьбы, позднейшей. Но вопрос стоит шире: права ли? нужна ли была борьба Митровича?

Весь бой его был заведомо безнадёжен, это тесто нельзя было промесить. И даже если бы он полностью победил, — это не могло бы исправить строя, всей системы. Только размытое

светлое пятнышко чуть померцало бы на ограниченном месте— и затянуло бы его серым. Вся его возможная победа не уравновешивала того нового ареста, который мог быть ему расплатой (только хрущёвское время и спасло Митровича от ареста). Безнадёжен был его бой, однако человечно — возмущение несправедливостью, хоть идо собственной гибели! Борьба его была упёрта в поражение — а бесполезной её никак не назовёшь. Если б не так благоразумны были мы все, если б не ныли друг другу: «не поможет, бесполезно!», — совсем бы другая была наша страна! А Митрович не был гражданин — он был ссыльный, но блеска его очков боялись районные власти.

Боялись–то боялись, однако наступал светлый день выборов — выборов любимой народной власти — и равнялись неуёмный борец Митрович (и чего ж тогда стоила его борьба?), и уклончивый я, и ещё более затаённый, а по виду уступчивей–ший изо всех Григорий Самойлович Маковоз: все мы, скрывая страдательное отвращение, равно шли на это праздничное издевательство. Разрешались выборы почти всем ссыльным, так дёшево они стоили, и даже лишённые прав вдруг обнаруживали себя в списках, и их торопили, гнали скорей. У нас в Кок–Тереке не бывало даже

кабин для голосования, совсем в стороне стояла одна будка с распахнутыми занавесками, но туда и путь не лежал, неловко было к ней и заворачивать. Выборы состояли втом, чтобы поскорей пронести бюллетени до урны и туда их швырнуть. Если же кто останавливался и внимательно читал фамилии кандидатов, это уже выглядело подозрительным: неужели партийные органы не знают, кого выдвигают, что тут читать?.. Отголосовав, все получали законное право идти выпивать (или зарплату, или аванс всегда выдавали перед выборами). Одетые в лучшие костюмы, все (в том числе ссыльные) торжественно раскланивались на улицах, поздравляя друг друга с каким–то праздником…

О, сколько раз ещё помянешь добрым словом лагерь, где не было этих выборов никаких!

Однажды выбрал Кок–Терек народного судью, казаха, — единогласно разумеется. Как обычно, поздравляли друг друга с праздником. Но через несколько месяцев на этого судью пришло уголовное дело из того района, где он судействовал прежде (тоже выбранный единогласно). Выяснилось, что и у нас он успел уже достаточно нахапать от частных взяткодателей. Увы, пришлось его снять и назначить в Кок–Тереке новые

частичные выборы. Кандидат был опять— приезжий, никому не известный казах. И в воскресенье все оделись в лучшие костюмы, проголосовали единогласно сутра, и опять на улицах те же счастливые лица без искорки юмора поздравляли друг друга… с праздником}.

В каторжном лагере мы надо всем балаганом хоть смеялись открыто, а в ссылке особенно и не поделишься: жизнь у людей — как у вольных, и первое взято от воли самое худшее — скрытность. С Маковозом с одним из немногих я на такие темки поговаривал.

Его прислали к нам из Джезказгана, притом без копейки, его деньги задержались где–то в пути. Однако комендатуру это нисколько не озаботило — его просто сняли с тюремного довольствия и выпустили на улицы Кок–Терека: хоть воруй, хоть умирай. В те дни я ему одолжил десятку— и навсегда заслужил его благодарность, долго он мне всё напоминал, как я его выручил. В нём устойчива была эта черта— памятливость на добро. Но и на зло тоже. (Так помнил он зло Худаеву — тому чеченскому мальчику, едва не ставшему жертвой кровной мести. Всё оборачивается, в этом жизнь мира: уцелевший Худаев вдруг неправо и жестоко расправился с сыном

Маковоза.)

При его положении ссыльного и без профессии Маковоз не мог себе найти в Кок–Тереке приличной работы. Лучшее, что ему досталось, — стать школьным лаборантом, и этим он уже очень дорожил. Но должность требовала всем услуживать, никому не дерзить, ни в чём не выказывать себя. Он и не выказывал, он непроницаем был под внешней любезностью, и даже такого простого о нём, почему у него нет к пятидесяти годам профессии, никто не знал. Мы же с ним как–то сближались, ни одного столкновения, а взаимная помощь нередко, да ещё одинаковость лагерных реакций и выражений. И после долгой перетайки я узнал его скрываемую внешнюю и внутреннюю историю. Она поучительна.

До войны он был секретарь райкома партии в Ж, в войну назначен начальником шифровального отделения дивизии. Всегда он был поставлен высоко, важная персона, и не ведал мелкого человеческого горя. Но в 1942 году как–то случилось, что по вине шифровального отделения один полк их дивизии не получил вовремя приказа на отступление. Надо было исправить, но ещё получилось, что все подчинённые Маковоза куда–то задевались, — и послал генерал его самого туда,

на передовую, в уже смыкающиеся вокруг полка клещи: приказать им отступать! спасти их! М. поехал верхом, сокрушённо и боясь погибнуть, по пути же попал так опасно, что дальше решил не ехать и даже не знал, останется ли и тут в живых. Он сознательно остановился — покинул, предал полк, слез с лошади, обнял дерево (или от осколков прятался за ним) и… дал клятву

Иегове, что если только останется жив, — будет ревнивым верующим, выполнять точно святой закон. И кончилось «благополучно»: полк погиб или попал в плен, аМ. выжил, получил 10 лет лагеря по 58–й, отбыл их— и вот был со мной в Кок–Тереке. И как же непреклонно он выполнял свой обет! — ничего в груди и голове не осталось у него от члена партии. Только обманом могла жена накормить его бесчешуйчатой трефной рыбой. По субботам не мог он не приходить на службу, но старался здесь ничего не делать. Дома он сурово выполнял все обряды и молился — по советской неизбежности тайно.

Естественно, что эту историю открыл он мало кому.

А мне она не кажется слишком простой. Просто здесь только одно, с чем больше всего не принято у нас соглашаться: что глубиннейший ствол

нашей жизни — религиозное сознание, а не партийно–идеологическое.

Как рассудить? По всем законам уголовным, воинским и законам чести, по законам патриотическим и коммунистическим этот человек был достоин смерти или презрения — ведь целый полк погубил он ради спасения своей жизни, не говоря уже, что в тот момент не хватило ему ненависти к самому страшному врагу евреев, какой только бывал.

А вот по каким–то ещё более высшим законам Маковоз мог воскликнуть: а все ваши войны — не по слабоумию ли высших политиков начинаются? разве Гитлер врезался в Россию не по слабоумию — своему, и Сталина, и Чемберлена? а теперь вы посылаете на смерть меня? да разве вы меня на свет родили?

Возразят: он (но и все же люди того полка!) должен был заявить это ещё в военкомате, когда на него надевали красивый мундир, а не там, обнимая дерево. Да логически я не берусь его защищать, логически я должен был бы ненавидеть его, или презирать, или испытывать брезгливость от его рукопожатия.

Но ничего такого я к нему не испытывал. Потому ли, что я был не из того полка и не ощутил

той обстановки? Или догадываюсь, что судьба того полка должна была зависеть и ещё от сотни причин? Или потому, что никогда не видел Маковоза в надменности, а только поверженным? Ежедневно мы обменивались искренним крепким рукопожатием — и ни разу я не ощутил в том зазорного.

Как только не изогнётся единый человек за жизнь! И каким новым для себя и других. И одного из этих — совсем разных — мы по приказу, по закону, по порыву, по ослеплению готовно и радостно побиваем камнями.

Но если камень— вываливается из твоей руки?.. Но если сам окажешься в глубокой беде — и возникает в тебе новый взгляд. На вину. На виновного. На него и на себя.

В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражают мне удивлённо и негодующе: где же предел? Не всех же прощать!

А я — и не всех. Я только — павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властительной складкою лба бесчувственно и самодовольно коверкает наши жизни — дайте мне камень потяжелее! а ну, перехватим бревно вдесятером да шибанём–ка его!

Но как только он сверзился, упал, и от земного

удара первая бороздка сознания прошла по его лицу, — отведите ваши камни!

Он сам возвращается в человечество. Не лишите его этого божественного пути.

* * *

После ссылок, описанных выше, нашу кок–терекскую, как и всю южно–казахстанскую и киргизскую, следует признать льготной. Поселяли тут в обжитых посёлках, то есть при воде и на почве не самой бесплодной (в долине Чу, в Курдайском районе— даже щедро плодородной). Очень многие попадали в города (Джамбул, Чимкент, Таласе, даже Алма–Ату и Фрунзе), и бесправие их не отличалось ощутительно от прав остальных горожан. В тех городах недороги были продукты и легко находилась работа, особенно в индустриальных посёлках, при равнодушии местного населения к промышленности, ремёслам и интеллектуальным профессиям. Но и те, кто попадал в сельские местности, не все и не сурово загонялись в колхозы. В нашем Кок–Тереке было 4 тысячи человек, большинство — ссыльных, но в колхоз входили только казахские кварталы. Всем остальным удавалось или устраиваться при МТС или кем–то числить-

ся, хоть на ничтожной зарплате, — а жили они двадцатью пятью сотками поливного огорода, коровой, свиньями, овечками. Показательно, что группа западных украинцев, жившая у нас (административно–ссыльные после пятилетних лагерных сроков) и тяжело работавшая на саманном строительстве в местной стройконторе, находила свою жизнь на здешней глинистой, сгорающей при редких поливах, но зато бесколхозной земле настолько привольнее колхозной жизни на любимой цветущей Украине, что, когда вышло им освобождение, — все они остались тут навсегда.

Ленива была в Кок–Тереке и оперчасть — спасительный частный случай общеказахской лени. Были среди нас кто–то и стукачи, однако мы их не ощущали и от них не страдали.

Но главная причина их бездействия и мягчеющего режима была— наступление хрущёвской эпохи. Ослабевшими от многочленной передачи толчками и колыханиями докатывалась она и до нас.

Сперва— обманно: «ворошиловской» амнистией (так прозвал её Архипелаг, хотя издала её— Семибоярщина). Сталинское издевательство над политическими 7 июля 1945 года было

непрочным забытым уроком. Как и в лагерях, в ссылке постоянно цвели шёпотные параши об амнистии. Удивительна эта способность тупой веры! — Н.Н.Грекова, например, после 15 лет мытарств, повторница, на саманной стене своей хатёнки держала портрет ясноглазого Ворошилова— и верила, что от него придёт чудо. Что ж, чудо пришло! — именно за подписью Ворошилова посмеялось над нами правительство ещё раз— 27 марта 1953 года.

Собственно, нельзя было сочинить внешнего разумного оправдания, почему именно в марте 1953 года в потрясённой от скорби стране потрясённые от скорби правители должны были выпустить на свободу преступников, — разве только проникнувшись чувством бренности бытия? Похоронив Сталина, искали себе популярности, объяснили же: «в связи с искоренением преступности в нашей стране» (но кто ж тогда сидит? тогда и выпускать бы некого!). Однако, находясь по–прежнему в сталинских шорах и рабски думая всё в том же направлении, амнистию дали шпане и бандитам, а Пятьдесят Восьмой— лишь «до пяти лет включительно». Посторонний, по нравам порядочного государства, мог бы подумать, что «до пяти лет» — это три

четверти политических пойдёт домой. На самом деле лишь 1–2 процента из нашего брата имели такой детский срок. (Зато саранчой напустили воров на местных жителей, и лишь нескоро и с натугой пересажала милиция амнистированных бандитов опять в тот же загон.)

Интересно отозвалась амнистия в нашей ссылке. Как раз тут и находились давно те, кто успел в своё время отбыть детский пятилетний срок, но не был отпущен домой, а бессудно отправлен в ссылку. В Кок–Тереке были такие одинокие бабки и старики с Украины, из Новгородья — самый мирный и несчастный народ. Они очень оживились после амнистии, ждали отправки домой. Но месяца через два пришло привычно жёсткое разъяснение: поскольку ссылка их (дополнительная, бессудная) дана им не пятилетняя, а вечная, то вызвавший эту ссылку их прежний пятилетний судебный срок тут ни при чём и под амнистию они не подпадают… — А Тоня Казачук была вовсе вольная, приехала с Украины к ссыльному мужу, здесь же для единообразия записана ссыльно–поселенкой. По амнистии она кинулась в комендатуру, но ей разумно возразили: ведь у вас же не было 5 лет, как у мужа, у вас вообще срок неопределённый, амнистия к вам не при-

касается.

Лопнули бы Дракон, Солон и Юстиниан со своими законодательствами!. .

Так никто ничего от амнистии не получил. Но с ходом месяцев, особенно после падения Берии, незаметно, нешироко–гласно вкрадывались в ссыльную страну истинные смягчения. И отпустили домой тех пятилетников. И стали в близкие институты отпускать ссыльных детей. И на работе перестали тыкать «ты ссыльный!». Всё как–то мягче. Ссыльные стали выдвигаться по служебным должностям.

Стали что–то пустеть столы в комендатуре. «А вот этот комендант— где?» — «А он теперь уже не работает». Сильно редели и сокращались штаты. Мягчело обращение. Святая отметка переставала быть столь святой. «Кто до обеда не пришёл — ладно, в следующий раз!» То одной, то другой нации возвращали какие–то права. Свободен стал проезд по району, свободнее — поездка в другую область. Всё гуще шли слухи: «домой отпустят, домой!» И верно, вот отпустили туркменов (ссылка за плен). Вот — курдов. Стали продаваться дома, дрогнула цена на них.

Отпустили и нескольких стариков, административно–ссыльных: где–то там в Москве

хлопотали за них, и вот — реабилитированы. Волнение простёгивало, жарко мутило ссыльных: неужели и мы стронемся? Неужели и мы…?

Смешно. Как будто способен подобреть этот режим. Уж не верить так не верить научил меня лагерь! Да мне и верить–то не было особой нужды: там, в большой метрополии, у меня не было ни родных, ни близких. А здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье. Ну просто никогда я, кажется, так хорошо не жил.

Правда, первый ссыльный год душила меня смертельная болезнь, как бы союзница тюремщиков. И целый год никто в Кок–Тереке не мог даже определить, что за болезнь. Еле держась, я вёл уроки; уже мало спал и плохо ел. Всё написанное прежде в лагере и держимое в памяти, и ещё ссыльное новое пришлось мне записать наскоро и зарыть в землю. (Эту ночь перед отъездом в Ташкент, последнюю ночь 1953 года, хорошо помню: на том и казалась оконченной вся жизнь моя и вся моя литература. Маловато было.)

Однако — отвалилась болезнь. И начались два года моей действительно Прекрасной Ссылки, только тем томительной, той жертвой омрачённой, что я не смел жениться: не было такой женщины, кому я мог бы доверить своё одино-

чество, своё писание, свои тайники. Но все дни жил я в постоянно блаженном, приподнятом состоянии, никакой несвободы не замечая. В школе я имел столько уроков, сколько хотел, в обе смены, — и постоянное счастье пробирало меня от этих уроков, ни один не утомлял, не был нуден. И каждый день оставался часик для писания — и часик этот не требовал никакой душевной настройки: едва сел, и строчки рвутся из–под пера. А воскресенья, когда не гнали на колхозную свёклу, я писал насквозь — целые воскресенья! Начал я там и роман (через 10 лет арестованный), и ещё надолго вперёд хватало мне писать. А печатать меня всё равно будут только после смерти.

Появились деньги — и вот я купил себе отдельный глинобитный домик, заказал крепкий стол для писания, а спал — всё так же на ящиках холостых. Ещё я купил приёмник с короткими волнами, вечерами занавешивал окна, льнул ухом к самому шёлку и сквозь водопады глушения вылавливал запретную нам, желанную информацию и по связи мысли восстанавливал недослышанное.

Очень уж измучила нас брехня за десятилетия, истосковались мы по каждому клочку даже разорванной истины! — а так–то не стоила эта

работа потерянного времени: нас, взращенцев Архипелага, инфантильный Запад уже не мог обогатить ни мудростью, ни стойкостью.

Домик мой стоял на самом восточном краю посёлка. За калиткою был — арык, и степь, и каждое утро восход. Стоило венуть ветерку из степи — и лёгкие не могли им надышаться.

В сумерки и по ночам, чёрным и лунным, я одиноко расхаживал там и обалдело дышал. Ближе ста метров не было ко мне жилья ни слева, ни справа, ни сзади.

Я вполне смирился, что буду жить здесь, ну если и не «вечно», то по крайней мере лет двадцать (я не верил в наступление общей свободы раньше— и ошибся немного). Я уже никуда как будто и не хотел (хоть и замирало сердце над картой Средней России). Весь мир я ощущал не как внешний, не как манящий, а как прожитый, весь внутри меня, и вся задача оставалась— описывать его.

Я был полон.

Друг Радищева Кутузов писал ему в ссылку: «Горько мне, друг мой, сказать тебе, но… твоё положение имеет свои выгоды. Отделён от всех человеков, отчуждён от всех ослепляющих нас предметов, — тем удачнее имеешь ты странствовать… в самом себе; с хладнокровием можешь

ты взирать на самого тебя, и следовательно, с меньшим пристрастием будешь судить о вещах, на которые ты прежде глядел сквозь покрывало честолюбия и мирских сует. Может быть многое представится тебе в совершенно новом виде».

Именно так. И, дорожа этой очищенной точкой зрения, я вполне осознанно дорожил своею ссылкой.

А она— всё больше шевелилась и волновалась. Комендатура стала просто ласковая и ещё сокращалась. За побег полагалось уже только 5 лет лагерей — да и того не давали. Одна, другая, третья нация переставала отмечаться, потом получала права уезжать. Тревога радости и надежды подёргивала наш ссыльный покой.

Вдруг совсем негаданно–нежданно подползла ещё одна амнистия — «аденауэровская», сентября 1955 года. Перед тем Аденауэр приезжал в Москву и выговорил у Хрущёва освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что несуразица получается: немцев–то отпустили, а их русских подручных держат с двадцатилетними сроками. Но так как это были всё полицаи, да старосты, да власовцы, то публично носиться с этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей

информации: о ничтожном — трезвонить, о важном — вкрадчиво. И вот крупнейшая изо всех политических амнистий после Октября была дарована в «никакой» день, 9 сентября, без праздника, напечатана в единственной газете «Известия», и то на внутренней странице, и не сопровождалась ни единым комментарием, ни единой статьёй.

Ну как не заволноваться? Прочёл я: «Об амнистии лиц, сотрудничавших с немцами». Как же так, а мне? Выходит, ко мне не относится: ведь я безвылазно служил в Красной армии. Ну и шут с вами, ещё спокойней. Тут и друг мой Л.З.Копелев написал из Москвы: тряся этой амнистией, он в московской милиции выговорил себе временную прописку. Но вскоре его вызвали: «Вы что же нам шарики вкручиваете? Ведь вы с немцами не сотрудничали?» — «Нет». — «Значит, в Советской армии служили?» — «Да». — «Так в 24 часа чтоб ноги вашей в Москве не было!» Он, конечно, остался, и: «ох, жутковато после десяти вечера, каждый звонок в квартиру— ну, за мной!»

И я радовался: а мне–то как хорошо! Спрятал рукописи (каждый вечер я их прятал) — и сплю как ангел.

Из своей чистой пустыни я воображал киша-

щую, суетную, тщеславную столицу— и совсем меня туда не тянуло.

А московские друзья настаивали: «Что ты придумал там сидеть?.. Требуй пересмотра дела! Теперь пересматривают!»

Зачем?.. Здесь я мог битый час рассматривать, как муравьи, просверлив дырочку в саманном основании моего дома, без бригадиров, без надзирателей и начальников лагпунктов вереницею носят свои грузы — шелуху от семячек уносят на зимний запас. Вдруг в какое–то утро они не появляются, хотя насыпана перед домом шелуха. Оказывается, это они задолго предугадали, это они знают, что сегодня будет дождь, хотя весёлое солнечное небо не говорит об этом. А после дождя ещё тучи черны и густы, а они уже вылезли и работают: они верно знают, что дождя не будет.

Здесь, в моей ссыльной тишине, мне так неоспоримо виделся истинный ход пушкинской жизни: первое счастье — ссылка на юг, второе и высшее — ссылка в Михайловское. И там–то надо было ему жить и жить, никуда не рваться. Какой рок тянул его в Петербург? Какой рок толкал его жениться?..

Однако трудно человеческому сердцу остаться на пути разума. Трудно щепочке не плыть туда,

куда льёт вся вода.

Начался XX съезд. О речи Хрущёва мы долго ничего не знали (когда и начали читать её в Кок–Тереке, то от ссыльных тайно, а мы узнавали от Би–Би–Си). Но и в открытой простой газете довольно было мне слов Микояна: «это — первый ленинский съезд» за сколько–то там лет. Я понял, что враг мой Сталин пал, а я, значит, подымаюсь.

И я— написал заявление о пересмотре.

А тут весною стали ссылку снимать со всей Пятьдесят Восьмой.

И, слабый, покинул я свою прозрачную ссылку. И поехал в мутный мир.

Что чувствует бывший зэк, переезжая с востока на запад Волгу, и потом целый день в гремящем поезде по русским перелескам, — не входит в эту главу.

Летом в Москве я позвонил в прокуратуру: как там моя жалоба? Попросили перезвонить — и дружелюбный простецкий голос следователя пригласил меня зайти на Лубянку потолковать. В знаменитом бюро пропусков на Кузнецком Мосту мне велели ждать. Так и подозревая, что чьи–то глаза уже следят за мной, уже изучают моё лицо, я, внутренне напряжённый, внешне

принял добродушное усталое выражение и якобы наблюдал за ребёнком, совсем не забавно играющим посреди приёмной. Так и было: мой новый следователь стоял в гражданском и следил за мной! Достаточно убедясь, что я — не раскалённый враг, он подошёл и с большой приятностью повёл меня на Большую Лубянку. Уже по дороге он сокрушался, как исковеркали (кто??) мне жизнь, лишили жены, детей. Но душно–электрические коридоры Лубянки были всё те же, где водили меня обритого, голодного, бессонного, без пуговиц, руки назад. — «Да что ж это за зверь вам такой попался, следователь Езепов? Помню, был такой, его теперь разжаловали». (Наверно, сидит в соседней комнате и бранит моего…)[498] «Я вот служил в морской контрразведке СМЕРШ, у нас таких не бывало!» (От вас Рюмин вышел. У вас был Левшин, Либин.) Но я простодушно ему киваю: да, конечно. Он даже смеётся над моими остротами 44–го года о Сталине: «Это вы точно заметили!» Всё ему ясно, всё он одобряет, только вот одно его забеспокоило: в «резолюции № 1» вы пишете: «выполнение всех этих задач невозмож-

[498] Примечания: 498

Потом другой зэк написал мне: к 1950 Езепов был подполковник и начальник отделения. В 1978 из гебистской книжки я узнал, что он— на почётной пенсии, заслуженно отдыхает.

но без организации». То есть что же: вы хотели создать организацию?

— Да не–ет! — уже заранее обдумал я этот вопрос. — «Организация» не в смысле совокупности людей, а в смысле системы мероприятий, проводимых в государственном же порядке.

— Ах ну да, ах ну да, в этом смысле! — радостно соглашается следователь.

Пронесло.

Он хвалит мои фронтовые рассказы, вшитые в дело как обличительный материал: «В них же ничего антисоветского нет. Хотите— возьмите их, попробуйте напечатать». Но голосом больным, почти предсмертным, я отказываюсь: «Что вы, я давно забыл о литературе. Если я ещё проживу несколько лет, — мечтаю заняться физикой». (Цвет времени! Вот так будем теперь с вами играть.)

Не плачь битый, плачь небитый! Хоть что–то должна была дать нам тюрьма. Хоть умение держаться перед ЧКГБ.

Глава 7. ЗЭКИ НА ВОЛЕ

В этой книге была глава «Арест». Нужна ли теперь глава — «Освобождение»?

Ведь из тех, над кем когда–то грянул арест (будем говорить только о Пятьдесят Восьмой), вряд ли пятая часть, ещё хорошо, если восьмая, отведала это «освобождение».

И потом — освобождение! — кто ж этого не знает? Это столько описано в мировой литературе, это столько показано в кино: отворите мне темницу, солнечный день, ликующая толпа, объятия родственников.

Но — проклято «освобождение» под безрадостным небом Архипелага, и только ещё хмурей станет небо над тобою на воле. Только растянутостью своей, неторопливостью (теперь куда спешить закону?), как удлинённым хвостом букв, отличается освобождение от молнии ареста. А в остальном освобождение — такой же арест, такой же казнящий переход из состояния в состояние, такой же разламывающий всю грудь твою, весь строй твоей жизни, твоих понятий— и ничего не обещающий взамен.

Если арест — удар мороза по жидкости, то осво-

бождение — робкое оттаивание между двумя морозами.

Между двумя арестами.

Потому что в этой стране за каждым освобождением где–то должен следовать арест.

Между двумя арестами — вот что такое было освобождение все сорок дохрущёвских лет.

Между двумя островами брошенный спасательный круг — побарахтайся от зоны до зоны!..

От звонка до звонка — вот что такое срок. От зоны до зоны — вот что такое освобождение.

Твой оливково–мутный паспорт, которому так призывал завидовать Маяковский, — он изгажен чёрною тушью 39–й паспортной статьи. По ней ни в одном городке не прописывают, ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а здесь — нет.

И вместе с тем— обманчивая свобода передвижения…

Не «освобождённые», нет, — лишённые ссылки, вот как должны называться несчастные эти люди. Лишённые благодетельной фатальной ссылки, они не могут заставить себя поехать в красноярскую тайгу или в казахскую пустыню, где живёт вокруг много своих, бывших! Нет, они едут в гущу замордованной воли, там все отшаты-

ваются от них, и там они становятся мечеными кандидатами на новую посадку.

Наталья Ивановна Столярова освободилась из Карлага 27 апреля 1945. Уехать сразу нельзя: надо паспорт получать, хлебной карточки — нет, жилья — нет, работу предлагают— дрова заготовлять. Проев несколько рублей, собранных лагерными друзьями, Столярова вернулась к зоне, соврала охране, что идёт за вещами (порядки у них были патриархальные), и— в свой барак! То–то радость! Подруги окружили, принесли с кухни баланды (ох, вкусная!), смеются, слушают

0 бесприютности на воле: нет уж, у нас спокойнее. Поверка. Одна лишняя!.. Дежурный пристыдил, но разрешил до утра

1 мая переночевать в зоне, а с утра— чтобы топала!

Столярова в лагере трудилась–не разгибалась (она молоденькой приехала из Парижа в Советский Союз, посажена была вскоре, и вот хотелось ей на волю, рассмотреть Родину!). «За хорошую работу» была она освобождена льготно: без точного направления в какую–либо местность. Те, кто имели точное назначение, как–то всё–таки устраивались: не могла их милиция никуда прогнать. Но Столярова со своей справкой о «чистом»

освобождении стала гонимой собакой. Милиция не давала прописки нигде. В хорошо знакомых московских семьях поили чаем, но никто не предлагал остаться ночевать. И ночевала она на вокзалах. (И не в том одном беда, что милиция ночью ходит и будит, чтоб не спали, да перед рассветом всех гонят на улицу, чтобы подмести, — а кто из освобождавшихся зэков, чья дорога лежала через крупный вокзал, не помнит своего замирающего сердца при подходе каждого милиционера — как строго он смотрит! Он, конечно, чует в тебе бывшего зэка! Сейчас спросит: «Ваш документ!» Заберёт твою справку об освобождении — и всё, и ты опять зэк. У нас ведь права нет, закона нет, да и человека нет — есть документ. Вот заберёт сейчас справку— и всё… Мы ощущаем— так…) В Луге Столярова хотела устроиться вязальщицей перчаток — да не для трудящихся

даже, а для военнопленных немцев, — но не только её не приняли, а ещё начальник при всех срамил: «Хотела пролезть в нашу организацию! Знаем мы их тонкие приёмы! Читали Шейнина». (О, этот жирный Шейнин! — ведь не подавится!)

Круг порочный: на работу не принимают без прописки, а не прописывают без работы. А работы нет — и хлебной карточки нет. Не знали бывшие

зэки порядка, что МВД обязано их трудоустраивать. Да кто и знал— тот обратиться боялся: не посадили бы…

Находишься по воле— наплачешься вдоволе.

В Ростовском университете, когда я ещё был студентом, странный был такой профессор Н.А.Трифонов— постоянно вобранная в плечи голова, постоянная напряжённость, пугливость, в коридоре его не окликни. Потом–то узнали мы: он уже посидел — и каждый оклик в коридоре мог ему быть от оперативников.

А в ростовском мединституте после войны один освободившийся врач, считая свою вторую посадку неизбежной, не стал ждать, покончил с собой. И тот, кто уже отведал лагерей, кто знает их, — вполне может так выбрать. Не тяжелей.

Несчастны те, кто освободился слишком рано. Авениру Борисову выпало — в 1946 году. Приехал он не в какой–то город большой, а в свой родной посёлок. Все его старые приятели, однокашники, старались не встретиться с ним на улице, не остановиться (а ведь это — недавние бесстрашные фронтовики!), если же никак было не обминуть разговора, то изыскивали уклончивые слова и бочком отходили. Никто не спросил его — как он прожил эти годы (хотя ведь, кажется, мы зна-

ем об Архипелаге меньше, чем о Центральной Африке. Поймут ли когда–нибудь потомки дрессированность нашей волиi). Но вот один старый друг студенческих лет пригласил его всё–таки вечерком, когда стемнело, к чаю. Как сдружливо! как тепло! Ведь для оттаяния — для него и нужна скрытая теплота. Авенир попросил посмотреть старые фото, друг достал ему альбомы. Друг сам забыл — и удивился, что Авенир вдруг поднялся и ушёл, не дождавшись самовара. А что было Авениру, если увидел он на всех фотографиях своё лицо замазанным чернилами?[499]

Авенир потом приподнялся — он стал директором детдома. У него росли сироты фронтовиков, и они плакали от обиды, когда дети состоятельных родителей звали их директора «тюремщиком». (У нас ведь и разъяснить некому: тюремщиками скорей были их родители, а Авенир уж тогда тюремкиком. Никогда не мог бы русский народ в прошлом веке так потерять чувство своего языка!)

А Картель в 1943 году, хотя и по 58–й, был из

[499] Примечания: 499

Через 5 лет друг свалил это на жену: она замазала. А ещё через 10 (1961) жена и сама пришла к Авениру в райком профсоюза— просить путёвку в Сочи. Он дал ей. Она рассыпалась в воспоминаниях о прошлой дружбе.

лагеря сактирован с туберкулёзом лёгких. Паспорт— волчий, ни в одном городе жить нельзя, и работы получить нельзя, медленная смерть— и все оттолкнулись. А тут— военная комиссия, спешат, нужны бойцы. С открытой формой туберкулёза Картель объявил себя здоровым: пропадать так враз, да среди равных. И провоевал почти до конца войны. Только в госпитале досмотрелось око Третьей Части, что этот самоотверженный солдат— враг народа. В 1949 году он был намечен к аресту как повторник, да помогли хорошие люди из военкомата.

В сталинские годы лучшим освобождением было — выйти за ворота лагеря и тут же остаться. Этих на производстве уже знали и брали работать. И энкаведешники, встретясь на улице, смотрели как на проверенного.

Ну, не вполне так. В 1938 Прохоров–Пустовер при освобождении оставался вольнонаёмным инженером Бамлага. Начальник оперчасти Розенблит сказал ему: «Вы освобождены, но помните, что будете ходить по канату. Малейший промах — и вы снова окажетесь зэ–ка. Для этого даже и суда не потребуется. Так что — оглядывайтесь и не воображайте, что вы свободный гражданин».

Таких оставшихся при лагере благоразум-

ных зэков, добровольно избравших тюрьму как разновидность свободы, и сейчас ещё по всем глухоманям, в каких–нибудь Ныроб–ских или Нарымских районах— сотни тысяч. Им и садиться опять— вроде легче: всё рядом.

Да на Колыме особенного и выбора не было: там ведь народ держали. Освобождаясь, зэк тут же подписывал добровольное обязательство: работать вДальстрое и дальше (разрешение выехать «на материк» было на Колыме ещё трудней получить, чем освобождение). Вот на беду свою кончила срок Н.В. Суровцева. Ещё вчера она работала в детгородке — тепло и сытно, сегодня гонят её на полевые работы, нет другого ничего. Ещё вчера она имела гарантированную койку и пайку — сегодня пайки нет, крыши над головой нет, и бредёт она в развалившийся дом с прогнившими полами (это на Колыме!). Спасибо подругам из детгородка: они ещё долго «подбрасывают» ей на волю пайки. «Гнёт вольного состояния» — вот как назвала она свои новые ощущения. Лишь постепенно утверждается она на ногах и даже становится… домовладелицей! Вот стоит она (фото 5) гордо около своей хибарки, которую не всякая бы собака одобрила.

Чтоб не думал читатель, что дело здесь в закля-

той Колыме, перенесёмся на Воркуту и посмотрим на типичный барак ВГС (Временное Гражданское Строительство), в котором живут благоустроенные вольные, — ну, из бывших зэков, разумеется (фото 6).

Так что не самой плохой формой освобождения было и освобождение М.П.Якубовича: под Карагандою переоборудовали тюрьму в инвалидный дом (Тихоновский дом), — и вот в этот инвалидный дом, под надзор и без права выезжать, его и «освободили».

Рудковский, никуда не принятый («пережил не меньше, чем в лагерях»), поехал на кустанайскую целину («там можно было встретить кого угодно»). — И.В. Швед оглох, составляя поезда в Норильске при любой вьюге; потом работал кочегаром по 12 часов в сутки. Но справок–то нет! В собесе пожимают плечами: «представьте свидетелей». Моржи нам свидетели… — И.С.Карпунич отбыл двадцать лет на Колыме, измучен и болен. Но к 60 годам у него нет «двадцати пяти лет работы по найму» — и пенсии нет. Чем дольше сидел человек в лагере, тем он больней, и тем меньше

стажа, тем меньше надежды на пенсию[500].

Ведь нет же у нас, как в Англии, «общества помощи бывшим заключённым». Даже и вообразить такую ересь страшно.

Пишут так: «в лагере был один день Ивана Денисовича, а на воле — второй».

Но позвольте! Но кажется же, с тех пор восходило солнце свободы? И простирались руки к обездоленным: «Это не повторитсяЬ И даже, кажется, слёзы капали на съездовские трибуны?

Жуков (из Коврова): «Я стал не на ноги, а хоть немного на колени». Но: «Ярлык лагерника висит на нас, и под первое же сокращение попадаем мы». — П.Г.Тихонов: «Реабилитирован, работаю в научно–исследовательском институте, а всё же лагерь как бы продолжается. Те самые олухи, которые были начальниками лагерей», опять в силе над ним. — Г.Ф.Попов: «Что бы ни говорилось, что бы ни писалось, а стоит моим коллегам узнать, что я сидел, и как бы нечаянно отворачиваются».

Нет, силён бес! Отчизна советская такова: чтоб

---

[500] Примечания: 500

Сегодня и бытовикам приходится так же. А.И. Бурлаке в ананьев–ском райкоме ответили: «У нас не отдел кадров», в прокуратуре: «Этим не занимаемся», в горсовете: «Ждите». Был без работы 5 месяцев (1964). С П.К.Егорова в Новороссийске (1965) сразу же взяли подписку о выезде в 24 часа. Показал в горисполкоме лагерную грамоту «за отличную работу» — посмеялись. Секретарь горкома просто выгнал. Тогда пошёл, дал взятку— и остался в Новороссийске.

на сажень толкнуть её глубже в тиранию, — довольно только брови нахмурить, только кашлянуть. Чтоб на вершок перетянуть её к свободе, — надо впрячь сто волов и каждого своим батогом донимать: «Понимай, куда тянешь! Понимай, куда тянешь!»

А форма реабилитации? Старухе Ч–ной приходит грубая повестка: «явиться завтра в милицию к 10 часам утра». Больше ничего! Дочь её бежит с повесткой накануне вечером: «Я боюсь за её жизнь. О чём это? Как мне её подготовить?» — «Не бойтесь, это — приятная вещь, реабилитация покойного мужа». (А может быть— полынная? Благодетелям в голову не приходит.)

Если таковы формы нашего милосердия, — догадайтесь о формах нашей жестокости!

Какая была лавина реабилитации! — но и она не расколола каменного лба непогрешимого общества! — ведь лавина падала не туда, куда надо бровь нахмурить, а куда впрягать тысячу волов.

«Реабилитация — это тухта!» — говорят партийные начальники откровенно. «Слишком многих нареабилитировали!»

Вольдемар Зарин (Ростов–на–Дону) отсидел 15 лет и с тех пор ещё 8 лет смирно молчал. А в 1960 решился рассказать сослуживцам, как худо было

в лагерях. Так возбудили на него следственное дело, и майор КГБ сказал Зарину: «Реабилитация — не значит невиновность, а только: что преступления были невелики. Но что–то остаётся всегда!

А в Риге в том же 1960 дружный служебный коллектив три месяца кряду травил Петропавловского зато, что он скрыл расстрел своего отца… в 1937 году!

И недоумевает Комогор: «Кто ж ходит сегодня в правых и кто в виноватых? Куда деваться, когда мурло вдруг заговорит о равенстве и братстве?»

Маркелов после реабилитации стал ни много ни мало — председатель промстрахсовета, а проще — месткома артели. Так председатель артели не рискует этого народного избранника оставить на минуту одного в своём кабинете. А секретарь партбюро Баев, одновременно «сидящий на кадрах», перехватывает на всякий случай всю месткомовскую переписку Маркелова. «Да не попала ль к вам бумага насчёт перевыборов месткомов?» — «Да было что–то месяц назад». — «Мне ж нужна она!» — «Ну нате читайте, только побыстрей, рабочий день кончается». — «Так она ж адресована мне! Ну, завтра утром вам верну!» — «Что вы, что вы, — это документ». — Вот залезьте

в шкуру этого Маркелова, сядьте под такое мурло, под Баева, да чтоб вся ваша зарплата и прописка зависели от этого Баева, — и вдыхайте грудью воздух свободного века.

Учительница Деева уволена «за моральное разложение»: она уронила престиж учителя, выйдя замуж за… освободившегося заключённого (которому в лагере преподавала)!

Это уже не при Сталине, это — при Хрущёве.

И одна только реальность ото всего прошлого осталась — справка. Небольшой листок, сантиметров 12 на 18. Живому — о реабилитации. Мёртвому — о смерти. Дата смерти — её не проверишь. Место смерти — крупный большой Зет. Диагноз — сто штук пролистай, у всех один, дежурный[501]. Иногда— фамилии свидетелей (выдуманных).

А свидетели истинные — все молчат.

Мы— молчим.

И откуда же следующим поколениям что узнать? Закрыто, забито, зачищено.

«Даже и молодёжь, — жалуется Вербовский, —

---

[501] Примечания: 501

Молодая Ч–на попросила простодушную девицу показать ей все сорок карточек из пачки. Во всех сорока одним и тем же почерком было вписано одно и то же заболевание печени… А то и так: «Ваш муж (Александр Петрович Малявко–Высоцкий) умер до суда и следствия и поэтому реабилитирован быть не может».

смотрит на реабилитированных с подозрением и презрением».

Ну, молодёжь–то не вся. Большей части молодёжи просто наплевать — реабилитировали нас или не реабилитировали, сидит сейчас двенадцать миллионов или уже не сидит, они тут связи не видят. Лишь бы сами они были на свободе с магнитофонами и лохмокудрыми девушками.

Рыба ведь не борется против рыболовства, она только старается проскочить в ячею.

* * *

Как одно и то же широко известное заболевание протекает у разных людей по–разному, так и освобождение, если рассматривать ближе, очень по–разному переживается нами.

И — телесно. Одни положили слишком много напряжения для того, чтобы выжить свой лагерный срок. Они перенесли его как стальные: десять лет не потребляя и доли того, что телу надо, гнулись и работали; полуодетые, камень долбили в мороз — и не простуживались. Но вот — срок окончен, отпало внешнее нечеловеческое давление, расслабло и внутреннее напряжение. И таких людей перепад давлений губит. Гигант Чульпенёв, за 7 лет лесоповала не имевший ни

одного насморка, на воле разболелся многими болезнями. — Г.А.Сорокин «после реабилитации неуклонно терял то душевное здоровье, которому завидовали мои лагерные товарищи. Пошли неврозы, психозы…»— Игорь Каминов: «На свободе я ослаб и опустился, и кажется, что на свободе мне тяжелей намного».

Как давно говорилось: в чёрный день перемогусь, в красный сопьюсь. У кого все зубы выпали за один год. Тот— стариком стал сразу. Тот— едва домой добрался, ослаб, сгорел и умер.

А другие — только с освобождения и воспряли. Только тут–то помолодели и расправились. (Я, например, и сейчас ещё выгляжу моложе, чем на своей первой ссыльной фотокарточке.) Вдруг выясняется: да ведь как же легко жить на воле! Там, на Архипелаге, совсем другая сила тяжести, там свои ноги тяжелы, как у слона, здесь перебирают, как воробьиные. Всё, что кажется вольняшкам неразрешимо мучительным, мы разрешаем, единожды щёлкнув языком. Ведь у нас какая бодрая мерка: «было хуже!» Было хуже, а значит, сейчас совсем легко. И никак не приедается нам повторять: было хуже! было хуже!

Но ещё определённее прочерчивает новую судьбу человека тот душевный перелом, который

испытан им при освобождении. Этот перелом бывает разный очень. Ты только на пороге лагерной вахты начинаешь ощущать, что каторгу–родину покидаешь за плечами. Ты родился духовно здесь, и сокровенная часть души твоей останется здесь навсегда — а ноги плетут куда–то в безгласное безотзывное пространство воли.

Выявляются человеческие характеры в лагере — но выявляются ж и при освобождении! Вот как расставалась с Особ–лагом в 1951 Вера Алексеевна Корнеева, которую мы уже в этой книге встречали: «Закрылись за мной пятиметровые ворота, и я сама себе не поверила, что, выходя на волю, плачу. О чём?.. А такое чувство, будто сердце оторвала от самого дорогого и любимого, от товарищей по несчастью. Закрылись ворота— и всё кончено. Никогда я этих людей не увижу, не получу от них никакой весточки. Точно на тот свет ушла…»

На тот свет!.. Освобождение как вид смерти. Разве мы освободились? — мы умерли для какой–то совсем новой загробной жизни. Немного призрачной. Где осторожно нащупываем предметы, стараясь их опознать.

Освобождение на этот свет мыслилось ведь не таким. Оно рисовалось нам по пушкинскому

варианту: «И братья меч вам отдадут». Но такое счастье суждено редким арестантским поколениям.

А это было — украденное освобождение, не подлинное. И кто чувствовал так — тот с кусочком этой ворованной свободы спешил бежать в одиночество. Ещё в лагере «почти каждый из нас, мои близкие товарищи и я, думали, что если Бог приведёт выйти на свободу живым, то будем жить не в городах и даже не в сёлах, а где–нибудь в лесной глуши. Устроимся на работу лесником, объездчиком, наконец, пастухом и будем подальше от людей, от политики, от всего этого бренного мира» (В.В.Поспелов). Авенир Борисов первое время на воле всё держался от людей в стороне, убегал в природу. «Я готов был обнимать и целовать каждую берёзку, каждый тополь. Шелест опавших листьев (я освободился осенью) казался мне музыкой, и слёзы находили на глаза. Мне было наплевать, что я получал 500 грамм хлеба, — ведь я мог часами слушать тишину да ещё и книги читать. Вся работа казалась на воле лёгкой, простой, сутки летели как часы, жажда жизни была ненасытной. Если есть вообще в мире счастье, то оно обязательно находит каждого зэка в первый год его жизни на свободе!»

Такие люди долго ничего не хотят иметь: они помнят, что имущество легко теряется, как сгорает. Они почти суеверно избегают новых вещей, донашивают старое, досиживают на ломаном. У Тэнно с женой долго мебель была такая: ни сесть, ни опереться ни на что, всё шатается. «Так и живём, — смеялись, — от зоны до зоны». (Купили новую — и он умер.)

Л. Копелев вернулся в 1955 году в Москву и обнаружил: «Трудно с благополучными людьми. Встречаюсь только с теми из бывших друзей, кто хоть как–то неблагополучен».

Да ведь по–человечески только те и интересны, кто отказались лепить карьеру. А кто лепит— скучны ужасно.

Однако люди — разны. И многие ощутили переход на волю совсем иначе (особенно в пору, когда ЧКГБ как будто чуть смежало веки): ура! свободен! теперь один зарок: больше не попадаться! теперь— нагонять и нагонять упущенное!

Кто нагоняет в должностях, кто в званиях (учёных или военных), кто в заработках и сберегательной книжке (у нас говорить об этом— тон дурной, но тишком–то— считают…). Кто— в детях. Кто… Валентин М. клялся нам в тюрьме, что на воле будет нагонять по части девиц, и верно:

несколько лет подряд он днём — на работе, а вечера, даже будние, — с девицами, и всё новыми; спал по 4–5 часов, осунулся, постарел. Кто нагоняет в еде, в мебели, в одежде (забыто, как обрезались пуговицы, как гибли лучшие вещи в предбанниках). Опять приятнейшим занятием становится — покупать.

И как упрекнуть их, если правда столько упущено? Если вырезано из жизни — столько?

Соответственно двум разным восприятиям воли — и два разных отношения к прошлому.

Вот ты пережил страшные годы. Кажется, ты ведь не чёрный убийца, ты не грязный обманщик, — так зачем бы тебе стараться забыть тюрьму и лагерь? Чего тебе стыдиться в них? Не дороже ли считать, что они обогатили тебя? Не вернее ли ими гордиться?

Но столь же многие (и такие неслабые, такие не глупые, от которых совсем не ждёшь) стараются — забыть! Забыть как можно скорей! Забыть всё начисто! Забыть, как его и не было!

Ю.Г.Венделыптейн: «Обычно стараешься не вспоминать, защитная реакция». Пронман: «Честно скажу, видеться с бывшими лагерниками не хотел, чтобы не вспоминать». С.А. Лесовик: «Вернувшись из лагеря, старалась не вспоминать

прошлого. И, знаете, почти удалось!» (до повести «Один день»). СА.Бондарин (мне давно известно, что в 1945 году он сидел в той же лубянской камере передо мною; я берусь ему назвать не только наших сокамерников, но и с кем он сидел до нашей камеры, кого я отнюдь не знал никогда, — и получаю в ответ): «Ая постарался всех забыть, с кем там сидел». (После этого я ему, конечно, даже не отвечаю.)

Мне понятно, когда старых лагерных знакомств избегают ортодоксы: им надоело лаяться одному против ста, слишком тяжелы воспоминания. Да и вообще — зачем им эта нечистая, не идейная публика? Да какие ж они благонамеренные, если им не забыть, не простить, не вернуться в прежнее состояние? Ведь об этом же и слали они четырежды в год челобитья: верните меня! верните меня! я был хороший и буду хороший![502] В чём для них возврат? Прежде всего в восстановлении партийной книжечки. Формуляров. Стажа. Заслуг.

И повеет теплом партбилета Над оправданной головой.

---

[502] Примечания: 502

С этим они и повалили в столицы в 1956: как из затхлого сундука, принесли воздух 30–х годов и хотели продолжать с того дня, когда их арестовали.

А лагерный опыт — это та зараза, от которой надо поскорее отлипнуть. Разве в лагерном опыте, если даже встряхнуть его и промыть, — найдётся хоть одна крупинка благородного металла?

Вот старый ленинградский большевик Васильев. Отсидел две десятки (всякий раз имея ещё и пять намордника). Получил республиканскую персональную пенсию. «Вполне обеспечен. Славлю свою партию и свой народ». (Это замечательно! Ведь только Бога славил так Иов библейский: за язвы, замор, за голод, за смерти, за унижения— слава Тебе, слава Тебе!) Но не бездельник этот Васильев, не потребитель просто: «состою в комиссии по борьбе с тунеядцами». То есть кропает по мере старческих сил одно из главных беззаконий сегодняшнего дня. Вот это и есть— лицо Благомысла!

Понятно и почему стукачи не желают воспоминаний и встреч: боятся упрёков и разоблачений.

Но у остальных? Не слишком ли это глубокое рабство? Добровольный зарок, чтоб не попасть второй раз? «Забыть, как сон, забыть, забыть видения проклятого лагерного прошлого», — сжимает виски кулаками Настенька Вестеровская, попавшая в тюрьму не как–нибудь, а с огнестрельной раной, убегая. Почему филолог–классик А.Д., по-

роду занятий своих умственно взвешивающий сцены древней истории, — почему и он велит себе «всё забыть»? Что ж поймёт он тогда во всей человеческой истории?

Евгения Дояренко, рассказывая мне в 1965 году о своей посадке на Лубянку в 1921, ещё до замужества, добавила: «А мужу покойному я про это так и не рассказывала, забыла». Забыла?? Самому близкому человеку, с которым жизнь прожила? Так мало нас ещё сажают!!

А может быть, не надо так строго судить? Может быть, в этом — средняя человечность? Ведь о ком–то же составлены пословицы:

Час в добре пробудешь — всё горе забудешь. Дело–то забывчиво, тело–то заплывчиво.

Заплывчивое тело! — вот что такое человек!..

Мой друг и одноделец Николай Виткевич, с кем общими мальчишескими усилиями мы закатились за решётку, — воспринял всё пережитое как проклятье, как постыдную неудачу глупца. И устремился в науку — наиболее безопасное предприятие, чтобы подняться на ней. В 1959 году, когда Пастернак ещё был жив, но плотно обложен травлей, — я стал говорить ему о Пастернаке. Он отмахнулся: «Что говорить об этих старых галошах! Слушай лучше, как я борюсь у себя на

кафедре!» (Он всё время с кем–нибудь борется, чтобы возвыситься в должности.) А ведь трибунал оценил его в 10 лет лагерей. Не довольно ли было один раз высечь?..

Вот Р. Ретц. Он сегодня — начальник жилконторы, он ещё и дружинник. Очень важно рассказывает о своей сегодняшней жизни. И хотя старой он не забыл — как забыть 18 лет на Колыме? — о Колыме он рассказывает как–то суше и недоумённо: да действительно ли это всё было? Как это могло быть?.. Старое сошло с него. Он гладок и всем доволен.

Как вор завязывает, так забывает и эрзац–политический. И для этих завязавших становится мир снова удобным, нигде не колющим, не жмущим. Как раньше казалось им, что «все сидят», так теперь им кажется— никто не сидит. Осеняет их и прежний приятный смысл Первого мая и Октябрьской годовщины — это уже не те суровые дни, когда нас особенно глумливо обыскивали на холоде и особенно плотно набивали нами камеры лагерной тюрьмы. Да зачем так высоко брать? — если днём на работе главу семьи похвалит начальство — вот за обедом и праздник, вот и торжество.

Только в семье иногда бывший мученик раз-

решает себе побрюзжать. Только тут он иногда помнит, чтоб его больше ласкали и ценили. А выходя за порог, он — забыл.

Однако не будем так беспреклонны. Ведь это общечеловеческое свойство: от опыта враждебного вернуться в своё «я», ко многим своим прежним (пусть и не лучшим) чертам и привычкам. В этом остойчивость нашей личности, наших генов. Вероятно, иначе человек тоже не был бы человеком. Тот же Тарас Шевченко, чьи растерянные строки уже были приведены[503], через 10 лет пишет обрадованно: «ни одна черта в моём внутреннем образе не изменилась. От всей души благодарю моего всемогущего Создателя, что Он не допустил ужасному опыту коснуться железными когтями моих убеждений».

Но как это — забывают? Где б научиться?..

«Нет! — пишет М.И.Калинина, — ничто не забывается и ничто в жизни не устраивается. И сама я не рада, что я такая. И на работе можно быть на хорошем счету, и в быту бы всё гладко — но в сердце точит и точит что–то, и бесконечная усталость. Я надеюсь, вы не напишете о людях, которые освободились, что они всё забыли и

---

[503] Примечания: 503
Часть Третья, глава 19.

счастливы?»

Раиса Лазутина: «Не надо вспоминать плохого? А если нечего вспомнить хорошего?..»

Тамара Прыткова: «Сидела я двенадцать лет, но с тех пор уже на воле одиннадцать, а никак не пойму — для чего жить? И где справедливость?»

Два века Европа толкует о равенстве — а мы все разные до чего ж! Какие разные борозды на наших душах от жизни: одиннадцать лет ничего не забыть — и всё забыть на другой день…

Иван Добряк: «Всё осталось позади, дане всё. Реабилитирован, а покою нет. Редкая неделя, чтобы сон прошёл спокойно, а то всё зона снится. Вскакиваешь в слезах или будят тебя в испуге».

Ансу Бернштейну и через одиннадцать лет снятся только лагерные сны. Я тоже лет пять видел себя во сне только заключённым, никогда— вольным, анет–нет— и сегодня приснится, что я зэк (и во сне нисколько этому не удивляюсь, веду себя по старому опыту). Л.Копелев через 14 лет после освобождения заболел — и сразу же бредит тюрьмой[504].

---

[504] Примечания: 504

На Западе я получил письмо от Франка Диклера из Бразилии, он пишет, что и там, и уже через 30 лет после освобождения у него всё ещё бывают лагерные кошмары и он всё ещё просится у начальника 3–го отдела (оперчасти) отпустить его из Заполярья.

А уж «каюту» и «палату» никак наш язык не проговорит всегда — «камера».

Шавирин: «На овчарок и до сих пор не могу смотреть спокойно».

Чульпенёв идёт по лесу но уже не может просто дышать, наслаждаться: «Смотрю— сосны хорошие: сучков мало, порубочных остатков почти не сжигать, это чистые кубики пойдут…»

Как забыть, если ты поселяешься в деревне Мильцево, а там едва ли не половина жителей прошла через лагеря, правда за воровство больше. Ты приходишь на рязанский вокзал и видишь три выломанных прута в ограде. Их никто никогда не заделывает, как будто так и надо. Потому что именно против этого места останавливаются арестантские вагоны — и сегодня, и сегодня они останавливаются! — а к пролому подгоняют задом воронок, и зэков перегоняют в эту дырку (так удобней, чтобы зэков не вести через людный перрон). Выписывают тебе путёвку на лекцию (1957) из всесоюзного общества по распространению невежества, и путёвка оказывается в Рязанскую ИТК–2–женскую колонию при тюрьме. И ты идёшь на вахту, и в волчок выглядывает знакомая фуражка. Вот с гражданином воспитателем ты проходишь по двору тюрьмы, и понурые дурно

одетые женщины все первые здороваются с вами заискивающе. Вот ты сидишь в кабинете начальника политчасти, и пока он тебя тут развлекает, ты знаешь: там сейчас выгоняют из камер, подымают спящих, на индивидуальной кухне котелки вырывают из рук — а ну–ка, лекцию слушать, быстро! И вот согнали их полный зал. И зал сыр, и коридоры сыры, и ещё сырее, наверно, камеры— и несчастные женщины–работяги всю мою лекцию кашляют застарелым, глубоким, гулким, то сухим, то раздирающим кашлем. Одеты они не как женщины, а как карикатуры на женщин, молодые — угловаты, костлявы, как старухи, все измучены и ждут конца моей лекции. Мне стыдно. Как хотел бы я раствориться в дым и исчезнуть. Как хотел бы я вместо этих «достижений науки и техники» крикнуть им: «Женщины! до каких же пор это будет?..» Мой глаз сразу отличает несколько свежих, хорошо одетых, даже в джемперах. Это — придурки. Вот на них остановиться взглядом и, не слушая кашля, можно очень гладко прочесть всю лекцию. Они глаз не спускают, так слушают… Но знаю я, не словам они внемлют, не космос им нужен, а— редко видят мужчин, вот и рассматривают… И я воображаю: сейчас отнимут у меня пропуск и я останусь тут.

И эти стены, всего в нескольких метрах от известной мне улицы, от известной троллейбусной остановки, перегородят всю жизнь, они станут не стенами, а годами… Нет, нет, я сейчас уйду! я за сорок копеек доеду в троллейбусе и дома буду вкусно обедать. Но хоть не забыть: они–то здесь все останутся. Вот так же будут кашлять. Годами кашлять.

В годовщины своего ареста я устраиваю себе «день зэка»: отрезаю утром 650 граммов хлеба, кладу два кусочка сахара, наливаю незаваренного кипятка. А на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму: уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску. Возощущения встают во мне живо!

А ещё вывез и храню свои лоскуты–номера. Да только ли я? Как святыню покажут тебе их— в одном доме, и в другом.

Иду как–то по Новослободской — Бутырская тюрьма! «Приёмная передач». Вхожу. Полно женщин, есть и мужчины. Кто сдаёт передачи, кто разговаривает. Это отсюда, значит, шли нам передачи. Как интересно. С самым невинным видом подхожу читать правила приёма. Но, сметив меня орлиным взглядом, ко мне быстро идёт

мордатый старшина. «А вам что, гражданин?» Учуял, что не передача тут, а подвох. Значит, пахну я всё–таки зэком!

А— посетить умерших? Тех, своих, где должен был и ты лежать, проколотый штыком? А.Я. Оленёв, уже старичок, поехал в 1965 году. С рюкзаком и палочкой добрался до бывшего сангородка, оттуда— на гору (близ посёлка Керки), где хоронили. Гора полна костей и черепов, и жители сегодня зовут её костяной.

В далёком северном городе, где полгода ночь, а полгода день, живёт Галя Бенедиктова. Никого у неё в целом мире нет, а то, что «домом» называется, — шумный гадкий угол. И отдых её: с книгой пойти в ресторан, взять вина, то отпить, то покурить, то «погрустить о России». Любимые её друзья — оркестранты и швейцары. «Многие, вернувшись оттуда, скрывают прошлое. А я своей биографией горжусь».

То там, то здесь собираются в год раз товарищества бывших зэков, пьют и вспоминают. «И странно, — говорит В.П.Голицын, — что картины прошлого встают далеко не только мрачные и тяжёлые, а многое вспоминается с тёплым хорошим чувством».

Тоже свойство человека. И не худшее.

«А буква у меня в лагере была— Ы, — восхищённо сообщает В.Л.Гинзбург. — А паспорт мне выдали серии ЗК!»

Прочтёшь— и тепло становится. Нет, честное слово, как выделяются среди многих писем— письма бывших зэков. Какая незаурядная жизнестойкость! А при ясности целей — какой бывает напор! В наше время, если получишь письмо совсем без нытья, настоящее оптимистическое, — то только от бывшего зэка. Ко всему на свете привыкшие, ни от чего они не унывают.

Горжусь я принадлежать к могучему этому племени! Мы не были племенем — нас сделали им! Нас так спаяли, как сами мы, в сумерках и разброде воли, где каждый друг друга трусит, никогда не могли бы спаяться. Ортодоксы и стукачи как–то автоматически выключились из нас на воле. Нам не надо сговариваться поддерживать друг друга. Нам не надо уже испытывать друг друга. Мы встречаемся, смотрим в глаза, два слова — и что ж ещё объяснять? Мы готовы к выручке. У нашего брата везде свои ребята. И нас миллионы!

Дала нам решётка новую меру вещей и людей. Сняла с наших глаз ту будничную замазку, которой постоянно залеплены глаза ничем не потрясённого человека. И какие же неожидан-

ные выводы!

Н.Столярова, доброй волей приехавшая в 1934 из Парижа в этот капкан, выхвативший всю середину её жизни, не только не терзается, не проклинает свой приезд, но: «Я была права, когда вопреки своей среде и голосу разума ехала в Россию! Совсем не зная России, я нутром угадала её».

Когда–то горячий, удачливый, нетерпеливый герой Гражданской войны И.С. Карггунич–Бравен не вникал в списки, подносимые начальником Особого Отдела, и не вверху листа, а внизу, не прописными буквами, а строчными, как безделицу, помечал тупым карандашом без точек: вм (это значило: Высшая Мера! всем!). Потом были ромбы в петлицах, потом двадцать с половиною лет Колымы, — и вот он живёт средь леса на одиноком хуторе, поливает огород, кормит кур, мастерит в столярке, не подаёт просьбы о реабилитации, матом кроет Ворошилова, сердито пишет в тетрадках свои ответы, ответы и ответы на каждую радиопередачу и каждую газетную статью. Но ещё проходят годы — и хуторной философ со значением выписывает из книги афоризм:

«Мало любить человечество, — надо уметь переносить людей».

А перед смертью — своими словами, да такими, что вздрогнешь, — не мистика ли? не старик ли Толстой:

«Я жил и судил всё по себе. Но теперь я другой человек и уже не сужу по себе».

Удивительный В.П.Тарновский так и остался после срока на Колыме. Он пишет стихи, которые не посылает никому. Размышляя, он вывел:

А досталась мне эта окраина, Осудил на молчание Бог, Потому что я видел Каина, А убить его — не мог[505].

Жаль только: мы умрём все постепенно, не совершив достойного ничего.

* * *

А ещё предстоят на воле бывшим зэкам — встречи. Отцов — с сыновьями. Мужей — с жёнами. И от этих встреч нечасто бывает доброе. За десять, за пятнадцать лет без нас не могли сыновья вырасти в лад с нами: иногда просто чужие, иногда и враги. И женщины лишь немногие вознаграждены за верное ожидание мужей: столько

---

[505] Примечания: 505

Для справедливости добавлю позднее: с Колымы уехал, несчастно женился — и потерян высокий строй души, и не знает, как шею высвободить.

прожито порознь, всё сменилось в человеке, только фамилия прежняя. Слишком разный опыт жизни у него и у неё — и снова сойтись им уже невозможно.

Тут— на фильмы и на романы кому–то, а в эту книгу не помещается.

Тут пусть будет один рассказ Марии Кадацкой.

«За первые 10 лет муж написал мне 600 писем. За следующие 10 — одно, и такое, что не хотелось жить. После 19 лет в свой первый отпуск он поехал не к нам, а к родственникам, к нам же с сыном заехал проездом на 4 дня. Поезд, с которым мы его ждали, в этот день был отменён. И после бессонной ночи я легла отдохнуть. Слышу звонок. Незнакомый голос: «Мне Марию Венедиктовну». Открываю. Входит полный пожилой мужчина в плаще и шляпе. Ничего не говоря, проходит смело. Я спросонья как будто забыла, что ждала мужа. Стоим. «Не узнала?» — «Нет». А сама всё думаю, что это— кто–то из родственников, которых у меня много и с которыми я тоже не виделась много лет. Потом посмотрела на его сжатые губы — вспомнила, что мужа жду! — и потеряла сознание. — Тут пришёл сын, да ещё заболевшим. И вот все трое, не выходя из единственной комнаты, мы четыре дня сидели. И с сыном они были

очень сдержанны, и мне с мужем говорить почти не пришлось, разговор был общий. Он рассказывал о своей жизни и ничуть не интересовался, как мы без него. Уезжал опять в Сибирь, в глаза не смотрел при прощании. Я сказала ему, что муж мой погиб в Альпах (он был в Италии, его освободили союзники)».

А бывают другого рода встречи, веселей.

Можно встретить надзирателя или лагерного начальника. Вдруг в тебердинской турбазе узнаёшь в физинструкторе Славе— норильского вертухая. Или в ленинградском «Гастрономе» Миша Бакст видит— лицо знакомое, и тот его заметил. Капитан Гусак, начальник лаготделения, сейчас в гражданском. «Слушай, подожди–подожди! Где ты у меня сидел?.. А, помню, мы тебя посылки лишили за плохую работу». (Ведь помнит! Но всё это им естественно кажется, будто поставлены они над нами навечно, и только перерыв сейчас небольшой.)

Можно встретить (Вельский) командира части полковника Рудыко, который дал поспешное согласие на твой арест, чтоб только не иметь неприятностей. Тоже в штатском и в боярской шапочке, вид учёного, уважаемый человек.

Можно встретить и следователя — того, ко-

торый тебя бил или сажал в клопов. Он теперь на хорошей пенсии, как, например, Хват, следователь и убийца великого Вавилова, живёт на улице Горького. Уж избави Бог от этой встречи — ведь удар опять по твоему сердцу, не по его.

А ещё можно встретить твоего доносчика — того, кто посадил тебя, и вот преуспевает. И не карают его небесные молнии. Те, кто возвращаются в родные места, те–то обязательно и видят своих стукачей. «Слушайте, — уговаривает кто погорячее, — подавайте на них в суд! Хотя бы для общественного разоблачения!» (Уж— не больше, уж понимают все…) «Да нет уж… да ладно уж…» — отвечают реабилитированные.

Потому что этот суд был бы в ту сторону, куда волами тянуть.

«Пусть их жизнь наказывает!» — отмахивается Авенир Борисов.

Только и остаётся.

Композитор Х. сказал Шостаковичу: «Вот эта дама, Л., член нашего Союза, когда–то посадила меня». — «Напишите заявление, — сгоряча предложил Шостакович, — мы её из Союза исключим!» (Как бы не так!) Х. и руками замахал: «Нет уж, спасибо, меня вот за эту бороду по полу тягали, больше не хочу».

Да уж о возмездии ли речь? Жалуется Г. Полев: «Та сволочь, которая меня посадила, при выходе чуть снова не спрятала — и спрятала бы! — если б я не бросил семью и не уехал из родного города».

Вот это — по–нашамуі вот это — по–советски!

Что же сон, что же мираж болотный: прошлое? или настоящее?..

В 1955 году пришёл Эфроимсон к заместителю главного прокурора Салину и принёс ему том уголовных обвинений против Лысенко. Салин сказал: «Мы не компетентны это разбирать, обращайтесь в ЦК».

С каких это пор они стали некомпетентными? Или отчего уж они на тридцать лет раньше не стали такими?

Процветают оба лжесвидетеля, посадившие Чульпенёва в монгольскую яму, — Лозовский и Серёгин. С общим знакомым по части пошёл Чульпенёв к Серёгину в его контору бытового обслуживания при Моссовете. «Знакомьтесь. Наш халхинголец, не помните?» — «Нет, не помню». — «А Чульпенёва— не помните такого?» — «Нет, не помню, война раскидала». — «А судьбу его не знаете?» — «Понятия не имею». — «Ах, подлец ты, подлец!»

Только и скажешь. В райкоме партии, где

Серёгин на учёте: «Не может быть! Он так добросовестно работает».

Добросовестно работает!..

Всё на местах и все на местах. Погромыхали громы — и ушли почти без дождя.

До того всё на местах, что Ю.А. Крейнович, знаток языков Севера[506], вернулся — в тот же институт, и в тот же сектор, с теми же, кто заложил его, кто ненавидит его, — с теми же самыми он каждый день шубу снимает и заседает.

Ну как если бы жертвы Освенцима вкупе с бывшими комендантами образовали бы общую галантерейную фирму.

Есть обергруппен–стукачи и в литературном мире. Сколько душ погубили Я. Эльсберг? Лесючевский? Все знают их — и никто не смеет тронуть. Затевали изгнать из Союза писателей— напрасно! Ни тем более— с работы. Ни уж, конечно, из партии.

Когда создавался наш Кодекс (1926), сочтено было, что убийство клеветою в пять раз легче и извинительней, чем убийство ножом. (Да

---

[506] Примечания: 506

О нём метко сказано: если раньше народовольцы становились знаменитыми языковедами благодаря вольной ссылке, то Крейнович сохранился им, несмотря на сталинский лагерь: даже на Колыме он пытался заниматься юкагирским языком.

ведь и нельзя ж было предполагать, что при диктатуре пролетариата кто–то воспользуется этим буржуазным средством — клеветой.) По статье 95–й — заведомо ложный донос, показания, соединённые: а) с обвинением в тяжком преступлении; б) с корыстными мотивами; в) с искусственным созданием доказательств обвинения, — караются лишением свободы до… двух лет. А то и— шесть месяцев.

Либо полные дурачки эту статью составляли, либо очень уж дальновидные.

Я так полагаю, что — дальновидные.

И с тех пор в каждую амнистию (сталинскую 45–го, «ворошиловскую» 53–го) эту статейку не забывали включить, заботились о своём активе.

Да ещё ведь и давность. Если тебя ложно обвинили (по 58–й), то давности нет. А если ты ложно обвинил, то давность, мы тебя обережём.

Дело семьи Анны Чеботар–Ткач всё сляпано из ложных показаний. В 1944 она, её отец и два брата арестованы за якобы политическое и якобы убийство невестки. Все трое мужчин забиты в тюрьме (не сознавались), Анна отбыла десять лет. А невестка оказалась вообще невредима! Но ещё десять лет Анна тщетно просила реабилитации! Даже в 1964 прокуратура ответила: «Вы осуждены

правильно и оснований для пересмотра нет». Когда же всё–таки реабилитировали, то неутомимая Скрипникова написала за Анну жалобу: привлечь лжесвидетелей. Прокурор Г.Терехов ответил: невозможно за давностью…

В 20–е годы раскопали, притащили и расстреляли тёмных мужиков, за сорок лет перед тем казнивших народовольцев по приговору царского суда. Но те мужики были не свои. А доносчики эти — плоть от плоти.

Вот та воля, на которую выпущены бывшие зэки. Есть ли ещё в истории пример, чтобы столько всем известного злодейства было неподсудно, ненаказуемо?

И чего же доброго ждать? Что может вырасти из этого зловония?

Как великолепно оправдалась злодейская затея Архипелага

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. СТАЛИНА НЕТ

И не раскаялись они в убийствах своих…
Апокалипсис, 9:21

Глава 1. КАК ЭТО ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО

Конечно, мы не теряли надежды, что будет о нас рассказано: ведь рано или поздно рассказывается вся правда обо всём, что было в истории. Но рисовалось, что это придёт очень не скоро, — после смерти большинства из нас. И при обстановке совсем изменившейся. Я сам себя считал летописцем Архипелага, всё писал, писал, а тоже мало рассчитывал увидеть при жизни.

Ход истории всегда поражает нас неожиданностью, и самых прозорливых тоже. Не могли мы предвидеть, как это будет: безо всякой зримой вынуждающей причины всё вздрогнет, и начнёт сдвигаться, и немного, и совсем ненадолго бездны жизни как будто приопахнутся — и две–три птички правды успеют вылететь прежде, чем снова надолго захлопнутся створки.

Сколько моих предшественников не дописало, не дохранило, не доползло, не докарабкалось! — а мне это счастье выпало: в раствор железных полотен, перед тем как снова им захлопнуться, — просунуть первую горсточку правды.

И как вещество, объятое антивеществом, — она взорвалась тотчас же!

Она взорвалась и повлекла за собой взрыв писем людских— но этого надо было ждать. Однако и взрыв газетных статей — через скрежет зубовный, через ненависть, через нехоть— взрыв казённых похвал, до оскомины.

Когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая–то повесть о лагерях и газетчики её наперехлёб хвалят, — решили единодушно: «опять брехня! спроворились и тут соврать». Что наши газеты с их обычной непомерностью вдруг да накинутся хвалить правду, — ведь этого ж всё–таки нельзя было вообразить! Иные не хотели и в руки брать мою повесть.

Когда же стали читать — вырвался как бы общий слитный стон, стон радости — и стон боли. Потекли письма.

Эти письма я храню. Слишком редко наши соотечественники имеют случай высказаться по общественным вопросам, а бывшие зэки— тем более. Уж сколько разуверялись, уж сколько обманывались— а тут поверили, что начинается–таки эра правды, что можно теперь смело говорить и писать!

И обманулись, конечно, в который раз… «Правда восторжествовала, но поздно!» — писали они.

И даже ещё поздней, потому что нисколько не восторжествовала. ..

Ну да были и трезвые, кто не подписывался в конце писем («берегу здоровье в оставшиеся дни моей жизни») или сразу, в самый накал газетного хвалебствия, спрашивал: «Удивляюсь, как Волковой дал тебе напечатать эту повесть? Ответь, я волнуюсь, не в БУРе ли ты?..» или «Как это ещё вас обоих с Твардовским не упрятали?»

А вот так, заел у них капкан, не срабатывал. И что ж пришлось Волковым? — тоже браться за перо! тоже письма писать. Или в газеты опровержения. Да они, оказывается, и очень грамотные есть.

Из этого второго потока писем мы узнаём, и как их зовут–то, как они сами себя называют. Мы всё слово искали, лагерные хозяева да лагерщики, нет— практические работники, вот как! вот словцо золотое! «Чекисты» вроде не точно, ну они— практические работники, так они выбрали.

Пишут:

«Иван Денисович— подхалим».

(ВВ. Олейник, Актюбинск)

«К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения».

(Ю.Матвеев, Москва)

«Шухов осуждён правильно… Ачто зэ–ка зэ–ка делать на воле?»

(ВИ. Силин, Свердловск)

«Этих людишек с подленькой душёнкой судили слишком мягко. Тёмных личностей Отечественной войны… мне не жаль».

(ЕА. Игнатович, г.Кимовск)

Шухов — «квалифицированный, изворотливый и безжалостный шакал. Законченный эгоист, живущий только ради брюха».

(В.Д. Успенский, Москва)[507]

«Вместо того чтобы нарисовать картину гибели преданнейших людей в 1937 году, автор избрал 1941 год, когда в лагерь в основном попадали шкурники[508]. В 37–м не было Шуховых[509], а шли насмерть угрюмо и молча с думою о том, кому это нужно?[510]

---

[507] Примечания: 507

Этот пенсионер — не тот ли Успенский, который отца своего, священника, убил — и сделал на том лагерную карьеру?

[508] Примечания: 508

Ну да, простые беспартийные, военнопленные.

[509] Примечания: 509

Ещё сколько!.. Побольше ваших!

[510] Примечания: 510

Какая интеллектуальная глубина думы! Кстати, не так уж молча: с непрерывными раскаяниями и просьбами помиловать

(ПЛ. Панков, Краматорск)

О лагерных порядках:

«А зачем давать много питания тому, кто не работает? Сила у него остаётся неизрасходованной… С преступным миром ещё слишком мягко обращаются».

(СИ. Головин, Акмолинск)

«А насчёт норм питания не следует забывать, что они не на курорте. Должны искупить вину только честным трудом. Эта повесть оскорбляет солдат, сержантов и офицеров МВД. Народ — творец истории, но как показан этот народ..? — в виде «попок», «остолопов», «дураков»».

(старшина Базунов, Оймякон, 55 лет, состарился на лагерной службе)

«В лагерях меньше злоупотреблений, чем в каком–либо другом советском учреждении (!!). Утверждаю, что сейчас в лагерях стало строже.

Охрана не знала, кто за что сидит»[511].

(В.Караханов, Подмосковье)

«Мы, исполнители, — тоже люди, мы тоже шли на геройство: не всегда подстреливали падающих и, таким образом, рисковали своей службой».

---

[511] Примечания: 511

Мы? — «только выполняли приказ», «мы не знали».

(Григ. Трофимович Железняк)[512]

«Весь день в повести насыщен отрицательным поведением заключённых без показа роли администрации… Но содержание заключённых в лагере не является причиной периода культа личности, а связано с исполнением приговора».

(АМ. Григорьев)

«Солженицын так описывает всю работу лагеря, как будто там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как и сейчас, существовали партийные организации и направляли всю работу согласно совести».

[Практические работники] «только выполняли, что с них требовали положения, инструкции, приказы. Ведь эти же люди, что работали тогда, работают и сейчас[513], может быть, добавилось процентов десять, и за хорошую работу поощрялись не раз, являются на хорошем счету как работники».

«Горячее негодующее возмущение у всех сотрудников МВД… Просто удивляешься, сколько

---

[512] Примечания: 512

Железняк и меня самого «помнит»: «прибыл в кандальном этапе, выделялся склочным характером; потом был отправлен в Джезказган и там вместе с Кузнецовым был во главе восстания»…

[513] Примечания: 513

Очень важное свидетельство!

жёлчи в этом произведении… Он специально настраивает народ на МВД!.. И почему наши Органы разрешают издеваться над работниками МВД?.. Это нечестно!»

(Анна Филипповна Захарова, Иркутск, обл., в МВД с 1950, в партии с 1956)

Слушайте, слушайте! Это нечестно! — вот крик души. 45 лет терзали туземцев— и это было честно. А повесть напечатали — это нечестно!

«Такой дряни ещё не приходилось переваривать… И это не только моё мнение, много нас таких,

имя нам легион[514]».

Да короче:

«Повесть Солженицына должна быть немедленно изъята изо всех библиотек и читален».

(А.Кузьмин, Орёл)

Так и сделано постепенно[515].

«Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы КГБ».

---

[514] Примечания: 514

Верно, что легион— верно. Только впопыхах не проверили по Евангелию цитату. Легион–то — бесов…

[515] Примечания: 515

А окончательно — секретным приказом Главного Управления по охране Государственных тайн в печати № 10 ДСП от 14.2.1974 — изъять и истребить «Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и другие опубликованные рассказы (подпись Романов].

(Аноним[516], ровесник Октября)

Да так почти и произошло, угадал ровесничек. И ещё другой Аноним, уже поэт:

Ты слышишь, Россия, На совести нашей Единого пятнышка нет!

Опять это «инкогнито проклятое»! Узнать бы — сам ли расстреливал, или только посылал на смерть, или обыкновенный ортодокс, — и вот тебе аноним! Аноним без пятнышка… И наконец, — широкий философский взгляд: «История никогда не нуждалась в прошлом (?), и тем более не нуждается в нём история социалистической культуры».

(А. Кузьмин)

История не нуждается в прошлом! — вот до чего договорились Благомыслы. А в чём же она нуждается? — в будущем, что ли?.. И вот они–то пишут историю…

И что можно сейчас возразить всем им, всем им против их слитного невежества? И как им сейчас можно объяснить?

Ведь истина всегда как бы застенчива, она замолкает от слишком наглого напора лжи.

Долгое отсутствие свободного обмена инфор-

---

[516] Примечания: 516

На всякий случай тоже прячется: чёрт его знает, куда ещё рванёт ветер!..

мацией внутри страны приводит к пропасти непонимания между целыми группами населения, между миллионами— и миллионами.

Мы просто перестаём быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках.

* * *

А всё–таки прорыв совершился! Уж как была крепка, как надёжна казалась навек отстроенная стена лжи — а зазияла брешь. Ещё вчера у нас никаких лагерей не было, никакого Архипелага — а сегодня всему народу и всему миру увиделось: лагеря! да ещё фашистские!

Как же быть?? Многолетние мастера выворачивания! изначальные хвалебщики! — да неужели вы это стерпите! Вы — и оробеете? Вы — и поддадитесь?..

Да конечно же нет! Мастера выворачивания первые и хлынули в эту брешь. Они как будто годами только её и ждали, чтобы наполнить её своими серокрылатыми телами и радостным — именно радостным! — хлопаньем крыльев закрыть от изумлённых зрителей собственно Архипелаг.

Их первый крик — мгновенно найденный, инстинктивный— был: это не повторится] Слава

Партии! — это не повторится!

Ах, умницы, ах, мастера заделки! Ведь если «это не повторится», так уж само собой приразумевается, что сегодня этого нет! В будущем — не будет, а сегодня конечно же не существует!

Так ловко хлопали они своими крыльями в бреши — и Архипелаг, едва появившись взорам, уже стал и миражом: его и нет, и не будет, ну, может быть, разве только— был… Так ведь — культ личности] (Удобный этот «культ личности»! — выпустил изо рта, и как будто что–то объяснил.) Ачто действительно есть, что осталось, что наполняет брешь и что пребудет вовек — это «Слава Партии!» (Сперва как будто слава за то, что «не повторится», а потом и сразу почти уже как будто слава и за сам Архипелаг, это сливается, не разделишь: ещё и журнала того не достали с пресловутой повестью, но всюду слышим: «Слава Партии!» Ещё не дочитали до того места, как плёткой бьют, но со всех сторон гремит: «Слава Партии!»)

Так херувимы лжи, хранители Стены, прекрасно справились с первым моментом.

Но брешь всё–таки оставалась. И крылья их не могли на том успокоиться.

Второе усилие их было — подменить! Как фо-

кусник, почти не закрывая платочком, меняет курицу на апельсин, так подменить и весь Архипелаг, и вместо того, который в повести показан, представить зрителям уже совсем другой, гораздо более благородный. Сперва попытки эти были осторожны (предполагали, что автор повести близок к трону), и подмену надо было делать, непрерывно хваля мою повесть. Ну например, рассказывать об Архипелаге «от очевидцев»— о коммунистах в лагере, которые, правда,

«не собирали партийных взносов, но проводили ночами тайные партийные собрания (?), обсуждали политические новости… За пение шёпотом «Интернационала» по доносам стукачей гноились в карцерах… Банде–ровцы, власовцы издевались над настоящими коммунистами и калечили их заодно (!) с лагерным начальством… Но всего этого Солженицын нам не показал. Что–то в этой страшной жизни он не сумел рассмотреть».

А автор рецензии и в лагере не был, но — рассмотрел. Ну не ловко? Лагеря–то, оказывается, были— не от Советской власти, не от Партии! (Наверно, и суды были— не советские.) В лагерях верховодили–то власовцы и бандеровцы заодно с начальством. (Вот тебе раз! А мы Захаровой поверили, что у начальников лагерных — партийные

книжки, и были всегда.)

Да ещё не всех в московской газете печатают. Вот наш рязанский вожак писатель Н. Шундик предложил в интервью для АПН, для Запада (дане напечатали, может, иАПН — заодно?..) ещё такой вариант оценки Архипелага:

«проклятье международному империализму который спровоцировал все эти лагеря!»

А ведь умно! А ведь здорово. Но не пошло…

То есть в общем лагеря были какие–то иностранные, чужеродные, не наши, то ли берианские, то ли власовские, то ли немецкие, чёрт их знает, а наши люди там только сидели и мучились. Да и «наши» — то люди — это не все наши люди, обо всех «наших» газетных столбцов не хватит, «наши» — это только коммунисты!

Вместе с нами протащившись по всему быту Архипелага, читатель может ли теперь увидеть такое место и такое время, когда подходила пора петь «Интернационал» шёпотом? Спотыкаясь после лесоповала— небось не попоёшь? Разве только если целый день ты просидел в каптёрке, там же и петь.

А — о чём ночные партийные собрания (опять же — в каптёрке или в санчасти, и уж тогда дневные, зачем же ночью)? Выразить недоверие ЦК?

Да вы с ума сошли! Недоверие Берии? Да ни в коем случае, он член Политбюро! Недоверие ГБ? Нельзя, её создал сам Дзержинский! Недоверие нашим советским судам? Это всё равно что недоверие Партии, страшно и сказать. (Ведь ошибка произошла только с тобой одним — так что и товарищей надо выбирать поосторожней, они–то осуждены— правильно.)

Простой шофёр А.Г. Загоруйко, не убеждённый порханьем этих крыльев, пишет мне:

«Не все были, как Иван Денисович? А какими же были? Непокорными, что ли? Может быть, в лагерях действовали «отряды сопротивления», возглавляемые коммунистами? А против кого они боролись? Против партии и правительства?»

Да что за крамола! Какие могут быть «отряды сопротивления»?.. А тогда — о чём собрания? О неуплате членских взносов? — так не собирали… Обсуждать политические новости? — зачем же для этого непременно собрания? Сойдись два носа верных (да ещё подумай, кто верен) и— шепотком. .. Вот только о чём единственном могли быть партийные собрания в лагерях: как нашим людям захватить все придурочьи места и уцелеть, а не–наших, не–коммунистов — спихнуть, и пусть сгорают в ледяной топке лесоповала,

задыхаются в газовой камере медного рудника!

И больше не придумать ничего делового — о чём бы им толковать.

Так, ещё в 1962 году ещё моя повесть не дошла до читателя, — наметили линию, как будут дальше подменять Архипелаг. А постепенно, узнавая, что автор совсем не близок к трону совсем не имеет защиты, что автор — и сам мираж, мастера выворачивания смелели.

Оглянулись они на повесть — да что ж мы сробели? да что ж мы ей славу пели (по холуйской привычке)? «Человек ему [Солженицыну] не удался… В душу человека… он побоялся заглянуть». Рассмотрелись с героем— да он же «идеальный негерой»! Шухов— он и «одинок», он и «далёк от народа», живёт, ничтожная личность, желудком— и не борется! Вот что больше всего стало возмущать: почему Шухов не борется Ч Свергать ли ему лагерный режим, идти ли куда с оружием — об этом не пишут, а только: почему не борется?? (А уж готов был у меня сценарий о кенгирском восстании, дане смел я свиток развернуть…)

Сами не показав нам ни эрга борьбы, — они требовали её от нас тонно–километрами!

Так и всегда. После рати много храбрых.

«Интересы Шухова, честно говоря, мелки. А самая страшная трагедия культа личности в том, что за колючей проволокой оказались настоящие передовые советские люди, соль нашей земли, подлинные герои времени», которые «тоже были не прочь закосить лишнюю порцию баланды… но доставали её не лакейством». (А— чем? Вот интересно — а как?)

«Солженицын сделал упор на мучительно трудных условиях. Он отошёл от суровой правды жизни». А правда жизни в том, что оставались «закалённые в огне борьбы», «взращённые ленинской партией», которые… что же? боролись? нет, «глубоко верили, что пройдёт мрачное время произвола».

«Убедительно описаны некоторыми авторами муки недоедания. Но кто может отрицать, что муки мысли во сто крат сильнее голода?» (Особенно если ты его не испытал.)

А в том и муки их мысли: что же будет? как будет? когда нас помилуют? когда ж нас опять призовут руководить?

Так ведь и весь XXII съезд был о том: кому хотели памятник ставить? Погибшим коммунистам. А просто погибшим Иванам? Нет, о них речи не было, их и не жаль. (В том–то и мина была «Ивана

Денисовича», что подсунули им простого Ивана.)

Порхали, трепали крыльями в бреши не уставая, уже второй год подряд. А кто мог паутинкой легенды затягивать — затягивал. Вот, например, «Известия» (25.4.1964) взялись поучить нас и как надо было бороться: оказывается, бежать надо было из лагеря! (не знали наши беглецы адреса автора статьи Н. Ермоловича! вот бы у кого и перекрыться!.. Но вообще советик вредный: ведь побег подрывает МВД). Ладно, бежать, а — дальше?

Некий Алексей, повествуют «Известия», но почему–то фамилии его не называют, якобы весной 1944 бежал из Рыбинского лагеря на фронт— и там сразу был охотно взят в часть майором–политработником («круто тряхнул головой, отгоняя сомнения»), фамилии майора тоже нет. Да взят не куда–нибудь, а в полковую разведку! да отпущен в поиск! (Ну, кто на фронте был, скажите: майору этому погоны не дороги? партбилет не дорог? В 41–м ещё можно так было рискнуть, но в 44–м— при налаженной отчётности, при СМЕРШе?) Получил герой орден Красного Знамени (а как его по документам провели?), после войны «поспешил уйти в запас».

А второго называют нам полностью: немецкий

коммунист Ксавер Шварцмюллер, бежал к нам от Гитлера в 1933, арестован в 1941 как немец (это правдоподобно). Ну, сейчас мы узнаем, как должен бороться в лагере истинный коммунист! Официальное извещение: умер в Чистополе 4.6.1942 (загнулся на первых шагах в лагере, очень правдоподобно, особенно для иностранца), реабилитирован посмертно в 1956. А где же — боролся? А вот что: есть слух, что в 1962 году его якобы видели в Риге (одна баба). Значит, он бежал! Кинулись проверять «лагерный акт смерти» (расписку, неровно оборванную) — и представьте: там отсутствует фотография! слышите, какая небывальщина: с умершего лагерника (после того, как его штыком прокололи) вдруг не сделана фотография! Да где ж это видано? Ну ясно: он бежал и всё это время боролся! Как боролся? Неизвестно. Против кого? Неизвестно. А сейчас почему не открывается? Непонятно.

Такие басни тачает нам главный правительственный орган.

Такой паутинкой легенд хотят закрыть от нас зинувший Архипелаг!

Из тех же «Известий» вот легенда ещё: в новейшее время сын узнал о посмертной реабилитации отца. И какое же его главное чувство? Может

быть, гнев, что отца его укокали ни за что? Нет— радость, облегчение: какое счастье узнать, что отец был невиновен перед Партией!

Выдавливал из себя каждый паутинку, какую может. Одна на одну одна на одну— а всё–таки бел–свет затягивается, а всё–таки уже не так просматривается Архипелаг.

А пока это всё плели и ткали, пока крыльями в бреши усиленно хлопали, сзади, по той стороне стены, подмащивались лесами и взбирались наверх главные в этом деле каменщики: чтобы немножко писатели, но чтоб и потерпевшие, чтоб и сами в лагере посидели, а то ведь и дураки не поверят, — подмащивались Борис Дьяков, Георгий Шелест, Галина Серебрякова да Алдан–Семёнов.

Ретивости у них не отнять, они на эту брешь ещё с первых дней замахивались, они на неё сразу безо всяких ещё подмостей самоножно прыгали и раствор туда шлёпали, да не доставали.

Серебрякова— та плиту готовую принесла в затычку— закрыть пробоину, и ещё с избытком: принесла роман об ужасах следствия над коммунистами — как глаза вырывали, как ногами топтали. Но объяснили ей, что не подходит камень, не туда, что это новая дырка только будет.

А Шелест, бывший комбриг ВЧК, ещё и прежде

предлагал свой рассказик «Самородок» в «Известия», да пока тема была не разрешена— на кой он? Теперь, за 12 дней до пробоины, но уже зная, где она пройдёт, наложили «Известия» шелестовский пластырь. Однако не удержал: пробило, как и не было.

Ещё дымилось в стене — стал подскакивать Дьяков, нашвыривать туда свои «Записки придурка». Да кирпич лакшинской рецензии как раз ему на голову свалился: разоблачили Дьякова, что он в лагере шкуру спасал, больше ничего.

Нет, так не пойдёт. Нет, тут надо основательно. И стали строить

леса.

Ушло на это полтора года, перебивались пока газетными статьями, порханьем перепончатых крыльев. А как подмостились и кран подвели— тут кладка пошла вся разом: в июле 1964 — «Повесть о пережитом» Дьякова, «Барельеф на скале» Алдан–Семёнова, в сентябре — «Колымские записи». В том же году в Магадане выскочила и книжечка Вяткина «Человек рождается дважды».

И — всё. И — заложили. И спереди, на месте закладки, совсем другое нарисовали: пальмы, финики, туземцы в купальных костюмах. Архи-

пелаг? Как будто Архипелаг. А подменили? Да, подменили…

Я этих книг уже коснулся, говоря о благонамеренных (Часть Третья, глава 11), и если бы расхождение наше с ними кончалось литературой, не было бы потребности мне на них и отзываться. Но поскольку взялись они оболгать Архипелаг, — должен я пояснить, где именно у них декорация. Хотя читатель, одолевший всю мою вот эту книгу, пожалуй, и сам легко разглядит.

Первая и главная их ложь в том, что на их Архипелаге не сидит народ, наши Иваны. Порознь или вместе нащупав, но лгут они дружно тем, что делят заключённых на: 1) честных коммунистов (с частным подразделением— беспартийные пламенные коммунисты) и 2) белогвардейцев–власовцев–полицаев–бандеровцев (вали в кучу).

Но все перечисленные вместе составляли в лагере не более 10–15%. А остальные 85%— крестьяне, интеллигенция и рабочие, вся собственно Пятьдесят Восьмая и все бесчисленные несчастные «указники» за катушку ниток и за подол колосков — у них не вошли, пропали! А потому пропали, что эти авторы искренне не заметили своего страдающего народа!

Это быдло для них и не существует, раз, вернувшись с лесоповала, не поёт шёпотом «Интернационал». Глухо упоминает Шелест о сектантках (даже не о сектантах, он их в мужских лагерях не видел!), где–то промелькнул у него один ничтожный вредитель (так и понимаемый как вредитель), один ничтожный бытовик — и всё. И все национальности окраин тоже у них выпали. Уж Дьяков по времени своей сидки мог бы заметить хоть прибалтийцев? Нет, нету! (Они б и западных украинцев скрыли, да уж те слишком активно себя вели.)

Весь туземный спектр выпал у них, только две крайние линии остались! Ну да ведь это для схемы и нужно, без этого схему не построишь.

У Алдан–Семёнова кто в бригаде единственная продажная душа? — единственный там крестьянин — Девяткин. У Шелеста в «Самородке» кто простачок–дурачок? Единственный там крестьянин Голубов. Вот их отношение к народу!

Вторая их ложь в том, что лагерного труда у них либо вовсе нет, их герои обычно — придурки, освобождённые от настоящего лагерного труда и проводящие дни в каптёрках, или за бухгалтерскими столами, или в санчасти (у Серебряковой— сразу 12 человек в больничной

палате, «прозванной коммунистической». Да кто ж это их собрал? Да почему ж одни коммунисты? Да не по блату ли их поместили сюда на отдых?..); либо это какое–то нестрашное, неизможда́ющее, неубивающее картонное занятие. А ведь десяти–двенадцатичасовой труд— главный вампир. Он и есть полное содержание каждого дня и всех дней Архипелага.

Третья их ложь в том, что у них в лагере не лязгает зубами голод, не поглощает каждый день десятки пеллагрических и дистрофиков. Никто не роется в помойках. Никто, собственно, не нуждается думать, как не умереть до конца дня. («ИТЛ — лагерь облегчённого режима», — небрежно бросает Дьяков. Посидел бы ты при том облегчённом режиме!)

Достаточно этих трёх лжей, чтобы исказить все пропорции Архипелага, — и реальности уже не осталось, истинного трёхмерного пространства уже нет. Теперь, согласно общему мировоззрению авторов и личной их фантазии, можно сочинять, складывать из кубиков, рисовать, вышивать и плести всё что угодно — в этом придуманном мире всё можно. Теперь можно и посвятить долгие страницы описанию высоких размышлений героев (когда кончится произвол? когда нас при-

зовут к руководству?), и как они преданы делу Партии, и как Партия со временем всё исправит. Можно описывать всеобщую радость при подписке на заём (подписаться на заём вместо того, чтобы иметь деньги для ларька). Можно всегда безмолвную тюрьму наполнить разговорами (лубянский парикмахер спешит спросить, коммунист ли Дьяков… Бред). Можно вставлять в арестантские переклички вопросы, которые отвеку не задавались («Партийность?.. Какую должность занимал?..»). Сочинять анекдоты, от которых уже не смех, а понос: зэк подаёт жалобу вольнонаёмному секретарю партбюро на то, что некий вольный оклеветал его, зэка, члена партии! — в какие ослиные уши это надувается?.. (Дьяков). Или: зэк из конвоируемой колонны (благородный Петраков, сподвижник

Кирова) заставляет всю колонну свернуть к памятнику Ленина и снять шапки, втом числе и конвоиров! — а автоматы же какой рукой?.. (Алдан–Семёнов).

У Вяткина колымское ворьё на разводе охотно снимает шапки в память Ленина. Абсолютный бред. (А если бы правда— не много б вышло Ленину почёта из того.)

Весь «Самородок» Шелеста— анекдот от начала

до конца. Сдавать или не сдавать лагерю найденный самородок? — для этого вопроса нужна прежде всего отчаянная смелость: за неудачу— расстрел! (да и за сам вопрос ведь— расстрел). Вот они сдали— и ещё потребовал генерал устроить их звену обыск. А что было б, если б не сдали?.. Сам же упоминает автор и соседнее «звено латыша», у которого обыск был и на работе и в бараке. Так не стояла проблема— поддержать ли Родину или не поддержать, а— рискнуть ли четырьмя своими жизнями за этот самородок? Вся ситуация придумана, чтобы дать проявиться их коммунизму и патриотизму. (Другое дело — бесконвойные. У Алдан–Семёнова воруют самородки и майор милиции, и замнаркомнефти.)

Но Шелест всё–таки не угадал времени: он слишком грубо, даже с ненавистью говорит о лагерных хозяевах, что совсем недопустимо для ортодокса. А Алдан–Семёнов о явном злодее— начальнике прииска, так и пишет: «он был толковый организатор». Да вся мораль его такая: если начальник — хороший, то в лагере работать

весело и жить почти свободно[517]. Так и Вяткин: у него палач Колымы начальник Дальстроя Карп Павлов — то «не знал», то «не понимал» творимых им ужасов, то уже и перевоспитывается.

В нарисованную декорацию пришлось всё–таки этим авторам включить для похожести и детали подлинные. У Алдан–Семёнова: конвоир отбирает себе добытое золото; над отказчиками издеваются, не зная ни права, ни закона; работают при 53 градусах ниже ноля; воры в лагере блаженствуют; пенициллин зажат для начальства. — У Дьякова: грубое обращение конвоя; сцена в Тайшете около поезда, когда с зэков не управились номера снять, пассажиры кидали заключённым еду и курево, а конвоиры подхватывали себе; описание предпраздничного обыска.

Но эти штрихи используют авторы, чтобы только была им вера. А главное у них вот что. Словами рецензий:

«В «Одном дне Ивана Денисовича» лагерная

---

[517] Примечания: 517

Такое впечатление, что Алдан–Семёнов знает быт вольных начальников и места те видал, а вот быт заключённых знает плохо, то и дело у него клюквы: баптисты у него — «бездельничают», татарин–конвоир подкормил татарина–зэка, и поэтому решили зэки, что парень — стукач! Да не могли так решить, ибо конвой однодневен и стукачей не держит.

охрана — почти звери. Дьяков показывает, что среди них много таких, кто мучительно думали» (но ничего не придумали).

«Дьяков сохранил суровую правду жизни… Для него бесправие в лагерях это… фон (!), а главное то, что советский человек не склонил головы перед произволом… Дьяков видит и честных чекистов, которые шли на подвиг, да, на подвиг!»

(Этот подвиг— устраивать коммунистов на хорошие места. Впрочем, подвиг видят и у заключённого коммуниста Конокотина: он, «оскорблённый безумным обвинением… лишённый свободы… продолжал работать» препаратором! То есть в том подвиг, что не дал повод выгнать себя из санчасти на общие.)[518]

Чем венчается книга Дьякова? «Всё тяжкое ушло» (погибших он не вспоминает), «всё доброе вернулось». «Ничто не зачёркнуто».

У Алдан–Семёнова: «Несмотря на всё — мы не чувствуем обиды». Хвала Партии— это она уничтожила лагеря! (Стихотворный эпилог.)

Да уничтожила ли?.. Не осталось ли чего?.. И потом — кто их создал, лагеря?.. Молчат.

А при Берии Советская власть была или нет?

---

[518] Примечания: 518

М. Чарный. Коммунисты остаются коммунистами // Литературная газета, 15 сентября 1964.

Почему она ему не помешала? Как же могло так статься, что у власти стоит народ и народ для народа допустил такую тиранию?

Наши авторы ведь не заботились о пайке и не работали, они всё время мыслили высоко, — так ответьте.

Молчат. Глушь…

Вот и всё. Дырка заделана и закрашена (ещё подмазал генерал Горбатов под цвет). И не было дырки в Стене! А сам Архипелаг если и был, то — какой–то призрачный, ненастоящий, маленький, не стоящий внимания.

Что ещё? На всякий случай ещё подмажут журналисты. Вот Мих. Берестинский по поручению неутомимой «Литгазеты» (кроме литературы, она ничего не упустит) съездил на станцию Ерцево. И сам ведь, оказывается, сидел. Но как глубоко он растроган новыми хозяевами островов: «Невозможно даже представить себе в сегодняшних испрáв–труд–органах, в местах заключения, людей, хотя бы отдалённо напоминающих Волнового…[519] Теперь это подлинные коммунисты. Суровые, но добрые и справедливые люди. Не надо думать, что это бескрылые ангелы… (Оче-

---

[519] Примечания: 519

Вспомним А. Захарову: все те же и остались!

видно, такое мнение всё же существует… — АС.) Заборы с колючей проволокой, сторожевые вышки, увы, пока нужны. Но офицеры с радостью рассказывают, что всё меньше и меньше поступает «контингента»[520]. (Ачему они радуются— что до пенсии недотянут, придётся работу менять?)

Ма–аленький такой Архипелажик, карманный. Очень необходимый. Тает, как леденец.

Кончили заделку. Но, наверно, на леса ещё лезли доброхоты с мастерками, с кистями, с вёдрами штукатурки.

И тогда крикнули на них:

— Цыц! Назад! Вообще не вспоминать! Вообще — забыть! Никакого Архипелага не было— ни хорошего, ни плохого. Вообще— замолчать!

Так первый ответ был — судорожное порханье. Второй — основательная закладка пролома. Третий ответ— забытьё.

Право воли знать об Архипелаге вернулось в исходную глухую точку— в 1953 год.

И спокойно снова любой литератор может распускать благонюни о перековке блатных. Или снимать фильм, где служебные собаки сладострастно рвут людей.

---

[520] Примечания: 520

Мих. Берестинский. Здравствуй, мама // Литературная газета, 5 сентября 1964.

Всё делать так, как бы не было ничего, никакого пролома в Стене.

И молодёжь, уставшая от этих поворотов (то в одну сторону говорят, то в другую), машет рукой— никакого «культа», наверно, не было, и никаких ужасов не было, очередная трепотня. И идёт на танцы.

Верно сказано: пока бьют— пота и кричи! А после кричать станешь — не поверят.

* * *

Когда Хрущёв, вытирая слезу, давал разрешение на «Ивана Денисовича», он ведь твёрдо уверен был, что это— про сталинские лагеря, что у него — таких нет.

И Твардовский, хлопоча о верховной визе, тоже искренне верил, что это — о прошлом, что это — кануло.

Да Твардовскому простительно: весь публичный столичный мир, окружавший его, тем и жил, что вот— оттепель, что вот—хватать прекратили, что вот — два очистительных съезда, что вот возвращаются люди из небытия, да много их! За красивым розовым туманом реабилитаций скрылся Архипелаг, стал невидим вовсе.

Но я–то, я! — ведь и я поддался, а мне непрости-

тельно. Ведь и я не обманывал Твардовского! Я тоже искренне думал, что принёс рассказ — о прошлом. Уж мой ли язык забыл вкус баланды? — я ведь клялся не забывать. Уж я ли не усвоил природы собаководов? Уж я ли, готовясь в летописцы Архипелага, не осознал, до чего он сроден и нужен государству? О себе, как ни о ком, я уверен был, что надо мною невластен этот закон:

Дело–то забывчиво, тело–то заплывчиво.

Но— заплыл. Но— влип… Но— поверил… Благодушию метрополии поверил. Благополучию своей новой жизни. И рассказам последних друзей, приехавших оттуда: мягко стало! режим послабел! выпускают, выпускают! целые зоны закрывают! эмведешников увольняют…

Нет, — прах мы есть! Законам праха подчинены. И никакая мера горя недостаточна нам, чтоб навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не превзойдём праха— не будет на земле справедливых устройств — ни демократических, ни авторитарных.

Так неожидан оказался мне ещё третий поток писем, от зэков нынешних, хотя он–то и был самый естественный, хотя его–то и должен был я ждать в первой череде.

На измятых бумажках, истирающимся каран-

дашом, потом в конвертах случайных, надписанных уже часто вольняшками и отправленных, значит, полевой, — слал мне свои возражения, и даже гнев, — сегодняшний Архипелаг.

Те письма были тоже общий слитный крик. Но крик: «А мы!!??»

Ведь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли и заграницы, трубился втом смысле, что: «это — было, но никогда не повторится».

И взвыли зэки: как же не повторится, когда мы сейчас сидим, и в тех же условиях?!

«Со времён Ивана Денисовича ничего не изменилось», — дружно писали они из разных мест.

«Зэк прочтёт вашу книгу, и ему станет горько и обидно, что всё осталось так же».

«Что изменилось, если остались в силе все законы 25–летнего заключения, выпущенные при Сталине?»

«Кто же сейчас культ личности, что опять сидим ни за что?»

«Чёрная мгла закрыла нас — и нас не видят».

«Почему же остались безнаказанны такие, как Волковой?.. Они и сейчас у нас воспитателями».

«Начиная от захудалого надзирателя и кончая начальником управления, все кровно заинтере-

сованы в существовании лагерей. Надзорсостав за любую мелочь фабрикует Постановление; оперы чернят личные дела… Мы, двадцатипятилетни–ки, — булка с маслом, и ею насыщаются те порочные, кто призваны наставлять нас добродетели. Не так ли колонизаторы выдавали индейцев и негров за неполноценных людей? Против нас восстановить общественное мнение ничего не стоит, достаточно написать статью «Человек за решёткой»[521]… и завтра народ будет митинговать, чтобы нас сожгли в печах». Верно. Ведь всё верно.

«Ваша позиция — арьергард!» — огорошил меня Ваня Алексеев.

И от всех этих писем я, ходивший для себя в героях, увидел себя виноватым кругом: за десять

[521] Примечания: 521

И. Касюков и Н. Мончадская. Человек за решёткой // Советская Россия, 27 августа 1960. Инспирированная правительственными кругами статья, положившая конец недолгой (1955–1960) мягкости Архипелага. Авторы считают, что в лагерях созданы «благотворительные условия», в них «забывают о каре»; что «з/к не хотят знать своих обязанностей», «у администрации куда меньше прав, чем у заключенных» (?). Уверяют, что лагеря — это «бесплатный пансионат» (почему–то не взыскивают денег за смену белья, за стрижку, за комнаты свиданий). Возмущены, что в лагерях только 40–часовая неделя и даже будто бы «для заключённых труд не является обязательным» (??). Призывают: «к суровым и трудным условиям», чтобы преступник боялся тюрьмы (тяжёлый труд, жёсткие нары без матрасов, запрет вольной одежды), «никаких ларьков с конфетками» и т. д., к отмене досрочного освобождения («а если нарушишь режим — сиди дальше/»). И ещё — «чтобы, отбыв срок, заключённый не рассчитывал на милосердие».

лет я потерял живое чувство Архипелага.

Для них, для сегодняшних зэков, моя книга была— не в книгу, и правда— не в правду, если не будет продолжения, если не будет дальше сказано ещё и о них. Чтоб сказано было — и чтоб изменилось! Если слово не о деле и не вызовет дела, — так и на что оно? ночной лай собак на деревне?

(Я рассуждение это хотел бы посвятить нашим модернистам: вот так наш народ привык понимать литературу. И не скоро отвыкнет. И надо ли отвыкать?)

И очнулся я. И снова различил всё стоящую, знакомую, прежнюю скальную громаду Архипелага, его серые контуры в вышках.

Состояние советского общества хорошо описывается физическим полем. Все силовые линии этого поля направлены от свободы к тирании. Эти линии очень устойчивы, они врезались, они вкаменились, их почти невозможно взвихрить, сбить, завернуть. Всякий внесенный заряд или масса легко сдуваются в сторону тирании, но к свободе им пробиться — невозможно. Надо запрячь десять тысяч волов.

Теперь–то, после того как книга моя объявлена вредной, напечатание её признано ошибкой

(«последствия волюнтаризма в литературе»), изымается она уже и из вольных библиотек, — упоминание одного имени Ивана Денисовича или моего стало на Архипелаге непоправимой крамолой. Но тогда–то! тогда — когда Хрущёв жал мне руку и под аплодисменты представлял тем трём сотням, кто считал себя элитой искусства; когда в Москве мне делали «большую прессу» и корреспонденты томились у моего гостиничного номера; когда громко было заявлено, что партия и правительство поддерживают такие книги; когда Военная Коллегия Верховного Суда гордилась, что меня реабилитировала (как сейчас, наверно, раскаивается), и юристы–полковники заявляли с её трибуны, что книгу эту в лагерях должны читать] — тогда–то немые, безгласные, ненаименованные силы поля невидимо упёрлись — и книга остановилась! Тогда остановилась! И в редкий лагерь она попала законно, так, чтоб её брали читать из библиотеки КВЧ. Из библиотек её изъяли. Изымали её из бандеролей, приходивших кому–то с воли. Тайком, под полой, приносили её вольняшки, брали с зэков по 5 рублей, а то будто и по 20 (это — хрущёвскими тяжёлыми рублями! и это — с зэков! но, зная бессовестность прилагерного мира, не удивишься). Зэки проносили её

в лагерь через шмон, как нож; днём прятали, а читали по ночам. В каком–то североуральском лагере для долговечности сделали ей металлический переплёт.

Да что говорить о зэках, если и на сам прилагерный мир распространился тот же немой, но всеми принятый запрет. На станции Вис Северной железной дороги вольная Мария Асеева написала в «Литгазету» одобрительный отзыв на повесть — и то ли в ящик почтовый бросила, то ли неосторожно оставила на столе, — но через 5 часов после написания отзыва секретарь парторганизации В.Г. Шишкин обвинял её в политической провокации (и слова–то находят!) — и тут же она была арестована[522].

В Тираспольской ИТК–2 заключённый скульптор Л. Недов в своей придурочной мастерской лепил фигуру заключённого (фото 7), сперва из пластилина. Начальник режима капитан

Солодянкин обнаружил: «Да ты заключённого делаешь? Кто дал тебе право? Это — контрреволюция!» Схватил фигурку за ноги, разодрал и на пол швырнул половинки: «Начитался каких–то Иванов Денисовичей!» (Но дальше не растоп-

[522] Примечания: 522
Чем кончилась история — так и не знаю.

тал, и Недов половинки спрятал.) По жалобе Солодянкина Недов был вызван к начальнику лагеря Бакаеву, но за это время успел в КВЧ раздобыть несколько газет. «Мы тебя судить будем! Ты настраиваешь людей против советской власти!» — загремел Бакаев. (А понимают, чего стоит вид зэка!) «Разрешите сказать, гражданин начальник… Вот Никита Сергеевич говорит… Вот товарищ Ильичёв…» — «Да он с нами как с равными разговаривает!» — ахнул Бакаев. — Лишь через полгода Недов отважился снова достать те половинки, склеил их, отлил в баббите и через вольного отправил фигуру за зону.

Начались по ИТК–2 поиски повести. Был общий генеральный шмон в жилой зоне. Не нашли. Как–то Недов решил им отомстить: с «Гранит не плавится» Тевекеляна устроился вечером, будто от комнаты загородясь (при стукачах ребят просил прикрыть), а чтоб в окно было видно. Быстро стукнули. Вбежали трое надзирателей (а четвёртый извне через окно смотрел, кому он передаст). Овладели! Унесли в надзирательскую, спрятали в сейф. Надзиратель Чижик, руки в боки, с огромной связкой ключей: «Нашли книгу! Ну, теперь тебя посадят!» Но утром офицер посмотрел: «Эх, дураки!.. Верните».

Так читали зэки книгу, «одобренную партией и правительством»!..

* * *

В заявлении советского правительства от декабря 1964 года говорится: «Виновники чудовищных злодеяний ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не должны избежать справедливого возмездия... Ни с чем не сравнимы злодеяния фашистских убийц, стремившихся уничтожить целые народы».

Это — к тому, чтобы в ФРГ не разрешить применять сроков давности по прошествии двадцати лет.

Только вот самих себя судить не хочется, хотя бы и «стремились уничтожить целые народы».

У нас много печатается статей о том, как важно наказывать сбежавших западно–германских преступников. Есть просто специалисты по таким статьям: какая моральная подготовка должна была быть проведена нацистами, чтобы массовые убийства показались им естественными и нравственными? Теперь законодатели ищут защиты в том, что не они же исполняли приговоры. А исполнители— в том, что не они же издавали законы.

Как знакомо… Мы только что прочли у наших практических: «Содержание заключённых связано с исполнением приговора… Охрана не знала, кто за что сидит».

Так надо было узнать, если вы люди! Потому вы и злодеи, что не имели ни гражданского, ни человеческого взгляда на охраняемых людей. А разве не было инструкций и у нацистов? А разве не было у нацистов веры, что они спасают арийскую расу?

Да и наши следователи не запнутся (уже не запинаются) ответить: а зачем же заключённые сами на себя показывали? Надо было, мол, твёрдо стоять, когда мы их пытали! А зачем же доносчики сообщали ложные факты? Ведь мы опирались на них как на свидетельские показания.

Было короткое время — они забеспокоились. Уже упомянутый В.Н.Ильин (бывший ген. — лейтенант МГБ) сказал по поводу Столбунского (следователя генерала Горбатова, тот помянул его): «Ай, ай, как нехорошо! Ведь у него теперь неприятности начались. А человек хорошую пенсию получает». — Да потому кинулась писать и А.Ф. Захарова— взволновалась, что скоро за всех возьмутся; и о капитане Лихошерстове (!), которого «очернил» Дьяков, написала горячо. «Он

и сейчас капитан, секретарь парторганизации (!), трудится на сельхо–зе. И представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нём такое пишут! Идёт разговор, что Лихошерстова будут разбирать ичутъли не привлекать][523] Да за что?! Хорошо, если это только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются. Вот уж это произведёт настоящий фурор среди сотрудников МВД. Разбирать зато, что он выполнял все указания, которые давались сверху? А теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания? Вот это здорово! Стрелочник виноват!»

Но переполох быстро кончился. Нет, отвечать никому не придётся. Разбирать не будут никого.

Может быть, вот штаты немного кое–где сократились, да ведь перетерпеть — и расширятся! А пока гебисты, кто ещё не дослужил до пенсии или кому надо к пенсии добрать, пошли в писатели, в журналисты, в редакторы, в лекторы–антирелигиозники, в идеологические работники, кто — в директоры предприятий. Сменив перчатки, они по–прежнему будут нас вести. Так и надёжнее. (А кто хочет пребывать на пенсии— пусть благоденствует. Например, подполковник в отставке

[523] Примечания: 523
Она не допускает — «судить», этого и язык не выговорит.

Хурденко. Подполковник, экий чин! — небось батальоном командовал? Нет, в 1938 году начинал с простого вертухая, держал кишку насильственного питания.)

А в архивных управлениях пока, не торопясь, просматривают и уничтожают все лишние документы: расстрельные списки, постановления на ШИЗО и БУРы, материалы лагерных следствий, доносы стукачей, лишние данные о Практических Работниках и конвоирах. Да и в санчасти, и в бухгалтерии — везде найдутся лишние бумаги, лишние следы…

…Мы придём и молча сядем на пиру. Мы живые были вам не ко двору. А сегодня мы безмолвны и мертвы, Но и мёртвых нас ещё боитесь вы!

(Виктория Голъдовская, колымчанка)

Заикнёмся: ачто, правда, всё стрелочники да стрелочники? А как— со Службой Движения? А повыше, чем вертухаи, практические работники да следователи? Те, кто только указательным пальцем шевелил? Кто только с трибуны несколько слов…

Ещё раз, как это? — «виновники чудовищных злодеяний… ни при каких обстоятельствах… справедливого возмездия… ни с чем не сравнимы… стремившихся уничтожить целые народы…»

Тш–ш–ш! Тш–ш–ш! Потому–то в августе 1965 года с трибуны Идеологического Совещания (закрытого совещания о Направлении наших умов) и было возглашено: «Пора восстановить полезное и правильное понятие «враг народа»!»

Глава 2. ПРАВИТЕЛИ МЕНЯЮТСЯ, АРХИПЕЛАГ ОСТАЁТСЯ

Надо думать, Особые лагеря были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий наконец родилось это зрелое совершенство: эта однообразная, пронумерованная, сухочленённая организация, психологически уже изъятая из тела матери–Родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающая только производственные ценности и трупы. Трудно даже себе представить ту авторскую боль, которую испытал бы Дальновидный Зодчий, если бы стал свидетелем банкротства ещё и этой своей великой системы. Она уже при нём сотрясалась, давала вспышки, покрывалась трещинами — но, вероятно, докладов о том не было сделано ему из осторожности. Система Особых лагерей, сперва инертная, малоподвижная, неугрожающая, — быстро испытывала внутренний разогрев и в несколько лет перешла в состояние вулканической лавы. Проживи Корифей ещё год–полтора — и никак не утаить было бы от него этих взрывов,

и на его утомлённую старческую мысль легла бы тяжесть ещё нового решения: отказаться от любимой затеи и снова перемешать лагеря или же, напротив, завершить её систематическим перестрелом всех литерных тысяч.

Но, навзрыд оплакиваемый, Мыслитель умер несколько прежде того (фото 8). Умерев же, вскоре с грохотом потащил за собою костенеющей рукой и своего ещё румяного, ещё полного сил и воли сподвижника — министра этих самых обширных, запутанных, неразрешимых внутренних дел.

И падение Шефа Архипелага трагически ускорило развал Особых лагерей. (Какая это была историческая непоправимая ошибка! Разве можно было потрошить министра интимных дел! Разве можно было ляпать мазут на небесные погоны?!)

Величайшее открытие лагерной мысли XX века — лоскуты номеров — были поспешно отпороты, заброшены и забыты! Уже от этого Особлаги потеряли свою строгую единообразность. Да что там, если решётки с барачных окон и замки с дверей тоже были сняты, и Особлаги потеряли приятные тюремные особенности, отличавшие их от ИТЛ. (С решётками, наверное,

поспешили— но и опаздывать было нельзя, такое время, что надо было отмежеваться!) Как ни жаль— но эки–бастузский каменный БУР, устоявший против мятежников, теперь сломали и снесли вполне официально…[524] Да что там, если внезапно освободили начисто из Особлагов — австрийцев, венгров, поляков, румын, мало считаясь с их чёрными преступлениями, с их 15–и 25–летними сроками и тем самым подрывая в глазах заключённых всю весомость приговоров. И сняты были ограничения переписки, благодаря которым только и чувствовали себя особлаговцы по–настоящему заживо умершими. И даже разрешили свидания! — страшно сказать: свидания!.. (И даже в мятежном Кенгире стали строить для них отдельные маленькие домики.) Ничем не удерживаемый либерализм настолько затопил недавние Особые лагеря, что заключённым разрешили носить причёски (и алюминиевые миски с кухни стали исчезать для переделки на алюминиевые гребешки). И вместо лицевых счетов и вместо особлаговских бон туземцам разрешили держать в руках общегосударственные деньги и рассчитываться ими, как зазонным людям.

---

[524] Примечания: 524
И лишили нас возможности открыть там музей.

Беспечно, безрассудно разрушали ту систему, от которой сами же кормились, — систему, которую плели, вязали и скручивали десятилетиями!

А закоренелые эти преступники — хоть сколько–нибудь смягчились от поблажек? Нет! Напротив! Выявляя свою испорченность и неблагодарность, они усвоили глубоко неверное, обидное и бессмысленное слово «бериевцы» — и теперь всегда, когда что–нибудь им не нравилось, в выкриках честили им и добросовестных конвоиров, и терпеливых надзирателей, и заботливых опекунов своих— лагерное руководство. Это не только было обидно для сердец Практических Работников, но сразу после падения Берии это было даже и опасно, потому что кем–то могло быть принято как исходная точка обвинения.

И поэтому начальник одного из кенгирских лагпунктов (уже очищенного от мятежников и пополненного экибастуз–цами) вынужден был с трибуны обратиться так: «Ребята! (на эти короткие годы с 1954 до 1956 сочли возможным называть заключённых «ребята»). Вы обижаете надзорсостав и конвой криками «бериевцы»! Я вас прошу это прекратить». На что выступавший маленький В.Г. Власов сказал: «Вы вот за несколько месяцев обиделись. А я от вашей охраны 18

лет, кроме «фашист», ничего не слышу. А нам не обидно?» И обещал майор— пресечь кличку «фашисты». Баш на баш.

После всех этих злоплодных разрушительных реформ можно считать отдельную историю Особлагов законченной 1954 годом и дальше не отличать их от ИТЛ.

Повсюду на разворошенном Архипелаге с 1954 по 1956 год установилось льготное время — эра невиданных поблажек, может быть, самое свободное время Архипелага, если не считать бытовых домзаков середины 20–х годов.

Одна инструкция перед другой, один инспектор перед другим выкобенивались, как бы ещё пораздольнее развернуть в лагерях либерализм. Для женщин отменили лесоповал! — да, было признано, что лесоповал для женщин якобы тяжёл (хотя тридцатью непрерывными годами доказано было, что нисколько не тяжёл). — Восстановили условно–досрочное освобождение для отсидевших две трети срока. — Во всех лагерях стали платить деньги, и заключённые хлынули в ларьки, и не было разумных режимных ограничений этих ларьков, да при широкой бесконвойности какой ему режим? — он мог на эти деньги и в посёлке покупать. — Во все бараки повели радио,

насытили их газетами, стенгазетами, назначили агитаторов по бригадам. Приезжали товарищи лекторы (полковники!) и читали лагерникам на разные темы — даже об искажении истории Алексеем Н. Толстым, но не так просто было руководству собрать аудиторию, палками загонять нельзя, нужны косвенные методы воздействия и убеждения. А собравшиеся гудели о своём и не слушали лекторов. — Разрешили подписывать лагерников на заём, но, кроме благонамеренных, никто не был этим растроган, и воспитателям просто за руку каждого приходилось тянуть к подписному листу, чтобы выдавить из него какую–нибудь десятку (по–хрущёвски — рубль). По воскресеньям стали устраивать совместные спектакли мужских и женских зон — сюда валили охотно, даже галстуки покупали в ларьках.

Оживлено было многое из золотого фонда Архипелага— та самозабвенность и самодеятельность, которою он жил во времена Великих Каналов. Созданы были «Советы Актива» с секторами учебно–производственным, культурно–массовым, бытовым, как местком, и с главною задачей— бороться за производительность труда и за дисциплину. Воссоздали «товарищеские суды» с правами: выносить порицание, налагать штраф

и просить об усилении режима, о неприменении двух третей.

Мероприятия эти когда–то хорошо служили Руководству— но то было в лагерях, не прошедших выучку особлаговской резни и мятежей. А теперь очень просто: первого же предсовета (Кенгир) зарезали, второго избили — и никто не хотел идти в Совет Актива. (Кавторанг Бурковский работал в это время в Совете Актива, работал сознательно и принципиально, но с большой осторожностью, всё время получая угрозы ножа, и ходил на собрания бандеровской бригады выслушивать критику своих действий.)

А безжалостные удары либерализма всё подкашивали и подкашивали систему лагерей. Устроены были «лагпункты облегчённого режима» (и в Кенгире был такой!): по сути, в зоне только спать, потому что на работу ходить бесконвойно, любым маршрутом и в любое время (все и старались пораньше уйти, попозже вернуться). В воскресенье же третья часть зэков увольнялась в город до обеда, третья часть после обеда и только одна треть оставалась не удостоенной поселковой прогулки.

Это не значит, что мягкости были уж так повсеместны. Сохранялись же и лагпункты штрафные,

вроде «всесоюзного штрафняка» Анзёбы под Братском — всё с тем же кровавым капитаном Мишиным из Озёрла–га. Летом 1955 там было около 400 штрафников (в том числе Тэнно). Но и там хозяевами зоны стали не надзиратели, а заключённые.

Пусть читатель поставит себя в положение лагерных руководителей и скажет: можно ли в таких условиях работать? и на какой успех можно рассчитывать?

Один офицер МВД, мой спутник по сибирскому поезду в 1962 году, всю эту лагерную эпоху с 1954 описал так: «Полный разгул. Кто не хотел — и на работу не ходил. За свои деньги покупали телевизоры»[525]. У него остались очень мрачные воспоминания от той короткой недоброй эпохи.

Потому что не может быть добра, если воспитатель стоит перед арестантом как проситель, не имея позади себя ни плётки, ни БУРа, ни шкалы голода.

Но ещё как будто было мало этого всего! — ещё двинули по Архипелагу тараном зазонного содержания: арестанты вообще уходят жить за зону могут обзаводиться домами и семьями, зарплата

---

[525] Примечания: 525

Если не работали — откуда деньги? Если на Севере, да ещё в 1955, — откуда телевизоры? Ну да уж я не перебивал, рад был послушать.

им выплачивается, как вольным, вся (уже не удерживается на зону, на конвой, на лагерную администрацию), а с лагерем у них только та остаётся связь, что раз в две недели они приходят сюда отмечаться.

Это был уже конец!.. Конец света, или конец Архипелага, или того и другого вместе! — а юридические органы ещё восхваляли это зазонное содержание как гуманнейшее новейшее открытие коммунистического строя![526]

После этих ударов оставалось, кажется, только распустить лагеря — и всё. Погубить великий Архипелаг, погубить, рассеять и обескуражить сотни тысяч Практических Работников с их жёнами, детьми и домашним скотом, свести на ничто выслугу их лет, их звания, их беспорочную службу!

И кажется, это уже началось: стали приезжать в лагеря какие–то «Комиссии Верховного Совета», или, проще, «разгрузочные», и, отстраняя лагерное руководство, заседали в штабном бараке и выписывали ордера на освобождение с такой лёгкостью и безответственностью, будто это были

[526] Примечания: 526

К тому же описанное (вместе с «зачётами» и «условно–досрочным освобождением») ещё Чеховым в «Сахалине»: каторжные из разряда исправляющихся имели право строить дома и вступать в брак.

ордера на арест.

Над всем сословием Практических Работников нависла смертельная угроза. Надо было что–то предпринимать! Надо же было бороться]

* * *

Всякому важному общественному событию в СССР уготован один из двух жребиев: либо оно будет замолчано, либо оно будет оболгано. Яне могу назвать значительного события в стране, которое избежало бы этой рогатки.

Так и всё существование Архипелага: большую часть времени оно замалчивалось, когда же что–нибудь о нём писали — то лгали: во времена ли Великих Каналов или о разгрузочных комиссиях 1956 года.

Да с комиссиями этими, даже и без газетного наговора, без внешней необходимости, мы сами способствовали, чтобы сентиментально прилгать тут. Ведь как же не растрогаться: мы привыкли к тому, что даже адвокат нападает на нас, а тут прокурор — и нас защищает! Мы истомились по воле, мы чувствуем — там какая–то новая жизнь начинается, мы это видим и по лагерным изменениям, — и вдруг чудодейственная полновластная комиссия, поговорив с каждым пять–десять

минут, вручает ему железнодорожный билет и паспорт (кому–то — и с московской пропиской)! Да что же, кроме хвалы, может вырваться из нашей истощённой, вечно простуженной хрипящей арестантской груди?

Но если чуть приподняться над нашей колотящейся радостью, бегущей упихивать тряпки в дорожный мешок, — таково ли должно было быть окончание сталинских злодеяний? Не должна ли была бы эта комиссия выйти перед строем, снять шапки и сказать:

— Братья! Мы присланы Верховным Советом просить у вас прощения. Годами и десятилетиями вы томились тут, не виновные ни в чём, а мы собирались в торжественных залах под хрустальными люстрами и ни разу о вас не вспомнили. Мы покорно утверждали все бесчеловечные указы Людоеда, мы — соучастники его убийств. Примите же наше позднее раскаяние, если можете. Ворота— открыты, и вы — свободны. Вон, на площадке, садятся самолёты с лекарствами, продуктами и тёплой одеждой для вас. В самолётах— врачи.

В обоих случаях— освобождение, да не так оно подано, да не в том его смысл. Разгрузочная комиссия — это аккуратный дворник, который идёт

по сталинским блевотинам и тщательно убирает их, только всего. Здесь не закладываются новые нравственные основы общественной жизни.

Я привожу дальше суждение А. Скрипниковой, с которым я вполне согласен. Заключённые поодиночке (опять разобщённые!) вызываются на комиссию в кабинет. Несколько вопросов о сути его судебного дела. Они заданы доброжелательно, вполне любезно, но они клонятся к тому, что заключённый должен признать свою вину (не Верховный Совет, а опять–таки несчастный заключённый!). Он должен помолчать, он должен голову склонить, он должен попасть в положение прощённого, а не прощающего! То есть, маня свободой, от него добиваются теперь того, чего раньше не могли вырвать и пытками. Зачем это? Это важно: он должен вернуться на волю робким. А заодно протоколы комиссии представят Истории, что сидели–то в основном виноватые, что уже таких–то зверских беззаконий и не было, как разрисовывают. (Вероятно, и финансовый был расчётец: не будет реабилитации — не будет

реабилитационной компенсации[527].) Такое истолкование освобождения не взрывало и самой системы лагерей, не создавало помех новым поступлениям (которые не пресекались и в 1956–1957), никаких не получалось обязательств, что их тоже освободят.

А тех, кто перед комиссией по гордости отказывался признать себя виновным? Тех оставляли сидеть. Не очень было их и мало. (Женщин, не раскаявшихся в Дубравлаге в 1956 году, собрали и отправили в Кемеровские лагеря.)

Скрипникова рассказывает о таком случае. Одна западная украинка имела 10 лет за мужа–бандеровца, от неё потребовали теперь признать, что сидит за мужа–бандита. «Ни, нэ скажу». — «Скажи, на свободу пойдёшь!» — «Ни, нэ скажу. Вин — нэ який нэ бандит, вин— ОУНовец». — «Ну а не хочешь— сиди!» (председатель комиссии— Соловьёв). — Прошло всего несколько дней, и к ней пришёл на свидание едущий с севера муж. У него было 25 лет, он легко признал себя бандитом и помилован. Он не оценил жениной стойкости,

[527] Примечания: 527

Кстати, в начале 1955 года был проект выплачивать за все просиженные годы, что было вполне естественно и выплачивалось так в Восточной Европе. Но не столько ж людей и не по столько лет! Подсчитали, ахнули: разорим государство! И перешли к компенсации двухмесячной.

а накинулся на нее с упрёками: «Та казала б, шо я — дьявол с хвостом, шо копыта у меня бачила. А яка мини теперь справа с хозяйством та с детьми?»

Напомним, что и Скрипникова отказалась признать себя виновной и осталась ещё три года сидеть.

Так даже эра свободы пришла на Архипелаг в прокурорской мантии.

Но всё же не пуст был переполох Практических Работников: небывалое сочетание звёзд сошлось на небе Архипелага в 1955–1956 годах. Это были его роковые годы и могли бы стать его последние годы!

Если бы люди, облечённые высшей властью и отягчённые полнотой информации о своей стране, ещё могли бы в эти годы оглянуться, и ужаснуться, и зарыдать? Ведь кровавый мешок за спиной, он весь сочится, он пятнает багрово всю спину! Политических распустили — а бытовиков миллионы кто же напёк? Не производственные ли отношения? не среда ли? Не мы ли сами?.. Не вы ли?

Так к свиньям собачьим надо было отбросить космическую программу! Отложить попечение о морском флоте Сукарно и гвардии Кваме Нкру-

мы! Хотя бы сесть да затылок почесать: как же нам быть? Почему наши лучшие в мире законы отвергаются миллионами наших граждан? Что заставляет их лезть в это гибельное ярмо, и чем невыносимее ярмо — тем ещё гуще лезут? Да как, чтобы этот поток иссяк? Да, может, законы наши — не те, что надо? (А тут бы не обошлось подумать о школе задёрганной, о деревне запущенной и о многом том, что называется просто несправедливостью без всяких классовых категорий.) Да тех, уже попавших, как нам к жизни вернуть? — не дешёвым размахом «ворошиловской» амнистии, а душевным разбором каждого павшего — и дела его, и личности.

Ну, кончать Архипелаг — надо или нет? Или он — навеки? Сорок лет он гнил в нашем теле, — хватит?

Нет, оказывается! Нет, не хватит! Мозговые извилины напрягать — лень, а в душе и вовсе ничего не отзванивает. Пусть Архипелаг ещё на сорок лет останется, а мы займёмся Асуанской плотиной и воссоединением арабов!

Историкам, привлечённым к 10–летнему царствованию Никиты Хрущёва, когда вдруг как бы перестали действовать некие физические законы, к которым мы привыкли; когда пред-

меты стали на диво двигаться против сил поля и против сил тяжести, — нельзя будет не поразиться, как много возможностей на короткое время сошлось в этих руках и как возможности эти использовались словно бы в игру, в шутку, а потом покидались беспечно. Удостоенный первой после Сталина силы в нашей истории — уже ослабленной, но ещё огромной силы, — он пользовался ею, как тот крыловский Мишка на поляне, перекатывая чурбан без цели и пользы. Дано ему было втрое и впятеро твёрже и дальше прочертить освобождение страны — он покинул это, как забаву, не понимая своей задачи, покинул для космоса, для кукурузы, для кубинских ракет, берлинских ультиматумов, для преследования Церкви, для разделения обкомов, для борьбы с абстракционистами.

Ничего никогда он не доводил до конца — и меньше всего дело свободы. Нужно было натравить его на интеллигенцию? — ничего не было проще. Нужно было его руками, разгромившими сталинские лагеря, — лагеря же теперь и укрепить? — это было легко достигнуто. И — когда?

В 1956 году— году XX съезда — уже были изданы первые ограничительные распоряжения по лагерному режиму! Они продолжены в 1957

году— году прихода Хрущёва к полной безраздельной власти.

Но сословие Практических Работников ещё не было удовлетворено. И, чуя победу оно шло в контратаку: так жить нельзя! Лагерная система — опора советской власти, а она гибнет!

Главное воздействие, конечно, велось негласно— там где–то за банкетным столом, в салоне самолёта и на лодочной дачной прогулке, но и наружу эти действия иногда прорывались— то выступлением «депутата» Б.И. Самсонова на сессии Верховного Совета (декабрь 1958): заключённые–де живут слишком хорошо, они довольны (!) питанием (а должны быть постоянно недовольны…), с ними слишком хорошо обращаются. (Ив «парламенте», не признавшем свою прежнюю вину, никто, конечно, Самсонову не отповедал.) То — сокрушительной газетной статьёю о «человеке за решёткой» (1960).

И, поддавшись этому давлению; ни во что не вникнув; не задумавшись, что не увеличилась же преступность за эти пять лет (а если увеличилась, то надо искать причин в государственной системе); не соотнеся эти новые меры со своею же верой в торжественное наступление коммунизма, не изучив дела в подробностях, не посмотрев

своими глазами, — этот проведший «всю жизнь в дороге» царь легко подписал наряд на гвозди, быстро сколотившие эшафот в его прежней форме и прочности.

И всё это произошло в тот самый 1961 год, когда Никита сделал ещё один последний лебединый порыв вырвать телегу свободы в облака. Именно в 1961 году— году XXII съезда — был издан указ о смертной казни в лагерях «за террор против исправившихся (то бишь против стукачей) и против надзорсостава» (да его и не было никогда!) и утверждены были пленумом Верховного Суда (июнь 1961) четыре лагерных режима — теперь уже не сталинских, а хрущёвских.

Всходя на трибуну съезда для новой атаки против сталинской тюремной тирании, Никита только–только что попустил завинтить и свою системку не хуже. И всё это искренне казалось ему уместимым и согласуемым!..

Лагеря сегодня — это и есть те лагеря, как утвердила их партия перед XXII съездом. С тех пор такими они и стоят.

Не режимом отличаются они от сталинских лагерей, а только составом заключённых: нет многомиллионной Пятьдесят Восьмой. Но также сидят миллионы, и так же многие — беспомощ-

ные жертвы неправосудия: заметены сюда, лишь только б стояла и кормилась система.

Правители меняются. Архипелаг остаётся.

Он потому остаётся, что этот государственный режим не мог бы стоять без него. Распустивши Архипелаг, он и сам перестал бы быть.

* * *

Не бывает историй бесконечных. Всякую историю надо где–то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю Архипелага от алых залпов его рождения до розового тумана реабилитации. На этом славном периоде мягкости и разброда накануне нового хрущёвского ожесточения лагерей и накануне нового Уголовного кодекса сочтём нашу историю оконченной. Найдутся другие историки— те, кто, по несчастью, знают лучше нас лагеря хрущёвские и послехрущёвские.

Да они уже нашлись: это Святослав Караванский и Анатолий Марченко[528]. И будут ещё всплывать во множестве, ибо скоро, скоро насту-

[528] Примечания: 528

Св. Караванский. Ходатайство. Самиздат, 1966. Анатолий Марченко. Мои показания. Самиздат, 1968. (В России книга опубликована в 1991 году в изд–ве «Московский рабочий». — Примеч. ред.)

пит в России эра гласности!

Например, книга Марченко даже притерпевшееся сердце старого лагерника сжимает болью и ужасом. А в описании современного тюремного заключения она даёт нам тюрьму ещё более Нового Типа, чем та, о которой толкуют наши свидетели. Мы узнаём, что Рог, второй рог тюремного заключения (Часть Первая, глава 12), взмыл ещё круче, вкололся в арестантскую шею ещё острей. Сравнением двух зданий Владимирского централа — царского и советского — Марченко вещественно объясняет нам, почему не состаивается аналогия с царским периодом русской истории: царское здание сухое и тёплое, советское — сырое и холодное (в камере мёрзнут уши! и никогда не снимаются бушлаты), царские окна заложены советскими кирпичами вчетверо — да не забудьте намордники!

Однако Марченко описывает только Дубравлаг, куда ныне стянуты политические со всей страны. Ко мне же стёкся материал по лагерям бытовым, из разных мест— и перед авторами писем я в долгу, не должен смолчать. И в долгу вообще перед бытовиками: я мало уделил им во всей толще пройденной книги.

Итак, постараюсь изложить главное, что мне

известно о положении в современных лагерях.

Да каких «лагерях»? Лагерей–то нет, вот в чём важная новинка хрущёвских лет! От этого кошмарного сталинского наследия мы избавились! Порося перекрестили в карася, и вместо лагерей у нас теперь… колонии (метрополия — колонии, туземцы живут в колониях, так ведь и должно быть?). И стало быть, уже не ГУЛАГ, а ГУИТК (ну да памятливый читатель удержал, что итак он назывался когда–то, всё уже было). Если добавить, что и МВД у нас теперь нет, а только МООП, то признаем, что заложены все основы законности и не о чем шум поднимать[529].

Так вот, режимы введены слета 1961 года такие: общий — усиленный — строгий — особый (без «особого» мы никуда с 1922 года…). Выбор режима производится приговаривающим судом «в зависимости от характера и тяжести преступления, а также (якобы) от личности преступника». Но проще и короче: пленумами Верховных судов республик разработаны перечни статей Уголовного

[529] Примечания: 529

Интересно, как, при публичных и неизменных похвалах деятельности этого учреждения, оно с каким–то внутренним поиском никак не может долго оставаться в шкуре одного названия, что–то тяготит его, всё время должно оно переползать в обновлённую шкуру. Так получили мы и МООП. Кажется — совсем ново, правда, очень свежо для слуха? Но ехидный язык непременно обманет и выдаст. Министерство–то получилось охраны, то есть охранка! Вот рок названий! Куда от них уйти?

кодекса, по которым и видно, кого куда совать. Это — впредь, это — свежеосуждае–мых. А то живое население Архипелага, кого хрущёвская предсъездовская реформа застигла на Архипелаге — в «зазонном содержании», бесконвойными и на облегчённом режиме? Тех «рассмотрели» местные народные суды по перечням статей (ну, может быть, ещё по ходатайствам местных оперов) — и рассовали по четырём режимам[530].

Эти метания так легки и веселы на верхней палубе! — вправо руль на девяносто! влево руль на девяносто! — но каковы они грудным клеткам в немом и тёмном трюме? Года

3–4 назад сказали: обзаводитесь семьями, домами, плодитесь и живите — вас уже греет солнце наступающего коммунизма. Ничего плохого вы с тех пор не совершили, вдруг — лай собак, хмурые цепи конвоиров, перекличка по делам, и семья ваша осталась в недостроенном доме, а вас угоняют за какую–то новую проволоку. «Гражданин начальник, а— хорошее поведение?.. Гражданин начальник, а— добросовестный труд?..» Кобелю под хвост ваше хорошее поведение! Кобелю под

[530] Примечания: 530

А как учитывалась при этом степень «исправленности» данного преступника? Да никак, что мы — электронные машины, что ли! Мы не можем всего учесть!

хвост ваш добросовестный труд!..

Какая, какая ответственная администрация на земле допустит вот такие повороты и прыжки? Разве только в нарождающихся африканских государствах…

Что за мысль руководила реформой 1961 года— истинная, не показная? (Показная — «добиться лучшего исправления».) По–моему, вот какая: лишить заключённого материальной и личной независимости, невыносимой для Практических Работников, поставить его в положение, когда на его желудке отзывалось бы одно движение пальца Практического Работника, — то есть сделать зэка вполне управляемым и подчинённым. Для этого надо было: прекратить массовую бесконвой–ность (естественную жизнь людей, осваивающих дикие места), всех загнать в зону, сделать основное питание недостаточным, пресечь подсобные его средства: заработок и посылки.

А посылка в лагере — это не только пища. Это — всплеск моральный, это — кипучая радость, руки трясутся: ты не забыт, ты не одинок, о тебе думают! Мы в наших каторжных Особлагерях могли получать неограниченное число посылок (их вес — 8 килограммов — был общепочтовым

ограничением). Хотя получали их далеко не все и неравномерно, но это неизбежно повышало общий уровень питания в лагере, не было такой смертной борьбы. Теперь введено и ограничение веса посылки — 5 кг — и жестокая шкала: в год не более шести–че–тырёх–трёх–двух посылок соответственно по режимам. То есть на самом льготном общем режиме человек может получить раз в два месяца пять килограммов, куда входят и упаковка и, может быть, что–то из одежды, — и значит, меньше 2 кг в месяц на все виды еды! А при режиме особом— 600 грамм в месяц…[531]

Да если б их–то давали!.. Но и эти жалкие посылки разрешаются лишь тем, кто отсидел более половины срока. И чтобы не имел никаких «нарушений» (чтобы нравился оперу, воспитателю, надзирателю и надзирателеву поросёнку)! И обязательно 100% производственного выполнения. И обязательное участие в «общественной жизни» колонии (в тех тощих концертах, о которых пишет Марченко; в тех насильственных спартакиадах, когда человек падает от слабости; или хуже— в подручных надзорсостава).

---

[531] Примечания: 531

Эти и последующие режимные условия в течение 60–х и 70–х годов всё ужесточались. (Примеч. 1980 г.)

Поперхнёшься и той посылкой! За этот ящичек, собранный твоими же родственниками, — требуют ещё душу твою!

Читатель, очнитесь! Мы историю — кончили, мы историю уже захлопнули. Это — сейчас, сегодня, когда ломятся наши продуктовые магазины (хотя бы в столице), когда вы искренне отвечаете иностранцам, что наш народ вполне насытился. А наших оступившихся (а часто ни в чём не виноватых, вы же поверили наконец в мощь нашего правосудия!) соотечественников исправляют голодом вот так! Им снится — хлеб!

(Ещё заметим, что самодурству лагерных хозяев предела нет, контроля нет! Наивные родственники присылают бандероль — с газетами или с лекарствами. И бандероль засчитывают как посылку! — очень много случаев таких, из разных мест пишут. Начальник режима срабатывает, как робот с фотоглазом: штука! А посылку, пришедшую следом, — отправляют назад.)

Зорко следится также, чтоб ни кусочек съедобный не был передан зэку и при свидании! Надзиратели видят свою честь и свой опыт втом, чтоб такого не допустить. Для этого приезжающих вольных женщин обыскивают, обшаривают перед свиданием! (Ведь Конституцией же это

не запрещено! Ну, не хочет— пусть уезжает не повидавшись.)

Ещё плотней заложен путь приходу денежных поступлений в колонию: сколько бы ни прислано было родственниками, всё это зачисляется на лицевой счёт «до освобождения» (то есть государство беспроцентно берёт у зэка взаймы на 10 и 25 лет). И сколько бы ни заработал зэк — он этих денег тоже не увидит.

Хозрасчёт такой: труд заключённого оплачивается в 70% от соответственной зарплаты вольного (а — почему? разве его изделия пахнут иначе? Если б это было на Западе, это называлось бы эксплуатацией и дискриминацией). Из оставшегося вычитается 50% в пользу колонии (на содержание зоны, Практических Работников и собак). Из следующего остатка вычитается за харчи и обмундирование (можно себе представить, почём идёт баланда с рыбьими головами). И последний остаток зачисляется на лицевой счёт «до освобождения». Использовать же в лагерном ларьке заключённый может в месяц соответственно по режимам: 10–7–5–3 рубля. (Но из Каликаток Рязанской области жалуются, что за всеми вычетами даже этих 5 рублей у людей не осталось— на ларёк не хватило.) А вот сведения

из правительственной газеты «Известия» (ещё в льготное время, март 1960, и рубли ещё дутые, сталинские): ленинградская девушка Ирина Папина, которая до нарывов по всем пальцам корчевала пни, стаскивала камни, разгружала вагоны, заготовляла дрова, зарабатывала… 10 рублей в месяц (хрущёвский рубль— один в месяц).

А дальше идёт «режимное оформление» самого ларька, пересечённое с равнодушием торговцев. По выворотному свойству колониального режима (ведь так теперь правильно будет говорить вместо «лагерного»? Языковеды, как быть, если острова сами переименовались в колонии?..) ларёк–льгота превращается в ларёк–наказание, в то слабое место зэка, по которому его бьют. Почти в каждом письме, из колоний сибирских и архангельских, пишут об этом: ларьком наказывают! ларька лишают за каждый мелкий проступок. Там за опоздание в подъёме на три минуты лишался ларька на три месяца (это называется у зэков «удар по животу»). Там не успел письмо кончить к вечернему обходу — на месяц лишили ларька. Там лишили потому, что «язык не так подвешен». А из Усть–Вымской колонии строгого режима пишут: «что ни день, то серия приказов на лишение ларька— на месяц, на два, на три.

Каждый четвёртый человек имеет нарушения. А то бухгалтерия за текущий месяц забыла тебе начислить, пропустила в списке, — уж это пропало». (Другое дело— в карцер сразу не посадили, это и за прошлое не пропадёт.)

Старого зэка, пожалуй, не удивишь. Обычные черты бесправия.

Ещё пишут: «дополнительно два рубля в месяц могут быть выписаны за трудовые успехи. Но чтоб их получить, надо совершить на производстве героический поступок».

Вы подумайте только, как высоко ценится труд в нашей стране: за выдающиеся трудовые успехи— два рубля в месяц (и то — с собственного твоего счёта).

Вспоминают и норильскую историю, правда 1957 года, — ещё при блаженной передышке: какие–то неизвестные зэки съели любимую собаку распорядителя кредита Воронина, и за это в наказание семь месяцев (!) весь лагерь «летел без зарплаты».

Очень реально, очень по–островному.

Возразит Историк–Марксист: это анекдотический случай, зачем о нём? А нарушитель, сами сказали, только каждый четвёртый. Значит, веди себя примерно, и даже на строгом режиме тебе

обеспечены три рубля в месяц — килограмм сливочного масла почти.

Как бы не так! Вот повезло этому Историку с его «лотереей» (да и статейки писал очень правильные) — не побывал в лагере. Это хорошо, если в ларьке есть хлеб, дешёвые конфеты и маргарин. А то хлеб — 2–3 раза в месяц. А конфеты — только дорогие. Какое там сливочное масло, какой там сахар! — если торговец будет ретив (но он не будет), так есть Руководство — ему подсказать. Зубной порошок, паста, щётки, мыло, конверты (да и то не везде, а уж писчую бумагу— нигде, ведь на ней жалобы пишут!), дорогие папиросы— вот ассортимент ларька. Дане забудьте, дорогой читатель, что это — не тот ларёк на воле, который каждое утро открывает свои створки, и вы можете взять сегодня на 20 копеек и завтра на 20 копеек, нет! У нас так: на 2 дня в месяц откроется этот ларёк, ты простой в очереди три часа, да, зайдя (товарищи из коридора торопят), набирай сразу на все свои рубли — потому что их нет у тебя на руках, этих рублей, а сколько в ведомости стоит, столько набирай сразу: бери десять пачек папирос, бери четыре тюбика пасты!

И остаётся бедному зэку норма — его туземная колониальная норма (а колония–то— за Поляр-

ным кругом): хлеба— 700 граммов, сахара— 13, жиров— 19, мяса— 50, рыбы — 85. (Да это только цифры! — и мясо и рыба придут такие, что тут же половину отрежут и выбросят). Это — цифры, а в миске их не может быть, не бывает. Баланду свою описывают с Усть–Неры так: «пойло, которое не всякая колхозная скотина будет есть». Из Норильска: «магара и сечка господствуют по сегодняшний день». А ещё есть и стол штрафников: 400 г хлеба и один раз в день горячее.

Правда, на Севере для «занятых на особо тяжёлых работах» выписывают некое дополнительное питание. Но, уже зная острова, знаем мы, как в тот список трудно попасть (не всё тяжёлое есть «особо тяжёлое») и что губит «большая пайка»... Вот Пичугин, «пока был пригоден, намывал по 40 кг золота за сезон, перетаскивал задень на плечах по 700–800 шпал, — но на 13–м году заключения стал инвалидом— и переведен на униженную норму питания». Неужели, спрашивает, у такого человека стал меньше размер желудка?

А мы вот как спросим: этот один Пичугин своими сорока килограммами золота — сколько дипломатов содержал? Уж посольство в Непале — всё полностью! А у них там — не униженная норма?

Из разных мест пишут: общий голод, всё впроголодь. «У многих язвы желудка, туберкулёз». Иркутская область: «У молодёжи— туберкулёз, язва желудка». Рязанская область: «Много туберкулёзников».

И уж вовсе запрещается что–либо своё варить или жарить, как это разрешалось в Особлагах. Да и— из чего?..

Вот та древняя мера — Голод, — какой достигнута управляемость нынешних туземцев.

А ко всему тому — работа, с нормами увеличенными: ведь с тех пор «производительность» (человеческих мускулов) выросла. Правда, день— 8–часовой. Те же бригады: зэк погоняет зэка. В Каликатках убедили 2–ю группу инвалидов идти на работу, обещая за то применить к ним «двух–третное» освобождение, — и безрукие, безногие кинулись занимать посты 3–й инвалидной группы— а тех погнали на общие.

Но если не хватает всем работы, но если короток рабочий день, но если, увы, не заняты воскресенья, если труд–чародей отказывается нам перевоспитать эти отбросы, — то ведь ещё остаётся у нас Чародей — режим!

Пишут с Оймякона и из Норильска, с режима особого и с режима усиленного: всякие собствен-

ные свитеры, душегрейки, тёплые шапки, уж о шубах нечего и говорить— отбираются! (Это 1963 год! 46–й год эры Октября!) «Не дают тёплого белья и не дают ничего тёплого надеть под страхом карцера» (Крас–лаг, Решёты). «Отобрали всё, кроме нательного белья. Выдали: кителёк х/б, телогрейку, бушлат, шапку–сталинку без меха. Это на Индигирке, в Оймяконском районе, где сактированный день— 51°».

Правда забыть? После Голода кто ещё может лучше управить живое существо? Да Холод конечно. Холод.

Особенно хорошо воспитывает особняк— особый режим, там, где «ООРы и майоры» по новой лагерной поговорке. (ООР— Особо–Опасный Рецидивист, штамп местного суда[532].) Прежде всего введено полосатое рубище: шапочка «домиком», брючки и пиджачок — широкополосые, синие с белым, как из матрасного материала. Это придумали наши тюремные мыслители, юристы Нового Общества, — они придумали это на пятом десятилетии Октября! в двух третях XX века! на пороге коммунизма! — одеть загнанных своих преступников в клоунские шкуры. (Изо всех пи-

[532] Примечания: 532

Ещё одно сокращение прежних годов всё недосуг привести: что такое ОЛЖИР?! Особый Лагерь Жён Изменников Родины (был и такой).

сем видно, что эта полосатость раздосадовала и уязвила сегодняшних двадцатипятилетников.)

Вот ещё об особом режиме: бараки в решётках и на замках; бараки подгнивают, зато построен кирпичный вместительный БУР (хотя, кроме чифиря, в лагере не осталось и нарушений: нет ни скандалов, ни драк, ни даже карт). По зоне — передвижение в строю, да так, чтобы в струночку, иначе не впустят, не отпустят. Если надзиратель выследит в строю курение — бросается своей разжиревшей фигурой на жертву, сбивая с ног, вырывает окурок, тащит в карцер. Если не вывели на работу — не вздумай прилечь отдохнуть: на койку смотри как на выставку и не притрагивайся до отбоя. В июне 1963 поступил приказ выполоть вокруг бараков траву, чтоб и там не лежали. А где трава ещё осталась— дощечка с надписью: лежать запрещается (Иркутская область).

Боже, как знакомо! Где это мы читали? Где это мы совсем недавно слышали о таких лагерях? Да не бериевские ли Особ–лаги? Особ — Особ…

Особый режим под Соликамском: «малейший шумок — в кормушку суют стволы автоматов».

И конечно, везде любой произвол с посадкою в ШИЗО. Поручили Ивакину грузить автомашину плитами (каждая — 128 кг) в одиночку. Он отка-

зался. Получил 7 суток.

В мордовском лагере в 1964 один молодой зэк узнал, что, кажется, в Женеве и, кажется, в 1955 году подписано соглашение о запрещении принудительного труда в местах заключения, — и отказался от работы! Получил за свой порыв — 6 месяцев одиночки.

Всё это и есть — геноцид, пишет Караванский.

А левые лейбористы возьмутся назвать это иначе? (Боже мой, не цепляйте вы левых лейбористов! Ведь если они останутся нами недовольны— погибла наша репутация!..)

Но что ж всё мрачно да мрачно? Для справедливости дадим оценить режим молодому Практическому Работнику, выпускнику Тавдинского училища МВД (1962): «Раньше (до 1961) на лекциях по десять надзирателей стояло — не могли справиться.

Сейчас— муху слышно, друг другу делают замечания. Боятся, чтоб их не перевели на более строгий режим. Работать стало гораздо легче, особенно после Указа (о расстреле). Уже к паре применили. А то, бывало, придёт на вахту с ножиком: берите, я гада убил… Как работать?»

Конечно, чище стал воздух. Подтверждает это и учительница колониальной школы: «За хихика-

нье во время политбе–сед— лишение досрочного освобождения. Но если ты актив, то будь хоть хам из хамов, лишь следи, чтобы другой не бросил окурка, не был в шапке, — и тебе работа легче, и характеристика лучше, и окажут потом помощь в прописке».

Совет Коллектива, Секция Внутреннего Порядка (от Марченко узнаём расшифровку: Сука Вышла Погулять) — это как бы дружинники, у них красная повязка: не проходи мимо нарушений! Помогай надзирателям! А Совет имеет право ходатайствовать о наказаниях] У кого «статья третйтся» (применимы две трети) или «половинится» — непременно надо идти помогать СВП, иначе не получишь «условно–досрочного». У кого «статья глухая»— не идут, им ненужно. И.А.Алексеев пишет: «основная масса предпочитает медленную казнь, но в эти советы и секции не идёт».

А мы уже начинаем воздух ощущать, правда? Общественная деятельность в лагере! Какие лучшие чувства она воспитывает (холуйство, донос, отталкивание соседа)— вот и светлая лестница, ведущая в небо исправления. Но и как же она скользка!

Вот из Тираспольского ИТК–2 жалуется Олухов

(коммунист, директор магазина, сел за злоупотребление): выступил на слёте передовиков производства, кого–то разоблачал, «призывал заблудившихся сынов Родины к добросовестному труду», зал ответил громкими аплодисментами. А когда сел на свою скамейку, к нему подошёл зэк и сказал: «Если бы ты, падло, выступил так 10 лет назад, я б тебя зарезал прямо на трибуне. А сейчас законы мешают, за тебя, суку, расстрел дадут».

Чувствует читатель, как всё диалектически взаимосвязано, единство противоположностей, одно переходит в другое? — с одной стороны, бурная общественная деятельность, с другой — опирается на расстрельный Указ? (А сроки чувствует читатель? «10 лет назад»— и всё там же человек. Прошла эпоха— и нет эпохи, а он всё там же…)

Тот же Олухов рассказывает и о заключённом Исаеве, бывшем майоре (Молдавия, ИТК–4). Исаев был «непримирим к нарушителям режима, выступал на Совете Коллектива против конкретных заключённых», то есть требуя им наказаний и отмены льгот. И что же? «На другую ночь у него пропал яловый военный сапог— один из пары. Он надел ботинки— но на следующую ночь пропал и один ботинок». Вот какие недостойные формы борьбы применяет загнанный классовый враг в

наше время!..

Конечно, общественная жизнь — это острое явление и им надо умело руководить. Бывают случаи и совершенно разлагающие заключённых, как, например, с Ваней Алексеевым. — Назначили первое общелагерное собрание на 20 часов. Но и до 22 часов играл оркестр, а собрание не начиналось, хотя офицеры сидели на сцене. Алексеев попросил оркестр «отдохнуть», а начальство— ответить, когда будет собрание. Ответ: не будет. Алексеев: в таком случае мы, арестанты, сами проведём собрание на тему о жизни и времени. Арестанты загудели о своём согласии, офицеры сбежали со сцены. Алексеев вышел с тетрадкой на трибуну и начал с культа личности. Но несколько офицеров налетели, отняли трибуну, выворачивали лампочки и сталкивали тех заключённых, которые успели забраться сюда. Надзирателям было приказано арестовать Алексеева, но Алексеев сказал: «Граждане надзиратели, ведь вы комсомольцы. Вы слышали — я говорил правду, на кого ж вы руку поднимаете — на совесть ленинской идеи?» Всё же арестовали бы и совесть идеи, но зэки–кавказцы взяли Алексеева в свой барак и тем на одну ночь спасли от ареста. Потом он отсидел карцер, а после карцера оформили его

выступление как антисоветское. Совет Коллектива ходатайствовал перед администрацией об изоляции Алексеева за антисоветскую агитацию. На основании этого ходатайства администрация обратилась в нарсуд — и дали Алексееву 3 года крытой тюрьмы.

Для верного направления умов очень важны установленные в нынешних колониях еженедельные политзанятия. Их проводят начальники отрядов (200–250 человек), офицеры. Избирается каждый раз определённая тема, ну например: гуманизм нашего строя, превосходство нашей системы, успехи социалистической Кубы, пробуждение колониальной Африки. Эти вопросы живо захватывают туземцев и помогают им лучше выполнять колониальный режим и лучше работать. (Конечно, не все понимают правильно. Из Иркутска: «В голодном лагере нам говорят об изобилии в стране продуктов. Говорят о внедрении механизации повсюду, а мы на производстве только и видим кайло, лопату, носилки, да применяем горб».)

На одном политзанятии Ваня Алексеев ещё прежде того собрания учудил так. Попросил слова и сказал: «Вы — офицеры МВД, а мы, заключённые, — преступники времён культа личности,

мы с вами— враги народа и теперь должны самоотверженным трудом заслужить прощение советского народа. И я серьёзно предлагаю вам, гражданин майор, взять курс на коммунизм!» Записали ему вдело «нездоровые антисоветские настроения».

Письмо этого Алексеева из УстьВымлага— обширно, бумага истирается и строчки блеклые, 6 часов я его разбирал. И чего там только нет! В частности, такое общее рассуждение: «Кто сейчас сидит в колониях— трущобах рабства? Вытесненная из общества буйная непримиримая прослойка из народа… Блок бюрократов пустил под откос жизни ту буйную молодёжь, которую опасно было вооружать теорией справедливых отношений». «Зэки— вытесненные дети пролетариата, собственность ИТЛ».

Ещё очень важно радио, если его правильно использовать (не музыку, не пьесы про любовь, а воспитательные передачи). Как и всё дозируется по режимам, так и радио: от 2–3 часов для особого режима до полного дня вещания для общего режима[533].

А ещё бывают и школы (а как же! мы же го-

---

[533] Примечания: 533
Сбежишь, пожалуй, и на особый, в полосатую шкуру!..

товим их к возврату в общество!) Только «всё построено на формальности, это для отвода глаз… Идут туда ребята из–под палки, охоту учиться отбивают БУРом»; ещё «стесняются вольных учительниц, так как одеты в рвань».

А увидеть живую женщину — слишком важное событие для арестанта.

Нечего и говорить, что правильное воспитание и исправление, особенно людей взрослых, особенно если оно длится десятилетиями, может происходить только на основе сталин–ско–бериевского послевоенного разделения полов, которое и признано на Архипелаге незыблемым. Взаимовлияние полов как импульс к улучшению и развитию, принятый во всём человеческом роде, не может быть принят на Архипелаге, ибо тогда жизнь туземцев станет «похожею на курорт». И чем ближе мы подходим под светлое зарево коммунизма, залившее уже полнеба, тем настойчивее надо преступников отделять от преступниц и только через эту изоляцию дать им

как следует помучиться и исправить их[534].

Над всей стройной системой колониального исправления в нашу небезгласную и небесправную эпоху существует надзор общественности, да, наблюдательные комиссии, — читатель же не забыл о них? их никто не отменял.

Они составляются «от местных органов». Но практически там, в диких местах, в этих вольных посёлках— кто пойдёт и попадёт в эти комиссии, кроме жён администрации? Это — просто бабский комитет, выполняющий то, что говорят их мужья.

Однако в больших городах эта система изредка может дать и результаты внезапные. Коммунистке Галине Петровне Филипповой райком поручил состоять в наблюдательной комиссии одесской тюрьмы. Она отбивалась: «Мне нет никакого дела до преступников!» — и только партийной дисциплиною её заставили пойти. А там она — увлеклась! Она увидела там людей, да сколько среди них невинных, да сколько среди

---

[534] Примечания: 534

Сам министр Охраны Тикунов рассказал мне (сейчас будет о нашей встрече) такой случай: на индивидуальном свидании (то есть в закрытом доме, три дня) приехавшая к сыну мать была ему за жену. Сюжет античный — ведь и дочь кормила отца из сосцов. Но господин министр, кривясь от мерзости этих дикарей, нисколько не думал: как это холостому парню не видеть женщины 25 лет.

них раскаявшихся. Она сразу установила порядок разговаривать с заключёнными без администрации (чему администрация очень противилась). Некоторые зэки месяцами смотрели на неё злыми глазами, потом мягчели. Она стала ездить в тюрьму два, три, четыре раза в неделю, оставалась в тюрьме до отбоя, отказывалась от отпуска — уж не рады были те, кто её сюда послал. Кинулась она в инстанции толковать о проблеме 25–летников (в Кодексе такого срока нет, а на людей навешено раньше — и продолжают волочить этот срок), об устройстве на работу освобождающихся, о поселениях. На верхах встречала или полное недоумение (начальник Управления Мест Заключения РСФСР, генерал, уверял её в 1963 году, что 25–летников вообще в стране не существует, — и самое смешное: он таки кажется и не знал!) или полную осведомлённость — и тогда озлобленное противодействие. Стали её преследовать и травить в украинском министерстве и по партийной линии. Разогнали и всю комиссию их за письменные ходатайства.

А пусть не мешают хозяевам Архипелага! Пусть не мешают Практическим Работникам! Вы помните, от них самих мы только что узнали: «эти же люди, что работали тогда, работают и сей-

час, может быть, добавилось процентов десять».

Но вот что, не произошёл ли в них душевный перелом? Не пропитались ли они любовью к несчастным своим подопечным? Да, все газеты и журналы говорят, что — пропитались. Я уж не отбирал специально, но прочли мы (глава 1) в «Литературной газете» о нынешних заботливых лагерщиках на станции Ерцево. А вот опять «Литературная газета» (3.3.1964) даёт высказаться начальнику колонии:

«Воспитателей легко ругать — гораздо труднее им помочь, и уж совсем трудно их найти: живых, образованных, интеллигентных (обязательно интеллигентных), заинтересованных и одарённых людей… Им надо создавать хорошие условия для жизни и работы… Я знаю, как скромен их заработок, как необъятен их рабочий день…»

И как бы гладко нам на этом кончить, на этом и порешить! Ведь жить спокойней, можно отдаться искусству, а ещё безопаснее науке, — да вот письма заклятые, измятые, истёртые, «по левой» посланные из лагерей! И что же пишут, неблагодарные, о тех, кто сердце на них надрывает в необъятный рабочий день?

Ивакин: «Говоришь с воспитателем о своём наболевшем и видишь, что слова твои рикошетят о

серое сукно шинели. Невольно хочется спросить: «Простите, как поживает ваша коровка?», у которой в хлеву он проводит больше времени, чем у своих воспитанников» (Краслаг, Решёты).

Л–н: «Те же тупицы надзиратели, начальник режима — типичный Волковой. С надзирателем спорить нельзя, сразу карцер».

К–н: «Отрядные говорят с нами на жаргоне, только и слышно: падло, сука, тварь» (Станция Ерцево, какое совпадение!).

К–й: «Начальник режима— родной брат того Волкового, бьёт, правда, не плетью, а кулаком, смотрит как волк из–под лба… Начальник отряда— бывший опер, который держал у себя вора–осведомителя и платил за каждый донос наркотическими средствами… Все те, кто бил, мучил и казнил, просто переехали из одного лагеря в другой и занимают несколько иные посты» (Иркутская область).

И.Г. Писарев: «У начальников колоний только прямых помощников — шесть. На всех стройках дармоедов разгоняют, вот они и бегут сюда… Все лагерные тупицы… и поныне работают добивают стаж до пенсии, да и после этого не уходят. Они не похудели. Заключённых они не считали и не считают за людей».

В.И. Д–в: «В Норильске, почтовый ящик 288, нет ни одного «нового»: все те же берианцы. Уходящих на пенсию заменяют они же (те, которые были изгнаны в 1956 году)… У них—удвоение стажа, повышенные оклады, продолжительные отпуска, хорошее питание. Идёт им 2 года за год, и они додумываются уходить на пенсию в 35 лет…»

Пичугин: «У нас на участке 12–13 здоровых парней, одетых в дублёные шубы чуть не до пят, шапки меховые, валенки армейские. Почему б им не пойти на шахту, в рудник, на целину и там найти своё призвание, а здесь уступить место более пожилым? Нет, их и цепью с волжского парохода туда не затащишь. Наверно, вот эти трутни так информировали вышестоящие органы, что зэ–ка неисправимы, — ведь если зэ–ка станет меньше, то сократятся их штаты».

И так же по–прежнему зэки сажают картошку на огородах начальства, поливают, ухаживают за скотом, делают мебель в их дома.

Но кто же прав? кому же верить? — в смятеньи воскликнет неподготовленный читатель.

Конечно — газетам! Верьте газетам, читатель. Всегда верьте — нашим газетам.

* * *

Эмведешники— сила. И они никогда не уступят добром. Уж если в 1956 устояли— постоят ещё, постоят.

Это не только исправтруд–органы. И не только министерство Охраны. Мы уже видели, как охотно поддерживают их и газеты, и депутаты.

Потому что они— костяк. Костяк многого.

Но не только сила у них— у них и аргументы есть. С ними не так легко спорить.

Я— пробовал.

То есть я— никогда не собирался. Но погнали меня вот эти письма — совсем не ожидавшиеся мною письма от современных туземцев. Просили туземцы с надеждой: сказать! защитить! очеловечить!

И — кому ж я скажу? — не считая, что и слушать меня не станут… Была бы свободная печать, опубликовал бы это всё — вот и высказано, вот и давайте обсуждать.

А теперь (январь 1964) тайным и робким просителем я бреду по учрежденческим коридорам, склоняюсь перед окошечками бюро пропусков, ощущаю на себе неодобрительный и подозревающий взгляд дежурных военных. Как чести и

снисхождения должен добиваться писатель–публицист, чтобы занятые правительственные люди освободили для него своё ухо на полчаса.

Но и ещё не в этом главная трудность. Главная трудность для меня, как тогда на экибастузском собрании бригадиров: о чём им говорить? каким языком?

Всё, что я действительно думаю, как оно изложено в этой книге, — и опасно сказать, и совершенно безнадёжно. Это значит — только голову потерять в безгласной кабинетной тиши, неуслышанному обществом, неведомо для жаждущих и не сдвинув дело ни на миллиметр.

А тогда как же говорить? Переступая их мраморные назеркаленные пороги, всходя по их ласковым коврам, я должен принять на себя исходные путы, шёлковые нити, продёрнутые мне через язык, через уши, через веки, — и потом это всё пришито к плечам, и к коже спины, и к коже живота. Я должен принять по меньшей мере:

1. Слава Партии за всё прошлое, настоящее и будущее. (А значит, не может быть неверна общая наказательная политика. Я не смею усумниться в необходимости Архипелага вообще. И не могу утверждать, что «большинство сидит зря».)

2. Высокие чины, с которыми я буду разго-

варивать, — преданы своему делу, пекутся о заключённых. Нельзя обвинить их в неискренности, в холодности, в неосведомлённости (не могут же они, всей душой занимаясь делом, не знать его!).

Гораздо подозрительнее мотивы моего вмешательства: что — я? почему — я, если вовсе не обязан по службе? Нет ли у меня каких–нибудь грязных корыстных целей?.. Зачем я могу вмешиваться, если Партия и без меня всё видит и без меня всё сделает правильно?

Чтоб немножко выглядеть покрепче, я выбираю такой месяц, когда выдвинут на ленинскую премию, и вот передвигаюсь как пешка со значением: может быть, ещё и в ладьи выйдет.

Верховный Совет СССР. Комиссия законодательных предположений. Оказывается, она уже не первый год занята составлением нового Исправ–Труд–Кодекса, то есть Кодекса всей будущей жизни Архипелага, — вместо Кодекса 1933 года, существовавшего и никогда не существовавшего, как будто и не написанного никогда. И вот мне устраивают встречу, чтобы я, взращенец Архипелага, мог познакомиться с их мудростью и представить им мишуру своих домыслов.

Их восемь человек. Четверо удивляют своей

молодостью: хорошо, если эти мальчики успели ВУЗ кончить, а то и нет. Они так быстро всходят к власти! они так свободно держатся в этом мраморно–паркетном дворце, куда я допущен с большими предосторожностями. Председатель комиссии— Иван Андреевич Бабухин, пожилой, какой–то беспредельный добряк. Кажется, от него бы зависело — он завтра же бы Архипелаг распустил. Но роль его такова: всю нашу беседу сидит в сторонке и молчит. А самые тут едучие — два старичка! — два грибоедовских старичка, тех самых,

Времён очаковских и покоренья Крыма,

вылитые те, закостеневшие на усвоенном когда–то, да я поручиться готов, что с 5 марта 1953 года они даже газет не разворачивали, — настолько уже ничего не могло произойти, влияющего на их взгляды! Один из них — в синем пиджаке, и мне кажется — это какой–то придворный голубой екатерининский мундир, и я даже различаю след от свинченной екатерининской серебряной звезды в полгруди. Оба старичка абсолютно и с порога не одобряют всего меня и моего визита— но решили проявить терпение.

Тогда и тяжело говорить, когда слишком много есть что сказать. А тут ещё всё пришито, и при

каждом шевелении чувствую.

Но всё–таки приготовлена у меня главная тирада, и, кажется, ничто не должно дёрнуть. Вот я им о чём: откуда это взялось представление (я не допускаю, что — у них), будто лагерю есть опасность стать курортом, будто если не населить лагерь голодом и холодом, то там воцарится блаженство? Я прошу их, несмотря на недостаточность личного опыта, представить себе частокол тех лишений и наказаний, который и составляет самое заключение: человек лишён родных мест; он живёт с тем, с кем не хочет; он не живёт с тем, с кем хочет (семья, друзья); он не видит роста своих детей; он лишён привычной обстановки, своего дома, своих вещей, даже часов на руке; потеряно и опозорено его имя; он лишён свободы передвижения; он лишён обычно и работы по специальности; он испытывает постоянное давление на себя чужих, а то и враждебных ему людей — других арестантов, с другим жизненным опытом, взглядами, обычаем; он лишён смягчающего влияния другого пола (не говоря уже о физиологии); и даже медицинское обслуживание у него несравненно ухудшено. Чем это напоминает черноморский санаторий? Почему так боятся «курорта»?

Нет, эта мысль не толкает их во лбы. Они не

качнулись в стульях.

Так ещё шире: мы хотим ли вернуть этих людей в общество? Почему тогда мы заставляем их жить в окаянстве? Почему тогда содержание режимов в том, чтобы систематически унижать арестантов и физически изматывать? Какой государственный смысл получения из них инвалидов?

Вот я и выложился. И мне разъясняют мою ошибку: я плохо представляю нынешний контингент, я сужу по прежним впечатлениям, я отстал от жизни. (Вот это моё слабое место: я действительно не вижу тех, кто там сейчас сидит.) Для тех изолированных рецидивистов всё, что я перечислил, — это не лишение вовсе. Только и могут их образумить нынешние режимы. (Дёрг, дёрг— это их компетенция, они лучше знают, кто сидит.) А вернуть в общество?.. Да, конечно, да, конечно, — деревянно говорят старички, и слышится: нет конечно, пусть там домирают, так спокойней.

А— режимы? Один из очаковских старичков — прокурор, тот в голубом, со звездой на груди, а седые волосы редкими колечками, он и на Суворова немного похож:

— Мы уже начали получать отдачу от введения строгих режимов. Вместо двух тысяч убийств в

год (здесь это можно сказать) — только несколько десятков.

Важная цифра, я незаметно записываю. Это и будет главная польза посещения, кажется.

Кто сидит! Конечно, чтобы спорить о режимах, надо б и знать, кто сидит. Для этого нужны десятки психологов и юристов, которые бы поехали, беспрепятственно говорили бы с зэками, — а потом можно и поспорить. А мои лагерные корреспонденты как раз этого–то и не пишут: за что они сидят, и товарищи их за что[535]. 1964 год— родственники зэков глотают слёзы ещё в одиночку. Ещё не знает подробностей лагерей московская воля («Иван Денисович»— это о «прошлом»), ещё сама она робка, расчленена, ещё нет никакого общественного движения. Глушь— почти прежняя, сталинская.

Общая часть обсуждения закончена, мы переходим к специальной. Да комиссии и без меня всё тут ясно, у них всё уже решено, я им ненужен, а просто любопытно посмотреть.

---

[535] Примечания: 535

Ну как вообразить всех этих разнообразных рецидивистов. Вот в Тавдинской колонии сидит 87–летний бывший офицер — царский, да, наверно, и белый. К 1962 году он отбыл 18 лет второй двадцатки. Окладистая борода, учётчик на производстве рукавиц. Спрашивается: за убеждения молодости — может быть, сорок лет тюрьмы многовато? И сколько таких судеб, непохожих на другие!

Посылки? Только по 5 килограммов и та шкала, что сейчас действует. Я предлагаю им хоть удвоить шкалу, да сами посылки сделать по 8 кг: «ведь они ж голодают! кто ж исправляет голодом?!»

«Как — голодают? — единодушно возмущена комиссия. — Мы были сами, мы видели, что остатки хлеба вывозятся из лагеря машинами!» (то есть надзирательским свиньям).

Что — мне? Вскричать: «Вы лжёте! Этого быть не может!» — а как больно дёрнулся язык, пришитый через плечо к заднему месту. Я не должен нарушать условия: они осведомлены, искренни и заботливы. Показать им письма моих зэков? Это — филькина грамота для них, и потёртые искомканные их бумажки на красной бархатной скатерти будут смешны и ничтожны. Да нельзя их и показывать: запишут их фамилии, и пострадают ребята.

— Но ведь государство ничего не теряет, если будет больше посылок!

— А кто будет пользоваться посылками? — возражают они. — В основном богатые семьи (здесь это слово употребляют — «богатые», это нужно для реального государственного рассуждения). — Кто наворовал и припрятал на воле. Значит, увеличением посылок мы поставим в

невыгодное положение трудовые семьи]

Вот режут, вот рвут меня нити! Это — ненарушимое условие: интересы трудовых слоев — выше всего. Они тут и сидят только для трудовых слоев.

Я совсем, оказывается, ненаходчив. Я не знаю, что им возражать. Сказать: «нет, вы меня не убедили!» — ну и наплевать, что я у них— начальник, что ли?

— Ларёк! — наседаю я. — Где же социалистический принцип оплаты? Заработал — получи!

— Надо накопить фонд освобождения! — отражают они. — Иначе при освобождении он становится иждивенцем государства.

Интересы государства— выше, это пришито, тут я не могу дёргаться. И не могу я ставить вопроса, чтобы зарплату зэков повысили за счёт государства.

— Но пусть все воскресенья будут свято–выходными!

— Это оговорено, так и есть.

— Но есть десятки способов испортить воскресенье внутри зоны. Оговорите, чтоб не портили!

— Мы не можем так мелко регламентировать в Кодексе. Рабочий день— 8 часов. Я вяло выговариваю им что–то

о 7–часовом, но внутренне мне самому это кажется нахальством: ведь не 12, не 10, чего ещё надо?

— Переписка — это приобщение заключённого к социалистическому обществу! — (вот как я научился аргументировать). — Не ограничивайте её.

Но не могут они снова пересматривать. Шкала уже есть, не такая жестокая, как была у нас… Показывают мне и шкалу свиданий, в том числе «личных», трёхдневных, — а у нас годами не было никаких, так это вынести можно. Мне даже кажется шкала у них мягкой, я еле сдерживаюсь, чтобы не похвалить её.

Я устал. Всё пришито, ничем не пошевельнёшь. Я тут бесполезен. Надо уходить.

Да вообще из этой светлой праздничной комнаты, из этих кресел, под ручейки их речей лагеря совсем не кажутся ужасными, даже разумными. Вот— хлеб машинами вывозят… Ну не напускать же тех страшных людей на общество? Я вспоминаю рожи блатных паханов… Десять лет несидемши, как угадать, кто там сейчас сидит? Наш брат политический — вроде отпущен. Нации — отпущены…

Другой из противных старичков хочет знать

моё мнение о голодовках, не могу же я не одобрить кормление через кишку, если это — более богатый рацион, чем баланда?[536]

Я становлюсь на задние лапы и реву им о праве зэка не только на голодовку — единственное средство отстаивания себя, но даже — на голодную смерть.

Мои аргументы производят на них впечатление дикое. А у меня всё пришито: говорить о связи голодовки с общественным мнением страны я же не могу.

Я ухожу усталый и разбитый: я даже поколеблен немного, а они— нисколько. Они сделают всё по–своему, и Верховный Совет утвердит единогласно.

Министр Охраны Общественного Порядка Вадим Степанович Тикунов. Что за фантастичность? Я, жалкий каторжник Щ–232, иду учить министра внутренних дел, как ему содержать Архипелаг?!..

Ещё на подступах к министру все полковники — круглоголовые, белохолёные, но очень подвижные. Из комнаты главного секретаря никакой двери дальше нет. Зато стоит огромный

---

[536] Примечания: 536

Только от Марченко мы узнаём их новый приём: вливать кипяток, чтобы погубить пищевод.

стеклянно–зеркальный шкаф с шёлковыми сборчатыми занавесками позади стёкол, куда могут два всадника въехать, — и это, оказывается, есть тамбур перед кабинетом министра. А в кабинете— просторно сядут двести человек.

Сам министр болезненно полон, челюсть большая, лицо его — трапеция, расширяющаяся к подбородку. Весь разговор он строго–официален, выслушивает меня безо всякого интереса, по обязанности.

А я запускаю ему всю ту же тираду о «курорте». И опять эти общие вопросы, стоит ли перед нами (им и мною!) общая задача исправления зэков? (что я думаю об «исправлении», осталось в Части Четвёртой). И зачем был поворот 1961 года? зачем эти четыре режима? И повторяю ему скучные вещи — всё то, что написано в этой главе: о питании, о ларьке, о посылках, об одежде, о работе, о произволе, о лице Практических Работников. (Самих писем я даже принести не решился, чтоб тут у меня их не хапнули, а— выписал цитаты, скрыв авторов.) Я ему говорю минут сорок или час, что–то очень долго, сам удивляясь, что он меня слушает.

Он попутно перебивает, но для того, чтобы сразу согласиться или сразу отвергнуть. Он не

возражает мне сокрушительно. Я ожидал гордую стену, но он мягче гораздо. Он со многим согласен! Он согласен, что деньги на ларёк надо увеличить, и посылок надо больше, и не надо регламентировать состава посылок, как делает Комиссия Предположений (но от него это не зависит, решать это всё будет не министр, а новый Исправ–Труд–Кодекс); он согласен, чтоб жарили–варили из своего (да нет его, своего); чтобы переписка и бандероли вообще были неограничены (но это большая нагрузка на лагерную цензуру); он и против аракчеевских перегибов с постоянным строем (но нетактично в это вмешиваться: дисциплину легко развалить, трудно установить); он согласен, что траву в зоне не надо выпалывать (другое дело — в Дубравлаге около мехмастерских развели, видите ли, огородики, и станочники возились там в перерыв, у каждого по 2–3 квадратных метра под помидорами или огурцами, — велел министр тут же срыть и уничтожить и этим гордится! Я ему: «связь человека с землёй имеет нравственное значение», он мне: «индивидуальные огороды воспитывают частнособственнические инстинкты»). Министр даже содрогается, как это ужасно было: из «зазонного» содержания возвращали в лагерь за проволоку.

(Мне неудобно спросить: кем он в это время был и как против этого боролся.) Больше того: министр признаёт, что содержание зэков сейчас жесточе, чем было при Иване Денисовиче!

Да мне тогда не в чем его и убеждать! Нам и толковать не о чем. (А ему незачем записывать предложения человека, не занимающего никакого поста.)

Что ж предложить? — распустить весь Архипелаг на бесконвойное содержание? — язык не поворачивается, утопия. Да и всякий большой вопрос ни от кого отдельно не зависит, он вьётся змеями между многими учреждениями и ни одному не принадлежит.

Напротив, министр уверенно настаивает: полосатая форма для рецидивистов нужна («да знали б вы, что это за люди!»). А моими упрёками надзорсоставу и конвою он просто обижен: «У вас путаница или особенности восприятия из–за вашей биографии». Он уверяет меня, что никого не загонишь работать в надзорсостав, потому что кончились льготы. («Так это — здоровое народное настроение, что не идутЪ — хотелось бы мне воскликнуть, но за уши, за веки, за язык дёргают предупредительные нити. Впрочем, я упускаю: не идут лишь сержанты и ефрейторы, а офице-

ров — не отобьёшься.) Приходится пользоваться военнообязанными. Министр солидно указывает мне, что хамят только заключённые, а надзор разговаривает с ними исключительно корректно.

Когда так расходятся письма ничтожных зэков и слова министра, — кому же вера? Ясно, что заключённые лгут.

Да он ссылается и на собственные наблюдения — ведь он–то бывает в лагерях, а я — нет. Не хочу ли поехать? — Крюково? Дубравлаг? (Уж из того, что с готовностью он эти два назвал, — ясно, что там приготовлены потёмкинские устройства. И — кем я поеду? Министерским контролёром? Да я тогда и глаз на зэков не подниму… Я отказываюсь…)

Министр, напротив, высказывает, что зэки бесчувственны и не откликаются на заботы. Приедешь в Магнитогорскую колонию, спросишь: «Какие жалобы на содержание?» — и так–таки при начальнике ОЛПа хором кричат: «Никаких!» А сами — всегда недовольны.

А вот в чём министр видит «замечательные стороны лагерного исправления»:

— гордость станочника, похваленного начальником лагпункта;

— гордость лагерников, что их работа (кипя-

тильники) пойдёт в героическую Кубу;

— отчёт и перевыборы лагерного Совета Внутреннего Порядка (Сука Вышла Погулять);

— обилие цветов (казённых) в Дубравлаге.

Главное направление его забот: создать свою промышленную базу у всех лагерей. Министр считает, что с развитием интересных работ прекратятся побеги[537]. (Моё возражение о «человеческой жажде свободы» он даже не понял.)

Я ушёл в усталом убеждении, что концов — нет. Что ни на волос я ничего не подвинул, и так же будут тяпать тяпки по траве. Я ушёл подавленным— отразноты человеческого понимания. Ни зэку понять министра, пока он не воцарится в этом кабинете, ни министру— понять зэка, пока он сам не пойдёт за проволоку и ему самому не истопчут огородика и взамен свободы не предложат осваивать станок.

Институт изучения причин преступности. Это была интересная беседа с двумя интеллигентными замдирами и несколькими научными работниками. Живые люди, у каждого свои мнения, спорят и друг с другом. Потом один из замдиров В.Н.Кудрявцев, провожая меня по кори-

---

[537] Примечания: 537

Тем более, как знаем мы теперь от Марченко, что уже не ловят, а только пристреливают.

дору, упрекнул: «Нет, вы всё–таки не учитываете всех точек зрения. Вот Толстой бы учёл…» И вдруг обманом завернул меня: «Зайдёмте познакомимся с нашим директором. Игорь Иванович Карпец».

Это посещение не планировалось. Мы уже всё обговорили, зачем? Ладно, я пошёл поздороваться. Как бы не так! — ещё с тобой ли тут поздороваются! Не поверить, что эти замдиры и завсекторами работают у этого начальника, что это он возглавляет тут всю научную работу. (А главного я и не узнаю: Карпец — вице–президент международной ассоциации юристов–демократов]

Встал навстречу мне враждебно–презрительно (кажется, весь пятиминутный разговор так и прошёл на ногах), — будто я к нему просился–просился, еле добился, ладно. На лице его: сытое благополучие; твёрдость; и брезгливость (это — ко мне). На груди, не жалея хорошего костюма, привинчен большой значок, как орден: меч вертикальный и там, внизу, что–то пронзает, и надпись: МВД. (Это — какой–то очень важный значок. Он показывает, что носитель его имеет особенно давно «чистые руки, горячее сердце, холодную голову».)

— Так о чём там, о чём?.. — морщится он.

Мне совсем он не нужен, но теперь из вежливости я немного повторяю.

— А–а, — как бы дослышивает юрист–демократ, — либерализация? Сюсюкать с зэ–ка?!

И тут я неожиданно и сразу получаю полные ответы, за которыми бесплодно ходил по мрамору и меж зеркальных стёкол.

Поднять уровень жизни заключённых? Нельзя! Потому что вольные вокруг лагерей тогда будут жить хуже зэ–ка, это недопустимо.

Принимать посылки часто и много? Нельзя! Потому что это будет иметь вредное действие на надзирателей, которые не имеют столичных продуктов.

Упрекать, воспитывать надзорсостав? Нельзя! Мы — держимся за них. Никто не хочет на эту работу идти, а много мы платить не можем, сняли льготы.

Мы лишаем заключённых социалистического принципа заработка? Они сами вычеркнули себя из социалистического общества.

— Но мы же хотим их вернуть к жизни!?..

— Вернуть???... — удивлён меченосец. — Лагерь не для этого. Лагерь есть кара!

Кара! — наполняет всю комнату. — Ка–ра!!

Карррра!!!

Стоит вертикальный меч — разящий, протыкающий, не вышатнуть! КА–РА!!

Архипелаг был, Архипелаг остаётся, Архипелаг— будет!

А иначе на ком же выместить просчёты Передового Учения? — что не такими люди растут, как задуманы.

Глава 3. ЗАКОН СЕГОДНЯ

Как уже видел читатель сквозь всю эту книгу в нашей стране, начиная с самого раннего сталинского времени, не было политических. Все миллионные толпы, прогнанные перед вашими глазами, все миллионы Пятьдесят Восьмой были простые уголовники.

А тем более говорливый весёлый Никита Сергеевич на какой трибуне не раскланивался: политических? Нет!! У нас–то — не–ет!

И ведь вот— забывчивость горя, обминчивость той горы, заплывчивость нашей кожи: почти и верилось! Даже старым зэкам. Зримо распустили миллионы зэков — так вроде и не осталось политических, как будто так? Ведь мы — вернулись, и к нам вернулись, и наши вернулись. Наш городской умственный круг как будто восполнился и замкнулся. Ночь переспишь, проснёшься — из дома никого не увели, и знакомые звонят, все на местах. Не то чтобы мы совсем поверили, но приняли так: политические сейчас, ну, в основном, не сидят Ну, нескольким стам прибалтийцам и сегодня (1968) не дают вернуться к себе в республику Да вот ещё с крымских татар заклятья не

сняли— так наверно скоро… Снаружи, как всегда (как и при Сталине), — гладко, чисто, не видно.

А Никита с трибун не слазит: «К таким явлениям и делам возврата нет и в партии, и в стране» (22 мая 1959, ещё до Новочеркасска). «Теперь все в нашей стране свободно дышат… спокойны за своё настоящее и будущее» (8 марта 1963, уже после Новочеркасска).

Новочеркасск! Из роковых городов России. Как будто мало было ему рубцов Гражданской войны, — посунулся ещё раз под саблю.

Новочеркасск! Целый город, целый городской мятеж так начисто слизнули и скрыли! Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущёве, что не только не узнала о Новочеркасске заграница, не разъяснило нам западное радио, но и устная молва была затоптана вблизи, не разошлась, — и большинство наших сограждан даже по имени не знает такого события: Новочеркасск, 2 июня 1962 года.

Так изложим здесь всё, что нам удалось собрать.

Не преувеличим, сказав, что тут завязался важный узел новейшей русской истории. Обойдя крупную (но с мирным концом) забастовку ивановских ткачей на грани 30–х годов, — но-

вочеркасская вспышка была за сорок лет (после Кронштадта, Тамбова и Западной Сибири) первым народным выступлением, никем не подготовленным, не возглавленным, не придуманным, — криком души, что дальше так жить нельзя!

В пятницу 1 июня было опубликовано по Союзу одно из выношенных любимых хрущёвских постановлений о повышении цен на мясо и масло. А по другому экономическому плану, не связанному с первым, в тот же день на крупном Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) также и снизили рабочие расценки— процентов до тридцати. Сутра рабочие двух цехов (кузнечного и металлургического), несмотря на всю послушность, привычку, втянутость, не могли заставить себя работать — уж так припекли с обеих сторон! Громкие разговоры их и возбуждение перешли в стихийный митинг. Будничное событие для Запада, необычайное для нас. Ни инженеры, ни главный инженер уговорить рабочих не могли. Пришёл директор завода Курочкин. На вопрос рабочих «на что теперь будем жить?» — этот сытый выкормыш ответил: «Жрали пирожки с мясом — теперь будете с повидлом!» Едва убежали от растерзания и

он, и его свита. (Быть может, ответь он иначе — и угомонилось бы.)

К полудню забастовка охватила весь огромный НЭВЗ. (Послали связных на другие заводы, те мялись, но не поддержали.) Вблизи завода проходит железнодорожная линия Москва— Ростов. Для того ли, чтоб о событиях скорее узнала Москва, для того ли, чтобы помешать подвозу войск и танков, — женщины во множестве сели на рельсы задержать поезда; тут же мужчины стали разбирать рельсы и делать завалы. Размах забастовки— нерядовой, по масштабу всей истории русского рабочего движения. На заводском здании появились лозунги: «Долой Хрущёва!», «Хрущёва— на колбасу!»

К заводу (он стоит вместе со своим посёлком в 3–4 километрах от города за рекой Тузлов) в тех же часах стали стягиваться войска и милиция. Намост через р. Тузлов вышли и стали танки. С вечера и до утра в городе и по мосту запретили всякое движение. Посёлок не утихал и ночью. За ночь было арестовано и отвезено в здание городской милиции около 30 рабочих — «зачинщиков».

С утра 2 июня бастовали и другие предприятия города (но далеко не все). На НЭВЗе — общий

стихийный митинг, решено идти демонстрацией в город и требовать освобождения арестованных рабочих. Шествие (впрочем, поначалу лишь человек около трёхсот, ведь страшно!) с женщинами и детьми, с портретами Ленина и мирными лозунгами прошло мимо танков по мосту, не встретив запрета, и поднялось в город. Здесь оно быстро обрастало любопытствующими, одиночками и мальчишками. Там и сям по городу люди останавливали грузовики и с них ораторствовали. Весь город бурлил. Демонстрация НЭВЗа пошла по главной улице (Московской), часть демонстрантов стала ломиться в запертые двери городского отделения милиции, где предполагали своих арестованных. Оттуда им ответили стрельбой из пистолетов. Дальше улица выводила к памятнику Ленина[538] и, двумя суженными обходами сквера, — к горкому партии (бывшему атаманскому дворцу, где кончил Каледин). Все улицы были забиты людьми, а здесь, на площади, — наибольшее сгущение. Многие мальчишки взобрались на деревья сквера, чтобы лучше видеть.

А горком партии оказался пуст — городские

[538] Примечания: 538

Вместо выкинутого на переплавку клодтовского памятника атаману Платову.

власти бежали в Ростов[539]. Внутри— разбитые стёкла, разбросанные по полу бумаги, как при отступлении в Гражданскую войну. Десятка два рабочих, пройдя дворец, вышли на его длинный балкон и обратились к толпе с беспорядочными речами.

Было около 11 часов утра. Милиции в городе совсем не стало, но всё больше войск. (Картинно, как от первого лёгкого испуга гражданские власти спрятались за армию.) Солдаты заняли почтамт, радиостанцию, банк. К этому времени весь Новочеркасск вкруговую был уже обложен войсками и прегражден был всякий доступ в город или выход из него. (На эту задачу выдвинули и ростовские офицерские училища, часть их оставив для патрулирования по Ростову.) По Московской улице, тем же путём, как прошла демонстрация, туда же, к горкому, медленно поползли танки. На них стали влезать мальчишки и затыкать смотровые щели. Танки дали холостые пушечные выстрелы — и вдоль улицы зазвенели

[539] Примечания: 539

Первый секретарь ростовского обкома Басов, чьё имя вместе с именем генерала Плиева, командующего Северо–Кавказским военным округом, будет же когда–нибудь надписано над местом массового расстрела, за эти часы приезжал в Новочеркасск и уже бежал, напуганный (даже, говорят, с балкона второго этажа спрыгнул), вернулся в Ростов. Сразу после новочеркасских событий он поехал делегатом на героическую Кубу.

витринные и оконные стёкла. Мальчишки разбежались, танки поползли дальше.

А студенты? Ведь Новочеркасск — студенческий город! Где же студенты?.. Студенты Политехнического и других институтов и нескольких техникумов были заперты с утра в общежитиях и институтских зданиях. Сообразительные ректоры! Но скажем: и не очень гражданственные студенты. Наверно, и рады были такой отговорке. Современных западных бунтующих студентов (или наших прежних русских), пожалуй, дверным замком не удержишь.

Внутри горкома возникла какая–то потасовка, ораторов постепенно втягивали внутрь, а на балкон выходили военные, и всё больше. (Не так ли с балкона управления Степлага наблюдали и за кенгирским мятежом?) С маленькой площади близ самого дворца цепь автоматчиков начала теснить толпу назад, к решётке сквера. (Разные свидетели в один голос говорят, что эти солдаты были — нацмены, кавказцы, свеже–привезенные с другого конца военного округа, и ими заменили стоявшую перед тем цепь из местного гарнизона. Но показания разноречат: получила ли перед тем стоявшая цепь солдат приказ стрелять и верно ли, что приказ был не выполнен из–за того,

что капитан, принявший его, не скомандовал солдатам, а кончил с собой перед строем[540]. Самоубийство офицера не вызывает сомнения, но не ясны рассказы об обстоятельствах, и никто не знает фамилии этого героя совести.) Толпа пятилась, однако никто не ждал ничего дурного. Неизвестно, кто отдал команду[541], — но эти солдаты подняли автоматы и дали залп поверх голов.

Может быть, генерал Плиев и не собирался сразу расстреливать толпу — да события развились по себе: данный поверх голов залп пришёлся по деревьям сквера и по мальчишкам, которые стали оттуда падать. Толпа взревела— и тут солдаты, по приказу ли, в кровяном ли безумии или в испуге, — стали густо стрелять уже по толпе, притом разрывными пулями. (Кенгир помните? Шестнадцать на вахте?)[542] Толпа в панике бежала, теснясь в обходах сквера, — но стреляли и в спины бегущих. Стреляли до тех пор, пока опустела

---

[540] Примечания: 540

По этой версии солдаты, отказавшиеся стрелять в толпу, сосланы в Якутию.

[541] Примечания: 541

Известно тем, кто близко был, но тот или убит, или изъят.

[542] Примечания: 542

47 убитых только разрывными пулями засвидетельствованы достоверно. И уж они–то генералом Плиевым были задуманы.

вся большая площадь за сквером, за ленинским памятником — через бывший Платовский проспект и до Московской улицы. (Один очевидец говорит: впечатление было, что всё завалено трупами. Но, конечно, там и раненых было много.) По разным данным, довольно дружно сходится, что убито было человек 70–80[543]. Солдаты стали искать и задерживать автомашины, автобусы, грузить туда убитых и раненых и отправлять в военный госпиталь, за высокую стену. (Ещё день–два ходили те автобусы с окровавленными сиденьями.)

Так же, как и в Кенгире, была применена в этот день кинофотосъёмка мятежников на улицах.

Стрельба прекратилась, испуг прошёл, к площади снова нахлынула толпа и по ней снова стреляли.

Это было от полудня до часу дня.

Вот что видел внимательный свидетель в два часа дня: «На площади перед горкомом стоят штук восемь танков разных типов. Перед ними — цепь солдат. Площадь почти безлюдна, стоят лишь кучки, преимущественно молодёжь, и что–то вы-

[543] Примечания: 543

Несколько меньше, чем перед Зимним дворцом, но ведь 9 января вся разгневанная Россия ежегодно и отмечала, а 2 июня — когда начнём отмечать?

крикивают солдатам. На площади во вмятинах асфальта — лужи крови, не преувеличиваю, до тех пор я не подозревал, что столько крови вообще может быть. Скамьи в сквере перепачканы кровью, кровавые пятна на песчаных дорожках сквера, на побеленных стволах деревьев. Вся площадь исполосована танковыми гусеницами. К стене горкома прислонён красный флаг, который несли демонстранты, на древко сверху наброшена серая кепка, забрызганная бурой кровью. А по фасаду горкома— кумачёвое полотнище, давно висящее там: «Народ и партия — едины!»

Люди ближе подходят к солдатам, стыдят и проклинают их: «Как вы могли?!» «В кого вы стреляли?» «В народ стреляли!» Они оправдываются: «Это не мы! Нас только что привезли и поставили. Мы ничего не знали».

Вот расторопность наших убийц (а говорят — неповоротливые бюрократы): тех солдат уже успели убрать, а поставить недоумевающих русских. Знает дело генерал Плиев (фото 9).

Постепенно, часам к пяти–шести, площадь снова наполняется народом. (Храбрые новочеркассцы! По городскому радио всё время: «Граждане, не поддавайтесь на провокацию, расходитесь по домам!» Тут автоматчики стоят,

и кровь не смыта— а они снова напирают.) Выкрики, больше — и снова стихийный митинг. Уже известно, что в город прилетело (да наверно — ещё к первому расстрелу?) шесть высших членов ЦК, втом числе, конечно, Микоян (специалист по будапештским ситуациям), Фрол Козлов, Суслов (остальных называют неточно). Они остановились, как в крепости, в здании КУККС (курсы усовершенствования кавалерийского командного состава, бывший кадетский корпус). И делегация молодых рабочих НЭВЗа послана к ним рассказать о происшедшем. В толпе гудят: «Пусть Микоян приедет сюда! Пусть сам посмотрит на эту кровь!» Нет, Микоян не приедет. Но вертолёт–дозорщик низко облетает площадь часов около шести, рассматривает. Улетел.

Скоро из КУККСа возвращается делегация рабочих. Это согласовано: солдатская цепь пропускает делегатов, и в сопровождении офицеров их выводят на балкон горкома. Тишина. Делегаты передают толпе, что были у членов ЦК, рассказывали им про эту «кровавую субботу», и Козлов плакал, когда услышал, как от первого залпа посыпались дети с деревьев. (Кто знает Фрола Козлова — главу ленинградских партийных воров и жесточайшего сталиниста? — он плакал!..)

Члены ЦК пообещали, что расследуют эти события и сурово накажут виновных (ну, так же и в Особлагах нам обещали), а сейчас необходимо всем разойтись по домам, чтобы не устраивать в городе беспорядков.

Но митинг не разошёлся! К вечеру он густел ещё более. Отчаянные новочеркассцы! (Есть слух, что бригада Политбюро в этот вечер приняла решение выселить всё население города поголовно] Верю, ничего б тут не было дивного после высылок народов. Не тот же ли Микоян и тогда был около Сталина?)

Около 9 вечера попробовали разогнать народ танками от дворца. Но едва танкисты завели моторы, люди облепили их, закрыли люки, смотровые щели. Танки заглохли. Автоматчики стояли, не пытаясь помочь танкистам.

Ещё через час появились танки и бронетранспортёры с другой стороны площади, а на их броне сверху— прикрытие автоматчиков. (Ведь у нас какой фронтовой опыт! Мы же победили фашистов!) Идя на большой скорости (под свист молодёжи с тротуаров, студенты к вечеру освободились), они очистили проезжую часть Московской улицы и бывшего Платовского проспекта.

Лишь около полуночи автоматчики стали стре-

лять трассирующими в воздух— и толпа стала расходиться.

(Сила народного волнения! Как быстро ты меняешь государственную обстановку! Накануне — комендантский час итак страшно, а вот весь город гуляет и свистит. И неужели под корою полустолетия так близко это лежит — совсем другой народ, совсем другой воздух?)

3 июня городское радио передало речи Микояна и Козлова. Козлов не плакал. Не обещали уже и искать виновников среди властей. Говорилось, что события спровоцированы врагами и враги будут сурово наказаны. (Ведь с площади люди уже разошлись.) Ещё сказал Микоян, что разрывные пули не приняты на вооружение Советской армии, — следовательно, их применяли враги.

(Но кто же эти враги?.. На каком парашюте они спустились? Куда они делись? — хоть бы увидеть одного! О, как мы привыкли кдурачению! — «враги», и как будто что–то понятно… Как бесы для

Средневековья…)[544]

Тотчас же обогатились магазины сливочным маслом, колбасой и многим другим, чего давно здесь не было, а только в столицах бывает.

Все раненые пропали без вести, никто не вернулся. Напротив, семьи раненых и убитых (они же искали своих!..) были высланы в Сибирь. Так же и многие причастные, замеченные, сфотографированные. Прошла серия закрытых судов над участниками демонстрации. Было и два суда «открытых» (входные билеты — парторгам предприятий и аппарату горкома). На одном осудили девятерых мужчин (к расстрелу) и двух женщин (к 15 годам).

Состав горкома остался прежним.

В следующую субботу после «кровавой» радио объявило: «рабочие электровозостроительного дали обязательство досрочно выполнить семилетний план».

…Если б не был царь слабак, догадался бы и он 9

---

[544] Примечания: 544

Вот новочеркасская учительница (!) в 1968 авторитетно рассказывает в поезде: «Военные не стреляли. Раз только выстрелили в воздух, предупредить. А стреляли диверсанты, разрывными пулями. Откуда взяли? У диверсантов что угодно есть. И в военных и в рабочих они стреляли… А рабочие как обезумели, напали на солдат, били — а те–то при чём? Потом Микоян ходил по улицам, заходил посмотреть, как люди живут. Его женщины клубникой угощали…»

Вот это пока только и остаётся в истории.

января в Петербурге ловить рабочих с хоругвями и лепить им бандитизм. И никакого бы революционного движения как не бывало.

Вот и в городе Александрове в 1961, за год до Новочеркасска, милиция забила насмерть задержанного и потом помешала нести его на кладбище мимо своего «отделения». Толпа разъярилась— и сожгла отделение милиции. Тотчас же были аресты. (Сходная история в близкое тому время — ив Муроме.) Как теперь рассматривать арестованных? При Сталине получал 58–ю даже портной, воткнувший иголку в газету. А теперь рассудили умней: разгром милиции не считать политическим актом. Это — будничный бандитизм. Такая была инструкция спущена: «массовые беспорядки» — политикой не считать. (А что ж тогда вообще — политика?)

Вот — и не стало политических.

А ещё ведь льётся и тот поток, который никогда не иссякал в СССР. Те преступники, которых никак не коснулась «благодетельная волна, вызванная к жизни...» и т. д. Бесперебойный поток за все десятилетия — и «когда нарушались ленинские нормы», и когда соблюдались, а при Хрущёве — так с новым остервенением.

Это— верующие. Кто сопротивлялся новой

жестокой волне закрытия церквей. Монахи, которых выбрасывали из монастырей. Упорные сектанты, особенно кто отказывался от военной службы, — уж тут не взыщите, прямая помощь империализму, по нашим мягким временам на первый раз — 5 лет.

Но эти уж — никак не политические, это — «религиозники», их надо же воспитывать: увольнять с работы за веру одну; подсылать комсомольцев бить у верующих стёкла; административно обязывать верующих являться на антирелигиозные лекции; автогеном перепиливать церковные двери, тракторными тросами сваливать купола, разгонять старух из пожарной кишки. (Это и есть диалог, товарищи французские коммунисты?)

Как заявили почаевским монахам в Совете Депутатов Трудящихся: «если исполнять советские законы, то коммунизма придётся долго ждать».

И только в крайнем случае, когда воспитание не помогает, — ну тогда приходится прибегать к закону.

Но тут–то мы и можем блеснуть алмазным благородством нашего сегодняшнего Закона: мы не судим закрыто, как при Сталине, не судим заочно— а даже полупублично (с присутствием полупублики).

Держу в руках запись: процесс над баптистами в городе Никитовке, Донбасс, январь 1964.

Вот как он происходит. Баптистов, приехавших поприсутствовать, — под предлогом выяснения личности задерживают натрое суток в тюрьме (пока суд пройдёт и напугать). Кинувший подсудимым цветы (вольный гражданин) получил 10 суток. Столько же получил и баптист, ведший запись суда, запись его отобрали (сохранилась другая). Пачку избранных комсомольцев пропустили через боковую дверь прежде остальной публики — чтобы они заняли первые ряды. Во время суда из публики выкрики: «Их всех облить керосином и запалить!» Суд не препятствует этим справедливым крикам. Характерные приёмы суда: показания враждебных соседей; показания перепуганных малолетних: выводят перед судом девочек 9 и 11 лет (лишь бы сейчас провести процесс, а что потом будет с этими девочками— наплевать). Их тетрадки с божественными текстами фигурируют как вещественные доказательства.

Один из подсудимых— Базбей, отец девяти детей, горняк, никогда не получивший от шахткома никакой поддержки именно потому, что он баптист. Но дочь его Нину, восьмиклассницу, за-

путали, купили (50 рублей от шахткома), обещали впоследствии устроить в институт, и она дала на следствии фантастические показания на отца: что он хотел отравить её прокисшим ситро; что когда верующие скрывались для молитвенных собраний в лес (в посёлке их преследовали), — там у них был «радиопередатчик— высокое дерево, опутанное проволокой». С тех пор Нина стала мучиться от своих ложных показаний, она заболела головой, её поместили в буйную палату психбольницы. Всё же её выводят на суд в надежде на показания. Но она всё отвергает: «Следователь мне сам диктовал, как нужно говорить». Ничего, бесстыжий судья утирается и считает последние показания Нины недействительными, а предварительные — действительными. (Вообще, когда показания, выгодные обвинению, разваливаются, — характерный и постоянный выворот суда: пренебречь судебным следствием, опереться на деланное предварительное: «Ну как же так? А в ваших показаниях записано… А на следствии вы показали… Какое ж вы имеете право отказываться?.. За это тоже судят!»)

Судья не слышит никакой сути, никакой истины. Эти баптисты преследуются зато, что не признают проповедников, присланных от

атеиста, государственного уполномоченного, а хотят своих (по баптистскому уставу проповедником может быть всякий их брат). Есть установка обкома партии: их осудить, а детей от них оторвать. И это будет выполнено, хотя только что левою рукой Президиум Верховного Совета подписал (2 июля 1962) всемирную конвенцию «о борьбе с дискриминацией в области образования»[545]. Там пункт: «родители должны иметь возможность обеспечить религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными убеждениями». Но именно этого мы допустить и не можем! Всякий, кто выступит на суде по сути, проясняя дело, — непременно обрывается, сбивается, запутывается судьёю. Уровень его полемики: «когда же будет конец света, если мы наметили строить коммунизм?»

Из последнего слова молодой девушки Жени Хлопониной: «Вместо того чтобы идти в кино или на танцы, я читала Библию и молилась, — и только за это вы лишаете меня свободы. Да, быть на свободе— большое счастье, но быть свободным от греха— большее. Ленин говорил: только в Турции и в России сохранились такие позорные

[545] Примечания: 545

Ну да из–за негров американских мы подписали, а то бы зачем она нам?

явления, как преследования за религию. В Турции я не была, не знаю, а в России — как видите». Её обрывают.

Приговор: двум по 5 лет лагеря, двум— по 4, многодетному Базбею — 3. Подсудимые встречают приговор с радостью и молятся. «Представители с производства» кричат: «Мало! Добавить!» (Керосином поджечь…)

Терпеливые баптисты учли и подсчитали и создали такой «совет родственников узников», который стал издавать рукописные ведомости обо всех преследованиях. Из ведомостей мы узнаём, что с 1961 по июнь 1964 года осуждено 197 баптистов[546], среди них 15 женщин. (Все пофамильно перечислены. Подсчитаны и иждивенцы узников, оставшиеся теперь без средств пропитания: 442, из них дошкольного возраста— 341).

Большинству дают 5 лет ссылки, но некоторым — 5 лет лагеря строгого режима (только–только что не в полосатой шкуре!), вдобавок ещё и 3–5 лет ссылки. Б.М. Здоровец из Олыпан Харьковской области получил за веру 7 лет строгого режима. Посажен 76–летний Ю.В. Аренд, а Лозовые— всею семьёю (отец, мать, сын). Евгений

[546] Примечания: 546

Кстати, сто лет назад процесс народников был — «193–х». Шума–то, Боже, переживаний! В учебники вошёл.

М.Сирохин, инвалид Отечественной войны 1–й группы, слепой на оба глаза, осуждён в селе Соколово Змиевского района Харьковской области на 3 года лагерей за христианское воспитание своих детей Любы, Нади и Раи, которые отобраны у него решением суда.

Суд над баптистом М.И. Бродовским (город Николаев, 6.10.1966) не гнушается использовать грубо подделанные документы. Подсудимый протестует: «Это не по совести!» Рычат ему в ответ: «Да Закон вас сомнёт, раздавит и уничтожит!»

За–кон. Это вам — не «внесудебная расправа» тех лет, когда ещё «соблюдались нормы».

Недавно стало известно леденящее душу «Ходатайство» Святослава Караванского, переданное из лагеря на волю. Автор имел 25, отсидел 16 (1944–60), освобождён (видимо, по «двум третям»), женился, поступил в университет, — нет! в 1965 пришли к нему снова: собирайся! не досидел 9 лет[547].

Где ж ещё возможно это, при каком другом земном Законе, кроме нашего? — навешивали четвертные железными хомутами, концы сро-

---

[547] Примечания: 547

Но и это не всё — славно работает коммунистическая глотальная машина! — в 1969 за передачу информации из Владимирской тюрьмы он получит новые 10 лет — до полной тридцатки!

ков— 70–е годы! Вдруг новый Кодекс (1961): не выше 15 лет. Да юрист–первокурсник и тот понимает, что, стало быть, отменяются те 25–летние сроки! А у нас— не отменяются. Хоть хрипи, хоть головой об стенку бейся — не отменяются. А у нас— даже пожалуйте досиживать!

Таких людей немало. Не попавшие в эпидемию хрущёвских освобождений, наши покинутые однобригадники, однокамерники, встречные на пересылках. Мы их давно забыли в своей восстановленной жизни, а они всё также потерянно, угрюмо и тупо бродят всё на тех же пятачках вытоптанной земли, всё меж теми же вышками и проволоками. Меняются портреты в газетах, меняются речи с трибун, борются с культом, потом перестают бороться, — а 25–летники, сталинские крестники, всё сидят…

Холодящие тюремные биографии некоторых приводит Караванский.

О свободолюбивые левые мыслители Запада! О левые лейбористы! О передовые американские, германские, французские студенты! Для вас — этого мало всего. Для вас — и вся моя эта книга сойдёт за ничто. Только тогда вы сразу всё поймёте, когда «р–руки назад!» потопаете сами на наш Архипелаг.

* * *

Но, действительно, политических— теперь несравнимо со сталинским временем: счёт уже не на миллионы и не на сотни тысяч.

Оттого ли, что исправился Закон?

Нет, лишь изменилось (на время) направление корабля. Всё так же вспыхивают юридические эпидемии, облегчая мозговой процесс юридических работников, и даже газеты подсказывают умеющим их читать: стали писать о хулиганстве — знай, повально сажают по хулиганской статье; пишут о воровстве у государства— знай, сажают расхитителей.

Уныло твердят сегодняшние зэки из колоний:

«Найти справедливость бесполезно. В печати одно, а в жизни другое» (В.И. Д.).

«Мне надоело быть изгнанником своего общества и народа. Но где можно добиться правды? Следователю больше веры, чем мне. А что она может знать и понимать — девчёнка 23 лет, разве она может представить, на что обрекает человека?» (В. К.)

«Потому и не пересматривают дел, что им тогда самим сокращаться (Л–н).

«Сталинские методы следствия и правосудия

просто перешли из политической области в уголовную, только и всего» (Г. С).

Вот и усвоим, что сказали эти страдающие люди:

1) пересмотр дел невозможен (ибо рухнет судейское сословие);

2) как раньше кромсали по 58–й, так теперь кромсают по уголовным (ибо — чем же им питаться? и как же тогда Архипелаг?).

Одним словом: хочет гражданин убрать со света другого гражданина, ему неугодного (но, конечно, непрямо ножом в бок, а по закону). Как это сделать без промаха? Раньше надо было писать донос по 58–10. А сейчас — надо предварительно посоветоваться с работниками (следственными, милицейскими, судейскими— а у такого гражданина именно такие дружки всегда есть): что модно в этом году? на какую статью невод заведен? по какой требуется судебная выработка? Ту и суй, вместо ножа.

Долгое время бушевала, например, статья об изнасиловании— Никита как–то под горячую руку велел меньше 12 лет не давать. И стали в тысячу молотков во всех местах клепать по двенадцать, чтобы кузнецы без дела не застаивались. А это — статья деликатная, интимная, оцените, она

чем–то напоминает 58–10: и там с глазу на глаз, и тут с глазу на глаз; и там не проверишь, и здесь не проверишь, свидетелей избегают— а суду как раз этого и нужно.

Вот вызывают в милицию двух ленинградских женщин (дело Смелова). — Были с мужчинами на вечеринке? — Были. — Половые сношения были? (А о том есть верный донос, установлено.) — Б–были. — Так одно из двух: вы вступали в половой акт добровольно или недобровольно? Если добровольно, рассматриваем вас как проституток, сдайте ленинградские паспорта и в 48 часов из Ленинграда! Если не добровольно, — пишите заявление как потерпевшие по делу об изнасиловании. Женщинам никак не хочется уезжать из Ленинграда! И мужчины получают по 12 лет.

А вот дело М.Я. Потапова, моего сослуживца по школе. Всё началось с квартирной ссоры— с желания соседей расшириться и с того, что жена Потапова, коммунистка, донесла на ещё одних соседей, что те незаконно получают пенсию. И вот— месть! Летом 1962 года Потапов, смирно живущий, ничего не подозревающий, внезапно вызван к следователю Васюре и больше уже не вернулся. (Учитесь, читатель! В таком правовом государстве, как наше, это может быть и с вами

в любой день, поверьте!) Следствие облегчается тем, что Потапов уже отбыл 9 лет по 58–й (да ещё отказался в 40–е годы дать ложное показание на однодельца, что делает его особенно ненавистным следствию). Васюра так откровенно и говорит ему: «Я вас пересажал столько, сколько у меня волос на голове. Жалко, теперь прав старых нет». Прибежала жена выручать мужа, Васюра ей: «Плевать я на тебя хотел, что ты — партийная! Захочу— и тебя посажу!» (Как пишет заместитель генерального прокурора СССР Н. Жогин (Известия, 18.9.1964): «В иных статьях и очерках как–то пытаются принизить труд следователя, сорвать с него ореол романтики. А— зачем?»)

В ноябре 1962 Потапова судят. Он обвиняется в изнасиловании 14–летней цыганки Нади (из их двора) и растлении 5–летней Оли, для чего заманивал их смотреть телевизор. В протоколах следствия от имени

6–летнего Вовы, никогда в жизни не видавшего полового акта, квалифицированно и подробно описывается такой акт «дяди Миши» с Надей, как Вова будто бы наблюдал через недоступно высокое, замороженное, закрытое ёлкой и занавесками окно. (Вот за этот диктант, растлевающий малолетнего, — кого судить?) «Изнасилованная»

Надя 6 месяцев беременности о том молчала, а как понадобилось дяде Васюре, так и заявила. На суд приходят преподаватели нашей школы — их не пускают в заседание. Но от этого они становятся свидетелями, как в коридоре суда родители подговаривают своих «свидетелей» — детей не сбиться в показаниях! Преподаватели пишут коллективное письмо на имя суда — письмо это имеет только то последствие, что теперь их поодиночке вызывают в райком партии и грозят снять с преподавательской работы за недоверие к советскому суду. (А как же? Эти протесты надо обрывать в самом зародыше! А иначе для правосудия не будет и жизни, если общественность посмеет иметь своё мнение о нём.) Тем временем — приговор: 12 лет строгого режима. И всё. И кто знает провинциальную обстановку— чем можно противиться? Ничем. Мы бессильны. Самих с работы снимут. Пусть погибает невинный! Всегда прав суд, и всегда прав райком (а связаны они— телефоном).

И так бы осталось. Вот так всегда и остаётся.

Но по стечению обстоятельств в эти самые месяцы печатается моя повесть о давно минувших неправдоподобных страданиях Ивана Денисовича— и райком перестаёт быть для меня

кошкой–силой, я вмешиваюсь в это дело, пишу протест в Верховный Суд республики, а главное — вмешиваю корреспондентку «Известий» О. Чайковскую. И начинается трёхлетний бой.

Тупая глухая следственно–судебная туша тем и живёт, что она — безгрешна. Эта туша тем и сильна, тем и уверенна, что никогда не пересматривает своих решений, что каждый судейский может рубить, как хочет, — и уверен, что никто его не подправит. Для того существует закрытый сговор: каждая жалоба, в какую бы Перемоскву её ни послали, будет переслана на рассмотрение именно той инстанции, на которую она жалуется. И да не будет никто из судейских (прокурорских и следовательских) порицаем, если он злоупотребил, или дал волю раздражению, или личной мести, или ошибся, или сделал не так, — покроем! защитим! стенкою станем! На то мы и Закон.

Как это так: начать следствие и не обвинить? Значит, холостая работа следователя? Как это: нарсуду принять дело и не осудить? Значит, следователя подвести, а нарсуд работает вхолостую? Что значит облсуду пересмотреть решение нарсуда? — значит, повысить процент брака в своей области. Да и просто неприятности своим судебным товарищам, зачем это?

Однажды начатое, скажем по доносу, следствие должно быть непременно закончено приговором, который пересмотреть невозможно. И тут уж: один другого не подводи! И не подводи райком — делай, как скажут. Зато и они тебя не выдадут.

И что ещё очень важно в современном суде: не магнитофон, не стенографистка— медленнорукая секретарша со скоростями школьницы позапрошлого века выводит там что–то в листах протокола. Этот протокол не оглашается в заседании, его никому нельзя видеть, пока не просмотрит и не утвердит судья. Только то, что судья утвердит, — будет суд, было на суде. А что мы слышали своими ушами, — то дым, того не было.

Чёрнолакированное лицо истины всё время стоит перед умственным взором судьи — это телефонный аппарат в совещательной комнате. Оракул этот— не выдаст, но и делай же, как он говорит.

А мы— добились обжалования, небывалый случай. Потянулось заново переследствие. Прошло 2 года, подросли те несчастные дети, им хочется освободиться от ложных показаний, забыть их, — нет, их снова натаскивают родители и новый следователь: вот так будешь говорить, вот так, а

то твоей маме плохо будет; если дядю Мишу не осудят, то твою маму осудят.

И вот мы сидим на заседании рязанского облсуда. Адвокат бесправен, как всегда. Судья может отклонить любой его протест, и отклонение не подлежит уже ничьему контролю. Опять использование показаний враждебных соседей. Опять бессовестное использование показаний малолетних (сравните суд над Базбеем). Судья не обращается: «расскажи, как было», не просит: «расскажи правду», а «расскажи, как ты говорила на следствии!» Свидетелей защиты сбивают, путают и угрожают: «А на следствии вы показали… Какое вы имеете право отказываться?»

Судья Авдеева давит своих заседательниц, как львица ягнят. (Кстати, где седобородые старцы–судьи? Изворотливые и хитрые бабы заполняют наши судейские места.) У неё волосы— как грива, твёрдая мужская манера говорить, металлические вибрации, когда она сама содрогается от высокого значения своих слов. Чуть процесс идёт не по её — она злится, бьёт хвостом, краснеет от напряжения, прерывает неугодных свидетелей, запугивает наших учителей: «Как вы смели усумниться в советском суде?» «Как вы могли подумать, что кто–то подучил детей? Значит,

вы сами воспитываете детей во лжи?» «А кто был инициатор коллективного письма в суд?» (В стране социализма не допускают самой идеи коллективного действия! — кто? кто? кто?) Прокурору Кривовой (да кто им фамилии выбирает!) даже и делать нечего при такой напористой судьице.

И хотя по процессу все обвинения развалились: Вова ничего в окно видеть не мог; Оля уже ото всего отказывается, никто её не растлевал;

все дни, когда могло совершиться преступление, в единственной комнате Потаповых лежала и больная жена, не при ней же муж насиловал соседку–цыганку; и цыганка эта перед тем что–то у них украла; и цыганка эта дома не ночевала, таскалась под всеми заборами ещё до того, несмотря на свои 14 лет; — но не мог ошибиться советский следователь! но не мог ошибиться советский суд! Приговор— 10 лет! Торжествуй, наше судейское сословие! Не дрогните, следователи! Пытайте и дальше!

Это — при корреспонденте «Известий»! Это — при заступничестве Верховного Суда РСФСР! А как с теми, за кого не заступаются?..

И ещё почти год идёт казуистическая борьба— и наконец Верховный Суд постановляет:

Потапов ни в чём не виновен, оправдать и освободить. (Три года просидел…) А как с теми, кто развращал иподучивал детей? Ничего, сорвалось так сорвалось. А легло ли хоть пятнышко на львиную грудь Авдеевой? Нет — она высокий народный избранник. Ачто решено о сталинском истязателе Васюре? На месте, на месте, когти не подстригались.

Стой и процветай, судебное сословие! Мы— для тебя, не ты для нас! Юстиция да будет тебе ворсистым ковриком. Лишь было б тебе хорошо! Давно провозглашено, что на пороге бесклассового общества и судебный процесс станет бесконфликтным (чтоб отразить внутреннюю бесконфликтность общественного порядка): такой процесс, где состав суда, прокурор, защита и даже сам обвиняемый соединённо будут стремиться к общей цели.

Такая проверенная устойчивость правосудия очень облегчает жизнь милиции: она даёт возможность без оглядки применять приём прицеп или «мешок преступлений». Дело в том, что по нерадивости, по нерасторопности, а когда и по трусости местной милиции — одно, другое и третье преступление остаётся нераскрытым. Но для отчётности они непременно должны быть

раскрыты (то есть «закрыты»)! Так ждут удобного случая. Вот попадается в участок кто–нибудь податливый, забитый, дураковатый, — и на него нахомучивают все эти нераскрытые дела — это он их совершил за год, неуловимый разбойник! Кулачным битьём и вымариванием его заставляют во всех преступлениях «признаться», подписать, получить большой срок по сумме преступлений — и очистить район от пятна. (В Арта–шате, под Ереваном, совершилось убийство. В 1953 схватили одного наугад, обставили лжесвидетелями, били, дали 25 лет. А в 1962 нашёлся настоящий убийца…)

Общественная жизнь очень оздоровляется благодаря тому, что не остаётся ненаказанного порока. И милицейских следователей премируют.

Очистить район от пятна можно и противоположным способом: сделать так, будто уголовного преступления вообще не было. Старый бывший зэк Иван Емельянович Брыксин, 69 лет, отсидевший свою десятку когда–то (мой приятель по шарашке Марфино), в июле 1978 смертно избит и ограблен двумя молодыми хулиганами в вечернее пустынное время в дачном посёлке Турист. Два часа он лежит на автобусной оста-

новке, его никто не поднимает. Затем привозят в ближайшую терапевтическую больницу в Деденёво. Врач Савельева не может оказать никакой помощи — и не отправляет его в травматологическую больницу; хотя он называет свою фамилию, имя–отчество, возраст, — она не сообщает о раненом по своей врачебной линии, ни даже в милицию, — и так трое суток, пока избитый с гематомой, кровоизлиянием в мозг, разбитыми зубами, залитыми глазами лежит не только без медицинской помощи, но даже без ухода санитарки (запила), на клеёнке, по плечи в моче. Трое суток родные мечутся, ищут его в этом же посёлке и по всей Савёловской дороге — но ведь врач никуда не доложила. Наконец находят и собственными — не больничными — усилиями вызывают из Москвы реанимационный автобус, который доставляет его к нейрохирургу, тот оперирует череп— но не может спасти от внутреннего кровоизлияния. Больной умирает после 9 дней мучений.

Местная икшанская милиция получила заключение судебно–медицинской экспертизы — но не спешит со следствием и тем более не осматривает в больнице одежду убитого, не ищет на ней следов. Да дело в том, что этих местных ху-

лиганов в Деденёве все знают— и все их боятся. И вот та же врач Савельева помогает старшей следовательнице Герасимовой (при допросе жены убитого у неё в кабинете звучит эстрадный концерт) на третьем месяце следствия прийти к выводу: у пострадавшего случился инсульт, он упал и оттого разбился. Итак, арестовывать некого, преступления не было и район чист.

Мир твоему праху, Иван Емельяныч!

А ещё более оздоровилось общество и ещё более укрепилось правосудие от того года, когда кликнуто было хватать, судить и выселять тунеядцев. Это указ тоже в какой–то степени заменил ушедшую гибкую 58–10: обвинение тоже оказалось вкрадчивое, невещественное — и неотразимое. (Сумели же применить его к поэту Иосифу Бродскому.)

Это слово — тунеядец — было ловко извращено при первом же прикосновении к нему. Именно тунеядцы — бездельники с высокой зарплатой, сели за судейские столы, и потекли приговоры нищим работягам иумельникам, колотящимся после рабочего дня подработать ещё что–нибудь. Да с какой злостью — извечною злостью пресыщенных против голодных— накинулись на этих «тунеядцев»! Два бессовестных аджубеевских

журналиста («Известия», 23.6.1964) не постыдились заявить: тунеядцев недостаточно далеко от Москвы высылают! разрешают им получать посылки и денежные переводы от родственников! недостаточно строго их содержат! «не заставляют их работать от зари до зари» — буквально так и пишут: от зари до зари! Да на заре какого же коммунизма, да по какой же конституции нужна такая барщина?!

Мы перечислили несколько важных потоков, благодаря которым (и при никогда не скудеющем казённом воровстве) постоянно пополняется Архипелаг.

Да не совсем же впустую ходят по улицам и сидят в своих штабах и дробят зубы задержанным — «народные дружинники», эти назначенные милицией ушкуйники или штурмовики, не упомянутые в конституции и не ответственные перед законом.

Пополнения на Архипелаг идут. И хотя общество давно бесклассовое, и хотя полнеба в зареве коммунизма, но мы как–то привыкли, что преступления не кончаются, не уменьшаются, да что–то и обещать нам перестали. В 30–е годы верно обещали: вот–вот, ещё несколько лет! А теперь и не обещают.

Закон наш могуч, выворотлив, непохож на всё, называемое на Земле «законом».

Придумали глупые римляне: «закон не имеет обратной силы». А у нас— имеет! Бормочет реакционная старая пословица: «закон назад не пишется». А у нас— пишется! Если вышел новый модный Указ и чешется у Закона применить его к тем, кто арестован прежде, — отчего ж, можно! Так было с валютчиками и взяточниками: присылали с мест, например из Киева, списки в Москву — отметить против фамилий, к кому применить обратную силу (увеличить катушку или подвести под девять грамм]. И— применяли.

А ещё наш Закон— прозревает будущее. Казалось бы, до суда неизвестно, каков будет ход заседания и приговор. А смотришь, журнал «Социалистическая законность» напечатает это всё раньше, чем состоялся суд. Как догадался? Вот спроси…

«Социалистическая законность» (орган Прокуратуры СССР), январь 1962, № 1. Подписан к печати 27 декабря 1961. На стр. 73, 74— статья Григорьева (Грузда) «Фашистские палачи». В ней — отчёт о судебном процессе эстонских военных преступников в Тарту. Корреспондент описывает допрос свидетелей; вещественные доказательства, ле-

жащие на судейском столе; допрос подсудимого («цинично ответил убийца»), реакцию слушателей, речь прокурора. И сообщает о смертном приговоре. И всё свершилось именно так— но лишь 16 января 1962 (см. «Правду» от 17.1.1962), когда журнал уже был напечатан и продавался. (Суд перенесли, а в журнал не сообщили. Журналист получил год принудработ.)

А ещё наш Закон совершенно не помнит греха лжесвидетельства — он вообще его за преступление не считает! Легион лжесвидетелей благоденствует среди нас, шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни. Это только наша страна одна во всей истории и во всём мире холит лжесвидетелей!

А ещё наш Закон не наказывает судей–убийц и прокуроров–убийц. Они все почётно служат, долго служат и благородно переходят в старость.

А ещё не откажешь нашему Закону в метаниях, в шараханьях, свойственных всякой трепетной творческой мысли. То шарахается Закон: в один год резко снизить преступность! меньше арестовывать! меньше судить! осуждённых брать на поруки! А потом шарахается: нет изводу злодеям! хватит «порук»! строже режим! крепче сроки! казнить негодяев!

Но несмотря на все удары бури — величественно и плавно движется корабль Закона. Верховные Судьи и Верховные Прокуроры — опытны, и их этими ударами не удивишь. Они проведут свои Пленумы, они разошлют свои Инструкции — и каждый новый безумный курс будет разъяснён как давно желанный, как подготовленный всем нашим историческим развитием, как предсказанный Единственно–Верным Учением.

Ко всем метаньям готов корабль нашего Закона. И если завтра велят опять сажать миллионы за образ мышления, и ссылать целиком народы (снова те же или другие) или мятежные города, и опять навешивать четыре номера, — его могучий корпус почти не дрогнет, его форштевень не погнётся.

И остаётся — державинское, лишь тому до сердца внятное, кто испытал на себе:

Пристрастный суд разбоя злее.

Вот это— осталось. Осталось, как было при Сталине, как было все годы, описанные в этой книге. Много издано и напечатано Основ, Указов, Законов, противоречивых и согласованных, — но не по ним живёт страна, не по ним арестовывают, не по ним судят, не по ним экспертируют. Лишь в тех немногих (процентов 15?) случаях,

когда предмет следствия и судоразбирательства не затрагивает ни интереса государства, ни царствующей идеологии, ни личных интересов или покойной жизни какого–либо должностного лица, — в этих случаях судебные разбиратели могут пользоваться такою льготой: никуда не звонить, ни у кого не получать указаний, а судить— по сути, добросовестно. Во всех же остальных случаях, подавляющем числе их, уголовных ли, гражданских — тут разницы нет, — не могут не быть затронуты важные интересы председателя колхоза, сельсовета, начальника цеха, директора завода, заведующего ЖЭКом, участкового милиционера, уполномоченного или начальника милиции, главного врача, главного экономиста, начальников управлений и ведомств, спецотделов и отделов кадров, секретарей райкомов и обкомов партии — и выше, и выше! — и во всех этих случаях из одного покойного кабинета в другой звонят, звонят неторопливые, негромкие голоса и дружески советуют, поправляют, направляют — как надо решить судебное дело маленького человечка, на ком схлестнулись непонятные, неизвестные ему замыслы возвышенных над ним лиц. И маленький доверчивый читатель газет входит в зал суда с колотящейся в

груди правотою, с подготовленными разумными аргументами и, волнуясь, выкладывает их перед дремлющими масками судей, не подозревая, что приговор его уже написан, — и нет апелляционных инстанций, и нет сроков и путей исправить зловещее корыстное решение, прожигающее грудь несправедливостью.

А есть— стена. И кирпичи её положены на растворе *лжи*.

Эту главу мы назвали «Закон сегодня». А верно назвать её: Закона нет.

Всё та же коварная скрытность, всё та же мгла неправоты висит в нашем воздухе, висит в городах пуще дыма городских труб.

Вторые полвека высится огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи— есть, а закона— нет.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эту книгу писать бы не мне одному а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю.

Но время тому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы, — не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в моё распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он.

А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах, по радио («откликнитесь!»), своя открытая переписка — так, как было с Брестской крепостью.

Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить и сделать всё в глубокой тайне. И даже время работы над ней прикрывать работой будто бы над другими вещами.

Уж я начинал эту книгу, я и бросал её. Никак я не мог понять: нужно или нет, чтоб я один такую написал? И насколько я это выдюжу? Но когда вдобавок к уже собранному скрестились на мне

ещё многие арестантские письма со всей страны, — понял я, что раз дано это всё мне, значит, я и должен.

Надо объяснить: ни одного разу вся эта книга, вместе все Части её не лежали на одном столе! В самый разгар работы над «Архипелагом», в сентябре 1965 года, меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные Части «Архипелага» и материалы для других Частей разлетелись в разные стороны и больше не собирались вместе: я боялся рисковать, да ещё при всех собственных именах. Я всё выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и недоработанность — верный признак нашей гонимой литературы. Уж такой и примите книгу.

Не потому я прекратил работу, что счёл книгу оконченной, а потому, что не осталось больше на неё жизни.

Не только прошу я о снисхождении, но крикнуть хочу: как наступит пора, возможность — соберитесь, друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой ещё комментарий: что надо — исправьте, где надо — добавьте (только не громоздко, сходного не надо повторять). Вот тогда

книга и станет окончательной, помоги вам Бог.

Я удивляюсь, что я и такую–то кончил в сохранности, несколько раз уж думал: не дадут.

Я кончаю её в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилеи–то связанные): 50 лет революции, создавшей Архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки (1867).

Второй–то юбилей небось пропустят…

Апрель 1958— февраль 1967 Рязань — Укрывище

ЕЩЁ ПОСЛЕ

Я спешил тогда, ожидая, что во взрыве своего письма писательскому съезду если и не погибну, то потеряю свободу писать и доступ к своим рукописям. Но так с письмом обернулось, что не только я не был схвачен, а как бы на граните утвердился. И тогда я понял, что обязан и могу доделать и до–править эту книгу.

Теперь прочли её немногие друзья. Они помогли мне увидеть важные недостатки. Проверить на более широком круге я не смел, а если когда и смогу, то будет для меня поздно.

За этот год, что мог, — я сделал, дотянул. В неполноте пусть меня не винят: конца дополнениям здесь нет, и каждый, чуть–чуть касавшийся или размышлявший, всегда добавит — и даже нечто жемчужное. Но есть законы размера. Размер уже на пределе, и ещё толику этих зернинок сюда втолкать — развалится вся скала.

А вот что выражался я неудачно, где–то повторился или рыхло связал, — за это прошу простить. Ведь спокойный год всё равно не выдался, а последние месяцы опять горела земля и стол. И

даже при этой последней редакции я опять ни разу не видел всю книгу вместе, не держал на одном столе.

Полный список тех, без кого б эта книга не написалась, не переделалась, не сохранилась, — ещё время не пришло доверить бумаге. Знают сами они. Кланяюсь им.

Май 1968 Рождество–на–Истье

И ЕЩЁ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Ныне, в изгнании, всё же выпала мне спокойная доработка этой книги, хоть и после того, как прочёл её мир. Ещё новых два десятка свидетелей из бывших зэков исправили или дополнили меня.

Тут, на Западе, я имел несравненные с прежним возможности использовать печатную литературу, новые иллюстрации. Но книга отказывается принять в себя ещё и всё это. Созданная во тьме СССР толчками и огнём зэческих памятей, она должна остаться на том, на чём выросла.

1979 Вермонт

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ[548]

А.Г. — вербуемый в сексоты— II: 287

А.Д. — филолог–классик, бывший з/к— III: 408

А.К. — преподавательница литературы в провинциальном институте—II: 525,526

Абакумов Виктор Семенович (1908–1954, расстрелян)— нач. контрразведки СМЕРШ, министр госбезопасности СССР (1946–51), з/к— I: 114, 125, 141, 150, 152, 153, 193, 274, 468, 494, 495; III: 276

Абрикосова Анна Ивановна (игумения Екатерина; 1882–1936, умерла в заключении) — глава католической общины в Москве, з/к и ссыльная с 1923 (Екатеринбургский, Тобольский и Ярославский изоляторы, Кострома, Бутырки)— I: 50

Абросимов—ленинградский инженер, з/к (строительство заполярной Нивагрэс) — II: 321

Августин Блаженный (354–430) — I: 327

Авдеева— судья (Рязань, 1964) — III: 492, 493

Авербах Ида Леонидовна (1905–1938, расстреляна)— племянница Я.М. Свердлова (см.), жена

[548] Примечания: 548

Составители: Н.Г. Левитская и В.А. Шумилин (Москва), помог материалами Н.Н. Сафонов (Москва), дополнительный поиск и редакция: А.Я. Разумов (С. — Петербург).

Г.Г. Ягоды (см.), пом. прокурора Москвы, автор кн. «От преступления к труду»— I: 11; II: 20, 55, 66, 83, 84, 87–89, 91, 114, 244, 245, 335, 343, 349, 342, 352,382, 471

Авербах Леопольд Леонидович (1903–1937, расстрелян) — племянник Я.М. Свердлова, генеральный секретарь РАПП, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» — II: 65, 66

Агранов Яков Саулович (1893–1938, расстрелян)— следователь ВЧК, зам. председателя ОГПУ и наркома внутренних дел (1933–37)—!: 100, 309, 310; II: 268

Адамова–Слиозберг Ольга Львовна (1902–1991)— экономист, з/к и ссыльная (Лубянка, Бутырки, Соловки, Колыма, Караганда; 1936–55), автор мемуаров «Путь» — I: 11, 271, 436; II: 99, 101, 263, 509; III: 316 Адаскин Матвей— з/к, прораб (Экибастуз, 1950–е)— III: 216 Аденауэр Конрад (1876–1967)— федеральный канцлер ФРГ (1949–63)—III: 394

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918)— агент полиции, член боевой

организации эсеров — III: 75 Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) — литературный критик,

в 1922 выслан из Советской России— I: 346 Аки-

мов Михаил Григорьевич (1847–1914) — министр юстиции (1905),

председатель Государственного совета (1907–14)— I: 338 Акимов Николай— офицер, з/к (Новый Иерусалим в Подмосковье,

1945)—II: 139, 140, 144 Акоев Пётр — з/к (Кенгир, 1954) — III: 269, 282 Аксаков— з/к (Соловки)— II: 36 Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) —III: 302 Алалыкин Фёдор Николаевич (1877–1941, умер в заключении) —

рабочий–прядильщик, член РСДРП, счетовод на мельнице

в Кохме, з/к с 1937 (Ивановская тюрьма, Карлаг)— I: 408;

II: 268

Аланов Николай Андреевич— нач. Юглага (Колыма) — II: 100

Алафузо Михаил Иванович (1891–1937, расстрелян) — нач. кафедры Академии Генштаба Красной армии, комкор— II: 268

Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886–1957)— писатель, историк, с 1919 в эмиграции— I: 203

Алдан–Семёнов Андрей Игнатьевич (1908–1985)— писатель, з/к и ссыльный (Кировская тюрьма, Колыма, Джамбул; 1938–55)— I: 492; II:

262, 278, 279, 281, 342, 343; III: 434–437

Александер Тунисский Харолд Руперт Леофрик Джордж (1891–1969)— английский фельдмаршал— I: 241

Александр I Павлович (1777–1825) — I: 395

АлександрII Александрович (1818–1881)—I: 130, 141; II: 520; III: 72, 73, 348

Александр III Александрович (1845–1894) —I: 131; III: 76

Александров— сотрудник ВОКСа, з/к (1948)— I: 125 Александров Василий— военнопленный в Финляндии, вернулся в СССР, з/к–бригадир (Экибастуз, 1950–е)—I: 228; II: 448 Александрова Мария Борисовна— Сеид. I: 13 Алексеев— з/к (Калужская застава в Москве, 1945)— II: 462 Алексеев Иван— отец корреспондента А. Солженицына— II: 28

Алексеев Иван А. — з/к (УстьВымлаг)— Сеид. I: 13; III: 440, 462–464

Алексеев Иван Николаевич— Сеид. I: 13

Алексеенцев — председатель сельпо, з/к с 1948 за несовершенное

убийство—II: 348 Алексей Михайлович (1629–1676) — I: 98, 221, 395; III: 72, 299,

336

Алиев—з/к (Воркута, 1938)—11:314

Алкснис Яков Иванович (1897–1938, расстре-

лян) — нач. ВВС Красной армии, командарм 2–го ранга— II: 268

Алымов Сергей Яковлевич (1892–1948)— поэт–песенник, в 1926 вернулся из эмиграции, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» — II: 59

Альтшуллер Александр (Исаак) Константинович (1903-?) — чекист ПП ОГПУ–УНКВД–УНКГБ Ленинграда (1933–37, 1940–42), арестован в 1956 за фальсификацию следственных дел, освобождён в 1957 — I: 403

Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич; 1873–1965) — митрополит Русской Зарубежной Православной Церкви — III: 112

Андерс Владислав (1892–1970)— военачальник, з/к (1939–41), командовал сформированной в СССР польской армией и польским корпусом Союзнических сил во Второй мировой войне, автор мемуаров «Без последней главы»— I: 84; III: 133

Андерсен Эрик Арвид— швед, з/к (Куйбышевская пересылка, Верхнеуральский изолятор)— I: 469, 493–495; III: 367

Андреев— вольный врач (Дорожный ИТЛ, Куранах–Сала)— II: 335

Андреев Андрей Андреевич (1895–1971)— член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1932–52 — III: 314

Андреев Вадим Леонидович (1902–1976)— сын Л.Н. Андреева, после октябрьского переворота 1917 остался с отцом в Финляндии—III: 79

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919)— писатель— I: 405; III: 79, 80

Андреев (Хомяков) Геннадий Андреевич (1906–1984) — литератор, з/к (УхтПечлаг, Соловки; 1927–35), после 2–й мировой войны в эмиграции, ред. альманаха «Мосты»— II: 56 Андреевич Михаил— з/к (Воркута, конец 1930–х)— II: 257 Андрейчин Джордж (Георгий Ильич; 1894–1950, расстрелян в Москве)— македонец из Болгарии, работник Профинтерна и Коминтерна, з/к (Воркута), по освобождении зав. отделом информации МИД Болгарии, вновь арестован в 1949 — II: 315

Андреюшкин Пахомий Иванович (1865–1887, повешен)— революционер–народник, одноделец А.И.Ульянова (см.) — I: 131, 132

Андреяшин— солдат батареи А. Солженицына— I: 156 Аникин— инженер, офицер, з/к (Экибастуз)— II: 333; III: 186 Аниконов Юрий Евгеньевич (р. 1933) — школьник из Ленинск–Кузнецка, в 1951 осуждён на 10 лет, доктор физико–математических наук (1977)— II: 254 Анисимов — оперуполномоченный (Колыма, прииск Золотистый) — II: 100

Аничков Василий Иванович— по сведениям сестры, Наталии Ивановны Аничковой, расстрелян в 1927— I: фото на с. 407

Аничков Игорь Евгеньевич (1891–1978)— филолог, з/к и ссыльный (Соловки, Сыктывкар; 1928–37) —II: 36

Аничкова Елизавета Евгеньевна (Евреинова–Аничкова; 1894–1940, расстреляна в Красноярске)— сестра И.Е. Аничкова, переводчик, ссыльная и з/к с 1926— I: фото на с. 407

Аничкова Наталья Мильевна (1896–1975)— филолог, з/к (Унжлаг, Сухобезводное, 1949–55)—Сеид. I: 13; II: 210, 514

Анна Иоанновна (1693–1740) — I: 400

Анненкова Юлия — журналист, переводчик, з/к—II: 269

Антон— 17–летний немец–военнопленный—II: 288

Антонин (Грановский Александр Андреевич; 1865–1927)— митрополит обновленческой церкви, член ЦК Помгола— I: 319

Антонов см. Артамонов А. В.

Антонов–Саратовский Владимир Павлович (1884–1965)—председатель Комиссии законодательных предложений при Совнаркоме и член Верховного суда СССР (1923–38), член суда на

процессах Шахтинском и Союзного бюро меньшевиков—I: 347, 349, 368

Анциферов Николай Павлович (1889–1958)— историк, краевед, з/к (Соловки, БелБалтлаг; 1929–1933), автор мемуаров «Из дум о былом»— II: 36

Апетер Иван Андреевич (1890–1938, расстрелян)— чекист, нач. Главного управления исправительно–трудовых учреждений, нач. конвойных войск СССР, нач. Соловецкой тюрьмы в 1937—II: 94, 377, 433

Апфельцвейг— з/к (Кенгир, 1954) — III: 282

Ар–в А.М. — корреспондент А. Солженицына— III: 333

Аралов— з/к–бригадир (Краслаг)— II: 278

Арамович— з/к (Княж–Погост, 1947)— II: 487 Арань Янош (1817–1882) — венгерский поэт— III: 110 Аренд Ю.В. (1888-?) — баптист, з/к (1962–64)— III: 488 Аркадьев Константин Сергеевич (1891–1937, расстрелян)— зав.

райземотделом в Александрове, з/к— I: 414 Аронштам Лазарь Наумович (1896–1938, расстрелян)— нач. Политуправления ОКДВА (1933–36), армейский комиссар 2–го ранга—II: 268 Арсен— з/к–бригадир (Ныроблаг, нач. 1950–х)—III: 204 Артамонов А.В. — нач. Байдарлага, ЕнисейЖелДорлага, Красно–горлага [Антонов в цитируемых записках

А. Побожия) — II: 433, 452; III: 23 Артузов (Фраучи) Артур Христианович (1891–1937, расстрелян) —
чекист, контрразведчик—II: 268 Архимед (ок. 287–212 до н. э.) — древнегреческий учёный — III: 99 Арцишевский— прокурор— II: 347
Асатиани Георгий Григорьевич (1889–1970)— певец и преподаватель вокала, з/к и ссыльный с 1925 (Ленинградский ДПЗ, Соловки, Архангельск, Красноярск; в документах и воспоминаниях также Ассоциани, Асатиани–Эристов)— II: 36
Асеева Мария— служащая станции Вис, з/к— III: 441
Аскольдов (Алексеев) Сергей Алексеевич (1871–1945)— философ, литературовед, з/к и ссыльный с 1928, в войну на оккупированной территории, эмигрант— II: 36
Асланов—з/к (Экибастуз, 1951)—III: 186
Аустрин Рудольф Иванович (1891–1937, расстрелян)— полпред ОГПУ и нач. УНКВД Северного края (1929–37), затем Кировской области— III: 321
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966)— I: 100; III: 83
Ахола Рихард— финский красногвардеец, з/к— I: 126
Ашенбреннер Юп—баварец, з/к (1954)—I: 113
Б. — з/к («Кресты», 1932) — I: 399

Б. Григорий— ссыльный (Казань, 1934)—III: 307
Б.Ш., Б.Я.Ш. —врач, з/к—II: 192
Б–в А. — з/к (Адак, Печора; конец 1930–х) — II: 316
Бабаев — з/к— I: 269
Бабич Александр Павлович (1899–1950, умер в заключении)— почётный полярник, в 1942 приговорён к расстрелу с заменой на 10 лет (Джидинский лагерь)— Сеид. I: 13, 143, 408; II: 172, 173, 237, 305–307, 523, 530
Бабухин Иван Андреевич— нач. отдела по подготовке и рассмотрению ходатайств о помиловании (1953–59), председатель Комиссии законодательных предположений Верховного Совета СССР (1964) — III: 469 Бабушкин Иван Васильевич (1873–1906, расстрелян)— революционер–большевик— I: 24 Баев — секретарь партбюро артели — III: 404 Бажанов Борис Георгиевич (1900–1982)— партийный работник, в 1928 бежал из СССР, автор кн. «Воспоминания бывшего секретаря Сталина»— III: 26 Базбей (Бозбей) Н.М. (р. 1913)—донецкий шахтёр, з/к (в 1964
осуждён как баптист на 3 года) — III: 486, 487, 492 Базбей (Бозбей) Нина — дочь Н.М. Бозбея — III: 486 Базиченко—з/к (беглец из лагеря Новорудное, 1949)—III: 132 Базунов — старшина МВД, автор

отклика на «Один день Ивана
Денисовича»— III: 427 Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — II: 342 Бакаев—нач. ИТК–2 (Тирасполь, 1960–е)—II: 392; III: 442 Бакст Михаил Абрамович (р. 1933)— школьник из Ленинск–Кузнецка, в 1951 осуждён на 10 лет — Сеид. I: 13, 147; II: 254; III: 415
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876)— I: 129 Баландин—работник Кемеровского УМГБ (нач. 1950–х) — I: 149 Балицкий Всеволод Аполлонович (1892–1937, расстрелян)— чекист, нарком внутренних дел Украины (1934–37)— II: 268 Балыбердин Антон Васильевич (1899-?)— зав. производством
Тоншаевского пищекомбината, з/к (Буреполом) — II: 311 Бальзак Оноре де (1799–1850)— I: 474; II: 342 Бандера Степан Андреевич (1908–1959, убит при покушении) — вождь украинского национального движения, эмигрант — 1:237
Барабанов Василий Арсентьевич (1900–1964) — нач. Нижне–Амур–ского, Саратовского, Северо–Печорского, Цимлянского лагерей и Строительства 503 (1941–52), полковник— II: 444
Баранов Александр Иванович— з/к (Ныроблаг, 1944)— Сеид. I: 13; II: 321
Баранович Марина Казимировна (1901–1975)—

з/к (Бутырки, 1918), переводчик, друг Б.Л. Пастернака— Сеид. I: 13, 124

Барановский Янек— з/к (Экибастуз, 1952) — III: 236 Баранюк Павел— офицер–фронтовик, з/к (Владимир–Волынский, Экибастуз; 1949–50)—II: 125, 487; III: 37, 38, 66, 93, 243

Баринов— з/к (Новый Иерусалим в Подмосковье, 1945) — II: 141, 142, 144, 145

Баринов Алексей Михайлович— лагерный врач, майор (Озёр–лаг) — II: 283

Баркалов— нач. прииска Золотистый (Колыма)— II: 100 Басов Александр Васильевич (1912–1988)— 1–й секретарь Ростовского обкома КПСС (1960–62) — III: 480 Батанов — летчик–курсант, з/к–беглец (Экибастуз) — III: 69, 138, 185 Батурин— з/к–помпобыт (Экибастуз, 1950) — III: 65 Батый (1208–1255)—III: 36

Бахрушин Николай Николаевич (1901–1930, умер в заключении) — з/к с 1928 (Соловки) — II: 36

Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) — филолог и философ, з/к и ссыльный (1929–36) — I: 62

Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич; 1883–1945)— писатель—I: 439; II: 425

Безродный Вячеслав— з/к (Якутия, Ольчан)— Сеид. I: 13; II: 322

Бек Михаил Михайлович — председатель ревтрибунала на Московском церковном процессе 1922, работник Наркомюста — I: 321, 322

Беленький—з/к (Унжлаг, Сухобезводное, 1950–е)—II: 198 Белинков Аркадий Викторович (1921–1970) — студент–дипломник Литературного института, з/к (Москва, Карлаг; 1944–56), литературовед, с 1968 в эмиграции—Сеид. I: 13; II: 147, 253,393

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848)— I: 184 Беличкин — бывший лагерный работник (Соловки) — II: 57 Белобородов Александр Георгиевич (1891–1938, расстрелян) — председатель исполкома Уральского облсовета (1918–19, подписал решение о расстреле царской семьи), зам. наркома и нарком внутренних дел РСФСР (1921–27) — II: 268 Белов Алексей— машинист, отец В.А. Белова— I: 211 Белов Виктор Алексеевич — «император Михаил», з/к (Лубянка,

1945) —I: 211–215, 537, 538; II: 122 Белова Пелагея—мать В.А. Белова—I: 211, 213, 215 Белозёров Константин Семенович (1894–1930, расстрелян) — поручик Финляндского полка, командир эскадрона Красной армии, з/к и командир карантинной роты (Соловки, Кем–перпункт) — II: 27 Белокопыт (убит в нач. 1950–х)— з/к–бригадир

(Кенгир) — III: 249 Белоусов— з/к, бригадир станочников (Экибастуз, 1952) — III: 245

Вельский—мл. лейтенант, з/к—II: 443; III: 415 Беляев—подполковник–интендант, з/к (Котласская пересылка) — I: 497

Беляев—ст. оперуполномоченный (Кенгир, 1950–54) — III: 56, 131, 181, 256, 263–266, 290, 294

Беляев Александр Иванович— генерал–майор, з/к (Калужская застава в Москве, Потьма) —II: 214–219, 225–227, 229

Бенеш Эдуард (1884–1948)— государственный деятель Чехословакии— I: 242

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, историк

искусства, эмигрант—I: 245 Бербенёв— солдат из батареи А. Солженицына— I: 156 Берг Ефрем Соломонович (1875–1937, расстрелян) — член ЦК партии эсеров, з/к и ссыльный неоднократно, подсудимый на процессе эсеров 1922 — I: 339 Берденов — директор школы (Кок–Терек, 1953)—III: 383 Бердяев Николай Александрович (1874–1948)— философ, в 1922

выслан из Советской России— I: 128, 245, 346; III: 78 Береговая— з/к–бригадир, нач. отряда (Дмитлаг) — II: 351, 352 Березина Люба—з/к (Унжлаг, Сухобезводное; 1950–е)—II: 198 Березов-

ский— профсоюзный работник, з/к и ссыльный с 1938 — III: 337

Беремблюм—з/к, портной—II: 175

Берестинский Михаил Исаакович (1905–1968) — драматург, журналист, з/к (1950–е)—III: 437

Берзин Эдуард Петрович (1893–1938, расстрелян)— нач. Даль–строя (1931–37)—II: 100,268

Беридзе—з/к—I: 290

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953, расстрелян)— нарком (министр) внутренних дел СССР (1938–45, 1953), зам. председателя Совнаркома и Совмина СССР (1941–53), куратор «атомного проекта СССР»— I: 83, 141, 152, 153, 160, 177, 193, 262, 269; II: 106, 143, 277, 280, 329, 433, 435, 444, 445, 448, 539; III: 12, 51, 59, 71, 219, 251–253, 255, 257, 258, 266, 276, 340, 365, 366, 392, 431, 437, (445), 446

Берман Матвей Давыдович (1898–1939, расстрелян) — нач. ГУЛАГа (1932–37), зам. наркома внутренних дел СССР (1936–37) — II: 32, 68, 69, 77, 79, 433, фото № 12 между с. 546–547

Берне Роберт (1759–1796)— шотландский поэт— III: 296

Бернштам Михаил Семёнович (р. 1940)— с 1976 в эмиграции, демограф и экономист, сотрудник Гуверовского института—Сеид. I: 13

Бернштейн Анс Фрицевич (1909-?) — з/к (Горь-

ковская пересылка, Буреполом) — Сеид. I: 13, 27, 487, 522; II: 172, 209, 311, 487, 488; III: 410

Бернштейн Гесель— з/к— II: 236

Берри–Ягода— з/к (Соловки)— II: 36

Бершадер Исаак— з/к, кладовщик (Калужская застава в Москве, 1945) —II: 185, 230, 231

Бершадская Любовь Леонтьевна (р. 1916)— переводчик, танцовщица–педагог, з/к (1946–56, участник Кенгирского восстания), с 1970 в эмиграции, автор мемуаров «Растоптанные жизни» — III: 267, 272, 282

Бессонов Юрий Дмитриевич (Безсонов, Георгий; 1891–1970) — ротмистр Черкесского полка, пом. коменданта Зимнего дворца, з/к с 1918 неоднократно, организатор побега в Финляндию, автор мемуаров «Двадцать шесть тюрем и побег с Солов–ков» — II: 48

Бессчастная— жена Г. Бернштейна (см.), з/к— II: 236

Биге Генрих Иванович (1891–1938, расстрелян)— председатель [член] спецколлегии Ивановского облсуда— I: 389

Бильдерлинг Пётр Александрович (1885–1919, расстрелян в Майкопе)— кавалергард, полковник—II: 535

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772)— обер–камер-

гер двора Анны Иоанновны—I: 98

Бирюков Павел Иванович (1860–1931)— издатель, автор биографии Л.Н. Толстого—II: 168

Благинин Клавдий Степанович (1887–1933, расстрелян) — работник КВЖД, таксировщик Госпароходства, з/к— I: 116

Бледнов Жора— з/к (арестован в Брюсселе)— I: 26

Блок Александр Александрович (1880–1921)— III: 107

Блохин Саша— з/к–малолетка— II: 361

Блюм Леон (1872–1950)— государственный деятель Франции, социалист — III: 2 1

Блюмкин Яков Григорьевич (1898–1929, расстрелян) — левый эсер, чекист, убийца В. Мирбаха (см.), резидент Иностранного отдела ОГПУ— I: 344

Блюхер Василий Константинович (1890–1938, расстрелян) — маршал Советского Союза—I: 212; II: 268, 518

Бобрищев–Пушкин Владимир Михайлович (1852–1932) — защитник на Петроградском церковном процессе 1922— I: 324

Бобровский— нач. Карийской каторги, пом. начальника Нерчин–ской каторги— III: 88

Богдан Фёдор Осипович— крестьянин, в ссылке

с 1879— I: 260

Богданов–Березовский Валериан Михайлович (1903–1971) — композитор и музыковед, автор мемуаров «Встречи»— II: 80

Богораз Владимир Германович (псевд. Н.А. Тан, Г.В.Тан; 1865–1936) — учёный–этнограф, народник—III: 301

Богословский Алексей Иванович (1902–1985)— физиолог, доктор медицинских наук, фронтовик, военнопленный с 1941, бежал в 1944, з/к и ссыльный (1945–56) — III: 342

Богров Дмитрий Григорьевич (1888–1911, повешен) — убийца П.А. Столыпина— III: 75

Богуш — нач. лагпункта, майор (Сиблаг) — III: 61

Бойко— з/к (Ростов–на–Дону, 1920–е) — I: 54

Бойков Александр Дмитриевич (р. 1928)— член Московской обл. коллегии адвокатов (1951–65), академик Российской Академии адвокатуры — I: 274

Бокий Глеб Иванович (1879–1937, расстрелян)— председатель ПетроЧК (1918), член Коллегии ОГПУ (1923–34)— I: 261; II: 29, 32, 33, 251

Болтушкин— ст. лейтенант (Кенгир, 1954)— III: 275

Бондаренко Павел— бежал из немецкого плена,

з/к— I: 223

Бондарин Сергей Александрович (1903–1978)—писатель, з/к (1944–52)—I: 194; III: 407

Бондарь Никифор П. — ст. надзиратель Орловской и Бутырской тюрем (1909–18), з/к— I: 117

Бонч–Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) — управделами Совнаркома (1917–20)—I: 300; II: 13

Борисов Авенир Петрович (р. 1912)—учитель, з/к (Воркута), директор детдома—Сеид. I: 13; II: 260; III: 400, 401, 406, 416

Борман Мартин (1900–1945) — руководитель канцелярии НСДАП, заочно приговорён к смертной казни на Нюрнбергском процессе — II: 68

Боровиков Николай— студент, з/к, фельдшер в санчасти (Экибастуз, 1950–е) —III: 107

Бородин Аркадий Владимирович (1881–1932) — профессор, сотрудник Библиотеки Академии наук, з/к по «Академическому делу» (Соловки) — II: 36

Бородко—з/к (Белоруссия, 1937)—I: 136

Борушко Павел, Иван, Степан—братья, приехали из Польши в 1930, з/к— I: 82

Борщ— ротмистр царской армии, эмигрант, з/к с 1945— I: 247, 248 Бочаров Иван Матвеевич см. Иеракс

Бочков Виктор Михайлович (1900–1981) — нач. Управления охраны ГУЛАГа (1951–55), генерал–лейтенант—III: 266, 270, 276

Бош Евгения Богдановна (Готлибовна; 1879–1925, покончила с собой)— революционерка—II: 13, 114 Боярский I: 230, 239

Боярчиков Александр Иванович (1902–1981) — участник Гражданской и 2–й мировой войны, з/к и ссыльный (1932–41, 1949–56), автор кн. «Воспоминания»— II: 256

Браз Осип Эммануилович (1873–1936) — художник, з/к с 1924 (Соловки), в эмиграции с 1928— II: 36

Братчиков Андрей Семёнович— з/к— Сеид. I: 13; II: 425

Браудер Эрл Рассел (1891–1973)— генеральный секретарь КП США (1930–44) — II: 315

Бреславская Анна (р. 1923)— з/к (Калужская застава в Москве, 1946) —Сеид. I: 13; II: 404

Брешко–Брешковский Николай Николаевич (1874–1943)— писатель, с 1919 в эмиграции— III: 46

Бродовский М.И. — баптист, осуждённый к высылке (1966) — Сеид. I: 13; III: 332, 488

Бродский— нач. Вохры (БелБалтлаг) — II: 79

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996)—

поэт, лауреат Нобелевской премии— III: 494

Броневицкий Николай Герасимович— з/к, инженер, при немцах бургомистр Морозовска (Ростовская область)— III: 18–23

Бруно Джордано (1548–1600)— II: 534

Брыксин Иван Емельянович (1909–1978)— з/к (спецобъект Марфино), зав. электрохимической лабораторией— III: 494

Брюхин Василий— з/к (Экибастуз) — III: 68, 136, 175, 186, 190

Бубнов—студент, военнопленный, з/к—I: 534

Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938, расстрелян)— нарком просвещения РСФСР (1929–37) — II: 268

Бугаенко Наталья Ивановна — учительница, з/к (Ростов–на–Дону, 1933) — Сеид. I: 13, 68

Будда (Сиддхартха Гаутама; 623–544 до н.э.) — I: 465; III: 205

Будённый Семён Михайлович (1883–1973)— маршал Советского Союза—I: 62; III: 153

Буковский Константин Иванович (1908–1976)— журналист — II: 284

Булгаков Валентин Фёдорович (1886–1966)— секретарь Л.Н.Толстого, автор книг о Толстом, в 1923 выслан из Советской России, вернулся в 1949 — I: 346 Булгаков Михаил Афанасьевич

(1891–1940)— писатель— III: 41 Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944)— философ, богослов, в 1922 выслан из Советской России— I: 245, 346

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) — I: 203, 245

Буняченко Сергей Кузьмич (1902–1946, повешен)— комдив, полковник Красной армии, после немецкого плена во власов–ской армии, генерал–майор— I: 238–240

Бурковский Борис Васильевич (1912–1985)— участник войны, капитан 2–го ранга, з/к (Бутырки, Экибастуз), нач. филиала Военно–морского музея на крейсере «Аврора»— Сеид. I: 13, 25; III: 49, 69, 448

Бурлака А.И. — бывший з/к, 1964 — III: 402

Бурнацев Михаил— военнопленный, бежал из немецкого лагеря, з/к— Сеид. I: 13, 223

Буров— нач. райотдела НКВД (Колыма, прииск Золотистый) — II: 100

Буров— сын раскулаченного, спецпоселенец на Оби— III: 327 Бурцев Владимир Львович (1862–1942)— историк, публицист,

эмигрант—I: 341, 343; III: 79, 82 Бурштейн— з/к, нарядчик (Калужская застава в Москве, 1945) —

II: 231

Буслов— ст. прораб, вольнонаёмный (Калуж-

ская застава в Москве,

1945)—II: 461–463 Бутаков Авлим— Сеид. I: 13

Бутенко Муся— з/к, медсестра (Унжлаг, Сухобезводное; 1950–е) — II: 191–192

БухальцевЯ.В. — журналист, сотрудник Н. Френкеля (см.)— II: 110 Бухарин Николай Иванович (1888–1938, расстрелян)— член Политбюро ЦК РКП(б) — ВКЩб) в 1924–29, подсудимый на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока»— I: 104, 178, 212, 297, 305, 331, 335–338, 340, 372, 376, 378–383, 393

Бухарин Юра см. Ларин Юрий Николаевич

Бухонин — председатель выездной сессии Горьковского облсуда

(Буреполом) — II: 311 Быков— нач. Индигирского горнопромышленного управления

(Усть–Нера, Якутия)— II: 440 Быков М.М. — корреспондент А. Солженицына— Сеид. I: 13; II: 33 Быков Павел Дмитриевич— з/к— II: 178 Бялик Борис Аронович (1911–1988)— филолог — I: 304

В.И. — студент, 1949 —II: 515 В.И.Д. —з/к, 1960–е —III: 489 В.К. —з/к, 1960–е —III: 489

В. Нина— студентка МИФЛИ, з/к (ансамбль Московского УИТЛК) — II: 402, 403

Вавилов Н.В. (1909-?) — нач. Управления по надзору за местами заключения Прокуратуры

СССР (Кенгир, 1954) — III: 266, 270

Вавилов Николай Иванович (1887–1943, умер в Саратовской тюрьме)— биолог, академик АН СССР, президент ВАСХНИЛ (1929–35), з/к с 1940—1: 61, 408; II: 252, 519, 523; III: 174, 415

Вавилов Сергей Иванович (1891–1951)— физик, президент АН СССР с 1945—II: 518

Вадбольский Авенир Авенирович (1898–1930, расстрелян в Москве)— офицер царской армии, з/к и ссыльный с 1924 (Бутырки, Соловки, Берёзово)—II: 36

Вайнштейн— оперуполномоченный (Экибастуз) — III: 173

Вайшнорас Юозас Томович (1911–1971)— профессор из Вильнюса, з/к (Бутырки, Боровичи, СевУраллаг, Степлаг; 1945–55) — Сеид. I: 13

Валентин— киевлянин, з/к (Бутырки)— I: 254, 259, 260, 489, 490

Валентинов Н. (Вольский Николай Владиславович; 1879–1964) — публицист, меньшевик, с 1930 в эмиграции— I: 425

Вандервельде Эмиль (1866–1938) — государственный деятель Бельгии, социалист—I: 336, 337

Ванеев Анатолий Александрович (1872–1899)— студент, участник революционного движения—I:

Варенцов Иван Николаевич (1896-?)— профессор ВХУТЕМАСа, з/к— I: 54

Васенко Платон Григорьевич (1874-?)— историк, профессор, з/к и ссыльный по «Академическому делу»— II: 36

Василенко В.И. — капитан дальнего плавания, з/к и ссыльный (Экибастуз, Кок–Терек) — III: 371, 379

Васильев— з/к— I: 146

Васильев— большевик, з/к— III: 408

Васильев Владимир Александрович (1880-?)— инженер путей сообщения, гидротехник, профессор МВТУ, з/к и ссыльный— Сеид. I: 13; III: 365–367, 369

Васильев Максим Васильевич— Сеид. I: 13

Васильев Павел Николаевич (1910–1937, расстрелян)— поэт — II: 138

Васильев–Южин (Васильев) Михаил Иванович (1878–1937, расстрелян)— член Коллегии НКВД РСФСР (1919–21), пом. прокурора Верховного суда РСФСР (1921–24), зам. председателя Верховного суда СССР (1924–37), член суда на Шахтинском процессе—I: 261, 347; II: 33

Васька Кривой— з/к (Ухта)— II: 339 Васюра— следователь (Рязань, 1962) — III: 490, 491, 493

Ватрацков Л.В. — Сеид. I: 13 Вашкау Іюнтер— з/к, 25–летник с 1949 — I: 269 Велиев— з/к, Куйбышевская пересылка— III: 37 Величко Александр Фёдорович (1879–1929, расстрелян)— инженер–путеец — I: 56, 262, 348 Вельяминов СВ. — Сеид. I: 13

Венгерский Ежи (Юрий) — офицер Армии Крайовой, з/к (1945–54), вернулся в Польшу— III: 104, 237

Вендельштейн Юрий Германович (умер в нач. 1960–х) — учёный–химик, з/к с 1930–х, ссыльный учитель в Красноярском крае в нач. 1950–х— Сеид. I: 13; III: 407

Венедиктов Дмитрий Николаевич (1891–1937, расстрелян в Тобольске)— ленинградский рабочий, с 1933 в ссылке— III: 312

Бенедиктова Галина Дмитриевна (р. 1927) — дочь Д.Н. Бенедиктова, с 1938 в детдоме, фельдшер детской инфекционной клиники, з/к с 1951 —Сеид. I: 13; II: 197, 373, 495; III: 312, 412

Вениамин (Казанский Василий Павлович; 1873–1922, расстрелян)— митрополит Петроградский и Гдовский— I: 49, 320, 323–325, 341, 418

Вера— з/к (Лубянка, 1925) — I: 421

Вербовский СБ. — бывший з/к— Сеид. I: 13; III: 404

Вергилий Марон Публий (70–19 до н.э.)— II: 83
Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812)— литератор, переводчик— I: 195
Берн Жюль (1828–1905)—I: 246; II: 386
Веселов Павел Иванович (Боляхов Пётр Иванович; 1911–1980) — советский военнопленный в Финляндии, при репатриации в бежал в Швецию, публицист, историк— III: 367 Вестеровская Анастасия— бывшая з/к— Сеид. I: 14; III: 408 Вийон Франсуа (1431-?)— французский поэт— II: 342 Виксне Пётр Яковлевич (1900–1938, расстрелян)— машинист, сослан в Казахстан в 1934, вновь арестован в 1937— III: 343 Виленчик Николай Адамович (1906-?) — служащий в Куйбышеве,
з/к с 1937—II: 263–264 ВильгельмII Гогенцоллерн (1859–1941)—I: 330; III: 30 Винер Норберт (1894–1964)— американский учёный— II: 545 Виноградов Борис Михайлович (1906–1955, умер в заключении) —
инженер–путеец, з/к с 1941 —Сеид. I: 14; II: 260, 261 Виноградов Владимир Никитич (1882–1964) — терапевт, академик АМН СССР, з/к (1952–53)—II: 518
Виноградский Николай Николаевич (1883-?)— выпускник Пажеского корпуса, офицер Преображенского полка, служащий МВД Времен-

ного правительства, з/к— I: 309

Винокуров Н.М. — Сеид. I: 14

Вираб Вираб Вирабович (1895–1938, расстрелян)— з/к, участник голодовки в Ухтпечлаге (Воркута)— II: 257

Виткевич Николай Дмитриевич (1918–1998)— капитан Красной армии, одноделец А. Солженицына, з/к (1945–54), зав. кафедрой химии в институте — I: 131, 132; III: 409

Витковский Дмитрий Петрович (1901–1966)— инженер–химик, ссыльный и з/к с 1926 (Енисейск, Соловки, БелБалтлаг, Тулома, Владимирская тюрьма), автор мемуаров «Полжизни» — Сеид. I: 10, 11, 14, 101, 221; II: 66, 79, 120, 252; III: 310

Вишневецкий Александр Александрович (1903–1942) — нач. Сев–востлага и зам. начальника Дальстроя (1939–40), капитан ГБ, з/к с 1941 (приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет и отправкой на фронт)— II: 444

Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951)— писатель — II: 342

Владимир Александрович (1847–1909)— великий князь, главнокомандующий войсками гвардии и Санкт–Петербургского военного округа до 1905—II: 24

Владимиреску—з/к (Бутырки, 1945)—I: 538

Владимиров— фамилия, присвоенная брату Д.В. Каракозова (см.)—III: 73

Власов Андрей Андреевич (1901–1946, повешен) — генерал–лейтенант Красной армии, после немецкого плена организатор Русской освободительной армии (РОА)— I: 206, 224, 229, 230, 232, 233, 237–241; III: 28, 206

Власов Василий Григорьевич (1902–1986)— зав. Кадыйским райпо, з/к (1937–55)— Сеид. I: 14, 30, 148, 385–388, 390–394, 411–416, 497; II: 128–130, 211, 220, 437, 504, 514, фото №29 между с. 546–547; III: 108, 202, 447

Власов Игорь Васильевич (р. 1937)— сын В.Г. Власова, офицер — II: 514

Власова Зоя Васильевна (1929–1938)— дочь В.Г. Власова — I: 393, 394

Вова— 6–летний «свидетель» по делу М.Я. Потапова (см.) — III: 491, 492

Воейков Дмитрий Александрович (1883–1937, расстрелян)— з/к с 1919 неоднократно (с 1930 Соловки, БелБалтлаг) — II: 36

Войков Пётр Лазаревич (1888–1927, убит при покушении)— комиссар снабжения и член чрезвычайной следственной комиссии Уралоблсовета в 1918, полпред СССР в Польше с 1924—1: 53 Войнилович— з/к (Кенгир)— III: 249

Войнино— профсоюзный работник, з/к— III: 203 Войно–Ясенецкий Валентин Феликсович (архиепископ Лука; 1877–1961) — хирург, з/к и ссыльный неоднократно (1923–41)—II: 249, 250 Войченко Михаил Афанасьевич— бывший з/к— Сеид. I: 14; I: 508 Волков— нач. Химкинского лагеря, майор, 1945— II: 118, 438 Волков Олег Васильевич (1900–1996) — писатель, переводчик, з/к и ссыльный неоднократно (1928–55), автор мемуаров «Погружение во тьму»— Сеид. I: 14; II: 36, 175 Волконская Зинаида Александровна (1789–1862)— княгиня — I: 171

Волконская Мария Николаевна (1805–1863)— жена декабриста

С.Г. Волконского— II: 160 Волкопялов— следователь в Ярославле, уполномоченный по делам

церкви в Молдавии— I: 145, 149 Володарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович; 1891–1918, убит

при покушении)— комиссар по делам печати, пропаганды

и агитации Петроградской трудовой коммуны— I: 333, 338 Володька–Татарин— з/к (этап Владивосток—Сахалин, 1950) —

I: 516

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932)— поэт — I: 46; II: 268

Вонлярлярский Владимир Владимирович (1880-?)— командир линкора «Марат», з/к и ссыльный (Соловки, Тверь; 1923–28)—II: 36

Воробьёв— нач. режима (Спасск) — III: 55, 59

Воробьёв — капитан МВД (Экибастуз) — III: 169

Воробьёв Иван Егорович (1923-?)— танкист, з/к с 1949 (Экибастуз; участник восстания в Горлаге, осуждён на 25 лет в 1954) —III: 68, 69, 119, 120, 136–138, 162, 175

Воробьёв Иван Яковлевич (1907–1973) — в органах НКВД с 1931, нач. Отдела правительственной связи в войну, полковник, з/к с 1947 (пом. начальника спецобъекта Марфино) — I: 150

Воробьёв Н.М. — инспектор краевого отдела народного образования, з/к с 1936—1: 27

Воронин (Воронов)— з/к (восстание заключённых на 501–й стройке, 1948)—III: 206

Воронин— из администрации лагеря (Норильск, 1957)— III: 459

Воронов — конструктор, з/к (Буреполом)— II: 487

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969)— член Политбюро

(Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС в 1926–60 — 1: 124, 270, 415;

II: 77, 531; III: 391, 413 Воскобойников (Воскобой-

ник) Константин Павлович (1895–1942,
убит партизанами) — преподаватель техникума, староста
волости и бургомистр Локотского уезда при немцах— I: 231;
III: 28
Востриков Андрей Иванович (1904–1937, расстрелян)— этнограф, сотрудник Института востоковедения АН СССР— I: 23; II: 522
Врангель Пётр Николаевич (1878–1928)— генерал–лейтенант, командующий Вооруженными силами Юга России в 1920 — I: 135, 398
Вуль Леонид Давыдович (1899–1938, расстрелян)— нач. ударной группы по борьбе с бандитизмом Оперода ОГПУ, нач. МУРа, нач. Управления Московской милиции— I: 261; II: 33
Вундт Вильгельм (1832–1920)— немецкий философ — III: 80
Выпирайло— помкомвзвод Вохры— II: 392
Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954)— философ, в 1922 выслан из Советской России — I: 346
Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954)— пом. прокурора и прокурор СССР (1933–39), гос. обвинитель на политических процессах—I: 11, 47, 70, 103, 104, 136, 331, 347, 349, 350, 355, 363, 383,

494; II: 11, 20, 55, 83, 84, 93, 94, 114, 115, 187, 361

Вьюшков— солдат батареи А. Солженицына— I: 157 Вяземская — княгиня — I: 52

Вяткин Виктор Семёнович (1913–1991)—директор Оротуканского завода горного и обогатительного оборудования (1948–60), автор кн. «Человек рождается дважды»— II: 283; III: 434, 436

ГС— з/к— III: 489

Г–в Г. — з/к, Ленинград— I: 146

Г–ман Лев, Лёва— студент, з/к— II: 390, 391, 404

Гааз Фёдор Петрович (Фридрих Иозеф; 1780–1853) — главный врач

московских тюрем — I: 193 Габрилович Евгений Иосифович (1899–1993) — писатель, один из

авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина.

История строительства»— II: 67

Гаврик—лагерный начальник (Колыма) — II: 99, 101 Гаврилов— офицер, з/к (Горьковская пересылка, 1942) — I: 488 Гагкаев Михаил Андреевич (1903–1976) — чекист, на Колыме с 1939,

нач. Северного горнопромышленного управления Дальстроя

(1942–46), подполковник ГБ— II: 444 Гаджиев Магомет—з/к (Экибастуз, 1951) — III: 186, 192 Галич (Галачьянц) Борис Артемьевич (1913–

1967) — журналист —
III: 219

Гамарник Ян Борисович (1894–1937, покончил с собой) — нач. Политуправления Красной армии— I: 378

Гаммеров Борис Исаакович (1923–1946, умер в заключении) — участник войны, студент МГУ, з/к (Бутырки, Красная Пресня, Новый Иерусалим в Подмосковье)— I: 216, 539–541; II: 133, 136, 138, 139, 146, 147, 153–155

Гандаль Берта Карловна (1897-?)— з/к (Лефортово, 1925–26); не все рассказы Берты Гандаль подтвердились, см. коммент. в кн.: АМ.Гарасёва. «Я жила в самой бесчеловечной стране…» (М., 1997)—I: 102

Ганнибал Павел Исаакович (1776–1841)— дядя А.С. Пушкина, ссыльный (Сольвычегодск, Соловки; 1826–32)— II: 24

Гаранин Степан Николаевич (1898–1950, умер в заключении) — начальник СевВостлага (1937–38), полковник, з/к с 1938 (Сухановская тюрьма, Печорский ИТЛ)—II: 100, 101, 433, 546

Гарасёва Анна Михайловна (1902–1994)— медсестра, геолог, з/к и ссыльная (1925–30), автор мемуаров «Я жила в самой бесчеловечной стране…»— Сеид. I: 14, 421

Гарасёва Татьяна Михайловна (1901-?) — медсестра, библиотекарь, з/к и ссыльная (1925–29, 1936–47, 1948–54) —Сеид. I: 14; II: 280

Гарин Н. (Михайловский Николай Георгиевич, 1852–1906) — инженер, писатель—I: 57

Гарсиа Мануэль— з/к (Бутырки, Москва)— III: 128

Гартман Владимир Паулинович (1883–1937, расстрелян)— юрист, сотрудник Политического Красного Креста, ссыльный с 1926, консультант Литфонда, з/к— I: 53

Гашидзе (Иозефер–Гашидзе)— вольнонаёмный нач. командировки 63–го км Парандовского тракта (2–е отделение УСЛОНа), в 1929 привлечён к ответственности за издевательство над з/к—II: 45

Гвоздев Кузьма Антонович (1882-?) — министр труда во Временном правительстве, работник ВСНХ, з/к (1931–56) — I: 369

Геббельс Йозеф (1897–1945, покончил с собой)— министр народного просвещения и пропаганды фашистской Германии — I: 367

Геворкьян Сократ Аванесович (1903–1938, расстрелян)— экономист, коммунист–ортодокс, с 1928 ссыльный из/к неоднократно, один из организаторов голодовки в УхтПечлаге (Воркута)—II: 257

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831)— немецкий философ—I: 433

Гейнике Николай Александрович (1876–1955)— краевед— I: 195 Геккер Анатолий Ильич (1888–1937, расстрелян)— нач. штаба

войск ВОХР (1920), нач. отдела внешних сношений Разведупра Красной армии, комкор— II: 268 Гельфанд А.Л. см. Парвус

Гендельман Михаил Яковлевич (1881–1938, расстрелян) — член ЦК партии эсеров, с 1920 з/к и ссыльный неоднократно, подсудимый на процессе эсеров 1922— I: 331, 339

Генералов Григорий Ефимович— з/к из Смоленской области — II: 236

Генералов Михаил Михайлович— з/к, бригадир авторемонтников

(Экибастуз, 1952)—III: 233, 245 Генкин—з/к(Кенгир, 1954)—III: 282 Гер Р.М. — з/к — Сеид. I: 14; II: 265

Герасимов М. — директор обувной фабрики, лагерный работник

(Усть–Вымь) — II: 446 Герасимова— следователь (Икша в Подмосковье, 1978)— III: 494 Гераська— крестьянский парень, з/к— I: 402, 414 Герман (ум. 1479)— один из основателей Соловецкого монастыря—II: 41

Гернет Михаил Николаевич (1874–1953) — учёный–криминалист — I: 277, 425

Геродот (ок. 484–425 до н. э.) — древнегреческий историк— II: 391 Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, публицист —

II: 120; III: 40, 302 Герценберг Перец Моисеевич— з/к (спецобъект Марфино) — Сеид.

I: 14; II: 241, 288 Герцензон Алексей Адольфович (1902–1970)— юрист— II: 19 Гершман Морис Давидович (р. 1926)— сын иммигранта из США, детдомовец, з/к (1941–55; соузник А. Солженицына по спецобъекту Марфино), с 1990 в эмиграции, автор кн. «Воспоминания» — II: 243 Гершуни Владимир Львович (1930–1994)— племянник Г.А. Гершу–ни, детдомовец, студент, з/к (1949–55, 1969–74, 1982–87),

правозащитник—Сеид. I: 14; II: 254; III: 38, 39, 65–68, 243

Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908) — один из организаторов партии эсеров и её боевой группы, эмигрант— III: 38, 78

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) —III: 80, 111

Гикало Николай Федорович (1897–1938, расстрелян)— 1–й секретарь ЦК КП(б) БССР с 1932 — II: 268

Гиммер Николай Николаевичей. Суханов Н.

Гиммлер Генрих (1900–1945, покончил с собой)— руководитель Тайной государственной полиции фашистской Германии (Гестапо)—I: 237

Гинзбург Абрам Моисеевич (1878–1937, расстрелян)— профессор Института народного хозяйства им. Плеханова, консультант ВСНХ, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к (Верхнеуральский изолятор, Челябинская тюрьма)—I: 370

Гинзбург Вениамин Лазаревич— з/к— Сеид. I: 14; III: 413

Гинзбург Евгения Семёновна (Евгения Соломоновна; 1904–1977) — преподаватель истории ВКП(б), зав. отделом культуры газеты «Красная Татария», з/к и ссыльная (1937–56), автор мемуаров «Крутой маршрут» — I: 11, 102, 436, 437, 505; II: 101, 269, 270, 276, 503

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945)— поэт, с 1920 в эмиграции— I: 245

Гиричевский— з/к, время войны— II: 239

Гитлер Адольф (1889–1945) — I: 49, 65, 68, 91, 221, 225, 230, 232–234, 237, 239, 245, 330, 367; II: 304, 305, 344, 434, 525; III: 14, 16, 21–23, 29, 30, 41, 133, 225, 322, 346, 348, 389, 433

Гиттис Владимир Михайлович (1881–1938, расстрелян) — полковник царской армии, комкор

Красной армии— II: 268

Глазнек Изольда Викентьевна см. Девольская Изольда Викенть–евна

Глазунов (Глазнек) Освальд Фёдорович (1891–1947, погиб в заключении)— актёр, директор и режиссёр театра им. Вахтангова, с 1941 в оккупации, з/к с 1944 — II: 403, 404

Глебов Алексей Глебович— Сеид. I: 14

Глезос Манолис (р. 1922) — участник Движения Сопротивления,

писатель, эколог—II: 531 Глик— инженер–радист, з/к— II: 411

Гликин Исидор Моисеевич (1907–1942)— инженер, друг Л. Чуковской, сохранивший в блокадном Ленинграде её повесть «Софья Петровна»— II: 520

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — II: 400

Глубоковский Борис Александрович (1895–1935, покончил с собой)— артист Камерного театра, з/к и ссыльный с 1924, руководитель Соловецкого театра— II: 33, 36

Говорко Николай Каллистратович (1907-?)— геолог, з/к (Вятлаг, Воркулаг; 1941–49)— Сеид. I: 14; II: 168, 169, 261

Гоголь Мария Ивановна (р. 1930)— студентка Черновицкого пединститута, з/к с 1949 (Унжлаг,

Сухобезводное)—I: 115

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) —I: 534; II: 218; III: ПО

Годелюк Георгий Г. (расстрелян в 1919)— чекист, одноделец Ф.М. Ко–сырева [см.]—1: 294, 295

Голиков Филипп Иванович (1900–1980) — уполномоченный Совнаркома (Совмина) СССР по делам репатриации (1944–50) — I: 219

Голицын Всеволод Петрович— инженер–дорожник, з/к и ссыльный— Сеид. I: 14, 408; II: 271, 272; III: 412

Голль Шарль де (1890–1970) — президент Франции (1958–69) — 1:468

Головин Сергей Иванович — лагерный работник, автор отклика на «Один день Ивана Денисовича»— III: 427

Голодед Николай Матвеевич (1894–1937, погиб в тюрьме)— председатель Совнаркома БССР с 1927— II: 268

Голоулин Сергей Павлович— нач. политотдела (Усть–Нера, Якутия, 1943)—II: 440

Гольдман—следователь (1944–46) —I: ПО, 162, 163

Гольдовская Виктория Юльевна (1912–1974) — инженер, редактор Колымского радиокомитета, з/к (1949–54), поэт—Сеид. I: 14; III: 444

Гольцман Евгения Тевьевна (1897–1964)— работник Госкино, з/к с 1936—II: 269

Голядкин Андрей Дмитриевич— художник, з/к с 1941 — Сеид.

I: 14; II: 397; рис. 31 между с. 546–547 Голядкина Елена Михайловна— Сеид. I: 14 Голяков Иван Терентьевич (1888–1961)— член Военной Коллегии

(1933–38) и председатель Верховного суда СССР (1938^8)—

I: 164

Гомер— легендарный поэт— II: 7

Гомулка Владислав (1905–1982)— руководитель польских коммунистов (1943–48, 1956–70), з/к (1951–54) —II: 284

Гонсалес Валентино (Эль Кампесино, Комиссаров Пётр Антонович; 1904–1983)— генерал республиканской Испании, слушатель Академии им. Фрунзе, з/к и ссыльный (1944–47), бежал из СССР, автор мемуаров «La vie e et la mort en URSS (1939–1949)»— II: 147 Гонтуар Камилл Леопольдович (1892-?)— з/к после войны — II: 391, 392

Горбатов Александр Васильевич (1891–1973) — военачальник, з/к (1938–41), автор мемуаров «Годы и войны»— II: 271, 277, 447, 448, 491; III: 437, 443

Гордон Гавриил Осипович (1885–1942, умер в

заключении)— историк, профессор МГУ, з/к и ссыльный (Соловки, Углич; 1929–33, 1936–42)— II: 36

Горник И.Х. — кишинёвский адвокат, ссыльный (Красноярский край)—III: 331

Горшков Василий — десятник на стройках до революции — II: 463 Горшков Фёдор Васильевич— сын В. Горшкова, вольнонаёмный

десятник (Калужская застава в Москве, 1945) — II: 463 Горшунов Владимир Сергеевич— з/к, бесконвойный (лагерный

автор, 1940–е)—Сеид. I: 14; II: 106, 394 Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868–1936) — I: 11,

44, 46–48, 164, 182, 205, 220, 303, 304, 462, 500; II: 49–51,

65, 67, 69, 70, 75, 160, 307, 308, 342, 357, 398, 424; III: 80,

89, 170,314

Горяченко П.Г. — метеоролог–полярник (Северная Земля)— II: 523 Готье Юрий Владимирович (1873–1943) — историк, з/к и ссыльный

(1930–34), академик АН СССР—I: 62 Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940, умер в Краслаге)— эсер, экономист, з/к и ссыльный неоднократно, в 1922 приговорён к расстрелу с заменой на 5 лет, в 1939

осуждён на 25 лет — I: 332, 338; III: 82 Гошерон–де–Лафосс Александр Габриэлевич (1888 — после 1953) — инженер–экономист, организатор мистического кружка, з/к и ссыльный (Соловки в 1927–31; Карелия, Луга) — II: 36 Грабищенко Николай—следователь, Волгоканал—I: 143, 149 Грабовский Сергей Александрович (1896–1929, расстрелян)— поручик царской армии, лётчик, ротмистр Белой армии, преподаватель физкультуры в Москве, з/к с 1927 (Соловки) — II: 36, 52

Гранкина Надежда Васильевна (1904–1983) — жена репрессированного, з/к (Колыма, 1937–47), автор мемуаров в сб. «Доднесь тяготеет»— II: 101

Грановский Антонин см. Антонин

Грачёв Михаил— з/к (этап Владивосток — Сахалин, 1950) — I: 516

Грекова Надежда Николаевна — казачка из Новочеркасска, машинистка, з/к и ссыльная (Кок–Терек, 1953) — III: 374, 391

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) — I: 129; III: 110

Григорович Андрей Юрьевич — зам. начальника Отдела охраны ГУЛАГа, капитан ГБ (Воркута, 1937) — II: 312

Григорьев— нач. лагпункта Экспедиционный, лейтенант (Колыма)—II: 99

Григорьев — генерал — III: 61
Григорьев А.И. — лагерный работник, автор отклика на «Один день
Ивана Денисовича»— III: 428 Григорьев (Грузд) Г. — автор статьи о суде, опубликованной до
суда—III: 496
Григорьев Григорий Иванович (1906-?) — почвовед, з/к и ссыльный неоднократно (1937–39, 1942, в 1945 осуждён на 10 лет), в войну дважды в немецком плену— Сеид. I: 14; II: 339, 507,508
Григорьев Иосиф Фёдорович (1890–1949, погиб в тюрьме) — геолог,
академик АН СССР, арестован в 1949—I: 30 Григорьева Анна Григорьевна—Сеид. I: 14 Грин — адвокат (Москва, 1918) — I: 290, 291
Грин Александр Степанович (Гриневский; 1880–1932)— писатель — I: 478; II: 390
Гринберг— нач. Буреполомского лагпункта— II: 441 Гринвальд Михаил— музыкант, з/к (Ховрино под Москвой) — II: 401
Гриневицкий Игнат Иоахимович (1856–1881)— народоволец,
убивший Александра II—I: 130; III: 73 Гродзенский Яков Давыдович (1906–1971) — товарищ В.Т. Шаламова (см.), з/к (Воркута, 1935–50), житель Рязани — Сеид.

I: 14; II: 509

Громан Владимир Густавович (1874–1940, умер в заключении) — член Президиума Госплана СССР, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к (Верхнеуральский изолятор, Суздальская тюрьма) — I: 60, 369, 374

Громов— лагерный начальник, майор — II: 442

Громыко Андрей Андреевич (1909–1989)— 1–й зам. министра (1949–57) и министр иностранных дел СССР (1957–85) — I: 493, 494; III: 367

Груздев Илья Александрович (1892–1960)— литературовед, критик, корреспондент М. Горького— II: 160

Груша— з/к (военные годы)— II: 240

Губайдулин— з/к— I: 390

Губонин Михаил Ефимович (1907–1971)— архивист, художник — I: 321

Гуганава Борис— сотрудник МВД, з/к (Решёты) — II: 209 Гугель Михаил Сергеевич (1880-?)— издатель, после 1917 следователь Московского ревтрибунала, осуждён за взятки— I: 291 Гудович Дмитрий Александрович (1903–1937, расстрелян) — художник, з/к с 1929 (Соловки, БелБалтлаг, Дмитлаг) — II: 36 Гуль Роман Борисович (1896–1986)— писатель, эмигрант, редактор

«Нового журнала» (США) — I: 151 Гультяев—ин-

женер–технолог, з/к (Экибастуз, 1952) — III: 245

Гумилёв Лев Николаевич (1912–1992)— сын Н. Гумилёва и А. Ахматовой, историк, этнолог, з/к (1935, 1938–1943, 1949–56) — II: 399

Гумилёв Николай Степанович (1886–1921, расстрелян)— I: 464; III: 72

Гуркина Настя—з/к—II: 180

Гурович Яков Самуилович (Гуревич, Гурвич Яков Самойлович; 1870–1936)— защитник митрополита Вениамина на Петроградском церковном процессе, эмигрант, участвовал в защите убийц В.В. Воровского (см.)— I: 324, 325

Гусак— нач. лаготделения, капитан— III: 415

Гусак Густав (1913–1991)— словацкий коммунист, з/к (1951–60), руководитель компартии (1969–87) и президент Чехословакии (1975–89)— II: 284

Гучков Александр Иванович (1862–1936)— председатель Государственной думы 3–го созыва, военный и морской министр во Временном правительстве, с 1918 в эмиграции— III: 301

Гюго Виктор Мари (1802–1885) — II: 342

Д–в В.И. — з/к (Норильск, 1960–е) — III: 467

Давиденков Николай Сергеевич (1915–1951, расстрелян) — биолог, после немецкого плена в казачьих частях Вермахта, литератор, выдан

в СССР после войны, з/к (1938–39, 1945–51) — II: 398, 399

Даль Владимир Иванович (1801–1872)— автор «Толкового словаря живого великорусского языка»— I: 101, 266, 289; II: 414, 430; III: 86, 107 [далевский словарь], 108

Дан (Гурвич) Фёдор Ильич (1871–1947) — социал–демократ, меньшевик, в 1922 выслан из Советской России— I: 370

Данзас Юлия Николаевна (1879–1942)— теолог, фрейлина императрицы, доброволец на 1–й мировой войне, з/к (Иркутекая тюрьма, Соловки, БелБалтлаг; 1924–33), в эмиграции с 1934—II: 36

Даниелян Мария Аркадьевна (1901-?) — сотрудник Госплана, историк, з/к и ссыльная с 1937— II: 263 Данилов— следователь, Кишинёв— I: 126

Данишевский Карл Христианович (1884–1938, расстрелян) — пред. Реввоентрибунала Республики (1918–19), зам. наркома лесной промышленности СССР (1932–36) — I: 279; II: 13, 16

Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) — I: 79

Дворжак Антонин (1841–1904)— чешский композитор— II: 293 Дебюсси Клод (1862–1918)— французский композитор— I: 540 Девис (Дэвис)— английский майор, участник выдачи казаков

в СССР (Лиенц, 1945) — I: 241 Девольская Изоль-

да Викентьевна (1905–1991)— балерина, жена
О.Ф. Глазунова [см.), з/к в 1944–52 — II: 403, 404
Дегтярёв— нач. охраны и участник расстрелов в Соловках —
II: 32, 52
Дегтярёв Владимир Николаевич (1886-?)— агроном, з/к с 1925 (зав. дендрологическим питомником в Соловках, в 1929 осуждён на 10 лет дополнительно) — II: 32
Дедков— з/к (Краслаг)— II: 279
ДееваА. — учительница—Сеид. I: 14; III: 404
Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) — народник, меньшевик, историк—III: 91
Декарт Рене (1596–1650)— французский учёный и философ — I: 181; III: 382
Делианич Ариадна Ивановна (урожд. Степанова; 1909–1981) — дочь контр–адмирала Балтийского флота, с 1920 в эмиграции, з/к в английской зоне оккупации Германии, автор мемуаров «Вольфсберг — 373» — I: 242
Дельвиг Игорь Святославович— з/к (Соловки, БелБалтлаг, Дмит–ровлаг)— II: 36
Делянов Иван Давидович (1818–1897)— министр народного просвещения с 1882 — 1: 289
Демидовы— семья уральских промышленников— II: 494

Деникин Антон Иванович (1872–1947)— генерал–лейтенант, один из руководителей Белого движения, с 1920 в эмиграции, автор мемуаров «Очерки русской смуты»— I: 245, 302, 305, 370, 398; II: 83; III: 14, 225

Деревянко Андрей Афанасьевич (1903–1976)— нач. СевВостлага (1948–51) и Речлага (1953–54), генерал–майор— I: 481; III: 253, 254

Державин Гаврила Романович (1743–1816) — поэт— I: 273 Детердинг Генри (1866–1939)— генеральный директор нефтяной

компании Ройял Датч Шелл — I: 58 Деуль Виталий Фёдорович (р. 1927)—художник, з/к— I: 535;

II: 392

Джапаридзе Люция Алексеевна (1906–1988)— дочь бакинского комиссара, зав. отделом райкома партии в Москве, з/к (Колыма, 1936–43) — II: 280

Джигурда Анна Яковлевна—Сеид. I: 14

Джонсон Хьюлетт (1874–1966)— настоятель Кентерберийского собора (1931–63), общественный деятель— II: 46

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926)— председатель ВЧК–ГПУ–ОГПУ, нарком внутренних дел (1919–23)—I: [57], 100, 128, 151, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 312, 344, 345, 376, 425, 429; II: 17, 20, 21, 494, 435; III: 88, 307, 431

Дивнич Евгений Иванович (1907–1966)— эмигрант, член НТС, жил в Германии, вывезен из Югославии в СССР, з/к неоднократно (1946–63)—I: 142, 533

Дидоренко Сергей Акимович (1902-?) — нач. Каргопольлага (1941–47) и Вятлага (1947–52), полковник— II: 444

Диккенс Чарльз (1812–1870)—I: 165

Диклер Франк— иммигрант из Бразилии, з/к— Сеид. I: 14;

II: 314, 315; III: 410 Димитрий (Дмитрий Иванович; 1582–1591)— царевич— III: 299 Димитров Георгий (1882–1949)— руководитель Коминтерна (193543) и компартии Болгарии (с 1948) — I: 225, 375; II: 278,

518

Диоген Синопский (ок. 400–325 до н.э.)— древнегреческий философ—II: 335

Дмитриев— инженер–электрик, з/к (Котласская пересылка, конец 1930–х)—I: 497

Дмитриев Александр Фёдорович, Шурка (р. 1912) — из раскулаченных в 1929 (дер. Маслено на Волхове)— III: 316

Дмитриев (Плоткин) Дмитрий Матвеевич (1901–1939, расстрелян) — следователь в деле «Союзного бюро меньшевиков», комиссар ГБ 3–го

ранга— I: 372

Дмитриев Фёдор (ум. 1925)—крестьянин, отец А.Ф. Дмитриева (см.)—III: 316

Дмитриевский Владимир Иванович (1908–1978)— писатель, з/к (Озёрлаг) — III: 94

Добровольский Адольф Юлианович (1886-?)— эсер, член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, з/к— II: 519

Добровольский Вячеслав — студент, одноделец Б. Гаммерова и Г. Ингала (Бутырки, 1945) — I: 540

Добролюбов Николай Алексеевич (1836–1861)— литературный критик—II: 533, 537

Добряк Иван Дмитриевич— з/к (Сталинская область, 1938) — Сеид. I: 14, 264; II: 161; III: 410

Доватур Аристид Иванович (1897–1982) — филолог–классик, ссыльный и з/к (1935–47)— II: 391

Долган Александр Майкл (1926–1986)— сын американского инженера, с 1940 в правовой школе при посольстве США в Москве, з/к (1943–56), в 1971 вернулся в США— Сеид. I: 14, 26, 125, 126, 171, 172, 528

Долгих Иван Ильич (1904–1961) — нач. ГУЛАГа (1951–54), генерал–лейтенант (лишён звания в 1956)— III: 276

Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927, расстрелян)— кадет, с 1920 в эмиграции, з/к после

перехода границы в СССР — I: 262

Домбровский Юрий Осипович (1909–1978) — писатель, ссыльный и з/к (Казахстан, Колыма, Озёрлаг; 1932–55 с небольшими перерывами) — II: 165

Донской Дмитрий Дмитриевич (1881–1936, покончил с собой) — врач, член ЦК партии эсеров, в 1922 приговорён к расстрелу с заменой на тюремное заключение, в 1924 сослан в На–рымский край — I: 333

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922)— журналист— III: 54

Доскаль Николай Семёнович (1898–1938, погиб в тюрьме)— муж Т.М. Гарасёвой (см.), инженер–экономист—I: 271

Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881)— I: 223, 245, 265, 405; II: 159, 160, 162, 164, 165, 173, 178, 246, 395, 426, 486, 490, 491, 510, 512, 528, 533; III: 45, 46

Дояренко Алексей Григорьевич (1874–1958)— агрофизик, профессор, з/к и ссыльный с 1930 (Суздаль, Киров, Саратов) — 1:60

Дояренко Евгения Алексеевна (1902–1966)— дочь А.Г. Дояренко, геоботаник, з/к (Лубянка, 1921)— Сеид. I: 14, 30, 47, 60, 100; III: 409

Дракон (Драконт)— афинский законодатель—

III: 392

Дроздов— ктитор Одесского кафедрального собора, з/к после

войны—III: 45, 112 Дубинская—нач. санчасти, ст. лейтенант (Экибастуз, 1950–52) —

III: 65, 243

Дукельский — лагерный начальник (Бамлаг) — II: 436

Дукис Карл Янович (1890–1966)— нач. Лубянской тюрьмы и тюремного отдела ОГПУ— I: 421

Дуппор Жан (Иван) Георгиевич (1895-?)— нач. Верхнеуральского изолятора с 1925, з/к с 1938—1: 424

Дурново Пётр Николаевич (1845–1915) — министр внутренних дел (1905–06), член Государственного совета—I: 338

«Дуровой» Василий — лагерный работник (Колыма)— II: 444

Дуся— з/к, медсестра в больнице Сымского лагпункта под Соликамском— III: 109, ПО

Дутов Александр Ильич (1879–1921, убит при покушении) — генерал–лейтенант, войсковой атаман Оренбургского казачьего войска и командир Оренбургской армии — III: 249

Душечкин Иван—з/к–беглец (Степлаг, Рудник)—III: 176, 177

Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938, расстрелян)— советский военачальник, командарм 2–го ранга—II: 268

Дьяков Борис Александрович (1902–1992)— писатель, з/к (1949–54), автор мемуаров «Повесть о пережитом», «Пережитое» — II: 205, 262, 272, 278, 279, 281–284, 447; III: 94, ПО, 357, 434–437, 443

Дьячков–Тарасов — участник революции 1905–07—III: 80 Дягилев Сергей Павлович (1872–1929)— театральный и художественный деятель, эмигрант— I: 245

Е. Лев Николаевич— инженер–химик, з/к— II: 168–170 Е.Т. — з/к— II: 263

Е–в Иван Кузьмич— толстовец, з/к (Рязань, 1919)— I: 283–285; II: 14, 15

Евстигнеев Сергей Кузьмич (р. 1911)— нач. Озёрлага (1949–57), полковник, зам. начальника Братскгэсстроя по быту и кадрам (1964–83)—III: 258

Евтухович Николай Васильевич— офицер царской армии, военспец Красной армии, полковник— I: 200

Евтухович Юрий Николаевич (1917-?) — командир Красной армии, военнопленный, лейтенант немецкой армии, з/к (Лубянка, 1945)—I: 199, 200–205, 207, 210, 217, 218

Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933)— поэт— III: 258

Егоров Николай Михайлович (1884-?)— профессор–путеец, член правления Общества православных приходов, под арестом в 1922 (Петроградский церковный процесс) — I: 324

Егоров— комиссар полка в войну, нач. лагпункта Ревучий (Краслаг, 1947)—II: 247, 447

Егоров П.К. — бывший з/к (Новороссийск, 1965) — III: 402

Егоров Пётр Валентинович (1871–1933)—журналист, редактор газеты «Русские ведомости», з/к в 1918— I: 289

Егоров Сергей Егорович (1905–1959)—зам. министра внутренних дел и нач. ГУЛАГа (1954–56), генерал–майор — III: 276

Егоршин Василий Кириллович (1891-?)— рабочий из Ленинграда, ссыльный—III: 307

Ежов Николай Иванович (1895–1940, расстрелян)— нарком внутренних дел СССР (1936–38), генеральный комиссар ГБ — I: 83, 151, 160, 262, 435, 485; II: 93, 256, 435, 524; III: 276

Езепов Иван Иванович (р. 1912)— следователь, вёл дело А. Солженицына—I: 132, 133, 139, 141; III: 396

ЕкатеринаII Алексеевна (1729–1796) —I: 98, 226,

231, 260, 395, 452; III: 72

Елизавета Петровна (1709–1761) — I: 395, 402; III: 299

Елистратова Любовь Семёновна—Сеид. I: 14

Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937, расстрелян)— секретарь

ЦИК СССР (1922–35) —I: 378; II: 268 Ерёмин Н.В. — полярник (Северная Земля) — II: 523 Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965)— литературный

критик— III: 286 Ермолов Юрий Константинович (р. 1929) — школьник, з/к с 1943 —

Сеид. I: 14; II: 363–365, 372 Ермолович Николай Николаевич (р. 1922) — журналист, сотрудник

«Известий»— III: 433 Ершихин — бывший лагерный охранник (Соловки) — II: 57 Есенин Сергей Александрович (1895–1925)— I: 534; II: 240, 241,

354

Есенин–Волышн Александр Сергеевич (р. 1924)— сын С.А. Есенина, математик, з/к и ссыльный (1949–53), правозащитник, с 1972 в эмиграции— Сеид. I: 14

Есенина Татьяна Сергеевна (1918–1992) — дочь С.А. Есенина, журналист, писатель — II: 342

Ефимова–Овсиенко—Сеид. I: 14

Ефремов Сергей Александрович (1876–1939,

умер в заключении) — украинский деятель, литературовед, з/к по делу «Союза освобождения Украины» (приговорён к расстрелу с заменой на 10 лет) —I: 62

Жаров Сергей Алексеевич (1896–1985) — участник Белого движения, с 1920 в эмиграции, руководитель казачьего хора— I: 245

Жданов Андрей Александрович (1896–1948)— 1–й секретарь Ленинградского обкома и горкома (1934–44), секретарь ЦК ВКП(б) с 1934—1: 152, 403, 409; II: 61

Жданок Николай—з/к–беглец (Экибастуз, 1950) —III: 70, 137–168, 171–173, 189, 190, 194, 195

Жебеленко Николай Петрович—Сеид. I: 14

Жебрак Антон Романович (1901–1965)— генетик, президент АН БССР (1945–48) — I: 531

Железняк Григорий Трофимович— охранник (Экибастуз, 1950–е) — III: 428

Железов Фома Фомич— нач. Отдела оперативной техники МГБ СССР, полковник—I: 135

ЖелтовМ. — нач. ремстройконторы (Сурск, 1942)— II: 542, 543

Желябов Андрей Иванович (1851–1881, повешен) — народоволец–террорист— I: 265

Жигур Зельма— жена з/к— II: 531

Жлоба Дмитрий Петрович (1887–1938, расстре-

лян)— начдив и командир конного корпуса в Гражданскую войну, нач. Со–юзводтреста— II: 268

Жогин Николай Венедиктович (1914–2002) — следователь прокуратуры с 1937, прокурор, зам. Генерального прокурора СССР (1961–72), директор ВНИИ укрепления законности и правопорядка (1972–79) — III: 490

Жук Иустин Петрович (1887–1919, погиб в бою)— анархист–коммунист, приговорён к смертной казни с заменой на бессрочную каторгу, после 1917 красногвардеец—III: 75

Жуков — лагерный работник (Колыма) — II: 444

Жуков Виктор Иванович— бывший з/к, житель Коврова— Сеид. I: 14; II: 528; III: 403

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — маршал Советского Союза—I: 229

Жуков Юрий (Георгий) Александрович (1908–1991) — журналист — II: 469

Жукова— заседатель на выездной сессии Горьковского облсуда (Буреполом) — II: 311

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — III: 303

Журавский Андрей Митрофанович (1892–1969) — математик, профессор Горного института,

з/к (1942–52) — II: 239

Журин Владимир Дмитриевич (1891–1962)— гидротехник, з/к, нач. проектного отдела Беломорстроя, освобождён досрочно в 1932 —II: 72

3. —з/к—II: 192

Заболовский Ефим Яковлевич (1898-?)— зам. начальника Управления милиции Северо–Осетинской АССР, в 1939 осуждён на 5 лет— Сеид. I: 14, 79

Заборский Алексей Петрович (1898–1966)— полковой комиссар, з/к с 1938—II: 279, 281

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892)— декабрист — I: 129

Завенягин Авраамий Павлович (1901–1956)— нач. строительства Норильского комбината (1938–41), зам. наркома (министра) внутренних дел СССР (1941–50)—II: 221, 433, 546

Загоруйко А.Г. — шофёр, корреспондент А. Солженицына— III: 432

Задорный Владилен (1933–1968)— сын репрессированного, солдат внутренних войск (охранник в Ныроблаге, 1951–53), поэт— Сеид. I: 14; II: 454, 455; III: 201–203

Залесская Софья Александровна (Фельдт Зося; 1903–1937, расстреляна)— сотрудница Разведупра РККА, политрук— II: 487

Залыгин Сергей Павлович (1913–2000)— писатель— I: 66

Замятин Евгений Иванович (1884–1937) — писатель, с 1932 в эмиграции— I: 57, 199

Заозёров В.И. — член спецколлегии Ивановского облсуда (Кадый, 1937) —I: 389

Заозерский Александр Иванович (1874–1941)— историк, з/к с 1929 по «Академическому делу» (приговорён к расстрелу с заменой на 10 лет)— II: 36

Заозерский Александр Николаевич (1880–1922, расстрелян) — настоятель храма Параскевы Пятницы в Охотном ряду, один из обвиняемых на Московском церковном процессе —1:321

Зарин В.М. — з/к — Сеид. I: 14; II: 271

Зарин Владимир Георгиевич (1887–1938, расстрелян)— нач. 4–го отделения УСЛОНа, з/к с 1930, прораб–строитель по гражданским сооружениям (Биробиджан)— II: 53, 54 Зарин Вольдемар — бывший з/к (Ростов–на–Дону, 1960) — III: 403 Засулич Вера Ивановна (1849–1919)— революционерка— I: 265; III: 73

Захаров— преподаватель, учитель Г.М. Маленкова (см.), з/к — II: 272, 281

Захаров Александр— красноармеец, з/к— II: 347

Захарова Анна Филипповна— сотрудник МВД–МООП с 1950 —
III: 428, 431, 437, 443 Заяицкий Сергей Сергеевич (1893–1930)— поэт, переводчик —
I: 535
Зведре Ольга Юрьевна (1898–1975)— сотрудник латышской секции Коминтерна, з/к и ссыльная (Колыма, 1937–53)— Сеид. I: 14
Зверев Григорий Александрович (1900–1946, повешен)— полковник Красной армии, после немецкого плена во власовской армии, генерал–майор—I: 240
Зданюкевич Александр Климентьевич (1884-?) — инженер, преподаватель МВТУ, ссыльный (Кок–Терек, 1953)—Сеид. I: 14; III: 376
Здоровец Борис М. (р. 1929) — баптист из Олыпан Харьковской области, з/к в 1961–71 — III: 488 Зегер Герман (1839–1893)— немецкий химик — II: 417 Зеленков—оперуполномоченный (Колыма, 1937–38) — II: 100 Зеленский Исаак Абрамович (1890–1938, расстрелян) — партийный деятель, подсудимый на процессе «Антисоветского право–троцкистского блока»— I: 130 Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970)— литературовед, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» —

II: 67 Зельдин— нач. лагпункта, Колыма— II: 99

Зельдович Владимир Борисович— з/к (Владимирская тюрьма,

1950–е)—I: 438 Зенюк— нач. Московского водопровода (1922) — I: 314 Зина—учительница, з/к—II: 398, 399

Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский Евсей Аронович; 1883–1936, расстрелян)— председатель Петросовета (1917–26), председатель Исполкома Коминтерна (1919–26), подсудимый на процессе «Антисоветского объединённого троц–кистско–зиновьевского центра» — I: 277, 366, 377–379; II: 8, 242, 268, 494

Зиновьев Павел Николаевич— офицер МВД, з/к (Калужская застава в Москве, 1946)—II: 214, 218–221, 225–227, 291, 433

Злотник Григорий Ильич (1906–1938, расстрелян) — экономист, ссыльный из/к (участник голодовки в УхтПечлаге, Воркута)—II: 257

Знаменские, братья: Георгий Иванович (1903–1946) и Серафим Иванович (1906–1942, покончил с собой)— заслуженные мастера спорта— II: 242

Зобунков— Сеид. I: 14

Зозуля— з/к, бригадир (Калужская застава в Москве, 1945) — II: 462 Зосима (ум. 1478)— игумен, один из основателей Соловецкого монастыря— II:

23, 41
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958)— писатель, один из
авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина.
История строительства»— II: 67, 70 Зубов Николай Иванович (1895–1983)— врач, з/к и ссыльный
(1942–56) —Сеид. I: 14; II: 150, 181, 191 Зубова Елена Александровна (1903–1983)— медсестра, жена
Н.И. Зубова, з/к и ссыльная (1942–56)— Сеид. I: 14;
II: 150
Зуев Нил Петрович (1857–1918) — директор Департамента полиции
(1909–12)—III: 90 Зурабов— сын А.Г. Зурабова, з/к— III: 82
Зурабов Аршак Герасимович (1873–1920)— член РСДРП, депутат
2–й Государственной думы— III: 82 Зыков Леонид Вонифатьевич, Лёня— инженер, з/к (Лубянка,
1945) —I: 183–187, 194, 209, 215; II: 232, 233
И.Н. — з/к— II: 184
Ибсен Генрик (1828–1906) —II: 491
Ивакин Василий Алексеевич— з/к (Краслаг, Решёты; 1960–е) —

Сеид. I: 14; III: 461, 466 Иван I Калита (ум. 1340) —1:315 Иван IV Грозный (1530–1584) —I: 220; II: 23; III: 72

Иванов— ленинградец, комвзвода, после финского плена з/к — 1:222

Иванов—з/к (Воркута, 1930–е) —II: 257 Иванов— подполковник МВД— III: 332

Иванов Александр Павлович, «антирелигиозная бацилла» (1886-?) — послушник Почаевской лавры, зав. архивным бюро и музеем революции в Новгороде, з/к (Соловки, 1924–28), пропагандист атеизма—II: 25, 26

Иванов В.И. — з/к (Ухта) — I: 456

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963)— писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства»— II: 67

Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929) — филолог, сын Вс.Вяч. Иванова— Сеид. I: 14

Иванов Михаил Дмитриевич— работал на заводе, служил в НКВД (Тамбов, 1941)—II: 521, 522

Иванов Олег—подполковник, з/к (Бутырки, Экибастуз; 1950–е) — I: 476, 477; III: 49, 93

Иванов Сергей Никитич— инженер, эмигрант, участник войны в Испании, один из инициаторов создания русских частей в составе Вермахта— I:

Иванов–Разумник Разумник Васильевич (1878–1946) — литературовед, з/к и ссыльный с 1919 неоднократно, с 1941 в оккупации, в немецком лагере до 1943, эмигрант, автор мемуаров «Тюрьмы и ссылки» — I: 102, 113, 124, 146, 364; II: 283; III: 79

Иванова Антонина—жена О. Иванова (см.), з/к—I: 476, 477 Иванова Иранова Елена Александровна (1883–1937, расстреляна)— эсерка, з/к и ссыльная с 1921, подсудимая на процессе эсеров 1922 — 1: 288, 333 Ивановский— танцор Большого театра, з/к (Химкинский лагерь) — II: 438

Иванченко Андрей Андреевич (1895–1938, расстрелян) — председатель ГПУ Карелии (1929–32), зав. Леноблвнуторгом— II: 72 Иванчик— з/к (Краслаг) — II: 279

Ивашёв–Мусатов Сергей Михайлович (1900–1992)— художник, з/к (спецобъект Марфино, Степлаг; 1947–56) — Сеид. I: 14; II: 509

Ивков—следователь (Архангельск, 1940) — I: 117

Игнатович Е.А. — «практический работник» лагеря, корреспондент А. Солженицына— III: 426

Игнатовский Владимир Сергеевич (1875–1942, расстрелян)— физик–оптик, чл. — кор. АН СССР, з/к с 1941 — I: 267, 403

Игнатченко— вольнонаемный начальник (СевДвинлаг)— II: 210, 440

Игорёк— сын з/к— II: 531

Иеракс (Бочаров Иван Матвеевич, 1880–1959)— иеромонах, выслан в 1932, з/к с 1943 — I: 30

Изгоев Александр Соломонович (Ланде Арон Соломонович; 1872–1935)— историк, публицист, в 1922 выслан из Советской России—I: 346

Измайлов Николай Васильевич (1893–1981) — литературовед, зав. Рукописным отделом Пушкинского Дома, з/к по «Академическому делу» в 1929–1934—1: 62

Измаилович Александра Адольфовна (1879–1941, расстреляна в Орле перед сдачей города немцам) — член боевой организации эсеров, з/к и ссыльная (с 1919 неоднократно) — III: 344

Иисус Христос— I: 163, 451, 465, 534; II: 302, 370; III: 101, 102, 149, 205

Иков Владимир Константинович (1882–1956)— меньшевик, з/к (1930–е)—I: 369

Ильин Виктор Николаевич (1904–1990)— в органах ОГПУ–НКВД с 1933, нач. 3–го отдела Секретно–политического управления НКВД СССР, комиссар ГБ, з/к (1943–52), секретарь Союза писателей СССР (1956–77)— I: 145, 150; III: 443

Ильин Иван Александрович (1882–1954)— фи-

лософ, в 1922 выслан из Советской России — I: 346; II: 28

Ильин Сергей Николаевич (1899–1991)— следователь, краевед — I: 145

Ильичёв Леонид Фёдорович (1906–1990)— секретарь ЦК КПСС

(1961–65)—III: 442 Инбер Вера Михайловна (1890–1972)— поэтесса, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» (1934)— II: 67, 342 Ингал Георгий Борисович (1920 -?)— писатель, з/к (Бутырки, Красная Пресня, Новый Иерусалим, 1945; в 1948 Куйбышевским спецлагсудом осужден на 10 лет дополнительно)—I: 540, 541; II: 133, 136, 138, 146, 147 Иношин— паровозный машинист, з/к— I: 23 Инчик Вера— з/к (Ейск, 1937) —Сеид. I: 15; II: 372 Иов (о. Иоанн; 1635–1720)— духовник Петра I, соловецкий монах—II: 42

Иона (Фиргуф Иван Федорович; 1866-?) — игумен Саввино–Сторо–жевского монастыря, з/к (1919–21), игумен Гефсиманского скита Троице–Сергиевой Лавры (1921–29) — I: 301

Иоселевич (Иосилевич) Александр Соломонович (1899–1937, расстрелян)— секретарь и член президиума ПетроЧК (1918), нач. отдела Наркомторга СССР, з/к и ссыльный с 1927 неодно-

кратно — II: 251
Иоссе (Иосса) Конкордия Николаевна— потомственная дворянка, з/к— I: 52, 149, 164
Иохельсон Владимир Ильич (1855–1937)— этнограф, после 1917 в эмиграции — III: 301
Ирод I (ок. 73–4 до н.э.)— царь Иудеи— III: 321
Исаев— майор, з/к (Тирасполь, 1960–е)— III: 462
Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973)— поэт— III: 117, 118
Истнюк— з/к (Воркута, 1938) — II: 314
К. — з/к (Сиблаг) — II: 186
К.У. — бывший царский офицер— II: 515
К. Александр Кузьмич— бывший з/к, корреспондент А. Солженицына— II: 511 К–й— з/к (Иркутская область, 1960–е) — III: 466 К–н— з/к (Ерцево, 1960–е) — III: 466
Кабалевский Дмитрий Борисович (1904–1987)— композитор — 11:92
Каверзнев см. Кольбе
Кавешан В.Я. — калужанин, сын з/к— Сеид. I: 15; II: 518
Каган Виктор Кусиэлевич (р. 1920)— студент, рядовой ополчения в 1941, инженер, з/к (1945–55), с 1975 в эмиграции — Сеид. I: 15, 533
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991)— член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС

в 1930–57—1: 56, 380–382; II: 69, 111, 234

Кадар Янош (1912–1989)— министр внутренних дел Венгрии

(1949–50), з/к (1951–54), первый (генеральный) секретарь

Венгерской СРП (1957–88) — II: 284 Кадацкая Мария Венедиктовна— жена з/к— Сеид. I: 15; III: 414 Каденко— матрос, в 1941 интернирован шведскими властями,

з/к— Сеид. I: 15, 89 Казаков Игнатий Николаевич (1891–1938, расстрелян)— врач,

директор НИИ обмена веществ и эндокринных расстройств,

подсудимый на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока»— I: 23 Казачук Антонина— ссыльная (Кок–Терек, 1953) — III: 392 Казлаускас Ионас Иозас (1885–1951)— з/к (Степлаг, Рудник) —

III: 249

Кактынь Артур Мартынович (1893–1937, расстрелян) — экономист, зам. председателя Совнаркома Таджикской ССР— II: 268

Калашников — оперуполномоченный (Джидинский лагерь, 1941)—II: 305

Калганов Александр — бывший чекист (Ташкент, 1930–е) — Сеид. I: 15, 79

Каледин Алексей Максимович (1861–1918, покончил с собой)— генерал, атаман Донского казачьего войска— III: 480 Калигула Гай Юлий Цезарь (12–41)— римский император— I: 466 Каликман— з/к (Калужская застава в Москве)— II: 176 Калина Ирина Игнатьевна (р. 1928) — дочь погибшего в Минской тюрьме сотрудника Наркоминдела, художник, з/к (Бутырки, Карлаг; 1949–53) —I: 501 Калинин Михаил Иванович (1875–1946)— член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1926, председатель ВЦИК (1919–36) и ЦИК (Президиума Верховного Совета) СССР (1922–45) — I: 319, 411, 416, 430, 521; II: 95, 128, 143, 256

Калинина МИ. — бывшая з/к, корреспондент А. Солженицына — Сеид. I: 15; II: 393; III: 410

Калинников Иван Андреевич (1874–1942)— выборный ректор МВТУ (1920–22), преподаватель Военно–воздушной академии, работник Госплана СССР, з/к по делу «Промпартии» — I: 47, 352, 359, 366

Каллистов Дмитрий Павлович (1904–1973) — историк античности, одноделец Д.С.Лихачёва (Шпалерная, Соловки, БелБалтлаг, Дмитлаг; 1928–34)—Сеид. I: 15; II: 45

Калнышевский Пётр Иванович (1691–1803)— последний кошевой Запорожской Сечи, соловец-

кий узник с 1776—II: 24

Калугин Игорь Дмитриевич (1894-?)— актёр Александрийского театра, з/к (Соловки), в 1941 Архангельским облсудом вновь осуждён на 10 лет— II: 36

Кальянов Владимир Иванович (1908–2001)— востоковед, возглавил Индо–тибетский кабинет Института востоковедения АН СССР после ареста ведущих учёных— II: 522

Калягин— комсорг подразделения 36–й мотодивизии (Монголия, 1941) —I: 270

Каляев Иван Платонович (1877–1905, повешен) — эсер–террорист, убил великого князя Сергея Александровича— III: 90

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936, расстрелян) — соратник В.И.Ленина, советский партийный деятель, подсудимый на процессе «Антисоветского объединённого троцкистско–зиновьевского центра» — I: 128, 331, 338, 340, 366, 376, 378, 379, 426; III: 78

Каменева Ольга Давыдовна (1883–1941, расстреляна в Орле перед сдачей города немцам)— сестра Л.Д.Троцкого, жена Л.Б. Каменева, библиотекарь, выслана в 1935, з/к с 1937 — I: 376

Каменецкий Матвей Ильич (1906–1938, расстрелян) — с 1929 з/к и ссыльный беспрерывно,

участник голодовки в Ухтпечлаге (Воркута)—II: 257

Каминов Игорь— бывший з/к— Сеид. I: 15; III: 405

Каминский Бронислав Владиславович (1899–1944, расстрелян) — инженер, з/к (1937–41), бургомистр Локотского округа при немцах, командир бригады и дивиии СС, участвовал в подавлении Варшавского восстания, осуждён немецким военным трибуналом— I: 236

Каминский Юрий Фёдорович— Сеид. I: 15

Камо (Тер–Петросян Симон Аршакович; 1882–1922)— революционер, один из организаторов денежных «экспроприации» — III: 250

Кампесино см. Гонсалес Валентин

Канатчиков Семён Иванович (1879–1940)— председатель Петро–помгола и ректор Коммунистического университета в Петрограде, писатель, з/к с 1936— I: 320 Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ— III: 80 Капица Пётр Леонидович (1894–1984)— физик, академик АН СССР—II: 389

Каплан Фанни Ефимовна (Ройтблат Фейга Хаимовна; 1887–1918, расстреляна) — эсерка, обвиняемая по делу покушения на В.И. Ленина— I: 304, 333; II: 13, 425

Капустин— комендант (Джамбул)— II: 448
Караванский Святослав Иосифович (р. 1920) — украинский филолог, з/к (1944–60, 1965–77) —III: 454, 461, 488, 489
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866, повешен) — революционер, стрелял в Александра II— I: 265; III: 73, 76
Карасик—прокурор (Кадый, 1937) — I: 389, 391
Караханов В. — лагерный охранник, автор отклика на «Один день Ивана Денисовича»— III: 427
Каращук Иван Игнатович— главный инженер треста (Экибастуз, 1950–е)—II: 464
Карбе Юрий Васильевич (1913–1968) — инженер, з/к (Карлаг, Экибастуз)— Сеид. I: 15, 483
Каргер Нестор Константинович (1904–после 1942)— этнограф и лингвист, ссыльный, фронтовик—I: 23
Карев— нач. колонии, лейтенант (Вильнюс, после войны)— II: 443
Каретников Александр Григорьевич — директор хлопчатобумажной фабрики (1935), осуждён в 1938—1: 272, 273
Карклин Отто Янович — член Верховного трибунала ВЦИК, работник Наркомюста— I: 328, 397
Карпенко–Карый (Тобилевич Иван Карпович;

1845–1907)— секретарь полиции в Елисаветграде, украинский драматург — III: 1

Карпец Игорь Иванович (1921–1993)—директор ВНИИ изучения причин преступности (1960–е), нач. Главного управления угрозыска МВД СССР (1969–79) — III: 476

Карпов Евтихий Павлович (1857–1926)— драматург и режиссёр, управляющий труппой Александрийского театра— III: 81

Карпов Фёдор Фёдорович (1904–1976)—инженер–электрик, з/к после немецкого плена (Бутырки), кандидат технических наук—I: 226, 533

Карпунич (Карпунич–Бравен) Иван Семёнович (1901-?) — партизан в Гражданскую войну, комполка 40–й дивизии, бухгалтер, з/к (Колыма) — Сеид. I: 15, 27, 116, 117, 125; II: 98, 99, 103; III: 402, 413

Карсавин Лев Платонович (1882–1952, умер в заключении) — историк и философ, в 1922 выслан из Советской России, преподавал в Литве с 1928, з/к с 1949 (Абезь) — I: 346

Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978)— сестра Л.П. Карсавина, балерина, с 1918 в эмиграции— III: 46

Карташёв Антон Владимирович (1875–1960)— историк церкви, публицист, с 1919 в эмиграции,

заочно обвинён по делу «Тактического центра»— I: 306

Картель Илья Алексеевич (1911–1990) —журналист, з/к (1937–43), педагог, соавтор сб. мемуаров «Пока дышу — надеюсь» (Кемерово, 1991)—Сеид. I: 15; III: 401

Касаткин Иван Михайлович (1880–1938, расстрелян)— писатель — III: 81

Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — министр народного просвещения (1910–14)—I: 289 Касьянов Александр— Сеид. I: 15

Касьянов Василий Александрович (1894-?)— участник Ярославского восстания 1918, з/к—I: 102

Касюков Игорь Георгиевич (р. 1922) — журналист— III: 440

Катаев Валентин Петрович (1897–1986)— писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» — II: 67

Катанян (Катаньян) Рубен Павлович (1881–1966)— чекист, пом. прокурора РСФСР, ст. помощник прокурора Верховного Суда СССР (прокурор при ОГПУ, прокурор по специальным делам), з/к и ссыльный (1938–48, 1950–55) — I: 424

Каупуж Анна Владиславовна (1924–1994) — фи-

лолог–полонист из Вильнюса— Сеид. I: 15

Каутский Карл (1854–1938)— немецкий социал–демократ— III: 80

Каховская Ирина Константиновна (1888–1960)— эсерка, з/к и ссыльная неоднократно— III: 344

Кашкетин (Скоморовский) Ефим Иосифович (1905–1940, расстрелян)— пом. начальника 3–го отделения 3–го отдела ГУЛАГа, лейтенант ГБ— II: 312, 316, 433

Кейтель Вильгельм (1882–1946, повешен) — генерал–фельдмаршал, нач. штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Германии, подсудимый на Нюрнбергском процессе—I: 232

Кекушев Николай Львович (1898-?) — полярник, з/к (1931, 1948–55), автор мемуаров «Звериада» — Сеид. I: 15

Келлер Михаил (Герш) Иосифович (1924–1954, расстрелян)—партизан ОУН, з/к с 1944, один из организаторов Кенгирского восстания—III: 272, 273, 296

Келли— англичанин, з/к (Владимирская тюрьма) — II: 487

Кельвин, лорд (Томсон Уильям; 1824–1907)— английский физик—II: 389

Керенский Александр Фёдорович (1881–1970)—

политический
деятель, эмигрант—I: 397; II: 344 Кермайер— з/к— II: 253
Кёстлер Артур (1905–1983)— английский писатель— I: 375, 378 Киви Ингрид (Инги) Александровна (1932–26 июня 1954)— з/к с 1951 на 25 лет, погибла во время Кенгирского восстания—III: 294
Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933)— историк, в 1922 выслан из Советской России— I: 346
Кизилов Пётр Иванович— рабочий вагонного депо, з/к (приговорён к расстрелу в 1959, оправдан)— II: 348
Ким Ир Сен (1912–1994)— вождь корейского коммунизма (руководитель Трудовой партии Кореи и КНДР) — I: 242
Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936)— английский писатель — I: 464
Киреев Юрий Николаевич — тверичанин, з/к (Экибастуз, 1950–е) — III: 107
Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1937, расстрелян) — участник революционного движения, поэт— III: 81
Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934, убит при покушении)— 1–й секретарь

Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б)— I: 77, 378, 399; II: 77, 250; III: 73, 326, 436

Кирпотенко Алексей Александрович (1878-?)— инженер, свидетель на процессе «Промпартии» — I: 362

Киселёв— сержант НКВД (Калужская застава в Москве, 1945) — II: 449

Киула Константин— з/к, автор тюремных стихов (Бутырки, 1945) — Сеид. I: 15, 534

Кишкин Николай Михайлович (1864–1930)— врач, кадет, министр Временного правительства, член Всероссийского комитета помощи голодающим, неоднократно арестовывался— I: 46, 305

Кишкин Пётр—з/к (Экибастуз, 1950–е)—II: 173; III: 113–117, 243

Клегель— следователь (Лефортово, 1926)— I: 25

Клемпнер Владимир (1913-?)— пианист и композитор, з/к (Бескудниково под Москвой, Бутырки, Колыма) — I: 533; II: 392, 393,435

Клодт Александр Георгиевич (1900–1937, расстрелян), топограф,

з/к с 1930 (БелБалтлаг) — II: 36 Клюев Николай Алексеевич (1884–1937, расстрелян)— поэт— I: 102 Клюхин Сергей Григорьевич (1901-?) — чекист УНКВД Ивановской

области (1937–38), зам. начальника Главного транспортного
управления НКВД СССР, ст. лейтенант ГБ, з/к с 1939 —
I: 388, 390, 411
Ключевский Василий Осипович (1841–1911)— историк— I: 302; III: 75, 252
Ключкин Иосиф Ильич (1897–1966) — нач. СевЖелДорлага (1945–50) и Печорлага (1950–52), полковник— II: 341
Кнопмус Юрий Альфредович (1915–1956, расстрелян) — инженер, з/к с 1944 (Горлаг, Степлаг, один из руководителей Кенгирского восстания)— III: 272, 296
Княгинин Вячеслав Ильич— Сеид. I: 15
Князев— коломенский рабочий, ссыльный (Красноярский край, Тасеево) — III: 336
Ковальская Елизавета Николаевна (1851–1943)— революционерка–народница— III: 88
Ковач— венгр, американский коммунист, з/к с 1937— II: 261
Ковач Роза — дочь американского коммуниста, детдомовка, з/к — Сеид. I: 15; II: 374
Коверда Борис Софронович (1907–1987)— эмигрант, в 1927 убил П.Л. Войкова (см.) — I: 53
Коверченко Иван— офицер, з/к (Экибастуз)— I:

466–468; III: 141

Ковтюх Епифан Иович (1890–1938, расстрелян)— военачальник, комкор— II: 268

Ковшаров Иван Михайлович (1878–1922, расстрелян)— юрисконсульт Александро–Невской лавры и член правления Общества православных приходов, обвиняемый на Петроградском церковном процессе— I: 325

Коган Лазарь Иосифович (1889–1939, расстрелян)— нач. ГУЛАГа (1930–32), Беломорстроя и строительства канала Москва–Волга, ст. майор ГБ—I: 54, 32; II: 68–69, 74, 77, 79, 82, 94, фото № 13 между с. 546–547

Кожевников Иннокентий Серафимович (1879–1931, расстрелян в Москве)— советский военный деятель, з/к с 1926 (нач. трудколонии в Соловках) — II: 52

Кожин—з/к–беглец (Степлаг, Новорудное, 1949) — III: 132

Кожурин — колхозник из Кировской области, красноармеец в войну, репрессирован—III: 333

Козак— инженер–геолог, з/к (1941–43)— II: 438

Козак Ольга Петровна— жена геолога, ссыльная— Сеид. I: 15; II: 438

Козаков Виктор Сергеевич— Сеид. I: 15

Козин Вадим Алексеевич (1903–1994)— певец, з/

к (Колыма, 1944–50)—II: 401

Козлов (Фёдоров–Козлов Филипп Фёдорович; 1888–1937, расстрелян)— ленинградский рабочий, эсер–боевик, з/к неоднократно, подсудимый на процессе эсеров 1922 — I: 421

Козлов Фрол Романович (1908–1965) — секретарь ЦК КПСС (1960–64)—III: 483, 484

Козырев Николай Александрович (1908–1983)— астроном, профессор, з/к (Дмитровск, Норильлаг; 1936–45) — Сеид. I: 15, 436, 437, 439

Козьмин Василий— джазист, з/к— II: 189

Колесников Иван Степанович (1901–1985) — хирург, член советской спецкомиссии по Катыни, з/к (Спасск, Экибастуз; 1950–е), академик АМН СССР—III: 55

Колодезников Степан Петрович (1898-?)— якут, з/к и ссыльный с 1931 —II: 466

Колокольнев Иван Кузьмич— Сеид. I: 15

Колосков— сектант, з/к— I: 427

Колпаков Алексей Павлович — корреспондент А. Солженицына—Сеид. I: 15, 98 Колпаков С. — Сеид. I: 15

Колпаков Яков Петрович (1896–1937, расстрелян) — председатель

Судогодского райисполкома— I: 414 Колупаев— з/к–бригадир (Котласская пересылка, конец

1930–х) —
I: 497
Колчак Александр Васильевич (1874–1920, расстрелян)— адмирал, один из руководителей Белого движения— I: 122, 284, 292, 302; II: 343, 345 Кольбе (наст. Каверзнев) — тамбовец, з/к (1930–е) — I: 86 Кольцов Николай Константинович (1872–1940)— биолог, член–корреспондент АН СССР, академик ВАСХНИЛ — I: 306, 308 Комаров — лагерный работник (Колыма) — II: 311, 444 Комаровский— з/к. Возможно: Комаровский Владимир Алексеевич, (1879–1937, расстрелян), художник, з/к неоднократно, в Соловках его друзья по Сергиеву Посаду— II: 36
Комов Валентин И. (1912-?) — из Ефремовского уезда, з/к неоднократно (1930–е, 1946–55, Экибастуз), в войну в Бухенваль–де—II: 545; III: 209
Комогор Леонид Александрович— з/к (1941–42)— Сеид. I: 15; II: 103; III: 403
Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) — участник и историк революционного движения— III: 300–302, 305
Кондо (Кондоо) — японский военнопленный, з/к–бригадир (Крас–лаг, 1947) —II: 247
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892–1938, расстрелян) — экономист, з/к неоднократно, с

1931 по делу «Трудовой крестьянской партии»— I: 60, 61, 306

Конев Николай Васильевич (р. 1933) — школьник из Ленинск–Кузнецка, в 1951 осуждён на 10 лет— II: 254

Коненцов— надзиратель (Экибастуз, 1950)— III: 65, 66

Коновалов Степан—кубанский казак, з/к—III: 186, 192, 194, 196

Конокотин Орест Николаевич (ум. 1956) — депутат Моссовета, з/к (Озёрлаг, работал в санчасти) — II: 281–283; III: 437

Кононенко Марк Иванович— з/к (Колыма)— Сеид. I: 15; II: 101

Кононов Иван Никитович (1900–1970)— майор Красной армии, в 1941 перешёл на сторону немцев, генерал–майор, не репатриирован в СССР— III: 27

Коноплёва Лидия Васильевна (1891–1937, расстреляна)— обвиняемая на процессе эсеров 1922 — I: 333, 334

Кончиц Андрей Андреевич—Сеид. I: 15

Копейкин — житель Юрьевца, з/к—I: 434

Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997)— филолог, писатель, з/к (1929, 1945–54), автор мемуаров «Утоли моя печали»— Сеид. I: 15; II: 520; III: 395,

407, 410
Коптяев Виктор Николаевич, Витя— з/к–малолетка— II: 372
Корбюзье Ш.Э. см. Ле Корбюзье Ш.Э.
Корзинкин — II: 320
Корзухин — житель ст. Решёты—I: 148
Корк Август Иванович (1887–1937, расстрелян)— подполковник царской армии, нач. Военной академии им. Фрунзе, командарм 2–го ранга, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии»— II: 268
Коркина— заседатель на выездной сессии Горьковского облсуда (Буреполом) — II: 311
Корнеев Иван Алексеевич (1902-?) — библиограф, з/к и ссыльный (Лубянка, Владимирская тюрьма, Казахстан; 1946–56) — Сеид. I: 15, 149, 435, 436, 458
Корнеева Вера Алексеевна (1906–1999)— сестра И.А. Корнеева, з/к и ссыльная (Карлаг, Казахстан; 1946–54) — Сеид. I: 15, ПО, 162, 163, 259, 447, 473; III: 406
Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972)— советский драматург— III: 178
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918, убит в бою)— генерал, один из организаторов Белого движения— I: 426

Корнфельд Борис Абрамович (убит в 1952) — хирург, з/к (Экибастуз)— II: 497, 498; III: 243

Королёв Сергей Павлович (1906–1966)— конструктор ракетно–космических систем, з/к (1938–44)— II: 388

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921)—писатель — I: 44, 46–48, 164, 260, 318, 396, 470; III: 94, 314

Короленко Владимир Юлианович (1881–1937, расстрелян) — племянник В.Г. Короленко, юрист, защитник на Шахтинском процессе, з/к с 1930 (Соловки)— II: 36

Коротицын — лагерный работник (Каргопольлаг) — II: 444

«Коротышка» — надзиратель (Калужская застава в Москве, 1945) — II: 223

Косарева Елена Александровна (р. 1931) — дочь генерального секретаря ЦК ВЛКСМ, студентка Сельхозакадемии, з/к и ссыльная (Норильск, 1949–54), журнальный работник— I: 96

Косиор Станислав Викентьевич (1889–1939, расстрелян)— член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930, з/к с 1938—1: 378; II: 268

Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923–1941, повешена немцами)— партизанка— II: 375, 486

Косырев Фёдор Михайлович (1888–1919, рас-

стрелян)— разыскивался полицией за ограбления и убийство, после 1917 чекист—I: 98, 292, 294–299, 344; II: 434

Косых Леонид Ф. — з/к — III: 219

Кот Пьер (1895–1977)— французский политический деятель — III: 286

Котик Елизавета Львовна (1906-?) — з/к (пересылка в бухте Вани–но, 1938) —I: 433; II: 284

Котляревский Сергей Андреевич (1873–1939, расстрелян)— историк, публицист, депутат 1–й Государственной думы, з/к по делу «Тактического центра» в 1920, консультант при АН СССР, з/к с 1938 — 1: 305–306, 308, 310

Котов— прокурор (Лубянка)— I: 137

Котович—геолог, з/к—I: 81

Коханская Тамара Владимировна (1910-?)— служащая в Экспорт–лесе (Архангельск), з/к—I: 151

Кочаровский Валентин Трифонович (1902–1942, расстрелян) — сотрудник Политического Красного Креста, з/к и ссыльный с 1933—1: 53

Кочерава Кокки — токарь, з/к (Экибастуз, 1952) — III: 245, 246 Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973) — писатель—III: 286 Кравцов Василий— з/к (этап Владивосток–Сахалин, 1950)—I: 516 Кравченко Виктор Андреевич (1905–1966, погиб при невыясненных обстоятельствах)—

инженер, капитан Красной армии, сотрудник закупочной комиссии в США, эмигрант, автор кн. «Я выбрал свободу»— III: 44 Кравченко Наталья Ивановна—Сеид. I: 15 Крамаренко Г. —з/к—I: 174, 183, 193,214

Красиков Пётр Ананьевич (1870–1939)— главный обвинитель на Петроградском церковном процессе 1922, прокурор Верховного Суда СССР с 1924, зам. председателя Верховного Суда СССР с 1933—1: 324, 325, 418

Красин Леонид Борисович (1870–1926)— советский партийный деятель—III: 80, 301

Красницкий Владимир Дмитриевич (1880–1936)— обновленческий священник, глава «Живой церкви» — I: 324

Краснов Пётр Николаевич (1869–1947, повешен)—генерал–лейтенант, писатель, в 1918 атаман Войска Донского, с 1920 в эмиграции, руководил формированием казачьих частей Вермахта—I: 224, 237, 241; III: 206

Краснов–Левитин (Левитин Анатолий Эммануилович; 1915–1991) — обновленческий священник, з/к (1934, 1949–56, 1969, 1971–1973), писатель, с 1974в эмиграции—I: 321

Красуцкая Вера— жена з/к (Ростов–на–Дону)—II: 528

Крейнович Ерухим (Юрий) Абрамович (1906–1985)— этнограф, з/к и ссыльный (Колыма, Игарка; 1937–47, 1949–55)—III: 416

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938, расстрелян) — зам. наркома иностранных дел СССР (1930–37), подсудимый на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока» — I: 375

Кретов—прокурор, з/к (Бутырки, 1945)—I: 533

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1959)— революционер, советский деятель— II: 252; III: 81, 344

Кривова— прокурор на процессе М.Я. Потапова (Рязань, 1964) — III: 492

Кривошеий Владимир—з/к (Экибастуз, 1951)— III: 194 Крижанич Юрий (ок. 1618–1683) — учёный–энциклопедист, писатель—II: 120

Кромиади (Санин) Константин Григорьевич (1900–1990)—участник Гражданской войны, эмигрант, начальник личной канцелярии генерала Власова (см.)— I: 231

Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) — учёный, теоретик анархизма— II: 251, 517

Крохалёв— з/к (Усть–Нера, Якутия, 1951)— II: 351

Круглов Сергей Никифорович (1907–1977)— нарком (министр) внутренних дел СССР (1945–53,

1953–56), генерал–полковник—I: 523; II: 221; III: 276

Кружков Николай Фёдорович (1911–1966)— следователь и нач. отделения следственного отдела УМГБ Ленинградской области (1941–46), нач. управления милиции Новгородской области, полковник ГБ, в 1956 осуждён за фальсификацию дел и преступные методы ведения следствия, освобождён в 1962—1: 148–150, 410

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939)— жена В.И. Ленина, советский деятель— II: 268; III: 83

Крутиков— следователь (Буреполом)— II: 311

Крутикова Мария Фёдоровна (1901–1949, покончила с собой) — директор ленинградской фабрики «Красная работница» № 1, з/к с 1937—1: 433

Крыков Николай— з/к (Кенгир)— III: 132

Крыленко Николай Васильевич (1885–1938, расстрелян)—государственный обвинитель на политических процессах: эсеров, Шахтинском, «Промпартии», «Союзного бюро меньшевиков», нарком юстиции РСФСР с 1931, нарком юстиции СССР с 1936—1: 11, 19, 101, 117, 285–291, 293–298, 300–304, 306, 307, 309, 311–314, 316, 317, 323, 324, 330–333, 335, 337–341, 346–351, 353–356, 358–365,

368, 371–374, 378, 397; II: 20, 244; III: 17, 19, 81

Крылов Иван Андреевич (1769–1844) — II: 428

Крылов Иван Николаевич— нач. Кадыйского, Курловского и Се–рёдского рай отделений НКВД Ивановской области, мл. лейтенант ГБ (1937–38) —I: 386

Кудла Григорий—з/к–беглец (Степлаг, Рудник) — III: 119, 148, 150, 176–178

Кудлатый — начальник одной из усть–вымских командировок — II: 437, 447

Кудрявцев Владимир Николаевич (р. 1923) — юрист, зам. директора ВНИИ изучения причин преступности (1963–69), академик, советник РАН— III: 476

Кудряшёв М.А. — лагерный работник (Колыма) — II: 444

Куземко Ю. — автор брошюры «3–й шлюз» (Дмитлаг, 1935) — II: 69, 86

Кузнецов—нач. охраны. Возможно: Кузнецов Александр Константинович (1903–1948), в НКГБ–МГБ ведал охраной руководителей партии и правительства, генерал–майор— I: 154

Кузнецов Василий Иванович (1894–1964)— генерал–полковник — I: 229

Кузнецов Капитон Иванович (1913-?)— подполковник, военнопленный, агроном, з/к с 1948, один

из руководителей Кенгирского восстания, приговорён к расстрелу с заменой на 25 лет —III: 268, 270–272, 276, 279, 280, 284, 291, 293, 294, 296,428

Кузнецов Николай Дмитриевич (1863–1936, умер в ссылке) — профессор церковного права, с 1919 з/к и ссыльный неоднократно, в 1920 приговорён к расстрелу с заменой на 5 лет концлагеря— I: 299, 300

Кузнецова К.И. —Сеид. I: 15

Кузьма— крестьянин, сосед семьи Твардовских перед её высылкой—III: 319

Кузьма— шофёр, з/к–самоохранник (Ныроблаг, 1952)— II: 455

Кузьмин А. — лагерный работник, автор отклика на «Один день Ивана Денисовича»— III: 429

Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) — член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1927—1: 315

Кукос Александр Фёдорович— инженер–строитель, з/к, зав. производством (Калужская застава в Москве) — II: 231–233

Кун Бела (1886–1938, расстрелян) — революционер, участник расстрелов в Гражданскую войну, член Исполкома Коминтерна с 1921 —II: 268

Кунст Александр Адольфович— офицер, з/к и командир роты (Соловки) — II: 36

Куприянов Геннадий Николаевич (1905–1979)—

1–й секретарь ЦК КП(б) Карело–Финской ССР (1940–50), генерал–майор, з/к (1950–56)—I: 117

Куприянов Сергей Викторович (1871-?)— инженер, председатель НТС хлопчатобумажной промышленности, подсудимый на процессе «Промпартии», гл. инженер Шуйского хлопчатобумажного треста, з/к в 1937— I: 362

Курагин— вольнонаёмный начальник (СевДвинлаг)— II: 210, 440

Курганов Иван Алексеевич (1895–1980)— экономист, профессор, зав. кафедрой Ленинградского финансово–экономического института (1930–е), эмигрант— II: 8

Курилко Александр Алексеевич — (1870-?)— полковник 19–го Сибирского стрелкового полка— II: 28

Курилко Игорь Александрович (1893–1930, расстрелян)— сын А.А Курилко, поручик царской армии, в 1920–23 в органах ВЧК–ГПУ Оренбурга, з/к и командир роты (Соловки, Кем–перпункт)— II: 27, 28, 32, 34, 38, 53, 92

Куриневский (Куреневский) Дмитрий Соломонович (1906–1938, расстрелян) — экономист, с 1928 ссыльный из/к беспрерывно, участник голодовки в Ухтпечлаге (Воркута)— II: 257

Курлов Павел Григорьевич (1860–1923)— гене-

рал–лейтенант, товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов (1906–11), з/к в 1917, в эмиграции с 1918—II: 62

Курочкин Борис Николаевич (1917-?) — директор Новочеркасского электровозостроительного завода (1957–62)— III: 479

Курочкин Василий Степанович (1831–1875)— поэт, публицист — III: 91

Курский Дмитрий Иванович (1874–1932) — нарком юстиции РСФСР (1918–28), прокурор РСФСР (1922–28)— I: 326, 327; II: 10, 13, 20

Курчатов Игорь Васильевич (1902–1960)— физик, академик АН СССР—II: 329

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869–1958)— публицист, жена С.Н. Прокоповича (см.), член Всероссийского комитета помощи голодающим, в 1922 выслана из Советской России — I: 46

Кустарников Василий—з/к–беглец (Экибастуз, 1951)—III: 186 Кутузов Алексей Михайлович (1748–1790)— писатель, переводчик—III: 394

Кутяков Иван Семёнович (1897–1938, расстрелян)— комкор — II: 268

Кухтиков Алексей Демьянович (1904–1985)— нач. Вятлага (1944–47), Воркутлага (1947–52) и Китойлага (1953–54), полковник—II: 446

Кушнарёв — нач. следственного отдела УМГБ

Западно–Казахстанской области— I: 143
Л. — член Союза композиторов — III: 416
Л–н— з/к, автор отклика на «Один день Ивана Денисовича» —
III: 466, 489 Л–с Янис —латыш, з/к (Пермь, 1946)— II: 324
Лавров Пётр Лаврович (1823–1900)— революционер–народник — III: 89
Ладыженская Ольга Александровна (1922–2004) — дочь А.И. Ладыженского, математик, академик РАН—Сеид. I: 15
Ладыженский Александр Иванович (1894–1937, расстрелян) — школьный учитель в Кологриве, з/к— I: 28, 29
Ладыженский Николай Иванович (1893-?)— брат А.И. Ладыженского, гл. инженер завода Ижсталь, з/к с 1933— I: 56, 57
Лазутина Раиса Александровна— бывшая з/к— Сеид. I: 15; III: 410
Лактюнькин Прокофий Иванович (1888-?) — мельник в Пителин–ском районе, з/к (1937–43) — III: 317
Лакшин Владимир Яковлевич (1933–1993)— литературный критик—II: 205, 281
Ламздорф Григорий Павлович (р. 1913)— в эмиграции с 1920, участник войны в Испании, один

из инициаторов создания русских частей в составе Вермахта, майор, после войны инженер—I: 231, 238

Ланговой Александр Алексеевич (1896–1964)— комбриг, состоял для особо важных поручений при наркоме обороны, з/к (1940–1955) —II: 531

Ландау Лев Давидович (1908–1968)— физик, академик АН СССР, з/к (1938–39)—II: 389

Лапин Борис Матвеевич (1905–1941) — писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства»— II: 67

Лапшин Иван Иванович (1870–1952)— философ, в 1922 выслан из Советской России— I: 346

Ларин Ю. (Лурье Михаил Зальманович; 1882–1932)— публицист, экономист, большевик с 1917, член Президиума ВСНХ— I: 293

Ларин Юрий Николаевич, Юра Бухарин (р. 1936)— сын А.М.Лариной и Н.И. Бухарина, художник— II: 373

Ларина Анна Михайловна (1914–1996)— дочь Ю. Ларина, жена Н.И. Бухарина (см.), автор мемуаров «Незабываемое» — Сеид. I: 15

Ларичев Виктор Алексеевич (1887–1960) — инженер–электрик, член Президиума Госплана, осуждён на процессе «Промпартии», з/к (1930–36)

—I: 352, 357, 358, 363, 366, 367

Лацис Вилис (1904–1966) — латышский писатель, коммунистический деятель — II: 299

Лацис Мартын Иванович (Судрабс Ян Фридрихович; 1888–1938, расстрелян)— член Коллегии ВЧК в 1918, председатель

Всеукраинской ЧК (1919–21), директор Института народного хозяйства им. Плеханова— I: 11, 42, 44, 104, 277, 283, 286, 292, 397; II: 268 Лебедев — металлург, профессор, з/к (Бутырки, 1945) — I: 220 Лебедев — комиссар 36–й мотодивизии (Монголия, 1941) — I: 270 Лебедев— радист, з/к (Ховрино под Москвой, конец 1940–х) — II: 385

Левашов Владимир Петрович— з/к, Соловки— II: 36 Левин Арон— студент механического техникума, з/к— II: 253 Левин Лев Григорьевич (1870–1938, расстрелян) — доктор медицинских наук, консультант Лечебно–санитарного управления Кремля, подсудимый на процессе «Антисоветского право–троцкистского блока»— II: 519 Левин Меер Овсеевич— Сеид. I: 15

Левина Ревекка Саул овна (1899–1964) — экономист–аграрник, член–корреспондент АН СССР, з/к и ссыльная (1948–55)— I: 103

Левитан Юрий Борисович (1914–1983)— диктор Всесоюзного радио—I: 82; III: 21

Левитин А. — см. Краснов–Левитин

Левитская Надежда Григорьевна (р. 1925) — студентка Латвийского университета, з/к (Унжлаг, 1951–55)—Сеид. I: 15, 27

Левитский Иван Григорьевич, Ваня (1927–1995) — брат Н.Г. Левит–ской, студент Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, з/к (Норильск, 1950–55)— I: 29

Левкович Антонина Михайловна— автор статьи в «Известиях» (1964)—II: 448

Левшин Анатолий—следователь (Лефортово, 1948) — III: 122, 123, 126, 127, 396

Лейбовиц Сэмюэль Симон (1893–1978)— американский юрист, Верховный судья штата Нью–Йорк (с 1940) — II: 116

Лейбович— зам. директора леспромхоза (Сухобузимский район, 1953)—III: 336

Лейно Юрьё (1897–1961)— финский коммунист, министр внутренних дел Финляндии (1945–48) — III: 351

Лейст— следователь Московского ревтрибунала, з/к (дело о взятках, 1918) —I: 290

Ле Корбюзье Шарль Эдуар (1887–1965)— французский архитектор— I: 534

Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901–1987) — советский военачальник— I: 229

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924)— I: 24, 40, 41, 43^5, 73, 81, 82, 133, 180, 181, 274, 285, 289, 296–298, 302–305,

313, 315, 324, 326, 327, 333, 336, 345, 397, 400, 425, 433, 444, 484, 494, 515; II: 7–9, 13, 93, 114, 235, 241, 265, 266, 268, 276, 279, 313, 341, 343, 354, 364, 437, 447, 473; III: 25, 30, 40, 41, 76–78, 80, 83, 115, 305, 344, 386, 436, 480, 487 Лёнька— сотоварищ Ф.М. Косырева (см.) — I: 292 Леонов Леонид Максимович (1899–1994)— писатель— II: 342, 518 Леонова Татьяна Михайловна (урожд. Сабашникова; 1903–1979) — дочь издателя М.В. Сабашникова, жена Л.М. Леонова — II: 518

Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868–1944)— революционер, публицист, директор Музея революции в Москве (1935–36)—III: 305

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — I: 155, 164; III: 72, ПО, 111

Лесков Николай Семёнович (1831–1895) — писатель— II: 403 Лесовик Светлана Александровна— бывшая з/к— Сеид. I: 15; III: 407

Лесючевский Николай Васильевич (1908–1978)—литературный критик, директор издательства «Советский писатель» (1930–е)—III: 417

Лехтонен Айно Константиновна, Аня (1904-?)— з/к (Ортау) — II: 191

Лёша (дядя Лёша)— надзиратель («Кресты»)— I: 404 Лёшка Карноухий— з/к (Экибастуз) — II: 337 Лещева Зоя — детдомовка с 10 лет, з/к с 14 лет— II: 375, 376 Либеров Александр Васильевич (1887–1942, умер в Сиблаге) — подсудимый на процессе эсеров 1922, з/к и ссыльный неоднократно — I: 339

Либерт— чекист, з/к, одноделец Ф.М. Косырева (см.)— I: 292, 294, 295

Либин— следователь, капитан СМЕРШа ВМФ — I: 139; III: 396 Либкнехт Карл (1871–1919) — немецкий коммунист— I: 336 Либкнехт Теодор (1870–1948) — немецкий социалист—I: 336 Лида— з/к–малолетка (Чингирлауский район Кустанайской

области, 1948)—II: 362 Лида— западная украинка, з/к (убита охраной в Кенгире) —

III: 200, 255 Лиленков И. — Сеид. I: 15

ЛипайИ.Ф. — крестьянин, з/к— Сеид. I: 15; II: 209, 241, 335, 440 Липшиц Самуил Адольфович (1904-?)— инженер–электрик, з/к

с 1943 (Красноярская пересылка, Экибастуз) — Сеид. I: 15;

III: 339

Лисов — уполномоченный МГБ (Владикавказ, 1950)— II: 537 Лифшиц (убит в 1953) — член ревво-

енсовета в Гражданскую войну,

з/к (Кенгир) — III: 249 Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906–1999)—литературовед, з/к

(Шпалерная, Соловки, БелБалтлаг; 1928–1932), академик

РАН, автор кн. «Воспоминания»— Сеид. I: 15, 62; II: 36,

212, 409

Лихошерстов — капитан МВД (Сиблаг) — III: 443 Лобанов—Сеид. I: 15

Логовиненко — лагерный работник (Колыма) — II: 444 Лозина–Лозинский Владимир Константинович (1885–1937, расстрелян)— священник, з/к и ссыльный с 1925 (Соловки, Новгород, психиатрическая больница) — II: 36 Лозовский—военфельдшер (Монголия, 1941)—I: 270, 271; III: 416 Лозовский А. (Дридзо Соломон Абрамович; 1878–1952, расстрелян)— зам. наркома (министра) иностранных дел СССР (1939–46), з/к с 1949 — 1:212 Лозовые— семья баптистов, осуждены в 1961 — III: 488 Локкарт Роберт Гамильтон Брюс (1887–1970)— английский дипломат— I: 286

Ломага Пётр — нач. лагеря (Колыма, прииск Дебин; 1951) — II: 321, 322

Ломов (Оппоков) Георгий Ипполитович (1888–1937, расстрелян) — большевик, нарком юстиции

(1917), член бюро Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР— II: 268 Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — I: 184 Лонгинов — прокурор на Московском церковном процессе 1922 — I: 321

Лондон Джэк (1876–1916)— американский писатель— II: 523 Лопухин Алексей Александрович (1864–1928)— директор Департамента полиции (1902–1905), после 1917 в эмиграции— III: 75 Лордкипанидзе — з/к — I: 113

Лорх Александр Георгиевич (1889–1980)— селекционер, з/к— I: 66

Лосев (расстрелян в 1920) — нач. особого отдела 5–й армии в Гражданскую войну— II: 534–537

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965)— философ, в 1922 выслан из Советской России— I: 245, 346

Лощилин Степан Васильевич (1908-?) — рабочий, з/к с 1937 (Волго–лаг, Ульяновская тюрьма, колония; 1937–41, 1945)—Сеид. I: 15, 509, 513; II: 187, 209, 235, 539–544

Лука— евангелист— II: 268

Лука, епископам. Войно–Ясенецкий В.Ф.

Лукин Михаил Фёдорович (1892–1970)— советский военачальник,

военнопленный (1941–45)— I: 233 Лукьянов В.В.

—Сеид. I: 15

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933)— партийный деятель, нарком просвещения (1917–29)— I: 180, 243, 318, 337

Лунин— прокурор на Московском церковном процессе 1922 — I: 321

Лунин— отставной полковник, сотрудник Осоавиахима, з/к (Бутырки, 1946)—Сеид. I: 16, 475 Лунин Александр— лейтенант в войну, председатель колхоза, з/ксамоохранник (Ныроблаг, нач. 1950–х)— II: 455 Лунин Михаил Сергеевич (1787–1845)— декабрист— I: 129 Лурье М. — з/к (Колыма, Оротукан; 1938)—I: 142 Лучинский Николай Фёдорович (I860-?)— редактор дореволюционного журн. «Тюремный вестник»— II: 491 Лысенко Трофим Денисович (1898–1976)— агроном, президент

ВАСХНИЛ (1938–56, 1961–62)—I: 66, 531; III: 416 Люба— з/к–малолетка (Кривощёковский лагпункт)— II: 366 Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) — историк, академик АН СССР, з/к и ссыльный с 1930 по «Академическому делу» — 1:62

Любов Константин Алексеевич (1886–1942, расстрелян) — инженер Ленинградского института точной механики и оптики, з/к с 1941 — 1: 267

Людендорф Эрих (1865–1937) — немецкий ге-

нерал— I: 330 Ляля — жительница Харбина, з/к—II: 194

М. — лейтенант–снайпер, з/к (Калужская застава в Москве) —

II: 184, 185, 230 М.Н. — чертежница, з/к—II: 185 М. Валентин— з/к после войны— III: 407 Магеран— комендант (Экибастуз, 1950)— III: 64 Магомет см. Мухаммед

Майоров Илья Андреевич (1891–1941, расстрелян в Орле перед сдачей города немцам) — член ЦК партии эсеров, с 1918 з/к и ссыльный неоднократно, муж М.А. Спиридоновой (см.) — III: 344

Майский Иван Михайлович (1884–1975) — дипломат, академик АН СССР—I: 47

Майслер Михаил Моисеевич (1903–1942) — политэмигрант из Польши, зам. директора ЛенДетгиза, з/к (1938–39) — II: 520

Макаренко Антон Семёнович (1888–1939)— педагог, писатель — I: 456; II: 342

Макаров— нач. корпуса тюрьмы (Иваново, 1937)— I: 413

Макаров Николай Павлович (1887–1980)— экономист–аграрник, профессор, работник Наркомзема РСФСР, з/к с 1930 по делу «Трудовой крестьянской партии» — I: 60

Макаров Землянский — член Рабоче–кре-

стьянской инспекции. Возможно: Макаров–Землянский Александр Васильевич, работник Московского коммунхоза, 1920–е— I: 313

Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937)— премьер–министр Великобритании (1924, 1929–31) —II: 228, 229; III: 23

Макеев Алексей Филиппович (1913-?) — учитель, майор, з/к с 1941 (трижды осуждён, участник Кенгирского восстания) — Сеид. I: 16; III: 269, 270, 272, 276, 277, 280, 282, 288, 289, 340

Маковоз Григорий Самойлович— секретарь райкома, з/к с 1942, ссыльный (Кок–Терек, 1951)— Сеид. I: 16; III: 379, 381, 387–389

Макотинский Михаил Яковлевич (1888–1965)— врач, эсер, большевик–ортодокс, з/к и ссыльный неоднократно (при Советской власти в 1931–56) — I: 430

Максим—азербайджанец, з/к (Куйбышевская пересылка, 1945) — III: 38

Максименко—нач. лаготделения, майор (Экибастуз, 1950) — III: 68,

69, 195, 213, 224, 244 Максимов— ветлужец, красноармеец, з/к после войны— II: 235,

236

Максимовский Александр Михайлович (1861–1907, убит при покушении)— нач. Главного

тюремного управления с 1906— III: 75

Максимыч— сотоварищ Ф.М. Косырева (см.)— I: 292

Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988)— член Политбюро ЦК ВКП(б) — КПСС, председатель Совета Министров СССР (1953–55) —II: 272, 281; III: 290

Малинин— танцор ансамбля песни и пляски Красной армии, з/к (Ховрино под Москвой, 1945)— II: 445

Малиновский Роман Вацлавович (1876–1918, расстрелян)— большевик, агент полиции, депутат Государственной думы— I: 296

Малой (убит конвоем в 1951)— з/к, Экибастуз— III: 62

Малышкин Василий Фёдорович (1896–1946, повешен) — нач. штаба корпуса, з/к (1938–39), генерал–майор, после немецкого плена во власовской армии— I: 206

Мальбродский Эдвард— з/к, участник побега в группе Ю.Д. Бессонова (см.)— II: 48

Мальков Павел Дмитриевич (1887–1965)— комендант Смольного (1917) и Московского Кремля (1918–20)—II: 425

Мальсагов Созерко Артаганович (1893–1976)— ингуш, офицер Белой армии, з/к с 1923, участник

побега в группе Ю.Д. Бессонова (см.), автор мемуаров «Адские острова»— II: 48

Мальцев Михаил Митрофанович (1904–1982)— нач. Воркутлага (1943–46), генерал–майор — II: 446, 447

Малявко–Высоцкая Нина Константиновна— Сеид. I: 16

Малявко Высоцкий Александр Петрович (1884–1941, умер в тюрьме)— инженер, Ростов–на–Дону—III: 16, 404

Мамулов Георгий Соломонович — нач. лагеря, полковник (Ховрино под Москвой)—II: 106, 107, 400, 401, 444, 445; III: 23

Ман Иван Александрович (1903–1982) — капитан дальнего плавания, почётный полярник— III: 379

Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980) — жена О.Э. Мандельштама, писательница—II: 514, 516; III: 311

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938, умер в заключении) — I: 344

Манн Томас (1875–1955) — немецкий писатель — III: 111 Маннергейм Карл Густав (1867–1951)— генерал–майор царской

армии, финляндский маршал, президент Финляндии (194446)—II: 305 Мао Цзэдун (1893–1976)

—I: 242, 366

Мариупольский— сотоварищ Ф.М. Косырева (см.)— I: 292

Мариюшкин Алексей Лазаревич (1877–1946, умер в заключении) — полковник царской армии, с 1920 в эмиграции, з/к с 1944, депортирован в СССР из Югославии— I: 247, 248

Маркелов Даниил Ильич— з/к, после реабилитации председатель месткома артели— Сеид. I: 16; III: 404

Маркин Василий Степанович (1910-?)— агроном Тулунской селекционной станции в Приангарье, з/к и ссыльный (Колыма, 1938–1950–е)—II: 522

Маркое (Вафиадис Маркое, 1906–1992)—генерал, с 1947 командующий повстанческой армией в Греции — I: 97

Маркосян — з/к (Кенгир, 1954) — III: 280

Маркс Карл (1818–1883) —I: 81, 133, 221, 291, 380, 433, 456, 494,

541; II: 7, 11, 62, 113, 122, 242, 537; III: 78, 80, 327 Мартинсон — з/к — II: 308, 369

Мартиросов—з/к–беглец (Экибастуз, 1950) — III: 137 Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович; 1873–1923)— революционер, меньшевик, с 1920 в эмиграции— I: 370; III: 78, 305

Мартыновский — студент, организатор проти-

вокоммунистического
отряда (Луга, 1941) — III: 27 Мартынюк Павло Романович— Сеид. I: 16

Маруся— надзирательница Архангельской тюрьмы, 1937— I: 429 Марченко Анатолий Тихонович (1938–1986, умер после голодовки в заключении) — правозащитник, з/к и ссыльный неоднократно—II: 321; III: 454, 457, 462, 472, 475 Маршалл Джордж Кэтлетт (1880–1959)— американский генерал — II: 224

Марья— встречная Г. Тэнно (см.) при побеге— III: 163

Масамед—психолог, з/к (Экибастуз, 1950–е) — III: 104

Масарик Ян (1886–1948, погиб при невыясненных обстоятельствах) — деятель Чехословакии, член правительства в изгнании, министр иностранных дел— I: 242

Масленников Иван Иванович (1900–1954)— зам. министра внутренних дел СССР (1953–54), генерал армии— III: 253

Маслов Владимир Николаевич— инженер, з/к (Беломорстрой, освобождён в 1932, награждён в 1933)— II: 74

Масюков Василий Павлович (1836–1902)— подполковник жандармского управления на

Карийских приисках— III: 88

Матвеев Дмитрий Михайлович (1907-?)— нач. Дальлага (1952–54), член комиссии по Степному, Песчаному и Дальнему осо–благам в 1953, подполковник—II: 441, 448

Матвеев Ю. — автор отклика на «Один день Ивана Денисовича» — III: 426

Матвеева СП. — жена з/к (арестован муж и три брата)— Сеид. I: 16, 81

Матронина Ольга Петровна— инженер, з/к, зав. производством (Новый Иерусалим в Подмосковье, 1945)—II: 143–145, 151, 155, 156

Матфей—евангелист—II: 137,268

Матюшин — художник, з/к (Калужская застава в Москве, 1945) — II: 149

Махлапу— эстонка, з/к (погибла во время Кенгирского восстания)—III: 294

Махоткин Василий Михайлович (1904–1974)— полярный лётчик, з/к (Норильлаг, Красноярская пересылка; 1941–51) — I: 528, 529

Махровская Герда Альфредовна (1898-?) — подсудимая на процессе Главтопа (1921), з/к и ссыльная—I: 101

Мачеховский (Мачаховский) — нач. режима, лейтенант (Экибастуз)—III: 66, 97, 173, 192, 217, 228

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930, покончил с собой)—I: 53, 75; II: 241, 308, 342; III: 398

Меандров Михаил Алексеевич (1894–1946, повешен)— полковник Красной армии, после немецкого плена во власовской армии, генерал–майор— I: 239, 240

Мёбес Григорий Оттонович (1868–1934)— преподаватель, оккультист, з/к с 1926—II: 36

Медведев— автослесарь, з/к, одноделец В.А. Белова (см.) — I: 537, 538

Медведев— нач. лагпункта, капитан (Усть-Вымлаг) — II: 442 Медвежонок— ст. лейтенант интендантской службы (Кенгир, 1954) —III: 268

Межова Изабелла Адольфовна— дочь А.Ю. Добровольского (см.) — Сеид. I: 16; II: 519

Мейер Александр Александрович (1875–1939) — философ, з/к (1928–34, Соловки)—II: 36

Мейер Даниэль— западный социалист, 1967— III: 308

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940, расстрелян)— режиссёр— III: 313

Мейке Виктор Александрович (ум. 1992) — ссыльный финн–ингер–манландец, химик— Сеид. I: 16; III: 347

Мейке Ирина Емельяновна (р. 1921) — врач–он-

колог, жена В.А. Мейке—Сеид. I: 16

Мейстер Георгий Карлович (1873–1938, расстрелян)— биолог, генетик, вице–президент ВАСХНИЛ— II: 519

Мекк фон Николай Карлович (1863–1929, расстрелян) — инженер–путеец—I: 56, 186, 262, 348

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956)— историк, в 1922 выслан из Советской России — I: 130, 308–310, 346

Мельников— председатель кустарной артели, з/к— I: 402

Мендель Ирма Марковна (1898–1927, расстреляна)— венгерская коммунистка, в СССР с 1925— I: 25

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934)— председатель ОГПУ с 1926—1: 47, 292

Меншиков Александр Данилович (1673–1729)— сосланный в Сибирь сподвижник Петра I— I: 466; III: 303

Мережков—офицер, з/к, лето 1945 — I: 459, 460

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — писатель, эмигрант—I: 199, 245

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) — военачальник, з/к, маршал Советского Союза— I: 229

Меринов — лагерный работник (Колыма) — II:

Меркулова Татьяна— нач. 13–го лагпункта Унжлага— II: 442 Метёлкин Василий Фёдорович— пожарник, Ярославль— II: 529 Метёлкина (урожд. Семёнова) Анна Яковлевна, жена В.Ф. Метел–кина—II: 529

Метлин— сержант из части, которой командовал А. Солженицын — I: 156

Меттер Израиль Моисеевич (1909–1996) — писатель— II: 432 Мефодий— монах Соловецкого монастыря, 1920–е — II: 26, 41 Механошин Константин Александрович (1889–1938, расстрелян) — член Реввоенсовета Республики, нач. политуправления войск ВОХР, директор ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии — II: 266

Мещерская Гревс Елена Исаакиевна (1892–1957) — жена А.П. Мещерского—I: 293–295

Мещерский Алексей Павлович (1867–1938)— инженер–заводчик, з/к, в эмиграции с 1918—1: 293–295

Миков Николай Меркурьевич (1907-?) — маркшейдер, з/к и ссыльный (Воркута, 1942–56) —I: 81

Миколайчик Станислав (1901–1966)— премьер–министр польского правительства в изгнании (1943–44)— I: 92, 242

Микоян Анастас Иванович (1895–1978)— член

Политбюро ЦК ВКП(б) — КПСС в 1935–66 — III: 395, 483, 484

Милль Джон Стюарт (1806–1873)— английский философ— III: 80

Милюков Евгений— з/к, токарь (Экибастуз, 1952) — III: 245

Милюков Павел Николаевич (1859–1943)— историк, министр Временного правительства, эмигрант—I: 58; III: 74, 75

Милючихин Валентин Егорович— з/к, бригадир (Усть–Нера, Якутия)—Сеид. I: 16; II: 351

Мин Георгий Александрович (1855–1906, убит террористкой) — командир лейб–гвардии Семёновского полка, руководитель подавления московского восстания 1905— I: 338

Минаев Г. — бывший з/к (1962) — I: 508; II: 349

Минаков — нач. лагпункта (Устьвымлаг) — II: 442

Мирбах Вильгельм (1871–1918, убит при покушении) — германский посол в Москве — I: 344

Миров–Корона—Абрамов (Миров–Абрамов) Александр Лазаревич (1895–1937, расстрелян), нач. разведывательного отдела Коминтерна, пом. нач. Разведупра РККА— I: 80

Мирович Василий Яковлевич (1740–1764, повешен)— подпоручик Смоленского полка— I: 395

Мироненко—следователь (Джидинский лагерь, 1941–44) — I: 142; II: 305, 306

Миронов— нач. лагерного участка, лейтенант (Калужская застава

в Москве, 1945)—II: 213, 404 Митрович Георгий Степанович— серб, з/к и ссыльный (Колыма,

Кок–Терек)— Сеид. I: 16, 102; II: 310; III: 335, 338, 386, 387 Михаил, «император»— см. Белов В.А.

Михайлевич Анна Автономовна (р. 1925)— украинка, з/к, участница Кенгирского восстания— III: 266

Михайлов Михайло (Михаил Николаевич; р. 1934)— из семьи русских эмигрантов в Югославии, писатель, неоднократно арестовывался, с 1978 в США— II: 7

Михайлов Николай Александрович (1906–1982)— 1–й секретарь ЦК ВЛКСМ (1938–52) — I: 212, 213

Михайлович Дражa (1893–1946, казнён)— сербский генерал во время 2–й мировой войны— I: 238

Михайловский Иван Петрович (1877–1929, покончил с собой) — физиолог— II: 249

Михайловский Николай Константинович (1842–1904)— публицист, народник— III: 91

Мишин— нач. лагпункта (Озёрлаг, Анзёба)— III:

56, 59, 448

Мова— хранил в 1925 список бывших губернских юридических работников— 1925—I: 52

Модель Моисей Иосифович (1889–1965) — следователь, нач. издательства «Красная Звезда», з/к (Воркута, 1938)— II: 314

Моисеевайте—з/к (Унжлаг, 1950)—II: 505, 508

Мокроусов Борис Андреевич (1909–1968)— композитор–песенник—III: 117,118

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986)— член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1926–52—1: 67, 167, 381, 382; II: 78, 280, 467; III: 174

Молчановы— кузнецы, у которых учился отец А.Т. Твардовского—III: 317

Монгольфье, братья: Жозеф Мишель (1740–1810) и Жак Этьенн

(1745–1799) — изобретатели воздушного шара— III: 285 Мончадская Наталья Ильинична— журналист— III: 440 Монюшко Станислав (1819–1872)— польский композитор— II: 293 Моор Карл (1853–1932)— швейцарский социал–демократ— II: 251, 342

Мор Томас (1478–1535)— английский мыслитель, утопист — II: 468

«Мороз»— з/к, староста (Воркута, 1937–38)— II: 313 Мороз (Иосем) Яков Моисеевич (1898–1940,

расстрелян)— чекист с 1918, нач. УхтПечлага (1931–38), з/к— II: 105

Морозов—лётчик, нач. отдела УСВИТЛа (Севвостлаг, 1946) — II: 446

Морозов Николай Александрович (1854–1946)— революционер, народник—II: 512

Морозов Павлик (Павел Трофимович; 1918–1932, убит)— школьник, советский «пионер–герой»— II: 286, 525

Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905)— промышленник — I: 359

Морщинин— нач. контрразведки в Риге, полковник МГБ, 1948 — III: 121

«Москва»— кличка з/к (Воркута, 1938) — II: 257, 258 Мотя, тётя Мотя— банщица в Вологодской тюрьме— I: 485 «Мотя–Эдисончик» — девочка–ссыльная, з/к с 1936—III: 316, 317 Муншин—оперуполномоченный, з/к—I: 150 Муравлёв Фёдор Иванович— вольнонаёмный десятник и председатель месткома (Калужская застава в Москве, 1945)— II: 461 Муравьёв (Фокс) — красный партизан в Гражданскую войну, з/к — I: 63; II: 243

Муралевич Вячеслав Степанович (1881–1942)— педагог, сотрудник Зоологического музея Московского университета, в 1920 осуждён по делу «Тактического центра», в 1933 сослан в Казах-

стан— I: 306
Муромцев Владимир Сергеевич (1892–1937, расстрелян)— сын председателя 1–й Государственный думы С.А. Муромцева, з/к (Соловки), юрисконсульт в Калинине— II: 36
Мутьянов — инженер, з/к (Экибастуз) —III: 68, 136, 186, 189, 192, 194
Мухаммед, Магомет (ок. 570–632) —III: 205
Мюллер Вильгельм (1794–1827) — немецкий поэт— I: 441
Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) — историк, заочно
обвинён по делу «Тактического центра», в 1922 выслан из
Советской России—I: 305, 346
Н. — бухгалтер Кадыйского райпо, 1937— I: 387, 391 Н. — з/к, машинистка— II: 207
Н.В. — з/к, Карагандинское отделение Степлага— II: 198 Н.У. — з/к, брат К.У. (см.)—11: 515
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977)— писатель, эмигрант—I: 203,245
Наврузов (Лёшка Цыган)—з/к (Экибастуз, 1950) —III: 138, 139, 141
Нагель Ирина Анатольевна— з/к, машинистка адмчасти (совхоз
Ухта) — Сеид. I: 16; II: 339 Нагибина—лагерный

врач (Кенгир, 1954)— III: 294 Нагорный—лагерный начальник. Возможно: М.И. Нагорный,

пом. начальника по лагерной работе Главного управления

лагерей горно–металлургической промышленности НКВД

СССР—II: 440

Надежда, Надя— лжесвидетельница (Рязань, 1960–е)— III: 490, 491

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — критик, журналист — III: 303

Назаренко— чекист, сообщник Ф.М. Косырева (см.) — I: 292 Найдёнов Николай— старший опергруппы (Карлаг, 1936) — II: 327

НаполеонI Бонапарт (1769–1821)— I: 23, 253, 356; II: 136, 398, 400,433

Напольная— з/к, крановщица (Калужская застава в Москве, 1945) —II: 188, 230

Нароков (Марченко) Николай Владимирович (1887–1969)— писатель, с 1944 в эмиграции, автор кн. «Мнимые величины» — I: 405; II: 266

Наседкин Алексей Алексеевич (1897–1940, расстрелян)— чекист, следователь по делу «Союзного бюро меньшевиков», нарком внутренних дел БССР, з/к—I: 371

Натансон Марк Андреевич (1850/51–1919) — ре-

волюционный народник, эсер—I: 289

Нахамкис см. Стеклов (Нахамкис)

Невежин — нач. лагерного участка, мл. лейтенант (Калужская застава в Москве, 1945)—II: 213, 441

Невский— командир Вохры (УстьВымлаг) — II: 452

Невский Владимир Иванович (Кривобоков Феодосии Иванович; 1876–1937, расстрелян)— партийный активист, историк, директор Библиотеки им. Ленина (1924–35) — II: 268

Невский Николай Александрович (1892–1937, расстрелян)— востоковед, филолог, профессор Ленинградского университета—I: 23

Недов Леонид Иванович (р. 1924)— солдат, скульптор, з/к (Тирасполь, ИТК–2)— Сеид. I: 16; II: 392, рис. 30 между с. 546–547; III: фото № 7 на с. 422. 441, 442

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987)— писатель, с 1974 в эмиграции — II: 342

Некрасов Николай Алексеевич—Сеид. I: 16

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877)—поэт—I: 69; II: 403; III: 56, 110

Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940, расстрелян)— инженер, кадет, министр Временного правительства, з/к (Соловки, БелБалтлаг),

работник Волгостроя—II: 36

Немцов Иван— з/к, Дмитлаг— II: 86

Нерон (37–68)—I: 201; II: 392

Неру Джавахарлал (1889–1964)— премьер–министр Индии— III: 21 Нестеровский— учитель английского языка, з/к— II: 240 Никитин (умер в лагере)— баптистский пресвитер, з/к— II: 516 Никитин Вячеслав—Сеид. I: 16 Никитин Иван Иванович— Сеид. I: 16

Никитина Елена— секретарь Киевского комитета комсомола, з/к, бригадир— II: 280

Никитина Ксения Ивановна— вдова пресвитера Никитина (см.) — Сеид. I: 16; II: 518

Никитченко Иона Тимофеевич (1895–1967)— член Военной коллегии Верховного суда СССР (председатель на выездных сессиях), член Нюрнбергского трибунала, генерал–майор юстиции, с 1955 в отставке—II: 361

Никишин Евгений— з/к, солагерник А. Солженицына (Экибастуз, 1950–е)—III: 113, 117

Никишов Иван Фёдорович (1894–1958) — нач. Дальстроя (1939–48), генерал–лейтенант ГБ — II: 401, 444

Никляс Анна— Сеид. I: 16

Никовский Андрей Васильевич (1885–1942, умер в заключении) — филолог, министр ино-

странных дел Украины (1920), з/к по делу «Союза освобождения Украины»— I: 62

Николаевский Тадик— з/к (Воркута, 1938) — II: 314

Николай I Павлович (1796–1855) — I: 129; III: 72

Николай II Александрович (1868–1918)—III: 21, 71, 74

Никольский Борис Владимирович (1870–1920, расстрелян) — юрист, поэт, литературный критик, обвинитель на суде — I: 284

Никулин (Ольконицкий) Лев Вениаминович (1891–1967)— писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» — II: 67

Нкрума Кваме (1909–1972)— первый президент Республики Гана — III: 452

Новгородов — надзиратель — III: 59

Новгородцева Клавдия Тимофеевна (1876–1960) — жена Я.М. Свердлова (см.), в 1918–20 пом. секретаря, зав. Секретариатом ЦК РКП(б)— II: 66

Новиков — пермский рабочий, з/к (1937–38) — I: 81 Новиков Николай Иванович (1744–1818)— просветитель, публицист—I: 260

Новицкий Юрий Петрович (1882–1922, расстрелян)— профессор права, подсудимый на Петроградском церковном процессе—I: 325

Новорусский Михаил Васильевич (1861–1925) — одноделец А. Ульянова (см.), отбывал заключение в Шлиссельбургской крепости до 1905 — 1: 53, 437

Ногин Виктор Павлович (1878–1924) — член ЦК РСДРП с 1907 — III: 310

Ногтев Александр Петрович (1893–1947)— матрос Балтийского флота, чекист с 1921, начальник УСЛОНа (1923–24, 1929–30), управляющий трестом Мосгортоп с 1932, з/к (1938–45) — I: 422; II: 27, 44, 53

Нугис Эльмар (1903–1954)—редактор эстонского сельскохозяйственного журнала, з/к с 1945— II: 339

Нусс Виктория—немка, ссыльная (Кок–Терек, 1950–е)—III: 384

Ньютон Исаак (1643–1727) — II: 385

О–ва А. — з/к (Лубянка, Лефортово)— I: 107

Оболенский Евгений Петрович (1796–1865)— декабрист— I: 129

Овидий (43 до н.э. — ок. 18 н.э.) —III: 303

Овсянников — уполномоченный ГПУ—II: 241

Овсянников Виктор Васильевич — командир взвода в батарее А.Солженицына—I: 161, 162

Овчинников Тимофей Павлович (1886–1939) — раскулаченный, з/к и ссыльный— III: 320, 321

Огурцов—з/к–бригадир (УстьВымлаг, 1938–39)—II: 176

Озеров Иван Христофорович (1869–1942)— профессор финансового права, з/к (Соловки, 1931–33)— II: 36

Окороков Василий см. Штеккер Роберт

Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970) — литературовед, профессор, з/к и ссыльный (Колыма, Саратов; 1936–56)— II: 527

Окуневская Татьяна Кирилловна (1914–2002)— актриса, з/к (1948–54)—II: 401

Олейник В.В. — автор отклика на «Один день Ивана Денисовича» — III: 426

Оленёв Александр Яковлевич (1902-?) — колхозник из Нижегородского края, з/к с 1935 —Сеид. I: 16, 519; III: 412

Олешка— сын з/к, дошкольник— II: 531

Олицкая Екатерина Львовна (1899–1974)— эсерка, з/к и ссыльная (с 1924 неоднократно), автор кн. «Мои воспоминания» — Сеид. I: 16, 31, 421, 427, 429, 433; II: 186, 246, 269

Олицкий Дмитрий Львович (1905–1937, расстрелян)— брат Е.Л. Олицкой, студент, з/к и ссыльный с 1924, муж Н.В. Суровцевой (см.)— I: 59

Олухов Пётр Алексеевич— директор магазина, з/к (Тирасполь, 1960–е)—Сеид. I: 16; III: 462

Ольга, Оля— жена Н. Найдёнова (см.)— II: 327
Ольденборгер Владимир Васильевич (1863–1921, покончил с собой) — главный инженер Московского водопровода— I: 312–315, 346, 361
Ольминский (Александров) Михаил Степанович (1863–1933) — участник революционного движения, большевик, публицист—I: 451, 452; II: 496; III: 73
Олюшкин Кирилл Максимович (1907-?)— нач. политотдела Степлага, полковник — III: 293
Оля— фигурировала в деле М.Я. Потапова (см.)— III: 490, 492
Ончул Степан Григорьевич— определён вольнонаёмным в лагерь, умер в трудовом батальоне— II: 514
Орачевский— преподаватель сапёрного училища, з/к, десятник (Калужская застава в Москве, 1945)— II: 225–227, 229, 232, 291, 462
Орджоникидзе Григорий Константинович (1886–1937, покончил с собой)— член Политбюро ЦК ВКП(б), нарком тяжёлой промышленности—I: 56, 57, 381; II: 268
Орлов Василий Иванович (1912–1938, расстрелян)— з/к (Воркута)—II: 257
Орлов Николай Михайлович— изобретатель, з/к— II: 389 Орлова Елена Михайловна (1905-?)— з/к

с 1938 (Бутырки, Карлаг) — Сеид. I: 16; II: 103; II: 187
Орловский Эрнст Семёнович (1929–2003)— сын расстрелянной,
публицист–правозащитник—Сеид. I: 16 Оруэлл Джордж (1903–1950)— английский писатель— II: 227,
259,266
Осадчий Пётр Семёнович (1866–1943)— инженер, профессор, зам. председателя Госплана, общественный обвинитель на Шахтинском процессе, з/к (1930–35) — I: 347
Осинцев— оперуполномоченный (Джидинский лагерь, годы войны)—II: 305
Осман— з/к— II: 191
Осмоловский (Савченко) Григорий Фёдорович (1858–1917) — политкаторжанин — III: 88
Осоргин Георгий Михайлович (1893–1929, расстрелян)— штабс–ротмистр Конногвардейского полка, лесовод, з/к с 1924 (Соловки) — I: 346; II: 36, 37
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942) — писатель, в 1922 выслан из Советской России — I: 346
Острецова Александра Ивановна (в замужестве Белякова; 1914— ?)— з/к и ссыльная (Лубянка, Калужская застава, Бурят–Монголия; 1944–56),

экономист—Сеид. I: 16; II: 182, 404

Охрименко— з/к–смертник (1938) — I: 408

Оцеп Матвей Александрович (1884–1958)— адвокат, принимал участие в процессе «Промпартии»— I: 350; II: 216

Очкин Владимир Иванович (1891-?)— зав. отделом научно–исследовательского сектора ВСНХ, подсудимый на процессе «Промпартии», з/к (1930–36)—!: 358, 363, 367

П–р—эстонка, з/к (Спасск, 1948) — III: 58 П–чина— жена з/к— II: 466

Павел— старшина, з/к (этап Владивосток–Сахалин, 1950)— I: 516 Павел I Петрович (1754–1801) —I: 395; II: 70 Павел Андрей — житель Орши, избежавший ареста— I: 28 Павлов Борис Александрович— Сеид. I: 16

Павлов Василий — танкист, з/к–десятник (Калужская застава в Москве, 1945)—II: 213, 214, 231

Павлов Гелий Владимирович (1931–1992) — саратовский школьник, з/к (Заковск, колония № 2; 1943–49)— Сеид. I: 16; II: 372

Павлов Карп Александрович (1895–1957) — директор Дальстроя (1937–39), генерал–полковник— II: 100, 444; III: 436

Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881–1931)— балерина — I: 245

Пален — теософ, з/к—I: 49

Палицын Авраамий (ум. 1626) — монах, писатель, в IбIЭудалился

на покой в Соловки— II: 24, 120 Пальчинская Нина Александровна (урожд. Бобрищева–Пушкина;

1879–1938, расстреляна)— жена П.А. Пальчинского —

I: 23, 82; II: 517

Пальчинский Пётр Акимович (1875–1929, расстрелян)— инженер, учёный, государственный деятель, з/к неоднократно — I: 23, 56, 82, 186, 262, 348, 364, 376; II: 250–252, 259, 517

Панин Дмитрий Михайлович (1911–1987) — инженер, з/к (1940–53), автор книг «Записки Сологдина», «Лубянка — Экибастуз: Лагерные записки» — I: 493; II: 272; III: 236, 238, 245

Панков П.А. — автор отклика на «Один день Ивана Денисовича» — III: 427

Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986) — полярник, нач. Главсевморпути (1939–46) — II: 523 Папина Ирина— ленинградка, з/к (1960–е)— III: 458 Парамонов— кузнец, з/к (Архангельск, конец 1930–х — военные

годы)—II: 88

Парвус (Гельфанд Александр Львович; 1869–

1924)— революционер—III: 80, 91

Пасечник (убит конвоем в 1950)—з/к–беглец, Экибастуз—III: 138, 141

Паски Джиованни см. Спасский И.А.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960)— I: 541; III: 409 Паулюс Фридрих (1890–1957) — немецкий генерал–фельдмаршал, з/к— I: 194

Пашина Елена Анатольевна— из 2–й эмиграции (1943), многолетний сотрудник библиотеки Гуверовского института — Сеид. I: 16

Пашков — председатель колхоза (Бирилюсский район Красноярского края), з/к—III: 354

Пеллико Сильвио (1789–1854)— итальянский писатель, карбонарий—II: 490, 491

Перегуд Нина Фёдоровна (р. 1924)— тамбовская школьница, з/к (1941–46)—Сеид. I: 16; II: 189, 374, 486

Перегуд Фёдор Иванович (ум. 1965) — отец Н.Ф. Перегуд, рабочий, з/к (1941–47, 1949–56) —II: 521, 522

Переломов—з/к, бригадир (Кемерлаг)—II: 124

Перель Идель Абрамович (1891–1937, расстрелян)— зав. Свердловским облоно с 1927— I: 81

Пересветов Роман Тимофеевич (1905–1965)— журналист—I: 130

Перов—следователь (Лефортово, 1948) — III:

Перхуров Александр Петрович (1876–1922, расстрелян в Ярославле)— полковник царской армии, предводитель Ярославского восстания 1918, генерал–майор армии Колчака —I: 341

Пестель Павел Иванович (1793–1826, повешен)—декабрист — I: 129

Петере Яков Христофорович (1886–1938, расстрелян)— чекист с 1917, член Коллегии ОГПУ (1923–29), нач. охраны Кремля—I: 292, 295, 298; II: 268

Петёфи Шандор (1823–1849)— венгерский поэт— III: 110

Петлюра Симон Васильевич (1876–1926, убит при покушении) — украинский деятель, эмигрант— III: 41

Пётр (Зверев Василий Константинович; 1878–1929, умер в заключении)— архиепископ Воронежский и Задонский, ссыльный и з/к с 1922 (Средняя Азия, Воронеж, Соловки)— II: 37

ПётрI Алексеевич (1672–1725)—I: 41, 64, 98, 379, 395; II: 70, 494; III: 72, 299, 328

Петров— нач. лагпункта (прииск Золотистый, Колыма)— II: 100

Петров Александр Александрович— Сеид. I: 16

Петровский Григорий Иванович (1878–1958)—

нарком внутренних дел РСФСР (1917–19)—II: 13,20

Петропавловский Алексей Николаевич— сын расстрелянного, житель Риги (I960)— Сеид. I: 16; III: 403

Петунии Кирилл Гаврилович (1884–1937, расстрелян) — член правления Центросоюза СССР, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к (Верхнеуральский изолятор, Челябинская тюрьма) — I: 369

Печерский (Павчинский) Эразм Иустинович (1876–после 1934) — журналист—I: 208

Печковский Николай Константинович (1896–1966)— певец, солист Театра оперы и балета им. Кирова (1924–41), в войну в оккупации, з/к (ПечЖелДорлаг, Минлаг; 1944–54), автор кн. «Воспоминания оперного артиста»— II: 401

Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) — публицист, министр Временного правительства, в 1922 выслан из Советской России, с 1927 советник торгпредства СССР в Латвии— I: 346

Пешкова Екатерина Павловна (1876–1965) — жена М. Горького, руководитель Политического Красного Креста— I: 52, 68, 209

Пигулевская Нина Викторовна (1894–1970)— востоковед, з/к и ссыльная (Соловки, Архангельск; 1928–1934), член–корреспондент АН СССР — II: 36

Пикалов Пётр— репатриирован в СССР после войны, з/к— Сеид. I: 16; III: 43, 44

Пикассо Пабло (1881–1973) — художник—I: 97

Пилат см. Понтий Пилат

Пилсудский Юзеф (1867–1935) — премьер–министр Польши (1926–28, 1930) —III: 21

Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894–1938, расстрелян) — писатель— I: 199

Пинхасик М.Г. — беженец из немецкой части Польши в СССР, з/к— Сеид. I: 16, 84

Пинцов Рудольф— з/к— I: 125

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868)— публицист— II: 490; III: 107

Писарев И.Г. — з/к, корреспондент А. Солженицына— Сеид. I: 16; II: 510; III: 466

Пичугин В. — з/к на золотых приисках, корреспондент А. Солженицына— Сеид. I: 16; III: 459, 460, 467 Пластар Валентин Петрович— Сеид. I: 16

Платов Матвей Иванович (1781–1818)— войсковой атаман Донского казачьего войска — III: 480

Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933, умер в ссылке)— историк, з/к с 1930 по «Академическому делу»— I: 62

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904, убит при покушении) — министр внутренних дел и шеф жандармов с 1902 — III: 90

Плетнёв Дмитрий Дмитриевич (1872–1941, расстрелян в Орле перед сдачей города немцам)— врач, профессор, подсудимый на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока» — I: 68; II: 519

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — публицист, социал–демократ—I: 51, 182; III: 78, 80

Плиев Исса Александрович (1903–1979)— командующий войсками Северо–Кавказского военного округа (1958–68), генерал армии— III: фото № 9 на с. 422. 480–483

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907)— юрист, обер–прокурор Синода (1880–1905) — I: 289

Побожий Александр Алексеевич (1914–1978)— инженер–изыскатель, писатель—II: 433, 469, 470

Поваляева Зинаида Яковлевна (р. 1920)— из Ставропольского края, учительница, з/к с 1944 (Воркутлаг)—II: 324

Погодин (Стукалов) Николай Фёдорович (1900–1962)— советский драматург—II: 80, 342, 357

Подбельский Вадим Николаевич (1887–1920)— революционер, нарком почт и телеграфов с 1918— III: 302

Подбельский Юрий Николаевич (1886–1938, расстрелян)— эсер, экономист, з/к и ссыльный с

1922 неоднократно— I: 423
Подварковы— отец и сын, з/к (Спасск) — II: 261
Подгайский Николай Романович — следователь Московского ревтрибунала, з/к с 1918— I: 291
Подлесный — начальник лагпункта Кочмес (Воркутлаг) — II: 442
Пойсуйшапка— вольнонаёмный работник СевДвинлага— II: 210, 440; III: 23
Покровский Виктор Петрович (расстрелян в 1918)— актёр — I: фото на с. 406
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — историк–марксист, поддерживал обвинение на процессе эсеров 1922— I: 337
Полев Геннадий Фёдорович— бывший з/к, корреспондент А. Солженицына— Сеид. I: 16; III: 416
Полевой–Генкин— з/к, участник голодовки в УхтПечлаге (Воркута)—II: 257
Политова Н.Н. — Сеид. I: 16
Полотнянщиков Фёдор— житель Ленинск–Кузнецка— II: 254
«Полундра»— прозвище надзирателя (Экибастуз, 1950)— III: 65, 66
Польский Леонид Николаевич— Сеид. I: 16
Поля, тётя Поля— з/к, прачка (Унжлаг) — II: 191
Поляков Александр Владимирович (1908-

?)— столяр, з/к и ссыльный с 1941 (Тургайская пустыня, Кенгир) — III: 340

Поляков Григорий Иванович (1874–1939)— орнитолог, з/к (Соловки, 1927–31) —II: 36

Полякова— з/к, нарядчица (Дмитлаг, 1933) — II: 352

Пономарёв Владимир, Володька—з/к, (Экибастуз, 1952)—III: 238, 244

Понтий Пилат— прокуратор Иудеи (26–36)— I: 451 Попков— солдат из батареи А. Солженицына— I: 157 Попков А. — Сеид. I: 16

Попов Благой Семёнович (1902–1968)— болгарский деятель Коминтерна, з/к (Норильлаг, Краслаг, Озёрлаг; 1937–54), по освобождении вернулся на родину— I: 225; II: 518

Попов Г.Ф. — бывший з/к, корреспондент А. Солженицына — III: 403

Попов Е.Ф. — адвокат (Белгород, 1959–60) —II: 348 Поспелов В.В. — бывший з/к, корреспондент А. Солженицына — Сеид. I: 16; III: 406

Постоева Наталья Ивановна (1905–1989)— ленинградский математик, з/к (в 1942 приговорена к расстрелу с заменой на 10 лет, отбывала срок в Инталаге)— Сеид. I: 16, 164, 410; II: 182

Постышев Павел Петрович (1887–1939, расстрелян)— I: 378; II: 264, 265

Пося Пётр Никитич— Сеид. I: 16

Потапов— нач. КВЧ, майор (СевЖелДорлаг)— II: 400

Потапов Михаил Яковлевич — учитель, сослуживец А. Солженицына по школе в Рязани, з/к (1940–е, 1960–е)— Сеид. I: 16; II: 241; III: 490–493

Потапов Сергей— з/к (Владимир, 1948; этап Владивосток — Сахалин, 1950) — Сеид. I: 16, 124, 516

Потёмкин Николай Фёдорович (1902–1961)— нач. Кемперпункта (1929–нач. 1930–х), нач. ВостЖелДорлага, Буреинлага, СевПечлага, Амгуньлага, Ургаллага, строительства 505 и строительства 506 (1938–52), полковник—II: 43

Потто Василий Александрович (1836–1911)— военный историк, генерал–лейтенант— II: 35

Похилько—следователь (Кемерово, 1951) — I: 146

Почтарь Яков Ефимович (1887–1941, расстрелян) — военный врач (Севастополь, 1941)—II: 253

Правдин Николай Васильевич (1883–1946)— врач–невропатолог, з/к с 1944 (Калужская застава в Москве)— II: 222–225, 227, 231

Преображенский— архиерей, з/к и ссыльный— II: 249, 259 Пресман Алла (ум. 1954)— жительница Киева, з/к (погибла под

танком в Кенгире)— III: 294 Приблудин Васи-

лий — казак, охранник УСЛОНа, участник побега в группе Ю.Д. Бессонова (см.) — II: 48 Примаков Виталий Маркович (1897–1937, расстрелян)— комкор, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии»— II: 268 Присёлков Михаил Дмитриевич (1881–1941)— историк, неоднократно арестовывался, с 1930 з/к и ссыльный по «Академическому делу» (Соловки, 1931–32)— II: 36 Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954)— писатель— II: 22 Прокопенко (убит в побеге, 1951)—з/к, Джезказган—III: 182 Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955)— экономист, министр Временного правительства, член Всероссийского комитета помощи голодающим, в 1922 выслан из Советской России— I: 46

Прокофьев— зам. начальника лагпункта, капитан (Экибастуз, 1950–е)—III: 214

Прокофьев Георгий Евгеньевич (1895–1937, расстрелян)— зам. наркома внутренних дел СССР (1934–36) — II: 268

Пронман Измаил Маркович— з/к, доктор технических наук — Сеид. I: 16; II: 442; III: 407

Прохоров — артиллерист, председатель сельсовета под Наро–Фоминском, з/к (кладовщик–инструментальщик, Калужская застава в Москве)— II: 216, 219, 222, 225, 227–229, 291, 460

Прохоров–Пустовер— инженер, з/к (БАМлаг, 1930–е)— Сеид. I: 17; II: 187, 262, 280; III: 401

Пругавин Александр Степанович (1850–1920, умер в заключении)— этнограф, историк церкви, з/к (Красноярская тюрьма)—I: 400; II: 24

Пруссак Анна Владимировна (1888–после 1954)— историк, з/к по делу католиков (Ленинград, Владимирская тюрьма; 1924–33) —II: 79

Прыткова Тамара Александровна—з/к—Сеид. I: 17; III: 410

Птицын Пётр Николаевич (1908-?)— бухгалтер совхоза в Старорусском районе, з/к с 1937—Сеид. I: 17; II: 245

Птухин Евгений Саввич (1902–1942, расстрелян) — генерал–лейтенант авиации, Герой Советского Союза— I: 87

Пуанкаре Раймон (1860–1934)— президент Франции (1913–20) — I: 58, 356; III: 21

Пугачёв Емельян Иванович (ок. 1742–1775, казнён четвертованием)— предводитель крестьянского восстания— I: 395, 396

Пунин—з/к (Новый Иерусалим в Подмосковье, 1945) — II: 152 Пунич Иван Аристаулович — учитель, з/к—Сеид. I: 17, 81 Пупышев Иван Алексеевич— корреспондент А. Солженицына —

Сеид. I: 17, 108 Пустовер–Прохоров см. Прохо-

ров–Пустовер

Путна Витовт Казимирович (1893–1937, расстрелян)— военный атташе в Великобритании, комкор, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии» — II: 268

Пушкин— судья (Кемерово, 1951)— II: 254

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837)— I: 186, 206, 243; II: 24, 120, 308, 342, 370; III: 72, 107, ПО, 302, 303

Пьянков Иннокентий Павлович (1855–1911)— революционер–народник, ссыльный—I: 260

Пятаков Юрий (Георгий) Леонидович (1890–1937, расстрелян)— революционер, председатель Верховного трибунала в 1922, зам. наркома тежёлой промышленности с 1932, подсудимый на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра»—!: 328, 337, 338, 378, 381; II: 268

Р. — з/к, Бутырки (Москва), Рыбинск— I: 529 Р. Эсфирь—з/к, 1947—1: 146

Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939, убит в тюрьме) —секретарь Исполкома Коминтерна, подсудимый на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра»—!: 335, 338, 344, 377, 380, 381; III: 80

Радищев Александр Николаевич (1749–1802) —I: 129, 452; II: 437,

III: 302, 303, 394 Радонский—Сеид. I: 17

Радус–Зенькович Виктор Алексеевич (1877–1967) — революционер, советский партийный деятель и публицист — II: 19

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671, казнён четвертованием) — предводитель крестьянского восстания — I: 531

Райков Леонид Леонидович (1908–до 1996)— москвич, инженер–конструктор, з/к (Экибастуз, 1952)—III: 245

Рак (Ракк) Анна— революционерка, в 1906 эмигрировала— III: 80

Рак Семен (ум. 1954)— з/к, погиб в Кенгире — III: 294

Раковская Елена Христиановна— дочь расстрелянного в 1941 Х.Г. Раковского, з/к с 1948—1: 96

Раковский Сергей Дмитриевич (1899–1962)— нач. геолого–разведочных работ в Индигирском горнопромышленном управлении (Усть–Нера, 1943) — II: 440

Ралов Р. — з/к— I: 127

Рамзин Леонид Константинович (1887–1948)— директор Теплотехнического института, подсудимый на процессе «Пром–партии», лауреат Сталинской премии 1943— I: 349, 350, 357–359, 363, 365–367, 369

Рапопорт Яков Давыдович (1898–1962)— зам. начальника Бело–морстроя, нач. строительства каналов им. Москвы и Волго–Донского, Рыбинской и Угличской ГЭС, генерал–майор — II: 68, 79, фото № 11 между с. 546–547

Раппопорт Арнольд Львович (1908-?) — инженер, з/к и ссыльный (Архангельская тюрьма, Воркута, Экибастуз) — Сеид. I: 17, 259, 428, 429; II: 309, 335, 446, 447; III: 105–107

Раскольников (Ильин) Фёдор Фёдорович (1892–1939, погиб при невыясненных обстоятельствах)— революционер, советский дипломат, невозвращенец— I: 426

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872–1916, убит)— I: 299

Рассел Бертран (1872–1970)— английский философ, общественный деятель — I: 481; II: 46, 48

Ратаев Леонид Александрович (1857–1917), зав. заграничной агентурой Департамента полиции (1902–05)— III: 89, 90

Ратнер (Элькинд) Евгения Моисеевна (1885–1931)— член ЦК партии эсеров, подсудимая на процессе 1922, з/к и ссыльная—I: 339

Рафаильский— сотоварищ Ф.М. Косырева (см.)— I: 292 Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — композитор, с 1917 в эмиграции— I:

Рачковский Пётр Иванович (1853–1911)— зав. заграничной агентурой Департамента полиции (1885–1902) — I: 338 Редькин—математик, з/к (Экибастуз)—III: 103, 137 Резерфорд Эрнест (1871–1937)— английский физик— II: 512 Резников Яков Моисеевич— лагерный работник (Колыма)— II: 444 Рейли Сидней (Розенблюм Зигмунд Георгиевич; 1894–1925, расстрелян) — английский разведчик, арестован при переходе финляндско–советской границы— I: 126 Рейхтман Вельвел (р. 1933)— школьник из Ленинск–Кузнецка,

в 1951 осуждён на 10 лет— II: 254 Репетто Викентий (Винченцо) Петрович— итальянец, преподаватель пения в Петербурге — II: 438 Репин Илья Ефимович (1844–1930) — I: 497; III: 178 Репина—жена арестованного полковника, з/к (Бутырки, Москва, 1950) —I: 476

Репнина Варвара Николаевна (1808–1891)— писательница — II: 421

Ретц Роланд Вильгельмович (Васильевич)— з/к (Колыма), в ссылке нач. жилконторы—Сеид. I: 17; II: 101; III: 337, 409

Ретюнин Марк Андреевич (1908–1942, покончил с собой)— з/к с 1929 за участие в ограблении банка, вольнонаёмный с 1939, один из руководи-

телей восстания 1942 в УхтПеч–лаге — III: 205

Реунов Владимир, Володя— старшина, з/к (этап Владивосток —

Сахалин, 1950)—I: 516; II: 240 Реут С —Сеид. I: 17

Реформатский Михаил Александрович (1887–1938, расстрелян в Орле)— агроном— I: фото на с. 406

Риббентроп Иоахим (1893–1946, повешен)— министр иностранных дел фашистской Германии, подсудимый на Нюрнбергском процессе — III: 29

Рималис—следовательница, 1930–е—I: 109

Риман Николай Карпович (1864–1917)— полковник лейб–гвардии Семёновского полка— I: 338

Римский–Корсаков Николай Андреевич (1844–1908)— композитор—III: 263

Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — I: 127

Робертсон Брайан Хьюберт (1896–1974)— английский генерал, верховный комиссар британской зоны оккупации в Германии (1949–50) —I: 493; III: 367

Рогинский Григорий Константинович (1895-?)— помощник Н.В. Крыленко (см.) на процессах: Шахтинском, «Промпартии», «Союзного бюро меньшевиков», зам. прокурора СССР А.Я. Вышинского (см.), з/к с 1939, осуждён в 1941 на 15лет—I:

Родионов — инженер–гидротехник, профессор, з/к—II: 252 Родичев—з/к—II: 179

Рожанский Дмитрий Аполлинариевич (1882–1936)— физик, з/к в 1930–31 (отказался голосовать на собрании за смертную казнь по делу «Промпартии»), член–корреспондент АН СССР—I: 59; II: 520 Рожанский Иван Дмитриевич (1913–1994)— сын Д.А. Рожанского,

инженер, историк техники—II: 520 Рожаш Янош (р. 1926)— венгр, военнопленный, з/к (Экибастуз, 1944–53), вернулся на родину, лауреат Золотой медали Венгерской академии искусств 2003 за мемуары— Сеид. I: 17, 259; III: 108–111 Розенберг Вилл— латыш, з/к (Кенгир, 1954)— III: 258 Розенблит—нач. оперчасти БАМлага, 1938— III: 401 Розенфельд Курт (1877–1943)— немецкий социалист— I: 336, 337

Ройтман Давид Л. — з/к (Воркута, 1938) — II: 314 Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968)— военачальник, з/к (1937–40), маршал Советского Союза — I: 229, 410

Роллан Ромен (1866–1944)— французский писатель— III: 43

Ром Яков Моисеевич (1889–1957)— геолог, коммунист с 1919, з/к (1949–54)—II: 279

Романов Александр Дмитриевич (1905-?) — инженер–электрик, з/к с 1938—Сеид. I: 17, 273

Романов Василий Фёдорович — 2–й секретарь Кадыйского райкома ВКП(б), затем председатель райисполкома (1930–е) — I: 385, 386

Романов Михаил Александрович (1878–1918, убит чекистами) — великий князь — I: 211 Романов Павел Константинович (1913–1992)— нач. Главлита СССР (1957–63), председатель Государственного комитета по печати с 1963 —III: 429 Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938)— писатель— I: 199 Романовы— боярский род, царская династия— I: 252, 434 Ромашкин Пётр Семёнович (1915–1975) — юрист — I: 268 Роммель Эрвин (1891–1944)— немецкий генерал–фельдмаршал — I: 89

Ронжин Николай— з/к, бригадир (Буреполом)— II: 311

Ростовы— новая фамилия родственников М.Н.Тухачевского — III: 83

Роттенберг— чекист, з/к, одноделец Ф.М. Косырева (см.) — I: 292, 294,295

Рочев Степан Игнатьевич—Сеид. I: 17

Рубайло Александр Трофимович— з/к, учитель–словесник— Сеид. I: 17; II: 504

Рубин Исаак Ильич (1886–1937, расстрелян) —

преподаватель, зав. кабинетом политэкономии института Маркса и Энгельса, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к и ссыльный (Верхнеуральский изолятор, Актюбинск) — I: 371

Рубин Пётр Петрович— з/к (Верхнеуральский изолятор, 1928) — I: 424

Руденко Роман Андреевич (1907–1981)— генеральный прокурор

СССР в 1953–81 —III: 253 Рудзутак Ян Эрнестович (1887–1938, расстрелян) — I: 378; II: 268 Рудина Виктория Александровна—Сеид. I: 17 Рудинский (Петров) В. — Сеид. I: 17 Рудковский СМ. — бывший з/к— Сеид. I: 17; III: 402 Руднев—Сеид. I: 17

Рудчук Владимир Николаевич— протодьякон, з/к (Экибастуз, 1950–е)—III: 112, 217

Рудыко — полковник, командир части, где служил до ареста Вельский (см.) — III: 415

Рузвельт Франклин Делано (1882–1945)— президент США (1933–45) —I: 197, 240, 242, 494, 539

Румянцева Юлия— заключённая немецкого лагеря— I: 131

Русланова Лидия Андреевна (1900–1973) — певица, з/к (1948–53) — II: 401

Русов—районный прокурор (Кадый, 1930–е) — I: 148, 386 Рутченко—лейтенант Красной армии,

организатор противокоммунистического отряда под Порховом в сентябре 1941 — III: 27 Рущинский Максим Васильевич (1893-?)— геолог, з/к (1920–е) —
II: 59
Рыбакова Вера— студентка, з/к— I: 30
Рыжков Валентин—з/к–беглец (Экибастуз, 1951)—III: 186, 193, 194
Рыков Алексей Иванович (1881–1938, расстрелян)— член Политбюро ЦК РКЩб) — ВКП(б) в 1922–29, подсудимый на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока»— I: 311, 372, 377, 381; II: 58
Рылеев Кондратий Фёдорович (1795–1826, повешен) — поэт, декабрист—I: 129
Рысаков Николай Иванович (1861–1881, повешен)—террорист–народоволец— I: 130 Рюмин Михаил Дмитриевич (1913–1954, расстрелян)— ст. следователь Следственной части по особо важным делам МГБ СССР (1947–51), зам. министра ГБ СССР (1951–52), з/к— I: 125, 126, 152, 153, 274; III: 396 Рюрик, Рюрики— Рюриковичи, династия— I: 73, 213, 398 Рябинин Н.И. — з/к (время войны) — Сеид. I: 17; II: 240 Рябинин Фрол— з/к, расконвоированный— II: 300, 301 Рябоконь Галина Осиповна— раскулаченная, ссыльная— III: 326 Рябушинский

Павел Павлович (1871–1924)— промышленник, политический деятель, с 1920 в эмиграции— I: 58 Рязанов Николай Павлович (1908-?)— зам. начальника Степлага по оперработе и режиму, подполковник (Кенгир, 1954) — III: 293

С — з/к— I: 98

С.Тимофей— з/к, зав. лагерной столовой (Экибастуз, 1950–е) — III: 210

С–ва П. — ссыльная (Казань, 1934) — III: 307

Сабашников Сергей Михайлович (1898–1952, расстрелян)— сын

издателя М.В. Сабашникова, з/к с 1943 (Заярск, Тайшет,

Находка) — II: 518 СабашниковаТатьяна Михайловна см. Леонова Саблин Юрий Владимирович (1897–1937, расстрелян) — комдив —

II: 268

Сабо— венгр, участник Гражданской войны, з/к (1937) — II: 261 Саботажников— ст. лейтенант милиции (1950–е)— III: 167 Сабуров Павел Михайлович (1899-?)— зав. Кадыйским райфо,

в 1937 приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет— I: 386,

392,393,412

Савва Звенигородский (ум. 1406)— основатель и настоятель Сторожевского монастыря — I: 301

Савватий (ум. 1435)— один из основателей Соловецкого монастыря—II: 23, 24, 41 о. Савелий— з/к (лагпункт Самарка, 1946) — II: 492 Савельева— врач (Деденёво в Подмосковье, 1978)— III: 494 Савинков Борис Викторович (1879–1925, погиб в тюрьме) — эсер, террорист—I: 288, 289, 330, 341–345; III: 74, 78

Саенко Георгий Несторович (1902–1939, покончил с собой в заключении)— капитан ГБ, зам. начальника УНКВД Омской области, арестован в 1939—I: 151

Сазонов Матвей— з/к, участник побега в группе Ю.Д. Бессонова (см.), эмигрант—II: 48

Сазонов см. также Созонов

Сакуренко— офицер, з/к (восстание заключённых на 501–й стройке, 1948)—III: 206

Салин Дмитрий Евграфович (1903–1961)— с 1954 зам. генерального прокурора и нач. отдела по спецделам Прокуратуры СССР—III: 416

Салопаев Николай, Колька— з/к (Экибастуз, 1950–е)— II: 337; III: 137

Салтычиха (Салтыкова Дарья Николаевна; 1730–1801) — помещица–изуверка—I: 195, 400; II: 190. 192

Самарин Александр Дмитриевич (1869–1932)— предводитель московского дворянства, обер–

прокурор Синода, один из подсудимых по «делу церковников» 1920, з/к и ссыльный неоднократно—I: 299, 300

Самсон— монах Соловецкого монастыря, литейщик, 1920–е — II: 26

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914, покончил с собой) — генерал, командующий армией—I: 230

Самсонов Борис Иванович (р. 1912)— рабочий завода сельскохозяйственного оборудования, депутат Верховного Совета СССР (1958) —III: 453

Самулёв— нач. особого отдела 36–й мотодивизии (Монголия, 1941) —I: 112

Самутин —лейтенант МВД (Ныроблаг) — II: 452; III: 198, 203

Самшель—лагерный охранник, з/к— II: 454

Самшель Нина— дочь лагерного охранника, корреспондент А. Солженицына— Сеид. I: 17; II: 453

Сандомирская Лотта Борисовна (1882–1941) — руководитель Харьковского отделения Политического Красного Креста, з/к — I: 52

Санин—морской офицер, з/к, 1945—I: 459, 460 Сантер Макс— французский солдат, з/к (Озёрлаг, до 1957)— I: 465 Сартр Жан Поль (1905–1980)— французский писатель— I: 97; III: 286, 294

Сауер Иоханнес (1904-?) — нарком местной и пищевой промышленности Эстонской ССР (1940–41), з/к (Кенгир) — III: 249 Саунин— землемер, з/к— I: 83

Сахаров Игорь Константинович (1902–1977)— сын генерал–лейтенанта К.В. Сахарова, эмигрант, участник войны в Испании, один из инициаторов создания русских частей в составе Вермахта, полковник власовской армии— I: 231, 238

Сачкова Екатерина Фёдоровна (1925-?) — из Краснодарского края, з/к (Норильлаг, сельхозколония; 1945–56)—Сеид. I: 17; II: 188, 189

Свердлов Андрей Яковлевич (1911–1969)— сын Я.М. Свердлова, комсомольский пропагандист, чекист (1938–51), з/к (1935, 1938, 1951–53), канд. исторических наук— II: 66

Свердлов Яков Михайлович (1885–1919)— революционер, председатель В ЦИК — I: 286; II: 66

Светличный — лагерный работник (Норильск) — II: 444

Свечин Александр Андреевич (1878–1938, расстрелян)— военный историк, генерал–майор (1916), профессор, комдив—I: фото на с. 407

Свирская Элла, Элочка— з/к— II: 235

Сговио Иосиф (ум. 1948)— коммунист, иммигрант из США, з/к с 1937—II: 356

Сговио Томас Иосифович (1916–1997)—художник, сын иммигранта из США, з/к и ссыльный (Колыма, Красноярский край; 1938–54), вернулся в США, автор мемуаров «My Dear America!)*—Сеид. I: 17; II: 100, 170, 356, 440

Седельников Тимофей Иванович (1876–1930) — депутат 1–й Государственной Думы, с 1918 большевик, работал в Рабкрине, подсудимый по делу о самоубийстве инженера В.В. Ольден–боргера— I: 312, 315–317

Седин Иван Корнеевич (1906–1972)— нарком нефтяной промышленности СССР (1940–44) — I: 213

Седова Наталья Ивановна (1882–1962) — вторая жена Л.Д. Троцкого (см.)— III: 83

Седова Светлана Борисовна — «дочь изменника родины» с шести лет — Сеид. I: 17; II: 373

Селиванов Дмитрий Фёдорович (1855–1932)— математик, профессор Петроградского университета, в 1922 выслан из Советской России— I: 346

Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899–1968)— писатель— II: 342

Семашко Николай Александрович (1874–1949)— революционер, врач, нарком здравоохранения РСФСР (1918–30)— III: 80

Семёнов— генерал. Возможно: Семёнов Иван

Павлович (1905–1972), первый зам. начальника Дальстроя (1947–49), генерал–майор— III: 207

Семёнов Владимир Филиппович — председатель трибунала на Петроградском церковном процессе 1922 — I: 324

Семёнов Владимир Николаевич, Вовочка— сын Н.Я. Семёнова (см.)— II: 529

Семёнов (Васильев) Григорий Иванович (1891–1937, расстрелян) — эсер–боевик, большевик с 1921, подсудимый на процессе эсеров 1922, чекист, сотрудник Разведупра Красной армии, бригадный комиссар — I: 333

Семёнов Николай Андреевич — инженер–электротехник, военнопленный, з/к—Сеид. I: 17, 226, 533

Семёнов Николай Яковлевич— житель Любима, з/к— Сеид. I: 17; II: 528, 529

Семёнов Тян Шанский Пётр Петрович (1827–1914)— географ, статистик— III: 299, 356

Семёнова Мария Ильинична— мать Н.Я. Семёнова (см.)— II: 528

Сенин— ст. надзиратель (Калужская застава в Москве, 1945) — II: 291, 292, 294, 296, 450

Сенченко—оперуполномоченный, время войны—I: 148, 157

Серафимович Александр Серафимович (1863–

1949) — писатель — II: 496

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616)— II: 395

Сергеев Н. (1888-?)— рабочий, эсер–боевик, убийца В. Володарского (см.)— I: 333

Сергей — железнодорожник из Куйбышева, з/к (Новорудное, Джезказган)—III: 133

Сергиенко Тамара Сергеевна— переводчик в лагере немецких военнопленных— Сеид. I: 17; II: 441

Сергий (Шеин Василий Павлович; 1870–1922, расстрелян)— архимандрит, депутат 4–й Государственной думы, обвиняемый на Петроградском церковном процессе— I: 325

Сергий Радонежский (ок. 1321–1391) — основатель и игумен Троице–Сергиева монастыря — I: 302

Сердюкова Анна Адриановна (I860-?) — учительница, осуждена по делу 1 марта 1887 — III: 76

Серебрякова Галина Иосифовна (1905–1980)— жена Г.Я. Сокольникова (см.), писательница, з/к и ссыльная (1936–56), автор мемуаров—II: 262, 278, 281, 341; III: 434, 435

Серёгин Виктор Андреевич — комиссар подразделения 36–й мотодивизии (Монголия, 1941)—I: 270, 271; III: 416

Серов Иван Александрович (1905–1990)— 1–й зам. наркома (министра) внутренних дел СССР (1941–54), председатель КГБ (1954–58) — !: 145, 146

Сиваков—нач. следственного отдела УМГБ (Орджоникидзе, 1952) — I: 101

Сиверкин— капитан МВД (Ныроблаг) — II: 446

Сивере Александр Александрович (1894–1929, расстрелян)— з/к

с 1925 по «делу лицеистов» (Соловки)— II: 36 Сигачёв Сергей Петрович (р. 1947) — историк — II: 481 Сигида Надежда Константиновна (1862–1889, покончила с собой) —

народница, с 1887 на каторге— III: 88 Сидоренко— оперативник, мл. лейтенант (совхоз Ухта)— II: 339 Сидоренко Александр, Саша— разведчик, военнопленный, з/к, завкаптёркой (Кенгир, 1950–е)—II: 209 Сидоров— следователь, полковник (Лефортово, после войны) —

I: 117

Сизых Любовь Илларионовна— невестка Н.С.Хрущёва (см.), з/к (1942–54)—I: 153

Сикорский Владислав (1881–1943)— премьер–министр польского эмигрантского правительства и верховный главнокомандующий польскими вооруженными силами с 1939— I: 84; II: 103, 105

Силин Анатолий Васильевич—детдомовец,

военнопленный, з/к, духовный поэт (Экибастуз, 1950–е) — III: 99–102

Силин В.И. — автор отклика на «Один день Ивана Денисовича» — III: 426

Симонян Кирилл Семёнович (1918–1977)— школьный товарищ

А. Солженицына, хирург— I: 133 Синебрюхов Фёдор Александрович— з/к и ссыльный (Череповец,

Калужская застава в Москве; 1937–47)— Сеид. I: 17, 264;

II: 125, 461

Сипягина Людмила Алексеевна—Сеид. I: 17

Сирохин Евгений М. — инвалид Отечественной войны 1–й группы,

баптист, з/к (Харьковская область, 1961)—III: 488 Сирохины, сестры: Любовь (р. 1949), Надежда (р. 1952) и Раиса

(р. 1954) —дочери Е.М. Сирохина— III: 488 Скачинский Александр Сергеевич (Кузиков–Скачинский)— з/к,

писатель, эмигрант, составитель «Словаря блатного жаргона

в СССР»— Сеид. I: 17; II: 323 Скворцов— з/к (Локчимлаг, Усть–Вымь)— II: 308 Скирюс Ромуальдас Прано (р. 1924)—литовец, з/к (СевДвинлаг,

1945–46)— I: 103 Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) — генерал–лейтенант,

гетман Украины, с 1919 в эмиграции— III: 41 Скорохватов—следователь МГБ (Кемерово, 1950–е)—I: 149

Скрипникова Анна Петровна (1896–1974)— преподаватель, з/к в 1920–59 неоднократно (Соловки, БелБалтлаг, Сиблаг, Дубравлаг, Владимирская тюрьма), автор кн. «Соловки» — Сеид. I: 17, 25, 47, 54, 101, 438, 452; II: 53, 54, 78, 246, 259, 486, 533–539; III: 320, 417, 450, 451 Скрыпник Николай Алексеевич (1872–1933, покончил с собой) — революционер, член Коллегии ВЧК (1918), нарком просвещения Украинской ССР (1927–33) — I: 378 Скуратов Вельский Григорий Лукьянович, Малюта Скуратов (ум.

1573) — глава опричного террора— I: 161; II: 39 Слава— з/к–малолетка из Киева, после войны— II: 367 Слава—лагерный охранник, позднее физинструктор—III: 415 Слесарев — нач. политотдела 36–й мотодивизии (Монголия, 1941) — I: 270

Слиозберг Ольга см. Адамова–Слиозберг О.Л.

Слобода Алексей, Лёша— з/к, бригадир (штрафной лагпункт Краслага Ревучий)— II: 341 Слободянюк— з/к–беглец (Новорудное близ Джезказгана, 1949) —

III: 132

Слученков Энгельс (Глеб) Иванович (1924–1956, расстрелян) — после немецкого плена подпоручик власовской армии, з/к с 1945, один из руководителей Кенгирского восстания — III: 268, 272, 276, 279–281, 289, 291, 294, 296

Смелов Геннадий — з/к (Ленинград, I960) — I: 430; III: 490

Смелов Павел Георгиевич— Сеид. I: 17

Смешко— нач. лагпункта (Карлаг, Ортау, 1944)— II: 446

Смирнов— обвинитель на Петроградском церковном процессе 1922 — 1: 325

Смирнов— нач. режима ПечЖелДорлага— II: 444

Смирнов Иван Никитич (1881–1936, расстрелян) — революционер, деятель РКЩб) — ВКП(б), з/к с 1933, подсудимый на процессе «Антисоветского объединённого троцкистско–зиновьевского центра» — I: 377, 378, 429; II: 255

Смирнов Фёдор Иванович (1903-?)— 1–й секретарь Кадыйского райкома ВКП(б), з/к с 1937—1: 384–386, 390, 392, 393, 412

Смирнова— жительница Костромы, убита Ф.М. Косыревым (см.) — I: 296

Смотрицкий Павел Фомич (1876-?) — художник,

з/к с 1928 по делу
кружка «Воскресение» — II: 36 Смрковский Йозеф (1911–1974)— чехословацкий коммунист,
з/к в 1951–55, один из деятелей «Пражской весны» 1968 —
I: 239
Смушкевич Яков Владимирович (1902–1941, расстрелян) — генерал–лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза — I: 87
Снегирёв Владимир Николаевич— з/к— Сеид. I: 17; II: 372 Созонов (Сазонов) Егор Сергеевич (1879–1910, покончил с собой), эсер, убийца министра внутренних дел П.К. Плеве — III: 90
Соковиков— оперуполномоченный (Озёрлаг)— II: 284
Сокол— следователь П. Чульпенёва (см.)— I: 116
Соколов— нач. тюрьмы в Ленинграде во время войны— I: 409
Соколов— нач. оперотдела Джидинского лагеря (Бурят–Монголия
во время войны)— II: 305 Соколов — оперуполномоченный кавполка во время войны —
II: 329
Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888–1939, убит в тюрьме)— революционер,

нарком финансов СССР в 1923–26, подсудимый на процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра» — I: 380

Сократ (470/469–399 до н.э.)—I: 161

Соловьёв— лейтенант, з/к (Буреполом) — II: 451

Соловьёв — председатель одной из комиссий по амнистии (середина 1950–х) —III: 451

Соловьёв— чекист, з/к, одноделец Ф.М. Косырева (см.)— I: 292, 294, 295

Соловьёв Александр Александрович (1910-?)— агроном— II: 522 Соловьёв Александр Константинович (1846–1879, повешен) — революционер–народник, покушавшийся на Александра II — III: 73

Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900)— религиозный философ, поэт—I: 49; II: 154 Соловьёв Леонид Васильевич (1906–1962) — писатель— I: 182 Солодянкин — нач. режима, капитан (Тирасполь, ИТК–2, 1960–е) — III: 442

Соломин Илья Матвеевич (р. 1923)— сержант из батареи А. Солженицына, з/к (Колыма, 1947–52), инженер, с 1987 в эмиграции— Сеид. I: 17

Соломон (965–928 до н.э.) — I: 266

Соломонов— бухгалтер лагеря (Калужская застава в Москве,

1945)—II: 231 Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н.э.) — III: 392 Сольц Арон Александрович

(1872–1945)— член Верховного суда
РСФСР и СССР, куратор Беломорстроя, член ЦКК ВКП(б)
в 1920–34, работал в Прокуратуре СССР — II: 48, 51, 79, 379, фото № 8 между с. 546–547 Сорокин— зам. начальника Кадыйского райотдела НКВД, 1937 — I: 386
Сорокин — комендант поселка ссыльнопоселенцев Парча (Северный Урал) — III: 322
Сорокин Геннадий Александрович — студент Челябинского пединститута, з/к с 1946—Сеид. I: 17; II: 240, 321; III: 405
Сосиков— оперуполномоченный (Джидинский лагерь) — II: 305
Софроницкий Владимир Владимирович (1901–1961)— пианист—II: 236
Спасский Иван Алексеевич, Паски Джиованни— участник Гражданской войны, эмигрант, майор итальянской армии, з/к с 1942 (Лубянка, лагерь в Харькове, Экибастуз)— III: 46, 47, 68
Спиридонов — член Иваново–Вознесенского совета рабочих депутатов, з/к. Возможно: Спиридонов Андрей Николаевич, ивановский рабочий— II: 268
Спиридонова Мария Александровна (1884–1941, расстреляна в Орле перед сдачей города нем-

цам) — деятель партии эсеров, з/к и ссыльная с 1918 неоднократно— II: 268; III: 21, 78, 79,344

Ставров Василий Иванович (1895–1937, умер в тюрьме)— зав.

Кадыйским райзо, з/к—I: 384, 385, 389 Стадников— нач. лагпункта, капитан (Степлаг) — II: 439 Сталевская— жительница Челябинской области, 1960–е— II: 429 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953)[1] [broken link: #__ftn1] — I: 29, 38, 58–60, 65, 68, 72, 76–78, 81, 82, 84, 87, 94–97, 105, 106, 127, 128, (131), (132), 133–135, 143, 152–154, 160, 181, 182, (193), 197, 202, 205, 217, 219, 220, 224–226, 229, 230,

232–234, 239, 242–245, 251, 252, 259, (262), 264, 269, 274, 340, 341, 346, 349, 357, 361, (367), 368, 371, 372, 374, (377), 377, (378), 378–384, 390, (390), 391, 400, (400), 401, (401), 403, (404), 431, 434, 435, 450, 456, 492, 494, 520, 541; II: 51, 58, 64, 70, 71, 73–75, (77), 77–79, 81, (84), 85, (93), 93, 105, (109), 109, 148–150, (195), (196), 233–236, (237), 240, 241, 255, (257), 261, 264–267, (268), (271), 271, 272, 277, 278, 280, 286, 289, 329, 341, 344, 345, 354, 358, (360), 360, (361), (364), 364, (372), 375, 383, 387, 406, 448, (448), 468, 471, 472, 475, 475, (475), 488, 500, 517, (518), 518, (519), 520, 524, 530, 538, 539; III: 5, 7, 8, 12, (13), 15, 16, (18), 20, 22–27, (29), 31, (33), 43, 51, 59, 71, 73, 78, 83, 86, (87), 94, 109, 111,

133, (175), 179, 180, 199, 207, 221, (234), (247), (250), (251), 251, 252, 257, (270), 302, 305, 309, 310, 313, (315), 328, 329, (329), 343, (345), 345, 346, (346), (348), (349), (350), 350, (356), 374, 377, 381, 389, 391, 395, 396, 404, 423, 439, (445), (450), 452, 478, 483, 485, 486, 497

Станиславов — уполномоченный кооператива Интегралсоюз (1930–32)—III: 325

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938) — режиссёр—I: 358

Старосельский Владимир Александрович (1860–1916)—и.о. губернатора Кутаисской губернии (1905–06), в эмиграции с 1908—III: 81

Старостины, братья: Александр Петрович (1903–1981), Андрей Петрович (1906–1987), Николай Петрович (1902–1996), Пётр Петрович (1909–1993) — спортсмены, з/к в 1942–54 — II: 242

Статников Анатолий Матусович— вольный нач. санотдела лагеря,

онколог, канд. медицинских наук—Сеид. I: 17; II: 173 Стеенберг Свен см. Steenberg Sven

Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873–1941, расстрелян в Орле перед сдачей города немцам) — партийный активист, журналист— II: 268

Стельмах— чекист— I: 276

Стемпковский Виктор Иванович (1859-?)— зем-

ский деятель Воронежской губернии, депутат Государственной думы, подсудимый по делу «Тактического центра» (1920) — I: 306 Стендаль (Бейль Анри–Мари, 1783–1842) — II: 232 Степан*—з/к–беглец (Джезказган, 1951)—III: 131, 178–181 Степовой Александр Филиппович— солдат внутренних войск, з/к— Сеид. I: 17; II: 288, 289

Степун Фёдор Августович (1884–1965)— философ, в 1922 выслан

из Советской России— I: 346 Столбунский— Стовбунский Яков Ильич, следователь НКВД

(Столбунский в воспоминаниях генерала А.В. Горбатова) —

III: 443

Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911, убит при покушении), министр внутренних дел и председатель Совета министров с 1906—1: 289, 445; III: 75, 84 Стольберг Анна— жительница Ростова— II: 528 Столяров И.В. — ссыльный (Бухара, 1930) — III: 308 Столярова Наталья Ивановна (1912–1984)— дочь революционеров–эмигрантов, с 1934 в СССР, з/к (1937–54), помощница А. Солженицына— Сеид. I: 17, 128; II: 191, 454; III: 399, 413

Стотик Александр Михайлович (1920–1987)— разведчик в войну, з/к и ссыльный до 1956 (Красная Пресня в Москве, Степлаг, Красноярский

край), переводчик в издательстве— Сеид. I: 17; III: 108, 339, 340

Страхович Елена Викторовна (ур. Гаген–Торн; 1905–1996) — жена К.И. Страховича— Сеид. I: 17, 149

Страхович Константин Иванович (1904–1968)— аэрогидродина–мик, профессор Ленинградского политехнического института, з/к и ссыльный в 1941–55 (в 1942 приговорён к расстрелу с заменой на 15 лет)— Сеид. I: 17, 149, 267, 403, 405, 408–410; II: 319, 389; III: 369

Стружинский— эсер, з/к — I: 421, 454

Струтинская Елена— з/к— Сеид. I: 17, 111

Стучка Пётр Иванович (1865–1932) — нарком юстиции в 1917–18, председатель Верховного суда РСФСР с 1923, председатель Загранбюро ЦК КП Латвии—II: 113, 115

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912)— издатель, журналист — III: 81

Суворов— з/к, (Бутырки, Красноярская пересылка; после войны)—!: 528

Суворов Александр Васильевич (1730–1800) —I: 125; III: 470 Судрабс Ян Фридрихович см. Лацис М.И.

Сузи Арно (1928–1993)— сын А.Ю. Сузи, студент, ссыльный (Хакасия, 1949–58), экономист, доцент

Тартуского университета— Сеид. I: 17

Сузи Арнольд Юханович (1896–1968)— адвокат, министр просвещения в эстонском правительстве (1944), з/к и ссыльный (Лубянка, Сиблаг, Хакасия; 1944–60)—Сеид. I: 17, 187,

190, 196, 197, 199, 208, 211, 268, 446, 458; II: 368, 397, 490

Сузи Хели (р. 1929)— дочь А.Ю. Сузи, студентка, ссыльная (Хакасия, 1949–58), окончила Тартуский университет, преподаватель немецкого языка в Музакадемии— Сеид. I: 17; III: 356

Сукарно (1901–1970) — президент Индонезии (1945–67)— III: 452 Сулейманов — лагерный врач — II: 173

Сумберг Мария (1901-?)— ссыльная из Тарту (Здвинский район Новосибирской области, Сталинск; 1949–58) — Сеид. I: 17; III: 352, 356, 357

Супрун Лидия Кондратьевна (1904–26 июня 1954) — учительница из Прикарпатья, з/к с 1944, член Комиссии заключенных во время Кенгирского восстания, ранена и умерла — III: 272, 294

Суриков Василий Иванович (1848–1916) — художник— I: 466, 506

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) — поэт, 1–й секретарь Союза писателей СССР (1953–59) — III: 286

Суровцева Надежда Витальевна (1896–1985)— переводчик, преподаватель Харьковского университета, з/к и ссыльная (1927–1956), автор мемуаров «Спогади» (фрагмент на рус. яз. в сб. «Доднесь тяготеет»)— Сеид. I: 17, 57, 433, 437; II: 48, 101, 181, 528; III: 401, фото №5 на с. 421

Сусалов Рафаил Израилевич— Сеид. I: 17

Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) — член Политбюро ЦК КПСС, партийный идеолог— III: 483

Суханов Н. (Гиммер Николай Николаевич; 1882–1940) — эсер, социал–демократ, публицист, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к и ссыльный (Верхнеуральский изолятор, Тобольск)— I: 60; III: 75

Сухов Александр Петрович (1887–ок. 1940)— психолог, проф. педагогического института им. Герцена, з/к и ссыльный с 1928 — II: 36

Сухомлина Татьяна Ивановна (Лещенко–Сухомлина; 1903–1998) — вернулась из эмиграции, з/к, певица и переводчица, автор мемуаров «Долгое будущее»— Сеид. I: 18

Сучков Федот Федотович (1915–1991)— скульптор, поэт, з/к и ссыльный (1942–55) —Сеид. I: 18; II: 183

Сущихин Сергей Фёдорович— Сеид. I: 18

Сысоев Александр (застрелен охраной в 1954)— евангелист, з/к, Кенгир—III: 256

Т. — бухгалтер райпо (Кадый, 1937)— I: 387

Т. —з/к, бригадир (Экибастуз, 1952) —III: 241

Табатеров Илья Данилович— музыкант из Рязани, з/к (БелБалтлаг,

Березники; 1930–е)— Сеид. I: 18, 100, 124; II: 75, 84, 449 Таганцев Владимир Николаевич (1889–1921, расстрелян)— сын

Н.С. Таганцева, профессор Петроградского университета,

з/к— I: 310

Таганцев Николай Степанович (1843–1923) — юрист, сенатор, член

Государственного совета—I: 396 Талалаевский Матвей Аронович (1908–1978)— поэт, з/к (1951—

54) —III: 282 Тан Богораз см. Богораз В.Г.

Танев Васил Константинов (1897–1941, погиб в бою) — болгарский коммунист, соратник Г. Димитрова— I: 225; II: 518

Тараканов— нач. корпуса тюрьмы (Иваново, 1937) — I: 413

Тарантин Анатолий Михайлович (р. 1933) — школьник из Ленинск–Кузнецка, в 1951 осуждён на 10 лет— II: 254

Тарасюк Сергей Артемьевич (1899–1948)— нач.

Усольлага (1944–48), полковник ГБ — II: 444

Тарашкевич Георгий Матвеевич— бывший з/к— Сеид. I: 18; II: 490

Тарле Евгений Викторович (1875–1955)— историк, академик АН СССР, з/к и ссыльный по «Академическому делу» (1930–32) —I: 62

Тарновский В.П. — з/к (Колыма) — Сеид. I: 18; III: 414

Татарин—надзиратель, Экибастуз, 1950–е — III: 96 Таубе Николай Николаевич (1886–1937, расстрелян)— инженер–маркшейдер, нач. конструкторского бюро треста Уралмедь–руда, з/к неоднократно— II: 36 Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) — поэт, редактор

журнала «Новый мир» — I: 435; III: 97, 98, 317, 426, 438 Твардовский Гордей Васильевич — дед А.Т. Твардовского — III: 317 Твардовский Константин Трифонович (1908–2002) — брат А.Т. Твардовского, селекционер, ссыльный—Сеид. I: 18; III: 317, 322 Твардовский Трифон Гордеевич (1881–1949)— отец А.Т.Твардовского, кузнец, раскулаченный, ссыльный—III: 317, 318 Твердохлеб (Твердохлебов)— механик, з/к, Экибастуз— III: 66 Тевекелян Варткес Арутюнович (1902–1969)— писатель, автор

романа о чекистах «Гранит не плавится» — III:

442 Тейтельбаум Моисей Исаевич (1876-?)— работник Наркомата торговли СССР, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к (Верхнеуральский изолятор)—I: 371

Тендряков Владимир Фёдорович (1923–1984)— писатель— II: 342 Терентьева Л.Я. — Сеид. I: 18

Терехов Геннадий Афанасьевич (1909-?)— член Коллегии Прокуратуры СССР с 1959, ст. помощник генерального прокурора СССР—III: 417

Терехов Дмитрий Павлович (1920–1980)— зам. председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, зам. главного военного прокурора (1954–58), генерал–майор юстиции, — I: 152, 153, 163

Тетерка Макар Васильевич (1853–1883)— народоволец, готовивший покушение на Александра II — III: 73

Тииф Отто (1889–1976)— эстонский политический деятель, член Национального комитета (1944), з/к и ссыльный (1944–55)—I: 197

Тикунов Вадим Степанович (1921–1980) — зам. председателя КГБ (1959–61), министр Охраны общественного порядка РСФСР (1962–66), 1–й зам. председателя Комиссии по выезду за границу при ЦК КПСС (1967–69) — III: 465, 473

Тимофеев–Ресовский Николай Владимирович (1900–1981) — биолог, работал в Германии (1925–

45), з/к (Лубянка, Бутырки, лагпункт Карлага Самарка, спецобъект Сунгуль; 1945–51)— Сеид. I: 18, 145–146, 192, 447, 529–532, 534, 535; II: 492

Тито (Броз Тито) Иосип (1892–1980) — глава компартии Югославии с 1940, президент Югославии с 1953—1: 225, 245

Титов — лагерный работник (Колыма) — II: 444

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923)— революционер–народник, публицист — II: 491

Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865–1925)— Патриарх Московский и всея Руси с 1917, неоднократно под домашним арестом, з/к (1922–23)— I: 49, 299, 302, 318–323; II: 249, 268

Тихонов Александр Николаевич (1880–1956)— писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» — II: 67

Тихонов Николай Семёнович (1896–1979) — поэт— III: 177

Тихонов Павел Гаврилович (р. 1908) — математик, з/к (Карлаг, Экибастуз)— Сеид. I: 18; III: 403

Ткач— помначрежима, старшина (Экибастуз, 1952)— II: 450; III: 23

Ткаченко Иван Максимович (1910–1955)— нач. стройки атомной промышленности, генерал–лейтенант ГБ — II: 329

Тодорский Александр Иванович (1894–1965)— нач. Военно–воздушной академии и Управления военно–учебных заведений Красной армии (1936–38), комкор, з/к (1938–54) — II: 278, 279, 281, 284

Токарская Валентина Георгиевна (1906–1996)— актриса Московского мюзик–холла и Театра сатиры, в плену и в оккупации в войну, з/к (1945–49) — II: 401

Токмаков Мстислав Владимирович (ум. 1983)— ротмистр гусарского полка, с 1920 в эмиграции— Сеид. I: 18

Толстая Александра Львовна (1884–1979) — дочь Л.Н. Толстого, з/к по делу «Тактического центра» (1920–21), директор музея Толстого в Москве, с 1931 в эмиграции— I: 307

Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) — писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства» — II: 67, 80, 518; III: 447

Толстой Лев Николаевич (1828–1910)—I: 144, 164, 184, 186, 205, 220, 284, 346, 396, 536, 541; II: 168, 249, 390, 501; III: 72, 73, 83–85, 104, 111, 300, 414, 476

Томашевичи— новая фамилия родственников М.Н. Тухачевского— III: 83

Томский (Ефремов) Михаил Павлович (1880–1936, покончил с собой)— член Политбюро ЦК

РКЩб) — ВКП(б) в 1922–30, зав. ОГИЗом (1932–36)—I: 378, 381

Топилин Всеволод Владимирович— пианист, участник ополчения, военнопленный, в Германии жил у Н. В. Тимофеева–Ресовского (см.), з/к с 1945 (Игарка, Озёрлаг) — II: 402

Топникова Надежда Николаевна— дочь Н.Я. Семёнова (см.) — II: 528, 529

Травкин Захар Георгиевич (1904–1973)— командир 68–й Севско–Речицкой отдельной пушечной артиллерийской бригады, в которой служил А. Солженицын, генерал–майор — I: 33–35

Трейвиш Сергей Иосифович — работник треста Иртышуголь — II: 508

Трепов Фёдор Фёдорович (1809–1889)— градоначальник Петербурга (1873–78)—III: 73

Третьяков— бывший лагерный надзиратель (Соловки)— II: 57

Третюхин Владимир— армейский старшина, з/к (этап Владивосток—Сахалин, 1950)—I: 516; II: 240

Трифонов Николай Александрович (1891–1958) — инженер–металлург, з/к, зав. кафедрой химического факультета Ростовского университета (1939–45)— III: 400

Тронько Игорь (р. 1918)— сын эмигрантов, з/

к— I: 249, 250

Трофимов Владимир— з/к, активный участник подпольного сопротивления (Экибастуз, 1952) — Сеид. I: 18; III: 236

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940, убит при покушении)—!: 276, 279, 280, 305, 333, 336, 337, 340, 344, 377, 397, 400, 426, 541; II: 15, 58, ПО, 237, 240; III: 77, 83

Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860)— декабрист— I: 129; III: 302

Трумэн Гарри, Трумен (1884–1972)— президент США (1945–53) — III: 45

Трутнев—прокурор (Кемерово, 1951)—I: 149; II: 255 Трухин Фёдор Иванович (1896–1946, повешен)— генерал–майор Красной армии, после немецкого плена во власовской армии—I: 239 Трушин— эсер— I: 445

Трушляков Виктор— морской пехотинец, военнопленный, з/к (спецобъект Марфино, 1947) — II: 385, 386

Тумаренко—з/к (Экибастуз, 1950–е) —III: 113, 118

Тумаркин — вольнонаёмный десятник (Калужская застава в Москве, 1945) —II: 462

Тур, братья (псевд.): Тубельский Леонид Давидович (1905–1961) и Рыжей Пётр Львович

(1908–1978)— писатели, соавторы Л. Шейнина (см.)— I: 36

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) —I: 69; II: 403, 437; III: 13, 302

Тусэ Х.С. — з/к— Сеид. I: 18, 98

Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937, расстрелян)—военачальник, руководил подавлением Кронштадтского и Тамбовского восстаний, маршал Советского Союза, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии» — I: 46; II: 268, 494, 518; III: 83, 304

Тучинская (в замуж. Софроницкая) Ирина Ивановна (р. 1920)— невестка В.В. Софроницкого, з/к— II: 236

Тхоржевский Сергей Сергеевич (р. 1927) — школьник, з/к и ссыльный (ленинградские тюрьмы, Воркута; 1944–52), писатель, автор мемуаров «Открыть окно»— Сеид. I: 18

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) — писатель — I: 540; II: 138

Тыркова Ариадна Владимировна (Тыркова–Вильямс; 1869–1962) — член ЦК партии кадетов, с 1918 в эмиграции, писательница—III: 79

Тэнно Георгий Павлович (1911–1967)— морской офицер, переводчик, спортсмен, з/к (Лефортово, Лубянка, Бутырки, Степлаг; 1948–56)—Сеид. I: 18,

259; II: 525; III: 70, 97, 113, 114,
119–135, 137–176, 189, 190, 192, 194, 195, 248, 259, 406,
фото №3 на с. 421. 448 Тэсс Татьяна Николаевна (1906–1983) — журналистка— II: 121 Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) — II: 534
У. — прибалтиец, з/к—II: 298–302
Уборевич Иероним Петрович (1896–1937, расстрелян) — командующий войсками Белорусского военного округа, командарм 1–го ранга, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии» — II: 268
Уборевич (Уборевич–Боровская) Владимира Иеронимовна (р. 1924) — дочь И.П.Уборевича, детдомовка, з/к и ссыльная (Лубянка, Воркута; 1944–56), инженер—II: 182
Узков— нач. оперчекистского отдела (Воркута, 1937)— II: 257
Улановская Надежда Марковна (1903–1986)— жена А.П.Уланов–ского, преподаватель английского языка, з/к (Лубянка, Лефортово, Воркута, Мордовия; 1948–1955), автор мемуаров «История одной семьи»— Сеид. I: 18
Улановский Александр Петрович (Алексей Петрович, Израиль Хайкелевич; 1891–1971)—анархист, советский разведчик, з/к (1949–56)— Сеид. I:

18; III: 90, 91, 305

Улащик Ольга Николаевна— Сеид. I: 18

Ульбрихт Вальтер (1893–1973)— деятель КП Германии и Коминтерна, руководитель СЕПГ (1950–71) и председатель Государственного совета ГДР— II: 278

Ульрих Василий Васильевич (1889–1951, умер в заключении) — чекист с 1918, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР (1926–48), председатель на процессах «Антисоветского объединённого троцкистско–зиновьевского центра», «Параллельного антисоветского троцкистского центра», «Антисоветского правотроцкистского блока», з/к с 1950 — I: 268, 273, 274, 342

Ульянов Александр Ильич (1866–1887, повешен)— брат В.И.Ленина (см.), участник подготовки покушения на Александра II—I: 42, 53, 131; II: 254; III: 76

Ульянова (Елизарова) Анна Ильинична (1864–1935)— сестра В.И. Ленина (см.), партийная активистка— III: 76, 83

Ульяновы — семья У. Ильи Николаевича (1831–1886) и Марии Александровны (урожд. Бланк; 1835–1916)—III: 83

Универ Иван Иванович— председатель Кадыйского райисполкома, з/к с 1937—1: 385, 386, 389,

390, 393

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938, расстрелян)— зам. председателя ВЧК–ГПУ (1921–23), секретарь Союзного Совета ЦИК СССР—II: 268

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918, убит при покушении) — революционер, председатель Петроградской ЧК— I: 292

Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937) — товарищ министра внутренних дел (1905–06, март–июнь 1917), работник Госбанка СССР—II: 343

Усма— врач— II: 372

Усова Елена Ивановна— з/к— III: 61

Успенская Анна И. (1896–1919, расстреляна)— сотрудница Московской ЧК—I: 293, 297, 298

Успенский Владимир Дмитриевич — автор отклика на «Один день Ивана Денисовича»— III: 427

Успенский Дмитрий Владимирович (1907–1989)— нач. воспитательно–просветительного отдела, участник расстрелов и нач. 4–го отделения УСЛОНа, зам. начальника и начальник БелБалтлага, Дмитлага, НижнеАмурлага, Сороклага, Сев–Печлага, Карагандастроя, Переваллага, Южлага, Сахалин–лага (1928–52), подполковник— II: 52, 74, фото № 18 между с. 546–547; III: 427

Успенский Сергей Васильевич (1854–1930) —

протоиерей, старший благочинный Москвы, з/к (1919–20, 1922–23)—I: 299

Утёсов Леонид Осипович (1895–1982)— эстрадный певец— II: 342

Уткина Мария, тётя Маня — з/к (Княж–Погост)— II: 439

Ушакова Вера— эмигрантка, жена Н.С. Давиденкова (см.)— II: 399

Ф. — з/к (Лубянка) — I: 528

Ф.И.В. — житель Красногорска (Московская область), з/к— I: 108 Ф–в Н. — машинист, з/к— II: 329 Фадеев Ю.И. — Сеид. I: 18

Файтелевич—з/к–смертник («Кресты», 1932) — I: 402

Фалеев Николай Иванович— преподаватель законоведения и комедийный драматург до революции, сотрудник редакционно–издательского отдела ВЦИК — I: 278; III: 84

Фаликс Татьяна Моисеевна (урожд. Соколик; 1902-?)— педагог, ссыльная и з/к с 1925 неоднократно— Сеид. I: 18; II: 508

Фастенко Анатолий Ильич (1884-?)— социал–демократ, с 1907 в эмиграции, вернулся в Россию в 1917, з/к (Лубянка, Москва, 1945)—I: 178–182, 187, 188, 190, 191, 199, 205, 208–210, 214; III: 90

Фёдор Иванович (Феодор Иоаннович; 1557–

1598) — I: 213

Фёдоров— следователь (ст. Решёты)— I: 148

Фёдоров Иван Николаевич (1910-?) — нач. 3–го лаготделения Степлага, подполковник (Кенгир, 1954)— III: 248

Фёдоров Михаил Михайлович (1886–1946)— экономист, общественный деятель, эмигрант— I: 305

Фёдоров Николай Фёдорович (1828–1903)— философ — II: 520

Фёдоров Сергей Степанович (1896-?)— инженер–артиллерист, морской офицер, преподаватель артиллерийской школы Балтийского флота (1923–24), з/к—II: 237

Фёдорова Зоя Алексеевна (1911–1981, погибла при невыясненных обстоятельствах) — актриса, з/к (1946–55) — II: 401

Федотов Александр Александрович (1864-?) — инженер–текстильщик, профессор Института народного хозяйства, подсудимый на процессе «Промпартии»— I: 349, 350, 352–354, 359, 361–363, 366

Фельдман— з/к–смертник («Кресты», 1932)— I: 402 Фельдман Владимир Дмитриевич (1894–1938, расстрелян)— особоуполномоченный при Коллегии ОГПУ (1924–34), особоуполномоченный НКВД

СССР (1934–37), ст. майор ГБ — II: 33, 268

Феоктист—монах (Соловки, 1667)—II: 24

Фетисов— гитарист ансамбля песни и пляски Красной армии, з/к (Ховрино под Москвой, 1945)— II: 445

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942)— революционерка, писательница— I: 417, 418

Филимонов М. В. (1901-?) — пом. начальника подотдела охраны по политчасти (Соловки, 1929), нач. культурно–воспитательного отдела Дмитлага, пом. начальника Амурлага; нач. Прикаспийского, Сталинградского, Восточного, Ангарского, Озёрного и Баженовского лагерей (1940–51), подполковник— II: 442

Филипп (Колычев Фёдор Степанович; 1507–1569)— митрополит (1566–68)—II: 23

Филиппова Галина Петровна— член наблюдательной комиссии Одесской тюрьмы (1963)—Сеид. I: 18; III: 465

Филоненко Максимилиан Максимилианович (1886–1960)— морской инженер, комиссар при ставке Л.Г. Корнилова в 1917, эмигрант — I: 330

Финн (Финн–Хальфин) Константин Яковлевич (1904–1975)—писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства»— II: 67

Фиргуф— см. Иона

Фирин (Пупко) Семён Григорьевич (1896–1937, расстрелян) — нач. БелБалтлага, Дмитлага и зам. начальника ГУЛАГа— II: 65, 66, 74, 79, 82, фото № 10 и № 18 между с. 546–547

Фицтум–фон–Экстедт Михаил Николаевич (1882-?)— правовед, з/к по «делу лицеистов» с 1925 (Соловки)— II: 36

Флоренский Павел Александрович (1882–1937, расстрелян)— священник, философ, учёный, з/к с 1933 (Бамлаг, Соловки) — II: 36, 520, 544, 545

Флоря Фёдор Филаретович (1881–1958)— священник, з/к с 1931 и после войны, благочинный Одессы во время оккупации — I: 513; III: 18

Фогт Оскар (1870–1959)— немецкий невролог— I: 531

Фонвизин Денис Иванович (1744–1792) — II: 120

Формаков Арсений Иванович (1900–1983) — после революции в Латвии, учитель, поэт, прозаик, з/к и ссыльный (Краслаг, Тайшет, Омск; 1940–47, 49–53) — Сеид. I: 18; II: 106

Фостер Уильям (1881–1961) — деятель Коминтерна, руководитель компартии США— II: 315

Франк Семён Людвигович (1877–1950)— философ, в 1922 выслан из Советской России— I: 245

Франко Баамонде Франсиско (1892–1975)— гла-

ва Испанского государства (1939–75)—I: 245; II: 97, 147; III: 21

Френкель Нафталий Аронович (1883–1960)— коммерсант и сотрудник ГПУ, з/к (1923–27), нач. производственного отдела ГУЛАГа (1930–31), начальник работ и пом. начальника Беломорстроя (1931–33), нач. БАМлага, зам. нач. ГУЛАГа, нач. ГУЛжелдорстроя (1934–47) — II: 39, 40, 61–65, 74, 79, 108–111, 122, 161,221,433, 475,фото № 9 и № 18 между с. 546–547

Фридман Григорий — публицист — II: 46

Фролов Василий Аксентьич— прилагерный работник— II: 458 Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925)— советский военачальник, нарком по военным и морским делам— II: 453 Фурфанский Т.Е. — Сеид. I: 18

Фустер Хулиан— испанец, хирург, з/к с 1947 (Степлаг, Кенгир) — II: 438; III: 264

Х. — композитор, бывший з/к— III: 416 Х–цев — историк, з/к—II: 243

Хайдаров Михаил—з/к–беглец(1950–е) — III: 119, 133, 134 Хайдеггер Мартин (1889–1976)— немецкий философ — I: 97 Хайкин — следователь (1927) — I: 101

Халтурин Степан Николаевич (1856–1882, повешен)— народоволец–террорист— III: 73 Хам-

мурапи— царь Вавилонии в 1792–50 до н.э. — I: 74 Хауке Максимилиан— немецкий коммунист— I: 49 Хафизов Хафиз—з/к–беглец (Экибастуз, 1950–е)—III: 119, 141 Хацревин Захар Львович (1903–1941) — писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства»— II: 67 Хват Александр Григорьевич (1907-?)— комсомольский работник, следователь, нач. следственной части НКВД СССР, нач. отдела «Т» МГБ СССР — III: 174, 415 Хелик— председатель спецколлегии суда Азово–Черноморского

края, Майкоп, 1937—1: 272 Хищук Алексей Архипович — директор треста (Экибастуз, 1950–е) — II: 464

Хлебунов Николай Николаевич (1908-?)— з/к (УстьВымлаг, Экибастуз) — Сеид. I: 18; III: 234, 327

Хлодовский Всеволод Владимирович — участник Белого движения, эмигрант—Сеид. I: 18

Хлопонина Евгения Н. (р. 1938) — санитарка в Макеевке (Донбасс), осуждена в 1964 как баптистка— III: 487

Ходкевич Татьяна— з/к— I: 50

Хоменко В.Н. — бывший есаул, з/к (Иваново, 1937) —1:415

Хоминский Станислав Фаддеевич (1807–1886)—

вологодский губернатор (1861–78)—III: 89

Храбровицкий Александр Вениаминович (1912–1989)— краевед, литературовед—Сеид. I: 18

Хренников Сергей Александрович (1872–1929, умер в тюрьме) — директор Сормовских заводов (1914–18), член Промышленной секции Госплана, председатель НТС металлопромышленности, з/к— I: 349, 364, 376

Христос см. Иисус Христос

Хрусталёв Николай Иустинович (1884–1935) — инженер, з/к, главный инженер Беломорстроя (освобождён в 1932, награждён в 1933)—II: 74

Хрусталёв Петр Алексеевич (Носарь Георгий Степанович; 1879–1919, расстрелян)— председатель Петербургского совета рабочих депутатов в 1905— I: 397

Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971)— 1–й секретарь ЦК КПСС (1953–64) —I: 153, 154, 163, 212, 215, 274, 375, 485; II: 69, 273; III: 42, 313, (329), 386, 394, 395, 404, 438, 441, 442, 452, 453, 478, 479, 485, 490

Хрущёва (Ровнева) Лидия Николаевна (1878-?)— сотрудник Политического Красного Креста, з/к по делу «Тактического центра»— I: 307

Худаев— брат А. Худаева — III: 360–362

Худаев Абдул— спецпереселенец, школьник в Кок–Тереке— III: 360–362, 388

Худаевы— чеченская семья спецпереселенцев— III: 360–362 Хурденко — подполковник МВД в отставке — III: 444

Ц— з/к— II: 371

Царапкин Сергей Романович (1892–1960)— биолог, в 1926–45 работал в Германии, з/к (Лубянка, Бутырки, лагпункт Карлага Самарка, спецобъект Сунгуль)—I: 529, 531, 532, 535

Цветков Николай Васильевич (1862-?)— протоиерей Покровской церкви на Варварке, з/к по «делу церковников» (1920) — I: 299

Цветкова Елизавета— з/к (Казань, 1938) — II: 263

Цезарь Гай Юлий (102–44 до н.э.) — II: 391

Цейтлин—литературовед, з/к, Соловки—II: 36

Цетлин Ефим Викторович (1898–1937, расстрелян)— один из основателей комсомола, секретарь Н.И. Бухарина (см.), зав. бюро техобслуживания Уралмаша с 1934— I: 379

Цеткин Клара (1857–1933) — немецкая коммунистка, деятель Коминтерна— I: 337

Цивилько Адольф Мечеславович (1906-?)— рабочий–слесарь, кочегар на пароходе, з/к и ссыльный неоднократно (Ленинград, Казахстан, 1937–50–е) — Сеид. I: 18, 143; III: 337, 338,343

Циолковский Константин Эдуардович (1857–

1935) — изобретатель
и учёный — II: 386 Цуканов— нач. спецобъекта Марфино, подполковник МВД —
II: 446
Ч–н— з/к— I: 267
Ч–на— жена з/к— III: 403
Ч–на— дочь з/к — III: 404
Чавдаров Д.Г. — з/к (Красноярск, Норильлаг)— Сеид. I: 18, 272, 410; II: 350
Чавчавадзе Ольга Ивановна— жена з/к (Тбилиси, 1938)— Сеид. I: 18, 77; II: 530
Чадова — хозяйка дома, где жил А. Солженицын, Кок–Терек, 1953. Возможно: Чадова Мария Николаевна (1889-?)— з/к и ссыльная (1937–1950–е)—III: 376
Чайковская Ольга Георгиевна (р. 1917)— публицист, историк, писатель— III: 491
Чайковский Николай Васильевич (1850–1926)— революционер–народник, в Гражданскую войну глава антикоммунистического правительства на Севере России; с 1919 в эмиграции— II: 27
Чайковский Пётр Ильич (1840–1893) — III: 55
Чан Кай–ши (1887–1975) — глава гоминьдановской администрации в Китае, с 1949 на о. Тайвань — I: 229
Чангули Федор И. — пом. начальника отдела

мест заключения Ивановского УНКВД, пом. начальника Краслага (1937–38), з/к— I: 415, 416

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869–1942)— ученый в области аэродинамики, директор Высших женских курсов до 1918, академик АН СССР — II: 534

Чарновский Николай Францевич (1868–1936, расстрелян)— инженер, профессор МВТУ, председатель НТС металлообрабатывающей промышленности, подсудимый на процессе «Промпартии», з/к и ссыльный—I: 350, 353, 357, 359, 360

Чарный Маркус Борисович (1901–1976)— писатель, литературный критик— III: 437

Чаянов Александр Васильевич (1888–1937, расстрелян)— экономист–аграрник, писатель, з/к по делу «Трудовой крестьянской партии»— I: 60, 61

Чеботар–Ткач Анна— з/к с 1944 — III: 417

Чеботарёв Александр Михайлович — председатель исполкома (Соловки, 1970–е)—II: 57

Чеботарёв Виктор Сергеевич— слесарь, сын С.А. и Е.П. Чеботарёвых—II: 326,330

Чеботарёв Геннадий Сергеевич— сын С.А. и Е.П. Чеботаревых — II: 326, 330, 374

Чеботарёв Сергей Андреевич (1897-?)— служащий КВЖД, з/к (1933–1950–е с перерывами; после побега под фамилией Чупин)— Сеид. I: 18, 111,

115, 116, 427, 428; II: 172, 326–330
Чеботарёва Елена Прокофьевна— жена С.А. Чеботарёва, з/к — II: 187, 326, 328
Чемберлен Невилл (1869–1940)— премьер–министр Великобритании (1937–40) — III: 389
Чепига— зам. начальника Воркутлага, майор— II: 444 Чернов Виктор Михайлович (1873–1952)— один из организаторов партии эсеров, министр земледелия Временного правительства, председатель Учредительного собрания, с 1920 в эмиграции — II: 239 Черногоров— з/к–бригадир (Экибастуз, 1952)—III: 241 Чёрный — старший лейтенант МВД (Ныроблаг) — II: 452 Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965)— премьер–министр Великобритании (1940–45, 1951–55)—I: 197, 239, 240, 242, 494; III: 26–27 Четвериков Борис Дмитриевич (1896–1981)— писатель, з/к и ссыльный (1945–56), автор мемуаров «Всего бывало на веку»— III: 94
Четверухин Серафим Ильич (1911–1983)— инженер–картограф, з/к и ссыльный (1936–57) — Сеид. I: 18, 23
Чехов Антон Павлович (1860–1904)—I: 113, 164, 198, 313, 412, 516; II: 46, 162, 164, 219, 317, 423, 424, 437, 510, 511, 528; III: 8–10, 33, 56, 300, 301, 306, 449
Чеховский Владимир Моисеевич (1876–1937,

расстрелян), председатель Совета министров Украины (1918–19), организатор Украинской автокефальной церкви, з/к по делу «Союза освобождения Украины» с 1930 — I: 62

Чечев Александр Александрович (1899–1964)— зам. министра внутренних дел Литовской ССР, начальник Степлага (1948–54), полковник— II: 178, 444; III: 57, 59, 248, 252, 258, 290

Чжан Цзо–линь (1876–1928)— политический деятель Китая — III: 23

Чижевский Александр Леонидович (1897–1964) — учёный, основоположник гелиобиологии, з/к и ссыльный (Карлаг, Караганда; 1942–58) — II: 388; III: 57 Чижик—надзиратель (Тирасполь, ИТК–2, 1960–е) —III: 442 Чингиз–хан (Чингисхан; ок. 1155–1227)—III: 325 Чмиль Евдокия, тётя Дуся— з/к (после войны) — II: 506 Чубарь Влас Яковлевич (1891–1939, расстрелян) — член Политбюро

ЦК ВКП(б), з/к с 1938—1: 378 Чудаков — инженер–химик, з/к с 1948— II: 238 Чудновский Самуил Гдальевич (1889–1937, расстрелян)— председатель Иркутской ЧК в 1920, руководил расстрелом А.В. Колчака, председатель Леноблсуда с 1935— II: 268 Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996)— писатель— II: 399, 520

Чульпенёв Павел Васильевич— лейтенант, з/к

с 1941 (Монголия)—Сеид. I: 18, 112, 115, 116, 270; II: 206, 447, 505, 525; III: 405, 411, 416

Чупин Автоном Васильевич— машинист— II: 326, 329

ШавиринФ.В. — рабочий, з/к (Колыма)— Сеид. I: 18; II: 241; III: 411

Шавров Вадим Михайлович (р. 1924) — участник 2–й мировой войны, студент, з/к (1948–54), соавтор кн. «Очерки по истории русской церковной смуты» — I: 321 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982)— писатель— II: 121, 526 Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982)— писатель, з/к и ссыльный (1929–32, 1937–56)— Сеид. I: 11, 18, 102; II: 6, 101, 124, 160, 162, 165, 171, 174, 409, 502, 503, 506, 509; III: 99, 218, 498

Шаляпин Фёдор Иванович (1873–1938)— певец, с 1922 в эмиграции—I: 245

Шапиро Михаил Лазаревич (1906–1938, расстрелян)— рабочий–слесарь, ссыльный, з/к с 1929, участник голодовки в Ухт–Печлаге (Воркута)— II: 257

Шапошников Борис Михайлович (1882–1945)— военачальник, маршал Советского Союза— II: 268

Шаталов Василий Архипович (р. 1916) — крестьянин–спецпереселенец— Сеид. I: 18

Шахновская Софья Васильевна (1898-?)— ст. научный сотрудник Института экономики АН СССР, з/к и ссыльная (1940–55) — III: 272

Шаховская— з/к, Соловки— II: 36, 43

Шварцмюллер Франц–Ксавер (1910–1942, умер в заключении) —

немецкий коммунист, с 1933 в СССР под именем Франца

Губера, з/к с 1941 — III: 433 Швед Иван Васильевич (1904-?) — почтовый работник, з/к с 1942

(Мариинский лагерь, Норильск)— Сеид. I: 18; II: 336;

III: 402

Шверник Николай Михайлович (1888–1970)— руководитель ВЦСПС (1930–44, 1953–56), председатель спецприсутствия Верховного Суда на процессе «Союзного бюро меньшевиков» — I: 368,373

Шевцов Сергей Порфирьевич (1858–1930)— народник, сотрудник Ленинградского отделения Политического Красного Креста (1926) —I: 52–53

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861)—II: 421; III: 111, 410

Шеин Сергей Дмитриевич (1880-?)— инженер–химик, член Промышленной секции Госплана, общественный обвинитель на Шахтинском про-

цессе, з/к— I: 347

Шейнин Лев Романович (1906–1967)— следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР, писатель, з/к (1951–53) — I: 36; II: 344, 357; III: 400

Шекспир Уильям (1564–1616)—I: 165, 295

Шелгунов Александр Васильевич— Сеид. I: 18

Шелест Георгий Иванович (Малых Егор Иванович; 1903–1965) — участник Гражданской войны, писатель, з/к и ссыльный (1938–54; Колыма, Средняя Азия) — II: 278, 279, 281, 283; III: 434–436

Шендрик—техник–машиностроитель, з/к—I: 495, 496

Шер Василий Владимирович (1883–1940, умер в заключении) — член правления Госбанка СССР, подсудимый на процессе «Союзного бюро меньшевиков», з/к и ссыльный (Верхнеуральский изолятор) — I: 371

Шеремета Ирина— з/к (Унжлаг, 1952)— II: 384

Шереметева— з/к, Соловки— II: 36

Шерешевский Николай Адольфович (1885–1961)— эндокринолог, доктор медицины, свидетель на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока», з/к по «делу врачей» (1952) — II: 518

Шестакова Анастасия Фёдоровна (1904-?) — юрист, один из авторов кн. «От тюрем к воспита-

тельным учреждениям», корреспондент газеты «Правда» (1940–е) — II: 97

Шефнер Виктор Викентьевич—Сеид. I: 18

Шехтер Борис Семёнович (1900–1961) — композитор—II: 92

Шешковский Степан Иванович (1719–1794)— секретарь Тайной канцелярии (1757–62), обер–секретарь Тайной экспедиции (с 1762)—I: 129

Шийрон Август Петрович (1891–1937, расстрелян) — чекист с 1918, зам. начальника УНКВД Северного края, зам. наркома внутренних дел БССР — III: 321 Шикин— майор МГБ (спецобъект Марфино) — II: 288 Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805)— немецкий поэт, драматург—I: 165; III: 80 Шимонаев— бывший лагерный надзиратель (Соловки) — II: 57 Шиповальников Виктор Георгиевич, мальчик Витя, о. Виктор (р. 1915)— сержант Красной армии, священник (Одесса, Кишинёв; 1943–45), з/к (Печора, 1945–47), протоиерей

Троицкой церкви (ст. Удельная в Подмосковье)— Сеид. I: 18, 126, 161, 513; II: 338; III: 323

Шипчинский Дмитрий Валерианович (1903–1930, расстрелян) — сын метеоролога, этнограф, з/к с 1926 (Соловки) — II: 33, 52

Ширвиндт Евсей Густавович (1891–1958) — нач.

Главного управления местами заключения (и войск конвойной стражи) НКВД РСФСР (1922–32), ст. помощник прокурора СССР (1933–38), з/к и ссыльный (1938–54) — II: 17

Ширинская Шихматова Павла Андреевна (1890-?)— сестра милосердия, монахиня общины «Отрада и Утешение» (с. До–брыниха в Подмосковье), з/к с 1930 (Соловки) — II: 36

Широкова Екатерина Павловна (1916–1995)— техник–строитель, з/к с 1937 (Ярославская тюрьма, Магадан)— II: 269

Шитарев— бухгалтер госпиталя, з/к после войны— II: 180

Шитов Николай Иванович (1903–1940)— следователь Ленинградского УНКВД (1937)—I: 146

Шишкин В.Г. — парторг (ст. Вис Северной ж. д., 1960–е)— III: 441

Шклиник— нач. отдела главного механика в лагере (Ховрино под Москвой, время войны)—II: 107

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984)— писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства»— II: 67

Шкуркин — майор МГБ — I: 149

Шкуро Андрей Григорьевич (1887–1947, пове-

шен)— генерал–лейтенант, с 1920 в эмиграции, участвовал в формировании казачьих частей Вермахта— I: 241

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937, расстрелян) — лидер «рабочей оппозиции» в РКП(б), член Президиума Госплана СССР, з/к с 1935—1: 378; III: 82

Шмидт Пётр Петрович (1867–1906, расстрелян) — лейтенант Черноморского флота, руководитель восстания на крейсере «Очаков»— I: 541

Шоколов— председатель сельсовета (Московская область, 1932) — III: 321

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) — I: 223; II: 171 Шопенгауэр Артур (1788–1860) — III: 80

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975)— II: 92, 342; III: 46, 416

Шпаков Владимир— капитан, з/к (этап Владивосток — Сахалин, 1950) —I: 516

Шрёдингер Эрвин (1887–1961)— австрийский физик–теоретик — I: 531

Шрюбель Артур — чекист — I: 343

Штауффенберг Клаус Шенк фон (1907–1944, расстрелян)— полковник Вермахта, организатор покушения на А. Гитлера — I: 230

Штеккер Роберт(урожд. Окороков Василий) —

инженер, з/кс 1941 — I: 86

Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927)— ссыльный народник, этнограф, член–корреспондент АН СССР— III: 301

Штрик Штрикфельдт Вилфрид Карлович (1897–1977)— переводчик при власовской армии, автор кн. «Против Сталина и Гитлера: Генерал Власов и Русское Освободительное Движение»— I: 231

Штробиндер Александр (расстрелян в 1918)— студент— I: фото на с. 406

Шуберт Франц (1797–1828) —I: 529, 535

Шубин Иван Степанович (1886–1942, умер в заключении)— рабочий ткацкой фабрики, председатель совета рабочих депутатов и боевой дружины в Иваново–Вознесенске, в 1907 осуждён на вечную каторгу, в 1937 зам. председателя Ивановского облсуда, з/к с 1938—1: 389; II: 269

Шувалов Павел Павлович (1858–1905, убит при покушении) — московский градоначальник — I: 338

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976)— политический деятель, депутат Государственной думы, участник Белого движения, эмигрант, з/к (1944–56)— I: 246

Шульман— нач. спецотдела (Буреполом) — II: 442

Шульц— з/к (Берлин, этап Москва — Куйбышев; 1948–49) — I: 269, 449, 450

Шундик Николай Елисеевич (1920–1995)— писатель, секретарь Рязанского отделения Союза писателей (1960–е)— III: 431 Шура— з/к (Лубянка, 1925) — I: 421

Щастный Алексей Михайлович (1881–1918, расстрелян)—командующий Балтийским флотом с марта 1918— I: 286, 397

Щебетин Дмитрий Яковлевич (1905-?)— воентехник, з/к (Горьков–ская пересылка, 1942)— I: 488

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) — секретарь ЦК ВКП(б), нач. Главного политуправления Красной армии, нач. Совин–формбюро—I: 152, 212, 213

Щербаков Валерий Ф. — Сеид. I: 18

Щербатской Фёдор Ипполитович (1866–1942)— востоковед, академик АН СССР — II: 522

Эджубова Магдалина— з/к (1920–е) — I: 57

Эйдеман Роберт Петрович (1895–1937, расстрелян) — комкор, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии»— II: 268

Эйхе Роберт Индрикович (1890–1940, расстрелян) — канд. в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 1935, нарком земледелия СССР с 1937, з/к с 1938—II: 280

Эйхман Карл Адольф (1906–1962, повешен)— офицер СС, руководитель подотдела по делам евреев Главного имперского управления безопасности Германии— I: 422; II: 68

Эйхманс Фёдор Иванович (1897–1938, расстрелян)— зам. начальника, начальник УСЛОНа (1924–29), начальник ГУЛАГа (1930), зам. начальника 9–го отдела ГУГБ НКВД — I: 422, 423; II: 43, 53, 62, 68

Эль Кампесино— см. Гонсалес Валентин

Эльсберг Яков Ефимович (1902–1976)— литературный критик — III: 417

Эми— немецкая коммунистка, з/к— II: 487 Энгельс Фридрих (1820–1895) — I: 133, 433, 494; II: 112, 242 Энсельд—з/к (Соловки, 1920–е)—II: 239 Эпикур (341–270 до н.э.)— античный философ — I: 532 Эпштейн Фаина Ефимовна (1900-?) — экономист, з/к с 1936, осуждена повторно в 1949 — II: 240; III: 294 Эпштейн Юлиус (1901–1975)— американский журналист, писатель—I: 91–92

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — писатель, публицист —

I: 135, 344; II: 241, 390, 521; III: 89, 177 Этингер Яков Гиляриевич (1887–1951, умер в тюрьме)— доктор

медицины, профессор, з/к с 1950 — I: 152 Эфроимсон Владимир Павлович (1908–1989) — генетик,

участник
войны, з/к (1932–35, 1949–55)—Сеид. I: 18; III: 416
Юденич Надежда Афанасьевна (1907-?) — домохозяйка, з/к (Пермь, март–декабрь 1938)—I: 82
Юденич Николай Николаевич (1862–1933)— генерал от инфантерии, руководитель Белого движения на Северо–Западе России, с 1920 в эмиграции—I: 197, 307
Юдина Мария Вениаминовна (1899–1970)— пианист, педагог —
Сеид. I: 18 Южаков — житель Перми, з/к—I: 81 Юнг Павел Густавович— Сеид. I: 18
Юрий Долгорукий (1090–е — 1157) — князь суздальский и великий
князь киевский — III: 286, 296 Юровский Леонид Наумович (1884–1938, расстрелян) — экономист,
профессор, нач. валютного управления Наркомфина СССР,
з/к и ссыльный по делу «Трудовой крестьянской партии»
(1930–36, 1937–38)—I: 60, 61 Юстиниан I (482 или 483–565) — византийский император —
III: 392
Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938, расстрелян)— зам. председателя ГПУ–ОГПУ (1923–34), нарком внутренних дел СССР (1934–36), подсудимый

на процессе «Антисоветского право–троцкистского блока» — I: 47, 100, 151, 164, 292, 348, 377, 381, 398, 401, 424; II: 51, 69, 74, 76, 77, 79, 435, 494, фото № 14 между с. 546–547; III: 276

Ядзик—шофер из армии Андерса, з/к (Экибастуз)— III: 133, 134

Якир Иона Эммануилович (1896–1937, расстрелян)— командующий войсками Киевского военного округа, командарм 1–го ранга, подсудимый по делу «военно–фашистского заговора в Красной армии»— II: 268

Яковенко—следователь (Белгород, 1958)—II: 348

Яковенко Василий Мефодьевич (1905-?)— з/к и ссыльный с 1937 (Воркута)—II: 509

Яковлев — лагерный оперуполномоченный— II: 284

Яковлев — лейтенант МВД, Экибастуз — III: 170

Якубович Григорий Андрианович (1880–1926)— полковник Генерального штаба, член Военной комиссии Временного комитета Государственной думы и пом. военного министра в 1917, генерал майор, эмигрант— I: 370

Якубович Михаил Петрович (1891–1980) — зам. начальника сектора снабжения Наркомторга СССР, подсудимый на процессе «Союзного бюро

меньшевиков», з/к и ссыльный (Верхнеуральский изолятор, Унжлаг, Караганда; 1930–1953) — Сеид. I: 18, 60, 344, 368–374, 383; III: 402

Якубович Пётр Филиппович (1860–1911)— народоволец, писатель—I: 448, 451, 452, 501, 513; II: 62, 159, 162, 164, 343, 430, 486, 503, 510, 512, 526; III: 300

Якулов Яков Богданович (1875-?) — присяжный поверенный, член коллегии защитников в советское время— I: 290, 293, 295 Якушева Зоя—з/к—II: 189

Якшевич (Якшявичюс) Александр Иванович (1886-?)— член ЦК компартии Литвы, зав. Главлитом БССР, завуч школы в Минске, з/к с 1936—II: 266

Яновский Владимир Константинович (1876–1966)—художник — III: 82

Янченко — хирург, з/к (Экибастуз) — III: 241, 242

Яримовская Слава— з/к (Кенгир) — III: 284

Ярославский Александр Борисович (1896–1930, расстрелян) — поэт,

з/к (Соловки) — II: 39 Ярошенко Николай Александрович (1846–1898) — художник —

1:444

Ясевич Константин Константинович— полковник царской армии, эмигрант, з/к— I: 248,

249, 533

Ясенский Бруно (Виктор Яковлевич; 1901–1938, расстрелян)—писатель, один из авторов кн. «Беломорско–Балтийский канал имени Сталина. История строительства»— II: 67

Яшка— з/к–нарядчик (Джезказган) — II: 504

Pawel Ernst (1920–1994)— американский публицист— II: 90 Runes Dagobert David (1902–1982)— американский философ, искусствовед, автор труда о Беломорканале— II: 69 Steenberg Sven (р. 1905)— переводчик во власовской армии, немецкий писатель, сценарист, исследователь антисоветских вооруженных организаций во время 2–й Мировой войны — 1:206, 238

Steinberg Isaac Nachman (Штейнберг Исаак Захарович; 1888–1957)— эсер, с 1923 в эмиграции, автор кн. о М. Спиридоновой—III: 344

Thorwald Jiirgen (Bongartz Heinz; 1916–2006) — немецкий писатель, историк, исследователь антисоветских вооружённых организаций во время 2–й Мировой войны— I: 206